



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

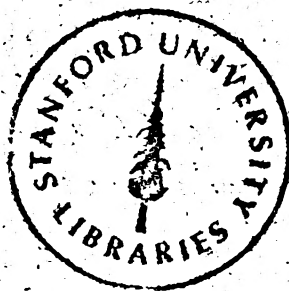
- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











*Вл. Яковлевич.*



Reshetnikov, F. M.

4  
СОЧИНЕНИЯ

О. М. РЪШЕТНИКОВА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и вступительной статьей

М. ПРОТОПОПОВА.

Дешевое изданіе Ф. Павленкова.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

4207

Цѣна за два тома—2 руб. 50 коп.

Простые переплеты—по 50 к. Каленкорвные—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 4 фунта,  
въ переплетахъ—за 5 фунтовъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Высочайше утвержд. Товарищ. «Общественная Польза», Б. Подъяч., 39.  
1896.

45

PG3360

R4

1890

## ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

---

Θ. Рѣшетниковъ, какъ писатель и какъ человѣкъ. Вступительная статья <i>М. А. Протопопова</i> . . . . .	I
--	---

---

	Стран.
I. Подлиповцы. . . . .	1
II. Глумовы . . . . .	95
III. Гдѣ лучше? . . . . .	273
IV. Ставленникъ . . . . .	579

---

То же  
 ем,  
 имен  
 этого  
 имени  
 и не  
 собой  
 равно  
 прива  
 того.  
 а хор  
 зарь  
 а ни  
 равно  
 тель  
 а. Д  
 а Рын  
 а одн  
 стили  
 манд  
 амент  
 того в  
 а, что  
 той, не  
 тний ч  
 ственн  
 тельс  
 арах



# ВЕДОРЪ МИХАЙЛОВИЧЪ РЪШЕТНИКОВЪ,

КАКЪ ЧЕЛОВѢКЪ и КАКЪ ПИСАТЕЛЬ.

*Наша литература должна говорить правду...*

Изъ письма Рѣшетникова Некрасову.

*Эхъ, вы, цивилизація парикмахерская!*

Рѣшетниковъ („Между людьми“).

## I.

«Не все то золото, что блеститъ» говоритъ славная, умная русская пословица. И наоборотъ конечно: не всегда блеститъ и настоящее золото. Драгоценный самородокъ, только-что извлеченный изъ глубины рудника, покрытый пылью и грязью, представляется въ видѣ какой-то безобразной глыбы, мимо которой равнодушно пройдетъ профанъ, но которая приведетъ въ восхищеніе человѣка понимающаго. Бронзовая цѣпочка или мѣдный ятакъ, хорошо вычищенные мѣломъ, горятъ «какъ жаръ» и конечно скорѣе привлекутъ къ себѣ вниманіе толпы, нежели безформенная, неуклюжая, нелѣпая глыба...

Читатель понимаетъ нашу незамысловатую метафору. Да, тусклый, сѣрый, почти безлѣтный Рѣшетниковъ является въ нашей литературѣ одной изъ интереснѣйшихъ и почитальнѣйшихъ фигуръ, а его сочиненія представляютъ собой литературно-историческій документъ, требующій и заслуживающій самаго внимательнаго изученія. Казалось-бы, что можетъ принести въ литературу неразвитой, необразованный, просто-таки пошлый и неграмотный человѣкъ, — въ литературу, гдѣ непосредственная сила дарованія имѣетъ гораздо меньше значенія, нежели во всѣхъ другихъ сферахъ искусства и творчества? Идемъ,

составляющія главное содержаніе произведеній слова, не даются задаромъ, а приобретаются путемъ тяжелаго умственнаго труда, образованія, развитія. Съ однимъ талантомъ тутъ многого не сдѣлаешь, а талантъ Рѣшетникова, въ смыслѣ изобразительной, живописующей способности, далеко не принадлежалъ къ числу перворазрядныхъ. И тѣмъ не менѣе Рѣшетникову удалось сказать буквально «новое слово», проложить въ литературѣ свой самостоятельный путь и оставить по себѣ прочный слѣдъ. Въ чемъ разгадка этого на первый взглядъ столь страннаго факта?

Не будемъ спѣшить съ объясненіями — это дѣло отъ насъ не уйдетъ — а обратимся предварительно къ самому Рѣшетникову за отвѣтами на наши вопросы: что такое онъ и кто такой онъ? Человѣкъ безхитростный и простой, вполне свободный отъ недуга тщеславія, столь вообще свойственнаго писателямъ, Рѣшетниковъ отвѣчаетъ на эти вопросы хотя неполно, отрывочно, но съ несомнѣннымъ чистосердечіемъ и полной искренностью. Въ нашемъ распоряженіи имѣется собственноручный дневникъ Рѣшетникова, нигдѣ не напечатанный, да, пожалуй, и незаслуживающій быть напечатаннымъ, потому что огромнѣйшая часть этого дневника наполнена такими крохотными житейскими мелочами, которые были мелочами даже въ свое время и даже

для самого Рѣшетникова, а теперь, много лѣтъ спустя, и для насъ, людей постороннихъ, не представляютъ уже вовсе никакого интереса. Но дневникъ чрезвычайно замѣчательнъ, во-первыхъ, по общему, основному своему тону и, во-вторыхъ, по нѣкоторымъ частностямъ, тамъ и сямъ вкрапленнымъ среди огромнаго «вороха мелочей», по щедринскому выраженію. Въ этомъ смыслѣ дневникъ—незамѣнимый и безцѣнный матеріалъ для характеристики Рѣшетникова и какъ человѣка, и какъ писателя.

Тонъ дневника—тонъ безстрастной лѣтописи. Высказывая иногда самыя горькія по своей сущности мнѣнія, или рассказывая о той или другой постигшей его бѣдѣ, или выражая самое рѣшительное осужденіе тому или другому человѣку, Рѣшетниковъ никогда не терпитъ хладнокровія, не негодуетъ, не жалуется, не возмущается. Приведемъ два-три примѣра, которые лучше всего уяснятъ читателю дѣло. Рассказавъ невозмутимѣйшимъ тономъ о своихъ мытарствахъ въ Петербургъ по разнымъ канцеляріямъ и редакціямъ, Рѣшетниковъ заключаетъ рассказъ трогательно-простодушной фразой: *«положеніе мое очень ужасное»*. И больше ни слова, ни звука, ни стона. Ни на что онъ не жалуется, никого не обвиняетъ, онъ просто, какъ бывалый и всякіе виды видавшій врачъ, спокойно ставитъ діагнозъ: *«положеніе очень ужасное»*. Но хладнокровіе врача естественно, ему не больна чужая боль, а вѣдь Рѣшетниковъ говоритъ о *себѣ*, о грозящей *ему* голодной смерти. Въ другомъ мѣстѣ, встрѣчая новый годъ и провожая старый, Рѣшетниковъ вполнѣ объективно замѣчаетъ: *«еще, значитъ, прибавился годъ страданій»*. И опять ни жалобы, ни упрека, ни тѣни хоть какой-нибудь горечи. Онъ точно хорошій бухгалтеръ складываетъ и вычитаетъ, подводитъ итоги..... чему итоги? Своимъ собственнымъ «страданіямъ»!

Но, можетъ быть, Рѣшетниковъ преувеличивалъ? Можетъ быть, «очень ужаснымъ» положеніемъ онъ называлъ напр. временное, случайное безденежье, подъ громкимъ именемъ «страданій» онъ разумѣлъ, быть можетъ, обыкновенныя житейскія неудачи и огорченія, отъ которыхъ рѣшительно никто не застрахованъ? Каждому, по пословицѣ, своя слеза солона, и людямъ такъ естественно преувеличивать свое

горе, въ особенности такимъ людямъ, какъ Рѣшетниковъ—мнительнымъ, не довѣряющимъ ни себѣ, ни другимъ, болѣзненно-нервнымъ. Быть можетъ, наконецъ, самыя требованія отъ жизни были у Рѣшетникова нескромны, не-благоразумны, неразумительны, и его «страданія» происходили отъ того только, что его фантазіи не могли осуществиться? И на это мы находимъ отвѣтъ въ дневникѣ. Рѣшетниковъ говоритъ вскользь о своихъ литературныхъ критикахъ, собственно объ ихъ упрекѣ ему, что онъ пишетъ «не обрабатывая, не работаетъ о художественности». Онъ соглашается съ этимъ упрекомъ: *«это правда. Еслибы я имѣлъ средства жить въ отдельной комнатѣ, не забирать впередъ денегъ, я писалъ бы гораздо спокойнѣе и лучше, чѣмъ теперь»*.

Такъ вотъ онъ тѣ безумныя, гордыя мечты, которыя лелѣялъ въ своемъ сердцѣ этотъ необузданный человѣкъ, этотъ гордый честолюбецъ и самолюбецъ: *«жить въ отдельной комнатѣ»*, т. е. имѣть уголокъ для работы, куда бы не смѣли врываться во всякое время дня и ночи ни пьяныя квартирные хозяйки (какъ это было втеченіе холостой жизни Рѣшетникова), ни собственные плачущія, полуголодные дѣти (какъ это было во время семейной жизни Рѣшетникова). Вотъ о какихъ неслыханныхъ удобствахъ мечталъ этотъ изнѣженный сибаритъ! И я прошу читателя вспомнить, что о недостижимомъ счастьи «отдѣльной комнаты» вздыхалъ не начинающій юноша, который, въ надеждѣ будущихъ успѣховъ, согласенъ пока и поголодать, и похолодать, это вздыхалъ писатель, уже заявившій себя въ литературѣ, составившій себѣ имя, обратившій на себя вниманіе критики. И онъ именно только вздыхалъ, какъ вздыхаемъ мы съ вами о какой-нибудь шальной своей надеждѣ: «хорошо бы, очень и очень бы пріятно, да только гдѣ ужъ! Надо въ сорочкѣ родиться, чтобы добиться такой удачи».

«Это или какой-то дикарь, скажетъ читатель, или святой». Ни то, ни другое: поменьше святого и гораздо побольше дикаря. Рѣшетниковъ не былъ ни аскетомъ, ни ригористомъ, ни безсребренникомъ, а былъ онъ просто человѣкъ, да, именно *«человѣкъ онъ былъ»*, которому было мало дѣла до самого себя, потому что много дѣла было до другихъ. Къ этимъ «другимъ» относились всѣ

тѣ — и только тѣ — обдѣленные судьбою люди, для которыхъ элементарнѣйшія удобства и потребности жизни являются, какъ и для Рѣшетникова, несбыточною мечтою, всѣ эти Пилы и Осыйки, для которыхъ предѣльнымъ выраженіемъ «богачества» представляется возможность каждый день наѣдаться до сыта ситнымъ хлѣбомъ. Въ сравненіи съ этой великой нуждой, съ этой неосходной и неискупленной бѣднотой — что такое чѣмъ бы то ни было личныя лишенія и какія бы то ни было индивидуальныя страданія? Мысль и чувство Рѣшетникова были постоянно устремлены именно въ эту сторону, къ этой толпѣ близкихъ и дорогихъ лицъ, съ которыми онъ ожился и какъ человѣкъ, и какъ художникъ, — къ этой толпѣ, одоляемой и физическимъ, и духовнымъ голодомъ, прозябающей «безъ понятія о правѣ, о Богѣ, какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи». Вотъ объясненіе его равнодушія къ своему положенію, того изумительнаго хладнокровія, съ какимъ онъ относился къ своей собственной нищетѣ. Это объясненіе наше не произвольно. Въ дневникѣ — на данныхъ котораго мы пока исключительно основываемся — есть эпизодъ, значенія котораго самъ Рѣшетниковъ очевидно даже и не подозревалъ и который по тому самому вдвойнѣ для насъ драгоцененъ. Для уясненія фактической стороны дѣла нужно замѣтить, что, вслѣдствіе матеріальныхъ соображеній, мрачный Рѣшетниковъ принужденъ былъ сотрудничать въ развеселой «Искрѣ», редакторомъ которой въ то время (первая половина шестидесятыхъ годовъ) состоялъ извѣстный переводчикъ Беранже — В. Курочкинъ. И вотъ Рѣшетниковъ, измѣняя на этотъ разъ своей обычной невозмутимости, съ сдержаннымъ негодованіемъ заноситъ въ свой дневникъ: *«Курочкину нуженъ юморъ, какъ онъ мнѣ говоритъ, и я написалъ юморъ такой (здѣсь, какъ и вездѣ, выписываю буквальное, не исправляя даже правописанія), что бѣдный человекъ, смѣясь, рассказываетъ объ своемъ горѣ, а Курочкинъ говоритъ, что мало юмору, между тѣмъ въ «Искрѣ» за частую печатаются пустые рассказы».*

Не знаю, какъ на читателя, а на меня эта нелѣпая, безграмотная фраза производитъ глубоко-умилительное впечатлѣніе. Что за прелесть этотъ дикарь! Что за золотое сердце у этого неотесаннаго вахлака! Его давить нуж-

да; чтобы редактору угодить, веселѣй надо быть, и вотъ онъ постарался, «написалъ юморъ», который конечно столько же былъ пригоденъ для «Искры», сколько монашеская ряса для балетнаго танцовщика. Прогнѣвъ нравственной природы своей не пойдешь, и вотъ къ заказанному редакціей «юмору» Рѣшетниковъ прищипливаетъ свое незаказанное «горе бѣднаго человѣка» и наивно хитритъ, совмѣщая эти два трудно совмѣстимыя дѣла, смѣхъ со слезами, «юморъ» съ «горемъ», хитритъ тѣмъ, что заставляетъ «бѣднаго человѣка» рассказывать о своемъ горѣ *смѣясь*. Вотъ, что называется находчиво выпутаться изъ затруднительнаго положенія!

Эта однопредметность мысли и односторонность таланта Рѣшетникова составляютъ одну изъ главнѣйшихъ его особенностей, его силу и вмѣстѣ съ тѣмъ его слабость. Онъ монотоненъ, потому что «горе бѣднаго человѣка» заслоняетъ для него всѣ явленія жизни, — и общественной, и личной. «Пустые рассказы» — это, по мнѣнію Рѣшетникова, конечно всѣ такіе рассказы, въ которыхъ нѣтъ «бѣднаго человѣка» и ничего не говорится о его «горѣ». Въ двухъ тысячахъ печатныхъ страницахъ Рѣшетникова мы нашли только *одно* мѣсто, *одну* фразу, въ которой есть непринужденная веселость и неподдѣльный юморъ. Мужика приглашаютъ на судъ въ свидѣтели и онъ отвѣчаетъ: «И — и! Я лучше полштофа водки уничтожу, только чтобъ эти свидѣтельства... По одному дѣлу былъ я въ судъ — страсти! Народу — и Господи ты мой! Потомъ присяга... потомъ радея... потомъ, говорить, въ Сибирь, коль что не по сердцу... А найди ты, кто по сердцу живеть... Потомъ исторья: все, говорить — говори... Господи!» Сначала присяга, потомъ радея, потомъ исторья — надъ этой мужицкой характеристикой «новаго» суда нельзя не улыбнуться; но, во-первыхъ, это, повторяемъ, *единственное* у Рѣшетникова проявленіе веселости, а, во-вторыхъ, даже оно вполне случайно: вѣдь мужикъ рассказываетъ совсѣмъ не весело, не на смѣхъ, а съ нѣкоторымъ даже ужасомъ. По содержанію, по существу, этотъ рассказъ опять-таки не что иное, какъ выраженіе «горя бѣднаго человѣка», и только наивно-комическая форма рассказа придаетъ ему юмористическій характеръ.

Слишкомъ, слишкомъ не до смѣха было!

шетникову. Въ его вообще уныломъ и мрачномъ дневникѣ попадаются страницы въ полномъ смыслѣ слова трагическія, написанныя не чернилами, а слезами, — страницы, которыя нѣтъ возможности читать равнодушно. Одну такую страницу мы приведемъ, и пусть читатель поразмыслитъ надъ нею и также пусть погрузится вмѣстѣ съ нами, если ему близки и дороги судьбы русскаго просвѣщенія. Вотъ эта страница:

• 19-го января 1864 года.

Болѣе двухъ мѣсяцевъ я не писалъ свой дневникъ, хотя много бы можно было написать. Некогда. Вотъ слово, которое я писалъ въ дневникѣ и прежде, и пишу теперь. Я много выстрадалъ въ это время. Я каждый день пью водку, безъ водки не могу закончить день, съ водкой мнѣ веселѣе. И теперь я пишу пьяный.

Я страшно мучусь. Жизнь становится съ каждымъ днемъ тяжелѣе, невыносимѣе. Кромѣ мученія ничего нѣтъ.

Мнѣ завидно, что есть люди, которые живутъ какъ то особенно, по своему, не рошутъ на судьбу. Дни ихъ проходятъ за днями, они ни о чемъ не думаютъ, имъ хочется только того, чтобы имъ жилось лучше, да имѣлись деньги.

Мнѣ гусна становится ложь, гадость, рабство въ жизни. Мнѣ хочется чего то лучшаго, небывалаго, хочется уяснить другимъ настоящее. Но всюду запоръ, давленіе, рабство. Я не могу никому высказать своихъ мыслей, чувствъ и желаній. Вотъ почему тяжела мнѣ эта горькая жизнь, отъ чего я пью, — выпьешь, по крайней мѣрѣ заснешь. Такъ и во снѣ представляются какіе то чудовищные образы, какая то житейская гадость, и во снѣ нѣтъ покоя. Отъ чего я не могу выработать сочиненій. Я молодъ — мнѣ 23 годъ. Но вѣдь и моложе меня пишутъ, а я, не смотря на свои лѣта, кажусь старикомъ, чувствую усталость. Лучше (хуже?) всего то — я не образовалъ себя такъ, какъ образованы наши литераторы, у меня нѣтъ свободы, денегъ. Будъ у меня свобода и средства къ жизни безъ службъ, я года черезъ два обрарую себя: стану читать, еще ближе буду всматриваться въ нашу жизнь, всосусъ въ ея кости и кровъ. Такъ вѣтъ этого!.. Безъ этого я гибну; меня не хотятъ понять, презираютъ, давятъ сильнее; у меня нѣтъ даже друга, который бы сочувствовалъ мнѣ, пожалѣлъ бы меня....

Дневникъ Рѣшетникова — не литературное произведеніе, а именно только ежедневная беседа человека съ самимъ собою. Вотъ еще причина, почему Рѣшетниковъ почти всегда довольствуется въ дневникѣ простымъ указаніемъ на фактъ, не вдаваясь въ анализъ, или гнѣвной выходкой, страстной жалобой, не разъясняя подробно мотивовъ. Такъ и въ данномъ случаѣ, въ той замѣчательной страницѣ, которую мы только что цитировали. «Я страшно мучусь», говоритъ Рѣшетниковъ; но формулировать причины своихъ мученій, опредѣлить ихъ, пальцемъ на нихъ указать, — этого онъ не умѣлъ. Онъ ставилъ за одну скобку и причины частныя, личныя, коренив-

шіяся въ случайныхъ обстоятельствахъ его жизни и судьбы, и причины общія, заключавшіяся въ условіяхъ тогдашней литературной и общественной жизни.

Въ ряду личныхъ причинъ на первомъ мѣстѣ конечно нужно поставить крайнюю малообразованность Рѣшетникова. Не въ томъ была бѣда Рѣшетникова, что онъ не получилъ почти никакого школьнаго образованія (онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ), а въ томъ, что онъ не могъ или не умѣлъ воспользоваться самообразованіемъ. «Читалъ — пишеть однажды Рѣшетниковъ въ дневникѣ — естественную исторію міроизданія Карла Фохта, переводъ Пальховскаго, надобло. Такая путаница». Если популярное сочиненіе представлялось Рѣшетникову «путаницей», то конечно это значило, что ему нужно было начинать чуть не съ азоевъ, съ ознакомленія съ тѣми простѣйшими научными истинами, которыми образованные люди пользуются какъ языкомъ, живымъ словомъ, даже просто какъ руками и ногами — т. е. не замѣчая и не думая объ этомъ. Другой замѣчательный русскій писатель-самоучка — Кольцовъ откровенно признавался въ письмѣ къ знакомому: «субъектъ и объектъ я еще немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки». Это было скромное и прямодушное признаніе, тогда какъ Рѣшетниковъ, сознавая свою неподготовленность, тѣмъ не менѣе рѣшительно заявлялъ, что непонятая имъ книга — «путаница». Но не будемъ обвинять Рѣшетникова, а вспомнимъ лучше его слова: «меня презираютъ, давятъ сильнее; у меня нѣтъ даже друга, который пожалѣлъ бы меня». Великое дѣло для молодого, начинающаго и тѣмъ болѣе мало развитого писателя первая удачная или неудачная встрѣча, первыя связи въ литературномъ мірѣ, тѣ вліянія, которыми онъ поддается, тѣ впечатлѣнія, которыя онъ получаетъ. Нравственнымъ и умственнымъ руководителемъ Кольцова былъ Бѣлинскій, — тотъ Бѣлинскій, котораго прекрасный образъ до сихъ поръ продолжаетъ передъ нами расти и свѣтлѣть съ каждымъ вновь отрывающимся фактомъ изъ его жизни и изъ его дѣятельности. Рѣшетниковъ далеко не былъ такъ счастливъ...

Нѣтъ ничего тайнаго, что современемъ не стало бы явнымъ, и пусть будущій біографъ Рѣшетникова фактами и документами (между



которыми «дневникъ» конечно займетъ одно изъ главныхъ мѣстъ) освѣтитъ эту сторону дѣла. Мы можемъ довольствоваться здѣсь простымъ утвержденіемъ этого факта полного одиночества и полной безпомощности Рѣшетникова. И даже хуже и больше чѣмъ одиночества... «Настоящей свободы человѣку нѣтъ: человѣкъ всегда будетъ подчиняться другому и будетъ находиться въ зависимости отъ людей богатыхъ. Бѣдному человѣку съ ничтожнымъ званіемъ нечего и думать о свободѣ».

Это невеселое, очевидно выстрадавшее размышленіе Рѣшетниковъ занесъ въ дневникъ, когда уже составилъ себѣ имя въ литературѣ, когда, казалось бы, могъ претендовать на нѣкоторое вниманіе, если ужъ не на уваженіе къ себѣ... Вниманіе это могло бы выразиться именно помощью Рѣшетникову въ его неуфѣльных и безплодныхъ попыткахъ къ самообразованію и къ развитію, но Рѣшетникову не пришлось дожидаться такого счастья. Зато совѣтовъ поступать на службу и упрековъ за раннюю женитьбу Рѣшетниковъ наслушался даже сверхъ всякой мѣры.

«Не смотря на свои лѣта (23 года!), я кажусь старикомъ, чувствую усталость», говоритъ Рѣшетниковъ. Это была худшая изъ усталостей—усталость не отъ работы, а отъ людей. Рѣшетниковъ и всего-то прожилъ на свѣтѣ какихъ-нибудь тридцать лѣтъ, но печальное убѣжденіе, неоднократно и на разные лады выраженное имъ въ дневникѣ, что «гадости въ каждомъ лицѣ очень много», успѣло почти всецѣло овладѣть имъ. Человѣкъ сильнаго характера не поддался бы развращающему вліянію такого убѣжденія и съумѣлъ бы остаться самимъ собою. Человѣкъ развитого ума понялъ бы скоро, что обобщенія *такого* рода никуда не годятся. Но Рѣшетниковъ былъ и безоруженъ, и одинокъ—и въ результатѣ мрачное, угрюмое пьянство, которое и привело его къ ранней могилѣ. Это одна изъ тѣхъ старыхъ русскихъ исторій, которыя всегда новы, по слову поэта.

Гораздо важнѣе и серьезнѣе были причины общаго свойства, поставившія Рѣшетникова въ одиночное положеніе, призвавшія его къ роли, которая была по силамъ его таланту, но не по силамъ его развитію и его характеру. Къ анализу этихъ причинъ мы и перейдемъ теперь.

## II.

Чѣмъ дальше отходить отъ насъ въ глубь исторіи великое событіе 19-го февраля 1861 года, тѣмъ яснѣе и яснѣе становятся его колоссальные размѣры, его грандіозное историческое значеніе. Оно перемѣстило центръ тяжести нашей жизни, измѣнило ея основы и ея направленіе и—на первыхъ порахъ—перемѣшало и перепутало между собой самыя живые интересы и самыя дѣятельныя силы нашего отечества.

Порвалась цѣпь великая,  
Порвалась,—разскачалась:  
Однимъ концомъ по барину,  
Другимъ по мужику.

Но жизнь «мужика» и «барина» въ до-реформенное время была жизнью самой Россіи. Положеніе «мужика» и «барина» опредѣляло собой положеніе всѣхъ другихъ сословій и классовъ, и вотъ почему такъ называемая *крестьянская* реформа есть, въ сущности, всероссійская реформа, обновившая одни элементы нашей жизни, призвавшая къ бытію другіе, подписавшая смертный приговоръ для третьихъ.

Двадцать милліоновъ человѣческихъ существъ, влачившіе существованіе простого рабочаго скота, получили первоначальную возможность къ устроенію себѣ человѣческой жизни,—вотъ фактъ, совершившійся на нашихъ глазахъ. Понятно, что фактъ такихъ размѣровъ и такого значенія, помимо непосредственныхъ своихъ результатовъ, долженъ былъ привести за собой неисчислимыя косвенныя послѣдствія. Измѣнились не конкретныя только факты, не факты практической жизни, не дѣловыя, экономическія и юридическія нормы,—измѣнилась самая атмосфера жизни, измѣнились общія нравственныя и умственныя условія, которыя воспитываютъ и общество, и личность. Но эти условія—какъ разъ тѣ, съ которыми прежде всего и больше всего имѣетъ дѣло литература. «Личность», «общество», пути и судьбы ихъ развитія—въ этомъ, строго говоря, заключается все содержаніе, весь предметъ литературы и въ особенности беллетристики. Понятно, что переломъ, происшедшій въ жизни, нашелъ свое выраженіе и въ художественной литературѣ. Демократизировалась жизнь, демократизировалась вслѣдъ за нею и литература.

Мы, русскіе, гордимся своей литературой, въ особенности такъ называемой нязщной — и по праву: она блеститъ такими яркими и могучими талантами, которые сдѣлали бы честь любой европейской литературѣ. Пересчитаемъ по пальцамъ эти таланты, принимая во вниманіе только ихъ непосредственную художественную силу, безъ всякаго отношенія къ ихъ относительному значенію, ихъ направленію и тенденціямъ. Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, Гончаровъ, Левъ Толстой, Некрасовъ, Салтыковъ, Островскій и, можетъ быть, Сергій Аксаковъ и Григоровичъ — вотъ корифеи нашей художественной литературы, вотъ тѣ наши классики, произведенія которыхъ составляютъ нашу гордость и славу. И что-жъ? Фактъ въ своемъ родѣ единственный, ни въ какой другой странѣ небывалый: всѣ эти первоклассные литературные дѣятели принадлежать къ одному и тому же общественному слою, всѣ они безъ исключенія вышли изъ стародворянскихъ, коренныхъ помѣщичьихъ родовъ. По рожденію, по воспитанію, по семейнымъ традиціямъ, по всѣмъ безчисленнымъ нитямъ, связывающимъ человека съ средою, они — *юспода*, въ буквальномъ значеніи этого слова. Это роскошные цвѣтки, выросшіе среди лютой зимы, въ оранжерейной атмосферѣ счастливой, сытой обезпеченности, на тучномъ черноземѣ крѣпостного рабовладѣльчества. Нужно ли говорить, что въ нашей метафорѣ нѣтъ даже малѣйшей тѣни упрека этимъ писателямъ? За *общіе* факты не можетъ быть *личной* ответственности. Напротивъ, высшая заслуга и лучшая красота большинства этихъ писателей въ томъ и состоятъ, что они, вопреки своимъ сословнымъ интересамъ и не смотря ни на какія традиціи, говорили вслѣдъ за своимъ учителемъ и главою:

Увижу ли, друзья, народъ освобожденный  
И рабство, падшее по манію царя,  
И надъ отечествомъ, свободы просвѣщенной  
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!

Нравственные идеалы были для нихъ всего дороже, духовные интересы стояли въ ихъ глазахъ ближе и выше интересовъ матеріальныхъ, и въ этомъ отношеніи, съ этой точки зрѣнія они безукоризненны и неуязвимы. Большинство изъ нихъ сдѣлало все, что можно было ожидать даже отъ лучшихъ, совершен-

нѣйшихъ людей въ ихъ положеніи — они сострадали, жалѣли, любили и защищали, какъ могли, тѣхъ, кого могли просто забыть и не замѣчать, — тѣхъ, кого мало кто любилъ и жалѣлъ. Почти каждый изъ нихъ чистъ отъ нареканій этого рода, почти къ каждому изъ нихъ примѣнимы слова ихъ вождя:

Да будетъ омраченъ позоромъ  
Тотъ малодушный, кто въ сей день  
Безумнымъ возмутитъ укоромъ  
Его *увѣчанную* тѣнь!

Пусть же спать спокойно въ своихъ гробахъ эти первые, передовые дѣятели во имя «прекрасной зари», и конечно «освобожденный народъ» не развѣнчаетъ ихъ тѣней, не оскорбитъ «укоромъ» ихъ памяти.

И все-таки не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что «сытый голоднаго не разумѣетъ», какъ говоритъ пословица. Въ наивной формѣ здѣсь указывается на важный и общій психологическій фактъ, отъ вліянія котораго никому не дано уйти. Вспомнимъ евангельское изреченіе: «пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы, а наемникъ — наемникъ есть». О какомъ наемникѣ говорится здѣсь? Разумѣется, не буквально о *наймаемомъ* человекѣ — такое толкованіе было бы слишкомъ узко, — рѣчь идетъ о человекѣ, для котораго жизнь, безопасность и всяческіе интересы «овецъ» — интересы чуждые, посторонніе, интересы, не сливающиеся съ его собственными интересами. То же самое и «сытый» и «голодный» нашей пословицы. Не буквально о *сытомъ* и не буквально о *голодномъ* говорится здѣсь, а вообще о людяхъ, находящихся совершенно въ различныхъ положеніяхъ, — людяхъ, которые желаютъ не одного и того-же, чувствуютъ не одно и то же и думаютъ не объ одномъ и томъ же. Это въ порядкѣ вещей, это въ природѣ человека и ничего тутъ возмутительнаго нѣтъ. Человеку только то на самомъ дѣлѣ близко, что *ему* близко, его касается, затрагиваетъ не тѣ или другіе его интересы, а всю совокупность ихъ. Нравственный идеалъ можетъ овладѣть нравственнымъ человекомъ настолько, что ради него онъ откажется отъ всякихъ другихъ интересовъ, отъ всякихъ радостей и отъ самой жизни. Исторія представляетъ длинный рядъ примѣровъ людей, жертвовавшихъ собой ради дѣла, которое не было ихъ личнымъ, кровнымъ, насущнымъ дѣломъ. Все это безспор-

но—и да здравствует благородная природа человека! Но однако вот два одинаково храбрые и дисциплинированные солдаты. Ни один из них не дезертирует, не отступить перед опасностью, не оставить своего поста. Но одному из них довелось сражаться где-то на границе или в пределах неприятельской страны, а другому пришлось биться на стенах родного осажденного города, в среде граждан которого он имеет и друзей, и родных, и собственную семью. Эти два одинаково храбрых и одинаково честных солдата одинаково ли безстрашно и самоотверженно будут сражаться? Ответ не труден. «Ребята, не Москва-ль за нами», говорит лермонтовский полковник, воодушевляя своих солдат перед бородиной битвой, и конечно его солдаты сражались в этот день хорошо, потому именно, что сражались за дорогую, родную «матушку-Москву», а не за какой-то басурманский Аустерлиц, которого и названия-то не выговоришь.

Да, даже чувство патриотизма имеет своим основанием именно сознание солидарности своих личных интересов с общими интересами страны. Уничтожается почему-нибудь эта солидарность, исчезает и это чувство. «Где хорошо — там и отечество», говорят космополиты, и эта формула их несколько не противоречит формуле патриотизма, которую можно бы выразить так: «хорошо только в отечестве». В последнем результате, как видите, все сводится к вопросу личного удобства, личного счастья, к вопросу не об отечестве, а о том, «хорошо» или «нехорошо». Человеку дорого то, что ему или родственно, или привычно, так или иначе близко, понятно, сочувственно. Тихвинец, повстречавши в Новгороде тихвинца, называет его земляком, в Петербурге всякий новгородец — земляк новгородцу, за границей всякий русский — земляк русскому, в пустынях средней Африки всякий европеец — земляк европейцу, а если бы парижанин и готтентот перенести напр. на Венеру, они, буквально *земляки*, горячо обрадовались бы друг другу, точно так же, как и житель земли обрадовался бы, как *своему*, жителю Венеры, встретившись с ним на планете Сириуса: все-таки ведь между ними есть хоть то общее, что им вьегда одно и то-же солнце светило.

Должен сознаться, что я забрался до-

вольно далеко—даже на самый Сириус—но от предмета я не удалился. Все эти мои экскурсы, все приведенные мною примеры ведут к тому несложному и очевидному выводу, что личный интерес представляет собой один из серьезнейших мотивов всякой человеческой деятельности, дает окраску симпатиям и антипатиям человека, возбуждает его энергию, удваивает иутраивает его силы. Идея долга—высокая идея, чувство справедливости—прекрасное чувство. Но именно потому, что эта идея высока и это чувство прекрасно, они мало доступны людям обыкновенным. Если у тебя попросить одну одежду, ты должен отдать и другую—вот учение высшей нравственности, вот чистое выражение отвлеченной идеи долга. «Своя рубашка кь тьму ближе»—вот заповедь практической жизни и практических, средних людей, вот формула прозаического житейского опыта. Кто-то сказал, что если бы таблица умножения каким-нибудь образом противоречила интересам людей, то аксиома дважды два—четыре подвергалась бы постоянным и ожесточенным нападениям. Это мы и видим в жизни на каждом шагу, во всяком случае гораздо чаще, нежели безкорыстную проповедь исключительно во имя нравственного идеала. Ближайшие ученики Христа, которым, казалось бы, так легко было воодушевиться и вдохновиться безкорыстною, безпримесною, чистую любовью, потому что они стояли около самого источника и воплощения этой любви,—даже они хлопотали и заранее выговаривали себя награду *там* за свои страдания и за свое самоотвержение *здесь*. Слаб человек и охотно преклоняет он ухо к внушениям злого духа эгоизма и только в редких, лучших минутах своего бытия возвышается до чистого альтруизма, до полного забвения своего себялюбиваго, неутомимаго, вьчно недовольнаго и вьчно требовательнаго я!

Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами. Благородные, гуманные, совьстливые люди возставали против исторической несправедливости, которой они в то же время были лично много обязаны—своим блестящим образованием, и своей независимостью, и всем изяществом своего комфортабельнаго существования. Добрые, сострадательные, чуткие люди проливали слезы над чужой бьдой, над горем,

которое — извительная иронія судьбы! — собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду вродѣ «легкаго оброка» и «ярема барщины старинной», или цвѣты удовольствія, вродѣ «младого и свѣжаго поцѣлуя смуглянки черноокой». Дѣйствіе этого разлада, этого отсутствія гармоніи между идеалами и интересами не могло не сказаться умѣряющим образомъ и на силѣ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ. Повторяю опять-таки, что не въ судъ и не въ осужденіе подчеркиваю я это обстоятельство, а исключительно въ видахъ исторической и психологической точности. Освободиться отъ деморализующаго вліянія своего положенія человѣкъ можетъ только, выйдя изъ этого положенія, окончательно порвавши всѣ связи съ родной средой — но и такое освобожденіе будетъ болѣе кажущимся и внѣшнимъ, чѣмъ дѣйствительнымъ. Отъ понятій, всосанныхъ съ молокомъ матери, отъ привычекъ, привитыхъ прежде, нежели проснулась критическая мысль, отъ вкусовъ, симпатій и наклонностей, вызванныхъ и культивируемыхъ воспитаніемъ, — отъ всего этого нельзя отдѣлаться, какъ нельзя родиться вторично. Не можетъ быть и тѣни сомнѣнія въ томъ, что напримѣръ помѣщикъ Тургеневъ искренно и горячо ненавидѣлъ крѣпостные порядки, крѣпостные нравы, весь крѣпостной бытъ и, какъ художникъ, боролся съ нимъ, но, наблюдая дѣло со стороны или съ высоты общаго идеала, онъ, по собственному свидѣтельству, попадался въ самые курьезные просаки. Въ «Запискахъ Охотника» есть рассказъ «Два помѣщика», въ которомъ баринъ приказываетъ высѣчь на конюшнѣ своего стараго, почтеннаго камердинера. Тургеневъ, разумѣется, былъ возмущенъ до глубины души этимъ, и не трудно вообразить, каково было его удивленіе, когда онъ увидѣлъ, что только-что высѣченный сѣдовласый камердинеръ, какъ ни въ чемъ не бывало, идетъ по двору и щелкаетъ подсолнухи. Онъ подозвалъ его, разспросилъ о баринѣ и почти къ ужасу своему услышалъ, что это такой баринъ... такой баринъ... такая душа... дай Господи ему здоровья и многія лѣта, а мы должны за него вѣчно Бога молить!

Вотъ и извольте примирить эти двѣ логики и двѣ нравственности — логику и нравственность высоко образованнаго и тонко разви-

того западника-писателя и логику и нравственность «расейскаго» двороваго человѣка крѣпостныхъ временъ. Что въ глазахъ одного — возмутительное, безобразное насиліе, то въ глазахъ другого — плевое житейское дѣло, потому что вѣдь «не рѣпу сѣять». И наоборотъ: напримѣръ «молодой и свѣжій поцѣлуй смуглянки черноокой» представлялся Пушкину однимъ изъ невинныхъ элементовъ святой деревенской жизни Онегина («вотъ жизнь Онегина святая»), а въ глазахъ хотя бы того же тургеневскаго камердинера этотъ поцѣлуй могъ явиться грубымъ оскверненіемъ самыхъ чистыхъ его чувствъ. «Не съ ними плачешь, а *объ нихъ*», говорилъ Константинъ Аксаковъ по адресу Некрасова, оплакивавшего въ своихъ стихахъ «сѣятеля и хранителя» русской земли. Этотъ упрекъ — если это упрекъ — долженъ быть отнесенъ не къ Некрасову только, а ко всей *господской* фракціи нашей литературы, ко всѣмъ нашимъ первостепеннымъ художественнымъ талантамъ, защищавшимъ народъ не на почвѣ его практическихъ интересовъ, а на почвѣ своихъ теоретическихъ идеаловъ.

Но вотъ «порвалась цѣпь великая», народъ призванъ къ активному участію въ историческомъ процессѣ, повѣяло весеннимъ воздухомъ и въ литературѣ появляются новыя птицы и слышатся новыя пѣсни. Въ числѣ самыхъ первыхъ ласточекъ, не дѣлающихъ, но знаменующихъ весну, былъ и нашъ скромный, неувѣренный, невзрачный Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ. Да, онъ былъ однимъ изъ пионеровъ того демократическаго, народническаго направленія въ нашей литературѣ, которое, то замирая, то снова вспыхивая яркимъ пламенемъ, по никогда съ тѣхъ поръ окончательно не потухая, уже третье десятилѣтіе дѣйствуетъ у насъ на глазахъ и самая живучесть котораго доказываетъ, что оно вправѣ разсчитывать на будущее. Въ этомъ именно и заключается литературно-общественное значеніе Рѣшетникова, значеніе крупное и серьезное, какъ значеніе всякой богатой послѣдствіями инициативы.

Но какая же связь — спроситъ меня читатель — между освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и появленіемъ въ литературѣ такихъ писателей, какъ Рѣшетниковъ? Развѣ до возникновенія въ обществѣ въ правительствѣ освободительныхъ стремле-



ний Рѣшетниковъ былъ невозможенъ, развѣ литература наша гораздо раньше этого не имѣла поэта-прасола Кольцова, — чело-вѣка, имѣющаго больше правъ причислять себя къ подлинному, заправскому народу, нежели мелкій канцелярскій чиновникъ Рѣшетниковъ? Я нахожу эти, возможные со стороны читателя, вопросы очень серьезными и требующими обстоятельныхъ отвѣтовъ, которые я представлю тѣмъ охотнѣе, что они по самому свойству своему приближать насъ къ нашей главной цѣли — къ всесторонней характеристикѣ Рѣшетникова.

Было ли возможно появленіе Рѣшетникова въ литературѣ въ дореформенную эпоху? Везъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ. Рѣшетниковъ во всякую эпоху могъ существовать въ потенціи, въ возможности, но право быть выслушаннымъ онъ приобрѣлъ лишь какъ частицу общаго права на вниманіе, только-что полученнаго всей народною массой.

Рѣшетниковъ дебютировалъ въ литературѣ извѣстной повѣстью «Подлинновцы». Можно сказать съ полной увѣренностью, что ни одна редакція сороковыхъ и первой половины пятидесятыхъ годовъ не рѣшилась бы помѣстить эту вещь въ своихъ изданіяхъ, не рѣшилась бы не вслѣдствіе внѣшнихъ причинъ, а изъ страха раздражающаго диссонанса съ основнымъ строемъ жизни и литературы, изъ боязни произвести литературный скандалъ, который могъ бы только возмутить читателей. Въ «изящной» литературѣ того времени, для которой Гоголь казался не достаточно «приличнымъ» писателемъ, въ которой безраздѣльно царила самая утонченная эстетика, которая отнѣе всего изображала великосвѣтскія или крайней мѣрѣ помѣщичьи, дворянскія сферы — въ такой литературѣ народъ могъ явиться не спону только, какъ статистъ или какъ значная толпа, и явиться притомъ умнымъ, причесаннымъ, въ яркой красной рубашкѣ и въ новыхъ сапогахъ, явиться пейзаномъ, а не мужикомъ. Помилуйте! Густотвенныхъ кленовъ аллея, облакомъ волнъ пылъ встаетъ вдаль, ночной зефиръ шепчетъ эвѣрь; баринъ Лаврецькій только-что встретился съ барышней Лизой и воскликнулъ восторженно: «здравствуй, печальная старуха, догорай, бесполезная жизнь»; баринъ только-что разошелся съ идеальной бабой Натальей и поэтически пожаловался:

«до чего ты, молодость, довела меня, домыхала»; неземная Елена только-что околдовала и очаровала всѣхъ своимъ трогательно-цѣломудреннымъ «такъ возьми же меня»; небесная Ольга еще только вчера разводила тончайшіе разводы съ Обломовымъ, «нѣжнымъ какъ голубь» и пр. и пр. — и въ эту-то ароматную среду, въ это отборнѣйшее общество вдругъ пустить звѣреобразнаго Пилу, чудовищнаго Сысойку, пьяныхъ, грубыхъ, глупыхъ, голодныхъ, которые во всю мочь орутъ: «пишишь! Апроська пишишь!». Очевидно, это было совершенно невозможно, пока въ самой жизни не произошло перелома въ этомъ смыслѣ. Но что говорить объ этомъ долго? Писемскаго называли грубымъ реалистомъ; но по сравненію съ Рѣшетниковымъ онъ, можно сказать, идеалистъ и эстетикъ, а его персонажи рядомъ съ Пилой и Сысойкой представляются просто джентельменами. И однако Писемскій, написавшій одинъ изъ своихъ народныхъ разсказовъ («Плотничья артель» если не ошибаюсь) еще въ концѣ сороковыхъ годовъ, долженъ былъ дожидаться чуть не десяти-лѣтней возможности напечатать свое произведеніе. Какого приѣма послѣ этого могъ бы ожидать въ то время Рѣшетниковъ съ своими героями?

Что касается указанія на Кольцова и на его дѣятельность въ самый разгаръ крѣпостничества, то самое бѣглое размышленіе покажетъ, что эта ссылка во всѣхъ отношеніяхъ неубѣдительна. Невѣрно прежде всего то, что прасолъ-Кольцовъ ближе къ народу, нежели канцелярскій служитель Рѣшетниковъ. Какъ наблюдатели, они одинаково знали народъ не по слухамъ, не по разсказамъ, не изъ вторыхъ рукъ, а путемъ непосредственнаго общенія съ нимъ. Далѣе, Кольцовъ былъ чело-вѣкомъ народа — по происхожденію (да и это очень условно, потому что онъ былъ горожанинъ и мѣщанинъ), но совершеннымъ буржуа (въ западномъ смыслѣ) — по положенію. Рѣшетниковъ былъ чиновникомъ — по происхожденію и истиннымъ сыномъ народа — по положенію. Кольцовъ былъ представителемъ «народа», какъ этнографической единицы; Рѣшетниковъ былъ представителемъ «народа», какъ экономической группы. Собственно не «народъ» въ смыслѣ общественнаго слоя занималъ Рѣшетникова, а именно «бѣдный чело-вѣкъ» и его «горе», бѣдный чело-вѣкъ, котораго

конечно прежде всего нужно было искать въ народѣ, но безъ всякаго труда можно было найти и въ другихъ классахъ. Кольцовъ былъ *идиллическимъ* народомъ и его быта, а идиллія плохо вяжется съ горестными темами и картинами. Развѣ не съ чувствомъ довольства собой и своей судьбой говоритъ кольцовскій крестьянинъ:

Ну, тащися, сивка,  
Пашней, десятиной!  
Выбѣлимъ желѣзо  
О сырую землю,  
Я самъ-другъ съ тобою  
Слуга и хозяинъ.

Этотъ мотивъ — основной, первенствующій мотивъ въ поэзіи Кольцова, и вотъ между прочимъ почему появленіе ея было возможно въ самый темный періодъ русской исторіи. Эта поэзія, говоря французскимъ выраженіемъ, не была стекломъ. И Чичиковъ, и Маниловъ, и самъ Собакевичъ могли охотно говорить о «трудолюбномъ поселянинѣ» и даже умиляться надъ нимъ, надъ его «счастливой» долей. Образы сивки, красавицы-зорьки и самого крестьянина, который конечно «ѣсть добры щи и брагу пьеть», не тревожили ихъ да и ничьей совѣсти, потому что и не отъ чего было тревожиться, не о чемъ горевать: ну, и пусть себѣ на пользу, намъ на радость, отечеству на славу крестьянинъ бѣдитъ желѣзо о сырую землю! Въ этомъ его провиденціальное назначеніе, и если ему хорошо, то и намъ прекрасно — и значить все обстоятъ благополучно.

Съ иными намѣреніями, съ иными чувствами и съ иными картинами шелъ въ литературу Рѣшетниковъ. Конечно въ жизни крестьянина есть чистыя радости, въ его существованіи есть идиллическія стороны, и сдѣлать *эту* сторону содержаніемъ поэзіи разумно, законно, нужно, полезно. Но это во всякомъ случаѣ не полная правда. Надо именно было сказать, что *не* «все благополучно», что кромѣ счастливыхъ кольцовскихъ «поселянъ» есть Пилы, Сысойки и Апроськи, которымъ слишкомъ, слишкомъ не до «красавицы-зорьки», которые какъ тенетами опутаны бѣдностью, доходящей до голодной нищеты, невѣжествомъ, граничащимъ съ пещерною дикостью, грубостью и всяческимъ скотствомъ, приличными только для троглодита. Посмотримъ, какъ исполнилъ Рѣшетниковъ эту главную свою миссію.

### III.

«Я не мечтаю о славѣ, а мнѣ нужно дѣло», говоритъ Рѣшетниковъ въ своемъ дневникѣ. Въ другомъ мѣстѣ того же дневника онъ пишетъ: «Я на красоту смотрю какъ на приманку и всегда вопію какъ противъ красоты, такъ и противъ всякихъ украшеній». Къ этимъ афоризмамъ прибавьте тотъ, который мы взяли эпиграфомъ — «наша литература должна говорить правду», и вы получите полную характеристику художественныхъ цѣлей и художественныхъ приемовъ Рѣшетникова. Характеристика эта не только вѣрна, но и полна. «Дѣло», о которомъ говоритъ Рѣшетниковъ, это конечно «горе бѣднаго человѣка», постоянно занимавшее его; «правда», которую должна говорить литература, это именно правда безъ всякихъ прикрасъ, безъ «дурацкихъ украшеній». Эта программа и со стороны формы самымъ неуклоннымъ образомъ выдержана Рѣшетниковымъ въ его лучшемъ произведеніи — въ повѣсти «Подлиповцы».

Никакихъ трагическихъ «ужасовъ» нѣтъ въ этой повѣсти, никакой романтической фавулы, никакихъ чрезвычайныхъ происшествій. Эту повѣсть можно было бы назвать чисто дѣловымъ «этнографическимъ очеркомъ», если бы она съ начала и до конца не была освѣщена и согрѣта теплымъ участливымъ чувствомъ автора къ его сѣрымъ героямъ. Съ вѣрнымъ художественнымъ тактомъ Рѣшетниковъ понималъ, что изобличать заднимъ числомъ только что уничтоженное крѣпостное право было бы дѣломъ едва-ли не напраснымъ, и его мужики — люди легально свободные, никогда не знавшіе ни барина, ни приказчика, ни даже полицейскаго начальства, которое очень рѣдко заглядывало въ ихъ забытый уголъ. Вотъ этихъ-то совершенно свободныхъ нашихъ соотечественниковъ Рѣшетниковъ и рисуетъ намъ и со стороны ихъ нравовъ, и со стороны ихъ быта.

«Подлиповцы» — это государственные крестьяне деревни Подлиной, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи. Именно это определенное топографическое указаніе и придаетъ произведенію Рѣшетникова этнографическій характеръ, къ большому вреду для него! Что-жъ? скажетъ иной патріотъ. На прѣ-

странствъ отъ Перси до Тавриды и отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды не трудно найти такой медвѣжій уголъ, обитатели котораго представляютъ собой во всѣхъ отношеніяхъ минимумъ развитія и жизнь которыхъ по тому самому можетъ имѣть для насъ только частный, мѣстный, а не общій интересъ, не типическое значеніе, а значеніе исключительнаго курьеза. Разсужденіе это очень успокоительно, и щепетильная добросовѣстность Рѣшетникова дѣйствительно даетъ поводъ такъ разсуждать; но наше дѣло, дѣло критики, въ томъ и состоитъ, чтобы отвѣсти анализируемому произведенію его настоящее мѣсто, найти его истинное значеніе, сплосъ да рядомъ неясное для самого автора. Мы приведемъ одинъ фактъ, который очень наглядно иллюстрируетъ чрезвычайную осторожность Рѣшетникова относительно всякаго рода обобщеній, выводовъ и даже простыхъ догадокъ. «Предметъ любви Пилы и Сысойки, — Апроська, была живая похоронена. Интересно было бы знать, что бы случилось съ ними тогда, когда бы она пробудилась отъ летаргіи въ то время, какъ Пила ладилъ веревку обвязывать гробъ. Вѣроятно, они разбѣжались бы, а можетъ быть и убили бы ее». *Интересно бы знать, вѣроятно, можетъ быть* — вотъ какъ осторожно выражался Рѣшетниковъ тридцать лѣтъ тому назадъ о своихъ «исключительныхъ» герояхъ. А вотъ что буквально на дняхъ прочла во всѣхъ газетахъ вся грамотная Россія:

«Въ селѣ Суровскомъ, Уфимской губ., умеръ зажиточный крестьянинъ. Жена, дѣти плакали, погоревали, и на второй день послѣ смерти почесли хоронить. На похороны собралось все село, когда стали спускать гробъ въ могилу, крышка, набитая деревянными гвоздиками, къ величайшему удивленію присутствующихъ поднялась, и пѣзгроба стала, въ бѣломъ саванѣ, покойникъ. Страхъ напалъ на всѣхъ: присутствующіе бросились бѣжать; иже священникъ, и тотъ побѣжалъ. Покойникъ, прогнанный холодомъ, бросился въ село. Но въ селѣ заперлись и никто не пускалъ его; наконецъ тѣмъ же покойнику удалось забѣжать къ одной избушкѣ, которая не успѣла запереться. Между тѣмъ какъ рѣшили прикончить съ «колдуномъ». Захваченъ осиновыми колыями, которые, по ихъ понятію, очень хорошо дѣйствуютъ на колдуновъ, а также ружьями, они, послѣ недолгихъ сопротивленій, минимума «колдуна», овладѣли имъ и прибили къ осиновымъ колыямъ. Священникъ, придя въ ужасъ отъ ужаса, сообразивъ, что покойникъ находится въ летаргическомъ снѣ, и послалъ за становымъ; когда тотъ пріѣхалъ, дѣло было уже кончено.»

Вѣренъ или невѣренъ этотъ фактъ — для насъ безразлично. Въ высшей степени важно обстоятельство, что никто, рѣшительно

никто, ни журналисты, ни читатели, ни на одну минуту не усомнился въ полной вѣроятности этого факта. А если такъ, то ясно, что Подлинковъ — не «исключительный курьезъ». Пила и Сысойко — представители далеко не крайняго минимума, и повѣсть Рѣшетникова есть именно *новость*, т. е. художественное обобщеніе, а не этнографическій очеркъ. Пила и Сысойко, Матрена, Апроська и пр., и пр. — не выродки, а типы, не аномалии, а естественные, логическіе продукты исторіи и жизни. Это не гориллы и даже не дикари — это наши соотечественники и братья, потому и кровью которыхъ держится вся наша цивилизація, хотя бы то и «парикмахерская», по ядовитому выраженію Рѣшетникова. Пригладимся же, читатель, къ этимъ не чужимъ для насъ людямъ, посмотримъ на нихъ съ тѣмъ прямотономъ, примѣръ котораго даетъ Рѣшетниковъ, не утаившій самой ужасной правды о своихъ герояхъ, но и съ той теплотой, на которую глубоко-несчастные Пила и Сысойко имѣютъ неоспоримое право. Опять-таки Рѣшетниковъ указываетъ единственно правильную точку зрѣнія, съ какой слѣдуетъ относиться къ его персонажамъ; «подлинковцевъ нельзя винить ни въ чемъ: они глупы, необразованы, но кто ихъ взраститъ, куда они пойдутъ?» Не забудемъ этого: *нельзя винить ни въ чемъ*. Такая точка зрѣнія имѣетъ за собой и нравственные, и логическіе, и историческіе основанія, и она кромѣ того вполне развязываетъ, освобождаетъ нашъ анализъ: кто завѣдомо не подлежитъ осужденію, тотъ можетъ быть судимъ съ какою угодно строгостью, тотъ не нуждается ни въ адвокатской софистикѣ, ни въ чемъ бы то ни было снисхожденіи. Пилѣ и Сысойкѣ достаточно рассказать свою мученическую жизнь, чтобы облечь себя и передъ людьми, и передъ Богомъ. Сами они этого сдѣлать не смогутъ, не съумѣютъ, но это сдѣлаетъ за нихъ Рѣшетниковъ, не какъ адвокатъ, а какъ правдивый и безпристрастный свидѣтель.

Прежде всего Рѣшетниковъ предлагаетъ такую «исключительную» картину изъ жизни и быта подлинковцевъ:

«Каждый мужчина взрослый и женщина или дѣвушка носятъ по одной рубахѣ круглый годъ, ходятъ лѣтомъ въ рубахахъ, зимой надѣваютъ полушубокъ изъ овечьей, телачьей и собачьей шкуръ, мужчины надѣваютъ на голову такіа жемапки, а лапти носятъ всѣ, кромѣ дѣтей, которыя едва-едва прикрываютъ тѣло тѣмъ нибудь. Это еще ничего,

но самое главное—пища мучить всѣхъ. Настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ, остальное время всѣ ѣдятъ мякину съ корой, и отъ этого у нихъ является лѣнь къ работѣ, болѣзнь, и часто всѣ подлиповцы лежатъ больные, сами не зная, что съ ними дѣлается, а только ругаются и плачутъ».

Это говорится Рѣшетниковымъ только о томъ уголкѣ, который онъ имѣлъ въ виду; но конечно даже «патріотъ» въ современномъ значеніи этого слова не рѣшится утверждать, что въ другихъ безчисленныхъ уголкахъ нашего отечества нельзя найти ничего подобнаго. Картина, нарисованная Рѣшетниковымъ, до того намъ всѣмъ знакома и перенезнакома, что успѣла прискучить и уже ничего не возбуждаетъ въ насъ кромѣ вялой скуки. И это всего ужаснѣе. Мы *привыкли* и отъ того не хотимъ думать и перестаемъ понимать. Вѣдь голоданіе не есть только физическая мука, вѣдь оно кладетъ свой проклятый отпечатокъ на всю духовную природу человѣка, прививаетъ ей «жестокость», «черствость», «эгоистичность» и пр., и пр., которыя возмущаютъ насъ въ мужикѣ. Вспомните конецъ «Голодной» Некрасова.

Ковригу съѣмъ  
Гора горой,  
Ватрушку съѣмъ  
Со столъ большій!  
Все съѣмъ одинъ,  
Управлюсь самъ,  
Хоть мать, хоть сынъ  
Проси—не дамъ.

Какое жестокосердое чудовище! Какой отвратительный, безчувственный эгоистъ! Такъ, разумѣется, разсудятъ многіе изъ такъ называемыхъ культурныхъ людей, между прочимъ и тѣ, съ которыми собственные жены остерегаются заводить разговоръ до обѣда, потому что «въ это время дня» ихъ Пьеры и Мишени обыкновенно бываютъ «не въ духѣ». Повторяю: мы перестали понимать. У насъ двѣ мѣрки—одна для мужика, другая для собственного употребленія; двѣ морали—одна мягкая, снисходительная, памятующая о человѣческихъ слабостяхъ, другая—суровая, неумолимая, формула которой: «жестокъ законъ, но законъ». Но не въ этомъ однако же дѣло, не въ нашей вопіющей несправедливости, а въ томъ, что приглядѣвшійся намъ фактъ подлиповскаго голоданія, вліяя на Пилу, на Петра, на Ивана, на ихъ физическое и нравственное здоровье, на всѣ ихъ духовныя способности, тѣмъ самымъ вліяетъ на жизнь страны вообще и между прочимъ на

судьбу нашихъ собственныхъ идеаловъ. Если «настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ», то не воображайте, пожалуйста, что дѣло на этомъ и оканчивается...

Нечеловѣческое существованіе вызываетъ и воспитываетъ въ подлиповцахъ нечеловѣческія чувства. «Досадно имъ: зачѣмъ это дѣти родятся отъ нихъ, и съ маленькими дѣтьми обращаются, какъ съ котатами; одиѣ только матери немножко присматриваютъ за дѣтьми. Съ пятилѣтняго возраста дѣти растутъ на произволъ судьбы». Черезъ нѣсколько страницъ Рѣшетниковъ даетъ какъ бы объясненіе этому противоестественному явленію. «Матрена (жена Пилы) больше всего въ своей жизни любила корову. Корова для нея была больше, нежели дѣти: дѣти ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молокомъ и лѣтомъ не просила ѣсть, а питалась въ лѣсу. Сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сѣно каждое утро». Такова *мать*, а вотъ каковъ *отецъ* (Пила): «Пила билъ дѣтей, Апроську, Ивана и Павла, какъ и свою жену, зато, что ему не нравилось; но Апроську Пила любилъ какъ будто даже болѣе, нежели дочь». Намекъ, заключающійся въ послѣдней фразѣ Рѣшетникова, совершенно опредѣленъ. И это нравы людей, которые не только однимъ воздухомъ дышать съ нами, но живутъ подъ охраною тѣхъ же самыхъ законовъ, которые и нашу жизнь регулируютъ, это наши соотечественники, это—тотъ самый «народъ», о которомъ мы говоримъ не наговоримся, читаемъ не начитаемся, пишемъ не напишемся!

Само собою разумѣется, что нравамъ подлиповцевъ совершенно соотвѣтствуютъ ихъ понятія. Рѣшетниковъ и объ этомъ говоритъ съ своею обычною прямою и безстрастностью: «понятія ихъ были такія: есть какой то богъ, а какой и сами не знали и только по преданіямъ своихъ отцовъ справляли свои праздники. О существованіи земли они знали только то, что земля даетъ пищу, да въ землѣ покойниковъ зарываютъ. Знали они, что есть городъ, только потому, что бывали тамъ, и есть ли еще за городомъ что нибудь—дѣлать темное. Въ городѣ они видѣли разныхъ людей, но никакъ не могли понять, что это за люди; этихъ людей они боялись, не вѣрили имъ». Пила не только между своими одними деревенцами, но и вообще между земляками

былъ нѣкоторымъ образомъ человекъ передовой, умища и хитрецъ, но этотъ умища «больше пяти рублей не зналъ счету: для него пять рублей уже богатство было». Тѣмъ не менѣе онъ очень ловко обморочилъ на постояломъ дворѣ чужихъ мужиковъ, прикинувшись колдуномъ, для котораго все возможно. Какъ было мужикамъ не увѣровать въ волшебную силу Пилы? «Недавно — рассказывалъ одинъ изъ нихъ — у насъ, значить, свадьба была. Васко гуляли. Ладно. Вотъ и появились колдунья, и зашла по курицы: съѣсть, басть... Вѣда! Такъ и бѣгать за бабами! Ну, и дрыло всѣ, а кто на печку залѣзъ, да кринки на голову и поздѣвалъ... Она, будь проклята, и давай кринки на полъ кидать, кою бросить и разобьется... Ужаси! Мужики крестились и охали».

Этихъ фактовъ достаточно. Еслибы все это рассказывалъ намъ Миклухо-Маклай о своихъ австралійскихъ подданныхъ — мы имѣли бы право сохранить самое полное спокойствіе. Но рассказъ Рѣшетникова будитъ въ насъ чувство какой-то отвѣтственности, сознание какого-то неисполненнаго долга. Къ чему и для чего наше утонченное развитіе, если мы не можемъ или не умѣемъ передать малѣйшей частицы его людямъ, живущимъ не за горами, за долами, за морями, а въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ нами? Зачѣмъ намъ блага образованія и весь трудъ, поднятый нами ради его приобрѣтенія, если этимъ благамъ суждено оставаться мертвымъ капиталомъ? И что такое нашъ такъ называемый прогрессъ и вся эта культурная сутолока, эта борьба изъ-за выѣденнаго яйца, это «капѣнье въ дѣйствіи пусто» — если все это не болѣе какъ ничтожная раба на поверхности?

Въ столицахъ шумъ, гремать вѣтѣ,  
Кипитъ словесная война,  
А тамъ, во глубинѣ Россіи,  
Тамъ вѣковая тишина.

Такъ это было прежде, во времена Некрасова и Рѣшетникова, такъ это и теперь, въ нашу патріотическую эпоху. Но что говорить о недавнемъ прошломъ, о вчерашнемъ исторіи! Мы спрашиваемъ — чѣмъ отличаются наши подлинновцы отъ современниковъ? Достоинства, ходившихъ въ звѣринныхъ шкурахъ, стрѣлявшихъ изъ луковъ и поклонявшихся Перуну? Именно только тѣмъ, что подлинновцамъ извѣстно употребленіе огнестрѣль-

наго оружія, т. е., хочу сказать, они усвоили элементарнѣйшія техническія завоеванія культуры, для пользованія которыми не требуется никакого умственного напряженія, никакого развитія: стрѣлять изъ ружья не только цѣлесообразнѣе, но и проще, нежели изъ лука. Видѣли подлинновцы и одно изъ самыхъ блестящихъ завоеваній нашего прогресса — пароходъ, но толку изъ этого вышло не особенно много: «ахъ, чортъ! — дивились Пила и Сысойко. Какъ же онъ съ колесами? Да и колеса-то какія-то другія, а не наши... Тамъ пооди лошадь гдѣ нибудь спрятана...» Какую, подумаешь, плодотворную умственную работу возбуждало въ нашихъ герояхъ первое знакомство съ самыми роскошными дарами научной техники! Посадите Пилу и Сысойку въ вагонъ, покажите имъ локомотивъ, поставьте ихъ среди чудесъ Трокадеро, поднимите на воздушномъ шарѣ, заставьте подняться на башню Эйфеля — они будутъ оглушены, ошеломлены, будутъ до конца своихъ дней вспоминать всѣ видѣнныя ими диковинки и въ изумленіи восклицать: «ахъ, чортъ! ахъ, дѣшій!», но жень своихъ они будутъ бить по-прежнему и корову цѣнить выше собственныхъ дѣтей по-прежнему же. Ни въ ихъ понятіяхъ, ни въ ихъ морали не произойдетъ никакого переворота, потому что *ложныя понятія* устраняются только *истинными понятіями* и нездоровая *мораль* можетъ быть исправлена, исцѣлена *моралью* же.

Но, быть можетъ, подлинновцы въ самомъ дѣлѣ люди «черной кости», созданные не по тому образу и подобию, по которому созданы мы? Быть можетъ, они органически, физиологически неспособны къ усвоенію нашей культуры, какъ неспособны къ этому всѣ вообще низшія животныя? И для рѣшенія этихъ вопросовъ мы находимъ у Рѣшетникова очень убѣдительныя и вѣскія данныя. Нельзя было не вѣрить Рѣшетникову, когда онъ сообщалъ намъ о своихъ герояхъ такіе факты изъ области моральной и умственной жизни ихъ, которые способны были привести насъ прямо къ апатіи, или къ полному равнодушію относительно будущей судьбы этихъ полулюдей, полузвѣрей. Повѣримъ же Рѣшетникову и теперь, когда мы услышимъ отъ него напр. вотъ что:

«Гаврила Гаврилычъ Пилинъ, по подлинновски Пила, былъ человекъ добрый, пробойный и рабо-

тацией. Онъ понималъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался прискаты себѣ работу, сбытъ ее, а главное услужить своимъ подлиповцамъ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ: онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ собирать ради Христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: «чего сидите, робѣ: я буду робить» — и подлиповцы работаютъ съ Пилою. Всѣ подлиповцы любили Пилу, каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ пошечить, такъ какъ Пила лечилъ больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толку въ травахъ. Пила сталъ собирать лѣтомъ въ лѣсу да въ болотѣ разные травы съ цвѣточками, вырывалъ съ корнями и лечилъ подлиповцевъ: — «Ну-ка, съѣшь эту травку, хворать не станешь», говорилъ Пила больному. Больной ѣлъ, и ему становилось либо лучше, либо хуже и все-таки всѣ просили у Пилы травы. Пила давалъ, не требуя за это ничего».

Не поучиться ли намъ съ вами, читатель, у этого дикаря общественности? Не можетъ ли его поведеніе послужить примѣромъ и образцомъ чистѣйшаго альтруизма, т. е. такой гражданской доблести, которую не могутъ не только усвоить, но даже просто понять и допустить въ другихъ очень многіе цивилизованные люди? Рѣшетниковъ говоритъ не о какомъ-нибудь случайномъ добромъ поступкѣ Пилы, но объ его отношеніяхъ къ своей деревнѣ, къ своему обществу, объ его постоянномъ *поведеніи*, которое свидѣлствуетъ о присутствіи въ этомъ дикарѣ чистаго огня безкорыстной любви. Вудучи всѣхъ умнѣе и физически-сильнѣе въ деревнѣ, Пила могъ бы самодурствовать и кулачествовать на полномъ просторѣ, могъ бы напр. не самолично просить ради Христа и потомъ дѣлиться милостынею съ одноподлиповцами, а, наоборотъ, ихъ посылать за милостыней и отбирать ее у нихъ для себя. Порасширьте рамки, увеличьте масштабъ дѣятельности Пилы, оставляя ей то же самое нравственное содержаніе, и вмѣсто грязнаго, жалкаго, грубаго мужика вы получите лучезарный образъ одного изъ тѣхъ общественныхъ благодѣтелей и учителей, память о которыхъ сохраняетъ потомство и исторія. Многіе ли изъ интеллигентныхъ людей могутъ сказать о себѣ, что они незамѣнимы для своего общества, что безъ ихъ энергіи и талантовъ «заглохнетъ нива жизни»? А Пила это могъ бы сказать съ справедливою гордостью, еслибы только — черта, еще бо-

лѣе возвышающая его подвижъ, — онъ видѣлъ въ своемъ участливомъ отношеніи къ болѣ слабымъ людямъ сколько-нибудь серьезную заслугу. Правда, при особенныхъ удачахъ Пила «бахвалится» и говоритъ: «значитъ, я сила» и «я ишино не то сдѣлаю», но это наивное бахвальство не принимало, а еще болѣе обнадеживало и ободряло руководимыхъ имъ людей.

Пила «билъ Матрону (жену), какъ лошадь, чѣмъ попало», и въ то же время Матрона «во всемъ надѣялась на мужа». Пила колотилъ своихъ дѣтей, но не для своего собственного удовольствія, а для ихъ «пользы», ради «науки», и отношенія между отцомъ и дѣтьми были правдивы и искренни. «Своего отца, — говоритъ Рѣшетниковъ, — Павелъ и Иванъ не боялись и не слушались. Скажетъ онъ имъ: «подите хлѣбъ собирать!» одинъ изъ нихъ и говоритъ: «поди самъ собирай!» Онъ ихъ обругаетъ, а они ему языкъ кажутъ. Онъ ихъ бьетъ — и они барахтаются. «Ахъ, черти! — ворчитъ Пила. — Въ меня вы, стервы, уродились, сильные будете...» Пила даже радовался, что ребята его умѣютъ драться». Некрасиво, неязично, не культурно, разумѣется, но вправѣ ли мы сказать, что и безнравственно? Безнравственна ложь, лицемерное наружное подчиненіе силѣ, которую ненавидишь, безнравственно самодурство, требующее себѣ послушанія не ради интересовъ дѣла, а ради нотѣхи, ради услажденія своего «нрава». Ничего подобнаго въ отношеніяхъ Пилы къ своимъ сыновьямъ нѣтъ. Это не равносильные, но совершенно равноправные члены одной семьи или одной общины. Наконецъ, «подлиповцы обращаются съ маленькими дѣтьми, какъ съ котатами»; но однако брата и сестру Сысойки, Петра четырехъ и Пашку двухъ лѣтъ, сутками остававшихся безъ присмотра, Пила оберегалъ и заботился о нихъ, какъ могъ. «Пила жалѣлъ дѣтей и всегда приносилъ имъ что-нибудь; при появленіи Пилы дѣти начинали плакать и махали ему руками». Эти бѣдныя дѣти, радостно и призывно махающія рученками при появленіи грязнаго, страшнаго, бородатаго мужика, — благодарная тема для прелестной акварельной картинки, которая размягчила бы читателя или зрителя и до слезъ расчувствовала бы читательницу, но Рѣшетниковъ не охотникъ до сентиментальностей



довольствуется тѣмъ, что сухо отмѣчаетъ фактъ: ему лишь бы *правду* сказать, а тамъ судите, какъ хотите. И Рѣшетниковъ правъ, разсудить нетрудно: этотъ Пила, сначала такъ было испугавшій насъ своей наружной зѣброподобностью, — не только *человѣкъ*, но и *хорошій* человѣкъ, разливающей вокругъ себя тепло и ласку.

Мы не будемъ останавливаться на другихъ, менѣе замѣчательныхъ, персонажахъ повѣсти Рѣшетникова, хотя мало-мальски внимательный анализъ ихъ привелъ бы насъ къ тому же заключенію, которое мы получили, глядя на жизнь и нравственные свойства Пилы: подъ грубой, зачастую прямо скотской формой утѣхъ людей скрывается глубоко-человѣческое содержаніе. Я приведу только одинъ примѣръ, котораго будетъ вполне достаточно для нашихъ цѣлей. Умерла Апроська — дочь Пилы и невѣста Сысойки. Пила и Сысойко ее хоронятъ и происходитъ такая сцена:

— Гли, Сысойко, солнце то! — говоритъ Пила вѣдо, указывая на солнце. — Дѣло тожно скоро... тѣ, какъ баско...

Сысойку это не порадовало, а возмущило. Онъ же думалъ объ Апроськѣ.

— А пошто она издохла? пошто? — вскричалъ Сысойко.

— Пошто? — спросилъ и Пила и ему тоже обидѣлось.

Въ полчаса возился Пила съ Сысойкой. Сысойко ждалъ еще посмотреть на Апроську, а Пила хотѣла закрыть гробъ и увязать веревкой.

— Пила! а ошто погляжу!

— Ишшо не наглядѣлся!

— Пила, я Апроськѣ носъ откушу!

— А это вишь! Пила показалъ Сысойкѣ кулакъ.

— Пра откушу!

— Не тронь!

— Дай?

Сысойко расцался съ Пилой.

Эстетическое чутье ваше конечно покорится отъ этой сцены, но вашему нравственному чувству тутъ не отъ чего возмущаться. Пошто она издохла? Пошто? — это выраженіе лишнено не только всякой красоты, но, культурной точки зрѣнія, и всякаго дѣйствительнаго, и тѣмъ не менѣе оно пренеподобно силѣ и трагизма, потому что вызвано чистымъ и искреннимъ чувствомъ, дѣлающимъ честь тому человѣческому сердцу, которое способно такъ глубоко чувствовать, такъ сильно любить. Далѣе, — «я Апроськѣ носъ откушу!» — Грубость внѣшняго выраженія чувствъ доходитъ здѣсь до комизма, который вызываетъ невольную улыбку. «Носъ откушу — что это такое? А вотъ что это такое:

Въ часъ незабвенный, часъ печальный  
Я долго плакалъ предъ тобой,  
Мои хладѣющія руки  
Тебя старались удержать,  
Томленья страшнаго разлуки  
Мой стонъ молить не прерывать.  
..... Увы, гдѣ неба своды  
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ,  
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,  
Заснула ты послѣднимъ сномъ.  
Твоя краса, твои страданья  
Исчезли въ урнѣ гробовой,  
Исчезъ и подѣлау свиданья,  
Но жду его: онъ за тобой.

Я смѣю утверждать, что чувство, продиктованное поэту это высоко-напряженное стихотвореніе, — то самое чувство, которое такъ полно и всецѣло овладѣло и Сысойкой. Поэтъ говорить: «заснула ты послѣднимъ сномъ», Сысойка говорить: «издохла», но говорятъ они эти различныя фразы съ однимъ и тѣмъ же чувствомъ. Сысойко «расцался съ Пилой» изъ-за того, что молить не прерывать томленья страшнаго разлуки. Персскія сосны и али не похожи на оливы юга, и сѣро-молочное небо сѣвера не похоже на сіяющее голубое небо Италіи, но какъ тамъ, такъ и здѣсь царить одна и та-же «природа-мать», безконечно разнообразная въ формахъ и всегда одинаковая въ своей таинственной сущности. Утонченно-культивируемый поэтъ и неестественный лѣсной дикарь по внѣшности также мало похожи другъ на друга, но сердца ихъ будутъ однимъ боемъ, и созданы эти, столь новѣдному различныя, люди по образу одного и того же Бога. Не пойметъ этого только тотъ, кто за деревьями не видитъ лѣса, за формою не различаетъ содержанія.

Эти первобытные люди — Пила и Сысойко — отправляются бурлачить, «искать богатства» и при этомъ сталкиваются лицомъ къ лицу съ условіями нашей культурной городской жизни. Столкновение это ознаменовалось синиками — не въ какомънибудь переносномъ, а въ буквальный смыслъ, — которыми немедленно украсились фціономъ нашихъ героевъ. Страницы, на которыхъ описывается это культурное крещеніе дикихъ людей, принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ Рѣшетникова, хотя написаны онѣ въ его обычномъ сухо-дѣловомъ тонѣ, безъ «дурацкихъ украшеній». Воспріимникомъ нашихъ героевъ при этомъ крещеніи былъ, разумѣется, солдатъ, притомъ того типа, который увѣковѣченъ Глѣбомъ Успенскимъ въ фигурѣ его Мырцова («Будка»). «Отъ солдата, съ безсозна-

тельными, очевидно неумышленным юмором говорить Рѣшетниковъ, они узнали—кого надо бояться, кого бить, кому какъ говорить, кому кланяться, кому нѣтъ». Это «кого бить», упомянутое Рѣшетниковымъ совершенно серьезно, по истинѣ прелестно. «Впродолженіе мѣсяца подлиповцы узнали больше, чѣмъ живши до этого времени; наприимѣръ они узнали, что есть мѣста лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такіе, которыхъ ни за что обижать и дѣлать съ ними не силой, а чѣмъ-то инымъ все, что только захотятъ, какъ это было и съ ними: въ Подлипной они боялись только попа и станового, а здѣсь многіе ихъ обидѣли, избили и отодрали». Было бы, право, недурно, еслибы въ *pendant* лермонтовскому стихотворенію «Дары Терека» ктонибудь изъ современныхъ поэтовъ написалъ «Дары культуры», причемъ конечно, — «даръ безцѣнный, что другіе всѣ дары?» — было бы полное разъясненіе вопроса, «кого бить».

Однако предметъ слишкомъ тяжелъ и горекъ, чтобы вызывать на шутку. Вотъ окончательный выводъ, къ которому приводитъ насъ анализъ повѣсти Рѣшетникова: Подлиповка жива, но она страдаетъ; подлиповцы не выродились, но условія ихъ жизни таковы, что нужно удивляться, какъ могли они сохранить всѣ лучшія человѣческія свойства. Рѣшетниковъ далъ то, что общалъ, и сказалъ то, что хотѣлъ сказать: правду. Ни въ свѣтлыхъ, ни въ мрачныхъ краскахъ онъ не переступилъ мѣры и не къ равнодушію онъ насъ зоветъ, а къ дѣятельности, не уныніе порождаетъ своими картинами, а возбуждаетъ энергію. Ничего не сдѣлано, ничего не достигнуто, но все можетъ быть сдѣлано и должно быть достигнуто. Не трагичную цивилизацію и не мырецовскія понятія должны мы принести народу, а ту цивилизацію и тѣ понятія, которыми мы сами живемъ.

Гдѣ же вы, умѣяны, съ бодрими лицами?  
Гдѣ же вы, съ полными жита кошицами?  
Трудъ засѣвающихъ робко, крупницами,  
Двиньте впередъ!

#### IV.

Мы не будемъ останавливаться на такихъ произведеніяхъ Рѣшетникова, какъ романы: «Гдѣ лучше?», «Глумовы», «Свой хлѣбъ».

Произведенія эти значительны только по своему объему и лучшія свойства таланта Рѣшетникова въ нихъ отразились очень мало. Если угодно, и эти произведенія исполнены «правды», но правды узко-фактической, не типичной, не допускающей обобщеній. Дѣйствительность большей частью бываетъ безцвѣтна, и конкретные люди сами по себѣ рѣдко бываютъ интересны. Обыденная жизнь идетъ день за день, сегодня какъ вчера и завтра какъ сегодня, люди работаютъ, ѣдятъ, пьютъ, ссорятся, мирятся, женятся, умираютъ и т. п., — и все это можетъ составить предметъ очень подробной и правдивой, но и очень монотонной хроники, которой не будетъ доставать однако высшей, философской, общей правды, составляющей главную силу и красоту истинно художественнаго романа. Психологомъ Рѣшетниковъ никогда не былъ. Онъ — правдивый бытописатель, но онъ не аналитикъ, и «горе», составляющее его главную, налюбленную тему, всегда такое простое, примитивное, реальное горе: холодъ, голодъ, нужда, безработица и т. д. «Перегороженныхъ сердецъ» вы не найдете между его героями; страданій духа онъ не касался или если касался, то почти всегда въ связи и въ зависимости отъ страданій тѣла. Для бытописателя и въ особенности бытописателя тѣхъ сферъ, которыя обыкновенно изображалъ Рѣшетниковъ, это было естественно, но задачи романа — совсѣмъ иные.

Гораздо характернѣе во всѣхъ отношеніяхъ и даже прямо содержательнѣе небольшіе (относительно) рассказы Рѣшетникова, какъ «Никола Знаменскій», «Тетушка Опариха», «Кумушка Мирониха» и др. На первый разъ мы представимъ читателю небольшой отрывокъ изъ рассказа «Никола Знаменскій», — отрывокъ, важный, печальный и глубокий смыслъ котораго имѣетъ самое близкое отношеніе къ нашимъ предыдущимъ разсужденіямъ. Это отрывокъ изъ рассказа дьячка о пріѣздѣ въ ихъ село — ту же Подлиповку подъ другимъ именемъ — новаго, молодого священника, полного энергіи и самыхъ добрыхъ стремленій:

«Ну, поплъ и баеетъ мнѣ: поди-ко завтра кини хрестьянъ въ церковь.—Зачѣмъ? баю.—А по-то, баеетъ, нужно... А самъ баеетъ не по нашему, а иначе, смѣшно, подковыривать какъ-то... Ну, утромъ я и скликаю всѣхъ. Пришли... Ладно. А поплъ обѣдню служить. Тожно вышелъ на амвонъ и баеетъ што-то по бумажкѣ. Поглядѣли на него мужики да бабы, и драго. Попъ догадался. Въ другореѣ велѣлъ мнѣ двери запереть, да народу-то пришло поменѣ, куды какъ мало, больше ребятишки... Вышелъ опять поплъ

и сталъ по бумажкѣ сказывать, изгиляется, и голось другой... Ужъ какъ это онъ изгилялся! и руками, и ногамъ, и головой... Робятенки хохочутъ, а я имъ грожу. А кой постарине были, тѣ пошли къ дьячку, а я не пущаю и баю: поплъ не велить пущать, ему кланяться. Такъ поплъ ничего и не сдѣлалъ. А съ этихъ поръ ни одинъ мужикъ и ни одна баба не стала ходить въ церковь. Ну, сталъ поплъ жаловаться благочинному, да ничего не вышло: потому, благочиннаго нужно поблагодарить, а у попла шипитъ, попу мужики ничего не даютъ... Съ тѣхъ поръ поплъ славный сталъ и мужикамъ полюбился, сталъ со мной въ лѣсъ ходить на промыслы, и попили мы съ нимъ пиво и водку, какъ ни одинъ мужикъ не пивалъ... А то, когда найдеть на моего зова благой стихъ, пововетъ меня да старосту, и пойдетъ служить обѣдно: я часы кое-какъ прочитаю, онъ активно скажетъ черезъ два въ третій, евангеліе прочтаетъ, «Иже херувимы» пропоетъ... въ придурай, што-ли, былъ—не знаю: какъ я задалъ: «отложимъ попеченіе...» онъ и плачетъ, и плачетъ—што есть жалко его... Я и баю: чевѣ ты пни-то распустишь. Выгѣвай, баю... Ладно што пней-то не было, окромя старосты, да я тотъ да мнѣюкаетъ (дремлетъ)... А поплъ черезъ три дня, какъ въ село прѣхалъ, половину-то обѣдны съобѣлъ.»

Какъ видитъ читатель, въ простодушномъ изказѣ дьячка скрывается тяжелая житейская драма, нѣбующая не только личный, но общественный смыслъ. Дѣло идетъ о крупныхъ надеждахъ и стараніяхъ, которыя были вѣнчаны не одному только этому священнику, но многими лучшими людьми нашего общества, цѣлымъ историческимъ эпохамъ и цѣлымъ поколѣніямъ. Сколько трагизма и сколько глубокаго смысла въ этихъ горькихъ словахъ священника при словахъ херувимъ: «отложимъ попеченіе»! Да, *отложимъ попеченіе...* Въ разныхъ варіаціяхъ и произношеніяхъ съ различными чувствами—то съ отчаяніемъ, то съ злорадствомъ, то съ легкомысленной беззаботностью—эти старинныя слова мы слышимъ уже не переставая. «Нѣтъ эгоиста безсердечіе мучитъ», восклицаетъ героиня г. Эртеля; «съ не сошьешься, а только сошьешься», говоритъ герой Глѣба Успенскаго: развѣ эти фразы—не «отложимъ попеченіе» Рѣшетниковаго священника?

Видѣть такимъ образомъ надъ безотвѣтными головами Пилы, Сысойки и пр. собиравшаяся мрачная туча тяжелыхъ обвиненій и инсинуаций. Что-жъ это за люди въ сѣдлѣхъ? Лекціи Мырещова о томъ, «кого и «кому кланяться», они усвоили съ неограниченной понятливостью, а проповѣдь Божія заставляетъ ихъ бѣжать изъ сѣдла. Не будемъ однако сѣвшіи съ заговореніемъ о. Рѣшетникова.

ключеніями и вспомнимъ опять великое, правдивое слово Рѣшетникова: «они ни въ чемъ не виноваты». Еще бы людямъ, только-что сильно пострадавшимъ именно за незнаніе мудрой науки, «кого бить» и «кому кланяться»,—еще бы имъ не выслушать съ жадностью и благодарностью того благодѣтеля, который просвѣщаетъ ихъ на этотъ счетъ. А кто этотъ благодѣтель? Мырещовъ, т. е. тотъ же Пила или тотъ же Сысойко, переодѣтый въ форменное платье и уже выдавшій убадачные выходы, но по своимъ понятіямъ, языку, чувствамъ человѣкъ вполне «свой» подлиповцамъ. Образованный священникъ—другое дѣло. Онъ говоритъ, какъ мы съ вами, т. е. съ точки зрѣнія подлиповцевъ—«смѣшно, подковыривать какъ-то». Онъ и жестикуютъ, какъ мы съ вами, т. е. по подлиповски—«изгиляется и рукамъ, и ногамъ, и головой». Это—со стороны физики. А въ чемъ могло состоять содержаніе того, что «бавалъ по бумажкѣ» священникъ? Разумѣется, въ изложеніи одной изъ тѣхъ евангельскихъ истинъ, понять которыя въ одно и то-же время и такъ легко, и такъ трудно: легко, когда онъ представляется въ видѣ простыхъ житейскихъ правилъ, и трудно—когда онъ налагается въ формѣ отвлеченныхъ моральныхъ принциповъ. Можно сказать подлиповцамъ: «возлюби ближняго какъ самого себя», и можно сказать: «это ты, Пила, баско, по хрестіански дѣлаешь, што лечишь народъ и работать дураковъ заставляешь». Можно сказать—«нѣтъ власти, аще не отъ Бога», и можно сказать то же самое въ весьма конкретныхъ образахъ...

Конечно надо «отложить попеченіе» относительно надежды, чтобы безграмотный дикарь сразу почувствовалъ себя какъ дома въ области отвлеченныхъ опредѣленій и теоретическихъ положеній. Но вѣдь и обучая ребенка грамотѣ, мы его не заставляемъ (теперь по крайней мѣрѣ) зазубривать по Востокову, что «слова есть звуки голоса, *коими* человекъ выражаетъ свои понятія и чувствованія», а указываемъ на *Б* и рисуемъ Бабу, указываемъ на *В* и рисуемъ Вилы, указываемъ на *Г* и рисуемъ Гуса. Прежде чѣмъ учить, нужно знать—чему именно и какъ учить, и прежде чѣмъ стремиться удовлетворить потребности народа, нужно отчетливо сознать, въ чемъ заключаются эти потребности. Въ противномъ случаѣ мы рискуемъ

вмѣсто хлѣба подать камень и конечно не сельмся, а только сопьемся.

Въ томъ же разсказѣ Рѣшетниковъ даетъ и образчикъ своихъ положительныхъ идеаловъ, даетъ какъ художникъ, а не какъ мыслитель, т. е. даже не подозревая очевидно, что онъ даетъ какіе-то идеалы: какъ всегда и какъ вездѣ, онъ просто рассказываетъ «правду» и только объ ней одной и заботится. Этотъ положительный идеалъ мы находимъ въ лицѣ другого, старозавѣтнаго священника, на сѣмъ котораго и явился молодой проповѣдникъ, проливавшій потомъ слезы при словахъ «отложимъ попеченіе». Вотъ что говорить о немъ Рѣшетниковъ:

«Съ крестьянами онъ жилъ дружно: барства въ немъ никакого не было, и за простоту всѣ любили его, да и понятія его нисколько не разнились отъ крестьянскихъ понятій. Онъ также, какъ и крестьяне, говорилъ, что на другомъ концѣ живутъ люди съ рогами, что въ дупѣ сидятъ Каинъ и Авель, и онъ ни за что бы не повѣрилъ, а обругалъ бы того, кто сталъ бы доказывать ему, что земля—шаръ и т. п. Больше всего крестьяне любили отца за то, что онъ выручалъ ихъ тогда, когда съ нихъ требовали подати.

— Батшео Микла... Подать надо,—говорить крестьянинъ, чуть не плача.

— Поди, продай коровенку,—совѣтуетъ отецъ.

— Кому продать-то? городъ-то далеко, а староста больше рубля не дастъ.

— Ладно, ужю.

Пойдетъ отецъ къ сельскому старостѣ, занимавшемуся бойней животныхъ, выдѣлываніемъ кожи и имѣвшему большую лавку въ городѣ. Отецъ ему всегда продавалъ крестьянскихъ животныхъ выгодно для крестьянъ: если бы староста бралъ корову отъ крестьянина, то далъ бы рубль, а отцу давалъ пять и шесть рублей; эти деньги отецъ вносилъ самъ за крестьянъ за подати и другія повинности, избавляя ихъ отъ хлопотъ и отъ излишнихъ тратъ: отецъ писарю ни копѣйки не давалъ, а понѣзъ пивомъ или водкой до безчувствія.

Или бывало такъ: придетъ къ отцу крестьянинъ или черемисъ.

— Што, братанъ?—спроситъ отецъ.

— Вида бульша: Хозейко подохъ, Лапша подохъ; мсь... кору гладали, брюхо бульша...

Дастъ ему отецъ мукъ съ полпуда и хоронитъ покойниковъ даромъ».

Тотъ священникъ, молодой, былъ относительно образованъ, гуманенъ, исполненъ самыхъ великодушныхъ цивилизаторскихъ наміреній; этотъ священникъ, старый, грубъ, необразованъ, суевѣренъ и никакихъ представленныхъ наміреній, никакихъ плановъ не имѣетъ, а живетъ, какъ живетъ, дѣлаетъ, что придется, помогаетъ, кому и какъ случится. Подлиповцы бѣгутъ отъ перваго и тѣснятся толпой ко второму—неужели это не знаменательный фактъ? Ничего не можетъ быть, разумѣется, проще, какъ по поводу этого факта въ миллионный разъ обвинить подлиповцевъ

въ тупости и неблагодарности, но не всегда вѣрно то, что просто. Земля—несомнѣнно не плоскость, а шаръ, и для насъ эта истина имѣетъ не теоретическое только, но и практическое значеніе, входя существеннымъ элементомъ и въ космическія, и въ общественныя, и даже въ индивидуально-нравственныя воззрѣнія наши, которыя въ свою очередь являются главнымъ содержаніемъ нашей жизни и дѣятельности. Но какое другое значеніе, какъ не значеніе «баской штуки» или курьезнаго фокуса, можетъ имѣть этотъ фактъ для Пилы, даже допуская недопустимое, т. е., что Пила приметъ фактъ, противорѣчащій его чувствамъ? Шаръ-ли, не шаръ-ли земля, но ея все-таки и мало, и родить она плохо, и требуютъ за нее подати, и городъ отъ деревни далеко, и продать коровенку некому, кромѣ кулака. Высокая научная истина, добытая усиліями первыхъ умовъ человѣчества, не сыграетъ никакой роли въ умственномъ обиходѣ Пилы, не сыграетъ потому, что ей и приложенія никакого не приниженъ въ условіяхъ существованія Подлиповки. Сорокъ—пятьдесятъ лѣтъ назадъ, во время полного процвѣтанія крѣпостного права, народу не было практической надобности даже въ элементарныхъ юридическихъ и экономическихъ свѣдѣніяхъ, потому что источникомъ всякаго права былъ тогда не писанный законъ, который нужно изучать, а личная воля барина, которой нужно было только «потрафлять». Въ силу этого, даже такіа свѣдѣнія и, какъ средство къ нимъ, простая грамотность не пользовались въ народѣ ровно никакимъ кредитомъ, не имѣли для него никакой привлекательности, тогда какъ теперь ихъ ищутъ, жаждутъ и значеніе грамотности возросло въ глазахъ народа во много разъ. Этотъ всѣмъ извѣстный огромный фактъ даетъ указанія и для будущаго. Народъ возьметъ отъ насъ только то, что ему нужно и полезно, а не то, что кажется нужнымъ и полезнымъ намъ. А кто знаетъ, что ему полезно и нужно? Знаетъ это тотъ, кто живетъ съ народомъ, просто *живетъ*, а не хитроумно *сливается* съ нимъ, кто видитъ въ немъ не матеріалъ для экспериментовъ, а человѣка и брата, кто не наблюдалъ со стороны его нужду и его «горе», а перекспыталъ ихъ,—знаетъ это напр. священникъ Никола Знаменскій, знаетъ это и Рѣшетниковъ, которому и великая благодар-

ность наша за то, что онъ не утѣилъ правды и подѣлился съ нами своими знаніями.

Еще одна важная черта. Въ литературѣ нашей за послѣднія два десятилѣтія накопилась цѣлая масса романовъ, повѣстей, рассказовъ, очерковъ, гдѣ главную или эпизодическую роль играютъ люди, которыхъ мало назвать разочарованными народниками, а слѣдуетъ называть озлобленными антинародниками. Это люди, которые отдали народу «все» (земля есть шаръ и пр.), и вмѣсто благодарности слышали себѣ отъ народа только порицаніе, вмѣсто уваженія встрѣтили издѣвательство, вмѣсто содѣйствія — неудержимое желаніе дойти «дѣятеля» не мытьемъ, такъ катаньемъ. «У насъ, говорятъ они, не теоріи-съ, а факты-съ; не по наслышкѣ мы говоримъ, а по собственному опыту-съ» — и затѣмъ слѣдуетъ рядъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о неблагодарности, эгоизмѣ и тупости мужика. Въ искренности этихъ людей нельзя сомнѣваться: они очевидно говорятъ отъ измученнаго сердца, съ горечью, съ внутренними слезами, какъ на похоронахъ. Именно на похоронахъ: вѣдь они только-что похоронили свои идеалы, которыми когда-то были такъ счастливы. Правы ли однако эти люди? Правду ли говорятъ они? Что сказали бы объ нихъ нашъ вѣрный руководитель въ вопросахъ народной жизни — правдивый Рѣшетниковъ?

Калмыцкое, некрасивое, широкоскулое лицо его (посмотрите на портретъ) освѣтилось бы хитрой улыбкой, и онъ сказалъ бы, поглядывая на насъ изъ-подъ очковъ: «они говорятъ чистую правду. Это точно, что нашъ народъ толстокожій какой-то... Ты къ нему, по пословицѣ, всей душой, а онъ къ тебѣ всей пятерней... Особенно бабы: въ глаза лебезятъ, а за глаза такое плетутъ, что хоть святыхъ выноси. Да вотъ я вамъ расскажу про одну знакомую бабу, тетюшку Опариху, какъ ее звали въ деревнѣ. Въ первый же день нашего знакомства я увидѣлъ, какъ она дралась на улицѣ съ другой бабой изъ-за какой-то овцы. Вообще она безпрестанно ругалась, ссорилась и даже дралась. Но къ ней много народу ходило, она всѣмъ была нужна, потому что она лечила и людей, и скотъ, торговала всѣми сельскими произведеніями, давала въ займы или подъ залогъ денегъ, воевала безъ устали за всѣхъ съ начальствомъ. Много же у тебя дѣла-то, сказалъ я Опарихѣ.

— Бѣда! и не повѣрить, за всѣ мои хлопоты и старанія они мнѣ всѣ зломъ платить. Иной разъ пьяный мужикъ такъ и грохочетъ на все село: пѣвка Опариха... А бабы всѣ только до случая, чего-чего не наговорають! А какъ кто ни захвораетъ, или горе какое, идутъ, просятъ пѣвку Опариху. Вотъ какой крестьянскій-то народъ! — заключила Опариха и громко зѣнула».

Вотъ экспертиза Рѣшетникова. Лично мнѣ она кажется чрезвычайно убѣдительною. Для предупрежденія недоразумѣній замѣтимъ, что Опариха, что называется, бой-баба и даже кулакъ-баба, но совсѣмъ не «пѣвка», не Разуваевъ и не Колупаевъ. Лечить она даромъ, со старшиной и съ писаремъ воюетъ безкорыстно, во имя «закона», проценты беретъ божескіе и не обдираетъ должниковъ. Сила и достоинство ея состоятъ не только въ этомъ умѣньи помогать другимъ съ пользой для себя, но и въ томъ полнѣйшемъ равнодушіи, съ какимъ она относится къ «мелочамъ жизни», вроде сплетенъ и даже потасовокъ. Она говоритъ объ этомъ не съ негодованіемъ, какъ интеллигентные добродѣтели народа, а *зѣвая*: дѣло, молъ, житейское, и свои люди — сочтемся. Вотъ то-то и есть: *свои* люди, *родная* среда, нечуждые нравы. Въ интеллигентныхъ сферахъ сплетенъ ничуть не меньше, нежели въ самой захолустной деревнѣ, и потасовки производятся систематически, но сплетни не объ огненномъ змѣѣ, который летаетъ будто бы къ такой-то бабѣ, и потасовки не въ рукопашную, а съ вѣжливыми улыбками и даже съ рукопожатіями. Культурная форма заслоняетъ и скрашиваетъ ничтожное или презрѣнное содержаніе — я это говорилъ выше, повторяю и теперь. Именно поэтому зло, пріукрашенное и приглаженное культурными средствами, ядовитѣе и вреднѣе простодушной и глуповатой деревенской злобы. Нашъ популярнѣйшій поэтъ сошелъ въ могилу отъ культурной сплетни, но если у Опарихи *даже* дегтемъ ворота вымажутъ — она конечно не умретъ отъ этого и даже въ уныніе не впадетъ. И теперь, когда читателю придется выслушивать ламентации или филиппики разочаровавшихся народолюбцевъ, когда они станутъ приглашать его «отложить попеченіе» на основаніи «фактовъ-съ» и «собственного опыта», пусть онъ знаетъ, что все это — представители не настоящей, а

«парикмахерской цивилизаціи», по ядовитому выраженію Рѣшетникова. Большое самолюбіе, куриное сердце, знаніе, что земля шаръ, бѣлыя руки, тонкіе нервы—съ такими средствами и съ такимъ багажемъ лучше сидѣть у себя дома, въ культурномъ городѣ. Не лавровишневныя натуришки, которыя всякое дѣло дѣлаютъ, глядясь въ зеркало, а работники «съ бодрыми лицами», какъ Опариха, какъ Никола Знаменскій, какъ Рѣшетниковъ, какъ г. Энгельгардтъ, скажутъ и сдѣлаютъ народу то, что ему дѣйствительно нужно. «Могій выѣстити да выѣстити», а не могій пусть не озлобляется и не отчаявается: не одна дорога въ Римъ ведетъ.

Намъ слѣдовало бы остановиться теперь на повѣсти «Между людьми», но мы ограничимся тѣмъ, что только укажемъ на нее. Дѣло въ томъ, что главный интересъ этой повѣсти—автобіографическій, а этой стороны дѣла мы уже касались, говоря о «дневникѣ» Рѣшетникова. Замѣтимъ только вотъ что. Всякія автобіографіи, всевозможныя исповѣди и конфессіоны совершенно справедливо внушаютъ читателямъ неудержимое, почти инстинктивное недовѣріе. Если трудно «познать самого себя», то искренно и правдиво публично говорить о себѣ—еще гораздо труднѣе. Рѣшетниковъ вышелъ изъ этого затрудненія съ честью. Болѣе того: для него тутъ и не было затрудненія. Этотъ человѣкъ очевидно органически не могъ понять, какъ можно лгать, разъ взято въ руки перо. Онъ не писалъ, не

«сочинялъ», онъ священнодѣйствовалъ на altarѣ богини Правды. Прочтите его автобіографическую повѣсть: мы назвали бы ея скромность лицемѣріемъ, тою скромностью, которая паче гордости, еслибы къ этому былъ хоть малѣйшій поводъ, еслибы самое чуткое литературное ухо могло уловить тутъ хоть одну фальшивую ноту. Напрасны были бы наши поиски. Этотъ человѣкъ, такъ много выстрадавшій, пренебреженно не придаетъ важности ни своей выносливости, ни самымъ этимъ страданіямъ. Этотъ писатель, проложившій въ литературѣ новую колею, по которой пошли и идутъ до сихъ поръ не два и не три крупныхъ таланта, пренебреженно и пресерьезно говорить о себѣ именно только какъ «о бѣдномъ человѣкѣ ничтожнаго званія». Ни искры самодовольства, ни тѣни похвалы—и даже до такой степени, что въ васъ появляется наконецъ чувство нѣкоторой досады и вы готовы съ ласковой укоризной сказать: «наивный чудакъ! незнающій себѣ цѣны самородокъ! Какой звонъ и громъ, пылъ и шумъ поднялъ бы иной *московскій* писатель, обладая хоть только половиною твоихъ достоинствъ». Но если самъ Рѣшетниковъ былъ несправедливъ къ себѣ, будемъ справедливы къ нему мы, критики, и будьте справедливы вы, читатели.

М. Протопоповъ.

19-го марта 1890 г.

Любань.

# ПОДЛИПОВЦЫ.

## I.

### ПИЛА И СЫСОЙКО.

Деревня Подлипная очень непривлекательна на видъ. Она состоитъ изъ шести домиковъ, построенныхъ по лѣвую сторону дороги, идущей отъ другихъ деревень, и разбросанныхъ по неровной мѣстности такъ, что одинъ домикъ стоитъ выше другого, другой около дороги, а третій и прочіе пятаются къ лѣсу. Домики эти, — четыре съ крышами, два безъ крышъ, съ соломою на потолокъ, съ слюдой въ оконныхъ рамахъ, съ стайками и плетушками, — огорожены такъ: вколотили въ землю нѣсколько тонкихъ березовыхъ колыевъ, да и связали за нихъ, параллельно къ землѣ, гдѣ по двѣ, гдѣ по три березки, и назвали плетнемъ. Ворота въ Подлипной вовсе нѣтъ. Доброй лѣсу не было, а то кругомъ деревни лѣсъ высокий и густой, все береза да соона, можно бы э-во какіе дома постронть и заллоты дощаныя съ воротами сдѣлать... „А пошто?“ спроситъ подлиповецъ, не понимая. — „А и такъ, тожно, баско!“ ... За дворами не видится ригъ или зародовъ сѣна, нѣтъ огородовъ съ овощами. Только направо заѣтъны гряды съ капустой, морковью и преимущественно картофелемъ.

Самая мѣстность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть лѣтомъ. Противъ домиковъ, черезъ дорогу, за грядами, большое поле, ничѣмъ не огороженное, потому лѣсъ, а въ лѣвой сторонѣ тоже поле, а за полемъ тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели и липы. Лѣтомъ досадно становится, какъ посмотришь на поля: земля кое-какъ вспахана, кое-гдѣ на засохшихъ кочкахъ видится травка, да развѣ двѣ-три лошади шатаются по полю, да и то не долго: онѣ идутъ въ лѣсъ, тамъ больше травы. „Пробовали“, сказываютъ подлиповцы, „ужъ какъ вспахивали землю: и поздно, и рано, да проку нѣтъ. Вспахашь, — стужа настанетъ, либо дождь, потомъ жара; все окончатъ, а тамъ дождь, иней, снѣгъ... Пробовали и за хлѣбушкомъ ходить, да все не въ толкъ: только начинать созрѣвать хлѣбъ, — баско! вдругъ дожди, заморозки, снѣгъ... Попахнешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ѣшь такъ съ горячей водою, либо настоящей мучки

смѣшаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь“ ... Зимой частые вѣтры да вьюги по полю, снѣга большіе до полъ-окозъ заметають домики, а которые ниже, то и до крышъ, а дороги и слѣдъ простылъ.

Мало въ этой деревнѣ видится жизни. Лѣтомъ еще можно увидать мужчину, или женщину, или ребятъ на полѣ или около домиковъ, но зато не слышится веселаго говора, не слышится пѣсенъ, у всѣхъ точно какое-то горе, какое-то болѣзненное состояніе. На чтѣ дѣти, — и тѣ рѣзвятся какъ-то словно нехотя: побѣжить, упадеть, заплачетъ и побѣжить дохой; даже лошади, коровы и свиньи ходятъ какъ-то сонно; однѣ только девять курицъ да два пѣтуха бѣгаютъ скоро, и воздухъ оглашается крикомъ крестьянъ на животныхъ, лаемъ одной собаки, единственнаго деревенскаго сторожа, уцѣлѣвшей какими-то чудомъ отъ бойни хозяина, желавшаго употребить ея шкуру на шапку, крикомъ куръ, маленкихъ ребятъ да чириканьемъ коростелей въ болотѣ .. Зимой еще хуже. Тогда всѣ дома точно погребены снѣгомъ, на дорогѣ цѣлую недѣлю не видать слѣдовъ человѣческихъ, все какъ будто спряталось, только кой-гдѣ корова промычитъ, да рыщетъ по полю собака. Такъ вотъ и кажется, что люди вымерли или напала на нихъ спячка.

Въ самыхъ домахъ тоже не лучше. Самое худое время это — зима. Вездѣ бѣдная обстановка, нечистота, плачь и стоны; половина лежитъ, половина сидитъ молча или что-нибудь дѣлаетъ, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Слово всѣмъ имъ жизнь опротивѣла, всѣ чѣмъ-то мучатся, всѣмъ постылъ свѣтъ божій... А есть между ними и молодые ребята, и молодыя дѣвушки; правда, нѣтъ красивыхъ, но все-таки и у нихъ есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живутъ въ этой деревнѣ государственные крестьяне, Чудиновской волости, Чердынскаго уѣзда, бѣдные люди, какихъ много въ сѣверной части этого уѣзда, но еще бѣднѣе прочихъ крестьянъ. У крестьянъ прочихъ деревень есть какая-нибудь промышленность, природа даетъ имъ что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудомъ. Ужъ какъ они ни воздѣлывали землю, какъ ни молились

своими пермякскими богатыми, чтобы хлѣбушко свой былъ,—нѣтъ ничего. Такъ и бросали поле, и вотъ уже второй годъ, какъ поле стоитъ нетронутымъ и даетъ только небольшую травку животнымъ. Купить хлѣба подлиповцамъ не на что. Положимъ, они нарубятъ лѣсу, но куда везти?—городъ отъ нихъ въ ста верстахъ. Положимъ, скосятъ въ лѣсу траву: можно будетъ нализешекъ продать,—опять-таки городъ далеко; а въ другихъ деревняхъ и селахъ свое сѣно, свои дрова и свой лѣсъ,—каждый бы самъ продалъ. Вотъ они, сдѣлавъ кадки, наберухи, лапти, везутъ это на продажу въ городъ; но тамъ и безъ нихъ много такихъ горемыкъ, какъ подлиповцы, и всякій сбываетъ за безцѣнокъ, лишь бы хлѣбушка купить. Занимаются они и стрѣляніемъ рабковъ, ходятъ на медвѣдей; но на пороховъ надо денегъ, а медвѣдя хоть и можно убить ломомъ чугуномъ или чѣмъ инымъ, такъ медвѣдей нынѣ мало. Сбыта очень мало, и рѣдкій много-много получить въ лѣто или зиму рубля три. Отъ этого у нихъ явилась апатія, всѣ они потеряли надежду на сбытъ чего-нибудь, и рѣдкаго вытаскишь изъ его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или дѣвушка носятъ по одной рубахѣ круглый годъ, ходятъ лѣтомъ въ рубахахъ, зимой надѣваютъ полушубокъ изъ овечьей, телячьей и собачьей шкуръ, мужчины надѣваютъ на голову такіе же шапки, а лапти носятъ всѣ, кромѣ дѣтей, которые едва-едва прикрываютъ тѣло чѣмъ-нибудь. Это еще ничего, но самое главное—пища мучитъ всѣхъ. Настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ; остальное время всѣ ѣдятъ мякину съ корой, и отъ этого у нихъ является лѣнь къ работѣ, болѣзнь, и часто всѣ подлиповцы лежатъ больные, сами не зная, что съ ними дѣлается, а только ругаются и плачутъ. Надо замѣтить, что и въ Чердынѣ хлѣбъ слишкомъ дорогъ, потому что его привозятъ туда только зимой изъ другихъ городовъ или доставляютъ на сулахъ бичевники лѣтомъ изъ Вятской губерніи—изъ Саранула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли къ такой жизни, свыклись и съ своими болѣзнями. Они знаютъ, что помочь имъ некому; даже самые люди противъ нихъ. Всѣ они, жители своей деревни, родня другъ другу—отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родня у нихъ много и въ другихъ деревняхъ, но тѣ не любятъ ихъ, не знаютъ съ ними, потому что и сами-то они голые, и отъ подлиповцевъ нечего взять. Съ своей стороны и подлиповцы не любятъ жителей другихъ деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской вѣры держатся, слывуть за лѣнивыхъ, самыхъ бѣдныхъ, и ихъ называютъ колдунами: захочетъ подлиповецъ посадить килу (грыжу)—посадитъ, захочетъ чтобы такой-то умеръ,—умретъ.

Зачѣмъ же подлиповцы живутъ тутъ?—спроситъ читатель—Подлиповцамъ не растолкуешь этого, они сами не знаютъ, откуда они взялись. Известно только нѣкоторымъ изъ другихъ деревень крестьянамъ, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился одинъ крестьянинъ зѣбродовъ изъ какой-то соседней де-

ревни. Ему хотѣлось жить одному съ своими семействомъ, такъ какъ онъ перессорился съ своими однодеревенцами. Онъ построилъ домъ и жилъ съ женой и дѣтьми нѣсколько лѣтъ, не сообщаясь съ прочими крестьянами. Послѣ его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замужъ въ другую деревню. Такимъ образомъ люди расплодился до тридцати человѣкъ и живутъ теперь въ шести домахъ. Сначала они находились подъ управленіемъ старшихъ лицъ въ семействѣ, и къ нимъ не заглядывало никакое начальство. Понятія ихъ были такіе: есть какой-то богъ, а какой, и сами не знали, и только по преданіямъ своихъ отцовъ справляли свои праздники, молились тучеламъ. О существованіи земли они знали только то, что земля даетъ пищу, да въ землю покойниковъ зарываютъ. Увидятъ они, что солнце ярко свѣтитъ, и думаютъ: это богъ, молятся ему; свѣтитъ ли ночью луна—тоже богъ; и дождь, и снѣгъ, и молнія—все богъ. Знали они, что есть городъ Чердынь, только потому, что бывали тамъ, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь—дѣлотемиое. Въ городѣ они видѣли разныхъ людей, но никакъ не могли понять, что это за люди; этихъ людей они боялись, не вѣрили имъ, и только ѣздили туда затѣмъ, чтобы сбытъ необходимое для обиха на пищу. Но вотъ начальство заглянуло къ нимъ; деревню ихъ назвали Подлипною, обложили всѣхъ ихъ податью, стали брать по одному въ рекрута, пріѣхалъ къ нимъ священникъ и сталъ уговаривать принять православную вѣру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотѣли разбѣжаться, но струсили: пріѣхалъ становой приставъ, обласкалъ всѣхъ; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что отъ нихъ требовали. Сколько священникъ ни толковалъ имъ о Богѣ, они ничего не могли понять; хотя имѣли образа, но прятали ихъ подъ лавки и вынимали, когда являлся священникъ; окрестившись, они изъ боязни стали отдавать крестить дѣтей; вѣнчались сначала по-своему, потомъ ѣхали въ село къ полу, везли къ нему покойниковъ... Ничего бы этого они не дѣлали, да священникъ становымъ ихъ пугалъ, а подлиповцы боялись станового, какъ онъ, когда въ Подлипной умерло съ голоду шесть человѣкъ, обласкалъ не только мужчинъ, но и женщинъ, самъ не зная, за что; а отрывши въ лѣсу мертвое тѣло, увезъ трехъ главныхъ стариковъ въ село, потомъ въ городъ, и съ тѣхъ поръ подлиповцы не видали своихъ стариковъ.

Присвоей бѣдности подлиповцы постоянно въ долгу: съ нихъ требуютъ подати, но имъ негдѣ взять денегъ, и на нихъ растутъ недоимки съ каждымъ годомъ.

Неужели они не умѣютъ работать? Подлиповецъ, родившійся въ Подлипной, прожившій въ своей деревнѣ дѣтство и нѣтъ взрослыхъ дѣтей, умѣетъ дѣлать то, чему научили его отецъ и родня: онъ умѣетъ домъ построить; но заставьте его, читатель, построить домъ въ городѣ, онъ вамъ построитъ такъ, чтобы и посмѣетесь надъ нимъ, и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповецъ строилъ для себя домъ по своему умѣнію, собственно съ той цѣлью, чтобы ему была защита отъ холода, дождя. Понятно, ему никакихъ



удобств не надо. А вы любите, чтобы домъ вашъ былъ теплый и существовалъ долго, чего подлиповцы не съумѣютъ сдѣлать. Заставьте вы подлиповца печь сжечь, онъ вамъ сжечь по-своему. У себя дома онъ сложитъ печь, какъ ему отецъ передалъ; — «Эй, ты, пучело, подь тамока... Гдѣ каменья уви-дишь — волоки». Сынъ притащилъ каменья. Достали изъ рутейки воды, вскиятили, разварили съ гли-ной... «Мастюжь!» — кричитъ отецъ и самъ рабо-таетъ. — Черезъ двѣ недѣли печь готова, а черезъ годъ она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этия людичъ, какъ слѣдуетъ, по-чело-вѣски, что нужно дѣлать, они примутся и сдѣ-лаютъ еще крѣпче городского мастера. Въ этомъ я увѣренъ. Есть въ Перми одинъ печникъ; онъ кла-детъ печки дешево; но если склалъ, такъ печь и шла всегда, и угара нѣтъ, и крѣпка. Его призы-ваютъ только бѣдный классъ, но богачи, само собой движется, надѣются на архитектора и попра-вляютъ печки черезъ пять лѣтъ, а нѣкоторые и ранѣе. Исподить этого изъ Подлиповой, только под-липовцы думаютъ, что онъ безъ вѣсти пропалъ или гдѣ-нибудь заглохъ. Онъ былъ работникомъ у одного чина шесть лѣтъ, теперь семнадцатый годъ ра-ботаетъ самъ, безъ работниковъ, и нигдѣ въ Ме-штининскомъ заводѣ свой домъ.

Подлиповцевъ нельзя винить ни въ чемъ: они глупы, необразованы, но кто ихъ разумитъ, куда имъ пойдутъ?... «Ужъ помру тожно, а тамока гдѣ же!» Подъ этими словами можно понимать, что подлиповцамъ нравится своя деревня, а дальше, не зная, что такое творится. — «Уйти изъ Под-липовой? куда пойдешь? — Вонъ ушелъ изъ Подли-повой Митюкъ Ковычка, еще молодой, и жену съ дву-мя дѣтьми оставилъ, да такъ и пропалъ. Поди та-ко и ты!.. Пошелъ Терешка Ватка куда-то глѣсь плавать и утонулъ, говорятъ. Мишка Гайна въ городъ какой-то, да такъ и пропалъ»... Все напугало подлиповцевъ до того, что они и зам-кнулись въ своей деревнѣ и живутъ по-своему, какъ имъ: вѣдь растутъ же дерево, живутъ же ло-си и коровы... Знаютъ подлиповцы, что безъ же-любовки, надо бабу — и живутъ съ бабами. Про-щную любовь они вовсе не знаютъ, у нихъ своя: играли вѣсть, вѣсть росли, вѣсть и жить. Такъ и дѣлается въ Подлиповой. Умереть тотъ другой, они хотя и думаютъ, что такъ и надо, но имъ обидно, досадно, что умеръ такой-то опять надо къ нему ѣхать вѣщаться. О подлиповцевъ я расскажу въ слѣдующей. Досадно имъ: зачѣмъ это дѣти рѣдятся отъ и съ маленькими дѣтьми обращаются, какъ съ котятками; одинъ только матери немножко приваиваютъ за дѣтьми. Съ пятилѣтняго воз-расту дѣти растутъ на произволъ судьбы... Подлиповцы говорятъ по-пермякски. Плохо пони-ми слова, они хотя и выговариваютъ ихъ, но не выговариваютъ вѣдь. Выговоръ ихъ походитъ на пермякъ крестьянъ Вятской и Вологодской губерній.

Ноябрь мѣсяцъ въ началѣ. Зима свирѣпствуетъ немилосердно, какъ будто все ало свое хочетъ выме-стить надъ Подлиповой и ея обитателями. Утро. Хо-лодъ въ тридцать градусовъ; вѣтеръ свиститъ по полю; деревья скрипятъ; верхушки ихъ то и дѣло съ шумомъ пошатываются направо и налево, и впрямь, и вкось. Вѣтеръ рыщетъ по полю и гонитъ снѣгъ, какъ на ало, къ самымъ домамъ, до половины уже занесенный снѣгомъ. Дороги вовсе не видать — она сравнялась съ полемъ. Больше всего достается край-нему домику, безъ крыши, съ однимъ окномъ, со слюдой въ рамкахъ, до половины заваленному снѣ-гомъ. Вѣтеръ такъ и рветъ съ домика что ему подъ силу: вонъ доску, высунувшуюся съ потолка, ото-рвало; вонъ посыпались высунувшіеся изъ-подъ снѣ-га каменья, сроставляющіе трубу; вонъ четверть кры-ши со стайки оторвало, вонъ и слюда треснула въ од-ной рамѣ — пошелъ вѣтеръ гулять по избѣ... Ни одного человѣка невидно; невидны и животныхъ, даже собака куда-то спряталась... Но вотъ вышелъ изъ одного дома крестьянинъ, въ полушубкѣ изъ овечьей и телачьей шкуръ, въ шапкѣ изъ такой же шероти съ длинными ушами, въ огромнѣйшихъ собачьихъ рукавицахъ, въ синихъ нанковыхъ штанахъ и въ лаптяхъ. Онъ уже немолодой: ему годовъ сорокъ.

— Эко диво! — сказалъ онъ, оторонясь отъ вѣтра. Вѣтеръ и стужа его злили. — Какъ пойдешь? Гли, што діется... Онъ началъ шатать и тонулъ въ снѣ-гу. — Экъ испугались! Врешь!!! Ишь ты, пучело, околотить бы тѣ!.. — Онъ плюнулъ. — Да будь ты про-клятый, чортъ! — Крестьянинъ дошелъ до крайней избушки и вошелъ въ нее. Въ избѣ холодо страш-ный, вѣтеръ такъ и дуетъ въ окно сквозъ раму; противъ окна снѣгъ на полу, на столѣ и на лавкѣ. Изба очень бѣдна; кромѣ стѣнъ, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющагося среди пола, и небольшого корыта съ корой и двумя большими ложками, въ ней ничего не видно... Только на по-латяхъ да на печкѣ кто-то стонетъ.

— Эй, вы, пучелы! Померли али нѣтъ?..

Съ полатей раздался стонъ.

— Ошшо живы! — сказалъ онъ весело.

— Пила, подь сюда!.. — сказалъ съ полатей мужской голосъ.

Вошедшій, бросивъ на полъ рукавицы, неторо-пясь полѣзъ на печь. На печкѣ лежала старуха.

— Скоро померешь? — спросилъ онъ ее съ уча-стіемъ.

Старуха стонала. На полатяхъ лежалъ Сысой Степанычъ Сысоевъ, прозванный по-подлиповски Сысойкомъ. Ему 20-й годъ, но онъ худъ и блѣ-денъ. Онъ лежалъ въ полушубкѣ, въ шапкѣ, въ лаптяхъ и дрожалъ.

— Печку бы... пали, братанъ.. А? Ишь стужа, вѣтеръ! говорилъ Сысойко.

— Ну ужъ и времена!.. На картошки! — сказалъ Пила и подалъ Сысойкѣ четыре печеныхъ картофе-лины.

— Я тожно — бѣда. Нутро... — Сысойко хотѣлъ объяснить свою болѣзнь и разжалобить Пилу, но не умѣлъ. Вдругъ онъ спросилъ Пилу: — А Апроська?

— Апроська помирать.

— А можетъ представляется?.. Не помреть?

— Кто ее знаетъ. А канючить больно: „нодь, басть, къ Сысойку, снеси картонки, да пусть, басть, придетъ молочка потрескаться“.

— Охъ, не говори,— не могу, .. моченьки нѣтъ... — стонетъ Сысойко.

Пила молчалъ. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слѣпая и сумасшедшая.

— Истопить ужъ печь-ту! А гдѣ ребята-те?..—

Пила слѣзъ съ печи.

— Въ печкѣ, — сказалъ Сысойко.

Пила подошелъ къ окну, сталъ сгребать рукой снѣгъ съ полу; постоялъ у окна, — вѣтеръ дуетъ: надо бы заткнуть, а чѣмъ? ничего нѣтъ такого. Онъ взялъ съ полу лапоть, приладилъ его въ раму, а вѣтеръ все дуетъ.

— Нѣтъ-ли чего заткнуть-то?

— Нѣту, братанко, — сказалъ Сысойко.

— Да хоть рукавицы, што ли, дай!

— Жалко!..

— Чортъ!! успѣешь окопѣть-то... Борись! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросилъ съ полатей рукавицы и шапку. Пила заткалъ ими раму; вѣтеръ пересталъ дуть, зато въ избѣ темно сдѣлалось.

Пила пошелъ на улицу; вѣтеръ все дулъ. Пила отскребъ немного снѣгу отъ окна рукавицами и пошелъ искать дровъ около стайки, въ которой лежала лошадь, не ѣвшая ничего два дня. Пила долго удивлялся вѣтру: „Экой какой, сила какая!.. Эвонъ что разворочалъ“. Онъ досталъ съ потолка стайки сѣна и соломы, снесъ ихъ лошади.

— Ужо я овсеца тебѣ принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорилъ Пила, смотря на лошадь, какъ она принялась окочачивать сѣно и солому.

Гаврило Гаврилычъ Пилинъ, по-подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работающій. Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понималъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался приискать себѣ работу, сбыть ее, а главное, — услужить своимъ подлиповцамъ. Назавдъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ, хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рѣкѣ, самъ простудился и, пролежавъ два мѣсяца, обдѣлалъ до того, что ему съ семействомъ привелось ѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было ѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила насобиралъ у подлиповцевъ надѣланныхъ кадокъ, вузовковъ и лаптей, отправился за болыми продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ: онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ собирать ради Христа и потому дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только

могъ. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: „чаво сидите, робѣ; я буду робить“ — и подлиповцы работаютъ съ Пилой; нѣтъ Пилы, — подлиповцы лежатъ. Скажетъ подлиповцамъ: „смотри, траву надо косить“ — здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо траву косить, подлиповцы не дегадуются. Всѣ подлиповцы любили Пилу и каждый спрашивалъ его совета или просилъ полечить, такъ какъ Пила лечилъ болыныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толку въ травахъ. Мысль лечить травами пришла ему въ голову тогда, какъ онъ увидалъ въ городѣ крестьянина съ травами. Пила не понималъ, для чего крестьянинъ травы продаетъ. — „Это што?“ спросилъ Пила крестьянина. — „Это лекарство“. — Слово „лекарство“ для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское. — „А какъ это дѣлать?“ спросилъ онъ крестьянина. — „Да такъ. Коли кто захвораетъ, ну, и щеть траву, коя идетъ на такую болѣсть. Тутъ всякія есть: затрисуешь тебѣ, лихоманка забьется, брюхо заболитъ, ну, и лечатся такой травой“. — „Лже ты! А гдѣ онъ растутъ?“ — „Въ лѣсу да въ болотахъ...“ Вотъ Пила и сталъ собирать лѣтомъ въ лѣсу да въ болотѣ разныя травы съ цвѣточками, вырывалъ съ кореньями и лечилъ подлиповцевъ. — „Ну-ка, съѣшь эту травку, хворать не станешь“, говорилъ Пила больному. Больной ѣлъ, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки всѣ просили у Пилы травы. Пила давалъ, не требуя за это ничего. Священникъ требовалъ, чтобы крестьяне непрестанно крестили дѣтей, возли въ село умершихъ, вѣнчались; первое подлиповцы не исполняли до тѣхъ норъ, пока священникъ не пріѣзжалъ самъ за оборомъ; за умершихъ они боялись и возли всѣ покойника въ село: свадьбы вѣнчались рѣдко; подлиповцы жили до тѣхъ норъ, пока опять не пріѣдетъ священникъ за оборомъ; а какъ пріѣхалъ — бѣда: „возать съ собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай считать да цугать — бѣда!“ говорятъ подлиповцы и ѣдутъ вѣнчаться въ село, но только съ Пилой. Причтъ просить денегъ, либо масла за свадьбу, и Пила пойдетъ собирать ради Христа, жениху и невестѣ водить то же сдѣлать, и, насобиравъ чего-нибудь, идутъ къ причту. Всѣ подлиповцы удивлялись Пилѣ: какъ это онъ всегда успѣваетъ, все умѣетъ сдѣлать, всегда веселъ и рѣдко хвораетъ, даже и съ семьей его ничего не дѣлается. Поэтому его прозвали колдуномъ и боялись. Пила никогда не былъ колдуномъ, но слово это его забавляло.

Пила ужъ третью недѣлю не выѣзжалъ изъ деревни. Всѣ подлиповцы сдѣлались болыны отъ мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его, Матрена, и паренъ Иванъ третьи сутки не встаютъ. Пила не знаетъ, чтѣмъ дѣлать, кому и какъ помочь, — травы его не дѣйствуютъ; надо бы купить муки, да уѣхать Пила боится: какъ да всѣ безъ него помрутъ? Наконецъ и у Пилы не стало муки, и онъ принялся мѣшать въ мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть, да корова даетъ немного молока: для себя достаетъ, а если другимъ уѣлишь — у самого ничего не будетъ. — „Экая бѣда“,

думает Пила. „Что теперь дѣлать — не знаю. Убѣй я—всѣ помрутъ, и Апроська, и Сысойко...“

Жена Пилы, Матрена, была такая же, какъ и прочія подлиповскія женщины, часто хворающая, но нѣсколько крѣпче прочихъ: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кромѣ того что она доила корову. Она спала и во всемъ надѣялась на мужа. Пила на нее смотрѣлъ, какъ на какую-то потребность; часто возилъ онъ ее съ собой въ лѣсъ и въ городъ, приучалъ къ какой-нибудь работѣ, но Матрена ничего не хотѣла дѣлать, за что Пила билъ ее во время своей злости, какъ лошадь, чѣмъ понало.

Всѣ дѣти ихъ, Апроська 19 лѣтъ, Иванъ 16, Павелъ 14 и Тюныка 3 лѣтъ; росли на произволъ судьбы. Апроська была некрасивая дѣвушка, худая, часто хворающая, ничего не дѣлающая, какъ и мать. Отецъ билъ ее, Ивана и Павла, какъ и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любилъ какъ будто даже болѣе, нежели дочь.

У Апроськи на 17 году былъ ребенокъ, но ребенокъ этотъ не дожилъ до пріѣзда священника, и когда онъ умеръ, его зарыли въ лѣсу. Теперь отецъ знаетъ, что Апроська опять скоро родитъ, и знаетъ, что ребенкомъ будетъ отъ Сысойки...

На Ивана и Павла Пила смотрѣлъ какъ на работниковъ, не позволялъ имъ сидѣть даромъ, не вѣрилъ имъ болѣзнямъ. „Какая хворость вамъ, экижъ парнижъ? Я вонъ прежде не кварывалъ“, говорилъ Пила, когда парни лежали. Жалость къ дѣтямъ у Пилы была только тогда, когда они уже ревѣли отъ боли. Пилѣ казалось неприятно это, жалко было робѣть, потому что онъ бы могъ замѣниться имъ, и въ то время онъ кормилъ ихъ болше, насильно заставлялъ ѣсть травы. Павелъ и Иванъ были забитые парни, умѣли нарубить дровъ, знали дорогу въ село, но въ городѣ никогда не бывали. Брать съ братомъ жили такъ дружно, что никогда не разставались, работали вмѣстѣ и старались отличиться другъ передъ другомъ. Начнетъ Иванъ плести лапотъ, Павелъ тоже плететъ лапотъ и дразнитъ брата: „ужъ тебѣ гдѣ смастжити! то ли я! Смотри, какъ!“—„Эй, Пашка, не дразни! Ты смотри, какъ я дѣлаю“. Часто Пила посылалъ парней понабѣдаться къ какому-нибудь подлиповцу; братья ходили вмѣстѣ и проводили весь день въ гостяхъ. Если кто-нибудь работалъ, братья высматривали работу и дома старались сдѣлать такъ же; если работы были обыкновенныя у всѣхъ, они дѣлали тутъ же, передразнивая и смѣясь надъ дѣвками и мужиками. Съ молодыми дѣвками они обращались за просто, какъ съ своей сестрой: передразнивали, щипали ихъ за бока, ругали. Это была ихъ любовь. Пила поговаривалъ женить Ивана и сговорилъ ему одну дѣвку, Агашку. Иванъ сталъ ходить къ отцу Агашки по наученію Пилы, которое заключалось въ слѣдующихъ словахъ: „дубина ты, какъ я погляжу, не знаешь, што баско... Пора тебѣ съ бабой жить!...“

— А пошто!

— Дурень ты! говорятъ, будетъ баско.—Ивану казалось смѣшно, онъ чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходилъ къ Агашкѣ. Эта любовь про-

должалась полгода. Павелъ, узнавъ отъ брата, что съ дѣвкой жить хорошо, тоже нашелъ себѣ дѣвку.

Сысойко живетъ рядомъ съ Пилой, и дома ихъ не отдѣлены другъ отъ друга даже плетнемъ. Сысойко былъ самый бѣдный въ деревнѣ и рѣдко бывалъ здоровымъ. Отецъ его ходилъ на медвѣдей съ чугунинымъ ломомъ и бралъ его съ собой. Но медвѣдей было мало, такъ что въ годъ они убивали много медвѣда три. Мясо медвѣжье они ѣли, а шкуру продавали въ село за дешевую цѣну. Тогда при отцѣ можно было жить, но вотъ уже два года, какъ отца загрызъ медвѣдь, а Сысойко, бывший съ отцомъ, хотя и убилъ этого медвѣда, но медвѣдь испаривалъ ему плечо. Сысойко едва-едва дошелъ до своей деревни, сказалъ о бѣдѣ Пилѣ и вмѣстѣ съ нимъ повезъ отца въ село, захвативши съ собой и убитаго медвѣда. Священникъ не сталъ хоронить отца Сысойки, а почему-то призывалъ становаго пристава. Становой привязался къ Сысойкѣ и Пилѣ, говоря, что не медвѣдь загрызъ отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медвѣда. Становому хотѣлось взять себѣ убитаго медвѣда, и онъ взялъ—таки его и попросилъ священника отпѣть покойника... Съ той поры Сысойко живетъ очень бѣдно: въ лѣсъ бѣтъ медвѣдей не ходитъ, стрѣляетъ дичь пороку нѣтъ, продавать кадки и прочее не стоитъ, да и Сысойко умѣлъ только лапти плести. И вотъ Сысойко помогалъ въ чемъ-нибудь Пилѣ, то есть вмѣстѣ съ нимъ искалъ лекарственную траву, ѣздили по нуждѣ въ село и въ городъ, за чѣмъ и пользовался отъ Пилы подачками хлѣбомъ и мясомъ; но такъ какъ онъ часто хворалъ, то и не могъ всегда бывать съ Пилой, и Пила навѣщалъ его. Пила и Сысойко такъ привыкли другъ къ другу, что по цѣлымъ днямъ проводили вмѣстѣ, ничего не дѣлая, а лежа; если Пила хворалъ, а Сысойко былъ здоровъ, Сысойкѣ казалось, что и онъ хвораетъ, и наоборотъ. Пила и Сысойко въ болѣзняхъ всячески старались угодить другъ другу, а если Сысойко былъ здоровъ, то цѣлую недѣлю жилъ у Пилы и спалъ на полатахъ съ Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вмѣстѣ, но тогда у нихъ были только дѣтскія отношенія; такія же отношенія были и тогда, когда Сысойкѣ было 18 лѣтъ, а Апроськѣ 16, но скоро они уже измѣнились. Съ перваго же времени молодые люди привязались другъ къ другу—общить имъ было скучно, когда они не видѣли другъ друга по недѣлямъ, а потому часто навѣдывались другъ объ другѣхъ у Пилы и сходились—или Сысойко въ домъ Пилы, или Апроська въ домъ Сысойки.

Сысойкѣ страшно опротивѣла жизнь въ своемъ дому: каждый день и даже ночь ревѣли его маленькіе братъ Петръ 4-хъ и сестра Пашка 2-хъ лѣтъ, которые мерзли съ холоду и постоянно голодали. Эти маленькіе дѣти, не умѣющіе еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидѣли полунагія, одѣтые въ нѣсколько тряпокъ, смѣтыхъ на подобіе шѣшковъ. На нихъ не обращалось вниманія ни Сысойкомъ, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печкѣ и охала.

кажется, и камнем изъ печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убилъ. Онъ затруднялся: по-вѣрить Пилѣ или нѣтъ?

— Не вѣрю я тебѣ; я пойду къ становому.

— Батшко, не губи! Я тѣ все сказала... Што я—звѣрь, што-ли?... Сысойко хворать, старуха тоже... А эти въ печкѣ дрыгнули... Я такъ и увидѣлъ камень на лицѣ-то.

— Цѣлуй крестъ!

Пила поцѣловалъ.

— Клянись, что не ты убилъ.

— Эхъ ты! Я вонъ и Сысойку спрашивалъ, онъ заревѣлъ только, жалко стало... А ты говоришь: убилъ, убилъ!.. Эхъ ты!.. Я вонъ только восемь медвѣдей убилъ.

Дьячокъ опѣшилъ. Къ подобнымъ выходкамъ онъ уже привыкъ.

Пила опять повалился въ ноги.—Не погуби, батшко!

Черезъ два часа Пила везъ въ Подлипную на своей и поповской лошадей, запряженныхъ въ поповскія сани, попа и дьячка.

Дорогой въ Подлипную Пила долго ругался. Священникъ съ дьячкомъ разсуждали, какъ поступить съ подлиповцами: никакіе страхи ихъ не берутъ и вѣровать-то они по-христіански не хотятъ...

Наконецъ пріѣхали въ Подлипную. Священникъ и дьячокъ вошли въ избу Пилы и влѣзли на полаты, потому что въ избѣ было холодно, да къ тому же они хорошо прозябли. У дьячка былъ въ запасѣ буракъ съ водкой. Семейство Пилы осталось на печкѣ. Апроськѣ было немного легче, но она все лежала. Иванъ все хворалъ, Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай намъ закусить,—просилъ священникъ.

— Да что я тебѣ дамъ-то? Хлѣбушка нѣтъ, молока нѣтъ. Кору нынче ѣдимъ...

— Поди, пособирай въ деревнѣ.

— Гдѣ ужъ, тамъ ни у кого нѣтъ хлѣбушка. Вонъ Пила не привезъ-ли...—Пила, дѣйствительно, привезъ двѣ ковриги хлѣба и нѣсколько фунтовъ муки. Пила распрягалъ лошадей, ругая дьячка. Павла онъ послалъ къ подлиповцамъ: „Вѣги ко всѣмъ, скажи: попь, молъ, наѣхалъ“... Павелъ ушелъ и сдѣлалъ такъ, какъ велѣлъ Пила. У подлиповцевъ до сей поры всѣ образа были гдѣ-то на полатахъ; теперь Павелъ поставилъ ихъ на полки въ переднихъ углахъ.

Пила принесъ въ избу хлѣба, отрѣзалъ нѣскольکو ломтей и роздалъ священнику, дьячку и своему семейству. Въ нѣсколько минутъ одной ковриги не стало.

— Ты, тятка, снеси Сысойку-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила! хошь водки?—кричалъ съ полатей дьячокъ, уже опьянѣвшій.

— Давай.

Пила хлебнулъ изъ бурака.

— Ну, поидежь къ подлиповцамъ, — сказалъ

священникъ, слѣзая съ полатей. — А ты, дѣвка, все еще не замужемъ?—спросилъ онъ Апроську.

— Нѣтъ, батшко.

— То-то смотри. Найду ребятъ, бѣда тебѣ будетъ!

— Ужо тепло будетъ, повезу ее,—сказалъ Пила.

— Ты давно мнѣ говоришь. Съ кѣмъ ты ее хочешь свѣнчать?

— А съ Сысойкомъ

— То-то. Ну, поидежь.

Пила повелъ священника и дьячка къ Сысойкѣ. Съ собой онъ захватилъ полковриги хлѣба. Сысойкѣ было легче, но онъ все еще лежалъ. Въ избѣ холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовалъ дьячокъ.

Лучину зажгли.

Священникъ сталъ смотрѣть въ передній уголъ: есть-ли икона?

Икона была.

— Эй вы! Отчего никого нѣтъ?—кричалъ дьячокъ.

— Да больны они, больно больны,—сказалъ Пила. Сысойко спрятался въ уголъ на полатахъ и молчалъ. Мать его попрежнему стонала.

Переночевавъ у Пилы, священникъ и дьячокъ поѣхали въ село. Пила ѣхалъ за ними на дровняхъ; за дровнями шла Пилина корова съ веревкой на шеѣ.

Какъ ни горько было Пилѣ вести корову въ село, но онъ изъ боязни, чтобы не погубилъ его становой, рѣшился-таки отдать ее. „Ужо, какъ помретъ Пантаелей, возьму его корову себѣ. А не помретъ, изъ другой деревни уволоку“, думалъ Пила.

Матрена, какъ Пила сталъ привязывать корову къ дровнямъ, подѣномъ ударила Пилу, дьячка обругала, какъ только могла, и можетъ быть убила бы Пилу за корову, да у нея силы не было: Пила и дьячокъ до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего въ своей жизни любила корову. Корова для нея была больше, нежели дѣти: дѣти ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молокомъ и лѣтомъ не просила ѣсть, а питалась въ лѣсу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сѣна каждое утро. А теперь какъ она будетъ жить безъ коровы?..

Пила пріѣхалъ въ село вечеромъ. Заплакалъ Пила, какъ заперли его корову въ чужую стайку. Хотѣлъ онъ увести корову ночью, да двери стайки были заперты. На другой день отпѣли умершихъ, а Пила съ церковнымъ сторожемъ едва-едва сдѣлали на кладбищѣ маленькую ямку и свалили туда гробъ, потомъ завалили яму землей и снѣгомъ. Послѣ этого Пила пошелъ къ дьячку просить денегъ. Дьячокъ сжался надъ Пилой, далъ ему пятнадцать коп. сер. Пила былъ очень доволенъ этими деньгами и даже повалился въ ноги.

Выйдя изъ двора дьячковаго, Пила долго стоялъ у своей лошади. Его сильно давило горе. Онъ

лишился коровы, которая кормила его. Какъ онъ теперь безъ коровы будетъ жить? Какъ семья его пробыдетъ до лѣта? Не корова бы, что бы было съ ними?.. Пилѣ все теперь опротивѣло, проклиная онъ свою жизнь, долго билъ свою лошадь, самъ не зная, за что; сѣлъ на дровни, стегнулъ лошадь, лошадь пошла по улицѣ. Пила не зналъ, куда ѣхать, и пустилъ лошадь на произволъ. Лошадь дошла до лѣсу. Дорога вела въ деревню. Пила не поѣхалъ въ деревню, а поѣхалъ въ городъ.

Въ городѣ Пила шатался двѣ недѣли. Жилъ онъ подаиваемъ добрыхъ людей. Придетъ въ домъ, попроситъ ради Христа, ему дадутъ, кто ломтикъ хлѣба, кто грошикъ Ломтею Пилы накопилось много: деньги шли на водку. Хотѣлъ онъ купить на рынкѣ корову, да просили десять рублей. Видѣлъ онъ и дичка своего сельскаго, тотъ сказалъ ему, что корову онъ подарилъ по начальству. Узнавши, гдѣ корова, Пила двѣ ночи сряду ходилъ къ воротамъ новаго его хозяина, да все ворота заперты; перелѣзъ онъ и черезъ заплотъ, да и тамъ не нашелъ коровы. а зарубивъ топоромъ двухъ свиной и небросивъ ихъ черезъ заборъ, увезъ въ лѣсъ и тамъ зарылъ въ снѣгу.

Пила собрался ѣхать, какъ увидѣлъ около питейной лавочки толпу мужиковъ: зырянъ, вотяковъ, пермяковъ и крестьянъ Вологодской и Архангельской губерній. Пилу любопытство взяло, и онъ спросилъ одного изъ толпы:

— Што, ребя?

— Ништо, — сказалъ одинъ крестьянинъ.

— Ты откедова? — спросилъ Пилу другой крестьянинъ.

— А подлиповецъ! А вы-то?

— А мы бурлачить.

— Лижо! А пошто?

— Бають: баско, богатство, бають...

Пила задумался. Каждую зиму онъ видѣлъ около этого кабака толпу мужиковъ, каждую зиму онъ слышитъ, что они идутъ бурлачить, — богатство, бають, отъ бурлачества получаютъ. Прежде Пила не вѣрилъ мужикамъ, говорящимъ про богатство, и не спрашивалъ, что такое бурлачество: теперь ему опротивѣла жизнь, мужики раззадорили его: не лучше-ли бурлачить? — спросилъ самъ себя Пила. „А Сысойко?.. а Апроська?.. Ну ихъ къ лѣшнимъ и съ бурлачествомъ!“... Апроська показалась Пилѣ милѣе бурлачества... „Уйди тамъ, а куда?.. Ну, уйди — и тютю“... думалъ Пила. Однако онъ снова подошелъ къ бурлакамъ.

— А васъ много?

— Не всѣ опшо. — Ихъ было человѣкъ тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што ребить?

— Плыть.

— Э! А скоро идти-то?

— Скоро.

Пила ушелъ отъ бурлаковъ и поѣхалъ въ Подлипную. Дорогой онъ думалъ: „идти въ бурлаки, или нѣтъ? Бурлачество, бають, — хлѣба много... А въ деревнѣ што! тотъ боленъ, другой помираетъ,

третьяго везти хоронить надо. Эхъ!.. Надоѣла эта жизнь!.. Дай, пойду въ бурлаки... Надоѣли подлиповцы: пусть помирають, нѣтъ не пособить. Только выздоровѣетъ Сысойко и Апроська, возьму ихъ съ собой“... Пилѣ эта мысль хорошо показалась, онъ захохоталъ и рѣшился, во что-бы то ни стало, уйти съ Апроськой и Сысойкомъ бурлачить, самъ не зная, что это за дѣло такое, вѣра въ слово богатство и въ надежду имѣть всегда много хлѣбушка... „Уйду-же я, уйду! Ужъ не поклонюсь болѣ никому, не дамъ коровы. Что я безъ коровы-то? Вонъ везу двѣ свиньи, да что толку — не живыя... И становаго теперь не боюсь“... При мысли о томъ, что онъ будетъ бурлачить, Пила чувствовала какую-то легкость, свободу, удовольствіе и никого не боялся.

До Подлипной Пила ѣхалъ четыре дня. Ночи онъ спалъ въ деревняхъ. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или онъ идетъ куда-то на гору съ Сысойкомъ, Апроськой и воими подлиповцами. Сердится Пила: зачѣмъ это прочіе подлиповцы идутъ, зачѣмъ и Матрена тутъ, и старуха Сысойкова тутъ?.. Идутъ они долго-долго, все гора, и конца нѣтъ. Вотъ одинъ свалился съ горы, за нимъ другой и прочіе, и Пила въ страхѣ кричитъ и пробуждается. „Не дошли“... ворчитъ Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше — хорошо-ли бурлачить... Ему опять кажется: опять онъ съ своимъ семействомъ и подлиповцами на полѣ, и всѣ рубятъ дрова. Рубятъ, рубятъ, а дровъ нѣтъ... Гдѣ-же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пилѣ, сталъ онъ искать ихъ, нашелъ: лежатъ въ подлиповскомъ болотѣ мертвые — медвѣдемъ изгрызены... Заплакалъ Пила, заревѣлъ... Проснулся, на глазахъ слезы... Живы-ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: „а что, если померли?“... Пила не могъ придумать, что будетъ съ нимъ, если померутъ Апроська и Сысойко. Онъ только и придумалъ: „а пошто я-то не померу? Я-то на што живу“... Въ первый разъ въ жизни Пила почувствовала сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойкѣ и Апроськѣ всю дорогу мучила Пилу; всю дорогу онъ не находилъ покоя. Золъ сдѣлался Пила и боялся онъ пріѣхать въ деревню, точно въ ней ото медвѣдей засѣли...

Пріѣхавъ въ деревню, Пила прямо отправился къ Сысойкѣ. Дошелъ онъ побоялся придти. Въ избѣ было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шума... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — сказалъ Пила.

Пила не получилъ отвѣта. Хотѣлось ему удостовѣриться, залѣзши на полаты, да боялся Пила. Въ первый разъ въ жизни Пила побоялся покойниковъ. Однако Пила залѣзъ на пѣчку. Тамъ лежала мать Сысойки. Пила заглянулъ на полаты, никого нѣтъ. Полегче сдѣлалось Пилѣ: „Теперь Сысойко у меня... мать вѣрно померла“, — сказалъ онъ весело. Сталъ онъ шупать старуху: старуха холодная, не дышетъ, лицо зеленокрасное, глаза открыты, тау

строго смотреть... Пила отруслил старухи, соскочилъ съ полатей, плюнулъ на печку и убѣжалъ на улицу... „Ишшо загрызеть стерва“—ворчалъ Пила.

Въ свою избу Пила вошелъ весело. Какъ только онъ вошелъ, на него закричала Матрена:

— Што, дьяволъ!.. Всѣхъ насъ уморить штоли захотѣлъ?.. Вонъ Апроська-то померла!..

Пилу какъ обухомъ кто ударилъ по голови, онъ ротъ разинулъ и тупо смотрѣлъ на печку, гдѣ сидѣлъ Сысойко, блѣдный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околѣлъ-ты, чортъ!.. Другіе мрутъ, а ему и смерти нѣтъ!

Пилѣ горько сдѣлалось. Ударилъ онъ жену и полѣзъ на печку. На полатахъ лежала Апроська. Она была такая-же, какъ и двѣ недѣли тому назадъ, только не дышала. Пила не вѣрилъ, что она умерла; сталъ онъ ее толкать, она не шевелится... Вывылъ Пила, убѣжалъ на улицу, забрался въ стайку и долго тамъ плакалъ... Въ стайкѣ спали Павелъ и Иванъ. „Помру-ли я?“—спросилъ самъ себя Пила. „Уйду отсель! уйду!..“—закричалъ онъ и вышелъ изъ стайки. Пила хотѣлъ ѣхать, но ему жалко стало Сысойки, да и что дѣлать съ Апроськой? Везти надо ее, опять надо къ попу ѣхать...

Пила вошелъ въ свою избу. Матрена была на печкѣ. Сысойко дико смотрѣлъ на Апроську. Онъ не плакалъ, а видно было, что его страшно мучило горе. Онъ любилъ Апроську сильно, хотѣлъ съ ней всегда жить; вотъ умерли ребята его матери, умерла и мать... Зачѣмъ-же Апроська померла? Онъ-то зачѣмъ не померъ? Дикъ и злѣй сдѣлался Сысойко, теперь онъ не ходилъ на собаку, лишившуюся своего дѣтища, онъ готовъ былъ, Богъ знаетъ, что сдѣлать, только-бы Апроська была жива, готовъ былъ помереть, но не зналъ, какъ помереть...

Пила такъ-же мучился, какъ и Сысойко. Онъ сѣлъ съ Сысойкомъ на полати и долго смотрѣлъ на Апроську, потомъ вскричалъ: „Апроська!..“ Апроська не двигалась. Пила заревѣлъ, заплакалъ и Сысойко. Долго плакалъ Пила, да не помогъ слезами горю. Онъ опять вышелъ на улицу, сѣлъ на крылечко и сталъ думать... Сначала ничего онъ не придумалъ, все Апроська мучила его; потомъ ему опротивѣла своя изба, вся деревня. Пила вскочилъ, какъ бѣшеный, и сказалъ самъ себѣ: „Что я за чучело? Что мнѣ жить-то? пойду изъ Подлипной, наплюю на нѣхъ всѣхъ... Безъ Апроськи что за жизнь“... Онъ вошелъ въ избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдемъ бурлачить!

— Не пойду.—Сысойко еще не вѣрилъ тому, что Апроська умерла. „А можетъ она такъ“... думалъ онъ.

— Э, дура голова! Пойдемъ! бурлачество баская штука, богатство получимъ, а хлѣбушка ово! ужасті!..

Сысойкѣ не хотѣлось идти. Пила сталъ уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околѣвай, чортъ! Я одинъ пойду, ребята съ собой возьму.

Пила сталъ думать, что теперь дѣлать съ Апроськой. Матрена ругается за корову, говоритъ: вези.

онять, отдай лошадь.. „Ну ужъ, теперь съ меня онъ шипшъ возьметъ!“ Однако онъ все-таки рѣшилъ везти Апроську и мать Сысойки къ попу... „Кои просить чего станеть, я и къ набольшему его пойду.. Бастъ, у меня начальство есть“.

На другой день по прїѣздѣ въ Подлипную онъ принялся дѣлать гробъ съ Сысойкомъ, Иваномъ и Павломъ. На третій день они уложили въ гробъ мать Сысойки и Апроську въ такой одеждѣ, въ какой онѣ умерли. На обѣихъ нѣхъ были худенькіе подшубки, худые лапти; Сысойко надѣлъ на руки Апроськи свои рукавицы и положилъ ей на грудь ковригу хлѣба. Въ этотъ-же день Пила съ женой, дѣтми и Сысойкомъ, положивъ гробъ на Пилины дровни, отправились въ село. Гробъ былъ прикрытъ досками и обвязанъ веревкой. На немъ сидѣли Пила и Сысойко. На Сысойковыхъ дровняхъ, запряженныхъ въ Сысойкову лошадь, ѣхали Матрена, Павелъ, Иванъ и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривалъ Сысойку идти бурлачить. Сысойко ругался и наконецъ, понявъ, что въ деревнѣ ему тошно жить, согласился идти съ Пилой туда, гдѣ хлѣба много. Только какъ-же безъ Апроськи?

— Ужъ не веретишь. Жалко, а нешто дѣлать, — говорилъ Пила, вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... хѣй!..—вскричалъ со злостью Сысойко. Ему слишкомъ было обидно, что Апроська померла.

Священникъ удивился, когда увидалъ передъ своими доможъ подлиповцевъ.

Этотъ день былъ теплый, какихъ въ этомъ краю мало бываетъ зимой. Солнце грѣло, съ крышъ капало, вѣтру не было. Пила подумалъ, что лѣто скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то!—говорилъ Пила, весело указывая на солнце.—Лѣто тожю скоро... Ишь, какъ баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Онъ все думалъ объ Апроськѣ.

— А нешто она издекала?.. Нешто?—вскричалъ Сысойко.

— Нешто?—спросилъ и Пила, и ему тоже обидно сдѣлалось.

Вышелъ священникъ:—Ну, что, братцы?

— Што! Знамо што... сказалъ Пила съ сердцемъ. Онъ и Сысойко теперь ходили на звѣрей. Вокругъ нихъ собралось много крестьянъ, которыми Матрена и Павелъ толковали, какъ померла Апроська, и которые жалѣли и умершихъ, и Матрену.

— Кто опять умеръ?—спросилъ священникъ.

— Кто? Какъ-бы не ты, жива-бы Апроська-то была...—ворчалъ Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Отъ того и померла...

Крестьяне между тѣмъ съ участіемъ разспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Ступайте въ церковь, я сейчасъ буду.—Священникъ ушелъ къ становому, крестьяне по своимъ домамъ, а Пила и Сысойко побѣжали къ церкви. Церковь была отперта сторожемъ. Поставивши

гробъ среди церкви, Пила и Сысойко съ Павломъ и Иваномъ отправились на кладбище.

— Неужели тутъ все люди? — спросилъ Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, гдѣ отецъ-то твой лежитъ?

— Кто его знаетъ!

— А вонъ, на той сторонѣ, — туда и пойдешь копать; а вонъ тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снѣгъ, потомъ топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась съ часъ, до тѣхъ поръ, пока за ними не приближалъ сторожъ.

Въ церкви священникъ и дьячокъ начинали уже отпѣванье. Дьячокъ стоялъ около священника, на которомъ была надѣта ветхая риза. Въ рукахъ у священника было кадило. Въ церкви теплилась одна лампада и горѣли двѣ свѣчи. Гробъ былъ открытъ. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрѣли на Апроську. Они не молились, а думали; жалко имъ было и досадно, что Апроська умерла, что ее въ землю скоро заруютъ; а какъ да старуха-то съѣсть ее?...

— Надо-бы другой гробъ-то! — сказалъ Сысойко,

— Подио ужъ.

Пилу и прежде, и теперь одне занимало: зачѣмъ это священникъ какой-то шукой съ дымомъ таинъ баскимъ машетъ? Это занимало и дѣтей его, и Сысойку.

— Батшко, ты не хлеси Апроську-то, — сказалъ Пила.

Священникъ молчалъ

Право, брось! Ишшо вырвется...

Священникъ сталъ убѣждать Пилу, что онъ дѣлаетъ нехорошо, что это такъ закономъ установлено. Наконецъ священникъ кончилъ отпѣванье, посыпалъ трупъ землей и велѣлъ подлиповцамъ нести гробъ.

Съ полчаса Пила возился съ Сысойкомъ. Сысойко просилъ еще посмотреть на Апроську, а Пила хотѣлъ закрыть гробъ и увязать веревкой.

— Пила! а ошшо погляжу!

— Ишшо не наглядѣлся!

— Пила, а Апроськѣ носъ откушу!...

— А это вишь! — Пиланокзалъ Сысойкѣ кулакъ.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко распахнулся съ Пилой. Дьячокъ и сторожъ выпроводили подлиповцевъ изъ церкви и съ двумя крестьянами вытащили гробъ на улицу.

На кладбищѣ Пила увязалъ гробъ веревкой, покопалъ еще яму и съ Сысойкомъ и ребятами опустил гробъ въ яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну ужъ, развязывать не стану.

— Я завязу.

Пила толкнулъ Сысойку и сталъ засыпать гробъ землей. Засыпавъ землей и снѣгомъ яму, Пила и Сысойко воткнули въ курганъ два топора.

— На, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дѣти Пилы ушли къ матери за церковную огра-

ду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко съ полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрѣли на топоры; жалко имъ топорамъ-то, а можетъ Апроськѣ понадобятся они. Надо бы съ ней положить... „Вѣдь вотъ, Апроська-то жила, жила, а теперь лежитъ вотъ тутъ“... — говорилъ Пила и плакалъ.

— Какъ бы ее старуха не съѣла. Пошто-же это въ землю-то зарыли? — говорилъ Сысойко.

— Пошто! што съ ней, жертвой-то?

— А мы возьмемъ, уволокемъ!

— Ну-ко возьми! Ужъ теперь ихъ нѣтъ тутъ.

— Вре?!

— Пошъ баетъ, улетѣли!

— Ахъ, ватаракша! да мы зарыли-то, не пошъ?

— Ну, баетъ, какъ зароемъ — я тютю...

Вдругъ Сысойкѣ послышался стонъ изъ земли, онъ пустился бѣжать и, запнувшись о пень, упалъ.

— Экъ те бросило! — захотѣлъ Пила.

— Пишишь!.. Ай, пишишь! — кричалъ Сысойко.

Пила струсиль. — Кто пишишь? — крикнулъ онъ.

Пила услыхалъ изъ могилы стонъ и стукъ... Пилу корозонъ обдало, онъ не могъ двинуться съ мѣста.. Изъ могилы раздался еще глухой протяжный стонъ, похожій на визгъ. Пила побѣжалъ. Добѣжавъ до воротъ, онъ закричалъ: „Сысойко! бѣда!“ Сысойко лежалъ на своемъ мѣстѣ, боясь встать... Ему слышался еще стонъ. Пила тоже не шелъ къ Сысойкѣ. Оправившись отъ испуга, онъ сжалъ кулаки и сталъ ворчать: „пишишь ты у меня! Я те ужю... Экъ те взяло!.. Сысойка!“

Сысойко опять пустился бѣжать и, приближаясь къ Пилѣ, кричалъ: „ай бѣда! пишишь! все пишишь“...

— И теперь?

— Теперь... Сысойкѣ и теперь казалось, что пишишь. Пила уже не слыхалъ стона.

— Кто же пишишь-то!.. Витеръ? — спрашивалъ Пила.

— Апроська.

— Ужъ молчалъ-бы... Звасшь ты черну немочь.

— Апроська!

— Ну, нѣтъ, Апроська улетѣла... Вотъ такъ шука!..

Обоимъ ихъ любопытство брало, что это за штука такая? Идти развѣ послушать, да боялись они, ихъ трисло.

— Ужъ не Апроська-ли? — сказалъ вдругъ Пила.

— Я тѣ баялъ..

— Поди туда?

Сысойко побѣжалъ за ограду, Пила пошелъ за нимъ.

— Лѣшій! право... чортъ! подемъ, поглядимъ тамока, — уговаривалъ Сысойку Пила.

Сысойко не шелъ.

Пила и Сысойко сказали объ этомъ Матренѣ и ребятамъ, и тѣ испугались. Сказали они и крестьянамъ, тѣ сначала не повѣрили, потомъ пошли на кладбище, но такъ какъ тамъ ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предметъ любви Пилы и Сысойки, Апроська, была живая похоронена. Интересно было-бы знать,

что бы случилось съ ними тогда, когда-бы она пробудилась отъ летаргіи въ то время, какъ Пила ладилъ веревку обвязывать гробъ. Вѣроятно они разбѣжались-бы, а можетъ быть, и убили бы ее.

Послѣ зарытія Апроськи въ землю и послѣ слышаннаго Пилой и Сысойкомъ стона изъ могилы горе обоимъ усилилось. Они ходили какъ полуумные, взбѣшенныя, и какъ ни были глупы оба, но у обоихъ явилось въ ихъ мозгахъ сомнѣніе насчетъ смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську.

Наконецъ Пила и Сысойко увѣрились въ то, что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче. „Апроська умерла, убила. А я-то пошто живу!“ думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня,—сказалъ Сысойко.

— Э!.. ты заруби..

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить..

— Пойдемъ, Сысойко!.. Пойдемъ, — говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшнимъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество тамъ... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе!—Пила заплакалъ.

Сысойко изругался, въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь,—на все, чего онъ не понималъ..

— Пойди ты въ Подлипную... Ну, что тамъ? померъ.

— Пойдемъ, Пила, пойдемъ, братанъ... Эхъ, Пила!

Горе обоимъ велико было. Для обоихъ міръ этотъ казался тяжелымъ, невыносимымъ. У нихъ не было отрады. При всей бѣдности, безъ Апроськи они думали: какъ жить теперь?

— Пойдемъ вмѣстѣ!—сказалъ Сысойко. — Веди, а въ Подлипную шабашъ!

— Ужъ ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты—бѣда мнѣ..

— Мнѣ тоже!.

До утра оба они не спали. Когда они заснули, то имъ померещилась Апроська съ искусанными руками, и они слышали откуда-то стонъ. Они спали не долго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана въ городъ.

Когда была жива Апроська, Матренѣ было все равно, что есть у нея дочь; не будь дочери, Матренѣ было-бы тоже все равно: есть человекъ — ладно, а впрочемъ пожалуй и не надо бы: хлѣбъ лишній идетъ; только ровно веселѣе съ дѣвкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, какъ кормила и прочихъ дѣтей. Только въ этомъ и заключалась любовь матери къ дочери. Когда умерла Апроська, Матренѣ жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидитъ уже Апроськи, не будетъ говорить съ ней, и сама не знала, чего-бы такого попросить у Бога, а только со слезами говорила: „Апроська померла!.. Ахъ, пошто

ты померла!.. Пожила-бы ты ошпо чуточку, поглядѣла-бы ошпо на красно солнышко“.. Слова эти были заимствованы Матреной у другихъ женщинъ, плакавшихъ и причитавшихъ по усопшимъ, и все-таки они были искреннія, задушевныя; больше этихъ словъ Матрена ничего не придумала хорошаго. Матренѣ жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотѣлось ѣхать въ деревню. Безъ Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена объ этомъ при жизни Апроськи, представь себѣ то, что Апроська, какъ и всѣ, можетъ умереть, теперь бы ей не такъ жалко было Апроськи. Но Матрена никакъ объ этомъ не думала: она хотя и видѣла умершихъ женщинъ, но никакъ не могла представить себѣ того, что Апроська можетъ умереть; она не могла до снѣ поръ понять: что это такое дѣлается съ людьми, когда умираютъ, и затѣмъ ихъ зарываютъ въ землю? Матрена даже не вѣрила, что и она можетъ умереть, а если говорила о своей смерти, такъ: только такъ себѣ, зря, и то когда сердилась. Окажи ей кто нибудь: „и ты, Матрена, тоже померешь, и тебя въ землю заруютъ“, Матрена тому бы въ лицо плюнула и обругала бы.

Когда Пила сталъ звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итакъ, подлиповцы, Пила съ женой и дѣтьми и Сысойко, отправились бурлачить.

Подлиповцы пріѣхали въ городъ часу въ пятомъ вечера. Они остановились у содержателя постоялаго двора, Терентьича. Терентьичъ зналъ Пилу, который часто прислуживалъ ему, и потому пустилъ подлиповцевъ даромъ. Кромя подлиповскихъ лошадей, во дворѣ была только одна лошадь. Пила досталъ хозяйскаго сѣна, утащилъ изъ незапертой стойки овса и сталъ кормить лошадей. Подлиповцы отравились въ избу. Въ ней было до двадцати мужиковъ: перняковъ, черемисовъ и вотяковъ. Половина изъ нихъ лежали на печкѣ, на полатахъ и на лавкахъ, половина сидѣла за большимъ столомъ и хлебали что-то вредъ щей. Въ избѣ не было огня, хотя было очень темно.

— Богъ напомочь!—сказалъ Пила.

— Ладно. Ты откедова?—спросили его сидящіе за столомъ

— Подлипную знаешь?

— Кто те знаетъ? Вячкой или Чердынскій?

— Чердынскій

— Колдунъ, ребя!

Пила подумалъ: „сдѣлаю я съ вами штуку“.

— Эхъ насъ сколь! Бурлачить?

— Бурлачить.

— Э!

— А эта баба-то тоже?

— Тоже.

— Бабъ, бабъ, не берутъ.

— Ее возьмутъ... Она килы садить.

Сидѣвшіе за столомъ вытаращили глаза на Матрену.

— Вѣрите вы ему, ватаракшѣ... Онъ вонъ Апроську уморилъ!—ворчала Матрена.



— Слышь, бѣда!.. чурайся! наше мѣсто свято!.. шептались мужики.

Пилу манилъ запахъ щей, и онъ подошелъ къ столу.

— Экую ты гонзую-то взялъ! Смотри, обтре-скаешься! — сказалъ Пила одному мужику, опле-тавшему большой ломоть хлѣба

Мужикъ спряталъ кусокъ за пазуху. Четыре мужика вылезли изъ-за стола, за ними вышли и прочіе.

— Экой лѣшой, и нѣ-то не даетъ!

— Шарки его по башнѣ-то.

— Топоромъ его! — кричали мужики.

— Садись, Сысойко.

За столъ усьлились всѣ подлиповцы — Пила, Сы-сойко, Матрена съ Тюнькой, Павелъ и Иванъ.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно слышали, что всѣ Чердынскіе крестьяне кол-дунъ, а колдунъ, по ихъ понятіямъ, опасный че-ловѣкъ, да и не человѣкъ, а чортъ не чортъ, что-то особенное: и человѣкомъ ходитъ, и невидимкой дѣлается, съ нечистой силой знается, медвѣдемъ бѣгаетъ, сорокой летаетъ и проч., и проч... Не-спавшіе мужики стали смотрѣть на Пилу и Матре-ну, сидѣвшіе за столомъ и вышедшіе изъ-за него стояли у печки и у порога, дождавъ куски хлѣба, и молча смотрѣли на подлиповцевъ, ожидая како-го-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись дож-даться лежащій на столѣ хлѣбъ и налитыя въ большую чашку скоромныя щи.

— А ты напередъ заплати деньги, тогда и рас-поряжайся, — сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплатчу, — сказалъ Пила.

— Заплатишь ты! Сколько вѣдь, а все не пла-тишь.

— А ты погляди, кто у тебѣ чашкѣ-то сидитъ?

— Кто сидитъ? — спросила хозяйка.

— Дай суды, покажу!

Пила подошелъ къ хозяйкѣ.

— Что ты врешь?

— Ослѣпла! Гляди, мышь!

— Ахъ вы, поганъ экая!... сказала хозяйка. — Вы и хлѣбъ-то весь испоганите. — Она хотѣла взять хлѣбъ, но Пила сказалъ ей, что въ коврикѣ лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась къ печкѣ и стала смотрѣть на подлиповцевъ, какъ они охоба-чивали хлѣбъ. Щей ужъ не было. Мужики дивились.

— Ишь, Явуня, Ваня, што діется!

— Подешъ!

— Ты учишь, научить...

Такъ толковали мужики.

— А я ишшо не то сдѣлаю, — бахвалился Пила.

— Ой!

— Подешъ, ребя!

— Айда. — Стоявшіе мужики ушли.

Хозяйка вѣрила всѣмъ предрасудкамъ и страш-но боялась колдуновъ. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что онъ хитрилъ надъ мужика-ми и возилъ съ собой какія-то травы, которыя и ей давалъ. Увидѣвъ теперь, что его испугались му-

жики, она тоже струсила. Хотѣла скливать мужа-хозяина, но въ то же время ей хотѣлось выслу-жаться и Пилѣ.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебѣ штоли надо?

— Не мнѣ, а Терентыхѣ. Проходу мнѣ нѣтъ отъ нея; все говорить: ужъ какова ни будь, да буду я тебѣ!

— А много-ли дашь?

— Да денегъ-то нѣтъ...

— Кормить станешь?

— Ладно, только сдѣлай килу.

— Ужъ сдѣлаю!

Мужики съ печки полатей, и лежащіе на лавкахъ слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наѣлись подлиповцы. Цѣлую ковригу сѣли.

— Што, Сысойко, наѣлся?

— Баско! Оншо бы...

— Нѣту болѣ! — сказала хозяйка.

— Ну, теперь спать. — Пила полѣзъ на полати.

— Убью! не ходи... — закричалъ одинъ мужикъ.

— А ты гляди: кила у тебя на рожѣ-то! — ска-залъ Пила. — Мужикъ испугался и ушелъ съ пола-тей, за нимъ ушли и прочіе. Они улеглись на полъ, подлиповцы залѣзли на полати и расположились спать, не раздѣваясь, такъ же, какъ и прочіе му-жики.

— Учись, Сысойко! — всему научу, — хвастался Пила.

— Ты врешь все.

— Хошь килу?

— Нѣтъ.

— То-то... Ужъ я, братъ, што захочу, все сдѣлаю.

— А затѣмъ Апроська умерла?..

— Такъ ты колдунъ? — спросилъ одинъ мужикъ съ печи.

— Колдунъ.

— Гляже! У насъ тоже есть колдунъ; што за-хочетъ, такъ будетъ. Ваба есть такая, въ трубу вылетаетъ.

— А вотъ эта баба-то — бѣда! — сказалъ Пила про Матрену.

— Ой-ли?

— Вѣрь ты ему, варнаку! — отплынула Матрена.

— А ты молчи! — крикнулъ на нее Пила.

— Што молчать-то!..

Матрена знала, что Пила не колдунъ; а впро-чемъ, кто его знаетъ. Пила слишкомъ заврался.

— Ребя, бабы-то нѣтъ ужъ!

— Ой!

— Улетѣла! А ты молчи! — шепнулъ Пила Ма-трентѣ, которая лежала у стѣны.

Мужики струсили. — Какъ улетѣла? — спросили они, а заглянуть на полати боялись.

— Да она откедова?

— Кто ее знаетъ? Сѣла ко мнѣ на лошадь, вези, говорить...

— А ты-бы ее топоромъ, топоромъ, такъ-бы и хлесталъ.

— Билъ — не беретъ...

— Куды-же она улетѣла?

— А кто ее знать? Она вонъ къ ейной бабѣ улетѣла.

— Это къ Терентьевѣ? — спросила хозяйка, дрожащая отъ страха.

— Къ ей!

— Слава тѣ Господи!

— А ты зачурайся, — сказалъ хозяйкѣ одинъ мужикъ, лежащій на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатахъ было такъ тепло, что подлиповцы ни за-что бы не сошли и спали-бы долго, долго. Они уснули скоро. Во снѣ имъ мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: „Апроська! пишишь!“ Мужики, бывшіе въ избѣ, долго еще толковали насчетъ Пилы и рассказывали разные случаи объ колдунахъ, слышанные ими отъ людей.

— Недавно, — говорилъ одинъ: — у насъ, значитъ, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вотъ и появились колдунья, и заплѣла по курицамъ: съѣмъ, баесть... Бѣда! Такъ и бѣгать за бабами! Ну, и драго всё, а кто на печку залѣзъ, да кринки на голову и поскѣввалъ... Она, будь проклята, и давай кринки на полъ кидать, кою бросить, и разобьется... Ужаси!

Мужики крестились и охали.

— Это што, — говорилъ другой. — Вячки-телучше вашихъ Чердынскихъ. У насъ, братчи, колдунъ издохъ. Какъ ночь, и перевернетца и побѣжить, и побѣжитъ!.. Привезли его въ черковь, церковный пѣтухъ и давай отцѣпывать, а попъ и давай махальничей махать. Махаль, махаль долго, а колдунъ и давай зубами цапать... Пѣтухъ побѣгъ; а попъ и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдунъ и померъ.

— У васъ што въ Вяткѣ-то? У насъ лучше есть...

Лежавшіе на печкѣ не спалось. Одинъ изъ нихъ досталъ огня на лучину, всё четверо, лежавшіе на печкѣ, заглянули на полаты: тамъ всё подлиповцы храпѣть, и Пила тутъ, и Матрена тутъ.

— А баба-то прилетѣла!

— Хлобысни бабу-то!

— Ты хлобысни...

Пила въ это время проснулся, взглянулъ... Мужики испугались и слѣзли съ печки... Пила влѣзъ на печку и уснулъ на ней одинъ. Онъ спалъ лучше всѣхъ.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотѣлось имъ еще поспать, да хозяинъ сказалъ, что у нихъ одной лошади нѣтъ. Пила и Сысойко соскочили, одинъ съ печки, другой съ полатей, вышли во дворъ; дѣйствительно, не было лошади Пилы съ дровнями и двумя топорами.

Пила выругалъ хозяина, говоря: ты укралъ мою лошадь. Хозяинъ тоже выругалъ Пилу, говоря, что лошадь укралъ не онъ, а навѣрное мужики, ушедшіе изъ избы вечеромъ. Пила пошелъ съ Сысойкомъ по городу отыскивать свою лошадь. Но городъ не Подлиповая; въ городѣ скорѣ заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошелъ въ сосѣдній съ постоялымъ дворомъ дворъ, тамъ кучеръ выругалъ его и погрозила отправить въ полицію: въ третью онъ натолкнулся на какого-то барина, баринъ прикрикнулъ на него... Пила постоялъ на улицѣ, подумалъ,

куда идти искать? „Пропала лошадь, не найдешь. Вотъ если-бы я колдунъ былъ, ужъ не украли-бы лошадь“, — ворчалъ Пила. Горе его велико было, лошадь — товарищъ крестьянина. Куда онъ теперь дѣнется безъ лошади, пожалуй, и бурлачить нельзя. „Оказія! Ахъ, воры!.. И смерти-то на васъ нѣтъ...“ Изругался Пила сильно; долго ругался, ругалъ и Матрену, и Сысойку, и мужиковъ, и Апроську выругалъ, а лошади не отыскалъ.

По дорогѣ шли вчерашніе мужики.

— Вонъ онъ, колдунъ-то! — сказали нѣсколько мужиковъ.

Пила выругалъ ихъ.

— Ишь онъ, чортъ-то! Видно мяконькихъ наклики.

Пила опять выругалъ ихъ.

— Лошадь украли! — крикнулъ онъ.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиковъ, какъ медвѣдь: одного сшибъ съ ногъ, другого повалилъ на снѣгъ, третьему носъ разбилъ... Мужики разбѣжались отъ него.

— Снѣжно, лѣшіе?.. Лошадь украли, дьяволы!.. — ругалъ Пила.

Пошелъ онъ опять на постоянный дворъ. Тамъ было шесть мужиковъ. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки... Тебѣ нашто лошадь-то? Въ бурлаки съ лошадьми не берутъ, — неужно. А ты вотъ продай эту. — Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь. — Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди, издохнетъ. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай, — ворчитъ Пила

— Были онѣ, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, пристаешь: продай да продай!

— А посмотри — завтра и этой не будетъ.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, что лошадь не надо? — спросилъ Пила, понявъ, что имъ нечѣмъ будетъ кормить лошадь.

— Што врать-то, дѣло говорю. Рубля три да-

дутъ...

— Экой прыткой... Пять давай!

Пила больше пяти рублѣе не зналъ счету: для него пять рублѣй уже богатство было.

— Не продамъ! — сказалъ Сысойко.

— А оно гоже, Сысойко, толкуютъ! — Лошадь-то того и гляди издохнетъ; ужъ моя ходила чуть-чуть, а эта ишь какая пугалца, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко рѣшили продать лошадь и тутъ же продали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поѣхали съ крестьяниномъ въ питейную лавочку. У питейной лавочки стояло съ пятнадцать мужиковъ.

— Эй ты, лѣшой! Гдѣ баба-то? — спросилъ Пилу мужикъ, спавшій въ постоялой избѣ.

— Што баба?... Вотъ лошадь украли.

— А я, баесть, колдунъ.

— Поговори ты у меня, шароглазый песъ!

Мужики осмѣяли Пилу. Пила обругалъ ихъ.

Въ питейной лавочкѣ пили водку три мужика. Крестьянинъ, купившій Сысойкину лошадь, поставилъ полштофа водки и сталъ подбивать подли-

повцѣвъ. Сысойко никогда не пивалъ еще водки, — со стакана его разобрало. Въ лавочку вошло еще человѣкъ шесть. Попойка продолжалась съ часъ; Пила, захмѣливъ, пропиалъ еще рубль. Мужики стали пѣть и плясать и кричали до ночи, когда ихъ вытолкали на улицу. Мужики орали пѣсни или разсуждали о бурлачествѣ.

— Баско бурлачить! — замѣтилъ Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался впередъ и назадъ, направо и налево.

— Баско, — отвѣтилъ одинъ мужикъ.

— А што дѣлать-то? — спросилъ Пила.

— Плыть Рѣки эво какія! Большущія, пре-большущія.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будетъ Соликамско городъ, потомъ Усолье городъ, Дедухино...

— Вре!

— Пра. Тамъ Чусова рѣка, Кама-матушка.. Вотъ дакъ рѣка! А тамъ, бають, Волга, супротивъ той Кама што! А идеть она съ тово свѣту, и конца ей нѣту.

— На ней, бають, атаманъ Ермакъ. — силища у него у! какая была! — онъ, бають, города бралъ; никто ему не смогъ перечить...

— А тамъ люди-то есть-же? — спросилъ Пила.

— Есть, да ные, бають.

— Вотъ, Сысойко, куда мы пойдѣмъ! Ты мнѣ должень спасибо сказывать, каракуля ты экая... — говорилъ Пила.

Пила и Сысойко отстали отъ мужиковъ, шли кое-какъ; Пила хвалился тѣмъ, что онъ сила и колдунъ, Сысойко почти спалъ и только нукалъ да звалъ. Шагъ за шагомъ ноги обонимъ измѣняли, и они, разсудивъ, что лучше тутъ уснуть, улеглись среди дороги и, въ первый разъ въ жизни забывъ о житейскихъ дрязгахъ, о своемъ горѣ, уснули въ обнимку. Зато утромъ они проснулись въ мѣстѣ грязномъ, мѣстѣ прохладномъ и душномъ, среди незнакомыхъ лицъ, мужиковъ и какихъ-то, „кто ихъ знаетъ какихъ“ людей...

Влагодѣтельная полиція сжалилась надъ подлиповцами, спавшими среди улицы на дорогѣ, и стащила ихъ въ чижовку.

Пила и Сысойко никакъ не могли понять, гдѣ они и что это за люди такіе. Помнить они, что были въ кабацѣ, а какъ сюда забрались? Они даже струсили: ужъ не на тотъ-ли свѣтъ они забрались, ужъ не бурлачество-ли это? Пошелъ Пила къ дверямъ, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такіе слова, что Пилѣ смѣшно стало. Спросилъ онъ ихъ: — а што, бурлачество это? Тѣ осмѣяли его. Пила ихъ выругалъ и улегся опять на полъ около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то все какіе-то востроглазые. Пила и Сысойко уснули. Однако имъ не позволили долго нѣжиться. Пришелъ въ чижовку квартальный съ казаками и растолкалъ ихъ ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такіе? — крикнулъ на нихъ квартальный. — Пила струсиль.

— Мы-те? — спросилъ онъ.

— Да что ты, скотина, не отвѣчаешь?

— А ты знаешь Подлинную?

— Что?

— А ты не кричи! Экъ испугались!... — сказала Пила и пошелъ къ дверямъ. Квартальный ударилъ Пилу по лицу, Пила сталъ ругаться и полъзъ въ драку...

— Въ острогъ его, каналья! Въ кандалы заковать! — свирѣпѣлъ квартальный.

— Экъ испугались! Туды тоже и съ лапшицами дѣзеть!... Я, батъ, восемь медвѣдѣвъ убилъ.

Долго возились съ Пилой и Сысойкомъ солдаты: хочется солдатамъ кандалы надѣть на ноги подлиповцевъ, а они ругаются; одному солдату такую затрещину далъ Пила, что тотъ и свѣту божьяго не взвидѣлъ. Солдаты связали имъ руки, но и тутъ Сысойко укусилъ одному солдату руку. Подлиповцевъ вытолкали изъ полиціи и два дюжихъ солдата повели ихъ въ острогъ.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантовъ, не знали, что за острогъ, не понимали, что такое дѣлается съ ними. Впрочемъ, они струсили. Ужъ не на смерть ли ихъ ведутъ? Пила боялся солдатъ.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы? спросилъ Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, въ острогъ.

— А это што?

— Не бывалъ коли, — увидишь. Заверовали сволочи!

— Поругайся ты, востроглазый!

— Видно плута.

— Право, не ругайся, всего изобью! — Пила рванулъ было руки, крѣпко связаны назадъ. Пила чувствовалъ, что онъ ровно безъ рукъ сдѣлался. Онъ пошелъ въ сторону, за нимъ пошелъ и Сысойко.

— Куда! куда! — закричали солдаты.

Пила и Сысойко пустились бѣжать. Солдаты ихъ догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругали другъ друга.

— Баялъ я тѣ, не пойду! — ворчалъ Сысойко.

— Молчи, пучеглазый! не ты бы, такъ не пошелъ бы я.

— А ошшо баеть: я колдунъ! — Сысойко выругалъ Пилу. Пила плюнулъ въ лицо Сысойкѣ. Сысойко тоже плюнулъ въ лицо Пилѣ.

— Смирно вы, дьяволы! — закричалъ на нихъ одинъ солдатъ.

Пила и въ солдата плюнулъ... Солдатъ опять избилъ Пилу. Кое-какъ солдаты довели подлиповцевъ до острога и сдали офицеру Смотрителю. Втолкнулъ ихъ въ большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, съ удушливымъ запахомъ махорки. Руки имъ развязали.

— Ишь чортъ, куда попали! — ворчалъ Сысойко

— Молчи, собака, звѣрь ты эндовой, мохнорылый пѣсь!..

— Издохнешь, пиголиця!

— Тѣфу... мохнорылый пѣсь! — Пила плюнулъ въ лицо Сысойки, тотъ тоже плюнулъ. Завязалась

драка. Их оглушили хохотомъ тридцать человѣкъ арестантовъ съ кандалами, лежащихъ на нарахъ и подъ нарами. Двадцать арестантовъ окружили подлиповцевъ и розняли ихъ.

— Я восемь медвѣдѣвъ убилъ, а ты што? — ругался Пила.

— Самъ я одново убилъ... Экой пряткой!

— Ай да молодцы! Ну-ко ишшо? — кричали арестанты.

— Што ишшо? Подойди, песъ! — кричалъ Пила одному арестанту.

— Ты много ли душъ-то сгубилъ?

— За убійство знамо попался!

Пила схватилъ попавшійся подъ руки ушатъ и поднималъ его въ порывѣ ярости; его облило тѣмъ-то нонючимъ. Всѣ хохотали, даже Сысойко сѣялся. Пила бросился на арестантовъ, Сысойко тоже бросился, но арестанты избili ихъ.

— Не хочу я знаться съ вами! — сказалъ Пила. — Айда, Сысойко.

Пила пошелъ къ двери; двери были заперты. Пила сталъ стучать въ двери и слышалъ: „что стучишь, сволочь? Сиди!“

— Я тѣ дамъ, сиди! — Пила и Сысойко, что есть мочи, стучали въ двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храберъ! — кричали арестанты.

— Ты, Сысойко, за меня держись... Какъ оторуть, мы и выскочимъ. а то съѣдать здѣсь. Ишь, какія рожи-то. . Сысойко взялъ въ обѣ руки полы полушубка Пилы. Загремѣлъ замокъ, двери открылись, Пила и Сысойко выскочили. Но ихъ поймали. Смотритель ихъ жестоко отпоролъ розгами и втокнулъ въ какую-то темную канурку. Пилѣ и Сысойкѣ такъ обидно сдѣлалось отъ боли и отъ всего, что было съ ними, что каждый изъ нихъ хотѣлъ что-нибудь сдѣлать этимъ злымъ людямъ. Оба они лежали виѣстъ на животахъ; руки были завязаны на спинѣ. Они не могли даже повернуться: такъ ихъ избili и истерзали!..

— Сысойко!... стоналъ Пила.

— Пила! — Охъ, больно!..

— Ну, теперь помремъ...

Пила началъ ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

На другой день подлиповцевъ повели въ полицію. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая отъ боли. Лица ихъ избиты; отъ ранъ на нихъ запеклась кровь.

— Экъ, тебя избili! — сказалъ жалобно Пила Сысойкѣ.

— И тебя, батъ, тоже: глаза-тѣ у тебя эво какіе! а носъ-то — бѣда!... стоналъ Сысойко.

Не смотря на боль, обоихъ забавляли ружья солдатскія.

— Што же это торцытъ, Сысойко? Вострое — ножъ не ножъ?..

— А ты спроси!

— Нѣтъ, ты спроси.

— Боясь, избыють; ошшо пырнетъ вострое-тъ-то...

Пила не утерпѣлъ, спросилъ таки солдата: — А это, поштенный, что у тѣ?

— Што што?

— А на ружьѣ-то торцытъ?

— Это ружье, а то штыкъ.

— Эво, не знаю што-ли ружья-то! Медвѣдѣвъ вонъ лохомъ билъ, а рябковъ ружьемъ стрѣлялъ, знаю.

Солдаты хохотали: — Будеть вамъ жару и пару!

— Ошшо?

— И какъ еще вздеруть-то!

— А пошто?

— А за-то, не ходи пузато. Не дѣлай убійства. Пила и Сысойко молчали.

Въ полиціи были городничій и судебный слѣдователь.

Въ присутствіе ввели Пилу одного.

Судебному слѣдователю жалко стало Пилу при видѣ его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важныхъ преступника, которые бѣжали отъ стражи и были пойманы. Обстоятельство дѣла началось съ донесенія квартальнаго, который писалъ, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улицѣ, были приведены въ полицію и тамъ произвели буйство.

— Кто ты такой? — спросилъ судебный слѣдователь Пилу.

Пила повалился въ ноги судебному слѣдователю.

— Не губи, батшко! Вонъ корову увели, лошадей украли... Апроська померла... Всего избili... Смерть тожно скоро ..

Городничій улыбнулся. — Притворяется, каналья!

— Встань! — сказалъ слѣдователь. Когда Пила всталъ, слѣдователь велѣлъ развязать Пилѣ руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынскій.

— Крестьянинъ?

— Хресынинъ.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, общество Чудиново.

— Чѣмъ занимаешься?

— А што дѣлать-то?.. Хлѣбушка нѣтъ, кору ѣдимъ... Вонъ Сысойковы ребята померли, корову за нихъ увели... А тамъ Апроська померла, Сысойкова мать померла, я и пошелъ бурлачить... Вонъ Матренка съ ребятами у Терентьича на постояломъ живеть... Пусти, батшко, бурлачить-то!.. Ослободи!

— А какъ зовуть тебя?

— Зовутъ меня Пила.

— Имя и отчество?

— Тутъ все: Пила родился, Пилой помру... Зовутъ еще Гаврилкомъ, да это только дразнятся, а Пила настоящее; всѣ такъ зовутъ: и понѣ, и Терентьичъ адѣшній.

— Зачѣмъ ты драться лѣзь?

— Гдѣ-ка?

— А какъ тебя пьянаго сюда привели и какъ потомъ квартальный сталъ тебя спрашивать.

— Кто его знаетъ, кто онъ. Я съ Сысойкомъ ле-

жалъ, а онъ съ архаровцами пришелъ и давай пинать меня, потомъ и хлестнулъ... А я, батъ, самъ восемь медвѣдѣвъ убилъ, никому не спущу... Больно прытокъ!. Ишшо не то ему сдѣлаю... Ишшо вотъ желѣзки, собака, надѣлъ...

— Ты не ругайся, а говори дѣло.

— Ужъ какъ умѣю... А ужъ не спущу... Вонъ архаровцы всего избили, а тамъ еще хлестать стали... Бѣда!..— Пила плакалъ.

— Онъ, кажется, невиновать!—сказалъ слѣдователь городничему..

— Притворяется, собака.

Позвали квартальнаго. Какъ только вошелъ квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вотъ онъ, ватаракша! Ну-ка, подойди ко мнѣ! Подойди!

— Молчать! — сказалъ городничій. Пила присмирѣлъ.

— Вы его привели въ полицію ночью?—спросилъ слѣдователь квартальнаго.

— Казаки.

— Онъ говоритъ, вы его били

— Ахъ, онъ каналья! Онъ спалъ пьяный, я сталъ будить его и другого, они ругаются. Сталъ спрашивать, кто они такіе, этотъ разбойникъ и полтъъ на меня. Я и велѣлъ заковать въ кандалы и отвести въ острогъ.

— Зачѣмъ?

— Да помилуйте, онъ всѣхъ перерѣжетъ!

— Ахъ, ты востроглазый чортъ!.. Я тѣ дамъ!!! Ты меня бить-то сталъ, а ужъ тебѣ гдѣ со мной орудовать. На тебѣ и надѣто-то што! . Пиголица, право!

— Онъ вотъ и теперь ругается. Да онъ, можетъ быть, бѣдный какой нибудь.

— Есть у тебя паспортъ?—спросилъ слѣдователь Пилу.

Пила не понималъ — Это какъ?

— Получалъ ты когда нибудь паспортъ изъ волостного правленія?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми напередъ.

— Знаешь ты, что такое паспортъ?

— А пошто?

— Тебѣ не давали никакой бумаги?

— Нѣту!

Слѣдователь показалъ Пилѣ лежащій на столѣ паспортъ.

— Васко! — ослабилъ Пила. — А ты дай мнѣ!

— Пилѣ понравился кружокъ съ орломъ на паспортѣ:—А это какая птица-то?

— Есть у тебя квитанція въ платежѣ податей?

Пила не понималъ этихъ словъ:—Это опять какъ?—спросилъ онъ

— Платилъ ты подати?

— Самъ бы взялъ ошпо, да не дадутъ, вонъ Христа ради пособираешь да купишь хлѣбушка. Экъ ты!..

Пила сдѣлался развязиѣе. Слѣдователь понравился ему.

— Вотъ што, почтенный, дай мнѣ хлѣбушка, Христа ради!.. Вотъ у меня Сысойко того и гляди помреть; а Матрена съ ребятишками померла ужъ поди.

— На что-же ты пьянствовалъ?

— А я лошадъ Сысойкову продалъ хресъянину; хресъянинъ и повелъ насъ, меня да Сысойка, въ кабакъ; хресъяна чужіе пришли, ну, и пили... За лошадъ два рубля получилъ, а какъ хватился въ томъ мѣстѣ, гдѣ меня впервые избили, и тю-тю денегъ...

Слѣдователь былъ человѣкъ молодой и понималъ дѣло. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебѣ лѣтъ?—спросилъ онъ Пилу.

— Да вотъ поди лѣто скоро будетъ... Лѣтомъ-то баско...

— Неужели ты не знаешь себѣ лѣтъ?

— Прокурать ты, какъ я погляжу! Померъ-бы я, да не могу... Вчера вотъ думалъ, совѣмъ помру, а нѣтъ... Вонъ Апроська сперва померла... Ахъ, дѣвка, дѣвка!..

Пила вспомнилъ, какъ онъ видѣлъ ее въ могилѣ.

— Кто она тебѣ?

— Дѣвка. Матрена родила.

Слѣдователю не разъ приходилось имѣть дѣло съ подобными крестьянами. По своей глупости они ни за-что, ни про-что попадали въ бѣду. Назадъ тому годъ до него подобныхъ крестьянъ обвиняли въ разныхъ разностяхъ, приговаривали къ каторгѣ, и они, терпя наказанія и разные муки, шли въ далекія страны, сами не зная, что съ ними дѣлается, и гибли, какъ гибнутъ измученныя животныя. Прежнимъ слѣдователямъ никакого не было дѣла до участи этихъ бѣдныхъ крестьянъ, имъ только нужно было скорѣе сдать дѣло въ судъ, который рѣшалъ по тѣмъ даннымъ, какія были въ дѣлѣ. Счастье Пилы, что его сталъ спрашивать не становой и не городничій, а такой слѣдователь, какиихъ у насъ еще очень немного

— Если ты окажешься правъ, мы отпустимъ тебя,—сказалъ Пилѣ слѣдователь.

Пила повалился въ ноги слѣдователю...

— Батшко! пусти скорѣе!.. Куды я безъ Сысойки дѣнусь, и его пусти, вѣдь вонъ тамъ парни ошпо.

Пилу вывели въ прихожую. Позвали Сысойка. Сысойко оказался еще глупѣе Пилы, говорилъ то же, чтѣ и Пила. Онъ даже не зналъ своего настоящаго имени, а говорилъ: «я Сысойко,—я все тутъ».

Позвали Матрену и ребятъ Пилы. Тѣ рассказали все, чтѣ умѣли и знали, а Матрена выла объ Апроськѣ. Хозяинъ постоялаго двора сказалъ, что онъ знаетъ Пилу нѣсколько лѣтъ, что онъ вреда не дѣлаетъ, а больно бѣденъ. Спросилъ слѣдователь и арестованныхъ при полиціи, тѣ показали, что квартальный въ тотъ день былъ нѣтъ. Пилу и Сысойка расковали и оставили при полиціи подъ арестомъ до тѣхъ поръ, пока не получатъ донесенія отъ станового пристава, завѣдующаго Чудиновской волостью, о томъ, есть-ли тамъ Пила и Сысойко, и какія настоящія ихъ имена.

Въ полиціи Пила и Сысойко жили съ мѣсяцъ. Жили они въ небольшой комнатѣ, называемой чижовкой, грязной, съ тремя лавками, двумя небольшими окнами съ рѣшотками и съ разбитыми стеклами въ

рамахъ, заклеенными въ нѣсколькихъ мѣстахъ бумагою. Клопоть, блохъ и вшей въ ней находилось безчисленное множество, и эти насѣкомыя то и дѣло, что насыщались кровью своихъ жертвъ — нѣсколько человѣкъ, постоянно находящихся въ чижовкѣ. Иногда въ чижовкѣ было человѣкъ 10, иногда и 5. Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицахъ полиціею, люди, нанесшіе обиды разнымъ подобнымъ-же имъ людямъ, не платящіе долговъ, уличенные въ воровствѣ и разныхъ преступленіяхъ, которые сидѣли тутъ по недѣлямъ, а потомъ или препровождались въ острогъ, или выпускались.

Пилѣ и Сысойкѣ весело было съ этими людьми; но они все-таки имъ не нравились. Они поняли, что чижовка такое мѣсто, куда садятъ только „негожихъ людей, да и люди эти все ругаются, да говорятъ такія слова, что ужаси“. Первую недѣлю Пила привыкалъ къ этой празднои жизни и удивлялся, какой это добрый человѣкъ носить имъ хлѣбъ, хоть и не свѣжій, а все-же настоящій, и воду носить. Но когда онъ узналъ отъ солдатъ, что онъ подѣ судомъ, и хлѣбъ дается ему казенный или царскій, и когда товарищи его надоѣли ему, онъ не залюбилъ эту чижовку и всѣхъ людей, которые въ ней жили, и постоянно ругался съ ними. Первымъ дѣломъ его храбрости въ чижовкѣ было то, что онъ согналъ съ одной лавки двухъ женщинъ и расположился съ Сысойкомъ на мѣсто ихъ. Это было на второй недѣлѣ ихъ заключенія. Всѣ они спали на полу въ своей одеждѣ, на своихъ кулакахъ, такъ какъ постлать и положить подголову нечего было, но привыкнувъ спать на полатяхъ и понявъ, что спать на лавкѣ лучше, чѣмъ на полу, гдѣ постоянно ходятъ и наступаютъ на нихъ, Пила, во что-бы то ни стало, задумалъ отнять одну лавку. Какъ онъ ни приступалъ, его не пускали на лавки и даже гнали, когда онъ садился. Но вотъ одна лавка опросталась: лежавшіе на ней арестованные были выпущены, и на ихъ мѣсто расположились двѣ молодыя женщины, обвинявшіяся въ воровствѣ. Пила узналъ, кто эти женщины, и не залюбилъ ихъ. Когда на другой день потребовали ихъ къ допросу, Пила и Сысойко тотчасъ заняли ихъ мѣсто. Замѣтивши это, другіе арестованные, перебивающіеся такъ-же, какъ и подлиповцы, обидѣлись.

— Вы, сволочи, зачѣмъ легли?

— А што?

— Тутъ занято, почище васъ есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, батъ, раньше тебя живемъ.

Какъ ихъ ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались и съ мѣста не шли.

Пришли женщины, и увидѣвъ, что имъ, кромѣ пола, лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойку. Тѣ притворились спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударилъ одну изъ нихъ такъ, что та упала на полъ.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко подойди ошно? Подойди!..

— Ты наше мѣсто занялъ.

— Я тѣ дамъ „занялъ“! Прытка больно!..

Въ чижовкѣ всѣ хохотали.

— Да пустите, черти!—просили женщины.

Пила легъ лицомъ къ стѣнѣ и ворчитъ: — Я те пушшу, ватаракшу. Ты то пойми: за что мы-то сидимъ?—Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хорошій!—говорила одна.

— Я тѣ „хорошій“... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу. Пила опять ударилъ ее.

— Сказано, не тронь! и все тутъ! А съ тобой ужъ не лягу, у меня вонъ Апроська была, а ты—чужая...

Подлиповцы каждый день топили печки въ полиціи и у городничаго: случалось, проводили по цѣлому дню въ кухнѣ городничаго, что-нибудь работая. Дни эти были блаженные для нихъ: они были нѣсколько свободны, ихъ кормили щами, жаренымъ и даже кашей. Самъ городничій понималъ положеніе Пилы, тѣмъ болѣе, что жена его, Матрена, просила городничаго пустить ее въ чижовку жить съ ребятами. Они теперь жили у одной нищей за 15 коп. въ мѣсяцъ и собирали Христа ради. Однако городничій не позволилъ Матренѣ жить въ каталажкѣ, а погрозилъ отправить въ Подлинную.

Казаковъ и солдатъ подлиповцы не любили, но боялись ихъ; тѣ, зная о подлиповцахъ, обращались съ ними добрѣе, чѣмъ съ прочими арестованными, и часто шутили. По мнѣнію солдатъ и казаковъ, подлиповцы были очень глупы и дики; раздражить ихъ ничего не стоило; осердившись, подлиповцы лѣзли драться на того, кто сердилъ; но не всѣ изъ солдатъ были такіе: одинъ изъ нихъ часто отговаривалъ подлиповцевъ отъ ругани и драки. Отъ этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому какъ говорить, кому кланяться, кому нѣтъ. Подлиповцы узнали также, что ихъ становой и сельскій попъ еще не большія лица, а въ городѣ есть выше ихъ: исправникъ, городничій, судья, а надъ попомъ—благочинный, и что надъ этими лицами еще есть старше, они живутъ въ губернскомъ городѣ, и надъ тѣми тоже есть старшіе... Подлиповцы только дивились этому и плохо вѣрили. Говорили имъ также, что этотъ городъ не одинъ и земля велика; подлиповцы только смѣялись.

Впродолженіе мѣсяца подлиповцы узнали больше, чѣмъ живши до этого времени; напримѣръ, они узнали, что есть мѣста лучше и хуже Подлинной, есть люди богатые и такіе, которыхъ ни за что обижать и дѣлать съ ними не силой, а чѣмъ-то инымъ все, что только захотятъ, какъ это было и съ ними: въ Подлинной они боялись только попа и станового, а здѣсь многіе ихъ обидѣли, избili и отодрали, и теперь никуда не пускаютъ. Узнали, что такое паспорта; узнали также, что такъ жить, какъ жили они, нельзя, а нужно идти въ другое мѣсто. Пилѣ и Сысойкѣ опротивѣла не только деревня, село, но даже и городъ, и они задумали, какъ выпустить ихъ, тотчасъ же идти бурлачить и вести себя скромнѣе.

Наконецъ, Пилу и Сысойку выпустили изъ полиціи.

— Куда теперь?—спросилъ Сысойку Пилу.

— Знаю, бурлачить.

- Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмемъ?
- Возьмемъ.
- И Матрену?
- А не то какъ? Ну, и времячко! и городокъ!..

Сколько бѣдъ-то!

— Одно къ одному и идетъ. Апроськи нѣтъ, пишущія, поди, стерво. Лошади тютю...

— А тамъ, бають, лучше.

— Опять бы бѣды не было?

Насобиравъ на дорогу хлѣба, купивъ на собранные деньги два мѣшка и по двѣ пары лаптей, подлиповцы съ Матреной и дѣтми ея отправились бурлачить. Къ нимъ пристали еще четыре крестьянина Чердынского уѣзда, отправляющіеся бурлачить въ третій разъ.]

Подлиповцы и прочіе крестьяне очень бѣдно одѣты. но послѣдніе, по одеждѣ, все-таки нѣсколько богаче первыхъ. На нихъ надѣты овчинные полушубки, во многихъ мѣстахъ изодранные, зашитые сѣрыми нитками или дратвой, съ заплатами кожи, холста и синей нанки; подъ полушубкомъ видится поддевка изъ толстой сермяги, также вѣроятно съ заплатами; на головахъ большія шапки изъ бараньей шкуры, тоже съ заплатами; на ногахъ новые лапти; мочальными бичевочками обвязаны сѣрые съ синими изъ нанки заплатами штаны, по колѣни не закрытые ничѣмъ; на рукахъ—или небольшие кожаные рукавицы, тоже съ заплатами, но онѣ не одиѣ надѣты на руки: подъ ними есть варежки, когда-то связанные изъ шерсти, а теперь обшитыя холстомъ, или большія собачьи рукавицы, т. е. сшитыя изъ бѣлыхъ собачьихъ шкуръ съ шерстью. Но Пила и Сысойко одѣты еще хуже; на нихъ полушубки изъ овечьей и телячьей шкуръ, чуть-чуть прикрывающіе колѣни. Полушубки эти распластаны во многихъ мѣстахъ, дыры ничѣмъ не зашиты, сквозь нихъ видятся сѣрые изгребные рубахи и грудь, такъ какъ у горла нѣтъ ни пуговицъ, ни крючковъ, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. Отъ полушубковъ болтаются о колѣни клочки кожи. Шапки у нихъ изъ телячьихъ шкуръ тоже съ дырами, ничѣмъ не зашитыми; синіе штаны, обвязанные по колѣни веревками отъ худыхъ лаптей, тоже съ дырами, и сквозь дыры видно тѣло; лапти худые, изъ носковъ выглядываютъ онучи; рукавицъ не было ни у Пилы, ни у Сысойки: ихъ украли въ полиціи. Матрена была одѣта въ такой же полушубокъ, какъ и подлиповцы, и такіе же лапти, съ тою разницею, что колѣни ея прикрывала синяя изгребная рубаха, а голову худенькій платокъ, подаренный ей въ городѣ. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ея сидѣлъ трехгодовалый Тюнька. На рукахъ Матрены были варежки, такіе же, какъ и у крестьянъ, шедшихъ съ ними. На Павлѣ и Иванѣ не было вовсе шерсти, а сверхъ худыхъ рубахъ надѣты сѣрые поддевки, ноги и колѣна прикрывали тряпки, завязанные бичевками отъ худыхъ лаптей; на рукахъ большія кожаные рукавицы съ дырами; на головахъ шапки изъ крѣпкого войлока. У каждого изъ нашихъ путешественниковъ болтается на спинѣ по котомкѣ съ

хлѣбомъ, по парѣ или по двѣ пары лаптей; у Пилы, кромѣ этого, болтается еще вмѣстѣ съ лаптами худой сапогъ, найденный имъ въ городѣ гдѣ-то среди дороги, вѣроятно брошенный по негодности. Для чего взялъ Пила этотъ сапогъ, онъ и самъ не зналъ, а поправилось. „Баская штука-то! уже продамъ!“ говорилъ онъ, и дѣйствительно продавалъ въ городѣ этотъ сапогъ, только никто его не взялъ.

Идутъ наши подлиповцы по большой дорогѣ, ухабистой и частью занесенной снѣгомъ; идутъ по сугробамъ и ругаются. Морозъ какъ на зло щиплетъ имъ и щеки, и колѣни, и пальцы ногъ и рукъ, и уши; хорошо еще, что по обѣимъ сторонамъ дѣсь густой и высокій. Подлиповцы привыкли къ холоду и ихъ только злать пробѣжкіе въ повозкахъ и съ дровами: нужно сворачивать въ сторону; а какъ своротилъ, такъ и увязъ въ снѣгу по колѣни, а гдѣ и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они въ первый разъ въ жизни шли куда-то далеко; прежде они ѣздили на лошади, и хоть холодно имъ было, но все же не вязли въ снѣгу. Зачѣмъ это тятка и Сысойко коней продали? разсуждали они. Ъхали бы мы, ѡхали баско; а то идн, или, конца нѣтъ... Они шли два часа и имъ показалось это долго, они устали; имъ щипало пальцы ногъ и рукъ, носы забѣлѣлись, уши тоже.

— Тятка, помру!—кричалъ Павелъ.

— Тятка, не поиду!—кричалъ Иванъ.

— Я вамъ дамъ!—сказалъ Пила и обернулся назадъ. Жалко ему стало ребятъ.

— Што щиплетъ?

— Аяя!

— Три носъ-то, да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те!—кричалъ одинъ крестьянинъ, а другой сталъ тереть Ивану щеки, носъ и уши.

— Ой, ноги щиплетъ! кричали Иванъ и Павелъ.

— Бѣги! впередъ бѣги, прыгай, тепло будетъ!

Ребята пустились бѣжать и стали скакать.

— Ай мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што имъ въ деревнѣ-то дѣлать? помрутъ!

— Такъ оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околютъ.

Но и тутъ Пила отобралъ отъ Павла рукавицы, и поэтому Павелъ отнималъ у Ивана рукавицы, Иванъ отнималъ ихъ въ свою очередь у Павла,—такъ что эта борьба смѣшила нашихъ путешественниковъ.

Лучше всѣхъ было Тюнькѣ. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то онъ плакалъ и кричалъ, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи ихъ шли большею частью молча. У всѣхъ была какая-то тяжелая, неопредѣленная дума, какая-то тоска и радость: всѣхъ тяготила мысль о прошедшемъ, радовало будущее, хотѣлось скорѣе получить богатство. Пила и Сысойко думали о прошедшемъ, о своихъ горестяхъ и о томъ, что-то будетъ въ бурлачествѣ. Сколько пробѣжало мимо нихъ повозокъ съ теплыми шубами! Подлиповцы имъ кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колокольчиковъ, и долго стояли на одномъ мѣстѣ, глядя на удаляющуюся повозку. Сидѣвшіе въ повозкѣ не

только не кланялись имъ, но и не глядѣли на нихъ. Они не знали, сколько потерпѣли горя Пила и Сысойко, не знали, что вся жизнь ихъ была одинъ лишения, несчастія, горькія слезы; что они не могли оставаться въ своей деревнѣ; что имъ надоѣла своя родина, и вотъ они бѣгутъ отъ нужды, идутъ въ морозъ куда-то въ хорошее мѣсто, гдѣ будетъ имъ лучше, гдѣ будетъ много хлѣба, гдѣ они будутъ свободны... Далеко ли имъ идти, они не знаютъ, а ужъ коли пошли, пойдутъ такъ, авось будетъ хорошо, а назадъ не за чѣмъ. Будь хоть тамъ богатство, — они назадъ не пойдутъ: тамъ они лишились Апроськи, коровы, лошадей, тамъ ихъ избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойки, уже не молодые люди, также ругались и также сѣтовали на свою горькую, безотрадную жизнь; имъ также опротивѣла своя деревня, и они вотъ уже третью зиму оставляютъ свои семейства на произволъ судьбы. Понятія ихъ были не лучше, чѣмъ у подлиповцевъ. Они разнились отъ подлиповцевъ только тѣмъ, что были люди уже бывалые, видали города, испытали бурлацкую жизнь, словомъ, были люди тертые. Какъ ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она имъ казалась лучше, чѣмъ въ своей деревнѣ, гдѣ они жили только два мѣсяца въ году и скучали о бурлацествѣ. Теперь они рѣшились не ходить въ свои деревни, а жить въ городахъ на время зимы. Только жалко имъ было своихъ семействъ, но что же дѣлать: бабъ бурлачить не берутъ, а сыновья еще маленькіе. „Пусть сами идутъ добывать хлѣбъ“, говорили они. Пила ихъ ругалъ за это, но крестьяне были своего убѣждения: они уже обурлачились, стали отвыкать отъ бабъ и разныхъ удовольствій..

Вотъ что рассказывали подлиповцамъ эти крестьяне. Спервоначалу баско. Турнуть тебя на барку и заставить грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, въ рубахѣ гребешь... спотиѣешь, а барку несутъ по водѣ чуть-чуть, потому, значить, желѣза въ ней много. Почнетъ втерь, такъ барку-то и давай качать туды да сюды.. А на Чусовой такъ наша барка, лѣтось, о камень хлобыснулась и потонула; одинъ бурлакъ, молодой парнишка, дай Богъ ему на томъ свѣтѣ баскую жизнь, потонулъ, родной, — такъ и не искали; баютъ, послѣ вынырнулъ, да ужъ мертвый... Насъ было много; робить заставили, значить вытаскивать желѣзо да барку, какъ воды меньше стало... Опосля ужъ на другую барку сѣли.. Плыли долго... Городовъ много видали... Чудеса. А какія тамъ машины бѣгаютъ по водѣ-то, съ колесами, да съ печкой, трубища въ сажень, а гдѣ больше... Пра! А какъ спадаютъ двѣ, либо три огромнѣющія машины, только безъ колесъ, и волокеть такъ прытко и къ верху, и къ низу. Баско... Только трудно вато на баркѣ-то, а все же ровно лучше. А теперь хлѣбъ тамъ какой есть: бѣлый, — чарскій, баютъ. Все бы ѣлъ да ѣлъ, дорого только... Какіе тамъ яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко тамъ!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всемъ вѣрили товарищамъ и отъ души полюбили ихъ.

— А вы насъ туда и ведите!.. На самое такое мѣсто... — говорилъ Пила.

— Ужъ приведемъ, спасибо скажешь... А назадъ ужъ мы не подемъ, шабашъ!

— И мы не подемъ.

Наконецъ, попалась имъ деревня. Всѣ они разбѣлись по домамъ. Добрые хозяева, разспросивъ ихъ, куда они идутъ, пустили ихъ на печки. Подлиповцы и товарищи ихъ, отогрѣвшись на печкахъ, закусивъ тѣмъ, что дали имъ хозяева, которые были немного позажиточнѣе подлиповцевъ, отправились опять въ путь.

Подлиповцы и ихъ товарищи пять дней шли, пять ночей спали въ деревняхъ, пять дней мерзли на холодѣ, оттирали свои щеки рукавицами и бѣгали по дорогѣ, отогрѣвая ноги, ругали холодъ, вѣтры и вьюгу, пять ночей отогрѣвались на печкахъ, а конца все нѣтъ. Пилу и Сысойку брало сомнѣніе: куды это они насъ ведутъ! Они часто спрашивали крестьянъ: „а скоро придемъ?“

— Да теперь скоро Усолье, тамъ и возьмутъ насъ, — отвѣчали имъ крестьяне.

Пила и Сысойко послѣ этого терпѣливо стали ждать конца и шли веселѣе. Деревни здѣсь попадались чаще, съ виду онѣ были лучше Чердынскихъ, и людей въ нихъ больше на улицѣ, и всѣ что нибудъ да дѣлаютъ: то бревна распиливаютъ, то избу строить, то дрова куда-то, да сѣно везутъ.

— Вотъ здѣсь баско!.. — говорилъ Пила.

— И хлѣбъ-то здѣсь баская, — говорилъ Сысойко.

Иванъ и Павелъ часто мерзли отъ холода; крѣпко ихъ пробивало вѣтромъ; часто они плакали... сядились на дорогу; но Пила колотилъ ихъ и заставлялъ идти. Ребята шли и плакали.. На шестой день они пришли въ Усолье.

Усолье большое село, расположенное на берегу рѣки Камы. Оно очень красиво на видъ: соляныя варницы его рисуются на берегу р. Камы; зимою строятся барки и баржи, весной рѣка оживаетъ; всюду съ отплытіемъ льда снуютъ бѣдные мужики и спѣшатъ куда-то; сплавляются барки внизъ, пароходы, зимовавшіе на Камѣ, оживаютъ отъ своего сна, бѣгутъ къ низу одинъ, или потащутъ за собою баржи. Цѣль этихъ пароходовъ — дать пищу жителямъ. По мелководью Камы выше Усоля и большею частью по ненахожденію хорошихъ лоцмановъ, знающихъ Каму отъ Усоля до Чердыни, буксирные пароходы ходятъ отъ Перми только до Усоля, и то весной и до половины лѣта. Отъ Перми до Усоля только два пассажирскихъ парохода. Сбытъ Усоля — соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, въ которыхъ помѣщаются десятки тысячъ нудовъ соли и которыя большею частью дѣйствуютъ лошадьми. Усолье богатое село; въ немъ живутъ зажиточные купцы; остальной людъ большею частью проживается около варницъ Усольскихъ и Дебюхинскихъ — завода, находящагося вблизи отъ Усоля. Не смотря на то, что и въ Соликамскѣ есть варницы и въ 12 верстахъ отъ него стеклан-



ный Ивановскій заводъ, городъ этотъ, какъ и Чердынь, бѣднѣ Усоля, потому что сбытъ всѣхъ матеріаловъ изъ него шлетъ въ Усолье, оттуда идетъ въ Пермь и дальше большею частью по рѣкѣ. Соликамскіе жители всегда закупаютъ въ Усольѣ хлѣбъ и другія необходимыя вещи.

Наши подлиповцы ротъ разинули при видѣ хорошихъ домиковъ и особенно варницъ: все какіе-то столбы стоятъ, а промежъ нихъ, наверху, перекладны; дома большіе, съ большими лѣстницами до самой крыши; мужчины и женщины по лѣстницамъ какіе-то мѣшки таскаютъ. Вездѣ народъ что нибудь дѣлаетъ: кто дрова, доски, бревна везетъ; бабы или ругаютъ мужчинъ, или поютъ звонко пѣсни, мужчины щиплютъ ихъ, онѣ выхватываютъ и колотятъ ихъ кулаками или мѣшками. Всюду оживленіе, суетня, — иная жизнь неизбѣстная доселѣ нашимъ подлиповцамъ... „Эко диво! Вотъ бы поробить!.. А это што? Ишь домнина-то какая не широкая да высокая, а въ верху штучка какая-то: то поднимается, то унырнетъ“...

— Это, братцы, соль добываютъ. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнетъ, — это насось, а столбы-те эти съ перекладными тоже штучка.. вишь перекладину-то: это жолось. Соль идетъ въ варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы ѣдимъ, а черная; въ варницѣ, — вишь, гдѣ изъ трубы дымъ-то идетъ, — тамъ она варится и дѣлается бѣлой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ахъ цуцело! Это соль-то, што на хлѣбъ сыплемъ! — удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты сажь погляди.

Товарищи повели подлиповцевъ въ насось. Тамъ четыре лошади, погоняемыя однимъ мальчуганомъ, шли кругомъ столба съ колесами. Колеса двигались, и ихъ много, большія и маленькія. Подлиповцы ничего не понимали, и товарищи ихъ старались разъяснить имъ, какъ соль добывается. — „Лихо, бать, колеса-те ворочаются, смотри, какія большія. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнетъ какая-то штучка, а здѣсь вишь ты!“... — разсуждали товарищи подлиповцевъ. Мальчуганъ погонялъ лошадей. „Эй вы, черти! Пессю! Я васъ!“ и онъ билъ ихъ палкой. Какъ должно быть скучно его занятіе погонять лошадей вокругъ столба цѣлый день, а можетъ быть и недѣлю... Павла и Ивана задоръ взялъ: имъ завидно стало. Обонимъ хотѣлось такъ-же погонять лошадей, какъ погонялъ этотъ мальчуганъ. Они пристали къ нему попросту, какъ къ обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуганъ обругалъ ихъ. Подлиповцы вышли. Этотъ мальчуганъ былъ тертый калачъ, испытывавшій нужду и горе съ дѣтства, человѣкъ заводскій; а нашъ заводскій мальчишка не уступитъ взрослому заводскому чело-вѣку, который толковѣе и лѣе крестьянина.

Заводскій человѣкъ больше золь на свою судьбу, чѣмъ крестьянинъ. Крестьянинъ (я беру государственнаго) работаетъ на себя, сколько ему хочется; съ него требуютъ только подати, спрашиваютъ ре-

крута, да онъ долженъ понравиться, — т. е. удовлетворить становаго. Заводскій человѣкъ не то. Нанялся онъ въ рабочіе (я беру не то время, когда эти люди были крѣпостными и когда съ ними дѣлали, что хотѣли), назначили ему въ мѣсяцъ, по недѣлю или по денно плату и говорятъ: вотъ тебѣ работа, — непременно, чтобы она была кончена. Не кончилъ работникъ къ сроку работу или прогулялъ нѣсколько дней, т. е. почему-нибудь не пришелъ на работу, ему не дадутъ жалованья. Если рабочій дѣлаетъ не такъ, и мастера замѣчаютъ, что онъ лѣнится, его прогоняютъ, не заплативъ платы. И такъ часто заводскому человѣку приходится искать работы долго и голодать, потому что онъ идти въ старое мѣсто боится; но куда пойдешь? какъ оставишь свое семейство, которое живетъ только имъ однимъ? И вотъ онъ за какую-бы то ни было плату готовъ опять работать на томъ-же заводѣ: „пустъ дѣлаютъ, что хотятъ, а я буду робить“... Онъ работаетъ день, на ночь уходитъ домой въ надеждѣ, что получитъ деньги утромъ; не утромъ, а въ первомъ часу приказчикъ, явившійся посмотришь, работаютъ-ли люди, гонитъ отъ себя рабочихъ: приказчикъ человѣкъ богатый; онъ чувствуетъ, что онъ сила, что онъ все, что онъ имѣетъ рабовъ.. а этимъ рабамъ ѣсть нечего, убиваются ихъ жены, голодаютъ дѣти!..

Вотъ почему рабочій человѣкъ ко всему относится съ ненавистью. Ни работа его не радуетъ, ни свое семейство; онъ всю жизнь свою мучится: онъ еще въ дѣтствѣ знаетъ, что онъ за человѣкъ, въ дѣтствѣ начинаетъ привыкать къ работѣ, и, наконецъ, поступивъ въ рабочіе, видитъ угнетеніе, его бьютъ.. Ушелъ-бы, да боится: онъ только и умѣетъ дрова рубить, да сѣно косить, да соль варить или что-нибудь подобное, къ чему онъ приучился еще съ восьми лѣтъ.

Всѣ заводскіе мальчишки смышленнѣе крестьянскихъ мальчишекъ: мальчишкѣ шести лѣтъ уже бѣгаетъ по заводскимъ улицамъ съ другими мальчишками, съ товарищами, не боится старшихъ; видя то, что дѣлаютъ старшіе и что особенно его забавляетъ и нравится ему, онъ дѣлаетъ то-же самое одинъ или съ товарищами; онъ такъ-же ругается, какъ и взрослый, и кого ненавидятъ старшіе, того ненавидитъ и онъ.

Товарищи Пилы повели подлиповцевъ въ варницы. Въ варницѣ печь огромная; пламя въ ней такъ и разливается, жара нестерпимая, а мужики то и дѣло бросаютъ въ нее большіе полѣнья... „Диво! Откуда и лѣсу-то столь добыто? Вотъ-бы тутъ остаться... тепло было-бы, да вонъ и семь мужиковъ, сидя въ углу на землѣ, каждый оплетаетъ большія гомзули хлѣба, да что-то изъ большого котла хлеблютъ“...

— Это што? — спросилъ Пила одного работника, показывая рукой на печь.

— Слѣпъ, што-ли?.. Ишь печь!

— Знаю; ровно, печь..

— Ну, и не спрашивай... Ково вамъ надо?

— Да мы такъ, поглядѣть, — сказалъ одинъ товарищъ подлиповцевъ.

— Эка невидаль. Заставить-бы вась поробить, такъ покаялись-бы.

Пила не понималъ: что тутъ труднаго? ужъ не горятъ-ли тутъ люди? „Вонъ попъ баялъ, какъ по-мрешь, такъ въ огонь, баесть, турнуть... и никогда, баесть, не сгоришь. Вотъ этотъ огонь-то и есть“... Ему страшно сдѣлалось.

— Пойдемъ, ребя! Ошпо спалать!—говорить Пила товарищамъ. Товарищи разговаривали съ рабочими.

— Ужъ какъ трудновато. Не знаемъ—дрова въ кучу складывать, не знаемъ—бросать въ печь,—говорилъ одинъ изъ работниковъ.

— Эй вы, черти! что встали? Помогай дрова та-скать!—кричалъ одинъ мужикъ, бросая въ варницу дрова, привезенныя на семи лошадахъ. Подлиповцы съ товарищами стали бросать къ печкѣ дрова. Подлиповцы охотно работали, имъ пробиралъ потъ, имъ хо-рошо показалось носить дрова и бросать ихъ въ кучу.

— Баско, Сысойко! — говоритъ Пила осклабяясь.

— Баско. .

— Ты говори спасибо: не я, такъ съѣли-бы тебя тамока.

— Ну ихъ къ порту на кулички. А мы не пойдемъ отселева?..

— Коли бурлачество—баско... только леже печь-то, огнища-то эво! Спалать ошпо...

— Нѣтъ ужъ, въ друго мѣсто подемъ.

— А вы отселева?—спрашивали между тѣмъ работники товарищей подлиповцевъ.

— А Чердынскіе. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нѣтъ.

— А вы здѣшніе?

— Мы Дедюгинскіе; прежь казенные были, те-перь вольные стали.

— И подать не платите?

— Конъ года выслужили, не платятъ. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказываютъ, нынѣ не то, что преже. Пароходовъ много развелось. Вонъ прежде у насъ и заведенія такого не слышали, а нынче пароходовъ много ходить, а тамъ въ губерн-скомъ пропасть ихъ.

Товарищи подлиповцевъ повели ихъ въ самую варницу. Тамъ въ огромномъ котлѣ, на подобіе ящи-ка въ нѣсколько сажень длины и ширины, что-то варилось, только виднѣлась сѣдая пѣна, которую изрѣдка мѣшали рабочіе; надъ котломъ разныя пере-кладыны подвѣшаны да доски; на нихъ не то снѣгъ, не то что-то сѣрое и что-то каплетъ въ котель съ досокъ. Въ одномъ мѣстѣ рабочіе бросали лопат-ками пѣну на эти доски. Въ правомъ углу, при вхо-дѣ, изъ стѣны что-то черное уставилось и отъ него жолобокъ къ котлу сдѣланъ. Сысойко дернулъ за кранъ; потекло черное, густое, небаско пахнетъ...

— Што-же это?—дивился Сысойко.

— Это разсолъ...

— Не замай! Што трогаешь!—закричали на Сысойку работники и, оттолкнувши его, завернули кранъ. Пила и Сысойко пристали къ рабочимъ.

— Это што-же?

— А вы куда? Сюда нанимаетесь?

— Нѣтъ. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука?—спраши-валъ Пила, указывая на котель.

— Это котель. Вотъ оттудова, гдѣ крантъ-то, что черное-то бѣжитъ, разсолъ сюда пускаемъ, онъ переваривается въ котлѣ-то, потому, значить, подъ котломъ-то печь... А это въ верху-то полата, тутъ соль дѣлается. Опослѣ она въ амбары сыплется.

— Такъ это соль-то и есть?

— Она и есть.

Одинъ работникъ досталъ съ полатей на ло-пату соли и показалъ подлиповцамъ:—Вишь какая!

— А ты дай намъ соли-то!

Работникъ далъ. Пила складъ ее въ мѣшокъ, въ которомъ былъ хлѣбъ.

— Да ты заверни чѣмъ нибудь соль-то, она хлѣбъ испортить.

— А пошто?

— Сырой сдѣлается.

Пила не зналъ, что дѣлать; неловко, какъ хлѣбъ испортится; „выбросить разъ соль-ту“, да жалко соли-то попуститься. „Дай, лучше съѣдимъ“. Подлиповцы расположились ѣсть хлѣбъ, посаливъ его круто солью, до того что ѣсть вовсе нельзя было. Однако они соль эту ссыпали на другой кусокъ. Наѣвшись, подлиповцы еще попросили соли и завя-зали, каждый, по ровной части, въ концы полъ своихъ полушубковъ, спросивъ предварительно: а ничего, не съѣсть соль-та?..

Всему дивились подлиповцы въ варницѣ, все ихъ забавляло; хотѣлось имъ остаться тутъ, да то-варщи торопили ихъ къ рѣкѣ. Они пошли. На берегу рѣки и на льду ея работали барки, полу-барки и баржи крестьянами. Подлиповцы въ пер-вый разъ видѣли все это.

— Видишь эти штуки?—спросилъ одинъ това-рищъ Пилу.

Пила посмотрѣлъ: домины не домины, а съ ок-нами, трубы огромныя, по серединѣ ровно колеса.

Въ рѣкѣ стояли три парохода.

— Это вотъ барки; на нихъ мы и поплывемъ. А эти вотъ, съ колесами-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко бѣгаетъ и волокетъ за собой мно-го... много...

— Э, да ты прокурать! Ну, какъ на колесахъ по водѣ бѣгать-то? Поди-ко не знаютъ!..

— А такъ.

— Ну, не морочь. Вонъ я сколько разъ былъ на рѣкѣ Камѣ, такъ тамъ колесъ-то нѣту, а вонъ эдакія устроены,—говорилъ Пила, показывая на одну лодку.

Всѣ подошли къ пароходу Пила и Сысойко сна-чала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнетъ!—говорилъ Пила Сысойкѣ.

— А ты подойди!

— Я подойду.—А самъ ни съ мѣста. Однако ви-дя, что товарищи ихъ, а также Павелъ и Иванъ, подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укусить...

Пила и Сысойко подошли.

— Онь, братцы, желѣзный, — говорилъ одинъ товарищъ.

— Вре?

— Пра! И какъ бѣжить—свистить... ужаси!

— Ахъ, чортъ! — дивились Пила и Сысойко. — Какъ-же онъ съ колесами? Да и колеса-то какія-то другія, а не наши... Тамъ поди лошадь гдѣ-ни-будь спрятана..

— Это вишь ты для виду колеса, а выходятъ, по здѣшнему, перья. Какъ пустятъ его, онъ и почнетъ загребать и почнетъ... да такъ скоро, мигнуть не успѣшь.

— А пошто онъ теперъ стоитъ?

— По то: рѣка замерзла. А какъ пройдетъ ледъ, онъ и побѣжитъ.

— А скоро?

— Когда тепло будетъ.

— А таперъ побѣжитъ?

— Таперъ нельзя, ишь привязанъ. — Подлиповцы посмотрѣли на канатъ: толстая штука; имъ въ первый разъ приходилось видѣть подобную вещь. Они захохотали.

— Силенъ, собака. Ишь, какую веревку-то на него надѣли... А какъ онъ да перегрызетъ?..

— Лѣтомъ убѣжить... Лѣтомъ, баятъ, онъ на цѣпи стоитъ: якорь такой съ цѣпью бросаютъ въ воду.

— Ахъ, чортъ! ахъ, лѣшій!

Долго дивились подлиповцы надъ пароходомъ и плохо поняли, что это за штука такая. Потомъ они пошли къ баркамъ.

— Это што? — спросилъ Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рѣкой.

— Это рѣка Кама.

— Вре! Да Кама и у насъ есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая цуцело!..

— Куда Богъ несетъ? — спросили ихъ рабочіе.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какіе?

— Чердынскіе.

— Такъ оно. У насъ есть чердынскіе.

— Кто?

— Да съ Прокопьевской волости двое, да изъ Чудинновской семеро.

— Ишь, черти! А у васъ нѣтъ-ли чего робить?

— Теперъ нѣту. А вы на базаръ ступайте, тамъ много бурлаковъ. Баятъ, приказчикъ какой-то скоро будетъ нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почемъ робите?

— Да радились по пяти рублей, только опаска есть, какъ-бы не обманурились. Вонъ въ прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальчешки-то съ вамъ?

— Съ намъ.

— Ой, не возьмутъ!

— Спехаю, — говорилъ Пила про своихъ дѣтей. Подлиповцы съ товарищами пошли на рынокъ.

На рынокъ они увидѣли до шестидесяти человѣкъ крестьянъ, одѣтыхъ очень бѣдно, съ котомками на плечахъ. Всѣ они ходили по рынку, глазѣли, очень мало покупали, потому что у многихъ не было вовсе денегъ; многихъ изъ нихъ занимали бездѣлицы, удивляло то, что для сельскаго жителя нисколько неудивительно. По выговору ихъ, по одеждѣ, по обращенію замѣтно, что они не здѣшніе, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищутъ, или куда-то идутъ еще дальше. Надъ ними смѣялись торговки, смѣялись надъ ихъ выговоромъ и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Всѣ эти люди такъ-же бѣдны, какъ и подлиповцы: нужда, бѣдность края, неумѣнье работать заставили ихъ покинуть свои семьи и идти въ бурлаки съ такимъ-же убѣжденіемъ, какъ шли подлиповцы и ихъ товарищи. Каждому, какъ видно, опротивѣла родная сторона, хочется чего-то хорошаго, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поѣсть; хорошо поспать... Здѣсь были крестьяне съ веровосточной части Вологодской и восточной части Вятской губерній, смежной съ Пермскою: тамъ, при всевозможныхъ усиліяхъ, какъ и въ Подлиповной, отъ холода не добывается хлѣба, а сбыта матеріаловъ очень мало. И вотъ они, наслышавшись отъ другихъ крестьянъ, что есть хорошее занятіе — бурлачество, работа легкая: знай плыви, дають деньги, ѣда въволю, люди все разные, шѣстности хорошія, — пустились на удалую въ путь бурлачить по Камѣ, какъ къ ближайшей рѣкѣ отъ ихъ родины, на которой съ давнихъ поръ бурлачило нѣсколько десятковъ тысячъ крестьянъ каждое лѣто...

Послѣ вопросовъ, куда и откуда, подлиповцы и товарищи ихъ пристали къ толпѣ. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, виѣстѣ съ прочими крестьянами, ходили по селу, дивились надъ хорошими домами, ходили въ варницы, на рѣку, помогали даромъ работникамъ, плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали въ постоянныхъ избахъ и въ избахъ бѣдныхъ сельскихъ жителей. На третій день у подлиповцевъ не было хлѣба. Они насобирали хлѣба и по нѣскольку копѣекъ денегъ у сельскихъ жителей; имъ начала надоедать эта праздная жизнь; имъ хотѣлось скорѣе дойти до бурлачества. Но вотъ уже четвертый и пятый день прошелъ, а они все ходятъ по селу; крестьянъ прибываетъ все болѣе и болѣе... Всѣ эти крестьяне — жители разныхъ деревень и знакомятся другъ съ другомъ очень просто: спросили, куда и откуда, и конецъ. Въ другъ другъ они видятъ подобнаго себѣ человѣка, знаютъ, кто, куда и зачѣмъ идетъ, знаютъ, что цѣль у всѣхъ одинакова: говорятъ они другъ другу о своихъ нуждахъ; сообщаютъ свои понятія о томъ, что ихъ интересуетъ; ѣдятъ виѣстѣ въ домахъ, гдѣ ихъ квартиры; дѣлятъ пополамъ хлѣбъ и виѣстѣ спятъ, гдѣ придется, не разбирая и того, что товарищъ не ихъ деревни, и кто его знаетъ, хорошій онъ, или худой

человѣкъ. По имени другъ друга рѣдко называютъ. Они знаютъ товарища по лицу, а въ имени—что толку: онъ ему не братъ, не родня. а такъ сошлись, неселѣе виѣстѣ. Обругать и осмѣять другъ друга тоже ничего не значить; и подерется кто, все какъ-то веселѣе, словно шутя: никто не сердится, а, напротивъ, другахъ это забавить. Если у бѣднаго и больного человѣка нѣтъ хлѣба, другой товарищъ сжалится надъ нимъ, отдастъ ему излишекъ, надѣясь самъ добыть хлѣба хоть милостанкой, да и товарищу хорошо отъ этого: вѣдь и онъ можетъ быть безъ хлѣба и ему при случаѣ поможетъ его товарищъ. Если у кого есть деньги и онъ привыкъ употреблять ихъ на водку, то онъ одинъ не вынѣтъ, а позоветъ товарищей, которые ему особенно нравятся, или съ которыми онъ живетъ на квартирѣ. Такъ у всѣхъ этихъ крестьянъ были по два и по три хорошихъ товарища, и всѣ они, сойдясь на рынокъ, были какъ старые знакомые; конечно не снимали шапокъ и не жали руки, а начинали разговоръ прямо.

— А ты, поштенный, што ротъ-то разинулъ!

— Э! ништо.

— Гли, баба-то какъ стерелешивать! \*)

— Экъ ее разобрало.—Всѣ хохочуть.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

— А што, ребя, сдюжить-ли онъ, какъ запречь его вонъ дрова въ варнички возить?

— А пошто?

— А не сдюжить. Ишь, кака штука-то запрѣжена, легонькая, махонькая, пиголича...

— Не сдюжить.—Всѣ хохочуть.

И все въ такомъ родѣ.

Пила и Сысойко такъ свыклись съ своими товарищами, что постоянно ходили съ ними, ѣли и спали на одной квартирѣ. Съ своей стороны и тѣ не отставали отъ нихъ, и если у кого нибудь не было хлѣба, то другой товарищъ удѣляя свой излишекъ бѣдному.

Но никто такъ не жилъ дружно, какъ Пила съ Сысойкомъ, Павелъ съ Иваномъ. Объ отношеніяхъ Пилы къ Сысойку и наоборотъ мы знаемъ. Надо сказать и о дѣтихъ Пилы. Развитіе ихъ началось съ тѣхъ поръ, какъ отецъ повелъ ихъ въ городъ. Въ деревнѣ ихъ уму не предстояло развитія вперед; они-бы выросли такъ-же, какъ и Пила и Сысойко; въ городѣ они увидѣли другихъ людей, узнали, что тамъ живутъ разные люди; они видѣли, какъ много отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнавъ отъ людей, что это дѣлается только въ такихъ случаяхъ, когда люди убиваютъ и грабятъ, они поняли, что ихъ отецъ плохой человѣкъ, что какъ онъ ни баивался, а есть люди лучше его. Съ этихъ поръ отецъ сталъ казаться имъ какъ обыкновенный человѣкъ; онъ и Сысойко казались имъ даже смѣшными, и если они шли за ними, такъ только изъ привязанности къ Пилѣ и Сысойкѣ, да и куда дѣнешься безъ нихъ? Къ тому-же они шли куда-то въ хорошее мѣсто, а что имъ

оставаться здѣсь или въ Подлипной? Видя городскихъ дѣвушекъ, красивѣе и опрятнѣе подлиповскихъ, ребята подумали, что подлиповскія дѣвушки хуже, вотъ-бы съ этой жить... Чѣмъ дальше шли ребята, тѣмъ больше работали ихъ головы. Они бывали во многихъ деревняхъ; деревни были лучше Подлипной, въ избахъ тоже лучше и дѣвки лучше. Въ селѣ ихъ интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? почему здѣсь такъ, а въ Подлипной и въ другомъ мѣстѣ иначе? Но что они могли понять, когда и отецъ, и товарищи отца сами не знали, почему это и зачѣмъ такъ? Вотъ они стали спрашивать сельскихъ жителей, большею частью рабочихъ; тѣ, хотя съ бранью, но растолковывали имъ. Послѣ этого ребята долго толковали между собой и кое-какъ понимали. Напримеръ, они поняли, что разсолъ добывается посредствомъ лошадей, что у лошадей больше силы, чѣмъ у людей, и человѣку-мужику безъ лошадей плохо. Это они узнали такъ. Встали они противъ насоса. Насосъ былъ въ бездѣйствіи. Подошли къ дверямъ—лошадей не было. Они попробовали вертѣть колесо, но не повернули. Въ другомъ мѣстѣ лошади были въ дѣйствіи, и насосъ былъ въ дѣйствіи. Короче сказать, они болѣе понимали, чѣмъ ихъ отецъ, Сысойко и Матрена, которая рѣшительно ничего не понимала, а только охала. Понявъ что-нибудь изъ словъ сельскихъ жителей, они сообщали отцу, который не вѣрилъ имъ, и ребята. — послѣ того, какъ онъ разъ выругалъ ихъ, когда они сказали ему: „тятька! робъ лучше здѣсь, а бурлачить, бають, трудно“, — не стали больше говорить ни ему, ни Сысойкѣ, ни Матренѣ того, что имъ казалось хорошо и что было-бы хорошо и тѣмъ. Бурлачество ихъ не манило почему-то; имъ лучше нравилось жить въ селѣ, но какъ отстать отъ отца? „Ужъ пойдемъ, тамъ, бають, городъ баской есть, тамъ и останемся“...

Теперь жизнь имъ казалась лучше, ихъ тянуло на улицу; они поняли, что прежде они хворали отъ коры; теперь ѣдятъ хлѣбъ, и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо, ноги устаютъ. Братья постоянно были виѣстѣ, часто ходили по селу одни, говорили безъ умолку, спорили, дрались между собой и съ сельскими ребятами, которые ихъ очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые имъ весьма не нравились.

— Ужъ мы туда не подемъ! — говорилъ Иванъ Павлу, показывая рукой въ ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятька идетъ, а мы нѣтъ.

— А агашки не жалко? — спросилъ Павелъ Ивана.

— Ну ее къ чертямъ! Здѣсь, смотри, дѣвки-то.

— Баскія, а тамъ што...

— А ты, Пашка, не отставай отъ меня.

— Ты не отставай. Виѣстѣ лучше.

— Мы съ тятькой не подемъ... и съ мамкой не подемъ.

— Куды подемъ?... подемъ ошпо...

Часто имъ доставались колотушки отъ бурлаковъ за любопытство и за то, что они не давали собираемаго хлѣба, котораго у нихъ было всегда больше, потому что имъ меньше отказывали. Они выверты-

\*) Бѣжить.

ваились отъ бурлаковъ и ругали ихъ такъ же, какъ и большіе. На руганъ не обращалось вниманія ни отцомъ, ни прочими бурлаками, такъ какъ бранное непечатное слово было для всѣхъ обыкновеннымъ, какъ въ дружеской бесѣдѣ, такъ и при удивленіи, и какъ ласка; имъ выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящіе бурлаки.

Своего отца Павелъ и Иванъ не боялись и не слушались. Скажетъ онъ имъ: „подите хлѣбъ собрать!“ — одинъ изъ нихъ и говоритъ: „поди самъ собирай!“ Онъ ихъ обругаетъ, а они ему языкъ кажутъ. Онъ ихъ бить, а они барахтаются.

— Ахъ, черти! — ворчитъ Пила. — Въ меня вы, стервы, уродились, сильные будете... Пила даже радовался, что ребята его умѣютъ драться, и всегда отпихивалъ у нихъ хлѣбъ съ бою, причѣмъ конечно ребятамъ больно доставалось.

О Матренѣ нечего сказать. Она постоянно сидѣла или лежала на полатахъ да говорила съ хозяйкой, большею частью о подлиповцахъ и Апроськѣ.

На пятый день Пила увидѣлъ въ толпѣ прибывшихъ вновь крестьянъ своихъ однодеревенцевъ, Елкина и Морошина, прозванныхъ по-подлиповски Клякой и Морошкой. Пила обрадовался. До сихъ поръ онъ рѣдко вспоминалъ подлиповцевъ, даже сталъ забывать Апроську!

— Вотъ они! — весело вскричалъ Пила Сысейкѣ. — Ахъ вы, лѣшіе! Бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нѣтъ, што за жизнь, — говорилъ Морошка.

— А ребята какъ?

— Баба въ городѣ осталась и ребята съ ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Укралъ?

— Укралъ.

— Ахъ лѣшій, лѣшій! А со мной-то что было, ужаси!

Пила началъ рассказывать, какъ его избили, и повелъ своихъ однодеревенцевъ въ питьевую лавочку.

— Ужъ мы все знаемъ, — говорили прибывшіе подлиповцы.

— Ну, ошибо не всѣ померли? — спросилъ Пила Морошку. — А Агашка жива?

— Послѣ твоей Апроськи парень да дѣвка Тычинки померли... Агашка ушла съ бабой, — куды-то въ домъ робить взяли.

— Ишь ты... А пощѣ?

— Што съ нимъ... Да я, ночесъ, и не видѣлъ его.

— А какъ... самъ зарылъ?

— Самъ.

— Ну, теперь кто тамъ у те?

— Да жена.

— А околѣтъ?

— Пущѣ.

— Ахъ, чучело!.. жалости въ тебѣ нѣтъ.

— Такъ теперь кто тамъ? Корчага да Кочержка? — спросилъ Сысейко.

— Идти тожно тоже хочуть оовсѣмъ: уйдуть тоже, и моя баба съ ними.

— А ты бы и взялъ ихъ!.. Ну ужъ, и край! Кто же въ Подлиповой-то останется?

— А собака!..

— Эво! И собаку съ собой надо. А дома-то какъ?

— Дома? Эко диво! Што съ домами-то?.. Помрутъ?

Подлиповцы стали ходить вмѣстѣ съ товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребята, тожно всѣ пойдемъ. Смотри не отставать, а што Богъ дастъ, все пополамъ, — усовѣщивалъ Пила своихъ однодеревенцевъ.

— Ужъ не бай; ты голова, не намъ чета.

Наконецъ, пріѣхалъ приказчикъ изъ Шайтанскаго завода за наймомъ бурлаковъ. Около Шайтанскаго и прочихъ заводовъ хотя и есть крестьяне, но они считаютъ за лучшее остаться дома, а крестьяне другихъ сѣверныхъ уѣздовъ губерніи рады за небольшую плату наняться въ бурлаки. Бурлакамъ платятъ отъ 8-ми до 15-ти рублей за сплавъ барки отъ завода до Елабуги и другихъ городовъ выше Нижняго, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числомъ околота, собрались на рынокъ. Пришелъ приказчикъ. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта.

Паспорта были у двадцати человѣкъ, преимущественно крестьянъ Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ.

— А у васъ есть паспорта? — спросилъ приказчикъ остальныхъ.

— Батшко, не губи!.. Каки тутъ еще паспорта?.. вошли крестьяне.

— Безпаспортныхъ мнѣ не надо.

Крестьяне въ ноги ему поклонились.

Долго возился съ крестьянами приказчикъ.

Не понимаютъ они его. Ему каждый годъ приводилось возиться съ ними, и онъ все-таки обдѣлывалъ дѣло: самъ ѣздивъ въ волости, выправлялъ паспорта бурлакамъ и вносилъ за нихъ деньги. Теперь онъ заключилъ со всѣми крестьянами контрактъ; отобралъ паспорта, у кого они были, далъ паспортнымъ по рублю, а безпаспортнымъ по полтиннику; велѣлъ дожидаться его, а самъ отпирывался въ ихъ волости.

Послѣ отъѣзда приказчика всѣ крестьяне загуляли. Загуляли и Павелъ съ Иваномъ, которые хотя и были всѣхъ моложе, но тоже попали въ бурлаки и получили по 30 коп. денегъ. Цѣлую недѣлю купили бурлаки, до тѣхъ поръ, пока не издержали всѣ деньги. Да и промышленные рабочіе то и дѣло подговаривали простаковъ на выпивки и угощались на ихъ счетъ сами. Не когда у бурлаковъ не стало денегъ, рабочіе два вечера сряду угощали ихъ на свой счетъ, — за что промышленные рабочіе очень поправились бурлакамъ. Павелъ и Иванъ купили себѣ

лапти и валенки, а остальные деньги проѣли на булкахъ. Одна только Матрена скучала, ее не приняли въ бурлаки. Она поступила работницей на варницю и содержала Пилу, Сысойка и дѣтей.

Три съ половиной недѣли бурлаки ждали приказчика. Въ это время они хотѣли уйти, но ихъ отговаривали промысловые рабочіе тѣмъ, что теперь уже нельзя, такъ какъ получены ими задатки. Большая часть ихъ работала на пристаняхъ, у барокъ и у варницъ, и только небольшими заработками они пробивались въ селѣ.

Наконецъ, пріѣхалъ приказчикъ. Онъ пересчиталъ всѣхъ крестьянъ, записалъ ихъ снова, показавъ имъ паспорта, взятые на полгода, выбралъ изъ нихъ четверыхъ въ лоцманы; далъ всѣмъ, кромѣ лоцмановъ, по рублю денегъ, а лоцманамъ по три рубля; велѣлъ идти въ заводъ. Уладивши все съ крестьянами, приказчикъ уѣхалъ.

Приказчикомъ было нанято еще болѣе ста человекъ, только на самыхъ мѣстахъ, въ селахъ и деревняхъ Вятской губерніи.

Всѣ крестьяне, накупивъ по двѣ пары лаптей, по три ковриги хлѣба, соли, наѣлись на ночь сытныхъ щей, крѣпко уснули, а утромъ, вставши до свѣту, закусили крѣпко на дорогу, увязали плотнѣе свои котомки, собрались за селомъ и тронулись въ путь.

Матрена долго слѣдила за подлиповцами. Идутъ они, идутъ въ большой толпѣ... вонъ Ванька да Пашка оглядываются и утираютъ слезы... Не взяли Матрену! заплакала она и ушла въ варницю.. Одинъ только Тюнька не знаетъ теперь горя: онъ рано встаетъ съ маленькими хозяйскими дѣтьми, и какъ только встанетъ онъ да хозяйскія дѣти, и начинается у нихъ бѣготня да игры. Хорошо еще что хозяйка, мастеровская жена, добрая и есть съ кѣмъ Тюнькѣ порѣзвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни дѣтей ея, что-бы случилось съ Тюнькой и Матреной? Какъ-бы она стала работать съ ребенкомъ? А работа ея такая: дрова она въ варницю таскаетъ, да изъ варницъ въ амбары соль на плечахъ по длинной лѣстницѣ носить. Трудная работа досталась Матренѣ...

## II.

### БУРЛАКИ.

И такъ, наши подлиповцы отправились бурлачить съ товарищами.

Всѣхъ шло сто тридцать одинъ человекъ. На подлиповцахъ такая же одежда, въ какой они были въ Чердынѣ и въ Усолѣ. На прочихъ товарищахъ или такая же одежда, какъ и у подлиповцевъ, или разнообразная: тутъ были полушубки изъ разныхъ шкуръ, большею частью распластанные, въ лохмотьяхъ, безъ заплатъ, или просто изорванные сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всѣхъ разнообразныя шапки, хотя повсюду и одинаковыя: большія изъ шкуръ, или войлочные на подобіе горшка; на рукахъ у каждого рукавицы, или кожаныя, или изъ шкуръ, или шерстяныя; на но-

гахъ у каждого лапти. У каждого на спинѣ висятъ котомка съ хлѣбомъ, кое у кого съ разнымъ тряпьемъ. Наже котомки болтаются по парѣ или по двѣ пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанялъ ихъ бурлачить: онъ не поскупился дать каждому задатокъ; не дай онъ денегъ крестьянамъ, какъ бы они пошли въ дальній путь безъ хлѣба и лаптей?

Всѣ они шли до сборнаго мѣста, т. е. до завода, цѣлыхъ три недѣли, и шли, какъ нѣкогда шли евреи по пустынѣ Аравійской, съ тою только разницею, что это были русскіе крестьяне, бѣжавшіе отъ своихъ семействъ. Шли они въ разсыпную по большимъ и проселочнымъ дорогамъ, узкимъ тропкамъ; плутали по цѣлымъ днямъ въ незнакомыхъ мѣстностяхъ; ругались, мерзали дрались и даже раскаивались, что пошли.

Ихъ взяли въ вести четыре лоцмана, уже нѣсколько лѣтъ занимавшіеся бурлачествомъ и знавшіе всѣ станціи-пристанни отъ Чердынѣ до Нижняго и отъ Вилимбаевского завода до Перми; но у этихъ лоцмановъ не было согласія въ выборѣ дорогъ. Каждый изъ нихъ жилъ въ разныхъ мѣстахъ зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедши въ мѣстѣ, каждый хотѣлъ идти по своей дорогѣ.

Вотъ, наконецъ, они согласились; всѣ крестьяне идутъ за ними. Идутъ они два часа. едва-едва переступая ногами, неторопясь, разговариваятъ, поютъ пѣсни грустныя, долгія и тяжелыя, а больше молчать. Проѣзжающіе заставляютъ ихъ сторониться, и кто изъ ста человекъ не успѣлъ своротить съ дороги, того ямщикъ хлещетъ вѣтнемъ. Крестьяне ругаются, хохочутъ и лѣзутъ драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось отъ нихъ за вѣтень, и крестьяне убили бы его, еслибы не вступился почтальонъ и не разогналъ ихъ саблѣй. Всѣхъ забавлять звонъ колокольчиковъ и шубы проѣзжающихъ баръ. Они сначала дивятся, потомъ хохочутъ. Всѣмъ какъ-то весело, и кто поотстанетъ отъ толпы, догоняетъ ее. Подлиповцы идутъ особой кучкой. Они увлекаться разговорами товарищей, ихъ хохотомъ, тѣшатся надъ выговоромъ татаръ и черемисовъ; собственные несчастія они начинали уже забывать.

Но вотъ дорога дѣлится на двое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда таперь?—спрашивалъ одинъ лоцманъ.

— Нѣтъ, не сюда, а сюда,—говоритъ другой лоцманъ.

— Нако-ся! Таперь по этой, по лѣвой надо: тутъ село будетъ,—говоритъ третій.

— Эво! Што у те шары-те чѣмъ заволокло? Вотъ какъ подежъ по этой, по правой—тутъ и будетъ деревня, три и версты всего-то! — говоритъ второй лоцманъ.

— Молчи! Тебѣ бакоть—село, а ты башеъ—деревня...

— Медвѣдъ ты раменской!.. Тебѣ говорятъ — деревня... какъ войдемъ въ нее, и сворачивай на лѣво,—говоритъ четвертый лоцманъ.

— Да будьте вы прокляты, лѣшіе! Привычки у васъ нѣтъ, обычаю... Мы десять годовъ по этой дорогѣ хаживали. Черти вы, дьявольскіе! — ругается второй лоцманъ.

Остальные лопманы задумались:—а что если онъ правду говорить?

— Смотри, не обмшурься... Право, знать эта дорога-то?—говоритъ первый лопманъ.

Часть бурлаковъ (бывалые) пристаётъ ко второму лопману и говорить:—А, бать, дорога-то на лѣво! Веди!—Къ нимъ пристаётъ еще человѣкъ тридцать. Пристаютъ и остальные. Начинается брань безпощадная, крикъ...

— Что, братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете,—пошли... Мы восьмой годъ ходимъ, знаемъ...

— И я восьмой! и я шестой!...—кричатъ остальные путеводители.

— Ты води толкомъ!—кричитъ Пила.

— А я уйду тожно!—кричитъ первый лопманъ.

— Ну, и иди, чортъ! што пристаешь?—кричатъ бурлаки.

— Ребя! валяй его!.. бей!..

Перваго путеводителя окружаютъ человѣкъ сорокъ. Онъ старается всѣхъ урезонить. Бурлаки не вѣрятъ. Остальные лопманы-путеводители идутъ по лѣвой дорогѣ. За ними идутъ и прочіе. Попадается имъ крестьянинъ съ дровами. Онъ знаетъ, кто эти люди.

— Эй, братанъ! эта дорога на Чусовую?—спрашиваетъ крестьянина одинъ изъ лопмановъ.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, тамъ и будетъ рѣка Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— Послѣ завтра будетъ.

— Ахъ-ты (слѣдуетъ печатная брань), да вѣдь Яйва въ Каму бѣжить?

— А куды не то?.. Кама-то эво што!.. Вы бы и шли по Камѣ.

— А ништо, подемъ по Камѣ!—говоритъ одинъ лопманъ.

— Ступай. Эдакъ мы скорѣе придемъ: тамъ еще будетъ Косва да Усна, а потомъ Чусова.

— Ну, и подемъ.

Тронулись по лѣвой дорогѣ. Пришли въ деревню. Ночевали. Утромъ тронулись въ путь по правой дорогѣ. Къ вечеру пришли въ эту же деревню... Ночевали. Утромъ пошли по лѣвой дорогѣ.

— Ишь ты, лѣшій!—ворчатъ бурлаки.—Да вѣдь мы были тутотка?

— Гдѣ, въ деревнѣ-то?

— Ну!

— Слѣпъ! Деревня-то совсѣмъ другая:—въ той семь домовъ, а въ этой восемь,—говоритъ одинъ лопманъ. Бурлаки вѣрятъ и не вѣрятъ. Лопмана спорять и все-таки идутъ вѣстѣ всѣ. Наконецъ, пришли и къ Яйвѣ. Рѣка не широкая, покрытая льдомъ, завесеннымъ снѣгомъ.

— А это што?—спрашиваетъ Пила, указывая на пространство, занимаемое рѣкой.

— Это рѣка, баютъ,—отвѣчаютъ ему бурлаки.

— Кама?—спрашиваетъ Пила.

— Нѣту. Кама вонъ дѣ,—указывая рукой на сѣверъ, говоритъ бурлакъ. Пила дивится.

Всѣ стоятъ на берегу рѣки и спорять, какъ идти: направо по рѣчкѣ или налѣво.

— Мы, таперича, какъ подемъ налѣво, и Чусова будетъ,—говорилъ одинъ лопманъ:—оломись я не былъ здѣсь,—добавляетъ онъ.

— Ну, это ошшо тово оно...—говоритъ другой лопманъ.

— Вотъ еслибы таперича вскрылась рѣка, да барки бы если пошли, ну, и узналъ бы, въ кою сторону путь держать,—говоритъ первый лопманъ.

Холодно. Всѣ спускаются на ледъ; всѣхъ продуваетъ вѣтеръ. Идутъ кто направо, кто налѣво, кто за рѣку. Всѣ тонуть въ снѣгу и ворчатъ.

— Да вы ладомъ ведите! По Яйвѣ-то никто не бурлачить, и мы въ Яйвѣ-то ни разу не шли, а переходили только,—ворчитъ одинъ бурлакъ. Лопмана ведутъ всѣхъ узенькой дорожкой, попавшейся за рѣкой. Бурлаки радуются. Пришли въ деревню къ вечеру. Поѣли, выспались, утромъ тронулись въ путь. День шли хорошо, пѣли пѣсни или молчали. Къ нимъ пристало нѣсколько зырянъ.

Увидѣвъ кучу бурлаковъ, зыряне спросили:—Кыдче мунанъ \*)?

— Бурлачить!—было отвѣтомъ. Зыряне пристали.

Въ толпѣ были тоже зыряне и между ними завязался разговоръ.

— Илыся локъ тысь? \*\*)

— А Ежва, кырыньшъ. \*\*\*)

Опять попалась рѣка. Бурлаки обрадовались.

— Вотъ она, Чусова-то!

— Вре! Экая махонькая?

— Эта, братцы, не Чусова, а Косва. Тамъ еще будетъ Усна, вотъ по той мы и пойдёмъ въ Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли рѣку и тихимъ шагомъ пошли за своими путеводителями. На третій день послѣ перехода Косвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дорогѣ; ладно. Вдругъ дорога раздѣлилась на три части. По которой идти? Лопмана забыли.

Всѣ стоятъ

— По этой?

— Нѣтъ, по этой.

— Знаешь ты черну немочь! По этой...

Лопмана дерутся. Ихъ окружаютъ бурлаки.

— Бей ево!.. Вотъ такъ!.. ну-ко, ошшо!..—слышится со всѣхъ сторонъ.

Одинъ лопманъ убѣжалъ по лѣвой дорожкѣ. Его пошелъ догонять другой лопманъ. Половина бурлаковъ идетъ за этими лопманами. Два оставшіеся лопмана уговариваютъ остальныхъ бурлаковъ идти за ними.

— Пусть они идутъ по той! Ужъ такъ-то ли заблудятся, эво какъ!—говоритъ одинъ лопманъ.

— Ну, а ты и води, коли мастеръ, а я пойду съ нимъ...—говоритъ другой лопманъ.

— И чортъ тебя бей! А мы какъ разъ дойдемъ и по своей...

Бурлаки совѣтуются, какъ имъ идти.

\*) Куда пошли?

\*\*) Издалека шли?

\*\*\*) Рѣка Вычегда, называемая зырянами Ежвой. Кырыньшъ—руганъ.

— Тѣ поди ладно идутъ, а мы-то какъ?

— Пойдемъ тожно съ нимъ.

Однако лопмана ведутъ своихъ товарищей по той дорогѣ, по которой ушла недавно половина бурлаковъ. Прошли съ версту, а тѣхъ бурлаковъ не видать. Прошли они двѣ дороги, наконецъ на третью свернули и пошли.

— Куды же тѣ-то побѣгли?

— Черти...—ворчатъ лопмана.

— Надо бы намъ поворотить по той дорогѣ, что впервые попали.

— Кто его знаетъ.. И мѣста все другія, ни разу не былъ здѣсь.

— И я тоже.

Вотъ подошли они къ большому полю. Дорогу загнело снѣгомъ: вѣтеръ сильный, рѣзкій. Бурлаки ругаются и идутъ по полю, оставляя за собой слѣды большими зигзагами. Идутъ они часъ, всенѣтъ конца. Что за чортъ? ворчатъ бурлаки. Ихъ обуяла лѣнь... Идти не хочется, а хочется попасть. Останавливаются одинъ бурлакъ, за нимъ останавливаются всѣ. Садится одинъ на снѣгъ, всѣ садятся... Развязываютъ котомки: у одинъ, всѣ развязываютъ свои котомки.

— Подемъ назадъ!—кричитъ одинъ.

— Айда!—кричатъ двадцать человекъ.

— Ваялъ, не ходи съ нимъ!.. ворчитъ Пила.— А пошто назадъ-то?

— А пошто? А подемъ...—было отвѣтомъ.

— Братцы, пойте, ночь поди скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты ведн, песъ!—кричитъ Пила.— Куды ты завелъ въ эту чучу!

— Пырни ево! пырни!—кричатъ бурлаки на лопмана.

— Пойдемте! право, скоро конецъ, за этимъ полемъ и конецъ.

— Попремъ!—говоритъ Пила.

— Не попремъ, а рѣка будетъ. А назадъ поете, заблудитесь.

— Ну, и подемъ. Ужъ много шли, ништо подемъ,—говоритъ Пила. Всѣ идутъ. Посыпалъ снѣгъ, вѣтеръ стихъ. Снѣгъ заплываетъ глаза, только и видно, что снѣгъ да товарищей, а что кругомъ товарищей—богъ вѣсть. Бурлаки злятся, смотрятъ на свою одежду, она въ снѣгу, словно въ мукѣ купались. Всѣ устали.

— Ребя, вонъ лѣсъ!—кричитъ одинъ изъ толпы. Всѣ повеселѣли. Вредятъ около лѣсу и блуждаютъ. Отыскали дорогу, къ ночи спустились подъ гору и подъ горой уснули. Закусивши утромъ, опять идутъ, дорога опять дѣлится на двѣ дороги. Просто чортъ знаетъ, что такое.

— Ну ужъ и времечко! Прже, какъ подемъ, и конецъ скоро, а теперь сколь исходили..—говоритъ одинъ лопманъ.

— Отъ того все, што не такъ пошли. Говорилъ, надо трактомъ идти а то мало-ли дорогъ-ту!—ворчитъ другой лопманъ.

— Экіе лѣшіе, куды завели. Все лѣса, да лѣса, да горы какія-то. Эвонъ гора-то, чучела какая!—ворчатъ бурлаки.

— А мы подемъ на гору-то? Тамъ поди баско!—говоритъ Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Тамъ теперь видимо-невидимо медвѣдей засѣло,—замѣчаетъ Пила.

— Што медвѣди, волки поди стерелешиваютъ... \*)

— Ужаси!—замѣчаетъ бурлакъ.

— А што, бать, здѣсь поди много медвѣдей?

— Столько—бѣда!

— Вре?

— Видаль оно меднись. Стадо цѣлое.

— Вре?.. И не съѣли?

Бурлакъ-хвастунъ, не бывшій никогда въ этихъ мѣстахъ, улыбается и того больше вретъ.

— Какъ хватилъ коломъ, вонъ эдакимъ, одного—и издохъ, другого хватилъ—побѣжалъ, и тѣ побѣжали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговоръ идетъ о медвѣдяхъ, кто сколько на своемъ вѣку медвѣдей убилъ. Всякій старается пересказать товарища рассказы; кто вретъ, кто говорить правду. Больше всѣхъ вралъ Пила.

— Ты вотъ по-моему слѣлай,—говорилъ онъ.—Одново раза лѣтомъ иду, знашь, лѣсомъ: а лѣсъ-то эво! не здѣшній, иное дерево и не охватишь, выше этого, густо... А со мной, знашь, ломъ былъ. Ну, иду да собираю грибы... Собираю такъ-ту, много набралъ. Васко! и напелъ на медвѣдя, спитъ... А медвѣдь-то эво какой! Такихъ въ-первой увидѣлъ. Вотъ я, знашь, на цыпочкахъ и побѣгъ къ нему и хлопъ его по башкѣ... и хлопъ!.. И нику не далъ!..

— Да онъ поди издохлой какой?

— Издохлой!.. Какъ бы не такъ! А пошто я ево хлеснулъ?..

— Значить, ты слѣпъ былъ, или другое что... можетъ спугался?

— Ну ужъ, кто другой спугался, а я шабашъ!

— Да онъ поди, медвѣдь-то, мухомора обтрескался!

— Сказано—убилъ!—кричитъ Пила, сердясь.

— Знамо издохлова.

— Поговори ты, собака!

Бурлаки хохочутъ и дразнятъ Пилу. — Знамо издохлова медвѣдя убилъ.

— А што, если таперь медвѣди прибѣгутъ?

— Сюды-то?

— Ну... сѣдять насъ, али нѣтъ?

— Ну, таперь шабашъ. Насъ-то эво сколь. Какъ закричимъ и прогонимъ, и чортъ его не догонитъ...

— И топоровъ-то ни у кого нѣтъ.

— А мы закричимъ. Побѣжить...

Пришли они къ деревню. Въ деревнѣ сказали имъ, что они не въ ту сторону идутъ къ Чусовой. Пошли опять бурлаки назадъ отыскивать настоящій путь. Опять сблизилъ съ дороги. На другой день встрѣтились съ толпой другихъ бурлаковъ.

— Вотъ они, лѣшіе!—сказали обрадованные наши бурлаки.

— Это не тѣ, другіе.

— И то.

— А вы откедова?

— Вячки.

— Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча!—сострилъ одинъ молодой бывалый бурлакъ.

\*) Бѣгаютъ.



Эти бурлаки знали дорогу лучше наших бурлаков, и всё скоро добрались до Чусовой.

Рѣка Чусовая была уже оживлена въ это время. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ, на льду и на низкихъ берегахъ ея, на поляхъ строились барки и полубарки; воздухъ оглашался стукомъ топоровъ, крикомъ крестьянъ. Подлинновцы съ товарищами пошли берегомъ. Здѣсь идти имъ было весело: вездѣ народъ, есть съ кѣмъ и слово переменить, есть кого и спросить, куда идти и далеко-ли еще, и народъ такой добрый. Рѣка въ этомъ мѣстѣ узка; по обѣимъ сторонамъ ея или высокіе крутые берега, съ нависшими деревьями и скалами, или съ одной стороны крутой берегъ—гора, а съ другой низина, поле. Въ мѣстахъ, гдѣ крутые берега съ обѣихъ сторонъ, было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки рассказывали разные ужасы и страхи.

— Вѣдь, эта гора-то какая, матушка! А бѣда отъ нея много бываетъ... Вотъ она теперь ровно вперед, а какъ подемъ, она угломъ будетъ, ровно кто топоромъ обрубилъ... Тутъ бѣда баркамъ. Какъ поплыветъ эта барка и хлыбнется о гору, такъ ее и шаркнетъ, а мѣсто бѣды, бають, — дна нѣту.

— Бають, тутъ сидитъ кто-то. Чортъ не чортъ, а ужъ больно сердится. Бають, у него въ лапахъ-то стрессогласка.

— Что сидитъ! Коли сидѣлъ-бы—словили; нынче, бають, начальство строго. Вотъ таперича штуки подѣлали, чтобы намъ ловко было плыть. А безъ этихъ штукъ бѣда была, потому рѣка ужъ такая бурливая, да камней въ ней много, — говорилъ одинъ лоцманъ.

— Экая гора-то! Ахъ ты, какая высъ! — дивятся бурлаки.

— Вотъ гдѣ мы идемъ! — говоритъ весело Пила. — Эхъ баско! А тамъ поди ишшо лучше.

Въ этихъ мѣстахъ имъ приходилось идти даже ночью, потому что не было не только-что деревень, даже людей, кромѣ ихъ, и ни одной барки. Здѣсь имъ казалось страшно: они боялись не медвѣдей, а чего-то много. Впередѣ, позади, — кругомъ все горы, а въверху небо черное и звѣздъ не видно.

— Ребята, тихонько иди. Смотри, полонья, — говорилъ кто-нибудь.

— Да мы-бы спать.

— Ну, нѣтъ. Смотри, какія богародки стоятъ вонъ тамъ. Кое-ва-дни такія же были...

Въ лѣвой сторонѣ видится что-то бѣлое, большое такое. Немного выше — не то церковь, не то кто его знаетъ, что такое. И такихъ видовъ много. Бурлаки боялись подойти. „Убейтъ!“ говорятъ они и дѣлаютъ отъ такихъ мѣстъ большіе круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а прежде, бають, ужастя бывали. Вонъ, сказываютъ, жилъ здѣсь Ермакъ, атаманъ-разбойникъ, людей убивалъ, бѣда!... Онъ, сказываютъ, Сибирь въ полонъ взялъ, — рассказывалъ лоцманъ.

— Все одинъ?

— У него сила была огромнѣющая. Люду сколь было, все разбойники...

сочиненія Ѳ. РЫШЕТНИКОВА.

— А онъ таперь гдѣ?

— Померъ, сказываютъ... Сказываютъ, утонулъ.

— Вре! А онъ поди спрятался тамъ на горѣ-то?

— Сказываютъ, потонулъ! У него, слышь, зипуна-то не было, а онъ желѣзо носилъ.

— Пра?! Вотъ дакъ сила!.. Какъ хлыбнется, и померъ?

— Ну ужъ, онъ сидитъ поди таперь, смотритъ шарами-то. Это, смотри, не онъ-ли — экой высокой, да бѣлой, ишъ какъ усторила \*!)..

— Это дерево, а то вонъ камень выдался.

— Ну ужъ, не врѣ, это онъ... Подемъ, поглядимъ?

— Ну-ко поди, онъ тѣ задастъ! Какъ пырнетъ камнемъ-то!..

Бурлаки дали кругъ. И долго толковали бурлаки объ Ермакѣ, не зная его, а только наслышавшись о немъ отъ бурлаковъ же.

Наконецъ кончился ихъ путь. Они пришли къ заводу.

На берегу было множество крестьянъ: кто пилъ бревна, кто рубилъ, кто строгалъ, кто гвозди и скобки вбивалъ; достраивались барки, коломенки и полубарки. Подлинновцевъ и прочихъ бурлаковъ сосчитали, повѣрили и выдали имъ по десяти коп. денегъ. Купили они хлѣба, надѣли новые лапти, взяли господскіе топоры, желѣзные лопаты и прочіе необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипѣла. Каждый человѣкъ что-нибудь да дѣлалъ, и если кто не умѣлъ топоромъ, то гвозди вколачивалъ, снѣгъ отскребалъ или доски таскалъ. Кажется, барку нехитро сдѣлать, а нашимъ бурлакамъ больно мудреною казалась эта штука. Они не могли надивиться, какъ это такая штука состроена? съ которой стороны ни подойди, вездѣ гладко, только желѣзки какія-то вбиты, и вся изъ досокъ сдѣлана да бревенъ. — „Вонъ у насъ избенки-те не такъ дѣлаютъ, какъ хошь, такъ и перевернешь бревно и приладишь, а тутъ все иначе. И куда экая чучела? домъ не домъ, а кто ее знаетъ; куда она годна?.. Дай мнѣ — не возьму. Пра, не возьму!..“

На бурлаковъ кричали мастера:

— Что стоишь: роби! Деньги только даромъ берете, разбойники!

Бурлакъ почешетъ одинъ бокъ, спину и пойдетъ съ топоромъ въ баркѣ. Что ему дѣлать? Вотъ онъ видитъ, лежитъ доска. Баская доска-то, да вѣрно робить велятъ, и бурлакъ начинаетъ рубить доску безъ цѣли, а такъ, думая, что и онъ робить.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебѣ!..

— кричитъ на бурлака мастеръ или работникъ.

Бурлакъ отходитъ отъ доски и глядитъ на прочихъ.

— Что сталъ? Роби!

— Да што робить-то?

— Што! Подъ, обтеши бревно... У, лѣнтяи! скоты! и т. д. — И пойдетъ бурлакъ рубить бревно и изрубить его такъ, что оно на дрова годится.

\* ) Долго и строго смотреть на одинъ предметъ.

— Ахъ вы, безтолочы! Я васъ!.. Поди, притяни доску.

Одинъ бурлакъ не совладеетъ, онъ и взять не умѣетъ доску, съ котораго конца ее приложить; вотъ и возмущаются человѣкъ шесть-семь держать доску.

— Лады, лады! Што стали!

Бурлаки прилаживаютъ.

— Не такъ!.. Сюды!!

Бурлаки смотрятъ на доску. Доску берутъ еще человѣкъ пять. Доску приладили.

— Напри брюхомъ!

Наперли всѣ разомъ и такъ сильно, что потъ ихъ пробираетъ, и имъ баско кажется.

Такъ и кипитъ работа. Всѣ бьются до поту и не могутъ понять, что они такое робятъ и къ чему такая работа, больно ужъ баская да чудная.

Работаютъ они каждый день, бахвалются, что и они робятъ мастера, а не понимаютъ своей работы. Чувствовать имъ нечего: имъ или баско, или худо; о своихъ деревняхъ они забыли, съ людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда: то рубить, то скоблить, то колотить... Всталъ рано, ѣсть хочется—чувство, поробилъ, ѣсть хочется—чувство, спать хочется—чувство...

О Пилѣ и Сысойкѣ сказать особеннаго нечего. Они точно такіе-же были, а пожалуй и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленькихъ подлиповцевъ, Павла и Ивана, было больше способностей, чѣмъ у старшихъ. Они, конечно, не могли сдѣлать больше взрослому, окрѣпшаго мужчине, но понимали, какъ и къ чему такая-то вещь слѣдуетъ и какъ, что и для чего дѣлается. Занятіе ихъ было обдѣлывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа имъ такъ казалась хорошею, что они, если ея не было въ одномъ мѣстѣ, шли въ другое и тамъ отгоняли рабочихъ отъ своего дѣла.

Теперь отецъ для Павла и Ивана былъ все равно, что и прочіе бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старшихъ у нихъ не было.

— Пашка! они всѣ свиньи,—говорилъ Иванъ.

— Всѣ. Они робятъ не умѣютъ.

— И тятка свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?.. А пошто?

Немного помолчавъ, они опять спрашиваютъ другъ друга, свиньи они или нѣтъ; кажется, свиньи, а равно и нѣтъ: „свиньи-то эво какія! А мы воно какіе“.

Откуда забралась въ ихъ головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчикъ ругалъ какъ-то бурлаковъ свиньями...

Съ бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обдѣлывало деньгами, такъ что многие голодали. У него, конечно, свои интересы, а надъ бѣднымъ бурлакомъ что хочешь дѣлай — смолчать или изругаетъ, а жаловаться не пойдетъ, да некому...

Настало тепло. Солнышко грѣетъ; снѣгъ съ каждымъ днемъ таетъ и таетъ; съ горъ бѣгутъ въ рѣку ручьи, на вершинахъ видится бурая земля. Барки

уже сдѣланы, а бурлаки все еще работаютъ: кто весло дѣлаетъ, кто конопатитъ барки и полубарки, кто такъ себѣ рубитъ бревно; работа кипитъ вездѣ; цѣлыя двѣ тысячи бурлаковъ копошатся на берегу у барокъ, на баркахъ, на льду, въ рубажкахъ, дырявыхъ и со множествомъ заплатъ; съ иныхъ потъ каплетъ.

Наступаетъ пора ѣды, бурлаки садятся кучками на барки или на обрубки бревенъ, на сложенные доски, ѣдятъ хлѣбъ, прилебывая шей съ капустой и дрянной говядиной, кто въ шапкахъ, кто безъ шапокъ. Солнышко такъ и грѣетъ ихъ, оно освѣщаетъ закрученные, желтые лица бурлаковъ, и вообще какъ-то привѣтливо. Въ кучкахъ сидятъ преимущественно люди разныхъ названій: татары съ татарами, черемисы съ черемисами, подлиповцы съ подлиповцами и т. д., такъ что воздухъ оглашается разными нарѣчіями: лепечутъ бойко татары и черемисы, пришепечиваютъ зыряне, кричатъ пермяки, выговаривая: поце? зацѣмъ? цуца, и т. д. За обѣдомъ всѣ кажутся веселы: каждому, утомленному работой, либо, что солнышко свѣтитъ и грѣетъ баско, и онъ долго смотритъ на солнышко, до тѣхъ поръ, пока не заболятъ глаза, и думаетъ какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день такъ свѣтитъ? когда и вовсе его нѣтъ, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поѣвши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже лѣнивѣе утренняго; хочется полежать. Вечеромъ всѣ соберутся на барки, сидятъ кучками и толкуютъ больше о бурлацествѣ; сидятъ долго, думаютъ, скоро-ли они перестанутъ робить; когда будетъ такая пора, когда они все такъ будутъ сидѣть... Потомъ начинаютъ пѣть свои пѣсни, каждый на своемъ языкѣ, и поютъ они долго, долго, не понимая сами смысла пѣсни, а хорошо имъ кажется и сердце не етъ, кого-то жаль, хочется чего-то... Тутъ есть и музыканты: тѣ разгоняютъ свою тоску, играя на гармонійкахъ и балалайкахъ какія-то веселыя пѣсни. Но и тутъ не весело: поиграетъ, поиграетъ бурлакъ, отдастъ инструментъ другому, а самъ пристанетъ къ другимъ и поестъ съ ними. Одинъ только татары да зыряне какіе-то чудные: они, какъ кончатъ работу, и ложатся спать, какъ будто имъ не нравится общество остальныхъ людей. Днемъ они иногда поютъ по одиночѣ или голосомъ въ шесть, такъ надъ ними бурлаки смѣются—больно ужъ забавно поютъ, талалакаютъ на своемъ языкѣ. Умаявшись, надрвавши горла, бурлаки идутъ спать въ пустыя барки: положивъ подъ голову котомку съ имуществомъ, чашкой, ложкой, лаптями, бурлакъ растягивается на полу; и какъ легъ, такъ и уснулъ...

Становилось все теплѣе и теплѣе. Снѣгъ почти весь стаялъ. Ледъ покрылся водой. Барки уже совсѣмъ отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берегъ, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе къ берегу, стали грузить ихъ желѣзомъ и чугуномъ. Воздухъ наполнился крикомъ, руганью, стукомъ, трескомъ, звукомъ отъ желѣза; бурлаки суетились, бѣгали, тащили полосы и листы желѣзные, кряхтели, потѣли... На нихъ кричали приказчики, лоцмана, показывая, куда что нужно класть. Наконецъ барки, коломенки и полубарки

наполнены, поносныя весла, канаты, шестики, доски, бревна и разныя разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаковъ распредѣлили на барки, кого до Елабуги, кого до Саранула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакамъ до Елабуги назначили 8 рублей, до Саранула 9, до Волги 10, до Саратова 14 за сплавъ. Всѣмъ заказано быть наготовѣ. На каждой баркѣ было по одному и по два лопмана; по два водолива. Каждому было наказано, что дѣлать, гдѣ стоять. Дѣлать нечего, а бурлаки все что-нибудь да дѣлаютъ: то поносную потешеть топорожъ, да пообрубить весло, то увидятъ на боку барки дыру, выстрогаютъ дощечку, прибьютъ и законопатить, а то еще дранку на скобкѣ прибьютъ. И сколько на этихъ баркахъ заплатъ! Хотя онѣ и новыя, а все какъ-то кстати прилажилось: и сами онѣ въ заплаткахъ, и рабочіе на нихъ тоже съ заплатами носить одежду. Барки прилажились, номера на нихъ написали, — первую букву завода на корнѣ выжгли, воткнули въ столбъ на носу палочку съ маленькимъ флажкомъ. Среди коломенокъ и барокъ точно барыни какія красуются три большія коломенки-караванки съ мачтами, съ разноцвѣтными кружками на верху мачтъ и съ флагами, на которыхъ красуется названіе завода. Бурлаки большею частью отдыхаютъ, поютъ пѣсни, ѣдятъ и поглядываютъ на другія барки и въ особенности на караванки, на коняхъ, сказываютъ, поплынуть наболышіе, кои бурлаковъ припиали, да баштъ, ошшо палить стануть. Бурлаки получили по полтора рубля денегъ, ходятъ по заводу, покупаютъ хлѣба, мяса, больше луку свѣжаго; нѣсколько человѣкъ купили бадалайки. Въ баркахъ и на берегу варятъ въ большихъ котлахъ говядину, брышину, баранину и ѣдятъ дружно. Накопившіе рубля три денегъ покупаютъ въ заводѣ у рабочихъ чугушки, сковородки, сковородники, утюги и разныя вещи очень дешево и тащутъ въ барки. Даже собираютъ бросовое желѣзо, валяющіеся гвозди, скобки — все пригодится, можетъ быть, кто и куантъ.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не ждали въ такомъ большомъ обществѣ людей своей братьи, и другъ другу сообщали свои чувства.

— Вотъ, значитъ, я сила. Не я бы, такъ што было-бы съ вами? — говорилъ Пила своимъ товарищамъ.

— Ужъ што говорить! — откликались Пилѣ товарищи.

— Ошшо не то сдѣлаю.

— Все-бы Апроську надо, — говоритъ Сысойко печально.

— Надо бы... — И Пила задумывается.

— А пошто здѣсь бабъ нѣту? — спрашиваютъ другіе подлиповцы.

— А кто ихъ знаетъ!.. Да што бабамъ-то дѣлать?.. Все сробили.

Всѣ они ждали той поры, когда они поплывутъ, и говорили объ этомъ предметѣ каждый по своему разуму.

— Вотъ теперь какъ барка-то стоитъ и заше-

велится, побѣжать, баять, и не догонишь; а мы ее пекать будемъ весломъ-ту, — разсуждаетъ Пила.

— А куда побѣжимъ?

— Куда... знамо куда... — А куда — Пила не можетъ объяснить.

— Какъ-же мы теперь побѣжимъ? Смотри, сколь желѣза-то наложено, а насъ-то сколь?.. спрашиваетъ Сысойко.

— Ужъ побѣжимъ.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лошадей запрегутъ?

— Баять, водой потащить.

— Экой прытковъ!.. А какъ да насъ запрегутъ?..

— Толкуй съ дуракомъ!..

Каждый вечеръ былъ какимъ-то праздникомъ на баркахъ: выпившіе водки плясали, тысячи бурлаковъ пѣли, въ разныхъ мѣстахъ кричали, гдѣ-нибудь нѣсколько бурлаковъ все еще рубятъ что-то. Все это веселитъ подлиповцевъ.

— Надо-бы Матренку взять. Вотъ-бы поглядѣла курва! — думаетъ Пила и говорить объ этомъ Сысойкѣ. Сысойко вздыхаетъ объ Апроськѣ, потому что плюетъ и говоритъ: — „Ну ихъ къ лѣвшимъ!“

— Ну ужъ, мы теперь назадъ не пойдемъ, — говоритъ Пила.

— Такъ и будемъ робить, — соглашается съ Пилой Сысойко.

Многіе бурлаки курятъ махорку изъ глиняныхъ трубокъ съ коротенькими чубуками.

Пила тоже завелъ трубку и постоянно курить махорку съ Сысойкомъ. Сначала ихъ тошнило, а потомъ они втянулись. Для чего они курили, — не знали, а такъ, занудно стало: прочіе бурлаки курятъ, да и баско, веселіе ровно, какъ покуришь.

Отъ береговъ отъѣло ледъ, и онѣ готовы тронуться, какъ только прибудетъ вода. Барки прикрепили канатами за сваи, вбитыя въ землю. Вотъ пустили изъ заводскаго пруда воду; вода съ силой вырвалась изъ своего заключенія, быстро, большою массою, хлынула изъ плотины и пошла катать: все, что было по пути, несло въ водой. Вотъ бросилась вода въ рѣку, сначала покрыла ледъ, потомъ ледъ поднялся, треснулъ, заколытался... Вода все больше и больше прибываетъ, а ледъ то и дѣло ломаетъ, вертитъ словно въ омутѣ. Бурлаки стоятъ съ разинутыми ртами на баркахъ, на берегу тысячи заводчанъ... Съ берегу слышны крики.

— Тронулся... тронулся! — Многіе бросали въ рѣку мѣдныя монеты.

Но ледъ только кружится, чернѣетъ.

— Пошелъ, пошелъ! — кричитъ народъ.

Дѣйствительно, рѣка на большое пространство очистилась. Ледъ впереди все болѣе и болѣе напиралъ на берега, трещалъ, ломался и наводилъ на бурлаковъ ужасъ до того, что нѣкоторые изъ нихъ крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла Христова!... — кричитъ народъ и кидаетъ въ нее грошники.

— Нѣтъ-ли у те копѣйки? — спрашиваетъ дѣвица свою подругу.

Подруга даетъ ей копѣйку, она кидаетъ ее въ рѣку и что-то шепчетъ.

По мѣстному понятію, при вскрытіи рѣки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть въ ней.

Ни одного бурлака не было такого, который-бы не радовался въ это время. Всѣ были заняты вскрытіемъ рѣки, какъ точно дождались свѣтлаго праздника. Рѣка шумѣла, издали слышался трескъ и какой-то гулъ, бурлаки кричали.

— Смотри, какъ льдину-то шарахнуло!

— Гли, што діется! Экъ ее раскололо!..

— Смотри, шитикъ тащитъ!

— Зѣвай! Лови поносную!.. Черти!

— Я васъ, я васъ! што глазѣте!.. Педай льдину, педай!

Съ этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало по малу вода подходила къ баркамъ, и на третій день всѣ барки стояли въ водѣ. Крикъ, бѣготня, стукотня не умолкали.

— Спешивай барки! спешивай! Что стали?— кричали лопманъ.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не такъ, съ этого конца!

— Канатъ опусти!

— Ваяж. . Заматывай, дьяволъ!.. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе къ рѣкѣ, и, наконецъ, были уже въ ней.

— Сто-ой!.. Ахъ, вы лѣшіе!.. Брось чалку на эту барку!

— Цѣпи!.. што ротъ-то разинулъ!.. Да подай ты, лѣшій, веревку!

Бурлаки метались на баркахъ и на берегу. Все изъ ихъ рукъ валялось.

Подлиповцы были на берегу. Ихъ очень удивило, что барки такъ скоро попали въ рѣку, и удивляя переходъ отъ льда къ водѣ. Все было ледъ, а теперь на вотъ! Ишь, сколь воды-то!..

Въ каждой баркѣ была уже вода.

— Откачивай воду! живо!—кричатъ лопманъ въ одномъ мѣстѣ.

— Чини барку!—кричатъ въ другомъ мѣстѣ.

Павелъ и Иванъ назначены въ водоливы. Стоять они въ баркѣ другъ противъ друга и большими черпакомъ, привязаннымъ веревкой за потолокъ барки (палубу), помахиваютъ, какъ очемъ, и выливаютъ изъ воду въ отверстія, сдѣланные на бокахъ барки.

Ледъ шель уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерамъ: куда это ледъ идетъ? И порѣшили на томъ, что идетъ куда-то въ море-окиянъ. Съ вереху стали приплывать барки все больше и больше. Теперь было уже до ста барокъ, и на каждой отъ 50 до 80 человѣкъ бурлаковъ.

Черезъ три дня, какъ прошелъ ледъ, бурлакамъ опять нечего дѣлать. Большая часть лежала на баркахъ, суша онучки на солнышкѣ, или ходили въ заводъ за хлѣбомъ. Всѣ чего-то ждали, чего-то боялись, хотѣли скорѣе плыть, рассказывали разные страхи. Сысойка и Пила съ дѣтьми попали на коломенку. Эта коломенка, какъ и другія коломенки, построена изъ сосноваго дѣсу, имѣла пло-

ское дно, которое къ кормѣ и носу постепенно суживалось, и имѣла палубу.

Пила и Сысойко смѣняли Павла и Ивана, когда имъ нечего было дѣлать или надоѣдало лежать. Выла-ли то привязанность къ ребятамъ, жалость къ нимъ, или желаніе поробить—рѣшать не берусь. Только Пила сильно начиналъ надоѣдать лопману своими услугами. Скажетъ лопманъ бурлакамъ: „подтяните поносную!“ Пила летитъ со всѣхъ ногъ къ поносной, Сысойко тоже за нимъ, и примутся оба за поносную. Лопманъ видитъ, что они и взяты-ся-то не умѣютъ какъ слѣдуетъ, обругаетъ ихъ. Пила спрашиваетъ: „А ты скажи, какъ?..“ Велитъ лопманъ какому-нибудь бурлаку сбѣгать на другую барку за чѣмъ-нибудь, Пила опять бѣжитъ отъ работы.

— Ты куда! Ты знай свое дѣло!—говоритъ лопманъ.

— Сдѣлаю то и то...—говоритъ Пила и идетъ на другую барку.

Лежитъ лопманъ въ коломенкѣ на желѣзѣ и думаетъ что-то, смотря на ребятъ, откачивающихъ воду: Пила и Сысойко гонятъ ребятъ.

— Подъ, чучело! И тутъ робить не умѣешь

— Вотъ умѣешь!.. Пустя!—кричитъ Иванъ.

— Дурень, подъ побѣгай...—говоритъ Пила Ивану. А ребятамъ давно хочется погулять.

— Не трогь! Што присталъ къ нимъ? Знай свое дѣло,—областъ Пилу лопманъ.

— Экой ты, Терентичъ! Мальчонкамъ-то трудно вѣдь.

— Мало-ли что! взялся за гужъ, будь дюжъ

— Да парни-то родные.

— Мало-ли; что родные. Знаемъ мы родныхъ-то, кто съ борка, кто съ веретейки...

Пила и Сысойко откачиваютъ воду. Покачаютъ, покачаютъ, спины заболятъ, сядутъ и ждутъ, чтобы скорѣе лопманъ ушелъ, и имъ-бы лечь поспать.

— Качай, што стали!

— Да мы такъ...

— Я-тѣ дамъ, такъ!..

Этотъ лопманъ—заводскій человѣкъ и уже четырнадцатый годъ бурлачить по Чусовой и Камѣ, лопманомъ служить шестой годъ и знаетъ всѣ опасныя мѣста на рѣкахъ, за чтѣмъ и получаетъ хорошее жалованье. Лопманъ на баркѣ или на коломенкѣ—глава; безъ него ничего не подѣлаешь. Лопманъ отвѣчаетъ за цѣлость барки, казеннаго имущества, здоровье людей,—однимъ словомъ, онъ долженъ въ цѣлости сдать то, чтѣмъ принялъ. Поэтому неудивительно, что лопманъ обращается со всѣми, какъ ему вздумается.

Вотъ къ этому-то человѣку и старался втереться Пила, понравиться, для того, чтобы ему лучше было. Онъ понималъ, что всѣ его товарищи-бурлаки—такіе же люди, какъ и онъ, что отъ нихъ ничего не получишь хорошаго, а еще наживешь худа, пожалуй лопманъ возьметъ да и прогонитъ, какъ прогналъ шестерыхъ бурлаковъ за то, что они стащили ночью съ барки двѣ полосы желѣза.

Лопманъ-же, бывши самъ бѣднымъ бурлакомъ, всѣхъ считалъ равными себѣ, зналъ нужду каждо-

го, не налегая ни на кого слишкомъ работою и требовалъ только, чтобы всѣ исполняли свое дѣло, какъ слѣдуетъ. Одно только въ немъ было скверно: зная, какъ и что сдѣлать, онъ хотѣлъ, чтобы всѣ такъ дѣлали и дѣлали живо.

Чтобы больше втереться къ лопману, Пила сталъ ему наговаривать на бурлаковъ.

И дѣйствительно, лопманъ по вечерамъ сидѣлъ съ подлиповцами, разспрашивалъ ихъ объ роднѣхъ и самъ рассказывалъ имъ свои дѣлишки.

— Вотъ ты пошелъ теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будетъ. Я, братъ, тоже прежде мыкался такъ-ту, да поправился. Трудно было; зато теперь люблю нежизню: въ заводѣ баба, лѣтомъ веселе.

Пила слушалъ ротъ разиня.

— Какъ походишь годовъ десятокъ, и самъ будешь лопманъ.

— А теперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь-ли, што за штука лопманъ?

— Э!

— Точно. Возьмешься ты за это дѣло и поѣдешься. Вотъ теперь Чусовая. Ужъ я знаю все, гдѣ какое мѣсто опасное, а кто его знаетъ, что случится? Вдругъ какъ коломенка-то разобьется, ну, и потонетъ. А я отвѣчай... Дура!

Пила не понималъ, какъ можетъ потонуть коломенка. Лопманъ растолковалъ ему.

— Эко дѣло! Научи ты меня, Терентьичъ! — говорилъ Пила.

— Вотъ и учись. Ты стой вонъ меня. Я тебя заставлю поносной водить.

— Ужъ ты и Сысойка заставь

— И его заставляю. Только смотри, дѣлай, какъ я буду велѣть.

— Ужъ не бай!.. А ты, Терентьичъ, и ребятъ туды поставь.

— Ребятъ нельзя. Работа ихъ легкая. А имъ съ экипъ бревномъ валадаться неподходящее дѣло.. Надо тоже и чувствіе имѣть.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй съ дуракомъ! Ты-то пойми: што имъ здѣсь дѣлать-то? Какая у нихъ сила? Нишо заво-раютъ, горе будетъ съ ними.

— Ну, такъ и ладно.

Терентьичъ очень понравился Пилѣ, но Сысойко почему-то не влюбилъ его.

Не долго постояли барки; не долго нѣжились и бурлаки. Надо же и плыть въ дальній путь.. Поплывайте, добры молодцы, за богатствомъ! Не знаете вы, что богатство-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для васъ все это.

Приказчики сосчитали всѣхъ бурлаковъ. Бѣглыхъ оказалось двадцать четыре человѣка. Барки были осмотрѣны старательно. Дали бурлакамъ по полтиннику денегъ и велѣли готовиться въ путь; а тронуться назначено завтра. Окончивъ повѣрку и осмотръ барокъ, приказчики сказали лопманамъ: „Ну, ребята, завтра мы поплывемъ. Смотрите, берегите барки и народъ“.

— Ужъ въ этомъ не сумѣвайтесь, — было отвѣтомъ лопмановъ.

— Ну, и ладно, А вы, ребята, бурлаки, во всемъ слушайтесь лопмановъ. Если кто лѣнивъ окажется да бунить будетъ, того мы прогонимъ и денегъ не дадимъ.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли безъ шапокъ, переминываясь съ ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда въ Пермь приплывемъ, тогда получите половину денегъ сполна.

Бурлакамъ это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и такъ стоялъ и смотрѣлъ на приказчика, какъ будто говорилъ про себя: больно ты хорошъ человѣкъ, только не обидь бѣднаго человѣка...

Когда ушли приказчики, дѣятельность оживилась: лопмана кричали на бурлаковъ, бурлаки бѣгали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки къ отплытію. Вечеромъ, накупивши въ заводѣ хлѣба и лаптей, всѣ бурлаки загуляли — пропили свои трудовыя деньги. Вечеромъ въ заводѣ было большое веселіе: у бурлаковъ много было знакомыхъ изъ рабочихъ, и они теперь угощали ихъ за хлѣб-солъ. Нашимъ подлиповцамъ тоже были пьяны, даже Павелъ съ Иваномъ выпили косушку, и лопманъ Терентьичъ тоже былъ пьянъ и бахвалился тѣмъ, что онъ лопманъ не на баркѣ, а на коломенкѣ, и шесть лѣтъ благополучно проводилъ барки. Пѣсни и пляски стихли далеко за полночь, и многіе бурлаки вовсе не спали, потому что въ четвертомъ часу утра пріѣхало заводское начальство съ духовенствомъ. Священникъ отслужилъ молебенъ на караванкѣ, окропилъ барки водой; раздался выстрѣлъ, бурлаки дрогнули, а онъ глухимъ раскатомъ залился въ горахъ. Выстрѣлили съ караванки еще разъ, еще разъ, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!.. — крикнулъ кто-то съ главной караванки.

Бурлаки бѣгали какъ угорѣлые по баркамъ, перребѣгали съ барки на барку, кто бралъ весло, кто держалъ поносную, кто веревку...

— Отчаливай вонъ ту! что стали? — кричали съ караванки. Барки трещали, скрипѣли.

Одна барка пошла, понесло и людей вмѣстѣ съ нею. Подлиповцы ротъ разинули.

— Крестись! — командовали лопмана.

Крещенные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло бокомъ, и она такъ и поплыла.

— Гребнъ возьми!..

Бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Гребнъ сильнѣй! гребнъ-и!!

Бурлаки опустили въ воду весла и стали помахивать ихъ.

— Отчалива-ай!!

Поплыли еще двѣ барки, потомъ три, десять...

Пила и Сысойко стояли посрединѣ коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко! — сказалъ Пила съ боязнью и вѣдѣлся въ полу Сысойкина полушубка.

— Боюсь, — отвѣтилъ Сысойко.

Дѣти Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полубарковъ Пилы и Сысойка, дико смотрѣли на удаляющіяся барки.

— Эй, вы! Пила! Сысойко! на корму! — кричитъ лопманъ.

Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазѣте! Пошли въ барку! — крикнулъ лопманъ на дѣтей Пилы. — Эй, вы! у веселъ стойте!.. Пошли на носъ! еще шестеро сюда! — командовалъ лопманъ, толкая бурлаковъ и тыча въ нихъ подбородки.

Стали стаскивать въ воду поносныя. Стаскиванье сопровождалось пѣсней: обхватить бурлакъ поносную, напрутъ на нее всею силою и закричать: „дернемъ-подернемъ, да разь!.. Ха!!“ — и двигается поносная, а не запоетъ бурлакъ этой простой пѣсни — и силы нѣтъ...

— Смотри, ребя! не робѣть. Что скажу, то исполняй. Теперь, братцы, боязно, какъ разь потонемъ! — говорить лопманъ.

Всѣ бурлаки трусили, а Пила спросилъ лопмана: „а пошто?“ Лопману не до разсужденій было. У него нощто дѣль.

Всѣ приготовлены, каждый держитъ въ рукѣ что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестикъ, лежащій на коломенкѣ, кто веревки.

— Отчаливай! — закричалъ лопманъ Терентычъ.

— Отвязывай веревку-то!

Съ другой барки отвязали веревку съ кормы. Коломенка двинуло въ воду и живо поворотило кормой внизъ по рѣкѣ.

— Мужлань! Анафемы!! Я вѣсь! — реветъ лопманъ. — Да отвязывайте носовую веревку!.. Ахъ, бѣда!.. Гребн къ берегу!.. стой въ носу!.. Не тронь канатъ!

Бурлаки забѣгали, напугались. Сдвинули поносную и стали; погребли веслами и стали. Лопманъ вышелъ изъ терпѣнія.

— Ахъ, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакіе! Загребай воху-то! Не такъ: въ ту сторону!.. Ахъ, бѣда! Отъ себя, чортъ, отъ себя!..

Бурлаки работали, что есть силы. Съ нихъ капалъ потъ, а все не въ толкъ...

— Что вы стали, дьяволы! — кричали на эту коломенку съ берегу и съ караванокъ.

— Отчаливай носъ! Принимайся въ гребн! загребай въ рѣку!

Коломенка пошла и пошла бокомъ поперекъ рѣки.

— Сильнѣе, сильнѣе! Эй, вы, носовые, въ глубь! въ глубь!.. А вы къ берегу... Стой весла, иди сюда!

Кормовыхъ и носовыхъ пробрало. Потъ такъ и капалъ съ нихъ. Коломенка скрипѣла, покачивалась и ушла уже далеко отъ завода. Бурлаковъ привѣтствовалъ рѣзкій вѣтеръ. Воздухъ свѣжѣлъ.

— Стой! — кричитъ лопманъ. Бурлаки сѣли, на рукахъ мозоли, а коломенка идетъ животомъ впередъ.

— Славу Богу — начинъ хоронъ, а тамъ не знаю, что будетъ, — говорилъ лопманъ и крестился. За нимъ крестились и прочіе.

Бурлаки сидятъ и удивляются, что они плывутъ; впереди и позади тоже барки плывутъ. Много ихъ

пущено. Сидятъ они, смотрятъ на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоитъ, только деревья бѣгутъ, вонъ и камни бѣгутъ, и мужикъ какой-то бѣжитъ. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки не долго сидѣли. Минутъ черезъ пять лопманъ опять поднялъ всѣхъ на ноги.

— Заворачивай корму! живо!.. — Корма повернулась вкось. — Гребн къ тому берегу, смотри, тутъ плоть — это заплывъ называется. Кабы не торнуть...

Дѣло въ томъ, что дно р. Чусовой каменистое, и сама она очень быстра и извилиста, такъ что перѣдко барки ударяются въ береговые камни огромной величины, какіе выглядываютъ даже изъ воды на серединѣ рѣки. Повтому въ отвращеніе несчастныхъ случаевъ придумали ограждать эти камни, носящіе разныя названія, вродѣ: Косой, Бражка, Узенькій, Писаный, Дужный, Печка, Горчакъ, Разбойникъ, — заплывами, состоящими изъ двухъ плотинъ, изъ которыхъ каждая половина состоитъ изъ трехъ *прясель* (бревенъ) длиною до 10 сажень, толщиною до 7 вершковъ, связанныхъ между собою веревками. Они привязываются къ деревьямъ, растущимъ на берегу, такъ, чтобы, плавая по водѣ, могли принять на себя барку, если она силою теченія будетъ плыть прямо на камень. Но эти заплывы мало приносятъ пользы, потому что, ударомъ барки о бревно, бревно далеко относитъ, и барка все-таки разбивается о камень. Въ двухъ верстахъ показалась Черная гора.

— Гребн! не робѣй, ребятунки... Выручи, водки куплю!..

Работа началась на всей коломенкѣ, работали носовые, кормовые и гребн. Весла и поносныя шумѣли, вода отъ плеска тоже шумѣла, вѣтеръ свисталъ и пронизалъ каждого человѣка до костей. Всѣ уныли; всѣ молчатъ, дико смотря на приближающуюся гору. Каждый трепещетъ и молится горѣ: „матушка-горушка, выручи!“.. Лопманъ нѣсколько разъ перекрестился, поминутно мѣрялъ шестомъ глубину рѣки и самъ помогалъ гребсти поносную. Горю миновали благополучно. Лопманъ перекрестился и сказалъ: „бреси!“ Всѣ бурлаки сѣли.

Такъ плыли бурлаки цѣлый день.

И хорошо, какъ плывутъ барки! Люди сидятъ измученные и что-то думаютъ, вѣроятно о трудной работѣ, какой они еще не дѣлывали, и весело имъ кажется: барка плыветъ, лѣсъ и камни мелькаютъ. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вонъ какой лѣсъ показался, рѣчка бѣжитъ, а тамъ вдали деревушка подъ горой стоитъ и сѣрые поля съ грядами видятся... Вонъ село какое-то съ деревянной церковью, ишь какія крыши-то высокія, такъ вотъ и кажется, что дома другъ на дружку лѣпятся. Вонъ опять поле огороженное. Какой-то мужикъ въ телѣжкѣ ѣдетъ... А вонъ на лѣвѣ лѣсъ горитъ, и тушить-то его некому. А вонъ мужики куда-то бревна везутъ. Вонъ въ лодкѣ мужикъ съ бабой рѣку перѣбзжаетъ... И все плыветъ, идетъ, бѣжитъ куда-то, все смотритъ на бурлаковъ, виваетъ имъ привѣтливо: здравствуй, молъ, поштенный, куда те Богъ несетъ?.. Бурлаки дѣйствуютъ веслами и поносными; вода плещется, барка скрипитъ, точно какъ плачетъ, обмываемая водой, смывая бурлац-

кия слезы... Бурлаки работают: то и дѣло нагибаются, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думаютъ что-то, вѣроятно о томъ: ахъ бы лечь да отдохнуть... Рубашки смочили, прильнули къ горячему тѣлу, но бородавки текутъ крупныя потныя капли и падаютъ то на весла, то на рукавицы... А барку несетъ бокомъ: лѣса, поля, деревни, люди—все и все куда-то несетъ. Эхъ, ты—жизнь, жизнь горькая! Только одно солнышко стоитъ на одномъ мѣстѣ, ласково такъ смотритъ на міръ Вожій, да и те не надолго,—возьметъ да и спрячется за сѣрыя тучи, словно дразнится...

Опять впереди утесъ, крутой и страшный. Такъ вотъ и кажется, что тутъ конецъ рѣкѣ. такъ вотъ и хлобыснется о камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утесъ, треснула; раздался гулъ, крики мужиковъ... Ничего не разберешь! Видно только, что люди конопатятся, плывутъ въ шитикѣ, слѣзли на берегъ,—и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучивъ глаза, смотрѣли на то мѣсто.

— Валий на всѣхъ!—кричитъ лопманъ. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернѣетъ, такая страшная; голые утесы, точно страшница какія, висятъ надъ рѣкой: берегись, моль, зашибу!..

— Греби! греби! Что стали?..

— Эка бѣда! — ворчатъ бурлаки. — Скоро ли ужъ конецъ-то!.

— Греби сильнѣй!.. Валий! въ землю смотри... — И лопманъ самъ принялся гребти.

Миновали утесъ. Тамъ же колѣно въ водѣ стояли бурлаки на потонувшей баркѣ и просили пощады у Терентьича... На гору лѣпилось нѣсколько бурлаковъ, въ баркѣ плыли въ шитикѣ два лопмана и четверо бурлаковъ.

— Пусти! — говорили они.

— Греби! что стали?.. — говоритъ лопманъ Терентьичъ.

— Ради Христа...

— Ну васъ!.. Греби сильнѣе, вонъ тамъ опасно... Барка завернула за утесъ. Впереди плывутъ барки.

— Вотъ оно што!..

— Бѣда...

— Эхъ ее хлобыснуло! — разсуждаютъ бурлаки.

— А еще два лопмана! — говоритъ лопманъ Терентьичъ.

— Какъ же теперь? — спрашиваетъ лопмана Пила.

— А такъ: барка потонула, а можетъ, и люди потонули, лопману бѣда. Ахъ, злочесть какая! — тужитъ лопманъ.

— Эй, ты, мужланъ, сворачивай въ глубь! — кричитъ лопманъ на лопмана одной барки, плывущей впереди.

— Эй! — отозвалось съ барки и слышится оттуда крикъ: — Вали къ берегу! вали!

Бурлаки плывутъ молча. Темнѣетъ. Слышны скрипъ барокъ, глухой плескъ воды да пѣсня: „разомъ да разъ! дернемъ, подернемъ да разъ!.. Ха!..“

Вечеромъ пристали къ прочимъ баркамъ. На баркахъ разсуждали объ убиенной баркѣ. Много бурлаковъ хотѣло идти посмотреть на ту барку и

потужить съ бурлаками, да идти-то далеко и отдохнуть хочется.

Эдакъ и мы померемъ, — говоритъ Сысейко.

— Не померемъ. У насъ лопманъ — бѣда! — говоритъ Пила.

Бурлаки наѣлись сытно и улеглись спать въ барки. Во снѣ имъ снилось: какъ они плывутъ, какъ кричитъ лопманъ, какъ хлобыснется барка объ утесъ, какъ они поднимаются на горы и падаютъ въ рѣку...

Ночью приплыло къ баркамъ нѣсколько бурлаковъ съ разбившейся барки. Утромъ ихъ приняли на двѣ барки. Эти бурлаки говорили, что потонули два бурлака, одинъ лопманъ убижалъ куда-то, а другой уѣхалъ куда-то къ наибольшимъ.

Въ третью же часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипомъ веселъ и поносныхъ, руганью лопмановъ, пѣснями: „дернемъ, подернемъ да разъ!..“ И каждую весну оглашаются такъ берега Чусовой; страшнѣйша-утесы, пугалища-камни любятъся трудомъ бурлаковъ, издѣваются надъ людскими горемъ... И сколько по этой Чусовой барокъ пройдетъ! Не одинъ десятокъ тысячъ людей, ильня по этой быстрой, каменистой, страшной рѣкѣ, дрожитъ отъ страха и молится германъ: „не ударь—проведи... Всю жизнь буду молиться тебѣ... Что тошъ возьми—только не убей!..“ Только по ночамъ опасности забываются, и идутъ рассказы про Криака Тимошенча, о камнѣ Криакъ-разбойникѣ, да воздухъ оглашается скрипочною игрой съ караванокъ, на которыхъ съ утра до вечера буянить и нынствуютъ приказчики.

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали, гдѣ непало. Приставали и днемъ около селеній, въ которыхъ закупали хлѣба.

Можно бы много написать про то, какъ бурлаки плыли восемь дней, да не стоитъ, потому что первый день плаванія нёходилъ на прочіе: тотъ же крикъ лопмановъ, тѣ же пѣсни бурлаковъ. Бурлака мало интересуетъ природа: видитъ онъ баское мѣсто, да что толку? Не про него оно устроилось такъ... Ему бы поветъ только хорошему да поспать въ теплѣ... А тамъ, можетъ, и лучше будетъ. Только работа больно какъ тяжела! Почти четверть бурлаковъ чувствуютъ боль, и половина этихъ больныхъ лежитъ, да и на нихъ покрикиваютъ лопмана: „что дрыхнете!“

— Ой, помираю! — стонутъ бурлаки.

— Я тѣ попру! Пошелъ, робъ!.. — кричитъ лопманъ.

А бурлакъ и пошевелиться не можетъ.

Два бурлака умерли. Ихъ зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и въ рѣку съ камнемъ бросить, потому: можно сказать, что они убились. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще приважается. Ужъ лучше, какъ зарыли; всѣ знаютъ, что человекъ-то померъ; ну, и спи, родной! по крайности не мучишься!.. Пожалеютъ бурлаки мертвеца, да и забудутъ въ то

же день, только ночью инымъ мерещится во снѣ что-то страшное.

У заводоѡвъ и большихъ сель барки и коломенки останавливаются для закупки провизіи. Приказчики выдаютъ бурлакамъ деньги на харчи, и съ прибытіемъ барокъ набережныя заводоѡвъ, сель и деревни оживаются. Бурлаки запасаются хлѣбомъ, наполняютъ кабачки; жители навязываютъ имъ разныя сласти—мясо, брюшину, яйца, лукъ, огурцы и т. п.,—и продаютъ, сравнительно съ приволжскими мѣстами, очень дешево. Бурлакъ, мнѣющій деньги, непрестанно покупаетъ что-нибудь и, главное, непрестанно возвращается на барку навеселѣ.

Пила съ Сысойкою пробавлялся даромъ. Ни у него, ни у ребятъ его, ни у Сысойки не было денегъ. Хлѣбъ, купленный въ заводѣ, давно весь вышелъ, такъ какъ каждый сѣдалъ въ сутки по полковригъ. Когда не стало у нихъ хлѣба, они воровали изъ котомокъ другихъ бурлаковъ. На рынкахъ, въ селахъ и заводахъ Пила на хитрости пустился. На рынкахъ обыкновенно кричатъ:

— Хлѣба купи: луку купи!

Пила и говоритъ:—„Давай“. И наберетъ пять ковригъ. Сысойко наберетъ огурцовъ и луку.

— А вы деньги подайте!

— А ты подожди. Насъ, глн, сколь—не убѣжимъ.

— Знаемъ мы васъ!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибѣгу.

Къ торговцѣ или къ торговцу приходятъ другіе покупатели, Пила и Сысойко уходятъ на свою барку; а какъ ушли, и поминай, какъ звали.

Такимъ же манеромъ онъ и мясо покупалъ.

На пристаняхъ бурлаки отдыхали; этотъ отдыхъ былъ для нихъ какіи-то праздникоѡмъ. Накупавшись хлѣба, доставши сластей, они дружно ѣли кучками и ѣли очень много, такъ много, что другой крестьянинъ не съестъ столько: возьметъ пленку луку, съестъ, — мало, еще съестъ; возьметъ огурцы, съестъ, у другого попроситъ; нальетъ изъ котла щей въ большую деревянную чашку, накрошитъ въ нее хлѣба, ведлицы рѣчной подольетъ и хлебаетъ огромной бурлацкой ложкой. Цѣлаго котла не доставало на толпу, и они, выхлебавъ щи, нальютъ въ чашку воды и опять хлебаетъ съ крошками. Да и щи-то какія: вода да мясо, безъ всякой приправы... Зато всѣ ѣдятъ дружно, не сердатся, не завидуютъ, какъ будто всѣ родные братья. Наѣстся бурлакъ и значитъ промывать—что-нибудь ладить, кое-кто ладитъ чинитъ, кое-кто спитъ, развалившись на палубѣ, такъ что только вѣтерокъ развѣваетъ волосы да бороды. Вечеромъ стоитъ посмотреть на бурлаковъ, чего-то они не дѣлаютъ: и поютъ, и пляшутъ, и играютъ на гармонікахъ, точно забыли денной трудъ, точно радуются, что они миновали опасность, не на радуются, что дождались—таки волюшки-свободушки, и не думаютъ, что завтра опять будетъ тяжелый трудъ.. Почти каждый бурлакъ, плывущій не въ первый разъ, знаетъ пѣсню: „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“, и пѣсня эта часто поется разомъ на трехъ—шести баркахъ. Больно нравится

бурлакамъ эта пѣсня,—почему, они не дадутъ отчета, только чувствуютъ, что она хорошая пѣсня и лучше ея нѣтъ другой пѣсни.

Дѣти Пилы тоже радовались вѣстѣ съ бурлаками. Работа ихъ была легкая, и брать съ братомъ постоянно толковали о чемъ-нибудь.

— Слышь, какъ лодманъ реветъ! — дивуется Павалъ.

— Ну ужъ и горло! — Ребята смѣются.

— Это онъ на Сысойка кричитъ.

— Э! пусть кричитъ... Слышь! Во какъ честить!

— А вотъ на насъ такъ не кричитъ.

— А пошто онъ те вчера билъ?

— Ужъ молчи! Самово тебя билъ.

— Вотъ што, Пашка, пошто это барка-то пинитъ?

— А кто ее знаетъ.

— Поди мужикамъ-то трудно?

— Што мнѣ... А мы вотъ качали-качали, а воды все, глн, сколь! Какъ ты ее ни отливай, а ее все больше да больше.

— Вотъ што... сдѣламъ дыру въ баркѣ-то, вода и выбѣжитъ..

— Дурень! Да вѣдь вода-то отъ того и бѣжитъ въ барку—дыры въ баркѣ-то. Ты сдѣлай дыру и потонетъ.

— А тятка-то воръ: глн, сколь хлѣба укралъ.

— Отколотимъ его.

— У него сила, Ванька,—прибѣсть! Вонъ и Сысойко не можетъ съ нимъ справиться.

— Да Сысойко вахлакъ: Сысойка я, что есть, прибью.

— Пойдемъ спать?

— Давай лучше барки пускать.

— Давай.

Ребята бросаютъ въ воду щепку и смотрятъ: идетъ щепка или нѣтъ. Щепка стоитъ...

— Умоемся.—И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, можетъ быть, удивился: зачѣмъ ребята умывались грязной водой, накопившейся въ баркѣ, когда они могли бы умыться въ самой рѣкѣ? Во-первыхъ, они были еще глупы; прежде они умывались и купались въ рѣкѣ, находящейся въ трехъ верстахъ отъ Подлинной, да и я забылъ раньше сказать, что въ Подлинной бань не существовало; во-вторыхъ, они были водоливы и имъ было мало времени на то, чтобы бѣгать на берегъ, а достать воды ведромъ... они вѣроятно не додумались до этого въ тотъ моментъ, когда имъ пришла мысль: есть вода подъ ногами—и ладно.

Больше всего ихъ занимало то: идетъ барка или нѣтъ.

— Смотри, Пашка, какъ лѣсъ бѣжитъ.

— Ужъ я смотрю.

— А барка-то стоитъ...

— Ну и врешь: лѣсъ бѣжитъ и барка бѣжитъ.

— Диво!.. Пошто это барка-то бѣжитъ? Вѣдь ее никто не везетъ?

— То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это такъ. Спросить некого. Они знали, что бурлаковъ не



стоит спрашивать. Вот они раз бросились барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул. Спустили шест на воду, шест потянуло к низу, и они никак не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вот поэтому и тащить нелегко.

— А мы попробуем, зайдём в рёку—поплывём или нѣтъ.

Раз они зашли в воду по колѣно, изъ перло к низу.

— Эка сила—утануть!

Они хотѣли идти дальше, и потонули бы, да их лопманъ испугалъ:

— Потонуть вамъ, шельмамъ, хочется!

— Мы, дядя, такъ...

— А ты давай такъ! Ступи-ко сюда, и утонешь.

— А и то утонешь, вонъ камень потонулъ тоже...

Лопманъ говорилъ имъ, что есть люди, которые не тонутъ, а умѣютъ плавать. Они не вѣрили.

Въ устьѣ рѣки Сымы, впадающей въ Чусовую, много было барокъ, приплывшихъ изъ другихъ заводовъ; барки эти тоже двинулись внизъ.

Всѣмъ хотѣлось скорѣе увидать Каму, по которой плыть не опасно, а какъ вошелъ въ нее, и дѣлать нечего. Подлиповцамъ больше всѣхъ хотѣлось увидать Каму. Вактъ, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рѣкъ прошли, а всѣ, баятъ, въ Каму бѣгутъ.—Знаемъ мы Каму-то, она отъ Подлиповой не далеко, такъ тамъ махонькая, а глубокая, рыбы пропасть, а здѣсь поди и конца ей нѣтъ, а рыбы-то поди людей ѣдятъ...

Наконецъ барки стали въ устьѣ Чусовой, противъ деревни, и загородили все устье. Чусовая здѣсь шире и глубже, а Кама шире Чусовой въ три или четыре раза. Берега какъ Чусовой, такъ и Камы, низкіе.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская рѣка и конца-то ей нѣтъ.

— Супротивъ Камы теперь всѣ рѣки дряннѣе, и Чусовая ниголицы противъ нея.

— Вотъ ужъ рѣка, дакъ рѣка—никому зла не сдѣлать.

— Одново года бѣда тутъ была. Пошли, знаешь, барки да стали въ Пермь, и подиты, братецъ мой, ледъ съ верху. И ледъ-то какой—ужаснѣй! Какъ паранитъ барку, и пошла ко дну... Много барокъ перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошпо стоять будемъ: кто его знаетъ—этотъ ледъ-то, промелъ онъ или нѣтъ.

— Баятъ въ деревнѣ: весь промелъ.

Барки здѣсь простояли два дня. Въ это время бурлаки больше спали, а лопманъ, живѣйшій въ деревнѣ родственника, пошелъ къ нему съ Сысой-комъ, Пилой и дѣтими его, сытно пообѣдать, выпарился въ банѣ и принялся. Здѣсь всѣ лопмана выжили водки, надѣли красныя рубахи и на-

вазали на шляпы красныя ленточки. Всѣ были веселы, покуривали махорку, пѣли пѣсни.

— Ну, ребята, доѣхали до Камы, а тамъ какъ по маслу пойдетъ, говорилъ лопманъ.

— Баско, — говорили бурлаки.

— А все я васъ проведу. Молиться вы должны за меня.

— А ошпо далеко бѣжать-то?

— Да больше того, сколъ прошли.

— А Подлиповая близко? — спросилъ Пила.

— Какая Подлиповая?

— Ну, наша-то деревня?

— Чердынъ-то?

— Ну, Чердынъ городъ.

— Да какъ тебѣ сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули отъ Перми до Чердыни; пошли—тепло было, а пришли туда—холодно стало, потому, значить, долго шли: рѣка больно мелка. А такъ ходу недѣля.

— Вре?

— Только недѣля. Вотъ теперь тамъ хлѣбъ больно дорогъ, а суда ходятъ только до Усоля да до Соликамска, а въ Чердынъ рѣдко, потому рѣка мелка, да и Чердынъ въ сторонѣ перстъ за сорокъ стоитъ.

— Да мы въ Усоля-городѣ были. Тамъ нишо соль дѣлаютъ. А оттуда шли-шли... Пошли—стужа была, а пришли къ баркамъ—тепло стало.

— А можно бы въ двѣ недѣли дойти.

— Ну и врешь!..

Подлиповцы думали, что лопманъ морочитъ ихъ.

— Вы кругъ дали: вамъ бы по Камѣ надо идти или по большому тракту.

— Вре?

— Вамъ можно всево только недѣлю дойти до Перми, а тамъ бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше тамъ было.

— Я вотъ теперь Каму хорошо знаю и на Волгѣ бывалъ годовъ съ пять. Хотѣлъ на пароходъ наняться, да прохворалъ зиму-то; а нынѣ наймусъ безпрестѣнно зимой.

— Тамъ баско?

— Да лучше здѣшняго, работы меньше.

— Такъ ты и насъ возьми.

— Можно будетъ, и вамъ доставлю работы.

Пила съ Сысойкомъ задумали поступить на пароходы, еще не зная, что это за штуки такія.

Барки тронулись по Камѣ. Кама бушевала, дулъ съ низу сильный вѣтеръ, шелъ дождь. Бурлаковъ пробирало вѣтромъ очень чувствительно, полубки ихъ смочил. Барки покачивало отъ большихъ волнъ. Подлиповцы въ первый разъ увидели такія волны и дивовались.

— Экая большая, какъ гора! Смотри, какъ хлобыснулась! Ишь какъ! Шумитъ больно...

Барки плыли въ разсыпную бокѣмъ. Бурлаки работали съ часъ. Ихъ хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлаки такъ грести: спустить весло въ воду, обмахнуть и подниметь, кое-кто развѣ грести, да и то рѣдко. Работа очень скучная. А въ вѣтеръ немного такъ нагребешь: спустилъ бур-

— Тоже.

— Ну, братъ, врешь... У меня только и было начальство—попъ да становой!—ворчить Пила.

— Ну, значить, ты вячкой.

— Я тѣ дамъ вячкой! Самъ ты вячкой...—бранился Пила.

Барки те и дѣло прибывали. Къ каждой баркѣ приходили солдаты, служащіе въ дистанціи путей сообщенія, осматривали барки, билеты, считали бурлаковъ, придирались къ лоцманамъ за больныхъ, кричали и получали отъ лоцмановъ деньги.

Первый день прошелъ скучно для бурлаковъ. Всѣ они умаялись и рано легли спать. Нѣкоторые изъ нихъ ходили въ городъ, да только такъ, поглазѣть. Ночью еще приплыло нѣсколько барокъ, и вновь приплывшіе бурлаки не давали спать приплывшимъ раньше, потому что кричали: «бери чалку!», потомъ наступали на ноги спавшихъ на баркахъ бурлаковъ. Бурлаки ругались.

Въ полдень на другой день бурлаки получили по полтиннику денегъ. До этого времени нѣкоторые изъ нихъ продавали въ городѣ за дешевую цѣну сковородки, чугуны и прочія желѣзные вещи, и на деньги эти покупали хлѣба, булокъ, огурцовъ, сушеныхъ судовъ и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубивали на нѣсколько частей и большую часть глотали не размоченные, прикусывая хлѣбомъ и свѣжымъ лукомъ.

Бурлаковъ, не бывавшихъ въ большихъ городахъ, очень занимала Пермь. По правдѣ сказать, городъ этотъ не казистъ, жители бѣдны, хорошіе дома построены большею частью на одной улицѣ, идущей отъ сибирской заставы къ дому В., а потомъ къ будкѣ, стоящей на краю лѣга. Но бурлаки эти въ первый разъ видѣли большіе дома, въ первый разъ ходили по прямымъ улицамъ. Ихъ все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

Въ этотъ день Пилу и Сысойку съ ребятами лоцманъ не отпустилъ въ городъ, а заставилъ чинить барку. Посмотримъ поближе на жизнь бурлаковъ въ Перми хотя въ третій день, когда подлиповцы пошли въ городъ.

Четыре часа утра. Барокъ больше сотни; но барки все еще приплываютъ. Посреди ихъ красуются четыре караванки съ разноцвѣтными кружками и съ надписями на флагахъ, означающими названіе заводовъ. Бурлаки почти всѣ встали и каждый что-нибудь ладить. Стукъ, звукъ отъ желѣза, скрипъ и говоръ не умолкаютъ и слышатся далеко. Нѣсколько бурлаковъ кучками сидятъ или лежатъ подъ горой и на горѣ; сидящіе разговариваютъ или зѣваютъ, или ѣдятъ хлѣбъ, лежащіе дремлютъ или смотрятъ на барки, на рѣку, на небо... Хорошо сидѣть на горѣ противъ рѣки, такъ бы все и сидѣлъ, и мысли все какія-то хорошія появляются въ головѣ... И часто бурлакъ засыпаетъ, нѣжась на сырой землѣ... Онъ отдыхаетъ, и хочется ему все бы такъ отдыхать.

Пять часовъ утра. Въ это время къ баркамъ

идутъ городскія и мотовилихинскія \*) торговки и приносятъ на доскахъ, положенныхъ на головы. хлѣба и калачей и на коромыслахъ луку, квасу и огурцовъ. Бурлаки берутъ нарасхватъ или хлѣба, или луку. Квасъ пьютъ всѣ. Пила старался достать хлѣба даромъ, да здѣсь торговки оказались хитре его: сами—мастерницы обманывать, а хлѣбъ большею частью продаютъ съ закалой.

Въ восьмомъ часу бурлаки идутъ толпами въ городъ, кто въ полушубкахъ, кто въ одѣхъ рубахахъ. Лоцманы отправляются къ начальнику дистанціи, за ними идутъ и приказчики, и другія старшія лица надъ бурлаками, плывущія на караванкахъ. Затѣмъ они идутъ къ начальнику дистанціи,—объ этомъ рѣдкій житель Перми не знаетъ, а мы умолчимъ.

Бурлаки валомъ валятъ въ городъ, а на баркахъ все еще много ихъ: тамъ все не умолкаетъ стукъ, скрипъ. Нѣсколько барокъ уже отплываютъ.

Пилѣ и Сысойку лоцманъ не далъ денегъ за то, что они нагрубили ему. Въ этотъ день лоцманъ велѣлъ имъ не отлучаться съ барокъ, а самъ ушелъ. Ихъ взяло горе.

— А мы побѣжимъ,—сказалъ Пила Сысойку.

— Куда подемъ? здѣсь баско.

— А мы подемъ поглазѣть.

Пила пошелъ къ дѣтямъ.

— Сколько онъ далъ?—спросилъ онъ Павла.

— Ишь!—Павелъ показалъ мѣдные деньги — 20 копѣекъ.

— Много,—говорилъ Иванъ.

— Подемъ!—скомандовалъ Пила дѣтямъ.

— Да онъ велѣлъ воду откачивать.

— Што откачивать! Хоть ты качай не качай. а воды, гли, сколько.

Ребята пошли.

— А вы намъ дайте денегъ. Какъ получимъ. отдадимъ.

Ребята не давали.

— Вы насобираете. Право, дай!

Ребята поругались, а какъ стали всходить на гору, отдали по 15 коп. каждый. Деньги взял Пила.

Взошли они на гору съ двумя бурлаками. На горѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ сидѣли горожане, глязѣвшие на барки и на бурлаковъ. Подлиповцамъ хорошо сдѣлалось, когда они посмотрѣли на рѣку.

— Ишь ты!—улыбаясь, говорилъ Пила. Они вошли въ улицу. Проѣхала карета. Пила долго домалъ голову и не могъ понять, что это за штука такая.

Проидетъ ли хорошо одѣтый господинъ, подлиповцы шапки снимаютъ и смотрятъ на него; попадется ли офицеръ, они тоже снимаютъ шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попадется имъ навстрѣчу молодой дьяконъ безъ пушка на лицѣ въ шелковой расѣ. Пила долго смотрѣлъ на него, разсуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и онъ хотѣлъ догнать дьякона, посмотрѣть на него, да товарищи отговорили. Куда ни посмотри, вездѣ хорошо. Вотъ бы пожить тутъ. Въ нѣ-

\*) Мотовилихинскій заводъ, находящійся въ трехъ верстахъ отъ города.

столбикъ мѣстахъ на деревянныхъ тротуарахъ сидятъ бурлаки и ѣдятъ; нѣсколько человѣкъ лежатъ около заплотовъ на травѣ.

— Вы отклева? — спрашиваютъ подлиповцы бурлаковъ. Тѣ скажутъ.

По улицамъ идутъ бурлаки: одинъ несетъ чирки, другой кеты, третій пять ковригъ чернаго хлѣба на спинѣ, обвязавъ ихъ веревкой, двое тащутъ на палкѣ брюшину, осердіе, старую, почти лоскутную говядину... Кто ѣстъ, а кто и такъ идетъ; раздаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добываютъ, — рѣшилъ Пила.

Однако они подошли къ одному столбу, около котораго стояла кучка бурлаковъ.

— Што, ребя, диво? — сказалъ Пила, думая, что въ столбахъ ничего нѣтъ удивительнаго.

— Да, бають, тутъ бѣда. Сказалъ ты слово, и пошло качать, — говоритъ одинъ бурлакъ.

— Поди ты къ лѣшнимъ!.. Вышь ты, тутъ соль добываютъ.

— Попаля! Ты видалъ ли, какъ соль-ту добываютъ?

— Эво!

— Тамъ столбы-то не экіе, да и перекладныя поклазы, а тутъ жалѣзки, да еще четыре.

Пила вступилъ сталъ, однако подумалъ: „можетъ, и здѣсь соль дѣлають, только иначе“.

— Эв, поштенный! Это што? — спросилъ одинъ бурлакъ мѣшанина

— Это телеграфъ.

— Какъ?

Тотъ повторилъ.

— А што-же тутъ дѣлають?

— Письма отправляють.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, какъ пошлешь письмо за тысячу мѣтъ утромъ, оно вотъ и побѣжитъ по проволокамъ къ обѣду тамъ будетъ.

— Худо нѣсто! — сказалъ Пила. И бурлаки отошли прочь.

Предъ окнами одного дома пѣли двое зырянь. Изъ что-то подали. Пилѣ завидно стало, и онъ пошелъ просить подъ окно ради Христа; ему не помаленьку ничего.

— Не баско здѣсь, — сказалъ онъ.

Подлиповцы шли посреди дороги. По полу, какъ тащали они тротуары, они боялись идти: ишшо сшибуть.

Они пришли на рынокъ. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговцевъ бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакамъ купить что-нибудь. У подлиповцевъ глаза заближались: чего-то нѣтъ на рынкѣ!.. А какія же есть булки бѣлыя да махонькія, крендели, да ишшо какія-то... Такъ бы вотъ и съѣлъ все. Пила купилъ пекарскую булку<sup>\*)</sup>. Эта булка такъ по-

правилась Пилѣ и Сысойку, что они ее въ четыре приема съѣли.

— Што? — говоритъ Пила.

— Давай ошшо! — проситъ Сысойку.

Они купили еще и съѣли, и все-таки не наѣлись, потому что такія мягкія булки они ѣли въ первый разъ; онѣ на вкусъ подлиповцевъ были только сладки, но сравнительно съ чернымъ хлѣбомъ далеко не питательны.

Пошли всѣ въ питейную лавочку, взяли у ребятъ послѣднія деньги и пропили.

— А ись хочется, — говоритъ Пила.

— Бѣда!..

— А больно баско тамо! Все бы ѣлъ да ѣлъ.

— Денегъ нѣтъ. Лоцманъ не далъ.

Въ лавочкѣ было восемь бурлаковъ, изъ коихъ два съ той барки, на которой былъ Пила. Подлиповцевъ поподчивали. Они захмелѣли. Ребята ушли обирать милостынку и черезъ часъ пришли съ семью кусками хлѣба; въ рукахъ у нихъ было двѣнадцать грошиковъ.

Подлиповцы вышли изъ лавочки. На улицѣ били ихъ лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойку прѣстали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили, — говорилъ лоцманъ и поцѣловалъ Пилу и Сысойку: — таперь подемте пить. — Лоцманъ былъ пьянъ.

— А ты пошто мнѣ не далъ денегъ? — ворчитъ Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумалъ? Ты знай, я сила!.. Я барку по Чусовой провель.

— Сама прошла.

Ну, и не дамъ денегъ, не дамъ... Не перечь мнѣ! Не пере-е-счь!!

Лоцманъ привелъ подлиповцевъ въ питейную лавочку, купилъ полштофъ водки и угостилъ ихъ; даже Иванъ и Павелъ выпили. Лоцманъ далъ Пилѣ рубль.

— Ней, ребя! Таперь праздникъ! — кричали въ лавочкѣ бурлаки.

— Ужъ таперь нѣтъ опаски!.. — Лоцманъ повелъ подлиповцевъ въ трактиръ и тамъ угостилъ супомъ и жаркимъ. Подлиповцы сладко наѣлись.

Изъ трактира лоцманъ и подлиповцы вышли пьяные и по выходѣ на улицу тотчасъ же заплѣли пѣсню. Даже Павелъ и Иванъ пошатывались и что-то пѣли. По улицамъ было очень много пьяныхъ бурлаковъ. Большая часть ихъ пѣла и играла на гармоникахъ и балалайкахъ. Горожане смотрятъ на нихъ да посмѣиваются. Но никто не обижаетъ бурлаковъ.

Нѣсколько бурлаковъ нашли себѣ теплыя гнѣдышки въ домахъ бѣдныхъ мѣшанъ. Хозяева домовъ пускали бурлаковъ по 3 коп. въ сутки, отъ 6 до 15 человѣкъ. И крѣпко спали бурлаки въ теплыхъ избахъ, и хорошо имъ было, хотя они и на грязномъ полу спали. Давно уже они не спали такъ, и долго еще имъ не придется такъ спать.

Подлиповцы съ лоцманомъ едва добрались до

\* Нисколько не похожую на французскую, какъ считали одинъ несчастный критикъ, отозвавшійся о подлиповцахъ съ полнымъ непониманіемъ этихъ людей, сравнивая ихъ съ петербургскими судо-

рабочими. Пекарская булка въ Перми продолговатая, вѣситъ около фунта и по роду муки называется или казанской сайкой, или сибирской пекарской булкой. Авторъ.

своей барки, и какъ только пришли, такъ и зава-  
лились спать и проспали весь вечеръ и всю ночь.

На баркахъ точно праздникъ подъ вечеръ: всѣ сидятъ кучками; одни хлеблютъ щи, другіе ѣдятъ ко-  
лодку судака, третьи хлеблютъ вареное прокислое  
молоко. Передъ каждымъ лежитъ коврикъ хлѣба.  
Пьяные спать. На барки возвращаются тоже пьяные.  
Изъ города слышны бурлацкія пѣсни. Наѣвшись,  
бурлаки начинаютъ пѣть, играть на инструментахъ  
и пляшутъ. На одной караванѣ кто-то играетъ на  
скрипкѣ, на другой кто-то играетъ на гитарѣ, ви-  
зитъ женщина, звенитъ посуда.

Былъ тихій, прекрасный вечеръ.

Губернская публика, человѣкъ до двухъ-сотъ, хо-  
дитъ взадъ и впередъ по маленькой набережной,  
называемой закономъ. Любуется ли она бурлаками,  
Богъ вѣсть. Для нея играетъ музыка на возвышеніи,  
посреди площади. Далеко разносится эта музыка,  
закрывающая въ себѣ полки. Музыканты играютъ  
скверно, но все-таки около загорода стоятъ бур-  
лаки и боится войти въ загоро; слушаютъ они му-  
зыку: хорошо и весело играютъ, долго бы слушали,  
да непонятно что-то. Постоятъ бурлакъ, заноситъ у  
него сердце, и пойдетъ онъ невеселый на барку. А  
тамъ поютъ родныя пѣсни, выигрываютъ родныя же  
пѣсни, пляшутъ—все какъ-то лучше, отраднѣе.

— Баско играютъ, да не по намъ, — разсуждаютъ  
бурлаки.

— И люди-то тамъ какіе! Сморти... чучелы...

— Эхъ, батъ, сыграй веселую... Вотъ тутъ бо-  
лѣть! — говоритъ одинъ бурлакъ, указывая на грудь  
или на сердце.

— Што тамъ! У нихъ свое, у насъ свое. Имъ  
такъ-то не спѣть. Затягивай! Знай нашихъ! — кри-  
чить какой-нибудь пьяный лоцманъ.

И вынѣваются бурлацкія пѣсни, грустныя, за-  
унывыя, и далеко далеко, и долго разносится эти  
пѣсни. А поють-то какъ они: сидитъ бурлакъ, по-  
допретъ щеки руками, задумается точно, въ гла-  
захъ жизнь видится, на лицѣ горе, и смотреть въ  
воду... Слушаешь эти пѣсни, все бы слушалъ ихъ,  
а словъ разобрать не можно, только и слышится  
какой-то стонъ протяжный...

Въ прежніе годы, когда не плавали еще паро-  
ходы по Камѣ до Перми, Кама была запружена до  
половины барками, и тогда городъ наполнялся бур-  
лаками. Теперь только десятая часть прежняго:  
пароходы съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе со-  
кращаютъ число бурлаковъ. Что будетъ съ этими  
людьми, когда имъ негдѣ будетъ бурлачить?

Есть люди, которые называютъ бурлаковъ самыми  
последними, бросовыми людьми. Есть даже и такіе,  
которые называютъ ихъ негодаями, вредными. Но  
они ошибаются: бурлаки только люди необразова-  
нные, грубые, самые бѣдные люди. Вѣдь у бурла-  
ковъ только и есть богатства, что на немъ надѣто  
да что онъ съѣдаетъ... и для этого онъ трудится  
больше, нежели другой. А терпѣніе переносить  
зной, холодъ, дождь?.. — „Надо же кому-нибудь  
быть бурлакомъ“... обыкновенно говорятъ люди,  
насмѣхающіеся надъ бурлаками и не понимающіе  
бурлацкой жизни.

Въ Перми барки простояли еще три дня. Въ по-  
слѣдній день бурлаки съ утра скучали: дѣлать не-  
чего, а хочется дѣлать; сидитъ бурлакъ на рынокъ —  
денегъ нѣтъ: лоцмана не дадутъ, — говорятъ, приказ-  
чики не дадутъ; просто задоръ беретъ. Есть же та-  
кіе богачи, что у нихъ и хлѣба-то множество и вся-  
кой всячины пропасть! Походитъ, походитъ бурлакъ  
по рынку и по городу, погорюетъ, что напрасно онъ  
проплатилъ деньги, и идетъ на барку.

Подлиповцамъ хорошо казалось жить на баркахъ.  
Хотя и бываетъ работа, зато не всегда, а хлѣбъ-то  
у нихъ всегда есть, даже еще много. „Жалко, нѣтъ  
Матрены!.. Ну, Апроська померла, куда съ ней  
больной. Здѣсь и безъ бабъ хорошо: татары да зы-  
ряне смѣшаты; и городскіе смѣшаты, говорятъ  
какъ-то, иннако да надъ нами смѣются“.

Подлиповцы узнали здѣсь больше, нежели они  
знали въ деревнѣ и въ Чердынѣ: они узнали, что  
міру божьему нѣтъ конца, что деревня ихъ дрянъ,  
люди совсѣмъ другіе, чѣмъ они; что имъ уже не  
быть такими, какіе ходятъ въ городъ въ богатой  
одеждѣ. Имъ хотѣлось еще побывать дальше и при-  
искать себѣ такое мѣсто, гдѣ бы было хлѣба много  
и можно бы было спать подольше.

Между тѣмъ барки постоянно приплывали и, вы-  
правивши билеты и заплативши положенный съ нихъ  
сборъ, плыли внизъ. Когда отправлялись караванки,  
то съ нихъ падали изъ пушекъ.

Въ воскресенье назначено было плыть лоцману  
Терентьичу. Плыла съ Сысойкомъ и ребятами от-  
просились у лоцмана купить хлѣба. Лоцманъ от-  
пустилъ на полчаса. Звонили къ обѣднѣ. Плыла и  
Сысойко нѣсколько разъ проходили мимо собора и  
заглядывались на него. Идя теперь мимо его и  
увидавъ, что въ ограду идетъ много людей, въ томъ  
числѣ и бурлаки, подлиповцы вошли въ соборъ.  
Ребята пробрались въ народъ на самую середину,  
а Пыла съ Сысойкомъ стоятъ у дверей. Видятъ  
они, посреди церкви одѣваютъ кого-то, и надѣ-  
ваютъ-то на него все хорошее... Нигдѣ такихъ  
одеждъ они не видали. Нигдѣ не слышали такого  
хорошаго пѣнія... Никогда не видали такой хоро-  
шей церкви... И расписано-то какъ. Пѣвчіе про-  
пѣли очень громко... Сердце дрогнуло у Пылы. На-  
стала тишина. Пыла не утерпѣлъ.

— Баско! Ай баско!! — сказалъ онъ.

— Ишь ты. А! — проговорилъ Сысойко.

Ихъ вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльцѣ, заглядывали  
въ стекла, видѣли только архіерея да много людей;  
хотѣли пробраться въ церковь, но ихъ не пустили.

— Эко ты диво! Кто же это? — удивлялся Пыла,  
отходя прочь отъ церкви.

— Я баялъ, не надо идти.

— Ужъ намъ гдѣ! А ты, Сысойко, поди скличъ  
ребятъ-то, а то безъ нихъ барки не пойдутъ.

— Самъ скличъ.

— Поди, право. Воюсь.

Они пошли къ воротамъ. Имъ попался офицеръ.  
Они сняли шапки. Офицеръ прошелъ.

— Поштенный! а поштенный! — окликнул офицера Пила.

— Что вам? — спросил тот.

— Клини тамъ Пашку да Ваньку, тятка, молъ, зоветь, плыть тожню надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушпають. — Офицеръ ушелъ. Пила и Сысойко постояли нѣсколько времени, попросили еще кого-то послать къ нимъ ребятъ, да тотъ и не отвѣтилъ даже имъ. Они пошли на рынокъ.

— Эко дѣло... Какъ теперь безъ ребятъ-то? — говорить Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вотъ то говори: они поди богатство тамъ получаютъ.

— Экъ ты!

— А получать. Ишь, какъ тамъ баско... Вдругъ Богъ-отъ и дастъ имъ богатство. Эвотъ сколько! Эво!.. — говорить Пила, указывая рукой на большой домъ.

— Пожалуй. Толды мы виѣстѣ станемъ жить?

— А не то, такъ и Матрену скличемъ.

— Апроську бы надо...

Пилѣ грустно сдѣлалось. Теперь ему казалось, что у него и родныхъ вовсе нѣтъ, кромѣ Сысойки, а ребята такъ и пропали. Жалко!

На рынокѣ они купили по три ковриги хлѣба и печонку. Сысойко несъ хлѣбъ, Пила печонку. Они опять подошли къ архіерейской оградѣ.

— Пойдемъ туда, — говорилъ Сысойко.

— И! Гли, туда какіе все идутъ.

— А вонъ бурлаки.

— Насъ не пустятъ, ошпо въ острогъ засадятъ.

Однако они вошли въ ограду, взобрались на крыльцо и хотѣли войти въ церковь. Ихъ опять прогнали... Они пошли на барку.

— Можетъ, они ужъ тамъ, откачивають...

Ихъ барка отваливала.

— Шевелись! черти!.. — кричалъ на нихъ лодчанъ.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойку и еще трехъ бурлаковъ посадили на шитникъ.

— А ребята здѣсь? — спросилъ Пила лодчана на баркѣ.

— Ждать мнѣ твоихъ ребятъ!

— Врешь?

— А ты пошто ихъ бросилъ?

— Да они въ церкви остались. не нашли... Эка бѣда!

— Поди глазѣютъ тамъ впервые-то!

— Какъ же теперь?

— А такъ... На другу барку можетъ пустятъ, только едвали пустятъ безъ билета.

— Не здѣсь ли они, Сысойко? погляди, — спросилъ, немного погодя, Пила.

— Можетъ.

Пила сходилъ на барку. Въ баркѣ отливали воду два бурлака. Пилѣ и Сысойку еще скучнѣе сдѣлалось. — Эко горе! Какъ же теперь безъ ребятъ-то! Помрутъ они тамъ.

А барка между тѣмъ плыла да плыла. Города уже не видно.

До Елабуги плыли полторы недѣли. Въ это время они на сутки останавливались для починки барокъ и для закупки провизіи въ городахъ Остѣ и Сарapulѣ. О житіи бурлаковъ въ это время сказать нечего: оно было такое же, какъ и на Чусовой и въ Перми, съ тою только разницею, что работы было меньше, чѣмъ на Чусовой. Бурлаки уже привыкли къ бурлацкой жизни, мало сѣтовали на свою судьбу; не удивлялись, какъ прежде, надъ пароходами, попадавшими имъ навстрѣчу и обгонявшими ихъ раза по четыре въ сутки; не удивлялись надъ величиною баржи: имъ теперь все приглядѣлось, надоѣло.

Съ потерю дѣтей Пила сдѣлался очень скученъ и еще болѣе привязался къ Сысойку.

— Нѣту у меня теперь ребятъ, только ты одинъ, — говорить онъ Сысойку ночью, лежа съ нимъ въ баркѣ.

— Идти бы назадъ въ церковь.

— Што дѣлать! Ужъ ты не отставай отъ меня.

— Ты только не брось.

— Я не брошу. Што мнѣ одному-то? Вонъ наши подлиповчи — што имъ, — своихъ пріятелей завели.

Елка и Морошка работали на носу и рѣдко говорили съ Пилою и Сысойкою. Имъ почему-то не нравились Пила и Сысойко, и они даже наговаривали объ нихъ бурлакамъ, что они колдуны, въ острогъ сидѣли и прочее.

Каждый разъ, когда нечего было дѣлать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь вдалекѣ отъ прочихъ бурлаковъ, смотрѣли другъ на друга и жалѣли другъ друга.

— Плохо, Сысойко! А-ай плохо... Такъ вотъ и болить *нутро*; ужъ болить!

— Какъ болить!.. Помереть бы...

— Сысойко: зачѣмъ ты не баба?..

— А пошто?

— Да такъ. Все бы оно лучше.

— А мы подемъ назадъ?

— Да надо ребятъ найти. Какъ найдемъ, и подемъ сюда.

Половина барокъ поплыла изъ Елабуги къ устью Волги и въ Саратовъ. Подлиповцевъ и прочихъ бурлаковъ заставляли выгружать желѣзо на берегъ, а потомъ нагружать въ баржи. По окончаніи выгрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денегъ, а прочіе больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забралъ раньше впередъ. Нѣсколько бурлаковъ поступили на баржи, тысяча человѣкъ поплы въ Вятскую губернію, кто по рѣкѣ Вяткѣ, впадающей въ Каму недалеко отъ Елабуги, кто проселочными дорогами. Человѣкъ двѣсти нанялись вести суда до Осы, Перми, Усоля и Чердыни. Грузъ былъ большею частью съ хлѣбомъ. Пила и Сысойко нанялись съ прочими подлиповцами до Усоля по шести рублей и получили задатку по полтора цѣлковыхъ.

Работа для подлиповцев теперь была еще тяжелее. Судно дождалось попутного вѣтра. Вѣтеръ подулъ. Подняли паруса съ пѣснями: „ухнемъ! ухнемъ! разомъ да разъ!!!“. Вѣтеръ потянулъ паруса и потянулъ судно. Подлиповцы удивлялись первый день, какъ это ихъ тянетъ вѣтеръ. Прошли они такъ верстъ десять, судно вошло въ такое мѣсто, гдѣ вѣтеръ не могъ тащить судно. Судно подплыло къ берегу посредствомъ гребли и стало на якорь. — „Верн бичеву!“ сказали лоцмана. Бурлаки, въ томъ числѣ и подлиповцы, положили въ лодку бичеву—веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, съ кожаными петлями или лямками, и приплыли на берегъ.

— Верн бичеву!..

Бурлаки надели на груди лямки. Всѣхъ ихъ было пятнадцать; на суднѣ было десять бурлаковъ.

— Трогайся съ Богомъ! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай! — кричатъ мужики съ судна.

Бурлаки потянули бичеву — и все ни съ мѣста.

— „Ухнемъ! ухнемъ! да разъ!“ — Они натянули впередъ всей силой, ихъ подало впередъ.

— „Ухнемъ, ухнемъ, да разъ!.. Дерни, подернемъ, да разъ!“ — И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову внизъ; руки болтаются, ноги переступаютъ едва-едва... „Дернемъ, подернемъ, да разъ“. И они идутъ, не увеличивая скорости шага; на плечахъ ихъ точно что-то тяжелое лежитъ, такое тяжелое, что ужасно... Идутъ они такъ часъ, груди у нихъ болятъ, ноги устали; съ нихъ каплетъ потъ, большія шапки ихъ закрываютъ глаза... Идутъ они тихо и покачиваются изъ стороны въ сторону.

Идутъ они сегодня по песку — солнышко ихъ жжетъ; на другой день идутъ болотистымъ берегомъ — ноги вязнутъ; выбились изъ силъ, а лоцманъ то и дѣло кричитъ: „что стали, пошли живо!“ На третій день идетъ дождь, гремитъ громъ, сверкаетъ молнія, а они идутъ и тянутъ богатство... Вотъ судно встало на мель. Пошли они къ судну по колѣно въ водѣ, вошли на судно и сталкиваютъ его шестью съ меля, — и опять ихъ пробираетъ потъ, солнышко или дождь. Вонъ стоятъ суда съ высокими мачтами.

— Стой! — кричитъ лоцманъ.

Они хотятъ встать, ихъ пятитъ назадъ.

— Брось бичеву!

Они снимаютъ лямки и бросаютъ. Бичева подбирается на судно. Много ловкости нужно имѣть лоцману, чтобы провести судно къ верху; много труда для бурлаковъ, нанявшихся вести судно на своихъ плечахъ!..

Какъ трудно поднимается судно къ верху, это видно изъ того, что наши подлиповцы пришли изъ Елабуги въ Пермь черезъ мѣсяцъ, потому что они большею частью тащили его, а вѣтеръ дулъ рѣдко.

Пила и Сысойко вездѣ спрашивали про Павла и Ивана, но никто не зналъ объ нихъ. Въ Пермь они не шли бичевой, а сначала стояли противъ рѣчки

Данилихи, потомъ, когда подулъ вѣтеръ снизу, ихъ протянуло до рѣчки Егошихи, и здѣсь они простояли два дня, въ которые выравили билеты, Пила справлялся на трехъ баржахъ и ничего не узналъ о дѣтяхъ.

— Померли! — рѣшилъ онъ. — Ну, хоть не мучатся. А то што имъ жить-то... А вотъ на насъ нѣту смерти.

— И мы поди не померемъ? — спросилъ на это Сысойко.

— Какъ не померемъ, — все помираютъ. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то какъ безъ тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобиснись.

— Боюсь...

— Вотъ мы танерь муку премъ, а небось ее не дадутъ намъ, а дадутъ когда гривну, когда полтину.

— Знаю, они богатые.

— Вотъ, бають, и въ Чердынѣ муку плавать, а пошто она тамъ дорога?

— А по то: кто плавить-то, — богатъ! Вотъ тѣ и богатство!

— Ужъ именно! Какъ прежь жили, такъ и теперь придемъ безъ всего, да ошпо ребать нѣтъ.

— Што дѣлать!.. Вотъ тѣ и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско тамъ, да што? А мы, Сысойко, не подемъ ужъ въ Пермь, лучше соль будемъ дѣлать: шпъ, какъ тамъ тепло, и денегъ, бають, больше дадутъ.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што съ колесами бѣгать.

— Попробуй — попади! Прогонятъ. Вездѣ гнали, и изъ Перми прогонятъ. Народъ тамъ, бають, злой...

— Все бы поплавать.

— Чортъ ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слѣзала... А спина-то? Самого такъ и пошатывать, — хоть помереть можно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вонъ лошадямъ такъ славная жизнь-то...

— Ну, ихъ!.. А мы соль будемъ дѣлать.

Черезъ день Пила и Сысойко ведутъ такой разговоръ:

— Ошпо бы такъ-ту поплавать, какъ по Чусовой плыли... Людей сколь, барокъ!.. города разные... И хлѣбъ тамъ былъ... — говоритъ Сысойко.

— Такъ оно. А таперъ и люди-то побѣгли, бають, домой.

— А намъ куды?.. што намъ въ деревнѣ-то?..

— Тамъ, Сысойко, бають, города баскіе есть. Бають, Пермь супротивъ ихъ пеголица... Походимъ ошпо тамока?

— Подемъ.

— Ваштъ, городъ есть такой: — дома все каменные, а вышина-то... въ Пермь нѣтъ такихъ домовъ. Тамъ, бають, царь живетъ.

— И туды подемъ... А денегъ дадутъ?

— Бають, баско тамъ.

— А мы и таперъ подемъ!

— Куды таперъ подемъ? Я чуть иду, такъ бы

вотъ и лежалъ... А мы положимъ въ Усольѣ и подемъ...

Черезъ день опять другое:

— Гли, Пиля, траву косать!.. Што бы намъ землю дали, — ужъ и бурлачить бы не пошли.

— Э! Людямъ счастье, а намъ гдѣ ужъ! Вонъ, баютъ, много есть бросовой земли, а не даютъ — богатые люди продаютъ, да дорого... Здѣсь ошпо што: все лѣсъ да лѣсъ, а вонъ ниже Пермы выдали мы, какія земли-то! баютъ хлѣба много.

— Пожить бы тамъ... Гли, плоть плыветь!

— Пусть плыветь. Ты вотъ то суди: — люди-то на немъ такіе же, какъ и мы. А ты погляди, какъ рыбу тащить неводомъ. Вотъ дакъ ремесло! Лучше этого ремесла ничего нѣтъ.

И легко!

— Поймалъ и съѣлъ, и продать можно.

— Подемъ рыбачить.

— Подемъ... Поспимъ и подемъ.

— Слышь, Сысойко, какой я сонъ видѣлъ... Ходимъ мы въ Перми, дома все иначе, огромнѣе — ужасты! Церквей стоить!.. Хлѣба такъ и на-кладена цѣлая гора... Набрали мы много хлѣба... Идемъ, идемъ, да и очутились въ рѣкѣ, и хлѣба нѣтъ, — неводъ тащить... Вытащили — ничего нѣтъ; ошпо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасты... Потомъ мы въ варницѣ очутились... Печь большая, пребольшая; все дрова кидаютъ, и мы киданъ... Только киданъ, киданъ такъ-ту дрова, и вижу я въ печь-то Апроську... Кричитъ она: „татъка, вытати! татъка, вытати!“.. Ужасты... Стою я и не смѣю въ печь водти, а только тебя жгеть, жгеть, и самъ будто ты въ полымъ сталъ. Кричу я эдакъ, а меня въ печь толкаютъ... Вотъ да сонъ!

— Бѣда!

— А какъ худо жить!.. Ходили мы, ходили съ тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у насъ куды гожи?... а гунька-то, гунька-то!..

— Ну, и жизнь!

— Походимъ ошпо; можетъ лучше будетъ.

— Кто его знаетъ. Ты считай, сколь бѣдъ-то.

— А понъ баялъ, какъ помереть, баеъ, на томъ свѣтѣ лучше будетъ, — баско... Значить и домъ будетъ, и лошадь, и корова...

Послѣ этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставлю читателю самому судить о положеніи Пилы и Сысойки. А такихъ бурлаковъ очень много. Пила говорилъ правду, что ему бы родиться не слѣдовало: родился зачѣмъ-то человекъ, въ дѣтствѣ терпѣлъ горе, вся жизнь его горе-горькая, ужъ какъ ни пробовалъ выбиться изъ нищеты, нѣтъ-таки — стой! куда лѣзешь, лапотника?

До Усоля осталось верстъ тридцать. Полдень. Идетъ дождь и немилосердно мочить бурлацкіе полубубки. Идутъ бурлаки часа четыре, то по колѣна въ водѣ, то по болотистому берегу, то перескакиваютъ черезъ ручейки, переходятъ ложки. Всѣ устали, измучились, какъ загнанные лошади, у всѣхъ пересохло горло. Всѣ молчать уже съ часъ.

сочинения Ѳ. Рѣшетникова.

Пила идетъ впереди. Сысойко рядомъ, Елка и Морощка позади ихъ. Пила и Сысойко страшно исхудали и походятъ на мертвецовъ. Они цѣлую недѣлю пролежали на суднѣ, теперь немного поправились, и хотя едва-едва переступаютъ ногами, хотя у нихъ кружатся головы, лоцманъ заставилъ-таки ихъ тащить судно. Двѣ недѣли не пѣли бурлаки пѣсень, говорили мало. А это худой признакъ. Водку пили только въ Перми.

Идутъ бурлаки по отлогому берегу около плетня, которымъ огороженъ чей-то покосъ съ лѣсомъ; ноги скользятъ, запинаются за пни; всѣ они покачиваются изъ стороны въ сторону, свѣсивши головы, опустивши руки. Одинъ только бурлакъ, молодой парень, то и дѣло тараторитъ, издѣвается надъ вятскими мужиками.

— Пошли, значить, вятки утку стрѣлять, а никто и не умѣетъ стрѣлнуть. Штука, значить, забористая...

— Ты ужъ баялъ. Лопнись баялъ, давече баялъ...

— Толды не все; таперъ какъ есть скажу.

— Ну, бай.

— Ну, и пошли, значить, стрѣлять семь мужиковъ одну утку, а ружье у нихъ у всѣхъ одно, да и то забарабали у богатого хресьянина... Ладно. Увидѣли утку и закричали: „лови ее, халыву!“ Побѣгли, она и спряталась. Потомъ выбѣгла и сидитъ на озерѣ... Вотъ они и стали ружье затыкать порокомъ: одинъ положилъ горсть, другой баеъ: „погоди, я положу! моя, баеъ, копѣичка нещербата“... Третій тоже баеъ: „моя копѣичка нещербовата“, и пехаетъ горстоцку пороку... И всѣ такъ баютъ, и пехаютъ горстоцку пороку... Ну, и положили всѣ по горстоцкѣ пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вотъ одинъ баеъ: „я стрѣлну“, другой тоже хочеть стрѣлнуть и распахались, а потомъ и обивали всѣ ружье разомъ... Ружье, какъ бзадепъ ихъ всѣхъ, — кому руку ушибло, кому лицо — бѣда! а одинъ, какъ стоялъ, такъ и упалъ — покойникъ сдѣлался. А они и баютъ: „скрадывать! скрадывать!“ и полегли съ нимъ, головами врозь... Такъ и лежатъ, а встать не смѣютъ... Только ѣдетъ мужикъ и видитъ ихъ... Едва-едва догадался, што одинъ мужикъ померъ. Ну, ихъ и спалили опосля, приволокли къ начальству.

Бурлаки даже не улыбулись и молча слушали рассказъ. Они уже въ четвертый разъ на этомъ дню слышали этотъ рассказъ. Молодой бурлакъ обидѣлся, зачѣмъ бурлаки не смѣются, и началъ другой рассказъ, какъ вятки онучи сушили...

Судно нашло на мель. На немъ шесть бурлаковъ работали шестами. Бичевники стали.

— Трогай сильнѣе, трогай! што стали? — понукалъ бичевниковъ лоцманъ съ судна.

Бичевники натянули бичеву, наперлись, закричали: „дернемъ, подернемъ, да разъ! ухнемъ да ухнемъ! разомъ да разъ!“... Судно стоитъ на одномъ мѣстѣ.

— Пошло, родимые, пошло! Прибавимъ силушки! Вотъ у рѣчки отдохнемъ... — понукаетъ лоцманъ.

Бичевники наперлись пуще прежняго, запѣли;

судно подвинулось, они пошли, но шли такъ трудно, словно не-вѣсть что тащили... Идутъ они, ни о чемъ не думая, а только далеко, далеко раздается ихъ пѣсня: „ухнемъ! ухнемъ! разомъ да разъ!.. ха! дернемъ, подернемъ, да разъ!“... Вдругъ бичева лопнула, всѣ бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто колѣнкомъ о камень, кто расшибъ носъ и губы, кто свалился къ водѣ, кто упалъ на то-варища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бокъ ушибъ, третій кажетъ руку, двое кричатъ: „ой, брюхо болитъ! моченьки!“

Пила и Сысойко лежатъ безъ чувствъ въ разныхъ сторонахъ, облитые кровью. Бурлаки окружили ихъ и стали смотрѣть. Пила разбилъ лобъ, переломилъ лѣвую ногу... Сысойко разбилъ грудь...

Всѣ запечалились.

— Померли!.. Родимые..

— Эхъ-ма! Вотъ тѣ и жизнь!.. Охъ-хо-хо!—и бурлаки утираютъ черными жесткими ладонями глаза...

Пилу и Сысойку накрыли полусубками и отошли прочь.

Приплылъ на берегъ одинъ лодманъ съ бурлаками. Всѣ погоревали, долго судили, что дѣлать съ Пилой и Сысойкой, и рѣшили свезти въ деревню. Пилу и Сысойку положили на рогожи, завернули рогожами, приплатили въ шитикъ на судно и тамъ положили на палубѣ. Бурлаки не отходили отъ нихъ, обмыли водой обоихъ и положили такъ, какъ мертвецовъ. Сысойко пришелъ въ чувство, застоналъ, взглянулъ въ лѣвую сторону, гдѣ лежалъ Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила!—простоналъ Сысойко

— Дай водицы ему,—сказалъ лодманъ одному бурлаку.

Бурлаки почерпнули въ ведро воды и влили въ ротъ Сысойкѣ воду. То же сдѣлали и съ Пилой.

Пила пошевелился, но не издалъ звука.

Сысойко смотритъ на Пилу дико.—Пила!—опять стонетъ онъ.

Пила издалъ глухой стонъ.

— Больно?—спрашивали Сысойка бурлаки.

Сысойко смотритъ на всѣхъ дико, стонетъ... Вотъ онъ повернулся на бокъ и смотритъ на Пилу. Пила открылъ глаза, пошевелилъ губами и ничего не сказалъ... Потомъ онъ протянулъ къ Сысойкѣ руку и умеръ..

— Померъ!

— Добрый былъ, добрый...

— И мы такъ померемъ...—разсуждаютъ бурлаки, чуть не плача.

— Тятка!...—стонетъ Сысойко.

— И онъ помереть...

— Сысоушко! поживи ошпо чуточку!..—говорятъ Сысойкѣ бурлаки.

Лодманъ никакъ не могъ заставить бурлаковъ тянуть судно.

— Не трогъ!—говорятъ.—И мы померемъ.

— Братцы, сплхнемъ хоть судно-то. Смотрите, вѣтеръ!

— Нѣтъ, братанъ... Гляди!

Лодманъ привыкъ уже къ подобнымъ спенамъ и перевезъ Пилу и Сысойку въ деревню, находившуюся недалеко.

Пилу сторонили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодные были эти слезы, слезы бурлацкія...

Сысойку оставили въ деревнѣ и судно кое-какъ сдвинули съ мели. Оставили Сысойку въ деревнѣ безъ бурлаковъ у одного крестьянина, и черезъ четыре дня послѣ отплытія судна онъ умеръ...

Родился человѣкъ для горе-горьской жизни, весь вѣкъ тащилъ на себѣ это горе, оно и сразило его... Вся жизнь его была въ томъ, что онъ старался найти себѣ что-то лучшее...

Вотъ каково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усоля и тамъ поступили на варницы. Отъ работниковъ они узнали, что жена Пилы, Матрена, за воровство попала въ острогъ, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьетъ его, беретъ съ собою, заставляетъ говорить: „подайте ради Христа!“ пропиваетъ собираемый хлѣбъ и деньги, и часто оставляетъ его безъ хлѣба.

Положеніе этого ребенка очень незавидно. Вѣдь и онъ вырастетъ, и какими онъ будетъ человѣкомъ?..

Что сдѣлалось съ Павломъ и Иваномъ? Они не нахвоятся своей судьбой; жизнь имъ кажется хорошей. У нихъ заведенъ сундучокъ, въ которомъ хранятся сапоги, зеркальце, чай, сахаръ, двѣ ситцевыя рубашки, два тиковыхъ синяго цвѣта халата. Они лѣтомъ кочегарами на пароходѣ, а зимой работаютъ на пристани. Лѣтомъ они бывали въ Нижнемъ, въ Саратовѣ, въ Астрахани, ѣдали яблоки и арбузы, очень развились и даже умѣютъ читать.

Пила оставилъ ихъ въ Перми въ соборѣ. Тамъ они стояли около архіерейскаго мѣста (престола по-церковному) и глядѣли, какъ одѣвали архіерея. Когда они слышали слово: *баско!* то думали, что это такъ и должно быть, и не обратили вниманія на волненіе въ народѣ, когда выводили изъ собора Пилу и Сысойку, потому что они въ это время смотрѣли на архіерея, на духовенство, на пѣвчихъ и на живописъ. Ихъ все удивляло. Когда былъ великій выходъ, Павелъ сказалъ Ивану:

— А тятки нѣтъ!

— Онъ, поди, смотритъ.—И простояли всю обѣдню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архіерейская служба.—Когда сталъ выходить народъ изъ церкви, они спохватились, что нѣтъ отца, забѣгали на дворъ, вездѣ выглядывали его, ушли опять въ церковь, тамъ уже не было людей. Они зашли и на хоры, и тамъ уже нѣтъ; пошли въ алтарь, но оттуда ихъ прогналъ староста. Погоревавъ на улицѣ объ отцѣ, они пошли на рынокъ, походили тамъ часа съ три, собирали Христа ради милостинки, наѣлись, спросили бурлаковъ объ отцѣ, ничего не узнали и пошли глазѣть на народъ.



- Гдѣ же тятка-то?—говорилъ Павелъ.
- Кто его знаетъ.
- Онъ, поди, уплылъ?
- Безъ насъ не уплыветъ.
- А мы какъ?
- Мы здѣсь останемся. Ишь баско!
- Все тятки жалко...

По городу они ходили съ часъ и зашли на бульваръ. На бульварѣ начала собираться губернская публика. Они выспались въ канавѣ и когда пробудились, то бульваръ былъ уже полонъ народа; игралъ военный оркестръ; въ шалашѣ играли фокусники. Ребята все высмотрѣли, всему дивились: ихъ очень забавляли офицеры, нарядъ людской, гимнастическія упражненія, качели, танцы въ залѣ.

- Баско!
- У насъ нѣту такъ-то.
- И на баркахъ иначе.
- Вотъ такъ городъ!
- А мы ужъ здѣсь останемся...
- А какъ протурять?
- Смотри, бурлаковъ сколъ. Гдѣ же тятка-то?
- Онъ, поди, смотри: ишь, сколъ людей-то! Ишь, што діется!—говорятъ ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульварѣ. Утромъ на бульварѣ никого не было, и ребята заплакали съ горя. Въ городѣ имъ попались бурлаки.

- Видѣли тятку?—спросилъ ихъ Павелъ.
- А вы бурлаки?
- Бурлаки.
- Откедова?
- Чердынскіе.
- А откелева съ баркамъ-то идете?
- А заводъ Шайтанскій есть, оттоль и плывемъ. А тятку-то Пилой зовутъ, да ошно Сысойко съ нимъ.

— Не знаютъ мы твою Пилу и Сысойка не знаемъ. Шайтански отвалили ужъ.

Ребята запечалились и пошли съ бурлаками на рынокъ. Они заплакали. Куда идти? гдѣ жить?

Пошли они собирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь городъ, а ночами спали у соляныхъ амбаровъ. Потомъ они наткнулись на одну пристань, увидѣли, какъ и что работаютъ люди, сами стали работать и получили за работу по 20 коп. сер. въ сутки. Цѣлую недѣлю они спали подъ лодками, а потомъ надъ ними жалился одинъ водоливъ, узнавшій отъ нихъ о потерѣ отца, и пустилъ спать въ баржѣ. По совету этого водолива ребята и поступили на пароходъ съ жалованьемъ по 6 р. въ мѣсяцъ.

Жизнь на пароходѣ ребятамъ кажется хорошиной. Когда идетъ пароходъ, они постоянно бросаютъ въ печь дрова и въ это время ходятъ черные, какъ трубочисты, и только изрѣдка любятъся людьми. Они узнали, что такое пароходъ, и знаютъ каждый

уголокъ въ пароходѣ, каждую вещь, для чего она тутъ хранится или приделана. Товарищи любятъ ихъ; въ особенности любятъ ихъ подручный повара и часто даетъ имъ то кусочекъ пирога, то кусочекъ жаркова или иныхъ какихъ сластей понемногу, а главное—въ свободное время, когда пароходъ стоялъ, училъ ихъ читать. Въ это свободное время Павелъ и Иванъ купались въ рѣкѣ, смывали съ себя сажу, надѣвали чистенькія рубашки и ходили по городу, или спали, или починивали свою одежду. Зимой они отскребаютъ снѣгъ, метутъ, колятъ дрова, носятъ воду и дрона то смотрителю пристани, то служащимъ на пристани, и часто исправляютъ должность кучеровъ.

Они часто вспоминаютъ про отца и Сысойка. Сидятъ они у печки паровой, покуривая трубка, и горюютъ:

— Жаль, Пашка, что отца нѣтъ. Все бы виѣсть лучше.

— Куда же онъ пропалъ? Вотъ и Сысойка нѣтъ.

— Ужъ Сысойко отъ отца не отстанетъ. Они, поди, все бурлачутъ.

— Да теперь ужъ поздно бурлачить: вонъ суда плывутъ къ верху. Я, знаешь, ходилъ на палубу, а бурлаки судно тянутъ. Жалко мнѣ стало.

— Поди, отецъ также тянетъ.

— А мы какъ увидимъ гдѣ отца да Сысойка, дадимъ имъ денегъ и звать будемъ съ нами жить.

— Ладно.

Объясняютъ они и говорятъ:

— Жалко, Ванька, что отца нѣтъ! Поѣлъ бы онъ съ нами. Вѣдь онъ никогда такъ не ѣлъ.

— Живъ ли онъ, Пашка?

— Не потонулъ ли съ баркой?..

Одѣвнутся они прилично и говорятъ:

— Какъ посмотрѣлъ бы на насъ отецъ да Сысойко, удивились бы... Ишь, какіе мы!

— А мы какъ накопимъ денегъ, полшубки хорошіе купимъ; а то дали намъ какіе-то большіе да старые.

— Они, поди, теперь и не узнаютъ насъ.

— Я бы, знаешь, какъ сталъ бы жить: съ нами отецъ съ матерью да съ Сысойкомъ, про людей бы да про города разные сталъ имъ рассказывать, а не то и читать имъ станемъ.

— Не повѣрятъ.

— Намъ бы повѣрили: ты разсуди, вѣдь они—родные намъ. А вотъ скажи другой имъ, и не поймутъ.

— Почто же они такіе?

— А Богъ ихъ знаетъ. Такъ ужъ, вѣрно, Богъ устроилъ. Одинъ богато живетъ, а другой бѣдно, и живутъ-то вездѣ по-своему: одинъ сытъ, а другой кору ѣстъ.

— А пошто же не всѣ богаты?

— Ну ужъ, и не говори больше.. Ты говори спасибо, что и такъ-то живемъ.

# ГЛУМОВЫ.

## I.

Таракановскій чугунно-литейный и мѣдно-плавильный заводъ съ Круглой горы представляетъ видъ разбросаннаго шестиугольника. Какъ разъ подъ самой горой справа прудъ, а въ немъ есть два маленькія острова, поросшіе ивой; съ южной стороны вытекаетъ изъ пруда небольшая рѣчка, сперва скрывающаяся въ лѣсу, а потомъ правѣе идетъ по голой, покатистой мѣстности и точно убѣгаетъ въ гору съ сѣрватою почвою, — гору безъ лѣсовъ и кустарниковъ, какъ и гора Круглая. Немного лѣвѣе, какъ будто подъ самой горой, а на самомъ дѣлѣ въ полуверстѣ отъ горы, построены двѣ четырехугольныя каменныя фабрики съ красными крышами, четыре длинныхъ зданія на заднемъ планѣ, потомъ впереди фабрикъ плотина съ вешняками. Но эти фабрики кажутся довольно мизерными сравнительно съ остальною массою пестрыхъ и черныхъ домовъ съ высокими крышами и маленькими садиками, сплотившимися такъ тѣсно другъ съ другомъ, что трудно съ перваго раза найти въ этой массѣ какой-нибудь промежутокъ. Но это только для перваго впечатлѣнія. Если же постоять подольше и приглядѣться, то начинаетъ проясняться вотъ что: заводскіе дома построены большею частью на холмистыхъ мѣстахъ, пересѣкаемыхъ ручейками, лѣтомъ высыхающими, а весною причиняющими своимъ разливомъ значительныя ущербы въ домашнемъ хозяйствѣ таракановцевъ. А такъ какъ холмы никто не трудился сравнивать и они, согласно законамъ природы, устроились какъ пришлось, то отъ этого происходитъ то, что съ горы нельзя различить промежутковъ между домами. Здѣсь не мѣшаетъ еще прибавить, что когда на горѣ существовала будка, то ни одинъ караульный не могъ положительно сказать въ случаѣ пожара, чей горитъ домъ, потому что ему казалось всегда пламя не въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно было. Это недоумѣніе объясняется безалаберной кучей строеній. Почти въ серединѣ массы домовъ виднѣется голубая церковь, около церкви

лѣсъ; правѣе виднѣется что-то похожее на вѣсы, потому длинное одноэтажное бѣлое зданіе съ садомъ; рынка же на площади вовсе не видать. Берега пруда съ правой стороны высокіе, крутые. потому что, какъ говорятъ таракановцы, гора Круглая пустила по правому берегу пруда отростокъ. Этотъ отростокъ впрочемъ нѣтъ на себѣ густой сосновый и березовый лѣсъ, куда лѣтомъ бѣдные таракановцы ходятъ за малиной, а богатые ѣздятъ пить чай, закусывать, однимъ словомъ — благодумствовать подъ зеленю. Особенныхъ видовъ въ правой сторонѣ нѣтъ: лѣсъ и лѣсъ, то горы, поднимающіяся высоко, то холмы, чуть-чуть виднѣющіеся въ промежуткахъ лѣса, то гдѣ-нибудь лѣсъ горитъ, — и вся эта масса съ лѣсомъ и горами наконецъ точно упирается въ небо, какъ будто тутъ ей и конецъ. Налѣво же къ пруду выходятъ огороды съ банями безъ крышъ, построенными ближе къ пруду для того, чтобы лѣтомъ было удобнѣе изъ бани окунуться въ воду, а зимою на берегу пруда охладиться, что впрочемъ многимъ дорого обходится, потому что съ пруда часто дуетъ рѣзкій холодный вѣтеръ...

Заводъ, вмѣстѣ съ людьми, принадлежитъ частному лицу (мы взяли нѣсколько лѣтъ назадъ). Поэтому у обитателей завода особый характеръ, отличный отъ другихъ человѣческихъ разрядовъ тѣмъ, что мужчины — преимущественно рабочіе на заводѣ: рабочіе въ рудникахъ, рабочіе въ лѣсахъ, рабочіе на фабрикахъ. За эту работу въ старое время они получали провіантъ, имѣли покосы, на господскій счетъ строили дома и пользовались нѣсколькими свободными днями въ году. Всѣ они управлялись своимъ начальствомъ, тоже крѣпостными людьми; начальниковъ у нихъ было много: десятникъ, сотникъ, нарядчикъ, штейгеръ, урядникъ, приказчикъ. Последнихъ бывало и по два въ заводѣ, и они были главными рычагами всего заводскаго дѣла. Выше приказчика былъ управляющій, служившій заводовладѣльцу по найму и замѣнявшій своею личностью владѣльцевъ, которые на заводъ никогда не заглядывали. Случалось, что господа дѣлали управляющими и своихъ крѣпостныхъ,

ше рѣдко. А такъ какъ надъ рабочими постоянно существовало свое начальство, крѣпостное, то у таракановскаго заводоуправленія существовали свои домашніе законы—словесныя или письменныя приказанія и наставленія. Тѣсно связанныя съ внутренней обстановкой жизни рабочаго люда, эти законы вошли въ обычай каждаго человѣка, который ни возражать имъ, ни противиться не смѣлъ, а даже самъ, въ семейномъ своемъ быту, привѣрялъ эти законы къ дѣлу.

Таракановцы—народъ рабочій, и чѣмъ они отличаются отъ другихъ рабочихъ, такъ это развѣ тѣмъ, что въ прежнее время они должны были работать всякую работу, гдѣ и что имъ дадутъ. Мало-по-малу у таракановцевъ сложился характеръ, состоящій въ томъ, чтобы надуть свое крѣпостное начальство, выйти сухимъ изъ воды, сгнать кому угодно, осмѣять того, кто поддается, обругать въ сердцахъ того, кто больно жметъ, работать подобно машинѣ и въ свободное время отводить горе за водкой или пивомъ въ дружеской компаніи, въ которой можно и подраться. Отъ этого и оттого, что рабочіе работаютъ не нѣскольکو человѣкъ вмѣстѣ, у нихъ существуютъ товарищества, основанныя на томъ общемъ интересѣ, чтобы работать вмѣстѣ, пить вмѣстѣ, жить дружно, въ случаѣ промаха кого-нибудь изъ товарищей, напримѣръ въ кражѣ чугуна, мѣди, въ порубкѣ лѣса, не выдавать своего,—на основаніи того заключенія, что крѣпостное начальство, желая откупиться на волю, воруютъ гдѣ сотнями рублей, а гдѣ и больше. Не мѣшаетъ замѣтить, что большинство рабочихъ были раскольники, и хотя со временемъ раскольники слились съ православными, но и теперь еще можно найти настоящихъ раскольниковъ на Козьмѣ Болотѣ; у нихъ сложился своеобразный заводскій взглядъ на разныя вещи, не говоря уже о предрассудкахъ и разныя суевѣріяхъ. Книгъ никто изъ рабочихъ не читалъ, потому что книгъ не было, да еслибы и были, то читать умѣли немногіе, выучившіеся самоучкой, и поэтому у таракановцевъ существовала съ искономъ вѣку практика, а о теоріи они и понятія не имѣли. На основаніи вотъ этой-то практики они и строили разныя убѣжденія, заключенія и мнѣнія, а какъ практика все-таки вертелась на томъ, чтобы работать, потому что безъ работы голоднымъ насидишься, то каждая рабочая артель горячо отстаивала свое занятіе: кайловщикъ, рабочій въ рудникахъ, хотя и ненавидѣлъ свое занятіе, потому что оно очень тяжело и уноситъ много здоровья, однако не любилъ слесаря, подзадоривалъ на драку куренного рабочаго и водилъ вообще компанію съ рудничными рабочими; слесарь, человѣкъ болѣею частью работающій дома, съ презрѣніемъ относился къ фабричному рабочему и подзадоривалъ на драку портного или сапожника, надѣясь въ то же время на свою силу и ловкость, и т. д.

Женскій полъ занятъ преимущественно хозяйственными домашними дѣлами, рожденіемъ и кормленіемъ дѣтей. Зная, что мужъ въ домѣ глава, хозяинъ и кормилецъ, жена бонится въ чемъ-нибудь огорчить мужа, потому что хоть какъ ни дер-

горло (а таракановскія женщины очень голосисты), а съ мужемъ не справишься. Но все-таки нельзя сказать того, чтобы таракановская женщина была забита въ конецъ. Правда, ея умственное развитіе останавливается при выходѣ замужъ или при рожденіи второго ребенка, но вѣдь и мужья тоже недалеки въ умственныхъ способностяхъ, хотя далеко превосходятъ женщинъ доказательствами, называя притомъ женскій языкъ балабайкой. Стоить только послушать, какъ соберутся три женщины и о чемъ-нибудь разговариваютъ; мало того, что онѣ голосятъ безъ умолку, нѣтъ, каждой хочется перекричать остальныхъ, вернуть такое слово, чтобы остальные рты разинули, и хорошо еще, если онѣ не передерутся; а между тѣмъ весь этотъ крикъ происходитъ отъ того, что каждой хочется показать другой, что и она умна, и что мужъ ея не пѣшка какая-нибудь, или что у нея, слава Богу, не одинъ ребенокъ. Мало этого: мужъ, не посовѣтовавшись съ женой, не заведетъ чего-нибудь для хозяйства, не дастъ денегъ въ долгъ, не позоветъ гостей на праздникъ. Кроме этого, такъ какъ тѣ мужья, которые работаютъ въ рудникахъ, домой возвращаются черезъ недѣлю или черезъ двѣ недѣли, а тѣ, которые работаютъ на фабрикахъ,—поздно вечеромъ, то жены въ домахъ дѣлаются полными хозяйками, и мужья, возвратившись домой, не имѣютъ права вмѣшиваться въ женское хозяйство; такъ напримѣръ, если пропадетъ корова—дѣло женское; мужъ только побранить жену за слабый надзоръ; то же и съ курицами, и съ овечками; пропади же лошадь въ отсутствіе мужа—мужъ здорово исколотитъ жену, потеряйся сапогъ или шило—женѣ быть битой. И все это объясняется очень просто: мужъ—хозяинъ всего своего имущества и изъ любви къ женѣ предоставляетъ ей право не только безапелляціонно распоряжаться хозяйствомъ, но и, такъ сказать, дарить ей для забавы корову, курицъ и овечекъ, отъ которыхъ болѣею частью пользуются его дѣти. Умѣетъ она владѣть коро-вой—владѣй, а не умѣетъ—сама виновата; пропала—покупай на свои деньги.

Занятій у обоюго пола таракановцевъ очень много; но эти занятія обезпечиваютъ ихъ кое-какъ. Работать на сторону приходится очень немногимъ мужчинамъ, а женщины работаютъ только на свои семейства, да и то, какъ говорится, бѣгаетъ, бѣгаетъ—всѣ ноги бѣгаетъ, еле-еле до постели доберется. Жизнь женщины на заводѣ все равно что колесо, медленно двигающееся, и только развѣ какой-нибудь важный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ, случай явится въ какой-нибудь день,—только тогда это колесо пріостановится не надолго. Зато и бываетъ же отдыхъ этому колесу, — такой, гдѣ женщина не только вполне являетъ себя хозяйкой дома, но даже дѣлается госпожей надъ всѣмъ домошъ.—Это заводскіе праздники.

## II.

Много разныхъ Глумовыхъ въ таракановскомъ заводѣ: Глумовъ приказный въ главной заводской кон-

торъ, есть Глумовъ портной, есть Глумовъ нарядчикъ, пятовъ другихъ Глумовыхъ уже находится на снокахъ, а пяты еще находится въ работахъ или въ самомъ заводѣ, или въ другихъ заводахъ, подвѣдомственныхъ таракановскому; и большинство этихъ Глумовыхъ въ родствѣ между собою не состоятъ. Но всѣ эти Глумовы ничто въ сравненіи съ известнымъ родомъ Глумовыхъ, — родомъ Якова Петровича. Вотъ этихъ-то Глумовыхъ знаетъ почти весь заводъ, начиная съ маленькихъ ребятъ. Потомки Якова Глумова гордились своими предками, потому что онъ сумѣлъ одинъ поставить крестъ на соборную колокольную губернскаго города. Дѣло было такъ: Яковъ Глумовъ обладалъ порядочною силой и ловкостью; онъ занимался преимущественно постройкой домовъ. Пристрастившись къ этому занятію, онъ ушелъ на заработки, и вотъ въ губернскомъ городѣ ему представился случай отличиться: нужно было поставить крестъ на соборной колокольнѣ. Всѣ рабочіе, участвовавшіе при построеніи собора, затруднились поднять крестъ на колокольню; недоразумѣніе состояло въ томъ, какимъ образомъ подняться по шпигу, имѣющему вверху пространства двѣ четверти ширины. Другое бы дѣло — изъ нутра продѣть; но изъ нутра неловко, да и одному не справиться, а двоимъ тѣсно. И странное дѣло: четыре человѣка занимались обивкой шпигу, но никто изъ нихъ, кромѣ Якова Глумова, не рѣшился исполнить такое трудное дѣло, потому что всякій боялся: ну, какъ слетитъ съ верху! Колокольня стояла два мѣсяца безъ креста; начальство вызывало охотниковъ, предлагало большія деньги, но желающихъ не являлось, а Яковъ Глумовъ — еще за два мѣсяца хваставшійся товарищамъ и горожанамъ на работѣ, въ питейныхъ и на рынкѣ, что какъ имъ помогутъ, а безъ него не подымутъ креста — помалчивалъ. Онъ былъ человѣкъ гордый и ждалъ, что за нимъ придутъ, ему поклонятся. И онъ не ошибся. Явился архитекторъ, распылся въ любезностяхъ, наговорилъ кучу вздору и сталъ упрашивать Глумова. „Нѣтъ“, отвѣчалъ Глумовъ, „я — человѣкъ семейный и за што же я стану жизнь свою губить?“ — „Пять тысячъ назначено тому, кто подниметъ крестъ“. — „Я развѣ пять тысячъ стою своимъ дѣтямъ: дѣти отъ меня науку только-что начали примать“. Наконецъ уломали кое-какъ Глумова взяться за дѣло. Назначенъ былъ день, народу къ собору собралось чуть ли не весь городъ, да еще прѣзжихъ сколько понаѣхало. Лѣса съ колокольни еще не были убраны до колоколовъ, а выше — лѣсовъ не было. Крестъ стоялъ у перилъ. Но Якова Глумова не было. Наконецъ явился и онъ. Это былъ низенькій человѣкъ, съ блѣднымъ лицомъ, одѣтый очень просто. „Четыре человѣка со мною!“ — крикнулъ Яковъ Глумовъ, гордо озирая праздную толпу, — и пошелъ. Черезъ полчаса онъ былъ на колокольнѣ, полчаса его не было видно, черезъ часъ онъ явился на колокольнѣ и кричалъ стоявшимъ на лѣсахъ рабочимъ: „привязывайте крестъ!“, но такъ какъ они возились долго, то онъ спустился самъ и самъ обязалъ крестъ, какъ нужно. Потомъ онъ привязалъ крестъ на спину и, гдѣ задѣвая за крышу, гдѣ по веревкѣ, въ полчаса добрался до

шпигу. Отдохнувъ немного, онъ въ нѣтъ минутъ очутился на верхушкѣ шпигу и сѣлъ какъ ни въ чемъ не бывало. Это очень удивило народъ. Когда же онъ спустился со шпигу, его осматривали разрозненными: какимъ образомъ могъ онъ сидѣть на шпигѣ; но онъ отвѣчалъ: „это дѣло мое“. Собрать много денегъ, Глумовъ сталъ гулять, и хотя городское начальство сначала побижало героя, но наконецъ дурачествамъ Глумова не было границъ, и его принуждены были послать въ таракановскій заводъ, гдѣ онъ еще больше сталъ безчинствовать, на основаніи того, что онъ — герой и героемъ его прозвали большіе люди.

Этотъ Глумовъ, какъ говорятъ, сторѣлъ съ вина, и послѣ его смерти не осталось ни копѣйки денегъ сыновьямъ и дочерямъ.

Сыновья Глумова пошли въ отца, но нѣтъ, подобно отцу, героями не случилось быть, а приходилось пользоваться отцовскою славой, на основаніи которой одинъ изъ братьевъ былъ даже выбранъ Козьмъ Волотомъ въ старшины, т. е. въ начальники надъ раскольниковъ; но это начальство продолжалось недолго: его посадили въ острогъ и сослали въ каторжную работу за какое-то преступленіе.

Въ настоящее время существуютъ въ Таракановскомъ заводѣ внуки Якова Глумова: Тимофей Глумовъ, Маланья Степановна съ дочерью Прасковьею и двумя сыновьями: Ильей и Павломъ.

Живутъ они въ Козьмѣ Волотѣ, въ десятомъ домѣ по лѣвую руку. Здѣсь вѣстятъ замѣтить, что новыя домовъ тутъ не строятъ на томъ основаніи, что съ новымъ домомъ много хлопотъ, да и у рабочаго человѣка очень немного свободнаго времени, которое идетъ на починку сапоговъ или кое-какихъ поправокъ; нанять же для этого плотника не на что. Кромѣ этого рабочіе, на старости лѣтъ обратившіеся въ раскольниковъ, такого мнѣнія на счетъ новинъ, что строятъ новый домъ и грѣхъ, и гордость, — потому что, какого мнѣнія будутъ остальные товарищи: осрамить и будутъ грѣшить всю жизнь. Подобный случай дѣйствительно былъ. Одинъ рабочій сломалъ ветхій домъ, находившійся ближе къ фабричному порядку, зиму онъ прожилъ въ избушкѣ, выстроенной въ огородѣ, а на другое лѣто выстроилъ домъ съ избой и комнатою. Всѣ обитатели Козьяго Волота кормили его, называя отщепенцемъ, т. е. отдѣлившимся отъ нихъ, и тѣмъ, что онъ на показъ себя выставлялъ, желая увѣрить всѣхъ, что онъ — человѣкъ богатый и на прочихъ плюетъ. Рабочій не находилъ покою нигдѣ, жену его еще больше, ничего ей не давали въ долгъ, а если она попростотъ своей давала кому-нибудь муки, квасу или соли, то ей долгъ не возвращали, считая мужа ея богатымъ человѣкомъ; наконецъ домъ этотъ во время страды сожгли, и рабочій переселился въ солдатскій порядокъ \*).

Какъ бы то ни было, рабочіе Козьяго Волота не жалуются на ветхость своихъ жилищъ, а каждый свою избушку утыкаетъ мотомъ или паклею, пре-

\*) *Порядкомъ* называется часть завода, имѣющая свое особое мірское управленіе — вѣчто вродѣ отдѣльной деревни.

имушественно мохотъ, потому что ни у одного таракановца нѣтъ ни пашенъ, ни полей, на которыхъ бы росъ ленъ, и подпираетъ въ случаѣ надобности бревешкомъ. И такихъ полуразвалившихся домишковъ, какъ домъ нашего героя Глумова, въ Козьмѣ Болотѣ не мало.

Настоящихъ хозяевъ въ домѣ Глумовыхъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ было двое: Игнатій и Тимофей Петровичъ Глумовы.

Оба брата различались другъ отъ друга родомъ занятій и характерами. Игнатій былъ грубъ и золъ и вѣроятно поэтому работалъ въ рудникахъ, а Тимофей былъ мягокъ, угождалъ мелкихъ начальникамъ, терся то при полиціи, то при лазаретѣ и наконецъ попалъ въ караульные на гору, гдѣ въ то время существовала *караушка*, замѣнявшая на заводѣ каланчу, хотя въ сущности ея назначеніе состояло въ томъ, чтобы отбивать часы, т. е. смѣны рабочихъ.

Несмотря на то, что Игнатій Петровичъ былъ золъ и грубъ съ мелкими начальниками, вродѣ штейгеровъ и нарядчиковъ, въ товарищескомъ кругу онъ былъ добрейшее существо. Сочувствуя каждому чужаку въ томъ, что положеннаго урока такому-то рабочему не исполнить, онъ всегда поддерживалъ мнѣніе, что не дурно было бы пособить уроковъ; но это мнѣніе не приводилось въ исполненіе, потому, какъ говорятъ заводскія бабы: „рабочіе только на словахъ бойки, а коснись дѣло на лицо, у нихъ и каша во рту застыла“. И разсужденіе это довольно мѣтко характеризуетъ трусость рабочихъ. Такъ Игнатій Петровичъ, бывши душой рудничнаго общества на работахъ, въ рудничной избѣ, въ питейныхъ домахъ, въ гостяхъ, нерѣдко подговаривалъ товарищей подать просьбу управляющему объ уменьшеніи урочныхъ работъ; товарищи голосили, хорохорились, но на другой день вся вчерашняя храбрость исчезала, и они, махая руками, говорили: „наплевать! Ужъ коли старики наши эти порядки не могли измѣнить, такъ намъ ли ужъ соваться съ свиннымъ рыломъ въ золотую лохань?“ Одинъ только Игнатій Петровичъ не измѣнилъ своего мнѣнія. Онъ разъ утромъ, послѣ праздника, опохмелившись съ товарищами, уговорилъ ихъ подписать прошеніе управляющему, — прошеніе, написанное очень красиво заводскимъ учителемъ, Петромъ Савичемъ Курновымъ. Прошеніе это было подано лично управляющему. Стали спрашивать подписавшихся, и только двое съ Игнатіемъ Петровичемъ высказали свои жалобы, а остальные, боясь наказанія, или молчали, или говорили: „мы такъ; мы ничего...“ Само собой разумѣется, что изъяснившимъ претензію пришлось не легко, такъ что Игнатію Петровичу не привелось уже быть повышеннымъ въ рабочей іерархіи, хотя онъ былъ изъ лучшихъ работниковъ; онъ такъ и умеръ рабочимъ на рудникѣ. Курновъ же потерялъ учительское мѣсто.

Въ домашнемъ быту Игнатій Петровичъ былъ, по выраженію хозяекъ, золотой человѣкъ. Дѣйствительно, ухаживая на рудникъ, находящійся отъ завода во ста пятидесяти верстахъ, и проработавъ тамъ почти безъ отдыха двѣ и три недѣли, онъ возвращался домой измученнымъ, и жена его, Ма-

трена Степановна, любившая его нѣжно и занимавшаяся на заводѣ леченіемъ больныхъ, ухаживала за нимъ, какъ за ребенкомъ, не возражала на его грубые рѣчи, и если когда и случались сцены, такъ это развѣ тогда, когда онъ приходилъ домой пьяный, садился на лавку и начиналъ ругаться, начиная съ десятника и постоянно оканчивая своей женой и дѣтми, воображая, что въ отравленіи его жизни всѣ участвуютъ. Жена въ это время сидѣла противъ него и доказывала ему, что онъ самъ виноватъ, потому что понапрасну деньги пропиваетъ, и хотя думаетъ, что ему весело теперь, да все-таки работалъ онъ на рудникѣ не въ послѣдній разъ. Игнатій Петровичъ хотя и возражалъ на эти бабын разсужденія, но уже поворачивалъ свои ругательства совсѣмъ въ другую сторону и потомъ скоро засыпалъ. Съ женой вообще онъ обходился хорошо, дѣтей не обижалъ.

Хвастался Игнатій Петровичъ, только лежа на постели: „али я не Глумовъ? и пьянъ, и сытъ, и въ своемъ дому на кровати лежу... Вотъ гдѣ жизнь! А сойди я съ кровати — я скотъ, ничтожная тварь...“ Совсѣмъ другое дѣло — Тимофей Петровичъ. Этотъ еще въ дѣтствѣ слылъ за дурачка; но когда онъ достигъ совершеннолѣтія, товарищи стали замѣчать, что этотъ дурачокъ себя на умѣ, и въ насмѣшку говорили, что глумовская порода хоть на комъ-нибудь изъ ея роду да проявитъ себя чѣмъ-нибудь особеннымъ. Яковъ Глумовъ славу приобрѣлъ долголѣтней опытностью и практикой; вотъ всѣ замѣчаютъ на потомкахъ Глумовыхъ переворачиваніе этой славы только въ другую сторону: сколько былъ славенъ Яковъ Глумовъ, столько же ничтожны теперь его потомки, и все это происходитъ отъ гордости. Такъ объясняли таракановцы; но ничего этого не понималъ или не хотѣлъ понять Тимофей Петровичъ. Идея у него была такая: ссориться со штейгерами и прочею дрянью не стоитъ, нужно ласкаться къ нимъ и угождать имъ. Онъ такъ и дѣйствовалъ, и его жаловали больше другихъ, хотя онъ почти всегда или сидѣлъ безъ дѣла съ трубкой въ зубахъ, или перешагивалъ отъ одной кучки къ другой, забавляя рабочихъ остротами, прибаутками, одной очень смѣшной пѣсней, за которую ему дали названіе „медвѣжьяго вожака“. И это названіе мало того, что превратилось въ поговорку, но рабочіе еще спрашивали его постоянно: „а скоро ли, Тимошка, кривая ножка, ты медвѣдя намъ будешь показывать?“. На это Тимофей Глумовъ только хохоталъ или говорилъ смѣясь: „а что, развѣ не хорошо съ медвѣдемъ ходить?“ — и начиналъ приплясывать и припѣвать: „а гри-дю-грю, да гри-де-грю, дя-гри-де-гря!“<sup>а</sup>, сопровождая эти слова смѣшными жестикюляціями, которыя до слезъ и коликъ смѣшили толпу, а нѣкоторые даже сами принимались размахивать руками. Нельзя сказать положительно: эти ли насмѣшки товарищей надъ Тимофеемъ Петровичемъ, или у него дѣйствительно была мономанія, только на двадцать четвертомъ году своей жизни онъ промыслилъ себѣ маленькаго медвѣжонка; и какъ же онъ ухаживалъ за нимъ! Не пьетъ, не ѣстъ до тѣхъ поръ, пока его пасынокъ,

какъ онъ называлъ медвѣжонка, не развалится и, хоть ты бей его, не встанетъ съ мѣста. Онъ даже и спалъ недалеко отъ пасынка, который былъ впрочемъ привязанъ за одинъ уголъ сарая, выходящаго въ огородъ. Сначала этотъ медвѣжонокъ наводилъ страхъ на семейство Глузовыхъ, такъ что въ огородъ не только дѣти, но и женщины боялись идти; но потомъ, хотя и привыкли къ нему, — медвѣжонокъ ни на кого не кидался, жралъ помногу ржаного хлѣба и никому не надоѣдалъ, — да только медвѣжонокъ со временемъ сталъ пошаливать, вродѣ того, что въ отсутствіе Тимофея Петровича перегрызалъ веревки и бѣгалъ по грядкамъ безъ зазрѣнія совѣсти и даже разъ испугалъ самого Игнатія Петровича, только-что вышедшаго изъ бани освѣжиться. Тогда Тимофея Петровича стали гнать изъ дому, въ противномъ же случаѣ грозили убить его пасынка. Пошелъ Тимофей Петровичъ по заводу, медвѣдя съ собой потащилъ за веревочку. Народъ старый, молодой и малый валить за нимъ и хочеть.

— А ну-ка, Тимошка, покажи фокусъ-покусъ!..

— Какъ твоя барыня выпусту въ огородъ воровала!

— Ой, насмѣшили этотъ Тимошка! Хо-хо! глядите, медвѣдь его назадъ претъ.

Съэтимъ медвѣжонкомъ Тимофей Петровичъ осрамилъ себя на весь заводъ. До сихъ поръ онъ только кормилъ его, а такъ какъ объ ученіи его раньше не подумалъ, то теперь на всѣ приказанія пласать и показывать фокусы-покусы медвѣжонокъ только мычалъ или лежа сосалъ лапу.

Народъ хототалъ надъ Тимошкой, и тутъ же одинъ рабочій сложилъ пѣсню такого рода, что въ заводѣ появился цыганъ съ медвѣдемъ: вывелъ этотъ цыганъ медвѣдя къ народу, пласать заставлялъ, да виѣсто медвѣдя самъ до того наплясался, что лишь кое-какъ до перваго кабака добрался.

Послѣ этого Тимофей Петровичъ не чуждѣ и, въ качествѣ непремѣннаго работника, исполнялъ разныя должности: былъ онъ и при лазаретѣ сторожемъ, былъ и казакомъ при полиціи, и всюду слылъ за дурака, которому только и занятія, что быть на побѣгущкахъ, такъ какъ у него ноги казенныя.

Среда, въ которой онъ проводилъ жизнь, была какъ-разъ по характеру Тимофея Петровича. Изъ товарищей его многие были отъявленные плуты, и хотя самъ онъ прежде плутомъ не былъ, но каждый про себя думалъ, что такого плута рѣдко гдѣ сыщешь; эта среда сдѣлала его пьяницей, взяточникомъ и даже воромъ. Вотъ за одно воровство его и сослали на Круглую гору быть караульщикомъ денно и нощно. Это было самое тяжелое наказаніе на таракановскомъ заводѣ.

И дѣйствительно, какое нужно наказаніе рабочему, которому ни почемъ розги, который привыкъ работать въ рудникахъ? Отдать въ солдаты?.. Но заводууправленіе лишится одной рабочей силы, да и за что давать негодяю жизнь лучше заводской? Вотъ оно придумало устроить на горѣ будку, поставить около будки столбъ, на верху столба сдѣлать подобіе крыши, подъ крышей повѣсить деся-

тифунтовой колоколь и назначить буюна или мошеника, котораго не берутъ ни розги, ни рудники, сторожить заводъ съ тѣмъ, что этотъ сторожить можетъ отлучаться съ горы въ заводъ разъ въ сутки, а именно послѣ полуденной смѣны. Отлучка эта заключалась въ томъ, что сторожъ обязанъ явиться въ полицію для того, чтобы показать себя и потомъ запастись провизіей.

Но какъ исполнялъ свою должность Тимофей Петровичъ! На первый день онъ перевелъ висѣвшіе въ его избушкѣ стѣнные часы на цѣлыя полсутки и ударилъ смѣну; на другой день забилъ въ набатъ. Но это не сошло ему даромъ, и какъ онъ потомъ ни изощрялся, а долженъ былъ исполнить свое дѣло. Однакоже исполнялъ свою обязанность съ грѣхомъ пополамъ. Въ первый мѣсяцъ онъ отбивалъ часы, какъ встанетъ, потому что часы стояли и поправить ихъ въ заводѣ было некому, потому что часовъ мастеръ не брался ихъ чинить, а новые часы начальство не хотѣло купить. Впослѣдствіи Глумовъ пропилъ и эти часы, т. е. заложилъ въ кабакъ, и донесъ полиціи, что въ его отсутствіе часы украли. Глумовъ, какъ и всѣ рабочіе, пробуждался въ четыре часа, поэтому утротъ онъ рѣдко ошибался: иногда развѣ отбивалъ часы часомъ раньше или часомъ позже, что впрочемъ ему въ вину не ставили. Потомъ онъ ковырялъ сапоги, т. е. клалъ заплату на худые сапоги, взятые въ починку отъ рабочихъ. Такимъ образомъ, занимаясь починкой сапоговъ, Глумовъ не глядѣлъ на заводъ, отговариваясь тѣмъ, что пожаровъ въ заводѣ давно не бывало. Потомъ онъ затапливалъ желѣзную печь, варилъ что-нибудь и ложился спать, и какъ только выспится, выйдетъ къ столбу; если есть солнышко, то ляжетъ на одну половину крыши — сѣверную. служащую часами по черточкамъ, сдѣланнымъ на ней: если солнышко лѣтомъ дошло до пятой черточки — двѣнадцать часовъ, зимой до второй — тоже двѣнадцать — онъ бьетъ часы, а потомъ идетъ подъ гору въ заводъ, гдѣ частенько проспитъ не только вечернюю смѣну, но и цѣлую ночь. Въ ненастную погоду онъ отбивалъ смѣну по своему усмотрѣнію, и за это его ругали рабочіе, потому что однимъ приходилось работать дольше другихъ, и тѣ, которые работали больше, проклинали Глумова и въ глаза называли его взяточникомъ.

Заводское начальство только сперва строго преслѣдовало Тимофея Петровича, но потомъ какъ будто совсѣмъ забыло о существованіи на горѣ избушки съ Глузовымъ, потому что управляющимъ приказано было завести часы на церквкѣ, и эти часы отбивали смѣну. Но сторожъ туда попался не лучше Глумова.

Рабочіе считали Тимофея Петровича за полоумнаго и постоянно дразнили его тѣмъ, что онъ ничто. Трезвый Глумовъ отмалчивался, но пьянаго его трудно было увѣрить, что онъ ничего не значащій человекъ. Сдѣлавъ руки фертомъ, выпятивъ правую ногу впередъ, онъ доказывалъ всѣмъ, что онъ самъ себѣ господинъ.

— А гдѣ твое господство? — спрашивали его рабочіе.

— А избушка на горѣ.

— Эй, ты! А ты вот что скажи намъ: не срамъ это Якову Глумову, что его потомки на горѣ съ чертами живутъ?..

Разъ, это было на третій день Успеньева дня, утромъ, именно въ то время, когда надо мѣти на работы, раздался на горѣ набатный звонъ. Таракановцы перепугались, многіе кидались изъ улицы въ улицу, сломя голову, какъ говорится; многіе всползли на крыши.—дыму нигдѣ не видать, и никому въ голову не приходитъ взглянуть на гору. Вдругъ одинъ подростокъ кричитъ:

— Глядите, Тимошка Глумовъ горитъ!

Мало-по-малу всѣ бывшіе на крышахъ стали глядѣть на гору, и каждый хохоталъ и дивился премудрости Тимофея Глумова: избушка горѣла, а самъ Глумовъ, стоя у столба, позванивалъ. Полицейское начальство глядѣло изъ оконъ фабрики и кричало Глумову:

— Въ полицію!

— Погибаю! — кричалъ Глумовъ, что было силы, и не переставалъ трезвонить.

На прудъ выплыло много лодокъ, лодки были полны любопытными. Избушекъ горѣла ярко, а такъ какъ вѣтру не было, то дымъ поднимался столбомъ къ верху.

— Спасайте! — кричалъ Глумовъ.

Начальство хохотало. Вотъ на Тимошкѣ вспыхнула рубашка, но онъ ее въ мигъ сбросилъ.

Такъ онъ безъ рубашки и пришелъ на фабрику къ начальству.

— Ты зачѣмъ сжегъ избу? — спросили его

— Видитъ Богъ, не я... — отпирался Глумовъ.

Начальство разсудило, что Глумовъ хитрый проходимецъ — избу зажегъ и чуть самъ не сгорѣлъ, исполняя свою обязанность, и дало ему, какъ положеному, чистую отставку съ полониннымъ провіантомъ.

Это было въ тотъ годъ, какъ умеръ Игнатій Петровичъ. Съ тѣхъ поръ Тимофей Петровичъ живетъ въ отцовскомъ домѣ съ семейю брата и попрежнему занимается починкой сапогъ. Но главное его занятіе состоитъ въ томъ, чтобы стащить изъ фабрики или магазина все, что плохо лежитъ, и это краденое онъ сбываетъ у заводскихъ кузнецовъ, которые между прочимъ занимаются и торговлей, какъ въ самомъ заводѣ, такъ и въ горномъ городѣ.

### III.

Хозяйствомъ Глумовыхъ прежде заправляла Маланья Степановна, женщина всѣми уважаемая въ Козьмѣ Болотѣ за то, что она была миролюбиваго характера, права кроткаго и, главное, умѣла лечить отъ всякихъ болѣзней травами, часть которыхъ она собирала сама то въ болотахъ, то въ лѣсахъ, а часть покупала у докъ — таракановскихъ торгашей. Знала ли она въ точности, чѣмъ болѣнъ такой-то или такая-то, разяснить довольно трудно; но всѣ знали, что науку лечить она переняла отъ своей бабушки, которая очень любила ее и, желая дать ей какое-нибудь независимое ремесло, чтобы она могла жить свои деньги, изучила ее еще при себѣ лекарскому искусству. Однако, какъ бы то ни бы-

ло — умирали ли больные отъ ея леченія или выздоравливали, но она, какъ и бабушка ея, была въ славѣ, и ее почти всѣ больные Козьмѣ Болота и Медвѣдки приглашали къ себѣ, какъ свою лекарку, — потому свою, что въ каждомъ порядкѣ была непремѣнно своя знахарка, и заводскіе призывали постоянно къ одной, не подрывая доходовъ другой. Но вдругъ сосѣди и пріятельницы Маланьи Семеновны стали замѣчать, что „наша лекарка какъ будто немножко рехнулась въ разсудкѣ“. И этого имъ было достаточно на первыхъ порахъ, чтобы потолковать о всѣхъ качествахъ Маланьи Степановны, и въ числѣ этихъ качествъ стали отыскивать въ ней дурныя стороны, потому что, какъ они понимали, полоумнымъ человѣкомъ чортъ шутить. Изъ боязни ли этого чорта, или по недовѣрію къ знахаркѣ, но Маланью Степановну стали рѣже приглашать къ себѣ, а потомъ пугали ею своихъ ребятъ и совсѣмъ отшатнулись отъ нея. На самомъ же дѣлѣ сосѣди и пріятельницы Маланьи Степановны не понимали, въ чемъ дѣло. У Маланьи было три сына и дочь, изъ которыхъ она особенно любила старшаго, Егора: этого-то сына извели работа и наказанія. Ей было горько, она долго плакала, со-вѣтовалась съ мужчинами и женщинами, сочиняла прошенія и хлопотала, но когда не могла найти справедливости у заводскаго начальства, то впала въ безпамятство и дѣлала часто не то, что бы слѣдовало.

Но это еще ничего. А вотъ умеръ ея мужъ; она, вмѣсто того чтобы заботиться о похоронахъ, неизвѣстно куда скрылась, и только черезъ мѣсяцъ привезъ ее казакъ въ домъ связанную; но какому... лицо ея было избито, въ грязи; руки искусаны; глаза ликіе. Она то хохотала, то ругалась. Съ полулюбопытствомъ и полужупомъ оглядѣли ее сосѣди, стали спрашивать ее, но она, не признавая никого, говорила что-то такое, чего никто рѣшительно не могъ понять. Она даже дѣтей своихъ не признавала. Постояла она въ избѣ съ четверть часа и вдругъ выбѣжала во дворъ. Пошли во дворъ сосѣди — она лежитъ подъ телѣгой и, какъ только увидѣла народъ, крадучись, исчезла въ огородъ и тамъ. не обращая вниманія на то, что съѣла на грядѣ съ капустой, она стала рыть грядку.

— И штой-то стряслось съ ней? — спрашивали женщины казака.

— Ничего не знаю. Повѣренный Талановъ велѣлъ приставить домой.

Такъ никто и не зналъ на заводѣ, отчего сошла съ ума Маланья Степановна: знали только, что она была въ горномъ городѣ, а зачѣмъ — ни отъ кого не добыешься толку.

Такимъ образомъ все хозяйство въ домѣ Глумовыхъ перешло въ руки Прасковьи Пгнатъевны, дѣвицы девятнадцати лѣтъ.

На долю русской простой рабочей женщины приходится очень много труда. Вся ея жизнь, до самой старости, до тѣхъ поръ, пока ее не замѣнитъ хорошая помощница, заключается въ томъ, чтобы работать. Притѣреть искать нечего. Такъ Маланья Степановна занималась хозяйствомъ до сумасшествия, и только сумасшествіе, кажется, избавило ее



отъ заботъ, но и она не могла жить безъ дѣла. Женщина, если и работаетъ много, все-таки сознаетъ, что вѣдь и она хозяйка, и у нея есть свое хозяйство, и она сосѣдями не обижена, спокойно смотритъ въ глаза каждому, и никто, кромѣ ея мужа, не смѣетъ ей сказать худого слова. Другое дѣло—положеніе дѣвушки, подвергающейся почти на каждомъ шагѣ соблазнамъ, не имѣющей такихъ правъ, какъ женщина.

О дѣтствѣ Прасковьи Игнатьевны говоритъ нечего, потому что какъ и въ заводскомъ классѣ, такъ и въ крестьянскомъ быту воспитаніе дѣвицъ одинаково. Лишь только она начала ходить, лепетать, ее уже заставили возиться съ маленькими братьями и сестрами, которые почти каждый годъ пополняли семейство, но къ несчастью родителей умирали; потому къ несчастью, что чѣмъ больше у рабочаго дѣтей, тѣмъ больше идетъ провіанту, а въ послѣдствіи дѣти будутъ помогать родителямъ. Не мѣшаетъ также замѣтить, что родители заботятся только о томъ, какъ бы накормить дѣтей и какъ-нибудь одѣть, все же остальное предоставляютъ волѣ Божіей, на томъ основаніи, во-первыхъ, что и сами они росли такъ же, а во-вторыхъ, о теоретическомъ воспитаніи, основанномъ на различныхъ началахъ новѣйшаго времени, они не имѣли никакого понятія. Поэтому всѣ заботы по воспитанію ограничиваются тѣмъ, чтобы выкормить себѣ поскорѣе работника. Дѣвушка съ двѣнадцати лѣтъ, а иногда и раньше, становится уже работницей въ домѣ; кромѣ того, что она возится съ ребятами, кормитъ ихъ, она должна все дѣлать, начиная съ мытья половъ и посуды и кончая огородами,—только мать не даетъ ей донти корову и печь хлѣбы. Въ пятнадцать лѣтъ дѣвушка становится правой рукой своей матери и сама, безъ понужденія, знаетъ, что ей дѣлать, а мать только распоряжается, показывая видъ крикомъ, что она, т. е. мать, учитъ ее, какъ жить своимъ хозяйствомъ.

Но при здоровомъ разсудкѣ матери Прасковьи Игнатьевнѣ было гораздо легче, потому что тогда, что нужно было сдѣлать скоро и въ разъ, могло дѣлаться съ долгимъ ворчаніемъ, ненужною ходьбою отъ одной вещи до другой, отъ сѣней до погреба и т. д. Тогда можно было полчаса лишнихъ простоять на выгонѣ, куда выгоняютъ коровъ, можно было потолковать съ подругами, два лишнихъ часа пропаять на вечерахъ, и всѣ эти прогулки кончались бы только тѣмъ, что мать поворчала бы часа три. Теперь же на ея руки было отдано все—и лошади, и корова, и овцы, и даже огородъ. А извольте на примѣръ выполоть огородъ, когда еще надо поить корову, кормить курицъ, а тутъ мать пристасть съ чѣмъ-нибудь. А мать часто надоѣдала Прасковью Игнатьевнѣ.

Хотя мать и не злилась на дочь, не бросалась на нее въ припадкахъ раздраженія, но на Маланью Степановну часто находило то, что пугало не только Прасковью Игнатьевну, но и Тимофея Петровича. Такъ на примѣръ, зимой она часто уходила въ огородъ босая и тамъ рылась въ снѣгу; затопать баню, она завалится на полоть, и трудно ее выжить оттуда. Какъ-то разъ ночью она затопила печь въ

кухнѣ и суетилась около квашенки, и когда ее спросили, что она дѣлаетъ, она отвѣчала: „Олады надо стряпать! Вѣдь сегодня поминки моему Игорю“, и начала ругаться неприличными словами. Тимофей Петровичъ посовѣтовалъ Прасковью Игнатьевнѣ не трогать ея: пусть топятъ, — дровъ не жалъ, да и теплѣе будетъ, и легъ спать, но дочь провозилась съ матерью до утра.

Хорошо еще, что Тимофей Петровичъ помогаетъ по хозяйству. Нельзя сказать, чтобы онъ любилъ молодую хозяйку, но иногда, пообѣдавъ плотно, говорилъ: „спасибо, хозяйшка, накормила, наполни — всегда такъ мужу угождай“.

#### IV.

Іюнь мѣсяцъ. Погода стоитъ жаркая. Солнышко жжетъ, на небѣ чисто, въ воздухѣ накопилось много пыли, а дымъ отъ фабрикъ стелется гуще и гуще надъ фабричнымъ порядкомъ. Для ребятъ погода хорошая, они почти всѣ бѣгаютъ на улицахъ; даже дѣвушки сидятъ или на лавочкахъ, или на доскахъ, положенныхъ въ воротахъ для того, чтобы между землей и половниками воротъ не было промежутковъ. Дѣвушки, какъ водится, сидятъ съ грудными или двухъ-годовалыми ребятами, еще не умѣющими ходить на ногахъ. Время послѣобѣденное, и по хозяйству все, что нужно, сдѣлано. Женщины съ чулками или пряжами тоже сидятъ за воротами на тѣхъ сторонахъ улицъ, гдѣ солнце или еще не показывалось, или куда уже сегодня не будетъ показываться. Женщины преимущественно толкуютъ по хозяйству: о какомъ-нибудь нарядчикѣ, о какой-нибудь коровѣ, рассказываютъ сны, приводятъ примѣры различныхъ уроковъ, несчастныхъ случаевъ и т. д. Всѣ онѣ хотя и голосятъ, по-заводски растягивая, но голосятъ такъ, что между ними замѣтно согласіе, а той горячки, какую онѣ порютъ до обѣда, теперь и слѣда нѣтъ. Это онѣ отдыхаютъ. Мужья-же нѣтъ и дѣти-подростки теперь находятся на работѣ; половина изъ нихъ придетъ сегодня вечеромъ, половина завтра. На полянкахъ разостланы для сушенія холсты; кое-гдѣ на солнечной сторонѣ заплотовъ сушатся онучи.

И въ Козьемъ Волотѣ сухо, и тамъ та же картина, какъ и въ другихъ улицахъ. Ребята кричатъ, визжатъ, хохочутъ, дерутся, ругаются, какъ старшіе; женщины голосятъ; такъ что въ такой узкой улицѣ ничего не разберешь.

Все шло хорошо въ этой улицѣ, только вдругъ четверо парней отъ десяти до пятнадцати лѣтъ, доселѣ весело игравшіе въ бабки, вдругъ начали драться. Къ нимъ присоединились еще восьмеро; остальные ребята, вѣроятно чувствуя себя слабыми, переставши играть, смотрѣли въ отдаленіи на баталію и съ удовольствіемъ, и съ завистью, а тѣ, которые были побойчѣе, кричали:

— Хорошенько, Яшка, Тюньку! Луни его!

Какъ ни кричали женщины на ребятъ, но они не прекращали драться, потому драка была въ крови рабочихъ. Безъ драки не оканчивалась ни одна попойка рабочихъ, если дѣло доходило до



разрешения каких-нибудь споров или вопросов; парень, обиженный другим парнем, искал случая отомстить ему, а так как у каждого парня есть свои приятели, а у приятелей свои враги, то настоящая драка этим и объясняется. Наконец двое ребят уже лежали на земле с окровавленными лбами, трое шли в разные стороны со слезами, придерживая носы. Но вот одна женщина, вооружившись граблями, приблизилась к драчунам и по-солдатски крикнула:

— Долго ли еще вам баталь-ту производить?

Но ребята еще хуже продолжали свое дѣло. Тогда женщина махнула граблями, и двое ребят свалились от ее удара на землю. Ребята прекратили драку, но начали ругаться во все горло разными непечатными словами. Женщины голосили, пугая парней тѣмъ, что онѣ непременно будутъ жаловаться отцамъ, а тѣ зададутъ имъ хорошую порцию.

— Да разве мы сами!.. Кто начал-то, спроси вѣтъ?—оправдывался одинъ рыжеволосый парень.

Женщины не обратили на это оправдание никакого вниманія, а завели между собой разговоръ о непослушаніи парней.

— Развѣ мы? вонъ Илька Глумовъ первый учалъ (началъ),—кричалъ другой парень.

— Ахъ ты, бѣлобрысая крыса! А кто бабки-то въ прошлое воскресенье утянулъ...

Мало-по-малу парни опять вѣцпились въ драку. Но въ это время по улицѣ шелъ человекъ въ сѣренькомъ пальто и черныхъ брикахъ, въ фуражкѣ съ околышемъ мѣстной формы. На видъ ему было годовъ 28, лицо его корявое, обросшее баксами и усами; походка неровная, онъ не то подпрыгивалъ, не то прихрамывалъ и размахивалъ руками.

— Учитель! учитель! тараканій мучитель!—голосили ребята, переставая играть, и косили ему глаза, а нѣкоторые дѣлали руки въ боки, поднимали голову къверху и представляли прошедшаго имно нихъ учителя.

Учитель на это не обращалъ вниманія, потому что ребята такіа шутики выдѣлывали съ нимъ всегда, если не было въ виду отцовъ. Передразнивали они учителя, и вообще всѣхъ, носящихъ не выпунъ, потому что имъ смѣшно казалось видѣть человека, живущаго въ одномъ съ ними порядкѣ, не въ той одеждѣ, въ какой ходятъ рабочіе.

— Здорово живете, бабоньки!—сказалъ мужчина, снявъ фуражку и поклонившись налѣво, гдѣ около одного дома разговаривали шесть женщинъ.

— Здорово, Петръ Савичъ! Къ Глумовымъ?—спросила одна женщина.

Учитель мотнулъ головой и сказалъ:—Теплынь-то какая, бабы! А? такъ и жжетъ? а?

— Чего и говорить. А скоро у те свадьба-то? Учитель рукой махнулъ.

— А што такъ?

Учитель остановился:

— Да вотъ.—И онъ замолчалъ, вѣроятно желая что-то смѣшное выдумать, но только плюнулъ. Въ это время къ учителю подошло нѣсколько ребятъ, изъ которыхъ одинъ, годовъ пяти, лепеталъ,

протягивая руку къ нему: „дядя, пляни—икъ!“ за что и былъ отведенъ матерью за ухо въ сторону.

— Такъ, знать, свадьбѣ не бывать?

— Не знаю, бабы! Дѣло дрянъ: сами знаете, на три дѣловыхъ немного наскачешь.

Учитель пошелъ. Драчуны играли въ бабки.

— Илья? есть кто въ избѣ-то?—крикнулъ учитель Ильѣ Глумову.

— Я почемъ знаю!—огрызнулся Илья Глумовъ.

— Драть васъ, шельмецовъ, надо!..

— Самого-то давно ли въ кузницѣ драли!

Остальные парни захохотали.

Учитель плюнулъ со злости и отворилъ калитку у воротъ дома Глумовыхъ.

— Куда лѣзешь, кургузый дьяволъ! Говорятъ, никого нѣтъ дома,—кричалъ Илья Глумовъ и подбѣжалъ къ учителю.

Учитель не то сробѣлъ, не то ему сдѣлалось стыдно, что безстыжій парень его, учителя, обзываетъ ни за что.

— Я не къ тебѣ иду, свинья.

— Самъ съѣшь. Воровать, поди, лѣзешь. И такъ все на меня говорятъ.

Въ это время во дворѣ показалась Прасковья Игнатьевна, дѣвушка высокая, бѣлолицая, съ голубыми глазами и пепельнаго цвѣта волосами. На ней налѣтъ ситцевый старенькій сарафанъ, на ногахъ худенькіе башмаки, на головѣ платокъ.

— Илька! я тебя, страмецъ,—прикрикнула Прасковья Игнатьевна.

Илья обозвалъ сестру нехорошамъ именемъ и ушелъ.

— Здравствуйте, Прасковья Игнатьевна.

— Здравствуйте. Зачѣмъ пришли?

— Я... я пришелъ къ Тимофею Петровичу.

— Дома нѣтъ.

— Однако вы, я вижу, сердитесь.

— Сами виноваты: зачѣмъ непріятныя слова говорите. Развѣ можно?

— Ну, простите... Ей-Богу, до свадьбы не буду... Такъ прощайте, Прасковья Игнатьевна!

Прасковья Игнатьевна не трогалась съ мѣста, а учитель тихонько пошелъ къ воротамъ.

— Такъ вы куда теперь?—окликнула учителя Прасковья Игнатьевна.

— Пойду—куда глаза глядятъ.

— Ну, не то иди въ огородъ: у насъ огурцы какіе славные.

Вошли въ огородъ.

Картофель уже поднялся на полъ-аршина, горохъ вился по тычинкамъ и скрывалъ собою банку; капустаные листья начали сжиматься, въ парникахъ между огуречными листьями желтели цвѣточки, видѣлись зеленые огурцы, а отъ парниковъ, устроенныхъ около сарая, по тычинкамъ, упирающимся въ крышу сарая, тянулись съ листьями вѣтви тыквы, которыхъ теперь еще было немного и величиной онѣ были въ кулакъ.

Войдя сюда, холостой человекъ могъ позавидовать тому, что все это сдѣлано стараніемъ женщины, все принадлежитъ хозяйству, главное—все свое. И надо еще то сказать, что женщинѣ только

и есть развлечения, что огородъ, за которымъ она впрочемъ ухаживаетъ, какъ за дѣтяти.

Вдругъ между грядами появилась высокая фигура Тимофея Петровича. Лицо его съ перваго взгляда казалось смѣшнымъ: глаза широкіе, съ сросшимися бровями; на красномъ лицѣ множество складокъ и бородавокъ; борода выросла какъ-то въ лѣвый бокъ; волосы кудреватые, рыжіе.

— А! женишокъ явился... Я ужъ считалъ: первый вторникъ, говорю—недѣля, другой говорю—двѣ, третій...—говорилъ Тимофей Петровичъ, приближаясь къ молодымъ людямъ.

— Ты, дядя, поли

— Поли. А что дашь?

— Что тебѣ дать-то: рѣпу любишь, да не посиѣла.

— Нѣтъ, ты постой, женишокъ, што я тебѣ скажу...

— Слышите, Петръ Савичъ... вотъ ужора-то... Ха-ха-ха!.. Ой, батюшки!..—хохотала Прасковья Игнатьевна.

— Ты молчи, осержусь.

— Знаю: твое сердце только до лавки дойти... Жениться хочетъ...

— Али я рожей на свинью похожъ? Али я не молодецъ?—хорохорился Тимофей Петровичъ, дѣлая руки фертомъ и отпичивая по привычкѣ лѣвую ногу впередъ, причемъ лицо его еще смѣшнѣе дѣлалось, такъ что молодые люди захохотали.

— Молодецъ, Тимофей Петровичъ. Только этой штуки и недоставало послѣ караушки.

Тимофей Петровичъ захохоталъ, икнулъ, вздрогнулъ и сказалъ:

— А кто моя невѣста, это—фю-ю!! Въ пакетѣ, братецъ ты мой, запечатано семью печатами. Какъ есть къ вѣнцу... дотолъ вамъ и во снѣ не приснится... Вѣдь, братецъ ты мой, штука! да еще какая штука-то!!.. Диво будетъ во всемъ заводѣ—знай Глумовыхъ. Кррахъ!! — заявилъ Глумовъ, дѣлая смѣшной жестъ руками и ртомъ. Молодые люди захохотали.

Въ огородъ вышла Маланья Степановна. Это была высокая, худощавая женщина, съ блѣднымъ лицомъ и начинающими сѣдѣть волосами. На головѣ у нея надѣто что-то вродѣ шапочекъ; на ней самой поверхъ сарафана пугайчикъ, заплатанный въ разныхъ мѣстахъ. Ноги босыя, а подошвы распластаны, такъ что на висящихъ лоскуткахъ много накопилось колючихъ репейныхъ шишекъ.

Увидѣвъ Петра Савича, она скоро подошла къ нему и захохотала, потомъ дрожащимъ голосомъ спросила:

— Табачку-то принесъ?

— Принесъ, бабушка, принесъ.—Петръ Савичъ вытащилъ изъ кармана бумагу, въ которой былъ завернутъ нюхательный табакъ. Тимофей Петровичъ ушелъ во дворъ. Старуха взяла щепотку табаку, нюхнула, еще взяла—нюхнула. Потомъ схватила бумагу.

— Будетъ, бабушка.

— Дай!!.. Ахъ ты, полуварначье, нашивальна, гривенка, наколотый пятачокъ.

Петръ Савичъ отдалъ ей бумажку. Она спрятала

бумажку подъ пугайчикъ и пошла къ грядамъ. Пройдя немного, онѣ сѣла и стала выдергивать траву.

— Слава Богу, Петръ Савичъ, нынче не чудитъ. Сегодня она мнѣ стряпать что есть помогала и даже чуть по-старому ухватомъ не отвозила меня: я ставлю похлебку въ печь, а она говоритъ: „соли надо“; а я вѣдь не маленькая, слава тѣ Господи... сама знаю, сколько чего надо. Нѣтъ, говорить, посоли. Ну, пристала, даже досадно сдѣлалось... Соли, говорю, и согрѣшила, заворчала на нее. Она схватила ухватъ да какъ крикнетъ: „што ты ворчишь! А?“

— Значитъ, она въ здравомъ умѣ.

— Како ужъ... Захотѣлъ отъ нея ума... Хошь огурчика?

— Давай, коли не жалко.

Прасковья Игнатьевна нагнулась; на лицѣ показались румянецъ. Она быстро перебирала руками и скоро, не поднимаясь, подала Петру Савичу желтый огурецъ, ростомъ въ два вершка. Минуты черезъ двѣ она выпрямилась, откусила огурецъ и пошла къ грядамъ.

— Посидимъ, Прасковья Игнатьевна.

— Экое посѣдало!.. Все бы сидѣть... Мужикъ еще, слава тѣ... Анъ нѣтъ: вѣдь учитель!—и она захохотала.

— Пока не учитель, штъ дальше Богъ дастъ.

— Хочешь полоть?.. Вонъ ту гряду поли.

— Нѣтъ, я тебѣ буду помогать.

— Помощникъ!! Мѣшать только... Ну, не то иди... Только руками волю будешь давать, крапивой все лицо изжалю. Вотъ тѣ сказъ...

Пошли они въ середину огорода, присѣли у мака, и ихъ стало не видно.

Хорошо сидѣть въ огородѣ, на бороздѣ между грядъ, на которыхъ растутъ овощи, скрывающіе своими листьями отъ всякаго посторонняго взгляда. Кругомъ трава и трава, чиркаютъ въ кустахъ сверчки, дышется хорошо,—такъ и кажется, что сидишь совсѣмъ гдѣ-то не дома, а въ хорошемъ мѣстѣ, изъ котораго бы не вышелъ, еслибы сверху не палило солнышко. Но еще лучше сидѣть рядышкомъ жениху и невѣстѣ.

Негодной травы, мѣшающей расти овощамъ, въ каждомъ огородѣ бываетъ много, такъ и у молодыхъ людей работы было много. Они полчаса молча выдергивали траву, бросая ее на борозду, на которой сидѣли, и чуть-чуть подвигались съ мѣста. Прасковья Игнатьевна, кажется, только тѣмъ и была занята, что выдергивала траву, а Петръ Савичъ вздыхалъ и то и дѣло взглядывалъ на свою невѣсту, которая при каждомъ его вздохѣ улыбалась и на щекахъ ея показывался легкій румянецъ. Разговора ни тотъ, ни другая не начинали.

Вдругъ Прасковья Игнатьевна ударила по рукѣ Петра Савича.

— Такъ помогаютъ! Зачѣмъ рѣпу-то выдергиваешь?

— Насилу-то слово сказала.

— Ты хорошъ: цѣлый день просиди съ тобой—слова не дождешься. А еще слава—женихъ.

— Женихи цѣлуются съ невѣстой.

— Болтай, пустомеля!.. Это все ты около своих писарей перенял дурацкую привычку.

— Ей-Богу, чувство такое.

— Ну-ка, скажи, ученый человек: чувство ли это, што нашъ управляющій при всемъ при народѣ руку у генеральской дочери поцѣловалъ?

— Заведено ужъ такъ.

— Нѣтъ, ты скажи: вѣдь управляющій женатъ?

— Порядки такіе — свѣтъ того требуетъ, потому они люди высшіе...

Прасковья Игнатьевна осталась довольна этимъ объясненіемъ.

— Однако вѣдь ты, Паруша, цѣловалась на вечеркахъ!

— Экъ нашелъ какой разговоръ! Цѣловалась и не съ тобой однимъ, а со многими парнями, потому пѣсни такіа.

— А все жъ дружка себѣ съ вечерки выбрала и послѣ вечерки, помнишь — у лѣсенки, какъ цѣловала...

— Дуракъ! — сказала съ неудовольствіемъ Прасковья Игнатьевна и замолчала. Щеки покрылись румянцемъ; она стала тяжело дышать.

Петръ Савичъ обнялъ ее и сталъ цѣловать; она не препятствовала, а даже сама раза четыре поцѣловала.

— Будетъ, Петя... увидать... — унимала шопотомъ Петра Савича Прасковья Игнатьевна; но Петръ Савичъ не выпускалъ ее изъ объятий. Прасковья Игнатьевна сама обняла его. Грудь ея поднималась, сердце билось сильно, лицо горѣло.

— Петя... дружокъ... што же это со мной дѣется?

— Это любовь, Паруша...

— Петя, скажи мнѣ по правдѣ: будешь ты водку проклятую пить?

— Не знаю.

— Нѣтъ, ты скажи... А то што жъ за жизнь! Ужъ я лучше и не пойду за тебя. Не будешь?

— Не буду.

— Ну, побожись.

— Ей-Богу.

— Пить будешь, бить буду... Ну, а што жъ, скоро?

— Свадьба-то?.. Ахъ, Прасковья Игнатьевна, и самъ я не знаю, што мнѣ дѣлать?

— Спроси бабъ, коли самъ не смыслишь. Ну, какой ты мнѣ мужъ будешь? Не даромъ и ребята-то тебя кургузкой зовутъ.

— Тебѣ што: у тебя хоть отрада есть — огородъ.

— Выбирай другую, коли я...

— Да слушай, ты совсѣмъ не то... Вотъ у тебя лопъ, а у меня ничего... Вотъ мнѣ и совѣстно жениться-то.

— А развѣ наши парни не такъ же женятся?

— А я не хочу.

— Ну, и вышелъ ты дуракъ, и больше ничего! — и Прасковья Игнатьевна захохотала.

Немного погодя, Прасковья Игнатьевна сказала Петру Савичу:

— А коли ты любишь меня да хочешь, чтобы я тебѣ жена была, ты скорѣ женись. Потому такъ не хорошо. Ты мужчина, кто тебя знаетъ, што у те на умѣ, можетъ у те тамъ другая невѣста есть...

— Прас...

— Нѣтъ, ты дай сказать... Можетъ ты это такъ, обмануть меня хочешь... Я вѣдь не игрушка, тоже и разсудокъ, хоть и дѣвичій, да мнѣю.. Тебѣ ничего, а што наши бабы говорятъ: глядите, говорятъ, дѣвоньки, учитель-то, Курносозъ, повадился къ Глузовымъ ходить.. Да еще и почище говорятъ... Я тебѣ-то и говорю: коли хочешь жениться — женись, у насъ домъ, слава тѣ Господи, не чужой, а до той поры и не ходи сюда. Вотъ что.. А што мы цѣловались сегодня, такъ это ужъ въ послѣдній разъ до свадьбы.

— Вотъ вѣрно ты-то не хочешь выйти за меня?

— Я съ тобой и говорю до свадьбы не хочу.

— Однако говоришь... Прасковья Игнатьевна... Развѣ такъ принимаютъ жениха?

Прасковья Игнатьевна пошла прочь изъ огорода. Вошедши во дворъ, она заперла дверь на задвижку.

— Прасковья Игнатьевна! — кричалъ Петръ Савичъ.

Прасковья Игнатьевна не откликнулась и минутъ черезъ пять отперла дверь и захохотала.

Когда Петръ Савичъ вошелъ во дворъ, Прасковья Игнатьевна спросила его:

— Молочка не хотите ли?

— Нѣтъ, покорно благодарю. Прощай...

— Прощайте... Такъ мои слова помнить будете?

— Я твою крестную мать буду просить.

— Ладно. Послѣ завтра я буду у нея — нуки надо дать. А вы завтра не приходите. А что она скажетъ мнѣ, я скажу тебѣ въ воскресенье въ церкви.

Отецъ Курносозъ былъ казначеемъ главной конторы, и такъ какъ мѣсто это въ заводѣ считается очень выгоднымъ, то онъ имѣлъ въ фабричной улицѣ полукаменный домъ и нѣсколько тысячъ денегъ. У него былъ братъ, но съ братомъ онъ жилъ не въ ладахъ, да и братъ былъ просто нарядчикъ. Счастье, какъ говорятъ таракановцы, везло старшему брату, который разными кривдами и неправдами добился мѣста казначея. Самъ же казначей считалъ себя очень умнымъ человекомъ и гордился тѣмъ, что онъ съ тогдашнимъ управляющимъ въ молодости плавалъ на караванѣхъ, т. е. сопровождалъ металлы. Считая брата за невѣжду, грубаго человека, онъ не оказывалъ ему ни малѣйшей помощи, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ — человекъ честный и не жалеетъ навлекать на себя непріятностей со стороны управляющаго. Меньшой братъ ненавидѣлъ его и все его семейство, кромѣ Петра, который частенько воровалъ у отца деньги и приносилъ дядѣ водки и бѣгалъ къ нему изъ училища. Еслибы Петръ Савичъ не ходилъ къ дядѣ, то онъ въ послѣдствіи, можетъ быть, и самъ сдѣлался бы казначеемъ. Но ему почему-то нравилось бывать у дяди, проводить по нѣскольку часовъ времени въ обществѣ его товарищей, и отъ нихъ-то онъ узналъ всю гадкую сторону и своего отца, и другихъ лицъ, которые почему-то ему не нравились. Такъ продолжалось до выпуска его изъ училища. Послѣ этого отецъ, желая дать ему еще болѣе образованія, отправилъ его доучиваться въ городъ на господское содержаніе; но въ первый же годъ обученія Петра Савича въ городѣ отецъ его умеръ, а домъ отъ не-

известнаго случая сгорѣлъ со всѣмъ имуществомъ и деньгами, и начальство на этомъ мѣстѣ выстроило полицію. Кончилъ Петръ Савичъ ученіе и пріѣхалъ въ свой заводъ съ званіемъ учителя таракановской заводской школы, а такъ какъ въ заводѣ у него не было ни кола, ни двора, то онъ и приткнулся къ единственному родственникамъ—сыновьямъ дяди, двумъ братьямъ, куреннымъ рабочимъ, холостымъ людямъ, жившимъ въ Козьмѣ Болотѣ.

Отсюда началась его практическая жизнь, но жизнь полная борьбы, надломившая его силы очень рано.

Изъ завода въ городъ онъ уѣхалъ съ разными предрасудками, раздѣляя всѣ таракановскія убѣжденія. Въ то время онъ еще плохо понималъ отношенія крѣпостнаго начальства къ рабочимъ, и наоборотъ; но, проживши въ городѣ четыре года, онъ, такъ сказать, совершенно переродился, такъ что по пріѣздѣ въ заводъ красивая его внѣшность показалась ему гадкою. Съ первой же недѣли онъ хотѣлъ уѣхать изъ завода, но у него была задача: обучать дѣтей, и онъ принялся за это дѣло съ жаромъ.

Въ заводѣ полагалось два учителя: священникъ и учитель, на правахъ мастерового. Обучали въ школѣ чтенію, письму, ариметикѣ и закону Божію. Свѣтскіе учителя были пьяницы, на дѣло свое смотрѣли какъ на поживу, напримѣръ лѣтомъ посылали по грибы, по малину, заставляли полоть гряды у себя или у приказчика. Словомъ, это было не училище, а собрание ребятъ для того, чтобы потѣшаться надъ ними, постегать ихъ, спросить по книжкѣ урокъ ради развлечения и потомъ дать каждому какую-нибудь работу. Объ образованіи думалъ только нѣсколько законоучитель, но и тотъ приходилъ въ школу рѣдко. Правда, мальчиковъ въ школѣ было немного: туда отдавались дѣти состоятельныхъ родителей, а бѣдные были такого мнѣнія о школѣ, что тамъ ребята избалуются, да и нѣтъ у нихъ такихъ излишковъ, чтобы давать учителямъ подарки. Но какъ бы то ни было, школа существовала, мальчики ходили туда ради шалостей, а по выходѣ оттуда кое-какъ умѣли писать и мало-мальски знали ариметику. Поступилъ Петръ Савичъ учителемъ, растолковалъ ребятамъ ласково, какъ онъ будетъ учить ихъ, и началъ обученіе лаской, за что ребята полюбили его и охотно стали учиться. Къ ариметикѣ онъ добавилъ геометрію, исторію и географію, и эти предметы не заставлялъ онъ силой учить, а кто желаетъ; однако пожелали всѣ, такъ что онъ затруднился на счетъ книгъ, купить которыхъ заводское начальство отказалось. Все шло хорошо; но въ первый же годъ заводскій приказчикъ, завѣдывавшій школой, бывши въ школѣ, приказалъ Петру Савичу, чтобы родители учениковъ принесли по рублю денегъ на книги. Зная очень хорошо, что книги обязана покупать главная контора, такъ какъ на содержаніе школы господиною назначена извѣстная сумма, Петръ Савичъ возразилъ, что онъ этого исполнить не можетъ, такъ какъ большинство родителей люди бѣдные и имъ дорога каждая копейка.

— Развѣ шустера бѣднѣе меня? Развѣ я не ви-

жу каждый день пьяныхъ? Молокососъ! — закричалъ приказчикъ.

— Позвольте мнѣ исполнить свою обязанность: я здѣсь хозяинъ, а вы зритель.

— Что такое? Ты, свинья, ты эдакъ грубить? — и приказчикъ ударилъ по щекѣ Петра Савича. Тотъ не выдержалъ и самъ ударилъ по щекѣ приказчика.

Приказчикъ разсвирѣпѣлъ, ребята тряслись отъ испуга. Потребовалъ приказчикъ розогъ, чтобы выстегать учителя, но розогъ въ школѣ не было.

Потребовали Петра Савича къ управляющему заводомъ. Онъ объяснилъ, въ чемъ дѣло; тотъ сказалъ: „не твое дѣло! коли тебѣ приказываютъ, ты долженъ исполнять“. И положилъ такую резолюцію на донесеніи главной конторы: „учителя Курносова, за нанесеніе побоевъ заводскому приказчику въ школѣ, наказать въ школѣ же розгами двадцатью пятью ударами“. Такъ учителя и выстегали въ школѣ въ присутствіи всѣхъ учениковъ и приказчика...

Съ этихъ поръ ребята съ недоверіемъ стали смотрѣть на своего учителя, и такъ какъ онъ былъ смиренный, розгами никого не дралъ, то они перестали заниматься дѣломъ. И если онъ кого-нибудь ставилъ на колѣни, то тотъ называлъ его „стегаемымъ учителемъ“. Въ другой разъ тотъ же приказчикъ замѣтилъ въ училищѣ геометрію. Смотрѣлъ онъ въ книгу долго, ничего не понимая.

— Это што жъ? меня, кажись, такимъ фитули-намъ не обучали. Што это за арцы!

— Это геометрія.

— Въсовская книга. Хорошо! — И приказчикъ унесъ книгу, а на другой день потребовали учителя въ главную контору.

— Ты какими предметамъ обучаешь мальчиковъ? — спросилъ управляющій.

Петръ Савичъ сказалъ.

— Знаю. Геометрія вещь хорошая, но какое ты имѣешь право безъ моего, понимаешь, безъ моего разрѣшенія, преподавать ее? Развѣ мальчишки должны знать *все*? Это для насъ, понимаешь, для насъ, для дворянъ эта наука существуетъ.

— Я понимаю по моему убѣжденію такъ, что эта наука развивается...

— Молчать! И если еще будешь преподавать какую-нибудь науку—въ рудники сошлю. Взяточникъ, мерзавецъ...

— Позвольте,—началъ было Петръ Савичъ; но управляющій всталъ съ кресла и крикнулъ:

— Подъ арестъ на недѣлю!!

Съ этихъ поръ у Петра Савича отпала охота учить дѣтей, и онъ сталъ проводить время то на фабрикахъ, то въ избѣхъ рабочихъ, не проповѣдая ни что-нибудь, а просто ради препровожденія времени. На фабрикахъ онъ учился, въ кузницѣ помогалъ лошадей подковывать и высказывалъ, что гораздо лучше бы было, еслибы его обучили какому-нибудь мастерству,—„а то сдѣлалъ изъ меня учителя и не дають учить, какъ слѣдуетъ“. А такъ какъ рабочіе въ компаніи непрѣнно пьютъ водку, а за неимѣніемъ водки пиво, настоящее на рускомъ табакѣ, который придаетъ пиву дурманъ, то и Петръ Савичъ сначала пробовалъ ради компаніи

ства, а потомъ сталъ выпивать помногу и въ пьяномъ видѣ часто приходилъ въ экстазъ, т. е. начиналъ составлять различные планы, что онъ сочинить самому генералу прошеніе, въ которомъ опишетъ всё плутни заводскаго начальства, и завирался до того, что начиналъ говорить стихами, что до слезъ смѣшило рабочихъ, и они стали называть его не иначе, какъ стихоплетомъ.

А такъ какъ школу бросить было нельзя, потому что надо получать жалованье и промѣантъ, то онъ ходилъ изрѣдка туда, и то съ похмелья; рассказывать ребятамъ сказки, разными смѣшныя исторіи и рѣдко занимался своимъ дѣломъ, предоставивъ занятіе предметами старшимъ мальчикамъ. Мальчики обращались съ нимъ безцеремонно, курили табакъ въ школѣ, дрались и играли такъ, что онъ не могъ унять ихъ нѣзакимъ манерами, и наконецъ, когда уже они совсѣмъ отбились отъ рукъ, онъ ввелъ розги; тогда ребята стали его побаиваться. Такъ онъ и учительствовалъ съ грѣхомъ пополамъ, показею не отставили черезъ Игнатія Петровича Глумова, съ которымъ онъ познакомился съ тѣхъ поръ, какъ поселился у дяди въ Козьмѣ Вологѣ. Глумовъ былъ, какъ описано выше, ярый человекъ; такой человекъ, какъ Петръ Савичъ, былъ ему съ руки, и они такъ сошлись другъ съ другомъ, что въ свободное время или Игнатій Петровичъ проводилъ часа два у Петра Савича, или тотъ у Глумовыхъ.

Поэтому много объяснять нечего о сближеніи Петра Савича съ Прасковьей Игнатьевной. Но это сближеніе случилось „не съ бухты бархты“ или такъ: подошелъ, наговорилъ любезностей и въ первый же день приступилъ къ изясненію своей любви; нѣтъ, до однихъ только ласкъ дѣло тянулось съ годъ, да до поцѣлуевъ—и то на вечеркахъ, на которые Петръ Савичъ былъ приглашаемъ, какъ музыкантъ на гитарѣ, — тоже годъ. Все это объясняется тѣмъ, что въ первое время, когда Петръ Савичъ ходилъ къ Глумовымъ, Прасковья Игнатьевна, по его же выраженію, была цѣточекъ, до котораго и прикоснуться опасно, да и онъ въ то время былъ современныхъ убѣжденій и на женщину смотрѣлъ съ современной точки зрѣнія; вся его любезность къ женскому полу заключалась въ томъ, что онъ рассказывалъ разные анекдоты, а не увлекалъ его пустыми вещами, идущими къ любовной цѣли, такъ какъ онъ и не думалъ жениться. Кромѣ того Прасковья Игнатьевна, занятая хозяйствомъ въ то время, когда онъ приходилъ, не вступала съ нимъ въ разговоры и на него почти не обращала вниманія, такъ какъ она наравнѣ съ ребятами недолюбливала приказныхъ. Потомъ, когда онъ сталъ попивать водку и махнулъ рукой на всё идею и рѣшилъ быть человекомъ практичнымъ, личность Прасковьи Игнатьевны стала ему показываться чаще и чаще. И сталъ онъ постоянно думать о ней и о себѣ думать, себя сравнивалъ съ ней—и разницы не находилъ, хотя и считалъ себя развитѣе ея... Когда же онъ раздумывался о настоящей своей жизни, о томъ, что дальше съ нимъ будетъ, то онъ прочь гонялъ мысль о женитьбѣ: у него нѣтъ лиш-

ней копѣйки, а зарабатывать деньги какимъ-нибудь ремесломъ онъ не въ состояніи, потому что и долота не умѣетъ правильно держать; разъ какъ-то сталъ доску пилить, пилу сломалъ. Но какъ ни старался гнать прочь мысль о женитьбѣ, но образъ любимой дѣвушки такъ и рисовался передъ нимъ... „Чортъ знаетъ, что такое дѣлается со мной!“ говорилъ онъ и начиналъ играть на гитарѣ какую-нибудь пѣсню; заиграетъ, сердце такъ и ноетъ, хочется идти къ Глумовымъ, ну, и пойдетъ, а какъ увидитъ Прасковью Игнатьевну—сробѣетъ, слова не найдетъ сказать, а та еще попросту издѣвается надъ нимъ, несчастнымъ горемыкой.

А чѣмъ дальше, тѣмъ эта привязанность къ милому существу росла и росла, а тутъ нестерпѣлъ, пустился плясать съ Прасковьей Игнатьевной, да потомъ все съ ней и плясалъ, такъ что парни сердились на него и не разъ хотѣли побить, да сама Прасковья Игнатьевна заступилась за него; ну, а ужъ если дѣвушка заступается за кавалера, то тутъ дѣло не просто.

Родители часто между собой поговаривали: „а славный этотъ Петръ Савичъ; главное—голова у него золото. Вотъ бы нашей-то краля. Съ его головой далеко можно уйти“. И приводили примѣры, какъ одинъ приказный, называвшійся въ заводѣ златописцемъ за то, что красиво переписывалъ, въ управляющіе вышелъ. И разъ даже, въ Успенскій день, подгулявшіе родители велѣли поцѣловаться молодымъ людямъ, что привело въ замѣшательство Петра Савича.

— А вѣдь краля не писанная, а настоящая...— хвастался Игнатій Петровичъ.

— Ну-ко, женишокъ, цѣлуйся, — наставляла мать, а за ней и гости.

Правда, что это была потѣха родителей подъ веселую руку, чего бы они не придумали въ другое время, но съ этихъ поръ Петръ Савичъ окончательно рѣшился жениться, и ни на комъ больше, какъ только на Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

— Ну, и заварилъ же я кашу!—думалъ часто Петръ Савичъ; но какъ ни думалъ, а все-таки приходилъ къ тому заключенію, что жениться лучше: тогда онъ привяжется къ дому, будетъ чѣмъ-нибудь заниматься; наконецъ будетъ выслуживаться или заискивать расположенія начальства, по пословицѣ: „съ волками жить, надо по-волчьи выть“.

И Петръ Савичъ сталъ шить сапоги, чему онъ обучался болѣе года. Но работы было очень немного, потому что въ заводѣ была цеховые мастера получше его; рабочіе отдають своимъ пріятелямъ, вроде Тимофея Глумова, и за работу даютъ ко-сушку или шкаликъ. Остается работать на городъ; но и это все-таки выходитъ на авось, да и его трехъ-рублевого жалованья, какое онъ получаетъ изъ главной конторы за переписку бумагъ, едва на полмѣсяца хватаетъ.

Еще осталась одна надежда: не сдѣлаютъ ли опять учителемъ, такъ какъ учительское мѣсто еще не занято. И онъ рѣшился сходить за протекціей къ священнику.

## V.

Смутно и медленно просыпаются понятія тарановскихъ дѣтей. Долго они не понимаютъ смысла словъ, вродѣ „женихъ, невѣста“, которыми ихъ называютъ родственники за красоту, за высокой ростъ или за послушаніе и за какую-нибудь услугу, за которую подарить мальчика или дѣвочку не имѣется сластей. Потомъ они начинаютъ понимать, что женихъ и невѣста—это такія особыя личности, которыхъ будутъ вѣнчать въ церкви, а отсюда и вытекаетъ то обстоятельство, что въ заводѣ при каждой свадьбѣ дѣти наполняютъ перковы, желая узнать, чтѣ такое женихъ и невѣста. Это до десяти и до двѣнадцати лѣтъ. Съ этого времени родители часто ругаютъ дѣвицъ дылдами, дѣвицы спятъ зимой на полу, одѣвшись своими сарафанами: такъ приучаютъ ихъ родители для того, чтобы онѣ вставали раньше матерей; попрекаютъ ихъ и тѣмъ, что онѣ много ѣдятъ и не умѣютъ ничего дѣлать, и, желая приучить дѣвушку къ дѣлу, говорятъ: „вѣдь ужъ, слава тѣ Господи, невѣсты смотришь, хошь куды подъ вѣнецъ... Попадется вотъ уже тебѣ мужъ—вышколитъ онъ тебя“. Слова эти болѣе и болѣе врѣзаются въ голову дѣвушки, но она все еще не понимаетъ сущности словъ — жена и мужъ, и хотя она и поетъ пѣсни любовнаго содержанія, все-таки изъ этихъ пѣсенъ она не понимаетъ ни одного слова, даже не можетъ рассказать на словахъ отъ перваго до послѣдняго слова содержаніе пѣсни, и поетъ, какъ шарманка, для того, что хочется пѣть. Правда, дѣвушки играютъ въ клѣтки, въ куклы, называютъ куклолъ женихами и невѣстами, клѣтки домами, комнатами, но это не болѣе, не менѣе, какъ представленіе того, что онѣ замѣтили, чтѣ онѣ слышали и чего не могли понять. Но вотъ матери говорятъ дѣвушкамъ, чтобы онѣ не долго ходили туда-то; усиливаютъ надъ ними надзоръ такъ, что чашенько доводятъ ихъ до слезъ: хочется на улицу выйти—поиграть или попѣть, и вдругъ не велятъ, а прежде можно было. И если дѣвушка гдѣ-нибудь замѣшкается или заговорится съ какимъ-нибудь парнемъ на глазахъ матери, то ее ругаютъ и даже бьютъ, объясняя при этомъ, что она не большая, чтобы ей калякать съ парнями. Съ пятнадцатилѣтняго возраста, когда дѣвушка обязана въ домѣ дѣлать все, она уже сама стѣняется идти одна въ лѣсъ, сперва за земляникой, потомъ за грибами и за малиной, потому что, во-первыхъ, въ домѣ ея всѣ называютъ невѣстой, взыскивая уже какъ съ большой, а во-вторыхъ, она уже замѣчаетъ и со стороны другихъ, въ особенности парней, другое обращеніе. Но лѣтомъ еще весело: теплое время какъ-то не заставляетъ дѣвушку много задумываться, потому что тогда у нея есть кой-какія развлеченія: есть огорохъ, гдѣ она поетъ; ходить съ подругами въ лѣсъ и тамъ поетъ; въ праздничный хорошій день она тоже поетъ съ дѣвушками пѣсни въ хороводахъ и даже играетъ съ парнями въ мячикъ. А зимой она постоянно находится въ домѣ и въ свободное время придетъ, или вяжетъ, или что-нибудь по-

чиниваетъ и въ это же время преимущественно думаетъ и думаетъ о томъ: неужели и она скоро будетъ замужемъ, и какими образомъ это устроится? И вспоминаетъ все, чтѣ ею усвоено доселѣ: жизни ея подругъ, дѣтнія сцены, прошлогоднія вечерки — и при послѣднемъ представленіи она чувствуетъ трепетъ и въ то же время что-то радостное. Наступаетъ время вечерокъ, родители безпрекословно отпускаютъ дѣвицъ на вечерки, даже дозволяютъ имъ называть лицо мѣломъ, брови сажой, даютъ запуны и т. д. Съ радостью бѣжитъ дѣвушка на вечерку, гдѣ участвуютъ преимущественно молодые люди обоего пола, приглашенные по выбору родителей. Приходить она туда, се сначала осмѣиваютъ, потомъ садятъ, угощаютъ орѣхами и пряниками; парни острятъ то надъ той, то надъ другой дѣвицей, щиплются — потому что здѣсь это дозволяется, и чѣмъ рѣчистѣе и острѣе парень, тѣмъ онъ больше нравится дѣвицѣ, такъ что всѣ его дурныя стороны, обиды, какія онъ нанесъ дѣвушкамъ до сихъ поръ, теперь забываются. Потомъ начинаютъ пляски съ различными пѣснями. Прежде дѣвушка только пѣла эти пѣсни, не понимая въ нихъ ни одного слова, здѣсь же, послѣ каждого періода, слѣдуетъ поцѣлуй... Къ концу вечерки полный разгаръ: дѣвицы и парни уже выпили не по одной рюмкѣ сладкой водочки, каждая дѣвица къ одиннадцати часамъ получила до сотни поцѣлуевъ, лицо ея разгорѣлось, кровь волнуется, съ парнями она какъ со своими братьями обращается, парни ей милы, ей хочется еще плясать, плясать всю ночь съ ними, и она пляшетъ до усталы, кончая послѣдней пѣсней, повторяющейся по нѣскольку разъ. Пѣсня эта заключается въ слѣдующемъ: посреди комнаты поставятъ стулъ, на этотъ стулъ садится парень, вокругъ этого парня ходятъ дѣвушки съ своими кавалерами, такъ что Марью держитъ за лѣвую руку Павелъ, правую руку Ивана держитъ Саша, лѣвую Павла Прасковья и т. д.; идя медленно, всѣ они поютъ протяжно пѣсню:

Сидитъ дрема, (2 раза)  
Сидитъ дрема, сама дремлетъ.  
Полно, дремушка, дремать:  
Время дремѣ (2 раза)  
Время дремѣ выбрать.  
Бери, дрема, (2 раза)  
Бери, дрема, кого хочешь.

Въ это время парень, сидящій на стулѣ въ кругу, долженъ выбрать дѣвушку изъ круга, и онъ схватываетъ ту, которая ему болѣе нравится. Кругъ поетъ:

Сиди, дрема, (2 раза)  
Сиди, дрема, на колѣни.

Парень садитъ дѣвицу на колѣни, обнимаетъ. Кругъ поетъ:

Цѣлуй, дрема, (2 раза)  
Цѣлуй, дрема, сколько хочешь.

Парень радъ случаю, а дѣвица, если ей не по нраву парень, не рада, что попала къ нему, но ужъ порядокъ такой — надо его выполнять съ точностью.

Вечерки и балы одно и то же. На вечеркѣ пляшутъ дѣвушки необразованныя, дѣвушки рабочія, которыя еще не сстроили себѣ идеаловъ, потому

что их умственное развитие сосредоточивается на тех же заводских людях, которых они или знают, или видят; цивилизованный класс устраивает балы, маскарады и проч., и дѣло все-таки касается тѣхъ же, только въ болѣе изящномъ видѣ.

Послѣ этихъ вечеринокъ заводская дѣвушка начинаетъ скучать болѣе прежняго, начинаетъ серьезно подумывать о томъ парнѣ, который больше нравился ей на вечеркѣ, и если она бываетъ на вечеркахъ часто, то эти пляски и поцѣлуи доводятъ ее до привязанности къ молодому человѣку, о которомъ она думаетъ и день, и ночь. То же самое происходило и съ Прасковьей Игнатьевной. Такъ какъ она была самая красивая дѣвушка въ своемъ порядкѣ, то у нея много было поклонниковъ, что очень не нравилось ей подругамъ, и онѣ постоянно корили ее тѣмъ, что она своей *мамазанной* рожей всѣхъ парней отбила отъ нихъ. Но Прасковья Игнатьевна не чувствовала особенной привязанности ни къ одному парню, такъ какъ она не знала, кто изъ нихъ лучше и милѣе; къ тому же она была дѣвушка гордая, считала себя красивой, а въ каждомъ парнѣ находила много недостатковъ. Такъ было до шестнадцати-дѣтиаго возраста, когда ее въ Козьмѣ Болотѣ всѣ стали называть нежѣстой. На шестнадцатомъ году ей понравился одинъ парень Семенъ Горюновъ. Она его видѣла въ первый разъ, поэтому-то вѣроятно онъ и заинтересовалъ ее. Парень этотъ былъ изъ фабричнаго порядка. Надумавшись раньше, что ее рано или поздно родители отдадутъ замужъ, она между прочимъ составила себѣ такой идеалъ своей любви: женихъ долженъ быть моложе ея, красивъ, рѣчистъ, умѣлъ бы ее ласкать, не ругался бы разными словами, а все бы смѣлся съ ней да говорилъ ей хорошия рѣчи. Главное, чтобы онъ не былъ пьяница и драчунъ. На вечеркѣ Семенъ Горюновъ явился дѣйствительно такимъ: это былъ румяный, высокій парень, одѣтый чисто. Велъ онъ себя и прилично, и съ достоинствомъ, при этомъ, какъ узнала тутъ же Прасковья Игнатьевна, онъ былъ сапожникъ и человѣкъ трезвый. Прошло четыре вечерки. Горюновъ только съ ней и пляшетъ, и она такъ привязалась къ нему, что почти каждый праздникъ отпрашивалась у матери къ обѣднѣ и проходила съ нимъ нѣсколько улицъ, несмотря на остроты парней и насмѣшки дѣвицъ. Но выйти замужъ за него не было суждено Прасковѣ Игнатьевнѣ; Семенъ Горюновъ послѣ Пасхи женился на дочери штейгера...

А въ это время въ домъ Глумовыхъ уже часто ходилъ Петръ Савичъ и приходилъ постоянно трезвый.

Замѣчая привязанность ея родителей къ учителю, вниманіе учителя къ ней, частые подарки его и ласковый разговоръ, она, разобиженная поступкомъ Горюнова, считая всѣхъ парней обманщиками, стала подумывать, не лучше ли ей выйти замужъ за человѣка старше ея, такого человѣка, котораго и отецъ ея любитъ. Стала она считать жениховъ въ Козьмѣ Болотѣ и Медвѣдкѣ, насчитала ихъ многочисленія в. рѣшетникова.

го, но всѣ они оказались неподходящими: такъ Яковъ Переплетчиковъ, парень 20 лѣтъ, хоть и видный и водки мало пьетъ, но она никогда не проститъ ему, что онъ ей, пятнадцатилѣтней дѣвицѣ, угодилъ мячикомъ въ самый затылокъ, когда она шла въ водой, отъ чего она упала въ грязь и такъ замарала подолъ, что мать отодрала ее по спинѣ плеткой. У отца Павла Везиалова денегъ много, потому онъ раскольниковымъ попомъ въ лѣсахъ: да что за радость выходить за хромого? Иванъ Оотѣвъ тоже недурной парень, но мать у него нехорошая женщина, потому что Малая Степановну до сихъ поръ считаетъ воровкой, тогда какъ сама украла у нихъ двѣ курицы съ пѣтухомъ и продала на рынкѣ. Есть, правда, еще женихъ въ Медвѣдкѣ, Василій Глумовъ; онъ часто что-то ходилъ къ отцу, но онъ какой-то гордецъ, никогда даже слова ей не сказалъ, хвастается, что онъ мастеръ, ругалъ отца за непорядки какіе-то, и главное—сказываютъ, что у него сестра скверная женщина. Всѣ эти женихи, перебранные Прасковьей Игнатьевной, были, что называется, люди стоящіе, и о нихъ не одинъ десятокъ дѣвицъ подумывалъ; но Прасковью Игнатьевну обѣсило еще то, что ни одинъ изъ нихъ не сказалъ ей ни одного любезнаго слова, не только-что не посылалъ свахъ къ матери.

Отецъ часто говорилъ матери Прасковьи Игнатьевны, что Петръ Савичъ золотой человѣкъ, какъ будто бы намеряя дочери, что такого жениха не скоро сыщешь, потому что онъ уменъ и непременно дойдетъ до важной должности. А этого Прасковѣ Игнатьевнѣ было достаточно, и она стала подумывать о Петрѣ Савичѣ, сравнивая жизнь своего отца съ его жизнью. Жизнь рабочаго человѣка она хорошо понимала; нужду и горе она видѣла на каждомъ шагѣ. Выйдя она замужъ за рабочаго человѣка,—заботы будетъ много, а съ ребятами и вдвое. И она стала мечтать о лучшей жизни, приравнивая къ рабочимъ приказныхъ. Приказныхъ она не любила до тѣхъ поръ, пока не ознакомилась съ Петромъ Савичемъ, и однако находила, что жизнь приказнаго не въ примѣръ лучше жизни рабочаго: считаются они на линіи мастеровъ; въ рудникахъ и въ лѣсу не работаютъ; находятся въ виду начальства, содержанія получаютъ больше рабочихъ, жены ихъ ходятъ наряднѣе рабочихъ, дома они имѣютъ порядочные, и хоть какъ ни ругаютъ ихъ рабочіе, а все же къ нимъ обращаются съ просьбами. Все это соблазнительно дѣйствовало на требовательную натуру Прасковьи Игнатьевны, ей захотѣлось выйти изъ рабочаго кружка, доволно грубаго вездѣ, и выборъ ея остановился на заводскомъ учителѣ Петрѣ Савичѣ. Стала она плясать съ Петромъ Савичемъ, и на первыхъ порахъ ей обидно становилось, что онъ какъ-то неохотно цѣлуетъ ее; но она это простила ему, потому что онъ если не поцѣлуями любезенъ, то занимателенъ разговорами: о чемъ ни спроси, все объяснить, какъ по писаному, да и она, поговоривши съ нимъ въ углу на счетъ поцѣлуевъ, согласилась, что дѣйствительно много цѣловаться приторно, и даже ска-



зала Петру Савичу, что она охотно бы вовсе перестала цѣловаться на вечеркахъ, такъ какъ почти отъ всѣхъ, кромѣ Петра Савича, изъ рта или лукомъ, или чеснокомъ пахнетъ. Мало-по-малу молодые люди стали разговаривать другъ съ другомъ, стали погрывать въ карты при родителяхъ, острили другъ надъ другомъ, и Прасковья Игнатьевна все болѣе и болѣе привязывалась къ нему и приходила къ заключенію, что Петръ Савичъ именно такой и есть человѣкъ, какой ей нуженъ.

Но вотъ Петръ Савичъ сталъ жаловаться на скверное житье, что его, Богъ знаетъ за что, тѣснятъ; стала она замѣчать, что онъ чаще и больше пьетъ водку, даже къ нимъ приходилъ выпивши, отца уводилъ съ собой, и потому отецъ возвращался домой пьяный и ругался. Сердце ныло у Прасковьи Игнатьевны, она подолгу задумывалась надъ тѣмъ: неужели Петръ Савичъ собьется съ толку и выйдетъ совсѣмъ негоднымъ человѣкомъ? А такихъ примѣровъ она знавала много. Но опять ей жалко становилось его, потому что дѣйствительно, какъ онъ говорилъ, его понапрасну тѣснятъ. Умеръ отецъ; Петръ Савичъ лишился должности; сосѣди говорили, что въ этомъ дѣлѣ виноватъ одинъ Петръ Савичъ, какъ выскочка, который вездѣ суется первый, но Прасковья Игнатьевна находила, что Петръ Савичъ все-таки правъ; она на его мѣстѣ то же бы сдѣлала, и ее, какъ женщину, скорѣе выслушали бы, потому что съ нея взятки гладки. Передъ самой смертью отца Петръ Савичъ изъяснился ей въ любви, и она повѣрила этой любви, и не находила въ ней ничего дурного. Послѣ смерти ея отца Петръ Савичъ рѣдко сталъ ходить въ домъ Глумовыхъ, на томъ основаніи, что не хорошо ходить холостому мужчине въ домъ, гдѣ хозяйка — дѣвушка, и Прасковью Игнатьевну часто беспокоило, что дѣлается съ Петромъ Савичемъ. Спрашивала она вскользь о немъ Тимофея Петровича, но тотъ шутиливо отвѣчалъ: „што ему: пить поди да просьбы строчить“. Это очень огорчало Прасковью Игнатьевну: она стала сердиться на дядю и подозрѣвать, что онъ пожалуй разстроитъ ея счастье.

Послѣ описаннаго выше разговора Петра Савича и Прасковьи Игнатьевны она долго не могла заснуть ночью. Ее мучила мысль: каковъ-то будетъ дальше Петръ Савичъ. Изъ разговора его она замѣтила, что онъ какъ будто холодитъ, чѣмъ былъ прежде. „А если онъ все такъ же будетъ вести себя, тогда наплевать“, думалось ей. Но ей будетъ скучно безъ друга; работы и заботы по хозяйству много, и для чего это? „Хлопочешь, хлопочешь съ утра до вечера — и ни отъ кого спасибо не получишь, не съ кѣмъ даже слова сказать или поговорить толкомъ. Заговоришь съ дядей, онъ отшучивается, считаетъ тебя дѣвкой, съ которой не стоитъ много разговаривать или начнетъ говорить о Петрѣ, сведетъ на Ивана. На улицу выйдешь, бабы смѣются, надѣждутся спросами да разспросами: „а скоро ли у тя, Игнатьевна, свадьба-то?“. Дѣвцы говорятъ: „какого ты, Глумиха, женишка-то подцѣпила: учитель, да еще стеганый“. А посоветоваться не съ кѣмъ: крестная

мать глухая, все надо кричать, такъ что еще кто подслушаетъ, да передастъ съ прикрасами... То ли было бы дѣло, еслибы я была замужняя... вдова... какъ бы захотѣла, такъ бы и сдѣлала“.

Такъ думала Прасковья Игнатьевна и додумалась, что Петръ Савичъ человѣкъ хороший, только водку пьетъ. „Ну, я буду дожидаться“, говорила она, „какъ только онъ получитъ какую-нибудь должность да не будетъ пить водку, я объявлю ему, что я согласна быть его женой, и условіе такое выговорю: жить въ нашемъ домѣ, не обижать мамоньку и поглажать ей. Деньги штобы онъ мнѣ отдавалъ, я ужъ буду пиво варить, такъ оно и дешевле будетъ, и онъ отъ водки отстанетъ; а это компанство, — чтобы его и духу не было. Надо опять и то принять въ расчетъ, што у насъ дѣти будутъ. А если я замѣчу, што онъ все такъ же будетъ пьянствовать, я и на глаза его не пушу; потому, коли хочешь мнѣ мужемъ быть, долженъ любить меня, а што я его прошу, да онъ не исполняетъ, — разѣ это любовь? И ни за кого ужъ я потомъ не пойду замужъ, потому послѣ этого выходить, что всѣ мужчины обманщики и ни одному ихнему слову нельзя вѣрить. А одна-то я проживу какъ-нибудь, потому огорождъ у меня неотъшлемный, лошади тоже своя: захотѣла — съѣздила въ лѣсъ, дровъ нарубила, руки-то, слава Богу, не отпала... корова своя“...

## VI.

Петръ Савичъ жилъ въ старомъ порядкѣ съ сроднымъ братомъ Иваномъ Яковлевичемъ. Домъ у Ивана Яковлевича былъ новый и состоялъ изъ кухни и комнатки, которая называлась свѣтелкой: въ ней было три окна и довольно свѣтло, а стѣны и потолокъ оклеены бумагой. Здѣсь было довольно чисто, даже больше было мебели, посуды и одежды, чѣмъ въ домѣ Глумовыхъ. И это потому, что Иванъ Яковлевичъ женился не на безприданницѣ, получилъ за нею перину, три подушки, халатъ и даже самоваръ, такъ какъ роднымъ невестки были православныя и любили въ праздникъ пить чай. Иванъ же Яковлевичъ еще въ дѣтствѣ отсталъ отъ раскола. Жена Ивана Яковлевича, нельзя сказать, чтобы была красивая, но женщина молодая, здоровая, полная, и главное — у нея въ рукахъ дѣло скоро дѣлалось. У нѣтъ былъ уже ребенокъ — дѣвочка, которая еще качалась въ зыбкѣ. Ребенка всѣ любили; даже Петръ Савичъ по нѣскольку разъ бралъ маленькаго червячка, какъ онъ называлъ малютку Марью, и училъ ее Богу молиться, звать пану, маму и дядю. Ребенокъ былъ бойкій, дядю любилъ даже больше своихъ родителей; при первомъ словѣ отпа или матери: „а гдѣ Божинька?“ ребенокъ обращалъ головку къ двумъ образамъ, висѣвшимъ въ переднемъ углу, и колотилъ правой ручонкой по груди, что очень забавляло не только родителей, но и постороннихъ.

Иванъ Яковлевичъ преимущественно занимался дѣланіемъ кадокъ, бочонковъ и набиваніемъ на тѣ и на другіе обручи желѣзныхъ и деревянныхъ, и такъ какъ во всемъ заводѣ было только двое мастеровъ по этой части, то работа у него была все-



да, только половина денег уходила наводку. Впрочемъ онъ пилъ не постоянно; но если ему попадалась рюмка водки, то его уже трудно было остановить, и еслибы жена не приберегала деньги, не запирала накрѣпко вещи и потомъ не уходила куда-нибудь, то пришлось бы плохо обойтись, такъ какъ у нихъ корова еще была очень молода и молока давала мало. Трезвый Иванъ Яковлевичъ былъ славный человѣкъ; постоянно занимался дѣломъ, не соваясь въ женское хозяйство и, занимаясь чѣмъ-нибудь, больше напѣвалъ пѣсни; но пьяный онъ лѣтъ драться, хоть будь тутъ и другъ и врагъ, отчего и самъ бывалъ частенько битъ. Жена его, Маремьяна Кирилловна, была существо смиренное, тихое, такъ что если она куда-нибудь сядетъ съ шитьемъ или съ чулкомъ, только и слышно ее, когда она съ ребенкомъ возится.

Петръ Савичъ любилъ эту семью, которую онъ называлъ голубыми, и завидовалъ ихъ жизни. Иванъ же Яковлевичъ съ женой тоже были ласковы съ ними, отъ угла и стола не отказывали; но пьяный Иванъ Яковлевичъ кидался на Петра Савича съ кулаками и тузилъ его въ спину за то, что Петръ Савичъ будто бы пріудариваетъ за его женой, причѣмъ, если тутъ была Маремьяна Кирилловна, доставалась и ей на калачи. Впрочемъ трезвый Иванъ Яковлевичъ говорилъ Петру Савичу: „ну, ты, братъ, не сердись, что я тебя побилъ. Правъ у меня ужъ такой дрянной съ дѣтства. Вся моя забава въ жизни — напиться и подраться съ кѣмъ-нибудь, кто на глаза попадется... А што я тутъ жену припелъ, такъ это тоже шутка, потому я ее знаю и тебя знаю: вѣдь шила въ иѣшкѣ не утаишь“.

На другой день послѣ свиданія съ Прасковьей Игнатьевной, утромъ, напившись чаю, Петръ Савичъ принялся было за починку своихъ сапогъ. Поковырявъ немного шиломъ подошвы, онъ вдругъ обратился къ Ивану Яковлевичу, затоплявшему въ кухнѣ печь, потому что Маремьяна Кирилловна кормила грудью ребенка.

— Послушай-ко, братъ, што я у тебя хочу попросить...

— Ну?

— Нѣтъ ли у тебя съ рубль денегъ?

— На што опять? На водку, поди, — взялся Иванъ Яковлевичъ.

— Нѣтъ, мнѣ на дѣло нужно. Знаешь ли, чтѣ я хочу сдѣлать? — хочу я угостить нашего казначея и отца Петра.

— Выдумывай. Такъ вотъ и пошелъ сюда казначей.

— Думаешь — не пойдетъ?

— Даю руку на отсѣченіе. Еслибы ты учителемъ былъ въ школѣ и тогда бы онъ не пошелъ, а сказалъ бы: „приду!“ ну и жди его: покажется бы стали ждать, водку и выпили бы. Да на што тебѣ непремѣнно казначей понадобился, да еще съ отцомъ Петромъ?

— Я думаю опять въ учителя пробраться.

— Гм!.. Ну, это мудрено што-то послѣ такой исторіи, какъ глумовская. Ну, а твоя невѣста што?

Петръ Савичъ на это ничего не отвѣчалъ.

— Ты, братъ, не сердись, право... А вотъ не лучше ли тебѣ сходить къ Переплетчикову. Приказчикомъ-то онъ недавно, теперь принимаетъ всякія просьбы, потому дѣло новое, нельзя же сразу цѣнной собакой сдѣлаться. А онъ, слышалъ я, братъ, изъ ученыхъ; въ столицѣ бывалъ. Это что-нибудь да значить.

Петръ Савичъ поковырялъ еще сапогъ, положилъ его подъ лавку и сталъ одѣваться.

— Не знаю, что будетъ, — говорилъ Петръ Савичъ. — Послѣ такой исторіи мнѣ, право, совѣстно проситься опять туда же, откуда выгнали. Проклятое житье!

— Гордость одна тебѣ мѣшаетъ. Вѣдь тоже жили же до тебя учителя, да еще какіе дома настронили: въ двѣ да въ три горницы.

— А честно ли свое дѣло-то они исполняли?

— Найди ты честнаго человѣка, я тебѣ полштофъ водки поставлю. Право! Да вотъ хоть бы я: честно это заводское добро воровать? Вѣдь я желѣзо беру изъ кузницы, а знаю, что оно воровское и мнѣ попадаетъ почти даромъ. А што я заклепываю обручи дома, — это тоже развѣ честно, потому что полиціи то и дѣло боишься; хорошо еще, нѣтъ такого молодца, который бы донесъ. А вѣдь все нужна. Такъ и ты съ своей гордостью шлейся по-миру.

— Да я тебѣ заплачу за все...

— Ну, другъ, я тебя словомъ не обидѣлъ, а только говорю къ дѣлу. Вотъ ты тоже думаешь жениться; ну, и поживи...

— Полно тебѣ, Иванъ Яковлевичъ, толковать то пустяки! Когда, такъ отъ него слова не дождешься, а тутъ такъ ужъ больно рѣчишь сталъ, — сказала мужу Маремьяна Кирилловна.

Иванъ Яковлевичъ замолчалъ, а Петръ Савичъ вышелъ.

Не весело у него было на душѣ. Все, чтѣ онъ видѣлъ теперь вокругъ себя, казалось мрачно; люди, попадавшіеся ему навстрѣчу, казались какими-то врагами; онъ злился, самъ не зная на что. „Вотъ даже и сродный братъ гонитъ изъ дому“, подумалъ онъ, и чѣмъ больше думалъ на эту тему, тѣмъ болѣе приходилъ къ такому заключенію, что, дѣйствительно, Иванъ Яковлевичъ правъ. Онъ мастеръ, бьется изо всѣхъ силъ, чтобы достать досокъ, обдѣлать эти доски и сдѣлать вещь такъ, чтобы она была прочна и хороша и чтобы заказчики не бранили его. И все это онъ дѣлаетъ за небольшую цѣну. А надо же прокормить себя, жену, надо же и на черный день запастись чѣмъ-нибудь. Мало ли какіе могутъ быть случаи. А онъ-то, Петръ Савичъ, помогъ ли Ивану Яковлевичу чѣмъ-нибудь? Да, помогалъ ему выпивать водку. И вотъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ лишился учительскаго мѣста, прошелъ уже годъ, а онъ все живетъ у брата, ни копейки не отдавая ему, точно тотъ обязанъ кормить его. Поневоѣ человѣкъ высказается.

Съ такими мыслями дошелъ онъ до главной конторы. Тамъ, въ первой комнатѣ, онъ увидѣлъ приказчика, который разговаривалъ о чемъ-то съ казначеемъ. Поклонившись обоимъ, онъ ушелъ въ другую комнату, гдѣ занимался постоянно. А такъ

какъ у него не было сегодня дѣла, то онъ приткнулся къ двумъ писцамъ, тоже сидящимъ безъ дѣла и разговаривающимъ о рыбной ловлѣ на пруду.

— Вотъ ты, Петръ Савичъ, не ходишь рыба-чить, а я вчера сорокъ штукъ карасей поймалъ.

Петръ Савичъ промолчалъ; ему хотѣлось спро-сить: въ которомъ часу приказчикъ принимаетъ просителей, но вдругъ его позвалъ казначей.

— Вотъ что, Курносовъ; приказчику нужно переписать одну вѣдомость, такъ ты отправься къ нему. Да смотри, скажи, что, молъ, казначей за-былъ передать вамъ, чтобы ему привезли на дворъ сажень пятьдесятъ дровъ.

— Гдѣ же я буду переписывать?

— Конечно въ конторѣ.

— Я все хочу побеспокоить васъ насчетъ учи-тельства.

— Ну, ужъ это, братъ, пѣсня старая. Оно хотя и нѣтъ учителя и теперь бы это дѣло можно устроить, да управляющій-то какъ? Вѣдь онъ тебя знаетъ.

— Но вы можете сказать, что смѣненный при-казчикъ былъ самъ скверный человекъ.

— Это можно. Ну, а ты что бы мнѣ далъ за хлопоты?

— Вы знаете, что у меня ничего нѣтъ.

— Я тебя научу. Теперь дѣло; какъ только ты получишь мѣсто учителя, попли за мальчишками, кромѣ моего парнишка, и объяви имъ, что-де управ-ляющій приказалъ имъ: гдѣ хотять, а чтобы на другой день было поймано пятакъ скворцовъ.

— А если они не поймаютъ?

— Это ужъ ихнее дѣло. Скажи, какъ знаешь: въ работу или какъ... Тогда и ты можешь поживиться.

Еще злѣе сдѣлался Петръ Савичъ, но дѣлать было нечего: Иванъ Яковлевичъ говорилъ правду, добромъ здѣсь безъ хлѣба насидишься.

Кончилъ онъ работу приказчику и явился къ нему вечеромъ. Тотъ прочиталъ и довольно вѣж-ливо спросилъ его:

— Ты гдѣ воспитывался: въ заводѣ или въ го-родѣ?

— Въ городѣ. Назадъ тому годъ я былъ здѣсь учителемъ, но бывшій приказчикъ допекъ меня за то, что я преподавалъ геометрію.

— Скотина! Такъ развѣ наша школа безъ учи-теля?

— Да.

— Хорошо. Я управляющему сегодня же скажу о тебѣ и велю называть школу училищемъ съ двумя свѣтскими учителями и законоучителемъ.

— Я еще хочу спросить васъ: какъ я долженъ поступать въ такихъ случаяхъ, если будутъ полу-чаться приказанія со стороны начальства: напри-мѣръ посылаютъ мальчишковъ рыбу ловить, велять приносить денегъ на образъ.

— Ну?

— Я нахожу, что это несправедливо.

— Конечно. Я этого не допущу въ училищѣ... Завтра же ты собери всѣхъ ребятъ, которые учатся, и объяви имъ, что я послѣ-завтра буду. Чтобы они всѣ одѣлись чисто, вымылись въ банѣ и волосы остригли; понимаешь, по-городски... И если я найду

училище въ порядкѣ, прикажу тебѣ выдать пособіе. Женать?

— Никакъ нѣтъ. Хочу жениться.

— Прекрасное дѣло. Учитель непременно дол-женъ быть женатымъ. А если казначей спроситъ дровъ, такъ ты скажи ему, что я подумаю. Дѣсь-то вѣдь не мой, господскій.

И веселъ же вышелъ отъ приказчика Петръ Са-вичъ. Такой справедливости и милости онъ еще не знавалъ доселѣ въ заводскомъ крѣпостномъ началь-ствѣ. А радоваться ему было отчего, потому что ужъ если что сказалъ приказчикъ, такъ тому и быть; недаромъ приказчикъ въ заводѣ первое лицо послѣ управляющаго, недаромъ приказчикъ всѣми заводскими дѣлами заправляетъ...

Повеселѣлъ и Иванъ Яковлевичъ; на радостяхъ онъ купилъ водки и закутилъ...

Созваны были мальчички въ школу, явился туда и приказчикъ. Ребята были дѣйствительно приче-саны, умыты, рубашенки тоже прилажены. При появленіи приказчика они по обыкновенію крик-нули: „здравія желаемъ!“

— Ну, ребята, вотъ вамъ учитель. Школа те-перь преобразована въ училище, и предметовъ въ ней будетъ больше. Слушать учителя! А ты, учи-тель, дери ихъ, какъ только можно. Слышите?! Всѣ приказанія учителя исполнять, иначе на работѣ сонлю. Ну, теперь по домамъ до августа мѣсяца.

Сказавъ это, приказчикъ ушелъ.

Петръ Савичъ былъ введенъ въ учителя.

Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить, что мальчички, образующіеся въ школѣ или заводскомъ училищѣ, не только освобождаются отъ работъ, но полу-чаютъ отъ заводууправленія, по положенію, про-віантъ и даже деньги, — нѣсколько копеекъ въ годъ. По окончаніи ученія въ школѣ они поступаютъ, если годны, въ писаря.

Пошелъ Петръ Савичъ въ главную контору; тамъ казначей, поздравивъ его съ учительской долж-ностью, спросилъ:

— А скверны?

— Приказчикъ объявилъ ученикамъ, чтобы они, кромѣ ученія, никакихъ порученій не исполняли.

— Хорошо. Я спрошу приказчика... Изволь-ка вотъ это переписать...

Черезъ недѣлю Петръ Савичъ получилъ пособіа пятнадцать рублей, и ему назначили по должности учителя пять рублей жалованья и двойней паекъ провіанту; выдали также и билетъ на порубку дѣса въ двойномъ количествѣ противъ количества, на-значеннаго писарямъ.

Прошло двѣ недѣли, а Петръ Савичъ не являлся къ Прасковѣ Игнатьевнѣ: онъ то хлопоталъ о деньгахъ, то о провіантѣ, то гулялъ съ прияте-лями, а тутъ на недѣлю уѣзжалъ въ городъ за по-купкой обновъ къ свадьбѣ, но и въ хлопотахъ онъ все-таки не забывалъ свою невесту, — она была для него теперь дороже всѣхъ.

А между тѣмъ въ эти двѣ недѣли Прасковья Игнатьевна много передумала худого и хорошаго на счетъ Петра Савича.

Въ ту ночь, когда она составила планъ будущности, ей приснилось, что она обрѣзала свою косу; когда она пробудилась, ее пробрала дрожь отъ этого сна. Таракановды вѣрять въ сны и многіе изъ нихъ они отгадываютъ. Такъ, обрѣзая косу во снѣ — значитъ быть большому несчастью; взлѣзая на гору — то же, и т. п. Поэтому Прасковья Игнатьевна, дѣвушка суевѣрная, очень испугалась и стала думать: какое такое съ ней — именно съ ней — случится несчастье? Развѣ королю украдутъ? Но вѣдь она себя обрѣзала косу. Развѣ мать умереть? Но она тотъ и мать, а все-же жалко на нее смотрѣть, ужъ тотъ бы она померла. Нѣтъ! несчастье должно непременно съ ней случиться, и несчастье большое...

Затопила она печь, ухавилась съ коровой, овечками, курами. Тимофей Петровичъ сталъ одѣваться.

— Ты, дядя, куда?

— Туда, гдѣ насъ нѣтъ.

— Обѣдять будешь?

— Объ этомъ сорока на-двое сказала.

„Толкуй съ дуракомъ“, подумала Прасковья Игнатьевна и занялась своимъ дѣломъ; однако спросила дядю:

— Слышь, дядя, какой я сегодня сонъ видѣла: косу обрѣзала... Такъ-таки по корень обрѣзала. А буди ее дѣла, не знаю.

Тимофей Петровичъ подумалъ немного, приложилъ указательный палецъ правой руки къ правой ноздрѣ и, отпятивъ лѣвую ногу впередъ, съ достоинствомъ знатока сказалъ:

— Эко дѣло! Женити, надо быть, улизнать.

— Ужъ отъ тебя не жди хорошаго, — сказала обиженная Прасковья Игнатьевна.

Дядя ушелъ, а Прасковья Игнатьевна стала ходить изъ горенки въ избу, сама не зная зачѣмъ. Она, казалось, ни о чемъ не думала. Потомъ остановилась у зеркала, поглядѣла въ него и вдругъ вскрикнула и убѣжала во дворъ. На нее напала дрожь.

— Дѣвка! — услышала она знакомый голосъ.

Недалеко отъ нея стояла мать съ охавной картофельной мякны.

Прасковья Игнатьевна подошла къ ней и вдругъ хинулась ей на шею.

— Мамонька! голубушка...

Маленькая Степановна присѣла и начала выть. Пошла она немного и стала ругаться. Прасковья Игнатьевна испугалась за мать. Въ это время пришелъ Илья Игнатьевичъ.

— Парашка, исъ.

— Погоди, съ матерью шнъ что приключилось.

Илья поглядѣлъ на мать издали и пошелъ въ огородъ, напѣвая: „со святыми упокой“.

Такъ пробилась Прасковья Игнатьевна цѣлый день, и только вечеромъ пришла ей мысль о Петрѣ Савичѣ.

— Вѣдь и не бывало?.. Онъ, значитъ, и не пояннулъ обо мнѣ?

Стала она думать о Петрѣ Савичѣ, и въ голову ее лѣзли мысли одна другой хуже.

— И что я за дура, думаю о немъ? Вѣдь онъ мнѣ чужой, совсѣмъ чужой.

Запѣла она пѣсню „Гулинька“, но пѣсня не клеилась.

— Нѣтъ, онъ пожалуй послѣ того, што я сказала ему, на другой женится, потому всѣ мужчины обманщики. Видала я ихъ на вечеркахъ-то!!.. А мало ли со стороны-то разсказней? — А пожалуй, чего добраго, онъ все притворяется; у него поди есть мѣсто, да онъ, какъ дѣло коснулось, и на попятный.. — Нѣтъ, онъ совсѣмъ поди тамъ спился!

Такъ она продумала до утра. Днемъ была гроза, и она не пошла къ крестной матери. Ночью рѣшилась завтра же идти къ ворожеѣ Бездоновой.

Къ ворожеѣ нужно было идти натошакъ. Задала она корму коровѣ, лошади, овечкамъ, выпустила куръ, надѣла на голову платокъ и пошла, оставивъ избушку незапертою на тотъ случай, что можетъ быть придетъ дядя; въ Козьмехъ Волотѣ немногіе запирали дома, потому что въ отсутствіе хозяевъ воровства не случалось.

Понадеется ей на встрѣчу сосѣдка Фоккина.

— Куда это ты, Прасковья Игнатьевна, покатилась?

— Иду къ крестной.

— А што она?

— Да надо провѣдать.

— А новость слышала? Вотъ такъ новость!

— Ну ужъ... — И Прасковья Игнатьевна пошла.

— Игнатьевна! постой! про твое жениха по-востъ-то!

Прасковья Игнатьевна остановилась и сказала: — Врешь али въ заблѣ (вправду)?

— Провалиться. — Сосѣдка подошла къ Прасковьѣ Игнатьевнѣ и сказала: — Курносое-то должностъ получилъ; самъ приказчикъ далъ. Учтемъ, слышь, сдѣлали.

— Ей-Вогу?

— Врать што ли стану... ребята сказывали, когда я въ трахту была... Али это несчастье?

Сосѣдка зорко глядѣла на Прасковью Игнатьевну, которая не знала, куда ей дѣваться: она была и рада, и плакать хотѣлось, но отчего? — она никому бы не могла отвѣтить на этотъ вопросъ въ ту минуту.

— Ошалѣла, родимая, — сказала вполголоса сосѣдка и повернула съ дороги влѣво къ своему дому, а Прасковья Игнатьевна воротилась домой. Пришедши въ комнату, она упала на колѣни, заплакала и стала шептать:

— Матушка! Тихвинская Божія Матерь! Спасибо тебѣ! Помоги ты моему счастью!.. Господи! какъ я рада-то. Дай ты ему, Господи, здоровья, да совѣтъ, да любовь... Петру-то Савичу, моему милому... — Она наклонила голову къ полу...

— Вона! Племянница!

Прасковья Игнатьевна вдрогнула, обернулась: дядя... Стыдно ей почему-то сдѣлалось. Украдкой отерла она слезы, встала и сказала, сама не понимая что:

— А я думала...

— Думаютъ одни нидѣйскіе пѣтухи... Ну, племянница, я, братъ, того... женюсь!.. Веру, братъ, я себѣ... Шабашъ.

— Дядя, ложись спать.

— Спать?! Нѣ-ѣтъ... Во!! — и онъ вытащилъ изъ-за пазухи косушку. — Ты думаешь, я дуракъ. Нѣ-ѣтъ, краля, нѣтъ! Твой Петька вотъ теперича уменъ одѣлался: учитель, ребячий мучитель...

— Правда ли?

А онъ, — што жъ не было?

— Я не велѣла.

— Ну, значить, пьянъ. Значить, проку въ немъ нѣтъ.

Тимофей Петровичъ вытащилъ изъ-за пазухи чесноку и сталъ ѣсть его съ ломтемъ ржаного хлѣба.

— Ты думаешь, я дуракъ... Ладно. Слыхалъ я пословицу: „дураки умныхъ учатъ“. Такъ вотъ и я тебя хочу поучить...

— Дядя, спать бы ты легъ: вѣдь ты ужъ сколько время-то какъ изъ дому.

— Свѣтло еще, уснемъ. Выходи, племянница, замужъ, да выходи за ровню. Ей-Богу! послушай дурака... А што этотъ учитель? што въ немъ проку? Я дуракъ, а все жъ рабочій; мнѣ не стыдно и грязь руками брать; хоть куды меня назначъ.

— Не даромъ ты плутовать-то, — подсмѣялась надъ дядей Прасковья Игнатьевна.

— Вотъ именно што сразила!.. Вотъ теперь поневоля спать надо ложиться... Эй, дѣвка! Сказалъ бы я тебѣ много, да слушать-то ты меня не станешь, потому я дуракъ!!!

— Отчего дурака и не послушать?

— Ну, такъ слушай. Твой женихъ получилъ мѣсто, а отчего онъ къ тебѣ не является? Погляжу я, какъ онъ къ тебѣ явится и што онъ наговоритъ тебѣ... Мое дѣло сторона... Но вотъ я бы што тебѣ посоветовалъ по своему дурацкому разсудку: выходи лучше за нашего брата, потому свой человекъ. Ты на меня гляди: женюсь — и баба-то у меня какая!

— Какая?

— Сказать тебѣ — захочешь, и все Козье-Болото захочешь, да мнѣ плевать...

Прасковья Игнатьевна очень смѣшина показала физиономія дяди, и она расхохоталась.

— Дураку всякъ смѣется, а если умный напѣется, такъ умнѣ его и нѣтъ... Извини-съ, *до дамъ*, мы кавалитъ калашо не умѣютъ. Мы еще гулять пойдѣтъ, — заключилъ дядя, передразнивая англичанна, механика на фабрикѣ; это означало, что онъ осердился.

И Тимофей Петровичъ, выпивъ остатокъ изъ стекляницы, вышелъ изъ избы.

„Вотъ съ какими мнѣ родными пришлось жить. И что отъ нихъ хорошаго услышишь: пьянъ, какъ свинья, и я должна слушать его!“ думала по уходѣ дяди Прасковья Игнатьевна и даже, отворивши окно, съ улыбкою смотрѣла, какъ дядя идетъ по грязи въ халатѣ, переваливаясь изъ стороны въ сторону.

Она была весела, — весела потому, что Петръ Савичъ получилъ мѣсто, и въ этомъ настроеніи она впервые думала: „неужели такой дуракъ, какъ ея дядя, можетъ жениться? и на комъ? Неужели какая-нибудь дѣвка можетъ полюбить его?“ — И она гордо смотрѣла на противоположный домъ, въ которомъ жилъ куренной рабочій съ женой и семью ребятами...

Легла она спать; икаетъ.

— Это Петя. Онъ обо мнѣ заботится.

Мало-по-малу мысли ея приняли другой оборотъ: „а што же онъ въ самомъ-то дѣлѣ не пришелъ ко мнѣ... Мало што я могла ему запретить: онъ мужчина, а я дѣвка“. — Легла спать въ одиннадцать часовъ.

Дядя говоритъ, обманетъ. Не придетъ, говорить. Дядя — дуракъ. А все жъ друзья они; вѣрно онъ дядю напоилъ и сказалъ: не хочу, молъ, съ дѣвкой видѣться, потому съ самимъ приказникомъ говорить.

Икнулось.

— Это онъ!.. Ахъ бы чихнуть... Ну загадаю: икнется или нѣтъ?..

Прошло полчаса. Начало свѣтать. Прасковья Игнатьевна сѣла къ окну и стала гадать на треноваго короля; все дороги, на сердцѣ ложится или тузъ-пикъ — ударъ, или семерка пикъ — вѣрные слезы.

„Если бы исполненіе желаній!“ Выпало: всѣ четыре туза на сердцѣ. Ионя гадаетъ, и опять слезы.

— Нѣтъ, онъ не женится на мнѣ; карты вѣрно ворожатъ: онѣ мнѣ сказали дружка милаго, онѣ предсказали несчастье — отецъ померъ. А што я сонъ видѣла — это бытъ мнѣ дѣвкой. А развѣ это несчастье?..

— А все жъ свое хозяйство лучше...

Все же меня никто не упрекаетъ ничѣмъ... — Нѣтъ, это все дядя. Его вѣрно получили... Нѣтъ, Петя пришелъ бы... Онъ радъ моимъ словамъ: я испытала его... Ну, не буду о немъ думать и буду я дѣвкой весь вѣкъ; лошадь у меня есть, огородъ неотъемлемый, корова...

Она однако скоро заснула.

А на другой день пошла къ крестной матери, живущей въ Медвѣдкѣ.

Въ Медвѣдкѣ ни улицъ, ни переулковъ нѣтъ, а дома расположены такъ, какъ кому приходила охота ихъ строить; поэтому почти между каждымъ домомъ есть порядочный промежутокъ, что-то вродѣ канавы. Дома въ Медвѣдкѣ построены копытообразно, и хотя у cadaго домохозяина есть огородъ, но въ немъ, кромѣ бобовъ и картофеля, почти ничего не поспѣваетъ, потому что, какъ говорятъ жители Козьяго Болота, земля дрянная. Соеобщеніе съ Медвѣдкой въ грязное время довольно неудобно: чтобы попасть съ тракту къ дому, противоположному съ Козьимъ Болотомъ, надо или сдѣлать большой кругъ, или перейти нѣсколько овраговъ.

Домъ Марьи Савишны Пермиковой стоялъ въ самой серединѣ Медвѣдки и состоялъ изъ одной избы съ сѣнцами. Въ избѣ уже нѣсколько лѣтъ царилъ бѣдность и грязь. Печь хотя и большая, но уже нѣсколько разъ проваливалась, и ее нѣсколько разъ кое-какъ поправляли; углы избы прогибали; не смотря на сухую пору, полъ въ избѣ былъ постоянно мокрый, вѣроятно потому, что хозяйка рѣдко выходила на улицу по нездоровью; двѣ лавки были уже очень стары, и на нихъ нужно было садиться съ осторожностью. Все имущество хозяйки, состоящее изъ какихъ-то грязныхъ, вонючихъ тряпокъ, хранилось на полатахъ, которыя хотя и под-

пирались, но задѣвать о подножки ихъ было опасно; тѣмъ болѣе опасно было спать взрослому человѣку на самыхъ полатяхъ...

Когда вошла въ избу Прасковья Игнатьевна, Пермякова спала на печкѣ. Это была низенькая старуха, которая теперь казалась небольшимъ комочкомъ; на ней надѣтъ синий изгребной сарафанъ и худенькій ситцевый платокъ на головѣ, да еще видѣлся на горлѣ гайтанъ (снурокъ), на который былъ вдѣтъ мѣдный грошовый крестъ. Больше на ней ничего не было.

Въ то время, какъ Марья Савишна принимала отъ купца Прасковью Игнатьевну, она, Марья Савишна, имѣла достатокъ, т. е. мужъ ея былъ лѣснымъ объѣзчикомъ и съ порубщиковъ лѣса не по билетамъ получалъ кое-какія деньги. Жить было можно, и семейство Пермякова жило хорошо до тѣхъ поръ, пока мужа Марьи Савишны не понизили за пьянство въ лѣсные сторожа. Тогда уже доходовъ не стало, и Пермяковы, привыкшіе кушать хорошо, начали сначала прожигать деньги, потомъ принуждены были продать и лошадь. Выдался въ заводѣ такой годъ, въ который свирѣпствовала горячка; все семейство Пермяковыхъ, состоящее, кромѣ родителей, изъ трехъ сыновей и одной дочери, заболѣло въ разъ; болѣзнь кончилась весьма печально: мужъ и старшій сынъ померли, а Марья Савишна оглохла. Положеніе ея было ужасно; денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, со стороны и воды не допросишься, потому что горячка многихъ разорила, а заводоуправленіе рабочимъ пособіе не выдавало, а если и выдавало, то мастерамъ, —хоть вой!.. Но вытѣмъ дѣла не поправишь; вотъ она и продала корову, продала куръ, продала дрова и сѣно и могла биться кое-какъ съ полгода. Но когда опять вышло все, когда настала весна, всѣ огородные овощи вышли, она стала жалѣть, что напрасно продала корову. Хорошо еще, что помогли Глумовы; они помогли разсовать ей дѣтей: Гаврило попалъ къ кузнецу съ обязательствомъ прожить у него семь лѣтъ на его хлѣбѣ, а Николай — къ торгашу бакалейными вещами въ таракановскомъ гостиниомъ дворѣ, находящемся на рынкѣ. Марья служить въ кухаркахъ; но ее что-то часто гоняють съ мѣстъ, и она назадъ тому двѣ недѣли поступила къ таракановскому почтмейстеру за тридцать коп. въ мѣсяцъ.

Такъ какъ дѣти Марьи Савишны помогаютъ ей немного, то и бьетъ она кое-какъ. Сама зарабатывать она не въ силахъ. Правда, когда здорова, она вижетъ чулки на продажу, но этого все-таки мало: нужно вообразить, что заводъ не городъ, а мѣстный рынокъ не ярмарка, да и кому нужны чулки какой-нибудь г-жи Пермяковой?..

Прасковья Игнатьевна прежде очень любила крестную мать, но когда она подросла, познакомилась съ разными семействами, и когда крестная мать впадала въ нищету, ей сначала стала противной изба крестной матери, а потомъ она стала чувствовать менѣе любви и къ самой крестной матери, почему стала очень рѣдко бывать у нея, и то развѣ когда ее пошлютъ провѣдать. У крестной матери она не была уже съ полгода.

Въ избѣ пахло не хорошо. Поэтому Прасковья Игнатьевна вышла на крылечко и вдругъ подумала: „а зачѣмъ я пришла.“

Пошла она посоветоваться съ крестной матерью. Теперь же пришла къ тому убѣжденію, что крестная мать не можетъ ей ничего посоветовать хорошаго, да и сама она не маленькая.

Во дворъ съ узломъ вошла дочь Марьи Савишны, худощавая дѣвушка лѣтъ четырнадцати, съ блѣднымъ лицомъ, заплаканными глазами, съ непокрытой головой, босая, въ одномъ продранномъ во многихъ мѣстахъ сарафанчикѣ. Въ лѣвой рукѣ она держала кошель.

— Прасковьюшка! — сказала дѣвочка, подошла къ ней и плутовато стала смотрѣть на нее.

— Ахъ отказали?

— Четвертые сутки... Ходила, да всего-то четыре ломтика насобираала... Каторжные! — И дѣвушка бросила кошель на крылечко, а сама стала мыть въ лужѣ правую ногу.

— Ты вчера дома была?

— Чево?

— Дома, спрашиваю, вчера была — весь день?

— Была.

— Никто не приходилъ?

— Нѣтъ, а что?.. Сегодня меня стегали... — Дѣвочка заплакала. Глаза ея сверкали... — Прасковья Игнатьевна, дай копеечку?

— На што?

— Ужъ ты вѣчно такая... А слышала я, учитель-то сегодня въ школѣ былъ и парней туда скикали.

— А самово не видала?

— Што дашь?

— Машка! ты съ кѣмъ разговаривашь? — слышалось изъ избы. Все это прозвнесено было охриплымъ голосомъ.

Прасковья Игнатьевна вошла въ избу.

Старуха сидѣла на краю печки, свѣсивъ ноги. Липо ея было блѣдно-желтое — кожа да кости; горло тоже кожа да кости; волоса сѣдые на головѣ; въ глазахъ видѣлось мало жизни.

„Какъ она живетъ, Господи! Одна маята только“, подумала Прасковья Игнатьевна; сердце ея больно кольнуло, и ей еще противнѣе показалась изба, еще жалче крестная мать.

— Охъ, старость, старость!.. И скоро ли это Господь мнѣ конецъ прастроить? Легла бы я въ сыру землю... Охъ хо-хо... — заплакала старуха, но слезы у нея уже всѣ были выплаканы; это было сухое рыданіе, болѣзненно искажающее лицо, такъ что больно жалко становилось этого человѣка. На глазахъ Прасковьи Игнатьевны навернулись слезы.

— Охъ! горю не поможешь... Нѣтъ... — И старуха стала слѣзать съ печки. Прасковья Игнатьевна помогла ей спуститься, но затыкала носъ одной рукой, потому что изо рта крестной матери пахло, какъ отъ покойника.

Марья Савишна была еще крѣпка на ноги. Вышла она на крылечко, спросила у дочери хлѣба, сѣла и стала сосать кусокъ, потому что у нея не было ни одного зуба.

— Вотъ прежде сахаръ сосала, а теперь... Всѣ зубоньки, крестница, выпали... Не ѣшь ты, голубушка, никогда сахару; съ него все и разоренье наше вышло.

— Маменька, ты знаешь Петра Курносова? — крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Учителя-то? это казначейскаго-то сына?

— Ну... Сватается за меня.

— И...—Крестная мать закачала головой и задумалась.—Эхъ, стара я стала,—продолжала она,—много-то ужъ не кожу... Плохо дѣло-то!

— А што?

— Да паря ли онъ тѣ?... Вотъ бы тебѣ изъ нашихъ жениха то... Мало ли: вонъ Глумовъ... мало ли ихъ?

— Такъ не ходить, ты говоришь?

— Воля твоя, крестница. Оно, учитель—должность знатная... Да прокъ-отъ будетъ ли? Будетъ ли прокъ, милая моя крестница... А што у тѣ мать-то?

Разговоръ принялъ направление о Глумовыхъ, причемъ крестница рассказала крестной матери о желаніи дяди жениться. Это очень удивило Марью Савишну, и она то и дѣло стала твердить съ улыбкой: — Тимошка-то дурачокъ!.. Ахъ ты, оказія!

Прасковья Игнатьевна стала торопиться домой, но ее удерживала крестная мать, увѣряя, что ей скучно одной, а дочь ея нисколько не посидитъ съ нею, все рыскаетъ. Уважая старуху, Прасковья Игнатьевна посидѣла еще нѣсколько времени; но рѣчи о женихѣ Курносовѣ ни та, ни другая не заводили.

Дорогой къ дому Прасковья Игнатьевна стала каяться, что она только понапрасну ходила къ крестной матери.

Прошелъ послѣ этого день, прошло два и три дня,—а Курносовъ не идетъ не только къ Глумовымъ, не и въ Козье Болото. Много въ это время передумала Прасковья Игнатьевна о своемъ женихѣ и каждый разъ засыпала съ той мыслью, что если Курносовъ назважничался, то она не пойдетъ за него замужъ. Пришелъ дядя, принесъ съ собой двѣ пары сапогъ и сказалъ:

— Ну, племянница, готовься къ свадьбѣ. Курносовъ клянется велѣлъ.

Прасковья Игнатьевна испугалась: она думала, что онъ долго жить приказалъ, т. е. померъ. Она поблѣднѣла.

— Ей-Богу! Въ городъ за подарками поѣхалъ, потому денегъ много дали дураку за пьянство,—продолжалъ дядя серьезно.

— Видѣлъ али врешь? — спросила Прасковья Игнатьевна, подозрѣвая дядю въ обманъ.

— Наплевать... Только у насъ съ нимъ уговоръ состряпанъ.

— Да што жъ онъ?

— Я говорю уговоръ: напередъ моя будетъ свадьба.

— Да неужели въ заболѣ? Дядя, ты врешь! (Что за наказанье!.. Околѣтъ бы вамъ всѣмъ,—проговорила она про себя).

— Ей-Богу! Послѣ Петрова дня моя первая свадьба назначена, ужъ прощено, перепрощено; опосля твоя. Я это все обдѣлалъ, нужды нѣтъ, што дуракъ.

## VII.

На тракту есть домъ непремѣннаго рабочаго Оглоблина; но этотъ домъ хотя и называется домоу Оглоблина, только имъ владѣетъ мастерская вдова. Дарья Викентьевна Огородникова. Замужъ она вышла шестнадцати лѣтъ. Скоро оказалось, что мужъ ея былъ пьяница и забуддыга; она и нанялась на рудникъ въ качествѣ кухарки для рудничныхъ рабочихъ, но прожила тамъ не больше года: работать она ничего не умѣла, кромѣ печенія хлѣба. Сначала нищенствовала въ заводѣ; по наученію рабочихъ подавала на мужа нѣсколько просьбъ зачѣдскому исправнику, но такъ какъ эти просьбы были написаны глупо и безтолково и даже одна просьба была написана въ риму какимъ-то пьянымъ писаремъ, то ихъ и не принимали и стали наконецъ гонять прочь Дарью отъ исправническаго дома. Наконецъ по протекціи одного рабочаго она попала въ цѣловальницы и дѣло свое исполняла добросовѣстно три года съ половиной, и въ то время скопила кое-какой капиталецъ. Вотъ тутъ-то и познакомилась съ ней Тимофей Петровичъ.

Такъ Дарья и осталась въ кабацѣ до смерти мужа, когда она преспокойно вошла въ свой домъ, въ свой потону, что домъ принадлежалъ ея родителямъ, умершимъ еще до ея замужества.

Съ этихъ поръ Тимофей Петровичъ сдѣлался своимъ человѣкомъ у Дарьи Огородниковой; но сначала на это не обращалъ никто вниманія, потому что онъ у нея исправлялъ иногда обязанности кузнеца, такъ какъ она завела кузницу и имѣла двухъ работниковъ; а потомъ хотя и узнали многіе, но, потолковавъ немного, рѣшили, что какъ и Тимошка-дурачокъ, такъ и Дарья Огородникова люди отпѣтые, и ихъ даже и за людей-то считать не стоить.

Какъ бы то ни было, Дарья Огородникова вела дѣла свои хорошо. Не повезло у ней на кузницѣ, она стала печь калачи и эти калачи стала продавать проѣзжающимъ ямщикамъ, мѣщанамъ и разнымъ людямъ. Лѣтомъ кромѣ калачей продавала и ягоды и такимъ образомъ получала кое-какой барышъ. Потомъ она стала варить брагу и пиво и зазывала секретно ямщиковъ, и такъ приучила ихъ къ себѣ, что они постоянно, подъ предлогомъ купить калачей, останавливались у ея дома и пили пиво даже до того, что запивали пѣсни. А когда узнали и рабочіе, что Огородникова продаетъ пиво, и они стали заѣзживать къ ней, но кабатчикамъ не сказывали, а если кто и сказывалъ, то у нея ничего не находили.

Вотъ эта-то Дарья и есть невеста Тимофея Петровича, которую онъ удивилъ теперь весь заводъ. Только и было разговоръ, что о дурачкѣ-Тимошкѣ и Дарьѣ Огородниковой.

Стоитъ напришѣръ кучка на рынкѣ у вѣсовъ и непремѣнно разговоръ идетъ о Глумовѣ.

— Слышали новость?

— Какъ не слышать: Тимошка-то! Вотъ она задача-то!..

— И что это за родъ такой: чудать да и только.

— Нѣтъ, онъ, надо полагать, не полоумный. Надо ему поздравлины сдѣлать.

И такъ далѣе, все въ этомъ родѣ.

Прасковья Игнатьевна, какъ узнала объ этомъ, со стыда не знала, куда и дѣться. Выйдетъ на улицу, ее дразнятъ дядей.

— Што, учительша, дядюшка-то твой какую загвоздку намъ задалъ. Задача — ей-Богу!

— Да я-то чѣмъ виновата! — взвѣется Прасковья Игнатьевна.

Между тѣмъ Тимофей Петровичъ свадьбу свою устроилъ не зря. Онъ очень былъ привязанъ къ Дарьѣ Викентьевнѣ. Въ ней онъ видѣлъ обиженную женщину, съ годами пришедшую въ нормальное состояние и привязавшуюся къ нему, — такому человеку, которому и цѣны нѣтъ. Но онъ не говорилъ ей о женитбѣ раньше, потому что боялся жениться, да и Дарья Викентьевна ему повода на это не подавала. Привязываясь все больше и больше къ Дарьѣ Викентьевнѣ, онъ находилъ ее самой лучшей женщиной во всемъ заводѣ и, не обращая вниманія на заводскія бабы, всюду преслѣдуемый насмѣшками, онъ только у нея и находилъ ласку и покой. Случалось — Дарья Викентьевна и поколачивала его, но ему милы были эти колотушки, онъ зналъ, что его колотить другъ, который въ тысячу разъ милѣе ему всѣхъ другихъ друзей. Также ему очень нравилось то, что Дарья Викентьевна работая деньги не тратитъ попустому, а бережетъ для хозяйства; онъ предлагалъ ей такого рода планъ: «когда мы женимся, тогда я заводу свою кузницу, и мы откроемъ маленькую торговлю мелкими вещами: табакъ будемъ продавать, соль, говядину»...

Дарья Викентьевна согласилась исполнѣть съ Тимофеемъ Петровичемъ...

Послѣ Петрова дня въ православной церкви первая свадьба была Тимофея Глумова съ Дарьей Огородниковой; но кутежъ продолжался у молодыхъ только сутки... Глумовъ, какъ водится, поселился въ домъ своей жены и купилъ у Прасковьи Игнатьевны лошадь за восемь рублей; на эти деньги Прасковья Игнатьевна сшила себѣ сарафанъ, купила ботинки и платокъ на голову.

Съ замираніемъ сердца дождалась Прасковья Игнатьевна дня своей свадьбы, а подруги ея, приглашенныя ею и Петромъ Савичемъ ради веселья, еще болѣе пугали ее именно самымъ обрядомъ. Петръ Савичъ былъ очень веселъ и милъ. не только съ невестой, но и съ гостями, угощалъ всѣхъ сладкой водкой и разными сластями; во все время до свадьбы смѣшнѣ всѣхъ до слезъ; даже Маланья Степановна, сидѣвшая постоянно на лежанкѣ, хихикала. Она вела себя смирно и большеразсказывала Марьѣ Савишнѣ, которую Прасковья Игнатьевна пригласила жить пока къ себѣ, рассказывала разный вздоръ, въ которомъ гости не понимали никакого смысла и который Марья Савишна не могла слышать и, думая, что Маланья Степановна сочувствуетъ ея горю, съ своей стороны рассказывала свое горе отъ тѣхъ поръ, какъ она прежде много ѣла сахару, и заканчивала тѣмъ, что теперь принуждена жевать хлѣбъ.

Наступилъ и день свадьбы — великій день для невесты. Пошлакала она, сама не зная о чемъ, кинулась на шею матери и разстроила мать, которая убѣжала въ огородъ, откуда ее никакъ не могли выдранать за ноги. Народу въ церкви было много, потому что женился учитель; тысящнымъ жениха былъ казначей главной конторы, а посаженнымъ отцомъ самъ приказчикъ. Церкви была биткомъ набита народомъ, несмотря на то, что полицейскіе служители энергично толкали и гнали народъ отъ церкви, для того, чтобы въ церкви было свободнѣе стоять заводской аристократин.

Женихъ стоялъ расфранченный; прѣехала и невеста въ кисейномъ платьѣ, подаренномъ женихомъ. Народъ острилъ то надъ женихомъ, то надъ невестой, доказывая, что невеста цѣлою четвертью выше жениха. Наконецъ началось и вѣчаніе съ пѣвчими. Народъ, стоявшій ближе къ жениху и невестѣ, не спускалъ съ нихъ глазъ. Но вотъ женщины ахнули: изъ рукъ невесты упало кольцо, стали искать кольцо — не нашли. Для формы казначей далъ свое... Повелъ жениха и невесту вѣнчать, съ жениха вѣнецъ свалился. Невѣста была блѣдна.

— Мужъ умереть, вѣнецъ свалился, — гудѣлъ народъ.

Все-таки свадьба кончилась. Но не весела была молодуха; она теперь каялась въ томъ, что пошла замужъ за Петра Савича. Во всю дорогу мужъ не могъ добиться отъ нея слова, — она или плакала, или ей представлялись разные ужасы, и причиною этихъ ужасовъ былъ страшный сонъ.

— Знала бы — не спала-бъ въ ту ночь, какъ мнѣ видѣть проклятый сонъ, — говорила она Петру Савичу.

И сколько ее ни развешивалъ мужъ, но не добился веселости.

Въ домѣ Глумовыхъ молодыхъ благословилъ иконой и хлѣбомъ приказчикъ и по выпивкѣ за здравнаго стакана сивзаль:

— Знай и, што въ Козьмѣ Волотѣ есть такая красивая дѣвка, непремѣнно бы женился!

Гости едва утихали въ домѣ. Она большей частью были изъ пикарскаго класса, такъ что Прасковья Игнатьевна было очень неловко сидѣть съ ними; къ тому же присутствіе приказчика стѣсняло гостей, и они говорили какъ-то не весело. Но когда уѣхалъ приказчикъ, тогда и пошли гарцовать гости: крики, пляска, пѣсни поднялись такіе, что Маланья Степановна, сидѣвшая до сихъ поръ спокойно на градѣ, теперь заползла въ яму, находящуюся недалеко отъ бани, и завывала.

Долго гарцовали гости, многіе перепились до того, что не могли тащить ногъ.

Такъ и поселился Петръ Савичъ въ домѣ Глумовыхъ, и отъ сихъ поръ началась другая жизнь Прасковьи Игнатьевны.

## VIII.

Черезъ недѣлю послѣ свадьбы привелось Прасковья Игнатьевна готовить кушанье, а запасу въ ея погребѣ и чуланчикѣ было очень немного: муки фун-

товъ десять, отрубей фунтовъ пятнадцать — и только. Мясa не было, и Петръ Савичъ утѣшалъ свою жену, что онъ завтра непременно купитъ говядины, такъ какъ надѣется получить съ одного пріятеля небольшой должокъ. Корова у нихъ была продана, а лошадь, какъ уже извѣстно, взялъ къ себѣ Тимофей Петровичъ. Выскребла Прасковья Игнатьевна остатокъ муки, заварила квашню, а ночью половина этой квашни сплыла и разлилась по печи и отъ печи къ полу, такъ что проснувшаяся хозяйка почти въ первый разъ увидѣла свою печь съ сѣрыми полосами и прокляла свой сонъ; но все-таки ее успокоилъ мужъ, „что на это наплевать, что отъ этого хлѣба немного убудетъ, только ей придется немного заняться очисткой печи, на которую нельзя взобраться, не испачкавшись“. Но это пустяки. А вотъ, когда ушелъ ее муженекъ на рынокъ, она постаралась поскорѣе закрыть трубу и столкнуть въ печь четыре каравая тѣста, устоявагося въ плетеныхъ чашкахъ, употребляемыхъ единственно для устоя ржаного тѣста. Повидимому она совсѣмъ забыла о томъ, что мужъ ушелъ за мясомъ, и, стало быть, она рано посадила хлѣбы, ибо, прибавивъ все, устѣлась къ столу и стала чинить мужнинъ салатъ. Приходитъ мужъ, приноситъ два фунта говядины.

— А я ужъ хлѣбы посадила... — сказала хладнокровно Прасковья Игнатьевна.

— Молодецъ... Значитъ, сегодня отложимъ попечение? — проговорилъ мужъ полусердито и полунасмѣшливо.

— Видѣлъ, поди, что я печь затопила! Ишь, чуть не цѣлый день шатался! Небѣгать же мнѣ за тобой... проговорила недовольно Прасковья Игнатьевна.

— Изволь сварить, гдѣ хочешь! — крикнулъ мужъ.

— Вари самъ...

— Слушай!!

— Ты не кричи — сама кричать-то умѣю.

И эта сцена кончилась тѣмъ, что молодая хозяйка поставила горшокъ съ говядиной, водой, капустой, рѣпой и морковью въ печь. Она хотѣла досадить мужу за его грубость, зная по опыту, что щи не могутъ свариться въ вольномъ жару.

— Обѣдать! — скомандовалъ тотъ такимъ тономъ, какъ будто бы обратился къ работницѣ.

— Подожди маленько, Петя, — говорятъ Прасковья Игнатьевна мужу.

— Ъсть хочу... живо!

— Тебѣ говорятъ — не поспѣло. Ишь, явился когда съ говядиной-то, когда печь застыла. По твоей милости у меня самой ни ресинки во рту не было.

Мужъ смолчалъ, закурилъ трубку и легъ въ постель; но голодъ не давалъ ему покою, и онъ часто кричалъ:

— Обѣдать!

— Подожди; не готово, — отвѣчала жена.

Наконецъ, видя, что мужъ начинаетъ не на шутку сердиться и пожалуй, по любви, задасть ей тряску, она подскочила къ нему на кровать и стала ласкаться. Только мужу было не до ласкъ; онъ вскочилъ, какъ дикій звѣрь, и крикнулъ:

— Да дашь ли ты мнѣ обѣдать-то?

— Дашъ, дашь, Петръ Савичъ... — проговорила Прасковья Игнатьевна глухимъ голосомъ.

Дрожащими руками она покрыла столъ синей изгребной скатертью, наставила и наложила всего, что требуется для ѣды на четверыхъ. Помогались всѣ Богу и устѣлись.

— Это што? — спросилъ ее мужъ, указывая на отрѣзанный ломоть.

Щеки Прасковьи Игнатьевны покрылись румянцемъ, она ничего не могла сказать. Братья съ улыбкой смотрѣли то на жену, то на Курносова.

— Для этого я што ли на тебѣ женился?

— Прости, Петръ Савичъ... квашня убѣжала... — оправдывалась Прасковья Игнатьевна, не смѣя почему-то упомянуть о шахѣ.

Щи не сварились. Такъ обѣдъ и кончился небольшой ссорой молодыхъ людей. Петръ Савичъ сердился на жену и за то, что она перепортила обѣдъ, и за то, что у нихъ нѣтъ больше ни капли муки; Прасковья Игнатьевна плакала, досадуя на то, что она, злосчастная, не могла угодить Петру Савичу, хотя и всячески старалась, а онъ не хочетъ простить ей ошибку. Но мужъ еще ничего; а вотъ пришла Маремьяна Кирилловна, которую Прасковья Игнатьевна не долюбливала съ самой свадьбы за то, что она громче и дольше всѣхъ хохотала, пересмѣивала ее походку и хвалила свои сережки такъ, какъ будто бы хотѣла утѣшить всѣхъ, что только она одна можетъ и должна носить ихъ, а всѣмъ прочимъ онѣ не къ лицу. Пришла, поразсѣлась, да и просидѣла до вечера, какъ будто бы у нея дома и дѣлъ никакихъ не было. Тары да бары — и время дотянулось до вечера; вечеромъ Маремьяна Кирилловна наконецъ-то спохватилась, что у нея дома осталась недоеною корова, и стала прощаться, но чортъ сунулъ Петра Савича пригласить ее отужинать. Та было стала отговариваться по обыкновенію, такъ, чтобы ее еще больше попросили. И Маремьяна Кирилловна осталась.

— Что-то, молодуха, ѣмъ я хлѣбъ-то... а онъ какъ будто больно сыроватъ, — сказала Маремьяна Кирилловна и разразилась вдругъ смѣхомъ; ее припѣру послѣдовали мужъ и братья. А Прасковья Игнатьевна сидѣла, какъ на иголкахъ, и когда затворила калитку за гостею, то послала ей въ догонку всѣхъ чертей.

На другой день все Козье-Болото узнало, что молодуха Глумиха, что вышла за учителя Курносова, печь хлѣбы не умѣетъ!

И вотъ съ этого дня, какъ только она ни выйдетъ на улицу и какъ только ни попадется ей навстрѣчу какая-нибудь женщина, то первый вопросъ, который она слышитъ: „а што, молодуха, научилась ли ты хлѣбы-то печь?“ И пошли, какъ водится, шушуканья и пересуды...

Какъ бы то ни было, а съ этого времени, со времени толковъ о томъ, что она плохая стрипуха, Прасковья Игнатьевна начала сознавать, что роль ея въ обществѣ измѣнилась. Сосѣдки, преимущественно дѣвицы, съ усмѣшкой замѣчали ей: „какое, подумавъ, счастье тебѣ вышло! Вотъ и видно, ворожея у тебя была хорошая... И лицо-то у те



как-то по другому выказывается". Это конечно Прасковья Игнатьевна принимала за насмѣшку, но все-таки подиѣчала въ этихъ словахъ какую-то зависть и досаду, которыя она перетолковывала такъ: „все это онъ оттого на меня зубы точать, что я вышла замужъ за учителя, и не за стараго какаго-нибудь, а молодого". И больше она ласкалась къ мужу, высказывая ему насмѣшки сосѣдокъ, на что почтенный супругъ переважно отвѣчалъ: „стоитъ о чемъ разговаривать!".

Однимъ словомъ, она была новичкомъ въ новой жизни, и ей непонятны казались многіе мелкіе случаи изъ мелкой драмы заводской жизни. Однажды сосѣдка обратилась къ Прасковьѣ Игнатьевнѣ со вздохомъ:

— Такъ-то, молодуха! Всяко бываетъ въ жизни... Этъ, молодость!

Прасковья Игнатьевна—точно послѣднее слово относилось къ ней съ укоризной—потупила глаза.

— Вѣдь вотъ, подумаешь, какъ время-то идетъ! — сказала она.

— Што и говорить. Вотъ я ужъ и за вторымъ мужемъ.

— Ну, а я бы въ другой разъ не пошла замужъ,—сказала Прасковья Игнатьевна и тотчасъ же почувствовала, что она что-то неподходящее сказала, потому что у нея слова вышли бессознательно.

— Вотъ и видно—молода... А каковъ у те муженекъ-то?

Не понявъ вопроса: относится ли онъ къ насмѣлкѣ надъ ея мужемъ, или къ тому, каковъ онъ съ ней, Прасковья Игнатьевна надула губы и промолчала.

— Не колачивалъ еще? — спросила вдругъ другая женщина, находившаяся тутъ же.

— Съ чего ему бить-то меня!.. Смѣть!..

Женщины разомъ захохотали, а одна сказала:

— Вотъ отсохни языкъ, коли вру: придетъ пора, будешь говорить про него и то, и другое... Намъ ли ужъ не знать этого?... А можетъ быть ты терпашь? И тоже куды какъ съ первоначалу-то терпѣлива была. Ну, да оно и то надо сказать: баба я молодая, прожила съ мужемъ недѣлю—онъ меня бить... Разъ это дѣло говорить: „ой, бабы, мужъ у меня драчунъ...“ Тебя же и осудятъ, и смѣяться надъ тобой будутъ: глядите-ко, бабы, не успѣла она замужъ выдти, а муженекъ-то ее костыляетъ; значитъ, это по-нашему выходить, што въ молодухѣ изъять есть... Такъ ли, молодуха?

Прасковья Игнатьевна покраснѣла. Нечего тантъ: разъ за что-то Петръ Савичъ ударилъ ее по спинѣ кулакомъ. И какъ же ей обидно-то было! И она вполнѣ согласилась въ душѣ съ мнѣніемъ сосѣдокъ.

— А вѣдь и знаешь, что ты чиста, какъ голубь... Вотъ и молчишь, и терпишь, а потомъ и привыкнешь, и знаешь, съ которой стороны онъ тебя ударить хочеть, да и не отвертываешься... Поплачешь, поплачешь, да съ тѣмъ и останешься, еще за слезы зуботычину получишь.

Между тѣмъ дѣвочки указывали пальцами на бывшую ихъ подругу и съ свойственною имъ возрасту и воспитанію завистью вспоминали всѣ проказы Прасковьи Игнатьевны, всѣ обиды, причи-

ненные имъ въ дѣтствѣ, называли ее горячкой и поэтому говорили, что она непременно овдовѣетъ, такъ какъ и доказательство этого уже есть: вѣнецъ свалился съ головы жениха во время вѣнчанія. Но главная нить разговоровъ все-таки состояла въ томъ, что каждой дѣвницѣ хотѣлось узнать: каковъ-то у Прасковьи Игнатьевны мужъ, какъ-то онъ обращается съ нею? Но какъ спросить объ этомъ Прасковью Игнатьевну? Разъ какъ-то дѣвочки остановили Прасковью Игнатьевну, когда она возвращалась отъ женщины дошой.

— Спеемъ стала Прасковья Игнатьевна. Нѣтъ, штобы посидѣла съ нами.

Но Прасковья Игнатьевна почему-то сочла неприличнымъ сѣсть съ дѣвочками и не знала, что отвѣчать имъ.

— Да сядь,—упрашивали ее дѣвочки.

— Ужо когда-нибудь, а теперь некогда.

Такъ она и ушла, а дѣвочки еще болѣе не взяли ея, и дѣло наконецъ дошло до того, что онѣ при встрѣчѣ съ Прасковьей Игнатьевной перестали кланяться ей и косо поглядывали. Прасковья Игнатьевна съ своей стороны не только не считала нужнымъ кланяться имъ первая, но и ей почему-то было стыдно дѣвницъ, и она старалась дѣлать видъ, что она слишкомъ спѣшить по важному дѣлу. Она уже думала: „наплевать мнѣ на нихъ!.. Я ужъ теперь не ровня имъ! Еще пожалуй выспрашивать стануть, какъ я съ мужемъ...“ и т. д.

На первыхъ порахъ замужества у Прасковьи Игнатьевны дѣла было немного. Коровы, какъ я сказалъ раньше, у нихъ не было, стало быть заботы значительно поубавилось: оставались курицы, овечки, огорода и стрипня; но странное дѣло — Прасковья Игнатьевна стала тяготиться огородами, овечками, курами и мало-по-малу совсѣмъ начала забывать о нихъ. Вся ея забота только въ томъ и состояла, чтобы угодить мужу стрипней, а курицы и овечки оставались по цѣлымъ днямъ безъ корму, надобѣдамъ ей во дворѣ до того, что она швырала въ нихъ чѣмъ попадало. Огородъ перешелъ въ руки Маланьи Степановны, которая, вѣроятно по случаю тепла, постоянно хлопотала надъ грядами. Съ утра до вечера можно застать ее въ огородѣ, только дождь вгонялъ ее въ баню или въ чуланъ, и на всевозможныя приглашенія Петра Савича идти въ избу, старуха не шла и даже рѣдко принимала пину изъ рукъ, потому что она хлѣбъ воровала изъ сѣней ковригами, и эти ковриги можно было отыскать гдѣ-нибудь въ травѣ или въ углу пустого амбара. Впрочемъ Маланья Степановна большею частью питалась овощами: молодой рѣдкой, морковью, огурцами и преимущественно картофелемъ, которымъ она заваливала полную печь бани тогда, когда прогорать дрова, отъ чего большая часть картофеля превращалась въ пепелъ, а кое-что съѣдалось ею, такъ какъ она имѣла обыкновеніе остатки зарывать въ землю. Мужъ и жена дали полную свободу Маланьѣ Степановнѣ на томъ основаніи, что она давала имъ полную свободу иѣжничать, а Прасковья Игнатьевна такъ было хорошо въ своей избѣ и комнатѣ, что она только ради

забавы выходила въ огородъ. А забавляться ей было чѣмъ: то ее смѣшнѣло, что мать, взобравшись по перекладинамъ до самой крыши сарая, роется между тыквенными листьями и мурлычетъ что-то подыносъ—значить, находится въ веселомъ расположении духа; то мать лежитъ между грядками и сладко спитъ, несмотря на то, что ее обѣщаютъ кучи мухъ и комаровъ. Такимъ образомъ хотя огородъ и находился не въ цвѣтущемъ состояніи, но Прасковья Игнатьевна была довольна матерью и въ огородѣ почему-то видѣла теперь немного пользы. Это небрежное обращеніе съ курами и овечками, несмотря за огородами сосѣдки называли лѣнью и въ глаза высказывали ей это; но она отмалчивалась и думала: „какое такое имъ дѣло до меня! Надо-же мнѣ погулять“... Но эта лѣнь стала мало-по-малу отражаться на хозяйствѣ Прасковьи Игнатьевны значительнымъ ущербомъ: куры и овечки одна за другой незамѣтно для нея самой стали исчезать, капуста въ огородѣ портилась—и это она замѣтила довольно поздно, а какъ замѣтила, то и не знала, что ей предпринять. Поискала она своихъ куръ и овечекъ—ни у кого нѣтъ, да и куда она ни придетъ, ее-же бранятъ за то, что она не умѣетъ владѣть своимъ хозяйствомъ, подозреваетъ Богъ знаетъ въ чемъ честныхъ хозяекъ. Пошла она къ Дарьѣ Викентьевнѣ съ жалобой, та сказала, что она сама во всемъ виновата, и указала на себя, какъ на хорошую хозяйку, у которой есть время на все—и торговлей заниматься, и управляться своимъ хозяйствомъ. Завидно стало Прасковьѣ Игнатьевнѣ, стала она думать, какъ это такъ Дарья Викентьевна умѣетъ управляться со всѣмъ, и у нея еще есть свободное, почти все послѣобѣденное, время?

И она спросила Дарью Викентьевну, которую называла не теткой, а по имени.

— Приложи стараніе—и все тутъ. Нечего сидѣть-то сложа руки. Ну, какая ты есть хозяйка и чему тебя отецъ-то съ матерью обучали?

Очень обидны показались эти слова молодухѣ. Дорогой она сознала, что дѣйствительно Дарья Викентьевна права, но она почему-то не понравилась ей своей рѣзкой правдой.

— И впрямь я буду стараться! Всѣ онѣ только важничаютъ, а поди тоже не лучше нашего живутъ.

А жили молодые въ это время не казисто. Хорошо еще, что было лѣто и много помогали хозяйкѣ огорода. Жалованья Петръ Савичъ получалъ только три рубля; получалъ онъ и провіантъ, но его хватало только на полмѣсяца, да и то приходилось обонимъ ѣсть часто недопеченое, къ чему Петръ Савичъ уже сталъ привыкать и становился менѣе и менѣе взыскателенъ; но вѣдь однимъ хлѣбомъ сытъ не будешь, нужно-же и говядины купить, соли и крупъ купить,—и три рубля расходовались Петромъ Савичемъ до пятнадцатаго числа. Все это Прасковья Игнатьевна знала; но ей неловко казалось говорить объ этомъ мужу, потому что, по ея понятію и по понятію прочихъ таракановскихъ женщинъ, о прокормленіи семейства долженъ заботиться мужъ.

Наконецъ стала Прасковья Игнатьевна замѣчать, что мужъ что-то очень рано уходитъ на службу,

а домой возвращается поздно и навеселѣ, и какъ придетъ, такъ и ложится спать, а она хочетъ ѣсть. Братья тоже возвращаются домой поздно. Спроситъ мужа: зачѣмъ онъ не пришелъ обѣдать—неловко, потому что обѣдать нечего, и Прасковья Игнатьевна пришла къ тому заключенію, что Петру Савичу не даютъ денегъ и онъ ѣстъ у своихъ друзей. „Буду и я тоже такъ дѣлать“. И вонъ она пошла въ пятницу къ одной сосѣдкѣ, какъ разъ около обѣденной поры; пришла къ ней за пригоршней соли, съела и завела рѣчь о томъ, что мать ее нынче уже тыкву начинаетъ ѣсть сырую. Сосѣдка пригласила Прасковью Игнатьевну ѣсть, что Богъ послалъ; она стала было сперва отговариваться, но потомъ сѣла. Въ субботу пошла къ другой сосѣдкѣ за вѣретенкомъ—и опять такъ отобѣдала. Но въ воскресенье патѣ къ третьей сосѣдкѣ ей показалось совѣстно. Въ этотъ день по-случаю ненастной погоды мужъ и братья какъ на зло были дома. Утромъ было скучнѣе всѣхъ прочихъ дней: мужъ сердитый, какую-то книжку читаетъ; братья играютъ въ карты и ругаются, потому что Павелъ плутуетъ, а Илья его ловитъ. Сидитъ Прасковья Игнатьевна у окна и не знаетъ, за чтѣ бы ей приняться; но сколько она ни думаетъ, ничего не можетъ придумать; потомъ и ничего уже какъ будто не стало въ головѣ, точно она одеревенѣла. Наконецъ братья ей начинаютъ надоѣдать, и она прикрикнула на нихъ:

— Добрые-то люди въ церковь ушли, а вы...

— Такъ мы не добрые люди! Ну-ка, чѣмъ мы хуже тебя?—присталъ Илья къ сестрѣ.

— Говори—не кричи, и такъ можно.

— А вотъ мы еще прибавимъ на пятакъ.

И Илья началъ немного свистать.

— Смирно вы, ослы!—крикнулъ Петръ Савичъ, выведенный изъ терпѣнія поведеніемъ шуриновъ.

— Самъ оселъ!—сказалъ Илья.

— Ахъ ты!..—и Петръ Савичъ поднялся съ кровати.

— Ну-ка, тронь!—закричалъ Илья. Глаза его засверкали.

— Пошелъ вонъ, негодяй!—крикнулъ Петръ Савичъ, подходя къ Ильѣ съ кулаками.

— Самъ вонъ!

Петръ Савичъ не выдержалъ, ударилъ Илью. Илья не спустился и хватилъ Петра Савича по лицу кулакомъ, а потомъ залезъ въ кухню на полати.

Петръ Савичъ разсмирѣлся, но не могъ выцарапать съ полатей Илью, такъ какъ тотъ сидѣлъ тамъ въ углу и отпихивался палкой. Павелъ былъ скроинѣ брата и во время драки вышелъ во дворъ. Между Ильей и Петромъ Савичемъ началась такого рода перепалка.

— Въ чужомъ дому живешь, да хозяевъ гонишь, безстыжій!—кричалъ Илья.

— А ты ничего не дѣлаешь, оселъ! На чужомъ хлѣбѣ живешь.

— Хороши хлѣбъ—и жену-то нечѣмъ кормить. Прогоню еще изъ дома-то...

— Илья, перестань!—вскричала Прасковья Игнатьевна. Лицо ее поблѣднѣло, самое ее трясло и отъ злости, и отъ испуга.

— Не твое дѣло!—крикнулъ мужъ.

— Петръ Савичъ! развѣ неправда, что ты меня моришь... Што сосѣди-то говорятъ,—проговорила Прасковья Игнатьевна и заплакала.

— У! чертъ!—проговорилъ Петръ Савичъ и сталъ одѣваться.

Прасковья Игнатьевна плакала. Вдругъ Петръ Савичъ подошелъ къ ней и ударилъ ее по спинѣ такъ, что жена взвизгнула.

— Затѣмъ ты ее бьешь-то?—вскочивши съ пола-тей и подбѣжавъ къ Петру Савичу, сказалъ Илья.—И не стыдно тебѣ?.. По міру заставляешь ходить!

Петръ Савичъ затихъ. Онъ сознавалъ, что онъ сегодня надѣлалъ сгоряча много глупостей, но просить прощенія у шурина и жены ему не хотѣлось: не хотѣлось также въ присутствіи шурина утѣшить жену, и онъ, не простившись съ ней и не сказавъ ей ни слова, вышелъ. Когда онъ поровнялся съ окномъ, Прасковья Игнатьевна отворила окно и спросила робко:

— Петръ Савичъ... купи муки.

— Куплю.—И онъ пошелъ.

— Топить печь-то?

— Я почему знаю,—и онъ зашагалъ скоро по грязи.

Прасковья Игнатьевна заплакала. Въ первый разъ послѣ замужества она была унижена мужемъ передъ братомъ; въ первый разъ ей показалась эта новая жизнь противна... Но никто не могъ ее утѣшить въ это время. Илья тоже ушелъ, и Прасковья Игнатьевна осталась одна, и ей въ первый разъ показалось странно сидѣть дома. Не могла она ни мыслями, ни работой преодолѣть какой-то болзни... Въ другое время она бы зашла, а теперь нельзя—это было во время обѣда, и она вдругъ вздумала отправиться въ церковь. Но когда она дошла до церкви, то народъ уже выходилъ оттуда.

— А, здорово, молодуха! — кричалъ рабочій, идущій изъ церкви въ тиковомъ халатѣ, съ двумя товарищами, и снялъ фуражку.

Прасковья Игнатьевна поклонилась.

— Никакъ Курносовъ-то гуляетъ?

Мастеровые прошли.

— Куды это?.. — крикнула молодухѣ молодая бойкая женщина.

— На рынокъ иду.

— Покупать волюнокъ! Ну, счастливо, только надо-быть поздно,—сѣялась бойкая женщина.

И много еще пришлось Прасковьѣ Игнатьевнѣ останавливаться и выслушивать насмѣшки. Слезы душили ее, но она только глотала ихъ и боялась, какъ бы ей не заплакать. Рынокъ пустѣлъ, торгаша сѣялись надъ ея бѣлымъ лицомъ и нахально предлагали купить то, что ей вовсе не нужно.

Пошла она опять къ Дарьѣ Викентьевнѣ.

— Што это, молодуха, подглази-то у те какіе красивые... Ай-ай!—встрѣтила гостью Дарья Викентьевна.

— Ничего.

Такъ Прасковья Игнатьевна и промолчала и ничего не сказала объ утренней сценѣ. Молчала она и за обѣдомъ, молчала и послѣ обѣда. И хотя Тимофей

Петровичъ приставалъ къ ней съ шуточками, но ей не до смѣху было, и она печальная ушла домой, такъ что Дарья Викентьевна очень была удивлена поведеніемъ Прасковьи Игнатьевны и обратилась къ мужу съ такимъ вопросомъ:

— Ты не знаешь ли, што съ ней?

— Съ мужемъ поди не ладить.

— Ну ужъ и муженецъ! Давно ли женился, а у Павловыхъ день и ночь трется.

— Ты этого не говори; мало ли што дураки толкуютъ.

— Положимъ, пустяки! Мы вонъ съ тобой какъ маялись... Такъ то мы, а она другое дѣло. Нынче вонъ и порядки-то иные: чуть чего, острамлять, да еще какъ...

Тимофей Петровичъ не возражалъ и, немного погодя, вдругъ сказалъ жёнѣ:

— Дарюха!.. смекаю я—здѣсь невыгодно торговать-то.

— Это почему такъ? На тракту, да невыгодно... Ты еще скажешь: и кузницу долой...

— Затараторила... Я вовсе не къ тому, што невыгодно. А видишь суть какая: не худо бы въ Козьмѣ Володѣ лавочку открыть? А?

— Вотъ ужъ! полѣзъ туда съ торговлей, скажутъ—новые порядки ввелъ.

Однако Дарья Викентьевна задумалась.

— И што это ты издумалъ непремѣнно лавочку въ Козьмѣ Володѣ?

— Знаешь?—началъ нерѣшительно мужъ.—Я никому не хотѣлъ говорить, да ужъ такъ и быть скажу тебѣ, только ты молчи... Какъ ты думаешь на счетъ этого: не худо бы купить у племянницы-то домъ.

— Ну?

— Знаешь, домъ родовой, да и я съ Игнатьемъ самъ его стрѣль... Оно конечно, у меня ребята тоже свои и у Игнатя свои; пополамъ значить...

Жена задумалась.

Вдругъ входитъ къ нимъ Курносовъ. Пальто за-грязнено, о брюкахъ и говорить нечего; его пошаты-ваетъ.

— Пьянъ, дядя... пьянъ!—проговорилъ Курносовъ и сѣлъ на скамейку къ столу.

— Хорошъ молодой! Дни бы жену какую вы-бралъ—дрянную али бы...—начала Дарья Викентьевна.

— Хуже!!—Курносовъ махнулъ рукой.

— Чѣмъ же она хуже-то?

— Стрлять не умѣетъ.

Тимофей Петровичъ и Дарья Викентьевна захохотали.

— Стыдился бы ты говорить-то!—сказала сердито Дарья Викентьевна.

— Вру я што ли? Сама, поди, видѣла, ѣла.

— Все это, какъ я погляжу, Петруха, одна при-дирка съ твоей стороны. Право! Ты не обидься моими глупыми рѣчами: глупъ я давно, а все жъ скажу, што и я тоже не съ рынокъ покупалъ хлѣбъ-то. Кто пекъ, дащи-то варилъ? Племянница. О-охъ ты!!—прогово-рилъ недовольно Тимофей Петровичъ и вышелъ во дворъ.

Дарья Викентьевна была чѣмъ-то занята и тоже

И она отрывала у него ножницами одну половину усовъ.

— Стриженный учитель!! — сказала она, и такъ ей сдѣлалось смѣшно, такъ она долго хохотала, что разбудила Илью, который, посмотрѣвъ на Курносова, тоже захохоталъ.

— Поль-головы ему обстриги, — кричалъ Илья.

— Будетъ и этого.

Но вотъ Курносовъ пошевелился, взглянулъ, что-то пробурчалъ и опять заснулъ; но для Прасковьи Игнатьевны и этого было достаточно для того, чтобы перепугаться: не даромъ Петръ Савичъ съ такимъ стараніемъ постоянно разглаживаетъ и подстригаетъ свои молодые усы... А что будетъ съ нимъ, когда онъ проснется и по обыкновенію протянетъ руку къ лѣвой половинѣ усовъ?

Отъ страху она пошла къ дядѣ. Тотъ обругалъ Курносова.

Нечего и говорить о томъ, что предѣлка Прасковьи Игнатьевны подняла много шума на заводѣ. Дѣло въ томъ, что Курносовъ проснулся рано; замѣтилъ онъ спяща или нѣтъ, что у него нѣтъ одной половины усовъ, только, разобидѣвшись тѣмъ, что нѣтъ ни въ избѣ и ни во дворѣ жены, что случилось въ первый разъ, онъ, надѣвъ халатъ, отправился въ первый попавшійся кабакъ, но дорогой вдругъ остановился, удивленный и пораженный.

— Што за дьяволъ? — говоритъ онъ, щупая лѣвую щеку.

Подорогъ идетъ шесть рабочихъ; останавливаются.

— Здорово, дядя Курносовъ, — говоритъ одинъ рабочій.

— Здорово! — говоритъ сердито Курносовъ.

— Аль тронулся — расшибъ щеку-то?

— Глядите!! — показалъ Курносовъ на щеку.

Рабочіе, какъ взглянули, такъ и поджали животники.

— Черти!! дьяволы!! — кричитъ онъ, привскочивая и поворачиваясь.

Но обѣжалась толпа, и съ всѣхъ сторонъ посыпались остроты на бѣднаго Курносова.

— Хорошъ учитель, ребячій мучитель! Съ однимъ усовъ... Хо-хо!

— И какъ это угораздило кого-то! Молодца!

— Это непременно ему женушка соблаговолила! Какова баба?! Микита, бойся своей Акулины, голову отружьетъ.

— Самъ своей бойся: у тебя вонъ усы есть, а у меня положенія такого и въ поминѣ не было.

И рабочіе, смѣясь, повалили въ кабакъ, куда пошелъ Курносовъ.

Весь заводъ узналъ объ этомъ происшествіи, и заговорилъ о томъ старый и малый, прибавляя, что пьяному учителю Курносову жена усы обстригла.

Каково было положеніе Петра Савича, можетъ догадываться самъ читатель.

## X.

Петръ Савичъ отъ природы былъ честенъ. Онъ бы могъ имѣть пятиконный домъ въ заводѣ, еслибы сталъ подличать, угождать приказнику и дѣлать

поборы съ родителей вѣрренныхъ ему учениковъ; служа въ главной конторѣ и заведывая тамъ лѣсной частью, онъ могъ бы сколько угодно продавать лѣсу, — но онъ этого не хотѣлъ, считая все это воровствомъ, за что не только не любило его начальство, называя его блохой и ябедникомъ, но и товарищи, изъ которыхъ Матвей Матвѣевичъ Потаповъ первый смѣялся надъ его *анакоретствомъ*, какъ онъ понималъ честнаго человѣка. При такомъ положеніи дѣлъ Петръ Савичъ полюбилъ честную дѣвушку, которая по красотѣ приходилась, на его взглядъ, красивѣе всѣхъ заводскихъ дѣвицъ. Но когда онъ женился, то почувствовалъ на себѣ всю тяжесть семейной жизни, потому что передъ свадьбой начальство ему много пообѣщало хорошаго, а послѣ свадьбы ничего ему не было дано, и онъ долженъ былъ жить на три рубля, да сочинять кое-кому изъ рабочихъ прошенія, выручая за нихъ весьма немного. Къ тому же за прошенія ему иногда приходилось сидѣть подъ арестомъ въ полиціи безъ сапогъ. Положеніе его было довольно неказистое. Оставалось или подличать, или терпѣть, а тутъ еще дома непріятности: жена въ первое время стряпать не умѣла. Но потомъ онъ успокоивалъ себя, что холостой онъ жилъ на квартирѣ, гдѣ ему постоянно давали щи и кашу въ его вкусъ; тамъ онъ требовалъ какъ жилецъ, платящій деньги, а теперь онъ вдвоемъ, даже впятеромъ: вѣдь заводоуправленіе не выдастъ ни ему, ни маленькимъ Глумовымъ ни соли, ни крупы, ни мяса. А ужъ если онъ взялся за гушъ, то долженъ быть дюжъ, т. е. коли женился, то долженъ и семейство свое содержать. Чѣмъ же въ самомъ дѣлѣ виновата Маланья Степановна, что воротилась изъ горнаго города сумасшедшею? Чѣмъ же виноваты Илья и Павелъ Глумовы, оставшіеся сиротами?

— И сунуло меня жениться! — ворчалъ обыкновенно Петръ Савичъ, дойдя наконецъ до настоящей причины своей бѣдности. Но уже дѣло сдѣлано, поправить его могутъ только обстоятельства: главное, ему нужно хорошенько отрезвиться, бросить эту проклятую водку и работать, работать. При послѣднемъ заключеніи вертѣлся въ головѣ Петра Савича какіе-то хорошіе планы, только они вертѣлись въ нетрезвомъ состояніи и поутру казались непримѣнными или невозможными. А тутъ жена пристаётъ съ коровой. — „И не можетъ она, дура набитая, понять того, что намъ самимъ подчасъ жрать нечего, а она съ коровой. Покося вонъ Тимофей Глумовъ взялъ, и я ужъ давно даже не репнилъ за этотъ покосъ, еще пожалуй расписку представить въ судъ. А на что я куплю сѣна? Ну, какъ я ей разъясню это? Вѣдь я понимаю, что корова подруга женщины, какъ и лошадь для мужчины.. Она изъ-за меня продала корову... Она должна требовать корову; но это опять бремя для меня“. Но высказать этого онъ не умѣлъ своей женѣ, да ему, обязанному ей, было совѣстно говорить о томъ, что она сама должна понять.

„Бросить службу и идти въ непримѣнные работники?.. Брошу я этихъ подлецовъ!“ Но перейти въ непримѣнные работники значить упасть, не на-

дѣяться на свои силы тамъ, гдѣ онъ могъ принести пользы гораздо болѣе, чѣмъ въ рабочихъ. А съ кѣмъ посоветуешься? съ женой? Она заплачетъ; будетъ говорить, что онъ ее обманулъ, подмазавшись къ ней учителемъ; обманулъ отца ея, дядо-простака и придурия. „И будетъ она сохнуть, да и я-то, что буду?“ Такъ онъ думалъ утромъ, когда жена просила у него самоваръ.

Рабочіе любили Петра Савича. Любили они его за то, что онъ былъ простой человѣкъ. Еще мальчикомъ онъ умѣлъ попадать рабочимъ сочиненіемъ писемъ, еще мальчикомъ его любили ребята-товарищи за то, что онъ не былъ фискаломъ, а умѣлъ хорошо острить и забавлять ихъ, рассказывая изъ вычитанныхъ книгъ разныя исторіи, забавные случаи. Когда онъ поступалъ на службу, какъ рабочіе, такъ и товарищи отшатнулись отъ него, прозавъ его кургузкой. Идетъ ли онъ по улицѣ, ребята ему языкъ кажутъ; рабочіе надъ нимъ острятъ; случится ли въ заводѣ свадьба богатая, рабочихъ въ церковь не пускаютъ — они толкуются у церкви и на крылечкѣ, а Курносова пропускаютъ; рабочіе толкуются у провіантскаго магазина, а Курносову рабочій везетъ кулъ муки... Сблизиться съ рабочими въ это время Курносову было довольно трудно. Но вотъ его сильно обидѣли, обидѣли его убѣжденія... а онъ и раньше съ пріятелями-приказными пивалъ не только водку, но и ромъ — ради веселья; ну, и вздумалъ отправиться въ кабаки. Рабочіе сперва при входѣ Курносова замолчали, а потомъ стали зло издѣваться надъ нимъ; это его взбѣсило, и онъ напился до того пьянъ, что пустился въ драку съ рабочими, — его отвели въ полицію. Мало-помалу мнѣнія объ немъ измѣнились, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ попалъ въ домъ Игнатія Глумова, его всѣ рабочіе полюбили до того, что стали обращаться съ нимъ, какъ съ своимъ братомъ. Со временемъ онъ втѣнулся въ интересы рабочихъ, и его горе слилось съ горемъ рабочихъ. Но когда онъ высказывалъ это рабочимъ, никто изъ нихъ не могъ понять, какъ можетъ приказный и для чего существовать изъ горю, когда это никому изъ нихъ не принесетъ пользы. Рабочіе пили горькую и его за компанію угощали, а ему, не понимавшему сущности чувствъ и страданій рабочихъ, казалось, что хотя его и любятъ они, но издѣваются надъ нимъ, какъ надъ кургузкой, пьяницей... И онъ старался не пить ради любви къ женѣ; но трудно было остановиться, и его спасала только рыбная ловля. Но зато, какъ попала лишняя рюмка въ глотку — все имъ по чѣмъ, — все горе и зло снова является къ нему, и тогда онъ „пропащій человѣкъ“, какъ выражались о немъ рабочіе

— Пойду работать! Кайломъ пойду бить! — кричитъ Курносовъ, переставши вдругъ играть на гитарѣ, подъ плясъ рабочихъ, ихъ любимую пѣсню.

— Ой ли? А знаешь ли ты, съ которой стороны кайло-то берется? — острятъ надъ нимъ.

— Въ шахту его, братцы!

И начнутъ рабочіе качать Курносова, взявши его за руки и за ноги, а потомъ и бросятъ.

сочиненіи О. Рашетникова.

— Воровать стану! — кричитъ онъ, имѣя все болѣе и болѣе.

— Ну, это вашему брату, кургузкамъ, болѣе съ руки!

Но это были только шутки, потому что Курносовъ не могъ рѣшиться на такую крайность.

Такъ и бился онъ до обрѣзанія усовъ, а тутъ опять забылъ и попалъ въ полицію.

Усовъ на немъ не было: какіе-то добрые люди обрили ему усы; но общее впечатлѣніе у Петра Савича ясно ему представлялось, когда онъ лежалъ въ дремотѣ: жена подходитъ къ нему съ ножницами и стрижетъ... стрижетъ...

И страшно онъ золь сдѣлался на свою жену. Всѣ обиды въ сравненіи съ этой ему казались пустяковыми: жена его осрамила на весь заводъ! Ну, какъ онъ пройдетъ теперь по улицѣ? какъ явится въ контору, въ церковь на крылосъ и въ училище? „Лучше помереть“, шепчетъ онъ: „противна она теперь мнѣ“.

— Правъ у тебя дикій! — говорятъ ему товарищи-арестанты.

— А если она глупа?

— Значитъ, возжи опустил!

„Ну, это не въ моемъ характерѣ“, думаетъ Петръ Савичъ.

— И што за важность усы? — говоритъ одинъ арестованный.

„Нѣтъ, это все-таки насиліе. Кабы она меня любила, успокоила бы меня. Она меня не любитъ, она еще и не то сдѣлаетъ со мной... Господи! помоги мнѣ“... шепчетъ Курносовъ.

Ему стыдно казалось предстать передъ Прасковью Игнатьевну — до того онъ находилъ себя глупымъ и безпомощнымъ человѣкомъ. Да и Прасковья Игнатьевна, подумавъ хорошенько, находила свой поступокъ дурнымъ и крѣпко запечалилась.

„И съ чего это я вздумала ему усы стричь?“ спрашивала она себя. Ей жалко было мужа, стыдно передъ людьми, которые ее будутъ останавливать вопросами: „не ты ли Курносову усы обрѣзала?..“ Но какъ изгладить этотъ поступокъ, когда общество интересуется отъ скуки всякою мелочью? „Какъ я теперь пойду къ нему?“ Жалко и больно жалко ей стало Петра Савича, а домой идти боится. Хочется провѣдать мать — стыдно.

„Пойду! Не боюсь я его!“ думаетъ она иной разъ, одѣнется и опять раздѣнется.

Пробыла она у дяди три дня. Дарья Викентьевна сердится.

Што жъ ты живешь въ людяхъ, али дома своего нѣтъ?

— Пойду, тетушка.

— Колды понешь-то! Рада на чужомъ хлѣбѣ жить.

А тутъ пришелъ Илья Игнатьичъ, началъ говорить, что коли сестра не придетъ, ему совѣтуютъ домъ продать. Тимофей Петровичъ назвалъ его щенокъ и сказалъ, что отъ дома онъ еще, можетъ, и щенокъ не получить.

Пшла домой Прасковья: Игнатьевна съ братомъ. Сердце щемитъ у нея; однако она спросила его:

— А Петръ Савичъ дома?

— Въ полиціи, говорятъ, сидѣть.

— Такъ я, Иля, туда пойду.

— Ты навори ми насъ наперво.

— Чѣмъ?

— Ужъ это мое дѣло! Двѣ полосы желѣза продаѣ. Говядины купилъ, водка есть.

— Я, Иля, скажу къ нему.

Сестра пошла къ мужу, а братъ направился къ дому рабочаго Дмитрія Гурьяныча Горюнова; но сестра замѣтила, что онъ вошелъ на пути въ питейный домъ, и тяжело вздохнула.

— И отчего это раньше я не замѣчала, што мужики сызмалѣтства пьютъ!—подумала Прасковья Игнатьевна.

—Што нужно?—спросила Прасковья Игнатьевну Петръ Савичъ, сидя на корточкахъ передъ лавкой и играя съ двумя рабочими и одной женщиной въ карты, въ дураки.

Прасковья Игнатьевна и позабыла посмотрѣть: есть у него усы или нѣтъ,—ей не до того было.

— Провѣдать,—сказала она робко.

— Нечего провѣдывать-то.

— Да ты на что сердилъся-то?.. Усы-то тебѣ Илья обрѣзалъ.

Петръ Савичъ посмотрѣлъ на нее.

— Какъ ты меня прогналъ, я и ушла къ дядѣ Глузову, а утромъ прихожу, тебя и нѣтъ. Илья копошится у печки. Гдѣ, спрашиваю, Петръ Савичъ?.. А онъ хохочетъ... А Пашка говоритъ: Илья ему усы обкарналъ.

— Разсказывай, матушка, сказки.

— Все это, я мажю, враки, Савичъ, што про твою жену толкуютъ,—сказалъ одинъ рабочій.

— А коли такъ, вотъ мое слово: шобы твоихъ братьевъ и духу не было въ домѣ!—сказалъ дрожащимъ голосомъ Петръ Савичъ.

— Съ тѣмъ, шобы ты не пьянствовалъ!—сказала Прасковья Игнатьевна.

На этомъ и покончился разговоръ супруговъ.

Прасковья Игнатьевна и рада была, что братья не будутъ съ ней жить, и неловко ей было прогнать ихъ, какъ братьевъ. Рада она была потому, что они раздражали ея мужа, совались не въ свое мѣсто, были для нея какъ бѣльмо на глазу, и въ особенности Илья заявлялъ право на домъ, бывши четырьмя годами моложе ея. Неловко прогнать потому, что они—братья, они получаютъ провіантъ, помогаютъ ей кое-что дѣлать. Она предоставила разрѣшить этотъ трудный для нея вопросъ мужу.

Братья перебрались къ дядѣ Тимофею Петровичу, и между ними и Курносовымъ завязалась непримиримая вражда.

## XI.

Училище стояло на площади. Внутренность этого зданія цвѣтомъ походила больше на кабакъ, а зимою въ немъ учителя могли пробывать часъ единственно или изъ любви къ дѣлу, или ради того, чтобы показать начальству, что они даромъ не берутъ денегъ,—иначе вонь и грязь хотя кого бы проняли. Настоящее училище существуетъ только для пріѣзда

видныхъ гостей. Этотъ домъ каменный, двухъ-этажный, и въ немъ живетъ нарядчикъ Площадниковъ, тестъ приказчика. Въ самомъ же училищѣ, находящемся внизу, находится прачешная Площадникова, а когда нужно показывать училище начальству, то стѣны бѣлать, полы моютъ и втаскиваютъ въ комнату съ двумя окнами четыре парты, шкафъ, въ которомъ ровно ничего нѣтъ, столъ и стулъ...

Въ описанномъ выше зданіи прежде существовали столарни; но съ тѣхъ поръ, какъ владѣлецъ предписалъ управляющему завести въ заводѣ школу, управляющій приказалъ назначить для нея это зданіе. Тогда и назначено было отвести для столарни заднюю половину дома, что за западными дверьми; а такъ какъ помѣщенія оказалось мало, то и дали еще другой домъ, что находится во дворѣ.

Семь часовъ утра. Около восточныхъ дверей сидятъ пять учениковъ—мальчики отъ шести до пятнадцати лѣтъ, въ тиковыхъ халатахъ, худыхъ сапогахъ и фуражкахъ. Это дѣти зажиточныхъ мастеровъ. На полянкѣ лежатъ двѣ засаленныя и съ сильно загнутыми углами книжки. Двери заперты. Они играютъ въ галки. Двое парней по четырнадцати лѣтъ, въ синихъ штанахъ, бѣлыхъ рубахахъ, босые, недалеко отъ сидящихъ играютъ въ шошки, т. е. мечутъ правыми ногами жестяную пуговку съ прикрѣпленнымъ къ ней ключкомъ собачьей шкурки съ шерстью. Они то и дѣло кружатся, разбѣгаютъ рты, ругаются, когда шопка не упала на ногу, и очень заняты своей игрой. Недалеко отъ нихъ десятилѣтній мальчикъ, тоже босой, въ рубахѣ и штанахъ, около училища выдѣлываетъ разные штуки мячикомъ, а другой, въ огромной теплой шапкѣ, стоя около него и куря вонючую *попероску*, то и дѣло кричитъ:

— Сорвешься, Сенька! сорвешься? Черезъ руку?.. Черезъ ногу?.. Ну, на лбу сорвешься!!

У южныхъ дверей четверо ребятъ въ рубахахъ и подштанникахъ жарятъ въ бабки; у новой столарни двое дерутся.

Всѣ эти ученики по виду нисколько не походятъ на учениковъ, но по обращенію между ними можно въ нихъ замѣтить училищный духъ, духъ общечеловѣчности и дружбы, на томъ основаніи, что они играютъ не въ общей кучѣ. Это даже замѣтно и изъ того, что вошелъ еще ученикъ во дворъ въ длинной, прорванной во многихъ мѣстахъ рубахѣ. съ болячками на лицѣ и съ черными кудреватыми волосами, и тотчасъ обратилъ на себя вниманіе.

— Кудряшка-мурашка, сколько вицъ получилъ?—сострилъ одинъ изъ халатниковъ.

— Собака!—сказалъ кудряшъ.

Халатникъ вскочилъ, подбѣжалъ къ кудряшу и ударилъ его по спинѣ, но кудряшъ вицѣ повалилъ его на землю. Къ кудряшу подошли остальные пріатели халатника и вѣцпились въ него; остальные игроки и драчуны стали заступаться за кудряша,—завязалась всеобщая драка, которую разнялъ сторожъ, вышедшій изъ училища съ метлой.

Ученики, числомъ до двадцати, повалили въ училище, а тамъ продолжали тѣ-же игры, какъ и во дворѣ, съ той впрочемъ разницей, что игра-

аніе въ бабки теперь играли въ карты и бабки; бабки лежали у каждаго въ картузѣ. Само собою разумѣется, ребята голосили; немногіе, переставши играть, курили табакъ и задирали другъ друга на драку.

— Курносовъ идетъ!—крикнулъ одинъ парень, вошедшій въ училище со двора.

Ученики бросили игры, побѣжали на свои мѣста, на скамейки; понемногу стихли, но потомъ заговорили опять и опять заиграли.

— Урокъ?!—крикнулъ одинъ парень-халатникъ, подошедшій къ мальчику безъ халата. Тотъ заплакалъ.

Короче сказать—и здѣсь, въ этой грязной школѣ, существовали между школьниками тѣ-же нравы, какіе существуютъ въ городахъ; но здѣсь они были доведены до того, что ребята, страшась учителя больше всего на свѣтѣ, боялись и старшаго, спрашивающаго уроки, потому что если ученику нечего дать старшему, то этотъ ученикъ непременно будетъ высѣченъ.

Вошелъ Курносовъ и засталъ учениковъ врасплохъ, за играми.

— Смирно! лошади!—крикнулъ онъ.

Ученики встали. Одинъ изъ нихъ сталъ читать молитву. Послѣ молитвы всѣ сѣли; сѣлъ и Курносовъ на свое мѣсто и началъ перекликать учениковъ. Онъ пришелъ сегодня въ училище съ цѣлью заняться добросовѣстно.

— Старшій!

Всталъ старшій.

— Подойди ко мнѣ.

Старшій подошелъ къ столу. Курносовъ спросилъ его, что такое умноженіе, тотъ сказалъ:

— Умноженіе есть вычитаніе и дѣленіе.

— На колѣни на окно, лицомъ на улицу,—скомандовала Курносавъ.

Парень стоитъ, переминается съ ноги на ногу.

— Розогъ хошь?!

Парень пошелъ къ окну и ворчитъ: „безусый учитель! Курноска!“.

— Петръ Савичъ, онъ говоритъ: „безусый Курноска“,—сказалъ мальчикъ безъ халата.

Курносавъ промолчалъ. Мальчики стали шептаться, потомъ заговорили громко, захохотали. Можно было только понять: „Курноска безусый“.

— Тихе! Всѣхъ передеру!!

— Самъ драный!

— Жена усы обрѣзала!—гадятъ ребята, и старшій сѣлъ на свое мѣсто и сталъ ругать учителя разными бранными словами.

Курносавъ потерялъ терпѣніе и ушелъ въ стеллярную.

— Шабашъ?—спросилъ его рабочій, сидя на верстакѣ и обтесывая доску. Въ стеллярной было до десятка рабочихъ, изъ нихъ кто закуривалъ трубки, кто работалъ, кто ѣлъ.

— Покурить пришелъ:

— А каково себѣ женушка усы-то отчекржила!—острилъ какой-то молодой рабочій.

Остроты сыпались на Курносаву со всѣхъ сторонъ, но скоро кончились. Завязался разговоръ о казакѣ Девяткинѣ, сломавшемъ вчера ногу, потомъ

перешелъ къ тому, что Иванъ Фоминъ вчера попался на глаза управляющаго пьяный, но тотъ этого не замѣтилъ. Пришелъ казакъ изъ полиціи, потомъ полицейскій писарь, закурили трубки, заговорили о Девяткинѣ, стали звать Курносаву въ кабакъ, но онъ пошелъ въ училище.

Въ училищѣ происходила драка.

— Ребята! Али вамъ не говорили, что старшихъ нужно слушаться?

— Мы сами съ усами,—сострилъ кто-то.

— То-то и есть, что ни у кого изъ васъ нѣтъ усовъ-то.

Ученики переглянулись и улыбнулись.

— А что если мнѣ усы жена или тамъ кто другой обстригъ, это дѣло не ваше. Вы должны то помнить, что я вамъ хочу принести пользу, хочу научить грамотѣ лаской, а не розгами. Давайте учиться. Хотите учиться?

Всѣ молчатъ и смотрятъ на Курносаву.

— Кто хочетъ учиться—встань налѣво а не хочеть—направо.

Направо отошелъ одинъ халатникъ и семеро безхалатниковъ.

— Кто не хочетъ учиться, идите домой и скажите вашимъ роднымъ: „Курносавъ, молъ, насъ вытурилъ за то, что намъ лѣнь учиться“.

Это была самая рѣзкая мѣра, принятая за наказаніе Курносавымъ, не употребляющимъ розогъ. Исключенный изъ училища, какъ бы онъ ни былъ грубъ, глушь, исключался и изъ общества товарищей: его не принимали играть, его постоянно дразили выгнаннымъ изъ школы, и исключенный изъ училища, если онъ былъ сынъ бѣднаго рабочаго, нисылался въ работы на рудникъ, безо всякихъ отговорокъ—такая ужъ почему-то была принята сыздавна мѣра начальствомъ; если онъ былъ сынъ богатаго рабочаго, тотъ приводилъ его въ полицію, немилосердно дралъ, или прогонялъ изъ дома, конечно на недѣлю.

Исключенные ребята не трогались съ мѣста.

— Идите, коли грамоты знать не хотите, коли не хотите писарями быть.

— Хочу,—сказалъ одинъ, за нимъ другой, наконецъ всѣ.

Затѣмъ послѣдовало разрѣшеніе остаться.

Ребята молчали. Курносавъ сталъ объяснять сложеніе: спросилъ бумаги—ея не было, поэтому онъ сходилъ самъ за двумя листами бумаги въ полицію: карандаши нѣлись. Курносавъ нѣсколькимъ далъ по осмышкѣ бумаги и, написавъ букву или слово, заставлялъ ребятъ писать. Ребята старательно выводили буквы, но недолго, потому что въ училищѣ не было тихо: двое твердили азы, трое твердили умноженіе, раскатываясь какъ маятникъ отъ усердія, одинъ читалъ по складамъ какую-то сказку, стоя передъ Курносавымъ. Писаки начали толкать другъ друга, стали играть въ херники и оники.....

## XII.

Успенный день—большой праздникъ въ тарахановскомъ заводѣ, во-первыхъ потому, чтокъ этому

дию таракановцы кончают со страдою, а во-вторыхъ въ этотъ день, какъ и въ первые три дня Пасхи, нѣтъ работы ни на рудникахъ, ни на фабрикахъ, ни въ дѣсахъ. И послѣ этого дня трое сутокъ тоже работы нѣтъ нигдѣ. Эта вольгота дана създавна еще первымъ владѣльцемъ. Кромѣ того въ этотъ день въ заводѣ рѣзговѣные и ярмарка, на которую съѣзжаются татары и крестьяне изъ окрестныхъ деревень съ кожей, лошадыми и тому подобными мѣстными продуктами.

Канунъ праздника. Утро. Петръ Савичъ топить баню, а жена его моетъ полъ. На лицѣ ея замѣтна и усталость, и беспокойство. Думаетъ она о томъ, дастъ-ли ей Петръ Савичъ денегъ на рыбный пирогъ, да сумѣетъ-ли она состряпать его? Вотъ коровы нѣтъ; курочекъ завела Христомъ-Богомъ парочку съ пѣтухомъ, ужъ одиннадцать яичекъ, слава тѣ Господи, накопила. пива и браги наварила много. Что бы это состряпать? Придуть ли Глумовъ съ женой завтра?

Изба вымыта, посланы въ ней половники; глядѣть свѣтъ въ окнахъ ясно, и въ избѣ хорошо, и весело Прасковья Игнатьевна. Главное, Петръ Савичъ не пьетъ и также веселъ; значить и праздникъ хорошо встрѣтится и проведется.

Гдѣ-то Петръ Савичъ досталъ денегъ, купилъ соленого сига въ два фунта по 5 коп. за фунтъ, поросенка за 20 коп., масла и еще кое-чего. Не нарядуетъ она; собѣдки то и дѣло приходить къ ней разузнать, чего она купила, рассматриваютъ поросенка, хвалятъ, спрашиваютъ, по чемъ на рынокъ то и другое, хотя сами хорошо это знаютъ, потому что безъ рыбнаго пирога и поросенка какой праздникъ? А заходить онѣ для того, чтобы пригласить къ себѣ въ гости назавтра и узнать, пригласить ли ихъ хозяйка къ себѣ назавтра?

Суетня въ заводѣ всеобщая: мужчины идутъ на площадь къ конторѣ удостовѣриться, будетъ-ли завтра угощеніе, т. е. приготовленъ-ли огромный столъ. Приготовленъ. Женщины бѣгаютъ чуть не сломя голову на рынокъ, кричать и ругаются; тамъ достроиваютъ балаганы, а тамъ толпится праздная толпа у кабака. Къ вечеру всѣ прибравшись, выпарились въ банѣ, надѣли чистое бѣлье, полежали, походили изъ дома въ домъ. Мужчины рано легли спать, а женщины и дѣвцы гдѣ до утра, а гдѣ и до полночи не спали; у нихъ много хлопотъ: то надо починить, то надо дошить, пригладить, приутюжить, примѣрять, посмотрѣться въ зеркало, и хотя все это старо, но хочется завтра себя показать не перахой какой-нибудь, а исправной хозяйкой или красавицей дѣвицей-невѣстой... Теперь только и думать: какъ-то проведется завтра праздникъ? Всѣ невзгоды, накопившіяся за цѣлый годъ, забылись.

Рано утромъ пробудились хозяйки; рано растолкали онѣ дочерей и рано затопили онѣ печи. Ругаютъ матери дочерей, ругаются сестры съ сестрами, свекрови съ невѣстками, и эта ругань идетъ все изъ-за стряпни: то не такъ, другое неладно, и ругань пробуждаетъ мужей, братьевъ, которые, обругавъ бабъ, переворачиваются на другой бокъ и снова засыпаютъ — на томъ основаніи, что сегодня не будетъ бить

призывной колоколь.... Мало-по-малу въ избѣхъ раздается трескъ изъ печекъ, начинается пахнуть хорошо жаренымъ и печенымъ. Стряпаетъ и Прасковья Игнатьевна, а мужъ ея, помогая ей стряпать, то и дѣло дразнить ее.

— Не умѣешь!

— Да отвяжись ты, чуча! прости Господи, — сердится жена.

Курносовъ щиплетъ ее.

— Петька, свинья! Оболью шамъ-то.

Наконецъ печка у нея истоплена; въ печкѣ стоятъ горшочки со щами, латка съ поросенкомъ и пекутся два пирога, одинъ съ рыбой, другой съ малиной. Теперь на душѣ ея легко, и она вдругъ присѣла, потомъ вскочила и, подойдя къ мужу, чистившему свой свѣтукъ, обняла и крѣпко поцѣловала его, такъ что тотъ испугался.

— Экъ тебя! — сказалъ онъ.

— Какъ я, Петя, рада! О-охъ, какъ рада!

— Чему?

— Всему.

— Да одѣвайся!

Надѣла она подѣвничное платье, на голову шелковую косынку, вдѣла въ уши посеребренные мѣдныя сережки съ янтарными язычками, на шею платокъ, — все это продолжалось около часу, и въ продолженіе этого времени она успѣла вынуть изъ печи пироги и положить ихъ на печь.

— Ишь ты краля какая, Параша! — любуясь на жену, говорилъ Петръ Савичъ, одѣтый тоже по-праздничному.

— Што, ты!! — и Прасковья Игнатьевна кокетливо посмотрѣлась въ зеркало. Щеки ея покраснѣли.

— И ты, голубчикъ, тоже хорошъ. — Голосъ ея дрожалъ. Она подошла къ мужу, обняла его и еще разъ поцѣловала.

— Славно, Петя! Всегда бы такъ. А?

— Да! — вздохнулъ Курносовъ.

Ударилъ къ обѣднѣ. Курносовъ сталъ торопить жену, которая принесла изъ погреба два блюда — одинъ съ брагой, другой съ пивомъ, и поставила ихъ на столъ, который предварятельно накрыла синей скатертью, вытканной ею же.

Вышли. Идутъ рядомъ. На дворѣ тепло; солнышко такъ и грѣетъ. На небѣ нѣтъ ни одной тучки. Легкій вѣтерокъ слегка колеблетъ концы платка, надѣтаго на шею Прасковьи Игнатьевны. Изъ воротъ многихъ домовъ то и дѣло выходятъ нарядныя женщины — въ сарафанахъ, красныхъ ситцевыхъ платкахъ на головахъ, дѣвцы съ распушенными назадъ косами, заплетенными въ разноцвѣтныя ленты; мужчины — въ черныхъ и голубыхъ тиковыхъ халатахъ, опоясанныхъ понижѣ поясницы разноцвѣтными опоясками.

Со всѣхъ порядковъ и улицъ народъ стекается къ собору; все принимаетъ праздничный видъ.

Кончилась обѣда; народъ хлынулъ изъ церкви, давка произошла необъяснимая... Но народъ не идетъ отъ церкви, а толпится на площади передъ нею. Всѣ чего-то ждутъ. Вотъ выходитъ изъ церкви



все заводское начальство и управляющий. Мужчины сняли фуражки.

— Здорово, ребята! Съ праздником! — сказал управляющий.

Народ что-то прогудѣлъ.

— Выставить у конторы пять ведеръ водки на мой счетъ, — сказалъ онъ приказчику.

— Покорно благодаримъ! — гудѣлъ народъ.

— Три дня гулять! — сказалъ управляющий и сошелъ съ крыльца.

Невозможно описать, съ какими ожесточеніемъ рабочіе подступили къ водкѣ, потому что приходившаго раньше трудно было оттереть отъ даровой попойки, а всего народу было по крайней мѣрѣ человѣкъ триста и онъ постоянно прибывалъ. Многіе даже дрались и отъ драки опрокинули столы съ ведрами.

— Эй, вы, анафемы! Што вы надѣлали! Добрались до даровой водки-то! — кричали стоявшіе у столовъ, тузы и друга, и недруга во всѣ стороны.

— Глядите, Гришка-то? — кричали рабочіе, указывая на одного, который едва уплеталъ ноги.

Когда вся водка была выпита, народъ разошелся по домамъ, гдѣ началось всеобщее угощеніе. Старшіе въ семействахъ угощали родню и друзей; не имѣющихъ родни.

Заводъ загулялъ на славу. Загулялъ онъ потому, что его сегодня обласкали и подарили ему три дня свободы, а заводская свобода значить то, что въ эти дни даже мелкихъ воровъ прощаютъ, въ полицію не берутъ пьяныхъ, народъ можетъ грубить начальству, сколько хочетъ, короче — все прощается, кромѣ крупныхъ преступленій.

Еслибы какой-нибудь новичокъ попалъ въ это время на заводъ, у него бы закружилась голова: въ домахъ плеска, пѣніе, крикъ, ругань; на улицахъ идутъ полунагие заводскія бабы подъ руки съ мужчинами и орутъ пѣсни; танцуютъ молодыя рабочіе, играя на гармонікахъ и балалайкахъ; другіе танцуютъ съ дѣвцами, наряженными въ лучшія платья, сшитыя на заводскій манеръ; полунагие ребята скакать зубы, аркаются съ большими и малыми, играютъ въ мячикъ, въ бабки, куклыраются, на чемъ попало. Всіе веселіе въ заводѣ!

Вонъ у одного новенькаго дома въ два окошка молодой мужчина, въ красной ситцевой рубашѣ и синихъ изгребныхъ штанахъ, босой, играетъ на балалайкѣ „барыню“; около него танцуютъ три женщины и двое мужчинъ, — женщины въ сарафанахъ, сшитыхъ по послѣдней модѣ, а мужчины въ такомъ же нарядѣ, какъ и музыкантъ, съ тою только разницею, что у одного на головѣ фуражка съ полукосырькомъ, а у другого на ногахъ надѣты ботинки. Они такъ вошли въ танцы, что, кажется, все свое горе забыли: хохочутъ, ругаются, насмываются, прыгаютъ что есть мочи и щелкаютъ другъ друга по носу, губамъ, спинѣ и рукамъ. Долго на нихъ любовался старикъ съ сѣдыми длинными волосами, безбородый, умный, какъ видно по лицу; старикъ улыбался и... вдругъ пустился въ плясъ..

Молодые люди не удивились этому, а каждый

изъ нихъ хотѣлъ доказать старику-отцу, тестю, что онъ, т. е. молодой человѣкъ, не въ примѣръ лучше его танцуетъ. У старика устали ноги, онъ чуть не задохся, а молодые люди танцуютъ; музыкантъ двѣ струны порвалъ на балалайкѣ и пересталъ играть; — танцы кончились.

Передъ господскимъ домомъ стоятъ двое рабочихъ. Одинъ изъ нихъ немного выпивши, а другой пьяный. Немного выпившаго величаютъ Хозяиновымъ, а пьянаго Екатеринбурговымъ.

— Нѣтъ... Ты думаешь, я пьянъ! Э!! ты мнѣ теперича представь работу, теперича... да я теперича всю работу сполна сроблю!! Теперича восемнадцать лѣтъ роблю... теперича въ шахтахъ восемь лѣтъ ползалъ.. Это што?! теперича... — говорилъ Екатеринбурговъ, идя на господскій домъ.

— Дядя! Полно, голубчикъ... Полно. Хуже для насъ ты сдѣлаешь, — унималъ его Хозяиновъ.

— Теперича справедливость дѣ — ѣ!! А?.. — онъ заскрежеталъ зубами и заплакалъ.

— Дядюшка! милый ты мой... Ну, перестань. Вѣдь поправимся.

— Поправимся?.. Веди меня къ нему; веди! Я спрошу его: што, молъ, теперича, ваше благородье, какъ, молъ, теперича... Я ему покажу!

Къ нимъ шли четверо рабочихъ и кричали:

— А вотъ мы вытребуемъ ево... каково онъ теперича пьянъ за наше здравіе, али еще...

— Стой, ребя!! Я пѣсню какую сейчасъ про него сочинилъ, — и онъ запѣлъ грустно и во все горло. Далеко за ночь раздавались по заводскимъ улицамъ пѣсни, которыя не могли заглушить и собаки; слышались крики, ругань, и все это смолкло къ утру.

На рынокъ утромъ происходила давка.

Торгашъ обшаривъ кого то на гниломъ ситцѣ. Это замѣтила дѣвица, сказала своей роднѣ. Вмигъ явился на сцену аршинъ; смѣряли — невѣрно.

— Въ палицу! — кричитъ толпа.

— Што въ палицу — протрасемъ ево!

Торгаша трясутъ, — взявши за руки и за ноги; народъ останавливается и хохочетъ.

— Пихайте ему въ ротъ ситецъ!

— Будешь обманывать?

— Ворочайте балаганъ.

— Потише, братцы! — унимаетъ рабочихъ казакъ.

— Веди его въ палицу.

— Не могу.

— Качайте казака.

И казака качаютъ, народъ хохочетъ. Но при этомъ никто и не думаетъ что-нибудь украсть.

Кабаки во весь день пусты. Вечеромъ народъ повалилъ въ господскій садъ. Тамъ играла музыка, заѣзжіе акробаты показывали фокусы; въ двухъ мѣстахъ продавали водку, въ нѣсколькихъ кисляци, которыя пили преимущественно дѣвцы, а если у мужчинъ были деньги, то онѣ прикладывались и къ водкѣ. Всѣ смѣялись, весело разговаривали, остряли, удивлялись акробатамъ. Стала мѣнѣе свѣтитъ луна. Вдругъ народъ повалилъ изъ сада: господскій домъ илюминированъ; на пруду пароходъ

свистокъ далъ, пѣвчіе, въ томъ числѣ и пьяный уже Курносовъ, садятся въ шитикъ; готовятся пускать фейерверкъ... Народъ столпился на плотинѣ... Прудъ оглашается крикомъ, визгомъ, руганью, свистками и другими звуками; кое-кто играетъ на гармоникахъ, кое-кто поетъ, но голосъ обрывается... На плотинѣ давка.

Вотъ тронулся пароходъ, заиграла на немъ музыка: катается управляющій и всѣ должностные люди завода; поплыла по пруду лодка съ пѣвчими, грянули пѣвчіе: „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. И какъ они хорошо грянули!..

— Ай да хваты, ребята!

— Слышите, Курносовъ: „у-у-у“. Голосище!

Курносовъ дѣйствительно пѣлъ не въ тактъ.

Вдругъ что-то зажужжало. Всѣ вздрогнули. Къ верху полетѣлъ огонекъ и разсыпался звѣздами.

— Ай! а-а-й! Черти! На ноги наступаете! — кричитъ народъ.

Опять ракета, другая, третья... Вдругъ ракета упала на народъ. Крикъ, визгъ, ругань огласили воздухъ...

Наконецъ кончились ракеты, охрипли голоса пѣвчихъ, присталъ пароходъ къ пристани. Народъ разошелся по домамъ пьяный, за исключеніемъ ребятъ и дѣвицъ.

На другой день пьянство еще болѣе усилилось. Курносовъ, получившій за вечернее пѣніе пять рублей, и изъ за-стола выйти не могъ. Гостей у Прасковьи Игнатьевны было много, и всею осталась очень довольна. На третій день Прасковья Игнатьевна съ мужемъ отгащивала у Ивана Яковлевича Курносова и покороче сблизилась съ его женою Маремьяною Кирилловною.

На четвертый день весь заводъ началъ приходить въ себя: у всѣхъ болятъ головы, надо идти на работу, опохмелиться многіе не на что. Очнулись всѣ.

— Што жъ это такое было? Все ушло?

— Кануло. Жди годъ!

— А славное времячко было! И отъзого это не всегда такъ?

Курносовъ пропьянствовалъ недѣлю и пропилъ все до послѣдней копейки.

### XIII.

Прошло три мѣсяца. Въ это время не произошло никакихъ перемѣнъ ни въ жизни Курносовыхъ, ни въ жизни Глузовыхъ. Курносовъ попрежнему рыбачилъ, пѣлъ, ходилъ въ училище и контору. Прасковья Игнатьевна была счастлива, и сосѣдки полюбили ее, какъ вообще любятъ молодую нечванливую хозяйку. Корову она не могла купить, потому что всѣ деньги, приобретаемыя Петромъ Савичемъ въ качествѣ пѣвчаго отъ похоронъ и свадебъ, шли на мясо, настоящій чай, къ которому Петръ Савичъ имѣлъ большую охоту и къ которому Прасковья Игнатьевна мало-по-малу привыкла. Но вотъ Петръ Савичъ сталъ опять поивать и пропадалъ изъ дома по цѣлымъ суткамъ. Это сильно беспокоило Прасковью Игнатьевну тѣмъ

болѣе, что она чувствовала себя беременною. Она старалась всячески уговаривать мужа, чтобы онъ не пилъ, упраскивала друзей его, чтобы они, ради Христа, не давали ему водки; но Петръ Савичъ трезвый говорилъ одно: развлеченья мнѣ нѣтъ!

— Да какое же тебѣ развлеченье? вѣдь ты пѣвчій.

— Рыбачить нельзя.

— Полно-ко, Петя! Неужто тебѣ непремѣнно пьянствовать надо?

— Попала рюмка и пошелъ! Пакости меня бѣсать. А въ училищѣ зубъ съ зубомъ не сходится; стужа, угаръ...

И дѣйствительно, какъ попадетъ Петру Савичу рюмка, онъ починетъ пьянствовать и играть съ пріятелями въ карты, проигрываетъ деньги, такъ что нужно закладывать вещи или займовать, а тутъ и закладывать нечего стало и въ долгъ перестали давать. Такъ прошло до Николина дня, а послѣ него стала Прасковья Игнатьевна замѣчать, что Петръ Савичъ и худѣетъ, и скучаетъ; придетъ со службы домой и, не раздѣваясь, ходитъ по избѣ. Она кушанье уже поставила на столъ, а онъ все ходитъ да напирокси-вертѣлки курить.

— Петръ Савичъ?

Онъ молчитъ.

— Хочешь ѣсть-то? — спроситъ она его шутя.

— Чего?

— Наплевать!

Очнется какъ будто Петръ Савичъ, молча сидеть за столъ, молча и нехотя ѣсть.

— У тебя ровно завязало што-то въ роту-то. Али водки давно не пивалъ?

Онъ поморщится, сморкнется и ничего не отвѣтитъ.

— Въ рабочіе хочу идти, — сказалъ Курносовъ.

— Ну, такъ што!.. Я вонъ ужъ три пары шарожекъ связала, авось Богъ дастъ и продамъ.

— Вотъ ужъ! а шерсти-то сколько издержала?.. Здѣсь не городъ.

Послѣ этого разговора Петръ Савичъ скоро ушелъ, а немного погодя къ ней пришла одна торговка, у которой она покупала мясо.

— Слышала новость: твой-то муженекъ съ Машкой Баклушиной таскается.

Прасковья Игнатьевна побѣдила и не могла выговорить.

— Не вѣришь? Хоть кого спроси.

— Уйди ты отъ меня. Это ты слудру.

Торговка ушла.

Прасковья Игнатьевна подумала, что этой бабѣ злые люди наврали по глупости такую неаппетитность; но какъ только станетъ она ласкаться къ Петру Савичу, онъ отворачивается и злится.

— Петя, ты пошто нонѣ такой?

— Отстань! Фу ты. — крикнетъ Петръ Савичъ.

Прасковья Игнатьевна заплачетъ, а Петръ Савичъ уйдетъ и воротится домой пьяный, но не бьетъ и не ругаетъ ее.

Опять горестало душить Прасковью Игнатьевну: то она задумается, то заплачетъ; надо идти по воду — она идетъ къ сосѣду, старику Занадворову,

и какъ войдетъ къ нему, поклонеть и скажетъ: —  
оказия! штой-то со мной дѣется?

— Што, Петрука-то зашил? — спросить ее Занадворовъ.

— Не знаю.

— Ну, да дѣло-то къ празднику, молодой человѣкъ. Знаю съ горя. — Дѣло приближалось къ масленицѣ.

— Да денегъ нѣтъ.

— Ну, это другое дѣло. Совѣтовъ-то слушать онъ только не любитъ. Радъ бы я его на путь наставить, да съ дуракомъ и Богъ неволенъ. Ты бы въ контору и къ пѣвчихъ сходила, къ этому дураку-балагуру Потапову, и сказала: не давай, молъ, ему денегъ.

Сходила Прасковья Игнатьевна въ контору, сказали: — онъ ужъ теперь не учитель, а што поетъ, такъ это его охотка.

Сердце сжалось у Прасковьи Игнатьевны. Потаповъ сказалъ, что Петръ Савичъ не послушался его совѣтовъ: не пить въ школѣ водку; говорить: „не могу, ребятъ въ школѣ сколько, а возиться съ ними холодно“. Управляющему подалъ прошеніе о переименованіи училища въ другое мѣсто — прошеніе перекланили, а его уволили непремѣннымъ работникомъ и только за пѣніе не посылаютъ на работы.

Тонъ, съ какимъ говорилъ все это Потаповъ, сильно не понравился Прасковьи Игнатьевнѣ, и она сожалѣла о томъ, что пришла къ нему, а не къ другому. Она даже думала, что онъ издѣвается надъ Петромъ Савичемъ, и не хотѣла вѣрить ни одному его слову.

Наступила масленица; первый день Петръ Савичъ провелъ дома и жаловался женѣ, что его обидѣли. Потаповъ вѣрно говорилъ объ обстоятельстве, служившемъ поводомъ къ увольненію Петра Савича отъ учительской должности. Слушая его слова, Прасковья Игнатьевна обвиняла его и плакала.

Два дня Петръ Савичъ пробылъ дома, потомъ его пригласили на похороны — и исчезъ Петръ Савичъ. Съѣздъ Занадворовъ тоже закутился куда-то, и пошла Прасковья Игнатьевна разыскивать своего мужа.

По случаю масленицы большинство рабочихъ не работаетъ; начальство кутить въ это время и раскучивается въ пятницу, когда на фабрики и на рудники ни одну собаку не загонишь, да и сторожа тамъ тоже не живутъ. Короче — съ пятницы до чистаго понедѣльника въ заводѣ, пьянство всеобщее; о катаньяхъ и говорятъ нечего; даже самъ управляющій поощряетъ катанку (горю, сдѣланную на пруду), освѣщаетъ ее фонарями вечеромъ и заставляетъ музыкантовъ потѣшать публику.

Несмотря на то, что на пруду есть катушка, въ рѣдкомъ дворѣ нѣтъ своей катушки; въ рѣдкомъ дворѣ съ утра до вечера не катаются ребята на саняхъ, на лубкахъ или просто на штанахъ. Однако до обѣда на улицахъ рѣдко-рѣдко пройдетъ рабочій на дровняхъ; только во дворахъ хохочутъ ребята.

Въ одномъ изъ такихъ дворовъ, около растворенныхъ воротъ, стояли двѣ молодые женщины; одна изъ нихъ жаловалась другой на своего мужа. Увидѣвъ Прасковью Игнатьевну, одна женщина остановила ее:

— Постойко-сь, Курносиха! ты не слыхала новость?

— Ну?

— Вчера твой-то муженекъ съ Санькой Подковыркиной кораблемъ катался.

— Это што! — онъ говоритъ: мнѣ теперь все одно... Жену, говорить, жалко трогать, потому — убивается очень.

Прасковья Игнатьевна ничего не могла сказать на это: въ глазахъ ея рябило, въ головѣ была путаница.

— Какая ты злосчастная! Сходи въ палицу.

Прасковья Игнатьевна не рѣшилась идти въ палицу. Она провѣдала тетку, дала ей блиновъ; тетка поблагодарила ее, поразспросила про мужа. Это ее еще больше разстроило.

Небо ясно; солнышко весело глядитъ. Холодно; дуетъ съ пруда рѣзкій вѣтерокъ. По фабричной улицѣ впередъ и назадъ точно плывутъ сани, пошеви, кошевы, запряженные каждыя по одной лошади, которые изукрашены для праздника бубенчиками, колокольчиками, сквородками. Въ каждахъ саняхъ, пошевняхъ, въ кошевяхъ сидятъ люди обонихъ половъ и разныхъ возрастовъ. Мужчины почти всѣ пьяны, женщины полупьяны; сидятъ въ различныхъ позахъ, въ различныхъ костюмахъ, нѣкоторые безъ шапокъ, нѣкоторые безъ платковъ; многіе играютъ на гармоникахъ, балалайкахъ, поютъ пѣсни. Перейти дорогу невозможно. Прасковья Игнатьевна пошла къ катушкѣ. Кое-какъ Прасковья Игнатьевна добралась до Господской улицы. Тамъ впередъ плывущихъ саней и пошевенъ стоять, толкуются, идутъ люди всякихъ возрастовъ, а впередъ ихъ ѣдетъ масленица. Въ небольшой кошевѣ, запряженной въ одну лошадь, сидятъ человѣкъ десять мужчинъ, которые держатъ высокій шестъ съ развѣвающимися флагами; отъ верхушки этого шеста тянутся къ угламъ кошевы веревки, почему шестъ походить на лачту, а сама кошева называется кораблемъ. Въ серединѣ кошевы сидитъ нарядный человѣкъ на колесахъ. Онъ и сидящіе въ кошевѣ конюхи (рабочіе конныхъ машинъ на рудникахъ) поютъ слѣдующую пѣсню:

По горенкѣ похожу,  
Въ окошечко поглажу, (2 раза)  
По миленькомъ потушу!  
Тужить-плачетъ дѣвица, (2 р.)  
Уливается слезами.  
Загла любовная (2 р.)  
Всѣ дорожки и лужа,  
Круты славны бережка. (2 р.)  
Обережку, спокаmeshу  
Вѣжеть рѣчка, не шумить,  
И спокаmeshу не гремить! (2 р.)  
Въ саду, во садикѣ  
Соловей громко поетъ. (2 р.)  
Ты не пой, соловейшко,  
Громко звонко во саду! (2 р.)  
Не давай назолушку  
Къ сердечку моему. (2 р.)  
Безъ тово мое сердечко  
Изнываетъ все во мнѣ; (2 р.)  
На чужой сторонукѣ  
Столковалась живучи; (2 р.)  
Чужая сторонушка  
Безъ вѣтра супитъ-крушить. (2 р.)  
Чужо-есть отецъ и мать  
Безъ вини журить, бранять, — (2 р.)  
Все побить дѣвку хотять!  
Посылають дѣвицу (2 р.)  
На ключъ по воду съ ведромъ,

По морозу босиком! (2 р.)  
 Прищипало ноженъки,  
 До ключика идучи; (2 р.)  
 Ознобила рученьки,  
 Свѣжу воду черпучи. (2 р.)  
 Кабы знала-вѣдала,  
 Дѣвка замужъ не пошла (2 р.)  
 За стараго старика:  
 Старой не отпустить никуда. (2 р.)

Эту пѣсню пѣла теперь вся гуляющая и ѣдущая заводская публика.

Подѣзжала масляница къ господскому дому, остановилась, снова запѣла пѣсню. Изъ дома управляющаго вышла прислуга, потомъ расфранченный лакей поднесъ масляницѣ, т. е. расфранченному рабочему, предсѣдательствующему на колесѣ, трехрублевую бумажку и сказалъ:

— Карлъ Ивановичъ приказалъ гулять за его здоровье.

— Мы здоровы, какъ коровы!

— Побольше бы давалъ!.. Скажи ему поклонъ отъ масляницъ, — галдѣли рабочіе, и масляницатрунулася на плотину.

Прасковья Игнатьевна пошла на прудъ къ катушкѣ. Посрединѣ пруда сдѣлана большая высокая гора, обставленная елками, разукрашенная флагами на господскій счетъ. По ней катались на санкахъ со стальными полозьями и на конькахъ ребята, молодые люди, было даже два старика охотниковъ до катанья; а вокругъ нея двигались сани, пошеви, наполненные людьми, и толпились много народу, который шелкалъ мелкіе кедровые орѣхи. Всѣ катающіеся, гуляющіе и смотрѣвшіе стоя на катающихся были очень веселы, пѣли, кричали, хохотали, если кто-нибудь перенертывался на катушкѣ и раскраивалъ себѣ носъ или губу. Версты за полторы отъ катушки, навѣво шла потѣха ребятъ: они съ ожесточеніемъ дрались, и на эту буйную толпу съ удовольствіемъ смотрѣли нѣсколько человѣкъ рабочихъ.

Походила Прасковья Игнатьевна нѣсколько времени, горько ей; молодые мужчины то и дѣло приглашаютъ ее прокатиться, а она спрашиваетъ: „гдѣ Курносовъ?“ ей отвѣчаютъ: „у Савки въ лавкѣ“.

Пошла, глядитъ въ разныя стороны. „Нѣтъ, не найдешь: народу видимо-невидимо“... Вдругъ видитъ: народъ валитъ отъ катушки въ одну сторону, народъ хохочетъ, кричитъ: „хорошенько! такъ его! ево выстегать бы!.. Кто это? — Курносовъ Аристархова бьетъ. — Увели въ полицію. — Ково? — Курносова“.

— Экая я несчастная! — думаетъ Прасковья Игнатьевна и идетъ домой.

На другой день она отправилась къ исправническому письмоводителю.

Письмоводителемъ таракановскаго заводскаго исправника въ это время былъ урядникъ горнаго правленія Иванъ Ивановичъ Косой. Самъ исправникъ хотя и смыслилъ слѣдственную часть, но мало занимался дѣлами, потому что честно производить слѣдствие нельзя было. Напримѣръ: накуралесить много приказчикъ — ничего не будетъ приказчику, стоитъ только подарить исправника; представлять къ исправнику рабочаго съ полосой желѣза, и рабочій по слѣдствію оказывается большимъ воромъ; если же ра-

бочій самъ не промахъ или заподозрится состоятельный человѣкъ, то дѣло составитъ такъ, что въ немъ виноватаго никого не найдено. Еслибы исправникъ былъ человѣкъ честный, такой, какихъ требовалъ законъ, то ему не прожить бы въ заводѣ ни одного мѣсяца: его бы обвинили во взяткахъ. Поэтому исправникъ брался только за самыя крупныя дѣла, а остальное сваливалъ на письмоводителя, который самъ писалъ допросы и показанія, часто подписывался подъ руку исправника и даже такъ ловко велъ дѣла, что о многихъ исправникъ вовсе не зналъ. На этомъ основаніи Косова знали больше исправника, и всѣ обращались сперва къ нему, а ужъ потомъ къ исправнику, который въ свою очередь отсылалъ къ письмоводителю — и пр., и пр...

Косой, человѣкъ лѣтъ тридцати, краснощекій, съ коротенькими волосами и въ форменномъ сюртукѣ, отбиралъ допросы отъ одного рабочаго.

— Ты не рядись.

Рабочій досталъ изъ-за пазухи кошелекъ, досталъ изъ кошелька неохотно трехрублевую и подалъ письмоводителю.

— Э—э!

— Ослобони, Иванъ Ивановичъ... самъ знаешь, дѣло торговое... по насетѣ (по наговору).

— Ничего не могу сдѣлать: Яковлевъ подарилъ лошадь управляющему.

Письмоводитель сталъ писать, потомъ, немного погодя, спросилъ рабочаго:

— Подпишешься?

— Прочитать бы.

— Это еще что? Эдакъ всякій будетъ читать, у меня времени не хватитъ. Подписывай.

Рабочій подписался.

— Андреевъ! — крикнулъ Косой.

Вошелъ десятникъ.

— Запри.

— Батюшка, Иванъ Ивановичъ...

Ну, ну!..

Рабочаго увели. Вошла Прасковья Игнатьевна, низко поклонилась письмоводителю.

— Ты што?

— Ослобони Петра Савича.

— Кто онъ? чей?

— Курносовъ.

— Въ лазаретъ!

Пошла Прасковья Игнатьевна въ лазаретъ. Это было большое каменное зданіе, находящееся за фабриками. Въ немъ было двѣ половины: черная и бѣлая. Въ черной помѣщались непримѣнные работники и ихъ жены, а въ бѣлой мастеровые. Курносовъ лежалъ въ бѣлой. Прасковья Игнатьевна едва узнала своего мужа: носъ сдѣлался вострымъ... При видѣ жены онъ что-то пробормоталъ и пригласилъ ее рукою сѣсть на кровать.

Она сѣла.

— Пета! голубчикъ, — говорила, рыдая, Прасковья Игнатьевна; сердце ея словно на части разрывалось.

Но Петръ Савичъ только руками разводилъ.

Посидѣла Прасковья Игнатьевна у больного съ часъ и пошла.

— Вылечите его ради Христа,—говорила она фельдшеру.

— Вылечить,—утѣшалъ ее фельдшеръ.

Вышла она изъ лазарета, ее пошатываетъ; она плачетъ.

— Господи, какая я несчастная!

— Што у те, али кто померъ?—спросилъ ее мастеровой.

— Ой, мужъ ивораетъ!

— Эко дѣло! Уповай на Бога.

Отошла Прасковья Игнатьевна кемного, остановилась и не знаетъ, что дѣлать. Домой идти страшно. Ноги отказываются тащить; животъ болитъ сильно. „Пойду я къ ворожеѣ Бездоновой... спрочу ее“...— и отправилась она къ Бездоновой, жившей за лазаретомъ въ фабричномъ порядкѣ.

## XIX.

Марфа Потаповна Бездонова жила на самомъ краю завода, подѣ горой. Домъ ея старый, стѣны кое-какъ поддерживаются подпорами, и не защищай его гора и противоположные дома отъ вѣтра, онъ давно бы рухнулъ на которую-нибудь сторону. Къ этому дому даже заплота нѣтъ; заплотъ былъ, да поне-многоу разсыпался, а строить новый Бездонова, говорятъ, не считала за нужное. Говорятъ, что на предложеніе построить заплотъ, она имѣетъ такое свое мнѣніе: „построю—помру“. Но у нея было тоже опять-таки, говорятъ, на это нѣсколько причинъ, и изъ нихъ самая важная: черезъ ея дворъ ходили къ внуку ея Корчагину бѣлые рабочіе, которые приносили ему, будто бы, золото.

Въ избѣ Бездоновой темно и не было никого. Прасковья Игнатьевна кое-какъ дошла до лавки и сѣла къ окну. Она не видывала Бездоновой и думала теперь: „какъ я буду разговаривать съ ней, не выдавши ей; какъ да она начнетъ ругаться“... Немного погодя въ избу вошла сгорбившаяся старуха съ бѣлыми морщинистыми лицомъ и сѣдыми волосами. Она кряхтѣла и охала; казалось, что она утомилась. Прасковья Игнатьевна встала.

— Здорово, баушка,—сказала она.

— А кто тутъ? темно, не вижу.

— Это я.

— А кто ты?

Старуха подошла близко къ ней, стала разглядывать ее.

— Видала. Не ты ли учительша-то?

— Да.

— Вотъ какая ты! А... Ну, садись... Слыхала я, мать моя, о тебѣ много... Здоровъ ли Курносовъ-то?

Прасковья Игнатьевна заплакала.

— Голубка!—сказала старуха.

Когда Прасковья Игнатьевна успокоилась немного, старуха спросила ее:

— А ты не беременна ли?

— Ой, не могу! Беременна я, баушка.

— Ну, такъ пойдемъ. Я те ко внуку сведу.

Кое-какъ Прасковья Игнатьевна доплелась до дома Корчагина, кое-какъ она взлѣзла на полати, а какъ взлѣзла, такъ и почувствовала страшную боль.

Она выкинула мертвого младенца и не могла придти въ себя часа три.

Марфа Потаповна Бездонова много пережила и времени, и людей, и много перенесла горя; другія женщины въ ея лѣта забываютъ многое изъ пережитаго, но она все помнитъ. Замужъ она вышла не рано, но черезъ полгода мужъ утонулъ. Другой мужъ попался чахоточный и тоже скоро умеръ: только съ третьимъ мужемъ она прожила двадцать лѣтъ и прижила съ нимъ двухъ сыновей и одну дочь. Но она и сыновей пережила и теперь живетъ въ избѣ второго мужа, а въ домѣ третьяго мужа, находящемся рядомъ съ ея избой, живетъ дочь Акулина Васильевна Корчагина, слѣпая женщина, съ сыномъ Васильемъ Васильевичемъ и дочерью Варварой Васильевной. А такъ какъ Марфа Потаповна жила въ своей избѣ одна, да еще на отбойномъ мѣстѣ у горы, то слободчане поговаривали, что она непременно съ чертями водится. На это у нихъ было нѣсколько оснований, напр. то, что ее въ Козьмѣ Волотѣ не видали уже годовъ съ семь, а въ фабричномъ порядкѣ она къ очень немногимъ ходила; потомъ Марфа Потаповна еще при первомъ мужѣ ворожила. Надо замѣтить, что въ таракановскомъ заводѣ не было и нѣтъ ни одной дѣвушки, которая бы не ворожила въ карты и не гадала на оловѣ во время святокъ. Сначала Марфа Потаповна ворожила въ карты ради баловства ребятамъ, а потомъ ворожба у нея вошла въ привычку, въ прибыль. Послѣ смерти послѣдняго мужа она была уже известна всѣмъ въ заводѣ за отличную ворожею, и къ ней приходили не только дѣвки, жены рабочихъ, но даже сама приказница и дочери членовъ главной конторы. Когда у Бездоновой измозолились карты до того, что ни на что не годились, то она никакъ не хотѣла покупать новыхъ картъ и стала гадать на водѣ. Ужъ Богъ ее знаетъ, что она клала въ воду, только приходившія къ ней женщины говорили, что онѣ видѣли въ водѣ то лицо, то домъ или что-нибудь вроде этого. Оттого-то никто въ заводѣ не пользовался такою довѣренностью, какъ она, и никто не имѣлъ столько богатыхъ матеріаловъ для разсказовъ, какъ она; только отъ нея трудно было выключить какое-нибудь слово.

Съ годами, говорятъ, мѣняется въ человѣкѣ и наружность, и характеръ. Марфа Потаповна послѣ смерти послѣдняго мужа значительно измѣнилась и наружностью, и характеромъ. Къ суровой наружности нужно прибавить еще грубый выговоръ. Прежде ее можно было застать всегда дома утромъ, а теперь какъ ни придеши, почти всегда у нея избушка на ключѣхъ. И вотъ къ названію колдуньи прибавили еще *векша*, и всѣ люди отъ мала до велика въ заводѣ стали говорить: „Бездонова вчера изъ трубы векшей вылетѣла; Бездонова изъ брюха ребятъ таскаетъ“. Бездоновой стали бояться; стали ходить къ ней только люди самые храбрые. Бездонова это знала, но, не обращая вниманія, говорила одно: „дуры... мнѣ и на покой пора, я и безъ вашихъ денегъ прокормлюсь“. А у нея деньги были въ подпольи, въ корчагѣ, и объ этомъ знали только внукъ и внучка.

Когда Прасковья Игнатьевна пришла въ себя, то не могла понять, гдѣ она теперь: темно, тепло, мокро.

— Баушка! — произнесла она негромко; но никто не откликнулся. Кликнула она еще разъ.

— Што, дитятко? — откликнулась старуха и прибавила: — да ты не кричи!

— Я гдѣ?

— Спи-ко со Христомъ...

— Пошто мнѣ больно?... неужто я...

Ты выкинула.

— Ково?

— Мертваго.

Прасковья Игнатьевна словно кольнуло въ сердце, по кожѣ прошли мурашки. Ей не вѣрилось, чтобы она могла родить мертваго, ей даже подумалось: вѣдь она колдунья; съѣла, поди. — Старуха отворила двери, холодъ полосами поднимался съ полу, въ избѣ стало холодно. Однако старуха пришла скоро, зажгла лучину. Прасковья Игнатьевна приподняла голову и увидѣла, что изба Корчагина была гораздо больше ея избы и перегороджена на двое: тотчасъ, какъ войти въ избу, нальво, противъ печки, перегородка, выкрашенная желтой краской. Она упирается въ полаты и идетъ вплоть до передней стѣны, такъ что въ кухнѣ собственно одно окно, а въ комнатѣ два окна на улицу, да третье во дворъ. На печи лежитъ дочь Бездоновой, женщина съ сѣдыми волосами, съ морщинистымъ лицомъ. Сестра Корчагина, Варвара Васильевна, сидитъ у окна, прядетъ; въ комнатѣ Василій Васильевичъ строгасть доски. Тамъ, въ углу между перегородкой и стѣной на дворъ, стоитъ кровать съ войлокомъ и подушкой на ней; подъ кроватью сундукъ, окрашенный красной краской.

Прасковья Игнатьевна пролежала долго; скучно, а въ избѣ никто не говоритъ, только Василій Васильевичъ то стружить что-то, то стучитъ, насвистывая или напѣвая вполголоса, или ворчить про себя. Соснула она; опять темно, а въ избѣ Корчагинъ шепчется съ сестрой.

— Ну, што?

— Вросилъ.

— Никто не видалъ?

— Нѣтъ... А и увидѣли бы, такъ тоже бы присудили; куды съ нимъ, съ мертвымъ?

— Её бы надо прогнать, чтобы опосля лютѣе было отпереться.

Прасковья Игнатьевна не поняла этого разговора; но когда она спросила, гдѣ мертвый младенецъ, ей сказали, что похоронили его.

На третій день она слѣзла съ полатей и стала проситься домой. Но ее не пустил Корчагинъ, говоря, что онъ, уважая Петра Савича, ни за что не отпустить ея. Когда же она сказала, что ей надо провѣдать его, то Корчагинъ съ удовольствіемъ вызвался сходить къ нему. Но въ этотъ день ему не удалось сходить, и онъ пошелъ на другой. Прасковья Игнатьевна съ нетерпѣніемъ ожидала его прихода. Пришелъ онъ разстроенный, блѣдный.

— Кланяется, — сказалъ онъ.

— Живъ ли?

— Поправляется.

Но черезъ часъ Корчагинъ ушелъ и воротился домой навеселѣ. На другой день ушелъ изъ дома рано, сказавъ, что надо съ одного торгаша получить старый долгъ. Пришелъ онъ поздно, тоже навеселѣ... Курносое померъ отъ тифа и боли въ горлѣ, но Корчагинъ успѣлъ заказать всѣмъ не говорить объ этомъ его женѣ, чтобы не убить и ее Марфа Потаповна приняла всѣ мѣры, чтобы Прасковья Игнатьевна пожила у Корчагина подольше и исподтиха приготовилась къ такому роковому извѣстію.

Въ пять дней Прасковья Игнатьевна поправилась настолько, что могла слѣзать свободно съ полатей и ходить. Акулина Васильевна разговаривала съ ней съ удовольствіемъ; Корчагинъ, хотя и рѣдко, отвѣчалъ на ея слова, но зато онъ работалъ; сестра его куда-то уходила на сутки и когда приходила домой, то братъ косо глядѣлъ на нее. Прасковья Игнатьевна теперь уже меньше чувствовала горя. Ей казалось, что она несчастная женщина, но несчастна черезъ Курносова. „И што онъ за человекъ. коли пьетъ, коли мнѣ коровы не могъ купить“. Но ей все-таки жалко было его, и она каждый день просила Корчагина сходить въ больницу справиться: здоровъ ли онъ. На шестой день она попросила Корчагина опять объ этомъ, но онъ промолчалъ. Она смотритъ на него; онъ посвистываетъ, а на улицѣ метель. Не терпится ей.

— Василій Васильичъ!

— Ну! — взѣлся Корчагинъ.

— Сходи ради Христа.

— Некогда мнѣ ходить!

— Такъ я пойду.

Корчагинъ молчитъ.

„Экой какой злой! а работа-то какъ кипитъ у него... Ишь, какъ онъ пилот-то ширкаетъ скоро!“... Долго глядѣла она на Корчагина, завидно ей стало: „зотъ“, думала она, „кабы Петька-пьюга такъ робилъ! И табакъ онъ не куритъ, и завсегда трезвый“.

Отецъ Корчагина былъ плотникъ и кое-чему обучилъ сына. На восемнадцатомъ году онъ уже зарабатывалъ деньги дома и могъ нанять вѣсто себя рабочаго на фабрику, а за даровую работу заводскому приказчику его причислили къ разряду мастеровъ. Такихъ хорошихъ мастеровъ, какъ Корчагинъ, въ заводѣ было немного, и онъ получалъ большіе заказы, но работалъ одинъ, потому что считалъ неприличнымъ для себя имѣть работниковъ. Онъ не жилъ въ другомъ порядкѣ потому, что привыкъ къ родному гнѣздышку, къ сосѣдямъ, къ тишинѣ; тутъ была еще и другая причина, о которой мы узнаемъ впоследствии. Здѣсь ему никто не завидовалъ, и онъ во всемъ заводѣ считался за честнаго и разсудительнаго человека.

— Послушай, Прасковья Игнатьевна: и што тебѣ за охота ходить въ лазаретъ? Помреть, такъ не важность, — проговорилъ вдругъ Корчагинъ.

— Ишь ты, помреть!

— Хороша жизнь съ пьяницей?

— И не грѣхъ тебѣ обижать меня!

— Чево грѣхъ! я дѣло говорю. Помреть — не важность. Только надо нечѣря замужъ выходить, какъ ты... А впрочемъ — вѣдь приказный... какъ же!

Задумалась надъ этими словами Прасковья Игнатьевна, и горько ей, что про ея мужа такъ говорятъ: но она почти согласилась съ этими словами. „Ужъ не лучше ли ему помереть што ли! Не мучился бы... Право“.

— Я домой пойду, — говоритъ она.

— Какъ знаешь. Еслибы ты померла, а то хворать будешь, — говоритъ ей Корчагинъ.

Прожила она въ гостяхъ еще два дня. На третій день вечеромъ пришли къ Корчагину двое рабочихъ. Они были таракановскіе, но находились въ бѣгахъ, работали на золотыхъ присекахъ.

— Долгонько! — сказалъ Корчагинъ весело.

— Ну ужъ и времена нонѣ! нигдѣ нѣтъ счастья: вездѣ билеты спрашиваютъ, а въ городѣ и безъ насъ много народу... Этта на большой дорогѣ спавали было насъ, да мы утесли.

— Ну, какъ на промыслахъ?

— Да што! съ мѣсяцъ робили, замѣсто крестьянъ насъ считали. Такъ-ту ватага у насъ большая — человекъ, почитай, пятьдесятъ, да порядку мало: всякъ неровитъ себѣ карманъ набить. Ну, да это пустое, а то вотъ обидно: заставить работать, да потомъ шену намылать, нди значить, туда, отколѣтъ пришелъ. А кои знаютъ, што бѣглой — молчи! представимъ. Ну, и робимъ, какъ вротъ. Теперь мы золото сами искали. Придешь къ управителю и говоришь: такъ и такъ, крестьянинъ. Знаю, говоритъ... Ну, говорю: хочу золотоискать, почемъ положишь, ваше благородье? А ты, говоритъ, представь первое, тогда и положу. Хоть, говоритъ, по рублю за золотникъ, а самъ отъ казны, говорятъ, три рубля за это получаетъ, ну, и срядишь-ся за рубль семьдесятъ... Получишь кружку съ печатью и пойдешь золотаискать, выпрашивать у крестьянъ: нѣтъ ли кружки, или обманешь, какъ ни на есть. Ну, получишь золота тамъ съ фунтъ, жалко попускаться, да владѣть нельзя. Принесешь къ управителю, онъ и рассчитываетъ по рублю, а спорить станешь, обышу, говоритъ, въ палицу посажу и бумагу, говорятъ, такую дамъ, што ты никакой работы болѣе не получишь... Ну, и возмешь по рублю, потому расчетъ самому нужно сдѣлать съ крестьянами да товарищами...

— А потомъ ужъ управитель такъ дѣлаетъ: возьметъ въ книгѣ и напишетъ расходъ — такому-то дано за золото по три рубля; а не то, чтобы начальству угодить, и по два съ полтиной напишетъ. Ему, глядишь, и повышенье, а намъ посрамленье.

Стали ужинать.

— А ты, Василій Васильевичъ, не слыхалъ про волю?

— Про какую?

— Въ городѣ были, такъ тамъ рабочіе калякаютъ, только ничего тутъ не поймешь.

— Пропишутъ ужъ вамъ волю!

— Истиннымъ Богомъ, говорятъ: дадутъ намъ такую волю, што на всѣ четыре стороны хоть ступай.

Корчагинъ захохоталъ, гости осердились и ушли спать къ старухѣ Безденовой, отдавъ Корчагину какой-то свертокъ.

Утромъ, прощаясь съ Корчагинимъ, они совѣтовали Прасковью Игнатьевну ѣхать въ городъ.

— Вамъ, бабамъ, ничего: съ васъ билетовъ мало спрашиваютъ, а если и спросятъ, то можно сказать: потеряла, молъ. Да и бабъ разныхъ въ городѣ много, поэтому и вашей братии тамъ много требуется. Иная барыня сама гроша не стоитъ, а прислуги у ней бабей штуки три али больше.

Утромъ послѣ этого разговора Корчагинъ спросилъ Прасковью Игнатьевну:

— Тебѣ который годъ?

— Мнѣ?.. лѣтомъ двадцатый поидеть. А што?

— Такъ. Я тебѣ тоже совѣтую въ городъ ѣхать; у меня тамъ есть купецъ Вакинъ, я къ нему пойду скоро, а если у него нѣтъ для тебя мѣста, такъ у меня тамъ богатые первостатейный мастера есть. Только ты баба красивая.

— А мужъ-то?

— Коли онъ не будетъ пить, прїѣдетъ къ тебѣ.

— Ну ужъ.

Прасковья Игнатьевна обидѣлась и рѣшилась завтра же отправиться домой.

Когда она пошла, то въ ноги поклонилась Безденовой и Корчагину.

— Коли въ городъ намѣрена, то приходи, я черезъ двѣ недѣли ѣду. И дядя твой ѣдетъ со мной...

На улицѣ тепло. Солнышко то застилается туманами, то выглядываетъ снова туманнымъ кружкомъ. Кое-гдѣ изъ трубъ поднимается сѣрый дымъ, доказывающій, что въ этихъ домахъ печки еще кстапливаются. Кое-гдѣ покажется на краинкѣ трубы сорока, воробышекъ, посидятъ, поклюнутся и летятъ снова. Съ крышъ каплетъ, на солнечной сторонѣ со стеколъ сплзываютъ все ниже и ниже куржаки, и падаютъ на снѣгъ съ крышъ и рамъ сосульки.

По улицѣ никто не ѣдетъ; во дворахъ кое-гдѣ кричатъ ребята, гогочутъ курицы, мякаютъ кошки.

Ноги у Прасковьи Игнатьевны начинаютъ щипать, потому что въ худыя ботинки попадаетъ мокрый снѣгъ, подола сарафана вымокъ до колѣнъ.

Дошла она до своего йона и ужаснулась. Три стекла выбито, калитка настежь. Во дворѣ нѣтъ ни дровъ, ни саней, ни дровенъ.

Двери въ погребъ тоже открыты, въ погребу точно Мамай волевалъ: горшки, корчаги перебиты, откуда-то кирпичи принесены. Въ сѣняхъ хоть шаромъ покати. Дверь въ избу открыта, и половинка держится на одномъ нижнемъ шпальерѣ; столъ опрокинутъ посреди избы; въ избѣ стужа.

— Што за оказія! — удивлялась Прасковья Игнатьевна.

Взглянула на печь, — тамъ сидитъ паренъ лѣтъ тринадцати и палкой ковыряетъ дыру въ трубѣ.

— Што ты тутъ, разбойникъ, дѣлаешь! — крикнула на парня Прасковья Игнатьевна; паренъ ей языкъ показалъ. Она стала искать, чѣмъ бы ей побить парня, да ничего не вышла. Ступила она на приступокъ печки, паренъ ударилъ ее по рукѣ палкой и сказалъ: — куда лѣзешь, шкура! домъ-отъ нашъ!

Паренъ кое-какъ ушелъ, грозясь, что онъ тятѣ и мамкѣ пожалуется на нее. Смела она руками

онѣтъ со скамейкѣ, искала топора, чтобы порубить что-нибудь на дрова. Нѣтъ.

— Гдѣ же мамонька?

Пошла въ огородъ: слѣды есть, только давнишніе. Не въ банѣ ли она? Ототкнула она окошечко, имѣющее видъ отдушныи; въ банѣ все-таки темно, отъ окошка въ полку проходить лучъ свѣта. Пощупать стѣны и полокъ боязно, потому что вдругъ старуха можетъ схватить ее и изгрызть. Машинально вышла она за баню, подошла къ ямѣ, которую дядя ея прошлое лѣто копалъ на завалины къ дому — и вскрикнула. Тамъ лежала ея мать внизъ головой.

— Мамонька! — крикнула она и, не получивъ отвѣта, потащила мать за ноги; но не могла сдвинуть ее.

Не помня себя, она убѣжала къ сосѣдкѣ и сказала, что мать ея упала въ яму.

— Гдѣ ты была-то? Вѣдь мужъ-то померъ, а она по людямъ шатается.

— А штобъ те явило, проклятую! — крикнула она и выбѣжала изъ избы.

Прасковью Игнатьевну это извѣстіе до того поразило, что она не могла устоять и сѣла на лавку, потомъ зарыдала.

Сосѣдка испугалась за нее, позвала еще сосѣдку.

— Ой! ой! Господи! Мать пресвятая Богородица! — рыдала Прасковья Игнатьевна.

Кое-какъ сосѣдки уняли ея рыданія разсужденіемъ, что чему быть, того не миновать: всѣ мы подъ Богомъ ходимъ.

Мало-по-малу Прасковья Игнатьевна успокоилась, сказала, что она была все это время у Бездоновой и на другой день послѣ того, какъ была въ лазаретѣ у мужа, выкинула мертвого. Сосѣдки жалѣли ее, но, какъ опытные женщины, совѣтовали ей не убиваться; что пожалуй она замужествомъ немного выиграла, потому что вонъ Семенъ Покидинъ за долги Курносова думаетъ домъ у Прасковьи Игнатьевны отнимать.

Прасковья Игнатьевна только плакала. Она ничего не могла теперь придумать хорошаго. Сообщила она о смерти матери. Сходили сосѣдки въ огородъ Глумовыхъ, потужили, покачали голъ вами и ушли, не зная, что дѣлать.

— Дядѣ бы надо сказать, — сказала Прасковья Игнатьевна сосѣдкѣ.

Она не могла идти.

Глумовъ пріѣхалъ въ саняхъ, старуху вытащили изъ ямы, принесли въ комнату, обмыли, положили на столъ.

Черезъ день ее похоронили рядомъ съ Петромъ Савичемъ.

Прасковья Игнатьевна страшно казалось жить въ отцовскомъ домѣ, и она пошла къ Глумову и двѣ недѣли пролежала въ горячкѣ.

## XV.

Жизнь таракановскихъ обывателей текла обычнымъ, медленнымъ ходомъ. Чтѣ было сегодня, то будетъ завтра, и т. д. Но и заросшее тинистое болото не всегда имѣетъ ровную поверхность, и его

волнуешь вѣтры и непогоды. Наши таракановцы имѣли также свои бури. Невозмутимая ихъ жизнь порою возмущалась разными изъ ряду выходящими событиями.

Избѣгая повтореній, я постараюсь покороче изложить сущность дѣла.

Читатели уже знаютъ, что заводскими дѣлами управлялъ приказчикъ съ подначальными ему должностными людьми, подобно тому, какъ это и вездѣ водится. Всѣ они были изъ крѣпостныхъ. Настоящаго приказчика таракановскаго завода зовутъ Афиногеномъ Степанычемъ Переплетчиковымъ. Онъ былъ сынъ штейгера, и потому его въ дѣствѣ на работы не требовали, а ему было дано приличное для сына должностнаго челоѣка образованіе. Сначала онъ обучался въ заводской школѣ и учился очень прилежно, несмотря на то, что учителя о наукахъ смыслили столько же, сколько и заводскіе ребята, служили заводу для того, чтобы скопить денежки на черный день, и мучили ребятъ хуже другой бурсы; несмотря на самоуправство настоящихъ, которые могли и не приходить иной разъ въ школу на томъ основаніи, что управляющій считалъ низостью заглянуть туда, маленькій Переплетчиковъ заучилъ все, чтѣ преподавалось по книжкамъ; мало этого, у него своего разума настолько хватало, что онъ учителей взялъ въ руки, т. е. прідетъ учитель пьяный, онъ подговоритъ ребятъ кричать, свистѣть, и все-таки былъ старшимъ, т. е. могъ самъ замѣнять въ училищѣ должность учителей въ ихъ отсутствіе. — Потомъ онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ на заводскій счетъ. Таракановскіе владѣльцы заботились объ образованіи своихъ крѣпостныхъ. А потомъ онъ занимался дѣлами у таракановскаго повѣреннаго. Девятнадцати лѣтъ онъ зналъ очень много, т. е. зналъ всѣ плутни, черезъ которыя онъ прошелъ, и даже проводилъ повѣреннаго, плута изъ плутовъ.

Какъ образованнаго челоѣка, его называли ма-стеромъ, т. е. челоѣкомъ свободнымъ отъ работъ, что-то вродѣ чиновника, и назначили казначеемъ главной конторы. Должность эта состояла въ томъ, что онъ записывалъ на приходъ деньги, получаемыя изъ разныхъ мѣстъ на металлы; выписывалъ въ расходъ суммы по предписаніямъ; кромѣ этого на его обязанности было выдавать рабочимъ заработную плату по правиламъ, установленнымъ закономъ и владѣльцами. Въ его время денежныя дѣла были очень запутаны, но онъ постарался запутать ихъ еще больше. Во-первыхъ, подрядчики по провіанту жаловались главному начальнику, что имъ не даютъ столько-то денегъ; по отчетамъ заводууправленія значилось, что подрядчики перебрали; а къ концу исправленія имъ должности казначея заводууправленія оставалось должно подрядчикамъ нѣсколько тысячъ. Во-вторыхъ, сосѣднія заводууправленія жаловались на порубку ихъ лѣсовъ таракановцами, заводили спорныя дѣла о земляхъ, — таракановское заводууправленіе, зная, что тутъ балуются управляющіе, мирилось съ ними деньгами; а по милости Переплетчикова вдругъ заводили спорныя дѣла о земляхъ таракановска-



го заводоуправленія съ палатой государственныѣхъ имуществъ тогда, когда сосѣднія заводскія земли за долги перешли въ казну... Въ-третьихъ, большая часть суммъ, слѣдующей за металлы, хранилась въ кредитныхъ учрежденіяхъ, но это были долги казнѣ; въ заводѣ были свои деньги, но не гласныя: нѣ получали, продавая металлы на нижегородской ярмаркѣ; другой способъ приобрѣтенія негласныхъ суммъ былъ не менѣе остроуменъ: металлы тонули въ рѣкахъ, а потомъ утопленники продавались купцамъ, и объ этомъ знали казначей, приказчикъ и управляющій; другимъ же постороннимъ лицамъ знать не полагалось. Подъ залогъ земель брались нѣзъ казны суммы, которыя рѣдко отсылались владѣльцамъ; они поступали въ заводъ на закупку провіанта или другія экономическія надобности. Владѣльцы тратили въ годъ сотни тысячъ, но въ заводѣ выходило въ пять разъ больше; владѣльцамъ посылались краткіе отчеты, но запросовъ отъ нихъ, что много выходитъ денегъ, никогда не было. Въ-четвертыхъ, провіанту закупалось въ годъ тысячъ на сто, а люди съѣдали только на тридцать; по отчетамъ значилось, что рабочимъ выдано платы тридцать тысячъ, а рабочіе говорили, что выдано въ годъ не больше трехъ тысячъ... и проч.

Какъ видятъ читатель, должность Переплетчикова была прибыльна; но ему хотѣлось другой должности, потому во-первыхъ — много дѣла, вторыхъ — въ послѣднее время его службы ему пришлось получать выговоры отъ управляющаго за *безпечность*, приказчикъ говорилъ ему въ глаза, что онъ первый воръ, а рабочіе терпѣть его не могли и сложили про него такую пѣсню:

И да казначе-етъ Переплетчиковъ  
Объегорилъ всѣхъ начальниковъ;  
И вотъ скоро-де не баринъ нашъ,  
А казначей злодѣй,  
Самъ совѣтныи лиходѣй,  
Владѣть заводомъ станетъ, и т. д.

Поступилъ Переплетчиковъ караваннымъ смотрителемъ, т. е. слѣдовалъ съ таракановскими металлами, которые сплавлялись въ количествѣ до тридцати пяти барокъ. Жизнь хорошая: на пристаняхъ ходи отъ барки къ баркѣ, распоряжайся, заставляй бурлаковъ пѣсни пѣть и плясать, пей, ѣшь и спи, сколько хочешь. Но дѣло не въ этомъ. Въ каждомъ караванѣ каждый годъ разбивало барки отъ быстроты и каменистаго дна рѣки, которая, несмотря на разливъ, была мелка; случались эти казисъ и съ Переплетчиковымъ караваномъ, но рѣдко, потому что онъ лоцмановъ подъ судъ отдавалъ за то, что они по ночамъ слѣпили, т. е. не могли совладать съ барками. Тонула одна или двѣ барки, а онъ писалъ больше и дѣлалъ такъ ловко, что утопшіе поступали въ его пользу. Заводоуправленіе знало объ этомъ и получало отъ него барыши. За горшее усердіе Переплетчикова сдѣлали приказкомъ. До него было два приказчика: одинъ по распорядительной части, другой по хозяйственной; онъ же объ должности сосредоточилъ въ себѣ. Приказчикъ — помощникъ управляющему. Управляющій

хотѣлъ, приказчикъ исполнялъ. Но въ большинствѣ случаевъ приказчикъ заправлялъ дѣлами владѣльцевъ, потому что управляющій ничего не зналъ, и Переплетчиковъ водилъ его на помочахъ. Къ управляющему народъ не допускался, управляющаго народъ видѣлъ рѣдко; къ приказчику могъ являться всякій, онъ былъ какъ отецъ. У Переплетчикова были свои любимые мастера, нарядчики, штейгера, игравшіе въ свою очередь роль въ заводѣ.

Здѣсь кстати пояснить три пункта, упомянутые при описаніи личности казначея.

Въ заводѣ былъ какой-нибудь купецъ, который закупалъ у крестьянъ муку и заключалъ съ заводоуправленіемъ условія. Мука принималась, но оказывалась не надлежащей доброты и была съ пескомъ. Если купецъ не хотѣлъ брать муку обратно, то ему не выдавали денегъ, и заводоуправленіе покупало муку у приказчика, казначея и смотрителя магазиновъ за дорогую цѣну, причѣмъ рабочимъ вслѣдствіе дороговизны выдавали половинное количество муки.

Таракановское заводоуправленіе вело торговлю лѣсомъ, строило изъ него барки и другія вещи, что въ отчетахъ не показывалось; лѣсу было мало: рабочимъ его выдавали за деньги, т. е. нужно было подарить. Поэтому рабочіе рубили его воровски, выжигали по 20 верстъ въ годъ для того, что имъ дозволяли рубить пальники; пламя переходило въ чужіе лѣса, которые также рубили таракановцы; истреблялись межевые знаки, столбы; но виновныхъ, какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ пожарахъ, никого не находили. А вслѣдствіе истребленія межевыхъ столбовъ и знаковъ на нихъ, тѣ и другія заводоуправленія хозяйничали по сосѣдству другъ у друга и для очистки совѣсти заводили дѣла, которыя почти никогда не оканчивались по дружбѣ управляющихъ и повѣренныхъ заводскихъ....

Металловъ выплавлялось въ годъ обыкновенно больше показаннаго въ отчетахъ. Половина поступала на приходъ, другая шла въ пользу заводоуправленія и рабочихъ, съ которыхъ не брали денегъ за гвозди, утюги, браковку, ломъ и т. п. вещи; однако рабочимъ за все количество металла выписывались въ расходъ деньги на господскій отчетъ такъ хитро, что никакой бухгалтеръ не подкупался бы, потому что тутъ значились прогулы, наемъ крестьянъ въ три-дорога и пр. Въ отчетахъ значились поправки зданий, покупка машинъ, — чего вовсе не было.

Коммисіонеръ, поставившій муку въ таракановскій заводъ, вдругъ отказался поставлять ее. Муки было немного въ магазинахъ, закупать негдѣ, потому что время осеннее, да и въ заводской конторѣ нѣтъ денегъ. Рабочимъ муки не даютъ, не даютъ денегъ за работу, а даютъ билеты на рубку лѣса для дровъ изъ самыхъ дальнихъ дачъ, гдѣ и рубить нечего, а потомъ хватаютъ ихъ за то, что они лишній возъ нарубил. Народъ голодаетъ, волнуется, цѣлый день не отходитъ отъ главной конторы; кабаки пусты, много больныхъ...

Управляющій жилъ въ городѣ: онъ дождался

разрѣшенія изъ министерства о выдачѣ денегъ подѣ залогъ одной дачи и въ счетъ будущиѣ металловъ.

Заводское начальство безпokoится. Приказчикъ раздалъ рабочимъ свои деньги и сказалъ, что они должны винить управляющаго за его безалаберность. Рабочіе успокоились; но хлѣбъ на рынокъ былъ дорогъ.

Издѣржали рабочіе деньги—перестали работать.

Начальство молчитъ.—„Мы сами два мѣсяца по милости управляющаго не получали ни жалованья, ни провіанта“

Пріѣхалъ къ приказчику нарочный отъ повѣреннаго изъ города съ такимъ извѣстіемъ: „Карлъ Ивановичъ черезъ день пріѣдетъ сюда. Денегъ ему выдали тридцать тысячъ“.

— Тридцать тысячъ впередъ за четыре мѣсяца!—Да онъ съ ума сошелъ! Намъ нужно восемьдесятъ...—говорилъ приказчикъ и призвалъ къ себѣ на совѣтъ казначея главной конторы.

— Я удивляюсь, отчего владѣльцы наняли въ управляющіе такого дурака, что намъ и рабочимъ придется кору глотать; а ему все ни по чемъ, потому онъ нахалъ.

— Да еще какъ!.. Владѣльцы изнабазулились (избаловались): они думаютъ, что только одни инженеры честные люди... Посмотри-ко въ другихъ заводахъ, гдѣ управляющіе изъ крѣпостныхъ, тамъ вѣтъ рай-житье: всѣ сыты и довольны. Вотъ бы тебя въ управляющіе...

— Однако я подверну исправнику такое дѣло,—ты только не говори.

— О!

— Миѣ наплевать: я купецъ.

— Счастливецъ!—Однако надо что-нибудь дѣлать?

— Я хочу выйти.

— Полно пожалуйста приманидывать-то (представляться). Тебя никакой шайтанъ (чортъ) съ этого мѣста не стуритъ. Тебѣ заводоуправленіе сколько должно?

— Да тысячъ двадцать семь.

— А миѣ три тысячи сто. Я думаю продать муки.

— Гм! плутъ!.. По чемъ ты думаешь?

— По рублю.

— Возьми семь гривенъ, вѣдь мука-то ржаная, самъ песуди. На што я, и то хочу продать по семи гривенъ... Безбожникъ!

— Если вы по семи, я согласенъ по шести.

— Я по пятидесяти пяти, потому что я ниѣю въ виду не одну тысячу кулей.

— У меня сотни; а у васъ тымы сотенъ... Я не могу меньше шестидесяти.

— Ну, ладно, тамъ увидимъ. Я доложу нашему дармоѣду.

Черезъ день пріѣхалъ управляющій, явились къ нему заводскій исправникъ, приказчикъ и казначей, поздравили съ пріѣздомъ.

— Ну что, работаютъ?—спросилъ управляющій приказчика.

— Да... Только хлѣба нѣтъ, денегъ нѣтъ.

— Я привезу! привезу!! какъ вы смѣете миѣ говорить дерзости? Я зачѣмъ ѣздилъ?

— А позвольте васъ спросить, сколько вы привезли?—спросилъ храбро приказчикъ.

— Тридцать тысячъ!

— А нужно восемьдесятъ.

— Что?!

— Вы миѣте донесеніе.

— Очень нужно миѣ возиться со всякимъ хламомъ!.. Ну, а вы что скажете: смирно у васъ?—спросилъ управляющій исправника.

— Точно такъ-съ.

— Главный начальникъ недоволенъ вами.

И управляющій быстро ушелъ изъ залы: значить, съ вами холуями не хочу больше разговаривать.

— Дуракъ!—сказалъ приказчикъ.

— Тоже объ мелочахъ толкуетъ!—пробавилъ казначей.

— Попрекаетъ горнымъ членомъ, а я чѣмъ виноватъ?—говорилъ болѣзненно исправникъ.

Въ этотъ день управляющій вдругъ изволилъ приказать заложить сани въ одну лошадь и былъ очень взволнованъ. Когда ему доложили: лошадь готова-съ, онъ спросилъ лакея:

— Ты кто такой?

— Ключникъ.

— Кто ты такой?

Лакей молчитъ.

— Ты чей?

— Чего изволите спрашивать?

— Свиныя!—прошипѣлъ управляющій и вышелъ на улицу. Когда онъ сѣлъ въ сани, кучеръ не трогался!

— Пошелъ!

— А лакея нѣту-ка.

— Не нужно! не разговаривать!!.. А ты, пріятель, изъ какихъ?

— Чего?..

— Погодите, я уже доберусь до васъ!!

— Куда, ваше сіятельство, ѣхать?

— Вези меня на фабрику, вези по всему заводу...

Кучеръ удивился: управляющій рѣдко бывалъ на фабрикахъ и вдругъ прямо съ пріѣзда ѣдетъ туда. Онъ подумалъ: „вѣрно генералъ (ревизоръ заводовъ отъ правительства) журуетъ (спѣшитъ) ѣхать сюда; вѣрно неурядицы какіе-нибудь произошли“.

— Это что тамъ?—указалъ управляющій на порядокъ Козье Волоото.

— А это Козье Волоото. Тамъ живетъ все отпѣтый народъ, все кержаки.

— Кто?

— Кержаки.

— А что это такое за кержаки?

— Они по старой вѣрѣ все: двумя пальцами молятся.

— Ахъ, помню что-то, въ корпусѣ слыжалъ. Вези къ нимъ!

Подѣхали къ кузнечной фабрикѣ. Заперта.

— Это что значить?—спросилъ управляющій кучера.

— Да провіанту нѣту-ка въ магазинахъ—и не робятъ.

Поѣхали въ Козье Волоото.

— Чей домъ? — спросилъ управляющій кучера, указавъ на лѣвый угольный домъ, когда въѣхали на улицу.

— Не знаю.

Проѣхали мимо нѣсколькихъ домовъ. Изъ оконъ глядятъ мужичины и женщины; ребята, никогда не выдавшие управляющаго, бѣжали за саями. На улицу изъ заднихъ домовъ то и дѣло выходили мужичины и стали у переулка, выходящаго изъ Козьяго Болота къ мосту.

Управляющій велѣлъ кучеру остановиться, выѣзъ изъ саней, вошелъ во дворъ, потомъ полѣзъ по лѣсенкѣ на крыльцо — ступеньки трещать. Онъ никогда не бывалъ въ такихъ конурахъ. Въ сѣняхъ онъ заблудился. Вышла баба въ рубахѣ, отъ нея пахло потомъ; въ избѣ кричали ребята, ревѣлъ ребенокъ.

— Осноди Исуса? — вскрикнула баба, столкнувшись съ управляющимъ. — Кто тутъ?

— Я!

— Да кто ты? Свиныя! Прикасей!.. Ково тебѣ?

— Я управляющій!

Баба ушла въ избу и заперла дверь на крючокъ. У воротъ галдѣлъ народъ.

— Чья баба? — спросилъ управляющій, глядя на одного рабочаго.

Рабочіе молчатъ; имъ что-то сказать хочется, толкаютъ другъ друга, переминиваются съ ноги на ногу, то снимаютъ, то надѣваютъ фуражки.

— Кто вы такіе?

Рабочіе сняли фуражки, но промолчали: они съ удивленіемъ смотрѣли другъ на друга.

— На работы!

— Провѣянтъ выдай за два мѣсяца!

— Решетъ вели сдѣлать!

— Кто виновать? — спросилъ управляющій.

— Приказчикъ Переплетчиковъ.

Управляющій сѣлъ въ сани и уѣхалъ, а рабочіе повалили во дворъ той бабы, у которой былъ управляющій.

— Къ почтмейстеру! — сказалъ онъ кучеру. Въ почтовой конторѣ кучеру сказали, что почтмейстеръ ушелъ бѣлокомъ стрѣлять. Велѣно было явиться вечеромъ; а до этого времени всѣ въ заводѣ были въ волненіи: никто не понималъ, зачѣмъ управляющій ѣздитъ въ Козье Болото.

Явился вечеромъ почтмейстеръ. Это былъ старый человѣкъ, ужасный трусъ. Онъ никогда не бывалъ у управляющаго, потому что управляющій считалъ его ни за что.

— Кто здѣсь получаетъ періодическіе журналы?

Почтмейстеръ выучилъ глаза.

— Я спрашиваю: кто получаетъ, — одинъ или двое, кто слѣдитъ за литературой?

— Прикажете вѣдомостичку?

— Да вы сумасшедшій или не понимаете меня? Никакъ нѣтъ-съ.

— Читаете вы газеты?!

Вѣдомости?.. Никакъ нѣтъ-съ. Не люблю-съ.

— Я васъ прошу молчать, если васъ будутъ спрашивать о волѣ; всѣмъ говорите: никакой воли никому не будетъ, — понимаете?

Почтмейстеръ ушелъ, удивленный и сконфуженный. Пошелъ къ приказчику, рассказалъ, какъ его распустилъ управляющій; приказчикъ хохоталъ.

— Дуракъ ты, а не почтмейстеръ, право! Ты, братъ, большой бы доходъ могъ извлечь изъ того, что теперь всѣмъ занимаетъ.

— Што такое?

— Ну, ужъ не скажу. А у тебя есть ли овесъ да сѣно? Нѣтъ, такъ пошли почтальона.

Почтмейстеръ опять-таки остался въ недоумѣніи. По приходѣ домой онъ перебралъ губерскія и сенатскія вѣдомости, чего-то отыскивая; но такъ какъ онъ ихъ не читалъ и не зналъ, что ему нужно, то и потерялъ даромъ время.

Въ этотъ же день приказчикъ былъ позванъ къ управляющему.

— Вы слышали что-нибудь о волѣ?

— О какой-съ? — спросилъ съ удивленіемъ приказчикъ.

— Я отъ владѣльцевъ имѣю письмо: они нарочно по этому дѣлу въ Петербургъ изъ-за границы пріѣхали, зовутъ меня къ себѣ, просятъ какъ можно лучше соблюсти ихніе интересы. Пожалуйста вы побеспокойтесь... У васъ большіе безпорядки: всѣ жалуются на невыдачу провѣянта... Выдать! хоть какъ бы ни дорога была мука, — купить! Рабочихъ заставить силой работать. Слышите?

Ночью сгорѣлъ большой хлѣбный магазинъ; рабочіе работали на пожарѣ, но зато всѣ воспользовались хлѣбомъ и черезъ день поили на работы.

Однажды въ одномъ кабацѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ рабочихъ, калыкали они между выпивкой водки. Входитъ солдатъ.

— А сѣра амуніція! — сказалъ одинъ рабочій.

— Ты не замая моей амбиціи, кайло, отвѣтилъ солдатъ.

— Чего и говорить: много ли ты галокъ-то настрѣлялъ?

— Почтище вашего брата: на турка ходилъ.

— А видѣлъ ли ты, каконъ турокъ-то?

— Оначе, братцы, угостите водочкой.

— И такъ будетъ съ тобой.

— Не буйня! я царю служу; служба трудная. А ваше дѣло што?.. А еще волю хочутъ дать валакамъ.

— Какую волю?

— Царь вамъ волю дастъ.

— Што онъ сказалъ? — съ изумленіемъ обратился одинъ изъ рабочихъ къ другимъ собесѣдникамъ.

— Это онъ, вышь ты, на шарамыжку (на даровщинку) выпить захотѣлъ.

— Да вѣрите мнѣ или нѣтъ? Я восьмой годъ вѣрой и правдой царю служу. У меня у самого братья крѣпостные крестьяне; что жъ мнѣ баламутать-то васъ?

— Угостить ево надо!

— Ну-ко, скажи, какую такую волю хочетъ намъ царь дать?

Вошелъ другой солдатъ.

— Да вправду ли говорить онъ о волѣ? Вотъ другой солдатъ... Эй, другъ сердешной, тараканъ запешной, што ты скажешь о волѣ?

— Не слыжалъ што ли?

— Такъ это вѣрно?

— Про волю-то? Самъ царь, толкуютъ, крѣпостнымъ крестьянамъ дастъ...

Рабочіе слушали съ удивленіемъ, но не понимали, за что воля и въ чемъ состоитъ эта воля. Просили растолковать солдатъ, но они говорили, что въ городѣ объ этомъ разное толкуютъ. Такъ ничего и не дождались наши таракановцы; но чуяли они, что будетъ что-то доброе.

Первую ночь въ слободахъ спали только ребята; большіе судили и думали: что это за воля, посмотришь бы на нее, али ужъ нѣтъ ли указа такого?

— Какая же эта воля: али напишутъ билетъ и потурятъ насъ отсюда на другую землю што ли?

— Ужъ не хотятъ ли заводы уничтожить?

— Нѣтъ, вотъ такую бы волю: и землю бы намъ, и покосы подарили бы, и за работу бы ладно считали, да не обижали. Хоть робь, хоть нѣтъ.

— Нѣтъ, я смекаю не для того ли это солдаты толкуютъ, чтобы задрать насъ на драку съ ними? Имъ, вѣшь ты, скушно... Надо предупредить товарищей-то.

Черезъ недѣлю пришелъ на заводъ рабочій, бывшій въ городѣ. Онъ клялся, что въ городѣ даже объявлена прибиты на столбахъ, написано: скоро воля будетъ.

Опять заговорили, опять полѣзли въ головы предположенія различныя, то хорошія, то худыя; и эти предположенія совсѣмъ сбили съ толку рабочихъ. Они сдѣлались задумчивы, мало пѣли, руки опускались. Нѣкоторые рабочіе вовсе не шли на работы; но за ними не приходили десятники, и только по обыкновенію на нихъ насчитывали прогулы. Всѣхъ удивляло поведеніе начальства: оно было теперь смирное, а штейгера, родня нѣкоторыхъ рабочихъ, несмотря на запрещеніе приказчика говорить рабочимъ о волѣ, говорили имъ: — подождетъ, братцы, воля скоро будетъ, порядки у насъ иные пойдутъ.

## XVI.

Читатели уже знаютъ, что дѣти работали на рудникахъ, и хотя эти работы и считались по-заводски легкими, но для крестьянскаго мальчика онѣ были бы очень тяжелы, потому что крестьянскіе мальчики не испытываютъ того, что испытываютъ дѣти горнорабочихъ: работать на рудникахъ много значить; тасканіе тачекъ съ глиной и рудой въ шахтѣ, гдѣ темно, душно, сыро и приходится пробывать десять или восемь часовъ, — невыносимо и для взрослого. Мальчики съ двѣнадцати-лѣтняго возраста назывались малолѣтними и брались на работы тогда, когда не доставало подростковъ; за это они получали полтора пуда въ мѣсяцъ провіанту. Съ 15-ти лѣтняго возраста они назывались подростками, и ихъ брали на работы уже безъ отцовъ и обращались, какъ съ обыкновенными рабочими; за это они получали въ мѣсяцъ два пуда провіанту. Заводуправленію съ одной стороны было выгодно заставлять работать ребятъ, потому что они работаютъ старательнѣе взрослыхъ рабочихъ; но съ другой стороны было и убыточно, потому что, тѣмъ больше у

рабочихъ ребятъ мужского пола, тѣмъ больше выходитъ на нихъ муки.

При отцѣ Илья Игнатьичъ рѣдко работалъ на рудникахъ. По метрическому свидѣтельству онъ значился пятнадцати, по-заводски шестнадцати лѣтъ, такъ какъ ему наступалъ уже шестнадцатый годъ; его забыли въ прошломъ году записать въ подростки и назвали этимъ именемъ только нынѣ. Илья Игнатьичъ очень боялся, чтобы его не послали въ рудники: малолѣтки работаютъ на поверхности рудниковъ, но подростки непремѣнно въ шахтахъ, и этого избѣгнуть нельзя, если попадешь на рудникъ. Рабочіе на рудникахъ распределялись безалаберно; тамъ на болѣзнь не обращали вниманія, а исполнялись приказанія приказчика, чтобы всездъ былъ полный комплектъ рабочихъ. А мальчикъ, работая въ сыромъ мѣстѣ, слабосильный, не могъ при всемъ своемъ стараніи сработать столько, сколько могли сработать взрослые, окрѣпшіе рабочіе, и поэтому по метрическимъ книгамъ таракановскихъ церквей и вѣдомостямъ доктора значилось, что большинство умершихъ и больныхъ въ заводѣ состояло изъ ребятъ отъ 11 до 19 лѣтъ. Но ни на болѣзнь, ни на смертность ихъ заводскихъ начальствомъ не обращалось должнаго вниманія, потому вѣроятно, что семь тысячъ заводскихъ женщинъ исправно рожали каждый годъ по ребенку; но зато въ послѣднее время стали замѣчать, что изъ каждой тысячи ребятъ умираетъ если не половина, то по крайней мѣрѣ двѣ трети, не доживъ до совершеннолѣтія.

Ростя почти подлѣ присмотрѣвъ маленькихъ ребятъ, дѣти, еще очень маленкія, выражали свои желанія и досаду крикомъ, капризничали и привывали къ разнаго рода побоямъ и наказаніямъ. Колотушки и ругань съ годами виѣстъ съ физической силой развивались въ нихъ. Они жили въ кругу такихъ людей, которые довольно грубо обращались со всѣми, не умѣли изъясняться такъ, какъ изъясняются образованные люди; отъ этого и дѣти, подражая старшимъ, становясь съ каждымъ мѣсяцемъ, а можетъ быть и днемъ, воспримчивѣе, усвоивали то, что видѣли и слышали. Такъ и Илья Игнатьичъ въ настоящее время курилъ табакъ, пилъ водку, ругался, какъ большой, и старался во что бы то ни стало переспорить старшихъ. Дома онъ жилъ рѣдко, а больше игралъ въ бабки, дрался съ ребятами; не боялся матери, мало слушался и отца, однако побаивался его и не смѣлъ ничего сказать ему рѣзкаго, хотя бы тотъ задѣлъ его за живое. Кромѣ отца онъ никого такъ не любилъ въ жизни и только ему одному высказывалъ свое горе и только его совѣтовъ слушался. Это происходило оттого, что отецъ работалъ, добывалъ пропитаніе, былъ глава въ домѣ, гдѣ его всѣ боялись и уважали. Привязанность его къ отцу была такова, что онъ скучалъ, когда отецъ долго не приходилъ домой, а когда тотъ возвращался, онъ долго терся около него, выпрашивалъ что-нибудь и немедленно исполнялъ его приказанія. Сестру онъ не любилъ, потому что она была не парень и не любила играть съ нимъ въ бабки или бороться.

Послѣ смерти отца онъ жилъ съ сестрой, а потомъ у дяди виѣстъ съ братомъ, и когда его взяли

на фабрику на работы, онъ дома жилъ только по ночамъ, а въ праздники убѣгалъ къ сосѣдямъ или участвовалъ въ артельныхъ играхъ, заключавшихся въ томъ, что друзья, человѣкъ въ тридцать, играли отдѣльно отъ другихъ, и въ эту артель паренъ изъ чужой артели не принимался до поры до времени. Павелъ тоже бѣгалъ за ними, но когда оттуда стали его гнать, онъ присталъ къ ребятамъ однихъ съ ними лѣтъ.

Поработавъ на фабрикѣ мѣсяца четыре, Илья Игнатьичъ рѣдко ночевалъ дома; но тетка знала, что онъ терся у засыпщика Горюнова, который былъ пономинкомъ плавильщика на горнахъ. У него было два сына, Егоръ 17 лѣтъ и Иванъ 12, и дочь Аксинья 15 лѣтъ. Жена его умерла отъ горячки назадъ тому три года, и теперь хозяйствомъ Горюнова заправляла его сестра, Акулина Савинова. Илья попалъ въ это семейство очень просто: Егоръ работалъ около отца вмѣстѣ съ нимъ. Илья, куря табакъ изъ отцовской трубки, всегда угощалъ Горюновыхъ, которые съ своей стороны угощали и подростка Глумова. Въ праздники Глумовъ игралъ съ Егоромъ Горюновымъ, съ нимъ же забѣгалъ къ нему въ домъ и тамъ игралъ съ Аксиньей и сыновьями Горюнова въ карты, а ежели было поздно, то тамъ и ночевалъ, боясь проспать время работы, а потому вмѣстѣ съ Горюновыми отправлялся на работу.

Часто они играли въ карты, въ носки, а такъ какъ интересъ этой игры заключался въ томъ, чтобы проигравшему щелкать колодой картъ по носу, то безъ сценъ не обходилось: братъ брату щелкали носы безъ всякаго удовольствія, но когда Аксинья принималась щелкать по носу Илью Игнатьича, ему не нравилось; братья хохотали, хохотала Аксинья, онъ толкалъ ее ногами, краснѣлъ со стыда, мигалъ ей глазами, но она наслаждалась щелканіемъ Илькина носа, хохотала и выдавала братьямъ его подмигивая; за Глумова братья не заступались. Если же Глумову приводилось щелкать носъ Аксиньей, то она щипала его за руку, ругала проклятымъ, краснѣла, косила глаза; Глумовъ предлагалъ все свое стараніе, чтобы Аксиньѣ было больнѣе, но Аксинья убѣжала въ уголь или куда-нибудь, дулась на Илью и говорила: „я тебя тихонько, а ты, лѣшаекъ, изъ всей мочи“. Братья не говорили Аксиньѣ, что она не права, но если Илья Игнатьичъ силой хотѣлъ исполнить полное количество щелчковъ, то который-нибудь изъ братьевъ начиналъ барахтаться съ Глумовымъ.

Но, несмотря на эти размолвки, Илью Игнатьича приглашалъ даже самъ Дмитрій Гурьянычъ Горюновъ. Приглашалъ онъ потому къ себѣ Глумова, что у Глумова не было отца, а спать у Горюнова было гдѣ — мѣста довольно.

Время для Илья Игнатьича шло весело, — на фабрикѣ народу много, работа не тяжелая: онъ помогалъ рабочимъ подвозить къ горнамъ въ тачкахъ или руху, или флюсъ, т. е. песокъ и уголь, или просто песокъ или уголь, и поэтому назывался *таскальщикомъ*. Эта работа продолжалась не долго; остальное время онъ терся около рабочихъ, жѣпалъ имъ, острилъ и получалъ колотушки отъ мастеровъ;

е. м. рышетниковъ.

потомъ, если у его пріятеля была получка, пріятель приглашалъ его въ кабакъ, если же не было, то онъ отправлялся спать. А о праздникахъ и говорить нечего.

Передъ масленицей Илья пришелъ къ Горюновымъ въ обѣдъ, когда ему нечего было дѣлать на фабрикѣ. Онъ самъ не зналъ, зачѣмъ онъ идетъ туда, гдѣ теперь только Аксинья и ея тетка, а можетъ быть и никого нѣтъ. Ему хотѣлось поболтать и поиграть въ карты съ Аксиньей, а если тетка дома, онъ выдумалъ предлогъ попросить шила. Оказалось, что дома только одна Аксинья, какъ узналъ объ этомъ Глумовъ, заглянувъ въ окно. Аксинья его не видала, какъ онъ глядѣлъ. У Горюновыхъ была изба и горенка; Аксинья мыла въ горенкѣ. Илья крадучись подошелъ къ двери горенки и вскрикнулъ: „кукареку!“

Аксинья вскрикнула, выпрямилась, поправила рубаху, полы которой были заткнуты за поясъ; лицо ея отъ работы было красное, въ поту.

— Куда ты идешь, сиволопой! — крикнула Аксинья.

Илья Игнатьичъ улыбался и толкнулъ ногой шайку, изъ которой Аксинья бросила въ Глумова мочальную вѣхотку; вѣхотка попала ему сперва въ лицо, потомъ упала на полъ. Вмигъ Илья Игнатьичъ подскочилъ къ Аксиньѣ и сталъ ее щекотать. Та завизжала, захохотала, забила и укусила плечо Глумова.

— Што? каково?.. — хохотала Аксинья, когда Глумовъ схватился за плечо.

— Свиныя!

— Отъ свиньи слышу. Зачѣмъ пришелъ? Пошелъ, дуракъ... — и Аксинья стала толкать его грязными руками изъ избы; но тотъ упирался.

— Тетка придетъ, задастъ тебѣ! Вонъ, вонъ! — и она вытолкала его изъ избы вѣнникомъ.

Илья Игнатьичъ долго еще думалъ у окошекъ, пока его не прогнала возвращавшаяся домой тетка Аксинья.

## XVII.

Послѣ масленицы Илью Игнатьича цѣлую недѣлю не звали на фабрику: тамъ нечего было дѣлать подросткамъ. Мастера поговаривали, что скоро ребята пошлютъ на рудники. Жить у дяди было скучно, вотъ онъ и терся у Горюновыхъ. Вдругъ приходитъ утромъ десятникъ Филатовъ и говоритъ ребятамъ:

— Одѣвайтесь, живо! на рудники!

Ребята поблѣднѣли; ослушаться нельзя.

— А кто тебя послалъ? — спросилъ Глумовъ.

— Указъ отъ приказчика вышелъ послать пятьдесятъ подростковъ да двадцать малолѣтковыхъ.

— Такъ ты и отписти: не пойдемъ.

— Я тебѣ дамъ „не пойдемъ“! Ты знаешь — я тебя такъ вздеру, што мое почтеніе!

Десятникъ имѣлъ власть наказывать ребятъ розгами; поэтому надо было повиноваться. Ребята одѣлись, лѣнливо пошли къ вѣсамъ, а Филатовъ пошелъ за другими. У вѣсовъ, у кузницы, боролись ребята тридцать. Всѣ они худенькіе, блѣдные; на нихъ изорванные отцовскіе полшубки или халатишки; у не-

многихъ есть на рукахъ варежки, а у остальныхъ руки голыя.

— Господа, буде въ шахты будутъ назначать, не пойдемъ, закономъ запрещено, — говорилъ восемнадцатилѣтній царемъ, учившійся въ городскомъ учебномъ училищѣ и жившій у повѣреннаго на посылкахъ, но теперь посланный въ рудники за кражу ложекъ у повѣреннаго. Ребятами за слово *господа* онъ былъ прозванъ пуговицей, что ему очень не нравилось.

— А ты, пуговица, отъ кого это узналъ?

— Знаю. Строго запрещено. Мы на землѣ должны работать, а не въ землѣ.

— Ладно! пропущу тебѣ землю.

Поѣхали. Дорогу описывать нечего. Не мѣшаетъ только сказать, что въ дорогѣ было очень холодно; ребята то молчали, то смѣялись другъ надъ другомъ, то боролись. Вышли въ шахтахъ немного, они то и дѣло пугали небывавшихъ тѣмъ, что тамъ нужно ползати на колѣняхъ съ тачкой, да того и гляди, что задавить.

Къ руднику пріѣхали вечеромъ; солнышка не было, и такъ какъ здѣсь большое поле, то вѣтеръ съ правой стороны дулъ сильный, холодный, гоня собою снѣгъ на насыпи и вертя его такъ ловко, что ребята говорили: „глядите, какъ чортъ-то вертится!“ Рабочіе и ребята медленно катили тачки; а вѣтеръ то и дѣло заплеталъ ребятамъ длинные халатишки или у рабочихъ распаивалъ ихъ очень широко. Въ трехъ мѣстахъ у насыпей разложены огни, около которыхъ грѣются запачканные въ глинѣ ребята, а большіе покуриваютъ изъ трубокъ малорку и разговариваютъ о сегодняшнемъ рабочемъ днѣ.

Ребята вошли въ избу. Шесть человѣкъ рабочихъ сидятъ на полатахъ, пять подростковъ играютъ въ карты, принадлежащія сторожу избы. Сторожъ получаетъ карты отъ ребятъ. Игравшіе ребята много изъ пріѣхавшихъ были знакомы.

Отогрѣлись ребята немного въ избѣ, ѣсть хочется, а нечего, потому что немногіе взяли изъ домовъ хлѣба, да и тотъ дорогой товарищи съѣли. Въ избу стало появляться больше и больше рабочихъ и ребятъ, которые, входя, крахтели или что-нибудь говорили въ родѣ: „Ну-жъ погоду Богъ далъ!“ Наотала пора ужина; жена сторожа Прасковья, занимавшаяся печеньемъ хлѣба и варкой щей на рабочихъ, засуетилась. Привнесла она изъ сѣней пять ковригъ хлѣба. Все торопили. Вытащила она изъ печи чугунокъ щей, двое рабочихъ налили изъ него въ большую деревянную чашку, поставили ее на нары противъ оконъ, притащили со двора скамейку, и человѣкъ двадцать рабочихъ усѣлось на нее. Хлѣбать было неудобно, потому что приходилось вставать, а ребята то и дѣло толкали котораго-нибудь рабочаго. На другихъ нарахъ тоже ужинали. Въ избѣ говоръ, снѣгъ, визгъ.

Послѣ ужина рабочіе и ребята, работавшіе днемъ, легли спать, а пріѣхавшихъ нарядчикъ распредѣлялъ на работы въ шахты. Ночью на поверхности руду не отвозили, потому что начальство боялось, чтобы рабочіе не отвозили ее въ какое-нибудь мѣсто, неизвѣстное для него, а потомъ домой. Но такое она-

сеніе было напрасно: рабочій не много бы выплавилъ въ избѣнной печи. Всѣ пріѣхавшіе подростки и малолѣтки попали въ шахты. Глумовъ и еще трое были спущены въ одну шахту. Читатели уже знакомы съ рудничными работами. Поэтому я отъ имени Ильи Игнатьича Глумова скажу, что ему показалась ужасно невыносимо-тяжелой эта работа: онъ точно ослѣпъ, оглохъ, ползаетъ на колѣняхъ, толкая грудью ручку отъ тачки, голова то и дѣло стучается въ землю, ноги и все туловище до груди промокло, потому что дно шахты неровное, грязное, съ ямами, а досокъ, поставленныхъ на днѣ, въ темнотѣ не сыщешь. Не помнить онъ, какъ упалъ куда-то, завязъ; кажется, заснулъ; кажется, такъ дремалъ... „Што жъ это такое? Долго ли еще я прораблю?“... Пошелъ. Наткнулся на кого-то.

— Кто? — хриплымъ голосомъ спросилъ кто-то.

— Я, — сказалъ Глумовъ, но голосъ точно отнялся. Натужился Илья Игнатьичъ, крикнулъ.. немного слышнѣе откликнулось гдѣ-то: онъ стоялъ противъ коридора, въ которомъ былъ ходъ къ верху.

Проработалъ онъ четыре дня и хотя сналъ по ночамъ въ избѣ, но въ послѣдній день до того изнемогъ, что не могъ катить тачки. Проситься домой невозможно: нужно проработать недѣлю, и онъ надумалъ бѣжать, но не осмыслилъ — куда. Когда ночью рабочіе спали крѣпко, онъ взялъ мѣшокъ съ хлѣбомъ и солью, принадлежащій какому-то рабочему, и, вытащивъ изъ-подъ головы рабочаго полушубокъ, надѣлъ этотъ полушубокъ на себя и съ замкнутіемъ сердца вышелъ на дворъ. Куда идти? Темно, звѣзды свѣтятъ тускло; вѣтеръ рѣжетъ лицо. Горько заплакалъ Илья Игнатьичъ и, плача, пошелъ въ сторону, противоположную отъ рѣки. Страшно ему сдѣлалось, хотѣлось воротиться; но вдругъ на него напала злость: онъ пошелъ скорѣе, сжималъ кулаки, проклиналъ громко и снѣгъ, и полушубокъ. Но не все же злиться, а надо убираться поскорѣе куда-нибудь: вотъ рабочіе тоже по ночамъ убѣгаютъ и не разыскиваются. Ноги то вязнутъ въ снѣгу, то онъ спотыкается о что-то и падаетъ. Наконецъ — дорога: онъ повернулъ налѣво, стало легче. Ноги давно устали, наконецъ заболѣли кости, потомъ не можеть ступать на подошвы. Съѣлъ онъ и сталъ ѣсть, думая, что онъ не хорошо сдѣлалъ, что убѣжалъ. Что скажутъ товарищи, которые наравнѣ съ нимъ работаютъ и не бѣгаютъ? Задумался онъ надъ этимъ, и стыдно ему сдѣлалось. Драть стануть, больно выстегаютъ; товарищи сердиться будутъ. Всталъ онъ, хотѣлъ идти назадъ, но ноги перестали служить, свалился онъ на снѣгъ и не можеть встать, а уже свѣтать начинается.

Вдругъ онъ отъ боли просыпается. Передъ нимъ на двухъ лошадакъ верхомъ сидятъ лѣсные объѣзжники.

— Вставай, околѣешь! — сказалъ одинъ изъ нихъ и слѣзъ съ лошади.

Илья всталъ.

— Чей ты?

— Я съ рудника.

— А! Бѣглець!!

- Пусти его; плевать!
- Инъ ты! три цѣлковыхъ за него выдадутъ.
- Дядюшка, отпусти,—заякалъ Глумовъ.
- Не разговаривай!
- Я самъ уйду.

Лѣсные объѣздки, сказавъ: „плевать, нашъ вѣдь онъ“, уѣхали.

Еще стыдливѣ сдѣлалось Ильѣ Игнатьичу; на рудникъ онъ идти боятся, а дѣлать нечего.

Пришелъ Глумовъ на рудникъ. Рабочіе обругали его дуракомъ за то, что онъ пришелъ назадъ; ребята прозвали его воромъ и бѣглецомъ. Пошелъ онъ въ избушку къ нарядчику. Нарядчикъ еще не зналъ объ его бѣгствѣ.

— Прости меня, Максимъ Пантелентъ,—сказалъ Глумовъ, поклонившись ему въ ноги.

Што, укралъ?

— Я, Максимъ Пантелентъ, больно нездоровъ; лѣшій меня взялъ: побѣгъ ночью...

— Ахъ ты, мерзавецъ, да я тебя вздую!

— Прости! не буду...

— Ну, ступай; гдѣ робишь?

— Въ шахтѣ.

— Ступай къ конной машинѣ! Позови Сеньку Безрылова.

Рабочіе удивились молодосердію нарядчика, который любилъ, чтобы тотчасъ послѣ проступка у него слезно просили прощенія. Только благодаря этому, Глумовъ отдѣлался такъ дешево.

### XVIII.

Возвращаясь къ исторіи таракановскаго завода и къ печальной судьбѣ Прасковьи Игнатьевны, я напоминая читателю, что онъ разстался съ моею бѣдной и темной героиней въ холодномъ и всѣмъ покинутомъ домѣ Глумовыхъ, у мертвѣго тѣла ея матери и у могилы ея мужа. „Все прахомъ пошло!“ думала Прасковья Игнатьевна, заливаясь слезами. Но чѣмъ больше она думала о своемъ прошломъ, тѣмъ неотвязчивѣе представлялся ей пьяный, избитый или лежащій въ гробу съ страшно измѣнившимся лицомъ мужъ. Сердце ея обливалось кровью: она старалась ни о чемъ не думать, но Курносовъ какъ тутъ—какъ только она закроетъ глаза; откроетъ глаза, ей какъ будто слышатся слова пьянаго мужа: „не тужи, Наруша! общали.“—„Черную немочь!“ скажетъ съ сердцемъ и шепотомъ Прасковья Игнатьевна и опять задумается о прошломъ. „И что это за жизнь была! и дернуло же меня выйти за приказнаго. Правда, хорошо было поначасъ, больно хорошо“... и опять обливалось сердце кровью, и она думала о настоящемъ. „Что мнѣ тутъ дѣлать, гдѣ голову преклонить?“ размышляла Прасковья Игнатьевна и стала серьезно раздумывать о переселеніи въ городъ.

Разсказы о городской жизни подбивали ее еще больше переселиться изъ Таракановскаго завода. „Не даромъ же Танька Крыжанова ушла въ городъ еще до моей свадьбы и не возвращается домой, а вонъ еще слѣпой матери къ Пасхѣ три цѣлковыхъ послала; не даромъ вонъ и Кудряшева двоихъ дѣтокъ къ себѣ выписала“. И Прасковья Игнатьевна

стала засыпать и просыпаться съ одной мыслью—о поѣздкѣ въ городъ. „Тамъ меня никто не будетъ грызть“.

На другой день она спросила дядю:

— Ты скоро въ городъ-то поѣдешь?

— Да къ Егорьеву дню надо бы. А што?

— Ты меня свезешь?

Тимофей Петровичъ захохоталъ.

— Чему ты смѣешься? Эка невидаль какая! Не держать же намъ ее,—сказала тетка, видимо тяготившаяся Прасковьей Игнатьевной, которая въ послѣднее время жила у родныхъ.

Вечеромъ Дарья Викентьевна стала отговаривать Прасковью Игнатьевну, чтобы она не ѣхала, что въ городѣ она наплачется и будетъ каяться, что ушла изъ завода, но Прасковья Игнатьевна и слушать не хотѣла.

Стала она собираться въ дорогу. Братъ повидимому скучалъ, Дарья Викентьевна пуще прежняго злилась, но Прасковья Игнатьевна стояла на своемъ, уже четыре раза ходила въ главную контору за полученіемъ билета на жительство внѣ завода, даже продала одежку Петра Савича за два рубля и эти деньги дала столоначальнику. Посоветовали сходить къ приказчику. Пришла, пожаловалась на главную контору.

— Я, душа моя, главной конторой не завѣдываю и въ ея дѣла не имѣю права вмѣшиваться... А тебѣ что за фантазія пришла идти въ городъ?

— Хочу.

Постоявши немного и посмотрѣвши на Прасковью Игнатьевну нѣсколько минутъ, приказчикъ вдругъ сказалъ:

— Иди за мной.

Ни жива, ни мертва пошла молодая женщина за приказникомъ. Приказчикъ вошелъ въ гостиную и сѣлъ въ кресло.

Прасковья Игнатьевна остановилась въ дверяхъ.

— Ты женщина красивая. Хочешь, я тебя къ себѣ пристрою?

— Покорно благодарю, Афиногенъ Степанычъ.

— Нѣтъ, однако! Ты будешь жить барыней, дѣла тебѣ будетъ немного. Чай Курносовъ-то пиши тебѣ оставилъ?

— Нѣтъ, ужъ вы увольте меня... въ городъ хожу.

— Какъ знаешь. А знаешь, что я могу тебя и не отпустить и не отпущу, коли захочу, единственно изъ-за твоего каприза. Вечеромъ я пошла за тобой лошадей съ кучеромъ.

— Афиногенъ Степанычъ...

— И, тебя же жалѣючи, говорю это, потому что въ городѣ вашего брата, какъ безпріютныхъ собакъ... А я человѣкъ вдовый. Знаю я, что ты женщина честная; знаю и то, что ты не солоно хлебала замужемъ. А я могу тебя озолотить.

Прасковья Игнатьевна плакала.

Вдругъ лакей приносилъ приказчику бумагу. Прочитавши бумагу, приказчикъ поблѣднѣлъ, но немного оправился.

Такъ вечеромъ, Прасковья Игнатьевна, а за тобой пришло. Отговариваться нечего.

Прасковья Игнатьевна бросила въ потъ отъ такого предложенія. Она всю дорогу плакала, такъ что всѣ, кто попадался ей на встрѣту, съ удивленіемъ спрашивали ее, что съ ней, но она ничего не могла отвѣтить и ушла къ Корчагину.

— Василий Васильичъ! спаси ты меня! — говорила она, поклонившись ему въ ноги, и рассказала все, что говорилъ ей приказчикъ.

— Не нужно было тебѣ къ приказчику ходить. Уже онъ извѣстенъ этимъ... Ты бы ко мнѣ раньше пришла, я бы устроилъ это дѣло.

Прасковья Игнатьевна осталась у Корчагина.

Между тѣмъ вдругъ по заводу пронеслась вѣсть о пріѣздѣ ревизора, — вѣсть, взволновавшая все таракановское населеніе. Казаки или полицейскіе служители то и дѣло переходили изъ дома въ домъ и звали свободныхъ отъ работъ рабочихъ въ главную конторѣ и грозили тѣмъ, что если кто не придетъ, того завтра же пошлютъ на работы за полтора ста верстъ. Рабочіе идутъ нехотя, ругаются. Они не знаютъ, зачѣмъ ихъ зовутъ въ конторѣ, — да и подобныя случаи случались въ заводѣ нерѣдко.

Передъ конторой — длинный одноэтажный деревянный домъ въ девять оконъ на улицу — около воротъ, стояли, ходили и сидѣли на завалинкѣ конторскаго дома человѣкъ сто рабочихъ разныхъ лѣтъ въ халатахъ изъ зеленой китайки и армякахъ. Тутъ были старики, рассказывающіе окружающимъ ихъ молодымъ рабочимъ про прежнихъ исправниковъ, смотрителей и управляющихъ; тутъ были люди, серьезно страдающіе чахоткой, геморреемъ и т. п. болѣзнями, — люди, желающіе опохмелиться, люди бойкіе, постоянно спорящіе, говорящіе, хохочущіе, которые цѣлый день могутъ проболтать безъ устали языкомъ. Къ нимъ приходили новыя кучи рабочихъ.

— Опоздали, — говорили имъ молодые рабочіе.

— Нѣтъ, не опоздали. А вы што тутъ, ково караулите?

— Тебя, штобы ты къ Окулинѣ въ гости не ходилъ.

Въ толпѣ поднялся хохотъ.

Толки были разные; чѣмъ больше прибывало народу, тѣмъ больше говоръ усиливался, такъ что ничего нельзя было разобрать, кромѣ заливающегося хохота въ разныхъ мѣстахъ да восклицаній?

— Илюха! Будь ты проклята, хвастушка, и т. п.

Казалось, народъ былъ веселъ; но это только казалось. Рабочему человѣку если что кажется, то онъ крестится. Нельзя было тремъстамъ рабочимъ стоять молча, къ тому же и люди все были знакомые.

— Што жъ, братцы, долго-ль намъ ждать-то? Я съ самаго утра пришелъ.

— Ну, и до вечера простомъ.

— Это вѣрно. Я ономедни къ исправнику пришелъ еще черти въ кулачки не дрались, а домой воротился ночью.

Въ толпѣ хохотъ.

— Братцы, глядите вверхъ, — крикнулъ кто-то громко.

Всѣ стали смотрѣть вверхъ. Полетѣли фуражки съ головъ, снова хохотъ, многіе стали бороться.

А между тѣмъ въ конторѣ происходило что-то необыкновенное: тамъ служащіе перебѣгали изъ комнаты въ комнату, сторожа и бабы мыли стекла въ окнахъ. Это заняло рабочихъ, и они стали остереть надъ бабами.

Пріѣхалъ къ конторѣ исправникъ. Ему никто не снялъ шапки. Онъ кричалъ, чтобы ему дали проѣздъ, но рабочіе отъ нечего дѣлать рады были потѣшаться.

— Ну-ко проѣдь. Посмотримъ, какъ ты по намъ поѣдешь.

Исправникъ самъ ударилъ лошадь, которая рванулась впередъ и смяла одного рабочаго.

— Уже смѣяться, такъ было бы надъ кѣмъ, а это што! — сказалъ одинъ мастеръ.

— Хотя бы не ты говорилъ, да немъ слушани. Вотъ надъ тобой такъ стоитъ смѣяться. Вѣдь ты мастеръ, ну, а мастеръ — значитъ первый плутъ, совсѣтныи мошенникъ.

— А вы первые воры: кто желѣзо воруетъ?..

— Ты первой.

Народъ не стоялъ въ одномъ мѣстѣ, а бродилъ по площади, человѣкъ по десяти стояли по угламъ.

— Ыдетъ? — кричали имъ со всѣхъ сторонъ.

— Штаны надѣваетъ, — кричали стоящіе на улицахъ.

Къ нимъ то и дѣло подходили женщины. Онѣ хотѣли дознаться сами, зачѣмъ мужиковъ къ конторѣ созвали.

— Куда ты лѣзешь, востроносая!

— Смотри, запряжеть онъ тебя воду таскать.

Женщины ругались, мужчины ихъ гнали, и онѣ стали отдѣльно отъ мужчинъ и разсуждали по-своему:

— Уже чего добраго, бабоньки, не волю ли хотять объявлять?

— Я то же смекаю... Сегодня во снѣ видѣла чистое поле да рѣку большую.

— Болтай, пустомеля. Совсѣмъ не волю, а поди опять наряды какіе-нибудь..

— Ну, ужъ дураки же будутъ мужики, если даромъ робить будутъ.

Ребята тоже стояли отдѣльно. Они то острили надъ бабами, то надъ мужиками, то боролись...

А дождь мочить и мочить незамѣтно.

Наконецъ въ первомъ часу показался изъ-за угла управляющій, ѣдущій въ пролеткѣ, запряженной въ двѣ сивыхъ лошади. Народъ сторонился, кое-кто изъ мужчинъ снялъ фуражки, бабы поклонились, а управляющій сдѣлалъ только разъ подъ козырекъ.

Управляющій вошелъ въ контору, а народъ столпился въ одну массу, только женщины стояли позади. Ребята забрались впередъ.

Вышли на крыльцо управляющій, приказчикъ и исправникъ. Исправникъ крикнулъ рабочимъ:

— Шапки долой!

Рабочіе лѣнливо сняли фуражки и шапки, женщины перекрестились.

— Ребята, къ намъ ѣдетъ ревизоръ. Слышите!

Рабочіе поглядѣли другъ на друга; десять человѣкъ надѣли фуражки, за ними стали надѣвать и



другіе. Женщины стояли на носкахъ съ разину-  
тыми ртами и робко-боязливо смотрѣли изъ-за го-  
ловъ мужчинъ на начальство.

— Вамъ сказано: шапки долой! — крикнулъ ис-  
правникъ.

Въ толпѣ прошелъ неясный гулъ, начался ше-  
петь, толкотня подъ бока, молодые прятали свои  
головы за спины старыхъ рабочихъ.

— Я васъ всѣхъ перепорю! Сказано: шапки долой!

— Самъ скидывай со своей шапки чучелу-то, —  
сказалъ кто-то. Народъ заволновался, заговорилъ.

— Смирно!!

Народъ затихъ, а одинъ старикъ проговорилъ:

— Коли ты насъ, ваше благородіе, за дѣломъ  
звалъ, дѣло и говори. Мы — народъ рабочій, намъ  
времени дорого. Мы, какъ бы то ни было, люди..

— Молчать!

— Нечего страшать-то.

Народъ захохоталъ; женщины, какъ видно, стру-  
сили и далеко отошли отъ мужчинъ.

— Слушайте, — началъ управляющій, — чтобы ни  
одна шельма не смѣла жаловаться ревизору, чтобы  
никто и пикнуть не смѣлъ. Когда онъ придетъ,  
вы соберетесь на площади и кричите: „ура!“

— Какой бойкой! да намъ и не выговорить та-  
кое слово, — проговорилъ кто-то негромко; прочіе  
толкали другъ друга въ бока, шептали что-то,  
хохотали.

— Понимаете, что я вамъ сказалъ?

— Не глухіе вѣдь, — сказалъ одинъ. Заговорили  
всѣ.

— Эй, кто грамотные! въ контору! — крикнулъ  
исправникъ, и начальство ушло въ контору.

Говоръ начался неописанный; на что женщины —  
я тѣ голосили больше всѣхъ.

— Эй, вы, еще мужики называетесь! Ну, гдѣ у  
васъ разсудокъ-то, у дураковъ?..

— Да я бы ему за его слова просто въ лицо на-  
плевала. Ишь, говоритъ: „я васъ всѣхъ перепорю“;  
командеръ какой!

— Ну, ну, не ваше дѣло, широкогортыя!

— Стыдно, вѣрно. Погоди: ужю я буду тебя стра-  
шить.

— Вотъ, братцы, диво: у насъ ревизоръ-то былъ  
годовъ девять! — говорили старикъ.

— Да онъ вретъ: за какимъ дьяволомъ ревизору  
къ намъ вѣять?

— Нѣтъ, тутъ должно быть штука: смѣнять  
вѣрно онъ управляющаго хочетъ.

— Хорошее бы дѣло сдѣлать.

— Эй, бабы! идите писать въ контору.

— Братцы, айда въ кабакъ!

— Подъ ты къ лѣшнимъ! Нѣтъ, вотъ онъ меня  
совсѣмъ смутилъ: зачѣмъ ревизоръ сюда вѣдетъ?

— Вѣръ ты имъ..

— Смотри, ребята, сколько грамотѣевъ — то  
идетъ — четверо!

Всѣ захохотали. Изъ трехъ сотъ человѣкъ рабо-  
чихъ писать не умѣли сто человѣкъ. Двое рабочихъ  
долго лопали одну молодую женщину и притащили  
ее къ исправнику.

— Вотъ тебѣ грамота! — сказали они.

— Што жъ намъ, уходить? — спросили рабочіе  
исправника.

— Завтра извольте на Господскую улицу шлаку  
навозить, — сказалъ исправникъ.

— Рубь дашь за сутки?

— Бороды остричь, волосы подравнять, явиться,  
когда придетъ ревизоръ, не въ лохмотьяхъ...

— Толкуй еще: бабамъ обручи надѣвать, мужи-  
камъ кургузи съ хвостиками (фраки) надѣть.  
Умень, братъ, ты, какъ попъ Семенъ, а тотъ, кто  
дѣлалъ тебя исправникомъ, еще вѣрно умѣе те-  
бя.. — говорили въ толпѣ.

Рабочіе стали расходиться.

Между тѣмъ четверо грамотныхъ стояли въ при-  
хожей у дверей и ждали, что-то будетъ. Они смо-  
трѣли въ комнаты, гдѣ писцы, изогнувшись на раз-  
ныя манеры, строчили по бумагѣ перьями. Ихъ это  
смѣшило, и они о каждомъ судили по-своему впло-  
голоса. Ихъ смѣшило то, какъ управляющій, важно  
сидя въ предсѣдательскомъ креслѣ, распекалъ при-  
казчика, потомъ стодоначальника, который вдругъ  
поклонился ему въ ноги. Въ конторѣ писцы перого-  
варивались тихо, только и слышенъ былъ неслышимый  
голосъ управляющаго. Сторожа беззащитно под-  
ходили къ писцамъ, небрежно обращались съ ними; но  
писцы, какъ видно, хотѣли показать нашимъ грамо-  
тѣямъ, что они — люди не послѣдніе: они, заложивъ  
перья за уши, шаркая ногами, проходили мимо нихъ,  
курили папиросы въ прихожей, пуская дымъ въ фор-  
точку.

— Што, боязно курить-то? — сказалъ одинъ ра-  
бочій.

Писцы молчали.

— Лавко вѣрно онъ васъ покостылялъ... А вы  
скажите, зачѣмъ онъ насъ звалъ сюда?

— Адресъ подписывать.

— Какой?

— Не знаю.

Управляющій позвалъ рабочихъ въ присутствіе.

— Только? — спросилъ онъ сердито.

— Только, ваше благородіе; остальные еще сила-  
ды учать.

— Подписывай вотъ тутъ свою фамилію.

Рабочій не шевелится.

— Что же ты?

— Да какъ же можно подписывать, коли не  
знаешь суть. Можетъ, мы на свою голову подписыва-  
емъ.

Управляющій объяснилъ, что тутъ заключается  
благодарность ревизору за... и прочее.

— Не будете вы подписывать.

— Вотъ вамъ десять рублей, только подпишите  
и уберите къ чорту.

— А што же, подпишемъ? Десять цѣлковыхъ  
денегъ, ребята, — говорили двое шопотомъ.

— Не надо намъ и десяти рублей, — сказалъ  
третій и сталъ стыдить остальныхъ.

Управляющій приказалъ приказнику назначить  
рабочихъ сейчасъ же въ тяжелыя работы; рабочіе  
помялись и подписали бумагу, содержаніе которой  
имъ не дали прочитать.

Весело рабочіе погуляли этотъ день: всѣ завод-

ские кабаки были полны. Рабочие говорили, что день у них по милости начальства пропал, и они рассудили закончить его пьянством. Хозяева кабаков говорили:

— Хорошо бы было, если бы эти сходки у насъ чаще бывали.

Хозяева этихъ кабаковъ были преимущественно отставные мастера, которыхъ рабочие не любили прежде за самосудство, а теперь помирились съ ними ради кабака.

— Што жъ, братцы, теперь дѣлать: бабы толкуютъ, ревизоръ намъ чистую волю хочетъ привезти.

— Ахъ ты, большая голова! Хорошъ рабочій, безмозглой бабы слушается.

— Нѣтъ, это вѣрно: даромъ ревизору ѣхать сюда—все равно што время терять.

— Ты бы лучше говорилъ: надо ему обсказать все, какъ слѣдуетъ; какіе теперь у насъ порядки—кто палку взялъ, тотъ и капралъ!

— Надо про все сказать.

— А до той поры робить не надо!

— Ты вотъ, какъ пьянъ, такъ боекъ, а косишься дѣло трезвому, такъ въ роту каша застынетъ. Дуракъ!

— И ты хорошъ, штейгеру служишь.

— Кто служить штейгеру?.. Гдѣ этотъ подлецъ?—закричали человѣкъ пять.

— Вотъ онъ!

Дѣло кончилось дракой. И не въ одномъ кабацкѣ была драка. Мужчины далеко за полночь хороводились, а женщины сустились, сами не зная отъ чего. Не одна изъ нихъ перерывала въ сундукахъ свои вещи, пересмотрѣла подвѣчное платье, вдѣла сережки въ уши, сбѣгала къ сосѣдкамъ покалякать о томъ, что бы приличнѣе было надѣть, когда пріѣдетъ ревизоръ, и спорили между собой: сѣдой онъ или нѣтъ, высокій или низкій, толстый или тонкій, злой или добрый...

Многіе изъ рабочихъ сочиняли прошенія ревизору на управляющаго и приказчика, читали, переписывали, но выходило и не ладно, и не складно. Это женщинъ очень злило.

— Вы только на словахъ бойки!.. Вотъ и видно, что у васъ нѣту ни на грошъ ума-разума!—кричали онѣ:—а еще хорохоритесь.

Прошла недѣля. Начальство успокоилось. Оно ежедневно получало рапорты отъ повѣреннаго, что ревизоръ еще не тронулся; но рабочие совсѣмъ измучились. Многіе изъ нихъ даже гривенныя свѣчи ставили, чтобы ревизоръ пріѣхалъ поскорѣе.

Пріѣздъ ревизора въ заводъ серьезно занялъ всѣхъ таракановцевъ. Дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не видалъ нынѣшняго ревизора. И потому каждый, ожидая его, чувствовалъ какой-то страхъ. Почти каждый думалъ: „хорошо бы рассказать ему о худомъ житышкѣ, вѣдь онъ большой человѣкъ и все можетъ сдѣлать. Не даромъ же его такъ боятся“. У каждого были знакомые и родные, живущіе въ другихъ заводахъ, и они рассказывали, что ревизоръ не кричитъ на рабочихъ, а начальниковъ распекаетъ бойко. Надеждъ у каждого было много, каждый разговаривалъ только о немъ, и всякій изъ тараканов-

скихъ жителей, не видѣвшій ревизора, уже хвалилъ его; женщины не давали покою мужчинамъ.

— Если вы, олухи царя небеснаго, будете смотрѣть на него да хлопать ушами, мы вамъ не жены.

— А вы прытки больно: сами и суньтесъ къ нему!

Жены совсѣмъ сбили съ толку мужиковъ. Мужчины сдѣлались задумчивы, работа валилась изъ рукъ, дѣлалась нехотя; прекратились пѣсни, пьянство; въ домахъ воцарился разладъ: мужья сердились на женъ за всякую всячину, жены корили мужей безтолковостью, ревновали... Одни только ребята не обращали вниманія на пріѣздъ ревизора, а ждали, что вотъ и они узнаютъ, что такое ревизоръ, о которомъ они, какъ и женщины, нѣли сказочное понятіе.

Наконецъ пріѣхалъ и ревизоръ. Первая объ этомъ узнала дѣвочка. Она разыскивала ворову и мимоходомъ увидела около господскаго дома солдата. Хотя солдаты были и не рѣдкость въ заводѣ,—еще недавно таракановцы кормили двѣ роты,—но у господскаго дома раньше солдатъ не стояло, и потому дѣвочка подошла къ солдату довольно близко. Она полубояньствомъ сказала.

— Не подходи!—крикнулъ на нее солдатъ.

Дѣвочка вздрогнула, но не пошла прочь. Солдату хотѣлось развлечься.

— Убью!—крикнулъ.

— Оо-ой! такъ вѣдь и испугалась!

— Тебѣ говорить, уйди! По тротуарамъ не вѣлжно ходить... Самъ здѣсь.

— Ой, да што это!..

— Пошла! ты думаешь, я калякать съ тобою стану! Ревизоръ здѣсь!—и онъ такъ толкнулъ дѣвочку, что она два раза перевернулась около тротуара.

У кабака стояли двадцать семь рабочихъ. Въ самомъ кабацкѣ тѣсно; тамъ пѣсни и пляски.

— Семенъ, дай на косушку.

— Нѣту, братецъ, у самова. Голова во какъ болитъ! Э...

— А штобъ этого левизора!... Ничего не сдѣлаешь.

— Толкуй! приказчикъ што говорилъ: всѣмъ быть на работахъ, бочку вина обѣщалъ.

— Кабы теперь эта бочка!

Подходитъ казакъ.

— Ахъ вы, штобъ вамъ всѣмъ лопнуть!.. На работу! Левизоръ пріѣхалъ.

Рабочіе съ испугомъ обзирали казака, но немного погоды пошли на фабрику.

Бабы то и дѣло бѣжали куда-то, но скрытничали другъ передъ дружкой.

— Ты куда?

— Ой, не говори, некогда.

— Да ты видѣла?

— Видѣла. Ружье у него—о!

Подбѣгали они къ тому мѣсту, гдѣ кончается улица и начинается площадь. Съ этого мѣста видно было господскій домъ. Дальше онѣ боялись идти.

— Дѣвонька... это левизія?—спрашивала баба свою сосѣдку, указывая рукой на солдата.

— Ишь солдаты. Онъ его стережетъ.

— А што жъ онъ убѣжитъ разъ?

— Толкуй! Коли левизоровъ стерегутъ... такъ што послѣ автова съ намъ-то?..

— Дура ты, дѣвонька. Солдаты баяли, што они потому тамъ торчатъ, штобы не украли. А ты разсуди: наши мужики разѣ понимаютъ што? возьмутъ, да и утащатъ.

— Гляньте: онъ сюда смотритъ.

И бабы шли назадъ и толковали между собой, только Богъ одинъ вѣдаетъ о чемъ. Онѣ были очень довольны, что видѣли солдата. Ребята были посмѣлѣе, тѣ долго стояли противъ господскаго дома, но казаки разогнали ихъ.

Толки пошли по всему заводу различные и разговаривали все про ревизора. Одни говорили, что видѣли ревизора, другіе третировали солдата.

Къ первому часу казаки собрали свободныхъ отъ работы мужичи на площадь. Мужичины не знали, зачѣмъ ихъ собираютъ. За мужичинами пошли бабы, но ихъ прогнали. Онѣ все-таки стояли въ улицѣ такъ, что видѣли и господскій домъ, и мужиковъ.

Часъ простояли, два. Рабочихъ было до пятисотъ. Подѣлалъ къ рабочимъ на пролеткѣ исправникъ.

— Сію минуту ревизоръ подѣдетъ къ вамъ. „Ура!“ кричите, — и онъ крикнулъ „ура!“ и поѣхалъ назадъ...

— Кабы тѣ опомелиться... Крикнули бы — ухъ какъ! — разсуждали мужики.

— Што-то будетъ съ мужиками?.. глядите, какъ исправникъ горючится: откуда и голосъ взялся? — разсуждали бабы.

Пріѣхалъ приказчикъ и всталъ около рабочихъ, заговорилъ съ ними любезно; его окружили. Вдругъ вышелъ изъ подъѣзда господскаго двора тоненькій, низенькій человекъ въ горной инженерной формѣ и сѣлъ въ коляску съ управляющимъ. За нимъ ѣхали въ линейкахъ горные чиновники, скакали на лошадяхъ исправникъ и казакъ. Поровнявшись съ рабочими, ревизоръ поднялъ лѣвую руку къ шапкѣ, мужики сняли фуражки и шапки.

— Ура! — крикнулъ приказчикъ и протянулъ правую руку съ бумагой. Но никто изъ рабочихъ не подхватилъ за приказчикомъ „ура!“.

— Что это? — спросилъ ревизоръ приказчика, указывая на бумагу, которую тотъ держалъ.

— Рабочіе вашему пр-ву подносятъ адресъ.

— Хорошо. Благодарю!

И, взявъ лѣвою рукою бумагу, онъ правою поднялъ руку управляющаго и велѣлъ ѣхать на фабрику. Приказчикъ обругалъ рабочихъ и поѣхалъ за начальствомъ. Народъ повалилъ за нимъ.

Бабы были въ восторгѣ. Между ними завязался споръ: одиѣ говорили, что лицо у ревизора желтое, другія — зеленое, третьи говорили, что у него глаза блестятъ. Но все-таки всѣ пошли за мужиками.

Около фабрикъ, на плотинѣ стояло много народа. Народъ постоянно прибывалъ, но женщины стояли за мужичинами. Веселости не было, говорили шопотомъ; время казалось каждому длинно.

Ревизоръ осмотрѣлъ работы, распекъ для вида заводское начальство и даже показалъ ему, какъ нужно для какой-то штуки печь топить; рабочіе смотрѣли на него во всѣ глаза и ждали случая ска-

зать ему что-то; но онъ повидимому избѣгалъ даже того, чтобы остановиться близко рабочаго. Когда онъ сталъ выходить изъ фабрики, разговаривая съ механикомъ-англичаниномъ, то одинъ рабочій сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Левизоръ!

Ревизоръ остановился, поглядѣлъ направо и налево и спросилъ:

— Кто говоритъ? Сюда!

Рабочіе почувствовали начальническій тонъ, лица заводскаго начальства измѣнились, сказавшій слово рабочій поглядѣлъ на товарищей и подошелъ къ ревизору, около которого стояло заводское начальство.

— Говори! — сказалъ строго ревизоръ.

— Вотъ што ваше благо... ваше.. теперича... а теперича... тово... — началъ оробѣвшій рабочій.

— Что?

— Покажи теперича... теперича обижать; сына застегали... голубчикъ...

— Онъ сумасшедшій, в—во, — сказалъ управляющій.

— А! Ну, такъ отослать его въ сумасшедшій домъ. Ахъ, позвольте, Карлъ Ивановичъ: у васъ рабочіе всѣ, должно быть, сумасшедшіе.

Управляющій растерялся.

— Этотъ по ошибкѣ попал... — сказалъ приказчикъ.

— Не съ вами говорить! — крикнулъ ревизоръ и вышелъ изъ фабрики.

Увидѣвъ народъ, онъ спросилъ управляющаго:

— Отчего эти не работаютъ?

— Они... они...

— Они. Я вижу, что они давно они... — перерезалъ управляющаго ревизоръ и вдругъ крикнулъ народу:

— Довольны ли вы?

Всѣ молчатъ. Молодые пятятся за стариковъ, бабы начинаютъ выдвигаться впередъ. Одна старуха подошла къ ревизору и бросилась къ нему въ ноги съ воемъ:

— Батюшка! голубчикъ!.. помилуй... Всегда покосомъ пользовались, отняли теперь.

— А!.. Лошадь?!

Вмигъ подали лошадь, и ревизоръ съ легкостью резиннаго мячика сѣлъ въ пролетку и поѣхалъ. За нимъ поѣхала свита. Управляющій подошелъ къ народу.

— Я васъ, подлецы! я в-васъ!.. по домамъ! — потому уѣхалъ самъ.

Народъ заводновался. Больше всѣхъ голосили бабы.

— Ну, не правда-ли, что вы свиньи! отчего вы не говорили? А?

— Ну-ну, ты первая молчала.

— Ахъ, штобъ вамъ околѣть совѣтъ! Ну, зачѣмъ вы, безмозглые, шли-то сюда?

Мало этого, жены стали плевать на мужей, мужичины стали ругаться между собой.

— Ты што говорилъ? я, говоритъ, первый начну, а зачѣмъ за Окульку спрятался?

— Да одинъ бы...

— Будьте вы прокляты, хвастуши. Вотъ и надѣйся. На словахъ такъ города береге.

Половина разошлась по кабакамъ, изъ остальныхъ одна половина пошла домой, другая на площадь къ господскому дому. Въ верхнемъ этажѣ господскаго дома играли музыка, передъ домомъ стояли линейки, двѣ кареты. Человѣкъ пятьдесятъ мужчинъ и женщинъ подошли къ солдату и стали спрашивать его: увидятъ ли они еще ревизора? Тотъ объявилъ, что ревизоръ послѣ обѣда уѣзжаетъ изъ завода. Это удивило рабочихъ.

— Да ты врешь! какъ же прежде, говорятъ, ревизоры вниомъ помли, а теперь...

— Положенія такого нонѣ нѣтъ, потому бунтуетъ очень.

— Братцы, солдата надо водкой поподчивать. Солдатъ, айда въ кабакъ...

— Нельзя.

— Вотъ тебѣ разъ! Водку пить нельзя? Да онъ, братцы, смѣшной какой-то. Пойдемъ, говорятъ. Мы тебя угостимъ.

— Уйти нельзя, караулъ!

— Дуракъ, братъ, ты—караулъ нашелъ! Да ты чево караулишь-то?

— Служба такая—законъ... Ничего я не караулю...

— Жалко ево, братцы. Илюха, бѣги, купи полуштофъ.

Черезъ нѣсколько минутъ одинъ рабочий принесъ полуштофъ. Солдатъ выпилъ немного, еще выпилъ и скоро весь полуштофъ выдулъ, а какъ выдулъ—и расположился спать подъ окнами, положивъ ружье подъ голову.

Рабочихъ это долго смѣшило, и они цѣлый день разговаривали про этого солдата.

Бабы стали миролюбивѣе.

Но больше всѣхъ перетрусило заводское начальство. Оно знало, что за нимъ много есть тайныхъ грѣшковъ въ уѣздномъ судѣ и въ другихъ высшихъ инстанціяхъ, есть много важныхъ дѣлъ, по которымъ оно обвиняется въ жестокостяхъ и притѣсненіяхъ рабочихъ, въ воровствѣ и т. п. Но никто такъ не трусилъ, какъ управляющій.

Карлъ Ивановичъ Риттеръ былъ сынъ горнаго инженера, человѣка небогатаго, который умеръ рано. Обучался онъ въ горномъ институтѣ и, окончивъ въ этомъ заведеніи курсъ наукъ, былъ посланъ съ чиномъ поручика на службу въ горные заводы. О горнорабочихъ онъ имѣлъ такое же понятіе, какъ о жителяхъ луны. По теоріи онъ зналъ, гдѣ и какой долженъ быть грунтъ земли, въ какомъ мѣстѣ должна быть руда, но на практикѣ выходило иначе. Приказывалъ онъ рыть гору въ такомъ-то мѣстѣ,—гору рыли, но руды или было такъ мало, что разработку должно было бросать, или руды вовсе не было; въ рудники спускаться онъ боялся, и поэтому оказывалось, что штейгера знали лучше его. Впрочемъ онъ со словъ стариковъ и штейгеровъ описывалъ рудники, происхождение руды, но надъ этими описаніями долго бы хохотали рабочіе. Прослужилъ онъ горнымъ смотрителемъ два года, нажилъ порядочный капиталъ, ему показалось

скучно жить въ провинціи, и онъ подъ предлогомъ усовершенствованія себя въ горномъ дѣлѣ уѣхалъ за границу. Оттуда онъ вернулся баринотъ и съ пустымъ карманотъ, женился на дочери знатнаго человѣка въ горномъ мірѣ и былъ опредѣленъ горнымъ начальникомъ. Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ этой должности, онъ нисколько не обращалъ вниманія на положеніе рабочихъ, требовалъ, чтобы рабочіе не получали *даромъ* усадьбы, покосы, провіантъ, и старался нажить себѣ состояніе посредствомъ тихаго общипыванія казны. Наконецъ, бывши за границей, владѣльцы таракановскихъ заводовъ уполномочили его на управленіе своими заводами, и онъ вышелъ въ отставку, потому что владѣльцы назначили ему жалованье въ 15 т. р. с., господскій домъ и опредѣленное количество процентовъ съ выплавленныхъ металловъ.

До двухъ часовъ ночи управляющій совѣтовался съ своею правою рукою—приказчикомъ, какъ ему лучше принять ревизора, главное, чтобы не дать замѣтить безпорядковъ. Приказчикъ утѣрялъ, что адресъ, который онъ подастъ ревизору отъ имени рабочихъ, выручитъ ихъ изъ бѣды, потому что въ адресѣ рабочіе очень радуются пріѣзду ревизора. благодарятъ его за то, что онъ далъ имъ хорошаго управляющаго, и потому вѣчно будутъ молить Бога за него...

Среди хлопотъ приказчикъ забылъ о Прасковѣ Курносовой. Рабочіе съ утра до вечера работали на площадяхъ, на улицахъ, вычищая и выметая все грязное, замѣненное приказчикомъ; нѣсколько каменныхъ домовъ бѣлили; училище было переведено изъ столарни въ каменный домъ; мальчикамъ выдали по рублю денегъ для того, чтобы они хоть какъ-нибудь обудились и повязали шен платками; всадъ была суетня; даже бабы, и тѣ суетились, проклиная свою жизнь... Всѣ готовились какъ къ большому празднику.

Вотъ въ это-то суетливое время Корчагинъ и отправился въ столоначальнику главной конторы, которому онъ прошлаго года дѣлалъ рамы въ окна.

— Отвяжись ты съ своимъ паспортомъ! Никого не велѣно выпускать изъ завода,—сказалъ тотъ.

— Да вѣдь баба не мужикъ; съ нея на заводѣ работы не спрашивается.

— Нельзя.

Корчагинъ положилъ на столъ пятирублевую ассигнацію. Столоначальникъ на первыхъ порахъ не зналъ, чтѣ и дѣлать: хочется и деньги взять, а если взять, такъ надо билетъ дать, а билеты не велѣно давать: есть приказъ въ его столѣ отъ управляющаго.

— Ну, была не была! только для тебя, Корчагинъ, дѣлаю это. Да и что тебѣ за фантазія непременно теперь билетъ получать?

— Священникъ проситъ; а время не терпится: какъ можно, говорить, скорѣе посылай мнѣ свою племянницу,—говорилъ Корчагинъ столоначальнику.

— Значить, ты его надулъ?

— Надулъ.

Ночью Корчагинъ выѣхалъ съ Тимофеемъ Глуховымъ въ городъ, съ ними поѣхала и Прасковья

Игнатьевна. Родственникамъ нѣ было заказано, что если спросятъ Прасковью Игнатьевну, то скажи бы, что она пошла третьего дня къ приказчику и съ тѣхъ поръ ея не видали. а Корчагинъ и Тимофей Глузовъ поѣхали на ярмарку въ спасскій заводъ, находящійся отъ таракановскаго въ сорокати трехъ верстахъ и принадлежащій тоже таракановскимъ владѣльцамъ.

### XIX.

До города Корчагинъ, Глузовъ и Прасковья Игнатьевна ѣхали сутки. Дорогой вездѣ, гдѣ они ни останавливались, жители были перепутаны извѣстіемъ, что скоро поѣдетъ въ таракановскій заводъ ревизоръ, спрашивали ихъ, что-то теперь подѣлываетъ заводоуправленіе и зачѣмъ они не дождались пріѣзда ревизора? Таракановцы отвѣчали на эти вопросы нехотя, отрывочно, потому что они торопились въ городъ. У нихъ были свои заботы, и оба они очень боялись того, чтобы ихъ не нагнали, не обыскали и не воротили въ заводъ. А каждый изъ нихъ ѣхалъ въ городъ съ извѣстною цѣлью. Такъ Глузовъ везъ два куска мѣди, три полосы желѣза и разныя желѣзныя и чугуныя вещи за пазухой, кромѣ того у него были спрятаны двѣ серебряныя ложки, отлитыя имъ въ кузницѣ; а Корчагинъ везъ фунта полтора золота, которое онъ купилъ у промысловыхъ рабочихъ и которое везъ теперь извѣстному богачу раскольникову Вакину, внуку того Вакина, который прежде былъ управляющимъ таракановскими заводами. Какъ Глузовъ, такъ и Корчагинъ уже не въ первый разъ возили золото, мѣдь, желѣзо и чугунъ въ городъ и никогда не попадались. Однако и на этотъ разъ они добрались до города благополучно. Прасковья Игнатьевна, сидя посрединѣ долгушки, очень рада была своей поѣздкѣ и не знала, какъ благодарить Корчагина за то, что онъ не допустилъ приказчика наругаться надъ нею.

Показались новенькіе домики съ крышами и безъ крышъ, дворы, ничѣмъ неогороженные; потомъ дворы, огороженные плетнемъ, дошаными заплатами; дома лѣнились другъ къ другу.

— Ты, Вася, возьми къ себѣ племеницу-то, — сказалъ Глузовъ Корчагину.

— А на твоей квартирѣ разѣ нельзя?

— То-то нѣтъ. У Потѣева-то всего одна конура, а ребятъ свора. Вѣдь онъ птичникъ, что называется первый. У него годищъ поди штукъ сто.

— Тутъ тоже ребята; все молодежь. Впрочемъ они теперь въ мастерской спать.

— Какъ же имъ тамъ?.. Нѣтъ, я, дядя, съ тобой, — говорила Прасковья Игнатьевна.

— Дура! Тамъ и накормить, а у Потѣева-то впроголодь.

Прасковья Игнатьевнѣ очень не хотѣлось поселиться на первый разъ въ городѣ съ постороннимъ человекомъ; она обидѣлась на дядю, и когда Корчагинъ остановилъ лошадей передъ пятиконнымъ деревяннымъ домомъ и вылѣзъ изъ долгушки, вылѣзла и она.

— Такъ на рынокъ увидимся! — сказалъ Глузовъ Корчагину.

— Увидимся. Пойдемъ, Прасковья Игнатьевна... Однако что это такое? — И Корчагинъ сталъ смотрѣть на окна.

Такъ какъ былъ вечеръ, то въ окнахъ видѣлись зажженные свѣчи, два окна были отворены, и изъ дома слышались крики, визгъ, пляска.

— Никакъ свадьба? — заключилъ Корчагинъ и отворилъ калитку во дворъ; за нимъ боязливо вошла и Прасковья Игнатьевна. Тимофей Петровичъ между тѣмъ уже открылся въ переулокъ.

Дворъ большой, по бокамъ крытый навѣсомъ. Налѣво въ домѣ два окна, мѣющія разстоянія отъ фундамента полтора аршина; немного подалѣе оконъ парадное крыльцо съ полтора десятками ступенекъ, на которыхъ поставленъ половникъ; за крыльцомъ выходило во дворъ маленькое окошечко. Противъ крыльца и оконъ, у заплота, лежатъ груды камней, двѣ мраморныя плиты, къ заплоту поставлены два мраморныхъ креста. Подъ навѣсомъ у заднихъ построекъ бродятъ двѣ здоровыя лошади, запряженныя въ заводскія долгушки, околоченныя фигурально желѣзомъ и выкрашенныя голубой краской. Корчагинъ обошелъ крыльцо; за угломъ домъ имѣетъ видъ двухъ-этажнаго, полукаменнаго, верхній этажъ недавно обшитъ тесомъ, въ немъ два окна, а въ нижнемъ три окна и дверь. Далѣе небольшая рѣшетка огораживаетъ маленький садикъ, въ которомъ стояли небольшой простой работы столъ и двѣ табуретки.

Все это, кромѣ двухъ лошадей, запряженныхъ въ долгушки, принадлежитъ мастеру гранильной фабрики, Гаврилу Поликарповичу Подкорытову.

Подкорытовъ еще съ дѣтства приучался вырѣзывать на камнѣ, что угодно, и работа его до сихъ поръ въ славу. Обучился онъ въ академіи, изъ него вышелъ бы извѣстный художникъ, но онъ былъ казенный человекъ, сынъ мастерового; родители не имѣли и понятія, что если сына обучить дѣлу, какъ слѣдуетъ, то изъ него выйдетъ прокъ, да и родители видѣли въ сынѣ усерднаго работника, помощника себѣ, и поэтому ему давались часто работы не по силамъ. Проработавъ на фабрикѣ лѣтъ десять въ качествѣ мастерового, Гаврило Поликарповичъ за одну хорошо обдѣланную имъ яшмовую вазу получилъ званіе мастера и теперь начальствуетъ надъ нѣсколькими фабричными рабочими. Но одно обстоятельство чуть не погубило Гаврила Поликарповича. Секретарь конторы гранильной фабрики сказалъ управляющему, что у мастера Подкорытова есть превосходная вещь — нищій, вырѣзанный изъ камня; управляющій приказалъ принести эту вещь въ контору и оставить ее на тотъ случай, что ее посмотритъ генералъ, и безъ сомнѣнія Подкорытову выдадутъ или награду, или золотую медаль. Но черезъ двѣ недѣли статуи въ конторѣ не оказалось; ее взялъ къ себѣ управляющій. Это взбаломутило Подкорытова; онъ пошелъ къ управляющему, тотъ сказалъ ему, что онъ покупаетъ статую за двадцать пять рублей.

— И пяти тысячъ не возмну! — сказалъ Подкорытовъ.

— Какъ знаешь. А ты изъ какого мрамора дѣлалъ?

— Изъ своего.

— А гдѣ ты деньги взялъ?

Подкорытовъ подалъ жалобу генералу; упрямляющій потребовалъ къ себѣ Подкорытова и сказалъ ему:

— Ты еще смѣешь жаловаться? Изволь отправиться на гауптвахту; я покажу тебѣ, какъ воровать мраморъ!

Заплакавъ Подкорытовъ, просидѣлъ на гауптвахтѣ недѣлю, а статуи не воротилъ.

Послѣ этого случая Подкорытовъ ходилъ на фабрику только для наживы; онъ взялъ себѣ за правило: «коли начальники воруютъ, воруй и рабочий»... и въ качествѣ мастера онъ браковалъ хорошіе камни, возилъ ихъ къ себѣ домой и покупалъ для себя горный хрусталь, аметисты, аквамаринъ и другіе камни отъ тѣхъ рабочихъ и крестьянъ, которые или сами находили ихъ, или покупали у бѣглыхъ заводскихъ рабочихъ. Живя въ заводахъ и деревняхъ, они слышали, что эти камни очень цѣнные, что за нихъ казна даетъ порядочныя деньги, а имѣть эти камни рѣшительно нѣтъ пользы тому, кто не знаетъ въ нихъ толку. Подкорытовъ зналъ, что если крестьянинъ или рабочий объявитъ о находкѣ начальству, то ему выдадутъ деньги развѣ черезъ полгода или объявлять черезъ полицію, что представленный такимъ-то камень оказался горнымъ хрусталемъ низшаго достоинства, за что и не полагается представившему его денегъ; или вѣсто того, чтобы выдать за камня тридцать рублей, выдадутъ три рубля. Подкорытовъ зналъ цѣну каждому необходимому камню и покупалъ его съ барышемъ для себя и безобидно для продавцовъ.

Когда Подкорытовъ разжился, то передалъ наблюдение за работами на фабрикѣ другому мастеру, а самъ, приходя туда, только шутилъ съ рабочими, въ дѣла не вмѣшивался и за это всѣ любили его. Впоследствии онъ открылъ мастерскую дома; въ ней работали четыре мальчика: выдѣлывали изъ плитъ памятники, изъ мрамора кресты, вырѣзывали на нихъ стихи и разныя разности. А такъ какъ онъ считался въ городѣ за извѣстнаго мастера, то его заваливали работой; только теперь онъ предоставилъ мастерскую въ распоряженіе своему девятнадцатилѣтнему сыну Ивану, тоже мастеру.

Съ Корчагиннымъ Подкорытовъ познакомился назадъ тому лѣтъ шесть. Пріѣзжалъ онъ разъ на заводъ купить мрамора, а въ заводѣ жилъ его тестъ почтальонъ, часто возившій съ почтой мраморъ. Этому почтальону Корчагинъ дѣлалъ садокъ для птицъ; садокъ понравился Подкорытову, онъ разговаривалъ съ нимъ, пригласилъ навѣстить его, когда онъ будетъ въ городѣ. Съ этого времени они сошлись такъ, что Корчагинъ уже въ четвертый разъ останавливается прямо у Подкорытова.

Когда вошелъ Корчагинъ въ избу, въ кухнѣ происходило ликованіе: трое парней, отъ четырнадцати до 18 лѣтъ, сидя за столомъ въ переднемъ углу, играли въ карты, куря воронкообразныя папирски; каждый изъ нихъ что-нибудь говорилъ, каждый кричалъ, кривлялся, размахивалъ руками

и хохоталъ. Посреди кухни паренъ лѣтъ семнадцати, играя на гитарѣ, отплясывалъ „Сѣни“ и то и дѣло подбѣгалъ къ кухаркѣ, женщинѣ лѣтъ тридцати, въ ситцевомъ платѣ, довольно здоровой, голосистой, которая при каждомъ подсакиваніи шалуна шлепала его широкою ладонью то по спинѣ, то по головѣ. Двое, повидимому рабочихъ, сидя на скамьѣ подъ полатами, ѣли не торопясь по куску рыбнаго пирога и сдержанно о чемъ-то толковали. Весь этотъ гамъ, хохотъ ребятъ, пляска парня, суетня кухарки, то и дѣло перебѣгавшей отъ самовара къ тарелкамъ, привели Корчагина къ тому заключенію, что у Подкорытова сегодня справляется какой-нибудь праздникъ.

— Здорово, крестные! — сказалъ Корчагинъ, войдя въ кухню и кладя на лавку фуражку. Одинъ изъ играющихъ парней посмотрѣлъ на вошедшаго, за нимъ посмотрѣли остальные; только плясунъ кружился, не обращая никакого вниманія.

— А, Вася Корчагинъ! — сказалъ одинъ изъ играющихъ и сталъ играть снова.

— Али у васъ балъ — чортъ съ печи упалъ?.. Здорово, Илюха, косые глаза! — проговорилъ Корчагинъ, подходя къ одному изъ игроковъ и ударивъ его по спинѣ ладонью.

— Ты што, таракановская блоха, долго не бывалъ? — сказалъ Илюха.

Прасковья Игнатьевна стояла у дверей и не знала, что ей дѣлать. Пока Корчагинъ здоровался съ рабочими Подкорытова, кухарка Федосья увидѣла ее и, подосеживъ къ ней, спросила строго:

— Ты што?

— Она со мной пріѣхала, — сказалъ Корчагинъ. Рабочіе Подкорытова захохотали.

— Съ законнымъ бракомъ! имѣемъ честь... — галдѣли они.

Корчагинъ ничего не сказалъ на это. Курносая пріѣхала на скамейку. Одинъ изъ рабочихъ, сидѣвшихъ на скамейкѣ, спросилъ ее:

— Ты чья? отколева?

Она молчитъ.

— Эй ты, долговязый, што у те, у бабы-то, отсохъ што ли языкъ-то? — Корчагинъ сердито поглядѣлъ на него, а Илюха началъ ускипать.

— Ты, черномазый, молчи. Не къ тебѣ пришли, не съ тобою и знаются. Прасковья Игнатьевна, иди сюда!

Курносая не давалась съ мѣста. Сидѣніе на скамейкѣ встали и подошли къ Корчагину.

— Видно птицу по полету, кто она таковая! извѣстно, всѣ эти заводскіе — кошенники... — проговорилъ одинъ изъ нихъ, небрежно набивая нахоркой трубку.

— Ужъ и не говори! гдѣ фальшивыя бумажки дѣлаютъ, какъ не въ заводахъ? — проговорилъ его товарищъ, заливаясь горластымъ смѣхомъ.

— Какъ бы ты былъ умище, я бы поговорилъ съ тобой. Ты вотъ што скажи: пошто васъ грабильщиками называютъ? — сказала Корчагинъ.

— Вы коли въ гости пришли, такъ должны молчать; а не то подите на улицу, — кричала кухарка. Нѣсколько времени городскіе рабочіе приста-

вали къ Корчагину, но онъ не обращалъ на нихъ никакого вниманія; они ворча сѣли на скамейку. Здѣсь не мѣшаетъ объяснить слѣдующее обстоятельство: городскіе рабочіе принадлежали не помѣщикамъ, а казнѣ, и потому носили форменное платье. Въ сущности назначеніе какъ казенныхъ, такъ и помѣщичьихъ рабочихъ состояло въ томъ, чтобы работать, но помѣщичьи рабочіе завидовали казеннымъ, потому что они жили въ городѣ, гдѣ находилось главное горное начальство, которому можно было жаловаться; съ своей стороны казенные рабочіе относились къ помѣщичьимъ свысока, какъ будто думая, что они принадлежатъ казнѣ или царю, а не какому-нибудь частному лицу. Кромѣ этого у казенныхъ мастеровыхъ были еще такого рода привилегіи, какихъ не было у крѣпостныхъ, а именно: сынъ мастерового, обучившись въ горныхъ училищахъ, могъ сдѣлаться урядникомъ (званіе, равное унтеръ-офицеру) и по выслугѣ опредѣленнаго закономъ срока могъ получить оберъ-офицерскій чинъ, который давалъ право или на переходъ въ другія вѣдомства, или на выходъ въ отставку.

Между тѣмъ Семенъ сидѣлъ около Прасковьи Игнатьевны.

— Какое, слышь, у те лицо важнѣйшее!..—и онъ бралъ ее за руку. Курносова убѣжала во дворъ.

— Ну, ты куда ее?—спросилъ Илья Корчагинъ про Курносову.

— Къ Бакину. Въ прошлый разъ я общался ему.

— Развѣ она изъ гульмихъ?

— Избави Богъ!

— А баба ничего: можно жениться... Што жъ ты не женишься?—проговорилъ другой рабочій.

Корчагинъ промолчалъ. На другой день, проснувшись раннимъ утромъ, Корчагинъ собрался идти къ купцу Бакину.

На углу Макулинской улицы и Бакинскаго переулка стоитъ большой каменный двухъ-этажный домъ, принадлежащій коммерціи совѣтнику Бакину. Какъ домъ, такъ и хозяинъ его извѣстны въ городѣ даже ребятамъ, потому что съ именемъ богача Бакина соединяются самыя разнорѣчивыя и двусмысленныя толки, которыхъ таинственность придаетъ имъ особенный характеръ. Никто навѣрное не знаетъ: чтъ такое Бакинъ? Человѣкъ онъ лѣтъ шестидесяти, лысый, съ сѣдою бородой, съ задумчиво-смирненнымъ взглядомъ. Лѣтомъ онъ ѣздитъ въ купеческомъ кафтанѣ, носитъ сюртуки, зимой ѣздитъ въ оsobлѣй шубѣ и собольей шапкѣ. Въ магистратѣ онъ бываетъ разъ въ годъ; вѣжливъ онъ со всѣми; бываетъ у высшаго начальства на обѣдахъ, первый жертвуетъ на богоугодныя заведенія, но ни съ кѣмъ не вводитъ въ близкія и интимныя отношенія. Купцы всячески старались заискивать его расположенія, зная, что онъ имѣетъ нѣсколько милліоновъ денегъ; чиновники, особенно горные, хвалили его какъ превосходнаго человѣка за то, что онъ щедро дарилъ ихъ рублями; таракановцы видѣли въ немъ защитника, потому что вся его прислуга была изъ таракановцевъ, и Бакинъ иногда заступался за нихъ подъ видомъ благо-

честія. И все-таки о немъ ходили самыя странныя слухи.

Никто такъ хорошо не зналъ Бакина, какъ Василій Васильевичъ Корчагинъ и его бабушка, Марфа Потаповна Вязонова. Родъ Бакиныхъ идетъ отъ московскихъ торговыхъ людей. Въ началѣ гоненія на раскольниковъ Петръ Бакинъ принужденъ былъ съ своимъ семействомъ бѣжать. Онъ поселился на солянскихъ промыслахъ, принадлежавшихъ Строгоновымъ. Тамъ его и его товарищей, пришедшихъ вѣстѣ съ нимъ, не принуждали къ новизнѣ, а заставляли работать; но такъ какъ Бакины торговали солью, то ихъ стали преслѣдовать, потомъ пытать. Однако сыну Петра Бакина, Аристарху, удалось убѣжать, и онъ пріютился въ таракановскомъ заводѣ, на Козьмѣ Болотѣ, выдавъ себя за раскольникяго архіерея. Но Аристархъ никакъ не думалъ, что его записали въ крѣпостные; это узналъ его сынъ Семенъ, торговавшій на широкую руку въ господскомъ порядкѣ и считавшійся первымъ богачомъ и мошеникомъ. Богачомъ его считали бѣдняки, получавшіе отъ него по субботамъ гривенники, а мошеникомъ—начальство, потому что онъ его ловко обдиралъ и надурывалъ. Наконецъ Бакинъ, выпущенный на волю за то, что построилъ въ заводѣ единорѣцкую церковь, записался въ купцы и повернулъ дѣло такъ, что заводоуправленіе стало одолажаться у него и въ восемь лѣтъ задолжало ему болѣе ста тысячъ рублей. Деньги онъ получилъ, управляющаго смѣнили, а Бакинъ уѣхалъ на золотые прінски, предоставивъ женѣ своей построить въ городѣ домъ. Сынъ его, Андрей Семеновъ, десять лѣтъ жилъ то въ Сибири, то на Уралѣ, то въ столицахъ, и всѣмъ дѣлами въ городѣ заправляла сестра Андрея, Катерина. Будучи ханжой и прикидываясь благотѣлницей, она принимала у себя бѣдныхъ, преимущественно таракановскихъ бабъ. Замужемъ она не была, потому что называла себя сестрой милосердія; но аристократія, особенно дамы, разсуждали иначе, потому что имъ ближе было знать это дѣло, тѣмъ болѣе, что она иногда танцовала на вечерахъ... Одна прислуга не могла понять ея поведенія: Катерина ѣздила на гулянья, на балы, а дома носила вериги и заставляла дворника бичевать себя.

Теперь она умерла. Андрей Семеновъ имѣетъ не одинъ десятокъ золотыхъ прінсковъ и живетъ безвыѣздно въ городѣ. По вторникамъ и субботамъ онъ принимаетъ бѣдныхъ и раздаетъ имъ деньги; таракановцы, какъ земляки, получаютъ отъ него совѣты, а тѣ, которые имѣютъ съ нимъ дѣла, приглашаются въ его комнаты.

Прислуга у Бакина было вотъ сколько: поваръ Елисѣй съ молодой женой Марьей, которая подаетъ Бакину умываться, моетъ посуду, поправляетъ ему постель; дворникъ Петръ съ женой Афиньей прачкой, кучеръ Савелій съ молодой женой судомойкой Матрѣной, садовники Кириллъ и Клементій и коровница Акулина, старая женщина. Есть у него и управляющій Стружковъ.

Корчагинъ пришелъ въ кухню Бакина въ девятomъ часу утра.

— Смотрите!.. Экъ эво!—сказалъ кучеръ Са-

велій, показывая на Корчагина правой рукой, въ которой онъ держалъ ложку.

Начались разспросы. Вся прислуга Бакина была таракановская, и поэтому потолковать было о чемъ. Корчагина пригласили завтракать.

— А я, братцы, къ вамъ бабу привезъ: знаете Курносиху?

— Што жъ она дѣлать у насъ будетъ? Разъ къ своей любовницѣ пристроить...

— А это, самъ знаешь, нехорошо, потому при- жѣръ дрянной, — замѣтилъ кучеръ Савелій.

— Такъ какъ вы посовѣтуете?

— Скажи ему, можетъ онъ и помочь ей чѣмъ-нибудь.

Около часу ожидалъ Корчагинъ свиданія съ Бакинымъ. Прихожая Бакина отличалась отъ другихъ барскихъ прихожихъ тѣмъ, что лѣвая ея стѣна состояла изъ огромной стеклянной рамы и за ней затѣняли свѣтъ разные цвѣты и деревья. Марья, жена повара, то и дѣло проходила въ столовую и изъ столовой въ комнаты съ серебряными самоварами, фарфоровыми чашками и гордо взглядывала на Корчагина.

— Ступай... да ноги-то вытри, — сказала наконецъ Марья.

— Чисты.

— Вытри! тебѣ говорить...

Вошелъ Корчагинъ въ большую комнату съ тремя окнами, съ лакированнымъ поломъ, голубыми обоями, съ люстрой посреди потолка, съ двумя зеркалами. На мраморныхъ столбахъ стояли золотые подсвѣчники, вазы; у оконъ въ большихъ банкахъ росли цвѣты. Разнообразія такъ много въ этой комнатѣ, что сразу трудно все осмотрѣть. Изъ этой комнаты три хода, изъ которыхъ одинъ шелъ въ оранжерею, которые тянулись изъ комнаты къ низу по лѣстницѣ и оканчивались садомъ. Здѣсь пахло не то ладономъ, не то мускусомъ. Прошли другую комнату съ бѣлыми обоями на стѣнахъ. Въ этой комнатѣ не было цвѣтовъ, а были на стѣнахъ картины въ позолоченныхъ рамахъ; картины эти изображали какихъ-то смиренно-блѣдныхъ мужей, вѣроятно мучениковъ раскола. Въ третьей комнатѣ съ зелеными обоями, расписнымъ потолкомъ, на которомъ нарисованы нагія женщины, стоялъ посрединѣ большой столъ, на столѣ большой серебряный самоваръ, чайный приборъ, нѣсколько фарфоровыхъ вазъ съ фруктами, яблоками и ягодами; окна завѣшивались большими завѣсами. Комната отъ мебели, статуй, дивановъ и разныхъ украшеній казалась очень маленькой. Самъ Бакинъ лежалъ на диванѣ въ горностаевомъ халатѣ, въ туфляхъ и бархатной шапочкѣ на подобіе скуфы.

Корчагинъ три раза поклонился ему въ ноги и, наклонивъ голову, сказалъ: „благослови, отче...“ Бакинъ перекрестилъ его голову и сказалъ: „будь благословенъ“.

— Съ миромъ ли?

— Съ миромъ, Господь милости послалъ.

Бакинъ задумался, потянулся, зѣвнулъ, а Корчагинъ подумалъ: „взялъ бы тебя“...

— Я сегодня нездоровъ, — сказалъ вдругъ Бакинъ, потирая лѣвою рукою лобъ.

Молчаніе. Стучать маятникъ часовъ, поютъ соловьи и канарейки. Бакинъ лѣниво мѣшаетъ ложкой въ чашкѣ.

— Вы не слышали, что учитель Курносоевъ умеръ? Онъ опился съ горя... Жена его, хоть и не имѣетъ дѣтей, однако житье ея плохое. Дядю ея вы знаете... — началъ вдругъ Корчагинъ, перемѣнивъ прежнюю манеру разговоровъ, заключающуюся въ томъ, что онъ говорилъ съ Бакинымъ, какъ дядючкѣ съ архіереємъ, прозявша въ ностъ и нараспѣвъ.

— Шла бы работать... Именно работать, сынъ мой, — прогнулъ Бакинъ.

— Я ее привезъ сюда. Сдѣлайте такую милость...

— Но... теперь, сынъ мой... Ты бы обратился къ моему управителю.

Корчагина эти слова удивили, потому что прежде онъ самъ давалъ просителямъ записки или на имя своего управляющаго Стружкова, или на имя какого-нибудь должностнаго лица. Бакинъ замолчалъ, замолчалъ и Корчагинъ.

— Правда ли, что намъ дадутъ даромъ волю? — спросилъ вдругъ робко Корчагинъ.

— Што?

Корчагинъ повторилъ свой вопросъ.

— Да... я самъ хлопоталъ объ этомъ.

Бакинъ всталъ, сталъ ходить по комнатѣ. Молчаніе продолжалось минутъ пять.

— Еще что? — спросилъ вдругъ Бакинъ.

— Я кружки привезъ.

— А! много? — спросилъ живо Бакинъ, и глаза его засверкали.

— Не въсилъ.

Корчагинъ вытащилъ изъ-за пазухи платокъ, развернулъ его; въ платкѣ былъ свертокъ бумаги, а въ бумагѣ была баночка, въ которой заключалось золото. Бакинъ взялъ банку, посмотрѣлъ и, сказавъ: „только!“, ушелъ въ другую комнату. Черезъ полчаса онъ вышелъ и сказалъ Корчагину:

— Фунтъ съ четвертью. А ты сколько заплатилъ бѣглымъ?

— Сто рублей.

Пришелъ крадучись низенькій человѣкъ въ черномъ кафтанѣ. Это былъ управляющій Бакина, Назаръ Пантелеевъ Стружковъ, старый человѣкъ, съ лысой головою, называемый въ городѣ апостоломъ.

— Назаръ, выдай ему полтора ста рублей, — сказалъ Бакинъ управляющему. Управляющій поклонился и спросилъ: — „больше никакихъ приказаній не будетъ?“

— Нѣтъ.

Управляющій ушелъ. Корчагинъ стоялъ; онъ хотѣлъ что-то сказать.

— Ну... нѣтъ некогда... я ѣду

— Андрей Семеновичъ, а хотѣлъ васъ попросить... насчетъ Курносовой...

— Ну?

— Такъ нельзя ли ей помочь.

— Приходи завтра! — и Бакинъ ушелъ.

— Свины! — прошепталъ Корчагинъ и, сжавъ



кулаки, сердито вышел изъ комнату Бакина съ намѣреніемъ никогда больше не являться къ нему.

— Ну, скотина вашъ баринъ!—сказалъ Корчагинъ, встрѣтившись съ дворникомъ Петромъ.

— Незнай: такого барина едва ли гдѣ сыщешь, —сѣлся Петръ.

— Приходи завтра... мнѣ некогда!—передразнивалъ Корчагинъ Бакина.

Прислуга захохотала, и всѣ наперерывъ стали рассказывать, какое, когда и кому Бакинъ сдѣлалъ замѣчаніе. Корчагина между тѣмъ пригласили обѣдать.

## XX.

Когда Корчагинъ воротился въ домъ своего пріятеля Подкорытова, Прасковья Игнатьевна уже не было. Изобиженная и напуганная работниками Подкорытова, обманутая его дочерью въ томъ, что Корчагинъ больше не воротится, она надѣла зипунъ и вышла на улицу, не сказавши никому ни слова. Повернула она отъ воротъ направо, прошла нѣсколько домовъ; попался ей мужчина, сдвигавшій въ телегѣ.

— Дядюшка, а гдѣ здѣсь рынокъ?—спросила она продажающаго.

— Какой? Здѣсь четыре рынка: хлѣбный, деревянный, два сѣнныхъ.

— Ну, хотъ хлѣбный.

— Иди въ переулокъ. Потомъ направо въ улицу, потомъ направо.

Поблагодарила Прасковья Игнатьевна мужчину и пошла. Долго она шла, нѣсколько разъ останавливалась передъ большими домами, глядѣла на кареты, но до рынка не добралась.

Ноги начали уставать, хочется ѣсть; а кругомъ все пусто.. „Никакъ я заблудилась?“ подумала Прасковья Игнатьевна и остановилась..

Куда идти? на квартиру? А у кого она ночевала сегодня? какъ она спроситъ, когда и фамиліи хозяина не знаетъ—кажется, Подковыркинъ? Вотъ спросила она одну женщину: гдѣ находится домъ Подковыркина?— не знаетъ. Опять пошла Прасковья Игнатьевна. Вотъ поле какое-то, горка, домъ большой, около него солдаты съ ружьями ходятъ. Пошла она къ одному солдату робко. Солдатъ остановился, глядя на нее.

— Чево глядишь! зѣвай!!—сказалъ другой солдатъ и тоже остановился.

Прасковья Игнатьевна поклонилась солдату низко и сказала:

— Не знаешь ли ты, солдатикъ, дорогу?..

— Знаю... а што дашь?

— Нечего дать-то..

— Двѣ дороги: одна въ Сибирь, другая въ Расею. Ишь двери-то! изъ нихъ въ Сибирь ходятъ, а другіе воротъ изъ этой долины не полагаются,—состригла другой солдатъ.

— Да мнѣ бы на рынокъ.

— А! Ну, такъ иди все прямо, какъ разъ въ рынокъ упрешься.

Прасковья Игнатьевна пошла. Солдаты еще нѣсколько разъ кричали ей; но она думала о томъ, куда бы ей дѣться: хочется ѣсть, ноги устали.

Развѣ Христа ради попросить? Но какъ? „Я молодая.... совѣстно...“ Однако она вошла въ одну лавбу, никого нѣтъ. Вышла. Вошла въ другую, чай пить. Попросила Христа ради—Богъ подастъ.

„И отъ чего это я, дура набитая, раньше не подумала? Онъ, кто его знаетъ, можетъ на ало... Онъ и въ заводѣ-то какой-то чудной...“ думала она о Корчагинѣ, ида сама не зная куда. „Это все штуки дяди: шипъ, говорить, нельзя...“—и страшно обидѣлась Прасковья Игнатьевна на дядю.

Вотъ рынокъ. Торгаши складываются, запираютъ лавки, побрякиваютъ ключами и идутъ домой. Подошла она къ бабѣ, чтó прянками торгуетъ.

— Христа ради...

— Сама, матка, Христа ради торгую,—сказала та.

— Тетушка... я заблудилась.

— Гдѣ ты живешь?

— Не знаю...

Баба вытаращила на нее глаза.

— Ты бѣглянка?

— Нѣ...

— Подошелъ солдатъ.

— Служивый, имай: бѣглянка!

— Ну нѣтъ!—и солдатъ ушелъ.

— Тетушка, у меня билетъ есть, ей-Богу есть...

Пусти ночевать

— Говорятъ тебѣ, сама Христа ради живу.

Рынокъ пустѣлъ. Зашла она въ пустое мѣсто, окруженное лавками. Присѣла она на завалянкѣ и заплакала... Стало темно; залаяли собаки, привязанныя къ нѣсколькимъ лавкамъ, застучали палками караульные. Страшно.. Уйти бы... „Держи! держи!“ вдругъ услышала она и вздрогнула.. Сильно застучали палками, громче прежняго залаяли собаки; кто-то за кѣмъ-то бѣжалъ недалеко... Она крестилась, молилась.. Утихло. Отлегло отъ сердца у Прасковьи Игнатьевны; она начала засыпать... Опять лай... Стало свѣтать; караульные спали, собаки тоже... Крадучись вышла изъ засады Прасковья Игнатьевна и скоро очутилась въ улицѣ. Вошла она въ пустой дворъ; въ домѣ, какъ видно, не живутъ; забралась на сѣнникъ и тамъ пролежала до сумерекъ. Въ сумерки вышла попросить милостинку; насилу дали кусокъ хлѣба.

— Теперь у меня мѣсто есть; только хлѣбца бы...

Зашла въ кухню пятиконнаго дома—никого нѣтъ, только на столѣ лежатъ коврига ржаного хлѣба. Она поспѣшно взяла ее и спрятала подъ зипунъ. Входитъ кухарка съ ведромъ.

— Чево тебѣ?—крикнула кухарка.

— Мѣста, тетушка, ишу. Работать хочу,—проговорила робко Прасковья Игнатьевна.

— Я тебѣ... дамъ мѣсто! А подъ пазухой-то што?

— Ничего.

Кухарка поставила ведро и отдернула полу зипуна. Ваглянувъ на столъ, она закричала:—„Матюшки свѣты!.. Ой! Ограбили!..“

На этотъ крикъ пришла толстая барыня.

— Что такое, Агафья?—проговорила она, сжимая губы и растягивая слова.

— Вотъ, матушка, воровку поймала... Это она все хлѣбъ воруетъ.

Варья принялась тузить Курносову, как только могла, грозилась отправить ее в полицию, но вытолкала за ворота, не дав ни куска хлѣба.

Бессознательно подошла она къ плотинѣ. Прудъ... Темнѣетъ. Спустилась она къ плоту, поглядѣла на набережную, никого нѣтъ. Спустилась съ плота по колѣна; вода студеная, какъ въ ключѣ... Вышла она изъ воды.

— Еще прудъ! то ли дѣло у насъ-то!—сказала она и пошла къ самымъ вѣшникамъ подѣ крышу. Тамъ она заснула.

Звонятъ въ большой колоколъ. „Пойду въ церковь“. Былъ какой-то праздникъ, и поэтому въ церкви было человекъ тридцать, а на паперти стояло шесть женщинъ въ ободренныхъ одежонкахъ, съ истасканными лицами, протягивающихъ руки въ то время, когда кто-нибудь шелъ мимо нихъ въ церковь или изъ церкви, и голосащихъ на разные тоны: „милостинку, Христа ради, убогой, слѣпой“; и если которая-нибудь изъ нихъ получала копеечку, то на нее всѣ нападали, обзывали ее отборною бранью...

Курносова приткнулась къ послѣдней.

— Ты куда! нѣтъ што ли другихъ-то церквей?

— Гонятъ ее, Марья, шкуру бѣлолицую, — говорили нищенки.

Курносова молчитъ. Ее стали выталкивать. Шелъ купецъ.

— Ахъ вы, негодайки! гдѣ вы стоите?—крикнулъ онъ на нищихъ.

Вышла изъ толпы нищенокъ корявая и, протянувъ руку, запричитала:—слѣпой, убогой... подай, купецъ-отецъ, благодѣтель!

— Свины!—сказалъ купецъ и вышелъ.

— Ишь, пузо-то лопнуть хочетъ! нахапалъ денегъ-то: два дома имѣешь, а нищихъ хоть бы грошъ далъ, штобъ тѣ околѣть!—ворчали нищенки, слѣдя за удаляющимся купцомъ.

Подалъ кто-то Курносовой денежку.

— Ну-ко кажи!

— Дѣли на всѣхъ!—голосили нищенки.

Курносова показала денежку; денежку отъ нея отняли и ее стали гнать. Но изъ церкви стали выходить люди. Всѣ нищенки протянули руки и заголосили на разные тоны. Прасковья Игнатьевна дрожала отъ страху и шопотомъ просила милостинку, проклиная свою жизнь. Она получила три копейки да два грошика.

Прасковья Игнатьевна очень была рада, что насобираала четыре коп. денегъ; она пошла на рынокъ, гдѣ и купила хлѣба. Отдохнувши немного у го-стинаго двора, она пошла искать себѣ мѣста.

Долго Прасковья Игнатьевна бродила по городу. Придетъ въ одинъ домъ, говорятъ: не надо; въ другомъ говорятъ: мы безъ рекомендаціи не принимаемъ, кто тебя знаетъ, можетъ быть ты и воровка... Ходила, ходила Прасковья Игнатьевна, слѣла на тротуаръ и заплакала.

— Ты што плачешь?—спросила ее какая-то старушка.

— Ой, тетушка, заблудилась я... не знаю, што и дѣлать.

— Ишь ты! Какъ же ты это заблудилась-то? Нездѣшная видно?

— Изъ таракановскаго завода пріѣхала съ дядей Глузовымъ да мастеромъ Корчагинымъ.

— Затѣмъ, матка, пріѣхала-то?

— Мѣсто они мнѣ хотѣли найти.

Мало-по-малу старуха разговорилась съ Курносовой, пожалѣла ее и посоветовала ей сходить теперь же наискосокъ на постоянный дворъ, гдѣ хозяйка нуждалась въ работницѣ.

Дворъ былъ весь загроможденъ телѣгами, наполненными разнымъ кладью, лошади распряжены; около нихъ суетятся четыре-пять ямщиковъ; подѣ телѣгами снуютъ курицы, выклевывая овесъ.

Курносова подошла къ одному ямщику, который былъ поближе другихъ. Она поклонилась ему, когда онъ поглядѣлъ на нее.

— Ты што, ѣхать што ли?

— Нѣтъ.

— Ну?

— Мѣсто ищу въ работу.

Вышла изъ дому хозяйка, оглядѣла Прасковью Игнатьевну и спросила отъ нея паспортъ. Та дала. Хозяйка, взявъ билетъ, подала его прочесть грамотному ямщику.

— Красивая!—сказалъ ямщикъ.

— Да што писано въ бумагѣ-то?—спросила хозяйка

— Можно: двадцати лѣтъ; баба-вдова!

— Да ты говори, што писано, вслухъ! хозяйка,

ямщикъ кое-какъ прочиталъ вслухъ; хозяйка, слушая, оглядывала Прасковью Игнатьевну.

— Стрипать умѣешь? спросила хозяйка Прасковью Игнатьевну.

— Умѣю.

— Ну, ладно, посмотришь.

Съ первой же минуты хозяйка заставила Курносову мыть столъ, посуду, выносить помой. У нея болѣла голова, она чувствовала то жаръ, то ознобъ. Ночью она стала бредить; хозяйка злилась, хотѣла выбросить ее на улицу, но ямщики посоветовали свезти ее завтра въ больницу.

Итакъ Прасковью Игнатьевну свезли въ больницу.

## XXI.

Между тѣмъ какъ Прасковья Игнатьевна странствовала въ поискахъ за мѣстомъ, Корчагинъ, не найдя ее у Подкорытова, вмѣстѣ съ Глузовымъ отправился въ свою очередь ее отыскивать. Но его странствіямъ суждено было окончиться очень скоро. Оба пріятеля попали въ острогъ, гдѣ и просидѣли три недѣли. Сначала ихъ обвиняли за кражу у Бакина золотыхъ часовъ съ дорогими камнями. А потомъ, такъ какъ у нихъ не было билетовъ на выѣздъ изъ завода, то начальство стало требовать изъ завода свѣдѣнія: кто такіе Корчагинъ и Глузовъ и чѣмъ они занимаются. Управляющій Бакина по приказанію своего хозяина увѣдомилъ таракановское заводууправленіе, что Корчагинъ сломомъ вломился въ комнаты Бакина, и поэтому Бакинъ проситъ наказать злодѣя по-заводски. Итакъ

завелось два дѣла: о кражѣ часовъ, съ насиліемъ и со взломомъ, и о бѣгствѣ изъ завода въ городъ для грабежа. Само собой разумѣется, грабителей заковали, и въ городѣ была пущена молва, что Корчагинъ сидитъ въ острогѣ уже въ другой разъ; того и гляди, что онъ подкупиитъ солдатъ и убѣжитъ.

Противъ Корчагина были всѣ, кромѣ Подкорытова, который принималъ самое дѣятельное участіе въ спасеніи своего пріятеля. Ему вся полиція была хорошо знакома, и онъ могъ бы поэтому творить всякія дебосы, еслибы только былъ расположенъ къ нимъ. Однако въ этомъ случаѣ полицейскіе чины отказались принять его совѣтъ: обыскать прислугу Бакина, обыскать разныхъ закладчиковъ и закладчицъ. Они не согласились на это, потому что ихъ, т. е. полицеймейстера, просилъ Бакинъ сокрушить во что-бы то ни стало Корчагина. Поэтому Подкорытовъ сталъ дѣйствовать самъ. Ему были знакомы всѣ золотыхъ и каменныхъ дѣлъ мастера, главные аферисты, отдающіе займы и подъ закладъ деньги. Всѣ эти господа никакъ не знали да и не могли знать, что Подкорытовъ знакомъ съ какимъ-то Корчагинымъ.

Однако онъ двѣ недѣли напрасно подлаживался къ аферистамъ. Только разъ приходитъ въ магазинъ золотыхъ и бриллиантовыхъ вещей. Разговорился съ хозяиномъ, тотъ пригласилъ его къ себѣ вечеромъ выпить пуншъ. Подкорытовъ отъ пунша никогда не отказывался. Пришелъ; началось разговоръ о разныхъ разностяхъ, вдругъ Подкорытовъ вынимаетъ изъ жилетки золотые часы и говоритъ:

— А сколько эти часы стоятъ?

— Да какъ тебѣ сказать... Прежде они стоили, а теперь не больше шестидесяти, пожалуй за пятьдесятъ можно купить.

— Ну, братъ, ты врешь! я изъ за дѣвсти не продамъ, потому они вѣрно ходятъ, такъ вѣрно!..

— А вотъ часы такъ часы! Такихъ, я думаю, у самого вашего генерала никогда не бывало, — и обладатель дорогихъ часовъ ушелъ въ другую комнату. Немного погодя, онъ вынесъ золотые часы, которые и сталъ показывать Подкорытову.

— Вотъ, батюшка, на этой недѣлѣ изъ за-границы получилъ.

— Ну вѣтъ, мой лучше.

— Да брильянтъ-то, брильянтъ-то одинъ чего стоитъ!

Подкорытовъ пошелъ въ прихожую подъ предлогомъ плюнуть, такъ какъ онъ въ хорошихъ домахъ всегда плевалъ въ прихожей. Тамъ онъ записалъ № часовъ и число камней. Брильянтикъ то и дѣло хвалилъ часы.

— Сколько же она стоятъ?

— Да три тысячи.

— Фю-ю! — просивистѣлъ Подкорытовъ, развелъ руками и поклонился окну.

Это значило, что онъ удивился.

— Тысячу возьми — куплю.

— Куда тебѣ, мастеру, нѣтъ такіе часы. Да тебя убьютъ!

Вечеромъ Подкорытовъ сходилъ въ уѣздный судъ, сдѣлалъ справку изъ дѣла: какой № у Ба-

кинскихъ часовъ. № оказался схожимъ съ часами брильянтика. Подкорытовъ на другой день утромъ отправился къ Бакину, которому онъ часто дѣлалъ вещи изъ мрамора. Бакинъ принялъ его сухо, но пригласилъ сѣсть на стулъ.

— Ну что, Андрей Семенычъ, нашли часы?

— Гдѣ найдешь! Уже я знаю, что если таракановцы что украдутъ, то значить въ воду кануло.

— Хотите, я сегодня же вамъ принесу ваши часы?

Какъ?

Бакинъ вскочилъ съ кресла.

— Это ужъ дѣло мое. Брильянтикъ Лефоръ продаетъ мнѣ ихъ за три тысячи рублей, такъ я пришелъ предупредить васъ: согласны вы уплатить мнѣ эту сумму?

Бакинъ согласился, а вечеромъ получилъ свои часы. Начались вопросы. Лефоръ купилъ часы отъ одного золотыхъ дѣлъ мастера, тотъ купилъ ихъ отъ афериста, аферисту они были заложены женою Бакинскаго повара, Марьей.

Корчагина и Глузова выпустили изъ острога, а Марью съ мужемъ Бакинъ прогналъ, но не посадилъ въ острогъ по извѣстной ему одному причинѣ.

Денегъ, какія ему слѣдовало, Корчагинъ не получилъ; жаловаться было нельзя, потому что его и Глузова торопили вѣхать; Потѣва угнали въ лѣсъ; жена его между тѣмъ успѣла продать лошадь и долгушку Глузова... Жаловаться тоже было некому.

Корчагина и Глузова отправили изъ полиціи къ повѣренному съ казакомъ. Повѣренный заперъ ихъ въ темную комнату и послалъ нарочнаго въ заводъ, что дѣлать ему съ выпущенными изъ острога бѣглыми. Заводоуправленіе приказало повѣренному отправить ихъ немедленно связанными и представить прямо къ исправнику. Противъ этого протестовать было нельзя. Сказалъ Корчагинъ, что онъ и Глузовъ подадутъ прошеніе на Бакина, но повѣренный замѣтилъ, что онъ въ такомъ случаѣ будетъ хлопотать за Бакина.

Проѣхали улицы двѣ, почтарь развязалъ ихъ и повезъ къ Подкорытову, который угостилъ ихъ, сочинилъ имъ просьбу на Бакина и обѣщался хлопотать за Прасковью Игнатьевну, о которой въ городѣ не было никакого слуха.

Поѣхали. Вдуть молча; отмалчиваются отъ почтаря. Въ головѣ Корчагина и Глузова такъ много было нехорошаго, что каждый изъ нихъ ничего не могъ высказать съ толкомъ, не могъ связать ни одной мысли. У каждого было свое горе, и поэтому ихъ соображенія мѣнялись одно другимъ, и оба видѣли другъ въ другѣ не то, чтобы врага, а чловѣка съ дурными наклонностями. Корчагинъ сердился на Глузова и никакъ не могъ придти къ тому заключенію, что Глузовъ нисколько не виноватъ. „Еслибы я не поѣхалъ съ нимъ, то ничего бы не было: я ему говорилъ, чтобы онъ Курнозову къ Потѣву взялъ, а онъ не взялъ. На допросахъ показывалъ, что я золото продаю Бакину?“ Глузову было досадно, зачѣмъ онъ взялъ съ собою Корчагина. Не будь съ нимъ Корчагина, онъ не просидѣлъ бы въ острогѣ чуть не мѣсяцъ. А

него, торгового человека, каждый день дорогъ. Корчагинъ—человѣкъ ремесленный: онъ какъ прѣдетъ, тотчасъ примется за работу, а Глузовъ и лошади линился. На чемъ онъ теперь станетъ возить въ городъ желѣзные вещи? Но главное—его беспокоитъ то, что скажетъ его жена. Какъ онъ явится передъ ея свѣтлыми очь? Онъ напередъ зналъ, что она ему теперь покою не дастъ, потому что съ собою онъ ничего не везетъ. „Пропала моя голевушка ни за грошъ! Пропала и торговля у Дашки, потому проиѣны дѣлать нечѣмъ. И все это по милости Корчагина“.

— Послушай, Корчагинъ: теперь я черезъ тебя и лошади, и телѣги лишился; ты это песуди,—преговорилъ онъ, не глядя на Корчагина.

— Самъ виноватъ,—сказалъ грубо Корчагинъ, не глядя на него.

— Слушай, што я тебѣ скажу: заплати мнѣ срокъ рублей.

Корчагинъ промолчалъ.

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ.

— Жалуйся..

— Будь ты проклятое стругало!

Пріятели замолчали. Глузовъ негромко насвистывалъ, но боялся повидимому смотрѣть на Корчагина. Корчагинъ сталъ еще злѣе; ему не только не хотѣлось говорить съ Глузовымъ, но даже смотрѣть въ его спину. Онъ даже хотѣлъ крикнуть ему: „не свисти!“ но языкъ точно присохъ.

Послѣ этой размовки Корчагинъ и Глузовъ не разговаривали другъ съ другомъ во всю дорогу. Глузовъ на полдорогѣ отъ города къ заводу сознавалъ, что онъ напрасно обидѣлъ Корчагина, потому что Корчагина самого обидѣли: онъ потерялъ въ городѣ Курносову, съ которой онъ можетъ быть жилъ и на которой вѣроятно онъ хотѣлъ жениться, когда будетъ воля; у него отняли въ городѣ деньги. Онъ думалъ, что теперь Корчагинъ прекратитъ съ нимъ всякія дѣла и при случаѣ—„пожалуй скажетъ, што я дѣлаю серебряныя ложки... Вѣдь вотъ онъ не выдалъ мѣня, а я, дуракъ, выдалъ, што онъ Бакину золото продаетъ. За это его не потянули, потому что къ допросамъ это не включили; а скажи Корчагинъ про меня, меня бы обыскали. Онъ за золото чистыя денежки заплатилъ, а я на какія деньги лошадь ту приобрѣлъ? А вѣдь при случаѣ Корчагинъ поможетъ мнѣ“. Но сколько Глузовъ ни начиналъ заводить съ Корчагинымъ разговоръ, тотъ отмахивался. Да и Корчагину не до разговоровъ было: его беспокоило то, что сдѣлалось съ Курносовой! Подкверытовъ говорить не видалъ. А времени прошло много. Неужели она въ заводъ ушла?.. А, можетъ, она и служить у кого-нибудь... Ахъ! Господи праведный, помоги ты Прасковѣ Игнатьевнѣ.

Въ заводъ прѣехали ночью. Пріятелей заперли въ полицію, въ одну комнату съ арестантами.

— Што новаго?—спрашивали арестованные. Глузовъ рассказывалъ имъ все, что случилось съ ними. Корчагинъ молчалъ. Онъ искудалъ и сдѣлался блѣднѣе прежняго.

— А мы думали, вамъ не миновать плетей.

— Да вотъ Васюха на меня разѣрыжился, молчать, хоть ты какъ и заговаривай съ нимъ. Послушай, Вася; вѣдь я такъ, сгорая.

— Все равно! што сказано, то не воротить.

— А развѣ мнѣ не обидно? Самъ ты это посуди, другъ.

— А! теперь такъ другъ... Нѣтъ, я не забуду...

— Постой, Корчагинъ!.. Это еще што, что васъ въ острогѣ морили... Здѣсь-то што творится,—сказалъ одинъ изъ арестованныхъ.

— Ты, Алексѣй, молчи: не растравляй его.

— А што?.. говорите, братцы,—сказалъ Корчагинъ такимъ голосомъ, точно онъ предчувствовалъ бѣду.

— А тебѣ придется вѣрно на фатерѣ пожить теперь?

— Какъ такъ?

— Да такъ. Твой-то домъ съ дымомъ улетѣлъ. Корчагинъ поблѣднѣлъ и задрожалъ.—Што ты врешь?—крикнулъ онъ.

— На четвертый день, какъ ты уѣхалъ, и загорись въ фабричномъ порядкѣ у Платоновой, ну, такъ-таки пять изъбъ спалило.

Корчагинъ молчалъ.

— А мой-то домъ живъ ли?—спросилъ Глузовъ.

— Еще сто лѣтъ проживетъ. Не вѣмъ же горѣть. А важно, братъ, горѣло, что и подступиться было трудно. Извѣстно, строенье старое, сухое, дотронись—такъ пылъ одна. Мы было думали: ну, прощай, фабрика! да хорошо, што вѣтеръ-то съ озера на гору дулъ, да и самъ знаешь, у насъ машины первый сортъ, не дали. И такъ дома четыре разрушили понапрасну.

— Отъ чего загорѣлось-то?—спросилъ Глузовъ.

— А Богъ ево знаетъ. Болтають, отъ сажки будто, да вздоръ... Болтають еще, што Варвару твою видѣли во дворѣ Платоновой; а она говоритъ, што ея овечку заперли во дворѣ Платоновой. Не разберешь.

— Гдѣ же сестра-то?

— Она теперь на Петровскомъ рудникѣ страпухой. Болтають, съ Подосеновымъ. А Бездониха отъ испугу померла... Только мать твою перетасили къ Вавилѣ Фомину.

На другой день Корчагина и Глузова выпустили изъ полиціи; Корчагинъ помирился съ Глузовымъ, но все-таки, говоря съ нимъ, глядѣлъ въ сторону.

— Ты, Корчагинъ, коли тамъ што плохо, приходи ко мнѣ, не откажу,—говорилъ на прощанье Глузовъ.

— Не откажу! Эка свинья!.. Вотъ што значить быть въ бѣдѣ: этотъ скотъ вчера обругалъ меня, денегъ спросилъ, а сегодня ужъ поддразнивается... Ты узнай напередъ: буду ли я еще тебѣ, подлецу, кланяться. Еще тебя-то пустить ли женушка!—И при этомъ Корчагинъ расхохотался.

Горе Корчагина было велико. Положимъ, что домъ строилъ не онъ, а его отецъ, но онъ къ этому дому такъ привыкъ, что ни за что бы не вышелъ изъ него, и хотя онъ находилъ, что онъ построенъ на старинный манеръ, но не тревожилъ

его старуха стѣтъ, потому что новый домъ строить не для чего, и въ тогда всѣ старики заговорили бы, что Корчагинъ богачъ. Не это, положимъ, лучше, а вотъ гдѣ теперь жить?

Еще не доходя сажень пятидесять до папачина, онъ увидѣлъ, что вся фабричная улица нальво загромождена досками и бревнами. По этому старую, отчасти уже прогнившему насквозь, можно было заключить, что дома въ этомъ переулкѣ построены очень давно. Въ двухъ мѣстахъ двое рабочихъ складываютъ бревна, вытаскиваютъ изъ досокъ гвозди. Они спорятъ.

— Нѣтъ, Пантелеевъ, эта доска моя.

— Ну, кося тыся, такъ хватай, чортъ те дер!

— Ты не ругайся: ты и такъ двумя лишними бревнами завладѣлъ.

— А ты-то, ты-то дѣлаю стѣну стаскалъ во дворъ. Не помнятъ что ли, что на одномъ бревнѣ картинка отъ конфетъ была приклеена.

— Здорово, браццы!—сказалъ Корчагинъ.

— Ты што, убѣждалъ што ли изъ острога-то? Острожная сука!

— Выпустили...

— Рассказывай сказки-то. Вотъ по твоей милости до чего мы дожили!

— Развѣ я микновать?

— Вся ваша порода такая.

Корчагинъ пошелъ къ своему мѣсту.

— Куда?—закричалъ на него одинъ изъ рабочихъ.

— На свое мѣсто.

— Я тебѣ покажу свое мѣсто! После акова дѣла оно наше. Спроси свою-то сестрицу, зачѣмъ она Платоновскій домъ зажгла?

— Кто видѣлъ?

— У! чуча... острожная сука-а!

Осмотрѣвъ Корчагинъ пожарные: обгорѣлые столбы торчатъ, да печи дѣлы, гряды обгорѣли, постройби и сдѣланы тверды, какъ камень. Перебралъ онъ угли въ ямахъ, ничего нѣтъ; даже обгорѣлыхъ инструментовъ нѣтъ.

Запелъ Корчагинъ съ горы въ кабакъ, выпилъ осмунушку въ долгъ и сталъ думать, что ему дѣлать теперь. Придумалъ онъ справиться хорошенько на счетъ дома Игнатія Глумова; но такъ приняли его сую, и онъ не добился никакого толку. Оставалось хлопотать у начальства. Пошелъ онъ къ приказчику.

— Скажи пожалуйста, какимъ образомъ ты вхожъ къ Бакину?—спросилъ Корчагина приказчикъ.

Этотъ вопросъ озадачилъ Корчагина. Въ самомъ дѣлѣ: быть въ комнатахъ Бакина такому ничтожному человѣку, какъ Корчагинъ, много значило, и заводоуправление думало, что онъ, т. е. Корчагинъ, имѣетъ какія-нибудь вредныя дѣла противъ заводоуправления.

— Видите ли, Финогенъ Степановичъ, я знакомъ въ городѣ съ мастеромъ Подкорытовымъ, а онъ вхожъ къ Бакину. Въ это время, какъ я прѣѣхалъ къ Подкорытову, Подкорытовъ былъ нездоровъ и послалъ меня съ запиской за деньгами къ управляющему сснениа е. рашетинкова.

этому Бакину. Управляющій сназалъ мнѣ, что Бакинъ ему не говорилъ о деньгахъ, Подкорытовъ написалъ письмо къ самому Бакину.

— Не врешь, такъ правда... Мы это узнаемъ. А о какихъ ты деньгахъ, будто украденныхъ у тебя въ полиціи, говорилъ повѣренному?

— Я съ Бакина ничего не получилъ за то, что я высидѣлъ въ острогѣ. Вотъ поэтому я и хочу съ квартальныхъ выскать двѣсти рублей... Сами посудите: дома нѣтъ, инструментовъ нѣтъ, у Глумова лошадь съ долгушкой украли. Онъ на меня сердится.

— Ты долженъ съ Бакина просить, а не съ полиціи, тѣмъ болѣе, что у тебя не было денегъ... Да! Тымошка Глумовъ показывалъ на допросахъ, что ты возилъ золото Бакину, и онъ купилъ у тебя на двѣсти рублей; а какъ ты разъ засталъ его съ дѣвкой, то онъ испугался и далъ тебѣ пощечину. Ты думаешь, я ничего не знаю? Ну-ко, что ты скажешь на это?

— Вы ужъ на этотъ счетъ пытайте самого Глумова, потому что онъ это сказалъ со злости. Онъ вчера еще просилъ у меня прещенія.

— А если я велю тебя пытать? Если я тебя турну въ максимовскіе рудники лѣшкомъ и велю тебя назначить въ самыя тяжелыя работы?! Мало этого, велю тебя, не принимая во вниманіе никакихъ твоихъ оговорокъ, показывать каждый день полегоньку, передъ обѣдомъ, этапъ по десяточку?! Что ты на это скажешь?—и приказчикъ скрестилъ на груди руки.

— Воля ваша. Вѣдь двухъ смертей не будетъ, а одной не миновать.

— Нѣтъ, я тебѣ покажу де-ся-ать смер-тей!!

Минутъ пять приказчикъ ходилъ молча по комнатамъ, покуривая сигару.

— Ишь, выдумали возить золото въ городъ!.. Вы забыли, что у васъ есть приказчикъ... нѣтъ, чтобы подарить!—преговорилъ онъ медленно.

— Все это некалывалъ Глумовъ со злости. Вѣдь извѣстно всѣмъ, что онъ дурачекъ.

Приказчикъ проходилъ изъ угла въ уголъ, молча, съ полчаса.

— Вотъ што, Корчагинъ: можешь ты достать мнѣ золота?—спросилъ онъ вдругъ.

— Не знаю.

— А чужимъ знаешь!—крикнулъ приказчикъ. — Я требую, и баста!

— Пожалую пожалуй.

— Не пожалуй, а чтобы черезъ двѣ недѣли было хоть съ фунтъ.

Корчагину нельзя было отказываться: отказаться — значить навлечь на себя тяжкое наказаніе приказчика. Приказчикъ опять походилъ съ четверть часа и вдругъ спросилъ Корчагина.

— Такъ ты точно видѣлъ у Бакина дѣвку?

— Молодая, красивая... прелесть, — сказалъ Корчагинъ, ударя въ слабую струну приказчика.

— Врешь?—сказалъ весело приказчикъ.

— Волоса и платье это... просто картина!

— Ахъ, будь онъ проклятъ!! Поди, никто не видитъ.

— Кромѣ жены повара, Марьи, что часы украдала, никто не видитъ; а знать-то, я думаю, знаютъ.

— Удивительная вещь! изъ торгашей какіе тузы

сдѣлались. А ты корпишь, корпишь, — только неприятности одиѣ.

Приказчикъ замолчалъ.

— Афиногенъ Степанычъ? — сказалъ вдругъ Корчагинъ.

Приказчикъ былъ занятъ чѣмъ-то. Онъ не отвѣчалъ минутъ пять. Остановившись у одного стола передъ зеркаломъ, онъ сталъ глядѣться въ зеркало.

Вошла Пелагея Семикина въ терновомъ платьѣ и въ свѣтѣ.

— Афиногенъ Степанычъ, обѣдать готово, — сказала она и пошла.

— Постой! — сказалъ ей приказчикъ.

Она остановилась.

— А что, Корчагинъ, которая лучше: Бакнина или моя?

— Ваша несравненно лучше.

— Хоть бы вы при людяхъ-то не страшили меня, — сказала Пелагея.

— Ну, пошла на свое мѣсто!! А ты, Корчагинъ, иди на кухню, тамъ накормятъ.

— Афиногенъ Степанычъ! я хотѣлъ попросить васъ объ одномъ дѣлѣ.

— Ну?

— Послѣ смерти Игнатія Глумова остались два сына и дочь, теперь домоу завладѣлъ Александръ Покидкинъ. Позвольте мнѣ въ этомъ домѣ жить; я имъ буду платить деньги за жилье.

— Это дѣло исправника. А ты вотъ исполни мое приказаніе, — тогда посмотримъ.

Исправникъ послалъ Корчагина къ писмоводителю, а писмоводитель запросилъ двадцать пять рублей.

Корчагинъ находился въ такомъ положеніи, что не зналъ, какъ теперь ему жить. Насчетъ дома Игнатія Глумова онъ долженъ былъ отложить попеченіе, потому что имѣлъ должны начать дѣти Глумова, а у нихъ на домъ не было никакихъ документовъ. Теперь у него нѣтъ инструментовъ, нѣтъ денегъ и лѣсу. Нужно признаться у почтмейстера или у кого-нибудь. А онъ хорошо зналъ, каково занимать: займешь рубль, да за этотъ рубль сработашь кредитуру на десять рублей и спасибо не получишь. Больше всего его огорчало поведеніе сестры, не потому, что она ушла на рудникъ и живетъ съ штейгеромъ, а ему много наговорили про нее. Его алгло то, что она украла деньги, не прибегла его инструментовъ, которые онъ скапливалъ годами. Но опять и то еще можетъ быть, что она и не украла деньги и инструменты, а припрятала. Онъ пошелъ къ ней.

Въ рудничной избѣ, гдѣ обѣдали и спали рабочіе, Корчагинъ не засталъ сестры. Ему сказали, что она въ это время постоянно уходитъ къ штейгеру Подосенову. Корчагинъ присѣлъ. Половина рабочихъ сътовали, что они не наѣлись, проклинали Варвару и ложились спать, другіе жевали ржаной хлѣбъ, привезенный ими съ завода. Всѣ ругали Варвару, какъ только могли, на томъ основаніи, что дома у нихъ всегда исправно, а здѣсь, гдѣ женщина служитъ для нихъ за деньги, они не получаютъ ни хлѣба, ни щей, а все это идетъ въ пользу штейгера. Все это

они старались какъ можно злѣе высказать Корчагину, который во всемъ соглашался съ рабочими. Но вотъ то, что Варвара хочетъ выйти замужъ за приказнаго Прохорова и строить въ запрудской сторонѣ домъ въ пять оконъ, — возбѣсило его.

Въ это время вошла въ избу Варвара Васильевна, пошатываясь. Отъ нея пахло водкой. Платокъ съ ея головы свалился, волосы растрепались, сарафанишко изодранъ.

Въ избѣ всѣ замолчали. Всѣ смотрѣли то на Корчагина, то на его сестру.

— Здорово живешь, сестричка! — сказалъ Корчагинъ ядовито. Многіе улыбнулись, но всѣ молчали.

Варвара Васильевна поглядѣла на брата сурово, толкнулась правымъ бокомъ о печку, заглянула въ печь и упала на полъ.

— Камедь! — проговорили нѣсколько человѣкъ.

Корчагина трясло отъ злости. Варвара Васильевна встала, какъ ни въ чемъ не бывало, подошла къ столу, отворила столешницу, потомъ пошла прочь. Корчагинъ подошелъ къ ней и ударилъ ее по щекѣ.

— Узнала ты меня? — крикнулъ онъ ей и взялъ ея обѣ руки въ свои.

— Каторжный!.. острожный!!.. я тебѣ... — заголосила сестра и плюнула въ лицо Корчагина.

— Сестра! гдѣ деньги? — спросилъ Корчагинъ ласково.

— Деньги!.. тамъ!! та-а-мъ... — говорила его сестра, растагивая.

— Отрезвить бы ее.

— Окати!.. — галдѣли рабочіе, сжимая кулаки.

— Ты замужъ выходишь? — допрашивалъ ее Корчагинъ.

— И выйду!.. Домъ ему построю, потому деньги мнѣ баушка благословила.

— Благословитъ же ее, братцы?! — кричали рабочіе.

— Покажемъ, какъ мѣнять насъ на Подосенова! — заговорили рабочіе и встали. Варвара завонила.

Одинъ рабочій принесъ охапку розогъ. Начали операцію надъ сестрой Корчагина. Корчагинъ сначала былъ доволенъ этимъ, но когда по его соображенію казалось, что Варвару довольно наказывать, то онъ никакъ не могъ удержать рабочихъ: они кричали:

— Ты деньги берешь! мы хлѣбъ своей носимъ! По твоей милости въ избѣ холодно! По твоей милости Степка, сынъ Курносова, околѣлъ...

Кончили. Варвара отрезвила и съ ревомъ выбѣжала изъ избы. Немного погодя, вошелъ Подосеновъ, худенькій, низенькій человѣкъ, лѣтъ сорока, съ свирѣпою физиономіей. На немъ былъ надѣтъ тиковый зеленого цвѣта халатъ, полы котораго были заткнуты за ошейникъ.

За нимъ шло трое рабочихъ, изъ которыхъ одинъ несъ охапку розогъ.

Подосеновъ назывался рабочими двумя именами — сморчкомъ и винной бочкой; какъ первое, такъ и другое названіе шло къ нему.

— Кто кухарку стегалъ? — крикнулъ Подосеновъ, оглядывая рабочихъ.

Всѣ молчать.

— Который тутъ братъ кухарки?  
— Я,—сказалъ гордо Корчагинъ.  
— Раздѣть!!—крикнулъ штейгеръ, разводя руки.

Съ мѣста никто не тронулся.

— Ра-здѣть!!—крикнулъ во все горло штейгеръ и выплился въ халатъ Корчагина.

— Руки коротки,—сказалъ Корчагинъ, толкнувъ штейгера такъ, что онъ ударился спиной въ печь.

— Ш-нго?

— То, ште я не подъ твоей командой состою,—проговорилъ Корчагинъ, передразнивая Подосенова.

— Я тебѣ покажу, покажу!

— Хорошъ онъ монѣ?—спросилъ Корчагинъ рабочихъ.

— А вотъ мы поглядимъ...

— Долой Варвару!

— Не могу... Я... я ее вотъ какъ уважаю!

— Уважаемъ!!

И Подосенова выдрали. За операціей спрашивали его: будетъ ли онъ жаловаться. Онъ покладно и сказалъ, одѣваясь, что онъ съ этихъ поръ уѣзжаетъ въ заводъ и выходить въ отставку.

— Въ послѣдній разъ вы меня дерете, ребята. Волю зачуяли, волю!! Воля вамъ будетъ, ребята, только такого штейгера вамъ не найти, какъ я... Я всегда писалъ, что всѣ исправны, и по монѣ въ домошничкамъ выдавали деньги сполна..

— Не посягать ли ево сызнова?!

— Посмотрю я, какой будетъ новый штейгеръ.

— Поди къ... чорту!!

Подосенова выгнали изъ избы.

— Эй! конецъ!! шабашъ! всѣ сюда?!—кричалъ штейгеръ неистово рабочимъ.

Въ полчаса къ избѣ собралось человѣкъ полтора рабочихъ съ подростками и малолѣтними.

— Вы говорили... вы проклинали меня?.. Я не хорошъ!! Ребята??? Эй! ребята??? Меня заставляли!... Мнѣ самому невтерпѣжъ было. .

— Водку-то пить?..—ворчалъ народъ.

— Гуляйте! че-е-рти!!!

И Подосеновъ, сѣвъ въ долгушку, уѣхалъ.

— Што онъ,—очумѣлъ!

— Съ ума спятилъ!—говорилъ народъ.

— Айда домой, ну ихъ къ чертямъ!

И рабочіе пошли домой.

Прошли десять верстъ; смотреть—лошадь и долгушка Подосенова стоятъ около лѣсу. Подосенова нѣтъ.

Двое зашли въ лѣсъ на правую сторону, походили въ лѣсу...

— Виситъ!

— Кто?

— Подосеновъ!!

Подосеновъ повѣсился.

Этому происшествію всѣ въ заводѣ долго дивились и единогласно заключили, что Подосеновъ изгнѣвъ отъ пьянства... Но были люди, которые говорили, что Подосенова сильно допекалъ за что-то приказчикъ.

## XXII.

У бѣднаго человѣка первая забота—о насущномъ кускѣ хлѣба и постоянное желаніе выйти изъ-подъ неволи; но какъ только бѣдный человѣкъ выбьется изъ нужды и попадетъ въ начальники, онъ круто повертывается отъ своихъ собратьевъ по ремеслу и старается подражать тѣмъ, кто прежде командовалъ намъ нимъ. Еще хуже, если этотъ человѣкъ изъ крѣпостныхъ, сынъ начальника, не испытавшій самъ горя. Таковъ былъ и Переплетчиковъ. Прежде, когда онъ былъ побѣдѣнъ, одѣвался просто—разговаривалъ съ рабочими и принималъ участіе въ ихъ положеніи; потомъ мало-по-малу онъ сталъ отдаляться отъ своихъ заводчанъ: одѣвался, какъ городской франтъ, окружалъ себя толпой ненужной ему прислуги и смотрѣлъ свысока на всѣхъ. Вмѣсто одностаянаго деревяннаго дома онъ выстроилъ двухъ-этажный каменный, въ двѣнадцать оконъ на улицу. Внутренность дома отличалась всѣми неудобствами и роскошью первогильдейскаго купца; полы паркетные, мебель дубовая, вездѣ цвѣты, въ окнахъ и дверяхъ драпир, на стѣнахъ картины, преимущественно соблазнительнаго свойства, на столахъ мраморныя статуи, въ залѣ стоитъ мраморный бюстъ перваго заводовладѣльца подъ стекляннымъ колакомъ, въ кабинетѣ на столахъ и въ шкафу лежать рѣзные камни, въ клѣткахъ распеваютъ соловьи и канарейки. Вмѣсто огорода у него явился большой садъ съ прудомъ, въ которомъ водятся караси, ерши и окуни, ловить которыхъ можетъ только самъ приказчикъ да управляющій. Въ этомъ саду разъ въ годъ, а именно въ Троицу, дозволяется гулять рабочимъ и слушать даромъ заводскую музыку.

Приказчикъ Переплетчиковъ въ настоящее время вдовъ, дочери его съ нимъ не живутъ. Для чего же, спросить читатель, онъ имѣетъ такой домъ; неужели онъ одинъ занимается его? Верхній этажъ занимается онъ одинъ; половину нижняго занимаетъ его канцелярія, при которой есть даже клѣтка для винова-тыхъ, а другую занимаетъ его прислуга. Стараясь во всемъ пародировать большихъ баръ и не желая отказывать себѣ ни въ чемъ, онъ имѣетъ прислугу, какъ помѣщикъ: у него есть дворникъ, кучеръ, садовникъ, лакей, экономка, горничная, прачка и кухарка. Всѣмъ этимъ людямъ онъ ничего не платитъ, потому что они заводскіе. Хотѣлось еще ему завести повара, да въ заводѣ не было такихъ рабочихъ, которые бы умѣли готовить кушанье по карточкѣ, а нанимать въ городѣ повара онъ не хотѣлъ.

Прежде всѣмъ хозяйствомъ управляла жена Переплетчикова и дочь его Марья Афиногеновна. Когда умерла его жена и дочь вышла замужъ за нярядчика Плотникова, тогда хозяйство стала вести двоюродная сестра его жены, вдова Марья Алексѣевна, бывшая замужемъ за чиновникомъ. Говорятъ, что Переплетчиковъ и при жизни жены ухаживалъ за ней, а послѣ сталъ открыто жить съ Марьей Алексѣевной, обѣщаясь жениться на ней. Марья Алексѣевна была глупая женщина, читавшая по складамъ и умѣвшая

кое-как записывать цифры. Она совалась всюду, весь день грызла прислугу, ругалась, как базарная торговка, требовала от каждого почтения на томъ основаніи, что она дворника; но ее никто не боялся, вѣроятно потому, что Переплетчиковъ не рѣдко бивалъ ее, теребилъ за волосы, приговаривая: „я тебя, шкурѣбарабанной, покажу дворянство!“ Однако, несмотря на то, что во время обѣдовъ и баловъ, даваемыхъ Переплетчиковымъ, она дѣлала къ заводскимъ аристократамъ съ разговорами о своихъ сенахъ и о непочтеніи къ ней прислуги; несмотря на забывчивость такого рода, что, держа въ лѣвой рукѣ платокъ, она искала этотъ платокъ, билась, бѣгала изъ угла въ уголъ, называя всѣхъ воронами и воробьями; несмотря на то, что надъ ней въ глаза смѣялись заводскія барышни, — она была не прочь порисоваться: любила вырядиться, наружничать и выставить себя на показъ при всякомъ удобномъ случаѣ; и женщина была не промахъ: безъ зазрѣнія совѣсти она вытаскивала изъ кармановъ приказчика деньги, когда онъ являлся домой пьяный. Это она называла сбереженіемъ на черный день...

Переплетчиковъ — и пьяный, и трезвый — потѣшался надъ ней вдвойнѣ, но сдѣлать ей ничего не могъ. Онъ ото всѣхъ требовалъ повиновенія, а Марья Алексѣевна его не слушалась. Это бѣсило его: „Какъ? меня не бояться! а эта бабенка и знать меня не хочетъ: я могу уничтожить ее, а она командуетъ надо мной?... Сокрушу!“ горячился онъ и рѣшилъ постегать ее, но случая къ этому не представлялось. Марья Алексѣевна прятала концы въ воду очень ловко. Золъ сдѣлался Переплетчиковъ, надѣвша ему Марья Алексѣевна. „Прогоню!“ думалъ онъ. „Нѣтъ, я ее впередъ выдеру“... — и эта мысль еще больше раздражала его. Разъ онъ пріѣхалъ откуда-то ранѣе обыкновеннаго. Марья Алексѣевна ругалась въ кухнѣ. Дверь въ кабинетъ Переплетчиковъ въ этотъ день забылъ запереть, но находящаяся въ кабинетѣ шкатулка съ банковыми билетами и деньгами всегда запиралась, и онъ первымъ долгомъ, какъ возвращался домой трезвый, подходилъ къ шкатулкѣ, отпиралъ ее и считалъ деньги. Теперь, спохватившись, что кабинетъ не запертъ, онъ кинулся къ шкатулкѣ — замокъ сломанъ. „А! ладно“, сказалъ вслухъ Переплетчиковъ. Стали обѣдать.

— Теперь что? — спросилъ приказчикъ лакея, подававшего второе блюдо.

— Катлеты-съ.

— Позови, каналья, кучера и садовника, а Пантелею вели принести изъ сада свѣжихъ котлетъ. Понимаешь? Живо!

Марья Алексѣевна думала, что вѣроятно Переплетчиковъ будетъ потѣшаться за обѣдомъ надъ тѣмъ, какъ лакея будутъ наказывать, — что и случилось прежде.

Вошелъ кучеръ, толстый человѣкъ, съ лысой головой и русой большой бородой, и молодой дюжій садовникъ. Остановились они у дверей и ждали съ нетерпѣніемъ приказанія своего барина. Переплетчиковъ велѣлъ принести изъ комнаты Марьи Алексѣевны сундукъ, а самъ принесъ изъ кабинета на

сцену шкатулку. Марья Алексѣевна поблѣднѣла. Все это дѣлалось молча.

— Топоръ! — сказала Переплетчиковъ.

Немного погодя, былъ принесенъ топоръ. Переплетчиковъ разломалъ шкатулку: въ ней не оказалось десяти сторублевыхъ бумажекъ; разломали сундукъ Марьи Алексѣевны: оказалось много вещей, принадлежавшихъ Переплетчикову.

— Пантелей! — крикнулъ Переплетчиковъ.

Явился дворникъ Пантелей, сухощавый человѣкъ, съ сѣдыми кудреватыми волосами и безъ бороды. Въ охапкѣ онъ держалъ пучокъ розогъ.

— Взять ее! — крикнулъ приказчикъ, показывая на Марью Алексѣевну.

Какъ ни кричала, какъ ни отбивалась Марья Алексѣевна, а ее все-таки постегали, и постегали на славу.

— Узнала ли ты свое дворянство? — спросилъ Переплетчиковъ, когда перестали сечь Марью Алексѣевну.

— Я на тебя, подлецъ, жалобу подамъ.

— Вотъ попушала-то!

И Марью Алексѣевну вытолкали изъ дома приказчика. Жаловаться она не пошла, потому что приказчикъ подозревалъ ее въ отравленіи его жены.

Переплетчиковъ былъ женатъ три раза. Первая жена у него была красавица, и изъ-за нея онъ получилъ должность казначея главной конторы, такъ какъ она жила съ управляющимъ, о чемъ зналъ Переплетчиковъ. Сначала сунулось онъ любить ее, какъ слѣдуетъ, но потомъ связался съ другой женщиной, на которой потомъ и женился. Но эту женщину онъ не могъ любить такъ, какъ любилъ первую, билъ ее и заколотилъ въ гробъ. Третья жена хотя и принесла ему много въ приданое, но была женщина больная, и онъ оказывалъ больше предпочтенія Марьѣ Алексѣевнѣ.

Прогналъ онъ Марью Алексѣевну, но скоро спохватился: изъ всѣхъ трехъ женъ ни одна такъ не угождала ему, какъ эта чиновница. Правда, она и ругала его, била, но зато все у нея было въ порядкѣ, все она дѣлала по его. — „Ты ругайся, да дѣлай, какъ я велю“. Повинованіе жены Переплетчиковъ считалъ идеаломъ добродѣтели.

Послѣ Марьи Алексѣевны ему сдѣлалось скучно. Онъ могъ бы выбрать себѣ въ любовницы любую дѣвушку; но кого выберетъ? Чиновницѣ ему больше не надо; не надо ему и грамотныхъ. Ему нужна красавица, неучъ, такая, которая бы и пикнуть не смѣла передъ нимъ. И сколько онъ ни высматривалъ подходящихъ, не находилъ ни въ городѣ, ни въ заводахъ.

Но вотъ однажды докладываетъ лакей, что пришла къ нему съ просьбой Пелагея Семитина. Онъ вышелъ въ пріемную, взглянулъ — и остолебѣлъ.

Это была высокая, здоровая дѣвушка, лѣтъ двадцати трехъ, съ очень красивымъ лицомъ и голубыми глазами. На головѣ ея, съ причесанными по-городски волосами, надѣтъ былъ красивый ситцевый платокъ, на ней самой ситцевый сарафанъ. На лицѣ замѣтно выраженіе грусти, въ глазахъ замѣтна робость и покорность.

Такой красавицы Переплетчиковъ еще не видѣ-



залъ, и онъ невольно поклонился ей и спросилъ ее ласково:

— Что скажешь?

— Афиногенъ Степанычъ, отецъ мой умеръ, а провѣянты мнѣ не дають

— Не положено. А мать есть?

— Нѣтъ.

— Домъ есть?

— Есть.

— И женихъ есть?

— Сватается писарь Зюзинъ.

— Знаю. Вѣдь онъ пьяница и картежникъ? Ты это знаешь ли?

— Слышала, Афиногенъ Степанычъ.

Семихина вздохнула.

— Что жъ ты по любви идешь за него?

— Не... знаю... Нужда...

— То-то вы дуры! Учить васъ некому. А я бы советовалъ тебѣ бросить эту фанатерію, потому... Я знаю, что за пособіемъ послалъ тебя Зюзинъ.. Такъ?

— Нѣ...ѣтъ.

— Ладно. Вотъ тебѣ десять рублей.

Приказчикъ далъ Семихиной десять рублей. Семихина поклонилась ему въ ноги.

Вечеромъ въ тотъ же день приказчикъ потребовалъ къ себѣ Зюзина; Зюзина притащили къ нему изъ кабака. Онъ былъ такъ пьянъ, что едва держался на ногахъ, поэтому приказчикъ велѣлъ запереть его въ своей чижовкѣ и послалъ за Семихиной.

— Что, голубушка, поди, всѣ деньги ухнула.

— Всѣ: долги заплатила.

— И женишку дала малую толчку. Гдѣ же онъ теперь — въ кабакѣ?

— Не знаю.

Приказчикъ крикнулъ лакея и велѣлъ отвести Семихину въ чижовку къ ее жениху.

Семихина ахнула, потому что Зюзинъ спалъ пьяный, на полу лежала разорванная трехрублевая ассигнація.

— Проси прощенія у приказчика! онъ все знаетъ, — сказалъ лакей Семихиной.

На другой день вечеромъ приказчикъ позвалъ къ себѣ Пелагею Семихину. Она кинулась ему въ ноги и стала просить прощенія.

— Хорошо. Что жъ скоро свадьба?

— Я не пойду за него.

— Что такъ?

— Пьяница. Онъ всѣ деньги проигралъ.

Она говорила уже свободно, потому что была не изъ робкаго десятка, да и приказчикъ говорилъ съ ней ласково.

Онъ опять далъ ей три рубля и черезъ два дня позвалъ къ себѣ. Ее ввели въ столовую, гдѣ онъ ужиналъ.

— Ну, красотея, что ты подѣлываешь?

— Мнѣ... я сидѣла... шила.

— Для своего жениха-пьянчуга... Вотъ что: хочешь служить у меня?

Семихина поклонилась.

— Съ завтрашняго дня тебѣ будетъ дѣло. Хочешь ѣсть?

— Нѣтъ.

— Врешь! садись.

— Покорно благодаримъ.

Однако Переплетчиковъ уговорилъ ее сѣсть; подвинулъ стулъ къ ней, налилъ ей рюмку мадеры.

— Пей, красотея! — сказала приказчикъ негромко и поднесъ ей рюмку.

— Покорно благо...дарю, — сказала Семихина и покрасилась.

— Ну—ну!

Пелагея выпила, отерла губы платкомъ, а Переплетчиковъ обнялъ ее. Пелагея взвизгнула, но Переплетчиковъ цѣловалъ ее.

— Пустите! пустите! — кричала Пелагея; но приказчикъ держалъ ее крѣпко.

Вдругъ онъ выпустилъ ее и пересѣлъ на другой стулъ. Пелагея вскочила и побѣжала къ двери.

— Куда?

Пелагея, не слушая его, убѣжала; но выхода изъ комнатъ Переплетчикова не могла найти. Приказчикъ пошелъ искать ее. Въ одной изъ комнатъ Пелагея стояла и плакала.

— О чемъ ты, дѣвка, плачешь? о чемъ ты слезы льешь? — сказалъ шуточно приказчикъ.

— Пустите меня, ради Христа, — проговорила едва слышно Пелагея.

— На это вашей милости я могу только то отвѣтить, что вы дуры-съ набитыя, потому единственно, что я тебя хотѣлъ испытать.

— Вотъ ужъ!

— Право, красотея моя, неписаная. Что же ты стоишь, невесело глядишь? Аль Зюзинъ боишься?

Пелагея замолчала.

— Пойдемъ ужинать, — и приказчикъ взялъ ее за руку.

Пелагея стала отбиваться, но приказчикъ поцѣловалъ ее, выпустилъ и позвалъ лакея.

— Проводи ее. Знаешь? — Да не гляди такъ. Ужинъ и вино чтобы были.. Понимаешь.

Пелагея пошла за лакеемъ, который свелъ ее внизъ въ совершенно отдѣльную комнату и эту комнату заперъ на ключъ, который и отдалъ приказчику. Изъ комнатъ Переплетчикова было четыре хода: одинъ парадный, который велъ на улицу и въ его канцелярію, другой въ кухню — черный, третій въ баню, четвертый въ отдѣльную комнату. Эта комната была сдѣлана для матери Переплетчикова, которая любила уединеніе или, короче сказать, *спасалась* въ ней, а послѣ ея смерти эта комната оставалась никѣмъ незанятою.

Утромъ Пелагея Вавиловна, сидя на мягкой перинѣ, положенной на спальную кровать, завѣшанную пологомъ, плакала. Переплетчиковъ сидѣлъ около нея.

— Пустите ли вы меня? — крикнула Пелагея.

— Воля твоя! Иди. Только не лучше ли тебѣ у меня остаться: ты будешь барыня, ни въ чемъ я тебѣ не буду отказывать. Только ты будь хороша да ласкова... Ты думаешь, я тебя обидѣть хочу! Дура! Если ты будешь хороша, я женюсь на тебѣ, только ты умѣй угодить и потрафить мнѣ.

Пелагея Вавиловна слушала и молчала. Когда

онъ кончилъ, она не знала, что ему сказать; въ головѣ ея бродили неясныя слова: „приказчикъ... убѣ... хотеть жениться“...

Приказчикъ ушелъ и заперъ дверь на ключъ. Пелагея опять заплакала. Ей давило горе; но когда она выплакалась, то ей противна показалась прежняя жизнь: прежде ее били, упрекали, смѣялись надъ тѣмъ, что она подолгу расчесываетъ свои длинные волосы, — теперь самъ приказчикъ лелѣетъ ее... „А если онъ... такъ развѣ не было съ ней того же зимой, когда она была съ отцомъ въ хлыстовщинской сектѣ... Онъ самъ приказчикъ, а Эюзинъ писарь, некрасивый, пьянуга и батракъ; въ полиціи не одинъ разъ драли... Только стыдно... стыдно“...

Вошелъ лакей.

— Афиногенъ Степанычъ приказалъ позвать васъ на верхъ, — сказалъ лакей Пелагее.

Пелагея наскоро одѣлась и пошла.

— Сегодня истоплена баня: ступай вымойся; отъ тебя какъ отъ псины пахнетъ, а потому я тебѣ дамъ женныя вещи. Не могу же я смотрѣть на тебя въ такой одеждѣ.

Весь этотъ день Пелагея Вавиловна провела въ нѣтѣ. На другой день началась служба ея: приказчикъ, уходя въ свои комнаты, сказалъ ей, чтобы она завтра утромъ пришла къ нему за приказаніями. Когда она пришла, приказчикъ уже занимался и велѣлъ ей достать изъ комода чистое бѣлье, потомъ принесть съ водой умывальникъ. Нужно было идти въ кухню, а Пелагее не хотѣлось — стыдно. Однако пошла.

Прислуга, бывшая въ кухнѣ, косо поглядѣла на нее, переглянулась, а кухарка сказала:

— Съ законнымъ бракомъ!

Всѣ захохотали. Лицо Пелагеи Вавиловны зардѣлось.

— Скоро, дѣвушка, тебя въ барыни-то произвели... Вотъ мы такъ не можемъ до такой чести дожить, — сказалъ кучеръ.

Всѣ захохотали. Пелагея Вавиловна вспыхнула и, поставивъ на скамью умывальникъ съ тазомъ, ушла на верхъ.

— Что ты? — спросилъ приказчикъ Пелагею Вавиловну, видя, что она плачетъ.

— Обзываются.

Переплетчиковъ позвонилъ. Пришелъ лакей.

— Позови-ко сюда Пантелея.

Явился дворникъ.

— Вы, скоты, какъ смѣете обзывать ее?.. Да я васъ всѣхъ перепорю — мошенниковъ.

— Мы ничего...

— Я тебѣ дамъ ничего! Снажи всѣмъ, что если я еще что-нибудь услышу отъ нея, не только что перепорю васъ, прогоню, въ работы сошлю. Пошелъ!

Прошло дня четыре. Прислуга при входѣ Пелагеи Вавиловны въ кухню шепталась, а молодые люди старались подскочить къ ней и, подмигивая товарищамъ, спрашивали ее:

— Чего изволите, барышня?

— Какое на васъ платьице нарядное, — замѣчалъ другой.

Пелагея Вавиловна вспыхивала, но молчала и глядѣла въ полъ. Идти въ кухню было для нея пыткой, и она старалась какъ-нибудь уговорить лакея, чтобы онъ замѣнилъ ее. А работы у Пелагеи Вавиловны было немного: она мыла чайную посуду, разливала чай, чему она научилась съ трудомъ, гладила бѣлье.

Прошло три недѣли. Приказчикъ съ ней ласковъ, прислуга не такъ надоедаетъ, какъ прежде.

Въ пятницу вечеромъ у приказчика были гости: исправникъ, письмоводитель его и зять Плошкинъ — съ женами. Приказчикъ заставилъ Пелагею подавать гостямъ чай. Мужчины сидѣли въ залѣ, женщины въ гостиной.

— А что, какова? — спросилъ Переплетчиковъ исправника, когда Пелагея брала отъ исправника стаканъ.

— Недурна.

Пелагее Вавиловнѣ сдѣлалось обидно, зачѣмъ приказчикъ хвастается ею и страмить. Когда она вошла съ подносомъ къ дамамъ, растягивающимъ слова по-заподски, то исправничья жена спросила ее!

— Ты на содержаніи?

Пелагея Вавиловна не поняла этого слова.

— Что жъ ты стоишь? — спросила опять жена исправника.

— Чашку...

— Ахъ ты, дура... Да ты развѣ не городская?

— Нѣтъ.

Пелагею позвалъ приказчикъ.

Исправникъ, Плошкинъ, письмоводитель и приказчикъ о чемъ-то крупно спорили.

Приказчикъ съ исправникомъ жилъ дружно и насколько не боялся его, потому что могъ во всякое время подкупить его; письмоводителя онъ считалъ ни за что, но приглашалъ къ себѣ, какъ родственника.

— Не бывать! Не бывать! — кричалъ приказчикъ.

— Будеть! Тогда ужъ вашему брату отпадетъ лафа! — горячился исправникъ.

— А ты думаешь, вашего брата не погонять метлой!

— Не только не погонять, мы строже будемъ.

— На-во выкуси! — и приказчикъ показалъ исправнику кукишъ.

Завязался споръ; каждый считалъ себя честнѣе другого, стали корить другъ друга.

— Ты за Павленковское дѣло сколько получилъ, а что дѣлалъ-то? — кричалъ приказчикъ.

— А ты какъ фабрику-то строишь?

— Вы начальство, какъ можно... Вы рабочихъ давите, — вѣшался письмоводитель.

— Чѣмъ?

— Напримѣръ Глумовское семейство... Кому оно обязано...

— Да что вы меня, скоты эдакіе, Глумовыми дразните, чтобы вамъ всѣмъ околѣть!

Однако скоро затихли. Подали закуску, вина и водку. За водкой опять стали корить другъ друга, опять упомянули Игнатія Глумова и Курносова; отъ нихъ рѣчь перешла ко многимъ обиженнымъ приказчикомъ, который свирѣпѣлъ. Гости, не помирившись съ приказчикомъ, ушли по домамъ.

Когда они ушли, приказчик долго ходил по комнатам и ворчалъ.

„Вы думаете, я боюсь васъ?... А вотъ я вамъ докажу, что я на васъ на всѣхъ плевать хочу! Вы мнѣ напередъ долги заплатите, а потомъ тащите меня подъ судъ... А хоть я и строгъ, зато и милостивъ и доброе дѣло сдѣлаю, не испугаюсь... У васъ есть свои шпіоны, а я заведу своихъ“...

Утромъ на другой день Переплетчиковъ потребовалъ къ себѣ своего писмоводителя и отдалъ такой приказъ:—принеси мнѣ списокъ дѣтей Семихина, Ильина, Глумова, Мокѣева.

Когда списокъ былъ принесенъ, приказчикъ написалъ на немъ: зачислить въ легкія работы на фабрики, выдавать проіантъ сполна да поспѣи на каждаго по пуду въ мѣсяцъ. Доложили ему, что явился Корчагинъ. Онъ велѣлъ провести Корчагина въ кабинетъ.

— Ну что, другъ сердечный, тараканъ запечный. Много ли ты нашелъ золота?

— Дѣй недѣли, Афиногенъ Степанъчъ, пробылъ на промыслахъ. Порядки новѣ совсѣмъ другіе. Всего только полфунта, и то въ долгъ рабочіе повѣрили.

Приказчикъ взялъ золото, поглядѣлъ и сказалъ:

— Вотъ это вѣрнѣе будетъ. Можешь нарубить пятьдесятъ бревенъ для дому.

И приказчикъ далъ Корчагину записку.

— А что, Корчагинъ, Илья Глумовъ хорошій паренъ, не воръ?

— Да.

— Грамотѣ умѣетъ?

— Плохо.

— Ну, это ничего... Такъ возьми почини садокъ.

Корчагинъ вышелъ не совсѣмъ довольный приказчикомъ, но зато избавился отъ тяжелыхъ наказаній.

По уходѣ его приказчикъ позвалъ къ себѣ своего писмоводителя и, подавая ему списокъ подростковъ, сказалъ:

— Гришкѣ Пономареву, что у меня въ лакеяхъ, я даю волюгты на полгода, потомъ записать его въ кузницу, а Ильку Глумова записать ко мнѣ. Поимашь... Завтра же быть ему здѣсь.

### XXIII.

Изъ предыдущихъ главъ читатель, можетъ быть, заключилъ о приказчикѣ, что онъ человѣкъ, рѣшительно ничего не дѣлающій, а только распоряжающійся на словахъ. Да и когда, подумаетъ читатель, заниматься ему, если онъ проводилъ все время въ удовольствіяхъ. Того же мнѣнія былъ сперва и Илья Игнатьичъ, который въ кабинетъ приказчика допущался очень рѣдко. А Пелагея Вавиловна знала, что приказчикъ дѣятельно работалъ, и знала это потому, что она стала довѣренной его особой: часто по его приказанію она сидѣла въ кабинетѣ, чего не осмѣливался сдѣлать никто, даже покойная его жена. Сидѣла она въ кабинетѣ вотъ почему: приказчикъ, занимаясь сочиненіемъ бумагъ, счетами, планами, не любилъ вставать съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не окончитъ работу, и Пелагея Вавиловна должна была подавать ему то книгу, то унавшую

бумагу съ полу, то закурить сигару, то почесать спину или ногу... Пьяный онъ бывалъ и Глумова, и Пелагею Вавиловну, и поэтому Илья Игнатьичъ радъ не радъ былъ улизнуть въ прихожую и захрапѣть, но Пелагее Вавиловнѣ много было возни съ приказникомъ. Приходя въ кабинетъ (приказчикъ, пріѣзжая откуда бы ни было, всегда прямо проходилъ въ кабинетъ) и бросивъ на столъ бумаги, онъ садился въ кресло и ругалъ тѣхъ, у кого и гдѣ онъ былъ, — преимущественно начальство.

— Кто, — говорилъ онъ, — кромѣ меня есть сила? Я командиръ — я всѣмъ оруду! Не будь рабочихъ, не будь меня, не было бы и васъ, скотовъ; не нажили бы заводоуправляющіе милліоновъ, не строили бы въ Россіи и за границей дворцы себѣ... Вамъ денежки подай, а мы работай, а отъ васъ што получаешь? того и бойся, што къ чертямъ пошлють... Вы насъ за скотовъ считаете, — хуже!... Грабить васъ нужно...

Пелагея Вавиловна, слушая эти слова, думала: „хорошо, если бы ты эти рѣчи говорилъ трезвый: завтра почнешь рабочихъ обижать да наживать деньги плутнями да обидами“... Она уже не одинъ разъ слыхала эти слова и нѣла уже понятіе, почему онъ такъ обращается съ *мастерками* (т. е. рабочими). Разсуждали о заводоуправляющихъ и гости приказчика, слыхала она споры о томъ, отъ кого хуже достается народу, — но дѣлала видъ, что ничего этого не понимала. Разъ приказчикъ спросилъ ее: умѣетъ ли она читать? — Нѣтъ, не умѣю. — Онъ ее сталъ учить, но она ничего не понимала: приказчикъ наказалъ ее розгами за непониманіе, но и розги не помогли. Призванъ былъ къ приказчику дядя ея и тайно спросенъ: не знаетъ ли онъ, кто пишетъ Пелагее Семихиной письма; но къ счастью Пелагеи дядя ея сказалъ: — кажись, Пелагею никто не училъ грамотѣ, разъ у васъ выучилась.

— Сними со стѣны образъ, — сказалъ приказчикъ.

Дядя Пелагеи принялъ на себя страшную клятву. Онъ снялъ образъ, приложился къ стеклу и повѣсилъ. И приказчикъ остался доволенъ. Впрочемъ онъ напрасно беспокоился: Пелагея хотя и умѣла читать писанное, но никогда не трогала бумагъ и была такой человѣкъ, которому все равно, есть или нѣтъ книги, бумаги, перья и карандаши, да и записывать ей нечего было.

— Палашка! — крикнуть приказчикъ Пелагею войдѣть.

— Сказано — стоять! што я дуракъ по-твоему.

— Дуракъ.

— Почему?

— Потому, не умѣешь заставить управляющаго въ ноги тебѣ кланяться...

— Молодецъ, дѣвка! Ей-Богу, женюсь! цѣлуй меня...

— А разъ я не плутъ?

— Первая шельма во всемъ свѣтѣ, а все жъ съ господами въ аду на одну доску не поставятъ.

— Аминь! Цѣлуй меня, скотина; ноги мои лжи... Озолочу!.. А шельма я, у — какой! Я управляющаго, эту пустомелю, въ ногахъ заставляю валяться, а ты всетаки должна мои ноги лезать.

Уложить Пелагею Вавиловну спать приказчика и сама ляжетъ, какъ ей вѣдно лечь: на полъ, или вѣстѣ съ приказникомъ, или въ креслѣ. Въ пять часовъ она должна будить его. Проснувшись, приказчикъ выпьетъ графинъ воды и принимается за работу, которая продолжалась до девяти или десяти часовъ. Пелагеѣ было строго наказано, чтобы объ его занятіяхъ никому не говорить; во время занятій, за которыми онъ выпивалъ еще два графина воды, никто кромѣ Пелагеи не смѣлъ входить въ его кабинетъ. Если у приказчика мало было письменныхъ занятій, то онъ, лежа, читалъ бумаги и письма. Если онъ когда-нибудь не вызвѣжалъ изъ дома, это значило, что онъ занимался важными дѣлами, и тогда только одна Пелагея входила къ нему по звонку.

Илья Игнатьичъ думалъ, что приказчикъ забываетъ, что говорить по вечерамъ пьяный. Но приказчикъ могъ разсказать все, что онъ говорилъ и что ему говорили пьяному; но никогда не высказывалъ этого никому, и только одна Пелагея съумѣла подмѣтить въ немъ эту черту, и какъ онъ ни притворялся непомнящимъ, но она хорошо понимала, что приказчикъ любить не лести и поклоны, а чтобы его приказанія тотчасъ же исполнялись. Если онъ сказалъ: „лижи мои ноги“, она должна была лизать, иначе это ослушаніе чрезъ день или чрезъ недѣлю припомнится ей; а такъ какъ она ни въ чемъ не ослушалась приказчика, то онъ сначала дивился терпѣнію этой дѣвки и ждалъ случая, когда она сгрубитъ ему. Но Пелагея хотя и ругалась, но ругалась такъ, что приказчикъ не считалъ эту ругань за грубость. Приказчикъ на разные лады испытывалъ Пелагею, но ничего не нашелъ въ ней худого и разъ трезвый сказалъ ей за утреннимъ чаемъ:

— Если бъ ты не была мерзавка, хорошая ты была бы дѣвка.

— А кто виноватъ-то: не ваша ли свѣтлость... Кто говорилъ: женись?

— Мало ли что говорится. Говорится, што земля вертится, да я не вѣрю... Скажу тебѣ откровенно: ты золотая дѣвка, и мнѣ нравится, што ты съ такимъ человѣкомъ, какъ я, умѣешь ладить.

— Чортъ съ вами сладить!

— И чортъ со мной не сладить, а ты тоже... За это я тебя жалую въ экономки, потому ты теперь при гостяхъ безгласна. Да ты смотри, вотъ што: за тобой будутъ ухаживать, такъ ты не отказывайся, приглашай ихъ къ себѣ да испытывай, што я тебѣ скажу. Это важно!

Пелагея Вавиловна долго не соглашалась на последнее предложеніе и доказывала приказчику, что ему враговъ нечего бояться.

— Теперь такъ, а какъ будетъ воля — другіе порядки будутъ, — сказалъ приказчикъ.

— Пугаютъ насъ этой волей...

— А я, думаю, не знаю, што ты и всѣ рабочіе вздыхаютъ по волѣ. Нѣтъ, дѣвка, я человѣкъ старый и чувствую, што мнѣ не одобровать. Я люблю командовать, держать въ рукахъ начальство... Да не тѣ времена... Вотъ у меня враговъ много, а сокрушить

ихъ я не воленъ. Значить, наступаютъ другіе порядки, и бѣдный смотри въ оба и берегись.

Да какъ же бороться-то, когда мастерику нѣтъ пощады, мастера безъ вины обвиняютъ, — вступалась Пелагея Вавиловна.

— А съ нами этого развѣ не бывало: попалъсь я — меня не пощадятъ, если я не имѣю десяти тысячъ. Имѣй я пятьсотъ рублей или будь я чистень, мнѣ недѣли не пробыть приказчикомъ. Все это я говорю тебѣ ностоку, что ты одинъ умѣешь угождать мнѣ. Но горе тебѣ, если ты хоть одно мое слово кому-нибудь проболтаешь.

Около этого времени приказчикъ крѣпко задумалъ жениться: но куда онъ ни приходилъ высматривать невестъ, ни одна ему не нравилась. „Но прежніе годы, когда я былъ молодъ, да вѣровалъ, что жила по праву всю жизнь будетъ. Всѣ эти длиннохвостыя да блѣднолицыя — дрянн; ни одна изъ нихъ не годится мнѣ въ жены; всѣ онѣ рады случаю выйти за приказчика, а вотъ я ихъ удивлю“. Изъ выборъ его остановился на Пелагеѣ, которую онъ могъ помыкать, какъ его милости угодно. Но онъ не любилъ никому высказывать своихъ секретовъ, потому что предположеніе его нѣмалося другимъ на другой день, когда она была трезвый, да и секреты, высказанные кому-нибудь, могли бы пожалуй испортить все дѣло. Несмотря на скрытое обращеніе съ Пелагеей, ему иногда жалко становилось ее. А это иногда бывало съ нимъ утромъ, когда Пелагея мыла ему ноги, причемъ ее густые бѣлокурые, какъ ленъ, волосы падали на его ногу. Ему хотѣлось расцѣловать ее отъ души, только гордость не допускала его до этого; онъ никогда не могъ допустить того, что онъ долженъ жениться на ней: „дрянн, ничто!“ думалъ онъ о Пелагее.

Бѣдная дѣвушка уже перестала мечтать о замужествѣ съ Перемлетчиковымъ. Она, проживши нѣсколько мѣсяцевъ, убѣдилась, что она для приказчика въ одно и то же время игрушка и хуже послѣдняго слуги. Во всей дворцѣ его она не видѣла ни одного человѣка, который бы пожалѣлъ ее, съ которымъ бы можно было поговорить отъ души: въ кухнѣ она была предметомъ развлеченія. Когда она ходила на рынокъ за покупками, на нее какъ будто всѣ смотрѣли, и она, поднявши глаза, потупленные отъ стыда въ землю, видѣла нѣсколько рукъ, поднятыхъ на нее, и какъ-будто слышала слова: „вотъ она, Палашка Соминкина, наложница приказчика! Глядите: обручи! обручи!“ Ребята бѣжали за ней и кричали: „обручи-те велики! подними крику-то!“. Вѣжать ей некуда, да и зачѣмъ бѣжать, когда она сыта, одѣта, обута, живетъ въ хорошихъ горницахъ, которыя бѣдной дѣвушкѣ прежде и во снѣ не грезнились. Положимъ, что она убѣжати; но что она станетъ дѣлать съ своей неспособностью и робостью? А замужъ ее въ заводѣ возьметъ развѣ тотъ, кому приказчикъ прикажетъ взять, да и этотъ человѣкъ будетъ бить ее ..

Трудно постоянно терпѣть подобно Пелагее Вавиловнѣ. Тутъ нужно надѣяться на будущее; но какъ надѣяться и чего желать?.. Такъ и билась-мучилась Пелагея Вавиловна и ждала чего-то лучшаго. Несмотря на то, что она сдѣлалась экономкой въ домѣ приказчика и была въ родѣ начальницы надъ при-

службой, отъ этого было не легче, потому что ей приходилось сталкиваться съ прислугой чаще, и прислуга постоянно грязала ее тѣмъ, что вероня залѣзла въ высшія хоромы. Время шло; она чувствовала беременность, горе душило ее... Поговорить не съ кѣмъ. Одна только Илья Игнатьичъ нравится ей, да и тотъ или бѣгаетъ, или спитъ. Илья Игнатьичъ съ вернаго же дня поступленія его къ Переплетчикову поправился ей. Глумовъ былъ рослый парень, красивый и вслѣдствіе старался угодить ей, потому что никто изъ прислуги приказчика ему не нравился, какъ она, заводская красавица. Сестра его была красивая женщина, но она жила съ нимъ—она родная, а эта чужая; эту обижать воѣ, какъ и его воѣ презирать. Онъ понималъ, что Пелагея Вавиловна терпѣть не можетъ приказчика, какъ и онъ, но боялся уцѣпить ее. Вотъ онъ сталъ каждый день помогать ей мыть посуду; не эта работа производилась молча. Они или обмывались нѣсколькими словами, относящимися до посуды и мытья ея, въ то время, когда былъ домъ приказчикъ; когда же не было дома Переплетчикова, и Глумовъ убиралъ комнаты, она шутя указывала ему, что сдѣлать, хотя и сама мало слышала: ей нравились споры Ильи Игнатьича, доказывавшаго, что это кресло лучше такъ поставить; нравились еще Пелагее Вавиловнѣ въ Ильѣ Игнатьичѣ то, что онъ никогда не жаловался на непослушную и ни разу ничѣмъ не попрекнулъ ее. Съ своей стороны Илья Игнатьичъ не слышалъ отъ нея такихъ словъ, какія говорятъ ему кухонные обитатели, и онъ радъ не радъ былъ пестовать около Пелагеи, поглядѣть ей въ глаза и помочь ей чѣмъ-нибудь. Оба понимали другъ друга, но не заговаривали о томъ, что ихъ мучило. Илья Игнатьичъ видѣлъ въ Пелагеевѣ обиженную дѣвушку, озлобленную на весь заводъ приказчикомъ, разсуждалъ объ ней такъ же, какъ разсуждали и другіе рабочіе, ненавидящіе разирать изъ должностныхъ людей, находящихся въ услуженіи заводскаго начальника...

Пелагея Вавиловна ему нравилась болѣе Аксиньи Горюновой, дѣвушки постоянно сѣмьющейся, не попавшей никакого горя. И онъ сталъ рѣже ходить къ Горюнову, да и то не надолго. И Пелагее Вавиловнѣ хотѣлось говорить съ Ильей Игнатьичемъ; только ей обидно казалось, что онъ самъ не хочетъ говорить съ нею. „Онъ—лакейшко, а я—любовница“, думала она, и сердце ея обливалось кровью... Часто Илья Игнатьичъ въ отсутствіе приказчика приходилъ въ комнату Пелагеи Вавиловны, которая сидѣла за работой, красивѣлъ и дрожавшій голосомъ спрашивалъ:

— Что шьешь?—а потомъ молчалъ, болѣе и болѣе робѣлъ и злой уходилъ изъ ея комнаты.

Пелагея Вавиловна тоже не разъ приходила въ прихожую и долго стояла, смотря на красивое лицо и на длинныя русыя волосы спавшаго Ильи Игнатьича; но сѣсть къ нему не смѣла: будить было жалко. Наконецъ она таки не вытерпѣла. Около Николаина дня, послѣ обѣда, Переплетчиковъ уѣхалъ изъ дому. Черезъ нѣтъ минутъ входитъ Пелагея въ прихожую—Глумовъ спитъ, растянувшись на сундукѣ.

— Илья!—крикнула она.

Илья Игнатьичъ вскоchnлъ. Это разсѣлило эконолку.

— Пріѣхалъ што ли?—спросилъ онъ, протирая глаза кулакомъ.

— Нѣтъ, не пріѣхалъ... Да ты што спишь все? только доткнешься до мѣста и спишь! Вчера, какъ ты шелъ полы въ комнаты, я ушла въ кухню; прихожу черезъ четверть часа; ты сидишь въ креслѣ и спишь, и щетку обнялъ.

Между тѣмъ Илья Игнатьичъ опять легъ и заснулъ. Пелагея Вавиловна посмотрѣла на него и негромко сказала:

— Илья!

Глумовъ открылъ глаза, посмотрѣлъ на Пелагею. —сердце его радостно забилось, и онъ сѣлъ на сундукѣ.

— Хоть въ карты играть?—сказала Пелагея Вавиловна.

— Не хочу,—сказалъ сердито Глумовъ.

— А што?

— Спать хочу.

— Мнѣ скучно одной-то.

— А мнѣ што за дѣло...—и онъ закрылся халатомъ.

— Этой ты какой неучъ! Ну, разговаривать будемъ, у меня тамъ самоваръ стоитъ...

Видя, что Илья Игнатьичъ не отвѣчаетъ ей, она ушла. Но какъ только она вошла въ пріемную, Глумовъ вполчилъ, вздернулъ сапоги, накиннулъ халатъ и пошелъ къ Пелагее Вавиловнѣ. Въ ея комнатѣ въ два окна, убранной просто, дѣйствительно стоялъ на столѣ самоваръ. На блюдѣ лежала серебряная шаль, разрѣзанная на кусочки.

Выпили по чашечкѣ молча. Оба глядѣли другъ на друга, оба красивѣли; у обоихъ руки тряслись, такъ что плясали чайныя чашки на блюдечкахъ.

— Што же ты молчишь?—спросила вдругъ хозяйка Ильи Игнатьича.

— А ты што молчишь?

Илья Игнатьичу было неловко. Пелагея Вавиловна была старше его,—любовница приказчика, командованная надъ прислугой. Что и какъ говорить съ этой барыней? Еслибы она была Аксинья, ту бы можно было уцѣпить, а эту попробуй-ка... Илья Игнатьичъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Онъ не смѣлъ сказать ей любезности.

— Што же ты не ѣшь?—спросила эконолка.

— Не хочу.

— Какой ты право вялакъ... Съ кухаркой и въ карты играешь, и разговариваешь...

Илью Игнатьича это взбѣсило, и онъ сказалъ ей дерзко:—времь!

Дня четыре Илья Игнатьичъ пилъ чай у Пелагеи Вавиловны и каждое утро онъ строилъ планы, какъ бы ему лучше объясниться съ ней, что она красавица; но, встрѣчаясь съ ней, онъ робѣлъ, потому что боялся, а какъ онъ приказчику скажетъ. Разъ сидѣлъ они за чашкомъ. Глумовъ начиналъ шалить, т. е. бросаетъ куски сахара въ чашку Пелагеи Вавиловны,—та сердится. Напились чаю; Глумовъ дремлетъ.

— Илья,—сказала вдругъ Пелагея Вавиловна.

Глумовъ открылъ глаза и сѣлъ, какъ слѣдуетъ.

— Ты все спишь. Какой ты счастливец!

— А што?

Пелагея Вавиловна не отвѣчала, а смотрѣла на Илью Игнатьича; Илья Игнатьичъ смотрѣлъ на нее.

Тѣмъ дѣло и кончилось.

Утромъ Глумовъ рѣшилъ дѣйствовать не по-бабьм, но Пелагея Вавиловна вела себя, какъ слѣдуетъ.

Вечеромъ за чаемъ онъ велъ себя свободнѣе и уже обхватилъ Пелагею Вавиловну. Пелагея Вавиловна плакала и говорила:

— Ты не повѣришь, какъ я измучилась.

— Чего тебѣ мучиться-то? ты столько не дѣлаешь, сколько я дѣлаю.

— Эхъ, Илья Игнатьичъ! плохо же ты знаешь... Да и что говорить: ты все спишь. Одинъ Богъ только знаетъ, чтѣ я перенесу!.. Даже и во снѣ я вижу все нехорошее... Прежде я пробуждалась такъ легко, безъ заботы, а теперь думаешь, думаешь... Вставать надо, будить приказчика, услуживать ему. И кто его знаетъ: можетъ быть онъ одинъ разъ побьетъ меня или заставить дѣлать что-нибудь нехорошее...

Пелагея Вавиловна рыдала. Илья Игнатьичу жалко стало ее; но онъ думалъ, что его жизнь тяжелѣе ея.

— А вотъ ты бы въ рудникѣ поработала, какъ я работала... Это что! Тебѣ што? ты барыня...

— Не говори ты этого... я сама думала о томъ, что я глупая. Я думала, што я напрасно мучусь. Вѣдь не одна я попадаю такъ насильно къ такимъ людямъ... вѣдь мы не виноваты; намъ нельзя убѣжать, ты это знаешь. Одно средство—повѣситься.

— Попробуй-ко! Нѣтъ я, братъ, ни за что не повѣшусь. Я лучше убью, а не повѣшусь,—горячился Илья Игнатьичъ, крѣпче обнимая Пелагею Вавиловну.

— Кабы я была мужчина, такъ я бы и въ рудникѣ могла робить; вѣдь и отецъ мой, и дѣдъ мой робили въ рудникахъ, и ты тоже робилъ. Только насъ-то не берутъ туда, потому намъ не вынести, силы у насъ такой нѣтъ. Все это ничего, да...

— Што?

— Иля, голубчикъ.. Онъ обѣщался жениться на мнѣ.

— Рассказывай сказки-то! Переплетчиковъ не такой дуракъ, штобы на тебѣ женился.

— Я то же думаю.

Скоро пріѣхалъ приказчикъ и сказалъ Глумову:

— Въ Рождество ты поѣдешь со мной.

А къ Рождеству приказчикъ подарилъ Илья Игнатьичу сюртукъ и брюки и далъ денегъ на покупку тулупа.

Въ Рождество Переплетчиковъ расфранченный поѣхалъ къ обѣднѣ въ соборъ. Кучеръ тоже былъ расфранченъ; Илья Игнатьичъ стоялъ назади саниокъ. Приказчикъ важно вошелъ въ церковь. Илья Игнатьичъ снялъ съ него шубу, которую положилъ себѣ на плечо, а калоши и шапку держалъ въ рукахъ. Онъ стоялъ около старосты, продававшего свѣчи. Давка въ церкви была страшная, и рабочіе то и дѣло поглядывали на молодого *лакейщика* и спрашивали его:

— Што, хороша твоя служба?

— Ужъ коли человѣкъ самъ не можетъ съ себя шубы снять, да въ рукахъ шапку держать, хорошей службы у него быть не можетъ.

— Ну, я бы ни за што не сталъ снимать шубы да держать ее. Гляди, какова: взорвѣлъ парень-то.

— А ты, Глумовская выдра, сколько получаешь за такую службу? — спросилъ Илья Игнатьича одинъ рабочій съ усмѣшкой, желая этики козыгнуть Глумова.

— Што ты пристаешь ко мнѣ, чортъ? — крикнулъ Илья Игнатьичъ. На него поглядѣло человѣкъ пятьдесятъ. Народъ пошевелился; сдѣлалась давка, послышались голоса шопотомъ: — кто?

— Не въ отца, братъ, пошелъ, — приказчикъ сука... — сказалъ шопотомъ одинъ рабочій.

Пріѣхалъ къ молебну управляющій въ нижне-горной формѣ. Какъ ни было тѣсно, полиційскіе растолкали народъ на двѣ половины и устроили проходъ для управляющаго, съ котораго снялъ шинель и калоши его лакей въ ливрѣ. Этотъ лакей стоялъ около Глумова и важно поглядывалъ на собѣда и рабочихъ. Онъ принадлежалъ собственно управляющему, который въ числѣ прочихъ отъ человѣкъ купилъ его у разорившагося помѣщика. Однако скоро между двумя лакеями начался разговоръ.

— Ты чей? — спросилъ лакей управляющаго Илья Игнатьича.

— Приказчикъ Переплетчикова, — отвѣчалъ грубо Глумовъ, глядя исподлобья на лакея управляющаго.

— А! — небрежно сказалъ ливрейный лакей.

— Што, у управляющаго хорошо жить? — спросилъ какой-то рабочій. Лакей промолчалъ; Илья Игнатьичъ повторилъ вопросъ.

— Не чета твоему приказчику. Приказчикъ — подначальный моему барину. Мой баринъ съ нимъ все можетъ сдѣлать, — говорилъ громко лакей управляющаго. Народъ обернулся и ало поглядѣлъ на лакея въ ливрѣ.

Оба лакея глядѣли въ разные стороны. Лакей управляющаго глядѣлъ на рабочихъ, а Глумовъ молился.

Немного погодя, вышелъ Глумовъ на крыльцо: за нимъ вышелъ и лакей управляющаго.

Этотъ лакей очень не понравился Илья Игнатьичу тѣмъ, что онъ вдругъ началъ превозносить управляющаго.

— То ли дѣло мой баринъ! Въ городъ пріѣдетъ — вездѣ почетъ, самъ главный начальникъ пріятель ему, и мнѣ тамъ большое обхожденіе... Пьешь, ѣшь, просто чего хочешь. А этихъ дѣвокъ — и не говори!.. Это што, а вотъ въ самомъ Петербургѣ мой баринъ у министра съ владѣльцами обѣдалъ, а я съ швейцаромъ былъ въ самыхъ короткихъ отношеніяхъ, за дочкой его ухаживалъ. Пять тысячъ дають, да скверно, что я женатъ.. У твоего приказчика сколько слугъ?

— Шестеро, — нехотя отвѣчалъ Глумовъ.

— А у моего барина вотъ сколько слугъ: я самый первый и главный и называюсь камердинеромъ, потомъ на женской половинѣ лакей, мальчикъ и горничная, да на мужской лакей, экономка изъ дво-

рянокъ, старушка, потомъ прачка, судомойка, два повара, два кучера, дворникъ, да для дѣтей гувернантка, потомъ есть еще буфетчикъ и швейцаръ. И всѣ ны жалованье получаютъ, живемъ на готовое содержаніи съ семействами, такъ что насъ съ ребятишками всего на все насчитается до сорока человѣкъ.

Послѣ обѣдни приказчикъ поѣхалъ къ управляющему. Передъ господскимъ домомъ стояло десятка два санокъ. Кучера—непретѣжные работники, прикомандированные къ разнымъ *юснотамъ*,—или сидѣли въ саняхъ, или стояли кучками и, покуривая табакъ изъ трубокъ и папиросокъ, толковали о своихъ господахъ, о томъ, какой баринъ хорошій человекъ или подлецъ, о томъ, какъ такая-то лошадь не дастъ себя чистить, запрягаться и т. п. Здѣсь они рѣшали разные вопросы, рассказывали сны, хвастались попойками, ухаживаніями за кушарками и горничными, и узнавали разные новости изъ заводской и городской жизни.

У дверей въ подъездѣ стоялъ швейцаръ, отворявшій посетителямъ двери. Лакеевъ въ приемную не пускали, потому что швейцаръ снималъ съ гостей пальто, шубы и шинели точно за по входѣ въ приемную, большую теплую комнату съ колоннами и дубовыми скамьями и вѣшалками. Изъ этой приемной шла во второй этажъ широкая мраморная лѣстница съ колоннами, съ ковромъ посрединѣ и цвѣтами по бокамъ.

Илья Игнатьичъ терся около кучеровъ и лакеевъ и въ продолженіе часа со всѣми познакомился. Всѣ они были, какъ называется, ухарскіе, отчаянные, готовые на всякую гадость, и гордились своими должностями. Они ему не понравились и скоро надѣли насмѣшками, распросы о приказчикѣ; ругали приказчика, какъ только могли, и относились къ нему съ пренебреженіемъ. Прошло часа три; холоду и голоду мучили не одного Илью Игнатьича, стали поговаривать о томъ, что хочется ѣсть, и „чортъ ихъ знаетъ, скоро ли ихъ лѣшій оттуда вытащитъ“. Наконецъ стали разбѣжаться: первый уѣхалъ почтмейстеръ безъ лакея, и его за это всѣ кучера осмѣяли.

— Вѣрно не пригласилъ къ обѣду-то!

— Не за што... Онъ не стоитъ того,—кричали кучера.

За почтмейстеромъ вышелъ ассессоръ казенной палаты, пріѣхавшій сюда для освидѣтельствованія торговли. Онъ уѣхалъ тоже безъ лакея. Опять заговорила толпа. Лакеи говорили, что онъ хочетъ жениться на дочери повѣреннаго, а кучера, что ему всѣ купцы не рады: придетъ въ лавку, возьметъ дорогую вещь и скажетъ: „деньги пришлю“. Тѣмъ и кончить ревизію.

Уѣхали священники въ трехъ санкахъ. Заговорили объ единовѣрческихъ священникахъ.

— Теперь што будетъ у него?

— Обѣдъ; то закуска была.

— А обѣдать кто будетъ?

— Кто? разумѣется, приказчикъ, повѣренный, исправникъ, горный начальникъ, инженеры, да мало ли кто?

— Этакъ, братцы, до вечера приходится...

— Штобъ ихъ всѣхъ разорвало тамъ!

Какъ ни старались кучера и лакеи развлечься сужденіями про начальниковъ, насмѣшками другъ надъ другомъ, издѣваньями надъ проходящими мимо нихъ, которые говорили имъ одно: „погодите тутъ, а мы ужъ пообѣдали и выпалили“,—однако голодъ мучилъ всѣхъ. Всѣмъ стало обидно: рабочіе уже пообѣдали, а они толкуются на улицѣ, дожидаясь господъ, а уѣхать по домамъ нельзя. Больше всѣхъ запечалился Илья Игнатьичъ. Прежде въ этотъ день онъ хорошо наѣдался, игралъ и былъ очень веселъ. Никто его никакъ не могъ заставить что-нибудь дѣлать или оторвать отъ игры. Жалко ему сдѣлалось прежнихъ дней; припомнилось много худого и хорошаго, припомнилась ему сестра, особенно нравившаяся ему въ этотъ день, когда она играла съ нимъ и съ сосѣдними ребятишками въ жуурки и т. п. игры. Такъ грустно сдѣлалось ему, что онъ заплакалъ, но плакалъ недолго и незамѣтно, ругая приказчика, какъ только умѣлъ.

Кучера и лакеи часто уходили во дворъ и выходили оттуда чрезъ четверть часа съ раскурившими трубками. Пошелъ и Глумовъ во дворъ. Тамъ направо въ домъ было два хода: одинъ въ покои управляющаго, называемый чернымъ, а другой въ кухню. Въ эту-то кухню и ходили раскуривать трубки лакеи и кучера. Но надо сказать правду, раскуриваніе трубокъ было только предлогомъ войти въ кухню: имъ хотѣлось узнать, что дѣлаютъ ихъ господа, хотѣлось погрѣться и понюхать хотя ароматъ отъ кушаній, которыми управляющій угощалъ своихъ гостей.

Два повара—одинъ высокій и тонкій, другой низенькій, толстенькій, съ краснымъ лицомъ, съ котораго катилъ градомъ потъ,—суетились около печи; два лакея бѣгали съ тарелками, двѣ женщины мыли посуду—и всѣ они ругались между собой, торопились; посуда звенѣла, плита шипѣла; въ кухнѣ было темно отъ пару, несмотря даже на то, что были отворены двери. Изъ комнатъ глухо слышалась музыка.

У стола въ переднемъ углу обѣдали и пили водку кучеръ и лакей горнаго начальника, которые жили въ домѣ управляющаго. Они важно глядѣли на заводскихъ кучеровъ и лакеевъ и на ихніе вопросы отвѣчали нехотя. Поварамъ, лакеямъ и судомойкамъ не нравилось, что заводскіе кучера и лакеи толкуются въ кухнѣ, и они кричали:

— Пошли вонъ! всѣ полъ изгадили своими лапшами.

— Ничего... мы только закуримъ.

— А што, скоро?—спрашивалъ какой-нибудь кучеръ.

— Што скоро?

— Отобѣдаютъ?

— Только второе блюдо; еще шесть осталось.

— Да што они -- по часу одно блюдо ѣдать?...

— Пошли, вамъ говорить!... Не видите што ли, генеральскіе обѣдаютъ. Куда вы съ вашимъ суконымъ рыломъ да въ калашный рядъ,—говорили лакеи управляющаго. Половина кучеровъ на свои деньги сходили въ кабакъ и, выпивъ по косушкѣ, закусила рѣдкой и калачами; другая половина отъ

нечего дѣлать боролась. Часовъ въ шесть гости стали разѣзжаться. Послѣдній вышелъ приначикъ.

Когда Глумовъ сталъ раздѣвать приначика, тотъ сказалъ ему:

— А нѣтъ ли у тебя на примѣтѣ какого-нибудь мальчишки эдакъ лѣтъ восьми.

— Есть—дядя Глумова сынъ, ему будетъ семь лѣтъ.

— Ну, и хорошо. Завтра я уѣзжаю въ городъ одинъ, и ты можешь гулять эти три дня и приведемъ ко мнѣ мальчишку. Какъ его звать?

— Колькой.

— Пошли сюда Палашку. Скажи мнѣ откровенно: Палашка таскается съ кѣмъ?

— Нѣтъ. Она все плачетъ.

— Свинья... пошелъ вонъ!

#### XXIV.

Рано утромъ приначикъ, запечатавъ свой кабинетъ, уѣхалъ. Его провожала вся прислуга.

— Вотъ и уѣхалъ красное солнышко. Гуляешь, Илья Игнатьичъ, — говорила, улыбаясь, Пелагея Вавиловна.

— Ты пойдешь куда?

— Некуда мнѣ идти. Я съ тобой хочу гулять. Мы сестраемся хорошия мушанья, прислугу созовемъ, плясать будемъ. Я хочу угостить ихъ, чтобы они не ворчали на меня.

— А я напьюсь, ей-Богу, напьюсь!... Пойду гулять по заводу.

— Дуракъ!... Што за удовольствіе пить водку?... Надо, чтобы весело было.

— Не хочу я сидѣть въ комнатахъ, я гулять хочу.

— Счастливый ты, право... а мнѣ и выйти некуда.

Илья Игнатьичъ пошелъ на рынокъ. Ему хотѣлось купить шейный платокъ—такой, чтобы вся приказчица дворня дивилась; но онъ, пересмотрѣвши въ десяти лавкахъ сто платковъ, выбралъ только одинъ, съ рисункомъ, изображающимъ лѣсъ, озеро и лодку, плывущую по озеру. Въ этой лодкѣ сидятъ трое: на кормѣ молодой человѣкъ въ халатѣ; посреди лодки, лицомъ къ молодому человѣку, сидитъ дѣвушка безъ платка на шеѣ; а въ гребляхъ сидитъ въ шляпѣ, похожей на горшокъ, пожилой мужчина. Эта картина ему очень понравилась, и онъ, идя изъ лавки, долго глядѣлъ на платокъ, разсуждая: „это Переплетчиковъ. Такъ ему и надо: гребни, гребни крѣпче... это Пелагея, а это я. А озеро это наше. А вотъ завода-то и нѣтъ.“ И онъ воротился въ лавку

— Ну што?—спросилъ его приказчикъ.

— Дана платокъ картинка чудесная; одного нѣтъ: нашего завода нѣтъ; нѣтъ ли у те такихъ, чтобы и заводъ тутъ нашъ былъ нарисованъ.

— Да ты изъ какихъ? — огрѣвъ его торгашъ, расхохотавшись во всю глотку.

— Давай мнѣ картинку съ ирудомъ, — закричалъ Глумовъ.

— Экая пруть у лакешики... пошелъ знай! такихъ картинъ еще на фабрикѣ не заводилось.

Илья Игнатьичъ снова исходилъ разными лавки; но его уже гнать стали, потому что онъ въ одну и

ту-же лавку заходилъ разза три. Платокъ этотъ ему такъ понравился, что онъ ни за что его не променялъ бы ни на какіе платки въ мірѣ. Потомъ Илья Глумовъ ходилъ около магазиновъ съ золотыми и серебряными вещами, разной посудой и думалъ про себя: „дринъ все! и деньги были бы, не купилъ бы. А еслибы я былъ богатъ, какъ приказчикъ, построилъ бы я около пруда домъ, купилъ бы лодку, сани и лошадей. Лѣтомъ бы сталъ рыбачить, а зимой кататься по заводу“.

При этомъ ему вдругъ пришла въ голову мысль идти къ Корчагину, узнать о сестрѣ; но онъ не зналъ, гдѣ онъ теперь живетъ послѣ пожара, бывшаго въ старой слободѣ. Онъ зашелъ въ первый попавшійся ему кабакъ, подъ названіемъ „Лапоть“, навѣстившій въ заводѣ по разгуду рабочихъ.

Кабакъ для Илья Глумова не былъ новостью. Покойный отецъ его часто посылалъ за водкой въ кабакъ, посылалъ его и сосѣди отца. Дорогой онъ напивалъ водки и приходилъ домой съ поселевшими глазами. Когда послѣ смерти отца онъ работалъ на фабрикѣ, то ему часто приходилось бывать съ рабочими въ кабакахъ; рабочіе угощали его и другихъ подростковъ на свой счетъ; случалось, и Илья Игнатьичъ угощалъ рабочихъ, если ему удавалось утянуть отъ дяди или Дарьи Власовны десять коп. Пилъ онъ просто для веселья. Кабакъ былъ целомъ набитъ рабочими, такъ что до сидѣльца съ трудомъ можно было пробраться. Одни рабочіе орали пѣсни, наигрывая на гармоникахъ и притопывая ногами; другіе кричали громко, потому что нужно было кричать, иначе сосѣди сосѣда не услышатъ; третьи сидѣли уже пьяные. Было тутъ трое подростковъ, которые, сидя въ разныхъ мѣстахъ, звонко голосили. Отъ табачнаго дыма сразу начинала болѣть голова; но у Илья Игнатьича голова не забаливала, только винный и табачный запахъ казался ему весьма противными.

Одинъ изъ посѣтителей, менѣе другихъ занятый разговорами, дернулъ Илью Игнатьича за рукавъ и крикнулъ:

— Ты што?—братцы, глядите!...

Человѣкъ пять поглядѣли на Илью Игнатьича.

— Илья Глумовъ?!

— Приказчикъй лакей!

— Подслушникъ?

— Бей его, ребя?! Што вы тутъ не примѣчаете?... онъ кѣмъй часъ съ нами терся, *тресся есиная!* Илья Игнатьичъ притворился пьянымъ.

— Ахъ, шибобъ васъ!... приказчикъ, шибобъ ему околѣтъ совсѣмъ, уѣхалъ... Вына!.. — кричалъ во все горло Глумовъ.

Въ это время кто-то ударилъ его въ спину.

— Што ты дерешься! за што ты меня бьешь, будь ты проклятъ! Што я тебѣ сдѣлалъ?

— Я тебя бью!... Бьетъ тебя Гринька Палицынъ за то, што ты за одно съ палицей!..

— Братцы, пустите... Угощу! Всѣхъ угощу! — кричалъ Илья Игнатьичъ, что есть мочи.

Рабочіе захохотали.

— Чего вы орете, черти! Вру я што ли? Я, вотъ сквозъ землю провалиться, укралъ два цѣлковыхъ и кучу...



— Давай штофъ!—крикнулъ онъ сидѣльцу.  
 — Глядите, парень-то?! Точь въ точь Игнатко Глумовъ, дай Богъ царство небесное..  
 — Да тебя развѣ прогналъ Фенка-те?  
 — Воськѣ, коли воровать у приказчика умѣютъ...  
 — Пейте!—кричалъ Илья Игнатьичъ.

Рабочіе хохотали, хлопали ладонями по спинѣ Илью Игнатьича и кричали:

— Молодецъ, Илюха! Ну-ко самъ, самъ!!! Глядите! нось отеканъ сразу выпилъ... Ахъ, чортъ!  
 Илья Игнатьичъ сразу выпилъ стаканъ, покраснѣлъ и еще налилъ стаканъ.

Рабочіе загалдѣли. Одни говорили объ Игнатѣ Петровичѣ, другіе ругали Тимофея Глумова скрывшася куда-то изъ завода. Потому около Илья Игнатьича образовался кружокъ изъ двѣнадцати рабочихъ, которые разспрашивали о его приказчикѣ и о такихъ вещахъ, о чемъ ему и не жидомекъ было послушать. Илья Игнатьичъ боѣе отвѣчалъ на всѣ вопросы: чтѣ самъ зналъ, чтѣ подолумалъ, гдѣ просто-напросто, по привычкѣ русскаго человѣка, вралъ.

— А про волю не слыхалъ?  
 — Будетъ, говоритъ приказчикъ.

Рабочіе опять загалдѣли, а одинъ, вставя кулакъ надъ головою Илья Игнатьича, крикнулъ:

— Ежели ты еще што про волю скажешь—покойникъ будешь!.. Потому вы заодно съ приказникомъ насъ мучите, шибѣ вамъ окалѣть...

Немного погодя, кто-то заплѣлъ:

Мое-тъ миленькій да дружокъ,  
 Онъ да уѣхалъ  
 Въ славный Питеръ городокъ и т. д.

Человѣкъ пятнадцать пѣли вдругъ; присоеди-  
 нился къ нимъ и молодой Глумовъ. Голосъ его звучалъ сильнѣе прочихъ.

— А ну ее къ чорту, эту пѣсню! Плясать хочу! Ситниковъ, играй „во саду ли, въ огородѣ“,—кричалъ Илья Игнатьичъ.

— А ты што за командиръ?  
 — Ты што за уважикъ? Али лобъ у те чешется?..  
 — Играй „сѣни!“

Скоро заиграли въ четыре гармоникъ „сѣни“, и вся публичка толкалась въ тѣсной комнатѣ. Отъ выдѣлыванія колѣнями и локтями разныхъ штукъ-многихъ пришлось жепонутру. Штофъ роснули скоро, кто-то взялъ полштофъ и попотчивалъ Илью Игнатьича. Онъ хотя уже и былъ пьянъ, но выпилъ еще стаканъ.

— Вратцы, кто видѣлъ Корчагина, мастера?—спросилъ Илья Игнатьичъ.

— Корчагинъ ужъ не мастеръ, а куренной рабочій.

Это удивило Илью Игнатьича; но скоро одинъ рабочій крикнулъ:

— Корчагинъ!  
 — Ахъ!—откликнулся голосъ Корчагина.

Илья Игнатьичъ провалился къ Корчагину. Онъ, сѣдя у стола, дремалъ и ворчалъ:

— Всѣ мошенники! и Тимошка Глумовъ мошенникъ!

Въ это время онъ увидалъ Илью Игнатьича и, не узнавши его въ нарядѣ пѣсца, сказалъ:

— Ты што, чернильная пѣявка?

— А те: куда ты мою сестру дѣваешь?—крикнулъ Илья Игнатьичъ.

— Какую твою сестру?

— Забылъ! ты думаешь, я ничего не знаю. А зачѣмъ ты отъ меня спрятался?

— Да ты-то што за птица?

— Я Илюха Глумовъ. Говори: гдѣ моя сестра, Прасковья?

Корчагинъ былъ въ замѣшательствѣ, а Илья Игнатьичъ вцѣпился ему въ волосы. Корчагинъ оттолкнулъ его такъ, что онъ расшибъ себѣ носъ, но опять вцѣпился въ Корчагина; однако ихъ розняли и поднесли обоимъ по рюмкѣ водки.

— Не хочу я съ ними, съ подлодомъ, нить. Онъ мою сестру увезъ.

— Дуракъ ты и больше ничего. Ты мнѣ обиду большую сдѣлалъ..

Илья Игнатьичъ опять хотѣлъ вцѣпиться въ Корчагина, но его удержали, говоря:

— Ты не дур! Ты знай, што мы всѣ за него вступимся, а за тебя—никто.

— А развѣ нѣтъ не жалко сестры?

Рабочіе захохотали.

— Скажите,—какой онъ возмелюжалостливый.

— Твой отецъ не былъ жалостливый во имелю, а у тебя, Илюха, вѣрно бабье нутро?

— Нѣтъ, братцы, Илюха правъ: Илюха сестру спрашиваетъ,—крикнулъ кто-то.

— Вратцы, виновать ли я, што увезъ ее въ городъ. Сами знаете, ей не житье бы здѣсь...—говорилъ Корчагинъ.

— Вѣрно!

— Што Корчагинъ скажетъ—пиши-подписывай: „быть по сему“.

— А ты, Илюха, не ернишь... Твою сестру приказчикъ хотѣлъ въ любовницы взять, а я не хотѣлъ этого. Взялъ да и увезъ въ городъ и къ мѣсту пристроилъ.

— Хора! хора! Ай-да Корчагинъ!

Илья Игнатьичъ почувствовалъ уваженіе къ Корчагину.

— Я далъ слово жениться на ней и женюсь.

— Хора! хора!.. Водки! Рубаху съ себя сниму, а попотчую Корчагина,—кричалъ одинъ рабочій. Всѣ посетители „Ланта“, въ томъ числѣ и постоянно приходящіе, узнавъ въ чемъ дѣло, были въ такомъ настроеніи, что готовы были, Богъ знаетъ, что сдѣлать такое хорошее Корчагину; каждый кричалъ, ругалъ другихъ; попрекамъ, кажется, не было бы конца, но тѣмъ и кончилось дѣло, потому что въ одномъ углу двое заплѣли и заглумились своими пѣснями кричащихъ, въ другомъ углу двое дрались. Черезъ четверть часа опокоествіе водворилось; изъ гостей одни разсуждали о неподачѣ денегъ заводоуправленіемъ, неподачѣ провіанта и дровъ, а другіе плясали, третьи такъ себѣ сидѣли.

Илья Игнатьичъ сидѣлъ рядомъ съ Корчагинимъ за одной стороной большого стола, за другими сторонами стола сидѣли по два рабочихъ, и каждая

пара разговаривала между собой, не мѣшая другимъ парамъ. Каждая пара были друзья, еще не со-  
всѣмъ знакомые съ другими парами, потому что  
нѣкоторые изъ нихъ были присланы въ тарака-  
новскій заводъ изъ другихъ сосѣднихъ заводовъ.

Корчагинъ говорилъ Илья Игнатьичу:

— Ты еще молодъ и мало испыталъ горя...

— А развѣ я не ползалъ съ тачкой въ швахъ?  
Што ты хвастаешься-то.

— Не горячись, Илья Игнатьичъ. То, что ты пе-  
ренесъ, еще цвѣточки. А вотъ ты съ мое поживи. Я  
еще молодъ, а смотри, какой я сухой. А отъ чего все  
это произошло? Я теперь пьянъ и потому не увию  
тебѣ сказать толкомъ, отъ чего я такой сдѣлался...

— Ты мастеръ былъ первый во всемъ заводѣ.

— Былъ. А теперь куренной рабочій!—А ты  
думаешь, легко мнѣ досталось мастерство? Эхъ-ма,  
да не дома! Я одинъ бился, какъ рыба объ ледъ.  
Мнѣ никто не помогалъ, я самъ десять лѣтъ учил-  
ся, десять лѣтъ инструменты приобрѣталъ. Потомъ  
я скопилъ капиталъ, надѣялся, Богъ знаетъ, на  
что... надѣялся завестись своимъ хозяйствомъ, же-  
лой—для того, чтобы мнѣ было утѣшеніе, разве-  
ченіе, было съ кѣмъ слово молвить... Да подвер-  
нулась мнѣ въ это время твоя сестра... Чего про  
нее не говорили люди!..

Корчагинъ тяжело вздохнулъ, прослезился и  
выпилъ стаканъ водки.

— Такъ-то, душа моя!.. Я ужъ тебѣ говорилъ,  
что ей нельзя было жить здѣсь, и я свезъ ее въ  
городъ. И теперь не знаю, что съ нею дѣлается...  
Пріѣзжаю я сюда... домъ сторѣлъ, моя сестра гу-  
ляется... А тутъ и говорить не стоить... А тутъ  
меня и въ куренные рабочіе стурили... Ловко это?

— Што жъ ты думаешь теперь?

— Да што думать? Нашему брату только нужно  
съ панталыку сбиться, а тутъ и пиши—пропало.  
Когда я теперь поправлюсь?.. Вотъ и пью съ горя.  
И глупо я дѣлаю, ей-Богу! и Прасковья меня му-  
читъ, потому я не знаю, жива она или нѣтъ, и по-  
ложение мое меня мучитъ, а все-таки глупо я дѣ-  
лаю... А что жъ мнѣ дѣлать, будьте вы прокляты  
всѣ! Ну, скажите, што мнѣ дѣлать? Если я задавлюсь,  
вы скажете: я дуракъ, и бросите меня, какъ собаку...  
Бѣжать надо въ городъ, въ работники надо идти,  
вотъ одно спасенье!.. А какъ убѣжишь? Да и не  
обидно развѣ мнѣ, што я столь безпокоился?  
Ужъ мнѣ не прожить столько, сколько я прожилъ:  
прожитые года были хоть и тяжелы, зато я на-  
дѣялся, а теперь опять нужно сызнова начинать.

— Это вѣрно,—сказалъ одинъ рабочій, слуша-  
вшій молча Корчагина; за нимъ подтвердили и дру-  
гіе, сидѣвшіе за однимъ столомъ съ Корчагинымъ.  
Илья Игнатьичъ уже спалъ.

Былъ уже часъ одиннадцатый вечера. Посѣти-  
телей становилось больше и больше. Тѣхъ посѣти-  
телей, которые были при приходѣ Глумова, въ „Лантъ“  
давно уже не было. Съ тѣхъ поръ посѣтителей пе-  
ребывало много со всѣхъ улицъ завода. Тутъ были  
и пріѣзжіе изъ другихъ заводовъ и рудниковъ, осо-  
бенно Петровскаго, куда къ Рождеству пригонялись  
изъ дальнихъ заводовъ, и эти люди не могли

встрѣтить праздникъ дома, потому что они рабо-  
тали на рудникѣ въ первый день Рождества и на  
третій день должны были на рудникѣ.

Корчагинъ чувствовалъ, что онъ пьянъ и хочетъ  
спать, но вставать со скамейки не хотѣлось, хотѣ-  
лось еще послушать рабочихъ, потолковать съ ними.  
Вдругъ входитъ въ кабакъ его сестра Варвара въ  
оборванной шубейкѣ и съ шалью зеленого цвѣта  
на головѣ, а за ней еще какая-то женщина въ  
одномъ сарафанѣ, съ непокрытой головой,—обѣ  
пьяныя. На шали Варвары, на волосахъ другой  
женщины, на плечахъ и спинкѣ обѣихъ лежалъ  
снѣгъ; на пришедшихъ за ними рабочихъ тоже  
снѣгъ—значить, идетъ снѣгъ.

— Варвара! А штобъ те розорвало, — кричать  
рабочіе.

— Угостите водочкой,—и Варвара запѣла ка-  
кую-то пѣсню, начала притопывать лѣвой ногой.  
Ее обнялъ какой-то черноволосый рабочій, ута-  
щилъ въ уголъ; другую женщину никто не бралъ.  
Корчагинъ поднялся съ хѣста, надѣлъ фуражку  
и, растолкавъ Илью Игнатьича, сказалъ ему:

— Поидемъ.

— Я... спать... Я гуляю...

Корчагинъ взялъ подъ мышки его голову и  
потащилъ вонъ изъ кабака. Ему дали дорогу.

— Видѣлъ? — спросилъ его одинъ рабочій.

— Што же такое? дуру не образумишь.

— Такъ оно... самъ ненормалъ.

Корчагинъ утащилъ Глумова въ свою квартиру,  
находящуюся въ домѣ казака Запавдорова.

Корчагинъ хотя и всталъ поздно, а именно, когда  
уже широко разсвѣло и не нужно было зажигать лу-  
чину или свѣчку, однако всталъ раньше Глумова.  
Глумовъ пробудился тогда, когда уже отзвонили къ  
обѣдѣ; въ это время Корчагинъ обдѣлывалъ са-  
докъ для птицъ. Кровати у него въ избѣ не было,  
а изба его украшалась простымъ столомъ, небольшо-  
й скамейкой, стуломъ для гостей, сдѣланнымъ  
самимъ Корчагинымъ, и чурбаномъ, на которомъ  
сидѣлъ самъ Корчагинъ. На одной стѣнѣ висѣлъ  
зипунъ; съ полаты свѣсилась одна штанина, да  
видѣлась шила. Недалеко отъ зипуна въ стѣну  
были заткнуты два небольшихъ ножа, подшилокъ и  
долото, около печки лежало нѣсколько полѣньевъ  
и топоръ. Въ переднемъ углу висѣлъ небольшой  
мѣдный крестъ и распятіе.

Илья Игнатьичъ, лежа на полу, долго глядѣлъ  
на Корчагина, удивляясь его ловкости совмѣщать  
палочки въ перекладники, но ему хотѣлось лежать:  
голова болѣла, онъ не могъ встать.

— Ты чего... комуэто? — спросилъ онъ Корчагина.

— Да такъ... На базаръ снесу, можеть купить.

— А ты бы другое што...

— Што я стану дѣлать-то? Смотри, вотъ все  
украшеніе; даже самыхъ главныхъ инструментовъ  
нѣту. А покупать — не скоро купишь, потому капи-  
таловъ нѣту. Опять и робить некогда...

— Плохо.

— Плохо, Илья Игнатьичъ, больно плохо. Горе

береть, такъ что и не знаешь, что бы надъ собой сдѣлать. Водки выпьешь, еще того хуже, дѣлать не хочется, денегъ жалко, а поправиться нѣту силъ...

— Ну, я, братъ, погулялъ-таки вчера... Никогда такъ не гуливалъ... Въ чемъ это я съютрукъ то вымалывалъ?

— Больно, братъ, ты пьянъ былъ... Не годится такъ пить, потому, разъ здоровье свое испортишь, а другой—у тебя еще не такое большое горе: ты еще жить начинаешь.

— Нѣтъ, я, Корчагинъ, гулять хочу. Деньги есть!.. Недостаетъ тулупишко прощью.

— А какъ ты съ приказчикомъ-то будешь ѣздить?

— Напправлялъ бы я на него. Што я свинья што ли какая? и такъ всё сухой меня называютъ... Корчагинъ!—давай стряпать нирожки съ говядиной... Право. А?

— Ошутить! ха, ха! Ежели бы я былъ семейный человѣкъ—такъ, а то у меня всего одна деревянная чашка да ложка, да и тѣ гдѣ-то на ночкѣ валяются.

— Ну, ко мнѣ пойдешь.

— Не пойдю.

— Пойдемъ, сказано—гуляю! Угошу! У насъ еда тоже гуляютъ. Вася, пойдешь...

— Нѣтъ, мнѣ нельзя—у меня дѣло есть, а завтра надо на работу идти.

Сколько Илья Игнатьичъ не уговаривалъ Корчагина идти къ нему въ гости, Корчагинъ не пошелъ. Глушовъ обругалъ его и направился домой. Дорогой до своей квартиры или до господскаго дома онъ еще зашелъ въ кабакъ и пришелъ домой безъ тулупа, совѣтъ пьяный.

— Гдѣ у тебя тулупъ-то?—спросилъ его дворникъ.

— Прощью, и съютрукъ прощью... Все прощью!—говорилъ Илья Игнатьичъ, хохоча и махая руками.

У Переплетчиковской прислуги были гости, но онъ не обращалъ на нихъ никакого вниманія и, кое-какъ взобравшись на полѣти, уснулъ подъ напску пѣсни гостей. Оставался еще одинъ день гулять Ильѣ Игнатьичу, но ему было недогулянья. Когда онъ проснулся, ему стыдно стало передъ прислугой и передъ самимъ собой. Мысль, какъ онъ покажется передъ свѣтлыми очи приказчика, ужасала его, и онъ думалъ, что хорошо, если онъ отдѣлается одной поркой, а если онъ прогонитъ его? куда тогда аристронется Илья Игнатьичъ?.. Носъ болитъ: на немъ не то шинка, не то засохло что-то; съютрукъ и брюки замараны, разорваны; полушубка нѣтъ. «Видъ и носъ не заживетъ до завтра?» думалъ онъ.

И не стыдно тебѣ такъ напиваться, мальчишка ты эдакой!—грызла его Прасковья, у которой впрочемъ былъ надъ лѣвыми глазами большой синякъ, неизбежный послѣ вечеровъ.

— Погоди ты, страмецъ, скажу я приказчику... Онъ тѣ! Куда ты тулупишко дѣлъ?—ворчалъ дворникъ.

— Онъ его продалъ, должно быть. Ну, какъ не драсть ихъ, шельмецовъ,—поддакивалъ садовникъ.

Ильѣ Игнатьичу тошно было слышать всё эти слова.

И началъ Илья приводить себя и свой носъ

въ порядокъ; но до порядка еще было далеко. Пелагея Вавиловна починила ему одежку, и онъ весь день сидѣлъ съ ней, играя въ карты, причемъ вѣсто того, чтобы быть Ильѣ Игнатьича по носу, Пелагея Вавиловна щелкала его по лбу пальцами, отъ чего къ вечеру у него на лбу вкочилъ порядочный волдырь.

Вечеромъ они пили чай вѣстѣ. Пелагея Вавиловна достала изъ кладовой для Ильи Игнатьича бутылку рому, а для себя бутылку хересу, сказавъ при этомъ: „гуляемъ! Хоть безъ него-то погулять“.

Толковали они о пустякахъ, потомъ опьянѣли, развеселились. Илья Игнатьичъ сталъ ее щипать за бока, она колетила его кулакомъ по плечу. Эта игра такъ понравилась имъ, что они стали играть въ ладошки, т. е. щелкать руками другъ друга. Потомъ Илья Игнатьичъ обнялъ Пелагею. Она не препятствовала и только сказала дрожащимъ голосомъ:

— Ты што—второй приказчикъ што ли?

— Ну его! А вотъ, Пелагея, какой платокъ я купилъ—прелесть.

Сталъ онъ искать платокъ и нигдѣ не нашелъ платка. Это горе проняло его до слезъ, вся веселость пропала, но Пелагея скоро развеселила его, и оба они невѣльно дошли до того, что стали цѣловаться, а потомъ вѣстѣ легли спать.

Напрасно ждали на другой день приказчика. Онъ не прѣзжалъ цѣлую недѣлю, и во все это время прислуга сидѣла дома, не ситя никуда отлучиться. Зато когда онъ прѣхалъ, то былъ ужасно сердитъ, но ничего не замѣтилъ Ильѣ Игнатьичу насчетъ его подбитаго носа.

— Онъ о чемъ-то думаетъ. Какъ ни погляжу, сидитъ съ перомъ и думаетъ, лежитъ и думаетъ,—говорила Ильѣ Игнатьичу Пелагея Вавиловна.

— Поди, подѣ судѣ пональ,—замѣтилъ Глушовъ.

— А хорошо бы, еслибъ онъ насъ прогналъ. Мы бы повѣнчались и въ городъ поѣхали. Я бы бѣлье стала стирать, а ты бы въ лакеи пошелъ.

— Гляди, онъ женится на тебѣ,—сидѣлъ говорилъ Глушовъ.

Черезъ недѣлю по прѣздѣ приказчикъ взялъ съ собой Ильѣ Игнатьича и спросилъ его:

— А тулупъ гдѣ?

— Меня рабочіе лабили на пруду: говорятъ, лакей приказчика; стали бить, я вырвался и тулупъ оставилъ.

— Ну, такъ и ходи въ съютручискѣ!

А вечеромъ того же дня приказчикъ спросилъ Ильѣ Игнатьича:

— Што же, гдѣ мальчишка?

— Кузнецъ Савватѣевъ не пускаетъ его; говоритъ, пусть уплатятъ мнѣ двадцать пять рублей за обученіе.

— Хорошо!

Черезъ часъ послана была съ Ильѣ Игнатьичемъ къ исправнику записка такого содержанія:

„Покорнѣйше прошу ваше высокоблагородіе назначить непрѣмѣннаго работника таракановскаго завода Ивана Савватѣева за ослушаніе и неявку на работы двадцатью пятью розгами и выслать его на Петровскій рудникъ“.

На другой день Колька Глумовъ былъ уже на кухнѣ приказчика.

Переплетчикову вздумалось имѣть казачка, для того чтобы удивить управляющаго, и онъ дѣйствительно удивилъ его.

Около крещенія у Переплетчикова былъ балъ, на который были приглашены всѣ сановитыя особы завода, въ томъ числѣ и управляющій съ семействомъ. Послѣ танцевъ стали ужинать. Прислуживали только Пелагея, Илья и Николай Глумовъ, который былъ одѣтъ въ красную рубашку, подносавшую ремешкомъ съ жѣдной застежкой, и въ плисовые штаны, засунутые за сапоги. Гости обращались съ приказчикомъ фамиллярно и только къ одному управляющему относились съ подобострастіемъ и уваженіемъ.

— Послушай, Переплетчиковъ, неужели у тебя только прислуги?—спросилъ управляющій.

— Моя прислуга расторопная

— А это что, любовница твоя?

— Такъ по малости... А вы поглядите на этого мальчишка — это казачекъ.

— Казачекъ! Ахъ ты, плутъ! Я только-что хотѣлъ казачка завести... Что же онъ у тебя дѣлаетъ?

— Все дѣлаетъ. Колька, пляши!

Колька сталъ плясать и шнытѣть; потъ съ него такъ и лилъ. Гости хохотали.

— Молодецъ!—сказалъ управляющій.

— Пой! про волю—пой... Какъ же: „ужъ ты, горе мое“...

Колька пренѣлъ. Управляющій остался недо-воленъ.

— Откуда ты эту пѣсню выучилъ?

— Робята поютъ.

— Кувыркайся, шельма ты адская!—сказалъ приказчикъ, и казачекъ сталъ кувыркаться. Это кувырканье опять разогнѣло гостей, только нелегко доставалось Колькѣ. Колька былъ еще малъ, онъ никогда не былъ въ хорошихъ домахъ, не видалъ такого собранія: на него стоило только крикнуть, и онъ готовъ былъ голову сломать, чтобы угодить начальству.

Весь ужинъ Колька пренялся, прекривлялся и пропѣлъ.

— Молодецъ мальчишка! подожди! возьми косточку,—сказалъ управляющій.

Колька взялъ косточку и не зная, что дѣлать съ ней. Будь на ней мясо—онъ бы не задумался.

— Грызи.

— Я не собака...—сказалъ Колька и кусилъ глаза.

— Тебѣ приказываютъ!—крикнулъ приказчикъ.

Колька сталъ грызть, но зубы не брали. Гости хохоту.

— Шельма этотъ Переплетчиковъ... Я тобой недоволенъ,—проговорилъ управляющій приказчику.

— Отчего?

— Оттого, что я не имѣю казачка, и никто кромѣ меня не смѣетъ имѣть казачка,—горячо сказалъ управляющій.

— А почему такъ?

— Потому что я здѣсь глава.

Однако эта вспышная заглушилась скоро тостами за управляющаго, и она стала просить Переплетчикова подарить ему казачка.

— Не мой, онъ—господскій.

— Я могу сдѣлать, что онъ будетъ мой.

— А я не продамъ, да и воля скоро будетъ.

— Когда еще будетъ! Послушай, я могу всю твою прислугу отобрать отъ тебя.

— Покуда я приказчикъ, никто у меня прислуги не отыметъ, а съ этой должности вы меня не имѣете права смѣстить.

— Имѣю.

— А должно-то двадцать-то тысячъ?

— Возьми вексель.

— Нѣтъ-съ! что написано перомъ, того не вырubiшь топоромъ.

— Подлецъ! вѣтъ судьба навалила мнѣ чорта на шею!..

Такъ Колька и остался у приказчика казачкомъ. Должность его состояла въ томъ, что онъ долженъ былъ спать въ дверяхъ спальни Переплетчикова, подавать ему то, что Переплетчикову было лѣнь поднять, подавать ему спички, сигары, трубку, разносить чай гостямъ. Но кромѣ этого у него много было: Илья Игнатьичъ заставлялъ его мыть сапоги, подсвѣчивать и т. н., прислуга заставляла чистить посуду, Пелагея Вавиловна мыть чашки. Колька все дѣлалъ безропотно. У него еще много оставалось свободнаго времени. Разъ онъ какъ-то приближалъ къ приказчику въ кабинетъ на его зовъ. Лицо его было грязное, въ слезахъ.

— Отчего ты такой чупарый?

— Панкратъ пьяный дерется. Настьку всю избилъ, меня избилъ... Я говорю, скажу малъ приказчику, што лошадь хранишь,—онъ какъ...

— Што? какая лошадь?

— Сегодня говорили, курица собака съѣла. Пелагея ругалась сколько... Ключъ, говорятъ, потеряли.

Приказчикъ позвалъ Пелагею Вавиловну, распекъ ее и отправилъ самъ въ кухню, въ которой онъ не бывалъ пять лѣтъ. Въ кухнѣ была Настасья, кучера не было, дворникъ и садовникъ были пьяные. Приказчикъ позвалъ ихъ идти на кладовыя, каретникамъ и сараи. У приказчика было три лошади и четыре коровы; оказалось только двѣ лошади и двѣ коровы.

Приказчикъ помолчалъ. А на другой день всю кухонную прислугу потребовали въ полицію, наказали розгами, и наместо ея явилась новая. Всѣ вещи прежней прислуги и деньги ихъ приказчикъ велѣлъ раздѣлить Пелагѣй и Ильѣ Игнатьичу, которому внизу была отведена одна пустая комната.

Къ маслянницѣ Ильѣ Игнатьичъ ходилъ щеголема и обзавелся друзьями между лакеями, которые ходили къ нему въ гости и къ которымъ онъ самъ ходилъ.

XXV.

Великимъ постомъ, въ воскресенье, Василій Васильевичъ Корчагинъ былъ дома и чинилъ почт-

мистерскую шкатулку. Ему хотѣлось кончить работу скорѣе, а такъ какъ работа подходила къ концу, то онъ и не обѣдалъ до окончанія. Часу къ четвертому шкатулка была поправлена совсѣмъ. И хотя въ это время дни уже длинные, но день выдался пасмурный и свѣжый, отчего въ избѣ Корчагина было темно. Корчагинъ пообедалъ, т. е. съѣлъ два ломтя чернаго хлѣба да похлебалъ соевой капустки съ соевыми огурцами и картофелемъ. Онъ не торопился ѣсть, а съ умиленіемъ поглядывалъ на шкатулку.

— Славу Богу, — говорилъ онъ вслухъ, — кончилъ. Полтинникъ получу я то ладно... Кабы прежняя пора, я бы за эту работу меньше двухъ цѣлковыхъ не взялъ... право... ну, да наплевать! Одно горе — долговъ пропасть. Вотъ теперь получу я полтинникъ, ну, што я изъ него сдѣлаю? Хотѣя вещей и не закладывавъ, потому не гуляю, какъ товарищи, а все-таки долговъ много, и деньги взяты на-слово. Какъ бы это расплатиться-то: Маремьянъ пужно непремѣнно бы отдать четвертакъ, чтобы совѣсть очистить, а то шутка — съ Покрова дожидается, и дѣло-то ей больно некорыстное (т. е. бѣдное). Емельянову вонъ полтора цѣлковыхъ долженъ, — и тому давно пора возвратить... Эко горе мое горькое! — Потомъ онъ легъ на печь отдохнуть и раздумался о Прасковѣ Игнатьевнѣ. Вдругъ къ нему пришелъ рабочій Фоминъ, только-что воротившійся изъ города.

— Здорово, крещеные! — сказалъ онъ, входя въ избу, синяя шапку, покрытую свѣгомъ, и не загибая Корчагина на печки.

— Здорово, Фоминъ, съ прїѣздомъ! — сказалъ Корчагинъ. Немного погодя, онъ соскочилъ съ печки.

— Ну, братъ, и городъ, будь онъ проклятъ! — ругался Фоминъ.

— Што такъ, али обжегся?

— Куда имъ поворотись — вездѣ давай деньги и берегись мошенниковъ... Фоминъ немного помодалъ и, улыбувшись, началъ.

— Ты вѣдь ничего не знаешь, а я много вѣстей привезъ.

— Што? — спросилъ, удивляясь, Корчагинъ: онъ не зналъ, какую такую новость могъ сообщить ему Фоминъ.

— Поставь, братъ, жбанъ пива. Ей-Богу — штуки!

— И ведро бы поставилъ, Петръ Павлычъ, да къ карманѣ-то Великій постъ.

— Ну, пойдемъ, я тѣ поставлю отъ себя; только надо говорить по душѣ и не хмурясь.

— Да ты скажи.

— Нельзя!

Кое-какъ Василій Васильевичъ уговорилъ Фомина.

— А первое я тѣ скажу — воля вышла.

— Ну! — и Корчагинъ махнулъ рукой. — А другое што, — спросилъ онъ Фомина, недовольный имъ.

— Нѣтъ, ты слушай: вчера было воскресенье, самъ былъ въ соборѣ, гдѣ самъ архіерей служилъ. Манифестъ читали. Народу што-это, и не говори! сочинения е. рашетникова.

только рабочихъ долго не пускали въ соборъ-то, потому начальство ждало.

— Што жъ ты — врешь али нѣтъ?

— Што я подлецъ што-ли какой? говорю, манифестъ читали объ волѣ! Протодьяконъ читалъ, голосъ у него не нашему теперешнему соборному дьякону чета... Важно рывалъ!

— Кому жъ эта воля?

— Да тутъ сказаны крестьяне господскіе, а объ мастеровыхъ ничего не сказано.

— Значить — намъ воли нѣтъ.

— Толковали тутъ приказные, што въ манифестѣ-де пропустили насъ, въ горномъ правленіи дополненіе объ насъ есть.

— Ну, это все враки! А другое што?

— А другое: иду я это утромъ въ церковь-ту и встрѣчаю Прасковью Глумову. Худая такая, въ шубейкѣ. Ну, вотъ я остановился противъ нея и говорю: „Здорово, Прасковья Игнатьевна“. Она какъ будто не узнала меня, тоже остановилась и глядитъ на меня. „Не узнала?“ говорю. — „Да ты, говорить, таракановской... Ты не Петръ ли Фоминъ?“ — „Такъ“, говорю, — ну, и разговорились. „Гдѣ, говорю, ты живешь?“ — „А я, говорить, живу въ куфаркахъ у столоначальника правленскаго Панкратова, три рубля на ассигнаціи, говорить, въ мѣсяцъ получаю; кормятъ, говорить. Башмаки, говорить, къ новому году подарили, къ Пасхѣ тоже, говорить, обѣщались башмаки купить“. — Я говорю, молъ, Корчагинъ соболѣзнуетъ объ тебѣ. А она говорить: „скажи ему, што онъ мерзавецъ, потому меня бросилъ. Я, говорить, по его милости три мѣсяца въ лихоманкѣ была, въ больницѣ лежала“.

Это извѣстіе очень обрадовало Корчагина. Что касается до воли, то онъ вѣрилъ и не вѣрилъ Фомину.

На другой день Корчагинъ былъ у почтмейстера: тотъ поздравилъ его съ волей и сказалъ, что къ управляющему прїѣхалъ чиновникъ отъ губернатора и привезъ манифестъ о волѣ. Почтмейстеру Корчагинъ повѣрилъ на томъ основаніи, что, по его мнѣнію, почтмейстеръ долженъ знать, какъ почта, что дѣлается во всемъ свѣтѣ. Онъ узналъ отъ почтмейстера только, что всѣхъ рабочихъ уволили изъ крѣпостного состоянія и что теперь будетъ отъ нихъ зависѣть, работать на заводахъ или нѣтъ. Больше почтмейстеръ ничего не зналъ; но и этого было достаточно Корчагину. Онъ шелъ изъ почтовой конторы веселый, такъ и порывался сказать каждому встрѣчному: „манифестъ объ волѣ привезли!“ — но его мучили вопросы: „Что же это такое? Какая такая воля? прежде насъ тиранили-тиранили, суда никакого на нихъ, подлецовъ, не было, а теперь вдругъ воля? И кто это склоноталъ намъ волю?“

Слово „воля“ онъ плохо понималъ. Вольный человекъ — значитъ человекъ, никому неподначальный и т. д... Но онъ думалъ: „не будутъ ли за эту волю деньги съ рабочихъ взыскивать? или вмѣсто теперешнихъ рабочихъ пригонять изъ другихъ мѣстъ новыхъ, а намъ скажутъ: вы не годитесь, уходите, братцы, отсюда, вы вольные, люди много страдавшіе

прежде, а теперь никому неподначальные... и потому ищите другой работы"...

Навстрѣчу къ нему лѣтѣла молодая женщина. Она размахивала руками; на лицѣ ея видѣлся испугъ, губы дрожали.

— Экъ те прояво! што ты, угорѣлая?—крикнулъ ей Корчагинъ.

— Оя, бѣда!

— Што достѣлось?

— Воля!...—и баба пробѣжала.

„Дура!“ сказалъ Корчагинъ и подумалъ про себя: „какъ, право, мы падемъ до диковинокъ! Надобно доподлинно узнать это дѣло“, и онъ повернулъ къ господскому дому. Передъ подъѣздомъ господскаго дома стояли трое саней, около нихъ стояли трое кучеровъ, которыхъ окружали человѣкъ пятнадцать рабочихъ и горячо о чемъ-то разсуждали.

Подойдя ближе къ нимъ, Корчагинъ узналъ, что это кучера приказчика, исправника и повѣреннаго Тараканова.

— Вонъ Корчагинъ!.. Василій, иди скорѣе!—прокричалъ одинъ рабочій.

— Ну, што?

— Воля вышла!

— Слышалъ.

— Отъ самого губернатора, слышь, чиновникъ манифестъ привезъ. Почтовый ящикъ объ этомъ сказывалъ. Онъ, этотъ чиновникъ, ящику-то бумагу читалъ.

— Станетъ чиновникъ съ ящикомъ разговаривать... Христа ради развѣ.

— Тебѣ говорить, разговаривалъ...

— А ты видѣлъ?.. одно слово—насъ пытаются, вотъ што! Видѣ ужъ давно объ этой волѣ говорить.

— Теперь мы совѣтъ держимъ: зачѣмъ пріѣхалъ сюда исправникъ да приказчикъ съ повѣренными.

Вышелъ изъ подъѣзда исправникъ. Онъ былъ сумраченъ; къ нему подошли рабочіе, сняли шапки.

— Ваше благородье, объясни ты намъ это дѣло: вышла воля али нѣтъ?

— Кучеръ!?—крикнулъ онъ своему возницѣ.

Кучеръ исправника, ругавшій до сихъ поръ своего хозяина, сталъ ругать рабочихъ, замахиваясь кнутомъ, вѣроятно по привычкѣ угождать исправнику.

Исправникъ уѣхалъ. Такъ прошло время до воскресенья. Рабочіе были въ такомъ настроеніи, что головы у нихъ точно были несвой, руки опустились, ноги ослабѣли, мало ѣлось. Дома, на работѣ только и было говору, что о губернаторскомъ чиновникѣ и о манифестѣ. Теперь всѣ вѣрили тому, что получена воля; но каждый понималъ эту волю по-своему и старался узнать общее мнѣніе о ней. Въ толпахъ разсуждали разнo. Это еще болѣе приводило въ смущеніе рабочихъ; они послѣ работы долго не могли заснуть, и если спали, то часто просыпались: воля не выходила изъ головы, человѣкъ чувствовалъ и дрожь, и радость... Бабы тоже голосили, ходили отъ сосѣдки къ сосѣдки и разсуждали объ этомъ случаѣ опять-таки по-своему, по-бабьи, и при этомъ каждая, думая, что она говоритъ дѣло, горячо высказывала свое мнѣніе, вслушиваясь между про-

чимъ въ сужденія толковой бабы... Мужчины и женщины то и дѣло появлялись, т. е. ходили по одному и по два къ господскому дому, къ исправническому дому и къ конторѣ. Имъ хотѣлось узнать: уѣхалъ или нѣтъ губернаторскій чиновникъ. А это для нихъ много значило. Но чиновникъ не уѣхалъ еще. Въ пятницу стали наполняться кабаки, и рабочіе совѣтовались: ходить или нѣтъ на работы. Надо просить, чтобы имъ прочитали манифестъ. Рѣшили начать это съ понедѣльника. Но въ субботу утромъ попался одному рабочему соборный дьячокъ.

— Слышалъ ты новость—воля вышла.

— Слышалъ, да што толку...

— Завтра читать будутъ царскій манифестъ въ соборѣ

— Такъ отъ царя воля-то?

— Да. А ты отъ кого думалъ? Тутъ, братъ, только царь и можетъ уволить насъ, потому вонъ у нашихъ господъ сколько заводовъ, да людей, говорить, тысячъ пятьдесятъ, а у другихъ и по двѣсти тысячъ есть.

— Да какъ же толкуютъ: воля не намъ, а крестьянамъ?

— Всѣмъ—кто крѣпостной.

— А казенные?

— Казеннымъ воли нѣтъ, потому они казенные.

Въ этотъ же день всѣ рабочіе узнали, что завтра будутъ за обѣдней въ соборѣ читать царскій манифестъ о волѣ, и на работы никто не пошелъ.

Мужчины вымылись въ банѣ, надели чистые рубахи и штаны съ вечера; женщины тоже съ вечера приготовили для себя подѣвчатныя сарафаны, а худые сарафаны и шубейки постарались поскорѣе починить.

Въ воскресенье, еще далеко до обѣдни, площадь передъ соборомъ была полна народа. Тутъ были и старыя, и молодыя, мужчины, женщины и дѣти—въ заводскихъ одеждахъ, цѣстрившихъ и рѣзавшихъ глаза всевозможными яркими цвѣтами.

Народъ гудѣлъ. Каждый говорилъ, и разговоры касались заводскаго начальства. Отперли двери въ соборъ, народъ хлынулъ къ собору; но у дверей стояло восемь солдатъ, неизвестно какими образомъ попавшихъ сюда, которые заперли дверь изнутри.

Соборъ окружили со всѣхъ сторонъ, а боковыя двери были заперты. Толки пошли разные; ругательства слышались далеко.

Пріѣхалъ дьяконъ съ дьяконницей и дѣтьми. Ихъ впустили въ церковь. Начались разсужденія о дьяконницѣ.

— Смотри, какая худоба, а какъ вырядилась!..

— А вотъ ее пошто пустили?

— Напрямъ, братцы!

Пріѣхалъ священникъ съ женой и дѣтьми; рабочіе стояли у наперта и на дѣстницѣ, и какъ только отворили двери, человѣкъ пятьдесятъ ворвались въ соборъ. Такъ за священно-служителями и чиновниками, которыхъ пускали безпрепятственно, рабочіе мало-по-малу врываются въ соборъ, и скоро въ соборѣ было очень тѣсно, несмотря на ку-

лаки солдатъ и сабли двухъ казаковъ, пріѣхавшихъ сюда будто-бы съ бумагами изъ города!... Казаки объяснили рабочимъ, что и въ городахъ такъ ведется, что напередъ въ соборы должны попадать начальники, а если праздникъ царскій, то простой народъ вовсе не допускается... Народу вокругъ собора было очень много; всѣ они подошли теперь набогомольцевъ, сѣдѣвшихъ въ престольный праздникъ на ярмарку. Прешелъ часъ, и минута изъ стоявшихъ и толкущихся вокругъ собора не знала, что дѣлается въ церкви; стоявшіе у крыльца съ завистью глядѣли на начальниковъ, проходящихъ въ соборъ, и жалѣли о томъ, что они раньше не пробрались къ крыльцу; стоявшіе на ступенькахъ крыльца то и дѣло заглядывали въ соборъ сквозь стекла, сдѣланныя въ дверныхъ рамкахъ. Они ждали, когда дьяконъ будетъ читать бумагу.

— Што?

— Нѣту. Надо быть скоро.

И всѣ плотно столпились передъ крыльцомъ собора; но мѣста было не много, поэтому многіе стояли за оградой.

Отворили двери. Паръ хлынулъ изъ собора и разсѣялся скоро надъ головами народа; изъ церкви слышалось нѣміе, какъ издали.

— Ну, што?—кричали рабочіе, стоявшіе передъ крыльцомъ?

— Значить обманули!—говорили задніе.

— погоди... Попы въ ризахъ на середину идутъ,—подсказывали стоящіе въ дверяхъ собора.

— Што ты! Молебствіе, значить.

— Шш... шш... цц!...—произнесли стоящіе въ дверяхъ и замахали руками.

Началась толкотня.

„Божію милостью“... слышалось глухо изъ церкви. Мужчины сняли шапки и фуражки, женщины открыли уши, всѣ привстали на цыпочки. Водворилась гробовая тишина.

— Кабы Курносоевъ былъ живъ, славно бы прочиталъ,—замѣтили нѣкоторые изъ рабочихъ, недовольные сплывшъ голосомъ дьякона.

Стоящіе назадъ рабочіе мало-по-малу стали шептаться.

— Эко горе! Вѣдь и сдѣлаютъ же такіе церкви, што всѣ люди не умѣщаются.

— Говори! а сколько тысячъ-то издержано? страсть.

— А, долго читаютъ?... Эка оказія... Вотъ тѣмъ счастье. Хоть бы пробиться какъ,—и говорившій это пролѣзая, но на третью ногу его останавливали.

— Куда лѣзешь!

— Молчи!

— Накладешь въ спину-то!

— Мы стоимъ же! ишь какой баринъ!—крикнула звонко женщина.

— Ишь вѣдь какая ширококоротая! Сейчасъ видно—старо-слободская!—проговорилъ рожимъ голосомъ рабочій, желая возстановить тишину. Но тишина уже не возобновлялась. Стали говорить громко; всѣ были недовольны.

— Ничего не слышно, а дьяконъ бумагу держитъ, губами шевелитъ.

— Охрипъ, значить!

Наконецъ чтеніе кончилось, кончилась и обѣдня.

Народъ заволиновался и повалилъ изъ собора; на площади за оградой поднялся шумъ и говоръ, одни широко размахивали руками, дѣлая крестное знаменіе, другіе махали шапками и платками; ребятами, глядя на оживленную толпу своихъ отцовъ и небывалую суматоху, присмирѣли; народъ пуще и пуще волновался на площади, площадь загудѣла.

— Слышали; своими ушами слышали: воля, братцы, всѣмъ крѣпостнымъ крестьянамъ,—говорили бывшіе въ церкви, отпыхиваясь.

Изумленіе было на всѣхъ лицахъ.

— Воля! воля! воля!—слышалось въ воздухѣ, и больше ничего нельзя было разобрать. А бывшіе въ церкви говорили:

— Ужъ такъ много тамъ написано, что и не разберешь. Всѣмъ крѣпостнымъ сказано воля, и всѣ отойдутъ въ крестьяне, али куда хошь; отберутся отъ помѣщиковъ черезъ два года...

— Слышь! даромъ отберутъ!

— Куда отберутъ?

— На волю. Куда хошь: хотъ въ купцы!—кричали со всѣхъ сторонъ.

— А покось?

— Покосы и земля наша!

— Одно, братцы, худо: объ мастеровыхъ не сказано и казенныхъ рабочихъ нѣтъ.

— Не намъ, бають, воля!... Врутъ!... Это они отъ того, что облышались: сами бають, дьяконъ много читалъ.

— Надо дьякона просить снова прочесть.

Между тѣмъ начальство уже разсѣялось, не обративъ вниманія на волнующійся народъ, которому теперь никакого не было дѣла до управляющаго, приказчика и прочаго начальства.

Въ этотъ день весь рабочій народъ загулялъ на радостяхъ; но не случалось ничего худого, даже не было дракъ. А на другой день никто не пошелъ на работы.

Это встревожило заводоуправленіе. Оно стало бояться того, чтобы рабочіе совсѣмъ не перестали работать и не сдѣлали бы какихъ-нибудь безпорядковъ въ заводѣ. Уговаривать ихъ теперь было поздно. Приказчикъ, бывшій у управляющаго, говорилъ ему:

— Я теперь ничего не могу сдѣлать, потому вы сами старались отклонить мысль отъ воли. Всѣ рабочіе еще въ прошломъ году слышали объ волѣ. Они ее ждали.

— Это все вы разожгли рабочихъ.

— Не я, а вы требовали, чтобы я не говорилъ имъ ничего. Вы думали, что строгостью вы что-нибудь сдѣлаете. А теперь я вамъ не слуга,—и приказчикъ ушелъ. Онъ очень боялся безпорядковъ; и въ эту же ночь уѣхалъ въ городъ со всѣми бумагами и деньгами, оставивъ дома прислугу, въ томъ числѣ и Глузовыхъ съ Пелагеей Васильевной.

Когда узналъ объ этомъ управляющій, то сдѣлалъ приказчикомъ Назара Плонкина, зятя Пере-

плетчиковъ, всѣмъ рабочими ненавидимаго, но умѣвшаго ладить такъ съ рабочими, что они были не очень взыскательны.

Прошла недѣля, а рабочіе на работы нейдутъ подъ тѣмъ предлогомъ, что они даромъ работать не хотятъ. Заявили приказчику, что они не желаютъ быть подъ командой нынѣшнихъ мастеровъ, нарядчиковъ и штейгеровъ. Въ понедѣльникъ рабочіе стали совѣтоваться, что имъ дѣлать: вѣсть нечего. Пошли толпы къ конторѣ, вошли въ контору и стали просить провіанта, денегъ, заработанныхъ за прошлый мѣсяцъ, и общаясь сегодня же идти на работы. Имъ отказали. Вечеромъ толпы народа самовольно вытащили изъ магазина всю муку и потомъ разошлись по домамъ.

Ночью посланъ былъ нарочный къ главному начальнику горныхъ заводовъ съ донесеніемъ о безпорядкахъ.

Дѣла рабочихъ были въ скверномъ положеніи: взятая ими мука въ кулахъ оказалась съ пескомъ, эту муку они высыпали передъ господскимъ домомъ; у нихъ не было ни сѣна, ни дровъ. Многіе захворали, дѣти и скотъ начали издыхать; толпы народа ходили по заводу, карауля Плошкина и управляющаго. Жены ругали мужей за то, что вся бѣда произошла отъ нихъ, потому что прежде, когда они работали, ничего подобнаго не было. Рабочіе раздѣлились на партіи: одни хотѣли работать, другіе нѣтъ.

Между тѣмъ, какъ Переплетчиковъ уѣхалъ изъ завода, Илья Игнатьичъ опять загулялъ. Домой онъ приходилъ черезъ день или два черезъ два. Послѣ попойки онъ всегда ласкался къ Пелагее Вавиловнѣ, и мысль жениться на ней росла въ немъ все больше и больше.

Однажды они пили чай.

— Я, Пелагея, вчера ходилъ къ попу. Онъ говоритъ: „я не могу обвинять тебя съ любовницей приказчика“. Я къ другому, тотъ ничего, только говоритъ: „ты молодецъ, принеси свидѣтельство да бумагу изъ конторы“. А въ конторѣ даромъ не даютъ... А славно бы безъ него-то обвиняться.

Пелагея была опытная. Она знала, что приказчикъ долго не пріѣдетъ, но она не довѣряла молодому человѣку, несмотря на всѣ его клятвы.

— Послушай, Иля, а чѣмъ мы жить-то станемъ?

— Вотъ чѣмъ! поѣдемъ въ городъ. Я въ лакеи вѣймусь. Вѣдь я теперь вольный.

— Кабы у те бумага была такая.

— А манифестъ для чего читали?

— Все-таки безъ бумаги неловко. Да и какое у те мня будетъ: крестьянинъ ты будешь или мастеровой?

— Все равно, хоть кто.

— Ну, а на что мы поѣдемъ?

— А развѣ мало у приказчика вещей?

— Нѣтъ, ужъ ради Христа не воруй.

Въ этотъ день они ничѣмъ не рѣшили.

Ильѣ Игнатьичу скучно было безъ дѣла, и онъ гулялъ.

Куда онъ ни приходилъ, вездѣ говорилъ, что онъ скоро объѣнчается съ Пелагеей Семихиной, и объ этомъ узнали всѣ въ заводѣ, а новый приказчикъ Плошкинъ переселился въ домъ Переплетчикова,

какъ родственникъ; прогналъ Пелагею Вавиловну, а Глумова назначилъ въ работы на рудникъ. Пелагею Вавиловну никто не принималъ жить въ заводѣ, и она ушла на кардонъ, находящійся близко отъ рудника, гдѣ работалъ Глумовъ и куда Пелагею Вавиловну ходила ежедневно. Она знала, что у Ильи Игнатьича есть пятьдесятъ рублей, которые онъ приобрѣлъ продажей серебряныхъ ложекъ и шубы Переплетчикова разными заводскими торгашамъ. Кончилъ Илья Игнатьичъ работу на рудникѣ и сталъ собираться въ городъ. Все было приготовлено, молодые люди нашли попутчика, и вдругъ все разстроилось. Зашелъ Илья Игнатьичъ въ кабакъ съ своимъ попутникомъ, взявъ полуштофъ и отдавъ двадцати-пяти рублевую бумажку. Бумажка оказалась фальшивой. Все бы это ничего, но въ кабакѣ сидѣли два солдата, которые обязаны были наблюдать за порядками; они, несмотря на мольбу Ильи Игнатьича, сидѣльца и вой Пелагеи, представили Глумова къ исправнику вмѣстѣ съ Пелагеей Вавиловной.

Тамъ они ночевали до утра въ разныхъ мѣстахъ. Наканунѣ отъ Пелагеи отобрали узелъ съ бѣльемъ и платьями, а отъ Ильи Игнатьича шватулку съ чаемъ и сахаромъ. Позвали Илью Игнатьича къ исправнику въ канцелярію, гдѣ былъ писмоводитель и двое писцовъ.

— Кто ты?—крикнулъ исправникъ.

— Глумовъ.

— А, это не тотъ ли? не родня ли Курносова?—спросилъ онъ писмоводителя.

— Тотъ самый...

— Ну, и ты туда пойдешь! Гдѣ ты взялъ фальшивую бумажку?

— Не знаю.

— Казакъ, сведи его въ баню. Алексѣй Александрычъ, допытайте его.

Подъ ударами розогъ Илью Игнатьича заставляли сознаться: самъ онъ дѣлалъ фальшивыя деньги или отъ кого получалъ. Но Илья Игнатьичъ не понималъ ничего. Ночью пріѣхалъ Переплетчиковъ съ новымъ исправникомъ. Допросы отложили, Плошкинъ былъ отставленъ, выгнанъ изъ дома Переплетчикова и долженъ былъ заплатить за самовольное завладѣніе чужимъ домомъ деньги. Глумова стали судить только за фальшивыя билеты. Онъ сперва показывалъ, что нашелъ, только гдѣ—не помнить. Его отослали въ городской острогъ. Пелагею Вавиловну наказали снова, и она на другой день оказалась въ бѣгахъ. Колька былъ прогнанъ и жилъ пока у Корчагина.

## XXVI.

Вскорѣ послѣ этихъ происшествій въ заводъ пріѣхалъ горный начальникъ съ двумя чиновниками, изъ которыхъ одному было поручено произвести слѣдствіе о бунтѣ рабочихъ, которые будто бы были усмирены солдатами, тогда какъ рабочіе возстановили порядокъ сами до прихода солдатъ. Объявлено было рабочимъ, чтобы незанятые работами собрались въ главную контору. Въ контору пришло очень немного рабочихъ, потому что они боялись расправы.



Поругавъ рабочихъ, горный начальник прочиталъ имъ дополнительные правила о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ вѣдомства министерства финансовъ. Голосъ у него былъ сиповатый, и такъ какъ онъ читалъ скоро, то рабочіе очень мало поняли.

— Поняли? — спросилъ горный начальник, кончивъ чтеніе.

— Поняли, да не совсѣмъ! ты читалъ: одни увольняются теперь, а другіе черезъ годъ, третьи черезъ два года.

— Ну! Чего же вамъ еще надо?

— А какъ же тутъ сказано: называть насъ мастеровыми? мы и теперь мастеровые...

— Мастеровой тотъ же крѣпостной!

— Вы... какъ вамъ сказать?... Если вы будете работать на заводѣ за плату, тогда будете называться мастерами, потому что нельзя же назвать васъ мѣщанами или чиновниками.

— Да мы, ваше благородіе, и не желаемъ въ мѣщане. Намъ волю надо, чистую волю...

— Такъ что же вы меня спрашивали? ну, называйтесь сельскими работниками.

— А это што?

— А хлѣбопашествомъ занимайтесь, коли не хотите на заводѣ работать.

— Радъ бы заниматься, только никто изъ насъ испоконъ вѣку этихъ не занимался, потому кромѣ покосовъ мы земли не имѣли, да и времени не было на это дѣло.

— Ну, теперь можете идти по домамъ, — сказалъ горный начальникъ.

— Позволь, ваше благородіе, еще побеспокоить... — началъ одинъ рабочій. — Теперь вотъ тутъ въ бумагѣ сказано: брать съ насъ за усадьбу шесть цѣлковыхъ. А гдѣ же я эти деньги-то возьму?

— Мы испоконъ вѣку пользовались усадьбой-то...

— Если кто изъ васъ казенный, т. е. числится даннишъ отъ казны въ спомоществованіе владѣльцу, тотъ не будетъ платить деньги.

— А чѣмъ я виноватъ, коли я въ крѣпости состою?

— Опять за покосъ, што тутъ сказано...

— Вамъ послѣ растолкуютъ. Идите.

Рабочіе вышли и долго толковали у конторы.

— Это просто выдумки. Это они душу нашу дотягиваютъ...

— Можеть, это онъ вретъ. Ну, какъ тебѣ: я домъ построилъ на Филатовой землѣ: деньги ему значить заплатилъ, а съ меня будутъ брать сызнова.

— За покосъ, сказано, урокъ надо отбивать.

Недоумѣніе во всемъ заводѣ росло все больше и больше. Дополнительные правила самый манифестъ были прочитаны нѣсколько разъ въ каждомъ домѣ. Но понять положеніе могли немногіе. Особенно на первыхъ порахъ положеніе рабочихъ было трудное: идти изъ завода въ другое мѣсто они не могли, потому что вездѣ одинъ исходъ — работа, нужно было работать на такихъ же условіяхъ, и приходилось оставаться тутъ же, гдѣ они родились. Провіанту не отпускали, деньги выдавали черезъ двѣ недѣли

и черезъ мѣсяцъ, но выдача по-старому производилась неаккуратно, потому что касса заводоуправленія было пуста.

Всѣхъ особенно мучило то: какъ назвать себя? Пріѣхавъ мировой посредникъ, прочиталъ рабочимъ въ три недѣли положеніе объ устройствѣ крестьянъ, освобожденныхъ отъ крѣпостной зависимости, и сталъ спрашивать: будутъ ли они робить на заводѣ.

— Какъ не робить? робить надо, потому мы безъ работы не можемъ жить.

Такъ кто желаетъ въ мастеровые?

— Никто не желаетъ въ мастеровые.

Долго бился съ рабочими посредникъ, но — онъ слылъ помѣщика, смотрѣвшій на крестьянъ, какъ на крѣпостныхъ, не понималъ жизни горнорабочихъ, о которыхъ онъ до сихъ поръ не имѣлъ никакого понятія. Оказывалось то, что его не понимали рабочіе, и онъ не понималъ ихъ, а изъ этого выходило то, что рабочіе думали, что посредникъ держитъ сторону заводоуправленія.

Сначала посредникъ горячо принялся за свое дѣло, но потомъ такъ охладѣлъ, что заставлялъ подолгу ждать себя, рѣзко говорилъ съ рабочими, пропуская мимо ушей жалобы на стѣсненіе ихъ мастерами, наказанія безъ вины розгами. На просьбы рабочихъ объяснить имъ что-нибудь, посредникъ говорилъ: «я ужъ вамъ говорилъ!» и уходилъ въ другую комнату, а потомъ уѣзжалъ къ управляющему. Кромѣ этого онъ часто развѣзжалъ по другимъ заводамъ (катался, какъ выражались рабочіе), и его рѣдко можно было застать дома, гдѣ всѣми дѣлами заправлялъ писарь, плутъ изъ плутовъ, а потомъ его долго не видали рабочіе и посылали просьбы къ нему за триста верстъ.

Тѣ, которые выслуживали срокъ, были уволены, но попрежнему занимались работами. Это были уже совсѣмъ вольные, и, глядя на нихъ, рабочіе стали дожидать себя чистой воли. Но эти вольные не считали себя чисто вольными на томъ основаніи, что они должны платить за усадьбу деньги, за покосы работать.

Непониманіе съ одной стороны, неумѣнье объяснить съ другой — породили неизбежное броженіе въ массахъ. Явились люди, которые старались мутить и безъ того мутную воду.

Чаше прежняго стали повторяться убійства и грабежи, такъ что начальство приходило въ затрудненіе: чтѣ дѣлать съ рабочими и какими мѣрами водворить порядокъ? Заводоуправленіе рѣшилось для примѣра разыскать и наказать виновныхъ. Виновныхъ, по указанію Плошкина, нашлось много: тутъ были всѣ его враги, и въ число ихъ попалъ Перевозчиковъ; тутъ же оказалось человѣкъ тридцать рабочихъ, въ томъ числѣ и Корчагинъ. Въ дѣлѣ много было собрано уликъ противъ Перевозчикова, но онъ такъ легко отдѣлался, представилъ такіе записки управляющаго и разные счета, что слѣдователи стали втупикъ. Они жили въ господскомъ домѣ, играли въ карты съ управляющимъ и ниже-нерами, и потому имъ неловко казалось запутывать дѣло во вредъ управляющему.

Думали, думали они и свели дѣло къ тому, что

нѣсколько человѣкъ рабочихъ, напившись пьяны, растаскали ночью муку изъ магазина и что эти рабочие уже сданы въ солдаты до пріѣзда слѣдователей; затѣвъ власти уѣзжали, а Корчагинъ съ двумя рабочими ушелъ въ городъ.

### XXVII.

Въ больницѣ Прасковья Игнатьевна пролежала три мѣсяца въ двухъ палатахъ. Сосѣди ея были женщины разныхъ званій, возрастовъ и характеровъ. Крикъ, разговоры и оханья больныхъ не прекращались цѣлый день, такъ что большинство больныхъ постоянно протестовало противъ кричащихъ и хохочущихъ дѣвицъ, проводящихъ время въ куреніи папиросъ, игрѣ въ карты и въ разговорахъ съ разными *родственниками*. Какъ проводила время Курносова въ больницѣ—описывать не стоитъ, только, какъ водится въ каждомъ обществѣ, она нѣла на третій мѣсяцъ своего пребыванія въ больницѣ хорошую пріятельницу, швею, но ханжу, вѣстившуюся знакомствомъ съ молодыми монахинями. Эта женщина очень была дружна съ ней, много надавала ей хорошихъ совѣтовъ и доказывала, что если она будетъ робѣть, то никакого мѣста не найдетъ. Курносову стали выписывать изъ больницы, пріятельница дала ей записку къ своей сестрѣ, но та была пьяна въ этотъ день и очень не понравилась Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

Опять начались ея похождения по городу, выпрашивание милостыни и ночевки подъ небеснымъ навѣсомъ. Въ это тяжелое для нея время она много видѣла гадостей въ городѣ... Не разъ вечеромъ она слышала отъ дамъ въ шляпкахъ и кринолинахъ такія слова, которыя говорятъ съ досады мужчинамъ; не разъ къ ней приставали мужчины, и какъ она ни была бѣдна, она не допустила себя насть, и къ ней не приставала никакая грязь.

Однажды вечеромъ она шла домой. По ея одеждѣ видно было, что она нищенка. Она очень устала и сѣла на тротуаръ противъ одного деревяннаго пятиэтажнаго дома съ бѣлыми занавѣсками въ окнахъ. Окно было отворено, и около него сидѣли двѣ, по-видимому, дѣвушки и, играя въ карты, звонко хохотали. Курносовой обидно сдѣлалось. Ей припомнились прежніе годы, когда она также играла съ подругами и хохотала. Потому у нея забилося сердце: припомнилась Курносовой, котораго изъ-за нея замучили... Наконецъ вздумала она и о Корчагинѣ.

„Какъ бы не онъ“, думала она, „не была бы я въ этомъ проклятомъ городѣ. Сколько горя-то, Господи, я приняла здѣсь! И затѣвъ это онъ бросилъ меня, окаанный?“..

— Эй, ты!..—вдругъ услышала она и оглянулась: нѣтъ никого, только дѣвочки хохочутъ. Въ это время ихъ было три.

— Ты чѣво тутъ сидишь?—сказала одна Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

— А што?

— А што? Али мужиниъ отъ насъ отбивать вздумала.—Прасковья Игнатьевна встала и поплелась, но ее остановила одна изъ дѣвицъ.

— Заходи къ намъ,—сказала она.

— Затѣвъ?

— У насъ весело.

Прасковья Игнатьевна постояла, подумала и пошла дальше... На другой день, часу въ первомъ, она зашла въ одну домъ попросить милостыни. Тамъ молодая женщина сказала ей:

— Чѣвъ по міру-то шататься, шла бы на мѣсто.

— Не принимаютъ, тетушка: я не здѣшняя.

— То-то нездѣшняя, поди заводская какая.

— Таракановская.

— Ужъ это сразу видно. У меня вонъ четыре дѣвочки живутъ, воѣ—таракановскія. Каждая изъ нихъ по рублю, а когда и по три въ день зарабатываетъ. Курносова удивилась.

— Хорошее у те, тетушка, мѣсто.. А вотъ я, дура набитая, и копейки мѣдной не достану. Я бы все стала дѣлать, только бы ты кормила меня...—говорила со слезами Курносова.

— Поди туда въ номеръ.

Курносова поклонилась ей въ ноги, за что и получила название дуры.

— Поди, говорить, въ номеръ.

— Ужъ какъ я тебѣ благодарна...—говорила со слезами она, не слушая хозяйки. Въ это время изъ двери на лѣво вышла дѣвушка, лѣтъ восемнадцати, въ одной рубашкѣ, съ растрепанными волосами. Она, какъ видно, только-что пробудилась.

— Катя, уведи ее въ номеръ.

— Это на мѣсто Сашки?

— Ну да. Да не болтай ей много-то, она еще дура.

— А!—проговорила Катя и увела удивленную Курносову узенькимъ темнымъ коридорчикомъ съ четырьмя дверьми на лѣво въ темную и небольшую комнату.

— Посиди здѣсь, я умоюсь и приду.

— Ладно.

— А ты изъ какихъ?

— Я заводская, таракановская.

— Замужняя али дѣвка?

Прасковья Игнатьевна сказала. Катя ушла. Ста-ла Прасковья Игнатьевна смотрѣть на свое новое жилище. „Ужъ чѣво-то больно темно. Што жъ это онъ въ темнотѣ такой дѣлають?“ И вдругъ ей почему-то страшно сдѣлалось, почему-то противна сдѣлалась эта комната. Она задумалась; на нее нашелъ столбнякъ. Черезъ нѣсколько времени, осмотрѣвшись кругомъ и наслушавшись скаредныхъ рѣчей Кати, Курносова догадалась, въ чѣмъ дѣло, и опрометью пустилась бѣжать изъ позорнаго дома.

На другой день снова Прасковья Игнатьевна ходила по рынку и, протягивая руки барынямъ, говорила:

— Матушка-барыня, не возьмишь ли ты меня въ работу?

Много она переспросила барынь, и только одна заговорила съ нею.

— Какую тебѣ работу?

— Хотъ какую-нибудь.

— Да ты заводская што ли?

— Да... возьми, матушка.

— Мнѣ нужна работница... Ты умѣешь бѣлье стирать?

— Дома стирала. А у васъ не знаю какъ; ты покажи — я все сдѣлаю.

— А сколько бы ты взяла?

— А сколько дашь, то и ладно. Я много буду тебѣ благодарна, матушка.

— Ты не причитай: я не люблю этого. Не первую я тебя нанимаю. А ты не воровка?

— Ой! убей меня царница небесная, шобы я когда что-нибудь у маленьки безъ спросу взяла.

— А ты не жила въ людяхъ-то?

— Нѣтъ.

— То-то смотри... Хорошо будешь служить, три рубля на ассигнаціи положу... Работы у меня немного.

Курносова, несмотря на грязь, повалилась въ ноги барынѣ. Это изумило барыню, и она, подавая ей корзинку, въ которой лежали говядина, яйца и запустыный вѣтокъ, сказала:

— Возьми это да иди за мной. Смотри, не отставай.

— А я тебя забыла спросить, какъ зовутъ-то? —спросила вдругъ барыня.

Курносова сказала.

— А вотъ я еще забыла спросить: билетъ есть?

— Какъ же, матушка.

— То-то. Оноедни эдакъ безъ начпорту взяли одну, такъ она шаль у меня украла. Мужъ ругалъ-ругалъ меня изъ-за канальи... А у тебя мужъ есть?

— Нѣту, померъ.

— Ну, это ничево. Смотри, шобы къ тебѣ не ходили разные любовники эти...

— Ой, какъ можно!.. я вѣдь не здѣшняя.

— Будешь хороша. мы не обидимъ тебя. Мой мужъ самъ столоначальникъ горнаго правленія, титулярный совѣтникъ.

„Ужъ я такъ сразу поняла, што она большая барыня... Эко горе! если бы мать знала, мужъ ея похлопоталъ бы“... думала Прасковья Игнатьевна.

У этой чиновницы домъ былъ свой, т. е. купчая совершена на нее, а деньги платилъ мужъ. Домъ полукаменный, въ пять оконъ въ каждомъ этажѣ, съ вида очень приглядный, а внутри расположенный по вкусу хозяина такъ, что въ каждомъ этажѣ было по двѣ квартиры, и потому считавшіеся для нѣкоторыхъ состоятельныхъ людей неудобными, а бѣднымъ очень дорогими по квартирамъ. Однако хозяева не обижали себя: они занимали три комнаты, самыя лучшія въ домѣ, съ окнами, выходящими на площадь. Въ кухнѣ, съ обыкновенной большой русской печью, полатей не было, да и кухня была устроена такъ, что окно выходило въ коридорчикъ, изъ котораго былъ ходъ въ другую квартиру въ двѣ комнаты съ кухней, отъ чего въ кухнѣ было не совсѣмъ свѣтло.

Семенъ Семенычъ Панкратовъ былъ уже десятый годъ столоначальникомъ горнаго правленія и считался за доку и дѣльца. Онъ любилъ играть въ преферансъ по копейкѣ, такъ что у него разъ въ недѣлю собирались сослуживцы. Гости были друзья, вели себя смирно, и никогда тишина въ домѣ не

нарушалась Семенъ Семенычемъ или его гостями, потому что, начавъ службу съ писца и прошедши всѣ мытарства до столоначальника, онъ на все смотрѣлъ здраво и просто, никогда не выходилъ изъ себя. Даже въ его одеждѣ выказывалась овечья кротость: онъ постоянно ходилъ на службу въ форменномъ сюртукѣ съ оловянными пуговицами и стоявшимъ воротникомъ съ голубыми кантомъ; дѣтомъ надѣвалъ шинель, тоже съ стоячимъ воротникомъ и съ оловянными пуговицами, зимой въ тулупѣ изъ сибирскихъ мерлушекъ; дома при небольшихъ или равныхъ ему гостяхъ носилъ халатъ и вязаную ермолку на голѣвѣ; при большихъ гостяхъ надѣвалъ форменный сюртукъ, который застегивалъ на три пуговицы: верхнюю, среднюю и нижнюю; безъ гостей всегда ходилъ въ ситцевой рубашкѣ и черныхъ штанахъ босикомъ.

Вставалъ онъ рано, въ пять часовъ утра; въ шесть пилъ чай, а въ семь онъ уже занимался сочиненіемъ докладовъ и въ десять уходилъ въ правленіе. Послѣ обѣда онъ постоянно спалъ до шести часовъ, когда въ гостиной уже шипѣлъ самоваръ. Послѣ чаю, если онъ не уходилъ играть въ карты или если у него не было гостей, занимался чтеніемъ канцелярскихъ бумагъ. Книгъ онъ никакихъ не читалъ: „терпѣть не могу эту фанаберію“, говорилъ онъ.

Совсѣмъ другое — Варвара Андреевна, его супруга. Она съ самаго утра была на ногахъ, и это не нравилось кухаркамъ, потому что она вездѣ совалась, кричала, постоянно указывала.

Сколько ни пересбывало у нея куарокъ съ тѣхъ поръ, какъ мужъ ея сдѣлался столоначальникомъ, всѣ удивлялись, что она вставала раньше нѣтъ и постоянно будила ихъ шинками, говоря: „ишь, тресья! Барыня встала, а она спитъ! Вставай, ставь самоваръ!“ Если самъ Панкратовъ не спалъ, то кричалъ изъ спальни: „Опять!.. Пошла языкъ чесать ли свѣтъ, ли заря“. Однимъ словомъ, эта женщина не могла, кажется, ни одной минуты жить безъ дѣла: во все входила сама, за всѣмъ надзирала; ей казалось, что она только одна хорошо дѣлаетъ, и прислуга ея никакъ не можетъ понять того, что она сама ей тысячу разъ указывала. Отъ этого происходили частыя ссоры съ кухарками, оканчивавшіеся всегда тѣмъ, что кухарка уходила. Умывшись и накричавшись досыта, она послѣ обѣда всегда ложилась спать часа на два, и въ это время ее никто не смѣлъ будить, да и къ ней въ это время никто не ходилъ. Впрочемъ бывали и исключенія у обоихъ супруговъ; дѣтомъ въ хорошій день они любили подышать свѣжимъ воздухомъ, прокатиться по озеру, находящемуся отъ города въ четырехъ верстахъ, порыбачить, наняться чаю на свѣжѣмъ воздухѣ и свѣсть уху изъ свѣжѣмъ карасей. Послѣ вечерняго чаю Варвару Андреевну томила скука, и она подзывала къ себѣ кухарку и, разговаривая съ ней, починавала или вязала чулокъ, при чемъ и кухарка должна была, глядя на хозяйку, что-нибудь дѣлать, а если у кухарки не было работы для себя или она, утомившись, хотѣла спать, хозяйка давала кухаркѣ надвизывать ей чулокъ,

носки или сбивать сметану въ крики для масла. Варвара Андреевна очень ласкова была съ прислугой вечеромъ, такъ что прислуга забывала всѣ непріятности, сдѣланныя хозяйкой днемъ, и удивлялась: отчего хозяйка утромъ злая такая, что отъ нея хочется бѣжать, а вечеромъ такая добрая, что ни за что бы не отошелъ отъ нея. А все это происходило отъ того, что вечеромъ у нея не было заботы: пообѣдала она хорошо, ужинъ стоитъ въ печкѣ, варить и мыть нечего, все сдѣлано,—на душѣ легко, она чувствуетъ довольство и хочетъ съ кѣмъ-нибудь отвѣсти душу.

Таковы были Панкратовы, жалованіиіеся своимъ гостямъ, обремененнымъ большими семействами, что Господь Богъ не дастъ имъ дѣтей. На это гости, слышавшіе отъ несчастныхъ супруговъ сто разъ эту пѣсню, въ послѣднее время стали говорить имъ, что у нихъ зато есть двѣ отличныя козловы, двадцать одна курица и пять пѣтуховъ.

Кромѣ этого у Панкратовыхъ былъ огорода въ двадцать пять сажень длины и въ десять ширины; половину огорода засаживала Варвара Андреевна разными разностями, и поэтому ея заботы и хлопоты, а равно и кухарки, удваивались.

Еще есть одна черта въ Варварѣ Андреевнѣ: она ни за что не пуститъ въ свой домъ дѣвицу или холостого мужчину, будь онъ хоть столоначальникъ. Она очень хорошо знала, что большая часть столоначальниковъ люди женатые или вдовцы, а другіе—холостые—живутъ шикарно и не пойдутъ въ ея домъ. Почему не пойдутъ,—она предполагала изъ того, что вотъ уже семь лѣтъ она владѣетъ домомъ, и ни одинъ холостой столоначальникъ не являлся нанимать у нея квартиру. Холостыхъ мужчинъ и дѣвицъ она потому не желала имѣть своими квартирантами, что они испоганятъ ея домъ, т. е. къ мужчинамъ будутъ ходить любовницы, а къ дѣвицамъ любовники, и противъ этого никакой надзоръ не будетъ имѣть силы. Теперь у нея вверху, въ другой половинѣ, живетъ семейный секретарь магистрата уже два года, а внизу, въ одной половинѣ—семейный помощникъ бухгалтера казначейства; другая половина стоитъ пустая, и окна закрыты ставнями,—что означаетъ, что квартира отдается. Бумажки надъ воротами или на стеклахъ въ рамахъ не введены еще въ этомъ городѣ.

Прослужила Прасковья Игнатьевна у Панкратовыхъ двѣ недѣли. Первые три дня хозяйка была съ ней очень любезна; показывала ей, какъ посуду мыть, какъ самоваръ ставить, какъ гостямъ чай подносить; учила ее, какъ ей говорить по-городски. А Прасковья Игнатьевна многихъ словъ не понимала. Скажетъ ей хозяйка: „поди-ко, принеси кастрюлю“, или „принеси миску“,—она выпучитъ глаза, а спросить стыдится. Бьется, бьется хозяйка, наслу растолкуетъ. Надъ ея выговоромъ до слезъ сѣялись не только Панкратовы, но и гости, и всѣ прозвали ее въ насмѣшку *саранушкой*, потому что слово *черенушка* она никакъ не могла выговорить.

Работы ей было много: она все дѣлала; хозяйка

только толкалась, указывала, горячилась, кричала, при чемъ Курносова не одну тарелку и не одно блюдо разбила. Но работа ее не мучила,—ей досадно было, зачѣмъ хозяйка постоянно трется около нея, когда она сама знаетъ, что дѣлать; зачѣмъ хозяйка сердится и говоритъ, что она неряха, что она не умѣетъ даже половъ мыть, въ поганой водѣ посуду полощеть и пр. Все это сносила Прасковья Игнатьевна молчаливо, и это правилось хозяйкѣ. Разъ Прасковья Игнатьевна подслушала разговоръ хозяйки съ гостями.

— Славная мнѣ кухарочка попалась! Все у нея кипитъ въ рукахъ,—проворная! И какая смирная: кричишь, кричишь—молчитъ. Однако разъ замѣтила слезы... Инда жалко стало! Не знаю, что дальше будетъ.

Это утѣшило Прасковью Игнатьевну, и она заплакала отъ радости. Она сама находила, что мѣсто ея хорошее: утромъ ее полтъ чаетъ съ булкой, обѣдаетъ и ужинаетъ она въ волю, и хотя она одна кушаетъ—зато ей спокойнѣе одной кушать. Одно обидно, хозяйка попрекаетъ, что она безъ спросу лѣтъ ѣсть. А Курносова часто хотѣла ѣсть, и за ней водился такой грѣшокъ, что она ѣла воровски. Зато вечеромъ хозяйка была съ ней любезна и говорила ей кое-что о своей жизни. Курносова уже рассказала ей свою жизнь, и хозяйка жалѣла ее.

— Я ужъ теперь, барыня, ни за кого не пойду замужъ,—говорила обыкновенно Прасковья Игнатьевна, когда разговоръ касался этого предмета.

— Ну, ты этого не говори. Только безъ старыхъ людей ни шагу... Это я на себѣ испытала. Мало ли что тебѣ человѣкъ наговорить. Вотъ ты испытала—и казись.

— Нѣтъ, барыня, ни за что въ свѣтъ я не пойду замужъ. Я отъ васъ ни за что не уйду.

Такъ и привыкла Прасковья Игнатьевна къ Панкратихѣ. Несмотря на то, что Варвара Андреевна всячески налегала на нее, она все сносила молча, несмотря на разныя испытанія, въ родѣ того, что на полу лежали мѣдные деньги, но Курносова тотчасъ отдавала находку. Курносова безропотно работала и вставала безъ шопота часто ночью, если кошка скребла двери.

Панкратовъ тоже хвалилъ Прасковью Игнатьевну и однажды сказалъ ей:

— Молодецъ ты, баба! хорошо, если-бъ вышла замужъ за хорошаго человѣка; я пожалуй посватаю.

— Я, баринъ, ни за кого не пойду.

— Ой ли! Сердце, братъ, не камень, съ нимъ не совладаешь—вотъ что! Не вѣкъ-же тебѣ въ работницахъ жить. Поди, сама любишь своихъ хозяйствомъ заниматься?

— Гдѣ ужъ мнѣ...

Разговоры объ этомъ стали повторяться чаще. Панкратовъ, видя упорство Курносовой, сталъ поддразнивать ее замужествомъ, а ее это злило. Она думала, что на свѣтъ нѣтъ справедливыхъ, т. е. честныхъ людей, и въ ея голову крѣпко зашла

мысль никогда не доверяться мужчинам. Однако ей хотѣлось самой заниматься хозяйствомъ, имѣть корову, овецъ, курицъ. А такъ какъ для этого ей нужно было женой, то нерѣдко ее брало раздумье, и счастье женщинъ въ родѣ Панкратихи приводило ее въ долгое уныніе, въ которомъ она жаловалась на свою судьбу.

Прасковья Игнатьевна и въ праздники сидѣла дома. Хозяйка иногда говорила ей, чтобы она шла на бульваръ; но ей не хотѣлось идти.

— Што мнѣ тамъ? и такъ хорошо, — говорила она обыкновенно. Ей не хотѣлось идти на гулянья, потому во-первыхъ, что ей совѣстно было выйти изъ дома: „я нищенкой ходила по городу; всѣ меня обзовутъ нищенкой“; а во-вторыхъ, какъ-то она пошла на бульваръ, послушала музыку, посмотрѣла, какъ люди веселятся, — сердце у нея защемило, сдѣлалось такъ грустно, такъ грустно, что она дала себѣ слово ни за что не ходить на гулянья.

Къ Паскѣ хозяйка подарила ей платокъ на голову и ситцу на платье, и это такъ ее обрадовало, что она со слезами долго разглядывала свою обнову, и ничто ее на праздникъ не веселило, какъ новое платье, сшитое ею по указанію хозяйки.

Она считала себя счастливой женщиною, и когда ушли изъ дому хозяева, она долго пѣла прежде любимую ею пѣсню: „всѣ то ноченьки я, млада, просидѣла“.

Потомъ ей издумалось посмотрѣться въ зеркало. Она посмотрѣла и удивилась:

— Господи! Экое лицо-то у меня нехорошее: кожа да кости!

Но на этотъ разъ она не заплакала, а запѣла опять свою пѣсню. Только подъ вечеръ ей сдѣлалось скучно, и она съ нетерпѣніемъ ждала хозяевъ, думая, что они добрые люди и Богъ сжалятся надъ ней, потому что безъ нихъ она пропала бы.

### XXVIII.

Лѣтомъ Корчагинъ прїѣхалъ въ городъ и скоро разыскалъ домъ Панкратова. Хозяйка суетилась около печки, Курносова мела въ комнатахъ полъ.

— Богъ на помощь! Добраго здоровья, — сказалъ Корчагинъ хозяйкѣ.

Хозяйка слегка поклонилась, утерла губы фартовымъ, посмотрѣла на него пристально и спросила:

— Чего тебѣ?

— Прасковья Курносова здѣсь живетъ?..

— Здѣсь. На што тебѣ?

— Я таракановскій!

— Ну?

— Такъ поговорить бы мнѣ хотѣлось съ ней засчетъ ея братьевъ.

— Подожди, она полъ вымететъ.

Скоро пришла Курносова съ вѣникомъ; пристально посмотрѣла она на Корчагина, поморщилась и пошла къ печкѣ. Корчагинъ удивился: лицо Курносовой худое, блѣдное, глаза впали; но она бойка, одѣта чисто.

— Принеси-ко воды-то! не знаешь што ли, въ

кастрюли воды надо налить... Ишь ржавчина. Всю кастрюлю, негодная, испортила! смотри, не течетъ ли ужъ?

— Хозяюшка, нельзя ли отпустить Прасковью Игнатьевну сегодня къ мастеру Подкорытову? — сказалъ Корчагинъ, которому можно было слышать ворчанье хозяйки.

— На што это? — крикнула хозяйка.

— Важныя дѣла, хозяюшка.

— Говори здѣсь.

— Такія дѣла, что страсть: съ братьями ея несчастіе случилось.

— Какое? — спросила Прасковья Игнатьевна, посмотрѣвъ на Корчагина.

— Приходи послѣ обѣда — отпущу. А теперь уходи съ Богомъ, — сказала хозяйка. Корчагинъ вышелъ, хозяйка проводила его до воротъ.

„Что бы это значило, што Курносова даже и глядѣть на меня не хочетъ. Али она больно на меня разсердилась. Ну, и жизнь-же ея!.. Если это все такъ каждый день, то должно быть больно скверно.. Надо ее выручать“, думалъ Корчагинъ, стоя у воротъ Панкратова; сердце его сильно билось. Онъ очень обрадовался, что увидалъ Курносову, но ему было досадно, что онъ не могъ съ ней ничего поговорить, и, идя на квартиру, онъ думалъ, какъ-бы начать разговоръ о томъ, что онъ весь измучился объ ней, и какъ бы было хорошо, еслибы она вышла за него замужъ. Эти думы не покидали его до четвертаго часу, и часы эти онъ проводилъ тревожно, хотя и разговаривалъ съ знакомыми.

Курносова тоже мучилась; ее беспокоили братья, о которыхъ въ послѣднее время она очень много думала и особенно думала о меньшомъ, Николаѣ, котораго ей хотѣлось пристроить въ городъ. Расположенія или привязанности къ Корчагину теперь у нея никакой не было; но она не сердилась уже на него, и ей только хотѣлось высказать то, что она по его милости перенесла много горя.

Въ четвертомъ часу, сходя въ кухню, для того чтобы Курносова одѣвалась, Корчагинъ сталъ дожидать ее за воротами.

На Курносовой надѣто было платье, подаренное ей Панкратихой, и платокъ на головѣ. Сердце точно сжалось у Корчагина при видѣ исхудалой Прасковьи Игнатьевны.

— Здравствуй, Прасковья Игнатьевна. Ты нынче барыней поживаешь... Давеча и смотрѣть-то не хотѣла на меня.

— Стоить на эдакого смотрѣть.

— Что дѣлать, Прасковья Игнатьевна! у меня сестра не только что домъ сожгла, а даже научила дядю и мѣсто отнять. Совѣмъ я разорился по ея милости.

Они шли.

— Такъ и надо! — сказала Курносова.

— За что ты на меня сердишься, Прасковья Игнатьевна?

Она прервала его; но онъ не далъ ей говорить.

— И зачѣмъ тебѣ было выходить изъ дому, зачѣмъ было не подождать меня?

— Да вы съ дядей нарочно меня туда привезли и бросили... Не забуду я этого... Што же ты не говоришь о братьях? Вызывать вызывалъ... а... Ишь! оправданіе нашель. Поди и их сгубили...

— Говорю тебѣ — напрасно сердиться.. А съ братьями твоими горе случилось великое. Не надо бы объ этомъ и знать-то тебѣ.

— Небось опять травить хошь! Нѣтъ, теперь ужъ не та пора.

Василій Васильевичъ начиналъ сердиться, но не подавалъ вида, что сердится.

— Видишь ли ты, какое дѣло случилось, и всему этому виноватъ приказчикъ... Какъ мы тебя свезли въ городъ, онъ и давай меня давить: въ куренные протурить.

— Такъ и надо. Мой отецъ тоже въ рудникѣ робилъ.

— Ты слушай!.. Ну, послѣ того, какъ онъ не могъ тебя выцарапать изъ города, взялъ къ себѣ Пелагею Семихиноу.

— Пелагею! Господи! — чуть не крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Ну, а потомъ онъ взялъ къ себѣ Илью, твоего брата, въ лакеи.

— Ну?

— Ну, вотъ такъ и жили Илья и Пелагея у приказчика до той поры, какъ волю объявили въ заводѣ, и понравились они другъ другу.

— Што ты? Это Илья-то? Вѣдь ему еще девятнадцать лѣтъ нѣту.

— Ну, это пустяки, потому Илья-то и раньше хотѣлъ жениться на Акинѣ Горюновой. Все это было ладно, да грѣхъ случился. Какъ волю прочитали, приказчикъ рассорился съ Назаромъ Плошкинымъ и съ управляющимъ и уѣхалъ въ городъ. А управляющій сдѣлалъ приказникомъ Назара. Ну, Илья загулялъ и говорить вѣтъ, что онъ женихъ Пелагеи Семихиной, и сталъ продавать приказничьи вещи, да ему надавали фальшивыхъ денегъ, за которыя онъ и сидитъ въ острогѣ.

— Господи! Да што это за напасть...— Курносова заплакала.

— Этого еще недостовало! Господи, когда это конецъ-то будетъ, право... Я и раньше думала, что изъ Ильки не будетъ толку.

Потомъ Корчагинъ собралъ ей заводскія новости, сказалъ, что онъ въ заводъ не поѣдетъ, а Подкорытовъ рекомендовалъ его одному мастеру, и онъ будетъ получать къ мѣсяцъ рублей пятнадцать. Но это не развеселило Курносову.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна. Мнѣ надо съ тобой еще кое-о-чемъ поговорить, да ты теперь встревожена больно... Попроси своего-то хозяина, чтобъ онъ выхлопоталъ тебѣ бумагу отъ повѣреннаго, да не поможетъ ли онъ твоимъ братьямъ... На Тимофея-то Петровича надежда плоха, онъ нонѣ послѣ жены все пьянствуетъ.

А тѣмъ временемъ перевели Илью Игнатьича въ городской острогъ, о чемъ Корчагинъ немедленно извѣстилъ Курносову. Илья Глумовъ заболѣлъ и отправленъ былъ въ лазаретъ. Курносова навѣ-

щала его и плакала. Корчагинъ молчалъ. Его тоже давило горе.

Вдругъ Илья Игнатьичъ сказалъ сестрѣ:

— Ты не ревни!.. Вонъ Вася, твой женихъ, не ревнеть же... Женихъ, скоро у те свадьба-то?

Корчагина подернуло, онъ поблѣднѣлъ; Курносову затрясло, и оба они скоро вышли изъ острожнаго лазарета, а, выйдя на улицу, Курносова сказала Корчагину:

— Ты съ какой стати меня невѣстой называешь?.. Ишь, мнѣ даже не сказалъ...

— Прасковья Игнатьевна, радость моя,—говорилъ со слезами Корчагинъ.

Прасковья Игнатьевна пошла отъ него чуть не бѣгомъ.

Корчагинъ стоялъ какъ помѣшанный и не зналъ, что ему сказать Прасковѣ Игнатьевнѣ.

Прошелъ мѣсяцъ. Корчагинъ и Курносова нигдѣ не встрѣчались.

Корчагинъ заработалъ еще кромѣ хозяйской платы пять рублей и весьма похудѣлъ отъ того, что всѣ его хлопоты за Курносову не стоили даже благодарности. „Не люди, такъ Богъ знаетъ, сколько я мучился, какъ любилъ ее и для чего..“ Но онъ все-таки надѣялся добиться чего-нибудь. Случай скоро представился: работалъ онъ на одного Панкратовскаго жильца и бывалъ у него часто. Скоро онъ познакомился со старой кухаркой, и такъ какъ мастеръ, у котораго онъ работалъ, жилъ близко отъ дома Панкратовыхъ, то онъ съ кухаркой видѣлся часто.

— Ну что?—спрашивалъ онъ разъ старуху.

— Да господа во дворѣ: „што, говорю, нейдешь, дѣвка, замужь?“ Она это глаза вытаращила и говоритъ: „ужъ я дала себѣ слово ни за кого не выходить замужь и не выйду. Вудь тутъ хоть кто. Всѣ, говоритъ, мужнины плуты“. Ну, я говорю, „ты еще мало знаешь людей“. — „Видала, говоритъ, много“. Я и говорю: „ну вотъ вашъ Корчагинъ чѣмъ не женихъ. Одно слово — мастеръ, да и стараясь сколько для тебя“. Она и говоритъ: „все это я передумала, да кабы онъ одну штуку не сдѣлалъ, пошла бы за него“. — „Какую?“ спрашиваю. — „Про это, говоритъ, онъ самъ знаетъ. А я, говоритъ, проживу и безъ мужа, потому работой буду кормиться“, и на меня указала: „ты, говоритъ“, Пантелеевна, ужъ старуха, а все-таки въ людяхъ живешь, работаешь. Такъ и я буду маяться“...

— Горда вишь она больно,—заклонила старуха.

Корчагинъ очень разобидѣлся этимъ, но мало-помалу, какъ раздумался, сталъ приходить къ тому заключенію, что Курносова пожалуй и права, и ее теперь упрасивать не стоитъ. „Я ей не любился, должно быть, сначала. А это, я знаю, потому, что она и прежде неотхоно со мной разговаривала. Значить, я насильно хотѣлъ жениться на ней. А насильно милому не быть. Што жъ такое! Дѣвочекъ много... Только кромѣ нея мнѣ ни одна дѣвка не нравится, да и она честная, работающая дѣвка, съ ней легче бы было горе мыкать... Досадно, что та, кого ты любишь, считаетъ тебя ворогомъ... И что я за дуракъ, не сообразилъ рань-

ше объ этомъ?... А што я для нея сдѣлалъ—сдѣлалъ бы то же всякій съ моимъ характеромъ.

Корчагинъ не загулялъ съ горя, а сталъ крѣпче работать. Товарищи, прослышавшіе отъ кухарки помощника бухгалтера объ его интригѣ, подсмѣивались надъ нимъ; но съ нимъ шутить было неловко, и они изрѣдка только отъ нечего дѣлать языкъ чесали.

Шелъ какъ-то Корчагинъ по городу, неся столъ на головѣ. Попалась ему навстрѣчу Курносова. Онъ даже не мигнулъ и прошелъ мимо нея молча. Курносова также не поклонилась ему, а когда онъ прошелъ, оглянулась и долго стояла, глядя на удаляющагося Корчагина.

— Осердился... А вѣдь я дура: онъ много заболтался обо мнѣ. Не онъ—такъ что бы было со мной?—Эти мысли день ото дня мучили ее, но ей не хотѣлось думать о немъ, не хотѣлось видѣть его: въ немъ было что-то противное, онъ напоминалъ ей о многомъ,

— Ужо я ему скажу: пусть онъ не попадаетъ мнѣ на глаза. А то ужъ онъ близко живетъ; не хорошо по улицѣ пройти: всѣ на тебя глядятъ.

На другой день она пошла за табакомъ для Панкратова. Идетъ Корчагинъ навстрѣчу, а какъ ближе сталъ подходить, отвернулъ лицо въ сторону. Курносова остановилась.

— Василий Васильичъ...

— Ну?

— Ты што меня караулишь... Я не люблю, кто надо мной подглядываетъ.

— Это отчего?—сказалъ свирѣпо Корчагинъ.

— Оттого, што мнѣ тошно на тебя глядѣть; больно... Не то—я на другое мѣсто уйду.

Корчагинъ перешелъ къ другому мастеру, и Курносова не видала его годъ.

Ее мучило то, что она обидѣла Корчагина, ей жалко его: онъ такой добрый былъ, ласковый... „Поговорить бы съ нимъ ладкомъ... вѣтъ... не надо... не люблю я его, и сама не знаю отчего“... Черезъ годъ Корчагинъ вдругъ пришелъ въ кухню Панкратова. Курносова поблѣднѣла.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна, — проговорилъ онъ. Голосъ его дрожалъ.

— Ты куда?

— Теперь я вольный—пятнадцать лѣтъ кончилось моей службѣ на заводѣ. Теперь иду въ мотовишинскій заводъ, тамъ пушки будутъ лить. Прощай. Не поминай лихою.

— Прощай...—едва слышно сказала Курносова; сердце у нея обмерло, голова отяжелѣла, и она не замѣтила, какъ вышелъ Корчагинъ.

Она хотѣла бѣжать, догнать его, броситься ему въ ноги и благодарить его много-много за все, что онъ сдѣлалъ ей,—но на нее крикнула хозяйка.

— Што стоишь, ротъ-то разинула?.. Ишь, любовника завела, сука!—Курносова поглядѣла на нее такъ зло, что та сказала:

— Это что такое значить, матушка?

Курносова заплакала, а хозяйку это больше забѣсило,—она начала ругаться.

— Матушка-барыня, вѣдь онъ много для меня сдѣлалъ... Онъ жениться хотѣлъ на мнѣ, да я отказала: онъ опротивѣлъ мнѣ.

— Ну, и бѣги за нимъ. Пошла хоть сейчасъ, плакса ты проклятая...

— Куда я пойду... Еслибы я такая была.

... Нечего юнчить-то, барыней сидѣть, шевелись!

Весь этотъ день Прасковья Игнатьевна провела, какъ помѣшанная: то у нея въ глазахъ двоилось, то она не понимала наказовъ хозяйки, то за одной вещью ходила по три раза и не находила ея... И досталось же ей отъ Варвары Андреевны.

Вечеромъ хозяйка, сидя съ мужемъ около стола и наслаждаясь чаепитіемъ, вдругъ позвала Курносову. Курносова плакала; ей жалко было себя, и она думала, что она гордая и отъ гордости обидѣла Корчагина.

— Смотри, Семенъ Семенычъ, все плачетъ, — сказала, улыбаясь, хозяйка.

— Надо ее замужъ выдать.

— На, пей чай-то. Пей здѣсь, — проговорила хозяйка Курносовой, подвигая чашку съ чаемъ. Она думала этимъ оказать ей большое благодѣяніе.

— Покорно благодарю... — сказала едва слышно Курносова.

— А дѣвка дура, што не пошла замужъ. Мужъ—мастеръ, значить, житье хорошее. Смотри, наши мастера припѣваючи живутъ, — говорилъ Панкратовъ.

— А вѣдь мужичка, и та любовь разбираетъ: не люблю, говоритъ, его.

— Значить—другой есть на примѣтѣ.

Курносова глотала горькія слезы и думала: „уйду же я отъ васъ!“

Хозяйка послѣ чаю заставила Курносову надвязывать чулокъ и говорила:—Хорошо ты дѣлаешь, что не выходишь замужъ. Я уже знаю, што мужчины только до свадьбы ангелы, а послѣ — бѣда. А ты такая подхалиуза (т. е. смиренная).

А Курносова думала: „вотъ твой мужъ смиренный, и куда ты какъ бойчѣ супротивъ него“, — но молча слушала наставленія хозяйки.

Прошелъ мучительно мѣсяцъ. Корчагинъ дѣйствительно уѣхалъ далеко, а Прасковья Игнатьевна осталась мыкать свое горе у Панкратовыхъ.

Дальнѣйшая исторія моихъ бѣдныхъ таракановцевъ оканчивается печальной катастрофой. Прасковья Игнатьевна, измученная работой и сильно заболѣвшая отъ простуды, слегла въ постель и года черезъ два послѣ того, какъ Корчагинъ оставилъ городъ, умерла одинокая и всѣми забытая въ общественной больницѣ. Вратъ ея, Илья Глумовъ, просидѣвъ въ острогѣ слишкомъ три года, ушелъ на поселеніе и скоро тамъ окончилъ дни свои въ бѣгахъ, въ холодную зиму, на большой сибирской дорогѣ. А Николай Глумовъ пропалъ безъ вѣсти, такъ что никто больше не слыхалъ о немъ... Что же до Переплетчикова, то съ освобожденіемъ крестьянъ кончилось его раздольное житье; поссорившись съ управляющимъ, онъ попалъ подъ судъ и

разсоривъ свои награбленныя денежки, съ горя за-  
пилъ и безвыходно сидѣлъ въ кабаки, ожидая  
даровой рюмочки. Пелагея Семихина, бѣжавшая съ  
Глумовымъ, пріютилась въ публичномъ домѣ, про-  
клиная свою судьбу и приказчика. Только Корча-  
гинъ вышелъ, что называется, въ люди. Устроив-  
шись на литейномъ заводѣ, онъ обратилъ на себя  
вниманіе своимъ трудолюбіемъ, и года черезъ два,  
накопивъ малую толику денегъ, основалъ свою соб-  
ственную мастерскую, въ которой работали все

почти таракановцы. Какъ всѣ бѣдные и много  
терпѣвшіе люди, разбогатѣвъ, дѣлаются кулаками,  
и Корчагинъ славился кулачествомъ. Съ рабочими  
онъ обращался круто и пользовался ими, какъ  
выючными скотомъ. Раздавая по праздникамъ  
грошевое подаваніе, онъ съ чистою совѣстью заби-  
валъ въ могилу сотни людей непосильнымъ тру-  
домъ, который наваливалъ на своихъ работниковъ.  
Домъ его былъ полной чашей счастья, а мастер-  
ская—слезъ и страданій.



# Г Д Ъ Л У Ч Ш Е ?

## I.

Зима. Небо заволокло тучами. Дуетъ рѣзкій вѣтеръ. На большой дорогѣ, близъ села Моргунова, никто не идетъ и не ѣдетъ; только полѣсовщикъ, сидя у своего шалаша, нѣбьющаго видѣ пирамиды, занесеннаго и убитаго для тепла съ трехъ сторонъ снѣгомъ, покуриваетъ изъ трубки махорку и, поплеывая направо и налево, сосредоточенно смотритъ на толстое сосновое дерево, одиноко стоящее отъ опушки лѣса, сквозь который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ теперь, въ зимнее время, видятся пустыя пространства, покрытыя толстыми слоями снѣга. Вотъ проѣхала тройка почтовыхъ лошадей, запряженная въ повозку съ заведенъблоу поверхъ ея накладкою, съ почтовымъ ящичкомъ и казимъ-то чиновникомъ въ шинели и фуражкѣ съ кокардою; но еслибы не колокольцы, то полѣсовщикъ, казалось, и не обратилъ бы вниманія на этихъ проѣзжающихъ. Когда повозка уже скрылась съ изгибомъ дороги изъ вида, полѣсовщикъ всталъ, засунулъ трубку въ карманъ полушубка и сказалъ, глядя на дерево:

— Кабы не начальство, — срубилъ бы я тебя! Ей-Богу... Два бревна бы изъ тебя сдѣлалъ, и полтинникъ былъ бы у меня въ кошелѣ... И знатный бы я купилъ платокъ хозяйкѣ!.. А срубить нельзя, потому всѣ деревья на перечесть.

И полѣсовщикъ, почесавши спину, ушелъ въ шалашъ.

Немного погода, на дорогѣ съ западной стороны показалась небольшая группа людей, шедшихъ вразсыпную. Когда изъ шалаша вышелъ полѣсовщикъ съ чугуннымъ ломомъ, эта группа, состоящая изъ пяти человѣкъ, уже приближалась къ нему. Полѣсовщикъ, положивши ломъ на лѣвое плечо, сталъ разглядывать приближавшихся путниковъ. Впереди шелъ мужчина лѣтъ 48, съ корявымъ широкимъ лицомъ, на правой щекѣ котораго былъ большой шрамъ, съ кудреватыми пепельнаго цвѣта волосами и маленькой бородкой тоже пепельнаго цвѣта, съ большими глазами, густыми сросшимися бровями, съ толстымъ носомъ и бородавкой на носдрѣ. На немъ надѣтъ былъ тулупъ, синяго

изъ овчинъ и покрытый синимъ, уже обильнымъ сукномъ. На ногахъ сапоги, на головѣ фуражка, на шеѣ ситцевый платокъ, свернутый наподобіе галстука. За нимъ шелъ человѣкъ лѣтъ двадцати восьми, съ блѣднымъ, привлекательнымъ лицомъ, голубыми умными глазами, съ небольшими усами и пепельнаго цвѣта волосами на головѣ, остриженными въ скобку. На немъ тоже былъ тулупъ, крытый чернымъ сукномъ, съ закинутыми полами за красную опояску; на головѣ фуражка, на ногахъ сапоги. Шагахъ въ двухъ отъ него шла женщина лѣтъ двадцати, съ румянымъ правильнымъ лицомъ, карими глазами. Голова ея была покрыта желтымъ шерстянымъ платкомъ съ радужнымъ кружкомъ, въ видѣ колеса, на затылкѣ; на ней надѣтъ шугайчикъ, подбитый куделею и покрытый зеленымъ тикомъ. Этотъ шугайчикъ покрываетъ только грудь и спину, ситцевый сѣрый съ цвѣточками сарафанъ служить дополненіемъ одѣянія; но и сарафанъ этотъ не совсѣмъ прикрываетъ ноги, обутыя въ шерстяные чулки и ботинки. Всѣ трое несли на спинахъ по мѣшочку или узелку разныхъ величинъ, а у втораго мужчины кромѣ этого къ мѣшку была привязана пила. За женщиною шли рядомъ два мальчика, изъ коихъ одному было лѣтъ осьмнадцать, другому — пятнадцать. Лицо старшаго было очень блѣдно и худощаво, на немъ выражалась боль; лицо же младшаго было полно, румяно и красиво; въ глазахъ старшаго замѣчалась злость, презрѣніе, въ глазахъ младшаго — хитрость и плутоватость. Костюмами оба мальчика не щеголяли: на обоихъ надѣты были тиковые халаты одинаковаго зеленаго, полинявшаго цвѣта, продранные подъ пазухами и на локтяхъ, отчего у старшаго видѣлась загрубѣлая сине-красная кожа локтя, а у младшаго — рукавъ красной изгребной рубахи; на обоихъ были надѣты фуражки съ разорванными бумажными козырьками; на ногахъ старшаго были худые сапоги, на ногахъ младшаго — ботинки.

Первый мужчина поравнялся съ полѣсовщикомъ.

— Здорово, живая душа! — проговорилъ онъ, снявъ фуражку, и пошелъ къ полѣсовщику.

Остальные сгруппировались въ одномъ мѣстѣ, но второй мужчина пошелъ за первымъ.

— Куда Богъ несетъ?—спросилъ, улыбаясь, полѣсовщикъ, глядя на лицо подошедшаго мужчины.

— Туда, гдѣ лучше.

— Ха, ха!

— Да! Вотъ ты и раскуси!.. Небось много лѣтъ но лѣсу шатаешься, а не выдумалъ другого мѣста?

— Што и говорить!—и полѣсовщикъ задумался.

Мужчина сталъ накладывать въ трубку табакъ; полѣсовщикъ тоже вытащилъ свою трубку и поставилъ лѣвую ладонь къ мужчине. Тотъ, не говоря ни слова, насыпалъ на ладонь полѣсовщика немного табакъ.

— Скоро ли вы тамъ?—сказала женщина, по-задумавшись растягивая последнее слово.

На нее никто не обратилъ вниманія. Мальчики пошли къ шалашу, за ними пошла и женщина.

— Издалека идете?—спросилъ мужчине полѣсовщикъ.

— Да верстъ двѣсти будетъ..

— Сперва ѣхали по-цыгански—всѣ вмѣстѣ, то на дровняхъ, то на дровахъ, какъ придется. Да больно тихо и холодно пѣхтурой-то лучше!—говорилъ молодой мужчина

— Такъ вы туда, гдѣ лучше! Гмъ!! Гдѣ же это такое мѣсто?—говорилъ въ раздумьи полѣсовщикъ.

— Искать будемъ.

— Это всѣ вмѣстѣ,—всѣ натеро?! Это хозяйка, мелодуха-то? — спросилъ полѣсовщикъ молодого мужчину.

— Хозяйка.

— То-то: лицомъ-то схожи.

— Вретъ! Какая я ему хозяйка: онъ Короваевъ, а я Мокроносова.

Молодой мужчина поглядѣлъ сердито на женщину.

— Чего лицо-то корчишь? Ты напередъ женись на мнѣ да потомъ и хвастайся!—проговорила женщина.

— Однако баба-то у васъ вострая. А должно быть неаккуратная, што у нея башмакъ развязался и завязка э-вонъ-дѣ болтается,—проговорилъ полѣсовщикъ и захохоталъ.

Щеки женщины покраснѣли болѣе обыкновеннаго, и она, отошедши немного, стала завязывать ботинокъ.

— Што жъ, али у васъ своего хозяйства нѣту, што вы пошли?—спрашивалъ полѣсовщикъ путниковъ.

— Было, да разѣхалось,—сказалъ пожилой мужчина.

— А ты видно столяръ?

— А што? Есть здѣсь гдѣ работа?

— Да оно пожалуй: столяръ не полѣсовщикъ... Вамъ объ этомъ говорить нечего—люди заводскіе, какъ и я, грѣшный человекъ. Только у меня въ селѣ Демьяновѣ есть шуринъ; такъ, братецъ ты мой, онъ этимъ рукоесломъ такъ разжился, что мое почтеніе! Сызмальства къ этой работѣ приучился.

— А ты-то што же торчишь тутъ?

— Э! То-то, ты заводскій человекъ, а ума-то у те мало. Што и говорить, коли, разъ, я не обученъ къ такому рукоеслу... топоромъ я мастеръ,

а стругать—нѣтъ; а другой: здѣсь все жъ волюгѣе.

— Такъ онъ какъ, одинъ или съ рабочими работаетъ?

— Одинъ-одинъ, безъ рабочихъ, какъ перестъ... Да и окромя его есть мастера, да ужъ тѣ супротивъ него далеко не въ ходу. А ты не къ намъ ли искать-то счастья идешь?

— Нѣтъ... я посмотрю.

— То-то. Если къ намъ, такъ ты ожжешься. Народъ у насъ вотъ какой: все бы взять... А што до отдачи, такъ на этомъ покорно благодаримъ... Вотъ што!

— Што жъ мы здѣсь на житѣе што ли пришли?—крикнула женщина.

— Такъ, ты говоришь, мѣсто дрянъ? Эдакъ нажить капиталъ нельзя?—спросилъ полѣсовщикъ пожилой мужчина.

— Ха, ха! Да откуда нажить-то? Ежели торговлей, такъ торгащей—какъ червей!

— Ну, это еще надо узнать. Прощай, другъ; спасибо за огонь!

И путники пошли, не торопясь, разговаривая другъ съ другомъ. Полѣсовщикъ долго стоялъ въ одномъ положеніи, глядя на удаляющихся путниковъ.

— Ишь ты! Пошли искать, гдѣ лучше! Оказія!—сказалъ онъ и, какъ только скрылись путники, пошелъ въ лѣсъ, говоря самъ съ собою:—гдѣ лучше?.. Посмотрѣть на васъ, такъ плевака не стоите. А то же чаво-то нмуть... Ахъ горе, горе!..

## II.

Пожилой мужчина, Терентій Ивановичъ Горюновъ—отставной мастеровой терентьевскаго горнаго завода; женщина, Целагея Прохоровна Мокроносова—мастерская вдова, племянница Терентія Ивановича Горюнова; мальчики—ея братья: старшій—Григорій Прохоровичъ Горюновъ, младшій—Панфилъ Прохоровичъ Горюновъ. Другой мужчина—мастеровой терентьевскаго горнаго завода, Власть Васильевичъ Короваевъ.

Всѣ эти лица назадъ тому годъ жили въ терентьевскомъ частномъ горномъ заводѣ и имѣли различныя занятія. Терентій Ивановичъ съ самаго дѣтства слылъ въ заводѣ за чудака, потому что завладалъ всѣхъ своею непонятливостью и своею смѣшною фязіономіею, которая, говорятъ, съ дѣтства была очень уродлива. Поэтому, можетъ быть, онъ вмѣсто рудничныхъ работъ попалъ на посылки къ разнымъ должностнымъ лицамъ завода и въ такомъ положеніи проболтался до двадцатипятилѣтняго возраста, когда у него явилось непреодолимое желаніе жить своимъ умомъ, своимъ хозяйствомъ и имѣть самостоятельный родъ занятій. На первыхъ порахъ онъ могъ выдумать только музыкальное занятіе, т. е. игру на гармоникѣ, на которой лучше его во всемъ заводѣ никто не игралъ. Сталъ онъ разыгрывать въ кабакахъ разныя заводскія пѣсни: а такъ какъ кабаки въ то время существовали отъ откупа, водка была дорогая и

скверная, почему въ будни покупателей ея было мало, то цѣловальники придумали такое средство: за каждое посѣщеніе Терентія Горюнова съ музыкой и за игру для посѣтителей, не менѣе десяти человѣкъ, платить ему гривну мѣди. И Терентій Горюновъ ежедневно по вечерамъ, какъ разъ къ тому времени, какъ рабочіе возвращались съ работы изъ фабрики домой, садился на крыльцо кабака и, зажда какого-нибудь рабочаго, начиналъ играть какую-нибудь заунывную заводскую пѣсню, зная напередъ, что у рабочаго и безъ музыки невесело на душѣ. Поравнявшись съ Горюновымъ, рабочій останавливался.

— Што, Тешка, горе великое, плачешь?—спрашиваетъ рабочій.

— Горе мое великое, выпить хочется, да денегъ не ма! — говоритъ Горюновъ и продолжаетъ наигрывать.

— Будь ты проклятая пакля!

Рабочій плюнетъ и пойдетъ.

— А ты заходи: въ долгъ повѣрить, а я развесаю.

Рабочій подумаетъ-подумаетъ; руки и ноги болятъ отъ работы, кости ломятъ, на душѣ невесело, и зайдетъ въ кабакъ, и если нѣтъ денегъ, цѣловальники отпустятъ водки на мѣлокъ.

Мало-по-малу музыка Горюнова производила свое дѣйствіе: за однимъ рабочимъ шли въ кабакъ другіе и, выпивая водки, заставляли его играть на гармоникѣ. И рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы Горюновъ не получалъ отъ цѣловальниковъ по гривнѣ. Но зато эти деньги не легко ему доставались. Не говоря уже о мозоляхъ на пальцахъ, ему постоянно приходилось сносить насмѣшки и ругательства рабочихъ, заключавшіяся въ томъ, что онъ, Горюновъ, нарочно прикинулся дурачкомъ для того, чтобы ему не работать, что онъ вовсе не дуракъ, а первый плутъ во всемъ заводѣ. Хотя Горюновъ и старался доказать, что онъ тоже работникъ, потому что играть цѣлый вечеръ для одного или нѣсколькихъ рабочихъ не шутка, что, забавляя рабочихъ, онъ этимъ самымъ, такъ сказать, выкупаетъ фабричную работу,—но его не хотѣли слушать ни пьяные, ни трезвые. Доходило до того, что пьяные его били за малѣйшее ослушаніе или просто за то, что онъ не умѣлъ угодить имъ игрой, такъ какъ музыка доводила нѣкоторыхъ до остервененія. Однако, какъ ни ругали его рабочіе въ пьяномъ видѣ, онъ все-таки слылъ въ заводѣ за отличнаго игрока, и только непьющіе водки называли его пропащимъ человекомъ.

Своею гармонією, а главное игрой, Горюновъ произвелъ мало-по-малу такое дѣйствіе, что не было въ заводѣ мужчины, который бы хоть разъ не посѣтилъ кабака и не выпилъ тамъ чего-нибудь. Если кто до тѣхъ поръ имѣлъ о кабакѣ дурное понятіе, тотъ съ этого времени находилъ много въ немъ утѣшенія: непьющіи водки человѣкъ заходилъ туда потѣшиться надъ пьяными товарищами и выпить за компанію кружку пива, которая стоила грошъ; дома убіиственное однообразіе, поискъ дѣтей, ворчаніе старухи-матери; въ кабакѣ—пляски, дружествен-

ные разговоры, игра Горюнова на гармоникѣ, пѣсни... И Горюновъ прославился. Но сильно зато его не любили женщины и дѣвицы. По ихъ понятіямъ, Горюновъ былъ самый развратный негодяй, котораго непримѣнно нужно какимъ-нибудь образомъ вытурить изъ завода, потому что онъ развращаетъ мужей, отцовъ, братьевъ, сыновей и жениховъ. Прежде, бывало, мужчины въ свободное время что-нибудь дѣлали дома, а теперь все время проводятъ въ кабакѣ, и если не пьянствуютъ, то играютъ въ карты или въ шашки. Кабакъ не только для взрослыхъ, но и для подростковъ сталъ лучше дома. Прежде, бывало, подростокъ играетъ съ дѣвками на улицѣ въ мячикъ, а теперь сидитъ въ кабакѣ и сохнетъ трубку или папироску... И чего-чего не дѣлали бабы и дѣвки заводскія съ Горюновымъ! Мало того, что онъ ругалъ его въ глаза, но частенько изъ-за угла выливали на него ушатъ съ водой, хлестали по немъ изъ оконъ мокрыми вѣниками, жаловались на него полицейскому начальству,—ничто не могло... Но въ жизни всегда бываетъ такъ, что то, противъ чего мы протестуемъ во время нашей скуки, въ другое время намъ нравится. Такъ и безъ Горюнова не проходила ни одна богатая вечеринка или овадьба въ заводѣ, ни одно народное гулянье; тогда Горюновъ нравился всѣмъ своею игрой, нравился женщинамъ своею остротою, дѣвушкамъ шутками, уморительными рассказами, иногда даже очень некрасиваго свойства, да притомъ онъ не протестовалъ, когда надъ его лицомъ и манерами издѣвались хуже, чѣмъ надъ куклой.

Горюновъ былъ добрейшее существо: никто не слышалъ отъ него никогда не только браннаго слова, но и неудовольствія; онъ всегда казался веселъ, доволенъ своею судьбою. Но никто не зналъ того, что такое занятіе не нравится Горюнову; никто не зналъ, что Горюновъ замышляетъ другой родъ занятій, копить гривны, собираетъ всякія бросовыя вещи (что относили къ его дураковатости)... И каково же было удивленіе терентьевцевъ, когда Горюновъ съ масляницей соорудилъ для заводчанъ катушку съ горы!.. До тѣхъ поръ катушка существовала на пруду, т. е. ее дѣлали на столбахъ; теперь же Горюновъ разыскалъ въ горѣ такое мѣсто, которое какъ разъ было для этого удобно. Всѣ заводчане бросили старую катушку, кинулись къ Горюнову... Горюновъ торжествовалъ цѣлую масляницу и собралъ не мало денегъ. Деньги эти онъ употребилъ на покупку дома своей любовницѣ, вдовѣ Тюневой, которая торговала на широкой улицѣ какачами и секретно пивомъ и брагой. Всѣ въ заводѣ знали про эту связь, но не обращали вниманія, потому что Горюнова считали за дурачка, а Тюневу—за самую послѣднюю женщину, отъ которой уже нечего ожидать хорошаго. Горюновъ днемъ терся въ ея домѣ, изрѣдка зазывая гостей, угощая ихъ пивомъ и брагой и наигрывая на гармоникѣ, а по вечерамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, являлся къ брату. Семейство брата не только не было недовольно тѣмъ, что Терентій Ивановичъ ничего не помогаетъ въ хозяйствѣ, но ему даже пріятно было то, что онъ приноситъ ему то съѣлку салъную, то булку и утѣшаетъ маленькихъ

ребать своими прибаутками. Въ семействѣ всѣ любили его, особенно дѣти.

Горюновъ никогда ничѣмъ не хвастался и ничѣмъ не гордился, да и ничѣмъ было; однако рабочіе заключили, что онъ не такой дуракъ, какъ объ немъ думаютъ бабы. Онъ думалъ, что Горюновъ не просто пересталъ играть въ кабакахъ на гармоникѣ. Другіе на его мѣстѣ непремѣнно стали бы пьянствовать, попрошайничать, а онъ нѣтъ. Онъ своей любовницѣ домъ купилъ, а это что-нибудь да значитъ! И хоть бы любовница была молодая да красивая, а то корявая, длинноногая, низенькая ростомъ,—такая, что ее возьметъ замужъ развѣ такой рабочій, которому не на комъ жениться; мало этого, любовница даже бьетъ Горюнова. „Нѣтъ“, говорили рабочіе, „Тешка выкинетъ какую-нибудь штуку и удивитъ насъ всѣхъ чѣмъ-нибудь, на то онъ и при полиціи, и при разныхъ начальникахъ на посыткахъ состоялъ, и отъ нихъ вѣроятно что-нибудь да перенялъ“... Пробовали было рабочіе совѣтоваться съ нимъ—никакого не вышло толку: Горюновъ несетъ такой вздоръ, что смѣшно становится, а какъ засмѣются рабочіе, и онъ захохочетъ. Тѣмъ совѣты и кончаются.

Братъ Горюнова былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Онъ съмалолѣтства работалъ въ рудникахъ, прошелъ всѣ тягости горнозаводской обязательной на помѣщика службы, былъ человѣкъ горячій, справедливый, никому не льстилъ, и отъ этого много терпѣлъ, и наконецъ за одну жалобу, сочиненную писаремъ Мокроносовымъ и подписанную имъ, его назначили въ самыя тяжелыя работы, гдѣ онъ и умеръ, а жена его, ходившая съ жалобой по этому случаю къ горному начальству, не только ничего не выходила, а ее привезли изъ горнаго города связанною, избитою и сумасшедшею.

Въ это время Горюновъ женился на любовницѣ, а племянница его вышла замужъ за писаря Мокроносова. Пелагея Прохоровна была дѣвушка смиренная, работящая. Ей нравились писарь, не потому, что онъ умѣлъ играть на гитарѣ, говорилъ складно, умѣлъ разсказывать непонятныя для нея вещи такъ, что она понимала ихъ, но за то, что его любилъ ея отецъ. Самъ Мокроносовъ ничего хорошаго не могъ обѣщать своей невѣстѣ, а только увѣрялъ, что онъ ее будетъ любить, будетъ стараться для ея счастья всѣми силами, а главное—не станетъ пить водку, которую онъ незадолго до свадьбы сталъ употреблять въ большомъ количествѣ. И дѣйствительно, мѣсяца три супруги жили хорошо, но потомъ Пелагея Прохоровна стала замѣчать, что мужъ ея тоскуетъ, понижаетъ понемногу водку, не говоритъ съ ней ласково, а если и скажетъ, такъ съ сердцемъ. Узнала она, что мужа ея притѣсняють за то, что онъ возстаетъ противъ разныхъ несправедливостей, дѣлаемыхъ рабочимъ заводоуправленіемъ. Всячески старалась молодая женщина утѣшить своего мужа,—мужъ запыль; нагрубилъ кому-то, и его назначили куреннымъ рабочимъ; а тутъ еще стали бабы говорить, что онъ связался съ какой-то женщиною. Въ это время умерла ея мать, за долги отца ее съ братьями выгнали изъ дома, и она

на первыхъ порахъ поселилась у дяди, который тогда уже занимался торговлею.

Наконецъ мужъ Пелагеи Прохоровны захворалъ и умеръ; она осталась беременна и безъ средствъ, но къ счастью попала на квартиру къ доброй старухѣ-ворожѣ, у которой и родила мертвца ребенка. Но этого ребенка не удалось ей увидать, потому что старуха-раскольница бросила его въ прудъ,—на что она имѣла свои причины. У этой-то старухи Пелагея Прохоровна познакомилась съ внукомъ ея, Власомъ Васильевичемъ Коровяевымъ, котораго она и прежде нѣсколько разъ видала съ отцомъ.

Коровяевъ—столярный мастеръ. Онъ работалъ чисто, хорошо и честно. Человѣкъ онъ былъ добрый, и малѣйшая несправедливость волновала его черезчуръ; но онъ никогда не задиралъ и не вооружалъ начальства, зная хорошо, что изъ этого ровно никакой не будетъ пользы ни ему, ни рабочимъ, а произойдетъ одинъ вредъ. Работу онъ имѣлъ всегда; былъ вхожъ и къ заводскому приказчику—двигателю всего заводскаго дѣла. Онъ былъ холостъ и не хотѣлъ жениться до тѣхъ поръ, пока не будетъ имѣть средствъ откупиться на волю. Пелагея Прохоровна прожила въ его домѣ двѣ недѣли; какъ онъ, такъ и она другъ другу нравились, но между ними даже и рѣчи не заходило ни о любви, ни о женитьбѣ. Коровяевъ видѣлъ въ Пелагее Прохоровнѣ женщину молодую, слабую, неопытную, завлечь которую стоило небольшого труда; но ему совѣстно было говорить ей о томъ, чтобы она прислала себѣ какой-нибудь трудъ, что у него жить она долго не можетъ. Сказать же ей, что она ему нравится и что онъ думаетъ жениться на ней, онъ не рѣшался до тѣхъ поръ, пока не выкупится на волю. Пелагея же Прохоровна думала: „онъ хорошій мастеръ, но человѣкъ гордый. Вотъ бы такой мнѣ мужъ... Только онъ не ласковый“. А тутъ выпло такое обстоятельство, что ей нужно было идти къ приказчику хлопотать о провіантѣ братьямъ. Приказчикъ предложилъ ей быть его любовницей и хотѣлъ даже послать за ней лошадь вечеромъ, но вечеромъ же по заводу разнеслась вѣсть, что въ заводъ привезли *волю*. Переполохъ по этому случаю въ заводѣ былъ страшный и продолжался недѣли три, и въ это время Пелагею Прохоровну дядя Горюновъ и Власъ Васильевичъ увезли въ городъ Заводскъ, гдѣ и нашли ей мѣсто кухарки, но сами попали въ острогъ по подозрѣнію въ кражѣ вещей у одного богатаго купца. Въ острогѣ они просидѣли больше мѣсяца, ихъ нашли невиновными, но зато они не получили назадъ денегъ, взятыхъ у нихъ при арестованіи; у Терентія Ивановича пропала въ городѣ лошадь съ телѣгой. Когда же ихъ привезли въ заводъ, какъ бѣглыхъ, то Коровяевъ узналъ, что его сестра Василиса сожгла его домъ, уѣхала на рудникъ и живетъ тамъ съ нарядчикомъ, что Григорій Прохорычъ работаетъ на рудникѣ въ шахтѣ, Панфиль—на фабрикѣ; Горюновъ засталъ свою жену больною, жена сказала ему, что его домъ отбываетъ начальство за его прогулы.

Домъ отъ Горюнова дѣйствительно отняли за то.

что онъ прежде не работалъ на заводѣ и не поставилъ вѣсто себя работниковъ, и выдали ему чистую волю. Горюновъ поѣхалъ жаловаться, но ничего не выходило, а прожилъ всѣ деньги. Безъ денегъ въ заводѣ ему нечего было дѣлать, а заниматься на фабрикѣ или въ лѣсу онъ не хотѣлъ; Короваевъ тоже не могъ никакъ поправиться, потому что ему мѣсяца три нужно было зарабатывать деньги на инструменты. Обои друзья жизнь опротивѣла въ заводѣ; всадъ они видѣли несправедливости, народъ сталъ бѣднѣть, воровать, пьянствовать, многіе пошли искать счастья въ другія мѣста.

Поэтому Горюновъ послѣ смерти жены рѣшился идти въ другое мѣсто искать счастья; съ нимъ согласился идти и Короваевъ. Племянники Горюнова тоже обрадовались этому и стали проситься съ нимъ. Горюновъ и Короваевъ рѣшили поосмотрѣться въ городѣ. Но въ городѣ рабочихъ рукъ оказалось такъ много, что не только нашимъ терпеться тамъ, но и многимъ другимъ трудно было достать какую-нибудь работу. Нельзя сказать, чтобы работы не было; но при наплывѣ рабочихъ со всѣхъ сторонъ плата за работу дается небольшая, прежніе рабочіе стараются держаться прежнихъ мѣстъ, а болѣе ловкіе оттираютъ отъ работы простаковъ. Горюновъ и не искалъ для себя работы, — ему хотѣлось торговать, потому что и прежде онъ торговалъ гвоздями, мѣдною посудой, фальшивыми серебряными вещами; но такъ какъ теперь у него ничего не было для продажи, то нечего было и думать о торговлѣ. Походилъ онъ по городу съ нѣдѣлю; навѣстилъ знакомыхъ мастеровъ, которыми прежде продавалъ камни — аметисты, топазы и пр., хотѣлъ кунить у нихъ выдѣланныя вещи, но мастера страшно дорожились. Поступить же куда-нибудь въ лавку приказчиковъ Горюновъ не могъ, потому что въ приказчики принимаютъ людей знакомыхъ, по рекомендаціямъ. Такъ Горюновъ и прожилъ безъ дѣла съ мѣсяцъ. Короваевъ тоже не могъ найти выгодную работу, потому что въ городѣ очень много цеховыхъ мастеровъ и работать на продажу бесполезно. Счастливые ихъ были Григорій и Панфилъ: они попали въ извозчики, съ платою въ мѣсяцъ по три рубля.

Положеніе Горюнова и Короваева было довольно неказистое: деньги выходили, а достать неоткуда...

— Здѣсь сколько кошъ живи, ничего не наживешь. Этотъ городъ просто помойная яма! — говорилъ Горюновъ.

— Да, Терентій Ивановичъ! Были мы съ тобой люди опытные когда-то.

— Не мы этому виноваты... Однако надо идти въ другое мѣсто. Вотъ что я придумалъ: вѣдь у тебя много знакомыхъ съ золотыхъ приисковъ. Не махнуть ли намъ туда?

— Знакомые есть, только развѣ они помогутъ?.. Развѣ въ ихней волѣ давать намъ плату?

— Ты нето судишь! Мы будемъ имѣть золото...

— Я на это не согласенъ. Лучше идти въ другое мѣсто, гдѣ меньше городского народа.

— Постой! я мальчикомъ былъ въ селѣ Мор...

гуновѣ, — тамъ соль добываютъ. Работы страхъ какъ много.

— Не лучше ли намъ идти на пушечный заводъ? Онъ, говорятъ, только-что начинается.

— Нѣтъ, ужъ я туда не пойду; тамъ рабочихъ теперь много. Ужъ если здѣсь ихъ много, то тамъ и еще больше, а въ Моргуновѣ должны быть свои люди.

Черезъ два дня послѣ этого разговора, поразспросивши у разныхъ рабочихъ, гдѣ лучше жить, Короваевъ и Горюновъ рѣшили идти на соляные промыслы. Но оставалось еще одно затрудненіе:

— Мы какъ пойдемъ: одни или нѣтъ? — спросилъ Короваевъ Горюнова.

— Это ты насчетъ нашихъ-то спрашиваешь... Оно конечно лучше, если всѣ вмѣстѣ будемъ жить. Только ты самъ разсуди... баба!

— Ну, съ Пелагеей Прохоровной мы, можетъ быть, и поладимъ.

— То-то, чтобы не вышло чего-нибудь...

Горюновъ пошелъ на квартиру Пелагеи Прохоровны. Она еще очень недавно поступила въ кухарки къ женѣ столоначальника и говорила, что хуже этого мѣста она нигдѣ въ городѣ не имѣла. Но, какъ ни тяжела была жизнь въ кухаркахъ, ей все-таки не хотѣлось уходить изъ города, къ которому она начинала привыкать. Поэтому, когда Горюновъ сдѣлалъ ей предложеніе, чтобы идти вмѣстѣ съ нимъ, братьями и Коровьевымъ въ другое мѣсто, она долго не соглашалась, и Горюновъ убѣдилъ ее только тѣмъ, что она будетъ сама хозяйка, не намекая впрочемъ на Короваева.

Въ это время у Пелагеи Прохоровны былъ уже короткій знакомый, дворникъ сосѣдняго съ ея хозяйкою дома, Егоръ Максимовичъ. Ему было годовъ подъ сорокъ, но онъ былъ еще красивый мужчина. Часто, какъ только Пелагея Прохоровна пойдеть куда-нибудь, Егоръ Максимовичъ выходилъ изъ калитки, кланялся ей и говорилъ любезности. Случалось по вечерамъ, когда не было дома хозяина и хозяйки, Пелагея Прохоровна сидѣла на лавкѣ рядомъ съ Егоромъ Максимовичемъ и разговаривала о заводской жизни, о своей барынѣ и т. п.; но Егоръ Максимовичъ велъ себя прилично и никогда не позволялъ себѣ сказать какое-нибудь неприличное слово. Егоръ Максимовичъ былъ вдовъ и имѣлъ уже взрослую дочь. Поэтому ей никакъ не приходило въ голову, чтобы онъ могъ предложить ей выйти за него замужъ; ей просто нравилось говорить съ хорошимъ человѣкомъ, посоветоваться съ нимъ.

Собралась Пелагея Прохоровна совсѣмъ, распростилась съ хозяйкой и пошла къ Егору Максимовичу.

— Куда это? — спросилъ тотъ, точно въ испугѣ.

— Искать доброе мѣсто — гдѣ лучше!

— Здѣсь, въ городѣ?

— Нѣтъ. Дядя съ собой зоветъ.

— Напрасно, Пелагея Прохоровна... А я на тебя надѣялся...

— Хуже этой барыни ужъ едвали я еще кого найду... Ужъ теперь я въ кухаркахъ не буду жить.

— Ну, это еще вилами писано!.. А я на тебя крѣпко полагаюсь...

— Что так?

— Да так... Думаю, баба молодая, красивая... работающая... А я вдовъ.

— Ну?!

— Неужели ты не догадываешься?

Пелагея Прохоровна захохотала и сказала:

— Полно-ко, Егоръ Максимычъ! Ровня ли я тебѣ: мнѣ двадцатый годъ, а тебѣ сорокъ четвертый...

— Только тридцать восемь... Подумай, Пелагея...

— Покорно благодарю.

— Напрасно ты идешь! Обманетъ тебя дядя, — помани меня!

Пелагея Прохоровна ушла. Дорогой сперва предложение дворника смѣшило ее, но потомъ ей сдѣлалось стыдно: „и какъ это я не замѣчала, что онъ лебезить около меня для того, чтобы опутать меня. Поди, тамъ всѣ про меня говорятъ нехорошо... А я, дура, говорила ему обо всемъ, думала, что онъ хорошій человекъ. А онъ на поди! Женишокъ!.. Ужъ если и идти замужъ, такъ за молодого, а то... И выдумалъ же вѣдь, что я пойду за него: ты-де бѣдная, а у меня деньги есть...“

Черезъ день послѣ этого они отправились съ Григорьемъ и Панфиломъ въ дорогу. Дорогой они больше молчали, потому что о прошедшемъ говорить не стоило, а въ будущемъ неизвѣстно, что будетъ. Всѣ, каждый порознь, надѣялись, что гдѣ-нибудь да найдутъ они хорошее мѣсто. Теперь у каждого изъ нихъ болѣе прежняго было привязанности другъ къ другу и ко всѣмъ вообще, потому что прежде они жили порознь, каждый пріобрѣталъ средства самъ собой, а теперь идутъ они всѣ вмѣстѣ, и Богъ знаетъ, кому изъ нихъ будетъ лучше? Но никто такъ не нравился Пелагѣ Прохоровнѣ, какъ Короваевъ. Ей нравился его высокий ростъ, его широкіе мѣрные шаги, его лицо и глаза, съ любовью смотрящіе на нее въ то время, когда онъ оборачивается; но не нравилось ей то, что онъ ничего не говоритъ съ ней, а если и говоритъ, то при дядѣ... И хочется ей сказать ему, что за нее сватался дворникъ, ждетъ она удобную минуту, но когда дядя и братья отойдутъ далеко, ей сдѣлается неловко: „ну, хорошо ли говорить ему объ этомъ? Стыдъ! Еще подумаетъ, Богъ знаетъ что“. А если и взглянетъ на нее Короваевъ, встрѣтятся ихъ взгляды, — сердце Пелагеи Прохоровны точно ожжетъ что.

### III.

— А скверно, что мы не спросили, гдѣ лучше остановиться, — сказалъ Короваевъ, когда онъ и его сотоварищи свернули съ большой дороги на проселочную, идущую между мелкимъ кустарникомъ безречника.

— Э! Мы не богачи какіе!.. Обглядимся, тогда и устроимся, — сказалъ Горюновъ.

Мало-по-малу стали рѣдѣть и кустарники. Наконецъ путниковъ охватилъ рѣзкій сильный вѣтеръ съ лѣвой стороны, и передъ ними открылась ши-

рокая равнина. Это ровное мѣсто походило не на поле, а скорѣе на озеро, потому что справа и слѣва видѣлись небольшія возвышенности, частью покрытыя кустарникомъ, а въ серединѣ равнины видѣлась вода; въ одномъ мѣстѣ даже росъ тошій мелкій кустарникъ, и отъ него до какого-то мѣста стояли столбы. Но не это заняло путниковъ. Надѣво отъ дороги строилось много барокъ: тамъ и сямъ пилили доски, обтесывали бревна; народъ копошился, и воздухъ оглашался стукомъ топоровъ, шарканьемъ пилъ, дружными возгласами нѣсколькихъ голосовъ въ разъ: „дернешъ, подернешъ...“ Наши путники не сводили глазъ съ рабочихъ и наконецъ подошли къ одной кучкѣ.

— Богъ на помочѣ! — сказалъ Горюновъ.

Рабочіе посмотрѣли на прішедшихъ, не переставая работать, и ничего не сказали.

— По чѣмъ работаете?

— По шести рублевъ въ мѣсяцъ...

— Маловато.

— И это слава Богу. А вы не здѣшніе што ли?

— Какъ не здѣшніе? Любопытно стало — вотъ и спросили.

— Есть тутъ чего любопытнаго

И путники пошли.

— А эта работа намъ не съ руки... У насъ тоже строить барки, да только отъ нихъ много не проживишься! — проговорилъ Короваевъ.

— Я поменяю: нельзя ли мнѣ тутъ какую выгоду пріобрѣсти, — сказалъ въ раздумьи Горюновъ.

Мало-по-малу передъ ними выросло село, расположенное частью на низкомъ, частью на холмистомъ мѣстѣ; но видѣлись только крыши и колокольни двухъ церквей, остальное же закрывалось рядомъ множества высокихъ столбовъ съ перекладинами, насосовъ, варницъ и высокихъ въ три яруса амбаровъ.

Наши путники подошли какъ разъ къ промысламъ, находящимся на берегу рѣки Дуги. По самому берегу, на невысокихъ, убитыхъ деревомъ со сваями набережныхъ, стоятъ огромные соляные амбары; на водѣ стоятъ затянутае льдомъ два парохода, нѣсколько судовъ и готовыхъ уже барокъ или барокъ строящихся; между амбарами и набережными вездѣ ѣдутъ или съ дровами, или съ порожними дровнями. Далѣе, внутри отъ амбаровъ, идутъ длинныя лѣстницы къ варницамъ; между ними стоятъ насосы, а разстоянія между лѣстницами и насосами заняты дровами, бревнами, досками, кирпичомъ. Здѣсь рабочихъ почти не видать; но зато здѣсь пахнетъ сѣрой, и, несмотря на холодъ, кое-гдѣ съ насосовъ и крышъ сочится разсолъ и съ сосульками отваливается на сырой снѣгъ.

Походили путники по варницамъ, высмотрѣли все, что имъ дозволили посмотреть, и между прочимъ узнали, что и здѣсь рабочіе перебиваются кое-какъ, и здѣсь плата за трудъ небольшая, и поэтому рѣдкій рабочій не находится въ долгу у тѣхъ, которые нанимаютъ его работать.

— Вездѣ вѣрно одно, — сказалъ Короваевъ.

— Посмотримъ. Земля-то не кланомъ сошлась, — замѣтилъ Горюновъ.

— Коли у тебя денег много — можно весь свѣтъ пожалуй обойти.

— И не ходи! — сказал Горюновъ, обернувшись къ Короваву. Прошли они церковь; недалеко отъ церкви увидали постоялый домъ. На постояломъ никого теперь не было, и хозяйка очень обрадовалась, что къ ней пришло много гостей.

— Ну, что ты съ насъ возьмешь за постоя? — начал Горюновъ.

— А долго вы проживете?

— Не все же мы у тебя будемъ... Мы надолго пришли сюда, своимъ домкомъ надо будетъ заволаться.

— Что жъ, дѣло хорошее. Прежде у насъ все свои робили на промыслахъ, а послѣ воли столько набѣжало заводскихъ, что бѣда! Есть даже и такіе, кои и дома себѣ настранили.

— Ишь ты!

— Бѣ-Богу! Только народъ — собака, нашимъ промысловымъ не уступить: нашъ-то еще думаетъ, какъ бы ему мѣшокъ съ солью утащить, а тотъ ужъ этотъ мѣшокъ утащилъ. Право!

— И всѣмъ дѣло есть?

— Теперь помѣнѣ стало, потому съ волей господа крѣпко прижались: гдѣ бы нужно всѣ варницы пустить, а они только четверть. Оттого и соли помѣнѣ, и рабочимъ мало даютъ. Теперь-то мало работы; а то весной и бабамъ много работы.

Послѣ обѣда молодежь, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна, улеглась спать, а Коровавъ съ Горюновымъ пошли въ село.

— На постояломъ-то дворѣ невыгодно жить, Терентій Ивановичъ, — сказал Коровавъ Горюнову.

— Надо будетъ поискать квартиру.

— Только я съ вами жить не буду.

— Это дѣло твое, а я тебя не веволю. Только мы съ тобой еще походимъ, поглядимъ, что за народъ здѣсь.

Отправились они въ харчевню. Тамъ четверо мастеровыхъ пили чай. Коровавъ и Горюновъ сѣли къ столу недалеко отъ мастеровыхъ.

— Ежели мнѣ теперь Усольцевъ не заплатитъ, а его камнемъ.

— Ну, не горячися. Ужъ ты эту пѣсню давно поешь!

— Не вѣришь?

— А помнишь, какъ онъ съ Агашки-то платокъ содралъ, какъ ты расходился? И ничего!

— Агашка сама съ нимъ раздѣлалась.

— Полю!! Агашка, извѣстно, поругалась-поругалась, да и только. А што наша ругань? Нѣтъ, ты бы его смазалъ хорошенько.

— Я его съ лѣстницы!

— Дуракъ! Съ лѣстницы спустишь — въ острогъ попадешь! Не такъ ли? — спросилъ мастеровой, обращаясь къ Короваву.

— Чего и говорить

— А вы не здѣшніе? Видно, на работы пришли?

— Да.

— То-то!

— Ну, и обожглись значить. Заводскіе?

— Заводскіе. Только жить-то тамъ нельзя: покосы и дома отняли; совсѣмъ разорили.

— Скверно. А все-жъ на одномъ мѣстѣ лучше, а ты скажу — потому все свои: свои и выдадутъ, и выручатъ. Такъ ли?

— Это такъ. Только больно неприятно, когда бѣтъ нечего.

— Полно-ко! Коли бы жрать нечего было, не пилъ бы чай...

— Это можно себѣ позволить. Иной послѣднія деньги на водкѣ пропиваетъ.

— Дѣло, братецъ, говоришь. Какимъ-же ты ремесломъ думаешь заняться?

— Да надо приглядѣться. Я — столяръ.

— Баринъ!

— Почему баринъ?

— Потому что тяжелой работы не знаешь, съ господами знаешься. Съ такими людьми мы компанства не водимъ; а потому дабы повелѣно было, не доводя до грѣха, убираться вашему брату, стругалу, по-добру, по-здорову! — И мастеровой пошелъ къ Короваву.

— Однако ты видно по гражданской печати обученъ? — проговорилъ, смѣясь, Коровавъ.

— А это видишь? — сказалъ мастеровой, показывая черный кулакъ.

— И свои имѣемъ.

— Тебѣ говорятъ — уходи, потому эта харчевня наша: здѣсь все промысловые, съ поносовскаго промысла.

— Чѣмъ же мы вамъ мѣшаемъ?

— Мѣшаете, да и все тутъ.

— Послушайте! Уходите добромъ... Наши скоро придутъ; ихъ много: ихъ не заговорить и не переборешь.

Коровавъ и Горюновъ не шли. Мастеровые стали шептаться. Немного погодя, одинъ изъ нихъ вышелъ.

— Понимаешь? — сказалъ шопотомъ Коровавъ Горюнову.

— Гармонійку-то я забылъ, вотъ што скверно! — отвѣчалъ Горюновъ.

Вдругъ въ харчевню вошло человѣкъ пять рабочихъ. У двонхъ за кушаками были засунуты сырые сѣрые мѣшки, остальные ничего не имѣли при себѣ.

— Гдѣ? Эти?! — крикнулъ джій рабочий и пошелъ къ Короваву и Горюнову, которые держали въ рукахъ блюдечки съ чаемъ.

— Кто вы такіе? — крикнулъ рабочий, уперши руки въ бока и разодвинувъ ноги.

Остальные окружили столъ, за которымъ сѣдѣли Горюновъ и Коровавъ.

— А ты изъ какихъ, изъ полицейскихъ? — спросилъ Коровавъ, поставивъ блюдечко.

— Изъ полицейскихъ.

— Ну, такъ иди туда, откуда пришелъ!

— Ты зубы-то не заговаривай, а коли тебя турятъ (гонять), такъ пошелъ! — проговорилъ другой рабочий.

— Никто меня не воленъ гнать, потому я такія же деньги плачу, какъ и всѣ.

— То-то не такія. Афанасьичъ не возьметъ съ васъ того, што онъ съ насъ беретъ.

— Извѣстно. Съ не-нашихъ всегда вдвое, — сказалъ хозяинъ харчевни и захохоталъ.

— То-то и есть. Вы должны быть благодарны, что мы вашему хозяину барышъ доставили. Не приходи бы такихъ дураковъ, какъ мы, — пришлось бы закрывать заведеніе.

Охъ ты, оселъ!.. Много ты передашь!.. Хорошій человѣкъ водку беретъ, а то пришли, взяли чаю на гривенникъ, да и сидятъ цѣлый день! — проговорилъ хозяинъ и подошелъ къ столу.

— Эй! кто изъ васъ водку пьетъ — угодъ! Знай терентьевскаго Горюнова! — сказалъ Горюновъ, вставши, и сдѣлалъ такую гримасу, что всѣ смотрѣвшіе на него захохотали.

Скоро явился полупштофъ; по выпитіи изъ него по стаканчику рабочіе уже не ругались съ терентьевцами, а дружно разговаривали. Отъ нихъ они узнали, что соляные промыслы находятся въ трехъ селеніяхъ, отстоящихъ въ недалекомъ разстояніи одно отъ другого — Моргуновѣ, Притыкинѣ и Демьяновѣ. Изъ нихъ первые два принадлежали пяти разнымъ владѣльцамъ, а Демьяново — казнѣ. Сами господа никогда не жили въ своихъ селахъ, а нѣкоторые изъ нихъ даже и не бывали въ нихъ. Они жили или заграницей, или въ столицахъ, и поэтому всѣми дѣлами заправляли управляющіе съ приказчиками, которые были или мѣстные купцы, или отставные чиновники и обращались съ рабочими, какъ настоящіе господа. Но этихъ господъ рабочимъ приводилось видать на промыслахъ очень рѣдко, разъ или два въ годъ; настоящими же хозяевами были смотрителя, нарядчики и т. п. мелюзга, которая изъ каждаго рубля, изъ каждой рогожи или куды старалась приобрѣсти въ свою пользу копейку. Они обшчитывали рабочихъ ежедневно; жалобы на нихъ не принимались или оставались безъ уваженія, и если, несмотря на это, рабочихъ всегда много было на промыслахъ, такъ потому только, что имъ нечего было ѣсть: куда ни пойдѣ, всѣ работы находятся въ рукахъ этихъ пиявицъ, напр. постройка барокъ, судовъ, караулы, очистка льда и т. п.; даже торговлю всю они забрали въ свои руки. Изъ всего этого Горюновъ вывелъ то заключеніе, что ему здѣсь ничего не приобрѣсти, и крѣпко призаву-мался.

Печальные вышли изъ харчевни Коровавъ и Горюновъ: не того они ждали здѣсь. Имъ хвалили промыслъ.

— Надо попробовать, — сказалъ Горюновъ.

— Нечего тутъ и пробовать, — проговорилъ сердито Коровавъ.

— Што-жъ дѣлать-то?

— А я думаю итти въ другое мѣсто. Пойду въ м — скій заводъ. Если тамъ не повезетъ на столарномъ ремеслѣ, я буду пушки лить.

— Полно-ко, Власъ Васильичъ!

— Это будетъ вѣрнѣе... Говорятъ, тамъ даютъ 75 коп. поденщины.

— Враки!

— Ну, а если не повезетъ тамъ, и дальше пойду... Мнѣ мастеръ Подкорытовъ сказывалъ, что кромѣ Петербурга нигдѣ нѣтъ такихъ мѣстъ, гдѣ бы можно хорошо заработать деньги одинокому человѣку. Только итти туда далеко.

— И все-таки твой мастеръ нашлся на гра-нильной фабрикѣ, не въ Петербургѣ...

— Што жъ ему было дѣлать, когда онъ былъ сосланъ туда?

— Какъ знаешь, а я здѣсь останусь... По-пробую.

Домой они пришли часу въ девятомъ вечера. Григорій, Панфилъ и Пелагея играли съ хозяйкой въ карты у зажженной лучины.

— Ну ужъ и соло... Дринь, говорятъ, — сказалъ Горюновъ.

— Кто это сказалъ? Небось мастери! О, они никому добра не пожелаютъ, — сказала хозяйка, сдавая карты.

— Да это и видно. Самыя строенія, что есть, нисколько отъ нашихъ домовъ не отиѣнились. Да вотъ мы давеча шли — почти на каждомъ углу нищій.

Стоитъ на это обращать вниманіе; извѣстно, нищій — лѣнтяй!

— А если онъ на костыляхъ?

— Мало ли ихъ вонъ пьяныхъ: зимой, какъ обрубки какіе, на улицахъ валяются. Поневолѣ не только ноги, а и руки отморозишь.

— А я, Пелагея Прохоровна, завтра въ путь, — сказалъ Коровавъ, обращаясь къ Пелагее Прохоровнѣ.

— Куда? — крикнули Григорій и Панфилъ.

Лицо Пелагеи Прохоровны поблѣдѣло, и она не могла ничего выговорить.

— Пойду въ м — скій заводъ.

— А какъ же ты все тараторилъ: „въ Моргуновѣ хорошо, лучше Моргунова другого мѣста нѣтъ?“ — сказалъ Григорій Прохорычъ.

— Мало ли что говорили мнѣ люди.

— Попросту скажи: съ вами, молъ, не хочу виѣстѣ робить, — сказала Пелагея Прохоровна измѣнившимся отъ внутренняго волненія голосомъ.

— Ну, это еще не доказано, — сказалъ Коровавъ и сталъ укладываться на лавкѣ.

Хозяйка спросила: будутъ ли нѣтъ они ужинать. Ужинать никто не хотѣлъ. Всѣмъ было не то скучно, не то неловко. Горюновъ курилъ трубку за трубкой; Коровавъ лежалъ на лавкѣ и что то соображалъ, часто перебирая пальцы; Григорій и Панфилъ лежали на полатахъ на животѣ и, глядя на Пелагею Прохоровну, старались разогнѣть ее. Пелагея же Прохоровна складывала желтый платокъ, который у ней въ дорогѣ былъ надѣтъ на голову; по этому складыванію замѣтно было, что у ней мысли не въ порядкѣ.

„Это онъ нарочно уговорилъ дядю итти сюда, чтобы потомъ самому легче утти въ другое мѣсто. Онъ знаетъ, што дядя ужъ не пойдетъ въ другое мѣсто. Онъ и прежде такой былъ: все бы ему лучше, все особливо отъ другихъ робилъ... И деньги большія нѣтъ... И теперь у него должны быть



деньги, потому онъ хотѣлъ раньше на волю откупиться, только, говорить, деньги сестра украла. Вреть! Нѣтъ, онъ боится, чтобы мы у него не попросили денегъ. Должно быть, дядя просилъ у него денегъ". — И она вызвала дядю на крыльцо.

— Дядя! ты не просилъ ли у Коровая денегъ? — спросила она Горюнова.

— Съ какой стати я у него буду просить денегъ, — сказалъ тотъ сердито.

— Я думаю, онъ боится, чтобы мы не попросили у него денегъ, потому и идетъ въ другое мѣсто.

— То-то ты, баба, не въ свое дѣло вѣшиваешься. Иди лучше спать, а завтра пойдемъ въ варницы, можетъ быть какую-нибудь работу достанемъ. — И Горюновъ ушелъ въ избу.

Пелагея Прохоровна успокоилась немного. Она знала, что дядя хотя и прикидывается дуракомъ, но всегда говоритъ правду. И ей стало досадно, что она до сихъ поръ такъ много думала о Коровѣ, который, какъ надо полагать, о ней вовсе не думалъ, потому что, если бы онъ думалъ о ней, то не сказалъ бы ей, что идетъ отсюда въ другое мѣсто, не проживши здѣсь даже и сутокъ. И сказала-то какъ, точно онъ куда-нибудь въ лавку или на улицу уходитъ. А она считала его за своего человѣка; онъ ей нравился: человѣкъ молодой, выскій, степенный, непылющий, работающій...

И какъ ни старалась Пелагея Прохоровна успокоить себя, а заснуть не могла долго: Коровѣвъ разбѣдѣлъ ее. "Въ самомъ дѣлѣ, што я о немъ думаю? Онъ мнѣ чужой, и я ему чужая. И што я сержусь-то на него? Мало ли кто нравится, да я-то ему не нравлюсь".

Пелагея Прохоровна ворочалась съ боку на бокъ, такъ-что полати скрипѣли. Дядя и братья ея храпѣли.

— Оказія!.. Это оттого не спится все, што даве спала... — проговорила шопотомъ Пелагея Прохоровна.

— Не спишь? — произнесъ негромко Коровѣвъ.

Пелагея Прохоровна притаилась, т. е. старалась ни шевельнуться, ни вздохнуть тяжело, чтобы Коровѣвъ думалъ, что она спитъ.

"Погоди!.. Коли ты гордецъ, и я буду такая", — подумала Пелагея Прохоровна.

— Не спишь, говорю? — произнесъ такъ же негромко Коровѣвъ.

"Ладно!" подумала Пелагея Прохоровна, улыбаясь. Но черезъ полчаса она уже сожалѣла о томъ, что не отозвалась на голосъ Коровѣва, а потомъ, пораздумавши, пришла опять къ тому заключенію, что хорошо сдѣлала.

"Если онъ хочетъ говорить со мной, отчего онъ не говоритъ днемъ!.. Ишь, нашелъ время! Проснется дядя или который-нибудь изъ братьевъ, што они подумаютъ? Ему ничего, а мнѣ какво?.. Можетъ, онъ при нихъ не хочетъ говорить..."

Тутъ припомнились ей сцены съ писаремъ, который старался какъ-нибудь поговорить наединѣ; припомнилась ей сцена, какъ писарь полонъ съ ней гряды въ огородѣ: сперва на другомъ концѣ гряды

былъ, а потомъ мало-по-малу все приближался къ ней, ползъ, ползъ — да и обнялъ ее... Посмотрѣла она послѣ на гряды, писарь только видѣ дѣлалъ, что онъ выдергиваетъ траву, потому что травы нисколько не выдернуто.

"Ну, такъ зато былъ тотъ женихъ. Тотъ раньше говорилъ мнѣ, что онъ жить безъ меня не можетъ."

Такъ всю ночь и не спалось Пелагѣ Прохоровнѣ. Въ четыре часа поднялся Коровѣвъ. Ночь была лунная, и луна хорошо освѣщала избу. Коровѣвъ одѣвался. Пелагѣ Прохоровнѣ хотя и хотѣлось спать въ это время, но она вышла во дворъ, чтобы ей не спать. Она сама не могла хорошенько понять, зачѣмъ ей нужно прощаться съ Коровѣвымъ... Вышла она во дворъ. Во дворѣ, крытомъ навѣсомъ, было темно, хотъ глаза выколи. Наткнулась она на что-то, уперлась и заплакала. Одно только она думала, что несчастіе ея нѣтъ женщины: съ дѣтства она не видала свѣтлыхъ дней, съ мужемъ было еще больше горя, и только, живи у Коровѣва, она отдохнула немного, а потомъ опять пошла тяжелая жизнь... Не съ кѣмъ ни поговорить хорошенько; не съ кѣмъ посовѣтоваться, какъ слѣдуетъ; никто не приласкаетъ ее.

— Пелагея Прохоровна! Ты гдѣ? — услышала она голосъ Коровѣва.

Слезы болѣе прежняго пошли изъ глазъ Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

— Ну, о чемъ ты плачешь, Пелагея Прохоровна? — проговорилъ Коровѣвъ, уцепивъ въ темнотѣ Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно, и досадно сдѣлалось, что ее поймали на мѣстѣ въ слезахъ.

— Тебѣ што за дѣло? — проговорила она неровнымъ голосомъ.

— Можетъ быть, и есть дѣло... Вѣдь я слышала, што ты не спала всю ночь.

— Потому и не спала, что кусали.

— Полно-ко, Пелагея Прохоровна... Однако вотъ что я тебѣ долженъ сказать одинъ на одинъ. Тебя я знаю давно, и ты меня знаешь... Пелагея Прохоровна... пошла ли бы ты за меня замужъ?

— Вотъ ужъ!.. — сказала Пелагея Прохоровна, не зная, что сказать въ эту критическую минуту.

— Скажу тебѣ одно, что теперь я не могу жениться, потому что у меня ничего нѣтъ, кромѣ пилы да долота. Теперь я пойду добывать себѣ капиталы, и если Богъ мнѣ поможетъ, да ты не выйдешь замужъ, тогда... А до той поры прощай... Дай мнѣ руку... — Голосъ Коровѣва дрожалъ; онъ говорилъ, точно у него давно накопѣло въ душѣ.

Когда Пелагея Прохоровна протянула ему руку, онъ крѣпко пожалъ ее и сказалъ:

— Твой дядя едва ли долго проживетъ здѣсь... Онъ думаетъ идти на золотые, но я тебѣ иди туда не совѣтую... Здѣсь будетъ лучше, потому что здѣсь и бабы работаютъ... Подожди съ мѣсяцъ, а я поживу въ М. и пришлю тебѣ въ варницы съ кѣмъ-нибудь вѣсточку о своемъ житѣ. Прощай! — Коровѣвъ пожалъ крѣпко руку Пела-

тем Прохоровны, выпустил ее и пошел к калитке.

— Ты ужь развѣ совѣмъ?—спросила съ испугомъ Пелагея Прохоровна.

— Совѣмъ. Кланяйся дядѣ и братьямъ... Тамъ на столѣ я оставилъ хозяйкѣ деньги за постой.

Последнія слова Короваева говорили уже на дорогѣ.

Пелагея Прохоровна остановилась въ калиткѣ и стала смотрѣть на Короваева, который, мѣрно и широко шагая, удалялся все дальше и дальше отъ нея и наконецъ скрылся въ переулокъ. Грустно сдѣлалось Пелагѣй Прохоровнѣ, голова ея отяжелѣла, слезы душили ее.

— Кто тутъ стоять?—крикнула грозно хозяйка съ крыльца.

— Это я... — сказала, едва оправившись отъ испуга, Пелагея Прохоровна и заперла калитку.

— Чего ты тутъ торчишь?

— Товарища нашего проводила — Короваева.

— Какъ? Да онъ мнѣ деньги не заплатилъ!

— Онъ на столѣ оставилъ... Будить тебя не хотѣлъ.

— Што меня будить, когда я всегда въ это время встаю.

Хозяйка зажгла лучину и, удостоверившись, что на столѣ дѣйствительно лежатъ мѣдные деньги, подобрала ихъ. Въ это время Горюновъ проснулся и черезъ минуту сѣлъ, спустивъ ноги съ печки.

— Ушелъ? — спросилъ онъ съ удивленіемъ и полусипугомъ.

— Ушелъ совѣмъ, — сказала Пелагея Прохоровна

— И хорошо сдѣлалъ.

И Терентій Ивановичъ слѣзъ съ печки.

Пелагея Прохоровна долго думала надъ словами дяди, но спросить его не рѣшалась; однако онъ самъ разрѣшилъ ихъ, сказавъ хозяйкѣ, что разошедшись, они не будутъ мѣшать другъ другу и сойдутся вѣстѣ тамъ, гдѣ отыщутъ хорошее житье.

#### IV.

Съ разсвѣтомъ Горюновъ съ племянниками вышли изъ постоялаго дома. Горюновъ сказалъ имъ, что надо искать квартиру, потому что въ постояломъ домѣ жить невыгодно, и нужно присмотрѣться къ селу, котораго они еще не знаютъ. Пришли они на промысла; тамъ работы было только въ варницахъ, да и то половинѣ рабочихъ нечего было дѣлать, почему одни изъ рабочихъ отскабливали снѣгъ отъ дверей, другіе починивали сапоги. Отъ нихъ они узнали, что работа бываетъ временно и тогда народу требуется много; а въ такое время, какъ теперь, работы едва хватаетъ и на сельскихъ жителей, потому что варницы не всѣ пускаютъ въ ходъ въ одно время.

— Вамъ лучше придѣлаться помѣсячно, потому тогда все же какая нибудь работа будетъ. Только надо смотрителю взятку дать, — совѣтовали рабочіе Горюновымъ.

— А сколько онъ положить жалованья?

— Да глядя по человѣку, какъ поправится. Попробуйте; можетъ, онъ и приметъ... На него полоса приходитъ: много время приметъ, въ другое нѣтъ. Вонъ онъ у той варницы саженью ходитъ.

Горюновы выжидали, когда смотритель сѣбралъ полѣвнипу, отпустилъ возчиковъ и пошелъ къ насосу. Горюновы пошли къ нему.

— Почтенный!..—началъ Горюновъ.

Смотритель обернулся, оглядѣлъ Горюновыхъ.

— Мы слышали, у тебя работа есть.

— Ну?—промычалъ сурово смотритель.

— По чѣмъ ты платишь въ мѣсяцъ?

— Это зависитъ отъ того, кто што дѣлаетъ и какъ дѣлаетъ. Только теперь на моихъ варницахъ полный комплектъ. Хотите даромъ.

— Кто же даромъ работаетъ?!

— Ну, и убирайся..

И смотритель пошелъ.

Золъ сдѣлался Терентій Ивановичъ. Злило его то, что ему хвалили Моргуново, и вдругъ тамъ нельзя найти работы, а если и есть, то за нее нужно платить. Однако Горюновъ рѣшился сходить въ квартиру смотрителя.

Смотритель жилъ недалеко отъ варницъ и занималъ цѣлый домъ въ нѣсколько комнатъ. Горюновъ вошелъ въ прихожую, гдѣ мальчикъ годовъ двѣнадцати чистилъ сапоги. Ему пришлось простоять часа два, до тѣхъ поръ, пока смотритель не вышелъ въ прихожую за тѣмъ, чтобы надѣть тулупъ и идти.

— Мнѣ бы по секрету надо поговорить съ твоей милостью...—сказалъ Горюновъ и сдѣлалъ гримасу, которая вызвала улыбку смотрителя.

— У насъ нѣтъ секретовъ.

— Видишь ли: я все могу дѣлать, могу и за рабочими смотрѣть.

— Э! какую ты несешь пѣсню. Да ты знаешь ли порядки-то наши?

— Долго ли узнать: я самъ заводскій человѣкъ, и учить меня нечего... Я и подарить въ состояніи вашу милость, если должность будетъ хороша.

— Однако ты мѣтишь-то ловко! Ну, да ладно, приходи послѣ завтра и приноси двадцать пять рублей. Если найдется мѣсто — назначу, нѣтъ — подожди.

— А позволъ спросить: сколько жалованья?

— Да жалованье казенное: есть и семьдесятъ два рубля въ годъ, и пятьдесятъ четыре рубля, меньше тридцати шести нѣтъ.

Смотритель вышелъ, за нимъ вышелъ и Горюновъ, думая, какъ это можно жить на такое жалованье. „Значитъ воровать нужно“, думалъ Горюновъ. Но что воровать? въ чѣмъ состоитъ та должность, за которую нужно дать смотрителю деньги? Если эта должность принесетъ большой доходъ отъ расцѣтовъ съ рабочими—Вотъ съ ней... „Лучше я на золотые тогда пойду прямо“.

Два дня потомъ Горюновы присматривались къ селу. Хлѣбъ, мясо и прочіе продукты были здѣсь дороже терентьевскаго; народъ отличался отъ терентьевскаго болѣею плутоватостью, и здѣсь

труднее было сбыть вещь въ родѣ жалѣза и чугуна. Квартиры Горюновы не находили, потому что сторонніе дома были заняты семейными рабочими, а въ порядочныхъ домахъ, гдѣ жили небольшія семейства, просили дорого. Хозяйка же постоялаго двора стала притѣснять ихъ за то, что они не стали брать у нея кушанья, и запросила вдругъ за постой по пяти копѣекъ съ человѣка въ сутки безъ права пользованія полатами и печкою, да и у нея въ это время стояли возчики, которые впрочемъ только обогрѣвались и скоро уѣзжали. Эти возчики были жители сосѣднихъ селеній, и дальше своего мѣста они ничего не знали. Поэтому отъ нихъ Горюновъ ничего не могъ узнать для себя полезнаго.

Горюновъ явился къ смотрителю въ назначенный день.

— Ну, мѣсто я для тебя нашелъ, давай деньги.

— Назаръ Пантелеевъ, я человѣкъ пришлый, издержался дорогой.

— Запѣлъ! Эти пѣсни мы знаемъ. Ну, да впрочемъ мы послѣ сочтемъ. Ты только дай мнѣ расписку и своей билетъ.

Горюновъ отдалъ свой билетъ смотрителю.

— Ты будешь наблюдать за вываркой соли и за тѣмъ, чтобы рабочіе не таскали соль съ варницы. Вотъ твоя варница: седьмой номеръ.

Смотритель ввелъ Горюнова въ варницу, сказавъ рабочимъ, что онъ отказалъ Яковлеву и что они должны теперь слушаться Горюнова.

— Каждый день ты мнѣ долженъ представлять отчетъ: сколько полъ варницу брошено дровъ, сколько въ ходу было лошадей, ребятшекъ, и чтобы соль была въ исправности.

Итакъ Горюновъ былъ принятъ въ варницу уставщикомъ съ платою въ годъ по усмотрѣнію смотрителя варницъ. Условія между Горюновымъ и смотрителемъ заключено не было.

Племянники и племянница пошли тоже въ варницы. Имъ полагалась плата поденно, какъ и прочимъ рабочимъ, которые получали за двѣнадцать часовъ двадцать копѣекъ. Но такъ какъ въ варницѣ былъ полный комплектъ рабочихъ, то рабочіе изъяснили Горюнову свое неудовольствіе.

— Ну, братцы, какъ-нибудь... Покажемъ, что нужно было больше рабочихъ, — говорилъ Горюновъ.

— Нечего тутъ и показывать, когда Назарко и такъ обдѣливаетъ рабочихъ.

— Ну, у меня не обдѣлать. Много будете мной благодарны.

Рабочіе въ первый день много смѣялись надъ Горюновымъ, который въ солянкомъ дѣлѣ рѣшительно ничего не смыслилъ. Такъ напр., онъ чуть не задохся отъ дыма, который шелъ изъ-подъ ямы, надъ которой сдѣлана четырехсаженная квадратная цирень или по-промысловому сковорода. Дымоводныхъ трубъ отъ этой ямы сдѣлано не было, и поэтому дымъ разстилался облаками по всей варницѣ и потомъ уходилъ въ отверстія, сдѣланныя въ крышѣ варницы. И хорошо еще, что рабочіе были хорошіе, знали дѣло какъ слѣдуетъ, и Горюнову не нужно было понукать и указывать. По ихъ

понятію, Горюновъ здѣсь былъ совсѣмъ ненужный человѣкъ, и если онъ терся около кого-нибудь, то ему совѣтовали идти спать, а не мѣшать. Племянникамъ его и Пелагеевъ Прехоровичъ ничего не давали дѣлать, но такъ какъ они мѣшали имъ, то и заставляли ихъ кидать въ печь подъ цирень дрова. Это имъ на первый разъ казалось очень тяжело во-первыхъ потому, что имъ приходилось бросать полуторааршинныя полѣнья, а во-вторыхъ — у печи было слишкомъ жарко. Смотритель навѣстилъ по вечеру новаго уставщика и распеку какъ его, такъ и рабочихъ, за то, что въ цирень было пущено очень много разсола.

— Што ты дѣлаешь, разбойникъ! Вы-то што, олухи эдакіе, дѣлаете? Ахъ, бѣда! — кричалъ и бѣгалъ смотритель около цирени, наполненной разсоломъ.

Горюновъ ничего не понималъ, но однако сказалъ:

— Ну, дакъ што-жъ такое?

— Ты што, спать што ли хошь варницу? Ты знаешь ли, што какъ пустишь на приводъ, она вспыхнетъ? Понялъ ли ты это?

Горюновъ почесалъ затылокъ.

Ночью варницу пустили на приводъ, т. е. прекратили топку, заперли варницу и печь закрыли для того, чтобы соль изъ густого и горячаго разсола осадилась. Въ такомъ положеніи варницу оставляютъ на двѣнадцать и шестнадцать часовъ. Утромъ Горюновъ сталъ проситься въ село, такъ какъ у него не было хлѣба.

— Оставь у варницы двоихъ для караула, а самъ приходи часа черезъ три, потому надо будетъ разсолъ, который прокипитъ теперь, на полата скидывать.

Горюновы вышли изъ промысловъ. Они хотѣли идти на рынокъ за покупкою хлѣба на остальные деньги, но съ ними встрѣтился тотъ самый полѣсовщикъ, съ которымъ они видѣлись недалеко отъ села. Онъ несъ на спинѣ три пары глухарей.

— А! знакомые! Што, ужъ робите? — спросилъ онъ.

— Меня въ уставщики взяли, — сказалъ Горюновъ.

— Сколько взялъ?

— Пресить двадцать пять, да я еще не далъ ничего.

— Смотри, братъ, не плошай! Онъ уставщикомъ какъ лошадьми мѣняетъ. Гдѣ вы живете?

Горюновъ сказалъ, что еще не нашелъ квартиры.

— Э! Ты бы меня спросилъ, когда мы встрѣтились на большой дорогѣ. Хошь у меня жить? Я къ своей избенкѣ пристройку сдѣлалъ для сына, онъ померъ, дай ему Богъ царство небесное!

Полѣсовщикъ началъ рассказывать про умершаго сына, который былъ и силенъ, и уменъ, и красавецъ. Противъ его сына не было во всемъ селѣ такого зубоскала и насмѣшника. И къ работѣ онъ былъ прилеженъ, и случалось, что прокармливалъ все семейство, когда отецъ и мать хворали. И совсѣмъ было парень чуть не женился на первой заводской красавицѣ, да, Богъ его знаетъ отчего, съ нимъ такая притча случилась: осенью онъ плылъ на

лодке, въ которой было два мѣшка съ солью. Плылъ, какъ и всегда, какъ ни въ чемъ не бывало, ночью — и вдругъ наплылъ на колъ. Засѣла лодка на колу — ни впередъ, ни назадъ, вертится во всѣ стороны, хотъ ты што хошь дѣлай! Всталъ Никитка, лодка и перевернись. Очутился Никитка въ водѣ, думалъ стать, да ногами дна не могъ ощупать. А лодка перевернулась, набом зацѣпляются за колъ, мѣсто быстрое, вода бурлитъ, дуетъ рѣзкій вѣтеръ, льдинки маленькія такъ и стучать объ лодку... Кое-какъ справился, сѣлъ въ лодку и поплылъ мѣшка разыскивать. Про соль-то ужъ онъ и не думалъ, мѣшковъ жалко было. Плавалъ долго: ему кажется, будто мѣшокъ плыветъ, а то — льдинка. Все-таки одинъ мѣшокъ отыскалъ. Ну, и захворалъ, и дня черезъ три померъ...

— Ну, да чему быть, того не миновать! Всѣ подъ Богомъ ходятъ, — заключилъ полѣсовщикъ, утеревъ правый глазъ кулакомъ.

— А вотъ дома-то я ужъ полторы недѣли не бывалъ. Мясо вовсе не ѣдалъ, и глухари были, да жалко. Сожрать не долго, а пользы никакой не будетъ. Моя старуха привозила простокваши да хлеба, — питался славно... А тутъ и перестала. Ну, голодъ-то не тетка, плюнулъ на все и пошелъ

Полѣсовщикъ повелъ Горюновыѣ на рынокъ и проходилъ тамъ около часу, потому что за глухарей не давали того, что онъ просилъ. Кое-какъ онъ продалъ ихъ за тридцать копѣекъ.

На рынокъ встрѣтились съ нимъ его пріятели. Пріятели эти были такого рода: они рубили воровски лѣсъ на дрова въ сосѣдней дѣлянкѣ и провозили дрова мимо полѣсовщика, которому и давали кое-когда что-нибудь. Пріятели позвали его въ харчевню напиться чаю, потому что они хорошо продали дрова. Полѣсовщикъ сталъ звать и Горюновыѣ, тѣ отговаривались тѣмъ, что имъ некогда.

— Толкуйте! Это смотритель для того велѣлъ приходить такъ рано, шобы дать намъ за ту же все цѣну другую работу.

И пріятели полѣсовщика тоже стали приглашать Горюновыѣ для компаніи. Они пошли. Въ харчевнѣ никого не было кромѣ хозяйки, молодой женщины, которая, какъ пришли посѣтителы, спала, сидя на лавкѣ и положивши голову на руки, которыя лежали на столѣ. При входѣ посѣтителы она проснулась.

— Вотъ она лѣнь — продать ее на ремень! — проговорилъ одинъ изъ пріятелей полѣсовщика.

— Никого нѣту, — скука, я и заснула, — проговорила хозяйка, широко зѣвая.

— Али мужа-то нѣту?

— А шобы ему поколѣть! Вчера утромъ пріѣхалъ изъ Демьянова пьяный-препьяный и давай драться... Кое-какъ скрутила его, привадила за голову да за ноги къ кровати, — уснулъ. Пробудился, — а ему косушку поставила... Ну, думаю, поправился человекъ, пошла на рынокъ. Прихожу, а онъ, — шобы ему чирей въ горло! — сидитъ пьяный у стола, а на полу, передъ нимъ, разбитая бутылка валяется...

— А какой славный былъ мужикъ! — дивились пріятели полѣсовщика.

— Ну ужъ... Никакого удовольствія не можетъ доставить! Што это за мужъ!

Пріятели угостили полѣсовщика водкой и сами выпили. Горюновы не принимали никакого участія ни въ разговорахъ, ни въ угощеніи. Мужчины закурили трубки; хозяйка подозвала Пелагею Прокоровну, распросила все и стала ей изливать свое горе. Горе, по ея рассказамъ, заключалось въ томъ, что харчевню она открыла на свои деньги, а такъ какъ ей одной трудно управиться со всѣмъ безъ мужнины, какъ напр. купить водки, а братьевъ или свободныхъ родныхъ у нея нѣтъ, то она и согласилась выйти замужъ за товарища дѣтства. Но онъ ее обманулъ, потому что и не любитъ ее, и лѣнивъ, и пьяница.

— Думаю, думаю, мать моя, какъ бы мнѣ лучше сдѣлать, — ничего не выходитъ! А если эдакъ все будетъ, пожалуй въ долги войдемъ. А у насъ, я тѣ скажу, стоитъ только разъ попасть въ долги, такъ запутаешься, что не приведи Богъ. Наше дѣло такое, што займовать приходится не копѣйками, а рублями.. А если взялъ рубль, такъ говорятъ — отдай въ срокъ да всѣ сполна, а не то и опечатаютъ, а потомъ и потянутъ къ посреднику на расправу: тотъ и приговоритъ работать на того, кто деньги далъ... Такъ заведеніе и перейдетъ въ чужія руки. А будь-ко бы помощникъ хороній мужчина, — не то бы было.

— Ты бы наняла.

— Наняла? — хозяйка покачала головой и прибавила: — вотъ и видно, што ты еще мало мытарствъ прошла. Вонъ мужики знаютъ меня.

— Какъ не знать, Степанида Игнатьевна! Давно знаемъ и дивимся твоему уму-разуму. А дай-ко намъ еще по стаканчику.

Выпили еще по стаканчику.

— Ахъ, кабы да воля была! Срубилъ бы я дерево! — сказалъ полѣсовщикъ, отчаянно ударивъ кулакомъ о столъ.

— А ты сруби — кто тебѣ не велитъ.

— Нельзя, — дерево примѣтное.

— А ты сруби, да и скажи: вѣтромъ, молъ. сломало.

— Не то вы толкуете... А это дерево у меня, какъ бѣльмо на глазу. Много оно мнѣ причинило горя. Вотъ хотъ бы, къ примѣру, сыну помереть, такъ што бы вы думали? Какъ ночь — оно и выть. Эй-Богу!

— Можетъ, тамъ кладъ какой есть.

— Копаль, — хотъ бы камень.

Начался разговоръ о кладахъ. Рассказывали, какъ одинъ мастеровой, копая яму для погребушки, вырылъ чугунъ старинной формы съ старомъ золотомъ монетою. Взялъ да и объявилъ начальству, потому что былъ дуракъ; начальство куда-то представило монеты. Такъ ничего и не получилъ мастеровой, а только послѣ этого помѣшался — весь огорождъ изрылъ, такъ что огорождъ ни на что не сталъ годенъ.

— А вотъ такъ на золотыхъ рабочихъ лучше поступаютъ.

— Какъ?

— Проместь золото золотишковъ десять и завяжетъ въ тряпку, а какъ идти съ присковъ, и заткнеть его... Да! Такіе, братецъ ты мой, есть богатен, — что! Дома какіе настроили.

— Это гдѣ же? — спросилъ Терентій Ивановичъ.

— Въ нашихъ мѣстахъ. Подъ одного мужика начальство долго подкапывалось, ничего не могло сдѣлать; и угрозы не подѣйствовали. Вышь ли! Онъ домъ большой въ селѣ имѣлъ; внизу самъ жилъ, ну, и постоянный дворъ держалъ. А сперва куда какъ бѣденъ былъ. Ну, начальство думаетъ, на какіе капиталы нашъ мужикъ разжился? Сосѣди тоже удивляются и завидуютъ. Земли много приобрѣлъ и деньги вносятъ безъ принужденія. Только въ городъ ѣздить и такъ подолгу живеть. Разъ даже становой обыскать его велѣлъ среди дороги. Такъ, братецъ ты мой, онъ губернатору жаловаться сталъ, станового и смѣняли. А тутъ, слушаютъ, вдругъ говорятъ: онъ фальшивыя деньги дѣлаетъ, потому что у него нашли фальшивый золотой въ пять рублей. Ну, и посадили въ острогъ, а потомъ въ городъ плетеныя драли... И человѣкъ ни за что погибъ! А погибъ онъ потому, что какой-то раскольникъ далъ выѣсть съ золотомъ и монету. Хотя онъ и говорилъ, што нашель монету, однако его и драли, и били, и ѣсть не давали, чтобы онъ сознался, што самъ дѣлалъ деньги... Однако говорили, што онъ убѣждалъ еще до каторги, и гдѣ теперь — не извѣстно.

— А надо бы попытаться на прискахъ.

— Я бы непремѣнно пошелъ, кабы не ребяташки.

— И съ ними можно.

— Ну, нѣтъ. Надо сперва самому попробовать: если хорошо — и семейство взять, а худо — наплевать.

Посѣтители вышли изъ харчевни, и пріятели расстались съ полѣсовщикомъ и Горюновыми. Полѣсовщикъ пошелъ рядомъ съ Терентіемъ Ивановичемъ. Оба шли сперва молча; полѣсовщикъ первый проговорилъ:

— Охо-хо! Жизнь она — жизнь!

— Ште и говорить.

— Вѣрно нашему брату, мужику, нигдѣ нѣтъ счастья.

— Ну, это еще надо извѣдать.

— Извѣдать! Хорошо тебѣ говорить, коли у тебя нѣту жены и ребятъ... Ты всталъ, да и пошелъ!.. А я на твоемъ мѣстѣ, ей-Богу бы, на золотые пошелъ.

— Да я и думаю.

— Ахъ, кабы я одинъ былъ! Ужъ давно я объ этомъ предметѣ думаю! Эхъ, горе, горе! Вотъ теперь только и есть капиталу, што тридцать копѣекъ... А срублю же я это дерево, будь оно проклято! — заключилъ съ отчаяніемъ полѣсовщикъ.

## V.

Домъ полѣсовщика, Елизара Матвѣича Ульянова, ничѣмъ не отличался отъ прочихъ домовъ своею наружностью: такой же высокій фундаментъ съ высокими завалинами на случай потопа, т. е. разлитія рѣкъ Дуги и Ульи, идущей мимо дома Ульянова и

впадающей въ Дугу верстахъ въ двухъ отъ его дома; такъ же высоко отъ завалинъ сдѣланы въ домѣ два окна, находящіеся другъ отъ друга на разстояніи одной сажени, изъ которыхъ одно выше другого цѣлымъ поларшиномъ. Однимъ словомъ, наружный видъ дома свидѣтельствовалъ, что хозяинъ его былъ человѣкъ практической, и если самъ не испыталъ непріятности, причиняемой разливомъ рѣкъ, то видалъ по крайней мѣрѣ это. Внутри домъ имѣлъ избу съ печкой и полатами и горницу съ однимъ окномъ, выходящимъ на рѣку, съ лежанкою безъ тепла, устроенною потому, что промысловые такъ устриваютъ, и потому еще, что кирпичъ некуда было дѣвать. Двѣ стѣны въ этой горницѣ оклеены бумагой, третью еще только начали оклеивать, да бумаги не хватило. Въ горницѣ стоитъ крашеный столъ, два стула простой работы, тоже окрашенные; на окнѣ стоятъ два горшка, изъ коихъ въ одномъ растетъ лукъ, а въ другомъ красный перецъ, а на шкафикѣ, стоящемъ въ углу, противъ лежанки, стоитъ самоваръ, покрытый большой тряпичей.

У Елизара Матвѣича было кромѣ жены, Степаниды Власовны, четверо дѣтей, изъ коихъ дочери Елизаветѣ теперь шелъ восемнадцатый, а самой меньшей дочери Марьѣ — четыре года.

Принадлежа помѣщику, Елизаръ Матвѣичъ рано былъ взятъ на работы. Управляющій имѣніемъ и людьми, думая угодить помѣщику и стараясь самъ со временемъ сдѣлаться солепромышленникомъ, такъ сказать, выжималъ весь сокъ изъ крѣпостного человѣка: мало того, что заставлялъ мужичинъ работать безъ отдыха, онъ требовалъ, чтобы и бабы, дѣвки и ребята не шалберничали дома, а были на промыслахъ, и если на промыслахъ его хозяина не было работы для всѣхъ, то работали бы по найму для другихъ управляющихъ, преимущественно его тестя. Работая на варницахъ, Ульяновъ ничего не нажилъ. Правда, жена принесла ему въ приданое самоваръ, но чай онъ пилъ только въ самые большіе праздники, и то для того, чтобы не отстать отъ товарищей, которые все-таки считали себя почему-то выше горнозаводскихъ людей, хотя и разнились отъ нихъ только родомъ занятій, да свободнымъ обращеніемъ съ мелкимъ начальствомъ, которое сильно трусило рабочихъ, потому что бывали примѣры такого рода, что одного смотрителя столкнули въ избарь, гдѣ онъ задохнулся въ соли; другого начали катать для того, чтобы бросить въ адъ — или печь подъ циренью; третьяго хотѣли сварить съ разсоломъ.. Ульяновъ, какъ и прочіе, жилъ день за днемъ, не сыто и не голодно, и поэтому у него даже праздниковъ не бывало, т. е. праздники или свободные дни хотя и были, но ему не было весело, и если онъ пилъ водку, пѣлъ пѣсни, такъ потому, чтобы не отстать отъ товарищей и показывать, что и онъ промысловый рабочій... А тутъ пошли дѣти. съ дѣтми увеличались еще болѣе прежняго нужды. Но все-таки хозяйка его умѣла управляться такъ, что дѣти не умирали съ голоду. Провіантъ, т. е. мука, получаемая за работу мужа и ея, шла для ѣды, а то, что давала корова, шло въ продажу; и хотя Елизаръ Матвѣичъ и дѣлалъ

берестяные бураки, лубочные наберухи, лукошки, но за них давали очень мало, потому что мастеров этого рода было в селѣ много. Пашень промысловымъ рабочимъ не давали, покосы были большіе, и сѣна съ нихъ едва-едва хватало для коровы.

Когда же Елизаръ Матвѣичъ поступилъ въ полѣсовщики—по протекціи его жены, которая носила лѣсничему молоко и, какъ толковали злые бабенки, имѣла съ нимъ любовную связь, — тогда для Елизара Матвѣича настала другая жизнь. Дѣло въ томъ, что назавдъ тому десять лѣтъ лѣсу было такъ много въ дистанціи Елизара Матвѣича, что онъ называлъ его непроходимымъ; на этотъ лѣсъ всѣ, начиная отъ лѣсничаго и кончая сторожемъ, смотрѣли какъ на доходную статью, потому что никому и въ голову не приходило, что отъ порубокъ лѣсъ будетъ сперва рѣдѣть, а потомъ и совсѣмъ исчезнетъ. Лѣсничій заставлялъ лѣсныхъ сторожей рубить для него лѣсъ на дрова и бревна, заставлялъ строить ему домъ, помощникъ его тоже, и т. д.; сторожа знали, что начальство не стѣсняясь продастъ лѣсъ, а потому и сами распоряжались деревьями по своему усмотрѣнію. Годовъ шесть Елизаръ Матвѣичъ блаженствовалъ: въ будни носилъ ситцевыя рубахи, въ каждое воскресенье дома варило пиво, но Елизаръ не хотѣлъ пить пиво: ему нравилось сидѣть въ харчевнѣ или въ кабацѣ за косушкой свистуи съ веселой компаніей, отъ которой онъ узнавалъ новости и происшествія, случившіяся въ его отсутствіе; у жены его были двѣ коровы, много гусей, утокъ и курицъ; въ большіе праздники супруги не садились за столъ безъ пирога съ просоленымъ сигаомъ и безъ жаренаго поросенка; дѣти ходили не оборванными. И деньги водились какъ у мужа, такъ и у жены, которая хорошо работала на промыслахъ или, вѣрнѣе сказать, отъ скуки и отъ нечего дѣлать проводила тамъ цѣлые дни. Одно только не нравилось тогда Елизару Матвѣичу, что въ кордонѣ находилось двое полѣсовщиковъ, которые чередовались понедѣльно, отчего Елизаръ Матвѣичъ говорилъ, что его товарищъ собираетъ его доходы въ свою пользу. Но и тутъ по просьбѣ его жены прогнали другого полѣсовщика — и онъ остался одинъ. Но въ это время лѣсу уже стало меньше; начальство стало строже, чаще и чаще оно стало придирается, а разъ даже лѣсничій приказалъ дать ему двадцать пять розогъ за то, что онъ не досмотрѣлъ, кто стравилъ въ просѣвѣ межевой знакъ со столба, хотя Ульяновъ и зналъ, что знакъ стравленъ по приказанію того же лѣсничаго. Доходилки все-таки были, потому что чѣмъ строже лѣсные сторожа, тѣмъ лѣсоисстребленіе и кража идутъ успѣшнѣе и ловчѣе, а стало быть и плата за пропускъ мимо кордона дровъ и бревенъ увеличивается. На послѣдокъ однакоже доходы стали уменьшаться, и хотя онъ былъ и одинъ на кордонѣ, но ловить было некого, такъ какъ крестьяне и мастеровые предпочитали удобнѣе и выгоднѣе производить порубки въ другихъ мѣстахъ. Съ пріѣздомъ новаго лѣсничаго, изъ молодыхъ и ученыхъ, трудно было поживиться чѣмъ-нибудь. Дистанція была раздѣлена на площади, въ каждой

площади деревья сосчитаны, выправлены столбы. Теперь и для себя было опасно рубить лѣсъ, и если Ульяновъ крѣпко нуждался въ деньгахъ, то со страхомъ и трепетомъ принимался за рубку—часто оставаясь и прислушиваясь то къ эху, то къ шелесту листьевъ. Къ счастью его новый лѣсничій не заглядывалъ уже больше въ лѣсъ. Только разъ перепугался Ульяновъ: наѣхали землемѣры, натянули цѣли, наставили треножекъ, но и отъ нихъ онъ отдѣлался, угостивъ ихъ солянкой изъ яицъ и полиштофомъ водки.

Трудно было отставать Ульяновымъ отъ хорошей жизни. Приходилось сперва закалывать утокъ и нести ихъ на продажу, потомъ пришлось продать не только гусей, но и одну корову. Надѣялся Ульяновъ на то, что его переведутъ въ хорошее мѣсто за его честную службу, но не переводили. Износились ситцевыя рубахи, пришлось покупать лентъ, чесать, прясть, бѣлить нитки и ткать; дѣти выросли, въ селѣ все подорожало, за трудъ дѣтямъ давали мало, пришлось и лошадей продать, изъ боязни, чтобы ее не замучили въ варницахъ, куда ее часто брали по требованію.

Но вотъ вышла воля. Объявили и Ульянову, что онъ теперь временно-обязанный, и если захочетъ, то пусть остается полѣсовщикомъ за десять руб. въ годъ. Подумалъ Ульяновъ съ недѣлю, потолковалъ съ пріятелями и остался, потому что ему нравилась уединенная жизнь, и онъ выдумалъ огаливать толстыя деревья, растущія внутри дистанціи, т. е. обрубать толстыя отростки на дрова и рубить тонкія деревья и кустарники. Времени у него было много свободнаго, и онъ эти отростки и кустарники рубилъ на дрова, которые и продавалъ. Кроме этого онъ могъ стрѣлять птицу, забираясь въ чужія дистанціи, доставать бересту, лыко, лубки на разныя подѣлки. Но и это въ послѣднее время до того оскудѣло, что онъ подумывалъ заняться какимъ-нибудь другимъ дѣломъ; однако выгоднаго и сподручнаго пока не находилось. Прежде на дѣтей давали муку, и Елизаръ Матвѣичъ радовался появленію на свѣтъ новаго *бахаря*, и горевалъ, когда этотъ бахаръ проживалъ полгода или еще менѣе; но теперь онъ и четвернымъ дѣтямъ не радъ, а что было бы, если бы у него всѣ одиннадцать дѣтей были живы! Хорошо еще, что Лизавета носитъ на промыслахъ соль и получаетъ поденщину отъ пятнадцати до двадцати коп., но велики ли эти деньги, если работы на промыслахъ для бабъ и дѣвокъ бываютъ раза четыре въ мѣсяцъ. А развѣ она на восемь гривенъ съѣстъ? Ей надо и одѣться, и башмаки нужны, потому что она дѣвушка невѣста, промысловая красавица, которой стыдно въ люди показаться босою съ грязными лапшами. Хорошо еще, что Степанъ работаетъ на промыслахъ и получаетъ отъ пяти до десяти коп. въ день—все же хоть самъ себя кормить и таскаетъ матери кое-когда салынные огарки и мать его имѣетъ отъ нихъ кое-какую выгоду. Но еще двое дѣтей у Ульянова. Никиту отецъ давно бы пристроилъ куда-нибудь, да онъ какой-то хилый, точъ-въ-точъ какъ захоточный лѣсничій, а Машка еще недавно только бѣгать начала.

Когда Ульяновъ вошелъ въ избу съ Горюновыми, жена его, худощавая женщина съ изнуреннымъ лицомъ, но еще не совсѣмъ утратившимъ прежнюю красоту, сидя на печкѣ, прила шерсть; Никита и Марья, сидя на полу передъ матерью, чесали куделю, отчего въ избѣ было очень пыльно, а на полу по всей избѣ много сору. Лизавета Елизаровна ткала въ комнатѣ половникъ. Она была высокая, здоровая дѣвушка, такъ что по загорѣлому или красному отъ вѣтра и отъ огня лицу ея ей можно было дать года двадцать два. Руки ея были довольно развиты, крѣпкими жестки, что доказывало, что она уже давно знакома съ тяжелой работой, а прямой надменный взглядъ ея карихъ глазъ какъ будто говорилъ, что она не боится никого.

— Здорово, старушка!... Ахъ, вы проклятые! Развѣ нѣтъ вамъ бани?... Нашли, гдѣ куделю чесать,—проговорилъ хозяйникъ, обращаясь сперва къ женѣ, потомъ къ дѣтямъ.

— Ну, гости дорогіе, садитесь. Вотъ она, моя-то хата! Тѣсновата, да зато тепло какъ въ раю.

— Ужъ не говорилъ бы! Не то время!...—проговорила хозяйка, слѣзая съ печки.

Она оглядѣла вошедшихъ подозрительно, слегка поклонившись имъ.

— Прежде жарили, знаешь какъ, печь-ту, потому учета не было, а теперь берешь полѣно-то, да и ожигаешься.

— А ты бы взяла да и расколола его на-пятеро,—сказалъ Терентій Ивановичъ.

Хозяйка посмотрѣла на него съ презрѣніемъ, сложила руки на груди и сказала дочери:

— Лизавета, накорми отца-то.

Лизавета сидѣла у окна противъ двери въ избу и смотрѣла на вошедшихъ гостей, особенно на Пелагею Прохоровну и Григорья Прохоровича, которые смотрѣли то на нее, то на прясло.

— Сама корми,—некогда... Еще бы онъ привелъ чуть не полную избу,—проговорила недовольно дочь.

Хозяйка ушла въ сѣни, а Пелагея Прохоровна не утерпѣла и вошла въ комнату, гдѣ между нею и хозяйской дочерью скоро завязалось знакомство. На много погодя, хозяйка приготовила кушанье для мужа: натерла рѣдьки въ большую деревянную чашку, налила въ чашку квасу и ложку коноплянаго масла. Хозяинъ сталъ приглашать ѣсть и гостей, но они отказались, говоря, что еще съ осени закормлены.

— Какъ ты думаешь, Власовна,—началъ нерѣшительно мужъ послѣ того, какъ жена узнала, кто такіе гости:—я хочу ихъ пустить въ ту половину,

— Ужъ ты вѣчно такъ. Ужъ если ты думаешь, такъ ужъ чево и говорить.

— А ты какъ думаешь?

— Чево мнѣ думать!? Ты всегда хорошо дѣлалъ: по твоей лѣнѣ да пьянству вотъ мы до чего дошли! Мнѣ што! Хочешь, штобы сгноили—пускай.

— Слышала, дядя Терентій, какова у меня баба-то? Если я што захочу, не нравится, и носъ кверху задернеть, а если она што захочетъ, такъ такъ тому и быть слѣдуетъ.

— Дуракъ...

— Сѣлъ медъ буракъ.

— По чьей милости ты въ полѣсовщики-то попалъ?—сказала жена обидчиво.

— О! Всѣ знаютъ... Сказать ли?

— Уйди, безсовѣстный!...—И жена ушла въ комнату, гдѣ Пелагея Прохоровна уже свободно разговаривала съ хозяйской дочерью.

Горюновы поселились въ другой половинѣ дома Ульяновыхъ, но первую ночь ночевали на промыслахъ, потому что квартиру нужно было протопить, а дровъ Степанида Власовна не давала, говоря, что имъ очень мало для себя. Въ квартиру они вернулись на другой день вечеромъ, и каждый изъ нихъ несъ или по два длинныхъ толстыхъ полѣна, или по одному, смотря по силамъ каждого. Но только-что они вошли во дворъ, какъ услышали крикъ въ хозяйской половинѣ, а Лизавета Елизаровна, стоя у рукомойки, плакала.

— О чемъ, дѣвка, плачешь? О чемъ слезы льешь?—сказалъ шутя Терентій Ивановичъ.

— Охъ! тятенька пьяный пришелъ! Уймите вы его, онъ убьетъ мамоньку.

— Проводи-ко ты, голубушка, на квартиру-то, а я ужъ пойду погляжу, что хозяйникъ творить.

Лизавета Елизаровна повела жильцовъ въ новую половину, а Терентій Ивановичъ пошелъ къ хозяину.

Елизаръ Матвѣичъ, сидя у стола и держа въ одной рукѣ маленькій пузырекъ, ругался. Онъ былъ пьянъ.

— Э! сосѣдь!! Посмотри-ко, што моя-то благовѣрная творить!.. Отравить хочеть!—кричалъ Ульяновъ.

— Полно-ко, Матвѣичъ, дурить-то?

— Не вѣришь? Ты мнѣ не вѣришь, што она съ лѣсничемъ жила?..

— Мнѣ какое дѣло!

— Тебѣ нѣтъ дѣла, а мнѣ есть... Теперича ты не вѣришь, што она меня хочеть отравить; а ты еще вѣрно забылъ, што я твой хозяйникъ и могу теперича тебя въ зашей!

— Да съ чево ей отравлять-то тебя?

— Нѣтъ, ты послушай...

Въ избу вошла Степанида Власовна съ избитыми щеками, изъ носа ея сочилась кровь.

— Варваръ ты! Разбойникъ!...—кричала Степанида Власовна.

Мужъ поднялся съ лавки, но Горюновъ усадилъ его.

— Постой! ты знай, что я въ рудникахъ робилъ и не эдакихъ еще скручивалъ... Ты погляди, дѣлъ бы на себя-то, на кого ты похожъ?..

— Я? ты думаешь: кто я? Я—лѣсной князь, потому я надъ лѣсомъ командую.

Ульяновъ вошелъ въ свою сферу и сталъ говорить о своей лѣсной службѣ, и наконецъ вошелъ въ такой пафосъ, что, размахивая руками, бросилъ сткланку, не замѣтивъ того самъ, а Горюновъ подобралъ и положилъ въ карманъ своего тулупа.

Между тѣмъ Степанида Власовна вышла на дворъ. Тамъ Григорій Прохорычъ возился съ толстымъ сучковатымъ полѣномъ. Какъ онъ ни ухитрялся расколоть его, оно не раскалывалось, а только

топоръ крѣиче прежняго засѣдалъ въ немъ. Пелагея Прохорова и Лизавета Елизаровна стояли недалеко отъ него и хохотали.

— Да скоро ли, Гришка? Заморозить, што ли, насъ хочешь?!—говорила сестра.

— Гдѣ ему, вихлаку, расколоть!—говорила, смѣясь, Лизавета Елизаровна.

— А вотъ расколю! Уйдете ли вы?!—горячился Григорій Прохорычъ.

— Охъ ты, заводская лопата! И полѣно-то расколоть не умѣешь...

— Ты бойка! Ну, расколи! Расколи!—

Затопили печь-ту?—спросила Степанида Власовна.

— Да вотъ дожидаемся, когда этотъ вихлакъ расколеть,— сказала Пелагея Прохорова.

Хозяйка пошла въ квартиру Горюновыхъ, за нею и Лизавета Елизаровна съ Пелагеей Прохоровой.

Григорья Прохорыча потъ пробиралъ крѣпко, и ему очень было стыдно, что его осрамила хозяйская дочь, красивая дѣвка, которую такъ и хотѣлось ему по заводскому обыкновенію ушипнуть. И выбралъ же онъ такое полѣно проклятое... нужно же было ей войти во дворъ съ сестрой; но не будь ея, онъ скорѣе бы расколелъ полѣно, а то никакъ онъ не можетъ попасть, куда слѣдуетъ. Однако все-таки онъ расколелъ полѣно, и когда пошелъ въ квартиру, хозяйка уже выходила изъ нея.

— Гляди, дѣвка, наше полѣно взяла, ей-Богу!— сказала Лизавета Елизаровна.

— Есть што брать! Погляди на щепки сперва, потомъ говори.

— Будь ты проклятая, хвастушка!

Дѣвицы занялись разговорами, но не долго: кто-то застучалъ въ стѣну, и Лизавета Елизаровна убѣжала, оставивъ своихъ сестру и брата у Горюновыхъ.

Елизаръ Матвѣичъ, объявивъ своей супругѣ, что завтра чѣмъ свѣтъ онъ отправляется въ лѣсъ и поэтому ему нужно напечь хлѣба, отправился съ Горюновыми въ варницы. Это путешествіе въ варницы супруга объяснила тѣмъ, что онъ нашелъ по себѣ пріятеля пьяницу, а такъ какъ у новаго пріятеля нѣтъ денегъ, то онъ повелъ его разыскивать другихъ пріятелей, чтобы напиться пьяному.

— И откуда это онъ все такихъ пріятелей пріобрѣтаетъ?—спросила дочь.

— Небось ты рада!

— Есть чему мнѣ радоваться.

— То-то будешь опять строить ласы-балаасы...

— Мамошка...

— Думаешь, не знаю, какъ ты съ Ванькой Зубаревымъ... Смотри-ко-сь, брюхо-то вздуло.. Варначка! \*).

Лизавета Елизаровна надула губы, сѣла къ окну, задумалась, утерла появившіяся на глазахъ слезы.

— Чего тамъ прихилилась (притаилась)... Я думаю, надо квашню заводить, — крикнула мать.

На другой день утромъ Ульяновъ отправился въ лѣсъ, взявъ съ собой три ковриги хлѣба и буракъ

съ простоквашей. Онъ было началъ придирааться къ дочери насчетъ стѣлянки, но дочь успокоила его, что стѣлянку ея матери принесли фельдшеръ и въ этой банкѣ былъ спиртъ, которымъ мать терла себѣ лѣвую руку.

— То-то смотрите вы... Доведете вы меня до того, што я брошу васъ,—сказалъ Елизаръ Матвѣичъ.

Но такъ какъ эти слова доводилось и женѣ, и дочери слушать не въ первый разъ, то и теперь нѣтъ въ семействѣ Ульянова не придали никакого значенія.

## VI.

Черезъ недѣлю послѣ того, какъ Горюновы во дворились въ домъ Ульяновыхъ и послѣ ухода на кордонъ Ульянова, Терентій Ивановичъ сказалъ, что завтра будутъ носить изъ прокопьевскихъ и алтуповскихъ варницъ въ амбары соль. А такъ какъ эта вѣсть распространилась по всему прибрежью отъ другихъ рабочихъ, то все населеніе прибрежья и другихъ улицъ, въ домахъ которыхъ живутъ преимущественно бѣдные семейства, еще съ вечера стало готовиться на работу на завтрашній день. Еще съ вечера въ домахъ происходили ссоры братьевъ съ сестрами изъ-за того, что братья хотѣли оставить работы въ варницахъ и другихъ мѣстахъ и заняться соленошеніемъ. Сестры говорили, что это занятіе бабье, а не мужское, потому что бабамъ нѣту такого положенія, чтобы работать въ варницахъ. Отцы и матери старались прекратить эти ссоры тѣмъ заключеніемъ, что на промыслахъ съ самаго основанія ихъ соль носили бабы, что это дѣло бабье, и только въ случаѣ недостачи бабъ прихватываются мужчины. Но самая вражда женщинъ къ мужчинамъ еще больше выразилась утромъ на промыслахъ.

Утромъ въ шестомъ часу, передъ домомъ смотрителя, на площадкѣ, стояло сотни двѣ женщинъ и съ полсотни мужчинъ. Было темно, шель свѣтъ, и по тѣснотѣ происходила толкотня, тычки, щипки, взвизгиванья, руганье и хохотъ. Здѣсь ничего нельзя было разобрать: голосили женщины на разные лады, кричали и свистали мужчины, пищали ребяташки.

— Бабы! Гоните прочь мужиковъ! — кричитъ женщина.

— Отгоняйте ихъ къ полѣнницамъ! — кричитъ другая.

— Попробуй, коли бойка...

— И какъ это не стыдно! чѣмъ баловать, шли бы въ другое мѣсто.

— Везъ бабъ и робить скучно,—крикнулъ молодой парень.

— Только никакъ не съ тобой, косорылымъ... Отчего вы на варницы бабъ не пускаете?

— Што легче, зато и берутся! — кричали бабы.

— До обѣда проносить, а потомъ и ноги протянуть,—сострилъ мужчина.

Всѣ захохотали. Началась свалка: женщины стали толкать мужчинъ: мужчины начали сердиться не на шутку и стали употреблять въ дѣло кулаки; женщины схватили кто полѣно, кто подпорку отъ полѣн-

\*) Каторжная.



ницы, — отчего некоторые полѣнницы разсыпались. Послышались взвизгиванья, стоны, оханья, ругательства; одного мальчугана придавило полѣнницей, трехъ женщинъ изувѣчило, одному мужчине переломило ногу.

— Варвары! Што вы надѣлали? Въ острогъ васъ мало посадить! — кричали со всѣхъ сторонъ женщины.

— Кто полѣнницъ-то взялъ? — кричали мужчины.

У женщинъ уже теперь не было полѣнцевъ.

— Бабы! Кто изъ васъ боитѣ? идите къ смотрителю.

Нѣсколько женщинъ отдѣлилось, составили кучу и стали держать совѣтъ.

— Олена, ты боитѣ, ты первая говори.

— Нѣтъ, онъ меня терпѣть не можетъ. Лизку надо заставить.

— Пожалуй, я пойду, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Сказать ему, мужчинамъ намъ не надо; пусть въ алтуксовскіе идутъ.

— Чего и говорить: первая со своимъ женишкомъ кривобокимъ пойдетъ...

Начались попреки, и дѣло опять дошло чуть не до драки, но вышелъ смотритель. Въ это время уже свѣтало.

Пять молодыхъ женщинъ, и въ томъ числѣ Лизавета Елизаровна, подошли къ нему.

— Назаръ Пантеленъ, што это за порядки: мужчинамъ за бабами хвостомъ бѣгаютъ.

Смотрителя окружили всѣ, и мужчины, и женщины.

— Мужчинамъ намъ не надо.

— Заставь ихъ полѣнницы складывать: они полѣнницы урошили, народу сколько изувѣчено.

— Ну-ну... пошли!

— Да ты выслушай!

— По гривнѣ съ бабы! — сказалъ смотритель и пошелъ.

Народъ повалилъ за нимъ: мужчины хохотали, женщины злились.

— Ну, гдѣ это справедливость?

— Тащите его къ дровамъ. Пусть онъ носмотритъ, што мужчинамъ дѣлаютъ!

Женщины стали напирать смотрителя къ дровамъ, мужчины отталкивать.

— Стой! Што это такое? Али я не начальство? — кричалъ въ бѣшенствѣ смотритель, размахивая кулаками, но женщины скрутили ему руки.

— Кто меня смѣетъ трогать! — кричалъ смотритель.

— Бабы, до конхъ ты больно лакоимъ! Пустите его!.. Покажите полѣнницы... — кричали женщины.

Полѣнницы были близко, смотрителя пустили. Онъ хотѣлъ какъ-нибудь уйти отъ нихъ, но его удержали.

— Послушай, Назаръ Пантеленъ! Если ты съ нами такъ будешь въжливъ, мы и къ управляющему пойдемъ, — кричали бабы.

— Нѣтъ сегодня работы!!!

— Если ты мужчинамъ не заставишь складывать полѣнницы, мы къ управляющему пойдемъ.

— Убирайтесь къ чорту! Кто полѣнницы разсыпалъ? Кто народъ искалѣчилъ? — кричитъ смотритель, увидя охающихъ больныхъ съ перепибыленными руками или ногами.

— Бабы!

— Мужчины!!!

— Пошли вонъ! Свины!.. Везите въ лазаретъ больныхъ, — управляющій неравно прѣдѣтъ...

Мужчины пошли прочь, къ варницамъ.

— Куда пошли! Эй, вы?! — кричалъ смотритель мужчинамъ.

Мужчины разбѣжались.

— Што, не правду мы говоримъ, што вы трусы?..

— Ну-ну! Каждый разъ съ вами мука. Идите къ варницамъ, да этихъ уберите.

Всѣ женщины стали къ двери въ варницу, откуда предполагалось носить соль по длиннымъ, не очень крутымъ лѣстницамъ, тянувшимся до амбара сажень на сто. Дверь была заперта. На одномъ плечѣ у каждой женщины болтался мѣшокъ; большинство изъ нихъ ѣли черныи хлѣбъ. Не много женщинъ держали въ рукахъ небольшіе бураки съ квасомъ. Всѣ голосили, кто о чемъ хотѣлъ, но особенно о недавнемъ геройскомъ подвигѣ; сожалѣній объ изувѣченныхъ слышалось немного, потому что всѣ были въ такомъ настроеніи, что каждой хотѣлось непременно попасть на работу.

Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни въ ссорахъ, ни въ разговорахъ; ее удивляла смѣлость промысловыхъ женщинъ и то, что онѣ здѣсь имѣютъ-таки преимущество надъ мужчинами. Особенно ее удивляли рѣзкія выраженія, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здѣсь не походила на хозяйскую дочь, дѣвушку смирную, какою она ее видѣла дома въ теченіе недѣли. А такъ какъ она молчала и женщины видѣли ее на промыслахъ въ первый разъ, то ей часто приходилось быть далеко отъ Лизаветы Елизаровны, которую она теряла изъ вида, но которая впрочемъ ее сама звала и потомъ держала то за руку, то за шугайчикъ, то за сарафанъ.

— Я тебѣ говорю, не отставай! Ототрутъ — не попадешь! — говорила она каждый разъ.

Но вотъ пришелъ смотритель. Женщины старались выдвинуться впередъ и оттерли Пелагею Прохоровну.

— Мокроносица! — крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь и увидявъ голову Пелагеи Прохоровны аршинахъ въ двухъ отъ себя, рванулась къ ней, столкнувъ съ мостковъ женщинъ десятокъ, и крѣпко схватила шугайчикъ Пелагеи Прохоровны.

— Какая ты разиня! Держись! — крикнула она сердито, толкая ее впередъ.

— Да толкаются.

Вмигъ Мокроносцова съ Ульяновой очутились передъ смотрителемъ, который отбиралъ отъ женщинъ мѣшки. Сзади смотрителя стояли Терентій Иванычъ, Григорій и Панфилъ Горюновы и двое другихъ рабочихъ. По лѣстницѣ поднимались при-

И Лизавета Елизаровна съ негодованіемъ встала и пошла съ Мокроносовой.

— Охъ вы, валаки! А еще парни провозваетесь, — сказала она Григорію Прохорычу, съ неудовольствіемъ взглянувъ на него.

— Собака, такъ собака и есть! — отвѣтилъ Григорій Прохорычъ.

— Оселъ! Нѣтъ, шобы замѣнить, — сказала Лизавета Елизаровна.

Григорію Прохорычу сдѣлалось стыдно, и онъ, когда сестра и Ульянова подошли къ нему, самъ вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.

— Давно бы такъ! А ты неси за сестру, — сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.

Мокроносова и Ульянова замѣнили молодыхъ Горюновъ, но Панфилъ сходилъ только два раза: больше нѣтъ у него не хватило силъ; поэтому обѣ женщины стали чередоваться. Два парня, про которыхъ говорила Пелагея Прохоровна Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы, какъ ошлепанные, и молча переносили насмѣшки. Одинъ изъ нихъ было попросилъ Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:

— Не стоимъ! У меня другой есть помощникъ.

— Ну, погоди!.. Каковъ ни на есть, дамъ твоему помощнику.

— Не беспокойтесь пожалуйста.

— Ноги я ему обломаю. — Съ этими словами парень ушелъ.

Въ одну изъ смѣнъ Лизаветѣ Елизаровнѣ пришлось нѣсти сзади Григорія Прохорыча.

— Што, небось усталъ? — спросила она его.

— Ничего.

— То-то и есть! Наше дѣло только хвастаться... Только и слышно отъ мужчинъ: „охъ, какъ чижало“. А вотъ мы и бабы, да не говоримъ, што намъ тяжело.

Григорій Прохорычъ только промычалъ. Тѣмъ и кончился разговоръ въ эту смѣну. Въ другую смѣну женщины заплѣли пѣсню, имъ подтягивали и парни, голоса которыхъ рѣзко отличались отъ женскихъ голосовъ. Лизавета Елизаровна пѣла немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поетъ или нѣтъ Горюновъ.

— Ты што жъ не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?

— Кабы умѣлъ, заплѣлъ бы...

— Ну, и парень! Чему васъ въ заводѣ-то обучали?

— У насъ другія пѣсни, на другой голосъ..

— Ну-ка спой.

Горюновъ не сталъ пѣть.

Къ вечеру стали появляться на варницахъ и мужчины—братья, дяди и мужья, покончившіе съ работами на другихъ варницахъ; въ числѣ ихъ было шесть человѣкъ извозчиковъ и Елизаръ Матвѣичъ, который обыкновенно прѣзжалъ съ кордона прямо въ варницы, такъ какъ дорога до дома шла мимо промысловъ.

— Дайте-ко, бабы, мы повоснимъ, разомнемъ косточки, — напращивались мужчины, безцеремонно хватаясь за мѣшки. Женщины хотя и изъясняли

свое неудовольствіе за то, что мужчины не въ свое суются дѣло, однако съ радостью отлавали мѣшки и сажались, говоря:

— Охъ, устала!

— Не ты бы говорила, да не мы бы слушали. Съ самого съ обѣда не носила.

— Ахъ, ты.. Сосчитай, сколько теперь-то на бабъ мужчинъ, — перекорялись женщины.

Мужчинъ съ парнями было и теперь на половину меньше всѣхъ женщинъ.

Женщины, числомъ девятнадцать, стали чередоваться съ тѣми, которымъ некимъ было замѣниться, болѣе прежняго остряли надъ мужчинами и парнями, которые къ вечеру уже безъ церемоніи обращались съ своими предметами, щекотя и щипля ихъ, перекидываясь съ ними любовными словцами въ родѣ „Матрешка толстошпата“, „Офимья безголовая“, на что и имъ отвѣчали соотвѣственными выраженіями. Горюновъ старшій скоро замѣтилъ, что соленошеніе идетъ не такъ успѣшно, какъ раньше, и прибавилъ еще два креста по просьбѣ одной тридцатилѣтней здоровой женщины, которой онъ частенько отпускалъ каламбуры, что и смѣшило ее чуть не до слезъ. Онъ не обращалъ вниманія на шалость молодежи, но когда уже невозможно было опредѣлить, кто изъ какой смѣны, а молодежь стала дурачиться больше и бѣгать по варницѣ, тогда онъ крикнулъ.

— Таскай, пока свѣтло!

— Ставь крестъ! — отвѣтили ему.

— Да я и такъ десять крестовъ лишнихъ поставилъ.

— Спасибо на этомъ, прибавь еще десяточекъ.

— Кромѣ шутокъ говорю — робъ! Смотритель придетъ—кто будетъ въ отвѣтъ, какъ не я?

— На праздникъ угостимъ! Считай за нами

Такъ Горюновъ ничего и не могъ сдѣлать и относилъ всю причину безпорядковъ къ присутствію мужчинъ, до которыхъ бабы работали усердно. „Впрочемъ“, думалъ онъ „мнѣ какое дѣло. Онѣ будутъ получать деньги, а не я“, — и онъ подходилъ племяннику.

— Ты што же сѣла?

— А што мнѣ нѣтъ, когда никто нейдетъ. Што скажутъ?

— Да вѣдь еще сотни нѣту... Подумай, сколько тебѣ придется денегъ. Я и такъ ужъ много лишнихъ крестовъ поставилъ.

— Бабы! сходите разъ, да и баста! — крикнула Пелагея Прохоровна.

— Смотрите, какъ наша-то заводчанка разохотилась! Пойдемте не то, — проговорила одна женщина.

На этотъ разъ пошли всѣ сорокъ женщинъ въ разъ, отстранивъ мужчинъ; въ продолженіе всего хода пѣли. Это былъ послѣдній разъ.

Припасный, не смотря на то, что въ графинѣ уже не было водки, бодро держался на ногахъ и по мѣрѣ того, какъ его пробиралъ хмѣль, становился придрчивѣе и ругался—по привычкѣ безъ мѣры, но не отъ сердца. Сколько его ни просили

женщины сдѣлать прибавку въ своей бумагѣ, онъ твердилъ одно: — „нельзя“!

Заперевъ дверь амбара, припасный съ рабочими сошелъ внизъ. Тамъ, около варницы, собрались солоноски, около нихъ терлись мужчины и парни. Дверь въ варницу захлопнули за припаснымъ. Тамъ былъ въ это время приказчикъ, пріѣхавшій съ избыткомъ мѣдныхъ денегъ, смотритель Терентій Иванычъ.

— Противу прошлыхъ разовъ сегодня больше отнесено соли. Не видите разѣ, што соли осталось чуть не на полъ-сутокъ, — говорилъ приказчикъ, указывая на полати.

— Да и я сомнѣваюсь. Больше восьмидесяти мѣшковъ по зимамъ не вынашивали, а сегодня выношено девяносто девять, — говорилъ смотритель.

Припасный сталъ считать на своей бумагѣ лалочки. По его запискѣ оказалось, что первая смѣна прошла шестьдесятъ девять разъ, вторая — семьдесятъ.

— Чортъ васъ разберетъ тутъ! Сколько же всего разовъ-то скожено? — кричалъ приказчикъ.

— Я самъ считалъ! Я не могъ ошибиться, — проговорилъ смотритель, строго смотря на Горюнова.

— А я даромъ сидѣлъ? — горячился припасный.

— Взяточники! Мошенники! Живодеры! — кричалъ приказчикъ.

— Помилуй, Иванъ Сидорычъ! Съ чего тутъ взято!

— Вы думаете, надуете меня? Нѣ-ѣтъ! — И подошедши къ стѣнѣ, онъ стеръ половину крестовъ.

— Вотъ колѣи такъ! Не плутуйте потомъ... Подай мнѣ свою бумагу да зовите бабъ, — проговорилъ приказчикъ, обращаясь къ припасному и къ остальнымъ.

Когда женщины вошли въ варницу, въ ней уже былъ зажженъ въ фонарѣ сальный огарокъ.

— Плохо же вы, бабы, нынче работаете. Прежде по полтора ста мѣшковъ вынашивали, а теперь и плата больше, а вы и пятидесяти мѣшковъ въ день не можете вынести... Вольныя нынче стали!! Свободу вамъ дали!

Женщины плохо понимали слова приказчика.

— Што рты-то разинули? Сказано, всего по сорока пяти мѣшковъ вынесли.

— Не грѣхъ тебѣ, Иванъ Сидорычъ, обижать! — завопили женщины.

— Ничего не знаю, такъ записано. Хотите получить по десяти копѣекъ. Итакъ ужъ цѣлыхъ три копѣйки дѣлаю накладки.

Женщины было начали возражать, но приказчикъ прикрикнувъ на нихъ и припугнувъ ихъ тѣмъ, что онѣ и этихъ денегъ не получаютъ. Женщины согласились, ругая смотрителя и припаснаго. Разсчитавшись съ женщинами, приказчикъ приказалъ смотрителю непремѣнно очистить завтра варницу отъ соли, сказавъ ему, что онъ завтра не будетъ, а онъ, смотритель, можетъ самъ придти или пріѣхать къ нему за деньгами для расплаты съ солоносками. Потомъ приказчикъ уѣхалъ.

— Экъ, чортъ его принесъ! Я хотѣлъ самъ

разсчитать своими деньгами, а его сунуло... Однако ты, Горюновъ, ловокъ приписывать. А знаешь ли ты, што стоятъ эта приписка? Сколько ты слушать съ бабъ?

— Провалиться на семь мѣстѣ, чтобы я приписалъ.

Клятвамъ мы, братецъ, не вѣримъ. Эту вину я тебѣ прощаю на первый разъ, потому единственно, што тебѣ на первыхъ порахъ разжиться немного не мѣшаетъ.

— Назаръ Пантеленъчъ..

— Не заговаривай. За тобой есть должншко?.. Впередъ попадешься, не плачь. Спроси вонъ припаснаго, какъ эти дѣла нужно обдѣлывать, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы.

Съ этими словами смотритель вышелъ изъ варницы, заперевъ дверь.

Терентій Иванычъ долго стоялъ въ раздумьи у варницы. Ни одной веселой мысли не приходило ему въ голову. Жизнь казалась ему такою противною. Приказчикъ, смотритель и припасный такими гадкими, что онъ готовъ былъ въ эту же ночь уйти въ другое мѣсто. А солоноски въ сопровожденіи мужчинъ съ пѣснями выходили съ промысловъ въ село. И далеко раздавалась ихъ протяжная, безтолковая, невеселая пѣсня.

## · VII.

Такъ же начался и второй день на промыслахъ; только къ обѣду смотрителя соль была вся выношена изъ варницы, въ которой служилъ Терентій Иванычъ; но женщины нешли по домамъ, а дожидались разсчета. Теперь онѣ положительно знали, сколько каждому снесено мѣшковъ, потому что записывалъ самъ смотритель, который прежде, чѣмъ идти домой, объявилъ, что каждой бабѣ приходится за сегодняшнюю носку по шести съ половиною копѣекъ. Женщины отъ нечего дѣлать, въ ожиданіи смотрителя, сперва гвастались тѣмъ, кто сколько изъ нихъ принесъ вчера домой на рубахѣхъ и на загривкѣхъ соли, насыпавшейся туда отъ мѣшковъ, кто сколько принесъ соли въ мѣшковыхъ складкахъ; каждая старалась убѣдить другую, что она постоянно воруетъ соль, а одна дѣвица укоряла тоже дѣвицу, что та даже вся пропитана солью, какъ татарка козлятиной. Но тутъ не было и тѣни неудовольствія; говорили потому объ этомъ, что говорить было не о чемъ, къ тому же на промыслахъ безъ воровства нельзя жить — это даже говорить и Терентій Иванычъ, который разсказалъ уже женщинамъ нѣсколько разъ про вчерашній урокъ, данный ему смотрителемъ. Наконецъ надоѣло болтать, стали бороться, а болѣе молодые и вертлявые даже начали кататься съ лѣстницы, какъ будто у нихъ и заботы никакой не было. Но смотритель не приходилъ долго; женщины стали зѣбнуть; развлеченій нѣтъ никакихъ. Пошли на берегъ; тамъ по льду кое-гдѣ ребята катаются на конькахъ, на санкахъ или просто бѣгаютъ, кидаясь въ то же время и снѣгомъ. Скучно и здѣсь, такъ бы и не глядѣлъ ни на что, — не такъ, какъ

лѣтомъ. Тогда такъ и рвутся солоноски на берегъ; усядутся онѣ на набережныхъ или на сходяхъ и начинаютъ пѣть... И чѣмъ дольше сидятъ женщины, тѣмъ ей кажется легче; она сосредоточивается сама въ себѣ. Нравится ей этотъ просторъ, эти бурныя волны, лодки, слегка колеблемыя ими; сердце у ней бьется, ноетъ и ей хочется куда-то... И долго-долго тогда сидятъ женщины, до тѣхъ поръ, пока ихъ не перевезутъ всѣхъ на другой берегъ или пока не покатаетъ кто-нибудь въ лодкѣ.

Пришелъ смотритель, рассчиталъ женщинъ, а Горюнову сказалъ, что съ поведѣльника нужно пустить варнипу въ ходъ; до поведѣльника же онъ будетъ свободенъ. Горюновъ попросилъ у него денегъ.

— Какія такія тебѣ деньги?—спросилъ съ неудовольствіемъ смотритель.

— Я ужъ восемь дней прослужилъ.

— Стыдился бы ты говорить-то. Вѣдь ты ужъ содралъ съ бабъ шесть пѣлковыхъ?

— Не стыдно тебѣ говорить-то это? Не знаешь ты меня.

— Еще говори спасибо, что я держу тебя... А што касается до жалованья, такъ ты долженъ помнить условіе.

— Но чѣмъ же мнѣ жить?... Самъ разсуди, я нанялся не для того, чтобы даромъ служить.

— Даромъ! Ха-ха!.. И онъ мнѣ еще говоритъ!.. Ступай-ка, братецъ ты мой, домой, сходи въ баню, а завтра помолись Богу за наше здоровье: можетъ, поумиѣ будешь.

Смотритель ушелъ.

— И это у человѣка нѣтъ совѣсти. Ну, хорошее же я житье нашелъ. Двадцать пять лѣтъ по крайней мѣрѣ я жилъ своимъ умомъ, а теперь... Нѣтъ, правду сказалъ Коровяевъ, не житье здѣсь...

Задумался Горюновъ крѣпко. Денегъ у него всего только рубль, идти въ другое мѣсто нѣтъ тоже резона, потому что нужно напередъ отыскать мѣсто... Идти на золотыя пріиски, — пожалуй дѣло рискованное. Казенныя пріиски и пріиски богатыхъ людей ему извѣстны; они обставлены такъ, что тамъ трудно чѣмъ-нибудь поживиться, а хотя и платятъ за работу, то тоже и тамъ въ глуши начальство самоуправничаетъ, какъ ему хочется, потому что, нѣтъ деньги, во всякое время можетъ найти рабочихъ изъ бѣглыхъ, ссыльныхъ и другихъ людей за безцѣнокъ. Остается идти на такіе пріиски, которые только что открываются, хозяева которыхъ, люди неопытные въ этомъ дѣлѣ, вручаютъ разработку мошенникамъ, которые только высасываютъ у хозяевъ деньги и по нерадѣнію своему и неумѣлости доводятъ пріиски до того, что ихъ потомъ или бросаютъ по негодности, или продаютъ за безцѣнокъ.

— Надо разузнать объ этомъ, во что бы ни стало... И лишь бы попасть мнѣ только на такой пріискъ, забралъ бы я его въ руки.

Елизаръ Матвѣичъ былъ дома, и когда семейство его ушло въ баню, Горюновъ сообщилъ ему свои мысли

я, братъ, думаю объ этомъ ужъ давно.

Недавно мимо меня проходилъ одинъ бѣглый. Попросился погрѣться. Я, впустилъ и сталъ спрашивать: не знаетъ ли онъ, гдѣ жизнь лучше? Ну, конечно онъ захохоталъ, какъ и я въ тѣ поры, какъ впервые васъ встрѣлъ... Ну, онъ все-таки сказалъ: супротивъ, говорить, того мѣста, гдѣ я жилъ, не бывать лучше! Сталъ я отъ него добиваться правды,—нельзя, говоритъ: сказывать не велѣно, потому, говорить, штука!.. Раскольники тѣмъ мѣстомъ пользуются; золота, говорить, тамъ больно много, только про то раскольники и знаютъ. —Ну, я думалъ онъ вретъ, сталъ пытаться: коли молъ, правду говоришь, зачѣмъ не жить тамъ? Скажи да и только мнѣ мѣсто, и говорю ему: живи, молъ, ты у меня хоть сколько... Ну, онъ уѣздъ сказалъ, а мѣста нѣтъ. Тамъ, говорить, верстахъ въ пятидесяти уже моютъ золото, только не порядковъ много. А убѣждалъ онъ мнѣ острога и опять туда же пробирался.

— Не махнуть ли намъ туда, Елизаръ Матвѣичъ?

— Махнутъ!.. Легко сказать. А пойди — и до половины не дойдешь.

— Оно, правда, верстъ чотыреста будетъ.. Только я на твои мѣста не такъ бы думалъ.

— Какъ же?

— А взялъ бы да и срубилъ остальной лѣсъ.

— Ну, нѣтъ! Легко срубить, а отсчитываться-то какъ?

— О, Елизаръ Матвѣичъ! Я думаю, нечего тебя учить отсчитываться!

Скоро пріатели разстались; но оба они не спали цѣлую ночь, думая, какими бы образомъ имъ разжиться деньгами, какъ лучше сдѣлать относительно семействъ: оставить ли ихъ здѣсь, или взять съ собой? У обоихъ только и было мысли о золотыхъ пріискахъ... „Шутка работать на пріискахъ, своими руками доставать и промывать золото. Да тогда нужно дуракомъ, олухомъ быть, чтобы пропускать этотъ металлъ въ чужія руки даромъ. Вотъ теперь дозволено даже крестьянамъ самимъ искать золото, за это имъ деньги платятъ, только имѣть его у себя или продавать его нельзя. Вотъ бы тогда я сталъ богачъ; сперва бы сдѣлался довѣреннымъ, потомъ записался бы въ купцы...“ И много, много хорошаго шло въ головы обоихъ искателей счастья; много приходило несбыточнаго и много такого, что могло осуществиться при особенномъ счастьи и при ловкости человѣка.

Утромъ въ воскресенье въ домѣхъ происходила странная. За неимѣніемъ большихъ денегъ Степанида Власовна пекла яичевыя ватрушки и пироги съ грибами. Палагѣ же Прохоровнѣ нечего было печь: не на что было; хотя Степанида Власовна и предлагала ей капусту, но у нея не было муки, и она еще рано утромъ купила на рынкѣ двѣ ковриги хлѣба и фунтъ мяса. Терентій Ивановичъ сидѣлъ у окна задумчиво, племянники рассуждали о бабахъ и часто ссорились. Всѣ эти четыре лица, казалось, не обращали вниманія другъ на друга и за исключеніемъ братьевъ не относились другъ къ другу ни съ какимъ вопросомъ, и какъ будто тяготились другъ другомъ. Братья еще плохо пони-

нали жизнь; дядю считали за человека, равного себя относительно работы, и только потому, что он теперь уставщик на варницѣ, думали, что онъ долженъ имѣть деньги и имъ придется работать на варницахъ шута. Пелагея Прохорова думала, что, пришедши сюда, она промѣняла кукушку на ястреба. Здѣсь она хотя и свободная женщина, зато у нея ничего нѣтъ, а приобрести-ли она что-нибудь впоследствии — сказать трудно. Работа тяжелая, люди чужіе, обращеніе у нихъ нехорошее. И все это случилось по милости дяди и Коровяева. Терентій Ивановичъ думалъ, что ему не надо бы было брать племянницу и племянниковъ: пусть бы они жили, какъ хотѣтъ, и пусть ищутъ себя счастья сами. А то завелъ онъ ихъ въ такое мѣсто, гдѣ они совсѣмъ собьются съ толку, потому что люди молодые...

Зазвонили къ обѣднѣ. Пелагея Прохорова стала чесать голову. Пришла Елизавета Елизаровна.

— Ты пойдешь? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Чего я тамъ забыла!

— Пойдемъ. У насъ пѣвчіе очень хорошо поютъ.

— Ну ужъ! противъ городскихъ врядъ ли спомутъ.

— У васъ только и хорошо въ городѣ, а сами... Пойдемъ!

— И я пойду! — сказалъ Терентій Ивановичъ.

— И я! и я! — прокричали два брата.

Черезъ полчаса Горюновы, Пелагея Прохорова и Елизавета Елизаровна отправились въ православную церковь. Церковь была биткомъ набита паромъ; но мастеровые стояли направо, а заводскія женщины и дѣвцы нѣтъ, исключеніе составляли аристократки, которыя стояли впереди на правой сторонѣ, и ихъ какъ будто отгораживали отъ рабочаго класса купцы, чиновники и вообще люди высшаго сельскаго общества. Пожилые рабочіе молились усердно, можно сказать, отъ всей души; но молодежь промысловая, надо сказать правду, пришла сюда ради развлечения: послушать пѣвчихъ, дьякона, посмотреть на дѣвицъ, на ихъ наряды и при случаѣ подмигнуть и скорчить лицо.

Послѣ обѣдни холостые мужчины отправились или въ гости къ своимъ невестамъ на капустный или грибной пирогъ, или въ харчевни; семейства шли отдѣльно кучками, молодежь говорила незамужнимъ дамамъ любезности, но изъ приличія не выходила, потому что въ селѣ всѣ семейства были на перечеѣ и никто не хотѣлъ, чтобы про него или его дочь говорили дурно. Кто шелъ черезъ рынокъ, тотъ покупалъ мелкихъ кедровыхъ орѣховъ, но другихъ не потчивалъ и самъ не угощался, такъ какъ праздникъ состоялъ въ томъ, чтобы сперва пообѣдать, потомъ поспать, потомъ поиграть до вечера въ карты, развлекаясь между прочимъ и орѣхами.

Скуденъ былъ обѣдъ Горюновыхъ. Пелагея Прохорова и Терентій Ивановичъ молчали, но не молчали братья.

— У людей дакъ пироги, а у насъ все рѣдька да рѣдька! — говорилъ Григорій Прохорычъ.

— И это хорошо, — замѣтилъ дядя.

— Робншь, робншь, а поѣсть нечего!

— Ужъ молчалъ бы лучше! сколько ты выробилъ денегъ-то! — проговорила Пелагея Прохорова.

— Што ты меня упрекаешь? развѣ я не заплачу вамъ! Ты своего-то Коровяева упрекай, што онъ бросилъ тебя.

— Гришка! — крикнулъ дядя.

— Я давно Гришка!.. нечего кричать-то!

— Кабы ты былъ умнѣе, не говорилъ бы! — И Терентій Ивановичъ вышелъ изъ-за стола.

— Ты, дядя, што же? — спросила съ испугомъ Пелагея Прохорова.

— Я сытъ...

— Да шей-то похлебай.

— Не хочу.

И Терентій Ивановичъ, одѣвшись, ушелъ къ хозяину; но Ульяновъ тотчасъ послѣ обѣда куда-то ушелъ.

Сестра и оба брата доѣли обѣдъ молча; потомъ братья ушли. Пелагея Прохорова прилегла немного, но ей спѣлось страшно. Она отправилась къ хозяйкѣ, которая въ это время уже лежала на печи, а дѣти ея, кромѣ Марьи, играли въ карты.

— А што же братья? — спросила Елизавета Елизаровна.

— Ушли.

— Я вотъ прошу мамоньку, шtbody вечерку намъ устроить... — начала Елизавета.

— Толкуй еще! — проговорила мать съ печи.

— Ну, мамонька! люди устраиваютъ, а намъ отчего не устроить.

— Не выдумывай.

Елизавета Елизаровна дала гостѣй горсть орѣховъ, и онѣ стали играть на орѣхи. Пришелъ Григорій Прохорычъ.

— Непремѣнно куплю себѣ коньки! Всѣ катаются, — сказалъ онъ.

— Голову сломишь. А угощенье принесть? — спросила Елизавета Елизаровна.

— Какое?

— Невѣжа. А еще въ городѣ жилъ. Убирайся! Григорія Прохорыча не принимали играть.

— Дайте не то въ займы денегъ! — сталъ просить Григорій Прохорычъ.

— Хорошъ мужчина: у хозяевъ денегъ просить на угощенье. Степанъ, гони его!

— Лизка, не дурн! — проговорила съ печи мать.

— Не твое дѣло, мамонька. Спи тамъ.

— Дадите вы уснуть!

Мать слѣзла съ печи и усѣлась тоже играть въ карты; Григорій Прохорычъ былъ принятъ. Горюновъ между тѣмъ вошелъ въ одно питейное заведеніе, которое по случаю праздника было биткомъ набито рабочими. Но пьяныхъ въ немъ не было еще ни одного человека, потому что всѣ пришли сюда только что послѣ обѣда покалякать или провести весело время. Хозяинъ заведенія не былъ въ претензіи за то, что никто не бралъ водки, а только курилъ махорку. Онъ зналъ, что, чѣмъ больше будетъ въ его заведеніи посѣтителей, тѣмъ больше

будетъ къ вечеру выручки. Рабочіе толковали о разныхъ дѣлахъ, обращаясь часто за подтвержденіемъ своихъ мнѣній къ хозяину; двое насвистывали слегка; двое тоже слегка наигрывали на гармоникахъ, одинъ игралъ на балабайкѣ, но никто никому не мѣшалъ, потому что если разговоръ касался держащаго въ рукахъ гармонику, то онъ громко отвѣчалъ, не выпуская изъ рукъ гармоники.

— Што, говорятъ, Назарко тебя надулъ? — спросилъ одинъ рабочій, обращаясь къ Горюнову, когда тотъ вошелъ.

— А ты почему знаешь?

— Это не секретъ. Тутъ, братецъ, шила въ мѣшкѣ не утаишь. Што жъ ты теперь думаешь дѣлать?

— Подожду еще недѣлю, тогда...

— Тогда онъ и скажетъ: покорно благодаримъ, задаромъ-де служили нашей милости.

— Хоть ты и заводскій человѣкъ, а практики у тебя ни на грошъ нѣтъ!

— Чево ты толкуешь? Какую такую ты еще метанику выдумалъ? — прокричалъ другой рабочій.

— Уговорить другихъ: не хотимъ-де за эту цѣну робить.

— Дуракъ! Да онъ тебя прогонитъ. Развѣ мало нашего брата, што безъ работы шляются? Развѣ нынѣ мало развелось нищихъ?

— А отчего! Оттого, что мы сами плохи.

— Какъ?

— А такъ. Нѣтъ у насъ согласія. Такъ-ту мы по отдѣльности тараторимъ, а сберн насъ всѣхъ, и сало во рту застыло.

Народъ загалдѣлъ.

— Коснись дѣло до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что жъ, мнѣ одному въ петлю лѣзти? Одинъ въ полѣ не воинъ. А вотъ мы даже насчетъ платы не можемъ сговориться! Што сказано въ Положеніи-то: рабочіе должны выбирать старость, а гдѣ они старосты?

— Поди-ко сунься!

— Нѣтъ, можно бы собраться хоть сотнѣ-другой и выбрать припаснаго смотрителя...

— Што ты толкуешь, братецъ, выбрать?.. Тебя еще вѣрно не дирали хорошенько-то. Помнишь ли ты прошлогоднее дѣло?

— А кто имъ велѣлъ барки рубить да муку топить?

— Такъ и слѣдовало!

— Все не такъ. Собраться всѣмъ селомъ къ управляющему и требовать платы.

Эти разсужденія продолжались еще долго и расписывать ихъ нѣтъ никакой надобности, потому что они рѣшительно не приводили рабочихъ ни къ какой цѣли. Дѣло въ томъ, что согласія между рабочими не существовало, потому что они работали на разныхъ варницахъ, принадлежащихъ разнымъ господамъ, и жили дружно только съ тѣми, которые работаютъ съ ними вмѣстѣ и которые горой стоятъ за товарища. А такъ какъ на однихъ промыслахъ было нѣсколько лучше другихъ промысловъ и требованія первыхъ были больше послѣднихъ, то послѣдніе, завидуя первымъ, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше

о себѣ, чѣмъ о товарищахъ, только работающих отъ нихъ отдѣльно. Кромѣ того одни изъ рабочихъ были слишкомъ робки; они привыкли сносить все терпѣливо, и если у нихъ спрашивали мнѣнія, то они, наученные опытомъ, ничего не могли посоветовать, находя всѣ толки бесполезными; другіе старались какъ-нибудь поддѣлаться къ какому-нибудь мелкому начальнику изъ-за личной выгоды; третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только въ своей компаніи были бойки. Молодежь была конечно смѣлѣе, ей бояться было нечего, но такъ какъ она не могла обходиться безъ любви, увлекалась дѣвчушками и женщинами, то и отъ нея, т. е. отъ всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушія, если одна половина ея ревновала другую къ предметамъ своей любви. При этомъ надо еще взять во вниманіе то, что рабочіе живутъ въ селѣ въ нѣсколькихъ улицахъ или порядкахъ, носящихъ названія, соотвѣтственные или мѣстности, или какой-нибудь личности, или даннымъ какому-нибудь событію, и въ нихъ православыне смѣшиваются съ единоувѣрцами и отчаянными раскольниками, которые только въ частности заботятся о себѣ, о своихъ родныхъ и партіяхъ. Поэтому еслибы и пришлось потребовать голоса отъ всѣхъ рабочихъ всего села, то разногласица вышла бы большая, и у начальства не достало бы терпѣнія выслушать мнѣніе каждой партіи, каждаго промысла еще и потому что это начальство дѣлилось на нѣсколько лицъ, изъ коихъ каждое оберегало свой постъ, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь къ другому лицу.

Споры, какъ водится, прекратились за выпивкой водки по стакану. Нѣсколько человѣкъ хотѣли было возобновить ихъ, но напились другіе разговоры — о женщинахъ, о томъ, сколько бы можно было при постоянной работѣ выварить соли; что можно бы было устроить варницы каменные, а не деревянные, потому что деревянные легче сгораютъ, отчего уменьшаются работы. Говорили о томъ, что можно бы было по всему берегу сдѣлать такіе же набережные, какъ противъ собора, для того, чтобы село не затопляло, а то выстроили набережную для баръ, а рабочихъ ходить туда по вечерамъ не пускаютъ, будто они не вѣсть какіе воры. Много было говорено въ заведеніи; много было сказано хорошаго, практическаго, до чего нному барину пришлось бы долго додумываться. Въ этомъ заведеніи рѣдкій человѣкъ не былъ практическимъ человѣкомъ, приобрѣтшимъ практику долголѣтнимъ опытомъ, работою на варницахъ, гдѣ онъ развивался съ дѣтства около добыванія и обрабатыванія соли, но тѣмъ и заканчивалось его умственное развитіе, и онъ ничего уже больше не могъ выдумать кромѣ того, что лошадей въ насосахъ можно бы было замѣнить какою-нибудь машиною, какъ это устроено на пароходахъ, что если и существуютъ еще коноводки, большія барки, сплавляемые съ солью, дѣйствующія посредствомъ лошадей, такъ для того, чтобы хозяевамъ и ихъ главнымъ помощникамъ сберечь въ свою пользу капиталъ. Но и эти раз-

говору были не больше, не меньше, какъ препровождение времени.

Терентій Ивановичъ не удивлялся понятливости рабочихъ, находя ихъ даже развитѣе своихъ терентьевцевъ. Но чѣмъ больше разговаривали рабочие, тѣмъ больше Горюнову казалось, что онъ здѣсь чужой лишній, такъ какъ всякому рабочему хотѣлось бы занять его мѣсто, и что тѣ же рабочие издѣваются надъ нимъ, потому что смотритель хочетъ пользоваться даровыми деньгами, назначивъ въ уставщика чужого, незнакомаго съ солянымъ дѣломъ, — такого, который еще не умѣетъ воровать.

Рабочіе мало-по-малу оживлялись болѣе и болѣе. Хотя теперь и играли уже на гармоникахъ, какъ слѣдуетъ, но эту музыку заглушали крики рабочихъ, которые, начиная хмелѣть, уже ругались, задирая на драку. Горюновъ взялъ гармонику и началъ играть. Онъ, какъ прежде, старался привлечь публику своею игрой, но такъ какъ онъ игралъ пѣсни заводскія, то на его игру никто и не обратилъ вниманія. Пришлось возвратитъ гармонику.

— Што жъ ты насъ не потчуетъ! — подошедши къ Горюнову, сказалъ рослый черноволосый рабочий.

— Радъ бы угостить, да не на что.

— А зачѣмъ даромъ служишь?

Къ Горюнову подошло чужойкъ шесть.

— Мы и въ крѣпости состояли, даромъ-то не служили. А ты пришелъ. Богъ знаетъ откуда...

— Ты этимъ нашъ кредитъ подрываешь!

— И нашъ не стануть платить изъ-за тебя, — кричали рабочіе.

— Кто вамъ говорить, што я даромъ работаю? — спросилъ Горюновъ.

— Самъ ты говорилъ, што Назарко не далъ тебѣ денегъ.

— Дастъ.

— Не дастъ, помани меня: онъ не тебя одного надуваетъ.

— А вотъ што: коли храберъ, подемъ съ нами теперь къ нему.

— Нѣтъ, братцы, я теперь не пойду. Идти придется рѣкой.

— Ты насъ за кого считаешь?

Начался крикъ. Горюнова стали бить, но въ это время въ заведеніе вошелъ Ульяновъ съ мужчиной въ полушубкѣ.

— Стой!! Команду слушай! Братцы! Поберегитесь — сила! — кричалъ Ульяновъ навеселѣ.

Рабочіе затихли и подступили къ Ульянову.

— Прощайте, братцы! Прощай, моя служба!

— Съ ума сошелъ, Ульяновъ! — кричали рабочіе.

— Глядите, какъ налился! Дай-ко, Фаддей, ему косу! —

— Я васъ потчую... Фаддей, полушубокъ!.. Кончен-но!! — И Ульяновъ крѣпко ударилъ рукой о стойку, такъ что посуда на полкахъ задребезжала.

Рабочіе хохотали, ругали Ульянова шути, и сколько ни допытывались отъ него сути, онъ ничего не сказалъ никому, кромѣ Горюнова, которому сказалъ на ухо, что завтра, чѣмъ свѣтъ, онъ идетъ на пріиски, и если Горюновъ хочетъ, то онъ его приглашаетъ съ собой.

— Послушай, братъ, тулупъ-то у тебя хорошъ, только если пойдемъ, онъ тебѣ будетъ мѣшать. Промѣняемъ, — проговорилъ вошедшій съ Ульяновымъ мужчина Горюнову.

Ульяновъ угощалъ своихъ пріятелей, и поэтому на Горюнова и вошедшаго мужчину не обращали вниманія.

— Ты не безпокойся. Я, братецъ ты мой, подрядилъ Ульянова на пріиски и тебя подряжу. Хоть сейчасъ пять рублей задатку, — говорилъ мужчина.

— Объ этомъ мы потолкуемъ завтра.

— Завтра надо ѣхать... А вотъ тулупъ-то я бы у те ваялъ.

— Какъ же безъ тулупа?

— Охъ ты. кайло! Ну, промѣняемся. Пять рублей придачи!

— Десять!

— Шесть!

— Семь!

Горюновъ промѣнялъ свой тулупъ на полушубокъ и получилъ придачи шесть съ половиной. Немного погодя, Ульяновъ, Горюновъ и мужчина вышли изъ заведенія.

— Ну, други, рѣшено? — спросилъ мужчина по выходѣ изъ заведенія.

— Я плохо што-то понимаю, — сказалъ Горюновъ.

— Узнаемъ все — не покаешься, — сказалъ Ульяновъ.

— Уговоръ такой: никому не говорить, куда мы идемъ, и никого больше не брать, — сказалъ мужчина.

— Ну, такъ завтра мы къ тебѣ придемъ въ утреню.

— Ладно. Прощайте. Помните: никому не говорить.

И мужчина пошелъ налѣво; Горюновъ съ Ульяновымъ пошли направо.

Дорогой Ульяновъ вполголоса разсказалъ Горюнову, что этотъ чужойкъ кумъ его кумы, Кирпичниковъ, котораго онъ не видалъ годовъ пять и о которомъ не имѣлъ никакого извѣстія. Теперь онъ встрѣтилъ его у кумы и узналъ, что онъ ѣздилъ съ пріисковъ къ одному купцу, которому обязался разыскать какой-нибудь пріискъ, и находится на одномъ пріискѣ довѣреннымъ. Ульяновъ сталъ соблазновать о своей жизни, и Кирпичниковъ предложилъ ему работу на пріискѣ съ платою въ мѣсяцъ по пятнадцать рублей и согласился принять даже Горюнова за ту же плату, какъ чужойка грамотнаго, который можетъ ему сводить счета. Эту плату онъ обѣщалъ дать только на первый разъ. Ульяновъ заикнулся было о семействѣхъ, своемъ и Горюнова, но Кирпичниковъ сказалъ, что семейство и здѣсь можетъ жить, а что туда идти далеко, и хорошо еще, уживутся ли они тамъ съ бѣглыми.

Дома, ложась спать, они ничего не сказали своимъ семействамъ о предстоящей поѣздкѣ. Но утромъ безъ сцены у Ульянова не обошлось. Ульяновъ пробудился въ четвертомъ часу, всталъ и зажегъ лучину, что удивило Степаниду Власевну.

— Ну, хозяйка, вставай благословясь. Далеко сегодня пойду.

— Будь ты проклятая хвастуша,— отвечала хозяйка и отвернулась къ стѣнѣ.

— Кромѣ шутокъ... На золотые иду.

— Наплевала бы я тебѣ!.. Еще не всю водку-то вылокалъ въ кабакахъ.

Елизаръ Матвѣичъ сталъ собираться не на шутку въ дальнѣйшій путь. Жена слѣдила за нимъ, сперва прищурившись, но потомъ ее стало брать раздумье: неужели онъ такъ рано идетъ?.. У меня и хлѣба-то для него не напечено.

— Какъ же ты на кордонъ безъ хлѣба идешь?

— Шабашъ! Деревья еще вчера кумъ продалъ. Баста!.. Ставай, говорю, кромѣ шутокъ.

Жена сѣла и проговорила:

— Да ты чего?

— На золотые иду съ Кирпичниковымъ.

— А онъ развѣ здѣсь?

— Вчера прѣхалъ къ кумѣ, а сегодня ѣдемъ съ нимъ.

— Да ты въ своемъ ли умѣ-то?

— У тебя што ли стану займовать?

Жена все еще не вѣрила.

— Да ты это въ заболѣ, али...

— Ну-ну! На вотъ тебѣ десять рублей,— сказалъ Ульяновъ, подавая женѣ деньги, и постучалъ въ стѣну къ Горюнову.

Оттуда послышался голосъ Терентія Ивановича:— «сейчасъ». Дѣти Ульянова, кромѣ Марьи, тоже пробудились и глядѣли на родителей.

— Ты, тятенька! Какъ же это?.. Ничего не скажешь...— проговорила Лизавета Елизаровна.

— Тятенька, я съ тобой!— сказалъ Степанъ.

— Давно я знала, што это твое знакомство съ Машкой до добра не доведетъ... Подлый ты чело-вѣкъ!— проговорила Степанида Власовна.

— Послушай...

— Нечего мнѣ слушать!.. Дѣти на возрастѣ, сами должны имѣть понятіе... Што, небось и Машку съ собой берешь?

— Послушай, жена...

— Убирайся, подлая рожа! Господи! И зачѣмъ я за эдакаго подлеца вышла замужъ?— заплакала жена.

— Мамонька...— сказала дочь.

— Кромѣ горя, ничего не было... Ну, чѣмъ я кормиться-то буду? Чѣ-ѣ-мъ?..

— Прокормишься... дѣти прокормятъ...

— Хорошо отецъ, што семейство бросаетъ... Кормитесь, говорятъ, сами.

— Дура ты, и больше ничего! Прощай, милая дочка!.. Хорошо будетъ, я прѣйду за вами.

— Да ты, тятенька, не шутишь?

— Я, знаешь, не люблю шутить... Береги мать...

— Нечего меня беречь. Меня хорошіе люди кормятъ, а дочь мнѣ не кормилица... Я знаю, што она...

— Маменька!— крикнула дочь въ испугѣ и упала на колѣни передъ матерью.

— Это еще што такое? Што за комедія?— спросилъ Елизаръ Матвѣичъ въ недоумѣніи.

— Ты бы дочь-то напередъ устроилъ, а то куда мнѣ съ ней, съ...

— А-а! въ матушку значить пошла!

— И батюшка-то хорошъ!..

Елизаръ Матвѣичъ сѣлъ въ большомъ волненіи на лавку. Его лицо выражало и горе, и злость, но онъ старался преодолѣть себя. До снѣхъ поръ онъ еще не зналъ, что его дочь беременна, что не рѣдкость въ селѣ, на промыслахъ, гдѣ дѣвчонки часто, особенно лѣтомъ, увлекаются молодыми парнями и даже смотрителями и припасными. Ему досадно было, что онъ объ этомъ не узналъ раньше... Но что бы онъ могъ сдѣлать тогда?.. Ему и противны казались въ это время жена и дочь, но ему и жалко было ихъ, жалко было покидать свой домъ, потому что Богъ знаетъ, что можетъ случиться въ его отсутствіе. Жена и дочь плакали, сидя первая на кровати, вторая на печкѣ, куда она спряталась изъ боязни, чтобы отецъ не сдѣлалъ ей что-нибудь худое; Степанъ, сидя на полатахъ, около лежащаго Никиты, смотрѣлъ то на родителей, то на сестру, думая, что такое сдѣлала сестра; Никита тупо глядѣлъ на всѣхъ, ковыряя пальцемъ въ носу, и готовъ былъ заплакать каждую минуту.

Вдругъ всѣ вздрогнули. Кто-то шелъ на крыльцо, отчего ступеньки скрипѣли.

— Ну!.. Дѣлать нечего. Слово далъ,— нельзя. Собирайтесь...

Въ избу вошли: Горюновъ, Пелагея Прохоровна и два ея брата. Пелагея Прохоровна плакала. Дѣти Ульянова слѣзли съ печи и полатей.

Теперь всѣмъ стало ясно, что Ульяновъ не шутитъ; но ни вошедшіе, ни хозяйка ничего не проговорили другъ другу.

— Сядьте,— сказалъ Ульяновъ.

Всѣ сѣли. Женщины заплакали, парни смотрѣли другъ на друга, стараясь не плакать; но эта нѣмая сцена пробрала даже и отцовъ, даже они утерли по разу ладонями свои глаза и, какъ бы устыдившись этого, встали. За ними встали и остальные.

— Ну, хозяйка, прощай! Не поминай меня лихо... А ты, мила дочка... Эй! Не думалъ я, не думалъ!! Ну, Степка! Взялъ бы и тебя съ собой, да самъ не знаю еще, хорошо ли тамъ. А вы не баловать у меня, слушаться старшихъ... Эй, горе, горе!— говорилъ хозяинъ, цѣлуясь съ женой и дѣтими, которые рыдали, да и самъ Ульяновъ плакалъ.

— Прощай, Степанида Власовна. Покорно благодарю за ласки... Моихъ-то не обидь. Вудьте вмѣстѣ...— говорилъ Терентій Ивановичъ, прощаясь съ хозяйкою.

Ульяновъ и Горюновъ вышли; за ними вышли семейства и стояли за воротами до тѣхъ поръ, пока тѣхъ не стало видно въ темнотѣ.

## VIII.

Степанида Власовна была оскорблена. Ее бѣсило то, что мысль о золотыхъ приискахъ подала мужу



не она, а, какъ ей думалось, торговка Машка, или Марья Оглоблина, съ которой она подозрѣвала Елизава Матвѣича въ связи. Забравъ себѣ это въ голову, Степанида Власовна въ Оглоблиной уже видѣла непримиримѣйшаго врага своего и старалась всѣчески нанести ей какую-нибудь обиду и словомъ, и дѣломъ. На первыхъ порахъ она отпиралась на кордонъ удостовѣриться въ томъ, дѣйствительно ли ея мужъ продалъ лѣсъ Оглоблиной. Увидала она вотъ что. Передъ входомъ въ шалашъ былъ разведенъ огонь, но, какъ видно, онъ былъ разведенъ давно, потому что дрова уже догорали и легкій дымокъ едва замѣтно развѣвался вѣтромъ въ разныя стороны. Въ шалашѣ она нашла чью-то котомку, худыя рукавицы и кусокъ ржаного хлѣба. Значить, здѣсь уже хозяйничали чужіе люди, здѣсь, въ томъ самомъ шалашѣ, въ которомъ ея мужъ жилъ десять лѣтъ, командуя надъ лѣсомъ и собирая гривны съ порубщиковъ, гдѣ она не одну ночь провела въ продолженіе десяти лѣтъ... Обидно сдѣлалось Степанидѣ Власовнѣ... Она сразу почувствовала, что и воздухъ въ шалашѣ иной, и она точно не вѣсть куда забралась. И слышится ей стукъ топоровъ и ширканья пилъ, чего она во все десятилѣтіе не слышала около шалаша. Нарушилось спокойствіе, лѣса, настало варварское разореніе, и все это по милости Машки Оглоблиной, которую она не дальше, какъ прошлымъ лѣтомъ, въ именныи мужа, перваго августа, на полянкѣ между шалашомъ и лѣсомъ угощала пивомъ и пирогами съ малиною!..

Вышла она изъ шалаша и стала смотрѣть по сторонамъ. Направо стоятъ двое дровней, на каждой положено по два длинныхъ бревна; недалеко отъ нихъ крестьянинъ въ рубахѣ обчищаетъ бревно отъ сучковъ, другой въ полушубкѣ такъ и хлещетъ топоромъ въ дерево, которое только какъ будто вздрагиваетъ немного; третій уже накладалъ цѣлый возъ дровъ и все еще накладываетъ, ругая мальчугана за то, что онъ еле-еле шевелится; налѣво стоятъ трое дровней и около нихъ тоже идетъ потѣха... А на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ третѣмъ годѣ Степанида Власовна нашла много рыжиковъ, двое—повидимому мастеровыхъ—пилятъ за разъ двѣ березы...

— Мошенники! Варвары!! Кто вамъ позволилъ хозяйничать здѣсь?—прокричала, не помня себя отъ злости и обиды, Степанида Власовна и подбѣжала къ пищикамъ.

Тѣ поглядѣли на нее, захохотали и ничего не сказали, продолжая свою работу.

— Откуда это явилась?—проговорилъ крестьянинъ, увязывающій возъ съ дровами.

— Да кто вамъ позволялъ, говорю, лѣсъ рубить?—кричала Ульянова.

Порубщики захохотали и начали отпущать на ея счетъ насмѣшки и сарказмы.

— Да ты-то кто такая?—спросилъ ее одинъ изъ порубщиковъ.

— Не узнали?! Теперь и знать не хотите, а прежде боялись.

— Глядите, баба чья-то съ цѣпи сорвалась!

— Связать ее надо—искусаетъ.

Степанида Власовна разъярилась, но скоро заѣтила, что, чѣмъ больше она ругается, тѣмъ больше смѣшится порубщиковъ, которые нарочно еще старались разозлить ее. Но двое порубщиковъ знали ее, и ихъ очень удивляло присутствіе здѣсь жены Ульянова.

— Послушай! Тебѣ чего здѣсь надо?—спросилъ ее серьезно порубщикъ, подошедши къ ней съ угрожающимъ видомъ.

— А то и надо, што я не дозволю рубить лѣсъ, не дозволю!!—кричала Степанида Власовна.

— Хо-хо! Видно, нонѣ бабъ стали придѣлать въ полѣсовщики? А есть ли у те форма?—начали острить надъ Ульяновой порубщики.

Степанида Власовна совсѣмъ растерялась. Она не знала, что ей еще сказать порубщикамъ; она даже забыла, зачѣмъ она пришла сюда.

— Хорошо! Я не я буду, што не пожалуюсь на васъ!—сказала она и пошла домой.

— Свяжете ее; ребята!

— Пожалуй, штобы худо не было въ самъ-дѣлѣ?

— Стоить съ бабой связываться! Не видите што ли, што она полоумная. И безъ насъ околѣетъ дорогой.

— Ну, нѣтъ. По-моему надо допросить ее. Эй, тетка, иди-ко сюда!

Степанида Власовна, ускорившая шаги отъ первыхъ словъ порубщиковъ, теперь остановилась.

— Иди, говорятъ, сюда. Можеть ись хошь?

Степанида Власовна, успокоившись, что порубщики ей ничѣмъ не угрожаютъ, подошла къ нимъ.

— Послушай, тетка, ты зачѣмъ пришла сюда?

— Я къ мужу пришла на кордонъ...

— Ай, врешь! Твоего мужа, коли онъ Ульяновъ, ужъ нѣтъ теперь, и тебѣ это должно быть извѣстно.

— Связать ее да зашибить!..

— А вотъ я зачѣмъ пришла... Правда ли, што Ульяновъ продалъ лѣсъ Машкѣ Оглоблиной?

— Мы по чѣмъ знаемъ... А тебѣ што изъ этого?

— А то и дѣло, што Оглоблиха похваляется этимъ передо мной.

— Ну, значитъ, ты дура, што вѣришь этому.

Порубщики поѣхали, кто направо, кто налѣво. Степанида Власовна пошла за возомъ съ дровами и всячески старалась выпытать отъ порубщика, дѣйствительно ли Ульяновъ продалъ лѣсъ Оглоблиной, — но тотъ отмалчивался.

Пришла она въ село, рассказала Пелагее Прохоровнѣ о видѣнномъ и заплакала.

— Нѣтъ, говорила она, я не поущусь! Я пойду къ лѣсничему.

— Чтобы худо не было, мамонька, — сказала дочь.

Однако Степанида Власовна пошла къ лѣсничему и сказала, что ея мужъ неизвестно куда скрылся. Пришла она на кордонъ и видитъ, мужики рубятъ лѣсъ безъ разбора. Спросила она о мужѣ, тѣ сказали: „спроси, говорятъ, у торговки Марьи Оглоблиной. Теперь, говорятъ, уже не Ульяновъ караульщикъ, а Машка Оглоблина; она намъ и лѣсъ продала“.

Лѣсничій плохо понималъ жалобу Ульяновой и черезъ недѣлю поѣхалъ осматривать лѣсъ. Потребовалъ Ульянова, Ульянова не оказалось, а въ дистанціи его много оказалось порублено лѣсу. Притянули къ суду жену; Степанида Власовна повторила свою жалобу. Потянули и Оглоблину, но та отперлась не только отъ того, что давала деньги Ульянову за лѣсъ, но и отъ всякаго знакомства съ нимъ. Она говорила:

— Ходить, можетъ быть, онъ ходилъ ко мнѣ за калачами, потому ко мнѣ много ходить. А што если его жена приплела меня въ это дѣло, кумовства ради, такъ по одной злобѣ и потому, што де легче на куму свалить всю бѣду... А имѣла ли я право покупать и продавать лѣсъ, такъ это въ ея безмозглую голову могла зайти такая дурь.

Завязалось дѣло: было спрошено множество разныхъ крестьянъ и мастеровыхъ, но остался по дѣлу виноватымъ одинъ Ульяновъ, а такъ какъ его въ селѣ не было, то у него и описали домъ и все его имущество, и стали гнать изъ дома его жену и жильцовъ. Скоро нашелся и покупатель. Купивъ домъ, онъ пустилъ за деньги на квартиру Ульяновыхъ съ Мокроносовой и Горюновыми. Все это обдѣлалось въ два мѣсяца послѣ отсутствія Елизара Матвѣича, и всѣ въ селѣ говорили, что о продажѣ дома Ульянова особенно хлопотала вдова Оглоблина за то, что Степанида Власовна не хотѣла покориться ей, не хотѣла извиниться передъ нею за нанесенныя ею Оглоблиной оскорбленія.

Можно себѣ представить гнѣвъ госпожи Ульяновой, когда она вскорѣ по вѣздѣ въ ея домъ новаго хозяина узнала, что Оглоблина исчезла изъ села. Ульянова нарочно сходила въ ту улицу, гдѣ жила Оглоблина, и увидѣла, что въ ея домъ въѣзжаетъ ея племянникъ изъ Демьяновскаго селенія.

— Хотѣ бы узнать мнѣ, куда мой мужъ спроваженъ! Ужъ я пошла бы туда.

Теперь Степанида Власовна казалась помѣшанною не на шутку: она цѣлый день съ утра и до вечера бродила то на промыслахъ, то на рынкѣ и все выспрашивала: нейдетъ ли кто на золотые?

## IX.

Со времени отъѣзда Ульянова и Горюнова Пелагея Прохоровна съ каждымъ днемъ все больше и больше сближалась съ Лизаветой Елизаровной. Пока еще былъ здѣсь дядя, она могла гордиться имъ, человекомъ, поповшимъ въ уставщики, значить имѣющимъ кое-какое значеніе на промыслахъ; но теперь, когда дядя исчезъ, она очутилась совершенно одна съ братьями. Но что ей братья? Братья хотѣли жить сами для себя, и отъ нихъ не жди помощи. Вонъ даже, когда дядя подарилъ ей пять рублей. Григорій сталъ укорять ее въ томъ, что ее больше любить и деньги слѣдовало бы дать не ей, а мнѣ. Чтобы отвязаться отъ братьевъ, она отдала эти деньги Григорію, который ей за это и спасибо не сказалъ. Отдала она деньги и стала горевать, ругая себя глупою. „Вѣдъ мнѣ съ этими деньгами можно бы было дойти до города!“ думала она на

первыхъ порахъ. Но какъ она пойдетъ въ городъ одна, не зная дороги? Еще нападутъ на нее, ограбить и Богъ знаетъ, что сдѣлаютъ съ ней. Другое дѣло, еслибы она была пожилая женщина. Но и не это еще удерживало ее въ селѣ: она дожидалась извѣстія отъ Коровеева. Уйди она изъ села — и не узнаетъ ничего о Коровеевѣ, о которомъ она думала теперь больше прежняго, зная, что онъ любитъ ее и не хочетъ жениться на ней зря.

Сознавая, что она здѣсь чужая, она рада была поговорить съ кѣмъ-нибудь отъ души. Но говорить было не съ кѣмъ, кромѣ Лизаветы Елизаровны. Лизавета Елизаровна тоже рада была своей сосѣдкѣ и старалась раскрыть передъ ней свои тайны, надѣясь на то, что она ее не выдастъ, потому что Пелагея Прохоровна не ищетъ знакомства съ другими женщинами и вообще жепщина молчаливая. И онѣ скоро сошлись, понравились другъ другу и стали пріятельницами. Хотя Пелагея Прохоровна и много страннаго находила въ поведеніи своей подруги, но приходила къ тому заключенію, что здѣшняя жизнь не похожа на заводскую въ томъ отношеніи, что тамъ дѣвушки до выхода замужъ большею частью живутъ дома и если знакомятся съ парнями, то въ церкви, на гуляньяхъ и на вечеркахъ, — здѣсь же онѣ рано становятся съ мужчинами и парнями на промыслахъ. По промысловымъ понятіямъ ничего не было страннаго въ томъ, если пары заходили слишкомъ далеко и дѣвушка дѣлалась беременною, потому что скоро послѣ беременности она выходила замужъ. Но Лизавета Елизаровна не говорила о своей беременности. Однакоже Пелагея Прохоровна стала замѣчать, что Лизавета Елизаровна дуется на одного парня, который любезничаетъ съ черноволосою невысокой дѣвчонкой и носитъ за нее соль, и при этомъ парнѣ старается оказывать большія ласки Григорію Прохорычу, который отъ парня получаетъ насмѣшки и угрозы. Ясно казалось Пелагее Прохоровнѣ, что или парень разобидѣлъ чѣмъ-нибудь Лизавету Елизаровну, или Лизавета Елизаровна разобидѣла парня. Пелагее Прохоровнѣ со свойственной женщинамъ любознательностью хотѣлось разспросить свою подругу объ этомъ, но было неловко начинать прямо, и она только намекала на парня; но та или сердилась, или отмалчивалась.

Дѣло въ томъ, что Лизавета Елизаровна была гордая дѣвушка. Она требовала, чтобы тотъ, который любитъ ее, исполнялъ малѣйшіе ея капризы: напр. уронить она съ лѣстницы платокъ, Ванька Зубаревъ долженъ сходить за нимъ; нужны ей къ празднику сережки — Ванька Зубаревъ долженъ купить ихъ, хотя бы и въ десять копѣекъ. Ванька Зубаревъ хороводился съ ней полтора года и цѣлый годъ угождалъ ее безпрекословно. Сперва конечно ломается, погрызается, но все-таки исполнить приказъ Лизаветы Елизаровны. Никто такъ не могъ угодить Лизаветѣ Елизаровнѣ, какъ онъ, и зато какъ было хорошо и весело съ нимъ, особенно лѣтомъ! Хотя Зубаревъ и жила въ Демьяновѣ, только Иванъ Демьянычъ работалъ на моргуновскихъ промыслахъ, потому что на нихъ было

больше требованія на рабочих и плату давали больше на цѣлыхъ десять копѣекъ противъ приткинскихъ промысловъ. У него была своя лодка, въ которой онъ каждый лѣтній день переплывалъ два раза рѣчку Улью и въ которой послѣ работы каталъ и Лизавету Елизаровну. Очень любилъ Зубаревъ Лизу Ульянову, и та любила его, какъ только можетъ любить шестнадцатилѣтняя промысловая дѣвушка, дочь бѣдныхъ родителей. Бывало, сидятъ они ночью въ лодкѣ обнявшись, а лодка плыветъ какъ попало по теченію, и далеко такъ уплывутъ они; случалось возвращаться имъ домой верстѣ изъ-за пятнадцати, и тогда Зубаревъ или пластался на веслахъ, или шелъ бичевой, а Лизавета Елизаровна правила на кормѣ весломъ, подсмѣиваясь надъ возлюбленнымъ. Случалось возвращаться имъ и въ грозу, и тогда Лизавета Елизаровна, сидя на берегу съ Зубаревымъ подъ опрокинутой лодкой, отъ страха молила всѣхъ угодниковъ, клялась въ грѣхахъ и клялась, что она въ послѣдній разъ плавается съ Зубаревымъ. На промыслахъ, само собою разумѣется, всѣ знали про связь Лизаветы Елизаровны съ Иваномъ Зубаревымъ и не обращали вниманія на нихъ, потому что у каждого или у каждой были любовницы или любовники; мать тоже знала, что Зубаревъ ухаживаетъ за ея дочерью и, думая по себѣ, что онъ на ней женится, не очень бранила ее за позднія возвращенія домой; отецъ же, живя на кордонѣ, конечно ничего не зная, а если и замѣчалъ отсутствіе дочери, то удовлетворялся какими-нибудь отвѣтами своей жены. Все шло хорошо около года, а потомъ Лизавета Елизаровна стала замѣчать, что Иванъ Зубаревъ сталъ холодѣть съ ней, меньше исполнялъ ея прихоти и капризы. Н случилось это съ ними съ тѣхъ поръ, какъ они были въ чащѣ дѣса, гдѣ провели всю ночь съ полнымъ удовольствіемъ. Правда, послѣ этого Лизавета Елизаровна сильно привязалась къ Ивану Зубареву и въ первое время изъ гордой дѣвушки сдѣлалась до того кроткой, что позволяла прикрѣпиться на нее Зубареву, исполняла его приказанія, но потомъ замѣтила, что Зубаревъ не только взялъ надъ ней верхъ, но и обращеніе его съ нею стало уже не то: точно она ему надѣла. И вотъ стала она замѣчать, что Зубаревъ рѣже показывается на промыслахъ, а если и придетъ, такъ дожидается, чтобы она его изъ милости попросила поносить соль. Наконецъ онъ ее весьма оскорбилъ: снесъ два мѣшка соли и ушелъ, а немного погодя сталъ носить соль за другую дѣвицу.

У Лизаветы Елизаровны, какъ она увидала это, чуть мѣшокъ съ солью не свалился съ плечъ, и она сама не помнитъ, какъ она доносила до вечера соль, получила расчетъ и пришла домой раньше обыкновеннаго, такъ что мать ея, не noticing въ этотъ день соли по нездоровью, удивилась и спросила:

— Али Зубаревъ не былъ?

Но Лизавета Елизаровна ничего не сказала. Она никакъ не могла понять поведенія Ивана Зубарева. Этотъ человѣкъ такъ любилъ ее, такъ много обѣщалъ ей впереди хорошаго, общался послѣ Рождества жениться на ней, а какъ прошелъ Екатеринбургъ

день, вдругъ выкидываетъ съ нею такую штуку. Это что-нибудь да значить. Хотѣлось ей переговорить съ Зубаревымъ, но онъ цѣлую недѣлю не являлся на промыслы, а на другой недѣлѣ на всѣхъ промыслахъ не было работы для женщинъ. На третьей недѣлѣ объ этомъ парѣ замѣтила Лизаветѣ Елизаровнѣ Пелагея Прохоровна. Тогда Лизавета Елизаровна думала, что Зубаревъ подойдетъ къ ней, возьметъ ея мѣшокъ, но онъ какъ будто самъ хотѣлъ, чтобы Лизавета Елизаровна поклонилась ему. Когда Григорій Прохорычъ понесъ за нее соль, хотѣлось Лизаветѣ Елизаровнѣ поговорить съ нимъ, высказать ему, что она беременна, — но не время было, а вызвать Зубарева въ другое мѣсто во время рабочее непрілично, потому что такихъ примѣровъ еще не бывало на промыслахъ.

Григорій Прохорычъ видалъ дѣвушекъ и покрасивѣе Лизаветы Елизаровны. Онъ уже два раза былъ влюбленъ и въ послѣдній разъ даже хотѣлъ жениться на любовницѣ приказчика, у котораго онъ былъ лакеемъ; но вмѣсто женитьбы угодилъ въ острогъ по обвиненію его въ кражѣ вещей, а его невѣста задавилась не отъ любви къ нему, а не жалая болѣе переносить каторжную жизнь. Острогъ его не испортилъ, — такъ какъ онъ изъ него скоро былъ выпущенъ по просьбѣ приказчика, имѣвшаго обыкновеніе прощать всѣхъ своихъ враговъ въ свои именины, — но научилъ смотрѣть на жизнь болѣе практически, чѣмъ прежде. Еще бывши въ острогѣ, онъ поклялся не увлекаться дѣвками, не слушать ихъ любезностей; но, встрѣтившись съ Лизаветой Елизаровной, онъ не могъ устоять. Она съ перваго же дня огорошила его, задѣвъ его самолюбіе пустякомъ — неумѣнымъ расколоть сучковатое полѣно. Столкнувшись на промыслахъ съ женщинами, онъ, какъ молодой человѣкъ, не могъ не вглядываться въ нихъ и не вслушиваться въ ихъ слова. Какъ онъ ни крѣпился, какъ ни закрывалъ по-своему, что всѣ эти бабы и дѣвки отчаянныя, но кровь въ немъ волновалась, и ему нравилось употреблять въ дѣло щипки. Незная никакихъ отношеній между дѣвицею Ульяновой и парнемъ, погрозившимся обломать ему ноги, онъ думалъ, что Лизавета Елизаровна легко ему достанется. Но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ. Еще въ воскресенье, передъ отъѣздомъ дяди, онъ очень разыгрался съ Лизаветой Елизаровной, и когда она вышла зачѣмъ-то въ сѣни, то догналъ ее, обнялъ, но получилъ за это такую пощечину, что ему долго было совѣстно показаться на глаза передъ Лизаветой Елизаровной, да и она сама, завидя его во дворѣ, отворачивалась отъ него и уходила скорѣе домой.

Наступило Рождество — и прошло весьма скучно въ обоихъ семействахъ. Лизавета Елизаровна очень рѣдко заходила къ Горюновымъ, и то въ такое время, когда Григорій Прохорычъ не было дома, а Пелагея Прохоровна, узнавая, что братъ ея сдѣлалъ глупость, и не настаивала на томъ, чтобы она ходила при братѣ. Прошли и святки скучно. Прежде, бывало, у Ульяновыхъ передъ Крещеньемъ всегда вечерка устраивается, а нынче нѣтъ. Прежде отбоя нѣтъ отъ дѣвицъ: „приходи, ради Христа, на

вечерку", — нынче только развѣ на улицѣ попадется Лизаветѣ Елизаровнѣ дѣвушка и спросить: „а што это ты не была на вечеркѣ?“ И тутъ же прибавляла: „а Ваньку Зубаревского не видала?“ Братья впрочемъ ходили на вечерки, ходилъ и плясалъ на вечеркахъ и Григорій Прохорычъ, только къ нему не благоволила ни одна дѣвица, такъ какъ у каждой былъ свой кавалеръ, и каждый изъ этихъ кавалеровъ старался разругать дѣвицу Ульянову для того, чтобы выжить изъ компаніи Гришку Горюнова, какъ пришлеца. Невесело было Григорію Прохорычу на этихъ вечеркахъ, чужой онъ былъ на нихъ, неприятно ему было слышать, какъ конфузять и обзываютъ дѣвицу Ульянову, говоря даже про нее, что потому-де у нихъ въ домѣ, въ *придѣлѣ* (въ новой половинѣ, гдѣ жилъ Григорій Прохорычъ), нѣтъ вечерки, что Лиза брюхата и любовникъ ее бросилъ, такъ какъ она горда не кстатъ и съ порокомъ; но обо всемъ слышанномъ тамъ онъ ничего не говорилъ сестрѣ.

Въ крещенскій сочельникъ обѣ женщины гадали въ новой половинѣ. Пришелъ Григорій Прохорычъ; гаданье прекратили.

— Погадайте на меня, — сказалъ онъ, подойдя къ гадальщицамъ.

— Не стоишь, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Тебя што ли просать! Палагеюшка, погадай!

— Какой ты сегодня ласковый сдѣлался!.. Гадай самъ, — сказала Пелагея Прохоровна, отдавая поварешку брату, и обратилась къ Лизаветѣ Елизаровнѣ: — пойдемъ къ тебѣ.

— И я съ вами.

— Очень нужно! — сказала Лизавета Елизаровна.

— Важна ужъ что-то больно стала не кстатъ!.. Послушала бы ты, што говорить-то про тебя!

— Ну, дакъ што? Языкъ-то вѣдь безъ костей.

Подруги пошли къ двери.

— Што-миѣ, околѣвать што ли здѣсь?

Подруги захохотали и ушли.

Григорій Прохорычъ бросилъ поварешку подъ лавку, потушилъ лучину и легъ на печь. Брата дома не было: онъ съ Степаномъ Ульяновымъ еще не приходилъ изъ сала. Спать ему не хотѣлось, и онъ сталъ думать, можетъ быть въ тысячный разъ, о томъ, какъ бы ему хорошо было найти гдѣ-нибудь кладъ и потомъ жениться... жениться на Лизкѣ. Чѣмъ больше думалъ онъ о дѣвицѣ Ульяновой, тѣмъ больше она ему нравилась. Нравилась ему въ ней ея гордость, ея рѣчи, трудъ, и онъ ставилъ ее выше первыхъ двухъ своихъ любовницъ, изъ которыхъ первая ничего не умѣла дѣлать, а только хныкала; вторая, живя у приказчика, сдѣлалась барышней и едва ли бы перенесла съ нимъ тяжелую жизнь. А на Лизѣ жениться хорошо: она будетъ работать и онъ тоже, да и дома строить не нужно. Тутъ мысли его приняли другой оборотъ: онъ находилъ себя ничтожнымъ человекомъ въ сравненіи съ Лизаветой Елизаровной; халатикъ у него худой, починить его нечѣмъ, да и не стоитъ: ставеть затагивать нитку — такъ рвется; полусубка нѣтъ, сапоги оборвались, подошвы на нихъ отпадываются, а новые купить не на что, потому что сестрины деньги онъ издержалъ по пустякамъ. — „Вотъ сегодня у

одного сапожника я укралъ шило и драгву выпросилъ, завтра надо будетъ починить какъ-нибудь. Опять кожи нѣтъ. Кабы было дѣло, можно бы гдѣ-нибудь найти въ грязи или въ назыму кусокъ кожи...“

Вдругъ онъ услышалъ стукъ въ стѣнѣ отъ Ульяновыхъ. Стальъ слушать. Еще застучали и, кажется, сестра произнесла его имя.

— Не пойду! Самъ хотѣлъ — обругали, а теперь не пойду. Не смѣйся, горохъ, не лучше бобовъ! — проговорилъ про себя Григорій Прохорычъ.

Его такъ и порывало идти къ Ульяновымъ, но и не хотѣлось ему уступить. „Брюхо толще, такъ губа тоньше“, сказалъ самъ себѣ Григорій Прохорычъ и рѣшилъ не идти, хотя бы онъ тамъ всѣ кулаки о стѣну отбилъ. Однако онъ не утерпѣлъ, слѣзъ съ печки и, подошедши къ стѣнѣ, наставилъ лѣвое ухо, чтобы услышать оттуда что-нибудь; но стѣна была бревенчатая — онъ слышалъ, что кто-то говоритъ и вдругъ захохотали, сперва Ульянова дѣвица, потомъ его сестра.

— Это онъ надо мной смѣются.

Опять смѣхъ.

— А чортъ съ ними!! Нечего мнѣ тамъ дѣлать...

И Григорій Прохорычъ легъ на печь. Но лежать было скучно, хотѣлось идти; онъ злился на себя, и на Лизавету Елизаровну, и на сестру. Пришла сестра.

— Ты што же не пришелъ? — спросила она брата.

— Очень нужно.

— Ну, брюхо толще, такъ губа тоньше.

— Послушай, Пелагея, што это она надо мной надѣвается?

— Кто?

— Кто?! Лизка!

— Да и какъ не смѣяться надъ дуракомъ. Зачѣмъ ты ее въ снѣгахъ-то обхватилъ?

Григорій Прохорычъ замолчалъ. Теперь ему стало понятно, что сестра его стала пріятельницей Лизаветы Прохоровны.

— А што, Пелагея, какъ ты думаешь, пойдетъ она за меня? — спросилъ вдругъ братъ сестру, когда та уже стала засыпать.

— Выдумывай.

— Нѣтъ, въ самъ-дѣлъ!

— Спи-ко лучше. Скоро утро.

Легли спать. Пелагея Прохоровна заснула скоро, но Григорій Прохорычъ не могъ заснуть. Утромъ братъ и сестра молчали: братъ стыдился сестры, сестра что-то обдумывала. Григорій Прохорычъ усѣлся за сапогъ около окна, повертѣлъ его: починить безъ кожи нельзя — какъ ни верти, а нужна заплатка.

— Поговоришь? — сказалъ вдругъ дрожащимъ голосомъ братъ сестрѣ. Щеки его покраснѣли.

— И што ты это выдумалъ, братъ. Какая она тебѣ ровня?

— А тебѣ што за ровня?

— Я другое дѣло... Говори самъ... Это твое дѣло.

— Какъ я буду говорить, коли она такая фря...

Послѣ обѣда Пелагея Прохоровна зазвала къ себѣ Лизавету Елизаровну. Лизаветѣ Елизаровнѣ вѣроятно уже было извѣстно о намѣреніи Григорія Прохоровича, потому что она поклонилась ему недовко, щеки покраснѣли болѣе обыкновеннаго и голосъ

ея былъ неровный. Стали играть въ карты. Всѣ молчали. Каждый хотѣлъ что-то начать, но что-то удерживало. Наконецъ первая начала Лизавета Елизаровна.

— Какіе нынче женихи-то молчаливые...—проговорила она, сдавая карты, какъ бы про себя.

Григорій Прохорычъ покраснѣлъ, какъ ракъ, и не зналъ, что ему дѣлать: сидѣть или бѣжать?

Минутъ пять никто не промолвилъ слова.

— Женишокъ! Што же ты молчишь?—сказала вдругъ Лизавета Елизаровна.

— Я...—сказалъ Григорій Прохорычъ, вздрогнувъ.

Обѣ женщины захохотали.

— Хорошо же ты будешь муженекъ, нечего сказать... Однако, Григорій Прохорычъ, позвольте васъ спросить: какіе вы имѣете на меня виды?—сказала уже серьезно Лизавета Елизаровна.

— Лизавета Елизаровна...

— Убѣрайся!..

И Лизавета Елизаровна, бросивъ карты, ушла отъ Пелагеи Прохоровны.

— Поди къ ней, пока матери нѣтъ дома,—сказала сестра брату.

Братъ послушался сестры. Когда онъ пришелъ къ Ульяновымъ, Лизавета Елизаровна, сидя у пепельца, плакала и, казалось, не замѣтила вошедшаго Горюнова, который остановился въ дверяхъ и не смѣлъ тронуться дальше.

— Лиза!—сказалъ онъ.

Лизавета Елизаровна вздрогнула.

— Зачѣмъ ты пришелъ?—крикнула она.

— Лизавета Елизаровна!... Я люблю тебя.

Лизавета Елизаровна захохотала.

Григорій Прохорычъ подошелъ къ ней, обнялъ ее и поцѣловалъ. Она не сопротивлялась, но плакала.

— Голубчикъ Гриша!.. Ты мнѣ нравишься... Но...

— Лизанька!...—говорилъ Горюновъ, прижимая Лизавету Елизаровну.

— Гриша!.. Я не хочу тебя обманывать...—говорила, рыдая, Лизавета Елизаровна.

— У! Дура! Ее цѣлуютъ, а она плачетъ! Лиза, не смѣй плакать!—говорилъ шутя Григорій Прохорычъ, утирая слезы съ глазъ и щекъ Лизаветы Елизаровны.

Лизавета Елизаровна боролась сама съ собой, наконецъ встала и сказала:

— Подумалъ ли ты о томъ, што про меня говорить на промыслахъ и на вечеркахъ?

— Што?

— Ты вѣришь тому, что говорятъ про меня?

— Нѣтъ.

— Такъ я тебѣ скажу: што про меня говорятъ—вѣрно... Я говорю тебѣ потому, што бы ты зналъ и послѣ не каждаго, што я обманула тебя... Одна голова не бѣдна! Я себя съ ребенкомъ прокормлю какъ-нибудь, зато меня никто не укоритъ.

Григорій Прохорычъ стоялъ, какъ оплеванный. Онъ не зналъ, шутить съ нею Лизавета Елизаровна или говорить правду.

— Али ты не вѣришь моимъ словамъ? Поди спроси свою-то сестру, мнѣ отъ нея нечего тайть, да и

тебя я не боюсь. Подумай-ко лучше о томъ, хорошо ли жениться на дѣвушкѣ съ накладомъ?.. Хорошо ли получить въ приданое ребенка?

Григорій Прохорычъ стоялъ пораженный, не зная, что сказать. Лизавета Елизаровна сѣла за пепельца, нагнулась и закрыла лицо руками. Съ четверть часа она сидѣла въ такомъ положеніи, и когда открыла лицо, то увидѣла, что Григорій Прохорычъ все еще стоялъ, разглядывая свою фуражку.

— Не вѣришь?—спросила Лизавета Елизаровна.

— Обманула ты меня... Тяжко ты меня обманула!—сказалъ онъ со вздохомъ.

— Я тебя не завлекала; ты добровольно носилъ за меня соль.

Григорій Прохорычъ вышелъ. Пришедши домой, онъ швырнулъ въ уголъ фуражку и сказалъ сестрѣ:

— И тебѣ не стыдно!.. Будто я пятилѣтній ребенокъ, штобы меня такъ дурачить. Свиныи!

— Што, вѣрно губа-то не дура!

— Молчи! Убью!!

— Дуракъ!.. Только вы мужчины и хороши. Припомни-ко, не лебезилъ ли ты около Горбуновой...

— У-у! Змѣ-я!..—проговорилъ со злостью Григорій Прохорычъ и, отыскавъ фуражку, вышелъ изъ избы.

## X.

Григорія Прохорыча ужасно разобидѣло обстоятельство, что онъ влюбился въ такую дѣвушку, которая уже беременна. „Двухъ дѣвокъ я любилъ, а такой штуки со мной не случалось... Хорошо еще, что она сама сказала“,—думалъ онъ. Онъ теперь цѣлыми сутками терся на промыслахъ и терпѣливо сносилъ насмѣшки молодыхъ рабочихъ, которые смѣялись надъ тѣмъ, что пришлецъ Гришка Горюновъ хочетъ жениться на бывшей любовницѣ Васьки Зубарева, и когда ужъ его выводили изъ терпѣнія, онъ кричалъ, что они напрасно чешутъ языки, потому что онъ не дуракъ и даже не живетъ въ Ульяновскомъ домѣ. Рабочіе, видя, что Горюновъ живетъ безвыходно на промыслахъ, даже на рынокъ не ходитъ, а покупаетъ хлѣбъ у торговцевъ, приносящихъ хлѣбъ на промысла, удивлялись его терпѣнію и въ то же время говорили, что Горюнова вѣроятно отщекала Лизка Ульянова. Словомъ, Горюнову казалось, что рабочіе всячески стараются разбѣсить его. Все шло въ такомъ порядкѣ цѣлую недѣлю до тѣхъ поръ, пока не открылось на варницахъ соленошеніе. Къ этому времени рѣдкій холостой рабочій не зналъ о порокахъ Лизаветы Ульяновой, а знали всѣ объ этомъ отъ Марьи Оглоблиной.

Явились на промысла женщины, по обыкновенію явились и мужчины, для того чтобы или пошалить, или самѣмъ попасть въ работу съ женщинами. Всѣ голосили о семействѣ Ульяновыхъ, и теперь было меньше спора о томъ, чтобы мужчины не работали съ женщинами, потому что каждой хотѣлось узнать дѣло во всей подробности и выслушать мнѣніе мужчинъ и затѣмъ поругать мужчинъ за нанесенное женскому полу оскорбленіе.

Говоры шли разные по этому дѣлу.

— Я давно замѣчала, што Лиза беременна, да молчала, — потому не мое дѣло.

— Потому, молъ, сама беременна...

— Сука, дакъ сука и есть!..

— Не правду што ли говорю! Скрывать-то, ма-тушка, нечего. Ты знаешь пословицу: отецъ да мать не знаютъ, а весь міръ знаетъ. Вотъ што! А вотъ это надо разсудить, што Лизка теперь?

— Не видать ее. Поди не явится.

— Стыдно.

— Ну, она не такая!

— Слышала? заводской Гришка за нее сватался!

— Слышала, да што-то онъ, говорить, все здѣсь живеть. Должно быть, какъ узналъ, въ чемъ дѣло, то и на понятный.

— Смотрите, бабы и дѣвки: заводскаго Гришку Горюнова въ компанью не принимать.

— Тебѣ не надо, не примаю.

— Отсохъ бы у те языкъ-то. Говорять, Гришка этотъ Зубаревскому примѣру послѣдовалъ!

— Сама первая, смотри, не бросься ему на шею.

— Слава Богу, еще въ разсудкѣ.

— Васъ слушать надо, уни зажавши. Правду говорить пословица: „двѣ бабы — рынокъ, а три — такъ ярмонка“.

— Извѣстно: „много голку, да мало толку!“

— Не суй перста въ ротъ, пожалуй откусишь. А вы вотъ што скажите, умныя головы: дѣло-ли это — обмануть дѣвку?

— Што жъ такое? Мы примѣръ съ баръ беремъ. Коли баре обманываютъ, намъ и подавно можно.

— Не слушайте его, дурака. Отъ него никогда не дожدهшься добраго слова.

— Зачѣмъ не дождаться. Кричать-то не для чего: извѣстно, немного попѣто, да на вѣкъ надѣто.

— Хорошо. Теперь ты скажи: не обидно ли дѣвкѣ, если ее обманываютъ?

— А какъ же мужья-то умираютъ?

— Што съ дуракомъ и говорить!.. Оселъ, такъ оселъ и есть. Ты бы то подумалъ: што бы ты сказалъ, еслибы твоя дочь родила?

— Я бы ее въ зашей.

— То-то и есть, чужое страхомъ огорожено, въ чужихъ рукахъ ломоть великъ... Охъ, вы! Ну, не мужское ли это дѣло пристать за бабъ? Вѣдь вы съ начальствомъ-то хороводитесь, а не бабы.

— Поди сунься, такъ двадцать пять и запросить.

Пришла Лизавета Елизаровна съ Пелагеей Прохоровной. Вѣсь, какъ увидали ее, смодили.

— Што-то не видать тебя давно, Елизаровна? Съ новой подругой спозналась, насъ и знать не хочешь? Али замужъ скоро выходишь? — кричали ближнія женщины.

— Это ужъ мое дѣло! Лучше дома сидѣть, чѣмъ слушать выкомурь.

— То-то женишка-то новаго и подсыдала подслушивать...

— Какого женишка?

— А Гришку-то.

— Съ чего вы взяли, што онъ мнѣ женихъ? И

не стыдно вамъ говорить-то!.. По себѣ, видно, судить...

— Хотѣла, видно, обмануть молодца, да не на таковского напала.

— Хотя бы не ты говорила, Офимья!.. Не тебя ли стыдили въ прошломъ году!.. Я молчу. И какое вамъ дѣло, бабы, до меня? Экая важность, што я беременна! Будто ужъ дѣвкѣ и родить нельзя! Будто и за вами нѣтъ грѣховъ... Я знаю, што дѣлаю.

— Безстыдница, такъ безстыдница и есть! Ты бы мужчинѣ-то постыдилась.

— Нечего мнѣ ихъ бояться. Одинъ изъ нихъ хотѣлъ же на мнѣ жениться, не дальше, какъ въ Крещенье въ ногахъ у меня валялся, а какъ я сказала ему, што я... ну, онъ и драго.

Женщины молчали.

— Это не заводской ли Гришка? — спросилъ мужчина.

— Ну, хоть бы и онъ, такъ вамъ-то што?

— Славно онъ нарѣзлся.

Женщины вооружились противъ мужчинъ; мужчины доказывали, что никому не охота жениться на беременной, и стояли больше за свою братью. Но теперь всѣ были вооружены противъ Ивана Зубарева, всѣ грозились, какъ только онъ покажется на промыслахъ, свернуть ему голову; но Лизавета Елизаровна упростила не дѣлать ему никакого вреда, потому что не стоитъ изъ-за него быть въ отвѣтѣ, а лучше сказать ему, чтобы онъ не смѣлъ больше показываться на промыслахъ; приневоливать же его жениться на ней не надо, потому что онъ ей теперь противенъ.

Тѣмъ разговоры и кончились. Начали носить соль, и объ утреннемъ разговорѣ никто не заводилъ рѣчи, даже не говорили и о томъ, что Горюновъ при входѣ женщинъ въ варницу ушелъ, не поклонившись ни сестрѣ, ни Лизаветѣ Елизаровнѣ. Хотя сестра и спросила Панфила, куда ушелъ братъ, но онъ ничего не могъ сказать положительнаго. Григорій Прохорычъ ушелъ въ другія варницы. Онъ далъ себѣ слово всячески стараться избѣгать встрѣчи съ Лизаветой Елизаровной, которую онъ любилъ, обнималъ и которая такъ жестоко оскорбила его.

Въ полдень показался на промыслахъ Иванъ Зубаревъ. Онъ нерѣшительно шелъ къ варницѣ, то и дѣло оглядываясь и озираясь по сторонамъ, какъ будто боялся, чтобы его не зашибли откуда-нибудь полѣномъ. Онъ дошелъ благополучно до варницы, вошелъ въ нее, постоялъ немного и подошелъ къ одной дѣвкѣ, за которую въ послѣднее время носилъ соль. Та обругала его, упрекнула Ульяновой.

— Не хочешь ли ты и со мной такую же штуку сдѣлать, какъ съ ней? — сказала она и ушла.

— Гляди, бабы, Зубаревъ! — начала Лизавета Елизаровна: — стойтъ, какъ оплеванный! На него никто и вниманія не обращаетъ, а онъ стойтъ... Спросите, чево ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающій видъ.

— Лучше уходи добромъ въ свое село. Намъ ты теперь, послѣ твоихъ пакостей, не товарищъ, — сказала одна дѣвица.

Парни окружили Зубарева.

— Не троньте его!.. Я больше васъ имѣю право бить его, да не хочу руки марать объ эдакую галину... Посмотримъ, удастся ли ему еще надуть такую дуру, какъ я, — проговорила Лизавета Елизарова.

— Посмотримъ: кто возьметъ тебя замужъ! — крикнулъ Зубаревъ.

Всѣ заголосили, парни начали бить Зубарева, но Лизавета Елизаровна уняла ихъ. Зубаревъ ушелъ освищенный и обруганный.

— Теперь ужъ онъ и близко не подойдетъ къ нашимъ промысламъ, — говорили женщины, довольныя своею храбростью.

— Ну, и нашимъ на дьямьновскомъ не совсѣмъ ловко будетъ теперь, — проговорили парни.

О Зубаревѣ можно сказать немного. Онъ былъ сынъ бѣдныхъ родителей. Сперва онъ увлекся и полюбилъ дѣвушку искренно. Но когда замѣтилъ, что она беременна, онъ ужаснулся своего поступка, думая, что его заставятъ жениться на Ульяновой, а отецъ выгонитъ его изъ дома. Онъ очень хорошо зналъ правила промысловыхъ обычаевъ, что парень или мужикъ, давшій обѣщаніе дѣвушкѣ жениться на ней, долженъ былъ исполнить его, если она беременна отъ него. Отговорки не принимались. Лизавету Елизаровну онъ зналъ хорошо, но ему было неловко сказать ей, что ему не правится ея беременность, и онъ сталъ думать, нельзя ли какъ-нибудь выпутаться изъ этого дѣла. Объяснилъ онъ это дѣло своей замужней сестрѣ, сказавъ ей, что его невѣста беременна, но, можетъ быть, и не отъ него. Та посоветовала ему ходить порѣже на моргуновскіе промыслы, ревновать невѣсту къ кому-нибудь. По ея совѣту и дѣйствовалъ Зубаревъ. Послѣ двунедѣльнаго отсутствія, онъ замѣтилъ, что за Лизавету Елизаровну несутъ соль другой парень, и этого было достаточно ему, чтобы заподозрить ее въ невѣрности. Онъ не взялся помогать Лизаветѣ Елизаровнѣ и даже не поговорилъ съ ней. Но онъ полюбилъ ее, ему жалко было ее, ему хотѣлось поговорить съ ней; но гордость и подозрѣніе, что она дѣйствительно можетъ быть, промѣняла его на заводскаго парня, удерживали его, да онъ и радовался, что на мѣсто его подвѣнулся другой парень. Въ этотъ день онъ шелъ на Моргуновскіе промыслы за тѣмъ, чтобы сказать Лизаветѣ Елизаровнѣ, что онъ давно слѣдилъ за ней и узналъ, что она вѣтреная, почему онъ съ нею и не можетъ быть больше знакомъ.

## XI.

Послѣ этого событія случилось то, что домъ Ульяновыхъ перешелъ во владѣніе припаснаго Онуфриева, который до той поры не имѣлъ своего дома. Его нельзя было никакъ уговорить, чтобы онъ пообождалъ немного вѣзжать въ домъ. Онъ ничего не хотѣлъ слушать и очень скоро перетаскился съ своимъ семействомъ, состоявшимъ изъ жены, сестры и пятерыхъ дѣтей, въ старую половину, т. е. въ ту, гдѣ жили Ульяновы, потому что она была по-

мѣстительнѣе новой, такъ какъ въ ней была изба и комната. Новую половину онъ отдалъ въ распоряженіе Ульяновыхъ съ платомъ ему въ мѣсяцъ пятнадцати коп. и съ тѣмъ, чтобы Ульяновы таскали на семейство Онуфриевыхъ воду. Итакъ Ульяновы помѣстились въ новой половинѣ съ Пелагеей Прохоровной и ея братомъ Нанфиломъ.

Теперь все хозяйство осталось въ рукахъ Лизаветы Елизаровны, которая никакъ не хотѣла, чтобы Пелагея Прохоровна считала себя хозяйкою. Степанида Власовна теперь совсѣмъ переженилась. Раньше она была строгою хозяйкою, требовала, чтобы у нея все было исправно, чисто, все лежало на своемъ мѣстѣ; прежде рано истопливалась печь, рано искалились хлѣбы и остальное время было занято или пряжею, или вязаньемъ, или тканьемъ. Теперь же, считая себя болѣе прежняго обиженною и оскорбленною, она и въ дочерн, и въ сыновьяхъ, и въ маленькой дѣвочкѣ подозрѣвала враговъ. Вставала она рано, будила всѣхъ рано и начинала ворчать, что ее всѣ обидѣли, ни отъ кого ей нѣтъ почету, никто ее не хочетъ слушать.

— Да кто тебя, мамонька, не слушаетъ? Всѣ мы тебя любимъ, — скажетъ Лизавета Елизаровна.

— Это и видно. Я што говорила: не топи печь — дровъ нѣтъ...

— Это ужъ не твоё дѣло. Не ты заботишься о дровахъ-то.

— Ну, вотъ! Я стала теперь не хозяйка въ своемъ домѣ? То, бишь, выгнали... — И начинала она разводить исторію о томъ, какъ она по милости злыхъ людей и неповиновенія дѣтей дошла до такой бѣдности.

Выидеть Лизавета Елизаровна къ коровѣ, — корова тощая, ѣсть хочетъ, а сѣна нѣтъ, кушать не на что, украсть совѣстно, потому что и такъ уже сколько дней пробавлялись чужимъ сѣномъ. Просто мука съ одной этой коровой!.. Кабы она молока не давала — Господь бы съ ней... И ночь-то спокойно не заснешь; проснешься, корова на умъ: „какъ бы ее прокормить сегодня, какъ бы украсть гдѣ сѣна“... Думаетъ, думаетъ Лизавета Елизаровна и полѣзетъ на поломанную телѣгу къ сосѣднему сараю, засунетъ въ шелку руку, пошарить, пошарить — труха одна. И хорошо еще, что никого сегодня нѣтъ тамъ во дворѣ, а то ей не одинъ разъ уже приводилось слышать: „и какой это чортъ сѣно воруетъ? Сколько было сѣна — одна труха только теперь. Ужъ поймаю же я кого-нибудь изъ Ульяновыхъ, штобъ у нихъ отсохли руки...“

— Мамонька! Ужъ продать бы што-ли корову-то! Нечего ей ѣсть-то.

— Ну, вотъ! все я виновата во всемъ... Нѣтъ ужъ, поколѣю я, а корову не продамъ.

Дѣлать нечего, поидеть Лизавета Елизаровна къ сосѣдямъ, кои подобрѣе, кои прежде побирались у Ульяновыхъ. И чего, чего только она не выслушаетъ отъ нихъ? Отъ однихъ словъ убѣждалъ бы человекъ... Но не поколѣвать же коровѣ изъ-за людскихъ непріятностей: „пусть говорятъ, что хотятъ, пусть конфузятъ и страмятъ насъ, какъ хочутъ, — все снесу, только бы дали сѣна“... Зато



какъ рада. съ какимъ восторгомъ нестѣ домой Лизавета Елизаровна охапку сѣна, точно она нестѣ несмѣтными сокровища... Зато во всемъ околѣтѣ про нее стали говорить: „ни у кого нѣтъ такого безстыдства, какъ у Лизки Ульяновой. Известно, отпѣтая... Вѣдь знаетъ, что у насъ не горы золота, а лѣзетъ. И только ужъ по человѣчеству жалко и животинку: потому, чѣмъ бѣдная коровенка виновата, что ее морять голодомъ“... А Степанида Власовна не понимала всего этого. И много, много было такихъ недостатковъ, черезъ которые почти на каждомъ шагѣ приводилось получать Лизаветѣ Елизаровнѣ непріятности. Мать же если и сидѣла иногда цѣлый день дома за пряжей или тканьемъ, то отъ нея житья не было, все ворчить и говорить вздоръ, а уйти некуда; да и когда мать дома, нужно больше хлѣба; мать требуетъ шей, а если Лизавета Елизаровна говоритъ ей, что у нихъ семья большая, дай бы Богъ, чтобы на всѣхъ до лѣта картофеля да свеклы хватило, такъ она начинаетъ укорять ее женихомъ.

— Небось брюхо нажила, а женишку поблажку дала!.. Нѣтъ, мы не такъ прежде дѣлывали.

— Хотѣ бы ты этого-то не говорила, мать! — взвѣстѣ Лизавета Елизаровна.

— Какъ я тебя начну щепать! Ты развѣ не моя дочь? Не я тебя вспола, вскормила, на ноги поставила? Ну, дура же я была, што не швырнула съ полатей тебя... Только бросить, мокренько бы стало.

— Мамонька! Да чѣмъ же я виновата?

— А! Теперь дакъ чѣмъ виновата! Нѣтъ, матушка, коли кататься любишь, люби и саночки возить... Изволь теперь кормить меня.

„Мать права“, думаетъ Лизавета Елизаровна. „Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ она виновата, што я беременна? Какая мать въ состояніи уберечь свою дочь на промыслахъ?... Вотъ теперь я знаю, што отъ такого баловства можно нажить горе на всю жизнь, а тогда я и вѣрить этому не хотѣла, потому что молода еще очень была... Если мать и ругала меня, я думала: она зла мнѣ желаетъ. А все же и она виновата: отчего бы матери лаской да съ любовью не научить дѣвчонку, какъ дѣйствовать, если парень умасливаетъ дѣвку? Отчего не сказать: бойся, молъ, мила дочка, парней, и до тѣхъ поръ, какъ парень не женится на тебѣ, не спи съ нимъ... Чѣмъ виновата мать, что у насъ такая бѣдность? Вѣдь знаетъ она, што ни я, ни Степанъ не сидимъ безъ дѣла, и все-таки нашихъ денегъ не хватаетъ на недѣлю. Чѣмъ и отецъ виноватъ былъ, если у него доходовъ не стало.. И зачѣмъ она всю вину теперь на меня сваливаетъ, зачѣмъ сама объ своихъ дѣтихъ не заботится?“

Семейство отдыхало, когда Степанида Власовна не было дома. Но и въ это время у Лизаветы Елизаровны щемило сердце. „Лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про насъ“. И дѣйствительно, Степанида Власовна ходила не за дѣломъ, не для работы, а такъ, Богъ знаетъ зачѣмъ. На нее нашла апатія; дѣлать ей ничего не хотѣлось; при видѣ знакомыхъ она горячилась, подозрѣвая

ихъ въ отравленіи ея, мужа ея и ея семейства... На улицѣ, въ домахъ, куда ее принимали изъ жалости, она не могла найти себѣ покоя. Дома ей было душно; ея семейство давило ее. И вотъ она стала попивать водку, и такъ крѣпко, что на нее уже нечего было надѣяться.

Панфилю жилъ очень дружно съ Степаномъ. Хотя они и ссорились часто, потому что во многомъ не сходились другъ съ другомъ и дрались частенько изъ-за того, что который-нибудь изъ нихъ воровалъ у другого кусокъ хлѣба, надѣвалъ ботинки или фуражку, — но если не было дома одного, другой скучалъ. Степанъ работалъ на вороту, т. е. погонялъ лошадей, и за это получалъ платы за день десять коп. Случалось, что онъ отъ устатка сваливался и сладко засыпалъ, но за это его колотили безъ пощады, не считая еще его за человѣка. Такая работа впрочемъ не всегда бывала, да и она мальчику очень надоѣдала, и поэтому онъ съ охотой шель въ варницы, и если тамъ за броску дровъ въ печь, за складку дровъ въ полѣнницу или очистку сѣнга откуда-нибудь на промыслахъ ничего не давали, то онъ все-таки днемъ не шель домой, потому что ему дома бывало скучно, онъ отвыкалъ уже мало-по-малу отъ дома и считалъ себя большимъ человѣкомъ, почему и не любилъ, чтобы его дома ругали. Поэтому часто случалось, что или Степанъ прибѣжитъ къ Панфилю покурить табачку, погрѣться, или Панфилю къ Степану убѣжитъ отъ рабочихъ, которые за что-нибудь хотятъ бить его, или просто покалѣкать со скуки. А у Панфила новостей или разсказовъ было больше, потому что онъ терся съ людьми, а Степанъ только около лошадей.

Разъ Панфилю приходитъ къ Степану, который, отъ нечего дѣлать, изощрялся попасть хворостинкой въ глаза которой-нибудь изъ лошадей. Увидя Панфила, Степанъ бросилъ хворостинку и подошелъ къ нему. Лошади стали.

— Слышь, Степка, што мужики говорятъ: мы напрасно деньги-то отдаемъ дома.

— А имъ што за дѣло?

— Вы, говорятъ, дураки, ужъ не маленькіе теперь. Сколько, говорятъ, вы не принесете, все возьмутъ, а вамъ ничего не отдадутъ. Не надо, говорятъ, отдавать деньги. Лучше, говорятъ, на сапоги копить.

— Дурень! — какъ не отдать-то?

— А ты возьми и не отдай — не дали, молъ... Я дакъ не отдамъ, потому сестра сама большая. Сама замужемъ была, и я ей больше не помощникъ. Вонъ Гриша тоже не живетъ съ нами. А мы, Степка, на квартиру пойдемъ.

Степанъ ничего не сказалъ. Онъ задумался. Слова Панфила его точно ошпарили; онъ, вытараща глаза, смотрѣлъ на метелку, и долго простоялъ въ такомъ положеніи, до тѣхъ поръ, пока не вывела его изъ оцѣпенѣнія одна лошадь, начавшая чихать. Панфила уже не было въ насосѣ.

Степанъ былъ совсѣмъ сбитъ съ толку своимъ пріятелемъ. Находясь постоянно среди рабочихъ и считая себя тоже рабочимъ, только еще неболь-



шить, онъ понималъ все, что творилось вокругъ него; но онъ былъ въ такомъ возрастѣ, въ которомъ легко подчиняются влиянію товарищей и взрослыхъ. Свое ничтожество передъ взрослыми онъ сознавалъ изъ того, что онъ не имѣлъ такой силы, какъ взрослые; взрослый легко могъ стиснуть ему руку такъ, что онъ чувствовалъ сильнѣйшую боль; на многія слова онъ не могъ ничего отвѣчать; не могъ многого сдѣлать такъ, какъ дѣлаютъ взрослые: взрослые ругали его мальчишкомъ, не позволяли ему дотрогиваться до такихъ вещей, до которыхъ ему не слѣдовало дотрогиваться, утиряли его любопытство, толкали его оттуда, гдѣ ему по его лѣтамъ быть не слѣдовало, теребили за уши, если онъ забирался въ кабакъ и тянулъ изъ рюмки водку. Поэтому, отстраняемый всюду, даже въ церкви, на задній планъ, онъ всячески старался добиться того, отъ чего его отстраняли, и старался во всемъ подражать взрослымъ, для того, чтобы его не считали мальчишкою. Вообще ему, промышленному мальчику, приходилось переносить много, и надо удивляться живучести его натуры.

Въ отцѣ Степанъ видѣлъ домохозяина, главу, но онъ его нисколько не боялся, потому что его не боялась мать, которая, какъ онъ понималъ, держала отца въ ежовыхъ рукавицахъ. Отъ рабочихъ онъ слышалъ, что его отецъ мокрая курица, которую мать его можетъ загнать, куда угодно. Кромѣ этого онъ слышалъ отъ брата, что онъ незаконный сынъ, что отецъ его другой, и поэтому онъ не имѣлъ особенной любви къ отцу, относясь къ нему, какъ къ хозяину. Мать была для него не то: онъ ее всегда видѣлъ дома, мать одѣвала его, давала ѣсть, кричала на него и колотила его, когда онъ ее не слушался. Степанъ не боялся постороннихъ людей, которые его бранили и били; а мать скажетъ слово — онъ боится, чтобы она его не ударила, а станетъ огрызаться, ему же достанется. Изъ ее разговоровъ онъ понималъ, что мать если работаетъ на промыслахъ, прядетъ куделю, ходитъ куда-нибудь, то все это она дѣлаетъ для дѣтей. Но, видя, какъ рабочіе обращаются съ пожилыми женщинами на промыслахъ, онъ все-таки сознавалъ, что женщина не мужчина, ей власть надъ нимъ нейдетъ дальше ея дома, и что поэтому мать его только въ своемъ семействѣ имѣетъ верхъ надъ дѣтьми, но на промыслахъ — существо, довольно слабое, ничѣмъ не розняющееся отъ другихъ женщинъ, съ которыми, кто хочетъ, тотъ и заигрываетъ, которыхъ, кто хочетъ, тотъ и обругаетъ. Все-таки онъ свою мать уважалъ, и если кто при немъ говорилъ про нее некорошо или ругалъ ее, онъ заступался за нее, что очень смѣшило молодыхъ рабочихъ. И сосѣди говорили, что у Ульяновыхъ изъ дѣтей только одинъ Степка покорный, который со всѣхъ ногъ бѣжитъ туда, куда пошлетъ его мать, и относили это къ тому, что онъ былъ любимецъ Степаниды Власовны. Знакомые Степаниды Власовны говорили, что Степанъ походить лицомъ и манерами на нее. И дѣйствительно, Степанъ, вымывшись въ банѣ и приняря-

дившись, казался очень красивымъ мальчишкою. Въ характерѣ его было много женственности, и онъ былъ мальчикъ, какъ говорили дѣвушки, завидующій. Но однако, несмотря на то, что зависть свою онъ проявлялъ передъ всеми родными и любилъ поѣсть сладкаго, онъ каждую копейку отдавалъ матери, и если покупалъ пряникъ, то не зналъ, что ему соврать матери, которая знала, сколько Степанъ получалъ заработка. Такъ было до отъѣзда отца. При прощаніи въ его голову врѣзались непонятныя слова родителей и сестры; онъ замѣтилъ, что въ семействѣ что-то отъ него скрываютъ. Онъ долго думалъ объ этой сценѣ и ничего не могъ выдумать, а пришелъ только къ тому заключенію, что его отецъ человѣкъ нехорошій, сестра тоже нехорошая, потому что она что-то сдѣлала нехорошее, коли плакала. Но отчего, спрашивается, ушелъ отецъ? Отчего онъ его не взялъ съ собою, если на золотыхъ хорошо? Отчего отецъ плакалъ и всѣ плакали, когда прощались съ нимъ?.. Уже не обидѣлъ ли кто отца? Думалъ Степанъ и старался подслушать, что про него говорятъ рабочіе. Изъ этихъ подслушиваній онъ узналъ, что мать ругаютъ всѣ мужчины за то, что она сама не умѣла беречь деньги, когда отецъ имѣлъ большіе доходы; что не тратъ она деньги на угощенія своихъ любовниковъ, Елизаръ Матвѣичъ не сидѣлъ бы понапрасну три года въ ябѣ безъ дѣла, а могъ бы заняться торговлей; что отъ такой сварливой жены поневолѣ побѣжишь куда-нибудь. И много, много Степанъ услышалъ отъ рабочихъ. Горько ему было, плакалъ онъ, что обижаетъ его мать, и при первомъ же случаѣ хотѣлъ пожаловаться ей; но въ первые дни мать была очень сердита, къ ней нельзя было и подступиться, ругала его, гнала вонъ, говоря, что теперь ей и самой нечего жрать, не только что кормить еще такую ораву.

— А, мамонька, мои деньги... — сказалъ Степанъ, думая, что онъ этимъ угодитъ матери.

— Ты што меня корнись своими-то деньгами? Ахъ ты, мерзавецъ! Онъ только што въ работу поступилъ, а ужъ началъ укорять меня, што я на его деньги живу.

Долго ругалась мать, и даже побила Степана въ этотъ день. Степана это разобидѣло. Ему думалось, что матери не жалко его; она не понимаетъ того, какъ ему тяжело на работѣ. Мать день ото дня становилась сердитѣе; если сынъ отдавалъ ей деньги, она ругала его, зачѣмъ онъ мало принесъ, что онъ вѣроятно сошелся съ мошенниками, которые обираютъ его. Станетъ возражать Степанъ, мать такъ крикнетъ на него, что онъ вздрогнетъ и не найдетъ, что сказать. Крѣпко сталъ Степанъ раздумывать о томъ, какъ бы угодить матери. Прежде мать по головѣ его гладила, когда отдавалъ онъ ей недѣльный заработокъ, кормила его досыта, если что некла сладкое, то сама не попробуетъ, а дастъ ему, — теперь бьетъ за то, что онъ мало носитъ денегъ, хотя онъ теперь цѣлыми двумя копейками получаетъ больше прежняго, сладкаго ничего нѣтъ, да и

хлѣбъ даже покупають съ рынка. Прежде мать заботилась, нѣтъ ли на халатишкѣ дыры, цѣлы ли у него ботинки, — теперь все разваливается, мать не спрашиваетъ, а поди-ка сунься къ ней, когда она все ворчитъ. Хорошо еще, что сестра кое-какъ заштопаетъ. О Лизаветѣ Елизаровнѣ онъ тоже былъ дурного мнѣнія, но она въ послѣднее время стала ему больше нравиться, потому что она съ нимъ разговаривала, играла съ нимъ въ карты, расспрашивала его, кормила и заштопывала дыры на халатишкѣ и на ботинкахъ; когда сестры и Пелагея Прохоровны не было дома, туда хоть не показывайся: ни корки оглоданной не найдешь нигдѣ. Кромѣ этого ему нравилось то, что она отказалась быть женою Григорія Прохорыча, котораго онъ терпѣть не могъ за его хвастовство и надменность.

Степану мало приводилось работать съ рабочими. Онъ больше находился въ насосѣ около лошадей одинъ или съ какими-нибудь рабочими, который больше молчалъ. Въ такомъ уединеніи у него много было времени думать, къ тому же онъ не былъ охотникомъ нѣтъ одинъ пѣсни. И онъ думалъ много. Но главнымъ его думою ежедневно было о томъ, что будетъ изъ него, когда онъ сдѣлается богачомъ, и какими образомъ ему достигъ до того, чтобы сдѣлаться богатымъ человѣкомъ? Все это онъ развивалъ на разные лады: каждый новый предметъ давалъ ему тему для новыхъ думъ. Лѣтомъ онъ думалъ, что найдеть деньги подъ лодкой, въ которой онъ или кто-нибудь перевозилъ состоятельнаго человѣка черезъ рѣку; на эти деньги онъ завелъ бы нѣсколько лодокъ, въ которыхъ его семейство стало бы перевозить весной людей черезъ рѣку дешевле, чѣмъ берутъ на перевозъ, и такимъ образомъ нажилъ бы много денегъ и изъ нихъ половину бралъ бы себѣ, а половину отдавалъ матери, и т. д. Зимой онъ думалъ: хорошо бы зарабатывать деньги на лошадей, которую бы можно было запречь въ ворота, и тогда онъ сталъ бы получать платы по четвертаку въ день; по праздникамъ бы сталъ на этой лошади возить дрова на варницы — и мало-по-малу разжился бы, и т. д. И чѣмъ больше казалась ему невыносимою брань, тѣмъ больше онъ проводилъ время въ думахъ о богатствѣ и даже мало спалъ по ночамъ. А тутъ еще новое горе: промысловая Варька, пятнадцатилѣтняя дѣвушка, съ которой онъ сътрѣхлѣтняго возраста игралъ вмѣстѣ, стала ему нравиться болѣе прежняго. Варьку онъ сталъ почему-то бояться, и при мысли о ней по всему тѣлу чувствовалъ что-то пріятное: такъ вотъ и хочется видѣть ее, сидѣть съ ней и смотрѣть на нее. Ужъ онъ ее разъ обнялъ въ чуланѣ, да она его такъ оттолкнула, что онъ сильно ушибъ о косякъ лѣвый локоть. А какъ разъ обнялъ да получилъ толчокъ, захотѣлось и въ другой разъ; только она сказала:

— Не стоишь! Подари мнѣ платокъ съ картинкой, такъ я тебѣ позволю обнимать меня часто. Тогда и я тебѣ варежки подарю.

Задумался Степанъ крѣпко надъ словами своего пріятеля. „Въ самомъ дѣлѣ“, думалъ онъ, „если я не

стану отдавать денегъ матери или сестрѣ, я накоплю денегъ. Куплю себѣ ботинки, Варькѣ платокъ; Варька мнѣ подаритъ варежки и чулки“. Но какъ это сдѣлать? Что сказать матери, куда деньги спрятать?

По окончаніи работы онъ зашелъ за Горюновымъ въ варницу; тотъ уже спалъ. Ульяновъ разбудилъ его.

— Не пойду. Гришка вонъ тоже не ходитъ, и я не пойду. Не ходи и ты, коли хочешь быть мнѣ товарищемъ, — сказалъ Степанъ Панфилю.

Въ первый разъ пришлось Степану ночевать въ варницѣ. Случалось ему спать и въ шалашѣ у отца, и въ лѣсу, и на берегу рѣки, зато онъ спалъ тамъ въ виду матери или съ разрѣшенія ея; теперь же ему пришлось покидать мать и сестру по своему капризу. Но отстать отъ Панфила ему не хотѣлось; рабочіе говорили: гдѣ Степкѣ спать въ варницѣ, онъ ни на шагъ не можетъ отойти отъ матери и спать на перинѣ. Степанъ легъ къ Панфилю, но долго ворочался съ боку на бокъ, и еслибы не ночь, то давно убѣжалъ бы домой.

На другой день ему было очень скучно о матери, и онъ боялся теперь показаться ей. Чѣмъ больше онъ думалъ о своемъ поступкѣ, тѣмъ больше находилъ себя неправымъ, потому что никто, кромѣ матери, такъ не любилъ его раньше. А если теперь она не любитъ, то, можетъ быть, это не долго будетъ продолжаться. Вечеромъ Степанъ направился домой, но Панфиль попался ему навстрѣчу. Онъ несъ на веревочкѣ двухъ налимовъ.

— Степка! Иди уху хлебать!.. Славная уха, съ лукомъ, съ перцемъ!.. Славно будетъ! Гуляй, Степка!!

У Степки слюни текли отъ желанія похлебать уху: ему слышался запахъ рыбьяго навара. Онъ уже съ Покрова не ѣдалъ рыбы. Тогда мать пекла пироги съ сибирякомъ, а о налимахъ онъ только слышалъ, что они хороши. И онъ пошелъ за Панфиломъ.

Панфиль Горюновъ справлялъ сегодня свое вступленіе въ товарищество рабочихъ. Хотя рабочіе и не считали его за большого рабочаго, но такъ какъ онъ работалъ наравнѣ съ ними то же, что и они, то они и не гаушались съ нимъ водить компанію, обѣдать вмѣстѣ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже затыкались имъ, т. е. просили его въ случаѣ отсутствія товарища замѣнить того, за что онъ, кромѣ спасибо, пока ничего не получалъ. Товарищество состояло въ томъ, чтобы работать вмѣстѣ. въ случаѣ утайки кѣмъ-либо какой-нибудь промысловой вещи всѣмъ молчать, хотя бы при этой утайкѣ не было произведено между товарищами никакого дѣла, не выдавать товарища, если онъ почему-нибудь ушелъ изъ варницы съ пол-дня или пол-ночи, а требовать, чтобы ему была положена плата, какъ и всѣмъ, за полное число урочнаго времени. Товарищество составляли болѣею частью друзья, и поэтому въ компанію къ нимъ попасть было не легко. Панфиль же попалъ потому, что онъ былъ мальчишкѣ бойкій, острый на словахъ, умѣлъ угождать всѣмъ, раза два уже обругалъ смотрителя и тотъ ничего не сдѣлалъ за это мальчишкѣ, потому что не нашелъ, что возразить на его

рѣзкія замѣчанія. Особенно рабочимъ нравилось въ Герюновѣ то, что онъ отказался жить съ сестрой и, стало быть, будетъ жить деньги, которыми легко можно будетъ имъ позаниматься отъ него. Рыбу же Панфилю досталъ довольно смѣло. Напротивъ амбара, недалеко отъ берега, онъ замѣтилъ утромъ какого-то мужчину, вытаскивающего изъ маленькой проруби палку, потому какую-то плетушку. Это его заняло. Онъ подошелъ къ нему и узналъ, что мужчина ставитъ морды и снасти, которыми ловятъ рыбу. Вотъ вечеромъ Панфилю и пошелъ ловить рыбу. Морду онъ не могъ поднять, а бичевка съ вершковыми крючками была такъ велика, что онъ ее едва на четверть вытащилъ изъ дыры. И тутъ съ нимъ чуть не случилась бѣда: одинъ крючокъ зацѣпился за халатъ, его стало тянуть къ дырѣ; ладно, что онъ ножикъ взялъ съ собой и обрѣзалъ бичевку и потомъ схватилъ бичевку съ налимками, пустился бѣгомъ къ варницамъ, потому что услыхалъ недалеко отъ себя крикъ рыбакова, который хотѣлъ его побить. На промыслахъ онъ былъ въ безопасности, потому что туда рыбаковъ идти побоялся бы.

Уху хвалили всѣ, несмотря на то, что къ ней не доставало водки. Степанъ былъ съ жадностью, и послѣ ужина у него прошла охота идти домой. Такъ прошло до субботы. Въ субботу утромъ ребята задумались: гдѣ имъ выпариться и гдѣ провести воскресенье. Утромъ Панфилю высказалъ это затрудненіе товарищамъ. Тѣ тоже призадумались.

— Въ банѣ выпариться безпремѣнно надо и рубашку надо тоже попарить, да вымытъ надо... У насъ-те нѣту бань, сами паримся гдѣ попало, а вамъ, ребяткишамъ, и подавно негдѣ... Мы пожалуй съ собой возьмемъ, только куды послѣ бани вамъ дѣваться? Вѣдь не все же на промыслахъ быть? Вѣдь бываетъ же и свиныхъ празднѣй.

Такъ рабочіе вопросъ о томъ, гдѣ провести ребятамъ праздникъ, ничѣмъ не рѣшили.

Въ субботу была работа и женщинамъ на промыслахъ. Какъ водится, тамъ были Лизавета Елизаровна съ матерью и Пелагея Прохоровна. Степанида Власовна поработала немного и пошла разскашивать сына.

— Варваръ! Въ добрую землю видно вошелъ!— кричала она на Степана.

Степанъ молчалъ.

— Съ эдакихъ лѣтъ отъ дому сталъ лытать (бѣгать)! Гдѣ ты былъ?

— Здѣсь!

— Врешь! Не повѣрю!

— Я, мамонька, не пойду больше домой. Мнѣ и здѣсь хорошо.

Мать разразилась ругательствомъ, но на нее крикнулъ рабочій.

— Што кричишь-то! Только парня-то отъ дѣла отнимаешь. И такъ ужъ чуть не всѣ жили изъ него вытанула,—проговорилъ онъ вслухъ и оттолкнулъ ее отъ насоса.

Степанида Власовна пошла жаловаться на рабочихъ смотрителю, что они совсѣмъ развратили Степана, и просила его заступиться за нее, то есть ото-

е. м. рѣшетниковъ.

драть его хорошенько сейчасъ же при ней, какъ это было прежде.

— Не могу. На то есть полиція.

Степанида Власовна заплакала и поклонилась смотрителю въ ноги, прося его выдать ей заработокъ за Степана.

— Ты, матушка, сама въ состояніи робить! Отъ тебя и теперь разить водкой.

И смотритель вытолкалъ отъ себя Степаниду Власовну.

Степанида Власовна не унялась, а пошла къ полицейскому началству, которое отказалось назначать розгами ея сына, но дало ей бумагу, чтобы заработную плату сына ея Степана выдавали ей. Смотритель позвалъ къ себѣ Степана и объявилъ ему о продѣлкѣ его матери.

Степанъ стоялъ блѣдный, молчалъ.

— Не ты первый... Эти пьяныя бабы меня совсѣмъ сбили съ толку, и я не знаю, какъ помочь тебѣ... Если я всѣмъ стану помогать, самому придется голодомъ сидѣть! А супротивъ полиціи я ничего не могу сдѣлать, потому наши порядки съ ея порядками не сходятся.

Вечеромъ Степанида Власовна получила за Степана деньги за всю недѣлю, такъ какъ Степанъ работалъ всю недѣлю на одномъ мѣстѣ. Рабочіе ее стыдили; уговаривала ее и Лизавета Елизаровна не брать деньги, если Степанъ не хочетъ ихъ отдавать имъ для хозяйства; плакала Степанъ,—ничто не помогло. Степанида Власовна ушла съ деньгами.

— А вѣдь, ребята, съ ней ничего не сдѣлаешь. Она мать!—говорили рабочіе.

— Да парню-то отъ этого не легче!.. Надо бы его пристроить куда-нибудь.

— Кто станетъ даромъ кормить?... Слушай, Степанъ... Твоя мать беретъ за тебя деньги, значитъ полиція думаетъ, што она живетъ на твой счетъ и семью кормить... А всѣмъ теперь, послѣ Елизара, извѣстно, што кормитесь вы Лизкой. И дуракъ ты будешь, если не станешь требовать свое... Ступай домой хозяиномъ. Знать, молъ, не хочу, давай мнѣ мое, одѣвай, обувай меня,—проговорилъ одинъ рабочій.

— Хоть бы кормила, и то ладно, — замѣтилъ кто-то въ толпѣ.

Настроенный такимъ образомъ рабочими, Степанъ пошелъ домой съ сестрою, Панфиломъ и Пелагеею Прохоровною, которая говорила, что хорошо онъ дѣлаетъ, что не живетъ дома, потому что ее и такъ кормитъ Степанида Власовна угломъ. И еслибы она, Пелагея Прохоровна, имѣла больше заработка, то ушла бы на другую квартиру, да и теперь живетъ только потому, что ей веселѣе съ Лизаветой Елизаровной.

Степаниды Власовны дома не было. Она пришла уже въ то время, когда всѣ выпарившись въ банѣ, и пришла пьяная, но ворчала недолго и, свалившись на полъ, скоро заснула. Лизавета Елизаровна пощупала карманъ въ сарафанѣ Степаниды Власовны—ничто не брякало.

— Какъ есть всѣ уходила!—сказала она съ горестью.

Вскорѣ легли спать всѣ обитатели этой квартиры, и черезъ полчаса, какъ погасили лучину, въ избѣ настала тишина, прерываемая храпомъ Степаниды Власовны. Не спали только Пелагея Прохоровна и Степанъ; но оба они, занятые своими мыслями, думали, что спать всѣ. Вдругъ Пелагея Прохоровна, спавшая на кровати рядомъ съ Лизаветой Елизаровной, услышала, что кто-то слѣзъ съ печки и подошелъ къ Степанидѣ Власовнѣ. Немного погодя, что-то стукнуло подъ лавку. Пелагея Прохоровна задрожала, встала и на цыпочкахъ подошла къ столу, на которомъ она ощущала спички. Она чиркнула спичкой, спичка зажглась — и въ этотъ моментъ она увидѣла Степана, поднявшаго руки вверхъ съ топоромъ. Въ тотъ моментъ, какъ освѣтило избу, топоръ выпалъ у Степана назадъ отъ него и попалъ на голую ногу Пелагеи Прохоровны, но къ счастью не остріемъ, а обухомъ.

Пелагея Прохоровна схватила за руки Степана.

— Што ты дѣлаешь, разбойникъ? — крикнула она въ испугѣ.

— Ничего... Пусти... — и Степанъ сталъ барахтаться.

— Лиза! Помогн мѣ.

— Што такое? — проговорила въ испугѣ Лизавета Елизаровна.

— Вратчикъ-то твой...

Лизавета Елизаровна вскочила, зажгла огня на лучину и увидала: Пелагея Прохоровна борется съ Степаномъ, который старался вырвать свои руки изъ рукъ Мокроносовой, а ртомъ старался достать или локоть, или плечо ея, чтобы укусить. Увидя топоръ, Лизавета Елизаровна крикнула, и съ ней сдѣлалось дурно. Въ это время проснулся Панфилъ и открыла глаза Степанида Власовна.

Степанъ вырвался и выбѣжалъ изъ избы. Пелагея Прохоровна оттолкнула топоръ ногой подъ лавку. Степанида Власовна присѣла, оглядѣлась, потомъ выбѣжала на дворъ и закричала:

— Караулъ!.. рѣжутъ!..

На ея крикъ сбѣжались хозяева и, узнавъ отъ нея, въ чемъ дѣло, хотѣли идти спать, потому что на нее не стоило обращать вниманія; но вышла Пелагея Прохоровна и стала звать хозяйку на помощь Лизаветѣ Елизаровнѣ, которой съ испугу сдѣлалось дурно. Хозяинъ, узнавъ о покушеніи на жизнь матери Степаномъ, никакъ не хотѣлъ прекратить это дѣло, и, какъ его ни упрасивали Мокроносова, Горюновъ и Лизавета Елизаровна не разглашать о немъ, онъ для своей безопасности созвалъ двухъ сосѣдей въ квартиру своихъ жильцовъ и устроилъ зайвиль полиціи.

Лизавета Елизаровна къ утру выкинула мертвого ребенка. Къ утру же разыскали Степана и посадили въ полицію, гдѣ онъ сказалъ, что хотѣлъ убить мать за то, что она отняла у него заработокъ.

## XII.

Степанида Власовна два дня ходила по селу, какъ ошалѣлая. На первыхъ порахъ ей такъ и казалось, что весь свѣтъ вооружился противъ нея.

Ужъ если ея родной сынъ, ея любимецъ, поднялъ на нее руку, чего-же можно ждать ей отъ чужихъ! Она не хотѣла себѣ вѣрить, что она сама своими глазами видѣла сына! Но его держала за руки ея жилищка, Пелагея Прохоровна; дочь ея выкинула отъ испуга; сынъ въ глаза сознался ей въ преступленіи. Много слезъ пролила Степанида Власовна наединѣ и при людяхъ, жалуюсь на то, что она самая несчастная въ селѣ женщина. Поступокъ Оглоблиной въ сравненіи съ поступкомъ ея сына. по заключенію Степаниды Власовны, былъ каплѣ въ морѣ: Оглоблиной она могла сдѣлать вредъ, могла ее срамить, какъ ей хотѣлось, но сынъ... сынъ, котораго она любила, на котораго она возлагала большія надежды, ея родной сынъ поднялъ на нее руки... Слышанное ли дѣло въ селѣ? Она никакъ не могла понять, чтѣ за причина, что сынъ поднялъ на нее руку? Что бы онъ выигралъ, убивъ мать свою? Ужъ ему острога не миновать, какъ онъ ни скрывайся. Развѣ ему жизнь надѣла въ селѣ? „Я не держала, иди хоть на всѣ четыре стороны; я бы держать не стала... Отчего бы ему не сказать мнѣ: я, молъ, не хочу отдавать тебѣ деньги, и я бы ничего... Стала бы собирать Христа-ради и прокормила бы какъ-нибудь ребятешекъ“... Такъ говорила Степанида Власовна всѣмъ спрашивавшимъ ее съ удивленіемъ о сынѣ, стараясь утѣшить отъ нихъ сочувствіе, жалость къ ней, всѣмъ обиженной. Но они говорили одно: „сама, матушка, виновата; ты сама довела до того сына, что онъ поднялъ на тебя руку. Отчего наши дѣти не поднимаютъ на насъ рукъ? А вѣдь и наше-то житіе не барское!“

Теперь Степанида Власовна уже не ругалась дома, гдѣ она проводила большую часть времени. Потому что ей тяжело было показываться въ селѣ, гдѣ она какъ будто чувствовала себя оплеванной. Напротивъ, она старалась держать себя дома хорошою хозяйкою, доброю матерью. Она теперь уже не бранила и дочь за то, что та выкинула младенца, а заботилась о томъ, чтобы та выздоровѣла, сообщала ей результаты своихъ похощеній насчетъ слуховъ про Оглоблину, которая, какъ она узнала отъ пріѣзжающихъ на рынокъ изъ деревень крестьянъ, торгуетъ въ городѣ калачами, пряниками и орѣхами; сдѣлалась ласкова съ Пелагеей Прохоровной, которая спасла ее отъ смерти. Все это удивляло молодыхъ женщинъ, и онѣ не знали, къ чему отнести такую перемену въ Степанидѣ Власовнѣ.

Недостатки Удяновыхъ увеличились еще болѣе. Это Степанида Власовна видѣла и особенно ощущала при наступленіи Пасхи. И она рассказывала въ томъ, что послѣ отъѣзда мужа тратила напрасну время на нанесеніе оскорбленій Оглоблиной, пропивала почти половину заработка Степана. „Хотя бы польза была изъ этого“, думала она. Хотя Оглоблиной и нѣтъ теперь въ селѣ, но ей-то отъ этого не легче. У нея нѣтъ своего дома, не на что купить даже льну для того, чтобы изъ него извлечь какую-нибудь выгоду, и стало быть не на что купить хлѣба! А теперь еще Никита и Марья

заворали, нужно звать лекарку, ей нужно платить... Собрать Христа-ради совѣстно, потому что у нея есть взрослая дочь, которая одна въ состояніи своими заработками прокормить цѣлое семейство. Но и дочь расхворалась. Иныя женщины такъ на третій день послѣ родовъ въ силахъ работать, а Лизавета Елизаровна вотъ уже цѣлый мѣсяць съ кровати не встаетъ, худѣетъ, ничего не ѣстъ. Ходила Степанида Власовна даже къ доктору посоветоваться насчетъ болѣзни дочери, да докторъ ее не принималъ. Ходила Степанида Власовна и къ начальству разному, прося его выпустить Степана, потому что она прощаетъ его постоунокъ и не желаетъ, чтобы его судили; но надъ ней посѣялись и сказали ей, что теперь она надъ сыномъ не имѣетъ уже никакой власти, потому что онъ находится въ рукахъ правосудія.

Походить, походить Степанида Власовна по селу, поищеть во многихъ домахъ работы—нигдѣ нечего ей дѣлать. Куда ни придетъ—вездѣ удивляются, что она ищетъ работы, тогда какъ иную женщину не скоро заманишь на работу въ какой-нибудь домъ, потому что женщины любятъ только носить соль, отчего вѣроятно въ богатыхъ семействахъ и выработалась поговорка: „тяжела на подъемъ, какъ солоносокъ“. Да и что ей работать на домахъ? Богатые семейства нѣмѣютъ прислугу, большаю частью изъ дѣвушекъ, которыхъ держатъ изъ-за хлѣба; бѣдныя дѣлаютъ все сами. Въ одномъ мѣстѣ ее впрочемъ заставили вымыть полъ, но хозяйка послѣ обѣда шала потеряла, и Степанида Власовну свели въ полицію. Шала нашлась, и Степанида Власовну выпустили. Въ другомъ мѣстѣ заставили бѣлье стирать, да увидала хозяйка, что Степанида Власовна не умѣетъ стирать бѣлье, прогнала ее, не заплативъ за потраченное время ни копѣйки. Придетъ она домой усталая, задумается. Дѣти стонутъ, дочь лежитъ исхудалая.

— Господи помилуй! Господи помилуй!—шепчетъ съ отчаяніемъ Степанида Власовна и посмотритъ на дочь.

„Неужели она помереть?“ — спрашиваетъ сама себя Ульянова. Возьметъ прялку, на прялкѣ замочитъ клочокъ кудели, и положитъ назадъ прялку.

И только одна Пелагея Прохоровна спасала эту семью отъ голодной смерти. Пелагея Прохоровна давно опротивѣла здѣшняй жизни. Не разъ приставали къ ней мужчины съ любезностями, не одинъ уже дѣлалъ ей предложенія „скоротать съ нимъ жизнь“. Отъ всѣхъ она отдѣлывалась или молчаніемъ, или рѣзкими возраженіями, за что ее и стали всѣ звать гордячкой; а такъ какъ она ни съ кѣмъ компаніи не вела, то преимущественно женщины стали считать ее женщиной злою, старающейся только о своей пользѣ, и смѣялись надъ тѣмъ, какъ она цѣлый день носила соль одна; если же отъ устатка она прислонялась къ стѣнѣ или садилась, ей говорили, что она лѣнится, что если она своими усердіемъ хочетъ выслужиться передъ смотрителемъ и получить какъ-нибудь больше денегъ, то не должна присѣдать и прислоняться къ стѣнѣ. Мало этого, про нее стали говорить, что

она имѣетъ попасть въ любовницы приказчика, который постоянно на нее заглядывается и одинъ разъ даже передалъ ей лишній гривенникъ по тому поводу, какъ онъ самъ сказалъ при возвращеніи этого гривенника Пелагее Прохоровной ему, что ему угодно сдѣлать ей презентъ. Наконецъ женщины стали отталкивать Пелагею Прохоровну отъ дверей варницы для того, чтобы она не попала въ солоноски. Но Пелагея Прохоровна къ удивленію женщинъ все-таки попадала въ солоноски, но зато ей приводилось много выслушивать отъ нихъ и брани, и насмѣшекъ. Все это тяжело было переносить Пелагее Прохоровнѣ; она проклинала тотъ день, въ который согласилась идти съ дядей изъ города, и давно ушла бы изъ села обратно въ городъ, если бы не было холодно. Кромѣ холода ее удерживало то, что Коровавъ хотѣлъ извѣстить ее о своемъ житѣ въ м—скомъ заводѣ, и она дожидалась чуть не каждый день вѣсти о немъ, да и Григорій Прохорычъ, ушедшій туда же черезъ двѣ недѣли послѣ призванія Лизаветы Елизаровны, хотѣлъ написать ей подробно о тамошнемъ житѣ, и если найдетъ Коровавъ, то и о немъ. Но ни Коровавъ, ни братъ ничего ей не писали; ни о нихъ, ни о дядѣ не было никакого извѣстія, точно они въ воду канули.

„Всѣ они обманщики, они только о себѣ заботятся. Ишь куда завели меня! Это они нарочно завели меня сюда, чтобы я имъ не имѣла, чтобы избавиться отъ лишняго человѣка. Такъ погодите же! Дождусь я лѣта, и сама пойду искать себѣ счастья. Ужъ не поклонюсь я вамъ! Мой дѣдушка тоже никому не кланялся, самъ въ люди вышелъ, съ нашимъ господиномъ въ Петербургѣ жилъ и еслибы не набѣдокурилъ тамъ, не то бы было съ нами. Будете вы помогать, чтобы я потомъ по вашей дудкѣ пѣсни пѣла, да ужъ поздно. А што Коровавъ злой человѣкъ, это изъ того видно; што онъ и дядю моего сюда затаскилъ и разошелся съ нимъ на другой же день. Ужъ если бы онъ захотѣлъ жениться на мнѣ, могъ бы съ кѣмъ-нибудь грамотку послать: хорошо ли, худо ли ему“.

Такъ думала Пелагея Прохоровна и твердо рѣшила лѣтомъ непременно опять идти въ тотъ же городъ, въ которомъ она жила раньше. „Говорятъ, городовъ много на свѣтѣ, только въ разныхъ мѣстахъ разные порядки. А въ этомъ городѣ порядки мнѣ знакомы; у меня есть тамъ знакомые, и я скоро попаду на мѣсто, и Лизаветѣ можно тамъ скорѣе найти мѣсто. Ну, а если не понравится тамъ, накоплю денегъ и дальше пойду: не все же и тамъ злые люди живутъ“.

На заработанные деньги Пелагея Прохоровна сперва покупала муки, крупы и мяса; но трудно было сводить концы съ концами, то есть рассчитывать такъ, чтобы денегъ достало до работы, и потому она стала отказывать себѣ въ мясѣ и рубль тянула на полторы недѣли. Степанида Власовна, получивъ деньги, со своей стороны старалась что-нибудь состряпать, сварить, но Пелагея Прохоровна удерживала ее, говоря:

— Мы, Степанида Власовна, не померла же и

съ рѣдьки да съ хлѣба. А безъ горохова-то киселя проживешь.

— Полно-ко толковать-то! Мнѣ развѣ не обидно, што ты насъ кормишь!

— А ты не трать деньги на кисели да на вотрушки, — глядишь, дня три и впереди.

Степанида Власовна такъ и не плакала, и ничего не варила. Только тогда и варились щи, когда Панфилъ приносилъ самъ мяса.

Панфилъ по цѣлымъ днямъ жилъ на промыслахъ, зарабатывая отъ десяти до двадцати копѣекъ. На хлѣбъ у него выходила половина этой суммы, а если ему удавалось украть рыбы, то его угощали и хлѣбомъ. Въ двѣ недѣли онъ могъ накопить очень немного денегъ, которыя и ушли на покупку большихъ старыхъ сапоговъ, хозяинъ которыхъ уже не нуждался въ нихъ, такъ какъ, получивши порядочный заработокъ, купилъ себѣ другіе; но и эту обновку нужно было починить, и Панфилъ опять копилъ цѣлую недѣлю деньги на починку сапогъ, а остатокъ употребилъ на угощеніе своей сестры въ воскресенье. Рабочіе удивлялись терпѣнію молодого Горюнова, называя его желѣзнымъ человѣкомъ, старались выпросить у него денегъ, приглашали его пить по вечерамъ въ трактирахъ чай; но Горюновъ денегъ не давалъ никому съ той поры, какъ его обманули двое рабочихъ: они обѣщали отдать ему долгъ при полученіи расчета, но тогда къ нимъ явились другіе кредиторы, которымъ они были должны давно, и не пять и не десять копѣекъ. Впрочемъ Панфилъ не отказывался отъ посѣщенія харчевенъ; ему, напротивъ, нравилось быть тамъ, гдѣ происходили оживленные споры, ссоры, а иногда и драки. Тамъ онъ садился въ уголъ и изъ угла вслушивался въ разговоры рабочихъ, которые ставили послѣднюю копѣйку ребромъ, хвастаясь тѣмъ, что у нихъ, благодаря Бога, руки здоровы и они впереди могутъ заработать и больше этого. Ему нравилось слѣдить за хозяиномъ харчевни или хозяйкой и подручнымъ, какъ тѣ наливали неполныя рюмки водки и присчитывали на посѣтителей деньги. Его удивляло то, что эти семейные рабочіе почти все свободное время проводятъ въ питьевыхъ домахъ, посѣщая непременно одинъ какой-нибудь кабакъ или одну харчевню, пропиваютъ иногда свои халаты, сапоги, жалуясь въ то же время на обманы начальства и на судьбу, обременившую ихъ большими семействами, отъ которыхъ дома нѣтъ никакого покоя. Въ этихъ заведеніяхъ онъ между прочимъ замѣтилъ еще и то, что сельскіе уроженцы хвастались передъ пришлыми своею удалью, смышленостью и какими-то благородствомъ; они ненавидѣли пришлыхъ за то, что тѣ отнимаютъ у нихъ заработокъ, и лишь только въ какомъ-нибудь заведеніи сойдутся пришлые съ коренными — быть дракѣ, которая впрочемъ заканчивается тѣмъ, что одна которая-нибудь сторона угощаетъ другую. Мало этого, Горюновъ замѣтилъ, что и коренные не живутъ въ ладахъ. Не говоря уже о томъ, что въ кабакахъ происходятъ драки между рабочими разныхъ варницъ, принадлежащихъ разнымъ хозяевамъ, — я въ домахъ на нис-

нинахъ или въ праздники, когда рабочіе идутъ въ гости въ ту часть села или въ то село, гдѣ празднуется церковный престолъ, и тамъ дѣло безъ драки не оканчивается, хотя и начинается дружно. Поэтому немудрено, что Панфила, который не угощалъ никого ничѣмъ, курилъ табакъ на чужой счетъ и былъ не прочь выпить на чужой счетъ пива, браги или водки, крѣпко недолюбливали рабочіе, и когда дѣло доходило до ссоры и драки, его постоянно выгоняли. Панфилъ ничего не могъ подѣлать съ пьяными; защитниковъ за него не было изъ среды тѣхъ, съ которыми онъ работалъ вѣкъ, потому что въ компаніи всѣмъ хотѣлось разбѣсить заводскаго выродка, который стили сочиняетъ, то есть думаетъ; но на другой день, когда рабочіе являлись на работы съ больными головами, онъ все накопившее въ немъ за ночь зло старался выместить на нихъ.

— Што, пьяная рожа! Болитъ голова-то. Опохмелиться хощь! — И Панфилъ показывалъ рабочему пятакъ.

Рабочій впивался глазами въ монету и чесалъ голову.

— Што, небось, пропилъ всѣ деньги! Ишь, жаныны башмаки надѣлъ...

— Молчи!.. Убью!! У! штобы тѣ околѣть! — ругался рабочій и кидался на Горюнова; но тотъ убѣгалъ.

Немного погодя, Горюновъ опять дразнилъ рабочего.

— Хочешь опохмелиться?

Рабочій молчалъ.

— Трещитъ голова-то! — И Горюновъ приготовлялся бѣжать, слѣдя за движеніемъ членовъ своего врага.

— Послушай...

— А ты возьми да скушай! — И Горюновъ отвертывался или бѣжалъ, смотря по тому, занависалъ на него врагъ или бросался къ нему.

Случалось, Панфилъ покупалъ водки косушку, разбавляя ее водой и насыпая въ посуду для крѣпости немного махорки. Въ этомъ случаѣ онъ показывалъ стеклянку.

— Видишь?

Рабочій подходилъ къ Горюнову и хотѣлъ вырвать стеклянку, но тотъ отвертывался.

— Вода! — говорилъ рабочій, не вѣря мальчишкѣ.

— Понюхай!

— Да дай въ руки...

— Нѣтъ, ты изъ моихъ рукъ понюхай.

Рабочій нюхалъ.

— Доволенъ ли?

— Панфилъ Прохорычъ!.. А... Дай... чуточку!.. — И рабочій начиналъ плевать.

— А! Тутъ дакъ Панфилъ Прохорычъ!.. А вчера кто меня вытолкалъ?

— Не буду. Пьянъ былъ... Все тебѣ отдамъ, — дай испить.

Но Горюнову было невыгодно отдать стеклянку одному рабочему. Онъ начиналъ травить двухъ или трехъ рабочихъ и, отдавъ имъ стеклянку, получалъ за нее хлѣба, котораго и доставало ему дня на два, на три. Деньги онъ хранилъ въ известномъ

только ему одному мѣстѣ, потому что при себѣ нѣ имѣть было опасно, такъ какъ рабочіе къ вечеру всегда приставали къ нему, а ночью нерѣдко онъ просыпался отъ производившихся-къ-нѣмъ нибудь обысковъ въ его одеждѣ.

Въ субботу онъ забиралъ остатки денегъ, бралъ одну или два толстыхъ полѣна, которыя обвязывалъ веревкой, и несъ на плечѣ до квартиры Пелагеи Прохоровны. И если онъ шелъ рано, то заходилъ на рынокъ и покупалъ муки и мяса. Приходу его всѣ были рады не потому, что онъ былъ рѣдкій гость, но съ его приходомъ появлялись щи, и воскресенье проводилось весело. Если же въ воскресные дни случались работы въ варницахъ, то Горюновъ не пропускалъ и этихъ дней, и тогда отдавалъ деньги сестрѣ на кушанье, и шелъ на работу, надѣясь получить за нее вдвое больше, чѣмъ въ будни.

Первые дни Пасхи Пелагея Прохоровна и Григорій Прохорычъ провели вмѣстѣ. Какъ у всѣхъ православныхъ, и у нихъ былъ сырн и состряннѣ куличъ на заработанныя деньги Степанида Власовны, Горюнова и Мокроносовой. Лизавета Елизаровна начала поправляться, такъ что могла ходить по избѣ, и подумывала послѣ Пасхи выйти на промысла, но она все-таки была слаба. На третій день Пасхи нашими пріятельницамъ опять-таки нечего было ѣсть. Всѣ кромѣ Лизаветы Елизаровны пошли искать работы; но на промыслахъ работы не было, потому что начальство только-что раскучивалось. Рѣшено было общимъ совѣтомъ, во что бы то ни стало, продать корову, которая еле двигала ноги, но за нее давали мало, потому что время было такое, что ни у кого не было денегъ. Кое-какъ продали ее за пять рублей. Но когда появилось столько денегъ, Степанида Власовна первыиъ долгомъ отправилась въ кабакъ и взяла водки, до которой она уже давно не дотрогивалась, а выпивши водки, пошла на рынокъ и купила двѣ пары батинокъ — себѣ и Пелагеей Прохоровнѣ и опять сириснула эту обнову, такъ что домой пришла пьяная и принесла всего только два рубля.

— Будто ты никогда не имѣла большихъ денегъ? Никитка помираетъ, а ты пьешь. Не сама ли ты жалѣла, что мы напрасно купили поросенка?.. А тутъ, какъ добралась до водки, и напилась!

— Виновата... Мои деньги, потому и выпила.

— Придется, вѣрно, мнѣ уйти отъ васъ.

— И съ Богомъ, матушка. Хотя сейчасъ. Эдакое вѣдь сокровище!

И Степанида Власовна долго ворчала, высказывая то, что она сама себѣ указникъ и очень будетъ рада, если Пелагея Прохоровна уйдетъ отъ нея; что вся эта бѣдность происходитъ отъ нея, такъ какъ раньше съ Ульяновыми еще не случалось такой напасти. Но утромъ Степанида Власовна стала извиняться передъ Пелагеей Прохоровной, прося ее забыть все то, что она наговорила пьяная, и даже отдала всѣ деньги на храненіе Пелагеей Прохоровнѣ.

Трудно было Пелагеей Прохоровнѣ придержать деньги. Степанидѣ Власовнѣ было скучно, и она къ вечеру же стала просить у нея десять копѣекъ на куделю. Кудели не купила, а пришла домой выпив-

ши, а такъ какъ она не была пьяна, то ей было совѣстно передъ Пелагеей Прохоровной, и она молча легла спать. На другой день она выпросила тридцать копѣекъ на лѣтъ, сказавъ, что она куделю забыла у какой-то женщины. Панфила вызвался сестрѣ — слѣдить за Ульяновой и, вернувшись домой часа черезъ два, сказалъ, что Степанида Власовна дѣйствительно заходила въ одну лавку, но оттуда вышла безъ лѣна, и потому, купивъ два калача, отправилась въ харчевню. Домой она пришла на другой день немного выпивши и, подавая Пелагеей Прохоровнѣ и Лизаветѣ Елизаровнѣ крендельки, сказала:

— А лѣну-то я опять не купила: попалась мнѣ Безукладникова и говоритъ: „нынѣ богата стала, нѣтъ, шибко должокъ отдать“. Ну, я взяла и отдала.

Обѣ женщины промолчали и молили Бога, чтобы скорѣе прошли праздники. Сосѣди тоже узнали, что у Ульяновой появились деньги, и отъ нихъ отбою не было: одна просила гривну, другая крупную чашку, третья сѣвант.д.тѣ, которые пришли раньше другихъ, получили немного денегъ, а отъ другихъ стали запираеть двери, потому что денегъ на шестой день Пасхи осталось только двѣ копѣйки. На восьмой день умеръ Никита.

### XIII.

Смерть Никиты опечалила все семейство. Всѣ бѣгали по селу, какъ угорѣлые: Степанида Власовна хлопотала о томъ, чтобы схоронить его даромъ. Но куда она ни приходила — всѣ, отъ гробовщика до могильщика, отказывались оказать какую-нибудь помощь безъ денегъ, ссылаясь на свою бѣдность и на то, что теперь мретъ мало народа. Другое дѣло, еслибы мальчишка померъ весной, когда больше мретъ взрослыхъ, тогда можно было бы отъобрѣзковъ сколотить гробъ для мальчишки и заодно уже отпѣть даромъ и по пути вырыть для него яму. Пелагея Прохоровна ходила къ начальству, прося его о пособіи, но оно сказало, что мальчишка ничѣмъ не занималъ себя такими, чтобы на похороны его можно было ассигновать отъ управленій какую-нибудь сумму, къ тому же мальчишка — не важная особа; другое дѣло, еслибы онъ былъ сынъ какого-нибудь смотрителя или хоть писаря, тогда можно бы выдать родителямъ пособіе. Успѣшнѣе были хлопоты Панфила Прохорыча. Хотя онъ былъ и не очень краснорѣчивъ, но все-таки сумѣлъ убѣдить рабочихъ въ томъ, что Ульяновой нечѣмъ хоронить сына. Рабочіе поворачали, новорчали и все-таки отъ помощи не отказались: одинъ сколотилъ изъ старыхъ досокъ гробъ, другой вызвался ему выкопать могилу, причемъ безъ драки съ кладбищенскимъ сторожемъ не обошлось, а на похороны пожертвовали, кто сколько могъ: кто копѣйку, кто грошъ.

Схоронили Никиту. Въ квартирѣ точно кого неоставать стало. Давно уже въ ней никто не хохоталъ громко, а теперь и разговаривали не громко: всѣхъ словно что-то давило.

— Что это какъ долго нѣтъ нынче работы? Ахъ, какъ бы я рада была, еслибы только поскорѣе открылась для бабъ работа. Я бы и лѣтъ колотъ пошла на рѣкѣ, — говорила Лизавета Елизаровна.



— А я все думаю: куда бы мнѣ пристроить Марью. Ужъ я давно хожу по селу—никому не надо. Ужъ ябы даромъ отдала,—говорила Степанида Власовна.

— Конечно, нужно отдать даромъ, только я бы не совѣтовала тебѣ отдавать, потому я и Лизавета пойдемъ въ городъ.

— Куда въ городъ?

— Ужъ это мое дѣло. Въ городѣ гораздо будетъ лучше, потому что тамъ по крайней мѣрѣ будемъ сыты и квартира будетъ теплая.

— Въ самомъ дѣлѣ!.. И отчего это ты мнѣ раньше не сказала? А далеко?

Целагея Прохоровна сказала и объявила, почему она дожидается лѣта.

— Я бы давно ушла, только подумай: могу ли я, ободранная и босая, идти... А лѣтомъ мы туда всегда найдемъ попутчиковъ.. Одинъ изъ богомольцевъ сколько ходитъ по большой дорогѣ, только бы выйти на нее.

— Такъ и я съ вами пойду. Только какъ съ Марьей-то?

— Надо весны дожидаться. Вотъ какъ будутъ грузить коломенки, тогда мы накопимъ денегъ. Только ты, мамонька, ради Христа не пей.

— Вотъ тѣ Христось! провалиться мнѣ, чтобы я стала пить.

— А Машу мы тамъ можемъ легко пристроить. Тамъ она можетъ мастерству обучиться.

— Дай-бы ты, Господи!

И всѣ стали ждать тепла; даже Маша надобдала всѣмъ, спрашивая: „а скоро ли мы пойдемъ далеко-далеко?“

Панфилю одобряли эти намѣренія и рассказали сестрѣ, что онъ въ городъ ни за что не пойдетъ, и что онъ уже надумалъ идти въ и —скій заводъ и только дожидается лѣта, когда онъ можетъ даромъ доплыть туда съ барками. Целагея Прохоровна задумалась.

Панфилю Прохорычъ не говорилъ ей раньше о своемъ намѣреніи идти туда же, куда ушелъ Короваевъ и Григорій Прохорычъ. Она думала, что и —скій заводъ ничѣмъ не отличается отъ другихъ ей извѣстныхъ заводовъ, и хотя ей нерѣдко приходилось слышать похвалы о и —скомъ заводѣ, куда будто бы со всѣхъ сторонъ стекаются рабочіе, потому что тамъ производятся какія-то спѣшныя постройки, но Целагея Прохоровна замѣчала, что тѣ, которые говорили объ этомъ, не трогались съ мѣста, а жили попрежнему въ селѣ, и ей казалось, что эти люди говорятъ объ этомъ для того, чтобы соблазнить молодежь и простыхъ людей. Целагея Прохоровна любила Панфила за то, что онъ не грубилъ ей и всегда старался ей чѣмъ-нибудь угодить; въ городѣ онъ навѣщалъ ее чаще Григорія и иногда приносилъ даже лакомства. Здѣсь, кромѣ его, у нея не было родни, и съ нимъ ей было все-таки веселѣе, такъ какъ они другъ друга понимали, другъ другу сочувствовали. Вдругъ ей пришла въ голову мысль: не получилъ ли братъ письма изъ М... Стала она отъ него выпытывать объ этомъ, но тотъ божился, что онъ идти туда давно задумалъ, напрашивался идти даже съ Григоріемъ, но Григорій его не взял. Онъ говорилъ,

что Короваевъ не просто ушелъ туда, и если ничего не писать ей, такъ можетъ быть потому, что копить деньги.

— А мы, Целагея, пойдемъ туда вѣсть.

— Нѣтъ; ужъ я туда не пойду. Лучше ужъ здѣсь остаться, чѣмъ туда идти: здѣсь по крайней мѣрѣ для бабъ работа есть, а въ заводѣ, подумай, какая можетъ быть бабья работа?

— А если Короваевъ женится на тебѣ?

— Што мнѣ на шю ему вѣшаться? Ужъ пожалуйста не говори мнѣ про него.

Такъ братъ и сестра и не стали говорить больше ни о Короваевѣ, ни о походѣ въ разные мѣста, но оба все-таки думали о и —скомъ заводѣ. Стала Целагея Прохоровна ворожить въ карты на трефового короля: все выпадаютъ дороги да печаль на сердцѣ, а письма нѣтъ...

Наконецъ прошелъ ледъ; вода на обѣихъ рѣкахъ прибывала по часамъ и заливала прибрежные сельскія улицы такъ, что въ нихъ плавали на лодкахъ. Широко разлились рѣки, по дѣланнымъ для холодныхъ вѣтеръ и бурлила вода. Погода стояла сырая; вездѣ было грязно, мрачно; зато на набережныхъ проходила дѣятельная работа. Тамъ съ утра до вечера грузили въ коноводки соль, скрѣпляли бревна въ плоты, на плоты складывали дрова, причаливали другіе плоты съ дровами или съ камнемъ, преимущественно точильными. Въ это время только одни богатые люди, сидя на балконахъ своихъ домовъ, любовались широкими разливами рѣкъ и дѣятельностью людей на пристаняхъ, рабочій же классъ старался какъ можно болѣе заработать денегъ, рѣдко останавливаясь, чтобы выправить свои члены изъ согнутого положенія, часто бѣгая къ водѣ, чтобы напиться, и на ходу закусывая. Зато вечеромъ многіе изъ рабочихъ, мужчинъ и женщинъ, садились на набережные и загибали свои грустные пѣсни.

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ Целагея Прохоровна сидѣла съ Лизаветой Елизаровной и ея матерью отдѣльно отъ другихъ рабочихъ. Всѣ три женщины, уперши руками головы, смотрѣли на волны, высоко поднимавшіяся и съ шумомъ разбивавшіяся о набережныя. Онѣ уже вѣдѣли наговорились о томъ, какъ имъ лучше сдѣлать насчетъ житья. Ульяновы уговаривали теперь Целагею Прохоровну остаться съ ними до осени, потому что лѣтомъ на промыслахъ больше работы, чѣмъ зимой, и Целагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать, потому что она получала заработки по тридцати коп. въ день. Но, несмотря на этотъ заработокъ, у всѣхъ было тяжело на душѣ, всѣмъ чего-то хотѣлось, но чего—онѣ не могли себѣ объяснить. Имъ хорошо казалось сидѣть здѣсь, хотя вѣтеръ и дулъ прямо въ лицо. Недалеко отъ нихъ рабочіе, мужчины и женщины, голосомъ въ дѣйстви поютъ-тянутъ промысловую пѣсню, словъ которой вдали почти невозможно понять. Сердце надрывается отъ этой пѣсни, хочется другой жизни; въ этотъ плескъ волнъ какъ будто слышится отзвѣтъ, что лучшая жизнь есть. Но гдѣ она?



„Нѣтъ ужъ, я пойду въ городъ“, подумала Пелагея Прохорова, и ей такъ сдѣлалось горько, что изъ глазъ закапали горячія слезы, но она постаралась поскорѣе вытереть ихъ.

— Пелагея! Гляди, што-то бабы и мужчины въ кучу собрались, — сказала ей Лизавета Елизаровна, тронувъ за плечо.

Никто не шёлъ. Рабочіе столпились въ одну кучу и галдѣли. Пріятельницы подошли туда.

— Ишь ловокъ! Пѣсни наши, говорятъ, нравятся... Спой ты ему веселую?! — галдѣли рабочіе.

— Небось даромъ хочеть? — кричали женщины.

Скоро мужчины и женщины разошлись, рассуждая о томъ, какъ управляющій егорьевскими промыслами подошелъ къ рабочимъ и сталъ просить ихъ спѣть веселую пѣсню и тѣмъ нарушилъ ихній покой, потому что они пѣли отъ души. А пѣть на заказъ никому не хотѣлось даромъ, да и что за пѣнье на заказъ, когда на душѣ не весело!

Дома Ульяновы застали Панфила Прохорыча съ какими-то пожилыми человѣкомъ, сидѣвшимъ за столомъ въ ситцевой рубашѣ и молча курящимъ изъ трубки нахорку. Гость поклонился вошедшимъ и сказалъ:

— Елизаръ Матѣвичъ приказалъ кланяться.

Начались разспрашиванья.

Оказалось, что мужчина пришель сюда нарочно изъ удойкинскихъ пріисковъ, на которыхъ работали Ульяновъ и Горюновъ. Ульяновы очень обрадовались ему. Обрадовались и Пелагея Прохорова

— А дядю нашего выдаешь? — спросила она.

— Какъ не выдать. Вѣстѣ робили, только онъ конѣ все больше особо отъ Ульянова.

— Хорошо ли тамъ? — спрашивали гостя.

— Ничего, жить можно. Только глушь! Съ одной стороны кержаки, съ другой — дѣсь да горы, да зѣбри... Всякъ себѣ хозяинъ, потому хотъ и есть начальство, только мы на него и вниманіи не обращаемъ.

— Такъ ты неужели нарочно пришель? — спросила Степанида Власовна, совсѣмъ растерявшись и утирая глаза. Она уже успѣла поблагодарить Бога, что мужъ ея здоровъ и ему тамъ можно жить.

— Даль слово, такъ надо исполнять. И такъ кружъ, почитай, двѣсти верстъ далъ.

Хозяйка не знала, съ чего и начать разспрашивать гостя, да и ее предупреждали остальные, которые то и дѣло спрашивали его то объ Ульяновѣ, то о Горюновѣ. Гость отвѣчалъ отрывочно. Изъ словъ его хозяева узнали, что на пріискахъ хорошо и Ульянову, и Горюнову, потому что они служатъ казаками, но Горюнову лучше, такъ какъ онъ кержакъ и дружить больше съ кержаками (то есть расколыниками).

— А што, хозяйка, угости-ко меня водочкой, да нѣтъ ли у те жаренова мочалка?

Степанида Власовна начала плакаться изъ свою жизнь и рассказывать о томъ, какъ по милости Машки Оглоблиной у нея отняли домъ, но не спросила его: не видать ли Оглоблиной на пріискахъ.

— Неужели у васъ ни у кого нѣту денегъ? А я вамъ грамотеу привезъ отъ Ульянова.

Степанида Власовна вскрикнула отъ радости. Гость не торопясь вытащилъ изъ-за голенища что-то завернутое въ тряпицу, не торопясь развязалъ тряпицу, развернулъ засаленную бумагу и подалъ хозяйкѣ. Дрожащими руками взяла Степанида Власовна письмо, перекрестилась и стала вертѣть его въ рукахъ.

— Што, небось рада! Небось еще не такъ обрадуешься, какъ деньги получишь!

— Што ты... Деньги?

— Да. Ульяновъ велѣлъ дать тебѣ пять пѣлаковыхъ и расписку ему представить. Умѣетъ ли кто грамотѣ-то?

— Да мы по-церковному, — сказала Пелагея Прохорова и Панфилъ Прохорычъ.

— Ну, а я только цифры и умѣю писать. Подемте къ грамотеямъ.

Немного погодя, всѣ вышли во дворъ, сѣли въ лодку и подплыли къ одной харчевнѣ, въ которой хозяинъ по отсутствію гостей уже ложился спать.

Черезъ четверть часа хозяинъ, надѣвши огромныя очки въ мѣдной оправѣ, прочиталъ слѣдующее:

„Дражайшей моей супругѣ и сожителю, Степанидѣ Власовнѣ, свидѣтельству мое нижайшее почтеніе, съ пожеланіемъ добраго здравія и въ дѣлахъ хорошаго успѣха. Наипаче же здравія тѣлеснаго и душевнаго. Дочери моей Лизаветѣ Елизаровнѣ посылаю мое родительское благословеніе, на вѣки нерушимое, каковое посылаю Степану, Никитѣ и Маріи и всѣмъ по поклону. Съ сей вѣрной оказіей посылаю вамъ денегъ пять рублей. Прошу ихъ беречь и на меня не разчитывать, потому мы всѣ подъ Богомъ ходимъ, а наипаче на пріискахъ того и бойся, шобы черемисъ, али татаринъ, али какой бѣглый каторжникъ не укукошилъ тебя. Нижайшее мое почтеніе и поклонъ Пелагѣе Прохоровнѣ и братцу ея родному Григорію Прохоровичу. При сей вѣрной оказіи Терентія Ивановича здѣсь нѣтъ, а хотѣлъ написать. Живите хорошенько. Больше всего уповайте на Бога. О себѣ скажу, што мы съ Терентіемъ Ивановичемъ соорисимъ рѣдко и довѣренный намъ благоволить. Хорошо бы Степку имѣть при себѣ, да далеко. Отъ сего письма остаюсь живъ и здоровъ.“

Ульяновъ“.

Слушая это письмо, Степанида Власовна плакала, прочіе смотрѣли на лицо читающаго. Когда хозяинъ кончилъ чтеніе и свернулъ бумагу, Степанида Власовна попросила его повторить, но хозяинъ отказался отъ повторенія, потому что его интересовала пріисковая жизнь, и онъ, наливъ принесшему письмо стаканъ водки, сталъ его разспрашивать о пріискахъ.

Степанида Власовна взяла у хозяина полштофъ водки и кусокъ семги домой. Она хотѣла угостить дома, да и самой ей хотѣлось выпить, въ харчевнѣ же никто не хотѣлъ оставаться, потому что отъ нея до квартиры нужно было плыть на лодкѣ, которую между тѣмъ могли украсть. За водкой гость разговаривалъ съ хозяйкой и между прочимъ высказалъ, какъ ближе идти на пріискъ, потому

что Степанида Власовна, узнавая, что на прин-сках очень мало бабъ, изъявила желаніе идти на принскъ и это желаніе гость одобрилъ. Панфила Прохорычъ сидѣлъ недалеко отъ нихъ молча; его весьма занимали слова гостя, который рисовалъ принсковую жизнь съ хорошей стороны, и ему захотѣлось, во что бы то ни стало, идти туда скорѣе.

Гость вынулъ изъ-за пазухи рубашки бумажникъ, завернутый въ тряпку, и вынулъ изъ него пачку ассигнацій. Степанида Власовна ахнула, увидя столько денегъ.

— Это, тетка, не мои деньги: тутъ хозяевъ много. Видишь ли, я сбывалъ крупку и получалъ деньги. Только вы смотрите — молчокъ! Потому тутъ и ваши главы имѣютъ часть.

Панфила Прохорыча трясло при видѣ такой кучи денегъ. Гость вынулъ пятирублевую бумажку и подалъ ее хозяйкѣ.

— Дай мнѣ бумажку! — сказалъ дико Панфила Прохорычъ.

— Да стоишь ли ты еще бумажки-то? — проговорилъ смѣясь гость.

— Право, дай. Дядя заплатитъ.

— Да тебѣ на што?

— Я на прински пойду.

— А медвѣдей не боишься?

— Чего бояться? Выдалъ.

Но гость не далъ денегъ Панфилу, а завязалъ ихъ крѣпко и спряталъ опять на груди, подъ рубашкой. Всю ночь Панфила не могъ уснуть. Ему хотѣлось украсть у гостя бумажники, но гость хотя и крѣпко спалъ, а при каждомъ прикосновеніи руки Панфила переворачивался на другой бокъ и сжималъ на груди которую-нибудь руку. Рано утромъ гость распрощался съ хозяевами.

— Дядя! Возьми меня, — упрашивалъ гостя Панфила.

— Воровать не умѣешь. Ты думаешь, што я не чувствовалъ, какъ ты ночью около меня шарился. Ну, да што объ этомъ говорить.

И гость ушелъ. Хозяйка очень радовалась неожиданной получкѣ денегъ, а когда она явилась на промысла, тамъ уже всѣ знали о полученіи ею денегъ и приставали съ разспросами о мужѣ. Панфила не пошелъ на промысла. Онъ цѣлый день ходилъ по рынку и въ харчевни, надѣясь найти принсковаго рабочаго и уговорить того взять его съ собой. Къ вечеру онъ увидалъ его выходящимъ изъ одного полукаменнаго дома.

— Дядя! Возьми.

— Куда я тебя возьму?

— Я тебя поблагодарю послѣ.

— Што мнѣ твоя благодарность! Взять я тебя не могу съ собой, а коли хощь, дорогу могу указать. Согласенъ?

— Я и одинъ пойду.

— Ну, ладно, коли у те есть такая охота. Пойдемъ.

Рабочій зашелъ въ питейный, рассказалъ Панфилу, какъ идти до такого-то города, изъ этого города до такого-то села, а въ селѣ всякій знаетъ

дорогу на удойкинской принскъ, потому что рабочіе закупаютъ въ немъ провизію.

— Есть ли у тебя деньги-то?

— Немного.

— Ну, я тебѣ дамъ пожалуй пять рублей подъ расписку.

Горюновъ поблагодарилъ. Содержатель кабака написалъ расписку за Горюнова и подписался за него. Рабочій угостилъ водкой хозяина и Горюнова, разговаривая о чемъ-то шопотомъ съ хозяйномъ. Выпивши водки и посидѣвши съ четверть часа съ рабочими, Горюновъ болталъ безъ умолку, ругалъ здѣшнюю жизнь, благодарилъ рабочаго за то, что онъ указалъ ему дорогу на золотые, лѣзъ цѣловаться съ нимъ и хотѣлъ угостить его, но тотъ поставилъ ему еще косушку, вышелъ ненадолго на улицу и потомъ уже не явился.

Горюновъ раскутился. Къ вечеру стали появляться рабочіе, онъ хотѣлъ угостить ихъ водкой, но хозяинъ давалъ пятирублевой его бумажкѣ цѣну только рубль, доказывая, что эта бумажка фальшивая. Горюнова вытолкали изъ кабака — до того онъ сдѣлался назойливъ.

Утромъ онъ объявилъ сестрѣ, что идетъ къ дядѣ; сестра посмѣялась надъ нимъ, думая, что онъ шутитъ. Горюновъ обругалъ сестру и пошелъ покупать сапоги. Купивши сапоги, онъ пошелъ купить платокъ сестрѣ; но въ лавку вошелъ хозяинъ кожвеннаго товара и крикнулъ на него:

— Ты гдѣ это научился фальшивыя бумажки стряпать?

Горюновъ поблѣднѣлъ, но не обернулся.

— Тебѣ говорятъ?

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ хозяинъ лавки.

— Да вотъ я ему продалъ сапоги за два рубля. Онъ и даетъ пятирублевую. Я со снѣпа-то не разглядѣлъ, передалъ племянникѣ, та и дала ему сдачи, а какъ ушелъ онъ, я и сталъ разглядывать, и сравнилъ съ своей бумажкой. Смотри! — И онъ показалъ бумажку лавочнику.

— Со!.. Фальшивая и есть! — проговорилъ лавочникъ.

— Самъ накопилъ фальшивыхъ, — началъ было Панфила, но его ударилъ въ спину хозяинъ лавки, такъ что онъ выскочилъ на улицу и пустился бѣжать.

— Держите! Ловите! — кричали оба лавочника.

Горюнова остановили; около него собралась куча народа. Продавшій сапоги рассказалъ, въ чемъ дѣло, съ прикрасами.

— Не давалъ я ему фальшивой бумажки.

— Ахъ ты, песъ!.. А сапоговъ ты тоже не покупалъ?

— Я на другія...

— А откуда ты взялъ такую бумажку?

Толпа между тѣмъ росла.

— Эй! Да это тотъ и есть, што вчера у Евстигнеева Бориса въ кабакѣ былъ! Онъ и есть. Ведите его въ полицію! За это я отвѣчаю! Я у него вчера видѣлъ фальшивую пятирублевку.

Горюнова стали бить и отправили въ полицію. Горюновъ рѣшительно ничего не понималъ, по-

павши въ полицію. Ругательства, остроты сыпались на него со всѣхъ сторонъ, такъ что онъ никакъ не могъ обдумать, что ему сказать, зная, что онъ ни въ чемъ не виноватъ.

Стали его допрашивать; явилось много свидѣтелей, которые показывали на него различно. На первыхъ порахъ Горюновъ хотѣлъ отдѣлаться одними словами: „ничего не знаю. Сапоговъ не покупалъ“. Словомъ, Горюновъ одурѣлъ совѣсть, ему не давали одуматься, и только подъ розгами и заставили его сказать, что бумажку онъ получилъ отъ рабочаго съ удойкинскихъ принсковъ при сидѣльцѣ. Этимъ сознаніемъ и закончили первые допросы и не тревожили его больше двухъ недѣль. Хотя онъ и былъ посаженъ въ секретную, но въ этой комнатѣ вѣстѣ съ нимъ заключалось нѣсколько мужчинъ и женщинъ, которыхъ некуда ужъ было посадить. Большинство его товарищей состояло изъ мелкихъ воровъ, представленныхъ сюда сельскими состоятельными людьми, изъ бродягъ и лицъ непомянувшихъ родства, — такихъ людей, которымъ или нечего было ѣсть, или которые искали себѣ различными способами лучшей, свободной жизни. Онъ съ перваго же дня не могъ ни въ чемъ сойтись съ ними, не могъ отличить изъ нихъ ни одного человѣка, съ которымъ бы можно было поговорить; но насмѣшкамъ надъ нимъ, издѣваньямъ надъ его простотою, заставляли его огрызаться съ ними, ругаться и даже драться. Коротче сказать, ни Горюновъ не понималъ своихъ товарищей, ни они не понимали Горюнова.

Скука была невыносимая Панфилу среди этихъ товарищей. Онъ проклиналъ свою жизнь, а равно дядю за то, что тотъ уговорилъ его придти сюда, плакалъ; но все-таки, не считая себя виновнымъ, думалъ, что не долго проживетъ въ этомъ адѣ, и всячески старался избѣгать товарищества, лежа то подъ лавкой, то сидя въ углу съ закрытыми ладонями лицомъ. Много ему привелось увидеть тутъ различныхъ сценъ, много такого, чего онъ не видалъ до сихъ поръ, но ему некуда было дѣваться, да и его часто сталкивали съ мѣста, и онъ очень обрадовался, когда его вывели на свѣжій воздухъ.

— Панфилушко! Што ты надѣлалъ? — спрашивала сестра, увидавшая его выходящимъ подѣ стражу изъ полиціи.

— Ничего не знаю, — отвѣчалъ братъ.

— Правда ли, говорятъ, что ты убилъ того рабочаго, который былъ у насъ?

— Врутъ.

Тѣмъ и кончилось свиданіе и разговоры брата съ сестрой, потому что Горюнова торопили къ слѣдователю. Черезъ двѣ недѣли ему однако удалось ночью убѣжать изъ полиціи. Зашелъ онъ къ сестрѣ, но Пелагея Прохоровна, какъ сказала Лизавета Елизаровна, уже ушла въ городъ. Панфилъ вышелъ изъ воротъ бывшаго ульяновскаго дома и задумался: куда ему идти теперь? Ни въ селѣ, ни на промыслахъ ему нельзя показаться, — тамъ его схватятъ. Оставалось одно: наняться на плоты, и онъ пошелъ туда; но плоты хотѣли пустить черезъ день, а днемъ его увидалъ одинъ промысловой ра-

бочій — и его свели обратно въ полицію. Началось новое слѣдствіе о побѣгѣ Панфила и продолжалось съ мѣсяцъ, въ теченіе котораго онъ уже сталъ привыкать къ этой жизни. По окончаніи слѣдствія его повели съ другими арестантами въ городъ, но дорогой онъ захворалъ и только черезъ полтора мѣсяца, пришедши въ чувство, узналъ, что находится въ тюремномъ лазаретѣ.

Жизнь въ лазаретѣ ему казалась лучше полицейской, потому что онъ лежалъ на отдѣльной койкѣ, могъ ходить по комнатѣ, сидѣть, не мѣшая другимъ насмѣхаться надъ солдатами, караулившими у дверей больныхъ арестантовъ. Въ известное время, ему приносили пищу и лекарства. Сперва его пугали трудно больные, скоро умирающіе арестанты, за которыми уже не было никакого надзора и которыхъ ничѣмъ не лечили, пугали операціи, докторъ, производившій эти операціи; но потомъ онъ привыкъ и скоро отличилъ фельдшера отъ лекаря, находя, что въ фельдшерѣ больше силы, чѣмъ въ лекарь, потому что фельдшеръ можетъ выписать больного въ тюрьму, куда идти никому не хотѣлось. Въ палатѣ были всякіе больные, судимые и судящіеся за разные преступленія, которые часто смѣнялись новыми, такъ что Горюновъ ежедневно боялся, чтобы и его не выписали. Но въ палатѣ были такіе больные, которые лежали въ ней по цѣлымъ годамъ. Одни изъ нихъ дѣйствительно были больны, другіе выписывались въ тюрьму только дня на три и являлись въ палату со свѣжими новостями. Эти люди находились съ фельдшерами въ дружественныхъ отношеніяхъ. А такъ какъ они почти жили постоянно въ палатѣ, то считали себя чѣмъ-то въ родѣ дядекъ, безъ умолку говорили, насмѣхаясь надъ различными болями, которыми имъ привелось испытать. Ихъ любили больные за шутки и заискивали ихъ расположенія на томъ основаніи, что они иногда держали передъ докторомъ чернильницу. Вотъ къ этимъ-то людямъ и старался поддѣлаться Горюновъ. Несмотря на то, что они казались ему смѣшными и черезчуръ хвастливыми, онъ старался угодить которому-нибудь изъ стариковъ тѣмъ, что подавалъ кружку съ водой. Онъ думалъ, что эти больные — болѣею частью состоятельные раскольниковы, обвиняемые въ дѣланіи фальшивыхъ серебряныхъ вещей, жившіе доселѣ въ скитахъ и отпавлявшіе обряды посвоему тайно отъ начальства, и что они могутъ много хорошаго сдѣлать для него. Однако, какъ онъ ни ухаживалъ за ними, сколько ни просилъ ихъ о себѣ, они, какъ онъ замѣчалъ, заботились болѣе всего о себѣ, вели себя заносчиво, а къ нему относились, какъ къ ничтожному псу. Это наконецъ стало злить Панфила. И какова же была его радость, когда начальники лазарета велѣли двухъ изъ нихъ непремѣнно выписать изъ лазарета и болѣе не принимать, такъ какъ онъ замѣтилъ ихъ уже давно здоровыми. И какъ же злы были эти люди на все и на всѣхъ, надѣвая арестантскія одежды и подставляя ноги для того, чтобы на нихъ надѣли канда-

лы! Но послѣ нихъ вскорѣ всѣ стали чувствовать какую-то пустоту, чего-то какъ будто недоставало. И все это произошло отъ того, что, какъ бы надменны ни были старики-лазаретники, при нихъ было какъ-то весело: они умѣли рассказывать разные анекдоты, развлекали больныхъ смѣшными сценами, островами и т. п. Скучно сдѣлалось и Панфилу: больныхъ много, больные разговаривать не любятъ, выздоравливающіе разговариваютъ или играютъ въ карты, Богъ вѣсть какимъ образомъ попавшія въ лазаретъ; подойдетъ онъ къ нимъ, они его называютъ щенкомъ и гонятъ прочь. Хорошо еще, что сестра, жившая въ это время ужъ въ городѣ, навѣщала его по воскреснымъ днямъ. Она приносила ему слобныя кушанья, тайкомъ унесенныя отъ барыни, у которой она жила, рассказывала о своихъ господахъ или о томъ, что она уже теперь живетъ на другомъ мѣстѣ, и хотя всѣ эти рассказы и городскія новости сообщались въ теченіе четверти часа, а потомъ въ продолженіе получаса братъ и сестра молчали, все-таки Панфилъ былъ въ тысячу разъ веселѣе при сестрѣ, чѣмъ безъ нея. Но вотъ не пришла сестра въ праздникъ, не пришла и въ воскресенье. Справился онъ объ этомъ, сказали: больно она ужъ смазливая; начальство не приказываетъ шумать. Какъ ни обидно было слышать это брату, но дѣлать было нечего, сестра ужъ больше не показывалась въ лазаретъ.

На третій день послѣ этого событія къ Панфилу подошелъ пожилой больной. Съ этимъ больнымъ Горюновъ никогда не вступалъ въ разговоры, потому что онъ и самъ почти ни съ кѣмъ не разговаривалъ. Это былъ высокій, худощавый мужчина, съ рыжими курчавыми волосамъ. Глаза его постоянно принимали серьезный видъ. Лицо съ небритыми волосами постоянно, когда онъ сидѣлъ задумчиво, передергивалось множествомъ складокъ. Къ этому надо еще прибавить то, что онъ свои желтыя щеки постоянно утиралъ грязнымъ платкомъ, что даже удивляло докторовъ, которые не находили не только на его лицѣ, но и на всемъ тѣлѣ пота. Онъ говорилъ басомъ, глухо.

— Ты за что сидишь? — спросилъ онъ Горюнова.

Горюновъ молчалъ. Отъ этого вопроса его покорило: въ самомъ дѣлѣ, за что онъ сидитъ? Горюновъ сознавалъ, что онъ взятъ за фальшивую бумажку и за побѣгъ изъ полиціи, но кому какое дѣло до этого? Этотъ больной разозлилъ его, и онъ закрылъ глаза.

— Што закрываешь глаза-то! Не съѣшь, — проговорилъ задумчивый больной. Въ палатѣ сдѣлалось тихо.

— Фальшивыя бумажки дѣлаешь, — сказалъ кто-то.

— Эдакой мальчишка! Ха-ха!

— Сызмалѣтства въ механику пустился! — слышалось съ разныхъ коекъ попеременно съ хохотомъ.

Серьезный больной присѣлъ на кровать Горюнова. Тотъ не протѣялся этому.

— Нѣтъ, однако?.. Ты вѣдь Горюновъ?.. Про Горюновыхъ я слышалъ, — говорилъ неотвязчивый больной.

Панфилъ со страхомъ глядѣлъ на него; такой у него былъ суровый видъ въ это время.

— Ты кто? — спросилъ неловко Панфилъ неотвязчиваго человѣка.

— Слыхалъ про Никитинскаго письмоводителя Гусева?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ это я... А за што я сижу, про это я знаю. И мнѣ не уадасть меня словить! Не запугаютъ... Нѣ-ѣтъ!.. Трехъ управляющихъ первыхъ плутовъ провель... Нѣтъ!! — И лицо Гусева сдѣлалось очень страшно, на щекахъ выступили багровыя пятна.

— Хочешь, я научу тебя писать? — спросилъ вдругъ Гусевъ Панфила.

Но Панфилъ не отвѣчалъ. Гусевъ что-то пробурлялъ и ушелъ отъ него недовольный. Больные стали издѣваться надъ нимъ.

Съ часъ послѣ этого пролежалъ Горюновъ, сердясь сначала на Гусева за то, что онъ можетъ быть съ худымъ намѣреніемъ выспрашивалъ про его дѣло, но потомъ, какъ обыкновенно бываетъ съ молодыми людьми, покинутыми и презираемыми даже тѣми, преступленія коихъ можетъ быть тяжелѣе его, онъ сталъ сожалѣть, что такъ грубо оттолкнулъ человѣка, который его, неопытнаго въ дѣлахъ, можетъ быть хотѣлъ научить. Ему теперь самому хотѣлось поговорить съ Гусевымъ, но какъ заговорить съ нимъ послѣ такого грубого обращенія? Чѣмъ скажутъ больные? „Снюхался!“ — скажутъ, и станутъ насильно выпроваживать его изъ лазарета.

Весь этотъ вечеръ Панфилъ провелъ мучительно, думая, какъ бы ему поговорить съ Гусевымъ. Да и что это за человѣкъ такой? Кромѣ того, что говорили объ немъ больные, онъ ничего объ немъ не зналъ. Да и больные говорили объ немъ разное, потому что онъ уже давно находится въ больницѣ. А коли давно, значить онъ боится попасть въ острогъ, откуда, какъ говорятъ больные, одна дорога: или въ каторгу, или на поселеніе. Одни изъ арестантовъ говорили, что это бывший писецъ никитинской заводской конторы, и что онъ находился въ бѣгахъ изъ острога нѣсколько лѣтъ, жилъ по фальшивому паспорту и самъ дѣлалъ фальшивые паспорта. Другіе говорили, что онъ обокралъ заводскую контору и составилъ фальшивую расписку подъ руку приказчика и т. п. Однимъ словомъ, общее мнѣніе больныхъ состояло въ томъ, что Гусевъ хорошій мастеръ дѣлать фальшивыя билеты.

Между тѣмъ дѣло Гусева было очень простое и вѣстѣ съ тѣмъ нешуточное. Онъ считался при главной заводской конторѣ писцомъ. По знанію заводскаго дѣла во всѣхъ отношеніяхъ, онъ давно могъ получить должность столоначальника, но никакъ не могъ угодить начальству, которое на должности столоначальниковъ опредѣляло или за большіе деньги, или свою родню. У Гусева было большое семейство; извлекать доходы онъ ни изъ чего не имѣлъ возможности, потому что сидѣлъ въ такомъ

столѣ, гдѣ никакимъ образомъ не могъ получать ихъ. Вотъ онъ и выдумалъ давать рабочимъ паспорта. Бланки и печать достать ему было плевое дѣло, оставалось только сдѣлать подпись; и это не трудно,—тѣмъ болѣе, что на подписи мало обращаютъ вниманія. Онъ занялся этимъ ремесломъ, и даже возбудилъ со стороны товарищей удивленіе тѣмъ, что скоро обилѣя свой домъ тесомъ, завелъ лошадей и приобрѣлъ еще одну десятину покоса. Это конечно дошло и до начальства, которое стало допытываться до настоящей причины. И вдругъ получается въ главной конторѣ бумага отъ заводскаго исправника; при бумагѣ приложенъ билетъ отыскиваемого уже полгода рабочаго. Исправникъ проситъ донести ему, давала ли контора билетъ рабочему, и если давала, то почему она доносила ему раньше, что этотъ рабочій находится въ бѣгахъ? Въ конторѣ забѣгали, стали справляться, сличать почерки рукъ и рѣшили, что это дѣло Гусева, но по случаю именинъ управляющаго его такъ и замяли. Гусевъ съ этихъ поръ сталъ еще осторожнѣе, но товарищи то и дѣло корили его тѣмъ, что онъ постоянно выдаетъ фальшивые билеты и этимъ самымъ наживаетъ много денегъ. Гусеву не давали покоя, Гусева старались согнуть въ бараний рогъ: онъ все сносилъ терпѣливо, но наконецъ доконали таки его. Гусевъ часто ходилъ на почту за полученіемъ писемъ и посылокъ на имя конторы и управляющаго; денежныя же письма всегда получалъ казначей. Разъ какъ-то управляющій приходитъ въ контору и спрашиваетъ: а кто получалъ въ такое-то время изъ почтовой конторы на имя мое посылку? Казначей справился и сказалъ, что посылку получалъ Гусевъ. Гусевъ струсилъ, сказавъ, что онъ не помнитъ: получалъ или нѣтъ такую посылку. Справились въ почтовой конторѣ— посылку получилъ, по довѣренности управляющаго, Гусевъ. Но Гусевъ призналъ почеркъ руки и расписку въ книгѣ за казначейскій. А такъ какъ въ заводѣ всѣ писцы и должностные люди, учившіеся писать по одному почерку отъ одного учителя, за небольшими исключеніями, писали почти одинакъ почеркомъ, то и заключили, что Гусевъ довѣренность на повѣсткѣ сдѣлалъ фальшивую и посылку укралъ. Его стали судить, не принимая никакихъ оправданій, тѣмъ болѣе, что какъ началось объ немъ дѣло, главная контора Никитинскаго завода представила заводскому исправнику два фальшивыхъ билета, выданныхъ Гусевымъ двумъ рабочимъ.

Во весь вечеръ Гусевъ не подходилъ къ Горюнову, да и онъ все лежалъ, переворачиваясь часто съ боку на бокъ. Горюновъ часто смотрѣлъ на него. Онъ нѣсколько разъ намѣревался подойти къ нему, но самолюбіе удерживало его и вечеромъ, и ночью, въ продолженіе которой въ арестантской палатѣ горѣла лампа. Утромъ однако онъ не могъ преодолѣть себя, и подъ предлогомъ напиться воды подошелъ къ нему; Гусевъ лежалъ на спинѣ, заложивши обѣ руки подъ голову. Панфиль робко взялъ кружку, открылъ—воды не было.

— Ты говоришь... Ты хочешь нисать учить...— началъ перѣшительно Панфиль.

Гусевъ молчитъ; смотритъ сердито на Панфила.

— А можно?

— Што можно? Научиться?— пробурлилъ Гусевъ.

— Ну? Научи.

— То-то... Зазнались ужъ вы больно... Предлагають, такъ чванитесь.

— А для чего учиться-то?

— Дуракъ! Ты што показывалъ-то? Помнишь ли ты, чтѣ ты показывалъ на допросахъ! Подписывалъ?

Горюновъ плохо понималъ его слова и стоялъ вытаращивши на него глаза.

— Вотъ то-то и есть. Вѣдь ты не подписывалъ?

— Нѣтъ.

— Ну. А тамъ, можетъ, такіе крюки висаны, што тебя, можетъ, въ убійствѣ обвиняють. Дуракъ!

Панфиль Прохорычъ улыбнулся безсознательно.

— Чему смѣешься? Дѣло говорю. Што ты показывалъ, помнишь-ли?

Горюновъ не зналъ, чтѣ сказать. Онъ дѣйствительно не помнилъ, что показывалъ. Ему только хорошо памяты были наказанія. Онъ все-таки не понималъ, къ чему это Гусевъ хочетъ учить его писать, и какая отъ этого можетъ быть ему польза.

Весь этотъ день пропелъ въ совѣтахъ Гусева о томъ, какъ онъ, Панфиль, можетъ много выиграть отъ обученія письму. Онъ на допросѣ можетъ сказать, что его даже и не спрашивали прежде, а только постоянно наказывали. А что онъ былъ наказываемъ, такъ доказательствомъ этому служить то, что онъ, вскорѣ по прибытіи въ городъ, попалъ въ лазаретъ. Показаній онъ никакихъ не подписывалъ. Нѣсколько больныхъ, слышавшихъ совѣты Гусева, одобряли это.

Но какъ учиться писать? Не только у Гусева, но и во всей палатѣ не было ни куска бумаги, ни карандаша. Такъ прошло мучительныхъ два дня, въ которые Гусевъ училъ Панфила писать его фамилію и имя углемъ на столѣ. Панфиль почти всѣ угли издержалъ изъ печки, черкая на столахъ и стѣнахъ, и на третій день удивилъ докторовъ тѣмъ, что подъ его подушкой найдено было нѣсколько углей, а столъ его весь исчерченъ. Когда Панфиль объяснилъ, что онъ учится писать, то докторъ улыбнулся и сказалъ, что онъ или хитритъ, или сходитъ съ ума. Панфиль сталъ просить у другого доктора бумаги и карандашъ; докторъ сказалъ, чтобы онъ обратился за этими вещами къ началству, и общался поговорить объ этомъ кому слѣдуетъ. О Панфиль, и въ особенности его занятіяхъ, заговорили всѣ въ палатѣ, и нѣкоторые даже приносили къ фельдшерамъ, чтобы тѣ принесли бумаги; но они грубо отговаривались отъ этого тѣмъ, что докторъ еще не прописалъ для мальчишки такихъ вещей, а если не прописалъ, то и думать объ этомъ ему нечего, а нужно лежать спокойно до тѣхъ поръ, пока его не выпишутъ въ тюремный замокъ. Однако къ вечеру одинъ изъ служителей досталъ гдѣ-то два листа сѣрой бумаги и карандашъ, чтѣ больнымъ стоило не дешево, такъ какъ

они всё гроши свои выложили для того, чтобы имъ выучиться писать. Когда была принесена бумага и карандашъ, охотниковъ учиться писать выискалось такъ много, что между ними чуть не произошла драка: подвигали такой гвалтъ, что часовой, слѣдившій за большими сквозь окошечко изъ коридора, принужденъ былъ позвать начальство, а оно послало солдатъ. Къ счастью, это событие кончилось ничѣмъ, потому что при входѣ въ палату солдатъ больные затихли и успѣли припрятать бумагу и карандашъ, а потомъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ и принялись учиться писать, но это занятіе скоро надоѣло имъ, и они, посплавъ его къ чертямъ, скоро забыли о немъ и съ хладнокровіемъ смотрѣли на Панфила, выводившаго карандашемъ на бумагѣ разныя *кривулины*. Панфиль усердно занимался новымъ для него дѣломъ. Правда, онъ еще въ заводѣ учился писать и читать, но занимался шутя, отъ нечего дѣлать; потомъ, пробывши все лѣто на рудникѣ, а зиму на промыслахъ, онъ забылъ почти все. Поэтому неудивительно, что въ одну недѣлю, исчертивъ два листа бумаги, онъ уже могъ разбирать печатное. И какова же была его досада, когда на другую же недѣлю ученія его выписали изъ лазарета!.. Онъ плакалъ, молилъ фельдшеровъ и служителей оставить его еще на недѣлку, — ничто не помогло. Пришлось разстаться съ Гусевымъ, который училъ его говорить на допросѣ слѣдующее: фальшивый билетъ далъ ему рабочій съ присковъ при хозяинѣ кабака Борисѣ Евстигнѣевѣ, который самъ и подишлся на распискѣ; объ этомъ рабочемъ знаютъ Удьяновы, которые получили отъ него тоже пять рублей. Изъ полиціи онъ не бѣгалъ, а ушелъ потому, что двери были запарты, и на томъ основаніи, что его хотѣли выпустить изъ полиціи на свободу въ тотъ же день, но не выпустили потому, что у него не было денегъ, которыхъ просилъ за это квартальный, и что онъ никогда не подписывалъ никакихъ показаній, хотя и умѣлъ писать. На прощанье Гусевъ далъ ему бумагу, на которой было написано черновое прошеніе.

Въ огромной камерѣ со сводами, находящейся во второмъ этажѣ, съ двумя небольшими окнами, выходящими наружу къ полямъ, съ крѣпкими рѣшетками, сдѣланы были нары, какъ у двухъ стѣнъ, направо и налево, такъ и по серединѣ камеры. Въ этой камерѣ помѣщался тридцать одинъ арестантъ, большинство которыхъ состояло изъ воровъ, бѣглыхъ и мепомнящихъ родства; были тутъ и обыкновенные въ убійствахъ, но только двое, и попали они сюда потому, что въ другихъ камерахъ для нихъ уже не было мѣста. Всѣ они еще судились.

Утро. Въ камерѣ темно, сыро, душно. Хотя и полагались для арестантскихъ камеръ ночники, но они исцарапано уносились въ шесть часовъ вечера, тотчасъ послѣ переклички. Въ окнахъ форточекъ не имѣлось, вѣроятно потому, что начальство считало роскошью для арестантовъ чистый воздухъ. Впрочемъ нѣкоторые арестанты имѣли свои свѣчи, и хотя строго запрещалось куреніе табаку не только въ камерахъ, но и на дворѣ, однако аре-

станты свободно курили — вѣроятно потому, что само начальство курило въ камерахъ.

Въ камерѣ тихо. Только изрѣдка кто-нибудь пробурилитъ что-то; изрѣдка кто-нибудь простонетъ или кашлянетъ разъ, два, три, охрило, за нимъ послѣдуетъ кашель фистулой, потомъ кашель сухой, свистающій, и вдругъ камера огласится смѣсмью разныхъ кашлей, ворчаніемъ и плевыми людей, бряцаніемъ цѣпей, и немного погодя все это смолкнетъ и опять или послышится кашель, или бряцанье цѣпей, или хрипъ кого-нибудь... Зато въ корридорѣ, за дверью, не умолкаютъ шаги часового и изрѣдка слышатся какіе-то возгласы.

Лунный свѣтъ глянулъ сквозь оконныя стекла и тускло освѣтилъ камеру: въ ней образовались двѣ широкія косыя полосы съ темными черточками. Эти полосы, лежа въ отъ оконъ до печи и двери, тускло освѣщали только одинъ уголъ камеры: онъ освѣщали нѣсколько головъ и кандалы, на которыхъ только блестѣли заклепки; остальное было все мрачно. Но и этотъ свѣтъ вдругъ исчезъ за густыми громадными тучами. Онъ никого какъ будто не разбудилъ. Но вотъ слышится, кто-то какъ будто скребетъ и скребетъ, то скоро, то медленно, то тихо, и вдругъ перестанетъ. Вдругъ что-то какъ будто треснуло, посыпалось и опять настала groboвая тишина.

Опять кто-то скребетъ.

— Какой тутъ дьяволъ?! — слышится чей-то голосъ въ углубленіи камеры, почти въ самомъ углу.

Въ камерѣ тихо. Немного погодя слышится скрипъ наръ, зѣвки, царапанье кожи. Панфиль лежитъ подъ нарами. Онъ только третью сутки какъ прибылъ сюда изъ лазарета, и въ это время не успѣлъ еще обзавестись к в а р т и р о й въ камерѣ. Положеніе его въ тюрьмѣ весьма безпокойно; во-первыхъ онъ не находилъ себя ни въ чемъ виновнымъ; во-вторыхъ ему было досадно, что онъ, убѣжавши изъ полиціи, не сѣлъ въ любую лодку и не уплылъ по теченію рѣки. Но куда бы онъ уплылъ? У него не было ни денегъ, ни хлѣба! Безъ паспорта его никто бы нигде не принялъ, потому что въ тѣхъ мѣстахъ жителя не особенно жалуютъ бѣглыхъ, боясь, чтобы они ихъ не обокрали, и предпочитая получить за поимку бѣглаго платы отъ казны три рубля. „И за что такая напасть мнѣ? Ну, хоть бы я укралъ что!“ думалъ Панфиль.

Общество тюремныхъ товарищей по камерѣ пугало его, потому что онъ почти ни въ одномъ членѣ не встрѣтилъ сожалѣнія къ себѣ; всѣ они ругались по острожному, называли другъ друга ворами, кормили другъ друга всѣмъ; у нихъ, казалось, не было уже ни стыда, ни совѣсти; они говорили такія вещи, отъ которыхъ морозъ по кожѣ Панфила подиралъ. Ложь, обманъ, нахальство, грубость царили во всей камерѣ; ни съ кѣмъ нельзя было посоветоваться, поговорить отъ души, потому что никто никому не только не сочувствовалъ, а ждалъ съ нетерпѣніемъ, когда кого-нибудь изъ товарищей, сидящихъ рядомъ и хлѣбующихъ прокислыя щи изъ одного ушата, поведутъ на эшафотъ и будутъ наказывать плетью. Это была любимая

тема для заключенных, вѣроятно потому, что каждый, думая, что и ему не миновать тяжелаго наказанія, приготовлялъ себя къ нему и тѣмъ самымъ утѣшалъ себя нѣсколько. Панфилъ считалъ это общество за адъ, ненавидѣлъ всѣхъ, и его языкъ не поворачивался говорить съ кѣмъ-нибудь. Кромѣ этого, онъ видѣлъ, какъ грубо обращались съ его товарищами даже солдаты, какъ эти заключенные всячески старались выслужиться передъ солдатами для того, чтобы выйти во дворъ, получить лишній кусокъ хлѣба.. Панфилу, непривыкшему къ такому обществу и неиспорченному еще, до того казалось оно противнымъ, что онъ проклиналъ свою жизнь, грызя рукавъ своей грязной рубахи, пропитанной всякою гадостью. Ему хотѣлось даже разбить голову объ стѣну, хотѣлось повѣситься. Будь одинъ, онъ придумалъ бы что-нибудь и лучше, но при теперешнемъ положеніи онъ лучше этого ничего не могъ выдумать, и только не приводилъ своихъ мыслей въ исполненіе потому, что повѣситься—не на что, бить свою голову объ стѣну—больно; попробовалъ онъ руками давить шею—боли не вынесъ...

А кандалы на ногахъ бряцать; ноги словно разбухли, отяжелѣли... Даже въ каморѣ онъ не нашелъ себѣ порядочнаго мѣста: на нарахъ и такъ тѣсно, да и нини владѣють люди—ниче уже годъ, а нине и больше. Можетъ быть, они и уступаютъ ему мѣсто, но за деньги, а денегъ у него нѣтъ ни гроша. У него уже третій день какъ болитъ желудокъ и онъ никакъ не можетъ излѣбать прописныхъ шей; сухія корки ржаного солдатскаго хлѣба опротивѣли ему... Одно его немного утѣшало въ это время—это то, что вчера ему писарь переписалъ прошеніе и сегодня онъ надѣялся подать его страпачему.

Вдругъ слышитъ онъ, что кто-то надъ нимъ не то шепчетъ, не то сонитъ... И слышитъ онъ вдругъ слова: „Богородица дѣво радуйся, благодатная Марія, Осподи съ тобою... Милосердія двери... обрадованная дѣва Матерь Божія, раба своего защити и помилуй“...

Стало тихо... Вдругъ кто-то зарыдалъ надъ нимъ... Рыдаетъ кто-то и долго, долго, тяжело рыдаетъ, точно вся внутренность его хочетъ перевернуться. Слушалъ, слушалъ Панфилъ; грустно, тяжело ему сдѣлалось, сердце сдавило, горло точно кто обвивалъ ему... Выпозъ онъ кое-какъ изъ-подъ наръ, всталъ на колѣни, заплакалъ, зарыдалъ... Ничего онъ не чувствуетъ, ничего не слышитъ; стоитъ онъ, понуривши голову, а слезы, жгучія слезы такъ и льются изъ глазъ.

— Осподи! Осподи Іисусе Христе!! — вопить Панфилъ, и ничего больше не можетъ произнести отъ неудержимыхъ слезъ. Сердце давить, голова отяжелѣла, глаза не могутъ глядѣть въ темноту.

— Кто это сонитъ? — крикнулъ кто-то вблизи Панфила.

Панфилъ вздрогнулъ, и рыданія его еще больше усилились. Онъ положилъ голову на полъ и плакалъ пуще прежняго.

— Никакъ мальченко плачетъ.

— Не трожь! Молитву творить.

— Господи, спаси и помилуй!

— Мальченко! А мальченко! Што воешь-то? Али поможешь горю?

— Вотъ ты, собака, николды крестомъ образины не перекрестишь!

— Самъ хороше, сволочь!—говорили съ разныхъ сторонъ арестанты.

— И какъ вамъ, братцы, нестыдно! Али у васъ совѣсти ни на грошъ нѣту-ка? И изъ-за чего вы это крикъ-то подняли, безстыжіе люди, прости Господи,—говорилъ кто-то далеко отъ Панфила.

— Молчи!

— Гдѣ у васъ, у мерзавцевъ, Богъ-то? Еретники вы проклятые!

Въ каморѣ настала тишина. Въ это время Панфилъ уже не плакалъ, а усердно молился, прося Бога и Богородицу избавить его отъ великой напасти. Ему было теперь легче.

Раздался продолжительный звонокъ по корридору. Арестанты уже разговаривали. Разговоры вертѣлись около острожной жизни и воспоминаній прошлаго, и все это приправлялось хохотомъ, остротами, руганью со всѣхъ сторонъ, такъ что говорили почти всѣ разомъ. Теперь уже Панфилу молитва не шла на умъ. Онъ стоялъ около наръ. Ему хотѣлось заговорить съ тѣмъ, который молился, но тотъ лежалъ неподвижно.

— Дядюшка!—сказалъ онъ, дернувъ что-то попавшееся ему въ руку.

— Ахъ ты, собака! Што ты теребишь, аспидъ!

— Пусти посидѣть.

— Есть васъ всякихъ. Пошелъ!!

Панфилъ удивился: этотъ человѣкъ молился недавно и вдругъ теперь даже слова не хочетъ сказать какъ слѣдуетъ. Осердился Панфилъ и крикнулъ:

— Съѣлъ и у те мѣсто-то! Чортъ!

— Што чертыхаешься-то, щенокъ! Давно ли молился-то?

— А ты-то? Кто давѣ быкомъ-то ревелъ?

Арестантъ замолчалъ и подвинулъ ноги. Панфилъ сѣлъ. Разговоры арестантовъ нисколько не интересовали его; онъ понималъ, что они все врутъ, бахвалятся. Ему хотѣлось бы приказать имъ, чтобы не кричали такъ... Ему потомъ завидно стало, что они такъ рѣчисты, скоро находятъ остроты, и онъ думалъ: „куда нашимъ мастеровымъ противъ нихъ! Сто словъ на одно слово скажутъ, закидаютъ словами. И бабы наши въ подметку не годятся, нужды нѣтъ, что рѣчисты и куда какъ горласты“... Наконецъ ему надобно слушать, голодъ мучить, хочется пить.

— Ахъ, убѣчи бы! — шепчетъ онъ и сжимаетъ кулаки.

— Чего?—спрашиваетъ его арестантъ, лежащій около него на нарѣ.

— Убѣчь!

— Хо-хо! Молодъ, братъ.

— А ты бѣгалъ?

— Извѣстно... Дѣло привычное. На шафотѣ пробоваъ, опять буду пробовать и опять утеку въ лѣсъ.

— Ты изъ лѣсу?

— Ну да.

На этомъ разговоръ и покончился. Загремѣлъ замокъ. Отворили дверь. Паръ хлынулъ въ камору и скоро наполнилъ ее до того, что огонь на свѣчѣхъ мелькалъ тускло.

— На ноги!—крикнулъ унтеръ-офицеръ.

Арестанты заговорили. Послышались шлепки; унтеръ билъ по щекамъ арестантовъ обѣими ладонями.

— Руки отобьешь!—кричать арестанты и хохотутъ.

— Равняйся!!—кричитъ унтеръ.

Арестанты ругаются, половина изъ нихъ равняется, то есть подходитъ на середину каморы и становится передъ унтеромъ.

— А вы? а вы? а васъ! Розогъ!—кричитъ унтеръ на остальныхъ.

Два человѣка нейдутъ съ мѣстъ. Унтеръ заносываетъ ихъ и начинаетъ перекличку. Всѣ. За унтеромъ запирается дверь; опять гремитъ замокъ. Арестанты ругаются.

— Уступи ты мнѣ мѣстечко,—проситъ Панфила того арестанта, который утромъ молился.

— Што дашь?

— Да што дать-то?

— Ну, и убираться!

Идетъ Панфилъ къ другимъ—его гонять прочь. Некуда ему пріютиться... Свѣтаетъ.

Опять гремитъ замокъ. Входятъ двое солдатъ съ ружьями, унтеръ и еще двое солдатъ безъ ружей, палачъ въ красной ситцевой рубашкѣ и плисовыхъ шароварахъ и смотритель. Арестанты встаютъ на ноги.

— Которые?!—кричитъ унтеру смотритель.

Унтеръ вызываетъ двухъ арестантовъ.

— Раздѣть!

— Ваше благородіе... Я... ноги отекли.

— Ра-а-з-дѣть!! Я вамъ покажу! Эй ты, мальчишко?!—крикнулъ вдругъ смотритель на Панфила, который, сидя на нарахъ, смотрѣлъ съ разинутымъ ртомъ на смотрителя, котораго онъ видѣлъ еще въ первый разъ, такъ какъ онъ являлся въ каморы только въ экстренныхъ случаяхъ.

Всѣ оглянулись на Панфила.

— Взять!—кричитъ смотритель.

Одинъ изъ солдатъ подошелъ къ Панфилу и потащилъ его къ смотрителю; Панфилъ сталъ барахтаться.

— Въ секретную!—кричалъ смотритель.—Ты што? шельма! разбойникъ!—кричалъ смотритель.

— Розогъ!—крикнулъ вдругъ неистово смотритель.

Явилось четыре солдата съ охапками розогъ. Началась секуція. Наказывали двоихъ арестантовъ и Панфила. Смотритель былъ недоволенъ тѣмъ, что ихъ наказывали концами розогъ, онъ то и дѣло кричалъ:

— Комлемъ! Крѣпче! Я вамъ!

Кое-какъ Панфилъ всталъ съ полу. Онъ не понималъ, за что его наказали. Арестанты хохотутъ.

— Молодецъ, мальченко... стерпѣлъ! Вынесетъ и плети...

Панфилъ заплакалъ; надъ нимъ еще нуще стали

смияться. Въ каморѣ дѣлается свѣтлѣе. Яснѣе и яснѣе обрисовываются лица арестантовъ, блѣдныя, исхудалыя, съ различными выраженіями, съ бритыми затылками, съ черными отъ грязи холщевыми рубахами. Большинство арестантовъ копошилось на нарахъ, меньшинство или ходило, или сидѣло въ различныхъ позаяхъ.

Опять отворили дверь. Вошли двое часовыхъ, унтеръ и писарь.

— Безукладниковъ! Соловьевъ! Кузьминъ! Возьми!—кричалъ писарь, обращаясь при послѣдней словѣ къ солдатамъ.

— Одѣвайся! На работу!—кричалъ унтеръ и потомъ, обратясь къ писарю, сказалъ.—Трехъ мало съ этой каморы. Вонъ этого мальчишку еще надо.

— Мальчишко? чей?

— Горюновъ,—сказалъ негромко Панфилъ.

— Пошелъ на работу!

Панфилъ чувствовалъ сильную боль, но не протестовалъ противъ такого распоряженія, потому что ему очень хотѣлось выйти на свѣжій воздухъ, увидеть людей. И онъ скоро вышелъ на дворъ въ сѣромъ арестантскомъ полушубкѣ, покрывавшемъ его ноги ниже колѣнъ, съ чернымъ клеймомъ на спинѣ, въ круглой сѣрой арестантской шапкѣ, тоже съ клеймомъ на верхушкѣ, и въ худенькихъ сапогахъ, тѣхъ самыхъ, въ которыхъ онъ былъ привезенъ изъ завода въ городъ. Тяжелые кандалы еще болѣе усиливали его страданія, онъ шелъ кое-какъ, но солдаты, шедшія сзади его, толкали его кулаками въ спину. Скоро они вышли за острожную ограду.

Хотя въ тюремномъ замкѣ и было много такихъ арестантовъ, которые уже были присуждены къ тюремному заключенію и употреблялись на городскія работы, но смотритель находилъ для себя выгоднымъ назначать въ работы еще неприсужденныхъ къ тюремному заключенію рѣшеніемъ судебныхъ мѣстъ, и назначалъ преимущественно обвиняемыхъ въ кражахъ—во первыхъ потому, что эти арестанты не бѣгали, а во вторыхъ, онъ деньги, которыя платили имъ за работу по закону, получалъ себѣ. Впрочемъ арестанты рады были тому, что они цѣлый день пробудутъ нѣсколько на свободѣ, не въ острогѣ, увидятъ свободныхъ людей, которые дадутъ имъ хоть копѣйку денегъ. Такъ и Панфилъ, не смотря на то, что былъ замученъ, дышалъ на улицѣ свободнѣе. И какъ ему хотѣлось не ворочаться больше въ тюрьму! Только, встрѣчая людей, ему стыдно было смотрѣть имъ въ глаза; когда товарищи его протягивали руки, прося Христа-ради подать несчастнымъ, ему совѣстно было протянуть свою руку. Но когда онъ, проходя мимо рынка, увидалъ, что товарищи его купили себѣ по копѣчному калачу, у него пропала стыдъ и онъ сдѣлался назойливъ. Но благодѣтелей было мало.

Работа была не очень трудная: арестанты пилили дрова и могли свободно разговаривать съ крестьянскимъ раскатывавшимся полѣньемъ. Для нихъ незамѣтно прошло время до обѣда, они работали охотно и, казалось, совсѣмъ забыли про тюрьму; только солдаты съ ружьями, кандалы и арестантскіе полушубки



напоминали имъ, что они опять вернутся туда, а обращеніе съ ними хозяйской прислуги, которая удѣляла имъ изъ жалости заплеснѣвшія корки хлѣба и обглоданныя кости, приводило къ тому тяжелому сознанию, что они преступники. Здѣсь не было тѣхъ ругательствъ, какія происходили съ утра до ночи въ тюрьмѣ, а всѣ они больше молчали, вздыхали тяжело, обдумывая прошлое и настоящее и содрогаясь о будущемъ, которое имъ рисовалось въ довольно неказистомъ видѣ. Даже солдаты были не такъ грубы съ ними, и отъ скуки помогали имъ пилить дрова.

День приближался закътно къ концу, нужно было опять идти въ тюрьму, арестанты сдѣлались ожесточеннѣе и молчаливѣе. Одинъ только Горюновъ надеждалъ солдатамъ тѣмъ, что ему хочется достать бумаги и карандашъ. Въ домѣ у хозяина, у котораго работали арестанты, ни того, ни другого не оказалось. Однако Панфилъ, выходя изъ кухни, успѣлъ стащить съ полки, находившейся въ небольшихъ сѣняхъ, булку, и сдѣлалъ это такъ ловко, что солдаты не замѣтили. А сдѣлалъ это онъ безсознательно: увидѣвъ булку, сдержнулъ ее и сироталъ. И только дорогой на него напалъ такой страхъ, что онъ не зналъ, что ему сдѣлать съ кражей, и куда ее дѣвать. Что скажутъ арестанты, которымъ онъ говорилъ, что онъ самъ не знаетъ, за что сидитъ? Ему нѣсколько разъ хотѣлось бросить булку, но голодъ бралъ свое, и онъ крѣпче прижималъ булку, такъ что на него обратилъ вниманіе солдатъ.

— Што ты ежишься, собака? — крикнулъ солдатъ на Панфила.

— Ничего, — отвѣчалъ тотъ.

— Стой-кося?!

Солдаты остановились, всѣ окружили Панфила и вдругъ всѣ захохотали.

— Ахъ, воръ! Ахъ, мошенникъ! — говорили они, и во всю дорогу заставляли рассказывать Горюнова о кражѣ. Но въ тюремномъ корридорѣ солдаты отняли у него булку, говоря, что они берутъ ее за труды.

Нечего и говорить о томъ, что о Панфилѣ вся камера разсуждала, какъ объ молодцѣ, который въ такихъ дѣлахъ далеко уйдетъ впередъ. Теперь ужъ ему далое было названіе „булочный воръ“, и этины именомъ его называли вѣсто фамиліи.

Ни на другой, ни на третій день Панфила не посылали на работу. Камера отворялась только въ наѣстное время, да развѣ какого-нибудь арестанта выведутъ изъ нея для отобранія въ судѣ допросовъ, или введутъ этого арестанта послѣ допроса. Скука была страшная; арестанты повторяли ежедневно все одно и то же, и ругались все злѣе и злѣе. Малѣйшее происшествіе въ острогѣ, узанное какъ-нибудь случайно, малѣйшее событіе, переданное арестантами, требовавшими въ судѣ, и можетъ быть невѣрное, изобрѣтенное самими же арестантами, — все это оживляло камеру, двигало мозги каждого. Говорили всѣ, каждый старался отличиться передъ другими островами, шутками, каждый старался доказать, опровергнуть и переспорить ругательствами. Черезъ недѣлю послѣ того, какъ Панфилъ ходилъ на работу, въ камеру приходилъ прокуроръ, и Панфилъ подалъ ему прошеніе. Арестанты говорили, что за эту жа-

лобу достанется Панфилу, но онъ надѣялся, что дѣло его можетъ быть кончиться скоро, потому что сестра его въ это время жила у судейскаго засѣдателя. И въ самомъ дѣлѣ, черезъ недѣлю онъ былъ выпущенъ, обокралъ сестру и исчезъ неизвестно куда. Пелагея Прохорова очутилась безъ денегъ и къ тому же, по неудовольствію съ хозяевами, лишилась мѣста...

#### XIV.

Горюновъ и Ульяновъ очень радовались своему путешествію на пріиски; первый предполагалъ забрать какой-нибудь пріискъ въ руки, то есть сначала оглядѣться, расположить рабочихъ къ себѣ, познакомиться съ раскольниками, которые непремѣнно, по его мнѣнію, должны были жить недалеко отъ пріисковъ, и потомъ самому сдѣлаться довѣреннымъ. Ульяновъ радовался тому, что давнишнее его желаніе — добывать золото — исполнится. Онъ не хотѣлъ быть довѣреннымъ; нѣтъ, ему хотѣлось только имѣть золото, продавать его и въ то же время жить ни отъ кого независимо. Онъ мечталъ о томъ, чтобы ему дожить свои дни въ покоѣ, чтобы у него была жилая избушка, непремѣнно около ключа, и въ лѣсу, водилось бы много птицъ, за которыми, отъ нечего дѣлать, можно было бы охотиться. Хозяйка варила бы ему ниво и брагу, дѣти бы подросли, сыновья поженились, а дочери вышли за мужъ, жили бы недалеко отъ него и каждый большой праздникъ приходили къ нему. Славно было бы Ульянову! Но Горюновъ и Ульяновъ, думая каждый самъ о себѣ, въ то же время не хотѣли ни работать, ни жить вмѣстѣ, находя, что если они будутъ жить вмѣстѣ, то никогда не достигнутъ своихъ цѣлей; этого другъ другу они однако не высказывали. Вообще какъ Горюновъ и Ульяновъ, такъ и Кирпичниковъ рѣдко говорили другъ съ другомъ. Когда они останавливались ночевать (по ночамъ Кирпичниковъ боялся ѣхать), то говорили хозяевамъ, что они люди торговые, ѣздили въ городъ, да оттуда воротились нисъ чѣмъ, потому что ихъ обокрали. А дорога была дальняя, тѣмъ болѣе, что они ѣхали по проселкамъ, во многихъ мѣстахъ занесеннымъ снѣгомъ и узкимъ до того, что, сидя въ саняхъ, нужно было постоянно нагибаться, чтобы по лицу не хлестало широкими вѣтвями деревь. Чѣмъ дальше они ѣхали, тѣмъ мѣстность была лѣснотѣ, гористѣе, дороги бы ли хуже и хуже, приходилось раза по три, по четыре переѣзжать черезъ узенькія рѣчки съ крутыми берегами; меньше и меньше имъ стало попадаться селъ и деревень, самыя деревни были очень бѣдны на видъ, да и гористая мѣстность повидимому очень мало приносила пользы людямъ. Здѣсь, въ этихъ деревняхъ съ пятью, шестью домиками, въ это время жили только старики и старухи, немогущіе ни пройти далеко, ни дома работать. Они уже отработали и доживали свои дни въ нищетѣ, возясь съ внуками. Молодыхъ людей въ избѣхъ не было — всѣ они ушли на пріиски. Здѣсь только и было рѣчи, что о пріискахъ, и мѣстный житель не зналъ больше другого ремесла. Поэтому нашимъ путешественникамъ рѣдко попадались встрѣчные мужичины. Эти люди, идя по одному или не больше трехъ, завидя сани,

сворачивали съ дороги въ сторону, несмотря на то, что вязли по животь въ снѣгу. Если-же какой-нибудь человѣкъ, болѣею частью татаринъ, съ дороги не сворачивалъ, то Кирпичниковъ брался за ружье и зорко слѣдилъ за движеніемъ пѣшехода и оглядывался часто, до тѣхъ поръ, пока, по его мнѣнію, опасность не миновалась.

— Время теперь самое опасное — говорилъ онъ; — того и бойся, чтобы кто не выскочилъ изъ лѣсу и не ударилъ тебя бастрыгомъ (толстой палкой). Теперь самое удобное время бѣгать изъ тюремъ али изъ каторги, потому — снѣгъ. Мы вотъ ѣдемъ по дорогѣ, а бѣглый бѣжитъ по полю али по льду на рѣчкахъ, на лыжахъ цѣлый день, и если вѣтъ лѣсу, верстѣ шестьдесятъ можетъ откатать. Тоже съ пріисковъ бѣгаютъ такимъ манеромъ. Я въ первый разъ такъ ѣхалъ — не берегся, да какъ напало на меня четыре человѣка, сталъ бояться. И ружье не помогло!

Наконецъ путешественники вѣхали въ холмистую мѣстность, безъ лѣса, съ изрытою во многихъ мѣстахъ землею, съ высокими въ разныхъ мѣстахъ насыпями, въ которыхъ торчали или шесты, или просто палки. Кое-гдѣ на ней были разбросаны обгорѣлыя бревна, торчащія изъ подъ снѣга, кое-гдѣ лежали въ кучахъ дрова, кое-гдѣ видѣлись разоренныя постройки съ высокими и полуразвалившимися трубами. Въ одномъ мѣстѣ жгутъ дрова, обсыпанныя землею, а недалеко отъ этого навалены въ безпорядкѣ въ большомъ количествѣ угли; въ другомъ сдѣлано подобіе кирпичнаго сарая, на доскахъ котораго въ разныхъ мѣстахъ лежатъ кирпичи. Это былъ цокнутый пріискъ. За нимъ по обѣимъ сторонамъ дороги стали появляться столбы съ выжженными буквами, просѣки съ обгорѣлымъ рѣдкимъ лѣсомъ, съ наваленными въ немъ во многихъ мѣстахъ кучками дровъ; дальше справа лѣсъ густѣлъ, сдѣла былъ только кустарникъ, который, тѣмъ дальше ѣхали путешественники, тѣмъ больше и больше рѣдѣлъ. Тутъ начинались Удойкинскіе пріиски. Холмистая мѣстность казалась какъ будто загороженною съ запада и съ вѣра высокими грядами горъ, на вершинахъ которыхъ бѣлѣлись снѣга, а бока поросли чернымъ лѣсомъ; съ юга и востока пространство застилалось лѣсомъ, который тѣмъ дальше, тѣмъ становился какъ будто бы выше. Издала казалось, что горы какъ будто шли прямымъ треугольникомъ около пріисковъ, преграждая дальнѣйшій путь, но между тѣмъ, тѣмъ дальше путешественники вѣхали на пріискъ, тѣмъ больше этотъ уголь расширялся, сѣрѣлъ и принималъ разнообразный видъ. Тутъ же при подошвѣ горъ текла быстрая рѣчка Удойка, съ очень холодной лѣтошъ и весною водой. Все пространство болѣею частью было изрыто, и холмы были прокопаны. Въ этихъ мѣстахъ постройки уже были частью сложены, частью заброшены, но по нимъ можно было судить, что онѣ построены недавно. Въ настоящее время у подошвы горы была выстроена большая изба съ четырьмя окнами, выходящими на рѣчку Удойку. Къ этой избѣ наши путешественники и подъѣхали, такъ какъ она служила жилищемъ довѣреннаго, въ ней оставав-

ливались земская полиція, ревизоръ и другое начальство. Около крыльца съ пятью ступеньками, по которымъ ходили въ избу, стояла паровая машина, ни чѣмъ не покрытая и безъ всякаго призора. Недалеко отъ нея направо, у самой рѣчки стоялъ домъ въ три окна съ фигурными ставнями у оконъ. За домомъ вплоть до подошвы горы все пространство было огорожено плетнемъ. Тутъ жилъ мастеровой Костроминъ, торгующій водкой, пивомъ, хлѣбомъ, калачами. Нансковскъ отъ этого дома, за рѣчкой Удойкой, стояла большая изба для рабочихъ. За нею въ одной верстѣ стояло что-то потожее на амбаръ, но съ трубой на крышѣ. Тутъ была баня съ полкомъ, въ которой, на полку, жили преимущественно женщины, не желавшія жить съ мужчинами въ большой избѣ, а внизу около полка — лошади, справлявшія работы на погоняхъ, употребляемыхъ для растрки песковъ. За этими постройками, окруженными канавами съ перекладинами на нихъ для ходьбы, въ двухъ мѣстахъ стояли четыре большія избы, сколоченныя изъ досокъ, каждая съ тремя большими окнами, изъ коихъ было два по бокамъ, аршина на два отъ земли, а одно въ серединѣ, сдѣланное почти вровень съ землей, и съ желѣзными трубами, изъ которыхъ шелъ или дымъ, или паръ. Изъ этихъ избышекъ, гдѣ производилась промывка золота, слышался стукъ, какъ отъ дѣйствія машинъ, и пѣсни нѣсколькихъ мужскихъ голосовъ. Около каждой избышки, между четырьмя столбами, вокругъ каждое столба ходить, погоняемые мальчиками, по четыре и по пять лошадей, которыя приводятъ своею ходьбою въ движеніе два каменные круга, вдѣланные у стѣны въ перекладину и приводящіе съ своей стороны въ движеніе толчею, находящуюся въ избѣ и имѣющую видъ молота, медленно, но гроивно опускающагося въ средину большой чаши, въ которую сверху сыплютъ изъ тачекъ руду. Около краевъ чаши стоятъ рабочіе съ молотами и граблями или боронами, и первые изъ нихъ разбиваютъ мелкіе куски руды, а вторые сгребаютъ размельченную руду въ трубу, откуда она поступаетъ въ вапгертъ, или деревянный ящикъ съ нагрѣтой водой, приводимой въ движеніе посредствомъ ручного колеса. Черезъ дно этого ящика вода просачивается съ мелкими частицами руды въ корыта или желоба, сдѣланные немного наклонно. Осаждающійся на дни этого желоба золотой песокъ рабочіе подбираютъ савочками и кладутъ въ небольшія жестяныя кружки съ печатями. Нѣсколько человѣкъ накладываютъ промытую землю, въ которой не содержится золота, въ тачки и отвозятъ по доскамъ прочъ.

Домъ довѣреннаго, или изба, какъ его называли попросту, состоялъ изъ прихожей, двухъ чистыхъ комнатъ и кухни. Онъ принадлежалъ владѣльцу пріиска, какому-то дворянину, какъ и всѣ прочія постройки. Кирпичниковъ былъ встрѣченъ приказчикомъ, исполнявшимъ на пріискахъ должность нарядчика, и ревизоромъ — чиновникомъ, обязаннымъ слѣдить за тѣмъ, чтобы золото вымывалось какъ слѣдуетъ и не поступало въ руки рабочихъ.

— Ну, братецъ ты мой, наслу мы дождались тебя! — проговорилъ приказчикъ.

— Што такъ?

— Да золота очень мало. Вонъ Яковъ Петровичъ придирается: говорить, плохо слѣдишь! А я говорю, чѣмъ бы на птицъ ходить съ ружьемъ, взялъ бы самъ и стоялъ да смотрѣлъ, какъ и что промышляютъ.

— Нѣтъ, Гришка, воруетъ!—сказалъ чиновникъ.

Начались перекоры.

— А вотъ мы посмотримъ. Надо узнать, сколько промыто грязь.

— Вѣсили, братецъ ты мой! Изъ ста пудовъ вышло только двѣ доли.

— Ха-ха! да кому ты говоришь?

Между тѣмъ рабочіе подходили со всѣхъ сторонъ къ избѣ и черезъ часъ ихъ было уже человѣкъ до пятидесяти. Тутъ были и татары, и башкиры въ стѣрыхъ войлочныхъ зипунахъ и мѣховыхъ бараньихъ треугольных шапкахъ, или малахалъ, черемисы, зыряне и калыки въ полушубкахъ, зипунахъ и просто въ рубашкахъ, въ разнообразныхъ мѣховыхъ шапкахъ; тутъ были мужчины и безъ шапокъ, съ завязанными тряпичными или платкомъ щеками и ушами, и раскольники въ востреннѣхъ пивсовыхъ шапочкахъ; тутъ было до десяти женщинъ, изъ которыхъ двухъ можно было сразу назвать татарками по широкимъ шароварамъ, съ повязанными холстомъ головами и въ продранныхъ бараньихъ шубахъ. На большинство надѣты лапти, на меньшинство — валенки изъ войлока. На рукахъ у мужчинъ надѣты или кожаные, или большія собачьи и бараньи рукавицы съ вывороченной наверхъ шерстью; у женщинъ шерстяныя варежки. Нѣкоторые держали на плечахъ лопаты; нѣкоторые упирались ломами, какъ палками; большинство переминалось, не держа ничего въ рукахъ. Всѣ говорили, каждый на своемъ языкѣ, и не обращали никакого вниманія на крики и угрозы казаковъ.

— Работать надо! Пушла, русска мужикъ, пушла! — кричали казаки, грозясь нагайками.

— Нечего гнать русскихъ! Свою братью гони. — Погонять моя твоя будить скоро на булѣшой дорожѣ! Собакъ!

По повидимому казаки только для вида исполняли свою обязанность и кричали по привычкѣ командовать.

Народъ, несмотря на то, что стоялъ въ одной кучѣ, раздѣлялся на нѣсколько небольшихъ кучекъ по націямъ; такъ, татары стояли съ татарами, русскіе — съ русскими, разсуждая только между собой; съ другими они только огрызались. У всѣхъ на лицѣ виднѣлось нетерпѣніе, ожиданіе чего то, и только по нѣсколькимъ башкирскимъ лицамъ можно было заключить, что, кромѣ башкиръ, всѣмъ не очень-то хорошо здѣсь; лица же башкировъ, кромѣ выраженія суровости, не изображали ни горя, ни радости. Вышелъ Кирпичниковъ съ приказчикомъ.

— Здорово, ребята!—сказалъ онъ, снявъ шапку.

Кое-кто снялъ шапки, кое-кто произнесъ что-то. — сочиненія е. рашетникова.

— Вы хѣнитесь, шельмы!—проговорилъ приказчикъ.

— Разсчитъ подай! Деньги дай!

— Приказчикъ говорить, что онъ отдалъ деньги,—сказалъ Кирпичниковъ.

— Што онъ отдалъ! Хѣбѣ нѣтъ. Для того, што ли, мы пришли сюда?

Никто не держитъ, голубчикъ. Знаю я, откуда ты!

— Деньги подай! Што намъ, голодомъ, што ли, быть?

— Сегодня, братцы, нѣтъ некогда!—и приказчикъ ушелъ.

Рабочіе заговорили, приняли угрожающій видъ; казаки хватились за винтовки; Кирпичниковъ засунулъ правую руку за полу тулупа.

— За что вамъ платить, когда мы ничего не дѣлали! много ли золота-то безъ меня промыли? Всего только четверть фунта! — кричалъ Кирпичниковъ.

— Врутъ! они воровали!

— По мѣстамъ!

— Деньги подай!—и рабочіе подошли къ избѣ.

— Это видите! — крикнулъ довѣренный, вытаскивая пистолетъ.—Смѣй только кто подойти!

— Приказчика вытребу! Зачѣмъ онъ ушелъ? Трусъ!

— По мѣстамъ! Я сейчасъ буду на принскахъ!

И довѣренный ушелъ въ избу. Рабочіе разошлись въ свою.

Изба рабочимъ имѣла большія полаты, на которыхъ умѣщалось до двадцати человѣкъ; подъ ними и около стѣнъ стояли широкія скамейки изъ тонкихъ досокъ. Въ избѣ было темно, длинно, угарно и сыро; на полу лежала грязь, да и скамейки не отличались особенной чистотой. Придя сюда, рабочіе стали ругаться.

— Отчего ты, татарская образина, молчалъ?

— Моя все сказалъ. Твоей куда языкъ дѣваль?

— У тебя былъ ломъ!

— У тебя лопата. Воялся—собакъ стрѣлить!

— Вамъ бы только ругаться другъ съ дружкой, а до дѣла коснись,—вы и на тапъ, ни ляпъ. Ужъ добро мы, бабы, Христа-ради робимъ, и денегъ намъ даютъ меньше вашего, потому ужъ вездѣ права наши одинаковы. А вы-то, вы-то, мужики!..

— кричала одна женщина.

— Сунься—коли онъ стрѣлять хотѣлъ!

— Не выстрѣлялъ бы, а лиха бѣда, одинъ бы окопѣлъ— не важность!

— А если бы въ тебя...

— Не безпокойся! въ тебя скорѣе бы попалъ! Вотъ ужъ некое было бы жалѣть-то!

Рабочіе захохотали.

И здѣсь рабочіе раздѣлялись на партіи... Татары, башкиры и часть русскихъ забрали себѣ полаты, на печи спали казаки и бабы, исправлявшія здѣсь должность кухарокъ и рабочихъ, за что ни рабочіе, ни довѣренный имъ ничего не платили, такъ какъ онъ и сами ѣли готовое, и имѣли время работать на принскахъ, недалеко отъ избы, за что имъ и выговорена была плата по лятнадцати ко-

нѣтъ; на скамейкахъ спали остальные, которыхъ не пускали ни на полаты, ни на печь. Въ числѣ этихъ были двѣ татарки съ своими мужьями и двумя парнями-татарченками, пришедшія сюда недавно, и нѣсколько человѣкъ бѣглыхъ, которыхъ впрочемъ никто, кромѣ довѣреннаго и приказчика, не спрашивалъ, кто они такіе, но которыхъ часто приводилось брать мѣсто съ бою; ребята спали на полу, а если было свободно, то и въ большой печѣ.

Эти разнородцы постоянно ссорились другъ съ другомъ, сѣялись другъ надъ другомъ, задирали на ссору, высказывая каждый свое умственное и физическое превосходство. Попрекамъ не было конца, потому что каждый считалъ другого за вора, мошенника и пройдоху, и доказывалъ это тѣмъ, что честный человѣкъ не пойдетъ въ работу на принскіе. Но какова ни была жизнь въ избѣ, всѣ сходились въ нее, каждый ложился на пріобрѣтенное имъ мѣсто и никто не выдавалъ передъ начальствомъ другого, если замѣчалъ за нимъ что-нибудь. Такъ, если татаринъ зналъ, что русскій клалъ между складокъ лаптей нѣсколько песчинокъ золота, онъ никому не говорилъ объ этомъ, а старался какъ-нибудь обмѣнить этотъ лапоть. Если продѣлка татарину удавалась и объ ней узнавали рабочіе, то татарина долго грызли русскіе, преслѣдовали за воровство ругательствами вездѣ, и наоборотъ. Но никто не смѣлъ объявлять объ этомъ началству, опасаясь за свою жизнь, потому что здѣсь судъ былъ коротокъ: ябедникъ на другой же день оказывался убитымъ гдѣ-нибудь во рву.

Двѣ женщины стали доставать изъ печи котлы съ кислыми капустными щами. Одинъ котелъ принадлежалъ христіанамъ, другой—инувѣрцамъ, потому что ни тѣ, ни другіе не хотѣли ѣсть вишѣсть, чтобы не опоганить себя. Начался крикъ, свалка; рабочіе кинулись за чашками, лежащими подъ печкой. Чашки были грязны. Кто не бралъ чашки, развязывалъ узелокъ съ хлѣбомъ.

Въ избѣ сталъ подниматься паръ отъ нѣсколькихъ чашекъ, которыми держали на колѣняхъ рабочіе. Пришли женщины со своими чашками и ложками. Опять крикъ, свалка; женщины голосать пуще мужчинъ, а у одной пищить на рукахъ грудной ребенокъ. Женщинамъ некуда сѣсть.

— Къ чему ты эту вуклу-то съ собой взяла! — крикнулъ одинъ рабочій.

Женщина не обратила на него вниманія и полезла за щами, но ей уже не досталось щей.

— Дайте хлебнуть, Христа-ради, — просила женщина.

— Што дѣлала?

— Мальчонку кормила... Дайте ложечку.

— Саминъ мало.

— Погодите же... Припомню же я вамъ!

— Машка! Иди, дамъ ложку.

Женщина рванулась въ ту сторону, откуда слышалось приглашеніе.

Молодой рабочій стоялъ съ чашкой у желѣзной печки, нагибаясь, то присѣдая, то ворочаясь и закрывая руками чашку для того, чтобы въ чашку не загребали ложками.

— Хлебай скорѣе! — и онъ присѣлъ на полъ, не обращая вниманія на толкотню.

Женщина съ жадностью стала хлебать, не обращая вниманія на то, что щи простыли и прокисли. Ребенокъ пищалъ.

— У! — произнесъ мужчина и ударилъ по головѣ ребенка ложкой.

— Варваръ! не жалко тебѣ своего-то ребенка! — крикнула женщина, ударивъ по лицу мужчины кулакомъ.

— Говорю, расшибу!

— Сиди!

— На работу!.. Довѣренный идетъ осматривать, — крикнулъ приказчикъ, входя въ избу.

— Скажи, не пойдемъ.

— Братцы! Мнѣ-то развѣ охота непріятности получать! Вѣдь онъ говоритъ: „дери ихъ, чѣмъ попало“.

Рабочіе стали ругаться, и немного погодя половина ушла на работу, изъ другой половины одни легли, жалующіе на нездоровье, другіе прикладывали къ головамъ снѣгу и валялись въ снѣгъ: они угорѣли.

Добычка руды происходила въ это время въ трехъ мѣстахъ: въ логахъ и въ небольшой площади, по обѣимъ сторонамъ рѣчки Удойки. Въ логахъ рабочіе копали слой глины параллельно площади, слѣдя за полосой, въ которой, по ихъ мнѣнію, должно находиться золото; на площади же копали внутри. Довѣренный осматрѣлъ работы и позвалъ рабочихъ къ своему дому. Черезъ часъ онъ раздалъ деньги и велѣлъ завтра гулять. Рабочіе, въ томъ числѣ и женщины, отправились къ Костромину.

Это былъ сѣдой высокій старикъ. Ему было болѣе ста лѣтъ. Онъ очень рано началъ работать въ рудникахъ и съ принсками былъ знакомъ больше, чѣмъ кто-нибудь. Настоящій принскъ онъ уступилъ теперешнему хозяину за тысячу рублей и выговорилъ себѣ право торговать въ принскѣ хлѣбомъ, водкой и т. п. Въ городѣ у него былъ сынъ купецъ, а здѣсь съ нимъ жилъ женатый племянникъ, который ему помогалъ торговать. Въ городѣ онъ не ѣздилъ, потому что, какъ онъ говорилъ, не любилъ городской жизни и порядковъ, не любилъ и сына, который сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, отставъ отъ дѣдовскихъ обычаевъ. Рабочіе любили старика за то, что онъ забавлялъ ихъ разсказами. Особенно онъ любилъ разсказывать о Пугачѣ, который чуть-чуть его не повѣсилъ на колокольнѣ за то, что онъ, бывши старостой въ единоувѣрческой церкви, держалъ икону внизъ головой въ то время, какъ Пугачъ прикладывался къ ней.

Отъ дома Костромина не было отбою; племянникъ, племянница и онъ самъ то и дѣло высовывали руки изъ окна, спрашивая бумажку. Рабочій подавалъ бумажку, на которой былъ записанъ заборъ. Костроминны, сосчитавъ долгъ, писали цифру и объявляли ее въ окно.

Костроминны не пускали къ себѣ въ домъ вечеромъ, потому что при снахъ ничего бы имъ не

подблать съ рабочими. Они уже были научены опытомъ, что рабочіе, при полученіи денегъ, прежде уплаты долговъ старались забрать что-нибудь отъ содержателя лавочки, и очень скоро опрастывали даромъ боченокъ съ водкой. Народъ между тѣмъ съ ожесточеніемъ толкался передъ окнами, ругая другъ друга, колотя въ спины, не разбирая личностей, потому что каждому хотѣлось просунуть свою руку съ буракомъ въ окно

— Пива!

— Водки!

— Кумысъ!—кричать рабочіе.

— И што это за порядки такіе—дверь запирають! Што онъ за баринъ!—кричать недовольные Костроминныиъ.

Мало-по-малу рабочіе были удовлетворены. Каждый, отдавая съ запиской долгъ, просилъ отпустить ему на столько-то копѣекъ чего-нибудь. Костроминныи уничтожали старую записку, получая деньги, и если денегъ не доставало, говорили:

— Десяти копѣекъ недостасть.

— Получай!

— Пши въ долгъ!—отвѣчалъ покупатель.

Черезъ часъ каждый мужчина несъ къ избамъ по разнокалиберному бураку, въ которомъ заключались водка, пиво или кумысъ. Кромѣ бураковъ мужчины несли кто калачъ, кто витушку, кто крендельки, кто кусокъ мяса, кто нѣсколько огурцовъ, кто табакъ. Женщины несли бураки съ пивомъ и брагой. Вся эта толпа шла до избышекъ съ хохотомъ, визгомъ и руганью. И еслибы не этотъ гвалтъ, то всю эту публику можно было бы сравнить съ той, которая въ крещенскій сочельникъ идетъ домой съ крещенской водой.

Началась попойка въ мужской избѣ подъ свѣтъ сальной свѣчки, едва освѣщающей избу. Ребята сидѣли въ кучкѣ у дверей, попивая пиво и водку изъ своихъ бураковъ и покуривая табакъ.

Невозможно описать тотъ гамъ, который происходилъ здѣсь. Говорили, кричали всѣ, стараясь каждый похвалить себя и обругать другого чѣмъ-нибудь. Теперь здѣсь не было ни надъ кѣмъ никакого начальства, всякъ чувствовалъ себя свободнымъ челоувѣкомъ, не боясь никого. Всѣ пьющіе казались веселыми, и тѣхъ, которые казались скучными и которые отказывались принимать участіе въ попойкѣ, заставляли пить силой.

— Ты што сидишь-то? О чемъ ты такую думу задумалъ?

— Лей на него! Лей въ него—Костроминъ отѣтитъ!

— Не могу, братцы!—говорилъ больной.

— Слышите! Вытащите его вонъ. Онъ худое замышляетъ!

И больной поневолѣ долженъ былъ пить.

У довѣреннаго тоже происходилъ пиръ, но онъ сказалъ Горюнову и Ульянову, чтобы они отправлялись въ избу къ рабочимъ, такъ какъ онъ назначаетъ ихъ въ работы наравнѣ съ прочими и выдалъ имъ впередъ по пятидесяти копѣекъ.

Когда Горюновъ и Ульяновъ пришли въ избу, въ ней было ужасно накурено махоркой; свѣтъ едва

мерцалъ, рабочіе мужчины, женщины и ребята пѣли разныя пѣсни, кричали, наигрывали на бала-лайкахъ и гармонікахъ и плясали.

— Штейгерскую!

— Татарскую!

— Кержацкую!—кричалъ народъ во все горло.

Вдругъ одинъ заплѣлъ:

Во Шадринскомъ во селеньи  
Живутъ люди старовѣры,  
Съ давнихъ уже лѣтъ...

Всѣ подхватили послѣдній стихъ и продолжали во все горло:

Они пастыря не знаютъ,  
Сами требы исполняютъ  
Во всемъ Шартомъ (bis).

Вотъ родятся, умираютъ  
И усопшихъ отпѣваютъ  
Сами безъ попа (bis).

Вдругъ является причетникъ,  
Называется священникъ  
Старобрядческой (bis).

Не спросивъ его письма—  
Недовольно вѣдь ума!—  
Приняли его (bis).

Не спросивъ его природу,  
Лишь бы былъ долгобородый,  
Тотъ у нихъ и попь (bis).

Отвели попу квартиру,  
Пребогату и не смуру...  
Сталъ попь поживать (bis).

Ни объ чемъ ихъ попь не тужить,  
Во часовнѣ у нихъ служить,  
Какъ должно попу (bis).

Его слишкомъ принимаютъ;  
Что попросить, награждаютъ,—  
Все ему даютъ (bis).

Еще свѣдало начальство  
Про попово постоянство—  
Взяли попа въ судъ (bis).

Вотъ судить попа не можно,  
Посадить-то его должно  
Въ келью, за замокъ (bis).

Попъ по лестовкѣ спасался,  
Съ кержачками жить ласкался...  
Ты съ ними прости! (bis)

Они всѣ про то узнали  
И не много толковали—  
Прогнали его (bis).

Мы теперь тебѣ не други:  
У тебя есть новы слуги,  
Ходятъ за тобой (bis).

Камедлянты всѣ, при лентакъ,  
Все лажен въ поуumentaхъ  
Стерегутъ тебя (bis).

За серебряны монеты  
Сокутъ тебѣ браслеты  
На ручки твои (bis).

Во время этой пѣсни четыре раскольника, съ стрижеными напередъ чубами, вышли на улицу.

— Што, братцы?—проговорилъ Ульяновъ.

— Всегда такъ!.. Отъ пьяныхъ покою нѣтъ. А ничего не сдѣлаешь, потому какъ запретить?.. Все же, по крайней мѣрѣ, свои. А вотъ какъ татары затамкають—хоть вонъ бѣги.

Шесть челоувѣкъ вышли изъ избы и увели Горюнова и Ульянова въ избу.

— Угощай-же!.. Вы съ довѣренными прѣехали!—кричали со всѣхъ сторонъ.

Отговариваться нельзя было, и Горюновъ съ Ульяновымъ послали двоихъ рабочихъ по общему

совѣту за водкой и пивомъ. Началось опять пьянство съ пѣснями и пляской. Ульянова и Горюнова приняли въ товарищи, предоставивъ имъ самимъ выбирать мѣсто въ избѣ для себя. Нѣсколько чело-вѣкъ уже ложились спать, женщины одна за дру-гой уходили.

— Татара-го! татара-го! — прокричала одна женщина, восторженно вбѣгая въ избу.

— Што?—спросила нѣсколько голосовъ.

— Кобылу довѣреннаго жарятъ!

Рабочіе вышли изъ избы; недалеко отъ дома горѣлъ большой костеръ и оттуда слышались татарскія пѣсни и пляски. Въ воздухѣ пахло нехорошо.

Рабочіе долго удивлялись надъ продѣлкою татаръ. Каждый изъ пришедшихъ давно уже не ѣдалъ мяса и каждому хотѣлось попробовать кобылятины, не смотря на отвращеніе въ трезвомъ видѣ къ этому кушанью, но обладатели кобылы не давали.

— Мы вамъ не мѣшаемъ, вы намъ не мѣшай!—говорили магометане, засовывая въ ротъ большіе куски мяса и съ наслажденіемъ чмокая губами.

Русскіе стали приставать; магометане подсмѣиваются.

— Вы съ нами не хотите знаться, и мы не хотимъ съ вами.

— Собаки! развѣ мы не дѣлимся съ вами?

— Много вы дѣлитесь! Не вы добыли кобылу. Купите?

— Подѣлитесь—сказалъ казакъ.

— Што дадите?

— Водки хотите?

Магометане заговорили между собою. Одни говорили, что водку пить грѣшно, другіе говорили, что они живутъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ водку пить можно: коли русскіе кобылу ѣсть можно, и намъ водку пить можно.

— Давай!—кричали татары.

— Садись, баба, съ нами,—лебезили около бабъ башкиры.

Бабы, опьянѣвшія отъ водки и желавшія перекусить горячаго мяса, не противились. Русскіе начали ругаться.

— Што кричатъ! Къ намъ-же пришли кобылу ашать!—дразнили русскихъ татары.

— Што взяли!! Небось коровы не утащите!—дразнили съ своей стороны женщины, входя въ кружокъ иновѣрцевъ.

Появилась водка, начались пляски, пѣсни и долго, долго полночь раздавались на пріискахъ эти отчаянныя пѣсни, уносимыя далеко по направленію вѣтра.

Въ мужскую избу возвратились немногіе. Горюновъ и Ульяновъ легли на скамейку и долго не могли уснуть. Раскольники, не принимавшіе участія въ оргіяхъ, говорили имъ, что пріиски сначала были богаты золотомъ, а теперь съ каждымъ днемъ золота становится меньше, такъ что эти пріиски надо бы давно бросить, а начать въ другомъ мѣстѣ. О здѣшней жизни они говорили, что она хороша только по наслышкѣ. „Вы видѣли“, говорилъ одинъ изъ нихъ, „какъ рабочіе справляютъ членіе заработка. А все отъ того, что рабочимъ

платять не каждыя сутки, а когда случаются у довѣреннаго деньги. Получивши деньги, рабочіе не знаютъ, что съ ними дѣлать, а отдать ихъ на сбереженіе некому. Вотъ они и пьянствуютъ, закуная провизію у Костромина, который ихъ надуваетъ не хуже городского торгаша, а самое ближнее село, откуда-бы можно было получить провизію, находится въ пятидесяти верстахъ. Истративши въ два, три дня деньги, рабочіе берутъ въ долгъ хлѣбъ и водку, мясо-же у Костромина не всегда бываетъ“.

— Обожглись, вѣрно, мы, Терентій Ивановичъ,—сказалъ Ульяновъ.

— Посмотримъ,—отвѣчалъ Горюновъ, думая о томъ, какъ бы ему поправиться и довѣренному, и рабочимъ.

## XVI.

„Нѣтъ, такъ жить нельзя!“—думалъ Горюновъ, лежа утромъ на скамьѣ: „если я все такъ буду только глазами хлопать, я и здѣсь ничего не приобрѣту. Въ заводѣ мнѣ нельзя было ничего добыть, потому что тамъ меня всѣ знали, я ничѣмъ себя не могъ заявить передъ начальствомъ. Здѣсь дѣло другое. Здѣсь я могу выиграть... Стану я служить и начальству, и рабочимъ...“

И Горюновъ задумалъ сдѣлаться казаккомъ сперва, потомъ расположить въ свою пользу рабочихъ прибаутками, кротостью и простоватостью, ласкать ребятъ для того, чтобы они его любили и сообщали все, что они знаютъ о пріискахъ. А по его мнѣнію, ребятамъ должны быть больше известны мѣста золотого песку, такъ какъ они лѣтомъ шляются по лѣсамъ. Не мѣшаетъ также поддѣлаться къ какой-нибудь бабѣ, сойтись хорошенъко съ Костроминымъ и найти товарища изъ раскольниковъ, которые говорятъ, что эти пріиски нужно бросить,—стало быть, они знаютъ другія мѣста. Утромъ Горюновъ отправился къ довѣренному. Довѣренный, приказчикъ и ревизоръ играли въ стучолку, записывая выигрыши и проигрыши на бумагѣ. На другомъ столѣ стояла водка и жареные пельмени.

— Ты што?—спросилъ довѣренный охриплымъ голосомъ Горюнова.

— Да навѣдаться пришелъ. Въ избѣ-то нечего дѣлать... А вы не слышали, что съ кобылой?

— Ну?—спросилъ въ испугѣ довѣренный.

— Ее съѣли.

— Какъ?—довѣренный вскопился; остальные захотали

— Такъ. Вчера вашъ казакъ ее закололъ.

— Отчего же ты не сказалъ мнѣ?

— Я только сегодня узналъ.

Начальство перестало играть. Всѣ отправились сперва въ кухню, но тамъ никого не было; въ конюшнѣ дѣйствительно не оказалось кобылы. Приказчикъ и ревизоръ усердно хохотали надъ Киричичиковымъ, который злился и доказывалъ, что ему за кобылу давали семьдесятъ руб., да онъ не продалъ ея.

— Што же ты теперь дѣлать станешь?—спрашивали Киричичикова его пріятеля.

— Да што дѣлать-то станешь? — теперь всѣ пьяны, сегодня остальные деньги пропьютъ. Пойти

теперь къ нимъ—на клочки растерзаны, потому народъ всякій... Но я имъ покажу, какова кобыла! Я ихъ проморю.

— Смотри, чтобы другую не съѣли.

— Нѣтъ ужъ, дудки. Вамъ што... Хочешь быть казаконъ и состоять при мнѣ? — спросилъ вдругъ Кирпичниковъ Горюнова.

— Если жалованья...

— Жалованья я тебѣ дамъ шесть цѣлковыхъ въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ. Ну, да кромѣ того ты будешь пользоваться доходами отъ рабочихъ, такъ что тебѣ придется получать въ мѣсяцъ рублей двадцать пять. Только смотри, держи ухо востро... Я знаю, што эти проклятые татаршкы и башкиры только видъ дѣлали, что они усердно исполняютъ свою службу, а я думаю, они не мало накопили денегъ и золота. А твоя обязанность будетъ состоять въ томъ, что ты одну недѣлю будешь спать и находиться съ рабочими, а другую у меня... А теперь призови ко мнѣ дѣвокъ.

Горюновъ стоялъ улыбаясь.

— Што? смѣшно? Поди къ бабамъ въ баню и скажи: „довѣренный, молъ, зоветъ“... Да потомъ скажи... Ну, да ужъ я самъ скажу.

О первомъ времени должности Горюнова и Ульянова, котораго Кирпичниковъ сдѣлалъ тоже казаконъ, говорить много нечего. Башкиры и татары сильно ихъ не вълюбили, бунтовали товарищей и даже въ дракѣ вышибли лѣвый глазъ Горюнову, вследствие чего довѣренный долженъ былъ отобрать нагайки и винтовки отъ татаръ и замѣнить татаръ русскими.

Всѣ русскіе обрадовались тому, что они выжили инородцевъ, а если теперь и остались черемисы, то они были и прежде очень смирны. Но больше всѣхъ радовался Терентій Инановичъ, который своей добротой уже начиналъ привлекать къ себѣ рабочихъ, работая съ ними заодно на промыслахъ и забавляя ихъ какими-нибудь смѣшными рассказами. Не смотря на то, что рабочихъ было меньше противъ прежняго на половину, работы все-таки не хватало на всѣхъ, такъ что иногда нѣсколькимъ человѣкамъ вовсе нечего было дѣлать, потому что въ дѣйствіи были только двѣ промывальни и расконка земли производилась въ одномъ мѣстѣ, такъ какъ въ остальныхъ золота не находили, и ихъ бросили. Но и въ этихъ промывальныхъ очень мало промывалось золота. Довѣренный сердился, распекалъ казаковъ за то, что они даромъ получаютъ деньги и дѣйствуютъ съ рабочими заодно. Онъ никакъ не хотѣлъ вѣрить тому, что золота мало. А зима между тѣмъ свирѣпствовала, рабочіе голодали и ежедневно осаждали избу довѣреннаго, прося денегъ. Горюновъ видѣлъ, что дѣло плохо, и говорилъ объ этомъ Кирпичникову, но тотъ хотѣлъ взять строгостью, хотя отъ этого дѣло не поправилось: рабочіе, въ томъ числѣ и женщины, разошлись; съ ними ушелъ и Ульяновъ. На пріискѣ осталось только двое рабочихъ, Иванышевъ и Анучкинъ, и два брата Глузовы, изъ коихъ первые чего-то выжидали, а послѣднимъ некуда было дѣваться, потому что ихъ дядя, съ которымъ они пришли на пріиски, былъ кѣмъ-то убитъ

прошлой осенью. Горюновъ обласкалъ ребятъ и помѣстилъ даже жить съ собой въ кухнѣ довѣреннаго, гдѣ онъ уже имѣлъ пріятельницу, тридцатипяти-лѣтнюю женщину, Офимью Голдобину, которая и прежде стряпала здѣсь на начальство.

Довѣренный очень запечалился и не зналъ, что ему дѣлать. Чиновникъ уѣхалъ сдавать золото, уѣхалъ и приказчикъ разыскивать рабочихъ. Но дня черезъ три послѣ нихъ отъѣзда ночью уѣхалъ и довѣренный съ Иванышевымъ. Запечалились и остальные, потому что довѣренный забралъ всѣ свои бумаги и всѣ вещи и ничего не сказалъ Горюнову.

— Бросили! экая оказія... — горевалъ Горюновъ.

— Зато теперь мы поживемъ... Давайте сами промывать золото! — сказала неожиданно Офимья.

— Будь ты проклятая чуча!.. Гдѣ мы его возьмемъ? — сказалъ Анучкинъ.

— Полно-ко, батюшка!.. Будто я не знаю, што у тебя на умѣ!

— Ну, коли знаешь, такъ молчи. Однако гдѣ же это ты нашла такое золото?

— Какъ гдѣ? а вверхъ по рѣчкѣ!

Анучкинъ поблѣдѣлъ.

— Што, небось, отгадала... Я, братъ, все знаю, какъ ты оттуда по ночамъ руду носишь мѣшками, на промывальныхъ...

— Ну, ужъ молчи, пожалуйста!

— Небось, одинъ хочешь все себѣ забрать?

Хлѣба у нихъ было еще недѣли на двѣ; Костроминны собирались уѣзжать, но Анучкинъ ихъ отговаривалъ тѣмъ, что надо подождать до лѣта, авось пріискъ перейдетъ въ другія руки, и объявлялъ, что онъ знаетъ, гдѣ есть руда и руда богатая, только нужно достать лошадей и телѣги.

На другой день явилось на пріиски шесть крестьянъ съ шестью телѣгами. На общемъ совѣтѣ было рѣшено, чтобы золото дѣлить поровну между Костроминнымъ, Офимьей, Горюновымъ и Анучкинымъ, какъ главными руководителями этого дѣла, съ тѣмъ, что они должны быть этомъ молчать и хранить золото въ секретѣ; остальныхъ назначена была плата при хорошей вымылкѣ по пятидесяти копѣекъ, а при плохой — по двадцати пяти копѣекъ въ сутки. За работу принялись всѣ: Костроминны, Офимья съ Горюновымъ, Анучкинымъ и Глузовымъ. Одни изъ нихъ копали и возили руду въ пошевняхъ къ ближней промывальной. Каждый отдыхалъ не больше двухъ часовъ въ сутки; о пищѣ заботились тоже мало. Руда была дѣйствительно богатая, такъ что въ первые дни намывали золота до десяти золотниковъ, а на второй недѣлѣ въ каждыя сутки получалось не менѣе четверти фунта. На третьей недѣлѣ наши рабочіе хотѣли отдохнуть и раздѣлить между собою безъ спору золото. На долю Терентія Иваныча пришлось четверть фунта. Костроминъ уговорилъ своихъ товарищей свести золото на хранение къ своему пріятелю, живущему въ двадцати верстахъ отъ пріисковъ, старцу Якову.

Старецъ Яковъ жилъ въ такомъ мѣстѣ, что лѣтомъ добраться до него могъ только человѣкъ, знающій одну тропинку. Онъ жилъ въ небольшомъ домикѣ съ двумя сыновьями, которые работали на



разныхъ прискахъ лѣтомъ, а зимою приходили къ нему. Домъ былъ окруженъ густымъ сосновымъ лѣсомъ; этотъ лѣсъ съ своей стороны былъ окруженъ очень топкими болотомъ. Поэтому къ обиталищу Якова были положены въ одномъ мѣстѣ въ травѣ жердочки, по которымъ могъ ходить только человѣкъ привычный, понимающій, что такое равновѣсїе, потому что въ эту тину уходила цѣлая сажень, если не больше. Въ вѣтеръ по этой импровизированной дорогѣ никто не рѣшался идти, потому что держаться приходилось только за тонкія камыши. Весною вся эта мѣстность вереть на пятнадцать ширины заливалась водой, и среди нея красовалось нѣсколько островковъ. Къ этому времени Яковъ и его сыновья запасались на весь годъ мукою, приправляя ее въ лодкѣ, и въ это же время Яковъ ѣздилъ къ одному богатому городскому купцу, тоже раскольникъ, которому и сбывалъ золото. Впрочемъ Яковъ не постоянно сидѣлъ въ своемъ гнѣздѣ. У него много было дѣла и зимой, и лѣтомъ; но зимой его труднѣе было застать дома, потому что тогда онъ больше всего опасался облавы. Лѣтомъ онъ зналъ, что до него невозможно добраться, зимой же на его гнѣздо могли набѣжать бѣглецы и разболтать о немъ. Кромѣ же бѣглыхъ въ эту мѣстность, по его соображенію, поцасть было некому, такъ какъ кругомъ жили раскольники и только развѣ могли зайти сюда еще землемѣры или межовщики, но и отъ нихъ пока Богъ миловалъ. Яковъ былъ извѣстенъ на большомъ пространствѣ; Яковъ держалъ, такъ сказать, на помочахъ раскольниковъ; безъ Якова ни одинъ раскольникъ не смѣлъ заявить о какомъ-нибудь открытомъ имъ мѣстѣ золотого песку, — въ противномъ случаѣ съ такимъ человѣкомъ разговаривать недолго. Яковъ заботился о томъ, чтобы раскольники были сыты, и если уже имъ было плохо, то онъ разрѣшалъ объявить о такомъ-то мѣстѣ человѣку набольшему, но ничего не смыслящему въ присковомъ дѣлѣ, и этого человѣка указывалъ самъ, такъ какъ онъ имѣлъ отъ своихъ большіа свѣдѣнія о всемъ, что главнѣйшимъ образомъ творится въ государствѣ. Яковъ былъ извѣстенъ и начальству, которому давно хотѣлось словить его; оно подорѣвало Якова въ дѣланіи фальшивыхъ денегъ, фальшивыхъ серебряныхъ и золотыхъ монетъ, приписывало ему грабежи и убійства, хотя онъ во всемъ этомъ нисколько не былъ виноватъ; полиціи вступали одна съ другою въ полемику изъ-за него, но Яковъ свободно жилъ въ своемъ гнѣздѣ, гостилъ тамъ, гдѣ ему было хорошо, и являлся на прискахъ. Якова любили всѣ тѣ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло, считали его за добрѣйшаго человѣка и берегли его.

Зимой постоянныхъ дорогъ къ Якову не было проложено, потому что тѣ, которые знали его, ходили къ нему на лыжахъ, чтобы не оставалось слѣда. Лошади оставались на привязи въ лѣсу подъ чѣмъ-нибудь присмотромъ, недалеко отъ узенькой дорожки, проложенной дроворубами.

Костроминъ сказалъ Горюнову и Анучкину, что онъ пойдетъ одинъ для переговоровъ съ Яковымъ.

— Хорошо еще, согласится онъ видѣть васъ. Вѣдь въ вашу душу не залѣзешь, — говорилъ онъ строго.

— Пожалуй, Дороевъ Леонтьичъ... Мы понимаемъ, — говорилъ Анучкинъ.

— Тебя-то возмю, пожалуй, а ты, Терентій, подожди... Ты, пожалуй, дай мнѣ на всякій случай золото-то.

Терентій Ивановичъ задумался: „а если они меня обманутъ?“

— Неужели ты думаешь, што мы съ худымъ намѣреніемъ взяли тебя съ тобой?.. Умѣешь ли ты на лыжахъ ходить?.

— Умѣю.

— Однако намъ нельзя покинуть лошадей... Такъ какъ?

Горюновъ отдалъ золото. Костроминъ и Анучкинъ ушли... Скоро Горюновъ потерялъ ихъ изъ вида, и какъ ни заглядывалъ во всѣ стороны, заходя въ лѣсъ, не могъ отыскать ихъ.

Избушка Якова была бревенчатая съ двумя окнами, выходящими на югъ и западъ. Въ углу, противъ южнаго окна, была большая печь съ лежанкою. На стѣнахъ между оконъ были наставлены одинъ на другой мѣдные образы. При входѣ Костроминъ съ Анучкинымъ, Яковъ, высокій, худощавый старикъ съ черными волосами и бородой, въ скуфейкѣ и черномъ кафтанѣ, опоясанномъ бичевкой, сѣя на скамьѣ, разговаривалъ съ двумя раскольниками, ушедшими недавно съ удойкинскихъ присковъ.

— Изсякли?! — сказала, улыбаясь, Яковъ послѣ обычныхъ обрядностей.

— Богъ не безъ милости, — проговорилъ Костроминъ.

— Благодареніе Богу. Надежный ли тамъ карульничъ-то?

— Кто его знаетъ... Мы съ нимъ работали, такъ онъ намъ нравился... Впрочемъ я его взялъ для того, чтобы онъ не убѣжалъ и не объявлялъ.. А вѣдь мы намыли не мало, съ помощью Божіею... Ну, а отсюда онъ не уйдетъ. Тамъ въ буракѣ пиво. Мы его смѣшали съ табакомъ для крѣпости.

— Ну, такъ какъ же ты, Дороевъ, думаешь?

— Да вотъ Тарасу Трифону Анучкину теперь очередь.

— Я давно знаю объ этомъ мѣстѣ, и другое у меня есть на примѣтѣ... А дѣло наше такое, того и жди, чтобы не наѣзали... Только наврядъ ли и тамъ будетъ много золота, потому доврѣнный, извѣстно, въ этомъ дѣлѣ не смыслить. Стоды наставлять, начнутъ рыть канавы, настроятъ избъ и промысли тамъ, гдѣ не слѣдуетъ... Неужели я стану указывать!

— А если тебя сдѣлаютъ доврѣннымъ? Полноко морочить старыхъ людей! Давно тебѣ, какъ видно, хочется въ начальство попасть, да воли нѣтъ... Охо-хо!.. Замѣчаю я, нѣтъ нынче въ людяхъ той крѣпости, какъ въ прежніе годы; ненадежны стали нынѣшніе люди. Отчего прежде объ этомъ краѣ и разговору не было? Отчего нынче здѣсь ужъ до сотни присковъ разрабатывается?

— Но вѣдь всѣ почти брошены, хотъ и въ нихъ есть золото.



— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, отчего прежде-то объѣздишь край не было и рѣчи? всѣ считали ѣздишь мѣста за самыя негодныя?.. Оттого, что жадность человѣка такова: ты ему дай шей, онъ захочетъ каша; ты ему рубль, онъ проситъ два... Обычай городскіе стали нравиться, водка стала лучше браги; мало одной жены, но двѣ завели... Поневолѣ жадность явится.

— Пожилъ бы ты въ мірѣ! — сказала недовольно Анучкинъ.

— Слава Богу, сорокъ лѣтъ выжилъ, — это мнѣ не укоръ, да и я не про тебя говорю. Ты бѣглый, тебѣ едва ли ловко въ городъ то явиться!

— Я на Доросея полагаюсь. Пусть онъ будетъ довереннымъ.

— Избави Богъ! Пусть лучше внукъ мой будетъ.

— Дѣлайте, какъ знаете. А все бы обождать не мѣшало, потому что теперь многіе изъ господъ поостыли... ха-ха! Смѣшно мнѣ. право, на этихъ людей: слышали они, што есть въ ѣздишь край золото, и думаютъ, что его можно лопатами грести. Что жъ? Подождите немного; можетъ, какой-нибудь денежный баринъ и рѣшится доверить, Костроминъ, твоему сыну.. Ну, а ты, Тарасъ, помогай, да больше о своихъ старайся; дѣлай такъ, штобы и тебѣ было хорошо, и барину, и намъ.

Скоро гости разстались съ хозяиномъ, который далъ за золото денегъ и обѣщался извѣстить, когда приухаетъ про простоватаго, но денежнаго барина.

— Я уже сына своего Никифора пошлю по веснѣ развѣдать, и если онъ узнаетъ, то предложитъ барину такъ: скажетъ, что онъ пришлетъ ему и мужа, который знаетъ мѣсто, и довереннаго. Ну, разужбѣтся, объяснитъ все, какъ слѣдуетъ, и Тарасу нечего будетъ бояться, потому богатство мнѣ порядковъ: я бѣлаго съ почетомъ принимають, гдѣ нужно.

Съ ними вышли и другіе два раскольниковъ, которые обѣщались хранить въ секретѣ совѣтъ Якова съ тѣмъ условіемъ, чтобы имъ плата производилась больше другихъ и у нихъ не отнимали бы золото. Костроминъ далъ Терентію Ивану двадцати-пяти рублевую бумажку. Терентій Иванъ посмотрѣлъ на свѣтъ бумажку, тщательно ощупалъ ее и повидимому не рѣшался брать.

— Думаешь, фальшивая! Ошибаешься, другъ. Яковъ этими вещами не занимается, — голову могу положить на отсѣченіе, вотъ што.

— Нѣтъ... мало...

Костроминъ захохоталъ. Товарищи торопили Костромина ѣхать.

— Ты знаешь ли толкъ-то въ деньгахъ? — спросилъ вдругъ Костроминъ Горюнова.

— Не ты одинъ! — началъ Горюновъ; но Костроминъ опять захохоталъ.

— Говорилъ бы, слава Богу, што и это дали! Въ своемъ заводѣ тебѣ и во снѣ не приснились бы такіа деньги, — говорилъ Анучкинъ, садясь въ пошевни, въ которыхъ уже сидѣли остальные. Костроминъ стегнулъ лошадей.

— Доросей Леонтьичъ!.. Подожди меня-то, — сказалъ Горюновъ, нагоняя лошадей.

— Нѣтъ, мы тебя не возьмемъ! Ты недоволенъ...

— Што дѣлать.. я ничего...

— Или, куда хошь, а ты намъ не товарищъ.

Цѣлый часъ Горюновъ шелъ за пошевнями, упрямая, чтобы его взяли, говоря, что онъ доволенъ всѣмъ; цѣлый часъ Костроминъ и его товарищи не хотѣли брать его съ собой, совѣтуя ему идти туда, гдѣ лучше и гдѣ больше даютъ денегъ. Но все-таки, проѣхавши версты пять, они посадили его, взявъ съ него клятву, чтобы онъ молчалъ объ этой поѣздкѣ и не выдавалъ ихъ начальству.

Теперь у Горюнова исчезли всѣ мечты о забраніи въ свои руки пріиска. Онъ ясно понималъ, что попалъ въ ежовыя рукавицы и долженъ будетъ работать на тѣхъ же, которыхъ онъ считалъ своими товарищами и въ рукахъ которыхъ находились пріиски; эти люди знаютъ пріисковое дѣло; въ обытѣ золота не затрудняются, да и по прекращеніи работъ найдутъ поддержку, какъ вотъ и эти двое раскольниковъ, ушедшіе съ пріисковъ назадъ тому мѣсяцъ. Они и рабочихъ найдутъ, потому что въ окрестности всѣ жители знаютъ ихъ... А онъ, пришлецъ, мечталъ... „Да, не легко, Тереха, деньги достаютъ и на золотыхъ пріискахъ. Ужъ кажется ничего нѣтъ дороже золота, а и тутъ золото ни во что мнѣ поставили. И какъ я надѣялся, што на золотыхъ непремѣнно накоплю большой капиталъ и умру я не въ бѣдности! а дѣло-то выходитъ, што ѣздишь еще пожалуй хуже: того и бойся, што или убьютъ тебя, или ты поробишь, поробишь, да съ тѣмъ же и уйдешь, съ чѣмъ пришелъ“.

Но гдѣ же лучше? — спрашивалъ себя Терентій Иванъ. Чтѣ скажутъ ему его пріатели, родные, когда онъ воротится къ нимъ и когда ему нечѣмъ будетъ похвастаться... Вѣдь и самъ Терентій Иванъ видалъ у бѣглыхъ мастеровъ золото, и Коротавъ съ нимъ нѣредко ѣздишь въ городъ съ золотомъ. „Не надо было мнѣ отдавать золото Костромину; надо бы мнѣ было спрятать его, а потомъ и я бы привезъ золото въ городъ“, подумалъ было онъ, но потомъ ему представились всѣ опасности, какимъ подвергаютъ себя на каждомъ шагѣ рабочіе въ пріисковъ, имѣя у себя золото, и то, какъ имъ дешево платятъ за него ловкіе люди... Что же дѣлать? Неужели идти назадъ? Но куда идти съ этими двадцатью пятью рублями, которые можетъ быть еще и не деньги, а просто фальшивая бумажка? Да опять и то надо подумать: вѣдь онъ только-что началъ жизнь на пріискахъ. Люди живутъ на пріискахъ десятки лѣтъ и все-таки не тянутъ ихъ въ другія мѣста... А Костроминъ еще беретъ его къ себѣ въ компанію.

Всѣ эти размышленія убѣдили его, что ему надо жить и потерпѣть на пріискахъ: „авось, можетъ быть Богъ и поможетъ мнѣ выдти изъ бѣдности въ люди“.

Костроминъ съ товарищами застали на пріискахъ земскую полицію, нѣсколько человѣкъ изъ прежнихъ рабочихъ, въ числѣ которыхъ былъ и Улья-

новъ, приказчика, Иваннишева и какого-то пожилого низенькаго человѣка въ енотовомъ тулупѣ. Они бродили около рѣчки и около ископанной недавно Костроминнымъ мѣстности. Нѣсколько новыхъ рабочихъ съ крестьянами, работавшими съ Костроминнымъ, тесали бревна, копали землю и въ разныхъ мѣстахъ ставили столбы. Какой-то господинъ въ легкомъ пальто что-то чертилъ на бумагѣ.

— Выдалъ, подлецъ!.. Ахъ, разбойникъ! — говорили Анушкинъ и Костроминъ, услышавъ отъ одного новаго рабочаго, что сюда пріѣхалъ открывать новый приискъ самъ главный доверенный, и что Кирпичниковъ уже не пріѣдетъ, такъ какъ Иваннишевъ на него насклазалъ много нехорошаго главному доверенному.

Костроминъ и Анушкинъ очень сердились на Иваннишева за то, что онъ, не спросивъ ихъ, продалъ телку: теперь оказалось, что и Костроминъ, и Анушкинъ оба знали объ этой телкѣ, каждый рассчитывалъ на нее, считая ее нестоимымъ богатствомъ, которое они берегли много лѣтъ, и къ которому приступили только потому, что имъ нечего было ѣсть. Про это-то мѣсто они и говорили Якову. И вдругъ ихъ же товарищъ, свой человѣкъ, передалъ это мѣсто въ руки того же барина, которому указалъ Удойкинскій приискъ Костроминъ.

По отъѣздѣ полиціи, главный доверенный выдалъ всѣмъ рабочимъ не въ счетъ жалованья десять рублей для того, чтобы расположить ихъ къ себѣ, и приказалъ имъ начать работы на новомъ мѣстѣ. Костроминъ съ товарищами нахнули на все рукой и остались на приискѣ.

Съ вечера началось пьянство на всемъ приискѣ, только Костроминъ съ товарищами, въ томъ числѣ и Терентій Ивановичъ, принятый въ ихъ компанію, долго вели между собой бесѣду, заключавшуюся въ томъ, чтобы Костромину попрежнему заниматься съ семействомъ торговлей, а прочимъ работать, но такъ какъ и этотъ доверенный назначаетъ плату подемно, то если кто-нибудь изъ нихъ узнаетъ, гдѣ находится богатое мѣсто, стараться скрыть его и копать въ другомъ мѣстѣ.

## XVII.

Пелагея Прохоровна, какъ читатели видѣли, жила уже нѣсколько времени въ городѣ. Читатели также, надо полагать, замѣтили, что она жила въ разныхъ мѣстахъ въ кухаркахъ. Жизнь ея была вездѣ нехороша, и ей приходилось часто мѣнять мѣста, во все-таки хорошаго мѣста на ея долю не выпало. На послѣднемъ мѣстѣ она жила долго, но вдовецъ-хозяинъ сталъ ей предлагать очень нехорошія условія, на которыя она не согласилась, а именно — быть его любовницей. Поэтому она рѣшилась удрать отъ хозяина, и такъ какъ паспортъ былъ у нея въ рукахъ, то она, завязавши свое имущество въ платокъ, вышла изъ дома, въ которомъ жила. Было еще очень свѣтло, когда Пелагея Прохоровна вышла съ узелкомъ на улицу. Солнце уже сѣло, и надъ сѣверо-западной частью города на небѣ отливались золотистыя, фіолетовыя

и розовыя гряды горъ. Нѣсколько городскихъ барышень, стоя у городского пруда въ одиночку, упершись въ чугунную рѣшетку, задумчиво смотрѣли на отражающіеся въ тучахъ лучи солнца — и мечтали. Вечеръ былъ тихій, прохладный; пыль, поднятая днемъ съ улицъ, постепенно садилась на строенія и на землю. Бѣды было не слышно; служащій народъ, чиновники, послѣ дневныхъ занятій, болѣею частью холостые и семейные, безъ женъ и дѣтей, вышли къ пруду и на бульваръ, а нѣкоторые изъ нихъ садились на парходъ и плыли къ дачѣ, отъ которой слышалась музыка и часть которой была освѣщена фонарями. Очень немногіе шли въ соборъ посмотреть, не свадьба ли тамъ, потому что у собора стояло два извозчика. Нельзя сказать, чтобы народъ этотъ былъ веселъ; на всѣхъ лицахъ замѣтно было или уныніе, или тоска, или зависть.

Пелагея Прохоровна робко шла до пруда. Ее нѣсколько не удивила гуляющая публика; напротивъ, она занята была своимъ положеніемъ, чувствовала, что теперь она свободна, но что-то такое тяготило ее, въ головѣ ея какъ будто пусто стало. Она шла, сама не зная куда. На пруду въ это время плыл парходъ очень медленно. На парходѣ пѣсенники орали уже полупьяными голосами „Внизъ по матушкѣ, по Волгѣ“. За парходомъ плыла лодка, въ которой пѣли нѣсколько человѣкъ приказныхъ изъ соборныхъ пѣвчихъ „Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту“. Впереди пархода и рядомъ съ нимъ плыло тоже нѣсколько лодокъ съ любителями духовныхъ и свѣтскихъ пѣсенъ, которые старались подтянуть пѣвчихъ со всѣмъ усердіемъ.

Все это издали привлекало сюда праздный народъ въ родѣ чиновниковъ, дѣвцъ съ шляпками и безъ шляпокъ: сюда шли подмастерья, окончившіе со своею работою, какъ и другіе любители приключеній. Народу было много. Народъ толкался, хохоталъ, остривъ насчетъ другія, особенно насчетъ молодыхъ незнакомыхъ женщинъ. Кончилась пѣсня, сотня голосовъ закричала: „фора! еще!“ и начались ругательства, крики. Пелагея Прохоровна пошла прочь, не обращая вниманія на любезности халатниковъ, предлагавшихъ ей пройти съ нею. Она шла задумавшись. Вдругъ она увидѣла на тротуарѣ сидящую женщину, которая держала на колѣняхъ ребенка.

— А! это ты! — сказала женщина, узнавъ Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна была очень удивлена тѣмъ, что эту женщину она гдѣ-то видѣла, лицо ей довольно хорошо было памятно, но гдѣ она видѣла ее, ктѣ она такая, — она никакъ не могла припомнить.

— Ахъ не узнала? Богата вѣрно стала нынче. — И женщина такъ поглядѣла на узелокъ Пелагеи Прохоровны, что та стала сама не своя. И голосъ знакомый, рѣзкій, и улыбка, отъ которой ее когда-то коробило, знакомая ей.

Вдругъ она вскрикнула ей:

— Катерина Васильевна!

— То-то... Ты куда идешь?

— На-гулянь была...

— Счастливая! — и Катерина Васильевна тяжело вздохнула, потом сказала:

— Ты безъ мѣста? Иди ко мнѣ ночевать!

— Покорно благодарю.

— Полно-ко дурить! Иди... Ахъ ты проклященный! Смучилъ ты меня...— говорила она, термоя ребенка, который ежился и хриплымъ голоомъ кричалъ и часто кашлялъ.

Царица небесная! — проговорила женщина съ отчаяніемъ.

Пелагея Прохоровна жалко стало прежней Катерины, которая назадъ тому полтора года часто была прогнана отъ разныхъ господъ за воровство и дурное поведеніе, слыла между кухарками за самую отчаянную цѣвку, не имѣвшую ни стыда, ни совѣсти. И каково же было удивленіе всѣхъ прачекъ и кухарокъ, когда она объявила, что скоро выходитъ замужъ за мастера, и даже назначила день свадьбы. Сначала думали, что это такъ, мало ли что можетъ наболтать бѣшеная Катка, но черезъ недѣлю всѣ кухарки и прачки узнали, что въ церкви уже было два оглашенія: о свадьбѣ Катерины, и Катка стала называться съ тѣхъ поръ Катериной Васильевной, ею стали больше прежняго интересоваться, заискивать ея расположенія для того, чтобы узнать ея жениха, о которомъ ходили разные слухи. Одни говорили, что онъ въ городѣ первый г р а н и л ь щ и к ъ, то есть отчаянный воръ и головорѣзъ; другіе, что онъ для того только и женится на Катринѣ, чтобы жить на ея счетѣ, такъ какъ она работающая баба. Какъ бы то ни было, а Катерина Васильевна вышла замужъ и свадьбу ея имѣли удовольствіе видѣть около десяти прачекъ и кухарокъ, и эти смотринны припались имъ не по сердцу, потому что Катерина Васильевна ихъ вдосталь удивила: женихъ ея былъ высокій, здоровый, красавецъ, а главное — молодой, такъ что на взглядъ ему было не больше двадцати лѣтъ.

Съ этихъ поръ въ тѣхъ порядкахъ или частяхъ города, откуда собирались на прудъ прачки и кухарки, никто уже не видалъ Катерины Васильевны, точно она уѣхала куда-нибудь. Поэтому и не мудрено, что Пелагея Прохоровна, не принимавшая и прежде явнаго участія въ сужденіяхъ о ней, мало была знакома съ нею и не любила ея, какъ женщину бойкую и болтливую. Теперь же, встрѣтившись съ нею на улицѣ ночью и видя ее плачущею и проклинающею ребенка, она рѣшительно не понимала, что такое случилось съ этой бойкой женщиною.

— Горе мое! горе мое! — стонала Катерина Васильевна. Но слезъ у нея теперь не было, только лицо ея подергивалось. Пелагея Прохоровна придуномъ свѣтъ замѣтила, что лицо ея — кожа да кости, а прежде какая она была здоровая!

— Катерина Васильевна! Дай мнѣ ребенка-то: простудишь... Вѣтрено.

— Пусть кофѣтъ.

— Какъ тебѣ не стыдно? Бога-то ты не боишься!

— Што мнѣ съ нимъ... Совѣтъ разорилась. Хотѣла бы собака была въ домъ-то!... Хотѣла бы старуха

какая... Голубушка. ночуй ты у меня эту почку; ничего я не могу сдѣлать съ ребенкомъ-то.

Пелагея Прохоровна молча согласилась. Катерина Васильевна шла рядомъ съ ней и тоже молчала. Ребенокъ хрипѣлъ. Пелагея Прохоровна думала о настоящемъ положеніи этой женщины, но заговорить ей было неловко. Ей самой ясно припоминалась ея первая жизнь въ городѣ, и очень хотѣлось помочь Катринѣ Васильевнѣ, которая уже тѣмъ несчастіемъ ея, что имѣетъ на рукахъ ребенка.

Катерина Васильевна жила совѣтъ въ противоположной части города и почти въ трехъ верстахъ отъ пруда. Домъ Хорохорова былъ низенькій, деревянный, съ тремя окнами на улицу. Онъ еще издали обращалъ на себя вниманіе тѣмъ, что внутренность его казалась провалившеюся, и что если онъ еще не развалился весь въ разныя стороны, такъ оттого только, что по угламъ бревна были частью скрѣплены желѣзными толстыми полосами и частью упирались въ столбы. Всякій, кто шелъ мимо этого ветхаго дома, съ заколоченными двумя окнами, съ прогнившею крышей, на которой тамъ и сямъ росла трава, безъ тротуара, а съ засоренной канавкой, всякій улыбался и говорилъ: и должно быть домъ-то старѣе заплотовъ! Да это отчасти и оправдывалось тѣмъ, что ворота запирались хорошо и доски на заплотѣ были еще довольно крѣпки и даже наверху заплота были обиты гвозди, такъ что домъ походилъ на развалившееся укрѣпленіе, въ которое гораздо легче войти не черезъ заплотъ, потому что стоитъ только дернуть за доску крыши, какъ крыша и разсыплется. Во дворѣ было еще хуже: заднія постройки и крыльцо у дома провалились. Огородъ только отчасти огораживался, и поэтому сосѣди рады были случаю пустать въ него свою скотину. Только одна баня, съ крышей на ней и маленькимъ окошечкомъ, была крѣпче обиталища хозяевъ. Въ огородѣ хотя и были посажены овощи, но гряды всѣ перетоптаны и изъ нихъ все повывергано. Кромѣ этого, полицейское начальство давно уже дѣлало распоряженіе о томъ, чтобы этотъ домъ съ задними его постройками, въ видахъ искорененія безобразія, былъ сломанъ, но этотъ приказъ не былъ исполняемъ не только новыми его хозяевами, Хорохоровыми, но и прежними. Впрочемъ и сосѣдямъ не нравился этотъ домъ, и они постоянно говорили, что въ немъ уже нѣсколько лѣтъ живутъ или бѣглецы, или мошенники, и поэтому трое сосѣдей зорко слѣдили за нимъ.

Пелагея Прохоровна удивилась, увидавъ, что, не смотря на то, что въ кухнѣ полъ кривой и половицы шатаются, вездѣ было очень чисто, свѣтло и привѣтливо. Такъ что, судя по убранству кухни, можно было подумать, что хозяйка не такъ бѣдна, какъ она говоритъ. Столъ хотя и простой работы, но окрашенный, стѣны оклеены „Сенатскими Вѣдомостями“, кровать занавѣшана и за занавѣской виситъ мужской халатъ, исковерканная проволока отъ кринолина, зимній женскій пугайчикъ и еще что-то въ родѣ тулупа; въ переднемъ углу два образа съ посеребренными окладами, передъ ними въ бумажномъ плетеномъ кошелькѣ висятъ два позво-

лоченных пасальных яйца; по обѣ стороны этихъ образовъ и подъ ними стѣна изукрашена картинками духовнаго содержанія.

Въ кухнѣ не было жарко, какъ бываетъ въ другихъ кухняхъ, въ которыхъ топятъ печи, жарятъ и пекутъ; просыпающіеся мухи жужжали, но, какъ видно, ихъ было немного. Пелагею Прохоровну еще болѣе прежняго удивило отсутствіе не только мужнины въ кухнѣ, но даже и лѣтней мужской одежды, кромѣ халата. Однако она не рѣшилась спросить хозяйку объ этомъ предметѣ, да и хозяйка укачивала ребенка, напѣвая усыпляющія пѣсенки. Хозяйка прилегла на кровать и проговорила:

— Одно къ одному такъ и идти: вотъ корона теперь перестала доить и изволь ее дожидаться, скоро ли она отелится. Опять тоже и кормить ее надо, а корма-то нѣтъ, не приведи Богъ, какъ дорого! Купишь сѣна пудъ, глядишь, на другой день ужъ и нѣтъ, потому заплотовъ нѣтъ. Николай-то Иванычъ такъ и купилъ мѣсто безъ заплотовъ. Сосѣди все и таскаютъ... А своего покоса нѣтъ, потому мѣщанамъ не дадутъ покосовъ.

Обѣ молчали нѣсколько минутъ.

— Гдѣ же у те мужъ-то?—спросила вдругъ Пелагея Прохоровна и почувствовала, что она нехорошо сдѣлала.

— Въ острогѣ.

— Што ты?

— Оказія вышла.. Не шуточное дѣло! И совѣтъ не виновать, а все своя оплошность дурацкая. Вишь ты, онъ больно любилъ рыбу ловить и лѣтомъ часто уходилъ рыбачить или сюда на прудъ, или куда-нибудь на озеро. И лодку свою имѣлъ, и припараты рыболовные имѣлъ всякіе, только теперь я ихъ все распродала почти задаромъ. Такъ тутъ однова раза лѣтомъ, почитай въ то время, какъ малину носить, онъ и отправился съ однимъ своимъ пріятелемъ версть за семь отъ города... Черезъ двое сутокъ пріѣзжаютъ они—Николай Иванычъ и пріятель, оба подпивши; рыбы было порядочно. Раздѣлили они рыбу межъ собой; я сварила уху, пріятель сходилъ за водкой, выпили всѣ, и я тоже. Только я и спрашиваю: а што молъ Петрову много вы отдали? Пріятель и говоритъ: нашъ, говоритъ, Иванъ сталъ болванъ, потому, говоритъ, што какъ только мы утромъ пробудились, его и слѣдъ пропалъ. А онъ, говоритъ, съ вечера былъ хорошо пьянъ.— Мужъ говоритъ: мы искали, искали его и слѣдовъ нѣтъ. Знать, говоритъ, ушелъ въ село: тамъ есть дѣвницы, съ которыми онъ знакомъ. Ну, мы тогда посмѣялись,—тѣмъ дѣло и кончилось. Только на третій день послѣ этого и приходите къ намъ работникъ Петрова и спрашиваетъ про Ивана. Ну, знамо, но искать же намъ его. Сказываетъ, посылала и въ село, да и тамъ не нашли. Вотъ и привязались къ моему мужу и его пріятелю:—куда дѣвали Ваньку Петрова? А потомъ вдругъ и объявили мастерки, что они нашли его убитымъ въ кустахъ. Повезли нашихъ молодцовъ туда, они съ бухты-барахты и покажи то мѣсто, гдѣ они ночевали въ послѣдній разъ, а отъ этого мѣста на разстояніи какой-нибудь полверсты текла въ озеро рѣчка, въ ней и нашли Петрова. Ужъ такъ, гово-

рять, онъ изуродованъ, не приведи Богъ! Кто-то такъ хватилъ его по головѣ, что голова на двѣ половины разсѣчена... Мой мужъ и пріятель говорили, что они въ этомъ дѣлѣ ни капельки неучастны и што никакого крику не слышали, потому што спали крѣпко, а што вѣрно Петрова укололи мастерки, потому они до него давно добывались: разъ—онъ обсчитывалъ ихъ деньгами за камни, другой—они давно хотѣли задать ему мятку за своихъ бабъ и дѣвокъ. Но какъ они ни отпирались, а ихъ все-таки посадили въ острогъ, потому што придирались къ мужнину топору и его халату; въ крови,—такъ зачистъ и человѣка убилъ. Мы хотъ и говорили, што около этого времени мужъ теленка колотъ въ халатѣ, а топоромъ отрубалъ голову, кою я сварила въ студень. А што топоръ былъ не вымытъ, такъ потому, што въ немъ не было больше надобности. Нѣтъ, не повѣрили! И вотъ уже годъ скоро кончится, какъ онъ сидитъ... Сказывали мнѣ на прошлой недѣлѣ, што въ судѣ чиновникъ рѣшеніе пишетъ и што хотѣтъ обонихъ въ каторгу.. Я испугалась... Охъ, мать Пресвятая Богородица! знаю я, што мой мужъ не только убить не въ состояніи, а даже и поколотить человѣка. Онъ ежели курицу заколетъ, такъ ни за что ѣсть не станетъ; даже и теленка не ѣлъ, я уже обманомъ кормила его... Бѣгала я и къ секретарю—нельзя, говорить. Я прошу: вы бы слѣдствіе тамъ въ селѣ произвели, можетъ, кто изъ тамошнихъ убилъ. Онъ меня прогналъ и сказалъ: курицу яйца не учать. Бѣгала къ судѣ—никакъ не могла застать дома, а наконецъ и гнать стали отъ дома. Сколько однихъ прошеніевъ носила страпачему—не принимаютъ... А народъ тамъ въ селѣ, охъ! такой злой и изъ воды сухой выдетъ; поэтому вѣрно и побоились пытать ихъ. А онъ, мой голубчикъ... спичка-спичкой сталъ!.. Въ воскресенье была у него—кашляетъ безпрестанно, кровью харкаетъ... Просился въ лазаретъ—не пускаютъ: для убійцъ тамъ, сказываютъ, нѣтъ мѣстовъ.

Катерина Васильевна замолчала, но она не плакала, а сидѣла, уперевъ лѣвой ладонью щеку и качала головой; лицо ея немощно подергивало. Пелагея Прохоровна сидѣла блѣдная и смотрѣла въ уголъ. Ей жалко было очень Катерину Васильевну, которая была, по ея мнѣнію, въ тысячу разъ несчастнѣе ея. Вотъ она, бойкая-то женщина... О, Владычица!...

— Катерина Васильевна!—сказала шопотомъ Пелагея Прохоровна, потому что у нея вурту было сухо.

Та не только не отвѣтила, но даже и непоглядѣла на нее. Она повторила. Та промывчала.

— Ты бы заснула! Успокойся маленько, пока ребеночъ-то спитъ.

— Не хочется мнѣ спать-то... Свѣтло ужъ.

Между обѣими женщинами было много разницы. Хозяйка хотя была и высокая, но, по народному выраженію, худа, какъ спичка. Она, казалось, нисколько не заботилась о своемъ нарядѣ: платьишко во многихъ мѣстахъ продралось, подола закорбли отъ грязи, рукава оборваны, руки, лицо и шея давно не мыты и только, если чѣмъ она можетъ кому-нибудь понравиться, такъ это развѣ правильнымъ очерта-

нием блѣднаго лица, которое, несмотря на отпечаток на немъ горя, все-таки еще было красиво. Но зато это была жена обвиненнаго въ убійствѣ, жена будущаго картожника, жена опозореннаго и не имѣющаго никакихъ правъ и преимуществъ человѣческихъ въ жизни... Пелагея Прохоровна теперь уже не могла сравниться съ прежней девятнадцатилѣтней заводской красавицей, какой она пришла въ городъ въ первый разъ и какой ее встрѣчала въ первое время Катерина Васильевна. Она была двадцати-двухлѣтняя женщина съ заглубленнымъ и покраснѣвшимъ отъ работы лицомъ, съ твердыми, здоровыми руками. Она пополнила, въ глазахъ ея, выражалось болѣе осмысленности, губы ея, казалось, мало складывались для улыбокъ. Ея ситцевое платье теперь не сидѣло на ней, какъ прежде, итшконтъ, и къ ней уже не шелъ сарафанъ, который она уже два года какъ перешила на юбку и который надѣть ей теперь казалось стыдно. Правда, ея пепельные волосы какъ будто немножко пожелтѣли и порѣдѣли, зато всякій городской рабочей могъ сразу сказать про нее: «вотъ баба, такъ баба! Только бы ей купчихой сдѣлаться, разжирѣла бы на отличку».

Ребенокъ началъ пищать въ люлькѣ. Катерина Васильевна взяла его на руки и стала качать, сказавъ, что у нея у самой молоко высохло.

— Я ужъ четыре раза носила ее въ люди. Въ первый разъ отдала на вскормленіе нищей и денегъ ей дала рубль серебромъ впередъ за мѣсяцъ. Только прихожу какъ-то къ заутренѣ, гляжу: на паперти чей-то ребенокъ плачетъ, я поглядѣла — мой. Жалко мнѣ стало. Взяла я его и пошла въ церковь, а нищая-то, коей я дала ребенка, стоитъ въ углу между дверью и стѣной и дремлетъ. Я ее ткнула, она разинула ротъ, изо рта, какъ отъ ланки, такъ и разитъ винищемъ. Стала молокомъ кормить — покою нѣтъ. Да и сама посули, што за работа съ ребенкомъ? У меня нѣтъ здѣсь родни, а у мужа и подавно. Пригласила было одну чудовищницу къ себѣ жить; такъ она весь день рыскаетъ по городу, а ночью и не добудисься. Взяла дѣвчонку, та платье утащила. А жильца куда пустишь? Тамъ вонъ есть комната, да кто въ нее пойдеть, потому — потолокъ провалился. А какъ Николай-то Иванычъ покупалъ его еще до свадьбы, такъ и не думалъ, што случится этакая оказія. Хорошо еще, што насъ самихъ не задавило, мы въ тѣ поры ходили за малиной. А вѣдь семьдесятъ пять рублей отдалъ. Я и то ужъ продаю его — какъ на сибѣхъ дадутъ не больше десяти рублей. Рабочій народъ въ этомъ краю не живетъ. Такъ и уна не приложу, што дѣлать теперь!.. Кабы не ребенокъ, я бы знала, што мнѣ дѣлать. Сегодня вотъ весь день рыскала: всѣхъ докторовъ здѣшнихъ обѣгала — ни одного дома не застала... И какая я прежде была спокойная! А какъ вышла замужъ — и не то стало. Разъ, у мужа не всегда была работа, а если была, то онъ деньги забиралъ впередъ — а попробуй-ко, каково брюхатой бабѣ бѣлье стирать или полы мыть? Вотъ отъ этого, должно быть, я перваго-то ребенка и выкинула мертваго.

А все же и весело было съ мужемъ: онъ такой смирной и никогда супротивъ меня не шелъ, и трудились мы, надо правду сказать, другъ для дружки. И каково мнѣ было терпѣть позоръ-то, какъ его посадили въ острогъ: какъ я сказала объ этомъ господамъ, на которыхъ я работала, они и сказали: «ну, матушка, теперь мы тебя увольняемъ отъ работы! — можешь на другихъ, потому ты жена такого-то...» И молоко перестали брать, говорятъ: «можетъ быть, въ молоко-то находится кровь...» И чего-чего только я не перетерпѣла!.. Да не уступлю мнѣ! Буду терпѣть, а по міру не пойдю. Здѣсь не будетъ житься, — въ другой городъ пойду.

— Катерина Васильевна, знаешь ли что? Я сама хочу робить: стирать и гладить я умѣю; полы мыть — плевое дѣло, — сказала дрожащимъ голосомъ Пелагея Прохоровна.

— Ты? — спросила хозяйка, и съ удивленіемъ посмотрѣла на гостью.

— Я затѣмъ сюда и пришла въ городъ, да безъ толку. Сама знаешь, сперва я ничего не понимала погородски, и денегъ у меня не было... И она рассказала про жизнь на промыслахъ.

— Трудное дѣло... А много ли у те капиталу-то?

— Да тринадцать рублей. А кабы брать не украсть, было бы много.

— На эти деньги можно... Корову можно рублей за восемь купить; ну, сѣна хоть на два рубля.

— Такъ ты пусти меня къ себѣ, — проговорила робко Пелагея Прохоровна.

— Ловко ли это будетъ?.. Мѣста намъ хватитъ, только какъ насчетъ коровы-то? гдѣ ты ее держать будешь?.. Сосѣдки не пустятъ: это дьяволы, а не люди.

— Ничего, какъ-нибудь.

— Нѣтъ, не какъ-нибудь, а это загвоздка: всѣ сосѣдки смотрятъ на меня, какъ на пугалу какую... Однако?

— Али ты боишься меня, Катерина Васильевна? — голосъ ей дрожалъ.

## XVIII.

Часовъ черезъ пять послѣ этого разговора корова Катерины Васильевны отелилась; Пелагея Прохорова не спалось; она думала о томъ, какими образомъ ей найти работу, и пришла только къ тому предположенію, что хорошо бы ей продавать хоть ягоды. У коровы не было сѣна. Мокроносова вызвалась купить его, и утромъ пошла на рынокъ, но дорогой, недалеко отъ дома Хорохороныхъ, встрѣтила дѣвчонку лѣтъ восьми; эта дѣвчонка шла тоже въ средину города изъ самой крайней улицы и несла три маленькія наберушки съ земляничкой.

— Почему ягоды? — спросила она дѣвчонку.

Та сказала. Сравнительно съ заводскими, эти ягоды оказались слишкомъ дороги, но она рѣшилась купить ихъ. Дѣвчонка уступила на пѣльяхъ десять копѣекъ, и даже продала наберушки.

Пелагея Прохорова повернула на главную улицу. И какъ ей стыдно было крикнуть въ первый разъ: «ягодъ не надо ли! Ягодъ купите!» Однако кричать

нужно.. Крикнула разъ — покраснѣла, крикнула въ другой—голосъ дрянной... Но на улицѣ никто не покупаетъ ягоды; стала она заходить во дворы — собаки кидаются на нее, но зато тутъ купили одну корзинку очень выгодно для Пелагеи Прохоровны, такъ что она цѣлыхъ десять копѣекъ нажила отъ той наберушки. Кухарки она не замѣтила, и поэтому спокойнымъ голосомъ спросила купившую у нея ягоды, когда та стала отдавать ей деньги:

— Не надо ли вамъ, барыня, прачку?

— Да вотъ я не знаю.. У меня стираетъ Авдотья, я ей велѣла придти вчера вечеромъ, а она и по сихъ поръ мнѣ глазъ не показывала... А ты, поди, вовсе не умѣешь стирать-то?

Што вы, барыня, я давно этимъ ремесломъ занимаюсь — И щеки Пелагеи Прохоровны покраснѣли.

— На кого же ты стираешь?

— Я-то?.. Да у меня много... одинъ бухгалтеръ, другой — въ правленіи служить.

— Што же, мало што ли стирки-то теперь?

— Да видишь ли: я корову купила; всѣ деньги истратила.

— Замужемъ, или нѣтъ?

— Какъ же, замужемъ, за Курносовымъ... плохое наше житье

— Ну, ладно, я подумаю; приходи вечеромъ. Если не придетъ Авдотья, такъ ужъ дѣлать нечего.

Пелагея Прохоровна вышла съ сильнымъ біеніемъ сердца, голова ее отяжелѣла. „Што я такое наврала?“ думала Пелагея Прохоровна, выйдя за ворота. Она сама не понимала: какимъ образомъ она могла соврать? Она вдова, и на поприще прачки вышла въ первый разъ. А ужъ если она соврала, то значить нужно теперь врать и врать, а это нехорошо. А если узнаютъ?

Однако дѣло сдѣлано; Мокроносову выручили ягоды. Она замѣтила домъ и пошла дальше, думая о томъ, какъ сказать, если спросятъ: „а какъзовутъ того или другого, на которыхъ она стираетъ?“. Надо такъ сдѣлать, чтобы имена не забывались. „Экая я дура! Вотъ теперь и хлопочи“. Продала она и остальные ягоды и нашла работы еще въ одномъ домѣ: вымыть полы сегодня же. Она занялась и боялась, чтобы ее не спросили: кто она такая? Однако избѣжать этого было невозможно, и здѣсь она уже не врала, а говорила правду. Когда, послѣ господскаго обѣда, которымъ ее впрочемъ не угостили, она стала собираться домой, то хозяйка пригласила ее стирать бѣлье на слѣдующей же недѣлѣ, и работы предвидѣлось на цѣлые три дня.

Пелагея Прохоровна была очень весела. Она, кажется, не была такъ весела даже и въ первый день свадьбы. Она радовалась тому, что нашла работу, будетъ получать деньги и будетъ жить самостоятельно, никому не подчиняясь, никого не боясь. Когда она пришла на рынокъ, — это въ первый разъ, какъ она живетъ въ городѣ, — она заходила во множество лавокъ, заглядывалась на дорогіе, красивые вещи, смотрѣла ситецъ, и до того надѣла купцамъ и приказчикамъ, что ее почти изъ каждой лавки выгоняли насмѣшками. Теперь ей больше

прежняго хотѣлось угодить Катеринѣ Васильевнѣ, и она купила ей платокъ на голову съ картинками, осыпущу чаю и полфунта сахару, и едва не за-была купить сѣна коровѣ. Катерина Васильевна не очень раздѣляла радость своей жилищки, говоря, что это начало еще ничего не можетъ обѣщать хорошаго въ будущемъ, и, по ея мнѣнію, ни больше, ни меньше, какъ одно разореніе. Но Пелагея Прохоровна подумала, что Катерина Васильевна завидуетъ потому, что она не только не получала работы, но помощникъ аптекаря не отдалъ ей денегъ за то, что она будто бы потеряла одну хорошую маминку. Подарокъ она спрятала до болѣе удобнаго времени, потому что Катерина Васильевна весь этотъ день была сердитая. Когда же Пелагея Прохоровна сосчитала свои деньги, то ихъ оказалось только девять рублей съ копѣйками. Это очень встревожило ее, и она сказала Катеринѣ Васильевнѣ:

— Сколько я денегъ-то истратила! И куда? кажется, ничего такого не покупала.

— И остальные проживешь.

— Нѣтъ, ужъ я теперь беречь буду.

— Сколько у тебѣ должна?

— Полно-ка, Катерина Васильевна. Неужели у меня нѣтъ креста на вороту... Я вовсе не къ тому говорю, чтобы...

Въ воскресенье Катерина Васильевна пошла въ острогъ, съ нею пошла и Пелагея Прохоровна. Тамъ въ конторѣ имъ объявили, что убійца Хорохоровъ померъ еще въ понедѣльникъ и похороненъ, какъ собака, въ острожномъ мѣстѣ. Это извѣстіе такъ ошеломило бѣдную женщину, что она не могла устоять на ногахъ, сѣла на лавку, и долго дико глядѣла на одно мѣсто, такъ что ее вывели изъ острога солдаты. Пелагея Прохоровна, держа на рукахъ ребенка Катерины Васильевны, всячески старалась утѣшить ее, но не могла.

Съ полчася онѣ шли молча. Катерина Васильевна высказывала немножко, какъ бы про себя: „какія, въ самомъ дѣлѣ, въ жизни бѣды бываютъ“. Ну, развѣ думала она, встрѣтивъ въ первый разъ Николая Ивановича на похоронахъ у своей пріятельницы Евдокимовой, думала ли она, что такой красивый, молодой человекъ, къ которому товарищи и грубые мастеровые обращаются съ уваженіемъ, потому что онъ грамотный, черезъ годъ будетъ обвиненъ въ убійствѣ, упретъ и будетъ похороненъ, какъ собака?.. И вдругъ все какъ будто исчезло. Для кого она теперь будетъ стараться? Съ кѣмъ и для кого будетъ работать? Теперь пусто; сердце не бьется радостно, а обливается кровью... И зачѣмъ такое несчастіе приключилось именно съ нею, а не съ другимъ человекомъ, который бы имѣлъ порядочный домъ, порядочное хозяйство, родню, которая бы хотя помогла ей съ ребенкомъ возиться?

Пелагея Прохоровна брала дешевле другихъ за стирку и мытье половъ, и у нея работы было больше. Мало-по-малу она приобрѣла уже нѣсколько домовъ и могла предоставить часть работы своей подругѣ, Катеринѣ Васильевнѣ.

Но и стирка бѣлья было дѣло не совсѣмъ легкое и

выгодное для наших женщин. Неудобство состояло главным образом в том, что он не имел возможности брать бѣлье на домъ, потому что иной день имъ обѣдять не приводилось бывать дома и бѣлье могли украсть, да еслибы и обѣ онъ были дома, то и тутъ угладѣть невозможно безъ того, чтобы не караулить его постоянно которой-нибудь изъ нихъ. Поэтому онъ истиралъ у небогатыхъ семействъ въ ихъ квартирахъ. На третій мѣсяцъ, несмотря на то, что онъ стали брать дороже, работы у обѣихъ женщинъ было такъ много, что онѣ сходились только по вечерамъ, а иногда даже и ночевали въ людяхъ. Только воскресные дни онѣ бывали дома. И несмотря на такой усиленный трудъ, средства обѣихъ женщинъ увеличивались очень мало, такъ что къ концу августа у Пелагеи Прохоровны было капитала только семнадцать руб., а у Екатерины Васильевны только двѣнадцать; правда, рубля по три еще было не получено каждой съ разныхъ господъ, но онѣ и не надѣялись получить долгъ, такъ какъ нѣкоторые лица уже выѣхали изъ города.

Обѣ женщины жили дружно; обѣдять имъ приходилось вмѣстѣ только по воскреснымъ днямъ, и онѣ расходовали деньги сообща. Но все таки, несмотря на дружбу, обѣ онѣ высказывали мысль, что хорошо бы было какъ-нибудь избрать другой родъ труда, напимѣръ завести еще корову. Но завести корову хотѣлось каждой, и обѣ не соглашались купить корову сообща. Отъ этого произошло то, что Катерина Васильевна стала поговаривать, что она хозяйка и ей никто не можетъ препятствовать дѣлать то, что она хочетъ. Такъ мысль о коровѣ и кончилась опять ничѣмъ.

Между тѣмъ въ старой улицѣ, гдѣ жили наши работницы, на нихъ стали смотрѣть какъ на нѣчто особенное. Эта улица была населена мелкимъ чиновнымъ людомъ и мѣщанскимъ сословіемъ. Люди эти жили тѣмъ, что занимались какимъ-нибудь ремесломъ дома, или отдавали комнаты служащимъ въ присутственныхъ мѣстахъ лицамъ. Имъ не нравилось, что на ихъ улицѣ живутъ какія-то двѣ женщины, которыя бываютъ дома только по ночамъ и по воскресеньямъ. Особенно не нравилось имъ жеманъ, что при встрѣчѣ съ ними Мокроносова и Хорогорова не только не кланялись имъ, но даже и не глядѣли на нихъ. Онѣ знали, чѣмъ занимаются эти женщины, но никакъ не смѣли простить имъ этого неуваженія, а особенно того, что даже въ воскресенье и въ будничные хорошіе вечера, когда обитатели отъ мала до велика высыпали на улицу посплетничать и отвести душу разговорамъ, нашихъ работницъ не было видно на улицѣ. Все это ихъ злило, и онѣ всячески старались изловить ихъ въ чемъ-нибудь.

Разъ Пелагея Прохоровна шла домой вечеромъ. У многихъ домовъ сидѣли женщины. Посреди дороги мальчуганы играли въ городки. Пелагея Прохоровна глядѣла впередъ и слышала, какъ про нее говорили, но она не повернула головы.

— Подомойка! — окликнулъ ее женскій голосъ, но она и не поглядѣла въ ту сторону, откуда ее спрашивали, и прибавила шагъ.

— Извѣстно, самая послѣдняя женщина. Тварь! — А какого она поведенія! — крикнули справа и слева. Это разозлило Мокроносову, и она остановилась.

— Што, небось неправду говорить? Сколько у тебя любовниковъ-то!

— Отсохли бы у васъ у всѣхъ языки-то! — крикнула Пелагея Прохоровна, плюнула и пошла.

— Какъ!! што!! Василь Ивановичъ! — слышалось изъ разныхъ мѣстъ.

Въ Пелагею Прохоровну кинули мячикъ, она забросила его за чей-то дворъ. Это разозлило еще больше праздный народъ, къ ней подбѣжали женщины и стали ее ругать. Никакихъ оправданій никто не принималъ.

— Въ полицію ея! Вейте ее! Она гуляная!

Это оскорбленіе до слезъ проняло Мокроносову, однако ее не побили, потому что всѣ остались и тѣмъ довольны, что оскорбили беззащитную женщину. Но дерзости стали повторяться больше и больше, и наконецъ дошли даже до того, что въ одну ночь нѣсколько пьяныхъ писцовъ стали стучаться въ ворота хорохоровскаго дома и, не получивши никакого отвѣта, разбили стекло въ кухонномъ окнѣ. Улица отъ этой шалости пришла въ ярость: утромъ рано нѣсколько человекъ пришло въ кухню Екатерины Васильевны и стали гнать ее изъ дому, а такъ какъ она доказывала свои права купчею крѣпостью, то три человека стали разламывать крышу съ дома, разломали трубу и стали выбрасывать ея вещи на улицу.

Такое самоуправство сосѣдей поставило нашихъ работницъ въ такое положеніе, что онѣ рѣшительно не знали, что дѣлать?.. Но это недоразумѣніе кончилось тѣмъ, что пришелъ квартальный надзиратель и повелъ ихъ въ часть, какъ того требовали всѣ близкіе сосѣди Екатерины Васильевны, велѣлъ прекратить разборку дома, снести обратно вещи, но, не доходя до части, освободилъ ихъ отъ ареста за пять рублей. У части Пелагея Прохоровна распростилась съ Катериной Васильевной.

Нанявши у одной мѣщанки комнату съ кухней за рубль серебромъ въ мѣсяцъ, Пелагея Прохоровна пустила на квартиру за полтинникъ женатаго писца. и попрежнему стала заниматься стиркой бѣлья. Черезъ мѣсяцъ послѣ этого она встрѣтила на рѣчкѣ Катерину Васильевну.

— Ну, какъ живешь, Катерина Васильевна? — спросила она свою подругу.

— По твоему: домъ продала за двадцать рублей; наняла квартиру, — двѣ комнаты съ кухней и прихожей. Въ кухнѣ-то бѣлье стираю, а комнаты отдаю холостымъ приказнымъ.

— Холостымъ, говоришь?

— Такъ што такое? Я имъ и стрипаю. Дрова только дороги и квартира студеная... По пяти рублей съ нихъ получаю. Одна мебель пятнадцать рублей стоила. Сынишко со мной теперь.

— Отчего мы прежде съ тобой не подумали такъ жить?

— Я думала, да проку не видно... Не знаю, что дальше будетъ? А корову не купила?

— Сѣно нынѣ дорогое, въ коровой возни много. Кончился мѣсяцъ, изъ... съ женой съѣхали.



Осталась Целагея Прохоровна одна во всей квартирѣ. Квартиру никто не смотритъ. Однако платить за нее надо — заплатила, купила дровъ. Правда, она дома бывала рѣдко и поэтому могла сберечь деньги отъ пищи, которую ее угощали господа, но все-таки одной ночевать въ квартирѣ ей было скучно. Опять стали появляться въ головѣ мысли у ней, что не худо бы было имѣть свой домъ. Припомнились ей слова Короваяева, его прощанье съ ней. „Гдѣ-то онъ теперь? Поди, женился!“ И она старалась перебирать въ своей памяти всѣхъ мужчинъ, которые заигрывали съ ней. Но ни одинъ изъ нихъ не нравился ей такъ, какъ нравился Короваяевъ. Она старалась не думать о немъ, ей хотѣлось забыть его, но и при работѣ, и лежа дома она раздумывалась о своей настоящей жизни, въ которой чего-то недоставало. „Нѣту у меня здѣсь родни, нѣтъ ни кола, ни двора, я работаю я только для того, чтобы мнѣ жить для самой себя... Поглядишь на бабеночекъ, все же имъ есть съ кѣмъ отъ души поговорить. А я одна, и любовника я не хочу имѣть...“

Такъ думала часто Целагея Прохоровна за работой и безъ работы. Наконецъ, зимой она впустила къ себѣ чиновника за рубль. Чиновникъ прожилъ у ней тихо недѣлю, и когда она уходила изъ дому, то бралъ ключъ съ собой. Потомъ чиновникъ изъяснилъ согласіе, чтобы она готовила ему кушанье. Целагея Прохоровна согласилась за пять рублей въ мѣсяцъ и стала стирать бѣлье на дому на холостыхъ чиновниковъ того присутственнаго мѣста, въ которомъ служилъ ей жилецъ. Въ первый мѣсяцъ, за всѣмъ расходами, она выручила два рубля и нашла, что жильца съ пищею держать выгодно, потому что, готовя на чиновника, и она будетъ сыта. Между тѣмъ ее беспокоилъ вопросъ, что то подблываетъ ей дядя и гдѣ-то братья. Ей хотѣлось съѣздить въ заводъ, показаться въ немъ не прежней Мокроносовой, а теперешней городской Целагеей Прохоровной, но у нея не было большихъ денегъ, а съ этой поѣздкой она потеряетъ прежнихъ господъ, на которыхъ стирать теперь, должна будетъ лишиться квартиры и съ тѣмъ виѣстѣ самостоятельной жизни, хотя и тяжелой. И она ограничилась тѣмъ, что послала въ Терентьевскій заводъ письмо къ одной своей подругѣ, которая недавно пріѣзжала въ городъ хлопотать о домѣ, доставшемся ей по духовной отъ мужа, но отвѣта не получила.

Разъ, идя домой подъ вечеръ съ взятыми отъ одной чиновницы грязными бѣльемъ, она поравнилась съ обозомъ, передніе вozy котораго уже заходили въ постоянный дворъ. Обозъ былъ большой и загородилъ дорогу. Целагея Прохоровна стала оглябать обозъ и около одного воза увидѣла лицо, которое ей было знакомо. Обозъ остановился, Целагея Прохоровна подошла къ извозчику. Это былъ Панфиля Прохорычъ. Целагея Прохоровна ему очень обрадовалась.

— Да вѣдь ты на приски хотѣлъ идти?—спросила сестра брата.

— Мало што я хотѣлъ... Я было и пошелъ, да настрашали: говорятъ, на какой прискъ попадешь. Если прискъ хорошій и платятъ—ладно, если нѣтъ—другъ дружку обкрадываютъ. А вотъ я те-

перь въ извозчики нанялся... И это не нравится, потому все въ дорогѣ ходить... Думаю на желѣзную дорогу идти робить, говорятъ, тамъ очень, очень хорошо, потому работы много... Вотъ еслибы я имѣлъ деньги, хорошо бы было. Говорятъ, тамъ много приказчиковъ и каждый поному наживаетъ.

— И ты этому вѣришь?

— Ей-Богу! Еслибы я накопилъ десять рублей, непременно ушелъ бы туда. Вотъ и Короваяевъ съ Гришкой ушли на той недѣлѣ туда.

— Што ты! И Короваяевъ?

— Вратъ што ли я стану?—Возы въ это время двинулись.

— Да ты врешь!! Гдѣ ты Короваяева-то видѣлъ?

— Въ городѣ, въ Прикамскѣ. Мы съ обозами на пристань ѣхали, а онъ съ Гришкой и съ Лизкой Ульяновой...

— Нѣтъ?!

— Ей-Богу... Лизка Ульянова съ матерью и ребятишками шла. И другіе тоже какіе-то съ ними... Куда?—спрашиваю.—На желѣзную дорогу, говорятъ, далеко. А Короваяевъ и говоритъ: „а Целагея Прохоровну видѣлъ?“

— Нѣтъ?

— Видѣлъ, говорю. Онъ и говоритъ: „замужемъ, поди она?“, Нѣтъ, говорю, въ куфарекъ живетъ“...

Въ это время вozy были всѣ во дворѣ. Панфиля крикнули, и онъ ушелъ въ домъ.

## XIX.

Сообщенныя Панфиломъ новости очень поразили Целагею Прохоровну. Она никогда не думала, чтобы Короваяевъ ушелъ изъ М. завода, чтобы Лизавета Елизаровна, привыкшая къ промысловой жизни, и мать ея могли пуститься въ незнакомыя имъ мѣстности съ посторонними мужчинами. Ей не вѣрилось, чтобы это было такъ, чтобы они ушли. А если они ушли, то тутъ есть какая-нибудь причина. Но какая? Правда, она видѣла людей, натягивающихъ телеграфную проволоку, слышала, что гдѣ-то строятъ желѣзную дорогу, а въ одно время только и было разговоръ, что о постройкѣ отъ города желѣзной дороги, вслѣдствіе чего на рынокъ по воскресеньямъ не одна сотня бродила мастеровыхъ, думая, что ихъ будутъ уже нанимать на желѣзную дорогу; но того, чтобы кто-нибудь изъ знакомыхъ уходилъ далеко для работы на желѣзной дорогѣ, чтобы кто-нибудь хвастался хорошимъ заработкомъ, она не слыхала. Да и что такое желѣзная дорога?.. Все это маклаки смущаютъ рабочихъ. Но теперь Панфиля совѣтъ ее сблизъ съ толку.

„Этотъ парнишка, какъ посидѣлъ въ острогѣ, совѣтъ испортился“, думала она, стараясь не вѣрять ему. „А если они на самомъ дѣлѣ ушли?“ спрашивала она себя, и ей дѣлалось обидно. „Я виѣстѣ съ нимъ шла... Я помогла Лизкѣ... и вдругъ ушли одни. Охъ, злые люди! Они только о себѣ заботятся... Тутъ непременно штуки какія-нибудь... Вѣрно, Лизка сманила мать въ заводъ, потому-де Григорій очувствуется и женится на ней, али въ любовницы къ себѣ возьметъ ее!“



Немного погода, она думала иначе.

„Нѣтъ, Григорій Прохорычъ не такой... Какъ помоложь-то онъ былъ, ну, тогда, пожалуй бы, Лизка ему сѣла на шею и побѣжала бы. Ужъ коли онъ на приказничьей любовницѣ хотѣлъ жениться! Ну, а какъ посидѣлъ изъ-за этой голубушки въ острогѣ, опытиѣ сталъ... На Лизкѣ ужъ онъ не женится... Экая, подумаешь ты, бестыжая! человѣкъ ее ненавидитъ, а она за нимъ... А Коровавъ-то? Коровавъ-то?“

Но про Короваву она не знала, что и подумать, потому что этотъ хитрый, по ея мнѣнью, человѣкъ ничѣмъ не связать съ ней. Ей хорошо помнѣется его слова: „у меня ничего нѣтъ, кромя долота и пилы. Я иду—говорилъ онъ—добывать себѣ капиталы. Если, говорилъ, ты не выйдешь замужъ, я, говорилъ, буду свататься за тебя“.

„Вотъ онъ, женишокъ-то любезный!.. Онъ поди теперь посмѣивается: жди, молъ...“—говорила чуть не громко Пелагея Прохоровна.

На другой день она нарочно сходила на постоялый дворъ, но не въ тотъ, въ которомъ остановился ее братъ, а въ другой. Тутъ она узнала отъ ящиковъ, что дѣйствительно изъ М. завода многіе идутъ на желѣзную дорогу, потому что въ М. теперь работы стало меньше противъ прежняго.

— Какъ начали фабрики-то строить, народу навалило въ М. изъ всѣхъ заводовъ и деревень! Работа была всѣмъ, платили хорошо; а теперь работы стало меньше, и то парни больше самия трудныя работы справляютъ—около огня, али около машинъ, пожилые не выносятъ, ворауютъ, ну, и плата, значить, стала небольшая. Вотъ кто скопилъ немного деньжонокъ, заплатилъ за годъ оброки—и пошелъ на желѣзную дорогу. Тамъ, говорятъ, и по полтора цалковыхъ за сутки платятъ. Это выходитъ въ мѣсяцъ сорокъ пять цалковыхъ...—говорилъ Пелагѣй Прохоровицъ одинъ ящикъ.

— Но вотъ ты нейдешь же туда.

— Эхъ, дѣваха! Ты думаешь, хорошее наше житье-то? Кабы не привычка отъ измалѣтства къ этому дѣлу, удержалъ бы кто меня на одномъ мѣстѣ? Ни! И такъ все грозятъ, што и у насъ такую дорогу нестроить. Ну, и урываешь: чуть излишекъ какой будетъ, надо бы къ дому, али откупить землю, возьмишь и купишь еще лошадь... А ты не туда ли хошь?

— Нѣтъ.

— То-то. Вы въ городахъ-то какъ поживаете, такъ васъ и рукой не достанешь. Хотѣсть нечего, а въ городѣ лучше правится жить.

— Какое житье!

— То-то. Поди, предметъ есть?

Теперь ужъ Пелагея Прохоровна не сомнѣвалась въ томъ, что Коровавъ ушелъ на желѣзную дорогу. Ей припоминалось обѣщаніе Короваву написать ей въ село черезъ мѣсяцъ. „Значить, и тамъ нехорошо. Поэтому онъ и не извѣщалъ меня, и не хотѣлъ, чтобы я шла туда“.

Она не обвиняла Короваву; напротивъ, онъ былъ правъ. И въ самомъ дѣлѣ, что за жизнь, когда и одному-тобъсть нечего, а тутъ еще будутъ

дѣти... Прежде вонъ въ заводахъ на дѣтей провіантъ давали, а теперь не только не даютъ провіанту, а отымають и покосы, и дома; теперь за все плати деньги, а платы за трудъ едва достаетъ, чтобы покупать муку, которая съ каждыиъ мѣсяцемъ вездѣ дорожаетъ. На рынкѣ только и разговору, что богатые люди скупили муку, что въ такомъ то мѣстѣ неурожай, а отъ этого и мясо, и прочее стало дорого. Поневоля будешь искать мѣста, гдѣ лучше. Вотъ она теперь квартиру свою имѣетъ, а едва сводитъ приходъ съ расходомъ. Хорошо еще, что у нея чиновникъ живетъ нетребовательный: самъ сапоги себѣ чиститъ, самъ въ лавочку за табакомъ и калачами ходить, и ничего не говоритъ, если она подаетъ ему вчерашнія подогрѣтыя щи. Въ скоромные дни и она сыта отъ этого чиновника, потому что онъ за хлѣбы платитъ въ мѣсяцъ пять рублей, а вотъ въ постъ—не знаешь, что и варить: чиновникъ проситъ уху изъ окуней или ершей, жаркое тоже изъ рыбы, а рыба дорога, фунта едва на обѣдъ достанетъ. Не станешь же кормить его горошицей, али картофельной похлебкой... Хотя же она и получаетъ деньги за стирку бѣлья и мытье половъ, такъ мало ли и расходовъ по хозяйству? то дровъ надо купить, то мыла, то свѣчки, то крахмалу, свѣтъ; горшокъ какой-нибудь разобьется, надо новый завести и т. д. И вся жизнь только въ томъ и заключается, что съ четырехъ часовъ утра до десяти вечера работаетъ, такъ что въ иной день и сидѣть-то рѣдко приводится, и хотя бы спокой былъ, а то все думаешь о томъ, какъ бы тебя похвалили, а не обругали, какъ бы все было цѣло. Вѣдь это рѣдкость, чтобы барыня при отдачѣ денегъ не обругала. Отъ сосѣдей тоже неприятели; не многіе вѣрятъ, что она не имѣетъ любовника, и распускають разные толки. Всѣ эти толки съ разными прикрасами передавала ей хозяйка дома, къ которой каждый вечеръ приходилъ отставной вахтеръ, значительное лицо въ приемной одного высшаго въ этомъ городѣ присутственнаго мѣста. Такъ уже сложилась городская жизнь, что о бѣдной рабочей женщинѣ не вѣрили, чтобы она могла жить самостоятельно и не обращая вниманія на любезности жильца. И вотъ, Пелагѣй Прохоровицъ городъ сталъ казаться противнымъ со всѣми его обывателями.

Но куда идти? Вотъ вопросъ, который заставлялъ ее крѣпко призадумываться, потому что всѣ, у которыхъ она спрашивала о томъ, гдѣ строится желѣзная дорога, не знали объ этомъ, а говорили, что гдѣ-то далеко. Даже ее жилецъ, изрѣдка читающій газеты, говорилъ, что по желѣзнымъ дорогамъ у насъ уже вѣзять и строятся другія, только онъ не обратилъ вниманія на мѣстности, потому что дороги строятся не въ нашей губерніи. „Стройся дорога въ нашей губерніи, меня никто не удержалъ бы въ правленіи, потому я человѣкъ трезвый, имѣю три чина и мнѣ дали бы хорошую должность. А далеко ѣхать не стоитъ, потому что и въ тѣхъ губерніяхъ много такихъ чиновниковъ, какъ я“.— „Кабы близко!..“ думала Пелагея Прохоровна...

Чѣмъ больше она думала, тѣмъ больше ей противна казалась теперешняя работа, тѣмъ сильнѣе хотѣлось уйти изъ этого города. Только куда уйти? Кромѣ этого ее затрудняло то: лучше ли тамъ? Вѣдь Коровзенъ не бывалъ тамъ, а если онъ шелъ въ М. заводъ, то потому, что ему этотъ заводъ хвалили!.. „Что будетъ, то и будь, а здѣсь я не останусь. Если здѣсь не знаютъ дороги на желѣзную дорогу, пойду въ Прикамскъ. Вѣдь ходятъ же бабы на богомолье и въ Кіевъ, и въ Іерусалимъ, а сперва тоже не знаютъ дороги. А чѣмъ я-то хуже ихъ? Онѣ ходятъ потому, что имъ ходить нравится и ханжи потакаютъ имъ, а я пойду на работу. Што мнѣ, въ самомъ-то дѣлѣ, на одномъ мѣстѣ жить? Будто я чѣмъ связана здѣсь...“ И она объявила жильцу, что идетъ на желѣзную дорогу работать. Это очень удивило жильца, и онъ сказалъ:

— Полно-ка, Пелагея Прохоровна, уможъ-то мутить. Пословица говорится: на одномъ мѣстѣ камень обростаетъ. Ну, куда ты пойдешь и зачѣмъ? Чего еще тебѣ здѣсь мало?

— То-то вы мужчины и не понимаете, што нашему брату трудно деньги достаются.

— Ну, матушка... Што жъ дѣлать: черезъ силу и конь не скачетъ.

Жилецъ сталъ отговаривать ее. Катерина Васильевна пугала ее, говоря: какъ она пойдетъ одна такую даль. Но она твердо рѣшилась идти и ее останавливало только безденежье. На лицо у нея было денегъ около рубля; посуда, корыто и т. п. принадлежности для бѣдлы стоили ей три рубля; два платья стоили на худой конецъ рублей десять, ну, и другія вещи можно распродать, какъ-то: платокъ шерстяной, купленный ею къ пасхѣ, теплый шугайчикъ,—можетъ и дадутъ рубля три. Кромѣ этого ей должны были двѣ барыни за стирку и за мытье половъ и четыре прачки, которымъ она давала по мелочамъ дня на два, на три, и онѣ не отдавали денегъ уже цѣлые мѣсяцы. Пошла она къ барынямъ, тѣ просили подождать до полученіи пенсін; прачки, узнавъ, что она хочетъ идти въ Прикамскъ, не сказали, когда онѣ могутъ отдать долгъ. Прошелъ мѣсяцъ. Въ продолженіе его Пелагея Прохоровна работала изо всей силы, но за работу получила денегъ даже меньше прежняго; изъ словъ тѣхъ, на которыхъ она работала, въ родѣ такниъ: „скоро ты богаче насъ будешь“, она поняла, что ей не хотятъ платить потому, что надѣются отдѣлаться отъ нея ничѣмъ, такъ какъ она хочетъ идти. За вещи давали тоже почти десятую часть, зная, что она очень нуждается въ деньгахъ.

Это еще болѣе раздосадовало Пелагею Прохоровну. Въ свободное воскресенье она сама стала продавать на толкучкѣ платья, платокъ и шугайчикъ и только къ вечеру продала ихъ за пять рублей. Въ понедѣльникъ она получила нѣкоторые долги и у нея составилось капиталу семь рублей.

Распростившись съ чиновникомъ, съ хозяйкой и сосѣдками, она пошла на постоянный дворъ. Тамъ она узнала, что на желѣзную дорогу идти гораздо короче и гораздо дешевле не черезъ Прикамскъ, а

на городъ Полярковъ, откуда она за рубль можетъ уплыть на пароходъ до Нижняго. Такъ и сдѣлала Пелагея Прохоровна, отправившись за полтинникомъ до Пояркова съ обозами.

Въ Полярковѣ она увидала людей, выговаривающихъ уже иначе, людей развитыхъ на столько, на сколько жизнь на большой рѣкѣ и постоянныя столкновенія съ людьми изъ разныхъ мѣстъ могутъ развить ихъ умственную дѣятельность, людей здоровыхъ, сильныхъ, красивыхъ, людей, преимущественно прокармливающихъ свои семейства работою на пристаняхъ,—словомъ, людей смышленнѣе Пелагеи Прохоровны.

Дѣло въ томъ, что городъ находился на такомъ мѣстѣ при рѣкѣ, гдѣ было удобно какъ по глубинѣ рѣки, такъ и отлогому берегу приставать пароходамъ, судамъ, баркамъ, плотамъ, грузить въ нихъ и выгружать изъ нихъ товары на берегъ, на которомъ постоянно на нѣсколько сотъ сажень были поклажены товары, покрытые цыновками, а дрова тинулись и не на одну версту. Здѣсь постоянно, даже и по ночамъ, когда приставали къ городу для нагрузки дровъ пассажирскіе пароходы, работы было много и для мужчинъ, и для женщинъ, но такъ какъ городъ былъ небольшой и татарскій, и татары занимались больше садоводствомъ, земледѣліемъ и скотоводствомъ, то рабочихъ рукъ все-таки было немного, такъ что не рѣдкость было увидеть на пристани работающихъ стариковъ и мальчиковъ отъ четырнадцатилѣтняго возраста. Пелагеѣ Прохоровнѣ нравилось оживленіе на пристани, оживленіе въ ближайшихъ къ рѣкѣ улицахъ. Здѣсь она не видала той вражды, происходящей на промыслахъ между мужчинами и женщинами; напротивъ, здѣсь мужчины и женщины, работая вмѣстѣ, свободно обращались другъ съ другомъ и хвастались одинъ передъ другимъ, кто больше получилъ денегъ. Но и здѣсь она не замѣтила особеннаго довольства. Недостатки были у всѣхъ, и она относилась это къ тому, что здѣсь вездѣ пили чай, вездѣ обѣдъ состоялъ изъ щей и каши, у рѣкихъ не имѣлось скота, а главное, всѣ жаловались на большіе оброки и другія взысканія. Съ перваго же дня по прибытіи въ городъ она стала работать на пристани, а такъ какъ она была здѣсь липо новос, то ее стали разспрашивать, и всѣ хвалили ее за то, что она пошла сюда. Ей приводилось носить товары или дрова на носилкахъ вдвоемъ, и она носила съ женщинами, изъ которыхъ одна и приняла ее на квартиру. У этой женщины она не замѣтила нищеты: все у ней было хорошо, дѣти ея не ходили оборванными, она пила чай; съ мужемъ, работающимъ тоже на пристани, она не ессорилась. Отъ нихъ она узнала, гдѣ строится желѣзная дорога, только они не совѣтовали ей идти туда, потому что тамъ рабочихъ очень много и женщинамъ приходится только копать и возить землю, за что платятъ мало. Лучше будетъ для нея, если она пойдетъ въ Москву.

„Въ самомъ дѣлѣ, што мнѣ дѣлать на желѣзной

дорогі?" думала Пелагея Прохоровна. Здѣшняя жизнь ей казалась лучше заводской, и она думала, что чѣмъ дальше она пойдетъ, тѣмъ больше она увидитъ новаго, хорошаго и останется тамъ, гдѣ ей лучше понравится, ее тянуло дальше, и она спросила:

— А далеко Москва?

Ей сказали.

Выручивши на пристани три рубля, Пелагея Прохоровна отправилась на баркѣ до Костромы. О путешествіи Пелагея Прохоровны говорить нечего. Чѣмъ дальше она плыла, чѣмъ ближе подвигалась къ Москвѣ, тѣмъ больше она видѣла хорошаго: города были красивые, люди говорили свысока, не глядѣли такъ робко, какъ въ Заводскѣ, гдѣ она жила въ кушаркахъ; рѣже она стала встрѣчать лапотниковъ, да и по берегамъ рѣки попадались хорошія пашни. Здѣсь никто не бранилъ ее за то, что она пошла искать мѣсто, гдѣ лучше; напротивъ, ее хвалили за это, хотя и говорили, что Богъ знаетъ, гдѣ лучше... Многие вонъ все больше въ Петербургъ идутъ, и какъ зайдетъ человекъ туда, такъ и живетъ тамъ, говорили ей въ заключеніе.

Въ Ярославлѣ она увидѣла нѣсколькихъ мужиковъ и одѣтыхъ подеревенски женщинъ. Любопытно ей стало, потому что у каждаго человека былъ узелокъ, сундучекъ или сума, и она спросила одну изъ женщинъ, куда они ѣдутъ.

— Въ Питеръ, матушка. А ты?

— На желѣзную дорогу.

— Ой, голубушка... Оттоль идемъ.

— Худо тамъ?

— Съ голоду померешь. Такой жизни никому не пожелаешь.

— А я въ Москву тоже думаю.

— Въ Москву наводитъ тоску!—сказалъ одинъ мужчина, захохотавъ.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать, куда идти. Въ Нижнемъ она пробыла четыре дня, но здѣсь она большею частію сидѣла на баркѣ, потому что отъ нея на берегъ нужно было плыть въ лодкѣ. Въ Нижнемъ въ это время была ярмарка, Волга была почти на половину запружена судами и пароходами, по подгорью кишѣлъ народъ; отовсюду, и съ берега, и съ рѣки, слышались говоръ, возгласы, шумъ, трескъ и свистки пароходовъ. Ее, робкую женщину, все это поражало; на все она смотрѣла съ удивленіемъ, обо всемъ разспрашивала... Впрочемъ она разъ сходила съ судорабочими на армарку, но, воротясь оттуда, ничего не могла сообразить. Она видѣла только огромную толкучку всякихъ людей, сѣбѣ всевозможныхъ товаровъ, она была оглушена неописуемымъ говоромъ и трескомъ; она ходила тамъ, какъ угорѣлая, и когда вернулась на судно, у нея долго болѣла голова... „Господи, думала она, сколько тутъ народу! И откуда только народъ этотъ взялся?.. Хорошо-то какъ здѣсь“. Но тутъ она не осталась. „Гдѣ ужъ мнѣ тутъ жить! Вонъ купила я булку — десять коп. заплатила; за вишене дала двадцать коп... Въ платкѣ у меня была завязана рублевая бумажка, платокъ я положила въ карманъ — вы-

сочиненія е. рашетникова.

тащили... Здѣсь только на берегъ выйти — непременно чего-нибудь купишь... Нѣтъ, Богъ съ нимъ, и съ большими городами“. За Нижнимъ она видѣла много народу только на пристаняхъ большихъ городовъ, гдѣ рабочихъ было все меньше и меньше на берегахъ; больше и больше ей приводилось видѣть бурлаковъ, тянувшихъ кверху суда, вездѣ только и было разговору, что о большихъ оброкахъ, о плохихъ урожаяхъ, строгихъ господахъ, недодачахъ жалованья и платы за трудъ, обманахъ приказчиковъ, живущихъ на счетъ рабочихъ людей... Чѣмъ дальше она плыла, тѣмъ больше она видѣла фабрикъ, съ дымящимися высокими трубами, винокуренныхъ заводовъ, и тѣмъ больше слышала жалобъ на худое житье и видѣла людей, куда-то идущихъ съ котомками на плечахъ... И кого она ни спроситъ: куда идетъ этотъ народъ? Ей отвѣчали: туда, гдѣ лучше! На заработки. Но гдѣ такое мѣсто.—ей не могли отвѣтить, а только говорили, что они идутъ въ Петербургъ.

Но отчего-же ей совѣтовали въ Погарѣ идти въ Москву, а здѣсь народъ съ пренебреженіемъ отзывается объ Москвѣ, идетъ въ Петербургъ?

— А што, разъ не хорошо въ Москвѣ?—спросила она одного мужчину, хваставшагося на постояломъ дворѣ тѣмъ, что супротивъ такого города, какъ Петербургъ, нигдѣ нѣтъ такихъ городовъ, и ему Питеръ извѣстенъ и вдоль, и впоперекъ.

— Москва-то? Што Москва? дрянъ, окромя святыхъ угольниковъ... Супротивъ Питера далеко не доросла...—старался объяснить мужчина.

— Да вѣдь она столица?

— Объ этомъ кто спорить!.. Москва большая деревня—вотъ што!—сказалъ мужчина, довольный тѣмъ, что онъ объяснилъ—таки, почему Москва хуже Петербурга.

— Все же не то ты толкуешь: въ Питерѣ за-всегда работу достанешь, а въ Москвѣ не то,—сказалъ другой мужчина.

— Ну, нѣтъ: Москва приторна... Тамъ живешь какъ будто не на своемъ мѣстѣ, въ Питерѣ хочется, а какъ поживешь въ Питерѣ, не заманишь тебя въ Москву и калачомъ московскимъ, такъ разъ, когда домой пойдешь, зайдешь къ святымъ угольникамъ помолиться.

— Хорошо ли тамъ-то?—приставала Пелагея Прохоровна.

— Бабамъ тамъ хорошо, — говорили мужчины.

Женщинъ, живавшихъ въ Петербургѣ, здѣсь не видно было. Туда шла женщины на заработки въ первый разъ съ мужьями, шли дѣвцы, говоря, что у нихъ тамъ, въ Петербургѣ, живутъ родные. И Пелагея Прохоровна рѣшилась плыть до Твери, откуда, какъ ей говорили, до Петербурга желѣзная дорога.

Въ Твери она въ первый разъ увидѣла и желѣзную дорогу, и поѣзды, третьеклассные вагоны, которые были наполнены большею частью простыми народомъ. Здѣсь она увидѣла и пріѣзжающихъ изъ Петербурга. Стала она разспрашивать женщинъ о житѣ въ Петербургѣ, но однѣ изъ нихъ хвалили петербургскую жизнь, другія нѣтъ. Она

замѣтила, что даже и тѣ, которые ругали Петербургъ, все-таки ѣхали домой не надолго. „Должно быть тамъ хорошо“, — думала она. „Ужъ много я шла, сама не зная куда, а теперь вонъ сколько народу-то ѣдетъ и кого ни спросишь: ты куда? онъ говоритъ: куда! знамо въ Питеръ!“ И Пелагея Прохоровна, взявши билетъ, сѣла въ вагонъ третьего класса.

Скоро поѣздъ пошелъ, и еще скорѣе она познакомилась съ своими сосѣдами.

## XX.

Вся зима прошла на пріискахъ въ постройкахъ на новомъ пріискѣ, который былъ названъ Ново-Удойкинскимъ. Золото въ это время не промывалось, потому что приходилось много времени употреблять на копаніе канавъ, которыя проводили къ новымъ постройкамъ, устроеннымъ по совѣту Костромнина и другихъ рабочихъ. Денегъ у главнаго довѣреннаго было немного, рабочимъ онъ выдавалъ по малости, такъ что имъ едва доставало въ теченіе недѣли на хлѣбъ. Рабочіе ругались, но сознавали, что, пожалуй, довѣренному не изъ-за чего платить много денегъ, не получивши золота, да и Богъ знаетъ, будетъ ли еще много золота на новомъ мѣстѣ. Поэтому старые рабочіе уходили на другіе пріиски, новыхъ прибывало мало, а изъ оставшіеся большинство хворало и имъ не оказывалось никакой медицинскіи помощи. Весной вода залила почти все пространство какъ на старомъ, такъ и на новомъ пріискахъ, и съ ней было много хлопотъ, но все-таки золота промывалось гораздо больше, чѣмъ на старомъ пріискѣ, а потому на новомъ пріискѣ было до шестидесяти мужчинъ и до двадцати женщинъ. Но у довѣреннаго все-таки не было денегъ, и онъ давалъ Костромнину расписку за распиской въ должныхъ ему деньгахъ, потому что Костромнинъ снабжалъ всѣхъ рабочихъ хлѣбомъ, капустой, солью и другими овощами. Хотя же полпуда золота и было отправлено въ горное правленіе, но оттуда денегъ не выдали.

А тутъ разнеслась по пріиску вѣсть, что старецъ Яковъ померъ; дѣтя увезли его въ село, разломали избу и сами скрылись неизвѣстно куда. Костромнинъ съѣзжалъ туда удостовѣриться и вернулся больной; черезъ три дня и онъ померъ. Запечалились на пріискахъ всѣ рабочіе, потому что Костромнина они любили, онъ многихъ выручалъ изъ бѣды, давалъ за крупинки золота денегъ, такъ что нѣкоторымъ рабочимъ незачѣмъ было уходить въ другія мѣста для продажи его. Кромѣ этого рабочимъ не нравился другой Костромнинъ, Степанъ и его жена Анисья, которые постоянно присчитывали на рабочихъ деньги; всѣ думали, что теперь хоть живой ложись въ землю. Особенно всѣ почувствовали, какъ нехорошо жить безъ хорошаго человека на пріискахъ тогда, когда Костромнины увезли хоронить старика въ село, заперевъ домъ. Два дня еще прошло — ладно, на третій ни у кого не было хлѣба, даже изъ дома довѣреннаго по нѣскольку разъ посылали къ дому Костромнина узнать, прі-

ѣхали ли торгаша; нѣкоторые рабочіе такъ даже и сидѣли у дома Костромнина, думая, что если пріѣдутъ Степанъ или жена его, то они напередъ отпустятъ довѣренному; но Костромнины не являлись. Терпѣніе рабочихъ и довѣреннаго истощилось, почему первые выломали двери въ домъ Костромнина, но въ домъ не нашли ни куска хлѣба, а забрали всю водку, пиво и брагу; довѣренный послалъ въ село Горюнова за покупкой муки и другой провизіи, о чемъ его просилъ самъ Горюновъ, думая двадцать пять руб., полученные имъ отъ Костромнина, употребить въ дѣло.

Горюновъ, пріѣхавъ въ село, первымъ дѣломъ купилъ за десять рублей лошадей и за три крестьянскую телегу, потомъ уже закупилъ муки, крупы, соли и мяса. Едва онъ въѣхалъ на пріиски, какъ его окружили рабочіе, требуя муки. Никакія утѣшанія Горюнова не принимались, и онъ долженъ былъ дать имъ цѣлый мѣшокъ муки, доказывая, что мука принадлежитъ ему.

По окончаніи дневныхъ работъ, когда одни изъ рабочихъ сидѣли на горѣ и пѣснями старались немного развлечь себя, а другіе сидѣли подъ горой, разсуждая о пріисковой жизни въ Сибири и на Уралѣ, о жизни каторжныхъ и о прежнихъ хорошихъ временахъ, когда торговать золотомъ было не въ примѣръ лучше теперешняго, Горюновъ подошелъ къ нимъ и, поговоривъ немного о бывшемъ его заводскомъ начальствѣ, началъ:

— А што-то Степанко Костромнинъ не ѣдетъ?

— А што?

— Должно быть, нашелъ добрую землю. Ужъ не продаетъ ли онъ какое-нибудь мѣсто?

Рабочіе загладѣли. Увидавши волненіе внизу, рабочіе, сидѣвшіе на горѣ, спустились внизъ и подошли къ этимъ.

— Да ты это откуда узналъ? — спрашивали пришедшіе Горюнова.

— Я только предполагаю, потому, сами разсудите, сколько они съ насъ брали за все.

— Брали дѣйствительно дорого.

— А можно бы и безъ нихъ обойтись, — сказалъ Горюновъ.

Какъ такъ?

— Очень просто. Вотъ обошлись же и безъ нихъ, не померли. А муку я покупалъ на половину дешевле, чѣмъ они намъ продавали.

— Ты къ чему это, Тереха, рѣчь-то ведешь? — спросилъ вдругъ Анучкинъ, не принимавшій доселѣ участія въ разговорахъ.

— Къ тому, что и самимъ можно покупать муку. Стоитъ только человека надежнаго выбрать.

— Не думаешь ли ты, што ты одинъ надежный человекъ? — говорилъ Анучкинъ.

— Я только къ слову сказала... я говорю — брать...

— То-то.. Не хочешь ли ты, кривая собака, костромнинское мѣсто занять?

— Можеть быть, тебѣ угодно, потому ты и спрашиваешь?

— А позволъ-ко тебя спросить: откуда ты деньги взялъ? На какія ты деньги муку купилъ?

— Про то я знаю... Можетъ, у тебя есть деньги; да ты небось не купишь муки... Братцы! — обратился Горюновъ къ рабочимъ, съ недоумѣніемъ смотрящимъ то на Анучкина, то на Горюнова: — хорошо ли я сдѣлалъ, што муку привезъ?

— Кто объ этомъ спорить!

— Ну, а вотъ ему хочется, чтобы мы съ голоду мерли.

Одни изъ рабочихъ захохотали, другіе стали ругать Анучкина, Анучкинъ пошелъ. Горюновъ пошелъ за нимъ.

— Послушай, Тарасъ Трифоновъ, изъ-за чего ты на меня зубы-то грызешь? — спросилъ Горюновъ Анучкина: — насчетъ этого у насъ уговору не было... Вѣдь ты не захотѣлъ же почему-то купить муки, а теперь, какъ другой купилъ, ты и завидуешь... Послушай, Тарасъ Трифоновъ. Я давно насчетъ этого думалъ, и думалъ именно заняться торговлей съ тобой. А што я не объявилъ объ этомъ раньше тебѣ, такъ не зналъ, какъ это понравится рабочимъ. Хочешь вмѣстѣ торговать?

Анучкинъ не соглашался, но къ утру, когда на пріискахъ всѣ спали, уѣхалъ на Горюновской лошади.

— Воръ! Посмотримъ, какъ онъ намъ шары свои покажетъ, — говорили утромъ рабочіе про Анучкина, узнавши объ его продѣлкѣ.

— Вотъ съ тобой, Горюновъ! Не я ли тебя взялъ съ собой на пріиски, а ты другому предоставляешь барыши, — говорилъ Ульяновъ.

— Елизаръ Матѣвичъ! Я ли не другъ тебѣ...

— Такъ друзья не дѣлаютъ: ты отъ меня все особо, все особо...

— А кто виноватъ? Не ты ли больше всѣхъ ходишь въ лѣсъ стрѣлять птиць... Кто велѣлъ тебѣ зимой отсюда уходить? Самъ ты не хочешь со мной якшаться. Насильно милу не быть.

Скоро послѣ этого пріѣхалъ Анучкинъ. Анучкина обругали, но онъ сказалъ: меня просилъ Горюновъ сѣздить, я и сѣздалъ.

— Такъ, Тарасъ Трифоновъ, нельзя, — началъ Горюновъ.

— Почему? По моему удобнѣе поперебнѣно ѣздить, чтобы другъ другу не завидно было.

Такъ и стали Горюновъ съ Анучкинымъ торговать, переселившись въ домъ Костромнина съ Офишей и Глузовымъ, изъ которыхъ Офиша готовила кушанье даже на довѣреннаго и пекла хлѣбы на рабочихъ, а послѣдніе, въ отсутствіе Горюнова и Анучкина, продавали рабочимъ табакъ, водку и казачи. Теперь вечера рабочіе стали проводить въ домъ Костромнина.

Явился приказчикъ въ сопровожденіи солдатъ — значило, что онъ везъ деньги — и Костромнинъ

Костромнинъ не пускали въ ихъ домъ, они условіями и расписками доказывали право на владѣніе домомъ, и хотя потомъ пустили ихъ, но никто не сталъ у нихъ покупать ничего. Довѣренный рассчиталъ рабочихъ, рабочіе не стали платить долговъ Костромнину и дали Горюнову денегъ на закупку съѣстныхъ припасовъ и водки. Горюновъ побоялся ѣхать въ село, передалъ деньги Анучкину;

Анучкинъ командировалъ Ульянова, не сказавъ объ этомъ Горюнову. Ночью Костромнины уѣхали со всѣмъ имуществомъ съ пріиска и зажгли свой домъ. Анучкинъ поѣхалъ за ними слѣдомъ и къ утру наѣхалъ на мертвое тѣло: Ульяновъ лежалъ поперекъ дороги съ прострѣленной головой. Денегъ при немъ не оказалось.

Объ этомъ происшествіи объявлять не стали, а изъ среды раскольниковъ рабочихъ нашелся одинъ попъ, который и отпѣлъ Ульянова по своему. Всѣ здоровые рабочіе сопровождали до могилы Ульянова, изрѣдка перекидываясь словами, но никто такъ не былъ печаленъ, какъ Горюновъ, который всю вину въ смерти Ульянова сваливалъ на себя и на Анучкина.

И такъ теперь Горюновъ и Анучкинъ сдѣлались маркитантами. Дѣла ихъ шли хорошо тогда, когда были на пріискахъ деньги, и худо тогда, когда на пріискахъ не было денегъ. Но зато теперь на пріискахъ уже было меньше больныхъ, потому что оба торговца брали съ рабочихъ небольшіе проценты на свой затраченный капиталъ, на пріискахъ больше и больше стало расходоваться водки, больше появилось гармоній и балалаекъ, но было уже меньше такихъ оргій, которыя происходили при Костромнинѣ, потому что большинство здоровыхъ рабочихъ все свободное время проводило въ лавочкѣ.

Прошла зима, въ теченіе которой золота добывалось мало, и начальство часто уѣзжало недѣли на три изъ пріисковъ. Весной довѣренный запылъ.

Разъ, во время отсутствія Анучкина, прибѣгаетъ Николай Глузовъ и говоритъ Терентію Ивановичу, что онъ, перейдя гору Троскурницу, въ пяти верстахъ вверхъ по рѣкѣ отъ построекъ Ново-Удойкинскаго пріиска, нашелъ самородку. Самородка вѣсила четверть фунта. Горюновъ тотчасъ же предложилъ за нее мальчику десять рублей. Тотъ отдалъ и даже вызвался показать ему мѣсто, которое имъ замѣчено, тѣмъ, что онъ воткнулъ въ гору палку.

Съ горы, съ того мѣста, въ которомъ Николай Глузовъ воткнулъ палку, представлялся великолѣпный видъ: на нѣсколько верстъ подъ горой волнами росъ лѣсъ; кое-гдѣ казалось, какъ будто сдѣлана прорѣзка, но между тѣмъ оттуда выходила зигзагами рѣченка, начало и конецъ которой терялись въ лѣсахъ; кое-гдѣ виднѣлось большое озеро, какъ будто отлого положенное разбитое стекло на зеленѣющую массу лѣса; справа и слѣва возвышались точно луковницы горы или съ чернымъ лѣсомъ, или съ бѣлою или глинистою почвою. Здѣсь царилъ тишина, прерываемая только чириканьемъ птичекъ, карканьемъ воронъ и щебетаньемъ сорокъ. Въ полуторѣ верстахъ отъ горы Николай Глузовъ указалъ на небольшой холмъ, поросшій невысокими соснами, который былъ окруженъ кустарникомъ березы, рѣдкими до того, что къ нему свободно проходило солнце, и около него съ одной стороны журчалъ узенькій источникъ. Здѣсь въ кварцевыхъ породахъ Горюновъ увидалъ золотосныя росыши, которыя чуть-чуть были видны для глазъ и тянулись по лугу сажень на двѣсти.

Горюновъ заприѣтилъ мѣсто и пошелъ на югъ

по течению источника, но источник вдался вправо, и местность была холмистая; между холмами не было воды; ему пришлось проходить через густой лес, потому наткнуться на аршинную змею, на болото, на рывку и только к вечеру на другой день он вышел с Глумовым на Старо-Удойкинский прииск.

Анучкин был дома и подозрительно смотрел на Горюнова, разспрашивая, где он был так долго, но Горюнов говорил, что он искал свою лошадь. Доверенный между тем пьянствовал, так что всеми делами управлял приказчик с ревизором. Через неделю после того, как Горюнов нашел телку, приказчик, оставив Анучкина при доверенном для того, чтобы если доверенному понадобится вода, то Анучкин подавал бы ему ее, ушел с ревизором на охоту.

Анучкин редко приходил к Горюнову, а когда вечером Горюнов пришел навещать его, то нашел его запершимся в комнате. Сквозь замочную скважину Горюнов увидал, что Анучкин что-то дѣлает, наклонившись к полу.

— Вижу, все вaju, — беззастенчивый. Вот ты и товарищ! — проговорил Горюнов.

Анучкин вздрогнул, подошел к двери и тоже взглянул в замочную скважину, но так как в нее глядел Горюнов, то он увидал только черный зрачок.

— Отпирай! — шепнул Горюнов.

— Не донесешь?

— Провалиться!

Анучкин открыл дверь.

Доверенный лежал на спине с посиневшим опухшим лицом и открытыми глазами, на которые уже были наложены ивдныя гравны. Он умер. В комнате было душно, жарко; но Анучкин работал усердно: он уже до половины разобрал вещи в чемодане, принадлежащем доверенному, и только на дне его увидал кожаную сумку, наполненную золотом.

Анучкин раздѣлил золото пополам с Горюновым, рассыпав его в плитки: затѣм сумку положил на место, склав вещи, запер чемодан и положил ключи под подушку довереннаго. Затѣм они вышли из избы, чтобы спрятать золото.

— Ну, Терентій Ивановичъ, молчок!

— Ты только молчи. Не ударь ли намъ теперь?

— А въ лавкѣ кто?

— Возьмемъ съ собой Кольку Глумова.

— Это на какой предметъ?

Горюновъ спохватился.

— Ты, братъ, не коли. Я за Колькой давно слѣжу... Знаю, братъ, куда онъ ходитъ въ лесъ-то.

— Куда?

— А за пять да за шесть верстъ... Однако, Горюновъ, намъ надо рѣшиться съ тобой! Намъ съ тобой обонимъ послѣ этого не ужиться на приискѣ. Мы и раньше ссорились другъ съ другомъ. Намъ надо разойтись: или тебѣ, или мнѣ вонъ отсюда. Ты думаешь, я безъ пѣли допустилъ тебя ограбить довереннаго? Да еслибы я тебя понималъ такъ, што ты человекъ неразсудительный, я бы тебя у две-

рей же убилъ бы и забралъ бы все золото... Ты человекъ неопрошенный, а я бѣглый, мнѣ только и можно жить, что здѣсь... Уже ты предоставь мнѣ умереть въ покоѣ!

Горюновъ молчалъ. Онъ думалъ, что Анучкинъ правъ.

— Съ деньгами ты вездѣ можешь заняться, чѣмъ угодно, а покажись я — меня схватятъ и посадятъ въ острогъ. Правду ли я говорю?

— Я не буду мѣшать тебѣ, Тарасъ Трифоничъ. Я уйду.

Анучкинъ крѣпко пожалъ ему руку, утеръ на-вернувшіяся на глазахъ слезы и проговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Спасибо, Терентій Ивановичъ... По гробъ не забуду тебя... Ей-Богу! — И они разошлись.

Пришедши домой, оба они ни слова не говорили никому о смерти довереннаго и не возобновляли разговора относительно дѣлажа и находящейся руды въ извѣстномъ имъ обонимъ мѣстѣ.

Горюновъ соболѣзновалъ о томъ, что сдѣлалъ оплошность. И къ чему ему было говорить объ отъѣздѣ съ Колькой Глумовымъ съ приисковъ? Ему бы надо молчать и выжидать удобнаго времени, потомъ ѣхать въ городъ, продать золото, записаться въ купцы, какъ и сдѣлали самостоятельные мастеровые Терентьевскаго завода, еще находясь въ крѣпостномъ состояніи, а тогда, въ случаѣ рѣшенія по справедливости дѣла объ ихъ каверзахъ, онъ могъ бы избѣгнуть тѣлеснаго наказанія. Горюновъ не могъ теперь жить прииска, потому что онъ считался мастеровымъ; но только стоило записаться въ купцы... „Эдакой я дуракъ! И отчего это я не сообразилъ сегодня. А вѣдь я думалъ раньше объ этомъ. Все это отъ радости произошло: шутка ли найти самородку“... Но обѣщаніе уже было дано Анучкину; Анучкинъ еще въ прошломъ году говорилъ, что онъ знаетъ богатое мѣсто, и если это мѣсто у него украдутъ, то ему не для чего больше и жить.

„Нѣтъ, не туда ты попалъ, Тереза! Здѣсь народъ сборный; надо много воли, чтобы што-нибудь забрать въ руки... Тутъ надо десятки лѣтъ жить, чтобы потомъ считать своимъ какое-нибудь мѣсто... Не даромъ, сколько здѣсь живетъ народу, которымъ кромѣ приисковъ некуда дѣваться“...

„Вотъ она и присковая жизнь. Пришелъ я съ двумя глазами, а уйду съ однимъ. А уйти надо, пока цѣль. Вотъ съ нимъ, и съ золотомъ“...

Въ это время на приискахъ только и было разговоровъ, что о строящихся желѣзныхъ дорогахъ, о чемъ постоянно сообщали вновь прибѣгающіе бѣглецы. Жизнь на желѣзныхъ дорогахъ они хвалили, но говорили, что пробраться туда очень трудно, потому что нужно пройти непремѣнно тѣ губерніи, черезъ которыя рѣдко кому удастся пройти благополучно.

Горюновъ сообразилъ, что тамъ ему будетъ лучше, именно потому, что тамъ онъ будетъ находиться въблизи большихъ городовъ, такъ обчитывать и творить расправу, какъ на приискахъ, тамъ едва ли можно, да и онъ продастъ золото и будетъ хлопотать,

чтобы его сдѣлали какимъ-нибудь приказчикомъ или надсмотрщикомъ, которые, какъ говорили бѣгле, получаютъ тамъ большое жалованье. И такъ, Горюновъ рѣшилъ идти на желѣзную дорогу.

Въ домѣ довѣреннаго безъ сцены не обошлось. Когда пришли утромъ съ охоты приказчикъ съ ревизоромъ, Анучкинъ сказалъ имъ, что довѣренный ночью, выпивая изъ стакана водку, поперхнулся, съ нимъ сдѣлались корчи, такъ что Анучкинъ держалъ его за ноги, но скоро довѣренный захрипѣлъ и померъ: оба пріятеля очень обрадовались, сказавъ: „туда и дорога“, а приказчикъ, заперевъ дверь, сказалъ Анучкину, чтобы онъ объявилъ о смерти довѣреннаго рабочимъ и съѣзди́лъ въ село за становымъ приставомъ. Анучкинъ сталъ смотрѣть въ замочную скважину. Приказчикъ досталъ изъ-подъ подушки ключи, отперъ чемоданъ и съ чиновникомъ сталъ выбрасывать изъ него вещи.

— Тутъ, проклятая... цѣла!—говорилъ съ яростью и радостью приказчикъ; но отперевъ сумку и поглядѣвъ въ нее, вдругъ поблѣднѣлъ, разинулъ ротъ, не то отъ испуга, не то отъ удивленія, и ничего не могъ выговорить.

Чинovníкъ, сѣдя, какъ и приказчикъ, на карачкахъ, улыбнулся и спросилъ:

— Пусто?— и взялъ сумку.

— Полюбуйся-ко!—проговорилъ приказчикъ.

— Чего и говорить... мерзавецъ!—И чинovníкъ швырнулъ сумку въ приказчика.

„Ну, слава Богу! Теперь они подерутся; надо скорѣй отослать Горюнова... А то послѣ они опоняются и будутъ оба подозревать меня“, подумалъ Анучкинъ и объявилъ Горюнову, чтобы онъ ѣхалъ какъ можно скорѣе въ горный городъ и взялъ съ собою Глузовыхъ.

— А ихъ зачѣмъ?

— Они знаютъ телку.

Ребята безпрекословно согласились ѣхать въ село за закупкой провизіи, какъ имъ объявилъ Горюновъ.

Черезъ пять дней Терентій Ивановичъ былъ въ городѣ. Первымъ дѣломъ онъ отправился къ одному богатому купцу-раскольнику, но управляющій сказалъ, что купецъ умеръ, а всѣмъ его дѣлами заправляетъ его братъ, который имѣетъ нѣсколько приисковъ въ разныхъ мѣстахъ и принимаетъ золото отъ бѣглыхъ людей изъ другихъ приисковъ черезъ посредство управляющаго, потому что ему самому неловко разговаривать или радиться съ мужиками.

— За самородку я тебѣ дамъ триста рублей; золота тянетъ два съ половиною фунта... Хочешь получить по полтора́ста рублей за фунтъ?—сказалъ управляющій, отдавая свертокъ Горюнову.

— Вы меньше казенной цѣны даете. На казенныхъ прииска́хъ управители платятъ по два съ половиною за золотникъ.

— Берешь, или нѣтъ?

— Да хоть пятьсотъ рублей дайте.

— Ни копѣйки. Двѣсти рублей сейчасъ, двѣсти черезъ шесть мѣсяцевъ, когда получатся деньги изъ петербургскаго монетнаго двора. Согласенъ?

— Если росписочку дадите.

— Ничего я тебѣ не дамъ. Ты знаешь ли, имѣ

только стоять позвонить и позвать служителя... и тебя сейчасъ же арестуютъ. Понимаешь?

— Кабы вы понимали, какъ не легко достается золото! Нельзя ли хоть черезъ мѣсяцъ, потому не мое золото.

Управляющій подумалъ и сказалъ:

— Если хочешь получить триста рублей сейчасъ, приходи за остальными черезъ полгода.

Горюновъ согласился.

Получивши деньги, Горюновъ записался въ городскіе мѣщане и сталъ разыскивать свою родню, но нигдѣ никто изъ его знакомыхъ объ его роднѣ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній, почему онъ и уѣхалъ въ М. заводъ. Узнавши тамъ, что Коровавъ съ Григорьемъ Горюновымъ и какою-то молодою женщиною ушли на желѣзную дорогу, Терентій Ивановичъ поплылъ на пароходѣ въ Нижній, радуясь, что Пелагея Прохоровна вышла-таки замужъ за Короваву.

## XXI.

По пріѣздѣ въ Нагорскъ, Терентій Ивановичъ съ Глузовыми долго искалъ главное управленіе желѣзной дороги, отъ котораго, какъ онъ узналъ на пароходѣ, зависитъ опредѣленіе должностныхъ лицъ. Отыскавши правленіе, Горюновъ не скоро добился въ немъ толку, отъ кого зависитъ опредѣленіе. Дальше хорошо обставленной и хорошо мебелированной пріемной, въ которой сторожа были отставные рослые унтеръ-офицеры съ медалями, его не пускали, да и въ пріемной онъ не могъ добиться никакого толку прежде, чѣмъ не подарилъ сторожей, занимавшихся приготовленіемъ для членовъ чая и снимавшихъ и надѣвавшихъ на членовъ верхнія одежды. Сначала сторожъ гналъ его, но потомъ, когда онъ подарилъ ихъ, сказали, едва ли правленіе можетъ что сдѣлать для него, такъ какъ оно опредѣляетъ и увольняетъ только главныхъ лицъ, ведетъ дѣла съ конторами, и обѣщали похлопотать за него передъ однимъ снисходительнымъ членомъ. Но сколько ни приходилъ Горюновъ въ пріемную, онъ только и видѣлъ, какъ служащіе съ важностью приходили и уходили мимо него, презрительно смотря на его смѣшную фигуру. Наконецъ-таки сторожа выхлопотали ему аудіенцію съ однимъ членомъ на лѣстницѣ.

— Мы не принимаемъ!—сказалъ важно членъ и сталъ спускаться.

— Ваше б-іе, я могу залогъ внести.

— Безъ рекомендаціи мы не принимаемъ.

— Я, в-в-іе...

— Что ты меня останавливаешь, скотина!

Горюновъ опять прибѣгнулъ къ помощи сторожей, но тѣ посоветовали ему лучше обратиться въ какую-нибудь контору, подчиненную правленію, но успѣха не обѣщали, потому что теперь уже всѣ должности заняты.

Проѣхавши Нагорскъ, Горюновъ увидалъ другую жизнь. До этого города онъ видѣлъ жизнь прибрежную, людей, занятыхъ преимущественно сплавомъ по рѣкамъ товаровъ, лѣса, металловъ и камней; эти товары и люди давали средства къ суще-



ствованію городамъ, селамъ, деревнямъ; тамъ люди или жили постоянно въ однихъ мѣстахъ, или все лѣто находились на рѣкахъ; здѣсь же, напротивъ, несмотря на то, что ему попадалось много фабрикъ, онъ проходилъ хорошіе луга, превосходныя пашни; народъ, болышею частью въ лаптахъ, куда-то шелъ и ѣхалъ, то съ котомками, то съ камнемъ, то товарами, и народъ этотъ торопился; на всѣхъ лицахъ видѣлось какое-то нетерпѣніе; пѣшеходы говорили мало, и если говорили, то часто вздыхали, какъ будто въ словахъ ихъ заключалась надежда и сомнѣніе.

— Куда вы?—спрашивалъ Горюновъ.

— На желѣзную дорогу.

— А товары?

— Кон на желѣзную дорогу: имъ, пѣшеходамъ-то, осталось не больше ста верстъ, а тамъ они скоро въ Москву попадутъ, а конъ въ другіе края.

Встрѣчные, болышею частью въ телѣгахъ, отвѣчали, что они тоже съ желѣзной дороги и ѣдутъ за провизіей, или за камнемъ, или за кирпичами.

Наконецъ не стало ѣхать по дорогѣ товаровъ. Толпы народа болыше и болыше прибывали изъ разныхъ мѣстъ или на дорогу, идущую къ желѣзной; болыше и болыше стало ѣхать по тому же направленію телѣгъ съ камнемъ и кирпичемъ, такъ что часто ихъ шло до пятидесяти телѣгъ; болыше и болыше везли туда бревенъ. Болыше и болыше по дорогѣ попадало нищихъ, которые или шли навстрѣчу Горюнову, или сидѣли кучками около дороги... Пашни казались заброшенными: въ деревняхъ видѣлись только дѣти, глухіе, слѣпые и болыше старыя люди да тощій скотъ; меньше и меньше становилось по дорогѣ лѣсу, и тамъ, гдѣ было поле, земля была ископана на нѣсколько футовъ внутрь. А дороги не видать.

— Гдѣ же дорога?

— А во! Направо-то, видишь песокъ, какъ гряда сдѣлана!—указывая на насыпь, говорили Горюнову шедшіе на желѣзную дорогу.

Насыпь была ровная; она то была выше дороги, по которой шелъ Горюновъ, то ниже ея; но на насыпи суетился народъ, къ ней подвозили песокъ, недалеко отъ нея на площадкѣ складывали камень, кирпичъ; въ разныхъ мѣстахъ копали землю, разбивали крупныя камни, кое-гдѣ распиливали бревна, что-то тесали. По одной сторонѣ насыпи бѣлѣли телеграфныя столбы. Кругомъ было мрачно; отъ рабочихъ слышались громкія восклицанія, да стукъ топоровъ тамъ и самъ оглушалъ мѣстность. На разстояніи шести, семи верстъ около опушки лѣса или около насыпи сдѣланы были небольшія избушки изъ досокъ или балаганы, служащіе помѣщеніемъ для рабочихъ въ ночное время и мѣстомъ для склада топоровъ, пилъ, лопатъ и другихъ вещей, принадлежащихъ строителямъ желѣзной дороги. Дорога шла параллельно желѣзной дорогѣ между рѣдкимъ лѣсомъ и полями, на которыхъ только была кое-какъ вспахана земля. Пересѣвъ насыпь, дорога шла по ровному мѣсту, около дороги. На этой сторонѣ лѣсъ былъ вырубленъ сажонъ на десять отъ края уступа, и отсюда дорога казалась какъ

бы вырѣзанною между холмами. Далѣе дорога заворотила вправо и версты полторы шла лѣсомъ, а потомъ пошла опять въ виду насыпи, которая отсюда казалась высокою стѣною.

— Прежде здѣсь никакой дороги не было, а теперь, гляди, какую проложили дорогу, и дорога-то эта выходитъ короче трактовой, только по ней не велятъ ѣздить съ товарами, али проѣзжающимъ, потому эта дорога компанейская,—объяснили Горюнову пѣшеходы.

Здѣсь уже меньше бѣвало телѣгъ съ принадлежностями дороги, зато попадались на встрѣчу телѣги, наполненныя больными мужчинами и женщинами.

— Господи помилуй! Ни одного дня не пройдетъ безъ того, чтобы не попадались хворые.

— Куда же ихъ везутъ?

— Куда? Извѣстно, куда! Вывезутъ на болышую дорогу, и идѣ, откуда пришелъ. Хорошо, если село свое или деревня близко, а то такъ и помереть иной человѣкъ на дорогѣ. У компанеевъ денегъ много, только не стануть же они съ хворыми возиться, когда, говорятъ, они подрядились дорогу къ сроку сдѣлать... Коли въ силѣ человѣкъ—робъ, и отдыха нѣту, а коли помираетъ—домой его. Разъ было привязались къ управителю, онъ и говоритъ: „у насъ де люди не умираютъ, а коли они умерли за чертой—дѣло не наше, а Божье“.

Товарищи Горюнова были крестьяне недалнихъ губерній. Всѣ они жаловались на большія подати.

— Поневоля пойдешь въ тяжелую работу. Пршрое лѣто мы всею семьей ходили... Только еслибы тяжелая работа, да не болѣзнь, ничего бы. И такъ всѣ повинности уплатили, а зиму дома промаялись кое-какъ.

Мало по малу мѣстность по обѣимъ сторонамъ насыпи дѣлалась оживленнѣе. По одной или по обѣ стороны насыпи лежали на нѣсколько верстъ длины перекладки для полотна; на насыпи укладывали перекладки, засыпая пескомъ полотно; по бокамъ насыпи кое-гдѣ убивали щербомъ. Дальше на полотнѣ лежали рельсы, а еще дальше рельсы уже укладывали на полотно; въ промежуткахъ рѣчекъ уже оканчивалась кладка фундамента и приступали къ кладкѣ устоевъ для мостовъ; черезъ одну рѣчку, шириною шестьдесятъ сажень, береговые устои были уже готовы, и одинъ рѣчной гранитный быкъ былъ выведенъ на половину; окрашенныя металлическія части къ этому мосту лежали на полотнѣ. На протяженіи по крайней мѣрѣ тридцати верстъ, какъ на полотнѣ, такъ и около него, работало много народа, преимущественно мужчинъ; женщинъ же было очень немного. Работа шла разнообразная: кто дѣйствовалъ лопатой, кто молотомъ, кто киркой, кто топоромъ, кто ломомъ... Здѣсь никто не сидѣлъ безъ дѣла, а если и курилъ трубку, то старался сократить это удовольствіе или работалъ держа трубку во рту. По полотну и около насыпи ходили мастера и приказчики, болышею частью нѣмцы или чухонцы въ курткахъ или пальто, или черныхъ рубашкахъ, опоясанныхъ ремнемъ, и черныхъ засаленныхъ брюкахъ, въ длинныхъ сапогахъ, застегнутыхъ повыше колѣнъ ремнями, и фуражкахъ



на подобіе крышекъ съ длинными козырьками и съ пуговками на вершуккахъ ихъ. Они, покуривая трубки или сигары, понукали народъ работать скорѣе, распоряжались тѣмъ, какъ и что нужно сдѣлать, куда и какъ приложить. Вблизи двухъ деревень, между которыми проложена дорога, около дороги построено нѣсколько балагановъ: въ однихъ хранились инструменты, въ другихъ находились кузницы, въ третьихъ помѣщались рабочіе. За этими балаганами стояли цѣлыя полѣнницы кирпича, а противъ нихъ былъ устроенъ большой бассейнъ, строили каменное водоемное и водокатальное зданіе и производили каменную кладку зданій. Всюду между этими постройками валялись коробки съ гайками, крючьями и молотками, рельсы, пере-кладины, мужскіе шурупы, полшубки, лопаты и всякіе инструменты. Кое-гдѣ около дороги догорали щепки... Народу вездѣ было такъ много, что его трудно было сосчитать. Работа, что называется, кипѣла; здѣсь не слышалось пѣсенъ и веселыхъ разговоровъ, но зато воздухъ оглашался стукомъ чугуна и стали, какъ на какой-нибудь большой фабрикѣ.

„Ну, Тереха, здѣсь много не разживешься. Народу-то, народу-то!.. Недаромъ столько его валить сюда“, думалъ про себя Горюновъ, удивляясь.

Но никто такъ не удивлялся, какъ Николай и Петръ Глузовы.

— Славно здѣсь, Терентій Ивановичъ. Только ребятъ здѣсь что-то не видать.

„Гдѣ-то мои?“ думалъ Горюновъ и, подошедши къ одной кучкѣ рабочихъ, обтесывающихъ камень, спросилъ:

— Незнаете ли, братцы, Коронаевъ или Горюнова?

— Такихъ не слышали... Какой губерніи?

Горюновъ сказалъ.

— Такихъ не знаемъ. Здѣсь много всякихъ.

— Кто же у васъ въ работу принимаетъ?

— А вонъ чуна, што съ пыгаркой ходитъ.

— А русскихъ развѣ нѣтъ?

— Русскихъ-то? Русскіе только подрядами занимаются: муку, кирпичъ да другіе матеріалы поставляютъ и отъ себя приказчиковъ нанимаютъ, только компанейскіе то нѣмцы лучше правятся. Прежде, бывало, были русскіе, да прогнали ихъ, потому они пить стали да крѣпко поворовывали. Ну, а эти хоть и воруютъ, все же люди свои, а если и пьютъ, такъ на ногахъ крѣпко. Теперь вонъ погляди, кто мосты дѣлаетъ? Чухны да нѣмцы!.. И платятъ имъ цѣлковыхъ по три, по пяти въ сутки.

— Есть же у васъ кто-нибудь главный-то?

— Какъ нѣту. Онъ вонъ въ деревнѣ живетъ; поди теперь съ инженерами въ карты дуется.

Горюновъ изъ этихъ разговоровъ понималъ, что ему тутъ не сдѣлаться приказчикомъ. Онъ видѣлъ, что приказчики распоряжаются даже надъ тѣмъ, что и откуда взять, и спорить съ мастерами; онъ же въ постройкѣ желѣзной дороги ничего не смыслилъ. Поэтому онъ затруднился въ томъ, что ему выбрать для занятія. Не обидно ли будетъ ему, промывавшему золотомъ, дѣлать то, что ему прикажутъ? Онъ соглашался работать вблизи деревни; но боялся,

чтобы его не послали туда, гдѣ только-что начинаютъ облаживать полотно дороги.

Горюновъ подошелъ къ приказчику и изъяснилъ желаніе работать.

— Что можешь?—спросилъ его приказчикъ.

— Да все, что угодно.

— Такъ нельзя... Ты долженъ знать одинъ ремесло,—каменщикъ, плотникъ, токарь, али машинистъ... Э! не годишься!

— Почему?

— Мы съ однимъ глазомъ не принимаемъ.

— Такъ возьми ребятъ.

— Силы у нихъ нѣтъ. Можете дыры сверлять? Вонъ какъ тотъ сверлять.

— Мы на горныхъ заводахъ робыли,—сказалъ Горюновъ.

— Ну, а здѣсь не заводъ, а желѣзная дорога.

Однако приказчикъ принялъ Горюнова и Глузовыхъ, заставивъ ихъ сверлить дыры въ рельсахъ. Сперва Глузовымъ эта работа нравилась: имъ приходилось сидѣть на горбинѣ около рельсовой полосы и двигать къ себѣ обѣими руками рѣзецъ. Они работали попеременно: сперва сидѣлъ Николай, а Петръ стоялъ передъ нимъ, подливая масло въ рѣзецъ, потомъ сдвинулся Петръ, но къ вечеру они устали, и когда увидалъ ихъ приказчикъ сидящими безъ дѣла, то погрозились прогнать. Горюнову досталась тоже нетрудная работа: разбить рельсовую полосу къ вечеру, когда ее хотѣли пригнать на полотно; но сколько ни усердствовалъ Горюновъ, ударая молотомъ въ долото, онъ только до половины разбилъ полосу, и приказчикъ, отобравъ отъ Горюнова марку, велѣлъ ему уходить прочь.

Все-таки Горюновъ съ Глузовыми проработалъ на рельсахъ недѣлю. Въ воскресенье онъ хотѣлъ отдохнуть, но увидалъ, что на желѣзной дорогѣ праздниковъ нѣтъ, напротивъ, даже по ночамъ стали работать, зажигая фонари. За сутки давали платы рубль серебра.

Всѣ рабочіе умѣщались въ нѣсколькихъ балаганахъ, сколоченныхъ на скорую руку изъ досокъ; въ этихъ балаганахъ пекли для нихъ хлѣбъ и варили щи, да въ нихъ лежали и больные. Все остальное время рабочіе находились на работѣ. Каждый рабочій, получившій утромъ марку съ номеромъ, долженъ былъ носить эту марку при себѣ, и потомъ вечеромъ или на другой день утромъ предъявить ее приказчику для отмѣтки въ его записной книжкѣ; если какой-нибудь рабочій не въ состояніи былъ работать, приказчикъ отбиралъ отъ него марку, и если были у него деньги, рассчитывалъ его, что впрочемъ случалось очень рѣдко. Колоколовъ на желѣзной дорогѣ не было, но каждая смѣна или остановка работы, время обѣда и ужина, конецъ обѣда и ужина извѣщались свистками приказчиковъ. Къ обѣду и ужину приказчики подносили рабочимъ по чаркѣ водки, и рабочіе ѣли подъ открытымъ небомъ тамъ же, гдѣ они работали, не смотря и на дождь. Работа не прекращалась на рельсахъ ни днемъ, ни ночью, ни въ дождь, ни въ грозь, только въ градъ и грозу рабочіе уходили

въ балаганы, потому что бывали случаи, что нѣсколькихъ рабочихъ убило при работахъ около желѣза. Въ дождь приказчики надѣвали кожаные пальто, а рабочіе свои зипуны или полушубки вверхъ шерстью. Когда не было дождя, рабочіе спали на открытомъ воздухѣ, на сухихъ мѣстахъ: усталые, измученные и голодные, они скоро засыпали. Кормили всѣхъ скверными шами, потому что мясо привозили изъ города, и хлѣбъ былъ недопеченый... Отъ этого рѣдкій рабочій былъ въ состояніи проработать къ ряду два мѣсяца, забираясь въ балаганъ, и если ему становилось легче, онъ опять шелъ на работу; а если ему становилось хуже, его отвозили въ компанейскихъ телегахъ на тракторную или проселочную дорогу, въ села или деревни, смотря потому, что было ближе къ желѣзной дорогѣ. Это дѣлалось и потому еще, что въ городахъ больныхъ съ желѣзной дороги будто бы не принимали, такъ какъ тамъ или вовсе не существовало больницъ, или въ больницахъ помѣщались только городскіе обыватели. Больше всѣхъ доставалось рабочимъ, устроивавшимъ мосты. Имъ хотя платили и больше, но рѣдкіе изъ нихъ могли въ настоящее время проработать мѣсяцъ или три недѣли, не захворавъ потомъ.

Но какъ ни тяжела была работа, здѣсь каждый надѣялся на полученіе хорошей платы, и это удерживало рабочихъ на желѣзной дорогѣ. Хотя же они однажды и требовали отъ управляющаго улучшенія нищи, но онъ имъ сказалъ: „не хотите компанейскихъ хлѣбовъ,—можете сами печь хлѣбъ и варить щи“, и велѣлъ прекратить кормъ рабочихъ. И всѣ рабочіе остались безъ хлѣба и безъ щей, потому что сельскимъ деревенскимъ жителямъ строго было приказано не продавать ничего на желѣзную дорогу, подъ опасеніемъ взысканія большого штрафа, также никто не смѣлъ и съ дорогъ подвозить провизію къ желѣзной дорогѣ. Пришлось обратиться къ компанейской нищѣ, за которую вычитали по пятнадцати копѣекъ въ сутки съ человѣка, не ставя впрочемъ разбавленную водой водку въ счетъ. Если же кто хотѣлъ выпить болѣе двухъ чарокъ въ сутки, тотъ платилъ по четыре копѣйки за чарку. Однако несмотря на разныя строгости, рабочіе напивались въ селахъ и деревняхъ на ночь и покупали тамъ табакъ. Чтобы прекратить такое самовольство, приказчики стали хлопотать о томъ, чтобы имъ было дозволено вычитать изъ платы рабочихъ каждое путешествіе въ село и деревню, но управляющій разрѣшилъ приказчикамъ заниматься торговлею въ селахъ. Сельскимъ жителямъ было трудно конкурировать съ богатыми людьми, которые всячески старались разорить своихъ противниковъ какими-нибудь образомъ. Отъ этого и вышло то, что въ селахъ цѣны на все, кромѣ водки, подыались очень высоко, и рабочіе, получавшіе деньги отъ приказчиковъ, половину или двѣ трети ихъ отдавали имъ же.

Прожилъ Горюновъ на желѣзной дорогѣ мѣсяцъ, а своихъ не разыскалъ. Онъ такъ и думалъ, что Коровавъ непременно ушелъ куда-нибудь, и по-

думалъ махнуть въ Петербургъ попытать счастья. О Петербургѣ и здѣсь ходили хорошія вѣсти... Но его удерживало то, что такого-то числа назначена была отъ станціи проба на протяженіи пятнадцати верстъ: хотѣли пустить локомотивъ съ пятнадцатью вагонами, наполненными рельсами. Этого дня ждали съ нетерпѣніемъ; большинство рабочихъ хотѣло удостовѣриться въ полезности ихъ труда, и сомнѣвалось, чтобы поѣздъ могъ пройти по рельсамъ, не свалившись въ оврагъ, такъ какъ рельсы были положены въ одномъ мѣстѣ на поларшина отъ края, а полотно было устроено на три сажени выше отъ земли.

Наконецъ насталъ и этотъ день. Приказчики и мастера бѣгали, какъ угорѣлые, съ ранняго утра, смотря направо, откуда долженъ былъ идти поѣздъ; всѣ инструменты были убраны съ рельсовъ и полотна, тормазы были нѣсколько разъ испробованы и приведены въ порядокъ, рабочихъ гнали съ полотна. Но къ вечеру ихъ извѣстили, что у двухъ вагоновъ лопнули два колеса и поѣздъ придетъ завтра. Вечеромъ впрочемъ показался вдали локомотивъ, свистнулъ и медленно прошелъ одинъ по рельсамъ. На третій день онъ привезъ двадцать вагоновъ-ящиковъ съ рельсами, отцѣпили вагоны и ушелъ обратно по другому пути.

— Каково претъ-то! Въ каждомъ ящикѣ чать пудовъ двѣсти будетъ... Штука!

— И не упалъ!

— Знато, значить, устроили.

Съ этого дня началось движеніе между двумя станціями, изъ коихъ на одной постройки уже приводились къ концу, а на другой еще только что оканчивали кладку фундамента. Локомотивъ по два раза въ сутки привозилъ сперва вагоны-ящики съ пескомъ, на которомъ уже сидѣли съ донатами по два человѣка, и выбрасавъ изъ ящика песокъ, отправлялись назадъ, потомъ камень и другія принадлежности для желѣзной дороги. Теперь работа шла еще сильнѣе прежняя и, какъ говорится, приводилась уже на-бѣло.

Горюновъ уже хотѣлъ идти совсѣмъ, да захворалъ Николай Глузовъ, котораго ни за что не хотѣлъ покинуть братъ. На другой день захворалъ не только братъ, но и Горюновъ, и человѣкъ пятьдесятъ рабочихъ, отъ нихъ горячка распространилась и въ другіе балаганы, а время было дождливое, осеннее, дулъ рѣзкій вѣтеръ. Приказчики струхнули, донесли управляющему, который распорядился построить на скорую руку большой балаганъ вблизи села. Пока отстроили балаганъ, рабочіе умирали десятками въ старыхъ, сырыхъ и угарныхъ балаганахъ на полу и въ грязи. Начальство вызвало нѣсколько фельдшеровъ съ однимъ уѣзднымъ лекаремъ, которые, надо правду сказать, больнымъ рабочимъ не принесли ровно никакой пользы, потому что при нихъ не было лекарствъ, и они могли только пустить кое-кому кровь. Между тѣмъ управленіе желѣзной дороги хвасталось публично, что у него около станцій устроены больницы на нѣсколько кроватей и больные пользуются всѣми медицинскими средствами на счетъ управле-

нія. Избу состроили скоро, но въ ней еще больше стало умирать. Однако, не смотря на то, что больные не умѣшались къ избахъ, валялись тамъ и сямъ десятками, въ рабочихъ недостатка не было; они то и дѣло замѣнялись другими, и большею частью уже такими, которые давно работали на дорогѣ, перенесли болѣзнь и, такъ сказать, обтерпѣлись, и которыхъ привозили въ ящикахъ уже по желѣзной дорогѣ изъ другихъ промежуточныхъ станцій, гдѣ уже требовалось немного.

Горюновъ выздоравливалъ, то есть онъ могъ едва бродить, а на желѣзной дорогѣ тѣ, которые были въ состояніи немного ходить, уходили въ села или въ деревни, гдѣ и поправлялись. Такъ и Горюновъ ушелъ въ село одинъ. Глумовы померли еще въ старомъ балаганѣ. Къ этому горю прибавилось еще другое: во время его безпамятства у него украли платокъ съ деньгами, который онъ постоянно носилъ за рубахой на груди. Въ декабрѣ мѣсяцѣ онъ поправился совсѣмъ. Въ это время дорога въ томъ мѣстѣ, гдѣ работалъ первое время Горюновъ, была уже окончена совсѣмъ, на дорогѣ рабочихъ уже не было, а рабочіе были только у станцій, красиваго каменнаго зданія съ фигурчатыми окнами и стѣнами.

— И чортъ-же меня сунулъ сюда, прости Господи!—ворчалъ Горюновъ.—Купилъ-бы я на родинѣ домъ, устроилъ бы постоянный дворъ... Нѣтъ! Жадность поганая! Денегъ больше захотѣлось жить... Што я теперь? Нищій... Уже лучше бы было помереть, какъ ребятинки Глумовскіе померли. Бѣдные ребятинки! А какъ я васъ любилъ-то вѣдь!—И Горюновъ утиралъ слезы съ глазъ.

Горюновъ не зналъ, что ему дѣлать? Работать на дорогѣ въ такую морозъ ему не хотѣлось. Раньше у него была по крайней мѣрѣ надежда, что онъ къ живущимся у него деньгамъ накопить еще хоть рублей пятьдесятъ или семьдесятъ и потомъ поѣдетъ по желѣзной дорогѣ въ Петербургъ, гдѣ, по его мнѣнію, съ деньгами онъ могъ бы чѣмъ-нибудь заняться. Но теперь, что онъ за человекъ безъ денегъ? Теперь у него и охоты не было работать. Но надо же было что-нибудь дѣлать. И онъ пошелъ къ станціи, тамъ рабочіе додѣлывали платформу. Горюновъ поздоровался съ ними, тѣ молча кивнули головами и сдѣлали между собой нелестное на его счетъ замѣчаніе, состоящее въ томъ, что этотъ кривой человекъ вѣроятно накопилъ порядочно денегъ, что безъ работы шляется. Недалеко отъ нихъ двое рабочихъ въ полушубкахъ стругали балку.

— Богъ на помощь!—сказалъ Горюновъ.

Оба рабочіе, держа стругъ въ рукахъ, стали глядѣть на Горюнова.

— Кажись... Ахъ вы, христовые!—проговорилъ въ себя отъ радости Терентій Ивановичъ, и по скорбному его лицу пробѣжали двѣ слезинки.

Рабочіе были Коровавъ и Григорій Прохорычъ. Радость всѣхъ трехъ была неописанная, но они не жали только другъ другу руки. Послѣ разспросовъ, какъ живется, Горюновъ ушелъ около

нихъ на доски и сталъ накладывать трубку табакомъ.

— Ну, а гдѣ-же, Власть Васильичъ, твоя молодуха?—спросилъ Горюновъ Коровавъ робко, боясь услышать непріятное о своей племянницѣ.

— Какая?—спросилъ въ свою очередь Горюновъ съ удивленіемъ Коровавъ.

— Какъ?.. Мнѣ сказали въ М. заводѣ, што ты ушелъ съ Пелагеей...

Коровавъ улыбнулся и сказалъ:

— Я самъ объ ней хотѣлъ спросить у тебя... Гдѣ она?

— Оказія!.. Какъ-же это?

— Это вонъ Григорій шелъ съ Лизаветой, а я съ ними для компаніи,—сказалъ Коровавъ.

— Я сестру оставилъ въ селѣ... Потомъ я встрѣтился съ Лизаветой въ Прикамскѣ: она кладъ тамъ таскала... Ну, она сказала, што Пелагея ушла въ городъ Заводскъ, вскорѣ, какъ Панфила стали судить за фальшивую бумажку... Панфила потомъ выпустили... Я его видѣлъ и звалъ сюда. Хотѣлъ идти,—говорилъ Григорій Прохорычъ.

Запечалились земляки. Но горю не поможешь. Разсказовъ было такъ много у каждого, что они до вечера проговорили, сидя виѣстѣ.

Коровавъ говорилъ, что въ М. заводѣ онъ никакъ не могъ заниматься столярною работою, потому что ему не на кого было работать, и онъ работалъ на литейномъ заводѣ. Но работа у огня разслабила его силы такъ, что онъ пролежалъ около двухъ мѣсяцевъ въ больницѣ. Жизнь въ М. заводѣ ему не нравилась во дороговизнѣ и потому, что онъ тамъ начиналъ порядочно попивать, не желая отстать отъ товарищей, да и работа была такая, что выпить хотѣлось. Поэтому онъ никакъ не могъ скопить много денегъ. Подумывалъ онъ и выписать туда Пелагею Прохоровну, которая могла-бы купить корову и продавать въ городѣ молоко, чѣмъ даже прокармливаютъ себя ниня тамошнія женщины, но для этого нужно было непременно имѣть свой домъ, огородъ, покосъ, да и онъ не зналъ, понравится-ли Пелагѣ Прохоровнѣ такое занятіе. „Тамошнія женщины—говорилъ Коровавъ—съ малѣйшества привыкли ходить въ городъ, отстоящій отъ завода въ трехъ верстахъ, по два и по три раза въ день, во всякую погоду. Онѣ женщины бойкія, и у нихъ не пропадетъ ни одна копѣйка. А Пелагѣ Прохоровнѣ ко всему этому нужно было привыкать“. А тутъ чуть-было его не женили: стала за нимъ очень ухаживать сестра хозяйки, у которой онъ жилъ на квартирѣ, и дошло даже до того, что самовольно стала распоряжаться его деньгами. Вотъ поэтому Коровавъ рѣшился идти на желѣзную дорогу.

Григорій Прохорычъ говорилъ, что ему то же не нравилось житье въ М. заводѣ, потому что тамъ много было всякаго народа, и каждый человекъ то и дѣло, что хвастался умѣньемъ взяться за все; въ сущности же лѣнились всѣ, надѣясь на другихъ. Кроме этого въ М. такъ было много воровъ, что по ночамъ было опасно ходить отъ города въ заводъ. Тамошнія дѣвицы ему не нравились потому,

что предпочитали халатникамъ сюртучниковъ, наряжались по-городски, и вообще, на его взглядъ, не могли бы ужиться съ однимъ мужемъ, тѣмъ болѣе, что сами зарабатывали себѣ пищу и одежду отъ огородовъ и коровъ. Хотя же онъ и сердился на Лизавету Ульянову, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ увидалъ ее на пристани, его тянуло поговорить съ ней, такъ какъ до нея у него не было тамъ знакомыхъ женщинъ, въ которыхъ бы онъ могъ влюбиться, а у нея тоже тамъ не было пріятелей. Мало-по-малу они сошлись, но общались другъ другу жениться, накопивъ капиталъ на желѣзной дорогѣ, куда пошла съ ними и Степанида Власовна съ дѣтьми. Но Степанида Власовна испугалась далекаго путешествія и осталась съ дѣтьми въ Поярковѣ.

Вечеромъ всѣ земляки ушли въ теплую избу. Изба здѣсь была свѣтлая, просторная и имѣла большую русскую печь. Эта была образцовая изба, которую компаней показывали начальству путей сообщенія, увѣряя его, что здѣсь помѣщается большинство рабочихъ, которыхъ привозятъ сюда на машинѣ. Въ избѣ было нѣсколько женщинъ, въ томъ числѣ Лизавета Елизаровна. Она была говорливая всѣхъ, и по голосу ее далеко было слышно. Она также обрадовалась Терентію Ивановичу; но извѣстіе о смерти отца ее недолго печалило, ей уже много приводилось видѣть, какъ здоровые люди умирали скоро.

— Я, дядя, хочу въ Петербургъ. — Хвалить тамъ жительство-то. Лизка мнѣ покою не даетъ, — проговорили Григорій Прохорычъ.

— Да какъ! Што это за жизнь? Здѣсь съ голоду помрешь и околѣешь, какъ собака... Да и я одна найду туда дорогу, говорила Лизавета Елизаровна, лежа съ Григорьемъ, около котораго лежали Коровая и Терентій Ивановичъ.

— А есть ли деньги, Гришка? — спросилъ дядя племянника.

— Мы съ Лизкой ужъ накопили тридцать рублей.

— Да и я тоже думаю, — сказалъ Коровая.

— У меня были деньги, да украли ихъ. Въ пятьсотъ рублей было! — привралъ Горюновъ.

— Ну, мы дадимъ; послѣ сочтемся.

— Не хотѣлось бы мнѣ такъ-ту, ребята...

— Полно-ка, Терентій Ивановичъ!.. Я вонъ тоже на Гришкины деньги бѣжала сюда, — сказала Лизавета Елизаровна.

— То ты... Нѣтъ, я лучше поработаю.

И земляки остались: не прожили только до апрѣля мѣсяца, потому что сперва захворалъ Григорій Прохорычъ, потомъ Лизавета Елизаровна выкинула младенца, котораго и зарыли въ землю, какъ вещь негодную, на что приказчики не обращали вниманія.

Въ апрѣлѣ земляки поѣхали въ Питеръ попробовать: — не лучше ли жить въ столицѣ?

## XXII.

Іюнь мѣсяцъ, полдень. Несмотря на то, что идетъ дождь, дѣятельность и всеобщее движеніе не прекращается въ Петербургѣ. Какъ и въ хорошую по-

году, многолюдныя улицы полны народомъ; торгашки булками, рубашки, печенкой, яблоками и другою мелочью стоятъ около своихъ подвижныхъ лавочекъ, накрытыхъ клеенкой; артельщики несутъ на головахъ или роляхъ, или по подюжанѣ стульевъ, дивановъ и т. п. громоздкія вещи; ломовыя лошади, сопровождаемыя понукиваньемъ и руганью извозчиковъ, везутъ шагомъ, часто останавливаясь, кули, тюки хлопчатой бумаги, пеньки, желѣзо, машины, ящики съ водой и съ пустыми бутылками; безчисленные городовые, стоя на углахъ улицъ, или отгоняютъ кого-то, или распекаютъ ломового извозчика за то, что у него упала лошадь, или останавлился огромный возъ не въ указанномъ мѣстѣ. Изъ высокихъ трубъ фабрикъ и заводовъ, по окраинамъ столицы, поднимается черный дымъ и потомъ, разсѣваясь, наполняетъ и безъ того удушливый воздухъ сиракомъ. Рѣки и каналы запружены барками и судами, изъ которыхъ выгружаютъ на берега дрова, камни, кирпичи, доски. Много судовъ и барокъ медленно пробиваются по рѣкамъ и каналамъ дальше. Огромные длиннаныя и пароходы биткомъ набиты пассажирами, вѣющими съ дачъ и на дачи. На Невскомъ не рѣдкость встрѣтить мужиковъ съ завязанными бичевой назадъ руками и сзади ихъ городского, держащаго подъ лѣвой мышкой книгу, а въ правой рукѣ концы бичевки... Вездѣ движеніе, суета, восклицанія яблочниковъ, штокъ-фишниковъ, сичечниковъ, татаръ съ халатами, поясами, платками или просто съ узлами и т. п.; трескъ, не умолкающій ни на одну минуту, жалобный стонъ и ревъ фабричныхъ и заводскихъ трубъ, неслышимый въ серединѣ города. Никому, кажется, нѣтъ дѣла до того, что дождь мочить и мочить; только на панеляхъ пѣшеходы стараются обойти лужи, ругая тѣхъ, которые задѣваютъ ихъ зонтиками разныхъ объемовъ, и дворниковъ, которые, сметая съ панелей грязь и воду, безъ церемоній задѣваютъ метлами по ногамъ пѣшеходовъ. Каменщики преспокойно спускаются и поднимаются съ телѣжками по лѣсамъ около недокаленныхъ каменныхъ домовъ; кое-гдѣ приколачиваютъ надъ окнами новенькія выѣски, кое-гдѣ поправляютъ штукатурку и красятъ стѣны на домахъ; тамъ и сямъ мужики въ оборванныхъ поддевкахъ разбираютъ на мостовой камни, вколачиваютъ одинъ къ другому, или выбрасываютъ изъ ямы на поверхность черную вонючую грязь, выкачиваютъ воду, пробуя, хорошо ли дѣйствуетъ водопроводная труба. Вездѣ умолку пристають къ пѣшеходамъ извозчики, безпрестанно ходятъ вокругъ каланчей два сторожа, взглядывая изрѣдка на выѣшенныя два черныхъ шара. Но никто никому не мѣшаетъ, всякій идетъ своей дорогой, ничѣмъ не интересуясь, останавливаясь развѣ тамъ, гдѣ много собралось въ кучу народа; все куда-то спѣшить, торопится; на лицахъ не замѣтно радости; каждый при своемъ мѣстѣ, и считаетъ себя находящимся при дѣлѣ.

Поѣздъ, слѣдующій изъ Москвы, опоздалъ. Весь дворъ запруженъ извозчиками, извозчицкими и городскими каретами; барскія кареты стоятъ особо

Извозчики сидят смирно, толкая другъ съ другомъ; кучера съ огромными бородами, покуривая изъ трубокъ табакъ, тоже разговариваютъ съ лакеями и съ презрѣніемъ поглядываютъ на меньшую братію. По двору ходятъ нѣсколько городскихъ. Въ вокзалахъ народъ, барыни, разодрѣтыя по погоды, баре, купцы, купчихи, чиновники и чиновницы, полиція, бѣдно одѣтые люди. Нѣкоторые изъ солидныхъ людей свободно растаиваютъ по платформѣ, то и дѣло натыкаясь на жандармовъ, квартальныхъ и городскихъ. Всѣ эти люди пришли и пріѣхали встрѣчать поѣздъ. И въ этой встрѣчѣ есть двѣ цѣли: одни встрѣчаютъ родныхъ, знакомыхъ, друзей; другіе стараются поживиться на счетъ пріѣзжающихъ; не говоря объ извозчикахъ, въ вокзалѣ находится до сорока квартирныхъ хозяевъ, которые только тѣмъ и живутъ, что прямо съ желѣзной дороги берутъ къ себѣ на квартиру жильцовъ.

Но вотъ показался поѣздъ. Задрожала мостовая по линіи желѣзной дороги. Поѣздъ идетъ тише и тише, наконецъ онъ остановился. Весь народъ, бывшій въ вокзалахъ, рванулся на платформу, извозчики скупчились на подъѣздѣ и передъ подъѣздомъ. Народъ сталъ выходить изъ вагоновъ, и Боже мой! сколько въ теченіе четверти часа вышло изъ нихъ народа, народа простого! И куда дѣнется весь этотъ простой народъ—мужики, бабы, дѣвки?.. Все суетится, разиня ротъ, разыскиваютъ своихъ товарищей по деревнямъ, свою родню, хватаютъ за руки или полы полубубковъ, кацавеекъ, поддевокъ... Слышатся восклицанія въ родѣ слѣдующихъ: „Митрей! а Митрей!.. Не выдалъ ли, любезный, мою бабу?.. О штобъ тебѣ околѣть! сказано—держишь за меня! Держи крѣпче мѣшокъ-то: оборвуть!“ Каждый изъ пріѣхавшихъ простыхъ людей что-нибудь да имѣетъ при себѣ: кто котомку или попросту полубубокъ, обмотанный ремнемъ и надѣтый на спину, кто мѣшокъ, кто пиду, кто лотокъ и т. п. Но вотъ мало-по-малу платформа опустѣла, опустѣлъ и вокзалъ.

Около воротъ на панелі стояла молодая женщина съ узломъ подъ лѣвой мышкой. По всему видно было, что она только что пріѣхала и не знаетъ, куда идти. Казалось также, что ее все удивляло: и большіе дома, построенные въ сплошную, съ вывѣсками сверху до низу, точно облѣпленные картинками, и трескъ, и многолюдство, и крики торгашей подъ самымъ ухомъ, предлагавшихъ и спичекъ, и яблоковъ, и другихъ сластей... Она стояла разиня ротъ, ничего не понимая; голова ея кружилась.

— Прикажете отвезти-съ?—надоѣдали ей извозчики.

— Што стоишь-то?—крикнулъ на женщину городской, должность котораго состояла въ томъ, чтобы стоять у воротъ Николаевской желѣзной дороги, и который, видя стоящую женщину съ узломъ, хотѣлъ развлечься.

Женщина очнулась и вдругъ спросила:

— А гдѣ у васъ тутъ Богъ-то?

— Не видишь што-ли! Ослѣпила.—И городской показалъ ей на Знаменье.

Женщина, отличивши наконецъ церковь отъ большихъ домовъ, перекрестилась и поклонилась на церковь.

— Скажи, ради Христа, куда мнѣ идти?—спросила опять женщина городского.

Этотъ вопросъ немного озадачилъ городского, но онъ думалъ не долго.

— Всякой дряни въ столицу хочется!.. а дороги не знаетъ! Ты, поди, ѣхала съ кѣмъ-нибудь?

— Какъ же! Только не понравилась они мнѣ... Укажи, ради Христа, я тебѣ гривну дамъ.

— Иди на постоялый.

— Да тутъ ко мнѣ приставали какіе-то фариазоны: мастеровые не мастеровые,—кто ихъ знаетъ. Такъ они просили съ меня тридцать копѣекъ въ сутки.

— Какъ зовутъ?

— Меня-то?

— Ну, да!—прикривнулъ городской.

— Пелагея Мокроносова.

— Што за узелъ? Развяжи-ка?!

— Стану я для тебя развязывать!! Ишь, што выдумалъ!

— Ну, ну!! Въ полицію сведу. Извозчикъ?!—крикнулъ вдругъ городской и потомъ прибавилъ:—узнаешь!

Пелагея струсила и стала развязывать узелъ. Въ узлѣ оказалось два сарафана, одно ситцевое платье и шерстяной платокъ. Пока она показывала и трясла свои вещи, народъ вокругъ нея и городского собралось много. Народъ этотъ былъ большею частью простой, занятой, но останавливавшейся тамъ, гдѣ собирается въ кучу человѣкъ десять.

Народъ говорилъ:

— Воровку поймали!

— Господи, какая молодая, и...

— Ну, ну! Пошли! Чего не видали?—крикнулъ на народъ городской. — Но народъ только понялся отъ городского.

Куча расла.

— Паспортъ?!—спросилъ вдругъ у Мокроносовой городской.

— Ишь выдумалъ! Онъ у меня далеко... вотъ гдѣ.—И она указала на грудь.

— Доставай!

Мокроносова засунула руку за пазуху и съ большимъ усиліемъ достала платокъ, на которомъ было нарисовано сраженіе при Синопѣ. Развернувши платокъ, она подала городскому паспортъ. Городской сталъ читать про себя, т. е. не поднимая губъ и не открывая рта. Нѣсколько головъ заглянули на паспортъ съ обѣихъ сторонъ головы городского.

Посмотрѣвши паспортъ и провѣривши его съ личностью Мокроносовой, городской возвратилъ ей его, сказавъ: „ступай!“—и пошелъ прочь. Народъ тоже разбрелся въ разныя стороны.

„Што же это такое? што ему нужно было отъ меня? и што онъ за человѣкъ такой есть? Такой оказан со мной еще нигдѣ не случалось!“, думала Пелагея Прохорова.

А народъ идетъ и ѣдетъ по площади по разнымъ направленіямъ; трескъ, стукъ, крики сливаются въ одно; на домахъ пестрятъ вывѣски точно картинки; извозчики, видя стоящую съ уломъ женщину, то и дѣло предлагаютъ свои услуги прокатить ее по Питеру за полтинничекъ; прохожіе народъ то и дѣло сталкиваетъ ее то съ панели, то въ лужи на панели. Голова закружилась у Пелагеи Прохоровны: все ей кажется ново, непонятно, удивительно. „Куда я пріѣхала? Много я городовъ видала.. а здѣсь... Што же это такое?“

— Московскіе калачи хороши! — прокричалъ пожилой мужчина, неся на головѣ корзину, и, обратясь къ Пелагее Прохоровнѣ, сказалъ ласково: — не желаете ли купить?

И, не дожидаясь отвѣта, онъ снялъ съ головы корзину и откинулъ клеенку. Въ корзину оказались булочки французскія, русскія и польскія.

Пелагея Прохоровнѣ хотѣлось ѣсть. „Отчего не купить и не попробовать питерскихъ булокъ“, подумала она и стала разсматривать булочки.

— Какую желаете?.. эти московскія, эти французскія, это пеклеванный.

— Што это за пеклеванный?

— Мука такая есть. Господа его очень любятъ... Въ трактирахъ все тоже пеклеванный.

— Значить, питерской.

— Именно! И дешевле противъ этихъ, и сытнѣе будетъ.

Пелагея Прохоровна купила цѣлую булку и спросила у торговца: „куда ей идти?“. Тотъ, разспросивъ ее, откуда она и когда пріѣхала, указалъ путь.

— Вотъ теперь ты поверни налѣво, будетъ Лиговскій каналъ. Направо черезъ каналъ будетъ идти переулочъ, ты въ переулочъ не ходи, а иди прямо. Тутъ ты увидишь постоянный дворъ, только туда не ходи, потому тамъ извозчики живутъ, а иди дальше. Тамъ спросишь: гдѣ, молъ, постоянный дворъ, што для пріѣзжающихъ съ машины...

— Покорно благодарю.

И Пелагея Прохоровна пошла. Дождь въ это время пересталъ идти. Когда она вошла по указанію налѣво въ улицу, картина представилась ей уже другая: дома попроще, мало красивыхъ вывѣсокъ, много питейныхъ заведеній; изъ дворовъ несетъ чѣмъ-то нехорошимъ; мало идетъ и ѣдетъ народа. Но главное, что ее занало, — это Лиговскій каналъ посреди улицы съ мутною, вонючею водою и огороженный деревянными перилами. Здѣсь было много грязи, проходъ черезъ каналъ — узенькій, деревянный мостикъ. Налѣво деревянные тротуары съ провалившимися досками, а кое-гдѣ просто канава. Пелагея Прохоровна поглядѣла на канаву. Она забыла слово каналъ, потому что не понимала его, и поэтому думала, что это рѣка. Но какая же это рѣка: изъ нея такъ и несетъ чѣмъ-то нехорошимъ, и узенькая она, а вода въ ней должно быть стоять, — ни судовъ, ни лодокъ нѣтъ на ней.

„Этотъ калашникъ надулъ меня: потому какой это Питеръ?“

Она оглянулась назадъ. Тамъ дома какъ на картинкахъ писано — красивые... Ишь, тамъ какъ тре-

щать и гудеть... И она пошла назадъ туда, гдѣ трещить и гудеть. Навстрѣчу ей шелъ мужчина, держа подъ мышкой фунта два чернаго хлѣба, а въ правой рукѣ — булку и печенку, которая онъ откусывалъ понемножку. Онъ былъ уже выпивши и шелъ неровно. Одѣтъ онъ былъ въ оборванный полушубокъ, синіе изгребные штаны, въ лапти и мѣховую рваную во многихъ мѣстахъ шапку, промокшую до того, что съ нея и теперь изрѣдка капали на лицо капли, которыя, протекая по лицу до бороды, оставляли на той или на другой щекѣ черныя полоски. Онъ прошелъ мимо Пелагеи Прохоровны молча, даже посторонился отъ нея.

„Это изъ нашихъ! Непремѣнно. Бурлаки у насъ такъ-то ходятъ“, подумала Пелагея Прохоровна и пошла за нимъ. Немного погодя, она догнала этого человека.

— Дядюшка! — сказала она, ставъ съ нимъ ногу въ ногу.

— Што? — сказалъ онъ охриплымъ голосомъ, глянувъ на нее и потомъ, мотнувъ головой, сталъ глядѣть на мостовую.

— Питеръ ли это?

— Знаю, Питеръ.

— Гдѣ бы мнѣ остановиться?..

— Остановиться?.. Извѣстно, гдѣ люди останавливаются... — Онъ глянулъ на нее и опять сталъ глядѣть на мостовую.

— Укажи ты мнѣ дорогу.

— И укажу! Провалиться..

— Да ты мнѣ скажи, куда идти-то?

— Куда идти?! Пойдемъ къ Артёмьевнѣ... Я у ней живу.

— А есть ли тамъ бабы?

— Какъ не быть бабамъ... А ты, братъ... Кабы мнѣ такую бабу!

— Пустое говоришь. Ты доведи до мѣста. — Они пошли.

— Развѣ я песь?.. Нѣтъ, у меня душа христіанская... Я къ слову: потому у меня жена въ деревнѣ. Да какая она теперь жена мнѣ?

И крестьянинъ остановился.

— Почему теперь я въ Питерѣ? — спросилъ онъ сердито. — Лицо его подернуло, брови сдвинулись.

— Вы всѣ таковы. У васъ все только жены виноваты.

Крестьянинъ махнулъ рукой и изъ руки выпалъ недоѣденный кусокъ булки, который и попалъ въ лужу. Крестьянинъ взялъ его, обтеръ грязь полушубкомъ, поскоблилъ пальцемъ и откусилъ. „И здѣсь тоже, видно, хорошия народце“, подумала Пелагея Прохоровна. — Крестьянинъ вошелъ во дворъ одного изъ деревянныхъ домовъ.

Пяти-оконный деревянный домъ, обшитый тесомъ, съ питейнымъ заведеніемъ, принадлежалъ, какъ гласила голубая досочка надъ воротами, купчихѣ Оокиной. Онъ стоялъ особнякомъ отъ другихъ домовъ, потому что съ одной стороны находился деревянный дворъ съ возвышающимися около самаго забора и заслоняющими съ одной стороны свѣтъ къ дому рядами еще не распиленного на дрова лѣса, съ другой же стороны находилось пусто-

рожнее мѣсто, на которомъ впрочемъ купчиха Оокина дѣломъ садила капусту и картофель. Какъ передъ домомъ Оокиной, закоренѣлой старовѣрки, такъ и передъ деревяннымъ дворомъ и пусто-порожнимъ мѣстомъ выѣсто тротуара существовала канавка, которая впрочемъ только отчасти походила на канаву, но зато къ каждому воротамъ были сдѣланы деревянные мостки. Въ настоящее время въ дождливую погоду около низенькихъ оконъ дома нельзя было вовсе ходить, хотя грязь было и не очень-то много, но почва была такая, что ноги скользили. Несмотря на то, что наши старовѣры чистоту любятъ, дворъ купчихи Оокиной не оправдывалъ этой славы: онъ былъ очень грязенъ и вонючъ до того, что въ немъ пахло какъ изъ бочки съ протухлой рыбой или говядиной. Впрочемъ это объясняется можетъ быть тѣмъ, что Оокина сама въ домѣ не жила, а прѣзжала въ него только изрѣдка. Кромѣ дома во дворѣ былъ флигель съ двумя окнами по бокамъ и дверью въ серединѣ, выходившими къ воротамъ.

Помѣщеніе въ этомъ флигелѣ тоже не отличалось изяществомъ; войдя въ дверь, даже простой человѣкъ могъ замѣтить, что внутренность его устроена съ расчетомъ. А именно: большая изба съ двумя окнами, одно—недалеко отъ двери къ выходу, другое—налѣво. Но съ перваго раза нельзя отличить: изба ли это, или горница, во-первыхъ потому, что въ ней не было половъ; во-вторыхъ, направо въ углу на заднемъ планѣ стоитъ чугунокъ и отъ нея проведена черезъ все помѣщеніе желѣзная труба, идущая надъ дверью направо въ помѣщеніе хозяйки; и въ третьихъ, въ этомъ помѣщеніи нѣтъ ни наръ, ни скамеекъ, ни стола и ни стула. Прокоптѣлы сырыя стѣны, когда-то оклеенныя желтыми обоями, которые въ иныхъ мѣстахъ уже отпотѣли и отпали, а во многихъ мѣстахъ висятъ клочками; грязный, никогда не моющийся полъ; въ углу маленькій образокъ, который съ перваго раза трудно замѣтить; сѣрый потолокъ съ драками крестъ-на-крестъ и штукатурные карнизы; сырой табачный и иной непріятный воздухъ—вотъ и все въ этомъ помѣщеніи, которое содержательница флигеля, солдатская вдова Софья Артемьевна, называла постоялою избой. Такъ и намъ слѣдуетъ называть это помѣщеніе.

Когда Пелагея Прохоровна вошла въ эту избу, она замѣтила, что нѣсколько мужчинъ въ поддевахъ, зипунахъ, а болѣе въ полшубкахъ, различныхъ дѣтъ, высокіе и низкіе, сидѣли на полу около стѣнъ, точно собирались пѣть „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. Такое предположеніе впрочемъ въ настоящий моментъ было невѣрно, потому что они говорили почти всѣ разомъ, передавая глиняныя и деревянныя трубки съ коротенькими чубуками сосѣдямъ. Подальше отъ двери лежало четверо крестьянъ во всемъ какъ есть, подложивши подъ головы свои узелки; въ переднемъ и противоположномъ ему углахъ лежало нѣсколько котомокъ. Тутъ же можно было замѣтить кирку, пилу, лотокъ. Изъ хозяйской комнаты слышались крики женщинъ.

— Ермолаю Евстигнѣву!—крикнуло нѣсколько

голосовъ вошедшему крестьянину.—Нѣсколько человѣкъ слегка приподняли шалки. Пелагея Прохоровна ушла въ хозяйскую половину.

— Ну, какъ дѣла?

— Нашель-ли мѣсто?

— И не спрашивайте!.. Народу нонча страсть. На Сѣнной-то насъ собравши, почитай, было ста два. Дождетъ такъ и ночить. Ну, стояли, стояли, топтались, топтались,—хоть-бы кто!!

— Нѣтъ?!

— Провалиться!

— Надо по заводамъ походить.

— Да што на заводахъ-то дѣлать? На фабрикахъ другое дѣло.

— На суда бы.

— То-то, братцы; тамъ все стояли, кон на суда... Вотъ въ маляры да въ каменщики спрашивали. А такихъ, штобы на суда,—не было. Народъ галдитъ: чать поздно! Пошли къ рѣкамъ—въ полной препорціи! Судовъ страсть и народу страсть.

— Мы тоже по рѣкамъ-ту ходили—народу въ препорціи. Налю рядиться песокъ плавить или коша камень.

— Вре?!

— Семьдесятъ пять надѣтъ просить. Мы въ прошлое лѣто съ дядей Матріемъ ходили въ Питеръ, такъ у него деньги были, онъ и купилъ лодку—семьдесятъ пять выложилъ да нанялъ четырехъ работниковъ: такъ онъ еще въ барышахъ остался и лодку нѣбѣтъ. Только померъ теперь.

— А лодка?

— Што лодка? я ходилъ къ тому мѣсту, гдѣ мы ее подъ караулъ оставили, караульщикъ и не даятъ: „дай—говорить—такую бумагу, што лодка тебѣ предоставлена, и плыви, говорить, съ ней по Невѣ“. А у меня бумаги нѣтъ. Ночевалъ я тамъ, а утромъ ужъ лодки и нѣтъ. Ну, што ты подѣлаешь?

— Ничего не подѣлаешь. Извѣстно, простота не доводитъ до добра.

Помѣщеніе хозяйки—кухня и комната, какъ хотите называйте его, было уже мужского, которое отдѣлялось отъ него перегородкой до потолка и имѣло изразцовую печь, похожую на русскую. Все пространство, вровень съ печкою, было занавѣшено ситцевой драпой занавѣской, сквозь которую видѣлись кровать и комодъ. Въ переднемъ углу стоялъ столъ со шкафомъ; на столѣ красовался самоваръ, не чиненный болѣе мѣсяца; по обѣимъ сторонамъ стола стояли три стула съ рѣшетками. Надъ столомъ въ углу укрѣплено три образа въ фольговыхъ украшеніяхъ, которыя отъ времени и отъ копоти уже отличали. Стѣны оклеены голубыми обоями, которые хотя и прокоптѣли, но еще цѣлы. На стѣнѣ, противоположной дверямъ, висятъ небольшое зеркальцо и двѣ картинки, изъ которыхъ одна изображаетъ дѣвочку, держащую въ рукахъ книгу, а другая—нѣмца, отправляющагося на охоту съ ружьемъ и двумя собаками. потолокъ здѣсь выштукатуренъ, полъ чистый.

Въ то время, какъ въ это помѣщеніе вошла Пелагея Прохоровна, шесть женщинъ въ коротенькихъ



шугайчицахъ и полушубкахъ, въ сарафанахъ и въ платкахъ на головахъ, отъ 18 до 45 лѣтъ, сидѣли на своихъ узелкахъ въ рядъ на полу, у стѣны, закусывая кто хлѣбомъ чернымъ, кто бѣлымъ хлѣбомъ съ соленымъ огурцомъ и селедкой. Тутъ же была и хозяйка, низенькая, толстенная женщина, съ распухшимъ краснымъ лицомъ, съ широкимъ ртомъ, съ подбородкомъ, заплывшимъ до того, что съ перваго взгляда казалось, нѣтъ-ли у нея тутъ грыжи, съ толстымъ краснымъ носомъ, свидѣтельствующимъ, что она въ день употребляетъ не малое количество водки, съ маленькими карими глазами, то и дѣло перебѣгающими съ одной женщины на другую и успѣвающимъ заглянуть въ мужское пожитіе. Одѣта она была, въ это послѣбѣденное время, въ старенькую черную терновую юбку, которую жильцы называли платьемъ, потому что она носила еще такую-же черную кофточку съ широкими, немного поменьше поповскихъ, рукавами. Въ ушахъ ея сережекъ не было; но на лѣвой рукѣ, на указательномъ пальцѣ, находилось постоянно кольцо польскаго серебра—знакъ ея вдовства.

Пелагея Прохорова помолчалась на образа и поклонилась хозяйкѣ и женщинамъ, которыя, при входѣ ея въ комнату, замолчали.

— Что тебѣ? —спросила хозяйка охрипшимъ голосомъ, наливая въ чашку кофе.

— Пусти на квартиру.

— Тѣсно! —отвѣтила хозяйка и принялась пить кофе, не спуская глазъ съ Пелагеи Прохоровны.

Пелагея Прохорова ступила шагъ впередъ и оглядѣла женщинъ. Женщины все незнакомыя: въ томъ вагонѣ, въ которомъ она ѣхала,—этихъ не было. „И куда это народъ дѣлся? Сколько ѣхало бабъ одѣхъ, а здѣсь ни одной нѣтъ“, подумала она, и обратилась снова къ хозяйкѣ:

— Скажи, пожалуйста, хозяйюшка, Питеръ-ли это?

Хозяйка засмѣялась, разлила кофе и закашлялась такъ, что принуждена была выйти вонъ на дворъ: женщины захохотали: щеки Пелагеи Прохоровны покраснѣли. Оглушенная дружнымъ хохотомъ всѣхъ женщинъ, Пелагея Прохорова ничего не нашлась сказать. Она чувствовала, что ея щеки горятъ. „Нѣтъ, это не Питеръ“... подумала она и взглянула на женщинъ: женщины шепчутъ и хочутъ. „Экія гадкія!“ —подумала Пелагея Прохорова, и пошла было къ двери, но ее ухватила одна женщина за сарафанъ.

— Ты куда пріѣхала-то? —спросила она Пелагею Прохоровну, закрывая ротъ рукою, чтобы не хохотать. Нарѣчіе у этой женщины было тверское.

— Знаю куда: въ Питеръ взяли на чугунокъ,—сказала сердито Пелагея Прохорова.

— А заѣхало Питера ты куда попала?

— Къ чертамъ! —крикнула Пелагея Прохорова.

Женщины снова дружно захохотали. Пелагея Прохорова вышла во дворъ и столкнулась съ хозяйкой.

— О, штобъ тебѣ!.. Чуть-чуть изъ-за тебя не подавилась! —крикнула хозяйка на весь дворъ.

— Ты это куда пошла-то? —крикнула она сно-

ва, увидавъ, что Пелагея Прохорова идетъ съ узломъ къ воротамъ.

— Ужъ я въ другое мѣсто

— Въ другое? Да ты заплатила ли мнѣ за постоя-то? —И хозяйка подошла къ Пелагее Прохоровнѣ.

— За какой?

— А вотъ за какой! —И она толкнула Пелагею Прохоровну къ флигелю.

Въ это время изъ дому въ оба окна смотрѣлъ народъ—въ одно мужчины, въ другое—женщины.

— Да ты што дерешься-то въ салъ-дѣлѣ? —крикнула Пелагея Прохорова и замахнулась, но хозяйка успѣла отвернуться.

— Хоть, я городского позову?

— Зови хоть чорта! — Пелагея Прохорова пошла.

— Послушай, бѣлоручка? куда ты пойдешь-то? —сказала хозяйка ласково.

— Куда-нибудь.. Только съ такой драчуней и съ такими зубоскалами я ни за что не останусь.

— Ладно...

Пелагея Прохорова вышла за ворота и задумалась: куда ей идти, направо или налѣво. Въ это время изъ кабака вышелъ молодой, здоровый кабатчикъ съ длинными, гладко причесанными волосами, съ небольшими усиками, закрученными сверху, въ ситцевой бѣлой рубашкѣ, въ жилеткѣ, въ драповыхъ брюкахъ и въ бѣломъ холщевомъ фартукѣ.

— Дура ты, дура оголѣлая! Ты должна спросить добрыхъ людей, гдѣ можно пристанище имѣть. Ты посмотри, все ли у тебя цѣло въ узлу-то! —проговорилъ онъ скороговоркой, обращаясь къ Пелагее Прохоровнѣ, и Пелагея Прохорова подумала, что и въ Питерѣ есть добрые люди.

— Ну, что ты стоишь-то? Ты посмотри: все ли цѣло въ узлу-то.

— Да я его все въ рукахъ держала.

— Должно быть ты еще не знакома съ питерскими мазуриками?

На улицу изъ двора вылетѣла хозяйка Артемьевна и, оставившись около самага крыльца передъ кабатчикомъ, плюнула ему въ лицо, и съ яростью проговорила:

— Подлый ты человѣкъ! Мазурикъ!! Кто воровскія вещи принимаетъ?

— Ты сперва уличь... У кого, какъ не у тебя, по ночамъ обыски дѣлаютъ? Слушай, баба: ни намасокъ: тамъ ты будешь спокойнѣе, —проговорилъ кабатчикъ, обращаясь къ Пелагее Прохоровнѣ, и потомъ ушелъ въ кабакъ.

Артемьевна рванулась было въ кабакъ, но кабатчикъ толкнулъ ее съ крыльца, проговоривъ съ достоинствомъ, приличнымъ хозяину питейнаго заведенія:

— Куда?! Ты сперва въ баню сходи, потомъ лѣзь ко мнѣ.

Ярость Артемьевны была велика. Она нѣсколько минутъ топталась передъ крыльцомъ кабака, ворча, какъ собака, не могущая изловить кошку, забрав-



шущая на крышу послѣ большой царяпины, которую та угостила собаку.

Пелагея Прохоровна не стала дожидаться конца этой сцены. Она была рада, что избавилась отъ такой хозяйки, у которой въ самомъ дѣлѣ можетъ быть случаются нехорошія вещи. Ее еще все удивляло: отчего это здѣсь и дома дрянные, и народу мало, и народъ какой-то нехорошій, точѣ въ точѣ какъ въ какомъ-нибудь уѣздномъ городишкѣ. А ей дорогой говорили, Питеръ — отличный городъ, что въ немъ и грязи никогда нѣтъ, и народъ вѣжливый... И все оказалось напротивъ. Даже и народъ, простой народъ, говорить какъ-то иначе, непонятно. Тутъ и толку никакого не добыешься... Знала-бы, — не поѣхала бы такую даль! Ужъ если начинъ такой, то и жизнь здѣсь, поди, худая... Хорошо, видно, тамъ, гдѣ насъ нѣтъ!..

Однако ужъ дѣло сдѣлано, денегъ много истрачено на дорогу и въ дорогѣ, и теперь у Пелагеи Прохоровны денегъ только пятьдесятъ семь копѣекъ. Съ такими мыслями Пелагея Прохоровна подошла къ каменному двухъ-этажному дому въ пять оконъ съ подъѣздомъ въ серединѣ и съ двумя лавками въ подвалѣ, изъ комъ въ одной продавался хлѣбъ, овощи и другіе съѣстные припасы, а въ другой — водка. Пелагея Прохоровна поглядѣла кругомъ — чуть не въ каждомъ домѣ красуются на дверяхъ вывѣски со словами „распивочно и на выносъ“.

„Вотъ гдѣ пьяное-то царство!“ подумала Пелагея Прохоровна и вошла во дворъ. Дворъ большой, грязный, вонючій; здѣсь пахло еще хуже двора купчихи Оокиной. Но зато здѣсь нѣсколько извозничьихъ колодезъ опрокинутыхъ, изломанныхъ; на заднемъ планѣ построены давнымъ-давно какія-то клѣтшки съ запертыми на замки дверями. Налѣво противъ каменнаго дома выходилъ деревянный флигель съ пятью окнами на улицу, двумя во дворъ и съ крыльцомъ. Войдя въ темныя сѣни, Пелагея Прохоровна услышала говоръ нѣсколькихъ головъ мужскихъ и женскихъ. Постучалась налѣво — никто не отпираетъ, но за звонокъ она не взялась: она еще не понимала этой мудрости.

— Тебѣ кого? — спросила ее вышедшая изъ правыхъ дверей худощавая, высокая пожилая женщина.

— Да на постоялый.

— Разѣ тутъ постоялый? — проговорила эта женщина сердито.

— Можно туда идти-то? спросила смиренно Пелагея Прохоровна.

— На то и постоялый, чтобы народъ шелъ... Я сейчасъ приду.

Женщина позвонила, и когда ей отворили дверь налѣво, она вошла туда. Большая комната съ двумя окнами противъ двери и съ неоклеенными стѣнами; двое широкихъ наръ по правую и по лѣвую сторону съ проходомъ между ними, нѣющими видъ площадки; въ углу большая круглая печь, обитая желѣзомъ сверху до низу; далѣе, дверь въ темную комнату съ русской печью, вѣроятно кухню — вотъ постоялая изба, куда вошла Пелагея Прохоровна.

На обѣихъ нарахъ сидѣли въ разныхъ позахъ и лежали — направо мужчины, налѣво женщины. Мужчинъ было человѣкъ двадцать, женщинъ до десятка; какъ тѣ, такъ и другіе говорили, и поэтому въ избѣ говоръ прошевелился неописанный, такъ что сразу нельзя было понять, въ чемъ дѣло, или о чемъ люди толкуютъ. Но хотя здѣсь были нарѣ, и на полу лежать не приводилось, зато табачный дымъ заставлялъ кашлять, и, несмотря на то, что въ избѣ было два окна, въ ней отъ дыму было темно.

— Экъ нѣтъ, какъ накурили, словно въ казармѣ! — сказала Пелагея Прохоровна и закашлялась, потомъ, отмахивая правою рукою дымъ, подошла къ женщинамъ.

— А! сусѣдка... А я тебя искала, искала... Ну, полѣзай! — проговорила радостно одна молодая женщина съ веснушками на лицѣ, въ розовомъ шугайчикѣ и ситцевомъ платкѣ на головѣ; она подвинулась.

— Куда?! И такъ тѣсно.

— Пусть на мужское отдѣленіе идетъ, — проговорили двѣ женщины.

— Со мной въ одномъ вагонѣ ѣхала.

— Мало што!.

— Бога вы не боитесь. Полѣзай!!

Пелагея Прохоровна присѣла къ женщинѣ, но та уговорила ее залѣзть на средину наръ для того, чтобы *устроиться* — „потому де, можетъ еще съ машины народъ найдеть“ — и тогда пожалуй придется подъ нарѣ лѣзть. Пелагея Прохоровна замѣтила, что шесть женщинъ сидятъ у самой стѣны на своихъ узелкахъ, увидала свободное мѣсто, полѣзла и тоже сѣла на свой узелокъ. Пришла хозяйка, Марья Ивановна, — та самая высокая, худощавая женщина, которая встрѣтила ее въ сѣняхъ.

— А гдѣ тутъ новая? — спросила она, прищурила глаза и стала разглядывать и считать женщинъ.

— Здѣсь! — Пелагея Прохоровна встала.

— А!! Ловко ли?

— Ничего. Я вонъ тутъ навскось была, такъ тамъ на полу...

— Нѣ-ѣтъ?! — произнесли нѣсколько разъ женщины, удивляясь. — Это ужъ такая женщина! Она бы и не имѣла жильцовъ, потому што же за сидѣнье или за сдѣланье на полу, да ейной любовникъ на машину ходитъ и оттула народъ заманиваетъ... Ну, баба, надо съ тебя за квартиру три копѣчки. Здѣсь въ Питерѣ сами жильцы знаютъ, што деньги нужно вносить впередъ.

— Сколько же? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да ужъ мы со всякаго беремъ по положенью три копѣйки. Ночуешь — ладно, не ночуешь — деньги не возвращаются, было бы тебѣ извѣстно. Потому я женщина бѣдная, за квартиру-то двадцать рубльковъ въ мѣсяцъ!

— Што ты? — удивились женщины.

— Што дѣлать!

Пелагея Прохоровна отдала три копѣйки.

Хозяйка положила монету въ карманъ своего ситцеваго платья и посоветовала Пелагее Прохоровнѣ нѣтъ на всякій случай поближе паспортъ.

— Потому ночью, можетъ, полиція придетъ, она часто по ночамъ шляется, воровъ да бѣглыхъ разыскиваетъ. Прежде Богъ миловалъ, спокойно было на этотъ счетъ, да чортъ подсунулъ къ намъ въ сосѣди эту Артемьевну. Разъ у ней бѣглаго изъ тюрьмы нашли — ну, стали и къ намъ заходить съ тѣхъ поръ.

— Да вѣдь она почемъ знала, что онъ бѣглый?

— А отчего она паспорта не спросила?.. Теперь тоже у нихъ съ кабатчикомъ постоянно ругань; она своимъ мужикамъ говоритъ: не „берите у нашего кабатчика водку, потому-де нехорошая та водка, съ дурманомъ“; ну, а мужика долго ли застрашать, они и идутъ въ другой кабакъ, а онъ за это отгоняетъ отъ нея жильцовъ: она-де воровка, у нея постоянно по ночамъ обыски дѣлаютъ.

Пелагея Прохоровна стала ѣсть пеклеваннй хлѣбъ. Пожевавши немного, она выплюнула на ладонь, посмотрѣла и понюхала хлѣбъ.

— Бабы! Какой это я хлѣбъ купила?—проговорила она, съ удивленіемъ смотря на женщинъ и часто отплевываясь.

— Ну-ко?

Пелагея Прохоровна передала хлѣбъ одной женщинѣ. Хлѣбъ пошелъ гулять по нарѣ. Однѣ изъ женщинъ находили этотъ хлѣбъ хорошимъ, другія—никуда не годнымъ и спрашивали:

— Гдѣ купила?

— Какой-то булочникъ продалъ тамъ недалеко отъ машины. Онъ еще говорилъ:—господской, говорить, самый питерскій.

— Ну-ко?

Опять пошелъ хлѣбъ гулять, и прогулялъ до того, что мало-по-малу отъ него остался маленькій кусочекъ.

— Какъ вамъ, бабы, не стыдно! — сказала Пелагея Прохоровна, получивъ кусочекъ.

— Нехорошій хлѣбъ! напрасно только деньги истратила.

— Нѣтъ, хлѣбъ ничего; кабы анису поменьше, еще бы лучше былъ! говорили женщины.

— Однако, бабы, не мѣшало бы похлебать чего-нибудь.

— Я вотъ цѣльную недѣлю ничего горячаго въ ротъ не брала.

— Марья Ивановна, нѣтъ ли чего похлебать?

— Нѣту. Сама двои сутки ничего для себя не варила. Кофеюмъ питаюсь.

— А гдѣ бы эдакъ похлебать?

— Не знаю... Ужъ вѣрно до тѣхъ поръ не придетъ, какъ на мѣста поступите.

— Экое дѣло!.. А ты, Прохоровна, непременно сведи насъ туда, гдѣ принимаютъ на мѣста,—сказала одна молодая, худенькая, низенькая женщина лежащей на животѣ въ углу длинной женщинѣ, ноги которой уходили подъ столъ. Эта длинная женщина повернула отъ стѣны лицо молодое, но желтое, и проговорила:

— Охъ, не могу! Животъ такъ и колетъ.

— Ты бы клубокъ подложила.

— Охъ, клала корбочку,—не дѣйствуетъ.

— И съ чего это заболѣлъ-то?!

— Должно быть, съ селедки: такая нехорошая попала.

— Бабы! хоть-бы капусту похлебать. Марья Ивановна, одолжи чашки и ложки. Мы заплатимъ.

Хозяйка заворчала, но все-таки сжалилась надъ бѣдными женщинами, дала имъ бутылку подъ квасъ, большую деревянную чашку и пять ложекъ деревянныхъ, сказавъ при этомъ: „смотрите! не изломайте“. По полученіи этихъ вещей, женщины учинили складчину и командировали одну изъ своей среды за капустой, квасомъ и солеными огурцами.

Надо замѣтить, что изъ числа этихъ однанадцати женщинъ только одна бывала въ Петербургѣ, а именно та, которая всѣхъ длиннѣе и лежитъ на животѣ въ углу. Дарья Прохоровна своей фамиліи не знала и въ ея паспортѣ значилось: крестьянка Дарья Прохорова, замужняя, а въ паспортѣ ея мужа значилось: крестьянинъ Кононъ Дорофѣевъ, женатый. Дарья Прохоровна жила въ Петербургѣ два года, но въ это время ей Петербургъ такъ противился, что она воротилась въ деревню. Въ деревнѣ она прожила года два и вышла замужъ за молодого крестьянина, у котораго былъ въ домѣ хромой отецъ и сестра вдова съ ребятишками. Этотъ молодой крестьянинъ съ другими крестьянами на лѣто уходилъ на заработки въ Петербургъ. Такъ онъ и нынче ушелъ еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а въ концѣ мая жена получила письмо, что ея мужъ въ больницѣ. Дарья Прохоровна испугалась, оставила своего шестимѣсячнаго ребенка и маленькихъ сестреночекъ на попеченіе золовки и поѣхала въ Питеръ. Мужа она нашла въ больницѣ; онъ только-что началъ поправляться. Поэтому она рѣшилась не уѣзжать изъ Питера до тѣхъ поръ, пока не выздоровѣетъ мужъ. Но вотъ она вчера цѣлый день ходила по старымъ мѣстамъ, спрашивала лавочниковъ объ мѣстахъ, но утѣшительнаго мало; сегодня ходила въ Никольскій рынокъ—тоже неудачно. Остальныя, какъ и Пелагея Прохоровна, пріѣхали въ Петербургъ въ первый разъ вчера и сегодня. Двѣ пріѣхали съ мужьями (тоже въ первый разъ) изъ Тверской губерніи. Мужья хотѣли торговать чѣмъ-нибудь, и съ ними три сестры, которымъ на роднѣ дѣлать нечего, такъ какъ на кирпичномъ заводѣ, гдѣ онѣ раньше работали, теперь работы стало очень мало. Остальныя двѣ дѣвушки—одна изъ Новгородской, а другая изъ Витебской губерніи; сестры этихъ дѣвушекъ живутъ тоже въ Петербургѣ, а онѣ раньше работали на фабрикахъ и жили въ городахъ. Двѣ женщины, одна изъ Калужской, а другая изъ Костромской губерніи, были солдатскія жены, но мужья ихъ писали имъ рѣдко откуда-то издалека, и онѣ жили въ губернскихъ городахъ, а потомъ вздумали попытать счастья въ Петербургѣ.

Мужчины такъ накурили махоркой, что у женщинъ начали разбалываться головы, и онѣ стали жаловаться другъ другу на головную боль, но ни одна не понимала причины. Наконецъ кашель сталъ душить всѣхъ женщинъ. У Пелагеи Прохоровны тоже разболѣлась голова, и она закрыла платкомъ ротъ.

— Ты што закрываешься-то?—спросила ее сѣдка.

— Смотри, што дыму-то отъ табачища... Отъ него, знать-то, и голова болить! Имъ што: они напьются водки и курать!

Женщинамъ этого было достаточно: онѣ поняли причину головной боли. Къ тому же рѣдкій изъ мужчинъ не былъ выпивши. Онѣ закричали на мужчинъ, но тѣхъ унять было трудно.

— Мы здѣсь сами себѣ господа! денешки за фатеру наравнѣ платимъ.

— Можно, я думаю, и на улицѣ курить.

— Не замай! И такъ дома-то жены намъ всѣ ухи прожужжали. Здѣсь-то намъ и повальготишь.

— Мы вамъ не мѣшаемъ,—сидите, курицы, на лянцахъ.

— Што съ ними, съ дураками, говорить.— И, сказавши это, одна женщина отворила дверь. Дымъ немного вышелъ, но противъ такого самоуправства возсталъ Марья Ивановна.

— Кто вамъ приказалъ дверь отпирать? У меня такъ благородные люди живутъ.

— Што вамъ контѣтъ тутъ? Отчего у те окна не отпираются и отдушины нѣтъ?

— Идите на улицу, теперь лѣто.

— Ну, и Питеръ!—замѣтила съ сердцемъ Пелагея Прохоровна, не зная, что и какъ возразить хозяйкѣ.

Стали хлебать капусту съ квасомъ. Квасъ и капуста оказались нехорошими, огурцы гнилые; но на тошię желудки и это было слава Богу. Мужчины то уходили, то приходили. Были тутъ и посѣтители, которые говорили, что въ Питерѣ житье годъ отъ году хуже, и рассказывали о своихъ дѣлахъ. Женщины, особенно Пелагея Прохоровна, вслушивались въ эти разговоры. Разговоры были до того невеселые, что не одна женщина призадумалась надъ тѣмъ: что-то съ ней будетъ? не худо ли она сдѣлала, что поѣхала въ Петербургъ, который ей тамъ въ глуши казался прекраснымъ мѣстомъ, въ которомъ, какъ она слышала, умирать не надо. И зачѣмъ эти самые крестьяне, жившіе въ Петербургѣ, испытавшіе жизнь петербургскую, обманывали ихъ?

— Не врутъ ли они?—спросила Пелагея Прохоровна сосѣдку.

— Кто ихъ знаетъ! Только што жинимъ врутъ-то... А не погуляешь ли по Питеру?

— Нѣтъ. Еще заблудимся.

Послѣ скудной трапезы женщины сидѣли немного. Онѣ легли и лежа слушали толки мужчинъ. Однако сонъ бралъ свое, и Пелагея Прохоровна уснула. Когда она проснулась, было темно. Мужчины галѣбли, а двое пѣли:

Ахъ, московская дорожка,  
Шириною два аршина.  
По ней бѣгаетъ машина—  
Настоящій соловей!  
Не качаетъ, не трясетъ—  
Словно вихоремъ несетъ...

Но Пелагею Прохоровну не интересовала эта пѣсня, у нея болѣлъ животъ. Сосѣдки охаютъ. Долго крѣпилась Пелагея Прохоровна и тоже заохала.

— Што, животъ! Это съ капусты да съ огурцовъ,—проговорила сосѣдка.

сочинения е. рашетникова.

— Што и зоть-то мы будемъ! съ рыбы животъ болить, съ капусты тоже! — проговорила другая сосѣдка.

— Да будь онъ проклятъ этотъ Питеръ!.. Хотя бы водки выпить съ перцемъ! — сказала Пелагея Прохоровна.

Она не могла уснуть до утра. Утромъ пошла она въ заведеніе—заперто. Вылъ какой-то праздникъ, и водки нельзя было достать до окончанія обѣды. Пелагея Прохоровна захворала.

### XXIII.

Мужчины и женщины рано разобрались по Питеру изъ избы Марьи Ивановны. Женщины, въ томъ числѣ и оправившаяся Дарья Прохоровна, пошли на Никольскій рынокъ продаваться,—какъ онѣ выразили Пелагее Прохоровнѣ свое желаніе наняться въ работы. Съ собой онѣ захватили и узелки. Мужчины тоже, захвативши свои котомки, мѣшки и инструменты, у кого какіе были, пошли на Сѣнную наниматься. Изба опустѣла; въ ней не было ни одного узелка, и только соръ, хлѣбныя и огуречныя корки и табачный дымъ давали знать вновь вошедшему жильцу, еслибы такой появился, что здѣсь Русью пахнетъ. Пелагея Прохоровна осталась одна, потому что и хозяйка куда-то ушла, затворивъ двери въ сѣняхъ на замокъ. Невыносимо скучно сдѣлалось Пелагее Прохоровнѣ; много она передумала въ отсутствіе хозяйки, длившееся часа два. Она думала и о томъ, что-то съ нею дальше будетъ, и о томъ, что гдѣ она ни жила — вездѣ было плохо. Изъ видѣннаго ею во многихъ городахъ и даже здѣсь, въ Петербургѣ, она смутно понимала, что едва ли есть гдѣ на землѣ такой уголокъ, гдѣ бы хорошо и весело жилось. Но отчего это? Кто въ этомъ виноватъ? Она было подумала, что виноваты мужики тѣмъ, что пьянствуютъ и не берегутъ деньги, но въ жизни она видѣла совсѣмъ не то: она, трезвая женщина, начинала мало-по-малу приходить къ тому заключенію, что пьянство происходитъ не отъ баловства, а совсѣмъ отъ другой причины. Ея отецъ всегда пилъ по недѣлѣ послѣ того, какъ его наказывали розгами. Ея мужъ пилъ всегда послѣ ссоры съ начальствомъ. Въ вагонахъ мужики ѣздили трезвые—отчего же они въ столицѣ напились всѣ до-пьяна? И тутъ есть какая-нибудь причина. Какая же причина—Пелагея Прохоровна доискиваться не стала, потому что мысли ея приняли другой оборотъ. Ее теперь не удивляла ни грязь, ни вонь петербургскихъ улицъ, ни Артемьевна, ни эта Марья Ивановна постоялая изба; ее удивило то, какъ это бабы пошли на рынокъ продаваться? Правда, онѣ объяснили ей вскользь смыслъ этого слова, но зачѣмъ же именно продаваться, когда человекъ пришелъ въ Питеръ для того, чтобы нажить деньги? Нѣтъ ли въ этомъ словѣ нехорошаго чего-нибудь? Ахъ, какъ ей самой хотѣлось поскорѣй побывать на этомъ рынкѣ и узнать доподлинно суть дѣла. Да и неужели иначе нельзя найти работу?

Пелагея Прохоровна присѣла. Животъ болить;

въ избѣ душно. Солнце ярко освѣщаетъ дворъ. „Тутъ совсѣмъ окопѣшь! Нѣтъ, не утерплю я: пойду какъ-нибудь на этотъ рынокъ“.

Вошла хозяйка.

— Ну што, бѣлоручка?

— Огъ, не могу!

— Вижу я, ты очень нѣжнаго воспитанія. Вонъ у бабъ тоже животы болѣли, да онѣ пошли продаваться.

— Пойду и я. Далеко рынокъ-то этотъ?

— Ты бы еще до вечера пролежала: гляди, гдѣ солнце-то! А до рынка-то, пожалуй, часа полтора будетъ ходьбы... Што, у тебя, видно, много денегъ-то?

— Марья Ивановна... Напрасно ты обижаешь меня. Богъ съ тобой! Виновата ли я, что пища у насъ здѣсь нехорошая.

— Э-э! Ко всему надо привыкать. Подмети-ко лучше избу-то, чѣмъ такъ сидѣть. — И Марья Ивановна принесла изъ своей кухни метлу.

Пелагея Прохоровна начала мести, но хозяйка, посмотрѣвъ на нее, съ сердцемъ выхватила метлу и сказала:

— Я такъ и поняла, что ты бѣлоручка! А тоже хочешь въ людяхъ жить. Поди, ложись лучше на свое мѣсто.

Пелагея Прохоровна не стала возражать и легла. Хозяйка тщательно вымела полъ, сырсула его водой и опять вымела. Послѣ этой операціи она сходила за кипяткомъ, который принесла въ большомъ мѣдномъ, почти черномъ чайникѣ, и усѣлась въ избѣ пить кофе, сѣвши за столъ на маленькую скамеечку, которую она притащила изъ кухни.

— Хочешь кофею? — спросила она Пелагеею Прохоровну.

— Покорно благодарю; я его отродясь не пила.

— Ты выпей, легче будетъ.

— Нѣтъ, не хочу я этого поила.

— А здѣсь ты должна привыкать ко всему. Если ты поступишь въ кухарки или прачки, тебѣ будутъ давать кофею. Куда хочешь дѣвай; таково ужъ здѣсь положенье.

Пелагея Прохоровна попросила Марью Ивановну разъяснить ей, чтó значитъ ходить на Никольскій рынокъ продаваться. Марья Ивановна, находясь въ хорошемъ настроеніи и имѣя свободное время, объяснила подробно этотъ вопросъ. Въ чемъ дѣло — читателямъ скоро узнаютъ.

Солнышко манитъ на улицу; въ избѣ душно, несмотря даже и на то, что Марья Ивановна отперла дверь въ сѣни; безъ дѣла скучно. Вышла Пелагея Прохоровна во дворъ, присѣла на крылечко, солнце такъ и палитъ, какъ изъ печи; во дворѣ душно, тяжело дышется, въ горлѣ першить.

„Нѣтъ, у насъ не въ примѣръ лучше. У насъ если жарко — окно отворимъ, и ничѣмъ не пахнетъ. А если на улицѣ жарко, скоронимся куда-нибудь въ сторону; здѣсь и скорониться некуда, и пахнетъ нехорошо, и въ горлѣ першить“, думала Пелагея Прохоровна, и ушла въ избу.

Марья Ивановна, мѣя чашку, напѣвала духов-

ныя пѣсни. Послѣ этого она, не торопясь, одѣлась въ своей кухнѣ.

— Ты никуда не пойдешь? — спросила она Пелагеею Прохоровну.

— Куда я пойду? Кабы я въ смѣлахъ!

— Ну, такъ запрась на крылечко, а я пойду на желѣзную дорогу.

— Зачѣмъ?

— Надо мужиковъ зазвать.

— И ты каждый день такъ ходишь!

— Какъ же! Подъ лежащій камень вода не побѣжить, говоритъ пословица. — И Марья Ивановна вышла.

„Какая она добрая и старательная. Вотъ бы мнѣ до такой жизни дожить“.

Но Пелагея Прохоровна не понимала того, какъ нелегко Марьѣ Ивановнѣ достаются мѣдныя гривны. Она не знала того, что если Марья Ивановна не пойдетъ сегодня на желѣзную дорогу, да не будетъ тамъ по приѣздѣ поѣзда заманивать честнымъ и нечестнымъ образомъ приѣзжающихъ крестьянъ, то съ желѣзной дороги къ ней придетъ развѣ или уже останавливавшійся у нея, или заблудившійся, случайно забредшій сюда горемыка; а на этихъ людей, чтó ночевали сегодня, надежда плохая, потому что половина изъ нихъ можетъ быть поступить на мѣсто, а другая половина разбредется по другимъ постояннымъ дворамъ, которые ближе къ Сѣнной площади.

Пришла Марья Ивановна и привела съ собой пятнадцать мужчинъ и шесть женщинъ. Мужчины и женщины галдѣли; но на лицѣ Марьи Ивановны выражалось неудовольствіе. И не мудрено: сегодня ей меньше вчерашняго пришлось набрать народа.

— Никто не бывалъ? — спросила она сердито Пелагеею Прохоровну.

— Нѣтъ.

— Вотъ што: ты бы шла въ другое мѣсто, — сказала она шопотомъ на ухо Пелагеей Прохоровнѣ.

— Зачѣмъ?

— Кто те знаетъ, какая у тебя болѣзнь? Мо- жетъ, холера.

Пелагея Прохоровна поблѣднѣла. Хозяйка ушла. Женщины стали знакомиться съ Пелагеею Прохоровной. Изъ нихъ двѣ бывали въ Петербургѣ и утѣшили Пелагеею Прохоровну тѣмъ, что можетъ къ завтраму болѣзнь пройдетъ. Онѣ думали такъ потому, что въ Петербургѣ съ непривычки почти у всѣхъ бабъ бываетъ эта болѣзнь въ первый день по приѣздѣ, если только онѣ напьются нитерской воды или пойдятъ чего-нибудь соленаго.

Въ избѣ происходило то же самое, чтó и вчера: мужчины и женщины сидѣли отдѣльно; мужчины курили, выходили, проходили на-веселѣ, женщины отъ скуки часто ѣли или черный хлѣбъ, или бул- ки; у одной даже оказался розанчикъ. Къ вечеру всѣ женщины переговорили между собой много, успѣли раза два поссориться; мужчины успѣли къ вечеру выпить, кто по косушкѣ, кто по двѣ ко- сушки, и накурли, какъ вчера. Къ одиннадцати часамъ уснули всѣ, кромѣ Пелагеи Прохоровны.

которая, лежа въ углу, вертѣлась съ боку на бокъ, что ужасно безпокоило добрую Марью Ивановну.

— Ты не спишь? — спросила она тихонько Пелагею Прохоровну, подходя къ ней.

— Нѣтъ.

Хозяйка вышла изъ избы и немного погодя привела городского.

— Ну, што жъ я сдѣлаю? — ворчалъ сквозь зубы городской.

— Отправь ее въ больницу.

— Не могу. Вѣдь у нея нѣтъ адреснаго билета?

— Одинъ паспортъ.

— Ну, значитъ, безъ адреснаго и днемъ въ больницу не примутъ.

— Што же дѣлать? А если у нея холера?

— Если будетъ худо, завтра объяви въ кварталѣ. Тогда посмотримъ.

— Боже ты мой! Вотъ наказанье-то!

Городовой вышелъ. Хозяйка ушла въ свою кухню, сѣла на кровать и задумалась.

— Слышите, ребята, — холера! — проговорилъ одинъ крестьянинъ.

— Што ты врешь! — сказалъ другой, проснувшись отъ слова холера.

— Эй-Богу! Сейчасъ полиція приходила и объявила хозяйкѣ, што если помрутъ мужики — объявить.

— Господь съ нами! Да гдѣ жъ эта холера! — говорили проснувшіеся крестьяне.

— Што вы его, дурака, слушаете. Онъ напалъ вчера и бредитъ.

— Своими ушами слышалъ — провалиться!

— То-то, вчера едва на ногахъ держался! Спалъ бы лучше, а не мутилъ народъ.

Женщины тоже проснулись, слышали весь этотъ разговоръ и трусили не на шутку, но больше всѣхъ трусили Пелагея Прохоровна и хозяйка: первая трусила не потому, чтобы боялась холеры или смерти, — нѣтъ: она боялась, чтобы женщины не подумали, что холера съ ней, и тогда ей не поспать завтра на Никольскій рынокъ, что ее пожалуй въ самый дѣлъ свезутъ въ полицію, тогда какъ съ ней просто слабость, маленькая головная боль и бессонница, а животъ пересталъ болѣть съ тѣхъ поръ, какъ она выпила осыушку перцовки вечеромъ; хозяйка по простотѣ своей думала, что съ Мокроносовой дѣйствительно холера. А умри-ка у нея кто-нибудь, — хлопотъ и возни не оберешься!

Женщины не могли уснуть до утра. Онѣ рассказывали разные ужасы изъ деревенской, сельской и городской жизни; говорили о покойникахъ, о колдунахъ, о томъ, какъ вѣдъмы новорожденныхъ ребятъ въ трубу вытаскиваютъ, и пр.

Утромъ Пелагея Прохоровна ходила по избѣ бодро. Хозяйка подошла къ ней и спросила шопотомъ:

— Прошло?

— Слава Богу. Перцовка, знатъ-то, помогла.

Немного погодя послѣ этого женщины, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна, вышли на набережную Лиговскаго канала со своими узелками. За

ними вышли и мужчины. Мужчины и женщины столпились въ кучки.

— Куда идти-то? — спросилъ одинъ мужчина товарищей.

— Пойдемте по Глазовской. Я тамъ робилъ... Оттуда Сѣннанъ-то близко, — проговорилъ мужчина въ толпѣ.

— Пойдемте прямой дорогой по Невскому, да по Садовой, — сказала одна женщина другимъ женщинамъ.

— Веди! только чтобы къ мѣсту...

Бывалая женщина тронулась, за ней пошли остальные, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна. Когда онѣ вышли на уголъ Невскаго и Лиговскаго канала, Степанида Антиповна (такъ звали бывалую женщину) взглянула на часы на башнѣ, устроенной надъ зданіемъ московской желѣзной дороги. Стрѣлка показывала половину шестого часа.

— Какъ разъ впору: половина шестого. Покуда идемъ, да што... — проговорила Степанида Антиповна.

Женщины тоже поглядѣли на башню и поинтересовались надъ тѣмъ, какъ это часы высоко придѣланы, да еще такъ, что ихъ издали видно!

Солнце уже высоко стояло и грѣло слегка. Легкій вѣтерокъ съ моря освежалъ воздухъ. Теперь дышалось легче оттого, что пылъ къ этому времени осѣла на строенія и мостовыя. Въ это раннее время дѣятельности и движенія въ Петербургѣ мало. На Невскомъ пусто; изрѣдка развѣтъ прѣдетъ карета или извозчикъ съ загулявшими кутилой. Извозчики, сидя въ пролеткахъ, дремлютъ и поднимаютъ головы тогда, когда мимо нихъ пройдетъ извозчикъ или съ сѣдокомъ, или безъ сѣдока. Мало отитъ на перекресткахъ городскихъ. Заперты магазины, но уже отворены молочныя лавки и питейныя заведенія, въ которыхъ заахаживаютъ и изъ которыхъ уже выходятъ: изъ первыхъ — женщины-кухарки, женщины-прачки, ливен; изъ вторыхъ — мастеровые, подмастерья, рабочіе. Дворники въ розовыхъ вязаныхъ фуфайкахъ, или просто въ синевой рубашкѣ и черной шляпкѣ, въ фуражкѣ и съ фартукомъ метутъ мостовыя, панели. То и дѣло со всѣхъ сторонъ стекаются на Невскій разныя рабочіе. Въ одномъ мѣстѣ уже выбрасываютъ изъ ямы черную вонючую землю, размокшую, какъ грязь. Въ другомъ мѣстѣ, по лѣвую сторону Невскаго, десять человѣкъ рабочихъ бросили на недоконченную мостовую два лома, мѣшечки съ гѣбкомъ, молотки и стали снимать, кто рваные полушубки, кто поддевки. Въ это время дремлютъ на мостахъ торгаша булокъ, печеныхъ яицъ, кренделей, яблоковъ и разныхъ разностей; они почти круглый годъ живутъ около своихъ лавочекъ; въ это время не гремятъ мостовыя, не кричатъ мальчики со спичками, торгаша яблокъ, рыбы и т. п., только откуда-то слышится свистъ, какъ отъ локомотива или какъ изъ фабричной трубы.

Женщины шли и удивлялись. Ихъ все удивляло: громадные дома, построенные вплотную, и множество выѣсокъ на нихъ, и то, что въ каждомъ дошѣ, исключая немногихъ, весь нижній этажъ за-

нять лавками, и зеркальные стекла въ окнахъ, и большое число рабочихъ, то и дѣло выходящихъ изъ улицъ, или идущихъ по Невскому куда-то впередъ, рельсы посреди улицы. И говорили онѣ между собой: „Нѣтъ у насъ лучше Питера города; и сколько, должно быть, въ немъ господъ живетъ! и неужели купцы могутъ торговать выгодно, если въ каждомъ домѣ нѣсколько лавокъ; и хорошо бы пожить въ верхнемъ этажѣ: все бы тогда увидѣть и все бы сидѣть у окна и глядѣть на улицу“. И чѣмъ дальше онѣ шли, тѣмъ больше имъ нравился Петербургъ; онѣ не чувствовали усталости и каждой казались теперь противными родныя мѣста, деревни, села, города, каждой хотѣлось жить въ Петербургѣ.

— Тышу рублей давай теперь мнѣ, не пойду отселева... Эй, кабы Власть Васильичъ надоумился прѣхать сюда. Озолотѣлъ-бы онъ. А дядя-дурачекъ зажилъ бы припѣваючи: ему бы только глазами взглянуть на Питеръ, онъ бы выдумалъ штуку... Да будь у меня деньги, я, ей-Богу, завела бы постоялый дворъ... А што эти мужики говорили, што здѣсь худо, — враки! Дѣла здѣсь, должно быть, много. Вѣдь вонъ сколько насъ на машинѣ прѣхало и всѣ разошлись. Съ постоялой избы сколько ушло и не воротились! И говорить, каждый день столько народу прѣзжаютъ... Да, хорошо, должно быть, здѣсь. Но кто-же живетъ въ этихъ домахъ? Неужели все господа?... Такъ думала Пелагея Прохоровна и спросила объ этомъ Степаниду Антиповну.

— Все господа и купцы... Живутъ больше такъ: у каждаго своя комната. Вотъ въ этомъ дому, я думаю, человѣкъ тысяча живетъ.

Женщины удивились.

— Народу здѣсь страсть! Говорятъ, тысячи-тысячъ. Полиція каждый день ведетъ счетъ, никакъ не можетъ сосчитать.

Женщины еще больше удивлялись.

Такъ онѣ дошли до Сѣнной. На Сѣнной торгашки уже отпирали лавки, мужчины и женщины, большою частью пожилыхъ лѣтъ, катили сюда изъ разныхъ улицъ тележки съ разными разностями и останавливались каждый на своемъ мѣстѣ. Мало-помалу Сѣнная площадь наполнялась торговыми людьми, женщины стали предлагать нашимъ женщинамъ яблокъ, нитокъ, катушекъ, тесемокъ, стали появляться женщины въ салопчикахъ и черныхъ суконныхъ пальто съ рогожными кулками въ видѣ сумочекъ. Но не это торговое движеніе, только что начинающееся, привлекло все вниманіе нашихъ женщинъ, а то, что въ углу между церковью и Полтавскими переулкомъ толпилось до двухъ сотъ крестьянъ; около нихъ стояло нѣсколько женщинъ.

— Подойдите къ мужикамъ: нѣтъ-ли нашихъ, — сказала Степанида Антиповна и повернула къ толпѣ.

„Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ-ли тутъ дяди, али Васьки Коровяева. Можетъ, они съ желѣзной-то и пошли сюда. Вотъ бы обрадовались-то!“, подумала Пелагея Прохоровна.

— Это и есть Никольскій? — спросила она Степаниду Антиповну.

— Еще не дошли. Это Сѣнная прозывается, — проговорила Степанида Антиповна.

Мужчины галдѣли. Женщины подошли къ нимъ, стали заглядывать; ни одного нѣтъ знакомаго; даже и тѣхъ нѣтъ, которые ночевали въ одной съ ними избѣ.

— Еще хвастались, а вотъ мы скорѣе ихъ дошли, — сказала Степанида Антиповна.

— Што жъ они тутъ стоятъ? — спросила Пелагея Прохоровна.

— А нанимаются. Этотъ рынокъ мужской.

Пелагея Прохоровна придвинулась ближе къ мужчинамъ. Въ срединѣ ихъ стоялъ высокій здоровый мужчина въ фуражкѣ и темно-синемъ суконномъ кафтанѣ. Онъ говорилъ:

— Такъ ежели тридцать копѣекъ...

— Несподручно, — загадѣлъ народъ.

— Харчи чь? — спросилъ молодой мужчина.

— Харчи ваши. Такъ пожалуй тридцать пять.

— Нѣтъ... Такъ не годится, — говорилъ народъ и отошелъ отъ него, потомъ разсыпался по углу площади.

Стали собираться въ кучки, въ которыхъ говорили:

— Какая, онъ говорить, работа?

— Полы передѣлывать, стѣны штукатурить.

— Далеко отселева?

— Сколько человѣкъ-то?

— Нады спросить.

Кучки опять разсыпались, подошли къ подрядчику, окружили его.

— Сколько требуется народу?

— Пятьдесятъ человѣкъ, потому кто ежели портить только, тово вонъ. Ну, такъ какъ?

— Ну, а какъ идти?

— Какъ хотите, можно и на машинѣ. Отсюда въ Царское всего четвертакъ стоитъ.

— Пойдите, бабы, кабы не опоздать, — сказала вдругъ Степанида Антиповна и пошла.

Женщины тронулись. Прошли Сѣнную, перешли Вознесенскій проспектъ. Впереди и сзади нашихъ женщинъ шли тоже женщины, по пяти, по двѣ и даже въ одиночку. Сердце забилось сильнѣе у Пелагеи Прохоровны. „Продаваться!“ подумала она. „Что-то будетъ, что-то будетъ?..“

Вотъ и площадь. По лѣвую сторону каменные лавки, зданіе, похожее на гостинный дворъ, съ поваломъ, въ которомъ устроены лавки, которыя тоже отворяютъ торгашки, а нѣкоторые уже вывѣшиваютъ на двери веревки, бичевки, шлеи, дуги съ колокольцами и безъ колокольцевъ. Впереди отъ Старо-Никольскаго моста стоитъ нѣсколько женщинъ съ узелками.

Поравнявшись съ соборомъ, наши женщины усердно помолились на него и потомъ подошли къ тѣмъ женщинамъ, оглядѣли ихъ, поклонились имъ; тѣ тоже оглядѣли вновь пришедшихъ и слегка кивнули головами. Пришедшія остановились.

— Вы подальше отъ насъ! — сказала одна изъ

лодая женщина изъ прежде пришедшихъ и тронула за руку Степаниду Антиповну, желая ее отвести.

— Это почему? — спросила сердито Степанида Антиповна тронувшую ее женщину.

— Потому, ты намъ не компанья.

— Я тебѣ покажу компанью... Вотъ и видно, что изъ новенькихъ.

— Какъ бы не такъ! Вотъ тебя такъ и по облику видно, што ты калужская луковца.

— Ахъ ты, подлая! Можетъ, ты калужская-то, а я вовсе не калужская, а питерская.

— Оно и замѣтно.

— Двиньтесь, бабы, плотнѣе, — крикнула храбро Степанида Антиповна своимъ одноночлежницамъ и толкнула назойливую бабу.

Баба разсвѣтила, обозвала Степаниду Антиповну воровкой. Женщины заголосили и едва не вступили въ рукопашную, но къ нимъ подошелъ городской, стоявшій доселѣ, какъ статуя. Онъ подошелъ медленно, какъ-будто каждый его шагъ стоитъ большихъ денегъ, остановился противъ женщинъ и тупо-флегматически сталъ смотрѣть на нихъ. Степанида Антиповна и ея противница двинулись къ городскому, за ними двинулись и женщины.

— Она меня обозвала! — закричала Степанида Антиповна.

— Она воровка... Въ узлу у нея воровскія вещи.

— Ее надо за это...

— Кто ты есть такая, позволь тебя спросить? Ты не разъ въ части сиживала.

— Ну-ну!! Молчать! — проворилъ начальнически тономъ городской.

Женщины заголосили, но городской началъ легонько толкать ихъ, говоря:

— Што на дорогу стали! Становитесь въ уголъ. Пошли, пошли!! Я васъ!

Женщины попятались. Городской пошелъ дальше и сталъ распекать женщинъ, продающихъ хлѣбъ, за то, что онѣ выдвинули столы очень близко къ дорогѣ.

Женщинъ прибывало больше и больше. Онѣ приходили или кучками, или въ одиночку, большею частью съ Сѣнной площади. Приходили сюда и отъ церкви Покрова, и отъ Фонтанки по Крюкову каналу, но это были женщины, отошедшія отъ мѣстъ въ Петербургѣ; онѣ приходили даже безъ узелковъ, — значить, у нихъ были знакомые, у которыхъ онѣ оставили свои вещи. Всѣ вновь пришедшія протискивались въ кучу или становились отдѣльно, недалеко отъ столиковъ, или пристроивались къ чугунной рѣшеткѣ въ уголъ при впаденіи Екатерининскаго канала въ Крюковъ каналъ.

Нѣкоторыя изъ нихъ нашли знакомыхъ.

— И ты здѣсь? — спросила женщина Пелагею Прохоровну, дергая за рукавъ.

Та обернулась, посмотрѣла на женщину: гдѣ-то видѣла, а не припомнить.

— Не узнала? А узнала-ли ты Питеръ? — спросила снова женщина, улыбаясь.

— Ты у той, что съ кабатчиномъ ругается? — спросила Пелагея Прохоровна женщину.

— Будь она!.. Штобъ ей... Жаль, што она не подавилась кофеемъ.

— Што такъ?

— Да такъ! Всю ночь спать не дали. Сперва къ ней любовникъ пришелъ, быть ее зачалъ, насъ сталъ гнать. Просто бѣда! Спасибо, мужики защитили: связали ея любовника. Потомъ полиція. „Подавайте паспорта!“ Ну, подали; записалъ всѣхъ и паспорта возвратилъ... Всю ночь не спали.

— А вчера гдѣ спали?

— Тутъ на Сѣнной... Тоже не приведи Царица Небесная! Если все говорить, што тамъ дѣлается, волосы дыбомъ встанутъ.

И женщина отошла къ другой, знакомой ей женщинѣ.

Пелагея Прохоровна подошла къ Крюкову каналу и стала смотрѣть на медленно подвигающіяся съ Фонтанки барки съ кирпичемъ, углемъ и дровами. Интереснаго въ этомъ для нея было не много, и она присѣла на напелъ, устроенную около рѣшетки. Къ ней подошла одна изъ женщинъ, ночевавшихъ съ нею первую ночь.

— Здравствуй. А мы думали, ты ужъ померла.

— А што?

— Да вотъ на томъ постояломъ, гдѣ мы сегодня ночевали, двоихъ мужиковъ въ больницу взяли, потому, говорятъ, съ ними холера. И холера эта, говорить, отъ огурцовъ да отъ водки приключилась съ ними.

— Господи помилуй!

— Меня тоже хозяйка хотѣла отправить въ больницу и полицейскаго призывала.

— Неужели?

Въ это время Пелагею Прохоровну и ея знакомую окружило нѣсколько женщинъ, которыя тоже удивлялись и были напуганы холерой на постоянныхъ дворахъ.

— Какъ же ты отдѣлалась-то?

— Да такъ! Вчера весь день пролежала...

— Ну, значить, холера!

— Да у те поди и теперь холера.

— Отойдемте, бабы! — проговорили женщины, но прочь не шли, потому что ихъ интересовало то, какъ холерная женщина отдѣлалась отъ полиціи.

— Погляжу я на васъ, такъ у васъ ума-то и на столько нѣту! — Пелагея Прохоровна показала на половину ногтя на мизинцѣ. — Еслибы я была нездорова, могла ли бы придти сюда? Могла ли бы я быть въ полномъ разсудкѣ? Ну, подумали ли вы о томъ, што сказали, пустые вы головы!

— Кто те знаетъ. Еслибы ты не сидѣла, еще можно вѣрить... — проговорила бойко и неизвестно почему улыбаясь женщина безъ узла и съ красными пятнами на лицѣ.

— Если тебѣ хочется на мое мѣсто сѣсть — изволь! — почти крикнула Пелагея Прохоровна взволнованнымъ голосомъ, встала, пошла къ Екатерининскому каналу, уперлась на перила и задумалась.

Женщины въ недоумѣніи поглядѣли другъ на друга нѣсколько секундъ.

— Вострая! — сказала одна изъ нихъ.

- Изъ самой Сибири, говорить, пріѣхала.
- Не бѣглая ли какая?
- Я паспортъ видѣла.
- Паспортъ и украсть можно.

Женщины говорили о Пелагеѣ Прохоровѣ и нѣтъ десяти, говорили громко, стараясь вызвать на ссору Пелагею Прохоровну; но видя, что она не обращаетъ на нихъ вниманія, разошлись отъ Крюкова канала.

У Николы зазвонили къ обѣднѣ. Въ это время Большая Садовая улица уже не походила на ту, какою она была утромъ. Впередъ и обратно по ней то и дѣло ѣхали извозчики съ сѣдоками; то и дѣло ломовыя лошади несли или вѣшки съ мукой, кули съ куделей, хлопчатой бумагой, желѣзо, плохонькую небель, за которою шли старушка въ худенькомъ салончикѣ и капоръ на головѣ, или молодая женщина въ черномъ суконномъ пальто съ костяными четырехугольными и шестиугольными пуговицами; ѣхали порожнія кареты, порожнія пролетки съ важно сидящими въ нихъ извозчиками, предлагающими отъ скуки прокатить пѣшеходовъ, преимущественно людей бѣдно одѣтыхъ, которыхъ теперь шло впередъ и обратно очень много. Всѣ эти пѣшеходы что-нибудь несли въ рукахъ и шли скоро. Вотъ пріѣхала городская карета, запряженная четверкой лошадей, едва передвигающихъ ноги; на передкѣ стоитъ кондукторъ съ свѣтлыми пуговицами, въ фуражкѣ съ какимъ-то значкомъ и съ кожанымъ кошелькомъ на боку. Карета остановилась противъ Николы и изъ нея вышло человѣкъ девять мужчинъ и женщинъ, изъ коихъ половина, по одеждѣ, принадлежала къ порядочному сословию, а другая половина — къ голодающему классу. Вотъ зашелъ гдѣ-то крѣпко колокольчикъ, и немного погодя показался вагонъ, который тащили по рельсамъ двѣ лошади. На немъ и въ немъ сидѣли люди; вверху мужички, приказчики; внутри — господа, купцы и дамы. На передкѣ и на задкѣ этой кареты стояло по кондуктору въ форменной одеждѣ. Лошади остановились, немного не дойдя до diligence. Въ лавкахъ не было тоже пусто: тамъ покупали, кто дугу, кто деготь, кто овса и т. п. Всѣ столы были заняты торговцами и торговками, но женщины здѣсь превосходили своимъ количествомъ мужички. На столахъ стояли огромные чайники съ какимъ-то кислосладкимъ теплымъ пойломъ, называемымъ медомъ, и стеклянные кувшины съ квасомъ изъ клюквы; лежали печенки, рубцы, яйца, тешка, черный и бѣлый хлѣбъ. По улицѣ мимо лавокъ шли торгаша съ яблоками, апельсинами и лимонами, съ сахарнымъ мороженымъ, ребята со спичками. Всѣ эти люди громко, почти во все горло кричали и предлагали встрѣчнымъ купить ихъ товаръ.

Женщинъ теперь было въ углу между Крюковымъ и Екатерининскимъ каналами до двухъ-сотъ. Онѣ разсыпались по этому углу такъ, что городской то и дѣло просилъ ихъ попятиться съ дороги. Тутъ были и чухонки, лепечущія на своемъ языкѣ и стояшія отъ русскихъ особнякомъ, и нѣмки въ худенькихъ салончикахъ и чепчикахъ на головѣхъ,

и еврейки; тутъ была даже дѣвочка годовъ шести, босая, съ незакрытой ничѣмъ головой и съ маленькою плѣшью на темени, стоящая около пожилой женщины.

Однѣ изъ женщинъ галдятъ, ссорятся отъ скуки. стараются своимъ крикомъ ослепить другихъ и указать свою толковость; другія молчатъ. На всѣхъ лицахъ выражается какое-то нетерпѣніе и страсть; многія смотрятъ на образъ Николая-чудотворца, на церковь и вздыхаютъ. Вонъ одна молодая женщина, прислонившись къ периламъ, плачетъ. Она старается не плакать, но не можетъ удержатъ слезъ. Вонъ пожилая женщина, съ отчаяніемъ въ лицѣ, смотритъ въ каналъ, глаза ея точно приковались къ одному мѣсту. Вотъ дѣвушка годовъ семнадцати, сидя на мостовой, уперла голову обѣими руками. Другія стоятъ тоже съ невеселыми лицами, часто вздыхаютъ и смотрятъ большею частью на одно мѣсто, какъ бы что-то обдумывая. Ихъ не интересуютъ разговоры, брань и ссоры другихъ женщинъ, еще повидавшему не испытавшихъ петербургской жизни; онѣ сосредоточились сами въ себѣ, точно ихъ горе очень велико и впереди не видится ничего хорошаго.

Пелагея Прохоровна замѣтила все это, и сердце ея билось не очень-то радостно. Ей хотѣлось заговорить съ молчаливыми и убитыми горемъ женщинами, но она по себѣ знала, какъ тяжело человѣку дѣлается въ то время, когда его спрашиваютъ. Но у женщинъ любопытство и сочувствіе къ женщинамъ велико: ее такъ и порывало подойти къ дѣвушкѣ, сидѣвшей на мостовой.

— Што это какъ долго никого нѣту? — проговорила она, не рѣшаясь: сѣсть или нѣтъ.

Дѣвушка поглядѣла на Пелагею Прохоровну, но ничего не сказала.

— Ты бы лучше къ рѣчкѣ стала — вѣтеркомъ бы продуло.

— Ничего.

— Ты здѣшная?

— А ты?

— Я издалека. — И Пелагея Прохоровна рассказала, откуда она, и пріѣхала къ дѣвушкѣ.

— Ты, стало быть, еще не знаешь петербургской жизни.

— Гдѣ мнѣ знать? Што будетъ, то и будь. Вѣтъ ужъ не будетъ же хуже того, што было!

— А было и худое развѣ?

— Што и говорить. Я ужъ рѣшилась молчать, потому што было, то прошло. А я по облику твоему замѣчаю и по рѣчи, што ты не изъ мужичекъ... Правду я говорю?

Дѣвушка закрыла руками лицо.

Вдругъ всѣ женщины подвинулись къ дорогѣ; сидѣвшія вскочили и побѣжали къ толпѣ; стоявшія у каналовъ тоже побѣжали, съ яростью толкая другъ друга. Пелагея Прохоровна и дѣвушка встали и пошли.

Въ серединѣ женщинъ стояла пожилая, толстая барыня въ бѣлой шляпкѣ и въ драпономъ пальто.

— А умѣешь ли ты кушанья готовить? — спрашивала барыня одну женщину въ то время, какъ Пелагея Прохоровна и дѣвушка подошли къ толпѣ.



— Какъ же... я у хорошихъ господъ жила.

— Вретъ она! Она только-что изъ деревни приѣхавши. Вы меня возьмите, а только сегодня отъ мѣста отошла.—проговорила другая женщина.

— Вретъ! вретъ!

— Она табакъ нюхаетъ, — кричали со всѣхъ сторонъ женщины.

Барыня была въ затрудненіи: женщинъ много, всѣмъ хочется въ кушарки, а какую изъ нихъ взять? Пожалуй возьмешь такую, которая ничего и дѣлать не умѣетъ, пожалуй попадетъ воровка.

Пелагея Прохоровна протискалась, употребляя въ дѣло локти, такъ что женщины отскакивали и въ свою очередь колотили ее въ спину.

— Возьмите меня. Я сама своимъ хозяйствомъ жила, нахлѣбниковъ держала, — проговорила она, остановившись передъ барыней.

Барыня улыбнулась. Вѣроятно ей не вѣрилось, чтобы деревенская баба могла гдѣ-то держать нахлѣбниковъ.

— Будто?—спросила барыня.

— Ей-Богу.

— Не вѣрьте ей, она полоумная, — кричали женщины.

Пелагея Прохоровна обернулась, и отъ злобы, не помня, что дѣлаетъ, плюнула въ ту сторону, гдѣ говорили про нее.

— Ну, какъ же ты не полоумная!—кричали со всѣхъ сторонъ.

— Нѣтъ, я тебя не возьму, ты очень молода.

Пелагея Прохоровна отошла, думая: хорошо, што предупредить. И она стала искать глазами ту пожилую женщину, что съ отчаяніемъ смотрѣла въ каналь. Но эта женщина уже стояла передъ барыней и плакала.

— Ты водку пьешь?—спросила ее барыня.

Пожилая женщина обернулась къ церкви, перекрестилась и сказала:

— Хотя разъ замѣтите, такъ вотъ Николай угодинокъ свидѣтель.

— Она горькая пьяница, — сказала какая-то женщина.

— Какъ вамъ не стыдно! Мало, видно, вы горя испытали!—крикнула Пелагея Прохоровна.

— А ты што пристаешь?

— Это она съ того все еще, што ее по нашей милости не взяли, — кричали женщины.

Барыня въ это время разглядывала паспортъ и адресный билетъ пожилой женщины.

— Ты въ больницѣ была?

— Да... Только вышла изъ больницы и пошла къ дочкѣ, пятнадцатый ей годокъ шелъ, она тамъ на Литевой золотомъ шила у французенки. Прихожу—говорятъ, померши полторы недѣли.

— Ну, такъ согласна ты на мои условія: жалованья два съ полтиной, фунтъ кофею, то есть полфунта кофею и полфунта цикорю, и фунтъ сахару?

— А жильцы есть?

— Да, есть. Ихъ нужно и сапоги, и платья вычистить, и въ лавочку сходить...

— Положите три съ полтиной.

— Нѣтъ, два съ полтиной. Жильцы тоже будутъ давать къ праздникамъ.

— Я согласна!—крикнула другая женщина.

Женщины захохотали; барыня тоже улыбнулась.

— Такъ какъ?—спросила барыня первую пожилую женщину.

Та подумала.

— Не прибавите жалованья-то?—спросила она

— Нѣтъ.

— Да вѣдь работы много!

— Какъ знаешь. И вась много.

Женщина согласилась. Барыня взяла ее паспортъ и адресный билетъ и велѣла приходить въ такую-то улицу, въ такой-то домъ и въ такой-то номеръ квартиры, а сама уѣхала съ извозчикомъ.

— Хорошъ ты, видно, сонъ видѣла сегодня, — сказала пожилой женщинѣ одна женщина.

— У вась, видно, не было такихъ дѣтей, какъ у меня! — сказала съ презрѣніемъ пожилая женщина и пошла.

Къ ней подошла пожилая женщина въ салопчикѣ съ дѣвочкой.

— Голубушка! у тебя, говоришь, дочка умерла; возьми мою—проговорила она.

— Куда же мнѣ съ ней?

— Да я даромъ тебѣ ее даю, только корми да къ дѣлу приучай.

— Сама знаешь, што кухарокъ не держать съ ребятами.

И нанятая женщина пошла торопливо.

— Заважничалась!—прошипѣла отъ злобы пожилая женщина въ салопчикѣ и неизвестно за что ударила по затылку дѣвочку. Дѣвочка заплакала.

За что ты дѣвчонку-то бьешь?—крикнула на нее женщина.

— Не твое дѣло: свое бью.

На пожилую женщину напала половина женщинъ: онѣ стали ее стыдить за то во-первыхъ, что она бьетъ маленькую дѣвочку, и во-вторыхъ за то, что хочетъ эдакую маленькую въ работу отдать.

— Я ее продаю, потому что сама ищу мѣста и мнѣ самой нечего ѣсть, — оправдывалась мать дѣвочки.

Между тѣмъ вѣтеръ вѣпчалъ, по небу плыли тучи, и мало-по-малу совсѣмъ закрыли солнце. Женщины проголодались и стали покупать ситный, печенку или яйца. Пелагея Прохоровна купила фунтъ ситнаго и фунтъ печенки. Съ этими яствами она подошла къ дѣвушкѣ, съ которой она прежде вступила въ разговоръ, и спросила, какъ ее зовутъ. Та сказала, что ее зовутъ Евгенія Тимофеевна.

— Не хочешь ли, Евгенія Тимофеевна?

И Пелагея Прохоровна отломилла половину куска ситнаго и половину печенки, и дала ихъ Евгеніи Тимофеевнѣ. Та не брала.

— Я не хочу.

— Полно-ка. У тебя есть ли деньги-то?

— Есть.

— Ну, не церемонься! Я сама была въ нуждѣ, знаю.

— А если вамъ самимъ нечего будетъ ѣсть?—

сказала Евгения Тимофеевна и взяла предложенные ей яства.

— А руки-то на что Богъ далъ?

— Я тоже прежде думала, да вотъ цѣлый мѣсяцъ ищу мѣста. Ходила я и въ хваленое общество — говорить, мы принимаемъ по рекомендаціямъ. Принесите, говорятъ, письмо отъ сіятельнаго человека — примемъ. Ну, я было и пошла къ одному сіятельному лицу, бывшему въ нашей губерніи губернаторомъ. Цѣлую недѣлю я ходила — не допуская. А я все письма ему оставляла. Вѣроятно письма ему не передавали. Наконецъ встрѣтила его у подъезда и говорю: я вашему-ству цѣлую недѣлю передавала письма черезъ швейцара. — Ничего, говорятъ, я не знаю. Приходите туда-то. — Я туда; кое-какъ допустили. — Кто, говорятъ, вы такая? — Я сказала. — А! говорятъ, знаю. Что же вамъ угодно, сударыня? — Я и прошу у него рекомендательное письмо. — Не могу, говорятъ, дать, потому что вы нехорошаго поведенія. Вы не съ хорошей стороны уже успѣли зарекомендовать себя въ провинціи; мнѣ, говорятъ, объ этомъ ваша тетюшка писала. — Такъ я и ушла ни съ чѣмъ. Потому я какъ-то увидѣла въ газетѣ объявленіе: нужна гувернантка. Я прихожу. Квартира отдѣлана великолѣпно. Приглашаютъ меня въ кабинетъ. Въ креслѣ сидитъ баринъ. Пригласилъ сѣсть меня, расспросилъ, кто я такая. Часа два мы съ нимъ толковали; я спросила, велики ли у него дѣти? Онъ и говоритъ: у меня дѣтей нѣтъ, а мнѣ, говорятъ, гувернантка нужна для себя...

— Какъ это такъ? — перебила Евгению Тимофеевну Пелагея Прохоровна.

— Я тоже удивилась. Онъ говоритъ: не удивляйтесь. Я вдовѣ и мнѣ нужна женщина непрѣменно развѣтная; я бы, говорятъ, ее сдѣлала хозяйкой въ моей квартирѣ; однимъ словомъ, мнѣ, говорятъ, нужна молодая, красивая женщина для того, чтобы жить съ ней гражданскимъ бракомъ. Ну, я конечно не согласилась. Баринъ извинялся, далъ мнѣ на бѣдность денегъ, но я его денегъ не взяла. Конечно такіе случаи рѣдки, но со мной по крайней мѣрѣ случилось такъ.

Женщины опять заволиновались, стали собираться въ одну кучу. Пелагея Прохоровна съ Евгенией Тимофеевной тоже подошли. Еврейка нанимала кухарку и давала только рубль жалованья съ тѣмъ, что кухарка должна и бѣлье стирать. Поэтому охотницъ нашлось мало.

Только-что ушла еврейка, къ женщинамъ подошла толстая пожилая женщина въ шелковой мантильѣ, въ шелковомъ же черномъ платкѣ на головѣ. Въ правой рукѣ она держала зонтикъ. Подойдя къ женщинамъ, она стала оглядывать ихъ.

— Я! я! я! — кричали женщины, окружая нанимательницу.

Толстая женщина молчаливо выдержала напоръ женщинъ. Минутъ черезъ пять она начала звать къ себѣ самыхъ молодыхъ. Въ числѣ десятка молодыхъ пошла Пелагея Прохоровна съ Евгенией Тимофеевной.

— Кто изъ васъ желаетъ ко мнѣ поступить? — спросила толстая женщина съ зонтикомъ.

Поступить пожелали всѣ.

— Мнѣ нужно трѣхъ для комплекта.

Она опять осматрѣла женщинъ и выбрала изъ нихъ трѣхъ. Эти три были: Пелагея Прохоровна, Евгения Тимофеевна и одна чухонка-дѣвушка.

— Замужнія?

— Нѣтъ, — отвѣчали въ разъ всѣ три женщины.

— Волѣны никакой нѣтъ?

— Нѣтъ

Къ толстой женщинѣ подошла мать съ дѣвочкой.

— Купи дѣвочку.

— На что мнѣ ее: кабы она большая да красивая была — такъ! — крикнула толстая женщина съ зонтикомъ.

Сердце дрогнуло у Пелагеи Прохоровны. Она шепнула Евгению Тимофеевнѣ на ухо:

— Слышишь? тутъ что-то не ладно.

— Возьми хоть даромъ... — приставала мать дѣвочки, утирая глаза.

— Я сказала, что такихъ не беру... Продай еврейкамъ; онѣ за христіанку деньги дадутъ. Ну, желаете вы поступить ко мнѣ? — спросила нанимательница выбранныхъ ею женщинъ.

— А позволь тебя спросить, что у тебя за работа? — спросила Пелагея Прохоровна.

— Да у меня работы никакой нѣтъ. Развѣ себѣ что будете шить!

— А какая цѣна за это? — опять спросила Пелагея Прохоровна.

— Цѣны я назначить не могу. Вы будете мнѣ платить, каждая за свою комнату, такъ какъ я нанимаю цѣлый домъ и отъ себя отдаю комнаты жилищкамъ...

— Такъ ты это насъ на квартиру зовешь?

— Да!

— Ну, нѣ-ѣтъ... Мы въ работу нанимаемся, потому у насъ денегъ ни гроша нѣтъ. А она еще на квартиру къ себѣ зоветъ! — проговорила Пелагея Прохоровна и отошла. Прочія женщины тоже отошли.

— Послушайте? Эя, вы три?! — крикнула толстая женщина.

— Да нечего тутъ слушать! — крикнула Пелагея Прохоровна.

Толстая женщина съ зонтикомъ подошла къ Евгению Тимофеевнѣ.

— Послушай. Я за квартиру беру по истеченіи мѣсяца, за пищу — пища тоже отъ меня — тоже по истеченіи мѣсяца.

— Да изъ чего платить-то! Вѣдь нужно напередъ найти работу, — отвѣчала Евгения Тимофеевна.

— Работа будетъ... За всѣми расходами, я такъ думаю, у тебя останется къ каждому первому числу рублей патнадцать.

— Но какая работа?

— Я ужъ за это берусь.

— Но вы должны здѣсь сказать.

Толстая женщина нагнулась къ дѣвушкѣ и что-то ей шепнула. Щеки дѣвушки покрылись румянцемъ. Она задрожала и ничего не могла выговорить. Въ это время къ ней подошла Пелагея Прохоровна.

— Што съ тобой, Евгения Тимофеевна?

— Вотъ... Подлая женщина...—И она зарыдала.

Пока Пелагея Прохоровна успокаивала Евгению Тимофеевну, толстая женщина подошла къ чухонкѣ-дѣвушкѣ, поговорила съ ней и, немного погодя, чухонка пошла за ней, а потомъ женщина посадила ее съ собой въ пролетку и уѣхала.

— Вотъ какъ чухонки-то? Съ извозчиками ѣздить!—кричали женщины.

— Какъ? Чухонка такъ уѣхала?—крикнула Евгения Тимофеевна.

— Уѣхала.

— А надо бы ее воротить, бабы!—крикнула Пелагея Прохоровна.

— А што?

Пелагея Прохоровна рассказала, для какой дѣли эта женщина приглашала ихъ. Женщины заохали. Имъ жалъ было чухонки, но теперь ее ужъ не воротить. Стали говорить о томъ: убѣжить чухонку, или нѣтъ. Мнѣнія были различныя. Теперь на Пелагею Прохоровну всѣ смотрѣли съ уваженіемъ, и говорили про нее, что эта бѣлолицая бабенка не пропадетъ и не дастъ пальца въ ротъ, чтобы его откусили. А попадись дура, какъ чухонка, которой стоитъ только насулить всякой всячины, и пошла какъ куръ во щи.

Появились на рынокъ, около столиковъ съ яствами, каменщики съ замазанными глиной передниками, штукатуры, маляры; нѣкоторые изъ нихъ были даже безъ шапокъ и фуражекъ, и у нихъ, въ длинныхъ или всклокоченныхъ волосахъ, на бородахъ и на лицѣ, была тоже или глина, или известка; появились рабочіе съ черными отъ дыма, пота и угля лицами, съ черными, какъ уголь, ладонями, съ черными фартуками; появились мальчики отъ двѣнадцати до восемнадцати лѣтъ тоже съ черными передниками, съ вымаранными слегка лицами. Всѣ они быстро подходили къ женщинамъ, брали у нихъ фунтъ черного хлѣба, селедку, или тешку, или яйцо, на деньги или въ долгъ, и потомъ такъ же быстро уходили черезъ Старо-Никольскій мостъ въ питьевыя заведенія. Стало быть, теперь первый часъ; рабочіе уволены до второго часу обѣдать. Здѣсь можетъ быть читатель спросить: отчего они нейдутъ обѣдать домой? Они нейдутъ домой потому, что имъ можетъ быть до дому ходу дѣльный часъ. Работая по Фонтанкѣ и около Крюкова и Екатерининскаго каналовъ, они предпочитаютъ за лучшее покупать хлѣбъ, рыбу и проч. на рынокъ, а не въ мелочныхъ лавкахъ, въ которыхъ они уже успѣли задолжать; покупая сначала на деньги съ шуточками и остротами, они наконецъ добиваются, что имъ вѣрятъ въ долгъ до получки заработной платы.

Поелъ дождикъ. Женщины стали прикрывать свои узелки, но дождикъ, какъ на зло, шелъ и шелъ, мало-по-малу промачивая полшубки, шугайчики, пальто. Хорошо было тѣмъ женщинамъ, у которыхъ былъ полшубокъ и пальто, но шугайчики скоро промокли. Мостовая тоже смокла, земля на камняхъ и между камнями превратилась въ грязь...

Женщины стали проситься къ торговкамъ, потому что тамъ надъ столами сдѣланы крыши. Женщины-торговки не пускаютъ.

Платки на головахъ промокло, по лицамъ течетъ вода и падаетъ вмѣстѣ съ дождемъ на плечи; ботинки, башмаки и сапоги промокли, дуетъ холодный вѣтеръ съ моря. Что дѣлать? Женщины силой лѣзутъ подъ крыши; торговки гонять ихъ прочь и кричать:

— По пятаку съ рыла!

— Ладно.

Большинство женщинъ вынимаютъ пятаки, у нѣкоторыхъ нѣтъ и трехъ копеекъ. Онѣ просятъ у другихъ, тѣ не даютъ. Евгения Тимофеевна дрожитъ.

— На пятакъ!—говоритъ Пелагея Прохоровна и даетъ ей пятакъ.

Евгения Тимофеевна не беретъ.

— Ничего, я неглинная, не растаю. Теперь лѣто.

— А пошто дрожишь-то?

— Не знаю. Это пройдетъ.

Дождь пересталъ идти. Женщины, заплатившія пятаки, стоятъ подъ крышками и ѣдятъ ситный. Торговки снова ихъ гонять.

— Идите, дождикъ пересталъ!

— Нѣтъ, мы денежки заплатили.

— Што вы, на постоянный што ли сюда забрались? говорите спасибо, што пустили!—говорили торговки, употребляя въ дѣло локти.

Какъ ни лебезили женщины передъ торговками, какъ ни упрашивали ихъ дозволить постоять еще чуточку, а торговки все-таки прогнали ихъ. Женщины стали на прежнія мѣста и сдѣлались очень сердиты: имъ жалъ стало пятаковъ, и онѣ начали задирать на ссору тѣхъ, которыя не имѣли удовольствія быть подъ крышками. Къ женщинамъ подъѣхала въ пролеткѣ дама.

— Нѣтъ ли тутъ мамокъ? Не можетъ ли кто ребенка грудью кормить?—спросила дама женщинъ, подойдя къ нимъ.

Женщины поглядѣли другъ на друга. Четыре женщины—три чухонки и одна русская—подошли къ дамѣ. Дама разспросила ихъ; давно ли онѣ родили. Оказалось, что двѣ родили уже съ годъ, одна съ полгода, и одна назавдъ тому три мѣсяца.

— Гдѣ ребенокъ?—спросила дама чухонку.

— Померъ.

— А у тебя гдѣ ребенокъ?—спросила дама ту, которая родила съ полгода.

— Въ деревнѣ—на молоко.

— Зачѣмъ же ты его бросила?

— И, барыня!.. Мужъ все говорилъ: «оставь ребенка, пойдѣмъ въ Питеръ; тамъ въ мамки поступишь». Ходила въ спитательный—солдатъ не пустил. Знать-то ему денегъ надать... А вамъ для своего дѣтя?

— Да.

Дама отвела женщину въ сторону, посмотрѣла у ней груди и зубы и стала торговаться. Эта женщина слыхала, что въ Питерѣ мамки получаютъ по восьми руб. въ мѣсяцъ, дюжину рубашекъ, шесть сарафановъ и другіе подарки. Но дама больше пяти рублей не давала и общалась, если только она про-

жить полгода, сшить два сарафана и подарить двѣ пары ботинокъ. Пища, разумѣется, хозяйская. Женщина думала, радилась, и черезъ полчаса согласилась на предложенныя условія.

— Вотъ кому счастье, дакъ счастье! Эхъ, кабы у меня былъ ребенокъ!..— вздыхала одна женщина.

Эту женщину обругали.

— Да мнѣ давай десять палковыхъ—не пойду. Какъ бы не такъ! ни днемъ, ни ночью нѣту спокойствія.

Подошла молодая женщина въ вязаномъ розовомъ платкѣ на головѣ и въ драповомъ темно-синяго цвѣта пальто. Въ одной рукѣ она держала небольшой кожаный саквояжъ, въ другой зонтикъ.

— Эта, видно, опять изъ такихъ, какъ давѣ толстая съ зонтикомъ,— проговорили женщины, но все-таки подошли къ ней. Пелагея Прохоровна съ Евгеніей Тимофеевной тоже подошли не ради нѣма, а ради развлечения.

— Кто изъ васъ умѣетъ шить?

— Я! я!—крикнула каждая женщина.

— Мнѣ нужна швея шить сорочки, манишки, дѣлать мѣтки. Работа трудная, шить нужно чисто, хорошо, на господъ. Случается и на машинѣ шить.

Женщины посмотрѣли другъ на дружку. Никто не рѣшался поступить въ швеи, потому что такихъ швей не было.

— Возьмите меня; я умѣю шить что угодно!—проговорила робко Евгенія Тимофеевна.

— Ты изъ какихъ?

— Изъ... дворянокъ... Да вотъ, я сама шила себѣ этотъ бурнусъ.

Швея посмотрѣла на строчку.

— Мнѣ надо почище! это очень некрасиво.

— Я молода, могу скоро приучиться къ здѣшней работѣ.

— Такъ-то оно такъ. Но вотъ что: вы дворянка, а я мѣщанка. Уживемся ли мы?

— Объ этомъ вы пожалуйста не беспокойтесь; я увѣрена, что мы сойдемся. Я для того и пріѣхала сюда, чтобы работать.

— Пожалуй, я васъ возьму. Видите, я еще только открываю швейную; вы теперь будете третья. Вы будете сперва получать за штуку, на моемъ готовомъ содержаніи, а тамъ увидимъ: если будете хорошо работать, я васъ сдѣлаю мастерицей и положу жалованье. Какъ вы думаете объ этомъ?

— Я согласна,—робко проговорила Евгенія Тимофеевна.

— Еще одно условіе: чтобы къ вамъ не ходили мужчины.

— Понимайте! я здѣсь живу еще очень мало.

— Ну, ужъ это дѣло мое. По воскресеньямъ вы будете свободны и можете или работать на себя, или идти гулять.

Евгенія Тимофеевна ничего не могла сказать на это: она была очень рада, что попала въ швеи, и даже забыла проститься съ Пелагеей Прохоровной, которая плохо вѣрила словамъ швеи и крикнула отходящей Евгеніи Тимофеевнѣ:

— Прощай, Евгенія Тимофеевна. Желаю тебѣ счастья.

Стали приходить къ женщинамъ мужчины—мужья, братья, деверья, однодеревенцы. Одни изъ нихъ говорили, что завтра поступать въ работу, другіе еще не поступили на мѣсто. Всѣ мужчины были выпивши, а нѣкоторыхъ уже пошатывало. Женщинамъ стало веселѣе, и онѣ жаловались мужчинамъ на дождь, на то, что мало приходило барынь нанимать ихъ; нѣкоторыя женщины даже ругали мужчинъ, что они нарочно завели бабъ Богъ знаетъ куда, для того, чтобы бросить ихъ.

Стали приходить торгаша, предлагавшіе крестьянамъ фуражки, сапоги, поддевки, кафтаны. Крестьяне подержали всѣ эти вещи въ рукахъ, фуражки даже примѣряли себѣ на голову, потроговались, но ничего не купили, потому что торгаша просили дорого, да если и правились кому-нибудь вещь и было немного денегъ, такъ жалко было тратить ихъ. Торгаша предлагали промѣнять полушубокъ на поддевку, шапку—на фуражку, говоря, что теперь лѣто, и просили придачи. Одинъ промѣнялъ шапку на фуражку и далъ придачи десять копѣекъ, другой промѣнялъ полушубокъ на поддевку и тоже далъ придачу пятнадцать коп. Торгаша отошли. Промѣнявшихъ вещи товарищи стали звать въ кабакъ дѣлать сырки. Двое крестьянъ приглашали своихъ бабъ на Сѣнную въ кабакъ, гдѣ народу м-и ты Воже мой! и бабъ тамъ много. Но бабы въ этотъ кабакъ не пошли. Мужчины пошли на Сѣнную; половина женщинъ тоже разбрелась.

— Матушки! голубушки! Охъ, узелъ мой!..—ревѣла одна женщина, немного погодя.

Женщины посмотрѣли на свои узлы, посмотрѣли на мостовую, заглянули на століки и подъ століки, спросили торговекъ: не выдали ли онѣ узла такой-то женщины—узелъ исчезъ.

— Въ рѣку не упалъ ли?

— Да онъ, што есть, и не стоялъ у рѣки. Счасъ при мнѣ былъ.

— Эко горе, горе!.. Да ты не забыла ли на постояломъ?

— Говорять, при мнѣ былъ. Не выдали, што ли? Охъ!.. Што я теперь дѣлать буду!

— Плохо, видно, держала.

Къ женщинамъ подошла старушка въ листриновомъ на ватѣ салончикѣ и въ черномъ капорѣ. Въ суетахъ и въ поискахъ узла, ее замѣтила только одна Пелагея Прохоровна и подошла къ ней.

— Ты кухарка?—прошамкала старушка.

— Кухарка.

— У кого жила?

— Я пріѣхала изъ Ярославля; у господъ жила... А у васъ што дѣлать?

— Извѣстно: убирать комнаты, мыть полы, кушанье готовить.

Старушку окружили женщины и стали напирать на нее.

— Замужемъ?—спросила Пелагеей Прохоровной старушка.

— Вдова... А сколько жалованья?

— Два рубля.

— Я пожалуй согласна.

Женщины закричали, стали говорить про Пела-

гею Прохоровну всякую всячину, но старушка, взявши паспортъ, велѣла ей идти за собой. Пелагея Прохоровна перекрестилась на церковь и пошла за старушкой. Она была рада, что скоро яшла мѣсто.

#### XXIV.

Старушка въ салопчикѣ, за которой шла Пелагея Прохоровна, была кухмистерша съ Петербургской стороны, Анна Петровна Овчинникова. Сзади она походила на старую еврейку, которая съ самаго дѣтства или поднимала все тяжелыя вещи, или сидѣла, постоянно наклонившись съ высокаго стула къ низенькому столу, отчего ея позвоночный столбъ принялъ наклонное положеніе. Однако, несмотря на значительную сутулость, по которой ее издали узнавали постоянные обыватели Мокрой улицы, Анна Петровна, дожившая до шестого десятка лѣтъ, шла очень скоро, немножко ковыляя правой ногой, какъ будто ее кто сзади погонялъ прутикомъ. Она, часто оборачиваясь и покашливая, произносила фистулой: «не отставай! еще далеко!». У другихъ старушекъ подъ шестьдесятъ лѣтъ волосы уже сѣдые и лицо бѣложелтое; а у этой, напротивъ, лицо было бронзоваго цвѣта и лоснилось, точно она его намазала саломъ. Щеки ея не были ни очень полны, ни худощавы; носъ былъ длинный, прямой, острый, — точно она его постоянно чистила, какъ курица; ротъ маленький, можетъ быть оттого, что она его ужимала; ея сѣрые, тусклые глаза съ бурными зрачками часто мигали. Къ этому надо еще прибавить, что отъ салопника и отъ капора Анны Петровны пахло жаренымъ гусемъ, почему ее всякій бы могъ назвать, не спрашивая, или кухмистершею, или кухаркою въ кухмистерской.

Анна Петровна шла молча и думала; Пелагея Прохоровна тоже думала. Анна Петровна думала, что теперь она спокойна вполнѣ, нашедши кухарку. Только она много назначила ей жалованья; ну, да она счумѣетъ сдѣлать такъ, что кухарка будетъ получать не больше рубля въ мѣсяцъ. Пелагея Прохоровна съ своей стороны думала о томъ: „какая эта старуха бодрая, точно бабушка Настасья Сергѣевна, которая умерла назавдѣ тому восемь лѣтъ. Той было слишкомъ девяносто лѣтъ, та Пугача помнила; но ходила прямо, говорила ясно и частымъ голосомъ, а не шамкала, не хрипѣла и фистулой не говорила. Бабушка была въ большомъ почетѣ во всемъ заводѣ; она была добрая, ни съ кѣмъ не ссорилась; бывало, отца съ матерью выручала изъ бѣды. А глаза у нея были тоже сердитые. Бывало, забалуемся мы, она только взглянетъ, — мы замолчимъ... Какова-то эта? Та была родная, а я въ то время была маленькая, а теперь я большая, а къ чужой старухѣ пошла въ работу. Штѣ бы теперь сказала про меня бабушка, Настасья Сергѣевна, еслибы увидала меня, какъ я иду за этой старухой. Она бы ахнула, потому она мнѣ пророчила мужа богатаго, большое хозяйство, дюжину ребятишекъ! Господи, какъ много въ жизни можно испытать всякой всячины... Вотъ эти му-

жички, что работаютъ, камень разбиваютъ, тоже прежде не думали, что будутъ въ Питерѣ на богатыхъ людей работать. Они, поди, думаютъ, глядя на меня, что мнѣ лучше житье, чѣмъ имъ...“

Но напрасно кухмистерша и кухарка думали, что люди про нихъ думаютъ. Никто объ нихъ ничего не думалъ, а всякій шелъ своей дорогой или дѣлалъ дѣло, думая только о томъ, какъ бы хорошо сдѣлаться вдругъ богатымъ человекомъ и дѣлать то, что хочется.

Подошли къ Невѣ. По Невѣ плыветъ много судовъ съ дѣсомъ, камнями, барокъ съ сѣномъ, дровами. Плывутъ пароходы, у которыхъ и колесъ не видно, пароходы биткомъ набиты людьми. Множество судовъ и барокъ стоятъ у берега, прикрѣпленные цѣпями или толстыми канатами за кольца, вдѣланные въ гранитныя набережныя. Множество яликовъ: уъ пассажирами плыветъ по разнымъ направлениямъ; у спусковъ яличники предлагаютъ свои услуги перевезти черезъ Неву. „Вотъ это рѣка настоящая. А все же поменьшѣ нашихъ будетъ“, подумала Пелагея Прохоровна, когда кухмистерша и она шли по Дворцовому мосту. Она спросила старушку, какъ называется эта рѣка. Та сказала и, ткнувъ въ пространство лѣвой рукой, проговорила:

— А тамъ море!

— Море! Ахъ бы поѣхала я по этому морю. А ты по морямъ плавала?

— Я, что есть, черезъ Неву ни разу не плавала.

— Боишься?

— Боюсь! А море я разъ пять въ году видала, со Смоленскаго.

— А это што же, Смоленское-то?

— Кладбище такое вонъ тамъ, на Васильевскомъ острову, — сказала кухмистерша и указала рукой.

Пелагея Прохоровна стала смотрѣть на Васильевскій островъ.

„Такъ вотъ онъ, Васильевскій-то славный островъ, што въ пѣснѣ поется. А я думала, што въ пѣснѣ все враки... Думала, какой-нибудь пьяный мастерко сочинилъ эту пѣсню“, думала Пелагея Прохоровна.

Прошли мостъ, пошли по первой линіи.

— Здѣсь тоже Питеръ? — спросила Пелагея Прохоровна старушку.

— Нѣтъ, здѣсь Васильевскій островъ.

„Ахъ бы дядѣ попасть сюда! Ужъ непремѣнно сочинилъ бы съ Коровяевымъ такую пѣсню, што онъ былъ на самомъ на Васильевскомъ острову“. И сердце у Пелагеи Прохоровны, неизвестно почему, заняло.

Опять мостъ.

— Это што же! Идемъ, идемъ и конца нѣтъ. Все какі-то мосты да рѣки! — проговорила Пелагея Прохоровна, недовольная тѣмъ, что старуха ее ведетъ Богъ знаетъ куда.

— Еслибы я воды не боялась, давно бы ужъ дома были. Вонъ оттоль стѣитъ только въ яликъ сѣсть и черезъ полчаса дома. А то я воды боюсь. Отъ роду не плавала, — проговорила старуха. Они пошли берегомъ.

Здѣсь кухмистерша чувствовала себя уже свободнѣе и спокойнѣе. Она пошла тише, не загребала правой ногой, а шла, какъ лѣтвий конь, покачиваясь направо и нѣлѣво. Здѣсь она была какъ дома, сняла даже съ головы капоръ—на головѣ оказался бѣлый чепчикъ съ дырочками, сквозь которыя видѣлись начинающіе сдѣлать волосы. Отдавши капоръ Пелагѣй Прохоровнѣ съ приказаніемъ не измѣять и не испачкать его, она сняла салопчикъ и очутилась въ шелковомъ черномъ платкѣ на плечахъ и въ ситцевомъ голубомъ засаленномъ платкѣ.

Это раздѣванье удивило Пелагѣю Прохоровну, но она не посмѣла спросить. Старушка отдала Пелагѣй Прохоровнѣ и салопчикъ.

— Ты его положи на плечо, да смотри не изомни! — сказала она своей новой прислугѣ.

— Барыня... А узелъ?

— И узелъ можешь держать.

Пелагѣя Прохоровна кое-какъ устрѣдила свою ношу.

Преобразившись по домашнему, Анна Петровна пошла еще тише, что-то напѣвая про себя, какъ будто воображала, что идетъ не по улицѣ, а въ своей собственной комнатѣ.

— Здравствуйте, Анна Петровна, — сказала появшаяся на встрѣчу кухмистершѣ старушка съ платкомъ на головѣ, въ ситцевомъ платкѣ, тоже вѣроятно воображающая, что она у себя дома.

— Здравствуйте, Марья Игнатьевна! — И старушки поцѣлывали другъ друга въ щеки. — Куда ходили? А я вѣдь съ Никольскаго.

— Мать Пресвятая Богородица! — проговорила Марья Игнатьевна, и неизвѣстно отчего вдрогнула, точно ее что кольнуло въ бокъ или случилось съ ней нѣчто.

— Да, шатушка моя, съ Никольскаго. Вонъ какую добыла! — И Анна Петровна кивнула головой на Пелагѣю Прохоровну, которая стояла недалеко отъ старушекъ и смотрѣла на нихъ.

— Неужели у насъ не нашлось?

— О! што здѣшнія! Онѣ избаловались.

— Это такъ... Только она молодая, — сказала шопотомъ Марья Игнатьевна.

— Не эдакія у меня жили... Вышколю.

— А у меня несчастье какое: сыночекъ ногу вывихнулъ пьяный.

— Господи благослови! — чуть не крикнула Анна Петровна и замигала чаще обыкновеннаго.

— Да вотъ, поди-же ты! Иду къ доктору.

Старушки поговорили минутъ пять и простились, поцѣлывая другъ друга. Немного погодя, Анна Петровна свернула въ переулокъ, потомъ въ улицу. Здѣсь на каждомъ шагѣ попадались ей знакомые люди, но она не останавливалась, а только отвѣчала на вопросы: „ахъ, съ Никольскаго! устала!“. Черезъ десять минутъ она вошла во дворъ, въ которомъ было два деревянныхъ двухъ-этажныхъ флигеля съ мезониномъ на каждомъ. На улицу кромѣ того выходило по обѣимъ сторонамъ два дома: направо — каменный трехъ-этажный съ подваломъ, нѣлѣво — деревянный съ девятью окнами безъ мезонина, на

которомъ была прибита вывѣска съ надписью „школа“.

Хотя Анна Петровна Овчинникова никогда не была потомственной дворянкой, но она еще въ дѣвочкахъ считала себя столбовой дворянской дочерью, несмотря на то, что отецъ ея былъ только сенатскій регистраторъ. Вѣроятно это происходило оттого, что и родители ея, и сосѣди ихъ, служа въ министерствахъ, считали себя особымъ классомъ, съ которымъ нельзя сравнять мѣщанъ и даже купцовъ, и поэтому причисляли себя къ дворянамъ. Однако, не смотря на причисленіе себя къ дворянскому сословію, большинству этихъ самохваловъ и самохвалокъ жилось гораздо хуже, нежели мѣщанамъ и купцамъ, не пренебрегавшимъ черной работой, за которую стыдно было взятыя какому-нибудь чиновнику, его женѣ или дѣтямъ. Нѣкоторые чиновники имѣли на Петербургской сторонѣ свои дома, доставшіеся имъ или отъ родителей, или въ приданое; а какъ такіе домовладѣльцы имѣли большія семейства, то чиновниковъ современемъ расплодилось много и они такъ дружно слотились на Петербургской сторонѣ около тѣхъ мѣстъ, гдѣ родились и выросли, что заманить ихъ въ другое мѣсто было очень трудно. Поэтому и Мокрая улица, населенная преимущественно канцелярскими людьми, имѣетъ свой характеръ, совсѣмъ отличный отъ петербургскаго. Въ ней очень мало каменныхъ домовъ, а все больше деревянные, окрашенные желтой краскою, или охрой, которые тѣснятся другъ къ другу, такъ что съ крыши одного мезонина на крышу другого мезонина скачутъ кошки. Улица плохо вымощена, тротуаровъ не существуетъ, нѣтъ извозчиковъ, нѣтъ городскихъ, нѣтъ даже будки. Въ ней всего одинъ фонарь, и то напротивъ гостиницы для прїѣзжающихъ. Здѣсь пахнетъ провинціей, и еслибы изъ оконъ мезониновъ не видна была Нева и гранитная набережная съ каменными зданіями за Невою, то можно было бы сказать, что это не Петербургъ, а уголь уѣзднаго города.

Утромъ чиновники въ извѣстное время идутъ толпами на службу съ портфелями, конвертами изъ синей бумаги, свертками, или безъ нихъ. Потомъ, въ извѣстное тоже время, чиновницы и вообще дамы дворянскаго класса идутъ въ лавочку за провизіей; послѣ этого на улицѣ пусто. Около пяти и шести часовъ вечера чиновники, измученные и уставшіе, бредутъ по домамъ; нѣкоторые заходятъ въ заведеніе „распивочно и на выносъ“, откуда или выходятъ сами, или ихъ выводятъ съ руганью жены. До десяти часовъ видится жизнь въ этой улицѣ; чиновники и ихъ семейства сидятъ у оконъ, поютъ пѣсни и наигрываютъ на гитарахъ; нѣкоторые сидятъ на улицахъ на лавочкахъ въ талатахъ; нѣкоторые, сидя у раствореннаго окна, что-то пишутъ; нерѣдко также въ хорошую погоду увидѣть нѣсколькихъ молодыхъ чиновниковъ, играющихъ въ дворахъ или на улицѣ въ бабки или городки. Въ десять часовъ все смолкаетъ, гаснутъ огни въ домахъ, запираются ставни оконъ, настаетъ тишина, прерываемая только лаемъ множества собакъ.

Даже въ климатическомъ отношеніи Мокрая улица не похожа на петербургскія улицы; такъ, здѣсь зимой несравненно холоднѣе и больше снѣгу, чѣмъ въ Петербургѣ, гдѣ снѣгъ постоянно сгребаютъ и увозятъ прочь, гдѣ иногда цѣлый мѣсяцъ ужъ ѣздятъ на колесахъ, тогда какъ въ Мокрой улицѣ еще хорошая ѣзда на саняхъ. При поднятіи воды въ Невѣ, Мокрую улицу заливаютъ раньше другихъ, такъ что изъ нея въ Неву можно отправиться прямо въ лодкѣ или въ яликѣ. И все-таки здѣшнему воздуху Петербургъ можетъ позавидовать: здѣсь меньше шреть народа, женщины доживаютъ до семидесяти и больше лѣтъ, и если дѣтямъ не передана родителями кака-нибудь болѣзнь, они растутъ толстыми и здоровыми.

Поэтому немудрено, что Анна Петровна родилась, выросла и прожила до шестидесяти лѣтъ въ Мокрой улицѣ, гдѣ прежде у родителей ея былъ свой домъ, который послѣ смерти отца, вслѣдствіе крайней нужды, мать принуждена была продать, а потомъ поселиться на квартирѣ въ той же Мокрой улицѣ и заниматься шитьемъ. Анна Петровна была третьею дочерью, но успѣла влюбить въ себя молодого чиновника раньше прочихъ сестеръ и, вышедши замужъ, поселилась съ мужемъ также въ Мокрой улицѣ. Ни она, ни супругъ ея даже и въ помышленіяхъ не имѣли не только жить гдѣ нибудь въ Гороховой или въ Офицерской улицѣ Петербурга, но даже переселиться въ другую улицу Петербургской стороны. Такое переселеніе было бы сочтено сосѣдями за расколъ или за чрезмѣрную гордость. Обитатели Мокрой улицы достовѣрно знаютъ, что мужъ Анны Петровны былъ варваръ, какихъ свѣтъ не производилъ. Хотя такіе варваровъ было много въ Мокрой улицѣ, но со стороны казалось, что этотъ варваръ былъ почище другихъ варваровъ. Въ сущности однакожъ онъ былъ даже нѣсколько скромнѣе большинства чиновниковъ, и такое названіе къ нему припикивалось не совсѣмъ кстати. Дѣло въ томъ, что онъ былъ первымъ пять лѣтъ для супруги ангеломъ, но на шестой годъ, когда Анна Петровна родила плаксивую дѣвочку, ангелъ сталъ приходить домой навеселѣ. Сперва супруга думала, что ангелъ веселъ потому, что у него есть дочь, или потому, что его сегодня похвалили на службѣ; ей и въ голову не приходило, что ангелъ выпиваетъ; такъ какъ онъ послѣ выпивки обыкновенно закусывалъ или гвоздикой, или сургучемъ, чтобы не пахло водкой. Каково же было ея удивленіе, когда, въ день получки жалованья, „ангелъ“ пріѣхалъ домой на извозчикѣ до того пьяный, что она должна была втащить его въ квартиру съ извозникомъ. Но и этого мало: у ангела денегъ оказалось на лицо всего трехрублевая бумажка и нѣсколько мѣдяковъ.

Съ этихъ поръ жизнь пошла нехорошая: мужъ пьянствовалъ часто, жена его была и мало-помалу истративала приданья деньги; сосѣдки говорили про Овчинникова всякую всячину и не могли понять, отъ чего онъ сталъ пьянствовать хуже и хуже, закладывая свою шинель, вицъ-мундиръ и даже сапоги, тащилъ въ залогъ все, что лежало плохо. Жена выкупала всѣ эти вещи, ходила къ ворожеямъ, поила мужа какими-то лекарствами, отъ кото-

рыхъ онъ хворалъ по мѣсяцамъ, но пьянствовать все-таки не переставалъ. Такимъ образомъ супруги прожили пятнадцать лѣтъ. На шестнадцатомъ Овчинникова уволили въ отставку; Анна Петровна стала лечить его, и залечила до того, что онъ померъ.

Анна Петровна осталась вдовой губернскаго секретаря съ двумя дочерьми, Вѣрой и Надеждой. Несмотря на нехорошую жизнь съ пьяницей-мужемъ, она все-таки была женщина красивая и здоровая, и могла бы выйти замужъ, но ей уже опротивѣла замужняя жизнь, тѣмъ болѣе, что и въ другихъ семействахъ она видѣла то же, что творилось и съ нею въ замужествѣ. Да за нее впрочемъ никто и не сватался, вѣроятно потому, что у нея было двое дѣтей и она жила бѣдно, приобретая деньги шитьемъ. Сестра ея, жившая на Пескахъ и не имѣвшая дѣтей, которая умерла черезъ три или пять мѣсяцевъ по рожденіи, звала Анну Петровну жить къ себѣ. Но Анна Петровна не могла у ней прожить и съ недѣлю: ей было скучно обо всей Петербургской сторонѣ, о Мокрой улицѣ, гдѣ ей казался и воздухъ чище, и жизнь проще. „Тамъ всѣ свои, тамъ просто; здѣсь хоть и чиновники живутъ, но далеко хуже нашихъ, и другъ съ другомъ они не ладятъ. Здѣсь поживетъ чиновникъ съ мѣсяцъ и уйдетъ прочь, а у насъ этого нѣтъ. У насъ и одѣваться хорошо не надо, у насъ и важныхъ людей не встрѣтишь; а здѣсь одѣвись-ка худо — осмѣютъ“. Такъ думала Анна Петровна и воротилась въ Мокрую улицу.

Пришлось переѣхать на другую квартиру, потому что прежняя была и велика для вдовы, и дорога. Заложивъ Анна Петровна кой-какія цѣнные вещи, доставшіяся ей въ приданое или купленные въ первый годъ замужества, наняла квартиру въ мезонинѣ, въ три комнаты съ кухней, и прилѣпилъ на воротахъ бумажку съ надписью: „отдаются комнаты со столомъ и небельемъ“. Сдѣлавши это, она нѣсколько дней по утрамъ выходила за ворота, оставивъ чиниковъ, заговаривала съ ними и просила ихъ найти ей хорошихъ жильцовъ. Но жильцы не являлись. Поднялись толки, что вѣрно у Анны Петровны много накоплено денегъ, что она нанимаетъ большую квартиру безо всякаго расчета, тогда какъ ей достаточно было бы съ дѣвочками и одной комнаты, которую она могла бы нанять у любой чиновницы-вдовы; нѣкоторые даже стали поговаривать, что Анна Петровна, должно быть, подѣла любовника изъ Петербурга, который непременно ѣздитъ къ ней по ночамъ и котораго вѣроятно она хочетъ женить на себѣ. За Анной Петровной стали слѣдить, но ничего не услѣдили: она попрежнему шла, уходила съ шитьемъ и за шитьемъ, была со всѣми любезна и на вопросы: „какъ живется?“ постоянно отвѣчала: „помаленьку! Богъ грѣхамъ терпитъ“. Но въ самомъ дѣлѣ она едва сводила приходъ съ расходомъ, и ей приходилось къ концу мѣсяца нести что-нибудь въ закладъ. Была у ней пріятельница Степанова, которая жила тоже на Петербургской, только въ другомъ концѣ. Эта госпожа имѣла кушистерскую секретно, то есть не имѣла



ни вывѣски, ни свидѣтельства на этотъ родъ занятія. Отъ нея Анна Петровна узнала, что вообще кормить небогатыхъ людей выгодно, если только ихъ много и они хорошо платятъ. За пишу она деньги выручаетъ, но комнаты или вообще квартира сидитъ у нея на шеѣ, потому что или стоять пустая все лѣто, когда студенты уѣзжаютъ домой, или въ нихъ живутъ не по долгу люди бѣдные, съ которыхъ иногда совѣстно просить денегъ.

Анна Петровна была женщина сообразительная. Въ каждое изъ ея посѣщеній она что-нибудь усвоивала и дома записывала на бумажку, какъ нужно приготовить изъ такихъ-то припасовъ супу на тридцать человѣкъ, какъ изжарить мясо такъ, чтобы его хватило на трое сутокъ и т. п. И ей сильно захотѣлось сдѣлаться самой кухмистершей. Но тутъ встрѣтилось большое затрудненіе: чтобы готовить обѣды—нужна работница; нуженъ мальчикъ или дѣвочка, чтобы разносить кушанья,—не станеть же она заставлять своихъ дочерей разносить кушанья, не для того онѣ родились! Потомъ нужна посуда, нужны мѣдные судки. И на все это нужны деньги. Послѣ нѣсколькихъ колебаній, она рѣшилась попросить у мужа своей сестры сто рублей, но онъ далъ только пятьдесятъ подъ расписку съ тѣмъ, чтобы она ихъ уплатила въ теченіе года. На половину этихъ денегъ Анна Петровна купила держаной посуды, наняла кухарку и прилѣпила на воротахъ поллиста бумаги, на которомъ крупными буквами было написано: „чиновница Овчинникова адеетъ кушанья на домъ или у себя спросить объ цнѣ въ мезонинѣ квартиры № 12 у вдовы кухмистерши Анны Петровны Овчинниковой“. Несмотря на эту безграмотную записку, прохожіе чиновники, замѣтивъ на воротахъ лоскутокъ бумаги съ большимъ количествомъ буквъ, останавливались, читали, чесали себѣ затылки и подбородки и разсуждали: не выгодно ли будетъ имъ въ самомъ дѣлѣ получать кушанья отъ вдовы Овчинниковой? Но пока они думали и разсуждали объ этомъ, чиновницы, идя въ лавки и на рынокъ, тоже успѣли прочесть эту надпись и отъ удивленія перешли къ негодованію, потому что вдова Овчинникова срамить ихъ своими новымъ занятіемъ.

— Жаль, что она кухаркой не назвала себя! Этого еще не доставало! — кричали чиновницы чуть не во все горло. Имъ было досадно не то, что вдова Овчинникова будетъ держать нахлѣбниковъ, но зачѣмъ она назвала себя именемъ кухмистерши, которое идетъ только къ мѣщанкѣ. Во-вторыхъ имъ было досадно, что вдова Овчинникова, до сихъ поръ жившая со всѣми откровенно, какъ говорится, душа въ душу, вдругъ письменно на всю улицу заявляетъ, что она отдаетъ кушанья на домъ или у себя; стало быть, этимъ самымъ заявленіемъ она становится къ нимъ въ непріятельскія отношенія, хочетъ отбить у нихъ не только хорошихъ нахлѣбниковъ, но и квартирантовъ. Вся женская половина Мокрой улицы вооружилась противъ Анны Петровны, а одна чиновница хотѣла даже сорвать бумагу съ воротъ, но ее удержали сосѣди. Хотѣли было отправить къ ней депутацію, чтобы по-

требовать объясненія, но рѣшили подождать мужей и квартирантовъ для того, чтобы посовѣтоваться съ первыми и увѣрить послѣднихъ, что все написанное на бумагѣ надъ воротами дома Плошкина есть плодъ пылкаго, но глупаго воображенія вдовы Овчинниковой, которая, какъ надо полагать, пустилась на аферу и думаетъ обобрать простоватыхъ молодыхъ людей.

Однако, какъ ни старались хозяйки-чиновницы увѣрить своихъ квартирантовъ въ этомъ и въ томъ, что вдова Овчинникова табакъ нюхаетъ, а табакъ легко можетъ попасть въ супъ и въ жаркое, молодежь захотѣла попытаться, не дешевле-ли у вдовы Овчинниковой обѣдѣ. И дѣйствительно, Овчинникова назначила цѣну дешевле другихъ, и въ тотъ-же день обѣдало у нея десять чиновниковъ, которые нашли кушанья превосходными. Потомъ четверо наняли у нея двѣ комнаты и дали задатки, четверо согласились обѣдать помѣсячно и дали тоже задатки по рублю; остальные просили подождать до полученія жалованья. Такой успѣхъ Анны Петровны вывелъ изъ терпѣнія чиновницъ, и онѣ рѣшились сразиться съ ней.

Утромъ Анна Петровна шла въ Сытный рынокъ за провизіей. За ней слѣдовала и кухарка съ кулкомъ. Попадаются навстрѣчу двѣ чиновницы.

— Вы что же это такое дѣлаете? — спросила ее одна изъ нихъ сердито, не поздоровавшись даже съ нею.

— Что я такое дѣлаю? — спросила въ свою очередь спокойно Анна Петровна.

— А это какъ у васъ на бумагѣ написано?

— И не стыдно вамъ? — прервала другая и зачала головой

— Это вы насчетъ чего же спрашиваете?

— А насчетъ того, что вы на мошенничество пустились.

— Не горячитесь, Софья Сергѣевна!..

— Я вотъ что хочу спросить у васъ, Анна Петровна: пристало ли благородной дамѣ называться кухмистершей, и на какомъ основаніи вы сваниваете къ себѣ нашихъ жалцовъ и нахлѣбниковъ?

— На томъ основаніи во-первыхъ, что, по моему понятію, нѣтъ стыда въ томъ, что я называю себя кухмистершей. Ужъ это дѣло мое, а не ваше. Во-вторыхъ, я женщина благородная, и мнѣ съ дѣтьми не хочется жить у кого-нибудь въ углу или быть прилебательницей богатыхъ родственниковъ, какъ это нѣкоторыя благородныя дамы дѣлаютъ. Что же касается до того, что мнѣ Богъ далъ нахлѣбниковъ, то, значить, я ужъ весту дѣло и не беру такихъ цѣнъ, какъ нѣкоторыя.

— Позвольте... вы насъ-то къ чему называете нѣкоторыми? Вы этимъ словомъ всѣхъ благородныхъ хозяевъ обижаете.

— Извините... Я иду въ рынокъ... Мнѣ нужно кушанья готовить.—И Анна Петровна пошла.

Какъ вообще всякое новое дѣло въ глухой мѣстности находить у неразвитыхъ людей отпоръ, такъ и Анна Петровна въ теченіе двухъ лѣтъ много перенесла непріятностей отъ бывшихъ своихъ по-другъ, которые теперь стали ей врагами. Онѣ вся-



чески старались напасть на нее и словом, и делом: не было человека, который бы не слышал, что вдова Овчинникова нехорошая, разгульная женщина, не было лавки, в которой бы лавочники не были прощены не давать ей ничего. Все эти переговоры и сплетни передавались Аннѣ Петровнѣ дворниками, кушарками, лавочниками въ преувеличенномъ видѣ; чиновники перестали ей кланяться, точно она только-что пріѣхала на Петербургскую; дѣвочки, завидѣвъ кухмистершу, шиканки и, сталкиваясь съ нею, отворачивали лицо въ сторону; однимъ словомъ, вся Мокрая улица и почти весь этотъ уголокъ Петербургской была дурного мнѣнія объ ней, но Анна Петровна поначалъ, хоть на душѣ у нея, какъ говорится, кошки скребли, и проходила мимо врага, не только не клалась на него собакой, но даже не глядя на него.

Однако, несмотря на то, что въ два года Анна Петровна съумѣла прославиться чуть ли не во всемъ чиновномъ мірѣ Петербургской стороны сплетнями и дешовыми, но сытными столомъ, приближили же она получала мало, потому что нахлѣбники навертывались всякіе: задатокъ отдаютъ, пообѣдаютъ двѣ недѣли, наѣсть на два рубля въ долгъ и неидетъ больше; такихъ же нахлѣбниковъ, которые бы платили впередъ за мѣсяцъ, было немного. А тутъ еще новая бѣда: вещи, что отданы въ залогъ, пропадаютъ; мужъ сестры, вмѣсто пятидесяти рублей, уже проситъ шестьдесятъ рублей, а къ концу второго года пожалуй присчитаетъ еще лишніе десять рублей; мяснику должна пятнадцать рублей, кушарка проситъ жалованье за полгода. Думала, думала Анна Петровна, и выдумала штуку: идти по департаментамъ къ экзекуторамъ просить долги чиновниковъ. Результатъ этой ходьбы вышелъ тотъ, что къ новому году экзекуторы вычли изъ пособій и наградъ чиновниковъ должныя Аннѣ Петровнѣ деньги и общались не только рекомендовать хорошихъ нахлѣбниковъ, но и впередъ вычитать съ нихъ долги, если такіе окажутся! Анна Петровна расплатилась съ долгами, даже выкупила нѣкоторыя вещи. Но теперь противъ нея вооружились должники, съ которыми она поступила такъ безцеремонно. Но, несмотря на это, нахлѣбники находились и дѣла ея мало-по-малу улучшались, а квартиранты къ шестому году ея кухмистерства успѣли уже обучить ея дочерей грамотѣ.

Мало-по-малу старые люди успѣли умереть; умерло нѣсколько чиновницъ-подругъ, которыя по началу ея кухмистерства сплетничали на нее, молодежь успѣла выйти замужъ и современемъ все пришло въ такой порядокъ, что какъ-будто Мокрая улица немислима безъ кухмистерши, и теперь Анна Петровна для всей Мокрой улицы такое же существо, какъ и всякая другая сосѣдка.

Теперь Анна Петровна въ почетѣ въ этой улицѣ и въ славѣ чуть-ли не на всей Петербургской сторонѣ, гдѣ ее знаетъ каждая пожилая чиновница. Въ почетѣ же Анна Петровна пошла года съ три назадъ, съ тѣхъ поръ, какъ стала отдавать подѣ залогъ деньги.

Какъ всякій человѣкъ, понаторѣвшій въ одномъ

какомъ-нибудь занятіи, старается еще больше извлечь изъ него выгоды, постепенно сокращая расходы, такъ и Анна Петровна, имѣя постоянныхъ нахлѣбниковъ у себя и въ другихъ квартирахъ, мало-по-малу довела свое кухмистерство до того, что стала кормить всѣхъ очень subtly. Прежде она всѣмъ давала хлѣба, а жильцы ея получали даже ужинъ: теперь все это оказалось невыгоднымъ. Ссылаясь на дороговизну хлѣба и другихъ припасовъ, она значительно сократила обѣдъ и въ то же время плату за него увеличила на цѣлыя два рубля въ мѣсяцъ.

Казалось бы, что при такомъ положеніи дѣлъ, у Анны Петровны должно быть много денегъ, однако денежные ея дѣла далеко не въ цвѣтущемъ положеніи. Не говоря уже о мальчикѣ, разносящемъ кушанья въ судкахъ по домамъ и взятомъ ею у мѣщанин-матери назадъ тому шесть лѣтъ почти даромъ, для того только, чтобы пріучать его къ поварской части, не говоря объ этомъ мальчикѣ, которому она не хочетъ платить, ссылаясь на какія-то условія, заключенныя домашнимъ образомъ съ умершей уже мѣщанкой, — она должна и въ мясную лавку, и въ овощную, въ которыя перезаложилъ на время заложеныя ей чиновницами вещи. Слущая сѣтованія лавочниковъ о томъ, что Анна Петровна день за днемъ все беретъ въ долгъ и если выплатитъ пять рублей, то заберетъ на пятнадцать, обитатели Мокрой улицы говорятъ, что она вѣроятно деньги бережетъ для того, чтобы выдать младшую дочь за майора, который уже два года, какъ объявленъ женихомъ Надежды Александровны.

#### XXV.

Во дворѣ окружили Анну Петровну сидѣвшіе на крыльцѣ и игравшіе мальчики и дѣвочки отъ 3-хъ до 10-ти лѣтъ. Они кричали:

— Бабушка, гостиницы! Бабушка въ рынокъ ходила!

— Ну, ну... отвязитесь. Не та пора, чтобы гостинцы раздавать! — и она, кое-какъ освободившись отъ повиснувшихъ на ея платьѣ дѣтей, пошла за собою кушарку въ квартиру.

Вылѣзъ хотя и вечеръ, но еще свѣтло. Зато на лѣстницѣ, по которой онѣ поднимались, была совершенная ночь, такъ что Пелагея Прохорова едва не заблудилась въ переходахъ. Лѣстница эта была не высока; на площадкѣ было сдѣлано слуховое окно. По краямъ надъ лѣстницей сдѣланы перила около самой крыши, справа и слева протянуты бичевки, на которыхъ сушится бѣлье.

Въ кухнѣ съ небольшою русскою печью и небольшою плитой, съ полками, на которой лежала посуда и судки, и пропитанной запахомъ жареныхъ гусей и сосисокъ, около большого стола сидѣли дочери Анны Петровны, изъ которыхъ Вѣрѣ было годовъ съ тридцать, а Надеждѣ годовъ двадцать восемь. Вѣра была дѣвушка здоровая, румяная. Замѣтно было сразу, что она любитъ наряжаться и заботится, чтобы у ней и платье было въ порядкѣ, и воротничекъ на шеѣ не былъ грязенъ и

измѣять, и волосы не обиты. Взглядъ у нея былъ гордый, сѣтливый и лукавый и лицо принимало въ нѣсколько минутъ различныя выраженія, точно она воображала себя актрисой. Другая сестра, Надежда, была художавъ, и хотя сидѣла въ сѣтцевомъ капотѣ съ широкими рукавами и въ кринолинѣ, но это не придавало ей полноты. Лицо ея было блѣдно, съ небольшимъ количествомъ веснушекъ, но привлекательно; каріе ея глаза выражали не то тоску, не то покорность; темнорусые волосы немного растрепались, сѣтка сползла на бокъ. Она сидѣла нагнувшись къ работѣ и торопливо шила. Около печки, на лавкѣ, сидѣлъ мальчикъ, на видъ годовъ десяти, съ худощавымъ лицомъ, запачканнымъ до того, что, казалось, онъ не мылся въ банѣ цѣлый годъ или только-что пришелъ съ фабрики, гдѣ работалъ надѣлю. Его черные волосы лоснились, черные глаза смотрѣли со злостью то на Вѣру, то на Надежду. На немъ былъ надѣтъ тиковый халатъ, весь пропитанный саломъ, опоясанный ремнемъ и застегнутый на воротѣ на крючокъ.

— Вонъ взяла разиню, а она тамъ заблудилась, — сказала входя Анна Петровна.

— Неужели? Въ корридорѣ заблудилась? — проговорила Вѣра, смѣясь.

— Налей-ка воды! — сказала хозяйка повелительно кухаркѣ.

— А гдѣ у те ковшикъ-то?

Вѣра хихикнула надъ чѣмъ-то.

— Ты не должна говорить „у те“, „у те“! Что это за слово? Ты должна говорить у васъ, потому что ты у господъ живешь! — проговорила наставительнымъ голосомъ Анна Петровна.

— Давно Петръ Ивановичъ легъ спать? — спросила она дочерей.

— Ужъ часъ будетъ. Онъ изъ маскараду пришелъ.

— Ничего не принесть?

— Вонъ Надѣ катушку нитокъ принесть.

Надежда покраснѣла.

— Экая скряга! — сказала Анна Петровна.

Минутъ пять всѣ молчали. Въ кухнѣ было тихо, только мальчикъ фыркалъ носомъ, да Анна Петровна плескала водой; изъ сосѣдней комнаты слышался храпъ.

— Много ли было сегодня? — опять спросила Анна Петровна, обращаясь къ дочерямъ.

— Да все тѣ же. Мясоѣдовъ съѣзжаетъ отъ насъ, — сказала Вѣра и взглянула на сестру.

Щеки Надежды покраснѣли и она еще ниже нагнулась.

— Ну, и съ Богомъ. И такъ надоѣлъ со своей скрипкой. Я ему давно хотѣла отказать, да только ради бѣдности держала.

— Онъ, мамаша, вовсе не бѣденъ, — проговорила робко, но съ замѣтнымъ волненіемъ Надежда.

— Ну, это еще неизвѣстно.

— У него всегда есть деньги монъ всегда трезвый.

— Ну, ужъ!.. Все-таки пусть съѣзжаетъ. Не быть мнѣ, какъ онъ однажды нагрубилъ мнѣ за

что я не велѣла ему пилить въ то время, когда Петръ Ивановичъ спалъ.

— Петръ Ивановичъ не въ свою квартиру пришелъ.

— Все-таки онъ намъ близокъ.

— Я бы на вашемъ мѣстѣ давно ему дверь показала.

— Что такое? — строго спросила Анна Петровна.

— То, что онъ мазурикъ.

Анна Петровна подошла къ Надеждѣ и ударила ее по щекѣ ладонью.

— Мамаша, — проговорила Вѣра, вставъ и подходя къ матери, которая собиралась влѣпить Надеждѣ другую оплеуху.

— Ахъ ты, негодная! Человѣкъ платитъ намъ деньги, сватается за васъ... А она... Что, мнѣ долго еще кормить-то васъ? — проговорила запальчиво Анна Петровна, ежеминутно мигая.

— Я сама себѣ зарабатываю хлѣбъ, — начала Надежда.

— Молчать!... Сука!...

Надежда заплакала; Анна Петровна пристѣла на стулъ, подперла лѣвую щеку рукой и стала ворчать. Это ворчаніе заключалось въ томъ, что у нея дочера хотя и дворянки, но дѣвицы очень неблагодарныя, грубыя, какъ мужички. Иныя давно бы уже успѣли завлечь такого жениха, какъ Петръ Ивановичъ, и выйти за него замужъ, а онѣ заставляютъ Петра Ивановича ждать, тянутъ время, говорятъ про него Богъ знаетъ какія вещи, чего въ старые годы и думать даже было непозволительно. Пока она ворчала вполголоса, дочери молчали, точно она говорила не имъ и не объ нихъ, точно все это имъ было уже нѣсколько разъ говорено. Надежда не плакала, но по лицу ея замѣтно было, что она, еслибы было можно, вскочила бы и убѣжала; Вѣра шила попрежнему по глазамъ ея замѣтно было, что она что-то сообщала.

Въ кухню вошелъ молодой человѣкъ съ темнорусыми волосами, съ маленькими усами, съ лицомъ изобличавшимъ въ немъ чахоточнаго человѣка. На немъ надѣтъ былъ красный кашемировый халатъ.

— Потрудитесь поставить самоваръ, — сказалъ онъ Аннѣ Петровнѣ.

Та приказала Пелагеѣ Прохоровнѣ поставить самоваръ и вѣжливо спросила молодого человѣка:

— Вы, я слышала, съѣзжаете?

— А! уже это довели до нашего свѣдѣнія... Да, мнѣ казенная квартира вышла по жребію.

— А! жалъ! человѣкъ вы хорошій!

— Благодарю за комплиментъ. Мнѣ и самому не хотѣлось съѣзжать по нѣкоторымъ причинамъ... — Онъ кашлянулъ въ кулакъ и взглянулъ на Надежду Александровну, щеки которой покраснѣли.

— Кухарку изволили нанять? — спросилъ молодой человѣкъ, которому, какъ видно, хотѣлось посидѣть въ кухнѣ.

— Да, какъ видите. А ты еще здѣсь? — обратилась вдругъ хозяйка къ мальчику, точно этотъ мальчикъ до сихъ поръ не существовалъ въ кухнѣ.

— Куда жъ я пойду безъ паспорта? — проговорилъ мальчикъ рѣзко-охриплымъ голосомъ, который

изобличалъ въ немъ девятнадцати-лѣтняго мальчугана, а не десяти-лѣтняго.

— Слышите, какъ отвѣчаетъ? — сказала Анна Петровна жильцу съ удивленіемъ.

— Се! Да, онъ немного грубъ.

— Нѣтъ, онъ постоянно грубъ. Я бы его ни одной минуты не держала у себя, да надо кухарку познакомиться съ господами! вѣдь она не знаетъ, куда нужно носить кушанье.

— Такъ... такъ, — замѣтилъ чиновникъ.

Чинovníку говорить было не о чемъ. Онъ было вынулъ изъ бокового кармана папиросницу, но только повертѣлъ ее въ рукахъ. Анна Петровна учила кухарку, какъ ставить самоваръ; Надежда нагнулась еще ниже къ работѣ и точно боялась поднять голову. Вѣра нѣсколько разъ поправляла ладонями свои волосы и важно взглядывала на чиновника.

— Ну... я пойду. До свиданія! — сказалъ вдругъ чиновникъ и ушелъ. Черезъ пять минутъ онъ въ своей комнатѣ настраивалъ скрипку.

Когда онъ ушелъ, Вѣра Александровна вдругъ захохотала.

— Вотъ образованность! — проговорила она сквозь смѣхъ. — Ты, Надя, замѣтила, что онъ пришелъ въ туфляхъ и на правой ногѣ у него туфля разодралась?

— Очень нужно мнѣ замѣчать! — сказала та серьезно.

— Ахъ ты наказанье! Опять записали! — проговорила отчаянно Анна Петровна и вскочила на ноги. — Кухарка! Поди-ка, скажи ему, чтобы онъ не игралъ, — сказала она Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ это приказаніе показалось страннымъ, и она подумала сперва, что ея хозяйка дуритъ.

— Ну, что-жъ ты стоишь? двадцать разъ тебѣ, что ли, надо приказывать?

— Да какъ, — начала была Пелагея Прохоровна, но въ это время что-то затрещало въ сосѣдней комнатѣ, и оттуда вышелъ майоръ.

Еслибы этому майору пришла фантазія нарядиться въ башкирскій малахай и сѣрый войлочный зипунъ, опоясавъ его ремнемъ и заткнувъ за ремень нагайку, никто бы въ немъ не узналъ русскаго человѣка; онъ даже и теперь, въ своемъ майорскомъ сюртукѣ, походилъ скорѣе на отъѣзжаго кондуктора желѣзной дороги изъ башкиръ. Онъ вошелъ въ кухню, тряхнулъ правой рукой, заглянулъ на полку однимъ глазомъ, нюхнулъ и сѣлъ на стулъ, растопыривъ ноги и сдѣлавъ руки фертомъ.

— Славно выпался, — проговорилъ онъ охриплымъ голосомъ и уставилъ на Вѣру глаза, точно бульдогъ.

— Я думаю, этотъ прохвостъ помѣшалъ со скрипкой?

— А! — промычалъ майоръ, вопросительно повернувъ голову и уставивъ глаза на Анну Петровну.

Въ этомъ взглядѣ такъ и замѣчалось, что майоръ не любилъ часто ворочать голову. Анна Петровна повторила свои слова.

— Ну, дакъ что-жъ? Пусть пилить... Мнѣ какое дѣло? — проговорилъ нехотя майоръ.

сочиненія ѳ. рыштинкина.

Всѣ молчали. Дѣвицы, казалось, тяготились бульдожьими глазами майора; майоръ сопѣлъ.

— Вы что же удрали отъ меня? — спросилъ вдругъ майоръ, глядя на Вѣру.

— Еще бы не уйти! Вы напились пива-то и насъ лѣзете угощать, — сказала Надежда.

— А! Угощать, говорите, лѣзу... А! — улыбаясь, говорилъ майоръ.

— Бутылокъ десять, кажется, выпили. Колька! сколько ты покупалъ бутылокъ? — спросила мальчика Вѣра. Майоръ тоже повторилъ этотъ вопросъ.

— Только восемь; а въ прошлый я шесть разъ бѣгалъ; бутылокъ двадцать выпили, — отвѣтилъ мальчикъ.

— Ахъ ты!.. Ты съ пивомъ и арифметикѣ выучился!

— Ну, что вы тутъ сидите! Идите въ комнату! — сказала Анна Петровна.

— А надо еще пива купить! не купили?

— Нѣтъ.

— Што! Брр!.. Васъ все нужно учить...

— Ну-ну, идите-ка въ комнату.

— Ой!.. А я еще я не пойду одинъ-то... Вы здѣсь, и я здѣсь; вы тамъ, и я тамъ; гдѣ вы, тамъ и я, — проговорилъ майоръ, мотнувъ головой, и захохоталъ.

— Ну, а вы-то что глаза тутъ портите! Ужъ темно становится.

— Да, въ жмурки можно играть, — проговорилъ майоръ, всталъ, махнулъ рукой, поглядѣлъ однимъ глазомъ на полку и заковылялъ въ коридорчикъ.

Дѣвицы пошли за нимъ, Анна Петровна пошла къ жильцу унимать, чтобы не пилилъ на скрипкѣ.

— Экая машина! — проговорила Пелагея Прохоровна, когда въ кухнѣ остались мальчикъ и она.

— Здорово! Этта какъ-то смазалъ Надежду Александровну, такъ цѣлый мѣсяцъ она провалилась.

— Отецъ, штоли, ихной?

— Отецъ!.. Любовникъ ейной!

— Што ты врешь?!

— Я правду говорю, не маленькій. Слава Богу, мнѣ девятнадцатый годъ.

— Охъ ты, хвастуша! — Пелагея Прохоровна захохотала.

— Помереть сейчасъ... У меня и невѣста есть. — И Пелагея Прохоровна захохотала пуще прежняго.

Вошла хозяйка.

— Это што за смѣхъ! Ужъ не любезничаєте ли вы?

— Да вонъ онъ говоритъ, ему девятнадцатый годъ и невѣста есть! — проговорила смѣясь Пелагея Прохоровна.

— Вотъ какъ! — И Анна Петровна захохотала и со смѣхомъ пошла въ комнату, откуда пришли вмѣстѣ съ нею майоръ и дочери ея.

— Невѣста, говоришь, есть? — проговорилъ хоча майоръ, поднимая мальчика.

— Што-жъ такое?

— И свадьба скоро?

— Не по вашему.

— Не по вашему, говоришь? Молодецъ! Умни-

ца!.. Женшюкъ!!! Скажите! А мы и не знали, что у насъ женихъ есть?.. Кто же твоя невѣста?

— Это ужъ мое дѣло.

— Конечно! Конечно! Про это не говорятъ... Скажите пожалуйста! А! Брр!!.. И приданое есть?.. Ахъ ты, каналья!

Мальчикъ рванулся и выскочилъ въ сѣни. Майоръ минуты двѣ держалъ руку въ томъ же положеніи, какъ онъ ея поддерживалъ мальчика. Онъ глядѣлъ въ потолокъ, тогда какъ Анна Петровна побѣжала въ сѣни догонять мальчика. Дѣвицы хохотали. Но больше всѣхъ хохотала Пелагея Прохорова, которую чрезвычайно смѣшила вся фигура майора.

— Какое?! Брр!!.. Скажите! — сердито говорилъ майоръ.

— Выскочилъ! — говорила смѣясь Вѣра. — А еще хвастались: пашкой по десяти человѣкъ сразу въ Польшѣ убили!

— Я?! — проговорилъ запальчиво майоръ и двинулся.

Дѣвицы взвизгнули и убѣжали въ комнату. Майоръ заковылялъ за ними. Нѣсколько минутъ изъ комнаты слышался хохотъ дѣвицъ и визгъ Вѣры Александровны.

Пришелъ тотъ жилецъ, который просилъ самоваръ.

— Что же самоваръ?

— Ой, баринъ, тутъ не до самовару... Тутъ у насъ комедія; охъ ты, Господи! — хохотала Пелагея Прохорова.

— Ну, подай самоваръ!

Пришла Анна Петровна, запыхавшись, и объявила, что мальчишка исчезъ.

Майоръ сидѣлъ у Анны Петровны до двухъ часовъ. Сперва онъ игралъ въ карты съ Вѣрой и Надеждой, потомъ выпилъ четыре бутылки пива и пѣлъ непонятные для Пелагеи Прохоровны романсы. Сѣли опять играть въ карты; но майоръ скоро заспорилъ, обругалъ всѣхъ сводочами, уронилъ стулъ и ушелъ, грозя всѣмъ перебить скулы. Чихоточный жилецъ еще послѣ чаю ушелъ, сказавъ, что онъ сегодня домой не придетъ, а у другого жильца было двое гостей, для которыхъ Пелагея Прохорова два раза бѣгала въ кабакъ за водкой, и которые, попѣвъ и пошумѣвъ немного, скоро уснули въ комнатѣ жильца, гдѣ попало.

### XXVI.

Майоръ Петръ Ивановичъ Филимоновъ сталъ извѣстенъ въ Мокрой улицѣ года съ четыре, съ тѣхъ поръ, какъ онъ пересмотрѣлъ въ этой улицѣ нѣсколько комнатъ, проклиная Большую Садовую, Гороховую, обѣ Подъяческія, всѣ три Мѣшанскія улицы за трескъ, за прокислый воздухъ, за то, что тамъ онъ большею частью нарывался на нѣмокъ-хозяекъ, которыя будто бы лупили съ него большія деньги и не уважали его майорскую особу. Онъ водворился въ мезонинѣ, занимаемомъ вдовою-полковницею, доживавшею въ то время седьмой

десятокъ. Комната у майора была большая, свѣтлая; кровать его была занавѣшена; окна выходили въ огорождъ, и поэтому онъ могъ вволю наслаждаться пѣніемъ пѣтуховъ, мяуканьемъ кошекъ и лаемъ собакъ; полковница была старушка добрая. прислуга у нея была послушная. Зажилъ майоръ хорошо. Но черезъ четыре мѣсяца ему сдѣлалось скучно. Дѣлать нечего; считать деньги надобно. писать и читать онъ не любилъ, и идти куда не хочется. Придетъ онъ къ полковницѣ, сядетъ противъ нея. Полковница въ огромныхъ очкахъ и огромномъ чепчикѣ выжеть чулокъ и что-то напечатываетъ; въ комнатѣ у ней накурено ладаномъ. Она успѣла уже вывѣдать отъ майора все его прошлое и настоящее, такъ же, какъ и онъ въ четыре мѣсяца вывѣдалъ отъ нея не только настоящее и прошедшее, но и будущее, которое состояло въ томъ, что полковница ежедневно ждала себѣ смерти, тогда какъ майоръ ни за что не желалъ умереть, и не зналъ только, что дѣлать ему завтра. Не о чемъ даже было и говорить. Новостей въ Мокрой улицѣ такъ мало, что о нихъ довольно поговорить съ четверть часа. Полковница выжеть, майоръ сидитъ, смотритъ на полковницу и въ головѣ его вертится только одна мысль: „умрешь“! И онъ силится развить эту мысль, но и развивать тутъ нечего: „умрешь и все тутъ, а мы проживемъ“.

— Чортъ ее деръ—скуку! — сказалъ однажды майоръ.

— На службу бы вамъ поступить! — сказала на это полковница.

— Васта!.. Будетъ: съ одного вола двухъ пкуръ не дерутъ.

— Гулять бы не то шли.

— Сапоги драть?!

— Ну, пасьсянсь бы...

— Это по-нѣмецки?.. А я ихъ терпѣть не могу. Я подъ Севастополемъ ихъ палашемъ по пятнадцати человѣкъ сразу рубилъ.

— Да вовсе вы съ нѣмцами тогда, кажется, не воевали!

— Такъ-то оно такъ... Только, что нѣмецъ, что французъ — все нерусскіе. Вотъ что я вамъ доложу!

— Ну, не то женились бы!

— А? Отлично... Но боюсь...

— Чего?

— Толстѣ я очень и силенъ. Меня въ полку называли Ильей Муромцемъ. Боюсь!

— Ну, вы какъ-нибудь... А вамъ надо жениться... Дѣти будутъ; заботы будутъ, хлопоты. возня.

Полковница просвѣтила майора. Сталъ онъ теперь думать, что въ самомъ дѣлѣ толстога его не мѣшаетъ жениться, а рукамъ можно и не давать воли. Но вотъ что его сбивало съ толку: уживетъ ли онъ съ женой и какая такая будетъ у него жена? И онъ опять обратился за совѣтомъ къ протѣстителю.

— Это дѣло вкуса, — сказала полковница.

— А именно?

— Надо, чтобы она вам понравилась и имела капитал.

— Такъ, такъ. Капиталъ чтобы имѣла; ну, чтобы повиновалась...

— И чтобы хозяйкой была, — добавила полковница.

Майоръ задумался. Онъ привыкъ къ одинокой жизни, привыкъ самъ покупать, платить и получать деньги. На своемъ вѣку онъ немало имѣлъ любовницъ, но уже годовъ съ десять отсталъ отъ этого, вследствие какой-то нехорошей исторіи. Этихъ любовницъ онъ не любилъ, не доверялъ имъ, а просто сорилъ деньгами. Теперь, остепенившись, онъ долженъ, какъ говоритъ полковница, завести хозяйку, а хозяйка, по его понятію, значила то же, что и всякая квартирная хозяйка. Онъ ужасался, что его оберутъ, оцоятъ и отравятъ. Онъ сообщил это полковницѣ, но та разъяснила, что жена можетъ и свои деньги имѣть. Майоръ нѣсколько успокоился, но его затрудняло теперь то, какая у него должна быть жена: равныхъ съ нимъ лѣтъ или молодая, толстая или тоненькая, высокая или низенькая, грамотная или неграмотная.

— Да гдѣ взять невѣсту?

— Мало ли у насъ невѣсты? — сказала полковница.

— Но я ихъ не вижу.

— Вы думаете, онѣ сами такъ вамъ въ ротъ и ползутъ. Вонъ, наприхѣръ, противъ вашихъ оконъ, черезъ огородъ, виденъ мезонинъ съ двумя окнами. Тутъ живетъ кухмистерша.

— Слыхалъ.

— Ну, у нея есть двѣ дочери. Дѣвушки красивые, рукодѣльницы. Я иногда имъ даю кое-что почитать.

— Отлично! — крикнулъ майоръ.

Но онъ съ мѣсяцъ не рѣшался приступить къ дѣлу. Онъ думалъ о женитьбѣ у окна съ трубкой, и смотрѣлъ на мезонинъ. Разъ онъ замѣтилъ у окна въ мезонинѣ мужчину. Заклокотала кровь у майора, разсвирѣпилъ онъ ужасно и пришелъ въ такомъ видѣ къ полковницѣ.

— Мужчина! мужчина!! — проговорилъ онъ трагически, указывая руками въ ту сторону, гдѣ мезонинъ.

— Да онѣ не тутъ живутъ.

— А?!

— Не тутъ, говорю, живутъ.

— Не тутъ?

— Я вамъ совѣтовала познакомиться съ ними, а вы какъ колода все сидите, или лежите.

— Ужо!

Майоръ успокоился и черезъ день, выпарившись предварительно въ банѣ, надѣвъ мундиръ съ десяткомъ орденовъ и взявъ трость, поковылялъ къ кухмистершѣ. Еслибы не дѣвицы, онъ воротился бы съ первой лѣстницы, но его, не смотря на темноту, нехорошій запахъ и грязь, что-то такъ и тянуло вверхъ.

Анна Петровна совсѣмъ растерялась, увидавъ въ коридорчикѣ такую особу, которую она съ переполоха признала за генерала; ея дочери украд-

кой смотрѣли на него изъ двери комнаты. Глаза майора въ короткое время успѣли разглядѣть ихъ, и онъ самъ растерялся, говоря дрожащей Аннѣ Петровнѣ: „Я къ вамъ! Я къ вамъ!..“ Ни Анна Петровна, ни ея дочери не понимали, что означалъ этотъ визитъ. Анна Петровна думала, не родственникъ ли какой дальній эта особа; ея дочери думали, не мазурикъ ли какой. Недавно былъ случай, что какой-то мазурикъ нарядился генераломъ и обокралъ чуть не весь магазинъ, но подойти и шепнуть матери объ этомъ онѣ боялись, потому что онъ стоялъ въ коридорчикѣ. Наконецъ майоръ пришелъ въ себя.

— Я къ вамъ изъ дома Королева... Я живу у полковницы Головиной и имѣю честь рекомендоваться: майоромъ въ отставкѣ, Петръ Ивановичъ Филимоновъ! — проговорилъ онъ съ разстановкой, и по окончаніи крикнувъ, точно съ его плечъ свалилась огромная ноша.

— Ахъ, это вы и есть г. майоръ! Слыхала! васъ что-то мало видать на улицѣ, — проговорила Анна Петровна, утирая губы и обдергивая свое платье.

— Я домосѣдъ-съ! Да. Такой домосѣдъ, что...

— Пожалуйста въ комнату.

— Покорно благодарю... Я къ вамъ по дѣлу...

— Пожалуйста! — семенила Анна Петровна, думая, по какому это дѣлу могъ придти къ ней майоръ, котораго рѣдко кто видитъ въ Мокрой улицѣ.

Въ комнатѣ майоръ объявилъ, что онъ намѣренъ брать у кухмистерши кушанья. Онъ просидѣлъ до вечера, похваливъ и чай, и обѣдъ, и кофе, и пиво, и дѣвицъ за то, что онѣ шьютъ хорошо, и, обѣщавъ бывать въ кухмистерской ежедневно, заплатилъ за все сѣдненное и выпитое, не смотря на то, что кухмистерша отказывалась брать деньги за чай, кофе и пиво, на томъ основаніи, что она рада знакомству.

Майоръ сообщил полковницѣ, что онъ положительно женится; но вотъ горе: ему нравятся обѣ дочери кухмистерши.

— Господь съ вами — вы вѣдь не татаринъ, чтобы на двухъ жениться.

Майоръ задумался. Обѣ молоды, красивы, любезны; которую выбрать?

— Предоставьте это времятеченію, — сказала полковница на сѣтованіи майора.

Майоръ не понималъ.

— Очертя голову нельзя дѣлать, что не слѣдуетъ. Потерпите, всмотритесь и рассмотрите ихніе характеры и современемъ вы отличите изъ нихъ достойную васъ, — разъяснила полковница.

Ставъ майоръ посѣщать квартиру кухмистерши и каждый разъ возвращался домой въ недоумѣніи, которая изъ дочерей кухмистерши достойна быть его женой. „Обѣ красавицы, обѣ умины“. И, думая объ этомъ, онъ попивалъ пиво.

Прошло лѣто, осень, наступилъ морозъ. Майоръ ходилъ къ кухмистершѣ и засиживался у нея до вечерняго чая, рассказывая про свою военную жизнь, удачу, силу и про то, что въ немъ

вѣсу слишкомъ десять пудовъ. Но перемѣны въ дочеряхъ кузинистерши онъ не замѣчаетъ. Такъ же просто онѣ одѣты; такъ же на ватѣ у нихъ салопчики и такъ же онѣ стыдятся ихъ, какъ и прежде. Какъ и прежде онѣ говорятъ бойко, не долго задумываясь, только что стыдятся его меньше, и стали смѣяться надъ нимъ, какъ ему кажется. Но теперь уже время проводится съ ними скучнѣе прежняго, даже и въ карты играешь — далеко нѣтъ той веселости, какая была лѣтомъ и осенью.

— Что бы это такое значило? — спрашивала майоръ полковницу.

— А чтожъ вы предложеніе не сдѣлаете и ходите съ пустыми руками?

— Подарить, небось, надо?

— Разумѣется... А выбрали невѣсту-то себѣ?

— Да вотъ Надежда мнѣ лучше нравится; она скромна, только горда больно.

— Ну, это пройдетъ! Вотъ вы ей и купите что-нибудь — ну, хоть лисій салопъ.

— О-о!!! — завопилъ майоръ и замахалъ руками.

Однако полковница успокоила его, и онъ на другой день отправился въ гостинный дворъ. Оказалось, мѣха дороги. Ему тамъ посоветовали сходить на аукціонъ въ громоздкую компанію, и тамъ онъ купилъ дешево старенькій лисій салопъ, который и предложилъ Надеждѣ Александровнѣ въ подарокъ къ празднику. Та удивилась и спросила:

— Это за что же?

— Извольте принимать, Надежда Александровна, не то силой надѣну! — сказалъ майоръ, улыбаясь.

— Нѣтъ, силой вы не можете и не имѣете права, — отвѣтила Надежда Александровна съ большимъ волненіемъ.

— Ну, такъ я мамашу нашу попрошу.

А Анна Петровна стояла у двери и отчаянно кивала головой, какъ будто говоря: „бери! бери!“

При послѣднихъ словахъ майора она подошла къ нему.

— Позвольте васъ спросить, за что вы дарите Надѣ салончикъ? — спросила она робко.

— За то... Ахъ!! Немо-гу-у! — простоналъ майоръ.

— Мы люди не бѣдные, Петръ Ивановичъ. Вы насъ обижаете, — проговорила слезливо Анна Петровна и стала куксать глаза.

— Обижаете!.. Даниѣ плевать! — началъ майоръ, что-то соображая, но дальше ничего не могъ говорить, потому что понималъ, что нарвался, и хотѣлъ идти къ полковницѣ за совѣтомъ.

— Не ожидала я отъ васъ. Да вы позвольте васъ спросить, за кого вы моихъ дочерей принимаете? — продолжала Анна Петровна запальчиво, сообразивъ, что словомъ „наплевать“ онъ выразилъ что-то дурное.

— Анна Петровна... Охъ!! Отдайте за меня Надежду Александровну!

— Я ея не держу: какъ она хочетъ!

— Я не хочу... Вы мнѣ не нравитесь! — отрѣзала Надежда Александровна.

— Я такъ и думала... — сказала жалобно майоръ, сѣлъ и задумался.

Онъ сидѣлъ съ полчаса. Въ это время Анна Петровна, вызвавъ дочерей въ кухню, шопотомъ ругала

ихъ и приказывала Надеждѣ Александровнѣ изъяснить свое согласіе, а такъ какъ та не соглашалась, то она употребляла въ дѣло руки.

Майоръ очнулся, дѣвицы нѣтъ. Онъ пошелъ въ кухню.

— Такъ какъ?

— Она согласна, — отвѣтила Анна Петровна.

— Нѣтъ, я несогласна, ни за что на свѣтѣ! — крикнула Надежда Александровна.

— Ну, такъ прощайте... А салопъ я дарю, потому мнѣ на что же онъ?

И майоръ ушелъ.

Онъ не приходилъ цѣлыхъ два мѣсяца, потому что его обидѣли отказомъ. Однако, несмотря на такую явную обиду и трату денегъ на салопъ, его почти ежедневно порывало сходить къ кузинистершѣ и посмотреть, что тамъ дѣлается. И вотъ онъ задумалъ планъ: нельзя ли ему взять къ себѣ Надежду Александровну въ любовницы?

Въ эти два мѣсяца сестрамъ покоя не было отъ матери: она ихъ ругала и била, умоляла ихъ, плакала и опять ругала. Ни въ чемъ неповинной Вѣрѣ надобно все это страшно, и она стала тоже уговаривать Надежду Александровну пожалѣть хотя ее.

— Ты изъяви согласіе, пускай онъ ходитъ. Можетъ быть, онъ еще и раздумаетъ, — говорила она сестрѣ.

Та плакала, хотѣла убѣждать, но ей грѣшно казалось обидѣть своимъ побѣгомъ мать, да и пугала будущность, если она попадетъ куда-нибудь въ магазинъ. Думалось также, что если она уйдетъ, то Вѣра не пойдетъ съ ней; а если Вѣра останется, то майоръ непременно будетъ за нее свататься. Она знала характеръ Вѣры — ее уговорить не трудно. И что будетъ за жизнь съ этимъ бульдогомъ, который можетъ однимъ взмахомъ руки убить слабую женщину. Она начинала соглашаться съ мнѣніемъ сестры, что, можетъ быть, онъ и раздумаетъ жениться, можетъ быть, современемъ мать сама убѣдится въ своей несправедливости... Ну, а если онъ да въ самомъ дѣлѣ женится?.. И она сказала объ этомъ сестрѣ.

— Я бы на твоёмъ мѣстѣ вышла за него, потому что такіе толстые умираютъ отъ удара. Мамаша тоже говоритъ. Она надѣется, что онъ долго не проживетъ, и когда онъ умретъ, все намъ достанется. А еслибы не то, стала бы мамаша выталкивать насъ за него?

Надежда Александровна подумала объ этомъ и рѣшилась изъяснить согласіе. Анна Петровна обрадовалась и, откормивъ нахлѣбниковъ, одѣлась по праздничному и пошла къ майору.

Майоръ лежалъ на кровати; при входѣ Анны Петровны онъ не всталъ.

— Что это вы, Петръ Ивановичъ! Здоровы ли? — проговорила Анна Петровна.

— А что?

— Да васъ не видать нигдѣ...

— Чего мнѣ дѣлается! Я здоровъ.

— А я все собиралась къ вамъ съ Надей попросить у васъ извиненія. Да тутъ Надя захворала, хлопотъ было много. Она и больная все говорила мнѣ: „сходите за Петромъ Ивановичемъ, я, говорить,

сказала ему грубости потому, что его сватовство было так неожиданно "... И теперь все пристаёт да пристаёт: „сходи да сходи“... А я все думаю, хорошо ли это будет? Может быть, вы и отменили свое рѣшеніе жадиться?"

Майоръ лежалъ, глядя въ потолокъ и поглаживая живость. Съ полчаса ни кухмистерша, ни майоръ не сказали ни слова. Наконецъ Аннѣ Петровнѣ надоѣло стоять.

— Просту извинить, что беспокоила васъ,—сказала она.

Майоръ повернулъ голову къ Аннѣ Петровнѣ и уставилъ на нее свои глаза, которые выражали и радость, и звѣрство.

— Такъ она согласилась?—проговорилъ майоръ.

— Одумалась и согласилась.

— Такъ... А если я несогласенъ?

— Воля ваша.

— Ну, я прощаю... И чтобы впередъ этого не было!—проговорилъ онъ и всталъ.

Майоръ сдѣлалъ любезнѣе, напоилъ кухмистершу чаемъ и пивомъ. Анна Петровна пришла домой на-веселѣ и разбила въ кухнѣ миску, купленную ею на Сѣнной.

Майоръ не скоро собрался къ кухмистершѣ; онъ пришелъ черезъ недѣлю послѣ визита къ нему Анны Петровны.

Мѣсяца два майоръ приходилъ раза по два въ недѣлю. Онъ обыкновенно приходилъ къ обѣду и уходилъ вечеромъ. Велъ онъ себя скромно, какъ слѣдуетъ жениху, рассказывалъ о своихъ походахъ, о томъ, какъ онъ въ старые годы училъ солдатъ, говорилъ, что ему не нравятся нынѣшніе порядки, игралъ въ карты и мало пилъ пива. На сѣтованія Анны Петровны, что содержаніе стало дорого, нальбонки плохо платятъ, онъ посоветовалъ давать подъ залогъ вещей или за проценты деньги и, подъ предлогомъ быть участникомъ въ этомъ, далъ ей денегъ и общался впередъ давать. Однимъ словомъ, Петръ Ивановичъ оказался отличнѣйшимъ человекомъ и всѣ имъ были довольны, даже Надежда Александровна не косилась на него попрежнему. Но о свадьбѣ ни майоръ, ни кухмистерша съ дочерью не заикались; послѣднія считали вопросы неловкими, да и думали, что лучше будетъ, если женихъ и невѣста до свадьбы узнаютъ другъ друга. На третьемъ мѣсяцѣ майоръ принесъ Надеждѣ Александровнѣ шелковой матеріи на платье и потребовалъ, чтобы она поцѣловала его. Отказываться было неудобно. Майоръ сталъ приходиться по вечерамъ. Надежда Александровна должна была цѣловать его по приходѣ и при уходѣ изъ квартиры. Но а это ничего; къ майору привыкли, и онъ въ теченіе года былъ въ квартирѣ кухмистерши, какъ свой человѣкъ. Иногда онъ снималъ съ себя сюртукъ, иногда приносилъ халатъ, трубку, ложился на диванъ; ему эти вольности допускались за то, что онъ носилъ кое-когда подарки невѣстѣ или ея сестрѣ, а мать ссужала деньгами. А о свадьбѣ все-таки не было рѣчи, и сестры стали говорить между собой, что имъ надо какъ-нибудь выйти изъ этого положенія, потому что,

какъ видно, майоръ не такой дуракъ, какими кажется, и подѣзжаетъ къ нимъ довольно ловко.

Разъ Надежда Александровна возвращалась домой изъ Малой Дворянской улицы, куда она ходила за работой. Попадаетъ ей предметъ. Оба замѣли, но спросили другъ друга о здоровьѣ. Потомъ предметъ вдругъ спрашиваетъ ее: скоро ли ея свадьба съ майоромъ? Та сказала, что майоръ объ этомъ ничего не говоритъ имъ. Предметъ пригласилъ Надежду Александровну въ паркъ, дорогой купилъ апельсиновъ, грушъ, яблокъ. Въ саду они сидѣли до вечера, говорили долго, изъяснились въ любви, и предметъ просилъ ее подождать немного, потому что ему общаются казенную квартиру и награду. А такъ какъ онъ ее очень любитъ, то проситъ приходить въ паркъ. Но Надежда Александровна сказала, что ей нельзя часто ходить въ паркъ, потому что бульдогъ по вечерамъ сидитъ у нихъ, а лучше будетъ, если ты, Паша, будешь жить у насъ. У насъ теперь есть порожняя комната. Паша переѣхалъ къ кухмистершѣ, которая ничего не подозрѣвала, а какъ только нѣтъ матери, а Паша дома, сестры или сидятъ у него, или онъ у нихъ. Прошло два мѣсяца, Паша живетъ, обнимается съ Надеждой Александровной. Надежда Александровна весела, сдѣлалась даже веселѣе Вѣры, которой было завидно счастью сестры, съумѣвшей своего Пашку помѣстить въ одной квартирѣ; майоръ тоже веселѣ: ему казалось, что его наконецъ-таки полюбила гордая и своевольная дѣвчонка. Теперь майоръ повелъ дѣло на чистоту.

Приходить онъ разъ въ первомъ часу ночи съ узломъ и трубкой. Анна Петровна спала, но дочери работали. Анну Петровну стали будить, майоръ не приказывалъ.

— Что вы такъ поздно пришли?—спросила его Надежда Александровна.

— Долго послѣобѣдаспалъ. Стелы, Нада, постель!

— Это не для васъ ли ужъ?

— Именно. Сегодня моему терпѣнію конецъ. Съ сегодняшняго дня ты жена мнѣ будешь.

Надежда Александровна поблѣднѣла, и шатаясь дошла до постели и закрыла лицо руками.

— Стыдитесь говорить то!—сказала съ сердцемъ Вѣра Александровна.

— Да!

Вѣра Александровна подошла къ двери, вынула ключъ и крикнула:

— Мамаша! Кухарка! Жильцы! Идите!..

Но майоръ угостилъ ее оплеухой, и она упала.

Явилась мать, жильцы, кухарка. Вышла сцена.

— Вонъ!!—ревѣлъ майоръ, толкая то того, то другого.

— Вонъ!!—кричала испуганная Анна Петровна, видя поднимающуюся съ полу и съ кровью во рту Вѣру и плачущую Надо.

— Деньги подай, или дочь!

— Павелъ Игнатьичъ! сходите за полиціей!—просила Анна Петровна.

— А! вы такъ?! Я васъ проучу!..—ревѣлъ майоръ и сѣлъ.

Но онъ сидѣлъ не долго и ушелъ вслѣдъ за жильцомъ, пошедшимъ за полиціей.

Теперь всѣмъ стало ясно, что за штука этотъ майоръ, и рѣшено было жаловаться на него полиціи и возвратить не только всѣ вещи, но и деньги по возможности. Но это было рѣшено сгоряча. Утромъ явился майоръ въ мундиръ съ орденами и, войдя въ кухню, сталъ передъ кухмистершей на колѣни.

— Виновать-съ, простите.. Впередъ не буду! — проговорилъ онъ.

— Идите прочь. Не надо мнѣ вашего прощенія, — проговорила запальчиво Анна Петровна.

— Но я майоръ и... я былъ пьянъ.

— Я хотя и не имѣю чести именоватьсѣ майоршей, но все-таки дворянка, и не позволю обижать меня и бить моихъ дочерей.

— Я плачу за безчестіе.

— Ничего я не хочу!

Майоръ всталъ, сдѣлалъ руки фертонъ и началъ:

— А вотъ это какъ, по вашему, безчестіе, или нѣтъ? сижу я у окна и вижу Надежду Александровну въ комнатѣ вашего жилья. Потомъ вижу, жилище обнимаетъ.

— Полно вамъ врать-то!

— Позовите-ко сюда жильца и Надежду Александровну!

Анна Петровна не хотѣла этого сдѣлать, но явилась Надежда и сказала запальчиво:

— Павелъ Игнатьичъ въ тысячу разъ лучше. Мамаша! позвольте мнѣ идти за него...

— Что я говорилъ? — сказалъ майоръ и захотѣлъ.

Это такъ удивило Анну Петровну, что она не знала, что ей сказать. Вдругъ она пошла въ комнату Павла Игнатьича.

— Вы... вы подлецъ! — произнесла она дрожащимъ голосомъ.

— Покорно васъ благодарю.

— Извольте сейчасъ, сію минуту съѣзжать съ квартиры! — крикнула она и вышла, хлопнувъ дверью.

Началась сцена, довольно непріятная для всѣхъ и кончившаяся тѣмъ, что майоръ заплатилъ за побитіе Вѣры двадцать пять рублей, остался женихомъ Надежды съ тѣмъ условіемъ, что онъ женится непременно, если выйдетъ Павелъ Игнатьичъ и если ему будутъ оказывать уваженіе; что онъ будетъ посѣщать невесту разъ въ недѣлю и не будетъ впередъ безобразничать.

Началась опять прежняя жизнь, майоръ посѣщалъ невесту разъ въ недѣлю и попрежнему игралъ въ карты. Но Анна Петровна не любила Надежду Александровну, которая все дѣло испортила, можетъ быть, навсегда. Дочери ненавидѣли майора, но сидѣли съ нимъ потому, что изъ этой жизни не видѣли выхода. Такъ прошелъ годъ. Опять майоръ сдѣлалъ своихъ человѣкомъ, но теперь уже строились планы будущей семейной жизни. Майоръ, за двѣ недѣли до найма Пелагеи Прохоровны, говорилъ, что у него теперь лежитъ сердце больше къ Вѣрѣ Александровнѣ и онъ уже ходилъ къ священнику посоветоваться насчетъ свадьбы.

Анна Петровна тоже сходила къ священнику — майоръ точно у него былъ. Онъ сталъ приходить къ кухмистершѣ ежедневно и, въ ожиданіи свадьбы, которая была назначена черезъ недѣлю послѣ Петра и Павла, всѣ терпѣливо сносили невѣжливое обращеніе его. Вѣра Александровна съ трепетомъ ждала дня, когда ее повѣнчаютъ съ тѣмъ, кого она ненавидитъ, и рѣшилась на этотъ бракъ, чтобы угодить матери и въ надеждѣ на то, что майора кондрашка хватить.

И дѣйствительно, вскорѣ послѣ Петра и Павла майоръ былъ обвиненъ.

## XXVII.

Скоро послѣ свадьбы майоръ купилъ себѣ собственный домъ на набережной Невы и переѣхалъ туда съ женою, переманивъ отъ кухмистерши и Пелагеи Прохоровну.

Жизнь было дурное. Майоръ съ утра до вечера былъ пьянъ, билъ жену и нѣсколько разъ даже дѣлалъ Пелагеѣ Прохоровнѣ предложеніе быть его любовницей. Но она все еще крѣпилась и не рѣшалась оставить майорскій домъ, во-первыхъ потому, что надѣялась справиться съ майоромъ сама, если онъ будетъ слишкомъ предпринимчивъ, и во-вторыхъ потому, что получала тутъ три цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, и думала, что такого жалованья въ другомъ мѣстѣ, пожалуй, и не найти. Однажды майоръ ушелъ съ женою въ гости; Пелагеѣ Прохоровнѣ сдѣлалось скучно; она отворила окно, уперлась на косякъ и стала смотрѣть во дворъ.

За мезониномъ, въ промежуткѣ между двухъ оконъ, на бичевочкѣ висѣло дѣтское бѣлье; изъ одного раствореннаго окна слышался плачь ребенка и убаюкивающая пѣсня женщины; у третьяго окна сидѣла повидимому дѣвушка въ сѣтѣхъ и нагнувшись пѣла: „Ахъ ты купчикъ, душа, не ночуй у меня“. Въ одномъ углу двора пять мальчишекъ играли въ бабки, три дѣвочки сидѣли у крыльца и тихо играли въ куклы; въ другой сторонѣ двора, изъ одного подвального этажа, слышался стукъ молоткомъ, изъ другого выглядывала кверху какъ разъ на нее мужская голова. Пелагею Прохоровну разсмѣшила эта голова, выглядывающая точно изъ водосточной трубы, но кромѣ головы, на одинъ бокъ которой было надѣто что-то плисовое, похожее на ермолку, она замѣтила на окнѣ два локтя, концы которыхъ выходили наружу. Голова курила папироску. Вдругъ голова кивнула по направленію къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Пелагею Прохоровну нагнулась, чтобы полюбопытствовать, какой особѣ кланяется голова.

— Пелагеѣ Прохоровнѣ! — вдругъ сказала голова.

Пелагею Прохоровну вздрогнула, затворила окно и отошла отъ него. Ей сдѣлалось стыдно и представилось, что это киваніе непременно кто-нибудь замѣтилъ, а ея имя по всей вѣроятности услышалъ не одинъ человѣкъ „Эдакой подлецъ!“ подумала она: „теперь по его милости обо мнѣ хорошо станутъ говорить!“



Во всей квартирѣ была тишина, прерываемая тиканьемъ часовъ безъ боя, находящихся въ комнатѣ Пелагеѣ Прохоровнѣ сдѣлалось очень скучно, не хотѣлось работать, и въ головѣ вертѣлась мысль, что вотъ она ни въ чемъ не виновата, а теперь, по милости какого-то подлеца, ей совѣстно будетъ выйти на улицу или на дворъ. Ее порывало идти и спросить эту голову: „какъ она смѣла кланяться ей и называть ее по имени на весь дворъ, точно она его любовница? Надо дворнику сказать, чтобы квартиранты не смѣли обращаться такъ невѣжливо: я не какая-нибудь потаскуша, чтобы можно такъ обращаться со мной!“ — подумала она и рѣшила теперь же идти къ старшему дворнику.

Она поправила свой сарафанъ, накинула на голову платокъ и подошла къ небольшому зеркальцу, висѣвшему на станкѣ и принадлежавшему ей. Она давно не смотрѣлась такъ въ зеркало, какъ сегодня. Прежде она только взглядывала на него для того, чтобы посмотреть, въ порядкѣ ли причесаны волосы, хорошо ли лежатъ платокъ на головѣ; теперь же она особенно засмотрѣлась на свое лицо, и удивилась, что оно стало блѣднѣе прежняго и въ немъ нѣтъ прежней полноты. „Подумавшись, вѣдь кажется и сыта я, прежде вонъ объ этомъ кофеѣ и понятія никакого не имѣла, работы не такъ много и по ночамъ не мѣшаютъ спать, а стала я пошто-то худосава; вонъ и глаза ровно не тѣ, и волосы стали какъ будто рѣже“. Но, несмотря на это сѣтованіе, Пелагея Прохоровна была все-таки женщина красивая; ея блѣдное, худосавое лицо, съ сосредоточенно-осмысленнымъ взглядомъ въ глазахъ, при ея высокомъ ростѣ, могло привлечь къ себѣ хоть кого, хоть она сама объ этомъ и не старалась.

Пелагея Прохоровна спустилась во дворъ, и хотя ей не хотѣлось глядѣть на флигель, но противъ воли глаза взглянули на одно изъ оконъ въ подвалѣ, однако головы не оказалось.

Во дворѣ было два флигеля, изъ которыхъ одинъ былъ съ мезониномъ, а другой безъ мезонина, но такъ-же, какъ и червыи, съ подваломъ. Въ подвалѣ перваго флигеля отдавались въ наймы двѣ квартиры, и въ одной изъ нихъ жило пятнадцать человѣкъ рабочихъ; въ другомъ помѣщался семейный сапожникъ, не имѣющій впрочемъ вывѣски; остальная часть подвала была занята ледникомъ и дровянымъ сараемъ домовладѣльца, и поэтому кухаркѣ Филимонова ежедневно по нѣскольку разъ приходилось проходить въ ледникъ мимо того окна, въ которомъ она видѣла голову. Хотя же Пелагея Прохоровна до сихъ поръ не обращала вниманія на окна подвала и на народъ, живущій тамъ, но теперь она хотѣла увидать того подлеца, который осквернилъ такъ дерзко фамильярничать съ ней. Она постояла противъ окна съ полминуты, наклонившись къ землѣ, какъ будто разглядывала находку и искоса взглядывая на окно; но всѣ окна были закрыты и въ подвалѣ было тихо.

Послѣ этого прошла недѣля. Пелагея Прохоровна не обращала вниманія на выходку рабочаго изъ подвала и стала забывать о ней. Но она стала за-

мѣчать, что кухарки взглядываютъ на нее полунасмѣшливо; дворники начинаютъ отпускатъ любезности и хохочутъ, лавочники низко кланяются, шаркаютъ ногами и тоже хохочутъ и уже начинаютъ крѣпко жать ей ладони. Стали Пелагею Прохоровну спрашивать: какъ она себя чувствуетъ? и спрашивали какъ-то насмѣшливо. Это ее разобидѣло; но она, понявъ, что тутъ заключается какой-то намекъ, все-таки не возражала, чтобы не навлечь какихъ-нибудь неприяностей. Она это приписывала нехорошему, какъ ей казалось, поведенію женщинъ: „это онѣ по себѣ сулятъ; имъ удивительно кажется, што я живу безъ душеньки, и онѣ злятся на меня, зачѣмъ я не являюсь съ ними“.

Хотѣлось ей познакомиться съ женой лавочника Вольшакова, жившаго тутъ же во флигелѣ, Агафьею Петровною, для того, чтобы при посредствѣ ея мужа, у котораго берутъ хлѣбъ и другіе припасы, найти мѣсто получше или заняться стиркой бѣлья; но ей казалось, что Агафья Петровна ведетъ себя съ нею весьма надменно, и Пелагея Прохоровна не залюблила ее.

Такъ и шло все по старому: женщины на нее косились, мужчины какъ-то насмѣшливо улыбались, лавочники жали руки и любезничали, что ей очень не нравилось, но никто не обижалъ словами. Разъ майоръ воротился домой откуда-то очень пьяный и учинилъ дома драку, такъ что почти всѣ жмилцы высовывали свои головы, чтобы послушать, и дѣлали громко свои замѣчанія. Досталось тутъ и Пелагеѣ Прохоровнѣ, которая стала заступаться за хозяйку изъ боязни, чтобы майоръ не убилъ ея. Наконецъ майоръ выгналъ жену и заперся въ своей комнатѣ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ стало жаль майориши, и она пошла ее разыскивать, чтобы та почевала въ кухнѣ, на ея кровати. Но ни на лѣстницѣ, ни на дворѣ она не нашла ея. Думая, не ушла ли она на улицу, Пелагея Прохоровна отворила калитку, взглянула налѣво — нѣтъ, направо — у самой калитки на лавочкѣ сидитъ та голова, что такъ дерзко кричала ей изъ подвального окна. У Пелагеи Прохоровны по кожѣ мурашки пробѣжали.

— Кого ищете, Пелагея Прохоровна? — проговорилъ скромно мужчина.

Пелагея Прохоровна вспыхнула. но отошла немного на дорогу и поглядѣла на сидящаго мужчину.

Это былъ высокій человѣкъ, годовъ тридцати, съ курчавыми рыжими волосами, безъ бороды и усовъ, блѣднымъ, чистымъ лицомъ, голубыми глазами и пріятною улыбкою. Онъ сидѣлъ въ голубой ситцевой рубашкѣ, поверхъ которой былъ надѣтъ чистый передникъ; на босыхъ ногахъ были надѣты худенькія калоши, на головѣ пласовая шапка. Вся его фигура изобличала мастерового, и Пелагеѣ Прохоровнѣ представилось, точно она видитъ передъ собой Короваева. Онъ сидѣлъ, скрестивши на груди руки и спокойно глядѣлъ на нее.

— Хозяйку ищете? — спросилъ опять Пелагею Прохоровну мужчина.

— Ты... вы не видѣли? — Лицо Пелагеи Про-

хоровны покраснѣло: ей стало неловко, да и зло брало ее,—неизвѣстно для нея самой почему.

— Нѣтъ, не выдалъ... Видно, машина-то у васъ все въ полномъ ходу?

Пелагея Прохоровна не поняла.

— Видно, онъ все буйнить? Вы бы насъ, мастеровыхъ, позвали, мы бы связали его.

— Свяжешь его, чорта! — И Пелагея Прохоровна подошла къ калиткѣ.

Мужчина тоже всталъ.

— Пелагея Прохоровна... позвольте мнѣ... просить васъ,—началъ онъ нерѣшительно.

— Ну?!—недовольно произнесла Пелагея Прохоровна.

— Простите меня великодушно. Я слышалъ, вы изволили обидѣться.

— Кабы умнѣ былъ, не оралъ бы во все горло.

— Ну, простите же меня... — И онъ взялъ ея руку, крѣпко стиснулъ и прибавилъ: — ей Богу, это меня чортъ сунулъ... Я давно хотѣлъ вамъ объяснить это... Ну, скажите, вы не сердитесь?

— Пустите!

— Нѣтъ, вы скажите.

— У! какой невѣжа!..—И Пелагея Прохоровна отвернула лицо. Мужчина выпустилъ руку и сказалъ:

— Простите великодушно, што я задержалъ васъ...

Но Пелагея Прохоровна не удостоила его отвѣта и вошла во дворъ. Она остановилась у лѣстницы и стала припоминать, что она сказала своему врагу. Кажется, ничего, но только какъ-то по дѣвичьи... И зачѣмъ онъ непремѣнно тутъ? Она задумалась... Ничего у ней не выходило, кромѣ того: „какой ласковый... Этотъ не какъ Короваевъ!“ Опять стала думать. „И зачѣмъ онъ тутъ? Да я его часто вижу, только не въ этой смѣшной ермолкѣ... Ахъ, кабы онъ былъ кержакъ... то бишь раскольникъ. Экая я дура, о чемъ задумала, а тамъ поди, Богъ знаетъ што, творится наверху-то!“ И Пелагея Прохоровна побѣжала навверхъ; и ей было легко бѣжать,—она думала: „не боюсь я тебя, поганый бульдогъ!“

Только что Пелагея Прохоровна раздѣлась и легла спать на свою кровать, какъ майоръ подошелъ къ ней со свѣчкой и, схвативъ ее за волосы, проговорилъ съ яростью:

— Гдѣ ты была, гадина!

— Неужели мнѣ и на улицу нельзя выйти?—отвѣтила кухарка тономъ никого не боящей женщины и правой рукой вышибла изъ руки майора свѣчку. Майоръ выпустилъ ея волосы, но схватилъ за рубашу. Пелагея Прохоровна встала, но почувствовала крѣпкій ударъ въ щеку, потомъ еще ударъ.

— Вонъ, тварь поганая! — кричалъ майоръ: — развѣ я не знаю, куда ты ходила?!... Вы всѣ за одно съ моею женой. Вонъ!—И майоръ сталъ толкать Пелагею Прохоровну.

— Расчетъ наперво подайте, паспортъ!—кричала Пелагея Прохоровна вѣ себя.

Но майоръ ничего не слушалъ; Пелагея Прохоровна не могла защищаться и выскочила въ сѣни.

— Куда?!—крикнулъ майоръ въ сѣняхъ.

Пелагея Прохоровна спустилась по лѣстницѣ. Майоръ постоянно немногу перилъ и ушелъ въ квартиру. Ставши у крыльца, Пелагея Прохоровна заплакала. Вдругъ кто-то въ корридорѣ отворилъ дверь; къ Пелагѣ Прохоровнѣ подошла пожилая женщина. Это была нянька нижнихъ жильцовъ, Дарья Васильевна.

— Кто это?! А! Пелагеюшка... што, не прибилъ ли онъ тебя?—спросила она нѣжно.

— Богъ съ нимъ... завтра отъ мѣста отхожу.

— Ну, полно-ко! Твоя-то барыня говорить, што все это будто отъ тебя... Мы ее спрятали.

— Вретъ барыня... Она сама задираетъ... Свяжите ей, што она ошибается.

— Мнѣ што?.. Я бы тебя пригласила, да сама знаешь, я въ людяхъ живу: каково еще моей барынѣ понравится.

— Да я гдѣ-нибудь.

Пелагея Прохоровна вышла за ворота, потому что ей не къ кому было идти и не хотѣлось кланяться и просить пріюта.

Быль уже сентябрь мѣсяцъ на исходѣ; дулъ рѣзкій холодный вѣтеръ съ рѣки. Луна освѣщала набережную и Неву съ ея судами и барками. Издѣсь, и кругомъ было тихо, только въ рѣкѣ плескались волны, скрипѣли суда и барки съ дровами, лѣсомъ и камнемъ.

„Вотъ и опять одна, и опять безъ пріюта“, думала Пелагея Прохоровна, уперлась о фонарный столбъ, на которомъ не было фонаря, и задумалась. Но въ голову ничего не шло хорошаго, какъ будто майоръ весь мозгъ вытрясъ изъ головы. А вѣтеръ такъ и дуетъ, Пелагею Прохоровну начинаетъ трясти отъ холода.

— И это столица! Ужъ если здѣсь такая жизнь, гдѣ же лучше?—сказала она, глядя на рѣку.

— Пелагея Прохоровна... што вы тутъ дѣлаете?—произнесъ вдругъ позади ея мужской голосъ.

Пелагея Прохоровна обернулась; передъ ней стоялъ рыжеволосый мужчина въ томъ же нарядѣ, въ какомъ онъ былъ часа два тому назадъ.

— Вѣдь вы простудитесь...—опять произнесъ онъ съ сожалѣніемъ.

— А вамъ-то что? Што вы за мной ходите?—недовольно проговорила Пелагея Прохоровна.

— Всякій вамъ то же скажетъ, что и я... Али вамъ жизнь надоѣла?.. Да вы идите лучше хоть во дворъ.

— Куда жъ я пойду... Ужъ я не пойду больше туда.

— Экія вы спѣсивыя... Все же за паспортонъ, али за деньгами придется идти. Прошу васъ, отойдите отсюда, пожалѣйте себя.

Пелагея Прохоровна пошла къ дому. Во дворѣ буживалъ майоръ.

— Гдѣ жена?—кричалъ онъ.

— Эко горе... Не проходила вѣра Александровна?—спрашивалъ во дворѣ дворникъ.

— Да вы всѣ, подлецы, спали!—ревѣлъ майоръ, и слышно было, какъ онъ билъ дворниковъ по щекамъ.

— Господи! я боюсь, какъ бы онъ сюда не при-

шелъ!—сказала шопотомъ Пелагея Прохоровна, смотря на мужчину и дрожа отъ холода и отъ страха.

— Ну, дакъ что! Пусть только тронетъ... Я покажу ему, кто изъ насъ сильнѣе.

Но голосъ майора затихъ во дворѣ; повидимому онъ ушелъ куда-то.

— Вы постойте тутъ, а я посмотрю, куда онъ ушелъ, и похлопочу, гдѣ бы вамъ ночевать.

— Ужъ не безпокойтесь, я и здѣсь просижу.

— Ну, и значить, што вы дура!

И мужчина ушелъ во дворъ.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать. Эта сцена вышла такъ неожиданно, что она не могла ничего придумать. Еслибы она знала, что майоръ ее прибѣдетъ и прогонитъ сегодня ночью, она бы позаботилась о ночлегѣ. А теперь не сидѣть же ей въ самомъ дѣлѣ на улицѣ въ такой холодъ. При этомъ она обозвала себя дуру за то, что стала у самой рѣки въ одной рубашкѣ, безъ платка на головѣ и босикомъ, когда могла бы спрятаться гдѣ-нибудь въ подвалѣ и такимъ образомъ избѣжать встрѣчи съ этимъ мастеровымъ, отъ котораго теперь всѣ узнаютъ, что она стояла на улицѣ въ такомъ видѣ. „А онъ человекъ добрый, хорошій, и на тѣхъ подмастерьевъ, што я видѣла здѣсь, не походить“, думала она объ этомъ мастеровомъ, не сердилась на его навязчивость, а ждала, гдѣ-то онъ ее приютитъ ночевать.

На улицу вышли дворникъ и лавочникъ, Иванъ Зиновичъ Большаковъ, за нимъ шелъ и мастеровой.

— Эдакой проклятый!.. Штобъ ему лопнуть, животъ! — говорилъ дворникъ.

— Пелагея Прохоровна... пожалуйста къ намъ, не побрезгуйте, — сказалъ лавочникъ, подойдя къ Пелагее Прохоровнѣ.

Пелагея Прохоровна не знала, что сказать. Ей вдругъ представилось, что Агафья Петровна сдѣлается еще надменнѣе и ей придется унижаться передъ нею.

— Нѣтъ, я въ другое мѣсто.

— Ну, полноте. Вонъ Игнатій Прокопьевичъ тоже совѣтуетъ, — указавъ на мастерового, проговорилъ лавочникъ, и прибавилъ: — у меня мѣста много, хватить.

— Именно! А завтра навѣдаюсь къ хозяину, можетъ и ничего, — сказалъ дворникъ.

Всѣ вошли во дворъ. Большаковъ спустился налѣво въ подвалъ въ свою квартиру, заключающуюся изъ одной комнаты съ двумя окнами у самаго потолка, съ русскою печью, и изъ овощной и мелочной лавочки.

## XXVIII.

Комната или изба со сводами была просторная, но такъ какъ она примыкала къ лавкѣ, то до половины была загромождена кадками, кулями и мѣшками, которые лежали тутъ потому, что Иванъ Зиновичъ Большаковъ не имѣлъ ни погреба, ни ледника. Въ комнатѣ тѣсно и грязно; а такъ какъ на окнахъ были наставлены разныхъ величинъ бакки съ вареньями, изюмомъ, миндалемъ, чернымъ, немохотымъ перцемъ и т. п. мелочами, то даже и

днемъ тутъ было не совѣсть свѣтло. Повидимому Иванъ Зиновичъ не заботился ни о свѣтѣ, ни о просторѣ и чистотѣ своего помѣщенія. Имѣя жену, работающую и хорошую хозяйку, и вытѣрговывая въ сутки отъ двухъ до пяти рублей барыша, онъ якимъ-то помѣщеніемъ былъ бы совершенно доволенъ, еслибы не дымилъ въ вѣтеръ печь, не текла въ лавочку и въ комнату со двора вода весной и осенью, и еслибы онъ имѣлъ ледникъ, въ которомъ можно было бы дольше сохранять масло, молоко и рыбу. Но ужъ такова русская неподвижность, или привычка къ одному мѣсту, что Иванъ Зиновичъ каждую весну и каждую осень собирается переѣхать на другую квартиру, но лѣтомъ и зимой раздумываетъ, потому что лѣтомъ выручаетъ много, а зимой ему кажется все равно, гдѣ бы ни нанялъ квартиру, вездѣ холодно; а во-вторыхъ: „здѣсь прожилъ же я здѣсь семь лѣтъ, а вѣсь и восьмой проживу. Вотъ развѣ когда кончатся срокъ контракту, тогда подумаемъ“. Къ этому еще присоединялись хлопоты по переноскѣ и перевозкѣ вещей: „все это хотъ и дешево куплено, дешевле чѣмъ на толкучкѣ, а стань-ко переносить или перевозить — половины не досчитаться, и заводись опять снова; а мы знаемъ, каково опять сызнова-то обзаводиться“.

Иванъ Зиновичъ родился въ деревнѣ. Отецъ у него былъ зажиточный крестьянинъ, но дальше своего губернскаго города не ѣздилъ, а дядя занимался въ Петербургѣ мелочной торговлей, а потомъ сталъ торговать мукой и крупою и въ помощники къ себѣ выписалъ племянника. Иванъ Зиновичъ очень скоро понялъ изворотливость дяди и въ отсутствіе его, уже на семнадцатомъ году, торговалъ не хуже его, и дядя очень любилъ его, да и покупатели были очень довольны. Двадцати лѣтъ онъ женился на дочери одного лавочника, несмотря на то, что она была не очень красивая на лицо, и что за него пошла бы замужъ любая изъ барскихъ горничныхъ или даже дочь мелкаго чиновника. Онъ не женился ни на одной изъ нихъ потому, что онъ на его взглядъ казался бѣзручками, непривычными къ подвальной жизни, къ стряпнѣ и ничего несмыслившимъ по торговой части. Хотя же его молодая жена и не сидѣла въ лавочкѣ, но она ему пришлась по вкусу: лучше такой хозяйки онъ и не находилъ и былъ ею очень доволенъ. Это была низенькая, тощая молодая женщина съ веснушками на лицѣ и съ рѣдкими рыжими волосами, никакъ не могла отстать отъ своего ярославскаго нарѣчія и привыкнуть къ петербургскому. Самъ Иванъ Зиновичъ былъ рослый, здоровенный молодой человекъ съ полными красными щеками, безъ усовъ и бороды, которые онъ брилъ каждую недѣлю по субботамъ, тотчасъ по приходѣ изъ бани, постоянно улыбающійся, сдержанно-любезный, суетящійся и слывшій на нѣсколько домовъ за самаго толковаго человека. Онъ всегда одѣвался такъ, что его не могли назвать малякомъ: фуражка у него никогда не была наизмята и запачкана, передникъ постоянно чистый, сапоги хотя и смазаны дегтемъ, но со скрипомъ, и надо было посмотреть, какъ онъ одинъ, безъ подручнаго, управ-

ляется въ лавочкѣ, успѣвая то отвѣсить фунтъ хлѣба, то свертѣть бумагу, накласть въ нее кислой капусты и свѣсить, то отпустить полстакана сливокъ, бутылку молока и въ то же время записывать въ книжки покупателей и у себя въ тетрадь, что имъ и на сколько взято. Ни своего огорода, ни своего скота, ни своей рыбной ловли у него не было, но онъ все покупалъ изъ первыхъ рукъ — или съ Охты, или отъ чухонъ, — такъ что ему все стоило не дорого, онъ же продавалъ по существующимъ въ городѣ цѣнамъ и выторговывалъ барыша, какъ я уже и сказалъ раньше, отъ двухъ до пяти рублей въ сутки.

Жена его, Агафья Петровна, въ его торговля дѣла не вмѣшивалась и приходила въ лавку только посидѣть съ ребенкомъ, потому что въ лавкѣ все-таки и воздухъ немного лучше комнатнаго, и веселѣе. Несмотря на то, что мѣстные женщины называютъ ее выдрой, онъ къ ней обращаются всегда съ почтениемъ и непремѣнно останавливаются въ лавочкѣ минутой на пять, чтобы похвалиться съ нею о господяхъ. Но ей и въ лавкѣ приходится сидѣть не подолгу, потому что у нея двое маленькихъ ребятъ, за которыми нужно посматривать, да и много дѣла, а ей нужно все сдѣлать самой, такъ какъ у нея работницы нѣтъ. Впрочемъ она никогда не говорила, что ей скучно, друзей себѣ не искала и жила только съ женой дворника душа въ душу, тогда какъ у мужа ея, совсѣмъ опетербуржизмагося, было много питерскихъ пріятелей, и она замѣчала, что онъ съ земляками держитъ себя высоко, какъ важная особа.

Иванъ Зиновичъ, видя, что Агафья Петровна выбивается изъ силъ, и зная, что она опять беременна, разъ сказалъ ей:

— Вотъ што я думаю, Агашка: хорошо бы тебѣ взять работницу,

— Это еще што за мода? — возразила жена.

— Да какъ же. Ты и ночь-ту не дспишь съ этими горластыми чертенятами, и хлѣбы-то тебѣ надо печь... и все такое. Нѣтъ ужъ, какъ хошь, я найму, — наставлялъ мужъ.

— Яше, видно, полюбовницу завелъ!

И Агафья Петровна стала слѣдить за мужемъ: какую-такую ея мужъ завелъ полюбовницу, которую онъ мѣтитъ ей въ работницы; но ничего не замѣтила. Однако она и сама подумывала о работницѣ, но никакъ не могла представить себѣ, чтобы эта работница была женщина честная, вполне работающая, не воровка. Затруднилась она также и въ томъ, куда помѣстить работницу. „Не перегораживать же для нея комнату; не кормить же ее за однимъ столомъ, и опять неловко же ей давать ѣсть по мѣркѣ; а предоставь-ко ей самой брать ѣсть, она все и сожретъ“. Такъ думала она, но не рѣшилась высказать это мужу, зная, что онъ будетъ подсмѣиваться надъ ней. А Иванъ Зиновичъ каждый день заводилъ разговоръ о работницѣ, хотя и зналъ, что жену это сердитъ. Сегодня за ужинамъ онъ опять заговорилъ о томъ же.

— Ты меня, Ванька, все сердить. И што это у

васъ, у мужиковъ, за привычка такая проклятая! — проговорила сердито Агафья Петровна.

— А вотъ я возьму, да и найму.

— А вотъ я возьму ее, да и въ зашей.

— Нѣтъ, однако, будемъ, Агашка, говорить въ сурьезъ. Первое — ты баба глупая и водилась бы ужъ съ ребятами! Сама же ты говоришь, что у тебя въ брюхѣ-то бахарь дрыгается.

— Вотъ ты для ребятъ-то бы наняла какую-ни на есть дѣвчонку, вѣдь твоимъ ребята-то!

— Ну, дѣвчонка не такъ доглядитъ, какъ ты.

— Ну ужъ, шалишь, штобы я заставила работницу квашню заводить, али хлѣбы въ печь сажать...

Немного погодя, Агафья Петровна высказала мужу, что она пожалуй наняла бы работницу, только... И она высказала ему свои опасенія. Мужъ сказалъ, что кровать можно загорѣть ширмами, а ширмы онъ надѣется пріобрѣсти даромъ; если работница будетъ не лѣнлива, то пусть ее ѣсть. „Больше того, что въ кишкѣ влѣзетъ, не съѣстъ“, замѣтилъ онъ, и предоставилъ Агафѣ Петровнѣ самой найти себѣ работницу не дороже двухъ рублей въ мѣсяцъ.

Когда Иванъ Зиновичъ привелъ Пелагею Прохоровну, комната его была слабо освѣщена; на столѣ стояла маленькая жестяная лампочка съ керосиномъ, который очень вонялъ. Агафья Петровна лежала на кровати лицомъ къ стѣнѣ и улюлюкивала ребенка, который тяжело кашлялъ и ницалъ; около кровати стояла въ ногахъ дѣтская плетеная коляска, покрытая простыней, и изъ нея тоже слышался крикъ трехлѣтняго ребенка, а напротивъ подушекъ, на небольшой скамейкѣ, — плетеная корзина, въ которой лежали пеленки, и въ которой, какъ надо было полагать, спалъ маленький ребенокъ.

При входѣ мужа Агафья Петровна повернула голову и, увидѣвъ Пелагею Прохоровну въ ея скудномъ одѣяніи, поморщилась, но удержалась и только недовольно сказала мужу:

— Тебѣ бы только уйдти... А я тутъ кою не найду... Покачай чертенка-то? — И она, обернувшись къ стѣнѣ, принялась улюлюкивать ребенка.

— Охъ, ужъ эти мнѣ... — проговорилъ Иванъ Зиновичъ и сталъ качать коляску.

— Позвольте, я покачаю. — сказала Пелагея Прохоровна и взялась за ручку коляски.

Иванъ Зиновичъ отошелъ къ корзинкѣ, нагнулся и проговорилъ недовольно:

— Охъ ты, неряха эдакая! опять у те пеленки мокрая!

— Не разорваться же мнѣ!.. — проговорила жена

— Дѣвчонка-то мокрая, — сказала робко Пелагея Прохоровна, когда Агафья Петровна сидѣла на кровати.

— Это у насъ всегда такъ... День-то бьемся, а ночью съ ребятами... Она все спитъ, барынька!

Мужъ и жена возлились съ ребятами, перешли въ бѣлье дѣтей, уложили ихъ, причесть маленькому ре-

бенку Агафья Петровна дала въ рожки питья съ макомъ для того, чтобы тотъ скорѣе заснулъ и дольше спалъ. Пелагея Прохоровна тоже помогала имъ, и Агафья Петровна не высказывала неудовольствія, что кухарка домохозяйина находится тутъ въ такомъ видѣ; она вѣроятно уже была предупреждена, что Пелагея Прохоровна почувтъ здѣсь.

— Ну, барыня, куда мы васъ укладываемъ?—проговорилъ вдругъ Иванъ Зиновичъ, не то обращаясь къ гостю, не то спрашивая самъ себя.

— То-то, приглашать-то приглашаетъ, а того не подумаетъ, што некуда. Ишь, какой пріютъ нашелъ!—проговорила недовольно Агафья Петровна.

Пелагея Прохоровна было неловко, и ей Агафья Петровна показалась очень нехорошей женщиной, но она все-таки сознавала, что Агафья Петровна хозяйка.

— Я гдѣ-нибудь около порога,—проговорила она нерѣшительно.

— Зачѣмъ около порога? Ты вотъ къ столу лучше лягъ. Вотъ тебѣ одѣяло—постели, подушки... А этимъ шугайчикомъ одѣйся! — проговорила Агафья Петровна, давая одѣяло, подушку и шугайчикъ.

— Ужъ я васъ, право, не знаю, какъ и благодарить,—говорила Пелагея Прохоровна, и ей было и стыдно, и обидно, что она дошла до такого положеія.

Когда она сдѣлала себѣ постель, Иванъ Зиновичъ погасилъ огонь въ лампочкѣ, пожелавъ Пелагеѣ Прохоровнѣ спокойной ночи, и легъ на кровать. Съ четверть часа супруги шептались, но о чемъ—Пелагея Прохоровна не могла разслышать. Наконецъ и шопотъ замолкъ, послышался съ кровати храпъ и шипѣнье носомъ.

Пелагея Прохоровна только дремала, а когда начала засыпать, заплакали дѣти, и немного погодя, Агафья Петровна встала и затопила печь. Она сегодня должна была испечь ржаного хлѣба и ситнаго. Пелагея Прохоровна тоже встала, несмотря на то, что хозяйка уговаривала ее спать, увѣряя, что та ей нисколько не мѣшаетъ. Агафья Петровна была такъ добра, что дала Пелагеѣ Прохоровнѣ свой старый сарафанъ, свои рваные башмаки и платокъ на голову. „Послѣ отдачи“, — сказала она, когда та стала отговариваться.

Работы у Агафьи Петровны было много, и такъ какъ все нужно было сдѣлать къ сроку, т. е. чтобы хлѣбъ испекся къ восьми часамъ, а самоваръ поспѣлъ къ шести, то ради этого она оставляла дѣтей на произволъ, не обращая вниманія на ихъ крикъ и на то, что они лежали мокрыя. Пелагея Прохоровна хотѣла ей помочь, но не знала, за что взяться, и боялась виѣшиваться зря, безъ приглашенія. Замѣтивъ, что хозяйка хочетъ ставить самоваръ, она было заявила желаніе сдѣлать это, но хозяйка сказала недовольно:

— Нѣтъ, ужъ я сама...

— Да вѣдь мнѣ нечего дѣлать то.

— Успѣется.

Такъ и не дала самовара.

Стала Пелагея Прохоровна укачивать дѣтей. И это какъ будто не понравилось хозяйкѣ.

— А чего ихъ качать-то! Мало што ли они спали?... Нѣтъ, ужъ остаѣь.

— А лучше, какъ они спятъ.

— Они у меня всегда въ эту пору встаютъ... А што кричать — эка важность! Надо же мужу-то вставать... Не качай, пожалуйста, — хуже закричатъ.

Пелагея Прохоровна ужасно тяготилась своимъ присутствіемъ здѣсь. Она хотѣла идти прочь, но уйти было неловко и рано. Наконецъ она не утерпѣла и сказала хозяйкѣ:

— Пойду понавѣдаюсь, не всталъ ли майоръ.

— Ну, вотъ!.. Али онъ встанетъ такъ рано?

— Нѣтъ. Можетъ, и всталъ.

— Успѣешь. Вотъ чаю напьемся.

Всталъ хозяинъ. Стали пить чай и сидѣли болѣею частью обращаясь къ дѣтямъ, которые ѣли кашу. Всѣ чувствовали себя какъ-то неловко, какъ будто стѣснялись другъ другомъ; мужъ и жена обращались къ Пелагеѣ Прохоровнѣ мало, какъ будто имъ не о чемъ говорить съ нею. Но Пелагея Прохоровна замѣтила, что Агафья Петровна часто взглядывала на нее, потомъ на мужа; мужъ же глядѣлъ больше на жену; такъ и казалось, что супруги что-то рѣшали насчетъ Пелагеи Прохоровны.

— Не знаете ли вы гдѣ мѣста какого-нибудь? — спросила Пелагея Прохоровна, смотря на хозяйку.

Иванъ Зиновичъ взглянулъ на жену, та наклонилась къ ребенку и, не торопясь, сказала:

— Нѣтъ, теперь не знаю. Ты можетъ не знаешь ли? — обратилась она къ мужу.

Тотъ немного помолчалъ.

— Такъ вы точно что совсѣмъ отъ майора? — спросилъ онъ гостью.

— Теперь ужъ я не соглашусь ни за какія деньги у него жить.

— Такъ... Если мѣсто будетъ — отчего же! Непремѣнно постараюсь.

Послѣ этого всѣ сидѣли молча нѣсколько минутъ. Вдругъ Иванъ Зиновичъ пошелъ въ лавочку, сталъ въ дверяхъ; Агафья Петровна тоже пошла къ нему.

— Ну, што? — услышала Пелагея Прохоровна негромкій голосъ хозяина.

— Не годится — бѣлоручка. Ей въ господахъ только и жить, — сказала тоже негромко хозяйка.

— Думаешь, не управится?

— Нѣтъ, она ничего. Видно охоча работать-то и смирна, только не годится.

— Это какъ?

— Ну, не годится, и все тутъ... Лицомъ она мнѣ претитъ.

— О, дура! — сказалъ хозяинъ.

Хозяйка недовольная вошла въ комнату, и ей какъ будто неловко было смотрѣть въ глаза Пелагеѣ Прохоровнѣ; но Пелагея Прохоровна поняла, что разговоръ касался ея и что Большаковы вѣроятно хотѣли ее взять къ себѣ въ работницы, а потомъ раздумали.

Пришелъ дворникъ и, поздоровавшись съ хозяйками, сказалъ Пелагеѣ Прохоровнѣ, что ее зоветъ хозяинъ и что Вѣра Александровна теперь уже дома.

Я не буду утомлять читателя тѣмъ, что происходило у майора по приходѣ къ нему кухарки. Скажу только, что черезъ часъ Пелагея Прохоровна пришла къ Большаковымъ со своимъ узломъ.

— Отказалъ?—спросила ее хозяйка.

— Уговаривалъ остаться, грозилъ, сама приста- вала... Богъ съ ними!—сказала Пелагея Прохоровна и утерла глаза, на которыхъ появились слезы.

— Напрасно. Вѣдь не всегда же онъ такой?

— Нѣтъ, ужъ будетъ. Ужъ вы мнѣ позвольте положить у васъ вещи, а я пойду поищу мѣста.

— Пусть живетъ... И ночевать можно... А есть ли деньги то?

— Пять рублей.

Хозяйка покачала головой.

— Онъ мнѣ еще шесть рублей долженъ. Не знаю, какъ и получить.

— Ну, это дѣло трудное. Надо просить полицію, а полиція што? Известно, скорѣе повѣрить хозяину дома, чѣмъ кухаркѣ,—сказалъ Большаковъ.

Но и онъ все-таки не совѣтовалъ Пелагѣй Прохоровнѣ вновь идти къ майору въ услуженіе.

## • XXIX.

Пелагея Прохоровна проходила цѣлый день безъ толку. Знакомыхъ кухарокъ у нея оказалось хотя много, но онѣ не могли обѣщать ей мѣсто; если же которая-нибудь изъ нихъ и говорила, что она думаетъ сама сойти и такимъ образомъ Пелагея Прохоровна можетъ надѣяться поступить на ея мѣсто, то тутъ же прибавляла, что здѣсь житье каторжное, кормить дрянно и много вычитаютъ денегъ изъ жалованья, потому что и самимъ-то нечего ѣсть. Идти на Никольскій рынокъ Пелагея Прохоровна не знала дороги, а потому она пошла по теченію Невы, а какъ дошла до Литейнаго моста, ей захотѣлось сходить на Петербургскую сторону частью для того, чтобы узнать, какъ поживаетъ кухмистерша Овчинникова, а также и для того, чтобы ночевать тамъ гдѣ-нибудь и потомъ рано утромъ отправиться на Никольскій рынокъ тѣмъ путемъ, какимъ ее вела оттуда кухмистерша. Но жить на Петербургской Пелагѣй Прохоровнѣ не хотѣлось; ей хотѣлось поступить въ услуженіе къ хорошимъ господамъ, живущимъ въ большомъ каменномъ домѣ.

Она была теперь свободная женщина и имѣла капитала пять рублей, и еслибы у нея было въ виду свободное мѣсто, на которое бы нужно поступать послѣ завтра, то она навѣрное не пошла бы теперь по Литейному мосту, а удовольствовалась бы оглядываніемъ красивой набережной. Но и теперь на просторѣ ее занимало очень много предметовъ, всего же больше барки съ дровами, лѣсомъ и каменьями, на которыхъ рабочіе ругались отъ того, что имъ нелегко было справиться съ быстрою рѣкою и хотѣлось благополучно проплыть подъ мостомъ прежде, чѣмъ отъ пристаней отплыветъ на дачи какой-нибудь пароходъ. Крики и суетня на баркахъ, судахъ и яликахъ показались Пелагѣй Прохоровнѣ знакомыми, только люди говорили дру-

гимъ нарѣчіемъ. Ей невольно подумалось, что вотъ и эти люди пришли въ Питеръ на заработокъ, да имъ пожалуй достается еще тяжелѣе бабьяго, потому что „мы бабы все же въ тепло живемъ и ночью намъ не холодно; а они вотъ все на вѣтру и въ одной рубашкѣ да въ штанахъ“. Ее удивило, что на этихъ баркахъ нѣтъ палубы, а только въ кормахъ сдѣлано что-то похожее на клѣтушку, но эта клѣтушка должна быть тѣсна, потому что рабочіе спятъ на кирпичахъ или на дровахъ въ своихъ полушубкахъ, подложивши подъ голову полѣно или кулакъ.

Пелагѣй Прохоровнѣ грустно сдѣлалось; что-то такое удерживало ее здѣсь, и она смотрѣла въ воду, на ялики, пароходы, барки и суда. Вдругъ ей послышался какъ будто знакомый голосъ.

— Самъ-то што дѣлаешь! Самъ возьми багоръ и лови—больно прытокъ!—говорилъ этотъ голосъ.

„Што это? голосъ-то знакомый... нашъ“, подумала Пелагея Прохоровна и стала еще пристальнѣе смотрѣть и наставила къ рѣкѣ лѣвое ухо, такъ какъ снизу дулъ рѣзкій вѣтеръ.

„Никакъ Панфилъ? Господи... Да нѣтъ, гдѣ ему?“, прошептала она. Ей не вѣрилось, но сердце билось радостно, точно чувало, что она не одна здѣсь.

Всѣ рабочіе на судахъ заняты своимъ дѣломъ и ни одному нѣтъ времени посмотреть на мостъ: „кабы онъ глянулъ, я узнала бы его“, подумала Пелагея Прохоровна!

Простояла она долго, но знакомый голосъ больше не повторялся; нѣсколько барокъ и судовъ проплыло подъ мостомъ и на нихъ она брата не замѣтила.

„Это поблазило“, подумала она и хотѣла идти. Но недалеко отъ нея къ периламъ подошло двое судорабочихъ и стали поджидать ялика, чтобы переплыть на барку съ лѣсомъ. Они кричали на одну барку, стоявшую посрединѣ рѣки, и махали шапками.

Пелагея Прохоровна подошла къ нимъ.

— Родимые... нѣтъ ли у васъ Панфила?

Но рабочіе оказались чужими, не знающими ни слова по-русски. Они съ удивленіемъ поглядѣли на Пелагею Прохоровну, что-то пролепетали и стали махать руками къ баркѣ.

Уплыли эти рабочіе съ чужинами, стало темнѣть и Пелагея Прохоровна вернулась къ Вольшаковымъ въ большомъ безпокойствѣ. Неужели ея братъ Панфилъ здѣсь, а если нѣтъ, то какимъ образомъ могъ ей слышаться родной голосъ? Ей было досадно, что она не могла увидать его. Въ этомъ безпокойствѣ и отъ нечего дѣлать она вышла на улицу.

— Што вы это все на улицѣ торчите?—услышала она голосъ Игнатія Прокопича.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, обернулась; Игнатій Прокопичъ стоялъ все въ прежнемъ нарядѣ и курилъ трубку. Онъ ей вѣжливо поклонился.

— А вамъ што за дѣло?—сказала Пелагея Прохоровна; но ей стало немного веселѣе.

— Конечно, мнѣ какое дѣло... и спрашивать бы объ этомъ не слѣдовало, да вотъ вышелъ я, а вы тутъ...

— Што я мѣшаю, што ли?

— Зачѣмъ?.. только... я-то скуки ради выхожу на улицу покалякать съ кѣмъ-нибудь, потому, са-

ни знаете, на квартирѣ скучно. Товарищи или въ карты играютъ, а не то спать или въ кабаки ушли. А я къ такой жизни не привыкъ.

— Вы, я слышала, столяръ?

— Столяръ. Только работы мало, потому что мы работаемъ съ подрядчикомъ.

— Отчего же вы сами одни не работаете?

— Отчего? Объ этомъ я уже много лѣтъ думаю, да ничего выдумать не могу. Капиталу нѣтъ.

— Будто ужъ много нужно капиталу!

— То-то што нужно. Вотъ я теперь работаю въ артели и могъ бы скопить денегъ, только работа не каждый день. Хорошо, если позовутъ куда-нибудь...

— А на продажу?..

— Вамъ вѣрно кто-нибудь набилъ голову-то разными глупостями, потому вы такъ смѣло и разсуждаете. Легко такъ только утѣшать другихъ,—на продажу! Ну, положимъ, я куплю лѣсу, матеріалу разнаго — на это мнѣ нужно употребить сутки, али двое, чтобы купить хорошо и дешево. Ну, теперь что я стану работать? Кабы у меня заказчики были — такъ; а вотъ заказчиковъ-то у меня и нѣтъ... Положимъ, я стану дѣлать комодъ, я его проработаю двое или трое сутокъ, искалъ надо покупателя. — и прошла недѣля. Въ эту недѣлю я ни откуда не получалъ денегъ, нужно платить за квартиру, пить, ѣсть, табакъ курить, да еще можетъ быть я лишился заработка на сторонѣ!

Игнатій Прокопичъ говорилъ серьезно и недовольнымъ тономъ. Пелагея Прохоровна показалося, что онъ говоритъ правду.

— И вы все такъ и будете работать?—спросила она.

— Хочу порѣшить... приглашаютъ меня на заводъ, на Петербургскую сторону, по кузнечному мастерству. Оно мнѣ, это кузнечное-то дѣло, лучше нравится, потому я и прежде находился въ обученіи, да потомъ захотѣлъ къ столярному приобичнуть. Тамъ хорошо тѣмъ, што работа постоянная, и мнѣ общали не рублю двадцати въ сутки.

— Што жъ вы привязались-то къ этому?

— Да не нравится мнѣ у мастеровъ нѣмцевъ подъ командой быть. Иной мастеръ ничего не смыслитъ въ дѣлѣ, а надъ тобой куражится, какъ Богъ знаетъ какая особа.

— Вы бы русскаго выбрали.

— Русскій! Русскій еще хуже. Дай русскому начальство, онъ и нзаважничается, начнетъ пьянствовать... Ужъ русскій мужикъ, какъ попалъ въ начальники, совсѣмъ иной человѣкъ одѣлся; вѣсто того, чтобы поддержать своего брата, онъ же съ него прогулы высчитываетъ; въ кабакъ при немъ што есть нельзя придти—угощай его, а если онъ угоститъ на пятакъ, такъ перековеръ наслушаешься на гривенникъ; и дорогой гдѣ встрѣтятся, шапку ему скидывай—вездѣ начальникомъ себя считаетъ. А нѣнца мы только на работѣ и знаемъ, и нѣнца проведемъ ловче и вооружиться противъ него тоже легче. Нѣнцы въ нашу компанію не мѣшаются и намъ на нихъ плевать!

— Гдѣ же, по вашему, лучше работать?

— Вездѣ хорошо. Вотъ я ужъ много терся на

разныхъ фабрикахъ и заводахъ, и знаю, гдѣ лучше и больше даютъ платы, только все это скоро мѣняется, не отъ насъ. Сперва платятъ хорошо, потомъ вдругъ обрѣжутъ и стѣснять стануть, и причины на это у нихъ найдутся; то-де матеріалъ подорожалъ, корабли потонули, подрядчикъ обанкрутился, — мало ли чего наскажутъ. Намъ-то до всего этого нѣтъ дѣла, потому — мы рабочіе, а они намъ обавляютъ дѣну, да еще говорятъ, что мы лѣннимся, пьянствуемъ... А нашему брату дѣться некуда. Вотъ я сказалъ давеча, што нужны деньги, чтобы самому работать, только какъ ихъ скопить-то много? Работаемъ цѣльный день, измучаешься какъ собака, — ну какъ отказать себѣ въ осынушкѣ водки? Выпьешь — и легче; и утромъ бодрѣ идешь на работу. Ну, а еслибы я сталъ конить эти пятаки — што бы вышло? Полтора рубля, да я бы непремѣнно захворалъ. Ну, теперь въ воскресенье куда дѣться? Дома скучно, по городу шататься не хочется, въ театръ идти денегъ жалко, да и театру нѣтъ такого, чтобы мы понимали. Была воскресная школа за Московской заставой, я туда часто ходилъ, а теперь вотъ, говорить, эту школу закрывали, потому-де намъ не годится... Такъ-то, Пелагея Прохоровна. Поэтому и идешь въ кабакъ и сидишь тамъ, калякаешь со своей братіей о своихъ дѣлахъ, ну, и выпьешь! А оно, глядишь, денежки и выпалзываютъ и скопить ихъ трудно. Ну, а вы что подумываете дѣлать?

— Пойду завтра на Никольскій рынокъ продаваться. Мнѣ бы хотѣлось прачкой сдѣлаться.

— Ну, это труднѣе. Правда, вы съ Никольскаго-то можете поступить въ прачки къ какой-нибудь женщинѣ, только я бы вамъ не совѣтовалъ, потому что чѣмъ большебавъ, тѣмъ больше у нихъ осоръ и зависти. Это не то, што у насъ, мужичиъ. А вотъ вы подождите немножко, нельзя ли устроить такъ, чтобы вамъ поступить въ кухарки къ нашему брату.

Пелагея Прохоровна обрадовалась, но ей показалося нелепо поступить въ кухарки по протекціи этого человѣка, который вѣроятно будетъ жить въ одной съ нею квартирѣ. Еще пожалуй ее будутъ считать любовницей его.

— Я не понимаю, какъ это?—спросила она.

— А такъ. Завтра я иереберусь на квартиру на Петербургскую, поживу тамъ съ недѣлю и поговорю товарищамъ, не согласятся ли они жить у васъ.

— Какъ же это у меня-то?

— А вы наймете квартиру, — мы вамъ дадимъ денегъ, — купите свои кухонныя принадлежности. Я вамъ пожалуй и квартиру устрою.

— Нѣтъ ужъ, покорно благодарю, — сказала Пелагея Прохоровна, думая, что у Игнатія Прокопича есть злой умыселъ.

— Если не я, то кто-нибудь да долженъ же помочь вамъ. Вѣдь у васъ мужа-то нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ну, то-то. А если я вамъ предлагаю это, то вы не думайте, што я съ умысломъ. Я, какъ и всякій другой, предлагаю потому, што знаю, што вы еще недавно въ Петербургѣ и не успѣли еще избаловаться. Это я говорю безъ хвастовства, а вы дѣлайте по своему разуму.



— А если я до того времени истрачу деньги и мнѣ все-таки этого мѣста не будетъ?

— Кто же вамъ говорить, чтобы вы сидѣли сложа руки... Только вотъ што, Пелагея Прохоровна, если вы будете намѣрены кормить насъ, да куда-нибудь поступите на мѣсто, въ такомъ случаѣ оставьте адресъ у Ивана Зиновича, чтобы я могъ извѣстить васъ. А если не согласны, тогда и не нужно оставлять. Прощайте, Пелагея Прохоровна.

— Я вамъ хотѣла сказать, што мнѣ сегодня почудилось, — сказала Пелагея Прохоровна уже во дворѣ.

— Какъ это?

Пелагея Прохоровна рассказала, какъ она слышала голосъ брата Панфила.

— Што же мудреного. Должно быть онъ.

— Какъ же бы мнѣ разыскать его?

— Ну, разыскивать-то теперь его не слѣдуетъ, потому что вы не знаете, на какой онъ баркѣ плывъ и въ какое мѣсто эта барка пристанетъ. Вѣдь въ Петербѣ каналовъ много.

— Такъ значить я его и не увижу?

— Надо подождать недѣли двѣ. Въ это время они разгрузятъ барки и вѣроятно будутъ жить на квартирахъ въ городѣ, тогда и можно будетъ справиться въ адресномъ столѣ. А то можетъ какъ-нибудь и встрѣтитесь. Только врядъ-ли.

И они разстались. По приходѣ къ Вольшаковымъ Пелагея Прохоровна застала тамъ сцену. Только что она вошла въ комнату, Иванъ Зиновичъ ударилъ кулакомъ по спинѣ Агафьи Петровны, которая голосила. Увидавъ Пелагею Прохоровну, Вольшаковъ смѣшался и ушелъ въ лавку, а Агафья Петровна, стараясь казаться правою, подошла къ мѣшкамъ и проговорила:

— Поскуда проклятая! Любовницъ себя завелъ. Не знаю, што ли, для чего ты хозяйскую казарку въ себѣ сманила...

Но Вольшаковъ не вышелъ изъ лавочки, потому что къ нему въ это время пришли покупатели.

Пелагею Прохоровну точно кипяткомъ обварило отъ словъ Агафьи Петровны, но она удержалась, постояла минутъ съ пять, думая, чтó ей сказать въ свою защиту, но ничего не сказала, сообразивъ, что съ такой женщиной, какъ Вольшакова, говорить трудно. Она стала собираться. Агафья Петровна замѣтила это, но не обратила вниманія.

Пелагея Прохоровна стала прощаться.

— Куда же ты? Вѣдь ужъ, поди, скоро десять часовъ! — проговорила съ полуудивленіемъ и съ скрытою радостью хозяйка.

— Куда-нибудь... Покорно благодарю за ночлегъ... Сколько вамъ за это?

Хозяйка обидѣлась.

— Спрашивай вонъ его: онъ тебя пригласилъ, а не я.

Изъ лавки вошелъ въ комнату Вольшаковъ. Его трясло отъ злости и глаза сдѣлались красными.

— Кто здѣсь хозяинъ? — крикнулъ онъ и сжалъ кулаки.

— Ну, бей! Убей меня! И такъ ужъ кожа да кости, — проговорила та рѣзко и подошла къ нему

очень близко, откинувши голову назадъ, какъ будто она сдѣлана изъ чугуна и для нея ничего не значать здоровые кулаки Ивана Зиновича.

— У!!.. — проговорилъ сквозь зубы Иванъ Зиновичъ и, отошедши къ мѣшкамъ, уперся на нихъ спиною.

— Оставайся здѣсь, куда тебѣ? — сказалъ онъ Пелагее Прохоровнѣ.

— Покорно васъ благодарю. Я каюсь, што согласилась придти сюда-то... я...

— О, дуры эти бабы!! Обидѣла она тебя, што ли, чтѣмъ?

— Это ужъ мое дѣло!

— Какъ же! ей съ Петровымъ надо на улицѣ торчать, — сказала Агафья Петровна.

— Молчи! — крикнулъ на жену Иванъ Зиновичъ: — однако куда же ты пойдешь-то?

Пелагея Прохоровна не знала, куда ей идти.

— А ты давно знакома съ Петровымъ-то? — спросилъ опять Пелагею Прохоровну Иванъ Зиновичъ.

Это допытыванье возбѣсило Пелагею Прохоровну. До сихъ поръ Иванъ Зиновичъ обращался съ нею вѣжливо, а теперь вдругъ сдѣлался грубымъ и точно за что-то озлобленнымъ на нее человѣкомъ.

— А вамъ какое дѣло, знакома я, или нѣтъ?

— Конечно... Оно тоже вашему брату безъ любовника какъ можно... — сказалъ ядовито Иванъ Зиновичъ, и ушелъ въ лавку. Пелагея Прохоровна вышла во дворъ со своимъ узломъ, а потомъ пошла машинально по направленію къ Смольному монастырю.

### XXX.

Прошедши Смольный монастырь, Пелагея Прохоровна затруднилась, въ какую идти ей сторону. До сихъ поръ она шла, сама не зная куда идти; ей хотѣлось проходить до утра и утромъ отправиться на Литейный мостъ, чтобы еще посмотрѣть хорошенько на барки. Она думала, что если разыщетъ брата, то будетъ звать его жить съ собою, и тогда пожалуй можетъ заняться приготовленіемъ кушанья для рабочихъ, какъ говорилъ Петровъ; безъ брата же одной нанять квартиру и жить съ рабочими въ одной набѣ она считала дѣломъ неудобнымъ. Ужъ если теперь про нее Богъ знаетъ что говорили, то тогда и житья ей не будетъ. Петровъ предлагалъ ей жить вмѣстѣ, и это Пелагее Прохоровнѣ не понравилось: „нѣтъ ли тутъ чего-нибудь худого? — подумала она: — можетъ быть онъ воображаетъ, што я стану съ нимъ жить, какъ жена, такъ и онъ значить дурной человѣкъ, и такимъ манеромъ я жить не согласна. пусть другую для этого избираетъ“. Теперь у ней отпала всякая охота выйти замужъ. Въ Петербургѣ она видѣла много дурного и находила семейную жизнь неудобною для рабочаго человѣка. „Вотъ бы такъ устроиться, чтобы приобретать больше денегъ, чтобы и комнату имѣть, и сытой быть! а што если мужчина общается, такъ это только одна приманка и. онъ только мѣшать бу-



дети, а потом и мои деньги вытягивать станут. Нѣтъ, ужь одной не въ примѣръ лучше". Такъ думала она дорогой и очутилась опять у Смольнаго монастыря. Здѣсь она стала чувствовать голодь и усталость, а до утра казалось еще далеко. Пошла она по какой-то улицѣ. Фонари стоятъ далеко другъ отъ друга, темно, дома деревянные, тамъ и сямъ лаютъ собаки, хоть куда провинція. „Што за дьяволъ: живу въ Петербургѣ, а все на деревянные дома натыкаюсь. Хоть бы постоянный домъ попался". Но постоянныхъ домовъ въ темнотѣ она не замѣтила. Присѣла она на тротуаръ, грустно ей сдѣбалось, тяжело, заплакала она; потомъ ей стыдно сдѣбалось за слезы и малодушіе. „Што мнѣ горевать-то? я одна; дѣтей у меня нѣтъ. Встала да пошла, а мѣсто найдется. Што жъ дѣлать, если господа дрянные; можетъ и лучше будетъ". Она пошла опять и вошла въ большую улицу, по обѣимъ сторонамъ которой стояли большіе каменные дома; фонари стояли недалеко одинъ отъ другого: здѣсь даже и извозчики были, но они дремали на пролеткахъ. Пелагея Прохоровна остановилась, посмотрѣла назадъ, соображая, идти ли ей впередъ, или повернуть направо или налево. Она подошла къ одному извозчику, который, слышавъ чьи-то шаги, очнулся и поглядѣлъ на стороны.

— Дядя, а близко Петербургская сторона? — спросила она извозчика.

— На што? — спросилъ тотъ соннымъ голосомъ.

— Надо.

— А што у те въ узлу-то?

— Вещи.

— Чать, украла!.. Дай три палковыхъ — отвезу... Безъ сумленія! Въ пѣлости доставлю.

— Нѣтъ, ты скажи, я пойду сама.

— Ишь ты! Дойдешь, говоришь.

— Дуракъ!

Она плюнула и пошла налево. Извозчикъ побѣлѣлъ за ней.

— Эй, барыня! Пра, представлю. Три палковыхъ. Подъ на десять палковыхъ въ узлѣ-то будетъ! — приставалъ извозчикъ.

— Отвяжись!

— Подлинно, ты мазура отиѣнная: ишь, какъ шагаешь!.. Небось трусу празднуетъ, — говорилъ извозчикъ. — Слышь, тетка?

— Ну?

— Садись! даромъ отвезу.

— Пошелъ, дуракъ... Ты скажи лучше, гдѣ постоянный дворъ?

Извозчикъ захохоталъ.

На встрѣчу Пелагеѣ Прохоровнѣ шелъ медленнo городской.

— Стой! — сказалъ онъ, загораживая дорогу Пелагеѣ Прохоровнѣ: — што несешь?

— Воровка. За рынокъ на Невскомъ увидалъ... На Петербургскую сторону хотѣла ударить, да я ее до тебя тянулъ, — сказалъ извозчикъ.

— Ахъ ты, подлая рожа! Ты же меня звалъ туда, просилъ три палковыхъ даромъ, — сказала Пелагея Прохоровна извозчику.

— Ну, ну, иди! — И городской толкнулъ Пела-

гею Прохоровну такъ, что она очутилась на мостовой. Городовой сталъ брать ее узелъ.

— Кто еще позволилъ тебѣ брать? — крикнула Пелагея Прохоровна и толкнула городского.

— А, дакъ ты такъ! Городовой ударилъ ее по лицу.

Городовой и извозчикъ усердно поколотили помянутую женщину и отняли у нея узелъ.

Пелагея Прохоровна опомнилась уже въ пролеткѣ, которую трясло ужасно отъ скверной мостовой. Она въ первый разъ ѣхала въ Петербургѣ въ пролеткѣ, но сама не знала, куда ее везутъ. Ея спутники: городской, не тотъ, который ее оставилъ, а уже другой, сидящій съ ней рядомъ, и извозчикъ, спина котораго была на четверть отъ носа Пелагеи Прохоровны, молчали. Дорога была впрочемъ не дальняя. Извозчикъ остановился передъ частью, отличающеюся отъ другихъ домовъ особеннымъ устройствомъ, мрачными, производящими непріятное впечатлѣніе, стѣнами, затѣлымъ воздухомъ двора... Городовой приказалъ ей слѣзть.

— Деньги! — крикнулъ городской Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Какія?

— Што тебя, подлую, даромъ што ли возить-то? — И онъ ударилъ ее по спинѣ своимъ здоровымъ кулакомъ.

— Хорошенько ее! Воровка! — поддакнулъ дежурный у воротъ.

— У меня нѣтъ денегъ, хоть убейте, — отвѣтила со слезами Пелагея Прохоровна, сторонясь отъ поднятой руки городского. Извозчикъ сталъ ругаться, а городской провелъ Пелагею Прохоровну чернымъ узкимъ дворомъ въ узкое пространство, едва-едва освѣщенное лампочкой съ керосиномъ, и потомъ ввелъ въ полусвѣщенную съ закопѣлыми стѣнами комнату. Въ ней за однимъ столомъ сидѣлъ дежурный и дремалъ, на другомъ большомъ столѣ спалъ городской на синѣй во всемъ облаченіи.

— Воровку привелъ, — отапортовалъ городской дежурному.

— А! — сказалъ дежурный. — Гдѣ?

Городовой сказалъ.

— И прекрасно. Иди-ка сюда!

Пелагея Прохоровна подошла. Спавшій на столѣ городской тоже подошелъ и ждалъ приказа дежурнаго.

— Гдѣ же ты, матушка, подтибрила узелъ?

— Это мои вещи.

— Твои?! — произнесъ, скрипя зубами, дежурный.

Всячески старались отъ Пелагеи Прохоровны вывѣдать сознание: гдѣ она украла вещи? Ея слова, что узелъ принадлежитъ ей, что она отошла отъ мѣста, только раздражали дежурнаго и городскихъ, вѣроятно потому, что имъ много приходилось имѣть дѣлъ съ разными мошенниками, которые говорили имъ то-же. Къ тому же дѣло было ночное, когда прислуга рѣдко отходитъ отъ господъ.

Натѣшившись вдоволь, такъ что бѣдная безза-

щитная женщина еле могла передвигать ногами, дежурный приказалъ городовому развязать узелъ. Въ узлѣ оказались: сарафанъ, ситцевое поношенное платье, простой терновый голубоватаго цвѣта платокъ, двѣ рубашки, четыре пары чулокъ, зеркальце, клубокъ нитокъ, коробочка съ иглками и булавками, катушка съ нитками, начатый чулокъ съ вязальными спицами, янтарныя бусы, разные ситцевые и суконные лоскутки, наперстокъ, фольговый образокъ — однимъ словомъ, все имущество Пелагеи Прохоровны.

— Ну, гдѣ же ты взяла это? — спросилъ опять дежурный Пелагею Прохоровну.

— Ей-Богу же, я вчера отошла отъ мѣста... Сегодня искала другого, не нашла... Съ квартиры прогнали.

— Такъ... знаемъ мы эти отговорки. А зачѣмъ ты отъ городского убѣжала? Зачѣмъ была городского?

— Не бѣгала я, вретъ онъ. Меня извозчикъ звалъ. Вретъ онъ, чтобы я...

— Кто ты такая?

Пелагея Прохоровна сказала.

— Деньги есть?

— Есть пять палковыхъ.

— Гдѣ?

— Въ чулкѣ.

Пелагея Прохоровна подошла къ своимъ вещамъ для того, чтобы взять чулки, но ее оттолкнули. Одинъ изъ городскихъ схватилъ съ ея головы платокъ, другой схватилъ шугайчикъ; сняли также съ ея руки кольцо, подаренное ей покойнымъ мужемъ. Пелагея Прохоровна заплакала, и просила отдать ей хоть обручальное кольцо.

— Когда будемъ выпускать, надѣнемъ. Все будетъ цѣло. Отвести ее въ секретную! — сказалъ дежурный городовому и далъ ему какую-то записку.

— Пошелъ! — произнесъ городской и толкнулъ ее впередъ себя.

Городовой повелъ ее черезъ дворъ. Они поднялись во второй этажъ. Тамъ дверь не была заперта на замокъ. Комната большая, но тоже грязная и плохо освѣщенная. Въ ней сидѣли тоже городовые. Отсюда Пелагею Прохоровну провели узкимъ, темнымъ, съ прокислымъ воздухомъ корридоромъ, по обѣимъ сторонамъ котораго сквозь рѣшетки слышались женскіе голоса. Женщины голосили, кричали и ругались. Городовой повелъ Пелагею Прохоровну въ темное пространство, толкнулъ ее туда и заперъ дверь съ деревянною рѣшеткою, но онъ ее не на замокъ заперъ, а ощупью завязалъ веревкою. Повидному здѣсь никого не было, однако Пелагея Прохоровна на что-то наступила.

— Какая тутъ еще поскуда наступаетъ? — проговорила какая-то женщина и пошевелилась.

Заговорили еще нѣсколько женщинъ.

— Поди, опять воровку привели?

— Штой-то новѣ ихъ какъ много! Господь съ ними!

— Небось ты только одна и есть, поскуда!

— Што ругаешься-то? никакъ ужъ десятый разъ здѣсь, и все въ Сибирь угодить не можешь!

— Вотъ ты вѣрно туда хочешь!

Я не стану передавать всего, что говорилось женщинамъ въ темнотѣ. Пелагея Прохоровна, не знавшая тюремной жизни, выдавшая ее вскользь во время посѣщенія въ острогъ своего брата, ужаснулась, что она попала въ такое общество. Лица она не видѣла, не могла опредѣлить того, сколько тутъ помѣщается женщинъ, но слова, произносимыя женщинами, точно острою иглою прокалывали ея сердце. Она слышала какую-то злобу на все и на всѣхъ, женщины ругались не хуже мужчинъ, отчего Пелагею Прохоровну пробирала дрожь, и ей становилось стыдно за себя и за эти голоса. Впродолженіе нѣсколькихъ минутъ она не слышала ласковаго слова, только гдѣ-то кто-то охалъ, и стоналъ какой-то старческій женскій голосъ. Не сонъ ли это?.. Нѣтъ. Она слышитъ голоса, чувствуетъ, что у нея голова отяжелѣла, ее трясетъ отъ испуга и отъ чего-то такого, чего она не въ состояніи опредѣлить; у нея болятъ груди, шея; на лбу, недалеко отъ лѣваго виска, она чувствуетъ свѣжую ссадину, точно она только-что ударилась лбомъ объ стѣну; къ тому же и ноги болятъ...

„Господи, что это со мною? Неужели это въявь! Сколько времени я жила, сколько городовъ прошла. и вдругъ въ самомъ Питерѣ...“, проговорила она шопотомъ. Сердце у ней болѣзненно заныло, она присѣла на полъ, подперла голову руками, но слезы не шли изъ глазъ, въ головѣ точно камень, а всю мозговую ея дѣятельность словно придавило что-то.

Въ такомъ безчувственномъ состояніи она пробыла неизвѣстно сколько времени до тѣхъ поръ, пока кто-то не запнулся объ нее.

— О, чтобы тебѣ сохннуть! — произнесла какая-то женщина и стала пинать ногами.

— За што жъ ты меня бьешь-то? виновата я што ли, што мѣста нѣту? — проговорила болѣзненно Пелагея Прохоровна.

Женщина изругалась и стала отпирать дверь.

— Кто хочетъ на дворъ, выходите въ разѣ! — проговорила другая женщина.

Нѣсколько женщинъ не торопясь вышли въ корридоръ и не отъ одной изъ нихъ достались пинки Пелагее Прохоровнѣ. Но дѣваться ей было некуда. во первыхъ потому, что по темнотѣ она не могла отыскать свободнаго мѣста, а во вторыхъ, если она подходила куда-нибудь, ее оттуда гнали, такъ какъ каждая женщина дорожила своимъ мѣстомъ. Но нашелся одинъ голосъ, который заступился за Пелагею Прохоровну.

— Какъ вамъ не стыдно, право!.. Ну, виноваты ли мы, что насъ насажали въ тѣсное мѣсто. Уи-стимся какъ-нибудь.

— Ишь, заступница какая!

— Пусть подъ нары лѣзетъ! — заговорили женщины.

— Небось, сами-то не лѣзете подъ нары? — проговорила защитница.

— Толкайте ее: пусть она, барышня эдакая, подъ нары лѣзетъ.

— Она ребенка убила!

— И слѣзъ! Пойдемъ подѣ нары, женщина!

Говорившая ушупала Пелагею Прохоровну; казалось, ей ужъ эта камера была знакома. Онѣ залѣзли подѣ нары и легли, подсунувши подѣ головы кулаки.

— Я уже здѣсь третью сутки, привыкла!—проговорила болѣзненно женщина.

Въ это время въ камеру втокнули дѣвочку, которая ревѣла. Сперва женщины ругали дѣвочку за ея плачь, потомъ принялись ее разспрашивать, за что ее посадили. Она отвѣчала сначала, что не знаетъ, потомъ, что хозяйка ея, прачка, стала укорять ее въ томъ, что она только ѣстъ хлѣбъ, а ничего не дѣлаетъ, а потомъ она что то сдѣлала съ хозяйкой, и хозяйка ее прогнала. Два дня она ходила по-миру, пряталась на чердакахъ, гдѣ бѣлье сушатъ, и вотъ ее сегодня ночью одна баба нашла на чердакѣ. Потомъ ее били, призывали городского, насказали, что эта дѣвка должно быть уже не въ первый разъ пришла за кражей на чердакъ, потому что многихъ вещей недосчитывались.

— И вотъ лошны мои глаза, штобы я хоть когда-нибудь што украла!—сказала дѣвочка въ заключеніе.

Нѣсколько голосовъ было за дѣвочку, меньшинство не вѣрило. Пелагеѣ Прохоровнѣ изъ этихъ разговоровъ стало понемногу ясно, что не всѣ женщины виноваты въ взводимыхъ на нихъ преступленіяхъ. „Вѣдь вотъ и я шла со своими вещами, а сказали, што украла... Будто ужъ здѣсь и съ узлами по ночамъ никому ходить нельзя?“ думала она. Сосѣдка ея молчала.

— Неужели здѣсь все нехорошія женщины? — спросила вдругъ Пелагея Прохоровна сосѣдку.

Та промолчала. Она или не разслышала, или слушала, какъ одна женщина учила другую покаяваться.

— Экая важность! ты скажи: потому молъ я взяла ложки, а потомъ заложилъ, что она, хозяйка, мнѣ за мѣсяцъ деньги не заплатила. Неужели мы такъ и должны даромъ работать?

Это заключеніе раздѣляли всѣ женщины.

— И гдѣ это справедливость? и это Питеръ..

— Поди жѣ ты! А вотъ здѣсь-то што творится!

Эти слова относились можетъ быть къ тому, что откуда-то слышались свирѣные мужскіе голоса и плачь женщины.

— Господи цѣлилуй!—проговорило нѣсколько женщинъ въ разъ.

На нѣсколько минутъ въ камерѣ настала тишина.

— Спишь? — спросила сосѣдку Пелагея Прохоровна, у которой начали болѣть бока отъ жесткаго пола и которой было не до сна.

— Я уже отвыкла спать,—произнесла сосѣдка охриплымъ голосомъ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ жалко стало сосѣдки, и она не рѣшилась спросить ее, за что она сидитъ. Но говорить хотѣлось, хотѣлось высказать, что ее взяли безвинно.

— Што же потомъ будетъ? неужели то же, какъ и теперь?—проговорила Пелагея Прохоровна.

— Богъ знаетъ!.. Я совсѣмъ измучилась за это сочиненія е. м. рѣшетникова.

время... Въ моей головѣ не знаю что дѣлается... Я думаю, что если пробуду здѣсь еще двѣ сутки, то съ ума сойду. Ужъ я просилась въ больницу, — не обращаютъ вниманія. Говорятъ, что отсюда берутъ въ больницу только такихъ, которые ни руками, ни ногами не могутъ пошевелить.

Пелагеѣ Прохоровнѣ голосъ сосѣдки показался знакомымъ, и самое произношеніе ея не походило на мужицкое.

— Ужъ, право бы, лучше помереть. И такъ жизнь была нехороша... Сама отъ себя я отвергла ту жизнь, какую живутъ въ провинціи!

Пелагея Прохоровна задумалась надъ ея словами. Она говоритъ, что ей хорошо бы жилось, если бы она захотѣла. Зачѣмъ же это она до такой степени дошла?

А какимъ манеромъ она то, Пелагея Прохоровна, сюда попала? Вѣдь и ей сколько попадало случаевъ жить хорошо, да она не согласилась же, а вотъ захотѣла въ столицу. И за комъ чортѣмъ ее толкало въ Петербургъ? Для того, что ли, чтобы ее обвинили въ воровствѣ и сослали въ Сибирь!.. Эко, право, хорошее счастье! Мимо тѣхъ или черезъ тѣ же мѣста родины придется идти, только безвинно опозоренной. Правда, ее ткнуло сюда другое дѣло,—любовь къ Короваву—только вѣдь онъ ушелъ на желѣзную дорогу.

— Вы чѣмъ занимаетесь?—вдругъ спросила ее сосѣдка.

— Кухаркой была,—отвѣтала Пелагея Прохоровна.

— Давно здѣсь?

— О Петръ-Павлѣ пришла.

— Ну, а немного раньше.

— Што это, ровно вашъ-то голосъ мнѣ знакомъ?

— И мнѣ тоже кажется, какъ будто я васъ видала гдѣ-то. Вы не холмовскія?

— Нѣтъ, я издалека, изъ Терентьевскаго завода. Я во многихъ городахъ жила.

— Ну, а я не жила во многихъ городахъ, только теперь пожалуй придется пройти много городовъ, если обвинять.—И сосѣдка заплакала.

Пелагея Прохоровна старалась ее утѣшить.

— Богъ не безъ милости. Онъ видитъ, кто правъ, кто виноватъ.

— То-то, что на Бога-то мало обращаютъ вниманія.

— Ну, што жѣ, и тамъ люди живутъ, да еще лучше пожалуй.

— Я тоже понимаю такъ, что тамъ уже предѣлъ всякому новому желанію. Упрямъ, такъ и всему конецъ—я пожалуй согласна на это.

— Ну вотъ!—сказала недовольно Пелагея Прохоровна.

— Вѣдь меня обвиняютъ въ томъ, что я задушила своего ребенка, хоть я вовсе не имѣла этого намеренія, а просто заснула его оттого, что двѣ ночи передъ тѣмъ не спала. Я ребенка своего любила. Хорошо, если мнѣ повѣрятъ и не сошлютъ!

— Послушайте-ка: вы не продавались на Никольскомъ рынкѣ?—спросила вдругъ сосѣдку Пелагея Прохоровна.

— Стояла передъ праздникомъ... кажется, передъ Троицей.

— Вы... я забыла имя то...

— Евгения Тимофеевна.

— А я Пелагея Прохорова.

— То-то, я слушаю: кажется мнѣ голосъ-то вашъ знакомъ.

— И мнѣ тоже... Ну, вы еще тогда говорили, што въ Питерѣ къ генералу какому-то ходили. Вѣдь вы въ швей нанялись!

— Да, я у этой женщины, которая меня наняла съ Никольскаго, три мѣсяца съ половиной выжила; и никому не совѣтую жить у нея. Ужъ лучше наняться въ кухарки, чѣмъ къ ней. Это ничего, что она отставная чиновница и что у нея есть любовникъ, но то обидно, что она хочетъ чужими руками деньги зарабатывать. Ничего бы и то, еслибы деньги шли въ прокъ, а то скверно, что деньги идутъ на водку и пиво любовнику, и доходитъ она до того, что къ концу мѣсяца за квартиру нечѣмъ заплатить, ѣсть нечего, и тогда она заставляетъ работницъ голодать.

— Чѣмъ же она занимается?

— Она швеей и швеей хорошая. Швеей она была еще дѣвухой и чиновникъ на ней женился, — какъ она говоритъ, — не изъ-за красоты, а изъ-за того, что она добываетъ деньги, даже больше его: онъ, кажется, получалъ одиннадцать рублей въ мѣсяцъ, а она вышивала не меньше, чѣмъ на пятнадцать рублей. Ну, до замужества она занимала комнату и деньги у нея были кое-какія, а когда вышла замужъ, тогда они наняли квартиру, чтобы пускать жильцовъ. Тутъ она и просидела всѣ денежки, потому что нужно было купить мебели и кухарку нанять. Годовъ пять, что ли, она билась съ мужемъ; онъ былъ смирный, не пьяница, только хворалъ часто и наконецъ померъ отъ чахотки. Пока былъ живъ мужъ, она не очень усердно брала работу, и стало быть тѣ, отъ которыхъ она получала ее въ дѣвухкахъ, ужъ смотрѣли на нее иначе и давали работу другимъ. Послѣ смерти мужа она увидѣла, что приходится трудиться такъ же, какъ и до замужества. Стала она работать крѣпко, вставала рано, ложилась поздно, а видѣть, что одной и каша во рту не спора — заработокъ все такъ же плохой. Вотъ и задумала она нанять женщинъ. Насъ у нея было три, и всѣ мы оказались плохими швеей, — такъ въ крайней мѣрѣ она говорила; цѣлый мѣсяцъ она на насъ ворчала, однако не отказывала, а какъ кончился мѣсяцъ, сказала, что у нея нѣтъ денегъ, и стала умолять, чтобы мы остались. Ну, дѣй-то швей ушли, а я осталась, потому что у меня денегъ въ то время было столько же, сколько и на Никольскомъ рынкѣ, да и башмаки обносились. Остались мы вдвоемъ, работы она набираетъ много, а намъ двухъ не управиться. Опять начали ей отказывать. Опять она наняла швею — переманила откуда-то. Эта швея попала въ бойкихъ; пошли у нихъ ссоры, стала швея уходить по праздникамъ куда-то въ гости, хозяйка все на меня и свалила. Такъ мы и бились. — Евгения Тимофеевна замолчала.

Стало свѣтать. Началась переключка. Женщины этой каморы вышли въ корридоръ, но нѣтъ оттуда гналъ прочь назадъ городской. Теперь оказалось, что и въ этой каморѣ было окно, только оно было маленькое, находилось немного пониже потолка и выходило къ какой-то лѣстницѣ. Рядомъ съ этой каморой была большая камора человѣкъ на двадцать пять, но въ ней было не больше двадцати женщинъ. Въ этой каморѣ было квадратное окно со стеклами и рѣшетками: но куда выходило оно изъ каморы, опредѣлить трудно, такъ какъ оно отъ наръ было аршина два съ половиною вышины. Напротивъ этой каморы была секретная камора съ желѣзною рѣшетчатою дверью, запертою на замокъ. Въ ней была одна женщина, которая теперь стояла у двери и смотрѣла какъ-то дико, точно потеряла разбуждѣ.

— За што тебя, голубушка, посадили? — спрашивали эту женщину другія арестантки.

Женщина молчала.

— Не бойся, не выдадимъ.

Женщина горько улыбнулась.

— Пошли, пошли!! Ты што стоишь? Въ карцеръ хопь? — говорилъ городской, обращаясь то къ арестантамъ, то къ одиночной женщинѣ.

— Што это за карцеръ, Евгения Тимофеевна?

— А это около отхожаго мѣста есть такой чуланъ безъ окна. Въ него пошѣщается только одинъ человѣкъ. Я, не знаю, что-то сказала въ первый день дежурному, онъ меня и заперъ. Въ немъ едва сидѣть можно. Я въ немъ просидѣла часа съ три и мнѣ это время показалось цѣлою вѣчностью: темно, сыро, скребутся мыши, вонь... Хуже, чѣмъ въ подземельи.

Сдѣлалось еще свѣтлѣе; въ той каморѣ, въ которой находилась Пелагея Прохорова, было, кромѣ нея и дѣвочки, восемь женщинъ. Пять изъ нихъ обвинялись въ нищенствѣ, остальные — въ воровствѣ. Обвиняемыя въ воровствѣ говорили, что онѣ крали потому, что по отхождъ отъ мѣста имъ бы не на что было прожить трое сутокъ. Но такихъ воровокъ, у которыхъ была бы страсть къ воровству, не было: тоже и въ другой каморѣ, въ которой были двѣ женщины, подкинувшія своихъ младенцевъ, одна, хотѣвшая задавиться, двѣ — горничная и кухарка, обвиняемыя въ намѣреніи отравить графскую собачку, и одна пьяная женщина, поднятая въ безчувственномъ состояніи на мостовой. Въ секретной сидѣла женщина, обвиняемая въ сообщничествѣ по какой-то крупной кражѣ и убійству.

Старостики, тоже арестантки, сидѣвшія по долгу по случаю неимѣнія паспортовъ, пошли получать хлѣбъ и щи. Пелагея Прохорова не хотѣлось теперь ѣсть. Надъ ней смѣялись женщины.

— Что, видно, не хочешь солдатскаго-то хлѣба? Вонъ барышня-то небось привыкла.

У Евгения Тимофеевны лицо было блѣднѣе прежняго.казалось, что она въ послѣднее время или была больна, или вынесла много душевныхъ страданій. На ногахъ ея были съ прорванными носками башмаки. На ней самой была ситцевая блуза у другихъ женщинъ были или сарафаны, или ситце-

ея платья, у трех головы повязаны платками, а одна—молодая и высокая, обвиняющаяся въ кражѣ,—была даже въ кринолинѣ.

— Тебя, баба, за што взяли-то? — спросила старуха, старуха, Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна начала рассказывать.

— Ну, просидишь съ мѣсяць!

Пелагея Прохоровна чуть не замерла.

— Што испугалась?.. Ничего, привыкнешь. Вонъ барышня-то тоже привыкла.. Садись, барышня, поди, болятъ бока-то?—говорила худощавая старушонка въ какомъ-то рваномъ пальто на ватѣ, принадлежавшемъ канцеляристу, такъ-какъ на немъ еще сохранилась одна мѣдная, заржавѣлая пуговица, о которой старушонка повѣствовала, что она эту пуговицу бережетъ какъ драгоценность, потому что только оторвется,—глядь, ее, старушонку, и заберутъ въ часть.

Всѣмъ женщинамъ было очень скучно. Пожалуй онѣ и говорили, но все было старо, давно всѣмъ надоѣло. Сидѣлось скучно и Пелагее Прохоровнѣ. Хотя она и сидѣла на нарахъ, но по случаю недолгого здѣсь пребыванія, кромѣ Евгеніи Тимофеевны, ни одна изъ женщинъ не смотрѣла на нее ласково. Напротивъ, насчетъ ея молодости и лица онѣ отпускали остроты и старались чѣмъ-нибудь уязвить ее для того, чтобы развлечься хоть на нѣсколько минутъ. Но Пелагея Прохоровна отмалчивалась, а это молчаніе, въ кругу говорящихъ и издѣвающихся надъ ней женщинъ, та же пытка... Пробовала было она оборвать женщинъ—не помогло: ея молчаніе имъ не нравится, а о чемъ она знаетъ говорить съ ними?

Женщины заговорили, оживились; но это оживленіе было не веселое. Всѣ говорили дрожащимъ голосомъ.

— Што-то Господь пошлетъ?

— Выпустятъ, или нѣтъ?

— Дождись! Чать, въ тюрьму сведутъ..

— Ну, тамъ, говорить, лучше здѣшняго

Пристава къ Пелагее Прохоровнѣ.

— Ты гдѣ жила?

Та сказала.

— Ну, теперь будетъ слѣдствіе, спрашивать будутъ, у кого украла.

— Да я не украла...

— Ну, полно-ко... Ты прописана ли? И паспортъ въ кварталѣ?

— Паспортъ у меня въ платьѣ.

— Покажи!

— Да тамъ, въ узлу.

— Ахъ ты, дура! Да ты погибла теперь.

— Какъ?

— А такъ. Теперь у тебя паспортъ вытаскать изорвутъ, или паспортъ бабѣ какой-нибудь чужой всунутъ въ платье... Гдѣ узелъ-то лежить? въ какомъ углу?

— Походишь же ты по частямъ. Придется поспѣть съ годкомъ...—и такъ далѣе.

Пелагею Прохоровну очень напугали арестантки, и она рѣшительно не знала, что дѣлать. Она готова была разломать стѣну, чтобы выскочить изъ этого

ада. Не меньше ея мучилась и Евгенія Тимофеевна, но Пелагее Прохоровнѣ казалось, что той какъ будто легче. Она подумала, что эта барышня должно быть не изъ добрыхъ, потому что она и съ родными перессорилась изъ-за чего-то непонятнаго, и говорила ей ночью какъ-то непонятно. „Кто ее знаетъ,—закралось у Пелагеи Прохоровны сомнѣніе,—изъ какихъ она? Можетъ, она здѣсь уже и не въ первый разъ“.

— Неужели можно привыкнуть?—спросила она Евгенію Тимофеевну, которая сидѣла съ нею рядомъ.

— Къ этой жизни... Да, немножко я попривыкла. И къ худу надо привыкать. Мнѣ вотъ немного легче, потому что я жду уже другой день сегодня, какъ меня поведутъ въ тюрьму; по крайней мѣрѣ я на воздухъ выйду.

— Откуда же ты знаешь, что тебя въ тюрьму поведутъ?—спросила Пелагея Прохоровна Евгенію Тимофеевну.

— Въ первый день меня водили къ слѣдователю; допросы отбирали. Тамъ слѣдователь сказалъ на мою жалобу, что здѣсь нехорошо, что недолго придется просидѣть въ части, и что, какъ кончится слѣдствіе, меня переведутъ въ тюрьму.

— Неужели ты своего ребенка задумала?

— Охъ, виновата ли я!—Евгенія Тимофеевна заплакала.

Въ это время къ двери подошелъ дежурный.

— О чемъ эта плачетъ?—спросилъ онъ каждую сердито

— А кто ее знаетъ? слезы-то некупленные!

— Только смѣйте вы у меня ее хоть пальцемъ тронуть! Я васъ всѣхъ въ карцеръ запру!—проговорилъ грозно дежурный и ушелъ.

Женщины напали съ ругательствомъ на Евгенію Тимофеевну и согнали ее и Пелагею Прохоровну съ наръ.

— Сиди съ ней на полу.

— Какое вы мѣете право толкаться! Я дежурному скажу,—крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины напали на нее.

— И ты видно изъ таковыхъ! И ты видно своихъ ребятъ въ рѣки побросала, что съ ней знаешь!!

— Должно быть она помогала ей.

— Какъ вамъ не грѣхъ! Ну, чѣмъ я виновата передъ вами?—проговорила Евгенія Тимофеевна, рыдая.

— А! тутъ дакъ виновата... А отчего ты, если тебѣ не милъ ребенокъ, въ воспитательный не отдала его?

— Еслибы мнѣ не жалко было...—проговорила Евгенія Тимофеевна.

— А кто жъ у те любовникъ-то?

Евгенія Тимофеевна еще пуще зарыдала.

— Не троньте ее, бабы. Не всякой, я думаю, изъ насъ пріятно объ этомъ рассказывать.

Женщины мало-по-малу отстали отъ Пелагеи Прохоровны и Евгеніи Тимофеевны. Онѣ хотя и сидѣли рядомъ, но не говорили другъ съ другомъ долго. Евгенія Тимофеевна не плакала, но, уперши голову на лѣвую ладонь, съ отчаяніемъ и какою-то злобою смотрѣла на полъ; Пелагея Прохоровна

смотрѣла на нее съ сожалѣніемъ и думала: „какая она молодая!“

— А жалко мнѣ тебя, Евгенія Тимофеевна! Очень жалко!—проговорила наконецъ Пелагея Прохорова. — Добро я, мужичка, а ты дворянка.

Евгенія Тимофеевна нѣсколько минутъ молчала.

— Гораздо лучше бы было, если бы я была не дворянскаго роду, — сказала она.

— Ну, полно: дворянки — господа, а нашъ братъ што? Плевокъ. Дворянникъ накуралесить — смунче-го, потому за него богатые да знатные стоятъ; а мужикъ чуть чего сдѣлалъ, — виноватъ. Вотъ хоть я, за што я попала въ часть?

Сосѣдка молчала нѣсколько минутъ.

— И все-таки мнѣ удивительно, Евгенія Тимофеевна, какъ это ты дворянскаго роду, а за тебя дворяне не заступятся? Вѣдь вотъ хоть бы эти полицейскіе, вѣдь они неизъ дворянъ поди, а какъ обихажютъ-то.

— Пелагея Мокроносова! — крикнулъ мужской голосъ; другой мужской голосъ повторилъ это.

— Никакъ меня? — спросила арестантокъ Пелагея Прохорова, встала и пошла.

### XXXI.

На третій день Евгенію Тимофеевну куда-то потребовали. Она со слезами распростилась съ женщинами и особенно съ Пелагеею Прохоровною.

— Не видаться ужъ знать намъ больше, — говорила Евгенія Тимофеевна.

Но долго разсуждать ей не дали и велѣли взять все, что у ней есть при себѣ.

Пелагея Прохорова прослезилась, да и прочія женщины смотрѣли на нее съ жалостью. Имъ уже не въ первый разъ приходилось видать женщинъ, уходящихъ изъ каморы со слезами, что означало не выпускъ на волю, а заключеніе въ тюрьму; при видѣ же Евгеніи Тимофеевны жалость проявилась даже у болѣе жесткихъ натуръ. Ее ждали до вечера. Вечеромъ ждаты перестали.

Теперь Пелагея Прохорова чувствовала себя одинокою, потому что остальные женщины какъ-то сторонились ея и болѣею частію молчали, или развлекались вновь появляющимися въ каморѣ женщинами. Отъ скуки онѣ шли въ другую камору, несмотря на то, что изъ оттуда гнали городовые; и къ нимъ заходили арестантки изъ другой каморы. Скука была страшная.

На третій день, какъ ушла Евгенія Тимофеевна, Пелагею Прохоровну отправили въ петербургскую часть, откуда ее повели къ кухмистершѣ Овчинниковой. Оказалось, что г-жа Овчинникова уже померла, а дочь ея живетъ у тетки на Пескахъ. Дворяникъ того дома на Петербургской, гдѣ жилъ майоръ, сказалъ, что Пелагея Прохорова была у майора въ кухаркахъ и потомъ переѣхала съ нимъ тогда-то.

Когда Пелагею Прохоровну привели обратно въ часть, то она замѣтила, что полицейскіе, разсматривая какія-то бумаги, хохочутъ.

— Ты, говоришь, у майора Филимонова жила? — спросилъ Пелагею Прохоровну весело надзиратель.

— У него.

— А сколько времени?

— Мѣсяца полтора.

Полицейскіе опять захохотали.

— А славный мы съ него сдеремъ штрафъ и за билетъ, и за адресный.

Пелагея Прохорова, сообразивши, что полицейскіе смѣются надъ майоромъ, сказала:

— Отпустите меня, ради Христа.

— Отпустимъ, матушка; только удостовѣрися, дѣйствительно ли ты жила у него. Позвать его дворяника! — сказалъ надзиратель окружающимъ его служащимъ.

Пелагею Прохоровну оставили въ прихожей до дворяника.

Черезъ часъ явился дворяникъ Филимоновъ. Увидѣвъ Пелагею Прохоровну, онъ опѣшилъ. Видно было, что городской, ходившій за нимъ, хотѣлъ сдѣлать ему сюрпризъ. Надзиратель былъ занятъ, и потому дворяникъ подошелъ къ Пелагее Прохоровнѣ.

— Што это, што это съ тобою?.. Какъ ты это попала-то?

— Вотъ по милости вашей. Зачѣмъ не прописали, што я у майора живу.

Дворяникъ струсилъ, сталъ смотрѣть въ свою книжку и помолчалъ нѣсколько минутъ, какъ бы соображая, что ему теперь сказать въ свое оправданіе.

— Да неужли за это?.. Ты бы могла сказать, что пріѣхала изъ Царскаго, или изъ Гатчины; тамъ молъ я въ кухаркахъ жила.

— А почему я знаю это Царское?

— Дура! Ты знаешь, чѣмъ это дѣло-то пахнетъ?

— Хороши и вы! по вашей милости сколько я побоевъ-то приняла... Седьмья сутки сижу; еще пожалуй засаждать.

Наконецъ позвали дворянина въ присутствіе вѣсть съ Пелагеею Прохоровной.

— Ты знаешь эту женщину? — спросилъ частный приставъ.

Дворяникъ замаялся. Онъ было подумалъ сказать: не знаю, но боялся того, не сдѣлала ли бывшая кухарка его домохозяина чего дурного.

— Ну, что же?

— Знаю.

Отъ дворяника нужно было каждое слово выжимать, потому что, имѣя всякаго рода дѣла съ полицейей, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ всегда былъ остороженъ, боясь попасть въ просакъ. Онъ показавъ, когда переѣхалъ въ домъ майора Филимоновъ съ женой и кухаркой Пелагеею Прохоровной Мокроносовой; что онъ, дворяникъ, съ самаго начала получилъ отъ майора его бумагу, а о паспортѣ кухарки тревожить его не посмѣлъ, думая, что тотъ долженъ знать всѣ порядки; потомъ прошло недѣли двѣ и дворяникъ пошелъ къ майору попросить паспортъ Пелагеи Прохоровны, майоръ былъ не въ духѣ и прогналъ его. Послѣ этого дворяникъ еще нѣсколько разъ просилъ у домохозяина паспортъ, но тотъ молчалъ или гналъ прочь, говоря, что паспортъ у него и болѣе онъ ничего знать не хочетъ.

— А отчего же ты не донесешь полиціи, что у твоего домовладѣльца живетъ женщина безъ прописки?—спросилъ частный.

— Не мое дѣло.

— Такъ вотъ теперь ты узнаешь, чье это дѣло. Запереть его!

Дворнику и Пелагеѣ Прохоровнѣ приказали идти въ прихожую; дворникъ, понуривъ голову и почесывая затылокъ, медленно пошелъ, а Пелагея Прохоровна обратилась къ частному.

— Ваше благородіе, меня взяли съ узломъ и говорятъ, што я воровка. Вотъ спросите дворника, онъ мои вещи знаетъ. Онъ знаетъ, въ какое время я ушла отъ лавочника Большакова.

— Какого Вольшакова?—спросилъ частный.

— А онъ въ домѣ же Филимонова торгуетъ хлѣбомъ и разною разностью. Иванъ Зиновичъ прозывается.

— А!..

— Пожалуй можно спросить, — сказалъ надзиратель.

Позвали опять дворника и опросили, въ которомъ часу такого-то числа вышла изъ дому Филимонова Пелагея Мокроносова. Тотъ сказалъ, что майоръ прогналъ кухарку за день до этого, и такого-то числа она, неизвестно почему, ушла отъ Большаковыхъ.

Принесли узелъ, Афанасій нѣкоторыя вещи призналъ принадлежащими Пелагеѣ Прохоровнѣ. Узелъ отдали Пелагеѣ Прохоровнѣ и велѣли ей дожидаться въ прихожей билета на жительство. Въ прихожей Пелагея Прохоровна хотѣла разобрать узелъ, но при людяхъ дѣлать это казалось ей неловко, потому что тутъ было все ея имущество. Дворникъ сердился на Пелагею Прохоровну за то, что по ея милости онъ долженъ теперь будетъ сидѣть въ арестантской, и называлъ ее нехорошими словами, попрекая Игнатѣемъ Прокопичемъ.

Наконецъ выдали Пелагеѣ Прохоровнѣ билетъ и сказали, что она можетъ идти, но о мѣстѣ жительства должна сообщить непременно въ кварталъ черезъ дворника и за паспортомъ понавѣдаться черезъ недѣлю.

Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, и когда вышла изъ части, то почувствовала всю прелесть свободы. Она смотрѣла весело, готова была обнять каждого человѣка, готова была плакать отъ радости. На слова караульнаго: „что стоишь?“ она издрогнула и пошла машинально направо, не зная сама куда. Но не прошло и пяти минутъ, какъ она почувствовала усталость, слабость во всемъ тѣлѣ, голодъ; узелъ ей мѣшалъ. Тогда явился самъ собою вопросъ: куда идти?

Былъ уже часъ седьмой. Начинали зажигать фонари. Но движеніе въ Петербургѣ какъ будто только что начиналось. Пелагея Прохоровна не знала, въ которую ей идти сторону, и гдѣ найти пріютъ до утра. Она спросила нѣсколькихъ человѣкъ, шедшихъ на встрѣчу: гдѣ бы ей ночевать? но эти люди, оглянувъ ее подозрительно, отвѣчали: не знаемъ. Спросила она городского, тотъ придрался къ ея

узлу и не повелъ ее въ часть потому только, что она показала ему билетъ.

Совсѣмъ растерялась Пелагея Прохоровна, при-сѣла она на панель, стала развязывать узелъ, но дворникъ сталъ гнать.

— Пусти, ради Христа, ночевать, — сказала дворнику Пелагея Прохоровна.

— Я те пушу! Пошла!!

— Дай ты мнѣ хоть деньги-то достать.

Но дворникъ подошелъ съ метлой, которой и замахнулся на Пелагею Прохоровну. Опять пошла Пелагея Прохоровна и думала о дворникахъ, полиціи, арестантахъ; голова ея кружилась, да и сама-то она шла безсознательно, такъ что черезъ часъ послѣ ея выпуска изъ части она опять очутилась недалеко отъ той же части...

„Пойду я въ часть, все едино, опять возьмутъ съ узломъ“, подумала Пелагея Прохоровна, и вошла въ контору.

— Ты зачѣмъ?—спросилъ ее городской.

— Пустите ночевать.

— Ахъ ты, подлая! Пошла вонъ!—И Пелагею Прохоровну стали гнать.

— Батюшки, голубчики! укажите, гдѣ ночевать?

— Мы тебѣ укажемъ!

— Украдъ, и ночлегъ будетъ, — съострилъ другой городской.

— Неужели же у васъ сердце каменное?..

— Гоня ее!—сказалъ помощникъ надзирателя.

Пелагею Прохоровну выгнали изъ части.

Вышла она на дворъ и задумалась. Начала перебирать вещи; опять прогнали. Ей хотѣлось найти чулокъ, въ которомъ лежали деньги, но и въ этотъ разъ не дали ей добраться до кармана, сдѣланнаго въ платѣ.

И вотъ идетъ опять Пелагея Прохоровна усталая, больная и голодная. Народу идетъ и ѣдетъ много, наряднаго и не наряднаго; ѣдутъ кареты, торгаши выкрикиваютъ спички, яблоки, груши, булки; тамъ и сямъ играетъ шарманка, изъ какого-то дома слышится музыка, улица съ обѣихъ сторонъ залита свѣтомъ: горятъ огни во всѣхъ этажахъ, горитъ газъ. Хорошо идти по этой улицѣ; много въ ней можно увидеть хорошихъ вещей; но голоднаго человѣка это богатство, это, такъ сказать, сказочное видѣніе, тотчасъ послѣ арестантской каморы, еще болѣе расслабляетъ; еще болѣе ноетъ сердце при видѣ всего этого блеска, еще болѣе является любопытство, прекращающее на время голодъ, и это любопытство тянетъ человѣка идти еще дальше и увидѣть еще что-нибудь получше. Такъ и Пелагея Прохоровна шла по Невскому; наконецъ предметы стали ей казаться однообразными, и какъ только она вошла на площадь, наступило общее ослабленіе. Она сѣла и закрыла лицо руками. Слезы не шли изъ глазъ, но въ головѣ ея былъ жаръ. Къ ней подошло нѣсколько человѣкъ любопытныхъ.

— Что съ тобой?—спрашивали они.

Пелагея Прохоровна ничего не понимала.

Подошелъ городской и сталъ разгонять толпу, но толпа росла.

— Она нездорова! Холера!—говорили въ толпѣ.

Городовой тормозилъ Пелагею Прохоровну и спрашивалъ, гдѣ она живетъ. Стали объ этомъ спрашивать въ толпѣ. Пелагея Прохоровна опомнилась.

— Батюшки! укажите, гдѣ мнѣ ночевать... Я вѣтъ хочу.

Нѣсколько человекъ отошли отъ Пелагеи Прохоровны; остальные стали совѣтовать городовому отправить ее въ больницу; городской просилъ ее идти, куда она знаетъ, а не сидѣть тутъ и не привлекать народъ.

— Охъ, не могу я идти-то,—проговорила она.

— Найми извозчика. Эй, извозчикъ! Отвези ее!— кричалъ городской извозчику, вѣхавшему тихонько порожнякомъ.

— А есть ли у нея деньги-то?

— Есть,—сказала Пелагея Прохоровна.

— Давай,—сказалъ извозчикъ.

— Вотъ въ узлу.

— Вези, вези... кричалъ городской.

Но извозчикъ стегнулъ лошадей и уѣхалъ. Пелагея Прохоровна ползлась. Черезъ полчаса она очутилась на набережной Невы; потомъ пошла по Троицкому мосту. Дулъ рѣзкій вѣтеръ съ моря; ночь была темная, холодная; по небу плавали густыя тучи, такъ что не видно было на немъ ни одной звѣздочки, волны плескались съ шумомъ и шатали плышкоты. На мосту было пусто: рѣдко-рѣдко развѣ кто пробѣдетъ или пройдетъ; Пелагеѣ Прохоровнѣ казалось, что она плыветъ и конца нѣту этому мосту. Безсознательно прошла она площадь, вошла въ Александровскій паркъ и опять силы ей измѣнились; она упала и скоро заснула.

Холодное утро скоро пробудило Пелагею Прохоровну. Когда она проснулась, было не совсѣмъ свѣтло еще. Оглядыла Пелагея Прохоровна мѣстность и увидала, что спала въ какой-то ямѣ; сарафанъ ея и узелъ весь запачканъ въ грязи. Развязала она узелъ и стала искать чулокъ съ деньгами, но чулки цѣлы, а денегъ нѣтъ.

Опять пошла Пелагея Прохоровна, еле передвигая ноги. Народу почти не видать; двое извозчиковъ, сидя въ пролеткахъ, спятъ; начинаютъ отпирать лавочки. Пелагея Прохоровна зашла въ лавочку и попросила Христа ради.

— Богъ съ тобой!—сказалъ лавочникъ.

— Батюшко! Я совсѣмъ не знаю, што мнѣ дѣлать...

— Н-ну, не разговаривай. Украла, поди, узелъ-то? Вотъ городского позову.

— Ужъ я просилась и въ полицію,—не берутъ.

Въ другой лавочкѣ ей подали кусокъ чернаго хлѣба. Она очень обрадовалась этому куску и тотчасъ съѣла его. Это удивило лавочника, и онъ съ насмѣшкой спросилъ ее:

— Видно ты давно голодаешь-то?

Пелагея Прохоровна рассказала, какъ она отошла отъ мѣста и попала въ часть. Лавочникъ попросилъ у нея паспортъ и, удостовѣрившись въ справедливости ея словъ просмотрѣвъ билета, далъ

ей еще хлѣба и посовѣтывалъ идти на Никольскій рынокъ.

### XXXII.

Пелагея Прохоровна пошла по направленію къ Самсоніевскому мосту, раздѣляющему сторону Петербургскую отъ Выборгской. Еще не дошла она до угла нѣсколькихъ шаговъ, какъ увидѣла выходящихъ изъ одного питейнаго заведенія четырехъ рабочихъ въ рваныхъ полушубкахъ. Они остановились и стали о чемъ-то разсуждать. Сперва Пелагея Прохоровна не обратила на нихъ вниманія, но ей опять послышался знакомый голосъ, что ее и заставило посмотреть на рабочихъ. Двое изъ нихъ были невысокіе, съ большими русыми волосами и такими же бородами, много захватившими ихъ щеки; третій былъ высокій, молодой мужчина безъ бороды и усовъ, но съ желтымъ лицомъ; четвертый отличался отъ другихъ тѣмъ, что его полушубокъ былъ сшитъ точно изъ клочковъ, которые еле-еле болялись, а на головѣ была фуражка съ оторванными на половину козырькомъ и съ тремя заплатами на верхушкѣ. Онъ былъ молодъ, годовъ шестнадцати, но на видъ ему казалось гораздо больше, оттого что на его лицѣ сидѣло много грязи и пыли. Вглядывшись въ него хорошенько, Пелагея Прохоровна узнала Панфила Прохорыча. Радость ея была неописанная. Однако она подошла робко, поклонилась и не ловко спросила:

— Вы откуда?

Мужчины захохотали, но молодой человекъ сталъ пристально смотрѣть на женщину.

— Што смотришь? Аль сродни?—спросили Панфила товарищи.

— Ты не Панфиль ли Прохорычъ?—спросила робко Пелагея Прохоровна.

— Такъ зовутъ... А ты?... Ужъ не Пелагея ли?—спросилъ не то съ насмѣшкой, не то съ горестью молодой человекъ.

— Какъ же, Пелагея Мокроносова!

Молодой человекъ посмотрѣлъ еще на Пелагею Прохоровну и сказалъ:

— Пелагея-то была здоровая, красивая, а ты што?

— Неужли и голосъ не узнаешь?... Вѣдь кажись вмѣстѣ въ Моргуновомъ-то робили... Ты еще за фальшивую билетку попался.

— Ахъ ты!! Глядите, робя,—счастье! Сестра вѣдь... Ахъ ты, чортъ!..

И Панфиль Прохорычъ утеръ глаза заскорѣлыми руками. Пелагея Прохоровна тоже стала утирать глаза. Товарищи Панфила Прохорыча глядѣли то на Панфила, то на женщину; они то улыбались, то чесали затылки и что-то обдумывали. Ихъ лица выражали словно зависть и какъ будто говорили: «ишь вѣдь, свидѣлись таки!.. Экое, подумаешь ты, людныя счастье.»

Начались разспросы. Восторгамъ этой встрѣчи кажется и конца бы не было. Но рабочіе сказали Панфилу:

— Пора. Надо переть барку-то кверху.

— Такъ ты гдѣ ино теперь?—спросилъ братъ сестру.



— Безъ мѣста я, и денегъ у меня нѣту—украли И сама не знаю, гдѣ украли.

— Подемъ мно на барку: у насъ хлѣбъ-то есть,—сказалъ братъ.

— Иди, мѣсто будетъ. .... проговорили рабочіе. Пелагея Прохоровна пошла за братомъ и рабочими въ барку, и дорогой рассказала брату, какъ она ушла изъ Прикамска и попала въ Петербургъ.

— Ужъ натерпѣлась же я горя въ этомъ Петербургѣ. И если бы знала, что здѣсь такая жизнь, ни за что бы не пошла изъ Поляркова.

— Ну, а тоже въ Полярковѣ робилъ: народъ—собака.

— Не врѣ; тамъ люди хорошіе и достаточно живутъ.

— Кон тамонніе; а кон пришедшіе, тѣ и работы нескоро найдутъ. Это можетъ тебѣ такъ показаться, потому што ты баба. А я тамъ прожилъ съ недѣлю и узналъ, что тамонніе-то жители между собою уговариваются, чтобы имъ оттереть пришивыхъ, и смотрителей на пристаняхъ задабриваютъ.

— Ну, а ты-то какъ попалъ сюда?

— Какъ?... Нанялся на баржу до Нижняго, а въ Нижнемъ эту баржу взяли да продали, и мы всѣ, сколько тамъ было, поступили въ службу къ другой компаніи. Ну, нагрузили нашу баржу и потащили насъ парохомъ въ Тверь. А въ Твери двое товарищей и говорятъ: „пойдемте въ Питеръ, еще поспѣемъ на суда.“ Ну, и получили расчетъ. Мнѣ досталось пять рублей съ четвертакомъ. Походили по Твери дня четыре и нашли еще пятерыхъ—тоже въ Питеръ собирались, только ѣхали въ Чудово. Ну, мы поѣхали на чугункѣ и скоро нанялись на барку камень сплавлять.

— Сколько же ты получаешь?

— Да вотъ, какъ камень представимъ, надо бы по десяти рублей получить.

— Пошто же ты оборванъ?

— Пошто!! Поживи, такъ узнаешь. Вотъ ты говоришь: тебѣ нехорошо; а нашему брату и еще лучше.

Наконецъ вошли въ барку по дощечкѣ. Здѣсь на рѣкѣ были два плота съ плотно сложенными на нихъ сѣномъ, въ срединѣ котораго было устроено подобіе коридора, въ которомъ и спасались отъ дождя рабочіе; далѣе стояла большая лодка, вмѣщавшая въ себѣ до восьми кубическихъ сажень неску, еще дальше—четыре судна, ожидающіяся попутнаго вѣтра, и та барка, на которой находился Панфилъ Прохорычъ. Эта барка не походила на тѣ, которыя видѣла на родинѣ Пелагея Прохоровна: она не имѣла палубы, была нѣсколько овалнѣе, посрединѣ ея не было гребныхъ веселъ. Вся она была нагружена кирпичемъ.

— Ужъ мы въ четвертый разъ этотъ кирпичъ плавимъ съ кирпичнаго завода. А заводъ этотъ недалеко, сейчасъ за Охтой будетъ литейный заводъ, такъ не доходя ево. Сперва плавилъ въ Фонтанку рѣку, потомъ въ Обводный каналъ, потомъ по Обводному каналу же въ Лиговскій каналъ, теперь суды ужъ въ послѣдній разъ. Говорятъ, скоро

ледъ пойдетъ. Нанимали въ Кронштадтъ, въ море, по двадцати рублей давали, да опоздалъ.

— Ты видалъ ли Питеръ-то?

— Вотъ тѣ разъ!.. Да я тамъ вездѣ выходилъ. Чудной этотъ городъ; не вѣрю я, чтобы тебѣ тамъ худо было.

На этой баркѣ было всего шесть человѣкъ рабочихъ. Панфилъ откачивалъ воду, остальные что-нибудь стругали, зачинивали въ баркѣ дыры, починивали свои полшубки, а одинъ, сидя въ кормѣ подъ досками, которыя были положены на края барки для того, чтобы было удобно гребсти и править, варилъ гречневую кашу на всѣхъ рабочихъ. Отъ груза на баркѣ было такъ тѣсно, что всѣмъ приходилось сидѣть на грузахъ, а тамъ, гдѣ варилась крупа, можно было умѣститься только двумъ человѣкамъ и то присѣвъ. Поэтому рабочіе сидѣли гдѣ попало, спиною къ вѣтру, не обращая вниманія на то, что сквозь дыру рубашъ вѣтеръ сквозитъ на голое тѣло. Пелагея Прохоровна тоже присѣла. Теперь ей было весело; она нашла брата и съ братомъ ей будетъ легче работать.

Между тѣмъ всѣ рабочіе поразспросили Пелагею Прохоровну о ея родинѣ и пребываніи въ Петербургѣ. Двое говорили, что у нихъ жены находятся тоже въ Питерѣ и они видѣлись съ ними раза по три, но онѣ не хвалятъ питерское житье. Начались общія сѣтованія на мужицкую долю, на то, что мужику вездѣ одинакова жизнь, и Питеръ, по ихнему мнѣнію, еще пожалуй хуже, потому что рѣдкій къ концу лѣта не захвораетъ чѣмъ-нибудь.

— Никто и въ Питерѣ-то не хвалится житьемъ. Оно бы и заработокъ ладный, а деньги идутъ и самъ не знаешь на што... И все-таки ни сытъ, ни голоденъ. Еще ладно, если кто на одномъ мѣстѣ долго держится. А какъ свернется съ мѣста, и слоняйся да проживай денешки. Ну, вотъ лѣто-то лѣтенское робишь, бережешь деньги, потому дома оброки да недомки нужно платить, нужно хлѣба купить; опять и то: объ семьѣ надо позаботиться. Чѣмъ она-то виновата? Прожилъ зиму, и маршь опять сюда; а дома какая нынѣ работа—и по гривеннику на день не заработаешь... И што это за жизнь, Господи! Лѣтомъ живешь одинъ, робишь, робишь; домой пріѣдешь—деньги издержилъ и живешь кой-какъ. И не ходилъ бы домой на зиму, да семью жалко и вздохнуть хочется. А здѣсь жить съ семьей нельзя.

— Отчего нельзя?—спросила Пелагея Прохоровна.

— То-то нельзя Въ деревнѣ-то все жъ свое хозяйство. А здѣсь натко, займись хозяйствомъ-то!

— И подлинно мужицкая жизнь самая скверная,—сказалъ рабочій.

— А я мекаю, здѣшнимъ солдатамъ житье—помирать не надо!

Эти слова были произнесены потому, что по Самсоніевскому мосту прошло нѣсколько ротъ солдатъ съ музыкой.

— Ну, а вотъ нашъ Пантюхинъ сдѣлался купцомъ, а тоже на судахъ сперва ходилъ.

Рабочіе стали смотрѣть на солдатъ и смотрѣли молча до тѣхъ поръ, пока они не скрылись.

— Нѣтъ, и имъ тоже поди служба то о-ей! — сказалъ кто-то.

— Чего о-ей! Я вонъ, какъ въ Ижорѣ камень ломалъ, такъ ходилъ къ брату въ Красное, — началъ молодой, высокій рабочій. — Ну, и житье ему — умирать не надо! вся служба въ томъ и заключается, чтобы на лошадяхъ развѣзжать. А это развѣзжанье онъ говоритъ такъ только, чтобы мужики солдатамъ идти не мѣшали, когда солдаты съ ученья идутъ.

— Ну, все же солдату трудно.

— Трудно вотъ, коли ученье. Только не люблю я ихъ. Потому можетъ не люблю, очень ужъ значають передъ нашимъ братомъ, ни за што насъ считаютъ. Вотъ хошь бы этихъ городскихъ взять — изъ солдатъ вѣдь?

— Ну, ты потому ихъ не любишь, што въ полиціи сидѣлъ пьяный.

— Нешто я не шелъ на барку?

— То-то! ты дошелъ бы!

— Ну, ужъ што ни говори, а не люблю. Вотъ у брата просилъ денегъ, — не далъ: жениться, говорить, собираюсь. Я и говорю: „што жъ, Онисимъ Пантелеичъ, позовешь меня въ гости?“ онъ: „коли, говоритъ, пальто есть — приходи“. Ну, не подлецъ ли онъ послѣ этого, братецъ-то мой родимый?

Стали клебать гречневую кашу изъ большого чугуна большими деревянными ложками; Пелагею Прохоровну пригласили тоже. Она сидѣла рядомъ съ братомъ и осматривала его фигуру, въ которой находила много перемѣнъ. Рабочіе ѣли молча.

— Вонъ, Панфилъ, ты и сестру нашелъ. Чать, ужъ не пойдешь болѣе на суда али на барки? — спросилъ молодой рабочій Панфила Прохорыча.

— Куда понешь? Надо што-нибудь работать.

— Ты што умѣешь-то?

— Ковать умѣю.

— Ой-ли?.. Гдѣ ты этой наукѣ обученъ?

— Дома и въ заводѣ робилъ... Наши заводы не вашихъ чета: у насъ заводъ не меньше города.

И Панфилъ сталъ рассказывать, что такое горный заводъ, но такъ какъ кашу скоро съѣли, то этотъ рассказъ не былъ оконченъ, да и рабочихъ онъ мало интересовалъ, и они глядѣли больше на рѣку и на фабрики. Вообще рабочіе были народъ молчаливый, точно тяжелая работа отбила у нихъ всякую охоту къ разсужденію.

Панфилъ сталъ откачивать воду, рабочіе принялись отчаливать барку, а Пелагея Прохоровна сидѣла посреди барки и смотрѣла, какъ ея братъ откачиваетъ воду.

— Ты за это занятіе десять-то рублей получишь? — спросила она брата.

— За это. На этой баркѣ-то я ужъ четвертый разъ плыву, вотъ за всѣ разы мнѣ назначили десять рублей.

— А хлѣбъ то чей?

— Мой: впередъ деньги взялъ. Ужъ теперь почитай рублей пять взялъ.

Барка плыла по теченію. Хотя рабочіе и упо-

требляли въ дѣло шесты, но барка шла сама, и только приходилось работать на кормѣ и на носу. Рабочіе ругались, если барку поворачивало въ которую-нибудь сторону, или на нее чуть-чуть не наплывалъ маленький пароходъ съ двумя десятками пассажировъ, или большая лодка съ мебелью, которую плавилъ съ дачи. Наконецъ пристали недалеко отъ какихъ-то казармъ. Лоцманъ, заступивши мѣсто приказчика и обязанный отъ подрядчика доставить сюда кирпичъ въ цѣлости, ушелъ въ казармы, а рабочіе, оставивъ Панфила Прохорыча караулить барку и отливать воду, ушли на берегъ разыскивать: гдѣ бы имъ поѣсть. Пелагея Прохоровна осталась съ братомъ. Нѣсколько минутъ они сидѣли молча.

— Гдѣ то наши? — спросилъ вдругъ Панфилъ Прохорычъ.

— Я сперва объ нихъ долго думала, а теперь ужъ не думаю. Поди и имъ, Панфилъ, не лучше нашего?

— Кто ево знаетъ! Я вотъ какъ на пристани робилъ, мнѣ говорили, что на желѣзной дорогѣ хорошо робить: денегъ много даютъ. Хотѣлъ идти и не пошелъ, потому не съ кѣмъ было, и народъ все какой-то острожной. Я вотъ по чугункѣ ѣхалъ, такъ, говорятъ, на желѣзной дорогѣ народу мретъ много и порядки тамъ дурацкіе.

— Поди и они тамъ померли.

— А вотъ што-то нашъ дядя. Поли, богатѣе теперь сталъ. — Пелагея Прохоровна задумалась.

— А ты, сестра, нонѣ больно худа сдѣлалась.

— Нездоровится мнѣ што-то, братчикъ. Вотъ какъ этотъ проклятый майоръ прогналъ меня въ одной рубашкѣ, такъ я въ тѣ поры вѣрно простудилась.

— Ну, ничего... А знаешь, што я думаю: будемъ вѣстѣ робить?

— Будемъ... Я еще скажу тебѣ, братчикъ, когда я жила у майора, такъ тамъ въ домѣ жилъ мастеровой Петровъ. Я на него и вниманья сперва не обращала, а онъ все выслѣживалъ меня... А такой умной и видно работящій; видно, что онъ будетъ лучше нашихъ заводскихъ... Такъ онъ мнѣ што сказалъ: будьте, говоритъ, вы кухаркой на рабочихъ.

— Ну, такъ што?

— Ну, онъ говоритъ, што найдетъ рабочихъ и тутъ же жить будетъ. Только это мнѣ не нравится: што будутъ говорить люди?.. Я ужъ совсѣмъ думала назадъ идти въ Полярковъ...

— Ну, въ Полярковъ не стоитъ, потому тамъ работа только лѣтомъ, а зимой, говорятъ, и городскіе-то жители лѣтніе заработки проѣдаютъ.

И такъ, Пелагея Прохоровна рѣшила остаться съ братомъ въ Петербургѣ и работать гдѣ-нибудь на фабрикѣ.

### XXXIII.

Ночевавши въ баркѣ подъ крышкой, утромъ на другой день Пелагея Прохоровна чувствовала себя бодрѣе и какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдующіе четыре дня катала въ тележкахъ съ барки во дворъ казармъ кирпичи. Хотя заработокъ былъ и

небольшой — тридцать копѣекъ въ день, съ шести часовъ утра до сумерекъ, — и работа не совсѣмъ легкая, но она находила это занятіе не въ примѣръ лучше ея жизни у майора и кухмистерши. Здѣсь ее никто не смѣлъ обругать, не къ чему было придраться, рабочіе барки уважали ее, какъ сестру иъ молодого товарища, и имъ даже было веселѣе въ ея обществѣ, потому что они давно уже не бывали въ обществѣ женщинъ; хотя же солдаты изъ той казармы, куда разгружали кирпичъ, и подмывались къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, но она одного оборвала, другому что-то замѣтила неприятное, а потомъ и они стали вѣжливы. Ъла она хотя и не по вкусу, но набѣдалась до сыта; одно было неприятно, что приходилось спать подъ открытымъ небомъ, безъ защиты отъ вѣтра и дождя. Такихъ постоянныхъ избѣ, гдѣ бы можно было нанять ночлегъ, здѣсь не было; да и рабочіе говорили, что имъ уже не много остается терпѣть. По мѣрѣ выгрузки изъ барки кирпича, становилось меньше работы Панфилу Прохорычу, такъ какъ края барки становились все выше и выше надъ водой, и вода сочилась только сквозъ дно. Поэтому и Панфилъ Прохорычъ тоже каталъ въ тележкѣ кирпичи. На баркѣ не знали, какой сегодня день, и потому работали ежедневно, стараясь кончить; за провинціей ходили въ лавочки, потому что на рынокъ идти было далеко, да и туда ни одинъ идти не рѣшался, боясь заблудиться; Пелагеѣ Прохоровнѣ покупать не поручали, хотя она и вызывалась, на томъ основаніи, что ей не донести пяти ковригъ хлѣба. Пелагея Прохоровна прожила на баркѣ пять сутокъ, и ей казалось, что она живетъ въ такомъ обществѣ, которое нисколько не похоже на остальные, потому что живетъ она на рѣкѣ, и спитъ въ баркѣ подъ открытымъ небомъ. Ходить она въ мокрыхъ ботинкахъ и чулкахъ, и еле-еле высыхаетъ ея одѣжонка около костра, который разжигался изъ лишнихъ досокъ на баркѣ, или изъ провъ, которыя рабочіе воровали на берегу. Она видѣла и на себѣ ощущала, какъ тяжела жизнь рабочимъ на рѣкѣ, но находила тутъ все-таки больше свободы, чѣмъ въ ея положеніи у майора и у кухмистерши. Ей нравились эти люди, дружно работающіе и рѣдко ссорившіеся между собою и дѣлящіе хлѣбъ и заработокъ поровну; но и это не удовлетворяло ее. „Неужели нельзя имъ робить что-нибудь другое — они мужчины“, думала она, но тутъ же узнала, что эти рабочіе только и умѣютъ, что дома строить по-сельски; ломать камни и обжигать кирпичи, а этой работы въ Питерѣ мало, да и рабочихъ рукъ на эту работу много.

Ей было неприятно, что Панфилъ по утрамъ и по вечерамъ уходитъ съ рабочими въ питейныя заведенія. Хотя она и думала, что они пьютъ съ холу, но то скверно, что братъ можетъ втянуться въ водку, станеть пьянствовать и никогда не будетъ имѣть денегъ; а это дѣло скверное. Стала она ему совѣтовать пить вмѣсто водки чай, — онъ разсердился, рабочіе улыбнулись.

— Вотъ и видно, што ты не нашего сорта, — сказалъ молодой высокій рабочій. — Мы къ этому

чаю непривычны, и если пьемъ, такъ въ гостяхъ у старшины, или у десятскаго на именинахъ. На именинахъ, знамо, все вали; пословица говорится: „въ крестьянскомъ брюхѣ и долото сгнѣтъ“. А здѣсь намъ не до чаю; проклажаться-то — еще простудимся.

А Панфилъ на шестыя сутки былъ такъ пьянъ, что его на рукахъ принесли въ барку, и онъ долго ругался. Пелагея Прохоровна плакала и сѣтовала на рабочихъ, которые втягиваютъ мальчишку въ пьянство.

— А што жъ ему не пить-то? съ тобой шло ль обниматься?.. какъ-таки ты ему радости представишь? проговорилъ недовольно одинъ изъ рабочихъ.

Слова эти показались Пелагеѣ Прохоровнѣ справедливыми. Сердце ея стало ныть отъ предчувствія, что изъ брата ничего хорошаго не выйдетъ. Она стала на колѣни, заплакала, стала молить Бога, чтобы онъ спасъ ея брата, и потомъ легла съ надеждой, что не все же такая жизнь будетъ.

Очистили барку. Лоцманъ сходилъ къ покрядчику, получилъ деньги и роздалъ рабочимъ. Панфилъ Прохорычъ получилъ пять рублей. Всѣ собрались на баркѣ.

— Ну, какъ теперь, робя? — началъ одинъ рабочій.

— Ужъ теперь плавать не придется: гляди, скоро ледъ пойдетъ.

— А денегъ-то маловато. Теперь надо обувь купить; не такъ же изъ Питера приди-то. Хозяикъ тоже надо — платокъ просила. А денегъ-то, гляди, восемь палковыхъ. На дорогу еще надо.

Рабочіе задумались. Половина изъ нихъ рѣшила остаться въ Питерѣ и отослать заработокъ по домамъ, другіе тоже хотѣли остаться, но ихъ тянуло домой. Всѣмъ работавшимъ лѣто вмѣстѣ тяжело было разставаться и хотѣлось немного повеселиться. Поговорили было о томъ, не сходить ли на Сѣнную, чтобы потолкаться тамъ, или, какъ говорятъ рабочіе, посмотреть Питеръ, потомъ найти квартиру. По такъ какъ идти на рынокъ было не близко и уже поздно, то всѣ пошли дѣлать спрыски; стали звать и Пелагею Прохоровну. Та отговаривалась тѣмъ, что ей идти неловно, но она хотѣла выпить чего-нибудь тепленькаго, чтобы отогрѣться; денегъ у нея было около полутора рубля, и она пошла. Панфилъ отдалъ ей на сбереженіе и свои деньги.

Рабочіе вошли въ одну изъ харчевень, примыкавшую къ трактиру. Какъ харчевня, такъ и трактиръ съ номерами помѣщались въ одноэтажномъ деревянномъ домѣ отдѣльно другъ отъ друга: нѣ содержалъ мѣшанинъ Сидоръ Данилычъ. Фамилію его изъ рабочихъ посѣтителей никто не зналъ. Это былъ толстый, средняго роста пожилой мужчина, съ круглою, рѣдкочерною бородкою и черными, короткими, всегда примазанными саломъ волосами. Лицо его было полное, выражало постоянно спокойствіе и невозмутимость, какъ будто увѣряло, что Сидоръ Данилычъ съ малыхъ лѣтъ находится при трактирахъ, видалъ всякихъ людей и переслушавъ всякой всячины. Онъ знаетъ все, что относится до жизни рабочаго, афериста и торгаша, его

учить нечего; знаетъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ можно выбиться изъ такого-то положенія, на что стоитъ обращать вниманіе, на что не стоитъ, и т. д. Сидоръ Данилычъ давно уже занимается трактиръ съ харчевней, которые ему приносятъ большіе барыши, и эти барыши онъ извлекаетъ отъ рабочихъ, которые при расчетѣ предпочитаютъ его заведеніе другимъ можетъ быть потому, что онъ вѣрить въ долгъ и со всѣми одинаковъ. Онъ говоритъ октавой, не возвышая и не понижая тона ни въ какихъ случаяхъ, такъ что вызвать съ его стороны крикъ довольно трудно. Онъ въ своемъ заведеніи сидитъ гдѣ попало, потому что у него есть сынъ двадцати двухъ лѣтъ, высокій, худощавый брюнетъ, пошедшій относительно наживы денегъ въ отца и съ которымъ не могутъ ужиться подручные, такъ какъ онъ до тонкости свѣряетъ всякіе счета и украсть изъ подъ его рукъ довольно трудно. Только деньги мало идутъ ему въ прокъ, такъ какъ онъ хотя уже и женатъ, но любитъ всякую компанію въ другихъ гостиницахъ, которые посѣщаютъ господа. Зная эту слабость Ивана Сидорыча, Сидоръ Данилычъ сидитъ попеременно—или днемъ въ трактиръ, а вечеромъ въ харчевнѣ, или днемъ въ харчевнѣ, а вечеромъ въ трактирѣ; онъ ни одного дня не пропуститъ, чтобы не посидѣть въ которомъ-нибудь заведеніи. Харчевня состояла изъ трехъ комнатъ, изъ коихъ въ первой, тотчасъ по приходѣ съ улицы, и самой большой стояла выручка, полки съ налитой водкою, желѣзная печь съ такой же трубой, протянутой вдоль потолка къ окну. За выручкой сидѣлъ теперь самъ Сидоръ Данилычъ и что-то считалъ на счетахъ. На немъ надѣтъ былъ черный дубленый полшубокъ, во рту онъ держалъ гусиное перо. Въ этой комнатѣ, освещенной старыми свѣрыми обоями, со множествомъ лубочныхъ раскрашенныхъ картинъ, подъ которыми были напечатаны или русскія и малороссійскія пѣсни, или безграмотные стихи, стояло пять столовъ небольшой величины и нѣсколько деревянныхъ стульевъ. Посѣтителей тутъ теперь не было.

— Сидору Данилычу!—сказалъ молодой, высокій рабочій, снимая шапку.

Сидоръ Данилычъ поглядѣлъ на сказавшаго, оглядѣлъ вошедшихъ и сталъ считать на счетахъ.

— Ахъ спѣсивъ сталъ? не узналъ Егора Шилова.

— Проходите, молодцы, проходите.

Мальчикъ повелъ пришедшихъ въ другую комнату съ двумя окнами, въ которой также стояла желѣзная печь съ трубой, проходящей въ третью комнату съ однимъ не очень свѣтлымъ окномъ. Комната эта была оклеена старенькими палевыми обоями и въ ней стояло четыре стола. За однимъ изъ нихъ сидѣло четверо мастеровыхъ—двое въ тиковыхъ, засаженныхъ халатахъ, двое въ пальто, съ передниками, зачерненными до-нельзя; у всѣхъ были лица черныя, руки тоже черныя.

Рабочіе усѣлись за два стола. Лоцманъ потребовалъ полштофъ. Пелагея Прохорова стала было отговаривать брата отъ участія въ водкопитіи и уговаривала пить чай, но товарищи Панфила ска-

зали, что здѣсь въ харчевнѣ чаю нѣтъ, потому что здѣсь черная половина.

— Это ты откуда, братецъ, взялъ, что здѣсь черная половина?—спросилъ одинъ мастеровой, вставая и набивая свою трубку табакомъ.

— Коли не черная! чаю не подаютъ,—въ трактиръ посылаютъ.

— А знаешь ли ты, что такое черная половина?

— Ты не приставай,—обидѣлся молодой, высокій рабочій.

Появилась водка, стаканы; лоцманъ наполнилъ стаканы, налил и Пелагѣ Прохоровнѣ. Та стала отказываться.

— Ну, полно! здѣсь мы съ тебя деньги не возьмемъ: мы по-дружески. Пей.

— И эта барышня тоже съ вами на судахъ работала?—спросилъ опять мастеровой съ трубкой.

— Нешто нельзя бабѣ на судахъ робить?

— Самое послѣднее дѣло я тебѣ скажу, если баба чѣмъ инымъ прокормиться не въ состояніи.

— Это вѣрно,—подтвердили товарищи мастерового.

Наши рабочіе не возражали. Мастеровые отстали: они разговаривали между собой о своихъ фабричныхъ мастерахъ, десятскихъ, о заработкѣ; рабочіе съ своей стороны рассказывали впечатлѣнія по сплаву каменя, и между разговоромъ скоро росли полштофъ, закусывая рѣдкой и ржаными сухариками.

— Похлебать бы чего, ребята?—предложилъ лоцманъ.

Оказалось, что въ харчевнѣ есть щи. Принесли на столъ двѣ небольшія деревянныя чашки, двѣ деревянныя тарелки, на которыхъ на каждой было мяса фунтовъ по пяти и ложки; хлѣба для шей отъ харчевни не полагалось. Одинъ изъ рабочихъ сходилъ за хлѣбомъ и принесть съ собой фунта три ситнаго и полфунта тешки, что вызвало смѣхъ его товарищей. Однако щи оказались—одна вода, безъ крупъ и капусты, и холодная до того, что въ нихъ плавало сало; чистаго мяса было не больше двухъ фунтовъ, да и то жесткое, остальное—все кости.

— Ну, ужъ и бѣда! угостилъ Егорка Шилова!—говорилъ лоцманъ.

— И на этомъ говори спасибо. Ахъ лучше вѣдалъ?

— Подемте въ трактиръ.

— Ну, вѣтъ... Все равно нѣтъ надо, потому послѣ насъ нѣтъ не станутъ... Эй, мальченко, вали полштофъ!—говорилъ Шиловъ.

Рабочіе стали одобрять Шилова и бранить харчевню.

— Што вы говорите, а супротивъ здѣшней харчевни едва ли гдѣ другая устоитъ. Ужъ я гдѣ-гдѣ не былъ. И по московской машинѣ ѣзжалъ изъ Тосны, и изъ Царскаго, и изъ Краснаго по петергофской, вездѣ въ тѣхъ краяхъ харчевни хуже здѣшней. Пра. Здѣсь ящѣ благодать.

— А ты што же въ Царскомъ-то дѣлалъ?—спросилъ мастеровой Шилова.

— Тамъ за Ижорой камень ломалъ.

— Выгодно?

— Я зной робилъ; ну, такъ за сажень платил по палковому на своихъ харчахъ.

— Мало. Чать, сажени-то въ день не наломалъ?

— Каковъ камень... Иной камень такой твердой, што порохоми надо брать, на такое ужъ мѣсто попадешь. Ну, тогда конечно берешь и посутошно—палковый и съ укладкой вмѣстѣ. А ежели теперь камень ломкой—знай только подковыривай ломомъ. Тогда и полторы сажени наломалъ. Вотъ кабы лошадь своя была, возить бы сталъ къ рѣчкѣ на пристань—тоже по палковому за сутки платятъ.

Двое рабочихъ закурили трубки, отъ нихъ попросили закурить и мастеровые.

— Ну, а теперь какъ же вы? — спросилъ мастеровой, раскуривая трубку у судорабочаго.

— Да комъ по домамъ, комъ здѣсь остаются.

— Ну, теперь по вашему-то занятію врядъ ли будетъ работа. Ваша работа, што наша: мы вашу не умѣемъ, вы нашу.

— И што это за работа! Вотъ наша работа, такъ работа, — сказалъ съ гордостью другой мастеровой.

— Кто спорить—вы кузнецы, по облику видно.

— То-то и есть.

— Што вы хвалитесь-то! — вкричалъ Панфилъ Прохорычъ. — Вы думаете, што только вы и есть люди, а мы и не люди!

Мастеровые захохотали.

— Чего смѣетесь? Вы думаете, и мы не умѣемъ полосы лить, али въ горнахъ огонь раздувать, али по ремню наждакомъ сталь шлифовать? — проговорилъ съ азартомъ Панфилъ Прохорычъ и покраснѣлъ.

— Э-э! Ты, братъ, вѣрно слыхалъ что-нибудь отъ людей.

— Не слыхалъ, а самъ робилъ въ заводѣ.

— Што про это говорить! А знаешь ли ты, што такое буравъ?

Панфилъ Прохорычъ рассказалъ.

— Што жъ тебя нѣмецъ мастеръ прогналъ, што ли?

Панфилъ Прохорычъ рассказалъ про свое житіе въ заводѣ. Онъ долго толковалъ имъ устройство горныхъ заводовъ и спорилъ насчетъ плавки металловъ. Оказалось, что питерскіе мастеровые имѣютъ смутное понятіе о происхожденіи чугуна и желѣза, потому что этотъ матеріалъ они получаютъ въ готовомъ видѣ и перерабатываютъ на разныя вещи. Герюновъ хвастался тѣмъ, что они, петербургскіе мастеровые, можетъ быть перерабатываютъ то желѣзо или ту мѣдь, которую онъ съ своими земляками сперва добывалъ изъ земли въ видѣ руды, а потомъ плавилъ, и начиналъ рассказывать, какимъ образомъ добывается руда и т. д. Но петербургскіе мастеровые и тутъ задѣли его за живое, сказавъ, что у нихъ на фабрикѣ употребляется въ работу только англійское желѣзо, а сибирское желѣзо ни почемъ, и имъ только обиваютъ крыши.

Скоро послѣ разговора трое мастеровыхъ ушли, а

четвертый остался. Онъ сказалъ, что на квартиру не пойдетъ, вздремнетъ здѣсь, а вечеромъ — что Богъ дастъ.

Вошелъ хозяинъ, оглядѣлъ нашихъ рабочихъ.

— Ну што? Кончили? — спросилъ онъ, обращаясь къ Егору Шилову.

— Будетъ. А все-таки, Сидоръ Данилычъ, плоховато, больно плоховато становится годъ отъ году.

— Это ужъ такъ. Теперь вотъ желѣзная дорога много портитъ вашему дѣлу, ну опять и народу новѣ много. Нынѣ я посмотрѣлъ на желѣзной дорогѣ, такъ народу, братецъ ты мой, изъ Питера страсть што ѣдетъ. Это полноу вокзалъ; билетовъ даже не достало. Такъ половина и не уѣзала. И это еще ничего, а то человѣкъ двадцать и билеты взяли, да въ вагоны не попали — некуда.

— Въ другой разъ уѣдутъ.

— Ну, нѣтъ. Я было имъ посовѣтовалъ просить обратно деньги — не даютъ. Я взялъ два билета и пошелъ къ начальнику станціи, сталъ просить деньги — не даютъ. Зачѣмъ, говорить, опоздали? Мы, говорить, и билетовъ выдаемъ столько, сколько въ вагонахъ можетъ приблизительно помѣститься народу, поэтому мы, говорить, и кассу равнѣ запрашиваемъ. Такъ-то. А прежде не то было. Худое должно быть житіе въ Расѣѣ.

— И не говори.

— А! Потемкинъ! Што, другъ сердешный? — проговорилъ Сидоръ Данилычъ весело, подойдя къ оставшемуся мастеровому.

Мастеровой снялъ фуражку и принялъ прежнее положеніе.

— Али старука опять?

— Чего и говорить!

Сидоръ Данилычъ старался добиться отъ Потемкина слова, но тотъ унорно молчалъ, глядя въ полъ. Сидоръ Данилычъ пошелъ.

— Сидоръ Данилычъ... голубчикъ...

— Что вѣрно недопито?

— Все пропиито... Дай косушечку, голубчикъ.

— Ну, нѣтъ.

— Сидоръ Данилычъ... Эхъ! — Потемкинъ всталъ. Али ты меня не знаешь?... Семь лѣтъ я къ тебѣ хожу.

— Знаю, Потемкина, знаю... Только, братъ, ты забавлялся много.

— Вчера же я тебѣ отдалъ трешникъ.

— А общалъ сколько?... Нѣтъ, братъ, шалишь! Ты у меня обманомъ-то на одной недѣлѣ на три палковыхъ забралъ.

— Сидоръ Данилычъ!

— Будь спокоенъ, не дамъ. Иди, куда хошь... Ахъ, Потемкинъ! человѣкъ-то ты хорошій, по шестидесяти рублей зарабатываешь...

— При людяхъ-то хоть бы не страшилъ... Ей-Богу, ходить къ тебѣ перестану.

Сидоръ Данилычъ ушелъ, а Потемкинъ сѣлъ къ печкѣ и задумался. У нашихъ рабочихъ былъ только что поданъ полуштофъ. Видя болѣзненную фигуру петербургскаго мастерового, пренебреженіе къ нему хозяина харчевни и его мольбы объ водкѣ,

и душая, что онъ будетъ радъ выпить даромъ стаканчикъ, Егоръ Шиловъ сказалъ ему:

— Эй ты, какъ тебя?

— Потешкинъ.

— Иди сюда.

— Мнѣ и здѣсь хорошо.

— Мы угостимъ тебя.

— Убирайтесь вы къ чорту.

— Нѣтъ, другъ, выпей... Мы отъ души.

— Што у васъ много денегъ, что ли? Удивить меня хотите?

— Ну, полно, выпей.

— Не стану... Я еще не нищій и не хочу, чтобы меня укоряли тѣмъ, что я водку Христа-ради пью.

— Ты вѣрно только самъ угощать любишь, ишь какой баринъ! — сказалъ Панфи́ль Прохорычъ.

— Я съ тѣми пью, кого знаю.

— А мы, по твоему, што такое? — присталъ Егоръ Шиловъ.

— Глузъ, братецъ, ты — и больше ничего. Неужели я не знаю по обличью, что вы судорабочіе.

— Отчего же ты не пьешь?

— Не хочу. Компанія ваша мнѣ не по-сердцу; о чемъ я, столяръ, стану толковать съ судорабочимъ? Нешто мнѣ интересно, што у васъ тамъ творится! также и вамъ со мной скушно будетъ, если я насчетъ своего ремесла стану говорить. Да я вотъ еще о своемъ занятіи и говорить сегодня не намѣренъ, и сижу потому, что мнѣ здѣсь очинно хорошо. И если бы хозяинъ далъ косушку, еще было бы лучше, потому я скоро бы заснулъ... Я сегодня молчать хочу и буду молчать.

И Потешкинъ нахлобучилъ на лобъ фуражку, обнявъ руками трубку и уперся на печь.

Наши рабочіе очень захлѣбѣли къ вечеру и потому ужъ не могли идти гулять. Пелагея Прохорова хотя и не пила водки, но у нея разболѣлась голова отъ табачнаго дыма и начинало болѣть горло. Она звала брата искать постоялый дворъ, но онъ не хотѣлъ отстать отъ компаніи. Поэтому она ушла на барку, выдавъ брату по его настоячивой просьбѣ два рубля. Въ баркѣ она устроила себѣ гнѣздо подъ досками, но не могла долго уснуть. Ночью явился Панфи́ль съ Егоромъ Шиловымъ и еще другимъ судорабочимъ, Фроломъ Яковлевымъ.

Утромъ у Пелагеи Прохоровны заболѣло горло.

— Што это, какъ у меня горло заболѣло? Прежде болѣло, да не такъ.

— Пройдетъ. Вотъ сегодня найдемъ квартиру, завтра въ банѣ выпаримся и пройдетъ, — говорилъ Егоръ Шиловъ.

— И у меня тоже горло болить, — сказалъ Панфи́ль, какъ бы желая показать товарищамъ, что на болѣзнь нечего обращать вниманія.

возить зимой снѣгъ и разныя нечистоты. Онъ слышалъ, что этимъ занятіемъ крестьяне много въ зиму зашибаютъ денегъ. Егоръ Шиловъ былъ знакомъ съ Петербургской и Выборгской стороною; было у него нѣсколько пріятелей изъ мастеровыхъ, и поэтому онъ зналъ, гдѣ больше живутъ рабочіе разныхъ фабрикъ и заводовъ, а понавши на квартиру къ рабочимъ, онъ скорѣе рассчитывалъ поступить на мѣсто.

Было воскресное утро, и поэтому народу на набережной было мало, кабаки заперты и около нигъ нѣтъ ни одного человѣка, только въ воротахъ дрвяныхъ дворовъ и въ мѣстахъ, примыкавшихъ къ фабрикамъ и заводамъ, толпились рабочіи люди. Нѣсколько заводовъ, несмотря на праздникъ, были въ дѣйствиіи, но тамъ тоже рабочаго люда безъ дѣла не видѣлось.

— Пелагея Прохоровна! — услышала Мокроусова голосъ Петрова.

Пелагея Прохорова остановилась. Изъ одной кучки человѣкъ въ двадцать, стоявшихъ наискосокъ отъ воротъ дрвянаго двора, отошелъ на встрѣчу Пелагея Прохоровна Игнатій Прокопичъ. На немъ надѣто было пальто на ватѣ, крытое чернымъ драпомъ. на ногахъ триковые ботинки и на шеѣ ситцевый розовый платокъ; на головѣ была новенькая фуражка, на ногахъ простые сапоги. Онъ курилъ папироску. Во всемъ этомъ нарядѣ Пелагея Прохорова не скоро узнала Петрова.

— Ну, какъ дѣла? — спросилъ онъ.

— Да вотъ брата я разыскала — камень плывилъ.

— Поздравляю. А вы, молодой человѣкъ, какъ теперь думаете?

Панфи́лу Прохорычу показалось, что этотъ франтъ издѣвается надъ нимъ, называя его молодымъ человѣкомъ; Петровъ ему сразу не понравился и онъ не отвѣтилъ на вопросъ.

— Ну-съ, а я все знаю-съ... Я вчера былъ въ домѣ Филимонова, — продолжалъ Петровъ: — дворникъ-то цѣлыя сутки просидѣлъ въ чести, требовали и майора — нейдетъ; въ нему опять повѣстку, а наконецъ и сама полиція пріѣхала, стали съ него взыскивать деньги за непрописку васъ. Теперь онъ въ водникѣ и Вѣра Александровна очень ухаживаетъ за нимъ.

— Што жъ, и кухарка есть?

— Какъ же. Старушонка какая-то. Ну, гдѣ же вы поселились?

— Мы идемъ квартиру искать.

— Постойте... Молодой человѣкъ, вы къ чему приспособлены, то-есть къ какому ремеслу?

— Это мое дѣло! — отвѣчалъ нехотя Панфи́ль.

— Какой ты, Панфи́ль, неучъ; вотъ и видно, все съ судорабочими бы тебѣ жить!

— Видите ли, я почему спрашиваю. Квартиры у васъ вы пожалуй не скоро сыщете, потому что здѣсь по нашему вкусу мало квартиръ, и поэтому рабочіе каждой фабрики или завода живутъ отдѣльно отъ рабочихъ другихъ фабрикъ; это ужъ рѣдкость, штобы въ томъ же домѣ жило нѣсколько человѣкъ изъ разныхъ фабрикъ и заводовъ; къ тому же здѣсь

Наконецъ пошли нанимать квартиру съ Егоромъ Шиловымъ, который оставался въ Петербургѣ и хотѣлъ поступить куда-нибудь на фабрику или

и домовъ большіе нѣтъ. Ну, если вы хотите найти квартиру для себя, то вамъ какую же надо квартиру? Рабочее семейство васъ всѣхъ не приметъ, потому что оно васъ не знаетъ; нанимать цѣлую квартиру—двѣ комнаты съ кухней,—еще не отдастъ домохозяинъ, скажете: можетъ, еще мазураки какіе... Право. А вотъ, если вашъ братецъ захочетъ съ нами работать на литейномъ заводѣ, тогда мы легко сыщемъ квартиру.

— А нѣтъ тамъ можно робить?—спросила Пелагея Прохоровна.

— Нѣтъ, у насъ женщины не работаютъ. Вотъ тутъ недалеко обойная фабрика была, назадь тому два года работали и женщины, только теперь женщинъ тамъ замѣнили мальчиками. А то, если хотите, можно на сахарный заводъ поступить.

— А сколько тамъ платятъ?

— Ну, вы ужъ и объ дѣлѣ!.. Вамъ копѣекъ сорокъ дадутъ, не больше. Если вы хотите, то я схожу къ Лизаветѣ Федосѣевнѣ. Она вотъ тутъ за дровянымъ дворомъ съ сестрой и съ мужемъ живетъ; у ней теперь есть комната, потому вчера нѣкій жилецъ позвонилъ съ ними и вечеромъ же перешелъ на другую квартиру. Сестра-то Лизавета Федосѣевна на сахарномъ заводѣ работаетъ, такъ вотъ вамъ и легко будетъ поступить туда.

— А развѣ у васъ трудно на заводы поступить?

— То-то, что у насъ, молодой человекъ, въ народѣ никогда нѣтъ недостачи и нашему брату, мастеровому, тоже хочется, чтобы всѣ работали по-равну, а то за что же другой будетъ получать деньги, не умѣя ничего дѣлать? Поэтому у насъ мастера и не нуждаются въ приходившихъ, говорить, не надо, а если такого человека никто въ заводѣ или фабрикѣ не знаетъ, то его осмѣютъ рабочіе, и ему не попасть туда. А если онъ съ кѣмъ-нибудь работалъ прежде гдѣ-нибудь, или просто знакомъ, тогда его примутъ тотчасъ же, и уже за него въ отвѣтъ тотъ, который рекомендовалъ его.

Петровъ ушелъ во дворъ. Свободные рабочіе пригласили къ Панфилу Прохоричу и Егору Шилову и стали острить надъ нихъ прозвищеніемъ; но Панфилъ скоро заинтересовалъ ихъ воіхъ знаніемъ мастеровыхъ оборотовъ и своими остроуміями, такъ что всѣ мастеровые рѣшили, что этотъ оборвышъ непременно состряпалъ какую-нибудь штуку на какой-нибудь фабрикѣ или заводѣ, почему и слоняется по судамъ. Съ своей стороны Панфилъ Прохоричъ видѣлъ въ этихъ мастеровыхъ людей гораздо болѣе рѣшительныхъ и съ болѣею сметкою, чѣмъ мастеровые его родины.

Съ Егоромъ Шиловымъ почти не разговаривали, и онъ не зналъ, что ему дѣлать.

— Панфилъ, я пойду!—сказалъ онъ.

— Куда ты пойдешь? живи съ нами.

— Что онъ, женихъ твоей-то сестрѣ, што ты его приглашаешь?—спросилъ Панфила одинъ молодой мастеровой.

— Глупъ, братецъ, ты, и больше ничего,—сказалъ разсердившись Егоръ Шильовъ и пошелъ прочь.

Мастеровые захохотали. Егоръ Шильовъ ушелъ, не противившись ни съ Панфиломъ, ни съ его сестрой.

— Нанялъ, за два рубля, комнату. Пойдемте,—сказалъ Петровъ, выходя изъ-за полѣвницы.

Пелагея Прохоровна и братъ ея поселились на квартирѣ у мѣщанки Лизаветы Горшковой.

#### XXXIV.

Домъ, въ которомъ жила Лизавета Федосѣевна Горшкова, былъ полукаменный. Нижній этажъ, сложенный изъ кирпича, когда-то вмѣщалъ въ себя лавки, но теперь на немъ не только не было штукатурки, но не было даже и дверей тамъ, гдѣ когда-то были лавки. Во второмъ деревянномъ этажѣ съ девятью окнами, выходящими къ дровяному двору, рамы были съ разбитыми стеклами, съ замазанными бумагой или просто заткнутыми тряпкой дырками. Къ этому этажу со стороны дровяного двора была сдѣлана крутая лѣстница съ перилами; лѣстница очень стара, съ ступеньками, прикрѣпленными бичевками, такъ что невольно думалось, что тутъ, въ этомъ этажѣ, живутъ не рабочіе, а какіе-нибудь другіе люди, которые или не дорожатъ своею жизнью, или не умѣютъ соорудить новую лѣстницу. На перилахъ этой лѣстницы, навверху, и на прѣтанутой вдоль дома бичевкѣ сушилось разное бѣлье. Направо отъ лѣстницы домъ примыкалъ къ забору, выходящему въ какой-то переулокъ, за которымъ тотчасъ начиналась фабрика. Во дворѣ было очень грязно; о зловоніи и разговаривать нечего.

Петровъ не повелъ Пелагею Прохоровну по лѣстницѣ. Они завернули къ противоположной сторонѣ дома. Тамъ стояла полѣвница барочныхъ дровъ, были три гряды, съ которыхъ уже до половины были выбраны капуста и картофель, и росла одна березка.

— Вотъ и у насъ въ Питерѣ жильцы заводятся своими домомъ. А знаете ли, Пелагея Прохоровна, что эти три гряды принадлежать восьми семействамъ, которые живутъ во второмъ этажѣ? Я думаю, у нихъ много было ссоры изъ-за того, кому въ какомъ мѣстѣ сажать, да и теперь безъ ссоры, чай, не обходится. Вотъ и береза тоже. Ну, отчего бы не срубить ее, еще гряда бы была! „Не мѣшаетъ, говорятъ, пусть ее стоитъ; по крайней мѣрѣ дѣтскія пеленки можно на ней сушить“.

— Ну, а штожъ та лѣстница, куда идетъ?

— Это фальшивый ходъ. Тутъ прежде, по этой лѣстницѣ, когда домъ не былъ еще очень старъ, ходили въ квартиру хозяина дома, потомъ въ ней жилъ приказчикъ дровяного двора, но сдѣлался пожаръ въ его квартирѣ, упали потолки. Вотъ хозяинъ лѣсного двора и велѣлъ заколотить эту квартиру. Однако наши бабы добрались и до нея. Есть у насъ въ домѣ квартира Саливанова, такъ его сестра стала развѣ вколачивать въ стѣну гвозди, оказалось, что гвоздь куда-то прошелъ въ пустое мѣсто, а доска была поставлена и держалась на карнизѣхъ. Вотъ мужъ ея взялъ, подрубилъ эту доску, вынулъ и такимъ образомъ открыли пустую квартиру, въ которой зимой многіе сушатъ бѣлье и въ которую ходятъ черезъ квартиру Саливанова.

Съ этой стороны домъ нѣсколько мѣнялъ свою наружность. Казалось, что онъ какъ вверху, такъ

и внизу имѣть по двѣ половины, именно потому, что въ среднѣй дома внизу было большое закопѣлое отверстіе, а вверху въ окнѣ вовсе не было рамы, и тамъ стояли какіе-то поломанные горшки и бутылки и висѣла юбка; внизу, по лѣвую сторону, въ двухъ окнахъ были рамы и въ форточку одного окна выходила желѣзная труба; направо было три окна съ рамами и разбитыми въ нихъ стеклами.

— Вотъ я тутъ и живу, направо. Насъ тутъ, въ двухъ берлогахъ, помѣщается восемнадцать чело-вѣкъ. Ничего, живемъ дружно и другъ у друга не воруетъ; отъ постороннихъ воровъ насъ тоже Богъ спасаетъ. Да и правда, что украсть-то у насъ, кромѣ инструментовъ, нечего. А налѣво жи-ветъ кузнецъ. Онъ работаетъ на заводѣ, когда у него дома нѣтъ работы, а какъ только достанетъ работу, дома мастерить.

Петровъ провелъ Пелагею Прохоровну и ея брата по узкой, крутой, съ двумя оборотами, лѣстницѣ во второй этажъ. На площадкѣ передъ окномъ безъ рамы были три двери. Петровъ отперъ дверь на-право; тамъ оказалось еще два хода — напротивъ двери, и налѣво отъ входа. Они вошли налѣво въ узенькую прихожую, изъ которой ходъ былъ въ кухню и еще направо. Въ кухнѣ пожилая, высокая, худощавая женщина суетилась около печи; отку-да-то слышался дѣтскій плачь и мужской голосъ.

— Вотъ, Лизавета Ѳеодосѣвна, и жилищка съ братомъ, — сказалъ Петровъ.

Женщина поглядѣла на Пелагею Прохоровну и ея брата, и стала что-то мѣшать въ чугуны.

— Согласны вы ихъ принять?

— Да ужъ коли сказала, такъ надо. Софья! — крикнула она, поворачивая голову къ двери.

Оттуда вышла молодая, низенькая женщина съ ребенкомъ и поклонилась всѣмъ въ одинъ разъ.

— Вотъ надо имъ устроить. А у васъ, поди, ничего нѣтъ?

— Ничего. Я въ кухаркахъ жила, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Какъ же ты сказалъ, што она изъ фабрич-ныхъ? — обратилась хозяйка къ Петрову.

— Она въ провинціи работала, а здѣсь еще не-давно.

И Петровъ, распроставшись съ хозяевами и но-выми жильцами ихъ, вышелъ.

Комната, которую нанялъ Пелагеѣ Прохоровнѣ Петровъ, была маленькая, и свѣтъ въ нее прохо-дилъ черезъ пространство между перегородкой и потолкомъ изъ соседней комнаты, занимаемой хо-зяевами. Въ ней былъ всего только одинъ съ тремя ножками стулъ.

— Вы идите пока въ нашу комнату. Вотъ Да-нило Сазонычъ придетъ, онъ все вамъ устроить, — сказала молодая женщина.

Комната, занимаемая хозяевами, имѣла два окна, выходящія къ дровяному двору. Она была бѣдно, но хорошо меблирована и даже двѣ кровати занавѣшены.

Софья Ѳеодосѣвна стала разспрашивать Пелагею Прохоровну, откуда она, и обѣщала свести завтра на сахарный заводъ, но Лизавета Ѳеодосѣвна ска-

зала, что завтра надо бѣлье стирать, и поэтому Пелагея Прохоровна можетъ быть чѣмъ-нибудь обзаведется. Панфилу Прохорычу надоѣло слушать бабью болтовню, и онъ ушелъ изъ квартиры.

Пелагеѣ Прохоровнѣ очень понравился ребен-окъ, но у этого ребенка было бѣлье на лѣвомъ глазу.

— Это вашъ ребенокъ-то? — спросила она Софью Ѳеодосѣвну.

— Мой. Только отецъ-то его померъ.

— Экая жалость! А сколько вы замужемъ были?

— Мы не были обвѣнчаны. Онъ все обирался, голубчикъ, да деньгами не могъ раздобыться. А я хоть и работала, такъ жила съ матерью. Мать ча-хоточная была, и мнѣ ее не хотѣлось пускать въ больницу.

Начали говорить о работѣ. Софья Ѳеодосѣвна го-ворила, что женщинъ больше обижаютъ, чѣмъ мужчинъ, и меньше даютъ противъ мужчинъ дѣла; поэтому женщинъ мало работаетъ въ сравненіи съ мужчинами, и работаютъ больше частію дѣвушки, привычныя къ фабричной работѣ съ малолѣтства въ провинціи или здѣсь въ Петербургѣ; но эта ра-бота многихъ изъ нихъ убиваетъ преждевременно.

— Мнѣ двадцать девятый годъ; я начала рабо-тать съ восьмого года здѣсь, въ Петербургѣ, — говорила Софья Ѳеодосѣвна.

— Неужели и у васъ въ Петербургѣ такъ-же бе-рутъ съ работу, какъ и у насъ въ горныхъ за-водахъ?

— Не знаю, какъ тамъ у васъ. Но нашихъ раз-сказамъ, ваша жизнь тоже похожа на нашу, только васъ давила крѣпость, а насъ самобудство.

— Ну, и у насъ, Софья Ѳеодосѣвна, тоже при-казчики помыкали нами, какъ господа.

— У насъ это вѣжливіе дѣлается. Да вотъ я про себя расскажу. Мать моя была можетъ быть такая же женщина, какъ и я. Судить объ ней я не могу, потому что была немного постарше этой дѣвчонки. Можетъ быть, она и любила меня, толь-ко къ чему и любовь, когда вѣсть нечего... Въдъ вотъ и у меня не всегда есть заработокъ; бываетъ, что по четыре дня безъ работы живешь. Починку на себя и для ребенка нечего считать за работу. Хорошо еще, что съ сестрой живешь дружно... А моя мать вѣроятно была одна одиноконька. Должно быть ей было не въ моготу съ ребенкомъ, и она продала меня. На седьмомъ году меня заставляли сучить бичевки, ткать. Къ четырнадцатому году я только и умѣла, что бичевки дѣлать и ткать ковры. Я не была крѣпостною; меня считали за воспитан-ницу, и я за то, что меня кормили хлѣбомъ и одѣ-вали, должна была повиноваться. Но вотъ я узна-ла, что срекъ моему вскармленію кончился. У меня были подруги. Всѣ мы были конечно противъ на-шихъ воспитателей; имѣли много вѣры въ себя, думали, что намъ и руки-то оторвутъ, требуя насъ на работу. Оказалось не то. Куда мы ни приходѣмъ, — нужно учиться сызнова; тѣмъ-то мало изъ женщинъ и заработокъ этотъ, какъ мы узнали, дешевле про-тивъ прежняго на половину... Потомъ я работала



на бумажной мануфактурѣ. Насъ было тамъ по крайней мѣрѣ до двухсотъ женщинъ, и замѣтите, замужнихъ было только штукъ тридцать. Я сперва находилась при чесальнѣ и получала въ день по 15 коп. Нѣкоторые женщины получали и 75 коп., но это такія, которые были въ близкихъ отношеніяхъ съ мастерами, конторщиками, начальствомъ, и трудъ ихъ былъ очень легокъ. Имъ стоило только смотрѣть, направлять машины и распоряжаться дѣвочками. Я тамъ ничего не приобрѣла: все, что получала, шло на одежду и на хлѣбъ. Оттуда перешла на обойную фабрику. Тамъ машинъ было мало и нашему брату приходилось растеребывать и сортировать хламъ. Вдругъ фабрика закрылась, и намъ за три недѣли не заплатили за работу. Нужно было платить за квартиру, лавочнику; а тутъ вышли новые порядки—нужно въ полицію платить за адресный билетъ. Меня посадили въ часть.

— А вотъ угадай, гдѣ я былъ?—произнесъ въ это время хриплымъ голосомъ вошедшій мужчина. Софья Федосѣевна замолчала и лицо ея сдѣлалось печальное.

— Ужъ ты всегда сумасбродничаешь. Гдѣ ты былъ, подлецъ?—кричала Лизавета Федосѣевна.

— Извините, Лизанька...

— Ахъ ты, пьяница! Тутъ вѣтъ нечего...

— У насъ за то есть.

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Пелагея Прохоровна хотѣла уйти, но неловко было. Софья Федосѣевна, уперши голову одною рукою и глядя на спящаго ребенка, молчала. На лицѣ ея Пелагея Прохоровна замѣтила какую-то жалость.

— Господи! И когда это кончится!..—проговорила Лизавета Федосѣевна. По ея голосу слышно было, что она плакала.

— Жена!.. Супруга!.. Не реви!.. — говорилъ мужчина; но и онъ, какъ слышно было, плакалъ.

— Это каторга, а не жизнь!

— Ной еще! Ной!... О, будьте вы прокляты!

Ребенокъ проснулся и заревѣлъ.

Вошедшій былъ высокаго роста, одѣтъ въ суконный кафтанъ, съ краснымъ платкомъ на шеѣ и съ фуражкой на головѣ съ очень высокими верхомъ. Ему было на видъ годовъ сорокъ. Волоса на головѣ и бородѣ черныя, глаза и лицо выражали невозмутимость. Отъ него пахло водкой.

— Машинька! Ахъ ты, шельмочка!.. — И онъ началъ занимать ребенка, который съ охотою пошелъ къ нему.

Пелагея Прохоровна ушла въ кухню.

— Ты дома будешь обѣдать? — спросила мужа Лизавета Федосѣевна.

Не получивъ отвѣта отъ мужа, Лизавета Федосѣевна стала торопить сестру.

— Ради Бога, сходи ты за водкой, а то уйдетъ! — говорила она шопотомъ.

— Посмотри, Лиза, за ребенкомъ.

Грустно сдѣлалось Пелагѣй Прохоровнѣ. Пошла она въ свою комнату; но ей еще грустнѣе стало при видѣ ея пустоты. И она вышла изъ квартиры.

— Это ли жизнь? Неужто за Питеромъ люди живутъ лучше?

Съ этими мыслями она вышла на набережную. Она стояла у забора, потому что идти было некуда и погода была невеселая. Дождя хотя и не было, но вездѣ грязь, холодно, дуетъ вѣтеръ и дышется какъ-то тяжело, да и самые предметы не веселятъ: фабрики черныя, постройки ветхія, все какъ-то мрачно — и небо, и строенія, и оголяющіяся деревья; на длинныхъ дрогахъ ѣдутъ очень медленно съ желѣзомъ, досками, кулями и т. п. оборванные и невзрачные мужики съ выраженіемъ усталости и какой-то безнадежности: ѣдутъ эти мужики безъ клади, и лошади ихъ тощія, избитыя, съ протертою въ кровь кожею на заднихъ ногахъ и хребтѣ, еле-еле переступаютъ ногами, такъ что не вѣрится, что эти животныя въ состояніи вонить по убитой камнемъ мостовой по тридцати пудовъ всякой клади. Народъ здѣсь бродитъ все рабочій, такъ что очень рѣдко увидишь человѣка въ порядочномъ кафтанѣ или сюртукѣ, а если и попадется кто-нибудь одѣтый по модному или по приказному, то у него или галстухъ на боку, или сюртукъ продранъ, или другой какой недостатокъ. Хотя въ ихъ разговорахъ и замѣчается удалство, но это ни больше, ни меньше, какъ привычка съ малолѣтства выражаться и вести себя похотимъ на довольнаго человѣка, въ самомъ же дѣлѣ у этихъ людей многого не хватало и для крохотной доли довольства. Женщины одѣты тоже бѣдно и легко; всѣ онѣ худощавы, съ изнуренными лицами; маленькія дѣти хотя и носятъ на ногахъ обувь, но ходятъ въ оборванныхъ рубашкахъ и хорошими здоровьемъ не обладаютъ. Такъ все и наводитъ тоску, ни на что бы не смотрѣлъ, и все-таки среди этихъ людей нужно жить, нужно привыкать къ этой жизни и жить ихъ жизнью. И тутъ подумалось Пелагѣй Прохоровнѣ: неужели же эту жизнь нельзя сдѣлать лучше?

Пелагея Прохоровна пошла въ лавку, но вдругъ ее перегнала молодая женщина въ палевомъ старенькомъ платьѣ съ загрязненнымъ подоломъ и съ небольшимъ ситцевымъ платкомъ на головѣ. Лицо ея выражало отчаяніе и какую-то дикость, точно она съ цѣпи сорвалась. Она шла очень быстро, и какъ только перегнала Пелагѣю Прохоровну шаговъ на пять, остановилась, посмотрѣла на нее и такъ же быстро подошла къ ней.

— Ты... Ты изъ какого дома? — спросила она Пелагѣю Прохоровну торопливо.

— Я... тутъ за постояннымъ дворомъ.

— Ты изъ того же дома! И отлично! Пойдемъ, голубушка!

— Куда?

— Въ кабакъ... Чему удивляешься-то? Э-эхъ, матушка, поживешь съ нами, похлебашь кислаго, захочешь и горькаго. А впрочемъ, какъ знаешь! до свиданья.

И женщина убѣжала въ питьевое заведеніе.

Еще больше запечалилась Пелагея Прохоровна: въ провинціи она хотя знавала женщинъ, пьющихъ водку въ кабакахъ, но такія въ каждомъ городѣ

были на перечеѣ и всѣ ихъ считали за самыхъ отчаянныхъ и развратныхъ; теперь ей показалось, что въ Петербургѣ пожалуй много такихъ женщинъ; она видѣла ихъ въ полиціи; многія кухарки даже хвастались тѣмъ, что отпиваютъ водку жидко. Она ужаснулась при мысли: „неужели и съ ней то же будетъ?“

Однако, несмотря на то, что время шло къ вечеру и рабочій народъ больше прежняго шелъ въ питьевыя заведенія, пѣсенъ не слышалось.

Возвратившись домой, Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, что въ ея убогой комнатѣ появилась кровать. Кровать была деревянная съ двумя ножками, которыя были къ ней привязаны; вмѣсто другихъ двухъ ножекъ былъ подставленъ деревянный ящикъ. Досокъ на кровати не было.

— Довольны ли кроватью? — спросилъ Пелагею Прохоровну вошедшій хозяинъ.

— Покорно благодарю; только спать-то какъ?

— О! это мы устроимъ. Вотъ завтра я съ заводу достану бичевко, оплечу кровать. Отличная штука будетъ.

— А дощечекъ у васъ нѣтъ?

— Опоздали немножко! Въ пустой квартирѣ, что теперь бѣлье вѣшаютъ, почти всѣ стѣны ободрали бабы, кому на гладильную доску, кому на подтопку, потому житьишко-то наше некорыстное... А вы за всяко просто къ намъ приходите сидѣть-то. И онъ ушелъ.

Пелагея Прохоровна присѣла на край кровати — шатается. „Еще упадетъ!“, подумала онѣ съ улыбкой. Въ сосѣдней комнатѣ у хозяевъ плакалъ ребенокъ; за стѣной кричали двѣ женщины; гдѣ-то ругался мужчина.

Пелагею Прохоровну тянуло на улицу, потому что и сидѣть было неловко на худой кровати безъ досокъ, и крики изъ сосѣднихъ помѣщеній стали надобдаться; въ этой комнатѣ становилось темно; у хозяевъ свѣчи не зажигали.

— Что сидишь-то тутъ въ темнотѣ? Иди къ намъ, — сказала Лизавета Ѳеодосѣевна, появившаяся въ дверяхъ комнаты.

Она вошла, заглянула на кровать и, качая головой, проговорила:

— Какъ же ты спать-то тутъ будешь? Эдакой онъ, право, оселъ! Это онъ на смѣхъ кровать-то поставилъ... Да. На смѣхъ добрымъ людямъ, а мнѣ на зло, потому что я не хотѣла больше пускаться мужчине. Они у насъ все добро приломали. Известно, женщина болѣе къ хозяйству норовитъ, а мужчине что!

— Хозяинъ говорилъ, что бичевками опутаетъ.

— Бичевками!.. И ты повѣрила!.. Мало же ты знаешь нашихъ мастеровыхъ... Да онъ пожалуй и обматаетъ, да такъ, что ты на земь упадешь. Вотъ онъ какой человекъ-то!

— Я не просила кровати; на што мнѣ ее!

— Ну, безъ этого нельзя, потому что во первыхъ у насъ во всемъ дому такое множество мышей — страсть! Ловушки на нихъ подѣланы, тоже должно быть для того, чтобы мышамъ надъ нами смѣяться! А кошка у насъ въ квартирѣ хоть и есть,

такъ она, будь проклята, только спать. А другое опять — блохъ тоже... Нѣтъ, безъ кровати нельзя... Я уже посмотрю въ Ермоловскомъ домѣ. Тамъ недавно одинъ мастеровой померши, такъ его жена хотѣла въ деревню ѣхать... Можетъ за полтинникъ-то уступить. Ну, а тамъ поменьше и другое что заведете съ братомъ. Вдругъ нельзя. А гдѣ у те братъ-то?

— Не знаю. Поди, въ кабакъ ушелъ.

— Дѣло плохое... да пойдемъ же къ намъ-то!

Онѣ пошли въ хозяйское помѣщеніе. Софья Ѳеодосѣевна укачивала ребенка. Хозяина не было. На столѣ стояли кофейникъ и двѣ чашки, изъ которыхъ только къ одной было блюдечко. Кошка дѣйствительно спала на окнѣ.

Хозяйка хотѣла зажечь лампочку, но Софья Ѳеодосѣевна сказала, что еще свѣтло, и такъ какъ сегодня праздникъ и завтра надо вставать рано, то можно и раньше лечь спать, на что сестра возразила, что наши черти вмѣстѣ съ блохами не скоро дадутъ заснуть, потому что будутъ пьянствовать до полночи, и ей пожалуй придется идти за мужемъ. Вообще хозяйка жаловалась на мужчине, которые пьянствуютъ, и на худое житье; но Софья Ѳеодосѣевна защищала мужчине, говоря, что они не всѣ пьяницы, и если пьютъ, то непременно отчего-нибудь.

— А отчего жъ мы-то не пьянуемъ? — сказала Лизавета Ѳеодосѣевна.

— Этого еще не доставало... Какая ты, сестра, глупая! До старости дожила, а говоришь Богъ знаетъ что. Вѣдь ты сама знаешь, что у насъ больше привязанности къ дому. Кто бы безъ насъ сталъ ребятъ воспитывать? Кто бы кушанья сталъ готовить?

— Однако возьми Устинью Николаевну: у ней двое дѣтей.

— Эхъ, сестра, сестра! — сказала со вздохомъ Софья Ѳеодосѣевна. — Что же дѣлать, если и изъ нашей братии, рабочихъ женщинъ, наберется нѣсколько пьяницъ... Ее надо жалѣть, стараться, чтобы она не пьянствовала!

— Все-таки, по моему, нехорошо женщинѣ пьянствовать въ кабакахъ, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Што про это говорить!..

Женщины замолчали. Ребенокъ уснулъ, но за стѣной все еще ругались мужчины и визжала какая-то женщина.

Пелагея Прохоровна сказала, что у ней болитъ горло, хозяйка посоветовала ей вынуть сала, а если она этого лекарства принять не въ силахъ, то посоветовала простое средство: намазать на правый чулокъ сала съ мыломъ и привязать чулокъ къ горлу. Пелагея Прохоровна сказала, что это средство она знаетъ, но думаетъ, что пройдетъ и такъ.

— Ну, пренебрегать-то этимъ, матушка, нечего. У насъ зачастую эта болѣзнь бываетъ, и мы только этимъ и спасаемся: днемъ заболитъ, къ ночи привяжемъ, а къ утру и пройдетъ.

Въ квартиру Горшкова вошла та женщина, которая звала Пелагею Прохоровну въ питьевое за-

ведение. Она была слишком навеселѣ, размахивала руками, дѣлала отчаянные жесты. Платка на ея головѣ не было.

— Еще здравствуйте.. А, и вы здѣсь? Прерасно! — проговорила она скороговоркой и сѣла на табуретку.

Хозяева видимо были недовольны ея посѣщеніемъ. — Представьте!.. Ивановъ сталъ ко мнѣ примазываться. Каковъ соколъ!

И она стала рассказывать, какъ къ ней примазывался Ивановъ и какъ она выпила на его счетъ двѣ бутылки баварскаго. При этомъ хозяйка просила ее нѣсколько разъ говорить потише.

— Этотъ Ивановъ и теперь ждетъ меня у Гриши. Ия пойду! Вотъ околѣть, чтобы я не пошла... И ужъ непременно напьюсь..

— Эхъ, какъ хорошо!

— Эй-Вогу, напьюсь!

— Не кричи пожалуйста, Устинья Николаевна! — сказала Софья Федосѣевна.

— Ну, и ты, Софьюшка, на меня!

Женщины опять замолчали.

— И отчего это ты, Николаевна, пьянствуешь? Ну, выпила бы косушку передъ обѣдомъ, легла спать, вечеромъ тоже косушку... Да дома. А то вѣдь ужъ безобразничаетъ много! — проговорила Лизавета Федосѣевна.

— Худая я, скверная женщина... И сама знаю въ этомъ. Да чтожъ я сдѣлаю? Сердце такъ и сохнетъ!

— То-то вотъ и скверно, что ты всѣ деньги пропиваешь, а потомъ твои ребятки голодаютъ. Неужели,

— И сама я знаю да, скверный я человекъ. Поверьте мнѣ надо, вотъ что. Жизнь мнѣ надоѣла уже горькой рѣдкой; ребятки мучаются. Съ самаго рожденія, кажется, я не видала радостей; почти нѣтъ работъ находилась и ничего отъ этой работы не имела хорошаго. Вотъ мой-то покойничекъ все говорилъ, что я-де получаю за работу деньги и никакихъ повинностей не несу. А на то онъ и не хотѣлъ обратить вниманія, што вѣдь я и за паспортъ платила, и за больницу съ меня брали, хотя я и тогда еще тамъ не лежала! Ну, опять надо и за шартиръ заплатить, и ѣсть, и платье сшить; вѣдь я еще молодая, хотѣлось и одѣться получше. Ну, а какъ лишать заработокъ, сами посудите! Ну, вотъ вышла я замужъ, и помянуть это время нечего! Кухъ—пьяница, сталъ меня бить, не работалъ по-прежнему. Мы съ нимъ исходили почти весь Петербургъ: гдѣ-гдѣ не жили! Теперь вотъ я одна, ребята что, нѣтъ хотутъ, нѣтъ надо одѣться, а сами знаете, моего брата съ ребятами не вездѣ-то жалуютъ на картахъ!

— Ты бы отдала дѣтей. Что тебѣ съ ними нулить?

— Жалко. А придется, видно, отдать... Нѣтъ, я при себѣ буду держать, пока еще могу работать. Кухъ сама по себѣ испытала, Лизавета Федосѣевна, каково расти-то въ людяхъ: сама не знала ни отца, ни матери.

Лизавета Федосѣевна зажгла лампочку съ керо-

синомъ. По щекамъ Устиньи Николаевны текли слезы; Софья Федосѣевна сидѣла грустная, подперши руками голову.

— Мать здѣсь? — крикнула дѣвочка годовъ шести, войдя въ кухню Горшковыхъ.

Подойдя быстро къ Устинѣ Николаевнѣ, дѣвочка уперлась въ нее взглядомъ и спросила:

— Ты опять напилась?

— Вотъ у насъ какія ласки-то! — сказала Устинья Николаевна и прибавила дочері: — а ты видѣла, что я пила водку?

— Всѣ говорить. Потемкинъ тебя въ кабацѣ видѣлъ... Ивановъ видѣлъ.

— Ну, такъ чтожъ такое!.. И знаете что, бабы! и жалко мнѣ моихъ ребятъ, больно жалко, а вотъ такъ мнѣ противно дома, такъ... — проговорила Устинья Николаевна и махнула рукой.

— Надо тебѣ, Николаевна, перейти въ другое мѣсто: тамъ другіе люди будутъ и нескоро научатъ ребятъ говорить тебѣ въ глаза укоризны. Право. А тебѣ ихъ трудно заставить не говорить; битьемъ не поможешь, хуже будетъ.

— Да я ихъ и не бью. А покою отъ нихъ нѣтъ. Ужъ какъ берегешься, чтобы они не знали, что я пошла выпить, — нѣтъ таки! пойдетъ, вѣрнется въ меня и давай плакать: „не пей, мать! пьяна будешь! работать не будешь!“

— Правда! — сказала дѣвочка съ укоризной.

— Ну, пойдемъ домой. Спокойной ночи. А ты, какъ тебя, приходи ко мнѣ-то, у меня комната отличная, — проговорила Устинья Николаевна Пелагеѣ Прохоровнѣ и потомъ, взявъ на руку дѣвочку, ушла.

Горшковы минуты три сидѣли задумавшись. На Пелагею Прохоровну Устинья Николаевна произвела тяжелое впечатлѣніе. Она сознавала, что Устинья Николаевна права; но вѣдь, думала она въ то же время, не всѣмъ же женщинамъ выпадаетъ такая жизнь. Вѣдь вотъ Лизавета Федосѣевна не пьянствуетъ же, и живетъ, кажется, достаточно, такъ что и кофей пьетъ. Конечно съ дѣтьми было бы похуже, и умри ея мужъ, то и Лизаветѣ Федосѣевнѣ съ дѣтьми не совѣсть-то бы было хорошо. Нѣтъ, видно плоха жизнь рабочей женщины въ столицѣ!

Пелагея Прохоровна распростилась съ хозяйками и ушла въ свою комнату. Вскорѣ пришелъ братъ. Онъ былъ трезвый и сказалъ сильно осплывшимъ голосомъ, что у него болитъ очень горло, самого его тянетъ и ломитъ ноги. Лизавета Федосѣевна опять-таки посоветовала Пелагеѣ Прохоровнѣ привязать къ горлу ея брата чулокъ съ саломъ, а завтра сходить ему въ баню и хорошенько выпариться вѣникомъ.

Пришелъ Данило Сазонычъ и сталъ буяннить. Онъ долго буяннилъ и разбилъ стекло въ окнѣ. У сосѣдей тоже долго ругались мужчины и цѣлую ночь плакали дѣти.

XXXXV.

Горшковы встали въ пять часовъ; сестры принялись за стирку, а Данило Сазонычъ въ шесть часовъ ушелъ на заводъ, выпросивъ у жены пятакъ на похитѣлье. Жена и сестра ея были очень рады тому,

что онъ ушелъ и не проспалъ дольше; радость ихъ еще увеличилась, когда онъ положительно узнали, что онъ ушелъ прямо изъ кабака на заводъ, и ихъ беспокоило только то, чтобы онъ не хлебнулъ водки черезъ мѣру передъ обѣдомъ: хлебни онъ лишнее, пропадетъ послѣобѣденное время, а стало-быть и весь дневной заработокъ. Это для нихъ много значило, потому что Данило Сазонычъ получалъ платы за рабочій день по рублю двадцати пяти коп. сер. и все-таки въ настоящее время былъ долженъ содержанию харчевни Сидору Данилычу десять рублей уже года два, кабачнику Григорью Емельянычу Чубаркову рублей двадцать, да лавочнику рублей пять. Пелагеѣ Прохоровнѣ не нравилось въ Данилѣ Сазонычѣ то, что онъ и не спросилъ объ ея братѣ, а вчера общался взять его съ собой.

Братъ ея повидимому спалъ. Но съ нимъ была горячка, и онъ всю ночь ворочался съ боку на бокъ, только Пелагея Прохоровна, не зная объ этомъ, спала крѣпко. А такъ какъ ей показалось, что онъ спитъ, то она и не стала будить его и пошла на сахарный заводъ, находящійся на Выборгской сторонѣ. Заводъ этотъ былъ обширный, этажа въ четыре, и когда она пришла, онъ былъ въ полномъ ходу. Пелагея Прохоровна многому дивилась тутъ: ее удивляли и машины, и огромные чаны, и печи. Машины стучали, колеса кружились, откуда-то раздавался свистъ, откуда-то показывался паръ, такъ что ей немножко показалось боязно, не смотря на то, что она выросла въ горномъ заводѣ. Но ее ободрило то, что рабочіе расшаживали отъ одного предмета къ другому смѣло, громко разговаривали, насвистывали, острили надъ мастерами-нѣмцами, расшаживающими около машинъ и чановъ съ коротенькими трубками въ зубахъ. „Вотъ теперь я и сама буду сахаръ дѣлать“, подумала Пелагея Прохоровна. Мимо нея прошелъ молодой рабочій въ красной ситцевой рубашкѣ, въ фуражкѣ и въ драповыхъ черныхъ брюкахъ, безъ обуви на ногахъ.

— А што, можно мнѣ поступить въ работу?— спросила Пелагея Прохоровна этого франта.

— Теперь врядъ ли примутъ.

— А што?

— Надо приходить до рабочей поры.

Къ рабочему подскочилъ приземистый нѣмецъ въ тиковомъ коротенькомъ пальто, въ фуражкѣ, похожей на чайникъ, и съ сигарой во рту.

— Пашоль!.. Што сталъ?.. На табль пишу!— прокричалъ нѣмецъ.

— Вотъ эта женщина въ работу просится,— сказалъ, отходя, молодой рабочій.

— Вонъ!

И нѣмецъ вытолкалъ изъ завода оторопѣвшую Пелагею Прохоровну.

Зашла она еще на двѣ фабрики, и тамъ ее осмѣяли и прогнали мастера-нѣмцы. Спросила она на одномъ литейномъ заводѣ, нѣтъ ли тутъ Игнатъ Петрова— такого не оказалось.

Дома хозяйка съ сестрой стирали бѣлье, а Панфила Прохорычъ по прежнему лежалъ на полу. Онъ былъ очень блѣденъ, едва поворачивалъ головой и съ большимъ трудомъ произносилъ слова. Пелагея

Прохоровна испугалась, Лизавета Федосѣевна была недовольна тѣмъ, что въ ея квартирѣ есть больной. поминула Пелагеѣ Прохоровнѣ о деньгахъ за комнату и совѣтовала поскорѣе отправить больного въ больницу.

Пришелъ обѣдать Данило Сазонычъ. Онъ былъ навеселъ и молчаливъ. Обѣдъ состоялъ изъ капустныхъ шей со свѣтками и десятка жареной салакушки. Лизавета Федосѣевна сказала о больномъ.

— Ну, вотъ!.. Всегда вы хотите на своемъ поставить! Надо его непремѣнно въ больницу отправить завтра утромъ. Есть у него адресный-то билетъ?

Оказалось, что у Панфила былъ только паспортъ, а адреснаго билета не было.

— Ну, вотъ! Безъ адреснаго билета никуда не примутъ... Эдакой, право, народъ глупый!

— Что же мнѣ дѣлать?— спросила съ уныніемъ Пелагея Прохоровна.

— Чтѣ дѣлать?— сказалъ сердито Данило Сазонычъ.— Нечего тутъ дѣлать!—И онъ ушелъ на работу.

Пелагея Прохоровна была въ отчаяніи. Хозяйка съ сестрой ничего не могли посоветовать и имъ не хотѣлось, чтобы больной находился въ ихъ квартирѣ; обѣ онѣ были задумчивы и при Пелагеѣ Прохоровнѣ шептались, а это приводило ее въ ужасъ. Она пошла въ квартиру Петрова, но тамъ никого не было; кузница тоже заперта. Попалась ей на встрѣчу Устинья Николаевна, шедшая съ узломъ мокраго бѣлья. Та на разсказъ ея покачала головой и сказала:

— Дѣло дрянъ; попытайся развѣ сходить въ клинику. Тамъ, можетъ, и примутъ.

Долго ходила Пелагея Прохоровна по двору 2-го сухопутнаго госпиталя; никуда ея не пускаютъ, на вопросы не отвѣчаютъ. Въ глазахъ у нея мутилось, и она не могла выйти изъ двора. Это замѣтили двое студентовъ недалеко отъ препаровочной, и спросили ее, куда она идетъ. Та сказала. Одинъ изъ студентовъ посмотрѣлъ на часы.

— Сегодня уже поздно, привези его завтра утромъ,— сказалъ онъ и указалъ ей выходъ изъ двора.

На завтра Пелагея Прохоровна отвезла на извозчикѣ брата во 2-й сухопутный госпиталь, а когда на слѣдующій день пришла туда, ей сказали, что посѣтителей къ больнымъ не допускаютъ, и она можетъ придти къ больному въ воскресенье. Гдѣ лежитъ братъ и какая у него болѣзнь,—она ничего не узнала. Попыталась она опять спросить студентовъ, но тѣ сказали, что въ госпиталѣ такъ много больныхъ, что объ ея братѣ ровно ничего не могутъ узнать, а только могутъ посоветовать ей сходить къ какому-то доктору, который живетъ въ такомъ-то мѣстѣ при госпиталѣ, и выпросить у него дозволеніе навѣщать больного ежедневно. Но и этого доктора она не могла дожидаться.

Она возвращалась домой уже вечеромъ. Ее очень беспокоила болѣзнь брата; къ тому же Горшковы говорили, что въ клинику отдаютъ самыхъ безнадежныхъ больныхъ, которыхъ тамъ и живыхъ рѣжутъ безъ церемоніи... Жизнь казалась ей такъ

уста и тяжела, что она готова была кинуться въ рѣку. Она была слаба и едва переступала ногами. Вечеромъ она захворала, стала бредить и надѣлала много хлопотъ Горшковымъ, которые утромъ отвезли и ее во 2-й сухопутный госпиталь.

Игнатій Прокофьевичъ усердно работалъ на литейномъ заводѣ, и домой приходилъ только спать. Уставши на работѣ и ослабѣвши отъ огня, онъ даже не заходилъ и въ кабакъ, а ложился спать, чтобы завтра встать раньше. Поэтому онъ и не заходилъ въ квартиру Горшковыхъ, съ которыми былъ давно знакомъ; кромѣ того ему не хотѣлось, чтобы про него думали, что онъ ухаживаетъ за нѣжличкою. Но ему все-таки было интересно знать, какъ поживаетъ Пелагея Прохоровна, довольно ли она иея брать работой, и онъ хотѣлъ сходить къ нимъ въ воскресенье. Игнатій Прокофьевичъ даже завидовалъ тому, что Пелагея Прохоровна живетъ въ отдѣльной комнатѣ, а не такъ, какъ онъ живетъ, съ пятнадцатыми рабочими. Ему такая жизнь съ людьми не совсѣмъ нравилась, и онъ жилъ въ артели изъ экономіи. Рабочіе какъ въ этомъ, такъ и въ другіе домахъ жили или семейно, или въ артели. Семейный рабочій обыкновенно снималъ квартиру—комнату съ кухней, потомъ комнату разгораживалъ и отдавалъ подъ постой или своимъ роднымъ, или хорошему товарищу. Но Петрову казалось, что жизнь семейнаго человѣка тогда только хороша, когда мужъ и жена любятъ другъ друга, и между ними нѣтъ третьяго лица. Только это убыточно, потому что за такую маленькую квартиру надо заплатить не менѣе 8—10 рублей въ мѣсяцъ, да дровъ нужно купить рубля на три зимой. Но и при жизни въ семьяхъ, какъ поселилась Пелагея Прохоровна съ братомъ, все-таки и мужу, и женѣ хорошо до тѣхъ поръ, пока не появятся дѣти, которые и время отнимаютъ у жены, и сосѣдямъ мѣшаютъ. Жить семейно было хорошо еще тѣмъ, что тамъ можно было по средствамъ сварить щи, кашу и т. п., а въ артели готовить кушанья сообще, или артель платитъ за столъ по три рубля съ полтиною въ мѣсяцъ съ рыла, и поэтому никогда не быть довольна ни комнатою, которая плохо отапливается и никогда не провѣтривается, ни пищей, которая рѣдко заключаетъ въ себѣ мясо и большею частію состоитъ изъ прокислой капусты, сыткова и жирной жареной рыбы-салакушки. Вотъ и на этой квартирѣ у нихъ была стряпуха, называемая маткою, но она, несмотря на то, что товарищи платили исправно деньги, постоянно готовила невкусный обѣдъ и ужинъ, и почти каждый рабочій говорилъ, что онъ не наѣдается, а нѣкоторые такъ предпочитали закусить яичкомъ или тешкой въ питейномъ заведеніи.

На основаніи того заключенія, что жить въ комнатѣ все-таки лучше, чѣмъ въ артели, Игнатій Прокофьевичъ, получивши въ субботу расчетъ, рѣшилъ снять себѣ комнатку въ томъ же домѣ. Но комната пустыхъ не оказалось, кромѣ какъ у Устинья Николаевны. Онъ не осуждалъ Устинью Николаевну

за пьянство; онъ зналъ, что она ни трезвая, ни пьяная и даже при безденежьи не предавалась разврату, а ограничивалась только тѣмъ, что подлаживалась къ мужчине, выпивала нужное количество водки и потомъ убѣгала, оставивъ мужчину ни при чемъ; но ему казалось, что она могла бы воздержаться отъ пьянства, — что онъ ей постоянно и совѣтывалъ и за что она его очень не любила. Поэтому Игнатій Прокофьевичъ рѣшилъ поискать квартиру въ другомъ домѣ, и пошелъ прямо въ харчевню къ Сидору Данилычу.

При расчетѣ, то-есть при полученіи денегъ за работу, за мѣсяцъ, одну и двѣ недѣли, смотря по тому, гдѣ и какъ платили, рабочіе и мастера различныхъ фабрикъ и заводовъ шли къ Сидору Данилычу, которому они были должны и у котораго частенько ѣли и пили въ долгъ, до расчета; а такъ какъ получка производилась по субботамъ, то Сидоръ Данилычъ въ этотъ день, до двухъ часовъ пополудни, сидѣлъ самъ въ харчевнѣ, а вечеромъ сидѣлъ въ трактирѣ. Мастерские, при полученіи денегъ, обыкновенно шли въ харчевню, мастера — въ трактиръ. Какъ тѣ, такъ и другіе водили компанію только между своимъ братствомъ. Но надо замѣтить, что Сидора Данилыча посѣщали не всѣ мастера и рабочіе, живущіе и работающіе на заводахъ и фабрикахъ на Петербургской и Выборгской сторонахъ; тутъ было меньшинство; постоянныхъ посѣтителей у Сидора Данилыча было человѣкъ полтора, не больше; другіе рабочіе посѣщали другія харчевни. И теперь, когда въ харчевню пришелъ Игнатій Прокофьевичъ, въ ней было не болѣе двадцати пяти человѣкъ.

Сидоръ Данилычъ былъ одѣтъ по праздничному, въ жилеткѣ, въ черномъ галстукѣ на шеѣ и въ сюртукѣ; волосы у него были гладко причесаны, и онъ былъ очень вѣжливъ и ласковъ.

Рабочіе, празднующіе въ этой и другихъ комнатахъ, были изъ двухъ фабрикъ и трехъ заводовъ, а какъ въ этой комнатѣ нашлось восемь человѣкъ изъ того же завода, на которомъ работалъ и Петровъ, то они и пригласили его къ себѣ.

Пьяныхъ еще не было, потому что многимъ рабочимъ нужно было сегодня уплатить сколько-нибудь долговъ, дать денегъ на хозяйство и потомъ выпариться въ банѣ.

— Совсѣмъ, братецъ ты мой, спутался, — говорилъ одинъ рабочій изъ сидящихъ за однимъ столомъ съ Петровымъ. — Теперь вотъ я получилъ тридцать восемь рублей, а осталось только семь. А почему? Вотъ теперь съ меня сходитъ въ годъ съ семействомъ семьдесятъ пять рублей. За два года я былъ много долженъ, потому такой работы, какъ теперь, не имѣлъ. Ну, вотъ и стали взыскивать — подай да и только; коли, говорятъ, не отдашь, въ полицію посадимъ. Теперь ужъ всѣ за платили долги-то, а тутъ опять за этотъ годъ плати! Просто бѣда!

— Што у тебя, много тамъ земли-то?

— Какое много!.. Думаю вотъ въ мѣщане записаться, такъ хлопотать некогда, и не знаю, куда лучше. И земли опять жалко.

— Што и съ землей, если она не приносит пользы. А вотъ у меня и земли нѣтъ, а все изъ долговъ выбиться не могу съ тѣхъ поръ, какъ отъ Шагинскаго завода отсталъ. Тамъ меньше здѣшняго платили, а жиль-то я ровно спокойнѣе, потому вездѣ въ долгъ вѣрили. А какъ отъ завода-то я отсталъ, — и оказалось, што лавошнику долженъ пять рублей, да въ кабакъ одиннадцать, а тутъ переѣздъ. Ну, они взяли да представили въ полицію; меня посадили, жена иконы и разное имущество заложилъ. Пришлось потомъ выкупать.

— И все это водка, — замѣтилъ рабочій.

— Трудно, братецъ ты мой, отстать отъ нея. Ужъ я сколько давалъ зароконъ не пить. И скажу вамъ, эти зароконъ никогда не нужно класть, потому — не пьешь, крѣпнись долго, а потомъ точно прорветъ: выпьешь осьмушку, да подвернулись приятели — и пошла круговая... А кабачникъ радъ, самъ суетъ.

— Это такъ. И народъ у насъ тоже всякій. Вотъ за Московской заставой работалъ, такъ по три рубля въ сутки получалъ. Ужъ, кажется, чего лучше. А какъ получилъ денежки за мѣсяцъ, и пошелъ! Мѣсяцъ-то работаешь-работаешь, хуже лошади, не довшъ и не допьешь, а тутъ какъ получишь — и прихоти явятся, и деньги дѣвать не знаешь куда. Надо бы съ долгами расплатиться, напередки оставить, а товарищи говорятъ: „полно-ко печалиться; отличись чѣмъ-нибудь, покажи, что ты не нюня какая-нибудь“, да такъ, братцы вы мои, раздосаждать, что и пойдешь качать, да и прокачаешь все!

— То-то, што какъ деньги-то получаешь черезъ полмѣсяца, али позже, и рассчитываешь впередъ, что-де я получу и могу брать въ долгъ, а потомъ и окажется, что или тебя обесчитаютъ, или ты лишка въ долгъ переберешь.

— Оно бы пожалуй лучше, если бы деньги давали за каждыя сутки!

— Это вѣрно. Потому, тогда бы сперва купилъ, что требуется, а потомъ уже и гулять. А то какъ получишь много денегъ, и удержать себя не можешь. Гордости какая-то явится, важность. Отъ другихъ отстать не охота.

Изъ другой комнаты вышелъ Потемкинъ.

— Честной компаніи! — сказалъ Потемкинъ и поздоровался со всѣми.

— Что ты мало сидѣлъ?

— Некогда!

— Къ полковницѣ идешь?

— Надо. Письмо по городской почтѣ получилъ — зоветъ!

— А! значить, стосковалась твоя *симпатія*.

— Надо полагать, што такъ. Прощайте, братцы. И Потемкинъ ушелъ.

Рабочіе стали хохотать надъ нимъ и его симпатіей, т. е. любовницей.

— И удивительное это дѣло, братцы! Неужели это правда?

— Что онъ съ полковницей-то? Тутъ, братъ, не разбери ты ихъ Господи! Вишь, дѣла-то какія. Года четыре тому назадъ я съ Потемкинымъ работалъ вмѣстѣ за Московской заставой. Онъ тогда

получалъ въ мѣсяцъ, какъ и я, около сорока двухъ-пяти рублей. Такого говоруна и знающаго, какъ онъ, у насъ, правду сказать, не было. Это по-французски, по-нѣмецки, по-чухонски — на все мастеръ былъ нашъ Захаръ. Ну, и франтъ онъ былъ тоже хоть куда. Это въ праздникъ одѣнется, шляпу надѣнетъ, пальто, и идетъ съ тросточкой, — хоть куда помѣшникъ. Намъ было и смѣшно, глядя на него, и пріятно, что наша братья мастеровые могутъ щеголять не хуже какого-нибудь дворянчика. Ну, и собой онъ былъ красавецъ, а поэтому и любилъ ухаживать за барышнями, и ему всегда удавалось. Только вотъ разъ онъ, такимъ манеромъ одѣвшись, гулялъ на Екатерингофѣ и познакомился тамъ съ полковницей. Ну, и послѣ хвастается, что въ него влюбилась по уши какая-то барыня и барыня молодая, только не совсѣмъ красивая. „Мнѣ, говорить, отъ ея любви не будетъ тепло, а вотъ, говорить, я у нея попрошу денегъ“. Дня черезъ два онъ опять говорить: „эта барыня, говорить, слѣдитъ за мной; вчера, говорить, къ себѣ звала. Я, говорить, сталъ отказываться, она пристаётъ. Ну, пошелъ. Квартира, говорить, хорошая. Ну, тары да бары и до прочаго дошло“. И денегъ ему дала. Вотъ нашъ Потемкинъ и загулялъ, и въ кабаки въ наши идетъ: днемъ сидитъ въ трактирѣ, а вечеромъ къ ней. На работу и глядѣть не хочетъ и нашего брата кинулъ.

— Неужели она не могла съ господами знаться?

— То-то, вишь ты, ей Потемка первый подвернулся. А парень былъ красивый. И теперь онъ красавецъ, какъ не попьетъ дня три, да въ банѣ смоеетъ сажу. Ну, вотъ полковница и стала уговаривать его жить съ ней, а Потемка этого не хотѣлъ. Какъ ни хорошо у барыни, а все-таки скучно, хочется погулять въ компаніи. Пожилъ онъ съ ней недѣльки двѣ, да и сталъ исчезать. Она видитъ, что какъ волкъ ни ублажай онъ все въ лѣсъ смотритъ, поняла, значить, что ошиблась, и перестала ему давать денегъ. Придетъ онъ къ ней, посидитъ, она угоститъ его, уложитъ спать, опохмѣлитъ, а денегъ не дастъ. Потомъ и говорить: „я, говорить, не люблю, что ты деньги берешь не на добро, а на безобразіе, даже лучше, говорить, будетъ, если ходить перестанешь“. Онъ такъ и сякъ; станеть у нея денегъ просить, — не даетъ. Онъ сталъ укорять ее, что она его совсѣмъ испортила, что онъ отвыкъ отъ работы. Дала она ему рублей пять, онъ прокутилъ ихъ, заложилъ и платьѣ и опять къ ней за деньгами. Не даетъ. Видитъ Потемка, что дѣло дрянъ, товарищи смѣются, дразнятъ его полковницей, въ кабакахъ водки не даютъ въ долгъ. Вотъ онъ и перешелъ сюда на Петербургскую. И что заработаетъ — все пропьетъ. Вывааетъ, что и рубашки на немъ нѣтъ.

Между тѣмъ посѣтителей въ харчевнѣ прибывало больше и больше. Больше и больше выпивалось пива и водки; за столами сидѣло уже порядочное число выпившихъ. Всѣ говорили; немногіе пѣли:

Голова болитъ

Ай люли! (2 раза)

Ай да худо можется,

Да нездоровится,

Нездоровится,  
Гулять хочется,  
Ай люли!

Харчевня ожила. Всѣ, казалось, были веселы; но всѣхъ веселѣе былъ Сидоръ Данилычъ, самъ подносившій, по требованіямъ, стеклянки. Рабочіе, казалось, не знали счету деньгамъ, требовали то того, то другого, но до дѣды не дотрагивались. Водка и пиво уже начинали производить свое дѣйствіе. Нѣкоторые остряли надъ Сидоромъ Данилычемъ.

Большинство рабочихъ уже давно работало въ Петербургѣ, и поэтому отличалось отъ рабочихъ провинціи особеннымъ складомъ рѣчи и живостію соображенія. Они отвѣчали не задумавшись, хотя бы отвѣтъ и выходилъ не подходящій; въ нихъ разговоръ слышалась непрѣнно какая-нибудь острота, хотя и пустая, могущая показаться образованному наблюдателю глупою, но нравящаяся тѣмъ, къ кому она обращается, и вызывающая ихъ хохотъ.

Стало уже темнѣть, а Петровъ все сидѣлъ. Ему весело было сидѣть, потому что такого веселья, какое было здѣсь, въ его квартирѣ не было, да тамъ едва ли даже кто былъ дома.

Вонъ за однимъ столомъ сидятъ шестеро. Въ числѣ ихъ одинъ въ полушубкѣ. Это рослый, здоровый, краснощекій молодой мужчина. Онъ — извозчикъ, возящій съ мостовыхъ соръ и снѣгъ зимой, и познакомился съ рабочими сегодня, потому что засталъ ихъ смѣшными разсказами.

— А это ящо што... А вотъ какъ меня жена выстегала! — говорилъ онъ.

Всѣ хохочутъ.

— Какъ тебя жена могла выстегать?

— Могла да и все тутъ. Да такъ, братцы вы мои, што впередъ въ баню не захошь! больно сладко.

Рабочіе хохочутъ до слезъ и заставляютъ повторять, что онъ чувствовалъ во время секунціи, острятъ и хохочутъ.

— Да за что же это она тебя угостила?

— Именно угостила. Видишь, какое дѣло-то: пьянствовалъ я двѣ недѣли, она возьми да къ старшій, а тотъ задалъ мнѣ порку. Славно задалъ.

Опять хохочутъ.

— Што жъ ты съ женою сдѣлалъ?

— Чего сдѣлаешь? Поглядѣлъ на нее съжскаса и сказалъ: „покорно благодаримъ. Дарья Ивановна!“

— Молодая она?

— Моложе меня... Ну, а потомъ взялъ да и ухѣлъ въ Питеръ съ обоими лошадыми.

— Хороши, стало быть, бабы.

— Дьявольское отродье... Отъ нихъ надо всягды обороняться. Теперь я, если съ возомъ ѣду да завижу бабу, въ сторону поворачиваю.

— Боишься, чтобы не выстегала!

— Замѣтилъ: непрѣнно несчастье будетъ.

Но извозчикъ сталъ заговариваться и отъ него скоро отстали.

Къ столу, за которымъ сидѣлъ Петровъ, подошелъ десятникъ мастеръ, выбранный рабочими и утвержденный главнымъ мастеромъ для наблюденія за порядкомъ и рабочими, и получающій за это по два рубля въ рабочій день. Нѣкоторые встали и

поздоровались съ нимъ; Петровъ сидѣлъ. Онъ не любилъ этого мастера. Десятникъ потребовалъ водки, сталъ угощать рабочихъ и разсказывалъ, какъ онъ поругался въ трактирѣ съ главнымъ мастеромъ Карломъ Карлычемъ.

— Ну, отъ тебя этого не сбудется, потому что ты передъ нимъ юлишь, какъ собака! — сказалъ Петровъ.

— Ахъ ты, калуужской азіятъ! — сказалъ десятникъ.

— Я? Вотъ можетъ ты калужскій-то воръ! Господа! какъ онъ смѣетъ такъ обзывать! Вы знаете, чѣмъ пахнетъ это слово?

Это названіе было по понятіямъ рабочихъ самое обидное. Поэтому товарищи Петрова вступились за него. Петровъ пересѣлъ къ другому столу, начали пересаживаться и прочіе.

— А! вамъ Игнашко Петровъ лучше нравится... Погодите! — говорилъ десятникъ.

Трое остались съ десятникомъ

— Сидѣлай милость. Ишь, разлакомился. У тебя, братъ, шуба-то лисья, да душа-то крысья, а у меня шуба овечья, да душа человѣчья. Кто тебя спасаетъ отъ Карла Карлыча? Кто за горномъ-то спитъ пьяный цѣлый день... Сидѣлай милость, братъ! Мы допекемъ тебя.

— Полакомься! \*) Кто говоритъ Карлу Карлычу, што ты вышлелъ въ контору?

— Что ты умѣешь дѣлать-то? Разъ принялся на шутку колесо дѣлать, цѣльный день возился и испортилъ, а Петровъ-то по шести колесъ въ сутки дѣлаетъ... Ползкомишься, братъ, теперь! — кричали рабочіе со всѣхъ сторонъ.

Десятникъ увидалъ, что дѣло плохо, и ушелъ. Рабочіе стали ругать десятника и тѣхъ, которые сидѣли съ нимъ; за этихъ пристало нѣсколько чело-вѣкъ. Началась ссора, отъ которой Игнашъ Прокофьевъ ушелъ. Онъ зашелъ въ кабакъ къ Григорію Чубаркову, называемому по-просту Гришкой. Въ кабакѣ тоже было не мало народу. Извозчикъ, разсказывавшій въ харчевнѣ о томъ, какъ его выдрали изъ-за жены, былъ уже здѣсь и сидѣлъ у дверей пьяный безъ шапки и полушубка, въ вязаной рубашкѣ и ругалъ своего хозяина за то, что тотъ взялъ у него на храненіе тридцать рублей денегъ и не показываетъ глазъ двои сутки.

— Гдѣ жъ у те полушубокъ-то и шапка?

— На фатерѣ оставилъ. Не дали товарищи, — „пропьешь“, говорятъ. Гриша! А Гриша! Дай косушечку. Повѣрь: тридцать рублей у Кондратя лежатъ.

— Поворожи! — сказалъ Чубарковъ.

— Нешто я не волхъ?.. Да я, братецъ, по чу-хонски умѣю!

— Ишь ты, какой ученый.

— То-то и есть... Да я хошь сейчасъ водки до-стану. Пойду къ кабаку и скажусь, что я дворникъ.

— Ну? — хохотала публика.

\*) Это слово у петербургскихъ рабочихъ означаетъ все равно, что возрадуйся. Оно употребляется какъ выраженіе обиды, оскорбленія.



— Скажу какому-нибудь судорабочему: зачѣмъ тутъ ходишь — нелзя!.. Гриша! Дай... рубашку возьми... Сапоги.

— Ну, братъ, ты поиѣшался. Плохо, видно, тебя жена стегала. Вѣдь ужъ ты и такъ едва сидишь. Иди домой.

— Не пойду. Блазнитъ.

Вошелъ Горшковъ съ узломъ. По лицу его замѣтно было, что онъ пришелъ изъ бани. Выпивши водки, онъ направился домой. Петровъ пошелъ за нимъ.

— А я, братъ. Игнатій Прокофичъ, давно хотѣлъ поблагодарить тебя, да все какъ-то не подходило случая. Ужъ и жильцовъ же ты намъ поставилъ! Нарочно какъ будто привелъ больныхъ. Свезли въ клинику. Вотъ теперь дѣвчонка у Софьи захворала. Это отъ нихъ. Не хорошо, братецъ! — проговорилъ обидчиво Данило Сазонычъ.

Петровъ поблѣднѣлъ. Онъ разспросилъ подробно и высказалъ сожалѣніе о томъ, что ничего не зналъ раньше.

— Я-то ничего, а вотъ Лизка съ Сонькой сердятся... Я только боюсь, не приличивая ли болѣзнь-то у нихъ: кабы бабы не захворали!..

Петровъ предложилъ Горшкову съходить завтра во 2-й сухопутный госпиталь и выразилъ желаніе водвориться къ нему. Они пошли въ квартиру Горшковыхъ. Лизавета Федосѣевна высказала виѣстъ съ сестрой свое неудовольствіе Петрову насчетъ жилищки.

— Вы меня давно знаете. Съ какой стати я стану дѣлать вамъ на зло? А вотъ вы меня къ себѣ пустите, виѣсто нилъ.

— Да я не знаю... Я деньгмъ съ нея уже получила... Неловко, — сказала Лизавета Федосѣевна.

— Я ей возвращу деньгмъ.

Лизавета Федосѣевна подозрительно посмотрѣла на Петрова, и ничего не сказала.

— Ну, да ладно, переходи... Ставь, баба, самоваръ, а завтра мы провѣдаемъ ихъ. Что ты давно съ ней, видно, знакомъ-то?

— Да такъ, мѣсяца съ три.

— Ишь ты, шуба овечья — душа человѣчья!

— Да ты, Данило Сазонычъ, не думай чего-нибудь: я съ ней и разговаривалъ-то, кажется, всего раза четыре.

— Што про это говорить!

И Данило Сазонычъ завелъ разговоръ о Потемкинѣ, который говорилъ ему, что переходить опять за Московскую заставу.

### XXXVI.

Утромъ на другой день Игнатій Прокофичъ переехалъ въ ту комнату, которую наняла Пелагея Прохоровна. Имущества у него было немного: сундукъ, образъ Тихвинской Божіей Матери въ серебряномъ окладѣ и узелъ съ хорошимъ платьемъ. Кровать онъ устроилъ скоро, такъ что къ десяти часамъ онъ и Горшковъ уже были одѣты по праздничному и пошли во второй военно-сухопутный госпиталь.

Сперва они разыскали Пелагею Прохоровну. Въ

палатѣ, которую имъ указали, лежало до пятнадцати женщинъ. Около шести кроватей стояли посѣтители, мужчины и женщины. Когда они подошли къ Пелагее Прохоровнѣ, она спала лежа на спинѣ. Лицо ея было измѣнившееся; а по стеклянкамъ, стоявшимъ на маленькомъ столикѣ около кровати, можно было заключить, что она уже приняла немалое количество лекарствъ. Надъ ея головой, на черной досечкѣ, было написано мѣломъ названіе болѣзни по латыни. Они отошли къ двери.

Большинство женщинъ лежало, меньшинство полусидѣло; лежація говорили съ трудомъ, смотрѣли на одинъ предметъ; полусидяція выговаривали медленно, точно у нихъ въ горлѣ что-нибудь застѣло. Посѣтители, бѣдные люди, одѣтые по праздничному, говорили тихо, старались придать себѣ бодрость, но это какъ-то не выходило: въ ихъ голосѣ слышалось дрожаніе, глаза выражали любовь, ласку и печаль. Нигдѣ такъ человѣкъ не привыкаетъ съ человѣкомъ, какъ въ больницѣ, какъ бы онъ ни былъ золъ на противника. Невольно посѣтителю приходитъ мысль, что жизнь человѣческая не долговѣчна и изъ больницы очень легко отправиться къ праотцамъ. Тѣмъ болѣе рабочій человѣкъ, видящій постоянно, что больные изъ больницы поступаютъ прямо на кладбище, смотреть на больныхъ съ великимъ сожалѣніемъ, много думаетъ о прошедшемъ, привыкаетъ съ жизнію и желаетъ себѣ смерти, думая: а вѣдь тамъ лучше? По крайней мѣрѣ, не знаешь, что будетъ завтра, тамъ ничего не чувствуешь... А то живешь, живешь, всегда чѣмъ-нибудь недоволенъ, на каждомъ шагѣ встрѣчаешь препятствія и наконецъ добьешься того, что умрешь въ больницѣ.

Горшковъ и Петровъ стояли грустные. Имъ невыносимо тяжело было. Но они не говорили, а только взглядывали другъ на друга со вздохами. Къ нимъ подошла сидѣлка, толстая, высокая, пожилая женщина, и сказала, что ихъ знакомой больной операцию въ горлѣ дѣлали недавно и что къ ней не вѣдно никого пускать. Печальные вышли изъ палаты Горшковъ и Петровъ.

— Вотъ она, жизнь-то наша! — сказали Горшковъ.

— Што про это говорить. Ищемъ, гдѣ лучше, а находимъ могилу. Зачѣмъ родиться-то? — проговорилъ съ досадой Петровъ.

— Слава Богу, што у меня дѣтей нѣтъ, — сказалъ Горшковъ.

Пріятели замолчали и молча ушли до конторы, чтобы справиться о Панфилѣ Горюновѣ.

— Умеръ вчера, — сказалъ писарь, справившійся въ книгѣ.

Горшкова и Петрова точно морозомъ обдало.

— Завтра въ анатомическую снесутъ. Рѣзать будутъ, — сказалъ писарь.

Петровъ взглянулъ на Горшкова, который смотрѣлъ въ полъ.

— А нелзя, чтобы не рѣзать? — спросилъ Горшковъ сердитымъ голосомъ.

— Если родные найдутся... Если кто хоронить возьмется, рѣзать не будутъ, потому что болѣзнь не интересная.



Петровъ и Горшковъ вышли изъ конторы за-лучивые

— Какъ быть-то? Надо хоронить, — сказалъ Горшковъ.

— Зачѣмъ давать имъ рѣзать?

— Нешто человѣкъ скотъ какой? Умеръ и рѣжь. Надо его домой взять.

Но трупа на домъ не дали, а сказали, что его будутъ вскрывать, такъ какъ всѣхъ умершихъ въ клиникѣ вскрываютъ. Залечались приятели, но глѣзть нечего. Скоро они нашли на Выборгской же знакомаго гробовщика, которому ничего не стоило сколотить изъ досокъ гробъ и помазать его снаружи охрой, за что онъ, по пріятельски, взялъ рубль серебромъ.

— Теперь, на какомъ кладбищѣ мы его похоронимъ? — спросилъ Горшковъ Петрова.

— Не въ Невскую же его тащить. Конечно, къ Митрофанію. Это наше кладбище.

Сдѣлавши все, что нужно, пріатели пошли домой; но не могли бѣть и молчали. Лизавета Оедосѣвна, пристававшая къ нимъ съ вопросами, наконецъ потеряла терпѣніе.

— Што? померли, што ли, — спросила она.

— Брать померъ, а той операцію въ горлѣ дѣлали.

— Экія времена-то, Господи! сколько народу-то мреть. Диви бы, холера!

— Ну, да толковать-то нечего, приготовай чистую рубаху да штаны, — сказалъ Данило Сазонычъ.

— А много ли ихъ у тебя нашито? — проговорила недовольно Лизавета Оедосѣвна.

— Умремъ, такъ ничего не нужно будетъ.

Обоимъ пріателямъ было тяжело, и они вышли на улицу, но и тамъ невеселыя мысли бродили въ ихъ головахъ; къ тому же шелъ снѣгъ. Оба они хотѣли говорить, но ничего не находили, о чемъ заводить разговоръ. „Что объ этомъ говорить!“ закликала каждый и, сдѣлавъ сердитый взглядъ, отварачивалъ голову въ сторону. Но Петровъ злился больше Горшкова.

— Што стоите, али бабъ караулите? — спросилъ рабочій, вышедшій изъ другого двора.

Пріатели промолчали.

— Што, Оедулъ, губы-то надулъ! Аль дома худо? — спросилъ, улыбаясь, рабочій Данила Сазоныча.

— Такъ, невесело... Тутъ вотъ квартирантовъ пустилъ къ себѣ, да захворали; вонъ тамъ... — И онъ указалъ на Выборгскую.

— Померли?

— Одинъ померъ; другая-то тоже, можетъ, помереть... Полакомься!

Рабочій замолчалъ.

— У меня вчера вотъ мать соборовали. Тоже, должно быть, скоро отойдетъ; а маленькій сыншико ногу сломалъ сегодня. Спасибо, студентъ у меня на Дворянской знакомый живетъ, такъ полечилъ немножко... Вотъ и полакомься! Штожь, какъ вы думаете?

— Ужъ все готово. Надо завтра тащить. Дума-

емъ, гдѣ ближе — черезъ Литейный, али Троицкой къ Митрофанію.

— А на Волково не ближе?

— Не хочу я на Волково!

Всѣ трое вошли въ заведеніе къ Гришѣ Чубаркову и сѣли за столъ. Молодой извозчикъ сдѣлалъ у двери съ растрепанными волосами, съ опухшими лицомъ, босой; вмѣсто вязаной рубахи на немъ была надѣта холщевая и холщевые же штаны, вмѣсто суконныхъ брюкъ.

— Не дашь? — говорилъ онъ хозяину заведенія.

— Нѣтъ... Что, Данило Сазонычъ, скучный та-кой? — обратился хозяинъ къ Горшкову.

Тотъ закурилъ трубку и рассказалъ о причинѣ своей грусти.

— Вотъ теперь надо его тащить, а вѣдь двоимъ-то пожалуй и не дотащить, Игнатій Прокофичъ! — сказалъ вдругъ Горшковъ Петрову.

— Надо попросить товарищей.

Въ кабакѣ нашлось четыре человѣка, пожелавшихъ отнести гробъ на Митрофаніевское кладбище.

На другой день Горшкову и Петрову было много хлопотъ. Нужно было выхлопотать свидѣтельство на дозволеніе хоронить, брать билетъ на мѣсто въ шестомъ разрядѣ, просить, чтобы покойника позволили поставить въ церковь, чтобы онъ пролежалъ тамъ обѣдню, упрашивать могильщиковъ, чтобы они къ концу обѣдни успѣли выкопать яму и т. п. И за все это нужно было платить деньги, такъ что съ отпѣваніемъ у пріателей вышло расхода четыре рубля съ копѣйками. Въ церкви покойниковъ было штукъ пятнадцать и въ церкви только и было разговору, что объ умершихъ. Обѣдня кончилась; но вотъ началось отпѣваніе всѣхъ покойниковъ разомъ. Каждый зажегъ свѣчку, а если у кого не было денегъ, то тому давали свѣчку. Монотонное пѣніе и особенно „Со святыми упокой“ и „Плачу и рыдаю“ взволновало въ церкви все общество; начались рыданія женщинъ, кашли, сморканія; тѣ, которыя не рыдали, плакали и, смотря на какой-нибудь гробъ, слегка покачивали головами; мужчины, стоявшіе ближе къ гробамъ, старались не плакать, но слезы сами собой сочились изъ глазъ, и они слегка утирались своими заскорузлыми кулаками; тѣ же, которые стояли дальше и не могли видѣть гробовъ, не плакали, но, тяжело вздыхая, смотрѣли на свои зажженные свѣчки, какъ бы стараясь этимъ развлечься.

Наконецъ понесли покойниковъ изъ церкви. До могилъ священники не провожали, потому что шестой разрядъ не близко. Въ этомъ разрядѣ было много еще свободныхъ мѣстъ, но ямы вырыты только на аршинъ съ четвертью, потому что на днѣ вода. Гробъ съ Панфиломъ такъ и шлепнулся въ воду.

— Вотъ, братъ, тебѣ и покой. Ищи, братъ, гдѣ лучше! И жизнь-то худая человѣку на землѣ, и умрешь-то, такъ въ воду попадешь... А вѣдь тоже искалъ, гдѣ жизнь лучше? — проговорилъ Данило Сазонычъ, когда стали зарывать гробъ.

— Всѣ мы ищемъ этого.

— Пятнадцать человекками меньше стало. А народилось-то поди еще больше.

Саженьхъ во ста отъ могилы Панфила стояли четыре гроба. Ихъ спускали одинъ за другимъ, два поставили рядомъ, другіе два на эти гроба. Это публикѣ не нравилось, и она стала приставать къ могильщикамъ, чтобы не ставили гроба на гроба.

— Не раздерутся... Не велики господа.

— И то еще ладно, што въ разные гроба положены. А то вонъ привозятъ по два и по три въ одномъ гробу,—говорили могильщики.

Скоро народъ разошелся.

Недалеко отъ кладбищенской ограды стоитъ питейное заведеніе, мимо котораго никакъ нельзя пройти ни изъ кладбища, ни въ кладбище.

— Догадливыи этотъ народъ кабатчики: отличное мѣсто себѣ выбрали. Ну, какъ не выпить?—проговорилъ Горшковъ и повернулъ къ кабаку; за нимъ пошелъ и Петровъ, и другіе.

Въ кабакѣ было уже нѣсколько посѣтителей, такъ что скоро въ него набралось до тридцати пяти человекъ, отъ чего и стало тѣсно.

— Хорошо, братецъ, тебѣ торговать тутъ!—сказалъ одинъ портной.

— Ничего. А тоже это времени много зависить,—отвѣтилъ кабатчикъ скороговоркой, наливая въ стаканъ водку.

— Што про это говорить? Поди, въ день то рублей десятковъ выручишь?

— Все отъ времени. Вотъ теперь осень, народу шреть больше, ну, и посѣтителей больше.

— Ну, все-таки тебѣ хорошо тутъ.

— А вотъ въ самомъ дѣлѣ, господа, гдѣ по вашему лучше?—проговорилъ кто-то въ народѣ.

— Это то есть какъ?

— Объ деревнѣ и говорить нечего; въ столицѣ дрянно. Гдѣ же хорошо то?

Большинство подняло этотъ вопросъ и начало его разбирать; другіе сказали, что объ этомъ разсуждать не стоить, и вышли. Въ кабакѣ стало меньше народу, такъ что оставшіеся разсѣлись на стулья и взяли по косушкѣ водки.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, братцы, гдѣ лучше?

— Кабатчику лучше, вотъ особенно ему. Онъ все едино, што попъ: какъ началась обѣдня, и пошли къ нему залить свое горе людишки. Скоротили эти людишки своихъ родныхъ или знакомыхъ, да поминули ихъ у него, онъ и лавку на замокъ.

— Въ кабакѣ лучше, — сказалъ Горшковъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, братцы, въ кабакѣ лучше!—подхватило нѣсколько человекъ.

— Именно. Я эти дни какъ собака бѣгалъ и со мной не то лихорадка была, не то что... Голова такъ вотъ и хочетъ треснуть. А какъ выпьешь—немного повеселѣешь. Ну, и пріятель, и все такое. А дома хоть бы не показывался. Вотъ тоже въ церкви... Какъ тяжело! И плакать бы, кажется, не отъ чего: извѣстное дѣло, всѣ тамъ будемъ;

нѣтъ, слеза такъ и прошибается... А вотъ какъ выпилъ, ничего. Оно какъ будто тоска какая-то на сердцѣ, а въ головѣ ровно легче.

— Это ты справедливо говоришь. Въ кабакѣ не въ прииѣръ лучше, только забываться не надо.

— По моему, тогда хорошо, когда ничего не чувствуешь.

— Не о времени разговариваютъ, объ мѣстѣ... На работѣ чижало, обижаютъ; дома нехорошо, да и што за домъ, коли своего-то нѣтъ, али хоша есть, да въ деревнѣ. А куда нашему брату мѣти? Въ кіятръ дорога и времени нѣту; гулять мы не привычны съ господами, тошно... Вотъ одново разу я соблазнился, пошелъ музыку слушать въ манежъ. да замѣсто музыки въ часть попалъ.. Такой, братцы, мѣ въ части концертъ задали, што всякую окоту теперь отшибло отъ концертовъ. Провались они совсѣмъ! говорилъ одинъ сапожникъ.

— А по моему, въ могилѣ лучше, — сказалъ кто-то.

— Ну, это ты. можешь, съ горя.

— А въ самомъ дѣлѣ, умрешь—и конецъ.

— Это справедливо. никому самъ не мѣшаешь и тебѣ никто не мѣшаетъ. Вполнѣ спокоенъ. Въ церкви-то вонъ не напрасно поютъ: „мѣ же нѣсть болѣзнь, ни печаль, но жизнь безконечна“. Не даромъ же мы, братцы, терпимъ такую канитель. А што это справедливо, такъ видно и изъ того, што и по законамъ строго запрещено разрывать могилу покойника. Значить, еще и уважаютъ. А въ жизни кто тебя уважаетъ?—проговорилъ Петровъ.

— Именно. Не даромъ, видно, мой братъ повѣсилъ.

— А вонъ вчера я шелъ по Троицкому мосту... Иду, вдругъ какая-то баба бултыхъ въ Неву. Только ее и видѣли... Городовой кричатъ: „лови! Куды?!...“ Значить, есть люди, кои сами себѣ смерти желаютъ. Только грѣхъ вотъ.

Народъ началъ спорить и дѣло чуть не дошло до драки, но пришелъ городской и сталъ ихъ унимать.

— Нѣтъ, братцы, подлинно въ землѣ лучше. Хорошо бы было и въ кабакахъ, еслибы городовые не мѣшали,—сказалъ кто-то.

И народъ разошелся.

### XXXVII.

Послѣ похоронъ, предыдущій разговоръ заставилъ сильно призадуматься Игнатія Прокофьяча. „Въ самомъ дѣлѣ, въ могилѣ лучше“, долго вертѣлось въ его головѣ, и наконецъ его взяло зло, потому что, какъ онъ ни разбиралъ свою жизнь, все приходило къ тому же заключенію. „Богатому человекѣ вездѣ хорошо,—думалъ онъ,—но и богатый не всегда доволенъ; чортъ съ нимъ, и съ богатствомъ. Не надо мѣ его. Вотъ такъ бы жить, чтобы и работа была, и деньги водились, и нужды бы не знать“. Но вотъ этого-то и трудно, почти невозможно добиться. Но неужели невозможно? Почему нѣмцы приходятъ въ Петербургъ съ 50 р. денегъ и черезъ десять лѣтъ дома строятъ? Онъ

самъ, бывши мальчишкою, работалъ у одного нѣмца-кузнеца; нѣмецъ тогда нанималъ маленькую квартиру на Гороховой и жилъ очень бѣдно, а теперь у этого нѣмца есть своя фабрика и свой домъ. Почему большая часть ремесла находится въ рукахъ нѣмцевъ, и отчего, если за что-нибудь возьмется русскій, дѣло у него не клеится, русскій разоряется и держится только по торговой части? Видъ, кажется, для столярнаго и кузнечнаго занятія пужны не Богъ-знаетъ какія знанія и капиталы? Петрову казалось, что нѣмцу или вообще иностранцу дадутъ болѣе ходу и вѣры; нѣмецъ нѣмца скорѣе вытянетъ изъ бѣды, чѣмъ русскаго, а русскій русскаго, прежде чѣмъ вытянуть изъ бѣды, еще подумаетъ, можно ли, да будетъ ли какал отъ этого ему польза. Нѣмецъ не труситъ, ставитъ послѣднюю копѣйку ребромъ, и если устраиваетъ какой магазинъ, то на хорошемъ мѣстѣ, одѣвается по заграничному, говоритъ умѣть по-французски, умѣть поддѣлаться къ господамъ, которые больше льнутъ къ заграничному, думая, что все заграничное лучше своего, тогда какъ самъ нѣмецъ и понятія, можетъ быть, о какой-то вещи не имѣетъ и дѣлаютъ такую-то вещь русскіе рабочіе. Стало быть, тутъ виноватъ самъ же рабочій, свободно отдающій себя въ кабалу, и неумѣнье его взять за дѣло какъ слѣдуетъ, трусость его и простота, и главное—неумѣнье беречь деньги на черный день. Нѣмецъ деньги свои употребляетъ на матеріалъ или товаръ, а русскій—на водку и другія удовольствія, отчего впадаетъ въ долги и кончаетъ тѣмъ, что, пропивая вещи, теряетъ черезъ это работу или, какъ выражаются портные, давальцевъ. Но что же бы сдѣлалъ самъ Игнатій Прокофьевъ чѣ, еслибы онъ захотѣлъ заняться чѣмъ-нибудь? Теперь нѣмцевъ въ Петербургѣ очень много; почти всѣ ремесла въ рукахъ нѣмцевъ и французовъ, такъ что многіе даже нѣмцамъ и французамъ приходится съ трудомъ зарабатывать себѣ пищу и деньги за квартиру. Стало быть, ему очень трудно будетъ найти заказовъ, и онъ только напрасну затратить деньги и насмѣшить людей. Но однако .. Нѣмцы, какъ бы имъ ни было трудно, не ѣдутъ же изъ Петербурга... А если и есть такіе, что ѣдутъ въ провинцію, такъ это или аферисты, или такіе, которые уже спились въ Петербургѣ. Отчего портные и сапожники, работая въ одиночку, безъ мальчишковъ или работничковъ, не бросаютъ своего ремесла? Неужели столярное или кузнечное занятіе самое пустое?.. Все это, думалъ Петровъ, потому больше происходитъ, что наша братья привыкла работать на фабрикахъ или заводахъ, гдѣ народу много работаетъ, гдѣ можно меньше сдѣлать, чѣмъ одному дома, и гдѣ плата известная. Тамъ, дома то сидя, не знаешь еще, будетъ ли нѣтъ у тебя работа, а на фабрикѣ или заводѣ проработалъ день и знаешь, сколько тебѣ слѣдуетъ получить. Ну, и жизнь рабочаго на фабрикѣ или заводѣ такая сложилась, что его тянетъ изъ дому, ему скучно безъ компаніи, а компанія только высасываетъ деньги, и каждый, не желая отстать отъ другихъ, ставитъ послѣднюю копѣйку

ребромъ, не забывая о томъ, будетъ ли онъ въ состояніи завтра идти на работу.

„Попробую я самъ жить, какъ живутъ нѣмцы“, — рѣшилъ Петровъ, и этой мысли уже никакъ не могъ выкинуть изъ головы. Денегъ у него было очень мало, и онъ остановился на томъ, чтобы поработать на заводѣ недѣли двѣ, жить экономно, въ праздники походить по городу, посмотреть какого-нибудь выгоднаго мѣста, чтобы перейти туда, и нанять комнату, въ которой бы можно работать въ свободное время. Онъ рѣшилъ работать дома, что попадется. „Надо будетъ запастись всякими инструментами и для кузнечнаго, и столярнаго дѣла. Въ сундукѣ у меня хотя и есть, только мало. Ну, а бросового желѣза и мѣди можно изъ завода натаскать — на грѣхъ-то тутъ нечего смотрѣть. Нужно непременно съ дворниками и лавочниками познакомиться, да домъ такой выбрать, чтобы въ немъ другихъ мастеровъ не было. И отчего это я раньше не рѣшался?.. Вотъ и Пелагея Прохоровна говорила мнѣ: отчего я самъ собой не работаю, такъ я наговорилъ, какъ и всѣ товарищи. Надо рискнуть“.

Хотя Петровъ о своемъ намѣреніи заняться мастерствомъ никому не сказалъ, но товарищи замѣтили, что онъ что-то замышляетъ. Онъ былъ молчаливъ, много работалъ и отвѣчалъ нехотя.

— Смотри, братъ, надорвешься! А нынѣ намъ прибавку обѣщаютъ, — говорили ему на заводѣ товарищи.

— Какую прибавку?

— Скидку по двадцати копѣекъ. Полакомься!

— Это почему?

— Ну, ужъ такъ въ конторѣ болтаютъ.

— Надо, братцы, узнать достоверно, — сказалъ Петровъ и пошелъ въ контору.

— Говорятъ, намъ убавятъ заработку? — спросилъ онъ конторщика.

— Пошелъ вонъ! — крикнулъ конторщикъ.

— Нѣтъ, однако позвольте... Послѣ мы же будемъ виноваты.

— Не твое дѣло.

Когда онъ воротился на заводъ, то десятникъ, который обозвалъ его калужскимъ азіатомъ, сталъ требовать, чтобы онъ повѣсилъ номеръ на таблицу. На заводѣ у стѣны около двери висѣла таблица; на этой таблицѣ висѣли жестики съ номерами. Взявшій жестянку считался рабочимъ на заводѣ, и его номеръ десятникъ отмѣчалъ въ своей книжкѣ и на таблицѣ мѣломъ; когда рабочій уходилъ изъ завода домой, то свой номеръ вѣшалъ на таблицу; поэтому уходящіе обѣдать домой уносили жестики съ собой для того, чтобы ихъ номеръ не попалъ другому, отчего десятникъ часто путался въ своемъ счетѣ по книжкѣ. — Петровъ рассердился.

— Съ какой стати я тебѣ жестянку дамъ? Полакомься! — и пошелъ къ горну.

— Ну, мнѣ все равно, я тебя ужъ вычеркнулъ.

Петровъ пошелъ разыскивать мастера Карла Карлыча и нашелъ его сидящимъ на машинѣ и курящимъ сигару. Это былъ толстый, низенькій, обросшій бородою нѣмецъ, котораго рабочіе про-

звали чурбашкомъ. Но онъ былъ добрейшее существо.

— Што, каспадинъ Петровъ?

Петровъ разсказалъ, въ чемъ дѣло

— Зачѣмъ обижать? Нельзя обижать начальниковъ. Иди, робь.

— Велите ему записать меня снова. Я ходилъ въ контору. Вѣдь вы видѣли меня здѣсь послѣ шабашу.

— А што тебѣ до конторы?

— Да какъ же: болтають, будто намъ сбавка готовится.

Нѣмецъ засмѣялся и сказалъ:

— А если и такъ?

— Вамъ-то ничего, вы по сту двадцати рублей получаете въ мѣсяцъ, вамъ не сбавляютъ. А мы-то чѣмъ виноваты?

— Время идетъ! Робь. А уходить будешь, — расчетъ получишь.

— Вотъ у нихъ, у подлецовъ, какая справедливость! Поневоля руки опустятся, — сказалъ Петровъ собравшимся около него рабочимъ, по приходу отъ мастера.

— Стоить разговаривать съ ними.

— Нѣтъ, ихъ надо допытать. Они, какъ мы станемъ получать деньги, послѣ дѣйствительно дадутъ 20-ю копейками меньше. Не въ первый разъ. Скажутъ, зачѣмъ работали? А это вѣдь и намъ расчетъ, и имъ расчетъ. Положите на четыреста человекъ по 20-ти коп., сколько составитъ въ сутки капиталъ...

Вечеромъ въ этотъ день во всѣхъ квартирахъ и кабакахъ только и было разговору, что о смѣлости Петрова и сбавкѣ платы. По этому поводу у Григорья Чубаркова собралось много народу, который водки бралъ мало, что не очень нравилось Чубаркову, и онъ самъ навязывалъ имъ взять въ долгъ.

— Когда не нужно, ты предлагаешь, а послѣ тебѣ и давая деньги при получишь, а тутъ толкуютъ, што плату обрѣзываютъ.

— Што же это Петровъ-то нейдетъ? Смутить смутить, а потомъ спрятался.

— А Петровъ мастеръ первый сортъ. Жалко, если его уволятъ.

— Ну, уволить, такъ уволили бы сегодня.

А Петровъ разсуждалъ въ своей квартирѣ съ Горшковымъ.

— Гдѣ не слѣдуетъ, тамъ мы бойки. Вотъ и теперь, поди, въ кабакахъ пьянствуютъ и похваляются чѣмъ-нибудь да свои способности высчитываютъ, — говорилъ Петровъ недовольно.

— Ну, эдакъ, братъ, много не получишь, если будешь мѣнять заводы, — отвѣчалъ Горшковъ. — Вѣдь они, скоты, не дорожатъ нашимъ братомъ.

— И все-таки молчать я никогда не стану. И говорю, что наши рабочіе дураки, потому что сами потакають.

— Ну, хорошо; ну, если не станутъ всѣ работать, закроютъ заводъ, думаешь? Нѣтъ, новыхъ наберутъ.

— А новые-то и будутъ все портить.

— А мы все-таки будемъ безъ хлѣба... Ужъ я

знаю. Разъ тоже мы эдакъ сговорились и стали всѣ требовать расчета. Расчетъ общали черезъ день. Мы не пошли, заводъ заперли. А у половинъ мастеровыхъ денегъ нѣтъ. Кабатчики и лавочники, какъ слышали, что такой-то заводъ не въ ходу, перестали и въ долгъ вѣрять. На другой день тоже расчета не дають, и тоже никто не хочетъ работать: а голодь беретъ свое. Хорошо, кто успѣлъ на другой заводъ или фабрику попасть. Такъ вѣдь насъ пятьсотъ человекъ съ лишнимъ было: куда ни придеши, вездѣ нумеровъ нѣтъ. Послѣ оказалось, что на сосѣднихъ заводахъ изъ фабрикахъ мастера стакнулись между собой: остальные жестянки попрятали. Ну, на третій день выдаютъ расчетъ — половину. Вотъ и полакомься! Жалуйтесь, говорятъ. По вашей, говорятъ, милости заводъ двое сутокъ стоялъ, компаніи убытокъ. А въ заводѣ ужъ и новый народъ понабравши. Ну, наши-то почесали затылки и пошли опять въ работу, потому жъ было нечего.

— Кабы поменьше пьянствовали, были бы деньги, — сказалъ сердито Петровъ.

— И никогда денегъ не будетъ, если мы такъ будемъ получать. Еслибы давали за каждыя сутки, тогда — такъ.

Петровъ на это ничего не сказалъ. По его мнѣнію, такая выдача хороша бы была, еслибы производилась съ самаго основанія заводовъ и еслибы рабочіе не надѣялись на завтрашній день, но такъ какъ въ Петербургѣ за квартиры вездѣ платятъ впередъ и гуртомъ, то Петровъ находилъ болѣе удобнымъ получать плату въ каждую субботу, а не черезъ мѣсяцъ, въ теченіе котораго рабочіе много должаютъ. При такомъ порядкѣ рабочіи могъ бы сообразить: слѣдуетъ ли ему еще работать на такомъ-то заводѣ и, уплативъ изъ платы часть долга, могъ бы употребить понедѣльникъ на присканіе другого мѣста.

На другой день рабочіе завода, на которомъ работали Петровъ и Горшковъ, собрались перелѣ конторой и стали требовать объясненія: почему сбавляютъ плату безъ ихъ согласія.

— Кто вамъ сказалъ, что сбавляютъ? платата же, только требуется сокращеніе рабочихъ.

Рабочіе успокоились и постарались взять поскорѣе жестянки, которыхъ противъ вчерашняго оказалось на табличкѣ меньше. Петрову и еще десятыхъ рабочимъ жестянокъ не досталось.

— Што это значить, братцы? Мы когда работали полнымъ комплектомъ и тогда еще болталось жестянокъ двадцать, а сегодня, кажется, человекъ двадцати недостаетъ и тутъ на явившихся не хватило? — говорили рабочіе.

— Это штуки! — проговорилъ Петровъ и вышелъ.

Остальныхъ рабочихъ, не получившихъ жестянокъ, потребовали въ контору, и тамъ они получили должное внушеніе и жестянки. Петровъ тоже пошелъ въ контору

— Позвольте рассчитать.

— Приходи черезъ двѣ недѣли, — отвѣтили ему спокойно.

— Значитъ, и на работу не принимаютъ, и денег не платятъ?

— Если ты хоть слово еще скажешь и не выйдешь сию минуту, тебя въ полицію отправимъ. Вунтовщикъ!

Такъ какъ Петрову знакомы были полицейскіе порядки, то онъ ушелъ домой. Тамъ соседка Соловьева ругалась съ Горшковыми. Женщины голодали такъ, что разобрать ихъ было довольно трудно. Игнатій Прокофьевичъ пошелъ вонъ изъ квартиры.

— Игнатій Прокофьевичъ, разбери ты насъ... Вотъ она говоритъ, что я ея мужа рубашку дала на покойника, — проговорила хозяйка, останавливая Петрова.

— Сколько рубашка твоего мужа стоитъ? — спросилъ Петровъ, подойдя къ Соловьевой.

— Да я денегъ и не прошу вовсе.

— Она еще попрекаетъ меня тѣмъ, что я будто бы въ связи съ тобой, — сказала Софья Федосеевна.

— Еслибы она совѣсть имѣла, не говорила бы этого.

И Петровъ ушелъ разсерженный. Онъ всталъ на Самсоновскомъ мосту, долго смотрѣлъ на плывущій ледъ. Ему уже не въ первый разъ приходилось бывать безъ работы не по своей винѣ. „Пойду на Обводный каналъ, посмотрю тамъ мѣсто, найму комнату и попытаю жить по новому“.

Зашелъ онъ въ сухопутный госпиталь. Пелагея Прохорова значилась въ живыхъ, но его и сегодня къ ней не допустили, а велѣли придти въ воскресенье или вторникъ.

По Обводному каналу, плывшему изъ Невы по краямъ Петербурга и выпадающему въ проливъ, отдѣляющій Гутуевскій и другіе острова отъ столицы, находится много разныхъ фабрикъ и заводовъ, большихъ и малыхъ. Поэтому набережная этого канала преимущественно населена рабочими людьми, и тамъ болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, кипитъ дѣятельность рабочаго класса. Но попасть въ какую-нибудь фабрику или заводъ не очень легко, даже и хорошему петербургскому мастерскому, не только что какому-нибудь новичку въ фабричномъ или заводскомъ дѣлѣ, потому что всѣ эти фабрики и заводы постоянно имѣютъ своихъ рабочихъ, а нѣкоторые, по большому производству въ нихъ дѣла, имѣютъ даже и постоянныхъ рабочихъ, которые, работая на однихъ заводахъ, постоянно дѣтъ пять живутъ въ однихъ домахъ, мѣняютъ рѣдко кабаки и мало знакомятся съ рабочими другихъ заводовъ и фабрикъ.

У Петрова были знакомые почти на каждой фабрикѣ и заводѣ, и онъ зналъ, на которой изъ нихъ лучше; но со своими знакомыми онъ видался только на народныхъ гуляньяхъ, на Адмиралтейской площади въ Пасху и въ масляницу. Въ течение пяти послѣднихъ лѣтъ онъ слышалъ отъ нихъ, что во всемъ Петербургѣ самый хорошій заработокъ въ трехъ мѣстахъ, прилегающихъ къ Обводному каналу.

Зашелъ Петровъ на одинъ заводъ, и его на первый же поразилъ поразила темнота. Съ виду зда-

нія громадная, чуть не дворцы, а внутри темно, душно — точно тутъ вываривается какое-нибудь масло. Это на него произвело тяжелое впечатлѣніе. Онъ прошелся по промежутку, по обѣимъ сторонамъ котораго работали мастеровые, и чѣмъ шелъ дальше, тѣмъ воздухъ былъ удручающѣе, и рабочіе казались ему похожими на мертвецовъ. Всѣ рабочіе смотрѣли на него съ любопытствомъ, но ни одинъ не спросилъ, кто онъ и зачѣмъ пришелъ. Мастеровъ онъ не увидалъ ни одного. Работа продолжалась какъ на машинѣ, да и люди походили скорѣе на куколъ, двигаемыхъ машинами.

— Братцы, не знаете ли вы Демяннова Егора? — спросилъ Петровъ одну кучу рабочихъ.

Рабочіе стали спрашивать другъ друга. Это переспрашивание перешло по всему отдѣленію.

— По какой онъ работѣ? — спросили Петрова.

— По рельсовой.

— Это не у насъ.

— Што же у васъ-то?

— Колеса, крючья, цѣпи... Мало ли? Здѣсь кузница; дальше будетъ формировочная, потомъ казенная...

— А много ли вы получаете?

— Мы казенные и цѣна у насъ казенная. У насъ по комплекту. Такъ што ежели у кого есть дѣти — дѣти должны сюда поступать.

— А если кто со стороны желаетъ поступить?

— Нужно свидѣтельство на то, гдѣ онъ обученъ. Потому у него возьмутъ согласіе работать на столько-то лѣтъ.

— И вамъ это нравится?

— Ошиблись въ расчетахъ... Хотимъ просить вольготы. А впрочемъ, говорятъ, новое начальство будетъ: общаются другіе порядки.

Пошелъ онъ къ водочному заводу. Тамъ не работали: что-то попортилось. Идя мимо него, Петровъ встрѣчался съ рабочими или стоящими у перилъ набережной, или сидящими передъ воротами.

— Что это заводъ-то вашъ оплошалъ? — спросилъ онъ одну кучку.

— А штобъ ему сломаться!.. толкуютъ, хозяйникъ подъ судъ попался, да и попортилось што-то.

— Да вѣдь если подъ судъ попался, такъ надо бы больше зарабатывать. Не такъ ли, братцы?

— Такъ-то такъ, да управленіе — то дурацкое. Управляющій, говорятъ, сбѣжалъ въ другое мѣсто и отчеты сжегъ.

— Ну, это другое дѣло... А вы все-таки ждете у моря погоды?

— Что дѣлать? Надо. Мы не привыкли къ другому дѣлу, тутъ у насъ семейства на квартирахъ.

— Что про это говорить. А васъ много?

— Да до тысячи слишкомъ наберется.

На заводѣ главнаго общества желѣзныхъ дорогъ впечатлѣніе было лучше.

— У насъ тѣмъ хорошо, што свой судъ. Кто если станетъ жаловаться полиціи, того вонъ. Плату даютъ исправно, въ какое время скажутъ, безъ задержки. Если не придешь, самъ виноватъ, потому у насъ полторы тысячи рабочихъ. У насъ принимаютъ всякихъ, такъ что есть солдаты, ко-

торые умѣютъ только музыкантить, а кузнечнаго ремесла не понимаютъ, и тѣ получаютъ по 50 коп. въ сутки. Ну, это конечно зависитъ отъ насъ. А вотъ насчетъ занятій у насъ обрѣзаваютъ.

— По заграничному?

— А ужъ кто его знаетъ. У насъ разсчитано, сколько къ какому дѣлу нужно мастеровыхъ и сколько поэтому должно выйти въ сутки. У нихъ такимъ порядкомъ разсчитано, сколько обществу стоитъ каждый рабочій день, и идетъ все какъ по маслу—ни прибавки, ни убавки. Только вотъ тѣмъ мастеровымъ-то убыточно, кои работаютъ со штуки. Напримѣръ, мнѣ въ сутки положено 1 руб. 20 коп., больше я получить не могу, это высшая плата, потому что у насъ десятники получаютъ по 1 руб. 40 коп. въ сутки, и поэтому если я починю пять колесъ въ сутки, то владется въ счетъ только два колеса, а за остальные мнѣ ничего не платятъ.

— Зачѣмъ же усердствовать-то?

— А если дѣлать нечего? Да для меня плевое дѣло—исправить колесо или новое сдѣлать; известно, одно колесо въ десяти рукахъ перебивается, а только къ одному попадаетъ на штуку. А если сидишь безъ дѣла, ругаютъ. Уйти нельзя, денегъ не дадутъ за цѣльный день.

Петровъ зашелъ къ одному мастеровому, недалеко отъ варшавской желѣзной дороги. Пріятель его былъ дома и чинилъ замокъ, а мать пріятеля гладила манашку.

— У насъ здѣсь по заграничному: если на работу не пришелъ, представь свидѣтельство отъ доктора, кои у насъ трое, ну, и примутъ; если обругалъ мастера, потащутъ судить въ правленіе и потомъ разсчитаютъ; если работа случится ночью, плату увеличиваютъ. Ну, и начальство любятъ, что-бы его уважали.

— Ну а какъ же ты дома-то работаешь?—спросилъ Петровъ пріятеля.

— Да такъ: заворачалъ. Животъ такъ и тянетъ. Выпилъ перцовки—не легчаетъ. Сходилъ къ нашему доктору, тотъ какого-то лекарства прописалъ, и все нѣтъ легче. Вотъ я и принялся дома за замокъ, ужъ недѣли двѣ какъ взялъ, кончить надо. Ну, а ты какъ? Вѣдь у васъ тамъ лучше нашего.

Петровъ разсказалъ пріятелю о своемъ намѣреніи.

— Оно пожалуй отчего не попробовать, если есть деньги. А все-таки у васъ лучше нашего тѣмъ, что платятъ хорошо. У насъ хоть и легче работа, оной разъ и дѣлать нечего, а уйти нельзя, потому что ужъ больше тридцати пяти рублей не получишь въ мѣсяцъ.

Отъ пріятеля зашелъ Петровъ къ одному лавочнику Телятникову. Телятниковъ годовъ шесть тому назадъ жилъ подручнымъ у лавочника и, женившись на его сестрѣ, открылъ на набережной Обводнаго канала свою лавочку. Онъ разсчитывалъ на рабочій народъ, котораго тутъ живетъ много, но сталъ продавать дороже другихъ лавочниковъ и не вѣрилъ на книжки, отчего у него торговля шла тѣсно. Кромѣ этого, нѣкоторыхъ вещей онъ не держалъ вовсе въ лавкѣ. Лавка его хотя и была пер-

вая въ шестомъ домѣ отъ угла Измайловскаго проспекта и другія мелочныя лавочки находились отъ его лавки къ Царскосельскому проспекту черезъ три дома, но народъ шелъ за провизіей въ эти лавки. И Телятниковъ перебивался кое-какъ, продавая вещи жильцамъ того дома, въ которомъ онъ снималъ лавку, служащимъ на варшавской желѣзной дорогѣ, извозчикамъ, возящимъ грязь и другія нечистоты и живущимъ черезъ домъ отъ его лавки въ какомъ-то пустомъ амбарѣ, и лѣтомъ судоробнымъ. Поэтому Телятниковъ сталъ продавать дешевле и отпуская въ долгъ, но и тутъ покупателей мало, потому что всѣ привыкли покупать въ одномъ мѣстѣ, и къ нему шли брать только такіе, которыми не вѣрили въ другихъ лавочкахъ.

— Ну, какъ дѣла, Герасимъ Трифоновъ? Больше году, какъ ужъ вы здѣсь живете, — спросилъ Телятниковъ Петровъ.

— Просто хотъ лавку запырай. На два рубля въ сутки торгую.

— Што такъ плохо? Вы говорили, что здѣсь вамъ отлично будетъ торговать, потому что лавочниковъ мало, стѣнная далеко, а народу живетъ много такого, которому некогда разбираться, гдѣ товаръ лучше.

— Да здѣсь такой, я тѣ скажу, народецъ—бѣда! Вотъ напримѣръ варшавскіе: взялъ разъ, не понравилось—и ни за что ты его въ лавку не заманишь. Мало этого, своимъ товарищамъ скажешь, какой у меня хлѣбъ, и тому подобное. А мастеровые такой народъ воровской, што и говорить нечего: онъ все норовитъ, какъ бы ему въ долгъ. Наберетъ много, видитъ, что денегъ нѣтъ, и пойдетъ забирать въ другія лавочки; такъ за нимъ и пропадутъ деньги,—бѣда! Теперь вотъ за помѣщеніе я плачу въ годъ четыреста пятьдесятъ рублей серебромъ,—а што? Лавка маленькая, когда идетъ дождь, вода въ нее льетъ, а весной наказаніе съ этой водой.

— Отчего жъ другіе торгуютъ и не жалуются?

— Оттого, что они давно тутъ торгуютъ и про меня всякую всячину насказываютъ своимъ покупателямъ. Надо будетъ въ другое мѣсто перебраться, только еще не знаю, куда!

На встрѣчу Петрову попался Потемкинъ. Онъ былъ одѣтъ франтовски, на жилеткѣ красовалась цѣпочка.

— Который часъ на твоихъ колесахъ, Захаръ Константиновичъ?—спросилъ Петровъ Потемкина.

— Всѣ!—и Потемкинъ дернулъ цѣпочку, которая оказалась безъ часовъ.—Собираюсь къ полковницѣ, надо еще малую толику взять денегъ. Вотъ я и выдумалъ цѣпочку. А дасть, я знаю.

— Поладили, значитъ?

— Еще бы. Только ужъ я къ ней, когда нужно, буду ходить. Она, вишь ты, пригласила меня за тѣмъ, што мужъ ей написалъ, што ѣдетъ въ Петербургъ по дѣламъ и хочетъ ее требовать къ себѣ. Ну, она мнѣ и говоритъ: ты, говоритъ, Захаръ Константиновичъ, поживи у меня это время. Какъ мужъ пріѣдетъ, я скажу ему, что съ нимъ не же-

лаю жить, а желаю развода, чтобы съ тобой обвѣнчаться.

— Ишь ты, братецъ, какія у васъ дѣла! Ну, што жъ ты не хочешь на ней жениться?

— Избави Богъ! Она барыня, а я мужикъ. Да я и не намѣренъ жениться: что мнѣ чужую-то жизнь завѣдать?

— Неужли у ней получше нашего брата нѣту людей?

— Кто ее знаетъ? Ей, должно быть, потому хочется за меня, што у нея есть дѣвочка; третій годокъ ей идетъ. И говоритъ она: какъ только выйдетъ за меня, то продастъ мнѣнѣ въ Польшѣ—еще есть десятинъ триста,—и откроетъ здѣсь магазинъ и читальню для рабочихъ: просвѣщать, слышь ты, насъ хочетъ. И жалко мнѣ ее, да не нравится она мнѣ и отъ теперешней жизни отстать не хочется.

— По моему, нехорошо отъ нея вытягивать деньги.

— И я это знаю. Все, что ни говорю товарищамъ о себѣ,—хвастовство одно; а стань хвалиться, что поступаешь честнымъ манеромъ,—смѣяться станутъ. Вотъ и про часы я тебѣ сказалъ тоже неправду. Она мнѣ подарила часы, я ихъ спряталъ въ сундучкѣ и даже въ кабацъ не закладываю.

— Вѣдь ты ее любишь?

— Иногда жалко мнѣ ее, такъ вотъ тебя и тянетъ. А пойдешь назадъ тянетъ. Придешь къ ней, скучно, да и она ужъ не такая веселая, какъ прежде—все укоряетъ. Вотъ только у пьянаго и силѣлось явиться—такъ рѣдко пускаетъ пьянаго! А ужъ жениться я не могу на ней и подавно. Женнись, она и возьметъ тебя въ руки; станеть грызть. Я было думалъ, въ такомъ случаѣ, еслибы напала дурь въ самомъ дѣлѣ жениться на ней, открыть какую-нибудь кузницу, али мастерскую, потому я это дѣло хорошо смыслю, дакъ вѣдь я слабъ. Вотъ и теперь недѣлю не пьешь, а какъ запьешь, дакъ все къ чорту. Што про это говорить!.. Прощай.

И Потемкинъ пошелъ.

Четыре дня Игнатій Прокофьевичъ высматривалъ себѣ мѣсто и квартиру, и вездѣ ничего не оказывалось. Никто не хвалился своимъ жильемъ, всѣ сѣтовали на дороговизну, грубое обращеніе мастеровъ и хозяевъ, слабое здоровье, и Петровъ былъ въ затрудненіи насчетъ мѣста. Но ему уже не хотѣлось измѣнить своего желанія, и онъ искалъ.

### XXXVIII.

Петровъ ходилъ до сихъ поръ по крайнѣ; теперь онъ пошелъ внутрь Петербурга. Но тутъ проходилъ онъ понапрасну два дня. Наконецъ зашелъ въ одну изъ мастерскихъ на Итальянской улицѣ, съ хозяиномъ которой онъ восемь лѣтъ тому назадъ работалъ вмѣстѣ на одномъ заводѣ. Этотъ господинъ тогда женился на нѣмкѣ и открылъ мастерскую. Въ теченіе шести лѣтъ они выдались въ Пасху и въ маляницкую на гулянья, а потомъ Петровъ такъ и не слышалъ о хозяинѣ съ Итальянской.

Надъ воротами большого четырехъ-этажнаго дома была прибита вывѣска, которая свидѣтельствовала изображеніемъ самовара, кастрюль и крановъ, что тутъ мастерская, въ которой лудятъ и чинятъ мѣдную посуду. Былъ полдень, когда Петровъ подошелъ къ этому дому. У воротъ стояло двое молодыхъ мастеровыхъ въ своемъ нарядѣ: рубашѣ, брюкахъ, которые покрывалъ засаженный передникъ, съ ремешкомъ на лбу и въ калошахъ на босую ногу. Петровъ давно уже не видалъ мастеровыхъ у домовъ въ такомъ видѣ: рабочіе по крайнѣ города въ такомъ видѣ находятся только при дѣлѣ, изъ фабрикъ или заводовъ на улицу не выбѣгаютъ, а когда идутъ домой, то накидываютъ халатъ или зипунъ, или полушубокъ и на ногахъ носятъ сапоги, а ремни рѣдкіе носятъ и у дѣла.

— Вы не изъ мастерской ли Платонова?—спросилъ мастеровыхъ Петровъ.

— Какого Платонова?—спросилъ въ свою очередь одинъ изъ мастеровыхъ и лукаво взглянул на товарища.

— Исаа Павлыча.

— Тутъ нѣтъ такихъ. Ищи въ другомъ мѣстѣ,—проговорилъ съ усмѣшкой другой мастеровой.

Петровъ вошелъ во дворъ. Задняя сторона дома имѣла только два этажа. Надъ дверями внизу была прибита вывѣска мастерской. „Таковъ ужъ характеръ у мастеровыхъ, чтобы не отвѣчать сразу“, подумалъ Петровъ и вошелъ въ мастерскую. Это была большая, темная комната о трехъ окнахъ съ тусклыми стеклами въ рамахъ. По правую сторону мастерской помѣщалась печь и мѣза для раздуванья; между печью и дверями за перегородкой лежалъ каменный уголь и какіе-то желѣзные куски, налѣво были сдѣланы сидѣнья для рабочихъ и верстаки; инструменты были разбросаны, уголья и зола въ печи холодные. Во всей мастерской работалъ только одинъ мальчикъ, сидя у окна.

— Что у васъ за праздникъ?—спросилъ Петровъ мальчика.

Но тотъ не отвѣчалъ, только косо посмотрѣлъ на посетителя.

— Тебѣ кого?—спросилъ онъ Петрова

— Хозяина

— У насъ нѣтъ хозяина, а хозяйка уѣхала въ Кронштадтъ.

Оказалось, что самъ Платоновъ лежитъ уже въ землѣ полтора года и мастерскую заправляетъ его жена. При жизни Платонова въ мастерской работало двѣнадцать мальчиковъ и двое мастеровыхъ, подъ присмотромъ самого хозяина. Заказовъ было много и рабочимъ хорошо было жить, потому что хозяинъ былъ смирный, никого не обижалъ и помощникамъ потачки не давалъ. Послѣ его смерти вдова предоставила все дѣло двумъ помощникамъ, которые другъ съ другомъ ссорились изъ-за того, что каждому хотѣлось быть первымъ: мальчики ихъ не слушались, ихъ стали увольнять и на мѣсто ихъ принимали всякій сбродъ. Поэтому хозяйка рѣшилась отказать помощникамъ и поѣхала въ Кронштадтъ къ брату, чтобы взять у него хорошаго ма-

стера изъ нѣмцевъ. Теперь у хозяйки жилъ только одинъ мальчикъ.

— А кто ея братъ?

Мальчикъ сказалъ.

— Да я съ нимъ виѣхалъ въ обученіи былъ; потому онъ на Средней Мѣшанской кузницу держалъ. Я его знаю, толстопузаго нѣмца.

Петровъ отправился въ Кронштадтъ. разыскавъ Шварца

— Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!

Тотъ сталъ смотрѣть на Петрова.

— Кто ты! Какъ смѣлъ ходить по чужимъ мастерскимъ?

— Забыли Игнатъ Прокофьева?

Нѣмецъ просіялъ, сталъ тереть руки, потрепалъ Петрова нѣсколько разъ по спинѣ и звалъ въ комнату, но онъ отказался.

— Я вѣдь сюда не надолго, по дѣлу: да и сообщеніе-то не совсѣмъ удобное. А вотъ пойдемъ выпьемъ пива.

За пивомъ Петровъ сообщилъ Шварцу. зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Кронштадтъ.

— Она еще здѣсь. Она проситъ мастеровъ. А я совѣтую бросить; гдѣ ей возиться! Она не Шварцъ и не Платоновъ.

— Зачѣмъ же ей бросать, если она не одинъ годъ живетъ на одномъ мѣстѣ?

— Да, мѣсто много значить. Я въ Средней Мѣшанской семь лѣтъ выжилъ. Первые два года было о-о какъ трудно, а потомъ ничего. И теперь бы жилъ тамъ, да стали перестраивать домъ.

— И ей достаточно было бы одного мастера, который бы смотрѣлъ за всѣмъ.

— И достаточно, только надо нѣмца. Нѣмца лучше слушаются, чѣмъ русскаго.

— Однако вѣдь мужъ-то у нея былъ же русскій.

— О! Онъ хорошо говорилъ по-нѣмецки... Однако я скажу Терезѣ, пусть она на первое время тебя возьметъ; а тамъ увидимъ. Я знаю, ты человекъ хорошій... Шнапса много пьешь?

— Случается, но больше пиво употребляю.

— Ну, это хорошо. Шнапса надо поменьшеку.

Шварцъ представилъ Петрова вдовѣ. Платонова сказала, что она его гдѣ-то видала, и они тутъ же уговорились насчетъ мастерской. Петровъ выговорилъ себѣ жалованья тридцать пять рублей въ мѣсяцъ съ тѣмъ, что будетъ имѣть квартиру и столъ отдѣльно отъ мастерской. Онъ обязался найти мальчиковъ и улучшить мастерскую.

Комнату Петровъ нанялъ въ другомъ домѣ, напротивъ того, въ которомъ помѣщалась мастерская Платоновой. Она находилась въ четвертомъ этажѣ, въ квартирѣ, набитой вдовами-чиновницами, кандидатами на коллежскаго регистратора, какими-то чиновникомъ и рѣзникомъ-художникомъ. Всѣ эти господа и госпожи перебивались кое-какъ, кое-что дѣлая, жили по два и по три въ комнатахъ, которыя отдавались въ наемъ отъ квартирной хозяйки не дешевле пяти рублей въ мѣсяцъ. Петровъ заплатилъ пять рублей, но эта хотя была и узенькая комната, зато свѣтлая. Хозяйка, какая-то штабсъ-капитанша, держала эту квартиру уже много лѣтъ, и поэтому

въ комнатѣ Петрова, тотчасъ по отдачѣ имъ задаточныхъ денегъ, появилось два стула, кровать и столъ.

— Вотъ что, хозяйшечка, могу я въ квартирѣ своей мастерствои заниматься?

— Какое же у васъ мастерство?

— Я столяръ и кузнецъ.

— О, Боже избави!.. Ты, батюшка, у меня всѣ стѣны испакостишь, да и дворникъ этого не позволитъ. Здѣсь господа живутъ.

За стѣной рѣзчикъ что-то стучалъ.

— Но вотъ тоже работаетъ тамъ кто-то.

— То художникъ. Онъ топоромъ не рубить, досокъ не таскаетъ.

— И я топоромъ не рублю. А вотъ если замки исправить—это мое дѣло; также комодъ склести, покрасить.

— Въ самомъ дѣлѣ! Ужъ ты, батюшко, исправь мнѣ дверь на крыльцѣ. Вотъ ужъ сколько времени прошу управляющаго сдѣлать замокъ и дверь исправить: успѣется, говорить. И такъ къ ночи-то бичевой заматываешь... И кровать починить умѣешь?

— Все, что угодно... У васъ, поди, много мебели-то?

— И не говори... Ужъ ты только мнѣ-то справь, а работы въ дому найдется много.

— Хорошо. Въ воскресенье я осматриву и примусь.

Итакъ, квартиру себѣ Петровъ нашелъ. Но труднѣе всего было устроить мастерскую, съ которой онъ провозился двѣ недѣли, пока не поставилъ, какъ слѣдуетъ. Въ приведеніи ея въ порядокъ встрѣтилось два препятствія: первое, наискосокъ открывалась другая мастерская, и второе, трудно было найти мальчиковъ, а мастеровыхъ нанять невыгодно, такъ какъ они просили не меньше рубля въ день. Недѣля прошла въ напрасныхъ поискахъ, между тѣмъ новая мастерская уже начала исполнять заказы; хозяйка все это приписывала неумѣию Петрова взяться за дѣло.

— Будемъ-ко съ однимъ мальчикомъ работать, а работу я найду.

— Мнѣ невыгодно: мы выработаемъ можетъ быть въ сутки только рубль, тогда какъ мнѣ все содержаніе мастерской обходится два съ половиною въ сутки,—отвѣчала она.

Но на другую недѣлю въ мастерскую пришли двое мальчиковъ по тринадцатому и пятнадцатому году. Они прежде работали у Платоновой и согласились за шесть рублей остаться у жены его съ тѣмъ, чтобы она ихъ кормила и давала квартиру.

Петровъ познакомился съ дворниками того дома, въ которомъ жилъ, сказалъ имъ, что мастерская идетъ на славу, и просилъ отдавать вещи въ починку Платоновой. Дворники обѣщали, что если онъ, новый мастеръ, будетъ давать на водку, то они найдутъ много работы. И дѣйствительно, съ другого же дня стали приносить въ починку разные вещи и заказывали дѣлать новыя, такъ что всѣ мальчики и Петровъ были заняты.

Мало-по-малу мастерская поправилась: стали проситься въ нее мальчики, стало больше работы. Кромѣ ломанной посуды и другихъ вещей изъ желѣза, олова и мѣди, Платонова заключила съ ол-



нимъ купцомъ условіе на поставку цѣпей, стальныхъ замковъ, шалнеровъ и т. п., тогда прихватила еще шестерыхъ мальчиковъ и Петровъ пошелъ въ.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ онъ перезнакомился чуть не со всѣми жильцами того дома, въ которомъ жилъ, и къ концу второго мѣсяца у него было такъ много работы, что онъ не зналъ, что съ ней дѣлать. Замки, ключи и т. п. мелкія вещи онъ отдавалъ на праздникъ мальчикамъ мастерской, но у него были такія вещи, возиться съ которыми приводилось двое, трое сутокъ, тогда какъ у него одинъ только въ недѣлю свободный день — воскресенье. Этого добиться ему хотѣлось давно; ему не хотѣлось работать въ мастерской, потому что тамъ онъ работалъ все-таки въ душливомъ воздухѣ, долженъ былъ за все отвѣчать передъ хозяйкой, а мальчики не всегда-то слушались его. „А если я буду работать дома, то я спокоенъ“, сказалъ онъ самъ и пошелъ въ Горшкову, которому предложилъ свое мѣсто. Тотъ согласился съ удовольствіемъ.

— Ахъ, ты меня надулъ! — сказала вдова Платонова, когда Петровъ потребовалъ отъ нея расчета.

— Иванъ Ивановичъ мнѣ говорилъ, что вы возьмете меня на время, и я сдѣлалъ все, что смогъ. И мой пріятель тоже не уронитъ вашу мастерскую. Я за него отвѣчаю.

— А я много-много на тебя надѣялась, — проговорила Платонова, вздыхая.

„Ну, матушка, покорно благодарю! У тебя никакъ четверо дѣтей“, подумалъ на это Петровъ и ушелъ во второй сухопутный госпиталь.

### XXXIX.

Петровъ сперва посѣщалъ Пелагею Прохоровну по воскресеньямъ; но не каждое воскресенье, а мимоходомъ, когда посѣщалъ Петербургскую и Выборгскую стороны. Онъ Пелагею Прохоровну зналъ очень мало и поэтому относился къ ней, какъ ближній къ ближнему и какъ честный человѣкъ; въ его характерѣ было, что если онъ взялся за какое-нибудь дѣло, то долженъ его докончить. Онъ никому не вѣщалъ, что у него есть знакомая женщина, къ которой онъ ходитъ въ клинику, но втайнѣ желалъ, чтобы эта женщина выздоровѣла, и думалъ объ ней много. Онъ разбиралъ всѣ свои отношенія къ Пелагеѣ Прохоровнѣ; отношенія эти были честныя. Теперь дѣла его стали поправляться; онъ жилъ въ своей квартирѣ, и вотъ ему больше, чѣмъ прежде, захотѣлось жить семейно, и выборъ палъ на Пелагею Прохоровну, къ которой его тануло такъ, что въ послѣднее время онъ сталъ уже ходить къ ней и по четвергамъ. Ему тамъ было и грустно, и хорошо: грустно потому, что на него большые проливали тяжелое впечатлѣніе, а хорошо потому, что онъ разговаривалъ съ Пелагеей Прохоровной, которая съ каждымъ днемъ поправлялась. Но и тутъ отношенія Петрова къ Пелагеѣ Прохоровнѣ были прежнія — они были знакомы, и больше ничего.

Но Петровъ жилъ все-таки въ мірѣ здоровомъ; онъ могъ дѣлать, что хотѣлъ, могъ идти, куда уго-

дно, а Пелагея Прохоровна жила среди больныхъ женщинъ и ей запрещено было выходить даже въ корридоръ. Поэтому немудрено, что жизнь въ госпиталѣ ей надоѣла, и она съ нетерпѣніемъ ждала четверга и воскресенья, — дни, въ которые къ больнымъ приходили люди здоровые. Этими посѣтителямъ всѣ были рады. Но больше всего Пелагеѣ Прохоровнѣ нравились посѣщенія Петрова.

Пелагея Прохоровна лежала въ серединѣ: ея кровать была шестая отъ двери. Когда пришелъ Игнатій Прокофійчъ, она, сидя на кровати, разговаривала съ сосѣдней женщиной Прочіа женщины или лежали, или сидѣли; двѣ ходили съ кружками, а четвере играли въ карты. Сидѣлка, Марья Ильинишна, толстая женщина, откормившаяся въ госпиталѣ, сидя у окна, что-то шила и напѣвала пѣсенки. Посѣтителей въ этой палатѣ еще не было. Больныя, при видѣ Петрова, оживились; женщина, разговаривавшая съ Пелагеей Прохоровной, ушла къ играющимъ.

— Ну, Пелагея Прохоровна, — сказалъ Петровъ: — я порѣшилъ съ мастерской. Хочу самъ работать. Помните разговоръ-то нашъ за воротами Филимоновскаго дома. Я тогда думалъ, что нельзя работать одному, а теперь вотъ вышло, что можно!

— А я потому говорила такъ, што у насъ есть мастера, кои сами работаютъ и живутъ хорошо. — И она рассказала про Коровавева.

— Ну, а Кораваевъ еще много пробьется въ Петербургѣ, прежде чѣмъ возьмется за свое ремесло. Онъ хорошъ въ своемъ заводѣ былъ, потому что тамъ выросъ, тамъ его всѣ знаютъ; а поди онъ въ городъ, такъ тамъ своихъ мастеровъ много.

— А я хочу выпписаться.

— Ну, я бы не совѣтывалъ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не поправитесь. Вѣдь вы еще не въ силахъ работать?

— Можетъ быть и справлюсь.

— Нѣтъ, ужъ лучше недѣлку, другую побудь здѣсь: здѣсь и тепло, и кормятъ, и за квартиру не берутъ... А вотъ што, Пелагея Прохоровна, чѣмъ ты заниматься теперь будешь?

— Вонъ тутъ есть Софья Максимовна; она прачка, такъ совѣтуетъ стиркой заняться, и хозяйку свою мнѣ хвалитъ.

— Ну, жить-то у хозяйки я бы не совѣтывалъ, потому что хозяйки вездѣ одинаковы: всѣ онѣ налегать на работницъ и кормятъ плохо. А я вотъ что придумалъ: нашъ домъ большой; въ немъ, кажется, квартиръ сорокъ, а прачки нѣтъ. Стоитъ только сказать дворникамъ.

— Ахъ, какъ бы это хорошо было!

— Только нужно поправиться. Ну, а квартиру мы сыщемъ.

Скоро послѣ этого Петровъ ушелъ. Ему захотѣлось устроить Пелагею Прохоровну поскорѣе, и онъ сталъ искать ей комнату въ домѣ, но удобной для прачешной не оказалось, а была квартира въ пятомъ этажѣ и въ ней три комнаты. Но безъ согласія Пелагеи Прохоровны онъ не рѣшился нанять ее.

— Нѣтъ, ужъ я непремѣнно выпишусь. Кромѣ

скуки, еще то неприятно, што сосѣдки упрекають меня тобой, Игнатій Прокофьевъ: говорятъ, што я любовница, — сказала Пелагея Прохоровна Петрову въ слѣдующее воскресенье.

— На это не стоитъ обращать вниманія. Я вотъ и самъ подумываю, какъ бы тебѣ выйти, только не знаю, согласишься ли ты... Видишь ли, для того, чтобы заняться стиркой, нужно имѣть непремѣнно свою квартиру. У насъ въ домѣ есть такая квартира—въ ней тоже жила прачка. Самъ я живу въ отдѣльной комнатѣ, и мнѣ бы эта квартира была хороша.

Петровъ замолчалъ. Пелагея Прохоровна тоже задумалась. Ей казалось неудобно жить въ одной квартирѣ съ холостымъ мужчиной, тѣмъ болѣе, что про нее станутъ говорить Богъ знаетъ что, и черезъ эти пересуды она пожалуй не много будетъ имѣть работы.

— Ужъ я думалъ объ этомъ дѣлѣ. Если теперь нанять комнату гдѣ-нибудь во флигелѣ, то въ комнатѣ стирать бѣлье не дозволить; а если и будетъ можно, то вѣдь каковы сосѣди: бѣлье чужое—его нужно беречь и на сосѣдей полагаться нечего. А у насъ въ домѣ и вѣшать бѣлье есть гдѣ.

— Неловко намъ вмѣстѣ-то жить, — сказала Пелагея Прохоровна.

— Что за неловко! Пусть люди говорятъ, что хотятъ, а мы будемъ каждый при своемъ мѣстѣ. Говорятъ тѣ, ком сами себя дурно ведутъ. Живутъ же баре съ любовницами, да ничего имъ не дѣлается, а еще любовницъ уважаютъ.

Пелагея Прохоровна согласилась, и черезъ день послѣ этого Петровъ привезъ ее на новую квартиру. Себѣ онъ выбралъ свѣтлую большую комнату. Пелагее Прохоровнѣ предоставилъ кухню съ небольшою комнатою, которая находилась отъ комнаты Петрова на противоположной сторонѣ. Пелагея Прохоровна нашла въ квартирѣ все нужное для стирки бѣлья и сверхъ того кровать, два стула и столъ.

— Сколько же ты съ меня за комнату возьмешь?—спросила Пелагея Прохоровна, оглядѣвши свою квартиру.

— А это будетъ зависѣть отъ того, какъ пойдетъ дѣло.

— Ну, я такъ не хочу. У меня есть два рубля денегъ.

— Только-то... Да ихъ пожалуй не хватитъ и на мыло да на крахмалъ.

Петровъ ушелъ и заперъ свою комнату на замокъ.

„Нѣтъ, онъ аккуратный. Онъ не похожъ на другихъ мастеровыхъ. Вотъ такого мужа хорошо бы имѣть... А впрочемъ кто его знаетъ“, думала Пелагея Прохоровна по уходѣ Петрова.

Пелагее Прохоровнѣ было скучно одной, но часа черезъ полтора къ ней пришла жена старшаго дворника, Лизавета Федоровна, уже пожилая женщина. Вошедши, дворничиха оглядѣла квартиру, перекрестилась, поклонилась Пелагее Прохоровнѣ и спросила ее:

— А што, ушелъ Игнатій-то Прокофьевъ?

— Ушелъ.

— Эко дѣло... Я хотѣла попросить его шкатулку починить... А вы, я слышала, прачка?

— Здѣсь еще не пробовала.

— Ну, у насъ домъ большой. Главное, нужно хорошо стирать; здѣсь и важные господа есть. А ты приходи къ намъ. Мы хотъ и въ подвалѣ живемъ, а все же по-питерски, набаловавши: кофеешъ угощу.

— Покорно благодарю! А я вотъ васъ хочу попросить насчетъ бѣлья-то. Меня вѣдь здѣсь никто не знаетъ. Да вы зашли бы въ комнату-то.

Дворничихъ, какъ видно, хотѣлось узнать, гдѣ и какъ помѣщается новая прачка, и она пошла за Пелагеей Прохоровной въ ея комнату.

— Отлично ты устроилась... Отлично... Ну, а Прокофьевъ-то особю?

— Отдѣльно. У него комната заперта.

— Экой скопидомъ... Ужъ такого скупого я мало видала. Ну, и рѣшительный, и все знающій... А вы давно знакомы-то?

Это допрашиваніе разсердило Пелагею Прохоровну, но она сдержалась.

— Да мы еще мало знакомы, — отвѣчала она.

— Да ты не бойся... Я звонить не пойду, какъ другія бабы... Я, знаешь, тебѣ совѣтую отъ нашихъ кухарокъ держать себя подальше... Съ горничными еще можно знакомиться, потому онѣ при барыняхъ больше. А что до работы—такъ это пустякъ. Ты, ежели что, прямо ко мнѣ; мнѣ тутъ многіе знакомы, потому мы ужъ тутъ двѣнадцатый годъ живемъ.

И дворничиха начала рассказывать про прежнюю прачку, какъ та таскалась съ молодыми дворниками, переговаривалась въ окно черезъ дворъ съ жильцами-чиновниками.

— Нехорошо. Себя она страшила. Ну, заведи она себѣ кавалера и живи съ нимъ, — тутъ худа нѣтъ. Вонъ у насъ генералъ съ любовницей живетъ, такъ всѣ ее уважаютъ.

— Ну, ужъ вы это, Лизавета Федоровна, напрасно...

— Ну, матушка, не вѣкъ вы такъ съ Прокофьевымъ-то станете жить, а пока у васъ до свадьбы дѣло дойдетъ, до тѣхъ поръ надо держать себя утиючи и не обращать вниманія на сплетни. А безъ сплетенъ не обойдется, потому народъ здѣсь вольный, самъ живетъ дрянно и объ другихъ думаетъ дрянно.

Дворничиха ушла. Петровъ не приходилъ долго. Пелагее Прохоровнѣ было очень скучно; ей хотѣлось что-нибудь дѣлать, хотѣлось выстирать свое бѣлье, но въ квартирѣ воды не было. Она спустилась къ дворникамъ, тѣ сказали, что воды принесутъ завтра; поднялась она въ свою квартиру и устала.

„Плохой я стала человѣкъ. А можетъ это и съ болѣзни“, подумала Пелагея Прохоровна и стала перебирать свое имущество; но черезъ полчаса къ ней пришла женщина.

— Здѣсь прачка живетъ?—спросила она въ кухнѣ.

Пелагея Прохоровна вышла.

— Нашей барынѣ нужно бѣлье стирать; или, возьми!

Пелагея Прохоровна пошла за кухаркой. Барыня заставила ее ждать себя въ кухнѣ болѣе часу. Кухня была барская, съ водопроводомъ; тамъ былъ

поварь, приходилъ лакей и горничная. Наконецъ вышла барыня:

— Хорошо стираешь бѣлье?—спросила она Пелагею Прохоровну.

— Прежде стирала—правилось.

Мнѣ нужно, чтобы бѣлье было вымыто скоро, выглажено, однимъ словомъ, чтобы было хорошо. Вотъ тебѣ реестръ. Марья!—крикнула барыня и ушла.

Стали провѣрять бѣлье.

— Да, ужъ ты, прачка, и мое кстати выстирай: вѣдь много денегъ-то будешь получать.

— Какъ даромъ?

— Неужели еще съ насъ деньги будешь брать?

— Ну, такъ я не согласна.

— А не согласна, такъ въ другой разъ мы другую прачку найдемъ.

Пелагея Прохоровна подумала и взяла бѣлье отъ прислуги.

— Приходи когда-нибудь—кофею напоимъ. А намъ самимъ возиться съ бѣльемъ некогда: цѣлый день бѣгаешь изъ угла въ уголъ.

Узелъ оказался большой, и Пелагея Прохоровна черезъ великую силу донесла его до своей квартиры. Но она была очень рада, что такъ скоро нашла работу.

Игнатій Прокофичъ былъ дома.

— Что, ужъ и работа есть?—спросилъ онъ вселю.

— Слава Богу. Вотъ, говорятъ, корзинка нужна для бѣлья.

— Корзинка есть—тамъ на чердакѣ. А я што думаю: не лучше ли намъ готовить кушанье дома. Я вотъ сегодня работалъ у одной полковницы—драпировку съ ней дѣлалъ, такъ она меня покормила въ кухнѣ и подлецомъ обозвала.

— За что?

— Такая ужъ барыня. Прежде она помѣщицей была. „Я, говорить, Игнатій, прежде по мордамъ била, а теперь нельзя, теперь новые порядки, а все, говорить, не могу не обругать человека“. И обругала, и извинилась. Такъ вотъ теперь я хочу дома обѣдать.

— Ты обо мнѣ-то не заботься.

— Я о себѣ забочусь. Вотъ только я боюсь, чтобы ты не простудилась—холодно стоитъ, а у тебя теплаго ничего нѣтъ.

— О, я привычна къ холоду.

— А ты какъ спать-то будешь ложиться, запри дверь на замокъ. Здѣсь надо быть осторожнымъ. А то вотъ я пришелъ,—тебя нѣтъ, а въ кухнѣ какая-то баба въ салопѣ сидитъ; „я, говорить, къ Татьянѣ Егоровнѣ пришла“.

Петровъ послѣ этого заперся въ своей комнатѣ, а Пелагея Прохоровна стала тоже въ своей комнатѣ разбирать бѣлье.

## XI.

Квартира оказалась холодною, почему Петровъ и Пелагея Прохоровна встали рано и въ комнатѣ Пелагеи Прохоровны усѣлись пить чай.

— Въ состояніи ли ты, Пелагея Прохоровна, приняться за работу?—спросилъ Петровъ.

сочиненія о. рышетникова.

— Кабы не въ состояніи, не взялась. Скучно такъ-то жить.

— Ну, какъ знаешь.

Скоро Петровъ ушелъ на работу, а Пелагея Прохоровна принялась за бѣлье. Она стирала въ корытѣ, уставала и садилась на стулъ. Въ такомъ положеніи ее застала барыня въ лисьемъ салопѣ и башлыкѣ. Эта барыня тоже просила взять бѣлье.

И такъ, работы прибавилось.

Когда Петровъ пришелъ домой обѣдать, то Пелагея Прохоровна спала; кучи бѣлья лежали на скамейкѣ, въ корытѣ было тоже бѣлье.

„Ну, эдакъ не много наработаешь!“ подумалъ Петровъ и полѣзъ въ печь за щами. Стукъ заслонки разбудилъ Пелагею Прохоровну.

— Што это? Я маленько прилегла и заснула. Это я непременно въ больницѣ избаловалась,—проговорила она.

— Пожалуйста, ты хоть дверь-то запирай на замокъ. Боже избави, какъ что-нибудь утащатъ.

Пелагея Прохоровна сдѣлалось стыдно, что она среди дня легла спать; но она еще не могла осилить всей работы: она задыхалась, руки дрожали, ноги подкашивало, и съ ней былъ небольшой жаръ. Петровъ замѣтилъ это, но ничего не сказалъ. Когда онъ пришелъ домой вечеромъ, то засталъ Пелагею Прохоровну работающею, но въ квартирѣ было попрежнему холодно.

— Надо будетъ переимѣнить эту квартиру,—сказалъ онъ.

— По моему, здѣсь хорошо; мнѣ послѣ обѣда дали еще бѣлья. Спасибо дворничихъ.

— Я теперь буду дома работать, полковница отпустила.

Стали ужинать.

— Вотъ теперь мы по семейному зажили,—сказалъ вдругъ Петровъ.

Пелагея Прохоровна ничего не сказала, только ея щеки слегка покраснѣли.

— Одного только недостаетъ...

Пелагея Прохоровна взглянула на Петрова.

— Вотъ што: отчего бы намъ, Пелагея Прохоровна, не обвиняться?—сказалъ Петровъ серьезно.

— Такъ скоро? мы еще мало знаемъ другъ друга, дружку,—отвѣтила Пелагея Прохоровна.

— Положимъ, что такъ; только я думаю, мы хуже не будемъ теперашнаго.

— Кто знаетъ, Игнатій Прокофичъ?

— А пошла бы?

— Ну, какой ты разговоръ выдумалъ... Надо ложиться спать, завтра на рѣку надо идти.

— Нѣтъ, однако, пошла бы?

— Ахъ, какой ты!.. Ну, разумѣется, пошла бы.

— Вотъ за это спасибо,—и онъ крѣпко пожалъ ей руку, потомъ долго не спалъ, обдумывая планъ семейной жизни. Сперва онъ удивлялся: какъ это онъ такъ скоро дошелъ до желанія жениться, тогда какъ прежде самъ смѣялся надъ тѣми изъ рабочихъ, которые женились; но потомъ пришелъ къ тому заключенію, что на его мѣстѣ всякій дошелъ бы до этого. Онъ долго разбиралъ, почему именно ему понравилась Пелагея Прохоровна, а не другая

какая-нибудь женщина. Вѣдь онъ въ своей жизни видалъ многихъ женщинъ, и ни объ одной изъ нихъ не думалъ такъ много, ни въ одной не принималъ никакого участія, какъ въ Пелагеѣ Прохоровнѣ. Ему, еще съ самаго появленія въ Филимоновскомъ домѣ этой женщины, хотѣлось поговорить съ ней; ея горе трогало его, и онъ, вовсе еще не имѣя намѣренія жениться, старался помочь ей чѣмъ-нибудь. Онъ принялъ участіе въ похоронахъ ея брата, и его невольно тянуло въ госпиталь, гдѣ хорошо казалось сидѣть рядомъ съ Пелагеей Прохоровной на ея койкѣ и гдѣ онъ радовался ея выздоровленію. Часто онъ шелъ въ госпиталь съ тяжестью въ головѣ, сердце его что-то щемило; ему думалось: „а что, если она да опять захворала; пожалуй залечать, какъ и того...“ Но когда онъ шелъ домой, то въ головѣ тяжести не было, сердце билось радостно. Не будь Пелагеи Прохоровны, онъ пожалуй и теперь терся бы на заводѣ или въ какой-нибудь мастерской, и пожалуй бы не сталъ такъ стараться устроить настоящее свое житіе. „Нѣтъ, тутъ что-нибудь да есть; мнѣ она полюбилась, мнѣ эта любовь больше храбрости и силы придала. Ужъ судьба вѣрно такая, чтобы мнѣ быть женатому, и на ней. Конечно! Съ такой бабой жить можно. Какъ только повѣнчаемся, сейчасъ возьмемъ работницу, а я прихвачу двухъ мальчиковъ и открою свою столярную: теперь у меня знакомыхъ много!“

Утромъ за чаемъ Петровъ сообщилъ объ этомъ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Если работы много будетъ, я согласна взять помощницу. Только Игнатій Прокофьевичъ, не изба-луйся ли мы?

— Ну, я съ мальчиками вездѣ хорошъ; а все-таки имъ большой потачки давать не стану, потому что будутъ красть. Нужно за всѣмъ слѣдить са-мимъ.

— Я думаю, тогда хорошо будетъ намъ обоимъ. Вотъ развѣ кто помретъ изъ насъ?

— Ну, до этого еще далеко. Надо вотъ квар-тиру посмотрѣть гдѣ-нибудь другую, а въ этой неудобно ни тебѣ, ни мнѣ.

Весь этотъ и слѣдующій за тѣмъ день Петровъ работалъ дома. У Пелагеи Прохоровны было очень много работы, такъ что она не знала, какъ ей справиться. На рѣку за нее ходила дворничиха Лиза-вета Федоровна. Нечего и говорить про то, что Петровъ нравился Пелагеѣ Прохоровнѣ, и она уже не боялась, какъ прежде, выйти за него замужъ. „По крайней мѣрѣ мужъ у меня будетъ интер-есный, а съ Короваемъ мы бы жили тамъ, да еще какова бы была тамъ жизнь? Здѣсь тѣмъ хорошо, что народу много; тебя только и знаютъ, что жиль-цы того дома, въ которомъ живешь, да на кого ра-ботаешь“. Но и тутъ въ голову ея приходила мысль: „какова-то будетъ жизнь въ замужествѣ? Выйдешь замужъ, приважишь, такъ сказать, себя къ мѣсту, дѣти пожалуй пойдутъ. А какова была прошлая-то жизнь? Если бы не Петровъ, пришлось бы ле-жать въ могилѣ“. И она съ любовью взглядывала въ комнату Петрова, который тамъ работалъ.

„Вотъ теперь мнѣ хорошо. Нашла-таки я себѣ мѣсто хорошее; а какъ замужъ выйду, еще лучше будетъ: сама буду хозяйка, и никто меня ничѣмъ не упрекнетъ. Вотъ бы тогда посмотрѣть на Ко-роваева: все хвастался, што онъ больно много знаетъ, а, поди, онъ Игнатію Прокофьевичу и въ подметки не годится“, думала Пелагея Прохоровна.

Дня черезъ два послѣ этого она сдала бѣлыя двумъ барышнямъ. По свѣркѣ оказалось все въ цѣ-лости; барыни немножко поворчали за то, что кое-гдѣ пуговокъ недостаетъ, кое-что не совсѣмъ чисто. Но деньги заплатили и велѣли приходять опять. Эта получка денегъ очень обрадовала Пелагею Про-хоровну, и она веселая пришла домой.

— Вотъ теперь какая я богачка! Три рубля съ полтиной получила, да съ другихъ еще сколько получу.

— Ну, радоваться-то нечему — мыло да синьку не считаешь вѣрно.

— Все таки не даромъ стираю. А ты спрячь деньги, Игнатій Прокофьевичъ.

— Это можетъ у васъ тамъ въ провинціи такъ дѣлается, а у насъ кто деньги зарабатываетъ, тотъ и хранить ихъ у себя.

— Нѣтъ, ужъ ты спрячь.

— Нѣтъ, ужъ не спрячу.

Они расхохотались. Деньги Пелагеи Прохоровны положила въ свой узелъ подъ подушку.

## ХЛІ.

Время для Пелагеи Прохоровны и Игнатія Про-кофьевича шло незамѣтно; отношенія ихъ были про-сто дружескія; они только сходились за обѣдомъ, чаемъ и ужиномъ, ни разу даже не цѣловались. Разъ какъ-то Игнатій Прокофьевичъ сказалъ: — не повѣнчаться ли имъ теперь, благо до масляницы осталось всего двѣ недѣли? Но Пелагея Прохоровна отвѣчала, что они повѣнчаются на вѣчно и успеютъ еще нажить семейно; къ тому же и здоровье ея не совсѣмъ поправилось. „Надо хоть немножко походить на прежнюю, а то какъ подъ вѣнецъ пой-дешь, скажутъ:—самъ-то Петровъ вонъ какой здоровый, а она вонъ какая худая“. Еще скажутъ чахоточная, а я даже и кашляю зачѣмъ-то“.

— Все это пустяки, — замѣтилъ Петровъ.

— Ну, если и пустяки, — такъ я не хочу, что-бы вся свадьба шла на твой счетъ. У меня теперь и денегъ мало, а твоихъ я ни за что въ свѣтъ не возьму; а деньги мнѣ надо, чтобы кое-что спать: не буду же я вѣнчаться въ чужихъ платьяхъ.

— Какъ знаешь. Потерпимъ.

Горшковъ жилъ въ томъ домѣ, гдѣ мастерская, въ которой онъ теперь работалъ. Онъ приходилъ къ Петрову раза три и звалъ его показывать въ кабаки. Тотъ не шелъ.

— Плохой, братъ, ты человѣкъ сталъ, Игнаш-ко! Право.

— Что дѣлать, жениться хочу.

— На какомъ это мѣстѣ записать?

— Такая линія вышла. Пойдешь въ шафера?

— Ахъ ты... Вотъ люблю человѣка... А што же

Пелагея-то твоя къ намъ не зайдетъ, моя-то старуха была бы рада.

— Есть мнѣ когда расхаживать! — сказала Пелагея Прохоровна.

Вечеромъ ее посѣтила Софья Федосѣевна, и они проговорили около полчасъ. Софья Федосѣевна даже не намекнула на то, дѣйствительно ли Пелагея Прохоровна выходитъ замужъ. Она сказала, что зашла просто потому, что Данило Сазонычъ пришелъ пьяный, разбушевался и унесъ съ собою кранъ изъ самовара для того, чтобы его семейные не смѣли безъ него пить чай. Прощаясь, Софья Федосѣевна стала звать Пелагею Прохоровну къ себѣ въ воскресенье вибѣстѣ съ Петровымъ напиться кофею. Какъ та, такъ и другой обѣщались быть.

Въ субботу Пелагея Прохоровна собрала еще пять рублей.

— Ну, что мы будемъ завтра дѣлать? — спросилъ ее Петровъ за ужиномъ.

— Я бѣлье буду стирать.

— Полно. Надо же и отдыхъ себѣ дать... Ну, сперва ты будешь щи варить, потомъ пойдемъ къ Горшковымъ въ гости, потомъ ихъ къ себѣ пригласимъ, а потомъ?.. Вотъ што, Пелагеюшка, я думаю: не сходить ли въ театръ? Ты была въ театрахъ?

— Нѣтъ.

— Вотъ и отлично. Я тоже давно не бывалъ.

— Я не пойду до свадьбы.

— Ну, это напризъ.

Сколько Петровъ ни уговаривалъ Пелагею Прохоровну идти въ театръ, она ни за что не хотѣла идти.

Горшковъ помѣщался со своимъ семействомъ въ верхнемъ, четвертомъ этажѣ. Лѣстница къ нему была темная, узкая, со множествомъ поворотовъ и босыхъ ступенекъ, почему съ нея не разъ по ночамъ падали внизъ пьяные мастеровые и раскрикивали себѣ лбы и носы. Горшковы жили на заднемъ планѣ квартиры, такъ что до нихъ приходилось идти черезъ кухню и еще черезъ комнату. Въ кухнѣ жилъ самъ хозяинъ квартиры, портной, и, кромѣ него, два подмастерья, тоже портные, но работающіе у цехового портного въ томъ же домѣ. Въ этой кухнѣ, когда вошли въ нее Петровъ съ Пелагеей Прохоровной, возлились у печи три женщины — одна съ ухватомъ, другая раскалывала полѣно, а Софья Федосѣевна съ кофейникомъ. Портной держалъ ведро, а двое подмастерьевъ бѣгали по кухнѣ съ бутылками.

— Лей сюда! — говорилъ одинъ подмастерье.

— Да эта съ керосиномъ была, — сказалъ портной.

— А штобъ ее! — И подмастерье, бросивъ бутылку, подбѣжалъ къ печѣ и схватилъ пустой горшокъ.

Женщины заголосили.

— Што это у васъ за хлопоты? — сказалъ Петровъ, улыбаясь.

— А, господину Петрову! Да вотъ, сударь ты мой, воды не было у насъ, — плакали, а какъ я досталъ воды даровой изъ качальни, не знаемъ, куда

ее дѣтъ... Ведро-то я у дворниковъ украдъ — надо возвратить. Горе и много-то имѣть.

Петровъ и Пелагея Прохоровна разошлись.

— Вы не получаете, вѣрно, воды отъ дворниковъ?

— Капиталовъ нѣту: правомъ бѣдности пользуемся, по бѣдности намъ и дадутъ изъ качальни воды.

Горшковы очень обрадовались посѣщенію гостей. Горшковъ хотѣлъ сбѣгать за водкой, но Петровъ удержалъ его, и они стали разговаривать о своихъ дѣлахъ. а Пелагея Прохоровна разговаривала съ хозяйками. Сначала сѣтовали на то, что умеръ братъ Пелагеи Прохоровны, но Горшковъ сказалъ, что лучше, по крайней мѣрѣ не мучится, и никому не мѣшаетъ. потомъ стали разсуждать о предстоящей свадьбѣ. Петровъ предложилъ хозяевамъ идти въ театръ, тѣ согласились съ удовольствіемъ.

Теперь ужъ Пелагея Прохоровна не могла не согласиться: ее упрасивали всѣ. Осталось одно затрудненіе: въ какое мѣсто идти. Горшковъ и Петровъ пошли сираться, гдѣ въ Александринкѣ мѣста дешевле. Оказалось, что и дешевле галлерей есть мѣста, только тамъ приходится стоять у стѣнки и оттуда ничего не видно.

— Прокофьичъ, возмемъ ложу... Чортъ его дерь, въ кабакахъ больше пропьешь!

— Ладно. Только моею-то бабѣ не надо говорить, сколько стоитъ. Не пойдетъ, или свои деньги выложитъ.

— Уросливая же твоя баба! А впрочемъ молода еще.

Я не буду описывать того, какъ наши знакомые пошли въ театръ. Довольно сказать, что представленіе „Грозы“ имъ такъ понравилось, что каждому захотѣлось бывать въ театрѣ чаще. Для Пелагеи же Прохоровны было все ново; ей казалось, что она находится въ Богѣ знаетъ какомъ прекрасномъ мѣстѣ. Публика ее занимала только въ антрактахъ. во время же представлений она слѣдила за дѣйствующими лицами на сценѣ и обращалась конфузливо къ Петрову за разъясненіемъ непонятнаго ей.

— Неужели все это правда? — спросила она Петрова дорогой, идя домой изъ театра.

— Это вѣрно.

— Не весело же и купцамъ живется.

— Всяко бываетъ.

И на Петрова „Гроза“ произвела тяжелое впечатлѣніе и онъ шелъ домой молча, и дома, какъ пришелъ, такъ и заперся въ своей комнатѣ и долго не спалось ему.

До масляницы осталась только одна недѣля, поэтому Пелагею Прохоровну завалили бѣльемъ еще во вторникъ. Она еще въ понедѣльникъ чувствовала головокруженіе и какую-то потяготу, но объ этомъ Петрову ничего не сказала, думая, что это пустяки, а онъ пожалуй подумаетъ, что она женщина изнѣженная. Вечеромъ въ понедѣльникъ головная боль усилилась, и она почти всю ночь не спала и рано

принялась за работу, думая скорее окончить стирку взятого белья.

— Ты ужь больно рано встаешь—эдакъ, пожалуй, охота отъ стирки отпадетъ,—сказалъ улыбаясь проснувшійся Петровъ.

— За то на масляницѣ много времени будетъ.

Весь остальной день Пелагея Прохоровна чувствовала себя хорошо, только голова немного болѣла. Вечеромъ она уговорила Петрова идти съ нею на Фонтанку полоскать белье.

— Ты бы попросила Софью Федосѣевну сходить за себя; погода-то больно вѣтрена сегодня,—сказалъ Петровъ.

— Нѣтъ, ужь будетъ барствовать; пора и самой за дѣло вѣзаться. Ужь я больше недѣли какъ изъ больницы вышла.

Прорубь была сдѣлана на открытомъ мѣстѣ; въ ней много женщинъ полоскало белье и, казалось, ни одна изъ нихъ не обращала вниманія на рѣзкій вѣтеръ. Впрочемъ и Пелагея Прохоровна не обращала вниманія на него, а берегла ноги, чтобы въ ботинки не попала вода, но уберечь ихъ отъ этого было невозможно—вода все-таки попала. Дорогой Пелагея Прохоровна вспотѣла; когда же они повернули въ свою улицу, то на встрѣчу подулъ опять рѣзкій, холодный вѣтеръ.

Пришедши домой, Пелагея Прохоровна выпила ковшъ холодной воды.

— Что ты дѣлаешь, дура! Хочется тебѣ, вѣрно, простудиться!—сказалъ сердито Петровъ.

— Ничего,—отвѣтила Пелагея Прохоровна, но ночью съ ней сдѣлалась горячка, и она вышла босая на лѣстницу.

Петровъ услышалъ, что кто-то ушелъ изъ квартиры и долго не ворочается; онъ зажегъ огня, взялъ большой молотокъ, чтобы утѣшить вора и съ ужасомъ увидѣлъ Пелагею Прохоровну босую и сидящую у противоположныхъ дверей. На вопросъ его она что-то безсвязно проговорила, и онъ съ трудомъ перетащилъ ее домой.

Пелагея Прохоровна захворала серьезно. Петровъ хлопоталъ много о томъ, чтобы поправить ея здоровье, ходилъ къ докторамъ, но хорошихъ не заставлялъ дома, а шарлатаны, оглядѣвъ фигуру Петрова, прописывали только лекарства. Отправился онъ во второй сухопутный госпиталь, но такъ какъ у него не было знакомыхъ, то и тамъ не могъ добиться никакого толку. Отправлять же Пелагею Прохоровну въ больницу ему не хотѣлось.

Барыни, давшія бѣлье и получившія его обратно въ грязномъ видѣ, сердились, называли Пелагею Прохоровну обманщицею; работа у Петрова шла туго; онъ больше находился у больной и расходовалъ накопленные имъ прежде деньги. А тутъ пришлось еще платить за квартиру впередъ за мѣсяцъ.

Наступилъ четвергъ масляницы,—день, въ который рабочіе въ Петербургѣ получаютъ расчетъ и начинаютъ гулять. Съ пятницы всѣ загуляли. Нарядный народъ шелъ толпами на Адмиралтейскую площадь, а Пелагея Прохоровна лежала въ горячкѣ. Горшковъ пьянствовалъ и часто приходилъ за Петровымъ; но тотъ не шелъ съ нимъ. При-

ходили къ нему и жена Горшкова съ сестрой и тоже совѣтывали отправить больную въ госпиталь или больницу, тѣмъ болѣе, что у нея есть адресный билетъ. Такъ Петровъ промаялся съ Пелагеей Прохоровной до воскресенья. Въ воскресенье она уже не могла говорить, а только показывала на горло. Петровъ перепугался страшно и побѣжалъ за докторомъ, но не засталъ дома. Когда онъ пришелъ домой, Пелагея Прохоровна уже не дышала.

— Все, значитъ, кончено! Ищи, голубушка, гдѣ лучше... Охъ ты, жизнь проклятая!!!—И онъ заплакалъ.

Пришла Софья Федосѣевна и тоже прослезилась.

— А все, Федосѣевна, я виноватъ! нужно мнѣ было удержать ее отъ стирки... Я думаю: не простудилась ли она тогда, когда шла изъ театра: она на другой день была какая-то скучная.

— Можетъ быть; тамъ вѣдь было очень жарко, а шли, такъ былъ вѣтеръ.

— Вотъ теперь и мнѣ жизнь не въ жизнь: показалось ясное солнышко и скрылось. Ужь теперь мнѣ не для кого хлопотать и стараться!—проговорилъ съ горечью Петровъ.

Пелагею Прохоровну похоронили на Митрофаньевскомъ кладбищѣ въ четвертомъ разрядѣ, потому что въ шестомъ Горшковъ и Петровъ не могли отыскать могилу брата ея; да и Петрову хотѣлось похоронить ее поближе.

Послѣ похоронъ, Петровъ переѣхалъ на набережную Обводного канала и поступилъ на заводъ компаніи главнаго общества россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Ему тяжело было жить на Итальянской, гдѣ померла любимая имъ женщина.

## ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ половинѣ мая Петрова выбрали въ десятники на заводъ съ жалованьемъ по сорока пяти рублей въ мѣсяцъ. Но, несмотря на то, онъ былъ задумчивъ и необщителенъ и рѣдко посѣщалъ питейныя заведенія. По праздникамъ онъ ходилъ на Митрофаньевское кладбище и вѣшалъ надъ могилой Пелагеи Прохоровны вѣнки съ цвѣтами. О своемъ горѣ онъ никому не любилъ рассказывать и, кромѣ кладбища, все свободное время употреблялъ на какую-нибудь работу дома. Жилъ онъ въ семейной квартирѣ и занималъ чистенькую комнатку, за которую платилъ пять руб. въ мѣсяцъ. Въ концѣ мая его квартирный хозяинъ сталъ перебѣзжать на другую квартиру, а такъ какъ комната ему очень нравилась, то онъ и оставилъ ее за собой, а надъ воротами приклеилъ бумажку, что у него отдается комната съ кухней. Черезъ недѣлю послѣ этого его квартиру стали смотрѣть мастеровые на томъ же заводѣ, Григорій Горюновъ и Власъ Коровавъ. Горюновъ и Коровавъ работали на заводѣ уже съ мѣсяцъ и слыли за хорошихъ рабочихъ, не пьянствовали, не пропускали дней и получали по рублю двадцати коп. за день. Они работали подъ командою Петрова, но Петровъ раньше не водилъ съ ними знакомства. А такъ какъ на заводѣ Коровавы

было двое, то Петрову и въ голову не приходила мысль, что который-нибудь изъ этихъ двухъ Коровавыхъ былъ женихомъ Пелагеи Прохоровны.

Петровъ отдалъ имъ комнату и кухню.

— Я-то можетъ быть недолго у васъ проживу. Вотъ Гриша жениться на дняхъ собирается. Пора ужъ, и такъ кажется больше году не вѣнчавшихся жамъ, — проговорилъ Коровавъ.

— Только пожалуй молодой-то не понравится комната — всего одно окно, — сказалъ Петровъ.

— Чего же еще надо? Мы люди привычные. Исходили чуть не всю Россію съ Лизкой.

— А вы откуда пришли-то?

Коровавъ называлъ заводъ и прибавилъ: „Мы пошли искать, гдѣ лучше“.

Петровъ растерялся и спросилъ:

— А вы тамъ не знали Пелагею Прохоровну Мокроносową?

Коровавъ и Горюновъ почти вскрикнули.

— Я ея братъ!

— Она мнѣ невѣста!

— Опоздали, господа. Она здѣсь была моя невѣста, да вотъ съ масляницы теперь вонъ гдѣ! — и онъ указалъ по направленію къ кладбищу.

— Неужели умерла? — сказали Горюновъ и Коровавъ.

— А кабы осталась тамъ, да вышла за тебя, Коровавъ, за-мужъ, и теперь была бы жива.

Коровавъ повѣсилъ голову, а Петровъ повелъ ихъ въ питейное заведеніе.

— Пойдемте къ дядѣ. Онъ недавно открылъ кабакъ, — сказалъ Горюновъ.

Терентій Ивановичъ, тому дня два, открылъ питейное заведеніе на Обводномъ каналѣ и теперь ставилъ на полки съ Лизаветой Елизаровной посуду. Онъ немного поздоровѣлъ и потолстѣлъ.

— Ну, что, дядя Терентій, гдѣ лучше? — спросилъ Терентія Ивановича Петровъ, входя въ заведеніе.

Терентій Ивановичъ поглядѣлъ на Петрова одними глазами, скривилъ лицо и сказалъ:

— А ну-ка, питерскій — по твоему, гдѣ?

— Нѣтъ, ты скажи — ты много городовъ искодилъ.

— Да што, братъ; богатому человѣку вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ плохо. На томъ свѣтѣ, должно быть, лучше.

— То-то ты и устраиваешь туда перекуты! Вонъ у насъ не даромъ ребята говорятъ: „въ кабакъ хорошо“. Только, я думаю, вашему брату, то есть вашему карману лучше?

— Не думай, братъ. Я вотъ снялъ кабакъ-то у Смильникова. Подрядился отъ него за тридцать рублей въ мѣсяцъ на семь на своемъ, да залогомъ отдалъ сто рублей. А вотъ теперь отъ него поступило водки всего одно ведро и посуды нѣтъ. Не знаю, что и дѣлать.

— Смотри, чтобы не надулъ: у него, говорятъ, долговъ много.

— Что ты!.. Да я почти всѣ деньги ему отдалъ и за кабакъ хозяину свои деньги заплатилъ за мѣсяцъ. Отъ Смильникова росписку получилъ.

— Ну, дѣло значить пропавшее. Впрочемъ нынче гласные суды открылись.

И Петровъ разсказалъ о смерти Панфила и со всею подробностію про Пелагею Прохоровну.

— А вотъ мы съ Гришкой дошли-таки благополучно. Что-то дальше Господь пошлетъ. Будетъ ли здѣсь лучше? — сказала Лизавета Елизаровна.

На другой день Григорій Прохорычъ перешелъ съ Коровавымъ и Лизаветой Елизаровной къ Петрову, и съ этого дня между Петровымъ и Коровавымъ началась дружба: оба они знали свое дѣло хорошо, были сдержанные и сходились во взглядахъ. Часто они задавали другъ другу вопросъ: гдѣ лучше? перебирали жизнь въ разныхъ мѣстахъ и приходили къ тому заключенію, что человѣкъ созданъ для того, чтобы самому себѣ добывать пропитаніе, а такъ какъ человѣку нужно для этого немного, то онъ былъ бы вполне доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тѣ, которымъ хочется жить въ свое удовольствіе.

Здѣсь я прошу у читателей позволенія остановиться съ своимъ повѣствованіемъ, которое въ непродолжительномъ времени я буду продолжать подъ другими названіемъ.

# СТАВЛЕННИКЪ.

## I.

Егоръ Ивановичъ Поповъ только что окончилъ курсъ семинаріи, и такъ какъ онъ окончилъ по первому разряду, то имѣлъ право просить священническаго мѣста.

Подобныхъ субъектовъ, какъ Егоръ Ивановичъ, можно встрѣтить очень много, если не по физіономіи, то по крайней мѣрѣ по манерамъ, сжатою произношенію, какой-то боязливости. Лицо у него неказистое, т. е. некрасивое: въ семинаріи его называли теркой. Терка—названіе, данное лицу, означаетъ, что лицо каравое, иначе сказать, оспой поѣденное. Это бы еще ничего—такъ бѣлизны нѣтъ. Глаза сѣрые, почти что слѣпые, но Егоръ Ивановичъ очковъ не надѣваетъ, вслѣдствіе чего нерѣдко сидѣлъ въ карцерѣ за то, что, попавшись на встрѣчу инспектору или какой-нибудь вліятельной губернской духовной личности, не снималъ имъ со-слѣпа шапку, въ родѣ того, какъ солдаты отдаютъ честь офицерамъ; носъ... Ну, да носъ вещь очень небольшая. Впрочемъ хорошій носъ придаетъ какую-то привлекательность лицу. А у Егора Ивановича носъ былъ неказистый, не потому впрочемъ, что онъ былъ еврейскій или монгольскій, чего конечно у него не могло быть, такъ какъ отецъ Попова происходитъ отъ дьячка, дѣдъ его тоже и предки были чистой русской крови. Теперь на Егорѣ Ивановичѣ суконный сюртукъ, уже отдѣнявшій, съ протершимися локтями и обшлагами рукавовъ, брюки триковые, сѣраго цвѣта, съ клѣточками, дешевой цѣны, фуражка годовъ шести; ну, сапоги конечно годовалые съ заплатами.

По этому можно заключить, что Егоръ Ивановичъ человекъ бѣдный, во первыхъ потому, что онъ терся въ семинаріи двѣнадцать лѣтъ, находясь подъ начальствомъ разныхъ должностныхъ семинарскихъ субъектовъ; во вторыхъ, занимаясь одинѣмъ только науками, онъ, не имѣя протекціи, долженъ былъ платить за квартиру съ хлѣбомъ то, что пришлетъ ему бѣдный отецъ его, заштатный дьяконъ Иванъ Ивановичъ Поповъ. Конечно можно бы и безъ протекціи найти какія-нибудь средства, наприимѣръ

учить дѣтей, или занимать кондичіи въ городѣ, но Егоръ Ивановичъ, во-первыхъ, не любилъ кланяться людямъ или напрашиваться, а во-вторыхъ, попалась ему кондичія у одного мѣщанина; сынъ-ученикъ оказался непонятливый, да его и отъ уроковъ часто посылали то къ Люсавину, то къ Ермолаихѣ, то по водку, и за два мѣсяца не заплатили учителю денегъ. А есть семинаристы и богатые.

Семинаристы вообще дѣлятся на бѣдныхъ и богатыхъ. Бѣдные бываютъ бурсаки и живущіе на квартирахъ, богатые—дѣти состоятельныхъ родителей; но вообще живущіе на квартирахъ оказываются состоятельными бурсаковъ-бѣдняковъ, т. е. дѣтей бѣдныхъ родителей и дѣтей, не имѣющихъ возможности наживать деньги сами собой.

Къ богатымъ принадлежатъ дѣти богатыхъ родителей, живущіе на квартирахъ, которымъ отцы шлютъ много денегъ, собственно для того, чтобы дѣти получили дипломъ на поступленіе въ духовную академію, семинаристы, обучающіе, по протекціи начальства, юношей, писмоководители семинарскихъ правленій, пѣвчіе. Къ разряду пѣвчихъ нужно причислить и архіерейскихъ пѣвчихъ; но архіерейскіе пѣвчіе наживаютъ больше всѣхъ семинаристовъ, не архіерейскихъ пѣвчихъ. Къ сословію богатыхъ принадлежатъ также: костыльники, книгодержцы, стоящіе у царскихъ вратъ со свѣтильникомъ, кладущіе у ногъ архіерея орлы, иподіаконы. Но эти молодые люди-мальчики, исключая иподіаконовъ, которые выбираются изъ философіи и богословія, дѣти большею частію протопоповъ. Они имѣютъ свои деньги, независимо отъ родителей,<sup>1</sup> такимъ образомъ: если архіерей служитъ въ престольный праздникъ въ городской церкви, освящаетъ церковь, ѣздитъ по епархіи, то причты даютъ каждому денегъ, какъ стоящему при архіерейской свитѣ и исполняющему нѣкоторыя обязанности.

Всѣхъ семинаристовъ въ семинаріи, гдѣ былъ Егоръ Ивановичъ, 750 человекъ. Они раздѣляются на *казеннокоштныхъ* и *своекоштныхъ*. Казеннокоштныхъ, или бурсаковъ, живущихъ на казенной



квартиры и пищи, — 400 человекъ, своекоштныхъ, живущихъ на разныхъ квартирахъ въ городѣ. — 350 человекъ. Казеннокоштные большею частию дѣти бѣдныхъ родителей, начиная отъ причетника до священника, служащихъ въ бѣдныхъ селахъ, безъ казеннаго жалованья; дѣти умершихъ родителей, сироты, приравненные начальствомъ. Казеннокоштные сближаются другъ съ дружкой и почти всѣ 400 человекъ если не пріатели, то хорошіе знакомые, начиная со словесности. Конечно изъ 400 человекъ нужно исключить уѣздниковъ, которые живутъ отдѣльно, и богослововъ, которые имѣютъ со словесниками шапочное знакомство и ни во что ставить уѣздниковъ. Житіе въ бурсѣ извѣстно всѣмъ, кто жилъ въ бурсѣ и кто читалъ „Очерки бурсы“ Н. Г. Помяловскаго. И потому о бурсакахъ говорить одно и то же не для чего: каждая семинарія походитъ на другія; исключеній почти что нѣтъ.

Своекоштные живутъ вольнѣе бурсаковъ. Въ городѣ много домохозяевъ, которые держатъ на квартирахъ преимущественно однихъ семинаристовъ, потому что семинаристовъ держать выгодно. У хозяина есть столы, стулья, кровати и даже *картинки* очень дешевой работы, двѣ-три комнаты и кухня. Если комната большая, то въ ней ставится три или четыре кровати или кровати, четыре стула, столъ, иногда и два; если комната маленькая, то двѣ кровати, одинъ столъ и два стула. Дома эти находятся около и недалеко отъ семинаріи. Съ каждого семинариста берется по одному рублю тогда, когда въ одной комнатѣ уже живутъ два семинариста, въ другой комнатѣ тоже два, въ третьей одинъ. Одна комната для одного стоитъ 2 и 3 рубля въ мѣсяцъ. За такую-то плату, а въ иныхъ домахъ и за 50 коп., семинаристы наполняютъ квартиры. За эту же плату можно послать хозяйку на рынокъ; хозяйка дастъ самоваръ, поставитъ его, сваритъ щи, только подай семинаристу деньги. Обѣдъ и квартира стоятъ 5 и 6 рублей въ мѣсяцъ тогда, когда хозяйка держитъ 7—8 семинаристовъ, и 7 руб., когда ихъ два или три. Житіе на этихъ квартирахъ нѣсколько спокойнѣе казеннаго житія. Не смотря на клоповъ и другихъ подобныхъ звѣрей и на грязь, каждый семинаристъ живетъ здѣсь какъ дома. Конечно уѣздникъ постоянно подъ началомъ старшаго — словесника, который ставится къ уѣздникамъ начальствомъ, но все-таки каждый можетъ безъ спросу сходить на рынокъ, на рѣку и пр., а послѣ вечераго визита инспектора, наблюдающаго своей персоной за нравственностью своекоштныхъ бурсаковъ или посылающаго вмѣсто себя богослововъ, семинаристы могутъ дѣлать, что хочется: пѣть пѣсни, плясать, и въ это время вступаютъ въ управу уже домохозяева, которые ругаются за то, что „дурья порода“ имъ спать не даетъ.

Уѣздники, дѣти сельскихъ церковнослужителей этого уѣзда, живутъ преимущественно съ уѣздниками да съ одними или двумя словесниками. Квартира съ пищею каждому обходится въ 4 и 5 рублей, если не допускается роскоши, какъ-то: не пьется чай, нѣтъ жаркого. По отъѣздѣ изъ деревни или

села, сынъ получаетъ отъ матери пудикъ муки, которая отдается хозяйкѣ для печенія. Одной ковриги или булки уѣзднику достанетъ на три дня, а хозяйка экономничаетъ такъ, что пудъ муки достаетъ уѣзднику на двѣ или на три недѣли. Отецъ шлетъ каждый мѣсяцъ сыну 3 или 5 рублей — и сынъ покупаетъ самъ съ рынка ковригу ржаного хлѣба, калачей и молока, которое носить торговка изъ завода черезъ два дня. Вставши утромъ, семинаристъ съѣдаетъ ломтикъ хлѣба или калачъ, который стоитъ 1 к. сер., припивая молокомъ. Обѣдъ тотъ же. Если у семинариста есть лишніе деньги, онъ покупаетъ говядины, крупы и картофеля, и хозяйка варитъ каждому или всѣмъ въ общихъ горшкахъ щи и кашу. Надо замѣтить, что семинаристы, живущіе на квартирахъ, дружны — у нихъ круговая порука. Всѣ знаютъ, что Попову отецъ прислалъ только два рубля, Поповъ издержалъ за квартиру 1 руб. и одинъ на щи и кашу съ хлѣбомъ и молокомъ, которыми угощалъ товарищей при безденежьи, то значить Попова надо посадить за общій столъ. Общій столъ состоитъ изъ общины. У каждого семинариста есть мѣшочекъ съ крупой и мѣшочекъ съ хлѣбомъ или калачами; мясо хранится на хозяйскомъ погребѣ. Утромъ каждый вынимаетъ мѣшочекъ.

— Что сегодня, щи?

— Давай.

— У меня, братъ, смотри: выдуло! — и семинаристъ вывертывается на изнанку свой мѣшокъ.

— Ну, и всѣ зубы на спичку.

— Елтонскій, дай горсточку!

— Ну, нѣтъ, братъ. Попроси у инспектора.

Всѣ хохочутъ, а семинаристы чуть не плачутъ.

— Дай, Вася... отдамъ...

Вася колотитъ просителя по головѣ кулакомъ, прочіе тоже накладываютъ, приговаривая: „вотъ тебѣ щи, вотъ тебѣ каша“; а одинъ барабанитъ по спинѣ немущаго кулакомъ, приговаривая: „каша наша, щи поповы“...

Оказывается, что только у одного семинариста есть крупа.

— Вы что же? — спрашиваетъ онъ товарищей.

— Дай! дай! дай!... — кричатъ товарищи.

Если товарищъ не дастъ крупы, крупу отнимаютъ силой, или заставляютъ его самого класть крупу въ горшокъ.

— Клади за меня!

— И за меня!

— Я двѣ горсти положилъ — будетъ.

— А за меня клалъ?

— Да будетъ двѣ горсти на всѣхъ!

— Какъ, братцы, по вашему: плутъ?

— Надувало, блинникъ!

— А за это что слѣдуетъ?

— Качать его *въ три лопатки!*

И семинаристы заставляютъ класть на всѣхъ по горсти, такъ что у него остается только горсть. Товарищи смѣются.

— Ничего. Проживемъ и на аржанушкѣ, а какъ получимъ отъ отцовъ — расквитаемся.

Случается, что отъ купленной только что вчера на всѣхъ говядины 5 фунтовъ сегодня утромъ ни

чуточки въ погребѣ не оказалось. Это объясняетъ хозяйка. Приходить она въ комнату, гдѣ всѣ семинаристы въ сборѣ и уже съ книжками въ рукахъ собрались идти въ семинарію.

— Молодцы! Бѣда какая вышла!—говоритъ она, хлопая руками по бокамъ платья.

А что!

— Да говядину то вашу кошка, будь она проклятая, слопала.

— Какъ же такъ?

— А такъ, слопала—и все тутъ.

— А мы этой кошкѣ голову свернемъ!

— Ой, что вы, ребятушки! Мой буско такой умникъ и все...

— Да какъ же слопала-то? Поди, плохо лежала?

— Знаете ли: я вѣчеръ заперла его въ погребъ, потому, значитъ, хомяковъ тѣмъ тѣмущая. А мой буско гораздъ... одно слово—умникъ... Ну, и заперла, значитъ, на самый замокъ, какъ есть заперла. Прихожу сегодня утромъ за коровницей \*)... Только знаешь ты, сударь ты мой, взглянула въ то мѣсто на полку, гдѣ ваша-то говядина была положена, взглянула — нѣту! Ахъ, пропасть! Пришла къ полкѣ, пощупала, вотъ этой правой рукой—нѣту! Эхъ, думаю, на моихъ молодцовъ все неудача... Ужъ я буска-то стегала, стегала ремнемъ, больно стегала... Воръ парень!

— Такъ какъ же теперь?

— Да не знаю. Говядины нѣту. Дадите денегъ—новой куплю.

— Вотъ тѣ и ши...

Одинъ запѣлъ: „воскресенія день, съѣла баба на пень“...

— Вы, хозяйшшка, сварите изъ своей.

— Что вы, молодцы! изъ своей!.. нѣту! Не постояла бы... Право слово, нѣту, да я натица сегодня.

— Купите, пожалуйста.

— Дайте денегъ.

— Да нѣтъ. Отцы не прислали

— Эко дѣло. Я уже сбѣгаю къ сосѣдкѣ: можетъ дать.

Хозяйка уходитъ, а семинаристы гвалтъ поднимаютъ. Одинъ говоритъ: „хозяйка украла“, другой говоритъ: „она не въ первой воруетъ, надо уличить ее“, третій кричитъ: „братцы, на другую квартиру съѣдемъ“ и пр., наконецъ соглашаются, что на этой квартирѣ хорошо, хозяйка ласковая, часто на рынокъ ходитъ, не сердится, когда мы кричимъ и поемъ пѣсни, а если съѣла, такъ чортъ съ ней: намъ лучше, а жаловаться некому, да и не стоитъ.

Если у кого-нибудь есть щи или каша, то обѣдаютъ всѣ. При этомъ конечно хозяйинъ приглашаетъ только своего друга: другъ этотъ проситъ товарища пригласить своего друга, да и хозяйину совѣстно не пригласить остальныхъ, иначе онъ не пріятности отъ нихъ наживетъ: сначала обѣдать

ему не дадутъ въ удовольствіе, потомъ отомстятъ ему,—и обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ. Если ни у кого нѣтъ ни крупы, ни мяса, каждый ѣстъ ржаной хлѣбъ.

Бываютъ у этихъ семинаристовъ праздники тогда, когда къ одному изъ товарищей прѣзжаетъ или отецъ, или братъ, или просто церковнослужитель родного села. Тогда этотъ господинъ съ самаго начала знакомится со всѣми семинаристами квартиры (живутъ на квартирахъ, въ одной комнатѣ или въ одномъ домѣ, уѣздники и словесники изъ одного села и братья родные, но это рѣдко, потому, во-первыхъ, что однопоселянъ мало, братьевъ тоже мало, и во-вторыхъ, философы и богословы живутъ отдѣльно отъ уѣздниковъ, какъ люди знатные высшими науками,—люди, готовящіеся въ священники или еще выше, и если у нихъ есть братья, то эти братья живутъ съ ними (но объ нихъ я скажу дальше); такой господинъ, познакомявшись со всѣми семинаристами квартиры, даетъ денегъ своему родственнику подъ видомъ поста на его квартирѣ, а если у него есть лишніе деньги, то даетъ и въ долгъ. Тогда покупаются на счетъ прѣзжихъ разныя сласти, водка и угощаются всею компаніею. Тогда всѣ равны, и разгулъ — „что твоя малина“... Но это бываетъ всего нѣсколько разъ въ годъ.

Уѣздники—мальчики отъ 10-ти до 15-ти лѣтъ. Словесники — старше годами. Тѣ и другіе боятся мальчики дома и въ классахъ до учителей, но случается, и при учителяхъ пошаливаютъ, что конечно имъ даромъ не проходитъ. Живя дома (въ селахъ) на волѣ, они и здѣсь на квартирахъ „на колѣ дыру вертять“, потому что живутъ съ своими товарищами, къ нимъ ходятъ тоже товарищи, прѣзжаютъ родственники. При родственникахъ или родныхъ они дѣлаются смирными, хотя у нихъ уже проявляются городскія наклонности; но часто ѣздить или останавливаются на этихъ квартирахъ причетники, дьячки и пономари, перепрашивающиеся съ мѣста на мѣсто, хлопочущіе о стихаряхъ, разныя дьяконы по разнымъ дѣламъ, и съ этими людьми они *кутаютъ*, т. е. пьютъ ихъ чай и водку, а иногда даже грызутъ орѣхи. Свою удалъ и молодечество они проявляютъ другъ на другѣ: кто кого переборетъ, перехитритъ, перекричитъ, перестышитъ. Отъ такой жизни многіе дѣются учить уроки, и хотя за ними слѣдятъ старшіе, ихъ сбьютъ, оставляютъ безъ обѣда, но наука все-таки плохо прививается къ нимъ. Нельзя сказать, чтобы были всѣ такіе, есть между ними и хорошіе ученики. Все ихъ развитіе состоитъ въ заучиваньи учебниковъ, во всевозможныхъ играхъ. Пѣнія духовныхъ и свѣтскихъ пѣсень, разговорахъ, касавшихся предметовъ житейскихъ, и насмѣшекъ надъ другими. Уѣздникъ умѣетъ передразнить встречнаго и прохожаго, какъ онъ ходитъ, и даетъ ему какое-нибудь смѣшное прозвище, а иногда и въ глаза скажетъ ему неприличное слово. Это происходитъ отъ глупаго воспитанія и еще болѣе того—образованія. Въ селѣ мальчикъ видѣлъ крестьянъ и своего отца считалъ выше ихъ; жизнь тамъ однообразная, развитія никакого. Здѣсь хотя и губер-

\*) Коровница—желѣзный или оловянный горшокъ, въ который доятъ изъ коровы молока.

скій городъ, и народъ развитіе сельскаго, и жизнь разнообразіе сельской, но мальчикъ знаетъ только свое общество, общество товарищей и ни самъ и ни товарищи не знаютъ свѣтскаго губернскаго общества, и мальчикъ, воспитанный на духовныхъ (церковныхъ) началахъ, смѣется надъ этимъ обществомъ, завидуя мальчикамъ не-семинаристамъ. И здѣсь на квартирахъ, такъ же какъ и въ бурсѣ, часто приходится сидѣть въ комнатѣ, потому что семинаристы боятся идти на городское гулянье, а о театрѣ и помину нѣтъ. Начальство зорко слѣдитъ за своекоштными и часто заглядываетъ на однихъ суткахъ въ ихъ квартиры. Начальство знаетъ, сколько живетъ въ этомъ домѣ семинаристовъ и кто живетъ. Приходить оно въ комнату и спрашиваетъ: — отчего не всѣ?

— На рынокъ ушли, — отвѣчаютъ семинаристы, хотя начальство придетъ въ одиннадцатомъ часу вечера. Черезъ четверть часа приходитъ фискаль начальства, и если въ это время или еще черезъ часъ не придутъ ушедшіе, то ихъ на другой день выпорютъ и они будутъ значиться „поведеніемъ безразличными“. Да если и удастся семинаристу быть въ театрѣ или на гуляньяхъ, то кто-нибудь изъ товарищей проболтается въ классѣ, и безправственный получитъ порку и названіе поведенія „худого“. Каждый семинаристъ радъ, если попадется ему какая нибудь книжонка. У хозяевъ бываютъ книжки, отъ одной до десяти, приобретенныя отъ разныхъ жильцовъ за долги. Но эти книги или старые учебники, или въ родѣ „Милорадъ англійскій“, „Могила Маріи“ и тому подобной дряни, которую каждый квартирантъ читаетъ съ жадностію разъ пять и больше, и хвалитъ. Если у кого есть деньги лишнія, тотъ покупаетъ книжки на толкучкѣ, но тоже книжки старыя, которыя не только не развиваютъ способности, но даже отбиваютъ охоту къ чтенію. Въ этомъ городѣ было нѣсколько библиотекъ, но эти библиотеки были недоступны ученикамъ по дорогой цѣнѣ, да и сами состоятельные семинаристы, жаждавшіе хорошаго чтенія, не могли получать книги изъ библиотекъ: начальство не приказывало читать свѣтскія книги, и, узнавши, что семинаристъ „шелкоперъ“, — читаетъ свѣтское, — страшно наказывало его, даже исключало; да и сами библиотекари не давали книгъ „мальчишкамъ“, потому что книги терялись. Но эти библиотеки существовали назадъ тому годовъ шесть. Теперь тамъ существуютъ болѣе доступныя библиотеки, и каждый уѣздникъ можетъ читать, что хочетъ. Какъ это сдѣлалось, я скажу сейчасъ.

Итакъ, назадъ тому годовъ шесть уѣздники были очень неразвиты, и, кончивши науки въ уѣздномъ училищѣ, они въ словесности ровно ничего не понимали. То же было и съ Егоромъ Ивановичемъ, и съ прочей братіей. Вступивши въ настоящую семинарію, молодые люди начинаютъ пренебрегать уѣздниками и живутъ съ ними только ради начальства или по крайней бѣдности. Каждый словесникъ непременно хочетъ жить съ словесникомъ, для того, чтобы ему не мѣшало писать ребятъ и было удобнѣе учиться по риторикѣ и сочинять задачки. Сло-

весники — сочинители, значить люди, начинающіе мыслить. Но что можетъ сочинять пятнадцатилѣтній юноша, когда онъ до сихъ поръ еще ничего не понималъ, уча реторику по книжкѣ „отюда и досюда“, когда учителя не въ состояніи объяснить, а только требуютъ задачекъ на темы. И учать, и читаютъ словесники словесность по старымъ книгамъ, и пишутъ на заданныя темы все труднѣе и труднѣе, — мучатся два года и поступаютъ въ философію съ перепутанными мыслями; никакой идеи нѣтъ, все какая-то бессмыслица, убожество, рабство какое-то. Давали и свѣтскія сочиненія для разбора, напримеръ Пушкина, Лермонтова, а больше Карамзина и Ломоносова, но не всѣмъ; большая часть словесниковъ должны были списать какіе-то стихи, выучить и написать критику. Современныхъ изданій въ семинаріи не было; въ городѣ достать трудно, да и начальство дозволяло читать только проповѣди древнихъ писателей и извѣстныхъ іерарховъ, особенно почитаемыхъ духовнымъ міромъ...

Философы жили съ философами и богословами, занимая каждый по комнатѣ. Это были уже 18-ти — 20-ти-лѣтніе молодые люди, и на себя смотрѣли, какъ на дьяконовъ и священниковъ. Каждый своекоштникъ хотѣлъ свободы для своихъ занятій. Тутъ дружба была уже крѣпкая. Каждый старался высказать свое мнѣіе другому, каждый спорилъ по тому, что онъ понималъ изъ науки, и каждый старался отличиться передъ товарищемъ. Тутъ ужъ уѣздники и словесники ни во что ставились.

Какъ въ философіи, такъ и въ богословіи преобладалъ схоластическій элементъ. Профессора, люди старые, старающіеся угодить начальству для полученія орденовъ и должностей повыше, держали молодыхъ людей по собственному своему разсужденію и требовали знанія по книгамъ. Чтеніе свѣтскихъ книгъ здѣсь строго запрещалось, а именно: читающій свѣтскія книги могъ быть исключенъ, а каково быть исключенному изъ богословія? Свѣтское общество совсѣмъ было закрыто для молодыхъ людей, и если они сталкивались съ нимъ на гуляньяхъ, то все-таки изъ кучки людей трудно что-нибудь составить... Но наконецъ и въ семинаристахъ проявилось свѣтское образованіе.

Семинаристы — народъ разговорчивый, но разговорчивый не со всѣми. Въ семинаріи онъ запуганъ, со свѣтскимъ робокъ, боится говорить, зная, что свѣтское общество считаетъ семинаристовъ за пьяный и забытый народъ. Такъ было по крайней мѣрѣ прежде. Прежде, исключенный изъ богословія поступалъ или въ почталыоны, или въ уѣздный судъ писцомъ, и это было назадъ тому шесть лѣтъ... Кто не знаетъ, что такое въ провинціи архіерейскіе пѣвчіе! Они учатся мало, потому, во-первыхъ, что ѣздить по губерніи съ архіереямъ, часто приглашаются на свадьбы, похороны и проч.; во-вторыхъ, они, получая квартиру, хорошую пищу, большіе доходы, пьянствуютъ, а науками не утруждаютъ себя, и въ будущемъ расчитываютъ на то, что они всю жизнь останутся архіерейскими пѣвчими. А быть архіерейскимъ пѣвчимъ — вещь очень трудная. Уѣздникъ, по капризу регента, можетъ быть исклю-

ченъ изъ пѣвчихъ и выйдетъ конечно дуракомъ. Словесники и философы — теора — держатся, а богословы и съ худымъ голосомъ остаются и послѣ курса семинарскаго въ пѣвчихъ, поступаютъ дяконами и все-таки поютъ въ хору.

Архіерейскіе пѣвчіе въ славѣ во всей губерніи, но больше въ губернскомъ городѣ, гдѣ они со свѣтскими знакомятся на свадьбахъ и похоронахъ при водкѣ. Сидя за столомъ при водкѣ, студентъ университета начинаетъ подпускать либерализмъ. Семинаристы слышатъ что-то новое, смѣются, ругаются, не вѣрять. Его урезониваютъ фактами... „Поди ты къ чорту!“ — кричитъ семинаристъ... Но знакомство уже началось со свѣтскимъ человекомъ: свѣтскій человекъ говоритъ толково, такъ, что ты его ничѣмъ не урезонишь. Правду говорить. — Да ты откуда знаешь? — спрашиваетъ семинаристъ. — „Насъ учили такъ. Наша литература открываетъ намъ глаза“. — Врешь ты все. „Да ты читалъ ли что?“ — Нѣтъ. — „Такъ ты прочитай, а потомъ и суди“. Пѣвчему, тѣмъ болѣе архіерейскому, можно недѣлю не ходить въ семинарію по болѣзни, да и начальство туда не заглядываетъ каждый день, поручая слѣдить за ними эконому и надѣясь на самого владыку. Пѣвчій можетъ читать, что угодно, потому что нѣтъ начальства. Онъ прочтетъ хорошую книгу, и у него вдругъ является сомнѣніе въ своей наукѣ; онъ соображаетъ прошедшее и настоящее съ тѣмъ, что онъ видѣлъ у свѣтскихъ, гдѣ онъ бывалъ не десять разъ: ему кажется, что это такъ и должно быть, люди живутъ какъ то не такъ, а я чему учусь? Сочиненіе читаютъ всѣ богословы, философы и словесники, оно разбирается и отъ одной умной головы переходить согласныя убѣжденія ко всѣмъ. У всѣхъ явилось сомнѣніе и недоверіе; всѣ чувствуютъ это и сообщаютъ по секрету своимъ друзьямъ. А у молодыхъ людей, еще не проникнутыхъ новизной, сказалъ одинъ толково, резонно, и всѣ соглашались съ его мнѣніемъ, разбираютъ и говорятъ „это такъ!“ Сомнѣніе въ семинарской наукѣ распространилось по всей семинаріи, исключая уздниковъ. Стали семинаристы доставать секретно сочиненія Вѣлинскаго и Добролюбова, подписывались по 20-ти человекъ на одинъ билетъ въ бібліотеку и доставали серьезныя книги; одинъ читалъ, всѣ слушали, разбирали, критиковали по своему; узнали настоящую жизнь и стали учиться... умнѣе своихъ профессоровъ. Профессора стали замѣчать что-то новое, неподходящее, и стали слѣдить за ними... Узнало начальство, что цѣтъ семинаріи, надежда ея, читаетъ свѣтскія книги, да еще книги иностранныя, стало выхватывать, конфисковать эти книги, которыя или бросало въ печки, или запирало въ свои шкафы... Молодымъ людямъ трудно было вынести это насиліе, но они ничего не могли сдѣлать съ властью... Такъ продолжалось два года. Но вотъ поступили профессорами пять академиковъ съ новымъ направленіемъ. Это были молодые люди. Они сразу поворотили науку по нынѣшней методѣ. Семинаристы съ перваго раза полюбили ихъ, и на лекціяхъ шла наука настоящая... Потомъ эти профессора, съ помощью

всѣхъ богослововъ, философовъ и нѣсколькихъ словесниковъ, накупили книгъ и открыли публичную бібліотеку въ городѣ, завѣдываніе которою принялъ на себя одинъ изъ профессоровъ. Всѣ семинаристы читали даромъ, и читали настоящую философію, настоящую науку... Они стали сочинять, завели свои журналы... Это продолжалось полтора года.

Начальство стало жаловаться на молодыхъ профессоровъ. Семинарію закрыли.

Ревизоръ, пріѣхавшій изъ Петербурга, нашелъ, что семинаристамъ можно читать свѣтскія книги...

Теперь тамъ дозволяется читать свѣтскія книги. Семинаристы, начиная съ уздниковъ, читаютъ русскіе журналы.

Егоръ Ивановичъ платитъ за комнату два руб. въ мѣсяцъ уже четыре года. Отецъ исправно высылаетъ ему къ первому числу по восьми рублей. Такъ какъ на шесть рублей трудно содержать себя, то онъ утромъ питается молокомъ и кускомъ ржаного хлѣба, обѣдъ то же, иногда и щи, иногда и чай, но это бываетъ рѣдко, по праздникамъ. И то въ складчину съ другими семинаристами однокурсниками, живущими въ томъ же домѣ. Такъ какъ семинаристы, начиная со словесности, не играютъ въ карты, въ мячикъ и прочія игры, то Егоръ Ивановичъ занимался постоянно книгами. Придетъ домой изъ семинаріи, поѣстъ, полежитъ на кровати, поговоритъ съ товарищами кое о чемъ и примется за лекціи. Если самъ чего-нибудь не понимаетъ, то совѣщается съ товарищами, и тѣ тоже совѣтуются съ нимъ. Товарищи мало слѣдили дома, они уходили къ другимъ товарищамъ или приводили на квартиру ихъ пріѣзжихъ дяконовъ и священниковъ, и кутили. Егоръ Ивановичъ рѣдко выходилъ изъ дому, онъ постоянно твердилъ книги, вычитывалъ, сочинялъ, переписывалъ лекціи въ классахъ былъ вторымъ ученикомъ. За прилежаніе и хорошее поведеніе ректоръ избралъ его къ себѣ въ службу. Обязанность такая: одѣвать ректора въ церкви, т. е. надѣвать ризу, митру, и стоять при немъ при церковныхъ службахъ. Но это продолжалось съ мѣсяцъ. Въ это время богословы и философы читали секретно книги, и какъ всѣ богословы и философы любили Егора Ивановича за честность и за то, что онъ ни на кого не клезуничалъ, не фискализъ, то стали его сбивать на новыя идеи. Сначала Егоръ Ивановичъ только смѣялся.

— Полно вамъ, господа, переливать изъ пустого въ порожнее. Ну что вы толкуете-то? Къ чему это?

— Ты тоже хорошъ, ты пойми то, что ты богословъ, хорошій ученикъ, народу будешь, можешь быть, говорить проповѣди.

— Дакъ что?

— Дакъ что? Фофанъ ты эдакой!.. Стыдись!

Егоръ Ивановичъ мало-по-мало сталъ стыдиться... Однажды онъ при народѣ какъ-то нечаянно уронилъ изъ рукъ ректорскую митру. За это его отставили отъ должности, къ поведенію значилось

цѣлый годъ *неблагодѣйствъ* и на цѣлый мѣсяцъ начальство дало ему такой искусь: онъ долженъ былъ исполнять въ семинарской церкви должность старосты: ставить свѣчи, ходить по церкви съ кружкой и тарелкой. Въ послѣднее время ему туго приходилось, и онъ каждый день боялся того, чтобы его не исключили. Однако онъ кончилъ курсъ.

Утро. Егоръ Ивановичъ сидитъ въ тиковомъ халатѣ у окна и читаетъ какой-то журналъ.

— Егоръ?—спросилъ его товарищъ изъ другой комнаты, Павелъ Ивановичъ Троицкій.

— Что?

— Да нѣтъ чаю.

— Ладно и такъ.

— Ну, не то ладно. А скверно, братъ, денегъ нѣтъ ни гроша. Отецъ не посылаетъ. Придется сегодня обойтись на пищѣ св. Антонія.

— Я и самъ удивляюсь, что это сдѣлалось съ нами отцомъ. Вѣдь знаетъ, что нужно ѣхать.

— А славно мы теперь погуляемъ! Кончили, Егорушко, ученіе проклятое... Сколько мы годовъ учились!

— Много...

— Карьера открывается: ежели въ духовное—попъ, въ свѣтское—чиновникъ.

— Труденько досталось намъ это.

— А я, братъ, еще буду учиться; съѣмъ всю науку до конца.

— Нѣтъ, я не стану учиться. Я много перенесъ,—будетъ.

— А сомнѣнья-то куда дѣлать?

— Постараюсь бросить.

— Ну, братъ, коли твои мозги начали двигаться, сомнѣнья не заглухнуть. Ты только что началъ понимать вещи и многихъ вещей не понималъ, потому что съ нашей семинарской наукой и не понималъ ихъ. У насъ стараются доказать, что мы съ своей наукой и кончили все, униками стали... Конечно, мы грамматику хорошо знаемъ и изложить на бумагѣ умѣемъ, но что изложить? А заставь насъ по свѣтски сочинить, и *твердо-онъ-то, да подперто...* Мы даже и говорить-то со свѣтокими не умѣемъ.

— Потому что мы духовные.

— Ужъ коли мы исполняемъ такія обязанности, проповѣдуемъ о добродѣтели, такъ намъ нужно все знать. Надо или заслужить довѣріе свѣтскаго общества, или вовсе не быть духовнымъ. Ужъ если быть учителемъ, такъ и вести себя по учительски. А чтѣ мы знаемъ? Спроси насъ свѣтскій что-нибудь серьезное, мы и скажемъ: это воля Божья... А почему же мы-то не можемъ разъяснить? Вѣдь свѣтскіе разъясняютъ же? Стало быть, они умнѣе насъ...

— Я думаю, въ селѣ лучше жить. Тамъ общество проще. Крестьяне народъ славный.

— Хорошо. Ты и будешь жить тамъ всю жизнь: будешь ѣсть, да спать, да толстѣть...

— Буду говорить проповѣди.

— Семинарскимъ-то слогомъ? Да крестьяне не

поймутъ тебя!—Немного помолчавъ, товарищъ продолжалъ:

— Въ деревню тебя манитъ простота народная... И заживешь ты по крестьянски, съ тою только разницею, что тебя будутъ считать бариномъ, пожалуй еще выше; шапки будутъ снимать, въ поясъ кланяться, хлѣбъ будетъ готовый, сѣно готовое—добытое трудами крестьянъ... Ты теперь молодъ, ты любишь народъ. Сначала ты примешься говорить съ крестьянами ласково; учить дѣтей будешь по нынѣшнему; крестьяне полюбятъ тебя... Но повѣрь, эта привязанность охладится. У тебя будутъ дѣти, надо будетъ учить ихъ, заботиться объ нихъ; надо будетъ денегъ, ты и начнешь отставать отъ ладу съ крестьянами; озабоченный, ты будешь стараться обезпечить будущность своего семейства, будешь требовать съ крестьянъ то того, то другого... Теперь развитіе... Сначала ты будешь говорить по нынѣшнему, по городски, а потомъ и это надоѣстъ, потому что тамъ не поймутъ, смѣяться будутъ, пожалуй еще будутъ говорить, что неприлично. Читать тамъ нечего, а если будешь выписывать журналы на крестьянскія деньги, такъ еще напишетъ кто-нибудь на тебя жалобу. Ты и бросишь все и будешь или лежать, или по грибы ѣздить, или будешь дѣлать то, что дѣлаютъ крестьяне.

— А развѣ это худо?

— Не худо по грибы ходить, да дѣлать наравнѣ съ крестьянами то, что и они дѣлаютъ. Жаль только, что молодость пропала. Еще ладно, что хоть обезпеченіе-то будетъ: мѣсто дадутъ. Вотъ только къ чему послужило наше долготѣнее терпѣніе, а тамъ и будешь толстѣть на пользу своей утробы. Людямъ же ты никакой пользы не принесешь.

— Принесу.

— Въ тягость имъ будешь.

— Ну, и врешь!

— Ты, Егоръ Ивановичъ, непремѣнно открой воскресную школу.

— Открою.

— Только учи по свѣтскому, эдакъ не прямо съ бухты баракты, а по легонечку имъ растолковывай... Впрочемъ тебѣ бы и самому надо поучиться.

— Будетъ.

— Какъ знаешь. Да пожалуйста, какъ будешь учить ребятъ, розги и колотушки исключи.

— Не толкуй—знаю, что дѣлать.

Троицкій махнулъ рукой и ушелъ въ свою комнату. Троицкій былъ второго разряда и развитый на столько, что другой элементъ взялъ въ немъ перевѣсъ. Онъ сегодня собирается подать прошеніе объ исключеніи его изъ духовнаго званія.—«Пойду учиться въ университетъ, всю жизнь буду работать, дойду таки до настоящаго.»

Поповъ не любилъ Троицкаго за его разсужденія, и у нихъ почти каждый день бывали споры и ссоры. «Къ чему это онъ говоритъ все? Вѣдь меня ужъ не передѣлаешь, не вышибешь изъ башки то, что въ семинаріи вбили въ нее... Да и лучше,—спокойнѣе. Пора и отдохнуть...» Поповъ даже хо-

тѣлъ переѣхать на другую квартиру, но онъ любилъ Троицкаго за что-то, особенно жалко было разстаться съ тѣмъ, съ которыми онъ двѣнадцать лѣтъ жилъ вмѣстѣ.

Девять часовъ утра. Поповъ, одѣвшись, пошелъ въ почтовую контору Тамъ спросилъ у почтальона, нѣтъ-ли повѣстки или письма на его имя. Ни письма, ни повѣстки не было. Поповъ запечалился и пошелъ на берегъ къ тому мѣсту, гдѣ сидѣли на скамейкѣ двое пріѣзжихъ, одинъ въ расѣ, другой въ подрясникѣ, которыхъ по одеждѣ трудно различить, кто они, потому что дьяконъ и священникъ носятъ расы, а дьячки, пономари и причетники — подрясники. Поповъ всталъ недалекъ около нихъ.

— Вы секретарю сколько намѣреваетесь дать? — спрашивалъ подрясникъ.

— Да рублей пять. Столоначальнику рубля три надо.

— А я такъ право не знаю, что дѣлать.

— Воля Божья. — Оба собесѣдники замолчали и плачевно смотрѣли на рѣку.

Поповъ подошелъ къ нимъ, снялъ фуражку и проговорилъ:

— Здравствуйте. Вы откуда?

— Здравствуйте, — сказали собесѣдники и оба сняли шапки. Раса подвинулась и проговорила.

— Просимъ покорно. Вы семинаристъ, если не ошибаюсь?

— Кончившій курсъ.

— Очень пріятно. Что же мѣсто получили?

— Нѣтъ еще. Даже не знаю, гдѣ вакансіи есть.

— Ну это плохо. Я тоже кончилъ курсъ назадъ тому годовъ семь, два года ходилъ въ консисторію, да въ архіерейскую канцелярію: едва нашелъ. А позвольте ваше имя и отчество?

— Егоръ Ивановичъ Поповъ.

— Очень пріятно! Очень пріятно!.. Я дьяконъ единоувѣрческой церкви въ Крестовоздвиженскомъ селѣ.

Слѣдуютъ распросы объ единоувѣрцахъ и рассказы объ нихъ.

— Житья нѣтъ. Поэтому хочу перепроситься въ православные, хоть бы на причетнической окладѣ.

По духовному вѣдомству священникъ выше дьякона, дьяконъ выше дьячка, носящаго стихарь, дьячокъ ниже пономаря, носящаго стихарь и т. д. Есть священники, отправляющіе службу по *саму*, не получающіе доходы наравнѣ съ дьякономъ, — это значить священникъ на дьяконскомъ окладѣ.

— Я, Егоръ Ивановичъ, вотъ уже вторую недѣлю трусь здѣсь, сколько денегъ разсовать, служу я дьячкомъ, надо стихарь. Всего на всего осталось два рубля да тридцать копѣекъ — проговорилъ подрясникъ.

Дьяконъ захохоталъ.

— Подумаешь, и дѣло-то пустое: стихарь надо. Сколько въ службѣ?

— Одинадцатый годъ.

Дьяконъ мотнулъ головой, въ знакъ удивленія, и впился глазами въ Егора Иваныча.

— Каково?

— Плохо. А вы гдѣ обучались?

— Изъ причетническаго класса исключенъ.

Дьяконъ угостилъ собесѣдниковъ нюхательнымъ табаккомъ, который Егоръ Иванычъ нюхалъ изрѣдка.

— А вотъ что, Егоръ Иванычъ, поѣзжайте въ Милютинскъ, тамъ, знаете ли, женскій монастырь есть и при немъ воспитанницы.

— Знаю.

— Ну, вы сначала къ владыкѣ сходите, чтобы онъ разрѣшилъ вамъ вступить въ законный бракъ съ воспитанницей и послалъ туда указъ. А тамъ настоятельница сама изберетъ вамъ невѣсту и мѣсто дастъ.

— Я письмо отъ отца жду.

— А вашъ батюшка кто?

— Заштатный дьяконъ.

— Что же, невѣсты тамъ есть?

— У священника дочь годовъ осьмнадцати.

— Вотъ и дѣло. Значить дѣло за мѣстомъ.

— А я бы изъ монастыря взялъ, — сказалъ дьячокъ.

— А вы женаты, Павелъ Максимычъ? — спросилъ дьячка дьяконъ.

— Женатъ, семеро дѣтей, малъ-мала меньше..

— У меня тройка... Изъ монастыря оно конечно хорошо, можно въ городѣ мѣсто получить, а городское житье не въ примѣръ лучше сельскаго, въ особенности въ такомъ городѣ, какъ Милютинскъ.

— Я пожалуй не прочь, только бы состояніе имѣла.

— Ну, тамъ, я вамъ скажу, дадутъ вамъ приданое, да сто рублей денегъ, и больше ничего. Да и дѣвнца-то, сказываютъ, того-съ... не надежная..

— Это плохо.

— А ваша невѣста, позвольте спросить, богатая?

— У меня еще нѣтъ невѣсты.

— Полноте шутить! Давеча сказали, что у священника вашего дочка есть.

— Да вѣдь кто же ее знаетъ?

— Дѣловъ не имѣли? — Дьяконъ захохоталъ.

— Да какъ вамъ сказать: прежде игравали вмѣстѣ, но дѣлъ никакихъ не было; въ прошлое лѣто она гостила у тетки, а въ третьемъ годѣ я здѣсь въ больницѣ пролежалъ всю вакацію.

— Больше у священника нѣтъ дѣтокъ женскаго пола?

— Есть двѣ дочери: одной тринадцать лѣтъ, а другой седьмой.

— Недоростки!

Молчаніе. Дьячокъ вдругъ обращается къ Егору Иванычу.

— Знаете ли что?

— Что?

— Вчера я былъ въ консисторіи. Смотрю, сторожъ газету читаетъ. Каково? сторожъ газету читаетъ и хохочетъ... Миѣ показалось больно смѣшно, грѣхъ те зашибъ!.. Подхожу къ нему и спрашиваю: „что, Никифоръ Иванычъ, изъ Москвы пишутъ: усмирили ли враговъ?“ Онъ и говоритъ: „да ничего

такъ, ужь больно занятно"... „Дайте, говорю, Никифоръ Ивановичъ, газетки почитать". „Нельзя", говоритъ. Я ему далъ двугривенничекъ, уступилъ и показалъ на одно мѣсто: „вотъ, говоритъ, жениха вызываютъ", и хохочетъ. Я думаю, что же тутъ? Ну, надѣлъ очки и читаю, и что же, Егоръ Петровичъ...

— Егоръ Ивановичъ,—подсказалъ дьячокъ.

— Извините, Егоръ Ивановичъ... Ну-съ... На чемъ, бишь, я остановился?.. Да. Ну, читаю.. Въ Воронежской губерніи, знаете ли, въ какомъ-то уѣздѣ (я было записалъ уѣздъ-отъ, да потерялъ, либо на папироски сжегъ съ пьяна) дьяконъ умеръ, а у вдовы осталось четыре дочери. Вотъ она и подала просьбу консисторіи. Должно быть, консисторія не нашла жениховъ и напечатала цидулку или *указъ*, какъ тамъ по свѣтскому—не знаю, что-де, кто дѣвицу Анну, 22 лѣтъ, т. е. сестру старшую, возьметъ замужъ, за тѣмъ и мѣсто останется.. Каково? Благая мысль. Вотъ мы живемъ въ захолустьи и ничего не слышимъ, а здѣсь все можно узнать. Благая мысль. Махните-ко! А?

— Далеко.

— А сколько верстъ?

— Да верстъ тысячи двѣ.

— У-у! Экая даль, Господи помилуй.

— Я мекаю, поди, теперь туда много жениховъ-то набѣжало, — замѣтилъ дьячокъ.

— Въ какую-то даль?

— А своя-то губернія?

— Точно, точно... Ваша правда, Павелъ Максимъчъ.

Чтобы удостовѣриться въ томъ, какъ скоро знакомятся духовные между собою, духовные, не выдавшие другъ друга никогда и живущіе другъ отъ друга на разстояніи 200—300 верстъ, нужно зайти въ крестовую церковь или въ кафедральный соборъ во всенощную или въ обѣднѣ, когда служатъ архіереи. Тутъ собраны лица духовнаго вѣдомства почти со всей губерніи. Тутъ вы увидите протоіерея въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ, монаховъ, снимающихъ свои камилавки и скуфы и клобуки во время главныхъ молитвъ, славословій и священнодѣйствій, священниковъ (которыхъ можно отличить по крестамъ 1853—1856 годовъ), дьяконовъ, или, проще, лицъ личнаго дворянства духовнаго вѣдомства, и подрясниковыхъ дьячковъ, пономарей и причетниковъ. Въ церкви ихъ человѣкъ 20. Они знакомятся такъ.

Подходитъ священникъ къ протопопу и становится рядомъ. Священнику хочется свести знакомство съ протопопомъ для того, чтобы *прозрѣть*, каковы тамъ мѣста. Но какъ заговорить съ протопопомъ? Священникъ вынимаетъ табакерку, шелкаетъ пальцами по крышкѣ и крикнетъ... Знай, молъ, нашихъ!.. Протопопъ оглядывается въ сторону священника. Священникъ раскрываетъ табакерку и говоритъ: „не желаете ли-съ?"

— Пожалуй!—Протопопъ беретъ въ два пальца табакъ и нюхаетъ. Знакомство началось.

— Вы откуда?—спрашиваетъ протопопъ.—Слѣ-

дуетъ отвѣтъ.—Зачѣмъ, почему, ну какъ?—Дальше—приглашеніе придти на квартиру...

Если протопопъ брезгаетъ табаконюханьемъ, то священникъ начинаетъ атаку иначе. Онъ слегка толкнетъ протопопа, будто нечаянно, потомъ скажетъ, „извините-съ!" Посмотритъ на протопопа и скажетъ заискивающимъ голосомъ:

— Вы, отецъ протопопъ, давно здѣсь?—Послѣ отвѣта слѣдуетъ опять вопросъ—зачѣмъ, и ну, а какъ дѣла? Послѣ отвѣта: „какъ сажа бѣла", слѣдуетъ приглашеніе.

У священниковъ, дьяконовъ, дьячковъ и прочихъ обращеніе иное. Священникъ боится подойти къ протопопу: кто его знаетъ, кто онъ такой? а одноряники обращаются запросто, потому что священника трудно различить отъ дьякона, если онъ не носитъ знака отличія. Тутъ знакомство начинается такъ:

— Мое почтеніе! (слѣдуетъ дерганье за рясу).

— Мое вамъ...

— Изъ далече?

И прочее.

У дьяконовъ и прочихъ придаточныхъ еще проще:

— Ты откуда?

— Оттуда.

— Перепрашиваться?

— Да.

А я стижаръ хочу получить.

— Шинь получишь.

Пріѣзжіи сразу видятъ своего брата пріѣзжаго, знаютъ, что какъ онъ самъ, такъ и собрать его пріѣзжали по нуждѣ и церемониться нечего, во первыхъ потому, что душу отведешь съ сельскими людьми, а во вторыхъ, что отъ нихъ можно узнать: нѣтъ ли гдѣ хорошаго мѣста.

Въ церкви много толковать нельзя. Въ церкви хотя и знакомятся, но знакомство это ни къ чему не ведетъ, и общаются съ обѣихъ сторонъ угощенія. Знакомство въ консисторіи и архіерейской прихожей доходитъ даже до дружбы, до одолженія деньгами. Чтобы потолковать, пріѣзжіе толкуютъ гдѣ попало, а больше на квартирахъ, гдѣ непременно угощаются чаемъ и въ особенности водкой.

Егоръ Ивановичъ съ дьякономъ и дьячкомъ пошли въ консисторію. Тамъ въ прихожей, называемой коридоромъ, что называется—содомъ и гоморра. Человѣкъ двадцать разнокалиберныхъ лицъ въ разнокалиберныхъ костюмахъ, съ палками и безъ палокъ, съ разноцвѣтными кушаками, поясами и просто „опоясками". Говоръ непомѣрный и басы, и теноры, и дискантики, и прочіе неописанные, но натуральные голоса переливаются въ прихожей вмѣстѣ съ кашлемъ, криканьемъ, которымъ рѣдкій изъ духовныхъ не одержимъ, начиная съ словесности, и сморканьемъ. Сторожъ въ военной формѣ сидитъ на диванѣ и, поглядывая то на того, то на другого, ухмыляется. Онъ дестевой зашиваетъ \*).

— Вѣрно мы съ носомъ?—говоритъ протопопъ протопопу, сидя на диванѣ.

— Я жаловаться стану.

\*) Дестевымъ называется казенная посылка—книги или бумага въ 2—5 фунтовъ, зашитыя въ холстъ.

— Ну, наши жалобы ко вреду нашему послѣдуютъ.

— Это досадно, цѣлый часъ члена нѣтъ. На какихъ который?

— Давнѣнадцатый, поди... — Протопопъ вынулъ часы изъ за пазухи, посмотрѣлъ и сказалъ: — Безъ двѣнадцати двѣнадцатый.

— Какъ подошло-то?

— Аккуратно.

Оба смѣются.

— Владыка ничего?

— Ты, говорить, не печалься. Сына твоего знаю, говорить... А вамъ?

— Отчего, говорить, ты тутъ не живешь? Я и говорю, ваше в-во, народъ нынѣ тутъ хуже сталъ, никакая рѣчь не дѣйствуетъ, даже съ крестомъ не стали принимать...

— Поди-кошь!.. Это правда, отецъ протопопъ. Народъ нынче совсѣмъ развратился, развратился такъ... Жалко! — и говорившій это сдѣлалъ такую гримасу, что, смотря на его бороду и небольшую не заросшую волосами часть лица съ носомъ и глазами, слушавшій ихъ бѣдный дьячокъ подумалъ, что протопопа или владыку пугнуло, или у него только животъ крѣпко болитъ.

— Ну-съ, а владыка на это какъ рекъ? — сказалъ протопопъ.

— Ну, я говорю ему: не могу я жить въ этомъ городѣ, лучше, говорю, въ губернской переведите. Онъ и говоритъ: „объ этомъ я подумаю“...

— Я слышалъ, васъ представили къ наперсному?..

— Отъ кого изволили слышать?

— Слухомъ земля полнится, отецъ протопопъ. Говорятъ, будто скоро надѣвать его на васъ станутъ.

— Ой вздоръ! охъ неправда! Вотъ что значить: какіе у меня недоброжелатели!..

Протопопъ протопопу или священникъ протопопу, и наоборотъ, ни за что не скажутъ правду: зачѣмъ они пріѣхали въ городъ. Зачѣмъ пріѣхали — знаютъ члены и секретарь консисторіи, экономъ архіерейскій и самъ владыка; хотя же и знаютъ семинаристы-богословы и пріѣзжіе священники и прочая мелюзга, такъ развѣ хозяева, у которыхъ они остановились, подслушавъ разговоры ихъ съ секретаремъ, и сами пріѣзжіе на волѣ съ своими дѣтьми калякаютъ, рассказываютъ имъ. Говорятъ люди, что они таятъ причины пріѣзда до поры до времени по личнымъ причинамъ, по зависти.

Дьяконы и дьячки кричатъ.

— Ну-ка, отецъ дьяконъ, дай-кошь табачку похвѣть!

— Маловато.

— Ну-ну, нечего отпѣкиваться-то! У тебя, я знаю, хорошее вѣдь мѣсто.

— Вотъ за это слово я тебѣ и не дамъ. Шипишь получишь! — И дьяконъ отходитъ прочь.

— Да что это, Господи помилуй, какъ долго? — говорятъ человѣкъ шесть.

— Эй, сторожъ,пусти! — просятъ сторожа священникъ.

— Пущать не велѣно.

— Какъ не велѣно?

— Не велѣно и все тутъ.

Протопопы ушли въ канцелярію. За ними пошли и священники. Сторожъ въ мигъ подбѣжалъ къ дверямъ и сталъ посреди ихъ.

— Отчего ты не пускаешь?

— Не велѣно.

— Почему?

— Говорятъ, много всякихъ шляется. Отцомъ Антономъ не приказано... Вонъ тутъ надпись была приклеена, да нѣ вашей братии кто-то оборвалъ.

— Ты намъ кого-нибудь пошли оттуда.

— Кого я пошлю! Вонъ стодоначальникъ-то Гавриловъ трои сутки безъ просыпу пьетъ и дома что есть не живетъ, ищи его, — съ семи собаками не сыщешь.

— Ты писца пошли али помощника.

— Есть когда мнѣ посылать. У меня дѣловъ-то и безъ васъ вонъ сколько! — сторожъ указалъ на уголъ, въ которомъ лежали книги.

Одинъ священникъ далъ сторожу 20 коп.

— Какъ ваша фамилія?

— Документовъ.

Сторожъ ушелъ въ канцелярію и черезъ двѣ минуты воротился, сказавъ, чтобы священникъ шелъ за нимъ.

Столоначальникъ въ это время былъ въ консисторіи; не пускать къ нему не въ извѣстное время — былъ капризъ и сторожа, и самого столоначальника. За 10 и 20 коп. просители были вводимы въ канцелярію или въ нимъ выходили писцы и удовлетворяли ихъ. Выходившіе шептались со стоявшими у дверей канцеляріи.

— Ну, что?

— Десять человѣкъ на одно мѣсто.

— Врешь?

— Вотъ тѣ Богъ!

— А я было хотѣлъ на это же мѣсто проситься... Такъ куда теперь думаешь?

— Не знаю. Спрашивалъ мѣста, завтра велѣлъ придти, записалъ фамилію.

— Сколько дали?

— Три рубля.

— Экая прорва! Вѣдь эдакъ ему сколько даютъ! А у секретаря не были?

— Нѣтъ... Тамъ членъ сидитъ да протопопы.

— А я указъ получилъ... Вотъ онъ! — говорятъ весело выходящій дьяконъ.

— Поздравляемъ.

— Покорно благодарю. Пожалуйста ко мнѣ на закуску.

— А гдѣ ваша квартира?

— Вмѣстѣ пойдете... Вотъ онъ, указъ-то. Думаете, дешево сталъ? Двадцать четыре цѣлковника. За то мѣсто, говорятъ, такое хлѣбное...

— Ну, и слава тѣ Господи!

Сторожъ подходитъ къ дьякону съ указомъ и поздравляетъ.

Дьяконъ даетъ 20 коп. Половина тершихся въ корридорѣ уходитъ за дьякономъ.

Егоръ Ивановичъ вошелъ въ канцелярію и подошелъ къ столоначальнику.

— Что скажете?

— Позвольте васъ побеспокоить...



— Ну-съ... Вы кто такой?  
 — Я только что кончилъ курсъ богословія по I-му разряду.  
 — Въ священники или дьяконы хотите?  
 — Въ священники.  
 — Священническія мѣста всѣ заняты.  
 — Я слышалъ, что въ Куракинскомъ уѣздѣ много мѣстъ священническихъ.  
 — Надо справиться.  
 — Пожалуйста... Отецъ у меня бѣдный, я тоже бѣдный.

— Теперь мнѣ некогда.  
 — Когда прикажете придти?  
 — Черезъ недѣлку.  
 — Мнѣ не на что жить здѣсь.  
 — Вы вотъ что сдѣлайте, — сказалъ другой столначальникъ: — подайте просьбу владыкѣ, онъ напишетъ резолюцію, чтобы мы представили ему справку, а между тѣмъ понабѣдывайтесь.  
 — Очень хорошо. Только я не знаю, какъ составить просьбу.

Черезъ четверть часа Егору Иванычу дали лоскутокъ бумаги, на которой была написана форма просьбы. За это сочиненіе съ него попросили денегъ; Егоръ Иванычъ отдалъ послѣднія 20 к. За то онъ пришелъ домой очень обрадованный.

Дома никого не было. Поэтому Егоръ Иванычъ отправился къ богословамъ Клеванову, Попову и Панкратьеву, живущимъ на одной квартирѣ. У тѣхъ кутежъ.

— А! Егоръ Иванычъ, — привѣтствовали Егора Иваныча товарищи.

— Это, отецъ Семенъ, нашъ однокурсникъ, перваго разряда.

— Очень пріятно! Имѣю честь рекомендоваться, Патрушинскаго уѣзда, Егорьевской церкви священникъ Семенъ Павловичъ Мухинъ. — Священникъ подалъ руку Егору Иванычу.

— Давно изволили пріѣхать, отецъ Семенъ?

— Сейчасъ, сію минуточку.

— А зачѣмъ пріѣхали?

— Антиминсъ надо получить. Указъ получилъ изъ консисторіи.

— Ну, вы, отецъ Семенъ, не скоро отдѣляетесь отъ консисторіи, — сказалъ Панкратьевъ.

— Какъ-нибудь. Пожалуйте, Егоръ Ивановичъ, водочки.

— Я не пью-съ.

— Ну-ну. Надо привыкать-кавыкать \*).

— Онъ у насъ фала какая-то. Все училъ да училъ лекціи.

— Похвально. А ничего, попробуйте! — священникъ выпилъ свою рюмку.

Егоръ Иванычъ выпилъ и закурилъ. Стали объ-

дать. За обѣдомъ шелъ разговоръ объ домашнихъ священника Мухина, о мѣстахъ и невѣстахъ.

— Какъ вамъ сказать.. Въ нашемъ уѣздѣ мѣстъ таки много есть. Въ Знаменскомъ селѣ дьяконъ переведенъ, и мѣсто еще не занято.

— Да мы въ дьякона не пойдемъ, — отозвались кончившіе курсъ семинаріи.

— И не стоить. Священнику лучше житье. Вотъ бы, къ слову, я. Я теперь старшій въ селѣ, а служу всего-то четыре года и бороды еще не отростили. Ну, сначала подѣлаю мѣсто, а я сталъ старшимъ, потому что другой-то священникъ кончилъ курсъ по второму разряду и восемь лѣтъ служилъ дьякономъ. Жить можно. Умѣй только съ приходомъ обращаться. Теперь училище я тоже къ себѣ забралъ, по 15 руб. въ мѣсяцъ получаю.

— Такъ у васъ нѣтъ поближе къ вамъ мѣстовъ?

— Какъ нѣтъ. Въ городѣ двѣ священническія вакансіи; въ Моховскомъ заводѣ священникъ на этой недѣлѣ умеръ; въ Тимофеевскомъ, говорятъ, подѣ судъ попался.

— Вотъ и дѣло. Значитъ на всѣхъ четверыхъ мѣста есть.

— Надо только, господа, не зѣвать. Завтра же пишете прошенія и подаваете владыкѣ.

— А мнѣ объѣхались сказать, гдѣ есть мѣсто, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, на нихъ вы не надѣйтесь. Вѣдь они знаютъ, что вы человѣкъ бѣдный, и скажутъ такое село, гдѣ кромѣ жалованья вы ничего не получите. А у нашего брата расходовать пропасть. Благочинному надо дать; за метрики надо... Вѣда.

— Которыя же изъ этихъ лучше?

Въ Моховскомъ лучше всѣхъ. Да туда мой тестъ хочетъ переправиваться, чуть ли ужъ и прошеніе не послалъ.

— А ваше село каково?

— Ничего. Народъ, знаете, только бѣдный.

— Ну, а насчетъ невѣсты не знаете?

— Да у отца Петра Колотушинскаго, въ Крестовоздвиженскомъ, двѣ дочери.

— Стары?

— Одной 24, а другой 19-й годъ. Онъ ничего, зажиточный.

— Отчего же онъ засидѣлся?

— Видите ли, дѣло въ чемъ. Онъ уже выдалъ двухъ дочерей: та, которой двадцать четыре года, больно некрасивая и къ тому же хромяя; а у этой бѣльмо на одномъ глазу. И радъ бы снискать — никто не беретъ.

— Да кой чортъ эдакихъ калѣкъ возьметъ?

— Ну-съ, у моего тестя есть дочка, Глафира Сидоровна. Ничего, красивая. Годовъ шестнадцать.

— Никто не сватается?

— Приказчикъ заводскій сватался, да не отдаетъ. Всѣмъ хотѣлось, каждому особо, жениться на Глафирѣ Сидоровнѣ.

— Такъ какъ, отецъ Семенъ? — спросилъ Клевановъ.

— Что?

— Насчетъ невѣсты-то?

\*) Слово кавыкать вѣроятно вято отъ грамматическаго значка «кавычка». Оно произносится на веселъ, какъ слово хитрое — экъ ты накавыкался, т. е. напился. Оно больше произносится при словѣ привыкать. Если кому въ жизни не везетъ, то онъ говоритъ: э, ужъ не впервые привыкать-кавыкать. Стерплю, молъ еще.

— Хотите, сосватаю?

— Куды ему съ его рыломъ соваться!—сказалъ Поповъ 2-й.— Лучше мнѣ сосватайте.

— Вы, господа, лучше прежде всего мѣста найдите, а за невѣстами дѣло не станетъ. Не нашедши мѣста, нельзя жениться.

— Хотя бы старуху какую, только бы мѣсто получить за ней,—сказалъ Клевановъ.

— Плохой вы знатокъ въ этомъ случаѣ. Вотъ здѣсь поди сколько невѣстъ-то!

— Невѣсть много, да и развратницъ не мало,—сказалъ Егоръ Ивановичъ:—мѣщанку брать не стоитъ, потому что необразована и бѣдна, изъ военного сословія брать не дозволено, купчиха не пойдетъ, а чиновницы—франтихи, заважничаютъ скоро.

— Да, плоховато. А вѣдь, я думаю, у владыки есть просьбы отъ вдовъ?

— Какъ, поди, нѣтъ.

Долго Егоръ Ивановичъ сидѣлъ у друзей, и бѣсѣда шла все въ этомъ же родѣ. Дома Павелъ Ивановичъ отдалъ ему почтовую повѣстку, въ которой значилось, что Егору Ивановичу слѣдуетъ получить 8 р. сер.

— Ты, Егоръ, напередъ получи письмо, а потомъ ужъ и подавай прошеніе,—сказалъ вечеромъ Троицкій своему товарищу.— А я, братъ, уже подалъ прошеніе вмѣстѣ съ десятью человѣками, которыхъ ты знаешь. Я, Илюшка Спекторскій, Иванъ Бирюковъ, двое Кротковы ѣдемъ въ университетъ, впрочемъ Бирюковъ въ медицинскую академію хочетъ, Петрушка Кротковъ не знаетъ куда. Ему, видишь ты, хочется и въ духовную академію, вѣроятно въ архіерей мѣтитъ. Я, говорить, жениться не буду.

Егору Ивановичу жалко стало Троицкаго.

— Ты, Паша, не ѣзди.

— Нельзя. Вѣкъ нянчиться съ тобой невозможно. А если я и буду жить съ тобой, то я не хочу, чтобы ты въ метрикахъ писалъ... Ты пожалуй сердиться послѣ будешь на меня... Нѣтъ ужъ, Богъ съ тобой, не стану тревожить твои мозги; живи себѣ на потребу и на пользу людямъ... Ты будешь приносить пользу, только мой трудъ можетъ быть тяжелѣе твоего будетъ...

— Не хвастайся.

Троицкому обидно сдѣлалось, но онъ смолчалъ и ушелъ изъ дому на всю ночь. Егоръ Ивановичъ всю ночь не спалъ. Ему хотѣлось скорѣе получить письмо, узнать, что пишетъ отецъ про его невѣсту, Степаниду Федоровну, — жениться, получить мѣсто, посвятиться... И при всемъ этомъ переборѣ мыслей, при представленіи всего этого по частямъ и вообще, сердце стучало, чувствовалась какая-то радость и какой-то трепетъ.

— Помоги мнѣ Господи!—шепчетъ Егоръ Ивановичъ, глядя въ уголь и на небо, и чувствуетъ въ это время, что онъ весь предался этой молитвѣ, точно голову приподняло кверху, душа куда-то возносится со словами: Господи помоги!—Буду я тебѣ вѣрный слуга и добрый пастырь.—Но тутъ же Егору Ивановичу опять представляется настоя-

щее положеніе, консисторія, женитьба, дѣти и прокрадываются какія-то нехорошія мысли...

Почтовые конторы выдаютъ деньги семинаристамъ не иначе, какъ по сдѣланнымъ на повѣсткахъ удостовѣреніямъ семинарскаго начальства, какъ-то: подписи ректора или инспектора и скрѣпы письмоводителя и съ приложеніемъ печати семинарскаго правленія. Утромъ Егоръ Ивановичъ отправился въ семинарское правленіе. Василій Кондратьичъ, письмоводитель правленія, былъ друженъ съ Поповымъ и не задержалъ повѣстку. Онъ даже самъ снес ее къ ректору для подписки, но скоро воротился.

— Ступай, тебя ректоръ зоветъ.

— Зачѣмъ?

— Не знаю. Только смотри не робѣй, да замолви объ мѣстѣ: онъ любитъ, чтобы его просили.

Егоръ Ивановичъ пошелъ къ ректору. Ректоръ пилъ чай съ ромомъ. Егоръ Ивановичъ подошелъ подлѣ благословеніе къ ректору и отошелъ къ дверямъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Ну, Поповъ, что скажешь?—спросилъ ректоръ, лукаво и строго глядя на Егора Ивановича.

Егоръ Ивановичъ не зналъ, что сказать на такой вопросъ, и переминался съ ноги на ногу, поправляя то галстухъ, то засовывая лѣвую руку за глухо застегнутый сюртукъ.

— Не хочешь ли и ты сдѣлаться скотомъ безсмысленнымъ, подобно тѣмъ десяти болванамъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше высокопреподобіе.

— Никакъ нѣтъ-съ... Что же? — я держать не стану. Худая трава изъ поля вонъ.

— Я никогда не думалъ выходить изъ духовнаго званія, ваше высокопреподобіе.

— Отчего же бы и не выйти? Жизнь веселая, разгулъ, развратъ. А тамъ что?

— Тамъ адъ.

— Что же, и хорошо! Мы васъ учили, всѣ старанія употребили на то, чтобы вы были истинными, достойными сынами нашей церкви, подготовляли васъ къ пастырской обязанности; а вы за все это зломъ намъ отплачиваете... О, злые плевалы! Будете каяться, да послѣ смерти нѣсть поканія.

— Ваше высокопреподобіе, я никогда не увлеклся этими людьми, хотя они и старались всячески совратить меня.

— А Троицкій!

— Онъ только жилъ со мной на квартирѣ; и вотъ вамъ доказательство, что я вышелъ вторымъ по первому разряду и, не слушая его совѣтовъ, оставилъ духовное званіе, съ нетерпѣніемъ жажду поучить санъ священника.

— Я забиралъ о тебѣ, Поповъ, свѣдѣнія частнымъ образомъ, и мнѣ говорили о тебѣ въ послѣднее время, что ты исправляешься. Дай Богъ! Это доказываютъ твои задачки. Можешь ли ты быть священникомъ?

— Могу.

Я бы попросилъ владыку послать тебя въ духовную академію вмѣстѣ съ Кротковыми, но Крот-

ковы исключаются по прошенію ихъ отцовъ; за это имъ будетъ выговоръ отъ владыки, яко за совращеніе юношей. Тебя же я боюсь послать потому, что ты закружился въ большомъ городѣ, совратись и уйдешь туда же, куда уходятъ и прочіе болваны.

— Я, ваше высокопреподобіе, не желаю учиться.

— Конечно, если бы ты по окончаніи курса получилъ магистра, ты въ духовномъ званіи могъ бы быть и епископомъ.

Ректоръ отдалъ Егору Иванычу повѣстку, уже подписанную имъ.

— У тебя отецъ богатый?

— Нѣтъ-съ. Онъ заштатный дьяконъ.

— Стало быть, и надо призвать отца. Можетъ быть и у тебя будутъ дѣти, тогда самъ узнаешь, каково это бремя.

— Я батюшку никогда не забуду. — Егоръ Иванычъ подумалъ: „что это онъ сегодня размазываетъ?“

— Ваше высокопреподобіе! — приступилъ Егоръ Иванычъ къ ректору: — позвольте побеспокоить васъ насчетъ мѣста.

— Въ этомъ дѣлѣ я едва ли могу быть ходатаемъ.

— Я справлялся въ консисторіи, но тамъ ничего мнѣ не сказали, а на эти восемь рублей я ничего не сдѣлаю.

— Терпѣніе, сынъ мой.

— Ваше высокопреподобіе, мнѣ надо за квартиру платить, ѣсть нужно.

— Позанимайся въ консисторіи.

— Не могу.

— Почему?

— Тамъ даже сторожъ беретъ съ бѣдныхъ причетниковъ за то, чтобы онъ вызвалъ столоначальника или писца.

— Объ этомъ судить не твое дѣло. Впрочемъ я подумалъ.

— Когда я могу надѣяться получить милостивый отвѣтъ вашего высокопреподобія?

— Зайди ко мнѣ часу въ первомъ. Въ двѣнадцатомъ я пойду къ владыкѣ и переговорю съ нимъ.

— Прощенія подавать не прикажете?

— Ахъ да! Поди въ правленіе, напиши и отдай мнѣ. Только послушай, Поповъ: я тебѣ дѣлаю великую милость, единственно изъ любви христіанской. Если ты будешь замѣченъ въ чемъ-нибудь, тогда ты не сердись на меня... Иди.

Егоръ Иванычъ бѣгомъ пустился по корридору въ семинарское правленіе, крестясь и говоря: „слава Богу! слава Богу! Ну, теперь пошла!.. Экое счастье!“

Дѣйствительно, Егору Иванычу повезло, и повезло отъ того во-первыхъ, что изъ 23 богослововъ, кончившихъ курсъ, 10 подали просьбы объ увольненіи изъ духовнаго званія, что слишкомъ взбѣсило и ректора, и высшую власть, а не уволить ихъ не было никакой возможности, такъ какъ богословы могли или жаловаться губернатору, или — чего добраго — прибѣгнуть къ гласности, и во-вторыхъ, ректоръ любилъ Попова за скромность, и въ это утро именно думалъ объ немъ: что-то будетъ съ этимъ лицемѣромъ? Если онъ уйдетъ, то сочиненія е. рашетникова.

и всѣ уйдутъ въ свѣтскіе... Ректоръ даже дошелъ до того: что, если всѣ семинаристы каждый годъ будутъ выходить въ свѣтскіе? Кто же будетъ священниками и дьяконами? Не будь этихъ мыслей и того, что надо бы всѣхъ скрутить да опредѣлить на мѣста, Егоръ Иванычъ прождалъ бы мѣста года два и пожалуй бы вышелъ въ свѣтскіе, что случилось и случается теперь. Егоръ Иванычъ — исключеніе; но духовное начальство по крайней мѣрѣ такъ должно бы поступать: если окончившіе курсъ богословія желаютъ получить мѣста священника или дьякона, то въ тотъ же мѣсяцъ и посвящать ихъ въ эти должности, а то начальству никакого нѣтъ дѣла до кончившихъ курсъ. Самъ студентъ ходитъ въ консисторію выпрашивать мѣсто, тратитъ деньги, голодая безъ занятій, проситъ архіерея; но у архіерея просьбъ много, на одно мѣсто бываетъ 5—10 просителей, большею частію перепрашиванья дьяконовъ во священники, дьячковъ во дьяконы, и на этихъ господъ больше обращается вниманія консисторіей, куда сдаютъ ихъ прошенія, и они скорѣе получаютъ мѣста, потому что каждый день трутся то въ консисторію, то въ приходской у власти, и имѣя деньги, получаютъ мѣста и званія тѣ, кто больше дастъ писмоводителю, секретарю консисторіи, столоначальникамъ, — тогда какъ студенты, не имѣя денегъ, за дьяконскимъ мѣстомъ ходятъ по консисторіи годъ, а прежде и пять лѣтъ ходили.

Теперь другой вопросъ. Священникъ и дьяконъ не могутъ быть холостыми. Этотъ законъ установленъ вѣроятно потому, чтобы размножить духовное сословіе. Благодаря этому закону и празднои жизни этого сословія, дѣтей дѣйствительно много размножилось. У рѣдкаго священника или дьякона нѣтъ дѣтей мужского и женскаго пола. Кромѣ священниковъ и дьяконовъ есть еще пономари, причетники и дьячки, большая половина которыхъ тоже женаты и у рѣдкаго изъ женатыхъ нѣтъ дѣтей. Плодовитость этого сословія всякому извѣстна; рѣдкій изъ благаго духовенства не жалуется, что у него куча ребятъ, и эта-то куча ребятъ поѣдомъ ѣсть бѣднаго отца. Въ каждой семинаріи, положимъ среднимъ числомъ, учится 500 человекъ юношей, да въ духовныхъ уѣздныхъ училищахъ и въ уѣздныхъ городахъ до 300 мальчиковъ въ каждомъ училищѣ, да въ домахъ еще есть одинъ или два ребенка мужского пола. Вдовецъ или долженъ идти въ монахи, или жить тише воды, ниже травы вдовцомъ на старомъ мѣстѣ, или же выйти въ свѣтскіе. Въ первомъ случаѣ дѣти призрѣваются начальствомъ, или остаются на попеченіи родственниковъ, или, въ особенности дѣвицы, когда нѣтъ родственниковъ, поступаютъ въ монастырь, оттуда рѣдкія выходятъ замужъ только за духовныхъ, а большая часть остаются монахинями.. Стало быть, самое главное для ставленника — это женитьба. Егоръ Иванычъ правъ, сказавши, что изъ городскихъ очень трудно выбрать невѣсту.

Искать невѣсту въ губерніи дѣло довольно трудное. Сыну городского церковно-служителя легче найти невѣсту въ городѣ у своего же брата или у

чиновника, а не то у сельскихъ. Сельскіе часто переходятъ съ мѣста на мѣсто, т. е. уѣзжаютъ, и дочери выдаются замужъ почти за перваго попавшагося жениха изъ духовнаго званія, смотря по тому, стоить ли женихъ невѣсты: пономарская дочь выходитъ за пономаря, дьячка и дьякона, дьяконская — за дьякона и священника, протопопа, если бѣдная, — то и за дьякона или за свѣтскаго чиновника, а такихъ дѣвицъ, съ которыми бы семинаристъ росъ, очень мало, потому что отцы не всегда уживаются на одномъ мѣстѣ, да и семинаристу нужно богатую невѣсту.

Положеніе женщины въ этомъ сословіи незавидное. Каждую дѣвицу уже съ восьми лѣтъ называютъ невѣстой, копятъ на нее приданое, т. е. пухъ на перину и подушки, бѣлье, холсты, деньги. Сама дѣвица тоже знаетъ, что она должна будетъ выйти замужъ за священника или дьякона, и въ этихъ лѣтахъ бессознательно готовится къ этой участи. Жена сельскаго священника или дьякона, взятая изъ села же, прежде готовилась къ хозяйничанью, къ воспитанію дѣтей. Первый годъ супружества идетъ хорошо, она, что называется, какъ сыр въ масле катается: мужъ ее ласкаетъ, крестьяне и крестьянки любятъ и называютъ ее *матушкой*, хлѣба много, прислуга есть. Ходитъ она всегда довольная, румяная, здоровая. Рождается ребенокъ. Вся забота матери заключается теперь на ребенкѣ: она сама кормитъ его грудью, сама качаетъ зыбку съ ребенкомъ, моетъ его, а хозяйственнымъ обязанностями предоставляются мужу, или свекрови, или матери, смотря по тому, кто изъ старшихъ родныхъ живетъ съ ней. Черезъ годъ опять ребенокъ. Первый ребенокъ идетъ на руки къ роднымъ женщинамъ матери, а сама мать нянчится съ другимъ ребенкомъ. Черезъ годъ опять ребенокъ. Первый ребенокъ уже бѣгаетъ, кричитъ *татя, мама, баба* и прочія слова, усвоенныя имъ отъ частыхъ произношеній родителями и родными. Мать начинаетъ тяготиться дѣтми, т. е. она уже охладѣла къ нимъ, ей нѣтъ покоя отъ нихъ ни днемъ, ни ночью, они кричатъ, режутъ, капризничаютъ, и все идетъ три года и будетъ идти еще, можетъ быть, долго. Ее ужасаетъ эта обуза, но она все-таки нянчится съ послѣднимъ ребенкомъ, предоставляя первыхъ на произволъ родни. Мать этой матери, старушка, всегда бываетъ добра и нѣжна съ дѣтми. Она ихъ любитъ потому, что представляетъ себѣ ихъ такими же, какою была ея дочь, теперь мать ихъ. Поэтому дѣти всегда любятъ бабушку и перенимаютъ отъ нея ея понятія. Но всегда оказывается, что у бабушки очень неумудренныя понятія. Она только хорошо знаетъ, какъ щи сварить, какъ посмотреть за огородомъ, гдѣ кринна съ молокомъ на погребѣ стоитъ, да съ крестьянина Максима надо бы получить *дому* малѣнку \*) овса, лукошко ящцъ. Но бабушка большею частію хозяйничаетъ, бѣгаетъ по селу; а какъ бабушки не вездѣ бывають,

\*) Малѣнкой называется дуплянка (т. е. выдолбленное сосновое или липовое дерево на подобіе кадки), въ которую входитъ пуда три или четверикъ муки, овса или крупы.

то ребенокъ растетъ подлѣ вліяніемъ тетушекъ, сестричекъ, которыя его бьютъ, ругаютъ, ставятъ на колѣни и подвергаютъ различнымъ искусамъ. Шести и семилѣтнихъ дѣвушекъ отецъ и мать учатъ читать по церковной азбукѣ, писать. Наука заканчивается тѣмъ, что дѣвушка умѣетъ шить, приучается стряпать, знаетъ, какъ нянчиться съ дѣтми, умѣетъ читать церковную и гражданскую печати, плоховато писать — крупными каракулями. Свѣтскія книги не водятся у родителей, онѣ запрещены самими родителями, да и въ селѣ негдѣ взять книгъ. Дѣвушка воспитывается въ страхѣ божіемъ; боится родителей, дѣлаетъ все, что они прикажутъ, ходитъ въ церковь и сидитъ дома, потому что гулять по селу не въ модѣ, въ гости ходить, кромѣ священника, дьякона, станового (если онъ есть) да волостного головы, не къ кому. Дѣвятилѣтняя дѣвушка выглядываетъ 15-лѣтней. Она помогаетъ стряпать, возится съ ребятами, рѣдко играетъ въ куклы и плетки, присматривается за хозяйствомъ, шьетъ, моетъ, и становится почти что полуроботницей и полухозяйкой въ дому и полуженщиной. Все ея удовольствіе заключается въ томъ, что она можетъ съ подругами попить свѣтскія пѣсни, получить похвалу отъ родителей за то, что при гостяхъ вела себя не очень застѣнчиво, сходитъ съ подругами и сестрами въ лѣсъ по ягоды и по грибы, покосить траву на покосѣ. Ей хочется простору, но ее тяготитъ домашняя обстановка, обязанности не по силамъ, буйный характеръ отца. Всякій знаетъ, что духовенство любитъ выпивать, даже въ монашескомъ быту. Рѣдкій семинаристъ не пьетъ въ кругу товарищей. Отчего же не пить и послѣ? Нашъ народъ любитъ выпивать, крестьяне большею частію сближаются съ священниками посредствомъ водки. Непьющій священникъ можетъ угостить крестьянамъ въ такомъ только случаѣ, когда онъ угоститъ ихъ на славу, такъ что все село сразу полюбитъ священника. Если священникъ, положимъ непьющій, не угоститъ крестьянъ ни разу въ годъ, крестьяне станутъ оказывать ему уваженіе снятіемъ шапокъ, принесеніемъ *дома* натурой, но въ душѣ будутъ бояться его; у нихъ явится недовѣріе къ нему; они будутъ тяготиться имъ и назовутъ гордымъ, кромѣ того всащески будутъ слѣдить за его домашнею жизнью. Хорошій священникъ непременно угощаетъ крестьянъ и волей-неволей долженъ пить съ ними. — Положимъ, священникъ не пьетъ годъ. На другой годъ ему скучно, онъ не знаетъ, что бы ему дѣлать? Читатъ свѣтскія книги онъ не можетъ, потому что ихъ негдѣ взять, да онъ пожалуй и читать ихъ не станетъ. Онъ начинаетъ входить въ апатію; ему надѣдають и жена, и дѣти. Онъ привыкаетъ пить водку передъ обѣдомъ и ужинамъ, послѣ которыхъ спитъ. Водка ему идетъ на пользу, и онъ усиливаетъ порціи...

Дѣвушка знакома съ обществомъ своего села. Она знаетъ, что въ селѣ какихъ-нибудь пять члѣвѣкъ изъ мужчинъ не пьютъ водку. Ее мучаютъ сны матери съ отцомъ, она понимаетъ, что это гадко, и думаетъ: неужели и мужъ мой будетъ пьянши?

Она плачетъ... Плачетъ потому, что знаетъ, что ей непремѣнно слѣдуетъ выйти замужъ.

Что такое любовь, дѣвушка понимаетъ такъ, какъ ее научили понимать любовь: выйти замужъ по закону, жить съ мужемъ, угождать мужу, родить дѣтей, воспитывать дѣтей... Жена знаетъ, что она у мужа нахлѣбница, что она безъ мужа ничего не сдѣлаетъ.

Въ вакаціи и зимнія каникулы въ село пріѣзжаютъ семинаристы и ученики духовныхъ уѣздныхъ училищъ, дѣти священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ. Мальчики и юноши ведутъ себя смиренно, застѣнчиво. При встрѣчѣ съ дѣвушкой смотрятъ въ землю, краснѣютъ, дѣвушка тоже. Семинаристъ о любви не знаетъ, онъ только знаетъ: „она красивая“. Онъ знаетъ еще и то, что ему еще долго учиться, и Богъ знаетъ, что тогда будетъ, и оженскомъ полѣ онъ не мечтаетъ, благо и кромѣ женскаго пола много удовольствій, какъ-то: рыболовство, лазанье по деревьямъ, грибы, ягоды, спанье на свѣжемъ воздухѣ, ѣда власть. Приглашаютъ семинаристовъ и въ тѣ дома, гдѣ есть взрослые дѣвѣны, приглашаютъ ради новостей губернскихъ, поятъ чаемъ и красной водочкой; но приглашаютъ въ отсутствіи дѣвицъ, зная вѣроятно, что онъ еще ученикъ, и ему еще много учиться, да и при дѣвицахъ семинаристъ ведетъ себя застѣнчиво: смотреть въ полъ или на отца священника или матушку, а дѣвица смотреть на него и думать: „мой мужъ долженъ изъ тятеньку погодить“... А тятенько-то весь бородой обросъ... Вотъ она, любовь-то семинарская!..

Встрѣчаются иногда юноши и дѣвицы въ лѣсу, когда собираютъ грибы и ягоды, но дѣвицы бѣжатъ прочь, а юноши стыдятся того, что встрѣтились съ дѣвицей. Семинаристъ знаетъ, что дѣвица ихъ званія выйдетъ замужъ за духовнаго, но теперь онъ боится съ ней говорить, зная, что онъ вовсе не женихъ, такъ какъ ему до окончанія курса еще пять лѣтъ, да у него и худой мысли нѣтъ: „нельзя, думаетъ онъ: грѣхъ...“ Дѣвица держится подъ страхомъ родителей. По пріѣздѣ семинаристовъ — „слышишь, дѣвка, — говорить ей мать, — какъ встрѣтишь ты шелопаевъ, бѣги отъ нихъ. Иначе всю шкуру тебѣ сдерутъ!“ — и дѣвушка боится преступить этотъ законъ. Дѣвушка знаетъ, что ей съ пономарскимъ сыномъ знакомиться не слѣдуетъ, и дьяковскія дочки съ пономарскими сынами видятся только изъ окна въ окно...

Городскія дочери немного развитѣе. Но тамъ отцы еще строже и гости-семинаристы бываютъ рѣже. Тамъ ждутъ жениховъ, что называется, хорошихъ, т. е. академиковъ, — лицъ, у которыхъ отцы нѣютъ вѣсъ въ губернскомъ городѣ.

Скадыбы бываютъ такъ. Семинаристъ, узнавши, что тамъ-то есть невѣста богатая, пріѣзжаетъ въ село къ дьячку или пономарю. Въ селѣ всѣ вмигъ узнали, зачѣмъ пріѣхалъ студентъ, и знаетъ конечно невѣста. Къ матери невѣсты посылается сваха, которая выпрашиваетъ приданое. Черезъ день смотрины. Дѣвица никогда не видала этого мужчины, онъ ей не нравится, но она должна со-

гласиться выйти замужъ за него, потому что онъ будетъ дьячкомъ или священникомъ, и родители приказываютъ. Черезъ день обрученъ, а черезъ недѣлю и свадьба. Коротко и ясно... Впрочемъ на свадьбахъ весело, но только не невѣстѣ. Ну, а тамъ пойдетъ и весело, и скучно...

Получивши письмо и деньги, Егоръ Ивановичъ въ конторѣ же прочиталъ письмо. Вотъ что писалъ отецъ его:

„Дражайшій мой сынъ Егорушка!

„Письмо твое, отъ 18-го іюня сего года, мною полученное 3-го іюля, я прочелъ съ полнѣйшею радостію и исполнился неописанною радостію. Слава Создателю, Царю небесному! что благополучно все обошлось и ты кончилъ сей терминъ. Ничего, Егорушка, не дрежи.. Терпѣніе и трудъ все перетрутъ, пословица говорится. Поступишь на мѣсто, возблаговаришь Творца и мнѣ спасибо скажешь: не дуракомъ, молъ, меня отецъ сдѣлалъ. Глаза на старости лѣтъ, какъ стану умирать, закроешь... Ахъ, Егорушка! Старость не радость, здоровье слабо. Хочешь сходить къ заутрени въ храмъ Божій, немочь дьявольская претятъ, добро бы каждый день заутрени были, а то въ двѣ недѣли разъ бываютъ, а всенощныя рѣдко. Ты знаешь. Скука, Егорушка. Жду не дождусь, когда ты въ священники посвятишься.

„Посылаю тебѣ, Егорушка, мое родительское благословеніе. Дѣлай ты, Егорушка, по закону Божію; бойся со страхомъ и трепетомъ Царя небеснаго! Имъ же вся быша и безъ него ничего же есть.

„Мѣстовъ у насъ нѣтъ, а тебѣ, знаю, въ городъ хочется. Дай Богъ, дай Богъ, Егорушка. Хлопочи. Я уже продамъ домишко, самъ пріѣду къ тебѣ, да Петруху захвачу съ его женой; пусть порадуется на краснаго сокола. Какую же ты рясю-то сошьешь? Чай поди еще волосы не отросли. А ты послушай меня, волосы-то деревянныя масломъ мажь — скорѣе отроснутъ. Не мѣшаешь и подбородокъ брить. Знаешь, благообразнѣе какъ-то.

„Отецъ Теодоръ тебѣ кланяется и тоже неописанно радуется. Стефанида Теодоровна кланяется. Она 2-го числа іюля сочеталась законнымъ бракомъ съ нашимъ становымъ приставомъ Максимомъ Васильичемъ Антроповымъ. Старенецъ онъ, 56 годковъ, да ничего, богатъ больно.

„Прощай, Егорушка. А невѣсту будешь искать, ищи богатую. А какъ найдешь, напиши мнѣ и я старыя кости къ тебѣ привезу. Буди на ты благословеніе мое отъ нынѣ и до вѣка.

Твой отецъ Іоаннъ Поповъ.“

Письмо это поставило въ тупикъ Егора Ивановича. Дѣло въ томъ, что онъ послѣдніе два года надѣялся жениться на Степанидѣ Теодоровнѣ. Она ему очень нравилась, хотя разговоровъ между ними было очень мало, а о любви и заиканья не было. Досадно сдѣлалось, что его воображаемая невѣста замужъ вышла за старика, станового пристава.

Старику-отцу въ селѣ дѣлать было нечего. Служилъ онъ въ церкви по охотѣ, пенсіонъ получалъ небольшой, съ пашни и покосу тоже мало приходилось. Жена умерла назадъ тому два года; сынъ Петръ дьякономъ за сто верстъ, дочь Анна тоже замужемъ въ этомъ же селѣ за пономаремъ, отъ котораго ему житья нѣтъ, потому что пономарь пьетъ и воруетъ у него деньги. Дѣлать положительно нечего. Зимой весь день лежить, или возится съ дѣтми сына, поетъ крмсы и разные каноны и ребятъ заставляетъ пѣть. Лѣтомъ весь день на улицѣ. Встанетъ въ пятомъ часу (а онъ спитъ въ сараѣ), пойдетъ на дворъ, подмететъ, приберетъ кое-что и выйдетъ на лужайку, — грѣется противъ солнышка. Долго сидитъ старикъ, мурлыча охриплымъ старческимъ голосомъ пѣсни, глядя куда-то вдаль и изрѣдка понюхивая табакъ. Убаюкаетъ старика солнышко, согрѣетъ, и заснетъ старикъ, растянувшись на мягкой травѣ. Подойдетъ къ нему корова, лизнетъ его лицо или руку, высунувшуюся изъ-за халата, накинутаго на плечи, лизнетъ своимъ жесткимъ, какъ терка, языкомъ, проснется старина, приподнимется, перекрестится и скажетъ: „тпрука! тпрука! упруконька! Эматонька!..“ Погладить рукой по ногѣ корову и опять ляжетъ. Увидѣвъ крестьянина, крестьянку, или мальчика, или дѣвushку, онъ непременно подзоветъ ихъ къ себѣ и начнетъ калыкать. Въ особенности онъ ребятъ любилъ, до того, что въ бабки съ ними игрывалъ, почему всѣ съ нимъ обращались запросто и отъ семилѣтняго до 45-ти лѣтняго всѣ называли „дѣдушкой“. Увидятъ ребята, что на завалинкѣ стародьяконовскаго дома нѣтъ стараго дьякона и говорятъ: „дѣдушка нездоровъ“, и бѣгутъ навѣдаться къ нему, но ихъ гоняетъ со двора мужъ Анны или сама Анна. Увидятъ дѣдушку на завалинкѣ и кричатъ: „дѣдушка! дѣдушка! Хоть въ бабки?“

— Не могу, ребятки, спину разломилъ.

— А по грузи пойдемъ?

— Ноженьки болятъ.

— Пойдемъ, дѣдушка! Пойдемъ...

И обступятъ его человѣкъ двадцать молодого поколѣнія. Дѣдушка никогда не отказывался отъ путешествія по грибы и ягоды. Ходить, бывало, съ ребятами цѣлый день, ничего не насобираетъ по слѣпотѣ. Ребята смѣются надъ нимъ и насобираютъ ему наберуху и дотащатъ эту наберуху до села. Но главное удовольствіе старика было игра въ шашки. Въ шашки умѣли играть: волостной писарь, сборщикъ податей, голова и двое богатыхъ крестьянъ. Игра производилась съ четвертаго часа пополудни на улицѣ, передъ домами, и продолжалась до темноты. За игрой старикъ весь оживалъ, дѣлался боекъ, разговорчивъ, смѣялся, передразнивалъ.

— Я те, собаку, запру въ гнилушку — и не выскочишь. Матрену позовешь — и та никомъ образомъ не вытащить, хоть сто вервей иностранныхъ подай.

Бахвалится старикъ, а прочимъ любо. Играющихъ обступали женщины, мужчины и дѣти.

— Не застуй! не застуй! — ворчитъ старикъ: — при свѣтѣ-то ему стыднѣе въ гнилушку попасть.

Всѣ смѣются.

Если противникъ его попадется въ гнилушку, старикъ хохочетъ во все горло.

— Что? каково? Наткось, скушай! Чѣмъ пахнетъ?.. А я, погоди, тебѣ задамъ двѣнадцать съ кисточкой

Если его самого запрутъ, старикъ сердится и ругаетъ глазѣющихъ.

— Это все отъ васъ божеское напущеніе!.. Одна курва между вами есть, сглазила.

Всѣ хохочутъ. Голова или противникъ тоже дразнится. Старикъ еще хуже; стыдно ему, а оправдаться нечѣмъ. — Ничего, — говоритъ онъ: — это я такъ, для развлечения. Теперь я задамъ...

Но однообразіе сельской жизни надоѣло старикъ; ему хотѣлось ѣхать въ другое мѣсто, и онъ ждалъ только случая жить съ Егорушкомъ, котораго онъ очень любилъ. Петруха былъ пьяница и жена его капризливая, поэтому онъ не могъ жить у нихъ болѣе двухъ недѣль.

Егору Ивановичу ничего не оставалось больше дѣлать, какъ искать невѣсту *иде-нибуде*. Но отъ кого онъ узнаетъ, гдѣ невѣсты? На товарищей надѣяться нечего: они сами себѣ ищутъ невѣсть. Осталось одно — прибѣгнуть къ совѣту ректора.

Въ первомъ часу Егоръ Ивановичъ отправился къ ректору.

— Ну, Пономъ, много ты мнѣ надѣлалъ хлопотъ. Яго в-во долго не соглашался замѣстить тебя на священническое мѣсто, однако я уговорилъ его.

— Покорнѣйше благодарю васъ, ваше в-е.

— Прошеніе твое онъ оставилъ у себя и обѣщался назначить тебя въ городъ Столешинскъ, въ знаменскую церковь.

Егоръ Ивановичъ, сіяя отъ радости, низко поклонился ректору.

— Городъ, говорятъ, бѣдный, но ты будешь все-таки священникъ, и притомъ городской; нужно только быть добродѣтельнымъ, настоящимъ пастыремъ своихъ заблудшихъ овецъ.

— Постараюсь, ваше в-е.

— Это еще не все. Яго в-во велѣлъ передать тебѣ, что ты не иначе удостоишься священническаго сана, пока не скажешь слова во время его службы.

... Очень хорошо-съ.

— Если ты хорошо напишешь и поправится его в-ву слово, онъ посвятитъ тебя, а если напишешь дурно, посвятитъ въ діаконы.

— Очень хорошо-съ. На какую тему прикажете-съ.

— Владыкѣ хочется, чтобы ты сказалъ слово о блудномъ сынѣ. Въ этомъ словѣ ты проведи нашу жизнь, уподобляющуюся жизни блуднаго сына, выскажи, что самъ Богъ печется о насъ, въ особенности о дѣтяхъ; раскаявшимся кровь даетъ. При этомъ изобрази и то, что бдительное начальство всѣми благими мѣрами заботится объ юности, какъ Господь о дѣтяхъ, а пересканившимся обѣщаетъ геенну огненную. Закончи такъ: „о, христіане! близокъ часъ, въ онъ же Сынъ Человѣческій придетъ со славою судити живыхъ и умершихъ. Что мы речемъ ему, грѣшніи?“ Потомъ воззваніе ко Христу

Спасителю: „Ты, Христе, спасаешь раскаявшихся; обрати и насъ ко свѣту заповѣдей твоихъ и приними насъ во царствіе Твое, яко блуднаго сына“..  
Понялъ?

— Понялъ.

— Теперь иди. Когда напишешь, принеси мнѣ. Да постарайся принести черезъ день. Напиши больше и вездѣ вставляй мѣста изъ евангелистовъ и апостоловъ; хорошо сдѣлаешь, если приведешь цитаты изъ Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и прочихъ вселенскихъ учителей.

— Очень хорошо.

— Ну, теперь иди съ Богомъ.

Придя домой, Егоръ Ивановичъ увидѣлъ на столѣ, въ комнатѣ Троицкаго, двѣ бутылки съ простой водкой, узелъ съ калачами и свертокъ бумаги. Въ этомъ сверткѣ онъ увидѣлъ новую книжку журнала.

«Ну, подумалъ Егоръ Ивановичъ, затѣваютъ что-то». Троицкаго не было дома. Егоръ Ивановичъ любилъ читать только беллетристику, но прочія статьи читать у него не было терпѣнія, короче сказать, онъ не понималъ ихъ.

Пришелъ Троицкій съ двумя бумажными узелками, въ одномъ изъ которыхъ были колбаса и печенка, а въ другомъ чай и сахаръ.

— А, Павелъ Ивановичъ!—сказалъ Поповъ и поздоровался, т. е. пожалъ руку Троицкаго.

— Какой и тонъ-то! Ну, что? Баръ, или екъ.

— Баръ.

— Вотъ какъ! Какими судьбами?

— Ректоръ...

При этомъ словѣ Троицкій строго взглянулъ на Попова,—не вреть ли онъ, или какимъ образомъ ректоръ могъ помочь дѣлу.

— Не врешь?

— Еще бы! Слушай, что было.

— На папироску и рассказывай, только безъ прикрасъ.

Поповъ началъ рассказывать похождения двухъ дней.

— Ну, что же, хорошо,—сказалъ Троицкій по окончаніи рассказа Попова.—Въ сорочкѣ родился... А я, братъ, учиться! Тебѣ это не по нутру... Радуюсь, что мѣсто получилъ, только слово? Съумѣешь сочинить?

— Только не мѣшайте, пожалуйста. Вѣдь однѣ сутки остались.

— Не беспокойся. Мы тебя не введемъ во искушеніе. Егоръ Ивановичъ! Егорюшка! товарищъ... Вѣдь намъ всѣмъ жалко тебя, больно... Э, да что толковать!.. Ну, твои дѣла, значитъ, что называется, въ шляпѣ. Попъ, братъ, ты. Благослови, отче...

— Бога бы ты постыдился...

— Егоръ Ивановичъ, вотъ что: а жена?

— Найдешь!..

— А?

— Не спросишь вашего брата

— Однако жена... Ты пойми: что такое мужчина и женщина? Что такое по твоему мужчина и женщина?

Егоръ Ивановичъ сначала подумалъ, что говорить съ Троицкимъ не стоитъ, потому что онъ переспорить его, а всѣ его резоны „ровно ни къ чему не ведутъ“. Однако онъ сказалъ:

— Да что съ тобой толковать! Ты человѣкъ свѣтскій, я духовный. По нашему, жена должна быть помощницей мнѣ, должна уважать меня... повиноваться мнѣ.

— Та женщина, которую ты теперь не знаешь?

\* — Женщина противъ насъ ничто.

— Что?!

— Плевокъ.

— Подлецъ ты, Поповъ.

Егора Ивановича зло взяло.

— Говорить я съ тобой не хочу... Убирайся вонъ, иначе ректору скажу.

— На это, г. Поповъ, а вамъ скажу вотъ что: во-первыхъ, я не уйду потому, что квартиру я снимаю не у васъ; во-вторыхъ, я ректора не боюсь, такъ какъ подалъ въ отставку изъ вашего сословія.

Поповъ молчитъ и ходитъ по своей комнатѣ.

— Егоръ Ивановичъ, на что вы сердитесь-то?

Молчаніе... Троицкій вошелъ въ его комнату. Поповъ не смотритъ на Троицкаго.

— Егорюшка! а двѣнадцать лѣтъ дружбы?..

Это тронуло Попова.

— Ты мнѣ теперь не можешь быть товарищемъ.

— Знаю почему; но головы на отсѣченіе не дамъ.

Егоръ Ивановичъ, къ чему эти ссоры? Вѣдь мы ссорились раньше за идеи и мирились, но не такъ, какъ теперь. Вѣроятно ты потому сердился, что скоро получишь мѣсто; но, братъ, у тебя еще задача—слово. Подумай!

— Не тронь меня, Троицкій.

— Не буду трогать. Дай лапochку!

Друзья поцѣловались.

— Славный ты, Егоръ, будешь попъ. Дай Богъ тебѣ успѣха да брюхо растить, ребятъ меньше. Только вотъ тебѣ просьба: не трогай насъ, твоихъ товарищей; не говори проповѣди на воздухъ. Ты лучше печатай что-нибудь въ „Духъ Христіанна“ или „Православномъ Обзорѣніи“, тогда тебя будутъ читать и семинаристы, и отцы разные. Пиши дѣло, настоящее, говори прямо, а на старинныя идеи не упирайся.

— Знаемъ, какъ дѣлать.

— А знаете, такъ и знайте...

Начали собираться товарищи. Собралось человѣкъ восемь, выпали по рюмочкѣ водочки, закусили.

— Давайте читать.

Начинается чтеніе. Всѣ слушаютъ и молча смотрятъ то на Троицкаго, то на книгу. Если кто кому-нибудь не понравится и кто-нибудь не пойметъ чего-нибудь, слѣдуетъ остановка: „Стой! онъ вреть“.

— Нѣтъ, не вреть!..

— Объясни!

Слѣдуетъ объясненіе.

— Прочитай снова!

Послѣ чтенія опять споръ. Каждый критикуетъ по-своему, подъ конецъ соглашаются.

— Ужели и съ нами то же будетъ?

— Ну, братъ, мы не такіе люди. Мы имъ утремъ носъ.

— Чѣмъ?

— Утремъ!

— Эхъ, господа!

— Я думаю, намъ легко будетъ учиться въ университетѣ. Заучивать трудно. Теперь вотъ мы читаемъ и разъясняемъ сами, потому что разъяснить здѣсь некому, а тамъ умные-то люди на лицо, своими ушами будемъ ихъ слушать. А вѣдь мы, братцы, въ теченіе двухъ лѣтъ чтанья мало еще поняли.

— Надо допоянать.

— Ъдемъ!

— Кто ѡдетъ?

Пять человѣкъ сказали „я“. Это были Спекторскій, Вирюковъ, Троицкій и двое Кротковыхъ.

— А вы?—спросилъ Троицкій у остальныхъ.

— Мы служить будемъ. Губернаторъ уже обѣщался дать мѣста,—сказалъ Клевановъ.

— Куда же, господа, ѣхать?—спросилъ Петръ Кротковъ, красивый юноша, 20 лѣтъ.

— Да ты куда думаешь?

— Батюшка совѣтуетъ въ духовную академію, а мнѣ хочется въ медицинскую. Я въ медицинѣ-то смыслю кое-что.

— Ишь, каналья! Любитъ форму: здѣсь иподіакономъ былъ, архіерея одѣвалъ, а тамъ хочешь форму носить, чтобы порисоваться въ губернской городѣ и передъ своимъ батюшкой. Знаемъ мы васъ, протопоповскіе сынки.

— Дайте лучше вотъ что рѣшать: какъ ѣхать? Есть ли еще деньги-то?

— Кротковы богаты.

— Нашъ отецъ на дняхъ будетъ сюда, вѣроятно, дастъ,—сказалъ Алексій Кротковъ.

— Мой отецъ хотѣлъ прислать малую толику. Онъ не препятствуетъ тому, что я ѣду въ университетъ, даже радуется,—сказалъ Троицкій.

— А вотъ мой не то: «что, говоритъ, тебѣ за наука? Выпороть, говоритъ, тебя надо за вольнодумство. И если бросишь меня на старости лѣтъ, не вступишь мое мѣсто, проклянута тебя»,—сказалъ Вирюковъ.

— Что за дубина!

— Что ни говорите, а я удеру въ университетъ..

Добро бы, я былъ одинъ сынъ у него, а то одинъ уже священникомъ, а другой въ философін. На брата конечно нечего надѣяться. Скверно, денегъ нѣтъ.

— Я отцу ничего не говорилъ о побѣдѣ, нынче написалъ ему такое письмо, что надѣюсь, старикъ расчувствуется. Впрочемъ я у него одно дѣтише мужскаго колѣна, а мѣсто у него такое, что называется—на веретено страсти: село дрянъ, народъ бѣдный, благочинный тѣснить...—сказалъ Спекторскій.

— Такъ какъ, господа?

— Не знаемъ. Признаться бы у кого-нибудь на дорогу.

— У кого займешь?

— Мы вотъ что сдѣлаемъ, господа,—сказалъ Троицкій:—всѣ мы друзья и стало быть въ крайнихъ случаяхъ должны помогать другъ другу, какъ помогали въ семинаріи и какъ выручали другъ друга изъ бѣды. Если мой отецъ пришлетъ много, я половину раздѣлю на Спекторскаго и Вирюкова.

— У меня всего два рубля. Книги развѣ продать!—сказалъ Вирюковъ.

— А у меня всего-то 50 коп.,—сказалъ Спекторскій.

— Господа Кротковы, къ вамъ зываю о благотворительности,—сказалъ Троицкій Кротковымъ.

— Мы не знаемъ, какъ отцы.

— Если не дадите, мы вамъ не товарищи.

— Я попрошу батюшку объ этомъ,—сказалъ Алексій Кротковъ.

Разговоры продолжались до 4 часу утра. Попову очень надоѣли товарищи, но ему совѣстно было гнать ихъ.

— Поповъ, давай другую книгу.

Поповъ далъ.

— Ну, читай, Елтонскій.

— Господа, мнѣ надо проповѣдь писать,—сказалъ Егоръ Ивановичъ, теряя всякое терпѣніе.

— Пойдите къ намъ,—сказалъ Петръ Кротковъ.

— Лучше за рѣку поплывешь. Тамъ хорошо.

— Маршъ!

— Смотри, Егоръ Ивановичъ, умненько сочиняй. Мы послушаемъ твою проповѣдь въ церкви,—сказалъ Алексій Кротковъ.

Товарищи поцѣловали Егора Ивановича, и пошли къ рѣкѣ.

Когда ушли товарищи, Егоръ Ивановичъ досталъ изъ сундучка четыре листа сѣрой бумаги, сдѣлалъ ихъ тетрадкой въ 4-ю долю листа, сшилъ, разрѣзалъ, перегнулъ на половинѣ, очинилъ перо, попробовалъ, поправилъ перо, опять попробовалъ, ладно—и сталъ думать. Цѣлый часъ Егоръ Ивановичъ продумалъ.

„Задача трудная,—разсуждаетъ Егоръ Ивановичъ. Дѣло въ томъ, что придется говорить въ губернской городѣ, въ архіерейскую службу... Троицкій правъ. Другое дѣло, если бы сочинить просто для архіерея, а то для народа. Товарищи будутъ слушать, шептаться, смѣяться, какъ и я смѣялся надъ выговоромъ священниковъ... Судить стануть... Ничего бы, если бы все чужіе, а то своихъ много, не всѣ разѣхались. А пѣвчіе зубоскалы, вслухъ шикають... И къ чему онъ задалъ мнѣ... Ну что я напишу?..“ Опять Егоръ Ивановичъ сталъ обдумывать сюжетъ проповѣди. Ничего не выдумывается.—«Дай умоюсь»,—сказалъ Егоръ Ивановичъ вслухъ, и умылся.

„Ужъ сочиню же я тебѣ! Сочиню“. Зло взяло Егора Ивановича. Ругаться онъ сталъ. Попробовалъ перо, озаглавилъ текстомъ священнаго писанія свое сочиненіе, и началъ приступъ. Полчаса онъ писалъ съ плеча, потомъ вдругъ остановился.

„А дальше?.. Онъ велѣлъ текстовъ больше... На! наворожаю же я тебѣ“.

Зазвонили къ заутрени.



Крѣпко и хлестко сталъ писать Егоръ Ивановичъ. Мысль была, только тексты трудно подбирались. Зазвонили къ ранней обѣднѣ—Егоръ Ивановичъ все пишеть. Вошла хозяйка.

— Здравствуйте, Егоръ Ивановичъ,—сказала она.

— Здравствуйте.

— Чайку попьете?

— Некогда.

Хозяйка, какъ хозяйка дома, сѣла около стола, возлѣ Егора Ивановича.

— Что вы это пишете? И ночь-ту, кажись, не спали.

— Проповѣдь пишу.

— Ахъ мокъ мѣчнныи! Проповѣдь?

— Да.—Егоръ Ивановичъ бросилъ перо, потому что теперь всѣ мысли его сочиненія исчезли.

— Гдѣ же вы ее сказывать будете?

— Въ кафедральномъ соборѣ.

— Ой! ой!.. при самомъ архирейѣ?

— Да.

— Вотъ что значитъ ученье-то!.. Ужъ я послушаю, непременно послушаю. Только вы поскладнѣе пишете да понятливѣе, погромче сказывайте... Вотъ у насъ говорятъ проповѣди-то, да все подъ свой носъ говорятъ... А вы какъ, въ ризѣ будете сказывать-то?

— Нѣтъ. Стихаръ надѣну.

— Такъ, такъ... А въ ризѣ-то лучше м.р.. А вы въ полнѣ-то скоро постригетесь?

— Скоро. Только проповѣдь надо сказать.

— Дай Богъ, Егоръ Ивановичъ, дай Богъ! Чакѣу не хотите ли, Егоръ Ивановичъ?

— Да нѣтъ чаю.

— Экіе вы какіе! Ну, что бы мнѣ сказать!.. Сейчасъ поставлю самоварчикъ, напою.

— Покорно благодарю

— Полно, Егоръ Ивановичъ... Вы у меня такой были постоялецъ, что мнѣ и не найти такихъ... Какъ красная дѣвушка жили все тихо, и кашлю что есть не слышно... Не то, что Павелъ Ивановичъ, денегъ не платитъ, пріятелей водитъ, содомъ просто!—Немного помолчавъ, хозяйка, поправивъ на головѣ платокъ, сказала очень любезно Егору Ивановичу: — а вѣдь къ вамъ по дѣлу, Егоръ Ивановичъ. Денегъ бы надо, больно надо..

— Вамъ сколько слѣдуетъ?

— Да за комнату 2 р., за 10 фунтовъ гречневой крупы—помните, велѣли купить? 5 фунтовъ говядины, молочницѣ за 16 бураковъ, всего три рубля восемь гривенъ безъ трехъ копѣекъ.

Егоръ Ивановичъ далъ 5 рублей.

— Ахъ, я и забыла, оноедни у васъ гости были, стаканъ разбили, 20 к. стоитъ.

— Да вѣдь онъ отъ воды лопнулъ!

— Знаю, что самъ лопнулъ, только теперича ужъ если онъ у васъ былъ, значитъ вы за него и отвѣчаете.

— Такъ вы и 20 к. исключите изъ 5 р.

— Хотѣлось бы мнѣ еще попросить васъ... да совѣстно.

— Говорите.

— Оноедни стекло разбили въ этомъ окнѣ.

— Да вѣдь оно разбито было!

— Полноте, Егоръ Ивановичъ... Вы коли живете здѣсь, значитъ за комнату и отвѣчайте... Ну, да Богъ съ вами... Вотъ еще надо бы за картинку вычестъ... Больно ужъ выши то пріятели хериковъ много на лицѣ надѣлали... хорошему человѣку и посмотрѣть-то страмъ... Стулъ таперича сломали.

— Послушайте, Авдотья Кирилловна, вѣдь я въ томъ не виноватъ; не я же вѣдь это все сдѣлалъ.

— Знаю, что невы,—вы такой умища! Дай вамъ царца небесная невѣсту хорошую. —Хозяйка встала.—Вы пожалуйста ко мнѣ въ комнатку; я васъ пирожками говяжьими поподучу.

— Покорно благодарю.

— Сдѣлайте милость.

Егоръ Ивановичъ пошелъ за хозяйкой въ ея комнату. Мужъ хозяйки сапоги починивалъ, а дочь, лѣтъ 14, принесла двѣ тарелки жареныхъ, пирожковъ и чашку свѣжаго молока. Егоръ Ивановичъ сталъ кушать.

— Вотъ, Егоръ Ивановичъ, что значитъ ученье: ученье свѣтъ, а неученье тьма. Если бы я, теперича, былъ грамотный, я бы, теперича, кто былъ? поди и домъ у меня былъ бы каменный, и вашей брати въ немъ жило бы много,—сказалъ хозяинъ.

— Ужъ Егоръ Ивановичъ, одно слово, прозвѣтеръ!—сказала хозяйка, радуясь, что ея постоялецъ будетъ говорить проповѣдь и скоро будетъ священникъ.—Мы худыхъ людей не держимъ,—прибавила она.

— Егоръ Ивановичъ, не напишете ли вы мнѣ письмо къ брату?

— Очень хорошо.

— Я вамъ сапожки заштопаю. Покажите.

Егоръ Ивановичъ показалъ сапоги.

— У-у какіе! Снимите-ка,—сказалъ хозяинъ. Егоръ Ивановичъ снялъ сапоги, и такъ какъ у него другихъ сапоговъ не было, то онъ и остался босикомъ, а хозяинъ принялся починивать. Наѣвшійся пироговъ, Егоръ Ивановичъ написалъ хозяину письмо, на что и употребилъ цѣлый часъ. Послѣ этого его приглашали обѣдать, но онъ отказался.

Хозяева всѣ и всегда любезны съ богословами. Они гордятся, что у нихъ живутъ умные люди, которые меньше бузятъ и ломаютъ вещи, нежели уѣзники и словесники. Имъ очень жалко разставаться съ ними, и они передъ отъѣздомъ особенно любезны, надѣясь на то, что квартирантъ ихъ, посвятившись въ священники или дьяконы, непременно подаритъ имъ рубль или три рубля за ласку хозяйскую и ихнее хорошее расположеніе.

Послѣ этого проповѣдь плохо сочинялась, мысли положительно не лѣзали въ голову. Во 2-мъ часу пришли двое кончившихъ курсъ въ семинаріи, Ершовъ и Ганимедовъ.

— Поздравляемъ!—сказали они, входя.

— Вы ужъ знаете?

— Троицкій сказалъ. Молодецъ! Ну, а проповѣдь?

— Да пишу.

— Ну ко, прочитай.

— Не кончилъ еще. Текстовъ много надо.

— Ну, ничего. Мы подсобимъ.

Егоръ Ивановичъ сталъ читать, а пріятели поправ-

ляли его. Чтеніе, мараніе, приписываніе продолжалось до самаго вечера. Проповѣдь была кончена. Пришелъ еще богословъ. Опять началось чтеніе и поправки.

— Кажется, ладно?

— Еще бы!

— А какъ да не понравится ректору?

— Чего еще ему надо! Постою, Егоръ Ивановичъ, размажешь про начальство.

— Да господа, послушайте: вѣдь хвалить начальство слѣдуетъ въ семинаріи при выпускѣ, а не въ церкви.

— Да вѣдь онъ велѣлъ!

— Я думаю вотъ что: можетъ ректоръ самъ хотеть сказать проповѣдь по этой тетрадѣ.

— Пожалуй, — это бываетъ.

— А можетъ быть и то, что онъ покажетъ архіерею, тотъ прочтаетъ и скажетъ хорошо, не сказывать запретить.

Между тѣмъ хозяйка принесла Егору Ивановичу чаю, сахару и булокъ. Началось чаепитіе и изліянія дружбы.

— Я слышалъ, — говорилъ Ериловъ: — что въ Столешинскѣ у отца Василія есть двѣ дочери: одной — Натальѣ — 19-й годъ, сватались чиновники, да отецъ Василій не выдалъ. Не худо бы тебѣ попросить ректора, чтобы онъ написалъ письмо тамошнему благочинному.

— Возьмется ли онъ за это дѣло? Какъ-то неловко.

— Попробуй.

— Пожалуй наведи справки, нѣтъ ли тамъ невѣстъ другихъ, и поѣзжай туда жениться, а отсюда сюда на посвященіе.

— Пожалуй.

На другой день къ 12-му часу проповѣдь была окончена. Егоръ Ивановичъ шелъ съ трепетомъ къ ректору и молился въ душѣ: „Господи помоги!“

Ректоръ удивился, что Поповъ принесъ проповѣдь скоро.

— Самъ ли ты сочинилъ?

— Самъ. — Егору Ивановичу обидно сдѣлалось.

— Хорошо, я прочитаю. Завтра приходи за отвѣтомъ въ это же время.

Отъ ректора Егоръ Ивановичъ пошелъ въ консисторію къ столоничальнику.

— Ну, что-съ? — спросилъ Егора Ивановича столоничальникъ.

— Я къ вамъ за справкой.

— Да вѣдь вы уже назначены, съ васъ *маа-рычъ* надо.

— Какъ назначенъ?

— Да такъ. Сами вы просили ректора, а ректоръ свесъ вашу просьбу е. в. — у, а тотъ и назначилъ.

— И бумага здѣсь?

— Ну, этого я вамъ не скажу — секретъ.

— Какой же тутъ секретъ?

— Ну ужъ, нельзя.

— Да вѣдь вы сами сказали, что я назначенъ!

— Ну, это еще *сорока на двое сказала*. Я могу отписать на справкѣ, что мѣсто ваше занято.

— А его-то в. — во?

— Что вы, жаловаться хотите? Знаете, чѣмъ эти жалобы-то пахнутъ?

— Чѣмъ?

— Мнѣ, г. Поповъ, некогда съ вами калякать.

— Я, Якимъ Савичъ, пришелъ къ вамъ не потому, чтобы мѣсто просить, а объ невѣстахъ хочу справиться.

— Я вамъ сказалъ, что мнѣ некогда.

Егора Ивановича зло взяло. Онъ вышелъ въ корридоръ. За нимъ вышелъ писецъ.

— Что дадите? — присталъ онъ къ Егору Ивановичу. Въ консисторіи если и сторожъ важное лицо, то писцы тамъ ужъ очень важныя лица для ищущихъ и хлопочущихъ. Это знаютъ всѣ. Даже сторожъ за полтинникъ можетъ вывѣдать отъ писцовъ, а писцы — помощники столоничальниковъ по дѣламъ поборовъ.

— За что?

— Экой вы чудакъ. Давайте три рубля, все сдѣлаемъ.

— Да денегъ нѣтъ.

Ихъ окружилъ синелитъ подрасниковыхъ и въ рясѣхъ. Всѣ смотрятъ какъ-то съ удивленіемъ, сожалѣніемъ; какое-то замскиваніе видится, плутовское намѣреніе...

— Въ чемъ дѣло? — спрашиваетъ храбрый господинъ въ рясѣ, держа голову набокъ, разведя ноги на аршинъ одна отъ другой и утирая ситцевымъ платкомъ бороду, на которой присохла скорлупа отъ яйца.

— Право, не знаю, — отвѣтилъ Егоръ Ивановичъ.

— За что вы просите-то?

— Это не ваше дѣло, — сказалъ писецъ.

Половина разошлась по своимъ мѣстамъ. Господинъ въ рясѣ и скорлупой на бородѣ рьяно вступился за Егора Ивановича.

— Вы объясните причину!

— Не ваше дѣло.

— А владыку знаешь?

— Сторожъ, выгони этого пьянаго, — закричалъ писецъ и ушелъ въ канцелярію.

— Что онъ сказалъ? — что сказалъ? — спросили человѣкъ шесть. Обруганный заступникъ ворвался было въ канцелярію, но его вытолкали оттуда.

— Что, отецъ дьяконъ, съ носомъ!

— Въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не ходи.

— Еще говорите спасибо, что за шиворотъ не выгнали на улицу, — говорятъ, хохоча, остальные.

— Это все изъ-за васъ, г. семинаристъ, — обратился дьяконъ къ Егору Ивановичу и сію же минуту отошелъ отъ него.

Два священника подошли къ Егору Ивановичу.

— Въ чемъ дѣло?

Егоръ Ивановичъ рассказалъ.

— Вамъ надо бы денегъ дать.

— Если бы были!

— Вы лучше къ нему на домъ сходите. Дайте рубль — и дѣло въ шляпѣ.

— Нѣтъ, всего лучше къ эконому.

— Эво! къ эконому. Вѣдь вамъ, разумѣется, не

вѣсту не голую надо, а съ придачею: такъ лучше справиться у столоначальника.

— Я къ нему не пойду.

— Какъ знаете.—Разговоръ пошелъ объ другомъ: каковъ нынче ректоръ. Потомъ оба священника и приставшіе трое дьяконовъ пожелали послушать проповѣдь молодого проповѣдника.

Въ углу нѣтъ одинъ дьячокъ схватилъ за носъ пономаря; пономарь вскричалъ и въ свою очередь ударилъ дьячка подъ микитки, что вызвало всеобщій смѣхъ. Въ другомъ углу, направо, одинъ подражательный уснулъ на диванѣ.

— Братцы, смотрите!

— Ахъ, онъ пьеть!

Всѣ хохочутъ.

— Надѣньте на него бумажный колпакъ.

Одинъ причетникъ подошелъ къ спящему и привязалъ къ волосамъ его свою косоплетку, а къ ней бросовый конвертъ.

— Нехорошо. Лучше разбудить,—совѣтуетъ половина глазѣющихъ на спящаго.

— Что онъ, пьянъ?

— Лунатикъ, должно быть...

— Въ безопасности пребываетъ...

Одинъ разудалый дьячокъ потащилъ со спящаго сапоги, тотъ проснулся. Его стали стыдить.

Въ одномъ мѣстѣ идутъ одолженія.

— Павелъ Гавриловичъ! одолжи рубликъ.

— У самого мало...

— Одолжи... Какъ приду домой—отдамъ.

— Олонись я тоже далъ такъ-то, да каналья Патрушевъ надулъ.

— Вотъ-тѣ Христось, отдамъ.

Павелъ Гавриловичъ даетъ рубликъ. Какой-то священникъ одолжилъ другому священнику 5 руб.

Егоръ Ивановичъ ушелъ домой, ни съ кѣмъ не простившись. Троицкій сказалъ, что его все еще не уволили, и онъ ходилъ даже къ владыкѣ, но до владыки его не допустили.

Хозяйка предлагала Егору Ивановичу свои услуги найти невѣсту въ городѣ, но Егоръ Ивановичъ отложилъ вопросъ о женитьбѣ до завтрашняго дня.

На другой день ректоръ сказалъ ему.

— Очень плохо составлено твое слово... Удивляюсь, почему вы болванами выходите?.. Ну, какъ можно сказать такую проповѣдь?.. Никакого смысла нѣтъ.

— Я, ваше преподобіе, очень торопился.

— У васъ вѣчно отговорки... Ну, какой ты священникъ, когда и такихъ пустяковъ не въ состояніи составить?..

— Миѣ, ваше в-преподобіе, время не было вовсе. Мѣшали Троицкій и прочіе исключаются.

— Этому я вѣрю. Поэтому я поправилъ. Возьми.—Ректоръ подалъ рукопись.—Сегодня у насъ пятница, завтра принеси миѣ переписанную тетрадку, да смотри—на почтовой бумагѣ напиши.

— Очень хорошо-съ.

— Ступай...

Егоръ Ивановичъ переступаетъ съ ноги на ногу.

— Ваше высокопреподобіе, осмѣлюсь васъ еще попросить насчетъ...

— Ну, говори. Денегъ что ли надо? Всѣ издержалъ что ли?..

— Нѣтъ, ваше высокопреподобіе...

— Такъ что же?

— Не можете ли вы помочь миѣ насчетъ невѣсты.

— Это не мое дѣло. Мое дѣло выучить васъ; а что касается до мѣста, то я изъ любви христіанской помогу тебѣ.

Егору Ивановичу ничего больше не осталось дѣлать, какъ только подойти подъ ректорское благословеніе и уйти домой.

Архіерей принималъ съ 10 до 12 часовъ. Приемная его—небольшая комната съ двумя круглыми столами, мягкимъ диваномъ и двумя стульями. Стѣны разрисованы. Духовныя лица сначала толкуются на лѣстницѣ. На лицѣ каждого и въ голосѣ замѣтны испугъ и робость.

— Вы зачѣмъ? — спрашиваетъ одинъ робко другого.

— Перепрашиваюсь.

— Въ первый разъ?

— Нѣтъ, ужъ въ третій. А вы?

— Тоже перепрашиваюсь. Въ прошлый разъ хотѣлъ перевести, да на это мѣсто пятеро подали.

Въ приемной всѣ стоятъ чинно. Говорятъ шопотомъ, на ушко, прикрывъ ротъ правой или лѣвой рукой. Братство тутъ славное. Всѣ ждутъ владыку, у всѣхъ мысли однѣ и тѣ же, всякій боится позабыть заученныя имъ слова, какія онъ долженъ сказать. Одинъ шепчетъ „ваше в—о, по крайней бѣдности позвольте перевестись“. У одного дьячка такъ на ногтяхъ написано чернилами, что говорить. Большая половина читаютъ въ двадцатый разъ свои прошенія, складываютъ ихъ, вытираютъ бумагу, что-то шепчутъ про себя и постоянно вытираютъ платками свои щеки и лбы...

Егоръ Ивановичъ тутъ же стоитъ. Онъ надѣлъ сюртукъ Троицкаго, который былъ поновѣе, бѣлую манишку и бѣлый галстухъ. Въ рукѣ у него проповѣдь, на боку которой написано ректоромъ: „читалъ и одобряю, ректоръ архимандритъ“ такой-то. Большая часть трущихся въ приемной знаютъ, что Попову назначено мѣсто и что въ рукѣ у него проповѣдь. Всѣ завидуютъ.

Наконецъ вышелъ владыко. Всѣ подошли подъ благословеніе. Начались просьбы.

— Кто ты такой?

— Дьяконъ Крестовоздвиженскаго села, Іоаннъ Лепосимовъ.

— Объ чемъ просишь?

Тотъ робко объясняетъ.

— Подай прошеніе.

Очередь дошла до Егора Ивановича, на котораго владыко съ самаго начала взглядывалъ.

— Ты кто такой?

— Кончившій курсъ семинаріи, дьяконскій сынъ, Егоръ Поповъ.

— Объ мѣстѣ просить?

— Отецъ ректоръ ходатайствовалъ у васъ за меня.

— Такъ это ты Поповъ?

— Точно такъ, ваше в-во.

— Хорошо. Ступай туда! — и владыко указалъ Егору Иванычу на дверь въ залу.

Зала убрана какъ въ богатомъ барскомъ домѣ, съ тою только разницею, что въ ней на стѣнахъ висѣли большія картины духовнаго содержанія въ позолоченныхъ рамкахъ.

Черезъ четверть часа владыко пришѣлъ въ залъ вѣстѣ со своимъ письмоводителемъ.

— Гдѣ прошеніе кончившаго курсъ семинаріи Попова? — спросилъ онъ у письмоводителя.

— У меня-съ, ваше в-во.

— Принеси сюда.

Письмоводитель ушелъ.

— На какое мѣсто ты желаешь.

— На священническое.

— Отецъ ректоръ просилъ меня. Я справлялся. Мѣсто тебѣ будетъ въ Столешинскѣ.

Егоръ Иванычъ низко-пренизко поклонился.

— Нынѣшній годъ я туда не поѣду. Поэтому послѣ свадьбы ты долженъ ѣхать сюда.

Егоръ Иванычъ опять поклонился и проговорилъ:

— В—во! я еще не нашѣлъ невѣсты.

— Сходи къ эконому, онъ знаетъ. Вчера я ему дѣй просбы передалъ отъ духовныхъ вдовъ.

Егоръ Иванычъ поклонился.

— Написалъ ты проповѣдь?

— Написалъ в—во.

И Егоръ Ивановичъ подалъ рукопись. Владыко, увидавъ засвидѣтельствованіе ректора, не сталъ ее читать; письмоводитель принесть прошеніе Егора Ивановича. Владыко написалъ на прошеніи: „назначается въ столешинскую знаменскую церковь во іерем. Постриженіе въ октябрѣ мѣсяцѣ...“ а на проповѣди: „благословляю...“

— Позвольте завтра сказать, въ ваше служеніе...

— Можешь.

Егоръ Иванычъ подошелъ подъ благословеніе.

— Послѣ завтра я уѣзжаю; можешь и ты ѣхать за женой.

Егоръ Иванычъ опять подошелъ подъ благословеніе и ушелъ изъ залы.

Архіерейскій экономъ посоветовалъ Егору Иванычу ѣхать въ Столешинскъ и жениться лучше тамъ на дочери какого-нибудь священника или дьякона.

Вечеромъ Егоръ Иванычъ стоялъ въ крестовой церкви, а послѣ службы ея подходилъ подъ благословеніе владыки, который стоялъ въ алтарѣ.

Ночь провелъ очень худо. Не спится, а если уснетъ, то ему представляется народъ, и народъ этотъ хохочетъ, семинаристы ему неприличные кривлянія дѣлаютъ руками.

Утромъ проповѣдь была прочтана Егоромъ Иванычемъ разъ семь про себя и два раза вслухъ. Троицкій боялся за своего товарища, чтобы онъ не струсилъ на кафедрѣ, не сдѣлалъ бы худого выраженія на лицѣ. Въ церковь его проводили шесть семинаристовъ. Архіерей служилъ въ кафедральномъ соборѣ. Егоръ Иванычъ сталъ въ алтарѣ. Передъ концомъ службы Егоръ Иванычъ надѣлъ

стихарь и подошелъ подъ благословеніе владыки. Но вотъ Егору Иванычу нужно идти, а онъ дрожать, ноги подсыкаются. „Иди!“ говоритъ протодьяконъ. Егоръ Иванычъ пошелъ, загнулся за что-то... Вышелъ въ лѣвыя двери: пѣвчіе ему съ хоръ рожн строить, а костыльщикъ его за стихарь дернулъ. Кое-какъ Егоръ Иванычъ дошелъ до наоса; робко вытащилъ изъ кармана рукопись, перекрестился и сказалъ чуть не шопотомъ: „во имя Отца“ и сталъ... Потомъ каплянулъ, посмотрѣлъ на рукопись—буквы вверхъ ногами стоятъ... Однако онъ началъ читать; но читалъ очень тихо, „подъ свой носъ“, какъ выражалась его хозяйка: читалъ безсознательно, думая: „ахъ, скорѣе бы промахать“... Большая половина публики вышла изъ церкви, а остальная ничего не слышала, потому что Егоръ Иванычъ читалъ, запинаясь за каждое слово, пропуская гдѣ строчку, гдѣ двѣ; гдѣ не разберетъ—отъ себя выдумаетъ и читаетъ, какъ дьячокъ часы читаетъ... Промахалъ онъ такъ скоро, что пѣвчіе его ругнули, потому что нужно было пѣть запричастный, а половина ихъ разбѣжалась курить папаросы. Въ алтарѣ удивились, что такъ скоро Поповъ кончилъ проповѣдь, а ректоръ строго на него взглянулъ, когда онъ подошелъ подъ благословеніе владыки. Когда владыка сталъ уходить изъ церкви, то сказалъ ему, чтобы онъ зашелъ къ нему.

Вышшіе въ церкви семинаристы окружили Егора Иваныча.

Ну, братъ, и проповѣдникъ! Знаешь, тебѣ гдѣ надо проповѣди сказывать?..

— Тебѣ бы дьякономъ быть!

— Неловко, господа, вѣдь въ первый разъ,—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ты куда?

— Да архіерей звалъ.

— Ужъ не обѣдать ли?

Къ нимъ подошелъ посвященный въ этотъ день въ священники и отвелъ въ сторону Егора Иваныча.

— Пожалуйста ко мнѣ на поздравку. Я закусточку устроилъ сегодня.

— Покорно благодарю.

— Непремѣнно приходите. Отецъ протодьяконъ будетъ, кафедральные дьяконы будутъ, пѣвчіе.

— Мнѣ надо къ владыкѣ сходить.

— Такъ послѣ.

Владыко сказалъ Егору Иванычу, чтобы онъ ѣхалъ жениться, что онъ получитъ изъ консисторіи свидѣтельство на вступленіе въ бракъ, и что въ консисторію же онъ передалъ его прошеніе для исполненія.

Егоръ Иванычъ пришѣлъ съ двумя пѣвчими-богословами къ новопосвященному во священники. Тамъ сидѣли протодьяконъ, два кафедральные дьякона, одинъ пріѣзжій священникъ и еще одинъ городской дьяконъ. При протодьяконѣ всѣ вели себя скромно.

— А! вотъ и молодой проповѣдникъ! — сказалъ протодьяконъ и пожалъ руку Егору Иванычу. — Однако вы дурно сказали проповѣдь,—прибавилъ протодьяконъ.

— Даже очень скоро, — прибавилъ пѣвчій дьяконъ.

— Въ первый разъ, отецъ протодьяконъ, — оправдывался Егоръ Ивановичъ.

— Ну-ка, выпей водочки, поди пересохло въ горлѣ-то, — сказалъ протодьяконъ и налилъ Егору Ивановичу рюмку. Егоръ Ивановичъ долженъ былъ выпить.

— А скоро будешь посвящаться? — спросилъ протодьяконъ уже по-пріятельски.

— Какъ жежъсь.

— А!.. А невѣсту нашель?

— Въ томъ-то и горе, что нѣтъ.

— Я тебѣ вотъ что скажу, Егоръ Ивановичъ. Въ Столешинскѣ я хорошо знакомъ съ благочиннымъ, знаю тамъ невѣсту и напишу ему письмо. Письмо это ты самъ свезешь.

— Да вѣдь вы завтра ѣдете?

— Тѣфу ты! Совсѣмъ забылъ.

Протодьяконъ плюнулъ.

— Ну, такъ я по почтѣ пошлю.

Черезъ два часа протодьяконъ ушелъ съ казенными и городскими пѣвчими, дьяконами, отъѣзжаясь тѣмъ, что завтра въ 6 часовъ имъ ѣхать надо... По уходѣ ихъ начались пѣсни и дѣло дошло до буйства... Егоръ Ивановичъ убѣждалъ, но пришелъ домой „выпивши“ до того, что разругался съ Троицкимъ и чуть не прибилъ его.

— Эхъ те разобрало! Вотъ славный выйдетъ попъ! — замѣтилъ Троицкій.

— Знать тебя не знаю. Пови-ка теперь службы, а я напелъ, да еще какъ!..

Съ этимъ словомъ Егоръ Ивановичъ повалился на кровать и тотчасъ же уснулъ.

Черезъ недѣлю Егоръ Ивановичъ, получивши свидѣтельство на вступленіе въ бракъ съ дѣвицею духовнаго званія и справку, что онъ назначенъ священникомъ въ такое-то мѣсто, распростился съ пріятелями и покатилъ на обозахъ съ двумя бѣдными семинаристами къ своему отцу.

## II.

Егоръ Ивановичъ Поповъ поѣхалъ къ своему отцу въ село Ивановское, Петровскаго уѣзда. Такъ какъ это село находится отъ губернскаго города въ двухъ стахъ верстахъ, то онъ ѣхалъ на обозахъ цѣлую недѣлю; ѣхалъ на обозахъ не то, что на почтовыхъ, на перекладныхъ и съ попутчиками. Всякому извѣстно, что обозами называется кладъ, и на этой-то кладѣ сидитъ, точно на какой-то горѣ, дремлющій нищій, или хозяинъ лошади, или просто работникъ-извозчикъ. Любитель путешествій, богатый человѣкъ, никакъ не поѣдетъ на обозахъ, онъ не найдетъ никакого удобства на обозѣ. Мужикъ-крестьянинъ не стыдится сѣсть какъ-нибудь и гдѣ-нибудь — лишь бы сѣсть; не боится дождя и грязи, не боится стужи и вьюги, жару и духоты. потому что ему разбирать вкусы не къ чему: во всякую пору и непогоду онъ пойдетъ и поѣдетъ для хлѣба, потому что объ немъ никто не позаботится, а всякій называетъ его неучемъ, да еще

требуетъ кое-какой дани... Семинаристы не гнушаются крестьянъ-извозчиковъ. Извозчиковъ они любятъ потому, что тѣ берутъ съ нихъ дешево, да притомъ извозчики народъ славный, хотя и плуты подъ часъ; но кто же не плутъ? Семинаристу хочется домой къ роднымъ, домой въ родное село, нужно ѣхать куда-нибудь, — хоть невѣсту искать, а денегъ нѣту, пѣшкомъ идти далеко; поневолѣ поѣдетъ на обозѣ. Крестьяне знаютъ, что семинаристы народъ хорошій, мужика не обидятъ, ничего не украдутъ, а попросятъ они семинаристовъ покараулить обозъ и лошадку, когда сами отправятся куда-нибудь по нуждѣ или въ кабакъ, семинаристы не откажутся; да и какъ-то веселѣе съ „ребятами“, „калякають они больно толково, да весело такъ“... Кромѣ того крестьянинъ еще и уважаетъ ребятъ по любви ихъ къ вѣрѣ и по чету къ духовенству. „Не всякъ можетъ попомъ быть. Штука-та важная“... — разсуждаетъ каждый крестьянинъ.

Сидитъ Егоръ Ивановичъ на обозѣ, свѣсивши ноги. Очень неудобно сидѣть, а привлечь негдѣ. Ноги болтаются; самого „взбултыхиваетъ“ полегонечку, а въ inomъ мѣстѣ такъ тряхнеть, что невольно скажешь: да будь оно проклято! Съ непривычки ѣхать неловко, а крестьянину ничего. уже онъ привыкъ: спитъ себѣ полдороги на обозѣ съ витнемъ въ рукѣ, только шапка нависла на носъ. Оно и лучше — солнышко не жжетъ. Скука страшная, потому что лошади везетъ чуть-чуть; на мѣстность любоваться не стоитъ, такъ какъ Егоръ Ивановичъ проѣзжаетъ по этой дорогѣ не въ первый разъ, все мѣста знакомыя, да и видовъ-то хорошихъ нѣтъ: гдѣ мѣсъ, гдѣ палики, гдѣ покосъ, гдѣ пашни; деревеньки незавидныя, люди бѣдные, проѣзжающихъ мало. Извозчикъ оказался несловоохотливый... Егоръ Ивановичъ всячески старался сблизиться съ крестьяниномъ по нынѣшнему, какъ онъ въ книгахъ вычиталъ. Прежде онъ какъ-то весело ѣхалъ, а теперь у него въ головѣ засѣла мысль, что „я кончилъ курсъ. Я много знаю, а крестьянинъ ничего не знаетъ“... Однако онъ началъ говорить съ крестьяниномъ по нынѣшнему.

— Слышишь, дядя!

— Ну?

— Какъ те зовутъ?

— Зовутъ меня Митрій.

— А величаютъ?

— Величаютъ Егорычъ.

— Значитъ ты Митрій Егорычъ?

— Знамо такъ.

— А хлѣбъ-то у васъ каковъ попъ?

— Нешто.

— А какъ?

— Да такъ.

Молчаніе.

— Што Богъ дастъ, то и ладно... — началъ крестьянинъ. Вотъ нынѣ што есь съ обозами мало ходимъ... Времена такія тяжелыя... А хлѣба въ прошломъ году не было, потому, значить, земля у насъ не такая, какъ въ Прогаринѣ, или хоша у сосѣдей. Тѣ, значить, зажиточные, подарили съ начала

кого должно, и надѣлили ихъ: значить, старья мѣста дали.

— А ты какой: государственный или крѣпостной?

— Кабы государственный—не то бы было. Никитинской... Баринъ Иванъ Лексѣичъ.

— Худоу человекъ?

— А кто его знаетъ... Не наше крестьянское дѣло судить... На то Божья воля да милость царская...

Крестьянинъ замолчалъ. Объ чемъ еще говорить Егору Ивану съ крестьяниномъ? Положимъ, предметовъ много, но крестьянинъ не пойметъ всѣхъ этихъ предметовъ. О хлѣбопашествѣ говорить не стоитъ, потому что крестьянину досадно даже говорить о неурожаѣ: неурожай и разныя неудачи поѣдомъ ѣдятъ его. А неудачи есть у каждого человека, не только что у крестьянина; у крестьянина больше всѣхъ неудачъ, и эти неудачи нѣмъ изъ прочихъ сословій не замѣчаются, и если замѣчаются, то такъ себѣ; и если вырвется у кого-нибудь сочувствіе, такъ это рѣдкость, болѣею частью для хвастовства: что-де и мы любимъ крестьянъ, и мы имъ благодаріи хотимъ сдѣлать. Егору Ивану хотѣлось кое-что объяснить крестьянину, но онъ не могъ выбрать такого предмета, который бы крестьянинъ понялъ. Онъ знаетъ, что крестьяне не очень долюбиваютъ тѣхъ господъ, которые, встрѣтаясь съ ними въ первый разъ, начинаютъ говорить имъ о такихъ предметахъ, которыхъ или они не понимаютъ, или предметы эти не интересуютъ ихъ. Крестьяне даже боятся тѣхъ людей не ихъ сословія, одѣтыхъ прилично барскому сословію, которые съ ними говорятъ ласково, выспрашиваютъ все болѣе о господахъ, говорятъ такія слова противъ старшихъ, которыхъ крестьяне привыкли уважать и бояться съ дѣтства... Крестьянину, — отъ рожденія привыкшему работать на потребу другихъ всю жизнь, забытому, у котораго развитіе остановилось на приобрѣтеніи денегъ различными способами, — странны кажутся такія слова. Егоръ Ивановичъ зналъ все это; самъ слышалъ хвастовство то-варщицы объ отрицаніи, и ему это казалось глупо. — Такой наукой, думалъ онъ, нельзя выучить народъ добру. Да и Троицкій, человекъ отрицающій, говоритъ, что народъ насчетъ этого не нужно трогать. Самъ современемъ пойметъ. Егоръ Ивановичъ знаетъ и то, что крестьянину ничего не нужно отъ человека, прилично одѣтаго, кромѣ денегъ за работу или возку и на водку. Крестьянинъ знаетъ, что ему не нужно быть баринномъ: онъ захочетъ, если представить себя баринномъ въ сюртукъ и въ свѣтлыхъ сапогахъ и свою жену въ шляпкѣ. Будетъ много денегъ — тогда можно торговлей заняться, домъ хорошій соорудить, а куда ужъ въ барѣ лѣзть. „Мы люди такіе, тѣ люди ные“. Отъ этого-то у него является недоумѣе къ барину: — „говорить-то онъ хитро да ласково, а Богъ его знаетъ, что у него на умъ-то? мягко стелеть, да жестко спать будетъ“... Положимъ, баринъ и предложеніе хорошее сдѣлаетъ, такъ и тутъ крестьянинъ не иначе согласится, какъ прежде посоветовавшись съ товарищами.

Товарища Егора Иваныча — Павелъ Игнатьичъ

Корольковъ, философъ, и Максимъ Игнатьичъ Корольковъ же, словесникъ, ѣхали на другомъ обозѣ. Они ѣхали весело и смѣшили ямщика. Они рассказывали ямщику разныя городскіе-губернскіе анекдоты и сплетни, въ родѣ слѣдующаго:

— Ты, дядя, знаешь бульваръ?

— А!?—крестьянинъ захохоталъ. Этими словомъ онъ выразилъ то, что выразится словами: „эво, еще бы, ужъ будто не знаемъ-ста“.

— Такъ вотъ видишь ли, какая тамъ штука забористая вышла. Гуляло народу много; знати всякой и не перечесть... А дамы, слышь, нарядныя такія—преlestь. Въ деревняхъ-такимъ не найдешь... Ну и ладно. Вотъ сидятъ это много на скамейкахъ противъ музыкантовъ, которые потѣшаютъ ихъ на разныя манеры... Сидятъ онѣ смирно, всѣ смотрятъ на музыкантовъ,—въ чувство входятъ; а мимо ихъ на площадкѣ разныя франты ходятъ. Значить ипуть дѣвицы на тово-оно... Вдругъ, что бы ты думалъ, вышло? Одна передняя скамейка и грохнулась,—ножки съ одного конца фальшивыя были,—ну, дамы и кувирь—кто верехъ ногами, кто просто на поспраженіе, а молодые-то люди франты любятъ...

Крестьянинъ хохочетъ во все горло, хохочетъ съ четверть часа.

— Вотъ такъ любо! А я бы знаешь какъ?.. — Крестьянинъ хохочетъ.

— А какъ?

Крестьянинъ хохочетъ и говоритъ свое мнѣніе. Потомъ рассказываетъ о казусахъ, бывшихъ въ селѣ съ какой-нибудь дѣвкой.

— А вотъ что, дядя, какъ по твоему: которыя изъ дѣвокъ лучше: городскія, или сельскія?

— Городскія, братъ, штуки! Напаялено на нее—страсть; ходитъ какъ индѣйскій пѣтухъ: только поглядишь въ щелочку на нее, страхъ возмется... Да что—не по намъ.

— Въ селахъ-то, братъ, лучше, знать?

— Эво! Возмешь кою дѣвку и не нарядную — славно! Здоровая такая... — Крестьянинъ хохочетъ.

— И женишься,—славная жена будетъ.

— Ужъ на этотъ счетъ не безпокояйся. Все приладить; заботу объ ребятахъ знаетъ, чужому не поддастся. Вотъ моя жена такъ ревни реветъ, коли мнѣ что не посчастливится, а пьяный напьешься,—драться лѣзетъ... Славная баба, бой баба!.. А здорова, собака! На тысячу рублей не прогнѣяю свою бабу. Золото баба!..

— А ты по любви женился?

— Пондравилась: красивая была дѣвка, да и вмѣстѣ малолѣтками игравали. . Ну, достатку-то у нихъ нѣтъ, да все однако—жениться надо. Ну, и женился“.

— Не перечила?

— Да что ей перечить? Меня знаетъ: „я, говорить, за тебя пойду за мужъ, коли ты меня обижать не будешь, коли, говорить, будешь мужикъ хорошій“.

— Такъ А городскія не нравятся?

— Да что и толковать! Ну ихъ!.. Хорошо яблоко спереди, да внутри-то горько.

— Ты бы въ Питерѣ пожилъ, не то бы сказалъ.

— Ну, не знаемъ поди-кось!.. Вонъ донись оттоль Кирьякъ Савичъ прїѣзжалъ, — извозчикомъ тамъ былъ. „Такая, говоритъ, тамъ жизнь извозникамъ — бѣда! Плутость, говоритъ, надо быть... Съ виду-то, говоритъ, куды-те расфранченная, ужаси!.. А скажешь такое любезное слово — и готово!..“ Только Кирьяшко-то, знать, прихвастываетъ на этотъ счетъ. Подиткось, такъ и повѣрять! А у самого, у пса, жена здѣсь съ дѣтми живетъ.

— Ну, тамъ-то это такъ.

— А ты бывалъ тамъ?

— Не былъ, а въ книжкахъ пишутъ.

— Ну и врутъ, коли пишутъ... Эдакъ жить, по нашему выходитъ, грѣхъ... Стыдъ на весь миръ... А все бы самому лучше поглядѣть.

Егоръ Ивановичъ злится, слушая эти разговоры. Онъ думалъ: „что это они толкуютъ дичь? Ну, для чего? Будто о другомъ не очень разсуждать... Но, взглянувъ на спину своего дремлющаго ямщика, онъ думалъ: „какъ только буду я священникомъ, я прямо начну говорить проповѣди объ этомъ предметѣ. Я всѣ эти гадости объясню имъ... Эхъ, какая пошлость! До чего люди доходятъ! Подобные прикѣры я видѣлъ и въ губернскомъ; надо вразумить прихожанъ, изболѣчить ихъ въ поступкахъ, происходящихъ отъ безнравственности“... При этомъ онъ представилъ себѣ, что онъ ѣдетъ жениться, не на комъ? Сердце забилось, словно боль какая-то чувствуется. Потянулся онъ, зѣвнулъ, сталъ тянуть поочередно пальцы; пальцы захрустѣли... „Какая-то моя невѣста? Господи, дай мнѣ хорошую жену, не развратницу. Слыхалъ я, что какой-то священникъ отъ развратницы жены спился и подъ судъ попалъ, теперь по кабакамъ трется въ крестьянскомъ званіи. Нѣтъ! дай мнѣ хорошую жену“... И при мысли объ женѣ, объ дѣтяхъ опять чувствуется боль и радостное шепотаніе въ сердцѣ.

Почти во всю дорогу Егоръ Ивановичъ думалъ объ своей будущей невѣстѣ и трепеталъ. Невѣсты онъ не видалъ. Кто ее знаетъ, какая она. Другое дѣло, если бы Степанида Федоровна... При этомъ Егору Ивановичу чего-то жалко стало, ало его взяло... „Да ну ее къ чертямъ!“ подумалъ онъ. И опять ему представляется невѣста въ образѣ красивенькой дѣвчонки, дѣвочки набожной, отецъ которой богатый человѣкъ, даетъ ему свой домъ или купить въ городѣ домъ въ четыре комнаты. Но вѣдь невѣсты еще нѣтъ. Нужно найти ее... У отца Василія, сказываютъ, есть дочь Наталья 19 лѣтъ... Какъ, поди, красива! А впрочемъ, кто ее знаетъ, какая она. Можетъ, она уже помолвлена съ кѣмъ-нибудь... Все бы хорошо имѣть тестя въ той же церкви: дождь бы можно много нажить. Но какъ подступитъ къ нему? Какъ жениться въ такой короткій срокъ на незнакомой дѣвушкѣ? Надо съ отцомъ посоветоваться..

Съ товарищами-семинаристами Корольковыми Егоръ Ивановичъ обращался, какъ кончившій курсъ съ учениками. По его понятію, это были мальчишки, только что начинающіе смыслить, теперь еще глупые ребята. Корольковы были изъ Столешинскаго уѣзда и кое-что знали о духовенствѣ тамошнемъ.

— Вы въ Столешинскъ?

— Да.

— Ну, невѣсть тамъ много. Мы слышали: вы у отца Василія Будрина хотите сватать.

— Еще не знаю.

— Полноте притворяться! Во всемъ губернскомъ знаютъ.

— А у Василія Григорьевича славная дочка! Я бы не прочь жениться на ней. Только приданого-то мало, потому что прихожанъ у этой церкви мало, и прихожане народъ все бѣдный, все рабочіе.

— За то священникъ.

Егору Ивановичу не нравится это, болѣе потому, что мальчишки толкуютъ не въ его пользу.

— Вы бы, г. Поповъ, у чиновниковъ или у купцовъ посватались!

— Знаю и безъ васъ.

— Ну, это еще не резонъ.

— Почему?

— Потому что отецъ Василій и не отдастъ за васъ.

— По-че-му?

— Потому что вы очень неказисты съ виду.

„Подлецы!“ — ворчатъ про себя Егоръ Ивановичъ и думаетъ: „во что бы то ни стало, а женюсь таки я на Будриной дочери“.

— А можетъ она и съ брюхомъ! — подзадориваютъ семинаристы.

— Господа! вамъ какое дѣло до меня и моей невѣсты? — говоритъ Егоръ Ивановичъ, думая, что семинаристы испугаются его, какъ кончившаго курсъ и благодѣтельствованнаго начальствомъ.

— То дѣло, что она не пойдетъ за васъ замужъ, потому что у васъ шишки на носу...

— Я... я ректору на васъ пожалуюсь!

— Вотъ и спасибо... Да ну его къ чорту!

— Ей-Вогу, пожалуюсь!

— Вотъ что, г. Поповъ: вы будете служить въ уѣздномъ городѣ и васъ будутъ тѣснить благочинные, если у васъ не будетъ денегъ. А мы будемъ учиться и въ попы не поступимъ. Намъ хоть сейчасъ гони, намъ все равно. Въ другое мѣсто пойдемъ учиться.

Егоръ Ивановичъ на это ничего не отвѣчалъ и всю дорогу отмалчивался. Пойдутъ Корольковы въ кабакъ съ крестьяниномъ — Егоръ Ивановичъ думаетъ: „погибшіе люди“. Заговаривать съ крестьянами такъ, что крестьяне рады ихъ слушать, хочутъ и соглашаются и еще просятъ разсказать — Егоръ Ивановичъ думаетъ: „ужъ я доберусь до нихъ, только бы жениться!“... Корольковы смѣялись надъ Поповымъ, крестьяне отмалчивались отъ него, говоря: „ужъ больно онъ важничаетъ“. Корольковы ѣхали весело, такъ что крестьяне говорили имъ на прощаньи: „жалко, что вы, ребята, маловато ѣхали: и не заиѣтили, какъ время-то весело прошло“. Егоръ Ивановичъ скучалъ. Крестьяне говорили про него: „одѣтъ-то онъ неказисто, а больно хитеръ. И не хитеръ, а смыслу такого нѣтъ, чтобы убоготворить нашего брата...“

Съ Корольковыми Егоръ Ивановичъ разстался въ деревнѣ Ершовѣ, которая отъ Ивановскаго села находится въ десяти верстахъ. А такъ какъ ершовцы прихожане ивановской церкви, то Егора Ивановича довезъ до села ершовскій крестьянинъ Макаръ даромъ.

Егора Ивановича по въѣздѣ въ село одно только радовало: увидѣться съ отцомъ и съ нимъ же ѣхать въ Столешинскъ. Иныя радости бывали прежде, когда онъ прїѣзжалъ домой еще уѣзднякомъ. Теперь онъ возмужалъ, окрѣпъ, сдѣлался чѣмъ-то выше крестьянъ и даже своего отца. Ему не время было вглядываться въ сельскую обстановку, да и не для чего, потому что село какъ въ прошломъ году стояло, такъ и теперь оно въ такомъ же видѣ. У церкви въ прошломъ году еще на одномъ окнѣ вверху стекло было разбито, такъ и теперь это стекло разбитымъ остается. Всѣ дома такіе же черные съ высокими крышами, да кое гдѣ съ палисадниками передъ окнами; тотъ домъ Марка, тотъ Пантелея, тотъ старосты, а тотъ станового. Люди тоже не измѣнились. Ходятъ себѣ въ рубахахъ да въ штанахъ, ребятишки играютъ, скачутъ; всѣ говорятъ чисто по деревенски; скотъ по старому свободно разгуливаетъ по улицамъ... Все одно и то же, только вонъ налѣво двѣ крестьянскія избы сгорѣли.

Егоръ Ивановичъ думалъ, что его встрѣтятъ какъ дорогаго гостя. Въ воротахъ его встрѣтила коровабуренка. Во дворѣ чисто: но на крылечкѣ настоящая деревенщина. Егоръ Ивановичъ вошелъ въ кухню, никого нѣтъ. Одинъ только котъ забился на шестокъ и оплетаетъ поросенка, оставленнаго безъ призора въ латкѣ. Егоръ Ивановичъ стащилъ кота за ухо. Въ комнатѣ тоже никого нѣтъ, въ отцовскомъ чуланѣ тоже.

— Вотъ она деревня то! Оставь-ко такъ домъ у насъ въ губернскомъ безъ заперти!.. Впрочемъ и взять-то у нихъ нечего,—проговорилъ про себя Егоръ Ивановичъ.

Зная, что онъ здѣсь хозяинъ, такъ какъ домъ отцовскій, Егоръ Ивановичъ втащилъ въ отцовскую комнату сундучокъ, въ которомъ заключались книги и одежда, тулупъ, войлокъ, одѣяло и подушку. Умывшись и закусивши поросенкомъ, онъ улегся спать. Но черезъ четверть часа услышалъ голосъ сестры Анны.

— Чтой-то, дѣвка, за напасть! Гля, поросенокъ-то... Кто же это слопалъ?

— Да братъ, поди, — отозвался женскій голосъ.

— Ахъ, мои матушки, и не догадаюсь! Гдѣ же онъ, голубчикъ?—И Анна вбѣжала въ отцовскую комнату. Братъ и сестра поцѣловались. Сестра долго любовалась на брата и выпрашивала разныя губернскія новости.

— А гдѣ же отецъ?

— По грибы, Егорушка, ушелъ. Чай поди сейчасъ придетъ. А ты поѣшь, голубчикъ.

— Ты, сестра, извини, что я слопалъ поросенка.

— Ой! ой! побойся ты Бога, братъ.

— Отчего ты мнѣ дозволяешь ѣсть, а другихъ ругаешь, готова глаза выпарапать?

— Ну-ну, ученъ больно!.. Ты мнѣ братъ, а тѣ

чужіе, каждый воленъ свое съѣсть, а на чужой каравай ротъ не разѣвай. Поѣшь, право.

— Молочка разѣй.

— Изволь. Я тѣ малинки еще принесу... Какой нынче урожай этой малины, бѣда! Вонъ Пашка у меня вчера обтрескался малины-то, все брюхо вспучило; къ знахаркѣ ходила... Теперь прошло, съ отцомъ побѣжалъ въ лѣсъ.

Сестра принесла кринку молока и буракъ малины. Егоръ Ивановичъ налилъ молока въ чашку, накрошилъ булки, накаталъ малины и сталъ ѣсть.

— Гдѣ же Петръ Матвѣичъ?

— А будь онъ проклятъ! и не говори...

— Что?

— Да просто житья отъ фармазона нѣтъ.

— Что же онъ, по старому?

— Охъ, Егорушко, и не говори! Насобирали мы нынѣ въ праздникъ мучки пудовъ съ двадцать, продали десять пудовъ, а остальную въ сусѣкъ положили, да денегъ 5 рублей насобирали; онъ, будь онъ проклятъ, все пропилъ, да дѣвкѣ Марѣ сосовалъ... Ахъ, убей ты его, царца небесная!

— Зачѣмъ желать зла, сестра! Богъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлать.

— Такъ оно... И смерти-то на него анафемскаго нѣтъ никакой... Хотѣ бы съ вина сгорѣлъ, окаянная сила!..

— Опять таки я тебѣ скажу, сестра, смерти желать никому не слѣдуетъ, потому что такъ Господь велитъ, да и твой рассудокъ такъ говоритъ, что безъ мужа, тебѣ плохо будетъ. Вѣдь у тебя трое дѣтей?

— Ой, и не говори!.. Ужъ такой злосчастной вѣрно на роду Богъ написалъ быть.

— Жалко, сестричка, мнѣ тебя!..

— Ни одного дня такого нѣтъ... Совсѣмъ каторжная жизнь...—Сестра заплакала.

— Не тужи, сестра. Богъ поможетъ. Надѣйся на Него: все будетъ легче; стерпится—слюбится, говоритъ пословица.

— Такъ оно. Да все тяжело; на Бога надѣйся, а самъ не плошай. Вонъ попрекаетъ меня новыи дьякономъ: „ты, говорить, съ нимъ дѣла имѣешь“... А у того дьякона, голубчика, жена злющая-презлющая, такъ и бьетъ его...

— Можетъ быть ты съ нимъ дружбу ведешь?

— Эхъ, Егорушка, съ кѣмъ же мнѣ и вести дружбу, какъ не съ хорошимъ человѣкомъ? Что я стану съ своимъ-то мужемъ дѣлать, коли онъ жалости никакой ко мнѣ не имѣетъ!

— Какая же твоя дружба съ дьякономъ? т. е., что ты съ нимъ дѣлаешь?

— И не говори! Славный человѣкъ!.. Дай Богъ ему добраго здоровья,—сестра перекрестилась.

— Поди, цѣлуешься?

Сестра захохотала и убѣжала въ кухню, вѣроятно отъ стыда, или отъ чего-нибудь другого.

Къ Егору Ивановичу пришелъ Саша, мальчикъ 5 лѣтъ; бойкій мальчикъ.

— А, Саша! здравствуй!

Саша, какъ маленькій мальчикъ—ребенокъ, выдавшій дядю черезъ два года и черезъ годъ. счи-



такъ дядю за чужого; а извѣстно, что дѣти не скоро льнуть къ чужимъ, не смотря даже на особенныя ласки и выраженіе лица. Егоръ Ивановичъ не очень долюбивалъ дѣтей, и потому, сказавъ нѣсколько словъ мальчику, сталъ смотрѣть въ окно. Пришла сестра съ двухъ-годовой дѣвочкой.

— А вотъ и Степка! поганая дѣвочка!.. — представила сестра брату свою дочь.

— Какая ты грубая, сестра! Развѣ можно такъ говорить при дѣтяхъ.

— Бить ихъ, гадинъ, надо!

— Сестра! Неужели у тебя нѣтъ жалости къ своимъ дѣтямъ?

— И не говори, братчикъ! Ты не знаешь, сколько терпѣла черезъ нихъ, пострѣлать.

— Зачѣмъ же ты замужъ вышла?

— Весь вѣкъ что ли въ дѣвкахъ сидѣть?... — Сестра обидѣлась.

— Лучше бы было. Ты по своей красотѣ нашла бы хорошаго жениха.

— Именно нашла бы.

Егору Ивановичу сестра показалась слишкомъ невѣжливой женщиной и развратницей. Онъ никакъ не предполагалъ, чтобы сестра его, богомольная, смиренная дѣвушка до замужества и хорошая жена назадъ тому два года, дошла до того, что имѣетъ дружбу съ дьякономъ и пренебрегаетъ своими дѣтьми. Онъ догадался, что вся причина этого зла происходитъ отъ мужа ея.

— А что твой мужъ, каковъ съ отцомъ?

— И не говори! Третьево-дни обозвалъ его всячески. Прибить хотѣлъ.

Это разозлило Егора Ивановича, и онъ рѣшился, во что бы ни стало, урезонить его, обратить на хорошую жизнь.

— Папа учится?

— Ой, и не говори! Просто такая сорва, возможное вострее, да и только! Ты знаешь отца-то, нюня такая—просто бѣда... Ничѣмъ не хочетъ заняться.

— Ты объ отцѣ не говори такъ.

— Сидеть на улицѣ и сидѣть весь день съ мушками. А это ужъ въ заводи, когда съ Пашкой займется. Да и какое занятъе-то? Посадить Пашку противъ себя и заставить читать, а тотъ, шельмецъ, читаетъ себѣ подъ носъ; настоящаго нѣтъ, отецъ-то и прикурнетъ. А какъ задремалъ отецъ, онъ и бѣжать, да все съ ребятами въ бабки да въ мячикъ играть. Говорю я ему, чтобы онъ его, собаку, къ столу привязалъ, да плетку держалъ въ рукѣ, такъ на улицу идетъ, тамъ, говоритъ, другіе ребята виѣстъ съ Пашкой будутъ понимать ученъе... Не хата-ка, что просто бѣда!.. Вотъ что, братецъ, поучи ты Пашку-то; я ужъ такую тебѣ плетку сдѣлаю!.. Изъ арапника старова сдѣлаю...

— Учить нужно лаской.

— Ой, и не говори! Самого-то какъ учили!

Въ это время Егоръ Ивановичъ увидалъ на улицѣ отца. Онъ шелъ съ Павломъ безъ шапки. Далеко видно было заштатнаго дьякона по его освѣтившейся солнцемъ лысинѣ. Павелъ скакалъ кругомъ дѣдушки, держа въ рукахъ наберуху, изъ которой

выпадывали грибы. Дѣдушка унимаетъ внучка, внучокъ хуже шалитъ.

— Погоди же ты, шельма! Задамъ я тебѣ поронь!— ворчитъ старикъ и хочетъ поймать внучка. Внучокъ языкъ ему выставляетъ.

— Плутъ-парень! Зачѣмъ ты грузди-то поскидалъ? Я еще тебѣ за шапку задамъ, еще погоди!

— Не боюсь не боюсь!— кричитъ внучокъ и скачетъ.

Егоръ Ивановичъ вышелъ на улицу встрѣчать отца

— Дѣдушка—ладя!—сказалъ Павелъ и подбѣжалъ къ Егору Ивановичу. Егоръ Ивановичъ подалъ ему руку и подошелъ къ отцу.

— А! Егорушко! Ахъ ты, голубчикъ! Здравствуй, Егорушко, здравствуй! здоровъ ли, дитятко?—сказалъ ласково и съ радостью Иванъ Ивановичъ и облобызалъ Егора Ивановича.

— Здоровы ли вы, тятенька?

— Плоховато, Егорушко, плоховато... Вотъ по грузди ходилъ, ноженьки устали, просто бѣда! Разломилло.. Спина ноетъ, знатъ-то дождикъ будетъ... Ну, какъ ты, кончилъ терминъ?

— Кончилъ.

— Ну, и слава тѣ, Господи! Пойдемъ въ избенку-то. Вошли въ избу.

— Ну-ко ты, курва! Што у те все разбросано?... Братъ пріѣхалъ, а у ней вишь ты што... Неряха!—ворчитъ старикъ на свою дочь.

— Ужъ опять пришелъ ворчать-то,—говоритъ дочь.

— Ахъ ты, поганъ! Мало тебя мужъ-то бьетъ, мало, ей-Богу... Гадина!

— Полноте, тятенька,—увѣщеваетъ сынъ.

— Да какъ съ ней, стервой, не кричать! Просто отъ рукъ отбилась.

— Просто житья мнѣ въ этомъ дому нѣтъ!—завыла Анна. — И бранять, и бьютъ; поѣдомъ съѣлъ...

— Молчи! — крикнулъ Иванъ Ивановичъ. — Пошлю изъ дому къ паршивику...

— Тятенька, полноте!..—проситъ сынъ.

— Я те какъ начухлестать вотъ этой дубиной... Чисти грибы-то!.. Охъ вы, мои ноженьки!.. Просто житья мнѣ отъ нихъ, чертей, нѣтъ... Ну такъ, Егорушко, теперь ты какъ?

— Да ужъ получилъ мѣсто.

— Ну, слава тебѣ Господи!—и Иванъ Ивановичъ перекрестился. — Во священника?

— Да, въ Столешинскъ.

— Слава Богу! слава Богу... А ты спалъ ли?

— Дорогой спалъ.

— Поди сосни, Егорушко. Эй ты, што же ты на столъ-то не накрываешь.

— И накрою, подождешь.

— Ахъ, будь ты проклятая! Што мнѣ, въ люди идти обѣдать-то?

Время до обѣда Ивана Ивановича прошло скучно для Егора Ивановича; ему должно было слушать ругань отца. Хотя онъ и вступался въ примиреніе, но его не слушали. Сестра его крупно огрызалась отъ отца и все пуще и пуще злила его.

Сталъ Иванъ Ивановичъ обѣдать грибочку, сваренную изъ грибовъ, и грибы, зажаренные въ сме-

танѣ. Егоръ Ивановичъ тоже сталъ ѣсть, но ѣлъ лѣнливо. Старикъ показалось, что Егоръ Ивановичъ брезгуетъ кушаньями.

— Што же ты, Егорушко, не ѣшь?

— Сытъ, тятенька. Я, какъ прѣѣхалъ, поросенка поѣлъ. Потомъ сестра пришла, молока принесла и малины... Да и мы тамъ очень мало ѣдимъ.

— А ты опять бѣгала? — спросилъ строго Иванъ Ивановичъ свою дочь.

— Опять брань.

— Принеси молока съ малиной.

Анна принесла молока и малины. Егоръ Ивановичъ не ѣстъ.

— Поѣшь, Егорушко.

— Не хочу—сытъ.— Егоръ Ивановичъ всталъ.

— А ты посиди, поговоримъ. Али спать хочешь?

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, братъ, я знаю, что спать хочешь... Эй ты, Анна, топи баню!..

— Да какая же теперь баня? — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Ну, братъ, объ этомъ и въ писаніи сказано. Ты у меня золото, Егорушко! А баню надо истопить. Да что съ ней, шельмой, и толковать... Пашка. не балуй, отдеру за вихры-то! Помежь за водой!

Егоръ Ивановичъ отправился спать на сѣнникъ. Онъ долго думалъ объ отцѣ. Какъ онъ неразвѣтъ до сихъ поръ! Съ людьми онъ хорошъ, крестьяне любятъ его, отчего же это онъ съ семьей такъ обращается? отчего же эта брань и ворчанье? Тутъ что-то крѣпко худое. Надо будетъ разспросить у отца или пока молчать, а самому посмотреть на нихъ. Онъ спалъ немного; его разбудилъ отецъ.

— Егорушка, спишь? — Эти слова старикъ повторилъ раза четыре. Вымывшись въ банѣ, Поповы стали пить чай.

— А я, Егорушка, давече забылъ сказать тебѣ. Эта шельма у меня совсѣмъ отбила память... Я вѣдь думалъ ѣхать къ тебѣ. Такъ-таки и положилъ завтра ѣхать.

— Зачѣмъ?

— Да что я стану дѣлать съ ними? Петька всего обворовалъ, а вчерась чуть не прибилъ, окаянный.

— Вы бы, тятенька, какъ-нибудь легче урезонивали его.

— Бить его надо, да силъ у меня такихъ нѣтъ... Такъ какъ же теперь на счетъ невѣсты-то?

— Не знаю, какъ.

— Ну, какъ-нибудь... Такъ мы завтра жемъ ѣдемъ по невѣсту.

— Мнѣ отдохнуть хочется, да и до октября еще долго.

— А какъ да ты опоздаешь?

— Не знаю.

— Нѣтъ, ужъ ты лучше скорѣе вари кашу, а то другой окромя этой не найдешь.

— Знаете-ли, тятенька, что меня мучитъ: какъ мнѣ жениться на незнакомой дѣвушкѣ?

— А что?

— Да какъ же? Вѣдь я ея не видалъ даже!

— Такъ что, что не видалъ?.. эка бѣда! При-

ѣдемъ, пошлемъ сватью какую-нибудь, и дѣло въ шляпѣ.

— А какъ да она не понравится мнѣ!

— Я вижу, ты большой привередникъ. Больно въ тебѣ нравъ крутой сдѣлался. Да оно такъ и должно быть... Накось, кончи курсъ въ семинаріи! Славно, Егорушка!.. Я бы, какъ кончилъ курсъ, ужъ кѣмъ бы теперь былъ? Ну, кѣмъ бы я былъ?

— Можеть быть благочиннымъ.

— Ишь ты! А благочиннымъ сдѣлаться—штука... Нѣтъ, я бы выше былъ.

— Можно быть и благочиннымъ въ губернской городѣ, старшимъ членомъ консисторіи. Тамъ житье славное.

— То-то вотъ ты и есть! А какъ я обучился топорнымъ манеромъ, вотъ и остался на всю жизнь дьякономъ, да и за штатомъ оставили... Нѣтъ, Егорушка, я бы экономомъ архіерейскимъ сдѣлался. Слышалъ я, что нѣтъ большая честь, да и хорошая жизнь.

— Ну, экономомъ вы могли бы сдѣлаться только тогда, когда вы были бы монахомъ.

— Право?

— Неужели вы не знаете, что экономы выбираются больше изъ монаховъ?

— Я видалъ и протопопа.

— Не знаю. А больше монахи.

— Ну, ужъ я въ монахи не пойду.

— А вотъ монахамъ житье лучше нашего брата, т. е. бѣлаго духовенства.

— Ну, не ври. Монахъ за мѣръ грѣшный молится.

— Вотъ я такъ могу быть архимандритомъ и архіереемъ даже.

— Ну?!

— Право. И очень легко.

— А какъ?..

— Вотъ какимъ образомъ. Если я теперь поѣду на казенный счетъ въ духовную академію...

— Ну ужъ, не ѣзди, не мучь себя; и то ты ужъ спичка спичкой...

— Мнѣ о. ректоръ предлагалъ, да я сказалъ, что я долженъ всѣми силами заботиться о васъ.

Ивану Ивановичу это любо показалось; онъ улыбнулся, но ничего не сказалъ. Вѣроятно онъ хотѣлъ поблагодарить сына, да только не могъ или не умѣлъ поблагодарить. Егоръ Ивановичъ продолжалъ:

— О. ректоръ сказалъ, что это дѣло хорошее, что я за это могу скоро получить священническое мѣсто.

— Вотъ, значить, я не дурака вырастилъ. Славный ты у меня, Егорушка!.. ей-Богу, славный... А мы вотъ что сдѣлаемъ...

— Что?

— Да нѣтъ, ужъ я теперь не скажу...

— Вы не видали моего указа изъ консисторіи?

— Покажи.

Егоръ Ивановичъ показалъ отцу указъ. Отецъ смотрѣлъ, улыбаясь.

— Прочти, Егорушка, не вижу.

Егоръ Ивановичъ сталъ читать: „по указу его в-ва, высокопреосвященнѣйшаго (имя рекъ) архі-епископа...“

— Постой!—И Иванъ Ивановичъ убѣжалъ на улицу. Егоръ Ивановичъ посмотрѣлъ въ окно.

— Куда же это онъ?—спросилъ онъ сестру.

— Въ кабакъ!—отвѣтила она.

— А онъ ходитъ развѣ туда?

— Ходитъ Каждый день ходитъ. Онъ и теперь пьяный пришелъ.

— Ты врешь, сестра? Онъ прежде не пилъ.

— Не знаютъ будто! Вотъ ты два года не былъ дома и не знаешь.

— Это все вы, свиньи, довели его до того!—И братъ началъ ходить по комнатамъ.

Сестра обидѣлась на брата и ушла на улицу, ничего не сказавши на замѣчаніе брата

Егоръ Ивановичъ положилъ указъ въ ящикъ, и только что подошелъ къ окну, какъ увидѣлъ около дома толпу крестьянъ, впереди которой шелъ Иванъ Ивановичъ, держа въ рукѣ косушку вишневки.

— Сюда, ребята! сюда!—кричитъ Иванъ Ивановичъ крестьянамъ, торжественно входя въ избу.

— Тятенька!—сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Ну, ну, голубчикъ... — Онъ уже выпилъ и жевалъ ржаной кусокъ хлѣба.

Въ кухню вошли семеро крестьянъ.

— Вотъ онъ, Егорушка-то! Вотъ онъ, сыночекъ-то! — представилъ Иванъ Ивановичъ своего сына крестьянамъ.

— Здравствуйте, Егоръ Ивановичъ! Наме вамъ почтеніе! — сказали крестьяне, снявши шапки, и поклонились ему.

— Здравствуйте, господа, — сказалъ Егоръ Ивановичъ нѣсколько вѣжливо и нѣсколько гордо.

— Какъ поживаете?

— Покорно благодарю, господа.

— Какіе мы господа!.. А вы въ поны идете? Дѣло, Егоръ Ивановичъ. Дай Богъ вамъ счастья, дай Богъ!.. — сказалъ одинъ крестьянинъ, кланяясь.

— Ну, ребята, выпейте! За сына моего выпейте: вѣдь въ священники посвящали...

— Слава тѣ, Господи!

— Самъ преосвященный бумагу далъ.

— Дай вамъ Господи много лѣтъ здравствовать!

Крестьяне присѣли и стали шептаться. Иванъ Ивановичъ налилъ рюмку водки и поднесъ Егору Ивановичу.

— Выпей, Егорушка. Сладенькая.

— Не могу, тятенька

— Ну, не церемонься. Знаю я, какъ ваша братья пьютъ. Ну, ну!..

— Егоръ Ивановичъ, выпей... Ништо, водка-то сладкая, просятъ Егора Ивановича крестьяне. Крестьяне эти были старые, честные и добрые люди. Нельзя было не уважить ихъ ради отца. Тутъ не для чего было церемониться, потому что Егоръ Ивановичъ выпивалъ въ губернскомъ съ товарищами, но ему хотѣлось показать, что онъ ничего не пьетъ, показать, что онъ бѣгаетъ отъ кабака и подобнаго зелья; но подумавъ, что этимъ крестьянъ не обманешь, и онъ будетъ священникомъ въ другомъ мѣстѣ, онъ выпилъ, сказавъ, что выпиваетъ ради хорошихъ людей.

— Ну, теперь я, — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

сочиненія ѳ. рѣштыкова.

— Во здравіе! — сказали крестьяне. — За сынка-то, Егоръ Ивановича, пейте.

— Ребя, купишь еще! Штофъ купишь, чертъ ихъ дери и съ деньгами-то, — сказала одинъ, уже хваставшій очищеннаго, крестьянинъ.

— Бѣлой! Самой горькой! — закричалъ другой крестьянинъ, и вытащилъ изъ-за пазухи кожаный кошелекъ съ деньгами.

— Вали! вотъ тѣ пятакъ.

— Мало! вали десять.

— Ну те кѣ...

— Митрей, дай три копѣйки!

Крестьяне стали выкладывать на лавку копѣйки и грошки. Наклавши тридцать копѣекъ, они послали одного крестьянина за водкой. Между тѣмъ Егоръ Ивановичъ разговаривалъ съ двумя крестьянами о хлѣбопашествѣ и о прочихъ хозяйственныхъ дѣлахъ поселянъ.

— А что васъ нынче не дерутъ въ стану?

— Э, Егоръ Ивановичъ, объ этихъ дѣлахъ не слѣдъ толковать. Мы люди темные. Ну изъкъ Богу!.. Третьево дня Максимку отварганили любо; ничего не взялъ.

— За что?

— А такъ, отваяли — и дѣло въ воду. Старосту онъ обругалъ, тотъ становому жалобу написалъ, да, баятъ, сунулъ ему малую толику — ну, Максима и взъерихонили.

Поштофъ выпили. За водкой и послѣ водки разговаривали объ отцѣ Федорѣ, его дочкѣ, вышедшей за станового пристава Антропова. Крестьяне хотѣли-было еще купить водки, но ихъ стала гнать сестра Егора Ивановича. Егоръ Ивановичъ, по приказу отца, прочиталъ крестьянамъ консисторскій указъ. Крестьяне слушали, плохо понимая содержаніе этого указа. Они только и поняли, что Егоръ Ивановичъ ѣдетъ жениться.

— Вотъ дакъ дѣло.

— Любо! Хозяйка — важнецкая штука.

— А ты ее, смотри, не балуй.

— Нонѣ бабы-то модницы такія стали, просто ужаста!

Крестьяне хотѣли идти, но въ это время пришелъ Петръ Матѣвичъ, пьяный, съ подбитыми глазами. Волосы его были заплетены косоплетками, нарядными изъ платья жены, въ видѣ ленточекъ.

— Здорово, братъ! — сказалъ густымъ басомъ Петръ Матѣвичъ и поцѣловалъ Егора Ивановича.

— Ну, какъ живешь-можешь?

— Ничего.

— Кончилъ курсъ-то?

— Да.

— А мѣсто получилъ?

— Получилъ.

— Братъ, дай денегъ! Ей-Богу, нѣту ни копѣйки? Дай, пожалуйста!

— На что?

— Ты только дай.

— Ты уйди отсель, пока тебѣ не наломали, — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

Крестьяне стали выходить.

— Куда? Эй. Семенъ, дай денегъ!—закричалъ Петръ Матвѣичъ.

— Нѣту, Петръ Матвѣичъ.

— Дай!...

Крестьяне стали разсуждать на улицѣ, передъ домомъ Попова.

— А что, Михай, дать, аль нѣтъ?

— Да за что дать-то?... кабы дѣло какое, — такъ, а то не за што.

— Такъ оно... развѣ ужъ для дѣдка купимъ.

— Иванъ Иванычу развѣ?...

— Такъ какъ?

— Вотъ и парня-то надо бы угостить.

— За што угощать-то?

— Да ужъ все обнаковенно... Такъ какъ? Смотри—того не надо!

— Да ты, смотри, такъ окличь: на улицу, скажи, просятъ;— а не то на ухо шепни, оно лучше будетъ.

— Да смотри, ежели тотъ придетъ, — шепи намъ и тебѣ, и ему.

— Схумѣю.

— То-то схумѣю. — Олонись схумѣлъ! самъ, братъ, ты одинъ полштофъ вылокалъ.

— Да смотри, проворитѣй...

На зовъ крестьянъ на улицу вышелъ Поповъ, а за нимъ вышелъ и Петръ Матвѣичъ. Крестьяне озлились на Митрія.

— Ужъ выбрали козла! А ты коли съ нимъ знакомство имѣешь, уходи отсель, — сказалъ одинъ крестьянинъ Митрію.

— Да што я съ нимъ стану дѣлать?

— Батюшко, отецъ дьяконъ, подеишь... Мы какъ-нибудь угостимъ тебя и сына твоего.

— Я, братцы пить не стану, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Мы вотъ къ Елисею Марковичу подеишь. — Тамъ весело калякать-то.

— Я не пойду въ кабакъ, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, какъ знаешь, твое дѣло... А только, Егоръ Иванычъ, мы больно тебя полюбимъ; ужъ ты такой смиренный, и Иванъ-то Иванычъ вотъ такъ человекъ!... Право, подеишь!

— Не могу, братцы. Да мнѣ и спать хочется.

— Такъ ты, Егорушко, не пойдешь?

— Нѣтъ

— Ну, а я такъ пойду.

— Грѣшно, отецъ, тебѣ, на старости лѣтъ, въ кабакъ ходить. Мы лучше дома станемъ толковать.

Ивану Иванычу хотѣлось сходить въ кабакъ, покалякать съ мужичками, и обидно было, что Егорушко церемонится, но подумавъ, что сынъ пріѣхалъ сегодня, онъ не пошелъ въ кабакъ, а пошелъ спать на сѣнникъ, вмѣстѣ съ Егорушкомъ. Крестьяне разошлись по домамъ, разсуждая:

— А каково?

— Иванъ-то Иванычъ ничего, а сынъ-то гордонецъ.

— Нельзя, выходить: скоро попь будетъ.

— Счастье!

Между тѣмъ Егоръ Иванычъ разсуждалъ съ отцомъ.

— А вѣдь вы, тятенька, прежде не ходили въ кабакъ?

— Да что станешь дѣлать? Дома водку держать нельзя, потому что Петрушка выпьетъ.

— Вѣдь, тятенька, на водку денегъ много выйдетъ.

— Да, Егорушко; ты правду сказалъ. Все-таки я тебѣ скажу: крестьяне меня любятъ, и потому сами зовутъ.

— Они пожалуй будутъ считать васъ за пьяницу.

— Ну, и пусть ихъ съ Богомъ. Пословица говорится: пьянъ да уменъ—два угодыя въ немъ. Какъ выпьешь—оно и хорошо, и горести всѣ забудешь. А вѣдь мнѣ, Егорушко, скажу я тебѣ по совѣсти, трудно было жить. Сначала Петръ тянулъ съ меня сколько денегъ; да ты знаешь... Ну, Анна въ домѣ жила, по крайности хозяйствомъ занималась, теперь ничего не просить. Ну, вотъ истягался я, истягался на Петра, дьякономъ сдѣлалъ, а онъ теперь шишъ показалъ. Поди-косъ, даромъ деньги-то даются. Ну, да Богъ съ нимъ, пусть самъ выраститъ дѣтей. самъ узнаетъ, каково отцу-то... Священникомъ, братъ, трудно сдѣлаться нашему брату: доходы были маленькіе, просто хотъ вой, да зубы на спичку вѣсь... Вотъ теперь на тебя я сколько издержалъ.. Каждый мѣсяцъ восемь рублей посылалъ, а самъ почти безъ копѣйки оставался. Хорошо еще, что Анна еще не гонитъ, дура..

— Да, тятенька, трудно быть отцомъ.

— Попробуй — и взвоешь такъ, что бѣда!.. Теперь вонъ насчетъ жены тоже штука. Къ примѣру такъ сказать, отца Федора дочь вышла за станового пристава, ну, и ладно... Человекъ онъ богатый, старенецъ маленько, да все же онъ мужъ, а она, слышь ты съ мировымъ посредникомъ дѣла имѣетъ. Только это секретъ; ты, смотри, никому не болтай, а то мнѣ худо будетъ.

— Мнѣ какое дѣло!

— Ну, то-то... Мнѣ, знаешь ли, староста сказывалъ. Былъ, говоритъ, я у станового развѣ, ну, и увидалъ, говоритъ, въ залѣ станового съ женой и этого посредника. Посредникъ-то ее, слышь ты, на фортопласахъ учить играть... Сажу, говоритъ, я въ залѣ, кофей пью, а мировой около Степаниды Федоровны сидитъ... Только что-жъ бы думалъ? Становой вышелъ въ другую комнату, мировой и поцѣловалъ Степаниду Федоровну. Во что бы ты думалъ? а? въ щеку? То-то што нѣтъ... въ губы! Вотъ оно што!!

— А вѣдь я хотѣлъ жениться на ней.

— Ну, и слава Богу, что не женился. Она съ мировымъ-то посредникомъ еще недавно познакомилась. Становой-то его на свадьбу пригласилъ. ну, съ тѣхъ поръ и пошло.

— А становой не знаетъ?

— Кто его знаетъ? Я съ нимъ мало знакомъ. Да если и узнаетъ, то побоятъ жаловаться, потому что мировой-то сынъ богатого помѣщика и съ губернаторомъ знакомъ, такъ что люли. Говорятъ, онъ и повыше эти дѣла ведетъ... Тутъ, братъ, молчи знай. Ты, Егорушко, не проболтайся, пожалуйста.

Егоръ Иванычъ проснулся уже тогда, когда солнышко было высоко, а въ которомъ часу—онъ не

знать, потому что въ селѣ часы только у должностныхъ лицъ, и бѣгать справляться далеко и не къ чему, такъ какъ дѣлать рѣшительно нечего, а обѣдѣ сегодня не полагалось, такъ какъ день будничный—вторникъ. Онъ долго лежалъ, думая объ отцѣ, сестрѣ, Петрѣ Матвѣичѣ, о крестьянахъ и обо всемъ, что только онъ видѣлъ и слышалъ въ селѣ. Само ему опротивѣло, люди ему показались грубыми. „То ли дѣло у насъ въ губернскомъ!—рѣшилъ онъ.—Надо ѣхать скорѣе въ городъ. Сегодня же поѣду. Здѣсь просто помрешь; здѣсь ничего не услышишь хорошаго, здѣсь слова сказать не съ кѣмъ,—всѣ положительно неучи и всѣ развращены...“

Сомедши съ сѣнника, Егоръ Ивановичъ увидалъ своего отца на улицѣ. Онъ сидѣлъ безъ шапки на скамейкѣ у воротъ. Около него сидѣлъ Павелъ и трое ребятъ, крестьянскихъ мальчиковъ. Иванъ Ивановичъ училъ ихъ грамотѣ по церковной азбукѣ. Егоръ Ивановичъ подошелъ къ отцу.

— Съ добрымъ утромъ, татенька.

— Спасибо. Равнымъ образомъ. Долгонько, братъ, ты, Егорушко, спалъ.

— А который часъ?

— Не знаю, Егорушко; должно быть, что десятый.

— А вы ученіемъ занимаетесь?

— Да. Такъ-то скучновато, да и Павлушка такъ то скорѣе выучится. Ты, Егорушко, ѣлъ-ли?

— Еще и не умывался.

— Экой ты какой! Все такой же, какъ и прежде: спишь долго, баню не надо, ѣшь мало. Ты поди по-ѣшь!...

— Мнѣ, татенька, курить хочется, а табаку нѣтъ.

— А ты понюхай.

Да я не нюхаю.

— А прежде нюхалъ. Пашка, сбѣгай къ матери; скажи, молъ, дядя денегъ просить. Дай, молъ, десять копѣекъ.

Пока Павелъ ходилъ за корешками, Егоръ Ивановичъ, умывшись, выпилъ стаканъ молока и сѣлъ къ отцу.

— Ну, ну, шельма, читай! Не то голикомъ въ банѣ отду, — кричитъ Иванъ Ивановичъ одному мальчику. Тотъ читаетъ

— А ты что склады-то не твердишь? Ахъ ты, шельма!

Винновѣй твердитъ: „бру, врю, врю, мрю“, а дальше ничего не знаетъ.

— Прочитай „Вѣрю“! — приказываетъ Иванъ Ивановичъ другому мальчику.

Мальчикъ читаетъ. Иванъ Ивановичъ теребитъ мальчика за ухо.

— Пѣсни пѣть знаешь, а молитвы не знаешь!.. Ванька, неси голикъ! Пѣсни тебѣ знать?

— Пѣсни знаю...

— А „Вѣрю“ затѣмъ не знаешь?

Мальчикъ смѣется.

— Поскѣйся ты у меня, безрогой скотъ, я те выдеру красивой! Ванька, неси голикъ! Тебѣ говорю, или нѣтъ?

— Ты погляди въ книгу и выучи, — говоритъ Егоръ Ивановичъ.

— Ну, онъ, Егорушко, еще не умѣетъ читать. Это

я его такъ училъ, только онъ „Вѣрю“—то съ „Отче нашъ“ смѣшалъ.

— Это хорошо, что вы такъ учите. Нынче даже и азбуки совсѣмъ другія сдѣланы.

— Видѣлъ я, да какъ ни коверкалъ такъ-ту учить, ничего никто не понималъ, да и самъ-то я по нимъ не умѣю учить. Ужъ лучше бы, какъ по старому учили.

— Теперешнее обученіе несравненно лучше прежняго.

— Ну ужъ, Егорушко, ты такъ-то учи, а я ужъ по своему, по старому буду.

— У насъ нынче въ простомъ народѣ хотять сдѣлать наглядное обученіе.

— Это какъ?

— Нагляднымъ образомъ воспитать ребенка, приохотить его къ ученію. Можно ребенка учить съ двухъ годовъ

— Ну, не ври.

— Люди, воспитанные самою матерью и отцомъ, и воспитанные какъ слѣдуетъ, бываютъ въ послѣдствіи образованные люди.

— Ты, Егорушко, не мѣшай мнѣ.

Егоръ Ивановичъ замолчалъ. Немного погодя, Иванъ Ивановичъ сказалъ ему:

— Ну-ко, Егорушко, поучи.

— Ловко ли будетъ?

— А что?

— Да дѣло, видите ли, въ томъ, что если учить, такъ надо учить толкомъ, нужно быть вполне учителемъ.

— Такъ, по твоему, я глупъ? Грѣхъ тебѣ, Егорушко, говорить такія слова про родителя, который выучилъ тебя.

— За это я васъ благодарю. Но все-таки я у васъ научился только читать.

— Такъ что жъ? На что же семинаріи-то заведены?

— А чтобы учить, нужно выучиться не одному чтенію и письму, а надо знать многое. Даже вотъ и насъ учили, а выучили очень немногому.

— Чего же еще тебѣ надо?

— Мы, какъ говорить большинство нашей братіи, только и умѣемъ, что хорошо читать, да складно, умно сочинить, а самой жизни, т. е. общества, различныхъ сословій, и не знаемъ, потому что въ наши головы много воили ни къ чему не ведущей теоріи.

— Красиво ты, Егорушко, говоришь, хоть куды новый дьяконъ нашъ; на одну бы васъ доску поставить... Вы должны спасибо сказывать, что васъ обучили, истягались на васъ... Коли бы ты ничего не смыслилъ, то не вышелъ бы прямо въ священники.

Егору Ивановичу ничего больше не оставалось говорить съ отцомъ, и время до обѣда прошло скучно. За обѣдомъ Егоръ Ивановичъ спросилъ отца, когда ѣхать. Отецъ сказалъ, что завтра именинница жена отца Федора, и надо бы Егору Ивановичу сегодня сходить къ нему въ гости. Егоръ Ивановичъ обѣщался сходить вечеромъ; но отецъ Федоръ самъ пришелъ. Это былъ здоровый мужчина, съ брюш-

комъ, съ огромной бородой. Онъ пришелъ, какъ подобаетъ старшему священнику, въ рясы и съ палкой. При входѣ его въ комнату Ивана Ивановича, всѣ бывшіе тутъ, въ томъ числѣ и Петръ Матвѣичъ, встали и подошли подѣ благословеніе, кромѣ Егора Ивановича, которому отецъ Ѳеодоръ пожалъ руку.

— Здравствуйте, Егоръ Ивановичъ!

— Здравствуйте, отецъ Ѳеодоръ, покорнѣйше просимъ! — сказалъ робко и съ трепетомъ Петръ Матвѣичъ.

— А! и ты дома!.. Что, еще не пьянъ? — сказала Петру Матвѣичу отецъ Ѳеодоръ.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— То-то. Всю семью загубилъ... Ну-съ, кончили? — обратился отецъ Ѳеодоръ къ Егору Ивановичу.

— Да.

— Я слышалъ, вы уже бумагу получили?

— Получилъ.

— Можно полюбопытствовать?

Егоръ Ивановичъ вытащилъ указъ и подалъ отцу Ѳеодору.

— Хорошо, — сказалъ онъ, прочитавъ. — Слава Богу. Вчуужъ сердце радуется... Дай Богъ. дай Богъ! А Будринъ куда дѣлся?

— Будринъ померъ.

— Что вы?! Вотъ, живемъ здѣсь, ничего не знаемъ. Ну, да ему тула и дорога. А этотъ-то Раскарякинъ каковъ? спросилъ отецъ Ѳеодоръ про члена, подписавшаго указъ.

— Говорятъ, хорошій человѣкъ.

— Такъ-съ!.. Дай Богъ, дай Богъ!.. Ну-съ, вы когда ѣдете?

— Да ѣду завтра утромъ.

— Что вы! что вы! Завтра моя супруга именинница. — Прошу покорно пожаловать съ Иваномъ Ивановичемъ. Дѣдко, приходи!

— Покорнѣйше благодаримъ! — отозвались Поповы.

— Непремѣнно. — Я сердиться буду, если вы не придете.

— Очень хорошо-съ.

— Прощайте. Такъ приходите. У меня соберется много людей: становой, зять съ моею дочерью, мировою посредникъ, голова съ женой, отецъ Василій съ женой, дьяконъ съ женой... Да, Анна Ивановна, ты должна придти ко мнѣ на исповѣдь сегодня вечеромъ. Слышишь?

Анна Ивановна струсила.

— Да, батюшка, отецъ Ѳеодоръ, нынче не постъ, — сказала она.

— Я того требую.

— Что ты отпѣкиваешься? — крикнулъ на нее супругъ.

— Очень хорошо.

— Прощайте. Я жду васъ завтра. Послѣ обѣдни такъ и приходите.

— Покорно благодаримъ.

Отецъ Ѳеодоръ ушелъ.

— Вотъ что значить, Егорушка, кончить курсы! На что отецъ Ѳеодоръ гордый человѣкъ, и тотъ пришелъ поздравить! — торжествуетъ Иванъ Ивановичъ.

— Што, попалась, гадъ ты экой!.. Онъ те проберетъ, — кричитъ на Анну супругъ.

— И не пойду.

Слѣдуетъ брань и побой, которые разнимаетъ Егоръ Ивановичъ. Егоръ Ивановичъ ушелъ съ отцомъ изъ дому, оставивъ сестру съ мужемъ.

— Неужели, тятенька, сестра испортилась?

— Лучше и не спрашивать. Беззаконіе такое. что хоть вонъ бѣги изъ дому.

— Сестра говоритъ, что будто мужъ ея...

— Вѣрь ты ей! Мало ли чего она говорить. Вреть.

— Намъ надо уѣхать скорѣе отсюда.

— Уѣдемъ. Егорушка, зайдемъ выпить?

— Не могу. Неловко какъ-то ходить въ кабакъ; еще этотъ отецъ Ѳеодоръ въ Столешинскъ напшетъ.

— Правда, правда.

Поповы прошли нѣсколько домовъ. Встрѣчные мужчины и женщины кланяются низко и, оглядываясь, смотрятъ на Егора Ивановича.

— Гляди-ко, сыночекъ-то отца дьякона какъ вырос!

— Баютъ, въ попы придѣлятъ. Старше отца будетъ: отецъ ему въ церкви кланяться станетъ.

— Чудное дѣло!

У небольшого пруда Поповы сѣли.

— Такъ-тось, Егорушко! — сказалъ Иванъ Ивановичъ, въ раздумьи поюхивая табакъ. — Дѣла, какъ сажа бѣла.

— Все пока хорошо. Одно только мучить — невѣста.

— А тамъ-то, ты думаешь, поди-косъ, мало расхоровъ ядло?

— Да меня прямо посвящать: объ этомъ будетъ хлопотать самъ ректоръ.

Поповы замолчали. Егору Ивановичу вдругъ пришла мысль: а что, если въ это время переведутъ ректора? О переводѣ его говорили въ семинаріи всѣ профессора. А что, если самъ владыко умретъ или раздумаетъ? Вотъ и живи женатый. Это онъ сообщилъ своему отцу потому, что одинъ женатый богословъ цѣлый годъ жилъ безъ мѣста, и у жены дочь родилась, такъ что онъ принужденъ былъ въ свѣтскіе выйти. Старикъ, зная по опыту, какъ даются мѣста, и познакомившись назадь тому сему дѣтъ съ ставленниками въ губернскомъ городѣ, запечатлѣлся.

— Да, Егорушка, плохи дѣла-то. Вѣдь и расу нужно новую, хорошую. У меня есть раска, да на твой ростъ маловата будетъ. Развѣ перешить?

— Когда женюсь, расу дадутъ.

— Надо бы тебѣ и сѣртучекъ сшить, а денегъ нѣтъ. Стащить развѣ у Петрушки подрабникъ?

— Нѣтъ, ужъ вы его не троньте.

Пошли назадь мимо дома станового пристава. У окна сидѣла Степанида Ѳеодоровна съ мужемъ. Поповы шапки нѣмъ сняли.

— Здравствуй, Иванъ Ивановичъ! Что, сыночекъ прѣѣхалъ? — спросилъ становой приставъ.

— Да, Максимъ Васильичъ. Уже мѣсто получилъ, скоро свадьба будетъ.

— Радуюсь.

— А вы, Егоръ Ивановичъ, гдѣ берете неvěсту? — спросила Егора Ивановича Степанида Федоровна.

— Въ Столешинскій же, у отца Василья Будрина.

— Хороша собой?

— Не видалъ еще.

Степанида Федоровна захохотала и что-то проговорила такъ, что Поповъ не расслышалъ.

— Полно ты, дурочка, смѣяться. А что, приданое большое? — спросилъ становой приставъ.

Поповы пошли было, но становой сталъ спрашивать Егора Ивановича про губернскія новости; Егоръ Ивановичъ на эти вопросы отвѣчалъ ясно и коротко: не знаю.

На другой день, по случаю именинъ жены отца Федора, въ церкви служили обѣдню всѣмъ соборомъ, т. е. два священника, отцы Федоръ и Василій, дьяконъ Никита Оадеичъ. Очередь подавать кадило, ставить напой и исправлять служительскія обязанности приходилась Петру Матвѣичу. Онъ всячески старался выслужиться передъ отцомъ Федоромъ, но тотъ все глядѣлъ на него косо. Поповы и пономарь Кириллъ Антоновичъ пѣли на клиросѣ. У Егора Ивановича голосъ ни теноръ, ни басъ, и онъ не умѣлъ пѣть по сельски, хоть какъ ни старается спѣть. Отецъ его поетъ охриплымъ голосомъ. За то Кириллъ Антоновичъ заливается какимъ-то тоненькимъ голоскомъ. Онъ поетъ скоро, такъ что Иванъ Ивановичъ унимаетъ его: „Кирила, тише!“

— Откачаемъ! — говоритъ Кирила и поетъ снова.

Въ то время, когда на клиросѣ не поютъ, наши пѣвчіе разговариваютъ.

Въ церкви народу было немного, двое нашихъ и шесть женщинъ. Служба кончилась рано. Послѣ молебна отецъ Федоръ пригласилъ къ себѣ Поповыхъ. Поповы пошли домой для того, чтобы принарядиться получше и умыться. Егоръ Ивановичъ одѣлся въ то же, въ чемъ пріѣхалъ, только на шею надѣлъ бѣлый галстухъ, сапоги помазалъ свѣчнымъ саломъ, чтобы они не были слишкомъ теплыми. Иванъ Ивановичъ надѣлъ единственную сѣреную ряску, сшитую назадъ тому семь лѣтъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ губернскій городъ. Волосы оба намазали деревяннымъ масломъ, при чемъ Иванъ Ивановичъ замѣтилъ сыну, что хотя и пахнетъ отъ волосъ, за то волосы хорошо растутъ. Егоръ Ивановичъ никогда не бывалъ въ такихъ обществахъ, какое ему приводилось видѣть. Положимъ, онъ бывалъ на свадьбахъ, похоронахъ; но, не бывши пѣвчимъ, онъ бывалъ только въ обществѣ своихъ сельскихъ знакомыхъ, да у жителей деревень, прихожанъ Ивановской церкви. Здѣсь ему нужно было быть въ обществѣ станового пристава; да онъ еще узналъ, что въ село пріѣхала какая-то коммиссія по какому-то дѣлу, и въ этой коммиссіи находятся два чиновника изъ губернскаго города; а такъ какъ отецъ Федоръ тоже находился въ этой коммиссіи, то вѣроятно и она тоже будетъ приглашена на обѣдъ. Поэтому Егору Ивановичу на обѣдъ идти не хотѣлось; не хотѣлось еще потому, что отъ этого обѣда ему пользы мало, а лучше бы ѣхать за неvěстой. Но дѣлать нечего,

такой ужъ обычай, что если пригласили, то надо идти, а то обидится.

Когда пришли Поповы къ отцу Федору, тамъ уже были становой приставъ съ женой, священникъ Василій Гаврилычъ съ женой Марьей Кондратьевной и дѣтьми, сыномъ Василиемъ 11 лѣтъ и дочерью Марьей 3 лѣтъ, дьяконъ Никита Оадеичъ съ женой Ольгой Семеновной, голова Максимъ Тарасмычъ и староста Сидоръ Павлынычъ. Всѣ они, за исключеніемъ дьякона Никиты Оадеича, его жены и дѣтей, — люди здоровые, что называется, откормившіеся. Поповыхъ встрѣтилъ самъ хозяинъ.

— Опоздали, Иванъ Ивановичъ, — сказалъ весело, уже выпившій водки, хозяинъ.

— Съ дорогой именинницей! — сказалъ Иванъ Ивановичъ; это же повторилъ и Егоръ Ивановичъ съ прибавленіемъ: „нѣмю честь поздравить.“

— Покорно благодарю. Проходите.

Иванъ Ивановичъ поклонился всѣмъ, Егоръ Ивановичъ поклонился каждому особю, кромѣ нѣкоторыхъ женщинъ.

— Это вашъ сыночекъ? — спросилъ Ивана Ивановича становой.

— Мой.

— Мое вамъ почтеніе! — сказалъ онъ и, подойдя къ Егору Ивановичу, протянулъ ему руку. — Я васъ право не узналъ. Извините.

— Вчера я видѣлся съ вами.

— Виновать, сто тысячъ разъ виновать.

Пошли разспросы о губернскихъ новостяхъ, о женитбѣ Егора Ивановича.

— Вы жену непременно богатую берите, да здоровую такую... — сказалъ голова.

— Какъ же вы, Егоръ Ивановичъ, не зная неvěсты, хотите жениться? Это выходитъ — на комъ-нибудь, — сказала Степанида Федоровна.

— Что же дѣлать, если наше положеніе такое! — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Эдакъ не годится, Егоръ Ивановичъ.

— Не знаю.

— Э, полно вамъ безтолочь говорить! Ты вотъ читалась свѣтскихъ книгъ, а тоже вышла за старика, — сказалъ смѣясь хозяинъ и попросилъ гостей пройти по рюмочкѣ. Вошла хозяйка. Поповы поздравили ее со днемъ ангела. Она поблагодарила и удивилась, что Егоръ Ивановичъ выросъ и получилъ мѣсто. Петръ Матвѣичъ и пономарь прислуживали.

Началось чаепитіе. Разговаривали сначала мало, потому, выпивши больше, говорили о предметахъ, касающихся хозяйства. Всѣхъ больше ораторствовали становой и хозяинъ, и каждый изъ нихъ по видимому хотѣлъ, чтобы его всѣ слушали. Становой рассказывалъ о слѣдственныхъ дѣлахъ, ругалъ станового Кирыанова, который сдалъ ему не всѣ дѣла, и по его милости Антроповъ долженъ былъ заплатить деньги какія-то, ругалъ исправника и говорилъ, что онъ непременно уѣдетъ въ губернскій городъ, чтобы похлопотать о мѣстѣ судебного слѣдователя или застѣдателя въ уѣздномъ судѣ; хозяинъ рассказывалъ о разныхъ поѣздкахъ въ городъ и прочее, причемъ спрашивалъ Егора Ивановича, ка-

ково тамъ житье, каковы члены консисторіи нынѣ и т. д. Женщины сплетничали. Одна только Степанида Ѳедоровна рѣдко отвѣчала на вопросы, она часто уходила въ комнаты и говорила съ дѣтьми, своими сестрами. Она уже облагородилась, научилась поднимать голову вверхъ, говорить свысока. Егоръ Ивановичъ сидѣть съ своими отцомъ. Говорить нечего, ему неловко, и думаетъ онъ: „уйти бы отсюда домой скорѣе; а то какъ на иголкахъ сидишь. Послушать нечего, говорятъ все вздоръ какой-то“...

— Что это, Ѳедоръ Терентьичъ, Александръ Алексѣичъ нейдетъ?—спрашиваетъ хозяйка хозяина.

— Не знаю.

— Вѣроятно дѣла,—отвѣчаетъ становой.

— И что это нынче за мировые за такіе? Безъ нихъ бы можно обойтись. Заставили бы насъ исправить это дѣло, мы бы то же сдѣлали. А то теперь жалованье маленькое такое, доходовъ мало, можно бы и намъ дать такое жалованье; меньше бы даже можно дать,—говорилъ хозяинъ.

— Это такъ. Можно бы намъ половину изъ того жалованья дать,—подтверждаетъ отецъ Василій.

— Правда ваша. Однако можно бы и намъ поручить,—не соглашается становой.—Вотъ теперь судебные слѣдователи — совѣтъ лишніе.

— Все казна.

— Казна. А вѣдь начало-то у насъ?... Доходовъ теперь мало стало.

Пришелъ мировой посредникъ, поздравилъ хозяйку съ днемъ ангела, хозяина — съ именинницей, остальнымъ поклонился фамиллярно и какъ-то гордо посмотрѣлъ на Егора Ивановича. Хозяинъ представилъ ему Егора Ивановича. Александръ Алексѣичъ сказалъ только: „очень пріятно познакомиться“. Онъ сѣлъ къ Степанидѣ Ѳедоровнѣ. Егоръ Ивановичъ сталъ слѣдить за ними.

— И вы здѣсь?—спросилъ Александръ Алексѣичъ жену станового шопотомъ.

— Нельзя. Папаша обидится,—сказала она тоже шопотомъ.

— Вамъ нужно учиться французскому языку; вы еще такъ молоды.

— Я Максимку буду просить... Да къ чему?

— Говорить здѣсь въ этой берлогѣ нельзя обо всемъ.

— Они не осердятся.

— Видите ли, есть такіе слова, которыя не понравятся этой публикѣ.

— Чѣмъ вамъ эта публика не нравится?

— А вы послушайте, что они говорятъ.

— Они все хорошо говорятъ.

— Они говорятъ то, что меня не займетъ.

— Пожалуйте хересу, Александръ Алексѣичъ,—сказалъ хозяинъ. Александръ Алексѣичъ выпилъ со всѣми гостями. Пришли чиновники слѣдственной комиссіи. Они поздоровались только съ хозяевами, становымъ приставомъ и мировымъ посредникомъ. Прочіихъ только обвели глазами. На Егора Ивановича они не обратили вниманія. Они часто говорили между собою и съ Александромъ Алексѣичемъ на французскомъ языкѣ. Начался обѣдъ. Хозяинъ зналъ пріличія свѣтскаго общества, и по-

тому обѣдъ былъ не за общимъ столомъ, а гости обѣдали каждый особо. Поповы сидѣли съ дьякономъ, дьяконица съ женой головы.

— Вы давно кончили курсъ?—спросилъ Егоръ Ивановичъ дьякона.

— Четыре года, да два года жилъ безъ мѣста. А вамъ такъ счастье.

— Ну, что же, теперь хорошо?

— И не приведи Богъ! Доходовъ мало.

— Плохо. А скоро женились?

— Я-то!.. Я выпью водочки!.. Пойдете?—Дьяконъ выпилъ сразу двѣ рюмки и началъ рассказывать про женитьбу.

— Вы, Никита Ѳаденчъ, о чемъ рассуждаете?—спросилъ его становой.

— Тутъ романъ, Максимъ Васильичъ. Отецъ дьяконъ ставленника учить... Не мѣшайте,—сказалъ хозяинъ.

— Вы въ священники?—спросилъ Егора Ивановича мировой посредникъ.

— Точно такъ.

— Вы бы въ университетъ шли.

— Куда ужъ нашему брату туда соваться!—сказалъ Иванъ Ивановичъ.

Начался всеобщій разговоръ. Дьяконъ продолжалъ.

Гости были, что называется, навеселѣ.

— Знаете ли, какое у насъ наkosten было дѣло!—говорилъ становой:—баба мужа зарѣзала.

— Ну, это у насъ сплошь и рядомъ. А я вамъ скажу вотъ что,—началъ хозяинъ:—приходитъ ко мнѣ баба и говоритъ:—«батюшка, что я стану дѣлать, мужъ меня бьетъ за все, слова никакого не даетъ сказать. Я, говорить, ужъ отравить его хотѣла, да совѣсть мучитъ, помоги ты мнѣ!»

— Экая барыня!—сказали женщины и становой.

— Что же вы?—спросилъ одинъ чиновникъ.

— Ну, я положилъ на нее эпитимію.

— Вотъ такъ славно. Хорошенько бы ее, каналью, розгами. Вы бы ее ко мнѣ послали, задалъ бы я ей перцу съ горошкомъ,—сказалъ становой.

— За что же вы наказывать-то ее вздумали?—спросилъ мировой.

— А по вашему не слѣдуетъ?

— Она невиновата, потому что мужъ ее бьетъ.

— По вашему ужъ мужъ не воленъ бить свою жену?—спросилъ хозяинъ.

— Не мѣетъ права.

— Какъ?

— Потому что женщина должна быть равна своему мужу.

— Это откуда вы взяли?

— А оттуда, что женщина такой же человекъ, какъ и мужчина, только разница въ тѣлесномъ ея сложении.

— Вы сами себя противорѣчите, Александръ Алексѣичъ. Она должна дѣтей рождать.

— Такъ что же? дѣтей рождаютъ даже всѣ животныя, которыя между собой всѣ равны.

— Ничего вы не знаете! Въ писаніи прямо сказано:—жена да боится своего мужа. Что взяли? А?!—Всѣ захохотали.



— Каково васъ, Александръ Алексѣичъ, батька-то отдѣлалъ! — сказалъ становой, хлопая въ ладоши и хохоча.

— Да отдѣлывать-то надо фактами, опытомъ.

— Ужъ вы лучше молчите!

— А я вамъ скажу вотъ что: наприимѣръ, наша Екатерина II кто была?

— Женщина.

— Стало быть, она имѣла же право управлять цѣлымъ царствомъ... Королева Викторія тоже женщина.

— Экъ вы куда хватили? Развѣ можно равнять царей съ людьми?

— Я не хочу этого сказать, но доказываю, что женщина должна быть равна мужчинамъ. Это у насъ уже вводится. Въ Петербургѣ я знаю многихъ магазинщицъ — женщинъ, занимающихся мастерствомъ и торговлей, безъ помощи мужчинъ: онѣ совершенно независимы отъ мужчинъ и изъ своихъ заработковъ платятъ разныя повинности.

— Ну, это еще не доказано.

— Какъ не доказано! Какое же вамъ еще доказательство, когда это все существуетъ?

— Можетъ быть это только въ вашемъ Петербургѣ, а здѣсь не то. Тамъ всѣ люди не такіе.

— И духовные не такіе?

Хозяинъ замолчалъ. Онъ обидѣлся.

Чинovníки стали разсуждать о равенствѣ крестьянъ съ чинovníками и прочю людскою братіею.

— Крестьяне должны быть равны, — спорилъ Александръ Алексѣичъ.

— Да, — подтвердилъ одинъ пріѣзжій чинovníкъ.

— Нѣтъ, врете. Я чинovníка не промѣняю на крестьянина, и руки ему не дамъ, — спорить приставъ.

— А староста развѣ не крестьянинъ?

Староста обидѣлся.

— Вы мою честь изволите задѣвать?

— Чести вашей мы не тронемъ, а только говоримъ, что вы такой же крестьянинъ, какъ и другой бѣднякъ.

— Экъ куда заѣхали! Умны больно! А что сказано въ писаніи: всяка душа властямъ предержащимъ да повинуется, — сказалъ хозяинъ.

— Если палочку я поставлю, то я могу сказать крестьянину: «кланяйся, каналья», и поклонится! — прибавилъ становой.

— Нета пора, батюшка, нынѣ. За обиду крестьянину вы по закону сами должны будете въ ноги кланяться ему, — сказалъ мировой посредникъ.

— А вотъ что, батюшка, отчего это крестьяне на васъ жалуются! А? это отчего? — спросилъ мирового хозяинъ.

— А вамъ какое дѣло!

— Я пастырь, я долженъ защитить ихъ.

— Вѣроятно они жалуются на то, что имъ не нравится надѣлъ, хотя я ихъ надѣлил даромъ.

— А! дали имъ землю такую, которая никогда не дастъ хлѣба, а себѣ хорошую взяли?

— И на васъ, Ѳеодоръ Терентьичъ, жалуются крестьяне, что вы даромъ не крестите ребятъ.

Начался споръ, ругань и, если бы тутъ были люди равные, непремѣнно дошло бы до рукопашного боя.

— Что такое священникъ?

— Пастырь народа.

— Священникъ долженъ быть равенъ всѣмъ.

— Дуракъ.

— Г. ставленникъ, потрудитесь объяснить. Можетъ быть у васъ поновѣ науки были.

— По наукамъ насъ малому выучили, но я съ вами согласенъ. Я хочу быть священникомъ именно такимъ, какиѣ еще не бывало.

Начался гвалтъ. Чинovníки хвалили Егора Ивановича, прочіе всѣ остервенились на него. Однако мировой уладилъ все дѣло.

— Господа, не будете говорить серьезно. Будемте праздновать именины дружески.

— Образованные люди не должны сердиться изъ-за убѣждений, — сказалъ одинъ чинovníкъ.

— Господа, сыграете въ карты! — сказалъ становой.

— Намъ некогда, Максимъ Васильичъ: у насъ коммиссія, — сказалъ одинъ изъ чинovníковъ.

— Успѣте еще. Пойдите въ садъ.

Гости согласились сыграть въ стуюлку. Ушли въ садъ. Въ саду были поставлены два стола: одинъ съ винами и закуской, а другой — для играющихъ. Сѣли играть два губернаторскихъ чинovníка, становой, хозяинъ и Василій Гаврилычъ. Александръ Алексѣичъ ходилъ по саду со Степанидой Ѳеодоровной, Иванъ Ивановичъ прикурнулъ въ саду, а Егоръ Ивановичъ сидѣлъ съ дѣтьми.

Во дворѣ пировали крестьяне съ женами. Ѳеодоръ Терентьичъ, по заведенному порядку, созвалъ нѣсколько хорошихъ крестьянъ съ женами и дѣтьми, выставилъ имъ ведро водки, два ведра пива и выдалъ изъ кухни два пирога съ рыбой и двѣ латки съ двумя поросенками. Крестьяне напились: одни заѣли пѣсни, другіе кричали:

— Ай да отецъ Ѳеодоръ!

— Угостилъ, голубчикъ!

— Дай ему Богъ много лѣтъ здравствовать!

— Ей, Терентьичъ, склнчь-ко матушку!

— Ужъ мы поблагодаримъ ее... Зови ее, Анну-то Митревну!

Терентьичъ ушелъ и воротился:

— Анна-то Митревна спать изволитъ.

— Умаялась, голубушка! Дай Богъ ей здоровья! — вопять бабы и крестятся.

Трое крестьянъ борются, прочіе хохочутъ.

— Эй, ты, Егорко! ногой-то его, ногой! Вотъ такъ!

— Да мы вдвоемъ лучше.

— А что, братцы, кто лучше: отецъ Ѳеодоръ, али отецъ Василей?

— Ништо! Отецъ Ѳеодоръ лучше.

— Нѣтъ, по моему, отецъ Василей лучше.

— Все однако. А што, ребя! водки-то маловато... вали еще!.. Митюха, сбѣгай-ко въ кабакъ за четвертной!

— Будетъ вамъ, лѣшіе! — Налопались и такъ! — кричатъ бабы.

— Ну васъ къ лѣшимъ! Пошли домой!

— А кто это тамъ въ саду-то?

— Да слѣдственники, бають, по монеткамъ при-  
ѣхали.

— Братцы, подемъ домой... Они, знаешь, штука!

— Подемъ. Поди, Митюха, зови отца Ѳедора.  
Къ крестьянамъ подошелъ Егоръ Ивановичъ.

— А, Егоръ Ивановичъ! Наше вамъ-съ! Какъ по-  
живаете, Егоръ Ивановичъ?

— Слава Богу.

— Присядьте, Егоръ Ивановичъ, съ нами.

— Не трогъ! Што беспокоимъ?..

Егоръ Ивановичъ сѣлъ

— Ну, какъ, братцы, поживаете?

— Ништо. Вашими молитвами, слава тѣ Господи.

— А што, Егоръ Ивановичъ, бають, опять быт-  
то бѣ наборъ! бають, пятнадцать человѣкъ съ  
тысячи?

— Не слыхалъ.

— Бають, война такая ли начнется—ужасти!

— Не знаю.

— Полно. Егоръ Ивановичъ! Вы вѣдь, бають, въ  
священники скоро придѣлитесь. Ужъ вамъ эфти  
дѣла всѣ извѣстны, не то что намъ.

— А война будетъ!

— Ужъ это такъ, безъ войны нельзя, потому,  
значить, отецъ Ѳедоръ такъ баялъ.

— Оноединъ въ церкви читалъ, читалъ...

— Когда?

— А оноединъ, поминишь, какъ ты ошшо при-  
курнулъ. Сколь сѣху-то было!

Крестьяне захохотали; началась свалка: при-  
курнувшего церкви крестьянина одинъ дружески  
ударилъ по головѣ, другой щелкнулъ по носу, при-  
курнувшій сдачи далъ; пристали прочіе. Егоръ  
Ивановичъ ушелъ въ садъ. За нимъ ушелъ и  
одинъ крестьянинъ, старикъ Петръ Егорычъ. Онъ  
пользовался въ селѣ всеобщимъ почетомъ, и по-  
тому пошелъ отъ крестьянъ благодарить хозяина  
на угощеніи.

— Что, Егорычъ?—спросилъ его хозяинъ.

Петръ Егорычъ поклонился и сказалъ:

— Покорно благодаримъ, батюшко, на вашемъ  
на угощеніи. Славно напились и наѣлись.

— Спасибо. Наѣлись ли ребята-то? Сыты ли?

— Очень благодарны остались.

— Ну, спасибо. Да скажи мнѣ, чтобы они зав-  
тра мою траву косили.

— Очень хорошо-съ.

Петръ Егорычъ стоитъ

— Ну, что тебѣ еще?

— Мнѣ бы, батюшко, поговорить съ вами на-  
добно.

— Теперь некогда

Петръ Егорычъ все стоитъ.

— Убирайся, каналья! тебѣ сказано, что не-  
когда!—закричалъ становой.

Петръ Егорычъ, почесавъ затылокъ, ушелъ.

— Егоръ Ивановичъ, потрудись спросить, что  
ему надо,—сказалъ отецъ Ѳедоръ Егору Ивановичу.

Егоръ Ивановичъ ушелъ. Петръ Егорычъ пришелъ  
къ крестьянамъ во дворъ.

— Ну, что, Петръ Егорычъ?

— Ништо. Некогда, баеть.

— А, дуй те горой! Подемъ всѣ! Вади!

— Да, некогда! Дѣла, вишь ты: въ карты  
играють!

— Ну ихъ къ лѣшимъ!..

Крестьяне пошли на улицу.

Отецъ Ѳедоръ велѣлъ мнѣ спросить тебя.  
Петръ Егорычъ, что вамъ надо?—спросилъ Егоръ  
Ивановичъ

— Ужъ эфто дѣло мы сами знаемъ. Ужъ скупъ  
скажемъ, а тебѣ нѣтъ.

Егоръ Ивановичъ ушелъ назадъ.

Высшее сельское общество только послѣ ужина  
разошлось по домамъ.

— Ну, Егорушко, посмотрѣлись мы на людей.  
Говорятъ—просто уши вянутъ. Это, по моему, от-  
того, что зазнались больно, заважничались,—го-  
ворилъ Иванъ Ивановичъ, возвращаясь домой и по-  
шатываясь.

— Нѣтъ, тятенька, это не отъ барства, а отъ  
того, что они свѣтскіе люди.

— Войся ты этихъ людей. Ради Бога, бойся!..  
А я, Егорушко, пьянъ! О э-э, какъ пьянъ!.. А я,  
братъ, хоть и пьянъ, а знаю, что у меня лошада  
не поена стоитъ. Анна дура не напоитъ. Я ютъ  
и пьянъ, Егорушко, а позови меня на потребу—все  
сдѣлаю... А позови Ѳедора Терентьича или Васи-  
лія Гаврилыча—не пойдутъ, ей-Богу, не пойдутъ...  
„Эдакая скука!“—думаетъ Егоръ Ивановичъ.

— А ты, Егорушко, не пьянъ?

— Голова болитъ.

— А ты, Егорушко, много пилъ. Грѣшно...  
Стыдно, Егорычъ... Ты еще молодой, пригнѣр  
долженъ другимъ показывать... Ужъ больно мнѣ  
не понравилось, какъ ты тамъ съ мировымъ въ  
одно слово сказалъ. Они люди такіе скверные...  
Ну, какъ можно обижать отца Ѳедора?

— Я его не боюсь. Вѣдь я самъ буду священ-  
никомъ, да еще городскимъ.

— У! ты моя чечечка! золото ты мое! Иванъ  
Ивановичъ обнялъ сына и поцѣловалъ разъ пять.—  
Голубчикъ ты мой!—Иванъ Ивановичъ захныкалъ.

— Полно, отецъ.

— Сыночекъ ты мой!

— Будетъ, завтра ѣхать надо.

Старикъ очнулся.

— А что, развѣ я не поѣду? Я, братъ, такую  
пляску задамъ! Всѣхъ удивлю.

— Надо бы сѣрточекъ спать.

Старикъ задумался.

— Ну, Егорушко, не тужи, все справимъ.

Рано утромъ Поповы закусили, запрягли ло-  
шадь въ повозку, наклали въ нее необходимыя  
туалетныя принадлежности, хлѣба, пироговъ и ста-  
ли прощаться съ Анной и ея мужемъ.

— Смотри, Анна, живи скромненько да домишко  
береги,—наставлялъ отецъ.

— Все, тятенька, исполню. Ты, тятенька, ско-  
рѣе приѣзжай.

— Ну ужъ, не знаю. Вы меня здѣсь совсѣмъ

изучили. Живите скромненько. А ты, Петръ Матвѣичъ, не бой Анну: Богъ тебя накажетъ.

Петръ Матвѣичъ молчитъ. Ему, какъ видно, жалко разстаться со старикомъ. Анна плачетъ. На прощаньяхъ всегда какъ-то на человѣка грусть находитъ. Каковъ бы человѣкъ ни былъ: золь-ли онъ, капризень ли, или просто дуракъ, но съ которыми живешь нѣсколько лѣтъ, такъ оно грустно дѣлается въ то время, когда онъ уѣзжаетъ. Поповы поцѣловались со своими родными, тѣ заплакали, заплакалъ и Иванъ Ивановичъ, хотя ему не слѣдовало бы плакать: вѣроятно онъ оттого заплакалъ, что ему представилось то, какъ Петрушка будетъ tyrannить свою жену. Крестьяне и мальчишки хотя и не плакали, но имъ было жалко своего дѣдушки.

— Иванъ Ивановичъ, смотри, скорѣй прїѣзжай.

— Какъ женишь своего сына, такъ и прїѣзжай.

— Прощайте, ребятки! — старикъ со всѣми поцѣловался.

— Прощайте, братцы! — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

Поповы тронулись. Крестьяне долго глядѣли на нихъ, а вѣстрѣчные шапки скидывали и говорили: „прощайте“. Они поѣхали мимо дома отца Федора. Онъ уже всталъ и сидѣлъ въ рубашѣ у окна, съ папирской во рту.

— Прощайте, Федоръ Терентьевичъ, — сказали Иванъ Ивановичъ.

— Прощайте! Съ Богомъ!

Старикъ погналъ лошадь, и лошадь припустила шагъ.

— Въ которую же сторону дорога идетъ въ Столешинскъ? — спросилъ отца Егоръ Ивановичъ.

— А вотъ выѣдемъ, спросимъ.

— Куда это, Иванъ Ивановичъ? — спросилъ старика попавшійся писмоводитель становаго пристава, шедшій съ пруда съ удилишкомъ.

— Въ Столешинскъ, сына женить.

— Какое нѣтъ, тятенька, дѣло, куда мы ѣдемъ? Какъ глупъ этотъ сельскій народъ!

— Экой ты глупый, Егорушко!.. Ужъ обычай такой. А вотъ ты женись-ко, да посвятись — проходу не дадутъ, все будутъ спрашивать... Пустяки, пустяки, а тоже, на-кося, попробуй, женись, да посвятись!.. Раскуси-ко!..

### III.

Столешинскъ — городъ старый. Построенъ онъ между двумя горами и раздѣляется маленькой рѣчкой, которая въ июлѣ мѣсяцѣ дѣлается ручейкомъ. Иной заводъ лучше выгладитъ, чѣмъ Столешинскъ. Онъ только и олавится, что пятью каменными церквами архитектуры XVII и XVIII столѣтій. Въ немъ только два частныхъ дома: одинъ городничаго, вышедшаго назадъ тому десять лѣтъ въ отставку, и благочиннаго Тюленева; остальные дома, за исключеніемъ казенныхъ, всѣ старыя, построенныя назадъ тому, можетъ быть, сорокъ — шестьдесятъ лѣтъ. Тротуары существуютъ только около здания присутственныхъ мѣстъ, — здания, имѣющаго въ себѣ, за исключеніемъ духовнаго правленія и

почтовой конторы, всѣ присутственные мѣста, въ томъ числѣ и тюрьму, называемую попросту острогомъ. Фонарей и извозчиковъ не нѣдется, нѣтъ также ни одного бульвара или мѣста для гулянья. кромѣ кладбища да лѣса, котораго очень много около горъ и дальше за городомъ, между горами; нѣтъ фотографій, типографій, театра, даже нѣтъ ни одного фортепьяно или рояля. и аристократія увеселяетъ себя органомъ городничаго и шарманкой земскаго исправника. Всѣ необходимыя вещи для живота и наружнаго украшенія получаютъ: первый разъ въ недѣлю, именно въ понедѣльникъ, а послѣднія — каждый день или разъ въ мѣсяцъ на *Здвигенской* площади и въ *юстинномъ дворѣ*, состоящемъ изъ деревяннаго амбара съ двѣнадцатью лавками съ двухъ боковъ, изъ которыхъ торгуютъ только въ пяти, а въ послѣднихъ, говорятъ, торговать нельзя, потому будто, что эти лавки устроены не на *пригожемы мѣстѣ*. Самая мѣстность города, дотога говорятъ, непривлекательная, что городъ надо бы построить не внизу, а на которой нибудь горѣ, потому, говорятъ горожане, что весной и осенью грязь бѣдовая, „вода непроходимая и такая-то непріятность происходить по ночамъ отъ воровъ и разныхъ ссыльныхъ, что ужаси“... Ужъ если говорятъ такъ старые жители, никуда невыѣзжающіе изъ города, то должно быть Столешинскъ незавидный городъ. Говорятъ, что кто-то изъ купцовъ хотѣлъ перевести городъ на другое мѣсто, именно на одну изъ горъ, да жители не согласились: побранили того, кто первый выдумалъ строиться тутъ, посудили, что эти домикши денегъ стоятъ, а тамъ опять стройся, да и камешекъ на одномъ мѣстѣ обростаетъ, такъ и бросили вопросъ о перенесеніи города на другое мѣсто и объ улучшеніи этого города, рѣшивъ, что ладно и такъ; жили же люди до насъ и мы прожили много лѣтъ.. Ничего!

Столешинскіе жители люди бѣдные, а бѣдные люди только при большихъ деньгахъ, полученныхъ неожиданно, разбираютъ вкусы и проявляютъ барскія заманки. Столешинскъ отъ губернскаго города въ 300 верстѣ., и отъ него до губернскаго города идетъ одна дорога, лѣтомъ грязная и дотого трясучая, что каждый проѣзжіи проклинаетъ ее не одинъ разъ, а зимой по ней ѣздить гусемъ и вываливаются въ ухабахъ отъ станцій до станцій разъ по пяти. Эту дорогу поправляютъ крестьяне только тогда, когда губернатору вдумается проѣхать въ Столешинскъ для своего удовольствія. Торговля тутъ очень плохая. Мука привозится только зимой, потому что ее прилавляютъ лѣтомъ въ губернской городъ изъ другихъ смежныхъ губерній. и потому мука дорога; спросу на работы мало; сбыту различныхъ матеріаловъ еще меньше. Городъ населяютъ двѣ тысячи мужчинъ и женщинъ. Мужчины — народъ почти весь занятый; женщины, которыхъ больше мужчинъ, или — народъ работающій на мужчинъ и на разныхъ семейства, или — народъ праздный. Въ число этихъ классовъ дѣти до восьмилѣтняго возраста не входятъ. Мужчины состоятъ изъ чиновниковъ, служащихъ въ разныхъ

присутственныхъ мѣстахъ, отставныхъ и подсудимыхъ, купцовъ, мѣщанъ, изъ которыхъ тринадцать человѣкъ портные и сапожники, четырнадцать крестьянъ, занимающихся постройкой и починкой домовъ, кладкой и перекладкой печей и прочимъ мастерствомъ, нивалидной команды и нищей братіи. Въ число мужчинъ входятъ также и духовные. Всѣхъ духовныхъ въ Столешинскѣ полагается 27 человѣкъ, но ихъ бываетъ только 21. Изъ женщинъ работаютъ мѣщанки и чиновницы на свои семейства и на мужей; прачки, стряпни — болѣею частію жены солдатъ и крестьянскія вдовы.

Люди въ Столешинскѣ — болѣею частью получившіе образованіе въ Столешинскѣ. Пріѣзжіе изъ губернскаго города не много ихъ поднигаютъ, потому что они ѣдутъ не для просвѣщенія и прочей пользы, а для денегъ и разныхъ удовольствій; сначала скучаютъ и смѣются надъ городомъ, а потомъ сами привыкаютъ къ Столешинску. Столешинцы только и переняли у пріѣзжихъ и бывалыхъ людей, что научились — и то въ аристократическомъ кругу — говорить свысоко, или проще сказать, говорить на а, напр. *назаслуста, сдѣлайте адалженіе пакорнѣйше прошу*, и т. п., и дамы теперь уже щеголяютъ въ преогромныхъ кринолинахъ.

Въ Столешинскѣ для образованія дѣтей существуютъ два училища: духовное и уѣздное (свѣтское), для мальчиковъ. Какой-то судебный слѣдователь предлагалъ было жителямъ открыть училище для дѣвочекъ и проектъ свой представилъ губернатору, да губернатора черевали и перевели также на другое мѣсто судебного слѣдователя; жители рѣшили, что образовывать дѣтей можно и дома, а по училищному образовывать стоитъ много денегъ. Такъ и бросили толковать о женскомъ училищѣ... При такихъ-то условіяхъ жители умѣютъ поцѣть двѣ или три пѣсни, какъ наприѣръ: „Не бѣлы снѣга“, „Выйду ль я на рѣченку“, „Среди долинъ ровныя“, поплясать двѣ, три кадрили, поиграть въ карты на разные лады, посплетничать, передразнить кого-нибудь, погоревать и пошмѣяться: умѣютъ лицефрмить и угодить своимъ начальникамъ, но умѣстность ихняя стоитъ съ двадцатилѣтняго возраста нетронуто. Конечно они могутъ сочинять отношенія и разные канцелярскія бумаги, но спросите вы ихъ о предметѣ, касающемся ихъ домашней жизни, они вамъ наговорятъ такую нелѣпость, что вы ихъ дураками назовете. Тамъ только и понимается „Сынъ Отечества“, Сѣверная Почта“ и „Виржевыя Вѣдомости“, которыя читаются на расхватъ, да и то понимаются съ трудомъ, и каждый каждый новости судить, какъ онъ понимаетъ. Надо замѣтить, что эти люди *юловоломны* статей не могутъ понять: ихъ только и занимаютъ — политика, разные новости и разные происшествія. Статьи по вопросамъ, помѣщаемыя въ этихъ газетахъ, даже въ „Сынъ Отечества“, они не читаютъ. Изъ журналовъ тамъ выписываютъ: одинъ экземпляръ „Моднаго Магазина“, два — „Иллюстрированной Газеты“, три — „Библіотеки для Чтенія“ и два — „Отечественныхъ Записокъ“. И въ этихъ-то журналахъ они читаютъ только беллетристику, а остальные статьи остаются неразрѣзанными, да и беллетристику они любятъ не серьезную, а смѣшную. Попадись имъ смѣшной или глупый романъ, или глупая повѣсть, хотя старыхъ лѣтъ, они ее станутъ читать раза по четыре въ годъ. Одни только учителя тамъ люди образованные, но они свѣтскаго училища, а не духовнаго, и такъ какъ ихъ немного, то общество ихъ не любить, потому что ихъ почему-то называли вредными людьми, и они завели свой кружокъ. Этихъ учителей тамъ не любятъ даже самъ смотритель, человѣкъ уже старый. Хотѣли они открыть воскресную школу, но имъ не дозволили городничій.

Вышнюю обстановку Егоръ Ивановичъ увидалъ, и ему городъ послѣ губернскаго показался деревней. Присѣвшій къ нимъ съ полдороги учитель уѣзднаго училища, Алексѣй Петровичъ Мазуровъ, рассказывалъ то, что мы уже знаемъ. Егору Ивановичу до образованія дѣла мало было. У него только одно было въ головѣ — жениться, а тамъ можетъ быть и хорошо будетъ.

Егоръ Ивановичъ еще вотъ что узналъ отъ Мазурова.

— А что, Алексѣй Петровичъ, каковъ этотъ господинъ Будринъ? — спросилъ онъ Мазурова.

— Будринъ-то!.. Вы смотрите не позабудьте, что онъ — Будринъ... Кажется, что онъ человѣкъ такъ себѣ. Только я знаю, что онъ деспотъ.

— Не можетъ быть?

— Свою жену и дѣтей онъ бьетъ, какъ мужикъ бьетъ свою лошадь.

— Ну, а дочь какова?

— Дочь ничего. Дѣвушка такая забитая, что, кажется, она сама не рада своей жизни. Впрочемъ она, поди, замужется.

Егора Ивановича дрожь пробрала. — Неужели? — спросилъ онъ.

— Впрочемъ не могу сказать, вышла она или нѣтъ. Видите ли, я отпавился изъ города 19 іюля, когда у насъ публичный экзаменъ кончился. Въ это время за нее сватался засѣдатель уѣзднаго суда Удинцовъ. У него отецъ тоже священникомъ въ Крюковѣ. Не знаете ли?

— Нѣтъ.

— Ну, онъ человѣкъ хорошій; кончилъ курсъ въ семинаріи, былъ секретаремъ въ губернскомъ правленіи... Я думаю, что Будринъ отдастъ.

— Уже конечно. То засѣдатель, человѣкъ, поди, богатый, а мы что... — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— Вотъ этотъ Удинцовъ и сватался... Будринъ было не соглашался, а потомъ, говорятъ, что согласился.

— Экая досада! — сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— И давно сватался? — спросилъ Егоръ Ивановичъ.

— Да въ маѣ мѣсяцѣ еще говорили. Тутъ, видите ли, дѣло не просто: Удинцовъ-то живетъ рядомъ съ домомъ Будрина... Ну, стало быть его проняло и ее проняло.

— Ой? — спросилъ Иванъ Ивановичъ, такъ что у него вѣтень выпалъ изъ рукъ.

— Очень понятно. Въ эдакомъ городѣ вы не найдете хорошихъ невѣстъ.

— Что ты?  
 — Напрасно идете.  
 — Къ-Богу?  
 — Видите ли, отецъ дьяконъ, народъ у насъ глупый... право.. Но конечно народъ не тронутый.  
 — Значить благочестивый?  
 — Не то я хочу сказать. Умъ ихъ не тронуть.  
 — Ну его къ Богу, съ умою-то!.. Выла бы невеста хорошая, — все бы было хорошо... Такъ какъ, Егорушка?  
 — Плохо, тятенька.  
 — Дѣла какъ сажа была. — Старикъ головой покачалъ и запечалился. — Не послать ли намъ свяговъ? — сказалъ онъ, немного погодя.  
 — А если она замужемъ?  
 — Тьфу ты, грѣхъ! Совсѣмъ сбился съ панталыку... — Старикъ плюнулъ. — Такъ какъ, Егорушка? Ты вѣдь курсъ кончилъ, придумай. У тебя вѣдь голова-то, поди, не сбѣномъ набита.  
 — Право, не знаю. А вы, Алексѣй Петровичъ, не знаете на примѣтъ невесты?  
 — Я всего-то пять мѣсяцевъ живу въ городѣ, здѣсь ни съ кѣмъ не знакомъ, да и не стоитъ знакомиться.  
 — А вы женаты?  
 — Я со стрипкой живу.  
 — Полно? Вы-то? учитель-то? — проговорилъ Иванъ Ивановичъ хохоча.  
 — Что же вы тутъ худого находите, отецъ дьяконъ?  
 — Тяжкій грѣхъ.

Они остановились противъ квартиры учителя.  
 — Я бы васъ, отецъ дьяконъ, къ себѣ пригласилъ, да квартира у меня небольшая, къ тому же сестра съ братомъ и матерью живутъ.  
 Егоръ Ивановичъ подумалъ, не жениться ли ему на сестрѣ учителя.  
 — А она замужемъ, Алексѣй Петровичъ? — спросилъ онъ учителя.  
 — Вдова; съ двоими дѣтьми живетъ.  
 „Ну ужъ не пара“, подумалъ Егоръ Ивановичъ.  
 — А ей сколько годочковъ отъ рожденія? — спросилъ Иванъ Ивановичъ.  
 — Сорокъ шестой. Ничего, женщина добрая.  
 Послѣ прощаній и разныхъ благодарностей учитель ушелъ въ свой домъ; Поповы остались на улицѣ и поѣхали дальше.  
 — Гдѣ же мы, тятенька, останемся?  
 — Ну, гдѣ-нибудь. Ты лучше придумай, какъ неисту искать.  
 — Что же я, тятенька, сдѣлаю!.. Вы вотъ что скажете, много-ли у васъ денегъ?  
 — А тебѣ на что?  
 Егоръ Ивановичъ подумалъ, что онъ пожалуй обилѣотца своимъ вопросомъ. Онъ ничего не сказалъ.  
 — Да денегъ-то маловато, Егорушка. На сѣно да на овесъ будетъ; пожалуй и на квартиру хватить.  
 — Плохо, тятенька. А если мы да назадъ воротимся?  
 — Не тужи... На Бога надѣйся, все будетъ ладно.  
 — Не лучше ли намъ, тятенька, на постоянный?..

— Что-ты, что-ты!.. Намъ-то на постоянный?  
 — Да что же тутъ худого! Не на улицѣ же намъ жить. Да и сами же вы говорили, что останемся на постояломъ.  
 — Глупый ты, Егорушко... Ну, какъ же мнѣ, дьякону, съ мужиками въ кабаки быть?.. Скажутъ, пьяница горькая, коли по кабакамъ трется... Да и Господу Богу отвѣтъ дашь.  
 — А въ селѣ вы развѣ не ходили въ кабаки?  
 — И не говори лучше. Осержусь, уйду. А я, знаешь, что придумалъ? — сказалъ онъ весело.  
 — Что такое?  
 — А вотъ что: пойдемъ мы прямо вотъ къ этой церкви и спросимъ, кто тамъ дьяконъ, а потомъ узнаемъ, гдѣ его домъ, и пойдемъ туда.  
 — Это, тятенька, очень смѣшно будетъ.  
 — Ну, не врѣ...  
 — Мы лучше такъ сдѣлаемъ: подѣдемъ вотъ къ этому дому и спросимъ, нѣтъ ли тамъ квартиры; а если нѣтъ, то тамъ вѣроятно знаютъ, гдѣ есть квартиры.  
 — Пожалуй.

У воротъ деревяннаго дома, покачившагося на лѣвый бокъ, съ тремя окнами, отчасти замазанными бумагой, стоялъ не то мѣщанинъ, не то крестьянинъ. Иванъ Ивановичъ подѣхалъ къ этому дому.  
 — Здравствуй, дядя! — сказалъ Егоръ Ивановичъ.  
 — Здравствуй, — отвѣчалъ тотъ.  
 — Вотъ что, дядя, нѣтъ ли у тебя лишней комнаты?  
 — Нѣтъ, нѣту; сами живемъ, да чиновникъ одинъ живетъ.  
 — Нѣтъ ли у кого другого?  
 — Да, право, не знаю. Оно конечно можно поискать, да надо обождать маленько.  
 — Гдѣ же ждать-то будемъ? На постоянный идти неловко...  
 — Оно конечно, што неловко. А вы заведите лошаду-то во дворъ, поживете у меня денекъ, другой, я уже схожу.  
 — А есть ли у тебя мѣсто-то? Смотри, чтобы не тѣсно было.  
 — Ну, день, другой можно. Тамъ, въ горенкѣ, чиновникъ изъ суда съ женой живетъ, тамъ можно.  
 — Надо его спросить: можно ли еще?  
 — Чего спрашивать! Домъ-то, подиткось, вѣдь мой?.. А я съ васъ по патталыничку возьму за день.  
 — Возьми десять.  
 За десять копѣекъ хозяинъ согласился впустить ихъ въ горенку. Въ этомъ домѣ были двѣ комнаты и кухня. Кухню и одну комнатку занимали сами хозяева: оставшій солдатъ съ женой, а другую — чиновникъ. Хозяинъ, Поликарпъ Федорычъ, занимается столярнымъ ремесломъ, — онъ и работаетъ въ комнаткѣ днемъ. Отъ его работы стоитъ стукъ и во всемъ дому постоянно пахнетъ или масломъ, или махоркой.  
 — Пожалуйте въ мою горенку, — сказалъ Поликарпъ Федорычъ Поповымъ, вводя ихъ въ комнату. Ихъ встрѣтила хозяйка съ ребенкомъ на рукахъ и два бойкихъ мальчика.

— Посидите здѣсь чуточку, я сейчасъ распоряжусь.—И солдатъ ушелъ.

— Вы изъ какихъ мѣстъ, батюшка?—спросила Егора Ивановича хозяинъ.

— Изъ Ивановскаго села, Петровскаго уѣзда.

— Далеко-ко. Къ родитѣ, чай, пріѣхали?

— Нѣтъ, по дѣламъ разнымъ, хозяйшка. Меня сюда назначили посвященники, — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Слышала давнече... Такъ-то-сь! А мы къ Знаменской церкви принадлежимъ. О. Василій такой, Богъ съ нимъ, привередникъ.

— А что?

— Да какъ же... Гордъ больно, ужъ такъ-то ли важенъ, спаси Богъ!

Между тѣмъ хозяинъ ругается со своимъ постольцемъ.

— А коли такъ,— долой съ моей квартиры!

— Ну, и уйду! Экъ выдумалъ: жена скоро родитъ; я плачу полтора рубля, а онъ еще жильцовъ въ мою комнату хочетъ пустить!

— Тебѣ говорить, я хозяинъ-то, а не ты. Сейчасъ вонъ!

— И уйду!

— Экой гадъ! Два съ половиной мѣсяца живетъ всего-то, а за кватеру заплатилъ только за одинъ мѣсяцъ. „Я, говоритъ, жалованья получаю три рубля“... Мука просто съ этими жильцами!

— Вы, хозяинъ, не безпокойтесь пожалуйста: мы въ другомъ мѣстѣ поищемъ квартиры,—сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Ужъ вы не сомнѣвайтесь, я вамъ сама помщу квартиру-то; а теперь вы и въ этой комнатѣ поживите день-другой.

Поповы расположились въ мастерской солдата.

— А у васъ, о. дьяконъ, есть билетъ?—спросилъ хозяинъ.

— На что?

— Безъ билетовъ мы никого не держимъ, потому, значить, начальство строго, а люди-то всякіе бывають. Вотъ недавно какого-то бѣглаго монаха поймали, все съ книжкой ходилъ да деньги собиралъ.

Иванъ Ивановичъ струсиль. Онъ свои бумаги въ селѣ оставилъ.

— Да у меня бумаги-то въ селѣ... Позабылъ, Поликарпъ Федорычъ.

— А безъ паспорта я васъ держать не стану.

Егоръ Ивановичъ подалъ хозяину свои бумаги.

— Ужъ я ихъ къ себѣ возьму, — сказалъ хозяинъ, посмотрѣвъ бумаги

— Зачѣмъ?

— Ужъ такъ у насъ въ обычаѣ

— Да они мнѣ нужны всегда.

Дѣло уладилось за водкой, которую купилъ Иванъ Ивановичъ и которую угостилъ хозяина съ женой. За ужинкомъ говорили про дѣло.

— А кто здѣсь благочинный?

— Богъ его знаетъ. Говорятъ, самый старшій здѣсь протопопъ Антонъ въ Преображенскомъ соборѣ.

— Что онъ, женатъ?

— Женатъ. Говорятъ, дѣтки есть.

— А дочери есть?

— Есть и дочери. Старшей годовъ семнадцать будетъ, а младшей годковъ восемь. Старшая-то модница такая,—ужасъ!

— Вотъ, Егорушко, и невеста. Махни-ко!

— Да какъ подступиться-то?

— То-то вотъ и есть. Протопопъ, да еще и благочинный... А мы вотъ что сдѣлаемъ: пойдемъ завтра въ этотъ соборъ и распросимъ хорошенько, какъ и что.

— Это будетъ всего лучше,—сказалъ хозяинъ.

Когда Поповы легли спать, они долго разсуждали о своемъ дѣлѣ

— Плоховато, Егорушко. Надо бы намъ, Егорушко, гдѣ-нибудь поближе сыскать невесту-то! А то заѣхали... ишь ты, куда заѣхали, и уѣхать-то назадъ не съ чѣмъ будетъ.

— Мы попробуемъ у протопопа посвататься!

— Легко посвататься-то? Наткось, протопопъ, да еще благочинный... такъ и отдастъ! Знаю я этихъ благочинныхъ-то. А впрочемъ, Егорушко, не тужи, авось обладимъ.

— Скъверно, что у меня сюртукъ-то худой.

— Ничего. Скъверно, что у меня вотъ денегъ-то маловато!.. Петру дьякону написать,—не пришлетъ. Скажетъ: нужно на пять-десято самому. Лошадь продать жалко.

— Я думаю, тятенька, если мнѣ не посчастливится жениться, я въ губернской поѣду.

— Зачѣмъ?

— Буду проситься въ академію на казенный счетъ.

— Не тужи, Егорушко: все перемелется — мука будетъ. Ужъ куда тебѣ въ твои годы учиться?

— И въ тридцать лѣтъ люди учатся.

— Ну ужъ, не ѣзди... Поживи со мной; утѣшь меня, старика... А ты вотъ что сдѣлай: поди завтра къ благочинному...

— Что я буду дѣлать у него?

— Покажи ему указъ. На то онъ и данъ, чтобы тебѣ поскорѣе жениться, на комъ хошь. А жалко. Егорушко, что Вудрина то дочка замужъ вышла... Поди, хозяинъ-то вреть, что онъ некоротшій человекъ.

— Завтра мы все узнаемъ.

Утромъ рано ихъ разбудилъ хозяинъ своей стукотней. Напишились чаю, они пошли по городу. На встрѣчу имъ попался дьячекъ. Дьячекъ снялъ шапку.

— Зачѣмъ изволили пріѣхать, о. дьяконъ?

— По дѣламъ.

— По невесту пріѣхали?

— А вы какъ знаете?

— Помилуйте, весь городъ знаетъ, что вы пріѣхали съ сыномъ и женить сына. Мы уже знаемъ, что вы назначены священникомъ въ Знаменскую церковь,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Егору Ивановичу. — Зайдите ко мнѣ на минуточку.

Поповы пошли.

— Вы какой церкви?

— Преображенскаго собора.

— Стихари имѣете?

— Точно такъ. А у насъ, я вамъ скажу, у отца благочиннаго есть дочка, Надежда Антоновна. Посватайтесь-ко.

— Онъ, люди, ждетъ изъ академистовъ.

— Ну ужъ, въ эдакую-то даль академисты не пойдутъ.

Дьячекъ накормилъ ихъ говяжьими пирогами и посоветовалъ сходить Егору Иванычу къ о. Антону.

Они отправились по церквамъ. Дорогой дьячекъ рассказывалъ Поповымъ, что о. Антонъ сначала былъ дьякономъ въ губернскомъ городѣ, потомъ его сдѣлали священникомъ въ Столешинскѣ, гдѣ онъ прослужилъ пятнадцать лѣтъ въ соборѣ, и такъ какъ былъ учителемъ въ духовномъ уѣздномъ училищѣ, то его за стараніе къ воспитанію дѣтей и по заслуженному началству о. Антона оставили на службѣ произвели въ протопопы и назначили благочиннымъ въ соборѣ. О. Антону осталось служить до отставки только годъ, и онъ имѣетъ въ городѣ каменный двухъ-этажный домъ. Должность его такая: онъ заведуетъ всѣми церквами города и уѣзда, состоитъ смотрителемъ духовнаго уѣзднаго училища и миссіонеромъ по дѣламъ раскольниковъ, и поэтому его боятъ какъ старшіе, такъ и дѣти мужского пола. Служить онъ въ церкви сколько ему угодно, дѣлами занимается такъ-же, въ училище, помѣщенное въ его же домѣ, ходитъ каждый день и каждый день дѣлаетъ тамъ расправу посредствомъ розогъ. Говорятъ, что въ престольные праздники онъ сказываетъ проповѣди, но проповѣди эти идутъ одного и того же содержанія вотъ уже десять лѣтъ. Если придется сказывать проповѣдь при владыкѣ, то онъ проситъ сочинить своего зятя, священника Благовѣщенской церкви. Въ Знаменской церкви полагается два священника, одинъ дьяконъ, дьячекъ и пономарь. Приходъ этой церкви небольшой, хотя въ ней приписаны три деревни съ однимъ селомъ, въ которыхъ церкви еще пока строятся; жалованье небольшое, и то выдается по третямъ Казенныхъ квартиръ ни для одного церковно-служителя въ Столешинскѣ нѣтъ. Поповы узнали также, что нѣтъ-ли еще у одного столешинскаго священника, одного дьякона и двухъ дьячковъ. Стало быть, горевать не о чемъ.

— Такъ-такъ-тось, Егорушко! — сказалъ весело Иванъ Ивановичъ сыну. — Невѣсть много, хоть любую бери.

— Все это хорошо. Надо еще смотрѣть имъ сдѣлать, да стороной узнать, каковы онѣ.

— Всѣ онѣ, кажется, ничего. Можно... Только у о. Петра дочка немного рабовата. Да это что!..

Дьячекъ привелъ ихъ опять въ свой домъ и купилъ водки. Къ нему пришелъ соборный дьяконъ о. Андрей Соловьевъ. О. Андрей былъ еще молодой дьяконъ, получившій мѣсто назадъ тому полгода, человѣкъ веселый и очень безпокойный въ пьяномъ состояніи. За буйство его два раза исключали изъ архіерейскихъ пѣвчихъ и только за хорошій голосъ и большія способности его сдѣлали сперва дьякономъ въ кафедральномъ соборѣ, а потомъ и дьякономъ въ Столешинскѣ. Онъ былъ знакомъ Егору Иванычу. Явилась водка; началось угощеніе.

— Ужъ я, Егоръ Ивановичъ, такъ-то поучу на свадьбѣ, — люблю! А апостолъ такъ отчитаетъ, что рамы будутъ трещать, или такъ, чтобы вѣнцы у васъ попадали съ головъ.

— Зачѣмъ вѣнцы?.. Если вѣнцы спадутъ — плохо, — замѣтилъ Иванъ Ивановичъ.

— Вѣрте вы имъ! — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Да какъ же! — ершится Иванъ Ивановичъ: — ужъ такая примѣта давно у насъ. Каждый ребенокъ знаетъ, что если вѣнецъ упадетъ, то этотъ человѣкъ прежде умретъ обручающагося съ нимъ.

— Охъ вы, старые люди! Знаешь ли, дядька, куда тебя надо?.. Ну, да не скажу.

Этотъ дьяконъ, о. Андрей Филимонычъ, пригласилъ къ себѣ Поповыхъ, угостилъ ихъ тамъ и далъ одну комнату для жительства ихъ. Они уговорились такъ, что за квартиру Поповы платить не станутъ, а будутъ платить только за хлѣбъ и то или послѣ свадьбы, или тогда, когда Егоръ Ивановичъ будетъ священникомъ.

На другой день Егоръ Ивановичъ, вымывшись утромъ въ банѣ, отправился къ о. Антону Иванычу Тюленеву. Протопопъ помѣщается во второмъ этажѣ. Въ прихожей Егора Иваныча принялъ пономарь, исправляющій должность лакея и подчасъ кучера самого Тюленева и его семейства. Комнаты чисто барскія: изъ нихъ пахнетъ мускусомъ.

Егоръ Ивановичъ прождалъ часа два до тѣхъ поръ, пока не услышалъ изъ боковой комнаты охрипелый голосъ: „Егоръ!“

Пonomарь было вздремнулъ, а при этомъ возгласѣ онъ очнулся.

— Скажите обо мнѣ, — сказалъ Егоръ Ивановичъ.

— Ладно. Только онъ сегодня сердитъ... — Пономарь ушелъ.

Черезъ полчаса вышелъ изъ залы въ прихожую самъ протопопъ, въ шелковомъ подрясникѣ и въ туфляхъ. Онъ уже сѣлъ и видно, что очень гордъ и важенъ. Егоръ Ивановичъ подошелъ подлѣ благословеніе.

Они вошли въ кабинетъ. Кабинетъ убранъ тоже на барскій манеръ. Тутъ была бронза, серебро, фарфоръ, вещи подъ чехломъ, шкафы съ бумагами и книгами. Протопопъ сѣлъ.

— Я слышалъ, вы назначены сюда во священники?

— Точно такъ съ.

— Очень радъ. Егоръ! принеси чаю. Да-съ... садитесь.

Молчаніе. Протопопъ зѣвнулъ. Егоръ Ивановичъ стоитъ.

— Давно кончили курсъ?

— Нынѣшнее лѣто.

— Скоренько-таки изволили получить мѣсто.

Егоръ Ивановичъ показалъ ему свои бумаги.

— Хорошо. Владыко будетъ здѣсь?... Что же вы не садитесь?

Егоръ Ивановичъ сѣлъ.

— Нѣтъ Преосвященный на будущій годъ собирается сюда.

— А отецъ ректоръ?

— Нѣтъ.

— Вы учителемъ можете быть?

— Могу.

— Мнѣ нужно учителя арифметики. Сдѣлайте такое одолженіе.

— Очень хорошо-съ.

Молчаніе.

— Ну-съ... Да когда вы будете посвящаться?

— Его в-о сказалъ мнѣ и на прошеніи написалъ, чтобы меня посвятить въ октябрѣ.

— Какъ поздно! Отецъ Василій Бударинъ просто смучился. У него очень много занятій; онъ законоучителемъ въ свѣтскомъ училищѣ.

— Я слышалъ, что тамъ, ваше высокоблагословеніе, классы бывають только два раза въ недѣлю.

— Все-таки... Да, одному очень трудно. Вотъ тоже въ той церкви и дьяконъ захворалъ. А дьяконъ такой примѣрный, трезвый, услужливый. А это самое главное... Да-съ.

Молчаніе. Принесли чай.

— Кушайте.

— Ваше в-е, купецъ Татаринновъ пришелъ,—сказалъ пономарь,—да какой-то дьячокъ.

— Это чистая бѣда быть благочиннымъ. Свѣтскіе говорятъ, что благочиннымъ дѣлать нечего, и что мы напрасно только жалованье получаемъ. А и не знаютъ того, что сверхъ главной обязанности быть священникомъ у меня такъ много другихъ тому подобныхъ обязанностей, какъ напримеръ, быть благочиннымъ, т. е. управлять округомъ. А вы еще не знаете, каково возиться съ духовенствомъ... Тоже вотъ теперь смотрительская должность... Это каторга съ ребятишками. А тутъ еще миссіонерство возложили: обращать и всячески стараться о просвѣщеніи раскольниковъ... Владыка такой, право, что я не могу придумать, какъ бы освободить себя отъ всѣхъ этихъ обязанностей. Видить, что и хорошій я старый человекъ... ну и... Однако я пойду. Вы посидите немножко.

— Экъ онъ размазываетъ... Миссіонерство, говорить, надобно... А самъ домъ каменный строилъ... Ишь, какое богатство!

Егоръ Ивановичъ сталъ смотрѣть въ залъ. Но такъ какъ онъ былъ близорукъ и безъ очковъ, то ничего тамъ не видалъ, а слышалъ только разговоры. Хотѣлось ему, по привычкѣ, подслушивать, подойти къ двери, да онъ боялся. Подслушивать онъ считаетъ подлостью.

— Я это безобразіе выведу изъ васъ. Я приберу васъ къ рукамъ!..—кричалъ благочинный.

— Отецъ благочинный, я не виноватъ! я былъ выпивши,—говорилъ кто-то тоненькимъ голосомъ.

— Пьянствуете только вы. Убирайтесь, мнѣ некогда.

— Ваше в-е...

Егоръ Ивановичъ услышалъ грохотъ. „Ну, подумалъ онъ: виновный вѣрно въ ноги кланяется“.

— Ваше в-е, у меня семейство большое... Вы знаете, я всегда былъ честнымъ...

Стоящій или сидящій въ залѣ купецъ въ это время всталъ противъ открытыхъ дверей въ кабинетъ благочиннаго. Онъ былъ не то красенъ, не

то желтъ, и почесывалъ свою бороду. Благочинный подошелъ къ нему.

— Ну-съ, г. старовѣръ, что скажете?

— Вы обо мнѣ напрасно пишете въ консисторію, что я не обращаюсь въ православіе, тѣмъ болѣе, что нынѣ, какъ я вычиталъ въ газетѣ, насъ болѣе не преслѣдуютъ.

Благочинный увелъ купца въ другую комнату. Оттуда слышалось только:

— Я не боюсь васъ... Каждый человекъ, г. благочинный, долженъ дѣлать свободно, что хочетъ.

Вышли. Купецъ ушелъ, а благочинный пошелъ въ кабинетъ и сѣлъ на кресло, тяжело отдуваясь.

— Охъ, какъ усталъ! Просто мука съ этими людьми. Слышали, какіе они буяны?

— Очень плохо слышалъ.

— Мученье. Нѣтъ, надо будетъ серьезно приняться за нихъ, надо будетъ объѣхать ихъ всѣхъ. Ну, а этотъ раскольникъ—это звѣрь, дуракъ чистѣйшій, а говорить—такъ собаку сѣлъ.

Егоръ Ивановичъ хотѣлъ сказать, что раскольники люди не глупые и терпятъ напраслину, но могъ ли онъ сказать это благочинному, у котораго онъ искалъ защиты? Онъ хотѣлъ идти, но ему хотѣлось попросить объ невѣстѣ.

— Егоръ!.. Егоръ!.. Это онъ, шельма, вѣроятно съ дьячками да дьяконами возится... Надо его будетъ назначить въ звонари. Сходите, пожалуйста, туда,—и благочинный указалъ Егору Ивановичу рукой на уголъ.

Егоръ и Егоръ Ивановичъ вошли въ кабинетъ.

— Сходи на почту. На!—И благочинный далъ Егору записку, на которой было написано: «возвратить пакеты за №№ 312 и 313 въ консисторію».

— Вашъ отецъ—дьяконъ?

— Точно такъ.

— Отчего же вы въ академію не ѣдете? Вы бы прямо изъ академіи въ благочинные вышли, а то эдакъ очень долго ждать вамъ благочинія. Въ другомъ мѣстѣ вы при нѣкихъ условіяхъ получите, какъ это впрочемъ будетъ зависеть отъ владыки. Здѣсь я благочиніе предоставляю своему зятю.

— Я, отецъ благочинный, теперь никакъ не могу продолжать учиться, потому что у меня отецъ очень старъ и очень бѣденъ... братъ мой въ бѣдномъ мѣстѣ дьякономъ.

— Ну, это ничего. Вы хорошее дѣло сдѣлали, что не поѣхали. Нынче академисты народъ глупый стали, больно важны. Вонъ мой зять, кандидатъ академіи, сначала обошелся со мной такъ вѣжливо, а теперь и знать меня не хочетъ. Все училище въ руки взялъ, почти всѣхъ учителей а черезъ него переимѣнилъ. Они, говоритъ, больно стары и ничего не смыслятъ, хотя все народъ молодой были.

— Стало быть онъ правъ. Онъ больше ихъ знаетъ да и въ семинаріяхъ теперь обучаютъ не по-старому.

Егоръ Ивановичъ началъ размазывать семинарію, что онъ и учителя тамошніе всѣ хорошіе люди, для того, чтобы показать, что онъ неглупый человекъ—даже похвастался своею проновѣдью. Онъ



сначала подивился, что благочинный принял его очень вѣжливо и разговариваетъ какъ съ пріятелемъ. Онъ даже подумалъ, вѣроятно у благочиннаго много грѣховъ лежитъ въ консисторіи и архіерейской канцеляріи. „Постой же, я пугну тебя. И мы тоже любимъ похвастаться. Здѣсь нельзя несподличать“...

— Нынче у насъ отецъ-ректоръ — славный человекъ въ отношеніи семинаріи, не то, что прежде, и человекъ очень строгій.

— Да, да. Слышалъ въ прошломъ годѣ въ городѣ.

— Онъ мнѣ самъ предложилъ сюда, а потомъ хотѣлъ похлопотать, чтобы меня перевели въ казенный соборъ. Когда же я буду посвященъ, онъ обѣщалъ мнѣ дать дипломъ на званіе учителя. Онъ даже совѣтывалъ мнѣ открыть воскресную школу и хотѣлъ написать вамъ объ этомъ предметѣ.

— Ну, вы съ воскресными школами пропадете.

— Нѣтъ, отецъ благочинный. Этой бесплатной школой...

— Какъ бесплатной?

— Въ воскресныхъ школахъ обучаютъ даромъ безъ различія и дѣтей, и взрослыхъ, преимущественно крестьянъ.

— Поговаривали у насъ объ этомъ, да будетъ это бесполезно.

Вошла жена благочиннаго, толстая, высокая старая женщина, расфранченная, какъ попадья или какъ купчиха. Егоръ Ивановичъ поклонился ей. Та слегка поклонилась.

— Благочинный. иди обѣдать, — сказала она мужу.

— Ладно. Надя встала?

— Одѣвается.

— Экъ ее, нѣжится. А Сашка и Васька, поди, на улицѣ?

— Нѣтъ, въ саду.

— Вѣдь я же звалъ сюда Ваську... Гдѣ писководитель?

— Онъ пошелъ купить Надѣ табакъ.

— Вѣчно у нихъ амуры. Я эту дрянъ прогоню, коли замѣчу что-нибудь. Смотри ты у меня, смотри въ оба... ни за чѣмъ не хочеть приглядѣть... Ну, что за табакъ дѣвѣ!

— Да вѣдь ты куришь, благочинный!

— Молчать!

Егоръ Ивановичъ пошелъ къ двери и поклонился благочинному.

— Прощайте. Приходите ко мнѣ завтра. Я васъ испытаю, можете ли вы быть учителемъ моему сыну и вообще въ училищѣ. А какъ васъ зовутъ?

— Егоръ Ивановичъ.

— Хорошо.

— Это кто? — спросила безъ церемоніи жена благочиннаго.

— Не твоё дѣло. Пошла!

Егоръ Ивановичъ ушелъ.

„Вотъ дубина-то! — подумалъ онъ. — Это просто чортъ знаетъ, кто.. Ахъ, я и забылъ попросить его дозволить мнѣ сказать здѣсь проповѣдь. Силъ не пожалѣю, чтобы понравилась. Впрочемъ я покажу ему ту, которую въ губернскомъ сказывалъ. А

гадко я сказывалъ, здѣсь лучше скажу“.

Иванъ Ивановичъ былъ въ восторгѣ отъ разсказовъ Егора Ивановича и обѣщался отслужить за здравный молебенъ, когда только онъ женится на протопоповой дочері.

— Ты у меня, Егорушка, умъ!.. сила!..

Андрей Филимонычъ передразнивалъ благочиннаго, какъ онъ ходитъ, говоритъ, кланяется, ругается, ѣсть и пить, передразнивалъ также и жену его. Всѣ до слезъ хохотали.

— Да полно, Андрюшка! — унимала его жена.

— А я тебя по лбу! — и дьяконъ ударилъ ее по лбу кулакомъ.

— У, дуракъ, больно!...

— А тебѣ не довольно? Я тебѣ покажу, какъ благочинный Егорку бьетъ.

— Перестань!

— Выйди на рогатъ! Ахъ, Егоръ Ивановичъ, какъ я вамъ разскажу, что мы выкидывали на нашей свадьбѣ, не такъ еще рты-то разините, не такъ еще свои зубищи выпучите. Уже мы очень больно веселились. Какъ утромъ въ баню шли, такъ на ухваты платки надрывали, — свахи шли съ ухватами вперед и вся компанія насъ то водой обливала. то сажой мазали щеки... Пѣсни какъ задирали!.. Здѣсь бы такъ за страхъ сочли, а тамъ всегда такъ.

Веселая компанія рушилась съ приходомъ дьячка, который сказалъ, что требуетъ отецъ Василій свадьбу вѣнчать.

Егоръ Ивановичъ пошелъ съ дьяконницей смотрѣть свадьбу, а Иванъ Ивановичъ пошелъ разыскивать, не играетъ ли кто въ шашки. Такъ какъ играющихъ на дорогѣ не оказалось, то онъ тоже пошелъ въ церковь, думая: ужъ теперь я до тѣхъ поръ не пойду смотрѣть свадьбы, когда мой Егорушко не станетъ вѣнчать. Ужъ я тогда рядышкомъ съ нимъ стану: коли ошибется, подскажу. Поди, у бѣдненькаго руки будутъ дрожать.

Въ церкви на Егорушку всѣ смотрѣли, какъ на пріѣзжаго; одни показывали на него пальцами и спрашивали: кто онъ? а другіе говорили, что онъ пріѣхалъ свататься за дочь благочиннаго, и говорили такіе вещи, что Егора Ивановича коробило.

Послѣ вѣнчанья дьяконъ съ Иваномъ Ивановичемъ ушли на свадебный пиръ. Напились чаю. Дьяконница стала починывать подрясникъ мужа, а Егоръ Ивановичъ сталъ читать „Отечественныя Записки“ прошлаго года. Онъ скоро положилъ книгу.

— Какая дрянъ! — сказалъ онъ.

— Что?

— Да напечатано въ этой книгѣ все ложь. Дѣйствительно жизни нѣтъ.

— Полноте, тутъ хорошая повѣсть есть, смѣшная такая

— А вы что читаете?

— Я повѣсти читаю, а дьяконъ критику любитъ. Когда мы ляжемъ съ нимъ спать, покою нѣтъ отъ него: лежать и читать вслухъ; я спать хочу, а онъ какъ щипнетъ въ бокъ, просто до слезъ проймаетъ. Слушай, говоритъ, учись, пока я живъ.

— Я замѣчаю, отецъ дьяконъ, кажется, любитъ васъ.

Дьяконница покраснѣла.

— А подь-часъ такое слово загнетъ, что хотъ вонъ бѣги... Ономедня пришелъ пьяный-препьяный, и оретъ во всю ивановскую: „близко не подходи, изобью!“ Я было хотѣла скрутить его, да онъ такую затрещину далъ въ эту щеку, что и свѣту божьяго не завидѣла. Ужъ такъ-то мнѣ было обидно!... плакала, плакала я, а на другой день корила, корила его!.. Въ ногахъ вывалялася..

— Если хотите, Егоръ Ивановичъ, я вамъ сова-таю невѣсту.

— Какую?

— Дочь нашего соборнаго дьякона Алексѣя Борисова Коровина, Лизавету. Ей въ сентябрѣ восьмнадцатый будетъ. Я ее знаю, она моя подруга. Дѣвушка хорошая.

— Красивая?

— Ну, нельзя сказать, чтобы красивая, а только рукодѣльница, смиренная.

— Что же она такъ долго не замужемъ?

— Какъ долго? Ей вѣдь теперь семнадцатый, а въ одинъ годъ не скоро найдешь жениховъ, да Алексѣй-то Борисычъ подъ судъ попался, поэтому хорошіе женихи обѣгаютъ ее.

— За что онъ попался?

— Знаете ли, онъ любитъ выпивать... за то у него голосъ огромный, у моего дьякона хуже голосъ, вѣрно отъ того, что онъ еще молодъ. А жалко! добрый какой; главное, голосъ у него здоровый: какъ равняется, окна звенятъ! Архіерей хотѣлъ-было его къ себѣ въ протопопство взять, да вотъ какъ эта бѣда вышла, ну, его и отставили. Теперь мой мужъ сталъ старшимъ, а онъ служить рѣдко, все пьетъ.

— Онъ богатъ?

— Какое богатство! Вотъ ужъ полгода, какъ ничего не получаетъ, ну, а прежде все имѣлъ. Можетъ быть, у него и есть деньги, да только едва ли. Лиза говоритъ, что мать ея, Дарья Ивановна, бережетъ деньги отъ мужа. Право, соглашайтесь. Лиза славная дѣвушка. Что вамъ въ протопоповой дочери? правда, она красивая и разговорами собаку съѣла, только вамъ не пара. Она слишкомъ горда. Съ нами не говоритъ, а поклонилась ей, носъ на сторону воротитъ. Да едва ли и отецъ протопопъ отдастъ за васъ.

— Я думаю тутъ попытаться у отца-протопопа.

— Какъ знаете, дѣло не мое... Только я бы не совѣтовала вамъ. Лучше взять бѣдную, да хорошую жену, а не модницу какую-нибудь.

Егоръ Ивановичъ спалъ на сараѣ. Пробудившись утромъ, онъ услышалъ разговоры отца съ дьякономъ. Дьяконъ басилъ и кричалъ: Ивана Иваныча едва слышно.

— Такъ-то съ, Иванъ Ивановичъ!

— То-то. А головаболитъ, надо бы опохмѣлиться.

— А чортъ ихъ дерн! Опохмѣлиться надо, встать только дѣнь.

— И мнѣ тоже.

— А мы-таки дерябнули.

— Залихватски!

— Такъ ты какъ думаешь насчетъ Коровина?

— Думаю, можно. Надо бы сегодня...

— Скорѣй лучше Знаешь, что я сдѣлаю?.. Пойдемъ сегодня сами безъ него къ Коровину: если онъ пьянъ—разбудимъ, не пьянъ—къ себѣ приведемъ.

— Ладно. Да у тебя, братъ, денегъ нѣтъ.

— Ну! Эка бѣда!.. Намъ бы не повѣрили въ долгъ?.. Повѣрять!

— Да, трудно жить на свѣтѣ... Только я сме-каю, ловко ли будетъ у Коровина-то высватать?

— Ужъ не безпокойся. Я самъ хотѣлъ свататься, да отецъ посовѣтовалъ эту взять. И какъ, слышь, вышло:—только что сталъ я свататься, вдругъ указъ изъ консисторіи: переводится-де онъ въ село. Вотъ тѣ и разъ! Ну, перевелся, тамъ я и женился, потому что отъ благороднаго слова неловко отказываться.

— У тебя, братъ, жена славная.

— Да ничего...

— Хозяйка хорошая.

— Это правда. Этимъ меня Богъ не обидѣлъ... А мы пойдемъ выпьемъ?

— Да рано...

— Ну, толкуй! смотри, солнышко-то куда под-налось! Пойдемъ?

— Пойдемъ. Да къ Коровину пойдемъ же?

— Непремѣнно. Тутъ дѣло вѣрное.

— Надо ему сказать, чтобы онъ къ протопопу не ходилъ.

— Нельзя, вѣдь онъ здѣсь будетъ служить. Если Егоръ Ивановичъ не пойдетъ сегодня къ нему, то онъ съѣстъ его.

— Все бы подождать не мѣшало: авось протопопъ-то и отдастъ за него свою дочь.

— Ну ужъ!

Дьяконъ ушелъ. Егоръ Ивановичъ тоже слѣзъ съ сарая и ушелъ въ домъ. За часомъ шелъ такой разговоръ:

— Ты, Егорушко, лучше на дочери Коровина женись. Я ужъ это дѣло всякими манерами обду-малъ.

— Мнѣ все равно.

— Оно не все равно. Пондравится—женись, не пондравится—можно другую найти. А насчетъ отца благочиннаго вы не безпокойтесь: не стоитъ овчинка выдѣлки. Она хотя и нашего поля ягода, но, какъ дочь благочиннаго, такъ заважничалась, что годится развѣ въ мужа какому-нибудь благочинному, или свѣтскому человѣку въ родѣ исправника и т. под.

— Я теперь ничего не могу сказать.

— Какъ знаете. А мы все-таки Алексѣя Борисыча приведемъ сюда какъ разъ къ обѣду.

Егоръ Ивановичъ подумалъ и пошелъ къ благочинному.

Благочинный былъ уже одѣтъ. На немъ была шелковая ряса голубого цвѣта, камилавка и два креста одинъ наперсный, а другой въ память 1853—56 годовъ.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ Егору Иванычу.—Мнѣ нужно съѣздить кое-куда по дѣламъ. Пожа-луйста, займитесь моимъ Васей. Я часа черезъ

три-четыре буду. Пойдемте.—Благочинный повелъ Егора Ивановича въ комнаты. Прошли двѣ комнаты, убранныя хорошо, съ цвѣтами и съ удушливымъ запахомъ мускуса и резеды. Въ третьей сидѣла дочь благочиннаго, Надежда Антоновна, дѣвица лѣтъ 20, очень румяная, здоровая, разодѣтая въ шелкъ и въ бриллианты.

— Пошла прочь!—сказалъ ей отецъ.

— Тамъ, папа, очень душно.

— Вѣчно ты у окна торчишь! Пошла, тебѣ говорятъ!

Дочь ушла. Вошли въ четвертую комнату. Тамъ играли дѣти. Мальчикъ 12-ти лѣтъ возилъ по комнатамъ съ мальчикомъ 5-ти лѣтъ деревяннаго коня, дѣвушка 13-ти лѣтъ сажала на коня куклу.

— Пошли прочь! Я васъ, гадины!—Дѣти прикрикнули.

— Вамъ говорить? Вася, останься.—Дѣти ушли.

— Вотъ тебѣ новый учитель... Смотри, слушайся его. А вы, если онъ будетъ шалить, такъ на колѣни и ставьте, и пусть онъ, негодяй, до моего прихода на колѣняхъ стоитъ.—Благочинный ушелъ, и вскорѣ вернувшись, взглянулъ въ щелку дверей и ушелъ назадъ.

Егору Ивановичу неловко сдѣлалось быть учителемъ въ домѣ благочиннаго, и притомъ учителемъ въ первый разъ. Онъ хотѣлъ учить крестьянъ, а не дѣтей подобныхъ родителей. Василий сначала робѣлъ, утирая рукавомъ свой носъ, щипалъ рубашку и пиджикъ съ любопытствомъ глаза на новаго учителя, но когда новый учитель заговорилъ съ нимъ, онъ сталъ отвѣчать рѣзко, съ нѣкоторою важностью.

— Вы давно учитесь?—спросилъ его Егоръ Ивановичъ.

— А вамъ на что?

— Мнѣ хочется знать потому, чтобы легче было заниматься съ вами.

— Я первую часть грамматики прошелъ.

— Кто съ вами занимался?

— Отецъ Петръ Ивановичъ.

— Хорошій человекъ?

— Мы въ училищѣ его котомъ прозвали...

— За что?

— А онъ царапается больно. Когти у него на рукахъ острые.

— Прочіе учителя каковы?

— А вы къ намъ въ учителя?

— Я послѣ посвященія, можетъ быть, поступлю.

— А у васъ хорошіе учителя?

— У насъ профессора учатъ. Они сами въ академіи учатся.

— А я въ академію скоро поступлю?

— Надо прежде кончить курсъ въ семинаріи. А когда вы кончите курсъ тамъ, то будете такой же, какъ и я.

— Неправда, неправда! Я нынче поступлю въ академію. А васъ какъ зовутъ?

Егоръ Ивановичъ сказалъ.

— А вы учителей любите?

— Нѣтъ.

— Учителей надо любить...

сочиненія е. м. гашетникова.

— Неправда, неправда! Они сѣкутъ больно.

— А васъ сѣкли?

— А васъ?

— Меня много разъ сѣкли. Прежде по три раза въ день сѣкли.

— А теперь?

— Теперь не сѣбуютъ, потому что я кончилъ курсъ.

— Меня-то учителя не сѣбуютъ сѣчь, да папаша сѣчетъ. Больно сѣчетъ...

Съ часъ Егоръ Ивановичъ протолковалъ съ Васей объ ученіи. Онъ понравился мальчику. Они начали урокъ съ арифметики, которую Егоръ Ивановичъ плохо смыслилъ.

— А у васъ, Василий Антонычъ, большое семейство?

— Большое. Сестра Надя невѣста...

— Чья невѣста?

— Такъ невѣста: она ужъ большая... Папаша ждетъ жениха отъ архіерея. Петя братъ, я дѣ сестра Танька. Сестра Александра замужемъ, за отцомъ Павломъ. Злой такой. А Анна, что всѣхъ старше, та за лекаремъ.

Пришла жена благочиннаго. Поклонившись важно Егору Ивановичу, она важно сѣла на диванъ.

— Ну, что у васъ тамъ хорошаго въ губернскомъ?—спросила она Егора Ивановича.

— Ничего, веселіе здѣшняго.

— Ахъ, какая здѣсь скука проклятая!..

— А вы родомъ отколѣ?

— Я въ губернскомъ родилась. Отецъ у меня протопопомъ былъ. Знали Первушина?

— Слыхалъ. У насъ Первушинъ есть профессоръ.

— Это дядя мой. Ну, а отецъ-ректоръ каковъ?

Пришла дочь Надежда.

— Ты зачѣмъ?

— Мама, одолжите шелку!

— А ты развѣ весь издержала?

— Весь.—Она взглянула на Егора Ивановича; Егоръ Ивановичъ на нее глядѣлъ. Она ему понравилась, т. е. ему понравилось ея лицо, платье и голосъ, и не понравилось то, что онъ замѣтилъ въ ней какую-то гордость, и она, вошедши въ комнату, не поклонилась ему.

Жена благочиннаго вышла, за ней вышла и дочь, взглянувъ еще разъ на Егора Ивановича. До прихода благочиннаго ихъ не было видно. Пришелъ благочинный.

— Просто смучился весь... Ну, какъ Вася?

— У него есть способности.

— Да, я это замѣчаю, только онъ баловникъ, каналья.

Стали обѣдать всѣ и къ обѣду пригласили Егора Ивановича. За обѣдомъ говорили о лицахъ губернскаго города. Егоръ Ивановичъ робѣлъ, руки тряслись, и онъ говорилъ не впопадъ. Благочинный приглашалъ его выпить рюмку наливки, онъ отказался, говоря, что онъ ничего не пьетъ.

Когда Егоръ Ивановичъ сталъ прощаться съ благочиннымъ, то сказалъ ему:

— Я, отецъ благочинный, осмѣливаюсь побез-

покоить васъ: мнѣ нужна невѣста, а я не знаю, гдѣ высватать.

— Ужъ не на моей ли дочери вы хотите жениться?—спросилъ тотъ, улыбаясь.

Егору Ивановичу стало стыдно. Онъ ничего не могъ отвѣтить.

— Впрочемъ я подумаю.

— Могу я надѣяться.

— Завтра я вамъ скажу отвѣтъ.

„Нужно быть только смѣлымъ, все будетъ хорошо. Ищите и обрящите; толците, и отверзется вамъ... Теперь все дѣло обдѣлано“, думалъ Егоръ Ивановичъ, придя домой.

Надежда Антоновна росла и воспитывалась матерью и отцомъ на барскій манеръ, съ тѣмъ различіемъ, что родители держали ее очень строго. Она не умѣла стряпать, а умѣла шить себѣ платья, вышивать, читать и писать. Читать свѣтское ей запрещалось, и она доставала украдкой книги отъ своей сестры Анны, которая за лекаремъ. Дни ей шли скучно. Ее будили къ обѣднѣ, въ праздники она должна была идти въ церковь, послѣ того должна сѣсть за работу, послѣ обѣда спать или вышивать, или читать книги духовнаго содержанія, обучать брата Петра и сестру Татьяну; вечеромъ, послѣ чаю, опять что-нибудь дѣлать. Гулять въ Столешинскѣ не въ модѣ. Свѣтское общество она видѣла только у сестры Анны, но такъ какъ лекарь женился на Аннѣ съ годъ и уѣхалъ въ другой городъ, то она мало познала обычай этого общества, тѣмъ болѣе общества уѣздной аристократіи. Тамъ, и вообще въ гостяхъ, она всегда вела себя какъ богатая невѣста, говорила отрывочно, не умѣла держать себя по-барски, не умѣла танцевать, говорить по свѣтски, но считала каждую женщину или дѣвушку и каждого мужчину дрянью. Ей хотя и хотѣлось вырваться изъ дому куда-нибудь, но всегда дѣлалось досадно, что она бываетъ въ этихъ обществахъ. Начитавшись свѣтскихъ книгъ, она сначала плохо вѣрила имъ, потомъ стала бредить о различныхъ герояхъ, а когда бывала въ обществѣ свѣтскихъ людей, она тамъ видѣла все обыкновенныхъ — глупыхъ людей, и ругала это общество и книги.

Ей надоѣла жизнь съ отцомъ, хотѣлось уйти куда нибудь. Но куда уйдешь? У отца все-таки почетъ. Авось женихъ какой-нибудь посватается. Но какой женихъ? Чиновниковъ она ненавидѣла; военныхъ тоже. Молодыхъ семинаристовъ она видѣла мало. Ей хочется жениха въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ...

Когда Егоръ Ивановичъ пришелъ домой, тамъ купили Иванъ Ивановичъ, Андрей Филимонычъ и Алексѣй Борисычъ Коровинъ. Коровинъ былъ толстый, здоровый мужчина, съ оплывшимъ лицомъ, густыми черными волосами и бородой. Онъ говорилъ октавой.

— Здравствуйте, здравствуйте! Что, по невѣсту пріѣхали?—спросилъ его Алексѣй Борисычъ.

— Да.

— Доброе дѣло, доброе дѣло.

Алексѣй Борисычъ выпилъ. Заставили выпить и Егора Иваныча.

— А если хотите, Егоръ Ивановичъ, берите мою дочь.

— Надо еще подумать, Алексѣй Борисычъ.

— Думаютъ только одни нѣмцы да индѣйскіе цѣтуки.

— Славно сказано!—сказалъ Иванъ Ивановичъ, уже опьянѣвшій.

Вечеромъ компанія отправилась къ Алексѣю Борисычу. Онъ живетъ въ своемъ домѣ, уже старомъ, съ пятью окнами на улицу и съ четырьмя комнатами и кухней. Ихъ встрѣтила жена его, Дарья Ивановна, худенькая, низенькая женщина.

Гости вошли въ комнату. Лизавета, румяная дѣвушка, въ ситцевомъ платьѣ желтаго цвѣта, что-то вышивала у окна. При входѣ гостей въ комнату, она поклонилась имъ. Егоръ Ивановичъ тоже поклонился робко. Лицо ея ему очень понравилось.

— Лиза, поставь самоваръ,—сказала ей мать.

Дочь ушла. По какому-то обстоятельству, на ней было надѣто новое платье, которое, какъ она шла, шумѣло. Это понравилось Егору Ивановичу. „Она, кажется, славная дѣвушка. Немножко рябовата; да вѣдь и я-то неказистъ“, думалъ онъ.

— Какой вы гордый! Нѣтъ, чтобы раньше прійти къ намъ,—сказала Дарья Ивановна Егору Ивановичу.

— Извините, что не могъ, потому что не былъ знакомъ съ отцомъ дьякономъ.

— А ты, дьяконица, гдѣ давече была?—спросилъ ее Андрей Филимонычъ.

— По грибы ходила. Нынче ужасъ сколько ихъ! Лиза сказала, что вы были и хотѣли прійти,—я и принарядилась.

— Зачѣмъ принарядилась-то?

— По вашему, такъ и ходить, какъ въ будни? Вѣдь гости пожалуй ни на есть что скажутъ про меня.

— А ты, Дарья, дай водки,—сказалъ Алексѣй Борисычъ.

— Охъ, ужъ эта мнѣ водка!

— Для гостей, дура! А я только смотрѣть стану. Лиза принесла самоваръ, чайникъ, чашки, сливки, малины и сладкихъ крендельковъ. Мать велѣла ей принести поднось, чтобы угощать гостей съ подносу; но Андрей Филимонычъ отговорилъ, сказавъ, что ны сами будемъ брать чашки со стола. Лиза стала разливать чай.

— А ничего, Лизанька невѣста хоть куда!—сказалъ Андрей Филимонычъ.

Лиза покраснѣлась. Она и мать ея знали, зачѣмъ Поповъ пришелъ.

— Я не невѣста,—сказала робко Лиза.

— Какая она еще невѣста!—замѣтила мать.

— Полно вамъ притворяться-то! Вотъ моя жена въ дѣвушкахъ говорила, что она ни за кого замужъ не пойдетъ, а обречетъ себя монашеской жизни, а вышла-таки за меня.

— Да вы человекъ славный. Такого жениха не скоро найдешь.

— Полно вамъ ласы-то точить! Выпьемъ,—сказалъ хозяинъ и налилъ три рюмки.

Дарья Ивановна стала разспрашивать Егора Ива-

ныча о разныхъ дьяконахъ и рассказывала про свою родню и несчастье ея мужа.

Егору Ивановичу было очень неловко при Лизѣ. Прежде онъ мечталъ только объ дѣвушкѣ, представлялъ ее красивой, смирной, умной, представлялъ таковой, какую онъ вычиталъ въ книгѣ и которая ему тѣмъ-нибудь понравилась. Теперь дѣвушка на лицо, и эта дѣвушка отъ одного его слова можетъ быть его женой. Она ему нравится, взглядываетъ на него такъ ласково, никакой гордости незамѣтно, а замѣтно, что ей хочется замужъ. Надо бы поговорить съ ней, но какъ заговорить и что говорить? Протопопская дочь ему не нравилась теперь, и онъ сожалѣлъ, что просилъ протопопа о невѣстѣ. А что, если протопопъ согласится выдать свою дочь за него? „Оно конечно лучше: больше почету тогда будетъ; а если жениться на этой, то вѣсь вѣкъ останешься священникомъ, да еще протопопъ пожалуй обидится, напечетъ владыкъ, и тебя турнуть въ такое мѣсто, что весь вѣкъ будешь каяться; а я ужъ знаю, каково быть бѣднымъ священникомъ...“ Такъ разсуждалъ про себя Егоръ Ивановичъ. А Лиза между тѣмъ уже начала вздыхать... Она была рада и не рада, что наконецъ-то ей Богъ послалъ жениха и она будетъ женой городского сѣщенника. „Кто его знаетъ, какой онъ,—думала она.—Некрасивъ, да что толку; обростетъ бородой, лучше будетъ... Ужъ скорѣе бы“... Мать и дочь простились съ Егоромъ Ивановичемъ очень любовно, и даже сама дочь сказала ему: „ходите къ намъ, Егоръ Ивановичъ, почаще“.

— Ну, что?—спросилъ дорогой Егоръ Ивановичъ Андрей Филимонычъ.

— Ничего.

— Нравится?

— Да, ничего. Надо бы съ ней поговорить наединѣ.

— А мы завтра пошлемъ просвирию къ нимъ.

— Зачѣмъ?

— Свататься и уговариваться о приданомъ.

— Не рано ли!

— Знаете пословицу: куй желѣзо, пока горячо,—тѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Лучше черезъ день.

— Ну, какъ знаете.

Отецъ очень обидѣлся тѣмъ, что Егоръ Ивановичъ откладываетъ сватовство такъ долго.

— Ты, Егорушко, ужъ больно привередничаешь. Какъ не было ни одной невѣсты, такъ ты говорилъ: гдѣ найду, да какъ женюсь; а какъ есть онѣ, ты и заважничалъ: не хочу, подумаю. Нечего тутъ думать, я тоже не думалъ. А вотъ тебѣ сказъ: чтобы завтра же сваха была послана.

— А если я не хочу?

— Ну, такъ и Богъ съ тобой. Я не то и уѣду.

— Вы, татенька, не сердитесь, а предоставьте это дѣло мнѣ одному.

— А я тебѣ кто: отецъ, или песь?

— Я васъ люблю, какъ отца, но въ этомъ дѣлѣ прошу не мѣшать.

— Коли ты такъ, я сейчасъ же уѣду.

— Послушайте, татенька, вѣдь съ женой жить не вамъ, а мнѣ.

— Мнѣ все равно, а я уѣду.

Отецъ сталъ собираться.

— Полно, Иванъ Ивановичъ, егизить. Онъ правду говоритъ,—уговаривалъ Иванъ Ивановичъ Андрей Филимонычъ.

— А я хочу, чтобы ты по моему дѣлалъ—и все тутъ!—сердился Иванъ Ивановичъ.

— Воля ваша.

— Такъ ты соглашаешься?

— Подождите до завтра. Завтра я схожу къ благочинному и получу отъ него отвѣтъ.

— Посмотримъ, что скажетъ тебѣ благочинный... Поди-косъ, дуракъ твой благочинный, поди-косъ, онъ такъ и отдастъ за тебя, за голъ, свою дочь... Да хотя и отдастъ, такъ мнѣ житья отъ нея не будетъ. Вотъ что!

— Почему вы такъ думаете?

— Почему!.. Не знаютъ будто!.. Ты еще только на свѣтъ-то вырвался, а я ужъ пожилъ, слава тебѣ Господи.

Въ этотъ день благочинный получилъ отъ ректора письмо слѣдующаго содержанія:

„О. благочинный! Во-первыхъ, цѣлую васъ братскою любовію и посылаю вамъ свое благословеніе. Во-вторыхъ, увѣдомляю васъ, что, давши вамъ зимой обѣщаніе послать къ вамъ для вашей дочери Надежды жениха изъ академіи, я, при всемъ моемъ стараніи, не могу утѣшить васъ на этотъ счетъ, такъ какъ у насъ теперь въ городѣ только два академиста, изъ которыхъ одинъ уже женился на дочери протоіерея кафедральнаго собора, а другой не имѣетъ намѣренія жениться. Поэтому я и рѣшился выбрать изъ кончившихъ курсъ семинаріи отличнаго студента, дьяконскаго сына Егора Попова, выпросилъ для него у преосвященнѣйшаго владыки мѣсто въ вашемъ городѣ и послалъ къ вамъ. Онъ отличный студентъ и можетъ быть хорошимъ мужемъ вашей дочери, которой я посылаю мое благословеніе“...

Благочинный долго думалъ, прочитавши это письмо, отдать ему дочь за Попова, или нѣтъ. Онъ некрасивъ, но, кажется, смирный. Если не выдать, то обидится ректоръ, смѣнить съ смотрительской должности. Онъ рѣшилъ выдать; одно только беспокоило его; отецъ у него дьяконъ, куда помѣстить ихъ? Въ домѣ — загрязняютъ все... Онъ не любилъ затѣятыхъ дьяконовъ и священниковъ, хотя у самого назадъ тому четыре года умеръ отецъ, заштатный дьяконъ.

— Егорко!

Вошелъ Егорко.

— Позови Марью Алексѣвну.

Пришла жена его, Марья Алексѣвна.

— Какъ ты думаешь, жена: что намъ дѣлать съ Надей?

— Что съ ней дѣлать-то?

— Дура! Вѣдь ее надо замужъ выдать.

— За кого бы ты ее выдалъ? ужъ не за вшивика ли письмоводителя?

— Э, да что съ тобой толковать! У тебя башка вѣчно стѣномъ набита.

— Бога бы ты побоялся такъ издѣваться надъ мной... Вѣдь въ прошломъ годѣ съ

судебный слѣдователь, хорошій и богатый человекъ.

— Я самъ знаю, кто лучше... Богатъ онъ, хорошъ — это все дудки. Онъ сватался ради денегъ — вотъ что. А я придумалъ. Вотъ слушай, что написать о. ректоръ.

— Такъ неужели ты за этого прѣзжаго вшивика хочешь отдать?

— А что бы ты на это сказала?

— Ты посмотри, у него и сапоги-то съ заплатами.

— Не твое дѣло. Ужъ коли самъ о. ректоръ проситъ такъ, такъ ужъ я прекословить его воли не стану. А о. ректора владыко любить. Знаешь, что я черезъ это выиграю?

— Дѣлай, какъ знаешь. Все бы не мѣшало подождать.

— Нѣтъ ужъ, матушка, ждать я не стану. Ты думаешь, что я ничего не замѣчаю? Я, матушка, вижу ея амуры съ письмоводителемъ. А что, если, Боже упаси, она развратится?... Понимаешь?

— Понимаю.

— То-то и есть. Что тогда про меня скажутъ?... Ужъ такая дѣвка взыбаломная родилась: то ей дай, другое дай, въ слезы сейчасъ. А ты думаешь, я старъ, такъ меня такъ и проведешь! — дудки, сорока-то на двое сказала!.. Оно медни она любезничала съ сыномъ отца Александра, да я промолчалъ... Я еще ей не такую поронь задамъ, если она будетъ противиться мнѣ.

— Какъ знаешь, Антонъ Ивановичъ...

— Такъ ты согласна?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— Какъ знаешь

— Я согласенъ. Онъ сегодня просилъ меня объ этомъ.

— И ты согласился?

— Я ничего не сказалъ, потому что ждалъ письма. Мнѣ смѣшно показалось его желаніе, а теперь, какъ получилъ письмо отъ о. ректора, я готовъ уважить о. ректора.

— Дѣлай, какъ знаешь.

— Много ли у Нади платьевъ?

Благочинный взялъ бумажку и карандашъ.

— Шелковыхъ семь, ситцевыхъ восемь.

— Салоновъ?

— Лѣтнихъ три мантильи, домно изъ губернскаго выписано; два зимнихъ: одинъ соболій, другой бѣлчій. Четыре шляпки.

— Я думаю, больше ей не надо шить?

— Къ вѣнцу надо платье заказать.

— Пожалуй.

— Шляпу надо тоже купить.

— Чу ужъ, шляпку пусть мужъ купить... Вотъ подумай: купишь, купишь на нихъ, а куда все идетъ? Подвернется какая-нибудь дрянь... Все для начальства дѣлаешь. А ты думаешь, я такъ-то и отдалъ бы ее Попову?

— Нѣтъ.

— То-то. Теперь денегъ, я полагаю, будетъ съ нихъ и ста рублей. Рясы у меня и подрыски есть, есть и шляпы, и полса. Дамъ ему пока по одной

штукѣ, да какъ поѣдетъ посвящаться, надо отцу ректору послать сколько-нибудь.

— Сколько ты думаешь?

— Это не твое дѣло. Попову на издержки дамъ сто рублей.

— Будетъ.

— Кольца у Нади есть?

— Есть одно, золотое съ брилліантовыми камнями.

— Покажи.

Марья Алексѣевна принесла ящичекъ съ драгоценными вещами. Благочинный пересмотрѣлъ ихъ, выбралъ нѣсколько колецъ, браслетовъ, сережекъ, завернулъ ихъ въ бумажку и сказалъ: это „Надѣ, а эти пусть хранятся для Тани“.

— Гдѣ же будетъ Поповъ жить?

— Во флигелѣ живетъ зять. Поиѣстить развѣ его сюда наверхъ въ три пустыхъ комнаты, а Попова во флигель.

— Какъ знаешь. Надо бы съ Надей поговорить, Антонъ Ивановичъ. А?

— Что съ ней говорить-то?

— Неловко какъ-то... Пусть она знаетъ, что у нея есть женихъ.

— Ну, позови ее сюда.

Пришла Надя.

— Послушай, Надежда Антоновна, — началъ отецъ: — тебѣ уже двадцатый годъ; за тебя сватались много, но я не хотѣлъ выдать тебя, сама знаешь, почему. А въ дѣвкахъ тебѣ сидѣть неловко; да я уже старъ и слабъ становлюсь, того и смотри, что грѣшнымъ дѣломъ помру. При мнѣ-то тебѣ хорошо, а что будетъ безъ меня. Понимаешь?

— Понимаю, папаша.

— Ну, такъ вотъ что я тебѣ скажу: — ты скоро выйдешь замужъ.

— Я... за кого? — сказала дочь, дрожа.

— Видѣла ты сегодня учителя Васи?

— Видѣла.

— Ну, такъ за него.

— Тятенька!..

— Что еще?

— Онъ мнѣ не нравится.

— А кто же тебѣ нравится? Ну-ко, скажи?

— Мнѣ никто не нравится.

— Въ монастырь что ли захотѣла?

— Нѣтъ-съ.

— Я уже рѣшилъ: ты должна выдти замужъ за Егора Ивановича Попова. Слышишь!

— Тятенька... — Надежда Антоновна заплакала.

— Это что за слезы?... Знаешь каретникъ?

— Тятенька... Я не могу за него выдти...

— Марья, позови Егорка!

Дочь упала на колѣни въ ноги отцу.

— Марья! тебѣ говорить.

— Антонъ Ивановичъ, полно... Что же, если она не хочетъ!

— Знать я ничего не хочу. Что мнѣ, по вашей милости, прикажете безъ куска хлѣба сидѣть? Егорка!

Пришелъ Егорка.

— Позови дворника.

— Тятенька... Умоляю васъ.  
 — Что, за письмоводителя, небось, хочется?  
 — Нѣтъ.  
 — Встань, нечего рюмить...—Дочь встала.—  
 Ну, какого же тебѣ жениха надо?

— Протопопа.  
 — А!—отецъ захохоталъ.—Послушай, Надя, что я тебѣ скажу: Поповъ тебѣ не нравится, потому что онъ некрасивъ. Но гдѣ же ты возьмешь хорошихъ жениховъ?.. А ты прочитай вотъ письмо ректора.—Онъ подалъ ей письмо. Она взяла робко, робко прочитала и отдала отцу.

— Ну, что скажешь?—спросилъ ее отецъ.  
 — Тятенька, нельзя ли повременить? Я подумаю.  
 — Думать тутъ нечего. Я хочу, чтобы ты вышла, и все тутъ.

— Послушай, Надя, отецъ тебѣ не желаетъ худа, ты будешь за священникомъ.

— Когда ты выйдешь за него замужъ, я попрошу владыку и самъ къ нему поѣду, чтобы онъ назначилъ Попова въ Егорьевскую церковь священникомъ, вмѣсто Полуектова, котораго попрошу перевести въ другое мѣсто. Кромѣ этого я сдѣлаю его учителемъ въ училищахъ духовномъ и свѣтскомъ, въ нашемъ онъ будетъ обучать грамматикѣ, а въ томъ—закону Божію. Ну что, и этимъ недоволенъ?

— Воля ваша, папенька.  
 — Подойди ко мнѣ.  
 Дочь подошла. Отецъ благословилъ ее и поцѣловалъ; то же сдѣлала и мать.  
 — Я тебя силой не выдаю, но желаю счастья съ хорошимъ человѣкомъ.

— Только онъ мнѣ очень не нравится.  
 — Понравится. Это вы все такъ говорите до замужества. Къ завтрашнему дню ты, смотри, одѣнься получше.

— Хорошо. А онъ будетъ?  
 — Какъ же.  
 — А онъ, тятенька, очень некрасивъ... Обращеніе у него какое-то смѣшное такое.  
 — Что ты, шипишь что ли у него на носу заштылила?

Дочь улыбнулась.  
 — Ну, ничего... Ты съ нимъ въ губернской поѣдешь. Впрочемъ и я поѣду, а то онъ тамъ денегъ много истратитъ. Смотри, Надя, помни все, чему я училъ тебя. Если ты будешь ему худой женой и если онъ станетъ жаловаться на тебя, я вступаться не буду.

— Поэтому-то, папаша, мнѣ и не хочется идти за него замужъ.

— Тебѣ все академиста нужно... Ничего, матушка, ужъ коли самъ ректоръ хлопочетъ, стало быть человѣкъ хорошій. Ты такъ и думаешь, что я зря отдаю тебя?

Послѣ этого началось совѣщаніе при зятѣ и его женѣ: сколько истратитъ на свадьбу, кого пригласить, кого сдѣлать шаферами, тысяцкими и прочими. Тысяцкимъ назначено было просить богатаго купца Илью Аванасьевича Печужникова, старосту собора. Въ тѣхъ мѣстахъ тысяцкій или *боля-*

*ринъ*—главное лицо на свадьбѣ. На обязанности его лежать вся забота по вѣнчанью: онъ долженъ нанять лошадей, которыя конечно ничего не стоятъ, потому что хозяева ихъ сами даютъ лошадей для того, что будто бы бываетъ счастье тому хозяину, который дастъ лошадей, на коняхъ ѣхалъ свадебный поѣздъ; долженъ зажечь паникадило, свѣчи на свой счетъ, изъ своего же кармана заплатить духовенству и пѣвчимъ за вѣнчанье. Шаферомъ невѣсты назначенъ письмоводитель духовнаго правленія Василій Ивановичъ Коневъ и учитель духовнаго училища Матвій Карпычъ Алексѣевъ. Послѣ завтра назначенъ вечеръ или просватанье, а завтра семейный обѣдъ.

Егоръ Ивановичъ ничего объ этомъ не зналъ. Невѣста его, Надежда Антоновна, всю ночь не спала. Она большую половину ночи плакала. Сколь ни тяжела была ей жизнь съ родителями, сколько она ни перетерпѣла отъ нихъ разной брани, все же она была барышней; во все люди заискивали ея расположенія, въ особенности богатая и чиновная молодежь судила объ ней съ такой стороны, что она богатая невѣста, но подступиться къ ней трудно. Какъ я сказалъ выше, ей хотѣлось мужа протопопа, стало быть, врядъ ли она согласилась бы выйти замужъ за богатаго и очень чиновнаго свѣтскаго. Впрочемъ по приказу отца она могла бы выйти замужъ и за дьячка, если бы такъ приказалъ владыка, чего конечно со стороны владыки не могло бы быть, а если бы было, такъ развѣ наказаніемъ для отца за его прегрѣшенія... Она раньше никакъ не могла себѣ представить, чтобы она вышла замужъ за простого священника, какимъ былъ мужъ ея сестры, котораго она недолюбливала за форсистость; ей непремѣнно хотѣлось мужа съ камиллавкой и наперснымъ крестомъ, о чемъ ей твердили раньше отецъ и мать. Къ этому она прибавляла то только, что этотъ господинъ долженъ быть непремѣнно молодой и красивъ. Поэтому неудивительно, что Егоръ Ивановичъ, котораго она видѣла разъ у отца и на котораго съ перваго разу не обратила вниманія и обозвала его при Васѣ бѣднымъ и голоднымъ учителемъ, ей очень не понравился. Каково же ей перенести то оскорбленіе, что сами родители приневоливаютъ ее выйти замужъ за это *чучело*! „Онъ только въ огородахъ и годится, дылда эдакая!“, думала она ночью. „Зачѣмъ же это отецъ и мать твердили мнѣ, что мнѣ нужно держать себя, какъ протопопской дочкѣ, потому что мнѣ слѣдуетъ выйти за протопопа; а потомъ, какъ выросла, они и отдадутъ какой-то чучелъ... Ужъ я таки постою на своемъ! Чтобы я стала любить его, уважать—держи! Если быть станетъ—убью! Ишь, далась я имъ; дѣлають, что хотятъ. Нѣтъ, ужъ теперь не бываетъ этому: я вольный казакъ буду, а муженька сама бить буду...“

На другой день Егоръ Ивановичъ, получивъ родительское благословленіе, съ трепетомъ шелъ къ благочинному. Онъ никакъ не думалъ, чтобы благочинный отдалъ за него свою дочь, и шелъ просить его присутствовать при вѣнчаніи его съ Лизаветой

Алексѣевой. „А дочка его хороша, надменна немножко, но послѣ бы обтерлась. Только благочинный не согласится; а если согласится, что я стану говорить съ ней?“ На немъ надѣты сюртукъ, брюки, жилетка и сапоги Андрея Филимоныча, и все это, какъ говорится, нѣшкомъ сидѣло на немъ.

— Здравствуйте, Егоръ Ивановичъ,—сказалъ пріятельски благочинный въ кабинетѣ. Онъ приказалъ Егору, чтобы Поповъ шелъ прямо къ нему въ кабинетъ.

Егоръ Ивановичъ подошелъ подѣ благословеніе.

— Садитесь, мы будемъ говорить дѣло.—Егоръ Ивановичъ сѣлъ.

— Скажите пожалуйста, это ваши вещи, что на васъ?

— Мои-съ,—совралъ Егоръ Ивановичъ.

— Еще что у васъ есть?

— Больше ничего нѣтъ, потому что мой отецъ бѣдный человекъ.

— Я знаю многихъ семинаристовъ, у которыхъ отцы бѣдиѣ вашего отца; они богатые.

— Не знаю, отецъ благочинный... Пѣвчіе архіерейскіе богатые люди, а изъ остальныхъ развѣ имѣютъ деньги тѣ, которые кондичіями занимаются, т. е. учатъ дѣтей.

— А вы не обучали раньше?

— Я не имѣлъ времени: я все занимался своими лекціями... Увѣрю васъ, если бы не отецъ мой, я бы былъ въ академіи, или въ университетѣ.

— О, въ университетѣ! Избави Богъ! Если мой сынъ захочетъ въ университетъ, я его и ногой не пушу въ свой домъ.

— Оттуда, отецъ благочинный, какъ и изъ академіи, можно хорошую должность получить.

— Знаю, каковы эти должности. Вонъ у насъ судебный слѣдователь въ университетѣ учился, а что онъ сравнительно съ нашимъ братомъ?.. Нашъ братъ и священникъ много значить. Я очень сожалѣю, что выдалъ свою дочь за лекаря. Пьяница такой, прости Господи!—Благочинный плюнулъ.

— За то онъ образованный человекъ. Говорятъ, что всѣ окончившіе курсъ въ медицинской академіи — образованные люди.

— Это я знаю, и эту академію больше уважаю, чѣмъ университетъ... Но вотъ что, Егоръ Ивановичъ... вчера вы просили невѣсту.

— Точно такъ-съ.

— Я напелъ.

Егоръ Ивановичъ всталъ, поклонился и сказалъ: „покорнѣйше благодарю, отецъ благочинный“.

— Этого мало. Я вамъ долженъ сказать, чтобы вы уважали вашу жену, а иначе я могу сдѣлать съ вами — что хочу. Тогда вы погубите и себя, и свою жену. Я отдаю вамъ свою дочь, Надежду Антоновну.

Егоръ Ивановичъ остоленѣлъ.

— Поняли вы это?

— Очень вамъ благодаренъ.

— Смотрите, чтобы жалобъ не было. Я это дѣлаю изъ любви христіанской, изъ уваженія къ отцу ректору, который ходатайствовалъ у меня за васъ. Поняли?

— Покорнѣйше благодарю, отецъ благочинный.

— Подите, занимайтесь.

Егоръ Ивановичъ, какъ вышелъ въ залъ, перекрестился. — „Слава тебѣ, Господи!.. Ай да отецъ ректоръ!“

Въ той же комнатѣ, гдѣ онъ занимался вчера, онъ засталъ дѣтей за играми и подошелъ къ Васѣ.

— Здравствуйте, братецъ!—сказалъ Вася.

— Это почему?—спросилъ удивленный Егоръ Ивановичъ.

— Братецъ, братецъ!—кричали остальные дѣти и окружили Егора Ивановича.

— Я ничего не понимаю.

— А гостинцевъ принесли?—Женихъ!

— Какой женихъ?

— Дайте гостинцевъ, скажемъ

Господа, мнѣ заниматься надо съ Васенькой.

— Женихъ, женихъ!.. Надѣнь женихъ!..

— А мнѣ, братецъ, лошадку хорошенькую купите...

Вошла Надежда Антоновна. Увидавъ Егора Ивановича, она косо взглянула на него. Егоръ Ивановичъ поклонился ей. Она отвернулась.

— Петя, Таня, пошли къ мамашѣ.

— Не хотимъ. Мы съ братцемъ посидимъ.

— Съ какимъ братцемъ?

— А съ Егоромъ Ивановичемъ.

Надежда Ивановна ушла, а Егоръ Ивановичъ покраснѣлъ и Богъ знаетъ, что бы онъ сдѣлалъ въ это время съ дѣтьми. Пришла Марья Алексѣевна. Онъ поклонился ей.

— Мое почтеніе... какъ васъ звать-то?

— Егоръ Ивановичъ.

— Егоръ Ивановичъ... Прошу любить и жаловать.— Она очень строго глядѣла на Егора Ивановича.

Егоръ Ивановичъ поклонился.

— Пошли вонъ! пошли!—сказала она дѣтямъ и прогнала ихъ изъ комнаты подзатыльниками. Потомъ подошла къ Егору Ивановичу. Егоръ Ивановичъ сталъ заниматься съ Васей, а Марья Алексѣевна молча смотритъ на него, подперши подбородокъ правой рукой. „Чтобъ те провалиться“, думаетъ Егоръ Ивановичъ.

— Вася, ступай къ дѣтямъ,—сказала мать.

Вася ушелъ. Егоръ Ивановичъ остался одинъ на одинъ съ протопопшей. Протопопша молчитъ. Егоръ Ивановичъ поклонился ей и сказалъ: „прощайте“.

— Куда же вы?

— Къ отцу благочинному.

— Онъ теперь занятъ.

— Такъ я домой пойду.

— Вамъ протопопъ говорилъ что-нибудь сегодня?

— Насчетъ чего-съ?

— Насчетъ Нади?

Егоръ Ивановичъ покраснѣлъ и тихо сказалъ: „да“.

— Вы напрасно не въ свои сани садитесь.

Егоръ Ивановичъ молчитъ и переминается съ ноги на ногу.

— Надя вамъ не пара: она — протопопская дочь, какъ бы то ни было, а вы — сынъ дьякона.

— Я, матушка (онъ забылъ ея имя), кончилъ курсъ по первому разряду.



— Знаю, что кончили, все-таки дочь моя вамъ не пара.

— Я, матушка, силой не напрашиваюсь; это воля отца благочиннаго.

Минутъ пять молчаніе.

— Вѣдь мы много вамъ не дадимъ приданого; на наши карманы не надѣйтесь.

— Я, матушка, не прошу ничего.

— Все-таки кое-что надо. Вамъ надо и ряску получше, такъ какъ вы не священническую берете; ну, кое что еще дадимъ, а объ остальномъ и не заикайтесь.

Егоръ Ивановичъ не зналъ, что лучше сдѣлать: сказать ли ей: „покорѣйше благодаримъ“, или поклониться. Онъ промолчалъ.

Опять молчаніе.

— Вы мою дочь берегите, какъ зеницу ока. А будете обижать,—не одобровать вамъ! Помните, что вамъ бы слѣдовало жениться на дьяконской дочери; а если мы и отдадемъ вамъ дочь, такъ только изъ уваженія къ отцу ректору, потому что онъ началъ насъ.—Марья Алексѣевна ушла.

Егора Ивановича зло взяло. Онъ вышелъ въ залу, сталъ ходить и думать: „что они важничаютъ-то! Я же вѣдь не напрашивался, сами сунуть. Ишь, отецъ ректоръ имъ дался!.. Ужъ лучше, кажется, отказаться отъ этой барской невесты“.

Въ приемную, а потомъ въ залъ вошли Павелъ Ильичъ Злобинъ и его жена. Павелъ Ильичъ былъ худой, блѣдный господинъ съ коротенькими волосами и маленькой рыжей бородой. Они поклонились Егору Ивановичу очень важно.

— Если не ошибаюсь, вы Егоръ Ивановичъ Поповъ?—спросилъ Злобинъ.

— Точно такъ.

— А я Павелъ Ильичъ Злобинъ, а это моя жена Александра Антоновна, урожденная Тюленева.

Егоръ Ивановичъ поклонился.

— Панаша дома?—спросилъ Павелъ Ильичъ Егора Ивановича.

— Въ кабинетѣ.

Зять съ женой вошли въ кабинетъ; немного погодя они вышли съ благочиннымъ. Благочинный представилъ ихъ Егору Ивановичу и имъ Егора Ивановича, сказавъ: „мой нареченный зять“, потомъ съ дочерью ушелъ въ другія комнаты.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ благочинный съ женой, за ними разодѣтая и парумяненная Надежда Антоновна и дѣти съ Александрой Антоновной. Благочинный взялъ правую руку дочери и повелъ ее къ Егору Ивановичу.

— Знаешь ты его?—спросилъ онъ дочь.

— Нѣтъ, отвѣтила она робко и гордо.

— Тѣмъ лучше для тебя. Вотъ твой женихъ,—сказалъ благочинный. Дочь ничего не сказала.

— Что же ты молчишь?

— Что мнѣ говорить прикажете?

— Согласна ты, или нѣтъ, выйти за него замужъ?

— Согласна, тятенька,—сказала дочь нервно и тѣло.

— Ну, и дѣлу конецъ. Возьмите руки.

Егоръ Ивановичъ конфузится, конфузится и дочь благочиннаго.

— Что же вы?—говоритъ строго отецъ.

— Надя, возьми руку Егора Ивановича,—говоритъ мать.

Надя строго смотритъ на мать и сердито беретъ руку Егора Ивановича.

— Смотри у меня!—кричитъ отецъ.

— Садитесь рядомъ.

Всѣ сѣли Егоръ Ивановичъ сѣлъ около Надежды Антоновны. Семейные начали говорить о непокорствѣ дочери, женихъ и невеста слушаютъ. Егоръ Ивановичъ смотритъ на невесту, невеста смотритъ въ сторону. Такъ они просидѣли до обѣда. За обѣдомъ то же самое. Послѣ обѣда женихъ и невеста пожали руки. Завтра воскресенье, и по этому случаю Егоръ Ивановичъ показалъ благочинному сочиненную имъ и сказанную при архіерее проповѣдь. Благочинный велѣлъ ему сказать ее въ соборѣ и послѣ обѣда идти къ нему. Просватанье отложили на три дня.

— Ну, что?—спросилъ Егора Ивановича отецъ, какъ только онъ вошелъ домой.

— Хорошо. Сегодня благочинный представилъ меня зятю и невестѣ, а черезъ три дня и просватанье.

— Ну, и слава тебѣ, Царю Создателю! Какъ же теперь, Алексѣя-то Борисыча мы обманули, выходить?

— Развѣ вы давали ему слово?

— На вотъ! А зачѣмъ мы вчера у него были?

— Я же вѣдь вамъ говорилъ, что торопиться нечего.

— Ну, ничего... Какъ же ты, Егорушка, дѣлалъ обдѣлалъ?

Егоръ Ивановичъ рассказалъ все, съ нѣкоторыми прикрасами, а именно, что невеста—дѣвушка смиренная, послушная, и что ректоръ приказалъ благочинному отдать за него дочь.

— Слава Богу, слава Богу!.. Ужъ я непремѣнно молебень отслужу. Свѣчку рублеву поставлю. А что же онъ меня-то не звалъ?

— На просватанье должно быть позоветь.

— Экой гордый! Ну, да гдѣ мнѣ съ благочиннымъ дружбу водить! такъ-тось...

— А вы, тятенька, если вамъ случится быть у благочиннаго, ведите себя скромнѣе.

— Ужъ я знаю. Да что я, развѣ не отецъ тебѣ? а, Егорушка?

— Черезъ васъ я могу лишиться невесты.

— Полно-ка ты толковать-то... Развѣ невеста-то мало?

Егоръ Ивановичъ рукой махнулъ и пошелъ на улицу. Отецъ остановилъ его.

— Ту куда?

— Пойду прогуляюсь.

— Пойдемъ вмѣстѣ.

— Я одинъ

— Ну, Богъ съ тобой!.. Вотъ они, Анна Пантелеймовна, каковы нынѣ сынки-то!.. Ты ихъ воспитывай, обучай, а они, какъ вылупятся на свѣтъ Божій, и знать тебя не хотятъ.

Егоръ Иванычъ обидѣлся этимъ.

— Татенька, на что тутъ сердиться? Мнѣ хочется одному заняться самимъ собой...

— Ну, и занимайся. Ты вѣдь священникомъ будешь, протопопа получишь, а я такъ заштатнымъ и умру... Куда ужъ мнѣ! Ступай, ступай, Богъ съ тобой, я пойду спать...

На другой день утромъ Егоръ Иванычъ прочиталъ проповѣдь о блудномъ сынѣ. Когда онъ прочиталъ ее, она ему не понравилась, потому что тутъ почти ничего не было дѣйствительнаго, а написаны цитаты, тексты и разныя фразы. На сараѣ крыша была высокая и свѣтъ проходилъ сквозь отверстіе, сдѣланное въ простѣнкѣ. Егоръ Иванычъ всталъ, сдѣлалъ важную позу, посмотрѣлъ впередъ, направо и налево, какъ будто представляя народъ, постоялъ немного, и началъ спокойнымъ голосомъ читать. Прочитавъ вслухъ немного, онъ остановился: «ей-Богу, никто ни одного слова не пойметъ... Какъ тутъ лучше сдѣлать? Постой... Проповѣдь благочинный не читалъ, я расскажу исторію блуднаго сына, примѣняясь къ нынѣшней, введу тутъ одинъ рассказъ изъ нашей современной жизни... Ловко ли будетъ? Нѣтъ, рассказъ изъ нашей современной жизни въ церкви неловко говорить, а расскажу исторію блуднаго сына, какъ можно яснѣе, безъ тетрадки, какъ говорятъ у насъ пріѣзжіе профессора. Надо сказать такъ, чтобы ихъ всѣхъ ошеломило. Конечъ объ начальствѣ я выкину, а замѣню другими словами... Вотъ она, наука-то! Четыре человѣка сочинили, четыре головы работали, а написали очень плохо... Впрочемъ и писали-то про начальство». Онъ началъ опять читать сначала. Позу онъ выдержалъ. «Только бы въ церкви не сконфузиться. Я думаю, что будутъ слушать, тѣмъ болѣе, что здѣсь еще молодые люди не говорили проповѣдей».

Егоръ Иванычъ напоядилъ волосы, надѣлъ бѣлую манишку и пошелъ въ церковь уже во время херувимской, и тамъ сквозь густоту людей гордо пробрался въ алтарь, такъ что многіе стали въ недоумѣніе, кто это? Полгорода уже знали, что пріѣзжій семинаристъ, женихъ протопопской дочери, будетъ сегодня сказывать проповѣдь. Поэтому народу собралось болѣе обыкновеннаго. Въ этотъ день долженъ быть царскій молебенъ, и потому священники изъ всѣхъ церквей собирались въ соборъ.

Вышелъ Егоръ Иванычъ въ стихарь, въ бѣломъ галстукѣ, съ причесанными волосами. Онъ прошелъ важно по протоѿяконски къ налою, окинулъ глазами весь народъ, и у праваго клироса увидалъ Марью Алексѣевну съ Надеждой Антоновной. Сердце екнуло у Егора Иваныча, но онъ взглянулъ на налою, помолчалъ, вытаскивалъ тетрадку, поправилъ ее, перекрестился и началъ проповѣдь громко и спокойнымъ голосомъ, ударяя на каждомъ словѣ. Изъ церкви никто не шелъ, а народъ лѣзъ впередъ къ налою къ молодому проповѣднику. Онъ читалъ почти наизусть, изрѣдка поглядывая въ тетрадку, а прочія слова говорилъ, смотря то вправо, то влѣво. Онъ замѣчалъ, что всѣ смотрѣли

на него, даже невіста съ матерью впились въ него глазами. Егоръ Иванычъ здѣсь выдержалъ проповѣдь: онъ говорилъ, какъ ни одинъ въ этомъ городѣ не говорилъ такой проповѣди, именно онъ рассказывалъ спокойнымъ, ровнымъ голосомъ. Даже пришедшіе изъ другихъ церквей на молебенъ ѿяконы и священники вышли изъ алтаря, слушали его. Но вотъ онъ остановился, облокотился правой рукой на налою и началъ рассказъ о блудномъ сынѣ, примѣняя изрѣдка кое-что изъ современнаго. Въ народѣ шептались, потому что Егоръ Иванычъ не смотрѣлъ въ тетрадку; шептались и Тюленевы. Когда онъ сталъ кончать проповѣдь, то объяснялъ тексты св. писанія безъ тетрадки. Онъ видѣлъ, что Марья Алексѣевна утирала платочкомъ глаза, а Надежда Антоновна улыбалась.

Когда Егоръ Иванычъ вошелъ въ алтарь, его окружили священники: «Славно! славно вы сказали слово. Великолѣпнѣе какое!..» Протопопъ радостно улыбался.

По окончаніи обѣдни протопопъ былъ очень любезенъ и веселъ. Егоръ Иванычъ подошелъ къ Марьѣ Алексѣевнѣ и Надеждѣ Антоновнѣ, поздоровался съ ними.

— Ахъ, какъ хорошо вы сказали! Я никогда не слыхала такой проповѣди, — сказала Марья Алексѣевна. — На что Надя — не охотница до проповѣдей, и той понравилось.

— Неужели, Надежда Антоновна...

— Да. Я въ первый разъ слышала, какъ вы безъ тетрадки сказывали. Я думаю, трудно?

— Гораздо легче, чѣмъ по тетрадкѣ, — похвастался Егоръ Иванычъ.

— А вы прежде сказывали проповѣди? — спросила его Марья Алексѣевна.

— Въ семинарской церкви часто сказывалъ. Насъ пробовали сказывать на рассказъ... Эта проповѣдь, по моему, не очень хороша, да я не успѣлъ составить другую, потому что у меня нѣтъ подъ руками книгъ, какія мнѣ надо: тетрадки, по которымъ я сказывалъ въ семинаріи и крестовой, я роздалъ на память товарищамъ.

Подошелъ Иванъ Иванычъ. Егоръ Иванычъ рекомендовалъ его Тюленевымъ.

— Это мой папаша, Иванъ Иванычъ.

— Очень пріятно познакомиться, — сказала Марья Алексѣевна.

— Вы, должно быть, любите пѣть? — спросила старика Надежда Антоновна.

— Страсть моя!

— Пожалуйста къ намъ, виѣстѣ съ Егоромъ Иванычемъ, — пригласила старика Марья Алексѣевна.

— Покорнѣйше благодарю. Куда ужъ мнѣ со старыми костями!..

— Ничего, приходите, — сказала Надежда Антоновна.

«Ну, дѣло идетъ на ладъ», подумалъ Егоръ Иванычъ.

Подошелъ благочинный въ расѣ и съ тростью. Егоръ Иванычъ представилъ ему отца. Отецъ подошелъ подъ благословеніе благочиннаго. Благочинный пригласилъ его къ себѣ обѣдать. По вы-

ходъ изъ церкви благочинный съ женой сѣлъ въ коляску.

— Папаша, я съ вами! — сказала Надежда Антоновна.

— Пройдемъ пѣшкомъ съ Егоромъ Ивановичемъ.

Надеждѣ Антоновнѣ не хотѣлось идти пѣшкомъ и притомъ съ женихомъ, но надобно было идти, потому что благочинный ухаживалъ. Егоръ Ивановичъ въ первый разъ шелъ съ дѣвушкой и притомъ барышней-аристократкой. Онъ не зналъ, какъ заводить ее. Однако онъ началъ:

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Вы на меня не сердитесь?

— Я... за что?

— За то, что я просилъ вашей руки.

— Это воля папаша...

— А вы что скажете?..

— Я ничего не могу сказать... Воля папаша.

— Знаете-ли, Надежда Антоновна, — началъ опять Егоръ Ивановичъ: — иду я вчера вечеромъ мимо Егорьевской церкви. Прошелъ два, три квартала, завернулъ въ переулокъ, смотрю, по видному кажется дьячокъ или пономарь ругается изъ своего дома черезъ улицу съ какой-то бабой. „Ты, говоритъ дьячокъ, безстыдница, воровка...“ Та говоритъ: „ты самъ воръ.“ — „Кто, говоритъ, я воръ!.. Подойди сюда“. Я прижался у заплота и слушаю, что дальше будетъ. Что же бы вы думали? Вдругъ выбѣгаетъ на улицу дьячокъ, перебѣгаетъ улицу и подходитъ къ тому окну, изъ котораго ругалась баба. Только что онъ подошелъ къ окну, какъ оттуда ему что-то вылило въ лицо. Дьячокъ заругался, а стоявшіе на улицѣ люди, вѣроятно мѣшавшие, человекъ съ двадцать, такой хохотъ подняли, что срамъ, да и только.

— Это у насъ часто бываетъ.

— Ну, у насъ въ губернскомъ этого сдѣлать нельзя.

— Еще бы въ губернскомъ!

— А вы были тамъ?

— Нѣтъ.

— А побывать не мѣшаетъ.

— Что же тамъ хорошаго? Тамъ, говорятъ, есть хорошаго много, но можетъ быть не лучше нашего.

— Тамъ театръ есть, гулянья, рѣка. Удовольствій пропасть, только надо деньги.

— Я сколько разъ просила папашу свозить меня туда, да онъ не соглашался.

— Тамъ удовольствія даются только для свѣтскаго общества, и поэтому вашъ папаша, судя по себѣ, думалъ, что и вамъ тамъ дѣлать нечего.

— Можетъ быть мнѣ и нельзя.

— Кто вамъ сказалъ? Женщина вездѣ имѣетъ право быть. Когда вы выйдете за меня замужъ, я васъ вездѣ повожу раньше посвященія.

— А вы думаете, что я выйду за васъ?

— А вамъ не хочется?

Надежда Антоновна посмотрѣла на него и сказала: — „А отчего это у васъ шишки на носу?“ она захохотала.

— Это отъ природы.

— Какъ отъ природы?

— Такииъ родился.

— Вамъ который годъ?

— Мнѣ двадцать третій.

— Неправда, вамъ сорокъ.

— У меня есть метрическое свидѣтельство.

Вошли въ домъ благочиннаго. Надежда Антоновна пошла въ свои комнаты, а Егоръ Ивановичъ съ отцомъ остались въ залѣ.

Разговоръ пошелъ насчетъ проповѣдей и продолжался до обѣда. Въ это время старикъ, успѣвшій выпить двѣ рюмки хересу, разговаривалъ съ дѣтymi благочиннаго. Онъ понравился дѣтямъ, и они лѣзли къ нему на колѣни, щипали его бороду. Надежда Антоновна толковала съ сестрой Александрой. Обѣдъ прошелъ весело. Говорили всѣ. Благочинный говорилъ что-то про отца Федора, Марья Алексѣевна — про городничиху, Александра — про Лизу Коровину, Егоръ Ивановичъ говорилъ съ Павломъ Ильичемъ и благочиннымъ, больше отвѣчая на ихъ вопросы; старикъ толковалъ дѣтямъ, какъ онъ любитъ ловить на сѣнникѣ мухъ. Всѣ были заняты, казалось, всѣ родные, и въ будущемъ не ожидали никакой перемѣны.

Послѣ обѣда всѣ распрощались любезно. Егоръ Ивановичъ былъ приглашенъ Марьей Алексѣевной на чай. Онъ попросилъ почитать книжки; ему дали книжку „Духъ Христіанина“.

Когда ушелъ Егоръ Ивановичъ и Злобины, благочинный спросилъ Надю:

— Ну, что ты скажешь: понравился ли тебѣ женихъ?

— Нѣтъ, папаша.

— Я удивляюсь, какой тебѣ дьяволъ вбилъ въ голову разной дичи! Ну, чѣмъ онъ худъ? Правда, онъ некрасивъ, бѣденъ, но за то уменъ; а дѣло не въ красотѣ, а въ умѣ. Примѣръ ты можешь брать со Злобина... О чемъ вы давече толковали, какъ шли дорогой?

— Право, забыла.

— Послушай, Надежда, если ты будешь такъ отвѣчать мнѣ, я откажу этому жениху, напишу ректору, что ты не хочешь идти замужъ, а съ тобой, знаешь, что сдѣлаю?..

— Воля ваша.

— Я тебя въ монастырь пошлю. Слышишь!

Надежда Антоновна заплакала.

— Что, губа-то не дура!.. Выбери одно изъ двухъ: монастырь, или иди замужъ. Слышишь?

— Папаша, дайте мнѣ подумать.

— Нечего тутъ думать. А знай, что послѣ завтра будетъ просватанье. Сегодня будетъ онъ сюда, займи его.

Благочинный съ этимъ словомъ вышелъ, оставивъ дочь въ слезахъ.

— Ну что, Егоръ Ивановичъ, каковы дѣла? — спросилъ Егора Ивановича Андрей Филимонычъ, какъ онъ пришелъ домой.

— Да досада страшная! Никакъ не могу поговорить съ ней наединѣ. Только скажешь ей слово, то Злобинъ подойдетъ, то отецъ съ матерью пристанутъ.

— Ну, когда женишься, успѣешь наговораться,—замѣтилъ отецъ.

— Эхъ, тятенька, не понимаете вы, что такое женитьба...

— Ну, и врешь! Я тридцать одинъ годъ прожилъ съ женой.—Отецъ обидѣлся.

— У васъ совсѣмъ былъ иной взглядъ на женшину. Вамъ нужна была женщина и только, а о чувствахъ ея вы не заботились. Прежде на любовь такъ смотрѣли, какъ быкъ смотритъ на корову.

Иванъ Ивановичъ плохо понималъ.

— Чего же еще тебѣ недостаетъ?

— Знаете ли, тятенька: мнѣ напередъ нужно узнать отъ самой невѣсты, можетъ ли она быть мнѣ женой.

— А отчего же она не можетъ?

— А если она меня не любитъ?

— Женишься, полюбишь!

— Нѣтъ, ужъ тогда поздно будетъ. Я понимаю женитьбу такъ: жена моя должна быть другомъ мнѣ, а никакъ не рабой, т. е. она можетъ имѣть полную свободу во всемъ, и была бы моимъ учительемъ.

— Дуракъ ты, Егорушка.

Егоръ Ивановичъ ничего не сталъ говорить больше съ отцомъ. Онъ заговорилъ съ Андреемъ Филимонычемъ на латинскомъ языкѣ. Старикъ осердился и ушелъ къ Коровину.

— Вы, Егоръ Ивановичъ, поговорите съ ней о любви.

— Неловко говорить-то. Вѣдь я знакомъ съ нею только два дня.

— Какъ женихъ, вы можете поговорить. Скажите, я, молъ, люблю васъ. Скажите по совѣсти, полюбили ли вы ее?

— Нѣтъ, я женюсь по необходимости.

— Отецъ вашъ отчасти правъ. Я самъ женился на Аннушкѣ для того, чтобы скорѣе получить мѣсто. Сначала шелъ я смотрѣть невѣсту, меня холодомъ какъ будто обдавало; когда я увидѣлъ ее, мнѣ стыдно стало. Она мнѣ нравилась и не нравилась, любви настоящей не было, судя по вашему. Ну, вотъ прожилъ уже полгода, теперь полюбилъ. Вѣдь наша женитьба заключается въ полученіи мѣстовъ. Не женишься—мѣста не получишь, а полюбишь дѣвушку—мѣста не найдешь.

— Да, это правда: мы женимся для мѣстовъ. а о любви и дѣла нѣтъ. Гадко. Послѣ этого знаете ли, что мнѣ хочется сдѣлать? мнѣ хочется въ свѣтскіе выйти.

— Полноте вы дурачиться. Повѣрьте, что изъ тысячи браковъ сочетавшихся людей нашего сословія развѣ десять обоого пола вѣнчаются, полюбивъ другъ друга.

— Все-таки мнѣ хочется поговорить съ ней о любви.

— Напрасный трудъ. Какъ провинціальная бабышня, не читавшая того, что мы читали и понимали, она любовь понимаетъ по-своему. Вѣдь вы же говорите, что вамъ кто-то сказалъ, что ей надо жениться протопопа.

— Ну, я все таки попытаюсь узнать ея способности.

— Попробуйте. Только знайте, что вамъ теперь отказываться поздно. Отецъ ея обидится, и вы пожалуй лишитесь мѣста.

На другой день Егору Ивановичу привелось быть наединѣ съ Надеждой Антоновной въ комнатѣ.

— Вы, Надежда Антоновна, читаете что-нибудь?—спросилъ Егоръ Ивановичъ Надежду Антоновну.

— Читаю.

— Что читаете?

— Большею частью духовныя: проповѣди Филарета, житія святыхъ, „Духъ Христіанина“.

— Я думаю, вы наизусть все это знаете?

— Много очень книгъ, всего не запоминишь.

— А нашъ братъ дѣляя четырнадцать лѣтъ учится всякой премудрости.

— Не даромъ вы и мужчины.

— И женщины могутъ знать все, только конечно при различныхъ условіяхъ.

— При какихъ же?

— Это зависитъ отъ родителей: если родитель будетъ заботиться объ умственныхъ способностяхъ дѣвушки, самъ будетъ проводить истинныя идеи, а не старыя идеи, и если онъ самъ умный, современный человѣкъ, то изъ дѣвушки выйдетъ умная женщина, равная по уму мужчине. А надо вамъ замѣтить, что мужчины не всѣ умны. Примѣръ этого мы можемъ видѣть въ чиновникахъ здѣшняго города.

— Это точно: народъ здѣсь такой глупый, что ужасъ.

— Конечно не всѣ глупы, есть между ними и умные, только эти умные люди скоро гибнутъ здѣсь.

— Нѣтъ; здѣсь ни одного умнаго нѣтъ.

— А мужъ вашей сестры, Павелъ Ильичъ?

— О, дуракъ набитый!..

— Полноте пожалуйста! Я съ нимъ говорилъ, мы разрѣшали нѣкоторые вопросы. Онъ неглупый, но человѣкъ несовременный. Знаете, что такое современный человѣкъ?

— Знаю... А по вашему, что такое?

— Нѣтъ, вы напередъ скажите?

— Нѣтъ, вы?

— По моему человѣкъ нынѣшняго времени—человѣкъ, проводящій идеи настоящія, настоящаго времени.

— Какія же идеи?

— Мало ли у насъ идей! Идеи бываютъ различныя. Главная идея теперь проводится—это идея правды и равенства между всѣми людьми и полами безъ различія. Вы знакомы съ свѣтской литературой?

— Какъ же.

— Что же вы читали?

— Я читала „Духъ Христіанина“.

— Знаете ли вы, что такое литература?

— Вамъ на что?—Надежда Антоновна начала уже сердиться.

— Все, что печатается въ книгахъ или газетахъ, называется литературой. „Духъ Христіанина“ называется духовной литературой. Свѣтская

литература состоитъ изъ свѣтскихъ журналовъ и книгъ, выходящихъ каждый мѣсяцъ, какъ-то „Библиотека для Чтенія“ и проч.

— Я „Библиотеку для Чтенія“ читала.

— Что вы читали?

— Я читала какой-то романъ,—забыла...

— Знаете вы, что такое романъ?

— Ахъ, Боже мой, да вамъ на что?.. Могу ли я знать все!

— Конечно вы бы могли знать очень много, если бы васъ обучали хорошіе учителя. Васъ кто обучалъ?

— Папаша... папаша у меня очень строгъ.

— Вѣроятно онъ запрещалъ вамъ читать свѣтскія книги?

— Да!

— Это-то вотъ и плохо... Еще одинъ вопросъ, Надежда Антоновна:—какъ вы понимаете слова мужъ и жена?

— Какой вы неотвязчивый!.. право. Вѣдь вы это знаете, зачѣмъ же меня то спрашивать?

— Видители, въ чемъ дѣло:—завтра ваше просватанье, потомъ скоро свадьба, и вы знаете съ кѣмъ. А такъ какъ быть женой и быть мужемъ вещи важныя, то намъ не мѣшало бы прежде брака серьезно обдумать наше будущее положеніе.

— Что же тутъ думать, коли папашѣ такъ угодно?

— Стало быть, вамъ не хочется выйти за меня замужъ?

— Нѣтъ.

— Такъ вотъ что, я такъ и скажу отцу благочинному, что вы не желаете быть моей женой.

Надежда Антоновна замолчала и задумалась.

— Послушайте, Надежда Антоновна, что я вамъ скажу:—человѣкъ я честный и добрый, это знаетъ мое начальство, иначе бы оно не выдало мнѣ свидѣтельства на бракъ. Сюда я ѣхалъ пайти невѣсту потому, что здѣсь же и мое мѣсто будетъ... Но смотря на то, что я бѣденъ, я бы могъ найти невѣсту въ городѣ у купца или у кого-нибудь другого; но вы мнѣ понравились, и я рѣшился просить вашей руки у благочиннаго не изъ какихъ-нибудь честолюбивыхъ видовъ, а именно ради васъ, не изъ того, что вы протопопская дочь,—я бы могъ жениться на пономарской дочери,—но мнѣ хочется дать вамъ свободу: со мной вы будете свободны, потому что, понимая женщинъ, я не хочу стѣснять васъ. Если вы не выйдете за меня замужъ, вы выйдете все-таки за какого-нибудь пріѣзжаго студента. Можетъ быть, вы полюбите кого-нибудь здѣсь, что очень можетъ быть,—то наживете себѣ горе, потому что вашъ папаша не выдастъ васъ за здѣшняго чиповника или кого-нибудь другого... Повѣрьте, что все наше сословіе вступаетъ въ бракъ такъ, какъ и я съ вами хочу вступить. Вашъ папаша такъ же женился, Злобинъ тоже, всѣ здѣшніе священники и дьяконы такъ же женились, и такъ же женятся у насъ въ губернскомъ. Что вы скажете на это?

Надежда Антоновна задумалась. Послѣ проповѣди Егора Иваныча она уже иначе смотрѣла на него: онъ начиналъ нравиться ей. Не лицо его ей

нравилось, а что-то такое, чего она не могла понять. Отецъ ея и Злобинъ, по уходѣ Егора Иваныча, долго толковали объ немъ, называя его умнымъ человѣкомъ, и дивились: какіе нынче молодцы выходятъ изъ семинаріи. За ужиномъ благочинный сказалъ ей:—„ну, Надя, я хорошаго жениха нашелъ тебѣ“,—и какъ она ни дула свои губы за эти слова, однако, подумавъ, пришла къ тому убѣжденію, что лучше выйти замужъ за этого. Хотя онъ и непротопопъ, но ему будетъ почетъ отъ отца, современемъ онъ самъ будетъ протопопомъ. И она рѣшилась выйти за Попова замужъ. Не смотря на суровый нравъ отца, она все-таки уважала его, боялась, думая, что отецъ что скажетъ, то и свято, онъ же въ нѣкоторыхъ случаяхъ особенно добръ для нея. Но все-таки ей не ловко было разстаться съ своимъ намѣреніемъ выйти замужъ за красиваго, и ей хотѣлось покапризничать надъ нимъ, самой узнать, „умень ли онъ на сколько-нибудь“.

— Повѣрьте, Надежда Антоновна, я буду вамъ хорошій мужъ. Буду любить васъ, и у насъ не будетъ никакихъ непріятностей, какія бывають почти въ каждомъ домѣ.

Надежда Антоновна молчитъ.

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Согласны вы за меня замужъ?..

— Ахъ, оставьте...—Она убѣжала въ другую комнату.

— Дура!—сказалъ про себя Егоръ Иванычъ.—Она ровно ничего не смыслить, а еще протопопская дочь,—ищетъ себѣ Бога знаетъ кого!

Благочинному онъ ничего не сказалъ про свой разговоръ. Въ этотъ день благочинный заставилъ его сочинять рапортъ владыкѣ.

— Ну, какъ дѣла?—спросилъ Егора Иваныча отецъ.

— Какъ сажа бѣла. Ни тпру, ни ну. Я всяческими манерами поддѣлывался къ ней: съ одной стороны начнешь рѣчь—не понимаетъ, съ другой—скажетъ слово и молчитъ.

— Не сердится?

— Нѣтъ, въ глаза смотреть.

— Хочется значить...

— А впрочемъ она кажется дѣльная,—прихвастнулъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, и слава Богу, Егорушко. А я, братъ, вчера у Коропина былъ, тамъ я ночевалъ, сегодня только послѣ обѣда пришелъ. Ну, надѣлалъ же ты тамъ кавардакъ.

— Чего имъ тамъ недостаетъ?

— Эта Лиза сердится, плачетъ; мать ея тоже. А самъ Коровинъ ругаетъ тебя всячески.

— Ну, и пусть ихъ.

Когда пришелъ Андрей Филимонычъ, то Егоръ Иванычъ рассказалъ ему свой разговоръ съ Надеждой Антоновной.

— Теперь вамъ пока надо молчать. Вы ее ничѣмъ не урезоните, она ничего не пойметъ; а вы начните образованіе ея послѣ.

На обрученіе собрались Злобины, Егоръ Иванычъ съ отцомъ, который напоминалъ свои уцѣ-

лѣвшіе волосы помадой, городничій, исправникъ, почтмейстеръ, городской голова, письмоводитель и учитель Алексѣевъ. Надежда Антоновна была разодѣта и сидѣла съ матерью, около которой сидѣли Поповы. Послѣ обрученія, причемъ женихъ и невѣста по приказу родителей поцѣловались, вечеръ тянулся скучно: говорили много, но тихо; всѣ вели себя чинно, хотя и выпивали. Даже Иванъ Ивановичъ выпивалъ меньше обыкновеннаго. Онъ все поддакивалъ Марьѣ Алексѣевнѣ. Свадьба назначена въ воскресенье.

Дни до свадьбы шли хорошо. Егоръ Ивановичъ блаженствовалъ, невѣста уже не косилась на него. Иванъ Ивановичъ скучалъ и ходилъ къ протопопу рѣдко, потому что тотъ не говорилъ съ нимъ.

Въ воскресенье утромъ все было готово. Судья обѣщался прислать двухъ лошадей съ коляской Егору Ивановичу, а исправникъ — четыре лошади съ двумя колясками для невѣсты, городничій тоже хотѣлъ прислать лошадей. Въ субботу Егоръ Ивановичъ сходилъ къ Будрину и попросилъ жену его, Матрону Степановну, быть его посаженой матерью, — она согласилась; также согласился быть шаферомъ семнадцатилѣтній братъ ея, Иванъ Степановичъ Морозовъ, обучающійся въ словесности.

Въ воскресенье Егоръ Ивановичъ не пошелъ къ обѣднѣ. Послѣ обѣдни за нимъ прибѣжалъ Егоръ отъ благочиннаго. Егоръ Ивановичъ взялъ на прокатъ у одного чиновника — знакомаго очень хорошо Андрею Филимоновичу — только-что спитый сюртукъ, брюки, жилетку, фуражку; манишки и галстуки были у Соловьевыхъ.

— Вы готовы? — спросила его Марья Алексѣевна при входѣ его въ залъ.

— Совсѣмъ.

— Смотрите, не ударьте лицомъ въ грязь; чтобы у васъ вѣнецъ не спалъ; свѣчка чтобы ровно съ Надиной свѣчкой горѣла.

— Хорошо. А Надежду Антоновну можно видѣть?

— На что вамъ?

— Да нужно бы сказать кое-что.

— Скажите мнѣ, я ей скажу.

Егору Ивановичу хотѣлось только посмотреть на невѣсту, и онъ не думалъ любовничать съ ней.

— Что же?

— Да нѣтъ ужъ, я послѣ скажу.

Марья Алексѣевна ушла. Немного погода, вошла невѣста въ шелковомъ голубомъ платьѣ съ кринолиномъ, съ распущенными волосами.

— Здравствуйте, Надежда Антоновна. — Егоръ Ивановичъ подошелъ къ ней и подалъ руку.

— Мое почтеніе. Что нужно?

— Вы ужъ готовы?

— Да. А вы?

— Какъ видите.

— Въ этомъ-то? Ахъ, срамъ какой! Неужели вы въ этомъ будете стоять со мной въ церкви?

— Что же тутъ худого?

— Я не хочу, чтобы вы въ этомъ вѣнчались. Иначе я убѣгу изъ церкви.

— Дѣло не въ этомъ, а я хочу спросить васъ: охотой вы идете замужъ, или нѣтъ?

— Мнѣ некогда, — сказала невѣста и ушла.

— Вотъ тѣ и разъ! — сказалъ про себя Егоръ Ивановичъ. — Комедія не комедія, а чортъ знаетъ что такое. Жаль, что я не поѣхалъ съ Троицкимъ... Ну, да была не была — женюсь.

Благочинный наговорилъ Егору Ивановичу очень много: что онъ выдаетъ дочь единственно изъ уваженія къ ректору, и поэтому онъ не долженъ выходить изъ послушанія благочиннаго, какъ начальника и какъ отца невѣсты; что жену онъ долженъ уважать, какъ дочь благочиннаго; что она дѣлаетъ большую жертву, выходя за него; что отецъ его, Иванъ Ивановичъ, долженъ вести себя чинно и знать только свою комнату и къ нему, благочинному, не долженъ соваться, иначе благочинный прогонитъ его, какъ лишняго человѣка; что онъ, если будетъ учителемъ, долженъ учить такъ, какъ будетъ приказывать благочинный, и проч. Свадьба назначена въ семь часовъ вечера.

Къ семи часамъ вечера народъ толпами вошелъ въ церковь. По распоряженію тысяцкаго головы, городничимъ были посланы казаки, чтобы въ церковь пускать только однихъ чиновниковъ, а прочихъ гнать вонъ. Поэтому народа около церкви много терлось. Егоръ Ивановичъ сидѣлъ дома съ своимъ шаферомъ и отцомъ, расфранченный и налушанный. Сердце его билось. Ему почему-то страшно казалось вѣсть въ церковь, онъ пожалуй готовъ былъ отказаться отъ женитьбы.

— Что, Егорушко, запечалился? не на смерть вѣдь готовишься, — сказалъ отецъ, тоже напояженный.

— Тяжело, тятенька, съ холостой жизнью разставаться.

— Полно глупить-то!

— Скверно, что я свою невѣсту не узналъ хорошенько.

— Ну, не тужи..

Приѣхали лошади. Отецъ благословилъ сына иконой.

— Ну, съ Богомъ, Егорушко. Дай Богъ тебѣ счастья!.. — Старикъ прослезился.

Сынъ сѣлъ съ шаферомъ въ коляску.

— Ну, съ Богомъ. Я побреду къ благочинному.

— Не рано ли, тятенька?..

— Я тамъ въ саду посижу.

— Смотрите, не усните только.

У церкви была страшная давка. Лишь только подъѣхалъ Егоръ Ивановичъ къ церкви, народъ взвонился: — „женихъ, женихъ!“ — говорили вслухъ.

Говорить про вѣнчанье не стоить, потому что нѣтъ человѣка, который бы не былъ знакомъ съ этимъ предметомъ. Невѣста, одѣтая въ бѣлое, стояла печальная и на Егора Ивановича не глядѣла.

Когда мужъ и жена сѣли въ карету, Егоръ Ивановичъ сказалъ женѣ:

— Вотъ, Надежда Антоновна, мы и обвѣнчались.

Жена молчала.

— Теперь уже не воротить.

Она все молчитъ.

— Что же вы, Надежда Антоновна, молчите?

— Что же говорить мнѣ?

— А вѣдь сегодня великій для насъ день.

— Можетъ быть, для васъ, а не для меня.

— Почему?

— Такъ; воля напаша...

— Стало быть, вы отдаетесь мнѣ безсознательно, единственно изъ уваженія къ вашему отцу?

— Да.

— Глухо! Но, Надежда Антоновна, вѣдь вы же на мнѣ.

— Жена!

— А обязанность жены знаете?

— Неужели я стану работать на васъ?

— Нѣтъ. Будете ли вы любить меня?

— Не знаю.

Егоръ Ивановичъ обнялъ ее и поцѣловалъ. Жена толкнула его, сказавъ: — „отстаньте!“

Начался пиръ. Благочинный съ женой веселились, гости тоже, молодые скучали, хотя и сидѣли рядомъ. Молодымъ нечего было говорить другъ съ другомъ и на поздравленія они отвѣчали поклономъ или словами: — „покорно благодаримъ“. Гости увеселялись органомъ и подъ музыку его танцовали въ честь молодыхъ, хотя благочинный терпѣть не могъ никакихъ плясокъ и свѣтскихъ пѣсенъ. Больше всѣхъ веселился Иванъ Ивановичъ. Никто такъ не былъ веселъ, какъ онъ. Онъ ко всѣмъ лѣзъ.

— Что же вы-то? — обратился онъ къ судѣ, показывая рукой на столъ, на которомъ стояли вино и закуски.

— Я уже пилъ.

— Ахъ, дуй тебѣ горой! Пей, и я выпью!.

— Не могу, отецъ дьяконъ.

— А я на тебя наплюю... А ты не хочешь пить за моего Егорка. А?

— Да, говорить вамъ, пилъ.

Старикъ къ другому подходитъ.

Андрей Филимонычъ тоже скучалъ.

— Эхъ, Иванъ Ивановичъ, скучно! То-ли было на моей свадьбѣ!

— Нельзя, вишь ты... Все знать собралась.

— А мы попляшемъ.

— Давай. А напредки выпьемъ, вѣдь за вино-то не деньги платить.

Выпивъ водки, Иванъ Ивановичъ съ Андреемъ Филимонычемъ пустились плясать, припѣвая: „Ахъ вы, сѣни мои, сѣни“. Гости хохочутъ.

— Ужъ не посрамлю себя! — и старикъ снова пляшетъ.

— Иванъ Ивановичъ, ноги отшибешь! — говоритъ благочинный, хохоча.

„Ты лети, лети соколикомъ, и высоко и далеко...“, поетъ старикъ и пляшетъ. Потомъ подходитъ къ сыну и цѣлуетъ его.

— Ахъ ты, золото мое!..

— Ахъ ты, пушечка моя! — цѣлуетъ онъ молодую. — Кралечка! Выросли-ко ты экова сына — выросли, matka... — И онъ не знаетъ, какую любезность сказать молодой.

Черезъ часъ Иванъ Ивановичъ скрылся. Объ немъ такъ и позабыли. Гости разошлись. Молодыхъ по-

вели спать. Смотрять — Иванъ Ивановичъ спитъ на полу около кровати, свернувшись кренделемъ, и подушки нѣтъ.

— Ахъ, безстыдникъ какой! — сказалъ одинъ шаферъ.

— Невѣжа! — сказала молодая.

— Тятенька, пойдите въ другую комнату, — сказалъ сконфуженный Егоръ Ивановичъ.

— Зачѣмъ?

— Здѣсь наша спальня.

— А я что? Я развѣ не отецъ тебѣ?

— Тятенька, уйдите, мнѣ спать хочется.

— Экая фра... А я хочу здѣсь остаться!

Вошелъ благочинный.

— Иванъ Ивановичъ!

Старикъ ушелъ спать въ садъ.

Есть впрочемъ счастливыя, которые блаженствуютъ хотя въ первые дни супружества, женившись и вышедши замужъ въ родъ Егора Ивановича и Надежды Антоновны.

Въ Столешинскѣ Егоръ Ивановичъ прожилъ съ женой дѣлѣй мѣсяцъ. Благочинный уступилъ ему на время три комнаты въ своемъ домѣ, а Ивану Ивановичу отдали прихожую къ этимъ комнатамъ, но онъ въ ней не жилъ, а устроился въ первой комнатѣ рядомъ съ прихожей. Отношенія молодыхъ были такія, что со стороны можно было думать, что они живутъ какъ знакомые и что каждому чего-то недостаетъ. Егоръ Ивановичъ мучился съ женой, стараясь развить ее на сколько-нибудь, допытываясь, любить она его, или нѣтъ; говорилъ ей любезности, какъ умѣлъ; жена только говорила: „отстань, безстыдникъ“ и проч., или: „я мамашѣ пожалуюсь“. Вставали они поздно; пили чай всѣ вѣстѣ, т. е. съ благочиннымъ, женой его и Иваномъ Ивановичемъ; потомъ благочинный поручалъ ему перебрать разныя бумаги, или прочитать донесенія, сочинить предписанія, рапорты. За обѣдомъ сходились всѣ, послѣ обѣда спали, потомъ чай, послѣ чаю какіе-нибудь разговоры, касающіеся семейной жизни, потомъ ужинъ и ложились спать. Надежда Антоновна большую часть дня проводила съ матерью, или въ своей комнатѣ. Съ матерью она что-нибудь перебирала, что-нибудь говорила; въ своей комнатѣ сидѣла или лежала, о чемъ-то думая. Егору Ивановичу хотѣлось дать ей какую-нибудь работу, чтобы она не скучала, но онъ никакой работы не могъ приискать ей, да она и не хотѣла ничего дѣлать. Досталъ онъ и свѣтскихъ книгъ ей, она возьметъ книгу, начнетъ читать и положить. Сталъ Егоръ Ивановичъ самъ читать книги вслухъ; она или дремлетъ, или спроситъ его о какомъ-нибудь постороннемъ предметѣ, или уйдетъ. Егоръ Ивановичъ скучалъ, скучалъ болѣе отъ того, что не умѣлъ говорить, не зналъ, какъ развлечь жену; онъ даже шутить не умѣлъ. Пойдутъ они гулять по городу — говорить нечего, и ходить молча. Придетъ Злобинъ или жена его, и тутъ не весело. Злобинъ хочетъ показаться умнымъ, спорить; Егоръ Ивановичъ находитъ, что онъ человѣкъ отсталый и ему не пара; жена его сплетничаетъ и наказываетъ

Надеждѣ Антоновнѣ какъ нужно обращаться съ мужемъ, т. е. не уважать его. Егоръ Ивановичъ пробуждался рано. Пробудится онъ, жена спитъ. Онъ полежитъ и пойдетъ къ отцу, который сидитъ на улицѣ у воротъ. Поговорить съ нимъ и пойдетъ въ спальню, жена все спитъ. Поспѣлъ чай, онъ разбудитъ жену, она говоритъ: „не хочу“—и опять спитъ. Встанетъ она поздно и проситъ чаю; если чай не готовъ, она сердится на мужа: отчего нѣтъ чаю теперь.

— Да вѣдь я же будилъ тебя!

— Мало ли что будилъ; я хочу теперь пить.

— Самоваръ поставленъ.

— А я не хочу дожидаться. — И не станеть пить, и капризится цѣлый день. Хотѣлъ Егоръ Ивановичъ проучить ее, т. е. лишить чаю на цѣлый день, но ему жалко было жены. „Пусть покрасуется, надѣется“, думалъ онъ. Надежда Антоновна жила барыней и ровно ничего не дѣлала. Скажетъ ей Егоръ Ивановичъ:

— Надежда Антоновна, вамъ скучно?

Она молчитъ.

— Надежда Антоновна!

— Да что вы пристали ко мнѣ?

— Зачѣмъ же вы вышли за меня замужъ?

— Зачѣмъ вы сватались?

— Вы бы могли отказаться, тѣмъ болѣе, что я васъ раньше спрашивалъ: охотой ли вы выходите за меня? Мало ли что вашъ папаша приказываетъ вамъ.

Надежда Антоновна начинаетъ плакать.

— Объ чемъ же вы плачете?

— Отстаньте, Егоръ Ивановичъ. Уйдите!

Егоръ Ивановичъ отойдетъ отъ жены и смотреть на нее.

— Надежда Антоновна, разойдемтесь на время.

— Какъ разойдемся?

— Вы спите въ спальней, а я здѣсь. Мы не будемъ сходитьсь къ обѣду, чаю и ужину, не будемъ видѣться другъ съ другомъ.

— Зачѣмъ?—она опять плачетъ.

— Наденька! Зачѣмъ ты плачешь?—а дальше не знаетъ, что сказать ей.

Разъ Егоръ Ивановичъ подслушалъ разговоръ жены съ матерью.

— Ну, Надя, каковъ твой муженекъ?

— Уродъ, манаша.

— Полно, Надя. Онъ смирный такой: онъ уважаетъ тебя.

— Онъ все по своему хочетъ дѣлать. Никакого покоя нѣтъ отъ него.

Мать за обѣдомъ напустилась на Егора Ивановича:

— Мы, Егоръ Ивановичъ, не для того отдали вамъ свою дочь, чтобы вы ее мучили.

— Я Наденьку не мучу. Надежда Антоновна, чѣмъ же я мучу васъ?

— Всѣмъ вы меня мучите.

— Смотри, Егоръ Ивановичъ, чтобы это было въ послѣдній разъ! Слышишь?—сказалъ строго благочинный. Егоръ Ивановичъ не могъ оправдаться и не сталъ трогать жену.

Наконецъ нужно было ѣхать въ губернский. Егоръ Ивановичъ сталъ звать съ собой жену, она не согла-

шается ѣхать. Однако по резонансѣ и приказу отца она согласилась. Благочинный написалъ два письма, одно къ ректору, въ которомъ онъ благодарилъ за Попова, а другое секретарю консисторіи, въ которомъ просилъ, чтобы Егора Ивановича поскорѣе отправили въ Столешинскъ. Благочинный далъ Егору Ивановичу расу, подрясникъ, шляпу и сто рублей деньгами, и наказалъ, какъ нужно вести тамъ дѣла, также далъ Егору Ивановичу свою повозку, и они, т. е. Егоръ Ивановичъ съ женой и отцомъ, отправились въ губернский городъ.

Лѣтомъ въ губернскомъ городѣ у мѣщанъ квартиры стоятъ пустыя, потому что семинаристы уѣзжаютъ къ отцамъ, а другихъ постояльцевъ не находится, вѣроятно потому, что эти комнаты слишкомъ нехороши. Квартиры занимаютъ семинаристами въ первыхъ числахъ сентября, а такъ какъ Егоръ Ивановичъ пріѣхалъ уже въ концѣ сентября, то его квартира была отдана двумъ философамъ. Троицкій, какъ сказалъ хозяинъ, уѣхалъ въ какой-то университетъ, и его комната тогда была отдана подъ постой семинаристовъ. Егоръ Ивановичъ нашелъ квартиру у мѣщанина Удавина, Василия Михайлыча. Онъ нанялъ на мѣсяцъ за четыре рубля двѣ комнаты. Надеждѣ Антоновнѣ квартира эта показалась слишкомъ грязною.

— Я, Егоръ Ивановичъ, не могу жить въ такой берлогѣ.

— Ничего, Наденька. Другія квартиры слишкомъ дороги, а здѣсь мы проживемъ не больше, какъ недѣлю двѣ.

— Лучше дороже заплатить, чѣмъ въ этой жить.

— Надо, матушка, деньги беречь: здѣсь расходовъ много будетъ.

Сколько ни ворчала жена, а Егоръ Ивановичъ не перемѣнилъ таки квартиры.

На другой день Егоръ Ивановичъ отправился въ семинарское правленіе. Письмоводитель Василій Кондратьевъ сказалъ, что ректоръ переведенъ въ семинарію и назадъ тому пять дней уѣхалъ.

— Куда уѣхалъ Троицкій?

— Онъ уѣхалъ съ Кротковыми въ Петербургъ. Старшій Кротковъ въ медицинскую академію хочетъ попасть, а младшій въ духовную. Одинъ только Троицкій въ университетъ хочетъ.

— А гдѣ живетъ секретарь Крюковъ?—Василій Кондратьевичъ рассказалъ.

Секретарь, прочитавши письмо благочиннаго со вложеніемъ нѣсколькихъ ассигнацій, любезно приналь Егора Ивановича.

— Не беспокойтесь, Егоръ Ивановичъ, теперь все будетъ зависѣть отъ меня. Завтра я пойду къ преосвященному и доложу объ васъ. А какъ только посвятятъ васъ въ священники, я тотчасъ же велю написать указъ, и этотъ указъ вы можете съ собою взять. Да! Антснъ Ивановичъ прислалъ сюда рапортъ и при немъ прошеніе Полуектова, священника Егорьевской церкви. Полуектовъ проситъ, чтобы его перевели въ Знаменскую церковь, а вашъ тестъ—чтобы васъ назначили въ Егорьевскую. Въ Егорьевской вы будете одинъ священникъ.

— Да, мнѣ Антонъ Ивановичъ совѣтовалъ.



— Я завтра скажу преосвященному. А вы все-таки къ нему завтра явитесь.

На другой день Егоръ Ивановичъ явился къ преосвященному.

— Что тебѣ надо?

— Я Поповъ.

— Мѣсто просишь?

— Я. в. в-о, тотъ самый Поповъ, котораго рекомендовалъ в. в-ву отецъ ректоръ.

— А, я и забылъ. Женился?

— Точно такъ.

— На комъ?

— На дочери благочиннаго Тюленева.

— Хорошо. Кто въ нынѣшнее воскресенье назначенъ къ посвященію?—спросилъ преосвященный писмоводителя.

— Діаконъ Егоровъ во іерей и кончившій курсъ семинаріи Крестовоздвиженскій во діаконы.

— А въ Покровъ?

— Кончившій курсъ семинаріи Каріоновъ во діаконы.

— Въ слѣдующее воскресенье за Покровомъ назначить Попова.

— Слушаю-съ.

— Ты будешь посвященъ черезъ двѣ недѣли.

Эти двѣ недѣли прошли скучно для мужа и жены. Главное, у нихъ ни въ чемъ не было согласія: захочетъ Егоръ Ивановичъ купить чего-нибудь, жена денегъ не дастъ; позоветъ ли онъ жену пройтись, она нейдетъ: „мнѣ неловко, совѣстно“,—говоритъ она Егоръ Ивановичъ почти каждый день ходилъ то въ семинарію, то къ товарищамъ; товарищи поздравляли его съ женитьбой и съ полученіемъ мѣста, просили водки; онъ покупалъ; ходили къ нему первую недѣлю, пили, цѣловались, кричали и пѣли, жена сердилась.

— Что это, Егоръ Ивановичъ, за сумасброды такіе! Зачѣмъ это они ходятъ сюда?—говорила Надежда Антоновна мужу послѣ гостей.

— Это мои товарищи.

— Хороши товарищи!

— Это все унылые люди.

— А я не хочу, чтобы они ходили къ намъ. Если они будутъ ходить, я уйду къ напашѣ.

Егоръ Ивановичъ никакъ не могъ уговорить жену, чтобы товарищи его ходили къ нему, хотя такъ, поговорить. Она ни за что не соглашалась, и семинаристы не стали ходить къ нему.

Егоръ Ивановичъ все-таки находилъ развлеченіе, но Надеждѣ Антоновнѣ не было никакого развлечения. Встанетъ она поздно, спроситъ самоваръ у Егора Ивановича, Егоръ Ивановичъ самъ принесетъ самоваръ, за чаемъ разговариваютъ или о посвященіи, или о городѣ, вспоминаютъ Тюленева, послѣ чаю она сидитъ дома, больше одна, скучаетъ. Присѣсть хозяйка, заговорить что-нибудь, Надеждѣ Антоновнѣ тошно слушать хозяйку. Послѣ обѣда спать, тамъ чай, опять скука послѣ чаю. Она теперь скучала даже, что нѣтъ долго Егора Ивановича.

— Какъ ты, Егоръ Ивановичъ, долго. Я ждала, ждала... скука такая, что не приведа Богъ!

Послѣ этого Егоръ Ивановичъ просиживалъ съ ней цѣлый день, полдня она была веселая, остальное время скучала.

— Надя, пойдемъ въ театръ,—сказалъ Егоръ Ивановичъ однажды вечеромъ.

— Зачѣмъ?

— Тамъ ты людей посмотришь. Богатыхъ людей увидишь, главное, ты увидишь, какъ изображаютъ жизни.

— Можно ли намъ?

— Теперь можно еще.

— Пожалуй.

Они пошли въ амфитеатръ. Играли какую-то комедію. Надеждѣ Антоновнѣ все понравилось въ театрѣ: и музыка, и люди, и представленіе.

— Ну что, Надежда Антоновна, хорошо?

— Хорошо, Егоръ Ивановичъ.

— Мы часто будемъ ходить.

И стали они ходить въ театръ. Теперь она начинала любить Егора Ивановича.

Наступилъ четвергъ. Егоръ Ивановичъ пошелъ къ преосвященному. Онъ благословилъ Егора Ивановича, велѣлъ ему сходить къ эконому и протодіакону, чтобы тѣ приготовили его къ посвященію, а наканунѣ посвященія прочитать за всенощной шестопсалміе.

Экономъ сказалъ Егору Ивановичу, чтобы онъ пришелъ къ нему для исповѣди въ субботу, а протодіаконъ далъ записку, на которой написано было, что ему дѣлать при посвященіи.

— Вы, Егоръ Ивановичъ, не робѣйте. Закусочку только хорошую сдѣлайте.

— Подрясникъ надѣвать, или нѣтъ, отецъ протодіаконъ?

— Нѣтъ, можно и такъ. Впрочемъ утромъ, послѣ молитвъ, можете надѣть подрясникъ.

Егоръ Ивановичъ радуется и боится, что его будутъ посвящать при народѣ. Жена тоже радуется и не вѣритъ.

— Ты, поди, все обманываешь?—говорила она.

— Нѣтъ, Надя, скоро... Все сердце надрыжало.—Онъ чуть было не сказалъ, что оно не дрожало такъ передъ свадьбой.

— Не тужи, Егорушко, Богъ не безъ милости,—замѣтилъ отецъ.

Послѣ посвященія въ діаконы и священники Егоръ Ивановичъ дѣлалъ обѣды. На послѣднемъ обѣдѣ у него народу было много. Тутъ были и каедральные священники, и діаконы разныхъ церквей, секретарь и столоначальникъ консисторіи Поповъ. Веселились и пили много. Иванъ Ивановичъ плясалъ и цѣловалъ то Егора Ивановича, то Надежду Антоновну. Надежда Антоновна тогда была весела, не смотря на буйство гостей.

Егоръ Ивановичъ ходилъ по городу уже въ рясахъ и въ очкахъ.

Жена его долго смѣялась надъ очками, но потомъ привыкла къ фizioноміи Егора Ивановича, который очень важничалъ въ своемъ нарядѣ.

— Вотъ, Надя, я и священникъ.

Жена говорила только „да“.

Съ 1894 г. издается въ Петербургѣ Ф. ПАВЛЕНКОВЫМЪ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

## СКАЗОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.

Въ составъ этой библіотеки войдутъ избранныя сказки всѣхъ странъ и народовъ. Всѣхъ книгъ предполагается выпустить отъ 150 до 200. Въ каждой книжкѣ помѣщается одна большая или нѣсколько маленькихъ сказокъ, иллюстрированныхъ болѣе или менѣе значительнымъ количествомъ рисунковъ. Въ книжки вступаютъ отъ первой до послѣдней. Цѣна книжекъ отъ 5 до 25 к.

До 1 февраля 1896 г. вынуждено 78 книгъ, въ составъ которыхъ вошли слѣдующія сказки:

№№  
книжекъ

### СКАЗКИ АНДЕРСЕНА.

1. Дочь богатаго царя. Съ 15 рис., портретомъ и биографіей Андерсена (16 коп.).
2. Райскій садъ. Съ 6 рис. (8 коп.).
3. Домовой и лавочникъ. Свинья-попелла. На птичьемъ дворѣ. Красныя башмачки. Съ 6 рис. (10 коп.).
4. Сундукъ золотой нѣдочки. Съ 6 рис. (6 к.).
5. Оле-Луке-Оле. Дюль. Свинья. Капля воды. Съ 8 рис. 10 коп.).
6. Цѣлѣбная малява. Иди, Господи, со мной. Пастушка и трубочка. Съ 10 рис. (10 коп.).
7. Свинья на царя. Съ 16 рис. (15 к.).
8. Анна-Либетта. Съ 10 рис. (5 к.).
9. Самое неистовое. Комета. Небесный листъ. Съ 9 рис. 5 к.).
10. На дикомъ. Съ 8 рис. (15 к.).
11. Послѣдній сонъ стараго дуба. Катина. Съ 8 рис. (8 коп.).
12. Вушкина старушка. Дѣвочка, вступившая на хлѣбъ. Съ 9 рис. (8 коп.).
13. Коловѣтъ. Отойдѣ оловянный солдатикъ. Мотылекъ. Съ 7 рис. (6 коп.).
14. Нѣтъ и Христиничка. Сновидѣніе. Перо и чернильница. Съ 10 рис. (10 к.).
15. Камень мудрости. Съ 5 рис. (8 к.).
16. Волшебный морской мѣль. Свинѣ. Съ 4 рис. (5 коп.).
17. Золотое сокровище. Влоха и профессоръ. Съ 10 рис. (6 к.).
18. Дикіе лебеди. Съ 6 рис. (8 к.).
19. Сынъ привратника. Съ 9 рис. (8 к.).
20. Морская царевна. Должна-же быть разница. Съ 10 рис. (10 к.).
21. Соловей. Жѣба. Съ 11 рис. (8 к.).
22. Попутчикъ. Съ 7 рис. (8 к.).
23. Исторія пяти горошинокъ. Елка. Дѣвочка со свѣчками. Съ 6 рис. (6 к.).
24. Калитки счастья. Съ 7 рис. (10 к.).
25. Она нигдѣ не годилась. Старый домъ. Дѣтская болтовня. Съ 7 рис. (8 коп.).
26. Исторія одной матери. Кто-жъ въ этомъ сомнѣвается. Навозный мукъ. Съ 9 рис. (8 к.).
27. Безобразный утюжокъ. Маргаритка. Серебряная монетка. Съ 13 рис. (8 к.).
28. Тѣнь. Мѣдвѣй кабанъ. Какъ старикъ ни сдѣлаетъ—все хорошо. Съ 9 рис. (10 к.).
29. Вушкино горюшко. Подъ нѣю. Съ 13 рис. (10 к.).
30. Дѣла льются. Съ 19 рис. (18 коп.).

### СКАЗКИ ГАУФА.

31. Холодное сердце. Съ 10 рис., портретомъ и биографіей Гауфа. (18 коп.).
32. Сказка о Калиф-анстѣ. Молодой англичанинъ Съ 10 рис. (12 к.).
33. Преданіе о золотомъ. Маленькій Мукъ. Съ 16 рис. (15 к.).
34. Карликъ-носъ. Съ 10 рис. (12 коп.).

Въ составъ слѣдующихъ книгъ войдутъ: сказки Асбьернсена, братьевъ Гриммъ, Перро, и др. При первой книгѣ вѣзетъ того или другого автора помѣщается его краткая биографія.

## ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

- 1) Демонъ. Съ 9 рис. Ц. 8 к.—2) Ангелъ Смерти. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—3) Изгнанный-Бей. Съ 9 рис. Ц. 10 к.—4) Хадимъ-Абрекъ. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—5) Божинъ Орша. Съ 7 рис. Ц. 4 к.—6) Пѣсня про купца Навашинкина. Съ 7 рис. Ц. 3 к.—7) Мѣдвѣ. Съ 7 рис. Ц. 4 к.—8) Ауль Бастундми. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—9) Литвинина. Съ 5 рис. Ц. 3 к.—10) Иаллы. Съ 8 рис. Ц. 2 к.—11) Навказскій пѣлникъ. Съ 8 рис. Ц. 3 к.—12) Норсаръ. Съ 8 рис. Ц. 2 к.—13) Чернышъ. Съ 8 рис. Ц. 2 к.—14) Дюлю. Съ 8 рис. Ц. 3 к.—15) Назначенія. Съ 5 рис. Ц. 4 к.—16) Герой нашего времени. Съ 28 рис. Ц. 25 к.—17) Бала. Съ 9 рис. Ц. 8 к.—18) Тамара.

№№

книжекъ

35. Приключеніе Самды. Съ 11 рис. (15 к.).

36. Принцъ-Самозванецъ. Ерей Абнеръ, который ничего не видалъ. Съ 7 рис. (10 коп.).

### СКАЗКИ ГУСТАФСОНА.

37. Корона морского царя. Другая короля Османа. Неузнатная гордость. Король Кайи. Съ 10 рис., портретомъ и биографіей Густафсона (10 коп.).
38. Пастухъ и правдоса. Цѣлѣ радости. Тахъ водится на мѣлѣ. Варна. Съ 10 рис. (10 к.).
39. Храбръ глѣны. Король, страдавшій безсонницей. Каменная глѣба. Спорослѣба. Попугай и мажоролокъ. Съ 12 рис. (10 к.).
40. Париксная кула. Бѣлка. Исторія одного дерева. Земной глобусъ бѣны. Съ 10 рис. (10 к.).
41. Три брата. Маленькій сборникъ сказокъ. Съ 9 рис. (10 коп.).

### СКАЗКИ ЖОРЖЪ-ЗАНДЪ.

42. Говорящій дубъ. Красный колодокъ. Съ 9 рис., портретомъ и биографіей Жоржъ-Зандъ. (15 к.).
43. Розовое облако. Съ 5 рис. (12 коп.).
44. Волшебный леушъ. Съ 6 рис. (15 коп.).
45. Крылья кукушца. Съ 9 рис. (25 коп.).

## РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКИ

ВЪ СТЕХАХЪ

№№ 46 по 70, цѣна каждой книжки 10 к.

### СКАЗКИ КАРМЕНЪ СИЛЬВА.

71. Окулъ. Законъ вѣдѣны. Съ 10 рис., портретомъ и биографіей Карменъ Сильва. (15 к.).
72. Оленья дѣлка. Глазюны. Чахлау. Съ 11 рис. (15 коп.).
73. Пѣтра Арса. Караманъ. Вирфудъ-вудеръ. Фуринка. Съ 13 рис. (15 коп.).

### СКАЗКИ ЛАБУЛЪ.

74. Мальчикъ-съ-пальчикъ. Маленькій человекъ. Доволенъ-ли ты? или приключеніе съ носомъ. Съ 16 рис., портретомъ и биографіей Лабулъ. (15 коп.).
75. Навѣтъ и Фикетта. Съ 17 рис. (15 коп.).
76. Зербыкъ-бурюкъ. Золотое руно. Съ 21 рис. (18 коп.).
77. Пана-Пастухъ. Фрагелетта. Волны гуси. Съ 25 рис. (16 к.).
78. Вацъ-Вацъ. Съ 13 рис. (15 коп.).

## ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.

- 1) Эпистолы человѣка. П. Мантегана. Ц. 1 р. 50 к.; 2) Психологія анимали. Д-ра Рубо. Ц. 40 к.; 3) Берегите легкія! Гигіеническія бесѣды д-ра Нимейера. Ц. 75 к.; 4) Связанные психоматы. д-ра А. Кюллера. Ц. 1 р. 50 к.; 5) Предсказаніе погоды. А. Далле. Съ рис. Ц. 1 р. 25 к.; 6) Физиологія души А. Герцена. Ц. 75 к.; 7) Психологія великихъ людей. Р. Жюли. 3-е изд. Ц. 60 к.; 8) Дарвинизмъ. М. Феррера. Общедоступное изложженіе идей Дарвина. Ц. 60 к.; 9) Миръ грѣшъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ, пѣлюны. Ц. 1 р.; 10) Первообычные люди. Деббера. Съ многими рис. Ц. 1 р.; 11) Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.; 12) Геніальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ портр. автора и нѣсколькими рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 13) Общедоступная астрономія. К. Фламариона. Съ 100 рис. 4-е изд. Ц. 80 к.; 14) Гигіена семьи.

- Съ 5 рис. Ц. 3 к.—19) Книжки Мери. Съ 9 рис. Ц. 12 к.—20) Фаталитъ. Съ 8 рис. Ц. 2 к.—21) Призракъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к.—22) Миссарадъ. Съ 5 рис. Ц. 10 к.—23) Миссарадъ. Съ 5 рис. Ц. 10 к.—24) Ашикъ-Керибъ. Съ 5 рис. Ц. 2 к.—25) Книжки Ангелосина. Романъ. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—26) Люди и страсти. Трагедія. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—27) Странный человекъ. Драма. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—28) Два брата. Драма. Съ 5 рис. Ц. 8 к.—29) Въ баллады и легенды. Съ 3 рис. Ц. 5 к.—30) Повѣсти изъ современной жизни. Съ 9 рис. Ц. 7 к.

СОЧИНЕНІЯ

**О. М. РЫШЕТНИКОВА**

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и вступительной статьей  
**М. ПРОТОПОВА.**

---

Дешевое изданіе **Ф. Павленкова.**

---

**ТОМЪ ВТОРОЙ.**

**Цѣна за два тома—2 руб. 50 коп.**

Простые переплеты—по 50 к. Календарные—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 4 фута,  
въ переплетахъ—за 5 ф.



**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

**ТИПОГРАФІЯ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ», ЕКАТЕРИНСКІЙ КАНАЛЪ, Д. № 113.**

**1890.**



## ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА.

	Стр.
I. Свой хлѣбъ (Романъ) . . . . .	1
II. Между людьми (Романъ) . . . . .	313
<b>МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ:</b>	
I. Николай Знаменскій . . . . .	491
II. Макся . . . . .	515
III. Шилихвостовъ . . . . .	548
V. Тетушка Опариха . . . . .	563
V. Кумушка Мирониха . . . . .	599
VI. Яшка . . . . .	614
VII. Очерки обозной жизни . . . . .	646
Горнорабочіе (начало неоконченнаго романа) . . . . .	681

---



# СВОЙ ХЛѢБЪ.

## ПРОЛОГЪ.

Май мѣсяцъ 186\* года.

Часть ночи. Въ городѣ Ильинскѣ и его окрестностяхъ темно. Небо чисто отъ облаковъ и тамъ, вверху, ярко мелькаютъ миллиарды звѣздъ съ длинною полосою млечнаго пути. Съ рѣки дуетъ легкій холодный вѣтерокъ; прохладно, но хорошо; пахнетъ весной, и если-бы не слякоть, то съ удовольствіемъ можно было-бы пройти по городу, гдѣ почти большая часть оконъ въ деревянныхъ домахъ заперты ставнями и нигдѣ не видно огня. А еще лучше сидѣть на набережной, слушая плескъ бурливой рѣки, окрики караульныхъ изъ-подъ горы и изъ самаго города, и лай собакъ. Кромѣ этого, въ самомъ городѣ тишина: по-видимому, спать всѣ.

Начинаетъ свѣтать. Тихо. Только кое-гдѣ кричатъ мужскіе голоса: „слушай!“ одинъ за другимъ — кто теноромъ, кто неопредѣленнымъ голосомъ, и такіе-же манеромъ лаютъ собаки: залаетъ сперва одна собака, за ней другая, потомъ третья, четвертая и, наконецъ, залаютъ вразъ уже неопредѣленное количество собакъ. Но и этотъ концертъ скоро смолкаетъ и на нѣсколько минутъ настанетъ тишина гробовая, изрѣдка, впрочемъ, нарушаемая стукомъ палокъ объ заплоты.

Но вотъ уже обрисовываются дома. На Волгѣ видны лодки съ рыбаками. Вотъ къ берегу пристала лодка. Изъ нея вышли двое мужчинъ — одинъ въ нанковомъ пальто, другой въ халатѣ; у того, на которомъ нанковое пальто, надѣта на головѣ фуражка съ зеленымъ околышемъ и съ кокардой, волосы короткіе, маленькіе усы; у другого на головѣ тоже фуражка, но на ней нѣтъ кокарды и на ногахъ у него нѣтъ сапоговъ, какъ у его товарища, а надѣты равныя ботинки. Втащивши кое-какъ лодку, они, пошатываясь, пошли въ городъ. Но такъ какъ имъ пришлось подниматься на гору по единственной грязной и крутой дорогѣ, то, если-бы не весла, которыми они подпирались, имъ пришлось-бы довольно трудно.

СОТНИКЪ О. РЫШЕТНИКОВА Т. II.

Хотя на пути, въ сторонѣ отъ дороги, и стоятъ кабаки съ вывѣской: „Перепутье“, но ихъ не пустили-бы туда, да и кабаки бытъ охраняемы огромной бѣлою собакою, привязанною толстою веревкою къ небольшой будкѣ. Они взошли на площадь, посреди которой стоятъ небольшая церковь, а спереди, на самомъ краю, къ рѣкѣ, насажены двѣ аллеи березъ и тополей, а за церковью, тоже на площади, устроено три деревянныхъ амбара, съ нѣсколькими дверями въ каждомъ, и нѣсколько небольшихъ открытыхъ лавокъ. Пройдя церковь, они пошли по широкой улицѣ. На углу этой улицы стоитъ пятистѣнная будка и около нея столбъ, но въ ея полукруглыхъ окошечкахъ разбиты стекла, а на столбѣ нѣтъ фонаря. Идутъ они и ругаются. Сзади ихъ ѣдетъ кто-то въ телѣгѣ.

— Слушай! — кричитъ на углу пронзительно мужской голосъ, которому вторять уже немногіе хриплые голоса.

— Кто идетъ? — спрашиваетъ идущихъ съ веслами мужчина въ ситцевомъ халатѣ съ черною трещеткою подъ лѣвою мышкою и съ толстою палкою въ лѣвой рукѣ.

— Я тебѣ дамъ: — кто идетъ! ослѣплъ, что ли? — сказалъ мужчина въ халатѣ.

— А!! много рыбы-то, Кузьма?

— Вся тамъ! — и онъ указалъ рукой по направлению къ рѣкѣ, но размахнулся такъ, что упалъ. Подъѣхала телѣга. Въ телѣгѣ лежали березовыя полѣнья, наложенныя на скорую руку, рядомъ съ лошадью шелъ мужчина въ рваномъ пальто. Всѣ обѣялись „добрымъ здоровьемъ“, а караульщикъ проговорилъ:

— Попадешься-же ты когда-нибудь! У кого сляпиль!

— Э-э!.. Небось, заворуешь! Лѣсу сколь, а рубить не велятъ. Почему новѣ дерева-то? Три!

— Што и говорить: времена нынче куды какъ тяжелы. Вотъ опять гляди кабы желѣзную дорогу не стали строить: тогда по пяти заплаतिшь. Не даромъ я и изъ Егорьевска сюда переселился — ра-

одинъ: эта чугушка все къ рукавъ прибрала. Уже я сѣваю, не посоль-ли какой отъ чугушки и пожаръ-то у насъ учинилъ: вѣдь тридцать два дома сгорѣло, страсти Господни!

— Вѣда. Вотъ теперь и бани запечатали; караулить велѣтъ днемъ и ночью... А ты погляди, сами-то они что дѣлають? Вонъ исправникъ, да казначей и прочіе по улицамъ ѣдутъ — сигары курятъ, а какъ нашъ братъ съ трубкой выйдетъ за ворота, такъ въ полицію тащатъ. Самосуды! Да я, братъ, на сѣнникѣ постоянно съ трубкой спать ложусь и ничего — Богъ хранитъ, потому что я знаю, какъ надо курить.

— Вотъ стало быть, братъ, ты и поджигатель! — проговорилъ чиновникъ и прибавилъ: — пойдемъ-ка въ полицію.

— Ты еще что за птица?

— Та и птица, что скоро жениюсь на дочери винаго пристава Яковлева.

— Это и видно: у Яковлева-то сегодня крестины, а ваше благородіе и не приглашены, видно.

— Дуракъ! приглашали, да не пошелъ, потому что я въ ссорѣ съ головой, а голова приглашенья кукомъ.

Чинovníкъ пошелъ дальше.

— Ты слышалъ? — спросилъ онъ Кузьму.

— Что?

— Что у пристава крестины?

— А!!

Больше Кузьма не въ состояніи былъ говорить: онъ шелъ почти съ зажмуренными глазами, упираясь на чиновника.

— Вѣдь это обидя! Я — женихъ; онъ выдаетъ за меня Марью, и вдругъ не пригласилъ... Онъ даже скрытъ отъ меня, что у него сегодня крестины. Какъ ты объ этомъ думаешь?.. И какъ это я не узналъ! А еще хожу мимо ихняго дома!

Товарищъ молчалъ.

— Надо на попятный дворъ. Не такъ-ли?

— Именно.

— Я сейчасъ обругаю его противъ его-же дома.

— Ну... Охота!

— И обругаю! Я — дворянинъ, а онъ что!.. Я — помощникъ бухгалтера въ казначействѣ, а онъ подъ судъ отданъ за старую службу. У него теперь десятая родилась; пусть-ка онъ выраститъ... Нынче, братъ, должность не скоро получишь, а женишкова и подавно хорошихъ не скоро найдешь. Я ему утру носъ-то... Видишь? — и чиновникъ остановился.

Направо противъ ихъ, черезъ дорогу, стоитъ девятикоконный каменный домъ. Половина верхняго этажа освѣщена, въ четырехъ окнахъ мелькають тѣни, а изъ пятаго, отвореннаго, слышится шисъ двухъ скрипокъ. Изъ двора слышится ржаніе лошадей.

— Видишь?! — произнесъ злобно чиновникъ: — танцуютъ, на скрипкѣ пилать... А я-то что-же такое?

Кузьма очнулся, глянулъ на домъ и промчалъ что-то.

— Нѣтъ, ты пойми: какъ они безъ меня могли? Теперь Машка съ казначеемъ танцуетъ... Пойдемъ!

— Куда?

— Къ нимъ.

— О-охъ, вы полуношники! Велика бѣда, что не пригласили!.. Оно еще къ лучшему; у васъ, поди, и на зубокъ-то нечего положить, — проговорила женщина, сидящая съ трепоткой у воротъ трехъ-оконнаго низенькаго деревяннаго дома, около котораго стояли чиновникъ и Кузьма.

— Ахъ, это ты Зелениха!

— Караулю, батюшка!.. Да вотъ съ этой музыкой да съ ребятишками своими смучилась: не спать, на улицу просятся. А вы, Никандро Ивановичъ, слышали новость?

— Какую?

— А еще женихомъ себя величаете вѣдь: Дарья-то Андреевна убѣжала изъ монастыря. Ихняя кухарка сказывала мнѣ сегодня. Самъ-то письмо отъ нугмёньи получилъ. Вотъ что-съ!..

— Неужели?

— Вратъ, что-ли, стану! Сегодня вечеромъ мнѣ даже ихній дворникъ сказывалъ. Всѣ, говорить, какъ узнали объ этомъ — письмо, слышь, получили — чуть не перегрызались.

— Странно... Какъ-же говорили, что она уже въ монашескахъ?

— Вотъ то-то, что они васъ хотѣли надуть!

— Ну, ты ужъ, пожалуйста! Я вѣдь я... — И онъ замахнулся.

— Мнѣ все равно; только вѣдь-ли вы много получите въ придачу! Вотъ вамъ лучше-бы на Дарьё Андреевнѣ жениться...

— Ты думаешь?

— Да еще не пойдетъ.

— Почему?

— Потому что она умнѣе и бойчѣе васъ.

— Ну, братъ... Да ее, поди, и на домъ не пустятъ.

— Богъ ее знаетъ. Говорятъ, она беременна ужъ.

— Што-о ты!! Вотъ тебѣ и покорно благодарю!!!

— Ей-Богу... И я этого не ожидала, а жалко! Если она сюда пріѣдетъ... Да нѣтъ, нельзя!

— Да, можетъ быть, это — враки; можетъ, мачиха нарочно разславляеть.

— А можетъ быть. Только я думаю, какъ она жить будетъ? Она еще передъ отъѣздомъ говорила мнѣ, что ей хочется работать. Но если это такъ, такъ это — одна дурь: попробовала-бы она поработать по нашему... Своей-то хлѣбъ о-ѣй какъ тяжело достается!

Отворились ворота; изъ двора выѣхали гости, мужчины и дамы. Въ домъ погасли огни, заперли окна. Пока гости выѣзжали, чиновникъ ушелъ во дворъ. Стало порядочно свѣтло. За выѣздомъ гостей, крестя ротъ и зѣвая, ушла спать и Зелениха. Вдругъ послышался съ рѣки свистъ парохода, а черезъ полчаса на улицѣ, по направленію къ яковлевскому дому, шла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, въ сѣренкомъ бурнусѣ, въ круглой шляпкѣ и съ большимъ узломъ.

# I.

Городъ Ильинскъ расположенъ въ полверстѣ отъ рѣки Волги на лѣвомъ ея берегу, на возвышенномъ мѣстѣ. Въ немъ, съ достовѣрностью можно сказать, жило въ описываемое время не больше шести ты-



саячъ жителей обоого пола и были двѣ церкви и кладбище. Затѣмъ онъ ничѣмъ не знаменитъ, но какъ городъ старинный, извѣстенъ тѣмъ, что много разъ выгоралъ.

По наружности своей онъ мало чѣмъ отличается отъ другихъ маленькихъ русскихъ городовъ. Каменныхъ домовъ въ немъ штукъ восемь,—остальное строеніе, за исключеніемъ церквей, деревянное. Но зато у рѣдкаго дома нѣтъ сада. Тротуары существуютъ только у двухъ большихъ домовъ; ночью улицы не освѣщаются, кромѣ праздниковъ, когда обыватели ходятъ въ церкви; на крышахъ домовъ стоятъ кадки, большею частью пустыя и разохшіяся; на окнахъ непремѣнно красуются банки съ какими-нибудь цвѣтами и растениями. Оживленія немного, кромѣ субботы, когда каждый изъ жителей запасается провизіей на рынокъ на всю недѣлю. Хотя кое-гдѣ и стоятъ столбы, но фонарей на нихъ нѣтъ; фонари эти красуются только во время прїѣзда въ городъ губернатора, а потомъ исчезаютъ снова. Сверхъ того, городъ оживляется по утрамъ и, вообще, въ то время, когда мальчики идутъ въ училища—уѣздныя и приходскія (свѣтскія) и обратно, и служащій людъ стремится на службу и со службы, да по вечерамъ въ хорошіе лѣтніе дни, когда любители сильныхъ ощущеній прохаживаются на берегу рѣки по аллеѣ, а другіе, почти все населеніе, высыпаютъ за ворота съ какою-нибудь легкою работою, съ яблоками или грушами, ѣдятъ, курятъ и толкуютъ о своей бѣдности, о плутняхъ купцовъ и должностныхъ чиновниковъ, и шлетничаютъ другъ на друга. Трудовая, тяжелая жизнь видится по преимуществу только на берегу рѣки, гдѣ складываютъ и откуда увозятъ черезъ городъ разные товары; въ самомъ-же городѣ, кромѣ трехъ-четырехъ кузницъ, ни фабрикъ, ни заводовъ не существуетъ; даже рѣдко можно увидать новый строящійся или старый поправляемый домъ. Городъ самъ ничего не производитъ, а только потребляетъ для себя то, что достанетъ на своей площади изъ амбаровъ-магазиновъ или изъ другихъ городовъ, болѣе его развитыхъ въ промышленномъ отношеніи. Впрочемъ, сады даютъ фрукты, пчелы—медъ и воскъ, нѣсколько человекъ разводятъ табакъ и дѣлаютъ его удобнымъ для куренія и нюханія; но все это находится въ первобытномъ состояніи и продается на берегу рѣки судорабочимъ и пассажирамъ, а во время яльинской ярмарки на площади и сельскимъ жителямъ въ самомъ небольшомъ количествѣ.

Большинство жителей состоитъ изъ мѣщанъ, меньшинство—изъ купцовъ и лицъ, служащихъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ. Первые большею частью торгаша и люди, занимающіеся чѣмъ-нибудь; всѣ роды ремеселъ находятся, за очень небольшими исключеніями, въ рукахъ мѣщанъ, которые такимъ образомъ кормятся какъ отъ купцовъ, такъ и отъ людей, занимающихся коронною службою, а эти послѣдніе кормятся жалованьемъ и посылными приношеніями купцовъ и мѣщанъ, если только послѣдніе имѣютъ съ первыми дѣловыя сношенія. Большая часть домовъ принадлежитъ купцамъ и мѣщанамъ, самая меньшая чиновникамъ, потому что купцы накапливаютъ капиталъ всякими неправдами, а мѣщане

не гнушаются никакими черными занятіями, и жены ихъ, кромѣ того, снабжаютъ холостыхъ чиновниковъ и небогатыхъ семейства молокомъ и овощами, стираютъ бѣлье, моютъ полы, а нѣкоторые продаютъ на берегу хлѣбъ. Чиновники-же, кромѣ своей службы, ничѣмъ не занимаются и дома что-нибудь имѣютъ тѣ, которые тутъ выросли или получили эти дома въ приданое за женами.

Мѣщане съ давнихъ временъ считаютъ себя силой и въ то же время людьми самыми обиженными. Силой—потому, что они въ прежнія времена защищали не только свой городъ, но и другіе города, униженными—потому, что имъ не давали тѣхъ правъ, какими пользовались чиновники. Но такъ-какъ изъ этого положенія выбиться не было возможности, а число ихъ и чиновниковъ съ каждымъ годомъ возросло, то многимъ изъ нихъ пришлось коротать жизнь очень бѣдно, употребляя въ пищу ржаной хлѣбъ съ пескомъ, мелкую рыбу, горюшницу и тертую рѣдкую съ квасомъ, потому что доставать заработокъ приходилось не всѣмъ, и часто хорошей порціи сидѣлъ безъ дѣла по недѣлѣ и по двѣ, а рѣка давала средства только лѣтомъ, рубить-же воровски лѣсъ сдѣлалось опасно. Если и бывали порядочные заработки, то деньги уходили на подарки чиновникамъ за дѣла, на угощенія въ большіе праздники, почему многіе мѣщане находились въ кабалѣ у кулаковъ-купцовъ. Кромѣ этого, у рѣдкаго не было коровы и, слѣдовательно, приходилось покупать сѣно. По всѣмъ этимъ причинамъ мѣщане очень враждебно относились къ чиновному классу и къ купцамъ, чему много способствовало, во-первыхъ, то, что почти половина мѣщанъ принадлежала къ раскольникамъ, а во-вторыхъ, то, что жительство этихъ раскольниковъ, находившееся въ прежнее время подъ горой, теперь было занято подъ склады товаровъ.

Еще до основанія города, подъ горою была расположена слобода, жители которой, считая себя свободными людьми, занимались преимущественно рыболовствомъ и весной снабжали хлѣбомъ всѣхъ плававшихъ мимо города людей. Нельзя сказать, чтобы они были миролюбиваго характера. Впослѣдствіи, съ напынкомъ людей служилыхъ и прїѣзжихъ купцовъ, они были причислены къ городу и названы мѣщанами. Мало-помалу, всѣ невзгоды обрушились главнымъ образомъ на нихъ. Отъ нихъ стали требовать и денегъ, и рекрутъ, и услугъ; купцы-же стали эксплуатировать ихъ. Со временемъ, эта вражда усилилась до того, что каждый мальчикъ и дѣвочка изъ слободы видѣли въ городскомъ мальчикѣ или дѣвочкѣ врага. Вообще, слободскіе мѣщане слыли чуть-чуть не за разбойниковъ, такъ что черезъ слободу даже днемъ ходить было небезопасно, и если въ городѣ случались кражи и убійства, то это приписывалось имъ. Мало-помалу одна-ко-жъ городскіе купцы и торгаша-мѣщане такъ прижили слобожанъ, что они поневолѣ должны были уступить, и стали пускать въ свои дома на квартиры чиновниковъ и родниться съ ними, но на самомъ дѣлѣ стоило задѣть чѣмъ-нибудь одного мѣщанина изъ слободы, какъ поднималась вся слобода, и эта вражда оканчивалась только какими-нибудь престольными праздниками въ городѣ, когда горожане изъ

нихъ своихъ достатковъ до-отвалу кормили и до-безчувствій поили своихъ знакомыхъ мѣщанъ изъ слободы. Къ чиновникамъ какъ слободскіе, такъ и городскіе относились не одинаково. Нѣсколько человекъ изъ чиновниковъ даже пользовались общими расположеніемъ, какъ люди старые и нигуда не выѣзжавшіе изъ города. Съ семействами-то этихъ чиновниковъ и роднились мѣщане. Другіе-же чиновники состояли изъ привѣжныхъ, и эти привѣжые никогда не пользовались расположеніемъ мѣщанъ, и если послѣдніе замѣчали, что какой-нибудь изъ привѣжныхъ ухаживалъ за слободскою дѣвицей, то принимали мѣры, чтобы у него отпала всякая охота даже проходить черезъ слободу.

Теперь этой слободы нѣтъ и слобожане сдѣлились съ горожанами, построивъ на пустопорожнихъ мѣстахъ дома. Со времени уничтоженія слободы по приказу начальства, которому почему-то не понравились ветхіе домики подъ горой, вражда мѣщанъ къ чиновникамъ возросла больше. Но зато слобожане, не имѣя возможности властвовать надъ рѣкой, какъ прежде, стали сдержаннѣе и, скрѣпя сердце, занялись ремеслами. Поэтому теперь всѣ роды ремеселъ находятся въ рукахъ мѣщанъ. Если-же сюда и заѣзжаетъ какой-нибудь аферистъ, то недолго онъ живетъ въ городѣ, и уѣзжая не только ничего не наживши, но даже проживши привезенныя деньги, проклинаетъ Ильинскъ.

Что касается до интеллектуальныхъ удобствъ города Ильинска, то въ немъ существуютъ приходское и уѣздное училища, основанныя за десять лѣтъ до начала настоящаго разсказа. Въ этихъ училищахъ учатся мальчики всѣхъ классовъ, но кончаютъ курсъ только дѣти чиновниковъ, мѣщанскіе же дѣти большею частію заканчиваютъ обученіе или приходскимъ училищемъ, или первымъ классомъ уѣзднаго училища, а дѣти купцовъ иногда доходятъ и до втораго класса. Для дѣвочекъ училищъ не существуетъ и поэтому меньшинство ихъ обучается дома.

## II.

Въ каждомъ городѣ, большомъ и маленькомъ, значительномъ и ничего не значущемъ, непременно существуетъ, если не нѣсколько, то, по крайней мѣрѣ, одинъ домъ, чѣмъ-нибудь отличающійся отъ другихъ. Такъ и въ Ильинскѣ каждый житель знаетъ сѣмьдесятства о четырехъ домахъ; о домѣ виннаго пристава Яковлева, о домѣ протопопа Григорія Ивановича Пьянкова, братъ котораго и по настоящее время служитъ гдѣ-то въ санѣ епископа, о домѣ уѣзднаго судьи Крюкова и о домѣ купца Зиновьева. Но изъ всѣхъ этихъ домовъ больше всего извѣстенъ и славится домъ нынѣшняго пристава, назадъ тому два года бывшаго уѣзднымъ стряпчимъ, Андрея Ивановича Яковлева. Домъ этотъ обращаетъ на себя вниманіе девятью окнами въ верхнемъ этажѣ, какъ съ улицы, такъ и съ площади, съ цѣпями и бутылками на окнахъ, выходящихъ на площадь, и съ разбитыми стеклами въ окнахъ нижняго этажа. Въ окнахъ этого нижняго этажа сдѣланы чугунныя съ рѣзбою рѣшетки. Онъ обращаетъ на себя вниманіе каждаго новопривысшаго въ городъ своею высокою деревянною крышею, ничѣмъ не окрашенною, а также своимъ большимъ садомъ и заплотомъ вокругъ

него, наверху котораго торчатъ остріеи въверхъ огромныя гвозди. Этотъ домъ никогда не принадлежалъ какому-нибудь графскому или древнему дворянскому роду, такъ-какъ въ Ильинскѣ такіа знаменитостя рѣдко жила, несмотря на живописные берега, на рѣку и на то, что въ уѣздѣ его есть много дворянъ-помѣщиковъ. Тѣмъ не менѣе, это все-таки домъ древній. Говорятъ, что въ немъ прежде жилъ наѣстникъ города и въ нижнемъ этажѣ помещалась городская тюрьма, въ которую сажали воровъ и другихъ обвиняемыхъ въ какихъ-нибудь преступленіяхъ людей и изъ другихъ мѣстъ; что эта тюрьма считалась самою крѣпкою, не потому, что въ нижнемъ этажѣ были рѣшетки, а потому, что подъ нижнимъ этажомъ находились темныя подвалы, куда запирали преступниковъ, которые тамъ большею частію и умирали, не дождавшаго суда надъ ними. Послѣ пожара, отъ котораго остались только одні стѣны, эти стѣны стояли нетронутыми нѣсколько лѣтъ. Въ пустыхъ площадкахъ на полуразрушившихся печахъ и стѣнахъ обитали голуби, галки и вороны, а деревенскіе жители, не имѣвшіе въ городѣ пристанища, частенько ночевали тамъ. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ; казна не имѣла средствъ возобновить домъ, со стороны-же покупателей на него не находилось. Мало-по-малу горожане стали извлекать изъ него небольшую выгоду: такъ, они выломали рѣшетки и продали ихъ, стаскали печные кирпичи и даже принались-было за стѣны.

Лѣтъ десять сразу оставленный домъ служилъ для суевѣрныхъ людей источникомъ неисчерпаемыхъ толковъ. Всѣ женщины были убѣждены, что тамъ по ночамъ живутъ кикиморы, что нѣсколько личностей будто-бы даже видѣли по ночамъ огни въ домѣ и слышали какую-то пляску; по ночамъ и мужчины боялись ходить мимо дома, а шли другими улицами и переулками; этимъ домомъ пугали дѣтей и всѣ были убѣждены въ томъ, что не одобровать тому человеку, который купитъ его и постарается на свою голову отдѣлать. Городское начальство даже ходатайствовало о томъ, чтобы эти стѣны сломать, а мѣсто съ фруктовыми деревьями, могущими приносить кое-какой доходъ, поручить надзору полиціи. А между тѣмъ, эти опаленныя стѣны у всѣхъ горожанъ были какъ бѣльмо на глазу и съ каждымъ днемъ страхъ болѣе и болѣе увеличивался. Бывали случаи, что въ стѣнахъ этого дома находили скоропостижно умершихъ, и смерть ихъ приписывали чертямъ. Губернское начальство, наконецъ, отступилось отъ дома; его купилъ купецъ, но умеръ вскорѣ по переездѣ въ домъ; семейство купца выѣхало изъ него, заперло его, но тутъ нашелся сибѣльчакъ, которому сильно захотѣлось завладѣть домомъ. Это былъ молодой секретарь уѣзднаго суда Яковлевъ. Онъ женился на дочери умершаго купца и, получивъ въ приданое этотъ домъ, уговорилъ судью перевести судъ въ нижній этажъ. Впослѣдствіи отъ туда-же пустилъ и земскій судъ. Слухи о чертяхъ прекратились, потому что суды изгнали чертей.

Двѣнадцатый часъ дня. На улицахъ города Ильинска грязно, хотя и печетъ солнышко; грязно от-

того, что недавно только-что перестал идти большой дождь, который въ какое-нибудь полтора часа такъ смочилъ песокъ и глину на улицахъ, что нужно было запастись галошами самыхъ большихъ раздѣровъ для того только, чтобы перейти съ одного угла на другой. Но зато, несмотря на сильно грѣющее солнце, у тѣхъ домовъ, у которыхъ есть садики, дышется легче, пахнетъ сиренью или геранью и жасминами, хотя изъ отворенныхъ оконъ тянетъ, какъ изъ открытой печки, жаромъ, съ запахомъ, похожимъ на печенный хлѣбъ. Легкій вѣтерокъ слегка колеблетъ листки деревьевъ, съ которыхъ падаютъ дождевыя капли на идущаго около заплотовъ, и наводитъ не то нѣгу, не то уныленіе, такъ-что если-бы въ эту пору случилось идти такимъ образомъ петербургскому жителю, то ему-бы подумалось: вотъ она жизнь-то гдѣ настоящая! И ему непремѣнно захотѣлось-бы долго-долго наслаждаться этою жизнью, если-бы до его слуха не доходили бранчивые голоса изъ маленькихъ домишекъ, населенныхъ мѣщанами и ихъ ворчливыми старухами, крикъ ребятъ, бѣгающихъ во дворахъ и посреди улицъ безъ штановъ, босикомъ, и болтающихъ ногами воду въ ручейкахъ, и дополняющія эту картину семейной жизни бродящія по улицамъ свиньи съ поросятами. Такой пѣшеходъ, довольствуясь теплотою, запахомъ отъ цвѣтовъ, легкимъ вѣтеркомъ и голубымъ небомъ, по которому кое-гдѣ еле-еле плывутъ бѣлые тучки съ сѣрыми оттѣнками, въ эту пору рѣдко кого встрѣтитъ на городскихъ улицахъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ сторожей, идущихъ отъ почтовой конторы куда-нибудь съ книжками или дѣтскими подъ мышками, да еще какого-нибудь блѣднотелого молодого человѣка въ полиняломъ пальто или сюртукѣ и съ форменной фуражкой на головѣ, изобличающей въ немъ писца.

Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго часа изъ Богородицкой церкви вышелъ сторожъ съ жестяною купалью и дьячокъ въ суконномъ подрясникѣ, опоясанный широкимъ вышитымъ поясомъ, и въ бѣлой поярковой шляпѣ съ широкими полями. Они шли на линейку, принадлежащую винному приставу Яковлеву, кучеръ котораго (онъ-же и дворникъ) Трифонъ Клементьичъ, очень толстый господинъ, съ лысиной, длинными черными волосами и большою бородой съ просьбою, — человѣкъ въ городѣ извѣстный и уважаемый всѣми.

Дьячку рѣдко приходилось ѣздить на линейкѣ; но онъ сидѣлъ важно, съ самодовольствіемъ поглядывая на дома. Къ тому-же онъ былъ мужчина рослый, молодой и красивый, съ курчавыми рыжими волосами и только-что начинающей выступать бородкой. Въ городѣ его называли молодымъ, потому что онъ жилъ съ молодою женою въ медовомъ мѣсяцѣ, а самъ говорилъ всѣмъ, что его скоро посвятятъ въ дьяконы, такъ-какъ его тестъ дьякономъ переведенъ за голосъ въ губернской городъ, гдѣ и числится при архіерейскомъ хорѣ. Сторожъ, не ѣзжавшій въ линейкахъ, да еще такого туза, какъ бывшаго стряпцаго Яковлева, напротивъ, чувствовать себя неловко и готовъ былъ лучше идти по грязи, чѣмъ сидѣть, но его удерживало одно: надежда получить отъ виннаго пристава

за водки и денегъ за то, что онъ тоже участвовалъ въ привезеніи купали. Кучеръ былъ сердитъ.

Сперва всѣ ѣхали молча. Кучеръ не оглядывался; сторожъ не любилъ разговаривать вообще; дьячокъ ждалъ, пока къ нему не обратятся, такъ-какъ онъ считалъ себя выше этихъ людей, но натура у него была такая, что онъ не могъ молчать долго.

— Клементьичъ? А Клементьичъ? Много у васъ будетъ гостей?—спросилъ онъ вдругъ кучера.

Кучеръ промолчалъ.

— Что это у васъ нынѣ рѣдко гости бываютъ?—опять спросилъ дьячокъ кучера.

— Будетъ время, и совсѣмъ не будемъ приглашать,—отвѣтилъ кучеръ рѣзко и тономъ обиженнаго человѣка.

— Что такъ! Али воля?.. Да вѣдь у твоего-то барина не было вѣрнопостныхъ.

— Што-же, што не было! Небось! получше кого другого живемъ,—сказалъ кучеръ обидчиво и ткнулъ рукой по направлению къ тому дому, въ которомъ жилъ земскій исправникъ, и продолжалъ:—куда ни позови, вездѣ идетъ, а у самого двери постоянно на запорѣ.

— Ну, у него жена нѣмка, а нѣмцы вѣдь русскихъ не любятъ.

— Кабы не любили, не ѣздили-бы къ намъ. Она какъ ни пріѣдетъ къ намъ, то и дѣло играетъ съ барыней, Мариной Осиповной, въ проферансъ. Нынче ихъ не приглашали—не стоятъ. Марина то Осиповна ужъ пять недѣль, какъ родила, а эта исправничиха нѣтъ чтобы провѣдать—здорова-ли, молъ. Оно и то надо сказать, у нихъ, у господъ, другіе порядки, чѣмъ у насъ; у насъ, у мѣщанъ, по-просту: поссоримся и помиримся, а у господъ нѣту этого.

— Разумѣется. Господа люди образованные.

— Кабы мы умѣли писать, и мы-бы не уступили. Вонъ, посмотри, письмоводитель у Андрея Ивановича—мѣщанинъ, а орудуетъ всѣми дѣлами: Андрей Ивановичъ знай только подписываетъ.

— Это такъ. Но я подразумеваю все-таки образованіе—ученость; напримѣръ, вотъ хоть-бы я: я скоро буду самъ дьякономъ.

Кучеръ, отвернувшись съ презрительной улыбкой посмотрѣлъ на дьячка.

— Не вѣришь небось?

Кучеръ, ничего не сказавъ, сталъ торопить лошадей. Дьячокъ обидѣлся и тоже сталъ молчать.

— Нынче Андрей Ивановичъ ужъ не даетъ на свѣчку по гривеннику, какъ прежде, когда былъ стряпчимъ. Нынче онъ и въ кошелѣкъ кладетъ копѣчку, а не серебряный пятачекъ. Оно хотя эти серебряные пятачки бралъ къ себѣ отецъ протопопъ, а все-же, значить, у Андрея Ивановича радѣнія было больше!—проговорилъ сторожъ.

— Да, да! Отецъ протопопъ сказывалъ оноеждни, что онъ и за исповѣдь сталъ меньше получать отъ виннаго пристава, — проговорилъ въ свою очередь дьячокъ и захохоталъ.

— Вамъ-бы все брать! И такъ мы много водки и вина всякаго даримъ. Нынче не тѣ доходы... Вы то разсудите, сколько у Андрея Ивановича дѣтей. На ихъ глазахъ у него сегодня десятую будете крестить,

а до меня еще сколько ихъ было крещено! Теперь вотъ у него съ этой дѣвчонкой считается въ живыхъ ровно десять. Ихъ, поди, надо кормить, одѣть, выучить, къ мѣсту пристроить. Я больше васъ знаю его... Вотъ што! Деньги-то вѣдь не съ неба падаютъ! — проговорилъ кучеръ.

— Такъ-то оно такъ, да вѣдь у него двѣ дочери уже пристроены за-мужъ, третья нынче тоже выйдетъ замужъ, старшій сынъ становымъ, другой тоже, поди, поступилъ на службу, третій служить въ Сибири, а Дарья Андревна въ монастырѣ...

— Ну, такъ что! Не ваше дѣло считать... Нынче становые не то, что прежде; нынче завелись слѣдователи, а Дарья Андревна такъ и слѣдуетъ жить въ монастырѣ.

Черезъ пять минутъ они вѣхали во дворъ яковлевскаго дома.

Домъ выходилъ во дворъ большими прямыми углами и имѣлъ въ нижнемъ этажѣ три крыльца; штукатурка со стѣнъ во многихъ мѣстахъ отвалилась и на этихъ мѣстахъ некрасиво обозначились почеркѣлыя отъ времени дранки, такъ что по одному взгляду на стѣны можно было заключить, какъ старъ этотъ домъ. Въ трехъ верхнихъ окнахъ, самыхъ крайнихъ къ амбару, въ которыхъ помѣщаются погребы, каретникъ, жалья для коровъ и проч., видны какіе-то цвѣты въ банкахъ, коробочки, принадлежащія, какъ кажется, женщинамъ, и кисейныя занавѣски; на четырехъ окнахъ, ближнихъ къ углу, занавѣсокъ нѣтъ, а на каждомъ стоятъ по двѣ большихъ бутылки. Изъ этихъ оконъ слышится серебристый звонкій разговоръ, принадлежащій женскимъ голосамъ. На подоконникахъ остальныхъ оконъ, какъ внизу, такъ и вверху, змѣчаются кучи бумагъ, большихъ книгъ съ рваными корешками и верхними корками, оттопырившимися отъ песка, ежедневно по нѣскольку разъ попадающему на страницы при засыпаніи чернилъ. Вверху замѣчаются два человѣка, разговаривающихъ у окна; оба они въ форменныхъ скруткахъ со свѣтлыми пуговицами; внизу у оконъ сидятъ у столовъ псалы. На среднемъ крыльцѣ трое служащихъ курятъ папироски. При видѣ линейки всѣ эти люди начали острить, кто надъ кучеромъ, кто надъ дьячкомъ, но больше всего досталось сторожу. Но лучше всего было взглянуть направо: тамъ, черезъ сажень отъ воротъ, начиналась деревянная фигурчатая, выкрашенная голубою краскою, рѣшетка, которая тянулась вплоть до заднихъ построекъ и соединялась такимъ образомъ съ садомъ. За этой решеткой, на разстояніи пяти сажень ширины и десяти длины, разведенъ садикъ, въ которомъ двѣ прямыхъ аллеи. Посреди этихъ аллей сдѣлано нѣсколько неправильныхъ дорожекъ, усыпанныхъ мелкимъ голешникомъ, а около нихъ, на кругахъ и треугольникахъ, цвѣтутъ желтые, голубые и малиновые цвѣты. Недалеко отъ заплота, выходящаго на улицу противъ входа въ палисадникъ, построена небольшая бесѣдка, вокругъ которой растутъ восемь тополевыхъ деревьевъ, тощихъ, но высоко поднимающихся кверху. Въ этомъ палисадникѣ чирикаютъ птички. Во дворѣ чисто, хотя и бѣгаетъ нѣсколько курицъ съ двумя пѣтухами, которыхъ непрерывно сгоняетъ съ мѣста

четырехлѣтній здоровый мальчикъ, одѣтый по господски. Недалеко отъ каретника стоитъ большая повозка съ кожанными накладкой и фартукомъ.

Приѣхавшихъ встрѣтилъ самъ хозяинъ. Это былъ невысокаго роста плотный, здоровый и еще красивый мужчина, несмотря на свои пятьдесятъ шесть лѣтъ, такъ что, взглянувъ на него, ему можно было дать не болѣе 45-ти. Лицо у него широкое, полное, съ желтыми и съ оттѣнкомъ небольшой красноты щеками, гладко выбритыми. Онъ улыбался; голубые глаза глядѣли приветливо, такъ и казалось, что это самое добрейшее существо въ мірѣ, но въ глазахъ замѣчалась сосредоточенность, точно онъ всю жизнь или занимался книгами и письмомъ, или что-нибудь обдумывалъ; лобъ широкій, съ бѣлыми отливомъ, гладкій, но на немъ, какъ-бы вслѣдствіе какого-то горя, замѣчается небольшая полоска по самой срединѣ, надъ носомъ; волосы сѣдые, рѣдкіе, зачесаны гладко на виски; на темени небольшая лысина. Одѣтъ онъ въ вицмундиръ, съ околывшемъ министерства финансовъ и съ тѣдными пуговицами, на коняхъ красуются гербы той губерніи, въ которой принадлежитъ городъ Ильинскъ. На вицмундирѣ прилѣплены: пряжка за XXV лѣтъ, медаль въ память послѣдней войны, а на шеѣ орденъ Станислава.

Зала имѣла-бы вполне казарменный видъ, если-бы на каждомъ изъ трехъ оконъ не стояли банки съ разными цвѣтами. Стѣны были просто обѣлены; около нихъ стояли стулья съ рѣшетками; посрединѣ комнаты стоялъ круглый столъ, покрытый вязаномъ бѣлою скатертью, въ переднемъ углу, подъ большими кіотами въ серебряныхъ позолоченныхъ окладахъ, стоялъ мраморный столъ, на которомъ находился маленький образъ съ золотымъ окладомъ и лежалъ библия, требникъ и псалтирь, такъ-какъ въ этой залѣ регулярно каждое утро, передъ обѣдомъ, ужинами и послѣ нихъ, а также передъ сномъ, все наличное семейство Яковлева должно было справлять молитвы по-очереди, то-есть по требнику и псалтирю долженъ былъ читать кто-нибудь изъ дѣтей определенное число молитвъ. Зала, повидимому, находилась въ срединѣ дома, такъ какъ по правую и по лѣвую ея сторону были двери, изъ конхъ первая была открыта, а другая заперта, и отъ одной до другой двери черезъ всю залу на крашенномъ желтою, отчасти уже стершемся краскою полу былъ постланъ въ полтаршина ширины зеленый коверъ.

Изъ гостей больше всѣхъ выдавался протопопъ Сергій Ивановичъ Третьяковъ, отецъ умершей второй жены Яковлева. Онъ высокъ, худощавъ, съ большою лысиною, которую обрамляютъ коротенькіе, рѣдкіе пучки сѣдыхъ волосъ; эти волосы, вмѣстѣ съ коротенькою, рѣдкою сѣдою бородою, придаютъ лицу еще болѣе бѣлизны и затемняютъ совсѣмъ отцвѣтшіе, когда-то каріе глаза. Въ его лицѣ, улыбкѣ и глазахъ замѣтна простота и добродушіе. Онъ часто кашляетъ, говоритъ охриплымъ голосомъ и когда открываетъ ротъ, то въ немъ, вмѣсто зубовъ, видятся одні только пожелтѣвшія десны; голова немножко трясется. Онъ очень любитъ вступать въ споры, не любитъ никому уступать и сердится, если кто-нибудь не представитъ фактовъ, а говоритъ

только по убѣжденію. У него на головѣ малиноваго плиса камлавка, которая уже давнымъ давно отцѣла, такъ-какъ онъ получилъ ее уже годовъ двадцать тому назадъ и съ тѣхъ поръ носить только въ экстренныхъ случаяхъ, — въ другіе-же дни надѣваетъ простую шляпу. На немъ черная плисовая ряса, надѣваемая тоже въ экстренныхъ случаяхъ. Въ дополненіе къ этому надо прибавить, что онъ держитъ въ рукахъ толстую дубоваго дерева трость, оправленную подъ лакъ, съ крючкомъ вѣсто набалдашника. Безъ этой трости онъ не ходитъ нигуда: она для него единственный другъ, она для него страсть, какъ табакъ, собака и т. п. Онъ имѣетъ семьдесятъ лѣтъ отъ роду, состоитъ за штатомъ, вдовъ, дѣтей не имѣетъ.

Другая личность, менѣе обращающая на себя вниманіе, это — Осипъ Флорычъ Зиновьевъ, отецъ теперешней жены Яковлева — Марины Осиповны. Онъ высокъ ростомъ, очень толстъ, съ одутловатымъ, жирно-краснымъ лицомъ, точно испытывающимъ цѣлые дни холодъ. Борода и волосы у него черные, лоснящіеся, глаза плутовато-хитрые; вообще, во всей его фигурѣ проглядываетъ мѣщанинъ-гостинодворецъ. Онъ считается въ городѣ первымъ купцомъ, и хотя платитъ только вторую гильдію, но по капиталу и по каверзамъ, творившимъ имъ, могъ-бы сѣло записаться въ первую. Въ настоящее время онъ занимается въ городѣ должностію городского головы и состоитъ старостой въ Богородицкой церкви. Одѣтъ онъ въ длиннополый сюртукъ съ двумя рядами свѣтлыхъ пуговицъ и съ медалью на шеѣ. Сидитъ рядомъ съ протопопомъ Третьяковымъ, развалившись на стулѣ, и постоянно обращается только къ нему и къ хозяйну, на другихъ-же смотритъ свысока и отвѣчаетъ нехотя, какъ будто стараясь показать, что онъ человѣкъ имъ не парный, и если говорить съ ними, то единственно изъ расположенія къ хозяйну, своему зятю, къ которому онъ, пожалуй, тоже не очень-то много имѣетъ уваженія.

Напротивъ протопопа, по другую сторону стола, сидѣлъ Осипъ Андреичъ Яковлевъ, старшій сынъ хозяина, становой приставъ перваго стана Ильинскаго уѣзда, плотный, высокій и краснощеій молодой человѣкъ, съ длинными черными волосами, густыми усами и съ голубыми глазами. Въ его движеніяхъ замѣчается вертлявость, доходящая до того, что онъ не прочь и пофиглярничать; иногда онъ глядитъ по-кошачьи, но не бросается на противника, а встрахиваетъ волоса и со взглядомъ, выражающимъ затаенную злобу, отворачивается, вдыхаетъ и вновь старается придать глазамъ невозмутимое спокойствіе. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые долго почитать нанесенное имъ оскорбленіе, за что его не любили какъ товарищи по училищу, такъ и сослуживцы, и даже не долюбивало начальство, видѣвшее въ немъ заносчиваго человѣка, нерѣдко обращавшагося со своими жалобами, помимо ближайшаго начальства, прямо къ губернатору, который, считая себя прогрессистомъ, любилъ молодыхъ чиновниковъ съ новыми направленіемъ, но безъ вольнодумства. Вообще, онъ былъ на хорошемъ счету, какъ полицейскій дѣятель, скоро раскрывавшій слѣдствія, и хотя съ введеніемъ

судебныхъ слѣдователей дѣла у него поубавилось, но работы все-таки было много, такъ-какъ съ освобожденіемъ крестьянъ ему приходилось играть роль исполнительнаго и усмирительнаго полицейскаго дѣятеля. Впрочемъ, въ крестьянскомъ кругу его не считали варваромъ, потому что онъ на крестьянъ кричалъ въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, не дрался, какъ дрались его товарищи, не пьянствовалъ, а былъ со всѣми вѣжливъ, хотя и принималъ подчасъ довольно крутыя шуты; но крестьяне его не любили и несли ему въ подарки послѣднее свое состояніе, которое онъ, по новой модѣ, принималъ по настоятельной просьбѣ дарившаго.

Рядомъ съ нимъ сидѣлъ Викторъ Осипычъ, сынъ Зиновьева, только что записавшійся въ купцы, молодой съ блѣдно-истощеннымъ лицомъ мужчина, узкими карими заспанными глазами, выражавшими апатичное состояніе, и съ большими ушами, въ одномъ изъ которыхъ — правомъ — постоянно носятъ золотую сережку, похожую на кольцо. Онъ ведетъ себя очень смиренно, тупо, съ разинутымъ ртомъ, смотритъ то на отца протопопа, то на сосѣда, то въ отворенную дверь, и если сосѣдъ обращается къ нему со словомъ, онъ развѣваетъ моментально ротъ, показываетъ два ряда почернѣвшихъ отъ табаку зубовъ и начинаетъ испуганно мигать глазами, и успокоится и приметъ прежнее положеніе только тогда, когда его оставятъ. Однако, сосѣдъ его, Осипъ Андреичъ, выросшій и даже учившійся съ нимъ до втораго класса уѣзднаго училища, да и самъ батюшка, Осипъ Флорычъ, знаютъ его не такимъ. При отцѣ и у родни онъ держитъ себя смирнѣе агнца, скоро хитѣетъ до того, что его незаметно отъ родителя или отъ хозяина уведать спать, не играетъ въ карты и, вообще, ведетъ себя, какъ неопытный мальчишъ (ему 21 годъ); но нужно увидать его за Волгой. Уже не тотъ тамъ Викторъ Осипычъ! И откуда тамъ появляется тогда разной молодежи — мѣщанъ, купеческихъ сынковъ и чиновниковъ съ молодыми женщинами сомнительной наружности и легкаго поведенія. Пьянство идетъ страшное, орутъ пѣсни, безобразничаютъ, и стоитъ въ это время горожанину выйти на берегъ, чтобы сказать: „а, это Витька съ цѣпи сорвался!“ Однако, удовольствія эти ему поминись долго, потому что родители, несмотря на совершеннѣйшіе, подвергалъ его въ своей конюшнѣ тѣлесному наказанію. Въ городѣ Викторъ Осипычъ считали за погибшаго человѣка, забытаго; дѣвцы считали его необразованнымъ за то, что онъ не умѣлъ по-свѣтски разговаривать, и отзывались о немъ, что у него *моченое* лицо.

По другую сторону Зиновьева, за другимъ столомъ, сидѣли уѣздный судья Алексѣй Николаевичъ Крюковъ, высокій, худощавый, со впалыми бѣлыми щеками старикъ, съ остриженными подъ гребенку съдymi волосами. Взглядъ у него суровый, такъ что люди, видѣвшіе его въ первый разъ, называли его крысой, но люди, знающіе его ближе, отзываются о немъ, какъ о самомъ добрейшемъ существѣ, божащемся даже убить муху, и удивляются, какимъ образомъ такой добрый человѣкъ можетъ подписывать приговоры подсудимымъ. При этомъ надо замѣтить, что судья уже нѣсколько лѣтъ глухъ на лѣвое ухо,

и потому въ разговорахъ постоянно поворачиваетъ къ говорящимъ съ нимъ правое ухо, наклонивъ за него правую ладонь. Вотъ почему и теперь онъ обращается больше въ сторону Зиновьева и протопопа, и рѣдко оборачивается въ сторону сидящихъ съ нимъ рядомъ по лѣвую руку, казначея Викентья Мордарыча Чечелибухина и земскаго исправника Ильи Ивановича Давыдова, которые разговариваютъ большею частью другъ съ другомъ.

Изъ комнатъ по лѣвую сторону слышались женскіе голоса на разные тоны и чей-то охрипый мужской голосъ, вторившій имъ; но временахъ раздавался стѣхъ одной или двухъ женщинъ или всѣхъ разомъ. Хозяинъ и гости вели дружественную, но пустую бесѣду, иначе сказать — переливали изъ пустого въ порожнее.

— А у насъ въ уѣздѣ скоро будутъ двѣ новыя личности: мировой посредникъ и судебный слѣдователь, — говорилъ кто-то Осипу Андренчу.

— Гмъ!

— Что, нравятся вамъ это?

— Мнѣ все равно... Конечно, дѣла прибавится больше, потому что обоимъ придется наставлять, — самодовольно отвѣчалъ молодой Яковлевъ.

— А-а, не нравятся!

— Много денегъ у казны — вотъ што! Къ чему эти слѣдователи? — не понимаю. Ну, посредникъ — дѣло другое, — проговорилъ старикъ Зиновьевъ.

— А почему посредники нужны по вашему?

— Потому, что они не даютъ помѣщикамъ много воли.

— А если я самъ помѣщикъ?

— Мнѣ што за дѣло?

— А если мнѣ это не по губѣ?

— Такъ вотъ я и испугался!

— Что вы на это скажете, Осипъ Андренчъ? — обратился исправникъ къ молодому Яковлеву.

Но въ это время въ залу вошелъ изъ другой комнаты, въ сопровожденіи дочери Зиновьева, дѣвицы Анисьи Осиповны, и жены Осипа Андренча, Марьи Антоновны, пожилой, плотный мужчина съ большимъ животомъ, весьма выдающимся впередъ, съ карявыми, загорѣлыми отъ ѣзды лицомъ, въ форменномъ фракѣ съ такими-же воротникомъ и пуговицами, какъ и у Андрея Ивановича, съ двумя крестами на шеѣ и пряжкой за XXX лѣтъ на фракѣ. Вся его фигура изобличала въ немъ жителя губернскаго города и человека, занимающаго важную должность. Онъ, поначавшись на обѣ стороны, медленно шелъ въ сопровожденіи двухъ дамъ и кланаясь проговорилъ:

— Мое почтеніе, господа.

Гости встали, а Осипъ Андренчъ ушелъ въ прихожую. Дамы тоже раскланялись съ гостями и, вѣстѣ съ важнымъ господиномъ, подошли подѣ благословеніе къ протопопу. Оказалось, что этотъ господинъ былъ двоюродный братъ Андрея Ивановича, ассессоръ ревнскаго отдѣленія казенной палаты, и пріѣхалъ сюда, подѣ видомъ освидѣтельствованія торговли, отдохнуть недѣльку-другую у брата. Зовутъ его Ипполитъ Аполлоновичъ Яковлевъ.

Анисья Осиповна была-бы очень красивая дѣвушка, если-бы ея лицо не портили веснушки. Въ карихъ

ея глазахъ замѣчалась шутливость, а въ манерахъ не было той застѣнчивости, какая замѣчается у многихъ дѣвушекъ ея лѣтъ; ей съ Рождества минуло только семнадцать. Ея волосы непельнаго цвѣта были просто зачесаны и даже кое-гдѣ торчали и спалзывали, почему она должна была часто ихъ приглаживать руками; на ней было надѣто простенькое ситцевое платье палеваго цвѣта безъ всякихъ особыхъ украшеній; подѣ платьемъ не было кринолина, а въ ушахъ она носила серебряныя легонькія сережки. Тѣмъ не менѣе, во всей ея фигурѣ было много хорошаго, такъ что можно было удивляться, какими это образомъ у такого родителя, какъ Осипъ Флорычъ Зиновьевъ, могла вырасти такая дочь, если еще при этомъ брался въ соображеніе такой сынъ, какъ Викторъ Осипычъ. Этому обстоятельству въ Ильинскѣ всѣ дивились и единогласно рѣшили, что или отецъ лелѣетъ свою капризную и своенравную дочь для того, чтобы выдать ее за какого-нибудь очень важнаго чиновника въ губернский городъ, или дочь держитъ его въ рукахъ, такъ-какъ самъ онъ частенько напивается до безчувствія, ссорится съ женой, отчего эта послѣдняя жалуется всѣмъ, что его вооружаетъ противъ нея дочь его отъ перваго брака. Насколько все это вѣрно, читатель увидитъ дальше.

Совсѣмъ другое была Марья Антоновна, женщина 24-хъ лѣтъ. Она была высока ростомъ, полна, какъ здоровая содержательница постоялаго двора. Лицо у ней продолговатое, носъ, похожій на еврейскій, брови черныя, но глаза разные: правый — карій, а лѣвый — сѣрый, что сразу не замѣчалось, да и Осипъ Андренчъ, какъ онъ самъ говоритъ, узналъ объ этомъ уже тогда, когда объяснился съ ней въ любви и сталъ ее цѣловать. Волосы у нея густыя, но къ нимъ на затылокъ, подѣ сѣтку, она прибавляетъ еще комокъ фальшивыхъ волосъ для приданія себѣ больше красоты; съ этой-же цѣлью она и лицо свое натирала мѣломъ. На ней надѣто шелковое съ длинными шлейфовымъ платьемъ, и на ногахъ у нея шелковые сапожки. Она часто ужимается губами, какъ-бы стараясь этимъ придать себѣ грацію, кокетливо встряхиваетъ головой и постоянно поправляетъ свое платье, оборачивая голову назадъ. Такъ и видна въ ней дѣвка, привыкшая бывать въ кругу аристократовъ-поклонниковъ, любящая танцы и, вообще, женщина, желающая всѣмъ понравиться.

Какъ женщина, выросшая въ губернскомъ городѣ и считающая себя губернской дѣвицей, она съ шикомъ раскланялась съ гостями, подавъ каждому руку, и въ то-же время взглянула на дверь въ прихожую, куда ушелъ ея супругъ; Анисья-же Осиповна, поздоровавшись съ гостями, пріѣхала къ брату.

Исправникъ съ казначеемъ начали разсыпаться въ любезностяхъ съ бонтоною дамой. Началось опять переливанье изъ пустого въ порожнее.

— Ты, Осипъ, кажется, скоро заснешь? — спросила шутливо Анисья Осиповна брата.

— Скучно, сестричка, — отвѣтилъ тотъ тихо, но замѣтно было, что онъ очень обрадовался приходу сестры.

— А ты пройдишь по комнатамъ. Да вонъ и хозяинъ въ прихожей.

— А вотъ новость-то, — сказалъ старикъ Яковлевъ: — я письмо получилъ и отгадываю, откуда?

— Отъ Даши?

— Нѣтъ.

И Андрей Ивановичъ показалъ на конвертъ.

— Изъ монастыря, — сказалъ Осипъ Андреевичъ.

— Ужъ здорова-ли? — вскричала Марья Антоновна.

— Прочитайте, папаша, — просилъ сынъ.

Андрей Ивановичъ сталъ смотрѣть на конвертъ. Въ это время въ прихожую вошелъ давно ожидаемый протоіерей Григорій Ивановичъ Пьянковъ, толстый, низенькій, годовъ сорока мужчина съ широкимъ лицомъ, надменнымъ взглядомъ въ глазахъ, съ длинными, густыми черными волосами, въ камиллавкѣ и съ наперснымъ крестомъ.

— Извините, ради Бога, — опоздалъ. Неприятное извѣстіе получилъ — дядя очень не здоровъ. Надо все сообразить и поскорѣ ѣхать, — проговорилъ Пьянковъ.

— Извините, что побеспокоилъ васъ, — извинялся хозяинъ.

— О, полноте! Милушка какъ... здоровъ?

— Да, да! Прикажите...

— Сдѣлайте одолженіе.

Андрей Ивановичъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ началось крещеніе, въ которомъ дѣвочку называли Анной.

### III.

У русскихъ въ маленькихъ провинціальныхъ городкахъ ведется испоконвѣка обычай такого рода, что родители не присутствуютъ при крещеніи ребенка, даже крестящій ребенка священникъ выгоняетъ вонъ отца или мать, если они вздумаютъ за чѣмъ-нибудь войти въ ту комнату, гдѣ совершается таинство. Яковлевъ и его жена были люди религиозные, исполъ слѣдующіе этому обычаю, и потому все совершеніе таинства проводили въ другихъ комнатахъ. Впрочемъ имъ-бы и не выстоять всѣхъ молитвъ, потому что нужно было приготовить для гостей закуску и обѣдъ. Поэтому Андрей Ивановичъ пошелъ распоряжаться насчетъ закуски и обѣда, прогнавъ своихъ дѣтей для того, чтобы положить на зубокъ ребенку рублевую монету. Монеты эти, какъ известно, идутъ въ пользу кривавальныхъ бабокъ. А семейство Яковлева было большое. Въ живыхъ у него было съ теперешнимъ ребенкомъ ровно десять; за исключеніемъ отсутствующихъ, теперь находились на-лицо, кромѣ Осипа, дочь Марья 21 года, сынъ Владиміръ 8 лѣтъ и дочь Евлампія 5 лѣтъ. По зову Андрея Ивановича, въ комнату вошли: Марья, дѣвица полная, краснощекая, одѣтая по настоящему случаю въ шелковое платье и одѣвшая въ уши огромныя сережки; сынъ Владиміръ, мальчикъ болѣзненный, не любимый отцомъ, но о которомъ Марина Осиповна часто плакала, думая, что ей любимый сыночекъ того и гляди что умереть. За ними шли въ залу двѣ старухи, пріятельницы Марины Осиповны, изъ коихъ одна была жена дьякона, а другая мать разорившагося купца, и жена Зиповцева, Вѣра Петровна, худощавая, съ болѣзненнымъ

лицомъ тридцати лѣтъ женщина, въ косыникѣ на головѣ и въ китайской шали, надѣтой поверхъ люстринового платья.

— Никто еще не былъ? — спросилъ Яковлевъ Марью Андреевну.

— Нѣтъ, — отвѣчала она робко.

— А твой женихъ?

— Вы не посылали за нимъ.

— Вотъ мило! Что онъ за особа, чтобы мнѣ посылать къ нему гонцовъ!

Яковлевъ пошелъ въ столовую. Въ ней было два окна, три швафа и два стола — одинъ, самый большой — круглый, по срединѣ былъ накрытъ бѣлою скатертью и на немъ уже стояли бутылки съ водкой, наливками и виномъ, и разныя холодныя закуски; на другомъ столѣ, что у оконъ, стояла посуда. Сама хозяйка, высокая, толстая женщина, съ бойкими карими глазами, лѣтъ тридцати пяти, съ широкимъ лицомъ, не выражавшимъ ничего особеннаго и мало чѣмъ отличающимся отъ лицъ купеческихъ женъ или женъ чиновниковъ, которымъ не приходится много хлопотать о насущномъ хлѣбѣ. Но по лицу этому все-таки можно было заключить, что эта женщина наврядъ тому годовъ десять или двѣнадцать была красивой, то-есть красивою настолько, что могла влюбить въ себя мужчину своимъ румянцемъ щекъ, стыдливими взглядами карихъ глазъ, кокетливо-мѣщанскими ужимками алыхъ губъ и большими косами черныхъ волосъ. Такова была хозяйка Марина Осиповна, одѣтая въ настоящую минуту въ шелковое голубое платье и въ кисейномъ чепчикѣ на головѣ. Она отдавала приказанія старухѣ-кухаркѣ и кучеру Трифону, на которомъ теперь былъ надѣтъ старый яковлевскій сюртукъ, манишка, галстукъ и драповые брюки. Кухарка перетирала посуду, а Трифонъ разставлялъ тарелки по столу.

— Все-ли готово? — спросилъ жену Яковлевъ.

— Все. А ты этому пьянчужкѣ Родіонкѣ откажи. Сказала я ему, чтобы пришелъ, — его а нѣтъ. Вѣроятно, онъ у тебя укралъ вина, — проговорила недоброжелательно жена.

— Гмъ! Вестія... Ну, какъ-нибудь... Пошевеливай-тесъ.

— Тебѣ-бы все сейчасъ.

— Ну-ну.

И Андрей Ивановичъ, откупоривъ одну бутылку, налилъ рюмку наливки и подошелъ къ женѣ.

— Ну, поздравляю, Маня!

Супруги поцѣловались; затѣмъ Андрей Ивановичъ вышелъ.

— Отчего ты не пригласилъ Павлова?

— Куда-же ему... еще дядя обидится. Мы его позво-вемъ вечеромъ.

— А я сегодня дѣчка славно огрѣлъ... — началъ было кучеръ, но въ это время вошелъ письмоводитель Андрея Ивановича, Родіонъ Савичъ Дементьевъ, въ рваномъ, запачканномъ грязью сюртукѣ и съ раскраснѣвшимся отъ водки лицомъ. Хотя онъ и старался держаться на ногахъ крѣпко, но его пошатывало. Кучеръ захохоталъ, Марина Осиповна сдѣлалась блѣднѣе, точно приходъ его былъ для нея ка-



кинъ-нибудь несчастіемъ; Андрей же Иванычъ съ умишкой глядѣлъ на Родіона.

— Ну, зачѣмъ ты пришелъ, бестыжіе твои глаза!—напустился на Родіона Трифонъ.

— Не твое дѣло... Андрей Иванычъ... Я точно-что маленько... а я ей-Богу не пьянъ,—началъ несвязно Родіонъ.

— Не пьянъ! Ха-ха! А въ полицію хочешь?—сказалъ Андрей Иванычъ.

— Ужъ для такого-то праздника...

— Отправъ ты его ради Христа въ полицію,—сказала Марина Осиповна,

— Покорно благодарю, Это значитъ за всѣ услуги...

— Вотъ еще...

— Пойдите, Марина Осиповна!.. Я теперьча называюсь письмоводитель, а прилично-ли мнѣ сапоги чистить, бѣлье кухаркѣ колотить на рѣкѣ? Это какъ?

— Молчать!—и Андрей Иванычъ ударилъ Родіона по щекѣ. Родіоновъ отшатнулся.

— Ты, каналья, еще вѣдуналъ грубить и въ моихъ глазахъ!.. Я тебѣ что говорилъ сегодня утромъ?.. А? чтобы ты одѣлся почище и приходилъ помочь женѣ... А ты пьянъ! ты грубишь! Вонъ!!

— Простите великодушно!..

— Вонъ!! И не смѣй ко мнѣ показываться. Я уже много тебѣ прощалъ, а теперь ты осмѣлился при мнѣ наговорить дерзостей моей женѣ...Вонъ!! чтобы духу твоего здѣсь не было,—говорилъ, запыхавшись отъ злости, Андрей Иванычъ. Щеки его покраснѣли.

— Пожалуйте мнѣ за полгода жалованье.

— Скажите, какой нахалъ! И это вы, Андрей Иванычъ, поглаживаете. Пошелъ вонъ, негодяй!—кричала Марина Осиповна.

— У меня жена померла въ десять часовъ, вотъ я и пьянъ—сказалъ Дементьевъ.

— Врешь, врешь!—кричала Марина Осиповна, толкая Дементьева вонъ...

— Я-бы тебя отправилъ въ полицію, да не съ кѣмъ,—кричалъ Андрей Иванычъ. Родіоновъ ушелъ, но Андрей Иванычъ нѣсколько минутъ дыхтѣлъ, топорицился у двери и оттиралъ лицо шелковымъ коричневаго цвѣта платкомъ.

— Экая пьяница! А я на него надѣялся... Дѣлать нечего, ты, Трифонъ, замѣни его мѣсто.

— А если у него въ самомъ дѣлѣ жена умерла?—сказалъ Трифонъ.

— Вреть! не умерла, а онъ ее убилъ... Она постоянно приходила на него жаловаться, что онъ ее бьетъ... Ужъ онъ не укралъ-ли у меня что-нибудь... А ты еще защищаешь его! О—охъ вы!!—говорила Марина Осиповна.

Въ это время въ столовую принесли окрещеннаго ребенка. За старухой-бабкой съ ребенкомъ шли: крестный отецъ ребенка, Ипполитъ Аполлоновичъ, крестная мать Марфа Антоновна, Марья Андреевна и Вѣра Петровна съ двумя старушками. Начались поздравленія; Андрей Иванычъ ушелъ въ залу. Тамъ Пьянковъ сидѣлъ между казначеемъ и Третьяковымъ.

Да, думаю совсѣмъ убраться отсюда, и вы,

Сергѣй Иванычъ, будете, навѣрно, рады моему отсутствію,—говорилъ Пьянковъ.

— Что мнѣ радоваться: я старъ и давно самъ хотѣлъ на покой, не пускали.

— Полно, старина!—началъ Пьянковъ.

— Пожалуйте! милости прошу!!—говорилъ хозяинъ съ улыбкой.

— Полно вамъ грязиться-то изъ-за мѣста!—сказалъ исправникъ и повелъ Третьякова.

— Обидно...—проговорилъ Третьяковъ вполголоса.

— Терпѣть меня не можетъ. Не повѣрите-ли: сколько онъ на меня доносилъ, писалъ,—говорилъ также вполголоса Пьянковъ казначею, который на это только развелъ руками.

Всѣ устѣлись по старшинству. Пьянковъ занялъ предсѣдательское мѣсто, тамъ что по обѣ стороны его сидѣли—по правую Третьяковъ, потомъ самъ Андрей Иванычъ, казначей, по лѣвую—Ипполитъ Аполлоновичъ, судья и т. д.; дамы сѣли отдѣльно отъ мужчинъ и по старшинству; Марина Осиповна, какъ хозяйка, за столъ не сѣла, а распоряжалась и упрямивала ѣсть и пить; Трифонъ прислуживалъ.

Сначала обѣдъ шелъ неоживленно; говорили только Пьянковъ, Ипполитъ Аполлоновичъ и изрѣдка въ ихъ разговоры вставляли свои мнѣнія самъ хозяинъ, исправникъ и казначей; остальные-же ѣли и пили, смотря съ подобострастіемъ то на Пьянкова, то на Ипполита Аполлоновича; хозяйка отвѣчала ужимкою только въ томъ случаѣ, когда кто-нибудь изъ старшихъ гостей обращался къ ней съ похвалою такому-то кушанью, причѣмъ лицо ея прояснялось и она самодовольно взглядывала на дамъ.

— А вы скоро намѣреваетесь уѣхать отсюда?—спросилъ Пьянковъ Ипполита Аполлоновича.

— Да думаю завтра утромъ.

— Полно вамъ, братецъ. Вы и недѣли не гостили у насъ,—сказала Марина Осиповна.

— Скучновато здѣсь,—сказалъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Ну, я думаю, скука-то вездѣ одинакова—что здѣсь, то и въ губернскомъ,—сказалъ исправникъ.

— А я съ вами несогласна: въ губернскомъ вечера, танцы... какое общество!—вступилась Марфа Антоновна.

— Я не участвую-съ на подобныхъ вечерахъ; не по карману.

— Ну, полноте, дяденька; вы теперь скоро будете совѣтникомъ и вамъ необходимо будетъ нужно бывать въ дворянскомъ собраніи.

— Ужъ нѣтъ: я старой привычки не переменяю. То-ли дѣло въ своей компаніи съ купцами или съ духовными. Меня владика очень любитъ; я не одного семинариста помню сдѣлалъ.

— Да, я знаю... Мнѣ очень пріятно. Отецъ Стефанъ, кажется, получилъ крестъ,—отвѣчалъ Пьянковъ.

— Да, это очень умный молодой человѣкъ. Въ его года, а ему кажется двадцать-сѣдью, рѣдкіе бываютъ инспекторами семинарій, по крайней мѣрѣ, нашей.

— Одно въ немъ, дяденька, скверно: говорятъ, большой драчунъ,—сказалъ Осипъ Андреевичъ.



— Что-жь, по твоему такъ и спускать... По твоему пусть мальчишки хоть на головахъ ходятъ... А, ты еще не знаешь, каковы эти семинаристы. А ихъ у зятя, по крайней мѣрѣ, семьсотъ человѣкъ.

— Строгость необходима, я съ вами согласенъ. Вы посмотрѣли-бы, какой у меня въ уѣздномъ училищѣ ведется порядокъ! — проговорилъ Пьянковъ.

— Ну, это еще доказываетъ только, что мальчики такихъ строгихъ людей никогда не любятъ, — проговорилъ, въ свою очередь, Третьяковъ.

— А-а! Задѣли старицкое самолюбіе! — сказалъ исправникъ.

— Мальчишекъ надо драть — крикнулъ Зиновьевъ.

— Я не отрицаю, но только полегонечку, въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда уже никакія мѣры не дѣйствуютъ, — защищалъ свою систему Третьяковъ.

— Позвольте спросить, какія это мѣры? — спросилъ Пьянковъ.

— Самые легкія; у меня, во время завѣдыванія училищемъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ, кажется, только двое были наказаны, и то не болѣе пяти ударовъ, а между тѣмъ, другіе учителя только и дѣлали, что сѣкли.

— Дѣдушка очень простымъ употреблялъ вещи. Напримеръ, спросить урокъ, и если урока не знаетъ мальчикъ прилежный, онъ на первый разъ велитъ ему встать съ книгой въ уголъ къ печкѣ, во второй поставитъ къ печкѣ на колѣни, а въ третій подзоветъ самаго лѣниваго ученика, который живетъ во враждѣ съ прилежнымъ ученикомъ, да и заставитъ ученика теревить за уши прилежнаго, — хвастался Осипъ Андренчъ.

— Я думаю, такая система, напротивъ, вселяетъ раздоръ между воспитанниками, — сказалъ Пьянковъ.

— Напротивъ, прилежный ученикъ послѣ такого срама становится отличнымъ ученикомъ, потому что его конфузили товарищи, и даже примирялся со своими врагами... Вообще, у меня мальчики учились хорошо; не было такой распушенности, — сказалъ Третьяковъ.

— А вы думаете, что у меня обучаются плохо? — вступился Пьянковъ.

Хозяинъ пригласилъ гостей выпить; заговорили о посредникахъ.

— Я думаю, по крестьянскому присутствію хорошая служба? — началъ казначей.

— Не знаю. Я слышалъ только одно, что эти люди только понапрасну бумагу переводятъ, и знаю, что въ уѣздахъ торговля находится въ плохомъ состояніи, на томъ основаніи, что многихъ крестьянъ разоряла, а маклаки стараются выжать все даромъ. Я вотъ и здѣсь замѣтилъ, что нынче уже не крестьяне продаютъ на рынокъ муку, масло и яйца, а прасолы, городскіе мѣщане, — проговорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Все это происходитъ отъ лѣности, — сказалъ Пьянковъ.

— Нѣтъ, не отъ лѣности, а оттого, что крестьяне поставлены между двухъ огней: между помѣщикомъ и посредникомъ, — горячился ассессоръ.

— И находится по-прежнему въ рукахъ становыхъ

приставовъ. Впрочемъ, я не такъ выразился: безъ насъ они ни шагу! — вкленялъ отъ себя Осипъ Андренчъ.

— Васъ, молодой человѣкъ, не спрашиваютъ, — сказалъ ассессоръ. — Я говорю про себя. Мои крестьяне, т. е. не мои, а моей жены, да это все равно, вотъ посмотрите, какъ они живутъ. Да они говорятъ: батюшка Ипполитъ Аполлоновичъ! Намъ никакой воли не надо: мы у тебя, какъ у Христа за пазухой живемъ, — ей-Богу! Ну, говорю, ступайте, молодцы, на волю, уходите прочь. Ха-ха-ха! — куда! Въ ногахъ валяются, — только оставь! я только тѣмъ и пугаю, что говорю: ступай прочь!

— Это ужъ чересчуръ строго: куда-же онъ дѣнется безъ всего я съ семьей? — сказалъ Третьяковъ.

— Смирновъ тутъ ничего не подѣлаешь. Вотъ они и боятся. И если имъ что-нибудь скажетъ посредникъ, они посылаютъ ко мнѣ старосту; я пишу посреднику — такъ и такъ, молъ; а если что, молъ, не по моему, такъ я отцу твоему пожалуюсь, а не то и губернатору.

— А что, дяденька, смирины ваши крестьяне? — спросилъ Осипъ Андренчъ.

— Смирны, какъ агнцы.

— А не бунтуютъ, какъ у насъ?

— Смиютъ! Да я имъ всю шкуру спущу. Пардонъ! — извинился ассессоръ передъ дамами и продолжалъ: — былъ у меня одинъ мужиченко, невзрачный такой, лѣнтяй. Я-бы его давно сдалъ въ солдаты, если-бы онъ былъ помоложе и не хромымъ. Ну, вотъ онъ недѣли съ три тому назадъ и давай мутить мужиковъ, что-де имъ по положенію слѣдуетъ та-же земля, которою они раньше пользовались. Тѣ и развѣсили уши: смекнули, что новую землю нужно облаживать, а прежняя немного требуетъ ухода, ну и послали ко мнѣ старосту. Я старосту прогналъ, они посреднику жалобу; тотъ пишетъ: нельзя-ли сдѣлать съ крестьянами какое-нибудь соглашеніе? Я и разувая: кто это мутитъ, и приказалъ посреднику наказать мужиченка розгами. А тотъ, что-бы вы думали, пишетъ: не имѣю правъ. Вотъ они каковы посредники! Терпѣть я ихъ не могу! Мальчишка, забіяка...

Стали пить вмѣстѣ шампанскаго пшпучую наливку; пошли поздравленія.

— И я тоже не особенно ими доволенъ, хотя у меня сынъ тоже мировымъ посредникомъ служить въ сосѣдней губерніи, — началъ исправникъ. — А именно: въ одной деревнѣ сгорѣло восемь дворовъ; говорить, былъ поджогъ. Ну, конечно, пріѣхалъ я производить слѣдствіе, потому что у насъ тамъ судебного слѣдователя еще не было. Вотъ посредникъ и дѣлаетъ мнѣ предложеніе, чтобы я въ каждой деревнѣ завелъ пожарную команду. Ну, не дуракъ-ли! Да, по моему, хоть всѣ деревни сгорѣли — все равно.

— Не горячитесь: безъ хлѣба останетесь, — сказалъ Третьяковъ.

— О, батюшка! Были-бы деньги — хлѣбъ найдется.

— А бѣдные люди какъ жить будутъ?

— Будутъ работать.

— А если работы не хватитъ?

— Хватить.

— Вижу: изъ пустого въ порожнее вы переливаете. Извините, от. Сергій, а я выпью водочки,—сказалъ сердито Зиновьевъ.

Пьянковъ всталъ, за нимъ встали и остальные.

Немного погодя, Пьянковъ и Третьяковъ распрощались съ хозяевами и уѣхали. Третьяковъ обѣщалъ прѣхать вечеркомъ съ племянницей.

— Ну, Андрей, гдѣ ты меня уложишь спать? Въ саду, что-ли?—сказалъ хозяину Зиновьевъ.

— Да и я тоже: послѣ обѣда всегда отдыхаю, — прибавилъ ассессоръ.

— А мы въ карты,—сказали исправникъ и казначей.

Черезъ четверть часа Зиновьевъ ушелъ спать въ садъ въ бесѣдку, ассессоръ ушелъ въ кабинетъ Андрея Ивановича, а остальные гости пошли играть въ палисадникъ.

Андрей Ивановичъ былъ очень веселъ, потому что имъ остался доволенъ двоюродный братъ, а это много значить. Онъ пошелъ къ женѣ, которая, сидя въ одной изъ комнатъ, кушала. Рядомъ съ ней сидѣла худощавая красивая кормилица и кормила грудью ребенка, а за столомъ сидѣли маленькія дѣти, которыя ежеминутно баловали и забавлялись не объ ѣдѣ, а о томъ, какъ-бы поскорѣе ударить на дворъ.

— А гдѣ тѣ?—спросилъ Андрей Ивановичъ.

— Старухи ушли домой, а молодые ушли въ садъ играть въ дурачки.

— Отчего это Ранса Сазонова и другіе не пришли?

— Я почему-знаю! Да и лучше.

— Да какъ? Вѣдь ихъ звали. Вотъ и этотъ скотъ, Павловъ.

— Онъ казначея не любитъ. Надо ужъ послать за нимъ.

— Не нужно... Ахъ, я забылъ совсѣмъ... Я письмо получилъ изъ Сокола, кажется, изъ монастыря.

— Опять, поди, Дарья на тетку жалуется.

— Посмотримъ, только почеркъ-то не ея... Ужъ здорова-ли?

Андрей Ивановичъ сталъ читать письмо. Еще не дочиталъ онъ и страницы, какъ лицо его омрачилось.

— Вотъ новость-то!—проговорила онъ.

Въ комнату вошли Марья Андреевна съ братомъ Осипомъ и его женой съ одной стороны и кухарка и дворникъ—съ другой.

— Ахъ, я и забылъ спросить о письмѣ!—сказалъ Осипъ Андреевичъ.

Андрей Ивановичъ дочиталъ письмо и медленно свернулъ его. Онъ теръ лобъ правой рукой и что-то обдумывалъ, а Марина Осиповна выдернула у него письмо и стала читать.

— Скажите, какая дерзость: ушла! И насъ не спросилась...—проговорила она съ досадой.

— Какъ? Дарья ушла—изъ монастыря?

— Убѣжала!—сказала Марина Осиповна такимъ тономъ, какъ будто надчеркивая ея сдѣлала убійство.

— Это ни—до!—растянула Марья Антоновна.

— Ну-съ, это дѣло васъ не касается! Идите себѣ... играйте. А вы чего тутъ торчите?—накинулся старикъ Яковлевъ на дворника и кухарку, которые

и не замедлили уйти. Остальные, кромѣ Марьи Андреевны, которая стояла съ разинутымъ ртомъ и испуганно глядѣла на родителей, приняли эту новость горячо.

— Ну, гдѣ-же она теперь?—спросилъ Осипъ Андреевичъ.

— Вѣдь, это ужасно!—проговорила Марина Осиповна и всплеснула руками.

Въ комнату вошелъ Ипполитъ Аполлоновичъ въ халатѣ и туфляхъ.

— Извините... Я пришелъ воды попросить... Что у васъ за совѣтъ?

Андрей Ивановичъ сдѣлалъ плачевное лицо, и взглядывая то на жену, то на сына, кривлялъ глазами.

— Такъ, дяденька, собрались... по-семейному,—отвѣчалъ за всѣхъ Осипъ Андреевичъ.

— А я вотъ легъ спать, да что-то сегодня не могу заснуть—видно, много поѣлъ гуся. Я гусей ѣмъ въ рѣдкихъ случаяхъ, ну, да впрочемъ, завтра поѣду, такъ протрясусь.

Ассессора стали упрашивать, чтобы онъ остался.

— Ну, не знаю. Скучно здѣсь... Я вотъ люблю послѣ обѣда немножко газетами поразвлекаться — у насъ въ палатѣ чиновники всякія газеты выписываютъ; ну, такъ я и пользуюсь на-даровщинку. А кстати ты, Андрей, письмо, кажется, получилъ отъ настоятельныхъ!..

Андрей Ивановичъ молчалъ; остальные тоже затруднились, что отвѣчать.

— Не желаете-ли вы по саду прогуляться — сказалъ Осипъ Андреевичъ.

— Ахъ, пойдите, дяденька!—сказала Марья Антоновна и вѣщивала въ ассессора.

— Съ удовольствіемъ-бы съ вами пошелъ, да боюсь: я ревматизмомъ страдаю. Ну, что, здорова-ли Даша?

— Здорова,—отвѣчалъ Андрей Ивановичъ.

— Лѣтомъ собирается къ намъ?

— Она уже уѣхала,—сказала Марина Осиповна.

— Вотъ какъ. А, да вотъ и письмо. Позвольте мнѣ прочитать... Я очень люблю читать письма отъ духовныхъ, хотя я не особенно уважаю женскія монастыри.

— Я вамъ долженъ сообщить кое-что,—сказалъ Андрей Ивановичъ и, взявъ письмо, пригласилъ идти за собой ассессора: за нимъ пошла и Марина Осиповна.

— Непріятныя извѣстія, — сказалъ Андрей Ивановичъ ассессору, когда они вошли въ кабинетъ, съ большимъ письменнымъ столомъ между двухъ оконъ, съ широкими двумя диванами у стѣнъ, съ четырьмя креслами и съ картинами изъ „Художественнаго Листка“, изображающими сцены изъ савастопольской кампаніи.

— Что, нездорова Даша?

— Здорова, но... вотъ прочитайте.

Ассессоръ прочиталъ письмо спокойно два раза, сѣлъ къ столу и, вѣроятно, воображивъ, что онъ читалъ дѣловую бумагу, замѣтилъ на немъ число, мѣсяцъ и годъ полученія, и потомъ обернулся, какъ будто-бы за справками: въ какомъ положеніи находилось до сихъ поръ дѣло по этому предмету.

— Ну-съ?—сказалъ онъ и сталъ сурово смотрѣть то на самого Яковлева, то на его жену.

— Ума не приложу!—отвѣчалъ Андрей Ивановичъ.

— Она постоянно была взбалмошная, сумасшедшая,—сказала Марина Осиповна.

— Отчего вы ее мнѣ не отдали на воспитаніе, когда ее не любите?—сказалъ ассессоръ Маринѣ Осиповнѣ.

— Да помилюте, она вамъ покою не дастъ.

— Напротивъ, она у меня гасцивала по мѣсяцамъ и я всегда ее находилъ дѣвочкой послушной, прилежной и очень смирной... Да, я такъ и зналъ, что она не уживется въ монастырѣ. Но вотъ въ чемъ дѣло: въ письмѣ сказано, что она исчезла изъ монастыря такого-то числа, а съ этого времени прошла уже недѣля.

— Можетъ быть, она у Кузьмы и Платоновыхъ.

— Очень нужно Платоновыхъ содержать дѣвицу на возрастѣ. Они и такъ тагуются Кузьмой, жалѣють ему куска мяса, хотъ онъ у нихъ все равно что писмоводитель или слуга какой-нибудь. Можетъ быть, она теперь у меня, и хорошо-бы было, если-бы она была у меня: ужъ я-бы ее не пустилъ къ вамъ. Кстати, у меня и женихъ есть. Но вотъ что странно,—настоятельница пишетъ: за нею и прежде сего водились пороки, и поставлены точки. Чортъ ихъ знаетъ, къ чему они ставятъ это многоточіе? Что они хотятъ сказать этимъ? Вѣдь она второй годъ живетъ тамъ?

— Да.

— Ну, и къ чему было посылать ее туда! Будто вы сами не могли ее обучить чему-нибудь? Руководѣнницу, что-ли, вы хотѣли изъ нея сдѣлать? Она, когда была у меня, отличную связала скатерть моей женѣ. Пѣвицу? Она и такъ хорошій голосъ имѣетъ и какъ, бывало, запоетъ „За рѣкой на горѣ“—заслушаешься. Нравственности, что-ли, вы ей хотѣли больше придать, такъ ужъ дѣло плохое, коли вы своихъ дѣтей не умѣете воспитать по закону Божию и посылаете въ чужія моря. Хотѣлось-бы мнѣ ее увидѣть: поиди, похуѣла, переиѣнилась... Э-эхъ, вы!

— Но, братецъ, вѣдь вы сами совѣтовали отдать ее въ монастырь,—сказала Марина Осиповна.

— Когда?

— Помните, какъ она у васъ гостила въ послѣднее время. Вы говорили еще тогда: какая она богомольная; постоянно въ крестовую церковь ходитъ, дома поетъ божественное, какъ архіерейскій пѣвчій; хвалили ее за руководѣе. Вотъ вы и одобрили тогда мою мысль отдать ее въ монастырь.

— Я сѣбялся, шутилъ, а вы приняли серьезно... Вы знаете, что я всегда былъ вами недоволенъ за это. Знаете вы это?

Супруги молчали.

— А что вы думаете, если она испортилась?

— Боже сохрани!

— Вотъ теперь такъ Боже сохрани. Завтра же уѣзжаю!

Кое-какъ ассессора уговорили пожить еще дня съ три, и уговорили съ тѣмъ, что если завтра отъ Дарьи не получится письма и она не пріѣдетъ сама, то, значить, она въ дорогѣ и пріѣдетъ на третій день; если-

же и на третій день ее не будетъ, то она, вѣроятно, находится у ассессора, и послѣ завтра отъ нея получится письмо. Но Яковлевы были сильно встревожены поступкомъ дочери; слова ассессора казались имъ даже чрезчуръ неприятными, и когда они вышли изъ кабинета въ другую пустую комнату, то между ними начался неприятный разговоръ.

— Всему этому ты виновата!—началъ Андрей Ивановичъ.

— Поворно благодарю! Скажите, чѣмъ это?

— Тѣмъ, что старалась сблизить ее съ рукъ, а вотъ теперь что выходитъ. Она теперь, поиди, гдѣ-нибудь голодомъ сидитъ или умираетъ...

— Не безпокойтесь, не умретъ. Ужъ коли она испортилась...

— Молчать!.. Я отецъ ей,—крикнулъ Андрей Ивановичъ.

— Да развѣ я гнала ее изъ дому?

— Ты. Кто все твердилъ: надо ее въ монастырь послать къ теткѣ? А зачѣмъ? Зачѣмъ? Зачѣмъ, чтобы она на глазахъ нетерлась. Да скажи мнѣ, ради Христа: много-ли твой отецъ далъ за тобой? скотина!.. Слава тебѣ Господи, я уже нѣмъ одного сына становымъ приставомъ, одна дочь замужемъ тоже за приставомъ...

— Очень я испугалась вашихъ ругательствъ! Припомните-ка, не вы-ли говорили: теперь меня уведили изъ страпчихъ, того и гляди отдадутъ подъ судъ, вѣдь вы кое-какъ и то съ помощью вашего брата попали въ винные пристава и вчера получили бумагу...

Андрей Ивановичъ махнулъ рукой, сѣлъ на стулъ и закрылъ лицо руками.

— Дуракъ, такъ дуракъ и есть: Даша дѣвушка красивая, мы ее выдадимъ за мужъ, благо, жениховъ много у насъ въ городѣ.

— Да! легко сказать—выдать. А за кого? За какого-нибудь пьянчужку, мѣщанина...

— А Павловъ развѣ не пьяница?.. Сами-же вы нашли Марьѣ женишка. А вотъ онъ какой почтительный, и на крестины не пришель!...

Андрей Ивановичъ всталъ, прошелся молча раза четыре по комнатѣ, подошелъ къ окну, взглянулъ въ него. Въ бесѣдкѣ играютъ въ карты исправникъ, казначей, судья и Осипъ Андреевичъ; Марья Андреевна и Марѣя Антоновна смотрятъ на нихъ; недалеко отъ нихъ бѣгаютъ въ лошади дѣти; на дворѣ бродятъ куры, въ помойной ямѣ роется свинья, около нея хрюкаютъ маленькіе поросята. Кучеръ Трифонъ стоитъ за воротами и шепчется съ какою-то женщиной.

— Не во время гость—хуже татарина,—проговорилъ Андрей Ивановичъ, отходя отъ окна.

— А для чего было звать?

— Да будьте вы прокляты!.. Сейчасъ поѣду рыбу ловить.

— Андрей Ивановичъ! Да въ своеѣ-ли вы умѣ? Сами зазвали гостей; вечеромъ соберутся казначейша съ исправничихой и дочерьми, скрипачи и еще кое-кто, а вы бѣжать... Подумайте, что про насъ говорить станутъ, да и папенька осердится.

— Я поѣду купаться.

— Вотъ выдумали! Простудиться вамъ хочется, что-ли? Пошли въ баню—облейтесь.

— По крайней мѣрѣ, помы скорѣе.

— Покорно благодарю! Ишь выдумали... Чѣмъ я буду содержать вашихъ дѣтей?

— А-а! чортъ съ вами!—сказалъ Андрей Ивановичъ, махнувъ рукой, и ушелъ въ палисадникъ.

Гости уже знали, что скоро къ Андрею Ивановичу придетъ изъ монастыря дочь Дарья, и поэтому выразили ему свою радость, что скоро увидать ее, а добрый отецъ на радостяхъ угостить ихъ пирогами. По ихъ просьбѣ Андрей Ивановичъ пришелъ къ нимъ, но игралъ разсѣянно вплоть до самаго вечера.

Описывать вечеръ не стоитъ. На немъ, кромя упомянутыхъ выше лицъ, были: жена казначея Ранса Сазоновна, пять дочерей исправника, изъ коихъ самой младшей было восемнадцать лѣтъ, а старшей тридцать одинъ годъ, дѣвицы некрасивыхъ, чахоточныхъ, секретарь и застѣватель уезднаго суда, инвалидный начальникъ, смотритель училища съ двумя учителями и два скрипача, которые съ девяти часовъ пилили на своихъ скрипкахъ. Подъ эту музыку въ залѣ происходили танцы. Больше всѣхъ былъ веселъ, повидному, ассессоръ, который то и дѣло танцевалъ съ Мареей Антоновной, расточая ей любовности и цѣлуя у ней руку послѣ каждаго танца, такъ что хозяйка какъ-будто забыла на время свое горе, и, подходя къ играющимъ въ карты, говорили, что дяденька совсѣмъ отбилъ отъ нихъ Осипа жену.

— Ну, и вашъ-то Осипъ тоже не промахъ: съ казначейшей танцуетъ,—отвѣчала одна изъ дочерей исправника, какъ-бы съ досадой.

Ровно въ два часа гости разъѣхались, а Андрей Ивановичъ, уложивши спать дядю, сына и всю семью, ушелъ тоже спать въ садъ, въ бесѣдку.

#### IV.

Дѣвушка, показавшаяся вскорѣ по отъѣздѣ отъ Яковлева гостей около будки, пошла по направленію къ яковлевскому дому. Въ это время, въ половинѣ третьяго часа, ее хорошо было можно различить. Она была средняго роста, худощавая, съ блѣдными щеками, въ которыхъ очень ясно замѣчались ямочки, точно она или мало ѣстъ, или мало ходитъ и изнурена какою-нибудь тяжелою, непріятною работою; большіе голубые глаза глядѣли какъ-то задумчиво-сосредоточенно, съ какою-то въ то-же время тревогою, а маленькія ноздри ея немножко неправильнаго носа часто расширялись, какъ-будто отъ тяжелыхъ вздоховъ; тонкія губы ея были сжаты какъ-то особенно, точъ-въ-точъ какъ это дѣлается многими, когда имъ нанесли какую-нибудь обиду и они, какъ говорится, скрѣпя сердце, силятся перенести эту обиду молча. Но несмотря на это и на то, что изъ-подъ шляпки безпорочно выпадали на невысокій и неширокій лобъ дватри пучка черныхъ волосъ, несмотря даже на навѣшную на лицо пыль, лицо это было хотя и не очень красиво, но въ немъ не было не только ничего отталкивающего, напротивъ, оно было привлекательно, такъ что глядя на него чувствовалась къ этой дѣвушкѣ невольная симпатія и какое-то участіе, словно она въ

жизни перестрадала очень много и много видала людей. Она одѣта просто: на головѣ круглая черная плетеная шляпка, съ коротенькимъ чернымъ вуалетъ, который теперь закинутъ на верхушку шляпки; поверхъ ея сѣренькаго съ клѣточками ситцеваго платья надѣтъ сѣрый бурнусъ, съ обшивками на карманахъ и обшлагахъ каменными гремушками; на ботинки надѣты кожаные галоши, но онѣ мало спасаютъ отъ грязи, и ботинки уже пострѣли отъ нея.

Не всѣ еще караульщики ушли спать по домамъ. Едва дѣвушка прошла отъ будки пять домовъ и подошла въ углу, какъ съ лавочки, сдѣланной у завалинки, всталъ плотный мужчина въ старомъ замаранномъ известкой картузѣ, съ краснымъ лицомъ, узкими заспанными глазами, въ ваточной женской душегрѣлкѣ, покрытой ситцемъ (родъ шугайчика), въ толстыхъ изгребныхъ синихъ, запачканныхъ въ известкѣ, штанахъ и въ подобіи большихъ галошъ, образовавшихся изъ сапоговъ, отъ которыхъ обрѣзаны голенища. До сихъ поръ онъ сидѣлъ на лавкѣ дремая, а его сучковатая березовая палка и трещотка лежали около него, но разбуженный недавно проѣхавшими гостями Яковлева, онъ всталъ, крестилъ ротъ, почесывался и угромо смотрѣлъ на покрывающіеся пурпуромъ востокъ. Онъ медленно всталъ, потянулся, взялъ палку и трещотку и подошелъ къ дѣвушкѣ. Та посторонилась.

Мужчина пристально сталъ глядѣть на дѣвушку.

— А-а! Откуда изволили явиться, барышня?—проговорилъ онъ не то съ радостью, не то съ удивленіемъ.

— Здравствуйте, Миронъ Мирончъ!—сказала дѣвушка тоненькимъ серебристымъ голосомъ.—Здоровали Настенька?

— О-охъ, Дарья Андреевна!... Померла прошлую зиму. Крепечкой воды выпила—простудилась и померла. А вы, я слышалъ, будто въ монахи постриглись?

— Нѣтъ, я вродѣ воспитанницы жила.

— Такъ. А то говорили, будто вы ужъ совсѣмъ съ собой порѣшили. Моя Наталья и теперь все ворчитъ на вашего батюшку... Не во гнѣвъ будь вамъ сказано, и родители-то ваши больно ужъ жестоко поступили съ вами.

— Здоровы-ли они?

— Чего имъ дѣлается. Вонъ вчера у нихъ крестны были; всю ночь плясали. Отсюда было слышно, какъ у нихъ скрипки пиликали. Ребенку и шести недѣль нѣту, а они пляску. Страшъ. Для баловъ-то они ужъ теперь дѣтей пристроили внизъ, возлѣ кухни... А вы-бы, Дарья Андреевна, пошли ко мнѣ, уснули, а завтра къ нимъ; потому тамъ теперь всѣ спятъ; у всѣхъ, поди, голова болитъ.

— Покорно благодарю... Я пойду внизъ; не буду тревожить старшихъ.

Дѣвушка поклонилась и пошла: мужчина постоялъ еще немного и ушелъ въ свой дворъ.

„Все такой же!“—думала Дарья Андреевна. „А Настя-то! Ахъ, какъ жалъ!... Какія ны съ ней приятницы были; сколько я отъ родныхъ изъ-за нея непріятностей имѣла: ты, говорили, дворянка, а она дочь мѣщанина, мужичка... Сколько-бы я ей теперь

поразказала всего, что я испытала въ это время... Что-то Иванъ подблизаетъ?..."

Идетъ она и смотритъ на дома. Все такіе-же; никакой перемены не замѣтно, только вотъ черемуха да рябина, кажется, подросли немного. И дома все знакомые; во многихъ она бывала, знаетъ, какъ тамъ люди до отъѣзда жили. Какъ-то они теперь живутъ? Вонъ въ этомъ домѣ, что направо, дѣвущку Катерину, назадъ тому три года, насильно выдали за-мужъ за пѣтуха, то-есть такого человѣка, котораго физіономія соответствовала этому названію: лицо корявое, съ длинными острыми носомъ, съ рыжими, вѣчно сбившимъ волосами; онъ и пьяница, и драчунъ. Молодая его жена съ годъ терпѣла побои мужа, потомъ стала отъ него бѣгать, красть, и когда ужъ сдѣлалось невтерпѣжъ, пошла къ ней совѣтоваться: ей хотѣлось убить или отравить мужа и только она, Дарья Андреевна, удержала ее отъ этого, тѣмъ болѣе, что у нея былъ ребенокъ. Вотъ нѣтъ житья ищанинъ-конокрадъ, который уже нѣсколько разъ былъ подъ судомъ, но котораго постоянно выручали изъ бѣды его отецъ, бывши стряпчимъ, за то, что онъ шилъ ему сапоги.

Вотъ и родной домъ, гдѣ Дарья Андреевна родилась и выросла. Отъ воротъ къ серединѣ улицы и посреди ея замѣтны слѣды колесъ; ворота закрыты; въ сканеечкѣ у заплота никого нѣтъ; легкій вѣтерокъ шевелитъ листья на деревьяхъ, отчего они чуть-чуть шумятъ; гдѣ-то начинаютъ чирикать птички, откуда-то послышалось кваканье лягушки и заволо... Тихо въ дому, тихо на площади, вокругъ которой насажены березы и въ серединѣ которой стоитъ невысокая и небольшая старинная церковь; гдѣ ея, сквозь верхушки березъ, виднѣется багровый полукругъ восходящаго солнца, обливающего небо сверху и по сторонамъ ало-розовымъ цвѣтомъ... Дарья Андреевна пошла къ углу, обогнула его. Направо и нѣтъ отъ площади переулка не было, а направо на площадь выходили трехъ и двухъ-оконныя старенькія домишки съ заплотами, за которыми хребетъ не видѣлось; нѣтъ отъ дома Яковлева нѣтъ садъ трехугольникомъ, такъ что правая сторона церкви была напротивъ сада, и какъ разъ противъ церковнаго крыльца изъ-подъ заплота сада текла мадонькій ручеекъ, который текъ дальше въ направленію алтара церкви, и далѣе впадалъ въ большой прудъ. За церковью и за оврагами, которыми за прудомъ насчитывалось нѣсколько, строений было уже мало, да и то болѣею частью новыя или въломоченныя. За этими постройками начинается городское кладбище. Дарья Андреевна, помолвившись за церковь, подошла къ крайнимъ, ближнимъ къ саду угламъ дома. Самое крайнее было завѣшано бѣлою занавѣскою, и такъ-какъ она была коротка, то еще красное шалью; на окнѣ съ двойными рамами и съ рѣшотками стояли между занавѣсками бутылка безъ горлышка съ салынымъ огаркомъ и чаша нея, какъ-будто-бы улика неосторожности каго-то, стояла значительно покосившійся и сильно изогнувшійся оловянный подсвѣчникъ, два пузырька, жѣта и клубокъ съ шерстью. Два другія окна, ближнія къ крыльцу, выходящему на площадь, были до половины заглазаны, такъ-что сквозь стекла ничего

не видно. Дверь крыльца съ черною круглою дощечкою, на которой было написано: „Увѣднй Судъ“, была закрыта. Хотя-же въ углу площади заплота и сдѣлана калитка, но и она тоже закрыта изнутри, такъ что ни въ домъ, ни въ садъ не было никакой возможности попасть.

Дарья Андреевна постояла задумчиво нѣсколько минутъ. Сердце ея билось скоро, его точно щемило; въ головѣ ея только и было: „хоть куда чужая! что-то скажутъ?“ Она глядѣла то на домъ, то на садъ, не то испуганно, не то стыдливо; ей было какъ-то неловко съ ея уломи; такъ и казалось, что она какъ будто сама не своя, что она какъ будто сдѣлала что-то нехорошее и ей нечего ждать за свой поступокъ пощадъ... Ей бросилась въ глаза дыра подъ заплотомъ, откуда течетъ ручеекъ и откуда выплзала большая бѣлая лягавая собака, и она пошла туда, но на нее, какъ на непрощенную гостью, накинулась собака съ лаемъ, и она избавилась отъ нея только тѣмъ, что бросила ей небольшой кренделекъ, который та только понюхала, вильнула хвостомъ и съ лаемъ пошла на середину площади.

„Нѣтъ... такъ только воры лаятъ. А я пришла домой, къ родителямъ“, — подумала Дарья Андреевна, и ей сдѣлалось такъ грустно, что она едва-едва не заплакала и опять пошла къ дому. Тамъ, изъ одного угла, закинувши за себя край занавѣски и шали, выглядывала какая-то старая черномазая женщина, съ растрепанными черными волосами, въ рубакѣ и въ антарныхъ бусахъ на шеѣ. Дарья Андреевна стала подходить къ окну; но женщина вдругъ какъ будто испугалась и скрылась. Занавѣска приняла прежнее положеніе. Дарья Андреевна постучалась въ окно. Никто не шелохнетъ занавѣской.

„Это, должно, быть, кухарка, Афімья, должно быть, стѣнникъ, а эта меня не знаетъ“, — подумала она и хотѣла идти къ воротамъ, а потомъ, если тамъ не достучится, то къ протопопу Сергію, который прежде очень любилъ ее. Вдругъ она услышала стукъ въ окно.

— Чего тебѣ? — послышался оттуда охрипый голосъ.

— Пусти.

— Ты чья?

— Я — Дарья Андреевна.

Женщина оскалила зубы и быстро исчезла. Немного погодя, она отворила калитку, закрытую не на замокъ, но на защелку и припертую вѣстѣ съ воротами толстою жердью на полтора аршина отъ земли.

— Вы... барышня? — спросила женщина, вставъ въ дверяхъ.

— Да, я дочь.

— Вы изъ монастыря?

— Да. Спать папаша и мамаша?

— Спать, поди. Умалитъ съ крестинъ-то.

Женщина пропустила Дарью Андреевну, съ любопытствомъ заглядывая ей въ лицо, и засунувъ за скобку жердь, пошла за нею. Дарья Андреевна хотѣла-было идти наверхъ, но женщина ее остановила.

— Вы туда не ходите — не добудитесь, потому некому отпереть. Какъ этотъ толстопузый гость пріѣхалъ, такъ съ этого хода перестали и днемъ ходить, а ходятъ или съ параднаго, или съ кухни. А вы по-

жалуйте въ дѣтскую. Что-жъ вы, барышня, на крестины-то не пріѣхали?—говорила женщина.

— А вы кухарка?

— Кухарка: да не во гнѣвъ будь вашей милости сказано, барыня-то ужъ больно привередливая; все не по ей. Обижаетъ очень. Такая, что не приведи Богъ... Нехорошая... Все хочетъ, чтобы ей какъ-нибудь даромъ... А вы хоть ей передавайте, хоть нѣтъ, нѣтъ все равно; я никого не боюсь; теперь я не крѣпостная. А што этотъ дворникъ дѣлаетъ, такъ это тоже...—говорила кухарка. Отъ нея пахло очень рѣзко водкой.

Въ сѣняхъ, откуда вела лѣстница наверхъ и было два хода въ кухню, въ дѣтскую и кладовыя, въ этихъ сѣняхъ было и грязно, и сыро. Дарья Андреевна вошла въ кухню, потому что дверь въ дѣтскую была заперта, а нянька, по отъѣзду кухарки, спала. Изъ кухни онѣ вошли въ коридорчикъ, въ который шелъ сверху ходъ, загроможденный какими-то коробками и корзинами, наполненными грязными бѣльемъ и какинь-то хламомъ; отсюда вошли въ дѣтскую. Въ первой комнатѣ, съ двумя окнами, съ замазанными до половины стеклами въ рамахъ, спали меньшія дѣти Андрея Ивановича и Осипа Андреевича: Александра спала, разметавшись поперекъ кровати, свѣсивъ съ нея ноги, и если-бы она еще разъ перевернулась, то непременно упала-бы на полъ; противъ нея спала на кровати, лежа на лѣвомъ боку, Марья Андреевна и краѣмъ; Владиміръ обнималъ Павла, но они спали такъ тихо, что ихъ дыханіе не слышно было; Евламія спала тоже на отдѣльной кровати. Дарья Андреевна подошла къ сестрѣ, посмотрѣла на нее и подумавъ: „какъ она потолстѣла“, поцѣловала ее въ щеку, но Марья Андреевна, утерши щеку рукой, потянулась и перевернулась на другой бокъ.

— Не троньте ея; она всѣ ноги себѣ отпоясала. Завтра не добудитесь, — проговорила кухарка, укладывая Евламію, какъ слѣдуетъ. — Барыня-то ей поручила дѣвочку, а она сама едва до кровати добралась. Не хотите-ли, барышня, закусьте? Хоть барыня-то и велѣла все спрятать, да я малу толику утаила, потому цѣлый день не ѣвши.

— Нѣтъ я не хочу.

— Поѣшьте, а то завтра обѣдъ-то поздно будетъ, потому этотъ толстопузый поздно обѣдаетъ, а барыня дастъ ѣсть всѣмъ въ одну пору.

Дарья Андреевна отказалась ѣсть.

— Такъ вы лягте.

— Я спала; вы идите спать.

Кухарка что-то проворчала и ушла, крѣпко хлопнувъ дверью.

Въ другой комнатѣ, въ зыбкѣ, прицѣпленной за тонкую жердь, вдернутую въ кольцо у потолка и называемую очепомъ, спалъ ребенокъ; кормилица-нянька тоже спала, храпя на всю комнату; на полу спала какая-то старуха и около нея лежала кошка съ подушкой и чей-то зипунъ. Дарья Андреевна открыла люльку, тамъ спалъ спеленатый ребенокъ, держа во рту рожокъ, положенный на маленькую подушечку. „Какой хорошенькій!“ — сказала Дарья Андреевна, поцѣловала ребенка, который пробудился и запла-

калъ. Въ комнату вошла кухарка и стала качать зыбку.

— За всѣми ухаживай! Наняли потаскушу, а она только спать... нажрется и спать! День-то весь бѣгаешь, какъ толчея, на мѣсто даже не присядешь. Какъ вечеръ придетъ, немного полегчаетъ, думаешь: ночью высыплюсь. А нѣ вотъ и спи... А еще сама говорить: ты, Степанида, въ дѣтской спи. И по ночамъ сюда ходитъ... Будто я крѣпостная или потаскуша: тутъ-ли, молъ, я, не сплю-ли! Ей-Богу, если-бы не рубль—ушла-бы. Да вы лягте.

— Я выпалась.

Ребенокъ замолчалъ и кухарка сѣла на постланное.

— Это вотъ тоже нянька Осипа Андреевича, — рекомендовала кухарка спящую на полу лицомъ къ стѣнѣ женщину. — Ей-Богу, если-бы я была помоложе, непременно пошла-бы въ няньки. Спи себѣ дитя не свое. Только ужъ у меня нравъ дурацкій: люблю я больно ребятъ, жалко мнѣ, какъ они кричатъ.

Дарья Андреевна, снявши бурнусъ и положивши узелъ, пошла изъ комнаты.

— Вы куда? Не ходите — осердятся: онѣ и такъ даве что-то васъ поминали и сердились, — сказала кухарка.

— Я пойду въ садъ.

Дарья Андреевна вышла во дворъ. Тамъ изъ повозки слышался чей-то храпъ; на передкѣ спалъ большой сѣрый котъ. Когда Дарья Андреевна подошла къ повозкѣ, котъ открылъ глаза и умильно посмотрѣлъ на нее.

— Вуско! Бу-уско! ты еще живъ, старичекъ! — проговорила она, глядя кота, который при первыхъ ея словахъ хитро глянулъ на нее, но потомъ вскочилъ и убѣжалъ въ каретникъ.

Въ бесѣдкѣ палисадника замѣтны были слѣды вчерашняго развлечения: на песку валялись окурки напиростъ и сигаръ, скамейки стояли въ безпорядкѣ, на столѣ лежали въ разбросъ карты и марки, сдѣланные изъ картъ, и обозначались два свѣжихъ круга отъ пивныхъ стакановъ. Но въ палисадникѣ хорошо, небо чисто, въ воздухѣ тихо; вѣтерокъ только шевелитъ верхушки деревьевъ и до-низу не проникаетъ, пахнетъ отъ цвѣтовъ, — такъ-бы и не вышелъ изъ него; однако, Дарья Андреевна пошла дальше. Лишь только она прошла палисадникъ, передъ нею открылся большой запущенный садъ: какъ природа создала деревья, такъ они и росли; тутъ было всего двѣ аллеи-дорожки: одна по бокамъ сада, около заплота, а другая шла въ серединѣ; вѣвствѣ съ березой росли осина, сосна, тополь, рябина, черешуха и между ними малина. Кое-гдѣ просвѣчивала сквозь траву вода, виднѣлись камни, желтые и голубые цвѣточки; красива и репей росла вездѣ въ огромномъ количествѣ; только и замѣтно было человѣческое вѣшательство въ томъ, что въ саду кое-гдѣ были насажены яблони, сливы, груши, розы, крыжовникъ, смородина, клубника на грядкахъ и сирени, которыя уже цвѣли. Здѣсь уже замѣтно слышался шелестъ листьевъ, и не совсѣмъ ясно доходило щебетаніе птичекъ, какъ будто онѣ пѣли гдѣ-то далеко. Разстояніе отъ того мѣста, гдѣ вончался палисадникъ, и до заплота налѣво

было занято огородами, въ серединѣ котораго стояла деревянная баня съ двумя небольшими окнами въ четыре стекла каждое. Эту баню окружали гряды, сдѣланныя по направлению къ югу и востоку; на нихъ уже начали всходить всевозможные овощи; недалеко отъ заднихъ построекъ устроено нѣсколько парниковъ для огурцовъ, закрытыхъ оконными, годными къ употребленію рамами; около заднихъ построекъ сдѣланы тоже гряды, и отъ нихъ поставлены къ постройкамъ тычинки—тутъ растутъ тыквы и арбузы.

Весело сдѣлалось Дарьѣ Андреевнѣ. „Чего-чего только тутъ не насажено! Каковъ-то нынче будетъ урожай. И какъ хорошо здѣсь, тихо; ничто не мешаетъ расти этимъ овощамъ“, думала она. Но вотъ застучали копытami лошади, промчался корова, пропѣлъ петухъ. „Здѣсь тихо, здѣсь растенія, а тамъ—тамъ жизнь съ заботами и безпокойствами“, проговорила она про себя и пошла, думая о томъ, какъ она въ тяжелое время, когда ее бранили и корили, уходила въ этотъ садъ лѣтомъ, и ей казалось хорошо, или по крайней-мѣрѣ легче дышалось, точно съ ея плечъ сваливалось что-то тяжелое; ей было весело бродить въ этомъ заброшенномъ саду съ толстыми, высокими деревьями, и тяжело казалось возвращаться домой, гдѣ ворчать, кричать и смотреть на нее недовольно.

Изъ огорода она пошла въ садъ по узенькой тропинкѣ. Этому тропинкой дошла она до пруда, нѣбольшаго сажень пятнадцать длинны, и въ самой серединѣ сажень шесть ширины; прудъ тоже былъ заброшенный. Вокругъ пруда на полянкѣ растутъ желтенькіе и голубые цвѣточки, а передъ бесѣдкой на небольшой площадкѣ насажены георгины, настурции и другіе цвѣты. Вода въ прудѣ покрылась плѣсенью по краямъ; у противоположнаго берега играетъ рыба и чавкаетъ траву карася.

Дарья Андреевна сѣла къ пруду, закурила папироску и задумалась. Долго она сидѣла въ такомъ положеніи: ей хорошо было; хотѣлось припомнить прошлое, но глаза ея смыкались, вѣтерокъ уносили, сильнѣе шелестели листья и вѣтки деревьевъ, кустовъ и шевелили ея волосы; солнышко уже не было багрово, а стояло надъ самыми верхушками дальнихъ деревьевъ, и ослѣпительно бѣлымъ, бездоннымъ кружкомъ отражалось въ водѣ. Ничего неидетъ въ голову; такъ бы и сидѣла тутъ... Вдругъ что-то шевельнулось въ травѣ и кто-то прыгнулъ въ воду; Дарья Андреевна вздрогнула, но замѣтивъ лягушку успокоилась. Опять она задумалась, и вдругъ вскричала: лягушка была недалеко отъ нея и какъ будто нахлѣвалась вскочить ей на плечо. „Злая противная! Отчего я боюсь ихъ? вѣдь онѣ не кусаются“, подумала она, и сѣла ближе къ бесѣдкѣ. Но не просидѣла она и пяти минутъ, какъ услышала отсюда кашель. Хотя въ боку бесѣдки и было сдѣлано окно, которое было отворено, но она въ ней никого не замѣтила, потому что бесѣдка съ трехъ сторонъ была окружена густыми кустами шиповника, и ее отсюда изъ за деревьевъ видно не было.

Дарья Андреевна вздрогнула и подошла къ бесѣдкѣ. Дверь бесѣдки была заперта изнутри на врысочиненія о. раштинникова, т. II-й.

чокъ; въ полуотворенное окно Дарья Андреевна увидѣла слѣдующее: Андрей Ивановичъ лежалъ на широкой скамейкѣ, на тифакѣ, покрытой простыней, лежалъ онъ на спинѣ въ шерстяномъ, свѣромъ халатѣ и ермолкѣ на головѣ, и курилъ изъ длиннаго чубука, трубка котораго касалась его ногъ. Онъ то глядѣлъ въ потолокъ, шевеля передъ лицомъ пальцами правой руки, то закрывалъ глаза, то скрежеталъ зубами, то морщилъ лицо. Передъ нимъ на столѣ стояли: чернильница съ принадлежностями, бутылка съ какимъ-то наливкой, тарелка съ огурцомъ и жаренымъ карасемъ, кيسетъ съ табакомъ, коробка спичекъ, кусокъ бѣлаго хлѣба, нѣсколько пакетовъ, уже распечатанныхъ, и какое-то письмо. Покуривъ немного, Андрей Ивановичъ взялъ со стола письмо и, прочитавъ немного,—проговорилъ:

— Каналья! Вамъ только пяти денеги!... Отлично! Нѣтъ; я еще самъ пойду; я съ тебя взыщу за Дарью.

И онъ привсталъ, взялъ бутылку и отпилъ изъ горлышка.

— Я вамъ всѣмъ утру носъ! Это ты врешь, что она убѣжала...

— Папаша... — проговорила робко Дарья Андреевна.

Яковлевъ вздрогнулъ, перекрестился и посмотрѣлъ въ окно. Тамъ стояла Дарья Андреевна.

— Даша! ты ли это? — привставъ, проговорилъ отецъ.

— Я, папаша.

Яковлевъ отперъ дверь.

— Папаша, простите ли вы меня!... — сказала Дарья Андреевна и заплакала.

Андрей Ивановичъ обнялъ дочь, поцѣловалъ и самъ заплакалъ.

— Милая ты моя... Какъ это... А?... — говорилъ онъ, смотря на дочь.

— Терпѣнія не хватило, папаша. Послѣ я вамъ все расскажу... Вы на меня не сердитесь за то, что я уѣхала отсюда?

— Вотъ еще... А ты что же не писала?

— Я писала... Я думала, вы знаете все.

— Да я ничего отъ тебя не получалъ ужъ съ полгода и сердился; а Марина Осиповна все говорила, что ты нарочно не хочешь писать.

— Это, папаша, настоятельница перехватывала письма. Я узнала уже послѣ того, какъ отправила съ служителемъ къ вамъ письмо. Я тогда писала, что мнѣ не хочется больше жить въ монастырѣ, вотъ она дни черезъ два и давай меня пилить, что я негодная дѣвчонка, веду себя не хорошо, смущаю другихъ воспитанницъ и молодыхъ монахинь, ничего не дѣлаю, развратничая, обжираясь...

И она заплакала.

Андрей Ивановичъ сжалъ кулаки, опять выпилъ изъ бутылки и закусилъ рыбой.

— У васъ, папаша, и вилокъ-то нѣту. Я пойду принесу.

— Не надо... А то опять не оберешься укоровъ. Ну, а деньги-то у тебя были ли?

— Виновата, папаша, я заняла у старушки-чи-



новыми пять рублей, и до губернского города ъхала съ обовами.

— У Кузьмы была?

— Два дня пробыла... И что за жизнь, папаша, Кузьм! Утромъ встанетъ — сапоги надо вычистить самому, потомъ переписать кое-что, послѣ обѣда дѣтей обучать, вечеромъ опять бумаги переписывать...

— Нелзя: Платоновы намъ всегда пригодятся.

— Но, папаша, Кузьма говоритъ, что ему некогда готовить свои уроки. Вотъ его хотятъ оставить въ пятомъ классѣ еще на годъ.

— А что жъ такое? Стукнетъ ему семнадцать лѣтъ, и на службу опредѣлимъ.

— Все же бы лучше, еслибы онъ кончилъ въ гимназій.

— Онъ и теперь ужъ много знаетъ, и теперь ужъ у него въ письмахъ замѣтна какая-то прыть и самонадѣянность. Исполнитъ уже общаетъ ему мѣсто помощника въ своемъ отдѣленіи, а это много значить, матушка. Нынче и чиновники безъ мѣстовъ шляются. Вотъ что. Надо успѣвать, покуда я живъ да дядя на службѣ; а онъ вездѣ можетъ мѣсто выпросить. Вотъ хотъ бы я теперь изъ стряпчихъ уволился, отдалъ-было подъ судъ, да спасибо — дядя хлопоталъ, освободили отъ суда, и вотъ я теперь винный приставъ. Была ты у Анны Николаевны?

— Была, да она такъ сухо приняла меня, что я недолго у нея сидѣла.

— Напрасно. Ты ей должна всячески угождать; она хотя и чванливая барыня, съ душкомъ, но для тебя всегда пригодится.

— Не думаю.

— То-то вотъ и скверно, что вы съ любезнымъ братчикомъ все по своему... Это нехорошо. Ссориться никогда не слѣдуетъ, потому что ты еще и жить-то не начала, все тебя еще, такъ-сказать, на помочахъ держать...

— Я, папаша, хочу попытаться жить сама собой, — проговорила чуть слышно отъ робости Дарья Андреевна.

— Ты должна то имѣть въ виду, что вѣдь у меня завалищикъ денегъ нѣтъ; ей-Богу, у меня всего капитала три серіи, да рублей съ пятьдесятъ мелкими... И удивительнаго тутъ нѣтъ ничего, если взять во вниманіе, что у меня что ни годъ, то ребенокъ, а ребенка-то надо тоже кормить, воспитать, пристроить къ мѣсту. А это дѣлается не духомъ святимъ, за каждую малость надо платить деньгами, а тутъ еще дыры по службѣ, и каждая такая дыра замазывается сотней, а гдѣ и побольше.

Андрей Ивановичъ замолчалъ и опять выпилъ.

Дарья Андреевна слушала со вниманіемъ. Она не плакала, но лицо ея было серьезно. Ей казалось, что отецъ читаетъ ей нотацию, и въ то же время излагаетъ свое горе и выворачиваетъ передъ нею душу, чего съ нимъ прежде не бывало. „Господи“, подумала она: „какъ онъ опустился!“ Правда, онъ и прежде былъ много; но тогда онъ рѣдко говорилъ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ домохозяевъ. Неужели отецъ дошелъ до такой бѣдности?

— Ты ни съ кѣмъ еще не выдалась здѣсь? — спросилъ послѣ выпивки Андрей Ивановичъ.

— Нѣтъ, папаша. Правда, я видѣла Маму, но она спитъ и я не стала ее будить. Нанька или кормилица тоже спитъ.

— Ну, ничего. А ты бы легла съ дороги-то: я уйду, лягу въ каретникъ или повозку.

— Нѣтъ, я спала.

— Ну, полно. Къ намъ пріѣхалъ дядя; онъ хочетъ тебя съ собой взять. Но я не хочу, чтобы ты уѣхала такъ скоро.

— Нѣтъ, папаша, вовсе не хочется гостить у него.

— Глупости говоришь.

— Я, папаша, хочу сама попробовать жить: я буду шить на сторонѣ...

— Что такое? Я что-то не расслышала.

— У меня въ городѣ Соколѣ есть знакомая двѣнца-чиновница, такъ она шьетъ на гостинный дворъ.

— И живетъ непременно на содержаніи, какъ у нашего застѣдателя Петрова?

— Нѣтъ, папаша, она живетъ съ матерью, бѣдною старушкою.

— Да ты сумасшедшая, что ли? Ты, дочь бывшего стряпчего, и вдругъ будешь шить на продажу! Господи! вотъ я до чего дожилъ!.. Моя дочь, моя кровь и плоть — работница! Не будешь ли ты еще чулки вязать на продажу? бѣлье стирать? — почти кричалъ отецъ. Щеки его побавровѣли.

Дарья Андреевна не нашлась, что отвѣтить отцу. Скажи она еще какое-нибудь слово въ защиту своего плана, она бы услышала или проклятіе, или еще что-нибудь хуже. Отецъ становился злымъ.

— Говори! Говори, кто тебя научилъ такимъ бреднямъ?.. А! тебѣ не нравится отецъ! Нѣтъ... Боже мой!! Уже не правда ли все то, о чемъ мнѣ пишутъ!..

Дарья Андреевна встала на колѣни, заплакала и сквозь слезы проговорила:

— Папаша, хотъ вы-то не обижайте меня!..

— Скажите! А ты меня не обидѣла?

— Я только сказала, что думаю. Я потому такъ думаю, что видѣла многихъ женщинъ, которые и безъ мужей зарабатываютъ себѣ хлѣбъ.

— И я знаю ихъ: то — крестьянки, мѣщанки, развратницы. Прошу выкинуть изъ головы подобныя намѣренія и никому не смѣй высказывать ихъ. Въ противномъ случаѣ я тебѣ не отецъ и ты мнѣ не дочь... Часъ отъ часу не легче! — проговорилъ отецъ, выходя изъ бесѣдки.

— Папаша...

Отецъ остановился.

— Я пойду въ домъ.

— Тамъ всѣ спятъ. Ради Бога, ты никому не рассказывай своихъ бредней... Я сейчасъ принесу тебѣ вина и закуски какой-нибудь, потомъ ты ляжешь спать. Я скажу всѣмъ, чтобы тебя не будили... Вѣдь кромѣ кухарки никто еще не знаетъ, что ты здѣсь! Надо ихъ приготовить.

И онъ ушелъ.

V.

Фамилія Язовлевыхъ въ Ильинскѣ издавна, если не играла особенно-видной роли, то была въ почетѣ



и уваженіи. Такъ прадѣды нѣмѣнскихъ Яковлевыхъ хотя были просто дьячокъ, но всѣ его уважали за доброту, услуги и простоту. Такого добряка, говорить, никогда еще не бывало въ родѣ Яковлевыхъ. Дѣды нѣмѣнскихъ Яковлевыхъ были дьяконъ, отецъ — мѣщанинъ, который сперва торговалъ въ городѣ муккой, крупной и въ голодные дни снабжалъ бѣдныхъ горожанъ грошовыми подачками, а потомъ, послѣ пожара, уничтожившаго весь его товаръ, все имущество и деньги, поселился въ слободѣ, гдѣ его отецъ, страстный рыболовъ, нѣлъ свой домъ. Здѣсь то вотъ и родился Андрей Ивановичъ и прожилъ тутъ восемь лѣтъ до тѣхъ поръ, когда его отецъ, разбогатѣвши рыбной торговлей, сдѣлался купцомъ и перѣхалъ ради своихъ расчетовъ и прибылей въ городъ. Бѣдность отца, котораго не очень долюбливали родные за то, что онъ промѣнялъ духовное званіе на мѣщанство, пока онъ былъ бѣденъ, значительно тяготила его большое семейство и много вліяла на характеръ маленькаго Андрея. Его постоянно били, мало кормили и больше держали на улицѣ, такъ что къ восьмому году Андрей Ивановичъ совсѣмъ отбился отъ дому, бѣгалъ, игралъ и плакалъ съ ребятами, буянилъ, дрался, лгалъ и воровалъ наравнѣ съ прочими мѣщанскими дѣтьми и наравнѣ съ ними получалъ за свою удачу побой. Еще къ восьми годамъ онъ научился презирать баричей, и для него было большимъ удовольствіемъ что-нибудь напакостить въ городѣ, хоть бы напригнѣвъ разбить окно. И чѣмъ больше его драли, тѣмъ больше его тянуло въ городъ. Лишившись матери на четвертомъ году, онъ находился подъ опекой мачихи, которая нисколько его не любила, и потому рано возненавидѣлъ и мачиху, и тетушекъ, и всю женскаго пола родню, а отъ своихъ сестеръ, которыхъ у него было двѣ, ему нечего было ждать чего-нибудь хорошаго, такъ какъ онъ былъ старше. Его не любили всѣ родные, которые находились въ Ильинскѣ: всѣ видѣли въ немъ какого-то сорванца, котораго опасно пустить въ домъ. Въ Ильинскѣ же росъ двоюродный братъ Андрея, Ипполитъ, но Андрей ненавидѣлъ его за то, что онъ сынъ исправника, а Ипполитъ презиралъ Андрея, какъ сына мѣщанскаго. Но, не смотря на такой буйный характеръ, Андрей былъ мальчикъ домашній, смиренный, бойкій и къ восьмилѣтнему возрасту уже зналъ четыре правила арифметики, хорошо читалъ и умѣлъ писать, тогда какъ Ипполитъ только что на девятомъ году сталъ учить азбуку. Когда же отецъ сдѣлался купцомъ и перѣхалъ въ городъ, то Андрею до того стало противно жить въ городѣ, гдѣ приходилось глѣзнуть только на стѣны домовъ и не было такого простора, какъ волинъ самой рѣки и на рѣкѣ, что онъ черезъ недѣлю убѣжалъ въ слободу, гдѣ его насилие смывали. Послѣ этого онъ часто бѣгалъ, его приводили назадъ, наказывали и запирали въ комнату, какъ преступника.

Судя по этому, можно было заключить, что мальчику никогда и не придется быть чиновникомъ. Но вышло напротивъ, и тому причиной было одно обстоятельство, устроившее его судьбу иначе. Записавшись въ купцы, отецъ его года два ни съ кѣмъ не хотѣлъ подружиться, хотя и пошевелѣ долженъ былъ

имѣть сношенія съ чиновниками, когда бралъ различные подряды. Онъ былъ человѣкъ практическій, но за то плохо смыслилъ въ письмѣ и его очень легко было напоить до-пьяна, уговорить, выпросить денегъ или подбить на какое-нибудь рискованное дѣло. Вотъ онъ и захотѣлъ обучить своего сына грамотѣ, т. е. обучить его въ губернскомъ городѣ какимъ-нибудь наукамъ. Онъ сталъ съ нимъ ласковѣе, заставлялъ читать разные документы и постоянно твердилъ ему, что изъ него выйдетъ хорошій человѣкъ, если онъ выучится разнымъ наукамъ въ гимназіи, и будетъ даже въ тысячу разъ лучше Ипполита, который ровно ничего не понимаетъ и котораго отецъ уже нѣтитъ на свое мѣсто. Онъ ему наговорилъ такъ много, что мальчикъ воображалъ уже себя губернаторомъ и съ охотою согласился ѣхать въ губернскій городъ. Когда онъ прожилъ въ губернскомъ городѣ три года, то вполнѣ уже свыкся съ идеей о чиновнической карьерѣ. Онъ видѣлъ, что молодые люди, но выходя изъ гимназіи, тотчасъ же дѣлались чиновниками, получали хорошее по тому времени жалованье, женились на богатыхъ, и вездѣ имъ оказывали почетъ; что, напротивъ того, мѣщане никогда не снѣняли своего халата и кафтана, хвастались только своею удачею, а въ сущности находились въ подчиненіи у чиновниковъ. Кромѣ этого, дѣтей мѣщанина даже не принимали въ гимназію, какъ будто бы имъ не дозволялось знать тѣ науки, какія имѣютъ право знать дѣти дворянъ. Все это начинало кружить голову мальчику, хотя ему и тяжело было навсегда разстаться съ привольной мѣщанскою жизнью, съ роднымъ городомъ и съ привольною рѣкой. Онъ часто ссорился съ товарищами изъ-за происхожденія, но постепенно убѣждался, что чиновникомъ быть гораздо лучше, чѣмъ мѣщаниномъ. Съ чиновника не берутъ никакихъ податей, отъ него не требуютъ рекрута, онъ можетъ развѣжывать свободно, куда хочетъ, покупать землю, гдѣ хочетъ, можетъ быть и важнымъ человѣкомъ. Несмотря однакожъ на то, что онъ пробылъ въ гимназіи четыре года и ему пошелъ шестнадцатый годъ, ученье подвигалось тихо, такъ что на пятый годъ онъ перешелъ только въ третій классъ вмѣстѣ со своимъ двоюроднымъ братомъ Ипполитомъ, котораго переводили не за то, что онъ хорошо учился, а потому, что отецъ его платилъ, кому слѣдуетъ; кромѣ этого, Ипполита никогда не наказывали, а Андрей Ивановичъ рѣдкую недѣлю не бѣгалъ наказаній за лѣность, шалости и грубости. Поэтому они съ Ипполитомъ не были дружны. Но тутъ случилось съ отцомъ Андрея Ивановича несчастіе: онъ оборвался на подрядѣхъ, продалъ домъ и умеръ. Послѣ его смерти нашлись кредиторы, которые постарались забрать все, что было поцѣннѣе, и даже продали его домикшко въ слободѣ. Андрею Ивановичу пришлось жить у дяди, Аполлона Андреевича, котораго въ это время перевели изъ Ильинска въ губернскій городъ. И вотъ тутъ-то онъ узналъ, что значить жить въ чужихъ людяхъ, которыхъ онъ съ ранняго дѣтства ненавидѣлъ, что значить чужой хлѣбъ. Жена дяди была женщина старая, злая. Происходя изъ дворянскаго рода, она была своихъ крупнѣйшихъ людей, а съ своими дѣтьми обращалась холодно-

ково; она больше была привязана къ дочерямъ, чѣмъ къ сыновьямъ, но ни у тѣхъ, ни у другихъ не было ни гувернантокъ, ни учителей, и только уже переселившись въ губернской городъ отецъ нанялъ учителя изъ уѣзднаго училища—для всѣхъ шестерыхъ дѣтей за десять рублей въ мѣсяцъ. Имѣніе у тетки было небольшое, да и изъ него до половины крѣпостныхъ разбѣжалось, а остальные большею частью могли выплачивать оброкъ только натурой, поэтому она частенько обращалась къ мужу за деньгами. Не будь этого послѣдняго обстоятельства, т. е. будь она богата, она бы конечно и мужа ваяла въ руки. Дядя Андрея Ивановича, впрочемъ, сознавалъ, что должности свои онъ получалъ черезъ жену, и потому уступалъ ей во многомъ. Вообще, въ домѣ большею частью все дѣлалось по ея волѣ, а мужъ жилъ у нея какъ гость или нахлѣбникъ. Все шло хорошо для него: онъ былъ сытъ, спалъ вдоволь, жена есть, должность хорошая, прислуга бонсе, на службѣ тоже начальство благоволить. Чего же еще? Самъ онъ былъ человѣкъ простой, добрый и только, когда дѣло касалось до платы или вообще до денежныхъ расчетовъ, то становился скупъ и золъ. Онъ никому не давалъ денегъ даромъ, а если давалъ, то за дѣло, да и то торговался хуже еврея и поэтому даже никогда не игралъ въ карты на наличныя деньги. И въ этомъ случаѣ, если онъ выигрывалъ, то деньги бралъ, если проигрывалъ, то не отдавалъ. И вотъ тутъ-то и поселился Андрей Ивановичъ.

Онъ жилъ въ отдѣльной комнатѣ, съ дядиной семьей не сообщался, а жилъ въ кухнѣ. Прислуга надъ нимъ смѣялась, называла нищимъ, отпускала на его счетъ разныя остроты и надсмѣшки и выводила его изъ терпѣнія. Онъ сдѣлался задумчивъ, вспылчивъ, молчаливъ; товарищи его не веселили, напротивъ, надѣдали ему, прислуга злила. Иногда онъ думалъ: мѣсто ли ему, гимназисту, будущему чиновнику, обѣдать въ кухнѣ? Отчего его двоюродный братъ обѣдаетъ съ отцомъ?.. Ему впрочемъ и неловко бы было обѣдать у такихъ баръ, какъ его дядя съ женой и родственниками, но его уже брала зависть; его обижали. Онъ сознавалъ, что его кормятъ и содержатъ, какъ нищаго, для того, чтобы Богъ проставилъ грѣхи или послалъ еще больше доволства и счастья, что ему почти каждый день и высказывалъ Ипполитъ. Учиться онъ сталъ плохо, сталъ бѣгать изъ дому и изъ гимназій, то къ мѣщанамъ на прежнія квартиры, то къ рѣкѣ. Его стали наказывать. Онъ сказалъ дядѣ, что его обижаетъ прислуга и Ипполитъ; дядя сдѣлалъ тѣмъ выговоръ, но это только раздражало ихъ еще хуже и они грозились сдѣлать съ нимъ какую-нибудь штуку. Андрей Ивановичъ убѣжалъ въ Ильинскъ и поселился въ свободѣ. Дядя сталъ требовать его въ губернской городъ, но его не пустилъ протопопъ Третьяковъ, женатый на дальней родственницѣ дяди. Эта родственница въ послѣднее время изъ-за чего-то разсердилась на брата Аполлона, и когда ей Андрей Ивановичъ рассказывалъ о своемъ житѣ у дяди, то протопопъ согласился взять Андрея Ивановича къ себѣ и помѣстить на службу въ уѣздный судъ.

образомъ Андрей Ивановичъ избавился отъ

вліянія дяди-чиновника и, не кончивши курса въ гимназій, поступилъ на службу.

О службѣ говоритъ много нечего. Все, что есть грязнаго, чуждаго, безчестнаго и подлаго, — все это было какъ будто отиѣчено на лицѣ каждого дѣателя этого времени. И вотъ въ этомъ-то вертепѣ долженъ былъ начать свою жизнь молодой гимназистъ, изучать законы, исполнять эти законы не такъ, какъ требуетъ совѣсть, а какъ вздумается секретарю, клерку и судѣ. На первыхъ порахъ ему, проведенному дѣтство среди мѣщанъ, видѣвшему многихъ бѣдниковъ и знающему, за что его товарищи свободчане не любили приказныхъ, было жутко въ этой атмосферѣ; его мѣщанская кровь, казалось, какъ будто застыла при видѣ арестанта въ кандалахъ. Иному человѣку съ такими задатками не прожить бы въ этомъ мѣстѣ и недѣли, но Андрей Ивановичъ крѣпился, слушалъ и даже сталъ брать деньги за выписаніе кому-нибудь прошенія или копій, или выписки изъ дѣла. Онъ понималъ, что въ судѣ такими малыми людьми, какъ столоничальникъ, всѣ пренебрегаютъ, и что начальники, чтобы удержаться подольше на мѣстахъ, должны посылать въ губернской городъ, а для этого нужно брать, чѣмъ понало. Значить, взятокъ существуетъ вездѣ. Если начальство беретъ, надо и писцу брать, рѣшилъ Андрей Ивановичъ. И онъ далеко перегналъ въ этомъ своемъ товарищѣ. Сдѣлавшись столоничальникомъ, онъ сдѣлался врагомъ своихъ писцовъ. Служащіе его не любили какъ выскочку, какъ наущника, хотя онъ жаловался судѣ только на такихъ, которые постоянно лжнствовали; всѣ въ немъ видѣли барина, живущаго у протопопа, и человѣка богатаго, такъ какъ онъ былъ надсмотрщикомъ крѣпостного стола и приходорасходчикомъ, чего не могли добиться люди, служащіе въ судѣ нѣсколько лѣтъ. Но онъ только отмахивался, и на третій годъ своей службы уже ворочалъ всѣмъ судомъ, такъ что ни секретарь, ни судья ничего не могли сдѣлать безъ него.

Выросши среди мѣщанъ и зная ихъ бытъ вконецъ, онъ хотѣлъ быть богатымъ, большимъ человѣкомъ. Полученный чинъ еще больше прибавилъ ему самоуверенности. Онъ гордился передъ родными и связями съ мѣщанствомъ своимъ порванымъ. Хотя нѣкоторые изъ его прежнихъ друзей и надѣялись на защиту Андрея Ивановича, но онъ только обѣщалъ на словахъ, потому онъ зналъ, что если будетъ тянуть сторону мѣщанъ, то ему придется порѣшиться со службой. Къ деньгамъ онъ имѣлъ страшную жадность и не брезговалъ, если ему давали рубль. Онъ отъкапывалъ себѣ въ удовольствіяхъ, винѣ, картахъ и т. п., собиравалъ посты, питался больше тѣмъ, что дозволено, былъ боготолкень и робокъ съ женскими полами. За всѣ эти качества дамы его любили, дѣвщины мѣли, думая, кого-то изъ нихъ онъ выберетъ себѣ въ подружку жизни. Но Андрей Ивановичъ смотрѣлъ на бракъ какъ на увеличеніе капитала, на обезпеченіе въ будущемъ, и поэтому женился на куцеской дочери, за которою и взялъ настоящій домъ и двѣ тысячи денегъ. Этотъ бракъ еще болѣе поднималъ его въ Ильинскѣ и онъ сталъ окончательно недоступенъ для бѣдныхъ мѣщанъ. Но поселившись въ небольшомъ домикѣ съ

женою и ея родными, онъ зажилъ скромно по прежнему; по прежнему копилъ деньги, соблюдалъ посты, ходилъ въ церкви, не игралъ въ карты и только по необходимости устраивалъ обѣды и вечера въ дни своихъ и женинныхъ именинъ. У него сложились двѣ жизни: дома, — мѣщанская, въ судѣ — чиновничья. Все — начиная съ того, что онъ ходилъ дома или въ халатѣ, или безъ халата, и кончая тѣмъ, что жена безъ его спроса боялась куда-нибудь идти или что-нибудь купить для себя, — все пахло мѣщанствомъ, съ тою только разницею, что это мѣщанство было сытое. Но на службѣ онъ былъ вполне чиновникъ: тамъ онъ оскорблялся, если писецъ начиналъ запылять свои права, велъ себя съ достоинствомъ, говорилъ свысока, передъ начальствомъ стоялъ прямо, глядѣлъ прямо и за словомъ у него дѣло не останавливалось; на службѣ у него и походка была другая, чѣмъ дома: онъ ходилъ маленькія шажкомъ, выпятивъ животъ впередъ, держа голову немножко на лѣвое плечо и глядя искоса кверху. Онъ считался отличнымъ дѣльцомъ; съ нимъ постоянно совѣтовались, и бѣда была бы тому, еслибы кто обидѣлъ его. „Въ бараній рогъ согну!“ думалъ онъ, и ему дѣйствительно сдѣлать это было легко. Чтобы не утомлять читателя, я скажу, что со временъ его вражда къ Ипполиту охладѣла, и они помирились окончательно тогда, когда дядя выхлопоталъ ему должность стряпчача, а Ипполитъ прослужилъ года два въ Ильинскѣй окружной канцеляріи.

Андрей Ивановичъ былъ женатъ три раза. Первые двѣ жены были женщины робкія, боявшіяся своего мужа, и все въ домѣ дѣлалось такъ, какъ хотѣлъ Андрей Ивановичъ. Дѣти воспитывались строго; мальчики готовились въ чиновники, дочери — въ жены чиновниковъ. Новѣйшая его жена, Марина Осиповна, о которой я скажу подробнѣе вѣдѣствіи, много повліяла на его характеръ. При выходѣ замужъ ей было девятнадцать лѣтъ; она была капризна, самолюбива и горда тѣмъ, что отецъ у нея купецъ и она теперь жена стряпчача, забывая, что младшая ея сестра въ то же время была замужемъ за пьюгой мѣщаниномъ — сидѣльцемъ въ питейномъ заведеніи, а отецъ прежде былъ тоже мѣщаниномъ, и даже два раза сидѣлъ въ тюрьмѣ. Уже какъ вышло, что Андрей Ивановичъ женился на дочери такого человѣка, онъ и самъ бы не развѣнчалъ; только тогда Зиновьевъ былъ въ славѣ, а за Мариной Осиповной Яковлевъ еще и при жизни второй жены пріударялъ — значить, онъ любилъ ее. А такъ-какъ послѣ смерти жены ему нужна была хозяйка въ домѣ, а Зиновьевъ былъ съ нимъ связанъ по одному каверному дѣлу, то онъ, недолго думая, и женился на его дочери. Марина Осиповна сразу забрала не только своего супруга, но и всѣхъ дѣтей въ руки, и все стало дѣлаться такъ, какъ она хотѣла, а Андрей Ивановичъ только помалчивалъ, потому что былъ сытъ, пользовался вожделѣннымъ адрами, въ домѣ было тихо, никто ни на кого не жаловался, и всѣ находили, что Марина Осиповна отличная хозяйка. Дѣтей Андрея Ивановича Марина Осиповна не любила, но не выказывала этого прямо, и даже заботилась, чтобы они были сыты, одѣты и обращались за всѣмъ къ ей особѣ, а она

уже съ своей стороны обращалась къ мужу за деньгами, изъ чего извлекала для себя выгоду. Напримѣръ подходитъ праздникъ, она и говоритъ Андрею Ивановичу, что Марья нужно салончикъ сшить.

— Подождите. Вотъ поѣду на ярмарку въ Краснослободскъ, тамъ посмотрите.

— Нечего смотрѣть: нынѣ мѣха годъ отъ году дороже становятся.

— Ну, купи изъ своихъ денегъ.

— Очень нѣтъ нужно: вы бы еще пять разъ женились, народили штукъ двадцать ребятъ... Съ какой стати я стану вашихъ дѣтей одѣвать; у меня свои когутъ быть.

Подумавъ Андрей Ивановичъ и рѣшить, что она пожалуй и права. Не дастъ онъ денегъ, — она цѣлую недѣлю и не говоритъ съ нимъ ни слова, младшія дѣти ходятъ въ грязномъ бѣльѣ, всѣ невеселы, кушанье не по вкусу. Дастъ денегъ, — и все опять по-прежнему: жена ласковая, даже веселая, всѣ ходятъ нарядные, кушанья — ѣшь не хочу. Весело Андрею Ивановичу и не нарядуетъ онъ...

Такимъ образомъ, несмотря на то, что у Андрея Ивановича были доходы, деньги у него не залеживались, потому что онъ тратилъ ихъ на обученіе сыновей, на подарки въ губернский городъ, на платья и приданое дочерямъ. Современекъ онъ потолстѣлъ, сдѣлался лысъ и втянулся въ водку до того, что пилъ запоемъ цѣлыя недѣли, не занимаясь дѣлами, и этимъ тоже пользовалась его супруга. А тутъ его отдали подъ судъ и уволили, но черезъ полгода освободили, и по протекціи Ипполита Аполлоновича онъ попалъ на должность виннаго пристава. Полгода бездѣлья значительно отразилось на его характерѣ: онъ сталъ придирчивъ, больше сталъ пить, подпалъ вліянію Марины Осиповны больше прежняго, но цѣлыми часамъ бродилъ съ трубкой по саду или лежалъ тамъ въ бесѣдкѣ, сдѣлался богомоленъ до того, что учредилъ у себя въ домѣ нѣчто похожее на моленную, такъ что все семейство, какъ сказано уже выше, должно было собираться въ залу утромъ, передъ обѣдомъ, ужиномъ и сномъ и молиться, а потомъ поздравлять, цѣловать, благодарить и прощаться съ нимъ и его женой. Съ этихъ поръ болѣе прежняго стали соблюдаться посты, поминки, заговѣнья и тому подобныя обряды, соблюдаемые сытныи мѣщанствомъ, и болѣе прежняго онъ требовалъ отъ другихъ уваженія къ себѣ и своему семейству; такъ въ церкви становился въ первый рядъ съ городничинъ и другими лицами и обижался, если дьячокъ подносилъ ему не цѣлую, а только половину просфоры, а когда причащался, то непременно въ страстную субботу послѣ городничача и первыми подводилъ свое семейство; обижался, если духовенство пріѣдетъ съ крестомъ послѣ обѣда, не давая руки судейскимъ столоньчальникамъ, обижался, если на ринкѣ какой-нибудь торгашъ не кланялся ему низко и т. д.

Изъ дѣтей своихъ онъ больше всѣхъ любилъ Осипа и Дарью, и любилъ по своему. Осипа любилъ за то, что тотъ всегда слушался, хорошо учился и скоро получилъ мѣсто становаго пристава. Хотя же Осипъ Андреевичъ былъ и умнѣе отца, зналъ болѣе его, но Андрей Ивановичъ говорилъ всѣмъ, что все это сынытъ

заимствовано отъ него, и доказывать это тѣмъ, что сынъ, еще обучаясь въ гимназій, умѣлъ сочинять какія угодно рѣшенія по уголовнымъ дѣламъ. Если же Осипъ Андреечъ и позволялъ себѣ при отцѣ вольнодумничать, то отцу на это не обращалъ вниманія, потому что Осипъ умѣлъ себя вести хорошо во всякомъ обществѣ, и въ это время ради моды много позволялось говорить. При всемъ этомъ отецъ зналъ, что сынъ ни за что не позволитъ ни словомъ, ни дѣломъ унижить или скомпрометировать отца и даже себя. Такъ что, несмотря на свою ученость, сынъ рѣдко перечилъ отцу, и если между ними заходили споры, то въ большинствѣ случаевъ сынъ уступалъ. Дарья Андреевна отецъ любилъ съ дѣтства. Сначала она была хилымъ ребенкомъ, но, несмотря на то, что многія дѣти у Андрея Ивановича умирали, ему почему-то не хотѣлось, чтобы она умерла. Послѣ смерти первой жены онъ часто бралъ ее на руки и, что бывало съ нимъ очень рѣдко, даже напѣвалъ ей пѣсни. Когда она подросла, онъ съ особенною ласкою обращался къ ней, называя ее милочкой и красавицей, а въ хорошемъ расположеніи духа говорилъ своимъ роднымъ, что у него Дарья всѣхъ красивѣе въ городѣ и непременно выйдетъ замужъ за хорошаго чиновника. Если онъ ѣздилъ въ губернской городъ, то постоянно привозилъ ей чего-нибудь. Онъ не любилъ, когда онъ занятъ въ своей канцеляріи, чтобы къ нему за чѣмъ-нибудь приходили дѣти, но если приходила Дарья, онъ клалъ перо и готовъ былъ пуститься съ нею въ длинныя разсужденія. Если кто-нибудь изъ дѣтей хворалъ—онъ говорилъ женѣ: „э, пройдетъ!“; а если у Дарьи лицо было черевчуръ красно или очень блѣдно, онъ беспокоился и спрашивалъ, здорова ли она, и когда Дарья была больна, онъ призывалъ доктора. Противъ обыкновенія онъ даже самъ училъ ее, шутя, писать и потомъ заставлялъ ее что-нибудь прочитать изъ книжки веселаго или религіознаго содержанія. Зная, что Марина Осиповна не любитъ ее, онъ, скрѣпя сердце, рѣшился послать ее въ монастырь, и то больше потому, что она очень много читаетъ романовъ и повѣстей. Къ тому же его денежные дѣла были плохи и онъ надѣялся, что подъ покровительствомъ игуменьи Дарья найдетъ себѣ хорошаго жениха,—хотя бы даже и изъ духовенства. Ему очень хотѣлось имѣть зятя какого-нибудь кончившаго курсъ въ академіи.

И вдругъ его любимая дочь сказала ему, что она хочетъ сама себѣ зарабатывать хлѣбъ!... Ну, не обидѣ ли это?.. Виданное ли это дѣло, чтобы его дочь, дочь чиновника, вѣннаго пристава, нѣмца въ Ильинскѣ большой каменный домъ съ большими садами, вдругъ стала работать на чужихъ, можетъ быть, даже и на людей нечиновныхъ? Что скажутъ объ этомъ люди?.. Нѣтъ, она должна быть женою чиновника, а не какою-нибудь ливрей-работницей.

Такъ думалъ Андрей Ивановичъ, ходя по саду.

## VI.

Солнце уже поднялось высоко; былъ часъ шестой или седьмой. Дарья Андреевна не легла спать, хотя ей и хотѣлось; на пароходѣ она думала двое сутокъ и

двѣ ночи не спала: первую потому, что на налудѣ было много пассажировъ и шелъ дождь, вторую—чтобы не проспать Ильинска, такъ-какъ пароходъ шелъ дальше. Она сидѣла, облокотясь на столѣикъ и, смотря въ одно мѣсто, думала. Ее сильно опечалили слова родителя, выразившаго свое неудовольствіе на ея желаніе трудиться, т. е. жить не такъ, какъ живутъ жены чиновниковъ и вообще женщины чиновнаго сословія. Долго она не могла осмыслить слова отца, понявшаго ее совсѣмъ иначе; не понимала она и того, что въ ея намѣреніи онъ видитъ дурное? „Ему хочется пристроить меня, выдать замужъ. Но я этого не хочу. Онъ говоритъ, что работаютъ только ибиданки, а я знаю, что есть и чиновницы, которые кормятся тѣмъ, что пьютъ; я знаю одну вдову чиновницу: она даже не стыдится помы мыть, бѣлье стирать, только она пьяница, сама въ кабакъ ходитъ“... И тутъ ей припомнилось все, что она знала объ этихъ личностяхъ. Эти женщины овдовѣли. Замужемъ онѣ были или за недолжностными чиновниками, или хоть и за должностными, но пьяницами. На рукахъ ихъ остались дѣти, которыхъ надо кормить, одѣвать и обучать, чтобы изъ нихъ вышли не мѣщане; а мужья ни пенсій, ни единовременныхъ пособій имъ не предоставили; денегъ нѣтъ; замужъ ихъ никто не беретъ, потому что онѣ некрасивы, бѣдны. у нихъ дѣти. И вотъ имъ надо жить, и онѣ трудятся, а не попрошайствомъ, зарабатываютъ себѣ хлѣбъ и кормятъ дѣтей. Стало быть, и она можетъ работать, тѣмъ болѣе, что она молода и одна. „Отецъ говоритъ, что онѣ живутъ нехорошо“. По этому поводу ей припомнилось, что одна ея знакомая чиновница хотя и не бѣдствуетъ, а про нее говорятъ Богъ-знаетъ что, и эта чиновница сама съ рыданіями говорила ей, что это вздоръ, а говорятъ про нее такъ потому, что не вѣрятъ, чтобы женщина могла безъ помощи мужа жить сколько-нибудь сносно. И тутъ же припомнились ей слова этой чиновницы, которой она однажды высказала свое намѣреніе работать. Чиновница сказала: „полноте вамъ, Дарья Андреевна, дурить-то! Что вамъ за необходимость непременно мучить себя работой, подвергать себя добровольно на мученическую жизнь. Хорошо работать со скуки, а попробовали бы вы съ голоду поработать, зная, что у васъ нѣтъ ни расколотой копѣйки, а хозяинъ требуетъ за квартиру... Вотъ тогда и покажется тяжело; помянете вы, какъ хорошо было жить у родителя. Да и что за дурь пришла вамъ въ голову работать непременно? отецъ васъ любитъ, ласкаетъ васъ боится нечего, родня у васъ богатая: никто не прогонитъ. Богъ дастъ—выйдете замужъ за хорошаго человека, барыней будете. Глушите и больше ничего!“. Такъ говорила голодная и измученная женщина восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ, и эти слова, въ связи съ словами отца, казались ей жестокии приговоромъ ея будущаго плана. „Въ самомъ дѣлѣ, думала она, зачѣмъ имъ работать? Кормить меня будутъ; платья у меня есть; родни много. Живи себѣ какъ прочія дѣвчонки живутъ... А тамъ меня выдадутъ замужъ, и я буду жить такъ же, какъ и всѣ жены живутъ... Нѣтъ! Не хочу я такой жизни, противна она мнѣ“. И съ этими словами она вышла изъ бесѣдки, потомъ съѣла

на скамеечку къ пруду и задумалась. Она думала о прошломъ житіи.

Развиваться Дарья Андреевна начала подъ влияніемъ, во первыхъ, первой мачихи, братьевъ и сестеръ, и во вторыхъ, подъ влияніемъ уличныхъ ребятишекъ, принадлежащихъ больше къ мѣщанскому сословію. Помнитъ она, что ее родители тогда жили хорошо, пользовались въ городѣ большимъ почетомъ, какими пользовались очень немногіе. Въ церкви ѣздили на ливейкѣ, хотя церковь была и близко, но ужъ такъ заведено было, чтобы ѣздить въ церковь парадно; въ церкви стояли впереди, сестры и братья — около нихъ, всѣ торгаши и чиновники имъ кланялись, а Андрей Ивановичъ или ее мать могли даже имъ и не кланяться и даже говорили, что такой-то человѣкъ не стоитъ и того, чтобы ему поклониться. Часто у нихъ собирались гости и эти гости принадлежали къ важнымъ людямъ, которые ласкали ихъ — дѣтей. Гости эти ѣли хорошія кушанья, пили хорошія вина, чего не было у мѣщанъ (ей случалось это видѣть съ пятилѣтняго возраста, когда она часто бѣгала къ мѣщанамъ, родителей одной дѣвочки Насти, ее одноклассницы), играли въ карты и плясали подъ скрипку. Современемъ она нашла, что между этою жизнью и жизнью мѣщанъ разнища небольшая; мѣщане бѣдны, не имѣютъ чиновничьихъ правъ, должны работать на чиновниковъ и поэтому не могутъ такъ ѣсть, пить и нанимать скрипачей для плясокъ. Но живутъ всѣ одинаково: ѣдятъ, пьютъ, женятся, спятъ и веселятся одинаково каждый по своимъ средствамъ, и поэтому, сближаясь черезъ Настю съ мѣщанами, она находила жизнь мѣщанскую даже лучше жизни ее отца. Настя и другія мѣщанскія дѣти пользовались большимъ просторомъ, и до тѣхъ поръ, пока родители не находили, что они годны для работы, были предоставлены большаю частію самимъ себѣ. Когда же они поступали въ работу, то и тутъ многимъ разнились отъ чиновническихъ дѣтей; главное — они могли выражаться, не стѣсняясь, могли ѣсть, когда хотѣли, если было что ѣсть, и если имъ нечего было дѣлать, могли по вечерамъ свободно играть на улицахъ. Не то было у ее родителей. У Андрея Ивановича строго соблюдался во всемъ порядокъ; вставать полагалось всѣмъ въ одно время тотчасъ послѣ родителей. Если кто пробуждался раньше родителей, тотъ долженъ лежать; маленькимъ дѣтямъ, которые еще были не въ силахъ сами на себя надѣвать одежду, строго воспрещалось бѣгать босикомъ по полу, не смотря даже на то, что на полу нѣтъ коверъ; умываться всѣ должны были разомъ, чтобы не дѣлать большого шума и хлопотъ, и если кто не хотѣлъ умываться, тому не давали ѣсть. Маленькія дѣти должны были приучаться къ молитвѣ, и если ужъ который говорить и играть не понималъ смысла въ молитвахъ — тому тоже не давали ѣсть. Послѣ завтрака или чаю маленькія дѣти должны были играть въ куклы, а дѣти побольше — учить уроки, т. е. зубрить то, что было отпѣчено въ „Начаткахъ“ или въ какой-нибудь религіозной книжкѣ. До обѣда дѣтямъ гулять запрещалось. Родители не понимали того, что дѣтямъ необходимо чистый воздухъ; они думали, что они небалуется, находись подъ присмотромъ няньки, мать же

до обѣда была занята приготовленіемъ кушаній, и вотъ только послѣ обѣда, когда родители, усталые передъобѣденнымъ трудомъ и насыщенные до изнеможенія, ложились спать, дѣти убѣгали на улицу. Родители старались выработать изъ своихъ дѣтей подобіе себя, и поэтому требовали, чтобы дѣти ходили ровно, говорили не заикаясь, по дворянскому, подходили къ ручкамъ родственниковъ, мальчики — расшаркиваясь ногами, а дѣвочки — присѣдая, отвѣчали только тогда, когда ихъ спросятъ, и не осмѣливались сами спрашивать о чемъ бы то ни было, такъ какъ дѣтямъ не слѣдуетъ знать, что дѣлаютъ большіе. Играя, дѣти должны были разговаривать вполголоса, вполголоса свѣяться, не кричать, не бѣгать, подъ опасеніемъ просидѣть часа два-три на стулѣ, или лишиться чаю и ѣды. Когда бывали у Андрея Ивановича гости со своими дѣтьми, то они должны были тоже вести себя чинно, меньше разговаривать, подъ тѣмъ предлогомъ, что нехорошо, если дѣти будутъ передавать другъ другу то, что знаютъ изъ отношеній отца къ матери и наоборотъ. Такая система воспитанія, само собою разумѣется, дѣтямъ не нравилась и они рады были случаю выскочить на улицу къ дѣтямъ мѣщанъ и предаваться шалостямъ въволю. Эта система сдѣлала то, что дѣти Андрея Ивановича еще въ десятилѣтнемъ возрастѣ умѣли ругаться, капризничали, требовали, чтобы мѣщанскія дѣти уважали ихъ, и старались послѣднимъ всячески сдѣлать какую-нибудь пакость, хотя бы она была самаго неприличнаго свойства. Такъ напригнѣвъ кинуть въ какого-нибудь мѣщанскаго мальчика считалось за геройство, обозвать самымъ неприличнымъ словомъ — удалью; но если это же самое дѣлалъ мѣщанскій мальчикъ, сынъ или дочь Андрея Ивановича плакали или жаловались. Это воспитаніе сдѣлало нѣкоторыхъ дѣтей съ ранняго дѣтства лстыцами и фискалами. Такъ Осипъ, чтобы выслужиться передъ отцомъ, постоянно жаловался ему или матери на кого-нибудь изъ меньшихъ братьевъ и сестеръ, и если его жалобы оставались безъ послѣдствій, онъ пускалъ въ дѣло вранье. Отъ этого произошла вражда братьевъ съ братьями и духъ шпионства царилъ въ домѣ Яковлева. Мало этого, дѣти даже научились подслушивать у дверей и знали многое изъ отношеній своихъ родителей другъ къ другу.

Дарья Андреевна не была шпионкой, но ее никто изъ братьевъ и сестеръ не любилъ. Свою настоящую мать она не помнитъ. О ней достаточно у нея было собрано рассказовъ отъ матери Насти, отца и протопопа Третьякова. Всѣ эти люди хвалили ее, и больше ничего. Хотя же она и считала долго вторую жену Андрея Ивановича за настоящую мать, но старшіе братья и сестры свѣялись надъ ней, а уличные ребятишки дразнили ее, что Дарью Андреевну прошибало до слезъ, и только когда Дарья Андреевна стала еще больше смыслить, то стала еще больше любить мачиху, которая была къ ней больше другихъ привязана, какъ потому, что Дарья была мала, такъ и потому, что она очень любила ее маленькихъ дѣтокъ. Старшіе братья и сестры были уже большіе и вели себя, какъ двадцатилѣтній юноша относится къ восьмилѣтнему лѣнивому ученику; они не любили разго-

варивать съ младшей сестрой, которая не понимала того, что дѣлають они; гнали ее отъ себя, когда она мѣшалась въ ихъ забавы, теребили ее за волосы, когда которому-нибудь изъ нихъ приходилось получить наказаніе отъ отца, упрекали ее шпионствомъ, хотя сами постоянно наушничали на нее отцу. Большую часть дня она оставалась въ кругу сестеръ и братьевъ, и ей много приходилось отъ нихъ терпѣть; на нихъ же она никогда не жаловалась ни отцу, ни матери, ни роднымъ, да и ни отецъ и ни мать не чувствовали того, что чувствовала ихъ дочь. Они не понимали, что ихъ дочери больно, и только удивлялись, отчего это она не толстѣетъ, отчего она не веселая, постоянно молчитъ и глаза у нея заплаканы. Любить своихъ старшихъ братьевъ и сестеръ Дарья Андреевна не могла; она даже боялась ихъ, и только любила меньшаго брата Кузьму, который до пятилѣтняго возраста былъ тяжелымъ бременемъ для родителей, потому что почти до пяти лѣтъ не ходилъ, плохо говорилъ и часто хворалъ, оставаясь болѣею частью безъ надзора. У маички были другія меньшія дѣти, требующія присмотра; отцу же было все равно, будетъ онъ жить, или нѣтъ, а изъ этого произошло то, что болѣвнъ его была предоставлена волѣ Божіей. Хотя же отецъ и обращался съ Дарьей Андреевной ласково, часто сажалъ ее къ себѣ на колѣни, даже цѣловалъ больше другихъ дѣтей, ставилъ ее въ припѣръ за обѣдомъ, но она отца все-таки боялась, потому что онъ и ласки свои начиналъ какъ-то изда-лека и онъ исходилъ только тогда, когда онъ былъ въ спокойномъ настроеніи. Ей и отъ отца нерѣдко случалось получать наказанія за какую-нибудь неосторожность, или по какой-нибудь жалобѣ братьевъ и сестеръ. Разобьетъ ли кто-нибудь любимую чашку отца—сваливаютъ на Дарью, прольетъ ли кто-нибудь въ кабинетъ отца чернила или начертитъ на стѣнахъ карандашомъ,—жалуются на Дарью. Отецъ станеть допрашивать дѣтей не хуже любого слѣдователя, всѣ отпираются; отецъ наказываетъ всѣхъ—достается и Дарья. Поэтому, считая отца за добраго человѣка, она все-таки боялась его и у нея проявлялось къ нему недоверіе. Она еще маленькой дѣвочкой думала: „отчего отецъ не правъ и отчего у нихъ въ домѣ все дѣлается не такъ, какъ у людей бѣдныхъ?“

Изъ своихъ родныхъ она любила больше всего протопопа Сергія Ивановича Третьякова. Сергій Ивановичъ имѣлъ только одну дочь, которая была замужемъ за Андреемъ Ивановичемъ. Это была вторая жена Яковлева. Протопопъ до того религіозенъ, что послѣ смерти своей жены хотѣлъ постричься въ монахи, но его удержало то, что онъ не кончилъ курса въ академіи и поэтому не могъ рассчитывать на то, что будетъ когда-нибудь архіереемъ. Оставшись вдовцомъ, онъ сталъ служить въ церкви каждый праздникъ, читалъ книги духовнаго содержанія и все свободное время посвящалъ на образованіе юношества. Хотя это образованіе и не обходилось безъ розогъ и другихъ истязаній, которыя онъ выдумывалъ, но дѣти его любили за то, что онъ говорилъ съ ними обо всемъ, что бы они ни спрашивали, и позволялъ имъ шалить въ то время, когда онъ не занимался. Съ Дарьей Андреевной

онъ былъ очень нѣженъ, ласкалъ ее, дарилъ что-нибудь и любилъ рассказывать о житіи святыхъ, а иногда рассказывалъ и сказки. Она его нисколько не боялась, была у него весела, смѣялась и онъ ее не называлъ иначе, какъ „моя козочка“, и всегда, когда она не была у него цѣлую недѣлю, онъ спрашивалъ свою дочь или Андрея Ивановича: „а что вы мою козочку не пустите ко мнѣ; стосковался я объ ней“. Онъ ее сталъ учить грамотѣ и, въ теченіи пяти лѣтъ, даже обучилъ первымъ правиламъ ариметики и грамматики. Дальнѣйшее преподаваніе онъ считалъ бесполезнымъ на томъ основаніи, что дѣвочекъ не для чего утруждать науками, такъ какъ имъ не быть ни священниками и ни стряпчими, а назначеніе ихъ состоитъ въ томъ, чтобы помогать мужьямъ, или быть въ домѣ хозяйками и воспитывать дѣтей въ послушаніи и въ страхѣ божіемъ. И когда бывшій въ то время въ Ильинскѣ городничій предлагалъ Третьякову завести въ городѣ училище для дѣвочекъ, то онъ даже вспыхнулъ. Съ тѣхъ поръ е жонскомъ училищѣ въ Ильинскѣ больше никто не заикался. Но въ домѣ Третьякова Дарья Андреевна отдыхала отъ всего, что она выносила у своихъ родителей; у него была тишина и даже бывало страшно въ пустыхъ комнатахъ, когда онъ уходилъ куда-нибудь на потребу. Вотъ въ это-то время она и стала сближаться съ мѣщанскими дѣтьми, и онъ никогда за это выговоревъ не дѣлалъ. Когда же разъ онъ остался недоволенъ ею, что она не пришла ужинать, а играла съ дѣвочками, и она спросила его: почему ей нельзя играть съ мѣщанскими дѣтьми, а съ чиновническими можно?—то онъ сказалъ:

— Мѣщане грубы, невѣжи, а чиновники люди благородные. Отъ нихъ и дѣти такіе же выходятъ.

— Такъ и я благородная? Что это такое?... Что значитъ благородство?

— Значитъ быть вѣжливымъ, благосклоннымъ, памятуя, что ты будешь нѣтъ въ будущемъ обществѣ дворянъ, вездѣ принятыхъ, а не мѣщанъ, которые созданы только для того, чтобы работать.

— Но какъ же Господь сказать, что мы всѣ равны?

— Объ этомъ никто и не спорить; только люди съ давнихъ временъ сдѣлались такими, что ихъ нельзя равнять. Напримѣръ я пастырѣ, а отецъ не имѣетъ права, и не можетъ даже надѣть ризы. Такъ и мѣщанинъ. Для всѣхъ установлены законы, каждому человѣку назначено мѣсто. Нужно помнить, что отецъ твой—власть, а мѣщанинъ—просто обыватель, а въ священномъ писаніи сказано: всаа дуаа властияа предержащихъ да мовнуетсяа.

Такъ объяснялъ Третьяковъ, но у Дарьи Андреевны вслѣдствіе этого появлялись вопросы: отчего это такъ? зачѣмъ существуютъ подражденія? А такъ какъ ей много приходилось видѣть такого, что разединяло черныи народъ отъ бѣлаго, хотя этотъ народъ и принадлежалъ къ одному племени, то въ голову ей не разъ западала мысль: почему бѣдные люди—бѣдны? зачѣмъ существуютъ люди, которыхъ называютъ рабочими и обращаются съ ними невѣжливо? Но всѣхъ этихъ вопросовъ она не могла разрѣшить. Отца раз-

спрашивать она не смела, старшие братья и сестры держали себя съ немъ такъ, что ихъ объ этомъ спрашивать не стоило; ищанскія же дѣвушки хотя и задавали себѣ подобныя вопросы, но говорили, что все это происходитъ оттого, что онѣ родились ищанами, и бѣдны потому, что есть богатые и есть бѣдные, — такъ что эти вопросы запутывались еще больше и разрѣшить ихъ Дарья Андреевнѣ не было никакой возможности. Спросила она объ этомъ своего дѣдушку — Третьякова, онъ сказалъ съ неудовольствиемъ: откуда это у тебя въ головѣ такія мысли бродятъ? — и далъ ей прочесть одну изъ книжекъ „Житія благочестія“.

Чѣмъ больше подрастала Дарья Андреевна, тѣмъ больше у нея являлось желаніе больше знать и она съ жадностію хваталась за всякую книгу, но и въ этихъ немногихъ книгахъ ей приходилось читать преимущественно о любви; серьезнаго же чтенія она не понимала; оно было до того тяжело для нея, что она дремала и въ головѣ чувствовалась или пустота, или тяжесть, и когда она мучилась бессонницей, то какія-то непонятныя слова то и дѣло ронялись въ ея голову. Журналы хотя и выписывались судьей и исправникомъ, но ихъ достать было довольно трудно, и притомъ каждая книжка разрывалась только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть легкая и забавная для чтенія беллетристика. Но и въ этомъ чтеніи она все-таки могла отличать кое-что похожее на дѣйствительность отъ изыращенія, и больше всего любила описанія простой жизни, похожей на ихъ ильинскую, очерки и начинавшіеся въ то время печатные рассказы и сцены изъ престопадной жизни. Сочиненія Гоголя она читала съ усвоеніемъ нѣсколько разъ, и даже запомнила изъ него очень многое, тогда какъ въ отпадѣ терпѣть не могъ читать „Мертвыя души“ и „Ревизора“, называя ихъ пасквилями на дворянство и клеветой, за что, какъ онъ говорилъ, этого сочинителя надо бы отдать подъ уголовный судъ. Съ годами литература наша стала лучше и въ ней стали затрагиваться — даже въ беллетристикѣ — многіе вопросы, но хорошихъ журналовъ въ городѣ не было, въ чтеніи ихъ ильинскіе обыватели не испытывали потребности. Сестры и братья ея любили читать только сѣйшное или что нибудь въ родѣ приключеній, а Марья даже перечитала два раза „Училище благочестія“; а же ищанскія подружки читать вовсе не умѣли, и онѣ, если она пробовала ихъ что-нибудь читать, зѣвали или заговаривали о другомъ. Исключеніе изъ этого составляла только одна Анисья Осиповна, которая сочувствовала Дарьѣ Андреевнѣ и съ которой она всегда говорила о чемъ-нибудь прочитанномъ, о людяхъ, въ средѣ которыхъ онѣ живутъ, высказывала свои взгляды, такъ что родители, подслушавши ихъ сужденія, называли ихъ обихъ набитыми дурами на томъ основаніи, что эти разговоры молоденькихъ дѣвушекъ казались имъ непонятными, глупыми и ня къ чему не ведущими.

До Марины Осиповны (третьей жены Андрея Ивановича) все еще было сносно. Но когда она воцарилась въ домѣ, то видя Дарью Андреевну за книжкой, не разбирая какого содержанія эта книга, она выхватывала ее, уносила и заставляла Дарью Андреевну что-нибудь дѣлать. А дѣла у Марины Осиповны находилось всегда

много: если нечего было шить, вязать или вышивать, — на что она налегала сильно, то котъ бѣлье перебирая, перетирая посуду, чисти платье или что-нибудь. Чтеніе, по ея понятіямъ, составляло бездѣлье, отлыниваніе отъ дѣла, хотя сама она и не любила ничего дѣлать и дѣти часто заставляли ее въ спальной лежащей на кровати съ какою-нибудь книгой, — что конечно еще болѣе раздражало Дарью Андреевну, которая поэтому была рада-радехонька, если предстоятъ ей случай идти зачѣмъ-нибудь въ домъ Зиновьева, просидѣть тамъ съ Анисьею Осиповной если не цѣлый день, то хотя часа два-три, несмотря даже на то, что мачиха ругала ее какъ только могла, и грозилась никогда не пускать ее изъ дома.

Иногда Андрей Ивановичъ говорилъ въ веселомъ расположеніи Маринѣ Осиповнѣ при дѣтяхъ, что вотъ скоро Дарья будетъ и невѣста, скоро ее будутъ сватать, опять новыя хлопоты. На это Марина Осиповна закусила губы отпалчивалась и качала головой, и потому отвѣчала, что такую гордачку и взыбаломшную дѣвчонку не возьмешь замужъ ни одинъ порядочный человѣкъ, а что она или попадетъ въ руки пьяницъ, или останется въ дѣвкахъ, и намекала на то, что Андрей Ивановичъ старъ, а на нее, Марину Осиповну, она много не можетъ надѣяться. Андрей Ивановичъ дѣлалъ видъ, что пропускаетъ эти слова мимо ушей, и только когда она сильно надоѣдала ему ими, говорилъ, что послѣ смерти Дарью пріютитъ его старшій сынъ. Изъ всѣхъ этихъ разговоровъ Дарья Андреевна поняла, что ее хотятъ какъ можно скорѣе столкнуть замужъ и это ее очень печалило. Изъ книгъ, прочитанныхъ ею, она знала, какъ влюбляются люди, и знала, что молодая дѣвушка большею частію выходитъ не за молодого красавца, а за старика, потому что онъ имѣетъ домъ и деньги. Она знала многіхъ дѣвушекъ изъ чиновнаго класса, вышедшихъ за некрасивыхъ и пожилыхъ чиновниковъ, часто бывала на свадьбахъ и слушала сужденія барышень, которыя находятъ въ томъ или другомъ женихѣ множество недостатковъ; въ городѣ было два случая, что два купца женились на чиновническихъ дочеряхъ и били ихъ; она видала много спенъ такого рода, что мужья часто бьютъ своихъ женъ, которыя отъ этого плачутъ, терпятъ отъ нихъ всякія непріятности, потому что онѣ не умѣютъ защищаться; видала она также многіхъ ищанокъ, зарабатывающихъ хлѣбъ для своихъ семействъ, тогда какъ ихъ мужья ничего не дѣлаютъ, а только пьянствуютъ, — и все это ее возмущало. „Зачѣмъ мнѣ выходить замужъ?“, спрашивала она себя. „На что мнѣ мужъ? Развѣ я не могу одна жить?“. — И она рѣшила, что отъ нея хотѣтъ избавиться для того, что чтобы на нее не тратить.

— Ты будешь чиновница, хозяйка въ домѣ мужа; у тебя будутъ свои дѣти, свои заботы, — говорилъ ей Третьяковъ, когда она обратилась къ нему за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ.

— Но если я не хочу идти замужъ?

— Вы всѣ женщины говорите это до свадьбы. Нѣтъ человѣка въ мірѣ, чтобы онъ не любилъ кого-нибудь.

„Отчего же говорить это дѣдушка протопопъ, если онъ не имѣетъ жены?“, спрашивала она себя, и по-



томъ вспоминались городскія сплетни о двухъ мѣщанахъ. Хотя же протопопъ рѣдко читалъ свѣтскія книги, но онъ городскую жизнь зналъ хорошо, но объяснял ее по своему. „Онъ говоритъ, что безъ любви никто не можетъ жить“. Но книги ей мало разъясняютъ вопросъ. Она поняла, что можно выйти замужъ по любви: но зачѣмъ же, если у нея нѣтъ желанія, выходить только изъ-за того, чтобы пристроиться, если у нея нѣтъ мужчины, котораго бы она любила. Мало ли есть молодыхъ людей, съ которыми она играла, но ни къ одному у нея нѣтъ привязанности. Она только и любитъ одного брата Кузьму, и вотъ съ нимъ она бы не разсталась никогда.

„Нѣтъ, я не пойду замужъ. Никогда меня не выдадутъ насильно, какъ выдаютъ другихъ дѣвушекъ“. Такъ думала она сперва. Потомъ, слушая рассказы, какъ такая-то женщина не нахвалится своимъ житьемъ, видя, какъ жены рыдаютъ, провожая своихъ полюбившихъ мужей до могилы, она ужъ не прочь была выйти замужъ, но за такого мужчину, который бы хотя былъ и мѣщанинъ, за то молодъ, красивъ, любилъ бы ее, не пьянствовалъ и не билъ. Чѣмъ дальше она думала и рассуждала съ Настей и Анисей Осиповной объ этомъ, тѣмъ больше ей захотѣлось такой жизни; она даже не прочь была выйти замужъ за человѣка бѣднаго, но честнаго. „И какъ бы было хорошо: онъ бы работалъ и я бы стала работать“. Одно только беспокоило ее: „а что, если мой мужъ умретъ; куда я дѣнусь съ дѣтми, если не останется ни дома, ни денегъ?“. Останется одно—поселиться у отца. А этого ей не хотѣлось, не хотѣлось потому, что она тогда больше прежняго подчинится капризъ. Такъ она думала въ пятнадцать лѣтъ. Но тутъ явилось такое обстоятельство, которое заставило ее изменить свое желаніе выйти замужъ.

Однажды въ городѣ разнесся слухъ, что пріѣдетъ какая-то коронная повивальная бабка. И вотъ разъ къ Андрею Ивановичу пришла молодая женщина, одѣтая, какъ одѣваются жены достаточныхъ чиновниковъ. Ее встрѣтилъ Андрей Ивановичъ и думалъ, что она пришла по какому-нибудь дѣлу но она назвалась повивальной бабкою, пріѣхавшею изъ столицы. Андрей Ивановичъ пригласилъ ее въ залу, и позвалъ Марину Осиповну. Онъ былъ очень вѣжливъ, завидовалъ Марѣ Васильевнѣ, и въ особенности тому, что она будетъ получать жалованье, все равно, какъ чиновники; Марина Осиповна, плохо понимая то, какинъ образомъ такая наряженная барыня можетъ заниматься такимъ ремесломъ, которымъ занимаются старухи-мѣщанки, была съ ней суза и выслала дѣтей прочь. Когда же она ушла отъ нихъ, то родители остались очень недовольны визитомъ повивальной бабки. Остались недовольными и другіе аристократы. Стали говорить, что Марья Васильевна дочь мѣщанина, имѣла любовника и отъ него дочь, которая умерла, а когда любовникъ бросилъ ее, она стала обучаться повивальному искусству и выучившись поѣхала въ провинцію на казенную должность. Оказалось, что ни Андрей Ивановичъ, ни Марина Осиповна и ни одна власть въ городѣ не понимали: для чего это прислали изъ столицы барыню-повитуху, когда въ городѣ есть свои излюбленные повитухи,

которыя отлично умѣютъ животно править и умѣютъ вылечивать отъ какой угодно болѣзни, и для чего барынь нужно платить жалованье, когда она не женщина? Всѣ сердились на то, что она, повитуха, осмѣливалась дѣлать визиты благовоспитаннымъ ильинскимъ барынямъ, дочери которыхъ то и дѣло толкуютъ объ ней, стараются вывести изъ ея обязанности различныя затрудненія и пристають къ родителямъ съ различными вопросами. Всѣ въ ея должности нашли много нехорошаго, всѣ на первыхъ порахъ отшатнулись отъ нея, стали издѣваться, говорить все, что въ голову влѣзетъ, и она была предметомъ насмѣшекъ и разговоровъ. Изъ-за нея даже ссорились братья и сестры, жены ревновали мужей. Стали говорить, что она не ходитъ въ церковь, въ постъ ѣстъ скоромное, по ночамъ у нея долго горитъ огонь; разъ кто-то сказалъ, что ее видѣли съ книжкой; другой разъ откуда-то явился слухъ, что у нея ночью видѣли мужчину, а что днемъ она постоянно разговариваетъ съ разными писцами,—это считали рѣдкостью и ее стали караулить. Но ничего предосудительнаго не укараулили. Больше всего на нее злились и сплетничали городскія повитухи, которыя, боясь, что она отобьетъ у нихъ богатыхъ больныхъ, говорили что эта модница ничему не училась и ничего не знаетъ, а послана сюда или въ ссылку, или по протекціи какого-нибудь важнаго любовника. Но какъ вообще все въ маленькомъ городишкѣ надобѣдуетъ и прискучивается, и жизнь съ ея интересами подъ конецъ становится на прежній порядокъ, такъ и Марью Васильевну оставили въ покоѣ, и исправничиха первая пригласила къ себѣ Марью Васильевну, а за ней стали приглашать и другія, даже сама Марина Осиповна. Оказалось, что Марья Васильевна барыня добрая, терпѣливая, дѣло свое знаетъ отлично, никакъ не хуже прстой повитухи и ничѣмъ не обижается. Всякая барыня старалась ей дать больше и спрашивала у нея: „а что, исправничиха сколько дала вамъ?“. Мало-по-малу нехорошо говорить про нее стали только однѣ повитухи, городская же аристократія стала считать ее своею, да и тѣ говорили только, что она читаетъ книжки и что ей надо много платить, потому что она получаетъ маленькое жалованье.

Появленіе женщины служащей, получающей жалованье и квартиру, въ Ильинскѣ было новостью, и эта новость взбуродражила на первыхъ порахъ не одну благовоспитанную дѣвицу: всѣмъ захотѣлось сдѣлаться повивальными бабками. Это желаніе происходило изъ того, что многимъ у родителей жизнь была тяжелая — въ ней не было свободы; сдѣлавшись же повивальной бабкою, предполагалось возможнымъ скорѣе и лучше найти жениха по вкусу. Дарья Андреевна тоже крѣпко призадумалась. Должность пріѣзжей повивальной бабки хотя и казалась ей несовсѣмъ привлекательной, но за то хорошею въ томъ отношеніи, что она будетъ свободна. Тогда ей не для чего будетъ выходить замужъ: у нея будетъ жалованье, деньги. Но разспросить Марью Васильевну, какинъ образомъ ей можно выучиться этому занятію, она стыдилась. Кромѣ того, ей не удавалось поговорить съ Марьей Васильевной потому, что у нихъ повивальная бабка, во время болѣзни матихи, оста-



вазлась недолго и рѣдко обѣдала, и то въ кругу семейства, когда ей заводить вопросы о повивальномъ искусствѣ было неловко. Однако мысль сдѣлаться чѣмъ-нибудь самостоятельнымъ крѣпко засѣла въ головѣ Дарьи Андреевны. Если повивальное искусство казалось ей труднымъ и нехорошимъ, то она находила хорошимъ швейное занятіе. Въ Ильинскѣ были всего двѣ женщины-мѣщанки, которыя шли на купчихъ и должностныхъ чиновничьихъ женъ; въ Югоревскѣ она знала три магазина, въ которыхъ шли дѣвушки, подъ наблюденіемъ нѣмкокъ и французенокъ. И вотъ однажды она сказала отцу:

— Папаша, отпустите меня въ модный магазинъ: хочу учиться шить.

— Развѣ ты не умѣешь шить и вышивать?

— Я хочу модныя платья шить.

— Для чего? Замужъ выйдешь, и если за богатаго, то нужъ будетъ отдавать портникамъ. Все это глупости. Барышни негодится заниматься шитьемъ съ дѣвчонками, у которыхъ и родителей-то настоящихъ нѣтъ, которыя по ночамъ то и дѣло по бульвару шатаются.

Сказать же, для какой цѣли она хочетъ быть швеей, она побоялась тогда. Она еще убѣждена была въ томъ, что дѣйствительно неловко ей, чиновничьей дочери, жить у мамзелей, считающихся развратными женщинами, которыхъ отдають работу потому, что кромѣ нихъ никому хорошо шить модныя платья.

Но вотъ отецъ лишился стряпческой должности, должностію очень прибыльной; дядя Ипполитъ Аполлоновичъ взялъ ее къ себѣ жить, у дяди было очень скучно. Притомъ же она была у него и его жены все равно, что работница, такъ какъ они держали только одну кухарку, и она постоянно подавала гостямъ чай и кушанья. Въ этомъ городѣ она познакомилась съ городскими швеями и особенно съ двумя часто сидѣла на берегу рѣки иногда далеко за полночь. Отъ этихъ дѣвицъ Дарья Андреевна узнала, что швейное мастерство, во первыхъ, дается нелегко, а во вторыхъ мало обезпечиваетъ; въ дѣвицахъ она замѣтила мало согласія, и даже замѣтила, что одна изъ нихъ дѣйствительно гуляетъ съ гимназистомъ. Объ ея знакомки ругали свою хозяйку за то, что она ихъ обременяетъ работою, платитъ мало, скверно кормитъ и имъ даже невозможно заработать что-нибудь со стороны, потому что ихъ заставляютъ работать и въ праздничные дни. Эти же дѣвицы говорили также, что ихъ старшая наестрица, назавѣ тому нѣсколько лѣтъ, жила у хозяйки такъ же, какъ и онѣ жили, но вслѣдствіе худого заработка, не могущаго прокормить ея большую мать и маленькаго брата, имѣла нѣсколько любовниковъ, которые ей платили хорошо, и теперешній ея любовникъ даже будто бы хочетъ жениться на ней, — что очень можетъ быть, такъ какъ она красивая, только чакоточная. Но у дяди Дарья Андреевна прожила только съ нѣскольцъ. Пріѣхала къ нему Марина Осиповна съ Андреемъ Ивановичемъ. Андрею Ивановичу очень не нравилось, что дочь его живетъ у брата какъ будто въ услуженіи, и потому онъ придумывалъ средство, какъ бы взять ее оттуда. Тогда Марина Осиповна предложила монастырь, съ тѣмъ чтобы послать ее туда до замужества, тѣмъ болѣе, что

въ монастырѣ жила ея тетя. Попавши въ монастырь, Дарья Андреевна съ перваго же дня поняла, что эта жизнь далеко не соотвѣтствуетъ ея планамъ. Въ Ильинскѣ и въ другихъ городахъ она была гораздо свободнѣе, чѣмъ тутъ. Тамъ хотя и бранили ее, но она могла куда-нибудь сбѣгать; здѣсь же все было развѣрено, рассчитано, подлажено такъ, что нужно было дѣлать то, что всѣ дѣлають, въ противномъ случаѣ ее ждало наказаніе. Сперва она жила у настоятельницы, которая приходилась Маринѣ Осиповнѣ двоюродой теткой и конечно не могла любить подчерпуду своей племянницы, которая въ письмѣ рекомендовала ее, какъ дѣвушку гордую, непочтительную и прочее. Она сдѣлала изъ Дарьи Андреевны службу себѣ; но эта обязанность, которой помогали многія, ей не понравилась, потому что настоятельница была капризная, злая и съ нею ужиться было можно только идиоту. Она съ утра и до вечера ворчала; дѣвицъ воспитанницъ, которыхъ жило въ монастырѣ штукъ сорокъ, она безъ церемоній била по щекамъ, ставила на колѣни во время обѣда, запирала въ холодный подвалъ на недѣлю тѣхъ, которыя замѣчены были ею въ церкви въ чѣмъ-нибудь безнравственномъ, хотя, какъ говорили монахини, она каждый годъ толстѣетъ и каждый годъ ѣздитъ въ софійскій монастырь. За трапезу садились всѣ, даже сама настоятельница; въ это время одна изъ монахинь или воспитанницъ читала житіе какого-нибудь святаго, всѣ молчали, но пища была скудная: черствый кусокъ ржаного хлѣба и какая-нибудь похлебка или, болѣею частію, горошница, хотя всѣ знали, что настоятельница показываетъ въ отчетахъ расходы на рыбу, масло, булки и крупу; знали также, что послѣ всеобщей трапезы дома настоятельница обѣдала нѣобычно, съ выпитіемъ двухъ рюмокъ наливки, и послѣ обѣда спала по два часа. Зимой въ комнатахъ было холодно, а теплой одежды не было; монахини и воспитанницы часто хворали, а докторъ вызывался только въ рѣдкихъ случаяхъ. По правиламъ этого монастыря воспитанницъ отдавали замужъ за кончившихъ курсъ семинаріи, по предложенію епархіальнаго или викарнаго архіерея, съ тѣмъ, что изъ капитала воспитанницъ и процентовъ съ монастырскихъ капиталовъ выдавалось имъ еще приданое и сто рублей денегъ, но этихъ денегъ, при выходѣ замужъ, воспитанницы не получали, потому что настоятельница, предлагая деньги жениху, тонко намекала, что она выберетъ ему самую хорошую воспитанницу, а о деньгахъ дескать заботиться нечего, потому что онъ получаетъ доходное мѣсто. Поэтому женихъ или не бралъ вовсе денегъ, или бралъ только часть. Если же онъ бралъ всѣ, то, женившись, ждалъ мѣста больше года, или поступалъ въ свѣтское званіе. Кромѣ этого, еще много было причинъ, по которымъ настоятельницу ненавидѣли воспитанницы, а въ городѣ ходили про нее весьма компрометирующіе слухи. Отъ этого можетъ быть и происходило въ монастырѣ научничество, лезть и лицемѣріе; ежедневно настоятельница дѣлала кому-нибудь выговоръ, а безъ наказаній, болѣе или менѣе жестокихъ, не проходило ни одной недѣли. Съ монахинями настоятельница обращалась, какъ съ крѣпостными: сама она ихъ въ темные, холодные подвалы, просидѣвши въ которыхъ недѣлю, мо-

нахния обыкновенно заболѣвала. Отъ этого монахини заискивали у воспитанницъ, на которыхъ больше всего обращала вниманіе настоятельница. Онѣ готовы были сдѣлать что угодно для любимой настоятельницею воспитанницы, такъ что бывали случаи, что, будучи отпущены въ городъ, онѣ носили отъ воспитанницъ письма къ ихъ любовникамъ и устраивали свиданія у садовой рѣшотки. Вражда въ монастырѣ была всеобщая, каждая видѣла въ другой доносчицу; всѣ сплетничали, попрекали другъ дружку любовниками. Воспитанницы были вполне забыты монастырскою жизнью; если онѣ попадали туда съ семилѣтняго возраста и если были некрасивы, то должны были постричься—ужь таковъ былъ взглядъ настоятельницы. То же было и съ красивыми, у которыхъ не было родни. Монахини жили день за днемъ, терпя ругань: онѣ уже стерпѣлись, и у нихъ была только одна мечта—выбраться изъ этого монастыря и попасть въ другой, или отправиться путешествовать съ кружкой. Однѣ изъ нихъ пошли въ монастырь по влеченію, но разочаровавшись махнули рукой на все; другія пошли съ отчаянія, потому что имъ, одиночкѣ въ мірѣ, страшно казалось жить, а въ монастырѣ готовая квартира, хлѣбъ; но эти потомъ раскаялись: онѣ были молоды, онѣ могли любить; третьи пошли сдору, такъ себѣ, и плачутся на все и на всѣхъ. Бывали даже случаи, что монахини убѣгали изъ монастыря.

Въ монастырь часто ходили женщины—ханжи-чиновницы, мѣщанки, большею частью дѣвы. Онѣ лицензировали и подлаживались къ монастырскому начальству, которое, вѣря въ ихъ добрую нравственность, отпуская къ нимъ воспитанницъ, а иногда и монахинь, и вотъ у этихъ-то женщинъ воспитанницы ближе сходились съ молодыми мужчинами. Эти сходились приносимымъ доходъ или настоятельницѣ, или канцеляріи, или рязничной и т. п. лицамъ, такъ что эти женщины эксплуатировали воспитанницъ и въ свою, и въ монастырскую пользу, а дѣвочки оставались ни при чемъ, кромѣ идеаловъ. Но однако случилось, что какая-нибудь страстная натура и увлеклась, и за это отбѣжалъ уже предметъ, платящій дань ханжѣ, а ханжа отбѣжала передъ доверившими ей лицами дорогины акафистамъ, молебнами, подарками и разстраивала жизнь дѣвушки навѣки.

Само собою разувѣется, что Дарья Андреевна, выросшая въ кругу такихъ людей, которые не допускали безнравственности, была сильно возмущена всѣмъ ею видѣннымъ, и ей пришлось много терпѣть въ душѣ, потому что она не хотѣла каляужничать или даже вслухъ относиться ко всему критически, а вела только своей дѣвчонкѣ украдкой отъ монахини, къ ней назначенной. За какую-то провинность настоятельница прогнала ее отъ себя и оставила днемъ работать въ огородѣ, а вечеромъ до 8 часовъ шить. Работа эта ей нравилась, потому что она ее развлекала; она большую часть дня была на воздухѣ, а въ залѣ, гдѣ шили послѣ обѣда, ее оставляли безъ вниманія. Въ семь часовъ задирали ворота монастыря и всѣ монастырши должны были ложиться спать. Къ счастью, приставница подалась ей такая, которая находила возможность въ девять часовъ вечера уло-

дить въ садъ и брать ключъ съ собою; тогда она предавалась своимъ мыслямъ. Случалось, что эта монахиня забывала затворять дверь, и тогда Дарья Андреевна уходила въ садъ. Въ саду она или сидѣла, наблюдая за движущимися тѣнями въ окнахъ подвижницъ, или ходила по саду. Разъ она услышала шопотъ... То былъ шопотъ ея приставницы и мужской. Но она не подала вида. Черезъ мѣсяцъ ея приставницу увезли въ другой монастырь и на мѣсто ея приставили новую. Вышиванье было трудное—больше на золотѣ, серебру и шелкѣ, и такъ какъ Дарья Андреевна научилась вышивать еще дома, то въ монастырѣ давали ей самую трудную работу, за которой она просиживала по нѣскольку часовъ сразу. Нерѣдко она просила настоятельницу извинить ее отъ этой работы на нѣсколько времени, но настоятельница упрекала ее лѣнью и сыпала ей назидательными словами изъ священнаго писанія. Проживши въ монастырѣ два мѣсяца, Дарья Андреевна затосковала объ отцѣ, о роднѣ и о родномъ городѣ; ей опротивѣла монастырская жизнь, ей захотѣлось домой. Она написала отцу письмо, въ которомъ подробно изложила монастырскую жизнь. Отецъ посоветовалъ ей терпѣть до поры до времени, и высказался, что онъ вовсе не хочетъ сдѣлать ее монахиней, а послать туда на время, и какъ только выйдетъ женихъ, онъ ее возьметъ обратно. Теперь ясно стало Дарьѣ Андреевнѣ, зачѣмъ отецъ стиралъ ее въ монастырь. Слова его означаютъ, что онъ какъ будто не въ состояніи содержать ее у себя дома, и ей представлялась въ худомъ видѣ вся безалаберность ея родителей. А если не будетъ жениха? Тогда она всю жизнь останется въ монастырѣ. Вѣдь отецъ и умереть можетъ. А если выйти изъ монастыря?—Но какъ? Какъ и чѣмъ жить тогда?—Шитьемъ. Вѣдь вонъ въ городѣ есть же ивек-мѣщанки и чиновницы, которые живутъ самостоятельно. Одно—найдетъ ли она работу? И ей захотѣлось познакомиться съ какою-нибудь мѣщанкою или чиновницею.

До сихъ поръ въ городѣ она бывала рѣдко. Теперь она познакомилась съ одною мѣщанкою лѣтъ сорока, посѣщавшею монастырь больше другихъ. Этой женщиной она украдкой отъ другихъ воспитанницъ и монахинь предложила продать вязаную салфетку. Мѣщанка похвалила Дарью Андреевну за работу, продавать не советовала, а просила связать ей такого же фасона, только побольше и просила слѣдующее воскресенье къ себѣ въ гости. У этой мѣщанки, Акулины Петровны, между прочими гостями-женщинами, она отличила дѣвицу, лѣтъ 19-ти, Марьяну Петровну Потапову, дочь чиновника, которая вела себя очень сдержанно, рѣдко съ кѣмъ заговаривала, а больше нила. Съ ней Дарьѣ Андреевнѣ пришлось перекинуться нѣсколькими словами; Марьяна Петровна какъ будто стыдилась завести знакомство съ монастыркой, которая можетъ быть только и думать о монашескѣ, а Дарьѣ Андреевнѣ было неловко при женщинахъ, еще незнакомыхъ ей, навязываться со своимъ знакомствомъ незнакомой дѣвушкѣ. Когда хозяйка, проводивши гостей, пошла провожать Дарью Андреевну, то на спросъ ея, кто такая Марьяна Петровна, мѣщанка сказала ей

всякой восточины. Изъ ее словъ оказалось, что эта дѣвица дочь промотавшихся родителей, которые дошли до того, что отецъ нанялся извозникомъ, а мать сидѣть въ кабацѣ цаловальничкой; дѣло свое они до того ведутъ нечестно, что въ городѣ слывуть за отчаянныхъ мошенниковъ, отчего всѣ благородные люди отшатнулись отъ нихъ. Каковы родители, таково должно быть и дѣтище; поэтому Маремьяна Петровна дѣвица разгульная. И нечиста на руку. Хотя она и работаетъ, но потому, что ее стыдятъ честныя женщины, бывшія какими-нибудьдесятью копѣйками въ сутки и сносящія всякія непріятности отъ богатыхъ людей. Но и тутъ имъ поддержать разгульную дѣвицу довольно трудно, и онѣ, честныя женщины, часто по вечерамъ замѣчаютъ около ее лачуги какихъ-то бродячихъ шалопаевъ изъ чиновнаго сословія, а по праздникамъ Маремьяна Петровна, вмѣсто того, чтобы идти въ церковь и потомъ послѣ обѣда заниматься душевнспасительнымъ чтеніемъ, въ обѣдню шляется по рынку, амуричааетъ съ чиновниками, а послѣ обѣда трется на бульварахъ или на загородныхъ гуляньяхъ. Радѣя о благочестіи, она, Акулина Петровна, съ другими благочестивыми женщинами, старается эту потаскуку обратить на истинный путь, и поэтому, приглашая ее къ себѣ, не дѣлають ей явныхъ упрековъ, такъ какъ это только больше раздражаетъ, а занимають ее душевнспасительными бесѣдами. Несмотря на положительность этого отзыва, Дарья Андреевна знала, что рассказчица, вѣроятно, ужъ чересчуръ переувеличиваетъ, потому что во все время, какъ она сидѣла у Акулины Петровны—часа три—о душевнспасительныхъ разговорахъ и помину не было, а всѣ женщины занимались сплетнями. Поэтому у Дарьи Андреевны явилось подозрѣніе; ей захотѣлось познакомиться съ Маремьяной Петровной. Но въ слѣдующее воскресенье Маремьяна Петровна не пришла; на другое воскресенье Дарья Андреевна, находившаяся въ числѣ нѣвѣчихъ, увидѣла ее съ хоръ стоящею у малаго клироса. Она вела себя такъ чинно въ церкви, тамъ усердно молилась на колѣняхъ, что ее нользя было заподозрить въ чемъ-нибудь нехорошемъ. Когда же окончаніи обѣдни клирошанки пошла провожать настоятельницу съ кѣищемъ, то Дарья Андреевна, отдѣлившись немного отъ другихъ, сказала ей: „приходите сегодня на наше кладбище. Я хочу поговорить съ вами“.

И такъ знакомство началось. Изъ рассказовъ Маремьяны Петровны оказалось, что отецъ ее служилъ по питейной части, но денегъ у него не было, потому что онъ нилъ и у него постоянно были недочеты. Теперь онъ померъ, а мать занимается печеньемъ булокъ и продажою ихъ на рынкѣ. А такъ какъ у матери есть знакомые, то она достаетъ для нея работу—шить или вязать. Съ Акулиной Петровной она познакомилась черезъ мать, и хотя та даетъ ей работу, но платитъ такъ мало, что едва-едва остается нѣсколько копѣекъ отъ расходовъ на иткн или игонки. Все, что говорила Дарья Андреевна Акулина Петровна, оказалось ложью. Для того, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ живетъ Маремьяна Петровна, она пригласила Дарью Андреевну къ себѣ. Она съ

матерью занимала небольшую квартирку, состоящую изъ кухни и комнаты, въ которыхъ было и свѣтло, и чисто. Старушка была женщина бойкая и имѣла много здраваго смысла. Вотъ что она говорила Дарьѣ Андреевнѣ:

— Вы не смотрите, что я калашница. Калашница такой же человекъ, какъ и всѣ. Вы можете быть думаете, что чиновницѣ не пристало сидѣть на рынкѣ и выторговывать изъ намдаго фунта муки лишнюю копѣйку, а я вамъ скажу, что тутъ ничего нѣтъ худого, потому что я своими рунами покупаю муку, пеку и таскаю на рынокъ,—стало быть, мнѣ нужно же что-нибудь за трудъ. А что я чиновница, такъ это только пустое слово; его хоть бы и въѣкъ не бывало, такъ мнѣ все равно, мнѣ не приходится задирать голову вверхъ, потому что въ этотъ лохмотъ я воронъ нашившу. Я даже ненавижу, извините меня, это чиновничество, потому что не будь я чиновницей двадцать три года, а не жила бы праздно, на счетъ другихъ, а могла быт, копѣйка по копѣйкѣ, накопила бы въ это время порядочный капиталъ. А теперь я стара, вонъ она ужъ большая, надо ее поддерживать, пусть она сама добываетъ хлебъ, а на мужчину пусть не надѣется. Я не говорю, что заужъ выходить не слѣдуетъ: съ хорошимъ человекомъ, съ другомъ, пріятнѣе жить и дѣло спорится; пусть онъ будетъ хоть мужикъ, да по сердцу и работающій. Одной пусто; не съ кѣмъ подѣлаться ни геромъ, ни радостью. Хотя же меня и презирають чиновники за то, что я сдѣлалась торговкой, а моя дочь имѣетъ, но я сама ихъ презираю за то, что онѣ, старушонки, живя рублеными пенсіонами, ничего не дѣлають, а ходять по богатыхъ людямъ съ записками собирать на бѣдность или на леченіе дѣтей, которыхъ у нихъ вовсе нѣтъ. Это все равно, что просить Христа-ради, поднчитать, ползать передъ богатыми, которые, подавая нищигъ копѣйку, важничаютъ, чванятся и губятъ тысячи другихъ бѣдныхъ людей. А если я по прежней привычкѣ нью чай со сливками, ѣмъ пироги, такъ, прости Господи, развѣ я не стою этого? Я не украда, а на трудовыя денежки ѣмъ, нью. Можно, я думаю, послѣ трудовъ и отдохнуть, а на лишнія крохи и полакомиться. А на гробъ да на похороны мнѣ немного надо.

Эта старушка такъ понравилась Дарьѣ Андреевнѣ, что она высказала ей свое мнѣніе оставить монастырь.

— Что жъ, оставить монастырь дѣло хорошее, потому что тамъ заколотить все, что у васъ есть хорошаго, и притомъ принудить пострѣчься. А это обидно, потому что вы и себя-то заживо похороните, пользы никому не принесете, а для другихъ будете въ тягость и въ сожалѣніе. Но вотъ что: что выйдеть изъ того, что вы увидите изъ монастыря? Какъ на это взглянуть отецъ вашъ? Вы еще дѣвушка молодая, неопытная; отецъ надъ вами имѣетъ много правъ; онъ на васъ осердится, и какъ онъ приметъ, если ему будутъ говорить, что онъ довелъ свою дочь до того, что она занимается какою-то работою. Да и въ силахъ ли вы перенести одиночную трудовую жизнь?

— Попробую.

— Тутъ пробовать нечего: пробовать можно, имѣя деньги; тогда, если будетъ тяжело, можно и бросить. А у васъ вѣдь денегъ нѣтъ, вы рискуете. Отецъ на васъ разсердится и не дастъ ни копейки. Это ужъ какъ Богъ святъ. А что вы станете дѣлать безъ денегъ? Знаете ли вы, что вамъ нужно еще паспортъ на жительство, квартиру нанять, печку топить; вѣдь коли будете заниматься шитьемъ, то надо и утюги имѣть. Вѣдь захотите и чаю.

— Я уже отвыкла отъ чаю.

— Ну, какъ заживете сами собой—захочется. Глупо оно, да что съ утробой-то сдѣлаешь. Нѣтъ, вы еще не жила такъ, какъ мы живемъ. Да и къ чему вамъ работать? Поживите, потерпите въ монастырѣ: у васъ отецъ богатый, родня хорошая, видная; васъ не отдадутъ замужъ, какъ меня отдали, за какого-нибудь ничтожнаго писца, который, по милости начальства, угодилъ подъ судъ и сдѣлался, дай ему Богъ царство небесное, пьяницей и крючкотворомъ.

— Мнѣ не хочется вовсе замужъ и я не хочу жить на счетъ отца.

— О, матушка, Дарья Андреевна! Всѣ мы, пока дѣвочки, говоримъ, что не пойдѣмъ замужъ. Тутъ или стыдливость играетъ роль, или примѣры, какъ замужнія женщины живутъ. Но вотъ что странно: кто объ этомъ говоритъ, тотъ непремѣнно рано или поздно выйдѣтъ замужъ. Есть у насъ что-то такое непонятное, и вотъ приходитъ пора, когда дѣвочки нравятся мужчинамъ, ну, и никакъ нестерпимо. Нѣтъ, не говорите этого. Ну, а что вы говорите, что не желаете жить на счетъ отца, такъ это еще бѣда не велика: онъ на то и отецъ, чтобы содержать васъ.

— А мнѣ горько слышать отъ него упреки, что онъ меня содержитъ.

Старушка задумалась.

— Я вотъ что думаю, Дарья Андреевна: не даютъ женщинамъ образованія. Кабы вы обучались въ гимназій, какъ наши братья, вы бы могли обучать грамотѣ мальчиковъ. А то, при живомъ отцѣ, богатой роднѣ, вамъ неловко заняться нашей работой, да и вы работая-то покажите не пойдете: надъ вами будутъ смѣяться, и вы коюмо себѣ не найдете.

— Что же мнѣ дѣлать?

— А пишете въ отцу, что не желаете жить въ монастырѣ. Хотя у насъ и есть женское училище, но туда васъ не примутъ, потому что вы уже стары для училища. Къ тому же тамъ берутъ большія деньги.

— О, отецъ не дастъ ни копейки. Онъ даже и за брата Кузьму ничего не платитъ, а платитъ родственники, у котораго онъ живетъ.

Этотъ разговоръ съ практической женщиной заставилъ много призадуматься Дарью Андреевну. Она соображала, что еще не испытала лично самой горечи жизни, она ее видѣла только на другихъ; но какъ она дѣйствительно почувствуетъ лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью, какъ она перенесетъ ее? Денегъ у нея ни копейки, отецъ не возьметъ ее и на глаза, родные отшатнутся, а вѣдь тогда не хорошо будетъ лѣзть назадъ и просить помощи отца или родни. Придется голодать, шиться по городу, просить Христа-ради работы. Съумѣетъ ли еще она сдѣлать-

то что-нибудь? Вѣдь нужно тогда на сторону дѣлать, угодить, заслужить спасибо и деньги?...

„Одной мнѣ ничего не сдѣлать“, рѣшила она и не упоминала больше ни Маремьянъ Петровнѣ, ни матери ея о своемъ намѣреніи работать. А у Маремьянъ Петровны къ Рождеству появилось новое платье, у старушки теплые сапоги, комната у нихъ была выбѣлена. На праздниѣ у нихъ было такъ хорошо и весело, что Дарью Андреевну брала зависть, и она готова была переносить всякія лишения, чтобы только вырваться изъ монастыря и попробовать этой трудовой жизни. Но было холодно, у нея не хватало рѣшимости, она боялась отца, котораго очень любила.

Между тѣмъ она замѣчала, что настоятельница все больше и больше налегаетъ на нее и за какую-нибудь бездѣлицу подвергаетъ ее земнымъ поклонамъ, то ставитъ на колѣни среди церкви, то оставляетъ безъ обѣда; наконецъ послѣ Рождества, послѣ длиннаго правоученія, старуха объявила ей, что она больше не будетъ ходить въ городъ, такъ какъ ей извѣстно отъ благочестивыхъ мірянковъ, что она ведетъ себя въ городѣ въ высшей степени безнравственно. Монахини и воспитанницы стали на нее коситься, всѣ на нее смотрѣли подозрительно; если она выходила во дворъ, слѣдили за ней. Въ комнату къ ней приставили монахиню старую, ворчливую, которая хотя и спала сама много, но заставляла Дарью Андреевну или шить, или читать что-нибудь изъ Четьи-Миней. Послѣ новаго года настоятельница позвала къ себѣ Дарью Андреевну и удивила. Она была такъ любезна, какъ никогда до сихъ поръ; напояла ее чаемъ съ вареньемъ и даже потренировала по швей. Между прочимъ она сказала, что получила отъ Андрея Ивановича письмо съ подаркомъ. Потомъ вдругъ сказала:

— Ты очень счастлива, дочь моя, хотя за твое непослушаніе и не заслуживаешь его. Но я добра ко всѣмъ. Приготовься къ ожидающей тебя новой жизни.

— Какой?

— Это ты сейчасъ узнаешь. Я уже написала твоему отцу. Ты должна выйти замужъ. Твой мужъ будетъ дьякономъ въ хорошемъ селѣ. Что, обрадовалась?..

Дарья Андреевна заплакала; настоятельница улыбалась, думая, что очень обрадовала дѣвушку.

— Я не пойду замужъ. Если и папаша прикажетъ — я не пойду, — сказала рѣшительно Дарья Андреевна.

— Въ монахини хочешь? Это тебя рекомендуетъ съ хорошей стороны.

— Я не хочу и въ монахини.

— А! это тебя каламаница развратила. Пошла вонъ, негодница!

— Я не негодница и не позволю ругать себя!

— Что такое? Какъ ты смѣешь грубить? Тварь! — кричала настоятельница и ударила ее по щекѣ.

— Какое право имѣете вы драться? Я не хочу жить больше въ монастырѣ!

На этотъ крикъ прибѣжали двѣ монахини и, по приказанію настоятельницы, Дарью Андреевну увели и заперли въ холодный и темный чуланъ, въ которомъ она пробыла только двое сутокъ, а на третью захворала, и ее взяли въ монастырскій лазаретъ.

Она написала отцу письмо, въ которомъ подробно изложила причину своей болѣзни, но на другой же день настоятельница призвала ее къ себѣ, показала ей письмо ея и дневникъ, и погрозила запереть на все лѣто въ такой чуланъ, въ которомъ ее живую съѣдятъ мыши. И вотъ Дарья Андреевна рѣшилась бѣжать, и въ воскресенье, во время обѣды, ушла изъ церкви прямо къ Марьянѣ Петровнѣ, которая, вмѣстѣ съ матерью, снабдила ее деньгами и отправила черезъ часъ послѣ ея бѣгства изъ монастыря съ обозомъ въ губернской городъ Егорьевскъ. На прощанье старушка Потапова напутствовала ее такими словами:

— Дѣлать нечего. Въ монастырѣ жить тебѣ нельзя. Еслибъ у тебя характеръ былъ не крутой, а такой же выносливый, какъ и у другихъ воспитанницъ, да не задумала бы ты работать, тогда ты бы не рѣшилась бѣжать изъ монастыря. Теперь ты птишка свободная, унывать тебѣ не слѣдуетъ; потому коли попадешь опять въ монастырскіе вѣрты — плохо тебѣ будетъ: тебя запрутъ, изъ тебя сдѣлаютъ сумасшедшую, коли насильно не выдадутъ замужъ или не постригутъ въ монахини. Свобода — дѣло великое, но тебѣ можетъ быть придется много перетерпѣть горя. Тяжело бороться со всякими преградами, но все же ихъ можно и одолѣть. Ты пожайя къ отцу, объясни ему все, какъ слѣдуетъ, и тогда дѣлай какъ знаешь. Лучше сперва посоветоваться съ отцомъ, чѣмъ впасть въ омутъ зря.

— Если онъ мнѣ не позволитъ, я сама уйду отъ него.

— Если не позволитъ, ты съ нимъ ничего не сдѣлаешь: на то онъ отецъ. А ты присмотришься сперва, какъ бѣдные люди живутъ... Да и я, право, не понимаю, что у тебя за охота мучить себя преждевременно. Другое дѣло, еслибъ у тебя отца не было.

— Я не хочу жить такъ, какъ они живутъ. Я хочу жить своимъ трудомъ, какъ и вы, потому что я вижу, что такъ жить можно.

— Ну! Богъ тебя благословитъ.

И Дарья Андреевна поѣхала полная надеждъ. Теперь она больше прежняго присматривалась къ труду вообще, а къ женскому въ особенности. Въ деревняхъ и селахъ она видѣла много работающихъ женщинъ, которыми такъ привыкли къ работѣ, что имъ скучно было безъ дѣла. Когда же она спросила одну крестьянку: — А что, тяжело работать? — та съ изумленіемъ поглядѣла на нее и сказала:

— Что за тяжело! Коли робить не будешь, ѣсть нечего будетъ. Мы тѣмъ и живемъ, што робимъ и другихъ еще кормимъ работой. Ничего. Робить день денской, а спасибо никто не скажетъ — и не надо. Скверно только, что ничего въ хозяйствѣ не прибавляется, а изъ хозяйства идетъ прочь.

— Куда?

— Знаю куда! Кто выше — туда и идетъ.

Словомъ, всѣ, кто ни работалъ, не говорили, что работать не хочется, а жаловался только, что эта работа или плохо обеспечиваетъ, или вовсе не обеспечиваетъ. Въ губернскомъ городѣ она видѣла то же, а дѣй чиновники, съ которыми она познакоми-

лась тамъ случайно, не только не похваляли ее за намѣреніе трудиться, но даже напугали ее; братъ же Кузьма прямо сказалъ ей, что она глупитъ, потому что дочери чиновника, дѣвницѣ, не подобаетъ работать по-мѣщански или по-крестьянски.

## VII.

Долго ходила Дарья Андреевна по саду, припоминая вышеописанное и соображая, какъ ей устроить свою жизнь. Вотъ она и въ родительскомъ домѣ, ходитъ по обширному, давно запущенному саду, въ которомъ дорожки существуютъ только до бѣсѣдки и около пруда, всюду растутъ репей, крапива и другія негодныя травы, тамъ и сямъ пробиваются малиновые кусты, около заплата во икожествѣ растутъ шиповники, крыжовникъ и смородина; чѣмъ дальше въ глубь — тѣмъ больше деревьевъ, которые то и дѣло зацѣпляютъ за ея платье, пахнетъ сосной, дышется тяжело, какъ будто она бродитъ по большому лѣсу, и немудрено: она уже давно не была въ настоящемъ лѣсу. Впечатлѣнія только остались, и вотъ она опять видитъ какъ будто лѣсъ въ миниатюрѣ. Былъ и въ монастырѣ садъ, но тамъ слѣдили за каждымъ ея шагомъ, тамъ пахло мертвечиной, потому что рядомъ съ садомъ находится кладбище. Тамъ, кромѣ памятниковъ, нѣтъ ничего причудливаго, тамъ нѣтъ свободы. А здѣсь ходи сколько угодно. Здѣсь и разнообразіе есть. Такъ она набрела на какую-то горку, обросшую травой и нхтой. Дорожки ни на ней, ни вокругъ нея не существуютъ, но на ней въ самой серединѣ есть небольшая площадка и сгнившая скамейка. Точно объ этой горѣ и не зналъ владѣлецъ сада. Съ этой горки не открывается никакихъ хорошихъ видовъ: вверху небо, по сторонамъ деревья, сосна, береза и тополь; внизу тамъ и сямъ мелькаютъ желтенькіе, голубенькіе и бѣлые цвѣточки. Но за то здѣсь хорошо тѣмъ, что внизу журчитъ ручеекъ, точно вода его падаетъ съ небольшой высоты. Дарья Андреевна спустилась внизъ: въ горкѣ сдѣлано отверстіе, до половины заросшее репейникомъ и крапивой; передъ этимъ отверстіемъ течетъ ручеекъ и стекаетъ въ небольшую ложбину, въ которой онъ и течетъ потомъ дальше. Вспомнила Дарья Андреевна, какъ она прежде часто убѣгала сюда съ братомъ Кузьмой и запруживали этотъ ручеекъ камнями, какъ они прятались въ горкѣ, — кто устроилъ ее, никому въ городѣ не было извѣстно, и какъ братъ Кузьма пугалъ ее, залѣзши въ это отверстіе и выкидывая тамъ различные шуточки. Часто случалось имъ заставать въ горкѣ городскихъ ребятъ, бѣгавшихъ и прячущихся здѣсь отъ учителя и розогъ, но они никогда не выдавали ихъ, а напротивъ играли съ ними во что-нибудь; нерѣдко случалось ей также и кормить этихъ оборванцевъ, которые рады были и куску черствого ржаного хлѣба. Но теперь, видно, въ училищѣ стало лучше, или ребята нашли другое убѣжище: трава не поята; не видно, чтобы кто-нибудь былъ здѣсь нынѣшней весной. На самомъ концѣ болота, а на одномъ высокомъ тонкомъ тополѣ виситъ бумажный разорванный зпѣй. Всадъ запущеніе. А сколько бы можно хорошаго извлечь изъ этого сада!..

„Если-бы я была хозяйка“, думала Дарья Андреевна: „я бы вездѣ сдѣлала дорожки, траву расчистила, стала бы рассаживать яблонь, груш, — а то вонъ ихъ сколько и воѣ сухихъ; я бы и здѣсь развела огородъ; тутъ бы даже можно было льну посѣять или табакъ“. Разсуждая такъ, она чувствовала, что она у себя дома, что ее никто не выгонитъ изъ дома, изъ сада. „Дядя говорилъ, что послѣ смерти отца домъ будетъ принадлежать намъ, дѣтямъ“. И ей представилось, какъ они будутъ дѣлать это имущество, и старалась забыть свое желаніе владѣть такимъ имуществомъ, которое ей никогда не достанется, потому что у нея есть старшій братъ, который вѣроятно захочетъ воспользоваться домомъ.

„Что я буду дѣлать?“ — вотъ вопросъ, который занималъ ее теперь. Но она еще не видѣлась съ начекой, съ другими родными. Какъ-то они взглянутъ на ее неожиданное появленіе здѣсь?..

Завзвонили къ обѣднѣ. Она пошла торопливо домой и у бесѣдки наткнулась на брата, Осипа Андреича.

— Здравствуй, сестрица! Ужъ я тебя искалъ, искалъ... Ну, слава Богу—пріѣхала. Здорова ли?

— Здорова, братецъ. Здорова ли Марья Антоновна?

— Какъ корова, — и онъ захотѣлъ надъ своей остроугою. — Она еще спитъ. На долго ты сюда пріѣхала?

— Не знаю. Это зависитъ отъ папани и мамани.

— Вотъ что, сестрица, поѣдешь ко мнѣ въ село. У меня тамъ большое хозяйство, своя мельница, луга, скотъ. Вѣдь, пей, сип, гулай. Чего хочешь, того и просишь — все подъ бокомъ. Все село въ моихъ рукахъ. Что захочу, то и дѣлаю.

— Покорно благодарю.

— Ты ужъ, поди, честѣйшая монашка стала и отъ танцевъ, поди, отстала. А меня произвели уже въ коллежскіе секретари.

— Поздравляю.

— Губернаторъ меня приглашаетъ къ себѣ въ канцелярію. Я, говоритъ, сдѣлаю васъ чиновникомъ особыхъ порученій или членомъ по крестьянскому присутствію. Но я не хочу во нервыхъ потому, что въ губернскомъ городѣ надо жить по-губернски, а въ селѣ я, какъ забился съ утра въ пальто, такъ и не снимаю его до вечера; а во вторыхъ, тамъ все дорого, а въ селѣ я трачу деньги только на табакъ, на чай да на наряды женѣ. Ты папану видѣла?

— Видѣла.

— Какъ ты нашла его?

— Все такой же.

— Ну, я признаюсь нахожу, что его здоровье день ото дня слабѣетъ. Мачиха его совсѣмъ обила съ тобою. Вѣдунный отецъ! — Что она ни захочетъ, то и дѣлаетъ. Только вотъ она водку не запрещаетъ ему пить.

— Для чего онъ служитъ? Вышелъ бы въ отставку и поѣхалъ бы жить къ вамъ.

— О, онъ ни за что не выйдетъ въ отставку. Впрочемъ, если бы онъ сталъ жить у меня, то сталъ бы изнѣживаться въ мои дѣла и изнѣжалъ бы мнѣ. Онъ пожалуй бы еще звался за должность писмоводителя...

Они вошли въ палисадникъ. Тамъ въ бесѣдкѣ сидѣлъ Андрей Ивановичъ въ халатѣ и курилъ трубку; радостъ съ нимъ сидѣлъ пожилой мужчина съ рыжей

бородой и всклокоченными волосами; на немъ былъ надѣтъ суконный порыжѣлый кафтанъ съ двумя рядами свѣтлыхъ пуговицъ. Онъ считалъ мѣдные деньги.

— Надо какъ-нибудь удержатъ отца. Этотъ засѣдатель вѣроятно собирается послать за водкой. Ужъ я ему задамъ! Я его уже два раза дралъ — проговорилъ Осипъ Андреичъ.

— Кого — засѣдателя-то?

— Что жъ такое! Вѣдь онъ мужикъ. Не знаю зачѣмъ законъ велитъ, въ случаѣ недостатка наличнаго состава членомъ земскаго суда, приглашать этихъ мужиковъ. Онъ, каналья, даже и фамилію порядочно подписать не умѣетъ, а его только и требуютъ въ судъ для того, чтобы онъ подписывалъ на бумагахъ свою фамилію, а въ случаѣ безграмотства приложилъ бы свою печать.

— Эдакъ могутъ и писцы сдѣлать фальшивую подпись.

— Нельзя. Этотъ народъ хотя и пьяница и неучъ, а тоже нѣтъ смекалку. Нужды нѣтъ, что онъ невѣжа, а ты ему не клади пальца въ ротъ. У этого канальи я разъ нашелъ книжку, гдѣ онъ чертилъ палочки. Я спросилъ, что это такое. А это, говоритъ, я записываю, сколько тогда-то бумагъ подписалъ.

Поравнялись съ бесѣдкой. Засѣдатель всталъ и раскланялся.

— Для чего это деньги на столѣ? — спросилъ строго засѣдателя Осипъ Андреичъ.

— Для тебя, — отвѣчалъ отецъ и сталъ смотрѣть на сына.

Сынъ сконфузился, но не надолго.

— Какъ вамъ не стыдно, папаша. Вы знаете, что я взяткомъ не беру! — сказала сынъ рѣзко.

— Ладно, Осипъ... Однако вотъ что: Вамъ нужно домой; у него жена при смерти. Онъ ужъ и такъ дома не былъ двѣ недѣли. Я пьянъ... Такъ ты...

— Батюшка, Осипъ Андреичъ помилосердуйте! Хоть розгами накажите, а освободите отъ земскаго суда, — проговорилъ засѣдатель кланяясь.

— Хорошо, любезный, хорошо. Я эти отговорки знаю... Умреть жена — другую возьмешь. Эка невѣда! Однако я поговорю съ исправникомъ. Ну-ко, дохни!

— Ей-Богу, в. 6 — а, я не пилъ водки. Кромѣ воды ничего не пилъ. — И засѣдатель дохнулъ.

— Хорошо. Подожди въ прихожей.

И онъ ушелъ съ Дарьей Андреевной.

Эта сцена на Дарью Андреевну произвела непріятное впечатлѣніе. Она увидѣла, что братъ ея, относившійся къ ней прежде свысока, теперь относится съ пренебреженіемъ къ людямъ постороннимъ, къ засѣдателямъ земскаго суда, подписывающимъ бумаги, которыя иногда рѣшаютъ судьбу человека. Ей не понравилось его хвастовство, что онъ наказывалъ этого засѣдателя розгами; ей противно казалось его приказаніе дохнуть...

Она молчала, а братъ отвѣчалъ кланяющимся ему изъ оконъ мужичинамъ въ вицундирахъ, сюртукахъ и пальто, мужичинамъ различныхъ фizioномій и разныхъ лѣтъ. Съ однимъ изъ нихъ онъ заговорилъ. Пользуясь этимъ случаемъ, Дарья Андреевна пошла внистъ, въ дѣтскую. Тамъ она застала слѣдующую

сцену. Какъ въ первой комнатѣ, такъ и во второй рѣзали дѣти, но больше всѣхъ орала маленькая дочь брата Дарья Андреевны, Осипа Андренча, такъ какъ она расшибла затылокъ, на которомъ образовалась порядочная ссадина кожи. Нянька дѣтей Осипа Андренча, укачивая дѣвочку, то ллюлюкала, то дула на большое мѣсто, а въ другой дѣтской комнатѣ говорили двѣ женщины. Это были Марья Антоновна и Марья Андреевна. Сперва ничего нельзя было разобрать въ этомъ гвалтѣ. Дарья Андреевна взяла къ себѣ ребенка, а няньку послала въ кухню за водою для того, чтобы приложить къ головѣ прищочки. Наконецъ она услышала слѣдующее:

— Ты воровка!—кричала Марья Антоновна.

— Ну, и вы тоже нечисты на руку; взяли мой платокъ, отпоролли нѣтку и свою сдѣлали,—кричала въ свою очередь Марья Андреевна.

— Какъ! я воровка! вотъ!! во-отъ!

И Дарья Андреевна услышала удары, посыпавшіеся пощипанію въ щеки Марьи Андреевны, которая хотя и заплакала, но кричать не переставала. Дарья Андреевна пошла къ нимъ. Марья Антоновна, увидѣвши ее, сконфузилась, но скоро оправившись, какъ ни въ чемъ не бывало, подошла къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Здравствуй, сестрица... Извини, что такая встрѣча. Мы шутимъ.

— Хороши шутки!—по щекамъ драть! Безосновательная,—проговорила Марья Андреевна, и въ свою очередь поздравлялась съ сестрой.

— Ну, не негодяйка ли она! Какъ ты думаешь, Дашенька?

— Поругайся еще ты, мерз.... Сейчасъ пойду скажу мамашѣ,—проговорила рыдая Марья Андреевна и пошла, но ее удержала Дарья Андреевна.

— Полно, сестрица! Къ чему ссориться!

— У насъ каждый день такъ... Она такая злоюшка, что...

— Врешь! Такой воровки и въ простомъ народѣ нѣтъ.

— Ну, сестрица, вы простите ей. Мало ли чего не бываетъ.

— Вотъ мило!—Я—дочь совѣтника, и буду потакать какой-нибудь...

— Ну, полноте! Я васъ прошу—я только что пріѣхала и застаю въ домѣ непріятности.

— Непріятности отъ вашей родни!—сказала Марья Андреевна.

— Сестра, какъ тебѣ хочется заводить сцены. Вѣдь ты уже знаешь Марью Антоновну не первый годъ.

— Что такое—съ?

— Я ничего не сказала для васъ обиднаго, Марья Антоновна.

— Какое вы имѣете право выѣшиваться въ чужія дѣла? Вы изъ монастыря убѣжали, только что пріѣхали: еще неизвестно—примутъ ли васъ родители ваши. Мы хотѣли взять васъ съ собой, и вдругъ вы говорите мнѣ колкости! Ну, голубушка, съ такими правомъ немного вы найдете себѣ счастья.

— Я у васъ ничего не заискивала и не заискиваю. Пріѣхала я сюда къ отцу, и потому не желаю, чтобы

вы и мнѣ надѣлали обидъ, какъ моей сестрѣ. —И Дарья Андреевна пошла, но на крыльцѣ встрѣтила отца.

— Что тамъ за крики?—спросилъ онъ.

— Тамъ драка: золовка поколотила Машу.

Андрей Ивановичъ махнулъ рукой, плюнулъ, подошелъ къ двери въ кухню и крикнулъ:

— Смирно вы, чертовки!

Къ нему подошла его дочь съ Марьей Антоновной. Начался крикъ. Но Андрей Ивановичъ заткнулъ уши и пошелъ наверхъ. Наконецъ его вывели изъ терпѣнія.

— Если вы будете голосить, какъ на базарѣ, я васъ обѣихъ вытурю вонъ или самъ уйду куда-нибудь на все время, пока вы, Марья Антоновна, будете здѣсь,—проговорилъ онъ сердито, стуча кулакомъ въ перила лѣстницы.

— И уйду—съ!—сказала Марья Антоновна захотавши, но потомъ заплакала. Въ прихожей ихъ встрѣтила Марина Осиповна, Осипъ Андренчъ и Ипполитъ Аполлоновичъ. Началась опять сцена. Марья Антоновна стала жаловаться мужу, что ее здѣсь всѣ оскорбили и что имъ нисколько не медля нужно уѣхать; Марина Осиповна и Ипполитъ Аполлоновичъ стали упрасивать ее не сердиться, потому что они ее ничѣмъ не обижали; самъ Андрей Ивановичъ, махнувъ рукой, повелъ съ собой Дарью Андреевну, и только тогда махиха и дядя стали поздравлять ее съ пріѣздомъ, оставивъ Марью Антоновну ворчать съ мужемъ въ другихъ комнатахъ.

Послѣ этого всѣ въ домѣ Яковлева были не въ духѣ. Подобныя сцены случались нерѣдко въ кругу семейномъ, а теперь объ нихъ узнаетъ весь городъ, и изъ семейныхъ Яковлева никому нельзя будетъ показаться въ городъ: пальцами будутъ тыкать, хихикать вполголоса. И мало ли чего не наговорятъ. «О важныхъ людяхъ ничтожные люди при всякомъ случаѣ стараются чесать языки, приплетая туда всякую всячину», говорила Марина Осиповна своему отцу, пріѣхавшему къ обѣду—тотчасъ какъ онъ узналъ отъ одного купца, что у Яковлевыхъ произошла такая ссора по случаю пріѣзда дочери изъ монастыря, что самъ Андрей Ивановичъ гонитъ вонъ сына съ женой, которая поколотила Дарью Андреевну, назвала ее нехорошими именами, а самого Андрея Ивановича обозвала пьягой-мученикомъ, погрозились жаловаться, и даже брату Андрея Ивановича, будущему совѣтнику казенной палаты и разнымъ орденъ кавалеру, наговорила такихъ колкостей, что онъ слегъ въ постель и не можетъ болѣе выѣхать, что Дарью Андреевну опять отсылаютъ въ монастырь и т. п. и т. д. Все это, и пересуды городскіе, и непріятное настроеніе всѣхъ наличныхъ членовъ Яковлевской семьи произошло собственно потому, что, во-первыхъ, у нихъ гостилъ такой человѣкъ, какъ Ипполитъ Аполлоновичъ, при которомъ всѣ семейные держали себя съ достоинствомъ и ссорились только гдѣ-нибудь въ углахъ, а во-вторыхъ, ссора случилась тотчасъ по пріѣздѣ Дарьи Андреевны. Словомъ, всѣ были недовольны другъ другомъ. Андрей Ивановичъ, поговоривши немного съ Дарьей Андреевной, и уговоривши сына и брата остаться, взялъ съ со-



греба бутылку наливки, ушелъ въ свою бесѣдку и заперся тамъ.

Съ прїѣзда Дарья Андреевны прошло нѣсколько часовъ и въ теченіе этого времени она достаточно убѣдилась въ томъ, что въ ея отсутствіе много произошло перемѣнъ. Не говоря о палисадникѣ, въ которомъ стало больше прежняго цвѣтовъ и кустарниковъ малины, о домѣ, который отъ выскакивающей съ каждымъ мѣсяцемъ все больше и больше штукатуры казался угрюмѣе прежняго, — она нашла, что и въ семейныхъ проишествіяхъ значительная перемѣна. Такъ, отецъ обрюзгъ, принявъ ее не совсѣмъ ласково, не такъ, какъ прежде; онъ, мало того, даже высказалъ ей свое неудовольствіе на то, что она самовольно уѣхала изъ монастыря, и желаніе отдать ее поскорѣе замужъ; значить теперь уже ее всѣ считали невѣстой, — чего не было прежде, и теперь всѣ на нее становъ смотрѣть какъ на невѣсту; отецъ постарѣлъ, его какъ будто немного скрючило. Она видѣла, какъ онъ самъ ходилъ въ погребъ, несъ оттуда бутылку вина и съ нею ушелъ въ садъ, осмѣиваемый чиновниками уѣзднаго суда, и ушелъ онъ туда какъ будто съ горю; а это она поняла изъ того, что ему какъ будто тяжело было въ домѣ, гдѣ золовка дѣлаетъ буйство, гдѣ Марья Андреевна, ея сестра, не имѣетъ защиты и гдѣ отецъ какъ будто не имѣетъ вовсе власти, а отъ крика и ругани затываетъ уши пальцами, плюетъ и машетъ рукой, а потомъ проситъ, какъ великой милости, своего сына уговорить свою жену не сердиться, а остаться, погостить у нихъ еще нѣсколько дней. Отчего сдѣлался такимъ отецъ — она не могла въ настоящее время понять. Мачиха ея стала толще, взглядъ у нея сдѣлался ястребинный, говоритъ она хрипавѣе прежняго, ходитъ едва-едва переступая ноги; что она не радѣетъ объ дѣтяхъ, видно изъ того, что дѣтскую перевели внизъ и она тамъ повидимому даже не была сегодня; дѣти содержатся тамъ небрежно; въ комнатахъ вездѣ много сору, ничего не убрано, точно она и не хозяйка. Съ отцомъ она обращается какъ съ чужимъ, онъ даже какъ будто противенъ ей, что она заключала изъ того, что на жалобу золовки она сказала, что она ее не обижала, — значить, она всю вину сваливала на отца и Марью Андреевну. На нее, Дарью Андреевну, она обратила вниманіе только тогда, когда отецъ повелъ ее въ другую комнату. А не можетъ быть, чтобы она не знала объ ея прїѣздѣ, такъ какъ прошло уже много времени и ей могла передать прислуга и даже самъ отецъ. Значить мачиха не любитъ ее больше прежняго. Осипъ Андреевичъ сдѣлался еще надменнѣе прежняго и подпалъ подъ вліяніе своей жены, которая ихъ родню ставитъ ни во что, и только къ дядѣ относится съ уваженіемъ. Ипполитъ Аполлоновичъ сдѣлался тоже надменнѣе, — при появленіи ея подальгъ ей два пальца и поцѣловалъ не такъ, какъ прежде, а сдѣлалъ только видъ, что прикасается къ ея щекамъ. Марья Андреевна потолстѣла, голосъ ея измѣнился, она сдѣлалась груба и зла; когда сегодня утромъ Дарья Андреевна поцѣловала ее, то отъ нея сильно пахло виномъ. Все это болѣзненно подѣйствовало на Дарью Андреевну. Сидя въ одной изъ комнатъ, выходящихъ на улицу, она думала, что на-

прасно прїѣхала сюда, что ее будутъ здѣсь ежедневно попрекать чѣмъ-нибудь. „Ужъ коли начало такое, что дальше будетъ? Нѣтъ, надо уѣхать отсюда. Но куда?..“ У нея болѣзненно забилося сердце при мысли, что она наконецъ-то можетъ жить отдѣльно отъ родителей и родни, которые не любятъ ее, но свѣрять то, что у нея нѣтъ денегъ, чтобы прожить нѣсколько времени въ другомъ городѣ до тѣхъ поръ, пока она не найдетъ работы; родня же ей на это не дастъ ни гроша, да и сама она просить у нихъ не рѣшится.

Въ комнату вошла Марина Осиповна. Она была въ ситцевомъ платьѣ, на головѣ надѣтъ чепчикъ. Въ одной рукѣ она держала связку ключей, въ другой платокъ. Лицо ея было сильно раскраснѣвшее, точно она только что пришла отъ печки.

— Здравствуйте, Дарья Андреевна! — сказала она язвительно и поклонилась, но къ Дарьѣ Андреевнѣ не подошла. Дарья Андреевна встала и пошла къ ней, но та сѣла на стулъ около двери.

— Хорошо вы воспитались въ монастырѣ, нечего сказать. Должно быть вы тамъ съ очень хорошими людьми за оградой вели знакомство. Отличная вы женщина вышли. На удивленіе просто. Не успѣли прїѣхать въ родительскій домъ, не успѣли глазъ хорошенько протереть, а заводите уже исторіи. Богъ вамъ судья! Вы меня и прежде не почитали! Вы и отца оскорбили! Того и гляди, что онъ протянетъ ноги... — И она заплакала.

Дарья Андреевна не знала, что ей сказать. Она стояла какъ пригвожденная къ мѣсту. По этимъ несвязнымъ словамъ она заключила, что мачиха выпивши. Ничего не было въ томъ мудренаго, такъ какъ мачиха и прежде выпивала утромъ.

— Я, ей-богу, ни въ чемъ не виновата, мамаша!

— Охъ, какая я мамаша... Всѣ меня обижаютъ... и мужъ, и дѣти. Ни отъ кого мнѣ нѣту почтенія, а отъ тебя въ особенности... Ты какъ и прежде была негодная дѣвчонка, такъ и теперь еще хуже. О, Господи, Господи!

Дарья Андреевна заплакала.

— Богъ вамъ судья, мамаша... Не знаю, за что вы обижаете меня...

— Охъ, ты... развратница! Знаю я все, какъ ты жила въ монастырѣ... какъ ты связалась тамъ съ какими-то дѣвчонками...

— Все это неправда. Дѣвчонки были честныя.

— И не говори. Каково твоё поведеніе, видно изъ того, что ты обозвала Марью Антоновну дурой. А она еще хотѣла тебя взять къ себѣ. Какое ты имѣла право уйти изъ монастыря?... Молчи! Что ты будешь дѣлать здѣсь?.. Ты думаешь, что намъ пріятно имѣть такую нахлѣбницу, какъ ты?

— Если папаша мнѣ позволитъ, я уѣду.

— Что такое? Уѣхать!.. Скажите пожалуйста! Ну, такъ и есть, что ты негодница. Куда ты уѣдешь? Къ любовнику? Кто твой любовникъ? Говори! Да я тебя ни одной минуты не стану держать въ домѣ.

— Папаша знаетъ, чѣмъ я буду заниматься.

— А-а! Ты уже успѣла оплести своего пьянаго родителя.

Дарья Андреевна заплакала. Въ это время въ комнату вошелъ Ипполитъ Аполлоновичъ.



— Какъ вамъ не стыдно, Марина Осиповна! Не успѣла Даша пріѣхать, а вы ужъ и кричите на нее. Бога вы не боитесь.

Марина Осиповна заплакала.

— И вы меня обижаете! Всѣ на меня.

— Никто васъ не обижаетъ, а вотъ вы готовы всѣхъ и каждого обидѣть.

— Охъ, я несчастная! И зачѣмъ чортъ меня сумулъ выйти замужъ за пьяницу.

— Вы не смѣете обижать брата! Если вы хоть еще скажете мнѣ дерзость, я отъ васъ уѣду и, поверьте, ни разу не взгляну къ вамъ и васъ не пущу къ себѣ на порогъ. Вы должны помнить, кто вашъ отецъ и кто мы... — говорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ, ходя по комнатѣ скорыми шагами.

— Дяденька, не говорите этого, — вступилась Дарья Андреевна.

— Это свинство наконецъ! Мѣщанское отродье и вдругъ смѣетъ обижать нашу родню! Даша, сбійрайся—ѣдемъ!

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилась эта сцена, еслибъ не пріѣхалъ отецъ Марины Осиповны.

— Ваша дочь обидѣла меня!.. Я ѣду! Помните, что торги на подряды на носу.

Осипъ Флорычъ испугался, стоялъ какъ пораженный и глядѣлъ то на ассессора, то на свою дочь.

Ипполитъ Аполлоновичъ разсказалъ, въ чемъ дѣло. Осипъ Флорычъ, давъ нагоняй дочери, ушелъ за Ипполитомъ Аполлоновичемъ; Дарья Андреевна вышла въ другую комнату. Немного погодя, Зинovieвъ пошелъ къ дочери и сказалъ ей:

— Эта негодница чуть было не испортила все дѣло. Хорошо, что я поспѣлъ во-время. Поди, проси у него прощенья, въ ноги поклонись. Онъ любитъ это.

Черезъ нѣсколько минутъ мачиха прошла съ отцомъ въ кабинетъ, а черезъ четверть часа вышли оттуда съ Ипполитомъ Аполлоновичемъ съ сіяющими лицами и подскѣли къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Ты, Даша, — началъ дядя, — на эти сцены не обращай вниманія. А что если мачиха погорачилась на тебя, такъ у нея ужъ такой нравъ, да и ты сама неправа по многимъ причинамъ, которыя ты намъ должна объяснить. Во первыхъ, хотя я кое-что и знаю о нравѣ настоятельницы, но мы получили отъ нея письмо, въ которомъ она излагаетъ подробно о твоихъ каверзахъ. Прочитай. — И онъ подаль ей письмо.

Дарья Андреевна подробно разсказала имъ о томъ, какова ей была жизнь въ монастырѣ, о нагнѣреніи настоятельницы выдать ее замужъ, о своемъ отказѣ и что потомъ было.

— Это ужасно! Это чортъ знаетъ что такое! — проговорилъ дядя.

Остальные хотя и удивлялись, но не совсѣмъ вѣрили. Спросили ее, зачѣмъ она ничего не писала ни отцу, ни дядѣ, и когда та разсказала, какъ читали ей письма, то дядя сказалъ:

— Хорошо! Я справлюсь въ почтовыхъ конторахъ, и если дѣйствительно не получалось писемъ, я донесу владыкѣ. Я вѣрить тебѣ имѣю основаніе, потому что ты была дѣвушка хорошая, и я былъ противъ посланія тебя въ монастырь. Конечно тутъ есть доля вины и

за Мариной Осиповной, которая, надо правду сказать, не очень-то долюбиваетъ своихъ падчерицъ.

— Ахъ, Ипполитъ Аполлоновичъ! Видитъ Богъ, какъ я люблю ихъ, но что же дѣлать, если онѣ меня не любятъ. Вотъ про мальчиковъ я ничего не могу сказать.

— Ну, конечно... Дѣло понятное. Есть матери, которыя даже и своихъ собственныхъ дѣтей не очень-то долюбиваютъ, а объ чужихъ и говорить нечего. А ты, Даша, сама виновата, что была подчасъ рѣзка съ Мариной Осиповной. Нужно помнить, что отецъ твой любитъ ее; а если онъ любитъ, такъ и ты должна тоже любить. Ну-съ, теперь второе, и это самое главное: зачѣмъ ты обругала Марю Антоновну душой и даже хуже этого?

Виноватая разсказала въ чемъ заключалось дѣло.

— Ну, матушка; ты еще молода, чтобы философствовать. Ты должна слушать, что говорятъ люди опытные, которые тебя старше въ три раза. Я говорю, что бить образованной дамѣ тоже даму — дѣло неблагопрістойное, однако въ семействѣ допустить это можно, во первыхъ потому, что Марья Антоновна старше Мани, а во вторыхъ, та того заслуживаетъ.

— Но, дяденька, не можетъ же быть, чтобы сестра взяла сѣту.

— Сѣтку жена Осипа нашла въ комодѣ у Мары, — сказала Марина Осиповна.

— Вотъ то-то и есть! Ты бы прежде должна узнать суть дѣла, а потомъ дѣлать съ защитой. Вора всегда надо наказывать, чтобы онъ помнилъ и не смѣлъ въ другой разъ протягивать руки за чужую вещь. Но довольно объ этомъ. Ты все-таки поступила нехорошо. Она тебѣ говоритъ, что это не твое дѣло, она тебѣ сказала слово, а ты два, тебѣ бы слѣдовало уйти, а ты возражать.

— Ужъ извѣстно, бабы народъ глупый: сойдутся двѣ бабы — крикъ, ругань, драка. А если тутъ еще третья ввяжется, и той достанется на казачи, — зашѣлтъ Зинovieвъ.

— Чтобы поправить дѣло, ты должна извиниться, — сказалъ дядя.

— Передъ кѣмъ?

— Передъ Марей Антоновной.

— Боже меня избави! Я не ребенокъ.

— Вотъ видите! — сказала Марина Осиповна.

— Мы всѣ этого требуемъ; ты должна уважить хотъ меня.

— Дяденька, увольте меня отъ этого. Она обидѣла меня, и съ какой стати я стану еще просить у нея прощенья? Ни за что! Хотя я васъ люблю и уважаю, но этого сдѣлать не могу. Вотъ у Мани я могу просить прощенья во всемъ, въ чемъ я виновата.

— А если отецъ тебя заставитъ?

— Никто меня не можетъ заставить. Это касается лично меня.

— Горда же ты. Помни, что тебѣ еще много придется жить и со своею сѣбью много ты натерпишься горя! — И Ипполитъ Аполлоновичъ всталъ и началъ ходить. Но его скоро вызвала подошедшая къ двери Марья Антоновна, и они ушли въ кабинетъ, откуда пришли только къ обѣду.

Мачиха и отецъ ее долго упрашивали Дарью

Андреевну испросить у Мары Антоновны прощенья, но она наотрѣвъ отказалась. Попробовали угрозы — она стала молчать; Марина Осиповна рассказала, что и она просила у дяди прощенья, но Дарья Андреевна на это сказала:

— Не вы у него, а онъ у васъ долженъ бы былъ просить прощенья, потому что онъ какъ вамъ, такъ и намъ нанесъ оскорбленіе, назвавъ васъ мѣщанкою.

— Какъ? насъ — мѣщанами, ворами? — вступился Зиновьевъ.

— Молчите, папаша, — произнесла съ испугомъ Марина Осиповна.

— Ахъ, еслибы не подрадь — наломалъ бы я ему бока.

— Да, Даша, всегда нужно покоряться. Отецъ слабъ; куда мы съ нашей семьей дѣнемся?...

— Полно вамъ, мамаша. Отецъ еще крѣпко ходитъ. Ну, если его не будетъ — будемъ трудиться. Я первая возьмусь за трудъ какой-нибудь. А влзаться я и дядишки не намѣрена.

Зиновьевъ покачалъ головой, а Марина Осиповна стала съ испугомъ смотрѣть на него.

— О, дѣвка, дѣвка! Еслибы тебя да въ мои руки, и я-я бы тебя! — проговорилъ Зиновьевъ, сжавъ кулаки, заскрежеталъ зубами и ушелъ.

— Вотъ Богъ послалъ мнѣ зѣбу за мои грѣхи, — проговорила Марина Осиповна и тоже ушла.

Отъ всѣхъ этихъ сценъ и разговоровъ у Дарьи Андреевны заболѣла и закружилась голова, точно она была въ горячкѣ. Она сразу увидѣла столько радости въ ея роднѣ, что отцовскій домъ ей показался какинъ-то адомъ. Она уже не могла больше жить въ немъ, не могла конечно ѣхать ни къ брату, ни къ дядѣ. Ей хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, но она была одна: на сестру надѣяться нечего. Оставалась дочь Зиновьева, Анисья Осиповна, ея любимица, но какъ она пойдетъ къ ней, когда ея отецъ развалился на нее? Остается отецъ. И дѣйствительно изъ всей ея родни остается только одинъ отецъ, который любитъ еще ее, котораго можетъ быть обкрадывать, обижать, смерти котораго можетъ быть всѣ ждуть. Не даромъ о смерти его всѣ говорятъ; не даромъ же онъ и пѣть запоетъ... И мысль оставить домъ исчезла. „Я буду жить съ отцомъ, я поддержу его. Пусть дѣлаютъ со мною, что хотятъ, пусть ненавидятъ, но я его спасу; для него меня никто изъ дому не выгонятъ“.

И она пошла въ садъ.

Въ бесѣдѣ палисадника сидѣла Марья Андреевна. Она что-то шила и очень громко распѣвала незаметнымъ голосомъ: „Скажите ей“, такъ что многіе чиновники изъ оконъ смотрѣли на нее, а нѣкоторые даже подтягивали. Когда она увидѣла сестру, замолчала.

— Какая ты, сестрица, веселая, — сказала Дарья Андреевна, присвѣвъ къ Марьѣ Андреевнѣ.

— Не все же плакать.

— Я бы здѣсь ни за что не пѣла, потому что въ

нашемъ домѣ присутственными мѣста и въ нихъ много служащихъ. Смотри, Маша, сколько смотрятъ сюда.

— Это они на тебя смотрятъ, а на меня нѣтъ нечего смотрѣть, — примелькалась, а я на нихъ и вниманія не обращаю. Вотъ сейчасъ приходилъ изъ уѣзднаго суда засѣдатель Трынкинъ и лебезилъ около меня, а мнѣ что въ немъ, у меня ужъ есть женихъ.

— Все же нехорошо, потому что изъ нихъ, можетъ быть есть и хорошіе; пѣвчіе вѣдь здѣсь въ церкви поютъ приказные.

— Я въ своемъ домѣ, и поэтому на насѣвшихъ не обращаю вниманія. Вотъ мы уже споемъ съ тобой когда-нибудь въ саду. Я въ саду ужасно люблю пѣть. А ты, я знаю, любишь пѣть. Вѣдь ты въ монастырѣ на клиросѣ пѣла. А здѣсь я пою съ горя: золовка ли меня обидѣла, мамаша, или кто другой..

— Много онъ напелли на тебя.

— А я ихъ не боюсь. Я эти оплеухи во всю жизнь не забуду. Она у меня просила прощенья, я ее простила изъ приличія, но въ душѣ я ее ненавижу. Знаешь, они зовутъ меня къ себѣ.

— Ну, что же?

— Что?

— Ты пойдешь?

— Поѣду. Мнѣ все равно что здѣсь, что тамъ. Тамъ еще лучше: тамъ поля, рѣчка; тамъ много грибовъ, ягодъ; тамъ меня будутъ посылать къ крестьянамъ за деньгами, яйцами. Я ужъ ходила, собирала.

— И теперь пойдешь?

— А что жъ такое? Вѣдь я не себѣ беру, а меня посылаютъ.

— Но вѣдь это взятки?

— А мнѣ что за дѣло. Брату нужно содержать жену-модницу. Ужъ онъ мнѣ непремѣнно купить на платье, какъ въ прошломъ году купилъ къ Рождеству. Вчера я въ этомъ платьѣ танцевала. А ты, Даша, помирись съ золовкой.

— Неужели тебѣ не обидно, что она тебя избила?

— Обидно, да что дѣлать? Она вспыльчива. Вспылить, прибить, а потомъ и самой станетъ стыдно. Она ужъ обѣщала мнѣ подарить сѣтку. Я сѣтку въ шутку положила въ комодъ и не хотѣла потомъ отдать, потому что она красивая, — вотъ и вышла ссора. А ты помирись, пойдешь вмѣстѣ, тамъ я проживу до свадьбы. А ты знаешь, что говорятъ про тебя?

— Мало ли что говорятъ!

— Говорятъ, что у тебя въ Соколѣ женихъ есть.

— Пусть ихъ говорятъ.

— Мнѣ дѣла нѣтъ. У меня такъ вотъ два жениха. Ты только никому не говори. Одинъ настоящій чиновникъ изъ казначейства, Павловъ. За него меня уже просватали, но я его не люблю, потому что онъ пьяница, а другой — вонъ тамъ, — и она указала на домъ. — Но за него ни за что не отдадутъ: онъ не имѣетъ чина. Но какой славный человекъ! — И она замолчала.

Теперь Дарья Андреевнѣ стало ясно, почему она поетъ въ палисадникѣ.

— Пойдемъ въ садъ, — сказала вдругъ Марья Андреевна.

Долго онѣ ходили по саду. Марью Андреевну, по видимому нисколько не занимали деревья и цвѣты;

ей больше всего нравились парники съ огурцами; она была большая любительница тыквы, арбузовъ и овощей и ко всему этому относилась съ знаніемъ, какъ любящая хозяйка. Въ бесѣдѣ спалъ отецъ. Онѣ пошли дальше и сѣли въ рошѣ недалеко отъ пруда.

— Несчастный отецъ! — сказала совздохомъ Марья Андреевна. — Совсѣмъ онъ опустился и дѣла не дѣлаетъ. А macha, скажу я тебѣ, совсѣмъ не любитъ его. Я тебѣ скажу по секрету: она живетъ съ казначеемъ, не смотря на то, что онъ дрыгунчикъ. А его жена живетъ со здѣшнимъ новымъ стряпчимъ, который изъ ученыхъ и молодой, красивый мужчина. Говорятъ, что онъ богатъ. А нашъ дядюшка теперь то и дѣло увивается около золовки, а Осипъ какъ-будто и не видитъ ничего. Вотъ какой у насъ народецъ. А какъ я рада, сестрица, что ты пріѣхала: все же хотѣ поговорить есть съ кѣмъ.

Дарья Андреевна ничего не отвѣчала на это. Ей невыносимо тяжело сдѣлалось. Съ сестрою и она пошла домой. Тамъ уже собирались обѣдать. За обѣдомъ всѣ вели себя натынуто, больше молчали, плохо ѣли и смотрѣли въ свои тарелки. Послѣ обѣда Андрей Ивановичъ пригласилъ Дарью Андреевну въ садъ. Дарья Андреевна рассказала ему подробно о монастырской жизни. Потомъ, когда они пришли въ бесѣдку, отецъ, выпивая наливку, откровенно жаловался ей, что ему послѣ ея отъѣзда было очень тяжело оттого, что у него на полѣ стогрѣло много сѣна, въ винѣ оказался недочетъ, такъ что ему нужно было издержать свои деньги; что дома у него дѣлается что-то нехорошее: никто его не слушаетъ; что дядя уже важничаетъ надъ нимъ. На службѣ его обижаютъ, и того гляди, что за старья дѣла снова отдадутъ подъ судъ. Говоря это, онъ часто плакалъ. Сердце защемило у Дарьи Андреевны, она взяла его за руку и проговорила со слезами:

— Папаша, милый мой! Я чувствовала, что вамъ нехорошо. Меня что-то тянуло сюда... Я думала, что займусь работой, и вотъ здѣсь въ первый же день мнѣ привелось многое испытать. Но я не хочу ничего говорить вамъ, что я видѣла и слышала.

— И не говори, не надо. Я знаю, что тебя обидѣла жена Осипа. Это эхидна!

— Я, папаша, останусь съ вами; я буду беречь васъ, ухаживать за вами.

— Спасибо, дочка. Только слушайся и уважай macha, и покуда я пью, ты, если что будетъ худо, иди къ протопопу Третьякову, онъ и тебѣ научить, и ее вразумить. А я вѣдь пью запоемъ — недѣлю, двѣ, а потомъ цѣлый мѣсяцъ настоящимъ человѣкомъ живу. Тогда я и самъ справлюсь.

— Я, папаша, буду жить въ дѣтской и займусь съ дѣтми.

— Боже избави! чуть заболѣють, macha на тебя свалитъ. А я тебѣ сегодня же дамъ комнату рядомъ съ моимъ кабинетомъ.

— Это хорошо. Я тамъ буду заниматься шитьемъ... Я, папаша, буду стараться всѣмъ угождать, особенно мамашѣ.

— Спасибо. Ты одна у меня изъ всѣхъ хорошая дочь. — И онъ крѣпко обнялъ ее.

Послѣ этого отецъ сталъ бредить и ничего уже не

понималъ. Въ такомъ видѣ онъ пришелъ домой и сталъ надобдѣть гостямъ, но скоро ушелъ спать. Вечеромъ Осипъ Андреевичъ былъ любезенъ съ Дарьей Андреевной, а Марья Антоновна даже приглашала ее сыграть въ преферансъ, но она отказалась. Миръ повидному водворился.

Утромъ на другой день дядя и братъ съ женой и дѣтми уѣхали въ свои резиденціи. Къ брату уѣхала и Марья Андреевна на недѣлю.

### VIII.

По отъѣздѣ гостей въ домѣ ни кучера, ни кухарки, ни мамки съ ребенкомъ не оказалось. Когда Дарья Андреевна обошла всѣ комнаты въ домѣ, то тамъ были только macha и отецъ да Владиміръ съ Евлампіей, но послѣдніе бѣжали по палисаднику; отецъ же заперся въ своемъ кабинетѣ. Дарья Андреевна обошла всѣ комнаты, но, не зная, что дѣлаютъ отецъ и macha и куда исчезла прислуга, была въ большомъ затрудненіи. Уйти куда-нибудь нельзя, потому что залѣзутъ воры; сходила она въ палисадникъ, но братъ и сестра, игравшіе съ шестью ребятами отъ четырехъ до семи лѣтъ, начали говорить ей дерзости и дразнили тѣмъ, что она бѣглянка и что мамаша ее выгнала вчера изъ дому. Изъ разныхъ оконъ на нее съ любопытствомъ смотрѣли почти всѣ служащіе, и она мимоходомъ услышала нѣсколько неслесныхъ о себѣ отзывовъ. Сарай, каретникъ и погребъ заперты, хлѣвы отворены. Вездѣ разбросаны кадки, ушаты, лопаты и т. п. вещи. Она прибрала все это въ хлѣвъ; заперла парадную дверь, прибрала и вымыла посуду въ кухнѣ, прибрала и вымыла въ комнатахъ, такъ что пробить уже часъ, и служащіе изъ присутственныхъ мѣстъ стали расходиться. А прислуги все нѣтъ; не выходитъ изъ своихъ берлогъ ни отецъ, ни macha, неидетъ мамка съ ребенкомъ, и у Дарьи Андреевны явилось подозрѣніе: не сдѣлали бы всѣ эти люди чего-нибудь худого и, главное, куда дѣвалась мамка съ ребенкомъ? Пришли братишка и сестренка и стали просить ѣсть. Дарья Андреевна тоже хотѣлось, но въ кухнѣ, кромѣ ржаного хлѣба и выкипѣвшихъ въ печи щей да сильно зажаренной говядины съ изуглившимся картофелемъ, ничего другого не было; остатки же отъ вчерашнихъ кушаньевъ или были съѣдены, или спрятаны въ погребъ или въ чуланъ, отъ которыхъ она ключей не нашла нигдѣ. Она стала стучаться къ macha. Слышно, что въ спальнѣ кто-то что-то дѣлаетъ, слышится выдвиганіе комодовъ, но на ее зовъ никто не отвѣчаетъ. Она нѣсколько разъ повторила свое восклицаніе, но ни двери не отворили, и голоса ей не подали. Но когда завопилъ и сталъ ломиться въ дверь Владиміръ, тогда дверь отворили. Тамъ всѣ комоды и шкафы были отперты, на стульяхъ, столахъ и кроватяхъ лежали платья, юбки, бѣлье, на полу шкатулки, коробки. На окнѣ стояла бутылка съ наливкой, рюмка и тарелка съ закуской.

— Что вамъ угодно? — запальчиво спросила Марина Осиповна Дарью Андреевну.

— Мамаша, въ кухнѣ нѣтъ никого — ни дворника, ни кухарки. Володя и Евлаша кушать хотятъ.

— Могутъ подождать.

— Мамаша, и мамки нѣтъ съ ребенкомъ.

Лицо Марины Осиповны перевернуло. Нѣсколько минутъ она машинально что-то перебирала въ шка-  
тулкѣ.

— Отчего же вы, сударыня, не посмотрѣли, куда  
ушла мамка?—проговорила наконецъ Марина Оси-  
повна.

— Я не видала.

— Извольте розыскать ее,—и она захлопнула  
дверь, заперла ее на ключъ, оставивъ тамъ малень-  
кихъ дѣтей.

Дарья Андреевна постояла нѣсколько минутъ въ  
недоумѣніи, не зная, что дѣлать. Постучалась она къ  
отцу, но изъ кабинета не слышалось ни звука, ни  
стука, ни шороха. Поэтому она затруднялась, какъ  
ей сдѣлать лучше, чтобы уйти искать мамку. И тутъ  
ей пришла въ голову мысль, что прежде, до ея отъ-  
ѣзда, отцу часто прислуживалъ сторожъ земскаго  
суда, Николай, добрый старикъ, всѣми осмѣиваемый  
въ городѣ, но который очень былъ привязанъ къ  
Андрею Ивановичу.

Во дворѣ бѣгало нѣсколько курицъ, больше де-  
сятка цыплятъ, два пѣтуха; было очень жарко.  
Надъ дворомъ, саженьяхъ въ десяти отъ земли, кру-  
жился огромный, бураго цвѣта ястребъ, а посреди  
двора стоялъ, съ палкой въ рукѣ, лысый, горбатый  
старикъ въ одной рубахѣ и бржекахъ. Махая палкой,  
онъ старался отогнать ястреба, но тотъ нисколько  
его не боялся, а продолжая кружиться, спускался,  
какъ на зло, все ниже къ землѣ, часто садясь то на  
крышу заднихъ построекъ, то на крышу дома, то на  
какое-нибудь дерево.

— Николай! ты бы загналъ цыплятъ-то въ хлѣвъ,  
а то онъ пожалуй словить.

— А, здравствуйте, барышня! Ужъ вы загоните  
сами, а я буду его отгонять. Вчера изъ-подъ самого  
носу утащилъ большого цыпленка. Ахъ, если бы  
ружьё! Гоните! Ахъ ты прорва!!

Сторожъ замахалъ опять. Дарья Андреевна стала  
загонять, курицы и цыплята гоготали и металиси въ  
сторону, пѣтухи съ яростью смотрѣли на хищную  
птицу и топорили перья, а ястребъ въ одинъ мигъ  
улетѣлъ въ огородъ и потомъ поднялся съ цыплен-  
комъ и, какъ побѣдитель, пролетѣлъ надъ головою  
сторожа и скрылся. Николай было погнался за нимъ  
съ палкой, бросилъ ее, но не могъ попасть въ птицу  
такъ же, какъ не попалъ бы и въ маленькаго мы-  
шенка.

— Ахъ, будь ты проклятъ!.. Вотъ прорва-то...  
Вѣдь битый часъ отгонялъ!.. И что это за народецъ,  
ей-Богу! Ну, отчего бы имъ не присмотрѣть.

— Кому смотрѣть-то?—всѣ ушли.

— Я видѣлъ давѣ: Трифонъ нарядился, какъ ба-  
ринъ. Куда?—говорю. Прощайте—говорить: гулять  
иду. Старушонка тоже ушла, и мамка тоже. Думаю,  
что же это опять такое? Али баринъ опять нездоровъ?  
А нинѣ, прости меня Господи, у васъ скверные по-  
рядки: самъ запилъ и сама пьетъ, да лежитъ вверхъ  
ногами, али поѣдетъ къ Зиновьеву и живетъ дня три.  
А домъ хотъ унеси. Вѣда да и только! Она хотъ бы  
людей-то постыдилась, что люди-то говорятъ... Вотъ

теперь опять пожары... Страсти! Неровенъ часъ. И  
за все я отвѣчай, потому я и судъ караулъ, и домъ  
караулъ.

Николай такъ привыкъ къ своему гнѣзду—сторо-  
жовскому мѣсту въ судѣ, что выходилъ изъ него на  
короткое время только на почту и въ другія присут-  
ственные мѣста съ бумагами и въ самыхъ экстрен-  
ныхъ случаяхъ—на рынокъ и въ новую слободку къ  
вдовѣ Болдыревой, но впрочемъ рѣдко, такъ-какъ  
г-жа Болдырева частенько навѣщала его сама. Онъ  
въ городѣ квартиры не имѣлъ и часто пользовался  
пищей изъ Яковлевской кухни за услуги и караулъ  
дома, да и дѣти Яковлева давали ему чего-нибудь.  
Поэтому ему нанесли бы кровную обиду, еслибы от-  
казали отъ суда, но онъ надѣялся въ этомъ случаѣ,  
что ему не откажетъ Андрей Ивановичъ отъ дому, въ  
которомъ онъ живетъ уже больше двадцати лѣтъ.

— Не знаю, Николай, гдѣ мнѣ розыскать мамку;  
мамаша приказала немедленно розыскать ее.

— Ваша мамаша дура и больше ничего: развѣ она  
или вы знаете, куда мамка уходитъ? Она баба дере-  
венская—взяла и ушла! Она здѣсь уже не первый  
годъ живетъ. У исправника жила, такъ за худое по-  
ведеенье прогнали. Она, видите ли, баба рабочая,  
прогнали ее—пошла на пристань работать. Ну, и  
тѣмъ скотамъ все равно. Трифонъ, извѣстное дѣло,  
живетъ долго; самъ его любитъ, да и сама старается  
поблажать ему... Поэтому онъ и не боится никого.  
Онъ навѣрное придетъ завтра и баринъ только побра-  
нить его. А вотъ кухарка-то ушла зачѣмъ? Да я бы  
ее послѣ этого и часу не держалъ.

— Неужели и раньше такъ было?

— О, о, барышня милая! Плохо зажилъ вашъ ба-  
тюшка!.. Жалко мнѣ его. А все это происходитъ, про-  
стите меня, отъ вашей мачихи. Прежде у васъ три  
коровы были, три лошади, а теперь только двѣ коро-  
вы, а лошадка одна, да и та осталась морная. Сколь-  
ко я упрашивалъ Андрея Ивановича, плакать, да  
упрашивалъ, чтобы онъ не продавалъ гнѣдого. Нель-  
зя—говоритъ старикъ. Нужны деньги.

— Однако гдѣ же я найду мамку?

— Ужъ право не знаю... Эдакой страмъ! Это ее,  
должно быть, старушонка съ кучеромъ взмутили, по-  
тому у васъ вчера ссора какая-то была. А эта баба  
глупая; что ей скажи—всему будетъ вѣрить. Я бы и  
самъ пошелъ разыскивать, да мнѣ нельзя оставить  
судъ. Развѣ къ Зеленихѣ сходить: она можетъ видѣ-  
ла, въ которую ваша мамка ушла сторону. А вы на-  
долго сюда пріѣхали?

— Не знаю.—И Дарья Андреевна ушла къ Зеле-  
нихѣ, той самой, что вчера рано утромъ разгово-  
ривала съ чиновникомъ.

Ребѣта ея бѣгали по двору, сама она крѣпко спала  
въ сѣняхъ, положивши голову на порогъ. Но она спа-  
ла чутко. Когда Дарья Андреевна вошла въ сѣни, она  
проснулась и проговорила.

— Кой дьяволъ тутъ ходитъ! Ночь караулишь-  
караулишь, а тутъ еще... Ахъ, это вы барышня! Здра-  
вствуйте, милая! садитесь... Я-было легла, потому ночь-  
ту унаежусь. А нельзя не караулить, потому нонѣ  
поджигаютъ...

— Вы не видали нашу мамку?

— Мамку?! А што?! Неужели сбѣжала?

— Она уже очень давно ушла изъ дому. Ушла гулять съ ребенкомъ, потому что погода хорошая, но не знаю, отчего ее такъ долго нѣтъ.

— Эдакая негодная женщина! И можно ли съ такими законными ребенкомъ гулять такъ долго? Нѣтъ, моя крошечка, я не видала. Я недавно пришла съ пристани... Мнѣ што: видѣла, такъ бы сказала. Ну-съ, каково вы въ монастырѣ поживали? Не хотите ли браги?—и Зелениха засуетилась.

— Нѣтъ, покорно благодарю. Я пойду понюху ее гдѣ-нибудь.

— Напрасно вы будете беспокоиться: она, живши у исправника, со многими нехорошими людьми познакомилась... А впрочемъ, вы въ саду ее не искали? Видѣ садъ-то у васъ большой.

— Сторожъ Николай говоритъ, что онъ ее видѣлъ, какъ она вышла изъ воротъ.

— А вонъ мой мужъ идетъ—онъ не видалъ ли?..

Во дворъ вошелъ низенькій, тощій мужчина, съ длинными волосами и рябоватымъ лицомъ.

— Будь они прокляты всѣ эти кургузники: опять приказъ отдали, чтобы у домовъ тротуары. А къ чему? Ну, кто ежиде богатъ, тотъ и строй, и ходи по нимъ. А намъ и по грязи ходить ладно. А! барышня! здорово живете. Долгонько же вы въ монашкахъ-то были.

— Я не была монашкой; я была только воспитанницей.

— Ну, все едино. Ну, жена давай ѣсть. Въ этой проклятой думѣ только потѣли, а ничего не ѣли. Ужъ мы вашему господину Зиновьеву за его поборы учинить спасибо! будетъ помнить! Коли общества не послушается, мы и жаловаться не станемъ; знаемъ мы, каково жаловаться... Ужъ мы знаемъ, што дѣлать!

Жена ткнула его въ бокъ.

— Чего тычешься. Мнѣ плевать на нихъ на всѣхъ! И не это скажу. Вы хоть передайте это, барышня, хоть нѣтъ, мнѣ все равно. Насобиравъ мерзавецъ деньги на гостинный дворъ, говорить: тогда и мѣщане будутъ торговать даромъ, а и теперь по сю пору стоять прежние магазины. Вотъ оно что-съ!—И онъ ушелъ. Дарья Андреевна тоже ушла.

Она пошла къ мѣщанину Мирону Мироничу Иванову, дочь котораго, Настя, она очень любила, но которая умерла.

Миронъ Мироничъ, сидя на кожаномъ стулѣ передъ лавкой, шилъ сапогъ, насвистывая и напѣвая, а сынъ его, Василій, сучилъ пряжу для дратвы. Василій былъ красивый мужчина, двадцати двухъ лѣтъ, слышавшій между городскими парнями за отчаяннаго бойца и за злого врага всему чиновному міру. Миронъ Мироничъ былъ одинъ изъ тѣхъ мѣщанъ, которые могутъ заниматься нѣсколькими ремеслами для себя. Такъ онъ умѣлъ понемножку строить, понемногу шить, кое-какъ умѣлъ сжечь печь по своей методѣ. Но главное его занятіе было шить сапоги, и онъ считался однимъ изъ первыхъ сапожниковъ въ городѣ, хотя выѣски не имѣлъ. Вся его комната была загромождена колодами, корытами, въ которыхъ лежала кожа; въ разныхъ мѣстахъ валялись галоши, передки, задки уже никуда негодные; на простѣнкѣ, между двухъ оконъ, было навѣшено болѣе трехсотъ различныхъ

бумажныхъ нѣрокъ. На другой стѣнѣ, выходящей ко двору, было налѣплено множество лубочныхъ картинъ духовнаго и свѣтскаго содержанія. Въ углу на маленькомъ шкапикѣ лежало нѣсколько книгъ.

Увидя входящую въ комнату Дарью Андреевну, Василій Мироничъ растерялся, но дратвы не выпустилъ и неловко отвѣсилъ ей поклонъ.

— Извините... Не видали ли вы, не проходила ли наша мамка съ ребенкомъ?—спросила его дрожащимъ голосомъ Дарья Андреевна. Щеки ее покраснѣли.

— Нѣтъ, не видалъ,—отвѣтилъ Василій Мироничъ. Голосъ его былъ рѣзкій, грубый, басистый.

Отецъ обернулся.

— А! Прошу покорно садиться,—сказалъ вставши Миронъ Мироничъ.—Старуха! эй, старуха!—крикнуть онъ.

— Благодарю, мнѣ некогда. Я розыскиваю мамку.

— А! Да она недавно прошла мимо дому... Можетъ, кто изъ родни ее зазвалъ. Прошу садиться. Пивка не хотите ли?

— Нѣтъ. Прощайте.

— Ну, какъ хотите... Э-эхъ! Спѣсивы стали. Вотъ что значить нѣтъ Насти-то. Здоровъ ли Андрей Иванычъ? Мнѣ къ нему надо за должкомъ сходить: давненько ужъ должень.

— Онъ дома; теперь должно быть спать.—И она вышла.

У крыльца ее остановилъ Василій Мироничъ.

— Дарья Андреевна!

— Что-съ?—и она обернулась.

— Спѣсивы стали: и руки подать не хотите.

— Вы сами не подали.

— Нѣтъ,—и онъ подаль ей руку, она свою.

— О, какъ больно. Пустите.

Онъ выпустилъ руку, и они разошлись.

Проводивши гостей, Андрей Иванычъ допилъ оставшееся въ бутылкѣ вино и легъ спать, но ему не спалось. У него за все время гостей накопилось много бумагъ, на которыя нужно было отвѣчать, нужно было составлять какую-то вѣдомость, но на это онъ чувствовалъ себя неспособнымъ въ это время; кромѣ того, что отъ винныхъ паровъ онъ не могъ что-нибудь сочинить съ толкомъ, онъ былъ разстроенъ еще семейными обстоятельствами; ему почему-то съ перепоемъ даже совѣстно было теперь выйти изъ своего кабинета; онъ чувствовалъ, что онъ почему-то стыдится взглянуть въ глаза Дарьи, прислуги и въ особенности чужихъ людей. Семейная дѣла его очень тревожили. „Какая переѣва“, думалъ онъ: „день ото дня все становится хуже, а того, какъ я жилъ прежде, теперь и въ поминѣ нѣтъ. Я опустился до того, что меня никто не хочетъ слушать, а ничего не значу, со мною дѣлаютъ, что хотятъ. И отчего это произошло? Отчего прежде меня всѣ боялись?“. Заперевъ ключемъ кабинетъ (въ пьяномъ положеніи ему представилось, что изъ кабинета могутъ украсть бумаги), Андрей Иванычъ, незамѣтно ни для кого, ушелъ въ огородъ въ двери, сдѣланные между погребомъ и каретникомъ—радомъ съ хлѣвами. Посмотрѣвъ на парники, онъ пошелъ въ садъ и началъ бродить не-

ровными шагами по тропинкамъ. „Это дерево срубить надо—старо,—говорилъ онъ вслухъ.—А ты слушай и повинуйся!.. Что за дьяволъ? Куда же онъ ушелъ?.. Кто? Былъ кто-то!..—Отчего я не дерево?..—Я старъ... Умру... А тамъ?.. Тамъ тлѣнъ и все! фн!.. воздухъ.“—Онъ дунулъ на ладонь, посмотрѣлъ на нее и задумался. Полчаса онъ ходилъ молча, потомъ сѣлъ къ пруду, наполнил воды и началъ вполголоса: „Да, я старъ. Это мнѣ говорить и сынъ Осипъ, да я и самъ знаю. Меня скоро выгонять, какъ гонять вонъ въ губернскомъ городѣ всѣхъ старыхъ служакъ. Порядки нынѣ завелись другіе; рѣчи пошли какія-то книжныя; говорятъ такія слова, что волосы становятся дыбомъ; молодежь если и ходитъ въ церковь, то такъ себя—даже образины не перекрестить, разговариваетъ, смѣется чуть не вслухъ. Даже нашъ исправникъ и казначей заговорили иначе, а исправникъ даже прислалъ какую-то газету съ картинками. Какъ тамъ нашего брата съ откушниками критиковали—ужасъ! Вотъ и Осипъ издвигается надо мною: напрасно, говоритъ, вы, папаша, книжекъ новыхъ не читаете; въ нихъ, говоритъ, много хорошаго пишутъ; пишутъ про все, а особенно о новизнѣ какой-то. Нынче, говоритъ, уже время другое: молодому, говоритъ, человеку—только и житье; еслибъ, говоритъ, не книги, то и крестьянъ не освободили бы. Ну, не сумасшедшій ли онъ? Но вотъ что мнѣ странно, что съ Дарьей сдѣлалось? Положимъ, въ монастырѣ ее обижали, трудно было ей тамъ; положимъ, и ея письма не доходили до меня; положимъ, она, какъ необязанная поступить въ монахини,—чего и я не хотѣлъ, могла уйти отсюда, но вотъ вопросъ: на какія деньги она пріѣхала сюда? Она говоритъ, что ее снабдили пріятельницы какія-то, но съ какой стати, если онѣ швец и живутъ сами кое-какъ... Я, говоритъ, хочу сама работать! Вотъ, что меня беспокоитъ. Откуда эта мысль у ней явилась? Вѣдь вотъ другія дочери никогда не имѣли такихъ мыслей. Ужъ не сумасшедшая ли она?“—Онъ немножко помолчалъ. „Что, если она въ самомъ дѣлѣ уйдетъ въ губернскій городъ и поступитъ въ магазинъ? это срамъ на мою сѣдую голову, позоръ... А все оттого, что я ее лѣлѣлъ, не билъ и не притѣснялъ, какъ другихъ дѣтей, я защищалъ передъ Мариной Осиповной, поблажалъ ея дерзостямъ, сквозь пальцы смотрѣлъ на ея затѣи, на чтеніе книгъ: она больше читала, чѣмъ помогала въ хозяйствѣ. Не будь ея, и Марина Осиповна была бы хорошая супруга, вѣдь вотъ съ Машей же у нихъ никакихъ несприятностей не происходитъ; а если и поругаетъ иногда она Машу, такъ та заслуживаетъ того... Однако, что же это такое сдѣлалось и съ Мариной-то Осиповной? Не рехнулась ли она, моя голубушка? Нѣтъ, тутъ что-то другое; характеръ у ней огненный... Эдакое горе!.. А вѣдь какъ подумашь—сначала-то она была ангелъ, вотъ оно что? А! Я этому ангелу много довѣрялся, она и забрала меня въ руки и вертѣла мной, какъ куклою... Какъ?“—И Андрей Ивановичъ вскочилъ. „Докудова же все это будетъ? Али я не человѣкъ, али у меня нѣту ума? Я твой мужъ!!! Затѣи ты шла за меня замужъ, зная, что у меня много дѣтей? Затѣи шла за старика и обманывала меня въ первые годы жизни со мной? Я хозяинъ въ домѣ, а ты рас-

поряжаешься, какъ полновластная хозяйка, точно я слуга какой-нибудь... Наконецъ я отецъ своихъ дѣтямъ, я долженъ заботиться объ нихъ, а ты должна помогать мнѣ въ этомъ. Нѣтъ, я не дамъ въ обиду своихъ дѣтей! Я радъ пріѣзду Даше, она меня понимаетъ, любитъ, она съумѣетъ поддерживать меня. Она моя плоть и кровь! Если ты будешь еще командовать, я все отъ тебя отберу... я тебя прогоню!.. прогоню! прогоню!!!“

Онъ остановился, ударилъ себя по головѣ, сѣлъ въ изнеможеніи на траву, закрылъ лицо руками и пробылъ въ такомъ положеніи нѣсколько минутъ. „Господи! до чего я договорился. Голова идетъ кругомъ... Да вѣдь если я отберу все отъ жены, что тогда будетъ? Нѣтъ, надо объясниться съ Мариной Осиповной и Дашей. Надо примирить ихъ. Надо имѣть контроль надъ ними, съ этихъ поръ я буду между ними посредникомъ,—на то я и мужъ, и отецъ. Я люблю ихъ обѣихъ больше другихъ моихъ дѣтей“.—И онъ пошелъ въ домъ.

Николай сидѣлъ у крыльца своего суда и усердно занимался клееніемъ бумажнаго зѣйка. Около него вертѣлись Владкиръ и Евлампія. Увидѣвши Андрея Ивановича, сторожъ не всталъ, а сказалъ, улыбаясь:

— Покою не даютъ, Андрей Ивановичъ: сдѣлай да сдѣлай зѣйка... Нельзя. Надо побаловать.

Андрей Ивановичъ остановился передъ сторожемъ, поглядѣлъ на него и, ничего не сказавъ, ушелъ. Зашелъ въ кухню—нѣтъ никого, только черныи котъ спитъ на столѣ; зашелъ въ дѣтскую—тоже. Вернулся во дворъ.

— Николай! не выдалъ ли ты прислуги и мамку съ ребенкомъ?

— Нѣтъ, не выдалъ.

— Ты никогда ничего не видишь, скотина!

— Скотина — не скотина, какъ вамъ угодно, а только за всѣмъ не угладишь. Можетъ, и ушли куда: вѣдь я съ пакетами ходилъ,—совралъ Николай.

— Всѣ ушли, папаша. И Дарья Андреевна ушла,—сказалъ Владкиръ.

— Куда ушли? — спросилъ грозно Андрей Ивановичъ.

— Не знаю.

— Дарья Андреевна точно ушла; сказывала: пойдутъ мамку розыскивать,—сказалъ сторожъ.

И Андрей Ивановичъ ушелъ въ домъ. Въ это время пришла мамка съ сияющимъ ребенкомъ.

— Шляются только! Вотъ нѣтъ-на васъ сколько хлопотъ—то было!.. Варить ужъ тебѣ: ты еще не знаешь его,—проговорилъ сердито Николай, а Владкиръ при этомъ вынулъ мамѣ зѣйка.

Андрей Ивановичъ подошелъ прямо къ спальнѣ. Долго онъ стучалъ и кричалъ: „отопри!“ Наконецъ ему отвѣтила Марина Осиповна:

— Что вамъ угодно?

— То и угодно, что я требую отпереть.

— А я прошу не беспокоить меня!

— Однако послушай, жена: что это значить?

— А то и значить, что я хочу спать.

— А если я выломаю дверь?

— Можете разбойничать со своею возлюбленной дочерью, сколько угодно.

Андрей Ивановичъ стоялъ удивленнымъ. Онъ не зналъ, что ему дѣлать. Помѣсть двоихъ нехорошо: крошкѣ ругани путнаго ничего не выйдетъ. Уже если она такъ отвѣчаетъ, то насиліемъ только раздражишь ее.

— Послушай, Марина, отопреши ты; или нѣтъ? Нужъ я тебѣ, или нѣтъ? Али я не хозяинъ въ своемъ домѣ?

Марина Осиповна не отвѣчала.

— Послушай однако! мнѣ съ тобой надо поговорить серьезно.

— Говорите съ своей возлюбленной Дарьей Андреевной.

— Прекрасно. А куда ушла мамка?

— Я отпустила.

— Прислуга гдѣ!

— Я отпустила.

— Не отопреши?

— Нѣтъ.

— Хорошо.

И онъ ушелъ въ залу. Его ужасно возбѣсило поведение жены: онъ сжималъ кулаки. И прежде случались сцены съ женой, но до этого не доходило. Къ чести Андрея Ивановича надо сказать, что онъ кулакомъ никогда не употреблялъ въ дѣло съ женой; Марину Осиповну онъ ни разу еще не билъ; теперь же онъ не ругался за себя. Онъ долго обдумывалъ, какъ бы ему вызвать жену и уговорить какъ-нибудь. Онъ выжидалъ, не выйдетъ ли къ нему жена, какъ бывало раньше. Прежде, бывало, она покричитъ-покричитъ, уйдетъ, запрется, а черезъ нѣсколько минутъ придетъ въ ту комнату, гдѣ сидитъ онъ, и заговоритъ или о хозяйствѣ, или о чемъ-нибудь; тогда и ей можно дать нѣсколько вопросовъ, а затѣмъ начать ее усовѣщивать; тогда она хотя и заплачетъ и посѣтуетъ на свою несчастную участь, но ему уже не прекословить. А теперь она вотъ уже сколько времени не выходитъ. Онъ сѣлъ къ окну, сталъ глядѣть на площадь. Скучно. „Вотъ я и хозяинъ, а что толку, когда жена не уважаетъ меня, точно я у ней подъ башмакомъ. О! еслибы ты только пришла сюда! Узнала бы ты, кто я, ищанское ты отродье!...“ — ворчалъ онъ со злобою.

Пришла Дарья Андреевна. Андрей Ивановичъ сидѣлъ злой и глядѣлъ сурово, съ ожесточеніемъ вытягивая изъ длиннаго черешневаго чубука дымъ.

— Купали ли вы, панаша?

— Я ничего не хочу.

И онъ отвернулся.

— Но какъ же вы не ѣвши?

— Сказала, не хочу—и basta!—крикнулъ онъ.

— Можеть быть, чаю хотите!

— А ключи гдѣ?

— У мамаша.

— Какъ же ты поставишь самоваръ, когда ключей нѣтъ. Она ушла чортъ знаетъ куда, — собралъ отецъ.

Дарья Андреевна помолчала. Она не знала—правду говорить отецъ, или врать.

— Можно купить чаю и сахару, — сказала она.

— Купишь? Эдакъ твой братецъ Кузьма можеть дѣлать, а не я: мнѣ не слѣдъ покупать по мелочамъ. Что городъ скажетъ!

— Но, панаша, дѣти ѣсть хотять. Молока даже нельзя достать.

Въ это время въ залу вошла Марина Осиповна.

— Нашли мамку съ ребенкомъ?

— Она уже пришла, — отвѣчала Дарья Андреевна.

Андрей Ивановичъ и Марина Осиповна не смотрѣли другъ на друга. Андрей Ивановичъ, смотря въ окно, улыбался, а Марина Осиповна не подходила къ нему.

— Попросите Николая поставить, — сказала она Дарья Андреевнѣ, и сѣла черезъ три стула отъ Андрея Ивановича. Дарья Андреевна ушла.

Супруги нѣсколько минутъ молчали. Андрей Ивановичъ хмурился, глядѣлъ въ окно, откашливался. Онъ какъ будто хотѣлъ начинать говорить, но выжидалъ. Онъ прежде всегда начиналъ самъ: теперь ему хотѣлось, чтобы начала жена. Марина Осиповна была женщина неуступчивая; ей уже не въ первый разъ приходилось играть мужемъ. Она встала и пошла. Это до того возбѣсило Андрея Ивановича, что онъ вскопчилъ и, какъ тигръ, кинулся къ Маринѣ Осиповнѣ, и крѣпко ударилъ ее чубукомъ по спинѣ. Марина Осиповна взвизгнула. Андрей Ивановичъ сталъ ее бить и, шипя отъ злости, говорилъ:

— А!.. ты такъ!.. тебѣ меня не слушаться!.. тебѣ надобно командовать!..

Эти побои были такъ неожиданны, что Марина Осиповна сперва не понимала, что такое сдѣлалось съ ея кроткими супругомъ, но побои становились слишкомъ чувствительными, и она заплакала, говоря отъ злости и горя:

— Андрей Ивановичъ! что съ вами! Охъ!

— А! это вотъ за вы!..

И онъ ударилъ ее по щекѣ. Марина Осиповна сѣла на стулъ и завонила.

— Молчать!! Я здѣсь хозяйка! Я твой мужъ!

Запыхавшись онъ сталъ ходить по комнатѣ и ругаться. Жена наконецъ оправилась, встала и ушла.

Съ четверть часа ходилъ въ волненіи Андрей Ивановичъ; сперва онъ злился, но потомъ затихъ и ему сдѣлалось стыдно. „Экъ до чего они довели меня! Господи!! Точно я какой-нибудь отчаянный пьяница!..“ И онъ остановился.

— Экая гадость! Надо бы сперва поговорить... Мерзко. Господи, прости мое согрѣшеніе... — проговорилъ онъ вслухъ, глядя на образа.

Пошелъ онъ къ женѣ, дверь въ спальню была открыта. Тамъ Марина Осиповна, стоя на коленяхъ передъ крестомъ, горько плакала, смотря на образъ Тихвинской Божіей Матери.

— Хоть бы о дѣтяхъ-то позаботилась. Нечего жаловаться, когда сама кругомъ виновата, — проговорилъ онъ, стоя у двери въ спальню.

На душѣ у него было тяжело. Ему захотѣлось приласкать малютки дѣтей и приласкать такъ, какъ никогда. Ему стало стыдно, что онъ уже давно обращался съ Владиміей и Владиміромъ, какъ чужой, а младшаго ребенка со времени его рожденія и видѣлъ-то рѣдко, о взрослѣ же и не знаетъ ума, когда справился. Онъ чувствовалъ, что теперь очень любить дѣтей. И пошелъ въ дѣтскую. Ребенокъ-Анна

былъ спеленать и лежалъ на рукахъ мамки. Остальные дѣти были во дворѣ.

— Гдѣ ты была? — спросилъ вѣжливо Андрей Ивановичъ мамку.

— Меня барыня отпустила — я ходила къ родственницѣ, — отвѣчала та рѣзко.

— А развѣ тебя наняли для того, чтобы ты по-гостямъ шила, да еще съ ребенкомъ!.. Съ сегодняшнего дня, безъ моего спросу, не смѣй куда-нибудь ходить, кромѣ нашего сада. Слышишь?!

— Слышу!

И мамка улыбнулась.

— Я не шута говорю! — крикнулъ онъ такъ, что ребенокъ заплакалъ.

Мамка сперва не давала, но Андрей Ивановичъ самъ взялъ его и сталъ укачивать; однако ребенокъ плакалъ хуже, и онъ, положивъ его въ зыбку, самъ сталъ качать ее. Мамка, рѣдко видѣвшая барина въ дѣтской, улыбалась, думая, что это такое сдѣлалось съ баринкомъ? Тѣмъ не менѣе сколько Андрей Ивановичъ ни укачивалъ ребенка, тотъ не переставалъ плакать.

— Уйдите, баринъ! Ваше ли это дѣло! — сказала мамка и взылась за зыбку.

— Конечно мое: я — отецъ. Вотъ я не доглядѣлъ, ты и убѣжала... Горе тебѣ будетъ, если что съ ребенкомъ сдѣлается!

Послѣ этого онъ распеку ее за безпорядокъ, прибралъ разбросанныя вещи и ушелъ во дворъ. У крыльца чиновники курили папироски. Увидѣвъ Андрея Ивановича, они вѣжливо поклонились ему; одинъ изъ нихъ, повидимому столоначальникъ, отпустилъ каллабуръ; подражая этому, съострилъ другой, остальные громко хохотали. Изъ одного окна высунулся плѣшивый засѣдатель.

— Здорово, Андрей Ивановичъ! Есть водка-то?

— Не привезли еще! — отвѣтилъ Андрей Ивановичъ, слегка кивнувъ головой.

— То-то у тебя что-то не видать бутылей. Заходи ко мнѣ — въ вартышки сыграемъ.

— Не охота.

— Нѣтъ, однако... А то мы сами нагреемъ.

Андрей Ивановичъ уже не слушалъ; онъ вошелъ въ палисадникъ и, сѣвши въ бесѣдку, задумался. Дѣти его играютъ съ тремя мѣщанскими мальчиками. Въ другое время онъ прогналъ бы мѣщанскихъ мальчиковъ. Тѣ его боялись и, бывало, при видѣ его, убѣгали; но теперь они не убѣжали, и онъ на нихъ повидимому не обратилъ вниманія. Онъ сознавалъ теперь, и кажется въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ нѣтъ дѣтей, что его дѣтямъ скучно; держать ихъ такъ, чтобы они не играли вовсе, нельзя — мѣшать будутъ, кричать и плакать; отпустить же ихъ къ дѣтямъ должностныхъ лицъ не съ кѣмъ и куда. У Зиновьева маленькихъ дѣтей нѣтъ, у исправника — тоже, а хотя у казначея и есть дѣти, такъ его жена очень издѣливая, держитъ себя поученому, и дѣти ея тоже ведутъ себя заносчиво; отпустить же ихъ къ маленькимъ чиновникамъ онъ находитъ теперь неудобнымъ; еще пожалуй чиновники будутъ просить его о должностяхъ.

— Володя, Евгенъ! идите сюда, — сказалъ отецъ.

Дѣти даже и не взглянули на него.

— Вамъ говорятъ? Пошли вы, мальчишки! Пошли!

И онъ всталъ, взялъ палку. Мѣщанскіе дѣти убѣжали.

— Ну, что же вы? Кто я вамъ?

Дѣти робко подошли къ нему.

— Ну, садитесь на лавку, вотъ сюда, со мной раздѣл.

Дѣти выпучили на него глаза.

— Что жъ вы, очумѣли, что ли? Садитесь, говорить! Разги знаете?

Дѣти робко сѣли. Андрей Ивановичъ посадилъ къ себѣ на колѣни Владимира. Тотъ дрожалъ. Андрей Ивановичъ сталъ гладить его по волосамъ.

— Пора ужъ тебѣ учиться, Володя!

— И я хочу учиться, — сказала дѣвочка, кривляясь.

— Не съ тобой говорить! Хочешь, Володя, учиться?

— Зачѣмъ?

— Нужно. Чиновникомъ будешь. Вотъ куплю тебѣ азбуку и заставлю учить Дарю.

— Не хочу Дарю.

— Почему?

— Не люблю ее.

— А если я тебя за уши выдеру! Только смѣй еще мнѣ сказать это! Ты долженъ ее слушаться: она тебѣ старшая сестра. Ты любишь папу?

И онъ прижалъ мальчика. Мальчикъ съ испугомъ посмотрѣлъ на отца.

— Что же ты молчишь? Любишь, спрашиваю?

— Папа, ѣсть хочу! — сказала жалобно дѣвочка.

— Папаша, мы ничего не ѣли, — сказалъ мальчикъ.

— Мать развѣ не кормила?

— Кормила... Папа! меня на колѣни!... — проговорила дѣвочка и запищала.

— Не могу же я обоимъ держать.

— Папа, зачѣмъ мама Дарю била? — спросилъ мальчикъ.

— Врешь! Она большая; ее никто не смѣетъ не только бить, но и ругать.

— Папа, а мы поѣдемъ къ дядѣ? — спросила дѣвочка.

Дѣти стали надѣдать своими вопросамъ; заняты онъ ихъ не угадалъ и не зналъ, какъ бы еще приласкать ихъ; но его выручила Дарья Андреевна, крикнувшая изъ окна, что готовъ чай. Въ столовую Андрей Ивановичъ пришелъ въ хорошемъ настроеніи; тамъ сидѣла мамка съ ребенкомъ и Дарья Андреевна, но Марини Осиповны не было. Андрей Ивановичъ пошелъ за ней. Она сидитъ у окна и вяжетъ чулокъ.

— Иди чай пить!

— Очень вамъ благодарна за побой.

И она хотѣла заплакать, но не могла.

— Послушай, Маня...

И онъ взялъ ее за руку и прослезился.

— Послушай, вѣдь я тебя люблю...

— Это видно: пьяница и драчунъ.

— А отъ кого я сдѣлался пьяницей? Припомни-ка, какой я былъ молодецъ десять лѣтъ тому назадъ, а теперь я что: я хотя и бодрюсь, а на душѣ у меня



кошки скребутъ. Ты говоришь, что я тебя обижамъ, а оказывается, что ты меня совсѣмъ прибрала къ рукамъ, дѣлаешь, что хочешь. Ты посмотрѣла бы на домъ, на хозяйство—до чего оно доведено твоимъ управленіемъ? Вонъ въ уѣздномъ судѣ полы сгнили, а гдѣ деньги?

— На вино ушли.

— Врешь! Вина я не покупаю; на себя я почти ничего не трачу, кромѣ табаку. Теперь—какъ у насъ дѣти растутъ? даже твой и мой любимецъ, Володя, жаловался сегодня, что онъ не ѣлъ. Это только сегодня, а что дѣлается въ другіе дни!... Прислуга вся распушена.

— Придетъ.

— Кому же караулить? Ты даже вонъ и на кухню-то не спустилась. Ну, хорошо ли это?—Не правъ ли я?

— Вы всегда правы. А вотъ я вамъ скажу, что я теперь отъ всего отказываюсь: ключи я отдала Дарьѣ Андреевнѣ; пусть она дѣлаетъ, какъ хочетъ.

— Ну, это не ревонъ. Я хочу, чтобы ты была хозяйка, чтобы тебя всѣ слушались, но чтобы вездѣ былъ порядокъ, какъ бывало прежде. Ну, пойдемъ же!

— Нѣтъ, оставьте меня. Я пойду къ отцу.

— Этого ты не сдѣлаешь. Я знаю твоего отца: онъ тебя не пуститъ къ себѣ. Ну, не сердись.

И онъ ее обнялъ; она его оттолкнула.

— Ну, какъ знаешь. Я велю принести тебѣ сюда чаю.

— Не нужно.

Онъ ушелъ и послалъ за ней Владиміра, но тотъ вернулся и сказалъ, что мамаша плачетъ. Чай пили всѣ молча, даже дѣти рѣзались какъ-то вяло, будто чувствуя, что у родителей что-то не ладно. Но Марина Осиповна не выдержала, пришла. Дѣти оживились. Она занялась ими и, къ удивленію Андрея Ивановича и Дарьи Андреевны, спросила послѣднюю: «какой нынче вышиваются самый лучший узоръ?».

Завязался разговоръ: стали говорить о родныхъ; Марина Осиповна стала третировать жену Осипа Андреевича. Однимъ словомъ, вечеръ кончился хотя и натянуто, но благополучно, и послѣ чаю Марина Осиповна позвала Дарью Андреевну въ кухню изготовить какое-нибудь кушанье, обѣщаясь отказать отъ мѣста и кухаркѣ, и дворнику, съ чѣмъ согласился и Андрей Ивановичъ.

## IX.

На другой день Марина Осиповна уже сама распоряжалась чаемъ. Повидимому она была въ хорошемъ расположеніи духа и съ Андреемъ Ивановичемъ разговаривала, какъ и всегда. Андрей Ивановичъ былъ веселъ; Дарья Андреевна чувствовала, что она теперь у себя дома. Разговаривали большею частію о монастырѣ, вышиваньяхъ, кушаньяхъ и т. п. Время шло весело. Насчетъ письма не было сказано ни слова; ачѣмъ она пріѣхала сюда и что будетъ дѣлать—никто не заикнулся, какъ будто оно такъ и слѣдуетъ ей жить дома, подъ родительской кровлей; о вчерашней ссорѣ отца съ мачихой тоже не было помину, и о ней не зналъ никто. Но изъ обращенія мачихи съ

отцомъ и обратно Дарья Андреевна замѣтила, что между ними что-то произошло. Оба они говорили другъ другу вѣжливо, во множественномъ числѣ; она была серьезна, онъ—робокъ. Эта перемена Дарью Андреевну удивила: прежде хотя и бывали ссоры между ними, но серьезнѣе былъ отецъ, серьезнѣе до грубости; тогда и Марина Осиповна потрухивала его и не смѣла ему говорить *ты*, а теперь онъ самъ робокъ, какъ будто боится, и говорить ей *ты*. Если же между ними завяжется спорный вопросъ, то отецъ не заключаетъ его словами: «я говорю, что такъ! я больше твоего знаю!», а уступаетъ: «ну, пусть по вашему, я спорить дальше не намѣренъ». Съ ней, Дарьей Андреевной, она тоже вѣжлива, даже улыбается, и какъ-то хитро-лукаво глядитъ на нее; но, какъ мачиха, говоритъ ей *ты*.

— Я все, Маня, думаю о томъ, что-то о насъ подумываетъ Ипполитъ Аполлоновичъ?—началъ вдругъ Андрей Ивановичъ послѣ чая, прохаживаясь по столовой.

— Чего ему думать? онъ у насъ прожилъ недѣлю и кажется долженъ остаться доволенъ; кажется, мы его, какъ никто, накармливали и ублажали.

— Это такъ. Но вотъ сцена... и такъ неожиданно...—проговорилъ нерѣшительно Андрей Ивановичъ.

— Ну, стоить объ этомъ говорить. Спасибо, что уѣхалъ: ишь, все ему подавай заграничныя вина, утокъ да индѣекъ, зайцевъ! Ужъ больно жирно... Я, говорить, держу лакея, и инѣ, говорить, въ дорогѣ не совсѣмъ удобно безъ лакея.

— Это онъ, мамаша, вѣроятно, на Кузьму намекаетъ,—сказала Дарья Андреевна.

— Какъ такъ?—спросилъ Андрей Ивановичъ.

— Кузьма сказывалъ, что когда Платоновы уѣзжали въ Петербургъ, то онъ жилъ у дяди за мѣсто лакея.

— Что жъ, Кузьма и инѣ писалъ, что онъ жилъ у брата. А такъ какъ онъ пользовался квартирой и столомъ, то онъ долженъ же былъ ему что-нибудь дѣлать. Родственнику не грѣхъ трубку табакомъ набить, сапоги вычистить.

— Положимъ; но зачѣмъ его, племянника, они кормили остатками въ кухнѣ?

— Ну, этого быть не можетъ!

— А я васъ увѣряю: брату не изъ чего врать.

— А ты видѣла?—спросила Марина Осиповна.

— Не видала, но по себѣ сужу. Вѣроятно потому, что я дѣвушка, поэтому они при гостяхъ часто сажали меня обѣдать за общій столъ, а безъ гостей имъ только по праздникамъ вѣсѣтъ обѣдали.

— Ну, конечно братъ: поодино приходитъ изъ палаты, а они не хотѣли морить тебя голодомъ. Все-таки я, несмотря на прежніе наши контры, считаю его добрымъ человекомъ. Еслибъ не онъ, то я бы пожалуй не скоро получилъ эту должность.

— Ну, ужъ пожалуйста! Я терпѣть не могу, когда вы хвалите тѣхъ, кто не уважаетъ вашу жену, обманываетъ ее мѣщанкой.

— Развѣ неправда?

— Бываютъ мѣщане почище дворянъ. Вотъ онъ хвалится, что Кузьму опредѣляютъ прямо помощникомъ,

а я думаю, что онъ и за опредѣленіе-то въ писцы сдѣрѣтъ съ насъ денежки.

— Не можетъ быть!

— Очень можетъ быть. И я готова повѣрить Дашѣ, что Кузьма точно жилъ у него, какъ лакей.

И Марина Осиповна встала.

Андрей Ивановичъ пожалъ плечами и ушелъ въ кабинетъ, а Дарья Андреевна стала думать: „что это такое сдѣлалось съ мачихой, что она взяла ее, Дарью Андреевну, сторону?“

Убрали посуду; мамка ушелъ въ садъ. Пришелъ Никандръ Ивановичъ Павловъ, расфранченный, такъ что его нельзя было бы узнать такимъ, какинъ его видѣли читатели два дня тому назадъ: на немъ былъ надетъ форменный новый сюртукъ, жилетка, застегнутая на три нижнія пуговицы, за одну изъ которыхъ протернута была бронзовая цѣпочка отъ часовъ; на груди была тонкая манишка, на шеѣ лиловый галстухъ. Его короткіе, рыжіе волосы и такіе же усы были такъ сильно напомажены, что отъ нихъ далеко разило. Но въ лицѣ его было много отталкивающего.

Хотя ему и было двадцать восемь лѣтъ, но онъ казался далеко старѣе этихъ лѣтъ, можетъ быть потому, что лицо у него рабское. Каріе его глаза глядѣли какъ-то вяло; носъ широкій, красный, уши большія, ротъ большой и когда онъ сѣлся, то ротъ растягивался еще на палецъ; лобъ узкій, почему можно было заключить, что въ немъ не очень много ума. Но при всемъ этомъ онъ старался держать себя развязно, только эта развязность была гостинодворская и казалась постороннему человѣку приторною.

— Итѣю честь засвидѣтельствовать свое низжайшее почтеніе!—проговорилъ онъ канцелярскимъ акцентомъ, расшаркиваясь направо и налево и краснѣя.

Марина Осиповна кинула ему слегка головой и протѣворила:

— Хорошо, нечего сказать! Отчего вы не были на крестинахъ?

— Нездоровъ былъ-съ, нездоровъ. На рыболовствѣ простудился.

— Поищите брать: теперь весна, а вы простудились.

— Всеко бываетъ. Я ия пятнадцатомъ году такъ простудился, что цѣлый мѣсяцъ отлежалъ. А гдѣ Дарья Андреевна?

— Уѣхала къ брату.

— На долготъ?

— Не знаю.

Пришелъ Андрей Ивановичъ, одѣтый въ форменный сюртукъ.

— А! будущій зятекъ! Нехорошо, нехорошо... Мы такъ прежде не дѣлавали,—проговорилъ онъ:—кутили? Ну, скажи по совѣсти.

Павловъ покраснѣлъ.

— То-то вижу по глазамъ. Да не семені! Я говорилъ о тебѣ брату, хотѣлъ похлопотать; только смотри у нея! Вѣдь Маша моя родная. Ты не пойдешь на службу?

— Не знаю... Теперь дѣлать нечего... А что?

— Пожалуйста переищи мнѣ вѣдомостичку. Родюню хотя и пришелъ, только у него трясутся руки и я его заставляю сочинять кое-какія бумаги.

И Андрей Ивановичъ ушелъ изъ дому, а женитъ пошелъ въ канцелярію Яковлева, входящую въ другонъ отдѣленіи верхняго этажа, гдѣ повѣщался архивъ уѣзднаго суда.

Къ обѣду комнаты приняли надлежащій видъ; на окнахъ попрежнему красовались бутылки съ наливкой. Марина Осиповна показивала изъ комнаты въ комнату съ довольнымъ лицомъ, а Дарья Андреевна была въ дѣтской, гдѣ ребенокъ кричалъ благимъ матомъ.

— Должно быть Анята нездорова,—говорила она мамкѣ.

— А шутъ ее знаетъ! Отчего ей болѣть-то?—говорила флегматически мамка.

Дарья Андреевна стала перебирать въ зыбкѣ бѣлье, которое было мокро. На днѣ ея она нашла рожокъ.

— Это для чего же рожокъ-то?

Мамка покраснѣла, но проговорила сѣло и самоуверенно:

— А для забавы!

— Да развѣ ребенокъ шести недѣль понимаетъ что-нибудь?

— А вы нѣшто рожали сами дѣтей! Что вы въ самомъ-то дѣлѣ пристали ко мнѣ! Что вы за распорядитель такой!—уже начала кричать мамка.

— Что такое?—спросила Марина Осиповна, войдя въ дѣтскую.

— Мамаша, я нашла въ зыбкѣ рожокъ и спросила ее, для чего онъ; она говоритъ: для забавы ребенку...—и она разсѣялась.

— Ну, такъ что же?—съ неудовольствіемъ спросила Марина Осиповна.

Этотъ вопросъ удивилъ Дарью Андреевну.

— Я думаю, что мамка кормитъ ребенка не грудью, а изъ рожка.

— Барыня!.. Что же это такое?.. Да я сейчасъ отойду отъ васъ... Для чего я мамка, чтобы не кормить ребенка грудью... Я не потерплю такой напролины...—проговорила слезливымъ голосомъ мамка.

— Не въ свое дѣло вы, милостивая государыня, вмешиваетесь. Нужно увидать на дѣлѣ, а ужъ потомъ заводить дряги,—сказала Марина Осиповна съ неудовольствіемъ Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна не стала возражать и ушла въ огородъ, чувствуя, что ее какъ-будто облило горячей водой.

„Въ самомъ дѣлѣ“, думала она: „къ чему мнѣ вмешиваться? Видно, что мачихѣ надобно дѣти; видно, что она эту дѣвочку не любитъ. Умереть Анята, мейше будетъ обузы. Но зачѣмъ же она не говоритъ этого прямо?..“

Въ огородъ вошелъ сторожъ Николай.

— Что это стряслось съ вашей мачихой: сколько времени она не бывала въ дѣтской и вдругъ теперь такой тамъ подняла гвалтъ — бѣда! Наши судейскіе всѣ на крыльцо выскочили. Кухарка выскочила, говорить, что барыня мамку по щекамъ бьетъ. Что это случилось съ ней?

— Не знаю.

— Хотя бы вы уняли ее, а то страшно—кричать на весь домъ.

— Не кое дѣло.

Черезъ часть Дарья Андреевна пошла домой. Писцовъ на крыльцѣ было человекъ пять; они хихикали, но крику не было слышно. Когда Дарья Андреевна пришла наверхъ, то Марина Осиповна подошла къ ней съ раскраснѣвшимися лицомъ, держа въ рукахъ ребенка.

— Твоя правда, Даша! Мамака оказалась такая воровка—не приведи Богъ: представь—я нашла у ней два моихъ носовыхъ платка, пару чулокъ и восемь сигаръ...

— Гм...

— Я ее отправила съ дворникомъ въ полицію. Спасибо, что ты мнѣ сказала о рожкѣ, а то она заморала бы ребенка. Придется нанять другую мамку.— Онѣ вышли въ спальную.

— Можно, я думаю, и изъ рожка кормить; вѣдь у нашихъ коровъ хорошее молоко.

— Но кто будетъ водиться: мнѣ некогда, да и не могу же я жить вниву. Ахъ, бѣда!

— Я буду водиться.

— Ну, полно, Даша! Ты дѣвушка молодая, въ этомъ дѣлѣ неопытная. Что люди подумаютъ—когда ты станешь нянчиться съ ребенкомъ? Другое дѣло, если бы ты сама имѣла своихъ дѣтей...

— Какой у васъ, мамаша, взглядъ на это странный. Вѣдь вы сами хорошо знаете, что какъ у мѣщанъ, такъ и чиновниковъ дѣвушки на возрастѣ постоянно водятся съ ребятами, особенно съ такими маленькими.

— Ну что жъ это за люди? Да и опять... опять ты же... какъ тебѣ сказать, непривычна къ этому.

— А если мнѣ придется замужемъ?—смиѣясь сказала Дарья Андреевна.—Тогда у меня у самой могутъ быть дѣти, а я, никогда не водившись съ дѣтьми, и не съужу, какъ вѣяться.

Марина Осиповна ничего не сказала. Обѣ молчали нѣсколько минутъ.

— Вотъ что, Даша: я схожу въ новую слободку къ бабкѣ Корниловой; она мнѣ дастъ свою дочь—эта дѣвочка смиренная,—а ты посмотри за ней!

— Зачѣмъ же вамъ ходить—я схожу: я Корнилову знаю.

— Нѣтъ, ужъ я сама.—И она, положивши спящаго ребенка на кровать, стала одѣваться.

Къ вечеру пришла дѣвочка Настя, годовъ 13, робкая, робкая до того, что если ее спрашивали не много повышая голосъ, то она вдрагивала. Марина Осиповна предоставила ей ребенка, котораго она должна была кормить, пеленать и улюлюкивать. Въ провинціи, особенно въ Ильинскѣ, если находять, что для ребенка не стоитъ нанимать мамку или для этого нѣтъ средствъ, то нанимаютъ какую-нибудь дѣвочку за рубль. Но такіе дѣвочки только первые дни хорошо ухаживаютъ за ребятами, а потомъ возня съ ребенкомъ доводитъ ихъ до изнеможенія и ребенокъ надѣдается. Поэтому, хотя Марина Осиповна и наблюдала за дѣвочкой-нянкой, но на четвертые сутки ребенокъ все-таки умеръ.

Мать по обыкновенію плакала; похороны были богаты, на нихъ была вся родня и по обыкновенію бѣда.

Въ обращеніи Марины Осиповны съ Дарьей Андреевной ничего не замѣчалось худого: все шло, какъ

слѣдуетъ. Жизнь въ домѣ тоже шла по прежнему: вставали рано и собирались въ залу, гдѣ Андрей Ивановичъ, какъ патріархъ семейства, читалъ молитвы, послѣ конихъ дѣти поздравляли родителей съ добрымъ утромъ, потомъ начинался день. Самъ Андрей Ивановичъ или занимался со своими писцово-водителемъ въ канцеляріи, или уходилъ покалякать въ казначейство или въ почтмейстеру; Марина Осиповна смотрѣла за огородами или что-нибудь вышивала, а Дарья Андреевна учила Владимира грамотѣ. Андрей Ивановичъ не пьянствовалъ, былъ веселъ, шутилъ; часто къ нимъ собирались гости, которые переливали изъ пустого въ порожнее, играли въ карты по самой маленькой и потомъ въ концѣ-концовъ напивались до того, что уходили домой пьяные. Такъ шло недѣли двѣ... Жизнь было, что называется, умирать не надо. Почти каждый день ходилъ Павловъ, но его невѣста и не думала пріѣзжать. Но вотъ Марина Осиповна стала уходить изъ дому почти каждый день. Уйдетъ утромъ, когда съ дѣтьми, а когда и безъ дѣтей, и воротится къ вечеру на-веселѣ. Самъ Андрей Ивановичъ не обращалъ на это вниманія, но Дарью Андреевну брало беспокойство. Наконецъ на пятны сутки она и ночевать не воротилась. Утромъ Андрей Ивановичъ послалъ дворника къ Зиновьеву справиться, что сдѣлалось съ женой, но тотъ пришелъ выпивши.

— Странно. Надо сходить туда.

Пришелъ онъ отъ Зиновьева блѣдный и, не раздѣваясь и не говоря ни слова, сталъ ходить по комнатамъ.

— Что съ вами, папаша?—спросила съ безпокойствомъ Дарья Андреевна.

— Ничего... такъ... не твое дѣло.

— Мамаша здорова ли?

— Здорова.

— Что жъ она неидетъ сюда?

— Придетъ завтра... Ха-ха-ха! Достань-ка бутылочку водки!

— Полно вамъ, папаша. Успокойтесь. Мамаша можетъ быть придетъ сегодня: вѣдь она хозяйка въ домѣ; вѣдь я здѣсь одна и безъ нея ничего не знаю.

— Хозяйка! Ха-ха! Хороша хозяйка, коли изъ дому бѣгаетъ. Принеси водки.

— Ключи у мамани.

— А-а! И ключи унесла!—Ионъ пошелъ въ кухню.

Танъ Трифонъ угощалъ своихъ друзей изъ новой слободки. На столѣ стоялъ щипящій самоваръ, чашки, графинъ съ водкой, тарелка съ огурцами; а на шесткѣ и треножникѣ стояла кострюлька, подъ которую былъ разведенъ огонь. Самъ Трифонъ суетился около печки, а гости, двое мѣщанъ—одинъ съ русыми длинными волосами и сѣрыми глазами, доряный, сидѣлъ въ ситцевой падевого цвѣта рубашкѣ у окна и пилъ чай, другой—съ черными остриженными подъ гребенку волосами, сидѣлъ въ рваномъ пальто на лавкѣ и своими манерами походилъ скорѣе на фабричнаго, чѣмъ на мѣщанина: онъ держалъ въ рукахъ огурецъ. Кухарка спала на лавкѣ ближе къ двари.

— Ты говоришь: въ воду?—спросилъ съ улыбкой гость въ рубашкѣ роста въ пальто.

— Конечно. Ночью поймать, заткнуть ротъ, при-

— Очень вамъ благодарна. Я ъду къ сестрѣ и пробуду тамъ съ надеждою.

— Подождь-же, братъ, ты мужъ. Поколотила бы хорошенько чубукомъ, не смѣла бы ѣхать, — проговорила опять со смѣхомъ Зинорьева.

— Да ужъ и такъ бита-сь, — сказала съ сарказмомъ Марина Осиповна.

— Э-э!... Поздравляю, затѣкъ — не ожидать, — сказала Зинорьева такъ, что у Андрея Ивановича по коже точно мурашки забѣгали.

Въ село онъ не поѣхалъ, а поѣхалъ къ исправнику, въ окнахъ котораго увидалъ большое осѣдленіе. Тамъ была вся городская аристократія, играли въ карты. Андрей Ивановичъ тоже сѣлъ играть; ему не везло. Домой онъ приѣхалъ уже въ третью пору утра. Между тѣмъ Дарья Андреевна, уздавши отъ вернувагся Трифона, гдѣ отецъ, долго сидѣла въ своей комнатѣ за работой, поджидая отца. Ей было скучно, грустно и страшно; комнатъ много, а она одна въ нихъ; чуть гдѣ-нибудь тараканы зашевелили бумагой, ей кажется, что идутъ воры; мышь заскребется — кажется, кто въ окно лѣзетъ.

„Да, ядумала она, теперь я все поняла: начиха бѣгаетъ отъ меня. Надо мнѣ уйти отсюда. Надо убѣдить отца, чтобы онъ отпустилъ меня на всѣ четыре стороны“.

Пришелъ отецъ, но онъ, что называется, и лыка не вязалъ, а какъ только вошелъ въ свой кабинетъ, грохнулся на диванъ въ вице-мундирѣ, да такъ и заснул. Много было ей возни, чтобы снять съ него его облачение и уложить, какъ слѣдуетъ.

Утромъ за чаемъ Андрей Ивановичъ былъ сумраченъ. И бѣгство жены, и проигрышъ въ карты, и хвѣлъ въ головѣ — все мучило его.

— Папаша, отпустите меня... — начала робко Дарья Андреевна.

— Куда?

— Да хоть въ Егорьевскъ.

— Зачѣмъ? Опять старыя сказки! О, будьте вы... — Онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Папаша, я понимаю, что мамаша потому неидетъ домой, что я здѣсь. Известно, что два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживаются, — такъ и наше дѣло. Я не считаю себя медвѣдемъ, но вѣрно мамашѣ угодно меня считать имъ.

Отецъ молчалъ.

— Мамаша, вы знаете, меня не любить...

— Сама виновата!.. И оттого это она только тебя одну не любитъ? А оттого, что ты слѣпкомъ заносчива, самоуверенна, фанатерни разной гдѣ-то набралась, непотребительна къ старшимъ... Иди! ну, иди!! Хоть къ чорту!.. А я тебѣ благословенія не дамъ... Гни какъ червь, а тебѣ не дамъ помощи.

— Папаша, а для вашего же спокойствія прошу отпустить меня, — проговорила Дарья Андреевна со слезами.

— Что мнѣ спокойствіе, когда я уже можетъ быть одной ногой въ гробу егю! Вамъ вѣдь не жалко отца. — Онъ сѣлъ въ изнеможеніи на стулъ.

Съ полчаса длилось молчаніе, прерываемое плачемъ Дарьи Андреевны.

— Хорошо, а тебя, Дарья, отпущу къ отцу Сергію.

Какъ только жена приѣдетъ изъ Никольскаго, ты и студай къ нему; вѣстѣй поймаешь. А до тѣхъ поръ ты нужна въ домѣ. Она черезъ надежду хотѣла вернуться. — Согласна?

— Согласна.

Андрей Ивановичъ ушелъ.

## X.

Прошла недѣля, — Марина Осиповна не возвращалась. Пришелъ Зинорьевъ и сказалъ, что она уѣхала къ Осипу Андреевичу. Прошла другая недѣля, — не ѣдетъ. Андрей Ивановичъ сперва сердился, но потомъ какъ будто сталъ позабывать о существованіи жены только о дѣтахъ вспоминалъ часто. Онъ сдѣлался бодрѣе и веселѣе, хотя отсутствіе дѣтей и хозяйки дома часто заставляло его задумываться. До обѣда онъ занимался въ своей канцеляріи съ Родіономъ, который тоже былъ трезвый, а послѣ обѣденнаго сна или ухаживалъ за цвѣтами, за фруктовыми деревьями, прочищалъ въ саду дорожки, или у него собирались гости. Хотя онъ гостей и не очень жаловалъ, потому-что во-первыхъ лишніе денегъ на игру въ карты у него не было, во-вторыхъ своими сплетнями они нагоняли на него тоску и злость, и въ третьихъ онъ выпивалъ лишнее, такъ что утромъ приходилось ему опохмѣляться, послѣ чего онъ уже не могъ заниматься письменной работой; но отказать гостямъ не было рѣшительно никакой возможности. Они лѣзли сами, потому что имъ дома скучно; писку ребятъ надѣждаетъ хуже горькой рѣдьки, съ женою сидѣть тошно: отъ нихъ кромѣ неудовольствій и жалобъ на недостатки, да брани за трату денегъ на картонную игру, ничего хорошаго не слышишь; говорить съ ними не о чемъ, и будь хоть какой рѣдкостный человекъ, такъ слова будутъ раздаваться понапрасну. Сверхъ того, имъ дома водку не стоитъ — дѣти не дадутъ спать и убыточно; у виннаго же пристава водки много. закуска хорошая, хозяйка — Дарья Андреевна, — любезная, красивая и разговорчивая; да и играть-то Андрей Ивановичъ плохо и выигрывать съ него не грѣхъ: „у него отъ страстической должности, пода, сундуки ломаются отъ денегъ“. На этихъ-то основаніяхъ, благодаря отсутствію Марины Осиповны, гости стали вѣщать Андрея Ивановича чуть-ли не каждый день, такъ что зала освѣщалась вплоть до полнаго разсвѣта, и въ городѣ стали говорить, что Яковлевскій домъ превратился въ игорный.

Постоянными гостями Андрея Ивановича, за исключеніемъ жены и Марины Андреевны, который посѣщалъ Яковлевыхъ каждый день, были исправникъ, судья, казначей, зафидатели Трынкинъ и Яновскій и почтмейстеръ Сръзавевъ. Всѣ эти господа, казалось, жили между собой дружно, и если напригнѣръ назначенъ былъ вечеръ у почтмейстера, то вся компанія собиралась къ почтмейстеру и т. д. Нередко они и ругались за картами, но на другой день здоровались дружески, какъ ни въ чемъ не бывало. Изъ нихъ Трынкинъ и Яновскій были холосты и считались въ городѣ видными женихами, но всѣ послѣднато предпочитали первому. Трынкинъ былъ низенькій, чересчуръ толстый мужчина съ большою головой, съ рѣдкими сѣ-

дыми волосами, которые хотя онъ и натиралъ фиксатуромъ, но они къ досадѣ его никакъ не могли почернѣть, а казались желтыми. Въ судѣ говорили, что онъ глухъ, самъ же онъ считалъ себя красавцемъ, носилъ бѣлый глухой жилетъ и вицмундиръ съ свѣтлыми пуговицами. Яновскій былъ молодъ, красивъ, любезенъ и могъ занять какую угодно барышню. Онъ очень хорошо понималъ, что почти вся аристократія Ильинска образована плохо, что съ нимъ спорить никто не можетъ, потому и говорилъ, — говорилъ, самъ не понимая, что говорилъ, и торжествовалъ, потому что его слушатели и слушательницы или сидѣли молча съ разинутыми ртами, похлопывая глазами, или до коликъ въ животахъ хохотали надъ его передразниваніями. Что касается до его служебной дѣятельности, то онъ, хотя и кончилъ курсъ въ гимназіи, въ судѣ бывалъ только для того, чтобы провести время за подписываніемъ бумагъ и разговорами о прошедшемъ днѣ и предстоящей карточной игрѣ. Онъ одѣвался по модѣ, ходилъ съ тросточкой, отъ него постоянно пахло одеколономъ. Андрей Ивановичъ считалъ его вертопрахомъ, т. е. пустымъ человекомъ, но не сердился на его посѣщенія, потому что Яновскій любезничалъ съ Дарьей Андреевной, и онъ непрочь былъ выдать ее за него, тѣмъ болѣе что родители Яновскаго были люди богатые, нѣбѣ связи въ губернскомъ городѣ и Яновскій стало быть могъ современемъ далеко пойти. Но душою всего общества былъ почтмейстеръ Назаръ Алексѣевичъ Срѣзневъ. Онъ былъ 28 лѣтъ, высокъ, худощавъ, чахоточный, но мастеръ подлаживаться къ какому угодно человеку, такъ что его любили и крестьяне, и мѣщане, и чиновники. Онъ былъ вдовъ, но у него было уже пятеро дѣтей; жениться онъ не хотѣлъ, потому что ждалъ смерти и все свободное время проводилъ за картами. Одно что не правилось въ немъ — это скупость его: позоветъ гостей, усадутся за карты, а водки нѣтъ. Потребуютъ водки; поставятъ графинъ, принесутъ ржаного хлѣба, редьки и огурцовъ — вотъ и закуска.

— Ну, это, братъ, свинство, — говорятъ ему гости.

— Что дѣлать, господа! Я хотъ и въ Петербургѣ выросъ, а теперь ѣмъ горошину да редьку. Сами посудите, какое мое жалованье: вѣдь у меня пятеро птенцовъ.

— А доходъ? Съ крестьянъ развѣ мало берешь?

— Что съ нихъ, поддочковъ, возьмешь нынче. Иной нищій лучше ихняго живетъ.

— Оно пожалуй...

И гости замолчатъ. За то въ гостяхъ Срѣзневъ не перемонится, и если мало пьетъ водки, то яствѣ изстребляетъ немовѣрно.

Никандръ Ивановичъ Павловъ въ эту компанію не жѣлся, да его и не приняли бы. Онъ былъ всего на все только помощникъ бухгалтера, имѣлъ только первый чинъ, не умѣлъ связно сказать нѣсколько словъ, былъ сынъ промотавшагося купца, отъ котораго матери его, слѣпой старухѣ, достался ветхій домишко; хотя онъ и получалъ съ доходами рублей восемнадцать въ мѣсяцъ, но вслѣдствіе пьянства съ товарищами и разгульной жизни ему приходилось ѣсть мясо только по воскреснымъ днямъ; въ остальные

же дни онъ набивалъ животъ чѣмъ попало — и полхлебкой съ картофелемъ, и щами изъ кислой капусты, и преимущественно киселями гороховымъ и калиновымъ. Сдѣлавшись женихомъ Марьи Андреевны, онъ ходилъ къ Андрею Ивановичу каждый день, потому что у того былъ сытный обѣдъ и хорошая наливка. Но Дарья Андреевна дней черезъ пять по отъѣздѣ мачихи стала замѣчать, что Никандръ Ивановичъ выходитъ изъ-за стола только на-веселѣ, а уходитъ домой совсѣмъ пьяный. Стала она наблюдать за нимъ, и однажды увидѣла слѣдующее: сидѣлъ Никандръ Ивановичъ въ залѣ на стулѣ около окна, на которомъ стояли двѣ бутылки, и вдругъ всталъ, поглядѣлъ кругомъ себя, взялъ бутылъ, выпилъ изъ горлышка, поставилъ на мѣсто и опять сѣлъ.

По уходѣ его она унесла бутылки въ другую комнату. Когда отецъ хватился бутылкой, то она сказала ему улыбаясь:

— Водка усыхаетъ, папаша. Я унесла ее въ свою комнату.

— Какъ усыхаетъ?

— Не угодно ли посмотрѣть.

Посмотрѣлъ отецъ на бутылки, покачалъ головою и проговорилъ съ улыбкой:

— Хитеръ подлецъ этотъ, Никашка — изъ всѣхъ понемножку полакаетъ. То-то я все удивляюсь за обѣдомъ: что это, молъ, съ нимъ сдѣлалось, что онъ пьетъ мало?.. А онъ, выходитъ, тоже и политику знаетъ.

Долго хохотали на другой день отецъ съ дочерью надъ Павловымъ. За обѣдомъ Павловъ былъ молчаливъ, пилъ мало, но какъ вышли изъ-за стола, онъ сдѣлался любезенъ, и пожалавъ Андрею Ивановичу спокойнаго сна, пошелъ въ залу, взглянулъ на окна и остановился. Вышелъ онъ изъ залы съ помятымъ лицомъ, сурово взглянулъ на Дарью Андреевну и какъ угорѣлый, не прощаясь съ нею, ушелъ изъ дому.

Видя въ будущемъ зятѣ такого пьяницу, зная, какъ глупа ея сестрица, и предчувствуя, что изъ такого брака едва ли можетъ выйти что-нибудь хорошее, Дарья Андреевна рѣшилась поговорить съ Павловымъ серьезно. Но Павловъ не приходилъ двое сутокъ, а на третій утромъ къ Андрею Ивановичу пришла старуха мать его узнать, не у него ли находится ея сынъ.

— Вѣдь денегъ-то у него, сорванца, нѣтъ. Ужъ я думаю, не вы ли, Андрей Ивановичъ, дали ему? — вопила старуха.

— Нѣтъ, старуха, денегъ онъ у меня не выклянчить. Не дамъ, — отвѣчалъ тотъ.

— И покорно благодарю. Да вотъ что, позвольте васъ спросить, могу-ли я его выстегать въ полиціи?... Вѣдь я мать, только вотъ у него чинъ этотъ замѣшался.

— Выстегать можешь, только этимъ ты его не образумишь, а хуже вооружишь противъ себя. Ты бы вотъ поменьше ворчала на него да сама бы бросила водку. Вѣдь ты хотъ и слѣпая, а небось дорогу въ кабаки знаешь. Говорятъ, что ты будто у него, у пьянаго, вытаскиваешь малую-толику.

Когда она ушла, Дарья Андреевна спросила отца:

— Папаша, зачѣмъ вы Машу выдаете за пьяницу?

— Ну, матушка, нѣтъ это дѣло ближе и я знаю, что дѣлаю. Онъ хоть и пьетъ, но пить не запоемъ и дѣло свое хорошо знаетъ. У него голова золотая: ты его хоть на какую должность опредѣли—онъ нигдѣ не пропадетъ. Пьянствуетъ онъ потому, что ему дѣлать нечего, скучно, старуха его дома грызетъ; а вотъ какъ женится, я его помѣщу у себя, онъ и перестанетъ пьянствовать.

На другой день послѣ этого былъ праздникъ; въ судахъ не занимались, но въ уѣздномъ судѣ кряхтѣлъ надъ разными бумагами засѣдатель Трынкинъ. Сторожъ Николай, намѣревавшійся отправиться въ слободу, злился ужасно, а засѣдатель то и дѣло звонилъ въ колокольчикъ и требовалъ отъ Николая воды или просилъ узнать, пріѣхалъ-ли изъ церкви Андрей Ивановичъ и гдѣ въ настоящее время находится Дарья Андреевна. Андрея Ивановича ему пришлось дожидаться недолго, и какъ только онъ вѣхалъ во дворъ, Трынкинъ высунулся въ окно и поздравилъ его съ праздникомъ. Андрей Ивановичъ по обыкновенію пригласилъ его выпить чаю. Дарья Андреевна готовила въ кухнѣ кушанья, потому что кухарка отпросилась въ деревню; ей помогла дѣвочка Настя, оставленная Андреемъ Ивановичемъ, по просьбѣ ея матери, служить у него изъ-за куска хлѣба; чай подавала Настя.

— Смутился я, Андрей Ивановичъ, съ этими дѣлами! Добрые люди въ церковь ходятъ, а ты корн. Дѣла такъ много, что иной разъ и праздникамъ не радъ,—говорилъ Трынкинъ.

— Да какія-же у васъ дѣла такіе? Я думаю, нерѣшенныхъ штукъ двадцать.

— Эка! штукъ сто. Все больше о грабежахъ да кражахъ.

— Ну, это дѣла однородныя. Взять только одно подобное рѣшеніе изъ рѣшеннаго дѣла, и катать копій. Статьи однѣ.

— Это было въ ваши времена. А нынче разнообразіе, требуютъ тоже витіеватости.

— Хмъ! Да, какую сегодня Пьянковъ проповѣдь прочиталъ!

— О чѣмъ?

— А право позабылъ. Читалъ такъ хорошо, витіевато, — представить себѣ не могу и передать не съумѣю.

— Ученый человѣкъ... А гдѣ-же молодая хозяйка?

— Стряпаетъ...

— Ну, ужъ я у васъ пообѣдаю.

— Всеконечно, всеконечно.

Кончили чай. Пришла Дарья Андреевна. Трынкинъ всталъ, поклонился какъ-то бокомъ, подаль широкою ладью съ толстыми пальцами, на одномъ изъ которыхъ было надѣто золотое кольцо, которое снять не было никакой возможности безъ инструмента. Глаза его засеменили, лицо сдѣлалось смѣшнымъ, потому что отъ улыбки ротъ сталъ очень широкъ и его немного перекосило.

— Какъ вы загорѣли, Дарья Андреевна!

— Она у меня нынче вездѣ: и въ кухнѣ, и во дворѣ, и въ огородѣ—какъ не загорѣть.

— А вы похорошѣли!

— Меня это нисколько не интересуетъ.

— Ну ужъ!

— А ты пила-ли чай-то?—спросилъ отецъ.

— Пила, папаша. Бѣсъ захотѣлось.

— А обѣдъ скоро?

— Сычугъ еще не зажарился. Черезъ полчаса будетъ готово.

— А ты вели Настѣ подать рыжиковъ да водки: мы пока до обѣда червяка заморимъ. А не сыграемъ ли въ шашки?

— Сыграемъ.

Стали играть въ шашки, но Трынкинъ былъ задумчивъ и разсѣянъ, такъ что оживленія въ игрѣ не было и Андрей Ивановичъ безъ труда запирагъ его шашки. Наконецъ онъ бросилъ шашки.

— Да что съ вами сегодня, Матвѣй Тарасичъ? Играете вы всегда хорошо, а сегодня ни къ чорту не годитесь. Ужъ подѣ судъ васъ не отдали ли?

— Нѣту. Такъ, на нутрѣ какъ будто кошки скребуть...

— Такъ выпьемъ.

Выпили.

— Отчего вы не женитесь?

— На какомъ чортѣ я женюсь?

— Господи помилуй, да развѣ у насъ мало невѣстъ. Вонъ у одного исправника цѣлый возъ невѣстъ.

— Благодарю покорно—комедьянтки!

— Ну, у новаго стряпчата—вонъ какая здоровая у него сестра.

— Плевалъ бы я на него. Это фанфаронъ, недоученный гимназистъ.

— Онъ въ университетѣ былъ; только не кончилъ тамъ курса. Ну, вотъ у Зиновьева?

— Безбожница, развратница; по набережной вечерами шатается.

— Ну, это ужъ врете.

— И я съ своей стороны могу вамъ замѣтить. Анисья Осиповна не такая дѣвушка, какъ вы думаете,—сказала Дарья Андреевна, накрывавшая въ это время столъ бѣлою скатертью.

— Извините.

— Напередъ узнайте человѣка, а потомъ говорить,—отвѣтила ему рѣзко Дарья Андреевна.

Трынкинъ растерялся совершенно; красное его лицо побагровѣло, такъ и думалось, что оно лопнетъ, оно покрылось крупными пузырями пота, платка у Трынкина не оказалось и онъ то и дѣло обтиралъ его рукавомъ своего вицъ-мундара.

— Экое вѣдь канальство, платокъ въ судѣ оставилъ,—хрипѣлъ Трынкинъ.

— Николай уже ушелъ. Я вамъ принесу свой платокъ, только вы непременно возвратите его.

Когда Дарья Андреевна дала ему платокъ, онъ просіялъ. Опять засеменили глаза, опять появилась смѣшная улыбка, и уши, какъ у осла, слегка передернулись.

Обѣдали втроемъ. Сначала молчали, но когда было выпито Трынкинымъ три рюмки, онъ началъ рассказывать объ исправничьихъ дочеряхъ, какъ онъ ежедневно метутъ подолами песокъ на бульварѣ, т. е. на набережной.

— Вы, Матвѣй Тарасичъ, кажется только тѣмъ

заняты, что замѣчаете, кто какого поведенія, — за-  
тѣтила ему Дарья Андреевна.

Трынкинъ замолчалъ, а отецъ посмотрѣлъ на  
дочь и мигнулъ однимъ глазомъ на гостя.

Послѣ обѣда Андрей Ивановичъ по обыкновенію  
легъ спать, но не въ саду, а въ кабинетѣ, потому  
что жаловался на ломоту въ ногахъ. Трынкинъ рас-  
прощался и ушелъ. Черезъ часъ Дарья Андреевна  
пошла въ садъ. Она находилась въ хорошемъ на-  
строеніи и, обдергивая сухіе листья съ цвѣтовъ, на-  
пѣвала вполголоса какую-то пѣсню. Каковъ же былъ  
ея испугъ и удивленіе, когда, присѣвши около одной  
клубы, она услышала, что кто-то передъ самымъ ея  
ухомъ пропѣвалъ „кукарику!“. Взглянула — Трын-  
кинъ.

— Извините-съ! — оправдывался Трынкинъ оскла-  
бляясь.

— Какъ это вѣжливо!..

— Ужъ вы и сердитесь!..

— А кто давеча осуждалъ исправническихъ доче-  
рей? Не стыдно вамъ? До сѣдыхъ волосъ дожили, а  
ува не нажили.

— Простите великодушно!..

— Да я и не сержусь. Только если вы въ другой  
разъ позволите себѣ такіа выходки, я иначе съ вами  
расправлюсь.

— Что же вы сдѣлаете?

— А попрошу выйти вонъ.

Дарья Андреевна подолзла къ яблонѣ. Она была хо-  
роша въ это время: глаза ея блестѣли, щеки покры-  
лись румянцемъ.

— Дарья Андреевна... — началъ дребезжающимъ  
голосомъ Трынкинъ.

— Что? — и она обернулась.

Лицо Трынкина было и страшно, и жалко: оно  
было блѣдно, на немъ появилось много складокъ,  
глаза съужились, вѣки мигали, какъ у бумажнаго  
дрыгунчика дрыгаютъ руки и ноги, — такъ и каза-  
лось, что эта туша вотъ того и гляди что разревется  
и изъ глазъ ея польется обычное количество слезъ.

— Дарья Андреевна... — едва проговорилъ Трын-  
кинъ и заклебулся, а изъ глазъ потекли слезы.

— Господи! Да что съ вами? — спросила въ испугѣ  
Дарья Андреевна.

— Я одинокъ... — стоналъ и плакалъ Трын-  
кинъ. — Васъ не любить мачиха — я знаю... Я васъ  
люблю...

Дарья Андреевна захохотала.

— Я хотя и старъ, но я васъ люблю. Дарья Анд-  
реевна... Не сибѣю... О! будьте мнѣ подругой, то есть  
я хочу сказать — супругой, женой...

— А если я васъ не люблю?

— Полюбите.

— Нѣтъ, я васъ никогда не полюблю.

— Почему?

— Нельзя любить насильно. Да и надо вамъ при-  
знаться, что у меня вовсе нѣтъ охоты выходить за-  
мужъ и меня никто, даже папаша не принудить къ  
этому. Прощайте! — и она, кивнувъ ему головой, ушла,  
но скоро вернулась посмотрѣть, тутъ ли Трынкинъ.  
Трынкинъ рвалъ цвѣты и торопливо засовывалъ ихъ  
за пазуху.

— Какъ вамъ не стыдно воровать цвѣты! Госпо-  
динъ женихъ, оглохли вы?

Трынкинъ встрепенулся, цвѣты разсыпались.

— Я на память. Прощайте!

— Подберите цвѣты-то, я знаю, у вашей хозяйки  
тоже есть цвѣты.

Но Трынкинъ ушелъ съ багровымъ лицомъ. Вы-  
шедши за ворота, онъ ворчалъ: „Мерзавка! Я хотѣлъ  
ей благодѣяніе сдѣлать, а она вонъ какъ оконфузила  
меня. Чай кто-нибудь слышалъ у сосѣдей... А жалко!  
Ну, да чортъ съ ними. Ударю я вамъ!..“

А Дарья Андреевна долго послѣ этого ходила  
по саду съ задумчивымъ лицомъ: предложеніе Трын-  
кина ее возмущало. Но она рѣшилась не сказывать  
отцу объ этой сценѣ.

Прошла и третья недѣля по отъѣздѣ Марины Оси-  
повны изъ Ильинска. Андрей Ивановичъ написалъ  
письмо женѣ, въ которомъ увѣдомлялъ ее между  
прочимъ, что у нихъ послѣли огурцы, и Христомъ-  
Богомъ просилъ ее пріѣхать. Она написала, что ей  
живется у сына хорошо; въ пяти верстахъ отъ села  
нынѣшнихъ лѣтомъ открыты сѣрныя воды, и она съ  
Володей пьетъ эти воды по совѣту доктора и вѣро-  
ятно будетъ лечиться все лѣто, а если ему ужъ такъ  
она нужна, то онъ можетъ и самъ пріѣхать къ сыну  
и тоже пить воды; что же касается до свадьбы, то  
Маша еще успеетъ нажиться въ замужествѣ и свадь-  
бу можно сыграть осенью. Поэтому Андрей Ивановичъ  
подалъ прошеніе въ отпускъ.

По-прежнему къ нему собирались гости, только Трын-  
кинъ не приходилъ. Хотя въ обращеніи съ Андреемъ  
Иванычемъ онъ и былъ вѣжливъ, но говорилъ не-  
охотно и замѣчалась натянутость. За то чаще дру-  
гихъ гостей къ Андрею Ивановичу сталъ ходить Янов-  
скій. Андрей Ивановичъ часто въ глаза называлъ его  
болтуномъ, но онъ не обижался, говоря, что старый  
человѣкъ есть отсталый, онъ-де не понимаетъ совре-  
меннаго, нынѣшняго человѣка. Надобно замѣтить,  
что Яновскій считалъ себя отъявленнымъ нигили-  
стомъ въ кругу барышенъ и простоватыхъ мужичиъ,  
хотя и не понималъ, что такое нигилизмъ; онъ хва-  
талъ на-лету новыя слова и носился съ ними всюду,  
не понимая самъ въ нихъ смысла.

Ни Андрей Ивановичъ, ни Дарья Андреевна не обра-  
щали вниманія на его частыя посѣщенія. Андрей  
Иванычъ, напротивъ, развлекался его болтовней и,  
научивъ его играть въ шашки, подолгу просиживалъ  
съ нимъ за этимъ занятіемъ, а Дарья Андреевна счи-  
тала его полоумнымъ и часто потѣшалась надъ нимъ.  
Онъ не обижался. Словомъ, онъ былъ какъ свой у  
Яновскихъ, а въ городѣ его уже называли жени-  
хомъ Дарьи Андреевны и спрашивали его, особенно  
дѣвицы: скоро ли будетъ его свадьба съ дочерью вин-  
наго пристава?

Разъ Андрей Ивановичъ ушелъ въ канцеляцію и  
засидѣлся тамъ. Дарья Андреевна перешивала свое  
старое шелковое платьѣ на новое и пѣла пѣсню. Кто-  
то постучался въ парадную дверь. Колокольчиковъ у  
дверей въ домъ Андрея Ивановича не было. Стучавшій-  
ся былъ Яновскій.

— Андрей Ивановичъ дома?—спросилъ онъ самымъ вѣжливымъ образомъ.

— Онъ въ казначействѣ; вѣроятно скоро придетъ. Онъ не любитъ обѣдать гдѣ-нибудь.

— Какая вы злая: сейчасъ и намекаете на меня. Извольте, я ретируюсь,—и онъ повернулся.

— Куда же вы? посидите. У насъ сегодня пирожки.

— Мерси! Но я, право, такъ часто... Мнѣ совѣстно...

— Полно вамъ! Идите въ залу, коли хотите пирожковъ, а не хотите—воля ваша.

Вошли въ залу. Дарья Андреевна сѣла къ окну съ шитьемъ, а Яновскій, стоя у того же окна, барабанилъ по спинкѣ стула пальцами.

— Какая прелестная погода!—началъ Яновскій.

— Что жъ тутъ особеннаго?

— Какъ что особеннаго: тепло, птички чирикаютъ, ароматомъ пахнеть...

— Не думаю, что бы теперь на улицахъ ароматомъ пахло; развѣ изъ домовъ только печенымъ хлѣбомъ несетъ.

— О, злая насмѣшница! Позвольте мнѣ закурить папироску?

— Сколько хотите, только пепелъ на полъ не бросайте.

— Угодно папироску?

— Давайте.

Закурили.

— Знаете ли что: мнѣ нравится въ васъ то, что вы не похожи на нашихъ барышень.

— Чѣмъ это?

— Вы нигилистка.

— Въ первый разъ слышу такое слово. Что же это такое?

— Это... это... отступница.

— Вотъ вы и ошиблись: я вовсе не отступница.

— Вотъ вы папиросы курите.

— Я въ этомъ ничего не вижу худого. Есть папиросы—курю, нѣтъ—не надо. Моя сестра тоже куритъ папиросы и даже больше меня, такъ что отецъ иногда сердится, что у него много табаку выходитъ.

— Вотъ вы въ церковь не ходите.

— А если мнѣ некогда!

— Ну, это не отговорка... Скажите пожалуйста, отчего вы гулять не ходите?

— Некогда; да я и не охотница гулять по набережной. У насъ садъ большой, и я нахожу въ немъ больше удовольствій, чѣмъ на набережной.

— Но тамъ природа представляется намъ во всемъ ея величьи и красотѣ: рѣка, закатъ солнца, свистъ пароходовъ, движеніе, светляя пассажировъ, лѣсъ за рѣкой, соловьиное пѣнье...

— Ну, тамъ-то вы едва ли услышите соловьиное пѣнье. У васъ должно быть воображеніе очень пылкое.

— Все-таки прелесть. Да, скажите мнѣ пожалуйста: не знаете ли вы, за что это чурбанъ Трынкинъ сердится на васъ?

— На меня?

— Да, и на Андрея Ивановича.

— Не знаю.—Щеки у нея покраснѣли.

— Нѣтъ, знаете—вонъ какъ вы зардѣлись! А я понимаю... понимаю...

— Ничего вы не понимаете.

— Онъ сдѣлалъ вамъ предложеніе—вы отказали.

— Вы отъ него это слышали?

— Да. И вы хорошо сдѣлали, что отказали. Вамъ нужно мужа молодого, образованнаго.

— Нигилиста, который дозволяетъ женѣ курить папиросы...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Здѣсь, надо вамъ сказать, живетъ отъявленное дурачье.

— А я нахожу, что здѣсь живутъ люди простые, добрые.

— Силетники!..

— Что же имъ дѣлать-то больше?

— Читать.

Пришелъ Андрей Ивановичъ. Разговоръ прекратился, потому что Андрей Ивановичъ захотѣлъ ѣсть. За обѣдомъ Яновскій сталъ хвалить романъ „Отцы и дѣти“. Отецъ съ дочерью молчали.

— Ну, чѣмъ же хорошъ по вашему Вазаровъ? тѣмъ, что ли, что онъ надъ стариками свѣтется, родителей презираетъ?—замѣтила Дарья Андреевна.

— Однако согласитесь, старые люди не понимаютъ требованій современности.

— Напримѣръ?—спросилъ Андрей Ивановичъ.

— Примѣровъ много—ихъ не перечесть.

— А я бы этого вашего Вазарова, кабы только я былъ отецъ, розгами бы высѣкъ,—проговорилъ запальчиво Андрей Ивановичъ.

Разговоръ принялъ другое направленіе.

На другой день утромъ сторожъ Николай принесть Дарьѣ Андреевнѣ запечатанное письмо и книжку „Русскаго Вѣстника“.

— Засѣдатель Яновскій велѣли отдать,—сказалъ онъ сердито.

Письмо было слѣдующаго содержанія:

„Милостивая государыня,

„Дарья Андреевна!

„Извините и простите меня великодушно, что я осмѣливаюсь безъ спросу предложить вамъ книжку уважаемаго мною журнала, въ которой помѣщенъ романъ „Отцы и дѣти“. Хотя вашъ дорогой родитель и называетъ его нелѣпымъ, но я думаю, что вы его прочтаете и переѣните ваше мнѣніе о Вазаровѣ. Я ему сочувствую вполнѣ, только насчетъ его идей о бракѣ не согласенъ, и еслибы я могъ надѣяться на ваше великодушіе, прелестнѣйшая и очаровательнѣйшая Дарья Андреевна, то я бы поступилъ такъ, какъ поступаютъ всѣ честные люди. Позвольте мнѣ письменно и искренно высказать мои къ вамъ симпатіи: я васъ люблю; вашъ прелестный образъ и дѣмъ, и ночью носится надо мной. Какъ бы я былъ счастливъ, еслибы я могъ услышать изъ вашихъ устъ согласіе быть моею, моею до гроба. Я бы васъ лелѣялъ, обо- жалъ, исполнялъ малѣйшіе ваши капризы, и вы бы были со мною счастливы.

„Къ вамъ я приду черезъ три дня, а до этого времени съ терпѣніемъ, какъ ювъ, буду ждать вашего приговора—да, или нѣтъ.

„Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію

„Остаюсь любящій васъ

„В. Я.“



„Онъ въ разговорахъ гораздо лучше, чѣмъ въ письмахъ“, подумала Дарья Андреевна и задумалась. „Вотъ и второй женихъ. Этотъ молодецъ, изясняется лучше Трынкина, родители у него богатые и онъ можетъ получить хорошую должность. Но я его ненавижу за его болтовню, хвастливость; въ немъ много приторнаго... Показать письмо отцу или нѣтъ? Если покажу—отецъ пожалуй обрадуется... Нѣтъ, пусть и это останется между нами, потому что я не могу выйти за него замужъ. Странно, какъ мужчина много о себѣ думаетъ: онъ навѣрное воображаетъ, что если я выйду за него замужъ, то онъ осчастливитъ меня; хотя же онъ и пишетъ о томъ, что будетъ меня лѣлѣть, но это уже на концѣ и какъ будто въ родѣ приманки, чтобы вынудить отъ меня согласіе“.

Когда черезъ трое сутокъ пришелъ Яновскій, то, отдавая ему книгу, Дарья Андреевна сказала ему:

— Благодарю за одолженіе. Романъ написанъ увлекательно, но я не знаю, гдѣ такіе люди существуютъ.

— А насчетъ письмаца?

— Отвѣтъ готовъ—нѣтъ.

— До свиданія.

— А обѣдать?

— Благодарствуйте, мнѣ некогда.

И онъ ушелъ.

„Ну, слава Богу, отъ двухъ нахлѣбниковъ избавилась“, подумала Дарья Андреевна.

— Что это такое, Даша, съ нашими нахлѣбниками сдѣлалось—перестали и обѣдать у насъ, и въ карты нейдутъ играть.

— Не знаю, папаша.

— Ужъ не ты ли отвадила ихъ?

Дарья Андреевна рассказывала о сватовствѣ Трынкина и Яновскаго. Отецъ выслушалъ все молча и, когда она кончила, сказалъ:

— Яновскій со связями, только болтунъ. Но дѣлать нечего, найдемъ жениха и получше его, торопиться не къ чему.

Дарья Андреевна не возражала.

## XI.

Дарья Андреевна постоянно была занята, какъ хозяйка въ большомъ домѣ. Положимъ, большого хозяйства у Андрея Ивановича не было, а была лошадь, за которою преимущественно смотрѣлъ Трифонъ, двѣ коровы съ теляткою, десятка два курицъ, гуси, утки, индюшки и огорода, но за всѣмъ этимъ нужно было смотрѣть, потому что кухаркѣ не жалко было чужого добра и она постоянно ворчала, что у нея очень много дѣла, а жалованья даютъ только рубль. Вставала Дарья Андреевна въ одно время съ отцомъ и прислугой, шла во дворъ и присматривала за кухаркой, а не то и сама помогала ей; въ семь часовъ пили чай потомъ шла уборка въ конюшняхъ, шитье или вязанье. До обѣда Дарья Андреевна не любила выходить ни въ палисадникъ, ни въ садъ, потому что ей не хотѣлось встрѣчаться съ судейскими служащими; за то въ хорошую погоду она все послѣ-обѣда проводила въ саду, а иногда просиживала тамъ одна и до поздняго вечера. Ей было

хорошо въ саду, но въ домѣ она чувствовала какую-то тоску; ей хотѣлось выбраться вонъ изъ отцовскаго дома, который рано или поздно будетъ для нея чужой; однообразие этой жизни, пустота въ окружающихъ ее личностяхъ, отъ которыхъ не услышишь ни одного дѣльнаго или новаго слова, кромѣ сплетенъ и жалобъ на недостатки,—все это ее давило; ей хотѣлось свободы въ своихъ дѣйствіяхъ, хотѣлось жить одной, самостоятельно, независимо ни отъ кого. И въ то же время на нее находила иногда грусть; ей хотѣлось друга, съ которымъ бы можно говорить не о томъ, о чемъ говорить окружающіе ее, а о томъ, чего она не знаетъ, съ кѣмъ бы можно дѣлиться своими чувствами, горемъ и радостью. Но кто этотъ человѣкъ? гдѣ онъ? какой онъ собой—она не могла себѣ представить, и пока останавливалась только на двухъ—на Анисѣй Осиповнѣ Зиновьевой и Васильѣ Мироновичѣ Ивановѣ. Съ обими она выросла, обимъ одинаково любила въ дѣтствѣ, теперь была привязана къ первой, а къ послѣднему появилось какое-то чувство, котораго и сама она не могла опредѣлить: лишь только вспомнить она объ немъ, представляется ей всѣ манеры и все его прошлое,—сердце забьется такъ приятно и хорошо; но какъ только придется ей идти мимо дома Иванова, на нее находятъ не то страхъ, не то отвращеніе къ живущимъ въ этомъ домѣ, и она спокойно только тогда, когда не увидитъ въ окнѣ Василья, хотя Василій Мироновичъ и не говорилъ ей никакихъ любезностей, а только почтительно кланялся и спрашивалъ, куда она идетъ. Анисью же Осиповну она съ самаго прѣзда не видала, потому что та въ день ея прѣзда уѣхала съ сестрой въ село Никольское, въ которомъ и жила до сихъ поръ.

Какъ бы то ни было, а изъ всѣхъ окружающихъ ее людей Дарья Андреевна считала честными и хорошими только Анисью Осиповну и Василья Мироновича. Анисья Осиповна нисколько не походила на дочь купца или чиновника, потому что отецъ хотя и не любилъ ее маленькую, но смотрѣлъ сквозь пальцы и она росла подъ влияніемъ матери, которую Осипъ Флорычъ любилъ. Мать же ея была женщина простая, добрая, не глупая, умѣвшая ладить съ мужемъ, такъ что мужъ безъ ея совѣтовъ никогда не начиналъ ничего хорошаго; если же онъ дѣлалъ что-нибудь каверзное, такое, отъ котораго доставалось плохо можетъ быть сотнямъ семействъ, то объ этомъ она узнавала со стороны, бранила мужа, который отзывался такъ: „куй желѣзо, пока горячо; съ нашими-то смиренствомъ ничего не проживешь, а только проживешь; а какъ постоянно будешь держать ротъ разиня, такъ и пойдешь по міру“.

— Да гдѣ ты посмотри, сколько семействъ оставилъ безъ куска, — возражала жена. — На то я и коммерціей занимаюсь; на то шука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ. Чортъ же нигъ велитъ олухамъ быть. Не даромъ пословица—то сложена: на Бога надѣйся, а самъ не плошай. Ты вспомни, кто я былъ прежде? Я былъ простой мужиченко, мѣщаниншко, а теперь ворочаю капиталами и цѣлый городъ противъ меня не можетъ сдѣлать. — Сѣтованія и руготня бѣдныхъ людей часто доходили до слуха Анисьи Осиповны, и она спрашивала мать, за что бранятъ отца? Та старалась скрывать и только говорила: будь честная, милая доч-

ка, не обижай бѣдныхъ людей. И часто помогала тѣшанамъ то деньгами, то хлѣбомъ секретно отъ мужа. Поэтому дѣвочка старалась узнать со стороны и когда узнала и увѣрилась въ справедливости городскихъ толковъ, у нея явилось отвращеніе отъ купеческой и чиновнической жизни и сложилась своя жизнь. Она старалась находиться ближе къ бѣднымъ людямъ, выпрашивала у матери денегъ и давала ихъ тѣмъ, которые дѣйствительно были очень бѣдны. Поэтому понятно, что она съ Мариной Осиповной не могла сойтись; Марина Осиповна считала себя старшею сестрою и обращалась съ нею свысока, а Анисья Осиповна старалась держаться отъ нея подальше и не повѣряла ей своихъ чувствъ. Послѣ смерти жены Осипъ Флорычъ долго горевалъ, потомъ женился, только вторая жена оказалась уже не похожа на прежнюю. Эта женщина робкая, болѣзненная; если она за что-нибудь принималась, то все выходило какъ-то безтолково; если же принималась за дѣло Анисья Осиповна—отцу нравилось. Кромѣ этого, Анисья Осиповна угождать отцу, какъ никто: она не была капризна, отвѣчала съ толкомъ не задумываясь, была красивая, стройная, высокая дѣвушка, въ манерахъ которой ничего не было принужденнаго. И онъ думалъ: «эта, чортъ возьми, лучше Марины. Черезъ нее я могу много выиграть! Такой красавицы и въ Егорьевскѣ не сыщешь». Съ этихъ поръ отецъ предоставилъ дочери полную свободу, смотря сквозь пальцы на ея знакомство съ бѣдными людьми и на ея дружбу съ Дарьей Андреевной, съ которой она читаетъ какія-то фармазонскія книжки.

Что касается до пріятельницъ, то у нея были двѣ—Дарья Андреевна и сестра Анна, вышедшая замужъ по любви за священника села Никольскаго, Петровскаго, который тоже былъ человѣкъ неглупый и по пріѣздѣ въ село открылъ школу, въ которой вмѣстѣ съ женой и обучаетъ дѣтей обоего пола безденежно, такъ какъ село большое, торговое и онъ получаетъ съ обывателей порядочные доходы.

Отецъ Василія Миронича уже не одинъ десятокъ лѣтъ занимался сапожнымъ ремесломъ и также не одинъ десятокъ лѣтъ шилъ сапоги на Андрея Ивановича и дѣлалъ въ его домѣ кое-какія починки. Такимъ образомъ онъ былъ тутъ какъ свой человѣкъ; жоны Андрея Ивановича не гнушались его Натальей Семеновной, которая отлично мыла полы, и Андрей Ивановичъ не находилъ ничего предосудительнаго въ томъ, что его дѣти бѣгали играть къ сапожнику. Андрей Ивановичъ въ Миронѣ Мироничѣ видѣлъ человѣка положительнаго; онъ ни передъ кѣмъ спины не гнулъ, ни у кого не заискивалъ, со всѣми говорилъ одинаково грубо, зная, что не онъ нуждается въ людяхъ, а люди въ немъ. Онъ былъ мужчина здоровый, никогда не хварывалъ и пилъ водку только по большимъ праздникамъ и въ гостяхъ. Дѣти его, Настасья и Василій, удались какъ разъ въ него и вдобавокъ къ этому были красавцы, но Настя умерла—остался только одинъ сынъ, потерять котораго было бы очень больно. Сынъ былъ еще положительнѣе отца: онъ умѣлъ шить сапоги крѣпче, лучше и фасонистѣе, чѣмъ отецъ, и теперь уже умѣлъ сдѣлать какой угодно столъ, стулъ, шкафъ и т. п. За другія же ремесла онъ не брался, да у него и къ са-

пожному чувствовалось отвращеніе. Ему хотѣлось быть столаремъ на томъ основаніи, что въ Ильинскѣ столары были топорные, т. е. работа у нихъ была самая простая; аристократы ихъ издѣлій не брали, а выписывали изъ губернскаго города. Изъ этого видно, что Василій Мироничъ отъ природы былъ парень неглупый. До десятилѣтняго возраста онъ былъ постоянно на воздухѣ. Лѣтомъ рѣдкій день не плавалъ по рѣкѣ, въ жаркій день купался разъ до пятнадцати; зимой воровалъ изъ прорубей морды и другіе рыболовные снаряды такъ ловко, что его или никто не выдалъ, или никто не могъ поймать. Потомъ онъ мало-по-малу отсталъ отъ шалостей и сталъ ходить къ ищанамъ—столарямъ, высматривая ихъ искусство, и дома старался сдѣлать такъ же, какъ и они. На пятнадцатомъ году съ нимъ случилось несчастье, которое еще болѣе развило его умъ. Разъ во время масляницы на льду рѣки затѣялась драка новослободскихъ ребятъ съ городскими. Отецъ его тогда жилъ въ новой слободѣ, потому и Василій Мироничъ считался новослободскимъ, но предводителемъ не былъ, потому что въ предводители выбиралось парни шестнадцати лѣтъ. Къ городскимъ ребятамъ пристали и дѣти чиновниковъ. Вотъ въ числѣ этихъ чиновническихъ дѣтей и попался сынъ окружнаго начальника—гимназистъ съ краснымъ околышемъ на воротникѣ сюртука. Во время драки этотъ баричъ вдругъ бросаетъ въ одного новослободскаго мальчика кирпичъ, кирпичъ проламываетъ мальчику високъ, мальчикъ заливается кровью, а гимназистъ бѣжитъ. Василій Мироничъ бѣжитъ за нимъ, догоняетъ, хватаетъ его и не знаетъ, что бы ему такое сдѣлать съ убійцею. Убить боязно, страшно. Онъ начинаетъ хвалить гимназиста за храбрость, обѣщается быть его другомъ; испуганный гимназистъ довѣряется ему, потому что знаетъ, что онъ сильный. Затѣмъ Василій Мироничъ приглашаетъ его прокатиться нѣсколько разъ съ катушки. Гимназистъ въ восторгѣ. Катушка была чуть не полверсты длинны. Только-что развѣхались санки, Василій Мироничъ, повернувшись одной рукой санки, выскочилъ; его отбросило въ сторону, но онъ справился и полетѣлъ на конькахъ дальше, а несчастный гимназистъ выскочилъ изъ санокъ, налетѣлъ санки съ тремя сѣдоками и отшибли ноги. Цѣлый мѣсяцъ мучился бѣдняга, а все-таки померъ; а Василія Миронича посадили въ острогъ, оставили по этому дѣлу въ сильномъ подозрѣніи. Съ этихъ поръ Василій Мироничъ сталъ рѣже показываться на улицѣ; онъ сталъ учиться грамотѣ по правдникамъ. Его училъ отецъ, который кромѣ своего сапожнаго ремесла, читалъ псалтыри по покойникамъ. У него была страсть къ чтенію, и онъ читалъ все, что попадалось подъ руку—и «Сенатскія Вѣдомости», и арифметику безъ начала и безъ конца, какой-нибудь отрывокъ изъ романа или какую-нибудь проповѣдь и пр. Книги или какіе-нибудь листки отъ газетъ онъ не рвалъ, а пряталъ въ шкафъ; если же въ книгахъ были картинки, то онъ ихъ вырывалъ и приклеивалъ на стѣну. Выучившись грамотѣ, Василій Мироничъ сталъ читать отцовскія книги, но ничего въ нихъ не понималъ, а только наострилъ читать бойчье отца и съ помощью одного уѣздника выучился и арифметикѣ до

дробей. Отъ уѣздника онъ узналъ кое-что изъ географіи и исторіи, прочиталъ эти книги; но этого было ему мало; ему хотѣлось найти такую книгу, въ которой бы ясно было сказано, почему мѣщане должны платить подати, а чиновники нѣтъ. Его бѣсила исторія съ гимназистомъ. Всѣ мѣщане, какъ свободскіе, такъ и городскіе, хвалили его поступокъ, потому что, еслибы гимназиста прямо послѣ того, какъ онъ бросилъ камень, привести къ отцу, то ничего бы не вышло. Но Василій Миронъ думалъ иначе: „нехорошо я сдѣлалъ, что опрокинулъ его. Вотъ онъ и померъ. Нѣтъ, надо бы ему обѣ руки обломать тамъ же гдѣ дрались, да такъ, чтобы онъ жгъ до старости и чиновникомъ бы не могъ быть“. Въ этой исторіи онъ видѣлъ явную несправедливость: „какъ, говорили онъ, дворянинъ можетъ убивать мѣщанина, а мѣщанинъ не смѣетъ ему за это острастку сдѣлать!“. И вотъ онъ хотѣлъ найти рѣшеніе этого вопроса въ книгахъ, но тамъ ничего такого не было; онъ и понималъ-то еще плохо книжный языкъ, да и читать удавалось урывками. А между тѣмъ на глазахъ его совершались такіе несправедливости, что ему хотѣлось вовсе не встрѣчаться съ ними, и онъ, переставши читать, сталъ учиться столярному и сапожному ремесламъ, досадуя на мѣщанъ, которые только пьяные бойки въ компаніи, а трезвые только угѣютъ говорить: „сунься-ко! попробуй! Такъ и узнаешь кузькину мать“.

Отецъ на его вопросы отвѣчалъ такъ:

— Все это оттого происходитъ, что мы въ кабалѣ состоимъ, а все-таки вѣстъ хотимъ. Напримѣръ вотъ я сапоги шью купцу Николаеву. Онъ мнѣ вѣсто задаточныхъ денегъ выдалъ два пуда муки ржаной, а вдругъ ему вздумается: не надо мнѣ сапоговъ; я долженъ ему возратить муку или деньги по расчету, а гдѣ я ихъ возьму?

— Проси полицію, — сказалъ сынъ.

— Станешь жаловаться или просить защиты, тебя такъ недѣлю еще проморятъ. А тутъ нужно молчать. Какъ станешь молчать, онъ, глядишь, и позоветъ тебя печку скласть. Оно положимъ я бы меньше трехъ рублѣй взялъ за все, а тутъ долгъ — ну, и сложишь. Онъ же тебѣ спасибо потомъ скажетъ да еще и двугривенный дастъ. И на предки годится: чуть недонки, или что — подожгутъ, или онъ въ долгъ дастъ. Да я вотъ еще ни разу въ полицію не сидѣлъ. Бывало, какъ по ночамъ орешь пьяный, нарочно пойдешь къ дому городничего и давай его крестить. Выйдутъ: — кто это оретъ, запереть его въ подвалы! — Руки, говорю, коротки: я есть Миронъ Мироновъ, поставщикъ сапогъ градоначальника! Посмѣются и только, или солдата дадутъ до дому довести. А ссориться станешь — никакой пользы не будетъ, кромѣ вреда.

Но сынъ этимъ примѣрами не довольствовался: ему напротивъ казалось, что мѣщане держатъ себя передъ начальствомъ и богатыми людьми, какъ виноватые; и только со временемъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что все это происходитъ отъ бѣдности. Когда же вышло освобожденіе крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, — онъ узналъ, что есть кака-то сила, которая держитъ этотъ народъ въ отчужденныхъ предѣлахъ, выходъ изъ которыхъ возможенъ

только богатому и плуту. Недаромъ же въ Ильинскѣ часто слышались толки объ арестахъ какихъ-то бунтовщиковъ и экзекуціяхъ въ деревняхъ.

И Василій Миронъ, разозлившись на книги, весь предался своему столярному ремеслу и уже теперь, на 22 году, считается въ Ильинскѣ за хорошаго мастера.

Объ отношеніяхъ его къ Дарьѣ Андреевнѣ сказать много нечего. Во взглядахъ на жизнь и сужденіяхъ они сходились; въ ней онъ видѣлъ дѣвушку простую, честную; онъ былъ къ ней неравнодушенъ, но такъ какъ она все-таки барышня, то никакъ не допускалъ мысли, что онъ можетъ жениться на ней, потому во-первыхъ, что она въ бѣдности не жила и черезъ полгода такая жизнь опротивѣетъ ей, а во-вторыхъ еще и потому, что, по мнѣнію его, она и сама не захочетъ промѣнять свое чиновничье званіе на мѣщанское. Такъ онъ думалъ послѣ описанной встрѣчи съ нимъ на другой день по пріѣздѣ ея въ Ильинскъ.

Вѣсто увольненія въ отпускъ Андрей Ивановичъ получилъ отъ Ипполита Аполлоновича письмо, которымъ тотъ извѣщалъ во-первыхъ, что прежняго председателя причислили къ министерству и что на мѣсто его скоро пріѣдетъ новый, такъ что ему, Андрею Ивановичу, не мѣшаетъ почаще ходить на пристань, потому что председатель поѣдетъ на пароходѣ мимо Ильинска и, чего добраго, пожалуй произведетъ внезапную ревизію; во-вторыхъ — самое главное — что съ новаго года откуповъ не будетъ, а будетъ вольная продажа вина. Андрею Ивановича первое извѣстіе нисколько не встревожило, потому что онъ былъ человѣкъ исправный; за то его сильно смутило второе извѣстіе. Какъ же это такъ, откуповъ не будетъ? Положимъ, объ этомъ предметѣ давно толковали, да вѣдь мало ли что толкуютъ праздные люди. Братъ пишеетъ, что въ палатѣ уже получены какія-то положенія или уставы, что даже и совѣтника питейнаго отдѣленія не будетъ. Только онъ не написалъ, — останутся ли нѣтъ винные пристава. Пожалуй, что и нѣтъ; куда же онъ поступитъ дослуживать послѣдній годъ до пенсіона?

Онъ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ Дарью Андреевну и далъ ей прочесть письмо брата.

— Что — хорошо? — спросилъ онъ дочь, когда она прочтала письмо.

— Да вѣдь объ этомъ давно уже толковали. Вонъ тоже о волѣ сколько времени толковали, говорили, что невозможно сдѣлать крестьянъ свободными. И все-таки крестьянъ уволили. Также и откуповъ не будетъ, и должно быть будетъ хорошо, если всякій будетъ торговать свободно.

— А меня вонъ! Ты понимаешь ли, что мнѣ не дадутъ полной пенсіи.

— За штатомъ оставить.

— Ну, положимъ. А ужъ я тѣхъ доходовъ не получу, а теперь я съ двухъ откупщиковъ получаю жалованье.

— А вы откройте сами лавку.

— И ты будешь сидѣлкой! — покорно благодарю.

И Андрей Ивановичъ, одѣвшись наскоро, ушелъ къ казначею сообщить ему новости.

Черезъ часъ пришелъ въ кухню Василій Мironычъ и, поклонившись Дарьѣ Андреевнѣ, спросилъ, дома ли ее отецъ, что онъ пришелъ къ нему за долгомъ; та сказала, что его нѣтъ.

— Тогда прощайте.

Онъ вышелъ; за нимъ вышла Дарья Андреевна.

— Куда же вы, Василій Мironычъ?

— Одна дорога — домой. А вы вашему родителю скажите, что, молъ, Иванову деньги очень нужны.

— Какой вы нынче строгій...

— Небось будешь въжливъ: ужъ больше года Андрей-то Ивановичъ долженъ отцу, — пора бы и честь знать. Дружба-дружкой, а за работу денежки подай. Правъ я по вашему?

— Это такъ. Да вы зайдите наверхъ.

— Зачѣмъ?

— Подождите — онъ скоро придетъ.

— Ну, обѣда еще не такъ велика, чтобы намъ приставать къ нему.

— Да вы хоть чаю напейтесь.

— Это за какія благодаренія?

— Какой вы, право, нынче странный стали. Вѣдь ваша работа не уйдетъ еще.

— Я не очень долголюбиваю это поило, а только скажу, что еслибы вы, Дарья Андреевна, были хозяйка въ домѣ, я бы выпилъ и посидѣлъ. А теперь не могу. А вотъ вы отчего къ намъ не зайдете?

— Потому же, почему и вы не заходите.

— Я мужикъ, мнѣ не слѣдуетъ бывать тамъ, гдѣ нашего брата не любятъ. Еще что-нибудь подумаютъ. А вотъ вы принесите-ка деньги, такъ я вамъ покажу книжонки. Нынче я былъ въ Егорьевскѣ, такъ цѣлыхъ двадцать штукъ купилъ у одного пьянчужки, за полтинникъ.

Онъ ушелъ.

Дарья Андреевна вполнѣ согласилась съ нимъ, что ему не слѣдовало дожидаться отца въ комнатахъ. Оба они люди молодые, знаютъ другъ друга давно, въ комнатахъ никого нѣтъ, — навѣрное пойдетъ сплетня на весь городъ; но ей не понравилась въ немъ грубость, которую прежде она рѣдко замѣчала. Однако приглашеніе его ей нравилось не потому, что она опять увидитъ его и будетъ говорить съ нимъ, а потому, что онъ хотѣлъ дать ей какихъ-то книгъ. Она уже давно ничего не читала, а съ какими бы она удовольствіемъ и наслажденіемъ стала читать, забывшись въ садъ послѣ обѣда.

Къ великой ея радости отецъ вернулся домой во второмъ часу — почти что трезвый. Онъ выигралъ десять рублей. Когда Дарья Андреевна сказала ему, что къ нимъ приходитъ молодой Ивановъ за долгомъ, онъ тотчасъ же отдалъ ей деньги — пять рублей — и велѣлъ отнести ихъ самой завтра же.

Въ домѣ Мironа Мironыча было двѣ половины: въ одной жилъ самъ Мironъ Мironычъ съ женой, въ другой, такой же величины и такого же разбѣра, устроенной черезъ сѣни, съ двумя окнами во дворъ, жилъ Василій Мironычъ. Прежде тутъ былъ холоди-

никъ, т. е. лѣтомъ спали семейные, зимой ставили молоко, или чесали куделю, ткали холстъ и устраивали на свѣткахъ вечерники съ танцами и пѣснями подъ игру на гитарѣ или гармоникѣ. Теперь эта комната имѣла видъ столарной; въ ней пахло краской и деревомъ и бросались въ глаза доски и дощечки, разложенныя въ беспорядкѣ. Въ настоящее время въ комнатѣ Василія Мironыча, недалеко отъ окна, стоялъ шкафъ, уже готовый совѣсть, только безъ стеколъ; посреди комнаты находился недоделанный ломберный столъ, на которомъ лежалъ неокрашенный трехъугольникъ и мѣдный циркуль, а самъ Василій Мironычъ, стоя рядомъ съ этимъ шкафомъ, лицомъ къ стѣнѣ, стругалъ небольшую дощечку. По стѣнамъ были развѣшаны пилы и разные инструменты, фуражка и черный кафтанъ съ голубою опояскою; около этого кафтана стояла простая кровать съ войлокомъ и подушкой. По случаю жаркой погоды одно окно было открыто. Самъ Василій Мironычъ былъ въ ситцевой сѣраго цвѣта рубашкѣ, въ холщевыхъ штанахъ, на немъ былъ передникъ, на босые ноги надѣты калоши, а на лбу ремешекъ.

Когда Дарья Андреевна вошла въ эту комнату, Василій Мironычъ, занимаясь струганьемъ, не слышалъ ея прихода, — да и дверь была отворена. Дарья Андреевна подошла къ столу, — не видаль ее хозяйникъ. Пришлось окликнуть его.

— А-а! — сказалъ онъ, выпрямляясь. Потъ такъ покрывалъ его лобъ и щеки, что когда онъ обернулъ ихъ рукавомъ рубашки, то рукава почернѣли. — У меня и състь-то не на что. Вонъ на кровать сядьте. — И онъ сталъ убирать доски.

— Мнѣ некогда. Я вамъ принесла деньги.

— Скоро же... Ужъ вы не наговорили ли чего отцу?

Въ это время на дворѣ поднялся такой вѣтеръ, что закружились щепки, забѣгали съ крикомъ курицы, и сильно запотало ставни и обѣ половинки окна. На крыльцѣ вѣтеръ захлопнулъ и отперъ снова дверь.

— Ахъ, я пойду! Я когда шла сюда, такъ ужъ поднимался вѣтеръ и солнышко свѣтило тускло.

— А! вы грозы боитесь.

— Нѣтъ, не боюсь. Только... надо домой. Вотъ вамъ деньги.

— А книги возьмете?

— Ахъ, пожалуйста. Только поскорѣе.

Вѣтеръ, казалось, такъ и рвалъ все, что ни попадало на встрѣчу. Вонъ откуда-то во дворъ упала какая-то доска; съ сарайчика Мironа Мironыча сорвало полкрыши и разбросало прогнившія доски по этому и сосѣднему двору; поднялся шумъ, трескъ, гулъ, раздавался раскатъ грома.

— Ай, батюшки! Я побѣгу!

— Куда же вы побѣжите? Вы не успѣете добѣжать, какъ васъ всею смочить. Смотрите, какія крупныя дождевины падаютъ.

Опять раскатъ грома; гроза приближалась быстро; становилось темнѣе и темнѣе; дождевины стали падать чаще и чаще.

— Нѣтъ, я побѣгу.

Она вышла во дворъ, потомъ отворила калитку. Вѣтеръ такъ и рвалъ; стало темно отъ пыли и на-

высшихъ черныхъ тучъ. Блеснула молнія, такая ослѣпительная, что Дарью Андреевну отшатнуло въ сторону и она пошла назадъ къ Василию Миropyчу.

— Нѣтъ, ужъ я пережду лучше, — сказала она, стараясь преодолѣть волненіе.

— Ну, и хорошо. Садитесь на кровать, — тутъ не опасно. Окна и вѣшки въ трубѣ закрыты.

— И какъ скоро! Я вышла изъ дому, ничего не было, только дулъ вѣтеръ и солнце было красное.

Блеснула опять молнія. Дарья Андреевна и Василий Миropyчъ перекрестились. Черезъ пять секундъ грянулъ громъ — точно изъ пушки выпалили надъ самой головой и нѣсколько секундъ длился раскатъ его надъ потолкомъ этой комнаты.

— А что? и вы трусите? — сказала Дарья Андреевна Василию Миropyчу.

— Я не боюсь, только это какъ-то само собой сдѣлалось, что я перекрестился.

— И я тоже. Отчего это?

Опять молнія и раскатъ грома. Пошелъ градъ. Стало темно. Молодые люди сѣли на кровать. Молнія то и дѣло освѣщала ихъ. Они нѣсколько минутъ молчали, точно имъ было страшно этого ослѣпительнаго блеска, почти черезъ три-пять секундъ освѣщающаго комнату, сильныхъ грозовыхъ раскатовъ, шума отъ града, барабанищаго въ стекла, свиста вѣтра, пошатающаго стѣны дома.

— Страшно! — проговорила Дарья Андреевна.

— А вы еще хотѣли идти — васъ бы убило.

— Оно бы и лучше!

— Глупости говорите.

— Въ самомъ дѣлѣ. Для чего я живу? — людямъ я изъзнаю и пользы никому не приношу.

— Вы одна, что ли? Васъ много такихъ. Вотъ будете чиновницей — дѣтей будете рожать. Развѣ это не польза?

— Я не пойду замужъ.

— Такъ вамъ я и повѣрю. Подвернется какой-нибудь сахарный фантикъ, влюбитесь.

— Нѣтъ. Я не люблю никакихъ фантиковъ.

— Это еще неизвестно... Однако какъ долго эта гроза не проходитъ, и все еще темно. Да, Дарья Андреевна, — началъ онъ совѣдомъ: — придетъ пора, услышитъ васъ какой-нибудь фантикъ и сдѣлается вы павой. Тогда вы объ нашемъ братѣ забудете. А гдѣ сколько прежде было говорено: не люблю, молъ, я этихъ негодяевъ, они бѣдныхъ людей обижать...

Блеснула молнія; Василий Миropyчъ замѣтилъ, что Дарья Андреевна плачетъ. Ему сдѣлалось больно. Онъ замолчалъ...

Опять блеснула молнія; Дарья Андреевна увидала, что Василий Миropyчъ сидѣлъ уперши голову на обѣ ладони.

— Отчего это въ грозу невесело? — вдругъ спросила Дарья Андреевна Василия Миropyча.

— Это еще ничего, что въ грозу; а то бываетъ часто, что и во свѣтъ гревается ужасы, и встанешь, кажется, свѣжій, а такъ бы и не глядѣть на свѣтъ. У всякаго есть свое горе. У меня наприимѣръ горе, отчего я не выучился книжкамъ, чтобы хоть лекарствъ сдѣлаться. А тутъ еще за работу денегъ не платятъ. Зло беретъ, когда идешь мимо большого дома: такъ и

пахнетъ щами да жареной говядиной. Домой придеши, хоть не ѣшь горошину. Вамъ что! Положить у васъ мачиха злая, такъ это не всегда будетъ. Вы дѣвушка красивая!

— Василий Миropyчъ, зачѣмъ вы обижаете меня? Еслибы я дѣйствительно хотѣла быть чиновницей или попадѣй, я давно бы уже была ими; но я не хочу, потому что я все та же, какая была прежде.

— А что же потомъ будетъ?

— Я хочу работать, хочу жить такъ же, какъ вы, своей работой.

— Я тутъ что-то не понимаю. Какъ же вы, барышня, при живыхъ родителяхъ будете заниматься работой? И какой это такой работой?

— А вы знаете Марью Васильевну, повивальную бабку?

— Ну. Ужъ не хотите ли вы въ бабки? — И онъ захохоталъ.

Стало свѣтлѣе, гроза унялась.

— Тутъ ничего нѣтъ худого. Знаете что? я васъ давно знаю, мы были прежде друзьями и я теперь считаю васъ за друга и, какъ другу, скажу, что мнѣ невыносима эта жизнь; мнѣ не нравятся эти люди, хотя они и простые. Мнѣ хочется жить такъ, чтобы у меня было все свое — и хлѣбъ, и одежда, и квартира, такъ чтобы никто не смѣлъ упрекнуть меня въ томъ, что я живу на чужой счетъ.

— Ну, это трудно. Ужъ если мы, мужчины, бьемся, какъ рыба объ ледъ, то вамъ-то едва ли придется жить такъ, какъ вы хотите. Все это одні мечты.

— Я знаю многихъ женщинъ, которыя работаютъ и живутъ безъ помощи мужчинъ. Возьмите наприимѣръ Гладырину, Лакушеву.

— Онѣ ищанки, а вы барышня.

— Въ Егорьевскѣ я знаю многихъ барышень. Я хочу попробовать. И какъ только будетъ возможность вырваться мнѣ отсюда, я уѣду въ Егорьевскъ, пойду въ швейный магазинъ. Вы знаете мой характеръ: ужъ если я что задумала, оно такъ и будетъ. А родни я своей не боюсь.

Лицо ея горѣло, голосъ ея возвышался; Василий Миropyчъ серьезно смотрѣлъ на нее. Когда она замолчала, онъ взялъ ее за руку и крѣпко сжалъ.

— Попробуй! Если только, Даша, это правда, то ты лучше меня. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я живу здѣсь? Говорятъ, что я хорошій столяръ, а стань я въ Егорьевскѣ работать — осмѣютъ. Здѣсь заказываютъ немногіе, да и то кое-какъ выручимъ за лѣсъ, клей и краску... Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ! Пойду и я въ Егорьевскъ.

— А отецъ?

— Отецъ держать не станетъ.

— Однако дождь, кажется, перестаетъ. Гдѣ у тебя книги?

— Книжки-то? — и онъ досталъ изъ-подъ кровати цѣлый ящикъ книгъ.

— Вчера, — началъ онъ: — какъ я пришелъ отъ тебя домой, злость на меня напала, и самъ не знаю почему. Сталъ клинъ тесать — испортилъ, бросилъ все; пошелъ къ отцу, тотъ собирается въ деревню, а потомъ и уѣхалъ съ матерью за Волгу, въ Ивановку — тамъ сегодня иешники. Ну, вотъ сталъ переры-

вать книги. Попалась какая-то медицинская, старая такая: Ну, посмотрѣлъ, смотрю— „Средство отъ лихорадки“,— думаю, пригодится; другая тоже медицинская, третья безъ начала и конца, четвертая на собачьемъ языкѣ (иностранная), а одна даже разозлила меня. Да вотъ она: „Труды вольно-экономическаго общества“. Посмотрѣлъ на одно мѣсто, горничныхъ ругаютъ мерзавками, а мужиковъ—это нашего брата—хамами; что насъ-де надо драть, бить и, ради экономіи, денегъ не платить намъ... Я чуть съ ума не сошелъ и хотѣлъ швырнуть мѣшокъ, да попалась цѣльная книжка *соч. Кокорева*. Сталъ читать—поправилась. Славно и вѣрно напечатана. Я хотъ въ Москвѣ и не бывалъ, а какъ видно и тамъ не лучше здѣшняго живнѣ-то.

— Ты мнѣ дай эту.

— Ладно. Потому попалась сказка „Мужичокъ съ ноготокъ, борода съ локотокъ“. Ужъ больно сладко. Я сѣлъ на полъ, да такъ чуть до половины и не прочиталъ.

Дарья Андреевна забрала четыре книги.

— Ты скоро поѣдешь въ Кгоревскъ?—спросилъ ее Василій МIRONYЧЪ.

— Какъ панаша отпустить.

— Когда ты поѣдешь, я поѣду.

— Зачѣмъ это вмѣстѣ?

— Ну, я послѣ приѣду. Можетъ ты не хочешь, чтобъ я тамъ жилъ?

— Нѣтъ... зачѣмъ...

— Знаешь, Даша, иной разъ такая на меня тоска находить—просто убѣжалъ бы. Думаешь, думаешь... оказывается, что... такъ бы вотъ и женился; а тутъ, какъ на зло, товарищъ-сверстникъ придетъ да и похвалится своею женою, что она у него баба славная и прочее.

— Что же—женись.

— Денегъ нѣтъ. А жену съ деньгами я не хочу брать. А что, пошла бы ты за меня замужъ, еслибы я имѣлъ хорошій заработокъ?

— Не знаю. Можетъ быть и пошла бы, еслибы имѣла свой кусокъ хлѣба. Однако до свиданія.

Они распрощались пожатіемъ рукъ.

Гроза оставила послѣ себя порядочные слѣды; во многихъ окнахъ стекла разбиты, въ садахъ деревья надломлены; вонъ поперекъ дороги лежатъ два сухихъ дерева, вырванныхъ почти съ корнемъ, на улицѣ песокъ и гашу смыло въ одну сторону, въ которой образовалась глубокая канавка, полная воды, и самая земля на улицѣ приняла видъ гладкаго тѣста съ небольшими полосками, а тамъ, гдѣ полянка, на травѣ нѣжились красные червяки, которые, при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, очень быстро уползали въ просверленные ими дыры. Теперь было свѣжо, пахло хорошо, дышалось лучше, но тучи еще плохо очищали небо. Въ домѣ Яковлева тоже много было разбито стеколъ, а вѣтромъ сорвало почти всю лицевую сторону крыши, доски отъ которой валялись по площади; деревце въ саду тоже было поломано; заплють въ двухъ мѣстахъ упалъ. Самъ Андрей Ивановичъ ходилъ по саду и ругалъ грозу на чѣмъ свѣтъ стоитъ; Трифонъ помогалъ ему поднимать деревья.

— Ну, слава Богу. А я думалъ ужъ Богъ знаетъ что,—проговорилъ Андрей Ивановичъ, увидя дочь.

— Ивановъ не отпустилъ меня.

— Ну, ничего. Вели ставить самоваръ, да готовь водки: я пошелъ въ калашахъ да промочилъ ноги, такъ и ломитъ.

— Охота вамъ съ садомъ возиться. Надо доски собрать, что съ крыши сорвало, а то растащутъ,—говорилъ Трифонъ.

— И то правда. Народъ—подлецъ, живо раскитить. Ну, и гроза! Давно ужъ такой не бывало.

Только-что они вошли во дворъ, къ воротамъ подъѣхала пролетка. Въ ней сидѣли Зиновьевъ съ Анисьею Осиповной.

Пріятелиницы расцѣловались, а отцы ругали грозу. У Зиновьева домъ остался цѣлъ и невредимъ, только на рѣкѣ у него распатало два плота съ бревнами, которыя и уплыли теперь внизъ, а рабочіе невѣстною куда разбѣжались.

Пріятелиницы ушли въ отдѣльную комнату и наскоро передали другъ другу свою живнѣ, за все время, пока онѣ не выдѣлились.

— Ну что, начина—думаетъ сюда ѣхать?—спросила Дарья Андреевна Анисью Осиповну.

— Она на тебя ужъ цѣла, цѣла,—даже тошно было слушать. Она было и отцу моему говорила, что бы онъ не позволялъ мнѣ видѣться съ тобой, но онъ ничего не отвѣчалъ. И вотъ видишь, я даже съ нѣмъ прѣехала.

— Ну что, ты ребятъ учила въ Никольскомъ?

— Не только учила, даже старухъ лечила.

— Какъ такъ?

— А очень просто. Одна дѣвчонка жаловалась мнѣ, что у ней горло болитъ, я велѣла ей придти къ сестрѣ, дала меду и велѣла полоскать горло. Ну, горло и перестало болѣть. Одинъ парень порѣзалъ палецъ—я приложила алоя, ну и затянуло рану. Вотъ бабы и стали ходить ко мнѣ. „Матушка, барышня, вылечи, у меня животъ болитъ“; ну, я скажу отцу Николаю,—а онъ учился медицинѣ немножко, и дастъ бабѣ порошокъ или настоюваго масла. Только теперь эта школа ухнула.

— Зачѣмъ?

— Тутъ цѣлая исторія, моя милая. Школу Петропавловскій завелъ чрезъ полгода, какъ прѣѣхалъ въ село. До него тамъ ребятъ учили дяконъ и пономарь. Стало быть, Николай Федорычъ и отбѣлъ у нихъ доходъ; вѣдь онъ училъ даромъ, по своей охотѣ. Это, я тебѣ скажу, человекъ рѣдкій изъ духовнаго званія. Ну, крестьяне сначала не доверялись ему; онъ былъ молодой, бражничать или пьянствовать съ кѣмъ бы то ни было онъ и теперь не любитъ, такъ что крестьяне долго не могли къ нему привыкнуть: „какой онъ удивительный, ровно и не понѣ совѣтъ!“—говорили они. Но, какъ и всегда бываетъ, потому они привыкли къ нему, да и онъ сталъ съ ними сближаться почти ежедневно, такъ какъ ему дали панашу и покосъ. Узналъ онъ, что крестьянъ землей обрѣзали; онъ пошелъ къ посреднику, но правды не добился: посредникъ сказалъ, что крестьяне сами изъявили на то согласіе. Вотъ онъ и отдалъ свои панши крестьянамъ, но какъ узналъ объ этомъ погнѣдилъ,

предложилъ ему другой клочокъ земли, а тотъ вѣзалъ себя, на томъ основаніи, что та земля въ крестьянскій надѣлъ не вошла. Начались стычки съ помѣщикомъ. Сталъ онъ просить помѣщеніе для школы—не даютъ: пустыхъ домовъ нѣтъ. Ну, онъ сталъ просить разрѣшенія отъ начальства съ тѣмъ, что школа можетъ помѣщаться въ его домѣ. А ему дали полукаменный домъ. Когда ему разрѣшили завести школу, онъ поселился въ верхнемъ этажѣ, а внизу, въ большой комнатѣ, устроилъ лавки, столы—и школа открылась. Ребятъ и дѣвочъ стало ходить много; училъ онъ самъ закону Божію, арифметикѣ, исторіи, рассказывалъ, отчего земля вертится, свѣча горитъ, отчего громъ, и такъ занималъ ребятъ, что тѣ всѣ любили его, а Анюта учить писать, читать и особенно дѣвочекъ шитью. Пригласилъ-было онъ дьякона, только ребята стали жаловаться, что тотъ приходитъ пьяный, дерется и ругается. Николай Федорычъ и отстранилъ его. Дьяконъ разозлился, пожаловался помѣщику, наставлялъ, что Петропавловскій одинъ со своею женою забираетъ съ крестьянъ деньги и учить фариазонству. Помѣщикъ пріѣхалъ самъ, послушалъ и ничего не нашелъ худого, только замѣтилъ, что крестьянскимъ мальчикамъ полезно только знать законъ Божій, знаніе же, почему рыбы могутъ жить только въ водѣ, — для нихъ совсѣмъ не нужно и преждевременно. Конечно Николай Федорычъ его не послушался и помѣщикъ въ школу не заглядывалъ до нынѣшней весны. На зиму онъ уѣхалъ въ Петербургъ, а въ его отсутствіе Николай Федорычъ придумалъ для крестьянъ развлеченіе. Объявилъ онъ имъ, что по воскресеньямъ подвѣ вечеръ школа открыта для всѣхъ, какъ для дѣтей, такъ и для родителей и ихъ родни, и вообще для всѣхъ желающихъ обоого пола. Все шло отлично. Только пріѣхалъ помѣщикъ въ воскресенье, послѣ крестьянскаго обѣда, то есть часу во второмъ, а его встрѣтило волостное начальство, крестьяне же собирались въ школу. Утромъ Николай Федорычъ пошелъ поздравлять помѣщика съ пріѣздомъ, а тотъ высказалъ ему свое удивленіе, что у него, священника, въ домѣ образовалось что-то въ родѣ клуба. Однако все это объяснилось кое-какъ, и помѣщикъ даже позвалъ Николая Федорыча съ его женой и меня на обѣдъ, во время котораго очень ужъ увивался за мною его сынъ, правовѣдъ. На третій день послѣ этого правовѣдъ пришелъ въ школу; въ школѣ я учила ребятъ писать. Онъ началъ гримасничать, мѣшать мнѣ, и какъ только я сяду къ столу, чтобы показывать дѣвочкамъ какъ шить, онъ начинаетъ говорить: какая вы красавица, а вознѣсь съ грязными ребятниками.

— Красивъ онъ?

— Рыжій, карявый, глаза тусклые, какъ у слѣпой собаки, и въ очкахъ. Я конечно сказала ему, что онъ глухъ. А онъ мнѣ и говоритъ: отъ васъ зависитъ многое. — Что такое? спрашиваю. — А то, говорить, что г. Петропавловскій революціонеръ. — Я не помню, что отвѣчала ему, но ушла и рассказала все Николаю Федорычу. Тотъ порѣшилъ закрыть воскресныя собранія; но каково же вышло намъ удивленіе, когда въ пятницу къ намъ пріѣхалъ мировой посредникъ и сказалъ Николаю Федорычу, чтобы онъ

для своей безопасности закрылъ школу. Николай Федорычъ не послушался; тогда пріѣхалъ исправникъ и формально приказалъ Николаю Федорычу закрыть школу и вынести изъ нея столы и лавки, такъ что теперь внизу, гдѣ была школа, живутъ двое офицеровъ.

— А мы ничего не слышали.

— Это еще ничего; Николай Федорычъ узналъ, что помѣщикъ донесъ на него архіерею, а исправникъ—губернатору. Вѣроятно, его переведутъ въ какую нибудь трущобу.

Пришелъ Осипъ Флорычъ.

— Пора и домой.

— Папаша, успѣемъ еще; я такъ рада, что Даша пріѣхала.

— Успѣете еще наговориться до свадьбы. Одѣвайтесь, — и онъ ушелъ.

— Ты развѣ выходишь замужъ?

— Какой-то егорьевскій купецъ за меня сватается. Я его не видала.

— Пойдешь?

— Я еще не сошла съ ума. Я лучше соглашусь жерзнуть въ лавкѣ, чѣмъ выйти замужъ за того, кого не знаю. Я уже составила себѣ планъ: когда мнѣ исполнится совершеннолѣтіе, то попрошу отца выдѣлить мнѣ причитающуюся часть денегъ и съ этими деньгами поѣду въ Петербургъ. Авось тамъ и выучусь чему-нибудь. А здѣсь ничему не выучишься и не у кого; безъ диплома въ учительницы не примутъ, а шить я лѣнлива.

— Пора! — крикнулъ Зиновьевъ.

Пріятельницы разстались.

— Каковъ, папаша, нашъ исправникъ? — сказала отцу Дарья Андреевна за ужиномъ.

— А что?

Дарья Андреевна рассказала ему подымгъ въ Никольскомъ.

— Ну, матушка, это дѣло не наше. Илья Ивановичъ дѣйствовалъ не съ бухты-барахты, а по приказу. Еслибы у него было побольше такихъ дѣлъ, онъ бы ужъ сколько орденовъ нахваталъ.

## ХП.

Приближалась ильинская ярмарка; до Ильина дня оставалась всего недѣля.

Городъ понемногу оживлялся. На площади, передъ Богородицкой церковью, строили нѣсколько балагановъ съ прилавками посрединѣ и съ полками по стѣнамъ. Съ ранняго утра терлись тутъ ребята: одни изъ любопытства узнать, чѣмъ это строятся балаганы; другіе отъ нечего дѣлать, чтобы поострить надъ плотниками-мѣщанами и солдатами; третьи и преимущественно дѣвчонки, держа въ рукахъ дырявые мѣшки или грязныя тряпицы, выжидали случая, какъ бы имъ довѣе стащить какой-нибудь обрубокъ, маленький чурбанъ и нѣсколько большихъ щепъ. Плотники, разумѣется, ругались, колотили надоедливыхъ мальчугановъ, гнали прочь дѣвчонекъ, потому что они сами хотѣли воспользоваться чурбанами и коротенькими дощечками—остатками, которые они намѣревались употребить на покрывшки къ горшкамъ и т. п.



Работали они не спѣша, да и торопиться не стоило, во-первыхъ потому, что до Ильина дня еще нѣсколько дней, а во-вторыхъ работаютъ они артелью, по подряду городского головы Зиновьева. Надо замѣтить, что плотники мало заняты въ городѣ работой и добывающіе себѣ пропитаніе тасканіемъ кледи съ судовъ и на суда лѣтомъ, а зимой возкою воды съ рѣки и разноскою ее по домамъ, самовольною порубкою лѣса и продажою дровъ горожанамъ и потомъ безцѣльнымъ шатаніемъ по рынку въ субботу и изъ одного дома въ другой, — эти плотники ильинской ярмаркѣ были рады, какъ рады испостившіеся достаточные православные христіане свѣтлому Христову воскресенію, потому что каждый изъ нихъ получалъ за работу среднимъ числомъ за одну недѣлю три рубля.

У Андрея Ивановича въ огородѣ и въ саду посидѣло много добра и онъ продалъ все, что было похуже, очень выгодно, все же хорошее оставилъ у себя, и ему бы, кажется, нужно было быть веселымъ; прежде онъ то и дѣло хвастался, что зашибалъ деньги даромъ, т.-е. надувалъ торгашей, но теперь онъ былъ угрюмъ, молчаливъ, лицо его пожелтѣло и похудѣло; онъ мало спалъ, пилъ плохо. Дарья Андреевна приписывала это во первыхъ предстоящей ревизіи, и во вторыхъ отсутствію Марини Осиповны. Какъ бы то ни было, а Андрей Ивановичъ съ каждымъ днемъ становился болѣе и болѣе страннымъ челоуѣкомъ. Вставалъ онъ попрежнему, рано, бродилъ по саду, только бродилъ безъ всякой цѣли; случалось, онъ бралъ удочку, сидѣлъ съ нею у своего пруда, закидывалъ лесу, но рыба точно вся передохла или не понимала того, что хозяинъ хочетъ ее изловить, и даже ни одна не за дѣвала за лесу; пробовалъ онъ и съ пароходной пристани ловить рыбу, но и тамъ не видалъ клева. Теперь ужъ онъ не молился съ прежнею торжественностью въ залѣ не потому, чтобы ему неловко было позвать для этого Дарью Андреевну, а ему какъ-будто стыдно было передъ собой разыгрывать роль патріарха. Иногда, по утрамъ, онъ сидѣлъ на какой-нибудь скамейкѣ, устроенной на набережной, въ коричневой шинели, въ большой фуражкѣ съ огромнымъ козырькомъ, упершись на толстую дубовую палку. Своею фигурою онъ походилъ на стараго пастора, обдумывающаго свою будущую проповѣдь; но если бы кто взглянулъ въ это время на его лицо, тотъ бы сказалъ, что это должно быть челоуѣкъ больной: лицо его имѣло до того болѣзненный видъ, что, казалось, ему уже немного дней осталось жить; глаза его или слипались, или апатично уставлялись на одинъ предметъ; что же касается до внутренняго состоянія Андрея Ивановича, то онъ чувствовалъ какое-то изнеможение, боль въ головѣ, щемленіе въ сердцѣ; его ничто не развеселяло, напротивъ, ему было невыносимо скучно, онъ не зналъ, куда ему дѣваться, и въ будущемъ видѣлъ какую-то пустоту. Наконецъ ему и тутъ противно сидѣть, онъ уходитъ домой и, незаметно для Дарьи Андреевны, достаетъ изъ погреба бутылку наливки, выпиваетъ ее до чаю, придетъ въ столовую, но едва-едва выпьетъ свою большую чашку чая, и неохотно отвѣчаетъ на слова Дарьи Андреевны. Наконецъ дошло до того, что и за чаемъ молча-

ли оба — отецъ и дочь. Дарья Андреевна замѣтила, что отцу не нравится, когда она спрашиваетъ о ея здоровьѣ и отчего онъ такой скучный; онъ отвѣчалъ надорваннымъ голосомъ, съ злымъ взглядомъ и уходилъ прочь, не допивъ чая или не дотронувшись даже до него. Замѣтила она также, что ни городскія новости, ни свѣтныя разсказы не только не развлекали его, но тоже или злили, или наводили еще болѣе грусть. Утромъ и днемъ еще ничего; тогда онъ, крайней мѣрѣ, занимался дѣломъ, разговаривалъ съ судейскими служащими; за то вечеромъ онъ думалъ или еще угрюмѣе, или что-то ворчалъ, ходя по комнатамъ, и потомъ, допивши бутылку крѣпкой наливки, долго лежалъ въ своемъ кабинетѣ на диванѣ, уставивши глаза въ потолокъ и не обращая вниманія на огромный нагаръ сальной свѣчки.

Дарья Андреевна никакъ не могла понять, что такое сдѣлалось съ ея отцомъ. Состояніе его ее мучило: она похудѣла, на сердцѣ у нея было тяжело, ныли или невеселыя; работа кленлась плохо и она часто поплакивала. А работа у нея была: она испросила жену Иванова, Наталью Семеновну, достать ей какое-нибудь платье шить. Хотѣла Дарья Андреевна пригласить лекаря, но лекарь былъ пьянъ и безъ согласія отца приглашать было неловко. Посоветоваться ей было не съ кѣмъ. Сказала она притопу Третьякову, тотъ навѣдался къ Андрею Ивановичу и навелъ на него еще больше хандры; стала онъ чаще приглашать Анисью Осиповну, отецъ не могъ выносить ея смѣха и громкаго разговора и уходилъ изъ комнаты въ садъ. Сказала она и Василью Ироновичу, что съ отцомъ ея что-то неладное дѣлается: тотъ улыбнулся и сказалъ:

— Съ жиру бѣсится!

Такъ что Дарья Андреевна за эти слова не вѣрила молодого Иванова.

Въ городѣ тоже замѣчали, что съ виннымъ приравомъ что-то неладно, и приписывали это единичноженію откупновъ съ будущаго года и оставленію его за штатомъ, а другіе — тому, что его бросила жена, утачивъ у него казенныя деньги, которыми онъ не знаетъ какихъ манеромъ пополнить.

Но что бы ни говорили люди, никто не зналъ, что дѣлается съ Андреемъ Ивановичемъ, потому что онъ никому не высказывалъ ни слова и сосредоточенъ самъ въ себѣ.

До отъѣзда жены его безпокоило отношеніе дочерей въ Маринѣ Осиповнѣ; потомъ онъ встревожился, когда жена уѣхала изъ города; далѣе, когда Дарья Андреевна сказала ему, что два медвѣдя въ однихъ берлогахъ не уживаются, — онъ рѣшилъ, что дѣйствиительно имъ обѣимъ вѣстѣ жить неловко. Но къ нему ходили гости, ему было весело, хотя и тогда нѣтъ, что онъ живетъ безъ хозяйки, съ которою было ему вполне весело, омрачала его. И вотъ гости перестали ходить; Трынкинъ и Яновскій перестали ему кланяться; судья, исправникъ и казначей тоже косили на него и вотъ ужъ три недѣли не принимаютъ въ себѣ; остальные горожане смотрятъ на него двусмысленно. Сталъ онъ доискиваться причины всему этому, и причину эту нашелъ. Это была его дочь, Дарья. Въ самый дѣлъ, когда она была въ монастырѣ, въ



шло хорошо; бывали съ женой непріятности, но пу-  
сташныя. Какъ только прѣѣхала она — все вверхъ  
дномъ повернулось. Теперь, по его мнѣнію, Дарья  
была кругомъ виновата. Напримѣръ зачѣмъ она не  
извѣстила его изъ Егорьевска подробнымъ письмомъ  
о томъ, что она хочетъ ѣхать къ нимъ, и не напи-  
сала вѣжливаго письма Маринѣ Осиповнѣ, если она  
знала, что та ее не любитъ? Ему казалось, что Дарья  
Андреевна съ самаго прѣѣзда къ нему держала себя  
какъ выскочка какая-нибудь; она даже ему, отцу,  
объявила, что прѣѣхала сюда затѣмъ, чтобы онъ  
благословилъ ее на швейную, по его мнѣнію, по-  
стыдную работу; въ ней онъ мало-по-малу сталъ на-  
ходить много такого, что вовсе не согласно съ его по-  
нятіями, убѣжденіями, его прошлою жизнью; она не  
походитъ на другихъ его дочерей, она не походитъ и  
на другихъ дѣвицъ — все у ней не по старинному вы-  
ходить, не такъ, какъ у другихъ, а какъ-то по сво-  
ему; даже въ разговорахъ съ мужчинами, кое-чему  
учившимся и занимающимъ хорошія должности, у  
нея какая-то рѣзкость и неприличіе, несвойственныя  
благонравной и благовоспитанной дѣвицѣ. Все это  
такъ и проглядываетъ въ каждомъ ея словѣ, а въ  
движеніяхъ и въ особенности въ манерахъ ея нѣтъ  
степенства, чтобы напримѣръ стоять или сидѣть съ  
сложенными руками и смотрѣть смиренными глазами,  
а какая-то явится сейчасъ живость, точно она Богъ-  
вѣсть какая особа, а не дочь ничтожнаго виннаго  
простава. Ему не нравилось, что она сама отказала  
двумъ женихамъ, не посоветовавшись съ нимъ, а  
тутъ еще исправникъ намекнулъ, что его дочь при-  
страстна къ народу, т. е. къ черни, и особенно къ  
курчавымъ волосамъ. Онъ догадался, и этотъ намекъ  
точно пришибъ его. Онъ хотѣлъ ее выдать замужъ,  
потому что понималъ это дѣло такъ: ему Богъ далъ  
дочь, чтобы ее выдать замужъ, чтобы отъ нея были  
дѣти, но нужно выдать непрестѣнно за чиновника. По  
его мнѣнію, были несчастны тѣ родители, которые не  
умѣли выгодно пристроить дочерей. Онъ не могъ до-  
пустить мысли, чтобы его дочь вышла замужъ за мѣ-  
щанина, притомъ бѣднаго. Это было бы для него по-  
зоромъ. Но онъ не выспрашивалъ объ этомъ Дарью  
Андреевну, не слѣдилъ за нею: ему не хотѣлось вѣ-  
рить. Но вотъ разъ онъ замѣтилъ, что она что-то  
шьетъ.

— Это ты что шьешь?

— Рубашку.

— Кому?

— Жена Иванова просила.

— А!

И онъ ушелъ. Теперь ему показалось, что его дочь  
дѣйствительно думаетъ выйти замужъ за мѣщанина.  
Ему хотѣлось поговорить съ нею серьезно, вразумить  
ее, что этотъ бракъ неравный, что тутъ не будетъ  
никакого согласія, что вся родня отвернется не толь-  
ко отъ нея, но даже и отъ него, но онъ находилъ  
себя неспособнымъ говорить съ ней, потому что зналъ  
ея настойчивый характеръ, насиліе же употреблять  
онъ находилъ бесполезнымъ. И вотъ онъ мучился,  
не зная, что ему дѣлать, и запилъ снова, тайкомъ  
отъ дочери. Пробовалъ было онъ разъ начать, да  
ничего не вышло.

Вошелъ онъ въ ея комнату. Она читала „Жур-  
налъ Вольнаго Экономическаго Общества“ прошлаго  
столѣтія. Какъ только онъ вошелъ, — она сказала  
съ улыбкой:

— Какъ широко прежде господъ жили: вонъ тутъ  
только на столъ одному лицу вѣчно отпускатъ въ  
мѣсяцъ тридцать тысячъ.

— А ты господъ не любишь, кажется?

— Да помилуйте папаша, тридцать тысячъ вѣдь  
ужасно много! Еслибы намъ дали на столъ тридцать  
рублей на тогдашнія деньги, мы бы богачи были.

— Охота тебѣ всякую нелѣпость читать.

— Какая же это нелѣпость — видите подпись?

— Что мнѣ въ подписяхъ. Лучше хотъ бы шила...  
что ли...

— Да я ужъ шила.

— И денежки получила? — спросилъ онъ съ злою  
улыбкой.

Щеки Дарьи Андреевны покраснѣли.

— Ну, что жъ, получила много?

— Я помогала женѣ Иванова отъ нечего дѣлать.  
Она брала шить отъ какого-то приказчика съ при-  
стани. Дастъ — хорошо, не дастъ — Богъ съ ней, въ  
другой разъ не возьму. Даромъ-то вѣдь не совсѣмъ  
пріятно сидѣть нагнувшись по цѣлымъ часамъ на од-  
номъ мѣстѣ.

Отецъ повернулся и ушелъ. „Хитрая! и въ кого  
это родилась?“, спрашивалъ себя Андрей Ивановичъ.

Вотъ и канутъ Ильина дня. Горожане суетятся въ  
домахъ, торопливо ходятъ по улицамъ; всѣ какъ  
будто въ напряженномъ состояніи, а въ домѣ Андрея  
Ивановича точно кто при смерти находится. Самъ онъ  
бродитъ еле-але, что-то невѣдка шепчетъ; Дарья  
Андреевна сидитъ блѣдная, прислушиваясь къ его  
шагамъ, кашлю, стараясь услышать что-нибудь изъ  
его шептаний; ночью ей не спится: къ ней вкралось  
подозрѣніе — не замышляетъ ли отецъ чего худого.  
Она и бритвы и ножки перочинныя отобрала отъ  
него; она, какъ онъ уйдетъ, все у него перебирала,  
стараясь найти какое-нибудь орудіе, а когда онъ ухо-  
дитъ въ садъ, то она часто бѣгала туда взглянуть  
издали, что дѣлаетъ отецъ. Даже прислуга и та по-  
вѣсила носы: всѣ больше спали и единственныхъ ихъ  
разговоромъ было то, что вотъ они поживутъ до  
завтра и отойдутъ отъ Яковлева, который пожалуй  
того и гляди, что помереть, а съ жертваго что возъ-  
мешь?

Вечеромъ Ильинскъ принималъ праздничный видъ;  
мужчины и женщины, одѣтые въ самыя лучшія  
платья, по средствамъ каждаго, шли изъ церкви ку-  
чами по домамъ; одни говорили, другіе хохотали,  
третьи ѣздили, аристократы ѣхали въ пролеткахъ съ  
смиющимися дамами и безъ гордости снимали шляпы  
на поклонъ какого-нибудь торговца; кое-откуда слы-  
шалась ухарскія пѣсни; кое-гдѣ изъ дворовъ слы-  
шалась ругань пьянаго мужчины и низгъ женщины,  
сопровождаемый тоже руганью; кое-гдѣ на углахъ  
торчали въ одиночку пьяные мѣщане въ халатѣ въ  
накидку и въ фуражкѣ съ козырькомъ на бокъ, съ  
полштофомъ или косушкой въ одной рукѣ и поша-  
тываясь, несвязно что-то говорили вслухъ. Одинъ  
только Андрей Ивановичъ шелъ изъ церкви угрюмый,

не слушая повединому белтовни шедшаго рядомъ съ нимъ Павлова, который былъ одѣтъ такъ, какъ будто онъ собирался сейчасъ подѣ вѣнecъ.

— Такъ зайдете? — спросилъ робко Павловъ Андрея Ивановича.

— Къ тебѣ-то? Пожалуй пойдѣть.

Андрей Ивановичъ ни разу не бывалъ у Павлова въ домѣ. Павловъ, выходя изъ церкви, пригласилъ его къ себѣ выпить чаю; тотъ въ другое время ни за что бы не пошелъ, но теперь ему хотѣлось развлечься. Внутренность дома Павлова была не очень привлекательна: стѣны покочнувшіяся, но обклеенныя писаной и книжной бумагой, потолоки неровные, полъ хотя и устланъ половиками, но одна его сторона была выше, другая ниже. Впрочемъ всѣ вещи были въ порядкѣ; все было чисто, только отсывало бѣдностью.

Когда они пришли въ комнату, тамъ у стола, накрытаго красною скатертью и на которомъ стоялъ самоваръ съ чайникомъ и посуда, сидѣла въ бѣломъ чепчикѣ мать Павлова, а двѣнадцатилѣтняя черномазая дѣвочка съ подстриженными въ скобку волосами неистово парала обѣими руками голую спину старухи. При входѣ гостя дѣвочка вмигъ поправила рубашку на старухѣ, накинула на ея плечи шаль и сѣла на другой стулъ рядомъ съ ней, сложивъ на колѣни руки и тупо глядя на вошедшихъ.

— Что жъ ты, мерзавка! — проговорила старуха.

— Богъ на помощь, бабушка. Съ праздникомъ, — проговорилъ Андрей Ивановичъ.

— А! батюшка, Андрей Ивановичъ! Спасибо — не поспѣивали. Охъ, слѣпа стала совсѣмъ! Днемъ-то еще кое-какъ маракую, а какъ вечеръ — совсѣмъ не вижу.

— И меня не видишь?

— Вижу, ровно тѣнь, а отличить не могу. Машутка, неси калачей, да смотри не ковырай пальцами-то, — приказала она дѣвочкѣ. Та не торопясь ушла.

— Это чья? — спросилъ Андрей Ивановичъ Павлова.

— Мамашина племянница. А мы, Андрей Ивановичъ, не выпьемъ ли передъ чаемъ-то?

— Ты ужъ радъ! Праздникъ-то завтра; еще до него умереть можно... — проворчала старуха.

— Ничего, передъ чаемъ по одной можно, — сказалъ Андрей Ивановичъ.

Павловъ скрылся; Андрей Ивановичъ занялся со старухой. Та жаловалась на свою бѣдность, происходящую оттого, что мужъ ея, попавшись подѣ судъ, не оставилъ ей пенсіона; жаловалась она на гордость людскую, на неуваженіе къ ней сына, который хотя и не пьетъ теперь, но неизвестно куда дѣваетъ деньги, и наконецъ до того расчувствовалась, что заплакала. Андрей Ивановичъ старался ее утѣшить, какъ могъ, и общалъ непремѣнно послѣ Успенья Пресвятой Богородицы сыграть свадьбу и водворить ее къ себѣ.

— И, батюшка, золотишь обсыпъ, не покину свою бабушку. Я такъ привыкла къ ней, что мнѣ и ночи не ночевать въ другомъ мѣстѣ.

— А если тебя зашибетъ?

— Не зашибетъ: много лѣтъ ужъ домъ такъ-то стоитъ. Ну, а если Господь прогнѣвается да меня зашибетъ, такъ все же я въ своемъ дому помру.

Пришелъ Павловъ и принесъ полный графинъ водки съ двумя красными стручками на днѣ его и тарелку съ грибами; дѣвочка принесла остальное. Бесѣда шла весело; старуха, выпивши двѣ рюмки, оказалась до того говорливой, что скоро надоѣла Андрею Ивановичу, а если онъ заговаривалъ съ Павловымъ, она обижалась и говорила: ты съ нимъ не говори, меня слушай. Андрей Ивановичъ выпилъ передъ чаемъ одну рюмку, а Павловъ успѣлъ выпить двѣ; черезъ часъ послѣ чая въ графинѣ водки было уже на палецъ. Старуха объяснила это такъ:

— Онъ такой человѣкъ, что не можетъ оставить посуду съ водкой. Ты ему дай шкаликъ — онъ весь выпьетъ, дай полштофъ — кажется, совсѣмъ ужъ нѣтъ и спать лягетъ, да какъ вспомнитъ, что у него въ графинѣ еще есть, непремѣнно выпьетъ.

Андрей Ивановичъ зашѣлѣлъ порядочно. Теперь у него явилась храбрость и онъ готовъ былъ объясниться съ дочерью. Старуха тоже зашѣлѣла, но ей хотѣлось говорить; она что-то начинала нѣсколько разъ. Вдругъ Павловъ скрылся куда-то; старуха, почувствовавъ, что нѣтъ сына, начала:

— А скоро ты Дарью-то Андреевну выдаешь?

— Что?

— Я спрашиваю, скоро ли молъ ты ее замуж отдаешь?

— За кого?

— За Ваську Иванова.

— Какъ такъ?

— Вотъ тѣ и разъ! Такъ это неправда! То-то я все думала: ужъ не рехнулся ли въ умѣ нашъ праставъ...

— Кто это тебѣ совралъ?

— Да старуха Голоушина, что рядомъ съ Ивановымъ живетъ, говорила мнѣ одной по секрету, что Дарья Андреевна ходитъ къ молодому Иванову.

— Врешь ты, старуха! До старости ты дожила, а ума не нажила.

— Что дѣлать... Я говорю, что слышала, а сама не видала.

— Ну, молчи, коли хочешь, чтобы твой сынъ женился на моей дочери.

Старуха замолчала, а Андрей Ивановичъ, весьма разсердившись, ушелъ домой.

Пришелъ онъ часу въ двѣнадцатомъ и отправился прямо въ кабинетъ.

— Кушать хотите? — спросила его Дарья Андреевна.

— Нѣтъ — сказалъ онъ окриленнымъ голосомъ и взглянулъ на нее сурово.

Дарья Андреевна замѣтила, что отецъ пьянъ, и очень разсердилась на Павлова; но ее испугали его злые глаза и окриленный отвѣтъ.

Отецъ раздѣвался. Она ушла въ свою комнату, сѣла къ столу и ей сдѣлалось горько, что отношенія отца къ ней наизмѣнились. Она уже давно замѣчаетъ эту переизмѣну въ его злыхъ взглядахъ и улыбкахъ, по его отрывочно рѣзкимъ словамъ, по его подсматриванью за ней; горько, что всѣ можетъ быть горо-

жане, какъ бы у нихъ ни было велико горе, спокойно заснуть эту ночь съ надеждой дожидать до завтрашняго дня, чтобы провести время у кого-нибудь и залить свое горе если не пивомъ и водкой, то хотя дружескими разговорами... Печаль, тоска, одиночество, неопредѣленность будущаго — все это давило ее мотъ, щемило сердце больно-больно, и она горько-горько и долго плакала...

Она не замѣтила, какъ вошелъ отецъ въ ее комнату и стоялъ въ халатѣ у дверей со свѣчкой въ одной рукѣ.

— Знѣ! У-у-у, ты знѣ-а! — проворчалъ онъ, скрипя неистово зубами.

Дарья Андреевна встрепенулась, ваглянула и съ ней чуть не сдѣлался обморокъ; халатъ на отцѣ не былъ запахнутъ, свѣчка дрожала, лицо его было блѣдно, глаза искрились, волосы торчали, какъ щетина... Она хотѣла встать, но не могла, а смотрѣла на него, и чѣмъ больше она смотрѣла на него, тѣмъ меньше онъ казался ей; наконецъ онъ казался ей такъ малъ, что какъ будто стоялъ гдѣ-то далеко въ туманѣ.

Отецъ повернулся и она, очнувшись, увидала его во весь ростъ. Онъ ушелъ, крѣпко хлопнувъ дверьми.

Нѣсколько минутъ Дарья Андреевна не могла прийти въ себя отъ этой сцены. Слезы уже не шли изъ глазъ; ее пробирала дрожь, такъ что стучали зубы, тряслись руки, въ головѣ былъ жаръ. „Господи! зачѣмъ я прѣвѣхала сюда? Уйду я; уйду теперь же... Но это, можетъ быть, онъ съ пьяна... Нѣтъ, я не могу теперь спать, а пойду въ садъ“. Она встала, ее пошатывало... Когда она вышла изъ комнаты, то дверь въ кабинетъ была открыта; стала она отпирать дверь въ прихожую — заперта, но ключъ тутъ; она повернула ключъ, — замокъ щелкнулъ, половинка двери заскрипѣла.

— Куда-а! — спросилъ отецъ полуживительно и полупрезрительно, стоя въ дверяхъ кабинета со свѣчкой.

Дарья Андреевна вздрогнула.

— Тебя спрашиваютъ? — крикнулъ отецъ, подходя къ ней и сжимая кулакъ.

— Въ садъ, папаша.

— Къ любовника-амъ! А! любовниковъ заведи...

— Папаша...

— Молчать!..

У отца выпалъ подсвѣчникъ. Дарья Андреевна подняла его, поправила свѣчку и понесла ее въ кабинетъ. Отецъ пошелъ за ней. Дарья Андреевна хотѣла говорить съ отцомъ, но у нея пересохло горло, она дрожала еще пуще прежняго и не могла сказать нѣсколько словъ.

Она пошла въ свою комнату, отецъ пропустилъ ее и проводилъ суровымъ взглядомъ. Комнату она заперла; легла въ изнеможеніи на кровать, но заснуть не могла: ей было то очень жарко, то очень холодно.

Отецъ дернулъ за скобку двери.

— Я здѣсь; оставьте меня... — проговорила она едва-едва.

Въ это время слышалось звяканье колокольчиковъ все ближе и ближе, наконецъ перестало у дома Яковлева. Пріѣхала Марина Осиповна съ Марьей

Андреевной, Осипомъ Андреевичемъ съ его супругой и дѣтьми.

Андрей Ивановичъ повеселѣлъ, остальные тоже были веселы; Дарью Андреевну всѣ поцѣловали. Она старалась быть веселой и бодрой, но выходило какъ-то плохо, такъ что Марья Антоновна спросила ее:

— Что съ тобой, моя милая? ты какъ будто нездорова.

— Голова немножко болитъ.

Комнату Дарьи Андреевны заняла Марья Антоновна, кабинетъ — Осипъ Андреевичъ, а Марья съ Дарьей ушли въ дѣтскія. Марья Андреевна надолго рассказывала о своихъ подвигахъ въ садѣ, скоро заснула, и какъ только она заснула, Дарья Андреевна ушла въ садъ и до полного разсвѣта бродила по саду или сидѣла гдѣ попало. Ночь была свѣжая, трава мокрая, но она не обращала на это вниманія и только при полномъ разсвѣтѣ почувствовала всеобщую слабость въ тѣлѣ, такъ что едва-едва добралась до дѣтской, едва влѣзла на кровать и черезъ часъ съ ней сдѣлался бредъ.

Утромъ Андрей Ивановичъ поѣхалъ на рынокъ. Онъ былъ веселѣе, чѣмъ вчера, и рассказывалъ въ своемъ грубомъ обращеніи съ дочерью. Теперь ему, трезвому, не вѣрилось, чтобы все то, что ему наговорила старуха Павлова на дочь, было правда; только онъ не понималъ того, — зачѣмъ она хотѣла идти въ садъ. Слезы ее онъ не замѣтилъ, потому-что когда онъ вошелъ съ помутившимися глазами и въ возбужденномъ состояніи, то она сидѣла облокотившись на столъ; но и это обстоятельство, благодаря пріѣзду жены и сына, онъ относилъ къ привычкѣ Дарьи Андреевны уходить въ садъ, когда ей вздумается. „Ничего, думалъ онъ, перемелется — мука будетъ. Пожурить ее не мѣшало, потому она еще молода, мало знаетъ жизнь и людей. Предостеречь тоже не мѣшаетъ; послѣ сама спасибо скажетъ. Сегодня будутъ гости, — все забудется и пойдетъ своимъ чередомъ, а тамъ посмотримъ, что дальше предпринять“.

Въ балаганахъ укладывали на полки ситецъ, сукна и разныя другіе товары; на рынкѣ копошились горожане съ мѣшками и лукошками; между рынкомъ и балаганами въ одномъ углу стояли коровы, три козы и три лошади, запряженные въ телѣги; внизу у садковъ тоже былъ народъ. Купивъ рыбы, Андрей Ивановичъ отправился на рынокъ. Посреди площади кучка мужчинъ и женщинъ голосили. Увидѣвши Яковлева, нѣсколько человѣкъ отдѣлилось отъ толпы и остановили его лошадь.

— Скажите на милость, что это вашъ Зяковъевъ творить? — кричалъ одинъ мѣщанинъ.

— Что? — спросилъ Андрей Ивановичъ.

— А то: по какому праву говядина нонѣ вмѣсто пяти копѣекъ продается по десяти?

— Какъ тамъ?

— Очень просто! По десяти продается, и не у одного, а у всѣхъ.

— И не одно мясо, а и мука по три копѣйки фунтъ. Али это не разбой!

Къ Андрею Ивановичу подошелъ Василій Мироничъ.

— Хоть вы уговорите прасоловъ не продавать дорого. Сами знаете, праздникъ большой; у многихъ гости будутъ...

Андрей Ивановичъ пошелъ къ одному прасолу—просить восемь коп.

— Какъ же ты съ насъ просилъ десять?—спросилъ Василій Мироничъ прасола.

— Ты не кричи! Ты не покупаешь, а только народъ мутить.

Къ прасолу подошло много мѣщанъ и женщинъ въ шляпкахъ и въ платкахъ. Всѣ вопили на несправедливость.

— Верите, берите кому надо. Продадимъ—и за двадцать не получите,—дразнилъ народъ одинъ прасолъ, рубя на части половинку. Дѣло въ томъ, что продавцовъ мяса было всего шесть человекъ на весь городъ и у каждого мяса было небольшое количество.

Андрей Ивановичъ пошелъ къ другимъ прасоламъ и у одного купилъ мяса по шести копѣекъ. Стали торговать жены чиновниковъ и мѣщанъ—меньше девяти не отдастъ. Опять крикъ.

— Ведите его къ исправнику!—кричалъ Василій Мироничъ.

Толпа напала на прасола, прасола потащили, до мяса никто не дотрогивался.

— Что вы дѣлаете, негодяи? Вѣдь вы видѣли такъ-съ?—вступился Андрей Ивановичъ.

— Ишь ты! А тебѣ зачѣмъ онъ продалъ по шести копѣекъ?

— Не твоё дѣло!—крикнулъ Андрей Ивановичъ. И сталъ закупать гусей, утокъ и проч., и невредимъ уѣхалъ домой.

Между тѣмъ мѣщане потащили прасола къ исправнику и хотя за выручку хотѣла съѣсть его жена, но ее не пустили. Прасолъ кричалъ, что онъ будетъ жаловаться начальству. Мѣщане разсудили, что надо тащить всѣхъ прасоловъ, а не одного, и поэтому, отпустивъ его, одинъ пошелъ къ исправнику, но дорогой между ними вышла ссора и половина, большою частью люди трусливые, разбѣжались по домамъ. Исправника въ городъ не оказалось—уѣхалъ на слѣдствіе. Пошли къ полицейскому приставу. Такъ-какъ Ильинскъ считался незначительнымъ городомъ съ небольшимъ населеніемъ, то въ немъ ни полицеймейстера, ни городничаго не полагалось. Исправникъ завыдывалъ какъ самымъ городомъ, такъ и его уѣдомъ, въ помощъ же ему для управленія городомъ полагались полицейскій приставъ и два квартальныхъ надзирателя. Отдѣльнаго зданія для полиціи въ Ильинскѣ не существовало, арестованные за кражу и другіе проступки сидѣли или въ темномъ чуланѣ того дома, который занималъ приставъ, или въ темной избѣ, построенной въ концѣ города по трактовой улицѣ, гдѣ также есть и амбаръ, въ которомъ хранятся пожарная труба и двѣ лѣстницы, никогда не употребляемыя на пожаръ по ихъ негодности.

Полицейскій приставъ сказалъ толпѣ, что ему теперь некогда, а если они видятъ съ чьей-нибудь сто-

ровы несправедливость, то могутъ жаловаться завтра формальнымъ образомъ.

— Да помилуйте! Они мясо продаютъ по десяти копѣекъ.

— А мнѣ какое дѣло!

— Какъ какое дѣло? На то ты и полиція.

— Кто это кричитъ? Не хочеть ли онъ въ чуланъ?

— Господа! этому дѣлу попускаться не надо: надо писать жалобу губернатору, — сказалъ Василій Мироничъ.

— А мы такъ и останемся безъ мяса?

— Что жъ такое? Намъ не привыкать ѣсть горошницу.

— Ишь ты! А праздникъ для чего данъ?

— Купишь рыбы, а мяса покупать сегодня не станемъ. Пусть они везутъ назадъ его.

— Дѣло!

Толпа повалила на рынокъ и съ хохотомъ, руганью и остротами прошла мимо прасоловъ, торгующихъ мясомъ.

У Андрея Ивановича Ильинъ—день былъ всегда большимъ праздникомъ: послѣ обѣдни все духовенство, вся городская аристократія и даже знакомые поѣщики собрались у него. Сперва былъ молебень, потомъ чай, закуска, обѣдъ, гулянье въ саду и на ярмаркѣ, а вечеромъ устраивались танцы и весь домъ былъ иллюминированъ плашками, которыя привозились нарочно изъ Егорьевска. Но нынче онъ не думалъ устраивать ничего подобнаго, потому что у него мало было денегъ и жена пріѣхала только ночью.

Какъ только онъ пріѣхалъ домой и вошелъ въ сѣни, то засталъ тамъ какую-то бѣготню: кухарка бѣжала изъ кухни въ дѣтскую съ ковшомъ воды; Марина Осиповна кричала въ кухнѣ; Осипъ Андреевичъ говорилъ что-то громко и торопливо въ дверяхъ дѣтской; Марья Антоновна пробѣжала въ кухню изъ передней.

— Даша нездорова!—сказала вышедшая изъ кухни Марина Осиповна, увидѣвши Андрея Ивановича.

— Какъ?—спросилъ тотъ съ испугомъ.

— Нездорова. Вся горитъ, бредитъ...

Андрей Ивановичъ вошелъ въ дѣтскую. Дарья Андреевна была блѣдна, волосы у ней были растрепаны, на лбу лежала тряпка, намоченная уксусомъ. Она бредила и, казалось, ничего не узнавала и не понимала того, что ей говорили. Около нея суетились Осипъ и Марья.

— Что за притча? И отчего бы это? Она вчера здорова была, только вечеромъ я замѣтилъ, что у нея, кажется, голова болѣла; она хотѣла идти въ садъ, но я не пустилъ ее,—говорилъ Андрей Ивановичъ.

— Папаша, а съѣзжу за лекаремъ, — сказалъ Осипъ Андреевичъ.

— Да можетъ пройти!—сказала Марина Осиповна.

— Какое пройдетъ, мамаша, у нея горячка, бредъ.

— Ахъ ты, Господи! Вотъ тебѣ и праздникъ!

Андрей Ивановичъ послалъ сына за лекаремъ, поставилъ у дочери, велѣлъ перенести кровать въ другую комнату и ушелъ наверхъ сильно опечаленный. Ему удивительнымъ казалось, отчего она могла захворать.

Приходило ему на память вчерашнее его поведение съ ней, но онъ никакъ не могъ допустить того, чтобы на нее могли повѣдать его рѣзкія слова. И вѣдь вздумала же она захворать непременно сегодня, когда къ нему могутъ напроситься на обѣдъ казначей, исправникъ и другіе; захворай она въ другой разъ, тогда бы ничего.

— Что же вы рассказываете? Надо что-нибудь дѣлать! — напала на него Марина Осиповна.

— Я право такъ разстроена... Голова ходитъ кругомъ...

— Уже вы всегда такъ.

— Дѣлай, какъ знаешь!

— Нельзя же намъ изъ-за одной больной всѣмъ сидѣть повѣса носъ. Кто у насъ будетъ сегодня?

— Я право не знаю...

— Вы, кажется, безъ меня совсѣмъ дуракомъ сдѣлались.

— Ахъ, отстань ты отъ меня!

И онъ ушелъ въ кабинетъ. Невеселыя мысли бродили въ его головѣ. Зазвонили сперва на соборъ, потомъ къ обѣдѣ — ему еще грустнѣе сдѣлалось, но онъ одѣлся въ форму. Пришелъ Осипъ и сказалъ, что лекарь ухаживалъ съ исправникомъ въ уѣздъ.

— Можеть быть, и пройдетъ, — сказалъ Андрей Ивановичъ.

— Конечно!... Эти женщины черевчуръ нѣжны: чуть что — и больна.

И отецъ съ сыномъ уѣхали въ церковь, дамы начали одѣваться. Черезъ часъ въ домѣ остались Марина Осиповна и кухарка, готовившія кушанья, и больная Дарья Андреевна, оставленная въ дѣтской безъ всякаго призора.

Обѣдню служилъ Пьянковъ съ священникомъ Ильинской церкви. Трегьяковъ отъ служенія по болѣзни отказался, а стоялъ въ алтарѣ въ качествѣ зрителя. Ему было обидно, что Пьянковъ не уступалъ ему первенства въ служеніи. Въ церкви была вся городская знать; были тутъ и пріѣзжіе помѣщики, и такъ-какъ въ нее виѣщалось не больше трехсотъ человѣкъ, то мѣщанъ попало немного и давка была страшная; за то около церкви и на площади было до двухъ тысячъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Всѣ они гадѣли о сегодняшней дороговизнѣ и хотѣли прижать Зиновьева, когда онъ пріѣдетъ. Народъ прибывалъ, но уже въ меньшей степени, и приходящіе говорили, что мясо теперь продается по прежней цѣнѣ и прасолы жалуются, что ихъ заставили къ этому приставъ съ Зиновьевымъ... Народъ не зналъ, чему это приписать. Таксу видѣли многіе, она утверждена думой, только подписался не самъ Зиновьевъ. Всѣ занялись этимъ предметомъ и каждый толковалъ по своему, такъ что рѣдко кто былъ согласенъ съ мнѣніемъ пяти человѣкъ. Пріѣхалъ Зиновьевъ; его пропустили молча, и онъ даже снялъ фуражку и поклонился, хотя ему никто не поклонился.

— Что вы, олухи царя небеснаго, молчите! Раньше кричали, а теперь и молчать, — кричалъ молодой Ивановъ, когда Зиновьевъ вошелъ въ церковь.

— А ты боекъ, такъ и говори!

— Васъ если голодомъ заморать, вы и тутъ молчать будете.

сочиненія е. рашетникова, т. п-й.

— Кому говорить-то, коли согласія нѣтъ, коли всѣ дураки, а одному не стоитъ — струсить, коли спрашивать будутъ!

Опять заговорилъ народъ, начался хохотъ; нѣсколько человѣкъ стало бороться. О дороговизнѣ уже не было рѣчи; теперь судили о нарядахъ исправническихъ дочерей и пр.

На обѣдѣ Андрея Ивановича было немного гостей: духовенство и свои родные; былъ тутъ и Павловъ. Всѣ они посмотрѣли на Дарью Андреевну, покачали головами и ушли, говоря: воля Божія! А самъ Зиновьевъ говорилъ: все это отъ гордости происходитъ; Бога мы забыли; родителей не почитаемъ. Марина же Осиповна, казалось, даже рада была болѣзни падчерницы и спросила какъ-то, нежду прочимъ, Марфу Антоновну:

— Какъ ты думаешь, выздоровѣетъ она, или нѣту?

— Дѣло чѣмъ-то серьезнымъ пахнетъ.

— Неужели?

— Если не будете лечить, пожалуй и плохо.

Марина Осиповна ничего не сказала, но уныло взглянула на образъ.

Одна только Анисія Осиповна не отходила отъ больной и хотя ее убѣждали, что она можеть заразиться, и нѣсколько разъ звали къ обѣду, но она твердо рѣшилась не отходить отъ подруги до тѣхъ поръ, пока съ той не прекратится бредъ.

Андрей Ивановичъ тоже ходилъ повѣса носъ, часто спускался къ больной и когда смотрѣлъ на нее, то у него наворачивались слезы и не могли развеселить шутки гостей, которые были очень веселы, ѣли и пили много, а послѣ обѣда разбрелись кто спать, кто на ярмарку, на которой было уже много пьянаго народа, щелкающего орѣхи, кушающего яблоки, покушающего пятачки и гнилой ситецъ, или бродячаго безъ цѣли.

Праздникъ у Андрея Ивановича кончился невесело. Хватились вечеромъ Андрея Ивановича — нѣтъ его. Думали, не зашелъ ли онъ куда-нибудь, но Марья Андреевна, гулявшая съ Павловымъ по саду, случайно набрела на горку. Тамъ, на травѣ, лежалъ ее отецъ и передъ нимъ лежала пустая бутылка; стали звать его домой, онъ не пошелъ, а сказалъ, что у него болитъ голова и чтобы его оставили въ покоѣ. Хотѣли было устроить танцы, но Осипъ Андреевичъ отсоветовалъ и ограничился только простою игрою въ карты.

Утромъ пришелъ Андрей Ивановичъ и сталъ одѣваться въ форму.

— Куда вы, папаша? — спросилъ его Осипъ Андреевичъ.

— Какъ куда? Развѣ ты не знаешь?.. Вѣдь драхъ хотять. Слышишь — выдереть! И выдеруть...

Синъ съ испугомъ и удивленіемъ сталъ смотрѣть на отца.

— Уже идутъ... А ты запри дверь-то не ищай, — проговорилъ съ испугомъ Андрей Ивановичъ.

— Что съ вами, папаша? — спросилъ Осипъ Андреевичъ.

— Дверь запри, говорятъ тебѣ!

Осипъ Андреевичъ вышелъ и поймавши Марину Осиповну въ корридорѣ, шепнуть ей на ухо, что съ отцомъ что-то нехорошее случилось. Марина Осиповна пошла

въ кабинетъ и черезъ четверть часа вернулась оттуда печальная. Сѣла она на стулъ въ залѣ и заплакала; Это удивило Марью Осиповну и Марю Антоновну. Осипъ Андреичъ бродилъ блѣдный.

— Боже мой! Боже мой!... до чего я дожила...—говорила Марина Осиповна.

— Что такое? что такое?—спрашивали въ испугѣ дочь и жена Осипа Андреича.

Въ комнату вошелъ Андрей Ивановичъ въ мундирѣ, при шпагѣ; только у него не было надѣто ни манишки, ни жилета. Войдя въ комнату, онъ захохоталъ.

Женщины сидѣли съ вытанутыми лицами.

— А вы бѣжать? Нѣтъ, я васъ понимаю... Осипъ, скажи Николаю, чтобы онъ никого не смѣлъ пускать... Ишь, выдумала: драть! И кого? Меня... Ду-удки!—проговорила Андрей Ивановичъ.

— Боже мой! Онъ съ ума сошелъ! И я... несчастная... жена сумашедшаго,—проговорила Марина Осиповна со слезами, и ей сдѣлалось дурно.

### XIII.

Андрей Ивановичъ перепугалъ всѣхъ. Нѣсколько минутъ послѣ описанной сцены всѣ молчали, не зная, что предпринять, на что рѣшиться и какъ рѣшиться и какъ опредѣлить состояніе Андрея Ивановича. Марья Антоновна сперва было подумала, что Андрей Ивановичъ представляется, но когда онъ сталъ спускаться внизъ, то она рѣшила, что онъ дѣйствительно рехнулся умомъ и ей надо поскорѣ увязать; Марина Осиповна считала себя помѣшанною, потому что мысли ея не клеились, передъ ея глазами разстилался туманъ и слова: позоръ, стыдъ, срамъ то и дѣло готовы были сорваться съ языка; Марья Андреевна хотѣла уйти внизъ, чтобы разболтать о случившемся Анисѣ Осиповнѣ, но вдругъ въ ея голову влѣзла мысль: а пожалуй она и не выйдетъ замужъ. Мачиха сказала, что отецъ съ ума сошелъ; Павловъ и теперь кобанился, а какъ узнать, пожалуй и откажется. Хотя же у нея есть душенька изъ судейскихъ, только на него послѣ эдакого скандала рассчитывать нечего. Ей теперь даже и по двору идти стыдно. Выйди она, всѣ будутъ на нее указывать пальцами и говорить: несчастная дѣвушка! Отецъ съ ума сошелъ, женихъ пьянчуга, да тотъ пожалуй отказался. Осипъ Андреичъ чувствовалъ невыгодное положеніе мачихи и сестеръ, которыхъ ему пожалуй теперь придется содержать, такъ какъ онъ слышалъ, что суды въ домѣ недолго просуществуютъ.

Изъ этого состоянія вывелъ ихъ явившійся въ залу молодой человѣкъ въ вицъ-мундирѣ.

— Позвольте васъ спросить, здѣсь живетъ винный приставъ, господинъ Яковлевъ?

— Здѣсь, но онъ боленъ. А вы по дѣлу?

— Да... Позвольте узнать, съ кѣмъ нѣтъ честь говорить?

Осипъ Андреичъ рекомендовался. Гость отвелъ его въ сторону.

— Я чиновникъ особыхъ порученій при начальникѣ губерніи, нѣтъ порученіе немедленно приступить къ производству слѣдствія.

Осипъ Андреичъ увелъ гостя въ кабинетъ.

— Извольте видѣть, отецъ боленъ. Вы это сами увидите.

— Могу я его видѣть?

— Онъ... онъ, кажется, въ горячкѣ.

— Но какъ же это кажется? вѣдь вы говорите положительно, что онъ боленъ.

— Да... у него тутъ что-то неладно.—И Осипъ Андреичъ ткнулъ пальцемъ въ лобъ.

— А! это другое дѣло. И давно?

— Нѣсколько времени.

— Отчего же начальству не дали знать?

Въ кабинетъ вошелъ секретарь уѣзднаго суда и вызвалъ Осипа Андреича въ прихожую.

— А-а! Ради Бога уведите отца! Онъ тамъ въ судѣ у насъ такъ гудитъ, что никому заниматься невозможно: все прятется, подъ столы лѣзетъ.

Осипъ Андреичъ извинился передъ гостемъ, пригласилъ его въ залу, рекомендовалъ дамамъ, а самъ ушелъ внизъ. Марья Антоновна тотчасъ же овладѣла гостемъ и до того очаровала его, что онъ согласился обѣдать у Яковлева.

Кое-какъ Осипъ Андреичъ привелъ отца домой. Чиновникъ, удостоверившись, что Яковлевъ дѣйствительно нездоровъ, послалъ кому слѣдуетъ бумагу объ освидѣтельствованіи его и объ отобраніи отъ него всѣхъ бумагъ по должности и потомъ ушелъ, обѣщая прийти къ обѣду. На приглашеніе поселиться у нихъ онъ отказался.

Немного погодя, Андрей Ивановичъ пришелъ въ себя и долго удивлялся тому, что съ нимъ было. Потомъ онъ чего-то хватился и, доставши изъ стола письмо, подалъ его сыну.

— Я его вчера послѣ обѣда получилъ.

Сынъ сталъ читать, но на лицѣ его не замѣчалось испуга. Все дѣло состояло въ томъ, что Андрея Ивановича извѣщалъ старинный пріятель изъ губернскаго правленія, что по доносу неизвѣстнаго лица назначено слѣдствіе по одному дѣлу, которое уже было рѣшено, что онъ представилъ такіе документы, что и губернскому правленію, и уголовной палатѣ будетъ плохо, тѣмъ болѣе, что дѣло оказалось изъ архива исчезнувшимъ, что и Зиновьеву также не избѣжать суда.

— Это пустяки, потому что дѣла нѣтъ. Винавать архиваріусъ. Начнуть снова—многихъ свидѣтелей на лицѣ нѣтъ, прошло уже пять лѣтъ.

— А если трупъ стануть вскрывать?

— Да онъ уже сгнилъ; къ тому же, вы знаете нашихъ докторовъ...

— Однако, черепъ-то былъ прорубленъ.

— Стоять объ этомъ думать. А вотъ вамъ не испало бы, папаша, въ баню сходить.

— И отлично.

Вѣрно было затопить баню, а Андрей Ивановичъ занялся перебираниемъ бумагъ; но недолго онъ этимъ занимался.

— Ты слышишь?—спросилъ онъ сына съ дрожью; глаза у него были дикие.

— Ничего не слышу.

— Драть хочуть!

— Полно вамъ.

— Ей-Богу. И выдерутъ! Нужды нѣтъ, что я чи-

новникъ. Вонъ ихъ сколько—разъ, два, три... и Дарья тутъ. Слышишь!

Сынъ захохоталъ.

— Не вѣришь. Ну, стало быть, ты или глухъ, или набитый оселъ.

— Эй-Богу, ничего не слышу.

— Тебѣ вѣдь все равно—отецъ я тебѣ, или нѣтъ?

— Вотъ въ баню сходите—лучше будетъ.

— Слышь: отлично! Хорошъ сынокъ! Въ банѣ выдеремъ, выдеремъ, выд... Господи! Все, что я ни подумаю—они ужъ знаютъ. Осипъ! что это такое: я ихъ не вижу, а слышу и все знакомые голоса: исправникъ, отецъ Сергій, всѣ... а Пьянковъ и Трынкинъ кричатъ больше всѣхъ и ровно они гдѣ-то въ потолкахъ или въ стѣнѣ.

Однимъ словомъ, съ Андреемъ Ивановичемъ сдѣлалась бѣлая горячка, чего не зналъ Осипъ Андренчъ, который вплоть до бани совсѣмъ измучился съ нимъ. Положить его на диванъ — отецъ не лежитъ, говорить, что въ него хотятъ каменьями кидать; приложить горчишникъ ко лбу — хуже. Вышелъ онъ какъ-то ненадолго изъ кабинета, отецъ загородилъ дверь стульями, и когда Осипъ Андренчъ сталъ отпирать ее, отецъ такъ крѣпко ударилъ по двери палкой, что дверь захлопнулась, а палка выпала, и только благодаря этому послѣднему случаю, Осипъ Андренчъ вошелъ въ кабинетъ цѣлъ.

Сталъ Осипъ Андренчъ звать отца въ баню — нейдетъ. Пришлось звать на помощь Трифона и Николая. Кое-какъ дотащили до бани, насильно раздѣли и насильно втащили на полкъ. Въ банѣ было очень жарко и даже немножко угарно. Стали Андрея Ивановича парить. Нѣсколько секундъ онъ барахтался и кричалъ, но потомъ съ нимъ сдѣлался ударъ: въ одинъ моментъ его передернуло, скрючило ноги и руки, искривился ротъ, пошла пѣна изо рта, потомъ его опять передернуло, члены выпрямились и онъ уже не дышалъ.

Парившіе струсили. Стали обливать его холодной водой, но уже къ жизни не возвратили.

Извѣстіе о смерти Андрея Ивановича Яковлева въ одинъ часъ облетѣло весь городъ, и черезъ два часа, когда обмытый трупъ уже лежалъ на столѣ посреди залы, покрытый парчей, и у изголовья читалъ псалтырь Миронъ Миронычъ Ивановъ, къ дому его валили кучки любопытныхъ жителей города Ильинска. Толки шли разные: одни говорили, что онъ сгорѣлъ съ вина; другіе — что его ударилъ кондрашка, а третьи — что онъ въ сумашествіи самъ задавилъ себя; были и такіе люди, которые говорили, что у него лопнулъ животъ. Всѣхъ этихъ любопытныхъ пускали вплоть до вечера, и каждый изъ посѣтителей, впервые бывшій въ домѣ Яковлева, непрежнѣнно взглядывалъ на его лицо, крестился съ пожеланіемъ покойному царства небеснаго и, уходя, третировалъ все, что только замѣчалъ, и жалѣлъ многочисленную семью, оставленную покойнымъ. Вечеромъ, какъ водится, все городское духовенство служило надъ покойнымъ лѣтнію.

На другой день уже никого не стали пускать въ

домъ, потому что изъ кабинета Андрея Ивановича исчезли золотые часы, а послѣ обѣда къ Маринѣ Осиповнѣ нагрянуло временное отдѣленіе земскаго суда, состоящее изъ исправника, страпчаго, двухъ застѣдателей — одного земскаго, а другого уѣзднаго суда, — Яновскаго, чиновника уѣзднаго казначейства — въ качествѣ депутата со стороны казенной палаты, — прѣзжаго губернскаго чиновника, лекаря и фельдшера. Марина Осиповна испугалась столько гостей, пришедшихъ къ ней въ формѣ, но ее успокоили тѣмъ, что нужно соблюсти формальность, то есть запечатать бумаги и дѣла, оставшіяся послѣ смерти виннаго пристава, а также проверить деньги. Марина Осиповна попросила сыскать духовное завѣщаніе.

— А онъ вамъ не давалъ его? — спросилъ исправникъ Марину Осиповну.

— Нѣтъ. Но онъ, я помню, писалъ его. Онъ все мнѣ предоставилъ.

— Ну, мы поглядимъ. Онъ былъ человекъ аккуратный.

— Ради Бога. А то я останусь безъ куска хлѣба съ такимъ большимъ семействомъ.

— Приступили къ описи бумагъ, находившихся въ кабинетѣ и въ канцеляріи Андрея Ивановича; при этомъ находились Марина Осиповна, Зиновьевъ и Осипъ Андренчъ съ женой. Перерыли всѣ бумаги, шкатулки, коробки — духовнаго завѣщанія, котораго такъ добивалась Марина Осиповна, не оказалось.

— Что я стану дѣлать! — локая руки, говорила Марина Осиповна.

— Позабылъ, и все тутъ, — утѣшалъ исправникъ. — Впрочемъ, вамъ что же унывать: съ дома вы получаете много... Мы васъ опекуней назначимъ.

— Покорно благодарю! Чтобы я отчетъ дѣтямъ давала.

— Я, мамаша, не потребую, — сказалъ Осипъ Андренчъ.

— Я на васъ надѣюсь; но другіе... — и она заплакала.

— Принесли изъ казначейства ящикъ съ деньгами. Въ деньгахъ оказался недостатокъ.

— Плохо-съ! — сказалъ исправникъ, уставивъ правый глазъ въ потолокъ.

— Нельзя ли внести? — спросилъ Осипъ Андренчъ.

— Теперь еще можно — при насъ. Мы люди свои, сами иногда заимствуемся... Я пожалуй готовъ внести десять рублей, — сказалъ исправникъ.

— Я этого не допущу — деньги не оказались при ревизіи, стало быть, дополнять уже поздно, — вступился губернаторскій чиновникъ.

— Ну, полноте. Будто не все равно, когда будутъ деньги пополнены, — проговорила умоляющимъ голосомъ и съ страстнымъ взглядомъ Марья Антоновна.

— Мариша, есть у тебя деньги? — спросилъ Зиновьевъ Марину Осиповну.

— Нѣту, папаша, выручите, — шепнула плачущая Марина Осиповна на ухо Зиновьеву.

— Ну, дѣлать нечего; не хочу, чтобы семья пошла по міру, а кормить мнѣ экую ораву не приходится... Я плачу, одинъ плачу! Сколько?

Сумма была пополнена однимъ Зиновьевымъ.

Чиновникъ губернатора предложилъ отдѣл

вскрыть трупъ, но на него накинута исправникъ, Зиновьевъ и Марина Осиповна.

— Нѣтъ, ужъ шалишь, малый; я не дозволю. Я голова!.. Деньги я пополнилъ, а рѣзать Андрея не дозволю,—говорилъ Зиновьевъ.

— Я этого требую на томъ основаніи, что онъ умеръ скоропостижно.

Дѣло зашло до крупнаго спора; на сторонѣ чиновника были страпчій, лекаръ, депутатъ и Яновскій, на сторонѣ Зиновьева—остальные, и только глазки и умоляющія слова Марыи Антоновны спасли трупъ отъ вскрытія.

Марина Осиповна казалась убитою горемъ. Она ходила въ черномъ, наскоро сшитомъ платьѣ, повѣся голову, съ охами и вздохами, казалась совсѣмъ растерянной; у нея все выпадало изъ рукъ, слова выговаривались несвязно; она забывала о чемъ нѣсколько минутъ тому назадъ говорила, перебирала вещи, сама не зная зачѣмъ; вездѣ былъ беспорядокъ, и она или ходила изъ комнаты въ комнату, или сидѣла по цѣлому часу неподвижно на одномъ мѣстѣ. Часто Осипъ Андреичъ просилъ у нея денегъ то на то, то на другое, выводилъ ее изъ оцѣпененія, она глядѣла жалобно и говорила, что у нея нѣтъ денегъ, рылась въ комодѣ и доставала какую-нибудь кредитную бумажку. А Осипъ Андреичъ просилъ денегъ часто, потому что зналъ, что мачиха сразу не дастъ много, а денегъ требовалось не мало; во-первыхъ, онъ хотѣлъ скоронить отца съ шикомъ, а во-вторыхъ, хотѣлъ устроить обѣдъ для всѣхъ близкихъ знакомыхъ Андрея Ивановича; своихъ же денегъ у него было мало, да и Марфа Антоновна не позволяла ему тратить на томъ основаніи, что у него у самого семейство, которое мѣсяца черезъ три пожалуй увеличится еще однимъ членомъ. Какъ нехороша ни казалась Маринѣ Осиповнѣ жизнь съ мужемъ, особенно въ послѣднее время, но теперь она сознавала, что тогда она властвовала; ей стоило только приказать, потребовать—и все являлось; какъ это являлось, откуда и изъ какихъ источниковъ—ей не было дѣла; у нея былъ полонъ гардеробъ, много посуды, много серебра,—все это она считала своимъ; къ этому она прибавляла еще, и еслибы ей пришлось выдать въ приданое Марѣ, то она съумѣла бы дать то, что похуже; но теперь, теперь она одна. Все лежитъ на ней, на все она должна тратить свои деньги, потому что у Андрея Ивановича денегъ не оказалось. Она чувствовала какую-то пустоту, слышала сожалѣніе постороннихъ людей о томъ, что она осталась съ большимъ семействомъ, что суды грозятся переѣхать изъ дому и она будто бы не будетъ получать пенсіи на томъ основаніи, что Андрея Ивановича снова отдали подъ судъ. Каковъ бы ни былъ Андрей Ивановичъ, все-таки она была при немъ въ сторонѣ; она сознавала, хотя ей и обидно было, что онъ былъ практичнѣе ея и ей часто приходилось спрашивать его совѣтовъ, хотя она это дѣлала не прямо, а или издадека, или мимоходомъ. Теперь же, на первыхъ порахъ, она увидала хаосъ, наплывъ неизвѣстныхъ людей, которые до сихъ поръ не смѣли и въ прихожую войти,

если не имѣли дѣла съ Андреемъ Ивановичемъ; эти люди ходили по всѣмъ незапертымъ комнатамъ, какъ будто нанимали этотъ домъ, а прогнать ихъ было неловко, потому что уже обычай такой, что чѣмъ больше придетъ народу отдать долгъ покойнику и пожелать ему царство небесное, тѣмъ больше чести тому дому, да и душа покойника чувствуетъ нѣкоторое облегченіе. Но вотъ украли часы. Кража случилась въ первый разъ въ домѣ, и этотъ пригѣръ ничего не обѣщала ей хорошаго въ будущемъ. Кромя этого, внизу лежитъ больная Дарья; ее надо лечить, потому что лекаръ самъ навязался и сказалъ, что если ее не будутъ лечить, то она померетъ; а не давать денегъ на лекарства и не приглашать лекаря—значитъ убить падчерицу и стать во мнѣніи порядочныхъ людей злою женщиною, отъ которой могутъ отвернуться всѣ, а ей нужно было жить съ этими людьми. Она поняла, что теперь ей на родню надѣяться нечего. Она очень хорошо знала характеръ своего родителя: онъ хотя и пополнилъ сумму, но за то ужъ больше ничего и не дастъ; онъ и прежде укорялъ ее тѣмъ, что она вышла за голыша-чиновника, который только тѣмъ и хорошъ, что страпчій. Будь она одна, ей бы легко было, она могла бы жить, гдѣ захочетъ, но на ея рукахъ остались двѣ взрослые падчерицы, которыя будутъ требовать хлѣба, которыя совсѣмъ ей свяжутъ руки, а тутъ еще у нея свои дѣти. Остается одно: падчерицъ разсовать къ родственникамъ, но онъ все-таки, пока не выйдутъ замужъ, будутъ требовать отъ нея денегъ съ дома, какъ отъ опекуниши. Все это сбивало ее съ толку и въ голову ея закрадывались нехорошія, скверныя намеренія: то ей хотѣлось продать домъ, раздѣлить деньги наследникамъ и самой поселиться съ своими дѣтьми къ отцу; то ей хотѣлось забрать всю посуду и серебро и вообще всѣ цѣнныя вещи себѣ и сказать, что все это ей приданое; то хотѣлось, съ помощью отца, составить духовное завѣщаніе отъ имени Андрея Ивановича, который бы и домъ, и все имущество отказывалъ ей одной; но въ виду холоднаго трупа она боялась привести это въ исполненіе.

На похороны Андрея Ивановича собрался чуть не весь городъ; даже училища были заперты, потому что учителя пошли тоже отдать послѣдній долгъ покойному, но, собственно говоря, это былъ предлогъ къ тому, чтобы хорошо выпить и закусить на обѣдѣ. Въ кухнѣ уже двои сутки, подъ руководствомъ племянницы протопопа Третьякова, Татьяны Федоровны Поповой, сухощавой, молчаливой старухи, готовили кушанья кухарка Степанида и мѣшаники Зелениха и Наталья Семеновна Иванова. Кромя ихъ, въ домѣ были только больная Дарья Андреевна и Анисья Осиповна, и Василій МIRONИЧЪ, котораго Осипъ Андреичъ пригласилъ подавать во время обѣда кушанья.

Дарья Андреевна лежала въ безпамятствѣ съ окутанною головою; около кровати, на столикѣ, стояли стѣлянки съ лекарствами и лежали часы, по которымъ Анисья Осиповна исправно давала больной лекарство. Василій МIRONИЧЪ сидѣлъ поодаль и съ тоской смотрѣлъ на блѣдное лицо и полуоткрытые глаза Дарьи Андреевны, которая не узнавала никого. Но когда прошла похоронная церемонія съ пѣніемъ



„святый Боже“, она повернула лицо къ стоявшей около нея Анисѣ Осиповнѣ и, широко открывъ глаза, дико стала смотрѣть на нее.

— Не безпокойся, душенька. Это музика въ саду играетъ,—сказала Анисья Осиповна.

— Поютъ,—едва слышно проговорила больная.

— Это такъ кажется. Вотъ выпей-ка кисленькаго. Василий Мироничъ, закройте ей ноги... Хотя бы она пропотѣла хорошенько.

Наступила тишина. Дарья Андреевна какъ будто забылась и только изрѣдка открывала глаза; Анисья Осиповна сидѣла около ея кровати и довязывала сѣтку; Василий Мироничъ стоялъ у окна и смотрѣлъ на какую-то стѣянку. Онъ думалъ: отчего захворала Дарья Андреевна и что у нея за болѣзнь? Ему очень было больно; ему хотѣлось плакать, но при Анисѣ Осиповнѣ онъ стыдился. „Неужели она помереть?“, думалъ онъ. „Тогда что будетъ? Я буду одинъ, другую я не скоро смышу такую, чтобы походила на нее. Я тогда уйду въ городъ, а здѣсь мнѣ будетъ скучно, работа не будетъ клѣяться. А если она выздоровѣетъ? Что тогда? Захочетъ ли она жить такъ, какъ она думала, стерпеть ли? Ну, я женюсь, она будетъ хворать.“

Такъ онъ думалъ въ комнатѣ больной и любимой и въ голову его закрадывалась нехорошая мысль: зачѣмъ мы сошлись и полюбились другъ другу? Можетъ быть изъ этого не выйдетъ ровно ничего; зачѣмъ же я мучусь; зачѣмъ неиду теперь въ городъ? Зачѣмъ я не могу вотъ даже теперь выйти отсюда?

— Вы скоро въ Егорьевскъ ѣзжаете?—спросила его вполголоса Анисья Осиповна.

— А вы почему это знаете?—спросилъ онъ съ красными щеками.

— Даша сказывала.

— Не знаю. Можетъ быть и скоро.

— Вы подождите исхода. Докторъ говоритъ, что Даша можетъ выздороветь. Вамъ пріятно будетъ видѣть ее здоровой?

— Всякому человѣку пріятнѣе видѣть здороваго.

— А по моему еще пріятнѣе ухаживать за больнымъ, чтобы сдѣлать его здоровымъ. А я вотъ замѣчаю, что вы пробывъ здѣсь впервые не больше часу, а ужъ вамъ надобно.

— Неправда. А если я не сижу тамъ около нея, какъ потому, что на это не имѣю права; меня вы же выгнали бы. Это разъ. Другое, я не такъ близокъ съ ней, какъ вы.

— Кузьма?—сказала Дарья Андреевна и заметалась.

Анисья Осиповна погрозила Василию Мироничу, чтобы онъ молчалъ или уходилъ бы прочь и кое-какъ успокоила больную. Прошло полчаса. Въ церкви зазвонили въ Достойно. Вдругъ послышались колокольцы и черезъ нѣсколько минутъ въ комнату больной вошелъ Кузьма Андреичъ, высокій, худощавый 17-лѣтній мальчикъ, съ красивымъ лицомъ, черными глазами и черными длинными волосами. Онъ былъ въ сюртукѣ.

Онъ тихонько подошелъ къ кровати, кивнулъ головой Анисѣ Осиповнѣ и Василию Мироничу.

— Вы Кузьма Андреичъ, если не ошибаюсь?

— Да; а вы?

— Я? Ужели забыли Анисью Осиповну?.. Ради Бога, не подходите близко...

— Что съ нею?

— Горячка.

Кузьма Андреичъ печально посмотрѣлъ на сестру и отвелъ Анисью Осиповну въ сторону.

— Скажите пожалуйста: отъ чего умеръ отецъ?

— Богъ его знаетъ. Говорятъ, что у него была пьяная горячка, и его нужно было лечить холодной водой и давать лекарство, чтобы онъ заснулъ, а Осипъ Андреичъ распорядился истопить баню. Въ банѣ онъ и умеръ.

— Вася! Вася!.. зачѣмъ ты грому боишься...—проговорила больная, глядя въ потолокъ.

— Бредитъ. А это кто?—спросилъ Кузьма, указывая на молодого Иванова, который при восклицаніи Дарьи Андреевны поблѣднѣлъ.

— Это сынъ Иванова. Какъ вы право скоро всѣхъ перезабыли.

— Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Онъ случайно зашелъ; вашъ братъ пригласилъ его подавать кушанья.

Кузьма Андреичъ ушелъ.

— Пойду и я въ кухню,—сказалъ обиженно Ивановъ.

— Тамъ лучше? А! вы обидѣлись, что франтикъ не поздоровался съ вами? Это не хорошо.

— Обидно видѣть мальчишку, который корчитъ изъ себя барина и прежнихъ друзей не узнаетъ.

— Я не думала, что вы такой мелочной человѣкъ. Однако вамъ пора идти готовить.

Ивановъ ушелъ.

Горе Марины Осиповны еще болѣе увеличилось утромъ на другой день, когда она припомнила вчерашнія событія. Событія эти тяжелы и не для одного человѣка: жить человѣкъ съ нами, составляя звено семейства, никому не мѣшалъ, и вотъ его закидали землей, могильщики безъ всякаго сожалѣнія и уваженія къ трупу ногами стали утаптывать землю. Никогда ужъ этотъ человѣкъ не воротится, никогда не услышится его словъ, крика, брани, хохота; ужъ теперь онъ не утѣшитъ семью прибавкою жалованья, полученіемъ должности, подаркомъ женѣ, дочери или сыну. Никому ужъ онъ не сдѣлаетъ теперь зла и никому не погѣшаетъ. До обѣда и во время обѣда за упокой Андрея Ивановича и пожеланіе ему царства небеснаго многими выпито было очень много водки, такъ что послѣ обѣда обѣдавшіе дошли до такого безобразія, что чуть не разодрались и не перебили посуду, стѣлы и стекла въ окнахъ. Приличнѣе вели себя тѣ, которые, какъ наприимѣръ судья, исправникъ и пр., часто посѣщали Андрея Ивановича; безобразничали же тѣ, которые никогда у него не бывали. Положимъ, что эти гости, напившись и напившись до-сыта въ большой компаніи, за однимъ столомъ съ начальствомъ, совсѣмъ подъ конецъ обѣда позабыли, что они не въ гостяхъ, а на поминкахъ; положимъ, что отъ выпитой въ большомъ количествѣ водки, у нихъ явилась храбрость никого не бояться, не признавать никакихъ авторитетовъ, которые могутъ и долж-

когда-нибудь подвергнуться сѣдѣнію червей, подобно Андрею Ивановичу; положимъ, что они, одурѣвшіе отъ водки, считали себя вправѣ ронять на полъ тарелки, какъ прибрѣтенныя кривымъ путемъ; но во всемъ этомъ Марина Осиповна видѣла, какъ дѣлается человекъ ничтожнымъ, когда умереть. Изъ обращенія множества гостей она замѣтила натянутость, точно ей хотѣли сказать: ты теперь вдова, ничто. Но не это ее мучило. Ее мучилъ пріѣздъ Кузьмы Андренича и предчувствіе чего-то недобраго. Съ самаго появленія его въ церкви и кончая вечеромъ, она была сама не своя, точно за нею кто-то подсматривалъ; ее неизвѣстно почему мучила совѣсть, она считала себя виноватою, но въ чемъ — она не могла додуматься. Кузьму никто не звалъ. Правда, Осипъ Андреничъ писалъ Ипполиту Аполлоновичу о смерти Андрея Ивановича, но о Кузьмѣ и помину не было. Онъ говорилъ вчера прямо за обѣдомъ при всѣхъ, что онъ больше не хочетъ жить у Платоновыхъ, не будетъ и учиться, а поступитъ на службу въ казенную палату, гдѣ есть двѣ свободныя писцовскія вакансіи съ девятирублевымъ жалованьемъ. Положимъ, думала Марина Осиповна, онъ не будетъ учиться, и стало быть, не станетъ требовать денегъ на книги, за ученіе и на одежду; но не будетъ ли онъ ввязываться въ ея управленіе домою и имуществомъ? Не захочетъ ли онъ, какъ братъ ея дѣтей, требовать отчетовъ отъ нея? Онъ и теперь считаетъ ее за какую-то постороннюю женщину въ домъ; говорить нехота — важно, смотреть восо, свысока, да и другимъ оказываетъ какое-то пренебреженіе.

Марина Осиповна стала перебирать ложки, ножи и вилки, и все, что получше, положила въ шкатулку, намѣреваясь отнести ее послѣ чая къ отцу.

Между тѣмъ братья, спавшіе вмѣстѣ, проснулись рано. Поговоривъ о службѣ, о Платоновыхъ и дядѣ, Кузьма сказалъ брату:

— Вамъ бы, братецъ, не слѣдовало уважать такъ рано.

— А что?

— Надо бы повѣрить имущество, составить опись.

— Ну, вотъ еще глупости!

— Нѣтъ, не глупости. Вы теперь конечно въ полученіи съ дома доходовъ не нуждаетесь.

— Оно бы конечно, получать не мѣшало, потому что у меня своя семья. Но вась много... я пожалуй и откажусь.

— А я отъ своей доли отказаться не могу, потому что я еще несовершеннолѣтній. Когда я буду совершеннолѣтній и стану занимать должность, тогда и я откажусь въ пользу малолѣтнихъ.

— Только едва-ли вы получите много съ дому. Лучше бы его продать.

— На это я несогласенъ, да и едва-ли другіе согласятся, потому что за домъ здѣсь едва-ли кто дастъ тысячу рублей, а его можно отдать подъ построй. Я слышалъ, здѣсь больницу хотятъ устроить. Но я говорю вовсе не о домѣ, а о вещахъ. Вѣдь у папашы серебра много осталось.

— Но я не думаю, чтобы то серебро, которое было вчера, принадлежало одному отцу. Вѣдь было шесть-ть-семь человекъ.

— А я знаю, что это папашино.

— Почему ты знаешь?

— У меня есть доказательства. Послѣ смерти первой махики осталась шкатулка. Эту шкатулку взяла себѣ Даша и клала туда лоскутки. Какъ-то передъ отъѣздомъ въ Егорьевскъ я былъ дома одинъ и перебиралъ въ этой шкатулкѣ лоскутки. На днѣ, подъ толстымъ листомъ бумаги, я нашелъ нѣсколько писемъ и полъ-листа бумаги, на которомъ было написано что-то похожее на вѣдомость. Я эти бумаги взялъ и спряталъ, но не понималъ, что на полъ-листѣ былъ написанъ махиной подробный счетъ платьямъ, посудѣ и серебру, и съ тѣхъ поръ я часто читаю письма, къ ней писанныя родными, и этотъ счетъ.

— Это интересно. Онъ у тебя?

— У меня.

Кузьма досталъ изъ чемоданчика книжку и изъ нея вытащилъ засаленный и замаранный полудлистый листъ бумаги. Осипъ Андреничъ стоя читалъ.

— Однако у отца-то много было въ то время добра... Э-э! — да она и меня не забыла пропустить: „дано Осипу въ день его свадьбы поддюжины серебряныхъ ложекъ чайныхъ, столько-же столовыхъ; Катеринѣ въ приданое по дюжинѣ ножей и вилокъ, по поддюжинѣ серебряныхъ ложекъ, чайныхъ и столовыхъ“. Однако хорошо она сестеръ одѣлала... А отецъ-то ея — протопопъ Третьяковъ не очень-то много далъ ей. „Мною принесено въ приданое: 12 столовыхъ серебряныхъ ложекъ, 12 серебряныхъ чайныхъ, поддюжины серебряныхъ бокаловъ, два мѣдныхъ самовара...“

— Когда нынче зимой отецъ былъ въ Егорьевскѣ, то онъ купилъ дюжину чайныхъ позолоченныхъ ложекъ.

— Ну, а ихъ что-то не видалъ... А въ самомъ дѣлѣ, Кузьма, не мѣшаетъ намъ потребовать отъ махики описи. Намъ съ тобой конечно не надо серебра, а вотъ — у насъ есть сестры, ихъ обижать грѣхъ... Теперь меня беретъ сомнѣніе: бокаловъ я не видалъ, а къ чаю даются, когда нѣтъ гостей, ложки польскаго серебра, изъ такихъ же ложекъ мы хлебемъ и во время обѣдовъ. Я махику знаю; она женщина хитрая. Отца нѣтъ, контроля тоже, — она насъ не очень-то любитъ, особенно тебя и Дашу; пожалуй Дашѣ она и ничего не дастъ.

— Вотъ поэтому-то я и прошу васъ настоять на описи.

— Но какъ приступить? Неловко.

— Позвать члена отъ дворянской опеки; проверить съ этимъ счетомъ.

— Какой ты злой!

— Тутъ не злость, а справедливость.

— Нѣтъ; зачѣмъ заводитъ неприятности. Мы лучше домашнимъ образомъ. Вотъ соберемся всѣ за чаемъ и попросимъ написать, что у нея есть, и потомъ распредѣлимъ, кому что слѣдуетъ. Жаль, что Даша нездорова.

Подъ влияніемъ предшествовавшихъ дней и преимущественно вчерашняго всѣ собравшіяся въ столовую къ чаю лица имѣли грустный видъ. Всѣ молчали, потому что Марина Осиповна сидѣла, упершись

на руки, какъ убитая великимъ горемъ; изъ другихъ комнатъ слышался плескъ, журчанье и илдепанье — тамъ мыли полы. Даже Владиміръ съ Евлашіей сидѣли смирно, поглядывая неопредѣленно то на мать, то на Кузьму, то на Осипа Андреевича.

— Не знаю, право, сколько заплатить Зеленихъ и Ивановой, — сказала какъ будто про себя Марина Осиповна.

— Что-жъ имъ платить! Если онѣ готовили кушанья, то вѣроятно ѣли какъ никогда. Онѣ должны быть и за это благодарны. А за мытье половъ можно дать и по десяти копѣекъ каждой, — сказала Марья Антоновна.

— Я думаю дать имъ холста; у меня есть старое, оно уже нигуда не годится.

— И прекрасно. А лошадь, я думаю, Ося, намъ не мѣшало бы купить.

— Пожалуй. Только она плохая. Ну, да это ничего; въ сѣлѣ, на вольномъ корму, откормится. Вовокъ я тоже непременно возьму. Папаша сказывалъ, что онъ заплатилъ за него тридцать рублей, но я пожалуй дамъ десять, потому что много на починку выдѣтъ.

— Вамъ, мамаша, будетъ и одной коровы. Подарите мнѣ другую, — сказала Марья Антоновна.

— Нѣтъ, я ее и не продамъ даже. Покойный говорилъ, что онъ ее дастъ въ приданое Марѣ Андреевнѣ. А вотъ ужъ если дѣло дошло до продажи и дѣлежа вещей покойнаго, то я думаю, садъ бы можно продать не весь, а по уголку. Та часть совсѣмъ лишняя.

— Но кто же его купить? Къ тому же какъ домъ, такъ и садъ теперь принадлежать дѣтямъ папашы. Старшіе же братья и сестры наши живутъ въ разныхъ мѣстахъ, и если не будутъ требовать своихъ долей съ доходовъ, то, въ случаѣ продажи дома или мѣста, потребуютъ свои части... — сказалъ Осипъ Андреевичъ.

— Эдакъ мнѣ ничего не достанется.

— Вамъ придется только седьмая часть.

— Мало же я заслужила! — и Марина Осиповна заплакала. Всѣ замолчали.

— Мамаша! Вы отдайте мнѣ халатъ папашинъ. Современнѣе я выплачу деньги за него, — сказалъ Кузьма Андреевичъ.

— Что вы, Господь съ вами! Вѣдь Андрей Ивановичъ въ немъ въ баню ходилъ; его мертваго въ халатѣ принесли, — проговорила съ ужасомъ Марина Осиповна.

— Я не трусливъ.

— Но я ужъ его отдала Трифону.

— Напрасно. Халатъ, я думаю, стоитъ рублей десять. А сапоги тоже подарилъ?

— Сапоги я отдала Митроху Иванову.

— Чтобы онъ ихъ пропилъ?

— Онъ не пьяница, — замѣтилъ Осипъ Андреевичъ.

— И молодому Иванову тоже дали что-нибудь? — опять спросилъ Кузьма Андреевичъ.

— Неужели, по вашему, я все негодное должна держать въ комнатахъ? — обидѣлась Марина Осиповна.

— Я не думаю, чтобы у папашы было что-нибудь

негодное; напротивъ тѣмъ, что унести этотъ мѣшаниншico, могъ бы пригодиться для кого-нибудь и почище его.

— Не мнѣ ли это?

— Полно тебѣ, Кузьма! Ты еще мальчишicъ молодой, а суешься не въ свое дѣло, — сказалъ Осипъ Андреевичъ и всталъ.

— Нѣтъ, мое дѣло и ваше дѣло. У насъ еще двѣ сестры на возрастѣ, потомъ Володя и Евлаша маленькіе, — горячился Кузьма.

— И тебя не спросать, какъ устроить ихъ судьбу, — сказалъ сердито Осипъ Андреевичъ.

— Я требую, чтобы всему имѣнію, особенно серебру, была сдѣлана опись пока мы здѣсь.

Всѣ пришли въ ужасъ; у всѣхъ языки оцѣпенѣли. Марину Осиповну точно обухомъ ударило по головѣ.

— Дуракъ, братъ, ты и больше ничего, — сказалъ Осипъ Андреевичъ не своимъ голосомъ.

— Какъ вы учтивы, молодой человѣкъ! — сказала Марья Антоновна.

Марья Андреевна отъ испуга заплакала.

Марина Осиповна встала, выпрямилась и съ волненіемъ проговорила:

— Покорно благодарю, Кузьма Андреевичъ! Покорно благодарю! Чужіе люди выучили васъ добру — нечего сказать... выучили... Что вы, грабить меня намерены, что ли? Что же вы молчите?.. Безсовѣстный вы, безсовѣстный.

— Дайте намъ опись...

— Хорошо!! Осипъ Андреевичъ! Марья Антоновна! Марья Андреевна! пожалуйста... Я все покажу... Володя и Евлаша... бѣдные мои! — проговорила рыдая Марина Осиповна и пошла изъ столовой.

— Скотина ты, Кузьма! Помни ты все это, слышишь!! — проговорилъ угрожающимъ голосомъ Осипъ Андреевичъ.

— Вы отступитесь? — спросилъ брата Кузьма и всталъ.

— Убѣжай-ка, братъ, лучше туда, откуда пріѣхалъ, — и Осипъ повернулъ брата къ двери.

— Хорошо!

И Кузьма Андреевичъ ушелъ изъ дому.

Долго онъ бродилъ по набережной, стараясь провѣтриться и настроить свои мыслы на надеждамъ. Сперва онъ находилъ, что поступилъ честно и благородно; требовалъ онъ не за себя, а за безсловесныхъ сестеръ, которыхъ мачиха могла обидѣть всегда, особенно Дарью, которую онъ очень любилъ и болѣзнь которой относилъ къ вліянію мачихы; потомъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что онъ погорячился и ему нужно бы было выжидать. Но и тутъ показалось, что мачиха могла уже все цѣнное запрятать для себя заблаговременно и поступокъ Осипа Андреевича оказался ему нехорошимъ. Впрочемъ, отъ Осипа онъ и не ждалъ защиты, такъ-какъ тотъ и прежде не любилъ его. Пошелъ онъ къ судѣ, какъ уѣздному предводителю дворянства, попросилъ его сдѣлать опись имѣнію, но тотъ отказался подѣлать предлогомъ, что его заявленіе, какъ заявленіе одного члена и притомъ несовершеннолѣтняго, ничего не значитъ; что же касается до части доходовъ съ дома, то онъ будетъ наблюдать за этимъ. Когда Кузь-

на сталъ возражать, судья рѣзко замѣтилъ ему, что онъ еще слишкомъ молодъ, чтобы учить людей старше его.

Послѣ обѣда Кузьма Андренчъ уѣхалъ на пароходѣ въ Егорьевскъ, оставивъ мачиху больною въ постели.

Осинъ Андренчъ тоже уѣхалъ домой, а жена его съ дѣтми осталась ухаживать за больной Мариной Осиповной.

Домъ Яковлева превратился въ больницу.

#### XIV.

Прошло двѣ недѣли.

Марина Осиповна пролежала только двое сутокъ, а Марья Антоновна прожила у нея съ недѣлю, но ей жизнь въ Ильинскѣ такъ опротивѣла, что она рѣшилась съѣздить поразвлечься въ Егорьевскъ, куда и уѣхала, оставивъ у Марины Осиповны дѣтей. Дарья Андреевна начинала выздоравливать, но поправлялась медленно; Анисья Осиповна уже не находила надобности постоянно дежурить при больной и только ежедневно просиживала у нея часа по два, по три. Марья Андреевна скучала, сидѣла молча, вздыхала и часто плакала. Ея женихъ Павловъ пересталъ ходить къ ней, а отъ Зеленихи она узнала, что онъ ходитъ въ домъ состоятельнаго помѣщика Акулова и по всей вѣроятности женится на его единственной дочери, ежели только не воспрепятствуетъ мать невѣсты. Марина Осиповна это тоже узнала и сообразивъ, что теперь на ея шеѣ находятся двѣ дѣвочки, измѣнила и съ нею прежнія дружескія отношенія.

— Что же вы все это сидите безъ дѣла, точно женишка ждете? Не утѣли хорошенько обходиться съ нимъ, вотъ онъ и не ходитъ, — сказала она однажды Марьѣ Андреевнѣ.

— Виновата развѣ я, мамаша?

— Вы только хохотать умѣете да наряжаться не къ лицу. Ну, что вы теперь будете дѣлать? На что вы способны?

— Ну, чѣмъ же я виновата! Господи! — И она заплакала.

— Вотъ глупая-то дѣвица! — сказала Марина Осиповна и ушла. Марья Андреевна ушла въ дѣтскую, гдѣ Дарья Андреевна сидѣла на кровати и разсматривала вязанье Анисьи Осиповны.

— Ахъ я несчастная, несчастная... — зарыдала Марья Андреевна.

Дарья Андреевна и Анисья Осиповна взглянули на нее, но ничего не сказали. Анисья Осиповна тоже знала объ охлажденіи къ Марьѣ Андреевнѣ ея жениха и сообщала объ этомъ своей подругѣ. Дарья Андреевна уже много знала, но отъ нея еще скрывали смерть отца, а говорили, что онъ уѣхалъ, неизвѣстно зачѣмъ, въ Егорьевскъ.

— О чемъ это вы, Марья Андреевна, плачете? Вѣдь вы скоро замужъ пойдете, — сказала съ улыбкой Анисья Осиповна.

— Охъ! Несчастная я...

— Да въ чемъ дѣло, Маша? — спросила сестру Дарья Андреевна.

— Подлецъ Павловъ... охъ... Вчера встрѣтился

со мной и не кланяется. Я ему говорю: „спѣсьмы стали. Другую, моль, вѣрно невѣсту нашли“. А онъ — „ну, хоть бы и такъ!“, говоритъ.

— Стоитъ объ чемъ печалиться! Вѣдь онъ пьяница, и ты знала это. Неужели тебѣ пріятно жить съ пьяницей? — говорила Дарья Андреевна.

— Да теперь... начиха...

Анисья Осиповна взглянула на нее и приложила палецъ къ губамъ. Марья Андреевна вышла.

— Ты что-то скрываешь, кажется? — спросила Анисья Осиповна Дарья Андреевна съ полусмущеніемъ.

— Какая ты нынче недоуврчивая стала. Все дѣло въ томъ, что Марина Осиповна теперь грѣзетъ ее за то, что она только весь день наражается и торчитъ въ бесѣдкѣ, а Павловъ не ходитъ. А ты знаешь, что Марья Андреевна не спуститъ. Ну, вотъ у нихъ ссоры и драки; я думаю, что у Марьи Андреевны порядочно выдергано волосъ.

— Что же это папаша не ѣдетъ?

— Я слышала, что онъ захворалъ тамъ.

Дарья Андреевна легла и долго молчала. Анисья Осиповна развлекала ее часа два и ушла, когда она заснула.

— Пожалуйста, Марина Осиповна, ты не говори Дашѣ объ Андрѣ Ивановичѣ. Она еще слаба и не вынесетъ пожалуй. Я ей сказала, что отецъ боленъ, и едва-едва успокоила. Послѣ, какъ совсѣмъ выздоровѣетъ, тогда можно сказать прямо да и къ тому времени она много передумаетъ и ей не такъ тяжело будетъ услышать грустное извѣстіе, — просила Анисья Осиповна сестру.

— Сказать придется пожалуй скоро, потому что завтра суды наши съѣзжаютъ отъ насъ. Она услышитъ возню, — сказала Марина Осиповна.

— Ну, а завтра приду пораньше.

Подошедши къ своему дому, Анисья Осиповна увидала у подъѣзда солдата съ ружьемъ, ходящаго отъ подъѣзда до угла. Въ прихожей наверху тоже сидѣлъ солдатъ. Анисья Осиповна испугалась.

Вѣра Петровна плакала, а Викторъ Осиповичъ, лежа на диванѣ, хладнокровно курилъ сигару.

— Что такое, мамаша? — спросила Анисья Осиповна Вѣру Петровну.

— Охъ! — только сказала Вѣра Петровна и развела руками, продолжая плакать.

— Отца арестовали, — сказалъ Викторъ Осиповичъ съ неудовольствіемъ.

— Гдѣ отецъ?

— Тамъ — Викторъ Осиповичъ указалъ на дверь, ведущую въ другія комнаты и въ кабинетъ Зиновьева.

Анисья Осиповна ушла въ кабинетъ.

Осипъ Флорычъ лежалъ на кровати въ кафтанѣ и смотрѣлъ въ потолокъ.

— Долго ли ты станешь шататься изъ дому? Сколько времени ходишь и не могла меня до сихъ поръ предупредить, что противъ меня каверы затѣваются, — проговорилъ сердито Осипъ Флорычъ.

— Я ничего не слыхала, я постоянно съ Дашей была.

— У васъ всегда отговорки. Вы рады, что отецъ

погибаетъ. Вонъ тамъ солдаты поставили, да это пустяки, они меня не проведутъ. Онъ всталъ и началъ ходить покомнатѣ.

— Дочь, ты любишь меня?—спросилъ онъ вдругъ дочь.

— Вы знаете, что я васъ люблю.

— Ну, этого незачѣтно; а вотъ я тебя люблю... только ты этого не чувствуешь. Сядь сюда.

Онъ сѣлъ въ кресло и, подвинувъ стулъ для дочери, началъ шопотомъ.

— Меня обвиняютъ въ сокрытіи какого-то убійства. Навзадъ тому пять лѣтъ нашли на дорогѣ убитымъ одного мѣщаниншика. Этотъ мѣщанинъ хотѣлъ на меня донести, что я муку поставлю съ пескомъ. Экую новость открыли! Всѣ это знали, и я это грѣхотъ не считаю, потому что приемщики по закону должны отвѣчать; а мнѣ денежку плачу. А мѣщанинъ этотъ былъ золъ на меня за то, что я отказалъ ему отъ службы: вотъ онъ и сталъ наговаривать на меня всѣмъ, что я воръ и прочее. А тутъ я узналъ, что онъ намѣревается идти въ Егорьевскъ жаловаться на меня по начальству. И какая же онъ шельма! стали складывать кули на телеги, а онъ трется около магазиновъ, а потомъ я узналъ стороной, что онъ хочетъ идти слѣдомъ за возами... Разумѣется, я сказалъ молодцамъ, чтобы они опасались мѣщанина, а въ случаѣ чего, такъ и...

— Неужели?—съ ужасомъ перебила дочь.

— Молчи, я не приказывалъ того.. Только вышло, что дорогой приказчикъ поспорилъ съ нимъ, потомъ наполнилъ въ кабацкѣ водкой, усадилъ его на возъ, онъ слетѣлъ съ возу и расшибся. Тѣмъ дѣло и кончилось. Сказали на слѣдствіи, что самъ убился; на слѣдствіи былъ и стряпчій, и лекаръ— все какъ слѣдуетъ. Приказчикъ этотъ померъ, только передъ смертью чортъ его угораздилъ сказать жентѣ, что онъ мѣщанина зарубилъ и будто приказалъ я... Жена молчала долго; потомъ, когда ей нечего стало жрать, она и стала требовать отъ меня денегъ. Я не сталъ давать — съ какой стати! Вотъ она и донесла на меня, только успѣла ужъ вздохнуть. Теперь и стали меня подозревать, не я ли отправлялъ ее. Чиновникъ, что былъ на похоронахъ у Яковлева, ужъ давно присылалъ мнѣ какія-то бумаги по этому дѣлу, но я отвѣчалъ, что это дѣло ужъ кончено; онъ требовалъ меня къ себѣ; я ему далъ денегъ — онъ взялъ, а вчера прислалъ мнѣ двѣ тетрадки: въ одной спрашивается, на какой предметъ я далъ ему пятьсотъ рублей, не хотѣлъ ли я подкупить чиновника, а въ другой такая чепуха, страсть! Только есть въ этой тетрадкѣ такой вопросъ: знакомъ ли я съ канцеляристомъ Петровымъ и не давалъ ли ему порученій...

— Гдѣ этотъ Петровъ?

— Здѣсь живетъ — пьяница. Онъ писалъ Соломкиной прошеніе и пилъ съ ней въ кабацкѣ водку. Отъ водки она и померла... И эта бестія теперь говоритъ, что онъ будто получилъ отъ меня какой-то порошокъ и думалъ, что соль, взялъ да и всыпалъ его въ рюмку пьяной Соломкиной.

Дочь сидѣла блѣдая; ее пробирала дрожь.

— Ты не бойся, противъ меня нѣтъ никакихъ

уликъ и я ни въ чемъ не виноватъ. Вотъ тебѣ пакость. Мнѣ хранить его нельзя, потому что меня совсѣмъ подрѣзали на подрядахъ; за мной считаютъ какіе-то долги... Теперь я бѣдный... Здѣсь все... Раздѣлите все вѣстѣ...

Въ кабинетъ заглянулъ солдатъ и унтеръ-офицеръ.

— Это они смотрятъ, тутъ ли я.

— Что жъ я буду дѣлать съ конвертомъ?

— Спрячь до поры до времени, а мнѣ держать негдѣ. Меня, можетъ быть, и обыскивать будутъ.

Анисья Осиповна заплакала; но въ кабинетъ вошелъ чиновникъ особыхъ порученій, стряпчій и депутатъ отъ купечества; Анисья Осиповна велѣла выйти. Когда она вышла изъ кабинета, то наткнулась на Вѣру Петровну, которая намѣревалась стать у двери и слушать, о чемъ будутъ говорить вошедшіе туда.

— Что тебѣ говорилъ Осипъ Флорычъ?—спросила она Анисью Осиповну.

— Особеннаго ничего... Пойдешь же туда, въ комнаты.

— Я хочу послушать.

— Нехорошо. Еще кто-нибудь отворитъ дверь и замѣтитъ васъ.

Анисья Осиповна не знала, что ей дѣлать съ пакетомъ. Отдать ли его теперь начихъ или куда-нибудь спрятать. Но если отдать, то начиха пожалуй забудетъ спрятать его, и тогда Викторъ Осиповичъ можетъ утащить его; спрятать некуда, потому что могли пожалуй сдѣлать обыскъ и у нея. Посоветоваться съ Вѣрой Петровной Анисья Осиповна считала бесполезнымъ на томъ основаніи, что отъ нея прежде трудно было добиться какого-нибудь дѣльнаго совѣта. Она рѣшилась сходить къ протопопу Третьякову.

Сергій Ивановичъ сидѣлъ у окна въ средней комнатѣ съ обклеенными обоями стѣнами, на которыхъ висѣли зеркала и картины, изображающія архіереевъ и генераловъ; полъ устланъ коврами, на окнахъ и у оконъ стоятъ цѣнты, а вдоль стѣны, выходящей на улицу, по потолку тянется плющъ; около дверей тоже тянется по палочкамъ плющъ. Здѣсь много мебели, такъ что хотя въ комнатѣ и три окна, но она кажется небольшою, въ ней пахнетъ чѣмъ-то похожимъ на ситѣсь резеды съ ладономъ, въ ней немножко темно, скучно и замѣчается отсутствіе жизни. Сергій Ивановичъ сидѣлъ у окна въ свѣромъ старомъ подрясникѣ и читалъ книгу, причемъ на носу его торчали очки въ мѣдной оправѣ.

— Анисья Осиповна!.. Какими это судьбами?—проговорилъ старикъ, увидя вошедшую дѣвушку, всталъ, подошелъ къ ней и по обыкновенію перекрестилъ.

— Садись! садись... Татьяна Федоровна!..—суетился старикъ, держа въ одной рукѣ очки.

— Вы не суетитесь, дѣдушка, ничего не надо.

— Ну, какъ! Я еще самъ не пилъ чаю. Ну, какково здоровье вашихъ? Какъ моя Дашечка поправляется?

— Даша поправляется.

— Слава Богу, слава Богу. Я было побавался—какъ бы она да не умерла безъ покаянія. Ну, а отъ...

— Ахъ, дѣдушка, бѣда случилась съ нами.

— Слышалъ. Говорать, караулъ приставили.

— Да. Нельзя ли, дѣдушка, сдѣлать такъ чтобы не было этого караула?

— Я съѣзжу къ этому чиновнику, попрошу его... Я еще не знаю подробно, въ чемъ дѣло.

— Онъ мнѣ кое-что сказалъ. — И Анисья Осиповна передала старику рассказъ отца и отдала ему папѣтъ.

— Эхъ Осипъ, Осипъ!.. Да, дѣло плохое, если пойдетъ по нынѣшнимъ порядкамъ. Нехорошо.

— Что же ему сдѣлають?

— Могутъ много худого сдѣлать, если только онъ не вывернется... Ты пойдѣ къ Татьянѣ Федоровнѣ, скажи, чтобы она велѣла Андрею закладывать лошадь.

Татьяна Федоровна сидѣла въ комнаткѣ, выходящей во дворъ, у окна, которое было отперто. Она вязала чулокъ, передъ нею на столѣ открытая книжка, которую она впрочемъ не читала, а смотрѣла въ окно на курницъ и индѣекъ, часто вскрикивая на нихъ. Она разспросила о здоровьѣ Яковлевыхъ и ея отца, спросила о причинѣ ареста Осипа Флорича и замолчала. Когда уѣхалъ протопопъ, сдѣлалось такъ скучно, что еслибы не дѣло отца, то Анисья Осиповна убѣжала бы. Вообще Татьяна Федоровна женщина неразговорчивая да и едва-ли могла о чемъ-нибудь кромѣ хозяйства думать. Анисья Осиповна заводила разговоръ съ разными предметами, но Татьяна Федоровна или охала, или смотрѣла въ окно. Посидѣла Анисья Осиповна съ четверть часа около молчаливой старушки, и это время показалось ей часомъ. Невозмутимость и апатія старушки какинь-то холодомъ вѣвали на Анисью Осиповну и она думала: „неужели подъ старость и я буду такая? Отчего это произошло въ ней?..“. А довело Татьяну Федоровну до такого состоянія множество причинъ. Ей какъ-то удалось прожить многолѣтъ не полюбивъ мужчинъ, приходилось заводить счастье женщинъ, радоваться горю женъ. Потому пошли разными потери; подруги умирали, она старѣлась, ей оставалось мѣрно кончать свою жизнь. Ей не нравились развлечения, она полюбила однообразіе, сдѣлалась молчалива и все ея соображеніе шло на заботу объ экономіи; когда же, во время болѣзни, ей приходила мысль о смерти, тогда она все земное считала прахомъ, но у здоровой жадность къ деньгамъ, къ скопленію бездѣлушекъ и скупость—составляли для нея наслажденіе. Анисья Осиповна ушла въ залу, гдѣ прежде сидѣлъ Сергѣй Ивановичъ; взяла-было со стола книгу, которую читалъ протопопъ, и положила назадъ. Походила по комнатѣ,—скучно, тяжело, тихо такъ, что изъ другой комнаты слышно тиканье часовъ. Встала она у окна и задумалась; ей стало грустно, сердце ея щемило, къ глазамъ подступали слезы. А на улицѣ было хорошо: небо голубое, чистое, заходящее солнце золотитъ стекла въ окнахъ, деревья кажутся ярче, чѣмъ днемъ, а бѣлые листья американскаго тополя такъ и блестятъ. На улицѣ жизнь: посреди дороги играютъ ребята, у домовъ сидятъ мѣщанки, перешагивають съ мѣста на мѣсто мужчины въ ситцевыхъ рубахахъ съ трубками въ зубахъ и безъ трубокъ; около нихъ бродятъ собаки, покачивая хвостами, кое-гдѣ по заплоту крадется къ воробышку котенокъ. За-то никто здѣсь

не пройдетъ. Всѣ рассуждаютъ громко, одни о дороговизнѣ, о безденежьи, другіе о слѣдствіи надъ Зинovieвымъ. Отовсюду слышится имя Зинovieва, приправленное различными чисто-русскими эпитетами... Голова закружилась у Анисьи Осиповны отъ людскихъ пересудовъ, которые даже и ее ни во что ставятъ; больно ей сдѣлалось, и она горько заплакала.

— Въ самомъ дѣлѣ, что мнѣ жить здѣсь? Поѣду куда-нибудь.

Но куда и зачѣмъ—она не могла придумать.

Пріѣхалъ протопопъ. Прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ.

— Дѣла—дѣла!—какъ сажа бѣла,—сказала онъ и сѣлъ.

— Что же. Нельзя, говорить, снять арестъ... Я сталъ просить, — умаливать — онъ меня стыдитъ. А потомъ сказалъ мнѣ: „некогда!“ и ушелъ. Грубинъ! каналья!—говорилъ задыхающимся голосомъ протопопъ. Успокоившись немного, онъ продолжалъ: — Поѣхалъ къ исправнику. Тотъ тоже въ печали. Плохо, говорить, будетъ всѣмъ. Отъ него я узналъ, что домъ отъ Осипа отберутъ за долги, а Маринѣ и дѣтямъ Яковлева пенсін не будетъ, потому что и покойный Андрей снова пританутъ къ суду.

— Что же мнѣ-то дѣлать, дѣдушка?

— Богу молиться надо—одно утѣшеніе. Я вотъ уже напишу Ипполиту Аполлоновичу, чтобы онъ тебѣ женишка пріискалъ. А такъ жить нельзя: въ пакетѣ, что ты отдала мнѣ на сохраненіе, вѣроятно сумма небольшая. Домъ отберутъ, такъ вамъ надо будетъ квартиру-то нанять. Ну, да я васъ пушу къ себѣ, только Виктора мнѣ не надо. Я уже поговорю кое-кому о томъ, чтобы его хоть въ приказчики взяли. Ты пила чай?

— Нѣтъ, благодарю... Мнѣ надо навѣстить Дашу.

Она ушла пѣшкомъ, не согласившись проѣхать въ дрожжахъ протопопа. Народъ, сидящій у своихъ калитокъ, уже вяло разговаривалъ, часто зѣвая; родители звали дѣтей домой съ бранью, потому что тѣ готовы были играть хотя бы всю ночь; кое-гдѣ появились караульные съ трещотками и толстыми палками въ рукахъ. И много пришлось Анисѣ Осиповнѣ услышать нелестныхъ замѣчаній и острогъ, отпускаемыхъ ей безъ всякаго стѣсненія какъ большіи, такъ и ребятами; и хотя она была дѣвушка нетрусливая, но у нея заболѣла голова; ей не вѣрилось, что она видитъ и слышитъ горожанъ, съ такимъ презрѣніемъ рассуждающихъ о ней; ей хотѣлось, чтобы все это, и разговоры, и ядовитыя улыбки, и насмѣшливые взгляды, и позы показались ей сномъ. Но это была дѣйствительность.

Вонъ и домъ видно; часовой ходитъ съ ружьемъ. Съ одной скамейки встаетъ лысый, худощавый мѣщанинъ съ жесткими черными руками. Бѣго пошатывается.

— Отстань,—унижаетъ его женщина.

— Знаю! — отвѣчаетъ онъ. И подходитъ къ Анисѣ Осиповнѣ.

— Наше почтеніе, барышня! Сорокъ-два съ кисточкой!—говоритъ онъ и протягиваетъ ей ладонь.

Анисья Осиповна хочетъ пройти.

— Заважничались, барышня, только не встать.

потому, значитъся, къ примѣру, съ тятенькой вашимиъ нехорошо.

— Отстань! Ты еще попадешься: развѣ не видишь, какая ему нонѣ честь — солдаты его стерегутъ,—говорить другой мѣщанинъ.

— Много вамъ, барышня, благодарны за гривенки, что вы съ вашей покойной мамашей помогали намъ. Только напрасно вы беспокоились, потому теперь, говорятъ, вамъ самимъ придется положить зубы на полку. Не разочли!

— Эка! Будто онъ не понимаютъ, что собрать съ насъ деньги — куды какъ легко, только исполнить то, на что капиталы собраны, труднѣе, чѣмъ подать милостыню.

— Да развѣ я виновата? Отецъ виноватъ, ему говорите!—сказала Анисья Осиповна со слезами.

— Оставьте ее!.. И впрямь она безвинна.

— Одного поля ягода.

На другой день весь Ильинскъ всполошился: Зиновьевъ убѣжалъ; Зиновьева не могли укараулить солдаты, и не выдали сторожившіе свои дома домовладыльцы. Народъ толпился передъ домомъ Зиновьевой, точно тамъ совершилось какое-то чудо. Всѣ дивились сметливости Зиновьевой и никакъ не могли рѣшить, куда онъ могъ уйти изъ такого небольшого города; но были и такіе, которые не вѣрили, чтобы Зиновьевъ могъ уйти изъ города, а утверждали, что онъ гдѣ-нибудь спрятался. Начальство тоже всполошилось; обыскало оно домъ какъ Зиновьева, такъ и Яковлева, обыскало почти всѣ сады въ городѣ, амбары, шныряло въ проходахъ между кладью—нигдѣ нѣтъ Зиновьевой. Тогда еще въ Ильинскѣ не было телеграфа, поэтому посланы были гонцы по всѣмъ дорогамъ, и съ трактовой узнали, что Зиновьевъ уѣхалъ на почтовыхъ въ Егорьевскъ. Черезъ недѣлю получено и изъ Егорьевска извѣстіе, что Зиновьева на другой день послѣ исчезновенія его изъ Ильинска многіе видѣли, и онъ даже былъ у Ипполита Аполлоновича; потомъ онъ, какъ ключъ, словно въ воду утонулъ.

Одна только Анисья Осиповна видѣла, какъ онъ спускался внизъ изъ столовой, изъ которой былъ сдѣланъ ходъ въ кухню. Онъ былъ въ тепломъ кафтанѣ, въ теплой фуражкѣ, подъ лѣвой мышкой у него былъ сакъ-воажъ, а въ правой рукѣ онъ держалъ трость съ стальными набалдашниками. Это было часу во второмъ ночи, когда въ домѣ спали всѣ, даже и часовой, сидѣвшій въ прихожей, только одна Анисья Осиповна не спала. Спальня находилась рядомъ со столовой, и поэтому она, услышавъ шорохъ, вышла со свѣчей въ столовую.

— Вы куда, папаша?—спросила она отца шопотомъ отъ испуга.

— Въ садъ,—отвѣчалъ онъ.

— А сакъ-воажъ?

— Молчи!..

И онъ, погрозивъ ей палкой, спустился внизъ.

Въ кухнѣ никого не было, потому что кучеръ еще вечеромъ увезъ, при смѣхѣ и остротахъ мѣщанъ, возокъ за городъ въ кузницу, чтобы починить одно ко-

лесо, и затѣмъ не являлся ни съ возкомъ, ни съ лошадьми, а кухарка спала въ сѣняхъ. Слышала Анисья Осиповна, какъ отецъ отпиралъ въ кухнѣ окно, потомъ заперъ его; слышала, какъ залаяла-было собака, но скоро затихла; а по скрипу двери, ведущей въ огородъ она поняла, что онъ ушелъ въ садъ. Но на сиромы слѣдователя она сказала, что спала и хватилась отца утромъ. Стали искать кучера и нашли въ селѣ, недалеко отъ Егорьевска. Но и онъ отоввался незнаніемъ; кузнецъ-же показалъ, что у кузницы дѣйствительно стоялъ возокъ и были привязаны двѣ лошади Зиновьева; потомъ и кучеръ Зиновьева куда-то исчезъ и больше не являлся, а ночью и возокъ съ лошадьми укралъ кто-то.

## XV.

Прошло еще двѣ недѣли. Къ началу третьей Дарья Андреевна уже настолько выздоровѣла, что стала выходить изъ дому. Теперь она уже знала о смерти отца; сперва конечно поплакала, но потомъ успокоилась. Теперь она была свободна, задерживать дольше ее здѣсь некому, но у нея явилась робость вслѣдствіе неокрѣпшаго еще организма. „Я слаба, передо мною открывается широкая дорога—иди хоть куда, но вынесу ли я трудовую жизнь?“. Ей думалось, что прежде ей дѣйствительно не предстояло надобности жить работой, потому что она могла жить подъ видомъ гостыи у родни, которой много, и въ пріютѣ ей никто бы не отказалъ; но теперь обстоятельства измѣнились. Братъ Осипъ писалъ ей: „если тебѣ не скучно—пріѣзжай ко мнѣ, только объ одномъ прошу: будь повѣжливѣе съ моей женой и не отказывайся помогать ей въ чѣмъ-нибудь; теперь тебѣ придется жить поскромнѣе“. Дядя Ипполитъ Аполлоновичъ тоже звалъ ее къ себѣ, но съ тѣмъ, чтобы она слушалась его жены, которая за это пожалуй будетъ обходиться съ нею, какъ съ родною дочерью. Братъ Кузьма совѣтовалъ жить у дѣдушки Сергія Ивановича, но племянницѣ его, Татьянѣ Федоровнѣ, никакъ не хотѣлось, чтобы она жила у нихъ. Такъ что теперь приходилось дѣйствительно выбирать что-нибудь: или согласиться на приглашенія старшаго брата или дяди, жить у нихъ и во всемъ повиноваться имъ, или самой заняться какою-нибудь работой. Пуститься на первое Дарья Андреевна не могла, потому что ей и прежде было противно жить у родни и слушать ихъ хвастовство о благодѣяніи ближнему,—остается поступить куда-нибудь въ магазинъ. Но тутъ вспомнились ей слова швей о тяжеломъ житіи, и во всей ясности представилось положеніе бѣдной швей, на которую богатые люди смотрятъ съ презрѣніемъ,—что высказывалъ также и ее отецъ; представились ссоры изъ-за работы и платы съ швеями, насмѣшки, назывчивость и циническія выходки молодежи, непонимающей положенія бѣдной дѣвушки и всегда поэтому готовой на скандалы. „Тогда, если бы мнѣ было тяжело, я пошла бы къ отцу; уговорила бы его...“, думала она; но ей сдѣлалось стыдно своей трусливости: „тогда бы я вполнѣ отдалась на волю отца. Нѣтъ, надо уѣхать отсюда и куда-нибудь. Вѣдь житье же работой!



меня. А жить въ домѣ я не могу больше,—здѣсь все измѣнилось“.

Дѣйствительно въ это время много измѣнилось. Суды изъ дома выѣхали, низъ былъ пустой, только одинъ сторожъ-старикъ, Николай, пріютился въ прихожей одного изъ бывшихъ судовъ. Какъ его ни уговаривали перейти сторожемъ въ судъ, онъ сказалъ: „покуда барышня, Дарья Андреевна, жива, по тѣхъ поръ не уйду изъ дому“.

— А если и ея не будетъ?—спрашивали его.

— Ну, что-жъ, при домѣ останусь, караулить стану, а кусокъ-то хлѣба у нихъ найдется.

И онъ постоянно былъ при дѣлѣ. Теперь не было лошади, не было Трифона и кухарки, корову одну Марина Осиповна продала, такъ что Николай исполнялъ должность кухарки или работника не хуже любой кухарки, и за это его кормили въ кухнѣ остатками кушаньевъ. Марина Осиповна осунулась, краска на лицѣ исчезла, у ней явились заботы; она больше молчала, тяжело вздыхала и старалась быть экономнѣе. Хорошо еще, что у нея были свои деньги, а то ей и семейству пришлось бы продавать за безцѣнокъ вещи. Горе ли, постигшее Марину Осиповну, или раскаяніе въ томъ, что она нехорошо поступала съ падчерицей, или что другое, только теперь Марина Осиповна обращалась съ Дарьей Андреевной, какъ съ родною дочерью: она уговаривала Дарью Андреевну не выходить на дворъ въ дождь, не сидѣть долго за работою, уговаривала ее ѣсть больше, раньше ложиться спать; словомъ, она не походила на прежнюю злую мачиху, что удивляло Дарью Андреевну и приводило въ злость ея сестру. Но Дарья Андреевна относилась это къ ея ханжеству и, зная ее, она думала, что пусть только поправятся обстоятельства, мачиха еще хуже будетъ ее грызть за свои нѣжности и прекрѣпать сиротствомъ. Вѣра Петровна съ Анисей Осиповной жила въ Никольскомъ у священника Петропавловскаго, которому духовное начальство снова разрѣшило открыть школу для дѣтей, запретивъ воскресныя собранія. Домъ Зиновьева стоялъ съ заколоченными окнами и взятъ въ казну подъ опеку. Все это Дарья Андреевна видѣла, все это давило ее, и она твердо рѣшилась черезъ недѣлю непременно отправиться въ Егорьевскъ. Хотя Анисья Осиповна и звала ее въ Никольское, но ей незнакомъ былъ хваленый ея подругой священникъ Петропавловскій; жить ей безъ дѣла у него не хотѣлось; учить ребятъ—она призванія не чувствовала. Печальна стала и Марья Андреевна: Павловъ считался уже формально женихомъ мѣщанской дѣвицы Акуловой и часто прогуливался съ ней мимо Яковлевскаго дома, а Николай говорилъ, что Павловъ всѣмъ говоритъ о Марьѣ Андреевнѣ, какъ о дурѣ; возлюбленный ея писецъ изъ суда тоже далъ тигу; мачиха смотритъ на нее косо, а если она за обѣдомъ хочетъ налить себѣ еще другую тарелку щей или супу, то мачиха останавливаетъ ее, говоря: оставьте вечеру; можетъ быть дѣти захотятъ, да вѣдь и старикъ Николай хочетъ ѣсть. Сперва Марья Андреевна огрызалась, но когда Марина Осиповна однажды сказала ей, что ее даже Осипъ Андреичъ не соглашается держать у себя, потому что она много

ѣсть, Марья Андреевна стала молчать, ~~и~~ своимъ горѣ и послѣ обѣда уходила спать, а утромъ гуляла на набережной.

Разъ Дарья Андреевна возвращалась отъ пропопа Третьякова. На встрѣчу ей попался Василъ Мироничъ, который несъ салоги, положивъ ихъ плечо.

— Что съ вашей сестрой дѣлается? Сейчас шелъ изъ кабака „Перепутье“—носилъ салоги. Тѣсны вышли; такъ иду я по набережной и вижу Марья Андреевна сидитъ на скамейкѣ, а около ея сидятъ двое приказныхъ.

— Не можетъ быть.

— Сами посмотрите. Я было хотѣлъ подойти, только мнѣ что за дѣло.

— Я пойду...

— Ну, вотъ еще! Вы придете, васъ обругаютъ, развѣ у приказныхъ много стыда... А вы, что я раздумали вѣрно работой-то заняться?

— Нѣтъ, я пойду въ Егорьевскъ, только поѣду лѣтосъ.

— Ну, если будете все поправляться, такъ е васъ праху не выйдеть.

— Какъ такъ?

— А такъ, что не осилите. День проработаете, два будете хворать. А это ужъ не работа; вы тогда другимъ будете въ тягость. Вамъ еще много придется до того, чтобы привыкнуть къ работѣ; нужно, какъ видно, легкое дѣло,—чтобы все изпутя, потому что вы барышня, у васъ тѣлеслабѣе нѣжное.

— Постараюсь привыкнуть.

— Это легко сказать. Нашъ братъ съ дѣтства выросъ въ нищетѣ, сколько видѣлъ горя, кажетъ на всякую тяжелую работу годенъ, а иной разъ бываетъ такъ скверно, что все бы бросилъ да бѣжалъ куда-нибудь. Одно средство остается вамъ—идти замужъ.

— Опять вы за свое! Ну, что вамъ за охота! Я вѣрно забыли... помните, при грохѣ?..

— Мало ли что было.

— Значитъ вы обманывали, книжками меня влекли.

— Нѣтъ... не то... А то, что вы теперь въ такомъ положеніи.

— Въ какомъ?

— Я не говорю о вашей роднѣ того, что горитъ въ городѣ,—нѣтъ, не это, но намъ правдѣе было бы, еслибы мы не видѣлись. Это вы поймете послѣ, когда побольше поживете... Согласитесь, между нами есть много разницы: я мѣщанинъ, а вы такъ чиновническая дочь.

Они разошлись.

„Такъ вотъ онъ какой! А я его такъ давно такъ привыкла къ нему; онъ такой былъ добрымъ, не походилъ на другихъ. Теперь оказывается, что онъ просто игралъ со мной и до сихъ поръ не пересталъ меня. Впрочемъ, онъ правъ: кто знаетъ, что бы вышло изъ того, если бы я вышла за него замужъ? Я еще мало знаю людей“.

Теперь она чувствовала себя спокойнѣе, свободнѣе и бодрѣе; на душѣ было легко.



„Съ нимъ все кончено. Теперь я свободна, а то все что-то удерживало меня здѣсь“. Она ушла къ повальной бабкѣ Марѣ Васильевнѣ Дурмышкиной, жившей въ небольшомъ мѣщанскомъ домѣ. Она у нея не бывала, а теперь рѣшилась познакомиться съ ней и посоветоваться.

— Извините, что я васъ беспокою. Я дочь умершаго виннаго пристава Яковлева — отрекомендовалась Дарья Андреевна Дурмышкиной.

— Я васъ видѣла третьего дня въ церкви... Знаю, знаю... Прошу садиться. Хотите кофе?

— Благодарю. Я къ вамъ пришла за совѣтомъ.

— О! это еще не уйдетъ!.. Я такъ рада, что вы пришли. Здѣсь такъ скучно, ужасъ! сперва было я познакомилась кое съ кѣмъ, но оказалось, что это все пустые люди. Какая глушь! Такъ бы и убѣжала...

Она засуетилась. Скоро появился кофе.

— Люди пьютъ чай, а я кофе, потому что кофе питательнѣе. Я въ Петербургѣ одинъ годъ почти только нѣ и питалась... Сперва мнѣ здѣсь хорошо было жить, такъ что я устраивала вечера для того, чтобы завести знакомства, а черезъ него и практику, только я ошиблась: мужчины, какъ я замѣтила, рады провести время съ женщиной, понять, поѣсть, а дамы стали злиться, что я будто развратничаю. Меня перестали приглашать, и дошло до того, что я теперь вотъ уже съ полгода, какъ ни у кого не принимаю, живу жалованьемъ.

— Вы бы въ другое мѣсто перешли.

— Просила врачебную управу и инспектора, и вотъ уже пятый мѣсяцъ не могу получить отвѣта.

— А что, Марья Васильевна, могу я выучиться вашему занятію? — спросила хозяйку Дарья Андреевна.

— Можете; только вы много горя испытаете прежде, чѣмъ получите дипломъ. Нужно непременно имѣть свои средства, чтобы сперва внести за ученіе деньги; потомъ надо, чтобы жить чѣмъ-нибудь два года.

— А много нужно?

— Если вы будете учиться тамъ, гдѣ есть университетъ, а не въ Петербургѣ, то еще ничего, но Петербургъ—это другое дѣло. Это прорва. Но самое главное—это, что вы молоды. Васъ не примутъ. Нужно по крайней мѣрѣ подождать два года. У васъ есть знакомые въ Петербургѣ?

— Нѣтъ.

— Ну, значить и ѣздить туда не слѣдуетъ... Видите что: есть вещи, которыя высказывать даже стыдно, но въ жизни бываютъ такіа обстоятельства, что наша братья невольно, даже можно сказать съ отчаянія хватается, очертя голову, за послѣднее средство. Это средство нехорошо, но дѣлать нечего. Да вотъ хоть бы я. Я пріѣхала въ Петербургъ съ дядей. Онъ былъ вольноотпущенный, поступилъ къ одному трактирщику въ буфетчики. Трактирщикъ взялъ съ него залогъ, обѣщался платить хорошее жалованье. Прошелъ мѣсяцъ; торговля идетъ плохо, самъ трактирщикъ то и дѣло беретъ изъ выручки деньги, такъ что дошло до того, что нечѣмъ было платить половинѣ. Дошло до того, что трактирщика поса-

дили въ полицію, посуду и все, что было въ трактирѣ, отобрали отъ него вѣсть: съ трактирщикомъ и дядю прогнали, потому что трактирщикъ говорилъ всѣмъ, что его разорилъ буфетчикъ. Я жила кое-гдѣ въ горничныхъ, но нигдѣ не могла ужиться: или барыни были нехороши, или отъ мужчинъ не было покою. Когда дядя вышелъ изъ буфетчиковъ, то мы наняли комнату и стали жить вѣсть; а кое на кого шла, а дядя игралъ на бильярдѣ; иногда выигрывалъ, но больше проигрывалъ; сталъ пьянствовать, буянить и наконецъ спился совсѣмъ и пустился во всѣ тяжкія, такъ что мнѣ пришлось скрываться отъ него. Наняла я за пять рублей комнату и стала жить одна. Тяжело было жить: нужно и за квартиру отдать, пить, ѣсть, сапоги купить, а работы мало... Много было мужчинъ, которые предлагали мнѣ деньги... я не рѣшалась... Мнѣ хотѣлось выйти замужъ по закону, но тамъ такихъ дураковъ мало... Выдался такой мѣсяцъ, что я впала въ отчаяніе: пришелъ безъ меня дядя, унесъ взятое мною отъ одной барыни шитье и скрылся. Какъ я ни увѣряла барыню, что шитье украли, она стала взыскивать пятнадцать рублей, а тамъ требуютъ за квартиру, за прошедшій мѣсяцъ. А тутъ подвернулся молодой приказчикъ... Деньги я уплатила и годъ жила хорошо, то есть была сыта и одѣта, а большихъ денегъ не было. Родила я мальчика; мой мужъ—хотя и незаконный, все же мужъ: мы вѣсть жили—сталъ хворать. Стала я думать, что будетъ со мною и съ ребенкомъ, если мужъ умретъ. Въ это хорошее время у меня много было знакомыхъ женщинъ такихъ же, какъ и я, были тоже и акушерки, и ученицы изъ института, вотъ онѣ и посоветовали мнѣ учиться,—кусочекъ хлѣба будетъ, говорить. Уѣдешь въ провинцію—свой хлѣбъ будетъ. Ну, я и поступила. Мужъ умеръ въ больницѣ, но у меня были знакомые, я ходила въ клубы, въ маскарады—одинъ угостить, другой на извозчика дать; завела другого мужа, но ему не нравился мой ребенокъ и онъ проходилъ съ полгода, а потомъ и отсталъ. Умеръ ребенокъ, я стала свободна, могла по-прежнему заниматься шитьемъ и случалось зарабатывать порядочно. А тутъ кончила курсъ, подала прошеніе и поѣхала въ провинцію... Трудно, трудно, Дарья Андреевна, нашему брату, вездѣ трудно. Еще другое дѣло, если бы я хотя гдѣ-нибудь въ пансіонѣ училась,—тогда я могла бы дѣтей учить, а то я и теперь пишу, какъ Макарка огаркомъ.

— Не знаю, что и дѣлать мнѣ, Марья Васильевна. А больно мнѣ хочется самой жить.

— Что жъ, дѣло хорошее. Если умѣете шить, познакомьтесь съ мастерами изъ магазиновъ и поступайте въ магазинъ. На чиновничество смотрѣть нечего—оно пользы не приноситъ. Въ нашемъ званіи дѣвушка тогда хорошо, когда она имѣетъ капиталъ, съ которымъ можетъ по своему вкусу выбрать жениха, а безъ денегъ жениха нынче нескоро найдешь.

Онѣ разстались пріятельницами. Марья Васильевна приглашала ее приходить къ ней когда угодно, но отъ приглашенія Дарья Андреевна приходить къ нимъ отказалась, потому что она не любитъ Марину Осиповну, какъ одну изъ дамъ, повредившихъ ея репутацію и практикѣ.

Разговоръ съ Марьей Васильевной подѣйствовалъ на Дарью Андреевну непріятно, такъ что она отложила мысль учиться повивальному искусству до болѣе благопріятнаго случая. Ей нравился совѣтъ поступить въ магазинъ, но на какія деньги она пойдетъ туда? Есть у нея два шелковыхъ платья, драповое пальто и лисій салонъ, но кому ихъ продать въ Ильинскѣ? Оставалось просить денегъ у протопопа Третьякова, и она рѣшилась завтра же идти къ нему за деньгами.

Мачиха, сидя въ кабинетѣ Андрея Ивановича, сводила какіе-то счеты.

— Ты одна?

— Одна.

— А гдѣ же сестра?

— Я ея не видала.

— Говорятъ, что она по набережной гуляетъ съ мужчинами, — сказала Марина Осиповна, смотря на Дарью Андреевну. — Конечно я не имѣю права стѣснять ее, но я ея старше, мнѣ бы хотѣлось ее предостеречь... А какъ станешь говорить: я, говорятъ, не имѣю права давать совѣты. Я думаю отправить ее къ Ипполиту Аполлоновичу, онъ ей скоро найдетъ жениха.

— Пожалуй. Только ужъ отправьте насъ обѣихъ: со мной она больше будетъ дома сидѣть.

— О, что ты, что ты, Даша! Ты думаешь, я тебя гоню! Нѣтъ. Я прежде точно на тебя сердилась, но теперь... теперь я не отпущу тебя... Чтѣ я одна сдѣлаю, одна во всенъ домѣ...

— Отдайте въ постой.

— Да ужъ я и такъ говорила инвалидному начальнику, онъ обѣщалъ, только, говорить, помы надо новые сдѣлать.

— Дѣвушка говорила мнѣ, что онъ обладать дѣло съ больницей, ему уже обѣщали, что она будетъ въ нашемъ домѣ только вверху.

— Ахъ, дай бы Богъ!.. Я придумала планъ, не знаю, какъ онъ тебѣ, Даша, покажется: я хочу открыть въ домѣ мелочную лавочку на свое имя.

— Что же, это хорошо.

— Только вотъ не знаю—кого бы посадить.

— А Николая?

— Онъ старъ... Помнится мнѣ, что ты говорила мнѣ, по пріѣздѣ сюда, о намѣреніи заняться шитьемъ... Я думаю, что это не совсѣмъ тебѣ идетъ! Работать на чужихъ не совсѣмъ-то пріятно. Такъ вотъ-еслибы я открыла лавочку, намъ бы хорошо было торговать обѣими. Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Я думаю—будетъ ли выгода?

— Какъ не будетъ!..

Нѣтъ матушка, думала въ постели Дарья Андреевна: ты меня не поддѣнешь. Теперь я поняла твои нѣжности со мной, хитрая! прежде, когда ты ни въ чемъ не знала нужды, я была тебѣ противна, а теперь, какъ пришла нужда—я и понадобилась. Нѣтъ, ужъ на меня не надѣйся.

Утромъ Марина Осиповна объявила, что она сама идетъ въ Егорьевскъ хлопотать о больницѣ, потому-что она на Третьякова не надѣется, а пойдетъ сама катору.

— Зачѣмъ же вамъ ѣздить: вы меня помните; вы знаете, что я не изъ робкихъ.

— Но ты дѣвица...

— Если мнѣ не повезетъ, я попрошу дядю.

Марина Осиповна задумалась.

— Вы знаете, мамаша, что намъ дѣвушкамъ оставаться однихъ въ домѣ не совсѣмъ-то безопасно; а вы все-таки хозяйка.

— Пожалуй поѣзжай.

Черезъ три дня Дарья Андреевна съ сестрой и съ сопровожденіемъ мачихи съ дѣтми и старика Николая шла на пристань. На пристани въ числѣ провожатыхъ былъ и протопопъ Третьяковъ и Марья Васильевна и много чиновнаго люда.

— Такъ смотри же, Даша, пріѣзжай скорѣе, — говорила Марина Осиповна Дарьѣ Андреевнѣ на пароходѣ послѣ перваго звонка.

— Непремѣнно. Какъ только улажу, такъ и пріѣду.

— Тебѣ не мало ли денегъ. Я пожалуй дамъ еще рубля три.

— Нѣтъ, не надо... А если понадобится — я напишу.

Скоро пароходъ отплылъ. Провожавшіе стали кланяться, кланялась всѣмъ и Дарья Андреевна. Она была очень рада, что такъ скоро вырвалась изъ родного города. Чувствовалась какая-то тоска, за то сердце билось радостно при мысли, что наконецъ-то она одна и свободна.

Но, полно, свободна ли? Не встрѣтится ли и въ Егорьевскѣ какихъ-нибудь препятствій, а денегъ-то не очень много было у Дарьи Андреевны—всего полтора рубля; однако Дарья Андреевна не обращала на это вниманія. Пароходъ уже далеко отплылъ отъ Ильинска, вотъ уже и Ильинскъ скрылся; по обѣимъ сторонамъ рѣки мужики и бабы сгребаютъ сѣно или рожь, по низменному берегу бурлаки тащатъ суденышко. кое-гдѣ верхомъ пробѣдетъ баба или мужикъ въ рубахѣ, вездѣ видится трудъ. „Какъ хорошо!“, думаетъ Дарья Андреевна, вглядываясь въ эту жизнь, полную тяжелаго труда, и задумчиво смотритъ впередъ, не слушая глухой болтовни сестры и разговоровъ другихъ пассажировъ.

## XVI.

Въ Ильинскѣ пассажировъ на пароходѣ сѣло не много; кромѣ двухъ сестеръ, сѣли: одна изъ дочерей исправника, жена секретаря уѣзднаго суда, дьячокъ Богородицкой церкви, Духовской, который ѣхалъ въ Егорьевскъ со своею женой, Нимфодорой Ефремовной, хлопотать о дьяконскомъ мѣстѣ, еще одинъ купецъ и двое мѣщанъ. Всѣ эти лица Дарьѣ Андреевнѣ были или мало знакомы, или совсѣмъ незнакомы, но послѣ трехчасовой скуки на пароходѣ они всѣ разспросили ее, зачѣмъ она ѣдетъ въ Егорьевскъ и, получивши простой отвѣтъ, что она ѣдетъ по своему дѣлу, отстали отъ нея. Но Марья Андреевна, подѣлвши къ дьячкѣ, стала хвастать, что онъ ѣдутъ къ совѣтнику-дядѣ, который въ губерніи имѣетъ большую силу, и что онъ въ нихъ души не чаетъ; поэтому они по переѣзжикѣ стали увѣщаться за сестрами, имѣющими родственникомъ такого туза, хотя и пользующагося въ губерніи не со-

всѣмъ-то хорошею репутаціею. Будь сестры въ настоящее время въ Ильинскѣ, онѣ бы не слышали болѣе лести, потому что всему Ильинску было извѣстно ихъ положеніе: всѣ знали, что Марина Осиповна не любила Дарью Андреевну; всѣ знали, что отъ Марьи Андреевны отказался женихъ, и притомъ еще отъявленный пьяница; всѣ считали Дарью Андреевну за сумасбродку, ведущую себя какъ-то свысока и по новому, и надо сказать правду, у этихъ людей не было къ обидѣ сестрамъ особенной жалости. Но здѣсь, на пароходѣ, всѣ старались обращаться съ ними, особенно съ Дарьей Андреевной, любезно, ухаживали за ними, приглашали ихъ откушать съ ними чайку, и у каждого на это были свои причины: совѣтникъ Яковлевъ слылъ въ губерніи за такое лицо, который можетъ выхлопотать должность какъ свѣтскому, такъ и духовному лицу. Это ухаживанье Дарьѣ Андреевнѣ весьма не нравилось, но Марья Андреевна таила и мѣла отъ ухаживаній. У нея была на это причина—она даже тутъ искала себѣ жениха. Дарьѣ Андреевнѣ казались противными ея свѣщичи на всю палубу; но имѣла ли она право сдерживать ее? Однако жъ она попробовала.

— Маша, ты-бы поскромнѣ вела себя.

— А что?

— Посмотри, вонъ тамъ пассажиры второго класса свѣются и указываютъ на нашу сторону.

— А пусть ихъ хохочутъ!—и она захохотала и, немножко подумавъ, прошлась по палубѣ. Съ ней заговорилъ пассажиръ изъ второго класса, но скоро отсталъ.

— А сестрица-то у васъ изъ бойкихъ,—замѣтилъ Дарьѣ Андреевнѣ одинъ купецъ и завелъ разговоръ о приданомъ.

Такъ онѣ и ѣхали до Егорьевска; только ближе къ Егорьевску народу на пароходѣ стало больше и вниманія на нихъ стали обращать уже меньше.

Пароходъ, по случаю множества мелой на Волгѣ, вмѣсто того чтобы прибыть въ Егорьевскъ въ два часа пополудни, пришелъ въ восемь часовъ вечера. Всѣ прѣхавшіе пассажиры немало удивились виду губернскаго города. На высокомъ берегу, т. е. набережной, съ которой собственно начинается городъ, блестяла тысяча разноцвѣтныхъ огней; внизу, въ подгородной части, тоже кое-гдѣ мелькали огоньки; на набережной слышалась гарнизонная музыка; по Волгѣ плылъ самый тихій ходомъ пароходъ, украшенный множествомъ разноцвѣтныхъ горящихъ шаликовъ, и на немъ играла бальная музыка.

— Какой сегодня праздникъ?—спрашивали другъ друга пассажиры.

— Сегодня нѣтъ праздника, а это вѣроятно тузы задумали веселиться,—говорилъ капитанъ парохода.

— Какіе мы счастливые: съ какими почетомъ встрѣчаетъ насъ городъ,—говорили бѣдные люди.

Съ самаго начала, какъ только пассажиры сошли на сушу, впечатлѣніе сдѣлалось непріятнымъ. На пристани и на берегу стояло нѣсколько полицейскихъ; одинъ казакъ тузилъ какую-то худощавую въ лохотяхъ женщину, съ крикомъ: не воруй; недалеко отъ мостковъ какіе-то франты спорили съ квартальнымъ, доказывая, что и они люди, и они могутъ понасть на пароходъ съ музыкой, но квартальный ста-

рался увѣрить ихъ, что они пьяны; подъ горой гдѣ-то пѣли и ругались.

Когда Дарья Андреевна стала подниматься на гору съ сестрой, то какой-то мастеровой, держась за перила и пошатываясь, говорилъ плохо повинующимся языкомъ нѣсколькимъ человѣкамъ:

— Жрать нечего, а они што: лилиацію, музыку, народъ сбили. А пить запрещаютъ. Дураки мы всѣ, и больше ничего. Ну, чему вы свѣтетесь-то?—Толпа хохотала. Мастеровой ругался.

— Мало ты видно въ части сживалъ? — проговорилъ человѣкъ—повидимому чиновникъ.

— Во всѣхъ сживалъ.

— Такъ чтожъ ты орешь-то; поди вонъ къ нитѣ, господамъ, и говори, а мы и безъ тебя все знаемъ,—сказалъ кто-то въ толпѣ.

Дарья Андреевна съ сестрой приближались къ мѣсту гулянья.

— Дашечка, душечка, — погуляемъ! Здѣсь такъ отлично, — просила Марья Андреевна сестру.

— Успѣемъ еще нагуляться.

— Ты какъ хочешь, а я погуляю.

— Полно тебѣ! Хорошо развѣ гулять съ узлами и въ дорожномъ костюмѣ? Надо переодѣться.

— Ахъ, я и забыла про узлы-то. Такъ пойдемъ поскорѣе.

— Куда идти? — спрашивала себя Дарья Андреевна. Идти къ дядѣ ей не хотѣлось, идти куда-нибудь къ чужимъ?.. Но тутъ же ей представлялось, какъ будетъ сердиться дядя, какъ всполошится вся родня.

— Пойдемъ, Маша, къ брату, — сказала она сестрѣ.

— А къ дядѣ?

— Надо переодѣться.

— Только поскорѣе бы. На музыку какъ бы не опоздать!

Кузьма Андренчъ жилъ далеко отъ набережной, въ такой улицѣ, гдѣ жило бѣдное чиновничество и мѣщанство, которое не нуждалось ни въ тротуарахъ, ни въ фонаряхъ, но которое любило очень собакъ и жило своею жизнью, мало похожую на губернскую городскую. Когда сестры вошли въ эту улицу, то имъ представилось, что тамъ кромѣ собакъ и караульных никого нѣтъ. Здѣсь было и темно, и грязно, пахло чѣмъ-то похожимъ на кожу и отзывало кислою капустой. Многія окна были закрыты ставнями; огоньки сквозь тусклые стекла виднѣлись кое-гдѣ; не видно было ни одного человѣка.

— Какъ здѣсь боязно!—сказала Марья Андреевна.

— А у насъ развѣ не то же?

— Здѣсь губернской. И какъ это онѣ служатъ въ палатѣ, а живетъ въ такомъ мѣстѣ.

Едва-едва онѣ разыскали домъ, въ которомъ жилъ Кузьма Андренчъ. На стукъ, какъ водится, первая отозвалась собака, потомъ, немного погодя, ихъ окликнулъ старушечій голосъ; кое-какъ, послѣ длинныхъ объясненій со стороны сестеръ, послѣ сомнѣній, выказанныхъ грубымъ старушечьимъ голосомъ, и увѣреній какого-то мужчины, имъ отперли калитку, закричали на собаку, рвавшуюся съ веревки; въ сѣняхъ появился огонь, ихъ позвали на крыльцо и вы-

сказав, что пришла старуха въ исподнюю бѣль, выскочила на крыльцо, зѣвая проговорила:

— Изъ ореховъ вашего дома нѣтъ; онъ дежурить.

— Въ коммунізмѣ? — ужаснулась Марья Андреевна.

— А развѣ есть гдѣ дежуріа? — удивилась хозяйка, а потомъ прибавила: — вашъ братецъ рѣдко дома ночуетъ; онъ все больше дежурить нанимается. А вы пройдите въ его комнату, тамъ кровать есть.

— Намъ бы, хозяйка, чаю хотѣлось напиться, — сказала Дарья Андреевна.

— Какой теперь чай — спать пора. Оно бы пожалуй съ дороги, да только намъ строго приказано не ставить по ночамъ самоваровъ. Окромѣ этого еще надо сказать, Кузьма Андренчъ чаю не пьетъ и не держитъ дома: онъ все въ гостяхъ больше. Онъ у двухъ господъ ребятишекъ учить.

Хозяйка держала въ рукѣ оловянный, оплывшій саломъ подсвѣчникъ съ маленькимъ огаркомъ сальной свѣчки, пламя на которой откуда-то раздувало вѣтромъ и которое она заслоняла рукой; свѣча то и дѣло готова была кончиться. Дарья Андреевна это замѣтила, и потому попросила хозяйку проводить ее съ сестрой въ комнату брата. Комната эта находилась въ другой половинѣ дома, черезъ сѣни отъ хозяйскаго помѣщенія. Она была заперта и хозяйка насилию отыскала ключъ въ своей кухнѣ, и, когда подошла къ двери, то свѣчка погасла. Хозяйка скрылась, но черезъ три минуты вернулась въ сопровожденіи низенькаго, горбатого съ черными волосами мужчины годовъ сорока, одѣтаго въ халатъ. На переносицѣ у него торчали огромные очки, а за ухо было вложено гусиное перо; въ рукѣ онъ держалъ вѣдный подсвѣчникъ съ сальной свѣчкой.

— Посвѣти-ко нѣтъ, батюшко, Гаврило Ооичъ, — проговорила хозяйка и открыла дверь.

Горбачъ сперва растерялся, запахнулъ халатъ, прокашлялся, что-то хотѣлъ сказать, но только раскрылъ ротъ, нагнулся и шаркнулъ одной ногой.

— Вы сосѣдъ брату? — спросила Марья Андреевна горбача, улыбаясь.

— Сосѣдъ-съ, сосѣдъ. А вы ихнія сестрицы?

— Да.

— Сказывалъ, сказывалъ Кузьма Андренчъ. Мы съ нимъ сосѣди, дружно живемъ. Славный человѣкъ, аккуратный.

Они вошли въ комнату. Комната была низкая, узкая. Печка съ лежанкой занимала почти треть комнаты, кровать и комодъ — четверть, такъ что въсподнимъ стало тѣсно. Въ ней былъ также столъ и два стула съ кожаными продавленными подушками. Стѣны оклеены писаной и печатной бумагой; въ переднемъ углу висѣлъ маленькій образокъ и передъ нимъ лампадка.

— Вы въ гости-съ къ братцу? — спросилъ горбачъ.

— Мы только у него остановились. Мы пріѣхали по дѣлу, — сказала Дарья Андреевна.

— По какому-съ?

— Мы къ дядѣ, Яковлеву, — сказала Марья Андреевна.

Горбачъ съежился, взглянулъ на лампадку.

— Едва-ли Кузьма-то Андренчъ придетъ рано завтра. Я пожалуй схожу къ нему.

— Нѣтъ, зачѣмъ же...

— Да не теперь, а завтра. Только... какъ же... Вы поди съ дороги-то кушать хотите, а здѣсь и огня нѣтъ. Хотя бы лампадку зажечь.

— Ну, да! Еще узнать — бѣда! — сказала хозяйка.

— Нельзя же безъ огня. Онѣ... барышни молодые, къ темнотѣ непривычны. Я бы свою свѣчку дагъ, да нѣтъ надо заниматься... къ спѣху... Я ужъ сбѣгаю въ лавочку.

— Будьте такъ добры, — сказала Дарья Андреевна и стала рыться въ карманѣ.

По уходѣ горбача хозяйка сидѣла, зѣвала и дремала. По временамъ она, какъ бы просыпаясь, взглядывала на дѣвицъ. Когда на улицѣ залаяли собаки и лай ихъ шелъ все дальше и дальше, она вдругъ встала и проговорила:

— Оно неловко, а какъ проучать — опасно... Вы извините. Только ночью воровъ много. Паспорта бы надо.

— У насъ нѣтъ, потому что мы сюда ненадолго; насъ дядя знаетъ, — отвѣтила Дарья Андреевна.

— Такъ-то оно такъ. Я вижу по облику, что вы сестры... только я не знаю...

— Неужели вы сомнѣваетесь?

— Нѣтъ... Ну, да ужъ ночуйте. Я вѣдь васъ не знаю. Хотя и въ Кузьма-то Андренчъ и рассказывалъ, что у него есть двѣ сестры дѣвицы.

— Даша, поидемъ къ дядѣ, — сказала Марья Андреевна.

— Куда же мы поидемъ ночью?

— Это правда. Вашъ дядюшка ужъ поди спитъ. — сказала хозяйка.

Опять залаяли собаки, послышался скрипъ каблуковъ, пришелъ горбачъ. На немъ былъ надѣтъ халатъ. на головѣ фуражка съ кокардой; онъ держалъ въ одной рукѣ стеариновую свѣчку, въ другой узелокъ.

— Извольте-съ... Прошу не побрезговать. Я вынулъ въ лавочкѣ семги, уксусу, перцу, огурцовъ, хлеба.

— Мы вамъ очень благодарны... очень. Сколько вамъ? — спросила Дарья Андреевна.

— Всего тридцать копѣекъ.

— Ахъ живодеры! Покажите-ка? — проговорила хозяйка, и осмотрѣвъ покупу, покачала головой и разразилась бранью на торгашей вообще и въ особенности на ту женщину, у которой она беретъ постоянно припасы. Потомъ она принесла двѣ тарелки, вилки, ножи и, пожелавъ добраго здравія и спокойной ночи сестрамъ, ушла; за ней ушелъ и горбачъ.

По уходѣ ихъ Марья Андреевна захохотала.

— Чему ты смѣешься?

— Этотъ горбачъ чиновникъ! и въ очкахъ!

— Ничего нѣтъ смѣшного. Не было бы его, что было бы съ нами?... а теперь мы въ квартирѣ брата и отлично покушаемъ.

— Ну ужъ, дрянъ-то!

— Однако ты вотъ какъ улетаешь...

— А все ты. Отчего бы не идти къ дядѣ?

— Неловко, сестричка. Мы вѣдь безъ отца.

Марья Андреевна вздохнула и замолчала.

Въ стѣнку стукнулъ горбачъ, и спросилъ:

— Вамъ не надо ли воды?

— Принесите, — сказала Дарья Андреевна.

— Какой онъ сѣтливый! — сказала Марья Андреевна, когда онъ ушелъ, и прибавила: — ужъ я никакъ не думала, чтобы братецъ жилъ такъ по-цыгански.

— Надо ко всему привыкать, сестричка. Еще неизвестно, чтѣ будетъ съ нами.

— Ну, ужъ я ни за что не буду такъ жить.

Скоро онъ легли на братнину кровать. Ложе оказалось жесткимъ, но Марья Андреевна, хотя и сѣтовала на сестру, что та не доставила ей удовольствія погулять на набережной, однако скоро заснула, а Дарья Андреевна крѣпко призадумалась надъ этой первой встрѣчей съ нуждой. Ужъ если братъ такъ живетъ, то каково-то будетъ ей начать новую жизнь съ семидесятью-пятью копѣйками въ карманѣ?..

## XVII.

На другой день Дарья Андреевна проснулась рано — еще было не совсѣмъ свѣтло, но она уже слышала, что по улицѣ шли мужчины и грубыми словами ругали дождикъ и грязь; слышала, что хозяйка кого-то ругала, и гдѣ-то часто скрипѣли двери. Ей хотѣлось встать, но дѣлать было нечего; неизвестность, чтѣ станется съ нею дальше, и какая-то боязнь за рѣшеніе покончить съ чиновничествомъ удерживали ее въ кровати. Ей нисколько не хотѣлось спать; она стала обсуждать свое положеніе и рѣшать, чтѣ теперь дѣлать. Идти къ дядѣ ей ни подъ какимъ видомъ не хотѣлось, а идти надо, потому что она не одна, а съ сестрой, которая знаетъ въ Егорьевскѣ только набережную, бульваръ, церкви и двѣ-три главныя улицы. Но придти къ дядѣ значить нужно остаться тамъ, а ей не хотѣлось даже и ночевать у него. Не ходить туда вовсе — нужно оставить сестру въ горѣ и совсѣмъ разсориться съ ней, съ братомъ, родней, да и притомъ найдеть ли она себѣ мѣсто въ одинъ день? И она рѣшила отвести къ дядѣ сестру, то-есть сдать ее ему, какъ говорится, съ рукъ на руки, а потомъ уйти къ брату и до принсканія мѣста поселиться у него, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ говоритъ хозяйка, не только днемъ рѣдко бываетъ дома, но даже и не почуветь, а хозяйка у него кажется женщиною хорошая. Однако пріятно ли это покажется брату? Казалось бы, что онъ долженъ быть радъ ей, долженъ бы пріютить ее у себя, потому что прежде они жили, какъ говорится, душа въ душу, никогда не ссорились, онъ всегда былъ противъ мачихи и дяди, и если услуживалъ послѣднему, то для того, чтобы получить какую-нибудь должность. Но изъ того, что говорила ей вчера хозяйка, изъ обстановки его квартиры замѣтно, что онъ теперь сдѣлался еще экономнѣе, не пьетъ дома чаю, не куритъ табаку, не приглашаетъ товарищей, не жегетъ свѣчей. За комнату онъ платитъ рубль, за кушанье — пять, а получаетъ отъ дежурства и уроковъ съ жалованьемъ рублей двадцать. Ужъ если онъ самъ себя стѣсняетъ, то ее и подавно стѣснитъ. Но неужели онъ не дозволить ей прожить у него дня два? Нѣтъ, онъ этого не сдѣ-

лаетъ. „Итакъ — рѣшено: уйду къ брату, поселюсь у него и отъ него перейду въ какой-нибудь магазинъ“. Съ этими словами она встала и начала оглядывать комнату. Въ ней было все то, что нужно для холостого чиновника: кровать, столъ, комодъ, чернильница на столѣ и два пера, но замѣтно было аскетическое настроеніе хозяина комнаты; на одной стѣнѣ прилѣплено было нѣсколько картинъ духовнаго содержанія: тутъ былъ и страшный судъ, и душа человѣка, проходящая множество мытарствъ, и смерть грѣшника и проч. На комодѣ лежали: „Училище благочестія“, „Семь смертныхъ грѣховъ“ и „Поученія Родіона Путятина“. Неизвѣстно почему у Дарьи Андреевны при обзорѣ этой комнаты защемило сердце. Вѣдь она тоже когда-то прочитала всѣ эти книги, пересматривала тысячу разъ эти картинки; она была религіозна въ душѣ, хотя и не особенно благосклонно отзывалась объ обрядахъ; она рѣдко ложилась спать не помолвившись Богу, — но отсутствіе у брата свѣтскихъ книгъ и хорошихъ картинокъ все-таки приводило ее къ заключенію, что онъ ведетъ жизнь вполнѣ монашескую, и если въ его комнатѣ не пахнетъ ладаномъ, такъ единственно потому, что онъ скупъ. Но вотъ чтѣ ей страннымъ показалось: въ книгѣ „Училище благочестія“, вѣроятно по забывчивости, была вложена записочка, писанная женскою рукою и вѣроятно лукомъ потому что буквы были желтыя и бумага въ двухъ мѣстахъ прожжена. Въ этой безымянной запискѣ его приглашали куда-то и просили сказать дома, что онъ сегодня на дежурствѣ. Дарья Андреевна любила брата, и ей стало стыдно, что она проникла въ его тайну. Ей показалась мрачна эта комната, ей хотѣлось скорѣе уйти изъ нея, и она заидовала сестрѣ, которая крѣпко спала.

Она пошла къ хозяйкѣ. Та пила чай съ сосѣдомъ Кузьмою Андреевичемъ. У нея уже истопилась печь и на двухъ длинныхъ доскахъ положено было тѣсто для булокъ.

При входѣ ея Гаврило Оомичъ растерялся и запахнулъ халатъ. Хозяйка сидѣла безмятежно, держа всей пятерней лѣвой руки блюдечко и дуя въ горячую воду.

— Съ добрымъ утромъ! Каково ночевали-съ? — проговорилъ Гаврило Оомичъ.

— Отлично.

— Пошли бы еще спать, вѣдь еще рано, — сказала какъ-то недовольно хозяйка.

— Пожалуйста чашечку! — сказалъ Гаврило Оомичъ.

— Покорно благодарю. Мнѣ бы умыться.

— А вонъ рукоюйникъ, — проговорила хозяйка и мотнула головою къ двери, около которой висѣлъ глиняный рукоюйникъ, имѣющій видъ чайника.

Когда Дарья Андреевна пришла къ хозяйкѣ съ полотенцемъ, то у нея Гаврилы Оомича уже не было, а она сама готовилась приниматься катать булки.

— Вы долго у меня пробудете? — спросила хозяйка Дарью Андреевну.

— Мы сегодня уйдемъ къ дядѣ. Сестра останется тамъ, а я приду сюда.

— Зачѣмъ?

— Я хочу у брата жить.

Хозяйка съ удивленіемъ посмотрѣла на дѣвушку и такъ стала работать руками, что доски застучали.

— Вы думаете я захочу васъ двоихъ держать: подумаютъ, живетъ любовникъ съ любовницей, а не братъ съ сестрой,—сказала наконецъ хозяйка.

— Отчего же мѣщане живутъ такъ?

— То дѣло другое. Да и что вамъ за охота жить съ братомъ? То ли дѣло жить у богатой родни.

— Видите ли что. Я хочу поступить въ магазинъ въ швей.

— А!?—ну, это другое дѣло.

— Какъ вы думаете на этотъ счетъ?

— А ничего не думаю, потому нонче расплодилось много всякаго народу.

— Вы вотъ тоже печете булки на продажу.

— Ну, то я, старуха... А вотъ кои молодыя пекутъ, такъ у нихъ братъ никто не хочетъ, потому сомнѣваются, чтобы эти булки были чистыя.

Пришелъ Гаврила Ѳомичъ въ вице-мундирѣ и въ фуражкѣ съ ковардой. Подъ лѣвой мышкой онъ держалъ свертокъ бумага, а въ правой рукѣ—большой колцевой зонтикъ.

— Я пошелъ, Агафья Сергѣевна. Вотъ ключъ,—сказалъ онъ хозяйкѣ, и повѣсилъ на гвоздикъ ключъ отъ своей комнаты.

— Ты, Гаврила Ѳомичъ, позови ихниго-то братца.

— Безпремѣнно. Прощайте-съ,—раскланялся Гаврила Ѳомичъ Дарьѣ Андреевнѣ и ушелъ.

— Коли хотите пить чай—пейте. Вѣдь у вашего братца едва ли есть чай.

— Нѣтъ, благодарю.

— Ну, какъ знаете.

Дарья Андреевна ушла и задумалась. „Нѣтъ, и здѣсь не житье мнѣ, потому что хозяйка гонитъ. Она кажется женщина хорошая, но братъ видно ведетъ себя нехорошо съ ней. А впрочемъ вѣдь она насъ не знаетъ. Надо будетъ переговорить съ братомъ“.

Проснувшись Марья Андреевна. Потягиваясь она проговорила:

— Какъ жестко!... Какъ это онъ спитъ? А который часъ?

— Не знаю. Должно быть много, потому что со-сѣдъ уже ушелъ на службу, а хозяйка посадила въ печь булки.

— А что жъ самовара нѣтъ?

— Да его и не будетъ. Вѣдь еще вчера хозяйка говорила, что у брата нѣтъ самовара и онъ дома не пьетъ чай.

— Это ужасно!

— А ты водицы напейся.

Пришелъ Кузьма Андреевичъ. Онъ объяснилъ, что о прїѣздѣ дорогихъ гостей его увѣдомилъ Гаврила Ѳомичъ и тутъ же замѣтилъ сестранъ, что онѣ большія неграхи, потому что во-первыхъ разбросали свои вещи, а во-вторыхъ не убрали его постель, и сдѣлалъ выговоръ за то, что онѣ остановились у него, а не у дяди. Все это было выговорено мимоходомъ, такъ что Марья Андреевна приняла за шутку и, въ ожиданіи чая, хихикала, но Дарья Андреевна убѣдилась въ справедливости своихъ предположеній, и у нея зацепило сердце.

— Ну, что macha? Не думаетъ ли по-прежнему продать домъ? — спросилъ Кузьма Андреевичъ Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна коротко объяснила ему жизнь macha теперь и то, зачѣмъ macha послала ихъ въ Вторевскъ.

— Это надо устроить, только какъ же мы надѣяться-то за ней будемъ?

— Я отъ своей части отказываюсь.

— Ну, нѣтъ, отказываться глупо. Я ни за что не откажусь.

— И я тоже. А какъ бы, братецъ, чаю?—сказала Марья Андреевна.

— Чаю-то? Да я, сестрички, не пью чай дома, потому что жалованье маленькое. А вотъ вы одѣвайтесь, пойдите къ дядѣ.

Онъ вышелъ.

Марья Андреевна засуетилась, а Дарья Андреевна вышла за братомъ. Онъ стоялъ на крыльцѣ и смотрѣлъ на свинью, роющуюся въ грязи.

— Братецъ! Чтѣ я тебѣ хочу сказать...—сказала Дарья Андреевна, подойдя къ брату.

— Чтѣ?

— Мнѣ совсѣмъ не хочется идти къ дядѣ.

— Почему?

— Я тебѣ должна признаться какъ другу, что я прїѣхала сюда зачѣмъ, чтобы жить своимъ трудомъ.

Братъ посмотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ.

— Какъ это своимъ трудомъ?

— Очень просто: я буду шить.

— Глупости! Иди одѣвайся, мнѣ пора на службу.

— Я, братъ, не шучу, и одѣваться не стану, а останусь здѣсь.

— Ты, сестричка, кажется съ ума сошла или просто шутишь?

— Такъ и ты мнѣ удивляешься?

— Еще бы! Прошу тебя, ради Христа, одѣвайся и пойдемъ.

— Мнѣ не во что одѣваться: платья дома... А что, братъ, можно у тебя позить дня два, три?

Братъ посмотрѣлъ на нее съ улыбкой и закачалъ головой.

— Отказываешься?

— Чтѣ?

— Пустить-то меня на квартиру.

— Эй-Вогу, ты меня выводишь изъ терпѣнія! Я не понимаю, что съ тобой?

У Дарьи Андреевны появилась улыбка презрѣнія и досады и она ушла въ комнату брата, гдѣ Марья Андреевна еще и въ половину не привела въ порядокъ свой туалетъ. Она сѣла и задумалась. Она почувствовала, что и брату ея, ея другу, намереніе ея зарабатывать свой хлѣбъ покажется смѣшнымъ; онъ надсмѣялся надъ ней хуже, чѣмъ ея отецъ. „Итакъ, думала она, со стороны брата не будетъ никакой поддержки; теперь нужно искать квартиру, а денегъ нѣтъ, знакомыхъ тоже; поневолѣ приходится поселиться у дяди“.

Дядя былъ дома. Когда они пришли, онъ уже былъ одѣтъ. Жена его, Анна Николаевна, сорока-пятилѣтняя низенькая, но съ чистымъ, молодежавшимъ лицомъ. въ ситцевомъ платьѣ, писала какой-то счетъ, а пе-

редъ ней въ почтительной позѣ стояла кухарка-старуха. Оба они обрадовались племянницамъ, облобызались съ ними, но замѣтно было, что они обрадовались больше Дарьѣ Андреевнѣ. Начались разговоры, но хозяйка не суетилась, а сидѣла чинно и говорила свысока. Хотя они и были любезны съ Дарьей Андреевной, но она замѣтила, что эта любезность неискренняя; видно было, что хозяйка думала, что племянницы пріѣхали жить у нихъ. Съ Кузьмой Андреевичемъ Ипполитъ Аполлоновичъ обращался какъ съ подчиненнымъ; на болтовню же Марьи Андреевны хозяйка даже и вниманія не обращала, такъ что она скоро сконфузилась, стала злобно смотрѣть на сестру, чувствовала себя не по-себѣ и робко смотрѣла на шкафъ съ книгами и рояль, стараясь затанъ тяжелые вздохи.

— Хорошо, что ты, Даша, сама догадалась пріѣхать; а тебя уже хотѣлъ выписывать и хотѣлъ послать денегъ. Но такъ-какъ ты пріѣхала сама, то эти деньги поступятъ тебѣ на платье, — проговорилъ дядя.

— Покорно благодарю, дяденька, мнѣ не надо платья; и то, что на мнѣ, хорошо.

— Ну-ну! Къ намъ ходятъ гости: въ такомъ нарядѣ неприлично. Ну, Кузьма, возьми-ка портфель и отнеси въ палату, я сейчасъ приду. Чортъ ихъ возьми съ этимъ катаньемъ — голова болитъ и денегъ жалко: вѣдь тридцать рублей ушло на одно шампанское, — хвастался дядя.

— Полно тебѣ горевать объ этомъ; итакъ все сидишь дома, — сказала Анна Николаевна супругу.

— Что это у васъ за праздникъ былъ, дяденька?

— Такъ, пустыня: губернаторъ пріѣхалъ новый, такъ общество или скорѣе городъ устроилъ катанье — повеселиться на рѣкѣ, а иллюминацію устроилъ отъ себя голова. Ну, до свиданія, Аннушка, Даша, ты... — обратился онъ къ женѣ, Дарьѣ Андреевнѣ и ея сестрѣ, удостоивъ первыхъ поцѣлуемъ, а послѣднюю кивкомъ головы.

Домъ у Ипполита Аполлоновича былъ одноэтажный, но большой; комнатъ въ немъ было много и въ каждой много мебели, картинъ и цвѣтовъ, а въ нѣсколькихъ клѣткахъ пѣли соловьи, канарейки и чижики; комнаты были небольшія, а отъ мебели онѣ казались тѣсными; мягкіе ковры на полу и широкіе турецкіе диваны придавали имъ азіятскій характеръ. Отзывало какой-то чинностью; такъ и казалось, что тутъ живетъ важный женатый чиновникъ, у котораго нѣтъ дѣтей. Къ задней сторонѣ дома прилегалъ небольшой садикъ съ невысокими деревьями. У Ипполита Аполлоновича въ настоящее время было только двѣ прислуги: кухарка и кучеръ. Работы обоемъ было много, но имъ помогала жена кучера и его подрастающія дочери. Дарьѣ Андреевнѣ и прежде этотъ домъ казался тюрьмой, точъ въ точъ какъ у протопопа Третьякова, только съ тою разницею, что здѣсь не курили ладономъ и былъ рояль, на которомъ играли племянницы Анны Николаевны. Теперь же ей больше прежняго этотъ домъ сдѣлался противнымъ, скучнымъ, въ которомъ все однообразно, въ которомъ живущіе вполне довольны своею судьбою. Это чувствовала даже и Марья Андреевна, которая у дяди бывала рѣдко и привыкла долго спать, пѣть и сво-

бодно бродить изъ комнаты въ комнату; она чувствовала, что она здѣсь хотя и у родни, но какъ-будто чужая, потому что съ ней общаются свысока. Ей очень не понравилось, когда тетка огоршила ее вскорѣ послѣ того какъ ушелъ дядя.

Подошла она къ окну и стала смотрѣть на кленъ, который цвѣлъ. Она какъ-то дотронулась до цвѣтка, нѣсколько сухихъ листьевъ попадали на полъ.

— Что вы дѣлаете, душечка! Вонъ вы какъ насорили, отойдите отъ окна, садитесь и пейте чай.

Щеки Марьи Андреевны покраснѣли, какъ макъ цвѣтъ, и она робко сѣла на указанное ей мѣсто.

— А вы, Марья Андреевна, долго у насъ прогостите? — спросила вдругъ Анна Николаевна Марью Андреевну.

Этотъ вопросъ заставилъ поблѣднѣть дѣвушку: она точно проглотила пилюлю и не нашлась, что отвѣтить, кромѣ робкаго „не знаю“.

— Мы, тетенька, пріѣхали попросить дяденьку насчетъ больницы. Какъ только дяденька согласится похлопотать о томъ, чтобы больница была помѣщена въ нашемъ домѣ, мы уѣдемъ, — сказала Дарья Андреевна.

— Зачѣмъ же такъ скоро?

Въ это время раздался въ прихожей звонокъ.

— Ахъ, кто-то пріѣхалъ! Подите, пожалуйста, въ ту комнату, которую, помнишь, ты, Даша, занимала. — И сама встала и пошла встрѣчать звонившаго.

Сестры ушли.

Комната, которую занимала Дарья Андреевна передъ отъѣздомъ въ монастырь, находилась рядомъ съ спальней Анны Николаевны, у которой была своя спальня, отдѣльная отъ мужа. Эта комната имѣла отдѣльный ходъ, въ ней было два окна, выходящія въ садъ, немного простой мебели, диванъ и столъ. У окна вверху пѣла канарейка, которая при входѣ дѣвицы шибко забѣгала въ клѣтку, перескакивая съ палочки на палочку.

— Противная! Чуть свѣтъ — она ужъ и поетъ; а днемъ, если бывало придется здѣсь что-нибудь шить, она такъ надоѣстъ своимъ пѣніемъ, что заболитъ уши и хочется убѣжать. Сколько въ первое время изъ-за нея было непріятностей! только начнетъ она плескаться въ баночкѣ съ водой, брызги летятъ и падаютъ на шитье. Тетка и спрашиваетъ: что за пятно? Сперва я не знала откуда они, но потомъ догадалась. Тетка не вѣрила и, когда сама увидѣла на столѣ брызги, тогда переставила столъ вотъ сюда, — говорила сестрѣ Дарья Андреевна.

— А гдѣ ты спала?

— А на этомъ диванѣ.

— Да вѣдь онъ коротокъ?

— Я тогда была покороче. Теперь можетъ быть кровать дадутъ, потому что насъ двѣ.

— Тебѣ хорошо: тебя здѣсь любятъ, а я — какъ чужая. Какъ бы отсюда скорѣе уѣхать! — проговорила Марья Андреевна со слезами на глазахъ.

— Не завидуй, Маша: это тебѣ такъ кажется. Они мягко стелютъ, да жестко у нихъ спать.

— Нѣтъ, тебѣ хорошо. Ужъ лучше къ братцу, а отъ него я бы сюда стала ходить.

— Хорошо еще, если братецъ приметъ, а здѣсь

ужь пригласили. Тебя здѣсь полюбятъ, помани мое слово.

— Дома хотъ мачиха и зла, а все же лучше: здѣсь все сиди на одномъ мѣстѣ, гдѣ велятъ, встанешь — неладно, слово скажешь — молчать велятъ. Нѣтъ, я уѣду; я уѣду къ Осипу. Тамъ славно!

— Хорошо ссориться съ золовкой! Вотъ ты завидуешь мнѣ, что меня здѣсь любятъ, а ты подожди, что будетъ черезъ нѣсколько дней.

— А что?

— То, что я хочу уйти отъ нихъ.

— Что ты, сестрица, Господь съ тобой! Неужели ты въ самомъ дѣлѣ рѣшилась?

— На что?

— Какъ же: мнѣ Наталья Семеновна сказывала, что ты въ швеи хочешь. Ай-ай, сестрица!

— По твоему хорошо развѣ ѣсть чужой хлѣбъ и слушать попреки? Какъ ты объ этомъ думаешь?

Марья Андреевна задумалась.

Вотъ ты у Осипа часто живешь; тебѣ какъ будто хорошо тамъ, а я очень хорошо знаю, что ты у нихъ живешь какъ горничная, и предполагаю, что тебя навѣрно попрекаютъ хлѣбомъ, если не братъ, то золовка.

— Правда твоя, сестрица, правда... Горько мнѣ это, горько... — И она заплакала. — Ты не знаешь, сколько я перенесла отъ нихъ... Я не умѣю ничего дѣлать — вотъ моя бѣда.

Дарья Андреевна обняла сестру и крѣпко прижала ее къ себѣ. Теперь только она поняла положеніе этой дѣвушки, и оно показалось ей даже хуже ея собственнаго.

— Не горюй, сестрица, мы вмѣстѣ поступимъ въ швеи.

— Я не умѣю шить по модному.

— А развѣ я умѣю?

— Да какъ же это? вѣдь мы чиновницкія дочери.

Въ комнату вошла Анна Николаевна и, увидавъ такую нѣжную сцену и плачущую Марью Андреевну, очень удивилась.

— Что это такое? О чемъ это вы, Маша, плачете?

— Она потеряла папашинъ бумажникъ, — отвѣтила за сестру Дарья Андреевна.

— Только-то! Стоять о чемъ слезы тратить. Съ вами хочеть познакомиться моя племянница Катерина Алексѣевна Телѣжникова. Мужъ ея служить чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Вытрите ваши слезы, Марья Андреевна, оставьте эти глупости. Пойдите.

Онѣ вошли въ комнату, въ которой находился шкафъ съ книгами. Шкафъ былъ открытъ; у него, нагнувшись къ полу, суетилась молодая женщина, перебирая и перелистывая книги. Она была высокаго роста, худощавая, съ бѣлыми, какъ мраморъ, лицомъ, большими карими глазами; подъ сѣтку на головѣ были спрятаны русые волосы, на ней было надѣто шелковое, сшитое по послѣдней модѣ, платье.

— Представляю, — сказала Анна Николаевна.

Телѣжникова выпрямилась, держа въ рукахъ по книгѣ.

— Эта Дарья Андреевна; эта Марья Андреевна, — рекомендовала Анна Николаевна.

Телѣжникова тоже откомендовалась и подала обѣимъ сестрамъ руку.

— Очень пріятно познакомиться. Впрочемъ я уже знакома съ вами давно по тетюшкинымъ рассказамъ. Давно вы пріѣхали? — проговорила она бойко, но плавно, нѣжно и свысока.

Нѣсколько времени разговоръ продолжался въ этомъ родѣ, въ него вѣшивалась и Анна Николаевна. Дарья Андреевна отвѣчала безъ затрудненія и съ своей стороны спрашивала смѣло, но Марья Андреевна тяготилась этой молодой барыней съ „алябастровымъ лицомъ“, какъ она заключила по своему. Телѣжникова говорила бойко, свысока, такъ что она на ея вопросы ничего не могла отвѣтить.

— Я у васъ, тетенька, всю бібліотеку перерыла, но ничего путнаго не нашла. Кромѣ того, что я прочтала, остался все хламъ.

— Ну, матушка, и хламъ прочитаешь, — коли дѣлать нечего.

— Только не я. А вы, Дарья Андреевна, любите читать?

— Очень люблю, только нечего. У насъ въ городѣ хорошихъ книгъ не достать.

— А вы что любите читать: ученое или беллетристику?

— Все, что нравится.

— Ну, это еще ничего не значить. Вы наприжѣръ читали „Отцы и дѣти“, романъ Тургенева?

— Нѣтъ, не читала.

— И не читай, ради Бога: это развратъ! — сказала Анна Николаевна.

— Для васъ пожалуй, потому что вы прожили молодость; вы люди стараго поколѣнія, а мы новые.

— То-то вы новые: толкуете все о какомъ-то трудѣ, а сами ничего не дѣлаете, только языкомъ болтаете — благо онъ не на привязи.

— Извините-съ: я сама себѣ платки и шужу и нишки мою, сама крахмалю и глажу.

— Ну! — И Анна Николаевна, махнувъ рукой, ушла.

Дарья Андреевна заинтересовала эта барыня.

Онѣ вошли въ залу. Нѣсколько минутъ молчали. Марья Андреевна сѣла и стала перебирать одну книгу: стихотворенія Жадовской; Дарья Андреевна стояла у окна и смотрѣла на улицу; проехали два воза дровъ, проѣхала барыня на дрожкахъ и прошло нѣсколько человѣкъ впередъ и обратно, заглядывая въ окна этого дома. Вообще эта улица хотя и не особенно, все-таки была оживлена больше, чѣмъ та улица въ Ильинскѣ, на которой стоитъ домъ ея родителя. Телѣжникова перебирала ноты.

— Дарья Андреевна, вы умѣете играть? — вдругъ спросила ее Телѣжникова.

— Нѣтъ.

— А пѣть?

— Пѣть я умѣю очень немного и то простонародныя пѣсни.

— Въ театрахъ бывали?

— Когда я здѣсь жила, то раза два была. Понравилось. Играли: „Не въ свои сани не садись“.

— Что же, помните вы кое-что изъ комедій?

— Она на меня произвела тяжелое впечатлѣніе.



— Напротивъ, она самая смѣшная.

— Я съ вами спорить не могу, только мнѣ кажется, что въ ней купеческая жизнь изображена очень вѣрно. Напримѣръ семейныя сцены представлены очень хорошо, купцы Бородинъ и Русаковъ какъ вылитые... И я думаю, что купцамъ не совсѣмъ пріятно смотрѣть, какъ ихъ представляютъ. Только вотъ актеры на купцовъ не похожи—манеры у нихъ чиновничьи.

— Въ самомъ дѣлѣ! Да вы знатокъ въ театральномъ дѣлѣ!

— Какой же знатокъ: я вѣдь всего-то была въ театрѣ два раза.

— Погодите, мы часто съ вами будемъ ѣздить въ театръ, у меня тамъ абонирована ложа. Вотъ и сестрицу вашу,—какъ ее звать?—Марью Андреевну тоже будетъ брать. —Марья Андреевна покраснѣла, но Дарья Андреевна отъ приглашенія ѣздить въ театръ отказалась.

— Почему же вы отказываетесь? —спросила ее Телѣжникова.

— Мы не привыкли къ ложанъ. Ужъ если я буду нѣтъ свои деньги, то сама пойду въ театръ и куда-нибудь повыше,—отвѣтила Дарья Андреевна.

— Какая вы гордая! —И она съ улыбкою, незаметно для Дарьи Андреевны, оглядѣла ее съ головы до ногъ и потомъ съ улыбкой же извинилась за свое выраженіе. —Надѣюсь, мы съ вами познакомимся ближе. Такъ? —и она протянула ей руку.

— Благодарю. —Дарья Андреевна подала ей свою руку.

— Нѣтъ, вы не отказывайтесь. Мнѣ очень хочется познакомиться съ вами. — Она пошла, держа руку Дарьи Андреевны въ своей рукѣ; Дарья Андреевна тоже пошла.

— Вы мнѣ очень нравитесь, я такъ много объ васъ слышала хорошаго, такого, что возмущаетъ стариковъ, но что въ духъ нашего времени, что ждала васъ съ нетерпѣніемъ.

— Покорно благодарю.

Телѣжникова улыбнулась и начала:

— Ей-Богу. У насъ, знаете, теперь время такое... время прогресса. Вы знаете, что такое прогрессъ?

— Нѣтъ.

— Это, моя душечка, то, когда люди стремятся къ чему-то другому, непохожему на прежнюю жизнь. Возьмите наприимѣръ освобожденіе крестьянъ—это небывалая вещь! Кто бы могъ подумать, живя назадъ тому двадцать лѣтъ, что наступитъ время, когда будутъ освобождены крестьяне, когда отъ полиціи отнимутъ ту власть, которою она еще такъ недавно пользовалась, когда становые приставы будутъ ничто. Это великія преобразованія. Но я отклонилась отъ предмета. Теперь настало время прогресса не только для мужчинъ, но и для женщинъ.

Дарья Андреевна поглядѣла на нее испытующимъ взоромъ.

— Васъ удивляютъ мои слова, моя милочка. А я вамъ скажу, что на женщинъ лежатъ великія обязанности. Не говоря уже о томъ, что она даетъ и воспитываетъ для государства дѣтей, она и государствомъ орудуетъ.

— Какъ это государствомъ?

— Да такъ: что нѣ дѣлается мужчинами, дѣлается по волѣ нашей.

— Я съ этимъ не согласна, потому что жила въ такомъ городѣ, гдѣ все дѣлалось по волѣ мужей. Иногда мужья совѣтуются съ женами, но все-таки дѣлаютъ по своему. Случается, дѣйствительно, есть такіе мужья, которые въ многомъ случаѣ дѣлаютъ по совѣту жены, но за то въ другомъ — держать жену какъ какую-нибудь служанку.

— Я къ тому и веду рѣчь, что у насъ, да и вездѣ, кромѣ Англіи и Америки, существуетъ полный деспотизмъ. У насъ мужчина—глава. Надо, чтобы этого не было, и сдѣлать это очень возможно.

— Какимъ образомъ?

— Завести женскія училища, въ которыхъ бы обучали женщины; установить свободу брака, допустить женщинъ на службу. И эти задачи лежатъ на обязанности женщинъ, потому что мужчины хотя и берутся за эти вопросы, но стараются обрѣзать ихъ, потому что никакъ не могутъ отстать отъ принципа, что они главы, законодатели, и что въ нихъ вся сила; насъ же считаютъ существами слабыми, игрушками, которыми въ свободное время можно забавляться какъ угодно. Однако извините за нескромный вопросъ: какъ вы смотрите на бракъ? Я спрашиваю потому, что слышала, вы многимъ даже хорошимъ женихамъ отказали?

— А вы какъ?

— А-а? понимаю, что вы ищете идеала. — Она вздохнула. — Идеалы такъ и остаются во всю жизнь идеалами, потому что всѣ мы выходимъ зря.

— А вы?

Щеки Телѣжниковой покраснѣли.

— Какъ можно! Я вышла по любви; мы живемъ отлично. Но вотъ я знаю многихъ...

Дарья Андреевна взглянула на нее. Она продолжала:

— И онѣ въ этомъ не виноваты. Однѣ выходятъ замужъ за виднаго въ обществѣ челоѣка для того, чтобы блистать въ обществѣ; другія—изъ желанія быть чиновницей; третью же нужда заставляетъ выходить замужъ за кого попало, хоть за старика, чтобы только избавиться отъ ненавистной семьи, въ которой ихъ грызутъ; наконецъ четвертыя выдаютъ сами родители для того во-первыхъ, чтобы избавиться отъ лишняго бремени, а во-вторыхъ, чтобы и самимъ пристроиться у зятя на старости лѣтъ или получить черезъ него должность, чинъ и награду, если только у зятя родня со связями.

— Въ чиновническомъ быту это такъ. Но вы взгляните на другія сословія, особенно на мѣщанъ и крестьянъ.

— Я, правда, съ этими сословіями мало знакома, но нахожу, что они находятся въ грубомъ и невѣжественномъ состояніи.

— Напротивъ, народъ этотъ хорошій, добрый. Если же онъ не ученъ, то это зависитъ отъ бѣдности.

— Это пожалуй правда,—согласилась Телѣжникова и задумалась.

— Вы такъ прекрасно изобразили положеніе женщинъ-чиновницъ. Я видала такихъ женщинъ, и съ

вашии словами согласна. Но я должна вамъ замѣтить, что мѣщанки и крестьянки рѣдко желаютъ управлять или учиться. Онѣ просто всю жизнь работаютъ, и даже больше своихъ мужей.

— Вотъ это и скверно.

— А безъ работы такой женщины будетъ скучно. Я вотъ васъ хочу спросить: какой вы находите выходъ чиновницѣ изъ такого подчиненія, какъ напиримѣръ замужество?

— Я уже сказала, что женщина должна быть равна мужчине и должна наравнѣ съ нимъ работать.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Я тутъ ничего не вижу дурного: я вотъ даже сама глажу, шью и иногда сметаю пыль крыльшкомъ.

Пришла Анна Николаевна и разговоры приняла другое направленіе, а именно о новомъ платьѣ вице-губернаторши, о новомъ рысакѣ полиціи-мейстера и т. д. Дарья Андреевна задумалась надъ Телѣжниковой. Ей казалось, что въ словахъ ея есть и правда, и противорѣчіе, что она какъ будто хвастается, говоритъ вычитанное, какъ заученное, а не испытанное на себѣ. Но вотъ чего она не могла понять: какъ это молодая барыня, жена чиновника особыхъ порученій, говорить, что женщина должна работать? Что это значитъ? Въ словахъ Телѣжниковой было такъ много новаго, но недосказаннаго, что ей хотѣлось еще поговорить съ нею, чтобы она объяснила ей понятнымъ языкомъ и примѣрами все то, что говорила ей.

Телѣжникова стала собираться домой. Сборы эти были длинные; нужно было припилиить что-то на мантильѣ, а она одна не могла этого сдѣлать; нужно было шляпку надѣть, и тутъ безъ посторонней помощи не обошлось и т. п., такъ что Дарью Андреевну, при всемъ ея расположеніи къ Телѣжниковой, взяло сомнѣніе—дѣйствительно ли она умѣетъ гладить мантишки и проч. Наконецъ Телѣжникова собралась со-всѣмъ. Подблвала Анну Николаевну, протянула руку Марьѣ Андреевнѣ, которая проклинала ее на чѣмъ свѣтъ стоитъ, и потомъ, протянувъ руку Дарьѣ Андреевнѣ, проговорила:

— Я васъ, милочка, непремѣнно жду къ себѣ завтра не съ визитомъ, а такъ, посидѣть. Мы потолкуемъ.

И она граціозно ушла, сѣла въ пролетку и уѣхала.

— Какова? Славная женщина! Только не люблю я ее за болтовню: говорить, говорить... Да вѣдь какъ? Въ старину на кодѣнки бы поставили. А теперь!.. — проговорила Анна Николаевна, глядя въ окно на отъѣзжающую племянницу.

### ХVIII.

Прошло полторы недѣли съ тѣхъ поръ, какъ Дарья Андреевна съ сестрой поселились у дяди. Читатель, я думаю, сердится на то, что Дарья Андреевна все еще только хочетъ поступить куда-нибудь въ магазинъ. Но дѣло въ томъ, что не будь у нея бревна среди дороги — этой родни, будь она безъ всякихъ средствъ къ жизни, безъ куска хлѣба, безъ крова, — она конечно не задумалась бы поступить куда-нибудь или взяться за какую-нибудь работу, чтобы

заработать себѣ хлѣбъ и кровъ. Но кромѣ этого ее брала еще боязнь за будущее: рѣшившись на новую жизнь, она уже разъ навсегда должна была прекратить съ родными, изъ которыхъ даже ея прежній другъ, братъ Кузьма, высказался съ насмѣшкой объ ея намѣреніи. Она понимала, что порѣшиться съ родней теперь уже не такъ трудно; прежде она не хотѣла оскорбить отца, а объ остальной роднѣ нисколько не думала; теперь же, когда ей только оставалось перескочить бревно, которое раздѣляло два міра — сытый отъ голоднаго, — она боялась попасть въ голодный міръ безъ денегъ, безъ паспорта и одна-одинехонька, такъ какъ хотя въ этомъ мірѣ и были у нея знакомыя рабочія женщины, но она не знала, какъ примутъ ее, дочь чиновника, онѣ — мѣщанки, привыкшія ко всякимъ лишеніямъ, сидяція иногда безъ хлѣба, но все-таки дорожація своимъ крошечнымъ спокойствіемъ и нелюбяція, чтобы въ ихъ жизнь заглядывало лицо постороннее, не принадлежащее къ ихъ сословію. Не будутъ ли и онѣ смѣяться надъ ея желаніями такъ же, какъ смѣялись надъ ней отецъ и братъ, и не отнесутъ ли это къ тому, что вотъ-де барышня и сыта, и одѣта, а хочетъ черной работой заниматься изъ-за того, что ей дѣлать нечего и она съ жиру обѣситъ? Поэтому она, прежде чѣмъ поступить въ голодный міръ, хотѣла приобрести изъ него благожелательницъ, которыя бы полюбили ее и рекомендовали кому-нибудь.

Итакъ Дарья Андреевна, живя у дяди, съ тревогой дожидалась того дня, когда она можетъ покинуть этотъ ненавистный для нея міръ, живущій въ праздности на счетъ бѣднаго міра, а если и дѣлающій что-нибудь, то ради скуки или на-показъ, какъ говорила про Телѣжникову кухарка Анны Николаевны, Татьяна. Но и здѣсь Дарья Андреевна не сидѣла сложа руки, иначе ей было бы невыносимо скучно въ этомъ большомъ домѣ, гдѣ все чинно и весь день распредѣлено такъ, что вставали, пили чай, обѣдали и проч. въ извѣстные часы, почти что минута въ минуту. На другой же день Анна Николаевна дала Дарьѣ Андреевнѣ свое шелковое платье, которое уже было поношено, но которое, какъ она говорила, было надѣто всего только два раза. Была повзвана портниха, которая, подъ надзоромъ самой Анны Николаевны, перекроила это платье, но Дарьѣ Андреевнѣ поговорить съ нею не удалось, такъ какъ портниха пробыла у Анны Николаевны не больше часу, Анна Николаевна не отходила отъ нея ни на шагъ, чтобы та не стащила какого-нибудь лоскутка.

Дарья Андреевна сшила платье въ однѣ сутки. Оно оказалось сшито такъ хорошо, что Аннѣ Николаевнѣ ничего больше не оставалось, какъ похвалить Дарью Андреевну. Марья Андреевна, помогавшая шить платье, злилась, что тетка не подарила и ей платья; она плакала съ досады и зависти и еще больше злилась на сестру, которая ее утѣшала, и на тетку, которая ее конфузила за чаемъ, за обѣдомъ и за чѣмъ попало. Не нравилось это и Дарьѣ Андреевнѣ, но она предчувствовала, что такія благодѣянія и предпочтеніе не даромъ, не отъ чистаго сердца, а съ какою-нибудь цѣлью, что она ни больше, ни меньше какъ жертва, которую какъ видно прочатъ вы-

зять замужъ. Вѣдь Ипполитъ Аполлоновичъ еще въ Ильинскѣ обѣщавъ выдать ее замужъ за хорошаго человѣка, и говорилъ, что у него и женихъ есть. Все это казалось Дарьѣ Андреевнѣ досаднымъ, и она, рѣшившись выжидать, чтѣ изъ этого будетъ, дала себѣ слово не выходить замужъ, и если вслѣдствіе отказа ей будетъ худо, то бѣжать отъ дяди.

Какъ только было окончено платье, Анна Николаевна навалила обвинѣ племянницамъ такъ много работы, что ея хватило бы и на годъ: тутъ была и починка, и перешивка, и надвязка, и прочее. Нѣсколько самыхъ негодныхъ вещей она подарила племянницамъ. Племянницы сѣли за работу. Погода стояла ненастная, такъ что и въ садикъ было непріятно выходить; солнце не показывалось, небо было сѣрое и покрытое облаками, съ рѣки дулъ рѣзкій, холодный вѣтеръ, такъ что не открывали оконъ, отчего въ комнатахъ было душно, темно и грустно. Гуляній въ городѣ въ это время не было, а бывали въ дворянскомъ клубѣ танцы, но Анна Николаевна не возила племянницъ туда вѣроятно потому, что находила ихъ недостойными бывать въ этомъ святилищѣ; въ гости она ихъ тоже не отпускала, потому что боялась, что онѣ развратятся. Она ѣздила съ ними въ свою приходскую церковь, но и тамъ, становясь у лѣваго клироса, ставила ихъ впереди себя, хвастаясь знакомитъ своими благодѣяніями; при этомъ она нѣсколько разъ въ церкви замѣчала, особенно Марьѣ Андреевнѣ, что она вертится, глядя по сторонамъ,—однимъ словомъ, не умѣетъ себя держать въ порядочномъ обществѣ. Хотя къ Аннѣ Николаевнѣ и собирались гости, но это были или старухи, или барыни, отъ которыхъ кромѣ хвастовства и сплетенъ ничего путнаго нельзя было добиться.

Наконецъ прошло двѣ недѣли, наступила суббота. Еще далеко до всеобщей наші дѣвнцы были одѣты: Дарья Андреевна—въ перешитое платье, которое подарила ей Анна Николаевна, Марья Андреевна тоже въ шелковое платье, данное ей теткой-благодѣтельницей на сегодняшний и завтрашній день; на головахъ ихъ были надѣты сѣтки, въ уши вѣдты золотыя серьги, данныя тоже Анной Николаевной, на ногахъ полусапожки, подаренныя Ипполитомъ Аполлоновичемъ. Анна Николаевна ворчала и суетилась, точно собиралась на балъ. Ипполиту Аполлоновичу было вѣжливо одѣться въ самое лучшее платье на томъ основаніи, что онъ долженъ вывезти племянницъ въ крестовую церковь, куда онъ ходитъ постоянно и гдѣ ему всѣ, начиная отъ архіерея и кончая старостой, знакомы. Наконецъ зазвонили ко всеобщей, Яковлевы поѣхали. Нечего и говорить о той важности, съ какой Яковлевъ и жена его вошли въ церковь. Сама Яковлева пробралась къ правому клиросу, а дѣвнцы вѣдѣла стать впереди. Нѣсколько большіхъ пѣвчихъ что-то переговаривали между собой и хихикали, немногіе помолоче краснѣли. Марья Андреевна не смѣла и взглянуть на клиросъ; но Дарья Андреевна, услышавши нѣсколько нелестныхъ отзывовъ на ея и ея сестры счетъ, провнесовныхъ пѣвчихъ, пошла съ своего мѣста далѣе.

— Ты куда?—спросила Анна Николаевна.

— Я подальше пойду, въ народъ.

— Это еще что за выдумки? Здѣсь просторно и лучше пѣвіе слышно. Прошу остаться.

Однако Дарья Андреевна не послушалась и ушла въ середину церкви. „Не уйти ли мнѣ теперь къ брату? Но на мнѣ чужое платье“, подумала она. Взглянула она налѣво, — черезъ два человѣка стоялъ братъ и усердно молился. Онъ какъ будто не замѣчалъ ее. „Какъ это онъ не дежуритъ сегодня?“, подумала Дарья Андреевна, и стала глядѣть на него, чтобы онъ замѣтилъ и подошелъ къ ней. Онъ у дяди не былъ уже четыре дня. Но братъ всячески старался не замѣтить ее, а глядѣлъ или въ землю, или впередъ, или направо. „Не можетъ быть, чтобы онъ не замѣтилъ, когда я проходила сюда отъ клироса“, подумала Дарья Андреевна и пошла на самый задъ, гдѣ стояли старухи, старики и шалили ребята. Немного погодя, къ ней подошелъ братъ.

— Сестричка, ты вѣдѣишь тутъ стала?

— А что?

— На тебѣ хорошее платье. Ты должна стоять съ Анной Николаевной.

— Почему?

— Потому что ужъ такъ принято.

— А если мнѣ здѣсь нравится?

— А если я тебя прошу?

— Ступай на свое мѣсто, а я здѣсь останусь: здѣсь вѣдѣишь на меня некому.

— Но ты осердишь дядю.

— Глупо, если дядя за это будетъ на меня сердиться.

Братъ ушелъ, а Дарья Андреевна, зная слабость дяди, встала напротивъ лѣваго клироса, такъ что дядя не могъ ее видѣть, а она его видѣла.

Народу уже было много.

Дядя стоялъ у лѣваго клироса у самой рѣшетки и, разговаривая съ дьякономъ, улыбался и самодовольно, какъ сытая обезьяна, поглядывалъ по сторонамъ. Рядомъ съ нимъ стоялъ какой-то пріѣзжій протопопъ въ камлавкѣ и съ наперснымъ крестомъ на груди и еще какой-то высокій молодой человѣкъ, съ чистымъ, красивымъ, но иезуитскимъ лицомъ, съ длинными русыми волосами и въ золотыхъ очкахъ. Всѣ эти три лица то усердно молились, то вдругъ между ними завязывался какой-то горячій споръ; они жестикуютъ, улыбаются, надменно взглядывали на сосѣдей, точно желая обратить на себя ихъ вниманіе; къ нимъ приставали и пѣвчіе.

— Экіе супостаты, прости Господи! И молиться-то не даютъ,—проговорила какая-то старушка, повидимому изъ благодѣльныхъ, стоявшая недалеко отъ Дарьи Андреевны.

— Ужъ именно—одинъ соблазнѣи,—прибавилъ купецъ вполголоса.

— А вы не смотрите,—замѣтила какая-то барыня, стоявшая рядомъ съ Дарьей Андреевной и до сихъ поръ съ умилениемъ молившаяся и часто взглядывавшая на нее.—Я васъ ровно гдѣ-то видѣла?—спросила она робко Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна встала на колѣни, потому что въ это время она замѣтила обернувшееся въ ея сторону побагровѣвшее лицо дяди. Но недолго она стояла и ушла домой.

Пріѣхалъ дядя съ женой и съ Марьей Андреевной. Дядя и тетка были сердиты; Дарья Андреевна лежала на кровати и читала книжку въ то время, когда они пріѣхали. Она слышала, какъ рычалъ дядя и какъ гнула Анна Николаевна.

— Это чортъ знаетъ что такое!.. Это... это...

— Ну, развѣ я тебѣ не говорила?

— Отстаньте вы отъ меня! Уйти домой, осрамить!

— Маша, позови сюда сестру.

Но Дарья Андреевна сама вышла уже переодѣтая.

— Что это значить, что ты ушла изъ церкви?— спросилъ ее грозно Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Голова заболѣла.

— А! Отчего это она могла заболѣть?

— Не знаю, должно быть отъ жару.

— А ты не могла подойти къ теткѣ и сказать ей, что у тебя голова болитъ? Тогда мы бы всѣ разомъ выѣхали изъ церкви.

— Я думала, что нарушу...

— Смотрите, милостивая государыня!.. У меня чтобы впередъ этой дури не было. Иначе я вѣдь и дверь укажу.

— Я была бы рада этому, дяденька.

— Чтѣ такое?!.. — АР!—въ испугѣ и въ недоумѣніи спросили супруги.

— Я бы рада была, еслибы вы меня отпустили.

— Куда! На распутіе? Ша-алишь, матушка! Ша-лишь! Завтра мы опять поѣдемъ въ соборъ и я погляжу, какъ ты будешь шлѣться по церкви и рѣшишься уйти, не достоявъ до конца обѣдни!—проговорилъ онъ.

Дарья Андреевна ничего не возражала, потому что идти ей было некуда, да и безумно. Одно утѣшеніе оставалось ей—это переговорить съ г-жею Телѣжниковою, которая такъ много тараторила ей о женскомъ трудѣ. Вѣдь звала же ее Телѣжникова къ себѣ почти каждый разъ, какъ бывала у дяди въ домѣ, и ее не отпущали туда потому только, что стояла ненастная погода. Дядя глубоко оскорбилъ ее, хуже даже, чѣмъ дѣлывалъ это отецъ. Теперь уже не оставалось никакого сомнѣнія, что дядя считалъ себя заступающимъ мѣсто отца. Марья Андреевна еще въ церкви испугалась за сестру, хотя сама и стояла какъ на иголкахъ. Она струсила не на шутку, когда дядя зарычалъ на Дарью Андреевну.

— Что ты дѣлаешь, сестрица?—говорила Марья Андреевна сестрѣ, когда онѣ пришли въ отведенную имъ для сна и занятій комнату.

— Я дѣлаю такъ, какъ всякій на моеѣ мѣстѣ сдѣлалъ бы. Какую такую власть они имѣютъ надъ нами?

— Все-таки нехорошо. А вдругъ онъ прогонитъ?

— Я уже сказала, что очень буду этому рада. Пусть выгонитъ,—пойду къ брату, братъ не выгонитъ, а если братъ не пуститъ, попрошу у него денегъ и найму гдѣ-нибудь дешевенькую комнату: вѣдь вотъ онъ платитъ же за комнату рубль, а съ меня, женщины, можетъ быть возмунтъ и дешевле. Ты будешь жить со мной?

— Не знаю, сестрица. Я ужъ лучше поѣду къ брату Осипу.

— А что же ты говорила въ прошлый разъ о жизни у брата? Впрочемъ это дѣло твое.

Въ воскресенье онѣ были у обѣдни въ кафедральномъ соборѣ, гдѣ служилъ архіерей. Пѣвчіе пѣли на хорахъ; поэтому Ипполитъ Аполлоновичъ стоялъ уже не у клироса, а около архіерейской кафедрѣ на видномъ мѣстѣ, и усердно молился для того вѣроятно, чтобы на него обратилъ вниманіе архіерей. Жена его, считавшая себя причисленною къ высшему кругу, стояла не на лѣвой сторонѣ съ мелкими чиновническими и дворянскими женами, хвостомъ конитъ служили купчихи и мѣщанки, а на правой, позади губернаторши, наравнѣ съ совѣтниками; и такъ какъ былъ солнечный день, то тутъ находилась справа и слѣва, съ полиціею и естеромъ назади, распоряжавшимся, чтобы отъ архіерейскаго мѣста до иконостаса было достаточно проходу. Во время херувимской возлѣ Дарья Андреевна встала Телѣжникова, шурша длиннымъ шлейфомъ своего атласнаго платья; на головѣ ея была маленькая шляпка, въ ушахъ золотыя серьги, на шеѣ золотая цѣпочка. Она кокетливо раскланивалась и улыбалась молодымъ мужчинамъ и дамамъ.

— А! И вы здѣсь. Здравствуйте,—обратилась она къ Дарьѣ Андреевнѣ и протянула ей руку, на которой была надѣта желтая перчатка.

Когда Дарья Андреевна подала свою руку, то Телѣжниковой сдѣлалось какъ-будто конфузно, но она впрочемъ подала Дарьѣ Андреевнѣ только два пальца и скоро ихъ отдернула.

— Ну, какъ дѣла?—спросила она.

— Какія у меня дѣла!

— А я, душечка, смучилась. Концертъ устраиваю. —И тотчасъ же обратилась къ молодому мужчинѣ, съ которымъ и заговорила по-французски.

— А вы читали „Отцовъ и Дѣтей“?—спросила она опять Дарью Андреевну.

— Да. Я уже возвратила ихъ вамъ.

— Ну, какъ вы находите?

— Написано хорошо, но я такихъ людей не видала.

— Какая же вы правое...

И она опять заговорила по-французски съ молодымъ человѣкомъ, улыбаясь; тотъ смѣялся.

„Эта барыня кажется не можетъ ни одной минуты прожить не болтавши“, подумала Дарья Андреевна.

— Приходите ко мнѣ сегодня обѣдать часовъ въ пять. Мой мужъ такъ занятъ, что мы раньше никакъ не можемъ обѣдать.

— Онъ и въ праздники занятъ?

— Пожалуйста не острите! Конечно и въ праздники. Вотъ, напримѣръ, сегодня онъ пойдетъ въ часъ къ губернатору, и тотъ его продержитъ долго... Я бы не пошла сегодня сюда. Я вѣдь рѣдко хожу въ церковь, но мужъ говорилъ, сегодня какой-то магистръ будетъ сказывать проповѣдь безъ тетрадки, наизусть. Это любопытно. Какъ вы думаете, душечка?

— Я по крайней мѣрѣ никогда не видала такихъ.

— Кто онъ? Вамъ не говорилъ дяденька?

— Нѣтъ.

— Ахъ, здравствуйте, Марья Андреевна. Я васъ

и не замѣтила, — обратилась она къ Марьѣ Андреевнѣ, но руки ей не подала.

Та поклонилась. Телѣжникова отошла отъ нихъ, какъ будто знакомство это компрометировало ее.

Наконецъ поставили аналой лицомъ къ народу, изъ алтаря вышелъ въ стихарѣ молодой человѣкъ. Перекрестившись и проговоривши обычное „во имя Отца“, онъ спряталъ руки подъ стихарь и началъ говорить, глядя въ потолокъ. Сперва щеки его покраснѣли, тоненькій голосъ дрожалъ, запинался, но потомъ онъ справился, взглянулъ на народъ, остановился, покраснѣлъ... Но онъ какъ видно былъ не изъ робкихъ: тотчасъ же, вытащивъ изъ-подъ стихаря клочекъ бумажки, онъ, положивъ ее на аналой и взглянувъ на нее, сказалъ текстъ изъ священнаго писанія, и пошелъ, и пошелъ, да такъ заговорилъ бойко, что самъ губернаторъ — изъ военныхъ генераловъ — подвинулся къ нему ближе, а за губернаторомъ подвинулась и другая знать изъ пожилыхъ людей, въ томъ числѣ и Ипполитъ Аполлоновичъ. Проповѣдникъ былъ красивъ, оживленъ, молодъ и къ тому же это было первое лицо изъ молодыхъ людей, говорившее въ этомъ соборѣ наизусть. Все это удерживало большинство публики въ церкви, а дамы ахали и краснѣли, когда онъ запинался или останавливался; только одни пѣвчіе разбѣжались курить въ сторожку.

— Ахъ, какой душака! — говорила Марья Андреевна.

— Рисуется, — отвѣчала Дарья Андреевна.

Марья Андреевна надула губы и отвернулась отъ сестры.

— Не знаете на комъ онъ женится? — спрашивалъ какой-то молодой чиновникъ другого.

— Нѣтъ. А что?

— Такъ. Онъ далеко пойдетъ.

Молодой проповѣдникъ кажется готовъ былъ ораторствовать безъ устали, но на хорахъ сильно закрикали пѣвчіе, въ алтарѣ стали подергивать завѣсой, закричалъ и протоиерей, и онъ, не кончивши фразы, вдругъ сказалъ: „аминь“, поклонился и ушелъ. Народъ вздрогнулъ, потому что изъ его словъ рѣшительно нельзя было ничего понять, такъ что купцы и старухи, привыкшіе къ проповѣдямъ, изложеннымъ простымъ слогомъ, въ которыхъ проповѣдникъ говорилъ о наказаніи за грѣхи и о спасеніи за благочестивую жизнь, не на шутку вознегодовали. Многіе пошли домой. Пошла и Телѣжникова. За ней шелъ ея мужъ, высокій, худощавый мужчина, съ рыжими курчавыми волосами, съ веснушками на лицѣ, съ густыми рыжими бакенбардами и въ золотыхъ очкахъ. Ему на видъ было годовъ тридцать пять.

Она рекомендовала мужу Дарью Андреевну, тотъ слегка кивнулъ головой и, подхвативъ какого-то чиновника, пошелъ съ нимъ, покачиваясь на обѣ стороны и вытягивая животъ.

— Ну что, понравилась проповѣдь? — спросила Телѣжникова Дарью Андреевну.

— Ничего не поняла.

— И я тоже. Но самъ-то онъ... какъ вы его находите?

— Много о себѣ думаетъ.

— Какъ вы строги! Смотрите же, приходите, я буду ждать свиданія.

Дарья Андреевна хотѣла сказать, что у дяди по праздникамъ въ это время уже пьютъ чай, но Телѣжникова уже пошла, здороваясь съ дамами и мужчинами.

По окончаніи обѣдни Ипполитъ Аполлоновичъ послалъ своихъ дамъ домой — къ удивленію Дарьи Андреевны — пѣшкомъ. Анна Николаевна на его приказаніе сказала только: „смотрите, поскорѣе“, и онѣ пошли, а Ипполитъ Аполлоновичъ пошелъ за архіереемъ вмѣстѣ съ губернаторомъ и нѣсколькими губернскими тузами.

Погода, несмотря на начало сентября, была хорошая. Солнце хотя и не смотрѣло по лѣтнему, но грѣло; на улицахъ было сухо, вѣтру не было, но уже пахивало осенью: воздухъ былъ сырѣе, съ деревьевъ падали желтые листочки.

Дома Дарья Андреевна замѣтила, что у дяди что-то затѣвается. Такъ, въ столовой былъ накрытъ большой столъ, на которомъ стояло нѣсколько бутылокъ съ различными винами, появилось два лишнихъ прибора, изъ чего она заключила, что будутъ два гостя.

Наконецъ явились и гости, пріѣхавшіе съ Ипполитомъ Аполлоновичемъ. Это были: сегодняшний проповѣдникъ и протопопъ, вчера разговаривавшій съ дядей. Начались представленія. Протопопъ оказался благочиннымъ Zubовскаго уѣзда этой же губерніи, Кирилл Максимовичъ Македонскій, а проповѣдникъ его сынъ, Афиногенъ Кирилловичъ Македонскій — магистръ духовной академіи, желающій служить въ Егорьевскѣ въ духовномъ званіи.

Афиногенъ Кирилловичъ велъ себя развязно. Видно было, что онъ не принадлежалъ къ несчастнымъ бурсакамъ, съ дѣтства не видавъ гора, а находился въ кругу чиновнаго духовенства или духовной аристократіи и зналъ также свѣтское общество. Онъ былъ мастеръ говорить, — говорилъ увлекательно, хотя и вздоръ, но все-таки въ немъ нельзя было отрицать уна, и еслибы онъ попалъ на другую почву, то изъ него вышелъ бы хорошій человѣкъ; теперь же въ немъ проглядывалъ только схоластикъ, который вбилъ себѣ въ голову стремленіе быть священникомъ и воспитателемъ юношества. Онъ скоро овладѣлъ Дарьей Андреевной, рассказывая ей разные анекдоты изъ училищной и академической жизни, острлил надъ учителями и профессорами, рассказывалъ разные проделки надъ начальствомъ и хвастался своею ученостію, съ которою онъ далеко пойдетъ. Ипполитъ Аполлоновичъ и жена его, видя какъ молодой Македонскій увлекся ихъ племянницей, которая съ своей стороны тоже какъ будто весела, потирали руки отъ удовольствія; Марья Андреевна грызла зубами губы и до обѣда успѣла два раза выплакаться въ своей комнатѣ изъ зависти, что молодой проповѣдникъ обратилъ вниманіе на ея сестру, а на нее и не смотритъ. Только за обѣдомъ, когда она выпила рюмки три вина, она успокоилась. Она стала радоваться предстоящему счастью Дарьи Андреевны потому, что если сестра выйдетъ за Македонскаго замужъ, то она будетъ жить у сестры, ко-

торая ее ничѣмъ не обидитъ; а, живя у сестры, она скорѣе выйдетъ замужъ за священника. Но Дарья Андреевнѣ женихъ показався противенъ, хотя и былъ красивъ, и носилъ золотыя очки. Еще болѣе она возмущалась тѣмъ, что по окончаніи обѣда стали пить шампанское за ея здоровье. „Какъ они сѣбѣютъ, не спросяся меня, располагать моею судьбой?“, думала она, и когда брала бокалъ, то грудь ея замѣтно вздымалась. Она хотѣла бросить этотъ бокалъ на столъ и убѣжать, но удержалась и, не глядя на молодого Македонскаго и другихъ лицъ, молча чокнулась съ ними и выпила.

Послѣ обѣда она быстро ушла въ свою комнату, заперлась и заплакала.

— Даша! а Даша!—стучась въ дверь, говорила Анна Николаевна.

— Что угодно, тетенька?

— Выдь сюда, что это за срамъ такой! Тамъ гости, а она ушла и заперлась.

Она отперла дверь и сказала:

— Увольте меня, тетенька, отъ гостей.

— Что это значитъ, Дарья Андреевна? Что это вы за комедіи играете? — проговорила тетка, входя въ комнату.

— А никакихъ не играю комедій: я нездорова. Если же вамъ непремѣнно хочется, чтобы я исполняла ваши приказанія, то прошу васъ отпустить меня. Я пойду къ брату Кузьмѣ, поѣду домой. Не мучьте меня, милая, добрая тетенька!..

— Господи! Что я слышу! — всплеснула руками Анна Николаевна и сѣла. — Послушай, Даша, — начала она: — твоя жизнь неказиста. У тебя нѣтъ отца, который бы защитилъ тебя, укрылъ, оберегъ; начиха тебя не любить, да и ты сама говорила, что тебѣ опротивѣлъ Ильинскъ; къ Осипу ты тоже не расположена, да и я не долюбливаю его жену. Ты надѣешься на Кузьму, но сама посуди, можно ли тебѣ жить у него: во первыхъ онъ живетъ въ лачугѣ; во вторыхъ содержать тебя онъ не въ состояніи, потому что получаетъ маленькое жалованье, а въ третьихъ едва ли онъ согласится взять тебя къ себѣ. Остается значитъ мнѣ, единственные ближніе твои родственники, которые всегда тебя любили и лелѣли, которые любятъ тебя теперь и желаютъ тебѣ добра. Повѣрь, Даша, что мы тебя любимъ, какъ будто ты наша дочь. Вотъ Маша — другое дѣло: мы изъ челоуѣколюбія благожелательствуемъ ей, а тебѣ — ради нашей привязанности въ тебѣ. Повѣрь, Даша, что кромѣ насъ никто не будетъ стараться о тебѣ, — бѣдной, беззащитной, безиротной дѣвушкѣ и притомъ дѣвушкѣ довольно красивой по нынѣшнему времени. Ходили здѣсь слухи, что ты будто бы хотѣла выйти замужъ за мѣшанина. Не перебивай, а выслушай до конца. Что-жъ? Намъ до этого нѣтъ дѣла. Но надо принять то въ соображеніе, что мѣшанская жизнь не очень привлекательна. Ты — дочь чиновника, ты, такъ сказать, дворянка, и вдругъ ты дѣлаешься женой мѣшанина, присоединяешься къ обществу бѣдняковъ, мошенниковъ, конокрадовъ и головорѣзовъ. Положимъ, тебѣ нравится этотъ молодецъ; онъ красивъ, силенъ, честенъ — какъ въ книгахъ писано. Хорошо. Ты жена, и съ перваго же дня должна будешь почувствовать

сладость этой жизни: ты жена и работница; ты все должна сама дѣлать, потому что въ мѣшанствѣ не принято нанимать прислугу. А ты не привыкла къ тяжелой работѣ. Ты и наружностью должна преобразиться въ мѣшанку: вмѣсто шелкового платья должна носить ситцевое, вмѣсто сапожковъ — грубыя, какъ ихъ называютъ...

— Ботинки, тетенька.

— Ну, да. Вмѣсто шляпки — косынку, вмѣсто сапога — шугай, и во всемъ этомъ должна бѣгать по городу съ молокомъ, торговать на рынкѣ сапогами, убирать навозъ. Ужъ одно это будетъ тебя беспокоить. Потомъ мужъ будетъ тебя бить. Наконецъ онъ можетъ умереть и у тебя останутся дѣти. Что тогда? Ужъ родня твоя съ отцовской стороны и на порогъ не пуститъ тебя. Остается голодать, работать на дождѣ, на морозѣ. Вотъ о чемъ ты, дѣвушка нѣжнаго сложенія, образованная, не подумала. Слышали мы также, что ты отказала двумъ засѣдателямъ, и мы въ этомъ не обвиняемъ тебя. Тогда, при отцѣ, не было надобности торопиться замужествомъ. А теперь не то. Здѣсь положимъ образованныхъ чиновниковъ много, но имъ нужно богатое приданое, а у тебя его нѣтъ. Но какъ тебя, такъ и сестру твою, мы скоро выдадимъ замужъ. Маша не требовательна, — ей уже есть на прихѣтъ женихъ; но тебѣ не такъ-то легко было найти. Однако мы нашли. Этотъ женихъ — Македонскій. Что же? Это кладъ. Черезъ полгода по посвященіи въ священники онъ будетъ протопопъ, ему дадутъ церковь, онъ будетъ во главѣ прихода, а ты — *матушка* — протоіерейша! Дая, ей-Богу, завидую твоей участи. Что жъ ты на это скажешь?

— Позвольте, тетенька, подумать.

— Подумай, подумай, дитя мое. — Она обняла Дарью Андреевну и поцѣловала. — Онъ пріѣдетъ завтра и долженъ получить отвѣтъ.

— Позвольте мнѣ, тетенька, сходить къ Екатеринѣ Алексѣевнѣ. Она убѣдительно звала меня къ себѣ.

— Сходи, сходи. Она хоть и болтушка, но женщина не глупая. Посоветуйся. Можетъ быть она возьметъ тебя въ клубъ: тамъ ты повеселишься.

— Поздравляю тебя, Маша: ты скоро будешь замужемъ, — сказала Дарья Андреевна сестрѣ, когда та вскорѣ по уходѣ тетки пришла въ комнату. Марья Андреевну чуть не бросило въ обморокъ.

— Ты счастлива меня: тебя хоть предупреждаютъ, а меня наши благожелатели вдругъ, не говоря ни слова, толкаютъ замужъ за перваго встрѣчнаго.

— Какъ такъ? Я не понимаю, — спросила Марья Андреевна.

— Благожелательница объявила, что тебя скоро выдадутъ замужъ за чиновника. Ужъ есть на прихѣтъ.

— Не пойду.

— Пойде-ешь!

## XIX.

Телѣжниковы жили во второмъ этажѣ большого каменнаго дома, стоящаго на Петербургской улицѣ.

Въ нижнемъ этажѣ помѣщались разные магазины. Когда Дарья Андреевна позвонила, то дверь отперъ лакей въ коричневомъ пиджакѣ, — человекъ дѣтъ подь тридцать.

— Вамъ кого угодно?—спросилъ онъ Дарью Андреевну, оглядывая ее съ нахальствомъ.

— Катерину Алексѣевну.

— Онѣ спать. А вы отъ кого? Изъ магазина?

— Нѣтъ, я отъ себя.

— Спать-съ. Приходите опосля.

— Вы доложите, что приходила племянница сестриника Яковлева и зайдетъ опять.

— Хорошо-съ.—Лакей посмотрѣлъ на нее подозрительно и заперъ дверь.

Тяжело сдѣлалось на душѣ Дарьи Андреевны, когда она спускалась съ лѣстницы. Ей мучило то, что она шла за милостью. Какъ бы Телѣжникова ни была проста и добра, но все-таки она барыня. Она и въ разговорахъ съ нею ведетъ себя свысока. Какое же тутъ можетъ быть равенство, дружба, которой такъ ждала Телѣжникова. „Нѣтъ, это люди не нашего сорта, они гнутся надъ нами. Нехорошо намъ кланяться у нихъ: это все равно что просить милостыню и потомъ заманивать ихъ грѣхъ, а они будутъ хвастаться своими добродѣтелями и въ душѣ презирать мелкоту, высказывая ей наружное благоволеніе. Ужъ идти ли полно къ ней?“, думала она, идя по каменному тротуару. Улица, по которой она шла и на которой жили Телѣжниковы, была одна изъ лучшихъ въ городѣ. Она была широка, дома на ней каменные, двухъ и трехъ-этажные, построенные большею частію сплошную; рѣдкій домъ отдѣлялся отъ другого заплотомъ, сверхъ котораго высались или старинныя деревья, или молодая поросль—признакъ, что здѣсь живетъ купечество. Въ нижнихъ этажахъ помѣщались или магазины, или лавки, или погреба, которыхъ впрочемъ по тому времени было немного. Пестрѣло нѣсколько выѣсокъ портныхъ, сапожныхъ дѣлъ мастеровъ; одна евѣиска гласила, что тутъ модный магазинъ м-ше Миллеръ, а на окнахъ разставлены картинки парижскихъ модъ; потомъ шла женская гимназія, второе учебное училище, губернскае по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, врачебная управа и другія зданія. На улицѣ были поставлены столбы съ фонарями, которые зажигались въ темныя ночи; по ней шелъ телеграфъ. Она была оживлена. Поминутно кто-нибудь да ѣхалъ: кто въ каретѣ, кто въ коляскѣ, кто въ телегѣ; взадъ и впередъ шло тоже много разнаго народа: шли городскіе франты, чиновники, семинаристы въ длинныхъ сюртукахъ или казенныхъ шинелькахъ, гимназисты въ форменныхъ сюртукахъ и фуражкахъ, барыни въ шляпкахъ, люди, принадлежащіе къ разnochинцамъ, солдаты и проч. Кое-гдѣ передъ домами, стоя у тротуара, наигрывалъ на шарманкѣ итальянецъ: „Не шей ты мнѣ, матушка“ или „Не уѣзжай, голубчикъ мой“, а рядомъ съ нимъ испатая его дочь картавитъ, противнымъ голосомъ изо всѣхъ силъ подтягивала ему; кое-гдѣ мужчины въ красныхъ рубахахъ и въ бѣлыхъ фартукахъ выкрикивали сбietenъ, сахарно морожено, кое-гдѣ татары въ бѣлыхъ шляпахъ, сложенныхъ въ видѣ уха, выкрикивали лопанымъ языкомъ: одни—яблоки, лимоны, ананасы,

другіе—духи, мыло, гребенки. Дарья Андреевна замѣтила, что нарядный народъ идетъ и ѣдетъ больше въ одну сторону, а именно по направленію къ городскому саду, но она уже далеко забралась отъ дома Телѣжниковой и посмотрѣла на часы, выставленные на окнѣ одного часового магазина: оказалось, что она уже ходитъ около часу.

Когда она вновь пришла къ квартирѣ Телѣжниковой, то лакей вѣжливо сказалъ, что барыня долго изволила дожидаться ее и уѣхали въ модный магазинъ, а ее просила подождать въ залѣ, потому что скоро хотѣла быть.

— Въ какой же она магазинъ уѣхала?

— А вонъ тамъ на Перевязкей улицѣ къ мажвелѣ Петерсонъ. Онѣ постоянно тамъ заказываютъ и берутъ, что требуется. Пожалуйте-съ, — и онъ провелъ ее въ залу.

Зала просторная; окна ея выходили на улицу; на окнахъ кисейныя занавѣски съ позолоченными карнизамъ, карнизъ у потолка тоже позолоченъ. Стѣны залы оклеены палевыми обоями, на противоположныхъ окнахъ стѣнахъ висѣли картины, большею частію изображающія виды, рамки на нихъ простыя; между оконъ зеркала и около нихъ небольшіе столики, полъ паркетный; въ переднемъ углу небольшой образъ Спасителя въ позолоченномъ окладѣ. Въ залѣ стоитъ рояль со множествомъ нотъ. Стулья мягкіе, покрыты бѣлыми чехлами. Изъ залы два хода—одинъ напротивъ входныхъ дверей, другой направо. Тѣ двери, что напротивъ, были заперты, а другія закрыты портьерой голубого цвѣта.

Разсмотрѣвши картины, Дарья Андреевна стала ходить по комнатамъ. Скучно. Что-то скажетъ ей молодая барыня? Ужъ вѣрно, что ждать ей отъ нея нечего, потому что она звала ее и уѣхала. Впрочемъ у нея можетъ быть много дѣлъ. А живутъ они, какъ видно, просто: ни цвѣтовъ, ни птицъ у нихъ нѣтъ и незамѣтно той давящей обстановки, какъ у дяди. Время, казалось ей, шло долго. Она отъ нечего дѣлать стала глядѣть въ окно, но и тамъ все одно и то же—трескъ на мостовой, крикъ татаръ, мальчиговъ и мужичковъ, завыванія шарманки и женщины. „Какъ неловко дожидаться по своему дѣлу; такъ вотъ и кажется, что кто-то изъ тебя душу тянетъ. Должно быть эти господа любятъ, чтобы ихъ ждали“. Въ это время изъ-за портьеры высунулся самъ Телѣжниковъ. Онъ былъ во фракѣ, въ высокой круглой шляпѣ; подъ мышкой держалъ тросточку, въ лѣвой рукѣ перчатки, въ правой сигару.

— Ахъ, здравствуйте! Извините пожалуйста: Катя ушла по дѣлу въ магазинъ. Она сейчасъ пріѣдетъ, — проговорилъ онъ скороговоркой, разшаркиваясь и кладя шляпу и перчатки на рояль.

Дарья Андреевна поклонилась, ей сдѣлалось неловко.

— Садитесь пожалуйста!—и онъ поставилъ ей стулъ, дѣлая движеніе рукой, чтобы она сѣла.

Дарья Андреевна сѣла. Неловкость не проходила.

— А вѣдь мы васъ ждали обѣдать! Обманщица!—И онъ съ ловкостью танцора придвинулъ къ ней кресло и сѣлъ въ него развалившись; затѣмъ всунулъ



въ ротъ сигару и впился глазами въ Дарью Андреевну, какъ судебный слѣдователь.

— У васъ были гости—тетенька не отпустила,— отвѣчала Дарья Андреевна.

— А-а!..

Пауза.

— Ну, какъ вы находите нашъ городъ?

— Я въ немъ была уже нѣсколько разъ.

— А-а! На долго пріѣхали?

— Не знаю. Хотѣлось бы остаться.

— Конечно. Вѣдь у васъ тамъ скука смертельная? Ни клуба, ни танцевъ, ничего...

— Это правда.

— Ахъ, виновать... вы курите? Извините за нескромность...

— Курю.

Телѣжниковъ вынулъ изъ фрака портъ-сигаръ и предложилъ папироску.

— Я слышалъ, у васъ тамъ въ Ильинскѣ большой домъ?—спросилъ онъ послѣ небольшой паузы.

— Да. Только толку отъ него мало. Домъ старый, требуетъ большой починки. Если бы такой домъ былъ здѣсь...

— Да. Вотъ напримѣръ здѣшній домъ: за него сѣбѣ дадутъ двадцать тысячъ. Онъ одного доходу принесетъ хозяйну тысячу рублей въ годъ.

Опять замолчали. Телѣжниковъ смотрѣлъ на Дарью Андреевну и повидимому тяготился ею; Дарья Андреевна хотя и не чувствовала уже прежней неловкости, но ее удивляло, что хозяйникъ до крайности молчаливъ. Неужели онъ вездѣ такой? Вонъ жена его, такъ та ни одной минуты не можетъ обойтись безъ того, чтобы не говорить. „Эдакая я, право, ненаходчивая!“, упрекала она себя. Папироска дотгорѣла и она держала окурки въ рукѣ, не зная что съ ними сдѣлать. Вросить нехорошо, въ карманъ положить—забудешь выбросить. Телѣжниковъ видѣлъ это замѣшательство, но молчалъ. Наконецъ онъ всталъ.

— Извините пожалуйста мнѣ некогда, — сказалъ онъ раскланиваясь.

— Я пойду тоже.

— О, полноте! Катя сію минуту пріѣдетъ. Да вотъ и она.

Въ прихожей раздался звонокъ, хозяйникъ раскланился съ гостьей и быстро ушелъ въ прихожую съ шляпой и перчатками. Дарья Андреевна осталась въ залѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ, поговоривши съ мужемъ по французски и поцѣловавши его нѣсколько разъ, въ залу явилась и Телѣжникова, держа въ рукѣ картонку.

— Ахъ душечка! — И она быстро поцѣловала ее, потомъ отошла отъ нея на два шага и, сдѣлавъ трагическую позу, спросила по театальному: — Позвольте васъ спросить, почему вы не явились къ обѣду?

— Потому что... сказать ли вамъ почему?

— Почему?

— У насъ обѣдалъ мой женихъ.

— Вашъ женихъ?! Въ своемъ ли вы умѣ?!—Телѣжникова усѣлась противъ гостыя.

— Да. И знаете кто? Отгадайте!

— Не чумазый ли проповѣдникъ? Охъ, какъ глѣть не могу!

— А сами что говорили въ церкви?

— Нельзя же вѣрить всему, что говоришь. Неужели онъ?

— Онъ.

— Поздравляю! — Телѣжникова встала и съ усмѣшкой раскланилась.

— Не поздравляйте: я за него не пойду.

Телѣжникова сѣла.

— Почему? Вѣдь вы попадете будете?

— Не хочу—и все тутъ. Я вотъ къ вамъ пришла за совѣтомъ и съ просьбой. Вы такъ много говорили о женскомъ трудѣ, что я надѣюсь, вы поможете мнѣ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Мнѣ давно не нравится эта жизнь,—жизнь на чужой счетъ. Я, еслибъ хотѣла, давно бы вышла замужъ, но я не хочу быть обязанной мужу. Я хочу, чтобы у меня были свои деньги и чтобы мужъ не упрекнулъ меня, что я ѣмъ, живу на его счетъ.

— А любовь?

— Любовь самою собою. По крайней мѣрѣ мнѣ не пришлось найти такого человѣка. Правда, былъ одинъ, да далъ тягу. Тутъ вышло неравенство. А я именно равенство и хочу найти.

— Но гдѣ и какъ?

— Неужели и у васъ съ мужемъ нѣтъ равенства?

— О, я этого не говорю: мужъ меня любитъ и не запрещаетъ мнѣ тратить деньги.

— Это не равенство, потому что вы тратите чужія деньги.

— Да вѣдь онъ же мужъ мнѣ?

— Такъ. Но если вы много будете тратить, у него не достанетъ жалованья.

— Какое странное предположеніе! Оно положимъ, что онъ женился на мнѣ по любви и не требовалъ приданаго, какъ это водится у другихъ, но вѣдь у него есть помѣстье, да и я обучаю дѣтей. Правда, я не беру съ нихъ денегъ, потому что родители ихъ люди бѣдные и какъ-то стыдно брать копѣйки.

— Въ прошлый разъ вы мнѣ говорили, что женщина должна трудиться, чтобы не быть праздною, и вы указали даже на то, что вы сами гладите...

Лицо Телѣжниковой вспыхнуло.

— Вы меня совсѣмъ не поняли, моя милая. Я говорила, что мы должны подавать примѣръ бѣднымъ женщинамъ, положеніе которыхъ безвыходно. Я говорила, что эти женщины, чтобы имъ избѣжать каторжной жизни, должны трудиться и трудомъ жить самостоятельно. Наше же положеніе таково, что мы обезпечены со стороны мужа...

— Позвольте, Катерина Алексѣевна. Могутъ быть такія обстоятельства, что или вы разлюбите мужа, или онъ васъ...

Телѣжникова задумалась.

— Ну? Тогда что по вашему?

— Тогда, по моему, вы будете сами желать себѣ труда и не такъ будете говорить о женскомъ трудѣ, какъ теперь. Теперь вы сыты. Если вамъ нечего дѣлать—вы дѣтей учите, манишки гладите, а тогда, если вамъ придетъ въ голову разойтись съ мужемъ, надо чѣмъ-нибудь жить. Я о разводѣ потому говорю, что вы сами же о немъ много разсуждали.



— Да, это—пожалуй... Но у насъ съ мужемъ до этого не дойдетъ... Однако, душечка, извините... мнѣ надо въ клубъ ѣхать. — Телѣжникова подошла къ двери съ портьерой и крикнула: Аннушка! Въ залъ вошла дѣвушка годовъ 17-ти, черноволосая и рябова-тая. Телѣжникова отдала ей картонку, перчатки и велѣла приготовить бальное платье.

Когда горничная ушла, Дарья Андреевна встала и робко проговорила Телѣжниковой:

— Я къ вамъ съ просьбой: не можете ли вы рекомендо-вать меня въ какой-нибудь швейный магазинъ?

— Вамъ это зачѣмъ же?

— Я хочу жить работой.

— Это можетъ быть я васъ сбита съ толку. О, какъ вы, душечка, легкомысленны: вѣдь я говорила о бѣдныхъ женщинахъ и дѣвушкахъ.

— Значить все, что вы говорили...

— Нѣтъ... Но зачѣмъ же вамъ непременно нужно въ магазинъ идти? Если вы хотите работать, то я до-стану вамъ работу на домъ.

— Для того, чтобы мнѣ пить или вообще рабо-тать на дому, нужна квартира. А дядя, вы знаете, не допустить, чтобы я въ его домѣ занималась работой на сторону.

— Отчего не позволить? Теперь прогрессъ.

— Едва ли онъ понимаетъ этотъ прогрессъ, да и я сама не желаю у него жить. Стало быть мнѣ нуж-на квартира, а на квартиру нужны деньги; кромѣ этого нужно ѣсть, пить, башмаки...

— Живите у насъ.

— Покорно благодарю. Замужъ, какъ вамъ извѣс-но, я идти не хочу; жить въ Ильинскѣ не могу, у брата жить неловко; остается куда-нибудь поступить. Я бы пошла сама, но мнѣ магазинщицы незнакомы.

Телѣжникова подумала.

— Хорошо, завтра я съѣзжу къ Петерсонъ. Вамъ будетъ завтра время зайти ко мнѣ вечеромъ?

— Я зайду.

Телѣжникова подала ей руку и проводила ее до дверей.

Дарья Андреевна разочаровалась въ Телѣжнико-вой. Теперь она ей болѣе прежняго показалась ба-рыней-хвастуней. И раньше ей неловко станови-лось, когда Телѣжникова заводила разговоръ о *воз-вышенностяхъ* предметахъ, какъ она сама выража-лась, которые трудно было осилить Дарья Андреевнѣ и которые даже она сама не умѣла объяснить надле-жащимъ образомъ фактами и прижизнями. Какъ у дяди было тѣсно, душно и царилъ какой-то гнетъ, такъ у Телѣжниковыхъ было пусто, вѣяло холодомъ и оду-рающими ароматами. А вѣдь какъ легко и свободно Телѣжникова относилась ко всему: она толковала о женскомъ трудѣ, восходя въ своихъ сужденіяхъ чуть ли не до занятія женщинами всѣхъ государствен-ныхъ должностей; она осуждала настоящіе условия брака, желая свободныхъ отношеній обоимъ поламъ; она казалась многознающей въ литературѣ и цитиро-вала различныхъ поэтовъ, мѣшая Пушкина съ Бай-рономъ, Гёте съ Гейне и т. д. Но какъ только Дарья Андреевна пришла къ ней за помощью, потребовала прижизненія ея теоріи къ практикѣ, она повернула оглобли назадъ и казалось готова была отречься отъ

всѣхъ своихъ словъ.—Я, говоритъ, говорила это не о васъ, а о другихъ бѣдныхъ женщинахъ.—А чѣмъ я лучше ихъ?... Она испугалась, когда я сказала, что хочу жить своей работой,—это вы, говоритъ, меня, дуру, послушали! Не вѣрьте, я все вадоръ говорила, чтобы одурaczyć васъ...—Такъ вотъ онѣ какковы, эти хвастуны! Ужъ идти ли мнѣ къ ней? Пожалуй на-дуетъ. Ну, если надуетъ, я сама къ Петерсонъ пой-ду". Такъ думала Дарья Андреевна, идя домой.

Дарья Андреевна во всю свою жизнь встрѣтила только первую женщину-либералку въ г-жѣ Телѣжни-ковой. Телѣжникова причисляла себя къ разряду но-выхъ людей, но въ сущности принадлежала къ раз-ряду множества ей подобныхъ, которые только пор-тятъ хорошее дѣло, не сознавая, по своей глупости, что они оказываютъ честнымъ и хорошимъ людямъ медвѣжью услугу. Подобные люди хватаются за все новое и, не разобравъ ничего, мѣшаютъ все виѣ-стѣ, говорятъ книжнымъ языкомъ, стараясь выдать чужое за свое,—благо у нихъ много свободного времени на разъѣзды по гостямъ. Выскажетъ ли ум-ный человѣкъ новое слово, новый взглядъ на вещи, они начнутъ хвастаться передъ другими этими сло-вами, и исказить ихъ до безобразія; выйдетъ ли но-вый романъ, въ которомъ изъясняется, что такъ жить, какъ мы теперь живемъ, не годится, а что вотъ бы какъ слѣдовало жить, — они въ восторгѣ, хвалятъ романъ и корчатъ изъ себя героинь, которые изобра-жены въ романѣ. Прочитаютъ они Бокля, Дарвина, Фогта или другого какого-нибудь ученаго, поймутъ собою часть—и вотъ опять тема для разговора... Въ Телѣжниковой напусканіе на себя новизны произо-шло вскорѣ по обнародованіи манифеста объ осво-божденіи крестьянъ. Дѣло въ томъ, что въ апрѣлѣ въ Егорьевскъ пріѣхали новый губернаторъ, пред-сѣдатели уголовной палаты и палаты имуществъ. Эти три лица сказали своими подчиненнымъ рѣчи, въ которыхъ высказали, что они люди новые и зло-употребленій не потерпятъ. Начались объѣзды по гу-берніи; полетѣли старики-чиновники въ отставку; ихъ замѣнила молодежь, которая, при всемъ своемъ усердіи къ дѣлу, не могла сразу привести запущен-ныя дѣла въ порядокъ и скоро охладѣла, махнула на все рукой и предоставила веденіе дѣлъ своимъ приближеннымъ. Эти люди заговорили по новому: объ уничтоженіи откуповъ, о гласномъ судопроизводствѣ, но это было многими говорено только потому, что не хотѣлось прослыть за отсталыхъ людей, въ душѣ же они крѣпко не долюбивали эту новизну. Нача-ство не пренятствовало болтать... Оно и само всту-пало въ споры о прогрессѣ, желая прослыть гу-маннымъ и либеральнымъ, но въ то же время въ вол-неніяхъ крестьянъ, происшедшихъ отъ недоразу-мѣній, видѣло бунтъ. За этимъ мужскимъ обществомъ потянулись и дамы, потому что новопріѣхавшія губернаторша и жены предсѣдателей были жен-щины молодыя, съ институтскимъ образованіемъ. Онѣ старались быть вѣжливыми съ прислугой, принимали участіе въ благотворительныхъ спектак-ляхъ, читали и играли на литературно-музыкаль-

ныхъ вечерахъ и не сѣсидѣлись сидѣть и разговаривать съ женой какого-нибудь секретаря, впрочемъ въ такомъ лишь случаѣ, если этотъ секретарь былъ изъ кончившихъ курсъ въ университетѣ. Къ этому лагерю скоро пристала и Катерина Алексѣевна. Отецъ ея былъ небогатый помѣщикъ, имѣвшій нѣсколько крестьянъ въ этой губерніи. Онъ служилъ ассессоромъ въ судебной палатѣ и между товарищами слылъ за человѣка дикаго, потому что ругалъ помѣщиковъ за жестокое обращеніе ихъ съ крестьянами. Поэтому при освобожденіи крестьянъ онъ попалъ на видное мѣсто и даже сдѣланъ былъ членомъ въ губернское присутствіе отъ правительства. Очень естественно, что дочь, вѣря отцовскіе слова, старалась какъ можно больше ругать старые порядки, стала читать, по-писанному стараясь высказывать новые взгляды и съ перваго же раза обратила на себя вниманіе губернаторши и двухъ пріѣзжихъ женъ предсѣдатель, такъ что черезъ нѣсколько была у губернаторши на правахъ секретаря: устраивала вечера, спектакли и проч. съ благотворительною цѣлью.

Но у Катерины Алексѣевны было доброе сердце. Она еще въ дѣтствѣ пріучалась любить няньку, которая муштровала ее по-своему, любила играть съ дочерью дворника и ей жалко было, если дворникъ наказывалъ дѣвочку возжами; она ни на кого не жаловалась и только была капризна и своевольна и дѣлала, что хотѣла. Теперь она хотя по временамъ и бранила горничную, но обходилась съ ней ласково; она бросала въ окна деньги шарманщикамъ, щедро одѣлывала нищихъ, хотя съ другой стороны не совѣстилась брать изъ собранной съ спектакля суммы порядочный кушъ на покрытіе издержекъ на томъ основаніи, что такъ поступаетъ сама губернаторша, такъ поступаютъ и другіе. Но ей ни разу еще не случилось признать свою теорію на практикѣ. Оказалось, что не всегда можно жить только разговаривая, нужно же и дѣло дѣлать. Крѣпко призадумалась Телѣжникова надъ просьбой Дарьи Андреевны. Ей хотѣлось сперва переговорить съ Анной Николаевной, но она не знала будетъ ли это хорошо. Съ своей стороны она конечно допускала, что тутъ нѣтъ никакого стыда, если Дарья Андреевна будетъ шить въ магазинъ, потому что сама Петерсонъ была замужемъ за чиновникомъ и имѣла сына чиновника, а Дарья Андреевна современемъ можетъ сама открыть швейный магазинъ. Она была женщина нервнѣйшая и безъ постороннихъ совѣтовъ ничего не дѣлала. Но въ то же время она была и такая женщина, что если ужъ дала слово, то должна исполнить его. На вечерѣ она сказала губернаторшѣ, что прогрессъ подвигается, и рассказала о намѣреніи Дарьи Андреевны, не сообщивъ впрочемъ ея настоящаго имени. Губернаторша сперва было-высказала, что-де дочери чиновника не годится идти въ модистки, но потомъ изъяснила намѣреніе дать бѣдной дѣвушкѣ работу, и когда Телѣжникова отвѣчала, что дѣвушка еще только хочетъ учиться, то губернаторша посоветовала пристроить эту дѣвушку къ мѣсту какъ можно скорѣе. Мужъ, къ которому она обратилась за совѣтомъ, предоставилъ это дѣло ей, потому-де, что онъ въ бабѣ дѣла не имѣется. Однако на другой день

ей не привелось быть у Петерсонъ: она встала изъ дому рано, до обѣда у нея болѣла голова, и обѣда ее позвали на репетицію и она забыла о прощаніи Дарьи Андреевны, которая ее и не застала дома.

Между тѣмъ у дяди безъ спенъ не обошлось. Обѣда все шло хорошо. Пріѣхалъ женихъ; Дарья Андреевна отказала ему, тотъ обидѣлся и, съ прощаніемъ кланявшись съ хозяйками, уѣхалъ.

— Ты что сказала жениху?—спросилъ ее изъ проводивъ гостя.

— Отказала.

— Ты? ты отказала!... Да знаешь ли ты, что послѣдній женихъ?

— Будто ужъ и нельзя жить безъ мужа?

— Знаешь ли ты, что черезъ это твой братъ, какъ я живѣ, не получить должности?

— Это—какъ вамъ угодно; только для брата не могу жертвовать собой.

— Послѣ всего этого я даю тебѣ три дня или соглашайся выходить за Македонскаго замуж или собирайся домой. Маша останется здѣсь. Не унижай тебя: она еще и жениха не видала, а уже гласна за него идти замужъ.

На другой день послѣ этого, утромъ, Дарья Андреевна отправилась къ Телѣжниковой. Телѣжникова собралась ѣхать.

— Ахъ, душечка, какъ я виновата передъ нею! Вчера, ей-Богу, было некогда, сегодня опять на репетицію... Подождите, ради Бога.

— Я не могу больше ждать.—И она разсказала срокъ.

— Это ужасно! Послѣ этого моя нога у нея и будетъ! Какъ же бы это устроить-то однако?... Я напишу записочку къ мадамъ Петерсонъ и вынесете.

Она ушла и черезъ нѣсколько минутъ принесла запечатанное облаткой письмо, отъ котораго ей пахло духами.

— Хотите, я васъ доведу?

— Нѣтъ, благодарю.

— Въ случаѣ, если она откажетъ, вы ко мнѣ идите, я сама съѣзжу. До свиданья, душечка.

Дарья Андреевна рѣшила больше не ходить къ Телѣжниковой.

## XX.

Модный магазинъ Эмили Карловны Петерсонъ помещался въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ на Переважей улицѣ. Въ этомъ домѣ кромѣ моднаго магазина другихъ не было, и домовладѣлецъ, богатый купецъ, самъ занималъ съ своимъ огромнымъ семействомъ весь домъ. Магазинъ помещался въ нижнемъ этажѣ; въ простѣнкахъ между четырьмя окнами были прибиты двѣ доски съ изображеніемъ двухъ плохо нарисованныхъ барынь съ широкими носами, узкими ртами, похожими на птичьи клювы и съ птичьими глазами безъ зрачковъ, а съ какими-то вымазанными голубой краской точками. На барыняхъ красовались—на одной голубое, на другой красное платье со множествомъ складокъ, но и платья казались какъ будто разорванными, вслѣдствіе были

прямолинейных полосъ, происшедшихъ вѣроятно отъ дождя; на ногахъ надѣто что-то неопредѣленное — калоши не калоши, сапоги не сапоги, а такъ что-то въ родѣ колодокъ. Вообще фигуры эти нѣтъ видѣ, что имъ какъ-будто стыдно торчать тутъ на посмѣище людямъ и хочется скорѣе убѣжать куда-нибудь. Надъ картинами прибита вывѣска: „Петербургскій модный магазинъ Петерсонъ“. Передъ домомъ у параднаго крыльца стояла карета, запряженная въ двѣ лошади. По тротуару ходилъ толстый кучеръ, курить трубку и откинулся свысока стоявшему въ дверяхъ крыльца рослому лакею, въ большой шляпѣ съ позументами.

Дарья Андреевна пошла во дворъ. Во дворѣ было чисто, пусто; справа заплотъ, впереди заднія постройки, налѣво домъ, ближе къ заднимъ постройкамъ колодезь, у котораго дѣвушка лѣтъ десяти, босая, въ оборванномъ платьѣ, съ усиленъ вертѣла ручку отъ вальки, къ которому была прикрѣплена на веревкѣ лейка; еще съ большимъ усиленъ она вытащила наружу лейку и вылила изъ нея воду въ желѣзное ведро, а потомъ закрыла колодезь дверками.

— А гдѣ тутъ модный магазинъ? — спросила дѣвушку Дарья Андреевна.

Дѣвушка взглянула болѣзненно на Дарью Андреевну и, указывая рукой налѣво, на одно изъ двухъ крылецъ, сказала:

— Вотъ тамъ! А вамъ кого? Мамаму?

— Да, мнѣ хозяйку нужно увидетьъ.

— А хозяйки дома нѣту-те — ушла.

— Скоро придетъ?

— А я почемъ знаю! А вы подите къ дѣвкамъ, — можетъ она и скоро... — И дѣвушка взяла ведро правой рукой, и сильно нагнувшись на правый бокъ, понесла его къ тому крыльцу, на которое показала Дарья Андреевна. Дарья Андреевна пошла за ней.

Въ нижнемъ этажѣ было четыре окна. Около двухъ крайнихъ къ крыльцу сидѣли три дѣвочки лѣтъ по четырнадцать или по пятнадцать. По вздвиганіямъ вверхъ и размахиваніямъ ихъ рукъ замѣтно было, что онѣ шьютъ; но это имъ не препятствовало смотрѣть во дворъ и по лицамъ ихъ видно было, что онѣ надъ чѣмъ-то, или надъ чѣмъ-то хохотали. Дарья Андреевна замѣтила, что онѣ смотрятъ на нее, и ей сдѣлалось неловко. Она обернула свой бурнусъ, оглядѣла платье, взошла на крыльцо и опять взглянула на крайнее окно. У него стояла женщина 25 лѣтъ съ папирскимъ во рту и какъ-то сердито заглядывала на крыльцо.

Дѣвушка съ ведромъ пошла прямо, а ей сказала, чтобы шла въ дверь налѣво, къ дѣвкамъ, и снова повторила, что хозяйка быть можетъ сейчасъ же явится.

Дарья Андреевна вошла.

За большимъ столомъ, покрытымъ чернымъ сукномъ, на табуреткахъ сидѣли три дѣвочки: одна черноволосая и двѣ блондинки, — тѣ самыя, которыхъ она видѣла со двора. На нихъ были надѣты старыя, грязныя платья; двѣ были босы, третья въ худыхъ ботинкахъ; волоса у всѣхъ были заплетены и на го-

ловахъ не было даже сѣтокъ. Щеки были впалыя и блѣдныя, а у черноволосой лицо казалось даже нѣсколько желтымъ, такъ что она выглядѣла далеко старше своихъ лѣтъ. Около нихъ стояла высокая женщина 25 лѣтъ, тоже въ ситцевомъ, но чистомъ платьѣ, съ воротничкомъ на шеѣ и съ батистовыми рукавичками, застегнутыми на янтарныя пуговицы. Лицо ея было продолговатое, худощавое, блѣдное, съ веснушками. Хотя она смотрѣла строго своими карими глазами, но въ линіяхъ замѣчалось добродушіе. Комната была большая, съ большою изразцовою печью, которая топилась и въ которой стояло два утюга; недалеко отъ печи шла дверь въ хозяйское помѣщеніе; на стѣнахъ, неоклеенныхъ обоями, что-то начертано карандашомъ, косо и криво, неправильною женскою рукою, въ родѣ: *мадамъ, асеевъ, Глазика* и т. д. Въ переднемъ ряду висѣлъ образъ Варвары великомученицы въ позволочномъ окладѣ и передъ нимъ въ лампадкѣ теплился огонь.

Войдя Дарья Андреевна поклонилась высокой женщинѣ.

— Что угодно? — спросила ее высокая женщина.

— Мнѣ нужно госпожу Петерсонъ.

— Къ нѣтъ. Вы съ заказомъ или получить что? Такъ я могу за нее все сдѣлать.

— Нѣтъ, я съ письмомъ отъ госпожи Телѣжниковой.

Высокая женщина нахмурилась и отвернулась, потомъ подошла къ черноволосой, наклонилась къ шитью и вдругъ вырвала изъ рукъ ея шитье.

— Господи, Боже мой! Сколько разъ я тебѣ говорила, чтобы ты клинья какъ можно аккуратно за- пратывала... Ну, что это? что? — кричала высокая женщина.

— Извѣстно, клинъ. Его не спрячешь — все будетъ клинъ.

— Достанется ужъ тебѣ отъ Эмили Карловны! Распори, сейчасъ распори...

Черноволосая дѣвушка озлобленно взглянула на Дарью Андреевну, точно она была причиною этой непріятной сцены.

— Возьмите, да и распарывайте сами, — сказала она высокой женщинѣ и встала.

— Что!? что такое? Ахъ, ты!.. Ну, хорошо! хорошо! Я покажу мадамъ.

— Кажите, пожалуйста: вамъ не привыкать стать.

— Ахъ, ты холопка!

— Не знаю, кто холопка: та изъ насъ, что на карачкахъ ползаетъ передъ хозяйкой, или...

— Молчать!

— А вотъ не замолчу, коли на то пошло.

Дѣвушка съ пепельными волосами дернула ее за платье и взглянула жалобно, но черноволосая сдѣлала движеніе, что она сама знаетъ, что дѣлаетъ.

— Послушай, Катя, до коихъ поръ это будетъ? — начала высокая женщина, понизивъ тонъ.

— А-а! теперь такъ Катя. А послушайте, Софья Васильевна, до коихъ поръ вы меня притѣснять будете? Подайте мнѣ деньги и я уйду, чортъ съ вами... чортъ васъ возьми советить .. проклятыя... — И она заплакала.

Остальные дѣвушки стали смотрѣть въ окно, оставивъ работу.

У Дарьи Андреевны защемило сердце.

— Сама виновата! Тебѣ говорятъ: дѣлай такъ, а ты по своему.

— Не держите мастерицъ; сами шейте.

— Послушай, Катя, какое право ты имѣешь говорить деревости?

— А потому, что вы сами деревки. Извольте сами улаживать клинтъ! Я двадцать разъ не напѣрена перешивать.

— Хорошо же! — И высокая женщина сѣла на ея табуретку и молча стала распарывать. Катя подошла къ ней.

— Ужъ полно вамъ привередничать-то, вѣдь просто отъ нечего придрались ко мнѣ!

Софья Васильевна молчала.

Катя рванула шитье, щеки ея покраснѣли и она рѣзко сказала:

— Мнѣ хозяйка дала это шитье, а не вы! Я хозяйкѣ должна отдать отчетъ. Пустите!

Тутъ Софья Васильевна какъ будто очнулась и взглянула на Дарью Андреевну.

— А вы что стоите?

— Я дожидаясь госпожу Петерсонъ.

— Вамъ сказано, что ея нѣтъ, — и все тутъ... А если у васъ есть письмо, давайте, я передамъ.

— Телѣжникова велѣла мнѣ отдать лично ей самой.

— Вотъ еще новости! Что она, деньги, что ли, прислала?

— Не знаю.

— Она вотъ уже шестой мѣсяцъ, какъ не платитъ за перешивку старыхъ платьевъ. А тоже модничаетъ, по баламъ развѣзжается. Шлюха! Во весь годъ только одно новое платье заказала!

Въ это время въ комнату швей вошелъ низенькаго роста пѣшивный, толстый нѣмецъ въ халатѣ и туфляхъ, на лбу его торчали очки въ жѣдной оправѣ, а въ правой рукѣ онъ держалъ ножницы.

— Што за шумъ, а драка нѣтъ? — проговорилъ онъ полушутя и полусерьезно, и потомъ, замѣтивъ Дарью Андреевну, подошелъ къ ней, оттопырилъ впередъ животъ, заложилъ руки назадъ и на поклонѣ ей важно спросилъ:

— Ви што? ви кто?

— Да вотъ къ Эмили Карловнѣ пришла съ какинъ-то письмомъ отъ Телѣжниковой — сказала Софья Васильевна.

— А-а!.. — проакалъ онъ октавой. — Покажите письмо?

Дарья Андреевна показала письмо. Нѣмецъ взялъ его и сталъ нюхать покраксивая.

— Карашо, кланяйс...

— Мнѣ нужно самое Эмилию Карловну видѣть.

— А-а!.. — и нѣмецъ началъ хитро смотрѣть на Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна хотѣла бросить письмо и уйти вонъ отсюда, но ей хотѣлось дожидаться хозяйки.

— А сколько лѣтъ? — спросилъ нѣмецъ, отдавая Дарьѣ Андреевнѣ письмо.

— Это вамъ для чего же нужно?

— Ай, какъ ви строгъ! Прошу! — и нѣмецъ пока-

залъ Дарьѣ Андреевнѣ на диванъ, а самъ пошелъ въ магазинъ. За нимъ ушла и Софья Васильевна.

Въ швейной настала тишина, такъ что слышно было тиканье часовъ въ магазинѣ и шуршаніе матерій у швей. Въ комнату вошла дѣвочка, та самая, которая доставала воду изъ колодца, и молча начала выдергивать нитки изъ распоротой юбки. Изрѣдка доносилась мурлыканье унисонно изъ хозяйской комнаты.

Дарьѣ Андреевнѣ сдѣлалось очень скучно. Ей жалко было этихъ дѣвицъ, согнувшихся надъ шитьемъ и изрѣдка поглядывавшихъ на нее не то съ любопытствомъ, не то съ гордостью, не то съ завистью; ей жалко было десятилѣтней дѣвочки въ мопрокъ, грязномъ, разорванномъ платьишкѣ, выдерживавшей теперь нитки. А дѣвочка была красивая, съ чистымъ, только болѣзненнымъ лицомъ, съ правильнымъ носомъ, съ чисто-дѣтскою улыбкою на хорошихъ губахъ, съ растрепанными черными волосами, такъ что она невольно назвала ее красавицей, но въ то же время подумала: что изъ нея выйдетъ? и сравнивала ее съ Катей, этой смуглой съ пожелтѣвшими щечками дѣвушкой, умѣющей огрызаться съ старшими и заявлять свои права. Ей подумалось-было, зачѣмъ Катя уступила этой Софьѣ Васильевнѣ, взяла бы да и ушла; но она уже начинала понимать, какъ трудно женщинѣ или дѣвушкѣ найти работу. Отчего онѣ не всеяды всѣ? Сидятъ ихъ три и не только что ни одна не запоетъ, но даже не заговорятъ онѣ другъ съ дружкой; даже Софья Васильевна молчитъ; только дѣвочка зѣваетъ на всю комнату, но и это вызываетъ только улыбку, а не хохотъ. Такъ и кажется, что всѣ онѣ о чемъ-то думаютъ, что-то ихъ тяготитъ; вѣдь у каждой за стѣнами этого магазина можетъ быть есть своя жизнь.

Вотъ одна пошла къ печкѣ, достала утюгъ: дѣвочка съ своимъ хламомъ отодвинулась и изругалась, что ей мѣшаютъ. Швея стала утюжить, а Софья Васильевна и вниманія не обращала на этотъ процессъ. Спросила швея у другихъ швей, не надо ли имъ утюга, тѣ сказали, что еще рано; она поставила утюгъ въ раскаленную печь, снова стала шить и опять настала тишина. Кто-то зацарапался въ дверяхъ снаружи, замыкала жалобно кошка, дѣвочка отворила дверь; вошла тощая, съ желтой съ черными крапинами шерстью кошка и прошла прямо въ хозяйскую комнату. И на это швеи не обратили вниманія. Пришелъ нѣмецъ въ своемъ халатѣ съ сигарою во рту.

— Адольфъ Карловичъ, одолжите папироску, — проговорила Катя окрипшимъ голосомъ.

— Уй! уй! молоденькии дѣвушкамъ развѣ можна. — проговорилъ нѣмецъ и покачалъ головой.

— Ну, дайте же.

— Ай!-ай!.. Ну, такъ и быть! — И онъ досталъ изъ кармана брюкъ сигарочницу, гдѣ лежало до пятака папиросъ.

— И мнѣ, Адольфъ Яковлевичъ! — просила Матрена.

— И мнѣ... — приставала русоволосая.

Нѣмецъ шутилъ, но далъ всѣмъ по папироскѣ, потомъ предложилъ и Софьѣ Васильевнѣ, но та отказалась.

— Мерси! у меня свои есть, — сказала она.

— Но я прошу...

— Я не хочу послѣ другихъ...

— Охъ! какой вы гордый. — И онъ потрепалъ ее, воона, отстранивъ его руку, указала головой на Дарью Андреевну. Нѣмецъ сердито посмотрѣлъ на гостью и ушелъ.

— Катя, дай-ко раскурить, — сказала Софья Васильевна.

Та улыбнулась, гордо мотнула головой и не встала съ мѣста.

— Сами можете подойти, — сказала она.

Софья Васильевна съ гнѣвомъ встала и подошла къ Матренѣ.

— Да нѣте, нѣте, — чего вы! Ужъ и злится, какъ кошка... Я пошутила, — проговорила Катя съ улыбкой, но голосомъ виноватаго.

— Я не люблю, чтобы кто-нибудь шутилъ надо мной.

— А сами такъ любите шутить... Ахъ, да вѣдь вамъ двадцать-пятый годъ...

Щеки Софьи Васильевны поблѣднѣли, губы ея нерехдернулись, но она промолчала и сѣла за свою работу.

Къ Катѣ подошла Маша и попросила у нея курнуть.

— Пошла на свое мѣсто! — крикнула на нее Софья Васильевна такъ, что Дарья Андреевна вздрогнула.

Сестра дала Машѣ курнуть.

— Какъ вѣсть хочется! — сказала Матрена.

— Какъ долго нѣтъ Эмили Карловны! — проговорила русоволосая.

— Софья Васильевна, я кончила, — сказала Катя.

— Покажи.

Софья Васильевна осмотрѣла шитье со всѣхъ сторонъ и ни къ чему не могла придаться, только велѣла въ двухъ мѣстахъ выутюжить.

Наконецъ явилась и сама Эмили Карловна. Это была женщина лѣтъ сорока-восьми, высокая, тучная, съ красными щеками, отцвѣтшими голубыми глазами и бородавкой на правой сторонѣ нижней губы; на этой бородавкѣ росъ постоянно одинъ рыжій волосъ, который въ настоящее время былъ подрѣзанъ. На ней, кромѣ драпового пальто, было надѣто шелковое платье и на груди красовалась золотая цѣпочка, а на головѣ была надѣта наколка. Она принесла съ собой большой свертокъ.

Дарья Андреевна подала ей письмо. Она прочитала, положила письмо въ карманъ и стала осматривать работы у швей.

— Ну, хорошо. Иди домой. Завтра приходи пораньше, — сказала она Катѣ.

— Не дадите ли денегъ, Эмили Карловна?

— А ты у меня сколько забрала? А!

— Я заработаю.

— Нѣту денегъ.

Катя ушла.

— Ты тоже можешь идти, только приходи поскорѣе, — сказала хозяйка Матренѣ.

— Дайте пожалуйста на хлѣбъ. Мнѣ за штуку слѣдуетъ сорокъ копѣекъ.

— Ну, это еще мое дѣло... У меня нѣтъ мелкихъ.

сочиненія е. рышетникова т. п-й.

Ушла и Матрена. Хозяйка подошла къ русоволосой.

— Э, матушка, какъ ты дрянно шьешь! Что же вы, Софья Васильевна, смотрите? Ну, ты можешь и вовсе не приходить... Нѣтъ, нѣтъ... и не проси.

— Эмили Карловна!.. — возила дѣвушка.

— Нѣтъ, нѣтъ. Ты мнѣ испортила юбку! Да что же это съ вами, Софья Васильевна? Это нехорошо.

— Я-то тутъ чѣмъ виновата? Я вѣдь вамъ говорила, что она еще плохо шьетъ, а вы ей даете юбку. Сами виноваты.

— Ахъ, Боже мой! Чтѣ я теперь стану дѣлать? Вонъ, негодная дѣвчонка! Я еще съ тебя черезъ полицію за матерію взыщу. Вонъ!

Дѣвушка ушла рыдая. Долго она стояла на крыльцѣ, но потомъ ушла и со двора.

Эмили Карловна долго еще ругалась и перекоралась съ Софьей Васильевною, которая оказалась главною мастерицею-закройщицею у нея; Софья Васильевна ей не уступала и требовала разсчета въ двѣнадцать рублей. Эмили Карловна успокоилась и попросила ее остаться у нихъ обѣдать. Потомъ обратилась къ Дарѣ Андреевнѣ.

— Вы желаете поступить ко мнѣ въ швеи?

— Да.

— Умѣете ли вы?

— Не угодно ли испытать?

— Потрудитесь перешить вотъ эту полосу. — И Эмили Карловна дала ей ту юбку, что шила только что прогнанная русоволосая дѣвушка, и указала, какъ и что нужно сдѣлать, а сама съ Софьей Васильевною ушла въ комнату, откуда черезъ нѣсколько минутъ послышался стукъ ножей и вилокъ, и запахло мясомъ и супомъ.

Обѣдъ продолжался съ часъ. Послѣ обѣда хозяйка вышла.

Дарья Андреевна давно уже кончила работу и отъ нечего дѣлать смотрѣла въ окно, облокотившись правою рукою на столъ, но тамъ ничего не было новаго или интереснаго. Влетитъ на верхушку колодца воробышекъ, попрыгаетъ, повертится, посмотритъ по сторонамъ и улетитъ; пройдетъ толстый котъ, растягиваясь отъ сытной пищи во всю длину, и уйдетъ; не обращая вниманія на котенка, который старается цапнуть его лапкой или, сломя голову, кидается за перышкомъ, погоняемымъ вѣтромъ, или точитъ ногти объ заплоть; пройдетъ къ углу за колодцемъ какая-то пожилая некрасивая женщина съ лоханью, выльетъ помой, сморкнется въ фартукъ и уйдетъ. Ничего нѣтъ хорошаго. А на улицѣ вѣтеръ, падаютъ изрѣдка снѣжинки. Скучно.

— Вы уже кончили? — спросила Эмили Карловна.

Дарья Андреевна вздрогнула и показала юбку.

— Какъ вы находите? — спросила хозяйка свою мастерицу, показывая ей шитье Дарьи Андреевны.

— Ничего, немножко грубовато, — отвѣтила та.

— Ну, это пустяки. Вы гдѣ учились шить?

— Въ монастырѣ. Я и золотомъ умѣю шить.

— Ну, тамъ работа иная: у насъ шьются модныя платья. Отдѣлка требуется хорошая. Однако, что вамъ за охота шить?

— Я хочу сама зарабатывать кусокъ хлѣба.

— Но у васъ вліятельный дядя!

— Я не хочу ѣсть чужой хлѣбъ.

— Ну, какъ знаете. Я васъ принимаю, потому что мнѣ васъ хвалила Телѣжникова. Я у нея была сегодня—должокъ за ней былъ. Вы будете получать со штуки. За платье, напримѣръ, я вамъ буду платить полтора рубля, за лифъ—полтинникъ. Согласны?

— Я согласна.

— Жить вы будете на своей квартирѣ, кушать тоже на свои деньги. У меня всѣ мастерицы такъ живутъ. Только вотъ около праздниковъ, когда бываетъ много заказовъ, тогда мастерицы пользуются безвозмездно моимъ столомъ, чаемъ, кофеемъ и спятъ у меня. Такъ приходите пораньше завтра. Не надо ли вамъ денегъ?

— Нѣтъ.

— Вы не стѣсняйтесь. Я вамъ могу дать рубль. Вѣдь у васъ еще нѣтъ квартиры—мнѣ Телѣжникова по крайней мѣрѣ такъ говорила.

— Пожалуй дайте рубль.

— Напишите росписочку.

Написавши росписку въ полученіи рубля въ счетъ будущихъ заработковъ и получивши этотъ рубль, Дарья Андреевна вышла отъ Петерсонъ въ восторгъ и пошла искать квартиру. Часа два она искала и наконецъ версты за три отъ магазина нашла комнатку въ мезонинѣ деревяннаго стараго дома, съ готовою мебелью за три рубля въ мѣсяцъ. Полтинникъ она отдала въ задатокъ.

У дяди безъ сценъ не обошлось. Онъ и его жена обѣснѣли страшно. Какъ, говорили они, возможно, чтобы дочь благородныхъ родителей осмѣлилась поступить въ швеи! Да это развратная женщина! Упрекала ее и Марья Андреевна, которая со слезами просила ее остаться у дяди. Наконецъ Ипполитъ Аполдоновичъ сталъ грозить ей, что онъ вытѣснитъ изъ палаты Кузьму, но ничто не поколебало Дарью Андреевну, несмотря даже на то, что ей не дали обѣдать и не пригласили къ чаю. Водро она собрала свои вещи, бодро высунула при прощаніи упрёки и какъ хорошо чувствовалась ей, когда она наконецъ вышла изъ этого дома, покинула этотъ праздный міръ.

„Помоги мнѣ Господи никогда не возвращаться въ эту жизнь и укрѣпи меня на новую жизнь“, молилась она, идя спать на новую квартиру, и на душѣ у ней было такъ хорошо, такъ хорошо,—какъ никогда.

### XXI.

Модный магазинъ Петерсонъ, когда въ него поступила Дарья Андреевна, управлялся самою Эмилиєю Карловною Петерсонъ съ помощницею, мастерицею-закройщицею Софьею Васильевною Каванцевою. Швей въ немъ были, кромѣ Дарьи Андреевны, двѣницы: Матрена Знобишина и Катя Василькова съ сестрою Машею. Не мѣшаетъ сказать нѣсколько словъ о содержательницѣ этого магазина.

Биографія Эмилии Карловны невелика. Отецъ ея природный нѣмецъ и служилъ въ качествѣ

мастера на одномъ изъ заводовъ въ Петербургѣ. Онъ умеръ или вѣрнѣе былъ задавленъ въ самомъ заводѣ во время работъ, когда Эмилии было всего пять лѣтъ. Мать была тоже нѣмка, и послѣ смерти мужа открыла въ Петербургѣ пивную, которою и существовала четыре года. Такимъ образомъ Эмилиа Карловна съ самаго дѣтства жила въ кругу народа, преимущественно простого и нѣмецкаго, и усвоила нѣкоторыя понятія изъ этой жизни. Мать ея была женщина разбитная, какъ говорится, никому спуска не давала и нисколько не походила на своихъ степенныхъ землячекъ, ходящихъ плавно и дѣлающихъ все съ расчетомъ. Она была женщина молодая, а въ пивную хотя и ходилъ народъ ежедневно, но жизни все-таки для нея было мало: народу много, а хорошаго человѣка нѣтъ ни одного. Наконецъ она выбрала себѣ мужичину—русскаго; но этотъ русскій оказался только до интимныхъ отношеній хорошъ, и какъ только сдѣлался ея любовникомъ, обобралъ ее и бросилъ, а она со своей пивной впала въ долги и должна была продать все за безцѣнокъ и позаботиться объ участи дочери. И вотъ она отдала ее въ обученіе къ одной модисткѣ изъ-за хлѣба и крова, а сама пустилась во всѣ тяжкія...

Многому натерпѣлась дѣвушка у модистки, но все-таки кое-чему выучилась и на шестнадцатомъ году уже поступила въ швейный магазинъ, гдѣ скоро поняла всякіе моды и фасоны, и девятнадцати лѣтъ получала уже жалованья двадцать рублей въ мѣсяцъ, такъ что имѣла приличную комнату. Тутъ она вышла замужъ за чиновника, который черезъ пять лѣтъ получилъ должность въ Егорьевскѣ, гдѣ и померъ черезъ восемь лѣтъ. Во все это время Эмилиа Карловна шитьемъ не занималась, а жила барыней, добудла и толстѣла; хотя у нея и были дѣти, но осталась только одна,—Николай Павловичъ Славинъ, въ настоящее время уже служащій въ уголовной палатѣ помощникомъ столоначальника. По кончинѣ мужа за службу котораго она получила только единовременное пособіе, Эмилиа Карловна рѣшилась открыть модный магазинъ, которыхъ въ то время въ городѣ было только два, да и тѣ не удовлетворяли требованіямъ многочисленной аристократіи, живущей далеко отъ Петербурга и Москвы. Но это ей обошлось не дешево и не легко. Однако, какъ бы то ни было, а все-таки она модный магазинъ завела и открыла его именно въ этомъ домѣ, повѣсивъ описанную выше вывѣску, изображающую двухъ барынь, куда-то стремящихся. Нанявши квартиру и повѣсивши вывѣску, Эмилиа Карловна собрала всѣ накопившіяся у нея картинки модъ (а ихъ у нея было пропасть, потому что она питала къ нимъ особенную страсть и кромѣ нихъ никакихъ другихъ картинъ не уважала), выбрала изъ нихъ тѣ, которыя были новѣе, и поставила ихъ къ окнамъ, выходящимъ на улицу. Сообразивъ, что для моднаго магазина нужно имѣть какіе-нибудь образцы или платья, она выбрала три своихъ лучшихъ платья и повѣсила ихъ въ комнату, выходящей на улицу и называемой магазиномъ. Кромѣ этихъ платьевъ, зеркала, ломбернаго стола, нѣсколькихъ стульевъ и дивана, въ магазинѣ ея тогда ничего не было. Улица эта въ то время была незна-

чительная и поэтому немудрено, что недѣли двѣ народъ дивился, смотря на двухъ барынь и на модныя картинки, стоящія у стеколъ. Прошелъ мѣсяцъ, а заказовъ нѣтъ; но вотъ хозяйкѣ дома понадобился салонъ; Эмилія Карловна салонъ сшила; но хозяйка-кучиха забрала его, потому что ей нужно было сшить по-просту, по старинкѣ, а она сшила по новомодному. Пришлось перешить по старинкѣ. Мѣсяцевъ шесть Эмилія Карловна не имѣла работы изъ города, а обшивала хозяевъ, ихъ приказчиковъ, служителей и даже кухарку, и за все это получала очень вѣсного денегъ. Но она крѣпилась. На девятый мѣсяцъ хозяева выдавали дочь за богатаго и образованнаго купца. Въ это же время къ Эмиліи Карловнѣ пришла дѣвушка Софья Васильевна, занимавшаяся шитьемъ у одной изъ содержательницъ моднаго магазина и предложила ей свои услуги. Хозяева надавали прощай работы, работа была снѣжная, такъ что Софья Васильевна должна была переманить отъ другой содержательницы моднаго магазина двухъ дѣвицъ, умѣвшихъ шить порядочно, и работа была кончена къ сроку. Въ городѣ вслѣдствіе этого про Эмилію Карловну пошла слава. Мало-по-малу магазинъ упрочился окончательно, и владѣтельница его вышла замужъ за Адольфа Яковлевича Петерсона, того самаго нѣмца, съ которымъ читатель познакомился въ предыдущей главѣ.

Шить въ людяхъ и на людей не то, что шить дома себѣ платье. Себѣ хоть и некрасиво сошьешь—такъ для себя, никто тебя не укоритъ, за то шить въ модномъ магазинѣ, изъ-за хлѣба — другое дѣло. Хотя Дарья Андреевна и вышивала въ монастырѣ золотомъ, вязала скатерти, но, очутившись въ модномъ магазинѣ, она не безъ боязни приступила къ моднымъ платьямъ, скроить которыя она не умѣла. Сама Эмилія Карловна рѣдко снимала шьрки; этою частью завѣдывала Софья Васильевна, которая этого секретъ ни за что никому изъ швей не хотѣла открыть. Шить приходилось все большею частію шелковое, дорогое. Сначала Дарья Андреевнѣ давали рукава, и надо было видѣть, съ какинъ стараніемъ она шила, какъ берегла матерію, чтобы не испачкать ее, какъ боялась, чтобы ей не пришлось перешивать, что очень часто случалось съ Катей и Матрешей. Но Богъ милостивъ. Дарья Андреевна испортила всего только одинъ лифъ, и хозяйка поставила его въ пять рублей, почему она и стала получать вѣсто пятидесяти коп. за штуку—четвертакъ. И то ладно. А вонъ Катя и Маша, тѣ рѣдко получаютъ и по пятнадцати коп. и домой часто уходятъ съ пустыми руками. Уже сколько плакала Дарья Андреевна надъ своею оплошностью,—плакала, какъ маленькая дѣвочка Маша послѣ того, какъ хозяйка отгаскаетъ ее за волосы за плохое умѣнье шить на живую нитку, — а бѣду поправить было трудно. Посковца говоритъ: взялся за гужъ — будь дюжъ. Стала она осторожнѣе и въ затруднительныхъ вещахъ постоянно совѣтовалась то съ Софьей Васильевной, то съ подругами, но отъ нихъ толку было мало. Затруднится ли она въ чемъ и спрашиваетъ Катю:

— Катя, это кажется такъ слѣдуетъ?

— Не знаю, Даша.

— Да вѣдь вы давно здѣсь.

— Терпѣть не могу, кто говоритъ мнѣ: вы! Спроси у Кикиморя.

Обратится Дарья Андреевна къ Софьѣ Васильевнѣ.

— Вамъ сказано какъ шить. Спросите хозяйку — вы ея любимица.

А хозяйка дѣйствительно обращалась съ нею лучше, чѣмъ съ другими дѣвицами. Хозяйка была женщина самостоятельная, практическая и въ швейномъ дѣлѣ понимала гораздо больше не только Софьи Васильевны, но даже и другихъ содержательницъ модныхъ магазиновъ. Она сразу поняла, что Дарья Андреевна хорошая швея и только ей надо выправку, такъ что черезъ мѣсяцъ Дарья Андреевнѣ уже давались на срокъ платья, пальто и мантіи, причемъ сама хозяйка наблюдала за шитьемъ. Уже съ самаго поступленія въ магазинъ Дарья Андреевна замѣтила, что Софья Васильевна будто недовольна ею: напирѣжь подойдетъ къ ней, возьметъ ея работу, осмотритъ и непремѣнно что-нибудь откритъ.

— Прекрасно, я прежде всегда такъ дѣлала! — И захохочетъ язвительно.

— Это дѣлаетъ вамъ честь, — скажетъ Дарья Андреевна взволнованнымъ голосомъ.

— Я говорю, что вы безъ наставленія ничего не умѣете дѣлать. Посмотрите, дѣвицы, какъ у насъ нынче петли мечутъ! — И захохочетъ.

Катя тоже захохочетъ, Матреша только улыбнется.

— Я еще только начала, — скажетъ съ раскраснѣвшимися щеками Дарья Андреевна.

— Да вы такъ и кончите. Вы всегда такъ кончаете.

— Однако Эмилія Карловна ничего не говоритъ.

— Ну, разумѣется, гдѣ же ей усмотрѣть всякую малость!

— Я не знаю, какое вамъ дѣло до моей работы. Вѣдь дали не вы, а Эмилія Карловна; я работу не вамъ отдамъ, а ей. Я кажется не обявлялась отдавать вамъ отчетъ — вспылитъ Дарья Андреевна.

— Ну, да, конечно... конечно! — проговоритъ сквозь зубы Софья Васильевна, сядетъ на свое мѣсто и уже больше ни слова не говоритъ съ Дарьей Андреевнѣ цѣлый день, и когда Дарья Андреевна станетъ прощаться съ ней, она нехотя подастъ руку и процѣдитъ сквозь зубы: прощайте-сы!.

Когда же хозяйка стала давать Дарья Андреевнѣ шить цѣлыя вещи, за которыя она получала со штуки не мѣнѣе 75 коп., и при усидчивой работѣ могла кончить въ двое или полторы сутки безъ указанія Софьи Васильевны, послѣдняя открыто возненавидѣла ее. Нужно ли снять съ какой-нибудь барыни шьрку, хозяйка обращается къ ней.

— Софья Васильевна, потрудитесь снять шьрку.

— Некогда, Эмилія Карловна; пусть Даша сниметъ.

— Она не умѣетъ.

— А вы покажите.

Лицо Софьи Васильевны пожелтѣло, на лбу появились морщины, глаза сдѣлались злые и задумчивые; въ словахъ замѣчалась горечь; она не досказывала, точно ее душило какое-то горе. Съ Дарьей Андреевнѣй не говорила, не кланялась, и когда ея не было, старалась всячески снестись на нее что-нибудь. А по-



ресудать и клеветать въ магазинъ и конца не было. Все это происходило отъ того, что Дарья Андреевна съ перваго же раза оказалась хорошею швеей, дѣвухой взрослой, толковой, командовать надъ которой какъ-то неловко, да и не къ чему придратъся. Софья Васильевна боялась, чтобы хозяйка не заставила ее учить Дарью Андреевну снимать шръки и кроить и потому не отказала бы отъ мѣста, столько лѣтъ насивеннаго ею. Но кроиъ того была еще и другая причина, — самая главная. Она любила Николая Павловича Славина, любила давно, хотя тотъ уже полтора года какъ охладѣлъ къ ней. Съ появленіемъ же Дарьи Андреевны Николай Павловичъ сталъ ухаживать за послѣдней, и уже не скрывалъ передъ Софьей Васильевной своей холодности.

Катя тоже косилась на Дарью Андреевну. Катя третій годъ работала въ магазинѣ. Начала она съ того, что шила на живую нитку, какъ и сестра ея Маша. Сколько она перетерѣла горя за это время! Ее и били, и гнали нѣсколько разъ изъ магазина, и денегъ не платили, но она была дѣвушка настойчивая. Въ теченіе трехъ лѣтъ она хорошо научилась шить, но при всей своей настойчивости она никакъ не могла добиться, чтобы ей дали шить что-нибудь цѣльное. Поэтому ей сильно не нравилось, что Дарья Андреевна опередила ее и зарабатываетъ денегъ больше ея. Правда Дарья Андреевна старше ея на три года, но за то вѣдь она работаетъ въ магазинѣ гораздо менѣе времени. При своемъ самолюбіи она не брала въ расчетъ того, что Дарья Андреевна еще до поступления въ магазинъ умѣла шить; ей только было обидно, что ей не даютъ цѣльной вещи. Кроиъ этого Катѣ казалось, что Дарья Андреевна держитъ себя какъ-будто свысока, что она какъ-будто выслуживается передъ хозяйкой; ее бѣсило, что хозяйка благоволитъ къ ней; ее злило, что на Дарью Андреевну платье всегда чистое, что одну недѣлю она ходитъ въ ситцевомъ сѣренькомъ платьѣ, а другую — носить шелковую юбку, что на ней всегда чистые сапожки, на которые она еще надѣваетъ калоши, что волосы у ней всегда причесаны какъ-то по-модному, и волосы большіе, натуральные и подъ стѣлкой вѣтъ фальшивыхъ волосъ, какъ у хозяйки или Софьи Васильевны. По всему этому она считала Дарью Андреевну за барышню, которой приличнѣе сидѣть въ гостиной и отъ нечего дѣлать что-нибудь вышивать, а не шить здѣсь, отбивая у нея, бѣдной дѣвухи, кусокъ хлѣба. Разъ какъ-то она даже высказала это Дарью Андреевну. Катя сидѣла безъ дѣла. Попросила она у Матрешы папироски. У той не оказалось; Дарья Андреевна предложила ей свою.

— Мерси. Я барскихъ папиросъ терпѣть не могу.

— Развѣ мои барскіе? табакъ Миллера, въ десять коп. четверка.

— Ну, я такой драни не курю.

— Да вы попробуйте.

— Какъ у васъ, у господъ, принято все *выкать*? Ужъ лучше бы сидѣли съ господами, а не съ нами, мужичками. Право тошно смотрѣть, какъ люди зализываютъ не въ свое мѣсто.

— Да вѣдь вы тоже дочь чиновника.

— Что за бѣда! У меня нѣтъ богатой родни. Съ

богатой родней и въ аду хорошо. Я можетъ быть лучше кого шью, да мнѣ предпочитаютъ другихъ.

— Вольно же вамъ не просить.

— Я настолько горда, что никогда и никому въ свѣтѣ не намѣрена кланяться, какъ это дѣлаютъ другіе.

Тѣмъ разговоръ и кончился, потому что Дарья Андреевна, зная вспыльчивый характеръ Катя, не стала возражать.

Но еще болѣе невзлюбила Катя Дарью Андреевну съ тѣхъ поръ, когда въ магазинѣ пришла Телѣжникова въ сопровожденіи своей горничной. Дарья Андреевна сидѣла у окна ближе къ дверямъ. Телѣжникова подошла прямо къ ней, раздушенная и расфранченная, поздоровалась, проболтала что-то для шку по-французски, потомъ по-русски, спросила, какъ она поживаетъ и, какъ будто не замѣтивъ Софьи Васильевны, прямо пошла на встрѣчу хозяйкѣ. Выходя изъ магазина, она опять подошла къ Дарью Андреевну и сказала:

— Я пришлю съ человѣкомъ матерію пу-де-суа на платье. Такъ ужъ вы, душечка, ради Бога, сами шейте. Я уже просила добрыйшную Эмилию Карловну... Что же вы, душечка, никогда не забываете ко мнѣ?..

Дарья Андреевнѣ было неловко отъ всѣхъ этикъ нѣжностей, она уже и такъ уходила въ сѣни и въ кухню, когда Телѣжникова разговаривала съ хозяйкой, чтобы не встрѣчаться съ словоохотливой барыней, но какъ на зло Телѣжникова долго не выходила, и поэтому она не могла избѣжать вышеописанной сцены прощанья. Но Софья Васильевна, и особенно Катя, взглянули на это иначе. Катя возненавидѣла Дарью Андреевну такъ, что какъ только вышла Телѣжникова, она пересѣла съ своею работою къ тому столу, у котораго сидѣла Софья Васильевна.

— Ты зачѣмъ сюда? — спросила ее Софья Васильевна.

— Не люблю я сидѣть съ модницами: онѣ изъ себя корчатъ знатныхъ барынь. Ишь какая пришла раздушенная и прямо къ ней обратилась: — своего поля ягода. И платье ей заказала шить.

— Полно вамъ, Катя, завидовать-то. Возьмите ей матерію и шейте платье. Я попрошу хозяйку, — сказала Дарья Андреевна.

— Не съ вами говорить. А если вы любите подслушивать, то лучше уходите отсюда.

— Не могу же я сидѣть съ заткнутыми ушами. Вѣдь вы говорите громко, даже громче меня. Я вамъ отдаю шить платье Телѣжниковой, если только хозяйка въ самомъ дѣлѣ вздумаетъ отдать его мнѣ.

— Я еще и не возьму, потому что отъ хозяйки я за него ничего не получу.

— Хозяйка должна заплатить.

— Да; она заплатитъ мнѣ или вамъ тогда, когда Телѣжникова отдастъ деньги. А она деньги-то не очень любитъ платить.

— Катя сердится на васъ за то, что вы согласились шить Телѣжниковой платье даромъ, — шепнула Матреша Дарью Андреевну.

— Какъ даромъ? — спросила Дарья Андреевна.

— А такъ: вы ея знакомая, говорятъ, что еще и родственница, вотъ она и не заплатитъ вамъ.



— Не можете быть.

— Я васъ увѣряю. Она до вашего поступленія сюда полгода была должна Эмили Карловнѣ.

— Толкуйте, двѣ подруги! Одна другой стоите, — проговорила Катя насмѣшливо послѣ словъ Матрешы.

Все это непріятно дѣйствовало на Дарью Андреевну. За собой вины она никакой не знала, со всѣми была вѣжлива, ласкова, старалась всѣмъ угодить; при всей своей бѣдности она готова была удѣлить изъ своего заработка часть Катѣ и Матрешѣ; держала она себя, какъ равная имъ, и вдругъ оказывается, что Катя видитъ въ ней какого-то врага, и только одна Матреша не косится на нее. Сперва Дарья Андреевна не обращала вниманія на отношенія къ ней Катѣ и Софьи Васильевны, но когда онѣ съ каждыи днемъ стали больше и больше дуться на нее, и наконецъ, составивъ союзъ, стали изъяснять свою вражду открыто, она крѣпко призадумалась. „Я мѣшаю имъ“, рѣшила она, и хотѣла искать мѣста въ другомъ магазинѣ. Но обдумавъ хорошенько она пришла къ тому заключенію, что гдѣ ни работать на первыхъ порахъ будетъ то же, и рѣшила помириться во что бы то ни стало. А предлоговъ къ этому было много, и нужна была настойчивость.

Софья Васильевна жила съ однимъ чиновникомъ, который, надо правду сказать, жилъ на ея счетъ. Онъ уже былъ не молодъ, служилъ по найму и получалъ въ мѣсяцъ восемь рублей. Дарья Андреевна удивлялась, слушая рассказы Матрешы, которая жила отъ квартиры Казанцевой черезъ домъ, какинъ образомъ такая женщина, какъ Софья Васильевна, могла любить человѣка, который, вдобавокъ къ неказистости, попиваетъ и пьяный бузанитъ; но та же Матреша объясняла это тѣмъ, что у Казанцевой лѣтъ шесть тому назадъ былъ женихъ приказчикъ изъ гостиннаго двора, и какъ только у нея родился ребенокъ, онъ ее бросилъ и потомъ, женившись на дочери купца, самъ записался въ купцы. Тогда, разсердившись на обманщика, Софья Васильевна сошлась съ чиновникомъ, и съ нимъ явилась въ лавку купца, и тамъ сдѣлала ему смену, послѣ чего молодая жена съ мѣсяцъ жила у своихъ родителей. „Конечно—говорила Матреша—Софья Васильевна могла бы подыскать и молодого мужчину, но она разуверилась въ нихъ, а неказистаго чиновника держитъ въ рукахъ, и когда онъ сильно забунитъ пьяный, она его связываетъ или выгоняетъ вонъ на улицу. Но въ то же время Софья Васильевна не могла устоять и противъ Николая Павловича Славина“. Вотъ черезъ него-то и рѣшилась Дарья Андреевна сойтись съ Софьей Васильевой.

Катя отъ своего не понимала, мать ея померла, когда ей было десять лѣтъ. Понимала она, что мать у нея была хотя и красивая женщина, но много пила и у нея много бывало мужичиъ. Послѣ ея смерти ей въ наследство досталось очень немного, да и то обобрали тетка по матери—мѣщанка, у которой она и жила теперь. Это—женщина жадная, скупая; лишь только появятся у Катѣ деньги, она тотчасъ отберетъ ихъ; если же Катя долго не приноситъ денегъ, она сама идетъ къ Эмили Карловнѣ, которая уже при Дарьѣ Андреевнѣ два раза выгнала ее изъ магазина. Мама же жила у Эмили Карловны и, кромѣ обученія шитью

справляла мелкія домашнія работы. А такъ какъ Катя ходила домой потѣмъ же улицамъ, по которымъ ходила Дарья Андреевна, то Дарья Андреевна задумала когда-нибудь зазвать къ себѣ Катю.

Изъ всѣхъ дѣвицъ, какъ я сказалъ выше, къ Дарьѣ Андреевнѣ была расположена только Матреша. Это была дѣвушка смирная, робкая. Она возражала въ крайнихъ случаяхъ, а если ее обижали, то плакала. Рѣзвость, свойственная ей лѣтамъ, веселость находили на нее лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Мать у ней была мѣщанка,—женщина, въ настоящее время разбитая параличемъ. Хотя у матери и есть свой худенькій деревянный домишко и въ него пускаютъ квартирантовъ за три рубля въ мѣсяцъ, но семейство ихъ живетъ очень бѣдно, потому что кромѣ матери, бабушка-старуха девятый годъ какъ ничего не видитъ, у старшей сестры уже пятый годъ какъ отнялись ноги, и она дома съ трудомъ ходитъ на костыляхъ; братъ, молодой ея года на два, живетъ въ обученіи у портного и уже попиваетъ водку, а домой, кромѣ ни на что нужныхъ лоскутьевъ, ничего не приноситъ, такъ что семья кормится почти единственно заработками Матрешы, у которой по этому случаю было всего на все одно платье, а худенькій шерстяной платокъ замѣнялъ и шляпку, и пальто. Цѣлое лѣто она никакъ не могла скопить денегъ на ботинки, и вотъ, когда пошелъ снѣгъ, она пришла однажды въ большихъ мужскихъ сапогахъ, съ высокими каблуканми, и какъ пришла въ швейную, такъ и сняла ихъ.

— Жилецъ нашъ нездоровъ сегодня и въ консисторію не пошелъ. Вотъ я и выпросила у него сапоги. Ужасъ какъ неловко ходить, а все же теплѣе.

Катя съ Софьей Васильевой долго смѣялись надъ нею; хозяйка въ этотъ день денегъ Матрешѣ не дала, а Дарья Андреевна, зазвавъ Матрешу къ себѣ, подарила ей свои старые сапожки. Съ этихъ поръ Матреша такъ полюбила Дарью Андреевну, что рѣдкое воскресенье не забѣгала къ ней поговорить, хотя забѣгать и приходилось далеко не по пути, и стала звать Дарью Андреевну на квартиру въ материнскій домъ. Катя и Софья Васильевна всячески старались переманить ее на свою сторону: и папиросокъ давали, и булками кормили, и наговаривали ей всякую всячину въ отсутствіи Дарьи Андреевны,—Матреша была непоколебима. Она высказывалась такъ Дарьѣ Андреевнѣ: „Меня дома не любятъ, хотя я и ношу деньги; хозяйка Эмили Карловна тоже не любитъ, говорить, что я шью скверно, и все-таки даетъ работы больше, чѣмъ Катѣ, а денегъ платитъ мало, потому что знаетъ, что я бѣдная и смирная: меня запугать ничего не стоитъ. Идти въ другой магазинъ—не примутъ безъ рекомендаціи. Софья Васильевна и Катя издѣваются надо мной, и если я буду съ ними заодно, то онѣ же будутъ налегать на меня. Вы знаете, что я скоро шью и скоро кончаю свою работу, вотъ онѣ и заставляютъ меня помогать. Нѣтъ, ужъ Богъ съ ними! Я отъ нихъ много перенесла всякой-всячины, и еслибы не вы, ей-Богу, стала бы искать другого мѣста. Я бы полнѣе пошла мѣтъ“.

Настали Катини именины. Катя пригласила къ себѣ Софью Васильевну и Матрешу. Въ Екатерининъ день Дарья Андреевна была одна въ магазинѣ. Подходить къ ней Эмили Карловна.

— А вы что же не на именинахъ?—спросила она.

— Меня не звали.

— Я замѣчаю, Дарья Андреевна, что онѣ на васъ сердятся. Третьяго-дня Софья Васильевна говорила мнѣ про васъ ужасъ что такое. Правда ли, что у васъ ребенокъ былъ? Вы извините... Я, какъ хозяйка, должна наблюдать за нравственностью...

— Вамъ объ этомъ лучше спросить письменно мою маму. Она хотя меня и не любитъ, но я увѣрена, что такой клеветы на меня никогда не изведетъ.

— Вы извините, что я спрашиваю. Я вамъ совѣтую держаться больше около меня.

— Но неприятно, когда сидишь въ одной комнатѣ съ такими же людьми, какъ и я, и постоянно слышишь отъ нихъ что-нибудь.

— А вы не обращайтесь на нихъ вниманія. Пойдемте пить кофе.

За кофе хозяйка стала выпытывать Дарью Андреевну о нравственности дѣвицъ, но Дарья Андреевна на всѣ вопросы отвѣчала, что она ничего не знаетъ, такъ что хозяйка назвала ее скрытной.

— А жвачка? Вѣдь она ваша любимица.

— Про нее я знаю, что она живетъ въ бѣдномъ семействѣ и что ее почти никто не любитъ.

— По правдѣ сказать, и я ее не люблю, и держу потому, что она скоро шьетъ.

Дарья Андреевна не рѣшилась просить за Матрену потому во-первыхъ, что она не мастерица-закройщица, а во-вторыхъ хозяйка призвала ее какъ-будто затѣмъ, чтобы выспросить о поведеніи швей, о томъ, не крадутъ ли онѣ лоскутки и не шьютъ ли дома на сторону, на что конечно Дарья Андреевна отвѣчала отрывчато.

Но подъ вечеръ этого дня Матреша пришла въ швейную пьяная. Сперва она ругала хозяйку и Дарью Андреевну самыми неприличными словами, потомъ стала плакать, клянётся въ ногъ то хозяйкѣ, то Дарьѣ Андреевнѣ. Хозяйка вышла изъ терпѣнія и хотѣла отправить ее въ часть, но Дарья Андреевна заступилась, и ее уложили спать на диванъ. Утромъ хозяйка прогнала Матрешу. Когда же Дарья Андреевна стала упрашивать ее простить Матрешу, она всплила:

— Вы-то что мѣшаетесь не въ свое дѣло? Коли она люба вамъ,—возьмите ее къ себѣ на квартиру и обнимайтесь съ ней, а мнѣ пьяницъ не надо.

— Но вѣдь ее вѣроятно нарочно напоили.

— Не ваше дѣло. Я терпѣть не могу, когда кто мѣшается въ мои распоряженія. И если вы хотите служить у меня, то прошу ни за кого не заступаться. Идите на свое мѣсто.

На мѣсто Матрени была принята опять русоволосая Глаша, которая съ перваго же дня стала сидѣть съ Катей и Софьей Васильевной. А такъ какъ Дарья Андреевна сидѣла одна за большимъ столомъ у окна, а за небольшимъ, стоящимъ у стѣны, гдѣ было не совсѣмъ свѣтло, сидѣло четверо, то хозяйка приказала этимъ четверымъ сидѣть у окна, а Дарьѣ Андреевнѣ у стѣны, но тутъ ей стали мѣшать кроеньемъ и ути-женьемъ.

Несмотря на то, что у Дарьи Андреевны была почти работа и она шила цѣльныя вещи, денегъ она

зарабатывала немного, такъ что едва хватало на квартиру и пищу. Причинъ тутъ было двѣ: во-первыхъ хозяйка платила неисправно, во-вторыхъ одну и ту же вещь часто приходилось перешивать. Надо замѣтить, что заказчицъ у Эмили Карловны было мало, а дѣла много. Или заказчицы были слишкомъ капризны и чересчуръ требовательны, или сама Эмилия Карловна, не выписывавшая современныхъ модныхъ журналовъ съ картинками и выкройками, и Софья Васильевна, знавшая только три-четыре фасона, не умѣли по-трафить заказчицамъ,—только выходило такъ, что рѣдкое платье не возвращалось назадъ для перешивки, и это было мученьемъ для Дарьи Андреевны; бѣсило оно и хозяйку.

— Чортъ бы ихъ побралъ, этихъ франтихъ!—ворчала хозяйка.

— Вы бы, Эмилия Карловна, какой-нибудь модный журналъ выписали,—совѣтовала однажды хозяйкѣ Дарья Андреевна.

— Стану я деньги тратить! Нѣтъ, это онѣ такъ... отъ того, что мужья у нихъ на хорошихъ мѣстахъ. Онѣ вѣдь ни уха, ни рыла не смыслятъ, а видѣли, что у губернаторши такое-то платье, ну, какъ же отстать?..

Однако, какъ ни тяжело было Дарьѣ Андреевнѣ въ магазинѣ, какъ ни горько иногда было идти безъ копейки денегъ домой, гдѣ нѣтъ ни чаю, ни сахару, ни куска хлѣба, она была довольна своею судьбою. Она жила одна въ своей комнатѣ, гдѣ никто не могъ мѣшать ей, гдѣ надъ ней не было никакого надзора, и она крѣпко засыпала на своей жесткой постели, состоявшей изъ ватнаго рваного пальтишка, даннаго ей хозяйкой и покрытаго простыней, подушки и бурнуса, которыми она одѣвалась.

— Какъ ты, сестричка, можешь спать такими образомъ?—спросилъ ее однажды братъ Кузьма.

— Отлично. Какъ день-то посидишь на одномъ мѣстѣ, не поднимая головы, такъ и на голомъ полу заснешь.

— Ужасно!

— Напротивъ, мнѣ такая жизнь гораздо пріятнѣе, чѣмъ та, которой я жила раньше.

## XXII.

Дарьѣ Андреевнѣ было весьма неприятно, что она живетъ далеко отъ магазина, и притомъ подъ горой, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ ни тротуаровъ, ни фонарей. Лѣтомъ въ хорошую погоду хорошо ходить сюда; во-первыхъ она разиниваетъ одеревенѣвшіе отъ долгаго сидѣнья члены, а во-вторыхъ, чѣмъ дальше она идетъ отъ магазина и приближается къ своей квартирѣ, тѣмъ лучше становится воздухъ и тѣмъ красивѣе открываются виды. Открывается Волга во всей ея величіи и красотѣ, со множествомъ судовъ и пароходовъ, съ ея трудовою жизнью, открываются великолѣпные низменные берега заволжскіе съ зелѣниющимъ лѣсомъ, который чѣмъ дальше, тѣмъ кажется необъятнѣе, выше и какъ будто превращается въ гору. И солнышко здѣсь не жжетъ, потому что сѣрѣе вѣетъ прохладою; здѣсь и строенія проще, и люди проще, добрѣе и честнѣе, чѣмъ на горѣ; вездѣ здѣсь видится трудъ а если и случится увидать гдѣ-

нибудь спящихъ мужика или бабу во всемъ, что на нихъ надѣто, спящихъ лежа на спинѣ и, по подобію Іакова, положившихъ головы на полѣно, доску или бревно, такъ вѣдь они уже много сдѣлали дѣла, начавши работу съ четырехъ часовъ утра. Но зимой тутъ не то: Волга покрыта льдомъ, деревья за Волгой посѣрѣли отъ снѣгу, улицы занесло снѣгомъ, занесло снѣгомъ съ горы и маленькіе домики, такъ что нѣкоторыхъ изъ нихъ съ середи дороги и не видать вовсе, а только отъ воротъ прогребены дорожки, по сторонамъ которыхъ накидано снѣгу выше человѣческаго роста, да отъ оконъ тоже для свѣта отгребены снѣгъ. И не узнаешь, что за люди живутъ въ этихъ согрѣваемыхъ снѣгомъ домикмахъ. Городомъ идти еще ничего, если и дуетъ вѣтеръ и идетъ снѣгъ; но какъ только она станетъ спускаться подъ гору—такой поднимется вѣтеръ, что она житью своему не рада; бурнуетъ у нея лѣтній, да и тотъ собаки порядочно позорвали; вѣтеръ такъ и пронизываетъ ее до костей, зубъ съ зубомъ не сойдется. Но вѣтеръ еще ничего, а каково въ морозы ходить! Городомъ она пройдетъ двѣ версты; и ей хотя холодно отъ двадцати-градуснаго мороза, однако, идя быстро, она все-таки можетъ согрѣть ноги; но какъ только спустилась подъ гору,—такъ и кажется, что здѣсь уже не двадцать градусовъ, а сорокъ. Въ этихъ случаяхъ Дарья Андреевна днемъ уже не ходила домой, а иногда и ночевала у Эмили Карловны, потому что она уже не разъ знобила нощь, щеки и пальцы на рукахъ и ногахъ. Когда же она приходила домой, съ какою радостію она стучалась въ калитку. „Теперь я дома; теперь я согрѣюсь!“, думала она. Но это была напрасная радость. Ея комнатка выходила окномъ на рѣку, и хотя въ окна были вставлены двойныя рамы, но два стекла въ зимней рамѣ были разбиты и замазаны бумагой, отчего стекла закуржались. Сверху до-низу сквозилъ эту кору ничего не было видно, и кромя того изъ подъ-оконника дуло. Печь топилась изъ другой комнаты, а выходила въ эту трехъугольникомъ, и въ ней была сдѣлана отдушнина, но тепла какъ отъ печки, такъ и отъ отдушины было мало, такъ что Дарья Андреевна поставила свою кровать къ печи и ночью прижималась къ ней. Хорошо еще, что она дома бывала по воскресеньямъ, а то ей житья не было бы днемъ отъ того, что какъ только сосѣдка испопитъ печь и откроетъ душникъ, снѣгъ со стекломъ начинается таять, и въ комнатахъ какъ у сосѣдки, такъ и Дарьи Андреевны дѣлается угаръ, отъ котораго сосѣдка спасается у хозяйки, затыкая уши замороженной клюквой, чему подражала и Дарья Андреевна. Хотя Дарья Андреевна и писала махихъ, чтобы она выслала ей съ кѣмъ-нибудь шубку на барашковомъ мѣху, но та не отвѣчала долго, а потомъ увѣдомила, что братъ Кузьма не со-вѣтуетъ ей, махихъ, высылать шубку на томъ основаніи, что Дарья Андреевна живетъ въ такой квартирѣ, гдѣ могутъ шубку украсть.

Зачѣмъ же Дарья Андреевна живетъ въ такой холодной комнатѣ, не имѣя теплой одежды, и притомъ такъ далеко отъ моднаго магазина?—спросить читатель. А живетъ она тутъ потому во-первыхъ, что зарабатываетъ такъ немного денегъ, что илѣ

едва хватаетъ на расплату за комнату и пищу; го вторыхъ ей некогда искать квартиру, и въ третьихъ, ей неловко было разстаться съ своей сосѣдкой, которую она полюбила, какъ мать и которая съ своей стороны полюбила Дарью Андреевну, какъ дочь.

Сосѣдка ея была старушка Ольга Герасимовна Мартынова. Она только-что лѣтомъ овдовѣла. Мужъ ея былъ нѣсколько лѣтъ присажнымъ въ казначействѣ, и супруги жили такъ дружно другъ съ другомъ, что когда померъ мужъ, съ Ольгой Герасимовной сдѣлался параличъ, отъ котораго она лечилась въ больницѣ четыре мѣсяца, но все-таки и до сихъ поръ не можетъ совсѣмъ владѣть лѣвой рукой, плохо видитъ, плохо слышитъ и гнуситъ. Но несмотря на такое уродство и свою старость (ей 78-й годъ), Ольга Герасимовна существо въ высшей степени доброе, общительное, не могущее съѣсть куска хлѣба одна. Пенсія она получаетъ въ мѣсяцъ всего три рубля съ копѣйками, но покойный мужъ, служа въ казначействѣ, накопилъ немного, и даже подумывалъ купить своей старухѣ домъ, такъ что она говорила: „мнѣ до смерти хватить“. Впрочемъ она была женщина экономная, мяса со смерти мужа въ ротъ не брала, рѣдко ѣла рыбное и только никакъ не могла прожить дня безъ кофе. Кромя этого она была женщина набожная, любила слушать что-нибудь религиозное. „Прежде, при мужѣ, я сама читала; у меня вонъ и Библія есть, и Четы-Миней за январскую третью, а теперь слѣпа стала; никакіе очки не дѣйствуютъ“, жаловалась она Дарьѣ Андреевнѣ. Но при всемъ этомъ она не была ханжа и лицемерка, любила правду, терпѣть не могла лести, не любила кланяться и чего-нибудь вымаливать. „Мнѣ слѣдовало бы больше получать пенсію, потому мужъ служилъ не одному царю и въ двухъ службахъ. Стала я было говорить объ этомъ начальству, да сказали: на что тебѣ, старуха, деньги; вѣдь ты померешь скоро. Ну, я и плюнула на все. Хапайте, коли вамъ дольше моего жить. А вѣдь еслибы я просить стала, дали бы пенсію побольше“. Но она и хвастаться чѣмъ-нибудь не любила, хотя, какъ поразкажетъ, она въ эти восемь лѣтъ много видала и хорошаго, и худого. Старушка она была смиренная. Дарья Андреевна ни разу не слыхала, чтобы она обругала кого-нибудь, или крикнула; она говорила ровню, большею частію съ шуточками, какъ будто съ ней не было никакого удара въ жизни; когда же она была въ своей комнатѣ, то ее не слышно было. Дарью Андреевну она полюбила съ перваго же раза за ея простоту, ласковое обращеніе и за то, что Дарья Андреевна избрала для себя трудовой путь жизни.

Видя, что у Дарьи Андреевны ничего нѣтъ кромя небольшого узла, въ которомъ заключалось бѣлье, и зная жизнь швей,—такихъ швей, которыя въ магазинахъ не живутъ, а только ходятъ туда шить,—Ольга Герасимовна приняла въ ней съ другого же дня участіе. Утромъ она пригласила ее къ себѣ пить кофе, поразспросила ее о прошедшей жизни и стала учить, какъ жить. Она судила по себѣ и предсказывала, что въ жизни ея можетъ встрѣтиться много сучковъ и за-дориннокъ, и наставляла какими образомъ все это

можно перенести. Правда, всё эти наставленіи отзывались старинной, но въ нихъ и дѣльнаго было много, такъ что они такой дѣвушкѣ, какъ Дарья Андреевна, не имѣвшей друзей въ городѣ, могли пригодиться во всякое время.

— Ты еще дитя, говорила Ольга Герасимовна, — ты только начала жить сама собой и для самой себя. Есть много дѣвушекъ, которые также работаютъ, но тѣ работаютъ для кого-нибудь: для матери или сестеръ... А ты одна. Ты настояла на своемъ — взяла да и ушла изъ отцовскаго дома и отъ родни. Но обдумала ли ты этотъ поступокъ, чѣмъ это пахнетъ? Родные теперь тебя не примутъ. Вѣдь все можетъ случиться: можешь захворать или что другое. Одно мѣсто не на вѣки. Вотъ я прежде, какъ дѣвницей была, бурнусика не имѣла, бѣгала въ одномъ платышкѣ, на ногахъ были одни дырявые чулки, а получала и вполонину меньше твоего, и вотъ жива же до сихъ поръ. Оно положимъ, содержаніе тогда было дешевле и деньги считали на ассигнаціи, только не всё такъ были крѣпки; у моихъ подружекъ никогда денегъ не было и онѣ постоянно находились въ долгу у хозяекъ и съ отчаяніемъ доходили до... — И она махнула рукой. — А все это отъ того, что характеру нѣтъ. Бывало — сидишь въ мастерской въ лѣтнюю пору, окошки открыты, духота, а онѣ и паяются въ окошки по самый животъ, да только и слышно хн-ха да ха-ха! И диви бы съ кѣмъ, а то съ подмастерьями, съ мальчишками, у которыхъ у самихъ въ животахъ-то вѣтры ходятъ. Да, мать моя, жизнь велика. Мало ли что можетъ случиться. И хорошій, кажется, попадется человекъ, прекрасный, стоящій вниманія, онъ тебя и такъ, и эдакъ всяко будетъ умилять, а потомъ и окажется, что онъ негодяй и жизнь твою испортилъ, сократилъ. Со мной былъ одинъ такой казусъ. Иная бы на моемъ мѣстѣ Богъ знаетъ что натворила, но я скрѣпилась; это мнѣ былъ хорошій урокъ, я стала осторожнѣе, и вотъ только на сороковомъ году вышла замужъ и прожила припѣваючи тридцать восемь годочковъ. Рѣшиться на что-нибудь очень можно, вѣдь бросаются же въ воду люди, а когда ихъ вытащатъ да возвратятъ къ жизни, они и каются. Ты говоришь, что ты все обдумала, — прекрасно; но обдумывать мало ли что можно. Знаю, что ты и ночи не спала, но вѣдь ночью темно; а въ твоей головѣ такіе шутики происходятъ, что на самомъ дѣлѣ ихъ и нѣту вовсе, а только въ воображеніи. Помню, когда я была дѣвницей, наша хозяйка разыгрывала старинные золотые часы; цѣна билету была полтинникъ. А я въ то время жила уже съ мужчиной, — онъ ходилъ ко мнѣ. Ну, деньги стало водились. Взяла я два билета на свое имя и на счастье любовника. Взяла и думаю, что какъ только я эти часы выиграю, сейчасъ продамъ ихъ; денегъ у меня будетъ много, я найму себѣ большую квартиру, пушу въ нее квартирантовъ и буду жить припѣваючи, какъ живутъ нѣмки или польки. И такъ эта проклятая мысль засѣла мнѣ въ голову, что я долго не могла заснуть ночью, даже и во снѣ снились все какія-то палаты. Дошло до того, что я уже стала голову держать гордо; всё люди кажутся мнѣ маленькими; я воображала, что я хозяйка большой квартиры, и опомнилась только тогда, когда часы выиграла наша же дѣвушка, ко-

торую я не любила. На первыхъ порахъ я было чуть не прибила ее, но опомнилась и едва-едва не слегла. Такъ-то вотъ и ты. Передъ тобой теперь новая жизнь, все равно что лѣсъ, въ которомъ не знаешь, гдѣ растетъ малина или какой-нибудь любимый грибъ. И если ты уже рѣшилась идти въ этотъ лѣсъ, то должна имѣть терпѣніе и терпѣніе надолго, потому что можетъ случиться, что ты любимого-то гриба и не отыщешь, а платье свое изорвешь о пни и сучья, руки исколешь и лицо тебѣ испарялаютъ колючія елки и сухія вѣтки. А лѣсу у насъ слава Богу много, унывать нечего: въ этомъ худо — болото да трясина, — въ другой, въ третій можешь идти. Главное терпи, будь самостоятельна и никому не поддавайся.

Дарья Андреевна слушала эту проповѣдь со вниманіемъ. Она ни одного слова не забыла изъ нея; въ ней было много справедливаго и согласнаго съ ея взглядами на жизнь, — и она полюбила старуху. Съ этихъ поръ она съ тоскою шла изъ квартиры и возвращалась домой измученная, съ надеждою на подкрѣпленіе. Старуха постоянно спрашивала ее, когда она уходила изъ квартиры, придетъ ли она обѣдать, а если не придетъ, то придетъ ли хоть попить, и ждала ее.

Съ перваго же дня Ольга Герасимовна стала принимать участіе и слѣдить за своей молодой, неопытной сосѣдкой.

Когда Дарья Андреевна вернулась домой поздно вечеромъ, Ольга Герасимовна спросила ее.

— Неужели все шло?

— Да. Хозяйка много работы надавала.

— Ну, какъ швен?

— Ничего. Немножко какъ будто косятся.

— Ну, безъ этого нельзя; только не стойтъ на это обращать вниманія: перемелется — мука будетъ. А ты обѣдала ли?

— Саечникъ приносилъ булки, такъ я ѣла булку.

— Ну, это плохо; надо горячаго чего-нибудь, ты еще молодая. А вотъ у меня есть калиновый кисель. Славный кисель. Поѣшь.

— Покорно благодарю. Я сыта: дорогой купила булку и съѣла.

— Ну, мать моя, если ты будешь ѣсть все булки да булки, тогда тебѣ много нужно денегъ. А ты вотъ отрѣжь-ко ржаного хлѣбца, посоли его, да и похлебай киселя. Чудесное дѣло будетъ.

— Право, мнѣ совѣстно...

— Полно, мать моя, церемониться.

Ольга Герасимовна достала изъ шкафа большой горшокъ, наполненный красною густою жидкостью съ калиновыми ягодами, краюху черстваго ржаного хлѣба, ножикъ и двѣ деревянные ложки.

— Садись, и я поѣмъ съ тобой. Я было начала давеча ѣсть, да аппетита не было; все тебя поджидала.

Усѣлись, стали ѣсть. Ихъ освѣщали огоньки отъ лампадки. Въ комнатѣ былъ полусвѣтъ. Ольга Герасимовна хлебала больше киселя, размачивая въ немъ хлѣбъ, потому что у нея мало было во рту зубовъ. Дарья Андреевна тоже ѣла съ аппетитомъ.

— Ну что, каковъ кисель? — спросила Ольга Герасимовна, когда киселя уже порядочно поубавилось.

— Хорошо, только немного кисель.

— Ну, это тебѣ такъ кажется. Ты ѣдала ли когда?

— Какъ же. Папаша очень любилъ и мы тоже любили, только братъ Кузьма терпѣть его не можетъ.

Вдругъ Дарья Андреевна взглянула на ложку. Въ ложкѣ оказалось нѣсколько разбухшихъ таракановъ... Она не могла больше ѣсть.

— Что же ты умничаешь? Ышь!

— Тараканы, Ольга Герасимовна!

— Гдѣ?

— Въ кисель.

— Не можетъ быть?!

Ольга Герасимовна засуетилась, загля сальную свѣчку, поставила ее надъ горшкомъ и стала мѣшать въ немъ жидкость ложкой. Въ жидкости оказалось множество таракановъ. Дарья Андреевна перерднуло, но Ольга Герасимовна, усмотрѣвъ въ ложкѣ двухъ таракановъ, хладнокровно опустила ихъ назадъ въ горшокъ.

— Эдакіе вѣдь, право, негодяи! Киселя захотѣли кушать. Вотъ Господь ихъ и наказалъ—подохли... Я тоже чувствовала, что какъ будто немного кислотовато! Испортиться киселю, кажется, не отъ чего,—вчера варила. А вонъ она какая оказія-то. Тьфу! А много ихъ въ горшкѣ-то?

— Да столько же, сколько и ягодъ.

— Ну, слава Богу. Теперь ихъ у меня меньше будетъ. А то недѣлю тому назадъ, такъ въ оба уха по таракану залѣзло. Насилу деревяннымъ масломъ ихъ оттуда выжила. А ты, мать моя, извини меня, слѣпую старуху, что я тебя такимъ кушаньемъ угостила! И не думай объ нихъ, еще тошнить будетъ... Поди выпей воды—все пройдетъ.

Черезъ два дня послѣ этого было воскресенье. Дарья Андреевна, получившая заработанную плату, имѣла денегъ 75 коп. и не знала, что ей изготовить. У нея еще съ вечера были куплены осмюшка чая и четверть фунта сахару. Заварила она чаю въ чайникѣ сосѣдки и позвала ее пить чай. Сосѣдка не отказалась, а только сказала, что она хотя и выпьетъ чашку чая, но кофе пить все-таки будетъ послѣ обѣда и что Дарья Андреевна тоже должна выпить съ нею кофею.

— Не знаю, что бы мнѣ сварить сегодня?—начала Дарья Андреевна.

— Купи ершей и вари уху.

— Я щей хочу.

— Ну, вари щи, я дамъ горшокъ, только ты мнѣ его вымой потомъ хорошенько. Да ты съумѣешь-ли купить говядины? Пойдемъ виѣстѣ.

Пошли онѣ на рынокъ и Ольга Герасимовна замучила Дарью Андреевну: для того, чтобы купить три фунта хорошаго мяса дешевле, она водила ее по всѣмъ лавкамъ и въ нѣкоторыя заходила даже раза по два, такъ что у Дарьи Андреевны не хватило терпѣнія.

— Да будетъ вамъ, Ольга Герасимовна, торговаться-то: вѣдь дешевле семи копѣекъ нигдѣ не продаютъ.

— Чтѣ у тебя деньги-то шальные что ли? Ты то

вспомни, что еще за квартиру не заплатила, а уже къ хозяйкѣ съ горшкомъ въ ея печь хочешь лѣзть.

Почти всѣ лавочники и торгаша давно знали Ольгу Герасимовну и ея обыкновеніе прицѣпляться. Увидавъ ее съ дѣвушкой, они удивились.

— Давненько васъ не видать, Ольга Герасимовна. Какъ вы устарѣли за это время?!

— Что дѣлать! Будетъ время, и вы состаритесь.

— И какую молодуху подцѣпили къ себѣ!

— Вы языкомъ-то мелите сколько угодно, а мнѣ все-таки давайте хорошей говядины. Дороже пяти копѣекъ я не дамъ.

Кос-какъ она нашла мяса по пяти съ половиною копѣекъ за фунтъ.

Черезъ недѣлю хозяйка дома стала просить у Дарьи Андреевны деньги за квартиру, а у нея было всего только двадцать копѣекъ. Запечалилась Дарья Андреевна и, прошедши прямо въ свою комнату, не ѣвши легла въ постель, думая какимъ бы ей манеромъ достать денегъ... Но сколько она ни думала, а денегъ достать не откуда. У брата просить не хотѣлось, потому что онъ за поступленіе ея въ швей вы-сказалъ ей неудовольствіе и прибавилъ, что онъ даже въ случаѣ крайности не дастъ ей ни копѣйки. Раздумалась она объ этой тяжелой трудовой жизни, припомнились ей косые взгляды Софьи Васильевны и Кати; горько ей стало, и—она заплакала.

Въ ея комнату вошла Ольга Герасимовна со свѣчей.

— Что это, мать моя, улеглась такъ рано, и ко мнѣ не зашла? Я бы тебя попотчивала гороховымъ киселемъ,—проговорила она, подходя къ кровати.

Дарья Андреевна присѣла и зарыдала.

— Что это, мать моя! Что это съ тобой! Али кто обидѣлъ?

— Ахъ... нѣтъ... Оставьте меня...

— Ты старуху не гони; старуха тебѣ пригодится.—Она сѣла на кровать.—Ну, говори, что случилось?

— Хозяйка за квартиру деньги просить, а у меня всего двадцать копѣекъ.

— Дурочка ты моя! Стоить изъ-за чего убиваться! Да ты бы мнѣ сказала... Али я не стою твоего вниманія?

— Благодарю васъ, Ольга Герасимовна!... Но какъ же я буду просить у васъ, если и сама не знаю, когда буду имѣть столько денегъ, чтобы отдать вамъ?

— Господи помилуй! Да развѣ я не человекъ и не живала сама въ нуждѣ... Я не ростовщикъ какой. Вѣдь у тебя руки здоровыя: стобитъ только поработать хорошенько и деньги будутъ. Деньги у меня найдутся, а отдашь, когда пооперисья немножко.

Такимъ образомъ Ольга Герасимовна помогла Дарьѣ Андреевнѣ; деньги за квартиру были заплачены.

Дарья Андреевна спала крѣпко; сосѣдка пробуждалась рано и постоянно будила ее стукомъ въ дверь. Утромъ онѣ виѣстѣ пили кофе, который уже стали покупать пополамъ. Уходя, Дарья Андреевна

пѣловала старуху, которая ее крестила и провожала до лѣстницы, какъ родную дочь.

Недѣли черезъ полторы послѣ того, какъ Дарья Андреевна заняла у Ольги Герасимовны деньги, она получила отъ Эмили Карловны деньги. День былъ субботній. Послѣ обѣда Дарья Андреевна была свободна. Пообѣдавши, она явилась къ своей сосѣдкѣ.

— Я вамъ принесла долгъ,—сказала она и подала ей деньги.

— Много ли ты получила?

Дарья Андреевна сказала, что получила около четырехъ рублей.

— Ну, этого мало; однако я у тебя возьму рубль, остальные отдашь послѣ.

— Да мнѣ теперь не надо денегъ; я пожалуй ихъ на пустяки истрачу.

— Ну, какъ же ты не глупая дѣвушка, что жить не умѣешь, а еще захотѣла жить сама собой. Ты погляди-ка на себя; у тебя вонъ у сапожковъ-то подошвы отстали, носки вѣтъ просятъ. А погода стоитъ скверная, и съ такою обувью ты скоро горячку получишь. И диви бы далеко ходить! Въ нашемъ же домѣ живетъ сапожникъ, пошла къ нему и заказала. Онъ человекъ хорошій: денегъ не хватятъ,— подождетъ. Ему не привыкать стать ждать долги: на господахъ онъ и по полугоду ждетъ.

И старуха повела Дарью Андреевну къ сапожнику.

Хозяинъ дома, Петръ Степанычъ Удинцовъ, былъ уже старикъ, съ курчавыми сѣдыми волосами и густой сѣдую бородою. Но онъ былъ крѣпкій старикъ и большую часть дня проводилъ на рѣкѣ на рыбной ловлѣ, отчего большая комната—она же и кухня,—занимаемая имъ и его женою, тоже пожилою женщиною, имѣла видъ рыбацкой избы: тутъ были его морды и переметы, и разныя снасти, съ палатей свѣшивался неводъ. Жена его дома жила тоже рѣдко, такъ какъ считалась за лекарку и занималась повивальнымъ ремесломъ. Дома жила только жена ихъ сына, Максима, Татьяна Савельевна, которая кромѣ стряпни ничего не дѣлала, а больше лежала; мужъ же ея служилъ зимой по волѣ въ уголовной палатѣ, а лѣтомъ занимался съ отцомъ рыбною ловлею. Сынъ занималъ отдѣльную комнату, въ которую входилъ изъ кухни; по другую сторону кухни жилъ сапожникъ; входъ къ нему былъ изъ сѣней. Это былъ отставной солдатъ, человекъ лѣтъ сорока, но человекъ крѣпкаго сложенія и съ красивымъ лицомъ. Когда Ольга Герасимовна привела къ нему Дарью Андреевну, сапожникъ курилъ махорку, а Татьяна Савельевна, стоя у дверей, о чемъ-то говорила громко и плакала. При ихъ приходѣ она смѣшалась и косо взглянула на Дарью Андреевну.

— Здорово, Семенъ Семенычъ. Давненько не видались; какъ живешь?—проговорила Ольга Герасимовна.

— Твоими молитвами, бабушка... Извините, барышня, у меня хоть и есть стулья, да одинъ безъ одной ноги, другой шатается, третій только сегодня склеилъ. Ужъ вы на кровати сидите.

— Мы ненадолго. Ей вонъ ботинки нужны.

— Это мы можемъ... А у васъ, барышня, ноги-то вѣрно закаленыя.

— Какъ такъ?

— А сапожки-то ужъ больно плохи. А вы оставьте-ко ихъ, я попробую ихъ починить, можетъ еще съ мѣсяцъ проносите. Снимите-ко.

Дарья Андреевна сняла сапожки; чулки были мокрые.

— Ай-ай-ай! Стыдно вамъ не беречь себя... Татьяна Савельевна! нѣтъ ли у васъ лишнихъ ботинокъ, ссудите барышню.

— Да, поди, велики будутъ?—отвѣтила та нехотя.

— А вамъ жалъ... Эхъ, какъ вамъ не стыдно... Ну, я свои калоши дамъ.

— Благодарю, у меня есть калоши,—проговорила Дарья Андреевна съ краснымъ отъ стыда лицомъ.

— И тоже съ дырами! А вы и калоши принесите мнѣ.

Татьяна Савельевна ушла.

— Опять ее благовѣрный-то приколотилъ пьяный. Бѣда ей эта зима!—говорилъ сапожникъ про Татьяну Савельевну, когда та ушла.

— Вольно же ей сидѣть сложа руки или лежать,—замѣтила Ольга Герасимовна.

— Скучаетъ она очень!—и сапожникъ, вздохнувъ, сталъ снимать шѣрку съ ноги Дарьи Андреевны.

Сапожникъ запросилъ за ботинки два рубля, но по настоянію Ольги Герасимовны общался спить за рубль съ четвертью, да за починку старыхъ сапожковъ взялъ тридцать коп.

Татьяна Савельевна принесла заплесневѣлыя ботинки: онѣ хотя уже и не годились для дальней ходьбы, но дома въ нихъ ходить еще можно было.

— Мнѣ, право, совѣстно... Я ей Богу не знаю, какъ и благодарить васъ,—говорила Дарья Андреевна стыдливо; на глазахъ ея вертелись слезы.

— Вотъ еще! Это пустякъ. Мнѣ ихъ совѣсть не надо... такъ же валялись... А я васъ все забываю какъ звать...—говорила Татьяна Савельевна.

Дарья Андреевна назвалась.

— Вы любите въ карты играть?

— Не очень.

— Сыграете въ дурачки. Мнѣ скучно одной-то: стариковъ нѣтъ, мужъ приходитъ пьяный, прибилъ меня и придетъ навѣрно ночью, а если не придетъ, то значить въ части будетъ спать.

— Что же иди, поиграй, поразвлекись немного, а я пойду—можетъ вздремлю.

Дарья Андреевна давно хотѣла познакомиться съ Татьяной Савельевной, но ей казалось, что та какъ будто не хочетъ знаться съ швейей изъ чиновнаго сословія, брезгуетъ ею. На ее поклоны Татьяна Савельевна еле-еле шевелила головой или отварачивалась отъ нея, нехотя отвѣчала ей. Къ тому же голосъ у нея былъ грубый и въ улыбкѣ было что-то злое: теперь же, послѣ того какъ та дала ей свои негодныя ботинки, дала точно Христа ради, отказаться Дарья Андреевнѣ отъ приглашенія играть въ карты было неловко. „Не все же мнѣ сидѣть со старухой да слушать ея наставленія“. Надо замѣтить, что Дарья Андреевна хотя и любила старуху и привязалась къ ней, но постоянные совѣты и наставленія, навязчи-

вость, свойственные старымъ людямъ, у которыхъ нѣтъ и не бывало своихъ дѣтей, начали казаться приторными; она чувствовала, что при ея простотѣ и уступчивости, старуха почти совсѣмъ завладѣла ею; она чувствовала себя безсильною въ преніяхъ со старухой, которая не одобряла новые порядки; ей становилось скучно съ ней, потому что ея развитіе не подавалось впередъ, но какъ будто стало на одномъ мѣстѣ.

Комната у Татьяны Савельевны была большая въ два окна, свѣтлая, чистая, съ оклеенными писчей бумагой стѣнами, съ вымытымъ дрсвою поломъ, отчего половицы казались желтыми. По убранству комнаты, по мебели, по двумъ большимъ сундукамъ, покрытымъ тканными разноцвѣтными половиками, и по порядочной зимней одеждѣ, развѣшанной на вѣшалкѣ въ углу между печью и кроватью, Дарья Андреевна заключила, что хозяйева люди зажиточные.

Усѣлись за крашеный столъ, стоящій между двухъ оконъ передъ зеркаломъ. Татьяна Савельевна достала изъ стога засаленнаго разнаго крапа карты.

— Вы ворожить умѣете? — спросила она Дарью Андреевну.

— Нѣтъ.

— А я умѣю. Меня мужнина мать выучила. Хотите погадаю?

— Нѣтъ, не надо. Мнѣ не объ чемъ гадать.

— Будто ужъ и не объ чемъ! Дорога, вѣсти, писмо, женихъ... Вамъ какой нравится: бубновый или трефовый?

— Никакой не нравится.

— Такъ вотъ вамъ и повѣрили? Развѣ безъ жениха можно?

— У меня нѣтъ жениха и я не желаю.

Татьяна Савельевна захохотала.

— Вотъ и видно, что вы монашка. Мнѣ Максимка говорилъ, что вы въ монастырѣ были. Правда ли, что монашекъ стригутъ, какъ рекрутъ?

Разговоръ продолжался нѣсколько минутъ о пребываніи Дарьи Андреевны въ монастырѣ, о монастырской жизни, о родныхъ Дарьи Андреевны, потомъ перешелъ на магазинъ.

— Вамъ не скучно со старухой? — спросила Татьяна Савельевна, когда разговоръ дошелъ до Ольги Герасимовны.

— Нѣтъ, я вѣдь дома мало бываю. Она старуха хорошая.

— Старуха хорошая, что и говорить. Только она страшная ворчунья. А мы ее всѣ любимъ. Она вѣдь большія деньги имѣетъ. Недавно тестъ взялъ у нея въ долгъ пятнадцать рублей на лѣсъ. А говорунья страшная, говорить, говорить — заслушаешься. Я думаю, она вамъ всѣ уши прожужжала.

— Нѣтъ... ничего.

— Тестъ вотъ ее не очень долюбиваетъ за болтовню. Слушаетъ, слушаетъ онъ ее, потомъ встанетъ и скажетъ: „полно тебѣ, старуха, языкъ-то чесать! И какъ это у тебя гордо не пересохнетъ“. А вы, Дарья Андреевна, какъ будетъ вамъ скучно, приходите ко мнѣ, когда мужа нѣтъ. Вы въ банѣ не были сегодня?

— Нѣтъ, не была.

— Я недавно истопила баню, вотъ какъ теща

сходитъ съ Ольгой Герасимовной — онѣ вмѣстѣ ходятъ, — мы и пойдемъ съ вами.

Дарья Андреевна согласилась. Стали играть въ карты; Татьяна Савельевна играла съ охотой и даже плутовала, стараясь оставить Дарью Андреевну душой, но Дарья Андреевна играла разсѣянно. Она больше думала о той разницѣ, которая отдѣляетъ ее отъ Татьяны Савельевны: эта женщина и сыта, и одѣта, и нужды ни въ чемъ не знаетъ; дѣлать ей нечего да и лѣнь, ей скучно; одно только ее беспокоитъ: мужъ — пьяница и драчунъ; но она его, какъ видно, любитъ. Пришла теща, высокая, худощавая пожилая женщина съ чистымъ, но бронзоваго цвѣта лицомъ. Поклонившись Дарьѣ Андреевнѣ, она спросила Татьяну Савельевну о банѣ, велѣла достать бѣлья и пошла звать Ольгу Герасимовну.

Послѣ бани Татьяна Савельевна пригласила Дарью Андреевну къ себѣ на чай. Когда онѣ пришли въ хозяйскую квартиру, тамъ въ комнатѣ на столѣ стоялъ уже шипящій самоваръ съ чайнымъ приборомъ на четыре человѣка; теща Татьяны Савельевны чесала передъ зеркаломъ волосы, а Ольга Герасимовна отдыхала на кровати.

— Понравилась ли вамъ баня? — спросила хозяйка Дарью Андреевну.

— Жарко очень — духъ захватываетъ.

— А вы бы на моего муженька посмотрѣли... Ужъ я люблю париться, но онъ куда... Я удивляюсь, какъ это онъ еще живъ!

Наконецъ усѣлись за столъ. За чаемъ разговоры шли о дороговизнѣ, о кулакахъ и т. п. Время шло незаметно, такъ что зажгли свѣчку. Пришелъ и самъ Петръ Степановичъ и тоже ушелъ въ баню.

Гости стали прощаться.

— Вы, Дарья Андреевна, когда вамъ свободно, приходите къ намъ посидѣть. Мой старикъ давно тарантитъ мнѣ, чтобы я пригласила васъ къ себѣ. Приходите завтра къ намъ обѣдать, — говорила Елена Никоновна, провожая Дарью Андреевну.

Ольга Герасимовна была въ восторгѣ отъ этихъ словъ, а Дарья Андреевна была рада, что она въ хозяйствахъ дома нашла хорошихъ людей.

### XXXIII.

Дарья Андреевна была довольна своею новою жизнью: квартира у нея была хотя холодная, но все-таки есть гдѣ отдохнуть, да вѣдь и холодъ не вѣченъ: пройдетъ мѣсяца два три, настанетъ тепло; Эмилія Карловна, какъ кажется, благоволитъ къ ней; работы у нея много и къ декабрю мѣсяцу ей причиталось получить съ Петерсонъ рублей пять съ половиной, которые Дарья Андреевна уже заблаговременно распредѣлила, а именно хотѣла отдать остальной долгъ сапожнику и Ольгѣ Герасимовнѣ и купить у послѣдней теплый платокъ. Хозяйева дома, особенно Татьяна Савельевна, любили ее, и она часто сидѣла у нихъ, когда не было работы въ магазинѣ. Съ помощью этихъ добрыхъ людей ей жить можно было тѣмъ болѣе, что на пищу у нея выходило немного. Мясное она ѣла только въ праздники, когда бывала дома; случалось, что Улицовы приглашали



ее обѣдать за то, что она скроила и помогла шить Татьянѣ Савельевнѣ платье и кое-что починивала имѣ. Можетъ быть за это, а можетъ быть и убѣдившись, что комната Дарьи Андреевны дѣйствительно холодная, Елена Никоновна сбавила за квартиру рубль. Въ ея комнатѣ всегда было чисто. Каждую субботу, по утрамъ, она мыла полъ не только у себя, но и у Ольги Герасимовны; обѣ эти комнаты она по утрамъ мела вѣнникомъ. Вѣлье она стирала тоже сама, только на рѣку не ходила полоскать его, потому что бѣлья было немного. Такимъ образомъ она была постоянно занята и дожидаясь спать со спокойною душою. Такая жизнь казалась ей хорошею; она радовалась, что живетъ этою жизнью. Но еще было бы лучше, еслибы швеи не сердились на нее и не острилъ надъ нею братъ Кузьма.

Со времени поступленія въ магазинъ Петерсонъ Дарья Андреевна не была ни у дяди Ипполита Аполдоновича, ни у Телѣжниковой, ни у Платоновыхъ; была разъ у брата Кузьмы, но его не застала дома, а хозяйка его сказала ей по обыкновенію, что онъ вѣроятно дежуритъ. Ее безпокоила судьба Марьи Андреевны, но Марья Андреевна однажды сама пришла съ Кузьмой къ ней. Марья Андреевна едва не замерзла въ комнатѣ своей сестры: у нея озябли ноги, посинѣло лицо и она кое-какъ отогрѣлась кофеемъ. Ей не нравилась мѣстность, въ которой жила ея сестра, потому что дулъ рѣзкій вѣтеръ и было очень сыѣжно, а дорога среди улицы до того непроѣзжена, что положительно приходилось тонуть по колѣна въ снѣгу; ей противенъ казался домъ, въ которомъ жила ея сестра: съ виду онъ казался очень ветхимъ, мезонинъ покачнулся на лѣвый бокъ; въ сѣняхъ пахло чѣмъ-то прокислымъ; лѣстница, что шла въ мезонинъ, была ветхая, и Марья Андреевна боялась, чтобы ступенька не обломалась подъ ней. Ей не понравилась старуха Ольга Герасимовна, пришедшая къ Дарьѣ Андреевнѣ, чтобы познакомиться съ ея сестрой, и она никакъ не могла сдержать своихъ улыбокъ, когда та гнула; противна ей показалась и Матреша, которая въ этотъ день была у Дарьи Андреевны.

— Ну, сестричка, я къ тебѣ ужъ больше не приду зимой, — сказала Марья Андреевна сестрѣ еще до кофе.

— Что такъ?

— Да больно далеко, больно снѣгу много и холодно.

— Какъ ты изнѣжена, сестричка.

— Помилуй! Да такъ только нищія живутъ.

— Видно, что вы далеко своей сестрицѣ не пара, — вѣѣшалась Ольга Герасимовна.

Марья Андреевна обидѣлась.

— Гдѣ ужъ намъ! — отвѣтила она и закурила папироску.

А послѣ кофе, когда вышелъ братъ Кузьма, она сказала сестрѣ:

— Чѣмъ это я его обижаю.

— Напрасно ты, сестрица, обижаешь дяденьку...

— Да какъ же, ушла и явшаешься Богъ знаетъ съ кѣмъ.

— Съ кѣмъ же я явшаюсь?

— Да вонъ съ какою-то дѣвчонкой, со старухой гнусливой. Какая противная старуха!

— Пожалуйста, прошу не выражаться такъ о моихъ друзьяхъ.

— Хороши друзья... Подумай, что о тебѣ говорятъ.

— Очень мнѣ нужно!.. Я очень довольна своею жизнью.

— Ну, я не завидую. Вонъ ты какъ похудѣла!

Щеки сдѣлались, какъ у покойника...

— А какъ твоя свадьба — будетъ или нѣтъ? — спросила вдругъ Дарья Андреевна, не желая слушать больше упрековъ.

— Ужъ разумѣется не по твоему.

Дарья Андреевна старалась развеселить и успокоить какъ-нибудь сестру, и это ей удалось скоро. Она навела разговоръ на жениха Марьи Андреевны.

— Онъ чиновникъ? — спрашивала Дарья Андреевна.

— А какъ же! У него три чина; у его матери есть домъ. Дяденька хочетъ дать ему должность.

Пришелъ Кузьма.

— А хозяйка-то у тебя, сестричка, такъ ничего... — сказалъ онъ, входя съ улыбкой.

— Въ какомъ отношеніи?

— Красивая... Только груба, какъ и всѣ эти мѣщанки. Ну, Маша, пойдемъ. Я здѣсь совсѣмъ замерзъ. Да что же ты, Даша, не придешь къ дядѣ и къ Платоновымъ? Семенъ Елизаричъ пріѣхалъ.

— Нечего мнѣ дѣлать у нихъ. Ну, Маша, рассказывай про своего жениха. Что онъ, молодецъ, красивый?

— Онъ тридцати-пяти лѣтъ.

— Каравый и пьяница, — прибавилъ Кузьма.

— Ужъ пожалуйста! — обидѣлась Марья Андреевна на брата. — Онъ — человекъ, скромный вѣжливый, обходительный. Лучше Павлова въ тысячу разъ.

— Да вѣдь и Павловъ былъ тоже вѣжливъ. Что жъ, онъ любить тебя?

— Ужъ должно, что любить, иначе не сватался бы.

— Смотри, сестра, не ошибись! Помни, что его дядя тебѣ сосваталъ, а не ты его выбрала. А что, Маша, теперь ужъ у тебя нѣтъ охоты жить какъ-нибудь иначе?

— Какъ?

— Помнишь, ты однажды плакала... у дяди плакала. Тогда и тебѣ хотѣлось жить иначе.

— Мало ли что тогда было!..

Вратъ съ сестрой ушли, а Дарья Андреевна долго думала о своей сестрѣ.

Однако, какъ ни нравилась Дарьѣ Андреевнѣ ея жизнь, а утромъ она вставала нехотя. Она чувствовала въ это время то же самое, что чувствуетъ школьникъ, которому нужно повторить заданный урокъ и которому очень не хочется идти въ училище, если онъ не знаетъ урока. Хотя голова ея и была свѣжа, но мысль о хлѣбѣ крѣпко озабочивала ее, потому что деньги достаются нелегко. Она чувствовала какую-то пустоту; однообразіе стало надоедать ей; ей хотѣлось читать, но книгъ взять не у кого; записаться въ публичную бібліотеку — нѣтъ лишнихъ денегъ, да и читать то некогда; хотѣлось ей и въ театръ сходить — тоже не на что.

„Плоха наша рабочая жизнь“, думала она утромъ на другой день послѣ визита къ ней сестры: „хочется развлечься чѣмъ-нибудь, посмотреть, почитать



что-нибудь хорошее, а нѣтъ ни денегъ, ни времени. А вѣдь какъ хочется-то! Сидишь, сидишь все на одномъ мѣстѣ, въ глазахъ рябитъ, спина болитъ, и получаешь такъ мало, и за все это тебя же презираютъ. Какъ не позавидуешь такимъ людямъ, какъ сестра: ничего-то она не дѣлаетъ тяжелаго, а если что и дѣлаетъ, такъ шутя, со скуки. Дай-ка ей сдѣлать что-нибудь на урокъ, она будетъ ругаться. И вѣстъ она вдоволь, и вино пить за обѣдомъ, а пожалуй Платоновы ее въ ложу возьмутъ... Вѣдь дастся же такая жизнь людямъ... Но Богъ съ ними! Чтѣ мнѣ завидовать? Какъ ни тяжела моя жизнь подчасъ, а все же я не вернусь къ нимъ: здѣсь я свободна, и хоть связана съ магазиномъ, за то никто не укоритъ меня чужимъ хлѣбомъ, и не будетъ поэтому навязывать жениха, какъ сестрѣ. Жалко мнѣ ее бѣдняжку: попадется она, какъ курица во щи. Если ужъ женихъ теперь пить, то вполсѣдствіи отъ него нечего ждать хорошаго. Да ее не уговоришь; а еслибы она и согласилась на такую же жизнь, какъ моя, то ей не перенести".

Задумалась она надъ замужней жизнью: показалась она ей непривлекательной; страшно ей показалось, какъ это можно жить такъ, какъ жила Ольга Герасимовна! „Тридцать семь лѣтъ жила замужемъ!“.. И она улыбнулась. Но все-таки въ этой замужней жизни она видѣла нѣчто и привлекательное—это дѣти отъ любимаго человѣка. „Вотъ тутъ есть цѣль; тутъ есть для чего жить, тогда пожалуй хорошо жить, если мужъ хорошій и любящій человѣкъ“. И ей горько стало, что она живетъ только для себя, работаетъ только для того, чтобы заплатить за квартиру, чтобы вѣзаться и не ходить босой. „Кому я приношу пользу? Одной Эмилии Карловнѣ“. И ей стало досадно, что ей работой живутъ другіе, а никакъ не она, и она успокоилась только тѣмъ, что не одна она приноситъ пользу хозяевамъ.

Къ Николіну дню холодъ сдѣлался сильнѣе, почему Ольга Герасимовна предложила ей носить свое пальто на барашковомъ мѣху. Хотя это пальто и было старомодное, все же въ немъ было тепло. У Каті тоже появилось пальто на ватѣ, а Глаша по-прежнему ходила въ какомъ-то рваномъ шугайчикѣ и постоянно приходила съ побѣлѣвшимъ носомъ, и цѣлый часъ скакала по комнатамъ, чтобы отогрѣть ноги. А такъ какъ Дарья Андреевна была одѣта богаче даже Софьи Васильевны, то зависти швей и конца не было. Когда она явилась въ пальто Ольги Герасимовны, Софья Васильевна язвительно сказала:

- Обновку завели?
- Это мнѣ сосѣдка дала.
- Воображаю, какая у васъ добрая сосѣдка!
- Она—старушка очень почтенная и добрая.
- Да это видно—старушка она или нѣтъ.

— Что вы хотите этимъ сказать? — вскинула Дарья Андреевна.

— Сами можете догадаться. Вотъ намъ такъ небось никто пальтово не даритъ.

Дарья Андреевна не стала говорить съ ней больше. Немного погодя, она услышала разговоръ Софьи Васильевны съ Эмиліей Карловной, которыми

были въ магазинѣ. Дверь была не заперта и въ комнатѣ все было слышно.

— Вы хоть пять рублей мнѣ дайте, — говорила Софья Васильевна.

— Ей-Богу, нѣту. Передъ праздникомъ были, да я за квартиру отдала, Дашѣ дала...

— Она бы и подождала.

— Что же дѣлать, если она больше васъ нуждается.

— Полноте! Посмотрите, какое у нея пальто! Если она такія вещи носить, то стало-быть у ней есть другъ, который помогаетъ ей.

— Ну, я въ эти дѣла не вхожу и не имѣю права входить, а васъ прошу все-таки подождать.

— Въ такомъ случаѣ я уйду отъ васъ.

— Воля ваша, я не задерживаю.

Когда Софья Васильевна пришла въ комнату, Дарья Андреевна и виду не подавала, что она слышала ея слова.

Черезъ двое сутокъ послѣ этого былъ морозъ градусовъ тридцать пять, такъ что, когда Дарья Андреевна шла въ магазинъ, ей попались на встрѣчу воспитанники, возвращавшіеся домой изъ училища, такъ какъ по случаю мороза въ училище не пускали. Несмотря на теплое пальто, конецъ ея носа побѣлѣлъ, и она нещадно терла его рукавомъ. Въ швейной комнатѣ Глаша и Катя сидѣли на диванѣ и оттирали пальцы ногъ водкой, которую имъ дала хозяйка. Въ комнатѣ было страшно холодно и темно, и такъ какъ дѣвочки, кромѣ Дарьи Андреевны, сидѣли у оконъ, то ихъ въ ихъ легонькихъ платьицахъ пробирало сильно; онѣ ежились, дрожали, стучали зубами, дули въ ладони, чтобы отогрѣть ихъ.

— Эмилія Карловна, холодно! — жаловалась Катя хозяйкѣ.

— Чтѣ жъ я сдѣлаю, милая, не отъ меня холодъ, отъ Бога. Вѣдь печка топится, можешь погрѣться. А не то сядь къ Дашѣ.

— Да тамъ темно.

— Опять-таки я не виновата. А свѣчки палить съ эдакой поры убыточно.

Вулочникъ принесъ булки. Дѣвушки оживились, но булки оказались замерзшія. Сдѣлалось еще холоднѣе.

— Ну, и жизнь эта проклятая! Хорошо теперь баранъ: сидятъ себѣ въ теплыхъ комнатахъ у каминовъ и покуриваютъ сигары, — говорила Катя.

— Что-то у насъ нынче не курятъ папирсъ, — проговорила Софья Васильевна и посмотрѣла на Дарью Андреевну.

Но Катя не поддержала ее.

— Я, право, водку буду пить, — сказала она.

— Фу! Катя, какія ты вещи говоришь!..

— Ей-Богу! Вотъ у насъ живетъ чиновникъ; онъ на службу ходитъ въ дыравыхъ сапогахъ, фуражка у него рваная, — впрочемъ я вчера починила ее ему, — пальтишко безъ ваты, что есть колѣнки не покрываетъ. Такъ онъ утромъ, какъ выпьетъ залпомъ косушку, и идетъ на службу. „Я, говоритъ, такимъ манеромъ нисколько не чувствую холода“. Со службы идетъ, выпиваетъ ужъ двѣ косушки.

— Вы, Катя, накиньте на себя мое пальто, — ска-

зала Дарья Андреевна, хотя ей и самой было холодно.

— А-а! Теперь я васъ поймала, — сказала съ восторгомъ Софья Васильевна.

— Въ чемъ?

— А помните, вы говорили, что пальто не ваше.

— Что жъ! Можетъ быть я и куплю его... Правъ, Катя, надѣньте.

— Мерси! Я чужихъ вещей никогда не люблю носить.

Дарья Андреевна замолчала. Хотѣлось ѣсть; но ей хотѣлось угостить дѣвицъ кофеемъ. Она и прежде предлагала имъ этого напитка, но онѣ постоянно отказывались.

— Софья Васильевна, не хотите ли кофе?

— Благодарю-съ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Я попрошу у Эмили Карловны чашекъ.

Софья Васильевна промолчала.

Въ это время въ комнату вошла Эмили Карловна въ льняномъ салопѣ, покрытомъ чернымъ атласомъ, въ мѣховомъ капорѣ и въ теплыхъ сапогахъ.

— До моего прихода никому не уходить; я приду скоро, — сказала она швейцъ, натягивая пуховыя перчатки.

— Эмили Карловна, одолжите намъ чайныхъ чашекъ. Мы хотимъ пить кофе, — проговорила Дарья Андреевна.

— Возьмите. А у васъ есть ли сливки и сахаръ?

— Сахаръ есть; мы напьемся безъ сливокъ. Лишь бы тепло было.

— Неужели и вы озябли?

— Немножко.

— Возьмите, только не изломайте, и вымойте почище.

И она ушла.

— Экой салонщикъ-то! — сказала Глаша.

— А брошу я шить! Руки совсѣмъ околѣтели, ноги такъ и щиплетъ... Проклятая эта жизнь! — сказала Катя и, бросивъ работу, подошла къ печкѣ.

Ея примѣру послѣдовала и Глаша.

Дарья Андреевна черезъ нѣсколько времени сварила кофе, достала чашекъ и пригласила швей.

— Я не люблю этого поила! — сказала Катя.

— И я тоже, — отозвалась Глаша.

— Я не понимаю, Катя, за что вы на меня сердитесь? Что я такое сдѣлала? Кажется я васъ ни словомъ, ни дѣломъ не обидѣла, — проговорила Дарья Андреевна.

Глаша ткнула въ бокъ Катю.

— Съ чего вы воображаете, что я на васъ сержусь? — спросила обидчиво Катя.

— Да развѣ я не вижу. Это видно и со стороны. Напримѣръ вы даже не хотите со мною сидѣть, какъ будто я какая-нибудь прокаженная. Повѣрьте, что я ничѣмъ не лучше васъ.

— Вотъ вы даже сейчасъ обидѣли насъ: чѣмъ же мы, напримѣръ, хуже людей?

— Я не говорю, чтобы мы, швеи, были хуже праздныхъ людей. Я только приравниваю себя къ вамъ.

— Ужъ пожалуйста! Намъ нечего приравниваться

къ выскочкамъ, заѣдаламъ чужого хлѣба. Я ужъ давно говорила вамъ: сидѣли бы вы гдѣ-нибудь въ гостинной и распивали бы тамъ съ барынями кофеи ваши, — запальчиво проговорила Катя.

— Вы меня, Катя, совсѣмъ не понимаете; вы не знаете причинъ, которые заставили меня бросить праздную жизнь, рассориться съ родными, порвать всѣ отношенія съ сытымъ міромъ, въ которомъ живутъ на счетъ другихъ и на бѣдныхъ смотреть, какъ на какихъ-то лишннихъ людей. Я захотѣла рабочей жизни. И знаете, почему я приравниваю себя къ вамъ? — а потому, что я хотя получаю и больше васъ, Катя, но переношу лишеній не меньше вашего.

— Это и видно!

— Вы бы посмотрѣли на мою квартиру, не то бы сказали. Хорошо еще, что у меня сосѣдка добрая; не будь ея, или будь на ея мѣстѣ другая съ другимъ характеромъ, изъ чиновницъ, мнѣ было бы плохо. Если я ношу не рваныя платья, лучше вашихъ, то я такія носила и дома и, какъ самая любимая, я ихъ взяла съ собой. Не могу же я, въ самомъ дѣлѣ, имѣть порядочныя платья, ходить оборванною въ одной рубашкѣ. Это было бы смѣшно. А вотъ бѣда, — и она настанетъ когда-нибудь, — если эти платья извонятся: тогда я поневолѣ должна буду ходить въ рубищѣ.

— Ну, вы не будете ходить въ рубищѣ: у васъ родня богатая, выручитъ.

— Плохо вы знаете эту родню. Однако кофе-то простынетъ.

Дарья Андреевна налила въ чашки кофе и пригласила швей. Софья Васильевна и Глаша подѣлились кѣ столу. Дарья Андреевна достала изъ кармана пальто нѣсколько кусковъ сахара. Катя сидѣла у печки и смотрѣла на потухающіе уголья.

— Катя, что же вы? — спросила Дарья Андреевна Катю, подойдя къ ней.

Катя плакала тихо: лицо ея передергивало, слезы ручьями плыли по ея щекамъ и капали съ подбородка на колѣни. Дарья Андреевнѣ жалко стало ея: при видѣ этой гордой, плачущей дѣвушки, старающейся скрыть отъ другихъ свои слезы, у нея сердце точно повернулось и едва она сама не заплакала.

Дарья Андреевна поднесла ей чашку, кусокъ булки и сахару.

— Я не хочу, — сказала вполголоса Катя, успѣвшая уже оттереть слезы.

— Ну, полно вамъ церемониться.

Катя нехотя взяла чашку, поставила ее на полъ, достала изъ кармана свою булку и долго не пила кофе. Однако выпила.

— Не хотите ли еще?

— Если есть, давайте. Только вотъ что: я вѣдь васъ не могу тоже съ своей стороны напоить кофе-мъ.

— Я не для того и угощаю васъ... Мнѣ одной скучно пить. Вотъ пока у меня онъ есть, будете пить, а не будетъ — пробьемся и такъ.

— Зачѣмъ же вамъ убытчить себя? — спросила Софья Васильевна.

— Тутъ нѣтъ убытку, если я не хожу домой обѣдать.

Съ этихъ поръ швен стали ласковѣе съ Дарьей Андреевной, а Катя часто, оставляя на колѣняхъ работу, долго смотрѣла на Дарью Андреевну. Ей какъ будто хотѣлось заговорить съ нею, но она не рѣшалась.

На другой и на третій день послѣ этого швен не отказывались отъ приглашенія Дарьи Андреевны, и на третій день уже вели дружескую бесѣду.

— Вы давно знакомы съ Телѣжниковой?—спросила Софья Васильевна.

— Я познакомилась съ ней только передъ поступленіемъ въ магазинъ...

— Вы кажется съ ней очень дружны?

— Напротивъ, она, какъ аристократка, кромѣ нѣжностей, ничего мнѣ не оказываетъ. Развѣ вы не замѣтили, что когда она была здѣсь, то прощаясь, чуть-чуть было не поцѣловала меня, ужъ и рожницу было направила, да спохватилась, покраснѣла и убѣжала поспѣшить.

Швен захохотали.

— А у ней рожница ничего, смазливая. Недаромъ она все гуляла дѣтствомъ съ какимъ-то брюнетомъ, — замѣтила Софья Васильевна.

— Впрочемъ у ней мужъ-то, говорятъ, тоже не промахъ, — прибавила Катя.

— Я его видѣла всего развѣ и знаю, что онъ человѣкъ очень скучный.

— За то она какъ начнетъ звонить, такъ надоѣстъ хуже колокольнаго звона въ пасху, — сказала Катя.

Долго толковали о Телѣжниковой дѣвицы, толковали и о другихъ барыняхъ. Какъ въ Телѣжниковой, такъ и въ другихъ онѣ видѣли пустыхъ людей, которымъ дѣваться некуда со скуки.

На четвертые сутки у Дарьи Андреевны не было ни кофе, ни сахару. Ударило двѣнадцать часовъ. Эмилія Карловна пьетъ въ своей комнатѣ кофе. У швей бурлитъ въ желудкахъ: онѣ поглядываютъ на Дарью Андреевну, которая сидѣла уже за однимъ столомъ съ ними. Кухарка вышла отъ Эмиліи Карловны съ посудой и подошла къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Что жъ вы нейдете заваривать кофій?

— Я сегодня не буду, — скромно отвѣтила Дарья Андреевна; щеки ея покраснѣли.

Кухарка ушла.

— Софья Васильевна, хоть бы вы попотчивали, — сказала Катя.

— Вы, Дарья Андреевна, почему нынче не пьете кофій?—спросила Софья Васильевна Дарью Андреевну.

— Нѣту; дома даже нѣту. Сегодня я совсѣмъ не шла дома, потому что моя сосѣдка захворала.

— Еслибы я знала—принесла бы своего. Право, какъ привыкнешь къ чему-нибудь—трудно отстать, — сказала Софья Васильевна.

— А мы попросимъ у хозяйки. Мы ее пристыдимъ: ишь, работаешь, работаешь — нѣтъ, чтобы угостить! — проговорила Катя.

— Я думаю, намъ бы можно чередоваться такъ: эта недѣля мой кофій, другая — Софья Васильевна, третья — Катерина Сергѣевна... — говорила Дарья Андреевна.

— Хорошо вамъ, если у васъ есть деньги, или Глаша—гдѣ мы возьмемъ денегъ на кофій или сахаръ?—сказала Катя.

— А мы сдѣлаемъ лучше такъ: какъ получимъ деньги и отложимъ каждая по копѣйкѣ съ десяти копѣекъ. Если напригнѣру я получу два рубля — это составитъ двадцать копѣекъ; если вы, Катерина Сергѣевна, получите рубль — составитъ десять копѣекъ, — предлагала Дарья Андреевна.

— Значить я принесу домой девяносто копѣекъ, — возразила Катя.

— Да. Но если вы принесете домой рубль, то вамъ едва-ли дадутъ на прихоти десять копѣекъ. А такимъ манеромъ если мы всѣ будемъ откладывать по копѣйкѣ, то у насъ составитъ порядочное количество денегъ и ихъ хватитъ на то, чтобы цѣлую недѣлю пить кофе со сливками и съ сахаромъ, а пожалуй останется и на булки.

— Я съ этимъ согласна, — отвѣтила Софья Васильевна.

Но Катя и Глаша задумались.

— По копѣйкѣ много; по половинѣ бы, — сказала Катя.

— Тогда придется пить безъ сливокъ.

— Хорошо вамъ, вы получаете больше моего.

— За то съ меня больше и сойдетъ.

— Нѣтъ, это не резонъ: нужно, чтобы кофій пили поровну, а то вы еще будете думать: вотъ молъ Катя даде десять копѣекъ, а пьетъ за двухъ.

Пришла хозяйка.

— О чемъ спорите?—спросила она.

Дарья Андреевна рассказала свой планъ и взглядъ на него Кати.

— Я съ вами согласна. Дѣйствительно въ это время ѣсть хочется, особенно молодымъ людямъ, какъ вы; ходить же домой неловко. Я бы взялась васъ сама кормить, но во-первыхъ вамъ дорога каждая копѣйка, а мнѣ даромъ кормить резону нѣтъ, во-вторыхъ вамъ могутъ не понравиться кушанья. Вонъ у Миллеръ нынче дѣвицы живутъ въ ея квартирѣ: онѣ тамъ и спятъ, и ѣдятъ хозяйское, за то ничего отъ нея не получаютъ. Я бы пожалуй позволила вамъ готовить кушанья, но во-первыхъ согласится ли кухарка, а во-вторыхъ это отниметъ у васъ и у кухарки много времени.

— Мы о пищѣ и не говоримъ: мы покупаемъ булки, а какъ съ булкой напьемся кофею — и сыта до вечера... — сказала Дарья Андреевна.

— Кофе пить я вамъ могу позволить только съ тѣмъ, чтобы вы уже отъ себя платили кухаркѣ за мытье посуды и прочее. Но кто же у васъ будетъ казначеемъ?

Дѣвицы переглянулись.

— Я думаю, Софья Васильевна возьмется за это дѣло, — сказала Дарья Андреевна.

Катя сердито посмотрѣла на Дарью Андреевну.

— Нѣтъ, ужъ вы меня увольте, — сказала Софья Васильевна: — будьте ужъ лучше вы, — прибавила она надменно.

— Кого вы, Катерина Сергѣевна, думаете выбрать? Я думаю, Эмилію Карловну.

— Ну, гдѣ же мнѣ возиться!—отвѣтила та и пошла въ магазинъ.

— Въ самомъ дѣлѣ самое лучшее отдавать деньги Эмиліи Карловнѣ. Пусть она и покупаетъ сама кофе, сахаръ и сливки, — проговорила Дарья Андреевна.

— Ну, эдакъ она нашъ кофе пить станетъ, — возразила Катя.

— Что жъ, пусть ее пьетъ, тогда она коситься на насъ не будетъ, какъ эти дни косилась.

Дѣвицы рѣшили просить объ этомъ Эмилію Карловну. Хозяйка согласилась. Со слѣдующаго дня дѣвицы стали пить свой кофе со сливками.

— А вѣдь недурной кофей сварила кухарка! — замѣтила Катя.

— И притомъ свой: теперь мы всѣ можемъ говорить, что у насъ свой хлѣбъ, а не чужой, — сказала Дарья Андреевна.

Дѣвицы улыбнулись и задумались.

#### XXIV.

До Рождества оставалась недѣля. Въ домѣ Удинцовыхъ замѣтно готовились къ празднику: изъ комнаты была вытащена вся мебель, сундуки и вещи, и Максимъ Петровичъ, въ рубашкѣ и штанахъ, съ передникомъ, бѣлилъ стѣны и потолокъ. Предлагалъ онъ оклеить комнату Дарьи Андреевны бумагой и потомъ побѣлить, но она отказалась. Татьяна Савельевна стирала бѣлье. Старикъ Удинцовъ рѣдко и на почъ приходилъ домой; онъ для того, чтобы больше наловить къ празднику рыбы, уходилъ дальше. Старуха и Татьяна Савельевна питались или тертой рѣдкой съ квасомъ, или капустой тоже съ квасомъ, въ ожиданіи праздника; въ ожиданіи же праздника супругъ Татьяны Савельевны не цѣлствовалъ. Съ шестка кухонной печи не сходили горшки съ кислымъ молокомъ, и на мѣсто прежнихъ, въ которыхъ уже образовывался творогъ, ставились другіе. По вечерамъ теща и сноха сбивали масло. Сапожникъ былъ заваленъ работой и пригласилъ себѣ мальчика въ помощники. Всѣ въ нижнемъ этажѣ были настроены какъ-то грустно, говорили нехотя и какъ-то сердито. Ольга Герасимовна, оправившись послѣ болѣзни, каждый день отпирала свой сундукъ и перебирала въ немъ платья и бѣлье, мурлыча пѣсни духовнаго содержанія. Она только и питалась кофеемъ. Къ послѣдней недѣлѣ она призвала къ себѣ священника и исповѣдавшись приобщилась Св. Таянъ. Только у Дарьи Андреевны не замѣчалось признаков приближенія праздника — у нея все было по старому и она была спокойна тѣмъ, что заплатила за квартиру впередъ за мѣсяцъ; если же у нея дома нѣтъ ни чаю, ни сахару, ни кофе, и если у одного сапога у подошвы появилась дырка, а на платьяхъ тоже замѣтны въ разныхъ мѣстахъ прорѣхи, то она все-таки надѣялась на получку къ празднику рублей около шести, и тогда рѣшила все справить. Но ее беспокоило то, куда дѣвать эти три дня, да и послѣ праздника едва ли будетъ много работы. Хотѣлось ей сходить въ церковь, но у нея не было салона, она написала мачихѣ, чтобы та непременно выслала

ей салонъ, терново-коричневое платье и нѣсколько штукъ бѣлья; хотѣлось ей и въ театръ сходить, и книжечку почитать: „когда у меня деньгѣи будутъ, ужъ я полтинника не пожаляю: вѣдь мои деньги. Потомъ опять заработаю“, думала она, но больше всего ее беспокоило то: идти или нѣтъ ей къ дядѣ и къ Платоновымъ. Не идти — неловко; надо хоть сестру повидать, посмотреть, какъ она живетъ. Платоновы всегда относились къ ней, какъ къ маленькой дѣвочкѣ, баловали ее и могутъ всегда пригодиться, если не для нея, то для сестры и брата, такъ какъ они люди вліятельные и богатые. Старшій сынъ Платонова относился прежде къ Дарьѣ Андреевнѣ свысока, дочь была воспитана на аристократическій манеръ и совѣстилась ея, хотя и не прочь была поиграть съ ней, а младшаго сына Платонова она видѣла рѣдко. „Къ Платоновымъ я не пойду, тамъ мнѣ дѣлать нечего, они — родня дальняя; и если я пойду, то только себя осрамлю: сважутъ, что вамъ угодно? Еще выгнать. А къ дядѣ сходить надо. Онъ человѣкъ разсудительный, у него живетъ сестра“, рѣшила она. Къ тому же ее интересовало то, какъ смотритъ дядя въ настоящее время на ея ремесло.

Въ магазинѣ работы прибавилось; но Катя съ недѣльникой не являлась уже три дня. Машу же Эмилію Карловна домою не отпускала. Дарья Андреевна утромъ зашла къ Катѣ и увидѣла ее большою тифомъ. Каждое утро послѣ этого Дарья Андреевна заходила къ ней и съ каждымъ днемъ замѣчала, что той становилось хуже и хуже, а пристра за нею не было никакого: тетка ея суетилась около печи съ хлѣбами, которые она пекла на продажу. Поэтому Дарья Андреевна посоветовала ей отправить Катю въ больницу, но тетка не согласилась.

— Вотъ еще! стану я ее развозить! есть у меня на это время! — сказала она съ неудовольствіемъ.

— А если она умретъ?

— Не умретъ: не въ первый разъ.

— Тамъ она скорѣе бы выздоровѣла.

— А я говорю, что она тамъ скорѣе умретъ! И прошу меня не учить! — съ сердцемъ сказала Катина тетка.

Такии образомъ работы въ магазинѣ стало больше. Эмилія Карловна тоже соболѣзновала о Катѣ, говорила, что пожалуй къ сроку не поспѣть, прислала было сама шить, да спина разболѣлась и бросила. Заставила она шить Машу, сестру Катѣ, но та только портила. Это только бѣсило хозяйку и она била дѣвочку и не давала ей ѣсть.

— Вы бы приняли на время какую-нибудь дѣвочку, — сказала однажды хозяйкѣ Софья Васильевна.

— Надо бы. Даша, гдѣ это Матрешка? Вы ее кажетсѣ часто видите?

— Она теперь сидитъ дома: ихъ недавно обокрали, такъ что ей и надѣть нечего; а ея братъ недавно и ботинки отъ нея отобралъ.

— Что жъ она дѣлаетъ дома?

— А прислуживаетъ жильцамъ да бѣлье стираетъ; добрые люди къ ней на домъ приносятъ. Ихній квартиру впрочемъ даетъ ей владѣние сапоги на кожаныхъ подошвахъ, такъ она въ нихъ и ходитъ на

рѣку. Дровъ вотъ только нѣтъ, такъ она ужъ заплоть принялась рубить...

— Попросите ее, чтобы она пришла сюда. Она хотя и скверно шьетъ, но все же четвертакъ за штуку пригодится.

— Вы кажется прежде ей больше платили? — вступилась за Матрешу Дарья Андреевна.

— То было прежде.

Однако Матреша не пошла къ Эмилиі Карловнѣ.

— Да я на одномъ бѣльѣ больше достану, чѣмъ со штуки: штуку-то я прошью, можетъ, съ перешивками дня два, а теперь мнѣ платятъ за каждую штуку по копѣйкѣ и по двѣ. Тяжело, да все же лучше, чѣмъ на одномъ мѣстѣ сидѣть, мерзнуть и слушать выкомур.

— Ну, коли такъ, наплевать,—сказала Эмилиі Карловна, когда Дарья Андреевна передала ей отказъ Матрешы. — Пусть-ко она теперь обратится ко мнѣ съ просьбой пустить ее въ магазинъ, я ее и на порогъ не пушу! Дѣлать нечего; управимся какъ-нибудь однѣ. Я думаю устроить такъ, чтобы вы не ходили домой спать: кофій утромъ, полдникъ, обѣдъ и вечеромъ чай будетъ мой. Я съ васъ ничего не возьму, а спать вы можете здѣсь.

Швей, желая заработать больше денегъ, согласилась.

Два дня хозяйка кормила хорошо, но за то и доставалось же имъ. Спали онѣ въ самомъ магазинѣ, куда былъ перенесенъ диванъ, на которомъ спала Софья Васильевна; Дарья же Андреевна и Глаша спали на столѣ, который былъ такъ широкъ, что на немъ могли бы умѣститься трое. Маша спала въ кухнѣ, и тамъ ей было несравненно лучше и теплѣе, чѣмъ въ холодномъ магазинѣ. Хозяйка будила ихъ въ пять часовъ, а въ два часа онѣ дожили спать.

До праздника оставалось два дня; неоконченной работы было много. Въ магазинѣ то и дѣло приходили то горничныя отъ барынь за вещами, то разные приказчики съ книгами. Выходили сцены. Особенно неприятны были сцены съ приказчиками. Приходить одинъ приказчикъ.

— Дома Эмилиі Карловна? — спрашиваетъ онъ швей.

— Дома. Она занята,—отвѣчаетъ недовольно Софья Васильевна.

— Онѣ гдѣ, въ магазинѣ?

Изъ комнаты выходитъ Эмилиі Карловна, зоветъ приказчика и запираетъ за нимъ дверь; но все-таки оттуда слышится крупный разговоръ. Черезъ нѣсколько минутъ оттуда выходитъ приказчикъ съ раскраснѣвшимся лицомъ, что-то шепчетъ и уходитъ, сильно хлопая дверью.

— Ахъ ты, Господи, какъ они надоѣли со своими книгами! И добро бы много, а то забравъ сахару чепыре головы, кофею пятнадцать фунтовъ... И вѣдь сколько присчиталъ? цѣлыхъ пять рублей лишнихъ. Это ужъ по-жидовски!

Входитъ другой приказчикъ безъ книги.

— Наше вамъ почтеніе, Эмилиі Карловна. Хозяинъ послалъ... Потому, сами знаете, конецъ года... отчетность... самимъ нужно расплачиваться... мы больше въ кредитъ,—начинаетъ любезно приказчикъ.

И этого она уведить и потомъ провожаетъ со словами:

— Не безпокойтесь: такъ и скажете, что...

— Ужъ вы пожалуйста припишите къ этому времени, потому, сами знаете, конецъ года: туды, сюды нужно... Сами нуждаемся.

— Ну, ужъ и нуждается?

— А какъ бы вы думали? Вотъ хоть бы къ пришею, Телѣжниковой отпущено съ паски разной матеріи на полтора рубля, а не получено еще ни копѣечки.

— Неужели? Да она и мнѣ должна больше пятидесяти... Послушайте: я бы пожалуй перевела ей долгъ вамъ.

— Нѣтъ, ужъ вы сами, потому намъ съ ней и такъ неприятно изъ-за бездѣлицы исторіи нѣтъ.

— А г-жа Миллеръ сколько вамъ должна?

— Много-съ: рублей триста.

— Неужели?!

— Что станешь дѣлать! Прежде платила исправно, вѣрили. А если вотъ нынче не заплатитъ — будетъ судомъ пресить. Такъ уже вы постарайтесь... — и приказчикъ уходитъ.

— Живодеры проклятые! Цѣлый годъ ухаживать за тобой: возьми да возьми то-то, и денегъ не просать. Мы, говорить, вамъ можемъ и на тысячу повѣрить. А какъ наступитъ Рождество, точно съ ножомъ пристають. Сколько неприятностей однѣхъ наслушаешься! Софья Васильевна, будьте такъ добры, если еще кто-нибудь придетъ, скажите—дома нѣтъ.

— Хорошо.

Хозяйка уходитъ.

— Такъ тебѣ и надо!—говоритъ съ затаенной злобой Софья Васильевна.—Цѣлый годъ блаженствовала, командовала надъ нами, никого знать не хотѣла... А теперь прижала хвостъ-то! Туго стало.

— Неужели она много должна?—спросила Дарья Андреевна.

— Всѣмъ. Она и мясо, и свѣчи—все беретъ въ долгъ.

— Куда же она дѣваетъ деньги! Вѣдь за платя, что она шьетъ изъ своего, то есть сама покупаетъ матерію, она беретъ рублей по сорока и больше?

— Вѣроятно копѣтъ. Она думаетъ такъ съѣхать, а вотъ купцы и не даютъ покою.

— Однако этакъ вѣрять не станутъ.

— Это еще ничего, что она лавочникамъ не платитъ, а вотъ посмотримъ, какъ-то она насъ расчитаетъ. Въ прошломъ году она мнѣ не додала къ новому году цѣлыхъ пять рублей, а я и не знала, какой такой есть праздникъ,—проговорила Софья Васильевна.

— Неужели и теперь придется работать въ праздникъ?—спросила Дарья Андреевна.

— А вы думаете, нѣтъ? Вотъ сами испытаете. Въ праздникъ-то работы больше теперешняго и работа спѣшная, потому что шьется къ новому году.

Положеніе Эмилиі Карловны къ Рождеству и въ новому году становилось дѣйствительно затруднительно. Дѣло заключалось въ томъ, что давальщицы или заказчицы были ея старинныя знакомыя; срав-

нительно съ другими швейными магазинами она брала за работу дешевле, даже въ томъ случаѣ, если заказывали ей шить изъ ея матеріи, или поручали ей самой покупать матерію. И случалось довольно часто, что заказчицы, получивъ вещь, или вовсе не платили денегъ, или платили, но часть, ссылаясь на то, что мужья скоро получаютъ большія награды и т. п. Еслибы Эмилія Карловна не стала отдавать этихъ барынямъ спитыя имъ вещи, то она не получила бы ничего, и вещь висѣла бы въ магазинѣ цѣлый годъ, потому что не было случая, чтобы кто-нибудь купилъ висѣщую въ магазинѣ вещь, такъ что дорогую вещь приходилось отдавать торговкѣ для продажи на толкучкѣ чуть не за половинную цѣну стоимости. Если же бы она не бралась шить на такую барыню въ другой разъ, барыня съ этихъ поръ стала бы заказывать въ другія мѣста, и конечно ужъ не заплатила бы долга. А такъ-какъ у нея зачастую вырученныхъ отъ магазина денегъ было мало, потому что она платила изъ нихъ за квартиру и швейя, то она и забирала у разныхъ купцовъ въ долгъ все, что требовалось для шитья, брала также и сахаръ и т. п. Купцы ее не тревожили цѣлый годъ, но въ течение года наваливалось долговъ разумеется съ большими процентами порядочное количество, а такъ-какъ заказчицы съ каждымъ годомъ становились менѣе аккуратны насчетъ платежа, а нѣкоторые даже уѣзжали въ другіе города, выдавъ ей росписки, то долгъ купцамъ возрасталъ и въ этомъ году достигъ уже порядочной цифры. Мужъ ея, хотя и получалъ большое жалованье, но приносилъ домой мало, потому что у него были тоже свои долги въ трактирахъ и онъ любилъ играть въ карты, въ которыя большею частію проигрывалъ. Сынъ тоже платилъ только за пищу восемь рублей въ мѣсяцъ и у него трудно было матери выклянчить нѣсколько рублей, потому что и онъ, любя развлечения, какъ молодой чиновникъ, постоянно забиралъ жалованье впередъ.

Поэтому Эмилія Карловна въ эти дни была въ дурномъ настроеніи: она ходила молча съ серьезно-строгимъ лицомъ, перебирала вещи въ магазинѣ, торопила швей, ругала по-нѣмецки свою жизнь, купцовъ и заказчицъ, безжалостно теребила за волосы и ставила на колѣни несчастную Машу, два раза ударила по щекамъ Глашу за то, что та на замѣчаніе ея осмѣлилась возражать; обругала Софью Васильевну и Дарью Андреевну, обозвала всѣхъ обжорами и негодяйками, но изъ всего этого выходила только кутерьма. А купцы, какъ нарочно, подсылали къ ней во второй и въ третій разъ своихъ приказчиковъ, заказчицы-барыни точно на зло торопили свои платья, и ежели пріѣзжали сами, то пригнѣвляли, изъясняли свое неудовольствіе, требовали другого фасона, — что до слезъ залило до сихъ поръ хладнокровную Эмилію Карловну.

За три дня до Рождества пришла въ швейную утромъ пожилая женщина въ люстриновомъ на ватъ салопчикѣ. Это была одна изъ торговокъ на толкучкѣ, пользующаяся особымъ довѣріемъ г-жи Петерсонъ.

— Ахъ, какъ я рада видѣть тебя, Настасья Лари-

оновна! — и она увела ее въ свою комнату и позвала Машу.

Маша вышла изъ комнаты, побрякивая деньгами.

— За водкой посылаешь, — сказала она мимоходомъ.

— Странная женщина эта хозяйка! Она какъ будто совѣсть не стыдится насъ: то жалуется, что ее купцы одолѣли, то явно высказываетъ свои плохія дѣла по магазину, то посылаешь за водкой избитую дѣвушку, — удивлялась Дарья Андреевна.

Маша пришла на-веселѣ. Вернувшись отъ хозяйки, она стала насвистывать; Дарью Андреевну точно ходокомъ обдало.

— Ахъ, Машка, Машка! Какъ тебя не бить послѣ этого? — сказала Софья Васильевна.

— Пусть-ко сунется, — я и сама сдачи дамъ. — И она выругалась.

— Смотри, Машка, Эмилія Карловна догадается. Ее не проведешь!... Что тогда съ тобой будетъ? Вѣдь не въ первый разъ тебя бьетъ хозяйка за пьянство. И какъ не стыдно: такая маленькая, а пьетъ водку, — говорила съ участіемъ Софья Васильевна.

— А вамъ-то что за дѣло? Вотъ еще! Денегъ не дають, домой не пускають... Сестрица ты моя!...

И она заплакала.

Швей замолчали.

— Уйди хоть пожалуйста въ кухню.

Маша рыдала.

Немного погодя, хозяйка стала провожать гостью, у которой — вѣроятно отъ водки, — щеки покрылись красными пятнами. Въ лѣвой рукѣ она держала большой узелъ. Эмилія Карловна была тоже веселая. Маша, незамѣтно для хозяйки, улизнула въ сѣни.

Проводивши гостью Эмилія Карловна сказала швейамъ, что онѣ могутъ обѣдать хоть сейчасъ, а она до прихода сына сходитъ кое-куда. Черезъ полчаса она ушла въ пальто на бѣличьемъ мѣху. Это изумило Дарью Андреевну; Глаша смотрѣла какъ-то дико то на Дарью Андреевну, то на Софью Васильевну, но послѣдняя ядовито улыбалась.

— Сегодня, кажется, не особенно тепло, — замѣтила Дарья Андреевна.

— Дойдетъ и до того, что въ лѣтнемъ пальто станетъ пеголать на праздникѣ. Хороша хозяйка моднаго магазина! — свѣталась Софья Васильевна.

— Неужели она салопо отдала продавать?

— Ну, она его не продастъ, а заложитъ. Рублей пятьдесятъ дадутъ... Видите, какъ ей жутко!

— Я боюсь, дастъ ли она намъ денегъ на праздникъ.

— А если не дастъ?

— Ужъ тогда я не знаю, что со мной будетъ!

— Тогда мы перейдемъ въ другой магазинъ... Впрочемъ она дастъ, только нужно дѣйствовать заодно. Вы согласны?

— Мнѣ все равно, только неужели дойдетъ до этого?

— Мало вы ее знаете, а я ужъ съ ней хоровожусъ не одинъ, не два года. Я вѣдь не у нея одной работала; знаю ихніе нравы. Если она не будетъ давать денегъ, мы скажемъ, что сейчасъ же бросаеиъ рабо-

ту и идежъ на другое мѣсто. Она и струсить. Она будетъ упрямивать, умаливать, плакать начнетъ.

— Можетъ быть и безъ этого обойдется...

— Ну, я такъ и думала, что вы себѣ на умѣ. Только я васъ предупреждаю: она васъ такъ умалитъ, что вы пожалуй и согласитесь остаться у нея. Впрочемъ вѣдь вы на мое мѣсто разсчитываете.

— Нисколько я не разсчитываю, а если дѣло дойдетъ въ самомъ дѣлѣ до того, что она не станетъ платить денегъ, я пожалуй съ вами буду заодно, хотя этого и не одобряю на томъ основаніи, что послѣ она насъ будетъ притѣснять.

— А по вашему лучше сидѣть безъ денегъ въ праздникъ?

Дарья Андреевна согласилась съ Софьей Васильевой; Глаша была давно на все готова.

Швеи обѣдали въ кухнѣ, потому что Эмилія Карловна не удостоивала приглашать ихъ обѣдать съ своимъ семействомъ; въ швейной же она обѣдать не дозволяла на томъ основаніи, что онѣ могли запачкать тотъ столъ, на которомъ шьютъ и гладятъ. Имъ впрочемъ самимъ было пріятнѣе обѣдать въ кухнѣ, потому что тамъ за ними не слѣдилъ глазъ хозяйки, и хотя изъ кухни былъ прямой ходъ къ Эмиліи Карловнѣ, но она сама рѣдко ходила туда; кромѣ этого, онѣ могли съѣсть лишній кусокъ хлѣба. Обыкновенно швеи обѣдали послѣ хозяевъ, и имъ доставалось на каждую по-немногу изъ двухъ кушаньевъ. Сегодня же имъ досталось больше. Но экономная нѣмка, подъ предлогомъ постныхъ дней и приближающагося разговѣнья, не особенно-то баловала ихъ: такъ, сегодня обѣдъ состоялъ изъ овсянки, въ которую было положено нѣсколько картофелинъ, и изъ жаренаго картофеля на постномъ маслѣ. Овсянка оказалась невкусная, картофель — чересчуръ зажаренъ. Ни той, ни друго Софья Васильевна не стала ѣсть.

— Что же вы?

— Не могу я этого свиного поила хлебать! А картофель — какъ уголь. Хотя бы ты, Настасья, пожалѣла насъ, — проговорила Софья Васильевна, обращаясь къ кухаркѣ.

— Я не виновата. Велѣла овсянку — я и сварила, а картофель потому запалился, что я бѣгала въ лавочку. Не хочешь ли жаренаго гороху?

— Сама ѣшь!

— А то у меня есть пареная рѣпа.

— Еще лучше! Какъ вы не издохнете съ хозяйкой съ вашими рѣпами да горохами!

— Что станешь дѣлать — на то постъ. А вонъ у хозяйки-то особенное кушанье: борщъ да почки. Велѣла еще сырники сдѣлать. Хочешь борщу?

— Не могу; постъ.

Только что стали онѣ выходить изъ-за стола, въ кухню вошла Марья Андреевна въ лисьей салопѣ съ муфтой, въ тепломъ капорѣ. Въ кухнѣ было не совсѣмъ свѣтло и чадно, потому что кухарка жарила кофе.

— Кого вамъ? — спросила кухарка Марью Андреевну.

— Мнѣ — сестру...

Дарья Андреевна подошла къ ней и поздоровавшись отрекомендовала своимъ подругамъ.

— Какими это ты судьбами попала сюда? — спросила ее Дарья Андреевна.

— Да такъ.

— Не хочешь ли попробовать нашего кушанья: у насъ овсянка.

— Фуй! гадость какая! Да я только что отъ кофею. Была у Платоновыхъ. Какой душка этотъ Семенъ Елизарычъ: онъ мнѣ подарилъ такой отличной бумаги на письмо, что чудо!

Дарья Андреевна ввела ее въ швейную и усадила рядомъ съ собой на табуретку.

— Ну, что Платоновы?

— Недовольны тобой. Мы, говорятъ самъ, могли бы тебя пристроить получше. Звали тебя на праздникъ. Любочка кланяется, Семенъ Елизарычъ тоже. Какой, право, славный мужчина этотъ Сенчикъ: высокій, красивый, въ очкахъ. И все сидитъ надъ книгами. Книгъ у него множество. И все какія-то мудренныя. Я было взяла одну, стала читать — ничего не поняла. Одно нехорошо — скоромное ѣсть... Это кому ты такое славное платье шьешь?

— Не знаю: хозяйка дала.

— Ужъ не губернаторшѣ ли?

— А можетъ быть.

— И много получишь? рублей десять... больше?

— Ну, какъ ты проживаешь? — спросила сестру Дарья Андреевна, не отвѣчая на ея вопросъ.

— Ничего. Тетенька только замучила: то ей почи, другое распусти, чулки заштопай; смучилась! Это бы еще ничего: это легко. А то велитъ гладить. Вчера я юбку подпалила нечаянно, — Господи, сколько было крику. Она нынче часто на меня кричитъ.

— Ужъ недолго вѣдь: скоро замужъ выйдешь.

Марья Андреевна вздохнула.

— Знаешь, сестрица, боюсь я идти замужъ.

— Отчего?

— И сама не знаю: страшно. Говорятъ, онъ поживаетъ и пьяный буянитъ. Все Кузьма страшаетъ меня. Я думаю, что Кузьма это дѣлаетъ не отъ чистаго сердца: онъ злой.

— Ну, это тебѣ такъ кажется.

— Нѣтъ, онъ злой! Помнишь, какъ онъ мачиху-то приперъ послѣ отцовскихъ похоронъ?... Даденька говоритъ, что онъ и на службѣ ведетъ себя, какъ забіяка. И въ кого это онъ уродился такой? всѣ у насъ ровно смиренные...

Сестры замолчали. Говорить, казалось, было не о чемъ.

— Тебѣ давно прислали салопъ? — спросила сестру Дарья Андреевна.

— А исправникъ пріѣхалъ, такъ онъ привезъ. А тебѣ онъ не привезъ салона?

— Нѣтъ.

— Эдакой негодай!

Опять замолчали. Марья Андреевна стала больше повертываться на табуретѣ, лицо ея горѣло, она часто раскрывала губы, но не могла рѣшиться выговорить.

— Даша! — начала она: — у меня къ тебѣ есть просьба.

— Какая?

— Не сошьешь ли ты мнѣ платье новомодное?

— Теперь некогда; работы у насъ очень много. Вотъ развѣ на праздникахъ.

— Разумѣется не теперь... А дяденька подарилъ мнѣ голубого атласу на платье. Тетенька было хотѣла тебя позвать къ себѣ, чтобы ты у нея въ домѣ сшила мнѣ платье, да дяденька отговѣтовалъ: ее, говорить, не отпустить на домъ.

— Это правда. Я рада, что они предлагаютъ мнѣ работу и въ моемъ занятіи, какъ кажется, не видятъ ничего дурного.

— Нынче они ужъ не сердятся; дядя даже жалѣетъ, что ты не мужской портной: я бы, говорить, тогда велѣлъ Дарьѣ сшить мнѣ форменный вицъ-мундиръ. Такъ ты согласна?

— Будь спокойна, сошью. Какъ только будетъ время, такъ я зайду къ тебѣ.

— Нѣтъ, ты приходи въ первый день: нельзя не поздравить ихъ съ праздникомъ.

— Приду.

Сестры разстались. Хотя онѣ и говорили большею частію шопотомъ или вполголоса, но Глаша разслышала просьбу Марьи Андреевны и сообщила объ этомъ Софьѣ Васильевнѣ.

— Ваша сестрица, кажется, платье хочетъ шить? — спросила Дарью Андреевну Софья Васильевна.

— Да, она проситъ меня шить. Надо будетъ помочь ей.

— Эдакъ у васъ заказовъ отъ вашей родни много можетъ быть. Тогда вамъ и въ магазинъ не для чего работать. Они вѣдь, эти богачи, по многу платятъ. Я какъ-то шла у одной барыни, такъ провозилась съ однимъ платьемъ цѣлыя четверо сутокъ, тогда какъ здѣсь я бы сшила его въ двое сутокъ. И во все это время я пила и ѣла вволю; а потомъ и денегъ отвалили безъ задержки.

— На родныхъ работать невыгодно, Софья Васильевна, потому что отъ нихъ денегъ не получишь.

— Рассказывайте: родные-то еще больше дадутъ.

— Не думаю.

### XXV.

Къ сочельнику были готовы три платья. Хозяйка встала рано и, какъ только развѣло взяла съ собой Машу и пошла на рынокъ. Пришла она въ часовъ десять, тотчасъ же послала Софью Васильевну съ платьемъ къ женѣ одного изъ предсѣдателей, поручивъ ей получить и деньги и наказавъ придти какъ можно поскорѣе. Со всѣми швеями она была очень любезна.

— А вы насъ отпустите сегодня домой? — спросила хозяйку Дарья Андреевна.

— Да вамъ что дѣлать дома?

— Надо хоть показаться: вотъ я, напригѣръ, четверо сутокъ не была дома.

— Въ банѣ вымыться надо, — прибавила Глаша.

— Ты всегда черна, хотъ и часто ходишь въ маскарадъ. Не знаю, какъ сдѣлать лучше: осталось еще два платья, вамъ пожалуй придется ночь просидѣть.

— Ничего, мы просидимъ.

— Пожалуй я васъ отпущу ненадолго. Только я

бы не совѣтовала вамъ ходить въ маскарадъ: еще простудитесь.

— Ну, это ужъ дѣло наше, — сказала Дарья Андреевна.

Эмилія Карловна сурово взглянула на Дарью Андреевну, открыла ротъ, чтобы что-то сказать но ушла въ комнату. А Дарья Андреевна, какъ и подружки ея, весьма измучилась въ эти сутки. Спать ей приходилось ночью три часа; отдыхала она только во время шитья и ѣды; у нея болѣла спина, болѣли глаза болѣли руки и пальцы, болѣла голова, въ которой какъ будто камень какой сидѣлъ. Мысли путались и вертѣлись на получкѣ денегъ и на томъ, что изъ этихъ денегъ можно было сдѣлать. Часто, очень часто думалось ей о прежнемъ житіи въ родительскомъ домѣ. Тамъ праздникъ встрѣчали замѣтно: всѣ суетились, какъ будто дожидались важнаго гостя; она шила себѣ платье и была въ восторгѣ; ѣсть имъ до вечерней звѣзды ничего не давали, и съ какими онѣ восторгомъ привѣтствовали эту звѣзду и, ложась спать, думали, какъ на нихъ завтра будутъ заглядываться дочери исправника, такъ-какъ у нихъ новыя платья; думали объ розговѣньи — о сливкахъ съ чаемъ, рыбномъ пирогѣ, супѣ и соусѣ, жаркомъ изъ индѣйки и пирожномъ, какъ онѣ проведутъ хорошо время послѣ обѣда, катаясь по городскимъ улицамъ, а вечеромъ родители будутъ угощать орѣхами и другими сластями. Никакой тогда не было заботы; напротивъ, объ нихъ заботились и старались о томъ, чтобы имъ было хорошо и весело. А теперь не то: теперь только одна забота — получить деньги и отдохнуть отъ работы; теперь не только что-нибудь на себя шить невозможно, но нѣтъ ни времени, ни денегъ на то, чтобы купить что-нибудь для себя, теперь даже и располагать собою нельзя. Праздникъ замѣтенъ только изъ того, что онѣ, швей, торопятся шить на богатыхъ барынь и барышень платья и встрѣтятъ праздникъ, можетъ быть, сидя за работой. „Да! тяжело достается свой хлѣбъ!“, думала Дарья Андреевна, и ей сдѣлалось досадно, что чиновники, работая въ своихъ присутственныхъ мѣстахъ гораздо меньше швей, получаютъ жалованья больше, больше имѣютъ свободнаго времени, и если не всѣ три дня праздника, то хотъ по крайней мѣрѣ первый день проводятъ съ своими семействами весело. „Чѣмъ мы-то хуже ихъ? Вѣдь они получили образованіе не Богъ-знаетъ какое — иной и въ уѣздномъ училищѣ не доучился... Должно быть, нашему брату, бѣднымъ женщинамъ, вездѣ плохо. Намъ только съ деньгами и можно жить: будь у меня деньги, я бы сама или свой магазинъ завела, или стала бы торговать. Ужъ я бы не стала такъ обижать швей, какъ Эмилія Карловна, не стала бы важничать...“ Но сколько ни думала Дарья Андреевна, сколько ни старалась успокоить себя мечтами о хорошей жизни никому неподчиненной женщины, а дѣйствительность была налицо.

Часа въ два Эмилія Карловна вернулась домой и принесла съ собой свертокъ съ шелковой матеріей, уже скроенной. Она повзала Дарью Андреевну въ магазинъ.

— Вотъ одна барыня дала опять матерію. Тутъ



скроешь два платья двумъ ей дочерямъ. Сшить нужно непременно къ третьему дню праздника: въ клубѣ будетъ балъ; ждутъ какого-то важнаго человека, такъ не хотятъ ударить лицомъ въ грязь. Я общаюсь.

— Но успѣешь ли ты? У насъ и такъ много работы, — отвѣтила Дарья Андреевна.

— Ужъ какъ-нибудь понатужьтесъ. Я вамъ дамъ одно платье и заплачу два съ полтиной. Согласны?

— Согласна, только успѣю ли къ сроку?

— Успѣете! Ужъ эти праздники! Такъ они мнѣ приходится солоно, просто убѣжала бы куда-нибудь. Я очень хорошо понимаю, что вамъ тяжело, но что же дѣлать? Что же дѣлать, Дарья Андреевна! Деньги сами не родятся въ карманѣ, надо ихъ достать, походить за ними, какъ я хожу. Еще слава Богу, что работа есть, а вотъ мнѣ въ дѣвцахъ часто приходилось по недѣлѣ рыскать изъ магазина въ магазинъ, чтобы хоть что-нибудь достать, чтобы заработать на хлѣбъ и не помереть съ голоду. Это еще слава Богу. Вы, кажется, давеча домой просились?

— Если работы такъ много, то я могу и остаться.

— Это дѣло ваше. Только я вамъ говорю, какъ опытная женщина, что если вы уйдете на праздникъ домой, то вы денегъ не заработаете. А я думаю, что лучше имѣть деньги, чѣмъ бродить наряженной и дуть въ кулакъ.

— Я и не настаиваю. Мнѣ только хочется сходить въ баню и сказать дома, чтобы меня не ждали на праздникъ.

— Ступайте, а къ вечеру приходите непременно.

— Не дадите-ли вы мнѣ сколько-нибудь денегъ? Эмилія Карловна достала книжку.

— Вамъ приходится получить пять р. сорокъ коп. По моему, кажется, больше.

— Я записываю вѣрно, Дарья Андреевна. Это, можетъ быть, васъ смущаетъ Софья Васильевна. Она постоянно смущаетъ дѣвицъ и затѣваетъ противъ меня бунты. И если вы будете ее слушать — это не хорошо. У меня вѣдь характеръ крутой: ни за что откажу отъ мѣста. Я ужъ знаю, что вы затѣвали противъ меня бунтъ. — И она стала смотрѣть на Дарью Андреевну, ехидно улыбаясь.

Щеки Дарьи Андреевны покраснѣли. „Какъ она могла узнать?“, думала она. „А, это Маша сказала“, рѣшила она, потому что насмѣстничать было болѣе некому, тѣмъ болѣе, что Маша ходила съ хозяйкой на рынокъ и хозяйка купила ей ботинки и ситцевый платокъ.

— Но я не думаю, чтобы вы поддались вліянію Софьи Васильевны. Она мнѣ сидитъ вотъ гдѣ! (и хозяйка указала на шею). Вамъ по расчету придется получить ровно шесть рублей. Но такъ-какъ у васъ существуетъ касса на питье кофею, то я съ васъ вычитаю шесть гривенъ.

— Но, Эмилія Карловна, я думаю, кофею на всѣхъ вышло не больше шести гривенъ?

— Да, не больше. Но вы ужъ сами рассчитывайтесь съ ними, потому что мнѣ, право, некогда возиться съ этими мелочными расчетами. Вотъ вамъ пять рублей, а остальные я прошу подождать.

Вышедши на улицу, Дарья Андреевна вздохнула

свободнѣе. Она теперь считала себя богачкой и весело шла домой; только ей не нравилось то, что хозяйка обидѣла ее насчетъ кассы: „эдакъ я должна пожалуй понтъ швей, потому что съ нихъ мнѣ неловко требовать деньги. Надо узнать, какъ она ихъ рассчитываетъ“... По улицамъ народъ ѣдетъ и идетъ или веселый, или чѣмъ-то озабоченный; ѣдущіе везутъ кульки, узелки, свертки; идущіе несутъ кто порошенка, кто гуся, а кто и съ фунтикъ мяса или небольшой мѣшочекъ съ чѣмъ-то. Изъ барскихъ дворовъ пахнетъ жаренымъ гусемъ; кабакъ биткомъ набитъ разными народами, изъ дверей идетъ паръ, слышится говоръ, крики и пѣсни; выходятъ одни съ боченками, другіе съ бутылками, а третьи сильно навеселѣ, что-то придерживая за полой подъ мышкой. Въ магазинахъ тоже много народу. Такъ и кажется, что сегодня какъ будто всѣ разбогатѣли.

„Чего бы мнѣ купить?“, пришло въ голову Дарьи Андреевнѣ. „Вѣдь у меня есть пять рублей“. Но ей жалко было тратить деньги; не хотѣлось и мѣнять бумажку. Какъ размѣняешь — не увидишь, какъ мелкія будутъ исчезать. Но попался ей на пути чайный магазинъ, не утерпѣла она, зашла въ него и взяла по фунту сахару, кофе и цикорія и осьмушку чая. Поровнялась съ табачной лавкой — купила табакъ и гильзъ; въ булочной купила сайку, и у нея образовалась порядочная ноша.

Зашла она въ домъ Кати. Квартира теткы заперта. У жильцовъ встрѣтила только дѣвочку и отъ нея узнала, что Катя со вчерашняго дня не встаетъ съ постели и ничего не говоритъ, а только смотритъ въ потолокъ, и что тетка ея еще утромъ ушла на рынокъ и къ вечеру должна придти, такъ-какъ онѣ, жильцы, топили баню.

У Удинцовыхъ было свѣтло отъ выбѣленной комнаты и вымытыхъ половъ. Въ кухнѣ даже стѣны, двери и окна были вымыты и печь побѣлена; тутъ же на столѣ красовался гусь и поросенокъ, а въ большой лохани полоскались двѣ большихъ стерляди; Ольга Герасимовна крахтя мыла полъ въ своей комнатѣ.

— А я думала, что ты, мать моя, ужъ померла! Ну, выданное ли это дѣло — не приходитъ четверы сутки. Нехорошо, плохо!

Дарья Андреевна рассказала причину и сказала, что она и въ Рождество едва-ли будетъ дома.

— Я это предвидѣла. Оно хотя и грѣхъ, но Богъ труднъ любить... Потерпишь эдакъ съ годокъ да проживешь деньги, сама, можетъ, хозяйкой сдѣлаешься. Да вѣдь и то надо сказать, не всегда у твоей мадамы такъ много шитья, а у Бога праздниковъ много.

Дарья Андреевна помогла ей вымыть полъ, вымыла у себя, оберла дверь, хотѣла обереть стекла въ окнѣ, но они попрежнему были затянута куржакомъ. Послѣ бани она такъ чувствовала себя истомленной, что легла на кровать и заснула; но ее разбудила Ольга Герасимовна, стоявшая около нея со свѣчкой. Дарья Андреевна испугалась.

— Который часъ? — спросила она.

— Должно быть девятый, потому у архіерея въ крестовой давно ужъ отзвонили. Не хочешь ли кофею?

— Нѣтъ. Надо идти скорѣе. — И она встала. — А

какъ я заснула отлично... Шраво, такъ бы и спала, такъ бы и спала...

— Что же дѣлать! Твоя охота работать изъ-за хлѣба на чужихъ людей. А пальто я тебѣ не дамъ: завтра пойду въ церковь. Не въ пору ли тебѣ будетъ мужнина шуба? Теперь ночь.

— Нѣтъ, благодарю. Сегодня не холодно.

— Да, не холодно, когда ты спала; а вонъ я вышла во дворъ,—такъ и щиплетъ: рождественскіе морозы злые.

Шуба оказалась велика. Поэтому Ольга Герасимовна дала ей надѣть лѣтнее на ватѣ пальто.

Ночь была лунная, свѣтлая. Вѣтру не было, но морозъ вѣпчалъ; снѣгъ подъ ногами хрустѣлъ, пологья дровней, на которыхъ везли дрова съ Волги, отъ снѣгу скрипѣли; Дарья Андреевна шла скоро, но отъ холоду у нея захватывало духъ. Подъ горой уже всѣ спятъ, только въ единственномъ въ этой мѣстности кабацкѣ слышатся пѣсни. Идетъ Дарья Андреевна, кажется, скоро, а подъема на гору не видитъ; щеки саднитъ, носъ щиплетъ, пальцы у ногъ точно одеревенѣли... „Ну, и жизнь“... ворчала Дарья Андреевна. „Пойду я лучше домой да спать лягу! Чтѣ я въ самомъ дѣлѣ за батрачка?“ Она остановилась. Ей вдругъ представилось, что она безъ мѣста, денегъ у нея нѣтъ, ѣсть нечего, ее никуда не принимаютъ... „Нѣтъ, пойду на работу. Теперь у Ольги Герасимовны на сбереженіи лежитъ моихъ три рубля, да съ собою есть пятьдесятъ коп., да я еще получу“. И она бодро поднялась на гору и храбро боролась съ холодомъ, допекавшимъ ее ноги, которыя она всячески старалась согрѣть, не жалѣя сапоговъ.

Когда она пришла въ магазинъ, тамъ дѣвицы были въ сборѣ. Монотонно, страшно скучно тянулось время. Всѣ молчали, только и слышалось шуршаніе шелковой матеріи, тиканье часовъ, хрипъ изъ хозяйской комнаты и позвота швей, которыми страшно хотѣлось спать, и если которая-нибудь изъ нихъ что-нибудь произносила, то охрипшимъ голосомъ. Нѣсколько разъ онѣ клали свою работу на столъ, вставали, выпрямляли свои члены и опять садились, но пальцы дѣйствовали вяло. Маша и Глаша не могли одолѣть сна: онѣ какъ сидѣли, такъ и заснули съ работою на колѣняхъ. Изрѣдка онѣ вздрагивали, часто губы ихъ передергивало; часто онѣ открывали глаза, принимались за работу, но засыпали снова. Наконецъ обѣ онѣ положили головы на столъ. Дарья Андреевна и Софья Васильевна бодрствовали.

— Вы получили деньги?—спросила Софья Васильевна Дарью Андреевну.

— Да. А вы?

— Мнѣ обѣщала отдать завтра... Представьте, какую она мнѣ сцену сдѣлала сегодня: вы, говорить, бунтуете швей. Я думаю, что Машка передала ей нашъ разговоръ.

— Я тоже думаю; но надо ее простить: она дѣвушка бѣдная.

— Если мы эдакъ будемъ прощать, то отъ нея житья не будетъ.

— Мы ее какъ-нибудь убѣдимъ, что сплетничать нехорошо. Она еще мала, ее надо поддерживать, потому

что на Катю ей пожалуй нечего разсчитывать: она, говорятъ, больно плоха.

— Неужели?

Дарья Андреевна передала слова дѣвочки.

— Вѣдная дѣвушка!.. — проговорила Софья Васильевна и замолчала.

— А какъ спать хочется!—проговорила она наконецъ.

— Да.

— Выдремнемте, какъ онѣ, — и она указала на дѣвочекъ.

— Нѣтъ, ужъ лучше не дремать; какъ заснешь на пять минутъ—цѣлый день завтра вѣвать будешь.

Софья Васильевна стала слегка клевать носомъ, потому у нея изъ рукъ стала выпадать работа, наконецъ голова ея склонилась и она заснула.

Дарья Андреевна закурила папироску и нѣсколько разъ прошла по комнатѣ.

Зазвонили къ заутрени. Софья Васильевна очнулась.

— Неужели я спала?

— Да, и съ часъ спали. Было три часа тогда, а теперь четыре.

— А вы не спали?

— Съ полчаса и я выдремнула, — соврала Дарья Андреевна.

Глашу и Машу едва-едва разбудили.

Эмилія Карловна вышла изъ своей комнаты въ ночномъ одѣяніи, накинувши на плечи одѣяло.

— Много еще шить?

— Нѣтъ, немного, — отвѣтила Софья Васильевна.

— Уй, сколько сгорѣло. Эдакъ до утра недоста-нетъ!—проговорила она, смотря на огарки свѣчныхъ свѣтъ, догоравшихъ въ подсвѣчникахъ.

— Еще бы—мы и глазъ не смыкали.

— Ну, вы подите засните часикъ, я васъ разбуджу, — сжалась надъ швеями хозяйка.

Швеи этому очень обрадовались.

Эмилія Карловна разбудила швей, какъ только начало свѣтать. На одномъ изъ столовъ въ швейной уже стоялъ кофейникъ Дарьи Андреевны, чашки, сахарница, большой молочникъ и по булкѣ на каждую швею. Умывшись въ кухнѣ, швеи поздравили хозяйку съ праздникомъ. Хозяйка улыбаясь.

— Въ нашемъ ремеслѣ праздники знаешь только по звону. А дѣлать нечего. Кушайте поскорѣе кофей да кончайте посредницѣ Емельяновой платье. Она ужъ посылала за нимъ свою горничную. Обѣдать сегодня вы будете тоже у меня. Вечеромъ, можетъ быть, я васъ отпущу.

Стали опять шить дѣвицы; зазвонили къ обѣднѣ.

— Швеи да портные, я думаю, самые несчастные люди въ свѣтѣ, — начала Софья Васильевна. — Чинovníкъ, плотникъ, каменщикъ теперь ни за что не станутъ работать, — всѣ они теперь идутъ въ церковь.

— Я думаю, что ужъ такова наша доля, Софья Васильевна. Вы возьмите какую угодно женщину—все одно. Напримѣръ я знаю, у Платоновыхъ есть гувернантка, такъ ей еще хуже нашего достается: дѣтей двое, они еще маленькія, капризныя, избало-

ванные. Много нужно терпѣнія и умѣнья, чтобы справиться съ ними, угодить имъ и родителямъ, которые кромѣ внѣшней опрятности требуютъ еще, чтобы дѣти держали себя хорошо, не баловали.

— За то она не знаетъ нужды.

— Да Богъ съ нею! тутъ измучишься совѣтъ, потому что каждый день нужно придумывать средства, чтобы отучить дѣтей отъ дурного, и при этомъ дѣйствовать такъ, чтобы и дѣти ее любили, и родители видѣли въ ней хорошую воспитательницу и оказывали уваженіе. Одинъ родительскій надзоръ надъ гувернанткой, которую считают наемницей, наводитъ на многія мысли, такъ что особенно завидовать жизни гувернантки и нечего. Возьмемъ теперь кухарку. Она хотя и не сидитъ, какъ мы, на одномъ мѣстѣ, и работы у нея, кажется, не очень-то много, во какъ говорится: дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай, такъ и она цѣлыя сутки должна торчать на глазахъ хозяйствъ. Мы, сравнительно съ кухарками, еще барыни, потому что можемъ уходить домой, спать дома ночь. А она и этого сдѣлать не можетъ. И сколько она въ цѣль непріятностей получить отъ хозяйки!

— Дуря она, что не уйдетъ.

— Куда же она пойдетъ, если вездѣ хозяева одинаковы? Вѣдь ужъ ей никто больше трехъ рублей не дастъ жалованья; стало быть, наша жизнь еще лучше жизни кухарки. Да мало ли есть женщинъ, которые живутъ хуже нашего?

— Все зависитъ отъ счастья: нынче и нашъ братъ, швецъ, нескоро найдетъ мѣсто, а къ другому мы неспособны. Вотъ теперь, въ это время и къ Паскѣ, работы во всѣхъ магазинахъ бываетъ много: даже въ драпныхъ магазинахъ, въ которыхъ круглый годъ нѣтъ дѣла, и тамъ есть работа на купчихъ и мѣщанокъ. А посмотрите, что будетъ послѣ праздникоу! Дай Богъ, чтобы привелось спать хотя одно платьице въ недѣлю.

Изъ хозяйской комнаты вышелъ сынъ Эмили Карловны, высокій, худощавый, съ извѣденнымъ оспой блѣдно-драбынымъ лицомъ молодой человѣкъ въ тепломъ пальто, крытомъ драпомъ, съ воротникомъ подкрашеннаго бобра и въ высокой круглой шляпѣ. На рукахъ его были надѣты бѣлыя перчатки. Онъ курилъ папироску. По обыкновенію, онъ снялъ шляпу, раскланялся и потомъ поздоровался за руки съ Софьей Васильевной и Дарьей Андреевной.

— Куда вы это собрались?—спросила его Дарья Андреевна.

— Въ церковь.

— Ну, попа на порогъ застанете: ужъ къ достойнѣ звонили.

— Я къ архіерею. „Тебе Бога хвалимъ“ хочется послушать—великолѣпно поютъ. Знаете, пѣвчіе съ обояхъ вѣсковъ выходятъ на средину, да какъ начнутъ... Никогда вы не слыхали такого пѣнія?

— Гдѣ же намъ. А вы дайте-ка папиросъ,—говорила Дарья Андреевна.

— Съ полнымъ удовольствіемъ,—и онъ далъ швецю по папироскѣ.

— Мать говоритъ, что вы цѣлую ночь не спали?—спросилъ онъ, обращаясь къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Что-жъ, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго! вѣдь

мужчины тоже просиживаютъ цѣлыя ночи за картами.

— Это вы на мой счетъ намекаете. Мерси... Ну, положимъ такъ, что я цѣлую ночь проиграю, такъ вѣдь тамъ интересъ.

— Издѣсь тоже интересъ, а тамъ можно и проиграть.

— Ну, я не изъ такихъ: я когда выигрываю, тогда играть готовъ сколько угодно; но если вижу, что мнѣ не везетъ съ самаго начала, я бросаю игру и ухожу домой.

— Какъ это честно съ вашей стороны!—замѣтила Софья Васильевна, не смотря на него.

Славинъ слегка толкнулъ ногой Дарью Андреевну, какъ это онъ и дѣлалъ уже не разъ; Дарья Андреевна покраснѣла, но скоро оправилась.

— Что-жъ, по вашему проигрывать, что ли?—обратился онъ насмѣшливо къ Софьѣ Васильевнѣ.

— А выигрывать любите?

— На то и игра, чтобы выигрывать.

— Ну, это не резонъ,—начала Дарья Андреевна. —Если вы собственно играете не для развлечения, а для выигрыша, то должны и проигрывать для того, чтобы другіе не сочли васъ за...

— За кого?

— Ну, вотъ еще! Ступайте въ церковь слушать „Тебе Бога хвалимъ“.

— Нѣтъ, я не уйду до тѣхъ поръ, пока вы не скажете, за кого меня будутъ считать.

— Ну, и сидите.

— И буду сидѣть!

— И все-таки не добьетесь отвѣта.

— Почему?

— Вотъ мило, почему: мужчина, чиновникъ, который служитъ въ уголовной палатѣ, и не можетъ самыхъ обыкновенныхъ вещей понять.

— Ну, эдакъ мы съ вами разсоримся.

— Ну, такъ идите и не мѣшайте намъ, а за папироску примите спасибо.

Но Николай Павловичъ не уходилъ. Онъ старался оправиться: поправлялъ свой шарфъ, натягивалъ перчатки, посвистывалъ, что-то хотѣлъ сказать, но не могъ; глаза его дѣлались то суровыми, то печальными.

— Такъ и не скажете?—опять спросилъ онъ Дарью Андреевну, снова толкнувъ ее ногой.

— Ахъ, отстаньте пожалуйста!—чуть не крикнула Дарья Андреевна такъ, что Софья Васильевна посмотрѣла на нее и замѣтила на ея лицѣ краску и выраженіе неудовольствія.

— Нѣтъ, вы скажите.

— Извольте,—вы шаромыжники.

— Не понимаю этого слова!

— Ну, вы скрага, то-есть скупой человѣчишко, и еще лучше—обирало, то-есть что вы любите только взять.

Николай Павловичъ всталъ.

— Мерси! Это ужъ слишкомъ!—и онъ ушелъ.

Дарья Андреевна захохотала.

— Однако вы съ нимъ ловко заигрываете,—проговорила Софья Васильевна.

— Не я, а онъ заигрываетъ.

— И вамъ нравится?

— Пусть его тѣшится и принимаетъ насмѣшки сколько ему угодно.

— Но это можетъ чѣмъ-нибудь кончиться.

— Не думаю!.. Вотъ ужъ не воображала я услышать отъ васъ этого!

— Онъ человѣкъ милый.

— Полноте острить. Онъ самый пустой человѣкъ, какихъ я только видала въ чиновномъ сословіи. Впрочемъ, въ дѣлахъ-то можетъ быть онъ и собаку съѣлъ.

— Кто собаку съѣлъ?—спросила хозяйка, пришедшая изъ своей комнаты.

— Мы говорили про одного чиновника, который письма написать не умѣетъ, а въ дѣлахъ собаку съѣлъ, то-есть такой дѣлецъ, что чудо!—отвѣтила Дарья Андреевна.

Разговоръ о хозяйскомъ сынѣ этимъ и закончился.

Какъ ни торопились швей, а платье посредницѣ Емельяновой поспѣло ровно ко второму часу. Эмилія Карловна отослала его съ Глашей, но Глаша черезъ часъ вернулась съ нимъ.

— Она меня прогнала: мнѣ, говоритъ, платье нужно было къ обѣднѣ, а теперь мнѣ его не надо,—отрапортовала Глаша хозяйкѣ.

— Скажите пожалуйста! Она бы еще заказала его мнѣ вчера... Послѣ этого никому ничего нельзя дѣлать! Я цѣлыхъ сорокъ цѣлковыхъ наличными деньгами отдала купцу Толкачеву за матерію... Отчего же ты его не оставила у нее? — напала хозяйка на Глашу.

— Какъ же я его оставлю, не получивши денегъ!

— Дура ты, и больше ничего!

Черезъ десять минутъ хозяйка, ведя Глашѣ нести картонку съ платьемъ, сама пошла къ заказницѣ.

— Вотъ и работай! Если эта модница не возьметъ платья, мы и денегъ не получимъ. Значитъ, мы напрасно время только потратили, — говорила Софья Васильевна.

— Хозяйка сама виновата, что не хотѣла взять Матрешу за прежнюю плату: Матреша шьетъ скорѣе Глаши; скорѣе и кончили бы.

— Подите вы со своей Матрешкой: она все бы перепортила.

Въ это время пришелъ Адольфъ Яковлевичъ сильно выпивши, такъ что его пошатывало.

— А! ви адѣсь! Здѣсь... Кар-рашо-о! Отлично!—проговорилъ онъ, описывая кругъ, и подошелъ къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— И-и!... Ви знать мой... Честный человѣкъ! Ей-Богу.

И онъ взялъ Дарью Андреевну за руку.

— Дуракъ я или нѣтъ? А! Какъ ви думать?

— Не знаю,—отвѣтила Дарья Андреевна.

— А развѣ я мошенникъ?

— Кто же объ этомъ говорить?

— Нѣтъ, я докажу. Докажу-у!! У!!!—и онъ ударилъ по столу кулакомъ, потомъ подошелъ къ Софьѣ Васильевнѣ.

— Я мошенникъ?

— Полно вамъ представляться, Эмилія Карловна скоро придетъ.

— Что мнѣ Эмилія Карловна!... Я самъ... Я ме-

ханникъ. Я еще докажу, какойъ я есть Петерсонъ. Самъ хозяинъ, Борисовъ безъ меня ничто.

— Кто же васъ обругалъ?—спросила Дарья Андреевна.

— Мужикъ, мастеровой! Кулакъ вотъ сюда показалъ,—нѣмецъ указалъ на глазъ.—А? Какое? Я мошенникъ, хозяинъ мошенникъ, всѣ мошенники. И меня бить?... Посидишь ты у меня въ части!

— Неужели вы его посадили? — спросила опять Дарья Андреевна.

— Посадили.

— Это нехорошо: вѣдь теперь праздникъ.

— Нехорошо? Такъ я мошенникъ? А!... Всякій гадъ можетъ мнѣ кулакомъ грозить?

— Развѣ вамъ говорить это?

— Вы сказали!

— Полноте! Вы бы лучше ушли, а то мѣшаете.

— Меня гнать! Да я что такое? Кто я?!—И онъ сѣлъ.

— Ну, вотъ сидите лучше смириѣе, а то еще глѣса испачкаете.

— Меня, благороднаго нѣмца, гнать? Дудки... Я выгоню!—Онъ захохоталъ.

Софья Васильевна сдѣлала Дарьѣ Андреевнѣ знакъ, чтобы она молчала.

— Русский... русскій... А что такое русскій—дрянь... Кто теперь механикъ—нѣмецъ, кто мастеръ—нѣмецъ, а русскій у нѣмца служить. Вотъ мы что. И вдругъ меня ругать... бить? Софья Васильевна?

— Что?

Нѣмецъ захохоталъ.

— Софья Васильевна... А я знаю, все знаю... все! Вотъ какъ!... А ее не люблю, ненавижу,—сказалъ онъ, указавъ рукой на Дарью Андреевну.

— Иди-ко лучше спать, — сказала Софья Васильевна.

— Я-то?.. Я еще пойду... пойду пиво пить... А чиновницъ я не люблю.

— А сами тоже на чиновницѣ женаты!—замѣтила Софья Васильевна.

— Эмилія Карловна нѣмка природная. А русскіхъ не люблю... Я природный нѣмецъ изъ Кенигсберга... Я защищалъ свою страну... Што?! И вдругъ меня бить... Хо-хо-хо...

Пришла Эмилія Карловна съ Глашей. Картонка была пустая. Увидя пьянаго супруга, она покачала головой и по-нѣмецки позвала его въ комнату. Въ комнатѣ начался крупный разговоръ, но продолжался недолго, потому что пришелъ Николай Павловичъ. Адольфъ Яковлевичъ ушелъ.

— Отдали платье? — спросила Эмилію Карловну Софья Васильевна.

— Еще бы. Я притрозила полиціей—взяла, только деньги не всѣ отдала. Ну, а другое поспѣетъ къ вечеру?

— Поспѣетъ.

— Ужъ я вамъ прибавлю, только пожалуйста поторопитесь—хоть я не особенно плотно шейте. Вотъ вы, Дарья Андреевна, ужъ больно часто иглою стукаете. Ну, пойдите кушать.

Въ первый разъ со времени поступленія Дарьи Андреевны въ магазинъ, Эмилія Карловна пригла-

сила ее обѣдать съ собой; со времени ея поступленія, и Софья Васильевна ни разу не обѣдала съ хозяйкой. Глаша и Маша были отосланы обѣдать въ кухню. Однако, несмотря на такое расположеніе къ старшимъ швейамъ, Эмилія Карловна было какъ-то не ловко передъ сыномъ, что она усадила съ собою швей; она старалась держать себя какъ хозяйка или начальница, и хотя подчиняла ихъ, просила ѣсть больше, но слѣдила за тѣмъ, не берутъ ли онѣ лишняго куска и не прячутъ ли этотъ кусокъ въ карманъ. Впрочемъ, она была разговорчива, но сынъ ея больше отмалчивался и глядѣлъ недовольно. Дарья Андреевна спросила было его: слышалъ ли онъ архіерейскихъ пѣвчихъ; онъ сказалъ, что въ соборъ не попалъ, а зашелъ къ пріятелю, и замолчалъ. Вообще обѣдъ шелъ невесело, натянуто и Дарья Андреевна съ нетерпѣніемъ ждала конца его; нѣсколько разъ хотѣлось ей выйти, но приличіе требовало сидѣть. Софья Васильевна, напротивъ, была рада приглашенію и истребляла кушанья въ достаточномъ количествѣ.

Послѣ обѣда швеи устѣлись шить, хозяйка легла спать. Когда она заснула, Николай Павловичъ пришелъ въ швейную въ сюртукѣ, сѣлъ къ столу, за которымъ шли дѣвцы, и предложилъ имъ папирсъ.

— Завтра я отправлюсь въ театръ; ваялъ билетъ въ кресло,—проговорилъ онъ, важно разваливаясь на стулѣ.

— Нѣтъ, чтобы намъ подарить по билету, — сказала Софья Васильевна.

— Если хотите, я достану въ амфитеатръ.

— Доставайте.

— А вамъ, Дарья Андреевна?

— А вы уже развѣ не сердитесь?

— Нѣтъ. Я рѣшилъ бросить играть въ карты. Буду лучше читать, хотя, признаться сказать, чтеніе мнѣ не особенно-то нравится. Такъ взять вамъ билетъ?

— Только не завтра, потому что у насъ есть работа.

— А вы бросьте.

— Нелзя; къ третьему дню нужно.

Николай Павловичъ подсѣлъ ближе къ Дарьѣ Андреевнѣ и сунулъ ей на колѣни бумажку. Дарья Андреевна прочитала и покраснѣла.

Николай Павловичъ вышелъ въ сѣни.

На клочкѣ бумаги было написано слѣдующее: „Я съ вами, милѣйшая Дарья Андреевна, мирюсь, но съ тѣмъ, чтобы вы пошли со мною въ театръ... Притворитесь больными. Отвѣтъ въ сѣняхъ“.

Но Дарья Андреевна въ сѣни не вышла. „Пусть его померзнетъ“, думала она и улыбалась. Софья Васильевна замѣтила эти улыбки и, ядовито улыбувшись, ушла въ сѣни; только что она вышла, вошелъ Николай Павловичъ и позвалъ Дарью Андреевну въ магазинъ.

— Говорите здѣсь,—проговорилъ онъ съ волненіемъ. Не принимаете миру?

— Глупости.

Въ швейную вошла Софья Васильевна. Николай

Павловичъ въ ту же минуту ушелъ домой и заперъ дверь. Послѣ этого до самаго вечера Софья Васильевна ни слова не сказала съ Дарьей Андреевной.

Время до вечера тянулось ужасно скучно. Заговаривали только Глаша и Маша, которыя шить не особенно спѣшили; Дарья же Андреевна и Софья Васильевна, казалось, совсѣмъ погрузились въ свои занятія и думы и не обращали вниманія на младшихъ швей, которыя частенько заигрывали другъ съ дружкой. Въ самомъ же дѣлѣ Дарья Андреевна не правила навязчивость хозяйскаго сына, неприятно казалось работать въ праздникъ; Софья Васильевна ревновала. Хотя эта ревность и была слабая, потому что Николай Павловичъ уже давно мало оказывалъ ей уваженія, но ей было горько, что онъ явно любезничаешь съ молодой дѣвушкой, доходить до того, что при ея, Софьи Васильевны, глазахъ вызываетъ ее даже въ сѣни. „Еслибы я не любила его, и тогда неприятно, когда тебѣ предпочитаютъ другую“. Мысли ея были грустныя. Ей думалось о своей квартирѣ, гдѣ ждетъ ее чиновникъ; ей казалась противною работа, хотѣлось уйти отъ Эмилія Карловны, не докончивъ работы, но жалъ было поступиться деньгами: Эмилія Карловна была должна ей около десяти рублей.

Въ комнату вошла кухарка Настасья.

— Софья Васильевна, вась какой-то писарь съ кокардой спрашиваетъ.

Щеки Софьи Васильевны покраснѣли и она не ловко вышла изъ комнаты.

— Это ея любовникъ!—сказала Глаша.—А славно кухарка-то ее огрѣла.

„Зачѣмъ она сюда его не призоветъ? Ужъ если она живетъ съ нимъ и про это знаютъ дѣвцы, стыдиться бы, кажется, нечего“, думала Дарья Андреевна.

Пришла Софья Васильевна, свернула лоскутки и шитье, увязала все это въ платокъ, надѣла пальто.

— Скажите, что я не совсѣмъ здорова и платье dokonчу сегодня дома,—проговорила она, обращаясь къ швеямъ, смотря больше въ полъ.

Но въ это время вышла изъ своей комнаты хозяйка и удивилась, увидавъ Софью Васильевну одѣтою и съ узломъ.

— Позвольте мнѣ дошить платье дома, завтра утромъ я принесу.

— Ну, нѣтъ. Этого я не позволю... Ни подъ какимъ видомъ не позволю.

— Почему?

— На это я много имѣю причинъ; во-первыхъ, вы не хозяйка и находитесь у меня въ работникахъ. Какое право вы имѣете уходить изъ магазина безъ спросу и забирать съ собой работу? Не перебивайте... Я имѣю основанія не давать на домъ работу, потому что могутъ украсть, можетъ случиться пожаръ.

— Какія глупости!

— Нѣтъ, не глупости. А можетъ даже случиться и лучше—вдругъ вы не придете.

— Вы меня обижаете! — закричала Софья Васильевна.

— Какъ вамъ угодно, а платье прошу оставить... Вотъ еще выдумали!—и Эмилія Карловна выхватила узелъ.

— Позвольте расчесть. Я послѣ этого не могу у васъ работать.

— Придите завтра.

— Я сейчасъ требую, сию минуту... Иначе я позову полицію,—кричала Софья Васильевна внѣ себя.

Вошелъ изъ сѣней мужчина въ сѣрой шинели съ кошачинымъ воротникомъ и въ фуражкѣ съ кокардой. Ему на видъ было лѣтъ сорокъ-пять, но коротенькіе черные волосы уже начинали сѣдѣть. Лицо его было продолговатое, на щекахъ замѣтенъ синеватый отливъ отъ бритья. Въ фигурѣ этой было много смѣшного: онъ вошелъ какъ-то сгорбившись, бокомъ; нижняя губа значительно оттопырилась и открыла рядъ почернѣлыхъ отъ табаку зубовъ; большіе глаза часто моргали, широкій носъ былъ красенъ.

— Вы... Вы что это?...—проговорилъ чиновникъ октавой, шлепая губами.

— Вы кто такой? Что вамъ угодно?—напустилась на чиновника хозяйка.

— Какое вы имѣете право задерживать деньги, не пускать Софью Васильевну домой?

— А какое, позвольте васъ спросить, вы имѣете право вѣдѣваться въ мои дѣла?

— Я?... По какому... по...—замѣшался чиновникъ.

— Идите вонъ!

— Я вонъ?! Пожалуйте въ полицію.

— Сколько я вамъ должна, г-жа Казанцева?

— Десять рублей.

— Хорошо. Я сосчитаю. Подождите.

Она ушла.

— Вы-то зачѣмъ сюда пришли?—напустилась Софья Васильевна на чиновника.

— Я думалъ, драка...

— Оселъ,—прошептала Софья Васильевна и сѣла. Пришла хозяйка.

— Вотъ вамъ пять рублей, остальные получите завтра.

— Отдайте всѣ!!

— Не могу: нѣтъ денегъ.

— Дайте что-нибудь подъ залогъ,—проговорилъ чиновникъ.

— Неужели вы не можете подождать до завтра?

— Хорошо я приду завтра. Но если вы мнѣ денегъ не дадите—знайте меня. Я вамъ отомщу за всѣ ваши благодѣянія,—проговорила запальчиво Софья Васильевна, и ни съ кѣмъ не простившись вышла. Чиновникъ вышелъ тоже за ней, что-то бурча про себя.

— Скажите! Вотъ наглость-то!... Приглашать любовника къ благороднымъ людямъ заводить скандалъ... О, это ужасно! Я этого не прощу. Я подамъ на нее и на ея любовника прошеніе и попрошу васъ быть свидѣтелями,—говорила Эмилія Карловна, ходя скорыми шагами по комнатѣ и ломая руки.

Это былъ первый скандалъ въ квартирѣ Петерсона. Часовъ въ двѣнадцать ночи пришелъ Адольфъ Яковлевичъ пьяный, сталъ призываться къ дѣвицамъ, обнялъ Дарью Андреевну, сталъ ее цѣловать. Насилу Эмилія Карловна оттащила его отъ Дарьи Андреевны и увела въ комнату. Черезъ полчаса въ ~~какой-то~~ комнатѣ начался крикъ и баталія: слышались звонъ посуды, летѣли стулья;

кричали по-нѣмецки мужъ и жена; слышался голосъ Николая Павловича, голосъ кухарки, хозяйскаго кучера.

Дѣвицы пришли въ трепетъ.

Черезъ часъ все успокоилось.

— Насилу связали молодца,—сказала кухарка, проходя черезъ комнату.—Онъ пьяный ужасно буянить: такихъ фонарей наставилъ Эмилія Карловнѣ, что ей двѣ недѣли нельзя будетъ въ люди показаться; столъ, пять стульевъ изломалъ и посуду сколько перебилъ... Варваръ, да и только.

Всю ночь Дарья Андреевна шила; къ утру она такъ ослабѣла, что рѣшила проситься у Эмиліи Карловны домой. Но Эмилія Карловна упростила ее остаться до тѣхъ поръ, пока она не окончитъ заказанныхъ къ третьему дню праздниковъ платьевъ.

— Когда кончите, я васъ отпущу на трое сутокъ. Только наканунѣ новаго года я васъ прошу зайти, потому что можетъ быть кто-нибудь и закажетъ на новый годъ,—говорила хозяйка.

— Но мнѣ съ Глашей трудно.

— Послѣ новаго года я пошщу дѣвицъ, да вотъ можетъ быть и Катя выздоровѣетъ. А Софья Васильевну я уже не приму. Она хотя и хорошая швея и закройщица, но видать Богъ, сколько я перенесла отъ нея. Я думаю васъ выучить кроить платья. Это не очень трудное дѣло.

Дарья Андреевна обрадовалась этому, потому что сдѣлавшись главной мастерицей-закройщицей, она кромѣ поштучной платы могла получать еще и жалованье помѣсячно, а съ этимъ и жизнь ея могла измѣниться къ лучшему. Въ это время ее душилъ кашель, насморкъ не давалъ покою.

Въ обѣдню пришла въ магазинъ тетка Катя. Мама ей обрадовалась и подошла съ вопросомъ о здоровьи Кати.

— Охъ, мое горе! Катя долго жить приказала...—И тетка заплакала.

Изъ рукъ Дарьи Андреевны и Глаши выпала работа отъ этой вѣсти. Пришла Эмилія Карловна и тоже удивилась, услышавъ о смерти Кати.

— Уходила вы ее, мою голубушку, замучили!—говорила со слезами тетка Катя.

— Вольно же вамъ было отбирать отъ нея деньги,—сказала Эмилія Карловна.

— Много вы давали денегъ?... Нищій больше получить, чѣмъ вы платили. Богъ вамъ судья!

Стали разспрашивать тетку о болѣзни Кати, о днѣ смерти и похоронѣ. По рассказамъ тетки, Катя хворала черною немочью, во время болѣзни сперва бредила, потомъ перестала говорить и померла вчера вечеромъ, и ей, теткѣ, и скоронить ее нечѣмъ; вотъ она и пришла за помощьюъ къ Эмиліи Карловнѣ, которой приписываетъ смерть Кати.

— Эмилія Карловна, выдайте мнѣ изъ моихъ денегъ рубль,—сказала Дарья Андреевна хозяйкѣ.

— Зачѣмъ? я лучше сама дамъ своихъ.

— Нѣтъ, я хочу тоже пожертвовать.

— А отъ меня полтинникъ,—сказала Глаша.

— Ну, какъ хотите. Только я вамъ не довѣряю: вы пожалуй и эти деньги припрячете,—сказала она Катиной теткѣ.

Катина тетка обидѣлась. Петерсонъ высказала ей жалобы покойной Кати на нее и увѣряла ее, что она, Василькова, и теперь уже выпивши; Василькова начала упрекать Петерсонъ въ томъ, что она надувала Катю и т. п.; дѣло дошло чуть не до ссоры, и Эмилія Карловна уже не хотѣла ничего давать Васильковой, но Дарья Андреевна вступилась.

— Эмилія Карловна, какое намъ дѣло до того, на что онѣ употребятъ деньги? Пусть это останется на ихъ совѣсти, а мы все-таки должны помочь ей, потому что Катя намъ была не чужая.

Эмилія Карловна дала Васильковой четыре рубля съ полтиной.

Еще ночь просидѣла Дарья Андреевна и на этотъ разъ уже не давала спать Глашѣ, потому что ей хотѣлось проводить на кладбище Катю; Глашѣ тоже хотѣлось и поэтому она готова была бороться съ одолевшими ее сномъ, чтобы только вырваться изъ магазина.

На третій день платья были окончены. Эмилія Карловна послала ихъ съ Дарьей Андреевной. Первый визитъ Дарьи Андреевны въ богатый домъ съ платьями и за получкой денегъ былъ удачный: платья понравились, ей выдали деньги, подарили полтинникъ за хоббю и назвали модисткой. Въ прихожей этой барыни было зеркало, и какъ только Дарья Андреевна взглянула въ него, то не узнала себя: лицо ея было блѣдно-истомленное, щеки впали, глаза вялые, какіе-то заспанные, волосы выползали изъ сѣтки и торчали, точно она встала сейчасъ. Впрочемъ, она и сама чувствовала слабость во всемъ тѣлѣ, боль въ головѣ. Ее потягивало, она зѣвала. Но ее беспокоило то, что у нея начинало болѣть горло, чего прежде никогда не бывало, и мучить кашель.

Отъ Эмиліи Карловны Дарья Андреевна отправилась съ Глашей на извозникъ на кладбище. Она ѣхала на извозникъ въ первый разъ на свои деньги; у ней теперь было въ портмоне четыре рубля съ полтиной. Приѣхали онѣ уже тогда, когда изъ церкви вынесли гробъ съ отиѣтой Катей Васильковой. Пока она провожала гробъ до могилы, которая была очень далеко отъ церкви, и возвращалась къ кладбищенскимъ воротамъ, извозникъ уже уѣхалъ. Пришлось идти лѣшкомъ, а до ея квартиры дойти было не меньше пяти верстъ. Дулъ рѣзкій вѣтеръ какъ разъ въ лицо, онъ сквозилъ сквозъ дыры ваточнаго пальто и пробиралъ ее до костей; а три бессонныя ночи до того обезсилили ее, что она не могла идти скоро. Она чувствовала то жаръ, то холодъ, вся дрожала, въ глазахъ мутилось. Василькова пригласила ее и Глашу къ себѣ помянуть Катю, но онѣ отказались. Кое-какъ Дарья Андреевна дошла до многолюдной улицы; взяла извозчика, который привезъ ее къ квартирѣ уже больную. Дарья Андреевна захворала. Вскорѣ какъ она легла на свою постель, съ ней начался бредъ.

# XXVI.

Какъ только Эмилія Карловна осталась въ своемъ магазинѣ одна, она заперла изнутри двери, выходящія какъ въ сѣни, такъ и въ кухню, и начала ревизію своего имуществъ. Не считая посуды, которой еще

на долго бы хватило ея супругу бить, у нея было много разныхъ платьевъ и бѣлья, принадлежащаго собственнo ей, но какъ платья, такъ и бѣлье оказались приходящими уже въ ветхость: въ одномъ мѣстѣ прорѣха, въ другомъ точно какое-нибудь государство на географической картѣ обозначалось на цѣлый аршинъ въ діаметрѣ сѣрымъ пятномъ, составляющимъ тонкій слой, который стоитъ только тряхнуть и изъ него въ ту же минуту образуется пустое пространство; третьи вещи полинялы, четвертыя вышли изъ моды, пятныя сдѣлались узки, какъ-то чулки, рукавички, воротнички. И хотъ бы одна вещь была новая. Все или надо починить, или перешить, и все-таки будетъ старо, а новаго ничего нѣтъ. Окруженная этимъ тряпьемъ, какъ торговка на толкучкѣ, Эмилія Карловна задумалась. Все это вещи старинныя, много ихъ, а толку мало, хотъ бросать жалъ. „Когда-то я лучше жила!“, думала она, глядя на это старье, и ей обидно сдѣлалось, что чѣмъ дальше она живетъ, тѣмъ меньше у нея прибываетъ новаго, а даже убываетъ старое. Вонъ даже въ шкафу остается одно свободное мѣсто, гдѣ висѣлъ ея дорогой салонъ. Ея воображенію представилась ея кухарка, нарядившаяся въ первый день праздника послѣ обѣда въ новое платье, которое хотъ и было ситцевое, но шуршало; представилась ей одна содержательница моднаго магазина, къ которой она заходила мимоходомъ пить кофе — и у той новое шерстяное коричневое платье; припомнила она прежніе годы, когда къ Рождеству у нея непременно была какая-нибудь обновка. Обидно сдѣлалось Эмиліи Карловнѣ; обидно, что она имѣетъ свой швейный магазинъ, въ которомъ шьютъ дѣвцы, а себѣ она не можетъ завести платья. Вѣдь дѣвцы ничего бы не взяли съ нея. „Въ прошломъ году я тоже хотѣла завести платье — некогда было; въ третѣмъ тоже. Къ Пасхѣ хотѣла — денегъ не было“, думала Эмилія Карловна. „И никогда не заведешь новаго платья, потому что некогда, надо работать на сторону, постѣть во время. Да и куда мнѣ старухѣ наряжаться? Прежде — дѣло другое“, рѣшила она и сложила хланъ. Но это не такъ ее беспокоило, какъ безденежье. Взяла она книгу — долговъ оказалось немного: ей должны не больше ста рублей; а она должна купцамъ больше четырехсотъ. „И когда это я такъ успѣла задолжать?“. Оказалось, что долгъ накапливался постепенно со второго года открытія ея магазина. Сперва къ слѣдующему году она была должна только пять рублей, а къ четвертому году уже пятьдесятъ и т. д. „Для чего, спрашивается, я содержу магазинъ? Я должна наживать деньги, а выходитъ, что я крутомъ въ долгу, живу въ кредитъ. Ужъ какъ, кажется, я ни стараюсь угодить моимъ заказчикамъ, какъ ни экономичаю, изъ кожи лѣзу, а долги растутъ!“. И ей припомнилась прежняя жизнь. Прежде, хотъ она и работала на хозяйкѣ такихъ же, какъ и она, но тогда только была озабочена, когда хозяйки почему-нибудь задерживали слѣдующія ей въ уплату деньги; ее беспокоило только то, что, живя неразсчитливо, она иногда не могла заплатить въ срокъ деньги за комнату; случилось ей уходить въ магазинъ и не пивши кофе; за то у нея не было долговъ. „Да, тогда лучше было жить“. Но отчего же теперь хуже, если она имѣетъ свой ма-



газинъ, сама хозяйка? Живетъ она экономно, мужъ у нея денегъ не проситъ, и еще даетъ по двадцати и двадцати-пяти рублей въ мѣсяцъ, сынъ тоже даетъ по восьми рублей. Кажется, жить можно бы отлично? — „Да. Хорошо было бы, если бы у меня съ самаго начала было много денегъ; ну, хоть тысяча рублей. Тогда я бы сразу, если бы не повела дѣло на широкую ногу, то по крайней мѣрѣ хорошо бы устроилась. Тогда мнѣ не пришлось бы забирать въ долгъ у купцовъ; я бы могла и заказчицамъ не отдавать вещи безъ денегъ. А какъ я начала-то дѣло? Такъ же какъ и многіе изъ нашего брата. Хотя и говорятъ, что нѣмцы начинаютъ съ небольшими деньгами и потомъ дѣлаются богачами, только эдакое счастье выпадаетъ на долю мужчинъ, а не женщинъ. Открой я магазинъ въ Петербургѣ, вышло бы, можетъ быть, и другое дѣло: тамъ нѣмокъ много, я бы нашла себѣ швей изъ нѣмокъ, онѣ бы меня поддерживали, а здѣсь и нѣмцевъ-то мало. Хотя во время открытія ея магазина и существовалъ модный магазинъ, въ которомъ хозяйка была нѣмка, но эта нѣмка еще хуже вооружилась противъ нея за то, что она завела еще лишній магазинъ въ городѣ. И эта нѣмка живетъ теперь хорошо: у нея богатый магазинъ, у нея работаетъ восемь дѣвицъ, изъ которыхъ пятеро живутъ у нея, т. е. взяты ею въ обученіе даромъ отъ родителей и родственниковъ. Тутъ-то Эмилія Карловна догадалась, что она сдѣлала большую оплошность. „Мнѣ бы надо было съ самаго начала взять къ себѣ на воспитаніе дѣвицъ двухъ-трехъ: хлѣба онѣ съѣли бы немного, износили бы тоже—тряпья-то у меня надолго бы хватило и нѣтъ, денегъ платить имъ не нужно, а работа шла бы хорошо. Да, ошиблась я, не рассчитала. Сколько я переплатила денегъ своимъ швеямъ! сколько онѣ у меня перепортили, а Казанцева даже перехватывала работу на домъ! Вотъ отчего я постоянно въ долгу и изъ этого долгу никогда не выпутаюсь, если такіе же порядкомъ буду имѣть работницъ. Надо принять мѣры, пока еще долги не дошли до тысячной цифры, когда, пожалуй, и магазинъ отъ меня отберутъ и по судамъ будутъ таскать, да засадятъ куда-нибудь“.

Время теперь самое удобное. Казанцева отъ работы отказалась, да и Эмилія Карловна рѣшила не принимать ее ни подъ какими предлогами; Катя умерла, Глашѣ можно отказать. Машу можно бы законтрактовать, но она лѣнива, груба и будетъ мучить новыхъ дѣвицъ,—можно ее и прогнать. Дарью Андреевну можно оставить; такъ-какъ она кромѣ не умѣетъ, то этимъ будетъ заниматься она, Эмилія Карловна; она будетъ учить Яковлеву этому, и пока Яковлева не научится, она будетъ платить ей поштучно, убавивъ на десять и больше копѣекъ плату противъ прежняго на томъ основаніи, что теперь у нея заводятся новые порядки. Все это отлично, но вотъ бѣда: магазинъ ей нужно устроить по другому; ужъ если держать ученицъ на всемъ на готовомъ, надо имъ дать и помѣщеніе, какого въ квартирѣ нѣтъ. Устроить бы имъ мѣсто для ночлега въ кухнѣ,—такъ кухня мала. Надо пережить квартиру. А этого сдѣлать Эмилію Карловну не хотѣлось: она такъ облюбовала эту квартиру, въ которой прожила столько лѣтъ, что ей жалко было и тяжело разстаться съ ней;

кромѣ того квартира была сравнительно съ другими дешева; на этой квартирѣ у нея было и есть много заказчицъ, а перейди она на другую квартиру—пожалуй заказчицъ и поубавится. Но и это ничего. Главное, найдеть ли она такъ скоро дѣвицъ, а если найдеть, то придется долго ихъ обучать. „Кабы это прежде было!“, вздохнула Эмилія Карловна и махнула рукой.

„Ужъ не закрыть ли совсѣмъ магазинъ? Вѣдь я замужемъ: пусть попробуютъ посадить въ тюрьму. Мужъ не пуститъ. Ну, а если дѣло будетъ плохо, я уговорю мужа уѣхать въ другой городъ или въ Петербургъ“.

Однако это отчаяніе длилось недолго: ей жалко было разстаться съ магазиномъ, бросить это занятіе; ей непрестанно хотѣлось имѣть свой магазинъ и хозяйничать въ немъ. Она привыкла хлопотать, чтобы у нея были заказчицы, она привыкла командовать. Она была женщина самолюбивая и никакъ не хотѣла довести себя до униженія: закрой она магазинъ—она будетъ ничто; никто ей не будетъ изъяслять уваженія, надъ нею будутъ смѣяться, всѣ ее забудутъ. „Хоть мнѣ и больно теперь, что я кругомъ въ долгу, за то, имѣя заказчицъ, я могу современемъ и выпутаться изъ долговъ. Не все же такъ будетъ“. Правда, она это говорила уже не первый разъ, но бросить магазинъ значить уже не надѣяться на себя, обречь себя на бездѣйствіе, на вѣчную скуку. „Еслибы у меня были маленькія дѣти, тогда бы я пожалуй и бросила магазинъ и стала бы заниматься дѣтьми. А теперь чтѣ я стану дѣлать? Я старѣю, мужъ тоже, да онъ и надобѣлъ“. И она рѣшила ни за что не закрывать магазина. Намѣреніе устроить его по другому, а именно держать дѣвушекъ подъ видомъ обученія, крѣпко засѣло въ ея голову и она высказала это своему мужу.

— Это хорошо! Тогда ты не будешь платить имъ за работу. Я знаю, какъ наживаются хозяева такими манерами: самъ находится въ обученіи. Только гдѣ мы помѣстимъ ихъ?

— Надо нанять другую квартиру.

— Я давно объ этомъ думалъ, потому что мнѣ далеко ходить на заводъ. А дѣвушекъ мы найдемъ: у нашихъ мастеровыхъ много есть дѣвочекъ. Они не знаютъ, куда и дѣваться съ ними. Недавно одинъ портной купилъ у нашего мастерового двухъ мальчишекъ за пять рублей.

— Ты найди такихъ, чтобы даромъ отдали.

— Ну, нынче народъ тертый, даромъ не отдастъ. Какъ деньги отдашь—дѣло будетъ вѣрнѣе. Стоить только напоить, всучить деньги и контрактъ заставить подписать, только копѣй давать ненужно. А кто же у тебя будетъ закройщицей?

— Я думаю Яковлеву выучить.

— Уй! уй! Это негодная дѣвица: злая, насмѣшница, чиновница.

— Вотъ это-то мнѣ и нравится: по крайней мѣрѣ, ваша братъя меньше къ ней прилипаетъ.

— Собака! Я терпѣть ее не могу, потому она меня мошенникомъ обозвала. Развратная.

— Ну, это едва ли правда.



— Правда! Я хоть и рѣдко бываю дома, а кое-что знаю: ты посмотрѣла бы лучше за своимъ сыномъ.

— Нечего мнѣ смотрѣть, и прошу не упрекать меня сыномъ, котораго вы не очень-то долюбляете.

— И не люблю, потому онъ картежникъ и съ худымъ поведеніемъ.

Послѣ этого разговора съ мужемъ, Эмилія Карловна задумалась. Адольфъ Яковлевичъ не любилъ ея сына. Еще когда Николай Павловичъ былъ гимназистомъ, у Адольфа Яковлевича чувствовалась къ нему антипатія, не потому, чтобы онъ не любилъ совсѣмъ русскихъ, а потому, что тотъ не изъявлялъ къ нему не только покорности, но относился къ нему какъ къ чужому человѣку, за котораго мать вышла замужъ Богъ-знаетъ для чего. Не правилось нѣмцу, что мальчишка относился къ нему свысока, какъ какой-нибудь барченочъ къ какому-нибудь мужику, смѣялся надъ нимъ, сперилъ, доказывалъ противное, ставилъ его мнѣнія ни во что, держалъ себя такъ заносчиво, что между ними дня не проходило безъ стычекъ; жили они какъ старый котъ съ собачонкой, съ тою разницею, что Адольфъ Яковлевичъ ненавидѣлъ Николая Павловича до того, что старался обѣдать или одинъ, или только съ Эмиліей Карловной. Когда же Николай Павловичъ поступилъ на службу и сдѣлался чиновникомъ, то жизнь Адольфа Яковлевича стала еще хуже прежняго; молодой чиновникъ важничалъ передъ нимъ, ставилъ ни въ грошъ его мѣщанское званіе, которымъ онъ наградила Эмилію Карловну замѣня ея прежняго чиновническаго, и презрительно относился къ его занятію; Адольфъ же Яковлевичъ презиралъ Николая Павловича за ничтожность его должности, и удивлялся, за что это такому пустому человѣку, умѣющему только писать, даютъ чинъ. Такимъ образомъ, жить вмѣстѣ имъ приходилось подчасъ не въ мочь. Но такъ какъ оба они считали себя хозяевами у Эмиліи Карловны и каждому хотѣлось вытѣснить другого изъ квартиры, то каждый старался встрѣчаться другъ съ другомъ какъ можно рѣже: Адольфъ Яковлевичъ все свободное время проводилъ въ пивныхъ, напивая себя пивомъ, а Николай Павловичъ проводилъ время за картами. Все это весьма озабочивало Эмилію Карловну, которая тщетно старалась примирить мужа съ сыномъ, а въ ихъ времяпровожденіи видѣла одну гибель. Замѣчала также Эмилія Карловна, что сыночекъ ея ухаживаетъ за Софьею Васильевною, заставляла ихъ въ сѣняхъ и хотя дѣлала за это сыну выговоры, но была увѣрена въ томъ, что сынъ ея не рѣшится жениться на Софьѣ Васильевнѣ, которую она не очень долюбляла. Не ускользнули отъ ея глазъ и ухаживанья за Дарьей Андреевной; прежде она на это не обращала вниманія, потому что „онъ мальчишкѣ, ему нужно развлеченіе; нельзя же ему быть медвѣдежъ“. Теперь же, послѣ разговора съ мужемъ, она серьезно призадумалась надъ этими ухаживаньями и поведеніемъ ея сына. Ухаживанья дѣлаются не спроста, они къ чему-нибудь ведутъ. Отъ нея не ускользнули манеры ея сына за обѣдомъ въ первый день Рождества, когда онъ былъ точно самъ не свой. Ясно стало-быть, что онъ влюбился въ швею.

„А его пора женить. Ему уже скоро пойдетъ двадцать-второй годъ, скоро онъ получитъ должность столоначальника и второй чинъ“, думала Эмилія Карловна. Но на комъ женить? Эта мысль давно ее преслѣдовала, особенно послѣ ссоръ съ мужемъ изъ-за сына. Она пришла къ тому заключенію, что въ ея домѣ тогда будетъ спокойно, когда въ немъ не будетъ сына: если онъ женится, то будетъ жить или на квартирѣ, или въ домѣ жены. Но она желала, чтобы онъ самъ себя выбралъ невѣсту изъ благородныхъ, съ приданымъ, чтобы у родителей невѣсты былъ домъ, забывая, что первый ея мужъ женился на ней единственно изъ любви и на свои деньги справилъ приданое и свадьбу. Однако заводить объ этомъ предметѣ разговоръ съ сыномъ она не рѣшалась; она ждала, не начнется ли онъ самъ. Но онъ не начиналъ. А время шло; ссоры въ квартирѣ усиливались; мужъ и сынъ рѣдко приходили домой обѣдать, поздно возвращались ночью. Объ мужѣ она не беспокоилась: заводъ находился далеко отъ магазина и Адольфъ Яковлевичъ обѣдалъ у управляющаго заводомъ, которому и платилъ за это деньги. А гдѣ ея сынъ обѣдаетъ? Не можетъ быть, чтобы онъ обѣдалъ у товарищей, которые не Богъ-знаетъ какое большое получаютъ жалованье: надо уже не имѣть совсѣмъ стыда, чтобы постоянно обѣдать у нихъ, а онъ даже рѣдко кого и къ себѣ-то приглашаетъ на чай. Обѣдать въ трактирѣ—нужно имѣть деньги и деньги большія; быть нахлѣбникомъ не совсѣмъ ловко, имѣя мать. Ужъ не завелъ ли онъ любовницу? Въ этомъ случаѣ, онъ пропащій человѣкъ, потому что любовница навѣрное его оберетъ. Она слѣдила за сыномъ долго и кое-какъ услѣдила, что сынъ ходитъ со службы въ одинъ ветхій домъ на Тесовой улицѣ. А знала она также, что въ этомъ домѣ живетъ молодая вдова, мѣщанка Варвара Николаевна Гаврилова, которая ничѣмъ не занимается. Стала она упрекать сына, — тотъ сказалъ, что онъ приготовляетъ въ уѣздное училище десятилѣтняго брата Гавриловой и ничего худого въ домѣ Гавриловой не дѣлаетъ, и даже обидѣлся, сказавъ, что онъ не маленькій и самъ понимаетъ, что худо и что хорошо, и что если она, мать, будетъ ему надѣдать своими глупыми подозрѣніями, то онъ и на квартиру съѣдетъ. Эмилія Карловна такъ и оставила его въ покоѣ. Теперь ей еще болѣе хотѣлось женить сына. Но на комъ? Не на мѣщанкѣ же Гавриловой, которая ничего не умѣетъ дѣлать. Дочерей чиновниковъ, такихъ, у которыхъ бы имѣлось хорошее приданое, въ виду не имѣлось, а бѣдныхъ семейныхъ чиновниковъ расплодилось много. Настоящее ея положеніе привело ее къ тому выводу, что хорошо было бы, еслибы сынъ женился на чиновнической дочери, такой, которая бы умѣла шить и помогать ей, и которой она могла бы передать магазинъ. И она осталась на Дарьѣ Андреевнѣ.

— Дѣвушка она работающая: работа у ней такъ и кипитъ въ рукахъ; кроенье и фасоны разные она пойметъ скоро. Она проста и съ какою угодно дѣвицею можетъ ужиться; сколько времени она работала, и мнѣ никакого обиднаго слова не сказала; ничего она у меня не утаила. Къ тому же она красивая, изъ дворянскаго роду и у ней родня богатая и видная, такъ что и сыну будетъ хорошо, и работы въ магазинѣ

будетъ много. Чего же еще лучше надо? Да и сынъ, кажется, любить ее.

Обрадовавшись этой мысли, она рѣшилась говорить съ сыномъ и въ воображеніи устраивала планъ новой квартиры.

Но сынъ не пришелъ ночевать домой въ этотъ день, не явился онъ также къ обѣду и на другой день. Не пришли также ни Глаша, ни Дарья Андреевна. Только послѣ обѣда пришелъ къ ней Кузьма Андреевичъ и спросилъ объ сестрѣ.

— Я ее еще вчера отпустила домой. Она вѣроятно и завтра не придетъ, — сказала ему Эмилія Карловна.

— Вы неблагородно поступаете съ вашими швеями: развѣ можно ихъ заставлять работать въ праздники, да еще такіе большіе? — сказалъ Кузьма Андреевичъ.

— Я ихъ не заставляла: онѣ сами работали.

Вечеромъ пришелъ сынъ сердитый. Утромъ, когда Адольфъ Яковлевичъ ушелъ изъ дому, Эмилія Карловна начала съ сыномъ такой разговоръ:

— Я думаю нанять другую квартиру, потому что хочу взять въ обученіе маленькихъ дѣвицъ, а для этого теперешняя квартира негодится.

— И прекрасно. Вы найдите такую, чтобы для меня тоже была отдѣльная комната.

— Я ужъ и это обдумала. Однако мнѣ, Коля, надо съ тобой поговорить серьезно: ты не мальчикъ, пора тебѣ подумать о женитбѣ.

Сынъ усѣхнулся.

— Ты думаешь, я ничего не вижу и не знаю. Я понимаю, зачѣмъ ты ходишь учить брата мѣщанки Гавриловой. Положимъ, мнѣ до вашихъ отношеній нѣтъ дѣла, но ты сообрази, что во-первыхъ, тратишь много денегъ, а во-вторыхъ, этимъ ты только себя унижаешь.

— Дальше? — спросилъ сынъ, улыбаясь.

— Я говорю не шута, какъ мать. Развѣ мнѣ приятно, что ты ведешь такую развратную жизнь? Ты бы мнѣ долженъ помогать, а не тратить деньги Богъ-знаетъ на что. Я тебѣ не запрещаю играть въ карты, но развратничать... это нехорошо.

— Все это вздоръ, мамаша, и я удивляюсь, откуда эта химера явилась въ вашей головѣ. И я васъ предупреждаю, что если вы мнѣ еще будете надѣвать свои глупости, то я, право, уйду на квартиру, гдѣ болѣе, что мнѣ надоѣлъ Адольфъ Яковлевичъ. Я даже самъ хотѣлъ объ этомъ поговорить съ вами.

Эмилія Карловна заплакала, стала упрекать сына въ неблагодарности, говорила, что онъ ее обижаетъ, и стала сѣтовать на участь матерей, которые изъ кожи лѣзутъ, чтобы сдѣлать изъ дѣтей хорошихъ людей, а дѣти, какъ встанутъ на ноги, то не только не хотятъ оказать имъ на старости лѣтъ помощи, но отворачиваются отъ нихъ, какъ отъ чужихъ, и не изъявляютъ должнаго уваженія. Сынъ старался успокоить ее.

— Кто вамъ говоритъ, что я вамъ не хочу платить денегъ? Я согласенъ вамъ выплачивать за то, что вы воспитали меня и сдѣлали чиновникомъ. Положите сумму, и я буду платить ежемѣсячно, только избавьте меня отъ этой жизни. Вы сами говорите,

что я не маленькій. Подумайте, пріятно ли мнѣ видѣть косые взгляды Адольфа Яковлевича, слушать его разговоры о какихъ-то рабочихъ, хвастовство о томъ, что безъ него остановился бы заводъ. А вѣдь я не могу же сидѣть нѣмымъ.

— Ты самъ задираешь.

— Не я, а онъ. Что же дѣлать, если мы съ нимъ ни въ чемъ не сходимся и никогда ни въ чемъ не сойдемся? Это — адъ!

И онъ началъ ходить по комнатѣ.

— Много ты о себѣ думаешь! Я тебѣ не запрещаю жить на квартирѣ и платы съ тебя за воспитаніе не возьму, но я не позволю, чтобы ты жилъ съ какой-нибудь мѣщанкой.

— Это дѣло мое.

— Прекрасно! Стало быть, ты меня ни во что ставишь?

— Нынче всѣ должны быть равны. Помните это. Это — разъ; а вотъ другое: вѣдь и вы изъ мѣщанскаго званія.

Эмилія Карловна замолчала. Она видѣла, что ей планъ ускользаетъ отъ нея, что она не такъ начала.

— Такъ ты думаешь жениться?

— Боже меня сохрани, чтобы я сдѣлалъ такую глупость: это значить, надѣть на себя петлю.

— Ахъ, Коля, Коля! Нечестно это, неблагородно. Подумай, вѣдь могутъ быть дѣти.

— Чтожъ мнѣ дѣлать? Будетъ глупо, если я, получая такое жалованье, забавляю себя женитбой. Жена сдѣлается чиновницей, я долженъ ее содержать, какъ чиновницу: платья, шляпки, салоны... Нѣтъ!

— Ты женись на чиновнической дочери, — сказала Эмилія Карловна несмѣло.

— У которой ничего нѣтъ — покорно благодарю.

— Какъ нѣтъ? Ты только мнѣ скажи, и я найду.

— Это вы ужъ не Яковлеву ли хотите навязать мнѣ?

— А если и такъ...

— Спасибо. Она такая гордая, самолюбивая, что съ нею и полгода не уживешься: ужъ если она отъ родни убѣжала, то отъ мужа убѣжать и подавно.

— Не убѣжитъ, на то ты мужъ...

— Да это только вы привязались къ вашему кругу, а посмотрѣли бы на нашу аристократію: губернаторша живетъ съ прокуроромъ, прокурорша живетъ въ Петербургѣ, вице-губернаторша уѣхала за границу съ чиновникомъ особыхъ порученій, жену правителя канцеляріи подозреваютъ въ связи съ председателемъ уголовной палаты, потому что она открыто ѣздитъ къ нему. Да мало ли примѣровъ... А за тузами послѣдовали и мелкіе чиновники: у насъ недавно женился ассессоръ на повивальной бабкѣ, а она уже черезъ три мѣсяца переѣхала отъ него на другую квартиру.

— А тебѣ-то до нихъ какое дѣло! Вѣдь все это ведется отъ васъ, мужчинъ. А я знаю, что Яковлева не такая. Она любитъ работать, и вотъ я хочу предоставить ей магазинъ, и думаю, что она дѣло поведетъ отлично.

— Теперь я понимаю!.. Вы хотите женить меня на модисткѣ, которая бы работала на васъ?

— Неблагодарный ты...

— Знаете, какъ общество смотреть на модистокъ?

— Давно ли ты говорилъ о равенствѣ? Я тебѣ предлагаю Яковлеву потому во-первыхъ, что она дѣвушка хорошая. Я за нею ничего не замѣчала худого. Не перебивай,—выслушай. Родня у нея богатая. Положимъ, эта родня ей много не дастъ въ приданое, но у нея еще отцомъ накоплено приданое въ вещахъ. Если родня не дастъ денегъ, такъ ты можешь выиграть по службѣ. Во-вторыхъ, она сдѣлается сама хозяйкою въ магазинѣ, а я ни во что не буду вмѣшиваться.

Сынъ задумался. Мать, смотря на сына, продолжала:

— Она не походитъ на другихъ чиновническихъ дочерей: она проста, трудолюбива и горда. За это ее родня не любитъ. Она говорила, что у нея уже было много жениховъ, но она ни за одного не вышла замужъ, потому что или ей ихъ навязывали, или они сами навязывались ей. Я вѣдь знаю, что ты ухаживаешь за нею.

Сынъ покраснѣлъ.

— И я тебѣ не препятствовала въ этомъ, потому что думала, что она не похожа на Казанцеву; но если ты докажешь мнѣ, что она вѣтреная, то я и не стану говорить о ней.

— Да, она вѣтреная: хохочетъ, вызываетъ на что-то и потомъ дуется. Нѣтъ, я ее не люблю.

— Но ты то сообрази, что ты черезъ нее можешь получить хорошую должность, она будетъ хозяйкою въ магазинѣ.

— А мнѣ не хочется, чтобы моя жена была магазинщица!.. Однако, мамаша, вы разрѣшаете мнѣ жить на другой квартирѣ?

— Ты серьезно хочешь?

— Серьезно.

— Дѣлай, какъ знаешь. Но если ты будешь жить съ мѣщанкой-потаскушей, на это нѣтъ тебѣ моего благословенія.

Сынъ ушелъ, а Эмилія Карловна долго плакала. Мечты ея разрушались. На первыхъ порахъ она было рѣшила не принимать къ себѣ сына, но потомъ гнѣвъ ея утихъ. Она думала, что онъ недолго проживетъ на квартирѣ, будетъ ходить въ ней, мѣщанки ему могутъ надоесть. А видя меньше Яковлеву, онъ можетъ полюбить ее. Тогда планы ея осуществляются.

Эмилія Карловна повеселѣла, и ей захотѣлось ѣздить на квартиру Дарьи Андреевны посмотрѣть, какъ она живетъ.

На другой день она съ Глашей отправилась къ Дарьѣ Андреевнѣ, но тамъ сказали, что Дарью Андреевну вчера увезли въ николаевскую больницу.

Эмилія Карловна запечалилась, поѣхала въ больницу; но ее не пустили, потому во-первыхъ; что было поздно, а во-вторыхъ, къ ней никого не велѣно пускать, кромѣ ея родни, цѣлую недѣлю.

Планы ея рушились. Софья Васильевна поступила на другое мѣсто, сынъ съѣхалъ на квартиру къ мѣщанкѣ Гавриловой, Глашу она отпустила, магазинъ заперла, но выѣсокъ не сняла: если же кто приходилъ къ ней съ заказами, она брала только то, что могла сшить сама, а другихъ отказывала по болѣзни.

## XXVII.

Первый узналъ о болѣзни Дарьи Андреевны братъ ея Кузьма Андреевичъ, который прямо отъ Эмиліи Карловны отправился къ сестрѣ. Онъ былъ сердитъ и на сестру, и на Петерсонъ, на первую за то, что та не поздравила съ праздникомъ ни дядю, ни Платоновыхъ, на послѣднюю за то, что та заставляла его сестру работать въ такой большой праздникъ, какъ Рождество. Кромѣ этого, ему было непріятно еще и то, что Дарья Андреевна обманула сестру, обѣщавъ ей шить платье, чѣмъ кололи Марью Андреевну дядя и его жена, а между тѣмъ времени до новаго года осталось немного, и матерія лежала нескроенною. Больше всего ему было непріятно то, что дядя обращается съ нимъ какъ-то небрежно, точно онъ сторожъ, такъ что еслибы онъ не надѣялся получить черезъ него за это терпѣніе должность, то онъ перешелъ бы въ другое присутственное мѣсто. И это онъ тоже приписывалъ Дарьѣ Андреевнѣ. „Ужъ задамъ же я ей выговоръ! И если она попрежнему будетъ важничать и задирать кверху носъ—чортъ съ ней: ноги моей больше не будетъ у нея“.—Такъ думалъ онъ, идя по той улицѣ, которая вела къ дому мѣщанина Удинцова, и чѣмъ дальше онъ шелъ, тѣмъ больше его разбирала злость, можетъ быть потому еще, что была вьюга: вѣтеръ такъ и кружилъ только что выпавшій снѣгъ, который какъ иглами рѣзалъ лицо; къ тому же и день какой-то мрачный; на небѣ плаваютъ густыя, сѣрыя тучи, которыя чѣмъ дальше къ западу, тѣмъ кажутся чернѣе. Дорогу во многихъ мѣстахъ занесло снѣгомъ, такъ что приходилось карабкаться по огромнымъ сугробамъ, спускаясь въ гладкую ложину, а тутъ еще ѣхало шесть воровъ съ дровами и пришлось простоять буквально по животъ въ снѣгу, въ сторонѣ отъ дороги, нѣсколько минутъ, пока они проѣзжали. Дорогу къ дому Удинцова тоже замело; да сегодня ее и не прочищали, потому что самъ хозяинъ мучился животомъ и охая лежалъ на полатахъ, жена его еще вчера вечеромъ ушла въ городъ принимать ребенка, сынъ пьянствовалъ безъ просыпу, то-есть проснется, напьется и опять завалится спать.

— Сестрица ваша нездорова,—сказала ему Татьяна Савельевна, отворявшая дверь съ крыльца въ сѣни.

Глаза ея были заплаканы.

— Что съ мной?

— Простудилась должно быть. Да у насъ нынче совѣтъ больницы: тестъ охаетъ, животъ надсадилъ; ишь ты, хотѣлъ справиться съ бревномъ; мой мужъ... Она махнула рукой.

— Старушка наша тоже лежитъ... Саложникъ третьяго-дня ушелъ куда-то. Должно, запилъ. Простобѣда!.. Одна. Боюсь...

Дарья Андреевна лежала въ своей комнатѣ. Она была слаба и дрожала. Въ комнатѣ было холодно.

— Вчера мы хоронили нашу дѣвушку; должно быть, я простудилась. Спасибо, Елена Николаевна въ баню меня сводила вчера, а то не знаю, что бы было... И теперь то жаръ, то ознобъ, и горло болитъ,

— говорила слабымъ головою Дарья Андреевна, часто кашляя.

— Вольно же тебѣ было!.. Я не понимаю, право, сестра, что тебѣ за охота вести такую жизнь? Смотри, какъ ты похудѣла и часто кашляешь.

Дарья Андреевна рукою махнула.

— Не тревожьте ее! Охота вамъ корить больную,—проговорила Татьяна Савельевна.

— Ты бы, сестра, въ больницу пошла.

Сестра посмотрѣла на него и болѣзненно улыбнулась, но ничего не сказала.

— Кто еще пуститъ ее въ больницу-то! Помереть ей, што ли, тамъ? А еще братъ!—проговорила обиженно Татьяна Савельевна.

— Но развѣ здѣсь можно ей оставаться? Здѣсь холодно; окно заволокло снѣгомъ, а истопить, такъ угаръ будетъ.

— Ужъ не беспокойтесь! Мы лучше васъ знаемъ... Вотъ теща придетъ, вылечитъ.

— Сестра я, право, совѣтую тебѣ лечь въ больницу.

— Какъ хочешь! Мнѣ все равно, — сказала Дарья Андреевна и отвернула отъ него лицо.

Братъ постоялъ еще нѣсколько минутъ около сестры и ушелъ.

— Такъ вы, въ самомъ дѣлѣ, ее въ больницу хотите стурить?—спросила его Татьяна Савельевна.

— Да.

— Ну, злой же вы однако!

— Чѣмъ же?

— Тѣмъ, что смерти желаете своей сестрѣ. Да нѣтъ, мы ее не дадимъ вамъ ни за что.

Кузьма Андреевичъ разсѣялся и ушелъ.

Дядя былъ дома. Онъ сидѣлъ въ кабинетѣ съ Елизаромъ Аникевичемъ Платоновымъ и игралъ съ нимъ въ шашки. Платоновъ былъ средняго роста, здоровый мужчина, съ полнымъ, лоснящимся, гладкимъ, приятнымъ лицомъ, съ сѣдыми, остриженными подъ гребенку волосами и съ небольшою сѣдою бородой и сѣдыми бекенбардами. Около нихъ стоялъ молодой человѣкъ двадцати-пяти лѣтъ съ длинными, черными волосами, съ продолговатымъ лицомъ. Въ его манерахъ проглядывала легкость и игривость, а въ черныхъ глазахъ — оживленіе и быстрота. Онъ былъ одѣтъ франтовски въ драповый пиджакъ табачнаго цвѣта и такія же брюки. Это былъ младшій сынъ Платонова, недавно пріѣхавшій изъ Петербурга, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ университетѣ. Яковлевъ и Платоновъ играли, оживленно спорили, острили и говорили другъ другу не очень нѣжныя слова. Семенъ Елизаровичъ, смотря на нихъ, подраживалъ то того, то другого, что часто ихъ бѣсило.

Кузьма Андреевичъ робко вошелъ въ кабинетъ. Семенъ Елизаровичъ подаль ему руку.

— А! Кузьма, — сказалъ дядя. — Предсѣдатель не былъ?

— Нѣтъ.

— Закури-ка, братъ сигару: у меня руки полны шашками, — сказалъ Кузьмѣ Андреевичу Платоновъ-старшій и самодовольно кашлянулъ.

— Не хвастайся, старина: я еще тебя укуку! — сказалъ Яковлевъ-дядя.

Кузьма Андреевичъ раскурилъ сигару и подаль. Молодой Платоновъ сѣлъ въ кресло и взялъ газету.

— Что, вы не видали Дарью Андреевну? — спросилъ онъ Кузьму Андреевича.

— Сейчасъ былъ у ней: она нездорова, простудилась.

— А! Это плохо. Кто ее лечитъ?

— Старуха-хозяйка.

— Да она эдакъ ее уморитъ.

Старикъ кончили игру. Встали.

— Ты говоришь, Даша нездорова? — спросилъ Кузьма Андреевича дядя.

— Очень, дяденка.

— Сама виновата... Да. Зачѣмъ ей было уходить отъ меня?

— Не могъ, братъ, ты ее удержать! Ха, ха! А еще совѣтники, — говорилъ, хлопая по спинѣ Ипполита Аполлоновича, старикъ Платоновъ. А кабы я къ себѣ ее взялъ, не ушла бы. Ха, ха! Вы люди старше, у васъ молодежи нѣтъ. Не такъ ли, Сенюша? Ха, ха!

— Полно вамъ шутить. Надо, въ самомъ дѣлѣ, подумать объ Дарьѣ Андреевнѣ, — сказалъ Семенъ Елизаровичъ.

— Я думаю, ее лучше отправить въ больницу... — началъ было Кузьма Андреевичъ.

— Не ваше дѣло, милостивый государь. Васъ не спрашиваютъ, и вы должны молчать, когда говорятъ старшіе, — сказалъ строго Ипполитъ Аполлоновичъ.

Кузьма Андреевичъ покраснѣлъ и отошелъ къ дверямъ.

— Да, да! Это не ваше дѣло, молодой человѣкъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія! Это нашъ долгъ... ха-ха, — проговорилъ старикъ Платоновъ.

— Тутъ, кажется, папаша, не надъ чѣмъ смѣяться. Дарья Андреевна, какъ говоритъ Кузьма Андреевичъ, живетъ въ холодной квартирѣ... — началъ молодой Платоновъ.

— Да, да, безъ сомнѣнія! Мы ее къ себѣ возьмемъ, наймемъ докторовъ. Не такъ ли, Ипполитъ Аполлоновичъ?

— По моему надъ болѣзнію шутить тоже нечего. И я возьму ее къ себѣ, благо у меня дѣтей нѣтъ и съ нею можетъ возиться ея сестра, — проговорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

Всѣ вошли въ столовую, гдѣ уже былъ накрытъ столъ, но кушанья еще не были поданы. Ипполитъ Аполлоновичъ пошелъ къ женѣ. Анна Николаевна обдергивала съ цвѣтовъ сухіе листья.

Сперва Ипполитъ Аполлоновичъ обрадовался извѣстію о болѣзни Дарьи Андреевны, обрадовался какъ всякій эгоистъ, самолюбіе котораго обижено. Онъ былъ до того разсерженъ на Дарью Андреевну, что еслибъ, какъ онъ думалъ, она потеряла мѣсто, не могла нигдѣ найти себѣ работы, чтобы чѣмъ-нибудь жить, и вслѣдствіе этого пришла бы къ нему съ повинной головой, онъ ее не принялъ бы къ себѣ. Онъ по своему думалъ, что ей не вынести такой жизни, на которую она рѣшилась, что эта жизнь съ нуждою и лишеніями на каждомъ шагѣ, жизнь трудовая, надобѣсть ей, измучитъ ее, она опять обратится, если не къ нему, такъ къ Платоновымъ, которые прежде обращались съ нею ласково. И онъ

подсмѣивался надъ ней и торжествовалъ, думая, что уже тогда она, испробовавъ горькаго, будетъ покорная его раба, и онъ ею можетъ вертѣть какъ угодно. Теперь онъ видѣлъ, что Дарья Андреевна не вынесла рабочей жизни, что ее сломило и стало быть она нуждается въ помощи. Раньше ему не приходила въ голову мысль, что она можетъ захворать, но теперь, при первомъ же словѣ объ ея болѣзни, произнесенномъ Кузьмой Андреевичемъ, онъ сообразилъ, что она у него на рукахъ, потому что онъ, какъ бы ни былъ на нее сердитъ, все-таки дядя заблудшей овцы, которую оставлять больною въ какомъ-то вертепѣ неловко. Въ этомъ случаѣ его большая родня стала бы упрекать его въ жестокости. И такъ старикъ Платоновъ уже часто упрекалъ его Дарьей Андреевной, увѣряя, что еслибы она жила у него, то ее никто не довелъ бы до того, чтобы она ушла въ модистки. Поэтому Ипполитъ Аполлоновичъ былъ даже радъ болѣзни своей племянницы и рѣшилъ взять Дарью Андреевну къ себѣ.

— Наша коза-то допрыгалась-таки: лежить больная... Кузьма говоритъ, что она очень нездорова, — проговорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ жентъ.

— Намъ-то что за дѣло! — отвѣтила хладнокровно Анна Николаевна.

— Да-да!.. Оно конечно... Только я полагаю, не мѣшало бы намъ помочь ей.

— Чѣмъ это?

— Надо принять участіе. Если бы я не занималъ должности и не имѣлъ родни, мнѣ наплевать бы... Но... но теперь нельзя. Оставь я ее на квартирѣ — она умретъ и смерть ея припишутъ мнѣ, хоть я тутъ ни душой, ни тѣломъ не виновать.

— Какъ вы сердобольны! Давно ли вы костили ее на чужь свѣтъ стоять, а теперь...

— Нельзя же, душа моя... Онъ старикъ Платоновъ то и дѣло надсѣхается надо мной.

— Ну, и пусть его возится съ ней. Онъ человѣкъ богатый, не то что мы, голяки... Эдакъ если мы будемъ всѣхъ привѣрять — сами будемъ во всемъ нуждаться. А извѣстно, какая отъ нихъ благодарность-то! Пусть Платоновы и возьмутъ ее.

— Ну, это ужъ слишкомъ! Да если я допущу до этого, тогда мнѣ ни отъ кого проходу не будетъ изъ-за этой дѣвочки. Вотъ наградишь Господь родею-кой! Нѣтъ у насъ такой комнаты, въ которую бы можно было положить больную?

— Ипполитъ Аполлоновичъ! Въ своемъ ли вы умѣ?... Вотъ еще новости!..

— Нельзя же ее бросить...

— Дѣвочка шляется Богъ-знаетъ гдѣ...

— Она на мѣстѣ жила.

— Много вы, сударь, знаете!.. Я очень хорошо знаю, что такое швей и какъ онъ живетъ. Развѣ вы знаете, чѣмъ она больна? Эти швеи, въ общество которыхъ попала наша племянница, живутъ въ грязи, до такой степени неряшливо, что ихъ поѣдомъ ѣдятъ эти, прости Господи... паразиты. — Анна Николаевна вздрогнула. — Нѣтъ, я не дозволю, чтобы въ нашемъ домѣ помѣстилась больная Богъ-знаетъ какою заразой.

— Но... Что же дѣлать?

сочинения в. раннѣнкова, т. II-й.

— Предоставьте это дѣло Платоновымъ. Не забудьте, что у васъ живетъ еще дармоедка. Впрочемъ тутъ цѣль другая.

— Ну, полно!

— Я вѣдь кое-что вижу.. Безсовѣстный, безсовѣстный!

— Ну, душа моя! Это тебѣ кажется. Нельзя же все по твоему поступать строгостью; нужно и ласки. Однако надо что-нибудь дѣлать. Отправить ее развѣ въ больницу?

— Это будетъ хорошо.

— Послѣ обѣда я съѣзжу самъ.

— Еще того лучше! Да вы кажется совсѣмъ оборожены вашей племянницей!.. Ну, къ чему вамъ ѣздить самому въ больницу? Будто это не устроится и безъ васъ? напишите записку къ смотрителю и пошлите ее съ Кузьмой теперь же.

— Пожалуй.

Черезъ четверть часа Кузьма Андреевичъ уже шелъ съ письмомъ къ смотрителю больницы. Яковлевъ сказалъ о своемъ распоряженіи Платоновымъ.

— Прекрасно, прекрасно... дипломатически... ха-ха! Въ больницу ей будетъ лучше, — сказалъ старикъ Платоновъ.

Къ концу обѣда вернулся Кузьма съ извѣстіемъ, что смотритель принимаетъ Дарью Андреевну: въ дворянской падаѣ есть два свободныхъ мѣста.

— Ты, Кузьма, сходи ко мнѣ и скажи, чтобы запрягли возокъ. Вѣдь на извозчикѣ ее провезутъ.

Кузьма Андреичъ уѣхалъ къ Платоновымъ съ Семеномъ Елизаровичемъ, и съ нимъ же отправился на квартиру больной.

Оба они во всю дорогу рѣдко заводили разговоръ. При всей жесткости характера, выработавшагося отъ жизни въ чужихъ людяхъ, у которыхъ Кузьма Андреичъ мало видѣлъ любви и ласки и находился въ постоянномъ подчиненіи, походившемъ на лакейство и доведшемъ его до озлобленія на этихъ людей, — до озлобленія, невыказывавшагося наружу ничѣмъ, потому что онъ все-таки ждалъ отъ этихъ людей помощи, — все-таки онъ былъ человѣкъ не злой и очень любилъ Дарью Андреевну, хотя любилъ по-своему. Онъ, какъ и себѣ, желалъ ей добра. Себя онъ хотѣлъ устроить такъ, чтобы у него была хорошая должность съ хорошимъ содержаніемъ, и поэтому, несмотря на свое озлобленіе къ людямъ, отъ которыхъ зависѣло его счастье, онъ старался угодить имъ, но угождалъ холодно, безъ лести и иногда выражался даже рѣзко. Онъ былъ человѣкъ расчетливый, скупой до того, что дрожалъ надъ каждою копейкою, отказывалъ себѣ во многомъ, не пилъ водки, не курилъ табаку и копилъ деньги, чтобы со временемъ купить должность, а потомъ и домъ — и при всей этой скупости онъ обижался, если ему давали какую-нибудь взятку. Онъ былъ такого убѣжденія, что долженъ дѣлать только то, что слѣдуетъ, за что даютъ жалованье; взятку же или доходъ онъ считалъ подачкой Христа-ради. Жениться онъ пока не хотѣлъ, потому что ему нужна была невѣста денежная и смиренная. Дарь же Андреевнѣ онъ желалъ выйти замужъ за хорошаго должностного чиновника, такого, который бы не пилъ, не игралъ въ карты, проводилъ время дома и всею ду-

шю любилъ свою жену. Поэтому ему весьма было неприятно, что она рѣшилась сдѣлаться швеей, — поступокъ, по его мнѣнію, сумасбродный и почти небывалый. Это онъ приписывалъ новымъ идеямъ, бродившимъ въ то время въ обществѣ молодежи вслѣдствіе будто бы какихъ-то романовъ, читать которые онъ терпѣть не могъ, такъ какъ видѣлъ въ нихъ много непохожаго на жизнь, находилъ много пустого и ничего такого, что бы говорило о томъ, какъ зарабатывать деньги и быть богатымъ. Но зная характеръ сестры, онъ смирился и не сталъ ее упрекать. Онъ сталъ вдумываться въ жизнь содержательницъ модныхъ магазиновъ, цеховыхъ портныхъ и т. п. лицъ, и пришелъ къ такому убѣжденію, что изъ сестры дѣйствительно можетъ современемъ выйти содержательница моднаго магазина, — хозяйка. Онъ даже подумалъ о томъ: нельзя ли ему жить съ сестрой, чтобы беречь ея деньги и потомъ пополамъ съ нею открыть на ея имя магазинъ. Чѣмъ больше онъ объ этомъ думалъ, тѣмъ больше мысль эта ему нравилась, потому что его сестра сдѣлалась бы тогда женщиною самостоятельною, а онъ былъ бы ея помощникомъ. Онъ сознавалъ, что сразу этого достигнуть невозможно, нужно потерпѣть можетъ быть и не одинъ годъ, за-то тогда мы будемъ хозяевами и тогда, думалъ онъ, если дѣло у насъ пойдетъ хорошо, я могу службу бросить. Но вотъ сестра захворала; она можетъ умереть. И мечты его рушились. У дяди она жить послѣ болѣзни не станетъ; домой тоже не поѣдетъ, а поступить опять въ магазинъ — и опять захвораетъ, а если все эдакъ будетъ тянуться, то проживетъ недолго. Открыть сразу магазинъ — нѣтъ денегъ: остается жить вѣстѣ и ей брать работу на домъ. Но хорошо ли это будетъ, да и найдетъ ли она работу? Главное, не будетъ ли его притѣснять за это дядя? Поэтому Кузьма Андреевичъ ѣхалъ сумрачный; къ тому же онъ еще и не обѣдалъ сегодня: ни у дяди, ни у Платоновыхъ накормить его не позаботились. Его бѣсило то, что дядя не взялъ его больную сестру къ себѣ, а отправляетъ въ больницу. Въ больницѣ за леченіе въ дворянскихъ отдѣленіяхъ берутъ немного, и онъ рѣшилъ, что будетъ платить изъ своихъ денегъ, и хотѣлъ даже внести впередъ за недѣлю тотчасъ по поступленіи сестры въ больницу.

Семенъ Елизаровичъ курилъ хорошую сигару и поладремалъ отъ сытнаго обѣда. Онъ ѣхалъ изъ любопытства посмотреть на тѣ вертепы, гдѣ живетъ отрѣбье. Правда, онъ былъ человѣкъ образованный, съ новыми убѣжденіями, заключавшими въ себѣ желаніе сдѣлать добро бѣдному человѣку, принадлежалъ къ тѣмъ многимъ богатымъ молодымъ людямъ, которые нужду видятъ вскользь, никогда не живали въ бѣдности, которыхъ коробить отъ какихъ-нибудь пьяныхъ криковъ гулякъ, ругани; коробить при взглядѣ на лохмотья, при видѣ обезображенной личности, открытаго язвами человѣка; которые стараются не дышать нѣсколько секундъ, чтобы не вдохнуть въ себя мужицкой вони; которые кричатъ противъ пьянства, грязи и разврата, хотя сами и не могутъ обойтись безъ игрушки хотя бы съ такихъ мѣстъ, какъ Невскій проспектъ. Такъ и Семенъ Елизаровичъ выросъ, не испытавъ бѣдности на себѣ. Сначала онъ жилъ у отца; у него было много учителей, изъ кото-

рыхъ нѣкоторымъ онъ обязанъ тѣмъ, что не сдѣлался идиотомъ и изъ него вышелъ не глупый человѣкъ, умѣющій отличить, что хорошо и что худо. Поѣхалъ онъ въ московскій университетъ, но тамъ ему не понравилось, и онъ прожилъ въ первопрестольной столицѣ только полгода. Петербургъ ему понравился лучше, хотя на первыхъ порахъ ему и трудно было отставать отъ своихъ привычекъ и убѣжденій. Лекціи онъ посещалъ исправно, съ товарищами жилъ въ ладахъ, и даже многимъ помогалъ, сперва безъ разсчета, но потомъ такимъ только, которые ему нравились. Жилось ему хорошо, потому что онъ жилъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ за прислугу и за столъ выплачивались деньги изъ доходовъ за домъ, но при всемъ этомъ ему едва хватало въ годъ трехъ тысячъ, которые ему высылалъ отецъ. Большая часть этихъ денегъ шла на дорогія рубашки, которыя онъ носилъ не больше недѣли и которыми обдаривалъ бѣдныхъ студентовъ, на дорогія сигары, на театры и дѣвицъ, съ которыми онъ обращался какъ богатый человѣкъ, мѣняя ихъ какъ прислугу. Онъ слылъ за либерала; но большинство товарищей все-таки видѣло въ немъ барича, которому дорого его обезпеченное положеніе, — барича, который рисовался и фразировалъ для того, чтобы его не презирали. Хотя онъ и важничалъ въ товарищескомъ кружкѣ, общая поддержку, хвастаясь своимъ большимъ знакомствомъ, но какъ только дѣло принимало серьезный оборотъ, онъ заперся въ своей квартирѣ подъ предлогомъ болѣзни, и такимъ образомъ ему удалось избѣжать различныхъ непріятностей, постигшихъ нѣсколькихъ его товарищей, и получить степень кандидата. Начальство, считая его за благонамѣреннаго человѣка, желало ему много хорошаго вперед: ему предлагали ѣхать за границу съ научною цѣлью, но онъ, не чувствуя призванія къ ученой дѣятельности, отказался. Онъ даже и служить не хотѣлъ, потому что не находилъ для себя рода службы: ему предлагали мѣсто посредника — онъ отказался, потому что чувствовалъ, что не сладитъ какъ слѣдуетъ ни съ крестьянами, ни съ помещиками; предлагали должность судебного слѣдователя, — онъ отказался на томъ основаніи, что ему жалко становится, когда онъ видитъ арестанта, а тутъ ему придется можетъ быть загубить цѣлыя семейства; другой родъ службы онъ считалъ ни для кого не нужнымъ. Вообще онъ съ насмѣшкой относился къ чиновничеству. Въ этотъ городъ онъ пріѣхалъ недавно и скоро успѣлъ обратить на себя вниманіе всей аристократіи. Онъ былъ принятъ вездѣ какъ рѣдкій и умный гость, умѣющій развлечь даже брюзгливаго старика; его знакомства добывались многіе. Онъ умѣлъ хорошо танцевать, пѣть, играть на фортепиано, не отказывался также играть и въ банкъ; безъ него не устроивался ни одинъ спектакль и ни одинъ литературно-музыкальный вечеръ или утро. Вездѣ онъ былъ простъ, любезенъ; не отказывалъ онъ въ помощи и бѣднымъ людямъ, такъ что многія старушки-чиновницы, имѣющія много дѣтей, души въ немъ не чаяли и всюду разсказывали, что младшій Платоновъ несравненно добрѣе и проще самого старика Платонова, и что если старикъ умретъ, тогда бѣднымъ людямъ будетъ не житье, а царство. Но старики,

чиновники разсуждали иначе: они предсказывали, что онъ спуститъ все имѣніе и сдѣлается такимъ чиновникомъ, къ которому уже не подступайся.

И вотъ этотъ человекъ вѣхалъ къ Дарьѣ Андреевнѣ, и надо замѣтить, вѣхалъ въ первый разъ въ жизни въ такое мѣсто, гдѣ жили бѣдные люди, — въ вертепъ, какъ называлъ эти мѣста его отецъ.

Нельзя сказать, чтобы его занималъ женскій вопросъ, хотя онъ принадлежалъ къ лагерю людей, подобныхъ Телѣжниковой, и горячо разсуждалъ объ эмансипаціи женщинъ; да его и не могъ долго занимать этотъ вопросъ, потому что онъ вращался въ такомъ обществѣ, гдѣ всѣ были сыты, не ощущали надобности въ работѣ изъ-за куска хлѣба, не испытывали того, что испытываютъ тѣ, которымъ работа и вообще трудъ кажется тяжелымъ. Онъ зналъ хорошо, что какъ онъ, такъ и барыни переливаютъ изъ пустого въ порожнее, и смѣялся надъ тѣми барынями, которыя тосковали о томъ, что имъ нечего дѣлать, что ихъ не удовлетворяетъ семейная жизнь, надобла возня съ дѣтьми, накупили книги; зналъ также, что если какая-нибудь изъ такихъ барынь принималась шить себѣ платье, то она непремѣнно призывала швею; въ присутствіи швеи шила, портила и въ концѣ концовъ, считая себя неспособною, бросала работу, которую и оканчивала швея. Онъ смѣялся надъ этими барынями даже явно, за что онъ и прозвали его насмѣшникомъ, осмѣивающимъ благородные нравы, а Телѣжникова даже злилась на него. Однимъ словомъ, женскій вопросъ онъ считалъ пригоднымъ только для низшаго сословія, живущаго исключительно трудомъ, которое ни о какой эмансипаціи не разсуждаетъ и не требуетъ посторонняго вмѣшательства. Но вотъ онъ услышалъ, что чиновническая дочь пошла въ швеи. Это бы ничего, потому что мало ли есть бѣдныхъ чиновниковъ, которымъ нечѣмъ содержать свою семью; но его удивило то, что это была дѣвушка изъ хорошей фамиліи. Онъ ясно видѣлъ, что какъ совѣтникъ Яковлевъ, такъ и отецъ его и вся ихъ родня конфузились, когда заводились разговоры объ Дарьѣ Андреевнѣ; они старались не говорить объ ней въ обществѣ; но въ то же время замѣтилъ, что въ аристократическомъ обществѣ интересуются этою дѣвушкой. И дѣйствительно, сытые и праздные люди заговорили объ ней разнo: одни завопили, что дѣвушка прониклась новыми идеями, и ликовали; другіе — хвалили ее за смѣлость и рѣшимость и желали ей успѣха; третьи — завидовали и сердились, что Дарья Андреевна опередила ихъ, т. е. что они еще думаютъ, а она ужъ работаетъ, и старались узнать, что это за личность. Затѣмъ пошли сплетни. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ барыни обращались съ модистками небрежно, какъ съ рабочими людьми, которыхъ и обругать можно вѣжливымъ образомъ; и вдругъ въ это общество идетъ дѣвушка изъ известной и благородной фамиліи не по нуждѣ, а Богъ-знаетъ отъ чего! И большинство рѣшило, что тутъ что-то не такъ.

И вотъ молодому Платонову представился случай увидать эту дѣвушку, увидать, какъ живутъ трудящіяся женщины, и проверить, на сколько справедливы объ ней толки аристократовъ. Онъ зналъ Дарью

Андреевну, но видалъ ее рѣдко; онъ видѣлъ ее въ третьемъ годѣ, она изрѣдка гуляла въ саду его отца, но онъ говорилъ пустяки, смѣшая ее разными разсказами, преимущественно о шалостяхъ студенческихъ, различныхъ проделкахъ; правда, она спрашивала его кое о чемъ, но онъ отдѣлывался шуточками, потому что считалъ бесполезнымъ дѣлиться съ нею своими знаніями; словомъ съ нею онъ проводилъ время пріятно. Иногда онъ позволялъ себѣ шалости, въ родѣ объятій, но она убѣгала отъ него, давала ему щелчокъ, — что ему, избалованному человеку, привыкшему получать удовольствія безъ борьбы, не очень-то нравилось. Впрочемъ, онъ ею не могъ увлечься во-первыхъ потому, что она бывала у Платоновыхъ очень рѣдко, и то съ дядей или теткой; во вторыхъ была не такъ красива, какъ желалъ Семенъ Елизаровичъ, и въ третьихъ онъ все-таки считалъ ее дѣвицею необразованною. Старыя баловства теперь припомнились, сердце его билось не то тоскливо, не то радостно; ему захотѣлось, во что бы то ни стало, принять участіе въ ея судьбѣ, выслѣдить ее — за что она, бѣдная дѣвушка конечно, будетъ очень благодарна ему и привяжется. Онъ представлялъ ее себѣ высокою, стройною, красивую дѣвушкою, такою, какою подходила подъ его идеалъ и какою выходила бы изъ ряда обыкновенныхъ существъ; онъ думалъ, что она его полюбитъ и онъ ее... и потомъ... Онъ томно прищурилъ глаза, но вскорѣ же повернулся такъ, что Кузьма Андреичъ посмотрѣлъ на него.

— Что, Дарья Андреевна много получаетъ за шитье? — спросилъ онъ Кузьму Андреича.

— Она получаетъ за штуку.

— Говорятъ, что модисткамъ платятъ хорошо.

— Да, ей платили рубля по два за штуку.

— Какъ мало! Я вотъ недавно здѣсь заказалъ себѣ пару: фракъ, брюки и жилетъ, и съ меня портной взялъ пятьдесятъ рублей. Онъ говорилъ, что одно шитье стоитъ десять рублей.

— Не знаю. Только вы очень дорого заплатили.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Я недавно сшилъ себѣ сюртукъ, брюки и жилетъ за двадцать-пять рублей.

— Не можетъ быть! Можетъ быть, сукно было ваше?

— Нѣтъ, драпъ былъ его.

— Ну, да вы, конечно, отдавали какому-нибудь послѣднему портному.

Кузьма Андреичъ не отвѣчалъ, потому что самолюбіе его было оскорблено; теперь онъ еще больше обидѣлся на Платоновыхъ: ужъ если ихъ сынъ, слышій за прогрессиста, называетъ при немъ его сестру модисткой, то каково ее честать старшіе! А Семенъ Елизаровичъ нѣсколько минутъ анализировалъ Кузьму Андреича: какой у него лобъ маленький, глаза глядятъ какъ у идіота... О-о, какъ зрачки расширились. Должно быть ему непріятно, что сестра пошла въ модистки. Несчастный, бѣдный чиновникъ! что изъ тебя выйдетъ? — помощникъ столоначальника и только. Онъ немножко задоренъ. Дай-ка я его подзадорю.

Но подзадорить ему не удалось, такъ-какъ стали



спускаться подъ гору. Подулъ рѣвкій вѣтеръ и Семенъ Елизаровичъ закрылся плотью. Поѣхали узкой уллицей. Семенъ Елизаровичъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на маленькіе домики съ высокими крышами, построенными повидному безъ всякаго плапа; его удивляло то, что въ городѣ многіе дома до того занесены снѣгомъ, что ихъ почти не видно; ему сдѣлалось страшно, потому что онъ ѣхалъ по такой мѣстности, гдѣ, какъ говорили въ городѣ, особенно въ высшемъ кругу, жили воры и разбойники.

— Правда ли, что здѣсь живутъ разбойники? — спросилъ онъ Кузьму Андренчу.

— Я не знаю. Впрочемъ мнѣ случалось возвращаться отъ сестры по ночамъ, и меня никто не грабилъ.

— Ну, да вы... Вѣдь у васъ взять нечего, къ тому же здѣсь живетъ ваша сестра.

Подѣхали къ дому Удницова. Съ большими усилиями кучеръ Платонова и Кузьма Андренчу отворили ворота, кое-какъ повернули во дворъ лошадей съ возкомъ. На крыльцо вышла Татьяна Савельевна и казалась очень недовольна тѣмъ, что въ ихъ дворъ въѣхалъ барскій возокъ.

— Могли на уллицѣ торчать — невдалека какая! Пошли со двора! — кричала она.

Ей было досадно, потому что въ эту слободу никто еще не пріѣзжалъ на барскихъ лошадяхъ, и теперь пожалуй ихъ, Удницовыхъ, станутъ попрекать тѣмъ, что они знакомятся съ господами.

— Позвольте вамъ объяснить, что мы пріѣхали за больной.

— Нешто у насъ лазаретъ? А коли кто нездоровъ, такъ дѣло не ваше; мы и сами умѣемъ лечиться.

— Какая вы строгая!

— Нечего ласы-то разводить! Извольте убираться прочь отсель!

— Какъ грубъ и невѣжественъ этотъ народъ, — замѣтилъ Семенъ Елизаровичъ Кузьмѣ Андренчу. — Да, ее надо непременно увезти. Гдѣ она живетъ?

— Кто еще васъ пуститъ? Можеть вы воры какіе?

— Я вотъ тебѣ дамъ воры! — крикнулъ кучеръ Платонова.

Въ это время Татьяна Савельевна захлопнула дверь и заперла ее пзнутри задвижкой.

Семенъ Елизаровичъ злился и на молодую грубиянку, и на себя.

Кузьма Андренчу вошелъ на крыльцо и сталъ стучаться въ дверь.

Наконецъ дверь отворилась и на порогъ показался самъ Удницовъ. Онъ былъ босой, на немъ была ситцевая рубашка и синіе изгребные штаны. За нимъ стояла Татьяна Савельевна.

— Что-жъ ты дура не пускаешь-то ихъ? — спросилъ старикъ Татьяну Савельевну.

— А зачѣмъ они безъ спросу во дворъ въѣхали? Кузьму-то Андренчу я знаю, а этого не знаю.

— Пожалуйте.

Само собою разумѣется, что Платонова поразила обстановка комнаты и сама Дарья Андреевна, которая была и худая, и блѣдная, но онъ не могъ воздержаться отъ улыбки при видѣ Ольги Герасимовны, ко-

торая хлопотала около больной: она привязывала къ паткамъ ногъ больной тряпки съ хрѣномъ.

— Здравствуйте Дарья Андреевна! Что это съ вами? — проговорилъ нѣжно, съ участіемъ Семенъ Елизаровичъ.

Дарья Андреевна протянула руку и проговорила:

— Нездоровится.

Ей сообщили, зачѣмъ они пріѣхали.

— Очень вамъ благодарна... Мнѣ, право, и дома хорошо.

— Но помните, здѣсь холодно, сыро... Нѣтъ, мы васъ отвеземъ въ больницу, въ дворянское отдѣленіе... Мы пріѣхали въ возкѣ.

— Какъ знаете... Мнѣ теперь все равно... Только дома помрять лучше. Ольга Герасимовна, какъ вы?

— Конечно, я думаю, тамъ удобнѣе. Только какъ ты поѣдешь, мать моя, развѣ надѣнешь мужнину шубу?

— Нѣтъ, я дома останусь съ вами, бабушка. — И она подала руку доброй старухѣ.

Однако Дарью Андреевну уговорили. Кое-какъ она одѣлась съ помощію Ольги Герасимовны и брата; кое-какъ спустилась съ лѣстницы. Ее провожала Ольга Герасимовна, старикъ Удницовъ и Татьяна Савельевна. Ольга Герасимовна плакала; остальные проклинали барина, вѣшивающагося въ честныя семейства.

— Прощай, мать моя, выздоравливай поскорѣе. — рыдала старуха.

— Ольга Герасимовна, тамъ въ узелкѣ у меня есть деньги; возьмите ихъ къ себѣ, — сказала Дарья Андреевна.

Скоро они уѣхали. Больше ужъ Дарья Андреевна не видала старуху Мартынову.

Когда Дарью Андреевну сдали въ больницѣ смотрителю и когда ее увели въ палату, Кузьма Андренчу спросилъ смотрителя.

— Много ли будетъ стоить леченіе сестры?

— О, это пустяки! Для Ипполита Аполлоновича мы и такъ будемъ лечить.

— Нѣтъ, я этого не хочу. Сколько вы берете въ сутки?

— По положенію слѣдуетъ тридцать пять копѣекъ, потому что будутъ требоваться лекарства... Но вы для чего же спрашиваете объ этомъ?

— Я буду самъ платить. Я пожалуй внесу теперь же три рубля.

— Какъ вамъ угодно.

— Послушайте Кузьма Андренчу: я вамъ этого не позволю. Вы вѣшиваетесь не въ свое дѣло, обязываете насъ, — проговорилъ Семенъ Елизаровичъ.

— Чѣмъ?

— Тѣмъ, что хотите вносить деньги. Это наша прямая обязанность, потому что вы человѣкъ бѣдный.

— Покорно васъ благодарю!.. Г. смотритель, потрудитесь взять деньги! — И Яковлевъ подалъ деньги смотрителю.

— Пожалуйста получите и отъ меня. — Семенъ Елизаровичъ тоже вынулъ изъ портмоне десятирублевую бумажку.

— Не безпокойтесь. Теперь достаточно и трехъ рублей. Подождите, г. Яковлевъ, я вамъ напишу рецептъ.



Смотритель ушелъ. Семенъ Елизаровичъ сталъ быстро ходить по комнатѣ.

— Вы теперь куда—къ намъ?

— Итъ, къ дядѣ.

— Хотите, я васъ доведу?

Но Кузьма Андренчъ отказался. Семенъ Елизаровичъ холодно простился съ нимъ и уѣхалъ.

Получивши росписку, Кузьма Андренчъ отправился въ харчевню, гдѣ и закусилъ, а потомъ пошелъ къ Удипцову за вещами и деньгами Дарьи Андреевны. Ольга Герасимовна долго не давала ни того, ни другого, позвала старика Удипцова, и только по его совѣту отдала подъ росписку Кузьмы Андренча деньги Дарьи Андреевны и узелъ. Къ дядѣ онъ не пошелъ. Но на другой день дядя позвалъ его въ свой кабинетъ въ палатѣ.

— Какое право ты имѣлъ вносить деньги за свою сестру? Кто тебѣ далъ право соваться туда, гдѣ тебя не спрашиваютъ? А?—спросилъ онъ строго Кузьму Андренча.

— Она сестра мнѣ.

— Знаю... Знаю я также и то, что твое жалованье не велико. Можетъ быть у тебя есть доходы? Смотри, братъ!.. Я хотъ и дядя тебѣ, а не потерплю взяточника. И если ты еще разъ осмѣлишься вносить деньги—я приму мѣры строгости.

— Какъ вамъ угодно.

— Что такое?

— Какъ вамъ угодно.

— Извольте сегодня и завтра дежурить въ отдѣленіи и спасать мнѣ формуляры о службѣ столоначальниковъ. Молокососъ!..

Сильно расходился дядя, даже дошелъ до свирѣпости, но выходя изъ палаты приказалъ ему придти вечеромъ съ бумагами, транспарантомъ, линейкой и цѣрками. Хотя у дяди онъ пилъ чай и ужиналъ съ нимъ за столомъ, но обиды, нанесенной ему дядей, не могъ ему простить. Онъ бы и теперь сталъ искать другой службы, но въ отдѣленіи открывалась вакансія помощника бухгалтера, и дядя въ этотъ же вечеръ пообѣщалъ ему эту должность.

### XXVIII.

Въ больницѣ болѣзнь Дарьи Андреевны утихла. Хотя ей и давали лекарства, лечили ее молодые доктора, недавно выпущенные изъ университетовъ, но болѣзнь все болѣе и болѣе припимала серьезный характеръ, такъ что доктора заключили, что она умретъ. Въ палатѣ, гдѣ она лежала, кромѣ нея, была только одна больная старушка. У этой больной недавно отпилили ногу. А такъ-какъ въ палатѣ больныхъ было только двѣ женщины, то присмотръ за ними былъ плохъ: сидѣлка хотя и была, но она болѣшую часть дня проводила въ другихъ палатахъ, гдѣ было больше больныхъ женщинъ, и въ которыя она была тоже назначена служить. Поэтому посѣщенія Кузьмы Андренча приходились кстати. Онъ приходилъ въ сутки два раза: утромъ и вечеромъ, наблюдалъ правильно ли его сестра принимаетъ лекарства, самъ поилъ ее или, устраивалъ припарки и т. п. Хотя доктора и говорили ему, что выздоровленіе его сестры

сомнительно, но онъ отчаянію не предавался, и по окончаніи срока снова внесъ за пребываніе въ больницѣ деньги за недѣлю впередъ. И надо правду сказать, что въ продолженіе трехъ съ половиною недѣль, въ теченіе которыхъ двадцать сутокъ Дарья Андреевна находилась въ безсознательномъ положеніи, ее никто не навѣстилъ ни изъ родни, ни изъ знакомыхъ. Ипполитъ Аполлоновичъ и старикъ Платоновъ только сбѣгались, но не могли выбрать свободнаго времени, чтобы съѣздить въ больницу; Семенъ Елизаровичъ развѣзжалъ по разнымъ помѣщикамъ; Анна Николаевна и Телѣжниковъ ѣхали туда боялись, чтобы не заразиться лихорадкой. Правда, Анна Николаевна однажды пріѣзжала въ больничную церковь съ Телѣжниковой, но онѣ такъ усердно молились, что, уже возвращаясь домой, вспомнили, что хотѣли навѣстить больную. Ни объ Удипцовыхъ, ни объ Ольгѣ Герасимовнѣ, ни о г-жѣ Петерсонъ Кузьма Андренчъ ничего не слыхалъ. И такъ, Дарью Андреевну всѣ оставили, кромѣ брата; къ ней не пускали даже Марью Андреевну подъ опасеніемъ, что она принесетъ на себѣ заразу; идти же туда секретно она не могла, потому-что Анна Николаевна или заваливала ее работой, или она должна была занимать своего жениха, который былъ безчуждъ ужъ молчаливъ.

Тутъ не мѣшаетъ сказать кое-что и о сестрѣ Дарьи Андреевны. Жизнь у почтеннаго дядюшки показалась ей такъ сладка, что у ней явилось непреодолимое желаніе какъ можно скорѣе убѣжать отъ него куда-нибудь; но она была женщина неразвѣтная, у нея не было рѣшимости, она не знала куда ей ѣхать. Домой ей не хотѣлось; ей было тамъ противно по двумъ причинамъ: первая была та, что она должна была жить съ мачихой, а другая,—что, какъ извѣстна ее мачиха, бывшій ея женихъ Павловъ, женившись на мѣщанкѣ, сдѣлался теперь славнымъ чело-вѣкомъ: водки не пьетъ, одѣвается хорошо и перешелъ на службу въ магистратъ секретаремъ. Ей было очень досадно, что она не вышла замужъ за Павлова, она на него злилась за то, что онъ надулъ ее. Теперешній же женихъ ей опротивѣлъ. Ему хотя и было подъ тридцать лѣтъ, но лицо у него было корявое, обрюзглое, волосы жидкіе, свѣтлорусые; говорилъ онъ негромко, пришепгивая, одѣвался какъ-то небрежно,—однимъ словомъ во всей его фигурѣ и въ движеніяхъ много было отталкивающаго. Хотя Марья Андреевна насчетъ фигуры своего жениха была не очень требовательна и знала, что у него есть домъ и онъ, какъ женился на ней, получилъ должность, но ей не нравилось то, что отъ него постоянно пахло водкой и онъ постоянно молчалъ. И чѣмъ дальше тянулось время, тѣмъ онъ становился ей противнѣе. Она написала брату Осипу Андренчу, котораго умоляла принять ее къ себѣ, но черезъ три сутки послѣ отправкѣ этого письма къ дядѣ пріѣхала съ визитомъ Марфа Антоновна. Марья Андреевна хотѣла было спросить ее насчетъ письма, но ее скоро отослали въ ея комнату.

Когда ушла отъ дяди Марфа Антоновна, Марья Андреевна замѣтила, что дядя былъ очень сердитъ. Онъ долго ворчалъ: „черти! свиньи! Обо всѣхъ васъ хлопочи! Вотъ навязалась роденька-то!“ . Но изъ этихъ

отрывочныхъ словъ Марья Андреевна ничего не поняла; Анна же Николаевна сидѣла съ заплаканными глазами и, часто вздыхая, говорила: „малютка жалко. У нихъ вѣдь, поди, ничего нѣтъ“.

— Дяденька, отпустите меня къ братцу Осипу Андреевичу, — сказала Марья Андреевна робко.

— Это еще что за выдумки? Пошла отсюда въ свое гнѣздо! Скоты!

— Дяденька, я не хочу замужъ.

— Это мы увидимъ! Экъ нашли дурака: всѣхъ что ли я долженъ кормить? Вы благодарности не чувствуете въ себѣ.

— Я не хочу замужъ.

— Свинья! пошла въ свою комнату! — проговорилъ дядя съ поблѣднѣвшимъ отъ злости лицомъ.

Марья Андреевна ушла и разрыдалась. Ее не тревожили, изъ дому не гнали. А какъ бы она была рада, если бы ее выгнали: она пошла бы къ Кузьмѣ, взяла бы у него денегъ и поѣхала бы къ брату. Ей больно стало, что ее обругалъ дядя свиньей. И жизнь до того казалась ей гадкою, что она задумала удавиться. Она заперла дверь на замокъ и по обыкновенію спрятала ключъ подъ подушку, потому что боялась, чтобы къ ней не пришелъ ночью дядя, такъ какъ онъ иногда днемъ заходилъ къ ней и ласкалъ ее; потомъ сняла со стѣны зеркало, обмотала вокругъ шеи бичевку и встала на стулъ, чтобы другой конецъ завязать на гвоздѣ. Въ это время (дѣло было ночью) вдругъ отворилась дверь и въ комнату входить въ ночной одеждѣ Анна Николаевна. Она вошла такъ тихо, что если-бы не скрипнула дверь, Марья Андреевна не слыхала бы ея прихода.

Дѣло въ томъ, что Анна Николаевна имѣла отъ двери этой комнаты другой ключъ. Она была до того подозрительна и труслива, что по ночамъ обходила весь домъ, и когда у Марьи Андреевны не было въ комнатѣ огня, она, если извнутри не былъ вложенъ въ замокъ ключъ, отпирала дверь и смотрѣла, тутъ ли Марья Андреевна.

Какъ разъ въ то время, какъ Анна Николаевна отворила дверь, комнату освѣтила луна и Анна Николаевна увидала свою племянницу нагнувшеюся. Она испугалась, но тотчасъ же встала на стулъ, рванула бичевку — и бичевка соскочила съ гвоздя. Марья Андреевна сошла со стула и сѣла на кровать.

— Что это такое! Что это такое! Царица небесная! — вопила Анна Николаевна, потомъ подошла къ двери, крикнула Ипполита Аполлоновича и зажгла свѣчку.

— Ахъ, Боже мой, напасть какая! — стонала Анна Николаевна. Съ Марьей Андреевной сдѣлался жаръ; она ничего не понимала, что происходило, и сидѣла съ дикими глазами. Пришелъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Что такое? — спросилъ онъ въ испугѣ.

— Полюбуйтесь! — И Анна Николаевна подвела къ племянницѣ супруга.

Тотъ посмотрѣлъ и затрясся такъ, что уронилъ бывшій у него въ рукахъ длинный чубукъ. Стукъ вывелъ изъ оцѣпенѣнія Марью Андреевну, она вздрогнула, привстала... но дядя, ухвативъ ее за платье, размоталъ бичевку.

— Негодяица! Собака захотѣла собачьей смерти...

Жалко, что я тебѣ не отецъ: задать бы я тебѣ баяню! — и онъ толкнулъ ее на кровать.

— Ее надо въ полицію отправить.

— А вотъ посмотримъ! — И онъ ушелъ.

Марья Андреевна лежала въ безпамятствѣ. Немного погодя, Яковлевъ привелъ въ комнату племянницу своего кучера и велѣлъ ему спать тутъ на полу у дверей.

— Съ ней горячка. Завтра мы ее свеземъ въ больницу, — сказалъ Яковлевъ дворнику.

На другой день и Марья Андреевна поступила въ больницу; ее помѣстили въ ту же палату, гдѣ лежала ея сестра. О томъ, что она хотѣла удавиться или повѣситься, Яковлевы никому не сказали. Въ это время Дарья Андреевна находилась уже въ сознательномъ состояніи, только была очень слаба. Ее очень удивило появленіе сестры въ больницѣ, но Марья Андреевна съ своей стороны была такъ слаба, что она ее не стала разспрашивать, а только просила Кузьму Андреевича, чтобы онъ и за сестрой ухаживалъ такъ же, какъ и за ней.

Наконецъ Дарью Андреевну навѣстила Эмилія Карловна. Она пришла въ воскресенье. На ней было надѣто черное платье. Сама она похудѣла, щеки поблѣднѣли.

— Какъ дѣла, Эмилія Карловна? — спросила ее Дарья Андреевна.

— О, Дарья Андреевна! дѣла мои очень плохи.

— Какъ такъ?

— Такъ. Какъ только вы захворали, все пошло вверхъ дномъ. Софью Васильевну послѣ ея каверзы я уже не хотѣла больше брать... Я, видите ли, все думала, что вы скоро выздоровѣете, и хотѣла, да и теперь хочу васъ сдѣлать главной мастерицей... Кровь дѣло пустое. Пойдете?

— Я еще не совсѣмъ выздоровѣла и, думаю, что пролежу здѣсь еще недѣли двѣ.

— Боже мой, какъ долго! Нельзя ли раньше? Я васъ помѣщу у себя въ квартирѣ.

— Благодарю. Только я должна поправиться, а то опять могу захворать.

— Ну, я васъ не принуждаю. Однако эти доктора!... А у меня теперь хорошенькая квартира.

— Какъ, вы развѣ уже на другой? Вѣдь вы на прежней, какъ говорили, жили долго.

— Что дѣлать, Дарья Андреевна. Вы, я думаю, сами видѣли, что на этой квартирѣ мнѣ не везло.

— Полноте, Эмилія Карловна! У васъ работы всегда было такъ много, что жить бы можно было, и очень. Вѣдь вы, кромѣ вашего магазина, имѣли еще мужа и сына, которые жили, кажется, не на вашъ счетъ.

— Ничего вы не знаете въ этихъ дѣлахъ, потому такъ и судите. — И она рассказала о своихъ долгахъ, о плутняхъ швей и въ особенности Софьи Васильевны, но объ отношеніяхъ своего мужа къ сыну и наоборотъ ничего не сказала; потомъ прибавила: — а я теперь уже думаю иначе устроить магазинъ: я хочу пригласить маленькихъ дѣвчонокъ и подѣ вашимъ присмотромъ обучить ихъ шитью. Современнѣе изъ нихъ сдѣлаются хорошія швеи. Я уже штукъ пять подыскала.

— А какъ здоровье Адольфа Яковлевича?

— Охъ!—Эмили Карловна махнула рукой и тяжело вздохнула.

— Что, онъ боленъ?

— Хуже—съ ума сошелъ: онъ уѣхалъ въ другой городъ. Теперь я живу съ сыномъ.

Проговоривши это, госпожа Петерсонъ распрощалась съ Дарьей Андреевной и ушла.

Предложеніе госпожи Петерсонъ показалось Дарьей Андреевнѣ выгоднымъ. Прежде она находилась у Петерсонъ какъ швея, которою помыкали какъ хозяйка, такъ и главная мастерица. Хозяйка была съ ней вѣжлива, потому что она была хорошая работница; за то ее не любила Софья Васильевна, видѣвшая въ ней соперницу. Софья Васильевна хотя и командовала надъ дѣвками, но она не имѣла надъ ними такой власти, какая теперь предоставлялась Дарьей Андреевнѣ. Теперь Дарья Андреевна могла зависѣть только отъ хозяйки; оставалось одно—будетъ ли она платить хорошо деньги? Не будетъ ли она и ее такъ же надувать, какъ надувала Софью Васильевну? Однако ей предложеніе госпожи Петерсонъ понравилось, потому что до ее посѣщенія она крѣпко задумывалась надъ тѣмъ, чѣмъ она будетъ заниматься по выходѣ изъ больницы; а идти ей опять къ Петерсонъ не хотѣлось. Братъ же ей о своемъ планѣ ничего не сообщалъ.

Прошла еще недѣля. Дарья Андреевна уже начала ходить, но была еще слаба, почему ее и не выпускали изъ больницы. Кузьма Андренчъ внесъ деньги за обѣихъ сестеръ. Марья Андреевна тоже стала поправляться.

Дарья Андреевна не могла понять: отчего съ ее сестрой случилась болѣзнь? Ей помнится, что она никогда не хворывала такъ; но спросить было какъ-то неловко, потому что сестра съ каждымъ днемъ становилась съ ней холоднѣе. Наконецъ, на другую недѣлю, послѣ того какъ былъ въ больницѣ братъ, разговаривавшій съ сестрой по секрету у окна и потомъ ушедшій непростившись съ ней, она рѣшилась спросить ее какъ о причинахъ ее болѣзни, такъ и о томъ, за что на нее разсердился братъ. Когда Марья Андреевна легла спать, она спросила ее.

— Ты отъ чего же это захворала-то?

— А тебѣ какое дѣло?

— Мнѣ любопытно знать, потому что ты всегда была здорова.

Сестра молчала.

— Можетъ быть ты простудилась?

— Нѣтъ.

— Можетъ быть съ женихомъ не ладишь и онъ тебя оскорбилъ? Ужъ не побилъ ли онъ тебя за-благовременно до свадьбы?

— Глупости!

— А, теперь понимаю!

— Ничего ты не понимаешь. Отъ чего я захворала, этого не скажу никому въ свѣтѣ.

Дарья Андреевна задумалась. Ей вдругъ подумалось: „ужъ веродила ли она тайно? Вѣдь она могла родить жертваго или недоноска у какойнибудь старухи-бабки“. Это ей подумалось въ виду того, что братъ

разсердился на нее. И ей показалось неловко дальше разспрашивать сестру насчетъ ее болѣзни. Однако ей все-таки хотѣлось удовлетворить свое любопытство.

— На тебя, сестричка, кажется братъ за что-то разсердился?

— Это тебѣ показалось.

— Нѣтъ, это видно.

— А ты что за допросчица?.. Завтра же буду просить поставить мою кровать на другое мѣсто.—И сказавши это, она отвернулась.

Однако просьбу ее не уважили, а сказали, что если она хочетъ, то можетъ выписаться. Это до того встревожило Марью Андреевну, что она цѣлый день пролежала въ кровати и ничего не ѣла.

Дарья Андреевнѣ жалко стало сестру. Она подошла къ ней, обняла ее и проговорила:

— Милая моя сестричка, не раздражайся такъ: вѣдь ты еще не совсѣмъ оправилась отъ болѣзни.

— И умру! Околѣю. Господи, что это за жизнь? И зачѣмъ это тетка помышала мнѣ?—проговорила она, рыдая.

— Ну, успокойся, сестричка. Зачѣмъ вспоминать старое?

— А ты развѣ знаешь?—съ испугомъ спросила Марья Андреевна свою сестру.

— Хотя я и не знаю ничего и теперь не желаю знать твоей тайны, но все-таки догадываюсь, что у васъ съ теткой вышло что-то неладное.

— Ужъ я теперь ни за что къ нимъ не пойду жить. Ужъ лучше повѣстись!

— Какія ты говоришь глупости, сестра. Вотъ когда мы выздоровѣемъ, ты будешь жить со мной. Петерсонъ, какъ ты знаешь, приглашаетъ меня къ себѣ главною мастерицею. Тогда я буду получать жалованье уже не за штуку, а помысочно. Тогда я и тебя могу пристроить или къ Петерсонъ, или куда-нибудь въ другое мѣсто, а жить мы будемъ вмѣстѣ.

— Я согласна, сестрица, на все, только вотъ, какъ бы мнѣ достать салонъ отъ дяди?

— Очень просто—приди и возьми. Вѣдь ты ничего у нихъ худого не сдѣлала?

— Ничего. Только мнѣ туда идти не хочется.

— Ну, я схожу за тебя. Я вѣдь не изъ робкихъ.

И такъ сестры подружились. Дарья Андреевна порѣшила на томъ, что вѣроятно ее сестра поругалась съ Анной Николаевной, а та, или дядя побили ее, а можетъ быть не давали ѣсть,—вотъ она и захворала.

Наконецъ наступила шестая недѣля великаго поста. Сквозь стекла оконъ, выходящихъ во дворъ, въ которомъ кое-гдѣ росли кустики сирени, яблоней, березокъ, видно было, что тамъ уже снѣгу не было, а земля мѣстами или была бурого цвѣта, или кое-гдѣ пробивалась уже зелень. Небо было чистое, бѣлоголубое, на немъ стояло солнце, которое впрочемъ эту палату не освѣщало. Больныя женщины казались бодрѣе, у нѣкоторыхъ даже показывался на щекахъ легкій румянецъ, онѣ чувствовали нѣгу; но въ двѣ ночи на этой недѣлѣ скончались двѣ чахоточныя молодыя женщины и въ комнатѣ настала скорбь и тишина. Цѣлыхъ трое сутокъ женщины говорили шепотомъ. Нѣсколько женщинъ, почувствовавъ весну, выписались. Подумывали выписаться и наши сестры. Но

ихъ все удерживалъ братъ, ссылаясь на сырость. Наконецъ, уже на послѣдней недѣлѣ, онъ очень опечалилъ ихъ и имъ пришлось волей-неволей выписаться.

Приходить онъ въ обѣдъ, взволнованный. Съѣлъ на кровати Дарья Андреевны и ничего не сказалъ, а только поцѣловалъ сестеръ. Дарья Андреевна и раньше замѣчала, что съ нимъ что-то происходитъ, но тогда онъ былъ все-таки разговорчивъ. Дарья Андреевна и сестра замѣтили въ братѣ перемѣну: во-первыхъ онъ сталъ приходить къ нимъ рѣже и рѣже и наконецъ приходилъ только по воскреснымъ днямъ, да и то уходилъ черезъ полчаса; во-вторыхъ онъ сдѣлался задумчивъ, и въ-третьихъ уже не приносилъ имъ ни чаю, ни сахару, ни булокъ и не давалъ имъ ни гроша денегъ, ссылаясь на то, что у него нѣтъ.

— Что съ тобой, братчикъ? — спросила Дарья Андреевна.

— Прекрасныя дѣла! Отгадай?

— Чтѣ, тебя обокрали, что ли? — спросила съ испугомъ Дарья Андреевна.

— Получше: я не служу двѣ недѣли въ палатѣ.

— Неужели! — вскрикнули сестры.

— Да, это вѣрно. Меня выгнали.

— Кто?

— Почтенный дядюшка, Ипполитъ Аполлоновичъ, которому я впрочемъ когда-то чистилъ сапоги.

— Но какъ? за что? Вѣдь это ужасно! — говорили сестры.

— Очень просто. Онъ на меня началъ злиться еще съ того дня, какъ я тебя свезъ въ больницу. Я, не желая одолжаться дядѣ, внесъ за тебя деньги. Это видѣлъ Сенчикъ, которому очень хотѣлось быть благодѣтелемъ, и, разсердившись на меня, сказалъ дядѣ. Дядя меня такъ распушилъ, что заставилъ дежурить въ палатѣ, но потомъ простилъ. Деньги вносилъ я заблаговременно. Разъ дядя посылаетъ меня съ деньгами къ смотрителю больницы. Я и говорю: деньги я уже внесъ. Какъ онъ побагровѣлъ и закричалъ: „какъ ты смѣешь, негодяй, вѣтшиться не въ свое дѣло! Ты взяточникъ!“ Я говорю, что сестры мнѣ ближе, чѣмъ ему. Раскричался ужасно. Я послѣ этого сталъ проситься въ другое отдѣленіе — не принимають. Наконецъ, смотрю росписание жалованья, мнѣ поставлено не 13 рублей, а только 6. Я пошелъ объясняться — выгналъ. Ну, дѣлать нечего, сталъ я заниматься усидчивѣе. На слѣдующій мѣсяцъ онъ спрашиваетъ меня: вносилъ я за васъ деньги или нѣтъ. Я сказалъ, что нѣтъ, потому что не изъ чего и меня обидѣли жалованьемъ. „А, говоритъ, опомнися! Я васъ всегда такъ буду учить! Я ото всѣхъ васъ отобью спѣсь. Отнеси деньги и принеси росписку, что деньги внесены отъ меня, совѣтника такого-то“. Въ этотъ мѣсяцъ я получилъ всѣ 13 рублей и совѣтникъ былъ со мною вѣжливъ, спрашивалъ объ васъ, и я попрежнему таскалъ его портфель изъ дому и изъ палаты. Наконецъ открывается въ отдѣленіи вакансія, я прошу. И что же? „Я, говоритъ, батюшка, какъ ты знаешь, даромъ должностей никому не даю. Хотя ты и племянникъ мнѣ, но я и тебѣ не могу дать даромъ должность, хотя и общалъ“. Помилуйте, говорю я, помилуйте, ваше высокородіе!..

— Какъ, ваше высокородіе? — спросила Дарья Андреевна.

— Тутъ выходитъ по пословицѣ: родня — родней, служба — службой. Дома я его зову дяденькой, а на службѣ — по его должности. И онъ такъ-же: дома называетъ Кузьмой, а на службѣ г. Яковлевымъ. Ну-съ, я и говорю, что у меня денегъ нѣтъ. „А за сестеръ, говоритъ, платить были деньги? А, впрочемъ, говорить, приходи ко мнѣ сегодня вечеромъ“. — Кузьма остановился и сурово взглянулъ на Марью Андреевну такъ, что она покраснѣла.

— Ну, и что же?

— Вышло дѣло скверное, и я, зная твой, Дашенька, настойчивый характеръ, испортилъ свою карьеру, то-есть не хотѣлъ дѣло твоей и Машинной жизни купить должность.

— Это еще что за штуки?! — воскликнула Дарья Андреевна съ негодованіемъ.

— Призвалъ онъ меня въ кабинетъ, — продолжалъ братъ: — усадилъ на диванъ, велѣлъ пить чай, потомъ и говоритъ: если Дарья согласится жить у меня и дѣлать то, и если Машка, — слышите — Машка! — не будетъ дурить и на Юминной недѣлѣ выйдетъ замужъ за предназначеннаго ей жениха, Соколова, который хотя и цыганица, но дѣлецъ и имѣетъ уже два чина...

— Вотъ мило! Да я теперь ни за что не стану у него жить, — проговорила запальчиво Марья Андреевна.

Братъ подошелъ къ ней и что-то шепнулъ на ухо. Марья Андреевна покраснѣла, но скоро оправилась и проговорила не громко.

— Врутъ!

— Можешь жаловаться, если врутъ? Это, значить, клевета?

Марья Андреевна ничего не сказала.

— Что, небось, правда! Ну, дядя и говоритъ: „такъ ты и скажи своимъ“ сестрамъ. Я и говорю, что едва-ли онѣ согласятся. „А вотъ, говоритъ, посмотри, есть ли еще у нихъ паспорта?“ А паспорта ваши досталъ давно, ихъ спросилъ смотритель больницы, и я ихъ выписалъ и они теперь хранятся у смотрителя. Я говорю, паспорта есть. Гдѣ? „У смотрителя. „А, хорошо, я вижу, что и ты поступилъ въ либералы. Пошелъ вонъ“. Я вышелъ и на другой же день подалъ въ отставку. И что же вы думаете? Вѣдь онъ вѣдиль въ больницу и требовалъ ваши паспорта, но смотритель ему ихъ не далъ. За это ему — вѣроятно по пронырству дяди — приказано выйти въ отставку. Поэтому вамъ надо сегодня же проситься на выписку, чтобы взять паспорта, а то пожалуй дядя ихъ похититъ и тогда васъ пошлютъ въ Ильинскъ по етапу.

— Да мы совсѣмъ здоровы, и если бы не ты насъ удерживалъ здѣсь, мы бы давно уже выписались.

— Я потому ничего вамъ не говорилъ до сихъ поръ, что я тогда былъ безъ мѣста. А теперь я поступилъ въ уголовную палату и мнѣ общались дать за первый мѣсяцъ десять рублей. Кроме того, я искалъ квартиру въ двѣ комнаты, чтобы намъ поселиться всѣмъ вмѣстѣ.

— Я пойду опять къ г-жѣ Петерсонъ и можеть быть мнѣ удастся помѣстить туда и Машу.

— Это хорошо. А знаете новость: вѣдь Марья-то Антоновна не живетъ съ мужемъ.

— А дѣти?

— Дѣти при ней. Она теперь живетъ на Петербургской улицѣ и живетъ, кажется, на средства чиновника особыхъ порученій, который, говорятъ, ѣздитъ въ ней.

— Вѣднй братъ!— замѣтила Дарья Андреевна.

— Да онъ очень несчастливъ: онъ попалъ подъ судъ за какія-то истязанія.

Кузьма Андренчъ сообщалъ еще, что Зиновьева поймали и онъ теперь сидитъ въ городской тюрьмѣ, и потомъ, сказавши своимъ сестрамъ адресъ своей квартиры, ушелъ. На другой день сестры, распрошавшись съ больными женщинами и получивши свои паспорта, выданные на жительство во всѣхъ мѣстахъ имперіи, вышли изъ больницы.

## XXIX.

Несмотря на то, что Дарья Андреевна пробыла въ больницѣ только три мѣсяца, ей показалось, что она и дышать легче, и ходить свободнѣе, и воздухъ лучше, какъ-будто она не дышала этихъ чистымъ весеннимъ воздухомъ Богъ-знаетъ сколько лѣтъ; однимъ словомъ ей казалось, что она вышла изъ какого-то несвободнаго міра въ міръ свободный, гдѣ дѣлать что хочешь. Ей казалось, что она эти три мѣсяца находилась въ неволѣ, въ заключеніи, гдѣ надъ нею было начальство — смотритель, доктора, фельдшера, сидѣлка, гдѣ она носила казенную одежду, похожую не то на арестантскую, не то на солдатскую, гдѣ и ѣсть давали мало, и будили звонкомъ. По звонку она ѣла, по звонку должна была ложиться спать, потому что въ больницахъ своихъ свѣчей жечь не дозволяли, казенныхъ тѣмъ болѣе не полагалось, а въ каждой палатѣ горѣла только лампочка, которая гасла къ часу ночи. Да еслибы и горѣли свѣчки, что бы она стала дѣлать? Шить ей было нечего, читать — неоткуда взять книгъ. Правда, она просила брата записаться на мѣсяцъ въ бібліотеку на ея деньги, но тотъ, назвавъ это наглостію, сказалъ, что деньги ей пригодятся на что-нибудь другое. Кромѣ этого, живя въ больницѣ, она знала очень мало, что дѣлается въ мірѣ свободномъ, потому что братъ сообщалъ ей очень мало новостей и только воть вчера она узнала о несчастіи, постигшемъ старшаго брата. Въ больницѣ ей приходилось сосредоточиваться, она сдѣлалась задумчива и чувствовала, что у ней какъ-будто мысли не клеятся.

Но воть теперь она опять на свободѣ. И какъ приятно, легко дышется! Солнце свѣтитъ не ярко, но хорошо, небо чисто; тепло; на деревьяхъ кое-гдѣ появляются почки, кое-гдѣ чирикаютъ въ садахъ птички, кое-гдѣ въ домахъ учатся пѣть молодые соловьи. Все было хорошо, только грязно. И на людей какъ-то пріятно смотрѣть, а народъ попадаетъ все свой же братъ, рабочій человекъ. Вонъ ѣдетъ водовозъ въ испластанномъ полушубкѣ, въ шапкѣ, имѣющей видъ горшка; нещадно онъ бьетъ свою лошадь, ругая ее. Но лошадь идти не можетъ, потому что переднія колеса застряли въ ухабѣ. Онъ слѣзаетъ съ задка дрогъ, смотреть на

увязшія колеса и ругается: „о штобъ вамъ, проклятые! Выски съ насъ берете, а это что? Когда вывѣсь передохнете!..“. И потомъ, увидѣвъ попавшагося ему на встрѣчу мастерового, просить его помочь ему вытащить колеса.

— Некогда, и такъ запоздалъ—штрафъ будетъ.

— Да помоги, Христа ради! Ты знаешь, я только этимъ и кормлюсь, а какъ привезу не во время—другого возьмутъ...—Мастеровой засовываетъ локоть подъ передокъ дрогъ, а водовозъ, помогая ему, говорить:— Жиды проклятые! Деньги берутъ, а это што?..

Вонъ идетъ торговка. На коромыслѣ у нея навѣшано много всякаго добра: тутъ есть молоко и сливки, и ведро картофеля, и свѣжій зеленый лукъ. Все бы это было не подъ силу нашимъ сестрамъ, но торговка, несмотря на грязь, идетъ бойко, и когда прошла мимо сестеръ, поворотивши коромысло для прохода, какъ-то гордо-презрительно взглянула на нихъ. И много, много подалось имъ этого гнѣшаго рабочаго люда. Попадались имъ и пьяные мастеровые, солдаты и чиновники, но это были или горемыки, или спившіеся съ кругу, махнувшие на все рукой, которымъ уже послѣ разныхъ невзгодъ и работать не хочется и которые очень были бы рады, еслибы померли. Но все-таки въ этихъ людяхъ высказывалась на что-то надежда, они требовали отъ кого-то помощи, что замѣчалось изъ ихъ ругательствъ. Однако и про трезвыхъ нельзя было сказать того, чтобы они имѣли веселый видъ: въ ихъ лицахъ проглядывала усталость, либо изнеможение, либо какая-нибудь досада. Другое дѣло представляли ѣдущіе: въ ихъ лицахъ замѣчалось довольство и они какъ-то съ презрѣніемъ смотрѣли на бѣдныхъ народъ и напѣтый—въ особенности. Хотя и радовалась Дарья Андреевна своему избавленію изъ больницы, но при видѣ бѣдныхъ людей у ней сжималось сердце при мысли о томъ, что ей снова нужно работать и быть въ зависимости. Кромѣ этого ее беспокоило положеніе ея сестры: что она будетъ дѣлать? Вѣдь она умѣетъ шить только на себя, да и то съ разными перешивками. Ей не нравилось, что братъ пригласилъ ихъ теперь, когда она, Дарья Андреевна, имѣетъ свои деньги, которые хранятся у брата. Вѣдь она могла бы опять поселиться на старой квартирѣ. Оно хотя и далеко, но теперь лѣто, и тамъ будетъ хорошо, весело, а главное, — она будетъ жить съ такими добрыми людьми, какъ Удинцовъ и Мартынова. „Жива ли эта добрая старушка?“, подумала она, и ей почему-то сдѣлалось грустно.

— Какъ имѣ, сестричка, ѣсть хочется!..— проговорила Марья Андреевна.

— А-а! Въ больницѣ-то насъ въ послѣднее время даромъ кормили. А воть, ты попробуй-ко кушать свой хлѣбъ.

— Трудно?

— Нѣтъ, ничего. Сначала трудно, а потомъ привыкнешь.

— А ты когда къ своей мадамъ?

— Сегодня.

— Какъ скоро!—ужаснулась сестра.

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Ты бы отдохнула.

— Мы и такъ много отдыхали. Я воть думаю, что

въ эти три мѣсяца я пожалуй совсѣмъ разучилась шить. Кромѣ этого мнѣ не хочется жить у брата на хлѣбахъ.

— А если у твоей мадамы уже нанята другая мастерица?

Дарья Андреевна задумалась: „а что если въ самомъ дѣлѣ она наняла уже другую?.. Тогда мнѣ придется искать другого мѣста. Положимъ, что Эмилиа Карловна аттестуетъ меня съ хорошей стороны, но найду ли я мѣсто? Придется пожалуй походить цѣлую недѣлю“.

Чѣмъ больше шли сестры, тѣмъ больше удивляло ихъ множество выѣсковъ съ разрисованными на нихъ бутылками, бутылками и рюмками и съ надписью: распивочно и на выносъ.

— Господи, сколько кабаковъ развелось!—проговорила Дарья Андреевна.

Марья Андреевна совсѣмъ ничего не понимала въ этомъ новомъ явленіи общественной жизни, но она тутъ видѣла интересъ должностнымъ людямъ.

— Какъ жаль, что папаша умеръ: теперь бы у него сколько было этого вина и доходовъ,—проговорила она.

— Какъ тебѣ, сестрица, не стыдно говорить объ этомъ? Ты обижалась папашу, потому что онъ въ дѣйствительности не былъ такой взяточникъ.

— Да ты взгляни: на каждомъ углу кабакъ, по середкамъ улицы тоже кабакъ, а прежде во всемъ-то городѣ много-много было десять кабаковъ.

— Вѣроятно теперь всякій можетъ свободно торговать. Вѣдь братъ говорилъ откупа отобранны въ казну, да я и раньше читала, что откуповъ не будетъ. Значить, что печатаютъ, тому надо вѣрить.

— Ну ужъ!..

Наконецъ онѣ пошли тѣмъ переулкомъ, въ которомъ жилъ ихъ братъ. Оказалось во первыхъ, что жительство брата находилось очень далеко отъ настоящей квартиры г-жи Петерсонъ, а во-вторыхъ переулкомъ былъ далеко хуже той улицы, въ которой прежде братъ занималъ комнату. Когда сестры проходили, то почти изъ cadaго новоотстроеннаго дома выглядывали на нихъ мужчины въ халатахъ или просто рубашкахъ и женщины, по одеждѣ принадлежавшія къ чиновному и мѣщанскому классу, безъ работы въ рукахъ. А то, что здѣсь всѣ знаютъ другъ друга, замѣтно было изъ того, что когда Дарья Андреевна спросила одну высунувшуюся изъ окна женщину, гдѣ живетъ чиновникъ Яковлевъ, та не дала отвѣта, а полюбопытствовала сперва узнать: кто она такая.

— Я его сестра.

— И это ваша сестрица? — спросила женщина, лукаво улыбаясь.

— Да.

— Вы въ больницѣ изволили пребывать?

— Да.

— Знаю, знаю. Вашъ братецъ сказывалъ. Славный человекъ—онъ недавно рѣшилъ въ палатѣ дѣло въ мою пользу, да разбойникъ секретарь все перевернулъ. А вашъ братецъ вонъ въ третьемъ домѣ отъ насъ живетъ, вонъ противъ того дома, гдѣ кабакъ,—она лукаво подмигнула.—А не вы ли изволили въ

швейхъ находиться? — спросила она, указывая на Марью Андреевну.

— Нѣтъ, это я. До свиданія, — сказала Дарья Андреевна и пошла.

— Дарья Андреевна!—крикнула женщина.

— Что угодно?

— Если будете время, заходите ко мнѣ: вы умѣете шить халаты?

— Я не шивала.

— Полноте. Мнѣ Матрешка Знобишнина сказывала, что вы все умѣете шить.

— А вы развѣ ее знаете?

— Вотъ тѣ развѣ, племянницу-то не знать! Она теперь въ кабакѣ торгуетъ.

— Какъ въ кабакѣ?

— А что же, матушка, дѣлать станешь? Нынче мѣста очень трудно достаются, а кабаковъ теперь страсть что завелось, потому теперь свободно можно торговать всякому. Ну, знаете, продажа водки—ремесло самое выгодное, ну, вотъ на него и кинулись всѣ, у кого есть мало-мальски деньги.

Наконецъ онѣ подошли къ дому напротивъ кабака. Дверь въ кабакъ была отворена и оттуда слышались пѣсни нѣсколькихъ голосовъ. Домъ былъ полукаменный, но какъ замѣтно, въ нижнемъ этажѣ никто не жилъ, на окнахъ же верхняго этажа стояли банки съ цвѣтами: геранями, лимонами, бальзаминами, жасминами. За цвѣтами были привѣшены къ окнамъ кисейныя занавѣски. Когда наши сестры вошли во дворъ, то онъ почти наполовину былъ загроможденъ строевымъ лѣсомъ и досками. На заднемъ планѣ стояли срубы для погреба. Около этихъ срубовъ лежала большая бѣлая собака. Завидѣвъ новоприбывшихъ незнакомыхъ ей дѣвицъ, она кинулась на нихъ сперва съ рычаніемъ, потомъ съ лаемъ и наконецъ вцѣпилась въ платье Марьи Андреевны, и какъ только мотнула головой, такъ у ней въ зубахъ и остался большой кусокъ отъ платья. Дѣвицы взвизнули. Но собака, не довольствуясь однимъ кускомъ, вѣроятно хотѣла воспользоваться другимъ, но къ счастью сестеръ, во дворѣ откуда-то явилась молодая женщина, которая, схвативъ палку, кинулась на собаку и прогнала ее прочь. На спросъ, что имъ нужно и узнать, кто онѣ, она сказала, что ихъ брата теперь дома нѣтъ, что братъ говорилъ ей объ нихъ и она, хозяйка дома, проситъ ихъ пожаловать къ ней, тѣмъ болѣе, что она съ мужемъ хочетъ обѣдать.

— Онъ не оставлялъ вамъ ключа?

— А вотъ я спрошу Корнила Савича. Да вы пожалуйста! Прощу покорно.

Сестры пошли за ней. Сначала пятью ступеньками поднялись въ сѣни. Тамъ были двое дверей.

— Вотъ гдѣ вашъ братецъ живетъ,—указала она на дверь налево.—Комнаты отличныя, особливо ваша въ три окна. Сами хотѣли занять, да въ кухню ходить далеко.

— А сколько онъ платитъ? — спросила Марья Андреевна.

— Больно мало—три рубля.

Онѣ вошли въ кухню. Въ ней было чисто, свѣтло такъ какъ два окна выходили на дворъ. Въ кухнѣ

разужьется была русская печь и полати. Изъ кухни онѣ вошли въ чистую комнату, съ простою мебелью, изъ которой два стула были съ обгорѣлыми спинками, стѣны тесовыя, ничѣмъ еще неоклеенныя; тутъ былъ и ветхій клеенчатый диванъ, и небольшое зеркальце, которое висѣло на простѣнкѣ между двухъ оконъ. Изъ этой комнаты шли двери въ другую комнату. Двери были закрыты. Передъ диваномъ стоялъ крашеный столъ, уже накрытый съ приборомъ для двухъ персонъ; ложки были крашенныя деревянные.

— Это у насъ все: и зала, и гостиная, и столовая, а тамъ кабинетъ мужа и спальня. Покорнѣйше прошу. Безъ церемоніи. Скидывайте пальты-то, — говорила скоро хозяйка, и потомъ, подошедши къ дверямъ, тихонько стукнула кулакомъ и проговорила: — Корнила Савичъ, пожалуйста! — и затѣмъ ушла въ кухню.

Немного погодя, изъ другой комнаты вышелъ въ ситцевомъ халатѣ, опоясанномъ полотенцемъ, чело-вѣкъ средняго роста, худощавый, съ желтымъ продолговатымъ лицомъ, безъ бороды и бакенбардъ и съ свѣтлорусыми усами. На головѣ его была лыспина, обрамленная свѣтлорусыми короткими волосами; глаза его были темнаго, неопредѣленнаго цвѣта и глядѣли сурово. На лицѣ замѣтны были слѣды горькой жизни; онъ часто морщилъ лобъ, причѣмъ глаза его, бѣгавшіе очень быстро направо и налево, дѣлали его свирѣпымъ. На видъ ему было годовъ тридцать-пять. Но каково было удивленіе нашихъ сестеръ, когда онъ, подошедши къ нимъ, поздоровался съ ними за руки и проговорилъ сильнымъ басомъ:

— Здравствуйте, мадемузели. Очень пріятно. Прощу покорно. Вы сестрицы Кузъмы Андрееча? Очень, очень пріятно. Сашенька, что жъ ты долго копаешься?

— Сейчасъ, мой другъ, сейчасъ. Видишь, иду, — проговорила хозяйка, входя съ двумя тарелками и деревянными ложками и прибавила: — а вы ужъ извините: у насъ не то что серебряныхъ, а и оловянныхъ-то ложекъ нѣту.

— Лишь бы было ѣсть что, такъ все равно, чѣмъ бы ни хлебать. Я того мнѣнія, что деревянными удобнее на томъ основаніи, что не жгутъ ротъ. Не такъ ли?

— Я тоже того мнѣнія, — сказала Дарья Андреевна.

— Прекрасно. Ну, какъ вамъ понравилась больница?

— Ничего. Только страшно скучно.

— Ну, тамъ еще по крайней мѣрѣ есть разнообразное общество, — общество, болѣею частью судящее здраво. Это общество — та масса бѣднаго люда, который живетъ своимъ трудомъ и работаетъ. Вѣдь дармоѣдъ туда не пойдетъ на томъ основаніи, что у него есть средства на уплату доктору. Но я думаю, вамъ не совсѣмъ понравилась больничная челядь?

— Да они какъ видно все дѣлаютъ не по охотѣ, а изъ-за денегъ.

— Не по призванію, а исполняютъ обязанности такъ, чтобы поскорѣе ускакать куда-нибудь на пирогъ.

Хозяйка подала тертую рѣдкую съ квасомъ.

— Мы хотя постовъ и не соблюдаемъ, но, знаете, все мясо да рыба надобѣтъ... — объяснила хозяйка.

— Душенька... денегъ нѣтъ, — проговорилъ хозяинъ тихо и растягивая. — Только вотъ что: васъ вѣдь тамъ кормили супами да щами скоромными, — пожалуй это съ больничной пищи не годится.

— О, нѣтъ, я очень люблю тертую рѣдкую.

Хозяйка налила всѣмъ хлеба.

— А что жъ, того-съ развѣ не полагается? — спросилъ хозяинъ свою жену.

— Извините-съ, — принесу.

Хозяйка принесла косушку водки и стаканъ.

— Теперь водка стала несравненно дешевле прежней и лучше. А ужъ какъ это не нравится откупщикамъ! Говорятъ, они цѣлой сворой хотятъ подать государю прошеніе, чтобы имъ откупъ отдали назадъ за извѣстную сумму, и что даже готовы строить желѣзныя дороги. Но я думаю, изъ этого ничего не выйдетъ. Изъ газетъ видно, что правительство за настоящее дѣло стоитъ крѣпко.

— А вы читаете газеты? — спросила его Дарья Андреевна.

— Я беру и книги, и газеты изъ библіотеки. Безъ чтенія жить нельзя, ужъ я лучше вотъ въ этомъ себѣ откажу...

— Не хвастайся пожалуйста: безъ водки ты ничего и дѣлать не можешь, — вопила его жена.

— Что жъ дѣлать, милая, жизнь такая была... И радъ бы не пить, да не могу.

— Вы служите гдѣ-нибудь? — спросила Дарья Андреевна хозяйку.

— Нѣтъ. Я сочиняю разныя просьбы въ суды крестіанамъ и купцамъ. Но получаю за это среднимъ числомъ въ мѣсяцъ рублей двѣнадцать. Хорошо еще, что вотъ у моей благовѣрной есть домъ, а то бы намъ съ ней было плохо. Оно положимъ прежній-то домъ куда какъ плохъ, и хорошо, что онъ сгорѣлъ, потому что мы получили пособія. Пособія-то эти были грошовыя, да еще вышелъ казусъ: вдругъ выдаютъ планы строить пятиконные дома. А на какія спрашивается средства? Вѣдь на 75 рублей пятиконнаго дома не выстроишь. Стали просить — еще выдали, но и этого мало, да и выдали-то не всѣмъ поровну. Вонъ тотъ господинъ, что напротивъ, гдѣ кабакъ (онъ мнѣ приходится кумомъ), выпросилъ пособіе въ пятьсотъ рублей. Ну-съ, вотъ нѣкоторые изъ нашихъ погорѣльцевъ и нарядили своихъ старухъ въ походъ къ гражданамъ и насобирали... Ну, а я еще передъ пожаромъ выигралъ въ гражданской палатѣ два дѣла и получилъ за каждое по триста рублей, а за вычетомъ двухсотъ, которые ушли на долги лавочникамъ и на уплату писцамъ и секретарю собственно отъ меня въ знакъ благодарности, у меня осталось четырехста, вотъ я купилъ дѣсу и съ осени сталъ строиться. А вотъ погребъ строить не на что.

— Отчего же пожаръ-то случился? — спросила Дарья Андреевна.

— А чортъ его знаетъ: кто говорить — отъ поджоговъ, кто говорить, что нѣкоторые домохозяева будтосами подожгли, кто говорить, что само загорѣлось на томъ основаніи, что время было жаркое.



книги некогда читать, — вставила Александра Сергѣевна.

Въ это время Кузьма Андренчъ ушелъ домой.

— Нелюбить онъ такихъ разговоровъ, — замѣтилъ хозяйинъ; — онъ ихъ называетъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. По моему же, кажется, пріятно побесѣдовать о своей жизни, въ особенности разсужденіями о женскомъ вопросѣ. И такъ, я говорю, что Сашенька музыкантша, знаетъ языки, имѣетъ дипломъ на званіе домашней учительницы, а между тѣмъ, чѣмъ она занимается? Тѣмъ же, чѣмъ занимаются и крестьянки. Вы скажете: отчего же, имѣя дипломъ, она не поступитъ въ гувернантки? Пробовала, сударыни мои!.. Когда она была дѣвушкой, она, кажется, въ двадцати-пяти домахъ перемывала. И знаетъ, что это за каторжная служба! Или маменьки чересчуръ требовательны, или дѣти слишкомъ избалованы, или гимназисткишкі падождали своими ухаживаніями. Пробовала она, уже замуженная, учить дѣтей. То же самое. Но все-таки она учила, а вотъ какъ родила сама ребенка и перестала.

— А гдѣ же онъ у васъ? — спросила Дарья Андреевна.

— А въ городѣ, близъ набережной, у ея тетки. Саша, надо будетъ его взять. Тамъ, поди, теперь уборка.

— Погоди, я завтра вышю полъ — схожу.

— Душечка, Александра Сергѣевна, приведите его сегодня: онъ можетъ у насъ побыть то время, когда вы будете убираться, — проговорила Дарья Андреевна.

— Да вѣдь мы и у васъ тоже нужно мыть полы: Кузьма Андренчъ съ тѣмъ и нанималъ квартиру.

— Ну, ужъ мы этого не позволимъ! Не такъ ли, Маша?

— Конечно, мы дома, когда кухарки не было, сами мыли полы, — сказала Маша, довольная тѣмъ, что ее спросили и что и она можетъ чѣмъ-нибудь похвастаться.

— Еще руки занозите — бѣда тогда съ вами, — замѣтила хозяйка.

— Ну-съ, такъ вотъ теперь я спрашиваю васъ, милостивая государыня, какія же еще существуютъ для женщины профессіи? — началъ снова хозяйинъ. — Обученіе въ школахъ. Прекрасно. Поѣхалъ я прошлую зиму въ село къ пріятелю по университету, онъ тамъ мировымъ посредникомъ и завелъ на свой счетъ школу. Ну, водворился я въ школѣ; собирается туда до пятидесяти мальчиковъ. Обучали закону божію, письму, чтенію и арифметикѣ священникъ и дьяконъ; хотя собственно учителемъ-то считался священникъ. Но такъ-какъ попъ частенько загуливалъ, то его должность исправлялъ дьяконъ. Ученіе такъ шло прекрасно, что когда я поступилъ, мальчики едва умѣли писать и считать цифры до сотни. Оно, конечно, вапштадовъ у крестьянъ немного (это вѣроятно почтенные наставники знали хорошо), но вѣдь мальчику хочется и сложить свои копѣйки, и вычестъ изъ нихъ на исправленіе мостовъ или на ту же потребу хотя попу или дьякону. Ну, я уговорилъ священника, чтобы онъ письмо и арифметику предоставилъ мнѣ. Онъ обидѣлся, но уступилъ. Препода-

ваніе шло хорошо съ мѣсяцъ, мальчишки стали уже умножать и дѣлить, стали понимать громъ и молнію; и тутъ-то вотъ начались на меня гоненія: зачѣмъ-де я объясняю мальчишкамъ такіа штуки? Но это ничего. А вотъ попъ сталъ обижаться на меня за то, что, съ моимъ поступленіемъ въ училище, ему стали мало приносить яицъ и другихъ снадобьевъ. Донесъ онъ на меня посреднику официально, что я-де учу фармазону и обираю крестьянъ. Посредникъ-пріятель выговорилъ мнѣ вѣжливо, я объяснилъ, ну похотали — тѣмъ дѣло и кончилось. А тутъ вышла исторія. Стали крестьяне просить меня сочинять имъ письма — я писалъ. Потомъ дѣло дошло до того, что цѣлое общество стало просить меня сочинить просьбу губернатору о томъ, чтобы ихъ надѣлили землею по Положенію. Я, конечно, прежде всего обратился къ пріятелю. Тотъ обидѣлся, сказалъ, что я виѣшиваюсь не въ свое дѣло, что я-де учитель и больше ничего. А если-де я буду виѣшиваться еще въ эти дѣла, то онъ попроситъ меня уѣхать. Оказалось, что посредникъ-то тянулъ сторону помѣщиковъ. Ну, я и уѣхалъ и поселился здѣсь. Ужъ если мужчине трудно честно исполнять свою обязанность паъ-за куса хлѣба, то женщинѣ и подавно трудно. Мужчине приходится уступать передъ начальствомъ, онъ все-таки имѣетъ долю самостоятельности, а женщинѣ для того, чтобы ладить и добывать свой хлѣбъ, зачастую приходится или поступить въ любовницы, или выйти замужъ.

— Какія ты странныя говоришь вещи, — замѣтила Александра Сергѣевна.

— Вещи эти очень простыя, я знаю тысячи примѣровъ. Возьми напримѣръ хоть швейное занятіе. Ну, чего бы, кажется, проще швейнаго занятія? Ну, открываетъ женщина магазинъ. На нее тѣчутъ пальцами сытые люди: какъ-де можно пускаться на такое ремесло. Если же не знаютъ, спрашиваютъ другъ друга: кто она такая? По мнѣнію развратниковъ — она развратница. Даже свои люди, тѣ же содержательницы магазиновъ, стараются заклевать ее. Много ей приходится перетерпѣть обидъ, чтобы установиться и заслужить себѣ репутацію. Надо замѣтить, что мы живемъ въ вѣкъ развратный, ибо будь модистка любовница важнаго барина, хотя бы онъ былъ и безъ зубовъ, она будетъ имѣть почетъ и ее завалятъ работами. Другой примѣръ: ты, Саша, знаешь вѣдь содержательницу пансіона, что на Петербургской улицѣ. Она пріѣхала изъ Петербурга со множествомъ рекомендательныхъ писемъ, и поэтому ей скоро разрѣшили открыть пансіонъ. Какого она была раньше поведенія — намъ до этого нѣтъ дѣла, но въ городѣ стали звонить, что она въ Петербургѣ жила на содержаніи и любовникъ ее прогналъ. Ей тогда было, кажется, двадцать-пятый годъ. А когда стали говорить это, нашлись ловеласы, началъ самъ директоръ гимназіи, и до чего вѣдь они, скоты, довели ее, что она должна была бросить пансіонъ. И вотъ, когда на ней женился учитель гимназіи, она снова открыла пансіонъ и теперь уже никто противъ нея не смѣетъ рта разинуть.

— Значитъ, личность женщины ограждается мужемъ? — спросила Морозова Дарья Андреевна.



— Пожалуй что такъ, по крайней мѣрѣ въ настоящее время.

— И надо выходить замужъ?

— Да, въ настоящее время, пока женщины не даютъ самостоятельности. Положимъ, у насъ существуютъ телеграфистки. Но я уже докладывалъ вамъ, что это особый классъ, который составляетъ какъ бы семью, все равно, что почтовые, которые обыкновенно живутъ въ одномъ домѣ. Я уже говорилъ вамъ раньше, что въ телеграфистки поступаютъ или по протекціямъ, или женщины родственницы мужчинамъ, телеграфистамъ. Если послѣднее обстоятельство вѣрно, то тогда составится особый классъ: отцы будутъ готовить дочерей на ту же службу, какую и они исполняютъ. Это видно изъ того, что большинство почтовыхъ готовятъ дѣтей въ почтовое вѣдомство, какъ духовные въ духовное. Дозволять женщинамъ быть сортировщицами — сортировщицы будутъ дочери, сестры, жены почтовыхъ; позволять женщинамъ быть бухгалтерами — контролеры и бухгалтеры научатъ своихъ женъ, дочерей и пр. счетоводству. А попади на одно изъ этихъ мѣстъ женщина съ воли — ей ходу не дадутъ. Тутъ, видите, приѣзжается и эгоизмъ, и самолюбіе: нѣтъ-де сколько у насъ заштатныхъ чиновниковъ безъ мѣстъ шатаются, стариковъ гонятъ прочь, у насъ у самихъ куча ребятишекъ, сами мы получаемъ маленькое-содержаніе и вдругъ женщина, да еще чужая, служить съ нами? Положимъ, она знаетъ дѣло; но, полно, такъ ли, какъ мы; не нужно ли ее еще поучить? Вѣдь и мы, когда поступали на новыя мѣста, спрашивали совѣтовъ стариковъ. Такихъ образомъ, надъ нею будутъ острить, будутъ ловеласничать и мѣшать ей. Ну, какая же, скажите на милость, самостоятельность-то тутъ?

Онъ отеръ со лба потъ. Дарья Андреевна слушала его со вниманіемъ, но Марья Андреевна уже громко зѣвала. Александра Сергѣевна что-то шила, сидя у окна.

— Ты бы, сестра, пошла спать, — сказала ей Дарья Андреевна.

— А ты? — спросила охриплымъ голосомъ сестра.

— Корнило Савичъ, мы вамъ мѣшаемъ?

— Нисколько. Я очень радъ, что могу хоть поговорить съ кѣмъ нибудь. А вы, Марья Андреевна, если хотите спать, то я принесу вамъ подушку.

— Покорно благодарю, я домой пойду.

Марья Андреевна ушла.

— И такъ-съ, началъ опять Морозовъ: — теперь остаются какія еще профессіи? Продавать водку?

Слушательницы захохотали.

— Право! Вотъ тутъ ужъ женщина вполнѣ самостоятельна.

— Нехорошее занятіе: пожалуй можно и напиться, особенно въ праздники, — сказала Александра Сергѣевна.

— Напротивъ, я тутъ не вижу ничего дурного. Возьмите напримѣръ калашницъ, женщинъ, продающихъ орѣхи, пряники, торговко въ разныхъ, — проговорила Дарья Андреевна.

— Такъ-то оно такъ. Можно торговать чѣмъ угодно и быть самостоятельной, если имѣешь капиталъ.

— Это такъ; безъ денегъ ничего не сдѣлаешь.

Если бы я имѣла деньги, я бы устроила лавочку, — сказала Дарья Андреевна.

— Питейную? — съострил Морозовъ.

— Нѣтъ. Табачную или какую другую.

— Ну-съ, а кто бы сталъ покупать табакъ, гильзы и прочую мелочь? Знаете ли вы, что табачныя лавки выручаютъ не табакомъ, а мелочью, въ родѣ нитокъ, луговицъ и прочаго. Все нужно купить и знать, какъ, что, и гдѣ купить, соображаясь съ требованіями того околотка, гдѣ будетъ лавка.

— Я бы наняла помощницу.

— А она бы васъ стала обкрадывать.

— Я завела бы счеты.

— Ничего эти счеты не значатъ, потому что вѣдь вы въ счетахъ смыслите мало, да и обидѣтъ свою помощницу не захотите. Если вы ее будете обижать — она будетъ вамъ вредить и торговля пойдетъ къ чорту; если вы будете ей потворствовать — она еще больше запуститъ лапу и вы разоритесь.

— Ты ужъ очень строго судишь, мой другъ: когда я жила въ Петербургѣ, такъ я замѣчала, что во многихъ табачныхъ лавочкахъ торгуютъ женщины, и молодыя, и старыя, — сказала Александра Сергѣевна.

— Это и я знаю, душа моя; но тутъ непременно кто-нибудь заправлялъ съ самаго начала: или мужъ, или опытная мать, бабушка. Главное нужно начать, проторговать годъ, не плутовать, и если дѣло пойдетъ хорошо — не трогаться съ мѣста. Теперь предстоятъ новыя средства для самостоятельности женщинъ. Пишутъ, что откроются скоро гласныя суды, рѣчи будутъ записываться стенографически.

— Но это одно предположеніе, — сказала Александра Сергѣевна.

— Женщины еще не знаютъ, что такое стенографія, — сказала Дарья Андреевна.

— Научатся, матушка. Наука не трудная.

— Ну, такъ что же тогда: куда онѣ дѣнутся со своими снимками?

— А будутъ отдавать печатать въ газетахъ.

— При нынѣшней цензурѣ?

— Можетъ быть, тогда и не будетъ цензуры. Но не вытѣснятъ ли женщинъ мужчины? А вотъ, Дарья Андреевна, хорошая штука — это повивальное ремесло. Вы можете поступить въ университетъ или въ петербургскій повивальный институтъ. Тутъ у васъ вѣчный кусокъ хлѣба. Только надо замѣтить, что въ Петербургѣ этихъ бабокъ такъ много расплодилось, что большинство живетъ единственно отдачею комнать подъ постой. А если вы поѣдете въ провинцію — вы будете барыня. Посмотрите, какъ наши губернскія повивальныя бабки живутъ.

— Да онѣ всѣ замужнія, — вѣшалась Александра Сергѣевна.

— Это ничего. Для того на нихъ и женились, что онѣ получаютъ за практику деньги.

— Я въ Ильинскѣ видала бабку. Сперва про нее говорили Богъ знаетъ что, потомъ привыкли.

Пробило два часа ночи и гостыя распрошались съ хозяевами. Хозяйка поцѣловала ее. На квартирѣ у брата всѣ спали, такъ что она едва достучалась.

## XXX.

На другой день Дарья Андреевна отправилась къ Эмиліи Карловнѣ. Эмилія Карловна теперь устроилась иначе. Входъ въ ея магазинъ былъ съ улицы; вывѣска съ картинками была подновлена; въ магазинѣ были диваны и въ двухъ шкафахъ съ стеклянными дверцами висѣли платья, мантильи, шляпки. На двухъ окнахъ стояли двѣ бумажныя головы чучелъ, изображающія скорѣ идоловъ съ индусскими лицами, а никакъ непохожія на европейца. Тутъ же стояли и болванки съ шиньонами и красовались лицомъ къ стекламъ модныя картинки. Въ магазинѣ были также часы и большой столъ, на которомъ лежала какая-то книга. Когда Дарья Андреевна отворила дверь, то въ магазинѣ раздался звонокъ. Въ магазинѣ никого не было. Немного погодя, изъ внутреннихъ дверей за шкафомъ направо вышла дѣвушка годовъ семнадцати, съ чакоточнымъ, изнуреннымъ лицомъ.

— Что вамъ угодно?—спросила она Дарью Андреевну съ нѣмецкимъ акцентомъ.

— Мнѣ нужно Эмилію Карловну.

Дѣвушка ушла. Явилась Эмилія Карловна.

— Батюшки, кого я вижу! Здравствуйте, милая моя. Насилу-то!—и она начала обнимать и цѣловать Дарью Андреевну, а потомъ пригласила съ собою.

Онѣ вошли въ небольшой темный коридорчикъ, изъ котораго было три хода: направо въ швейную, налево въ хозяйское помѣщеніе и напротивъ — въ чуланъ, въ которомъ спали дѣвцы. Эмилія Карловна повела гостью въ швейную.

Тамъ занимались шитьемъ четыре дѣвочки отъ шести до восьми лѣтъ; дѣвушка же семнадцати лѣтъ показывала имъ.

— Вотъ моя швейная. Эти дѣвочки ученицы живутъ на моемъ содержаніи, а это (она указала на семнадцатилѣтнюю) показываетъ имъ. Паулина, спи-ла ты лѣтъ?

— Не совсѣмъ,—отвѣчала дѣвушка.

— Съ тобой не много наработаешь. Работы, Дарья Андреевна, такъ много, такъ много... И я васъ хочу попросить начать съ сегодняшняго дня.

— Я теперь не могу. А вотъ развѣ послѣ Пасхи.

— Да помилуйте, теперь-то и нужна мнѣ мастерица, а послѣ Пасхи работы почти совсѣмъ не будетъ. Пожалуйте сюда.

Петерсонъ повелъ Дарью Андреевну въ свою квартиру, состоящую изъ двухъ комнатъ и кухни.

— Вотъ въ этой комнатѣ я живу, а въ той спать. Хотите кофе?

— Пожалуй.

Стали пить кофе.

— Дарья Андреевна, голубушка! останьтесь у меня. Ей-Богу я совсѣмъ смучилась; никуда нельзя выйти изъ дому. Я вамъ положу по полтора рубли въ сутки.

— Да вѣдь я еще не умѣю кроить.

— О, это пустое!—Я буду сама кроить, и вы научитесь.

— Я, пожалуй останусь, только мнѣ надо повѣстия брата, что я здѣсь.

— Это мы устроимъ: я пошлю съ вашей запиской къ вашему брату дѣвочку. Остаетесь?

— Я васъ, Эмилія Карловна, хочу попросить взять къ себѣ, хотя до праздниковъ, мою сестру, она тоже умѣетъ шить и ей бы пригодились деньги на праздники.

— Но... это ужъ будетъ много... Знаете, мнѣ нужно кормить... тѣсно.

— Я на свой счетъ буду кормить ее, да пожалуй и сама ѣсть стану на свои деньги.

— Ну, вотъ вы и обидѣлись. Но... я право не знаю, какъ...

— Въ противномъ случаѣ, я за эту цѣну несогласна оставаться у васъ.

— Ну, ну! Хорошо. Пусть ваша сестра придетъ. — Такъ вы сейчасъ займетесь?

— Пожалуй хоть сейчасъ.

— Паулина у меня теперь вмѣсто мастерицы. Она нѣмка, дочь мастера, моя крестница, да и дѣвцы почти всѣ изъ нѣмецкихъ семействъ. Если Паулина не будетъ васъ слушаться, вы сказывайте мнѣ, и я ужъ знаю, какъ распорядиться съ ней: такъ отгаскаю за уши — чудо! А съ прочими вы не церемоньтесь — такъ и теребите за уши, иначе не будутъ слушаться.

Итакъ Дарья Андреевнѣ не пришлось погулять на волѣ и она поступила на работу неожиданно. Хотѣлось ей сходить къ Удинцовымъ провѣдать Ольгу Герасимовну, тѣмъ болѣе, что домъ Удинцова отъ магазина Петерсонъ былъ близко: стояло только спуститься внизъ. Но ужъ если она согласилась помочь Петерсонъ, то должна исполнить свое обѣщаніе. тѣмъ болѣе, что полтора рубля въ сутки на улицѣ не найдешь. Работы оказалось дѣйствительно много, и Дарья Андреевна удивилась, зачѣмъ это Петерсонъ набрала столько работы, когда у ней только одна мастерица умѣетъ шить? Или она хотѣла кого-нибудь прихватить къ празднику, но вѣдь до праздника оставалось всего только двое сутокъ... Петерсонъ, давши ей матерію на одно платье, уже скроенное, и наказавши, какъ мастерицѣ, такъ и маленькимъ дѣвочкамъ, слушаться главную мастерицу, ушла изъ дому.

— Провалилась, чертовка! — проговорила одна дѣвочка.

Другія дѣвочки побросали свои лоскутья и стали играть.

— Каролинъ, Анна... Я васъ! — стала унимать дѣвочекъ молодая мастерица.

Дѣвочки высунули ей языки.

Мастерица кинулась на нихъ, но онѣ убѣжали въ коридоръ.

Мастерица пошла туда, вытащила оттуда одну дѣвочку и стала ее щелкать по щекамъ.

— Паулина, я васъ прошу сѣсть на свое мѣсто и работать, — проговорила Дарья Андреевна вполнѣ голосомъ и съ раскраснѣвшимися щеками. Ей неловко казалось разыграть роль старшаго.

Мастерица спросила Дарью Андреевну по-нѣмецки, что она говоритъ?

— Говорите по-русски: вы вѣдь умѣете говорить по-русски.

Мастерица сдѣлала непонимающій видъ и уставилась на Дарью Андреевну.

— Я прошу васъ сѣсть на свое мѣсто и дѣлать то, что вамъ дано, — сказала громко Дарья Андреевна такъ, что ей сдѣлалось совѣстно.

Мастерица не трогалась съ мѣста. Всѣ дѣвочки стояли у стола, за которымъ сидѣла Дарья Андреевна съ работой.

— Говорить она по-русски? — спросила Дарья Андреевна одну дѣвочку.

— Говорить, — сказали всѣ въ разъ.

— Ну, дѣвочки, идите себѣ, поиграйте.

— Да тамъ темно...

— Ну, играйте здѣсь. Я вамъ скажу, когда вамъ пить.

— Эмилія Карловна не позволяетъ имъ играть, — сказала наконецъ мастерица.

— А я позволяю и принимаю это на свой страхъ.

— А вы кто такая?

— Вы слышали это отъ хозяйки. Если вы устали, можете тоже поиграть съ дѣтьми — я вамъ это дозволяю.

— Вы имъ не имѣете право приказывать, я сама мастерица.

— Я этого не отрицаю; только кажется я вѣдь старше васъ лѣтами. Не такъ ли? А если я старше, то вамъ слѣдуетъ слушаться меня, тѣмъ болѣе, что и Эмилія Карловна приказала вамъ это. Вѣдь и я тоже моложе Эмиліи Карловны, а видите, не послушаюсь ея, а шью.

— Да вы только сейчасъ поступили.

— Спросите объ этомъ Эмилію Карловну.

Дарья Андреевна не стала больше возражать и говорить. Она задумалась надъ тѣмъ, какъ ей трудно будетъ ладить съ этой молодой нѣмкой, къ которой, какъ кажется, хозяйка благоволитъ до такой степени, что она позволяетъ себѣ колотить по щекамъ маленькихъ дѣвочекъ. Она не боялась, что эта дѣвушка будетъ на нее жаловаться, потому что Эмилія Карловна знаетъ ее давно; но неприятно то, что придется постоянно съ ней ссориться, и она рѣшилась съ перваго же раза показать, что она больше ея знаетъ и больше ея имѣетъ для Эмиліи Карловны значенія.

— Ну теперь, дѣвушки, садитесь работать, — сказала черезъ полчаса Дарья Андреевна дѣвочкамъ.

— Мы еще побѣгаемъ.

— Эмилія Карловна скоро придетъ.

— Какая Эмилія Карловна? — спросила одна дѣвочка.

— Хозяйка.

— Намъ не велѣно ее такъ называть. Велѣтъ называть мадамъ.

— Ну, садитесь же, я вамъ сахару дамъ послѣ. А вы, Паулина, бросьте вашу книжку.

— Я не хочу работать, потому что вы русская.

— А вы гдѣ живете?

— Я у нѣмки.

— Ну, какъ хотите: вы считаетесь мастерицей и дѣлаете какъ знаете. Вы можете быть думаете, что я стану за васъ пить? Ошибаетесь.

Молодая мастерица сѣла, надувши губы и стала шить.

сочиненіи в. рашетникова, т. II-й.

Дарья Андреевна пошла смотрѣть на работы дѣвочекъ. Всѣ онѣ шили очень дурно и Дарья Андреевна рѣшилась поговорить съ Эмиліей Карловной насчетъ того, чтобы имъ давать что-нибудь легкое, а никакъ не строчень; отобрать же отъ нихъ работу, давшую имъ самую хозяйку, она не рѣшилась. „Пусть портятъ, — имъ что за дѣло“, подумала она и подошла къ Паулинѣ.

— Это вы что шьете?

— А вамъ какое дѣло? Я вѣдь васъ не спрашиваю.

— Послушайте, Паулина, есть пословица: умъ хорошо, два лучше. Поэтому я бы вамъ совѣтовала не корчить такъ складки, выйдетъ некрасиво...

— Не ваше дѣло! — сказала та рѣзко.

— Конечно имъ нѣтъ дѣла, но я, жалѣя васъ, вмѣшиваюсь можетъ быть не въ свое дѣло: вѣдь вамъ придется распоротъ, а вѣдь это двойная работа.

Нѣмка покраснѣла, но стала распарывать. Распоривши, она не знала, чтó ей дѣлать.

— Если вы въ чемъ затрудняетесь — я вамъ покажу, — сказала Дарья Андреевна.

Это до слезъ проняло нѣмку; она кусала со злобы губы, но подойти къ Дарьѣ Андреевнѣ не рѣшалась.

Дѣвочки начали острить надъ Паулиной. Паулина вышла въ магазинъ, Дарья Андреевна взяла ея шитье и на живую нитку наметала складки на лифчикъ.

Въ магазинѣ раздался звонокъ. Потомъ послышался громкій разговоръ Паулины съ какой-то женщиной. Черезъ нѣсколько минутъ въ швейную вошла съ Паулиной женщина годовъ 23—24.

— Я вамъ говорю, что хозяйка уже взяла мастерицу, — говорила Паулина съ сердцемъ.

— Какая ты грубиянка, какъ я посмотрю! Ну, я подожду самое хозяйку, — проговорила вошедшая женщина.

— Дѣвушки, принесите пожалуйста стулъ. А вы, позвольте васъ спросить, въ мастерицы къ г-жѣ Петерсонъ поступаете? — спросила Дарья Андреевна вошедшую женщину.

— Да. Она меня убѣдительно просила поступить къ ней въ закрывающія; у меня у самой дома много работы и я разговала ее своимъ сестрамъ, побѣжала сюда какъ сумашедшая. А теперь что вижу?.. Она меня обманула.

— А она когда васъ приглашала?

— Вчера утромъ.

— Сами виноваты. Еслибы вы пришли сюда пораньше утромъ сегодня, то навѣрно поступили бы. Прощу васъ сѣсть.

— Да нѣтъ, ужъ я пойду.

— Какъ хотите.

Женщина сѣла, но ей не терпѣлось: ей хотѣлось показать себя хорошо смыслящею въ швейномъ дѣлѣ. Она сперва подошла къ дѣвочкамъ.

— Признаюсь!... Да развѣ можно дѣвочкамъ поручать такое шитье? Онѣ только портятъ.

Потомъ подошла къ Паулинѣ.

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Та отвѣтила по-нѣмецки.

— Однако, еслибы я была хозяйка, ни за что бы не поручила вамъ портить дорогую матерію.

Паулина выругала ее по-нѣмецки.

Подожла она и къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Немножко грубовато.

— Дѣло спѣшное.

— Все же... Я удивляюсь, зачѣмъ это г-жа Петерсонъ меня звала, когда у нея уже есть мастерица.

Дарья Андреевна объяснила ей, что она до Рождества работала у Петерсонъ, потомъ захворала и вышла изъ больницы только вчера.

Пришла Петерсонъ и извинилась передъ этой женщиной. Оказалось, что нѣтъ много работы и нѣтъ только одну швею, которая еще не очень хорошо умѣла подбирать полосы и клинья, Петерсонъ, въ виду того, что до Пасхи осталось немного времени, часть работы разсвала по домамъ и пригласила эту женщину на правахъ закройщицы, и тутъ же высказала, когда женщина начала порицать ея магазинъ и ее самое назвала обманщицей, что она, Петерсонъ, и не думала вовсе оставлять ее и послѣ Пасхи закройщицей, а что она нужна ей была только къ праздникамъ.

Женщина раскричалась и Эмилія Карловна почти что выгнала ее въ шею. Проводивши женщину, Эмилія Карловна начала ревизію съ дѣвочекъ. Посмотрѣвши на ихъ работу, она стала ихъ бить.

— Эмилія Карловна! Развѣ можно давать такимъ маленькимъ трудную работу? Ихъ вѣдь еще надо учить, и учить съ чернового, — вступилась за дѣвочекъ Дарья Андреевна.

— Помните, Даша, онѣ у меня уже третій мѣсяцъ живутъ!..

— Но примите во вниманіе, добрая Эмилія Карловна, ихъ лѣта.

— Обѣдали не получите! — сказала хозяйка дѣвочкамъ, отобрала отъ трехъ работу и швырнула ее передъ Паулиной, къ которой и подошла.

— Ну, а ты что?

Осмотрѣвши ея работу тщательнымъ образомъ, она погладила по головѣ.

— Вотъ ты сегодня паниька. Да тебѣ, поди, показали?

— Нѣтъ!..

— Ай врешь!..

— Нѣтъ, я не показывала. Она далеко поидеть, — сказала отъ себя Дарья Андреевна.

Въ магазинѣ раздался звонокъ. Паулина подошла посмотреть, и, вернувшись, сказала, что пришелъ Николай Павловичъ:

— Скажите, чтобы накрывали на столъ. Вы, Даша, будете съ нами обѣдать.

Дѣвочки обѣдали въ кухнѣ. Онѣ хлебали какую-то старую прокислую похлебку. Больше ничего имъ не полагалось, во-первыхъ, потому, что былъ постъ, а во вторыхъ, всѣ онѣ были хозяйкой законтрактованы до 17-ти-лѣтняго возраста, за что Петерсонъ родителямъ или родственникамъ ихъ дала не больше трехъ рублей, обязуясь кормить и одѣвать ихъ. Спали онѣ въ темномъ чуланѣ на полу; только для крестницы ея, Паулины, была поставлена тамъ кровать, но крестница обѣдала съ хозяйкой и платы не получала. Кушанье было скоромное, сытное. Славникъ былъ развѣзетъ и очень говорилъ съ Дарьей Андреевной, что не очень правилось какъ Паулинѣ, такъ и Дарьѣ

Андреевнѣ; но Эмилія Карловна сама поддерживала разговоръ. Время прошло весело. Послѣ обѣда отдыха дѣвочкамъ не полагалось. Дарья Андреевна попросила хозяйку позволить дѣтямъ погулять, но она такъ всплила, что настаивать было неловко.

Когда посланная Дарьей Андреевной съ запиской къ брату и сестрѣ вернулась, то принесла отъ сестры записку такого содержанія: „Милая сестричка, Дашенька! Братъ на тебя очень сердитъ, что ты, не спросивъ его, ушла къ своей мадамъ. У него очень много починки. Я не могу къ тебѣ придти на почочъ, постоянно починиваю брату разные разности. Любящая тебя сестра Марья“.

Прочитавши это письмо, Дарья Андреевна разсѣялась.

— Что сестра ваша?

— Брыки починиваетъ брату.

Хозяйка и Паулина тоже захохотали.

Работали усердно и дружно трое: хозяйка, Дарья Андреевна и Паулина. Въ пятницу на субботу просидѣли до 6-ти часовъ утра и до 8 часовъ утра не спали, а дѣвочки легли въ 12 часовъ и ихъ разбудили въ 6 часовъ, но онѣ все-таки проспали до 8 часовъ. Когда хозяйка въ субботу пошла съ готовыми двумя платьями, Паулина уже не сердилась на Дарью Андреевну и онѣ долго пѣли разные пѣсни. Работали онѣ ровно до 9 часовъ утра перваго дня Пасхи, такъ что христосовались въ два часа, когда пришелъ изъ церкви Николай Павловичъ. Въ девять часовъ стали пить вино, ѣсть колбасу, ветчину и сыръ. Дарья Андреевна получила отъ Петерсонъ три рубля денегъ и приглашеніе придти завтра обѣдать.

— Я надѣюсь, Дарья Андреевна, что вы остаетесь у меня.

— Мы поговоримъ съ вами завтра, а теперь я устала.

И Дарья Андреевна ушла домой усталая и изнуренная. За то она была рада, что заработала въ двое сутокъ три рубля.

XXXI.

Когда Марья Андреевна шла въ квартиру брата, на улицахъ Егорьевска было пустынно, точно всѣ спали въ это время. Магазины и лавки заперты. А погода хорошая: солнце грѣетъ, но слегка; съ рѣки дуетъ легкій вѣтерокъ. На небѣ нѣтъ ни одного облачка. Ледъ на водѣ вздулся, того и гляди, что тронется. Кое-гдѣ изъ трубъ поднимается дымъ; изъ дворовъ несутъ жаренымъ гусемъ, мимо домовъ лежатъ крашенныя скорлупы отъ яицъ, изъ оконъ выглядываютъ принаряженные люди. Наконецъ зазвонили въ колокола; извозчики, до сихъ поръ дремавшіе на своихъ пролеткахъ, пріосанились. Даже собаки изъ нѣсколькихъ подворотенъ вышли на улицы и улеглись, умильно поглядывая на солнышко, — какъ будто и онѣ почували праздникъ. Но вотъ началась ѣзда: идутъ чиновники въ трехуголкахъ и штыль мундрахъ, ѣдутъ купцы въ высокихъ шляпахъ. Это они ѣхали съ визитами. Хотѣла Дарья Андреевна взять извозчика до квартиры брата, но извозчикъ за какія-нибудь полверсты запросилъ рубль серебра.

Братъ и сестра одѣвались. На столѣ у брата лежали: маленький куличъ, взятый изъ кондитерской, сыръ, масло и яйца.

— Куда это вы?—спросила ихъ Дарья Андреевна.

— Съ визитомъ къ Платоновымъ. Одѣвайся и ты,—говорилъ братъ.—А сколько ты денегъ получила?

— Два рубля.

— Ты, сестрица, отдай мнѣ, а то еще потеряешь.

— Нѣтъ, пусть будутъ у меня: мнѣ башмаки надо купить.

— Какъ знаешь. Только сегодня ты едва-ли купишь, потому что всѣ лавки заперты.

Скоро братъ и сестра ушли, а Дарья Андреевна пошла къ хозяйкамъ. Хозяйка стряпала, самъ Морозовъ сидѣлъ на диванѣ съ сыномъ 4-хъ лѣтъ, бойкии мальчуганомъ.

— Хвалю, хвалю!—говорилъ Морозовъ, уже выпившій.

— За что?

— За то, что не захотѣли провести время праздно. А вотъ я очень сожалѣю, что я не сапожникъ и не портной, а то вчера полдня бѣгалъ по своимъ должникамъ, насилу собралъ двѣнадцать рублей и то слава Богу. Ну, что ваша хозяйка?

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ. Дарья Андреевна замѣтила, что Морозовъ что-то ужъ очень часто уходить въ спальню, и какъ только выйдетъ оттуда, языкъ начинаетъ ему извиваться; наконецъ, онъ даже началъ говорить несвязно и ругать кого-то жидомъ. Дарья Андреевна вѣжливо распрощалась съ нимъ, и пришедши домой легла спать.

Когда она проснулась, то Марья Андреевна, была дома; она, сидя у стола, кушала куличъ съ сыромъ.

— Гдѣ была, сестрица?—спросила ее Дарья Андреевна, вставая.

— Была на соборной колокольнѣ, въ саду. Вездѣ скучно. Обѣдать хочу.

— Можетъ быть тамъ въ кухнѣ у хозяйки и есть что-нибудь.

— То-то что нѣту. Я не замѣтила, чтобы братъ что-нибудь покупалъ.

Дарья Андреевна пошла въ кухню. Оказалось, что братъ ничего не заказывалъ сварить или изжарить.

— Вы не безпокойтесь, пожалуйста, я вамъ принесу всего, чтѣ у насъ есть. Мы уже пообедали, но щи, поросенокъ и каша въ печкѣ.

— Мы вамъ заплатимъ за это,—сказала Дарья Андреевна.

Но хозяйка отъ платы отказалась, а попросила у Дарьи Андреевны замѣстообразно рубль сер. денегъ.

Первый разъ еще приходилось Дарьѣ Андреевнѣ справлять такимъ образомъ Пасху, но за то она имѣла свои деньги и могла заплатить за кушанье хозяйкѣ. Хотѣлось ей починить свои платья—комодъ запертъ; хватилась она той книжки, что далъ ей Морозовъ,—сестра ей сказала, что братъ и книгу заперъ, опасаясь, чтобы ее не украли.

Противна показалась Дарьѣ Андреевнѣ эта квартира и она пошла на прежнюю квартиру къ Удиновымъ. Но тамъ ждало ее новое горе. Оказалось,

что Ольга Герасимовна на второй недѣлѣ великаго поста померла. Умирая, она завѣщала Дарьѣ Андреевнѣ теплую мужнину шубу, свое теплое пальто, кофейникъ, чайникъ, платокъ и образъ Тихвинской Божіей Матери.

— А что, квартира у васъ не занята?—спросила Дарья Андреевна Елену Никоновну.

— Нѣтъ. Кто здѣсь найметъ. Вотъ развѣ лѣтомъ найметъ какой-нибудь приказчикъ съ барки. А ты переходи. Только теперь ужъ я съ тебя возьму три рубля.

Дарья Андреевна согласилась и, отдавши задатокъ, осмотрѣла обѣ комнаты. Пусто и мрачно было въ комнатахъ ея сосѣдки; чѣмъ-то нехорошимъ пахло, точно кто-нибудь здѣсь померъ или нѣсколько мѣсяцевъ лечился лекарствами. Слезы прошибли Дарью Андреевну и она вышла изъ нея. Въ ея же комнатахъ все было по старому.

— Такъ я къ вамъ, Елена Ивановна, переѣду завтра.

— И переѣзжай. Я больно тебѣ буду рада. А лѣтомъ у насъ весело. Богъ дастъ, Максимко будетъ тебя съ Татьяной за Волгу возить.

Дома она застала брата.

— Братецъ, сколько я тебѣ должна за леченіе?—спросила она брата.

— А что?—спросилъ тотъ, очень удивленный ея вопросомъ.

— Я хочу переѣхать на старую квартиру, такъ мнѣ хочется покончить съ тобой счеты.

— Какіе счеты? что ты, Господь съ тобой! Да какъ же ты это отъ меня-то уходишь?

— Мнѣ тамъ лучше нравится.

— Не дури пожалуйста. Платоновы тебя звали завтра обѣдать вѣстѣ съ Машей. Вѣдь завтра Марья Никоновна именинница.

— Мнѣ нечего тамъ дѣлать.

— Ей-Богу, ты меня выводишь изъ терпѣнія!

— Вольно же тебѣ сердиться.

И она ушла къ Морозовымъ, у которыхъ просидѣла далеко за полночь.

Утромъ она опять пришла къ брату.

— Братъ, гдѣ мои вещи?

— На что?

— Я уже сказала, что ѣду на прежнюю квартиру. Неужели ты не знаешь моего характера!

— Изволь!—И братъ съ сердцемъ отперъ ящикъ комода и выбросилъ ея вещи.

— А деньги?

— Деньги я отдалъ за леченіе,—отвѣтилъ онъ сухо.

Дарья Андреевна простилась съ братомъ холодно. Марья Андреевна плакала, уговаривала ее не ходить на квартиру, а идти вѣстѣ съ ними къ Платоновымъ, но Дарья Андреевна пошла.

— Послушай, сестра: если съ тобой случится какое-нибудь несчастье, ты ужъ на меня не рассчитывай.

— Я васъ и не просила.

И она ушла.

Слезы душили ее, когда она шла по этому пере-

улку. Все, что было въ немъ, казалось ей противнымъ, кромѣ однихъ Морозовыхъ, съ которыми она не захотѣла проститься, потому что ей не хотѣлось обнаружить передъ ними скаредность брата. А изъ оконъ попрежнему глядѣли мужчины и женщины; качавшаяся на качеляхъ молодежь останавливала веревки и смотрѣла на нее. Всѣмъ казалось странно, что молодая дѣвушка идетъ на второй день праздника съ узломъ.

— Куда это вы, барышня, съ узломъ-то?—спрашивали женщины.

— На квартиру, — отвѣчала Дарья Андреевна.

— Али не пожилось у братца-то?

Дарья Андреевна, не отвѣчая, шла молча и слышала мужской хохотъ.

На большой улицѣ она наняла извозчика и въ этотъ день обѣдала у Петерсонъ, съ которой и стоворилась быть у нея закройщицей за десять рублей въ мѣсяцъ.

— Теперь работы будетъ мало; развѣ-развѣ передъ чьими-нибудь именинами или балами. Дай бы Богъ, чтобы губернаторъ пріѣхалъ новый: тогда барыни завалили бы меня работой. А вотъ въ Рождеству, масленицѣ и Пасхѣ я вамъ буду прибавлять по пяти рублей. Жить конечно вы должны на квартирѣ; можете тамъ и шить на себя.

Однимъ словомъ Петерсонъ была очень любезна съ Дарьей Андреевной, — любезна даже до того, что дала ей впередъ пять рублей и просила навѣщать ее послѣ обѣда часовъ въ шесть.

„Ну, теперь, слава-Богу дѣла мои устроились. На десять-то рублей я проживу какъ-нибудь“, думала она, идя домой. Вечеромъ она пила чай у хозяйки и та сбавила съ нея за комнату цѣлый рубль.

Въ этотъ день у Платоновыхъ былъ обѣдъ и балъ по случаю дня ангела жены Елизара Аникіевича, Марьи Никоновны. У Платоновыхъ, какъ у богатыхъ людей, было въ обычаѣ справлять именины каждаго члена ихъ семьи, будь онъ хотя и спеленатый младенецъ; но именины старшихъ, какъ-то: его самого, жены и старшаго сына, справлялись самымъ торжественнымъ образомъ. Такъ и въ этотъ день приглашены были всѣ тузы города, начиная съ губернатора. Съ поздравленіемъ пріѣзжали даже и архіереи съ ректоромъ семинаріи, но они обѣдать не остались, а ограничились простою закускою. Надо замѣтить, что домъ Платонова былъ громадный, двухъ-этажный, каменный, съ колоннами, и выходилъ на набережную. При немъ былъ большой садъ съ прудомъ, на которомъ было три острова, носившіе разные названія. Балы или обѣды обыкновенно бывали въ огромной залѣ съ хорами; эта зала вмѣщала въ себѣ свободно семьсотъ человѣкъ, и въ ней обыкновенно давались спектакли и разные любительскіе вечера. По случаю праздника у Платонова сегодня было много народу; даже дамы поторопились поскорѣе кончить свои визиты, чтобы попасть на обѣдъ. Описывать обѣдъ съ его обществомъ, разговорами, рѣчами и то-ч не стану; скажу только, что во все время на играла музыка, собранная изъ театрального и изъ музыкантовъ дворянскаго собранія;

гости вели себя чинно, хозяинъ держалъ себя съ достоинствомъ; мелкія сошки, въ родѣ совѣтника Яковлева и госпожи Телѣжниковой, молчали или говорили вполголоса съ сосѣдами; душою же всего общества былъ молодой Семенъ Елизаровичъ, остроумецъ котораго свѣдался даже самъ губернаторъ.

Такъ-какъ Кузьма Андреевичъ и Марья Андреевна были люди маленькіе, и имъ не подобало сидѣть за однимъ столомъ съ такими важными лицами, то Елизаръ Аникіевичъ отрядилъ Кузьму Андреевича присматривать за лакеями, чтобы они не украли серебра и не напились пьяны, а Марью Андреевну — наблюдать за исправностію женской прислуги. Само собою разумѣется, по окончаніи официального обѣда, кончившагося въ семь съ половиною часовъ, имъ велѣно было обѣдать съ нянькой и гувернанткой. Послѣ обѣда половина гостей развѣхалась отдохнуть до танцевъ, а половина разошлась по комнатамъ играть въ карты.

Вдругъ лакеи приходятъ въ столовую, гдѣ обѣдали Кузьма Андреевичъ съ сестрой и другіе.

— Пожалуйте, васъ требуетъ совѣтникъ Яковлевъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ Кузьмѣ Андреевичу.

— Гдѣ онъ?

— Въ кабинетъ его пр-ва.

Когда Кузьма Андреевичъ явился туда, въ кабинетѣ былъ и самъ Платоновъ, но онъ, при появленіи молодого Яковлева, тотчасъ же вышелъ. Совѣтникъ лежалъ на кушеткѣ съ разстегнутымъ жакетомъ и курилъ сигару.

— Здравствуй, заноза! — сказалъ онъ и протянулъ племяннику руку.

Племянникъ не понималъ: шутилъ съ нимъ дядя, или нѣтъ.

— Бери, не бойся.

Племянникъ взялъ руку. Дядя крѣпко ее стиснулъ.

— Ты на меня сердился? — спросилъ онъ племянника.

— Нѣтъ.

— То-то. Если ты и сердился, такъ я не боюсь. Я вѣдь тебя хотѣлъ только поуготать немножко. Хочешь получить ту должность, которую ты просилъ?

— Да она уже занята.

— Я того переведу на другую вакансію. Хочешь?

— Хочу, только не требуйте жертвъ.

— Дуракъ! Я вамъ благодарствую, а онъ говорить про какія то жертвы. Оселъ! Что Дарья?

— Ушла въ магазинъ.

— Ну!

И дядя махнулъ рукой.

— А Марья?

— Марья здѣсь.

— Пошли-ка ее сюда. Завтра можешь принести прошеніе о переводѣ. Денегъ мнѣ не надо.

Пришла Марья Андреевна. Исполнитъ Аполлоновичъ сѣлъ.

— Христосъ воскресъ! — сказалъ насмѣшливо дядя, и помахивалъ ее къ себѣ рукой, такъ какъ она стояла у порога.

Марья Андреевна не шла.

— Чтѣ жъ ты? Я вѣдь не собака, не кусаюсь... не нехристь.

Марья Андреевна подошла, дядя облобызавъ ее и усадилъ съ собой рядомъ.

— Ну, матушка, что вы подѣлываете?

Щеки Марьи Андреевны покраснѣли, и она не знала, что ей сказать.

— Что вы думаете дѣлать?

— Не знаю, дяденька.

— По стопамъ сестрицы хотите идти? Прекрасно. А позвольте васъ спросить: есть ли у васъ хотя сотая доля того таланта, какой имѣетъ Дарья Андреевна?

У Марьи Андреевны зарыбило въ глазахъ.

— Вы думаете, что Дарья Андреевна блаженствуетъ!.. Хотѣлось бы мнѣ видѣть васъ такою: безъ хлѣба, безъ квартиры, безъ родни.

У Марьи Андреевны пошли слезы изъ глазъ.

— Что же мнѣ дѣлать, дяденька?

— Выйти замужъ за того, кого я предлагалъ.

— Онъ мнѣ не нравится, за другого бы...

— Э! Губа-то у тебя не дура. Да ты-то пойми, что онъ — человѣкъ дѣльный, любимъ начальствомъ, имѣетъ свой домъ. А если онъ пьетъ, такъ кто же изъ насъ не пьетъ! Согласна ты за него замужъ?

Марья Андреевна молчала; она глотала слезы.

— Если ты не согласишься, то я твой поступокъ — помнишь, хотѣла удавиться — я его разглашу...

— Дяденька!..

— Согласна?

— Согласна.

Дядя поцѣловалъ ее. Въ кабинетъ вошла Анна Николаевна. Увидѣвъ мужа съ племянницей, она свирѣпо взглянула на него, но онъ тотчасъ же объявилъ ей о согласіи Марьи Андреевны выйти замужъ за Соколова, и что ихъ, то-есть Кузьму Андреевича, Дарью Андреевну и невѣсту можно принимать.

— Дѣлайте, какъ знаете. Не знаю, изъ-за чего вы всякнѣ... благодарствуйте.

— Ну, ну, пожалуйста!..

И онъ всталъ.

— Ты, Марья, можешь жить у брата до Ооинной недѣли. На Ооинной будетъ твоя свадьба. Приходите завтра съ братомъ къ намъ; у насъ будетъ и женихъ твой.

— Что мнѣ дѣлать, братецъ: вѣдь я дала согласіе дядѣ, что выхожу за Соколова, — говорила Марья Андреевна брату, когда они шли домой уже на разсвѣтъ.

— Это до меня не относится; а если дала слово — дѣлать нечего.

— Страшно...

— Ничего нѣтъ страшнаго; привыкнешь.

### XXXII.

Прошло три мѣсяца послѣ описанныхъ происшествій. Кузьма Андреевичъ служилъ подъ начальствомъ дяди помощникомъ бухгалтера, а Марья Андреевна наслаждалась замужествомъ, жила съ мужемъ въ его ветхомъ домѣ и жизнью своею была довольна. Супругъ ее любилъ, деньги приносилъ въ цѣлости, а главное, не пьянствовалъ сильно: онъ хотя и выпивалъ, но въ мѣру; случалось, приходилъ онъ и пьяный домой изъ гостей, но не буйствовалъ и не дрался. Супруги сошлись, то-есть были пара другъ дружѣ; Марья Андреевна была лѣнива: управившись въ кухнѣ, если не было починки, спала; мужъ былъ невзыскателенъ: ему только бы обѣдъ былъ изготовленъ по его вкусу, постель хорошо убрана и жена была дома. Послѣ обѣда онъ спалъ, послѣ сна пилъ чай и уходилъ на службу, или въ гости поиграть въ ступолку, послѣ этого спалъ; утромъ, послѣ чаю, уходилъ на службу. Даже по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ онъ уходилъ въ палату, а оттуда въ церковь. Дома, несмотря на то, что у него была жена, ему было скучно; онъ такъ привыкъ къ своей палатѣ и товариществу, что закроясь палата на недѣлю, или хоть провалилась она, онъ и тутъ сталъ бы ходить кругомъ своего облюбованнаго мѣста. Кромѣ своей счетной части, ничего онъ не смыслилъ, и если ему приходилось сочинять докладъ, то онъ составлялъ по образцу старыхъ докладовъ, а самъ изъ своей головы онъ ничего не могъ выдумать, потому что передъ его глазами постоянно мелькали счеты и цифры. Онъ не читалъ никакихъ книгъ, и если дома ему нечего было дѣлать, онъ сидѣлъ у окна, мурлыкалъ пѣсни духовнаго содержанія и барабанилъ по столу, окну или стулу. Этимъ и объясняется его молчаливость, которая стала переходить и на Марью Андреевну. Кромѣ скотскихъ ласкъ, у него другихъ разговорныхъ обращеній съ женою не было. Встанутъ они — кухарка уже поставила самоваръ, молча умоются, молча усядутся пить чай.

— Иванъ Петровичъ, что сегодня приготовить? — спроситъ его жена.

— А? — спроситъ мужъ, какъ будто не дослышавшій словъ жены.

Жена повторитъ вопросъ.

— Что хочешь.

— Все-таки... Тебѣ, можетъ быть, не понравится. Что хочешь? Щи, жаркое, кашу?

— Я хочу телятины.

— Ну, телятину.

Станетъ онъ одѣваться.

— Ты бы драповыя брюки надѣлъ. А эти, смотри, съ дырой.

— А?

Жена повторитъ.

— Ладно и эти.

Одѣвшись, мужъ уходитъ, не простясь съ ней, но ему нравится, что жена провожаетъ его за ворота.

И Марья Андреевна не жалуется. У нея даже отпала охота ходить куда-нибудь гулять. Впрочемъ у нихъ была корова, курицы, огородъ, за которымъ Марья Андреевна усердно ухаживала. Только за обѣдомъ, выпивши водки, мужъ былъ говорливъ, но тутъ онъ разсказывалъ, за что его похвалялъ советникъ, за что советникъ обругалъ такого-то столоначальника и т. п. въ родѣ этого. Марья Андреевна въпрочемъ жизнь постоянно дала на четвертый мѣсяцъ стала надобдывать; кромѣ рынка и лавочекъ она нигде не ходила, даже не бывала у своей сестры, которая у нея бывала нѣсколько разъ. Мужъ не позволялъ ей ходить, и принимать велѣлъ только свою

родину, особенно Кузьму Андреевича, съ которымъ былъ очень друженъ; онъ даже и въ церковь не пускалъ ее, подъ тѣмъ предлогомъ, что ей нужно стряпать. На гулянья онъ не любилъ ходить, отзываясь тѣмъ, что ему противно; но онъ въ душѣ сознавалъ, что онъ маленький чиновникъ и ему не слѣдуетъ гулять съ женой среди аристократіи. Онъ самъ некрасивъ, да и жена некрасива—сидѣть будутъ... И шелъ къ сосѣду, помощнику столоначальника той же палаты, у котораго жило трое нахлебниковъ, играть въ бабки.

Такъ и шло время. Наконецъ Марья Андреевна почувствовала, что она беременна, но ей совѣстно было сказать объ этомъ мужу. Однако, сказала.

Мужъ улыбнулся, потомъ задумался, но ничего не сказалъ.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этого умеръ отъ удара Ипполитъ Аполлоновичъ. На похоронахъ его конечно были всѣ служащіе, и всѣ переписались. Вотъ съ этого-то времени и началась для Марьи Андреевны каторжная жизнь. Она еще не знала того, что ее мужъ пьетъ запоемъ и въ это время дѣлаетъ страшныя безобразія. И если бы она была женщина разсудительная, то могла бы его сдержать, но она хотѣла вытрезвить мужа крикомъ, руганью, упреками, тѣмъ, что онъ заѣлъ ее жизнь; стала просить начальство выдавать жалованье ей, а не мужу, и этимъ много вредила мужу. Черезъ мѣсяцъ его пьянства, его лишили должности, а черезъ двѣ недѣли уволили въ отставку. Это сильно возбѣсило Соколова. Онъ сталъ бить жену, упрекая ее тѣмъ, что она вышла за него ни съ чѣмъ, а единственно изъ-за его должности, вымогалъ отъ нея вещи; такъ, въ какіе-нибудь три мѣсяца она продала корову, заложила свой салонъ и подвѣнечное платье. Марья Андреевна стала бѣгать изъ дома, ночевала то у сестры, то у брата, мужъ гонялся за ней, дѣлалъ сцены Кузьмѣ Андреевичу и Дарьѣ Андреевнѣ; но передъ послѣдней всегда умирался.

— Пожалуйте вы вашу жену: вѣдь она беременна,—говорила Дарья Андреевна.

— Она меня не жалуетъ; она у меня шестьдесятъ рублей украла, когда я былъ трезвый.

— Врешь, подлець!—говорила на это Марья Андреевна.

— Ну, вотъ видите, она ругается. А вотъ если бы вы были моя жена, я бы такъ не пилъ. А то я ее купилъ изъ-за должности. А какъ благодѣтель умеръ, меня и вонъ.

— Поступите на другое мѣсто.

— И поступлю.

А тутъ уже и пить не на что было, потому что у пьянаго являлась охота ходить. Богъ знаетъ куда, гдѣ у него и вытаскивали деньги; такъ, забравшись съ шестидесятью рублями, отнятыми у жены, въ одинъ домъ, куда непринично ходитъ женатому человѣку, онъ тамъ ночевалъ, но за то у него тамъ всѣ деньги вытащили. Сталъ онъ клянитъ, просить съ угрозами, и радъ былъ каждой гривнѣ, и наконецъ дошелъ до бѣлой горячки.

Вылечившись отъ этой болѣзни, онъ далъ зарокъ не пить больше водки, отслужилъ благодарственный

молебенъ о своемъ выздоровленіи и дѣйствительно недѣли три не пилъ водки ни капли и въ это время такъ зарекомендовалъ себя съ хорошей стороны, что ему въ губернскомъ правленіи дали должность помощника экзекутора, а Марья Андреевна успѣла уплатить половину долговъ за свой салонъ. Ребенка она родила мертвого; на похоронахъ было человѣкъ пять товарищей Соколова. Соколовъ попробовалъ выпить и напился пьянъ. Жена стала ругать его; мужъ запилъ слегка. Предчувствуя запой мужа, жена пустила въ лишнюю комнату холостого чиновника съ хлѣбамъ за восемь рублей въ мѣсяцъ. Мужъ сталъ ревновать, придираться къ чиновнику и запилъ. Опять пошло все вверхъ дномъ: онъ сталъ бить жену, жена бѣжала, онъ закладывалъ послѣднія вещи, и когда уже нечего было закладывать, просилъ у товарищей. Наступила зима. Изъ губернскаго правленія его прогнали, онъ поступилъ въ судебную палату на переписку и хотя пилъ, но на службу являлся. Теплой одежды у него не было. Вотъ онъ и рѣшился попросить у Дарьи Андреевны шубы, что благословила ей старуха Мартыновна.

— Дарья Андреевна, голубушка, дайте, мнѣ шубу. Она у васъ такъ лежитъ, а мнѣ пригодится,—умолялъ онъ Дарью Андреевну.

— А если вы проплетете?

— Провалиться мнѣ на семь мѣстъ!

Дарья Андреевна дала. На другой день приходитъ къ ней Марья Андреевна избитая и плачетъ.

— А шуба на немъ?—спросила Дарья Андреевна.

— Какая шуба?

— Да я ему дала мартыновскую.

— Зачѣмъ же ты дала-то?

— Какъ зачѣмъ? Просить. Вѣдь холодно. Я думала, что я этимъ принесу пользу.

Черезъ день приходитъ къ Дарьѣ Андреевнѣ Соколовъ.

— Душечка, сестричка, дай полтинникъ.

— А шуба?

— Заложена.

— Гдѣ? я выкуплю.

— Не скажу.

Такъ и пропала мартыновская шуба. Искала ее Дарья Андреевна и на толкучкѣ, но не нашла.

Но Соколовъ не одною Дарьей Андреевною, но и простотой другихъ пользовался; онъ надувалъ даже и такого человѣка, какъ Кузьма Андреевичъ; такъ надобѣсть, что тотъ, чтобы только отвязаться отъ него, дастъ гривенникъ.

Разъ Соколовъ приходитъ къ Кузьмѣ Андреевичу. Тотъ свѣрнулъ счеты.

— Братъ! Дай мнѣ пять рублей!

— Что у меня, банкъ, что ли, для тебя?

— Дай! Иначе — въ Волгу брошусь. Мнѣ нужно кольцо выкупить.

— Нѣту у меня денегъ.

— Ну, значить ты жидъ... Ну, дай хоть рубль.

— Уйди вонъ, мнѣ некогда.

— Не дамъ.

— А если я дѣло украду и продамъ?

— Отвяжись ты отъ меня!—проговорилъ свѣрну Соколовъ и бросилъ ему пять копѣекъ.



Черезъ день послѣ этого его арестовали за кражу дѣла.

Марья Андреевна плакала, проклиная свою судьбу, себя и дядю, устроившаго ей такую жизнь. Но поправить уже было нельзя.

### XXXIII.

Ни на Пасхѣ, ни на Ошениной недѣлѣ въ магазинѣ Петерсонъ не было работы со стороны, а чтобы дѣвушкамъ не жить у нея даромъ и ѣсть ей хлѣбъ, она придумала для каждой изъ нихъ различный родъ занятій: такъ одна должна была чистить посуду и послѣ этого починивать ей старыя платья; другая — мести полъ, смотать шнуръ и что-нибудь распарывать, выдергивать нитки; третья должна была цѣлый день возиться съ шпильками, четвертая — сшивать разнообразные лоскутки для одѣяла. А чтобы не оставлять праздными Паулину и Дарью Андреевну, она и для нихъ придумала средства: такъ, Дарья Андреевна поручила перешить свой лисій салонъ, а Паулину заставила перешить своему сыну зимнее пальто. Такъ что, въ сущности, всѣ были заняты на хозяйку и поэтому дѣлали не торопясь. Но Дарья Андреевна думала, что пожалуй Петерсонъ не заплатитъ ей денегъ, и черезъ двѣ недѣли послѣ Пасхи рѣшилась переговорить съ ней.

— Я думаю, милая Эмилія Карловна, вамъ лучше распустить всѣхъ насъ, а то за что же я-то буду получать деньги?

— Ну, ужъ это дѣло мое.

— Да помните, мы работаемъ только до обѣда.

— А! вамъ не нравится на меня работать? Такъ не угодно ли вамъ шляпки шить?

Стала Дарья Андреевна шить шляпки. Сперва работа показалась трудною, но потомъ понравилась, тѣмъ болѣе, что за матеріей, тилемъ, лентами и цвѣтами Эмилія Карловна посылала въ магазинъ ее, и она съ двумя, тремя купцами успѣла такъ сойтись, что они предлагали ей работу: одинъ дѣлать цвѣты, другой — вязать кружева, и такъ какъ она за два дѣла взялась не могла, то согласилась вязать кружева но тѣмъ рисункамъ, какіе имѣлись у купца, на очень выгодныхъ условіяхъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Ледъ уже давно прошелъ на Волгѣ. Волга разлилась до того, что чуть-чуть вода не дошла до огородовъ, принадлежавшихъ домамъ, противоположнымъ тому порядку домовъ, въ одномъ изъ которыхъ она жила. Погода была хорошая; окно у Дарьи Андреевны, когда она была дома, было постоянно открыто и она сидѣла съ работою около него, часто взглядывая на величественную и бурную рѣку, по которой плыли сотни барокъ и судовъ съ десятками тысячъ голоднаго народа, спроваживая богатства въ дальнія губерніи, а можетъ быть и за границу, по которой со свистомъ плыли пассажирскіе и съ баржами пароходы, на которой не умолкала дѣятельность ни днемъ, ни ночью. Это весеннее время давало здѣшнимъ мѣщанамъ доходъ, потому что каждый домъ былъ наполненъ бурлаками, судорабочими, приказчиками, промерзшими на водѣ до костей, жаждавшими теплою, вкусною и сытною пищею. Они здѣсь

находили добрыхъ хозяекъ, ласковыхъ хозяевъ, никогда ни съ кого не требующихъ паспортовъ, находили здѣсь горячую баню, теплый уголь, горячія, вкусныя щи, хлѣбъ и кашу, за что съ нихъ брали не болѣе десяти копѣекъ съ человѣка, такъ что имъ и въ городѣ ходить было незачѣмъ, а если и ходили бурлаки, или судорабочіе, или приказчики въ городъ, то первые — поглазѣть на невиданныя диковинки или показать эти диковинки товарищамъ, еще не бывшимъ здѣсь, а приказчики, — чтобы погулять съ дѣвками. Такъ и у Удинцова въ домѣ помѣщалось до пятнадцати человѣкъ бурлаковъ и судорабочихъ, а въ той комнатѣ, въ которой жила старушка Мартынова, помѣщалось трое приказчиковъ. И весело же было Дарья Андреевна: далеко за полночь судорабочіе, успѣвшие выспаться днемъ, играли на гармоникахъ и балабайкахъ и пѣли пѣсни; только сосѣди недоумѣвали ея своимъ залихватскимъ пьянствомъ и непріятными для слуха дѣвушки выраженіями; случалось, что они пьянствовали и играли въ карты до утра, и она слышала, какъ кто-нибудь изъ нихъ ходилъ за пивомъ и водкой въ кабакъ, находившійся въ домѣ Удинцова, въ которомъ торговалъ сынъ его, Максимъ Петровичъ.

Жизнь Дарьи Андреевны шла незамѣтно для нея. Утромъ она вставала рано, убирала комнату или стирала бѣлье въ снѣгахъ, починивала или вязала, пила кофе и шла на работу; послѣ обѣда — она обѣдала у Удинцовыхъ за четыре рубля въ мѣсяцъ — ей неудавалось спать, потому что ей нужно было сходить въ бібліотеку за книжкою, а книжки она читала скоро. Была она и въ театрѣ раза два, но ей отчего-то скучно тамъ сидѣлось.

Къ Троицѣ появилась въ магазинѣ работа, такъ что уже некогда было вязать кружева и читать книжки. А такъ какъ работы было не очень много, то хозяйка предоставила магазинъ въ ея полное распоряженіе. Теперь уже она умѣла кроить и шить что угодно; у нея появилось нѣсколько знакомыхъ мастерицъ изъ другихъ магазиновъ; отъ нихъ она узнала, что жизнь закройщицъ вездѣ одинакова, только платы онѣ получали больше Дарьи Андреевны. Однако Дарья Андреевна не хотѣлось отходить отъ Петерсонъ, которая плату ей не задерживала и, работая у нея, онѣ получала, какъ я уже сказала, отъ купцовъ работу на домъ. Петерсонъ на нее не кричала, а была всегда вѣжлива, Паулина не ссорилась, а совѣтовалась съ Дарьей Андреевной; дѣвочки ее любили за то, что она позволяла имъ играть, покупала имъ изрѣдка бѣлый хлѣбъ, упростила хозяйку поставивъ въ чуланѣ для нихъ двѣ кровати, на что даже сама пожертвовала полтинникъ, а по воскреснымъ днямъ отпрашивала ихъ отъ Петерсонъ къ себѣ, гдѣ онѣ и проводили цѣлый день. Дома она учила ихъ грамотѣ, читала басни и объясняла то, что сама знала. Бывалъ у нея и Морозовъ, который тоже съ своей стороны что-нибудь рассказывалъ дѣвочкамъ и свѣдѣлъ ихъ до слезъ. Она такъ привязалась къ дѣвочкамъ, ей такъ хотѣлось сдѣлать имъ много хорошаго, что она почти всѣ лишнія деньги расходовала на нихъ. При такомъ порядкѣ вещей деньги у нея не водились и она часто принуждена

была уходить изъ дому безъ кофе и не жечь по по-чамъ свѣчи. Но все-таки ей было пріятно, что она хоть и бѣдна, но живетъ своимъ трудомъ. Но и эта жизнь начала ей надоѣдать. Сидеть она къ окну, уставится она глазами на рѣку и задумается. Долго она думаетъ, а о чемъ—и сама не умѣетъ дать себѣ отчета: все какія-то строчки, петли, кружева... Скучно, сердце щемитъ. Завтра надо вставать рано, идти въ магазинъ... Не пошла бы—да нельзя; все равно хозяйка пошлетъ и сочтетъ ее за лѣнивую, пожалуй еще вычтетъ изъ жалованья. Нѣтъ человека такого, съ которымъ бы можно было въ эту прекрасную ночь сидѣть у окна или прокатиться по рѣкѣ. А говорить хотѣлось, и много бы хотѣлось высказать. „Что это за жизнь!“, думала она, глядя на рѣку. „Одна и одна. Денегъ нѣтъ, работа трудная, надоѣло; другую бы... Но какую? Вонъ сестра замужемъ и говоритъ—счастлива, братъ тоже кажется счастливымъ“. И тутъ ей припомнились замѣченные ею воздушные поцѣлуи, и сердце опять щемило Богъ знаетъ отчего. „Вонъ у каждой мастерицы есть любовники... Носить они шелковые платья. А я? Нѣтъ, я не хочу такъ жить, а если полюблю кого—ну, тогда... Нѣтъ, страшно идти замужъ. Надо сперва нажить свои деньги, чтобы мужъ не упрекнулъ меня ничѣмъ, чтобы я была независима отъ него“.

И чѣмъ дольше она жила, тѣмъ больше ощущался недостатокъ во всемъ. Купила отъ остатковъ жалованья ботинки—и всѣ деньги; рубашки рвутся, одно платье и починывать трудно, на другое заплатить не подберешь. Стала она больше прежняго работать на кушцовъ, но какъ ни сиди, какъ ни напрягай силъ, а больше того, что можешь сдѣлать—не сдѣлаешь. Посмотрится она послѣ безсонной ночи въ зеркало—лицо блѣдное, худое, некрасивое. И спрашиваетъ она себя: „зачѣмъ я пнурю себя? Для кого это я стараюсь и для чего?“. Но тутъ же является и разрѣшеніе этого вопроса: „а квартира, кушанье, одежда? Вѣдь ты не у родни, не у мужа живешь, не воруетъ, не кланяешься деньгѣмъ“...

А счастье, разсуждая съ точки зрѣнія Кузьмы Андреевича и подобныхъ ему людей, почти было въ ея рукахъ, она этого не замѣчала. Всѣ любезности къ ней Петерсонъ она относилъ къ своему усердію; на замгиванія же ея сына, Николая Павловича, она отвѣчала насмѣшками. Онъ теперь казался ей еще пошлѣе прежняго, потому что ему не мѣшала. Но не такъ думали мать съ сыномъ. Мать думала, что сынъ уже достигъ своей цѣли, что ея мастерица до того влюблена въ него, что души въ немъ не чаетъ, и торопила его жениться на ней, тѣмъ болѣе, что ей было досадно то, что Дарья Андреевна беретъ отъ кушцовъ на домъ работу и нѣкоторымъ образомъ подрываетъ ее ремесло; но она заблаговременно радовалась тому, что если Дарья Андреевна будетъ женою Славина, то у нея будетъ много работы, тѣмъ болѣе, что и дѣвочки любятъ ее. Но Славинъ Дарью Андреевну не любилъ. Хотя онъ и разсорился и разошелся окончательно съ мѣщанкой Гавриловой и не могъ жить безъ привязанности къ кому-нибудь, но Дарья Андреевна не подходила подъ его характеръ. Ему нужна была женщина здоровая, немножко вѣтрелая,

но такая, которая бы во всемъ слушалась его и ни въ чемъ не перечила. Дарья же Андреевна на видъ была хилая, острела надъ нимъ, ни во что ставила его чиновичество и никакъ не допускала, чтобы онъ ее обнялъ. Но хотя онъ ее и не любилъ, а жениться ему все-таки хотѣлось на ней для того, чтобы завладѣть этой гордачкой и попробовать на ней свои кулаки и потомъ продолжать жить по старому. Онъ сознавалъ не хуже матери, что такая жена доставитъ магазину много работы, и ему тогда снѣло можно забирать у жены деньги на карточную игру. Наконецъ, онъ пересталъ ухаживать за нею дома и сталъ приглашать ее гулять, или въ театръ, но Дарья Андреевна отказывалась. Общались она ему пріидти въ Троицу въ садъ, но просила, а потомъ читала книгу. И только тридцатаго августа, когда она гуляла на набережной съ Марьей Андреевной, ему удалось погулять съ ней, но тутъ сказать ничего не пришлось, потому что Дарья Андреевна повела свою сестру къ себѣ ночевать.

— Позвольте васъ проводить до дому?—напрашивался Славинъ.

— Извольте, если угодно.

Когда они подошли къ калиткѣ удинцовскаго дома, Славинъ спросился къ ней въ комнату. Она пустила. Немного погодя Славинъ вызвалъ ее въ сѣни.

— Что вамъ угодно?—спросила его Дарья Андреевна.

— Дарья Андреевна... можно къ вамъ ходить?

— Ходите.

Онъ ее обнялъ, но Дарья Андреевна вырвалась, убижала и заперла дверь. Поступокъ Славина ее жестоко оскорбилъ.

Славинъ сталъ стучаться.

— Кто тамъ?

— Это я. Я перчатки позабылъ.

— Никакихъ нѣтъ перчатокъ.

Такъ Славинъ и ушелъ.

На другой день, когда Дарья Андреевна пришла къ Петерсонъ, хозяйка была сердита: дѣвочки были въ слезахъ, у Паулины волосы были взбиты.

— Вы очень поздно стали ходить. Больно важны сдѣлались,—проговорила хозяйка, когда Дарья Андреевна вошла.

— Я всегда прихожу въ восемь часовъ.

— А теперь девять.

— Ну, извините, если опоздала.

— Что такое съ нею сдѣлалось?—сказала Дарья Андреевна Паулинѣ, когда ушла хозяйка въ свои комнаты.

— А чортъ ее знаетъ—съ утра бѣсится.

Передъ обѣдомъ, еще до прихода сына, Петерсонъ позвала къ себѣ Дарью Андреевну.

— Былъ у васъ вчера мой сынъ?

— Былъ.

— Что онъ у васъ дѣлалъ?

— А ничего: посидѣлъ и ушелъ. Нельзя же нѣтъ было не пригласить его, если онъ самъ просился.

— Это вамъ не дѣлаетъ чести: вы дѣвушка молодая и вдругъ приглашаете молодого мужчину. А я еще считала васъ...

— Но у меня была сестра, замужняя женщина.

— Все равно.

Этот выговор возмущил Дарью Андреевну и она стала думать: какими образом Петерсонъ могла узнать, что у Дарьи Андреевны былъ Славинъ? На Паулину она не думала; развѣ кто-нибудь другой сказалъ.

Съ этихъ поръ отношенія Петерсонъ къ Дарьѣ Андреевнѣ наизмѣнились: она сдѣлалась строга, придирчива, не отпускала ее изъ магазина до девяти часовъ вечера, дѣвочкамъ запретила играть и не стала отпускать ихъ къ Дарьѣ Андреевнѣ и, наконецъ, за сентябрь не заплатила денегъ, а просила подождать.

— Мнѣ, Эмилія Карловна, на столъ и на квартиру не хватитъ пяти рублей.

— Неужели вамъ хозяйка не можетъ подождать какихъ-нибудь пустяковъ?

— Нѣтъ, это не пустяки. Они люди бѣдные.

— Подождите.

— Въ противномъ случаѣ я буду искать другого мѣста.

— Можете.

— Я не шучу.

— Да и я тоже хочу нанять другую мастерицу — замужнюю.

— Это дѣло ваше! — И Дарья Андреевна ушла изъ магазина къ купцамъ, отъ которыхъ и взяла равной работы: шить двѣ дѣтскихъ шубки, два дѣтскихъ пальто и т. п.

Вечеромъ пришалъ къ ней Славинъ.

— Вы зачѣмъ? Изъ-за васъ я сколько непріятностей перенесла отъ вашей матери.

— Извините, Дарья Андреевна... Будьте моей женой!! Мама этого хочетъ, мама хочетъ вамъ весь магазинъ предоставить.

— Вы это серьезно говорите?

— Серьезно. Не сердитесь на маму. Пойдите къ ней.

— Зачѣмъ?

— Вы скажете, что любите меня...

— Никогда!! Вы за этимъ и пришли собственно ко мнѣ?

— Да.

— Это вамъ дѣлаетъ честь. Я вамъ скажу, что я за васъ замуж не пойду, а вашей мамѣ передайте, чтобы она прислала мнѣ остальные пять рублей и я больше къ ней не приду.

— Вотъ вамъ ваши пять рублей, — проговорилъ Славинъ запальчиво и бросилъ ей пятирублевую бумажку.

— Значить, конечно.

— Значить...

И Славинъ, не простившись съ Дарьей Андреевной, ушелъ.

«Что это такое значить? Гдѣ же хорошіе-то люди? Это какіе-то кошенники. Кругомъ идетъ какая-то постыдная купля!», думала Дарья Андреевна по уходѣ Славина, и ей такъ сдѣлалось горько, что она заплакала.

Порѣшивши такимъ образомъ съ Петерсонъ, Дарья Андреевна перѣехала къ Морозовымъ на ту квар-

тиру, которую занималъ Кузьма Андреевичъ. На квартиру у Удинцова ей не хотѣлось жить, потому-что она знала, каково тамъ житье зимой, а ей теперь можетъ быть придется работать дома. Морозовъ отъѣздъ Кузьмы Андреевича изъ его дома объяснялъ такъ:

— Несмотря на жидоморство, вашъ братецъ, уѣзжая отъ насъ, сказалъ, что онъ, какъ должностный человекъ, долженъ теперь имѣть квартиру около центра; еще и потому, что во-первыхъ, Платоновы общались ему какому-то должностному у себя, а во-вторыхъ, видите-ли, нужно принимать столоначальниковъ и т. п. лицъ. Это ли не форсъ! Жаль вотъ только, онъ Катю свою бросилъ.

— Какую Катю?

— А вонъ моего кума дочь. Я ее впрочемъ не одобряю — вѣтреная: готова хоть кому на шею вѣшаться. Да впрочемъ онъ на ней едва-ли женится: она мнѣ говорила какъ-то, что онъ женится на богатой, чтобы купить должность бухгалтера. Въ соотвѣтствии мѣтить! А у моего кума кромѣ дома, кабака со стеклянками да домашнихъ вещей ничего нѣтъ, да и кромѣ того онъ въ своемъ присутственномъ мѣстѣ въ загонѣ, т. е. не даютъ ходу. Ну-съ, а вы-то, сударыня моя, что теперь намѣрены предпринять?

— Я буду брать работу изъ гостиннаго двора.

— Ну, этого мало. Положимъ, съ васъ-то хватитъ, только хватитъ ли на хлѣбъ.

— Я, когда работала у Петерсонъ, зарабатывала дома 3 и 5 рублей.

— А вотъ я хочу учредить школу; такъ, знаете, не официальную, а просто попрошу родителей посылать своихъ ребятишекъ ко мнѣ. А они пошлютъ, потому-что здѣсь Сашеньку всѣ любятъ и знаютъ, что она дама образованная. Вотъ она и будетъ обучать дѣтей, а когда ей будетъ некогда, вы поможете.

— Да я почти ничего не знаю.

— Неужели вы не умѣете читать и писать?

— Это-то я умѣю.

— Ну, больше съ васъ ничего и не требуется. Если родители будутъ намъ платить, то вы будете пользоваться даровою квартирою и столомъ.

— Это ужъ чересчуръ!

— Вы скажете — мечты! Хорошо, если онѣ сбудутся!

Итакъ, Дарья Андреевна устроилась. Ей дали кровать, кошму, вмѣсто перины или тѣпика, подушку, столъ и два стула, а такъ-какъ у нея вещей было немного, то дали ей небольшой сундучокъ. За комнату, ту, въ которой спалъ Кузьма Андреевичъ, Морозовъ взялъ только рубль; пищу себѣ она должна была готовить сама.

Начала жить Дарья Андреевна самостоятельно. «Теперь я сама себѣ бариня», думала она. Но эта свобода на первыхъ же порахъ показала свою прелесть. Черезъ недѣлю она истратила всѣ деньги частью на кушанья, частью на покупку нитокъ и своего утюга. Сдала она работу одному купцу и стала просить денегъ — онъ сказалъ, что нѣтъ мелкихъ, и отозвался, что въ настоящее время ему довольно дѣтскаго платья. Другой купецъ хотя и далъ денегъ,

но за работой велѣлъ приходить черезъ двѣ недѣли. А денегъ она получила всего семьдесятъ-пять коп.

— Не можете ли вы рекомендовать меня кому-нибудь?—просила Дарья Андреевна купца.

— Не знаю-съ. Нынче столько расплодилось швей, что трудно навѣрное сказать, у кого какая есть надобность въ нихъ. Притомъ же теперь и время-такое.

Дѣлать нечего; скучно. Деньги выходятъ. Морозовъ тоже сердитъ.

— Чортъ-знаетъ, что за время такое. Дѣло проигралъ,—не захотѣли рѣшить по моимъ доказательствамъ. А истецъ, чортъ бы его побралъ, не соглашается апеллировать въ сенатъ.

— А мальчики?

— Свины родители—вотъ что! Они говорятъ, что я ребятишекъ избалую, а въ школы ихъ, по крайней мѣрѣ, если ничему не выучать, то пороть стану.

Стала Дарья Андреевна ходить по магазинамъ—нигдѣ нѣтъ работы. Въ модные магазины не принимаютъ—говорятъ, и самимъ нечего дѣлать, потому что пріѣхалъ какой-то французъ, повѣсилъ вывѣску, напиринималъ мальчиковъ и подмастерьевъ, и теперь вся дамская аристократія кинулась къ нему, хотя, если понимать вывѣску, онъ портной по мужской части, а никакъ не дамскій. Вслѣдствие чего онъ открылъ два магазина, мужской и женскій, въ который и выписалъ изъ Петербурга французенку съ двумя закройщицами.

Дѣло становилось плохо для Дарьи Андреевны, а тутъ еще пріѣхала мачиха съ Владиміромъ и братомъ Осипомъ. Они остановились у Дарьи Андреевны, на томъ основаніи, что Анна Николаевна Яковлева уѣхала въ Москву и домъ свой сдала какому-то совѣтнику, Кузьма Андреевичъ занималъ только одну комнату, а къ Платоновымъ они не посмѣли идти. Кромѣ этого у Осипа Андреевича былъ свой расчетъ: онъ думалъ, что Морозовъ, какъ дѣлецъ, поможетъ ему выпутаться изъ бѣды. Но какъ бы то ни было, а пріѣздъ гостей сильно беспокоилъ Дарью Андреевну: вѣдь ихъ надо кормить, а на какія деньги? Хорошо, что мачиха привезла съ собой салонъ Дарьи Андреевны, и вотъ, въ отсутствіе мачихи, Дарья Андреевна заложила этотъ салонъ, стоящій рублей полтора, за восемь рублей на три мѣсяца. Но къ счастью родные гостили недолго. Какъ только Осипъ Андреевичъ увидалъ, что Морозовъ за такіа каверныя дѣла не берется, то перѣѣхалъ къ брату, а Марина Осиповна, сдавши Владиміра въ военное училище, уѣхала домой.

Кое-какъ цѣлый мѣсяцъ Дарья Андреевна жила тѣмъ, что шила въ одинъ магазинъ мужскія сорочки, но за полторы недѣли до Рождества и этотъ родъ ремесла прекратился. Къ Рождеству счастье ей улыбнулось. Объ ней вспомнили Платоновы и послали за нею своего лакея и лошадей съ санками.

Когда Дарья Андреевна пріѣхала къ Платоновымъ, ее всѣ, начиная со старухъ и кончая дѣтьми, приняли радушно. Женщины по обыкновенію поцѣловали ее, или, вѣрнѣе, сдѣлали видъ, что цѣлуютъ, мужчины поздоровались за руки. За этимъ послѣдовали укорины: что она гордячка, бѣглянка, не хочетъ ихъ знать, живетъ здѣсь давно и не навѣстила ихъ до

чортъ, что они могли помочь, дать хорошее мѣ-

сто; потомъ начались разпросы, какъ она живетъ, что дѣлаетъ, хотя и въ все было извѣстно изъ разсказовъ Кузьмы Андреевича, который уже занимался у нихъ и теперь даже былъ на лицѣ. Когда все это было кончено, Дарью Андреевну усадили за столъ закусывать и пить кофе, такъ-какъ времени было еще второй часъ. За завтракомъ толковали о разныхъ разностяхъ. Самъ Платоновъ толковалъ о прочитанномъ въ газетахъ. Семенъ Елизаровичъ остригъ и изрѣдка отпускалъ шуточки надъ Дарьей Андреевной. Время шло незамѣтно, весело. Послѣ кофе мужичины разошлись каждый по своимъ комнатамъ, кресло съ Лукерьей Васильевной, восьмидесятилѣтней дряблой старухой, матерью Елизара Аникиевича, укатили въ ея комнаты, а Вѣра Яковлевна, жена старшаго сына Платонова, Павла Елизаровича, позвала Дарью Андреевну за собой.

— Дашечка, у меня до тебя есть просьба. Можешь ты сдѣлать?—начала Вѣра Яковлевна.

— Если возможно—сдѣлаю.

— Видишь ли, въ чемъ дѣло. Мнѣ папа, еще къ именинамъ, купилъ бѣлаго атласу, но мнѣ не хотѣлось тогда шить платья. Я призывала модистку, которая постоянно на насъ шьетъ, но она запросила безбожную цѣну и я сказала ей, что подумаю. Можете вы мнѣ сшить?

— Могу; вамъ скоро?

— О, нѣтъ, къ новому году. А ты, дашечка, не испортишь?

— Зачѣмъ же. Я вѣдь была закройщицей: кроила и платья, и шляпки.

— Такъ пожалуйста займись; мы тебѣ заплатимъ.

— Я вамъ и такъ могу сдѣлать, тѣмъ болѣе, что мнѣ теперь нечего дѣлать. Позвольте, я сниму съ васъ мѣрку—мнѣ только нужно высчитать вершки, и больше ничего.

— Вы уже и сейчасъ... Мнѣ, дашечка, теперь некогда. Надѣюсь, вы погостите у насъ?

— Покорно благодарю.

— Мама хочетъ, да и папа тоже, чтобы вы здѣсь, у насъ работали. Оно, знаете, у васъ запачивается...—И барыня ушла.

„Опять насилие. Нѣтъ, надо уѣхать отсюда куда-нибудь... А впрочемъ, хотѣли дать денегъ“.

Но ни въ этотъ, ни на другой день съ Вѣры Яковлевны не удалось снять мѣрки, а Дарью Андреевну не пускали. Съ нею были всѣ ласковы, старики шутили, дѣти заставляли ее носить ихъ на себѣ, катать въ телѣжкахъ по комнатамъ; время шло незамѣтно то въ вѣдъ, то въ питьѣ. Но ей эта праздная жизнь стала надоѣдать: всѣ вставали поздно, ложились въ два-три часа ночи и Дарья Андреевна тоже должна была подчиняться этому порядку; кромѣ этого старуха Лукерья Васильевна часто заставляла ее садиться у ея ногъ, просила поправить платье, подвинуть ноги, посмотреть, нѣтъ ли на спинѣ чернаго таракана, котораго она до смерти боится, и просила разсказать, какъ умеръ ея отецъ, а потомъ сама разсказывала, какъ она маленькая была въ домѣ Андрея Ивановича, когда еще домъ послѣ пожара не былъ устроенъ, и какъ она воровала въ саду груши и яблоки, и какъ ее за это будочникъ хотѣлъ бить палкой.

Дарья Андреевна такъ понравилась старухѣ, что на третью сутки она позвала сына и сказала:

— Ужъ ты, Елизарушка, не пускай Дашу: пусть она со мной водится. Она мнѣ больно какъ напоминает мою Анюточку.

— Ладно, ладно, старуха. Не знаю, согласится ли? Ха-ха!

— Скажи, я приказываю.

— Ладно, ладно. Ха-ха!

— Даша, тебѣ придется у насъ поселиться. Старуха въ тебѣ... ха-ха... души не чае: умру, говоритъ, безъ нея. Она, видишь ли, немножко рехнулась. А такъ-какъ съ этимъ народомъ водиться трудно, то я тебѣ положу плату. Согласна?

— Помилюте, Елизаръ Аникіевичъ, какая тутъ плата!

— Ну, я, ха-ха! не люблю, чтобы на меня даромъ дѣлали. Я вѣдь тебя знаю. По глазамъ вижу, что тебѣ отсюда удать хочется.

Итакъ, Дарья Андреевна осталась у Платоновыхъ въ качествѣ сидѣлки. Когда она сшила платье, платье это всѣмъ понравилось, и ее завалили работой, но работать приходилось мало, потому-что старуха, когда не спала, ни одной минуты не давала ей покою: то ей ноги поправъ, то спину почеси, то чепчикъ надѣнь другой, то читай изъ четырь-миной житіе Варвары-великомученицы, или про Іосифа прекраснаго сказаніе, или житіе Алексѣя человѣка Божія. И это повторялось каждый день.

— Позвольте, бабушка, я другое вамъ почитаю, — скажетъ Дарья Андреевна, когда ей надоѣстъ читать одно и то же.

— Нѣтъ, нѣтъ. Больше нѣтъ святыхъ и больше я и знать ничего не хочу.

— Да какъ же, бабушка, нѣтъ больше святыхъ? Вотъ вы, напримѣръ, Лукерья.

— Лукерья—грьшница; читай Алексѣя человѣка Божія.

Дарья Андреевна должна была постоянно находиться при старухѣ. Если ее катили въ комнаты, то Дарья Андреевна должна была идти съ ней и тамъ забавлять ее. Старуха уже стала забываться и кромѣ сына, жены его и Дарьи Андреевны никого не узнавала, и если сидѣла въ столовой, не дотрагиваясь до кушаній, то для того, какъ она говорила, чтобы въ ея домѣ былъ порядокъ, но въ разговоры она не вѣшивалась, а только шевелила губами, точно такъ, какъ будто что-нибудь ѣла, и на шутки молодежи не обращала вниманія, потому-что плохо понимала нынѣшніе разговоры. А жалко было со стороны смотрѣть на эту старуху: сидитъ она въ большомъ мягкомъ на колесахъ креслѣ, съ вытянутыми ногами, съ сложенными у груди руками, въ одной изъ которыхъ она держитъ ситцевый платокъ, а въ другой берестяную табакерку, въ которой уже нѣсколько лѣтъ нѣтъ табаку и которая тоже нѣсколько лѣтъ уже не открывалась хозяйкой, а держится по привычкѣ. На ней надѣто черное бумажное платье, на шеѣ бѣлые воротнички; на головѣ бѣлый чепчикъ. Сама она толстая, но дряблая; она можетъ ходить, но немного; ей, отъ постоянного сидѣнья и лежанья, не пройти и черезъ свою комнату. Лицо ея бѣлое, дряблое, волосы

бѣло-желтые. Сидитъ она неподвижно, чавкая губами, но во рту у нея нѣтъ зубовъ. Жаль становится ее потому, что вокругъ нея всѣ кажутся счастливыми, веселыми; денегъ у нихъ много, забота у нихъ одна: какъ бы больше нажить денегъ, обмануть бы кого-нибудь. А ей, прожившей восемьдесятъ лѣтъ, надо бы утѣшаться, но у нея одна утѣха.

— А гдѣ моя табакерка?—спрашиваетъ она.

— Въ рукахъ, бабушка.

— Ахъ я безпамятная!.. Насыпьте табачку.

— Позвольте.

— Нѣтъ—перемѣнишь.

А говорятъ, эта же самая старуха, назадь тому шестьдесятъ лѣтъ, торговала калачами; да и сынъ ея сперва былъ повытчикомъ, а потомъ простымъ барышникомъ на баркахъ и судахъ и мало-по-малу началъ разживаться поставкою лѣса.

Разъ, когда Дарья Андреевна ушла отъ Платоновыхъ домой для того, чтобы выкупить свой салонъ, старуха страшно рассердилась, и послѣ этого Дарью Андреевну уже никуда не выпускали отъ Платоновыхъ. Послѣ Крещенья старуха до того ослабѣла, что уже не хотѣла кататься по комнатамъ, а сидѣла въ своей спальнѣ, и Дарью Андреевну не отпускала отъ себя ни на шагъ, такъ что она въ ея комнатѣ и кушала; потомъ старуха не стала никого принимать къ себѣ, даже сына гнала прочь, а если приходилъ докторъ, то она, не подпуская его къ себѣ, грозилась убить, и докторъ только хитрою ступаль у нея пульсъ. Наконецъ старуха уже не могла вставать съ постели, отказывалась отъ пищи; а она до сихъ поръ ѣла только жидкое — кашку, бульонъ, кисель и т. п. Потомъ у нея явились капризы, и она совсѣмъ измучила Дарью Андреевну, которой не давала покоя и ночью. Обыкновенно по ночамъ, кромѣ лампадки, горѣли двѣ свѣчки; постель Дарьи Андреевны стояла рядомъ съ постелью старухи, — такъ хотѣла старуха, объясняя это тѣмъ, что Даша неравно уѣжится.

Въ комнатѣ тихо. Старуха лежитъ на спинѣ, табакерка открыта и она что-то кладетъ въ нее, потомъ вынимаетъ. Дарью Андреевну сначала это забавляетъ, потомъ дѣлается скучно, жалко старухи.

— Даша!

— Я здѣсь, бабушка.

— Поди скажи, чтобы мнѣ сварили супъ изъ курицы, да сію секунду.

Подойдетъ Дарья Андреевна къ авонжу, дернетъ; придетъ лакей, она передастъ ему порученіе старухи.

— Скоро супъ?—спрашиваетъ снова старуха.

— Сію минуту, — отвѣчаетъ Дарья Андреевна.

— А кисель гороховой есть?

— Есть.

— Вели подать.

Опять та же исторія. Принесутъ супу.

— Не хочу. Я хочу съ вермишелью, съ клецками.

Словомъ, причудамъ старухи не было конца, и Дарья Андреевна до того измучилась, что уже стала желать старухѣ смерти. „Вотъ съ ними и съ деньгами! Сколько ночей я не спала, хоть бы дню-то дала отдохнуть“. И желаніе ее исполнилось. Передъ Пасхой старуха умерла тихо, безъ всякихъ наружныхъ мученій, на рукахъ Дарьи Андреевны. Дѣло было

такъ: Дарья Андреевна немножко вздремнула, но дремота ее была такая, что она отъ шокота старухи открывала глаза и смотрѣла на нее.

— Даша!—произнесла шокотомъ старуха.

— Я здѣсь бабушка.

— Подними-ка подушку, что-то колетъ.

Дарья Андреевна поправила подушку.

— Лягъ, да положи свою руку подъ мою голову, холодно мнѣ.

Дарью Андреевну начала пробирать дрожь. Старуха закрыла глаза; потомъ открыла.

— Есть табакъ?

— Есть.

— Дай понюхать.

Дарья Андреевна открыла табакерку, сдѣлала видъ, что взяла табакъ, и поднесла къ носу старухи. У старухи глаза закрыты, ротъ открытъ; руки холодною прежняго, сердце не бьется...

Дарья Андреевну затрясло. Она легонько вытаскила изъ-подъ головы руку.

— Бабушка?!—произнесла она не громко.

Старуха не моргнула.

— Бабушка!—произнесла она громче.

Но тутъ слезы хлынули изъ глазъ Дарьи Андреевны и она убѣжала изъ комнаты.

Но этимъ не кончилась еще служба Дарьи Андреевны: ее заставили обмыть и одѣть покойницу. За то ей выдали на пятнадцать рублей въ мѣсяцъ и награды двадцать рублей.

#### XXXIV.

„Въ самомъ дѣлѣ, хорошо имѣть богатую родню“, думала Дарья Андреевна, идя къ Морозовымъ. „Будь этой родни и этой старушонки, что бы было со мной? Вотъ теперь у меня шестьдесятъ-пять рублей денегъ. Что я стану дѣлать съ ними? Вѣдь у меня никогда не было столько денегъ“.

Морозовы очень обрадовались появленію Дарьи Андреевны.

— А мы думали, вы уже погбли безвозвратно въ омутъ богатства.

— Нѣтъ, но вотъ я не знаю, что мнѣ дѣлать теперь?

— Теперь у васъ денегъ много. Рискинете-ка отправиться въ Петербургъ, поступите въ повивальный институтъ.

— А какъ денегъ не хватитъ?

— Проситесь на казенный счетъ.

Однако Пасху она прожила у Морозовыхъ. Кузьма Андреевичъ часто заходилъ къ ней и все сбивалъ ее завести свой магазинъ.

— Нѣтъ, братчикъ, этихъ денегъ мало. А вотъ я съѣзжу домой на лѣто, поправлюсь и тогда что-нибудь выдумаю.

— Такъ ты отдай мнѣ деньги на сбереженіе.

— Развѣ я сама не могу ихъ сберечь? Вѣдь мнѣ ужъ двадцать первый годъ.

На Фоминной недѣлѣ она простилась съ Платономъ, братомъ Осипомъ и его женою, которая снова

сѣхлась съ мужемъ, Кузьмой Андреевичемъ. Кузьма Андреевичъ съ ее мужемъ, который въ это время являлся, и Морозовыми, и почти съ всемъ пароходомъ отправлялся въ Ильинскъ. О своемъ вѣреніи ѣхать въ Петербургъ она не сказала никому, только одни Морозовы знали и только они с ней расстались съ ней. Когда же Кузьма Андреевичъ спросилъ ее: зачѣмъ она везетъ сундучекъ, она сказала: „Все можетъ случиться. Авось я и выйду“.

Въ Ильинскѣ она застала хозяйство въ томъ самомъ плачевномъ состояніи: со стѣнъ дѣла катурса отвалилась, верхній карнизъ ушелъ и крыша снесло вѣтромъ, занавѣсы повисли, на полахъ, огородахъ запущены; въ комнатахъ грязно, какъ-то сонливая, пахнетъ мѣсяцемъ. Зашла она въ больницу, тамъ грязно, никакого нѣтъ порядка; единственный сторожъ представлялъ къ тридцати больнымъ для того, что подавать кушанья и справлять другія дѣла. Противно ей сдѣлалось, а жаль было Петербургъ точно толкало ее вонъ изъ дому и изъ этого города. Впрочемъ, и въ Ильинскѣ она увидѣла много новаго: такъ, здѣсь завелся телеграфъ, построено три каменныхъ дома; соборная церковь поцѣпана въ каждой улицѣ непремѣнно два-три кабака; новое, отъ Ильинска къ Егорьевску строили желѣзную дорогу. Но жители отъ этого нисколько не сдѣлались богаче, потому что припасы, вода и квартиры рабочихъ были на откупъ у егорьевскихъ купцовъ, приказчиками которыхъ въ этомъ участкѣ желѣзной дороги были ильинскіе купцы. Василій Митрофановъ нисколько не измѣнился и нѣтъ уже сноски; протопопъ Третьяковъ ослѣпъ и съ нимъ его племянница Татьяна Федоровна. Замосковное было: онъ сидѣлъ въ егорьевской тюрьмѣ; дождь запечатанъ и жена его жила у священника Павловскаго, гдѣ гостила и подруга Дарьи Андреевны, Анисья Осиповна, къ которой и поѣхала Дарья Андреевна, простившись съ родными въ Ильинскѣ.

Въ этомъ селѣ, Никольскомъ, куда Петропавловскій былъ снова назначенъ, Дарья Андреевна погостила три недѣли. Анисья Осиповна тоже собралась въ Петербургъ — учиться повивальному ремеслу; подвернулся судебный слѣдователь и она помогла ему, такъ что Дарья Андреевна должна была присутствовать на ихъ свадьбѣ.

Черезъ недѣлю послѣ свадьбы Анисья Осиповна Дарья Андреевна сѣла на пароходъ до Твери.

На этомъ, т. е. на отъѣздѣ Дарьи Андреевны въ Петербургъ, авторъ заканчиваетъ романъ, такъ кончается, т. е. авторъ, въ этомъ романѣ имѣлъ въ виду жизнь провинціальную. Что же касается до жизни столичной, отличающейся отъ провинціи, авторъ имѣетъ намѣреніе написать новый романъ подъ другимъ названіемъ. Этотъ романъ будетъ продолженіемъ похождения Дарьи Андреевны.

## МЕЖДУ ЛЮДЬМИ.

Мнѣ нравится ходить въ кабачки, какихъ въ Петербургѣ очень много, и нравится ходить преимущественно въ многолюдные, находящіеся на многолюдныхъ улицахъ, гдѣ живетъ рабочій народъ, также нравится ходить и въ дешевенькіе трактиры, гостиницы, куда по вечерамъ и въ будни, подѣ праздники и въ праздники, стекается отвести душу простой народъ. Походите вы въ воскресенье Анраксинимъ переулку между Садовой и Фонтанкой, — и вы увидите много рабочаго народа, который то стоитъ кучками, то сидитъ въ разныхъ мѣстахъ, то заходитъ въ швейныя и трактирныя заведенія. Изъ этихъ заведеній слышатся крики, пѣсни и пляски, и вамъ придется въ голову: „экой этотъ народъ пьяница!“. Но не такъ заключаю я.

Не помню, котораго числа февраля, или марта мѣсяца 186\* г. я зашелъ въ одинъ дешевенькій трактиръ. Выпивъ рюмку водки, я сѣлъ къ столу и закурилъ папироску. Народу было не то чтобы много, но для этого трактира достаточно. Пѣсни и пляски рабочихъ и мелкихъ торгашей слышались даже на улицѣ, поэтому легко себѣ представить читателю, что значатъ пѣсни и пляски въ самомъ трактирѣ — а это знаетъ, я думаю, каждый житель Петербурга. Но кромѣ этого въ трактирѣ много было спорщиковъ, которые, сидя за столами, выпивали очищенную, крымскую или наливку, закусывая огурцами, рѣдкой или просто кускомъ хлѣба. Было много и такихъ, которые сидѣли по-одиночкѣ: недалеко отъ меня сидѣлъ человѣкъ въ чуйкѣ, покачивался и что-то бормоталъ; возлѣ него сидѣлъ человѣкъ въ армякѣ и несвязно выговаривалъ: „въ органъ заиграй!.. заиграй!.. пяти цалковыхъ не пожалѣю!.. всѣ отдамъ...“. Сидѣть много; различныя эти сцены часто доходить до дракъ, и жалко становится за человѣка, да ничего тутъ не подѣлаешь, и всякое насиліе для того, чтобы остановить пьянство, будетъ напрасно. Почему это такъ, — мы увидимъ дальше.

За однимъ столомъ со мной сидѣлъ человѣкъ лѣтъ двадцати шести. Такихъ людей мы видимъ постоянно и не обращаемъ на нихъ никакого вниманія. Первое, что бросается въ глаза — это растрепанные волосы, блѣдное лицо, разбитая бровь. Надѣто на немъ

суконное пальто, грязное, продранное въ разныхъ мѣстахъ, изболочающее его въ томъ, что онъ или драться любитъ, или его бьютъ. Пальто на немъ не сходится; поэтому полы пальто лежатъ на полу и видится грязная холщевая рубаша и сѣрые тиковыя коротенькія брюки; на ногахъ что-то въ родѣ калошъ. Но онъ еще не пьянъ. Положивши руки на столъ, лѣвую на правую, и сжавши немытые съ недѣлю кулаки, онъ зорко наблюдаетъ за людьми своими сѣрыми глазами и, кажется, хочетъ вмѣшаться въ разговоры, да сдерживается. Я замѣтилъ, какъ онъ посмотрѣлъ на меня, когда я вошелъ въ трактиръ, какъ выпилъ рюмку водки, и строго взглянулъ, когда я сѣлъ... Ему, какъ видно, хотѣлось заговорить со мной, но я уклонился отъ этого, а онъ не начиналъ. Вдругъ онъ сказалъ мнѣ:

— Одолжите мнѣ, если есть, папироску!

Я далъ. По произношенію я затруднился заключить: рабочій ли онъ, или изъ чиновнаго класса.

— Не повѣрите ли, какъ хорошо здѣсь.

— Почему?

— Народъ хорошій. Славный народъ... Выпьете. Мы выпили по рюмкѣ.

А въ сосѣдней комнатѣ какой-то господинъ настраивалъ на гитарѣ: „во саду ли въ огородѣ дѣвица гуляла“ и другія пѣсни, и подѣ эту игру публика плясала и пѣла. Вдругъ къ моему сосѣду подошелъ здоровенный мужчина въ красной рубашкѣ и въ синихъ выбойчатыхъ штанахъ. Онъ былъ полуныанъ. Удаливъ по плечу сосѣда, онъ сказалъ:

— Петька! спой „возлѣ рѣчки“.

— Не охота.

— А, чтобы те!.. выпить што ли хощь?

— Нѣтъ... — Въ голосѣ его слышалось отчаяніе.

Мужчина принесъ къ нему косушку перцовки. Выпили, и мой сосѣдъ ушелъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ плясали. Слышу, кто-то поетъ басомъ „возлѣ рѣчки“ правильно, хорошо, съ чувствомъ, то повышая, то понижая голосъ, какъ будто бы онъ былъ въ пѣвчихъ. Пѣли сначала и рабочіе, но потомъ перестали, а пѣлъ только мой сосѣдъ, подѣ аккомпаниментъ гитары.

— Молодецъ, Петька!.. — закричали рабочіе по окончаніи пѣсни и просили его спѣть другую. Я ушелъ

Еще раза два приходилось мнѣ видѣть его въ теченіе двухъ недѣль въ трактирѣ и даже разъ я видѣлъ его съ гитарой, на которой онъ игралъ порядочно. Потомъ я его не видалъ долго. Однажды прихожу я въ Обуховскую больницу, гдѣ лежалъ одинъ мой товарищъ. Рядомъ съ его кроватью лежалъ человѣкъ, покрытый простыней, и около этой кровати суетились служителя и фельдшеръ.

— Вотъ и со мной то же будетъ! — сказалъ мнѣ товарищъ. — Еще часъ тому назадъ говорилъ, а теперь лежить мертвый.

— Кто такой?

— Канцелярскій служитель Кузьминъ... Его привели сюда изъ квартала едва живого: пьянствовалъ все.

Открыли простыню и что же? Я увидѣлъ того самаго Петьку, который мѣсяца два тому назадъ сидѣлъ за однимъ столомъ со мной, пилъ со мной водку и потомъ пѣлъ... Жалко мнѣ стало его. Я рассказалъ объ немъ товарищу.

— Онъ мнѣ подарилъ тетрадку. Въ ней написано, какъ онъ жилъ здѣсь въ Петербургѣ. Мнѣ ее надо, возьми.

Вотъ что рассказывалъ про себя Кузьминъ.

## I.

Зовутъ меня Петромъ Ивановичемъ Кузьминнымъ. Воспитывали меня родной братъ моего отца и его жена, которыхъ я называлъ, какъ они меня учили, сначала тятенькой и маменькой, а какъ выросъ больше — папенькой и маменькой. Теперь же въ письмахъ къ нимъ, я ихъ называю уже папашей и мамашей.

Мать моя, какъ говорятъ мои воспитатели, умерла черезъ 40 недѣль послѣ моихъ крестинъ, бывшихъ на третій день по моемъ рожденіи. Поэтому я не помню ее; портрета же ея я никогда не видѣлъ. О моихъ отношеніяхъ къ матери вотъ что рассказывала тетка, когда ей хотѣлось похвалиться своей добротой.

— Мать твою, какъ теперь помню, лежала въ больницѣ въ голубенькомъ, ситцевомъ платьицѣ, и какъ только я принесу тебя къ ней, ты и замашешь рученками и заревешь. Возьметъ тебя мать на руки, ты глядишь такъ какъ-то весело глазенками и слюни у тебя бѣгутъ по губамъ. Ничего ты не понимаешь, безрогая скотина, а тоже что-то было у тебя такое, что ты не ревелъ, когда тебя брала мать на руки. А возьметъ тебя другой, ты заревешь; даже если и я возьму тебя отъ матери, ты долго реवेशь и грудь сосать не хочешь...

Могу вамъ положительно сказать, что я, кажется, началъ понимать съ третьяго или четвертаго года, потому что я кой-что помню за это время, а раньше я былъ положительно глупъ и такая же безтолочь, какъ кукла, только живая кукла.

Когда ужъ я сдѣлался рослымъ мальчишкой и навидѣлся разныхъ ребятъ годовалыхъ, я удивлялся: неужели и я былъ такой же соплявый, ревунъ и безтолочь? Я сравнивалъ этихъ годовалыхъ людей съ годовалыми кошками и собаками, и мнѣ почему-то досадно было, что кошки и собаки въ это время лучше

понимають, чѣмъ годовалый человѣкъ; по крайней мѣрѣ съ ними возни нѣтъ. И неужели думалъ я, такъ же мучились и со мной, какъ мучатся и съ этими ребятами, такъ же колотили за ревъ, какъ и ихъ? Тетка это подтверждала.

И то, что я видѣлъ и что я дѣлалъ на четвертомъ году, я помню очень плохо. Я помню только то, что особенно произвело на меня впечатлѣніе: напр., я помню, какъ одинъ разъ ночью меня разбудили стукотней и крикомъ мои воспитатели. Они бѣгали и кричали: пожаръ! пожаръ! И дѣйствительно, горѣлъ сосѣдній домъ. Я въ испугѣ дрожалъ и ревелъ. Думалъ ли я что-нибудь въ это время — не знаю, а помню хорошо, что я кричалъ на весь домъ и держался руками за платье тетки такъ крѣпко, что когда она меня стала бить и отрывать отъ себя, я порвалъ у нея платье и снова вцѣпился за него зубами такъ плотно, что укусилъ даже тетку въ какое-то мѣсто... Помню, какъ я въ первый разъ смотрѣлъ: какъ идетъ ледъ на рѣкѣ, какъ появился первый пароходъ, — и удивлялся всему этому.

Помню, что я былъ большой баловникъ и ѣлъ очень много. Только пробужусь и кричу: нсь! нсь! Поставить самоваръ — я уже и лѣзу въ шкафъ, достаю чашку и иду къ теткѣ: мама, нсь! Это очень забавляло дядю и тетку, но они старались всячески отучить меня отъ обжорства, такъ какъ я просилъ ѣсть разъ по десяти въ день. Жилось мнѣ какъ-то не скучно: я или игралъ съ дѣтьми нашихъ постояльцевъ, или съ кошкой, или съ собакой, или терся при теткѣ, стараясь перенять ее стриппю, или заглядывалъ, забившись на стулъ, какъ дядя пишетъ что-то на бумагѣ... Вижу я, что сначала на бумагѣ много мѣста пустого, а какъ поведетъ пальцами съ перомъ — и сдѣлается ровная черточка, и много-много будетъ этакихъ черточекъ! Сначала я только удивлялся этому, а потомъ мнѣ почему-то смѣшно становилось, какъ дядя пишетъ, пишетъ и выругается, а потомъ скоблить начнетъ.

— Чему ты гогочешь, песъ! — закричитъ дядя. Я того пузе засмѣюсь. Дядя прогонитъ меня, а я опять зайду къ нему тихонько сзади. Сначала крѣпился, а потомъ и прыснулъ со смѣха... Мнѣ хорошо казалось, какъ дядя ворчитъ; мнѣ играть хотѣлось съ нимъ и я толкалъ его въ правое плечо, за что мнѣ больно приходилось. Любилъ я послѣ этого представлять дядю, или вѣрнѣе — мнѣ хотѣлось ухитриться сдѣлать такъ же, какъ дѣлаетъ и онъ. Возьму я кусочекъ бумаги, пойду къ столу и начну чертить на бумагѣ перомъ съ чернилами; но у меня выходило все криво, все дуги, да колеса, да круги, и меня это очень забавляло. Кончу я свою работу и кажу теткѣ или кому-нибудь въ восторгѣ; тѣ меня хвалятъ. Но я часто надоедалъ своей работой теткѣ и она ругала меня за то, что я бумагу порчу, руки и рубашку мараю въ чернилахъ. Отъ меня стали прятать чернила и карандаши, я сталъ слюнями писать или черкалъ гдѣ понало углемъ.

Весьма хорошо казалось мнѣ, какъ меня тетка возила зимой въ пошевенькахъ или санкахъ, когда она ходила на рынокъ или въ гости. Я не любилъ ходить пѣшкомъ; если оставляли меня дома, я кричалъ и



боялся, думая, что меня утащитъ черный мужикъ-трубочистъ, посадить меня въ мѣшокъ и бросить въ прорубь. Этими меня пугали тетка и ея родные. Теткѣ хотѣлось показать людямъ *своего сына*, а я не хотѣлъ идти: нести меня тяжело ей было; вотъ она и возила меня въ санкахъ; да ей и жалко было меня:— „куда ему еще ходить! малъ очинно!“—Такъ же мнѣ хорошо казалось, когда у насъ собирались гости, или когда я бывалъ въ гостяхъ. Чего-то чего тутъ не было! Поютъ пѣсни, говорятъ какъ-то весело, кричатъ, ругаются. Я тогда, одѣтый въ новую рубашку и новые штаны, которые тетка называла штаниками, сидѣлъ смирно на стулѣ, глядѣлъ на всѣхъ или на того, кто мнѣ больше нравился,—и удивлялся. Если бывали дѣти, я игралъ съ ними въ углу скорлупами отъ орѣховъ. Но больше всего мнѣ нравилось, когда меня дарили праниками и сладостями. Тетка давно старалась приучить меня къ тому, чтобы я благодарилъ за подарки, но я тутъ былъ на это.

— Что же ты, балбесъ, не говоришь: покорно благодарю, молъ.

Я молчу. Мнѣ совѣстно; я щиплю рубашку, смотрю въ уголъ.

— Ну, говори!

Молчу. Чувствую, что плакать хочется, а думаю: не скажу!

— Экой упрямой! Ну, впередъ не получишь. Знаешь ты: ласковое телятко двухъ матокъ сосетъ, а упрямое одной не видитъ,—и пойдутъ, и пойдутъ говорить наставленія, а я кукасю и злюсь: а не скажу! А все-таки хочется больше набрать сластей. Бывали случаи, что я, когда проворчаться и уже не подаю сластей, вдругъ скажу: „покорно благодарю“ чуть-чуть слышно. И совѣстно мнѣ, и чувствую, что щеки горятъ, и легче кажется, а самъ все-таки думаю: ну и чортъ съ вами! вслухъ все-таки не скажу. Право не скажу!...

Тетка любила рассказывать каждому новому знакомому, а старымъ знакомымъ въ сотый разъ, про моихъ настоящихъ родителей. Надо замѣтить, что незнакомые тетке почитали меня за ея сына, а знакомые ея не вѣрили ей, когда она говорила, что я воспитанникъ, и начинала рассказывать цѣлую исторію: кто была мать моя, отецъ, какъ она умерла и пр. Мнѣ досадно было наприкиръ вотъ это: пойду я куда-нибудь съ теткой по городу (у тетки много знакомыхъ: знакомые были все люди бѣдные, и штукъ тридцать изъ нищей братіи), попадется какая-нибудь женщина и смотритъ на меня.

— Это твой сынокъ-то?

— Како мой; на воспитаніе взяла.

— Ой ты матка! не врешь ли.

— Сейчасъ умереть.

— Да чей же онъ такой?

— Вратникъ. Женили брата пьяницу; а мать умерла.

— Эко диво! Отъ чего же она умерла-то?

— Да съ пожара. Испугалась, знаешь, и захворала. Вотъ мнѣ на шею и бросила.

— Ну, матка, вырастетъ, возблагодарить.

— Ну ужъ, дождайся! Онъ и теперь такой, что бѣда.

— А ты, дитятко, слушайся маменьки. Слушаться надо. А у тебя, матка, нѣту-ка своихъ-то дѣтей?

— Нѣту; да куда съ ними!..

— Все же родной-то лучше.

Я замѣчалъ, что тетка дѣлала глаза какъ-то строго при этихъ словахъ, и думалъ, что ей это не по нутру. Исторія же моихъ родителей была такого рода: оба они были духовнаго званія, да и другіе родственники наши тоже были этого званія, но имъ не посчастливилось и они вышли въ свѣтскіе очень рано. Такъ, дѣдъ нашъ былъ дьячокъ, а дядя на четырнадцатомъ году былъ уже почтальономъ; отецъ мой былъ дьячкомъ. Онъ воспитывался у дяди, такъ какъ отецъ его былъ очень бѣдный человекъ и семейный. Онъ рано началъ пить водку и рано спился совсѣмъ. Дядя и молодая его жена, желая избавиться отъ него и желая сдѣлать его годнымъ человекомъ, т. е. чтобы онъ не пилъ водку, задумали женить его. Вотъ что говорила про эту женитьбу тетка:

„Ну и стала я сбивать его жениться. Послушай, говорю, братъ, женись!

— На кой мнѣ лѣпшій жениться?—говоритъ онъ.

— Водку не станешь пить.

— Не знаю... А што?

— Право женись.

— А жить-то какъ?

— Въ почталыоны ступай.

— Ну и то ладно. А самъ послѣ этого пойдетъ, слышь ты, и нализнется какъ стелька...

„Была у меня на примѣтѣ дѣвушка, сирота дьяконская. Смирная такая, красивая, рукотѣльница. Жила она тоже у чиновника, рядомъ съ нашимъ домомъ. Ну и посоветовала я ей выйти замужъ за брата. Долго она не шла: боюсь, говоритъ, пьяница женихъ-то, да и ни у него, ни у меня ничего нѣтъ. Ничего, говорю, мы поможемъ. Ну и согласилась. Братъ ходилъ къ ней двѣ недѣли и водку не пилъ въ это время. Золото сталъ человекъ. Только вели-то они себя какъ чужіе. Придетъ онъ къ ней, поклонится и скажетъ: здравствуйте...

— Здравствуйтесь,—отвѣтитъ она и покраснѣетъ. Она сядетъ на стулъ къ столу и начнетъ вышивать, а онъ пойдетъ въ кухню, трубку курить. Накурится, посидитъ на диванѣ и пойдетъ домой. Придетъ домой онъ, я и спрашиваю его:

— Ну что, нравится?

— Ничего... ладно.

— А разговаривалъ съ ней?

— Чего говорить-то?

„Ну и велю я ему кедровыхъ орѣшковъ снести невѣстѣ на другой разъ... Такъ и женили мы его. Какъ женили, онъ и запилъ. Она, бѣдная, все плакала... все плакала... хорошо, что онъ не билъ ее и не бранилъ и изъ ея вещей ничего не пропивалъ. Да и у ней, голубушки, ничего лишняго не было. А ужъ такая-то была смирная, дай Богъ ей царство небесное!.. И стала, слышь ты, я замѣчать, что она въ тягости!.. И больно же она, голубка, плакала. Отчего, говорю ты все плачешь?

— Не знаю,—говорить.

— Ну полно; онъ можетъ и перестанетъ пить.

— Да онъ дома-то рѣдко живетъ, да и со мной-то

рѣдко сидитъ: придетъ, завалится спать на полати; а встанетъ—наѣстся и опять уйдетъ.

„Ужъ я говорила ему, чтобы онъ ладненько жилъ съ ней; онъ только молчалъ. Поступилъ онъ въ почталыони и хуже запислъ. Жили мы тогда въ уѣздномъ городѣ. Его перевели въ губернской, и насъ тоже перевели. Надо намъ было ѣхать, она и родила вотъ этого балбеса. Только мы приѣзжаемъ въ губернской всѣ вѣстѣ, а тамъ весь городъ горѣлъ въ это время; она испугалась и захворала. Думаю: куда мнѣ съ ней возиться, и свезла я ее въ больницу. Она и говоритъ мнѣ: возьми ты, сестричка, моего ребенка къ себѣ... Ужъ не оставь ради Бога, будь матерью... Слупаться не будетъ—на колѣни ставь. А какъ она, голубка, любила-то его (т. е. меня)! Да не далъ Богъ вѣку, умерла. Ну, думаю, куда дѣвать парня, и взяла къ себѣ... Теперь ужъ покаялась, да поздно“.

Всѣмъ этимъ рассказамъ я сначала не вѣрилъ, а потомъ въ голову начинала закрадываться мысль: что же это такое въ самомъ дѣлѣ тетка говоритъ? Какая еще такая у меня была мать, и, говорятъ, какой-то отецъ есть, а я его не вижу! Врутъ, поди! И больше этого ничего не придумалъ. Мнѣ хорошо жилось: я игралъ, пилъ, ѣлъ въ волю и хотя меня крѣпко постегивали за баловство, но все-таки тетка меня и ласкала частенько въ это время.

На шестомъ году, когда я уже понималъ больше, я не то что любилъ своихъ воспитателей, но, какъ говорится, былъ привязанъ къ нимъ. Дядя меня никогда не ласкалъ, и я почему-то всегда боялся его. Тетка хоть и колотила меня, но и ласкала, кричала на меня и всячески заботилась, чтобы я былъ сытъ, цѣлъ, т. е. не порѣзалъ бы руку, и чтобы рубашка моя была всегда цѣла и чистенькая. Я кажется любилъ тетку, и какъ ни больны были ея колотушки, и какъ я ни ревѣлъ съ досады, что я самъ не смѣю дать сдачи, я все-таки любилъ тереться при ней и при этомъ что-нибудь сплоскитъ: напр. въ квашонку съ тѣстомъ бросить что-нибудь, да такъ, чтобы она не замѣтила этого; вяжетъ она чулокъ, я петли распущу, когда она уйдетъ, а потомъ говорю, что это кошку сдѣлала; поетъ она пѣсни, и я тоже стараюсь подтягивать ей, только выходило очень плохо; начнетъ она шить, я лѣзу къ ней, тереблю ее за сережки, вдернувши въ кончики ушей, хватаю ее за шею руками... И все это, какъ помню я, дѣлалось бессознательно, вѣроятно потому, что мнѣ хотѣлось играть. Тетки я не такъ боялся, какъ дяди, къ которому я не имѣлъ такой привязанности, какъ къ теткѣ вѣроятно потому, что онъ дома бывалъ рѣдко, со мной ничего не говорилъ и гналъ меня прочь, если я лѣзъ къ нему. Я любилъ все, что только впервые попадалось мнѣ на глаза. Купить что-нибудь тетка, а смотрю, удивляюсь, спрашиваю, стараюсь въ руки взять, на себя напаять, углемъ начертить или съѣсть,—смотря по тому, какая вещь. И мнѣ крѣпко доставалось за мое любопытство. Особенно мнѣ доставалось за книгу: „Священная Исторія Вѣтхаго и Новаго Завета“, съ картинками. У дяди только я и видѣлъ эту книгу на столѣ въ переднемъ углу. Смотрѣть ее мнѣ строго запрещалось. Дядя изъ нея ничего не читалъ, и только тетка старательно каждый день

стирала съ нея пылъ по привычкѣ стирать пылъ съ такихъ вещей, которыя ей казались дорогими. Когда дядѣ и теткѣ нечего было дѣлать, тетка брала эту книгу, ложилась на кровать къ дядѣ и просила его почитать:

— Ну-ко, читай, что тутъ?

— Уйди, стану я читать!

— Почитай, ты вѣдь у меня золото. Ахъ, еслибы я ушла грамотѣ!

— Не хочу. Мало ли что тутъ писано.

— А это что за картинка?

Я востепенусь и подбѣгаю къ кровати.

— Ты зачѣмъ!—закричитъ на меня тетка.

Я молчу; знаю, что меня не звали, а уйти не хочется. Дядя начинаетъ рассказывать теткѣ содержаніе картинки или читать; тетка повернется къ нему лицомъ, а я забѣжусь на стулъ къ подушкамъ и стараюсь заглянуть на картинку. Досадно мнѣ, что картинки итъ, и я протягиваю къ книжкѣ руку. Дядя замѣтитъ это и щелкнетъ меня книжкой по лбу:

— Тебѣ говорятъ, балбесъ ты эдакой, или итъ? Пошелъ!

Я стою.

— Ахъ ты подлая рожа. Гдѣ ремень?

Я убѣгу.

За то, какъ останусь я одинъ дома, то вволю на-смотрюсь на картинки, на листки и на переплетъ. И достанется же тогда книгѣ: мнѣ очень нравилось прокалывать иголкой или булавкой глаза изображаемымъ на картинкѣ людямъ и прокалывать также буквы, или чертить карандашемъ на листкахъ разныя каракули. Дядя, когда читалъ книгу, догадывался, что это мои продѣлки, и тетка расправлялась со мной, заставляя цѣлый день простоять на колѣняхъ въ углу. Мнѣ обидно казалось стоять, и я рѣшилъ, что лучше будетъ, если я картинки вырву изъ книги, а самую книгу брошу въ печь. Долго я хохоталъ надъ своей выдумкой и ждалъ къ тому случая. Такъ и сдѣлалъ. Разъ вечеромъ, когда дядя и тетка ушли въ гости, а меня оставили домовничать, я заперъ двери на крючекъ, подбѣжалъ къ столу, схватилъ книгу и началъ операцію. Помню, что мнѣ страшно почему-то казалось вырывать изъ книги картинки, и я думалъ: а что, если они воротятся? а если они теперь въ окно смотрятъ? Я погасилъ свѣчку, подошелъ къ окну и прилежнѣе прежняго продолжалъ свою операцію, выдирая какъ попало, лишь бы скорѣе кончить работу... Книгу потомъ я спряталъ подъ шкафъ, гдѣ лежали только старыя теткинны ботинки. Дядя и тетка домой пришли поздно, когда я уже спалъ. Книги они не хватились; а тетка еще, какъ раздѣвалась, дала мнѣ конфетку, пряникъ и грецкій орѣхъ. Цѣлую ночь я не спалъ. Какъ только тетка сложила утромъ въ печку дрова, я живо бросилъ книгу въ печь, но бросилъ такъ, что она свалилась на бокъ къ самой стѣнкѣ. Тетка стала затоплять печь. Она любила, чтобы у нея дрова въ печкѣ хорошо были складены; поэтому она, замѣтивъ книгу, сначала подумала, что это кирпичъ.

— Что за дьяволъ, откуда это кирпичъ? Сверху что-ли выпалъ...—и стала вытаскивать клочкой этотъ кирпичъ. Каково же было ея удивленіе, когда она

увидала свою любимую книгу безъ картинъ и съ ободранными листками!

Дядя долго меня драгъ ремнемъ за эту продѣлку.

Онъ очень любилъ картинки, но никогда не покупалъ ихъ. Разъ ему подарилъ кто-то картинку лубочной фабрики, изображающую войну. Дядя сталъ любоваться на картинку съ теткой, а я сидѣлъ въ углу. Больно меня брало любопытство посмотреть картинку, точно меня объе толкалъ въ бокъ.

— Ишь дьяволъ!—Смотри-ко, это, поди, въ эполетахъ-то генералъ?—говорила тетка.

— Какъ же.

— А это?

— Ты смотри: у этого орденовъ сколько, — и это генералъ.

— Экое счастье... Гляди же, сколько онъ людей-то давитъ! Смотри, копыто-то на трехъ головахъ стоитъ... А саблей-то вонъ пятерыхъ зацѣпилъ...

Между тѣмъ я уже подерался къ нимъ, приподнялся на пальцы ногъ, — не выдать; зашелъ съ боку.

— Ты что?—крикнулъ дядя.

Я отошелъ немного и скорчилъ глаза. Тетка пожалѣла меня и подозвала къ столу. Я ничего не понималъ въ картинкѣ и когда дядя ваялъ ее въ руки, я хотѣлъ еще посмотреть и рванулъ ее такъ, что одна половина ея осталась въ моей рукѣ. За это дядя такъ ударилъ меня по головѣ, что я грохнулся объ полъ; изъ рта пошла кровь.

Съ этихъ поръ я крѣпко не залюбилъ дядю.

Меня учили молитвамъ, учили молиться утромъ, вечеромъ, передъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ нихъ учили уважать и почитать старшихъ, любить тетку и дядю, называть ихъ родителями, и всему этому учила меня тетка. Но молитвы я зналъ плохо, а зналъ больше пѣсенъ и сказокъ; тетку и дядю я уважалъ, боялся, и такъ какъ я былъ малъ, то безъ ихъ спросу ничего не могъ сдѣлать, и это безсилье свое я испытывалъ на себѣ каждый день. Старшихъ я не могъ любить всѣхъ, а любилъ только тѣхъ, которые были ласковы ко мнѣ; съ кѣмъ хороши были мои воспитатели, кого они любили, того и я называлъ хорошимъ человѣкомъ и къ тому лѣзъ безъ перемонъ. Одного только я не могъ тогда понять: зачѣмъ мнѣ молиться еще за родную мать и за родного отца? вѣдь я не видалъ ихъ? Зачѣмъ молиться за отца, когда тетка называетъ его пьяницей и часто ругаетъ меня тѣмъ, что отошлетъ меня къ нему?... Тетка мнѣ на мои вопросы или отвѣчала бранью, что я безтолочъ, скотъ и пр., или говорила, что молиться нужно. Молился я вслухъ, по принужденію, такъ: умою лицо, становлюсь среди комнаты и начинаю молитву; вдругъ тетка крикнетъ: подожди, балбесъ! рано: еще чай не поспѣлъ... Я отойду, сяду въ уголъ и жду: скоро ли будетъ готовъ чай. Наконецъ чай готовъ; дядя и тетка садятся за столъ; я становлюсь посрединѣ комнаты и говорю вслухъ молитвы. Всѣ молчатъ. Если я ошибусь, тетка поправитъ меня.

Большихъ усилій стояло ей растолковать мнѣ, что у меня была родная мать, что не она, тетка, родила меня, а только воспитываетъ и кормила меня по началу грудью, какъ свое дѣтище. Но мнѣ тогда все равно было: родная она мнѣ мать, или нѣтъ. Я только сочинения Ѳ. РАШЕТНИКОВА, т. п-й.

зналъ и понималъ, что она меня кормить, и что за обиду, нанесенную мнѣ уличными мальчуганами, которые нерѣдко тревожили мой носъ до крови, всегда заступалась; значить, я былъ не чужой ей. Я плохо понималъ тогда, что значить мать, отецъ и сынъ, и только гордился иногда тѣмъ, что живу у такихъ людей, которыхъ любятъ другіе люди, и часто важничалъ. Напримѣръ, бывало придетъ какой-нибудь нищій къ намъ, и я говорю ему: „дома нѣту“. А самъ думаю „вотъ и ничего не дали. Маменька велѣла подавать грошники, а я не подамъ тебѣ, себѣ возьму“. Придетъ къ дядѣ проситель какой-нибудь, да дядя спитъ, и я говорю ему: „спать еще“. Знаю я, что нужно сказать ему: подождите или садьте, а я думаю: „постойшь, не великъ баринъ...“. Если мнѣ давали подачки, я думалъ, что мнѣ такъ и слѣдуетъ давать подачки, потому что я сынъ ихній, а этотъ мнѣ чужой. То, что я былъ не чужой дома, я зналъ хорошо, и если слышалъ, что дядю кто-нибудь ругаетъ, пересказывалъ теткѣ да дядѣ, и дядя говорилъ, что онъ отомститъ тому человѣку чѣмъ-нибудь...

Съ каждымъ днемъ мнѣ тяжелѣе становилось бывать дома. Я дома ужъ не баловалъ, но озорничалъ и нарочно дѣлалъ то, что не нравилось теткѣ, которой я не могъ ничѣмъ угодить. За всякую неловкость она бранила меня, кричала; я сначала злился, а потомъ плакалъ, сознавая, что меня напрасно ругаютъ. Родственники мои, дѣти однихъ со мною лѣтъ, знали, что я терплю много, и постоянно говорили мнѣ: „зачѣмъ ты боишься ихъ? Вѣдь они не родные тебѣ“. Я сначала отпалчивался и не жаловался на нихъ, а потомъ, слушая каждый день ихъ совѣты, сталъ размышлять въ тяжелыя минуты: „а зачѣмъ я боюсь ихъ? Ну, и не стану бояться...“. Тетка скажетъ мнѣ: „становись на колѣни!“. Я не становлюсь!

— Тебѣ говорить!—крикнетъ она.—Это что значить?—произнесетъ она съ изумленіемъ.

Я не слушаюсь.

— Вы не родная мнѣ...—скажу я.

Тетка озлится, схватитъ ремень и начнетъ неистовствовать по моей спинѣ. Но я не просилъ прощенія и не выдавалъ своихъ друзей... Эти сцены стали повторяться часто; меня наказывали больно, а я день ото дня становился злѣе и упрямѣе. Поставятъ меня на колѣни,—я цѣлый день простою и не попрошу прощенія; не накормятъ меня—я самъ украду хлѣба... И какъ же я въ это время ненавиждѣлъ своихъ воспитателей!..

Больно мнѣ было слышать то, что меня попрекали моимъ роднымъ отцомъ, говоря, что мой отецъ никуда негодный человѣкъ, что дядя держалъ его прежде у себя изъ милости, дѣлалъ ему много добра, за которое онъ отплачивалъ ему различными неприємностями. Тетка молила Бога, чтобы я захворалъ и умеръ; а дядя кормилъ тетку, что она женила его брата и что она одна виновата въ томъ, что я родился и живу теперь у нихъ, а пользы отъ меня никакой не выходитъ кромѣ того, что я выхожу очень дрянной мальчишка: не слушаюсь ихъ, грублянъ и начинаю поворовывать.

Оба они требовали, чтобы я дѣлалъ то же, что дѣлаютъ и они: говорилъ съ толкомъ, не игралъ съ ре-

бятими, сидѣлъ смирно на стулѣ и исполнялъ всѣ нѣя приказанія безъ ошибки. Но могъ ли я это сдѣлать? Меня манили игры товарищей; мнѣ завидно было, что другія дѣти живутъ какъ-то вольнѣе. Если же я видѣлъ, что ихъ обижали не хуже меня, били еще хуже, — я какъ-то радовался...

Все-таки я любилъ тетку болѣе дяди. Дядя бывалъ дома рѣдко. Утромъ вставалъ онъ рано; рано мы пили чай, за чаемъ шли разсужденія о томъ, что состричь или испечь сегодня; онъ разсказывалъ о дѣяніяхъ своихъ служивцевъ, она ему поддакивала или говорила про какую-нибудь сосѣдку. Я сидѣлъ въ углу, какъ посторонній человѣкъ, считая глотки дядины и теткыны и дожидаясь, когда мнѣ подадутъ чашку чая. Выпивъ чашку, я подходилъ къ дядѣ и теткѣ и цѣловалъ у каждого руку. Дядя ничего не отвѣчалъ на мою благодарность, а тетка все что-нибудь да замѣчала: „ты не стоишь того, чтобы тебя поить чаемъ! Это тебѣ послѣдній разъ“, и т. п. Когда дядя уходилъ изъ дома, я долженъ былъ или сидѣть смирно у окна или чистить варенный картофель, приносить теткѣ воду, выносить помой и за неумѣлость получалъ подзатыльники; но за то она кормила меня сладкимъ печеньемъ и разными сладостями, — произведеніями своихъ рукъ, — раньше, чѣмъ сама пробовала; мыла меня въ это время въ банѣ, чесала и помадила голову и брала съ собой въ гости... Вотъ за это-то я и любилъ ее больше всего на свѣтѣ. Отчего это? Оттого вѣроятно, что она сердилась на меня и колотила меня безсознательно, не умѣя иначе научить меня хорошему, приучить къ своему характеру, сдѣлать изъ меня подобіе себѣ и нужу, и ей все-таки жалко было меня тогда, когда она не суетилась, а сидѣла молча за работой. Не даромъ же она такъ лелѣла меня, такъ ухаживала за мною четыре года, какъ за роднымъ дѣтищемъ...

— И, матка! Вѣдь мнѣ жалко его. Хотѣ и побыешь и побранишь его, да опять-таки и пожалѣешь... Авось, какъ станешь добромъ-то обращаться, вспомнешь и меня, — говорила она какой-нибудь своей подругѣ по вечерамъ, находясь въ веселомъ настроеніи.

— Бить-то его не надо.

— Не могу, нравъ ужъ такой у меня... И сама я не знаю, какъ будто я люблю его. А за что, спрашивается, мнѣ любить-то его?..

— Ну вотъ: вѣдь маленькова была...

— Управъ только больно: весъ въ мать.

— Ну, вырастетъ, за все отблагодарить.

— Вотъ ужъ!.. по шеѣ бить будетъ.

— Эй ты, женихъ, поди-ка сюда!... Вудешь ты любить маменьку? — спрашивала меня подруга теткы.

— Буду.

— Ну, не ври: ужъ коли ты теперь непочтительнъ, что послѣ-тѣ будетъ?

Мнѣ досадно было слышать такіа слова; въ эти минуты я готовъ былъ Богъ знаетъ что сдѣлать для теткы, чтобъ она меня похвалила.

Когда дядя меня билъ, — а онъ билъ рѣдко, да мѣтко, — тетка всегда заступалась за меня. Нужно мнѣ что-нибудь, она поворочить-поворочить и выпросить у дяди.

Была у меня бабушка по теткѣ. Ей было въ это время уже годовъ семьдесятъ; но она была здоровая женщина. Утромъ она пекла калачи, днемъ эти калачи продавала на рынкѣ, а вечеромъ вязала или шила. На рынокъ я ходилъ каждый день то за картофелемъ, то за капустой и т. п. и всегда подходилъ къ бабушкѣ. Она давала мнѣ калачикъ и мѣдную гривну на пряники. Вечеромъ около нея собирались ребята и вдѣвали въ иголку нитку, когда она что-нибудь кропала. Она очень любила насъ, маленькихъ ребятъ, говорила такъ ласково. Мы любили слушать ея пѣсни, которыя она пѣла на тонъ убогаго Лазара, котораго поютъ нищіе на кладбищахъ въ радоницу, и какъ она разсказывала сказки!.. Всѣмъ было весело съ нею, потому что она говорила какъ-то смѣшно и постоянно смѣшила насъ своими разсказами. Она любила тетку больше всѣхъ дѣтей, а меня больше всѣхъ своихъ внуковъ.

— Бѣдная ты сирота. И пожалѣть-то тебя некому, — говорила она мнѣ. — Ишь какъ избилъ тебя. А ты, голубчикъ, терпи: стерпится — слюбится, говорятъ пословица. Выростешь, спасибо скажешь.

— Зачѣмъ она, бабушка, бьетъ меня?

— Ужъ я говорила ей: что, молъ, ты парня-то бьешь? креста что-ли у тебя на вороту нѣту-ка?

— Ну?

— Не буду, говорить, бить.

— А вотъ она бьетъ. Я и не буду слушаться ея.

— Не балуй!

— Право не буду.

— Грѣхъ. Вѣдь она все же и заступаетъ за тебя. А ты, коли она забранится, смолчи — она и не ударитъ.

Ребята просили бабушку, чтобы она вступалась и за меня, и за нихъ, и она изъ-за насъ распекала своихъ дѣтей, которыя вымещали свою обиду на насъ и говорили бабушкѣ, что она вмѣшивается не въ свое дѣло.

На седьмомъ году дядя сталъ брать меня съ собой рыбачить. До этого времени я всегда удивлялся тому, — какъ это дядя рыбу ловить? Придетъ онъ съ рыболовства и приноситъ съ собой туесокъ съ живою рыбой. Тетка въ восторгѣ; дядя ругается, что сегодня плохо клевава рыба, а я засовываю руку въ туесокъ и ловлю рыбу. Мнѣ очень хотѣлось посмотрѣть, какъ онъ удитъ, но онъ всегда одинъ ухливалъ въ лодкѣ куда-то далеко. Приставалъ я къ нему, чтобы онъ меня взялъ рыбачить, но онъ не бралъ. Надо замѣтить, что дядя я очень боялся еще потому во-первыхъ, что сама тетка побивалась его; а это я зналъ изъ того, что онъ часто покрикивалъ на нее за то или за то, что она не заштопала ему дыръ на брикахъ или калачѣ, и она всегда говорила, когда его не было дома: „ахъ, какъ бы мнѣ уноровить ему!“. Во-вторыхъ я зналъ его здоровые кулаки. Когда потомъ дядя сталъ брать меня съ собой на рыболовство, а послѣ каждого рыболовства всячески старался угодить ему и теткѣ, чтобы онъ взялъ меня снова рыбачить. Я зналъ, что если тетка попроситъ его, онъ возьметъ меня, и зналъ также то, что онъ не всегда слушалъ тетку. И дѣлалъ я ему различныя угодженія: заставить тетку чистить дядины сапоги, а старатель-но чисту цѣлый часъ, или до тѣхъ поръ, пока тетка

не выхватить у меня щетку и не ударить ею по моей голове и дочистить самого сама. Скажет он, чтобы я шел копать червей, я не шел, а бѣжалъ, подпрыгивая на одной ногѣ, думая: „а вотъ я рыбачить пойду!“ и наконецъ ему что ни на есть самыхъ лучшихъ червей зѣ навоса. Мнѣ очень нравилось сидѣть съ дядей въ лодкѣ и я сидѣлъ вмѣсто мебели, какъ выражался дядя, потому что дядя мнѣ не давалъ удильщика. Мнѣ правилась большая рѣка, рыболовы, правилось искусство дядино ловить рыбу: какъ онъ закидываетъ лесу въ воду, поплывшая предварительно на червячка, насаженного на удочку, какъ поплавокъ пляшетъ на водѣ, какъ дядя подсѣкаетъ удильщикомъ, какъ онъ выгибается, когда тащить большую рыбу, говоря, чтобы я сидѣлъ смирно, какъ эта рыба возить лесу, какъ дядя вытаскиваетъ ее въ лодку и какъ онъ прокладываетъ все и всѣхъ, когда не вытащить рыбы.

А дядя золъ былъ ругаться. Раньше этого я не слыхалъ, чтобы кто-нибудь умѣлъ ругаться такъ, какъ ругается мой дядя. Онъ ругался даже и тогда, когда говорилъ съ кѣмъ-нибудь. Онъ ругалъ все и всѣхъ, живыхъ и мертвыхъ, свиньями, дармоедами, а себя называлъ самымъ уминымъ человекомъ, котораго все и всѣ обжаютъ. Мнѣ весело было тогда, когда онъ ругался; я такъ привыкъ къ его ругани, что думалъ, что онъ только тогда и веселъ, когда ругается. Я обыкновенно сидѣлъ въ носу или въ корнѣ лодки, а дядя по серединѣ и я сравнивалъ дядю съ бубновымъ королемъ—такъ ужъ онъ больно походить на него въ своемъ халатѣ, шляпѣ и съ трубкою въ зубахъ. Я ловилъ руками рыбу въ тескѣ, издѣвался надъ червями, при чемъ лодка качалась, дядя злился, кричалъ: „тебѣ говорить, или нѣтъ!“. Я присмирѣю, сажу какъ сычъ; а потомъ опять начинаю уже неистовствовать въ лодкѣ. Дядя терпитъ-терпитъ да какъ „свяснетъ“ меня удильщикомъ по затылку и закричитъ:

— Я тебѣ говорилъ, или нѣтъ? Ахъ ты этакой... —и зубы у него словно трещать, и лицо такое сдѣлается страшное, что меня ужасъ возьметъ; я опять присмирѣю, такъ что даже и соседніе рыболовы смѣются.

— Валяй ему! валяй хорошенько...

— Ишь какой, только шалить!

— Смотри, рыбу-то отгонить всю!

Дядя, какъ видно, осердится и скажетъ мнѣ: „не ваше дѣло!“ такъ что и ты присмирѣешь.

Дядя, какъ онъ самъ говорилъ, былъ злой рыбакъ. Онъ ничего не любилъ такъ сильно, какъ рыболовство, и страшно ругался, если ему въ какой-нибудь день не удавалось рыболовить. Онъ удилъ постоянно отъ елки. Елку эту онъ срубилъ въ лѣсу за двѣ версты отъ города и къ своей лодкѣ перѣ ее на своихъ плечахъ, проклиная свое житіе. Также перѣ онъ къ лодкѣ пятипудовые камни и хвастался, что онъ силачъ. Дѣйствительно съ пятипудовыми камнями онъ обращался довольно нецеремонно и вертѣлъ ихъ, какъ полупудовые. Къ верхушкѣ елки онъ привязывалъ веревку, которую были обвязаны два или три камня, пудовъ въ восемь или девять; къ корню привязывалъ тоже веревку длиной сажень въ пять и на-

плавъ. Елку свою онъ бросалъ такимъ образомъ: сначала раздвигался и мѣрля дно рѣки противъ одного мѣста, близко отъ города, и шупалъ плиту, т. е. гладкое, ровное дно. Мѣрля дно онъ также и багромъ. Смѣривши дно, онъ тащилъ въ лодку камни, кладъ ихъ на дощечку, положенную поперекъ носа на края лодки, потомъ клалъ лодку и веревку съ наплавомъ. Выбросивши веревку съ наплавомъ, онъ мѣрля дно снова, и удостоверившись, что здѣсь хорошо поставить елку, выбрасывалъ ее ловко изъ лодки, а потомъ бралъ за одинъ конецъ доску и опрокидывалъ ее тоже ловко въ воду; камни и елка исчезали и оставался только одинъ наплавъ. Наплавъ означалъ мѣсто елки. Отъ елки дядя считалъ лучше удить, чѣмъ отъ зазвонковъ, потому что противъ самой елки проносъ воды очень тихій и елку можно всегда перетаскать, да и притомъ дядя думалъ, что съ елкой меньше возни. Часто дядю злило тѣмъ, что отрывали наплавъ отъ елки, а иногда и всю веревку; а отрывали или плоты, или суда, или городскіе ребята по ночамъ. Впослѣдствіи я самъ былъ большой охотникъ на эти штуки. Если нѣтъ наплава, дядя долго ругался, плевалъ въ воду и искалъ елку кошкой, сдѣланной изъ большихъ гвоздей на подобіе якоря, и если не находилъ елки, срубалъ новую. Если у него было свободное время, онъ всегда сидѣлъ у елки, будь тутъ громъ, дождь и валы. Онъ злился въ это время на громъ и на Илью, отъ котораго, по его понятіямъ, гремѣлъ громъ, но дождь и валы онъ любилъ. Если его сильно мочило, онъ подливалъ къ берегу, втаскивалъ на берегъ лодку, опрокидывалъ и забивался подъ нее, выжидая, когда дождь перестанетъ идти. Послѣ дождя рыба хорошо клюетъ, говорили всѣ наши рыболовы. Дядя никогда не бѣлъ свою рыбу: онъ говорилъ, что ему жалко ѣсть ту рыбу, которую выудилъ самъ, а тетка каждый день стряпала для себя изъ нея пироги. Это ужъ рѣдкость, когда дядя будетъ хлебать уху изъ пойманной имъ рыбы.

Дядя любилъ рыbachить одинъ и я не знаю, зачѣмъ онъ меня бралъ съ собой: вѣроятно для того, чтобы я привыкалъ къ рыболовству, привыкалъ ко всякой погодѣ, а можетъ быть и для того, чтобы я не баловалъ дома. И я сидѣлъ въ лодкѣ какъ кукла. Помню, что въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, въ которые я имѣлъ удовольствіе сидѣть съ нимъ въ лодкѣ, онъ не сказалъ мнѣ ни одного ласковаго слова, не сказалъ ни одного наставленія, называлъ меня шельмой, и если его обманывала рыба, онъ ругалъ рыбу, плевалъ со злости въ воду, ругалъ меня, говоря: „это все отъ тебя не клюетъ рыба! Какъ отецъ твой несчастный, такъ и ты такой-же злосчастный...“. Можетъ быть онъ хотѣлъ испытать мое счастье и поэтому бралъ меня съ собой. А у него была такая замашка. Впослѣдствіи мы рыбачили неводомъ и закидывали неводъ на счастье тетки, дяди и мое. Оказывалось, что рыбы попадало мало, и заключали, что всему этому я виновъ. Одинъ разъ какая-то рыба оборвала всю лесу у дяди чуть не по самое удильшко. Дядя обругалъ меня: „это все отъ тебя!“ Поплылъ за лесой, но лесы не могъ поймать. Съ этихъ поръ онъ не сталъ брать меня съ собой и я рыбачилъ уже самъ съ берегу, да и это случалось очень рѣдко, потому что меня одного

боялись отпускать въ рѣкѣ, чтобы я не утонулъ. За то, если я рыбачилъ, то становился по колѣно въ воду, болталъ удлишкомъ въ водѣ, когда не клевала рыба, и особенно любилъ ловить раковъ.

Наши родственники держали своихъ дѣтей очень строго и рѣдко отпускали насъ другъ къ другу. У тетки дѣти не собирались, а собирались мы у дяди Антипина, у котораго было три дочери и двое сыновей и къ которому приходили его племянники, три мальчика. Съ уличными ребятами намъ рѣдко приходилось играть, потому что насъ не пускали на улицу, и если случалось, что мы дрались съ дѣтьми мѣщанъ, насъ наказывали за это, такъ какъ намъ не слѣдуетъ связываться съ дѣтьми мѣщанъ потому-де, что мы перейдемъ отъ нихъ скверныя привычки. Намъ позволяли играть во дворѣ и въ огородѣ. Мальчики старше насъ съ нами не играли, у нихъ были свои игры: они стругали стрѣлы, дѣлали луки, стрѣляли въ цѣль и сверху, дѣлали суденки и корабли съ парусами, пускали ихъ по пруду, находящемуся въ огородѣ Антипина, и занимались большею частью рыболовствомъ. Если мы приставали къ нимъ съ разспросами, они, какъ старшіе, звергивали насъ, т. е. тербели за волосы. Поэтому нашей брати собралось отдѣльно чело-вѣкъ шесть, и такъ какъ у насъ почему-то не было расположенія играть въ мячикъ или бабки, то большинство изъ насъ играло въ *клятки* и угощали другъ друга разными кушаньями изъ глины. Въ куклы любилъ играть двѣ дѣвочки, и эти куклы представляли тоже живыя существа, замѣнявшія собой бабушку или какого-нибудь родственника. Забережся мы, бывало, лѣтомъ въ уголокъ за сараемъ у огорода для того, чтобы насъ не тревожили старшіе, и начнемъ играть.

И дѣлаемъ мы чашки, пирожки, крендельки и т. п. изъ глины, и угощаемъ другъ дружку такимъ образомъ. Такъ же угощаются и лепѣются куклы наши, которыя въ одинъ день бывають и матушкой-попадѣей, и тетушкой, и сестричкой, и посторонней гостьей, и если кукла капризится, ее щиплуть, снимають съ нея платье и т. д. И чего-то чего не наговоримъ мы тутъ; какъ не выскажемъ свою заботливость, свои нужды и печали, да и не только свои, а и своихъ родныхъ. Напримѣръ:

— Ахъ, Мама, у меня нѣтъ чаю (Это значитъ — вчера у ея матери не было чаю).

— Купи у меня.

— Продай; много-ли возьмешь?

— Рубль.

И даетъ Оля Машѣ пять плитокъ отъ изломаннаго горшка. Случалось, что иногда по капризу кого-нибудь изъ насъ чай стоилъ сто рублей. А по нашему сто и тысяча рублей ужъ чрезвычайъ много значили, хотя мы не видали никогда столько денегъ. Цѣлый день мы играемъ такъ; намъ весело и хорошо. Взрослый чело-вѣкъ, послушавши насъ, сказалъ бы: что это они городятъ такое? никакого толку отъ нихъ не добьешься. Взрослый чело-вѣкъ скучаетъ весь день, весь день недоволенъ и не понимаетъ онъ этого особаго дѣтскаго міра, который дѣти сами создали или переняли отъ другихъ: нравится имъ эта безтолковая

игра, она занимаетъ ихъ, болтають они все, что только взбредетъ въ голову, все, что они помнили отъ людей; здѣсь никто не стѣсняетъ ихъ, потому что они предоставлены самимъ себѣ, — и весело имъ. Странно только то, что многинъ изъ родныхъ нашихъ не нравились подобныя игры; странно, потому что они, когда были дѣтьми, такъ же играли, а это я зналъ изъ того, что всѣ дѣти, сколько я не видалъ ихъ въ то время и послѣ въ нашемъ городѣ, такъ же играли. Не скучно намъ было и тогда, когда шелъ дождь, или зимой. Лѣтомъ мы забивались въ чуланъ или куда-нибудь въ такое мѣсто, откуда насъ не гнали, и тамъ играли въ плетки и въ деньги. Зимой мы забивались на печь и играли больше въ карты, хотя и не умѣли еще играть, причемъ валеты, дамы и прочая карточная знатъ шла у насъ за людей. Такъ напримѣръ моего дядю называли пиковымъ валетомъ, а я настаивалъ на томъ, что мой дядя бубновый король.

Любили мы еще играть въ войны или отпѣвать. Голосъ тогда у меня былъ хорошій и мнѣ часто доставалось за него. Найдеть напримѣръ кто-нибудь изъ насъ подошлаго воробышка, косточку отъ курицы, крылышко или что-нибудь въ этомъ родѣ, мы всей ватагой и давай дѣлать ямку, гробикъ, завертываемъ предметъ нашего удовольствія въ тряпочку и загребаемъ его землей. На другой день мы смотримъ, тутъ ли погребенная нами вещь. Но раньше этого мы спорили.

— Тутъ, или нѣтъ?

— Нѣту...

— А вотъ посмотримъ.

Предметъ нашего удовольствія всегда бывалъ на мѣстѣ. Въ войны же играли такъ: возьмемъ каждый по палкѣ, станемъ всѣ въ рядъ, кромѣ дѣвочки, старшіе командуютъ: разъ! два! Мы вытягиваемъ ноги и хохочемъ. Это у насъ называлось „войной“, о которой мы имѣли такое понятіе потому, что видѣли, какъ маршируютъ солдаты, а если намъ говорили, что на войнѣ убивають, мы не вѣрили... Мы знали, что за убійство наказывають; а это мы знали изъ того, что мимо нашего дома каждую субботу возили на рынокъ грѣшниковъ. Лишь только услышимъ мы барабанный бой — и кричимъ: „грѣшника везутъ“, и бѣжимъ на улицу. Изъ всѣхъ воротъ выходили мужчины, женщины и дѣти, — каждому хотѣлось взглянуть на грѣшника. Невольно я побѣгу посмотреть.

— Смотри, недолго! Я бы сходила, да некогда, — говорить мнѣ тетка. Впрочемъ она часто ходила за толпой. Тогда я оставался дома, но скоро убѣгалъ и крался какъ кошка за этой толпой, стараясь не попадаться на глаза теткѣ. А въ толпѣ говоръ:

— Экое подумаешь наказанье! Подумаешь ты: вѣдь неловко ему, бѣдному.

— Поди кается, голубчикъ.

— Ахъ, Машка, я и забыла грѣшникъ-то взять?.. Какъ я пойду съ пустыми руками: вѣдь неловко, какъ не бросить на шафоть-то.

— Ну, я за тебя брошу.

— Нѣтъ ужъ, я своими руками.

— Говорятъ, что это падаеть себѣ беретъ.

— Ну, Богъ съ нимъ! Ты лучше нищему не подай.

— Ай, дяденька! за что его везутъ-то?

— За воровство.

— Ишь ты! Вотъ бы Анкудиниху такъ-то про-  
брать!

— Чего Анкудиниху! Вонъ Тарасовъ что дѣ-  
лается...

— Не казнятся, черти... А поди и они тутъ же.—  
И т. п.

Дядя мой ругалъ тѣхъ людей, которые бѣгаютъ  
смотреть грѣшника. Онъ говорилъ, что это дураки  
бѣгаютъ, сами не зная, почему бѣгаютъ, такъ же какъ  
сами не знаютъ, почему они ходятъ пожары смотреть;  
говорилъ онъ также, что они ходятъ для развлечения,  
потому что дома имъ нечего дѣлать. Но дядя мой по-  
нималъ это по своему, а тетка и люди—по своему; тет-  
ка даже говорила, что она не потому ходитъ, чтобы  
смотреть, какъ наказываютъ, а чтобы пожалѣть его  
и бросить ему гривенку денегъ. Того же мнѣнія были  
и сосѣди наши. Мы же, дѣти, ходили безсознательно,  
и намъ очень было жалко наказываемого, страшно,  
потому что въ это время была такая мертвая тишина,  
что только и слышны стоны наказываемого. Мы ухо-  
дили молча, сердца наши бились; по ночамъ мы бре-  
дили и какъ-то боялись. За то днемъ находились изъ  
насъ такіе артисты, которые изображали подобную  
же операцию надъ деревомъ, веревкой или голикомъ.  
Выходило забавно, но еще забавнѣе выходило то, что  
этого артиста непременно въ этотъ день наказывали  
розгами или родной батюшка, или родная матушка.

Играли мы еще въ лошади, но украдкой; и за эту  
игру намъ больно доставалось отъ родныхъ. За то  
намъ не запрещали пускать змѣйки. Сдѣлаешь змѣекъ  
и бѣжишь въ восторгѣ, распуская нитки, то по ули-  
цѣ, то по огороду, и только тогда присмирѣешь, когда  
услышишь крикъ дяди или родственника:

— Я тебя, шельма ты эдакая!...

Родные наши очень были строги и не любили всѣ  
наши игры. Они хотѣли, чтобы мы сидѣли смирно;  
они боялись, что мы издеремъ и измаремъ рубашки  
и платья, ушибемъ. Все это дѣлалось конечно съ  
цѣлю, чтобы оберечь насъ. Но что же было намъ дѣ-  
лать, какъ не играть только? Намъ ничего не чита-  
ли, ничего не рассказывали хорошаго, не велили до-  
трогиваться до книгъ. Если же мы спрашивали: „а  
почто это гремитъ? Почто идетъ такъ скоро туча?“.  
Намъ говорили: „не вамедѣло!“. Если мы приставали  
съ разспросами, намъ стѣвѣчали подзатыльниками.  
Какъ теперь помню, вся забота нашихъ родныхъ со-  
стояла въ томъ, чтобы мы во всемъ слушались ихъ,  
пересказывали все, что говорилось другими про нихъ,  
не знали съ тѣми, кого и они не любятъ, меньше  
ѣли. При этомъ они говорили, что хотятъ изъ насъ  
сдѣлать подобіе себѣ, и указывали на какого-нибудь  
служашаго болодого человека: „посмотри-ка, какой  
человѣкъ-то сталъ!.. А вѣдь какъ были-то его, бѣд-  
наго... За то выучили“.

Дядя началъ меня учить грамотѣ. Азы я училъ  
цѣлый мѣсяцъ, писалъ букву а также цѣлый мѣсяцъ.  
Знаю, что много терпѣнія затратилъ дядя на мое  
ученье. Подзоветъ онъ меня къ столу, заставляетъ  
читать и такъ строго заставляетъ, что я боюсь его  
и молчу. Онъ крикнетъ на меня: ну! Я задрожу. Онъ  
ударитъ меня, а въ слезы; онъ—хуже: привяжетъ меня

къ столу и уйдетъ. Какъ только онъ уйдетъ, я на-  
чинаю ковырять указкой буквы, вырываю листки изъ  
азбуки. Дядя выпитися, придетъ ко мнѣ.

— Выучилъ?

Я молчу.

— Что же ты?

Я смотрю на него, надуваю губы и со злостью смот-  
рю въ уголъ.

— Такъ-то ты?—Онъ схватитъ ремень и начнетъ  
меня драть... Я возьму да и укушу ему руку...

Родственники видѣли во мнѣ глупаго мальчишку  
и постоянно называли меня лѣнтяемъ. Одна только  
бабушка жалѣла меня.

— Учись ты, дитятко, учись!

— Не хочу!

Она на меня прикрикнетъ: „въ солдаты что-ли за-  
хотѣлъ?“. Я заплачу и скажу:

— И ты такая же злая.

Товарищи-друзья надѣвзались надо мной: „вотъ мы  
какъ много выучили!“, хвастались они.

Наконецъ дядя отдалъ меня въ науку одному ста-  
рому отставному чиновнику съ платою ему по четыре  
рубля въ мѣсяцъ. У этого чиновника, какъ я помню,  
были двѣ страсти: онъ любилъ птицъ, которыхъ  
у него было постоянно до семидесяти штукъ и во-  
семьдесятъ садковъ, отъ чего комната его, и безъ  
того грязная и темная, имѣла довольно неказистый  
видъ; птицы пѣли, стучали носами, а онъ поддразни-  
валъ какую-нибудь птицу. Онъ изрѣдка продавалъ  
птицъ и продавалъ только такихъ, которыя ему чѣмъ-  
нибудь не нравились; хорошихъ птицъ онъ держалъ  
съ какою-то цѣлю и свою цѣль никому не высказы-  
валъ, а говорилъ, что ему нравится держать птицъ.  
Онъ съ наслажденіемъ осматривалъ каждую птицу,  
съ наслажденіемъ чистилъ садки и говорилъ: „о ты  
моя маточка! Ишь какъ расходилась! Ну-ко, нуси  
палецъ“... Забавно было смотреть, какъ онъ бралъ  
особенно любимую имъ птицу въ руки, дулъ на нее,  
цѣловалъ и говорилъ: „такъ бы и съѣлъ тебя, маточ-  
ка, да жалко“. Чиновники называли его птичьимъ  
сводникомъ, рѣдко заглядывали къ нему и говорили,  
что онъ сошелъ съ ума отъ птицъ, хотя ни я, ни уче-  
ники его этого не замѣчали. Онъ до безумія любилъ  
свою сестру, которая, какъ говорили люди, вовсе не  
сестра ему, потому что многими моложе его. Когда  
она закричитъ на него, онъ растеряется такъ, что у  
него и садокъ выпадетъ изъ рукъ; скажетъ она ему:  
„сходи на рынокъ“, онъ и птичью любезность бро-  
ситъ, побѣжитъ на рынокъ, но предварительно лѣ-  
зетъ цѣловаться съ сестрой, которая при этомъ гово-  
ритъ ему: „иди, мохнорылой; ишь, не обрился, а туда же  
цѣловаться лѣзешь!“.

— Некогда, маточка.

— Набралъ себѣ поганныхъ птицъ; вотъ распушу  
всѣхъ...

— У, ты, курочка-мохноножка!

Вторая страсть его была учить дѣтей. Своихъ дѣ-  
тей Богъ ему не далъ, вотъ онъ и ваялся по знако-  
мству учить ребятъ. Всѣхъ насъ было штукъ восемь  
и мы у него учились мало, потому что онъ задавалъ  
намъ уроки на домъ, а дома только спрашивалъ по



книжечъ и кое-что рассказывалъ изъ священной и всеобщей исторiи. Кромѣ этого имъ помогали ему чистить садки и учились пѣть. Въ праздники онъ водилъ насъ въ церковь и пѣлъ съ нами на клиросѣ. Онъ никогда не тербилъ насъ за уши или за волосы, а любилъ насъ наказывать голыкомъ своими руками.

— Ты не сердись, голубчикъ... Я маленько, потому что мнѣ это нравится, да и тебѣ привыкать надо къ этому, — говорилъ онъ намъ передъ наказанiемъ. Мы были привычны къ этому и всегда сѣдѣлись, когда онъ наказывалъ насъ. А онъ очень легко наказывалъ, такъ что его сестра говорила ему:

— Что ты ихъ мажешь?

— Думаешь, я тебѣ доверю... Я люблю ребятокъ...

Я кое-какъ умѣлъ разбирать печать и кое-какъ писалъ крупные азы; поэтому три мѣсяца моего учения у чиновника прошли безъ пользы для меня. Не знаю, долго ли бы я проучился у него, только я ему хорошо насолилъ. Какъ-то я остался одинъ у него. Мнѣ захотѣлось посмотреть, летаютъ ли эти птицы по комнатамъ и улицѣ, а того и не сообразилъ, что онъ могутъ улетѣть совсѣмъ. Я отворилъ сначала окно и растворилъ четыре садка. Птицы вылетѣли изъ садковъ, полетали по комнатамъ и одна за одной улетѣли въ растворенное окно на улицу. Я хотѣлъ было поймать, да ихъ и слѣдъ простылъ... Стою я у окна и плачу; входитъ учитель:

— Что ты, разбойникъ дѣлаешь? — и онъ оттолкнулъ меня отъ окна.

— Ничего... А самъ думаю: убьетъ онъ меня.

— А зачѣмъ плачешь? Ахъ, Господи! Гдѣ соловей?... гдѣ канарейка?... Ахъ!.. ахъ!..

— Убѣжали...

— Да знаешь ты, мошенникъ эдакой, я за нихъ тысячу не возьму...

Онъ меня вытолкнулъ въ шею и я съ тѣхъ поръ не видалъ ужъ его.

Уже съ годъ поговаривали, что меня отдадутъ въ училище и я очень радовался, что буду учиться въ училищѣ, гдѣ много будетъ товарищей. Но дядя все откладывалъ почему-то, говоря, что я еще малъ. Мы тогда жили въ почтовой дворѣ и я выкидывалъ тамъ разные штуки. Мнѣ очень было забавно, какъ почтальоны дрались у печки, и я пользовался случаемъ, чтобы злѣть ихъ какъ можно чаще. У одной печки стряпали двѣ, три женщины-хозяйки, потому что около одной печки, устроенной въ кухнѣ и выходящей одной стороною въ комнату, жило двѣ, три семьи, и стало быть каждая имѣла право на стряпню въ этой печкѣ; но каждая хотѣла непремѣнно одна стряпать. Сдвинуть напригнѣръ Семениха горшокъ Ивановой, Иванова толкаетъ горшокъ Семенихи и ставитъ свой горшокъ. Третья дѣзетъ пирожки жарить.

— Ты куда?

— А ты куда?

— И подождешь!

— Плавать мнѣ на твои горшки!

— Подожди, тебѣ говорить!

— Экая фря! Откуда ты, сволочь, выплыла?

— Тыфу ты, проклятая...

И поидетъ цапотно. Придутъ мужья.

— Ну-ну, смирно!

— Не твое дѣло!...

— Я вотъ тѣ покажу, не твое дѣло!...

— Молчи! ты знай свое дѣло въ конторѣ, а мнѣ не мѣшай.

Трудно было мужьямъ разнимать своихъ женъ и они совсѣмъ отступались отъ нихъ. Тетка жила хотя и въ особой комнатѣ, но стряпала въ одной кухнѣ съ тремя семействами. Она была неуступчивая и всегда жаловалась дядѣ на обиды ихъ, дядя жаловался почтмейстеру. Хозяйки, заявлявшія свои права на печку, сильно не любили тетку и всячески старались пакостить ей. Тетка ругалась и говорила мнѣ, чтобы я не знался ни съ кѣмъ изъ нихъ. Этого я сдѣлать не могъ, потому что на нашемъ корридорѣ было четыре квартиры, имѣющія каждая комнату и кухню въ которыхъ, какъ я замѣтилъ раньше, жило по двѣ или по три семьи. Мнѣ нравилось тереться у какой-нибудь семьи. А нравилось потому, что я выглядывалъ тамъ, нѣтъ ли хорошихъ картинокъ, хорошихъ книгъ съ картинками; мнѣ нравились платья, мебель и пр., и быть тамъ казалось веселѣе. Увижу мѣдный деньгъ, непремѣнно стану гривну или копѣйку. Если деньгъ были считаны, то жаловались теткѣ, что я укралъ; я запирался; тетка говорила, что на меня говорятъ напрасно. Если кто ругалъ меня или обижалъ, я самъ тому истилъ такимъ образомъ: однажды на только что развѣшанномъ во дворѣ для сушенія бѣльѣ я начерталъ углемъ косые кресты, меня замѣтила одна женщина и привела къ теткѣ за уши. Когда мнѣ задали за это хорошую баню, я придумалъ новое средство къ своей мести: напелъ во дворѣ дохлую кошку, принадлежавшую этой женщинѣ, и бросилъ ее въ кадку съ водой, принадлежавшую этой же женщинѣ. Подумали на меня: меня отдрали и пожаловались почтмейстеру, что отъ меня никому нѣтъ покоя. Почтмейстеръ сдѣлалъ выговоръ дядѣ. Послѣ этого мнѣ такъ нравилось злѣть почтовыхъ женщинъ, что я почти каждый день придумывалъ какую-нибудь штуку. И больно нравились мнѣ мои штуки, и больно мнѣ приходилось за нихъ. Лѣтъ только отде-рутъ меня, я сажусь куда-нибудь въ уголъ и думаю: что бы мнѣ такое сдѣлать да такъ, чтобы не узналъ никто. Пройдетъ мимо меня почтальонъ и сѣдется:

— Что ты сидишь, драная хара!

— Что ты дразнишься, песь ты экой?

Почтальонъ деретъ меня за волосы.

— Что дерешься, подлецъ! — и я ударю его.

Онъ отойдетъ и говоритъ: „воръ! воръ! не ходи во дворъ“...

Я соскочу и брошу въ него чѣмъ-нибудь.

— Я тѣ сволочь! — скажетъ другой почтальонъ, выходя изъ дверей.

Пройдетъ женщина и, со злостью направляя на меня кулаки, говоритъ:

— У! подкидывай!

— Молчи, чужа!

— О-охъ ты, чужа сибирская!.. — плюнетъ на меня женщина, уйдетъ и скажетъ теткѣ, что я обозвалъ ее скверною руганью.

Я крѣпко затаю злобу и начинаю выдумывать что-нибудь, и только выдумую, сѣбно мнѣ становится. „Ужъ сдѣлаю же я надъ вами праздникъ!“, думаю я.



И весь день я веселъ, такъ что тетка удивляется, что я веселъ.

— Надъ чѣмъ ты все смѣешься?

— Ничего... такъ.

— Опять вѣрно спакостилъ что-нибудь?

Стоять въ корридорѣ чей-нибудь самоваръ. Самоваръ шумитъ. Я вытаску изъ него кранъ и заброшу его куда-нибудь, а самъ спрячусь дома. И совѣстно мнѣ становится своей глупости, а все-таки думаю: пускай!

Слышу я, что въ корридорѣ суетятся: голосать бабы.

— Что-то баба запоетъ?— думаю.

— Ахъ, наказанье Божье этотъ парень!

— Смотри, какъ свѣтъ!... Вѣдь восемь рублей стоитъ самоваръ-отъ! Ахъ, будь онъ проклятъ, этотъ парень!

— Ужъ это онъ, больше некому.

И вытаскать меня и начинаютъ расправляться.

И выходило послѣ этого то, что всѣ кражи, сдѣланныя не мной, сваливали на меня. Меня драли, мнѣ тяжело было жить, а дядѣ еще хуже, потому что онъ платилъ деньги, и ему не было проходу: „вотъ онъ вашъ-то сыночекъ, что опять надѣлалъ“.

— Да будьте вы прокляты всѣ!—скажетъ дядя и думаетъ что я—страшный разбойникъ и что отъ меня надо всячески избавиться. Онъ отдалъ меня въ бурсу на томъ основаніи, что я принадлежалъ къ духовному сословію, хотя и родился тогда, когда отецъ былъ почталыономъ. То, что меня взяли въ бурсу, ухитрился сдѣлать дядя, у котораго много было знакомыхъ изъ консистерскихъ.

Сначала мнѣ хорошо казалось жить съ товарищами и я велъ себя очень скромно. Но когда меня черезъ недѣлю послѣ поступленія въ бурсу жестоко отдрали, я невольнолюбилъ бурсу. Мнѣ не нравилась жизнь въ заведеніи, несоюзность товарищей и жестокія розги; мнѣ показалось, что у дяди вольнѣе жить и лучше. Дядя и тетка наказывали за дѣло, а здѣсь за какіе-то уроки, которые я не считалъ нужными учить, меня два раза выстегали до обѣда, да разъ послѣ обѣда.. Цѣлыми двѣ недѣли не выпускали никуда изъ заведенія и почти каждый день драли, какъ лошадь, если не разъ, а по два раза; товарищи били меня за то что я воровалъ у нихъ булки, сушенныя лепешки, привезенныя нѣтъ родными и родственниками. Я ни съ кѣмъ не жилъ въ ладу, хвастаясь дядей, и никто не любилъ меня; всѣ стали жаловаться, что я краду булки; да если я и былъ правъ, такъ находились товарищи, которые сами воровали и сваливали всю вину на меня. Такъ я прожилъ мѣсяцъ и въ это время ужасно переживался—похудѣлъ и схватилъ золотуху. Тетка дала мнѣ двѣ-три пары рубашекъ и подштанниковъ, но я весь мѣсяцъ носилъ только одну рубашку, брюки и сюртукъ, а остальное у меня разворовали. Мнѣ невтерпѣжъ стало жить въ заведеніи и я задумалъ бѣжать. Бѣжать къ дядѣ я боялся, потому что дядя приведетъ меня снова въ заведеніе, а тамъ я видѣлъ, какъ наказывали бѣглецовъ. Мнѣ очень хотѣлось бѣжать къ дядѣ, пасть передъ нимъ на колѣни, плакать и просить, чтобы онъ взялъ меня къ себѣ; я хотѣлъ всячески постараться угождать ему, не сердить его и

не дѣлать никакихъ пакостей ни ему, ни другимъ; но я все-таки боялся уйдти къ нему, боялся даже и тетки. Наконецъ я такъ рѣшился бѣжать во что бы то ни стало. Рано утромъ я ушелъ на колокольню, думая, что тамъ никто меня не найдетъ. Съ замираніемъ сердца я просидѣлъ на вышкѣ надъ колоколами то время, когда звонили къ заутрени. Послѣ заутрени мнѣ скучно сдѣлалось, я заплакалъ и спустился къ колоколамъ. Долго я смотрѣлъ на городъ и на рѣку, долго думалъ: куда бы мнѣ уйдти, но ничего не придумалъ. Мнѣ страшно захотѣлось ѣсть, а сойти съ колокольни боялся: я и теперь думалъ, что изъ каждого окна смотреть на колокольню, видятъ меня и говорятъ: „вонъ онъ куда спрятался!“ и я представлялъ себѣ картину: какъ схватятъ меня, какъ приведутъ къ смотрителю и какъ начнутъ драть... Въ сердцѣ точно кто ножомъ водилъ тогда, когда я думалъ: „а вѣдь теперь учатся!.. Ихъ дерутъ, а меня нѣтъ... Меня не найти нѣтъ“, и я радовался своему геройству... Послѣ обѣда мнѣ еще тяжелѣе сдѣлалось; голодъ меня мучилъ. Пошелъ дождь, загремѣлъ громъ и я съ трепетомъ, прижавшись въ уголъ, ждалъ смерти. Я такъ и думалъ, что громъ непремѣнно убьетъ меня, но все-таки мнѣ еще жить хотѣлось... Когда прошла гроза и пересталъ дождь, я хотѣлъ идти въ городъ, но не пошелъ. Вечеромъ мнѣ страшно сдѣлалось: я боялся провести ночь на колокольнѣ... Мнѣ вдругъ представилось, что колокольня можетъ упасть и убить меня... Я подошелъ къ большому колоколу, моля его, чтобы онъ пришибъ меня, но онъ не двигался... Долго послѣ этого я стоялъ у перилъ и мнѣ вдругъ захотѣлось броситься внизъ. Закурилась голова и я чуть не бѣгомъ спустился съ колокольни. Ночь я провелъ на берегу въ одной лодкѣ, а утромъ отправился за рѣку. Весело мнѣ было на вольномъ воздухѣ, на свободѣ, я улыбаясь смотрѣлъ на городъ и срисовывалъ на бумажку одну часть города. Я ходилъ какъ помѣшанный отъ голода и кое-какъ отыскивалъ рабочій шалаши. Въ немъ не было никого. Тамъ я увидалъ полуживыхъ хлѣба, взялъ ее съ собой и, не зная почему, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ у снастей, распласталъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ неводъ и сдѣлалъ дыру на одной лодкѣ. Этотъ день провелъ хорошо, прогуливаясь по травѣ и по лѣсу и напѣвая пѣсни. Я радовался, что я на свободѣ, что меня никто не стѣсняетъ и я могу дѣлать все, что только хочу, я торжествовалъ надъ тѣмъ, что я одинъ изъ всѣхъ бурсаковъ убѣжалъ далеко, что ихъ дерутъ... „Пусть васъ дерутъ!“, говорилъ я громко и хохоталъ. Я очень былъ счастливъ и не находилъ счастливѣе себя человѣка. Я думалъ: „я какъ хорошо! Ни за что не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду... Я и къ дядѣ не пойду“. Мнѣ ничего не нужно было, хотя мнѣ казалось, что въ каждомъ кустѣ дерева кто-то сторожитъ меня, а на нѣкоторые кусты я даже и смотрѣть-то боялся. Когда проходилъ мой страхъ, я думалъ: „а хорошо бы здѣсь выстроить домъ. Я бы дядю и тетку взялъ съ собой жить, они бы тогда не стали меня бить“. Потомъ мнѣ думалось: „нѣтъ лучше бы денегъ побольше найти, тогда бы меня прямо сдѣлали священникомъ и учиться бы не заставляли“. Потомъ мнѣ вдругъ захотѣлось плыть куда-то дальше. Я сталъ грести впередъ

ху, но мои силы плохи были и меня перло книгу. Я приплыл къ берегу и сталъ дождать кусокъ хлѣба, поглядывая на огородъ.

— Я те, подлую рожу! ахъ ты, мошенникъ экой, каторжной!—услыхалъ я позади себя. Когда я оглянулся, то увидалъ на горкѣ мѣщанина. Лицо его было такъ страшно для меня, что я сильно струсилъ. Онъ подбѣжалъ ко мнѣ.

— Такъ-то ты! такъ-то!.. Я тебѣ!..—И онъ началъ тувить меня не на милость, а на смерть... Я ничего не понималъ, а только чувствовалъ его полновѣсные удары, а потомъ ужъ ничего не чувствовалъ. Очувствовалъ я уже тогда, когда не было ни лодки въ водѣ, ни мѣщанина на берегу. На лицѣ была кровь, голова страшно болѣла, волосы лѣзли. Я кое-какъ всталъ, началъ бродить по берегу, не зная, что мнѣ теперь дѣлать. Не знаю, сколько времени бродилъ я по берегу, только кажется вскорѣ послѣ того, какъ я всталъ съ земли, я услышалъ свою фамилію съ словами: „вотъ онъ, бѣглецъ“. Когда я взглянулъ на рѣку, то на срединѣ ея увидалъ двѣ лодки и въ каждой по два сторожа и по три семинариста. Я пустился бѣжать въ лѣсъ, не помня себя. Не помню, долго ли я бѣгалъ, только двѣ дюжія руки схватили меня, связали накрѣпко и потащили безжалостно по кочкамъ, камнямъ и травѣ, прибавляя въ спину полновѣсные, крѣпкіе удары палкой. У лодокъ меня дожидались дюжіе бурсаки и смѣялись: „бѣглецъ! бѣглецъ! Вотъ тебѣ зададутъ жару!“. Я просилъ ихъ плача отпустить меня, жаловался, что меня избили; но они все хуже и хуже издѣвались надо мной.

И была же мнѣ баня!.. Послѣ этой бани я два мѣсяца лежалъ въ лазаретѣ.

Вы думаете, я не сталъ послѣ этого бѣгать? Какъ бы не такъ! Я еще въ лазаретѣ обдумывалъ планъ побѣга, и какъ только вышелъ изъ него, черезъ день же убѣжалъ въ заводъ, находящійся въ трехъ верстахъ отъ города. И знаете ли, какъ я тамъ промышлялъ себѣ пищу и пристанище въ теченіе полуторныхъ недѣль? Какъ только я вышелъ изъ города, я бросилъ сюртучокъ въ рѣку, вымаралъ грязью свою рубашку, штаны, лицо и пошелъ въ заведенія и дома просить хлѣба ради Христа... Меня спрашивали:

— Чей ты, парнюга?

— Чей? материнъ,—отвѣчалъ я.

— Знаю, что не собачій... Кто у те матъ-то?

Я затруднялся отвѣчать и молчалъ.

— Что молчишь?

— Да мамка-то померла у меня, давно померла; бросила...

— Ишь-ты! Экое, подумаешь, наказанье!.. Ты-бы въ люди пошелъ.

— Не принимаютъ.—Я плакалъ, и плакалъ я не представляя, а не знаю, почему мнѣ горько было и горячи были мои слезы...

— То-то. Видно, молъ, трудно. А ты поди къ управителю, онъ те пристроитъ.

— Боюсь, стегать будетъ.

— Ужъ не безъ того... А ты уже похлебай щецъ.

Я радъ не радъ, что меня призвать добрая хозяйка, а самъ думаю, какъ бы она не сказала кому-нибудь про меня, да не узналъ бы дядя. Сяду я на лав-

ку и сажу смирно, смотрю дико. Ребята оглядываютъ меня, сторонятся какъ-то, а говорить со мною не хотятъ и только шепчутся... Садетъ хозяинъ обѣдать и дѣтей посадить съ собой, а я все сажу въ углу да смотрю, какъ они уписываютъ, да на меня смотрятъ. Мнѣ такъ и кажется, что они издѣваются надо мной да думаютъ: „посмотри-ко, какъ мы ѣдимъ!...“. И сажу я, какъ собачонка, съ жадностью и злостію смотрящая на своихъ хозяевъ, какъ они ѣдятъ хлѣбъ и хлебаютъ щи и что по ихъ вкусу, и съ гордостію смотреть на нее, говоря: „подождешь! вотъ остатки будутъ... А не будутъ—извини!“... И жду я этихъ остатковъ, и стыдно мнѣ, что я жду, такъ вотъ и хочется самому схватить все со стола и все поѣсть... И думаешь со злостію: „экие у нихъ рты-то огромные!.. экъ они ѣдятъ-то сколь!.. А кто они такіе?.. Погодите, утру я вамъ носъ!“... А чѣмъ,—я и не знаю, стыжусь своего положенія; боязнь опять придать ко мнѣ... Славно я наѣлся чужого хлѣба и сладокъ этотъ хлѣбъ!.. Недаромъ же я просилъ его Христа ради. Ночами я время проводилъ или у мастеровыхъ, или гдѣ-нибудь на сараяхъ.

И много я увидалъ тамъ, много я замѣтилъ хорошаго; мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ...

Сколько я ни старался избѣгать нищихъ, которыхъ я не любилъ по-своему, но мнѣ все-таки приводилось сталкиваться съ ними. Дѣти ихъ, старше и моложе меня годами, были слишкомъ грубы. Я захаживалъ въ ихъ жилища и много я тамъ узналъ такого, что заставляетъ ихъ ходить по міру. Объ ихъ жизни можно бы было напи сать цѣлые романы и исторіи, но не все же интересно для большинства; много есть такого, чему можно и не повѣрить. Здѣсь я расскажу, какъ можно короче, нѣсколько примѣровъ нищенства.

Нищенку Аринку зналъ весь заводъ. Знали ее потому, что она всѣ собиравшія деньги тотчасъ же пропивала въ кабаки и валялась послѣ этого пьяная на улицѣ. Ее ужъ не брали въ полицію, а не брали потому, что казакамъ взять съ нея было нечего, и такъ какъ въ полиціи всегда было много людей, а для Аринки нужно просторное мѣсто, потому что она никакъ не можетъ сидѣть или стоять, то рѣшили, что ей гораздо лучше лежать на улицѣ. У нея были двѣ дочери: Анна 8 лѣтъ и Прасковья 9 лѣтъ. Онѣ также ходили по міру и жили въ общей квартирѣ, въ стойлѣ, гдѣ пока не было коровы, и куда пустилъ ихъ изъ жалости мастеровой. Она была солдатская жена. Вышла она замужъ 18 лѣтъ за крестьянина. Черезъ пять лѣтъ мужа ее взяли въ солдаты. Ей трудно было жить въ чужой семьѣ съ двумя ребятами. Однако она билась полгода. Ее стали корить чужими хлѣбами, отняли мужнинъ домъ и наконецъ вытолкали изъ дома. Она пошла въ городъ на работу; но что можетъ сдѣлать одна женщина съ маленькими ребятами? Сначала она работала на кирпичномъ заводѣ, оставляя дѣтей въ какомъ-нибудь углу, а спала въ самомъ заводѣ. Потомъ она приучилась попивать водку съ рабочими, заболѣла и больная пошла по міру. Ходить по міру ей очень понравилось. Дѣти тоже пошли по міру и ходили одна, безъ нея. Онѣ часто сталкива-

лись со мной, но я прятался от них, потому что мнѣ не хотѣлось дѣлать подачекъ.

Много есть такихъ нищенокъ, которыя съ самаго дѣтства нищенствуютъ. За то онѣ ругаются, какъ мной пьяница не ругается, предаются разврату съ мужичками ихняго сорта, пьянствуютъ, дерутся и обижаются, если имъ подаютъ мало.

Нищенка Танька росла въ чужихъ людяхъ. Много она приняла горя отъ нихъ, много была бита. Но и въ чужихъ людяхъ бываютъ радости. Она полюбила одного гимназиста. Ее выгнали изъ дома. Долго она ходила изъ дома въ домъ, ее нигдѣ не принимали; не принимали ее и въ больницу и она, чтобы найти себѣ пріютъ, украла на рынкѣ у какой-то старухи кошелекъ съ деньгами и ее посадили въ острогъ. Въ острогѣ ребенокъ ея умеръ. Ее оставили въ подозрѣніи, а послѣ трехъ лѣтъ ее обвинили опять въ воровствѣ. Она пробыла годъ въ острогѣ, испортилась тамъ совсѣмъ, и когда получила свободу, то пошла по міру. И часто эта Танька сидѣла въ острогѣ и въ полиціи безвинно. И никто не любилъ ее, а подавали ей милостыню только ради Христа, хотя и знали, что не въ прокъ ей эта милостыня. И жалко было смотрѣть на эту бѣдную, но ее никто не жалѣлъ...

И много-много я видѣлъ такихъ нищенокъ!

Весело и грустно мнѣ становилось, когда мнѣ приходилось быть въ ихъ компаніи, а отъ чего это такъ — я плохо смыслилъ въ то время... Шумно они проводили время, но не всѣ такъ — многіе плакали. Сидятъ наприцѣвъ какой-нибудь отставной солдатъ съ орденкомъ на шинели, съ деревяшкой подъ лѣвымъ коленкомъ, сидитъ онъ грустно. Надъ нимъ смѣются, а онъ то и дѣло поетъ: „Ахъ, больно сердцу моему“, и стучитъ кулаками отчаянно по столу.

— Гдѣ ты ногу-то прошилъ?

— Гдѣ? На войнѣ...

— Врешь ты все — отморозилъ.

Сердятся солдатъ и выкладываютъ съ досады гроши, приговаривая: вотъ-гдѣ! и потомъ рассказываютъ въ сотый разъ исторію, какъ онъ лишился ноги и отчего онъ пошелъ нищенствовать. Я только знаю его слова такого рода: „вы думаете, я сталъ бы яхшаться со всякой швалью?... а я поди-ка — жрать хочу, нажить деньги могу... Ну и наживаю, да пропиваю, а какъ пропью, и пойду собирать“.

— Такъ зачѣмъ ты по міру ходишь, коли работать можешь?

— А обидно, что за работу мало даютъ. Обидно, что за ногу мало дали... А будь-ка нога, я бы ковыремъ ходилъ и съ вашимъ братомъ не сталъ бы яхшаться. Думаете, мнѣ не обидно что-ли, сволочь вы экая! — И опять запоетъ: „Ахъ, больно сердцу моему!“.

На меня всѣ смотрѣли, какъ на звѣря. Многіе думали, что я непремѣнно барскаго рода, потому что на мнѣ была ситцевая рубашка и лицо у меня было незагорѣлое.

— Ты, парень, кто такой?

— Материнъ, — обыкновенно отвѣчалъ я.

На это мнѣ отвѣчали ругательствами. Ругали мою мать, моего отца и многіе тутъ доставалось.

— Чей ты? — спрашивали меня опять.

— Не знаю.

Меня опять ругали и били, и снова доставалось всѣмъ живымъ и мертвымъ.

— Пей водку!

— Не хочу.

— Тебѣ говорить: пей!

Ко мнѣ приставала честная компанія: кто тербилъ меня за волосы, кто наливалъ мнѣ на голову водки, кто засовывалъ руку за мою пазуху и обиралъ все, что было у меня тамъ спрятано.

— Пляши!

— Не умѣю.

Меня начинали бить и силой заставляли плясать.

Послѣ подобныхъ сценъ у меня голова ходила кругомъ. Я долго не могъ опомниться отъ всего слышаннаго и видѣннаго. Я даже досадовалъ на себя, зачѣмъ я пошелъ въ заводъ. Такъ мнѣ казались гадки всѣ нищіе, что я всячески старался избѣгать ихъ, но они все-таки находили меня и тащили съ собой. Я кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы меня спасли отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. Искалъ я въ заводѣ и такого человѣка, который заставилъ бы меня работать, но меня не хотѣли брать безъ имени, а своего имени я не хотѣлъ сказывать... И Богъ знаетъ, что-бы было со мной дальше, если бы не спасла меня одна женщина. Разъ я пришелъ въ одинъ домъ просить ради Христа. Лишь только я вошелъ въ избу, меня взялъ страхъ: я увидѣлъ ту самую женщину, которая по два раза въ недѣлю носила теткѣ молоко, и знала меня очень хорошо. Эта женщина любила меня и носила мнѣ пряничныхъ пѣтушковъ въ праздники.

— Что это съ тобой? — сказала она, увидѣвъ меня, и хлопнула руками по бокамъ.

— Ничего.

— Зачѣмъ ты здѣсь? Ахъ страмъ какой!

Я заплакалъ.

— Вотъ-то будетъ тебѣ пару и жару!... Отецъ хороший человѣкъ, а онъ, гляди-же ты, по міру ходитъ.

Меня обступили ея дѣти; я плакалъ.

— Ай, ай! бѣда какая! Тебя тамъ сбились, ищутъ, а онъ — гляди-же ты!

— Не сказывай, тетушка, родиненькая... — плакалъ я, чувствуя всю свою бѣду.

— Ахъ ты, пострѣлъ эдакой! Ну, какъ я приму тебя? Ну, зачѣмъ ты пришелъ ко мнѣ?..

Я не зналъ, что отвѣчать, и плакалъ. Она сжалилась надо мной: умыла меня, одѣла, накормила и уложила спать, а сама отправилась въ городъ. Она ушла потому, чтобы ей выслужиться передъ дядей и наговорить про меня ужасовъ вѣроятно изъ состраданія, такъ какъ и у нея были дѣти, только ея родня...

Дѣло извѣстное, что было послѣ этого... Результатомъ моего бѣгства было то, что меня исключили изъ духовнаго сословія и я сдѣлался работникомъ на своихъ воспитателей. Мнѣ тогда исполнилось только что десять лѣтъ, т. е. пошелъ уже одиннадцатый. Трудно мнѣ жилось въ это время! Я забылъ всѣхъ своихъ товарищей по бурсѣ, забылъ учителей и зналъ, что меня всѣ забыли. Последнее мое бѣгство было скрыто отъ семинарскаго начальства. Помню только то, что

въ это время я былъ очень задумчивъ и самъ собою выучился читать и писать.

Въ теченіе одного года послѣ моего бѣгства на заводъ, я предоставленъ былъ рѣшительно самому себѣ. Сдѣлавши по силамъ что нужно у дяди, я забавался въ уголѣ и тамъ сидѣлъ до тѣхъ поръ, пока меня не вызовутъ оттуда зачѣмъ нибудь. Мнѣ скучно и непріятно было сидѣть тамъ; я много думалъ о своемъ положеніи и ничего не видѣлъ хорошаго въ настоящемъ, и не ждалъ ничего утѣшительнаго въ будущемъ. Когда мнѣ становилось очень тяжело, я плавалъ,—да и было отъ чего: меня укоряли отцомъ, моими поступками, и съ утра до вечера нигде не выпускали, да я и самъ нигде не шелъ: мнѣ почему-то стыдно было людей. Теперь я ужъ не дѣлалъ никакихъ пакостей. Одно только было у меня удовольствіе—это когда меня отпускалъ рыбачить. Лодки мнѣ не давали; а когда отпускали, то дѣлали строгія внушенія, чтобы я не посылъ бѣжать; но я рѣшительно не имѣлъ этого намѣренія, зная по опыту, что десятилѣтнему бѣжать очень трудно и очень глупо. И куда бѣжать? Рыба меня мало занимала, и я больше думалъ. И Богъ знаетъ, о чемъ я думалъ... Я несколько не винилъ воспитателей въ томъ, что они строги; а даже благодарилъ ихъ, что они содержатъ меня, и мнѣ досадно было только то, что они сердятся на меня во всѣхъ своихъ неудачахъ, какъ будто въ ихъ неудачахъ я одинъ виноватъ.

Вотъ какъ я понималъ тогда своихъ воспитателей: дядя сѣтуетъ на судьбу, что онъ бѣденъ. При своей бѣдности и при своемъ грошовомъ воспитаніи, онъ не могъ конечно выставиться передъ начальствомъ и получить хорошее, доходное мѣсто, хотя и чувствовалъ способность къ такому мѣсту. Я полагалъ, что дядя умный человѣкъ, и заключалъ это изъ того, что съ нимъ говорилъ ласково начальникъ, который служащихъ отличалъ по-своему... Дядю я считалъ простымъ и добрымъ человѣкомъ, потому что всѣ отзывались о немъ, какъ о хорошемъ человѣкѣ, и онъ ни на кого не сердился. Закричитъ онъ, а потомъ смягчится и скажетъ: „а Богъ съ нимъ!“. Если у него были лишніе деньги, онъ давалъ ихъ тѣмъ, кто былъ очень бѣденъ; и знаю я, что онъ рѣдко получалъ долги. Онъ до того былъ простъ при своей должности, что игралъ въ бабки съ почтальонами, чего бы конечно не сдѣлалъ другой человѣкъ при его должности; а это я зналъ изъ того, что надъ нимъ смѣялись люди старше его по должностямъ. Сколько я ни слыхалъ его обращеніе со мной и съ другими, я находилъ, что все-таки онъ добръ ко мнѣ: онъ взялъ меня къ себѣ, хотя у меня есть какой-то отецъ, принявъ черезъ меня много непріятностей... Я сознавалъ, что я глупъ и мнѣ должно любить его, потому что онъ держитъ меня, какъ сына; а это я зналъ изъ того, что все, что на мнѣ, пища, чистый уголъ—все его. Чего-же мнѣ-то надо? Отчего же я-то такой?

Тетка была капризная женщина, но добрая и уступчивая; она даже была мягче дяди. Своими врагами она сгоряча готова была Богъ знаетъ что сдѣлать, но потомъ плевала на все, и на другой же день

говорила съ ними, какъ и прежде. Ее называли всѣ доброй и часто совѣтывались съ ней. Она была только ворчлива; любила, чтобы все дѣлалось скоро и такъ, какъ она хочетъ; не любила, чтобы ей говорили наперекоръ, а исполняли все то, что ей хочется, и ей было обидно, что выходило иначе; но всего обиднѣе было то, что тотъ, кого она лелѣла ребенкомъ, не хочетъ такъ сдѣлать... Она думала, что выкормила какого-то врага себѣ, и это ее бѣсило; она и высказывала это, какъ утѣла... Впослѣдствіи мнѣ приходило на мысль, что ей скучно, и потому она рада поворчать и потышиться надо мной. Будь она образованнѣе, она не мучила бы меня крикомъ, бранью и разными ужасами... Теперь ей всячески хотѣлось сдѣлать изъ своего воспитанника хорошаго человѣка,—такого, чтобы онъ не сказалъ послѣ объ ней ничего худого и былъ на зависть людямъ; но она не утѣла растолковать это мнѣ, приучить меня къ тому, что ей хочется, и она излагала свое ученье, какъ было ей лучше и какъ она утѣла. Вѣдь говорили же мнѣ чужіе люди, что она хорошая женщина и желаетъ мнѣ добра; говорили они, что рѣдкія дѣти воспитываются такъ! Да, я ѣлъ хорошо, одѣвался чисто и она нѣрѣдко давала мнѣ даже пряники и конфеты, говорила ласково, въ такомъ родѣ: „ты думаешь, мнѣ не жаль тебя!.. Ты ноги мои долженъ мыть да воду пить. Ну что-бы ты былъ безъ насъ, скотина ты этакая?..“ Хотя мнѣ и не нравились эти слова, но я молчалъ, смотрѣлъ на нее, утирая слезы, и готовъ былъ Богъ знаетъ какъ благодарить ее...

Дядя каждый день говорилъ теткѣ объ моемъ отцѣ въ это время. Онъ говорилъ, что мой отецъ просилъ похлопотать насчетъ мѣста почтальонскаго; потомъ говорилъ, что это мѣсто онъ выхлопоталъ ему въ одномъ уѣздномъ городѣ и только ждетъ его сюда. Я очень радовался, узнавъ о томъ, что наконецъ-то увижу своего настоящаго отца. Но меня брало раздумье: какъ мнѣ встрѣтить отца, что говорить съ нимъ? А спросить объ этомъ тетку я боялся; а даже боялся, что испугаюсь его. Тетка мнѣ только говорила: „погоди, ужъ вотъ, какъ придетъ отецъ, мы отдадимъ тебя ему. Подожди! Ужъ тогда, братъ, на насъ не неай, и мы тебя ужъ къ себѣ не возьмемъ“. Мнѣ досадно и больно было слышать эти слова. Я думалъ: чѣмъ же виноватъ мой отецъ, что дядя взялъ меня къ себѣ? Вѣдь отецъ могъ бы, кажется, содержать меня, коли онъ до сихъ поръ еще живъ, или онъ ужъ такъ бѣденъ, что постоянно нуждается въ дядѣ и самъ не можетъ прокормить себя? Эти мысли я развивалъ еще потому, что дядя и тетка постоянно говорили мнѣ, и между собой, и знакомымъ, что дядя воспиталъ моего отца, женилъ и во всю жизнь помогаетъ ему, такъ что онъ сидитъ у него на шеѣ, или, сказать проще, дорого стоитъ ему. Я такъ и рѣшилъ, что мой отецъ вѣроятно такъ же росъ, какъ и я, и ужасался, чтобы такая же участь не постигла меня въ будущемъ... А вѣдь я очень могъ быть такимъ же, какъ и мой отецъ. Но какъ я ни думалъ объ отцѣ, все же мнѣ было жаль его, жаль потому, что онъ мой отецъ. Мнѣ приходила въ голову и такая мысль: неужели ему не жалко меня? неужели онъ забылъ, что у него есть сынъ? или онъ радъ, что

избавился от своего дѣтища, поручивъ его тому, кто воспиталъ его? Думалъ ли онъ обо мнѣ сколько-нибудь? Зналъ ли онъ то, что будетъ со мною въ будущемъ? Вѣроятно онъ думалъ, что я буду почтальономъ или сортировщикомъ въ губернской конторѣ... Вѣроятно онъ не допускалъ мысли, что я могу быть и хуже его... Ничего я этого не зналъ; а только представлялъ себѣ его положеніе: мнѣ жалко было моего бѣднаго отца, и я горько плакалъ, моля Бога, чтобы моему отцу онъ далъ счастья и благополучія... Не знаю почему, а въ это время я сильно задумывался объ отцѣ, и даже хотѣлъ, еслибы у меня было богатство, отдать ему все мое богатство и жить только съ нимъ однимъ.

Я представлялъ себѣ отца измученнымъ, избитымъ человекомъ въ самой худой, никуда негодной одеждѣ, такимъ, какими я представлялъ себѣ нищихъ. Это я представлялъ себѣ потому, что я видалъ много людей. Всѣ, кто сколько-нибудь имѣлъ денегъ, живутъ не жалуюсь на свою судьбу, ходятъ не оборванные, и хотя просятъ въ долгъ, но все-таки живутъ такъ, что объ нихъ не говорятъ ничего худого... А подобныхъ людей я видалъ въ почтальонскихъ семействахъ и эти семейства сравнивалъ съ ищущими и рабочими людьми въ городѣ; по моему мнѣнію, каждый человѣкъ въ изодранной одеждѣ, едва прикрывающей тѣло, уже былъ пьяница, нищій, и я злился почему-то и на кого-то, самъ не зная причины бѣдности. Мнѣ только казалось, что эти люди сами виноваты; а это я заключалъ изъ того, что мой дядя и люди, которыхъ я привыкъ уважать, ходятъ лучше такихъ людей, что они все-таки умѣютъ какъ-нибудь приобрести себѣ, что нужно, работаютъ и не пьютъ водку такъ, какъ эти оборванцы. Наконецъ мнѣ противно было смотрѣть на этихъ людей, потому что я самъ жила въ обществѣ нищихъ и слышалъ много такого, чего я никогда не слыхалъ у дяди, у его родственниковъ и знакомыхъ; а по однимъ ругательствамъ я считалъ въ то время человѣка за самого отчаяннаго, отъ котораго не можетъ быть никакой пользы и которому можетъ быть очень скоро придется быть *зрѣвшимъ*... При этомъ мнѣ опять представлялись картины нищенства со всѣми ужасами, и я удивлялся, какими это образомъ дядя не боится держать меня у себя?...

Почты часто приходили по ночамъ, и я нисколько не интересовался тѣмъ, что дядя уходилъ въ контору и приходилъ домой ночью. Меня не тревожили въ это время и я спалъ спокойно. Но одинъ разъ дядя пришелъ съ кѣмъ-то. Было очень темно, когда вошелъ дядя и съ нимъ какой-то человѣкъ, присутствіе котораго я узналъ по шороху и кашлю.

— Вотъ ты гдѣ живешь! — сказала другое лицо грубымъ голосомъ и закашлялось.

— Это ты, братъ? — сказала тетка; голосъ ея дрожалъ.

— Я, сестра. (Я подумалъ: чтѣ это онъ все кашляетъ и какъ будто сопить?...).

— Ну, зажигай свѣчку. А тотъ спитъ? — проговорилъ дядя.

— Что ему... — сказала тетка.

Я догадался, что это вѣрно мой отецъ пріѣхалъ. Я задрожалъ, самъ не зная почему, и сталъ вслушиваться.

— Ну, что онъ?... — говорилъ посторонній.

— Смучились, братъ, смучились, — сказала тетка, зажавъ свѣчку.

— Она избаловала, — проговорилъ дядя.

— А вы бы его хорошенько утюжили... заправски.

Я приподнялъ немного голову и сталъ смотрѣть на посторонняго человѣка, который, стоя у стола въ комнатѣ, закуривалъ дядину папирску, между тѣмъ какъ дядя снималъ съ себя сперва куртку, потомъ жилетку и брюки. Гость былъ въ почтальонской одеждѣ; лицо его запухло, и видно, что давно не брито; самъ онъ роста средняго, не толстъ, — а видно, что тѣлосложеніе здороваго! Онъ ничѣмъ не отличался отъ обыкновенныхъ разбѣданныхъ почтальоновъ. На видъ ему было годовъ двадцать восемь.

— А меня, братъ, просто измучили!.. — говорилъ онъ. — Я даже слышать сталъ плохо.

— Слышалъ я.

Тетка подошла ко мнѣ и сказала тихо: — вставай! отецъ пріѣхалъ...

Меня опять какъ будто обдало морозомъ; я не могъ пошевелиться, не могъ вымолвить ни слова.

— Вставай! Экой безстыдникъ... Тебѣ говорятъ, отецъ пріѣхалъ! — И тетка толкнула меня ногой. Я хотя сѣлъ на войлокъ, который былъ постланъ на полу и на которомъ я спалъ.

— Воюсъ, — сказалъ я.

— Ну, ну, не съѣсть.

Я всталъ, надѣлъ халатъ. Тетка потащила меня въ комнату и подвела къ моему отцу, который оглянулся въ мою сторону и сталъ смотрѣть на меня какъ-то дико. Послѣдовала нѣмая сцена.

— Большой выросъ: женихъ... — сказалъ отецъ.

— Что же ты не адомираешься съ отцомъ-то?... Вѣдь это отецъ твой, — сказалъ дядя. Голосъ его дрожалъ.

— Ну, поцѣлуй у него ручку, — сказала тетка и утерла глаза рукавомъ. Я не двигался, молчалъ, дико смотрѣлъ на своего родителя и хотѣлъ убѣждать изъ комнаты поскорѣе, самъ не зная почему.

— Зачѣмъ!.. Ну здравствуй... Слышаешься ли ти дядю и тетку? — проговорилъ отецъ и закашлялся.

— Слышаюсь, — сказалъ я и хотѣлъ еще что-то прибавить, да ничего не прибавилъ.

— Ну, и ладно... Слушаться надо.

Опять настала нѣмая сцена. Всѣ какъ будто тяготились чѣмъ-то; у всѣхъ какъ будто въ это время было тяжело на душѣ, но никто никому не высказывалъ своихъ чувствъ. Отецъ мой какъ-то печально смотрѣлъ на меня, дико смотрѣлъ на дядю и тетку, и изрѣдка кашлялъ.

— Что-же ты не поцѣлуешь сына? — сказала тетка моему отцу.

— Да что его цѣловать-то?

— Все же, вѣдь онъ сынъ тебѣ.

— Что сынъ! не я его вырастилъ.

— Ну, поцѣлуй! — настаивалъ дядя. Тетка подвела меня ближе къ отцу; тотъ нехотѣя прикоснулся своими щеками къ моему лицу и укололъ меня своими щетинами. Отъ него пахло водкой.

— Ты называй ихъ отцомъ и матерью, слышишь? — сказалъ мнѣ отецъ. Я ничего не сказалъ ему на это.

— Ну, спите!—сказал дядя. Я ушелъ въ кухню и легъ на свою постель. Отецъ говорилъ съ дядей.

— Ахъ, братъ, какъ меня избили тамъ! Ты не повѣришь, что этотъ смотритель каждый день топталъ меня ногами, билъ меня въ грудь...

— Плохо, братъ... Говорилъ я тебѣ: пей, братъ, меньше, а ты все свое.

— Не могу, братъ, досадно, больно.

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ недолго. Дядя и тетка уговаривали отца остаться ночевать у нихъ, но отецъ ушелъ спать въ контору. Когда онъ уходилъ, то сказалъ мнѣ: „прощайте!“, а меня даже и не помянуть. Послѣ его ухода я долго думалъ объ немъ. Я раньше думалъ, что онъ, когда увидитъ меня, обрадуется, будетъ цѣловать и плакать, — это я видалъ во многихъ семействахъ, гдѣ отцы долго бесѣдовали съ дѣтьми послѣ долгой разлуки съ ними; но visto этого я замѣтилъ, что отецъ мой обомлелъ со мной, какъ съ чужимъ. Я даже рассердился на него: отецъ ли онъ мнѣ, если и поговорить-то со мной, какъ слѣдуетъ, не хотѣлъ?... Утромъ отецъ пилъ у насъ чай и мнѣ ничего не сказалъ. Онъ говорилъ съ дядей и теткой больше о своемъ бѣдномъ положеніи, о смотрителѣ, у котораго онъ служилъ писаремъ, о разныхъ почтмейстерахъ и новомъ своемъ мѣстѣ. За обѣдомъ я уже не дичился его; я узналъ, что онъ не сердитъ, и когда онъ остался одинъ со мной въ то время, когда дядя ушелъ въ контору, а тетка на рынокъ, — я началъ говорить съ нимъ, какъ со старымъ знакомымъ.

— Вы, тятенька, долго здѣсь проживете?

— Нѣтъ, а что?

— Такъ... Вы поживите!

— Чужой хлѣбъ ѣсть?.. Нельзя.—Онъ говорилъ нехотя, покуривая трубку съ махоркой и глядя въ уголъ.

— А скоро вы опять сюда будете?

— Не знаю...

— А у васъ есть деньги?

— Тебѣ на что?

— Надо... На пряники.

— Нѣту у меня денегъ.

Я почему-то выхватилъ у него трубку и сталъ курить, какъ обыкновенно дѣлывалъ съ почтальонами. Отецъ не препятствовалъ мнѣ, а только сказалъ.

— Валуешь ты много! Драть тебя надо, какъ сидорову козу... Дай трубку, ножевое вострее!

— А я не боюсь тебя, не боюсь! — И я корчилъ свое лицо.

— Тебѣ говорить — дай! — И онъ выхватилъ трубку.

— А ты, тятенька, какъ мнѣ будешь отецъ-то?

— Скажу я уже брату-то, онъ тѣ скажетъ! — Отецъ плюнулъ въ уголъ и ушелъ отъ меня.

Вечеромъ за чаемъ и ужжиномъ тетка долго говорила отцу объ моемъ непослушаніи и обо всѣхъ моихъ штукахъ; отецъ только отвѣчалъ: „дери ты его, сестра, что есть моча дери... Ишь какой онъ востроглазый, такъ и глядитъ разбойникомъ“.

— А ты, братъ, возьми его съ собой!

— Куда мнѣ съ нимъ?.. Не надо.

— Все же лучше. Тогда узнаешь, каковъ онъ.

— Мнѣ и одному-то горько жить, а онъ меня со-всѣмъ свяжетъ.

— Теперь ужъ онъ не маленькой.

— Не надо мнѣ его, сестра... Дѣлайте вы съ нимъ, что хотите, а мнѣ не надо.

— Только смотри, братъ, какъ онъ сдѣлаетъ что-нибудь, мы непремѣнно отошлемъ его къ тебѣ.

Отецъ на это ничего не отвѣчалъ. Пришла почта и онъ сталъ собираться въ дорогу.

— Простись съ отцомъ-то,—сказала мнѣ тетка. Мнѣ не хотѣлось прощаться съ нимъ, и жалко было, что онъ уѣзжаетъ.

— Ну, прощай! да смотри—слушайся,—сказалъ онъ мнѣ и пошелъ прочь.

Мнѣ тяжело было, что отецъ уѣхалъ, а я не высказалъ ему своего горя. Я готовъ былъ жить съ нимъ и жалко мнѣ было дяди и тетки. Нѣтъ, думалъ я, онъ не отецъ мнѣ. Всѣ они врутъ, что онъ отецъ. Это я говорилъ съ досады, хотя и вѣрилъ, что онъ отецъ мнѣ. И долго я думалъ объ немъ. Часто я видалъ его во снѣ съ поднятымъ на меня кулакомъ и съ угрозами. Но потомъ я забылъ его совсѣмъ, до тѣхъ поръ, пока дядя не получалъ отъ него длиннаго письма, въ которомъ онъ писалъ, что онъ оглохъ и его обижаютъ почтмейстеръ... Черезъ годъ онъ проѣзжалъ черезъ нашъ городъ и обѣдалъ у насъ. Въ то время онъ былъ уже совсѣмъ глухъ, разговаривалъ мало, а со мной вовсе ничего не говорилъ и даже не простился, какъ поѣхалъ. Его перевели въ другой городъ. Цѣлый годъ онъ посылалъ дядѣ письма, въ которыхъ описывалъ свое горе и то, что его всѣ обижаютъ. Тамъ онъ рѣдко пилъ водку и скоро умеръ скоропостижно. Когда я узналъ объ его смерти, я долго плакалъ объ немъ. Горячи и ядовиты были мои слезы, и плакалъ я, какъ помню, потому, что теперь я остался безъ отца и безъ матери.

Дяди и тетки я въ это время какъ огня боялся; но такъ приучился къ ихъ брани, что даже не обращалъ на нее вниманія. Кричитъ тетка, я вздрогну, побѣгу, куда она скажетъ, не дождавшись того, зачѣмъ мнѣ идти, и останавливаюсь дослушивать приказъ тогда, когда меня остановить затрешины. Кажется ужъ можно бы было приучить себя къ тому, чтобы на все смотрѣть равнодушно, однако я былъ все-таки дикъ. Я постоянно сидѣлъ въ углу за дверями съ какой-нибудь книжкой или катехизисомъ, но эти книги были для меня мученьемъ. Хотя я и читалъ ихъ, но рѣшительно ничего не понималъ. Вывало держишь книгу, смотришь на буквы безсознательно, рассердишься, буквы словно прыгаютъ; потомъ плюнешь на страницу, закроешь ее другой страницей и лбуешься, какъ слюна расплывается; или намочишь палецъ слюной, прижмешь его къ буквамъ и вырвешь такимъ образомъ нѣсколько буквъ. Это мнѣ очень нравилось и я цѣлые дни проводилъ время такимъ образомъ. Когда надобѣсть это, станешь что-нибудь рисовать на страницахъ, или пишешь на лоскуткѣ бумаги что-нибудь, обыкновенно два или три слова до тѣхъ поръ, пока на бумагѣ уже не останется мѣста. Это я дѣлалъ секретно, потому что тетка часто заглядывала за дверь, — что я дѣлаю.

— Что ты дѣлаешь?

— Учю.

— То-то, учю.

Я зналъ, что она не умѣла читать и закрывала свое нарванье страничкой. Но и это мнѣ надѣдало. Мнѣ завидно было, что дѣти дяди Антипа читають книги, и я сталъ воровать книги изъ дядина сундука, который стоялъ на погребѣ. Книги эти были старыя, разрозненныя, доставшіяся дядѣ неизвѣстно какими образомъ. Самъ дядя терпѣть не могъ читать никакихъ книгъ. Книги эти я кралъ такими образомъ: пойдя на погребъ за сливками или молокомъ и подхожу къ сундуку. А что сундукъ этотъ съ книжками — я узналъ изъ того, что тетка однажды пересбирала ихъ тамъ, отыскивая какіе-то инструменты. Если въ погребѣ нѣтъ никого, я прежде всего подбѣгаю къ сундуку, и если на него ничего не поставлено, тотчасъ отпираю крышку и вытаскиваю такую книгу, какая попадется подъ руку. Тетка не могла понять, что я такъ долго дѣлаю въ погребѣ, а я говорилъ ей что-нибудь такое, за что она ограничивалась только одною бранью. Читалъ я секретно такіе же образцы, какъ и рисовалъ секретно: и дядя, и тетка долго не знали, чѣмъ я занимаюсь въ углу. Читалъ я все, что попадалось, съ любопытствомъ, хотя изъ этихъ книгъ я очень мало могъ приобрѣсти для ума и многого въ нихъ не понималъ. Антипинъ говорилъ дядѣ, что мнѣ не мѣшаетъ читать книги, и эти книги можетъ дать мнѣ его сынъ, но дядя сердилась, говоря: „ему нужно уроки учить, а не книжки читать“. Дядя разсуждалъ такъ объ этомъ потому, что былъ убѣжденъ, что читать книги есть праздность. Тетка же была такого мнѣнія: что можно читать только божественное, но и съ этимъ дядя рѣдко соглашался; и если тетка заставляла меня читать какіи-нибудь проповѣди, взятые ею у какой-нибудь знакомой, дядя гналъ насъ изъ комнаты, говоря, что мы мѣшаемъ ему. Каково же было удивленіе дяди и тетки, когда они узнали, что я таскаю книги изъ сундука! Тетка меня сама застала на практикѣ. И была же мнѣ хорошая баня послѣ этого, и хотя за мной строго слѣдили, чтобы я не читалъ ничего посторонняго, кромѣ арифметики и катехизиса, и не одну книгу бросили въ печь, я все-таки продолжалъ читать тайкомъ.

При гостяхъ я велъ себя чинно, такъ что даже сама тетка удивлялась моему смиренію и прозвала меня *подхалюзой*. Если кто защищалъ меня, говоря, что я свирный, то тетка говорила: „полно-ка! въ тихомъ-то омутѣ черти и водятся“, и при этомъ начинала подробно разсказывать о моихъ шалостяхъ и проказахъ. За то, если я уходилъ изъ дома, я, какъ говорятъ, „на колѣ дыру вертѣлъ“. Тамъ я никого не боялся. Я дразнилъ почтальоновъ, какъ только умѣлъ, за что получалъ колотушки, за которыя на нихъ же жаловался своимъ воспитателямъ. Въ семействахъ мнѣ случалось рѣдко бывать; но за то если я бывалъ, то смѣшалъ всѣхъ своей фигурой, и тѣмъ, что умѣлъ всякаго представить: какъ кто говорить, ходить и разсказывать, — все то, что только замѣчалъ изъ чьей-нибудь жизни или подслушалъ отъ нечего дѣлать. А подслушивать я былъ мастеръ и

большой охотникъ. Я когда сидѣлъ въ углу за дверями, то часто, отъ нечего дѣлать, вертѣлъ къ стѣнѣ дыру гвоздемъ, и когда удостовѣрился, что дыра на-сквозь, я осторожно наставлялъ на дыру ухо и слушалъ; если за стѣнкой было тихо, я зашпиливалъ дыру бумажкой. Впрочемъ, подслушивалъ я больше у дверей. Если напримѣръ я слышалъ, что ругали тетку тѣ, которые не любили ее, я радовался и желалъ услышать еще что-нибудь посердитѣе, а потомъ пересказывалъ ей. Такимъ образомъ я былъ сплетникомъ у воспитателей и у почтовыхъ семействъ... Тетка вѣрила моимъ пересказываньямъ и старалась мстить тѣмъ, кто обижалъ ее сиротнями; а почтовые не догадывались, какъ это тетка подслушала, потому что меня всѣ считали за такого человѣка, который не любитъ воспитателей и за хорошую плату готовъ имъ сдѣлать всякую пакость. Почтовые не обижались тѣмъ, что я по своему уму дразнилъ ихъ; для нихъ даже было удовольствіемъ потребить меня и обругать; хотя я и обижался этимъ, но все-таки лѣзъ къ нимъ, потому что дома мнѣ было скучно, а они на меня никогда не жаловались. Въ контору я ходилъ чуть не каждый день и тамъ меня встрѣчали со смѣхомъ. Дядя самъ требовалъ, чтобы я бывалъ въ конторѣ для того во-первыхъ, чтобы я не баловался дома и не мѣшалъ теткѣ, и во-вторыхъ онъ зналъ, что я дома не учусь нисколько, и думалъ, что, ходя въ контору, я приучусь къ почтовой службѣ. Сначала я только мѣшалъ почтовымъ: лазилъ на столы, кривлялся, ходилъ по токамъ, толкалъ почтальоновъ и сортировщиковъ подъ руки, когда они писали, и лѣзъ къ нимъ. Въ конторѣ мнѣ больше приходилось получать побоевъ, чѣмъ дома, но въ конторѣ мнѣ было очень весело. Такой простоты между служащими и безцеремонныхъ обращеній я впослѣдствіи не замѣчалъ ни въ одномъ присутственномъ мѣстѣ; даже въ этой конторѣ со временемъ многое измѣнилось отъ новыхъ порядковъ и отъ людей, которые теперь тамъ гораздо развитѣе, чѣмъ были въ мое время. Въ продолженіи двухъ лѣтъ, какъ я ходилъ въ контору, я выучилъ всю почтовую премудрость и даже умѣлъ власть на счетахъ, что было величайшею мудростью для многихъ почтовыхъ. Въ то время почтовые умѣли едва-едва писать, и съ нихъ большой грамотности не требовали. Почтмейстеръ меня любилъ и называлъ маленькимъ почтальономъ. Я даже имѣлъ тогда доходы отъ того, что записывалъ въ книгу, вмѣсто крестьянъ, денежныхъ писемъ, росписывался за неграмотныхъ и получалъ съ cadaго по три коп. сер. за одну росписку.

На двѣнадцатомъ году меня отдали опять учиться въ уѣздное училище. Но я три года проучился въ первомъ классѣ и ничего не понималъ. Объ умственномъ развитіи учителя не заботились, а учили насъ на зубашку и ничего не объясняли; хорошіе же ученики другъ другу не показывали. Учителя считали за наслажденіе драть насъ. Здѣсь бѣгали отъ классовъ по крайней мѣрѣ дѣя трети учениковъ. Это были дѣти самыхъ бѣдныхъ родителей-мѣщанъ, дѣти чиновниковъ и купцовъ. Купеческія дѣти, правда, не бѣгали и ихъ не наказывали, потому что отцы ихъ дарили учителей. Я уже не бѣгалъ потому, что при-



ныкъ къ розгамъ и дома меня уже не такъ стѣсняли. Дядя радовался, что я учусь, т. е. привыкаю къ чистописанію, и радовался тому больше, что очень много смыслу почтовую часть.

Я нѣкогда не боялся въ это время, кромѣ дяди и тетки, и обо всѣхъ рассуждалъ худо. Мнѣ никто не нравился въ губерискомъ городѣ вѣроятно потому, что о жителяхъ его худого мнѣнія были мои воспитатели, родня и знакомые. Аристократію дядя ненавидѣлъ и ругалъ ее при встрѣчѣ почти что вслухъ. Смотри на него, не любилъ аристократію и я. Дядя говорилъ, что въ уѣздномъ судѣ и въ прочихъ мѣстахъ берутъ взятки,—этому вѣрилъ и я, вѣрилъ потому, что всѣ говорили такъ. О своей конторѣ и думалъ, что это самое лучшее мѣсто, гдѣ только можно служить. Я видѣлъ, что всѣ, сколько ни есть въ городѣ людей, не могутъ обойтись безъ почты,—всѣ ходятъ получать и отправлять корреспонденцію, значить, почитаютъ почту, и я гордился почтой, дядей, почтмейстеромъ, который ругалъ въ глаза даже равныхъ ему. Вся почтовая дворня жила очень просто, патриархально: никто не стѣснялся ничѣмъ, сортировщики играли съ почталонами въ бабки, женщины гостили другъ у дружки, и хотя было развито чиновочитаніе въ высшей степени, но все какъ-то выходило съ толкомъ и никто ни на кого очень не сердился, а былъ доволенъ своимъ положеніемъ. Я зналъ, что многіе служащіе другихъ вѣдомствъ жили на квартирахъ и жаловались на начальниковъ и на то, что имъ даютъ маленькое жалованье; я видѣлъ, что когда шелъ губернаторъ или какой-нибудь предсѣдатель—народъ сторонился, и этотъ же народъ не одобрялъ ихъ; я видѣлъ также, что всѣ эти важные люди ѣздили въ каретахъ, приказывали брать въ часть пьяныхъ, распевали на улицахъ бѣдныхъ людей; я видѣлъ, что эти люди важничали, гордо говорили съ людьми ниже ихъ положеніемъ въ обществѣ,—какъ обѣгали ихъ тѣ, которые небогато одѣвались. Я и товарищи мои по училищу всячески старались передразнивать ихъ; кромѣ этого товарищи рассказывали про нихъ разные анекдоты, интересовались ими каждый день. Мнѣ досадно было, что товарищи непрерывно рассказываютъ городскіе скандалы, а мнѣ нечего было рассказать изъ почтового быта. Дома я рассказывалъ теткѣ городскіе скандалы и происшествія такъ, какъ я слышалъ ихъ отъ товарищей, но тамъ уже знали про эти скандалы и происшествія. Долго послѣ этого я удивлялся тому, отчего это такъ всѣ интересуются разными происшествиями, и если наприимѣръ къ губернатору пришла сестра, то на другой день знаетъ весь городъ объ этомъ, и вездѣ только и разговора, что о пріѣздѣ къ губернатору сестры. А это очень просто: отецъ мальчика скажетъ дома о происшествіи, или мальчикъ узнаетъ это отъ такого же мальчика, игравши на улицѣ. Придетъ онъ въ училище, скажетъ одному и весь классъ знаетъ, а въ переимѣну—все училище. Это же пересказыванье идетъ и у служащихъ и ихъ женъ на рынкѣ, гдѣ всякую новость съ радостью сообщаютъ другъ другу, и она долго занимаетъ праздныхъ людей.

Въ это время въ городѣ было только одно гулянье

лѣтомъ—бульваръ. Я часто ходилъ туда. Публики собралось немного и то только у ротонды, гдѣ играли гарнизонные солдаты. Другой музыки въ нашемъ городѣ тогда еще не существовало. Позднѣе появился плохенькой оркестръ, но этотъ оркестръ игралъ только въ благородномъ собраніи для аристократіи... Мнѣ часто случалось съ людьми заглядывать въ окна дворянскаго собранія, не смотря на то, что насъ гнали прочь казаки палками. Мы смотрѣли изъ любопытства, какъ тамъ отплясываютъ, и это перепинали, стараясь такъ же отплясывать на улицахъ или гдѣ-нибудь на вечеркахъ. Я даже заходилъ въ самое собраніе, но меня всегда гнали прочь кулаками, и мнѣ больно было завидно, что есть счастливыя, равные мнѣ по годамъ, которые удостоиваются быть тамъ, и этихъ счастливычиковъ какъ я, такъ и товарищи мои не любили до того, что не давали имъ прохода по городу. Попадется наприимѣръ баричъ,—я ему языкъ высуну. Онъ обидится,—я толкну его; онъ обзоветъ меня подлецомъ,—я шапку съ него сброшу и убѣгу. Конечно это дѣлалось одинъ на одинъ, или толпа нашего брата нападала на толпу баричей и тогда разыгрывалась драка, за которую насъ жестоко поролли... Мы ненавидѣли гимназистовъ по своему, тѣ ненавидѣли насъ, потому что мы были всегда сильнѣе ихъ. Они называли насъ уѣздниками и разными неприличными именами, мы тоже дразнили ихъ, какъ умѣли, и между ними и нами шла непримиримая вражда. Такъ же точно шла вражда и между семинаристами и гимназистами, и семинаристы сильно били за-городомъ своихъ противниковъ.

Рѣка наша немножко доставляла удовольствіе, и если кто любилъ сидѣть на берегу, такъ это только почтовые. Когда появился одинъ пароходъ, тогда берегъ стали посѣщать любопытные, и предметомъ ихъ любопытства былъ пароходъ. Когда же появилось больше пароходовъ, публикѣ надоели они, и она стала наслаждаться только однимъ гуляньемъ на бульварѣ. Берегъ только тогда и наполнялся людьми, когда шелъ ледъ на рѣкѣ и когда шли барки, но это былъ только бевтолковый смотръ. Немногіе впрочемъ любили кататься на рѣкѣ и пить чай за рѣкой, но никто такъ не пользовался этимъ удовольствіемъ, какъ почтовые. Для насъ былъ большой праздникъ, когда мы улизывали за рѣку и подъ открытымъ небомъ закусывали и пили чай. Но никто такъ часто не плавалъ за рѣку, какъ дядя Антипинъ. Я часто просился, чтобы онъ взялъ меня съ собой. Придетъ онъ къ намъ и отпроситъ у дяди меня. Отправившись мы за рѣку съ удлинными съ вечера; поудитъ немного, разведетъ огня и сидитъ всю ночь у огня. Здѣсь я забывалъ все, что мучило меня въ эту недѣлю или въ этотъ день, и какъ хорошо мнѣ казалось такое сидѣнье у горящаго хвороста, это удивленіе, этотъ просторъ и свѣжесть воздуха! Понималъ ли дядя Антипинъ все это — не знаю, только онъ говорилъ, что здѣсь онъ какъ будто отдыхаетъ. Чего-то, чего мы не говорили въ то время! Онъ очень любилъ меня и много рассказывалъ мнѣ и своимъ дѣтямъ хорошаго, какъ иногда дома; я заслушивался его и забывалъ въ это время городъ, который казался мнѣ пугаломъ; я дышалъ свободно, и съ какой лю-



бовью смотрѣлъ я на рѣку, на лѣсъ и необъятное пространство, но и тутъ я ничего не понималъ, а только смотрѣлъ во всѣ глаза...

Хорошее это было время. Случалось мнѣ бывать и послѣ за рѣкой, ходить въ лѣса, но уже чувствовалось иначе...

Былъ у насъ также и театръ. Всѣ почтовые ходили въ театръ даромъ, и дядя каждый разъ, какъ бывалъ веселъ, бралъ меня съ собой. Сначала мнѣ нравилась публика, собрание народа; потомъ меня смѣшили актѣры и я такъ пристрастился къ театру, что плакалъ, когда дядя не бралъ меня съ собой или не отпускалъ въ театръ. Приходя домой, я старался говорить такъ же, какъ и актѣры, но я не могъ говорить такъ, и у меня выходило очень смѣшно. Въ училищѣ до классовъ я разыгрывалъ роль какого-нибудь актѣра и меня провали фокусникомъ. Былъ у меня тамъ одинъ товарищъ, который жилъ съ актѣрами и переписывалъ имъ роли. Съ нимъ мы постоянно что-нибудь декламировали и что-нибудь разучивали по тетрадкамъ и безъ тетрадокъ. Какъ мнѣ, такъ и ему хорошо казалось быть актѣромъ, мы запоминали изъ разныхъ сценъ въ десять разъ больше того, что заставляли насъ учить въ училищѣ. Два года я ходилъ въ театръ, зналъ много сценъ и пѣсенъ и даже разъ просилъ дядю, чтобы онъ отпустилъ меня въ актѣры, но онъ обругалъ меня и не сталъ пускать больше въ театръ.

Я ходилъ въ училище четыре года, и въ это время ровно ничего не понималъ изъ задаваемыхъ уроковъ, да и вообще мнѣ не до уроковъ было. Въ классѣ я сидѣлъ просто для своего удовольствія. Меня не драли, потому что я старался выслужиться передъ учителями и зрителемъ тѣмъ, что замѣнялъ имъ сторожа: приносилъ имъ письма, пакеты и сдавалъ ихъ корреспонденцію. Съ какою радостью я шелъ въ училище тогда, когда несъ какому-нибудь учителю письмо!.. Учитель мнѣ не говорилъ благодарности, а за то не спрашивалъ меня изъ уроковъ цѣлую недѣлю, а если и спрашивалъ, то не оставлялъ безъ обѣда. Такъ же съ неописанною радостью я смотрѣлъ на того учителя, который писалъ кому-нибудь письмо. Ребята рады были, что учитель отвлеченъ отъ занятій, а я думалъ, что кромѣ меня отнести на почту письмо-некому. Письмо написано; учитель проситъ бумаги, весь классъ книгъ зашевелился и предлагаетъ ему кто листъ, кто поллистъ, а я предлагаю сдѣланный уже конвертъ. Запечатавши письмо, учитель отдавалъ его мнѣ съ 10-ю копѣйками. Я бралъ и говорилъ, что денегъ не надо, что я попрошу дядю. Учитель бралъ деньги назадъ. Я уходилъ домой или въ контору, стараясь придти въ классъ къ чистописанію или къ такому предмету, который былъ для меня какъ блины, т. е. по которому меня никогда не спрашивали. Письмо я отдавалъ дядѣ, который, хотя и ругалъ учителей, а письма все-таки отправлялъ. Если же учителя и отдавали мнѣ деньги на простые письма, а все-таки деньги бралъ себѣ и дядя отправлялъ письма или даромъ, или на свой счетъ. Зритель всегда спрашивалъ меня о приходѣ почтъ, и если ему нужна была какая-нибудь почта, онъ посылалъ меня спра-

виться. Одинъ учитель постоянно называлъ меня почтой, и я слылъ по всему училищу почтой.

— Эй, почта! пришла такая-то почта?

— Нѣтъ еще... Сходить узнать?—говорю я и беру уже шапку.

— Ишь, шельма, радъ. Я тебя еще урокъ спрошу, а потомъ на почту пошлю.

Весь классъ хохочетъ, а я начинаю сердиться и придумываю, какъ-бы уйти домой.

— Почта скоро будетъ!—говорю я.

— Радъ, радъ. Ну-ко, скажи урокъ. Не знаешь? А?

— Знаю.

— Ну-ко, иди къ доскѣ.

Пойду я къ доскѣ и хлопая глазами.

— Ну что? А еще почта... Хошь, выдеру?

Классъ хохочетъ, а мнѣ досадно и я думаю: ужъ сдѣлаю же я съ тобой штуку: не принесу письма и поди самъ; или изорву твое письмо, самъ прочитаю, всему классу расскажу. Учителя меня не выдеретъ, поставитъ противъ моей фамиліи палку въ своемъ журналѣ, а на почту все-таки пошлетъ. На палки я не обращаю вниманія, зная то, что зритель меня не выдеретъ, а если и выдеретъ разъ въ мѣсяцъ, такъ это еще не бѣда. По окончаніи мѣсяца зритель дралъ всѣхъ лѣнливыхъ всего училища, въ томъ числѣ и меня. Зная, что зритель даетъ первымъ наказываемымъ много ударовъ, я становился въ разрядъ самыхъ послѣднихъ, которымъ приходилось меньше ударовъ и гораздо легче, потому что сторожъ уставалъ; да и меня сторожъ наказывалъ легче, потому что я въ этотъ день дарилъ его десятью копѣйками денегъ; а раньше приносилъ ему калачей, какъ и прочіе товарищи.

Еще было другое обстоятельство, по которому учителя обращались со мной очень ласково, и чего не могъ сдѣлать въ училищѣ ни одинъ ученикъ. Я носилъ учителямъ газеты, журналы и картинки. Это дѣлалъ я очень просто:

Въ контору я ходилъ всегда: днемъ и ночью, и при почтахъ. Такъ какъ дома мнѣ запрещалось читать книги, то я выдумалъ средство читать ихъ въ училищѣ, а достать книги я легко могъ изъ конторы. Газеты и журналы разносили по городу сторожа, а сторожа эти были неграмотные. Когда придетъ тяжелая почта, я всячески стараюсь угодить очередному сторожу чѣмъ-нибудь для того, чтобы онъ попросилъ меня сдѣлать подборку журналовъ и газетъ по городу; а раньше этого я высматривалъ, что лучше утащить, соображалъ, какъ утащить, и между тѣмъ терся у тѣхъ сортировщиковъ, которые читали газеты, которые мнѣ дозволялось получателями распечатывать. Сторожа, какъ и почтальоны, дѣлали подборку такъ, чтобы имъ идти по городу по порядку, изъ дома въ домъ, и назадъ не воротиться изъ улицы въ улицу.

— Ну-ко, подберешь разноску!—говоритъ мнѣ сторожъ; я радъ, чуть не прыгаю, а ему говорю.

— Много-ли дамъ?

— Сургучикъ дамъ.

— Мало!

— Свинчатку... (я бралъ свинчатки, прибываемыя къ чемаданахъ; мой дядя и я употребляли ихъ на гру-

злеа для рыболовства; а какъ ихъ у меня и безъ даренья сторожами было много, потому что я ихъ воровалъ, то я продавалъ ихъ рыболовамъ).

— Не хочу.

— Ну, ну, полно... мнѣ некогда, подметать надо въ конторѣ.

И начинаемъ мы подборку такъ:

— Кто первый?—спрашиваю я.

— Первый Елисейевъ, не знаешь разѣ?..

Я ишу Елисея и подаю сторожу.

— Антоновъ теперь.

Я нахожу Антонова и подаю ему книгу Шатилову.

— Шатиловъ послѣ; онъ въ серединѣ. Ивановъ теперь будетъ.

Я ишу Иванова, откладываю его въ сторону; опять ишу и говорю сторожу, Иванова нѣтъ.

— Ну, послѣ найдемъ; давай Петрова!—И такъ продолжается до половины подборки. Я слегка сброшу газеты двѣ на полъ.

— Все ты, бестія, балуешь!—сторожъ подбираетъ съ полу газеты, а я тѣмъ временемъ и схвачу двѣ газеты и спрячу ихъ подъ сюртукъ, придерживая ихъ лѣвой рукой незамѣтно.

— Ну, теперь?—спрашиваю я.

Если мнѣ не удастся стаянуть при подборкѣ, я подкарауливаю, куда сторожъ положилъ сумку съ газетами и книгами; потомъ уже послѣ успѣю утащить. По этому обстоятельству сторожа почти каждый разъ приходили назадъ съ руганью:

— Чортъ его знаетъ!—пришелъ къ Петрову: искали, искали ему газеты, ровно подбирали, а Петрову нѣту.

— Ну, потерялъ, выходитъ,—сбѣются почтальоны.

— Чортъ его знаетъ!

Я говорю, что или были газеты, или нѣтъ. Получатель на сторожа не жаловался и сторожъ только сѣтовалъ за гривну тѣди, которой онъ лишился. Если получатель не получалъ книги или много же газетъ, онъ жаловался конторѣ, та отписывалась, куда слѣдуетъ, оттуда получались отвѣты: „отправлены по принадлежности“; тѣмъ дѣло и кончалось.

Письма и казенные пакеты разбрасывались по столамъ небрежно. Мнѣ нравились красивые конверты и краля письма и пакеты. Утащивши я забирался въ такое мѣсто, гдѣ никто не могъ видѣть, распечатывалъ и читалъ ихъ. Какъ бумаги, такъ и письма не интересовали меня и я бросалъ ихъ черезъ заборъ или куда-нибудь въ такое мѣсто, откуда ихъ никто бы не досталъ. Отъ этого чтенія я узнавалъ только форму канцелярскаго наложенія и разныя тайны людей. Приходя въ классъ, я давалъ учителямъ газеты и книги, говоря, что это дядины. Учителя рады были почитать новостей и всегда спрашивали меня:

— Пришла почта?

— Пришла.

— Есть газеты?—И т. д.

Ученики были рады, что учителя занимаются чтеніемъ цѣлыя часы, и всѣ въ это время свободно шалили. Вольшею частію учителя уносили газеты и книги домой, и мнѣ ихъ рѣдко возвращали, а если и возвращали, то я дарилъ ихъ своему другу, сидѣвшему со мной рядомъ, тому самому, съ которымъ я представлялъ актеровъ.

И такъ, житье мнѣ было хорошее: въ классѣ я только числился, въ почтѣ меня любилъ почтмейстеръ за то, что я уже знаю хорошо почтовую часть, и поговаривалъ дядѣ, что онъ меня сдѣлаетъ сортировщикомъ.

Я зналъ весь почтовый механизмъ и помогалъ то дядѣ, то какому-нибудь почтальону. Въ свободное время я писалъ крестьянскія письма и такъ приучилъ крестьянъ къ себѣ, что они шли больше ко мнѣ, чѣмъ къ почтальонамъ. Приходитъ крестьянинъ въ контору и говорить:

— Мнѣ бы грамотку послать.

Я подхожу къ нему первый и спрашиваю:

— А написана?

— Надобно написать.

— Ну иди, я напишу.

Крестьянинъ съ недовѣріемъ посмотритъ на меня.

— А съумѣешь ли экой-то?

— Не тебѣ первому пишу. Много ли дашь?

— А ты что возьмешь?

— Двадцать копѣекъ?

— Дорогонько.

Подходитъ почтальонъ и перебиваетъ:

— Я напишу тебѣ.

— А ты за сколько?

— Четвертакъ.

Я соглашаюсь за пятнадцать и начинаю писать крестьянину письмо. Писать крестьянамъ письма очень трудно. Они не знаютъ формы изложенія, посылаютъ больше поклонны, и нужно умѣнье написать то, что они хотятъ высказать, да не умѣютъ высказаться. Я писалъ имъ всегда ихнимъ слогомъ, потому что имнимъ слогомъ я тогда и не умѣлъ писать. Налажусь я совсѣмъ писать и спрашиваю: кому писать?

— Да сыну родному; третій годъ не писывали. Ниче грамотку прислалъ, родной.

Я спрашиваю имя.

— Илья Якимовъ.

— А твоя фамилія какъ?

— Якимовъ.

— А зовутъ?

— Петромъ.

Я и пишу такъ: „Любезный сынъ, Илья Петровичъ!“ А почтальоны обыкновенно писали Илья Якимичъ и на конвертахъ ужасно путали, отчего письма постоянно возвращались назадъ или пропадали на почтѣ. Послѣ родительскаго благословенія слѣдовали поклонны отъ двадцати человекъ, которыхъ непремѣнно нужно назвать по имени и отчеству. Письмо кажется уже кончено, а окажется еще надо что-то написать. Прочитаешь крестьянину письмо.

— Ладно,—говоритъ онъ.

— Еще что?

— Да что еще, ровно будетъ... Надо бы написать; Сергунка Лихой въ городъ поникъ ушелъ,—да ужъ плевать...

— Ничего, напишемъ.

— Ну, пиши еще.

— А еще что?

— Кирьянъ Панфиловъ погорѣлъ, жена ногу сломала; такая оказія вышла—ужасти! наказанье Божье.

И пойдетъ крестьянинъ расписывать свое горе; а хота и позабуду все, а напишу что слѣдуетъ. И все, что

прибавляется, читаю съ началомъ по нѣскольку разъ. Наконецъ письмо кончено совсѣмъ.

— Ну-ко, прочитай еще.

Я начинаю читать, двое или трое крестьянъ слушаютъ.

„Любезный сынъ,

Илья Петровичъ!

„Желаю тебѣ съ женою своею, твоею матерью, Маланьей Акудиновой, доброва здоровія, хорошихъ успѣховъ въ дѣлахъ твоихъ и посылаемъ тебѣ наше заочное родительское благословеніе, на вѣки нерушимое, и посылаемъ по поклону. Молишь Господа Бога, дара небснаго и пресвятую мать владычицу, чтобы они спасли тебя и помиловали. Тетушка Арина Поликарповна и дядюшка Евстегій Поликарпычъ кланяются тебѣ. Крестный батюшка, Антипъ Савичъ, и крестная твоя матушка, Акулина Марковна, желаютъ тебѣ здоровья, посылаютъ свое благословеніе и кланяются. У тетюшки Маланьи Степановны родился сыночекъ Петруша. Тетюшка Маланья Степановна съ дѣтками Петрухой, Кырьяномъ, Ларькой и Петрушкой кланяются... А Сергунька Лихой, что ишь укралъ лошадь у Павла Безпалова, понисъ въ городъ ушелъ работать, а дѣтей оставилъ съ матерью“.

— Надо бы прибавить: Маланья-то хочетъ тоже въ городъ идти,—перебываетъ посторонній крестьянинъ.

— А зачѣмъ?—спрашиваетъ хозяинъ письма.

— Ужъ все къ одному бы.

— Ну, нешто, пиши.

Я пишу.

„Кырьянъ Панфиловъ погорѣлъ зimusъ: все до тла сгорѣло. А жена его, слышь ты, ногу сломала. Наказанье божье. Хлѣба нынѣ плохи, а начальство строго, все наровить стануть съ нашего брата. Кланяются тебѣ всѣ знакомые и пріятели. При семъ посылаю тебѣ три руб. сер., насилу-насилу собрали. Остаюсь здоровъ, отецъ твой Петръ Якимовъ“.

Крестьяне въ восторгѣ отъ этого письма и наперерывъ просятъ меня сочинять имъ письма. Около меня собирается кучка. Приходятъ тѣ, которымъ писали почтальоны.

— Написалъ?—спрашиваютъ крестьянина товарищи, видя у него въ рукахъ конвертъ.

— Написалъ,—да ровно негоже.

— А вотъ этотъ мастеръ... А тебѣ, братанъ, который годъ?

— Скоро четырнадцатый будетъ.

— Ишь ты! прозвиреть какой...

— А ну-ко, прочитай, братаникъ.

Я прочитаю. Онъ проситъ меня написать ему письмо снова.

Написавши крестьянину письмо, я изъ жалости къ нему давалъ ему свой сургучъ и печатку даромъ. Я зналъ, что всѣ почтовые отправляютъ свои письма даромъ, и даромъ же отправляютъ письма своихъ знакомыхъ и доставляютъ по принадлежности письма не крестьянскія. Крестьянинъ обыкновенно отдавалъ письмо почтальону, потому что онъ боялся опустить простое письмо въ ящикъ, думая, что оно не дойдетъ; а какъ на простыхъ письмахъ адреса писались сочинения е. рашетникова т. п-й.

невѣрно, то почтальоны дѣлали такія штуки: скажетъ крестьянину, что онъ доведетъ письмо самъ, сдѣлаетъ конвертъ, запечатаетъ, возьметъ съ него пятнадцать коп., а потомъ письмо изорветъ и деньги возьметъ себѣ. А такъ какъ крестьяне большею частію думали, что простое письмо не дойдетъ, то они посылали ихъ съ деньгами. Денежное письмо каждому крестьянину обходилось очень дорого: за бумагу онъ заплатитъ 2 коп., за сочиненіе письма 20 коп., за сургучъ и печать дастъ сторожу 6 коп. (хотя печатка и возвращалась сторожу обратно), страховыхъ и вѣсовыхъ за одинъ лотъ съ однимъ рублемъ 14 к. и за росписку въ книгѣ шесть коп. Если же крестьянинъ посылалъ только десять коп., то ему отправка письма стоила дороже посылаемой суммы.

Почтальоны ругали меня, что я отбиваю отъ нихъ доходъ, но я не обращалъ на это вниманія. Я хотѣлъ угодить крестьянамъ, потому что они мнѣ нравились, да и дядя всегда говорилъ мнѣ, что крестьяне—народъ бѣдный, и всѣ мы ѣдимъ крестьянскій хлѣбъ и живемъ большею частію на крестьянскія деньги. Тетка и дядя были въ восторгѣ отъ того, что я получалъ въ конторѣ доходы, и на мои деньги покупали мнѣ ситцу и сластей. Крошѣ этой траты у меня все-таки были деньги.

Между тѣмъ моя практика по кражѣ корреспонденціи усиливалась все больше и больше; въ конторѣ начали уже серьезно подумывать, что это вѣроятно продѣлки кого-нибудь изъ почтовой братіи. На меня не было подозрѣній, тѣмъ болѣе, что я жилъ у дяди,—человѣка любимого почтмейстеромъ. Мнѣ такъ понравилось красть, что я не пропускалъ ни одного дня и ни одного случая, чтобы не стануть чего-нибудь. Не ограничиваясь однѣми газетами, я воровалъ пакеты и письма, потомъ рвалъ ихъ и бросалъ въ чужой огородъ по ночамъ, думая, что тамъ самое безопасное мѣсто для ихъ вѣчной памяти. Все, что мнѣ нравилось, я носилъ въ училище и отдавалъ учителямъ, потому что дома мнѣ нельзя было держать ничего изъ ворованнаго. Наконецъ мнѣ уже стыдно казалось воровать; я сознавалъ, что дѣлаю скверно, отдавая другимъ, а самъ для себя ничего не приобретаю; я думалъ, что сколько я ни пакостилъ прежде, всѣ штуки мои не сходили мнѣ даромъ, такъ и теперь могутъ открытъ мои продѣлки; но я все-таки еще думалъ, что узнать, что я ворую, трудно, и я продолжалъ свое ремесло. Приходилъ я домой изъ училища съ боязнью: вотъ узнали, что ворую. А въ конторѣ что скажутъ?... Мнѣ хотѣлось остановиться и не красть больше; но когда я ничего опаснаго не замѣчалъ въ почтѣ, я другимъ утромъ уже тащилъ въ классъ картинку или газету. Шелъ я съ трепетомъ и думалъ: „Господи! какъ бы не узнали! Ужъ я въ послѣдній разъ это дѣлаю...“—И это я говорилъ не десять разъ, а безъ счету.

Однако и этому пришелъ конецъ.

Дѣло было въ великій постъ. Учитель читалъ газету. Въ классъ вошелъ сортировщикъ, врагъ моего дяди. Онъ вѣжливо поздоровался съ учителемъ. Меня обдало морозомъ по кожѣ, я догадался, зачѣмъ онъ пришелъ. Я готовъ былъ бѣжать въ это время изъ училища и броситься въ рѣку. Долго этотъ сортиров-

щикъ шептался съ учителемъ и я ясно слышалъ свою фамилию, газеты, книги, пакеты. Учитель отдалъ ему газету; сортировщикъ вызвалъ меня изъ класса.

— Ты воровалъ газеты?

— Нѣтъ, съ чего вы взяли?—я очень обидѣлся и чуть не обругалъ его.

— А это что?—и онъ показалъ мнѣ газету.

Я запырлся. Онъ спросилъ другихъ учителей и тѣ сказали, что я носилъ много газетъ и книгъ. Пришедъ смотритель и началъ допросъ. Я долго запирался, но когда онъ сталъ пугать меня военной службой, я все сказалъ.

Черезъ часъ отъ моего друга привезли цѣлый ящикъ съ газетами и книгами. Сортировщикъ привезъ меня съ ящикомъ къ конторѣ; я убѣжалъ домой. Дядя въ это время говѣлъ и былъ въ церкви, тетка что-то шила. Я какъ вошелъ, заплакалъ, упалъ передъ ней на колѣни и ничего не могъ выговорить. Тетка испугалась, задрожала.

— Что съ тобой?

Я ничего не говорилъ.

— Выгнали тебя, что ли?

— Нѣтъ... Я газеты воровалъ...—И я залѣзъ на печку, думая, что меня никто тамъ не найдетъ. Тетку это такъ поразило, что она заплакала. Я думаю, ей очень больно было въ это время.

Меня позвали въ контору. Я не шелъ, однако тетка прогнала меня съ печки кочергой. Въ конторѣ всѣ смотрѣли на меня съ удивленіемъ и презрѣніемъ—уже совсѣмъ иначе, какъ смотрѣли вчера. Я плакалъ и меня ввели въ присутствіе, гдѣ было очень много народу по случаю набора; на полу валялись бумаги...

— Ахъ ты мошенникъ! Въ острогъ его, каналью, посадить!—закричалъ почтмейстеръ.

Меня повели въ писмоводительскую. Тамъ тоже были разбросаны разныя бумаги, газеты и книги. Писмоводитель что-то писалъ, напугалъ меня такъ, что я сознался въ воровствѣ, отвѣчалъ, самъ не зная что, и подписалъ какую-то бумагу.

Между тѣмъ пришелъ въ контору дядя въ страшномъ испугѣ. Почтмейстеръ обругалъ его: дядя только молчалъ. Все дѣло было въ томъ, что въ огородѣ, куда я бросалъ бумаги, стоялъ сибѣгъ; стали убирать разный хламъ и нашли разныя бумаги и нераспечатанные пакеты.

Тогда мнѣ былъ четырнадцатый годъ.

На другой день меня выгнали изъ училища. Учителя отперлись отъ всего, говоря, что хотя я и носилъ газеты, но они думали, что это дядины, а не городскія. Обо мнѣ заговорилъ весь городъ. Дядя не выгналъ меня изъ дома, даже не выдралъ, а ходилъ какъ пошванный цѣлую недѣлю. Съ этого дня я числился подъ судомъ, и мое дѣло продолжалось цѣлые два года.

Тяжело мнѣ было жить въ эти годы. Сначала мнѣ было стыдно выйти изъ дома, стыдно встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь; всѣ друзья мои отшатнулись отъ меня, и я сидѣлъ дома въ углу за дверью, читая географію или катехизисъ... Книги не шли на умъ, а я все думалъ объ томъ, что-то со мной будетъ. Я сознавалъ, что я обидѣлъ дядю. сдѣлалъ ему большое зло... Я готовъ былъ Богъ знаетъ что сдѣлать для дяди,

только бы онъ не сердился и прекратилъ всякое дѣло. Меня хуже прежняго стали ругать, корили роднымъ отцомъ, грозилась отдать въ солдаты и требовали, чтобы я все дѣлалъ съ толкомъ. Въ это время я былъ слугою дяди и тетки: носилъ воду, дрова и дѣлалъ все, что только дѣлаетъ прислуга, и я былъ доволенъ этимъ. Много я передумалъ въ это время; мнѣ хотѣлось исправиться, но мнѣ трудно было отстать отъ воровства; хотѣлось говорить съ теткой ласково, но я не могъ ей слова сказать такъ, потому что я былъ очень запуганъ, а языкъ точно прилипалъ во рту... Часто я плакалъ съ горя и давалъ Богу обѣты, что пойду въ монастырь... Въ моей головѣ былъ чистый хаосъ: то рисовались какія-то страшныя картины, то чего-то хотѣлось, то мнѣ себя было жалко, то я думалъ объ дядѣ, то мнѣ уйти куда-то хотѣлось, то не нравилась весь городъ со всеми людьми. Но, какъ помню теперь, я ничего тогда не могъ осмыслить, а только сваливалъ всю вину на людей.

Дядя много истратилъ денегъ по моему дѣлу, много хлопоталъ, а я все сидѣлъ дома. Наконецъ меня послали въ монастырь на три мѣсяца. Въ монастырь я носилъ воду, дрова, пѣлъ и читалъ въ церкви и исправлялъ тамъ самыя низшія должности, за что меня часто поили пивомъ, брагой и водкой.

Многому я насмотрѣлся въ монастырѣ. Мнѣ нравилась тамошняя жизнь, потому что многіе тамъ рѣшительно ничего не дѣлали. Мнѣ весело тамъ было, но и не нравилось тѣмъ въ нихъ, что они живутъ полумонашески и полу-свѣтски. Тамъ я видѣлъ только черныя расы, а жизнь была такая же, какъ у свѣтскаго духовенства... Сначала мнѣ хотѣлось остаться тамъ, но когда я пожелалъ среди брагій, приглядѣлся къ нимъ и понялъ, что я еще не нищій и могу самъ приобретать себѣ кусокъ хлѣба честнымъ, безукоризненнымъ трудомъ, я отказался отъ прежнихъ своихъ намѣреній... „Ужъ развѣ, думалъ я, совсѣмъ состарѣюсь, или мнѣ будетъ лѣнь работать въ мѣрѣ,—тогда выберу себѣ этотъ образъ жизни“. А къ этому заключенію я пришелъ уже тогда, когда кончился срокъ моего пребыванія тамъ, и потому, что одинъ добрый и образованный монахъ жалѣлъ меня. Онъ говорилъ мнѣ много о своемъ житіи, въ которое онъ попалъ не по своему желанію.

Не знаю, вынесъ ли я что-нибудь хорошаго изъ монастыря, передѣлалъ ли онъ сколько-нибудь меня? Впечатлѣнія, вынесенныя оттуда, остались даже до сихъ поръ; до сихъ поръ я не могу забыть всего того, что пришлось мнѣ испытать тамъ; два года меня тянуло туда, но мнѣ какъ-то особенно нравилось свѣтское общество. Я сдѣлался задумчивъ; много я думалъ о всякой-всячинѣ, но ничего не могъ придумать хорошаго самъ собой, ничѣмъ не могъ утѣшить себя. Ни тетка, ни дядя, ни мои знакомые, ни учителя, ни даже законоучитель не могли мнѣ объяснить моихъ вопросовъ. Мнѣ говорили, что я задаю себѣ вопросы по глупости, и я долженъ вѣрить тому, что написано и чему насъ учать. А мнѣ этого мало было; мнѣ досадно становилось, что я не могу найти себѣ такого человѣка, съ которымъ бы мнѣ можно было посоветоваться и который бы научилъ меня уму-раз-

ую. Я учился опять въ томъ же училищѣ и учился уже хорошо. Меня ставили въ примѣръ; и хотя наши учителя были люди молодые, заботящіеся о развитіи мальчиковъ не розгами, а толкомъ, но они ничего мнѣ не могли сказать, а только говорили: „тебѣ еще много учиться надо“. Но мнѣ приближался уже девятнадцатый годъ; дядя хотѣлъ меня опредѣлить на службу, а объ ученіи и думать не ведалъ; къ тому же онъ и не имѣлъ денегъ, чтобы я могъ поступить въ гимназію. Въ это время я много занимался книгами, но какъ помню, то были все глупыя книги. Хотя въ училищѣ и была бібліотека, но смотритель не давалъ ученикамъ книгъ; если же я просилъ книгъ у учителей, они говорили, что у нихъ нѣтъ для меня книгъ.

Въ это время дядя и тетка не бранили меня, потому что я всячески старался дѣлать такъ, чтобы не сердить ихъ. Мнѣ жалко было ихъ потому, что я много сдѣлалъ имъ неприятностей. Наши знакомые удивлялись, что я веду себя, какъ сдѣдуетъ, хорошо, и ждали случая, когда я сдѣлаю что-нибудь такое, что небу будетъ жарко. Я постоянно сидѣлъ дома или рыбачилъ съ дядей и постоянно молчалъ, потому что говорить съ дядей и теткой нечего было, да они и не любили со мной разговаривать. Всѣ игры я называлъ глупостью и удивлялся, почему это люди женатые дѣлаютъ глупости. Я начиналъ приглядываться ко всему: къ семейной жизни людей, къ обращеніямъ и ко всему, что только попадалось на глаза... Работы въ моей головѣ много было; я старался самъ все понять, но чувствовалъ, что я еще больно глупъ и неразвитъ. Досадно мнѣ было, и думалъ я въ это время: „хорошо бы мнѣ умереть теперь, а то для чего я буду жить?“... Можетъ быть я думалъ это оттого, что мнѣ страшно опротивѣлъ городъ, а можетъ быть и оттого еще, что мнѣ хотѣлось жить одному, а этого я никакъ не могъ сдѣлать, и не было у меня ни одного такого человѣка, съ которымъ бы можно было, какъ говорится, душу отвести.

Дядя крѣпко начиналъ попивать водку и говорилъ, что онъ пьетъ отъ меня, съ горя. Тетка очень любила дядю и всячески совѣтовала ему не пить водку, но онъ кричалъ на нее и билъ ее. Потомъ онъ пристрастился къ карточной игрѣ, просиживалъ ночи, проигрывалъ деньги. Тетка цѣлую ночь ждала его и плакала; утромъ, когда приходилъ онъ злой, она капризничала, дулась цѣлый день. Но ея капризы ни къ чему не вели. Начались разныя возмутительныя сцены, раздоры: дядя гналъ тетку, она не шла.

На девятнадцатомъ году я кончилъ курсъ. Я очень веселый возвращался домой съ акта, держа въ рукѣ аттестатъ. Тетка меня ждала и встрѣтила у калитки съ словами:

— Ну что? еще на годъ оставили?

— Нѣтъ, вотъ аттестатъ! — Я показалъ ей бумагу.

— Едва-то, едва выучился. — А на глазахъ ея были слезы. Мнѣ тоже хотѣлось плавать и я поклонился ей въ ноги.

— Покорно благодарю, маменька. Покорно благодарю за все, — сказалъ я.

— То-то и есть. А сколько ты намъ бѣдъ-то на-дѣлалъ! Сколько ты намъ стоишь?

— Простите!

— Благодарю отца, а я что!... — И она поцѣловала меня.

Дядя холодно принялъ мою благодарность. Прочитавши аттестатъ, онъ сказалъ мнѣ:

— Вотъ, скотъ ты эдакой!... Ты долженъ ноги мои мыть и воду пить... Сколько я истягался на тебя, а?

— Покорно благодарю, папенька.

— Ну, то-то. Всѣ вы не чувствуете добродѣтелей.

— Полно... Авось онъ и не забудетъ насъ, — вступилась тетка.

Этотъ день я провелъ лучше всѣхъ другихъ дней моей жизни. Когда я легъ спать, то долго-долго думалъ о томъ, что было со мной до этого, и плохо мнѣ какъ-то вѣрилось, что я теперь уже самъ имѣю права и самъ скоро буду такимъ же, какъ и мой дядя... Я вспомнилъ отца и по привычкѣ плавать горячо плакалъ, думая: „эхъ отецъ! Посмотрѣлъ бы ты теперь на меня... Обрадовался бы ты, или нѣтъ?“... И какъ я благодарилъ въ душѣ дядю и тетку! — „Какъ только буду я получать хорошее жалованье, непременно куплю ей на платье, а дядѣ на сюртукъ... Ужъ буду же я кормить и поить ихъ, чтобы они не сердились на меня“.

Я чувствовалъ, что теперь какъ будто съ моихъ плечъ свалилась какая-то тяжесть, мнѣ казалось, что я теперь пожалуй равенъ сортировщикамъ и вообще служащимъ въ губернскихъ присутственныхъ мѣстахъ. Дядя, какъ я заговаривалъ, гордился мною, тетка не бранила за куреніе табаку, а только ворчала на то, что я курилъ дядины папиросы. Теперь я могъ читать свободно все, что могъ достать гдѣ-нибудь, и я зачитывался до того, что пропадалъ изъ дому съ книгой на цѣлыя сутки; и по иврѣ того, какъ я читалъ, я находилъ, что я еще знаю очень мало, мнѣ надо еще учиться, и я сталъ проситься въ гимназію. Дядя осмѣялъ меня. Онъ былъ убѣжденъ, что сдѣлалъ все для моего развитія. Онъ видѣлъ, что я расту съ него; изъ разговоровъ моихъ замѣчалъ, что я знаю больше его; зналъ, что умѣю красиво переписать, кое-что сочинить, даже что-то такое, о чемъ онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія, — и радовался этому. Радовался онъ этому потому болѣе, что я кончилъ курсъ въ уважномъ училищѣ, имѣю права, могу служить, могу получить чинъ и стало быть, чего же мнѣ еще надо? Я долженъ благодарить его, что онъ на ноги меня поставилъ... А что мнѣ еще нужно учиться — это онъ считалъ нелѣпостью. Такъ же съ нимъ соглашалась и жена его, моя тетка. Эта женщина была очень неразвита. Воспитывалась она очень бѣдно, съ десяти лѣтъ торговала на рынкѣ калачами, на семнадцатомъ — сидѣла въ лавочкѣ и на восемнадцатомъ году вышла замужъ за почтальона, которому она понравилась лицомъ и котораго она впоследствии очень полюбила. Не обученная грамотѣ, путавшаяся въ денежныхъ разсчетахъ, она хороша была для мужа тѣмъ, что умѣла хорошо стряпать и печь, умѣла шить, любила чистоту и старалась во всемъ угодить самому, который былъ для нея выше всего на свѣтѣ. Ей ничего не нужно было, кромѣ того, чтобы мужъ ея былъ здоровъ. Безъ мужа она

бы погибла, потому что на чужих людей ей стыдно было работать, а ремесла она никакого не знала. При мужѣ она была сыта, спала въ волю, водила знакомство только съ тѣми, кто ей нравился: больше ей ничего не нужно было, даже религія для нея послѣ мужа была на второмъ планѣ. Могла ли эта женщина развить свой умъ? Нисколько. Она учила меня быть честнымъ, не воровать, любить и почитать старшихъ для того, чтобы они любили меня, а если старшіе будутъ любить меня, я буду жить такъ же, какъ и ее мужъ, мой дядя. Часто я что-нибудь рассказывалъ ей изъ исторій; она удивлялась, но черезъ недѣлю забывала. Она даже забыла много молитвъ, не знала, кто раньше жилъ: Авраамъ или Христосъ, вѣрила предрасудкамъ и снамъ, гадала въ карты, ходила къ ворожеямъ и т. п. Изъ моихъ рассказовъ она выводила то заключеніе, что я очень умный, и удивлялась: отчего это я много знаю, а она и дядя ничего не знаютъ? Я говорилъ ей, что я еще ничего не знаю, мнѣ надо еще многому учиться; она морщилась и говорила: „Будетъ, зачитаешься—съ ума сойдешь. Еще чернокожишкою сдѣлаешься“...

Но былъ ли я на самомъ дѣлѣ умнѣе, какъ ни считали меня дядя и тетка? По ихъ разсудку я былъ умнѣе и мнѣ больше образовываться нѣтъ надобности, такъ какъ они думали, что я уже все знаю, знаю больше ихъ, — и слава Богу. Не хотѣли они большаго моего образованія потому еще, чтобы я не зазнался и не отдѣлился отъ нихъ. Въ это время я былъ очень задумчивъ и приглядывался къ жизни, въ окружающіе меня люди, которыхъ сравнивалъ съ собою, съ дядей и теткой, но выходилъ какой-то хаосъ. Но самое лучшее было для меня—это сидѣть на берегу рѣки или на рѣкѣ въ лодкѣ съ удильщикомъ. Простору было много, но толку все-таки не выходило. Часто случалось, что я, сидя на рѣкѣ въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь вдаль, глаза останавливались на одномъ мѣстѣ, а въ головѣ чувствовалась какая-то тяжесть и вертѣлись только слова: „какъ-же это?... отчего-же это?..“ — и въ отвѣтъ ни одного слова. Очнешься и плюнешь въ воду; начнешь удить и думаешь: „ахъ, если бы у меня были деньги, я бы купилъ книгъ, много, много; а бы все выучилъ... и человѣкъ бы такого надо, который бы объяснилъ мнѣ все это“. Въ головѣ чортъ знаетъ что; осердишься, вздохнешь и скажешь: „зачѣмъ же они взяли меня къ себѣ, измучили, сдѣлали изъ меня дурака? Зачѣмъ же я не остался такимъ же дуракомъ, какъ и почтальоны, нигдѣ неучившіеся, которые только и думаютъ объ томъ, какъ бы наѣстаться, напиться, поспать да угодить начальству?.. И жилъ бы я какъ животное, а то вотъ все думаешь, все хочется узнать, что и какъ, и отъ чего, и почему происходитъ. Узнаю я, другихъ буду учить, пользу-какуюнибудь принесу, спасибо скажутъ, а что за человѣкъ, когда я ничего не знаю, я роюсь только въ переносчики“...

Многого мнѣ хотѣлось, много хотѣлось знать, но мнѣ нѣмали, меня ругали за это желаніе; и чтобы я не думалъ много, не сидѣлъ понапрасну долго и не маралъ понапрасну бумагу, дядя рѣшилъ опредѣлить меня на службу какъ можно скорѣе. До сихъ поръ чиновный людъ я понималъ такъ, что они только пи-

шутъ и за это получаютъ деньги и чины, но я не думалъ, чтобы они приносили кому-нибудь какую-нибудь пользу. „Для кого же они пишутъ-то?“, думалъ я и спрашивалъ дядю. Онъ говорилъ, что они служатъ.

— Кому?—спрашивалъ я.

— Царю и отечеству.

— Что же они дѣлаютъ?

— Служатъ.

„Значитъ, думалъ я, кто пишетъ и кто носитъ женскую одежду, тотъ служитъ царю и отечеству. Что же они дѣлаютъ? „Дядя не объяснилъ, его знакомые тоже не объяснили, и я думалъ:“ умели у царя и отечества такъ много дѣла?“. Да, думалъ я, значить они служатъ и за это имъ даютъ чины такого рода, что они возмущаются во мнѣніи другихъ людей, гордятся этимъ, а раньше полученія чина хлопотуть, чтобы получить этотъ первый чинъ.“ Дядя говорилъ, что получить чинъ не всякій можетъ, что чиновникъ избавляется отъ тѣлеснаго наказанія и не платитъ никакихъ податей. „Что жъ, думалъ я, поступилъ и я на службу, коли ужъ дядѣ не хочется, чтобы я учился; буду и на службѣ учиться“. Это самое важное—служба коронная говорилъ дядя, на эту службу не всякъ можетъ поступить, и чиновника никакъ нельзя сравнить съ купцомъ или мѣщаниномъ, или солдатомъ, такъ же какъ нельзя сравнить почтальона съ сортировщикомъ или почтмейстеромъ. Дядя говорилъ это по своему понятію, потому что онъ очень рано поступилъ на коронную службу; служить кунцу или вообще частному лицу онъ считалъ послѣднимъ дѣломъ, не смотря на то, что у этихъ господъ служащіе получали гораздо больше жалованья, чѣмъ коронные. „Тамъ служить кто? — мѣщане... А мѣщане подати платить, рекрутотъ ставить; да и поправиться ты кунцу—ладно, не поправиться—прогонять; а въ нашей службѣ, шалишь, на все законъ, силой не выгонимъ“. Но какъ дядя ни рассуждалъ, а я чувствовалъ, что мнѣ не стерпѣть этой тяжелой службы, что мнѣ долго придется служить до чина, и я завидовалъ такимъ людямъ, которые на пятнадцатомъ году были уже чиновниками или на девятнадцатомъ году, кончивши курсъ въ университетахъ, поступали столенами или губернскихъ присутственных мѣстъ или становыми... „Служи, говорилъ дядя я тридцать лѣтъ служу и все жду чина“...

Дядя ждалъ перваго чина какъ чего-то великаго, особеннаго, что должно точно передѣлать его. Онъ никакъ не думалъ, что Богъ пошлетъ ему эту благодать, потому что ни отецъ его, ни вся его родня не имѣли чиновъ. Я тоже ждалъ этого чина и думалъ: „что это такое? какъ изъ нечиновнаго дядя превратится въ чиновника?“. Четыре раза по какимъ-то причинамъ ему отказывали отъ чина, и дядя каждый разъ нечаянно отъ этихъ отказовъ. Чинъ ему нуженъ былъ еще и потому, что ему хотѣлось получить должность почтмейстера, а безъ чина его не хотѣли опредѣлить, хотя онъ и исправлялъ во время отсутствія почтмейстеровъ ихъ должности. Каждую ночь онъ справлялся въ „Севастскихъ Вѣдомостяхъ“ : не произведенъ ли онъ въ чинъ, и одинъ разъ самъ своимъ

глазами увидѣлъ въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ“ свою фамилію и производство его въ коллежскіе регистраторы. Съ неописаннымъ восторгомъ дядя сообщалъ это теткѣ, которая отъ радости заплакала, но все еще плохо вѣрила.

— Ты бы хорошенько посмотрѣлъ.

— Уже не безыконойся... Произведенъ.

— Слава тебѣ Господи!.. А ты бы еще просмотрѣлъ.

По этому случаю тетка, носившая на головѣ косынку, купила теперь шляпку. Она была того убѣжденія, что шляпку слѣдуетъ носить только чиновникамъ. Особенной перемены я не замѣтилъ ни въ дядѣ, ни въ теткѣ: дядя только хвалился своимъ чиновничествомъ.

— Теперь меня ни одна свинья не смѣетъ обижать, — говорилъ онъ храбро.

— Ты бы того... Да у тебя въ которомъ мѣстѣ чинъ-то?

— Чинъ въ головѣ!

Тетка не понимала: она предполагала въ чинѣ какое-нибудь отличіе.

— Все бы надо что-нибудь...

— На бумагѣ произвели—прямо въ коллежскіе регистраторы. Да...

— Ты бы сюртукъ съ позументомъ заказалъ.

— Заказу, когда буду почтмейстеромъ... А мнѣ, слышь, плохо вѣрится, что я произведенъ въ чинъ. Чинъ—чинъ, говорятъ... Они бы звѣзду какую-нибудь дали.

— То-то. А то чиновникъ, говорятъ, а кто тебя узнаетъ, что ты чиновникъ?..

— Въ головѣ, сказано, чинъ...

Повидимому, дядя обижался, что ему не дали такого отличія, по которому бы его всѣ люди знали, что онъ чиновникъ. Онъ ходилъ по прежнему въ контору въ сюртукъ, дома въ халатъ, но съ почтальонами уже не игралъ въ карты; по-прежнему ѣлъ, пилъ, спалъ, пѣлъ, скучалъ и игралъ со скуки на дрянной скрипкѣ пѣсни: „Выйду-ль я на рѣченку“, „Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту“, „Среди долины ровныя“. Но игралъ недолго, не какъ прежде: его точно что-то мучило, онъ теперь сдѣлался сосредоточеннѣе и говорилъ отрывочно; но прежняя простота и теперь осталась въ немъ, только онъ теперь пригнѣнилъ къ своей фуражкѣ кокарду и въ этой фуражкѣ онъ ходилъ только въ церковь; въ будни же ему почему-то было совѣстно носить ее. Тетка же стала носить черную шляпку, но эта шляпка была ей не къ лицу, какъ мнѣ показалось съ перваго раза и какъ показалось также почтальонкамъ, да и самой ей какъ-то неловко было идти по улицѣ; не чиновники ея знакомки удивлялись такому наряду и спрашивали:

— Чтой-то съ тобой? али муженекъ-то чинъ получилъ?

— Получилъ, слава тѣ Господи; первый чинъ получилъ.

— Слава тѣ Господи! Глико-сь... а шляпка-то ровно у те бокомъ, матка...

Тетка досадовала на это замѣчаніе. Раньше она многими почтальонкамъ говорила вы, теперь ей казалось неприлично говорить такъ, и она говорила на ты, что очень обижало почтальонковъ; онѣ говорили про-

межъ собой: „зазналась баба... не къ лицу это сѣдно напялила,“ и ругали мужей за то, что они, вахлаки, не купятъ имъ шляпки для того, чтобы протереть глаза модницѣ, моей теткѣ.

Это производство случилось вскорѣ послѣ того, какъ я кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ. По заведенному съиздавна порядку дядѣ слѣдовало сдѣлать поздравку дляпочтовыхъ, на томъ основаніи, что онъ получилъ большую радость, которую должны раздѣлить и почтовые; но дядя не сдѣлалъ поздравки, говоря напрашивающимся: „эка важность, что я чинъ получилъ! А сколько я до него служилъ-то? Потрите-ка вы лямку-то...“

— Да вѣдь вы получили и должны на радостяхъ сдѣлать поздравку.

— За што? Безъ васъ произвели — выслужилъ, значить.

Сталъ онъ просить губернскаго почтмейстера назначить его уѣзднымъ почтмейстеромъ; тотъ представилъ другого за сто рублей; открылась вакансія помощника почтмейстера въ одномъ богатомъ уѣздномъ городѣ; попросилъ онъ почтмейстера, тотъ отказалъ. Дядя послалъ прошеніе выше. До этого времени онъ въ надеждѣ на опредѣленіе былъ нѣсколько веселъ и любезенъ съ теткой. Особенно онъ хвалилъ себя:

— Натко-сь, и я чиновникъ.

— И я чиновница, — говорила тетка.

— Конечно ты не кухарка какая-нибудь... А все это по моей милости.

— У, ты мое золото!.. Тетка цѣловала дядю; дядя тоже цѣловалъ ее. А это случалось очень рѣдко, потому что онъ не любилъ любезничать, и я рѣдко замѣчалъ, какъ дядя цѣлуетъ тетку.

— Да, толкуй тутъ, а я свой родъ возвеличилъ! — хорохорился дядя.

— Все Божья воля.

— Ну, ужъ... А я все-таки одинъ изъ всего своего рода чинъ получилъ и тебя чиновницей сдѣлалъ, и Петеньку чиновникомъ сдѣлаю... Вотъ каковъ я!

Дядю опредѣляли помощникомъ почтмейстера туда, куда онъ просился. По этому случаю онъ сдѣлалъ поздравку—обѣдъ, на который пригласилъ почтовую аристократію. Тетка прилежно стирала, послѣ стирки нарядилась въ шелковое платье, бѣгала, суетилась, ворчала на меня: дядя тоже суетился и просилъ тетку не подгадать. Мнѣ вѣрно было сидѣть въ кухнѣ за дверями. Я никогда не бывалъ среди „аристократіи“ и потому мнѣ очень хотѣлось узнать, что это за штука такая. Въ двѣнадцать часовъ стали собираться гости совсѣмъ трезвые, поздравляя дядю и тетку съ чиномъ и съ должностью. Когда собрались всѣ, выпили по рюмкѣ водки и вели разговоры какъ-то натянуто, какъ будто находя, что они пришли къ человѣку низшаго сорта. Выпили по двѣ и по три, развязались языки, поздравляли дядю и тетку, за обѣдомъ больше молчали и отшучивались, подсмѣиваясь надъ угловатостью дяди. Дядя и тетка усердно подчивали, говорили имъ любезности, и особенно усердствовали передъ губернскимъ почтмейстеромъ, которому они льстили, поддакивали и старались ловить каждый его разговоръ. Дядя бывалъ въ такихъ обществахъ, но все какъ-то велъ себя при-



нужденно, загибая лѣвую руку назадъ, а правой—почесывая правый високъ; тетка не бывала въ такихъ обществахъ, — робко подносила кушанья и убирала посуду. По ея нерешеству оказывались невнимытые ложки, ножи, о чемъ ей замѣчали любезно:

— Пожалуйста, возьмите ложку, я не хочу больше.

— И, полноте! у меня другія есть.

Впрочемъ она старалась пустыми мелочами угождать гостямъ: подносила другія салфетки, просила ѣсть больше; гости подсаживались надъ ней. Но больше всего гости разсуждали про меня.

— Ну, что ваше-то чадо?

— Кончилъ курсъ.

— Дѣло. А какой господинъ замѣчательный!.. Бѣдовый парень!

— Что дѣлать, случился...

— Я бы не сталъ такого держать.

— Теперь онъ ничего. Не знаю, куда опредѣлить бы его. Денегъ нѣтъ.

— Полно-ка. Поди сундуки у тебя ломаются, — говорилъ почтмейстеръ по-дружески.

Подъ конецъ гости тоже разсуждали по дружески, и повидному вполне остались довольны поздравкой.

## II.

Въ губернскомъ городѣ дядя не прискалъ мнѣ мѣста и повезъ меня съ собой въ уѣздный городъ. Этотъ городъ вдвое больше и богаче губернскаго, поэтому дядя и рассчитывалъ на богатые доходы; но онъ не умѣлъ сойтись съ почтмейстеромъ, который забралъ все доходы себѣ; особенно почтмейстеру не понравилось то, что ему въ помощники назначенъ не тотъ, о которомъ онъ просилъ, а мой дядя, который хвалился честностью. На первыхъ порахъ онъ не далъ дядѣ казенной квартиры; потомъ говорилъ корреспондентамъ, что ему послали помощника невѣжу, не знающаго свое дѣло. Дядя написалъ въ губернской городъ, что его обижаютъ, и вслѣдствіе этой жалобы почтмейстеръ очень не залюбилъ дядю и все-таки далъ ему казенную квартиру. Въ губернской почтовой конторѣ дядю уважалъ почтмейстеръ, не смотря на то, что онъ былъ сортировщикомъ; сюда онъ ѣхалъ какъ начальникъ для отдыха, и какова же была его досада, когда почтмейстеръ говорилъ всѣмъ объ немъ очень худо и заставлялъ его заниматься наравнѣ съ почтальонами и каждую недѣлю ѣздить на станцію разбирать жалобы проѣзжающихъ на ямщиковъ и смотрителей? Дядя ничего не могъ сдѣлать съ почтмейстеромъ и былъ доволенъ только тѣмъ, что получалъ порядочное жалованье и занималъ три комнаты и свою кухню. Такъ какъ комнаты были расположены дурно — на два семейства, то мнѣ комнаты не полагалось, а были отведены антресоли въ прихожей между двумя комнатами, которыя я называлъ полатами; тутъ-то я устроилъ свой кабинетъ, гостиную и спальню, въ которыя надо было залѣзать по лѣстницѣ, стоявшей у печки. Но моя палата была тѣмъ хороша, что изъ гостиной дяди меня никто не могъ видѣть, а я все могъ видѣть. Теперь мнѣ, какъ кончившему курсъ, было разрѣшено курить табакъ и читать книги. Я покупалъ махорку и къ радости дяди сталъ

выживать имъ недоброжелательныхъ гостей. Книжки мнѣ свѣтло было читать, и я доставалъ всякія безъ разбору у дядиныхъ знакомыхъ; но все эти книги были пусты, потому что у дяди не было образованныхъ знакомыхъ.

По почтовому вѣдомству дядя не хотѣлъ меня опредѣлить; притомъ здѣсь у него не было такихъ людей, которые приняли бы меня на службу. Одинъ только уѣздный судья былъ ему знакомый. Этотъ судья и рѣшилъ мое дѣло. Онъ согласился принять меня въ уѣздный судъ.

Идти въ судъ за чѣмъ-нибудь дядя считалъ за безчестіе, — такъ былъ ему солоно въ судъ. Поэтому можно судить, каково было мнѣ закабалить себя на службу въ этомъ мѣстѣ. Поплакавъ я ночью, а утромъ почтальонъ привелъ меня въ судъ. Я шелъ туда съ намѣреніемъ узнать, что такое судъ, изучить дѣлопроизводство и потомъ перейти куда-нибудь въ другое мѣсто со временемъ, когда дядя познакомится съ важными должностными лицами. Въ судѣ я ничего худого по наружности не замѣтилъ: стѣны выштукатурены, бѣлыя, на стѣнахъ два портрета, служащіе одѣты прилично. Только мнѣ не нравилось, какъ говорили служащіе, оглядывая меня:

— Это что за птица?

— Вѣрно на службу... Всякую дрянь принимаютъ.

Судья мнѣ ничего не сказалъ, а призвалъ какого-то Загибина въ сѣренькомъ пальто, велѣлъ ему взять меня къ себѣ. Я сѣлъ смиренно, меня окружили шесть служащихъ, въ числѣ которыхъ были и молже меня. Все они разспрашивали меня, кто я такой, гдѣ учился, что новаго въ губернскомъ городѣ, скоро ли къ нимъ будетъ губернаторъ?... Сталъ я приглядываться къ служащимъ. Многие изъ нихъ писали очень скоро, перья сильно скрипѣли, многие шептались, не многие перекривлялись. Вонъ всталъ одинъ, сидѣвшій на концѣ стола, взялъ въ губы перо и чуть не бѣгомъ пришелъ къ шкафу, откуда вытащилъ какое-то дѣло, посмотрѣлъ въ него и опять бросилъ въ шкафъ. Къ нему подошелъ высокій служащій и ударилъ по верхушкѣ его головы рукой, предварительно плюнувъ на ладонь; какой-то служащій смотрѣвшій на это, захихикалъ, а получившій любовь схватилъ за волосы обидчика и такимъ манеромъ притянулъ его къ полу; тотъ вскрикнулъ: „отпусти, чортъ!..“ Вонъ, какой-то служащій среди тишины сказалъ на всю канцелярію: „Пичужкинъ, дай табачку..“ На это ему отвѣтили сальностью... Вонъ, изъ другой комнаты выбѣжалъ въ шапкѣ и въ пальто долговазый служащій; его остановилъ сидѣвшій на углу: „куда?..“ „Ханать!“ — сказалъ служащій въ сѣромъ сюртукѣ, продолжая писать... Вонъ привели арестантовъ, подвели ихъ къ какому-то столу начальнику; тотъ съ одного приситъ за что-то деньги... Но это не такъ занимало меня, какъ занималъ сидѣвшій противъ меня за однимъ столомъ человекъ лѣтъ сорока пяти въ горнозаводскомъ сюртукѣ. Лицо карявое, давно не бритое, глаза плутоватыя; на переноси торчатъ очки съ засаленными стеклами въ жѣдной оправѣ. Онъ то и дѣло выглядывалъ изъ-за очковъ то на меня, то на обѣ стороны, и часто сморкался на полъ, придерживая одну половину носидрей и держа перо въ зубахъ. Онъ, согнувши спину, нахло-



нивший голову на лѣвый бокъ и высунувши языкъ на лѣвую сторону къ усамъ, писалъ очень старательно косыя строчки, такъ и казалось, что онъ не пишетъ перомъ, а скоблитъ. У дверей въ прихожую какой-то служащій съ листомъ гербовой бумаги беретъ отъ женщины, бѣдно одѣтой, мѣдные деньги.

— Ишь, собака! Много ли дала?—спросилъ мой визави у этого служащаго, считавшаго деньги.

— Молчи, караявая рожа,—отвѣчалъ тотъ.

— Будь ты проклять, песь!—сказала рожа.

Вдругъ подскочилъ къ нему Загибинъ и ударилъ его по головѣ линейкой; онъ плюнулъ на того и попалъ плевкомъ какъ разъ въ лѣвую щеку. Къ нему подошли еще трое служащихъ и, трепая его, приговаривали: „формочка, формочка! Усь, усь!..“. Онъ ахнулся, плевался, ругался, отмахивался линейкой...

У меня попросили папирсъ и я отправился курить. Судъ помѣщался во второмъ этажѣ; внизу помѣщался земскій судъ. Служащіе уѣзднаго и земскаго судовъ зимой лѣтомъ курили на крыльцѣ подъ уѣздно-судейской лѣстницей. Сойдется человекъ восемь изъ обонхъ судовъ: кто свою куритъ папирску, а кто и на счетъ другого пробавляется; одна папирска часто курится четырьмя, и хозяйну ея рѣдко достается округъ. Здѣсь они занимаются между прочимъ *политикой*, т. е. говорятъ о новостяхъ и сообщаютъ другъ другу разныя свѣдѣнія, не касающіяся службъ. Отъ судейскихъ служащихъ я узналъ, что въ судѣ три столоначальника, одинъ занимаетъ должность надсмотрщика крѣпостныхъ дѣлъ и прихода-расходчика, котораго любитъ судья, и этотъ судья такъ довѣрился ему, что даже опредѣляетъ и увольняетъ служащихъ по его желанію и назначаетъ жалованье по его же совѣту; писцовъ штатныхъ шесть, вольнонаемныхъ тринадцать. Во всей канцеляріи только два чиновника. Всей суммы на канцелярію полагается въ мѣсяцъ сто пять рублей, и такъ какъ ея немного, то многіе писцы получаютъ только по три рубля, а новички по два мѣсяца служатъ даромъ.

Второй и третій день я привыкалъ къ служащимъ и уже нѣкакъ дичился ихъ. Доприхода секретаря служащія ничего не дѣлали, а рассказывали разныя исторіи, сообщали другъ другу разныя свѣдѣнія, бранились и корили другъ друга чѣмъ-нибудь, не обижаясь впрочемъ ругательствами. Приходитъ секретарь, ему кланялись, не вставая со стульевъ и табуретокъ, разбѣгались по своимъ мѣстамъ и начинали писать. Секретарь здоровался за руку съ надсмотрщикомъ, на служащихъ онъ глядѣлъ гордо, вообще держалъ себя по-секретарски и говорилъ всѣмъ: „на перениши! Дай мнѣ такое-то дѣло.“ Засѣдателямъ отдавали такую же честь, какъ и секретарю, и они тоже здоровались только съ надсмотрщикомъ. При нихъ служащіе уже крѣпко занимались, но держали себя попрежнему вольно. Судья приходилъ въ судъ тихо, но какъ только служащіе увидятъ его въ прихожей, столпившіеся разбѣгутся на свои мѣста, схватываютъ перья и дѣлаютъ видъ, что они пишутъ, или показываютъ, что они чинятъ перья. Не занятые ничѣмъ служащіе тоже держатъ въ рукахъ что-нибудь: или томъ Свода, или какую-нибудь бумагу. Въ это время всѣ затихаютъ. Показался въ канцеляріи судья—загрѣзли стулья вразъ, вразъ всѣ встали,

каждый пошевелилъ губами: „здравствуйте, молъ!“. Судья важно кланяется два раза на обѣ стороны и молча проходить въ присутствіе. Случалось, что судья заставлялъ канцелярію врасплохъ, какъ бывало въ училищѣ грозный смотритель или инспекторъ; тутъ служащіе терялись: стоявшіе не смѣли идти на свои мѣста, говорившіе на своихъ мѣстахъ точно присѣдали еще ниже. Выходило очень смѣшно. Когда въ присутствіи начинался говоръ, оживлялась и канцелярія начинался гвалтъ, крикъ, драка. Выходитъ секретарь изъ присутствія и говоритъ грозно: „тише, вы!..“. Канцелярія смолкаетъ, потомъ опять слышны хихиканья и гвалтъ. „Смирно, вы, сволочь!“, кричитъ секретарь... Такъ и проходило время въ судѣ. Каждый служащій долженъ былъ непремѣнно придти на службу вечеромъ, не смотря ни на какую погоду и на то, что онъ жилъ далеко. Служащіе готовы были прилежнѣе заниматься дѣломъ до пяти часовъ, только бы имъ не ходить по вечерамъ; они даже совѣтовались объ этомъ между собой, но предложить судѣ не смѣли, да судья пожалуй и не разбѣгивалъ бы этого, имѣя въ виду расходъ на свѣчи. Вечеромъ служащіе очень мало занимались дѣломъ, потому что судья никогда по вечерамъ не бывалъ въ судѣ, а засѣдателя бывали очень рѣдко, и когда приходили, то разговаривали со столоначальниками о чемъ-нибудь. Вечеромъ служащіе рассказывали другъ другу или компаніи человекъ въ пять о своей удали, хвастались, какъ они разбили стекла въ какомъ-то открытомъ домѣ и какъ надули такую-то дѣвицу за доставленное такому-то судейскому ловеласу удовольствіе. Меня очень злили эти разговоры, но приводилось ихъ слышать каждый день, потому что они забывали служащихъ, да и кромя этого предмета не о чемъ было говорить.

Въ первый день моей службы я переписывалъ копию и плохо понималъ ея содержаніе, потому что переписывать съ неразборчиваго почерка очень старательно, боясь пропустить какую-нибудь строчку или букву. Мнѣ стыдно было, когда я что-нибудь приписывалъ лишнее, и это лишнее нужно было соскабливать; я краснѣлъ, когда мой столоначальникъ говорилъ мнѣ: „вы соврали немножко, нужно поправить“. А безъ ошибокъ я никакъ не могъ переписать бумаги вѣроятно потому, что такое занятіе было для меня новостью. На другой день мнѣ дали переписать рапортъ въ губернское правленіе. Я долго ямсалъ, не зная какъ начать; два раза прочиталъ черновое и никакъ не понималъ, что надо уѣздному суду, чего-то онъ проситъ покорнѣе и о чемъ-то писать честь *донести*. Слово „донести“ было для меня новостью. Мнѣ показали, какъ нужно писать; я писалъ очень старательно, выводилъ какъ можно красивѣе буквы, и въ это время думалъ: „неужели мое занятіе или моя служба въ томъ заключается, чтобы выводить на бумагѣ красивыя буквы?“. Оно въ первый разъ такъ и вышло: я протянулъ букву очень далеко, поставилъ нерусское; засѣдатель велѣлъ переписать мнѣ. Все-таки я считался переписчикомъ лучшаго сорта, и поэтому мнѣ давали переписывать рапорты и донесенія. Занятій въ судѣ было много, такъ что я занимался и

дома; время шло незамѣтно, но развитія для меня все-таки не было. За то теперь я былъ уже служащій человѣкъ и самъ получалъ жалованье. А получалъ я уже три рубля серебромъ въ мѣсяцъ. Я понималъ, что я служу въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣшаются дѣла о людяхъ, и гордился этимъ, хотя повидному никто изъ канцелярскихъ братій не гордился своей службой. Дядя интересовался моей службой. Приду я домой—онъ уже спитъ. Встанетъ къ чаю и спрашиваетъ:

— Ну что, какъ служба?

— Ничего.

— Судья ничего?

— Ничего.

— Ты бы попросилъ, чтобы онъ прибавилъ ему жалованья, а то и на сапоги не достанетъ,—просила тетка дядю.

— Они вѣдь скоты все любятъ, чтобы имъ даромъ дѣлали.

— Да и работа-то какая,—все кони.

Дядя обижался, что мнѣ давали мало жалованья; онъ понималъ, что я смыслю сочинять, но просить судью о прибавкѣ не хотѣлъ и думалъ, что я вѣрно самъ того заслужу. Я не обижался такимъ жалованьемъ, потому что служащіе, поступившіе раньше меня, получали по рублю и меньше, да мнѣ и хорошо жилось у дяди. Такъ прошло два мѣсяца. Наконецъ получилъ указъ губернскаго правленія о зачисленіи меня на службу. Дядя обрадовался этому. Нужно было принимать присягу на вѣрность службы.

Присяжныхъ листовъ на этотъ предметъ въ судѣ не имѣлось; служащіе наизусть присяги не знали. Поэтому я цѣлые два дня ходилъ по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ и только въ одномъ нашелъ добраго человѣка, который снабдилъ меня присяжными листовъ. Пошелъ я въ соборъ, стоящій противъ суда. Тамъ я попросилъ священника привести меня къ присягѣ, но онъ запросилъ рубль; я попросилъ другого, тотъ сказалъ, что ему некогда. Въ судѣ говорили, что меня можно привести въ присутствіи при всѣхъ членахъ, и тогда я ничего не заплачу священнику. Въ нашъ судъ почти каждый день ходилъ одинъ священникъ и приводилъ къ присягѣ арестантовъ при отобраніи допросовъ. Въ этотъ день онъ былъ въ присутствіи и я вошелъ туда съ присяжными листовъ и попросилъ секретаря объ этомъ предметѣ.

— Батюшка, вотъ еще этого приведите къ присягѣ,—сказалъ секретарь священнику.

— Этого? Неужели такой молодой попался?

— На службу опредѣленъ.

— А! да мнѣ некогда. Ужо, въ другой разъ.

Отложили до другого раза. На этотъ разъ священника просилъ самъ судья. Мнѣ велѣли стать къ столу и поднять руки вверхъ. Судья и члены смотрѣли на меня. Я молчалъ и смотрѣлъ въ окошко, дожидаясь конца присяги.

— Вслухъ говорите!—прикрикнулъ на меня судья. Я сталъ повторять слова шопотомъ, смотря въ окно, клялся, забывая все окружающее. Повторяя слова, я думалъ: „зачѣмъ я имѣю?... Я буду вѣрно служить, не такъ, какъ они; буду служить для пользы

людей...“. Когда вечеромъ я легъ спать, я долго думалъ объ этой присягѣ „Не лгаль-ли я?“... Нѣтъ, я клялся отъ чистаго сердца и когда я представилъ себѣ всѣхъ служащихъ, всѣ ихнія дѣянія, я ужаснулся: гдѣ же клятва? гдѣ же тѣ желанія? Отчего эта присяга имѣетъ свою силу томыю тогда, когда произносишь слова ея... Неужели то же будетъ и со мной? Отъ этого я перешелъ къ тому, что я въ судѣ служу честно, переписываю, знакомясь со служащими, нахожусь въ ихъ обществѣ—и только; я получаю жалованья три рубля, хотя и стараюсь каждую бумагу переписать на отличку, и если я грѣшу чѣмъ-нибудь противъ присяги, такъ развѣ тѣмъ, что я досадую, что мнѣ даютъ немного жалованья. Отдавая дядѣ три рубля, я исполнѣ обезпеченъ: у меня есть теплая квартира—полати,—меня одѣваютъ, кормятъ, мнѣ даютъ деньги на махорку. Вольше мнѣ ничего не нужно было. Я даже думалъ, что я все буду жить у дяди и буду служить честно; потомъ дядя похлопочетъ за меня и судья сдѣлаетъ меня столоначальникомъ, и я буду получать жалованья десять рублей, изъ которыхъ пять я буду отдавать дядѣ, а половину буду держать у себя... При этомъ я представлялъ себѣ положеніе бѣдныхъ служащихъ. Многие изъ нихъ получали отъ пяти до семи рублей и жили съ женами на квартирахъ; кромѣ этого они шли водку въ компаніи, ходили въ разныя увеселительныя заведенія... Я думалъ, что жить на такомъ жалованьи нельзя, нѣтъ постороннюю работу невозможно при судебныхъ занятіяхъ, и сначала я обвинялъ служащихъ въ пьянствѣ и въ томъ, что они не умѣютъ беречь деньги, но потомъ и самъ разсудилъ, что жить честно на пятирублевомъ жалованьи совершенно невозможно въ большомъ городѣ, и что нужно приобретать какіе-нибудь доходы,—брать взятки. Но вѣдь это нечестно... А жить если нечѣмъ? Голодомъ живи?.. А для какого чорта?.. Долго я думалъ я, сбившись совсѣмъ съ толку, заснулъ, но и во снѣ мнѣ мерещились разныя страшныя хари, которыя я почему-то называлъ судебскими.

И сталъ я служить въ уѣздномъ судѣ и прослужилъ уже полгода и ко многому присмотрѣлся и многое я изучилъ тамъ; но мнѣ не приводилось получать доходовъ, потому что я только переписывалъ то, что мнѣ дадутъ члены и мой столоначальникъ.

Дома я постоянно сидѣлъ на полатахъ—антресоляхъ, гдѣ и читалъ повѣсти или романы и разныя старыя газеты, какія я только доставалъ у теткинскихъ знакомыхъ. Дядя и тетка на мое чтеніе смотрѣли равнодушно, называя меня уже большимъ человѣкомъ, которому можно читать книги для того, чтобы не дичиться передъ людьми; но могъ ли я не дичиться, живя на полатахъ? Если къ тетѣ или дядѣ приходили гости, да я былъ въ комнатѣ,—меня гнали прочь: „чего сидишь, пошелъ на свое мѣсто...“. Съ своей стороны и я не желалъ знакомиться съ гостями, отъ которыхъ я кромѣ хвастовства ничего не слышалъ хорошаго. Ходилъ къ дядѣ помощникъ назначеная, повидному не глухой человѣкъ и шутникъ до

того, что я, сидя на полатахъ, заслушивался его, и ежели слышалъ что-нибудь смѣшное, хохоталъ, зажавши ротъ. Разъ я не утерпѣлъ и высунулъ съ полатей голову. Чиновникъ разсказывалъ о какихъ-то старинныхъ своихъ похожденияхъ и о карточной игрѣ и, взглянувъ на полаты, струхнулъ.

— Это что у тебя за звѣрь?—спросилъ онъ дядю. Я тотчасъ же спрятался и сталъ слушать.

— Гдѣ?

— Вонъ тамъ.

— Это мой племянникъ.

— Какъ онъ меня испугалъ! Я часто вслушивался: что это такое скрипитъ такъ?..

— Это онъ. Я тебя, шельма! Что ты тамъ не сидишь мирно!..

— Я ничего,—сказалъ я.

— Что же ты не покажешь его мнѣ?

— Не для чего. — И дядя принялся разсказывать съ разными прикрасами исторію про меня. Я злился и досадовалъ, что онъ рекомендуетъ меня очень худо.

Этотъ чиновникъ часто ходилъ къ дядѣ для того, чтобы онъ отправлялъ его письма во всякую пору, за что онъ угощалъ дядю виномъ. Онъ былъ богатый человѣкъ, имѣвшій много знакомыхъ, но сколько дядя ни просилъ его пристроить меня въ казначейство, онъ говорилъ, что нужны для этого деньги. Казначей такъ же не любилъ его, какъ и дядю почтиейстеръ, и эти два пріятеля постоянно ругали своихъ начальниковъ, съ тою только разницею, что дядя ругалъ рѣшительно всѣхъ, а его пріятель хвалился тѣмъ, что ему председатель обѣщалъ мѣсто казначея. Странно мнѣ казалось то: почему это помощникъ казначея не познать мою тетку съ своей женой и самъ рѣдко приглашаетъ къ себѣ дядю, хотя онъ и жилъ очень близко отъ почтовой конторы. Когда онъ приходилъ къ намъ, постоянно говорилъ какія-нибудь любезности теткѣ, которая даже ей казалась приторными. Тетка въ свою очередь справлялась у дядина пріятеля о здоровьѣ его жены и посылала ей свой поклонъ, хотя никогда и не видала ее. „Моя жена такая хвора, занятая дѣтьми...“, говорилъ обыкновенно чиновникъ, а на самомъ дѣлѣ это была тучная женщина. Жизнь этихъ обоихъ супруговъ, какъ надо полагать, была очень легкая, время шло незамѣтно. Онъ впрочемъ разсказывалъ, что женился на богатой, образованной воспитанницѣ какого-то московскаго института, и жена ему каждый годъ исправно рождаетъ ребенка. Поэтому дядя и прозвалъ жену своего пріятеля утробой, а тетка—водницей на томъ основаніи, что она, т. е. жена пріятеля, ничего не дѣлаетъ. Впоследствии пріятель сталъ ужъ очень надоедать дядѣ своими письмами, частыми посѣщеніями, отъ которыхъ дядя выпивалъ двѣ лишнія рюмки водки, буянилъ дома, втянулся въ карточную игру и всегда проигрывалъ деньги. Тетка стала поэтому съ неудовольствіемъ принимать дядина пріятеля, говоря: „вы человѣкъ богатый, вамъ ничего не значить проиграть десять рублей, а у насъ гдѣ деньги-то“.

— Ну, ну! Поди у васъ тысячи водятся. Нечего прикидываться-то,—говорилъ пріятель.

Тетка хмурилась. Стала она бранить дядю за то, что,

какъ придетъ его пріятель, водки и папиросъ много выходитъ; полъ онъ вымаралъ плевками и проч.

Сначала дядѣ весело было съ нимъ, но потомъ и онъ соскучился; онъ былъ сосредоточенный человѣкъ и любилъ больше одиночество.

Дядя часто скучалъ по губернскомъ городѣ, гдѣ у него было много знакомыхъ, жилось хорошо, можно было порыбачить; а здѣсь народъ гордый, городъ скверный, рыбачить далеко. Въ самомъ же дѣлѣ у него въ губернскомъ городѣ хотя и много знакомыхъ, но ни эти знакомые не ходили къ нему въ гости, ни онъ не ходилъ къ нимъ—значитъ шалочное знакомство; конечно ему бы можно приглашать ихъ и ходить къ нимъ, но у него не было много денегъ, чтобы играть съ ними въ стуколку, безъ чего дружба въ губернскомъ городѣ была немислима. Здѣсь у него было много знакомыхъ того времени, когда онъ еще былъ почтальономъ въ здѣшней конторѣ, но многіе его знакомые изъ бѣдняковъ сдѣлались теперь богачами, золотопромышленниками, у которыхъ всѣ власти были въ рукахъ и отъ которыхъ эти власти поживались хорошо. Такіе люди уже конечно за стыдъ считали водить прежнюю дружбу съ дядей. Злился дядя на этихъ людей, очень злился еще потому, что онъ весь вѣкъ мается для другихъ, и чортъ знаетъ, для чего онъ мается?

— Хоть бы до пенсін, будь она проклята, дали дослужить, а то съѣдать поддѣсы раньше могилы... Тогда бы и я на боку лежалъ или пошелъ бы на парходъ въ капитаны...—Излился же дядя очень, представляя свое незавидное положеніе. — „Скоро пятьдесятъ лѣтъ будетъ, какъ я живу на семь свѣтѣ; сколько городовъ изъѣздитъ, сколько людей видалъ, а что нажилъ для себя?.. Ну-ка вы, свиньи эдакіе, ткните сундучишко-то! Вы говорите, я богатъ; ткните-ко, все переворочайте... Скажите, гдѣ я запряталъ деньги?.. Поддѣсы, вотъ что я вамъ скажу! Напрасно только обижаете бѣднаго человѣка. Если бы я воровалъ да обманывалъ,—сталъ бы я развѣ служить? Я бы торговлю открылъ; а то какъ жилъ чествомъ и ничего не нажилъ. Уври я, жена по-міру поидетъ. Къ родитѣ ей что-ли идти—свои деньги неси, такая же голь... И чортъ знаетъ, зачѣмъ человѣкъ родится? Живешь—все зависть беретъ, все мало, все бы хапалъ... А и завидно опять, что люди хорошо живутъ, ты ни то, ни се; да они же и смѣются надъ тобой, понукаютъ проклятые...“.

— Ну, полно,—унижаетъ его тетка:—на Бога надѣйся.

— Ты надѣйся, а я усталъ.

— О-о-хо-хо, грѣхъ тяжкій!..

— Гдѣ грѣхъ? Ну-ка, скажи, что я худое сдѣлалъ? Обидѣлъ ли я кого-нибудь?

— Нѣтъ, а все же...

— Ну, то-то и есть. Ты вотъ молишься, а все кому-нибудь хочешь отомстить. Все на мужнину шею надѣешься. Ну, что ты сдѣлала для меня?

Тетка въ слезы. Она дѣйствительно немного сдѣлала для дяди: она была ему жена, любила его, стригла на него, шила на него, а деньги приобреталъ все-таки онъ. На себя она ничего не приобретала, по-

тому что мать ее была бедная, а потому она сама не ужела нажить денегъ.

Съ почтмейстеромъ дядя не могъ ладить. Главное обстоятельство, послужившее къ этому, было то, что почтмейстеръ во первыхъ былъ сынъ председателя, во вторыхъ—женившійся на богатой, и въ третьихъ называлъ дядю невѣжей, необразованнымъ и свиньей. Почтмейстеръ подѣ конецъ предоставилъ ему простую корреспонденцію, т. е. письма и пакеты. Приходилъ почтмейстеръ въ контору раньше дяди. Дядя приходилъ, подавалъ ему руку: почтмейстеръ нехотя протягивалъ ему свою лѣвую руку, ядовито улыбаясь, или говорилъ: „поздненько пришли“.

Дядя садился на свое мѣсто молча или, когда былъ сердитъ, говорилъ: „что мнѣ здѣсь дѣлать? Вѣдь я здѣсь вѣсто мебели у вась“.

Почтмейстеръ злился, но какъ вѣжливый человекъ говорилъ: „все же вы вѣдь помощникъ, должны раньше меня приходите“.

Дядю взорветъ и онъ скажетъ: „что же, по вашему, я долженъ на стѣны смотрѣть, да слушать, какъ корреспонденты будутъ ругаться“.

— Ну, хоть бы и такъ, все же вы должны приходить раньше меня.

— А отчего вы запираете печать? Чѣмъ я буду письма запечатывать?

— До меня оставьте. Я приду и выну казенную печать.

— Покорно благодарю... Да и вы не приказываете мнѣ принимать денежные и страховые письма.

— Разумѣется.

Дядя что-нибудь скажетъ про себя шопотомъ.

— Скотина!—скажетъ почтмейстеръ.

Такъ и сидятъ почтмейстеръ съ помощникомъ, какъ два медвѣдя: сидятъ молча, косятся другъ на друга и каждый думаетъ: „вотъ съ какимъ чортомъ Богъ сподобилъ меня служить“.

Почтмейстера не любилъ весь городъ за то, что онъ во-первыхъ спускался изъ своей квартиры внизъ въ контору поздно и не довѣрялъ помощнику принимать и выдавать корреспонденцію для того, чтобы тотъ не получалъ доходовъ: корреспонденты дожидались его подолгу въ приемной конторѣ, ругая его на чемъ свѣтъ стонетъ. Когда онъ приходилъ, то отпускалъ такихъ корреспондентовъ, которые часто слагали ему подарки, а тѣ, которые не присылали подарковъ, простанывали до перваго часу, когда почтмейстеръ уходилъ, а приходилъ уже на другой день, а потому и случалось, что они ходили цѣлую недѣлю. Писать жалобу на почтмейстера не стояло, потому что губернская контора на такія жалобы „плевать хотѣла“. Если кто-нибудь замѣчалъ почтмейстеру: „вѣдь у вась помощникъ есть“, онъ говорилъ: „это—дринь! я боюсь, вредный человекъ“... Корреспонденты знали дядю за честнаго человека, дивились слышанному и пересказывали дядѣ все, что слышали. Во вторыхъ почтмейстеръ никому не отлавалъ мелкой сдачи. Напр. если нужно сдать одну или три коп., онъ говорилъ: „а сдачи нѣтъ, послѣ сдать“, или „на томъ свѣтѣ жаромъ рассчитаемся“.

Чтобы избавиться на нѣкоторое время отъ дяди, почтмейстеръ то и дѣло посылалъ его разбирать жа-

лобы проезжающихъ на ямщиковъ и станціонныхъ смотрителей. Дядя не могъ противиться волѣ почтмейстера и разтѣзжалъ почти каждую недѣлю. Съ ямщиками и смотрителями онъ поступалъ добросовѣстно. Жалобы писались капризными проезжающими, которые думали, что если дорога худая, такъ въ томъ непремѣнно виноваты ямщики. Но случалось обыкновенно такъ, что ямщики, жалѣя своихъ лошадей и зная, сколько имъ полагается ѣздить въ часъ версты, гнали ихъ какъ имъ вздумается, нѣтъ въ виду то, что этимъ лошадямъ придется еще раза два сбѣгать до этой станціи; случалось, что смотрители пьянствовали болѣе ямщиковъ, которые изъ злобы къ смотрителю старались ему чѣмъ-нибудь насолить. Дядя дѣлалъ по совѣсти, стараясь выслужиться передъ губернской конторой, но съ управляющими вольныхъ почтъ и смотрителями онъ ничего не могъ сдѣлать, потому что они дарятъ начальство, и отъ этого бывало то, что вольныя почты лишали дядю мѣсячнаго жалованья, и ямщики все-таки не получали никакого удовлетворенія; смотрители отдавали все свое жалованье почтмейстеру, при жалобахъ дарили его; почтмейстеръ писалъ на дядю доносы, что онъ беретъ съ ямщиковъ деньги, и потомъ прекращалъ дѣла по своему усмотрѣнію. Дядя злился, называлъ всѣхъ подлецами и говорилъ: „а гдѣ же правда-то, черти вы эдакіе!“.

Меня почтмейстеръ не любилъ, никогда не отвѣчалъ на мои поклонны, и такъ какъ я былъ посторонній въ конторѣ человекъ, то онъ не приказывалъ пускать меня въ контору. Я часто ловилъ рыбу неводомъ и послѣ рыболовства всегда развѣшивалъ неводъ посреди двора, а когда онъ просыхалъ, починавалъ прорванные мѣста. Дворникъ почтмейстерскій часто гналъ меня прочь съ неводомъ по тому случаю, что куры почтмейстерскія будто бы ломали свои лапы объ ячейки невода. Я не слушалъ дворника. Однажды я развѣсилъ неводъ по забору. Часа черезъ два послѣ этого я сидѣлъ у окна и вдругъ увидалъ, что дворникъ разрѣзываетъ неводъ въ разныхъ мѣстахъ перочиннымъ ножикомъ. За это я, какъ только увидалъ около невода любимую почтмейстерскую курицу, свернулъ ей голову и потомъ бросилъ въ отхожее мѣсто. Это было ночью. Почтмейстеръ рѣшилъ, что это сдѣлалъ я, и при выдачѣ дядѣ жалованья удержалъ изъ него пять рублей. Дядя злился, но деньги отдалъ и все-таки велѣлъ мнѣ развѣшивать неводъ. Разъ я починалъ неводъ. Почтмейстеръ сидѣлъ у окна съ женой, дядя у своего окна. Вдругъ почтмейстеръ сказалъ:

— Ты, скотина, опять тутъ съ неводомъ!

Я посмотрѣлъ на дядю, тотъ мигнулъ мнѣ, какъ будто говоря: не показывай виду, что я здѣсь.

— А что?—спросилъ я.

— Конечно вотъ пошлю дворника, будетъ что; скотъ...

— Съѣмъ что-ли я дворъ-то? Вѣдь онъ казенный.

— Тебѣ коли сказано—нельзя тутъ развѣшивать—и баста.

— А что такое баста?

— А то, что если ты еще развѣсишь, я велю со-  
брать и запру въ кладовую.

— Ну, и будешь ты хорошей мошеничкой.

Я взглянул на дядю, тотъ показалъ мнѣ кулакъ.

— Поговори ты еще, плутъ ты эдакой.

— Самъ плутъ! Колбасы берешь, сдачи не отдаешь...

— Это что такое значить, щенокъ ты эдакой!

Вышелъ почтальонъ. Почтмейстеръ увидалъ его и сказалъ ему: „сбери неводъ и принеси ко мнѣ“. Почтальонъ не зналъ, что дѣлать.

— Не тронь!—заревѣлъ дядя. — Вы не смѣете брать мою вещь, потому что она моя и дарить я ее вамъ не намѣренъ. А если надо, то я подарю вамъ на саванъ,—отнеси онъ къ почтальону.

— У, крочкотворъ! — сказалъ почтмейстеръ неизвестно кому.

Послѣдствіемъ этой ссоры было то, что дядю требовали въ губернскую контору, откуда его послали исправлять должность какого-то почтмейстера на время его отпуска. Я развѣшивалъ неводъ на другомъ дворѣ, съ хозяевами котораго тетка была знакома.

Почтмейстерша была гордая женщина, какъ ее называли всѣ почтовые женщины. Она кромѣ одной почтальонки, исправлявшей у нея должность горничной и повѣренной ея сердечныхъ тайнъ, никого изъ почтовыхъ не принимала, да и посторонніе бывали у нея рѣдко, и она такъ была недоступна, что дядя прозвалъ ее китайскимъ императоромъ, о которомъ я когда-то вычиталъ ему изъ какой-то книги. Тетку она никогда не принимала; не принимала ее даже и тогда, когда тетка въ большіе праздники приходила къ ней съ визитомъ. Тетка была женщина тоже неуступчивая, и послѣ того, какъ ее почтмейстерша не приняла два раза,—прекратила всякія путешествія въ почтмейстерскія обиталища. Почтмейстерша обзывала тетку разными заторными словами, говорила всѣмъ своимъ знакомымъ, что ея помощница грубая, необтесанная женщина. Если случалось почтмейстершѣ встрѣтиться съ теткой, она отворачивала голову въ противоположную сторону; тетка смотрѣла въ землю, какъ-будто не притѣкая почтмейстершѣ.

Въ этомъ городѣ, да и во многихъ городахъ нашего православнаго отечества жены любятъ присвоивать себѣ какую-то мнимую власть надъ другими женщинами, такъ же какъ и мужчины надъ мужчинами. Жена чиновника, просто на просто писца—уже модница, считаетъ себя дворянкой,—хотя бы мужъ получилъ чинъ на пятидесятомъ году своего служебнаго поприща,—считаетъ за необходимость носить шляпки, брезгуетъ не-чиновницами, забывая свое прошлое, и терпѣть не можетъ, если не-чиновница, жена писца, мѣщанина, солдата, одѣвается приличнѣе ея, носить шляпки. Жена столоначальника уже требуетъ, чтобы жены писцовъ, служащихъ въ столѣ ея мужа, приходили къ ней съ визитомъ, т. е. поздравить съ Рождествомъ, Новымъ Годомъ и Пасхой. Жена начальника принимаетъ уже женъ помощниковъ ея мужа, ведетъ себя съ достоинствомъ, требуетъ отъ нихъ повиновенія, капризничаетъ, заставляетъ ждать себя подолгу, и если женщина чѣмъ-нибудь не по-

навивалась ей, она никогда не приметъ ее въ свое общество, какъ бы та ни добивалась этого. Такова была тетка и почтмейстерша. Тетка уже зазнавалась, обижалась тѣмъ, что къ ней зачѣмъ-нибудь приходили почтальонки, никогда не угощала ихъ, не ласкала попрежнему, говоря: „онѣ не стоятъ чести...“ Она хотѣла, чтобы къ ней ходили съ визитами, приходили прощаться въ прощенный день, и если кто не дѣлалъ этой чести, она высказывала какой-нибудь почтальонкѣ свое нерасположеніе. Со своей стороны почтальонки старались выслужиться передъ ней, надѣясь на то, что ихъ мужьямъ будетъ небольшое облегченіе, потому что тетка попроситъ объ нихъ дядю, а тотъ напишетъ въ губернскій. Сортировщицы приходили съ визитами только ради формы и у тетки не заискивали ничего, зная отъ мужей, что дядя въ конторѣ ни рыба, ни мясо. Но тетка не хотѣла заводить знакомства съ женщинами, неравными ей, т. е. по должности съ мужа. Она хотѣла знакомиться и вести дружбу съ женщинами такими, мужья которыхъ занимали важныя должности. Но при бѣдности дяди, при томъ, что она не любила гулять, ходить въ театръ, была неразвита—въ такомъ большомъ городѣ ей трудно было свести знакомство. Она бы свела знакомство съ старушками и съ женами другого меньшаго городка, гдѣ по своему характеру можетъ быть скоро нашла бы такихъ женщинъ.

То же почти было и съ почтмейстершей. Почтмейстерша жила прежде въ глухомъ уѣздномъ городѣ и была купеческой породы. Воспитанная на богатый манеръ, вышедши замужъ и попавши въ большой городъ, она возмечтала, что она въ этомъ городѣ важная птица, тѣмъ болѣе, что почтмейстеръ не признавалъ надъ собою никакого начальства въ этомъ городѣ и гордился тѣмъ, что онъ почтмейстеръ первоклассной конторы. Поѣхала она съ визитами, ее всадъ принимали сухо; заговорили съ ней по-французски—она не знаетъ; заговорили о какихъ-то глубокомысленныхъ предметахъ—она сказала глупость, и ее никто не сталъ приглашать, да и въ городѣ должность почтмейстера считали за пустую, безтолковую, на которую можно посадить кое-какого грамотнаго. Поэтому почтмейстерша должна была всегда сидѣть дома. Если она являлась въ клубъ или въ театръ нарядившись, ее осмѣивали, и болѣе всего смѣялись надъ ея фizioноміей, называя ее коровой, а шляпку—коровьимъ сѣдломъ. Были у нея, правда, двѣ-три постоянныя гостьи, но и эти были такіе же „коровы“, нигуда непринятые и всѣмъ осмѣиваемыя.

Отчего жена почтмейстера и ея пріятельницы, жены стряпчаго и казначея, не могли сойтись съ обществомъ города, видно изъ того во первыхъ, что ихъ мужья занимали незначительныя должности, во вторыхъ онѣ были необразованнымъ и не умѣли вести себя хорошо въ аристократическомъ обществѣ, и въ третьихъ городское общество раздѣлялось на три особые общества. Главное и первое общество въ этомъ городѣ тогда состояло изъ богатыхъ купцовъ, торговыхъ людей и золотопромышленниковъ, большую частію единовѣрцевъ и различныхъ сектаторовъ, которые

знались только съ своимъ кругомъ, дѣлали вечера по своему и приглашали къ себѣ своихъ людей, даже приказчиковъ, и гушались чиновниковъ, которые „ѣли приники“, т. е. получали отъ купцовъ много денежныхъ подарковъ и заводили своимъ женамъ шелковые платья. Второе общество состояло изъ горныхъ инженеровъ и вообще горныхъ чиновъ, представителемъ которыхъ былъ главный начальникъ этого горнаго люда и всѣхъ горныхъ заводовъ. Такъ какъ этотъ городъ былъ горный, имѣлъ свое горное воинство, главнаго начальника, свои управления, свою полицію и свои горные порядки, чиновники были люди бывалые и большинство ихъ щеголяло вышнимъ образованіемъ, то они относились къ другимъ чиновникамъ не изъ ихъ круга, съ презрѣніемъ, называя ихъ не-своими людьми, грубыми и необразованными, и поэтому конечно считали неприличнымъ знакомиться съ чиновниками низшаго сорта и лѣзли къ купцамъ, желая выжать изъ нихъ какую-нибудь пользу для себя. Остальные чиновники составляли небольшой кружокъ, оставленный большинствомъ въ сторонѣ и презираемый всѣми. Они съ своей стороны презирали горныхъ и жили здѣсь исключительно для службы, погравли въ службѣ, никакъ не хотѣли развиваться, называя себя единственными дѣловыми людьми. Такимъ образомъ въ этомъ городѣ до сихъ поръ существуютъ двѣ враждующія партіи, изъ которыхъ горная, какъ самая сильная, преводитъ на остальныхъ партій такое вліяніе, что тѣмъ волей-неволей нужно подчиняться горному элементу. Здѣсь по крайней мѣрѣ три четверти населенія состоятъ изъ горныхъ людей—чиновниковъ, мастеровъ и рабочихъ, а остальная четверть состоитъ изъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, изъ которыхъ каждое считаетъ себя самостоятельнымъ и раздѣляется на четыре, независимыя другъ отъ друга, мѣста: суды съ магистратомъ и думой, мѣста финансовъ, почта и училища съ гимназіей. Въ этомъ же числѣ и горные учителя, купцы, мѣщане и праздный пріѣзжій народъ. Каждое изъ этихъ обществъ дѣлаетъ собранія и вечера для своего общества. Такъ, купцы и мѣщане имѣютъ свои собранія подъ предсѣдательствомъ своего туза—городскаго головы,—свои вечера, на которые, ради только приличія, приглашаютъ главныхъ лицъ, которымъ нужны очень богатому человѣку, какъ напр. губернаторъ, главный начальникъ, генералы и прочая подначальная знать, въ которую никакъ не входятъ судья или какой-нибудь почтмейстеръ съ казначеемъ. Богатые люди знаютъ тоже, кого нужно пригласить. Горное вѣдомство имѣетъ свои собранія, похожія на губернскую аристократію и благородное собраніе, гдѣ собираются исключительно горные—генералы, инженеры, управляющіе заводами и купцы съ женами и дочерьми, которыми особенно славятся хорошими приданымъ, очень часто попадающимъ въ руки инженеровъ. Остальные чиновники собираются кое у кого только для картъ; дамы шлетничаютъ и рассказываютъ городскія новости, полученные или отъ мужей, или отъ дѣтей, или отъ знакомыхъ людей, а большею частію отъ—прислуги.

Почтмейстеру, какъ имѣющему сношеніе со всѣми горожанами, можно бы было попасть во всѣ кружки

городскихъ обществъ. Но онъ почему-то очень зазнался и никого не хотѣлъ знать, а главное,—онъ постоянно на вечерахъ затѣвалъ какой-нибудь скандалъ. Впрочемъ онъ иногда и устраивалъ вечера, но это были вечера глухіе, осмѣиваемые остальными обществами. Онъ ходилъ даромъ въ театръ и влюбился въ актрису, и этихъ-то актрисъ принималъ къ себѣ съ танцмейстеромъ, а потомъ самъ отправлялся изъ театра къ какой-нибудь актрисѣ. Такимъ образомъ онъ изъ артистическаго искусства извлекалъ очевидную пользу и злилъ свою жену. Особенно хвастался онъ знакомствомъ съ однимъ сочинителемъ,—учителемъ уѣзднаго училища,—который сочинялъ эпиграфы и кое-какіе стихи, и онъ дарилъ ихъ разнымъ барышнямъ. Этого учителя рѣдкіе принимали, потому что онъ былъ очень вспыльчивъ, рассказывалъ разныя сплетни и грозился описать обидѣннаго его человѣка въ толстомъ журналѣ.

Дядя не любилъ этого сочинителя за то, что тотъ, встрѣчаясь съ нимъ въ конторѣ, не кланялся ему; да и дядя говорилъ, что этотъ сочинитель только людей обманываетъ, описываетъ и объѣдаетъ ихъ. За то онъ полюбилъ другого сочинителя,—какого-то господскаго человѣка,—жившаго въ городѣ и промышленнаго сочиненіемъ разныхъ прошеній, частью клеветныхъ, частью довольно правдивыхъ. Чиновники городскіе, особенно горные, не любили его. Этотъ сочинитель называлъ себя литераторомъ, говоря, что онъ пошлетъ разныя сочиненія въ періодическихъ изданіяхъ. Поэтому его боялись въ городѣ и ненавидѣли за то, что въ какой-то газетѣ былъ описанъ городской скандалъ, и этотъ сочинитель разболталъ своимъ знакомымъ, что скандалъ описалъ онъ, и еще послалъ въ редакцію что-то уморительное. Больше всѣхъ его уважалъ почтмейстеръ, говоря, что онъ либералъ, не терпитъ неправды, не слушаетъ главнаго начальника края, который приказывалъ не отсылать въ редакцію статьи этого сочинителя; а болѣе онъ уважалъ его за то, что онъ похвалилъ почтмейстера опять въ той же газетѣ. Этотъ литераторъ часто былъ приглашаемъ дядей, который, считая его за правдиваго человѣка, просилъ его отдѣлать почтмейстера и помочь мнѣ въ чемъ-нибудь. Въ это время я сочинилъ одну драму изъ дѣлъ суда, показалъ ее судѣ, судья похвалилъ ее, но не рѣшился хлопотать напечатать ее въ какомъ-нибудь журналѣ. Въ это время я постоянно мечталъ сдѣлаться сочинителемъ, быть извѣстнымъ и такимъ, чтобы меня уважали и чрезъ меня дали бы хорошее мѣсто дядѣ. Дядя на мои сочиненія смотрѣлъ, какъ на глупость. Я часто сидѣлъ долго по ночамъ и дядя злился. Придетъ онъ ко мнѣ въ столу, долго посмотритъ на меня, двѣ папирсы выкурить и скажетъ:

— Какую ты черную немочь пишешь?

— Я свое пишу.

— Кому?

— Да напечатать хочу.

— Я вотъ те напечатать. Гаси огонь, пошелъ спать!

— Я деньги получу. Вонъ судья тоже хвалилъ.

Подойдетъ въ другой разъ. Опять долго стоитъ и скажетъ: „смотри, паренъ, чтобы тебѣ худа не было!“ ...

Я разсержусь, что дядя не уважаетъ моего труда, и хочу сказать: „я вѣдь вамъ не мѣшаю“, а скажу: „я своихъ свѣчъ куплю“.

— Никогда не смѣй писать. Только бумагу мараешь. Читалъ бы лучше законы да изъ суда носилъ бы писать, чтобы жалованья больше дали.

А въ это время я много мечталъ о себѣ. Еще когда я учился, то писалъ все проповѣди. Потомъ я понялъ, что я проповѣдями никого не удивлю — бросилъ писать проповѣди и сталъ сочинять стихи. Стиховъ я писалъ много, все большею частью оды; читалъ ихъ товарищамъ, тѣ говорили, что они сами лучше меня сочиняютъ, и читали свои стихи, которые дѣйствительно казались мнѣ лучше моихъ. Учителя говорили, что я не умѣю сочинять, но не говорили, какъ нужно писать, и смѣялись. Только разъ я удивилъ въ училищѣ однихъ разсказомъ о какомъ-то разбойникѣ, и меня тогда еще прозвали сочинителемъ. Но кромѣ этого разсказа я ничего не могъ выдумать. Когда я поступилъ на службу, то постоянно писалъ стихи. Стихи писать мнѣ казалось легко, прозой я не умѣлъ писать. Стихи я писалъ большею частью про судью, заведателя и секретаря, читалъ ихъ служащимъ, которые меня слушали. Когда я былъ въ театрѣ, я вздыхалъ, сердце щемило и я думалъ: „погодите—я вотъ свою драму скоро дамъ для представленія, самъ буду сидѣть въ парадизѣ: всѣ будутъ хвалить драму, хлопать въ ладоши, меня будутъ звать; я спрячусь... Про меня всѣ будутъ говорить“.

И я постоянно мечталъ о себѣ много: лежу я, — мнѣ хочется написать хорошее; во снѣ я бредилъ хорошими знакомствами: шелъ куда-нибудь, — я воображалъ себя сочинителемъ; на службѣ ненавидѣлъ служащихъ и думалъ: „погодите, будете вы бояться меня; погодите, я самъ получу со временемъ должность судьи, и заведу такіе хорошіе порядки, что всѣ будутъ довольны мной“. Но я былъ еще далеко неразвѣтъ въ это время: я читалъ только старыя книги, и то повѣсти и романы; ученаго я не понималъ и не хотѣлъ читать.

Дядя хотѣлъ пристроить меня куда-нибудь въ домашніе учителя, но, при всемъ его знакомствѣ, ему не удалось этого сдѣлать. А хотѣлось ему, чтобы я былъ учителемъ для того, чтобы я получалъ побольше денегъ. Горные служащіе занимались этимъ и получали въ мѣсяцъ отъ 5 до 10 р. за уроки, но ихъ считали за людей образованныхъ, и ихъ однихъ только нанимали, да они и не занимались службой послѣ обѣда. Богатые купцы нанимали учителей изъ училищъ и платили имъ большія деньги. Найти же мнѣ какое-нибудь постороннее занятіе, кромѣ службъ, было довольно трудно и неудобно, потому что я одѣвался въ худенькое пальтишко, былъ робокъ, застенчивъ, не умѣлъ отвѣчать на вопросы и не умѣлъ занять человека разговоромъ; кромѣ этого въ пять часовъ вечера я долженъ былъ идти на службу. Дядя злился, что мнѣ Богъ не даетъ счастья получать деньги изъ-за службъ, и называлъ меня дармоедомъ, бумагомарателемъ. Но онъ не велѣлъ мнѣ брать взятки въ судѣ, получать тамъ какіе либо

доходы или заводить дружбу со служащими. Онъ думалъ, что брать взятки—значитъ сдѣлаться плутомъ и нигуда негоднымъ человекомъ; если онъ самъ получалъ доходы, то называлъ ихъ дѣломъ безгрѣшнымъ, и даже злился тогда, когда какой-нибудь богатый корреспондентъ давалъ только одному почтмейстеру; а если получать доходы въ судѣ,—значитъ, стать наравнѣ со служащими, а служащихъ судейскихъ онъ ненавидѣлъ.

Долго дядя ломалъ голову надъ тѣмъ, какую бы такую прислать мнѣ работу, и ничего не придумалъ. Былъ у насъ въ судѣ служащій Прохоровъ. Онъ, не смотря на то, что крѣпко пилъ водку, постоянно переписывалъ комедіи, драмы и водевили для ролей актерамъ. Изъ театра ему платили по три и по пяти рублей за комедію или драму, и если работа была спѣшная, требовалась къ утру, онъ просиживалъ всю ночь. Работы у него было много, и часто онъ пьяный не могъ поспѣть къ утру. Я подлаживался къ нему, просилъ у него работы и онъ удѣлялъ мнѣ половину, обѣщая заплатить рубль. Я переписывалъ цѣлую ночь; дядя съ теткой радовались, что я тружусь. Такимъ манеромъ я писалъ цѣлую недѣлю и за работу получилъ только одинъ рубль, потому что Прохоровъ остальныхъ денегъ не заплатилъ. Дядя называлъ Прохорова подлецомъ, велѣлъ мнѣ пожаловаться на него судѣ; но я жаловаться не сталъ. Дядя наконецъ придумалъ: хорошо бы мнѣ переписывать сочиненія у уважаемаго имъ литератора, потому-де, что я самъ умѣю сочинять, и потому могу переписать безъ ошибокъ.

Этотъ литераторъ, Николаевъ, былъ какъ-то разъ въ конторѣ вечеромъ; онъ справился, вышелъ ли такой-то журналъ, въ редакцію котораго онъ послалъ свою статью. Дядя затащилъ его къ себѣ, но предварительно велѣлъ теткѣ убрать какъ можно чище и наряднѣе комнату.

— Какого ты лѣшаго звалъ опять?—спросила тетка сердито.

— Молчи; сочинителя Николаева... Онъ для него годится.

— Ну ужъ. Какой-нибудь клеузникъ. Наживешь ты съ нимъ бѣды.

Все-таки тетка вышла комнату, убрала съ дивана валавшіяся вещи, скатерти на столахъ приладила, цвѣты на окнѣ поправила. Наконецъ вошелъ дядя съ постороннимъ человекомъ. Я торчалъ на полатахъ и притаившись закурилъ трубку.

— Милости просимъ, милости просимъ, пожалуйста!—говорилъ дядя вошедшему съ нимъ литератору.

— Вотъ вы гдѣ обитаете!

— Извините, что хата-то дырчатая!—сострилъ дядя.—Подлецъ почтмейстеръ вонъ куда меня стурилъ. А мнѣ, сами знаете, не такія должно имѣть комнаты.

— Скотина.

— Садитесь пожалуйста. Извините—мебель-то у меня дранъ. Бѣдность, съ житьемъ смучился.

— Да, нынче все дорого.

Дядя принесъ графинъ водки и двѣ рюмки; тетка принесла закуски.

— Выпьемте.



— Извините... Я не пью-съ... Простую я не могу.

Дядя досталъ изъ шкафа дареную ему бутылку хересу, наливъ какую-то пѣсню, вѣроятно отъ радости, что онъ можетъ угостить гостя и дорогихъ вѣномъ. Литераторъ выпилъ рюмку хересу и похвалилъ вино. Я взглянулъ изъ-за полатей въ комнату: „что, молъ, это за штука—сочинитель?“

Эта штука была невысокаго роста, съ длинными волосами, маленькии блѣдныи лицомъ, обросшии бакенбардами и бородой. На немъ былъ сюртукъ, жилетка съ цѣпочкой, вѣроятно отъ часовъ. Онъ то и дѣло поправлялъ галстукъ и загибалъ голову кверху. Наружность его мнѣ очень не понравилась.

— Ну, какъ дѣла ваши?—спросилъ его дядя.

— Да пока ничего. Вотъ только въ прошлый разъ редакція не приняла статью, назадъ возвратила.

— Экие скоты!—Дядя не зналъ еще въ то время, что такое редакція.

— Впрочемъ я передѣлалъ. Въ другую редакцію хочу... Да и эта редакція за одну статью мнѣ и спасибо не сказала.

— А туда вы еще не посылали?

— Нѣтъ. Тамъ лучше платять.

— Это хорошо, что платять. Они, скоты, рады на даровщинку-то жить.

— Свиныи... Вотъ я теперь написалъ хорошую статью о мастеровыхъ. Я всегда съ маленькии начинаю, а потомъ гдѣ-нибудь вклею главное начальство.

— Это хорошо. Оно и выходитъ незамѣтно.

— Они-то замѣчаютъ. Потомъ ночи не спать, такъ ихъ, знаете, и подергиваетъ... Ужъ они думаютъ, думаютъ, какой это шельма отдѣлалъ ихъ.

Дядя захохоталъ.

— А если бы не наша братья, не то бы было. Повѣрьте, было бы хуже. Мы только и урезониваемъ ихъ: свиныи вы эдакіе, что вы дѣлаете-то? погляди-то-ка, какъ объ васъ весь свѣтъ судить.

— То-то, то-то. Ну-съ!

— И въ нашей братьи есть тоже дрянн. А кто у насъ сочиненіями занимается?—управляющіе заводами, разные богатые люди, которые дальше носу ничего не видятъ.

— Подлецы! Пожалуйте рюмочку.

Послѣ выпивки литераторъ вытащилъ изъ кармана тетрадку, сшитую изъ почтовой бумаги. Я видѣлъ, что на ней было что-то написано мелко, исчеркано, запачкано разными пѣвтами—красныи и зеленыи.

— Вотъ я эту статью посылалъ въ редакцію. Видите, какъ исчерчено? А тутъ вонъ цѣлый уголъ оторвали, я ужъ самъ по памяти записалъ... Теперь я передѣлалъ.

— А! Я думаю, сколько вы это писали?

— Это все въ сутки.

— Ну-те-ка прочитайте... А еще винца?

— Нельзя. Я прочитаю.

Литераторъ сталъ читать, но я ничего не понималъ: ужъ больно хитро было написано, да и самъ-то онъ едва разбиралъ.

— Видите, какъ я мелко пишу? Просто всѣ глаза тѣли, да и въ редакціяхъ, поди, ругаютъ меня.

— Вы бы переписать отдали.

— О! наврутъ: да еще перескажутъ пожалуй.

Литераторъ принялся читать; читалъ долго что-то такое, чего я не могъ понять, часто останавливался; дядя заглядывалъ въ тетрадку съ боку, улыбался. Въ такомъ умилени я рѣдко видалъ дядю; такъ онъ улыбался, когда клалъ въ мѣшокъ любимую ии рыбу, приговаривая: „ишь, шельма!...“ Когда литераторъ кончилъ, дядя сказалъ: „такъ ихъ скотовъ и надо!“ Литератору это понравилось ии захохоталъ. Потомъ литераторъ началъ выхвалять свои достоинства:

— Даромъ что я нигдѣ не обучался, а тоже ставлю ии шпильки. Ужъ больно я солонъ ии: какъ, говорить, такая бестія, вонъ что пишеть. Боятся, ка-нальн. Вонъ тоже есть чиновнички-литераторы: начнутъ съ конца, да и кончатъ началомъ; такъ тѣ въ хорошіе дома вхожи, потому что они дворяне, а я ничто по ихъ ииіиіи выхожу. Также печатать посылалъ. Вонъ хоть, по примѣру, Гавриловъ въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ статью объ улучшеніи нашей промышленности напечаталъ, да такую дрянъ, что чортъ знаетъ что! въ свою пользу такъ и наровить пригнуть... Писали ии, что ему за эту статью прислали пятьдесятъ рублей, тогда какъ она и копѣйки не стоитъ, да и онъ, знаете, тысячами ворочаетъ. Меня въ то время не было. Пріѣхалъ я сюда, здѣсь по всему городу только и новостей, что Гавриловъ статью напечаталъ. Что, говорить ии: Гавриловъ-то-каковъ! у Гаврилова протекція есть. Ну, вотъ я и накаталъ опроверженіе, просто бѣда...

— А за это ничего? Не посадятъ?

— За что?... Ну и посылалъ я въ „Сѣверную Пчелу“; ждалъ мѣсяцъ, ждалъ два. Написали: нельзя принять. Я письмо туда, прошу назадъ, черти, пришлите, денегъ посылалъ. Возвратили. Значить брезгаютъ, что я не чиновникъ.

— То-то нынѣ времена-то скверныи: каждый такъ и наровить напакостить другому.

— Это такъ. Вотъ меня и подергиваетъ обличать это.

— Ну ужъ это тоже загвоздка..

— Ничего. Лишь бы только не мѣшали ии.

— Это главное... Ну, такъ у васъ какъ теперь?... Вы печатаете гдѣ-нибудь?

— Теперь меня три редакціи приглашали печатать;—самыя лучшія: „Сѣверная Пчела“, „Современникъ“ и „Отечественныи Записки“.

— Что же тамъ, какъ?

— Такъ можно все такое забористое писать и платять тамъ хорошо.

— А вы черезъ кого деньги получаете?

— Миѣ высылаютъ черезъ одного здѣшняго купца... Такъ-то ноловко... Да и я посылаю больше не по почтѣ, и своей фамили не подписываю.

— А! бонтесъ, значитъ... Какой хитрецъ!

Литераторъ захохоталъ.

— Ужо я принесу вамъ свою печатную повѣсть.

— Хорошо. Я никогда не читаю книжекъ, не охотникъ, а валу прочту.

— Моя—маленькая, веселая: животь надорвете отъ смѣху и юмору... Эффекты какіе, виды, чувства сколько!..



„Ишь ты какой храбрый! Не врешь, такъ правда“, подумалъ я. А тотъ то и дѣло хвалить себя. Дядѣ онъ повидимому надобѣло: дядя не любилъ хвастливыхъ людей, тѣмъ болѣе такихъ, которые не живутъ въ ладу съ людьми. Сочинителей онъ считалъ за шарлатановъ, которые на службу не ходятъ, а пишутъ про себя и куда-то посылаютъ. Дядя рѣшительно не понималъ, за что этотъ литераторъ получаетъ деньги? Тотъ говорилъ, что за то, что матеріалы доставляетъ. Дядя обругалъ редакцію и спросилъ: а имъ на что матеріалы?.. Печатать, — сказалъ тотъ. — Дядя понялъ, но спросилъ: вѣрно они богаты тамъ? Литераторъ растолковалъ ему, что редакція издаетъ книжки на счетъ подписчиковъ, и оставшуюся сумму отъ расходовъ за печатаніе дѣлятъ съ сотрудниками, и что редакторы-издатели поэтому очень богатые люди. Дядя дивился, слушалъ повидимому литератора съ удовольствіемъ, но у него часто вырывались слова: я васъ хотѣлъ... Но литераторъ не давалъ договорить дядѣ и ораторствовалъ о своихъ дѣяніяхъ очень горячо. Наконецъ-таки дядя сказалъ:

— Я васъ хотѣлъ попросить насчетъ моего парнишки...

— А у васъ развѣ сынъ есть?

— Нѣтъ, племянникъ, въ уѣздномъ судѣ служитъ.

— Большой?

— Да вотъ ужъ двадцатый годъ пошелъ.

— Велико ли жалованье получаетъ?

Начался разговоръ о моей службѣ; оба ругали судъ, судью и служащихъ судейскихъ; литераторъ хотѣлъ видѣть меня.

— Онъ гдѣ у васъ теперь?

— Не знаю. А онъ съ большими способностями... Самъ что-то пишетъ.

— А! что же онъ пишетъ, стихи?

— Не знаю... Петинька, что ты пишешь? — вскричалъ дядя.

— Ничего, — сказалъ я.

Лицо у меня при этихъ словахъ покраснѣло; я озлился на дядю, не зналъ, сказать-ли, что я пишу, но мнѣ очень хотѣлось спуститься съ полатей и показать ему драму.

— Дуракъ! тебя спрашиваютъ! — закричалъ дядя.

— Да я такъ, ничего... Я драму пишу.

— О, нынче трудно писать драмы. Мечта одна... Я послалъ одну драму, пропала въ редакцію.

— Вотъ я хотѣлъ попросить васъ, чтобы вы прочитали его сочиненіе, а потомъ похлопотали бы о деньгахъ.

— Хорошо, если время будетъ, похлопочу. Знаете, тутъ работы много.

По уходѣ этого литератора дядя обругалъ его плутомъ. „Всю бутылку, шельма, выпилъ, а какъ закинулся за парня заступиться — и домой пошелъ. Сквалыга, право!“ ... Черезъ недѣлю этотъ литераторъ былъ у дяди и просилъ его отправить страховое письмо въ какую-то редакцію даромъ, потому-де, что у него теперь нѣтъ ни копѣйки денегъ, и помимо почтмейстера, потому что почтмейстеръ пожалуй прочтаетъ его статью и разболтаетъ въ городѣ. Дядя ска-

залъ, что онъ письмо пожалуй отправитъ, но у него впрочемъ нѣтъ казенной печати, да онъ и боится отправить письмо, чтобы не нажить себѣ бѣды. Литераторъ остался недоволенъ этимъ. Черезъ нѣсколько времени кто-то сказалъ дядѣ, что литераторъ Николаевъ собирается описать въ газетѣ почтмейстера, помощника съ племянникомъ за ихъ-де ту-поуміе. Дядя озлился, обругалъ Николаева, меня проклялъ и обозвалъ какъ-то всякія книжки и всѣхъ сочинителей. Съ этихъ поръ на мои занятія онъ со злобостью смотрѣлъ; одинъ разъ даже оплеуху мнѣ за-свѣтилъ, и я писалъ секретно, когда не было дома дяди и тетки, или лежа съ карандашемъ на полатахъ.

Развитіе мое плохо подвигалось. Въ судѣ я только переписывалъ очень скоро безмысленныя бумаги, въ которыхъ рѣшительно не понималъ, къ чему онъ и для чего такая формальность безтолковая? Дѣла мнѣ не давали читать, потому что меня считали недостойнымъ этой чести; читалъ я законы, но ихъ мудрое нарѣчіе плохо понималъ: читаешь какую-нибудь статью, не понимаешь; а если и поймешь, такъ забудешь, гдѣ ее найти, — такъ онъ отбиваютъ охоту отъ чтенія. Но все-таки я понималъ въ судѣ очень много, даже больше, чѣмъ другіе служащіе, прослужившіе въ судѣ два года. Я наприцѣръ научился составлять бумаги: отношенія, указы, донесенія и рапорты, и форма ихъ изложенія казалась мнѣ безтолковою и пустою; по одной бумагѣ я слѣдилъ за ходомъ дѣла; въ копіяхъ съ рѣшеній я видѣлъ цѣлое короткое дѣло и представлялъ себѣ положеніе обвиняемыхъ людей въ такомъ видѣ, что они невиноваты. Зная очень хорошо тѣхъ людей, которые сочиняли проекты рѣшеній, тѣхъ людей, съ которыми я служилъ, — я думалъ, что они пишутъ рѣшенія не такъ, какъ должно: я сравнивалъ ихъ съ хвастливымъ литераторомъ Николаевымъ, который, по моимъ понятіямъ, писалъ не дѣло, а фантазію. Но сочинять рѣшенія мнѣ казалось довольно труднымъ и тяжелымъ дѣломъ: я думалъ, что я въ рѣшеніи имѣю дѣло съ людьми; содержаніе дѣла казалось мнѣ неполнымъ; мнѣ хотѣлось самому поговорить съ обвиняемымъ; какъ было дѣло, а тамъ уже писать проектъ рѣшенія, не опираясь на показанія и разныя бумаги, составляющія дѣло. Кроме этого мнѣ страшно показалось рѣшать участь человека. Я понималъ теперь, что я служу въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣшается участь людей, откуда человекъ выходитъ запятанный позоромъ на всю жизнь или теряетъ все свое достоинство. Вотъ я и сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывалъ въ разныя мѣста, читалъ различныя копіи, реестры и все то, что попадалось мнѣ на глаза. Когда я былъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не было запрето, и узнавалъ очень многое. Страшная небрежность и хаосъ такъ-таки и царили тогда въ нашемъ судѣ: бумаги и дѣла разбросаны были такъ, что ихъ или не скоро отыщешь, или совсѣмъ не найдешь: многія дѣла вовсе не записались, а оставались служащими на окнахъ, когда они уходили домой; все дѣлалось такъ, какъ кому захочется, дѣлалось машинаю, принужденно, такъ и казалось, что служащіе или вовсе не знаютъ своего дѣла, или

пишутъ для денегъ цѣлый мѣсяцъ, цѣлый годъ и цѣлую жизнь, пишутъ и сидятъ въ судѣ для должностей, или для чиновъ, или для пенсій, или только изъ-за куска хлѣба... Отъ нихъ я ничего не могъ прибрѣсть хорошаго. Соберутся они рано, поздороваются, обругаютъ другъ друга, расскажутъ какую-нибудь новость или что-нибудь интересное для нихъ, напр. похищеніе кого-нибудь въ открытыхъ домахъ, какъ кто-нибудь говорилъ на бульварѣ дѣвицу и обманулъ ее, или какъ кто-нибудь изъ нихъ у какой-то Машки разбилъ стекла въ окна, выказывая свою удачу и храбрость. Неучаствовавшіе въ этихъ разговорахъ, люди болѣею частью чиновные и заваленные работой, пережидывались о томъ: сколько-то имъ дадутъ за этотъ мѣсяцъ жалованья, когда-то будетъ ревизоръ и губернаторъ, и утѣшались тѣмъ, что судья и засѣдатели получили выговоръ. Члены разсуждали только о картахъ и о городскихъ скандалахъ, да кричали на служащихъ; служащіе ничего не читали кромѣ хрешаго, да имъ и некогда, и нечего было читать, кромѣ сказокъ и смѣшного. Въ судѣ хотя и получались губерніскія и сенатскія вѣдомости, но тамъ читались только распоряженія правительства и начальства, указы, производства и объявленія.

Черезъ годъ меня сдѣлали столоначальникомъ горнозаводскаго стола и я крѣпко принялся за изученіе дѣлъ. Дѣлъ было немного и я одинъ справлялся со всѣмъ, что у меня было въ шкафу. Больше меня занимало сначала то, что у меня въ карманѣ ключъ отъ шкафа, и въ этомъ шкафѣ дѣла, которыя ввѣрены мнѣ для храненія, и въ этихъ дѣлахъ заключаются судьбы, счастье и горе нѣсколькихъ людей. Дѣла въ моемъ столѣ были: окражѣ горнозаводскаго имущества, казеннаго и частнаго, о спорныхъ лѣсныхъ дачахъ, о лѣсныхъ порубкахъ, объ уничтоженіи межевыхъ знаковъ и спорныя дѣла объ нѣлѣнныхъ мастеровыхъ. Многія изъ этихъ дѣлъ лежали по пяти и десяти лѣтъ, немногія рѣшались скоро или отсылались къ заводскимъ исправникамъ для перензслѣдованія. Я тотчасъ принялся за лежалыя дѣла, сталъ читать ихъ и рѣшительно не понималъ: кто правъ, кто виноватъ и что дѣлать? По своему соображенію я писалъ доклады, несъ дѣла въ присутствіе, члены откладывали читать ихъ до другого раза. Мои доклады оказались нигде негодными; членъ сказалъ мнѣ, что я не знаю дѣла и долженъ спрашивать своего предѣстника; тотъ мнѣ и указывалъ, что дѣлать, или говорилъ: „право не знаю, спросите горнаго члена“. Такъ какъ я былъ одинъ въ столѣ, то мнѣ при всемъ моемъ стараніи никакъ не удавалось упрости читать большія дѣла, да если я и читалъ, такъ не зналъ, что тутъ нужно дѣлать? Справившись въ законѣ, найдемъ что-то подходящее къ этому дѣлу, прочитаешь въ законѣ дальше, другія статьи другое говорить... и думаешь, хлопаешь глазами; думаешь: „какъ? что же дѣлать-то?“ Такъ долго сидишь, въ жаръ тебя броситъ, отупѣешь и бросишь дѣло въ шкафъ... А чортъ съ нимъ, скажешь, въ другой разъ хорошенько займусь. Черезъ мѣсяцъ займешься и опять то же самое. И досадно мнѣ, что у меня лежатъ такіе старыя и тяжелыя дѣла, досадно, что я понятъ содержаніе ихъ не могу, зачѣмъ пишутъ такъ непо-

нятно, досадно, что другіе столоначальники въ одинъ день прочитаютъ дѣло и на другой—напишутъ по этому дѣлу проектъ рѣшенія.

Пробовалъ и я писать проекты рѣшеній, но сочинялъ ихъ цѣлую недѣлю, потому что раза по три переписывалъ, но горный членъ не читалъ моихъ рѣшеній, а сочинялъ самъ. Поэтому, чтобы приохотить его къ занятію и сбыть скорѣе дѣла, я усердно принялся писать доклады, и, хотя горный членъ передѣлывалъ ихъ, дѣла въ моемъ шкафу долго не залеживались. За это мнѣ давали жалованья сначала семь рублей, а потомъ, когда я сталъ ссориться съ судьей, мнѣ опять стали давать по три рубля въ мѣсяцъ.

Въ два года я узналъ все, что дѣлалось въ судѣ, и мнѣ ужасно тяжело было служить тамъ. А служилъ я вотъ съ какими людьми.

Судья и засѣдатели получали небольшое жалованье, но все-таки имъ на это жалованье было можно жить, если не допускать излишней роскоши. За то имъ платили отъ заводовъ, потому что тогда была крѣпостная зависимость. Въ суды попадалъ человекъ, состоящій въ роднѣ съ правителемъ губернской канцеляріи или совѣтникомъ губ. правленія, въ засѣдатели — столоначальники губ. правленія, люди мало знающіе судебную часть. Нашъ судья былъ человекъ богатый, родня правителю канцеляріи губернской, нигдѣ не кончившій курса, человекъ добрый, но пріѣхавшій въ судъ учиться судопроизводству и для того, чтобы считаться въ уѣздѣ важнымъ лицомъ. Приходилъ онъ на службу въ первомъ часу и выходилъ въ четвертомъ. По приходѣ начиналъ разговаривать съ засѣдателями о карточной игрѣ и о прочемъ постороннемъ цѣлый часъ, потомъ начиналъ распечатывать пакеты. Онъ читалъ только предписанія и указы начальства, и на всѣхъ бумагахъ писалъ число и мѣсяцъ. Это продолжалось съ часъ. Остальное время онъ употреблялъ на подписываніе журналовъ, бумагъ и протоколовъ, прошеній и вставокъ въ рѣшенія опредѣленія времени наказанія, или числа розогъ и плетей. Число и время въ рѣшеніяхъ онъ выставялъ по своему желанію; противъ поля въ журналѣ обыкновенно выставялось засѣдателемъ число: отъ 30 до 40 ударовъ, или отъ 3 мѣсяцевъ до 6 мѣсяцевъ, а судья писалъ: „тридцатью пятью ударами“, „на четыре мѣсяца“. Случалось, что ему приходила охота заняться дѣломъ, но доклады ему было лѣнь читать, потому что ихъ было много. Полагаясь вполнѣ на членовъ и секретаря, онъ спрашивалъ ихъ:

— О чемъ это докладъ?

Членъ объяснялъ ему.

— Ну-съ, какъ по вашему?

— Да ничего. Надо журналъ писать.

— Какъ вы находите?

— Надо въ Сибирь сослать.

— Ну, ужъ эта Сибирь! Наполнилъ же мы ее всякими людьми. Экіа каналы, не живетъ нигъ на одномъ мѣстѣ.

— Мы свое дѣло сдѣлали, а тамъ палата пусть по своему рѣшаетъ.

— То-то и есть.

— Вотъ я не знаю только, какъ имъ не стыдно писать вамъ выговоры?—говорилъ другой председатель.

— Чтѣ эти выговоры! Стоить обращать вниманіе! Знаемъ мы, сколько они сами-то получаютъ выговоровъ...

До положенія служащихъ судья не касался и считалъ ихъ за чернорабочихъ людей. Онъ только опредѣлялъ и увольнялъ ихъ и зналъ только столоначальниковъ. Впрочемъ онъ давалъ на канцелярію къ Новому году и къ Пасхѣ по десяти рублей изъ своихъ денегъ.

Засѣдателей было въ то время два. Одинъ по уголовной части, котораго называли „сальной бочкой“, а другой по гражданской, и этого звали „приничнымъ пѣтушкомъ“. Сальная бочка и приничный пѣтушокъ знали свое дѣло и извлекали изъ него каждый пользу для себя, но если случалось, что одному засѣдателю нельзя было быть въ судѣ, то другой занималъ его должность и въ его должности ничего не смыслилъ. Оба засѣдателя гдѣ-то учились, но нигдѣ не кончили курса, а на службу поступили копіистами чуть ли не съ пятнадцатилѣтняго возраста. Каждому было по пятидесяти лѣтъ и каждый не одинъ разъ былъ подъ судомъ, изъ-подъ котораго каждый ловко вывернулся. Прежде они писали рѣшенія и различные доклады, когда же сдѣлались засѣдателями, то восчувствовали барство, облѣнились и всю обязанность сочиненія докладовъ и рѣшеній предоставили столоначальникамъ или простымъ канцелярскимъ служителямъ, которые исключительно занимались только рѣшеніемъ дѣлъ и получали за это жалованье больше столоначальниковъ. Большую часть времени засѣдатели проводили въ разговорѣ съ судьей, секретаремъ, повѣренными отъ заводовъ, съ знакомыми просителями и столоначальниками. Къ своему дѣлу они относились какъ-то шути, подписывали бумаги, распекали столоначальниковъ, писали въ настоящихъ журналахъ резолюціи и при этомъ говорили, что они „о-охъ, какъ ужасно смучились!...“ Когда имъ бывало скучно дома, они приходили въ судъ по вечерамъ не для занятій по дѣламъ, а для препровожденія времени разговорами съ секретаремъ, надсмотрщикомъ и столоначальниками, и при этомъ дѣлали видъ, что они это дѣлаютъ какъ-будто изъ милости къ маленькимъ людямъ. Вечеромъ они только мѣшались занятіямъ; впрочемъ служащіе рады были услышать какую-нибудь сплетню отъ засѣдателя и потомъ перетолковать ее по-своему. Когда убрали „сальную бочку“, въ судъ пріѣхалъ Добрынинъ, имѣвшій чинъ коллежскаго регистратора и тридцать три года. Онъ приходился судѣю родней по женѣ и дѣла рѣшительно не смыслилъ. Помню я, когда ему положили въ первый разъ кучу дѣлъ безъ докладовъ и настоящий реестръ со входящими бумагами, и онъ, желая показаться знающимъ дѣло, долго перебиралъ дѣла, но и эта переборка ему стала не подъ силу. Онъ призвалъ столоначальника.

— А зачѣмъ вы дѣла ко мнѣ положили?

сочиненія о. рышетинова, т. п. п.

— Для того, чтобы вы прочитали.

— А вы на что столоначальникомъ сдѣланы?

— У меня очень много дѣлъ.

— А сколько?

— Да дѣлъ восемьдесятъ первѣнныхъ.

— Такъ вы и напишите по всѣмъ доклады; тогда и дѣла подайте.

— Времени нѣтъ.

— А я судѣю пожалуйсь.

Судья сказалъ Добрынину, что столоначальникъ правъ; потому что по закону доклады долженъ писать самъ членъ. Послѣ этого Добрынинъ ласково просилъ столоначальника извинить его отъ сочиненій и обидѣлся, что столоначальникъ не уноситъ книгу и бумагу.

— Зачѣмъ они лежатъ тутъ?

— Вы резолюціи должны написать.

— Какія?

— А что сдѣлать съ бумагой. Которую нужно приобщить къ дѣлу, такъ вы пишете: „приобщить къ дѣлу“. Или: „строго подтвердить, или увѣдомить...“ Однимъ словомъ, что слѣдуетъ дѣлать по такому-то дѣлу, по какой-нибудь бумагѣ.

Засѣдатель, не понимая сущности дѣла, противъ однихъ бумагъ писалъ въ журналъ: приобщить къ дѣлу; противъ другихъ: строго подтвердить и по справкѣ увѣдомить. Столоначальникъ показывалъ всѣмъ служащимъ книгу, и служащіе прозвали его пробкой, а дѣла по его части началъ читать и поправлять секретарь.

Были у насъ еще и другіе засѣдатели, которые едва умѣли читать и подписывать свою фамилію; бывали и такіе, которые по безграмотству прикладывали свои печати. Они были въ земскомъ судѣ въ то время, когда они нужны были для подписыванія бумагъ, когда не доставало полного числа членовъ или въ земскомъ, или въ уѣздномъ судахъ. Больше они не нужны были ни на какія потребности и хотя они носили форму, но служащіе земскаго суда часто посылали ихъ за водкой и колотили пьяныхъ. Эти засѣдатели—люди изъ крестьянъ и выбираются въ засѣдатели сельскимъ обществомъ. Въ селахъ они дѣйствительно полезны всѣмъ ученымъ засѣдателямъ, потому что при словесномъ разбирательствѣ они обсуждаютъ дѣло вѣрнѣ всякаго судейскаго засѣдателя, не знавша грамоты. Но въ суды ихъ приглашаютъ не для словесныхъ разбирательствъ, а для подписыванія бумагъ, въ которыхъ они ничего не смыслятъ, и которыя во многихъ случаяхъ рѣшаютъ судьбу человека. Такой засѣдатель знаетъ, что онъ подписываетъ въ судахъ бумаги, а судъ онъ понимаетъ такъ, что тамъ рѣшаются дѣла такіе, какія рѣдки, или вовсе не бываютъ на словесномъ разбирательствѣ. Онъ боится подписывать, опасаясь за ответственность, чувствуетъ, что это дѣло не его, но его силой заставляютъ, даютъ жалованье, а отказать онъ не можетъ, потому что таковъ существующій законъ и таковы понятія дѣйствительныхъ членовъ суда, которые на свою должность смотрятъ, какъ на препровожденіе времени и на поживу.

Нужно наприпѣть одного изъ засѣдателей,

идеть изъ уѣзднаго суда въ земскій писецъ. Тамъ спрашиваютъ онъ сторожа:

- Гдѣ засѣдатель?
- Сельскій?
- Ну да!
- На рынокъ ушелъ.
- Отыщи его пожалуйста.

Сторожъ отыщетъ сельскаго засѣдателя гдѣ-нибудь въ кабацѣ и приведетъ въ уѣздный судъ.

— Эй ты, засѣдатель! Поди подписывай, справь службу.

- Не могу, братцы, хлѣбень больно.
- Ну-пу!

И его за волосы притащатъ въ присутствіе уѣзднаго суда, а дорогой нададутъ подзатыльниковъ, пидьбавая надъ его мужичествомъ.

— Пипи, морда!.. Пипи свою тамгу!—И засѣдателя шелкаютъ по лбу.

- Што писать?
- У, дубина. Пипи фамилію; вотъ здѣсь....—И столоначальникъ колотитъ засѣдателя въ спину.

— А тутъ што?

— Ну, еще спрашивать вздумалъ. Какъ скажу судѣ, онъ тѣ задасть.

И подписываетъ засѣдатель бумаги, или прикладываетъ къ нимъ печать... Если же онъ слишкомъ пьянъ, то у него берутъ его печать и безъ его вѣдома прикладываютъ ее. Если трезвый и толковый засѣдатель захочетъ читать бумаги, ему не дадутъ читать, говоря: не твое дѣло; коли старшіе подписали, подписывай и ты.

— А если я подѣ судѣ попаду?

— Эка важность!..

И подписываетъ засѣдатель, самъ не зная, что заключается въ бумагѣ...

Не лучше этихъ засѣдателей были также бургомистръ и ратманы.

Бургомистръ и ратманы вообще выбирались изъ богатыхъ купцовъ, и эти господа, попавши какими-нибудь образомъ на такія почетныя должности, старались долго удержаться на нихъ. Они шли на нихъ ради формы и почета и нѣсли большое вліяніе на податное сословіе города. Они рѣдко занимались дѣлами даже по магистрату, предоставляя всякія разбирательства и рѣшенія магистратскому секретарю, который могъ сдѣлать съ своими начальниками все, что хотѣлъ, и получалъ за свои труды отъ нихъ большое жалованье. Купецъ занятъ весь день коммерческими дѣлами и всякому говорилъ, что онъ не знаетъ, зачѣмъ это его зыбрали еще на должность въ магистратъ, какъ будто не знаютъ, что у него и безъ магистрата много дѣлъ. „Ужъ этотъ магистратъ... Я бы съ радостью уступилъ свое мѣсто другому...“—говорилъ обыкновенно этотъ должностной человѣкъ и бранилъ судью и прощилъ за то, что они не даютъ ему покою съ своими бумажонками, до которыхъ ему, коммерческому человѣку, нѣтъ дѣла. Но посторонніе знали, что этотъ купецъ лицеѣрить. Всякій видѣлъ, что бургомистръ и ратманы загнѣвали голову передъ своими товарищами, говорили свысока, жили дружно съ тѣми, отъ кого зависѣли выборы и утвержденіе ихъ въ должностяхъ, и очень любили свою форму.

Въ магистратъ они ходили рѣдко, а въ уѣздный судъ ихъ едва могли призвать, потому что они отговаривались недосугомъ. Такъ какъ нѣкоторые дѣла не терпѣли отлагательствъ, то секретарь посылалъ имъ докладъ и равныя бумаги на домъ. Если есть у купца охота читать, онъ станетъ читать дѣло, но онъ напередъ знаетъ, что въ этомъ дѣлѣ онъ ничего не пойметъ, и если секретарь что говорить, стало бытъ, это такъ и должно, на то онъ и секретарь, на то и выписанъ изъ губернскаго города. Купецъ даже обидится, если секретарь попроситъ его прочитать дѣло.

— Поди-ка, имѣесть время читать тутъ всякую дрянь... Стану я заниматься!.. У меня и безъ этихъ дѣловъ своего дѣла много, поважнѣе этого... Ты, значить, секретарь и долженъ все знать, за то ты и деньги получаешь.

Поэтому бургомистры и ратманы только носили званіе, одѣвались въ форму, ѣздили въ магистратъ для приличія и занимались только подписываньемъ бумагъ. Когда назначалось въ уѣздномъ судѣ общее присутствіе уѣзднаго суда съ магистратомъ, то магистратскихъ членовъ приглашали въ судъ. Въ это присутствіе являлся обыкновенно одинъ ратманъ и бургомистръ, а другой ратманъ подписывалъ журналы или протоколы на дому. Придутъ купцы въ длинныхъ мундирахъ, садутъ на назначенныя мѣста и начнется разговоръ о торговлѣ или о городскихъ новостяхъ. Станетъ секретарь читать докладъ, купцы слушаютъ и хлопаютъ глазами.

— А ну, какъ по вашему?—спроситъ судья.

— Что?

— А рѣшеніе?

— Да ничего, ровно ладно. Мы вѣдь это дѣло не знаемъ... Ужъ вы и рѣшайте.

Случалось, что они и спорили, но едва ли это дѣло было не по нимъ, потому что, во-первыхъ, они не знали сущности дѣла, а во-вторыхъ, если и знали, то соблюдали свой интересъ; въ этомъ случаѣ они горячо заступались за своего брата, ругая судью и всѣхъ судейскихъ членовъ, на что судья нѣтъ замѣчалъ о приличіяхъ и намекалъ на ихъ должности. Купцы утихали, молчали и стояли на своемъ, что знать не хотѣтъ судъ, что они выше суда и никакихъ дѣловъ послѣ этого не хотѣтъ нѣтъ съ судомъ. Ихъ просили написать свое мнѣніе тутъ-же, но они уѣзжали домой, а потомъ просили секретарей сочинить протестъ. А такъ какъ по дѣламъ ихъ всегда просили и они ненавидѣли вообще приказныхъ, то часто случалось, что они не соглашались съ мнѣніемъ суда, а потомъ когда судья пугалъ ихъ опозовкой, они давали его.

Все-таки купцы были очень осторожны: они никогда не подписывались раньше подписи судейскихъ членовъ. Они говорили, что „они отъ короны служать, они и должны за все отвѣчать. Подпиши они, и мы подпишемъ“. А то кто ихъ знаетъ, что они такъ напелли! Ужъ если подѣ судѣ идти, такъ всѣмъ“. Купцы конечно не боялись идти подѣ судѣ, потому что они были богатые, и они всегда радовались, если чиновниковъ отдавали подѣ судѣ.

Итакъ, значить, секретарь—главное лицо въ судѣ. Вся вина обыкновенно падаетъ на него: отдадутъ

членовъ подъ судъ,—отдадутъ и его, да еще члены обругаютъ его; сдѣлаютъ имъ выговоръ,—сдѣлаютъ и секретарю выговоръ, да еще члены обругаютъ его, что „это мы по вашей милости влопались“. Секретарь долженъ прочесть каждое дѣло, прочесть каждый докладъ и каждую бумагу и знать наизусть все, что есть въ судѣ: знать все содержаніе всѣхъ дѣлъ и всѣхъ судейскіе порядки. Понятно, каковъ долженъ быть секретарь?.. Нашъ секретарь прошелъ огонь и воду: онъ служилъ сначала въ канцеляріи губернатора, потомъ въ губернскомъ правленіи, отсюда его за пьянство сослали въ какой-то судъ, онъ опять поѣхалъ въ губернское правленіе, отсюда въ нашъ судъ. Въ этомъ судѣ онъ служилъ столоначальникомъ во всѣхъ столахъ, нѣсколько разъ былъ сѣнемъ съ должностей за пьянство, и только послѣ женитбы на экономкѣ богатой купчихи попалъ въ секретари. Ему очень трудно было слѣдить за всѣми порядками въ судѣ; у него очень много было работы, а такъ какъ въ нашъ судъ было очень много всякихъ дѣлъ, то онъ, запутавшись въ нихъ, заставлялъ столоначальниковъ сочинять рѣшенія, доклады и занимался только чтеніемъ дѣлъ, поправками докладовъ и подписаніемъ бумагъ. За то, если ему случилось сочинять, то всѣ его сочиненія утверждались безъ всякихъ поправокъ. Судья не даромъ называлъ его своею *правою рукою*, а секретарь называлъ себя *хозяйномъ суда*.

Всѣхъ служащихъ въ судѣ было пятнадцать человекъ. Изъ нихъ штатныхъ было девять человекъ, въ томъ числѣ столоначальникъ съ надсмотрщикомъ, а остальные служащіе—по найму. Изъ дворянъ были только одинъ судья, а изъ канцелярской братіи только два чиновника. Каждому изъ канцелярскихъ были распределены занятія: одни сочиняли рѣшенія и больше ничѣмъ не занимались, другіе занимались докладами, третьи—журналами, четвертые—протоколами; переписки вообще было немного. Здѣсь два разряда работы: одна машинная, другая умственная. Къ машинной причисляются переписка бумагъ, записка ихъ въ книги и написаніе журналовъ. Умственная работа—это было сочиненіе бумагъ и все то, что требовало соображенія. Сидитъ наприцѣвъ столоначальникъ или писецъ, сочиняетъ отношеніе, и долго долго онъ мучится: ужъ кажется, привыкъ къ сочиненіямъ отношеній, но все какъ-то ему хочется сочинить лучше для того, чтобы сбыть бумагу поскорѣе или чтобы она понравилась члену. Впрочемъ людямъ привычнымъ къ канцелярскому строченію подобная работа ничего не значила: они въ одинъ присѣсть написывали по рѣшенію и были довольны тѣмъ, что отдали его въ присутствіе, а тамъ цензурой кто хочешь, потому что, какъ ни сочиняй, какъ ни старайся отличиться,—а все безъ поправокъ не обойдется.

Большая половина служащихъ въ судѣ были дѣти бѣдныхъ канцеляристовъ и чиновниковъ. Родители ихъ хотя и тяготились своей службой, обижались на начальство, но гражданскую службу считали самою лучшею изъ всѣхъ службъ; они знали, что они неспособны къ другому труду, а трудъ переписывать

бумаги считали самымъ легкимъ, самымъ приличнымъ и благороднымъ. Быть чиновникомъ для нихъ много значило, потому что чиновника уважаютъ, чиновнику почетъ, чиновникъ имѣетъ свои права и принадлежитъ къ личному дворянству,—стало быть, разница между мужикомъ безграмотнымъ и чиновникомъ большая. Они знали, что они съ-издревле составляютъ особый классъ людей, который не платитъ податей и не несетъ никакихъ повинностей, а все назначеніе ихъ жизни заключается въ томъ, чтобы служить, какъ и отцы ихъ служили.

Сынъ канцеляриста или чиновника, кончивши курсъ въ уѣздномъ училищѣ или вовсе нигдѣ не кончивши курса, по примѣру своего родителя или родственника, поступаетъ очень рано на службу въ присутственное мѣсто. Онъ съ ранняго возраста жиятъ въ кругу приказныхъ этого же сорта и постоянно гордился званіемъ своего отца, потому что ему съ дѣтства твердили: чиновникъ—дворянинъ, что его ростать для того только, чтобы сдѣлать изъ него чиновника. Выучившись мало-мальски писать, онъ поступаетъ на службу сначала для того, чтобы набить руку, и цѣлые года занимается одною только перепискою. Черезъ два мѣсяца ему дадутъ жалованье, и въ это время онъ, постоянно находясь въ обществѣ служащихъ, понемногу усвоиваетъ себѣ ихъ приемы и манеры. До этого времени онъ развивался въ своемъ домѣ и въ кругу товарищей и конечно развивался плохо; теперь онъ развивается подъ вліяніемъ приказной братіи. Отъ нихъ онъ ничего не можетъ услышать хорошаго или новаго; ума его они никакъ не разовьютъ обыкновенными и пустыми разговорами. Ему даютъ жалованья три или шесть рублей; онъ старается заниматься прилежаніемъ, усидчивѣе для того, чтобы ему прибавили жалованья. Онъ пишетъ цѣлый день строчку за строчкой, вывода какъ можно красивѣе буквы, и все его вниманіе сосредоточено въ этихъ буквахъ, да въ слухъ, который наполняется словами служащихъ. Онъ не видитъ никакой дѣльной мысли въ работѣ, послѣ нея онъ чувствуетъ усталость, ѣсть, мало говорить и все свободное время проводить или во снѣ, или въ невинныхъ забавахъ, какъ напр. карточной игрѣ *нашеременьскаго* счета и т. п. Чѣмъ больше и больше онъ переписываетъ, тѣмъ больше у него отпадаетъ охота къ мысленію; онъ уже переписываетъ безсознательно, дѣлаетъ ошибки, скоблитъ бумагу—и еще больше тупѣетъ. Въ это время онъ радъ, если ему придется быть въ кругу своихъ товарищей для того, чтобы отвести душу, т. е. выпить водки. Это желаніе до того усиливается, что онъ уже чувствуетъ потребность пить водку, и поэтъ конецъ становится пьяницей, мучителемъ своей семьи, мужской полъ которой непремѣнно имѣетъ въ чиновники.

Такое жалованье, какъ три или шесть рублей, очень недостаточно для человека, которому нужно платить за квартиру, ѣсть и одѣваться, а достать больше негдѣ, потому что ему частной работой заниматься некогда. Вотъ онъ и выискиваетъ случай къ приобрѣтенію денегъ. Онъ видитъ, что старые служащіе лишутъ прошенія, копіи, разные бумаги постороннимъ въ судѣ, и получаютъ за это деньги; ему становится завидно, и онъ всячески старается поддѣлаться и уго-

дней старымъ служащимъ и столоначальнику. Наконецъ представляется ему случай написать прошение, но онъ не знаетъ, какъ написать его, точно также, какъ не утѣлъ бы самъ сочинить себѣ прошение объ опредѣленіи его на службу. Онъ крадетъ у товарищей черновыя по этому предмету, списываетъ эти черновыя, а съ нихъ уже сочиняетъ прошения и другія бумаги. Написавши сто подобныхъ бумагъ, онъ уже механически запоминаетъ форму ихъ изложенія и продолжаетъ секретно или явно сочинять по старой формѣ—получаетъ за это деньги, хотя и небольшія, все же могущія обезпечить его на мѣсяцъ. Это называется доходомъ, а какъ доходовъ этихъ для него все-таки мало, то у него является желаніе еще больше нажить ихъ, и онъ пускается на хитрости, на то, что называется въ народѣ *живодерствомъ*. Здѣсь развитіе его ума останавливается на томъ, какъ бы кого надуть ловчѣе.

Если служащій—человѣкъ не глупый и поступилъ въ судъ для того, чтобы выучиться дѣлопроизводству, то и тутъ его развитіе останавливается только на канцелярской формѣ изложенія. Правда, онъ умѣетъ хорошо и скоро сочинять по-канцелярски, но въ обществѣ другихъ людей онъ кажется нисколько не развитымъ. Онъ только и знаетъ свой судъ, свое присутственное мѣсто, свои занятія, свои выгоды, а объ остальномъ не заботится, да ему и некогда думать. Теперь вся его цѣль жизни состоитъ въ томъ, чтобы ему жилось хорошо, копились деньги, да чтобы не уйти подъ судъ и благополучно дослужить до пенсіи, а если есть дѣти, то опредѣлить и ихъ на службу и быть на старости дѣтъ ихъ наглядѣнникомъ.

Таковы были служащіе, и вліяніе такихъ людей только мѣшало иному развитію. Старшіе канцеляристы наживали деньги безсовѣстнымъ манеромъ, ни за что, пьянствовали, дрались; молодые люди брали у нихъ уроки и вели развратную жизнь. Объ умственномъ развитіи никто не заботился и никто даже не интересовался получаемыми въ судѣ „губернскими вѣдомостями“. Правда, были изъ нихъ исключенія, но тѣ не долго служили въ судѣ; служили же въ судѣ безвыходно тѣ, которые нигдѣ не могли найти себѣ службы лучше суда.

Наши столоначальники были люди давнослужащіе и дѣло свое знали хорошо. Всѣ они, хотя и были подъ судомъ, но держались своихъ мѣстъ очень долго. Не будь этихъ столоначальниковъ, судъ бы плохо исполнялъ свои обязанности. Это знали члены и поэтому снисходили ко всѣмъ ихъ слабостямъ. Вся забота столоначальниковъ состояла въ томъ, чтобы какъ можно скорѣе сбыть съ рукъ дѣла. А дѣла сбывались съ рукъ въ то время у насъ очень просто.

Столоначальникъ уголовного стола самъ рѣшенія не писалъ, потому что у него и безъ этого было много дѣлъ, а для рѣшенія дѣла существовали въ судѣ два вольнонаемныхъ писца, которые хорошо знали законы. Эти господа не обучались въ училищахъ, а приобрѣли знаніе судопроизводства въ судѣ же и въ палатѣ; по ихъ понятіямъ выходило такъ: что уголовное дѣло значить то, что въ немъ есть преступники и ихъ нужно наказывать; разбирать, правъ или виноватъ подсудимый, было не ихъ дѣло, да имъ и не

время было, потому что ихъ торопили. Къ этому еще надо прибавить и то, что члены часто имъ приказывали, что сдѣлать по такому-то дѣлу.

— Ты по такому-то дѣлу пишешь рѣшеніе?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ напиши, чтобы его освободить. Я бы самъ написалъ рѣшеніе, да некогда.

И пишутъ такъ составитель рѣшеній, какъ ему приказываютъ и какъ онъ найдетъ лучше по своему разсужденію. Они приговаривали почти всегда къ наказаніямъ; а одинъ изъ нихъ такой былъ охотникъ приговаривать къ наказаніямъ, что, взявши еще дѣло и не читавши, съ наслажденіемъ говорить вслухъ про себя:

— Я тебя, шельма. Пластинами тебя, каналью, отдамъ!..

Этимъ сочинителямъ, какъ видно, ничего не стоило сочинить проектъ по заведенному образцу, какъ попало. Они знали, что они служатъ по вольной платѣ, имъ доверяютъ сочинять рѣшенія потому вѣроятно, что во всемъ судѣ не нашлось кромя ихъ такого умника. Поэтому они не обижались тѣмъ, если членамъ не нравилось какое-нибудь рѣшеніе.

— Вы не такъ написали.

— А какъ? Не то нужно?

— Неловко какъ-то... Припомните, по какому дѣлу намъ выговоръ дали? Вы бы съ тѣмъ дѣломъ сообразили...

— Такъ вы поправьте.

— Ужъ поправьте, пожалуйста, вы.

Сочинитель держитъ дѣло недѣлю, мѣсяцъ; его спрашиваютъ; онъ говоритъ: дѣтъ текущихъ много,—и проектъ переправляется секретаремъ. Эти господа знали, что они ни за изложеніе, ни за приговоръ не отвѣчаютъ, и, стало быть, вся бѣда сваливается на членовъ.

Какъ члены, такъ и наши сочинители хорошо знали по опыту, что какъ судъ ни сочини рѣшеніе, его все-таки нужно послать въ палату, и палата все-таки передѣляетъ его. Поэтому-то сочинивши рѣшеніе, какъ попало, судъ представлялъ его въ палату и тѣмъ слагалъ съ себя отвѣтственность за рѣшеніе... Личь бы только дѣло было событо: меньше отвѣтственности. „А тамъ палата, какъ хочетъ, рѣшай!“—говорили судейскіе члены.

Надо замѣтить, что уголовныя дѣла всегда рѣшались скорѣе гражданскихъ, если только они не возвращались обратно для переслѣдованія. Гражданскія дѣла лежали нерѣшенными цѣлыя годы. Отговорки были уважительныя: по такому-то дѣлу дождалось объясненіе, по такому-то—такое-то свидѣніе и т. д.

Но не одни столоначальники судейскіе занимались сочиненіями объясненій. Было еще два разряда юристовъ: отставные судейскіе чиновники, болѣею частью подсудимые, которые обирали и истцовъ, и отвѣтчиковъ, и за рѣшеніе дѣла не отвѣчали, сваливая вину на судъ. Ихъ уважали бѣдные люди, и слава объ нихъ шла по всему уѣзду. Впрочемъ ихъ не долюбывали члены суда, потому что они имъ иногда очень вредили. Другіе—были повѣренныя. Они назначались отъ каждаго завода-управленія, и обязанностей у нихъ было много. Они закупали для завода все необходимое,

сбивали заводское, хлопотали по заводским дѣламъ, жили барами и приобретали большія деньги. Они жили въ городѣ, какъ важныя должностныя лица имѣли свою канцелярію и жили въ ладу со всѣми должностными лицами города, которые къ праздникамъ и подѣламъ получали отъ заводовъ-управленій и отъ богатыхъ людей, черезъ повѣренныхъ, большія деньги. Заводскіе повѣренные происходили отъ заводскихъ людей. Выучившись грамотѣ, они служили къ конторѣ или у повѣреннаго, который для пріученія ихъ къ дѣлу посылалъ ихъ заниматься въ судъ. Въ судѣ рады были, что повѣренный посылается для занятій мальчика, которому судъ ничего не платитъ. Мальчикъ учится производству, списываетъ секретно для своего повѣреннаго копія съ рѣшеній и вывѣдываетъ для него все, что нужно.

Прозанимается писецъ повѣреннаго въ судѣ года три, годовъ пять, и узнаетъ, что такое судъ, какъ въ немъ рѣшаются дѣла, какъ и съ кѣмъ нужно обращаться. Онъ становится ловкимъ плутомъ и умѣетъ хорошо провести своего повѣреннаго и влѣзть въ довѣренность его. Годовъ десять ему приходится заниматься то у повѣреннаго, то въ судѣ, то въ заводской конторѣ и онъ усваиваетъ себѣ очень много. Его сдѣлаютъ въ заводской конторѣ столоначальникомъ, и онъ, умѣя поддѣлаться къ повѣренному, женившись на его сестрѣ или дочери, или дочери заводскаго приказчика, имѣетъ уже разныя порученія отъ управляющаго заводомъ. Порученія эти бываютъ больше по хозяйственной части. По смерти повѣреннаго или по наговору этого пройдохи, его назначаютъ въ городѣ повѣреннымъ. Въ городѣ онъ живетъ въ господскомъ домѣ, занимая цѣлый этажъ. Ему довѣряются всѣ хлопоты по заводскимъ дѣламъ, онъ закупаетъ, отправляетъ, продаетъ вещи, рассчитываетъ людей и замѣняетъ собой управляющаго. Его боятся свои крупнотные люди, отъ него получаютъ должностныя лица подарка отъ заводовъ-управленій за разныя дѣла; онъ, обманывая управляющаго, наживаетъ большія деньги, и такъ какъ имѣетъ дѣла со всѣми чинами, то дѣлаетъ имъ вечера и играетъ съ ними въ карты. Но главная суть его дѣятельности состоитъ въ томъ, чтобы хлопотать по дѣламъ заводовъ-управленій, находящимся въ судѣ, палатѣ, горномъ правленіи и даже въ сенатѣ. Дѣлъ такихъ не мало. Напр. владѣлецъ отнимаетъ у другого владѣльца крестьянъ землю, заводо-управленіе взыскиваетъ съ своего крѣпостнаго человѣка что-нибудь, заводо-управленіе ищетъ съ крѣпостнаго посторонняго деньги, владѣльцы впадаютъ въ долги и пр... Кромѣ этихъ дѣлъ повѣренный беретъ хлопотать въ судѣ за богатыхъ людей его завода за большія деньги. Заворуетъ приказчикъ очень много и сваливаетъ вину на рабочаго... Нужно ему рабочаго сослать въ Сибирь. Дѣло заводится такъ, какъ хочется приказчику, потому что исправникъ не смѣняетъ приказчика на рабочаго, повѣренный замасливаетъ судейскихъ членовъ... и дѣло рѣшается въ пользу богатыхъ людей.

Повѣренные часто просили меня списать копія съ дѣлъ, но я не писалъ; просили рѣшить какое-нибудь дѣло—я писалъ докладъ о возвращеніи дѣла для переслѣдованія, горный членъ передѣлывалъ докладъ въ такомъ же родѣ. Повѣренные жаловались при мнѣ

судьѣ, что я прошу съ нихъ деньги; судья за это оставлялъ меня дежурить въ судѣ. Разъ даже одинъ повѣренный поднялъ скандалъ на весь судъ. Приходить ко мнѣ и спрашиваетъ:

— Ну что?

— Что угодно?

— А копія?

— Какая?

— Какъ какая?.. Я вамъ за такую-то копію пять рублей заплачу.

Я озлился, покраснѣлъ хотѣлъ обругать его, задрожалъ. Собралось много служащихъ.

— Что, стыдно!

— Врете вы! Никанхъ я денегъ отъ васъ не получалъ, да и не возьму, потому...

— Молчи, скверный мальчишка! Едва поступилъ, да и взятки беретъ.

Служащіе захохотали. Я хотѣлъ бросить въ повѣреннаго книгой, но не могъ почему-то сдѣлать этого.

— Безстыдникъ!

— Пошелъ вонъ, дрянъ ты эдакая! — сказалъ я дикимъ голосомъ.

Меня позвали къ судьѣ.

— Я васъ подъ судъ отдамъ! — закричалъ онъ.

Я молчалъ и ничего не могъ сказать въ это время, потому что я золъ былъ такъ, какъ никогда.

— Я васъ выгоню!

— Онъ вреть, ваше высокоблагородіе... Я не такой, какъ всѣ служащіе...

— Молчать, — зашипѣлъ судья.

За меня заступился горный членъ.

— Зачѣмъ же вы хотите губить молодого человѣка? Вѣдь я больше васъ знаю его.

— Ничего вы не знаете.

Судья замолчалъ, сурово взглянулъ на меня и сталъ подписывать бумаги. Я стоялъ. Горный членъ махнулъ мнѣ рукой, я взглянулъ на судью. — Пошелъ! — сказалъ судья. — Я ушелъ изъ присутствія, меня ошивали служащіе и прозвали взяточникомъ. Съ этихъ поръ мнѣ убавляли каждый мѣсяцъ жалованье по полтиннѣ, и служащіе корили меня тѣмъ, что я получаю большіе доходы. Я жаловался дядѣ; тотъ ругался: ругалъ судью, весь судъ, ругалъ меня, что я непочтителенъ къ старшимъ.

— Какъ же я стану говорить съ ними, коли они подлецы? — говорилъ я ему, а злился и думалъ сказать совсѣмъ не то.

— Хорошо, что я тебя кормлю. А если бы меня не было?..

— Вы сами велѣли служить честно, не связываться съ служащими. Да я и самъ знаю...

— Все-таки нужно обходительнѣе быть съ ними. Да будь оно проклято и житье-то съ ворами!

Дядя досадовалъ, что онъ опредѣлилъ меня въ судъ. Большое ему спасибо за то, что онъ не велѣлъ мнѣ брать доходы, спасибо за то, что онъ остерегалъ меня: „смотри, Петенька, будь остороженъ. Попадешь подъ судъ—сдѣлать тебя. Подлый это народъ!“.

Но помочь мнѣ дядя ничѣмъ не могъ. Онъ только злился, проклиналъ все и всѣхъ, но я замѣчалъ, что онъ начиналъ любить меня. А это я слышалъ изъ его разговоровъ съ теткой.



— Что я буду съ Петенькой дѣлать? Парень просто оѣда... Онъ меня съ ума сводить. Въ кого онъ уродился? Мать дура, отецъ пьяница...

— Въ тебя.

— Не знаю. Надо бы его перевести отсюда.

— Женить его надо.

— Лучше-то не выдумала! На Ленкѣ женить его я не хочу, потому что вѣтреная... А надо его пристроить...

— Подумай...

Дядя писалъ своимъ знакомымъ въ губернский городъ, чтобы меня перевели въ губернское правленіе, но тѣ ничего ему не отвѣчали. Дядя злился и не зналъ, что дѣлать. „Терпи—говорилъ онъ мнѣ: вѣдь я ничего, терпѣлъ тридцать лѣтъ!“.

„Вольно же было тебѣ терпѣть“, думалъ я. И думалъ я о томъ, какъ бы мнѣ устроить свою жизнь: служить здѣсь не хочется, не могу я здѣсь служить. Простору хочется, дядя и тетка надоѣли мнѣ. Вѣдь я служащій, могу и безъ нихъ служить и жить самъ собой. Не все же эти пеганые три рубля будутъ давать мнѣ. Ну, коли не примутъ въ присутственные мѣста, въ приказники къ купцамъ пойду. День ото дня меня манила въ губернской еще и другая цѣль, которая мучила меня каждый вечеръ и каждую ночь. Я тогда любилъ и хотѣлъ жениться...

Мнѣ я занималъ въ то время вопросъ, что за штука такая: любовь, о которой такъ много пишется въ книгахъ?.. Но долго я не могъ разъяснить себѣ этой штуки.

Женатые почталыоны, сортировщики, служащіе въ судѣ были своихъ женъ, когда захочется, и были уже не такъ, какъ мы, бывши ребятами, дрались,—тогда онѣ были дѣтми, теперь онѣ хозяйки, каждой хочется похвастаться своей жизнью, показать себя—на, молъ, чуча, гляди, какъ я живу! А ты что? ты бездомница... Вышла замужъ на посрамленіе людямъ... Мужчинамъ надоѣло любезничать, надоѣло потому, что женѣ хочется, чтобы ей мужъ угождалъ съ утра до вечера, ни въ чемъ не прекословилъ ей,—а ее этому научила мать. Жена большею частию проводить время дома, и какъ бы ни тяжела была ея работа, она все-таки найдетъ себѣ утѣшеніе въ чемъ-нибудь: вотъ я это сдѣлаю, ему, дьяволу, понравится.. Вотъ я ребятишкамъ пряникъ дамъ, кричать перестанутъ... Высказывается ли въ этомъ рабствѣ любовь къ мужчине—понять трудно, потому что они, каждый изъ нихъ, понимаютъ любовь по своему... Но мнѣ привелось долго жить среди разныхъ семействъ, приводилось каждый день видѣть и слышать разные сцены, часто возмутительныя и дикія, и я въ это время плохо понималъ, что такое любовь, а въ романахъ и повѣстяхъ я видѣлъ только одни имена, жизнь же тамъ изображавшаяся совсѣмъ неподходила къ нашей жизни. Пособица уѣздно-городской женщины почти ничего не значать, въ привычку вошли, и притомъ она сама умѣетъ облаять мужа и ошаманить ему; у этой женщины есть дѣти; она всю надежду полагаетъ только на мужа. Но мужъ совсѣмъ не таковъ. Онъ только въ первое время же-

нитъбы старается угодить женѣ, старается удовлетворить всѣмъ ея капризамъ. Но угожденіе и капризы жены ему надоѣдаютъ; онъ сначала мучится самъ съ собой, ему хочется выбиться изъ такого положенія, чтобы на него никто не сѣтовалъ. Чѣмъ далье онъ ворошаетъ мозгами, тѣмъ больше приходитъ къ тому убѣжденію, что жена попала къ нему не такъ, какая ему нужна, что онъ ошибся въ выборѣ жены по скорости, потому что его завлекли въ этотъ смутъ и жена ему не пара. Начинаетъ онъ ругаться съ нею—ничего не помогаетъ; жена отругивается и слезы пускается. Онъ злится, она капризничаетъ, онъ терпитъ; терпитъ дома капризы жены, на службѣ его обижаютъ; дома нѣтъ покоя отъ жены и отъ ребятъ, дома заботы много, онъ становится работникомъ на свою семью, прокладываетъ свою жизнь: кажется, что оглушилъ... „То ли дѣло холостая жизнь—говоритъ онъ. И онъ правъ по своему.“

Бывало такъ, что мужчина женился на работницѣ женщинѣ, самъ ничего не дѣлалъ, пропивалъ женныя деньги, жилъ на содержаніи жены и въ то же время билъ ее. Если онъ замѣчалъ, что жена заела любовника, онъ жаловался на любовника полиціи. И я мало-по-малу приходилъ къ тому заключенію, что мужъ и жена должны быть непремѣнно парой: е. должны не мѣшать другъ другу и не одолживать другъ у друга. Мнѣ хотѣлось устроить жизнь свободную, тихую, хотѣлось найти такого друга, которому бы не было мнѣ въ тягость и которому бы я не былъ въ тягость, чтобы намъ обоимъ не обижаться другъ на друга. Но какъ устроить это? Гдѣ найти такую женщину? Въ нашемъ городѣ положительно не было такихъ въ грамотномъ классѣ,—на неграмотной и не хотѣлъ жениться, потому что безграмотную нужно учить, а я чувствовалъ себя неспособнымъ къ обученію... Больше всего я пугался дѣтей и, дойдя до этого вопроса, ругалъ самъ себя: что я за дуракъ? Изъ кой мнѣ лѣшій жениться-то!... Но жениться все-таки хотѣлось, хотѣлось друга нѣтъ такого, которому бы можно было все говорить и съ которымъ бы было узнавать то, чего я не зналъ въ то время. Выборъ мой остановился на одной дѣвушкѣ, Еленѣ, которая была моложе меня двумя годами и жила въ губернскомъ городѣ.

Къ намъ часто прѣзжали изъ селъ родственники—священники съ женами и дочерьми, и мнѣ часто случалось бывать у нихъ въ гостяхъ. Мнѣ не нравилось въ ихъ дочеряхъ то, что онѣ умѣли только стряпать, вышивать и знали одно хозяйственное ремесло, и кромѣ книгъ духовнаго содержанія ничего не читали, и поэтому годились въ жены только забитымъ семинаристамъ; такая жена въ городѣ лѣнилась бы, слала, толстѣла и жила бы свиной, предоставляя дѣтямъ развиваться, какъ развивается капуста. Она лучше. Если такая женщина будетъ заниматься образованіемъ дѣтей да будетъ говорить имъ неглижноту она и изъ дѣтей сдѣлаетъ уроковъ, какъ я и зналъ нѣсколько подобныхъ прикѣтовъ. Поэтому, когда мнѣ приводилось бывать въ обществѣ дочерей разныхъ священниковъ, любившихъ игру въ жмурки, карты и въ карты, я находилъ ихъ пустыни и злился на тѣмъ, что онѣ весь день хохочутъ и въ этомъ мѣ-



дать большое удовольствіе. Дома я даже не вспоминалъ объ нихъ и злился, если тетка хвалила какую-нибудь дѣвицу или говорила дядѣ; вотъ бы Петеньку женить на этой. Я злился, когда тетка бранила мою знакомую Елену въ глаза и корила ее тѣмъ, что она много трескается (ѣсть).

Отецъ Елены умеръ за мѣсяцъ до ея рожденія. Мать ея, майорша, была бѣдная женщина и жила на квартирѣ у дяди, когда мнѣ было еще шесть лѣтъ. Съ теткой она скоро подружилась, и тетка очень любила ее за то, что она хотя и не прочь была выпить, но не была сплетница. Дѣтей своихъ, маленькую Лену и сына восьми лѣтъ, она очень любила, — и трезвая, и пьяная. Когда Ленѣ былъ четвертый годъ, мать никогда не пускала ее изъ комнаты; за то, если тетка брала меня къ ней въ гости, Лена безцеремонно подходила ко мнѣ съ своей куклой. Я однако дичился ея, и если она хотѣла играть со мной, я уходилъ куда-нибудь подальше, за что мнѣ тетка давала затрещину. Тетка часто ходила къ ней въ гости и брала меня съ собой, неизвѣстно для чего. Тамъ я сидѣлъ въ углу, а Лена играла съ куклами, и если насъ заставляли играть вмѣстѣ, то мы играли какъ-то принужденно и вяло. Жизнь Елены была нерадостная: мать ея пьянствовала, часто голодала или оставляла голодную дочь, нигде не выпускала ее и, когда уходила со двора, запирала ее на замокъ. Поэтому тетка иногда, во время пьянства матери, брала Лену къ себѣ въ гости, и она жила у насъ иной разъ по цѣлой недѣлѣ. Въ это время она больше шила или вязала и играла въ карты съ теткой, которая за это ее очень любила. Мнѣ досадно было, что тетка говоритъ ласково съ Леной, а ко мнѣ обращается съ крикомъ, и я злился, загибая смѣхъ Лены въ то время, когда я проливалъ воду или когда меня билъ; мнѣ завидно было, что тетка садитъ Лену съ собой рядомъ, а меня гонитъ въ кухню; Лена пересказывала теткѣ мои пакости, и много было такихъ предметовъ, за которые я ее ненавидѣлъ до того, что не хотѣлъ говорить съ ней. Со временемъ тетка заставляла меня что-нибудь читать вслухъ, а я не хотѣлъ читать при Ленѣ. Тетка вскрикивать бывало:

— Тебѣ говорить?

— Пусть она читаетъ.

— А вотъ какъ встану — покажу тебѣ... грубияны ты эдакой!...

А все же я читать не стану; тетка ее заставитъ читать. Случалось, Лена просила у меня книжекъ, я не давалъ.

— Гдѣ я возьму книгъ-то?

— Да въ ящикѣ.

— Ройся сама!

— У!! скажу тетенькѣ-то.

— Смѣй! Только скажи, такъ я тебѣ обрѣжу косы-то.

Но на семнадцатомъ году мнѣ было скучно безъ нея. Нѣтъ ея два дня, думаешь, скоро ли она придетъ? Сердился на то, зачѣмъ я такой злой и упрямый, а она такая ласковая. Вѣдь ее мать бьетъ, вѣдь я она живетъ не лучше моего? Вуду же и я ласкаться

къ ней. Но какъ только придетъ она — я и сробѣю. Часто она приходила со слезами на глазахъ и долго плакала, говоря, что ей житья нѣтъ отъ матери, что мать день ото дня хуже становится. Мнѣ жалко было ее, хотѣлось говорить съ ней, угодить ей, но ничего этого я не могъ сдѣлать. Часто въ квартирѣ оставалось только двое насъ: она въ комнатѣ что-нибудь шьетъ молча, а я въ кухнѣ сижу за столомъ. Хочется мнѣ говорить съ ней, подойду къ ней робко, въ землю смотрю, потомъ взгляну на нее съискося, она шьетъ и на меня не глядитъ. Подойду я къ окну и думаю, чтѣ бы сказать такое хорошее, какъ въ книжкахъ пишутъ? Долго думаю, да такъ ничего и не скажу. Такъ и шло время безъ толку: ни я, ни она не скажемъ другъ другу любезностей. А между тѣмъ дядя съ теткой и ея мать называли меня женихомъ, а ее певѣстой. Сидимъ мы всѣ за столомъ, ѣдимъ. Родные наши выпивши, и мы, женихъ и невѣста, — выпивши; въ большіе праздники тетка подчивала меня и ее хересомъ или другимъ какимъ-нибудь виномъ.

— Вотъ какъ Петенька выучится да поступитъ на службу, а Лену отдамъ за него замужъ, — говоритъ майорша.

— Пусть выучится. Лена дѣвушка славная, и онъ еще не стоитъ ея, — говоритъ дядя.

— Ну, полно! На службу поступитъ — человѣкъ будетъ.

Я злился за эти слова. Ленѣ какъ-будто неприятно было слушать ихъ.

— Ты, Лена, пойдешь за Петеньку?

— Не знаю.

— Кто же знаетъ? Васька скажи, пойдетъ ли Лена замужъ? — скажетъ ея мать, обращаясь къ черному коту. Лена покраснѣетъ.

— Я не хочу жениться!.. — скажу я вдругъ, краснѣя отъ злости.

— Ну, а тебѣ дамъ, каналья! — закричитъ дядя.

Послѣ этихъ разговоровъ я все-таки думалъ: а хорошо бы жениться на Еленѣ; она читать, писать, шить и стряпать умѣетъ. И пріятно мнѣ было думать о ней.

Теперь же, когда я обдумалъ, какую мнѣ нужно жену, и приглядѣлся къ разнымъ семействамъ, я возниѣлъ сильное желаніе жениться на Еленѣ, думая, что я тогда буду жить своимъ хозяйствомъ. Вотъ какой я устроилъ планъ въ своей головѣ. Если мнѣ въ губернскомъ городѣ на первый разъ будутъ давать жалованья шесть рублей, я найму въ въ самой дальней части города комнатку съ кухней, за что я заплачу рубль, много полтора рубля. Дрова я буду ловить лѣтомъ на рѣкѣ, и ихъ хватить на всю зиму и на все лѣто. Мы будемъ жить только вдвоемъ. Она будетъ шить у стола, а я буду сидѣть противъ нея, буду ей читать вслухъ, и будемъ мы жить дружно, будемъ беречь деньги. Я буду служить, она будетъ шить, продавать шитье, и деньги мы будемъ дѣлить поровну. Но я останавливался на томъ: что сдѣлать съ деньгами, если у нея будетъ больше шести рублей? Если она будетъ употреблять ихъ на сласти, въ родѣ орѣховъ, будетъ стряпать лишнее и будетъ угощать меня, откуда я возьму деньги на то, чтобы да-

вать ей половинку на удовольствіе? Я сильно мечталъ о томъ, что у меня написаны уже два сочиненія, и я ихъ пошлю въ Петербургъ, тамъ ихъ напечатать въ журналъ и дадутъ мнѣ деньги, — большія деньги.

Черезъ годъ мнѣ опротивѣло жить въ уѣздномъ городѣ. Хотя онъ и хорошъ на видъ, хотя и есть въ немъ бульваръ и разныя увеселенія, но все какъ-то натакнуто, какъ-то не весело, все какъ будто пахнетъ какою-то казенщиной. Объявить начальство, что завтра въ праздникъ на бульварѣ будетъ музыка, объявить какой-нибудь пріѣзжій акробатъ, что тогда-то онъ будетъ показывать свои фокусы, будетъ ходить по канату, объявить, что тогда-то будетъ какой-нибудь заѣзжій нѣмецъ шаръ пускать, — ждутъ горожане съ радостью этихъ праздниковъ. Наступитъ день, сходятъ къ обѣдѣ, наѣдятся и спать хочется, и на бульварѣ таятъ, принарядятся и пойдутъ на бульваръ. И идутъ горожане на бульваръ толпами себя показать, людей поглядѣть, музыку послушать, новости узнать, подивиться чудесамъ заѣзжаго фокусника даромъ... Перехаживаютъ они съ мѣста на мѣсто, орѣхи грызутъ, пряники ѣдятъ, да кислыми щами запиваютъ. Ждутъ они долго фокусника — иной домой успѣетъ сходить выпить рюмочку-две водки, — скучаютъ, ругаютъ фокусника, что онъ долго заставляетъ ждать ихъ. Каждому хочется развлечься... Вотъ въ одномъ мѣстѣ въ орлянку играютъ двое мѣщанъ, ихъ обступили любовныхъ сто человекъ, тысяча глазѣтъ на музыкантовъ.

Забравшіеся сюда рано устали давно отъ безтолковой ходьбы и кучками присѣли на траву подъ деревья; въ отдаленіи сидятъ влюбленные пары. Чѣмъ дольше тянется время, тѣмъ больше появляется въ публикѣ пьяныхъ, которые кричатъ, ругаются, какъ только могутъ, и начинаютъ безобразничать на потѣху молодежи мужского пола. Вся эта пестрая, разнообразная масса народа, выфранченная по послѣдней модѣ и по состоянію, причесанная, напояженная, волнуется, бѣснуется, кричитъ и модничаетъ, скучаетъ и не знаетъ, что ей дѣлать. — Черти! — слышится въ одномъ мѣстѣ. — Спать бы лучше, а то что? — говорятъ въ другомъ; а въ третьемъ уже спятъ пьяные люди въ халатахъ и сюртукахъ. Даже и въ аристократическомъ кружкѣ видна зѣвота; эта аристократія пришла сюда себя показать да людей удивить своими нарядами и фразами; она задираетъ головы къверху или сидитъ отдѣльно отъ простаго народа. Одни только молодые приказные спуютъ во всѣ классы народа, нахально подмигиваютъ дѣвщинамъ, толкаютъ ихъ подъ бока и приглашаютъ гулять: „позвольте, барышня, быть вашимъ кавалеромъ“. — Сначала я очень былъ сердитъ на мужчинъ за то, что они нахальничаютъ, но потомъ убѣдился, что есть дѣвщины такого рода, которыя сами приглашаютъ мужчинъ. Какъ-то я сидѣлъ на скамейкѣ въ отдаленіи и наблюдалъ за народомъ. Я курилъ папироску. Вдругъ подходитъ ко мнѣ дама, лѣтъ 20, одѣтая въ сѣренькомъ бурнусѣ съ кринолиномъ; на головѣ платокъ. Она безцеремонно сѣла на скамейку рядомъ со

мною. Минутъ пять она и я молчали. Мнѣ ужасно неловко было сидѣть, — я хотѣлъ уйти, но и посидѣть хотѣлось; къ тому же сосѣдка красивая; я досталъ еще папироску.

— Господинъ, извините, если я побеспокою... — начала она.

— А что?...

— Нѣтъ ли у васъ папироски?

Я досталъ другую папироску и молча подаль ей.

— Мирси!.. адалжите закурить.

Я далъ ей свою папироску. Сосѣдка опять сказала „мирси“. У меня тряслись руки, и я сердился на себя, что я ничего не умѣю сказать ей. Мы сидѣли молча.

— Вы служащій? — спросила она меня.

— Да.

— А гдѣ служите?

— Въ уѣздномъ судѣ... А вы кто?

— Я... я замужемъ.

— Что же онъ, гуляетъ?

— Онъ измѣнилъ мнѣ: онъ гуляетъ съ дѣвкой какой-то.

— А вамъ досадно, поди?

— Ахъ, такъ досадно, что я ему, подлецу, отомстить хочу.

— А если онъ любитъ васъ?

— Охъ, нѣтъ!

— Можетъ быть, вы ему измѣнили напередъ!..

— Какой вы глупый! Вамъ говорятъ, что онъ измѣнилъ мнѣ, измѣнилъ... Понимаете?

Мы опять замолчали.

— Что же вы молчите? Какой вы скучный!

Я ничего не сказалъ ей, потому что мнѣ не понравилась ея навязчивость.

— Пойдемте гулять.

— Не хочется.

— Отчего?

— Не люблю я гулять вдвоемъ.

— А если вы женитесь?

— Ну, тогда, можетъ быть, и пойду, а теперь не хочу.

— Фи, какой вы невѣжа!.. Такъ не хотите?

— Чего, въ лѣсъ, что ли, съ тобой идти? — сказалъ я, самъ не понимая, что я сказалъ. Я замѣтилъ, что сосѣдка моя покраснѣла, встала и ушла прочь.

Молодые приказные рассказывали мнѣ, что есть такія женщины, которыя сами приглашаютъ мужчинъ къ себѣ въ квартиры, и что мнѣ стоило только пригласить мою сосѣдку пройтись съ ней, она завлекла бы меня непремѣнно.

Начинается представленіе; вся гуляющая масса спѣшитъ занять мѣста получше; всѣ тѣснятся къ загородкѣ, гдѣ показываютъ свои фокусы заѣзжіе акробаты; ребята и рабочіе раздвигаютъ доски и, такимъ образомъ, смотрятъ однимъ глазомъ даромъ; ихъ разгоняетъ полиція палками; они начинаютъ драку съ полиціей, и непопавшіе въ загородку зрители потѣшаются. Если фокусы представляются открыто, то изъ многихъ мѣстъ слышатся восклицанія: „экъ его, лѣшова, угораздило! Ахъ, чортъ экой! Сломать бы ему хоть ногу, псу! А штобъ ему сквозь землю провалиться!“... Но эти восклицанія произносятся съ

улыбками, въ восторгѣ отъ удовольствія и съ удивленіемъ въ ловкости и искусству фокусниковъ. По окончаніи представленія всѣ только и толкуютъ, что о фокусникахъ, и рассказываютъ домашнимъ съ разными прикрасами о видѣнномъ... Есть въ городѣ прудъ, но на немъ не плаваютъ, только въ царскіе табельные праздники начальство устраиваетъ на немъ фейерверки, и тогда берегъ посѣщаютъ горожане. Театръ посѣщаютъ мало, потому что богатые люди не очень большіе охотники до театра, бѣднымъ же людямъ ходить часто денегъ нѣтъ; за то всѣ вообще любопытные любятъ комедіи смѣшного содержанія, драмы съ убійствами, пожарами, провалами и громами, любятъ также и чорта, и большая часть публики считаетъ актеровъ за фокусниковъ и не понимаетъ ничего серьезнаго. „Ты намъ смѣшное показывай, — говоритъ публика, — чтобы весело было; а то все говорить что-то мудреное. Плевать намъ на то, что онъ одѣлся не по нашему. Ты русское кажи, да чтобы не скучно было. У насъ и дома скучно. Мы не даромъ деньги-то заплатили“. И показывали актеры смѣшное. Аристократія ходила въ театръ также ради препровожденія времени, и хотя знала, что актеры врутъ и плохо играютъ, но поощряла актрисъ, вызывала и дарила имъ вѣнки. Другихъ развлеченій въ городѣ не было, и люди отъ скуки играли въ карты дома или у знакомыхъ на шереметевъ счетъ, и эти карты такъ вошли въ моду, что рѣдкій горожанинъ въ свободное время не устраивалъ вечеровъ съ карточной игрой.

Дядя и тетка очень скучали. Знакомыхъ у нихъ было немного, и эти знакомые, большею частью, старались поживиться отъ нихъ чѣмъ-нибудь. Ходила къ намъ одна дѣвица годовъ двадцати шести. Она жила у сестры, которая была замужемъ и имѣла шестерыхъ дѣтей. Жили они бѣдно, а этой дѣвицѣ хотѣлось хорошо поѣсть, ничего не дѣлать и выйти замужъ за чиновника. Тетка любила ее за то, что она помогала ей шить, пѣла пѣсни и что-нибудь рассказывала, дядя любилъ ее по-своему и, когда не было дома тетки, онъ начиналъ съ ней любезничать. Я не любилъ эту дѣвицу: во-первыхъ, она очень хвасталась своимъ лицомъ, хотя и не была красива; во-вторыхъ, ужасно лгала и сплетничала, и въ-третьихъ, соглашалась съ дядей, что я невѣжа. Когда она приходила къ намъ, я прятался въ свою коморку, за обѣдомъ ничего не говорилъ, дремалъ, когда играли въ карты и въ карточной игрѣ участія не принималъ. Случалось, я оставался дома одинъ съ нею. Я сидѣлъ въ своей коморкѣ, она въ комнатѣ. Однажды она изволила встать на лѣстницу и заглянула въ мою коморку; я лежалъ.

— Вотъ вы гдѣ обитаете! — сказала она и захотала.

— А что? Мнѣ и здѣсь хорошо.

— Отчего же вы въ комнатѣ не сидите?

— Здѣсь лучше: а здѣсь никому не мѣшаю.

— Пойдемте играть въ карты, мнѣ страхъ какъ скучно.

— Не хочется. Я книгу читаю.

— Успѣете еще начитаться.

— Право, не хочется. Да я и не люблю картъ: въ карты дураки играютъ.

— Эдакъ, по вашему выходитъ, что я дура и тетушка ваша дура?

— Надо дѣломъ какимъ-нибудь заниматься, тогда не будетъ скучно.

— Врете вы все: надо въ обществѣ бывать!..

Я ничего не сказала; она ушла и съ тѣхъ поръ не надѣдала мнѣ. Ходила къ намъ еще дѣвица лѣтъ девятнадцати, звали ее Татьяной. Эта была посмазливіе. Сестра ее почти каждый день ходила въ женскій монастырь, гдѣ она сообщала городскія новости и откуда разносила по городу разные монастырскіе секреты. Таня тоже ходила въ монастырь и съ виду казалась монахиней; она выбирала себѣ богатаго жениха, но нѣсколько жениховъ надули ее, рассчитывая сами на ея приданое, которое состояло въ одномъ домѣ. Тетка поговаривала дядѣ женить меня на этой дѣвицѣ и дядя соглашался съ нею, сообразивъ то, что съ отцомъ ее онъ въ очень короткихъ отношеніяхъ, и что, женившись на Танѣ, я получу домъ и стало быть заживу отдѣльно отъ нихъ. Это говорилось секретно, и я страшно боялся, чтобы меня не скрутили, потому что, если дядя что захочетъ, то и будетъ. Таня чаще стала ходить къ намъ, меня заставляли играть съ ней въ карты; я, какъ нарочно, говорилъ не въ попадѣ, грубо и больше молчалъ. Таня черезъ сестру передала теткѣ, что я какой-то необразованный и что она раньше года не дастъ согласія на бракъ со мной. Тетка каждый день стала читать мнѣ наставленія, что я говорить не умѣю, со всѣми грубую, хожу какъ-то по-бурлацки, и прозвала меня вахлакомъ.

Ходили къ дядѣ межевщикъ Коровинъ и его жена съ двумя сыновьями, служащими по горному вѣдомству. Ходили и тетка съ дядей къ нимъ. Самъ Коровинъ любилъ выпить, такъ что, если его не угостить кто-нибудь водкой, къ тому онъ и ходить не станетъ. Это семейство, когда бывало у насъ, играло съ нами въ карты, и мы тоже играли съ ними. Всѣ они мнѣ нравились, потому что были люди простые, не сплетничали и со мной были ласковы. Старшій сынъ ихъ обучалъ въ городѣ дѣтей, былъ образованнѣе отца и постоянно читалъ новыя книги. Съ ними я сошелся скоро и мы въ теченіе одного мѣсяца сдѣлались друзьями. Онъ въ литературѣ зналъ толкъ, и по его совѣту я сталъ читать ученыя сочиненія. Журналы онъ мнѣ давалъ всегда и мы по долгу рассуждали о прочитанномъ. Теперь я читалъ новыя журналы, читалъ хорошія сочиненія, читалъ критики и ученыя статьи. Книгъ было много, въ головѣ много было работы, но все-таки разъяснить множество вопросовъ я не могъ при всемъ моемъ стараніи, ни съ помощью книгъ, ни съ моимъ другомъ. Я писалъ въ это время много, пріятель мой хвалилъ меня и однажды отдалъ одно сочиненіе доморощеному литератору, который сочинялъ разныя драмы и комедіи, никогда не печатавшіяся. Мнѣ привелось видѣть этого литератора въ квартирѣ Коровина. Это былъ человекъ лѣтъ двадцати четырехъ, одѣтый франтовски, живой господинъ. Онъ очень хвалился своими способностями, ругалъ редакціи, что онъ не хотятъ печатать сочиненій

такого известнаго человека, какъ онъ, очень смѣшно копировалъ чиновниковъ и разныхъ начальниковъ, но со мной онъ обошелся очень нелюбезно.

— Вы тоже сочиняете?—спросилъ онъ меня.

— Да.

— Это хорошо. Только вы, поди, списываете.

— Почему вы такъ думаете?—спросилъ за меня мой пріятель.

— Да я гдѣ-то подобное читывалъ.

— Кто другой, можетъ быть, такъ сочиняетъ, а онъ—самъ, это я знаю, — вступился за меня мой пріятель.

— Только я вамъ скажу, ваши сочиненія никуда не годятся.

— Почему?

— Да вы сами не знаете, о чемъ пишете; одни слова да фантазіи.

Мнѣ эти слова не понравились, потому что я очень много думалъ о себѣ. Учиться у него писать я не хотѣлъ, потому что онъ много хвастался собой, и мой пріятель сбивалъ его на многихъ вопросахъ. Пріятель былъ умнѣе его, но сочиненій не писалъ.

Этотъ литераторъ, какъ говорилъ мнѣ пріятель, изъ кожи лѣзъ. На службѣ онъ не жилъ въ ладу со служащими, потому что считалъ себя умнѣе ихъ и надоедалъ имъ своею хвастливостью. Дома онъ рѣдко читалъ книги, а больше сочинялъ и переписывалъ свои сочиненія, которыя потомъ читалъ въ кругу товарищей. Кроме того онъ ужасно завидовалъ всѣмъ писателямъ, помѣщавшимъ въ журналахъ свои сочиненія, и на cadaго доморощенного литератора смотрѣлъ со злобой, говоря, что они сочиняютъ дрянъ и хвастаются. Однимъ словомъ, ему хотѣлось прослыть за гения, а такъ какъ его сочиненія нигдѣ не печатали, то онъ ругался, ругалъ почти всю литературу. За то съ какою трепетомъ онъ ждалъ новаго журнала и смотрѣлъ на обложку... „Не помѣстили еще!“ говорилъ онъ, блѣднѣя. Товарищи подсаживались надъ нимъ, но онъ говорилъ, что его сочиненіе нельзя помѣстить. Вѣроятно онъ ночи не спалъ, думая: примутъ ли его сочиненіе, или нѣтъ, и если примутъ, то онъ рисовалъ себѣ картину будущаго блаженства...

Жить у дяди мнѣ надоѣло. Меня попрекали тѣмъ, что я понапрасну жгу свѣчи, мало получаю жалованья; мнѣ мѣшали разговоры, пѣсни и дядина музыка. Кроме этого дядя сталъ крѣпко попивать водку, ругался на весь домъ, билъ тетку, игралъ въ карты и много проигрывалъ. Тетка плакала, просиживала цѣлыя ночи, ворожила въ карты и заставляла меня читать вслухъ книги. Съ каждымъ днемъ мнѣ тяжелѣе и невыносимѣе казалась служба; судья меня не любилъ за то, что я переписываю бумаги горному члену; товарищи говорили мнѣ, что я ничего не дѣлаю и беру взятки. Захотѣлось мнѣ простору—одному захотѣлось жить, и жить въ губернскомъ городѣ. Я сталъ проситься въ губернскій городъ. Дядя и тетка долго не соглашались.

— Ну, какую тебѣ черную немочь дѣлать тамъ?

— На службу буду проситься.

— А отчего здѣсь не служить?

— Не могу...

— Мало ли что не могу!... Вишь ты, мы тебѣ нелюбы стали! Выстегать бы тебя надо.

Я ворчу.

— Молчать!—крикнетъ дядя,—я и замолчу.

Черезъ нѣсколько времени, когда дядя былъ веселъ, я возобновилъ свою просьбу—отпустить меня въ губернскій. Онъ опять обругалъ меня. Ухаживать туда не было никакой возможности, потому что у меня не было денегъ. — Какъ-то дядю послали исправлять должность почтмейстера въ уѣздный городъ. Я написалъ ему, что желаю съѣздить въ губернскій городъ только въ отпускъ на недѣлю. Дядя написалъ, что дѣлать нечего. Я подалъ прошеніе объ отпускѣ на двадцать дней, уговорилъ тетку, та заплакала и согласилась отпустить. Я поѣхалъ. Тетка очень плакала при прощаньи, плакала и я.

— Не забывай ты насъ, ради Бога!—говорила тетка.

— Не забуду, — говорилъ я, и жалко стало мнѣ тетку. Бѣдная женщина! знаю, что ты любишь меня по-своему, какъ сына. Но я не могу жить съ тобой: мнѣ свободы хочется, а ты только мѣшаешь мнѣ.

— Прощайте!—крикнулъ я ей, когда лошади равнулись, побѣжали, и сталъ я думать о новой жизни, о томъ: поумнѣю ли я?

Теперь только я чувствовалъ себя свободнымъ человекомъ.

Когда я былъ очень малъ, мнѣ нравилось кататься. Меня маленькаго тетка часто зимой возила въ лубочныхъ санкахъ, закинувъ на грудь, поверхъ капота, веревочку отъ козелъ санокъ. Я болталъ ногами, махалъ руками, кричалъ отъ удовольствія, что меня везутъ, дергалъ за веревочку, отъ чего тетка злилась. Когда я подростъ, мнѣ нравилось кататься въ масляницу съ катушекъ, т. е. небольшихъ горъ, сдѣланныхъ изъ снѣга и обливаемыхъ водой. Меня тогда удивляло то: отчего это до масляницы народу мало катается въ городъ, а съ четверга масляницы весь городъ запруженъ лошадьми. Даже самый бѣдный человекъ, котораго никогда не увидишь на лошади, и тотъ, смотришь,—сидитъ въ саняхъ или пошевняхъ съ знакомыми, и тотъ катается. Смотришь—всѣ какіе-то веселые, одни ужъ очень пьяны, только руками машутъ, да головой, ничѣмъ не покрытой, клячутъ; другіе—пѣсни орутъ, третьи насвистываютъ, наигрываютъ на гармоникахъ. На насъ, маленькихъ, тогда не обращали вниманія ни наши родственники, ни важные люди, до насъ нисколько не касающіеся: насъ обыкновенно пичкали въ углы для того вѣроятно, чтобы показать людямъ, что и они птенцовъ имѣютъ. За то, если насъ дѣтей, однихъ, пускали ѣздить, мы давали себя знать: глѣземъ, насвистываемъ; если кто держитъ вѣтень, то отъ него достается и своимъ лошадямъ, и чужимъ, и людямъ не нашего сорта; на насъ смотрѣли зѣваки и дивились нашей молодцоватости. Не смотря на наше малолѣтство, мы, дѣти бѣдныхъ людей, были сильнѣе и крѣпче баричей и при этомъ нестѣсняясь высказывали баричамъ въ глаза свое неудовольствіе, обзывая ихъ, какъ только могли выдумать. Родные наши на эти слова ничего не отвѣчали, или отворачивали головы въ

другую сторону, или ужъ очень были заняты сѣбѣю, своими разговорами; но мы отъ нечего дѣлать, старались какъ-нибудь разозлить барышень и баричей. Въ особенности меня удивляло то: отчего это наши родные не могутъ такъ выражаться вслухъ, какъ мы, дѣти? Наконецъ я понялъ, почему на насъ не обращали вниманія: потому что мы малы, насъ считали за собаченочъ, которыя только лаяють, а вреда не сдѣлаютъ; насъ убѣждать было трудно, а вся досада вымещалась на нашихъ родителяхъ, которые были въ зависимости отъ начальства. Что прощалось намъ, то не прощалось отцамъ нашимъ. Кромѣ этого на нашу вольность не обращали еще потому вниманія, что и барскіе ребята выдѣлывали штуки почище насъ.

Но меня это на пятнадцатомъ году не занимало: одно и то же надоѣло, хотѣлось другого. Уединеніе на рѣкѣ и въ лѣсахъ сдѣлало меня задумчивымъ, злымъ; я видѣлъ какіхъ-то усталыхъ, больныхъ людей, съ фальшивыми понятіями и направленіями. Читалъ я въ книгахъ, что гдѣ-то есть настоящіе люди, а гдѣ они — Богъ вѣдаетъ! Съ дѣтства мнѣ привелось видѣть нужду крестьянскую, но я не зналъ, отъ чего эта нужда происходитъ. Приводилось разъ верстъ семь ѣхать на баркѣ съ бурлаками; я увидалъ трудъ тяжелый, не залюбилъ тѣхъ, кто вѣдѣвается надъ бурлаками; но я не зналъ, что это за народъ такой. Видѣлъ я, какъ они домой возвращаются — работа ихъ еще труднѣе, и опять-таки не зналъ, отчего они не ѣдутъ домой, а непремѣнно тянутъ суденки съ хлѣбомъ. Но когда мнѣ привелось проплыть съ ними треста верстъ, тогда я заглянулъ въ бурлацкое нутро и узналъ ихъ. И мало есть такихъ людей, которые бы поняли настоящую бѣдность и причины этой бѣдности... Случалось мнѣ нѣсколько разъ съ почтами ѣздить, но я тутъ, послѣ двухъ, трехъ побѣдокъ, а плохо понималъ семейную жизнь сельскихъ и деревенскихъ обывателей. Когда я пожилъ тамъ дольше, то узналъ, что изъ бѣдныхъ людей всѣ выжимаютъ соки, начиная съ писаря, священника и т. п.

Мнѣ, прожившему среди почтовой братьи десятокъ лѣтъ, можно свободно разѣзжать даромъ даже и безъ почтмейстерскаго разрѣшенія. Почтовые такъ и дѣлали: захочется женѣ сортировщика съѣздить къ родственницѣ въ другой городъ — угостятъ почтальона, а почтальонъ посадитъ жену сортировщика на какой-нибудь улицѣ, только за угломъ конторы, или за заставой. А ребята, ученики, — тѣ въ почтовомъ же дворѣ садятся въ телѣгу или въ сани, — это дѣти смотрителя. Такъ же и я, какъ племянникъ — сынъ сортировщика, еще нигдѣ не служившій, свободно разѣзжалъ къ нашей роднѣ, когда одинъ съ почтальономъ, а когда и съ воспитателями. Теперь мнѣ, служащему, ѣздить съ почтами было неловко на томъ основаніи, что я былъ все-таки уже чужой человѣкъ: писецъ уѣзднаго суда. Ѣхать мнѣ до губернскаго города Орѣха на свой счетъ не было никакой возможности, потому что у меня въ карманѣ было капитала только четыре рубля. Положимъ, я за четыре рубля могу доѣхать съ обозами, но за то я пройду треста верстъ недѣлю, а съ почтой я приѣду въ полторы сутки. Сверхъ того, если случится какое-нибудь несчастье, напр. поте-

рется сумка или подрѣжутъ чемоданы подъ самими почтальономъ.

Разъ я струсилъ такъ порядкомъ. А именно, почтальонъ, съ которымъ я ѣхалъ, былъ выпивши. Почта шла легкая. Въ телѣгѣ было двѣ сумы и одна сумка пустая, посылаемая въ губернскую контору на ея распоряженіе за излишествомъ. Двѣ сумы съ корреспонденціей были запечатаны, какъ слѣдуетъ, а въ сумкѣ лежали мои вещи, и эта сумка была зашита ремешками петлями. Въ этой сумкѣ была положена еще сумка. Но какъ ее клали — проглядѣлъ почтальонъ, пріимавшій почту и я. Почтальонъ зналъ, что у него на рукахъ двѣ сумы и одна порожняя сумка. До первой станціи мы ѣхали весело. Почтальонъ былъ очень разговорчивъ, много говорилъ о прошломъ бурсацкомъ житіи, въ особенности жалѣлъ, что онъ не могъ пробыть въ семинаріи только одного, послѣдняго года, — стало быть онъ былъ въ богословіи, но исключенъ изъ семинаріи за какое-то буйство. Однимъ словомъ онъ былъ человѣкъ неглупый, но попавши въ разѣздные почтальоны за какое-то неуваженіе къ губернскому почтмейстеру, онъ сталъ пить водку горше прежняго. Первую станцію мы проѣхали безъ всякихъ приключеній.

Пріѣзжаемъ мы на другую станцію. Смотритель встрѣтилъ его и меня любезно, — его потому, что онъ съ нимъ назадъ тому годъ служилъ почтальономъ въ губернской конторѣ, а меня потому, что дядя часто ѣздилъ къ нему разбирать жалобы, и ямщики любили дядю. Стали повѣрять почту по подорожной. Въ подорожной написано: изъ Кочана сума, С. П. В. 1859 г., № 1021, вѣсомъ 5 пуд., изъ Тюлена по тракту одна сума московская 1860 г., № 1200, вѣсомъ 6 пуд., въ ней три порожнихъ сумки такіа-то. Дальше слѣдовала отиѣтка, что сумка московская 1860 г. № 1007 и сумка московская 1853 г. № 397 препровождаются въ Орѣховъ. Въ наличности оказалась только одна сумка за № 397. Почтальонъ струсилъ, сталъ спрашивать ямщика:

— Ты сколько бралъ сумокъ?

— Три. Тебѣ больше знать-то надо, потому ты изъ города ѣхалъ.

Смотритель сталъ ругать ямщика: „какъ же ты, морда эдакая, не знаешь?“...

— Я, что-ли, ѣхалъ изъ города-то! Я што взялъ, то и привезъ.

Подобныхъ штукъ со смотрителемъ никогда не случалось, и онъ, какъ ни вертѣлъ подорожную, пришелъ къ тому заключенію, что или почту ограбили, или сумка дорогой потеряна. А такихъ случаевъ всѣ почтовые ужасно боятся, будь они хоть разчестные люди. Главное, чего они боятся — это слѣдствія.

— Какъ же ты, скотина ты эдакая, ничего не видѣлъ. Вѣдь сумки нѣтъ! Что ты дѣлалъ? Спать, шельма! — закричалъ онъ на бѣднаго ямщика.

— Спать не спалъ, да и они не спали, — отозвался ямщикъ.

Почтальонъ вступился за ямщика.

— Сумка пустая, не важность.

— Пустая! Съ котораго боку она пустая-то? Развѣ въ подорожной написано, что такая-то, за такимъ то номеромъ — пустая. Можетъ быть тамъ деньги были!..

Отъ такого резона почтальонъ струсилъ: въ подорожной действительно не значилось, пустая ли была та сумка. Смотритель сдѣлалъ оговорку, что такой-то *переходящей* сумки не оказалось, и тотчасъ же послалъ ящика на первую станцію. До слѣдующей станціи мы только и говорили съ почтальономъ, что о потерянной сумкѣ; почтальонъ говорилъ: „вотъ я и солдать!“... Я-же думалъ: вотъ чортъ меня сунулъ ѣхать съ почтой, да еще непремѣнно съ этой? Ящикъ съобѣзновалъ намъ и съ своей стороны пугалъ насъ разными разсказами о томъ, какъ и когда подрываются почты, и какія бываютъ за это наказанія ящикамъ и бѣднымъ почтальонамъ. На слѣдующей станціи по этому случаю смотритель долго не соглашался, чтобы я ѣхалъ съ почтой. Дѣло объяснилось на четвертой станціи отъ города. Въ сумкѣ у меня лежалъ мѣшочекъ съ кренделями. Дѣло было вечернее. Только-что я открылъ чемоданъ, мнѣ съ самаго начала попала въ руку сумка. Почтальонъ былъ очень радъ такой находкѣ; свѣрили мы ѣ сумки съ подорожной, — оказалось, что сумка эта и есть. Долго мы потомъ хохотали надъ смотрителемъ и сами надъ собой, потому что больше ничего не оставалось дѣлать, а почтальонъ послѣ этого вынулъ косушку водки и спалъ хорошо отъ станціи до станціи. Другихъ происшествій съ нами уже не случалось больше.

Не знаю, какъ кому, но мнѣ было скучно ѣхать. Хотѣлъ я любоваться лѣсомъ, полями и небомъ — не стоило. Лѣсъ, поля и небо я давно зналъ, они вездѣ одинаковы, даже и въ различное время. Только здѣсь больше лѣсу, чѣмъ около городовъ и селеній, земля воздѣлывается, кажется, очень прилежно, но производство очень плохое. Спросишь ящика: хорошъ ли урожай? „Худы!“ — отвѣчаетъ онъ. — Богъ ихъ знаетъ. Ровно и лѣто хорошее, а все толку нѣтъ“... Много мы проѣхали селъ и деревень, вездѣ бѣдность, только, кажется, животнымъ здѣсь можно жить. Спросишь ящика, отчего народъ бѣденъ и отчего дома у нихъ стары и строятся такъ, что въ пожаръ вся деревня можетъ выгорѣть, — одна постоянная оговорка: „што дѣлать! Божья воля!“ или: „не откуда кормиться, подать надо; начальство всякое ужъ нонѣ оченно строго да туго. Въ городъ идти робить далеко, да и безъ насъ тамъ народу много“... Но главное, на что жаловались крестьяне, какъ я слышалъ ихъ разговоръ на станціяхъ: всѣ они большею частью были крѣпостные; хорошую землю отъ нихъ отняли, надѣлили ихъ землей такою, что она или камениста, или ее нужно разрабатывать пять и больше лѣтъ. „А у насъ и прежнихъ-то долговъ скопича, вотъ и дали землю, да на помѣщика заставляютъ робить, потому-де оброковъ много насчитали... А хоша бы нѣтъ нужно было что“... Действительно помѣщики, забравъ старую, хорошую землю, которую прежде обрабатывали крестьяне, и надѣливъ ихъ сообразно своимъ выгодамъ, оставили у себя въ запасъ еще много земли, и эта земля остается безъ всякой обработки.

Мнѣ привелось видѣть нѣсколько сценъ по новому устройству быта крестьянъ. Спрашивалъ я крестьянъ о мировыхъ посредникахъ и судебныхъ слѣдовате-

жалованья и брали вдвое противъ прежняго; судебный слѣдователь безъ становаго ничего не могъ сдѣлать, становой дѣлился съ слѣдователемъ; если не просилъ съ крестьянъ слѣдователь, то крестьяне давали становому. Кромѣ этого университетскіе не знали быта крестьянъ, и мировые посредники только хвастались, что они приносятъ пользу. Съ помѣщикомъ мировой посредникъ хорошъ, въ карты играетъ, за дочками ухаживаетъ; возиться съ мужиками некогда, а такъ себѣ, поговорить съ крестьянами... „Ужъ красно они говорятъ, да дѣла не дѣлаютъ въ нашу пользу“, говорятъ крестьяне. И действительно, говоритъ посредникъ долго, по-крестьянски старается заговорить; крестьянинъ слушаетъ, чешетъ себѣ бока да затылокъ, улыбнется широко, когда посредникъ скажетъ: *теперича*... „А прокурать этотъ посредственникъ: мягко стелеть, да жестко спать... хотъ бы удовлетворилъ, чѣмъ языкъ чесать: коли начальство, такъ не дури, коли ты помогать нашему горю приставленъ, — не представляйся, а добро намъ дѣлай“. А посредникъ разсуждаетъ о крестьянахъ такъ: „плутъ этотъ народъ! А какъ глупъ, чортъ знаетъ что! Бьешься, бьешься съ нимъ, и такъ, и эдакъ, — ничего не понимаетъ“...

Наконецъ мы подъѣхали къ заставѣ губернскаго города; ящикъ подвязалъ колокольцы, чтобы они не брякали: не приказано — здѣсь губернское начальство.

Два года я не видѣлъ города Орѣхова и думалъ, что онъ хотя по наружности перемѣнился. Ничуть не бывало. Какъ дома стояли прежде, такъ и теперь стоятъ. Даже вонъ березка у заставы стоитъ, боятса ее срубить, еще не дошло время. Я слѣзъ у заставы, взялъ мѣшочекъ съ форменнымъ сюртукомъ и направился къ городу. Было утро. Меня обхватилъ родной вѣтеръ; опять задыхалось какъ-то легче прежняго. Теперь я былъ одинъ, былъ свободный, потому что былъ уволенъ въ отпускъ. Но я чувствовалъ, что я здѣсь чужой, чужой потому, что служу въ уѣздномъ городѣ. Нѣтъ, я буду вашъ опять, думалъ я. Я буду губернскимъ служащимъ...

Стали мнѣ попадаться чиновники. Идутъ они, потѣвывая, на службу, идутъ какъ-то нехотя. На желтыхъ лицахъ ни одной улыбки не замѣтишь; но замѣтно въ нихъ только какое-то чиновническое достоинство, уваженіе къ самимъ себѣ: на фуражкѣ кокарда, поступъ чиновническая, и сморкаются по-чиновнически. Смѣшно видѣть этихъ забытыхъ людей въ то время, когда они идутъ мимо начальческаго дома: видно, что имъ не хочется идти мимо оконъ: трепетъ какой-то вдругъ напасть и ало беретъ. Одинъ своротилъ съ тротуара, пошелъ около стѣны, — хорошо, что окна высоки, можно согнуться; другой идетъ по тротуарамъ, смиренно глядитъ въ окно и держитъ правую руку наготовѣ; третій идетъ за нимъ слѣдомъ въ такомъ же настроеніи; второй прошелъ благополучно, а третьему не посчастливилось: прошелъ мимо одного окна, мимо другого, заглянулъ въ третье — и винтъ снялъ фуражку, пошатнулся и оступился въ тротуарную дыру... Шла мимо его ка-

кая-то торговка съ молокомъ, это ее разсѣлило: Экъ те, голубчикъ, угораздило! Подкасъ, ушибса, — не проспалса, голубчикъ!“ Меня ало взяло. Впечатлѣніе было нехорошее на первый разъ.

Дорогой много было передумано, какъ мнѣ жить въ Орѣховѣ. Нанять квартиру съ перваго разу мнѣ трудно было. Зналъ я, что въ Орѣховѣ живетъ мой дѣдушка, Максимъ Варламычъ Болдыревъ. Дѣдушкой онъ мнѣ приходился какъ-то съ боку: говорили, что онъ мать мою воспиталъ и выдалъ ее замужъ за моего отца. Прежде онъ служилъ столоначальникомъ въ губернскомъ правленіи, потомъ его сдѣлали становымъ приставомъ; овдовѣвши, онъ женился на кухаркѣ, за что его возненавидѣли мои родные и очень рады были, что онъ попалъ подъ судъ по какому-то дѣлу, о которомъ ходили между ними различные слухи.

Такъ какъ дѣдушка прежде очень любилъ меня, но я разсчитывалъ на хорошій пріемъ и даже на то, что онъ можетъ быть устроить какъ-нибудь мой переходъ изъ уѣзда въ губернскій городъ.

Принялъ онъ меня вѣжливо и рекомендовалъ своей женѣ такъ:

— Нукось ты, корова! кланяйся внучку Петру Иванычу... А ты, Петинька, не знаешь, поди, еще, что я женился на этой коровѣ.

Мнѣ смѣшно было на первыхъ порахъ слышать подобную рекомендацію, но я все-таки похвалилъ дѣдушку за его женитьбу. Я пришелъ къ нему какъ разъ къ чаю. Онъ и жена его очень обрадовались моему приходу; какъ водится, засыпали вопросами о моихъ воспитателяхъ, о городѣ, о службѣ, о членахъ и т. п. Дѣдушка рассказывалъ про свое житье очень много и умерительно, ругалъ начальство разными манерами, высказывалъ, что онъ честный человѣкъ, но изъ разговоровъ его я замѣтилъ, что онъ заговаривается: начнеть о чемъ-нибудь говорить длиннымъ вступленіемъ, истинность объяснить, заговорить объ одномъ человѣкѣ, и говорить полчаса, кто онъ такой, какое у него лицо, что онъ сдѣлалъ въ жизни, и своротить съ одного предмета на другой, такъ что исторія выходитъ очень длинная, и кончится вѣроятно черезъ недѣлю. Жена его привыкла уже къ такимъ разговорамъ, не слушаетъ его, да ей и некогда слушать, потому что надо стряпать и убирать во дворѣ и за скотиной. Отъ дѣдушки я узналъ, что онъ подъ судомъ и для меня ничего не можетъ сдѣлать; что губернаторъ человѣкъ умный, но старыхъ людей не любитъ, не любитъ подсудимыхъ и опредѣляетъ на службу безъ разбору только мальчишекъ. Въ особенности онъ только общается, а слова не держитъ. Видно было, что губернаторъ ему или чѣмъ-нибудь не нравился, или чѣмъ-нибудь обидѣлъ его.

Съ замираніемъ сердца я пришелъ въ одиннадцатомъ часу въ губернаторскую приемную съ докладной запиской и формуляромъ. Въ прихожей много толкалось просителей, большею частью крестьянъ и бѣдно одѣтыхъ женщинъ; въ приемной стояли, какъ видно, люди чиновные и богатые. Въ этой же приемной сидѣлъ молодой человѣкъ изъ губернаторской канцеляріи, который зналъ меня въ дѣтствѣ. Когда я вошелъ въ приемную, онъ гордо посмотрѣлъ на меня и спро-

силъ: „Что надо?“ Я промолчалъ. Онъ обидѣлся и началъ молчаніемъ, всталъ и подошелъ ко мнѣ.

— Что вамъ угодно?

— Я пришелъ не къ вамъ, а къ губернатору, — отвѣтилъ я рѣзко.

— Къ кому?

— Къ губернатору.

— Здѣсь нѣтъ губернатора, а есть начальникъ губерніи.

Меня ало взяло. Я думалъ, что меня пожалуй выгонятъ изъ приемной, но за меня вступился какой-то купецъ.

— А по вашему, начальникъ губерніи и губернаторъ не все единственно?

— Нѣтъ, не все одно.

— Ошибаетесь, любезный.

— Я не любезный, а чиновникъ...

— Оно и видно!

— Не съ вами говорить; васъ не спрашиваютъ.

Просители захихикали, а чиновникъ покраснѣлъ и, сказавъ мнѣ: „убирайтесь въ прихожую!“ сѣлъ къ столу и сталъ читать газету. Я ушелъ въ прихожую и цѣлый часъ былъ предметомъ развлеченія для просителей. Сначала они оглядывали меня, а потомъ стали спрашивать:

— Вы вѣрно не здѣшній?

Я сказалъ.

— То-то. Здѣсь губернія выходитъ. Кто значить съ губернаторомъ служить — власть имѣть.

— Я не боюсь его...

— Все-таки!..

Губернатора ждали долго. Наконецъ онъ показавшись въ приемной. Это былъ невысокій, худощавый человѣкъ въ военной формѣ и нисколько не отличался отъ чиновниковъ, которыхъ я видѣлъ утромъ. Онъ подходилъ къ просителямъ и говорилъ съ ними очень любезно. Чиновные просители, какъ видно, очень остались довольны имъ и выходили съ веселыми лицами. Когда онъ кончилъ съ бывшими въ приемной, то вошелъ въ прихожую и обратился прямо ко мнѣ.

— Отчего вы не въ приемной?

Я хотѣлъ сказать: его благородію угодно было, чтобъ я былъ здѣсь, но робко сказалъ, поглядѣвъ на крестьянъ: „мнѣ и здѣсь хорошо“... Губернаторъ сморщилъ брови и обратился къ крестьянамъ сурово:

— Вамъ что надо?

— Да насчетъ земельки все, ваше высокостельство...

— Опять затѣмъ же! Я вамъ сказалъ, что ничего не могу сдѣлать.

Одинъ повалился въ ноги: „Не обидь, государь!...“

— Это что такое?.. Встань, любезный...

Крестьяне не унимались. Губернаторъ закричалъ:

— Я вамъ сказалъ, что ничего не могу сдѣлать: у васъ есть мировые посредники...

Крестьяне смирились, почесали затылки и пошли вонъ. Губернаторъ подошелъ ко мнѣ.

— Вы что скажете? Кто вы такой?

— Кузьминъ.

Губернаторъ, разспросивъ гдѣ я служу, взялъ мою докладную записку и прочталь мой формуляръ. По черкѣ мой ему понравился, и онъ сказалъ мнѣ:



— Хорошо, а васъ переведу въ свою канцелярію.

Я поклонился и спросилъ, когда понавѣдаться, онъ сказалъ: послѣ завтра. Я очень обрадовался и въ восторгѣ шелъ къ рѣкѣ. На берегу, противъ почтовой конторы, я замѣтилъ перемѣну: тамъ строили загородку и сажали деревья, сдѣланы лавки. Я сѣлъ на лавку и сталъ смотрѣть на рѣку. Нисколько она не измѣнилась въ два года: по старому на ней плывутъ запоздалыя барки, плоты, такъ же за рѣкой видны лодки и два балагана, принадлежащіе заклятымъ рыбакамъ, только больше стоитъ баржъ и чаще прежняго приплываютъ издалека и отплываютъ за тысячу верстъ пароходы. Но все было какъ-то скучно: на дома посмотришь—все такое же старье, жизни около нихъ мало, на берегу ходятъ и сидятъ только прѣзжіе, на самой рѣкѣ тоже мало жизни, не то, что было прежде.

Въ губернаторскую канцелярію мнѣ не привелось поступить. Губернатору сказали, что я былъ подъ судомъ, и онъ отказалъ мнѣ. Цѣлую недѣлю послѣ этого я ходилъ къ разнымъ предсѣдателямъ съ докладными записками, но они всѣ отказывали мнѣ. Дѣдушка говорилъ мнѣ, что нынѣ опредѣляютъ за деньги или по протекціи, и что мнѣ лучше уѣзжать назадъ. Къ счастью, я отыскалъ здѣсь какого-то родственника тетяи, который принялъ во мнѣ большое участіе и посоветовалъ сходить къ губернскому казначею, но сказалъ мнѣ предварительно, что ему можно дать пять рублей.

Губернскій казначей встрѣтилъ меня грубо.

— Что тебѣ надо?

Я подалъ ему докладную записку. Онъ прочиталъ.

— Вакасиіи нѣтъ, убирайся! Только мѣшаешь чаю напиться.

— Я вамъ заплачу...

— Ну?

— Сколько прикажете?

— Двадцать пять рублей, только позаниматься нужно съ недѣлю на испытаніи.

— Я не могу теперь дать, потому что у меня всего три рубля.

Губернскій казначей повернулся и вскричалъ:

— Гаврило, проводи вотъ этого!

Много мнѣ говорили хорошаго о казенной палатѣ и предсѣдателѣ. Мнѣ и прежде хотѣлось поступить въ эту палату, тѣмъ болѣе теперь, когда въ ней есть библіотека. Я пошелъ къ предсѣдателю. Предсѣдатель принялъ меня любезно, долго говорилъ со мной насчетъ моей службѣ въ судѣ и велѣлъ заниматься въ канцеляріи на испытаніи одну недѣлю.

Черезъ двѣ недѣли меня зачислили въ штатъ. Когда я написалъ объ этомъ дядѣ, онъ отвѣтилъ: «живи, какъ хочешь, а я тебѣ помогать не буду». На первый мѣсяцъ мнѣ дали шесть рублей, и я, живя у дѣдушки, не нуждался въ деньгахъ.

Для человѣка не съ моими характеромъ у дѣдушки хорошо бы было жить. Онъ былъ добрый, практический, умѣлъ занять кого угодно, но черезъ часъ надоедалъ своими разсказами и хвастовствомъ. Считаая себя за честнаго человѣка, онъ говорилъ, что ста-

новому нельзя не брать взятокъ, и даже съ торжествомъ разсказывалъ, какъ онъ однажды взялъ съ богатаго крестьянина за мертвое тѣло двѣсти рублей и раздѣлилъ ихъ съ лекаремъ. Жизнь онъ велъ животную: спать послѣ обѣда и ночью на мягкой перинѣ съ своей женой, ѣлъ много, парился въ банѣ всласть, особенно много пилъ водки и все остальное время проводилъ или въ ходьбѣ по комнатамъ, или игралъ въ преферансъ съ женой и со мной. Лѣтомъ и зимой онъ ходилъ дома въ тѣловомъ халатѣ, который отъ сала и грязи походилъ на крестьянскій зипунъ; за пазухой постоянно у него лежалъ платокъ и берестяная табакерка съ нюхательнымъ табакомъ. Ему было 62 года, но волосы еще не сѣдѣли, за то лицо было безобразное: широкое, морщинистое, постоянно опухшее. Женѣ его было 27 лѣтъ; она была высокая, здоровая и красивая женщина съ черными волосами и бровями. Стоило ей только толкнуть пьянаго мужа, и онъ, какъ спонъ, валился на полъ. Она двѣнадцать лѣтъ прожила у дѣдушки, сначала на посмыкахѣхъ, потомъ въ прислугахъ, и поняла его хорошо. Онъ ее полюбилъ, да и она привалялась къ нему, и они обвѣнчались. Отъ крестьянъ она отстала и уже не могла годиться въ жены крестьянину, потому что на нее много вліяла чиновническая среда, но при всемъ томъ въ ней не было и тѣни гордости; она ходила во дворѣ босикомъ, сама донла корову, сама ходила на рѣку по воду и была, какъ и прежде, работницей въ домѣ, съ тѣмъ только различіемъ, что въ праздники носила шелковыя платья и шляпки, въ которыхъ она казалась очень смѣшной. Любо было смотрѣть на этихъ супруговъ, особенно утромъ. Дѣдушка вставалъ въ пять часовъ, жена часомъ позже. Встанетъ бывало дѣдушка и пойдетъ чистить во дворѣ, дровъ наколетъ, печку затопитъ, потомъ начнетъ будить жену. Жена встанетъ, умоется, помолится, корову пододитъ, дѣдушка самоваръ поставитъ. Чай пили больше молча, потому что обоимъ супругамъ не о чемъ было говорить. Хорошо, если у сосѣдей какая-нибудь новость случилась, напр. корова отелилась, сынъ родится, такая-то захворала, такой-то свою жену выгналъ. Послѣ чаю садятся они въ кухню на лавку.

— Ну-ка, Боддырько, чисти картофель!—говоритъ жена мужу.

— Асинько-й?

— Чисти, говорятъ.

— Чевой-ты?

— Ну!

— Уууу!.. Экая ты коровушка, натушка... барыня, поможѣ обиданная...

Дѣдушка начинаетъ чистить картофель, а жена его моетъ посуду или приготовляетъ мясо къ щамъ. Дѣлаютъ молча. Дѣдушкѣ сдѣлается скучно. Подойдетъ онъ къ шкафу, возьметъ шесть коп. денегъ и пойдетъ въ питейную лавочку. А если онъ пошелъ туда, то и будетъ ходить цѣлую недѣлю разъ по десяти въ день. Пьяный дѣдушка былъ несносенъ; онъ долго не могъ заснуть, ходилъ или лежалъ и постоянно разсуждалъ вслухъ. Особенно онъ надоедалъ мнѣ. Читаю я бывало книгу, а онъ подходитъ ко мнѣ и начинаетъ что-нибудь разсказывать, что я уже



слышалъ отъ него разъ десять. Надо слушать, а то онъ обидится, обругаетъ, что и случалось часто. Если ему не хочется говорить, онъ ругаетъ жену, какъ только можетъ, хочетъ ее ударить, она ловко отвертывается, и это его еще больше злитъ. Пьяному ему часто приходило въ голову, что онъ напрасно женился, что онъ даже вовсе не хотѣлъ жениться, но его насильно обвиняли священники, и разъ даже хотѣлъ прогнать жену, чего конечно никогда бы не сдѣлалъ трезвый. Впрочемъ, его и жену его всѣ сосѣди любили за то, что они давали въ долгъ деньги безъ росписокъ и процентовъ.

Мнѣ по прежнему хотѣлось жить одному. Уже если мнѣ надоѣло съ воспитателями, то я въ такомъ семействѣ никакъ не могъ жить, потому что здѣсь мнѣ мѣшали читать. Поэтому я ночи спалъ больше въ каретникѣ въ анимеъ возкѣ, а послѣ обѣда тамъ же читалъ книги.

Каждую недѣлю я ходилъ къ матери Лены. Жили они въ это время очень бѣдно, занимали двѣ комнаты, за которыя платили по два рубля въ мѣсяцъ, и пробавлялись только тѣмъ, что шли халаты въ гостинный дворъ; жить бы было можно какъ-нибудь, но мать пила по прежнему водку и принимала все, что зарабатывала. Лена была теперь красивая, высокая дѣвушка шестнадцати лѣтъ, но на сколько она развита — я не могъ знать, потому что при мнѣ она больше молчала, да и мать никуда не выходила изъ комнаты. Когда же мать выходила изъ комнаты, то я не зналъ, что сказать дочери; она краснѣла, ниже склоняла голову къ работѣ или смотрѣла въ окно, выходящее во дворъ. Придешь къ нимъ, поздороваешься, справишься о здоровьѣ, тебя спросятъ: здоровеньки ли вы? что новенькаго? Здоровъ я, — это видно сразу, иначе бы не пришелъ; но ужъ таковъ обычай у русскихъ людей, что надо справляться о здоровьи. Что же касается до новостей, то я ихъ почти не зналъ, потому что читалъ только журналы. Ну, и скажешь: не знаю, покрасишь, неловко какъ-то сдѣлается, что я новостей не знаю. Спросить мать еще что-нибудь, отвѣчу, что придется, а потомъ и сядишь да куришь папиросы. Всѣ молчать и ты молчишь, тошно становится, досадно, что я не умѣю занять ихъ, что пожалуй еще сочтутъ меня глупымъ, хочется уйти, а танетъ къ стулу... Сядешь и опять только смотришь то на мать, то на дочь. Тошно становится, встанешь и берешь шапку. — Вы куда? — Домой. — Что вамъ дома дѣлать? Посидите. — Некогда, скучно. — Да посидите, Петръ Ивановичъ! — скажетъ она. — Согласисься и опять сядишь молча. Не то бывало съ другими мужчинами, которые приходили къ матери Лены. Это были все женихи. Они прямо высказали это, не смотря на то, что двое изъ нихъ служили въ одномъ мѣстѣ, жили на одной квартирѣ, а третій уже собирался жениться въ третій разъ.

Одинъ изъ нихъ былъ канцелярскій, а другой вольнонаемный писецъ, сосланный сюда за какія-то мошенничества, о которыхъ онъ рассказывалъ очень горячо. Получали они жалованья по пяти рублей и пробавались различными доходами. Я замѣтилъ въ

нихъ большую испорченность: они только и говорили, что о какихъ-то женщинахъ да открытыхъ домахъ, и старались перехватать другъ друга, кто изъ нихъ имѣлъ больше успѣха. Объ Ленѣ они разсуждали съ такими грязными намеками, что даже мнѣ обидно за нее дѣлалось.

Мнѣ захотѣлось спасти эту дѣвушку отъ соблазна и откровенно переговорить съ нею и матерью. Но какъ начать? Въ мою башку засѣла глупая мысль: ужъ не торгуется ли мать дочерью? Я твердо рѣшился высказать это обѣимъ.

Однажды я пришелъ къ нимъ и засталъ Лену одну. Она, кажется, была рада, что я пришелъ.

— Гдѣ мамаша?

— Ушла куда-то, скоро будетъ.

— Ничего, если она меня застанетъ?

— Полноте, Петръ Ивановичъ! она васъ очень любитъ.

— Это вы что починаете?

— Манишку Сергѣю Ильичу... А что?

— Такъ... Елена Павловна, мнѣ бы съ вами много надо поговорить, да негдѣ.

— И мнѣ бы хотѣлось.

— Такъ давайте, мы люди давно знакомые. Скажите, пожалуйста, что это за мужчины къ вамъ ходятъ?

— Женихи! — и она разсѣялась, но потомъ какъ будто ей досадно стало.

— Это женихи плохіе: я говорилъ съ ними.

— Я знаю. Да что дѣлать, если мамаша принимаетъ ихъ.

— Зачѣмъ она принимаетъ?

— Не знаю.

— Вѣдь она не хочетъ васъ выдать за нихъ?

— Нѣтъ. Сватался какой-то при мнѣ, да я сказала, что не хочу замужъ. Я лучше въ монастырь пойду. Надоѣло мнѣ жить-то даже, Петръ Ивановичъ, — моя мать мнѣ даже опротивѣла... — проговорила она съ досадой.

Мнѣ жалко было бѣдную дѣвушку; сердце билось сильно. Я злился.

— Терпите, старайтесь какъ-нибудь все сносить, — сказалъ я съ желчью.

— Да тошно жить-то. Кромѣ того, что она заливаетъ меня работой и ругаетъ съ утра до вечера за какое-то неумѣнье, она коритъ меня еще тѣмъ, что ко мнѣ ходятъ мужчины.

— Пусть ее коритъ. А вы сдѣлайте вотъ что: если придетъ какой-нибудь мужчина, которымъ она попрекаетъ васъ, вы скажите матери зачѣмъ, молъ, вы принимаете его? прогоните его.

— А если онъ станетъ говорить ей что-нибудь худое про меня?

— Не посяжетъ. А если станетъ, плюньте ему въ поганую рожу.

— Это не хорошо.

— А они хорошо дѣлаютъ?

Пришла мать на-веселѣ. Напились чаю. Я приступилъ къ дѣлу.

— Въ прошлый разъ я былъ у жениховъ вашей дочери, — сказалъ я ей, и узналъ, что это за люди.

— Что же они?

— Они рассуждаютъ объ Еленѣ Павловнѣ очень скверно, — и я рассказывалъ ей все, что слышалъ отъ нихъ.

Мать озлилась, обругала ихъ, выхватила манишку изъ рукъ Лены и, швырнувъ ее на полъ, начала бранить Лену.

— Елена Павловна невиновата. — Больше я ничего не могъ ей сказать, потому что она обругала бы и меня, а пожалуй и прогнала бы. Съ этихъ поръ я не видалъ въ ихней квартирѣ мужчинъ-женеховъ. Объ Ленѣ я такъ рассуждалъ: что она дѣвушка честная, но неразвитая. Ей нужно много читать, многое растолковывать. И сталъ я ходить къ нимъ рѣже, читалъ книги, но говорить съ ней мнѣ такъ откровенно, какъ въ прошлый и въ первый разъ въ жизни, больше не приходилось, потому что мать ея постоянно сидѣла съ ней, и если нужно было что-нибудь купить въ лавкѣ — посылала ее. Было разъ предложеніе пройтись съ ними по бульвару, но я отказался, потому что не имѣлъ намѣренія жениться, а въ Орѣховѣ люди были такого понатія, что если молодой человѣкъ ходитъ съ дѣвицей, то онъ или женихъ, или любовникъ, или просто словилъ гдѣ-нибудь въ темномъ углу.

А любовь, проклятая, все болѣе и болѣе усиливалась. Идти къ нимъ хотѣлось каждый день, но только-что пойдешь, дойдешь до ихъ улицы, подумаешь, что мнѣ тамъ надо? Озлишься, что она не одна, и вернешься назадъ. Но какъ ни удерживаешь себя, а черезъ мѣсяцъ опять идешь туда и опять зѣваешь, и проклинаешь себя за то, что идти бы вовсе не слѣдовало.

Въ скоромъ времени я поссорился съ дѣдомъ и нанялъ себѣ отдѣльную квартиру. Въ домѣ, въ которомъ я поселился, были двѣ комнаты съ печью и кухня, тоже съ печью и полатами. Въ первой комнатѣ помѣщался я, а въ другой жилъ какой-то бывшій дворовый человѣкъ, занимавшійся прислуживаніемъ въ трактирахъ и помогавшій половымъ сбывать воровскія вещи. Онъ жилъ съ любовницей, которую называлъ своей женой, и которая даже не имѣла паспорта. Такъ какъ въ Орѣховѣ не существовало порядка, чтобы жильцы представляли свои виды въ полицію, то хозяева часто не спрашивали видовъ отъ жильцовъ, одѣтыхъ прилично. Скажетъ жилецъ, что онъ оставной губернской секретарь, хозяинъ и считаетъ его за хорошаго жильца, лишь бы онъ платилъ деньги хорошо. Уже послѣ оказывается, что жилецъ — бѣглый солдатъ. Крюковъ, квартирантъ рядомъ со мной, приходилъ домой поздно, пьяный, билъ свою жену чѣмъ попаало, ругалъ хозяина и корилъ свою мать-старуху тѣмъ, что она вѣстъ его хлѣбъ. Какъ ни работала его любовница, какъ ни добывала деньги мать нищенствомъ и мытьемъ половъ, онъ всѣ деньги проигрывалъ на бильярдъ, пропивалъ и не являлся домой по недѣлѣ. Были тутъ и другіе жильцы: жили мѣщане, семинаристы, дьячки и чиновники. Всѣ эти господа очень не нравились мнѣ, и черезъ мѣсяцъ или мѣсяца я, чтобы избавиться отъ нихъ,

ловко выживалъ ихъ изъ дому и въослѣдствіи завладалъ обѣими комнатами.

Хозяева меня любили; я привыкъ къ нимъ. Оба, мужъ и жена, — молодые, бѣдные, потому что оба лѣнились. Я удивлялся, какъ это хозяинъ можетъ сидѣть сложа руки, тѣмъ болѣе, что онъ умѣетъ писать. Сколько я ему ни совѣтовалъ заняться чѣмъ-нибудь, онъ остался при томъ убѣжденіи, что служить кому бы то ни было онъ не хочетъ, а къ работѣ непривыченъ. Получить онъ отъ меня деньги, пропѣетъ ихъ, а потомъ бьетъ жену, которую трезвый онъ очень любилъ. Къ лѣни ихъ побуждало можетъ быть и то, что ихъ родные привозили имъ мясо, муку, масло и пр.

Въ это время я очень скучалъ. Мнѣ хотѣлось имѣть друга, но такого друга, какого нужно было мнѣ, я не могъ найти. Я рассчитывалъ, что не ошибусь, если женюсь на Ленѣ, но во-первыхъ, я все-таки не могъ узнать ее хорошенько, во-вторыхъ, мнѣ не хотѣлось жить съ ее матерью. Но какъ ни думаешь, а пойдешь къ нимъ. Подойдешь къ ихъ квартирѣ, и вдругъ чувствуешь, что сдѣлается какъ-будто стыдно, хочется уйти назадъ, а правая рука уже дверь отпираетъ... Теперь поздно! Вонъ она сидитъ, шьетъ. Оглянулась на меня, улыбнулась...

— Здравствуйте, Елена Павловна.

— Мое почтеніе. Здоровеньки ли?

— Покорно благодарю. Мамаша дома?

— Спитъ.

— Что подѣлываете?

— Шью.

— Что новенькаго?

Все это было переспрошено уже много разъ и прежде. Послѣ этого настаетъ скука.

— Вы прочитали такую-то книжку?

— Не успѣла... А вамъ надо?

— Нѣтъ еще... Вы бы какъ-нибудь прочитали.

— Никогда.

Опять молчишь. Я курю и смотрю на нее. Хороша ее головка: и волосы, и лобъ, и лицо хороши.

— Что подѣлываете? — спросить вдругъ она.

— Читаю. Я вотъ что вычиталъ, — я рассказываю, что вычиталъ. Она молчитъ и кажется, что ей это не нравится. Она любила читать и слушать только смѣшное; а же смѣшное не умѣлъ рассказывать.

— Вы поняли?

— Что?

— Что я говорилъ.

Она покраснѣетъ и скажетъ: нѣтъ; мнѣ досадно сдѣлается.

— Объ чемъ вы это говорите, — скажетъ мать, выйдя изъ другой комнаты, и поздоровается.

Мать была со мной очень любезна и намекала, что ей хотѣлось бы, чтобы я женился на Ленѣ. А я сильно боролся: жениться, или нѣтъ. Написалъ я дядѣ объ этомъ, тотъ отвѣтилъ, что онъ мнѣ принцетъ богатую невѣсту, но впрочемъ не запрещалъ.

Были Ленины именины; я былъ у нея. Мать выпивши, дочь скучная. Ъли орѣхи, играли въ карты, въ дурачки. Мать угостила меня водкой, и я, захмѣлѣвъ порядочно и набравшись храбрости, вызвалъ ее въ другую комнату и сказалъ ей о своемъ намѣреніи.

Мать обрадовалась, но сказала, что она спросит ее согласія и приневолить ее не станеть. За отвѣтомъ велѣно придти дня черезъ два. Оказалось, что я долженъ ей купить шляпку и салопъ, а у меня было денегъ только три рубля. Я вышелъ отъ нихъ точно ошеломленный.

Дорогой я ономинился, что сдѣлалъ глупость. Я даже обидѣлся на себя за то, что началъ съ матери и рѣшился не ходить къ нимъ. Съ этихъ поръ я сталъ заниматься крѣпче, и когда мнѣ хотѣлось идти къ нимъ, я уходилъ къ знакомымъ товарищамъ... Хорошо, что у меня были все новые товарищи и хорошіе знакомые. Я имъ говорилъ, что хочу жениться; они смѣялись надо мной; у нихъ я развлекался и приходилъ домой поздно, большею частью пьяный. А цилъ я не съ гора, а просто баловался, да и товарищи были такіе, что отдѣлаться отъ водки не было никакой возможности.

Черезъ мѣсяцъ я услышалъ, что Лена выходитъ замужъ за фельдшера, человѣка, нѣмцаго свой домъ. Это меня на первый разъ взбѣсило, а потомъ, какъ я одумался, мнѣ стало какъ-то легче. Въ это время я пришелъ къ тому заключенію, что Лена меня не любила, и что я бы раскаялся, если бы женился на ней.

Въ Орѣхѣ одинъ человѣкъ прозвалъ меня самолюбивымъ; дѣйствительно я о себѣ очень много мечталъ: стихи писать мнѣ ничего не значило. Я драмы енталъ съ плеча и думалъ, что я славный сочинитель. Думалъ я, что если я куда-нибудь пошлю въ редакцію свои сочиненія, то тамъ не напечатаютъ только потому, что я не чиновникъ. Хотѣлось мнѣ посоветоваться съ умными людьми, но къ нимъ трудно было подступиться. Правился мнѣ одинъ столоначальникъ палаты, бывшій мой учитель, потому что онъ былъ дѣйствительно умный господинъ. Ему-то я и написалъ письмо такого рода, что я считаю его за умнаго человѣка, уважаю и потому прошу его прочесть одну мою драму. Онъ согласился. Прочитавши драму, онъ сказалъ мнѣ, что содержаніе ея хорошее, но написана она неудачно. Черезъ нѣсколько времени я написалъ письмомъ другому умному человѣку, Павлову, служившему въ палатѣ же, и котораго любилъ предсѣдатель. Онъ растолковалъ мнѣ, какъ писать, и принялъ во мнѣ большое участіе. По его совѣту я написалъ статью для Губернскихъ Вѣдомостей о казенно-палатской бібліотекѣ. Онъ ее поправилъ. Когда я увидѣлъ ее въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, то былъ въ такомъ неопысанномъ восторгѣ, въ какомъ, я думаю, не былъ и дядя, когда увидалъ свое производство въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ. Я чувствовалъ какую-то необыкновенную силу въ себѣ, какъ будто я выше и умѣе всѣхъ казенно-палатскихъ сталъ. Служащіе меня то и дѣло поздравляли. — Показалъ статью предсѣдателю.

Предсѣдатель призвалъ меня къ себѣ.

— Написано хорошо. Это не вы сочиняли?

— Нѣтъ, я.

— Какъ же вы пишете, а меня не спрашиваетесь?

— А развѣ нужно?

— Конечно нужно. Впередъ будете писать, — не смѣйте безъ моего совѣта печатать.

сочиненія е. рѣштинкова, т. II-й.

Я обидѣлся такимъ предложеніемъ и рѣшился не исполнять его. Послѣ этого я завалплъ редактора своими статьями. Онъ не зналъ, что дѣлать съ ними, и только одну изъ нихъ напечаталъ, за которую меня приказные собирались даже поколотить. Когда я сталъ просить у редактора денегъ, онъ сказалъ: „я говорилъ вице-губернатору объ васъ, но онъ не соглашается дать“.

Въ палатѣ всѣ считали меня за сочинителя, но начальство, какъ я подобаетъ быть, обращалось со мной, какъ съ писцомъ, и ухомъ не вело, что у нихъ служить такой герой. Одинъ секретарь только подсмѣивался на всю канцелярію: „вотъ ужъ онъ насъ отчекржитъ въ губерскихъ-то... Только меня пожалуйста не тронь“.

Отчекржить мнѣ ихъ не привелось, а отдѣлалъ меня самого въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ бывшій школьный товарищъ, написавшій въ нихъ много статей и бывшій уже теперь повѣреннымъ. Онъ такъ меня отдѣлалъ, что я вингъ слетѣлъ съ высоты своего блаженства: мнѣ совѣстно было и глаза показать на улипу.

Написалъ было я еще одну статью, да ужъ очень рѣзкую. Прихожу я къ редактору, онъ подаетъ ее мнѣ назадъ.

— Я отдавалъ ее совѣтнику губернскаго правленія. Онъ всю ее похерилъ.

Посмотрѣлъ я, — такими толстыми чертами, какъ малякой, псчерчено, точно онъ таракановъ билъ и размазывалъ по бумагѣ, по своего ничего не напсать. Взялъ я назадъ ее и ужъ больше ничего не отдавалъ редактору.

Большинство служащихъ въ палатѣ при мнѣ состояло изъ отцовъ, дѣтей и родственниковъ, такъ что полъ-палаты была родня другъ другу; всѣ они жили своими домами и на судьбу не жаловались. Молодые люди женились рано и очень выгодно. Они женились и на мѣщанкахъ, но только въ такомъ случаѣ, если у невесты былъ домъ или если черезъ нихъ можно было получить въ палатѣ должность. Канцелярскіе чиновники хотя и казались съ виду пріятелями, но всячески старались обидѣть чѣмъ-нибудь товарища, наговорить на него начальнику или выслужиться.

Губернаторъ не любилъ молодыхъ людей, трусливъ ихъ почему-то, и даже хотѣлъ закрыть нашу бібліотеку, но предсѣдатель отстоялъ ее: бібліотека эта была открыта предсѣдателемъ по совѣту одного лица. Открылъ ее пожертвованіями: совѣтники пожертвовали старые журналы, разрозненные, дрянные книжонки, да по подпискѣ соб; или рублей соржкъ; дали сикгака въ пользу бібліотеки п, за вычетомъ расходовъ, получили рублей тридцать. На эти деньги не могли выкупить много книгъ, но все-таки пѣкоторыми періодическими издапія были выписаны. Когда развѣшили выдавать книги постороннимъ, — денегъ собралось больше. Читавшихъ съ перваго разу было очень мало, и большая половина палатскихъ служащихъ не соглашалась платитъ рубля за годовое чтеніе, — у нихъ уже высчитывали силой. Для палатскихъ служащихъ бібліотека была мѣстомъ для куренія, и многіе поговарива-

ли, что не худо бы здѣсь открыть буфетъ съ водкой и закуской. Черезъ два года бібліотека пришла въ такое жалкое положеніе отъ небрежности бібліотекарей и ихъ помощниковъ, книгъ стало такъ мало для постороннихъ читателей, а денегъ еще меньше, — что дѣльные служащіе совѣтовали продать книги и деньги раздѣлить между собою. Для этого бібліотека собирала общія собранія, но дѣло кончилось ничѣмъ. Въ это время я въ губернскомъ городѣ замѣтилъ большую перемену, какъ всѣ выражались. Прежде рѣдкаго жителя можно было вытащить изъ дому къ рѣкѣ, теперь каждый въ шесть часовъ вечера, два раза въ недѣлю, выполняетъ изъ своей норы и поспѣвая идетъ не торопясь на берегъ въ загонъ (загородка). Тамъ, по приказанію губернатора, два раза въ недѣлю играетъ музыка. Это устроилось благодаря сообразительности единственнаго въ этомъ городѣ военнаго генерала (губернатора). Пошелъ онъ на берегъ. Мѣстность понравилась ему. Пошелъ въ другой разъ, третій. Городъ подивился, зачѣмъ это губернаторъ на берегъ ходитъ? Пошли пять человѣкъ и испугались губернатора. Приказалъ онъ сдѣлать загородку и насадить деревцевъ. Городъ понялъ въ чемъ дѣло, и посмѣялся надъ такой штукой. Березки эти скоро обглодали козы, и народъ сталъ ходить къ рѣкѣ, не чувствуя никакого удовольствія, а наблюдая за барями, какъ тѣ ходятъ, какіе на нихъ наряды, не оступится ли кто-нибудь и т. п.; а послѣ гулянья чиновники рассказываютъ дома, какъ какой-нибудь нечѣша наступилъ на *помело* барышни и какъ та обозвала его дуракомъ. Теперь народъ собирается для музыки, большинство смотритъ на музыкантовъ, остальныя ходятъ. Не знаю, какъ теперь, а при мнѣ мелкіе чиновники стѣснялись быть въ загонѣ, потому что тамъ гуляло парадное начальство. Что-бы привлечь еще больше народу, губернаторъ разъ съ ватагою *передовыхъ модъ* города изволилъ спуститься пѣшкомъ съ горы, прокатиться въ лодкѣ, замочить по неловкости свои брюки и опять взбѣжать на гору. Такой штуки отъ него не ожидали, — подивились, и въ другой разъ народу собралось больше, но ужъ штуки не вышло и губернатора въ этотъ день не было. Просвѣщенные люди стали говорить, что теперь всѣ городскія сословія стали сливаться во-едино.

Я въ это время испытывалъ полное чиновническое счастье. Начальство ко мнѣ благоволило и общало въ палатѣ какую-то должность. Дядя радовался, что я получаю уже двѣнадцать рублей. Въ городѣ были у меня пріятели, которыхъ я угощалъ водкой, и самъ угощался ими до положенія ризъ. Но все это — пьянство, карты, пріятель и служба — ужасно мнѣ надоѣло. Были впрочемъ и хорошіе пріятели и говорили красно, либеральничали, называли себя передовыми людьми, но при случаѣ подличали и дѣлали гадости. Станешь имъ говорить, что это нехорошо, — они говорятъ: „нельзя, съ волками жить — надо по-волчьи вить“.

— Въ столицу! — думалъ я. Но какъ ѣхать? Что тамъ дѣлать?

А уѣхать мнѣ очень хотѣлось. Привычный къ холоду и къ равнымъ квартирамъ, я не вѣрилъ различнымъ рассказамъ объ ужасахъ столичной жизни. То-

варищи смѣялись надо мной и называли меня пошлѣнныимъ. Дядѣ я не писалъ объ этомъ. Но ѣхать не было никакой возможности, и я съ ужасомъ представлялъ себѣ свою жизнь въ провинціи и то, что будетъ со мною лѣтъ черезъ десять. Неужели я буду такой же, какъ мой дядя или какъ эти губернскіе чиновники?.. Вся цѣль ихъ жизни заключается въ томъ, чтобы дослужить до пенсіи да отдохнуть отъ тяжелой жизни. А изъ меня видно выйдетъ калѣба на всю жизнь...

Случай скоро представился, и люди прозвали его *дурацкимъ счастьемъ*.

Предсѣдатель нашъ не жилъ въ ладу съ совѣтниками палаты; онъ считалъ ихъ глупѣе себя, хотѣлъ, чтобы они уважали его и слушались. Но они только притворялись, что слушали его и уважали, а за глаза ругали и хвастались передъ бухгалтерами, контролерами и столоначальниками, что они укутутъ предсѣдателя. Остальные служащіе и даже сторожа желали, чтобы онъ провалился. Эта нелюбовь происходила отъ того, что онъ мучилъ хорошихъ переписчиковъ, ругалъ писцовъ, столоначальниковъ и сторожей, и вообще со всѣми даже съ секретаремъ обращался: „эй ты“! Но при всемъ этомъ онъ хотѣлъ сдѣлать служащимъ много полезнаго, только это полезное выходило у него въ грубой формѣ. Сидитъ онъ въ своемъ кабинетѣ и вдругъ призываетъ секретаря: „Эй ты, какъ тебя?... Ну, напиши мнѣ проектъ... такого рода, какъ бы тебѣ сказать?... Ну, однимъ словомъ я хочу устроить, чтобы чиновники шили себѣ платье дешевле... Да живо... Понялъ?“. Секретарь былъ у насъ смиренный; предсѣдателя онъ всегда боялся; закричитъ предсѣдатель: „позвать секретаря!“, онъ и бѣжитъ въ кабинетъ, а какъ предсѣдатель засыплетъ его словами, онъ и растеряется. Кромѣ этого секретарь зналъ хорошо только свою часть по канцеляріи, и всѣ проекты были для него мученьемъ. Скажетъ секретарь: „понялъ“, и выйдетъ растерявшимся. Сидитъ онъ на свое мѣсто и начнетъ думать. Члены пристають къ нему съ разными посторонними вопросами, а онъ боится позабыть, что ему говорилъ предсѣдатель. Члены подсказываются.

— Что, какво?

— Ахъ, отстаньте!..

— Что онъ опять?

— Да вотъ какую-то чуку выдумалъ: платье шить хочеть.

Члены хохочутъ.

— Кому?

— Чортъ его знаетъ кому... Ничего не понялъ.

Пойдетъ въ канцелярію и проситъ дѣло, а какое ему нужно дѣло, самъ не знаетъ. Дашь ему какое-нибудь дѣло. Онъ поддержитъ его въ рукахъ, очнется и скажетъ: „нѣтъ ли въ архивѣ вотъ какихъ подобныхъ дѣлъ?“.

— Какихъ?

— Да чтобы тамъ были проекты какіе-нибудь.

Не поймутъ секретаря, смотрятъ на него, думаютъ: „чего же ему надо?“.

— Скорѣе! Ахъ, право! — И уйдетъ назадъ въ

присутствіе. Пойдешь въ архивъ, спросишь архивариуса, тотъ самъ ничего не знаетъ, такъ что если мнѣ какое нужно дѣло, онъ отпираетъ архивъ и говоритъ: „Бери хоть всё, чортъ съ ними, а я почему знаю, какія такія у меня дѣла и гдѣ какое лежитъ“?... Пойдетъ секретарь самъ къ архивариусу и вернется ни съ чѣмъ. Станетъ рыться въ законахъ и не найдетъ ничего подобнаго въ законѣ, и зазоветъ двухъ-трехъ бухгалтеровъ, начавшихъ службу съ нимъ въ палатѣ съ копистовъ. Тѣ кое-что смыслятъ и посоветуютъ ему самому сочинить проектъ, да спросить какого-нибудь совѣтника, какъ лучше сочинить.

А такихъ проектовъ предсѣдатель много заказывалъ, и одни изъ нихъ или сбывались предсѣдателемъ, или сочинялись съ помощью бухгалтеровъ и столоначальниковъ черезъ повода.

Такъ и теперь предсѣдатель задумалъ два огромныхъ проекта: увеличить жалованье служащихъ палаты и ея вѣдомства и основать при палатѣ сберегательную кассу. Кромѣ этого онъ задумалъ наградить человѣкъ пятнадцать орденами и деньгами и выпросить въ палату другихъ совѣтниковъ. Два проекта были извѣстны не только въ палатѣ, но и во всей губерніи; въ палатѣ за это предсѣдателя прозвали всемогущимъ и самодуромъ, а въ губерніи удивлялись его уму. Остальное онъ держалъ въ секретѣ. — Когда было все готово, предсѣдатель объявилъ, что онъ ѣдетъ въ Петербургъ и желаетъ проститься со всѣми чиновниками.

Раньше этого я часто совѣтовался въ разныхъ дѣлахъ съ своимъ ближайшимъ начальникомъ, Павловымъ, котораго очень любилъ предсѣдатель. Онъ былъ человѣкъ неглупый, смыслилъ кое-что въ наукахъ, умѣлъ ловко осмѣять кого угодно въ палатѣ и заинтересовать разговоромъ кого угодно. Заѣхавши сюда изъ-за тысячи верстъ, потому что въ палатѣ служили его братья, онъ по протекціи ихъ скоро попалъ на должность помощника. Другой должности повыше ему пришлось бы долго ждать, потому что у совѣтниковъ были на примѣтѣ люди, давно служившіе въ палатѣ. Но вотъ пріѣхалъ предсѣдатель; Павлову какъ-то разъ случилось нести къ предсѣдателю бумаги. Предсѣдатель хотѣлъ его срѣззать на словахъ, но Павловъ былъ не робкій, самъ закидалъ словами предсѣдателя и сбивалъ его фактами. Съ этихъ поръ предсѣдатель такъ довѣрился Павлову, что не могъ жить безъ него и постоянно съ нимъ совѣтовался. Павловъ меня полюбилъ за честность и еще болѣе за то, что я работалъ въ палатѣ за него, такъ какъ онъ ничего не дѣлалъ, а былъ только чѣмъ-то въ родѣ адъютанта предсѣдателя.

Въ палатѣ я работалъ много, послѣ обѣда спалъ, потомъ пилъ чай полчаса и въ это время дома занимался палатной работой. Читать приходилось только урывками. Станешь писать дневникъ — лѣнь, изъ головы ничего не лѣзетъ. Попишешь, попишешь и сходишь въ нитеную лавочку, выпьешь рюмку водки. Больше всего я боялся оступѣть и сдѣлаться дуракомъ. Кромѣ этого мнѣ страшно опротивѣло губернское общество. Мнѣ хотѣлось ѣхать въ Петербургъ для того, чтобы поучиться и поумнѣть. Каждую недѣлю я видѣлъ въ городѣ пріѣзжающихъ

столичныхъ жителей, и всѣ эти люди очень хвастались тѣмъ, что они знаютъ много такого, чего не знаютъ въ провинціи. Но не нравилось мнѣ одно въ этихъ людяхъ: пріѣдетъ человѣкъ изъ столицы, задаетъ всѣмъ шику, говоритъ свысока: „пожалуйста, батюшка, любезнѣйшій“, и тому подобное; рисуется, особенно коверкаетъ свою походку, когда говорить, машетъ руками или дѣлаетъ ими тактъ къ каждому слову, и на все смотритъ съ презрѣніемъ. Всѣ эти манеры провинціалы перенимали отъ столичныхъ, и слово „батюшка“ вошло въ разговоръ начальниковъ, и служащіе стали коверкать походку и махать руками при разговорѣ, что выходило очень смѣшно. Провинціалы, уѣзжавшіе въ столицу по какимъ-нибудь дѣламъ, привозили домой много пыли; къ нимъ стекались братья съ товарищами, выспрашивали у нихъ столичныя новости и, по случаю пріѣзда своего товарища, устраивали для него вечеръ. Мнѣ не случалось бывать на такихъ провинціальныхъ вечерахъ, и что тамъ дѣлалось, — я судить не могу. Но на гуляньяхъ эти господа старались казаться какими-то новыми людьми; для насъ, молодыхъ людей, жившихъ только въ одномъ губернскомъ городѣ, они казались очень смѣшными. Мы имѣли знакомыхъ человѣка два-три студентовъ, жившихъ здѣсь исключительно уроками, и они намъ кружили головы столичною жизнью. — Тамъ настоящій западъ, тамъ дверь въ Европу, оттуда просвѣщается Россія. Тамъ только и можно жить образованному, умному человѣку; тамъ только и можно жить свободно, свободно мыслить и разсуждать, тамъ всякому провинціалу можно поумнѣть и найти настоящую дорогу.

— Но какъ жить человѣку безъ средствъ?

— О, тамъ можно найти какое-нибудь занятіе, наприимѣръ уроки, службу въ частныхъ конторахъ. Бѣдному человѣку тамъ всякій помогаетъ.

Были и другіе совѣтники, которые говорили, что бѣдный человѣкъ тамъ не пропадетъ и даже даровую пищу найдетъ, наприимѣръ гдѣ-то у Демидова. Мнѣ хотѣлось ѣхать въ Петербургъ не для службы, а учиться, но у меня не было денегъ. Просить денегъ не у кого, и я думалъ, что въ такомъ большомъ городѣ не скоро найду частныя занятія; учить... но чему я, провинціалъ, буду учить столичныхъ?... Смѣшно. Все-таки я днемъ и ночью мечталъ о Петербургѣ. Во снѣ я видѣлъ себя въ какомъ-то большомъ городѣ, или собирался куда-то ѣхать. Сталъ я говорить о своемъ желаніи Павлову, тотъ смѣялся надо мной и обѣщалъ мнѣ выхлопотать въ палатѣ хорошую должность. Поехалъ я къ предсѣдателю и высказывалъ свое желаніе.

— А отчего вамъ здѣсь не живетъ?

— Надоѣло, учиться хочется.

— Вотъ глупости. Живите-ка, батюшка, здѣсь, а нечего глупости говорить... Ну, какъ вы тамъ будете жить?

— Вѣдь живутъ же люди.

— А, вамъ совѣтникомъ хочется пріѣхать сюда! Онъ засмѣялся и послалъ меня въ палату.

На предсѣдателя нечего было надѣяться. Хотѣлъ я подать прошеніе о переводѣ въ какое-нибудь министерство, но нашелъ это нелѣпностью. Пришлось

служить въ палатѣ. И я рѣшилъ, что лишь только у меня будетъ сто рублей непремѣнно уѣду въ Петербургъ, а для этого и въ отставку выйду.

Передъ отъѣздомъ председателя чиновники собрались послѣ обѣда въ библіотеку. Собралось ихъ человекъ сто. Чиновники собирались только потому, что имъ приказывали собраться, и смѣшно было видѣть эту огромную толпу разноманерныхъ характеровъ въ разнокалиберныхъ костюмахъ. Всѣ они какъ будто удивлялись и радовались, что собрались сюда въ одну массу не для занятій, а для чего-то важнаго, и никто не сознавалъ здѣсь того, что и отъ него требуется частичка голоса, частичка знанія. Каждый говорилъ, что хотѣлъ: одинъ говорилъ о начальникѣ, другой смѣялся надъ товарищемъ и проч. Вонъ какой-то служащій вытаскиваетъ бумажку, на которой написано кѣмъ-то: „смири, смири, смири, Владычице“, и говоритъ: „смотрите, что Крюковъ написалъ“. Его окружаютъ человекъ десять служащихъ и подзываютъ Крюкова, смѣются надъ нимъ, что онъ передъ началомъ занятій всегда пишетъ эти слова, чтобы не обращать вниманія на насмѣшки и больше сработать... Вонъ чиновники контрольнаго отдѣленія состязуются съ чиновниками отдѣленія казначействъ: „вы что?—А вы дрянй! Вы взяточники и совѣтникъ вашъ плутъ.—И вы хороши. Нашъ совѣтникъ золото! славный человекъ. Чего вы толкуете! нашъ ревизскій умѣе вашихъ, и мы всѣ умнѣ васъ.—Вотъ ужъ!“. И т. п. Всѣ кричатъ, каждый стоитъ за свое отдѣленіе, готовъ драться и каждый хочетъ выказать свои способности, свой умъ, но не можетъ,—его перекрикиваютъ. Хаосъ необъяснимый и никто этимъ не обижается, только одинъ сторожъ стоитъ въ дверяхъ и ухмыляется. Такъ вотъ и кажется, что ему хочется сказать: „экъ ихъ! Всѣхъ бы связать на одно лыко да въ воду спустить, а то какъ люди кричатъ о чемъ-то; сорять только погаными напиросками!“

Но вотъ вошелъ въ прихожую председатель съ Павловымъ; сторожъ бросился къ нему снимать шубу, въ комнатѣ вибрируетъ все смолкло; писцы и помощники стали застегивать пуговицы у сюртуковъ, многіе высморкались и стали къ стѣнѣ. Председатель вошелъ въ комнату въ выцмундирѣ, на которомъ красовались четыре ордена. Онъ поклонился и расшаркался. Ему поклонились всѣ, многіе чувствовали неловкость.

— Садитесь, господа, безъ церемоній.

Совѣтники, столоначальники, бухгалтеры и контролеры сѣли за огромный столъ; писцы не двигались отъ стѣны.

— А вы?

Многіе замаялись, придвинулись ближе къ стѣнѣ и никто ничего не сказалъ. Председатель и Павловъ стояли у конца стола. Председатель взялъ свертокъ отъ Павлова и началъ рѣчь:

— Господа!... Я васъ собралъ сюда для того, чтобы... какъ вамъ сказать... для того, чтобы заявить вамъ мою искреннюю, задумевшую благодарность въ томъ благомъ дѣлѣ, какое я, при помощи вашей, могъ осуществить... Правда, мнѣ много стоило труда про-

будить васъ отъ рутиннаго состоянія, но я все-таки сдѣлалъ для васъ кое-что.

Онъ остановился. Всѣ смотрѣли на него, какъ на что-то особенное; многіе ничего не понимали, человека два-три улыбнулись.

— Тутъ не надъ чѣмъ смѣяться... Я надѣюсь, вы останетесь мнѣ много благодарны... Теперь, уѣзжая въ Петербургъ, я хочу выхлопотать для васъ много полезнаго, и, если Богъ поможетъ мнѣ, вы будете счастливы. Вотъ я хочу выхлопотать вамъ прибавку жалованья, хочу основать сберегательную кассу на социальныхъ началахъ... Что вы скажете на это?... Господа!...

Совѣтники пошевелились, посмотрѣли другъ на друга, столоначальники и прочіе посмотрѣли на совѣтниковъ, писцы — кто въ окна, кто на совѣтниковъ, и никто ничего не сказалъ.

— Я васъ спрашиваю, господа.

— Это должно быть хорошо, только тово... — сказалъ старшій совѣтникъ.

— Итакъ, я ѣду въ Петербургъ и надѣюсь много для васъ выхлопотать. Но мнѣ бы не хотѣлось служить... здѣсь; хоть и жаль, да дѣлать нечего... А можетъ быть я приѣду назадъ... Прощайте!

Онъ поклонился и пошелъ назадъ. Кто-то сказалъ ему вслѣдъ: „покорно благодарю“. Павловъ обидѣлся за собраніе и сказалъ:

— Что же вы, господа, не поблагодарили его?

— За что?

— Какъ за что? А библіотека развѣ худое дѣло?

— Тебѣ она хороша — ты библіотекаръ, да еще съ нимъ ѣдешь, ну и благодари, — сказалъ одинъ бухгалтеръ. А другой бухгалтеръ еще лучше выразился:

— А я думалъ, что онъ насъ водкой угоститъ передъ отъѣздомъ; а то, вишь ты, проститься захотѣлъ! Невидаль какая...

Надъ этимъ разсмѣялись громко и всѣ, недобольные чѣмъ-то, разошлись по домамъ, говоря, что председателю кто-то сочинилъ рѣчь, да и тутъ-то онъ не умѣлъ ее хорошенько сказать. Только потревожилъ ихъ напрасно, а то спали бы себѣ славно...

Когда председатель уѣхалъ съ Павловымъ, а чувствовалъ въ палатѣ какую-то пустоту, чего-то недоставало въ ней. А недоставало двухъ людей: председателя, который кричалъ и мучилъ служащихъ, и Павлова, который развлекалъ служащихъ своими разговорами. Мнѣ стало досадно, что они уѣхали, а я долженъ киснуть въ этомъ городѣ.

Послѣ отъѣзда председателя палата словно повернулась вверхъ дномъ. Съ перваго раза бросился въ глаза безпорядокъ, а потомъ для служащихъ настала какой-то праздничекъ; одинъ только секретарь по-прежнему работалъ, какъ волъ, чуть не за всѣхъ совѣтниковъ. Однимъ словомъ безначаліе началось страшное: каждый совѣтникъ дѣлалъ, что хотѣлъ, и не слушалъ другого; дѣла стали запускаться, чиновники начали пьянствовать; хотѣли окончательно закрыть библіотеку.

Такъ продолжалось два мѣсяца, и о председателѣ

всѣ забыли; даже секретарь, который, какъ ни старался вразумить совѣтниковъ, что надо дѣлать, — махнулъ на все рукой и сталъ меньше заниматься. Работы въ канцеляріи было много, и такъ какъ я исправлялъ должность протоколиста и хранилъ ключи отъ шкафа съ дѣлами канцеляріи, то секретарь часто посылалъ за мной.

Разъ у меня послѣ обѣда были гости и я самъ былъ выпивши. Прибѣгаетъ сторожъ и говоритъ: „секретарь зоветъ сію минуту, съ нимъ неловко что-то“... Прихожу я въ присутствіе. Секретарь сидитъ блѣдный, дѣла разбросаны по полу. Я думаю: „не сходить ли за докторомъ?“

— Батюшка, Петръ Ивановичъ, помощи — пропали...

— Что такъ?

— Ахъ, бѣда-бѣда!..

И секретарь закрылъ лицо руками.

— Да что такое?

— Ревизоръ вѣдь ѣдетъ, завтра... ночью будетъ... и онъ вытаращилъ на меня глаза. Меня покорило, но въ головѣ блеснула мысль: „я въ Петербургъ буду проситься“.

— Вотъ я письмо отъ предсѣдателя получилъ... Накликалъ на насъ бѣду!.. Пишетъ: „ужъ ревизоръ уѣхалъ“... Ахъ, окаяніа!..

— Такъ что же? У насъ все хорошо, развѣ что въ другихъ отдѣленіяхъ.

Это его успокоило, но не совѣтъ.

— Охъ, не говорите! Что у насъ хорошаго-то? Ахъ, пропалъ я! Гдѣ Кириловъ?

— Онъ на заводѣ.

— Ахъ, какъ бы за нимъ сходить?

— Да сегодня воскресенье: онъ, я думаю, въ лѣсу, а идти-то четыре версты.

Онъ никогда не заглядывалъ въ шкафъ. А въ шкафу дѣла лежали, какъ попало, и ихъ могъ найти только я одинъ. Описи у насъ не было. Я съвадилъ на заводъ и привезъ вольнонаемнаго писца канцеляріи Кирилова, сильно хмѣльного. Съ нимъ и съ секретаремъ я провозился до пятого часа утра, перебирая дѣла, которые были въ большомъ беспорядкѣ.

Такого сюрприза, какъ ревизоръ, да еще отъ министра, никто не ожидалъ. Для секретаря это было просто какою-то смертію съ острою косою, и онъ думалъ, что его непременно отдадутъ подъ судъ тѣмъ болѣе, что онъ никогда не видалъ въ палатѣ ревизоровъ. Вся жизнь его была трудная, особенно когда онъ сдѣлался секретаремъ; — поневолѣ растеряешься. Цѣлый мѣсяцъ мы приводили дѣла въ порядокъ и кое-какъ настроили ихъ, за то перепутали бумаги, отшивъ ихъ изъ одного дѣла и пришивъ къ другимъ, и въ канцеляріи остановилось текущее дѣлопроизводство. Хорошо еще, что ревизоръ долго заставлялъ ждать себя.

Когда секретарь на другой день послѣ полученія предсѣдательскаго письма объявилъ въ палатѣ о ревизорѣ, прибавивъ, что ревизоръ человекъ строгій, что гдѣ онъ ни ревизовалъ, вездѣ, какъ саранча, оставилъ послѣ себя слѣды, — то многихъ такъ поразила эта вѣсть, что они захворали. Въ городѣ заговорили всѣ, что наконецъ-то и на казенную палату придетъ строгій судья и этотъ судья моравить и разорить до осно-

ванія всю палату. Наконецъ совѣтники пришли къ тому заключенію, что бѣду надо какъ-нибудь поправить; взятку ревизоръ не возьметъ, нужно дѣла привести въ порядокъ, но ихъ очень трудно было приладить.

— Ты что, приготовился? — спрашиваетъ бухгалтеръ контролера.

— Наплевать бы я. Есть мнѣ когда!

„Хитрить“ — думаетъ бухгалтеръ; погоди, какъ онъ тебя вздуетъ. Вотъ меня такъ не за что, — у меня все на отлѣчку.

— Я, братъ, какъ пріѣдетъ ревизоръ, въ больницу уйду, — говоритъ одинъ столоначальникъ другому.

— Ну, и шалишь. Ты въ больницу и я въ больницу; а подъ судъ — такъ обоимъ подъ судъ.

— Ну, вѣтъ. Я ужъ обдѣлалъ это дѣло въ канцеляріи...

Столоначальники возненавидѣли столоначальниковъ, бухгалтеры издѣвались надъ бухгалтерами, — словомъ, всѣ ожесточились другъ на друга, завидовали, желали, чтобы собрату было хуже; но все-таки каждый боялся за себя. Больше всѣхъ трусливъ секретарь, и надъ нимъ издѣвались бухгалтеры, и онъ надъ ними.

— Вы не бойтесь; мы видѣли всякія ревизіи: ревизоры только пугать умѣютъ.

— У насъ все такъ! А какъ будетъ туго, вы и скачете горошкѣмъ.

— Неужели вы боитесь?

— Если бы можно, я бы въ отставку вышелъ.

— Да вамъ-то чего бояться?

— Какъ чего? — Скажете: „ты секретарь, ты чего смотрѣлъ?“. Вотъ я служилъ!.. Трнадцать три года прослужилъ, да какъ подъ судъ отдасть.

Секретаря всѣ любили; соглашались съ нимъ, что дѣло дѣйствительно дрянъ.

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ пріѣзда ревизора. Какъ пріѣдетъ онъ, думалъ я, погляжу, что это за штука такая: если молодой да ласковый, я буду просить его, чтобы онъ перевелъ меня въ Петербургъ; если онъ старикъ и злой, я напишу ему прошеніе, а все-таки буду проситься. Что будетъ, то и будь!.. И эта мысль не давала мнѣ нигдѣ покою, но я ее никому не высказывалъ.

Ревизора ждали два мѣсяца, но онъ не изволилъ явиться; не пріѣзжалъ и предсѣдатель. Всѣ палатскіе чиновники, кромѣ секретаря, рѣшили, что ревизора не будетъ.

Наконецъ пріѣхалъ предсѣдатель, объявилъ по отдѣленіямъ, что ревизоръ будетъ на-дняхъ. Пріѣхалъ и Павловъ изъ отпуска.

Была суббота. Въ этотъ день мнѣ слѣдовало дежурить, но я нанялъ дежурить другого служащаго изъ вольнонаемныхъ, а самъ ушелъ къ Павлову. У Павлова я ирядно напоздравлялся и о палатѣ совѣмъ забылъ. Вдругъ пришелъ къ намъ сторожъ и объявилъ, что въ палату пріѣхали три ревизора, и Павлова зоветъ предсѣдатель. Зашелъ я въ палату; тамъ уже было въ сборѣ полпалаты служащихъ. Секретарь бѣгалъ, бѣсился, распекалъ всѣхъ и особенно меня. Но



я плохо понималъ, что тамъ происходило, — мнѣ спать хотѣлось. Помню только, что столоначальники и прочіе подначальные начальники были сами не свои. Далъ мнѣ секретарь переписать что-то; навралъ. Онъ обругалъ меня и велѣлъ снова переписать; я улизнулъ домой и легъ спать. Утромъ мнѣ говорили, что секретарь два раза посылалъ за мной, но меня не могли добудиться, и хозяинъ рѣшился только отдать сторожу ключи отъ шкафа.

На другой день въ палатѣ всѣ служащіе были въ сборѣ съ десяти часовъ; изъ нихъ многіе пришли даже часу въ шестомъ. Всѣ трусили. Совѣтники велѣли всѣмъ застегнуть сюртуки наглухо, причесать волосы и чѣмъ-нибудь заняться. Предсѣдатель самъ осматривалъ служащихъ и дѣлалъ замѣчанія: одному — у тебя волосы длинные; другому — брюки прорваны; третьему — двухъ пуговицъ форменныхъ недостаётъ.

Наконецъ пришелъ ревизоръ, низенькій, старый, вострый человекъ; съ нимъ были два помощника. Онъ важно оглядѣлъ стѣны, служащихъ, разспросилъ о столоначальникахъ, отдалъ предписаніе, велѣлъ написать ему вѣдомости о числѣ дѣлъ и бумагъ, важно прошелся по всѣмъ отдѣленіямъ и назначилъ ревизию съ завтрашняго дня.

Можно представить себѣ, въ какомъ неопisanномъ ужасѣ были столоначальники и прочіе господа; они просто тряслись отъ испугу.

— Вотъ онъ, дьяволъ!

— Да! оттуляли, чортъ возьми!..

Не зная, что дѣлать, они отпирали шкафы. Отворялъ шкафъ и смотрять: — какъ взяться, съ которой полки? Чортъ его знаетъ, какое дѣло онъ спросить. Зналъ бы да вѣдалъ, вотъ это бы привелъ въ порядокъ... Вытащить человекъ дѣло, посмотреть на него, сдѣлаетъ плачевный видъ, поскоблитъ на листахъ кое-что и бросить его назадъ. — Такъ прошло время до вечера. Всѣмъ хотѣлось отличиться передъ ревизоромъ, но какъ и чѣмъ? Мучило всѣхъ еще то: съ какого отдѣленія начнетъ онъ ревизию? А мучило ихъ это потому, что по началу на это отдѣленіе онъ сильно нападетъ, а потомъ ему скучно сдѣлается и онъ уже нехота будетъ ревизовать. — Одинъ столоначальникъ подалъ прошеніе въ отставку, двое — бухгалтеръ и контролеръ, — прислали рапорты, что они нездоровы...

Началась ревизія съ питейнаго отдѣленія. Прочія отдѣленія успокоились, поздравили наивно питейныхъ съ ревизіей и занялись прилаживаніемъ своихъ дѣлъ. Къ счастью ихъ, ревизоръ ревизовалъ цѣлый мѣсяцъ одно питейное отдѣленіе. Питейные столоначальники говорили, что онъ просто ѣстъ ихъ, но столоначальники были люди храбрые, кончившіе курсъ въ гимназій, и свое дѣло хорошо знали. Съ ними ему легко было возиться и они на каждый его вопросъ отвѣчали беззапѣнчиво. Онъ велъ себя очень любезно со всѣми, помощники его были тоже вѣжливы. Но когда онъ сталъ ревизовать другія отдѣленія, то тамъ открылось много безпорядковъ: столоначальники не знали, что говорить, терялись, носили не тѣ дѣла, тряслись; тутъ-то ревизоръ и показалъ себя! Кричалъ, срамилъ ихъ на всю палату... Такимъ порядкомъ онъ ревизовалъ палату три мѣсяца, и въ

это время мучилъ чиновниковъ своими допросами. старался всячески открыть какое-то зло...

Ревизору нуженъ былъ переписчикъ, но въ провинціи трудно найти такого переписчика, который бы умѣлъ скрывать секреты. А секретарь любилъ меня за то, что я, когда переписывалъ секретныя бумаги, никому объ нихъ не говорилъ. Разъ я переписалъ бумагу; ревизору понравилось; онъ похвалилъ меня за то, что я пишу правильно и разбираю его почеркъ, и онъ избралъ меня переписчикомъ. У ревизора мнѣ случалось бывать часто, и мнѣ каждый разъ хотѣлось высказать ему свое намѣреніе, но все не удавалось.

Въ это время пріѣхали ко мнѣ дядя съ теткой. Дядю назначили почтмейстеромъ и онъ проѣздомъ остановился у меня. Раньше, задолго до его пріѣзда, я писалъ къ нему письма, въ которыхъ я звалъ его къ себѣ въ гости. Разъ какъ-то онъ пріѣзжалъ въ губернский городъ, пришелъ ко мнѣ на квартиру, но меня не было дома. Онъ отыскалъ-таки меня на рыболовствѣ и сдѣлалъ выговоръ за то, что онъ не засталъ меня. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно упрекалъ меня въ какой-то непочтительности къ воспитателямъ; я ему отвѣчалъ длинными письмами. Переписка шла между нами каждую недѣлю, — благо, письма отправлялись даромъ.

По обычаю мнѣ слѣдовало ихъ обнять, какъ только они вышли изъ повозки, но мнѣ показалось это глупостью и униженіемъ. Кое-какъ они выгѣзли изъ повозки, тетка заплакала — вѣроятно отъ радости, — дядя улыбнулся. Они нѣсли такой видъ въ это время, что я сравнилъ ихъ съ деревенскими жителями.

— Вотъ и гости, Петръ Ивановичъ! Примете ли вы своихъ воспитателей? — сказала тетка ласково, но и какъ-то ядовито. Впрочемъ въ голосѣ ея слышалось какое-то горе, на лицѣ отражалось болѣзненное состояніе. Мнѣ жалко ея стало.

— Отчего же не принять, я радъ вамъ.

— То-то. Ужъ не женился ли? — И она улыбнулась.

— Да если бы и женился, такъ жена будетъ рада вамъ.

— Все же...

Дядя улыбался, моргалъ глазами, дѣлъ обвинять меня и говорить: „у, ты мой миленькой!“. Я замѣтилъ, что онъ былъ выпивши.

Когда они вошли въ мою комнату, то тетка замѣтила: „вотъ вы гдѣ поживаете! Какъ же вы живете-то здѣсь?“. Кажалось, этими словами она выражала свое самолюбіе: я вѣдь почтмейстерша.

— По моему — ладно.

Дядя цѣловалъ меня, высказывая, что онъ радуется во-первыхъ тому, что я служу хорошо и получаю порядочное жалованье, а во-вторыхъ ему казалось, что я его принялъ любезно.

Тетка раздѣлась, развязала узелокъ; встала перину и сундукъ. Послѣ осмотра вещей и удостовѣренія, что все цѣло, она сѣла и сказала:

— Не знаешь ли, Петръ Ивановичъ, гдѣ бы мнѣ купить косу къ головѣ?

— На что?

— Да какъ же! Тенерь вѣдь я почтмейстерша, на-



до будетъ съ визитами ѣхать, а у меня волосы почти всѣ выѣзали; скажутъ: какая это чумичка, почтмейстерша-то?—Срамъ... Онѣ вѣдь модницы, осмѣютъ.

Это она говорила тономъ особеннаго достоинства, которымъ хотѣла удивить меня: теперь, молъ, я сама начальница, и потому надо, чтобы въ моей наружности все было хорошо. Я молчалъ.

— Да вотъ еще чепчикъ къ ночи надо купить.

Я сказалъ, что не знаю, гдѣ продаютъ такіе вещи. Стали пить чай.

— Ну, какъ ты служишь?—спросилъ меня дядя.

— Ничего, хорошо.

— Ну, и ладно. Не служи только, какъ отецъ твой служилъ... Главное, будь къ начальству почтительнѣе.

— Да начальство-то всякое есть.

— Ну, все же. Ты знай, что если палочку поставить, да велѣтъ кланяться—и поклонись.

— Ни за что. Вѣдь вы тоже не поклонитесь?

— То я, то ты. Я, слава тѣ Господи, послужилъ, а ты еще только въ люди вышелъ.

— У насъ теперь ревизоръ, и если бы вы были на моемъ мѣстѣ, то убѣдились бы въ томъ, что всѣ наши начальники—дрянь.

— Ты этого не говори... Мнѣ можно говорить, а ты — молодѣе. А ты вотъ лучше къ ревизору подѣляйся.

— Я у него часто бываю.

— Вотъ и прекрасно. Попроси, чтобы онъ тебѣ должность далъ.

— Я думаю, онъ самъ дастъ.

— Ну, и надѣйся! Подъ лежачаго и вода не побѣжитъ, говоритъ пословица. А ты, какъ онъ дастъ тебѣ хорошее мѣсто, попроси его, чтобы онъ опредѣлилъ меня казначеемъ.

— Я и самъ-то еще не знаю: дастъ онъ мнѣ должность, или нѣтъ. Да мнѣ и не хочется просить у него должности.

— Ну, и дуракъ, значить. Ты пойми, что я старъ. У меня только на тебя надежда... А какъ ты должность получишь, старайся деньги копить да чинъ получить—это главное. Потому я тебѣ невѣсту найду богатую... Ты, братъ, заживешь — чудо. И мнѣ будетъ либо; всѣмъ свиньямъ буду говорить: что какого я племянника воспиталъ, а?—Дядя былъ очень веселъ. — Ну, поцѣлуй меня! — Я поцѣловалъ его. Тетка обидѣлась.

— Что же ты меня-то не поцѣловалъ? И обнять не хотѣлъ, какъ мы прѣехали...—проговорила она.

Я поцѣловалъ тетку, но это показалось ей неискреннимъ. Она обидѣлась больше прежняго.

— Ужъ больно ты уменъ сталъ! Другую, вѣрно, вѣсто меня нажилъ.

Мои воспитатели гостили у меня только два дня. Дядя ходилъ въ губернскую контору не иначе, какъ въ мундирѣ, съ шпагой и въ треуголкѣ, старался передѣлать свою походку по-губернски, махалъ руками, начиналъ говорить свысока, но все выходило у него какъ-то смѣшно. Я замѣтилъ, что онъ занимался туалетомъ больше, чѣмъ прежде: мылся дольше, мазалъ волосы помадой и больше прежняго ругалъ начальство. „Теперь я почтмейстеръ, самъ начальникъ!

Мнѣ давно бы слѣдовало быть почтмейстеромъ, а они все трясли съ меня деньги. Да и теперь турнули меня вонъ куда“...

— Теперь вы отдохнете. Тамъ только одинъ разъ въ недѣлю наборъ и одинъ разъ почта приходитъ.

— Да жалованья-то мало: всего одиннадцать рублей. А развѣ я того заслуживаю?

— Все-таки вы теперь хозяинъ.

— Да я теперь долженъ быть первый въ городѣ. Я этикъ судьямъ да городничимъ плевать буду. Они всѣ теперь мнѣ должны кланяться.

Тетка не храбрилась, но она держала себя какъ-то вяло, мало сидѣла, больше лежала и лежа думала. Я замѣтилъ ей, что она тамъ будетъ большой барыней,—она осталась довольна этимъ.

— Слава тебѣ Господи, что я почтмейстерша! Не послѣдняя же я какая-нибудь... Право!

— Вамъ нужно ладить съ тамошними барынями.

— Мнѣ-то? Ни за что. Первая ни за что никому не поклонюсь! Да я и дома все буду сидѣть; гдѣ мнѣ, старухѣ, знаться съ модницами; ихъ, поди, много тамъ.

Дядя купилъ ей косу и чепчикъ. Она приладила это на голову; и въ какомъ восторгѣ она оглядывала себя въ зеркалѣ!

— Ахъ, какъ идетъ!

— Не очень.

— Ты ничего не знаешь. Ты женись напередъ; попадется жена модница—утретъ тебѣ носъ.

— Да это-то къ вамъ нейдетъ.

Она посмотрѣлась въ зеркало, чавкнула губами отъ удовольствія, улыбнулась и стала еще старательнѣе охорашивать свою голову. Въ этомъ нарядѣ и надѣвши хорошее шелковое платье она пошла къ почтовымъ. Шла она странно, точно кто толкалъ ее впередъ: шагнетъ разъ пять, не покажется, словно лава какая; вѣтеръ ее толкнетъ впередъ, то на бокъ, и пойдетъ она скоро, переваливаясь съ боку на бокъ. Пришла она домой недовольная.

— Сидѣть надо иной, скоты, что я почтмейстершей стала.

— Что такъ!

— Платье, говорятъ, у васъ хорошее, чепчики, говорятъ, вы нынче носите.

— Вамъ бы приличнѣе шляпку надѣть — здѣсь вѣдь губернской...

— Я почтмейстерша, мнѣ чепчикъ приличнѣе носить.

— У, дура; я говорилъ тебѣ: надѣнь шляпу, такъ нѣтъ. Ну, кто ходитъ по улицѣ въ чепчикѣ?—сказалъ ей дядя.

— Да вѣдь я платкомъ закидывалась. Всѣ смѣются, а нѣтъ, чтобы радоваться.

Дядѣ и теткѣ не понравилось жить у меня. Имъ показалось, что я не радъ имъ.

— Нѣтъ, какой ты племянникъ!

— Я вамъ готовъ всѣмъ угодить, но если я не имѣю много денегъ, чтобы угостить васъ богато...

— Не угостить, а ты косишься. Ишь, ученъ болъно сталъ. Почитайте, говорятъ, книжку, а мнѣ на службу надо. Плевать мнѣ въ твои книги! Ты, братъ,

мигнешь, а я все вижу. Нѣтъ, братъ, я уѣду и больше ни ногой къ тебѣ!—говорилъ дядя.

Передъ отъѣздомъ я сказалъ дядѣ:

— Мнѣ хочется ѣхать въ Петербургъ.

— За какимъ лѣшнимъ?

— Служить хочу.

— А здѣсь тебѣ еще не служба?..

— Я тамъ доучиваться буду.

— Доучиваться! А меня ты знаешь?

— Здѣсь я не могу доучиться, а тамъ къ этому больше возможности...

— А! тебѣ не нравится съ нами жить. Ишь, дядя старъ сталъ, такъ и не жилъ больше? Чортъ съ нимъ, издыхай онъ, а я, молъ, и знать его не хочу... Безсовѣстный ты эдакой! За это, знаешь, тебя отодрать нужно хорошенько.

— А если я выучившись сдѣлаюсь хорошимъ чело-вѣкомъ, то смогу тогда больше и лучше помогать вамъ.

— Ну-ну!.. Служи-ка, братъ, на одномъ мѣстѣ; ты знаешь: камешокъ на одномъ мѣстѣ обростаетъ.

„Ну, подумалъ я, съ нимъ толковать не стоитъ. Станешь его уговаривать, онъ хуже осянется“. Но все-таки мнѣ не хотѣлось ѣхать безъ его согласія, иначе онъ будетъ думать, что я обижая его. Я замолчалъ, а онъ сталъ мнѣ рассказывать про свою тяжелую жизнь, какъ онъ изъ почталыоновъ сдѣлался почтмейстеромъ, никому не кланяясь, что и всѣ его товарищи, никуда не ѣздя, дослужились до хорошихъ мѣстъ и теперь благоденствуютъ. Я представлялъ себѣ положеніе дяди и то, что онъ рассчитывалъ на меня въ будущемъ, и это онъ отчасти самъ говорилъ мнѣ. Вотъ ревизоръ сдѣлаетъ меня бухгалтеромъ въ палатѣ, рпсовалъ онъ мнѣ мое будущее. Всѣ мнѣ будутъ кланяться. Сердце дядни будетъ радоваться, когда онъ увидитъ меня бухгалтеромъ: „такой молодой—бухгалтеръ! Вотъ, значитъ, ты умный чело-вѣкъ. Всѣ твои сочлененія гроша не стоятъ противъ такой должности. Женнись ты на секретарской дочерѣ, чинъ и домъ получишь... Казначеемъ тебя сдѣлають! Ишь ты! мой племянникъ казначей, а я почтмейстеръ!а?“—и дядя щелкнулъ языкомъ. „Вотъ я и буду радоваться да казать всѣмъ фигу: каковъ, молъ, я, черти вы эдакіе... А то ишь ты, выдумалъ въ Петербургъ, учиться вздумалъ...“.

— Ну-съ, я буду казначеемъ, а потомъ что?

— А какого тебѣ чорта еще нужно?

— Я совсѣмъ оглупѣю тогда, да еще дѣтей дураковъ надѣлаю.

— Ты мнѣ этого не говори. Ты самъ глупъ и больше ничего. А если ты будешь туда проситься, то не знай больше меня, и я тебя знать больше не хочу! Чортъ съ тобой.

„Ладно!“ подумалъ я и, проводивъ дядю, рѣшился при первомъ же удобномъ случаѣ поговорить объ этомъ предметѣ съ ревизоромъ.

Какъ чело-вѣкъ робкій, я боялся высказать ревизору на словахъ свое желаніе и поэтому написалъ ему письмо, въ которомъ подробно изложилъ свое желаніе ѣхать въ Петербургъ, и для удостовѣренія того, что я умѣю сочинять я предлагалъ ему прочи-

тать какую-нибудь свою драму. Ревизоръ прочиталъ письмо при мнѣ и при чтеніи нѣсколько разъ улыбался.

— Такъ вы сочинитель?—спросилъ онъ меня и самъ засмѣялся.

Я покраснѣлъ.

— Что краснѣете? Вы драматическій писатель? ха-ха-ха!..

Я осердился; мнѣ обидно сдѣлалось. Ну, подумалъ я, что я надѣлалъ?..

— Я вамъ скажу, что сочинители всѣ ни къ чему негодный народъ... Впрочемъ я васъ испытую. Приготовьте мнѣ черезъ двѣ недѣли рекрутскій уставъ.

— Очень хорошо.

— Я васъ проэкзаменую. Ступайте!

Когда я выходилъ изъ комнаты, то слышалъ, какъ онъ хохоталъ, рассказывая своему помощнику про меня.

Мнѣ сдѣлалось досадно, что я написалъ ему это письмо.

Когда я сказалъ товарищамъ, что ревизоръ велѣлъ мнѣ приготовить рекрутскій уставъ, они заговорили: „ну, братъ, должность онъ тебѣ хочетъ дать... Экое, подумаешь, счастье людямъ...“. Сталъ я читать законъ,—плохо понимаю; нѣны статьи вовсе не понимаю, да и читать много некогда. Дѣлъ подъ руками не было, посоветываться не съ кѣмъ, и я не знаю, о чемъ меня будетъ спрашивать ревизоръ. Пришелъ я къ нему храбро, думая: если онъ обругаетъ меня и не согласится перевести въ Петербургъ, я поступлю на должность по пароходству, куда приглашали меня за тридцать рублей въ мѣсяцъ.

Ревизоръ спросилъ меня:

— Вы читали рекрутскія дѣла?

— Нѣтъ.

— Отчего же вы не читали?

— Вы велѣли мнѣ читать законъ, а дѣла мнѣ безъ вашего разрѣшенія никто бы не далъ.

— Вотъ вамъ два дѣла. Ступайте въ ту комнату, прочитайте и скажите: какъ, отчего и почему?

Рекрутскія дѣла у меня никогда не бывали въ рукахъ; о рекрутскомъ уставѣ я не имѣлъ никакого понятія. Прочитавши законъ, я узналъ очень немного, но вѣроятно столько же, сколько и онъ зналъ. Теперь мнѣ попадались дѣла уже рѣшенные, и я долженъ сказать о нихъ свое мнѣніе: похвалить палату или нѣтъ. Дѣла были маленькія—на десяти-двадцати листахъ. Читалъ я ихъ два часа и путался на докладахъ, сочиненныхъ тяжелымъ канцелярскимъ слогомъ; мнѣ казалось, что палата поступила вѣрно, по крайней мѣрѣ такъ выходитъ по-человѣчески, да и въ законѣ такъ же писано. Я рѣшился сказать, что дѣла рѣшены правильно,—и угадалъ. Но ревизоръ хотѣлъ сбить меня съ толку нѣкоторыми канцелярскими неправильностями, разными разспросами и указаніями на статьи закона. Я хотя и отвѣчалъ неповоротливо, но попадалъ, на что слѣдовало.

— Теперь я вижу, что вы читали законъ, кое-что смыслите... Вы хотите ѣхать въ Петербургъ, а не знаете, что это за городъ?.. Вы представьте себѣ, что вашъ Орѣховъ, въ сравненіи съ Петербургомъ,—дранной уголь, деревня; тамъ одинъ кварталъ боль-

ше вашего города. Вы мечтаете, что вы гений. Удивительно! Да вы и доклада хорошенько не въ состоянии сочинить, не только что печатать ваши маранья. По-лучше вашего брата сочинители тамъ голодаютъ.

— Перепиской я никому не принесу пользы.

— Врете, вы отечеству принесете пользу.

— Себѣ я приношу только пользу ту, что я получаю жалованье, какъ переписчикъ; а переписываю я не отечеству, а людямъ обыкновеннымъ, какъ и я.

— Вотъ вы и вольнодумствуете. Знаете, что съ вами за это можно сдѣлать?

Много онъ говорилъ мнѣ о томъ, какъ трудно жить въ Петербургѣ бѣдному человѣку, и что я, желая ѣхать туда, возмечталъ о себѣ очень много. Наконецъ, видя мое смиреніе, онъ сказалъ, что приметъ во мнѣ участіе, переведетъ, но съ условіемъ, если я не буду тамъ сочинять; въ противномъ случаѣ, онъ не переведетъ. Чтобы подумать объ этомъ, онъ далъ мнѣ сроку десять дней.

Думать мнѣ было нечего, потому что если онъ согласился меня перевести, то гораздо лучше будетъ для меня, если я скажу ему, что я сочинять не буду. Такъ я и сказалъ.

— Ну, и хорошо. Я васъ переведу и принимаю въ васъ участіе, какъ отецъ. Вы тамъ будете одинокій человѣкъ, соблазна будетъ много. Но помните, что тамъ надо трудиться, а вы съ чистымъ почеркомъ найдете работу. Кромѣ департамента, вы можете заниматься въ кварталѣ. Тамъ дадутъ вамъ рублей восемь. Черезъ два года я сдѣлаю васъ помощникомъ столоначальника... Главное, почитайте меня, ласковы будьте съ служащими и не глядите изподлобья на начальниковъ. Понимаете?

„Вѣроятно, думалъ я, чиновники тамъ почище здѣшнихъ. Ужъ если ревизоръ рассуждаетъ такъ, то что хорошаго можно ожидать отъ его товарищей?“ Однако я очень радовался, что ревизоръ далъ мнѣ слово перевести меня, и сказалъ объ этомъ секретарю. Тотъ былъ тоже радъ и съ своей стороны не утерпѣлъ, чтобы не сказать обо мнѣ чиновникамъ. Вся палата узнала объ этомъ.

— Что, братъ, совѣтникомъ захотѣлось быть?

— Ишь, несидячая птишка!

— Смотри, коли ревизоромъ будешь, не забывай своихъ товарищей: пирожекъ сдѣлаешь, — говорили старики.

— Гдѣ ему... Онъ хоть похвастаетъ.

— Вѣрите вы ему!

— Чего вѣрить, всякій на его мѣстѣ получилъ бы то же.

— Счастье этимъ дуракамъ... Дурацкое это счастье, — завидовали молодые.

— Молчи, — сочинитель... Ужо онъ насъ опишетъ, — говорили тѣ, которые не любили меня.

Послѣ этого ревизоръ скоро уѣхалъ. Мнѣ опять сдѣлалось скучно. Въ надеждѣ, что я можетъ быть скоро уѣду отсюда, я неважколюбилъ палату сильнѣе прежняго. Мнѣ казалось, что я уже доживаю здѣсь послѣдніе дни; работа не шла на умъ, книги плохо читались; я только и думалъ о Петербургѣ: какъ я приѣду туда, какъ я буду жить, каково-то мнѣ тамъ будетъ... Ахъ, какъ бы скорѣе уѣхать туда! Но дни

шли за днями, мѣсяцы за мѣсяцами, городъ все болѣе и болѣе казался противнымъ... Въ палатѣ я уже гордился, важничалъ надъ писцами, капризничалъ, думалъ: „погодите, уѣду же я отъ васъ, досадно вамъ будетъ, проклянете вы мое счастье потому, что всѣмъ вамъ хочется хоть однимъ глазкомъ посмотрѣть Петербургъ...“.

— Ишь, какъ переваливается! А тоже свою персону показать хочетъ, — издѣвались надо мною.

— На-те, молъ, еще моей персоны не доставало...

Прошло три мѣсяца со времени отъѣзда ревизора, и объ немъ въ палатѣ всѣ забыли. Сначала, какъ водится, всѣ перекрестились, пожелали ему всякихъ чертей и болѣзней, пождали два мѣсяца — не сѣять ли какого-нибудь совѣтника съ должности, не отгадуть ли кого-нибудь подъ судъ. Но ничего особеннаго не случилось, и чиновники вошли въ прежнее состояніе, дѣла начали совершаться по-прежнему. Но вотъ на четвертый мѣсяцъ получили въ палатѣ запросъ отъ министерства. Запросъ большой. Чиновники общими силами написали ловкое объясненіе. Отослали его и сказали: „знай нашихъ“ и сдѣлали пирушку... Черезъ недѣлю послѣ этого одного совѣтника перевели въ другую губернію, председателя причислили къ министерству. Чиновники сказали, что ревизоръ щупаетъ старшихъ и стали ждать себѣ бѣды. Поругали на прощаньи самодур предсѣдателя и на прощаньи собрали по подпискѣ денегъ и поднесли ему подарокъ. Секретарь получилъ орденъ, одного бухгалтера сдѣлали совѣтникомъ, двухъ столоначальниковъ отдали подъ судъ, и начался скрежетъ зубный у чиновной палаты. — Погодите, еще не то будетъ! — говорили одни. — Онъ насъ всѣхъ приберетъ! — говорили другіе. — Наконецъ и я получилъ письмо отъ ревизора, которымъ онъ уведомлялъ меня, что я могу теперь подать прошеніе въ такой-то департаментъ и ѣхать, когда будутъ требовать отъ меня формулярный списокъ. Служащіе завидовали мнѣ больше прежняго еще потому, что видѣли письмо ревизора, и напращивались на поздравку. Одно было только сомнѣніе, это то — если тамъ вакансію займѣстятъ другимъ чиновникомъ, не дождавшись моего прошенія? Все-таки я надѣялся на переводъ и съ каждой почтой ожидалъ изъ Петербурга запроса отъ департамента на мое прошеніе. Я написалъ дядѣ, что буду служить въ министерствѣ и черезъ ревизора могу выиграть на службѣ много. А я ѣду на свои деньги, которые я получу отъ лотереи. Въ эту лотерею я задумалъ разыграть старыя книги и подаренные мнѣ дядей часы. Предполагалось получить сорокъ рублей да жалованье. Ѣхать было можно, даже я рассчитывалъ эти деньги употребить на поѣздку назадъ, если меня по какому-нибудь случаю не переведутъ. Дядя все-таки злился и сталъ писать ко мнѣ рѣже.

Прошло четыре мѣсяца и о моемъ переводѣ не было и слуху. Чиновники сначала очень интересовались моимъ переводомъ; потомъ стали сѣяться надо мной.

— Что, братъ, вѣрно подлилъ только?

— Ты, поди, теперь славно поживаешь.

— Не їзди, братъ, послужи съ нами. Пословица говорить: вездѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

И это продолжалось каждый день. На лотерею никто не подписывался. А тутъ повторилась старая исторія, которая едва-едва меня не задержала и не оставила навсегда въ Орѣховѣ.

Какъ-то я шелъ изъ палаты. Вдругъ попадаетесь мнѣ старая знакомая, Степанида Кириловна. Она была жена станціоннаго смотрителя и часто прежде ходила къ матери Лены, жила около нихъ и постоянно пьянствовала.

— Здравствуйте, Петръ Ивановичъ!—сказала она.

— Здравствуйте.

— Давно не видались, сударикъ. Елену Павловну не видали?

— Нѣтъ. А что?

— Да она вѣдь овдовѣла.

— Такъ что же?

— Экой злодѣй... Вѣдь вы ее женихъ были.

— Такъ что же, что женихъ? Вѣдь она все-таки вышла замужъ и между нами не было очень близкихъ отношеній!

— Ну-ну, полноте. Овдовѣла, бѣдняжка! Такая жалость. Мать при смерти.

— Что такъ?

— Да водку все пила,—водянка сдѣлалась. Прогѣдайте.

— Ловко-ли это будетъ?

— Ничего, право. Пойдите теперь!

— Теперь я не могу, потому что сплетничать пожалуй стану.

— А вы не женились? Я слышала вы въ Петербургѣ собираетесь.

— Въ Петербургъ їду, а не женился.

— Ну, вотъ и женитесь.

— Вы, Степанида Кириловна, передайте только Еленѣ Павловнѣ и ея мамашѣ, что я бы зашелъ къ нимъ, да понимаю, неловко. Если это не будетъ неловко, то пусть онѣ извѣстятъ меня.—Она ушла.

Зачѣмъ я сказалъ это?, думалъ я. Если я пойду къ Ленѣ, то опять пробудится моя страсть, опять я буду думать о ней и она обо мнѣ. Теперь она женщина, испытавшая супружескую жизнь, знаетъ всѣ приемы этой жизни, потому что около года была замужемъ. Опять эти ласки и замскиванья... И зачѣмъ эта баба встрѣтилась со мной и наговорила мнѣ столько вздору?

Черезъ день я получилъ отъ Лены записку. Она писала, что мамаша ея рада видѣть меня и даже что-то хочетъ сообщить мнѣ важное.

«Что же это такое важное хочетъ сообщить мнѣ ея мать?, думалъ я всю дорогу. Ужъ не замужъ ли за меня она хочетъ спихнуть свою дочь? Покорно благодарю».

Квартира Лены заключалась въ двухъ комнатахъ съ кухней; другую половину дома занимала теща съ сыномъ-чиновникомъ и дочерью, двѣдцѣти годовъ пятнадцати. Лена сидѣла около больной матери своей и

утирала глаза платкомъ. Мать лежала блѣдная и постоянно кашляла.

— Ахъ, какъ я вамъ благодарна, голубчикъ! Здравствуйте, Петръ Ивановичъ. Садитесь. Охъ!—И она закашлялась.

Лена тяжело вздохнула. Кажется ее давило какое-то горе. Она мнѣ поклонилась и подала мнѣ руку. Рука была холодная.

— Давненько мы съ вами не видались—проговорила мать.

— Да, цѣлый годъ.

— А сколько пережѣтъ-то! Вотъ Лена замужемъ была, ребенка недавно схоронила. Ну, да Богъ съ нимъ; успѣлъ и мужъ умереть.

— Что же онъ, больной былъ?

— Чохоточный... Ну, а вы какъ поживаете?—Поставь-ка, Лена, самоваръ.

Лена ушла ставить самоваръ, а мать ея начала рассказывать о себѣ и о мужѣ Лены.

— Вы не повѣрите, Петръ Ивановичъ, какая моя жизнь проклятая,—просто мученье, да и только... Еще когда онъ былъ живъ, я захворала; вотъ теперь пятую недѣлю не встаю съ кровати, ноги отнялись, пухнуть... Кашель проклятый смучилъ. А все, будь оно проклято, съ водки... Пить бы не надо. И вы не пейте.

— Я пью, да такъ, балуюсь.

— Охъ, вредно, родной.—Ну, какъ ваши?

— Ничего. Почтмейстеромъ теперь...

— Ну, слава Богу. О чемъ я говорила-то?... Вотъ и память всю отшибло...

— А каковъ былъ мужъ Елены Павловны?

— Ахъ, и не говори! Сначала такой славный былъ, только кашлялъ постоянно. Не рада я, что и отдала ее за него. Дура я, дурища...

— Что же дѣлать!

— Да-да, воля Божья! Такой, знаете ли, капризный, пьющій, все ее бѣдную бить лѣзеть. Ну, и вступилъ. Онъ-то еще ничего, Богъ съ нимъ, Леночку любилъ, одѣвать хорошо, и меня не обижалъ, а вотъ мать его—просто злѣя. Эдакой я въ жизнь свою не видала... Я вотъ тоже поколачивала Лену, — такъ маленькую, на то я родная мать, а то она, эхидна, скупая-прескупая, всѣмъ ее попрекать стала, и меня туда же. Цѣлый день крикъ.

— Ты, шлюха, опять самоваръ ставишь! — закричала какая-то женщина въ кухнѣ.

— Я свой ставлю,—послышался нѣжный голосъ Лены.

— Я тебѣ дамъ. Ты сходила по воду-то? Твои дрова-то?

— Да гость къ маменькѣ пришелъ.

— Я тебѣ дамъ гостя! Всякихъ шалопаевъ принимаешь, всякой дряни самоваръ ставишь. Не сѣй угли брать!

— Я лучинкой достану...

— Ахъ ты шлюха! Ахъ, Господи, нѣтъ у меня ногъ-то, а то я бы тебѣ задала, — сказала громко черезъ силу мать Лены.

Въ дверяхъ показалась женщина лѣтъ сорока восьми, толстая, румяная.

— Докудона это вы будете командовать! Завтра чтобы васъ не было!—закричала эта толстая баба.

— Я тебѣ дамъ!—прошипѣла мать Лены.

— Что-о?

— А вотъ тебѣ!—И мать Лены плюнула на толстую женщину. Мнѣ становилось неловко отъ этой сцены.

— А ты кто такой?—вдругъ спросила меня толстая женщина.

— Я пришелъ къ Анисѣ Васильевѣ.

— А! не успѣлъ муженекъ-то умереть, она и жениховъ подзываетъ. Такъ вотъ же вамъ! — И она, сдернувъ съ гвоздя висѣвшее шелковое платье Лены, утащила его.

Мать озлилась; съ нею сдѣлался нервный припадокъ. Пришла Лена, заплакала.

— Чей этотъ домъ?

— Тещи... Она вотъ ужъ вторую недѣлю гонитъ насъ.

— Что же вы не ѣдете? Эдакъ она измучитъ васъ.

— Куда ѣхать, Петръ Ивановичъ?

— Отправьте мать въ больницу, а сами на квартиру съѣзжайте или къ родственницѣ.

— Неловко маленьку оставить, она не можетъ жить безъ меня.

Мать очнулась. Я ей посоветовалъ уѣхать въ больницу.

— Я это хочу, да боюсь,—уморять.

— Тамъ вамъ спокойнѣе будетъ.

— Похлопочите вы, ради Бога, а ее пошлю къ родственницѣ.

Эту родственницу я часто видалъ. Она была вдова, получала большую пенсію и крошъ этого имѣла свой домъ; но она была скупая женщина. Отправился я къ ней; она сказала, что у нея негдѣ жить Ленѣ. Я сообразилъ, что, нанявши квартиру, Ленѣ неловко будетъ жить одной безъ матери, жить работой, да и работы скоро не найдешь. Оставить ихъ тутъ долѣе не было возможности. Я рѣшился найти имъ квартиру. Квартиру эту я нашелъ имъ недалеко отъ своей квартиры — двѣ маленькія комнатки за два рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы стряпать за эту же плату въ хозяйской кухнѣ. Когда я сообщилъ это матери Лены, она очень осталась довольна.

Такимъ образомъ мнѣ привелось устроить Лену и мать ея. Но чѣмъ имъ было жить? Безъ работы имъ нельзя было жить; да къ тому же, матери нужно было покупать лекарства. Я далъ имъ своихъ пять рублей и совѣтовалъ что-нибудь заложить, когда понадобятся деньги, потому что своихъ денегъ у меня больше не было.

Въ палатѣ узнали про это и стали смѣяться надъ мной.

— Смотри-ка, петербургскій-то выходецъ шпигуетъ! Любовницу на содержаніи держитъ.

— Ай да хватъ! Даромъ, что смиренный, а свое дѣло знаетъ.

Послѣ разсказаннаго случая здоровье Лениной матери становилось все хуже и хуже. Каждый день я ходилъ къ ней и каждый день она становилась ко

мнѣ ласковѣе прежнего. Лена радовалась, когда я приходилъ, и мнѣ часто доводилось говорить съ ней, но мы говорили только о ея скверномъ положеніи.

Разъ я пришелъ утромъ. Мать спала, Лена читала книгу. Я подошелъ къ ней; она улыбнулась, весело поглядѣла мнѣ въ глаза и крѣпко сжала мою руку.

— Какъ вы добры, Петръ Ивановичъ, — сказала она нѣжно; голосъ ея дрожалъ. Мнѣ неловко стало отъ этихъ словъ. Я понялъ, что она или любитъ меня, или расположена ко мнѣ болѣе, чѣмъ къ другимъ. Въ это время я привязался къ ней болѣе прежняго. Но теперь я уже крѣпко держался тѣхъ убѣжденій, —какова должна быть моя жена; а Лену я понималъ такъ: она была смиренная, любящая женщина; она въ жизни много перетерпѣла горя и теперь для нея настаетъ незавидная жизнь. Какъ бы худо ни была мать, но она жила все-таки подъ покровительствомъ ея, потому что при ея неразвитіи и неумѣньи жить самостоятельнымъ трудомъ, ей плохо придется жить одной. Въ провинціи работы для женщины мало: нашьешь и навяжешь немного, плату за это дадутъ небольшую, да и такихъ рабочихъ женщинъ, которыя бьются изъ-за куска хлѣба, много, очень много, и всѣ онѣ не жалуютъ свою работу. Идти въ услуженіе тоже ей не подъ силу во-первыхъ потому, что хотя она и умѣетъ стряпать и почъ, мыть и мести, но все-таки она не привыкла къ этой работѣ; во-вторыхъ ею будутъ помыкать, попрекать ее станутъ чужимъ хлѣбомъ, назовутъ еще бѣлоручкой, да и отъ лакеевъ ей не будетъ спуска; она или выйдетъ оттуда развращенной, или сбѣжитъ, не вынеся тяжелой жизни; а въ третьихъ ей все-таки не дадутъ хорошаго жалованья. Учитъ дѣтей она не можетъ, быть нянькой ей тоже незнакомое дѣло, да и въ чиновный домъ ее не возьмутъ, потому что жены будутъ равновать къ ней своихъ мужей. Да, положеніе такой молодой женщины гадко въ провинціи. Вѣдь нужно же было умереть мужу, да еще издыхать матери! Имѣя она свой или материнъ домъ, она могла бы получать кое-что съ квартиры, и на нее все-таки никто бы не указалъ нахально пальцемъ. А то сколько мать ни работала для нея и для себя, все было съѣдено и пропито; осталось только нѣсколько посуды и платьевъ старыхъ, да еще немногое прибрѣтено отъ мужа. Остается выходить замужъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Мать Лены умерла. Знакомые ея при моей помощи, пособили намъ сбыть ее въ могилу. Много было тутъ пролито слезъ дочерью; самому хотѣлось плакать при видѣ горестнаго положенія Лены. „Одна я теперь, одна! Въ жизни я была ей тягостью, замужество мое стубило ее... Добрая ты была, мамаша!...“.

Были, какъ водится, поминки, но простенькія: три гостыя — пріятельницы покойной, я да Лена. Гости выпили водки, вспомнили добродушіе покойницы и расплакались. Дошло до наивностей.

— Петръ Ивановичъ, ты останься съ Леночкой ночевать.

— Съ чего вы взяли, что я останусь?

— Да вѣдь вы женихъ.  
 — Вовсе я не женихъ и не хочу, чтобы люди худое говорили про Елену Павловну. Вы кто-нибудь останьтесь съ ней.  
 — Я сталъ прощаться съ Леной.  
 — Вы смотрите, держите ухо востро, а то онѣ обокрадутъ васъ.  
 — Ахъ, зачѣмъ вы уходите?  
 — Нельзя.  
 — Посидите!.. Нѣтъ, приходите завтра, ради Бога.  
 — Вы завтра ищите другую квартиру, да вамъ нужно жить съ женщиной. Здѣсь вамъ нельзя больше жить. Вѣдь вы будете думать о мамашѣ?

Лена заплакала.

Положеніе Елены меня сильно печалило. Въ продолженіе мѣсяца я хорошо познакомился съ нею и убѣдился, что она хочетъ жить честно, хочетъ трудиться, и меня опять по-прежнему мучило намѣреніе жениться на ней. Теперь я убѣдился, что она, испытавши замужнюю жизнь и горе, будетъ стараться приобретать себѣ какъ-нибудь деньги и не будетъ требовать моихъ денегъ; у насъ будетъ трудъ хотя и разнообразный, за то мы будемъ помогать другъ другу въ матеріальныхъ средствахъ. Но будетъ ли она помогать моему развитію? Вопросъ этотъ сильно пугалъ меня. Она сама неразвитая женщина, но что же дѣлать, если она не развита? Но за то она говорить прямо, что чувствуетъ, и нисколько не стѣсняется своими незнаніемъ. Она прямая, честная женщина. Чего же еще надо? А я-то что такая за особа?

Но какъ устроить ея положеніе? Вести въ Петербургъ съ собою я не могу, потому что я самъ не знаю тамошней жизни. Надо спросить ея совѣта.

Я пришелъ къ ней на новую квартиру. Она жила съ дѣвушкой, швейей, уже невѣстой какого-то писца, перебивающейсѣ кое-какъ. Дѣвушки дома не было. Лена шила свадебное платье.

— Какъ вы долго не были, Петръ Ивановичъ.

— А что?

— Скучно очень.

— Я съ вами давно хотѣлъ поговорить объ очень важномъ предметѣ.

Елена покраснѣла и задумалась.

— Я васъ знаю давно, т. е. прежде я зналъ васъ только лично, а не зналъ, что вы за дѣвушка были. Теперь я васъ узналъ.

— Что же вы узнали?

— То, что вы добрая, честная женщина.

— Еще что?

— Мнѣ и этого достаточно. Ну, а вы меня узнали?

— Я? Мало. По наружности трудно судить о мужчинахъ. Вы у меня бывали много разъ, а я у васъ ни одного.

Мы замолчали. Немного погодя, я сказалъ:

— Но дѣло вѣдь вотъ въ чемъ, Елена Павловна: нынче я ѣду въ Петербургъ.

— Совсѣмъ?

— Да.

Она поблѣднѣла и принялась усиленнѣе шить, но иголка сновала невпопадъ.

— А вамъ не хочется, чтобы я ѣхалъ?

Она ничего не сказала, только проглотила слюну.

— Зачѣмъ вамъ ѣхать?

— Учиться хочу.

— Да вы развѣ мало-знаете?

— Очень мало.

— Ну, тамъ вы другихъ людей найдете; а между нами какіе же люди!

Она вышла на дворъ. Оттуда она пришла съ красными глазами.

— Я не могу оставаться здѣсь, но надо подумать и рѣшить, какъ намъ лучше устроиться.

— А вы къ чему это говорите? — спросила она меня строго.

— А вы согласны быть моимъ другомъ?

— Какимъ другомъ?

— Быть женой?

— Вы уже разъ обманули...

„Капризничаетъ“, думалъ я. Но вѣроятно она не капризничала, а ей тяжело было въ это время.

— Поѣзжайте! Я буду жить, какъ Богъ велитъ.

— Зачѣмъ падать духомъ? Надо терпѣть.

— Терпѣть! сказала она громко; на глазахъ появились слезы. И сказала-то она, — такъ словно внутренность моя перевернулась.

„Экая проклятая жизнь! думалъ я дома. Или оставаться здѣсь, или бросить ее?— Эка штука! Женюсь я на ней здѣсь и захрюсню между этими людьми, отъ которыхъ я такъ давно хочу бѣжать. Оставить ее здѣсь... Но она-то какъ будетъ биться? Терпѣть ей годъ, ждать... А если мнѣ тамъ не повезетъ, если я самъ себя не выручу тамъ; если наконецъ я увлекусь тамъ и забуду ее? Нѣтъ, я ее не забуду. Я буду работать для нея. Я ее вызову туда“.

Черезъ день я пришелъ къ ней, она приняла меня сухо.

— Я думала, вы уже уѣхали.

— Видите ли, я бы женился на васъ здѣсь, да я не знаю петербургской жизни. Когда я поживу тамъ мѣсяцъ, то напишу вамъ подробно, тогда вы сообразите: ѣхать вамъ туда, или нѣтъ.

— Я вѣдь не навязываюсь.

— Не къ тому я говорю. Вы сами поймете, что я не могу васъ взять съ собою, во-первыхъ потому что на свадьбу нужны деньги.

— Какія?

— Попозаисповѣдь—рубль.—Все-таки на свадьбу выйдетъ рублей десять, да доплестись до Петербурга намъ обоимъ будетъ стоить рублей пятьдесятъ; а если меня не опредѣлятъ тамъ, то намъ трудно будетъ жить.

— Въ такомъ случаѣ я буду ждать.

— Да, надо ждать. Тамъ и обвѣнчаемся.

На другой день послѣ этого разговора, въ палатѣ получилась бумага изъ министерства, которымъ прислали изъ палаты мой формуляръ. Всѣ меня поздравляли; я подалъ прошеніе въ отпускъ и поѣхалъ къ дядѣ проститься. „Что-то дядюшка скажетъ? Какое-то это будетъ для тетки? Неужели они еще будутъ препятствовать мнѣ?“. Это меня всю дорогу

мучило; но еще заболело меня то: какъ бы уговорить дядю помочь Ленѣ.

Дядя меня никакъ не ожидалъ. Я подвѣхалъ утроемъ часу въ одиннадцатомъ къ почтовому дому, въ которомъ помѣщалась контора и жилъ почтмейстеръ. Я увидалъ дядю въ окно.

— Это къ намъ. Какой такой чортъ!—сказалъ голосъ изъ окна.

Я понялъ, что это говорилъ мой дядюшка. Черезъ три минуты въ воротахъ показалась тетка въ старомъ ситцевомъ платьѣ, съ скалкой въ лѣвой рукѣ, а за ней—дядя въ халатѣ и съ папироской во рту. Увидѣвъ меня, тетка обтерла фартукомъ свои мучныя губы.

— А! это ты, племянничекъ... Что?—сказалъ дядя.

Я посмотрѣлъ на него. На лицѣ я не замѣтилъ никакой улыбки. Есть такіе люди, на желтомъ лицѣ которыхъ ничего не замѣтишь, будь ты какой угодно фizioномістъ. На лицѣ дяди мнѣ вообще рѣдко случалось замѣчать улыбку.

— Какъ это вы надумались посѣтить насъ?—спросила тетка.

Я подошелъ сначала къ теткѣ, поцѣловалъ ее.

— Смотри, что намъ дали!—сказалъ дядя, указывая на дворъ и домъ.

Теперь я замѣтилъ, что онъ какъ-то зло улыбался; остановка, какъ видно, ему не нравилась: ему хотѣлось, какъ почтмейстеру, жить въ каменныхъ хоромахъ, а онъ жилъ въ старомъ деревянномъ домѣ, который соединялся съ сараями. На полу доски, въ правой сторонѣ березовыя дрова.

— Мѣсто чисто провинціальное; деревней пахнетъ, за то воздухъ хорошъ.

— Кхе!—дядя кашлянулъ и разсмѣялся, и какъ хозяинъ-начальникъ сказалъ:

— Ты посмотри, гдѣ почтмейстеръ-то живетъ!

— Ахъ, Петенька, что это за жизнь-то, — говорила тетка, постоянно охая.

— Губернскимъ не пахнетъ.

Взошелъ я по шаткой лѣстницѣ.

— Это крыльцо... Уѣздный городъ—последній городъ, дрянъ... Я въ заводахъ лучше живалъ.—И т. п.

Сначала дядя разспрашивалъ меня о новостяхъ; тетка слушала и улыбалась. Я говорилъ о политикѣ, дядя ругалъ Гарибальди и всѣхъ тѣхъ политическихъ дѣятелей, о которыхъ онъ вычиталъ въ „Сынѣ Отечества“, — высказавши притомъ, что этотъ журналъ и „Воскресный Досугъ“—самые лучшіе въ мірѣ журналы. Теперь я замѣтилъ, что дядя занимался чтеніемъ; а занимался онъ чтеніемъ потому во-первыхъ, что ему было скучно, а во-вторыхъ ему, какъ почтмейстеру, хотѣлось похвастаться новостями передъ корреспондентами. Онъ читалъ только „Сынъ Отечества“ и „Воскресный Досугъ“, другіе журналы и газеты онъ и въ руки не бралъ:—тѣ не для насъ писаны,—говорилъ онъ. Особенно дядя любилъ картинки. Каррикатуры его смѣшили, и онъ хвастался; „славно, какъ въ „Сынѣ Отечества“ отрисовали!.. это вѣрно нашъ купецъ сѣдой...“. Кроме политики, происшествій и картинокъ, дядя ни-

чѣмъ не интересовался; случалось читать онъ повѣсти, но рѣдко, и то хвалилъ только такую повѣсть, если въ ней были концы смерти, кража или вообще насилие. Иначе его трудно было заинтересовать.

Теперь онъ выглядывалъ настоящимъ уѣзднымъ почтмейстеромъ, какихъ у насъ весьма много. Хотя у него и была прежняя простота, но она мѣшалась съ личнымъ достоинствомъ: я почтмейстеръ, я начальникъ, я отдѣльная въ городѣ власть и никого не боюсь. Онъ дѣйствительно никого не боялся: въ контору ходилъ въ халатѣ кромѣ пріемныхъ дней, почту отправлялъ тоже въ халатѣ, почтальоны и почтосодержатель его слушались, съ городскою аристократіею онъ не хотѣлъ знаться. Сидитъ онъ на примѣрѣ у отвореннаго окна; черезъ дорогу въ большомъ домѣ, живетъ какой-то уѣздный тузъ. Дядя ругается: „ишь, дьяволъ, какой домъ нажилъ, и вечера дѣлаетъ“. Вотъ прошелъ какой-то служавшій, поклонился дядѣ, дядя кивнулъ головой и говоритъ мнѣ: „дрянъ, шельма!.. Жениться нынче хочеть. Въ приданое даютъ дыроватыя сапогъ да блоху на арканѣ“, хохоchetъ. Вышла изъ воротъ барскаго дома ватага аристократовъ и аристократокъ; дядя отходитъ прочь отъ окна и ворчитъ громко: „не поклонюсь и шапки никогда не сниму, котъ вы и губернаторскіе клеветы. (Это слово онъ гдѣ-то вычиталъ и ему оно очень понравилось. Это слово, по его понятію, было нехорошее, хуже всѣхъ ругательныхъ словъ)“. И начинаетъ онъ рассказывать цѣлыя исторіи объ этихъ клеветкахъ.

Прежде дядя любилъ ходить пѣшкомъ, теперь онъ ѣздилъ, и тетка тоже ѣздила: а лошадь была почтовая, даровая. Теперь его зналъ весь городъ и всѣ ему кланялись, а это ему очень нравилось. Теткѣ тоже кланялись; но она рѣдко выходила съ мужемъ, ей и лѣнь было, и почему-то неловко казалось показаться на улицѣ; она такъ любила свою комнату, что постоянно послѣ обѣда сидѣла у окна и наблюдала за всѣмъ, что происходило на улицѣ и въ барскомъ домѣ.

— Ну, какъ ревизоръ?—спросилъ меня дядя.

— Уѣхалъ.

— А вѣдь ты просился въ Петербургъ?

— Просился.

— Я тебѣ говорилъ раньше свое мнѣніе...—Онъ сказалъ это тономъ начальника, какимъ не говорилъ раньше.

Пришелъ крестьянинъ получать письмо, и дядя ушелъ въ контору, которая помѣщалась въ квартирѣ дяди въ небольшой угловой комнатѣ. Подсѣла ко мнѣ тетка.

— Ну, какъ Лена?—спросила она меня.

— Положеніе ея плохое...

— Я говорила самому, чтобы ее взять къ намъ, да онъ говоритъ: самими тѣсно будетъ.

— Вы, мамаша, позвольте мнѣ жениться на ней? Тетку это какъ будто удивило. Она долго молчала; наконецъ сказала:

— Да вѣдь у ней ничего нѣтъ.

— Да вѣдь и вы такъ же выходили замужъ.

— Я дѣвица была. Да и прежде проще было, а нынѣ дороговизна страшная.

— Все-таки можно жить.

— Ты самъ знаешь, не маленькій. Ты выросъ. Мы тебя вскормили, вспоили. Ты и прежде насъ не слушался, въ Орѣховѣ самъ уѣхалъ, теперь безъ нашего спросу въ Петербургъ ѣдешь.

— Мнѣ бы не хотѣлось такъ дѣлать. Вы Лену знаете.

— Дѣлай, какъ знаешь, а мы къ тебѣ на свадьбу не поѣдемъ...

Пришелъ дядя.

— Слышишь? онъ на Ленкѣ жениться хочетъ.

— Еще лучше!

Дядя долго ворчалъ, но отказа не давалъ, потому въбродно, что думалъ: „онъ можетъ быть не поѣдетъ въ Петербургъ“. Послѣ обѣда я сказалъ имъ, что черезъ недѣлю ѣду въ Петербургъ. Это ихъ поразило. Они очень поблѣднѣли.

— Ну, что ты скажешь на это?—спросила тетка дядю.

— Ну вотъ!—сказалъ только дядя.

Въ этихъ словахъ высказывалось горе. Дядя тяжело вздохнулъ. Мнѣ жалко ихъ стало обоимъ. „За чѣмъ мнѣ ѣхать? Не поѣду“, подумалъ я, и хотѣлъ сказать имъ это, но языкъ не поворачивался.

— Богъ съ тобой, Петръ Ивановичъ,—сказалъ дядя.

Ему какъ будто плакать хотѣлось.

— Я, папаша, только съѣзжу.

— Богъ съ тобой!—сказала тетка и заплакала.

— На себя пеняй! Кто тебѣ велѣлъ женить брата?—сказалъ дядя и ушелъ въ контору.

Тетка стала упрекать меня во всемъ, что она знала худого за мной, но больше плакала. Жалко мнѣ было ихъ обоимъ, хотѣлось воротить назадъ свое слово, но я не могъ этого сдѣлать. Мнѣ представлялся Орѣховъ со всѣми людьми, вся моя жизнь за все прожитое тамъ время; меня манило къ себѣ Петербургъ, меня тащило туда что-то.

— Что ты тамъ будешь дѣлать?—шары продавать?—сказалъ мнѣ дядя, пришедши изъ конторы.

— Я буду служить въ министерствѣ...

Дядя долго молчалъ.

— Поди-ко-съ, безъ тебя тамъ мало людей шатается безъ мѣстъ!

Я сказалъ, что ревизоръ меня полюбилъ и туда уже послали мой формуляръ.

— А если тебя не переведутъ?

— Надъ этимъ-то я и самъ задумывался. Кто знаетъ, какіе тамъ порядки: можетъ быть въ то время, какъ посланъ былъ оттуда запросъ, уже вакансію мою замѣстили. Ну, я такъ съѣзжу.

— Эдакой богатъ! Служилъ бы, знать, а не шатался безъ дѣла... Все бы ты ѣздилъ; эдакъ, братъ, никакой должности никогда не получишь.

Жизнь обоимъ супруговъ была скучная, тѣмъ болѣе, что занятій было мало. Встанутъ они въ шесть часовъ, напьются чаю. Послѣ чаю дядя отпрапляется въ контору; если тамъ дѣлать нечего, онъ свиститъ, поетъ, барабанитъ по столу пальцами и радъ-не радъ постороннему человѣку, съ которымъ

можно потолковать о житьѣ-бытьѣ. Придетъ почта, получаютъ бумага, почтальонъ сообщаетъ новости, и эти новости обсуждаются дядей и теткой цѣлую недѣлю. Тетка стряпаетъ въ кухнѣ. Пробьетъ десять часовъ, дядя выпьетъ рюмку водки и опять скучаетъ. Въ двѣнадцатомъ часу опять выпьетъ рюмку водки и садится обѣдать. Обѣдъ всегда бываетъ въ первомъ часу и послѣ него до шестого часу супруги спятъ. Послѣ обѣда опять скука: идти некуда, да и не въ модѣ въ этомъ городѣ. И скучаетъ дядя, проклиная свою скуку и городъ... И проклиняютъ они городъ еще потому, что содержаніе дорого, жалованья мало, доходовъ нѣтъ, и бываетъ часто, что дядя беретъ взаимныя бумагу изъ судовъ, потому что казенныхъ денегъ на этотъ предметъ недостаетъ.

У нихъ я прожилъ четыре дня и скучалъ такъ, какъ никогда. Наконецъ нужно было ѣхать. Какъ разъ къ отъѣзду пріѣхали два родственника; дядя Антипинъ съ зятемъ.

— Вотъ, господа, посмотрите на парня! въ Петербургъ ѣдетъ,—сказалъ дядя. Онъ злился въ это время.

— Хорошее дѣло,—сказалъ Антипинъ.

— А какъ по вашему, ѣхать ему или нѣтъ?

Родственники толковали дядѣ, что я хорошо дѣлаю, но дядя все злился. Тетка плакала.

— Коли такъ, нѣтъ тебѣ моего благословенія!—закричалъ дядя.

— Полно!—уговаривали его родственники.

— Не ваше дѣло. Прокляну!

Но все-таки онъ далъ мнѣ шесть рублей денегъ.

Крѣпко я обнялъ тетку, и горько плакала она въ это время. Дядя тоже утиралъ глаза, но онъ очень злился на меня, говорилъ: „выкормили соволика и знать насъ не хочетъ“.

— Не забывайте меня,—говорилъ я имъ, садясь въ повозку.

— Не забывай, Петинька. Въ люди выйдешь, вспомни насъ—говорила тетка!

Но тяжелѣе всего мнѣ было расставаться съ Леной. Изъ словъ ея и обращенія я понималъ, что она любила меня, и любила давно. Да и къ кому же ей больше привязаться, когда мы росли вѣсть года четыре? И мнѣ припомнилось, что въ это время мы сильно были расположены другъ къ другу, у насъ не было ссоръ и тѣмъ болѣе дракъ. Потому Лену любили наши родственники, мои родные, называли ее родной, я скучалъ объ ней, когда ея не было у насъ.

Уѣхалъ я въ уѣздный городъ служить, прожилъ тамъ два года, и страшно мнѣ хотѣлось жить въ Орѣховѣ, познакомиться съ Леной, какъ слѣдуетъ, устроить нашу жизнь такъ, чтобы не мѣшать другъ другу и, женившись на ней, имѣть въ ней хорошаго, настоящаго друга и вѣсть съ ней учиться и развиваться. Это я хотѣлъ устроить и дошелъ до этого безъ всякой посторонней помощи, тѣмъ болѣе безъ книгъ; а въ жизни я видѣлъ все какой-то разладъ, сѣтованіе на судьбу и людей; въ романахъ же и вообще въ любви на разные манеры, кончающейся женитьбой или смертью героевъ, ничего похожего не было на



мой планъ. Когда я въ первый разъ пріѣхалъ въ Орѣховъ и пошелъ къ Ленѣ, я засталъ ее и мать ея въ такомъ же положеніи ихъ умственнаго состоянія, какъ и прежде; только Лена выросла и стала красивой, нѣжной и здоровой дѣвушкой. Я ее полюбилъ тогда сильнѣе, но, увлекаясь ею, все-таки не могъ узнать ее поближе, т. е. сходится ли она, или похожа ли на мой идеалъ. Чѣмъ дольше я вглядывался въ ея лицо, все больше и больше я любилъ ее, любилъ даже такъ, что готовъ былъ жениться на ней. Лена всегда улыбалась, когда я приходилъ къ ней, жала мнѣ крѣпко руку; въ Пасху, когда мать ея заставила насъ покрестосоваться поцѣлуями, она крѣпко поцѣловала меня въ третій разъ, а я только прикасался губами къ ея лицу и слышалъ я, какъ сильно билось ея сердце въ это время; многимъ женихамъ она отказала, не смотря даже на ихъ чиновничество; но и при всемъ этомъ она никогда не сказала мнѣ ни одного любезнаго слова, когда она бывала со мной; ей неловко было, что я тутъ, и она напряженнѣе работала, краснѣла, не поднимала головы. Тогда я догадывался, что она меня любитъ, но любить скромно, по-своему, не любезничаешь, не вѣшается на шею, и за это я полюбилъ ее еще больше. Когда я узналъ, что Лена выходитъ замужъ, — цѣлый день я былъ въ ажитаціи, ругалъ себя и наконецъ пришелъ къ тому заключенію, что она меня не любитъ и считаетъ за обманщика, или мать сбываетъ ее съ своихъ рукъ. Прошелъ мѣсяцъ, два; мнѣ чаще и чаще стало приходить въ голову сожалѣніе, что я не женился на ней. Были у меня друзья, но эти друзья приучили меня пить водку, играть въ карты; я начиналъ тупѣть и глѣшилъ заниматься своимъ развитіемъ. И въ это-то время я приходилъ къ тому заключенію, что отъ Лены я требовалъ многого, даже невозможнаго при ея воспитаніи. „Умень ли я-то?, думалъ я. Что я могу дать ей, чѣмъ я разовью ее? Я только считаю себя умнымъ, во мнѣ самолюбія много, а люди считаютъ меня дуракомъ. Павловъ говорилъ, что я плохо развитъ, ревизоръ сѣялся надо мной. Чѣмъ я гордился? Тѣмъ, что мнѣ удалось напечатать въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ двѣ статьи, которыми я самъ не сочувствовалъ и за которыхъ меня же обругалъ печатно мой товарищъ?“...

Черезъ годъ я увидалъ Лену женщиной, имѣвшей ребенка, перетерпѣвшей много горя въ замужествѣ. Въ мѣсяцъ я узналъ лучше ее, чѣмъ въ пятнадцать лѣтъ, и этому помогло то, что она могла говорить со мной, какъ женщина, свободно. Вотъ что говорила она о своей замужней жизни. „Въ домѣ я была работница: ставила самоваръ, топила печь, мыла полы и должна была слушаться мать, мужа, брата, сестру и не выходить изъ ихъ воли. Денегъ мужъ мнѣ давалъ, и не хотѣлъ, чтобы я работала на сторону. А мнѣ хотѣлось работать, потому что я привыкла къ этому. Скучно было, я рада, что какую-нибудь книжку дадутъ читать, но книги были старыя, французскіе романы глухыя — да и мужъ толковалъ мнѣ, что мнѣ надо медицинѣ учиться, я могу быть повивальной бабкой, и говорилъ мнѣ часто объ этомъ. Мужъ хворалъ, я боялась, чтобы онъ не умеръ: куда я дѣнусь съ ребенкомъ? Умеръ онъ,

мнѣ жалко его стало, потому что онъ добрый былъ и ласкалъ иногда“.

По пріѣздѣ въ Орѣховъ отъ дяди въ послѣдній разъ, я пошелъ къ ней проститься, такъ какъ завтра мнѣ нужно было ѣхать, а сегодня у меня вечеромъ назначена была лотерея. Она казалась холоднѣе ко мнѣ, чѣмъ раньше.

— Я въ монастырь пойду, — сказала она мнѣ.

— Значить, вы меня не любите?

— Ахъ, не говорите.

Она молчала долго.

— Ну, а вы поѣдете ко мнѣ?

— На какія деньги я поѣду? Ну, я пріѣду къ вамъ: вы думаете, я съ вами жить стану? — покорно благодарю.

— Не лучше ли намъ теперь обвѣнчаться, а потомъ я уѣду, — вы пока поживете здѣсь.

— Нѣтъ ужъ, поѣзжайте... Не судьба вѣрно. — И она заплакала.

— Прощайте!

— Когда вы ѣдете?

— Завтра.

— Такъ вы точно ѣдете?

— Да.

Лена замолчала, лицо ея поблѣднѣло. Жалко мнѣ ея было; я такъ дядю и тетку не жалѣю. Однако я подошелъ къ ней, подаль ей руку. Она подала мнѣ свою руку, а на меня не глядѣла; мнѣ самому неловко было...

— До свиданія, — сказалъ я.

Она молчала.

— Елена Павловна!

— Что?

— Прощайте!

Она ничего не сказала... Я ушелъ. Затворяя дверь, я видѣлъ, какъ она плакала.

„Зачѣмъ я пошелъ къ нимъ въ то время, когда получилъ записку отъ Лены?, упрекалъ я себя. Не ходи я, и ничего бы не было“.

Вечеромъ была лотерея. Гостей было двѣнадцать человѣкъ. Всѣ переписались, разцѣловали меня, пожелали мнѣ счастья и каждый разстался со мной другомъ, прося написать каждому письмо о Петербургѣ. Всѣ они упрекали меня Леной и спрашивали: повезу ли ее въ Петербургъ; многіе совѣтовали мнѣ не везти ее: „ты тамъ хорошую, образованную найдешь“.

Съ лотереи я получилъ тридцать рублей, да изъ палаты взялъ жалованья за этотъ мѣсяцъ и за будущій. Такимъ образомъ у меня составилось пятьдесятъ рублей.

Утромъ я отправился къ Ленѣ. Она складывала свои вещи.

— Куда вы?

— На квартиру. Я нашла за городомъ квартиру за пятьдесятъ копѣекъ въ мѣсяцъ. Хозяйка — старуха, кажется, добрая; живетъ она съ дочерью. Дочь вдова-солдатка и работаетъ на пристани. Всего только одна изба, да ладно съ меня. А вы совѣмъ?

— Сейчасъ ѣду.

— Прощайте. Я бы пошла проводить васъ, да не-

когда. Пишите. Я ей далъ пять рублей, но она обидѣлась и не взяла.

— Я не нищая, слава Богу. Вамъ самимъ придется.

Съ тоской я ушелъ на пароходъ, но за то тамъ я съ нетерпѣніемъ ожидалъ отплытія. Человѣкъ шесть меня провожали и завидовали моему счастью. Наконецъ пароходъ тронулся, обернулся по большей рѣкѣ; сотни рукъ сняли шапки отплывавшимъ, махали платками. Всѣ отъѣзжающіе-палубные перекрестились, улынулись, только мнѣ было скучно: я уѣзжалъ отъ той, счастье которой я могъ составить. „Что-то будетъ съ ней?, думалъ я... Ну, да мнѣ самому свое счастье дороже...“. И казалось, какъ будто она стояла на горѣ, въ сторонѣ отъ людей, глазѣющихъ на отплывающій пароходъ и говорящихъ: счастливычѣ! Но вдалекѣ я могъ видѣть только ея желтое платье, развѣвавшееся отъ вѣтра. Сердце сжалось у меня, когда я подумалъ: „каково-то ей, бѣдняжкѣ, въ это время?“, и я отвернулся отъ берега и сталъ смотрѣть на пароходный міръ, откуда слышалось въ разныхъ мѣстахъ:—прщай, Орѣховъ! дрянной ты городишка... То ли дѣло вонъ тамъ-то у насъ... Разлюли житье!...“.

### III.

Только дорогой, подѣзжая ближе къ Петербургу, я услышалъ, что въ Петербургѣ бѣдному человѣку жить трудно, но я этому не вѣрилъ. Я думалъ, что если я въ Орѣховѣ получалъ сначала жалованья шесть рублей—и жилъ же, то и тамъ на двадцать рублей въ мѣсяцъ проживу. Я думалъ, что тамъ я буду получать жалованья не меньше двадцати рублей, изъ коихъ три я отдамъ за комнату, да за обѣдъ буду платить семь рублей, а десяти рублей мнѣ хватитъ на чай, сахаръ, табакъ и одежду. Кромѣ этого, я слышалъ, что въ министерствахъ даютъ большія награды. Но вотъ и Петербургъ! Москва не произвела на меня такого впечатлѣнія, какъ Петербургъ своими домами, движеніемъ народа, разнообразіемъ цвѣтовъ и видовъ, крикомъ и навязчивостію торгашей и извозчиковъ. Здѣсь я съ перваго же шага изъ вагона попалъ на попеченіе добродушнаго человѣка, который сказалъ мнѣ, что онъ беретъ меня къ себѣ въ гостиницу за пятьдесятъ копѣекъ, схватилъ и понесъ мое имущество, уложенное въ чемоданъ, и привелъ меня въ сырую, душную комнату со сводами. Это былъ подвалъ, какъ сейчасъ же оказалось.

Вечеръ я провелъ смутно. Видѣлъ я Петербургъ, а не могъ осмыслить, что я видѣлъ: дома, люди, лошади, кареты—все вертѣлось въ моей головѣ, какъ въ туманѣ. Вышелъ я за ворота—не знаю, куда идти. Вернулся—и заблудился во дворѣ, окруженномъ четырехъ-этажнымъ докомъ. Насиду нашелъ свою лачугу. Здѣсь я былъ совершенно чужой всѣмъ; поди я куда-нибудь—меня занесетъ туда, что мнѣ и не выйти одному, да я и не знаю, въ какой части города я живу, въ чемъ домъ, у кого. Вонъ заиграли музыканты во дворѣ и почти въ каждомъ окнѣ я увидалъ если не по два человѣка, то по одному, сталъ я считать ихъ, насчиталъ до сорока;

скучно стало... Грустно сдѣлалось, что я одинъ, что у меня денегъ шестнадцать рублей и я не могу прокатиться по городу... Но меня брало разумье: „а если мое мѣсто уже занято кѣмъ-нибудь? Въ такомъ случаѣ я буду сочинять или буду искать какихъ-нибудь занятій“. Пришелъ хозяинъ.

— Вы, поди, спать хотите съ дороги-то. Не кушать ли водки?

— Пожалуй.

Выпилъ я стаканчикъ очищенной; хозяина поподчивалъ и скоро заснулъ. Черезъ день, розыскавши департаментъ и узнавши, гдѣ живетъ начальникъ отдѣленія Черемухинъ, я пошелъ къ нему на квартиру для того, чтобы представиться. Прежде я часто бывалъ въ барскихъ кухняхъ, приемныхъ и комнатахъ, потому что у насъ въ Орѣховѣ являются такъ къ начальникамъ на домъ съ подарками. И здѣсь мнѣ захотѣлось увидать барина въ кухнѣ съ одной стороны потому, что я сознавалъ свое ничтожество, какъ писаришки изъ провинціи передъ генераломъ, и находилъ поэтому за лучшее протереться къ нему съ кухни; а съ другой стороны по провинціальному обычаю мнѣ хотѣлось услышать о генералѣ кое-что отъ прислуги: хорошъ ли онъ и т. п. Вошелъ я по одной лѣстницѣ въ третій этажъ, сказали: „ступайте по другой лѣстницѣ, а лучше спросите дворника“. Дворника во дворѣ не нашелъ; дворницкая заперта, пошелъ на-удачу по другой лѣстницѣ,—на третью послали. Опять пошелъ я по какому-то крыльцу къ верху; въ четвертомъ этажѣ меня остановилъ дворникъ, спускавшійся сверху съ двумя ведрами.

— Что ты тутъ шляешься?—крикнулъ онъ на меня.

— Я Черемухина ищу.

— Я тѣ дамъ Черемухина! Кто ты такой?

— Я не здѣшній. Скажи ради Бога, гдѣ онъ живетъ.

— Я тѣ покажу! не здѣшній... Пошелъ прочь!... Ты должонъ дворника спросить, а не шляться по лѣстницамъ.

— Скажи пожалуйста,—взмолился я.

Въ это время изъ лѣвыхъ дверей вышелъ молодой человѣкъ, пріятной наружности, въ сюртукѣ.

— Что тутъ?—спросилъ этотъ человѣкъ дворника.

— Да вонъ этотъ барина вашего спрашиваетъ.

— На что вамъ генерала?

— Мнѣ нужно.

— Они не принимаютъ на дому. Извольте въ департаментъ отправиться.

Я спустился. Обидно мнѣ показалось, что меня даже и въ кухню-то не пустили. „Вретъ!, думалъ я. Пойду съ параднаго“. Во дворѣ я увидалъ другого дворника, съ огромной вязанкой дровъ. Онъ мнѣ разсказалъ, какъ нужно понасть съ параднаго хода въ 18-й номеръ. Вхожу въ подъездъ—точно залъ: стѣны шпалерами оклеены, налѣво передъ столомъ сидитъ на стулѣ швейцаръ съ пуговицами и съ позументомъ на фуражкѣ и читаетъ афишку, за нимъ вѣшалка, на которой виситъ шинель. На полу ковры, впереди лѣстница съ ковромъ, на ней поставлены цвѣты.

— Кого нужно?—спросилъ меня небрежно швейцаръ.

— Черемухина.

— Отъ кого?

— Самъ отъ себя.—Мнѣ стало обидно, что онъ принялъ меня за лакея.

— Нельзя.

— Отчего?

— Сказано—нельзя, и все тутъ.

— Я изъ департамента, съ приказомъ.

— Ну пошелъ! Давно бы такъ сказалъ... Да пальто-то на вѣшалку повѣсь.

Повѣсивъ пальто, я пошелъ по лѣстницѣ по коврамъ. Сердце билось сильно. На стѣнахъ плохотыя картины, нарисованы деревья, да дѣвы какія-то; пахнетъ духами. Вотъ я и въ третьемъ этажѣ. Смотрю налѣво—надъ дверьми № 18, на одной половинѣ двери нѣдная дощечка и на ней вырѣзано: дѣйствительный статскій совѣтникъ Павелъ Макаровичъ Черемухинъ. Сталъ я у двери,—словно дрожь пошла по тѣлу: вотъ, думаю, какъ отворить двери онъ самъ, да какъ закричитъ... Съ замѣраніемъ сердца я взялся за звонокъ и сильно дернулъ его два раза. Черезъ нѣсколько минутъ мнѣ отворилъ двери тотъ же лакей, который говорилъ со мною на черной лѣстницѣ. Увидавъ меня, онъ сказалъ сердито:

— Вамъ сказано, что генералъ не принимаетъ.

— Будте?

Лакей, не сказавъ ни слова, заперъ дверь.

Я ужасно былъ золъ въ это время и, чуть-ли плюнувъ не на дощечку, пошелъ внизъ.

— Его, говорить, нѣтъ дома, — пожаловался я швейцару.

— Я почему знаю,—проговорилъ швейцаръ, не отнимая глазъ отъ какой-то газеты.

Отсюда я злой пошелъ прямо въ департаментъ. Въ приемной стоялъ швейцаръ, очень высокій господинъ, какъ пугало въ огородѣ, съ булавою. Я было пошелъ на лѣстницу, но онъ остановилъ меня.

— Снимите пальто.

Въ это время я уже смирился духомъ.

Я снялъ пальто и по просьбѣ швейцара далъ ему за сбереженіе пальто пятнадцать копѣекъ.

На мнѣ былъ надѣтъ форменный сюртукъ, состряпанный въ Орѣхѣ, съ орѣховскими пуговицами, давно отливавшими, съ протертыми локтями и полинялымъ воротникомъ. Вруки были старые, полинялые; на одномъ сапогѣ дыра, и поэтому мнѣ стыдно было подниматься въ департаментъ. На площадкѣ между двумя департаментами стояло шесть сторожей. Они очень любезно заговорили со мной и объяснили, что Черемухинъ еще не пріѣхалъ, и такъ какъ теперь второй часъ, то онъ скоро будетъ. Узнавши, что мнѣ надо, сторожа пожелали мнѣ счастья.

На площадкѣ и подвумъ корридорамъ ходили чиновники въ вицундирахъ, фракахъ, пальто, пиджакахъ и сюртукахъ—старые, молодые и юноши. Я стоялъ робко и чувствовалъ, что я въ сравненіи съ ними дрянцо, и создавалъ свое ничтожество передъ ними; лицо мое горѣло, со сторожами я говорилъ запинаясь, ходилъ по площадкѣ неловко, руки и ноги вздрагивали...

— Черемухинъ идетъ!—сказалъ одинъ сторожъ, стоявшій у перилъ лѣстницы, и вслѣдъ затѣмъ вошелъ на площадку здоровый человѣкъ лѣтъ сорока, съ важной надутостью въ лицѣ. Въ корридорѣ онъ спросилъ вахмистра здоровымъ голосомъ, протяжно:

— Директоръ здѣсь?

— Точно такъ-съ, ваше-ство! — отрапортовалъ скороговоркой вахмистръ.

— Спрашивалъ меня?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше-ство!

— Доложи, когда придетъ вице-директоръ Н.

— Слушаю-съ.

И генералъ пошелъ по корридору, важно покачиваясь на правый бокъ и держа голову кверху. Многие чиновники кланялись ему низко, и онъ, какъ мандаринъ, клевалъ имъ слегка, а нѣкоторымъ и вовсе не кланялся.

— Это онъ?—спросилъ я сторожа.

— Онъ. Онъ теперь въ свое отдѣленіе пошелъ. Идите.

— Булку будетъ жрать,—замѣтилъ другой сторожъ, улыбаясь.

По указанію сторожа вошелъ я въ большую комнату съ лакированными поломъ, съ семью столами разныхъ величинъ. Чиновники одѣты прилично, смотрятъ фронтами; одни пишутъ, другіе разговариваютъ, третьи читаютъ газеты. Я никогда не ходилъ по лакированнымъ поламъ и теперь боялся, какъ бы мнѣ не упасть, потому что ноги мои нѣмѣли къ этому большому попользованію. Такихъ образовъ, смотря на полъ и по сторонамъ, я замѣтилъ все-таки, что чиновниковъ очень много; меня пробирала дрожь и я не знаю самъ, какими образомъ прошелъ много комнатъ и остановился только въ послѣдней комнатѣ. Со страхомъ я подошелъ къ какому-то высокому человѣку въ сюртукѣ съ палкой въ лѣвой рукѣ, для того, чтобы спросить, гдѣ начальникъ такого-то отдѣленія. Но я и тутъ сробѣлъ. А я отъ самого дома вплоть до департамента занятъ былъ тѣмъ—какую мнѣ сказать рѣчь начальнику отдѣленія? Въ голову ничего не лѣзло, кромѣ словъ: имѣю честь рекомендоваться, канцелярскій служитель, помощникъ столоначальника Кузьминъ. И это я твердилъ всю дорогу, въ то время, когда шелъ по департаментской лѣстницѣ и когда шелъ по комнатамъ. Она мнѣ не нравилась, хотѣлось сказать красивѣе, да ничего лучше не выходило. Теперь, занятый своею рѣчью, я струсилъ высокаго человѣка съ палкой. Увидавъ меня, онъ спросилъ:

— Что надо?

— Я... Куз...

— Что-о?—чуть не заревѣлъ на меня человѣкъ съ палкой. Я смотрѣлъ на его палку, которая точно прыгала.

— Мнѣ нужно начальника...—Я забылъ фамилію начальника отдѣленія.

— Что вамъ надо? зачѣмъ вы шлетесь по отдѣленіямъ!—закричалъ онъ и отошелъ прочь.

Ко мнѣ подошелъ какой-то молодой чиновникъ и, переспросилъ, что мнѣ нужно, указалъ дорогу и замѣтилъ:

— Зачѣмъ вы вице-директора беспокоите!

— Развѣ я знаю,—сказалъ я какъ-то глупо съ досады.

Помелъ я по указанной дорогѣ; ноги подсыхались. Увидалъ Черемухина и подошелъ къ нему. Онъ сидитъ наѣво, что-то жуетъ и разговариваетъ громко съ какимъ-то чиновникомъ, сидящимъ около него. Я сталъ передъ Черемухинымъ.

— Что скажете?—спросилъ онъ меня и всталъ.

— Имѣю честь рекомендоваться...—Я заикался.

— Что нужно?

— Я, ваше п-ство, Кузьминъ изъ Орѣховской губерніи.

— А!.. Петръ Васильевичъ!—обратился онъ къ одному изъ подчиненныхъ.

— Что прикажете?—спросилъ его кто-то. Въ глазахъ у меня рябло.

— О Кузьминъ какое распоряженіе сдѣлано?

— Причислили къ департаменту.

— Ахъ! да! Вы къ департаменту причислены,—произнесъ генералъ такимъ тономъ, какъ будто онъ мнѣ сдѣлалъ большое благодѣаніе.

Это благодѣаніе меня словно оухомъ ударило по головѣ. Я ничего не слышалъ, что говорилось вокругъ меня и что дѣлалось.

— Поняли?—спросилъ меня кто-то. Я очнулся. За большимъ столомъ сидѣло пять человѣкъ, трое изъ нихъ смотрѣли на меня и улыбались; двое писали по чему-то переговаривались другъ съ другомъ.

— Я въ это отдѣленіе назначенъ? — спросилъ я одного чиновника особенно пристально смотрѣвшаго на меня.

— Опоздали немного; директоръ другого велѣлъ опредѣлить, а васъ причислили къ департаменту.

— Сколько же мнѣ дадутъ жалованья?

— Ничего.

— Да у меня всего-то денегъ шестнадцать рублей. Чѣмъ же я буду жить?

Я опять подошелъ къ начальнику отдѣленія и уже храбро.

— Ваше п-ство! Я не могу быть причисленнымъ къ департаменту, потому что я имѣю всего денегъ 16 рублей...

— Жалѣю!... Кто же васъ просилъ ѣхать?

— Да вѣдь мой формуляръ затребовали. Вы хотя по волѣ меня примите.

— Директоръ говоритъ, что вы не обучались даже въ гимназіи... А у насъ нынче даже многоуниверситетскихъ причислено къ департаменту. Впрочемъ вы зайдите дня черезъ четыре, я можетъ улажу это дѣло.

Я пошелъ къ директору. Долго я терся въ приемной между разными чиновниками и кое-какъ дождался директора. Онъ уже шелъ домой. Это былъ высокий, тучный господинъ съ бакенами, лѣтъ 35-ти, въ вицъ-мундирѣ безъ орденовъ.

— Что скажете?..—спросилъ онъ меня небрежно, мимоходомъ, глядя въ дверь.

Я объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

— Подайте прошеніе,—сказалъ онъ мнѣ и пошелъ.

— Да вѣдь я причисленъ къ департаменту...

Директоръ обратился къ какому-то чиновнику, вѣроятно правителю канцеляріи.

— Что ему нужно?

— Вамъ что нужно?—переспросилъ меня правитель канцеляріи.

— Кузьминъ... Я изъ Орѣховской губерніи.

— Объ имѣ, ваше п-ство, хлопоталъ Симоновъ, ревизовавшій Орѣховскую палату...

— У меня, ваше п-ство, всего 16 р.,—сказалъ я директору.

— Доложите завтра!—сказалъ директоръ правителю канцеляріи и, раскланявшись, ушелъ домой.

„Ахъ, какъ хорошо быть директоромъ! Власти-то сколько... Дѣлай что хочешь!“ думалъ я, спускаясь съ лѣстницы. Помелъ я на свою квартиру въ большомъ горѣ. Первое вертѣлось въ головѣ то: какъ я буду жить здѣсь? Ну, проживу я мѣсяцъ, а потомъ? И я рѣшился подождать еще четыре дня и потомъ искать службы гдѣ-нибудь въ частныхъ конторахъ. Просить въ департаменты я не могъ, потому что у меня не было ни одного знакомаго въ Петербургѣ, а Симоновъ, который мнѣ протектировалъ, назначенъ былъ въ какую-то провинцію. Шелъ я по Невскому, и какъ мнѣ противенъ онъ казался со своимъ блескомъ... но все-же пріятно мнѣ страшно было больно, что я не могу въ Петербургѣ долго жить. Буду ли я въ немъ долго жить? Не знаю. Вотъ я и надѣялся на переводъ, а что вышло!.. Ъхать назадъ не хотѣлось, да и на какія я поѣду деньги?..

Андрей Васильевичъ, мой хозяинъ, тоже поспособствовалъ мнѣ и сталъ просить зажитыя мной у него за квартиру съ пищей два рубля и при этомъ обидчивымъ тономъ говорилъ мнѣ, что онъ человѣкъ бѣдный, платить за квартиру дорого и ему отъ этой квартиры въ пять комнатъ только убытокъ. Онъ уступилъ мнѣ эту комнату за 35 коп. въ сутки на пять дней.

Скука была страшная въ это время. Хозяинъ говорилъ глупости, да ему и некогда было бесѣдовать со мной; сестра его, повивальная бабка, дѣвица 29 лѣтъ, сѣтовала, что въ Петербургѣ очень много бабокъ, практики нѣтъ, а въ провинцію она не ѣдетъ, во первыхъ потому, что помогаетъ въ хозяйствѣ брату, а во вторыхъ, въ провинціи простой народъ не довѣряетъ ученымъ бабушкамъ. Шатался я и по городу—все не весело. Такъ бы и неглядѣть ни на что, такъ и вертѣлись въ головѣ слова чиновниковъ изъ Орѣха: „служилъ бы ты, служилъ здѣсь, а то нынѣ совѣтъ захотѣлъ быть“. Опротивило мнѣ глядѣть по городу и сталъ я лежать. Пролетѣли сутки, надоѣло. На другія сутки сталъ переписывать одну статью—ничего не лѣзетъ въ голову; выпилъ водки для вдохновенія,—хуже: спать захотѣлось...

Пришелъ въ департаментъ. Черемухинъ объявлялъ мнѣ, что мнѣ назначено заниматься въ его отдѣленіи; что я буду числиться при департаментѣ впредь до опредѣленія въ штатъ, а такъ какъ я человѣкъ бѣдный, то буду получать жалованье, какъ вольнонаемный писецъ.

— Сколько же мнѣ будутъ давать? — спросилъ я помощника столоначальника, Василия Петровича, въ столъ котораго меня отослалъ Черемухинъ.

— Не знаю. Рублей десять или восемь.

— А штатные сколько получают?

— Низший разрядъ 11 р. съ копѣйками да въ эмеритуру вычитаютъ проценты.

Велѣли придти на другой день на службу.

Теперь я немного повеселѣлъ и не робѣлъ, какъ сначала, а глядѣлъ бойко на людей, идущихъ и ѣдущихъ, какъ будто получилъ богатство или считалъ себя петербургскимъ жителемъ: больше прежняго заглядывался по сторонамъ, смотрѣлъ на богатства, разложенныя на окнахъ въ магазинахъ, читалъ вывѣски на домахъ и сердился, что вывѣски большою частію написаны не по-русски, читалъ названія улицъ, стараясь запомнить на случай мѣстность для того, чтобы не плутать послѣ. И неловко мнѣ казалось толкаться въ народѣ: пальто мое сшито не такъ, какъ у петербургскихъ. Попадалось мнѣ много книжныхъ магазиновъ, не утерѣлъ, зашелъ въ одинъ и купилъ одну книгу, заплативъ за нее два рубля съ подтиной.

Андрей Васильевичъ опять сталъ просить денегъ; когда я отдалъ, то у меня осталось всего капитала 7 р. 50 к. Повелъ онъ меня смотрѣть квартиры. Долго мы ходили по разнымъ улицамъ и переулкамъ, останавливались у воротъ и подъѣздовъ, на которыхъ были прибиты бумажки, гласящія, что здѣсь отдается комната или отдаются квартиры съ прислугой или безъ оныхъ, заходили въ дома каменные, четырехъ-этажные и одноэтажные; былъ я домахъ въ десяти или больше, но нигдѣ не нанялъ квартиры по вкусу и дешевой. Въ одной квартирѣ отдавали комнату проходную за пять рублей, но мнѣ не понравилось то, что отдавала комнату молодая женщина, въ дверяхъ же другой комнаты стояла дѣвушка лѣтъ 18, а въ этой комнатѣ на диванѣ сидѣлъ военный писарь. Въ другой квартирѣ отдавался уголъ, и въ этой комнатѣ, гдѣ отдавался уголъ было кажется восемь человѣкъ на лицо. Наконецъ я вошелъ въ деревянный домъ съ пятью окнами на улицу, одноэтажный; зашелъ я съ перваго попавшагося крыльца, какая-то женщина сказала грубо: съ кухни!—и захлопнула дверь. Кухня грязная, съ однимъ окномъ, около котораго сидитъ женщина лѣтъ 35 и что-то починиваетъ. Недалеко отъ нея стояла женщина лѣтъ 40, съ памятымъ лицомъ и кричала:

— Я чиновница. Слышь ты!

— Прохвоста, поди, какова! съ солдатами таскаешься, — отвѣчала хладнокровно женщина, сидѣвшая у окна, продолжая шить.

— Здѣсь отдается комната?—спросилъ я чиновницу.

— Здѣсь. А вы одинъ?

— Одинъ.

Она повела меня къ дверямъ—противъ кухонныхъ дверей. Комната маленькая съ однимъ окномъ на улицу, грязная, шпалеры ободраны; налѣво дверь, только заперта. Въ комнатѣ ваялся какой-то мѣшокъ и стоялъ стулъ въ углу.

— Сколько стоитъ?

— Четыре рубля.

— Тихо у васъ?

— О! Въ этомъ не сомнѣвайтесь.

— Мебели нѣтъ?

— Поставлю. Когда переѣдете?

— Сегодня.

Мы условились за три рубля, и я отдалъ ей задатку рубль серебромъ.

Вечеромъ Андрей Васильевичъ нанялъ мнѣ извозчика за 15 коп. (съ меня просили 40 к.), и мы поѣхали на новую квартиру. Въ моей комнатѣ однако ничего не прибыло: въ какомъ положеніи видѣлъ ее раньше, въ такомъ же она была и теперь.

— Хозяйка дома?—спросилъ я ту женщину, которая раньше починивала у окна что-то.

— Дома; да къ ней пришелъ писарь-любовникъ.

— А мебель-то какъ же? Хоть бы чурбанъ что ли.

— Да у нея и чурбановъ нѣту, не то что мебели.

Андрей Васильевичъ ушелъ розыскивать хозяйку, но немного погодя я услышалъ, что онъ кричитъ недалеко отъ кухни. Я пошелъ искать его по корридору, въ который выходили три двери: одна въ хозяйскую комнату, другія къ жильцамъ, а третья въ кухню. Но я не зналъ, гдѣ живетъ хозяйка, и отворилъ двери направо. Комнатка въ два окна, чистая и порядочно меблированная, выходила на дворъ. У окна сидѣли двѣ молодыя женщины, а между ними сидѣлъ Андрей Васильевичъ и что-то говорилъ.

— А, это ты! садись. Это новый жилецъ, вашъ сосѣдъ,—отрекомендовалъ меня Андрей Васильевичъ женщинамъ.

— Пойдемъ же хозяйку разыскивать, — сказалъ я ему.

— Ну, я не пойду. Садись съ нами.

Однако я ушелъ и, отыскавъ хозяйку, спросилъ о мебели.

— Погодите, голубчикъ, завтра; а сегодня и такъ обернитесь.

Женщина, сидѣвшая въ кухнѣ, проворчала мнѣ:

— Ишь, вѣрно любовнику присебѣ держать хочеть...

— Какъ такъ?

— А такъ. Эти дѣла я ужъ смекнула: онъ всего-то трои сутки переѣхалъ. А коли ты ихной любовникъ, я скажу тебѣ: къ нимъ какой-то приказей ходить, должно изъ сенату. Одна-та, коя помоложе, шьетъ, а коя постарше, та все рыскаеть.

„Ну, здѣсь не житье мнѣ,“ думалъ я, входя въ свою комнату. Долго я сидѣлъ на окнѣ, потѣя голову и обдумывая свое положеніе, потомъ пошелъ шиться по городу и прошлялся до двухъ часовъ ночи. Много грязи я видѣлъ въ это время на улицахъ, въ трактирахъ и садахъ, устроенныхъ при трактирахъ, и такъ какъ это грязь, то я лучше умолчу объ ней.

Когда я пришелъ домой, въ домѣ, кажется, всѣ спали, потому что ни въ одномъ окнѣ я не замѣтилъ огня, кромѣ лампадки, въ которой горѣло масло передъ иконой въ хозяйкиной комнатѣ. На крыльцѣ и въ сѣняхъ передъ кухней была такая темнота, что я кое-какъ отыскалъ какія-то двери, около которыхъ кто-то спалъ. Сталъ я стучать въ двери, стучалъ долго, такъ что разбудилъ спавшаго человѣка.

— Кто тутъ?—пробурлилъ сердито мужчина.

— Я, жилецъ.

Лежавшій только повернулся на другой бокъ. Опять

я стала стучать. Отперли двери, только не эти, а другія. Сказавши, на вопросъ кто тутъ, удовлетворительный отвѣтъ, я вошелъ въ кухню, въ которой было очень темно.

— Какъ вы поздно!—спросилъ женскій голосъ.

— Нельзя ли посвѣтить мнѣ?

Немного погодя, въ кухню вошла дѣвушка лѣтъ 18 въ блузѣ, брюнетка; она постоянно зѣвала, лицо ея было измято. Въ кухнѣ спало четыре человека—двое мужчинъ и двѣ женщины. По стѣнамъ, полу и спящимъ гуляло множество таракановъ, черныхъ и красныхъ. Одинъ мужчина спалъ поперекъ двери въ мою комнату. Дѣвица хихикнула.

— Подѣлжъ, сидите дома,—сказала она мнѣ.

— Чего еще вы съ огнемъ-то тутъ!—вскричала какая-то женщина, лежащая у стѣны.

Я пошелъ къ двери; дверь не заперлась и я перешагнувъ черезъ спящаго человека; дѣвица такимъ же образомъ вошла за мной. Свѣчками я еще не запасаю; поэтому я радовался даровому освѣщенію. Налѣво, на полу спало двое мужчинъ, повидимому изъ рабочихъ, положивъ подъ головы мой чемоданъ такъ, что онъ былъ въ серединѣ, а они спали врозь угломъ и черезъ одного мнѣ нужно было опять перешагнуть. Это мнѣ не понравилось, да и я боялся, чтобы у меня не украли послѣднее мое достояніе.

— Вотъ и покорно благодарю!—проговорила дѣвица и захохотала.

— Дѣлать нечего, надо ложиться.

— Куда?

— Мѣсто будетъ.

— Отчего они ваши одѣяло и подушку не взяли?

— Оттого, что они, должно быть, не привыкли на мягкомъ спать.

— Какъ же вы на полу-то?

— А они вѣдь спятъ же?

— Вы бы къ намъ шли?—сказала она нерѣшительно.

— Зачѣмъ?

— У насъ лучше: я вамъ свое мѣсто уступлю, на полъ лягу, а сестра не будетъ сегодня.

— Покорно благодарю.—И я занялся приготовленіемъ постели: положилъ на полъ одѣяло, къ стѣнѣ подушку. Швей, какъ она себя рекомендовала во время приготовленія мною ложа, какъ видно, хотѣлось посидѣть у меня, но я ее ловко выпроводилъ. Спать я легъ, не раздѣваясь. Долго я не могъ заснуть не потому, чтобы я кого-нибудь боялся, но меня начинали сильно покусывать клопы и блохи, и я долго обсуждалъ то, что видѣлъ сегодня. Особенно я злился на то, что уѣхалъ изъ Орѣха, не сообразивши того, какъ я буду жить въ столицѣ, злился на то, что я бѣдный человекъ, и рѣшился завтра же искать другую квартиру.

Утромъ человекъ пробуждается свѣжій. Онъ больше можетъ сообразить вещи; впечатлѣнія становятся болѣе ясными, чѣмъ вчера, и то, что вчера вечеромъ не нравилось, теперь кажется вещью возможною и человекъ смотритъ на всенисходительно. Такъ и теперь мнѣ хотѣлось пожить съ бѣдными людьми и

узнать, что такое провинціалъ, бѣдный провинціалъ въ Петербургѣ: достигается ли онъ своихъ цѣлей и почему ему нравится жить именно въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ, Нижнемъ или у себя дома? Эта мысль приходила мнѣ въ голову, когда я ѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Петербургъ и народу ѣхало очень много; потому я каждый день со скуки ходилъ на желѣзную дорогу по четыре раза въ сутки и удивлялся, что сколько пріѣдетъ людей въ Петербургъ, почти столько же отправляется изъ него и въ Москву, но простого народа въ Москву ѣдетъ не много. Вставать не хотѣлось. Я еще лежалъ лицомъ къ стѣнѣ и слышалъ разговоры сидѣвшихъ или лежавшихъ мужчинъ въ моей комнатѣ.

— ...Ну ихъ къ чертямъ! На фабрикѣ, али какъ-нибудь лучше, потому недѣлю отработалъ, праздникъ гуляй, и понедѣльникъ гуляй. А извозчикъ што?.. Вонъ я знаю, къ Петрову въ кабакъ ходитъ Митюха, такъ проклинаятъ-проклинаятъ свою жизнь — бѣда, говорить. Лошадь своя—да корма-те нонѣ дороги, одному невыгодно фатеру нанимать, ну и пошелъ въ подрядъ къ Сенъкѣ Гулаеву.

— Мой братъ по рублю въ день всегда наживаетъ,—сказалъ другой вошедшій мужчина.

— Ну, поди, не всегда. А ты по какимъ ремесламъ-то?

— Столярю у Якова Карпова.

— Такъ.

— А тотъ, ишь кубаремъ-то свернулся, изъ вашихъ?—спросилъ пришедшій.

— Нѣтъ. Ночью, сказываютъ, прибѣгъ пьяный.

— Приказный, поди, какой.

— А Богъ его знаетъ!..

Я перевернулся и слѣзъ на свою постель.

— Што, жестко спать-то?—спросилъ меня одинъ изъ рабочихъ съ клинообразной рыжей бородой.

— Я привыкъ.

— Приказный, чай?

— Что дѣлать, дядюшка!

Рабочіе стали одѣваться.

— А ты вотъ что... Не знаю, какъ те звать, величать, не напишешь ли грамотку во Псковскую губерню: жена тамъ съ робятами, — сказалъ другой рабочій, низенькій ростомъ, карявый.

— Ладно,—сказалъ я.

— Ты не думай, чтобы даромъ: денегъ дамъ, угощу.

— Я и такъ напишу.

— Ну, братъ, мы знаемъ, какъ ваша-то братья живетъ. А ты отколева?

— Изъ Орѣха.

— Слыхалъ. Изъ той губерніи недавно со мной робилъ одинъ, сказывалъ—дряное тамъ житье-то... Такъ насчетъ грамотки-то можно?

— Можно.

Одинъ изъ рабочихъ накинулъ на себя зипунъ, другой поддевку, оба надѣли по фуражкѣ, одинъ взялъ молотокъ, надѣлъ на плечи узелокъ съ пожитками, другой тоже надѣлъ узелокъ; столяръ облачился въ поддевку, накинулъ фартукъ, а съ собой ничего не взялъ. Они ушли.

Когда я вошелъ въ кухню, мужчинъ тамъ уже не

было, только двѣ женщины пили кофей розно. Обѣ онѣ поглядѣли на меня косо.

— А гдѣ бы мнѣ умыться? — спросилъ я женщинъ.

— Умыться-то у насъ негдѣ: изъ рта умываемся.

— Какъ такъ?

— Зачерпнемъ чайной чашкой изъ кадки... такъ и моемся.

Я такъ и мылся. Когда я умывался, женщина помоложе, которой вчера не было въ кухнѣ, объясняла мнѣ:

— Мы воду-то отъ водовоза покупаемъ по гривнѣ за ведро, да хозяйка, паскудная, воруетъ.

— Откуда же вода-то?

— Съ канавы. Съ Невы-то далеко, ну и покупаемъ у такихъ—дешевле.

Воду противно было пить; въ ней было много сору.

— А ты какъ здѣсь живешь?

— А столаръ мой мужъ, а другой-то ейной, — и она указала на другую женщину.

— Много у нашей хозяйки жильцовъ?

— Въ той половинѣ двѣ дѣвки живутъ, да съ того крыльца чиновникъ съ содержанкой живетъ.

— Дорого беретъ хозяйка?

— Съ чиновника шесть рублей, съ дѣвокъ четыре, да съ насъ по рублю, — значить, съ одного по полтиннику приходитъ; а тѣ мужики, что съ вами спали, не знаю, сколько платять, потому вчера пущены.

— А вы чѣмъ занимаетесь?

— Яблоками да ягодами торгую. Да край-то здѣсь дрянной: когда четвертакъ выторгуешь, особливо, въ праздники, а то и пятака расколотаго не приобрѣтешь.

Пришла въ кухню хозяйка; отъ нея сильно разлило водой.

— Хозяйшкa, я не одинъ буду жить въ комнатѣ? — спросилъ я ее, утираясь полотенцемъ.

— Что жъ такое? они только ночевать приходятъ.

— А въ праздники?

— Это ужъ мое дѣло. Нравится квартира—живи, не нравится—въ Петербургѣ много квартиръ. А ты мнѣ паспортъ свой подай да деньги за мѣсяцъ. Я ушелъ въ комнату, а хозяйка закричала на торговку:

— Зачѣмъ ты ему воду даешь?

— А чья вода-то—не моя, что ли?

— Молчать!

— Сама молчи, паскуда! пьяница эдакая...

— Ахъ ты!.. вонъ съ моей квартиры!

— И уйду!.. Ты напередъ деньги заплати, что за яблоки должна.

— Какіе яблоки?!

— Ахъ ты!..

Пошла ругань; присоединилась еще третья женщина; бабы раскричались и попрекали другъ дружку, чѣмъ только могли. Наконецъ хозяйка ударила торговку по щекѣ. Торговка вошла ко мнѣ въ такой азитаціи, что мнѣ жалко ее стало, но на лицѣ ея выразалась какая-то радость.

— Вотъ!.. вотъ!.. Плюху отъ паскуды не пито не

ѣдено получила... Она убьетъ меня и васъ убьетъ... Я васъ во свидѣтели ставлю.

И она убѣжала на улицу. Немного погодя, она пришла съ городовымъ, который велъ себя, какъ важное лицо, еле двигался, на все смотрѣлъ флегматически, какъ будто думалъ: „мы эти штуки на каждомъ часу выдаемъ“. Онъ отправился прямо къ хозяйкѣ. Сквозь дверь въ моей комнатѣ, рядомъ съ хозяйской, я могъ слышать даже шопотъ.

— Ты опять!—сказалъ городской.

— Кузьма Сидорычъ! я спосობиться не могу съ ними.

— А зачѣмъ бьешь? Вѣдь она бой-баба, къ самому частному пойдетъ.

— Выгони ты ее! Денегъ ужъ вотъ сколько не платить...

— Врешь! врешь, паскуда!—закричала торговка, услышавшая эти слова, и ворвалась въ комнату хозяйки, но городской прогналъ ее.

Зазвенѣли деньги; городской вышелъ въ кухню.

— Ты, баба, не буйна, въ кварталъ представлю,—сказалъ онъ мимоходомъ торговкѣ.

— Ну, и представляй! Я не воровка какая-нибудь.

— Ну, ну, не разговаривай!

Городовой вышелъ. Послѣ этого женщина, поругавшись съ хозяйкой, скоро ушла.

Нужно мнѣ было достать изъ чемодана дневникъ, но такъ какъ онъ былъ далеко, то пришлось вынимать почти всѣ тетрадки, книги, бѣлье и сюртуки. Повѣсить сюртуки, пальто и шинель было некуда, потому что нужно было еще купить гвоздей, да и нѣшать неудобно, потому что утащать, и тогда я долженъ буду ходить на службу въ рубашкѣ. Вообще я трусилъ за всѣ мои вещи, за все мое движимое имущество; особенно дороги были для меня тетрадки, которыя могли очень легко попасть въ мелочную лавочку, гдѣ ихъ употребятъ на обертки. Перебирая и размышляя такимъ образомъ, я вдругъ увидалъ въ дверяхъ женщину, съ которой я разговаривалъ вчера. Она очень пріятно глядѣла на меня и на мое имущество, разбросанное по полу.

— Это все ваше?—спросила она какъ-то глуховато.

— А что?

— То-то. Я все смотрю: вещей-то у васъ много. Вы по какой части?

Я сказалъ. Она подошла ко мнѣ ближе.

— Не пособить ли вамъ?

— Нѣтъ... Мнѣ нечего же дѣлать.

— Я такъ... Мнѣ тоже нечего дѣлать... А не то я пособию...—и она умилно поглядѣла на меня, потомъ заговорила: —Одиннадцатый годъ маюсъ я здѣсь-то; изъ Михайловскаго села, Костромской губерніи, пріѣхала съ мужемъ сапожникомъ; да не долго маялась съ нимъ—померъ скоро. Ну, и стала искать работы, домой неохота... Сваталась за меня подмастерье одинъ; я тогда красивая, молодая была. Не пошла. Думаю—сама себя прокормлю. Ну и попала сначала въ кухарки, въ хорошее семейство; годъ выжила; четыре съ полтиной получала на всемъ на готовомъ... Потомъ хозяева уѣхали, кажись, въ Перскую губернію, далеко куда-то. Звали, да куда

я въ экую даль поѣду... Съ тѣхъ поръ мѣстовъ много перепробовала. Дрянно. Теперь вотъ двѣ недѣли безъ мѣста, послѣдніе гроши продаю... Въ прачки думаю наняться... А вамъ не сходить ли зачѣмъ-нибудь въ лавочку?

Я поблагодарилъ ее и отказался отъ услугъ, потому что я понялъ: ей хотѣлось получить отъ меня что-нибудь.

Пошелъ въ департаментъ и пришелъ такъ рано, что въ немъ, кромѣ сторожей, еще никого не было. Здѣсь я чувствовалъ то же самое, что чувствуетъ новпчекъ въ училищѣ. Сѣлъ я въ дежурной, разговорился съ чиновникомъ, онъ послалъ меня въ отдѣленіе. Сѣлъ я къ окну и сталъ думать. Скучно, страшно скучно сдѣлалось; хотѣлось заниматься, переписывать, и много бы я переписалъ, и такъ бы переписалъ, что удивилъ бы всѣхъ своимъ стараніемъ... Вотъ начали проходить мимо меня чиновники: сначала одинъ, потомъ еще одинъ, и все больше и больше прибывали; заскрипѣли сапоги, задвигались стулья, что-то стучало, закашляли, заговорили, засмѣялись—и начался въ департаментѣ гулъ, появилось чиновниковъ много, запахло тяжелѣе, и куда дѣлась эта мертвая тишина! Департаментъ принялъ видъ школы, только школьники были чиновники, сидѣвшіе серьезно за столами по три человѣка и больше за каждымъ. Всѣ они какъ будто никого не боятся, толкуютъ свободно, о чемъ попало, смѣются другъ надъ другомъ. Но вотъ приходитъ помощникъ столоначальника; половина писцовъ ему кланяется, половина: онъ подаетъ руку, остритъ надъ кѣмъ-нибудь, считая, что онъ тоже начальство. Онъ отпираетъ шкафы и даетъ работу писцамъ. Заскрипѣли перья, но не вездѣ; многіе ходили, говорили, собравшись въ кучку,—читали газеты. Пришелъ наконецъ одинъ лысый, худой, высокій и некрасивый чиновникъ, котораго компанія тотчасъ подняла на смѣхъ. Онъ подошелъ къ помощнику столоначальника, Петру Васильчу, и протянулъ ему руку, тотъ ударилъ его по лысинѣ. Онъ выругался и сѣлъ на свое мѣсто. Положивъ обѣ руки на столъ и нюхнувъ воздухъ, онъ досталъ изъ стола бумаги съ подкладкой, посмотрѣлъ правымъ глазомъ на бумагу такъ близко, какъ пѣтухи смотрятъ, что въ немъ изобличало близорукость, еще повернулъ, поглядѣлъ такъ же и, положивъ на столъ, взявъ простое перо, такъ же поглядѣлъ на него и сталъ чинить. Очививъ перо, онъ попробовалъ его и, положивъ на столъ, вытащилъ изъ кармана сюртука пеклеванную булку и сталъ кушать, пройдясь къ другому столу.

— Жеребеночъ!—сказалъ одинъ чиновникъ.

Двое чиновниковъ захохотали.

Пришелъ какой-то гладенькій чиновникъ. Его прозвали канарейкой. Жеребеночъ называлъ его Соловьевымъ. Онъ сталъ смѣяться надъ Жеребенкомъ, называя его Дворянчиковымъ.

— Маменькинъ сыночекъ! нахапалъ денегъ-то.

Дворянчикову вѣроятно было обидно и онъ, сѣвъ на свое мѣсто, сказалъ: «скотина! блюдолизъ!». Глаза его больше прежняго покраснѣли, на лицѣ выступили красныя пятна.

— Господинъ... какъ васъ?... вы не связываетесь съ этими скотами,—сказалъ онъ мнѣ, и сталъ выводить на черновой бумагѣ отъ нечего дѣлать: департаментъ, его превосходительство и т. п.

Собрались всѣ чиновники, кромѣ столоначальниковъ, и наше отдѣленіе было похоже на гимназическій классъ, потому что чиновники, семейные люди, походили своими шутками, остротами и выходками вполне на гимназистовъ; молодые, недавно служащіе писцы, еще не чиновники, или переписывали, или молча слушаая товарищей, улыбались. Они учились развязности.

Занятіе мое было легкое: я переписывалъ съ предписанія копію или писалъ отпускъ къ дѣлу. Другіе, почище меня почеркомъ, тоже переписывали съ черновыхъ, написанныхъ карандашомъ, предписаній. Наконецъ пришли и столоначальники; они поздоровались съ помощниками да съ двумя писцами, а прочихъ удостоили кивками головъ. Послѣ всѣхъ ихъ пришелъ Черемухинъ. Всѣ встаютъ съ мѣстъ и кланяются, а Черемухинъ дѣлаетъ два кивка головой. мимоходомъ протягиваетъ два пальца столоначальникамъ и зоветъ помощниковъ. Въ отдѣленіи стихаетъ говоръ; каждый старается сдѣлать видъ, что онъ занимается..

Въ первый же день службы я узналъ отъ служащихъ, что Черемухинъ въ высшей степени казенный формалистъ, старающійся во всемъ быть аккуратнымъ человѣкомъ, что вся жизнь его заведена по часамъ, такъ что у него сутки распределены на разные роды занятій; у него определено: когда вставать, когда чай пить, когда читать, писать бумаги, когда любезничать съ женой, дѣтьми, когда устраивать вечера. Узналъ я также, что онъ очень самолюбивъ и честолюбивъ, и никогда не уничтожитъ лоскутка бумаги, на которомъ онъ что-нибудь сочинилъ, и эти лоскутки у него хранятся въ особой комнатѣ, которая вся загромождена его твореніями. Впрочемъ говорили, что его понять довольно трудно—что онъ за человѣкъ. Мнѣ же съ перваго раза бросилась въ глаза его формалистика.—Сторожъ приноситъ ему письмо.

— Откуда?

— Изъ города какова-то, в. н-ство.

— Сколько за мной?

— За пять писемъ—двадцать пять, в. н-ство.

— Какъ, за пять?

— Точно такъ-съ, в. н-ство.

Журналистъ принесъ ему вѣдомость о бумагахъ, выпущенныхъ въ эту недѣлю, и о числѣ разной бумаги, издержанной тоже въ эту недѣлю.

— Господа,—обратился онъ къ чиновникамъ,—не марайте много бумаги! Я на счетъ поставлю... Отчего вы гусиными перьями не пишете?

Всѣ молчали. Каждый какъ будто боится вызова, точно первоклассный гимназистъ, каждый боится директора.

Отправляли какое-то дѣло.

— Михайло Алексѣичъ, принесите мнѣ полшалки сургучу, большой конвертъ... печать... бичевку...—говорилъ онъ съ разстановкой журналисту. Тотъ



приносит и кладет все это на столъ. Черемухинъ подзываетъ къ себѣ журналиста, писца и помощника столоначальника.

— Петръ Васильевичъ, держите конвертъ.

Петръ Васильевичъ держитъ конвертъ.

— Цѣль?

— Точно такъ, в. п-ство.

Обвязываетъ Черемухинъ дѣло бичевкой, прикладываетъ печать и кажетъ окружающимъ его тремъ человѣкамъ.

— Хороша печать?

— Хороша.

— Держите конвертъ.

И Черемухинъ самъ всовываетъ дѣло въ конвертъ, запечатываетъ его, обвязываетъ бичевкой, печатаетъ, кажетъ при этомъ то журналисту, то помощнику столоначальника и самъ отдаетъ дѣло съ относной курьеру.

Уже шестой часъ, а Черемухинъ все копаются; онъ сначала все уходилъ то къ директору, то терся въ другихъ отдѣленіяхъ, теперь онъ началъ писать какія-то письма и между тѣмъ отдавалъ приказанія помощникамъ. Столоначальники уже давно ушли, а писцы идти не смѣютъ. Дѣлать имъ нечего, хочется пить ѣсть, идти нельзя, они и шепчутся громко: „экъ его разсидѣлся!“ Недовольство выражается все громче и громче, и это, кажется, надоедаетъ Черемухину, — онъ возглашаетъ:

— А! кому нечего дѣлать, можетъ идти. Только вы, — говорить онъ помощникамъ и журналисту, — останьтесь, да по писцу изъ стола оставьте ..

Пошелъ я обѣдать въ харчевню, въ которой, какъ мнѣ сказывали, порція шей стоитъ три копейки. Харчевню составляютъ три небольшія комнаты, въ одной шесть столовъ, а въ двухъ по три. Въ той комнатѣ, въ которую я вошелъ, было шесть человѣкъ, кромѣ меня: за однимъ столомъ обѣдали четыре извозчика, за другимъ какой-то человѣкъ въ шинели, вѣроятно чиновникъ, съ мальчикомъ. Я спросилъ шей и жаркого. Шя, по случаю середи, сегодня не полагались, а вмѣсто нихъ принесли уху и жаркое изъ какой-то рыбы. Хлѣба можно было купить тутъ же. Извозчики толковали о своихъ дѣлахъ, и передъ ними на столѣ стояли двѣ осмушки. Въ остальныхъ комнатахъ говорили громко, ругались — это были все рабочіе люди, за исключеніемъ развѣ чиновника, котораго, по его бѣдному наряду, впрочемъ не считали за чиновника.

Уха оказалась дрянною: наложены какія-то кости, вода съ несомъ, пахнетъ саломъ; жаркое, состоящее изъ двухъ черненькихъ маленькихъ рыбокъ, тоже пахнетъ свѣчнымъ саломъ. Чиновникъ жаркого не бралъ, а взялъ двѣ порціи ухи, набивая ею свой и своего сына животы пополамъ съ чернымъ хлѣбомъ. По непривычкѣ я не могъ хлебать уху и ѣсть жаркое, а ѣлъ хлѣбъ съ солью.

— Вы вѣрно въ первый разъ здѣсь? — спросилъ меня чиновникъ.

— Да.

— Ёсть можно, дешево.

Пошелъ я въ трактиръ, а попалъ въ портерную.

— Пивка прикажете: бѣлаго, али чернаго? — спросилъ меня сидѣлецъ, съ краснымъ лицомъ, не молодой.

— А можно у васъ получить пирогъ съ мясомъ?

— Можно. Прикажете бутылочку?

— Я не пью пива. Водки пожалуй выпью.

Заказавъ мнѣ пирогъ, онъ сталъ просить меня, чтобы я его угостилъ пивомъ. Я такъ и сдѣлалъ. За пивомъ онъ мнѣ сказалъ, что онъ хозяинъ харчевни и портерной, что прибыли здѣсь нѣтъ, даже отъ харчевни мало выгоды; кутилы сюда почти не заглядываютъ, потому что трактиръ и портерная съ харчевней пахотятся не на видномъ мѣстѣ. „Вы не повѣрите, — рассказывалъ онъ мнѣ: — я да зять наняли сообща, и здѣсь три комнаты за тридцать пять рублей въ мѣсяцъ, онъ во второмъ этажѣ шесть комнатъ за шестьдесятъ пять руб., на свой счетъ меблировали, покрасили, занавѣски повѣсили, капиталу одного двѣ тысячи серебряныхъ затратили, да эти свидѣтельства чего стоятъ! А ужъ полгода, какъ мы здѣсь торгуемъ. хошь бы грошъ выручили. Ужъ стараемся и такъ, и сакъ, а пользы нѣтъ. Иной день и никто не зайдетъ. Въ трактиръ ходятъ, да въ праздники... Хотѣлъ я бильярдъ здѣсь устроить, да зять говорить — отобьешь отъ меня гроша... Теперь хочу постоянный дворъ завести. Потрачу еще двѣсти рублей, авось и поправлюсь“...

На прощанье онъ еще стянулъ съ меня бутылку пива и попросилъ посѣщать его по чаще.

Между тѣмъ капиталъ мой убывалъ замѣтно. Дорогой, сосчитавши деньги, я съ ужасомъ узналъ, что у меня всего ихъ только 5 р. 28 коп. Сталъ и ворочать мозгами, какъ бы жить такъ, чтобы денегъ не тратить? Но сообразивъ, что вездѣ лупятъ большіе цѣны, я шелъ какъ помѣшанный и рѣшилъ завтра же продать свой хорошій неформенный сюртукъ, который въ Орѣхѣ стоилъ мнѣ пятнадцать рублей.

Хозяйка была уже пьяная и опять ругалась съ жилищкой въ кухнѣ; чиновникъ, жившій съ содержанкой, праздновалъ свои именины, и потому въ его комнатѣ происходило веселіе велие. Хватился сюртука, на который я хотѣлъ еще взглянуть въ послѣдній разъ и посоветоваться съ жилищкой, куда бы его продать, сюртука въ чемоданѣ не оказалось, а замокъ запертъ сомнительно. Объявляя я свою претензію хозяйкѣ, она закричала:

— Извольте убираться! очищайте комнату.

Такое предложеніе мнѣ было сказано въ первый разъ въ жизни, и я возмущился, но промолчалъ. Вечеромъ у нея былъ гость, какой-то унтеръ-офицеръ. Онъ пришелъ пьяный и за что-то билъ хозяйку, которая ругалась, плакала и причитала: „ты подлецъ! ты мою душу загубилъ, подлый человѣкъ!“... Унтеръ тоже ругался и плакалъ, приговаривая: „ты не любишь меня, собака! я въ гробъ вкочую твою подлую душу“... и все-таки они послѣ этого затихали и цѣловались. Пришли рабочіе въ кухню и въ мою комнату. Пришли они уже выпивши. Долго они ругались, потомъ заплѣли всѣ въ разъ: „не вчера ли я гуляла“, но выходило нескладно. Потомъ они долго каляли о своихъ дѣлахъ, ругались и вообще обра-

щались другъ съ другомъ безъ церемоніи, а одинъ такъ чуть драку не затѣялъ. Со мной обращались тоже попросту, просили полштофа водки, но я отказался, они обругали меня и скоро заснули. Они легли спать опять по вчерашнему, только мои товарищи, спящіе въ комнатѣ, положили подъ головы свои узелки.

И я легъ спать, но долго не могъ заснуть. Рабочіе храпѣли, но хозяйка все еще ругалась, уже охриплымъ голосомъ, и, казалось, была очень пьяна. Слышно было, что унтеръ говорилъ несвязно: „ты сви-ня! ты до-бродѣтъ... не чувствуешь... Да!“.

— Спи, пьяница.

— Я тебѣ покажу!.. покажу...

Вдругъ что-то грохнуло, не у хозяйки, гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, но изъ хозяйской комнаты слышались только глухія ворчанья... слышались гдѣ-то свистѣть, кажется отворяли ворота... гдѣ-то скрипѣли двери... Страшно мнѣ сдѣлалось въ этой берлогѣ, долго я не могъ заснуть и заснулъ только къ утру.

Мнѣ хотѣлось жить въ каменномъ домѣ. „Чѣмъ выше, думалъ я, тѣмъ воздухъ чище“. Долго я бродилъ по разнымъ переулкамъ и наконецъ въ въ одномъ изъ нихъ увидалъ бумажку съ надписью, что отдается комната съ мебелью. Дворника не оказалось. Вышла съ крыльца немолодая женщина, которая рекомендовала мнѣ хозяина за хорошаго человека. Въ этомъ деревянномъ домѣ-флигелѣ была питейная лавочка, въ которой торговалъ хозяинъ флигеля, т. е. квартирный хозяинъ. Онъ былъ молодой человѣкъ, и когда я вошелъ въ лавочку, читалъ „Сынъ Отечества“. Со мной онъ обошелся любезно, говоря скоро: — „Комната для васъ будетъ очень хороша-сь и по мѣсту довольно дешева-сь“, — точно какъ будто онъ продавалъ мнѣ водку или какія-нибудь вещи. Я рассказалъ ему про неудобства моей старой квартиры, онъ принялъ во мнѣ участіе:

— Помилуйте-сь, какъ можно жить въ такой квартирѣ! Это настоящіе мазурики, они обокрадутъ васъ. А у меня жильцы всѣ хорошіе; насчетъ покою можете не сомнѣваться.

Онъ повелъ меня показывать комнату черезъ питейную лавочку, заставивъ свою жену Агафью Егоровну сидѣть вмѣсто него въ лавкѣ.

Вошли мы въ кухню. Тамъ запахло кожей, сыростью, табакомъ и еще чѣмъ-то кислымъ. У окошка сидѣло двое мужчинъ, одинъ хромой, съ начинающими сѣдѣть волосами, безъ бороды, но съ небритымъ лицомъ; другой походилъ на нѣмца или скорее на финляндца. Не вставая, они проговорили хозяину: „А Андрей Петровичъ, какъ васъ Богъ милуетъ?.. Что, комнату отдавать? дѣло!“.

Мы пошли дальше. Наконецъ вотъ и комнатка съ однимъ окномъ и еще двери куда-то. Она была хотя и небольшая, но совершенно отдѣльная, свѣтлая, Padova оклеенная обоями.

— Вотъ-съ комната! — сказалъ хозяинъ, вздохнувъ и какъ будто желая увѣрить меня, что товаръ на лицо, и онъ сознаетъ, что лучше этого товару вы нигдѣ несыщете. — А это чердакъ. Тутъ вы, когда будетъ жарко, спать можете, — прибавилъ онъ, показывая мнѣ чердакъ.

— Въ ней никто не будетъ жить?

— Какъ можно-сь!

— Сколько же вы возьмете?

— Безъ лишняго пять рублей. Вамъ и самоваръ сюда будемъ носить.

Мы порѣшили на четырехъ рубляхъ. Два рубля я далъ задатку, хозяинъ принесъ мнѣ кровать, столъ и три стула. Скоро я переѣхалъ.

Послѣ занятій въ департаментѣ я, напившись чаю и закусивши чернымъ хлѣбомъ, короче познакомился съ хозяиномъ. Онъ поставилъ мнѣ въ кабакѣ осьмушку вишневки и сказалъ, что онъ московскій мѣщанинъ, квартиру-флигель нанимаетъ за 350 руб. въ годъ.

— А много у васъ всего жильцовъ?

— Да есть-таки. Только народъ-то рабочій, бѣдный. Больше водкой забираютъ.

Приходили въ кабакъ покупатели. Всѣ они знали моего хозяина и онъ со всѣми ими былъ очень вѣжливъ, такъ что я удивился, замѣтивъ въ хозяинѣ кабака и въ квартирномъ хозяинѣ вѣжливаго и простого человѣка, котораго, какъ видно, всѣ уважаютъ.

— Главное, не нужно заѣдаться съ людьми; всякіе есть. Нужно такъ дѣлать, чтобы всѣхъ удовлетворить. А безъ этого ничего не подѣлаешь.

— Есть ли выгода?

— Какая выгода! Съ квартиры ровно ничего. Вѣдь и здѣсь я только съ женой торгую. А то ежели мальчика держать, такъ надо платить шесть или больше рублей, кормить, да сколько еще водки выдуть. И тутъ пользы мало, потому много развелось нашего брата.

Приходили жильцы и жилички за водкой, и онъ отпускалъ имъ въ долгъ въ книжку, причѣмъ шутилъ съ ними въ родѣ слѣдующаго:

— Смотри, Семенычъ, коли не заплатишь, вѣрить не стану я твоему красному носу.

— Ужъ ты не говори! право слово отдамъ.

— То-то! ишь, губы-то въ янцахъ выпачкалъ.

— Поди ты! съ Пасхи въ ротъ не биралъ. — Хозяинъ хохочетъ, а Семенычъ идетъ къ зеркалу.

Въ кабакѣ было зеркало и разныя картинки, прилагаемыя при воскресныхъ нумерахъ „Сына Отечества“.

Хозяинъ понравился мнѣ за свою простоту и я думалъ, что я теперь заживу ладно. Но на душѣ было невесело. Денегъ осталось уже 2 р. 13 коп., а я вотъ уже полторы недѣли не хлебалъ щей, не ѣлъ мяса. Покупалъ я молоко, но молоко черезъ шесть часовъ претворялось въ творогъ. На службѣ не было ничего особеннаго, квартира тоже ничего, сосѣди хотя и говорили громко, пѣли, хохотали, но все-таки я читалъ. Только по вечерамъ въ кабакѣ пѣли пѣсни рабочіе очень пронзительно, потому что кабакъ былъ подо мной, и плясали такъ, что домъ трясся. Заходилъ ко мнѣ и первый хозяинъ Андрей Васильевичъ. Онъ сначала пилъ водку на мой счетъ, а потомъ какъ узналъ, что до конца мѣсяца еще недѣля, то и самъ покупалъ водки. Онъ просилъ меня пить, я пилъ и не чувствовалъ, какъ засыпалъ. Сладко спалось; въ это время я ничего не чувство-

валъ, даже во снѣ ничего не видѣлъ, только утромъ болѣла голова, но я не могъ пить водку утромъ. За то вечеромъ я выпивалъ по осмумшкѣ, чтобы уснуть скорѣе: иначе я вплоть до шестого часу не могъ уснуть отъ блохъ и клоповъ, на которыхъ не дѣйствовали никакіе персидскіе порошки и ромашки.

Меня очень полюбилъ одинъ сапожникъ — похожий на нѣмца, Филатъ Никитичъ. Приходитъ онъ ко мнѣ утромъ и говоритъ:

— Извините, м. г., что я побеспокоилъ васъ.

— Мнѣ очень пріятно, — отвѣчалъ я.

— Хорошо-ли почивали?

— Хорошо. Вчера чуть блохи не съѣли.

На это онъ замѣчалъ всяко, разъ замѣтилъ: „Ну, этого не бываетъ. Только вѣдь римскаго царя какого-то вши съѣли... Одолжите папирску... Я васъ не беспокою? Приходите къ намъ покалякать... Не принести ли вамъ самоварчикъ?“.

Онъ всегда ради папирски, ради рюмки водки навязывался на какое-нибудь дѣло: то сапоги вычистить, то въ лавочку сходить и т. п. Но я все это дѣлалъ самъ.

А къ половинѣ мѣсяца денегъ у меня не стало ни копѣйки. Какъ быть? Есть хочется, денегъ нѣтъ, а однимъ чаемъ сытъ не будешь. Хорошо еще, мнѣ вѣрила торговка Акулина, которая жила у хозяина: она мнѣ давала булки, черный хлѣбъ, огурцы и яйца въ долгъ.

Прислуги у хозяина для жильцовъ не было, а Акулина, ужъ неизвѣстно почему, часто приносила въ мою комнату самоваръ. Эта женщина играла у хозяина роль, а именно торговала въ кабакахъ булками, чернымъ хлѣбомъ, огурцами, яйцами и проч. Она хозяину ничего не платила за квартиру и все-таки хозяину выгодно было держать ее. Дозволяя ей торговать въ лавочкѣ безплатно, хозяинъ имѣлъ больше посѣтителей, которые, закусывая, больше пили водки; значитъ, хозяинъ посредствомъ торговли имѣлъ больше барыша, чѣмъ торговцы другихъ кабаковъ, неимѣющіе права отпускать посѣтелямъ ничего изъ съѣстнаго, кромѣ сухарей. Хозяинъ въ этомъ случаѣ умѣлъ ладить съ городовымъ, который аккуратно приходилъ къ нему за выпивкой утромъ и вечеромъ и потому не обращалъ вниманія на торговку, которая на лицо имѣла только булки и огурцы, а въ кухнѣ держала папирсы изъ миллеровскаго табаку, которыя она продавала по одной коп. за штуку. Для мелочной торговли на улицѣ ей нужно было взять билетъ изъ думы въ полтора рубля за годъ. Кромѣ этого она была у хозяина что-то въ родѣ слуги: мыла и мела полы, шила бѣлье, помогала стряпать хозяйкѣ и за это ее кормили, поили чаемъ и она такъ привыкла къ хозяевамъ, что ни за что не хотѣла отойти отъ нихъ.

Въ первые дни на этой квартирѣ меня заинтересовало, кто живетъ въ сосѣдней со мной комнатѣ. Хозяинъ говорилъ, что тамъ живетъ какой-то бѣдный пріѣзжій отставной чиновникъ. Этого чиновни-

ка я не видалъ, а только слышалъ, что за стѣной кто-то играетъ на гитарѣ: „во саду-ли въ огородѣ дѣвица гуляла“. Разъ я былъ въ кухнѣ и толковалъ о чемъ-то съ сапожниками. Вдругъ изъ сосѣдней со мной комнаты послышалась игра на гитарѣ.

— Чортъ ее подери, эту жизнь поганую!.. Непремѣнно куплю себѣ гитару, — сказалъ хромой сапожникъ Семенъ Васильичъ.

— Ну, братъ, тебѣ гитары не купить, потому что ты пьяница, что называется, первый сортъ. Есть деньги — въ кабаки, нѣтъ денегъ — ходишь съ пустымъ животомъ и жалуешься: „ой, въ животѣ вѣтры ходятъ!“... Туда же, безмозглая голова, гитару захотѣлъ.

— Не я одинъ пьяница на бѣломъ свѣтѣ: пью на свои деньги. Да ты скажи, кто нынѣ не пьетъ-то?

— Все-таки гитару ты пропнешь въ первый же вечеръ.

— А хоть бы и такъ... Вотъ теперь этотъ чиновникъ! Вчера я весь день просидѣлъ дома нарочно, все хотѣлъ выждать: пойдеть чиновникъ со двора, или нѣтъ; думаю: голодъ не тетка, побѣжить въ лавочку за чѣмъ-нибудь... Ну, чтожъ-бы ты думалъ?.. Все сидѣлъ дома да тренькалъ на гитарѣ. Такъ и прошло до вечера. Смотрю, огонь у него въ комнатѣ; ну, я и пошелъ къ нему изъ любопытства, и предложъ нашель: свѣчку ваялъ съ собой засвѣтить, знаешь... Вхожу, а онъ пишетъ. Здравствуйте, говорю, м. г., извините, что побеспокоилъ. — Ничего, говорить, покорнѣйше прошу садиться; папирсочки не желаете ли? — Нѣтъ, говорю, не нужно. Я засвѣтилъ свѣчку и говорю: все-то вы, м. г., дома сидите, хоть бы провѣтрились. — Некогда, говорить, все пишу. — А позвольте полюбопытствовать, говорю, что вы пишете? — Сочиняю, говорить. — Ну, не понимаю я, что онъ тамъ сочиняетъ; только говорю: вы, поди, еще сегодня не кумали? — Вчерашній, говорить, хлѣбъ доѣлъ. Сытъ. — Только спрашиваю: на что же вы это пишете? вѣдь вы не служите? — А для того, говорить, чтобы въ книгахъ печатали; за это, говорить, деньги платятъ. — Ну ужъ, это онъ прихвастываетъ. Потому, какъ бы деньги были, не жилъ бы такъ.

— Ну, а сегодня уходилъ?

— Уходилъ. Часа три или четыре не было дома. Приходитъ; я спрашиваю: гулять изволили? — Сочиненіе, говорить, снесъ, да хозяина не засталъ дома. Мошенники, говорить, этотъ народъ, не принимаютъ меня, потому что я бѣдный, провинціалъ. — Злой такой. Виномъ пахло... Все спалъ послѣ этого.

Я рассказалъ сапожникамъ процессъ сочиненія и какая бываетъ отъ этого польза сочинителямъ; сапожники плохо вѣрили и отозвались такъ: „конечно человѣкъ умный все можетъ написать; а вонъ наши братъ и письмо начнетъ писать, такъ недѣлю собируется да двѣ написать. Ну, да мы не обучены. Только какъ же это: сидитъ онъ дома; ну, пишетъ, положимъ, ну, ему за это деньги платятъ?.. Вотъ еслибы онъ сапоги шилъ, али бы платъ, то видно бы было, что онъ работаетъ, а то пишетъ — и что онъ пишетъ? По крайней мѣрѣ мы не знаемъ, какою кому польза отъ его писанія“...

Въ это время вышелъ изъ комнаты молодой человекъ, въ сѣромъ пальто, развязный. Видно было, что онъ недавно всталъ.

— А, мое почтеніе, м. г.!—сказалъ Филатъ Никитичъ и протянулъ ему руку. Чиновникъ кивнулъ намъ головой; мнѣ онъ руки не протянулъ.

— Все шьете? — спросилъ любезно чиновникъ Семена Васильевича.

— Нельзя, м. г., по маленьку ковыряемъ, гроши собираемъ, авось дѣтишкамъ на молочнишко вышьемъ,—сказалъ Филатъ Никитичъ.

— Вы, я слышалъ, не здѣшніе?—спросилъ меня чиновникъ.

— Я изъ Орѣха.

— Очень пріятно. Мы чуть-чуть съ вами не земляки: я изъ Толокиннской губерніи... — и онъ протянулъ мнѣ свою руку. — Вы на службѣ?

— Да, просвѣщаться пріѣхалъ.

— Вотъ это умно вы сказали,—отнесся ко мнѣ Филатъ Никитичъ. — Здѣсь вы такое себѣ просвѣщеніе дадите, что мое почтеніе! Народу здѣсь гибель; всякій народецъ живетъ съ подхватцемъ, чортъ бы его задралъ! Я вотъ прибылъ сюда, м. г., на баркѣ изъ Финляндіи мальчуганомъ, тамъ у хозяина служилъ, да не понравился ему, онъ и послалъ меня къ тестю. А я по-русски ни аза не зналъ. Пріѣхалъ, глаза выпучилъ отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ. Сталъ работать, наппитовался: научился сапоги шить, ботинки, на двухъ языкахъ болтаю, а по-русски всякія закорючки знаю...

— Врешь ты, собачья морда! ты изъ Ямбурга: самъ читалъ на твоёмъ билетѣ.

Чиновникъ пригласилъ меня къ себѣ.

— Какъ вы находите этотъ народъ? — спросилъ онъ меня, когда мы вошли въ его комнату.

— Народъ хорошій.

— Ну нѣтъ: это избалованный народъ. У нихъ нѣтъ любви къ человѣчеству, уваженія къ женщинѣ, къ личности и т. п.

— Я не могу заключать, что этотъ народъ избалованъ, потому только, что онъ живетъ въ такомъ видѣ. Худого же онъ никому не сдѣлаетъ. Развѣ онъ, т. е. собственно одинъ который-нибудь сапожникъ изъ двухъ, обидѣлъ васъ чѣмъ-нибудь?

— А вы давно здѣсь?

— Третью недѣлю живу.

— Поэтому вы и не можете заключать такъ о здѣшнемъ народѣ.

Мы оба замолчали. Я сталъ вглядываться въ его комнату: желѣзная кровать, два стула, столъ небольшой, на столѣ лежатъ тетрадки и книги, фотографическая карточка самого чиновника; на стѣнѣ повѣшаны на одномъ гвоздѣ гитара, на другомъ сюртукъ, пальто и фуражка.

— Садитесь пожалуйста, потолкуемте. Я теперь ужасно занимаюсь: пишу комедію. Вы часто бываете въ театрѣ?

— Еще не былъ; денегъ нѣтъ.

— Существеннаго нѣтъ ничего... Я вотъ пишу существенное; былъ въ одной редакціи, не приняли. — спросилъ, почему, — они только сказали: теперь

комедіи и драмы никѣмъ не читаются. Отчего же они дрянныя комедіи печатаютъ? Это какъ?

Я тоже въ нѣкоторомъ родѣ былъ драматическій писатель и мнѣ слова его были не по нутру, но я о своемъ талантѣ умолчалъ и сказалъ:

— Ну, вы повѣсть начните.

— Ни за что! Въ повѣстяхъ нѣтъ интереса для простого народа. Я хочу, чтобы мои произведенія на театрѣ показывались.

— Это пожалуй трудненько, особенно здѣсь: говорятъ, протекція нужна.

— То-то и есть. Въ своей губерніи я давалъ содержателю театра одну комедію, да онъ хотѣлъ поставить ее съ передѣлками, я и не согласился.

— Ну, а раньше вы печатали гдѣ-нибудь?

— Въ губернскихъ вѣдомостяхъ печаталъ, да не стоило, потому что ихъ почти никто не читаетъ, а если кто и смотритъ ихъ, такъ смотритъ распоряженія начальства и разныя происшествія.

— Какъ же вы думаете теперь жить?

— Да вотъ теперь передѣлываю комедію. Я ее въ другую редакцію снесу.

Пошли мы съ нимъ въ кабакъ выпить водки. За водкой онъ рассказывалъ мнѣ, что пріѣхалъ сюда именно для того, чтобы помѣщать свои сочиненія: и бытъ постояннымъ сотрудникомъ журнала; для этой цѣли онъ вышелъ въ отставку. Когда же онъ накопитъ больше денегъ, то поступитъ опять на службу и ему дадутъ хорошую должностъ, потому-де, что онъ будетъ образованный человекъ. Послѣ этого знакомства онъ каждый день сталъ навѣщать меня; но онъ сталъ надоедать мнѣ своимъ хвастовствомъ о превосходствѣ его надъ другими сочинителями и рассказами о плутняхъ разныхъ чиновниковъ, а главное тѣмъ, что мы пили съ нимъ много водки. Онъ продалъ свои золотые часы, заведенные имъ еще въ провинціи.

Въ департаментѣ я не отличался отъ другихъ красивымъ почеркомъ и писалъ вообще очень невзрачно. Начальникъ отдѣленія ничего не давалъ мнѣ переписывать, да мнѣ и лучше казалось не переписывать на него, потому что онъ требовалъ каллиграфію, распекалъ за знаки препинанія и т. п. Помощникъ же объяснилъ мнѣ, что онъ потому не даетъ мнѣ переписывать, что ему мой почеркъ не нравится и онъ привыкъ къ одному почерку. Столоначальникъ не обращалъ на меня никакого вниманія и даже не зналъ моей фамиліи; онъ только и зналъ, что у него въ столѣ три писца. Вообще, на меня смотрѣли какъ на пустого человека, котораго можно повернуть какъ угодно; но когда мнѣ предложили взять работу на домъ, я храбро сказалъ, что у меня дома свѣтъ нѣтъ...

— Какъ такъ нѣтъ? — записалъ столоначальникъ.

— Очень просто: денегъ нѣтъ.

— Куда же вы ихъ дѣли? Вы — писецъ, должны жить экономнѣе... Пьянствуете вѣрно?

— Я еще не получалъ жалованья изъ департамента.

— А зачѣмъ вы сюда пріѣхали?

Все-таки мнѣ на домъ работы не дали. Чтобы пріобрѣсти больше денегъ, я сталъ наниматься дежурить

въ департаментъ за пятьдесятъ копѣекъ въ сутки, но меня немногіе навивали. во-первыхъ потому, что еще не знали, что я за тварь такая, и во-вторыхъ, я былъ нештатный писецъ. Однако, я уже пять разъ дежурилъ. Дежурныхъ въ департаментѣ полагалось четыре; старшій дежурный только расписывался въ книгѣ, а въ дежурную не ходилъ и не зналъ, кто еще дежурный, потому что онъ расписывался за недѣлю раньше. Поэтому одинъ, постарше остальныхъ двоихъ, дежурилъ съ девяти часовъ утра до трехъ часовъ, другой—съ трехъ до утра; ночью вѣрно было спать двоимъ, но спать всегда третій (по книгѣ четвертый). Дежурство мое только въ томъ и заключалось, что я принималъ пакеты, денешни, т. е. расписывался въ приѣмъ ихъ; дежурному подавался салыный огарокъ, который постоянно догоралъ въ восемь часовъ вечера, и съ этого времени я долженъ былъ спать.

Черезъ двѣ недѣли я уже уходилъ въ публичную бібліотеку и читалъ тамъ книги даромъ. Между тѣмъ я успѣлъ переписать одинъ рассказъ изъ провинціальной жизни. Онъ мнѣ такъ нравился, что я думалъ, что его во всякомъ журналѣ напечатаютъ, и по привычкѣ ходить по кухнямъ, пошелъ разсматривать редакторскую кухню.

Меня тамъ осмѣяла редакторская прислуга и послала въ редакцію. Съ замираніемъ сердца я отдалъ пакетъ лавке и ушелъ. Черезъ недѣлю пришелъ въ приѣмный день. Какой-то свирѣпый на видъ господинъ сказалъ мнѣ, что статья еще не прочитана и велѣлъ придти еще черезъ недѣлю. Черезъ недѣлю этотъ же свирѣпый господинъ сказалъ мнѣ важно: „неудобна къ напечатанію“.

— Почему?—спросилъ я.

— Да... однимъ словомъ, неудобна.

— Какія же причины?

— Извините, мнѣ некогда...—И онъ отошелъ. Обругалъ я въ душѣ этого человѣка, ушелъ домой и долго думалъ, куда бы отдать статью. Перебралъ я всѣ газеты—ничего въ нихъ нѣтъ хорошаго, и надумалъ отдать въ „Насѣкомую“—наудалую, на томъ основаніи, что изъ газеты мнѣ легче будетъ попасть въ журналъ, не смотря на то, что эта газета никакихъ тенденцій не имѣла и помѣщала чортъ знаетъ что, почему журналы уже и не говорили о ней.

Въ этотъ же день я отдалъ свой рассказъ въ контору газеты „Насѣкомой“ при письмѣ, въ которомъ я просилъ редактора напечатать статью и принять меня своимъ сотрудникомъ. Отдавши статью я думалъ, что я такъ просто побаловался и статью не напечатаютъ, потому что мой сосѣдъ Соколовъ не одну уже редакцію обѣгалъ, нигдѣ не принимаютъ; но я все-таки хотѣлъ потомъ передѣлать ее и отдать въ другую редакцію. Цѣлые пять дней я былъ въ тревожномъ состояніи: днемъ только и думалъ о статьѣ, думалъ, какъ я буду торжествовать, когда ее напечатаютъ въ столичной газетѣ и ее будутъ читать орѣховцы и департаментскіе чиновники. Между тѣмъ я все-таки сочинилъ другую статью. Каждый день я съ трепетомъ заглядывалъ во вчерашніе нумера газеты, нѣтъ ли моей статьи. Газету очень любилъ экзекуторъ и потому она къ намъ въ

отдѣленіе попадала на другой день послѣ выхода. Въ шестой день я увидалъ въ этой газетѣ фельетонъ и заглавіе моего творенія. Я ошалѣлъ: въ глазахъ зарыбило, кровь ударила въ голову, меня затрясло, сердце забилося сильнѣе. Сталъ я читать,—мои слова, моя мысль... Мнѣ засмѣяться хотѣлось отъ радости... Перевернулъ я листъ—моя фамилія. Но и тутъ мнѣ не дали въ волю порадоваться: помощникъ, видя, что я читаю газету, приказалъ мнѣ: „перепишите это поскорѣе да почище“. Я сталъ переписывать, но только думалъ о своей статьѣ. Помощникъ замѣтилъ мнѣ, что я больно разсѣянъ, а мнѣ хотѣлось подѣлиться своей радостью съ кѣмъ-нибудь. Подсѣлъ ко мнѣ Соловьевъ и спросилъ: «какъ вы поживаете?».

— Вы читали газету „Насѣкомая“?—спросилъ и его дрожащимъ голосомъ, какъ будто меня сейчасъ съѣхъ публично поведутъ.

— Пересматривалъ, да все срунда,—сказалъ онъ важно. Мнѣ это обидно показалось.

— Тутъ... тамъ моя статья,—сказалъ я тихо; языкъ точно не поворачивался у меня.

— Ваша?! Неужели! Гдѣ?—спросилъ онъ съ важнымъ изумленіемъ.

Я показалъ. Соловьевъ взялъ „Насѣкомую“, посмотрѣлъ, подпись моя, и сталъ читать, но читалъ немного.

— Такъ это точно ваша? поздравляю!—и, подошедши къ Петру Васильевичу Клюквину, сказалъ:

— У васъ въ столѣ литераторъ есть?

— Кто это такой?

— А вотъ!—и указалъ на меня.

— О чемъ?—спросилъ меня Клюквинъ.

— Это простой рассказъ.—Клюквинъ тоже удостоверился, что есть моя фамилія и, сказавъ: „надо прочесть“,—доложилъ объ этомъ столоначальнику, ткнувъ въ мою фамилію, напечатанную подъ статьѣй, какъ онъ тычетъ на статьи закона, показывая ихъ Черемухину. Столоначальникъ только промывчалъ: А!!—и отбросилъ газету въ сторону. Онъ не любилъ „Насѣкомую“.

Мнѣ показалось обиднымъ, что чиновники пренебрегаютъ моимъ сочиненіемъ. Когда я ходилъ курить, то мнѣ казалось, что всѣ на меня глядѣли и думали: вотъ сочинитель! Теперь чиновники нашего отдѣленія заговорили со мной вѣжливо, спрашивали, не печаталъ ли я еще гдѣ-нибудь статей, а Соловьевъ и Клюквинъ напрашивались на поздравку.

Когда Черемухинъ сталъ собираться домой, Клюквинъ доложилъ ему:

— Ваше превосходительство, у насъ литераторъ есть въ отдѣленіи.

— Кто такой?—спросилъ онъ, какъ будто съ испугомъ и съ удивленіемъ.

— Г. Кузьминъ. Онъ въ „Насѣкомой“ вотъ эту статью напечаталъ,—и онъ показалъ ему газету.

— Подпись есть?

— Точно такъ-съ, ваше превосходительство,—и онъ ткнулъ пальцемъ на подпись.

— Скажите ему, что я прочитаю.

Въ этотъ день я блаженствовалъ. Купилъ я нумеръ газеты за десять коп., прочиталъ и нашелъ въ

ней много своих ошибок: мнѣ казалось, что я бы теперь лучше сочинилъ. Много было типографскихъ опечатокъ и хорошія мѣста не были напечатаны. Хозяинъ тоже поздравилъ меня и попросилъ вѣжливо остальные деньги за квартиру, а у меня, не смотря на то, что я питался чернымъ хлѣбомъ и чаемъ, теперь денегъ было только двадцать одна копейка съ грошею. Соколову очень не понравилось, что напечатана моя статья, и онъ со мной былъ неразговорчивъ, а выпивъ на мой счетъ косушку вишневки, которая впрочемъ отсырѣла клопами, онъ сказалъ мнѣ, что и онъ понесетъ туда свою статью лучше моей—но какую, этого онъ не объяснилъ. На другой день чиновники со мной здоровались, кромѣ столоначальниковъ; особенно увивались около меня Клюквинъ, Пьюжкинъ, Соловьевъ и Алексѣевъ, и даже подсмѣивались надъ моимъ костюмомъ. Соловьевъ говорилъ мнѣ, что онъ часто бываетъ у П. и даже переписывалъ ему одно сочиненіе; что онъ другъ брата П., который служить въ такомъ-то департаментѣ, и что у меня нѣтъ настоящаго литературнаго слога. „Но,—говорилъ онъ мнѣ:—вы работаете; я вамъ помогу; мы вмѣстѣ будемъ читать“. Я думалъ, что меня не заставятъ переписывать, но заставляли, а начальникъ отдѣленія своими руками отдалъ мнѣ черновую бумагу и велѣлъ переписать и прочесть съ нимъ. Клюквинъ объяснилъ мнѣ: это означаетъ то, что начальникъ отдѣленія расположенъ къ вамъ. Случилось такъ, что я переписалъ, не стараясь, не красиво. Чиновники постарше подшучивали надо мной и говорили, что Черемухину не нравится моя переписка. Оно такъ и вышло: когда я подалъ Черемухину, онъ сказалъ, какъ всегда говорилъ чиновникамъ: „положите, я васъ призову“ и немного погодя сказалъ Клюквину: „скажите г. Кузьмину, что такъ негодится переписывать: вѣдь ее будетъ г. директоръ читать“. Я переписалъ снова старательно. Черемухинъ попросилъ меня сѣсть, а сѣлъ и чувствовалъ неловкость. Черемухинъ сказалъ:

— Смотрите въ мою черновую,—и сталъ читать громко. Я думалъ, что мнѣ смотрѣть въ его черновую не зачѣтъ, потому что онъ самъ знаетъ, что имъ сочинено, и сталъ глядѣть на его портфель.

— Что же вы въ мою черновую не смотрите? смотрите пожалуйста.

Онъ продолжалъ читать еще громче и медленнѣе, останавливаясь на каждомъ словѣ.

— Вотъ у васъ тутъ тире не поставлено... это нехорошо,—сказалъ онъ обиженнымъ голосомъ. Я покраснѣлъ, чиновники глядѣли на меня и Черемухина.

— Вы вѣрно безъ транспаранта пишете?

— Я и такъ умѣю.

— А вотъ эта строчка косо. Нельзя: вѣдь г. директоръ будетъ читать,—сказалъ онъ наставительно.—Тутъ вотъ опять тире. Какъ же вы сочиняете еще, а этого не знаете...—И онъ подписалъ свою фамилію, важно расчеркнувшись. Я умильно глядѣлъ на его росчеркъ.

— Вы можете идти на свое мѣсто.

Я вздрогнулъ, покраснѣлъ и ушелъ. Чиновники меня ошивали:

— Что, какво? Вотъ тѣ и сочинитель!

Въ этотъ день былъ у меня Соловьевъ и мы долго толковали съ нимъ о литературѣ. Онъ оказался неглупымъ человекомъ, но говорилъ, что знаетъ литературу вдоль и поперекъ, только не хочетъ самъ сочинять, лѣнь. Онъ мнѣ поправилъ другую статью и взялъ одинъ очеркъ для прочтенія.

На другой день я отдалъ другую статью въ ту же контору „Насѣжковой“, въ которой подалъ и первую.

И такъ я торжествовалъ. Послалъ я Ленѣ письмо, въ которомъ подробно описывалъ свою радость и надежды выйти въ люди своими сочиненіями. Письмо вышло дѣльное и въ немъ я уже называлъ Лену милою моею будущему подругою. Въ этотъ день чиновники получили жалованье. Половина чиновниковъ получили не все жалованье, потому что на нихъ были долги. Въ приемной толпились разные кредиторы, и особенно нахальничалъ чиновникъ департамента, который подписывается на газеты и журналы и у котораго чиновники подписываются на эти умо-просвѣщающія и умо-отупляющія вещи. Такъ какъ онъ обыкновенно затрачиваетъ много своего капитала, а чиновники пользуются этими вещами въ долгъ, то онъ и теребитъ съ нихъ деньги при полученіи жалованья.

— Деньги пожалуйста.

— Теперь не могу отдать, подождите до слѣдующаго.

— Да что же мнѣ все ждать. Отдайте ради Бога.

Чиновникъ-газетчикъ похожъ былъ теперь на жиду, просящаго свой долгъ, а чиновники-подписчики—на безсовѣстныхъ должниковъ, старающихся во что бы то ни стало отсрочить уплату платежа или не заплатить деньги.

Другой былъ пирожникъ, у котораго чиновники брали на книжку цѣлый мѣсяцъ и даже цѣлый годъ пироги.

— Ну подожди! Теперь нѣтъ, самому мало,—говорили одни.

— Ради Бога!..—онъ чуть не плакалъ.

— Ты, каналья, на меня пять пироговъ лишнихъ насчиталъ,—говорили другіе, рассчитываясь съ пирожникомъ.

— Какъ это возможно!.. Вѣдь я не въ первый годъ торгую у васъ.

Были здѣсь портные, сапожники и другіе люди, но чиновники старались какъ-нибудь улизнуть отъ нихъ. Одна какая-то госпожа очень плакалась на одного чиновника.

— Да вѣдь онъ здѣсь служилъ.

— Да. Теперь онъ въ отставкѣ уже съ мѣсяцъ.

— Онъ мнѣ назадъ тому шесть мѣсяцевъ вексель далъ въ тридцать рублей.

— А мнѣ росписку во сто рублей. Я ему платье шилъ вотъ по ихней рекомендаціи, отозвался портной, указывая на госпожу.

— Я была у него назадъ тому недѣлю; говорить, вы ничего съ меня не возьмете, я, говорить, еще двадцати лѣтъ, несовершеннолѣтній.

— Да, онъ еще несовершеннолѣтній, — сказали чиновники.

— Ничего не получите, — сказалъ одинъ молодой чиновникъ.

— Какъ же, онъ имѣетъ чинъ, а я не могу съ него, не имѣю права взыскивать деньги! Зачѣмъ же ему чинъ дали, коли онъ несовершеннолѣтній? — горячился портной.

Чиновники пожали плечами и ушли.

— Гдѣ же справедливость? — сказала госпожа и вышла съ портнымъ на площадку, а потомъ и изъ департамента.

Мнѣ пришлось получить жалованья только 5 руб. съ копейками. Всего жалованья мнѣ назначили 8 руб., и изъ нихъ около двухъ руб. вычли за негербовую бумагу, а одинъ руб. въ эмеритальную кассу. Объ этой кассѣ, какъ я слышалъ отъ чиновниковъ, они сами не имѣли понятія, потому что имъ не сказали правилъ; поэтому многимъ не хотѣлось платить денегъ — изъ 12 руб. — 6<sup>0</sup>/<sub>10</sub>; но съ нихъ вычитали, говоря, что годовъ черезъ десять они будутъ получать проценты, а черезъ двадцать пять — пенсію. Спросилъ я чиновниковъ: а могу я брать займы отсюда? — Нѣтъ. — А если я умру нынче или выйду въ отставку черезъ годъ? — Ничего не получите. Ждите, вотъ правила собираются печатать. — Я сказалъ экзекутору, что я не желаю платить денегъ, потому что мнѣ жить не на что.

— Не ваше дѣло, — сказалъ онъ, и говорить больше не захотѣлъ.

Компанія, состоящая изъ Клюквина, Пьюжкина, Соловьева и Алексѣева, пригласила меня омыwać жалованье. Трактиръ очень приличный. Въ каждой комнатѣ сидятъ чиновники, военные, гражданскіе. Мы вошли въ какую-то маленькую комнату, въ которой было темно. Служитель зажегъ газъ и любезно привѣтствовалъ чиновниковъ. Оказалось, что мои товарищи этотъ трактиръ посѣщаютъ чуть ли не каждый день.

Потребовали графинъ водки и закуски. Послѣ выпивки по рюмкѣ, они стали разсуждать, чего бы имъ потребовать или чѣмъ пообѣдать. Потребовали сперва карточку и еще графинъ водки; перебрали на карточкѣ всѣ кушанья, кушанья дорогія, и потребовали каждый по своему вкусу; я же попросилъ щей, — мнѣ принесли борщъ въ тридцать копѣекъ.

— Это, господа, дорого, — сказалъ я товарищамъ.

— Погоди, оботрешься. Вотъ какъ будешь получать много денегъ изъ редакціи, лучше нашего заживешь. — Товарищи въ компаніи говорили всѣмъ „ты“ послѣ стуканій рюмки объ рюмку.

Выпивши по четыре рюмки водки, чиновники, и такъ говоривые, но чѣмъ-то измученные, теперь размахнули свою чиновничью натуру: каждый высказывался, какъ угѣлъ, что онъ рѣшительно никого не боится, каждый высказывалъ, что его обижаютъ, что онъ заслуживаетъ хорошаго мѣста и много знаетъ; потомъ слѣдовали попреки другъ другу.

— Ну какъ тебѣ не стыдно подличать!

— Чѣмъ же я подличаю? это ты передъ Черемухиннымъ какъ лиса увиваешься. Стыдись!

— А ты! Ты что говорилъ третьяго дня: я, гово-

рить, нагрублю Черемухину, а вчера что дѣлалъ? — И т. п.

Начались брань, лганье, упреки хуже прежнихъ, дошло до семейной жизни, раскрылись всѣ тайны чиновниковъ. И какими они жалкими казались въ это время; они походили не на чиновниковъ, а на подмастерьевъ, готовыхъ на всякія гадости, но въ то же время замѣтно было какое-то горе, что-то тяготило ихъ, и казалось, что въ водкѣ они находятъ утѣху и веселіе.

Не смотря на то, что я заказалъ только щи, а мнѣ принесли борщъ, за который слѣдовало заплатить 30 к., да вынулъ я пять рюмокъ водки на 25 к., съ меня сошло 79 к., потому что чиновники, кушая равныя кушанья, платили каждый поровну, — это называлось товариществомъ.

Еще взяли графинъ водки, но я уже не пилъ. Алексѣевъ журналистъ былъ уже пьянъ и ничего не могъ выговорить, потому что онъ занялся. Прочіе были еще не пьяны и постоянно просили у Алексѣева денегъ; онъ давалъ, а они хохотали. Этотъ Алексѣевъ былъ добрый малый, но глупъ; говорили, что онъ, управляя доможъ, наживалъ деньги и давалъ ихъ въ долгъ чиновникамъ, которые, впрочемъ, ему рѣдко отдавали.

Поѣхали въ гостиницу Шухардина, но тамъ такъ много грязи было вечеромъ, особенно въ саду, что я скоро ушелъ домой съ Соловьевымъ.

Напечатали и вторую статью въ „Насѣкомой“. Похвалили меня чиновники, провозгласили по департаменту, что въ такомъ-то отдѣленіи литераторъ есть, стали меня окружать чиновники и разспрашивать, не писалъ ли я прежде, что я пишу теперь и сколько получаю денегъ. Чиновники же нашего отдѣленія напращивались на водку, а Черемухинъ все болѣе и болѣе давалъ мнѣ работы и требовалъ, чтобы я переписывалъ чисто. Служба начала противѣть. Пошелъ я къ редактору „Насѣкомой“, Кускову. Это былъ тучный, здоровый, высокій человекъ. Онъ принялъ меня любезно, расхвалилъ, просилъ приносить статьи и сказалъ, что онъ будетъ разсчитывать меня по три копѣйки за строчку. Я попросилъ денегъ и отдалъ ему большую статью на пять номеровъ.

— Пожалуйста, придите черезъ недѣлю. Я велю сосчитать, сколько вамъ придется получить, и выдать деньги.

Во ожиданіи будущихъ благъ, я перебрался изъ маленькой комнаты внизъ, въ комнату возлѣ хозяйской, и рядомъ съ кабакомъ. Комната эта была совсѣмъ отдѣльная и нравилась мнѣ потому, что она была внизу и въ ней топили печку, а въ прежней, по отсутствію печи, былъ страшный холодъ. Я сталъ обѣдать у хозяина за семь рублей. Одно только было неудобство, что я все слышалъ, что происходило въ кабакѣ.

Не черезъ недѣлю, а черезъ двѣ недѣли я получилъ кое-какъ изъ конторы „Насѣкомый“ 6 р., а слѣдовало получить 35; и то я за деньгами ходилъ въ недѣлю изъ департамента въ редакцію, и даже



разъ получилъ выговоръ отъ Черемухина, что я куда-то шляюсь не во-время.

Большую статью мою на пять нумеровъ Кусковъ возвратилъ мнѣ, потому-де, что ее нужно передѣлать и она не согласна съ направлениемъ газеты. Это меня взбѣсило, но я отдалъ ему другую статью; однако и эту статью онъ возвратилъ мнѣ.

Соволовъ между тѣмъ съѣхалъ и я его не видалъ.

Прошло мѣсяца три и я отъ Кускова не получилъ ни копѣйки. Сначала онъ велѣлъ приходить мнѣ черезъ недѣлю, потомъ черезъ день, а потомъ уже лаской и пускать меня не сталъ къ нему. А въ департаментѣ говорили, что я лѣниюсь заниматься. Разъ я ходилъ долго, т. е. сидѣлъ въ конторѣ часа три и редактора не дождался. Прихожу въ отдѣленіе часу въ пятомъ.

— Гдѣ это вы шлаетесь? какъ я пришелъ, вы и ушли!—закричалъ на меня столоначальникъ.

Я промолчалъ, потому что находилъ, что я дѣйствительно часто ухожу изъ департамента. Подошелъ ко мнѣ Черемухинъ. Я сажу.

— На васъ, г. Кузьминъ, столоначальникъ жалуется.

Я молчу.

— Вамъ говорятъ!

Я всталъ и покраснѣлъ.

— Куда вы ходили?

— За деньгами въ редакцію.

— Можете въ другое время ходить.

— Да редакторъ въ часъ принимаетъ.

— Если вы еще будете уходить, то выходите въ отставку.

Меня взбѣсило это, но я промолчалъ. „Будь только у меня въ карманѣ сто рублей — ей-Богу выйду въ отставку“, думалъ я; а утромъ опять смирился.

На другой день послѣ этого я получилъ письмо изъ Орѣха отъ Лены. Она писала, что ѣдетъ на Кавказъ къ брату, который ей на повѣзку выслалъ сто рублей. Грустно мнѣ сдѣлалось послѣ прочтенія письма, но я скоро успокоился: письмо Лены развязало меня съ ней. На ее письмо я не сталъ отвѣчать и съ тѣхъ поръ не получалъ отъ ней ужъ больше извѣстій.

Жить въ новой комнатѣ было и весело, и неловко. Въ мое окно постоянно заглядывали шедшіе и вставляли свои рожи разные люди обоехъ половъ, неизвѣстно для чего. Въ лавочкѣ съ утра до вечера хлопали двери. Съ утра—съ восьми часовъ—до ночи шелъ тамъ разгулъ: крикъ, пѣсни, пляска, а иногда и драки. Раздирало слухъ, дрожалъ домъ, звенѣли стаканы, трещали стулья... Но мнѣ, съ помощью водки, не было дѣла до кабака; хозяинъ былъ человѣкъ ласковый, кормили меня хорошо, деньги не просили впередъ, долги ждали. А гдѣ я найду такого хозяина!...

Долго я вслушивался въ разговоры, вглядывался въ посѣтителей кабака и пришелъ къ тому мнѣнію, что русскій кабакъ для простого человѣка—клубъ.

Есть люди, которые чувствуютъ отвращеніе къ кабаку, говоря, что тамъ грязно и народъ тамъ силь-

но пьянствуетъ. Есть даже брошюрка подъ названіемъ „Вбѣги отъ кабака“... Теперь говорятъ, что много мретъ народу отъ водки. Можетъ быть, послѣднее и правда, потому что хорошей водки бѣдному человѣку взять не откуда въ столицѣ. Мой хозяинъ обыкновенно покупалъ водку изъ одного большого завода боченками и по мелочамъ, потомъ водку изъ боченковъ переливалъ въ свою посуду, разбавляя ее водой. Водку онъ приготовлялъ разныхъ сортовъ: очищенную, крымскую и малороссійскую; одна ничѣмъ не пахла, другая такъ пахла, что съ поюшки тошнило. Поэтому и цѣна ей была разная. Перцовки и наливки настоящихъ у него не было, а все онъ приготовлялъ самъ, настаивая на кореньяхъ, на шафранѣ и на маслѣ,—что я видѣлъ самъ своими глазами, потому что онъ настойки ставилъ за теплую печь, или въ печь, устроенную въ моей комнатѣ. На окнѣ въ кабакѣ, на полочкахъ у него стояли образцы водокъ и эти-то образцы свидѣтельствовали акцизнымъ чиновникъ...

Простой, рабочій народъ не знаетъ, какой ядъ заключается въ водкѣ, и пьетъ ее по разнымъ причинамъ. Питухи бываютъ двухъ родовъ: пьяницы, ничего не дѣлающіе, и выпивающіе ради чего-нибудь. Отправляется человѣкъ на работу и заходитъ въ кабачекъ выпить осьмуху ради освѣженія — разбитъ кровъ. На работѣ онъ измучится, устанетъ и опять заходитъ въ кабакъ выпить передъ сномъ грядущимъ. Безъ водки онъ дѣлается скучнымъ, а выпивъ стаканъ, онъ дѣлается бодрѣе, у него развязывается языкъ. Если у него есть деньги и завтра ему хочется погулять, то онъ начнетъ разговаривать или съ хозяиномъ кабака, или съ человѣкомъ одного съ нимъ сорта, или пристаесть къ компаніи рабочихъ. Если онъ пришелъ съ товарищами, которые угощаются или однимъ, или сообща, то выпивши стакана два, онъ располагается, какъ дома: говоритъ громко, высказываетъ свои мысли о комъ, или о чемъ-нибудь, спорить и, если есть у него расположеніе, начинаетъ пѣть пѣсни или пристаесть къ поющей компаніи. Если товарищи о чемъ-нибудь толкуютъ, то и онъ высказываетъ свое мнѣніе, добытое практикой или слухами отъ хорошихъ людей; если его обидѣли, онъ высказываетъ это товарищамъ, которые, сочувствуя ему, даютъ ему свой совѣтъ; если его теперь обижаютъ, или навязываютъ ему неподходящія мнѣнія, онъ ругается и готовъ Богъ знаетъ что сдѣлать съ обидчикомъ. Въ этомъ рабочемъ вы не узнаете обыкновеннаго деревенскаго крестьянина, живущаго въ кругу однодворцевъ и пьющаго водку въ праздники.

Но отчего рабочіе собираются непремѣнно въ кабаки и трактиры? Вѣдь у нихъ есть свои квартиры? — спроситъ читатель. На это я скажу, что крестьянину очень скучно, душно и тяжело въ столицѣ, гдѣ онъ живетъ заработками. Люди, хоть нѣсколько достаточные, даже не особенно зажиточные, имѣютъ возможность справлять свои праздники въ своихъ семействахъ или вообще дома, въ болѣе или менѣе удобной комнатѣ; большая же часть крестьянъ живетъ въ Петербургѣ безъ женъ, и вообще безъ женщинъ, съ товарищами, не по одному, а по пяти.



десяти и болѣе человекъ. Въ деревняхъ они праздники справляли въ семействахъ, и здѣсь они знаютъ Пасху, Рождество, масляницу и воскресные дни. Въ артеляхъ ихъ кормятъ обыкновенно худо; такіе, которые не имѣютъ *матки*, или живутъ на своихъ харчахъ, тоже питаются дрянною пищею. Въ комнатахъ сыро, душно, съ товарищами все переговорено, тинеть на улицу, хочется повеселиться... Куда идти? Бабу нѣтъ, дѣвочъ своихъ нѣтъ, орать пѣсни неловко, шататься по городу надоѣло, собраній такихъ нѣтъ, гдѣ бы рабочій чѣмъ нибудь занялся — ну и идетъ человекъ въ кабакъ. Тамъ онъ, выпивши водки, повеселѣетъ, покалякаетъ съ кѣмъ-нибудь, пѣсни попоетъ, попляшетъ и никто тамъ ему не препятствуетъ. А развѣ въ комнатахъ на квартирѣ ему позволятъ плясать? Отчего же ему не пѣть и не плясать въ кабакахъ, когда онъ выросъ въ деревнѣ на хорошемъ воздухѣ и укрѣпилъ свои силы въ деревнѣ? Мнѣ часто случалось видать на улицахъ лежащихъ мужиковъ съ разбитыми членами, но и это происходитъ отъ того, что зашелъ человекъ въ праздникъ въ кабакъ, выпилъ изрядно, ныспался, опять зашелъ опохмѣлиться, да попались товарищи, угостили, самъ угостилъ ихъ, а потомъ и не чувствуетъ, что дѣлается съ нимъ, а пробуждается уже дома, на квартирѣ. Такъ онъ мало по малу и втягивается въ водку, пропивая деньги, скоро хмѣлѣетъ и доходитъ до того, что, идя одинъ, падаетъ на панель и уже не можетъ встать и, ничего не чувствуя, скоро засыпаетъ. Мнѣ часто случалось видать и не однихъ чиновниковъ пьяными, но за то тѣ пьютъ дорогія вина или дома, или изъ гостей ѣдутъ въ каретахъ, а потомъ ложатся спать на пуховики... За чѣмъ же крестьянъ-то обвинять въ пьянствѣ?...

Въ кабакахъ часто крестьяне толковали о разныхъ предметахъ. А что для нихъ полезно бы было устроить собранія, это видно изъ того, что хозяинъ, читавшій „Сынъ Отечества“, говорилъ имъ о политикѣ и разрѣшалъ вопросы по своему.

— Толкуютъ, наборъ будетъ?

— Хозяина надо спросить. Андрей Петровичъ, будетъ наборъ?

— По газетамъ не слышно, — отвѣчаетъ хозяинъ.

— И войны нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Я слышалъ, Америка што-то замышляетъ.

— Америка промежъ собой воюетъ, — сказалъ хозяинъ.

— Какъ такъ?

— Такъ, два народа: бѣлый и черный. Бѣлый англичане и нѣмцы, а черныи арапы и негры. Вотъ нѣмцы да англичане и покорили араповъ и стали ихъ продавать. Хуже, чѣмъ у насъ крѣпостные были.

— Што-же царь-то ихной смотритъ? Сказалъ бы: воля, братцы вамъ, арапы, и конецъ.

— Да то, што у нихъ самосудство, все обществомъ...

— Што-жъ общество смотритъ? Нешто нѣтъ старость-то?

— Есть, да и они въ свою сторону воруютъ. Вотъ теперича одни говорятъ, не надо рабства, а другіе надо, — и пошла война.

— Чья же взяла?

— Да ничья. А американцы лучше, говорятъ, всѣхъ.

Пошли толковать объ войнахъ и свернули на пошщиковъ, а потомъ на надѣлъ земли.

— Вотъ теперь комета! какъ покажется, будетъ война.

— Это такъ!

— Што же это за штука? Надо хозяина спросить... Эй! скажи-ка што такое комета?

— Это звѣзда настоящая, только съ хвостомъ, — говорилъ хозяинъ.

— Ой-ли!

— Она горитъ, — увѣрялъ хозяинъ.

— Ври!

Пришли покупатели и хозяинъ, самъ не знавшій, что такое комета, радъ былъ, что избавился отъ разспросовъ. А рабочіе долго еще толковали о кометѣ, и свели разговоръ на урожаи и неурожаи и на пожары.

За однимъ столомъ сидѣли подмастерья портные съ маляромъ, за другимъ четверо рабочихъ.

— А вотъ рымскій папа штука! — сказалъ одинъ подмастерье.

— Што? — спрашивалъ маляръ.

— Онъ какія штуки выдѣлываетъ: коли тебѣ нужно грѣшить, возьми изъ ихной церкви записку али бумажку, и грѣхи долой: цѣна всякая: и рубль, и сто рублей, и тысяча. Заплатилъ сто рублей — на сто лѣтъ грѣхи долой, а то грѣши на тысячу...

— Врешь?

Рабочіе замолчали. Они слушали подмастерья. Подмастерье божился, крестился, что онъ не вреть.

— Онъ самый набольшій у католиковъ, выше королей.

— Чего ты врешь! — сказалъ маляръ. Кабы онъ былъ живой, отиѣнилъ бы эти бумажки, потому вѣдь тутъ обманъ. Вѣдь онъ моща! ей Богу моща...

Всѣ посмотрѣли на него въ недоумѣніи.

— Ну вотъ, ты и самъ не знаешь, што мелешь.

Дружный хохотъ заглушилъ оправданія маляра.

Отъ индугенцій перешли къ тому, что свѣтскій судъ строже духовнаго.

Часто приходили въ лавочку шарманщики, но хозяинъ гналъ ихъ прочь, когда не было народа; при народѣ онъ старался продержатъ ихъ дольше. Часто здѣсь бывали драки, которыя разбирали городовые. Въ праздники, далеко за полночь, веселился и бушевалъ народъ съ приходящими для куска хлѣба, стакана водки или пива съ женщинами; тутъ были и честные, трудящіеся люди, подозрительные люди, живущіе нечестно, бѣдняки, выпрашивающіе себѣ рюмку водки для залитія горя и освѣженія горла, — и все это кричало, пѣло, плясало и вело себя такъ бѣшено въ общей массѣ, что страшно казалось за человека, который какъ будто кричалъ: „неподходи! никому не спущу“...

Къ декабрю мѣсяцу служба страшно сопротивляла; въ штатъ не зачисляли, жалованья давали то восемь, то десять рублей. Кусковъ денегъ не платилъ. Онъ говорилъ, что у него нѣтъ денегъ. Почти четыре раза я ходилъ къ нему на недѣлѣ за деньгами и все напрасно; да и не я одинъ ходилъ къ нему... Статей моихъ онъ не печаталъ.

Не забыть мнѣ достопамятное 18 декабря. Я его беру прямо изъ моего дневника.

Отпросился я сегодня у столоначальника въ редакцію. Велѣлъ приходить скорѣе. Къ редактуру, думаю, идти не стоитъ—не пустятъ лакей. Иду и думаю: „Господи! сколько разъ я хожу по этой дорогѣ съ надеждой: вотъ получу деньги и расплачусь съ Андреемъ Петровичемъ и другими, не будетъ мнѣ совѣстно людей. И сколько разъ возвращался я этой дорогой назадъ обиженный, оплеванный лакеемъ и конторщикомъ“... Слезы шли изъ глазъ, въ глазахъ дѣлалось мутно. И отчего это нигдѣ не принимаютъ моихъ статей? Прихожу въ контору. Конторщикъ поморщился и что-то шепнулъ, вѣроятно: опять! Въ грязной конторѣ, съ двумя портретами двухъ дураковъ, ходилъ какой-то молодой челоуѣкъ въ шинели, вѣроятно тоже литераторъ. Онъ на меня не смотрѣлъ, ко мнѣ не подходилъ, ни о чемъ не спрашивалъ у меня, когда я сидѣлъ на диванѣ.

— Отчего это у васъ денегъ нѣтъ? — спросилъ конторщика обиженнымъ голосомъ литераторъ.

— Спросите Кускова, — сказалъ конторщикъ, какъ будто жалея сказать: да отвязься ты!.. Конторщикъ сводилъ какіе-то счеты.

Пришелъ дворникъ.

— Свѣтъ въ долгъ не дають.

Конторщикъ даетъ денегъ на одинъ фунтъ.

— Да для типографіи этого мало.

— Мнѣ-то что за дѣло! Я гдѣ возьму денегъ?

Приходитъ мальчикъ изъ типографіи.

— Дайте тридцать копѣекъ.

— Я тебѣ, любезный, сказалъ, что у меня денегъ нѣтъ. Проси самого Кускова.

Пришелъ рабочий.

— Что же деньги?

— Ахъ, да отвязься ты!

— Ты мнѣ двѣнадцать рублей должонъ. Покуда я ждать-то буду!

— Пошелъ вонъ, свинья!

— Самъ свинья и съ Кусковымъ...

Пришелъ лакей.

— Гдѣ дворникъ? — спросилъ онъ конторщика.

— За свѣчами ушелъ. А что?

— Да какой-то подлецъ ворвался въ залу. Я его гоню, а онъ сѣлъ на диванъ. Я, говорить, не выйду до тѣхъ поръ, пока не получу денегъ... Это просто бѣда. Въ прошлый разъ какой-то назурикъ двѣ книги хорошія украдъ.

Часа черезъ два пришелъ въ контору Кусковъ. Подозоровался съ литераторомъ.

— Извините, ради Бога, ей-Богу, денегъ нѣтъ. Черезъ недѣлю придите.

— Да я ужъ сколько хожу...

Кусковъ пожалъ плечами и ушелъ, не поговоривъ ни со мной.

Обидно мнѣ сдѣлалось. Заплакалъ я за воротами и пошелъ; хорошо, что люди не замѣтили моихъ слезъ: слѣзъ шелъ.

Пришелъ въ отдѣленіе и сѣлъ на свое мѣсто.

Помощникъ и говоритъ мнѣ.

— Ну, Кузьминъ, Черемухинъ задастъ тебѣ баню. Онъ тебя два раза спрашивалъ.

Черезъ полчаса подходитъ ко мнѣ Черемухинъ.

— Вамъ ужъ я говорилъ не въ первый разъ, чтобы не отлучались...

— Я за деньгами ходилъ... меня столоначальникъ отпустилъ.

— Извольте выходить въ отставку.

Въ глазахъ у меня помутилось, какъ будто вся кровь прихлынула въ голову, но я все-таки сдержался и отмалчивался отъ насѣшекъ чиновниковъ. Часу въ шестомъ половина служащихъ разошлась по домамъ, а я остался для того, чтобы попросить Черемухина оставить меня въ департаментѣ. Вдругъ подходитъ къ Черемухину вице-директоръ съ налейкой, тотъ самый, котораго я видѣлъ въ первый день моего появленія въ департаментѣ.

— Нѣтъ ли у васъ писца? Вотъ это переписать; нужно очень скоро.

— Кого же бы? У меня всѣ хорошіе-то вышли... Г. Кузьминъ, перепишите.

Я обрадовался, думая, что Черемухинъ меня помилуетъ.

— Скорѣе же! — крикнулъ на меня вице-директоръ.

Я доставалъ медленно велевую бумагу, медленно перо искалъ, вице-директоръ торопилъ. Перо попалось дрянное, такъ что два слова написались точно назимкой. Увидавъ это, вице-директоръ закричалъ:

— Это что такое значить! А? Ахъ ты, Господи! Перебѣни бумагу, скотина...

Опять онъ сталъ диктовать мнѣ, а я писалъ; онъ продиктовалъ какое-то слово, я написалъ, онъ вѣсто него продиктовалъ снова другое. Увидавъ, что я написалъ первое, онъ пришелъ въ неопisanную ярость.

— Это что!! это что!! г. Черемухинъ? Кого вы мнѣ дали? онъ и писать не умѣетъ... Онъ нарочно...

— Онъ... сочинитель.

— Сочинитель! Выгнать его вонъ! Вонъ!!

И вице-директоръ, выхвативши бумагу, убѣжалъ изъ нашего отдѣленія.

— Извольте подавать въ отставку, — сказалъ мнѣ начальникъ отдѣленія.

Не помню, какъ я вышелъ изъ департамента; только помню, что я шелъ домой, какъ шальной. Дома хозяйникъ спросилъ меня:

— Что съ вами?

— Дайте водки.

— Да за вами два съ полтиной долгъ, да за квартиру шесть...

— Я заплачу.

Выпивши залпомъ стаканъ перцовки, я сказалъ ему, что меня выгнали.

— А деньги когда вы мнѣ отдадите? Я ужъ вашу комнату отдалъ.

— Будто?

— Да... Вы мнѣ оставьте залогъ какой-нибудь.

Я выпилъ еще стаканъ перцовки и сказалъ:

— Возьмите мою шинель. Она мнѣ стоитъ пятнадцать рублей.

— Помилуйте, она всего-то пять рублей стоитъ.

Я немного ѣлъ и скоро легъ, но долго не могъ заснуть. Положеніе мое было такъ скверно, что я рѣшительно ничего не могъ придумать...

Утромъ я пошелъ на толкучку продавать шинель. Дали семь рублей. Намерзся я сильно въ лѣтнемъ пальтишкѣ и зашелъ въ питейный. Тамъ я встрѣтилъ Соколова; онъ былъ пьяный.

— Что съ тобой, Соколовъ?

— Ничего, — бурлилъ онъ. — Поподчуй водочкой, ты вѣдь литераторъ.

— Меня, братъ, вчера выгнали изъ департамента.

— Врешь!! — и онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня.

Ноги озябли, самъ я дрожалъ отъ холода и съ горя, голова трещала и я выпилъ опять стаканъ водки, еще выпилъ, закусилъ, а потомъ уже не помню, что со мной было. Пробудился я отъ боли въ ногѣ, какъ-будто кто-то ступилъ на нее. Кое-какъ я открылъ глаза, вѣки у меня словно вспухли; взглянувъ кругомъ себя, я долго не могъ понять, гдѣ я нахожусь... Я лежалъ подъ нарами въ одной рубашкѣ и штанахъ, босой. Кое-какъ я выползъ. Передо мной стояло человѣкъ десять мужчинъ съ пьяными лицами, въ ободранныхъ одеждахъ; люди эти ругались и кричали.

— Ну-ка ты, чортъ, вставай! — крикнулъ кто-то, и я почувствовалъ шинокъ въ голову. Только теперь я почувствовался и понялъ, что я лежу на полу въ сѣзжей. Я сѣлъ. Меня куда-то позвали и велѣли одѣваться и выдали мнѣ сапоги и пальто, которое оказалось съ крестомъ на спинѣ, начерченномъ мѣломъ, изодрано и замазано; ни фуражки, ни бумажника не оказалось.

Скоро меня въ такомъ видѣ препроводили съ городовымъ въ департаментъ...

Можете себѣ вообразить мой стыдъ, когда меня привелъ въ департаментъ городской и сдалъ дежурному. Чтобы ускользнуть скорѣе изъ департамента, я занялъ у одного чиновника два рубля и написалъ прошеніе, довѣривъ его подать этому же чиновнику.

Квартирный хозяинъ не узналъ меня. Онъ сказалъ, что въ моей комнатѣ живетъ уже какая-то вдова, а мое имущество находится въ кухнѣ, гдѣ теперь никто не жилъ. До вечера я проболтался кое-какъ безъ водки, а вечеромъ пришли ко мнѣ двое чиновниковъ департаментскихъ и на свой счетъ поставили штофъ водки. Всѣ они жалѣли меня, старались напоить, но и обвиняли, что я не старался угождать начальнику отдѣленія, потомъ стали укорять меня, что я пью водку на ихъ счетъ. Это меня взбѣсило и я вытолкалъ ихъ вонъ изъ кухни.

Хозяинъ мнѣ надѣлъ напоминанія о томъ, чтобы я очищалъ квартиру, и я нанялъ въ Апрак-

синскомъ переулкѣ въ подвалѣ, выходящемъ во дворъ, уголь за четвертакъ, а старому хозяину оставилъ всѣ свои вещи. Эта комнатка имѣла всего одно окно, въ которое проходилъ со двора вонючій воздухъ. Въ переднемъ углу за маленькимъ столомъ помѣщался хозяинъ этой комнаты, сапожникъ Гаврила, направо противъ него жилъ какой-то шапочный мастеръ, Степанъ Ивановичъ. Ближе къ дверямъ на полу помѣщалась немолодая женщина Маланья Павловна съ тремя ребятами. Она тоже помогала шить шапочному мастеру; противъ нея лежала молодая женщина и охала. Въ ней не было ни одной кровати, ни шкапа; на полу стояли сундучки, лежалъ какой-то хламъ, на стѣнахъ висѣли худенькія одежды; было три табуретки. Я помѣстился въ углу за Маланьей Павловной. Здѣсь обитала страшная бѣдность, грязь, вонь. Зайдя въ этотъ чертогъ, можно было подумать, что тутъ живутъ люди-звѣри; но и здѣсь у каждого человѣка былъ свой характеръ, свое занятіе, свой взглядъ на вещи и каждый ругался по-своему. Ни одного ласковаго слова вы не услышите здѣсь; и однако же эти люди были добры, какъ я узналъ съ перваго раза.

— Маланья Павловна, голубушка, сходи за бабкой.

— Погоди, Катерина, ишь ребенка кормлю.

— Ой! — простонала Катерина.

— Гаврила! ты бы сходилъ...

— Есть когда мнѣ!.. умирай!

Однако Гаврила ушелъ скоро. Я подсѣлъ къ Степану Ивановичу. Онъ сказалъ, что шьетъ фуражки и шапки на Апраксинъ; за каждую изъ готового сукна ему платятъ по пятнадцати копѣекъ. За уголь они, т. е. всѣ жильцы этой комнаты, платятъ по полтиннику.

Черезъ часъ Гаврила пришелъ съ повивальной бабкой. Мужчинъ она выгнала на улицу. Мы, т. е. Гаврила Матѣвичъ, Степанъ Ивановичъ и я, ушли въ одинъ изъ кабаковъ на Апраксинъ переулокъ, устроенный въ подвалѣ. Тамъ уже было человѣкъ двѣнадцать веселящихся. Половина изъ нихъ о чемъ-то спорили, это были большею частію люди, занимающиеся портняжнымъ ремесломъ, худые, съ блѣдными лицами, въ ситцевыхъ и холщевыхъ рубахахъ, трико-выхъ и тиковыхъ брюкахъ и въ халатахъ, не въ такихъ, какіе продаютъ татары, но просто тиковыхъ или коленкоровыхъ. Въ числѣ этихъ пяти человѣкъ былъ одинъ мальчуганъ лѣтъ двѣнадцати, онъ тоже о чемъ-то спорилъ. Остальные или пѣли, или пили водку; большинство ихъ состояло изъ сапожниковъ, тоже съ худыми и блѣдными, нематыми лицами, грязными руками, съ черными фартуками. Изъ нихъ каждый разсуждалъ и спорилъ. Они уже кончили работать и посвятили окончаніе дня Бахусу. Въ кабакѣ пахло чѣмъ то прокислымъ, отъ табаку душно. Какъ только мы вошли туда, насъ встрѣтили восклицаніями.

— А, наше важъ! Гаврилу Матѣвичу!

— Здорово, ребята, о чемъ споръ идетъ?

— Да вотъ Павлушка спорить, што Якова Савельева не въ нынѣшнемъ году въ солдаты отдали.

— Я думалъ, о чемъ нибудь путномъ. Ну-ка, Та-

рась, про насъ рыбы припасъ, дай-ка косуху! — обратился Степанъ Ивановичъ къ хозяину кабака и мимоходомъ поздоровался съ сидящими.

— Какой?

— Известно какой! малороссійской.

Мои товарищи закурили трубки, сѣли къ сапожникамъ и стали толковать; я сѣлъ около нихъ.

— Ну, какъ дѣла, Илюха?

— Дѣла плохія: не вывозить.

— Плохо. А этотъ чей съ вами?

— Этотъ сегодня на фатеру переѣхалъ къ намъ.

— Ты по какой части, по торговой?

— Нѣтъ.

— А тебя какъ зовутъ, я и забылъ спросить-то, — спросилъ меня Степанъ Ивановичъ.

Я сказалъ.

— Такъ вотъ што: не будешь ли ты за меня торговлей заниматься?

— Чѣмъ?

— А это ужъ мое дѣло. Водку пьешь?

— Пью.

— Ну, пей. Да смотри, торгуй, не плутуй; съ нами, братъ, шутить нечего. Выпьемъ.

Выпили, крикнули, плюнули.

— Я, братъ, Степанъ, сегодня на Александровскомъ славныя брюки вымѣнялъ. Знаешь, тѣ, черныя-то?

— Врешь?

— Ей-Богу. Замазалъ такъ, что мое почтенье. Они мнѣ полтинникъ стояли, а я далъ придачу полтинникъ, какъ есть новыя вымѣнялъ: въ магазинъ и за восемь не купишь.

— Ну, братъ, дорого далъ.

Говоръ усиливался все болѣе и болѣе; народъ все больше пьянѣлъ и пьянѣлъ; начался крикъ, пѣсни, пляски. Вонъ кого-то ударили, началась драка.

— Савелій! Савелій! отстань, — кричать со всѣхъ сторонъ.

— Убью! — ревъѣлъ кто-то.

Чувствую, что я пьянъ; боюсь я дракъ, потому могутъ избить и меня; гадокъ показался мнѣ этотъ кабакъ и вышелъ я изъ него шатаясь. Сѣлъ я на крылечко у подъѣзда около какой-то торговли калачами.

— Уйди, мазурикъ! — закричала она. Я всталъ въ воротахъ и уперся въ стѣну. Хотя и пьянъ я былъ, а чувствовалъ, что одинъ я въ этомъ городѣ; все мнѣ кажется ново и никакъ я не думалъ попасть въ берлогу, гдѣ бѣдность, нищета, и живутъ Богъ знаетъ какіе люди. Грустно мнѣ сдѣлалось, плакать хотѣлось отъ разгульных пѣсень, раздающихся глухо изъ кабака и отъ шарманки, играющей противъ кабака. На панели сидятъ рабочіе, о чемъ-то толкуютъ, не смотря на холодъ; дворникъ мететъ панель и вотъ онъ согналъ ихъ, они пошли въ кабакъ, говоря: „скушно на фатеръ-то, освѣжился...“ Куда ни поглядишь, все бѣдность, даже и народъ идетъ мимо бѣдный. Вонъ прошла какая-то женщина въ шляпкѣ; молодецъ, вышедшій изъ кабака, остановилъ ее:

— Душенька! пойдемъ.

— Уйди. — И она рванувшись пошла своей доро-

гой, а молодецъ пошелъ къ воротамъ, пошатываясь и напѣвая: „ахъ, скучно сердцу моему!“.

Подъѣзжали въ кабакъ и женщины... Но Богъ съ ними, пусть дѣзутъ, онъ не богаче меня.

Мои товарищи вышли изъ кабака пьяные, хотѣлось и мнѣ еще выпить, да денегъ у меня не было. Попелся и я за ними.

Въ нашей берлогѣ только тускло таплилась лампа, и тяжело было дышать отъ керосину, который Степанъ Ивановичъ прозвалъ язвой.

— Катька, а Катька! Опять язву зажгла? — кричалъ онъ.

— Молчи ты, Степка, спать она, — проговорила его жена.

— Что-о!!

— Спать, тебѣ говорить.

— А вотъ! — И Степка хотѣлъ сбросить лампу, но Гаврила удержалъ его.

— Какъ тѣ не стыдно?.. — Въ это время зашипѣлъ ребенокъ у Катерины, и Катерина проснулась.

— Слышь, родила! — сказалъ Гаврила.

— А!! — и Степанъ повалился на полъ.

— Безстыжіе твои глаза. Опять напилась, — сказала Катерина большимъ голосомъ Гаврилѣ, который стоялъ передъ нею, подперши руки фертонъ и покачиваясь. Онъ дико глядѣлъ на жену и ослаблялся.

— Родила! — вскричалъ онъ, покачнувшись, но уперся объ стѣну.

— Уйди, лампу прольешь.

Ребенокъ ревъѣлъ.

Черезъ полчаса въ лачугѣ раздавался мужской храпъ на разные лады, только два ребенка — Катерина и Маланья — ревъѣли по перемѣнкѣ или выѣстъ, и подъ ихъ музыку я скоро заснулъ.

На другой день я проснулся тоже съ крикомъ дѣтей. Гаврилы и Степана въ лачугѣ не было, Маланья Павловна тоже пошла куда-то съ кофейникомъ, уложивъ предварительно ребенка на полъ: остальные дѣти, мальчикъ лѣтъ трехъ и дѣвочка пяти, играли, ползая по черно-грязному полу; Катерина полусидѣла и качала ребенка, который ревъѣлъ. Пришли Гаврила и Степанъ.

— Опять наливался! — сказала Катерина.

— Молчи! не твое дѣло.

— А гдѣ Маланья? — спросилъ Катерину Степанъ.

— За кипяткомъ ушла на кофей.

— Я ей этотъ кофей выпибу. Экъ выдумала! — И онъ, выкуривъ трубку табаку, принялся шить фуражку, а Гаврила сѣлъ за сапогъ.

— Шустрой этотъ Колоколовъ Мишка, въ одно уху влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ.

— Ну, не такія еще штуки дѣлаютъ. Смотри, какія дѣла дѣлалъ Васыка Ивановъ; посадили въ судили, а потомъ и выпустили.

— Людямъ счастье.

— А намъ вдвое! — И Степанъ Ивановичъ сталъ насвистывать: „за рѣкой, подъ горой“.

— Гаврила, дай-ка, гдѣ-то ровню тряпичка была,—сказала ему Катерина.

— Гдѣ?

— Не знаю.

Гаврила сталъ искать тряпичку въ уголѣ подѣ подушкой Катерины и, подавъ ей ее, сталъ ласкать ребенка.

— Сынъ?..

— Нѣтъ, дочь.

— Ну, въ воспитательный!

— Что ты, побойся Бога!..

— Ну, ужъ нѣтъ. Корнить я тебя не стану. Эдакъ и отъ ремесла отойдешь.

Пришла Маланья съ кофейникомъ въ одной рукѣ, въ другой она несла фунтъ чернаго хлѣба и четверть бѣлаго.

— Для кого это ты бѣлой-то хлѣбъ взяла?—спросилъ ее мужъ.

— Поди-кось, ребятажъ-то голодомъ быть?

Маланья стала пить кофей, къ ней присоединились и Степанъ съ ребятами.

— Миѣ бы Маланьюшка, кофейку,—проговорила Катерина.

— Нелзя, Степановна; ты вѣчеръ родила.

— Чего же я ѣсть стану?

Пришла бабка, вымыла ребенка, побранила Катерину, что она не лежитъ.

— Не могу я лежать-то; больно.

— Потерпи какъ-нибудь.

— Вотъ кофейку бы попить...

— Ой-ой! какъ можно! Свари овсянку, дешево стобѣтъ.

— Да гдѣ я ее сварю... Печка-то вотъ какая.

Печки въ комнатѣ не было и она нагрѣвалась отъ сосѣдей, у которыхъ была печь, и отъ этой печи въ комнатѣ былъ только душникъ.

— Сколько же вамъ за хлопоты?—спросилъ бабу Гаврила.

— Вы не безпокойтесь, я еще буду ходить пять дней, если Катерина Степановна поправится, а не то и девять...

— Да вѣдь она и такъ адорова.

— Это ужъ мое дѣло, а не ваше. Я у васъ денегъ не прошу, сколько дадите, столько и ладно.

— Неужели эти молодыя бабки кое-что смыслятъ?—удивлялся Гаврила.

Меня подозревали выпить чашку кофейю. Миѣ совѣстно было обѣдѣть и опивать бѣдныхъ людей, но я все-таки радъ былъ теплому и особенно даровому. Двое сутокъ, кромѣ рѣдки, я ничего не ѣдалъ.

Разспросили меня, кто я такой; пожалѣли.

— Такъ какъ же теперь думаешь?—спросилъ меня Гаврила Матвѣичъ.

— Право не знаю. Въ чиновники не пойду; работать стану.

— Ну, братъ, этого не скажи! Ты работать не можешь. Ну, что ты будешь дѣлать?

— Не знаю.

— Ну, то-то. Я вижу, что дѣло твое бѣдное. А вотъ что,—сказалъ Гаврила:—поди завтра на Семеновскій плацъ, продай эти сапоги. Я ихъ купилъ

за четвертакъ, товару употребилъ на рубль, продай за пять, а не то за три.

— Ладно.

— Умѣешь торговать?—такъ торгуй: торгуй тамъ, гдѣ народу больше. „Что покупать изволите? сапожки есть, пожалуйста, сапоги хорошіе. Судальскіе! самые прѣотличныя, пожалуйста!“—кричи во все горло. Мы съ тебя и за квартиру не будемъ брать, коли будешь хорошо служить.

Я поблагодарилъ.

Мужчины стали работать; Маланья Степановна пришивала къ фуражкѣ козырекъ, сдѣланный изъ бумаги, на которую наклеено старое, худое сукно, искусно зачерненное. Пошелъ я бродить по Щукину и изучать премудрости торговцевъ.

Часу въ первомъ мужчины выпили водки и стали закусывать: капусту съ салакушкой и жареную ряпушку съ чернигомъ хлѣбомъ; Маланья тоже ѣла съ ними, а Катерина пила молоко изъ стакана, закусывая бѣлымъ хлѣбомъ.

На другой день, выпивъ стаканъ перцовки и напутствованный наставленіями Гаврилы Матвѣича, я пошелъ торговать двумя парами сапоговъ на Семеновскій плацъ. Было холодно, но выпивъ стаканъ водки, я какъ-то не чувствовалъ холода, только пальцы ногъ и рукъ щипало. На ногахъ у меня были худые носки, сапоги еще того хуже. Утромъ народу на плацѣ было мало, особенно такихъ, какъ я. Хожу я по мосткамъ и кричу: „Сапоговъ купите! сапоговъ!“.

Ко мнѣ подходитъ востроглазый человѣкъ и смотритъ сапоги.

— Много ли просишь?

— За эти пять цѣлковыхъ, за эти четыре съ полтиной.

— Што ты? Не хошь ли полтинникъ?

Я отвѣтилъ ему, показывая кукишъ.

— Да ты изъ какихъ?

— Изъ вашихъ.

— А!—И онъ ушелъ.

Долго я ходилъ взадъ и впередъ, крича во все горло, и смѣшно мнѣ казалось кричать; мнѣ казалось, что я въ это время болѣе похожъ на комедіанта, чѣмъ на торговца, но что станешь дѣлать! Къ вечеру я изучилъ премудрости торгашества и насмотрѣлся всякой-всячины. Однако я продалъ одни сапоги за три рубля двадцать копѣекъ. За то я ничего не ѣлъ, намереся, спать хотѣлось. Хозяинъ мой очень остался доволенъ и на радостяхъ угостилъ меня водкой. двумя сосисками и кускомъ ржаного хлѣба.

Итакъ, я изъ чиновника преобразился въ мелкаго торговца и промаялся двѣ недѣли, днемъ голодая, по вечерамъ пьянъ. За то я близко узналъ жизнь бѣдныхъ людей въ Петербургѣ.

Степанъ Ивановичъ принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые съ дѣтства привыкаютъ къ холоду, голоду и горю, и въ зрѣломъ возрастѣ становятся закаленными людьми и терпѣливо сносятъ всякія неудачи, и при всемъ этомъ живутъ все-таки честно.

Онъ выросъ у какого-то портного, съ дѣтства приучился пьянствовать, захотѣлъ жить самостоятельно, и теперь есть у него деньги, онъ пьетъ, сколько хочется, ѣсть сосиски, печенку, жена и дѣти сыты и одежда есть; нѣтъ денегъ, перебивается кое-какъ, работаетъ усердно, надѣясь, что онъ завтра деньги добудетъ, стѣбитъ только сходить на Щукинъ или на Семеновскій плацъ. Назадъ тому пять лѣтъ онъ былъ хорошимъ портнымъ, даже нѣмѣлъ работниковъ, но какъ-то разъ его обокрали, денегъ не было, много было долговъ за материалы, забранные изъ гостиннаго двора, его посадили въ долговое отдѣленіе, гдѣ онъ просидѣлъ два года, и съ тѣхъ поръ, не желая работать на другихъ, сталъ работать одинъ. Работу себѣ онъ достаетъ такимъ образомъ: купить на Щукиномъ или на Семеновскомъ плацу брюки, сюртукъ и изъ обихихъ штукъ составить или брюки, или сюртукъ такъ хорошо, что покупатель хотя и подумаетъ, что вещь сдѣлана изъ стараго, а купить дешевле, чѣмъ ему нужно шить самому. Такихъ сюртуконъ и брюкъ, а равно и фуражекъ онъ передѣлалъ много изъ стараго въ новое, и такихъ рабочихъ, какъ я замѣтилъ, въ столицѣ очень много. Когда я еще служилъ въ департаментѣ, то многіе чиновники хвастались тѣмъ, что они купили дешево тотъ сюртукъ, тѣ брюки, тотъ пальто, которые на нихъ, и вещи порядочныя. Какъ Степанъ Ивановичъ, такъ и Гаврила Матвѣичъ за трудъ брали немного. Въ провинцію онъ ни за что не хотѣлъ ѣхать, потому что привыкъ къ Петербургу и товарищамъ.

Жена его постоянно жила съ нимъ, и какъ она прежде помогала мужу, такъ и теперь помогаетъ; но она живетъ аккуратно и отъ каждаго рубля кладетъ въ сундучекъ копѣекъ пятнадцать, — иначе ей бы не на что было прокормить ребятъ, потому что она теперь съ груднымъ ребенкомъ не можетъ заниматься торговлей.

Гаврила Матвѣичъ немного крѣпче Степана Ивановича. Онъ хотя росъ такъ же, какъ и его товарищъ, и также былъ подмастерьемъ у нѣмца, но не могъ открыть самъ заведенія и, переставши шиться отъ хозяина къ хозяину, сошелся съ Степаномъ Ивановичемъ и сталъ промышленникъ себѣ хлѣбъ такъ же, какъ и онъ; но онъ былъ крѣпче Степана Ивановича тѣмъ, что любилъ выпить даромъ, даромъ поѣсть, и потому заразъ угостить на-новалъ. Жена его, гражданскаго брака, съ нимъ не жила; она занималась прачешнымъ ремесломъ, приходила къ нему по воскресеньямъ и носила ему чай, сахаръ, кофей, и при ея появленіи въ лачугѣ водворялся праздникъ: пили и ѣли на славу, — чего не было въ будни. Гаврила Матвѣичъ часть своихъ денегъ отдастъ своей Катѣ, на которой онъ все еще думаетъ когда-нибудь жениться. А такъ какъ Катеринѣ Степановнѣ нельзя заниматься прачешнымъ ремесломъ съ груднымъ ребенкомъ, то черезъ двѣ недѣли, окрестивъ его, отдала какой-то женщинѣ въ деревню на воспитаніе за три рубля въ мѣсяцъ, и она принялась опять за свое ремесло.

Въ это время я какъ-то разъ послалъ Кускову письмо такого содержанія:

„Вы довели меня до нищеты. но я еще не нищій;

я честию васъ, потому что я достаю себѣ теплый уголь и хлѣбъ такимъ трудомъ, надъ которымъ вы въ вашей паршивой газетѣ смѣетесь. Идите на плацъ и увидите вашего сотрудника съ сапогами и сюртуками, кричащаго: „сапоги хороши! Сапоговъ купи, г. редакторъ!“ Спросите Петьку Кузьмина. Его всѣ знаютъ. Онъ, по вашей милости, пьяницей сдѣлался.

„Какъ-то я прочиталъ одинъ номеръ вашей паршивой газеты, и позвольте васъ спросить: какое направленіе у вашей плюгавой газеты, какія вы идеи проводите? Въ одномъ мѣстѣ кто-то пишетъ, что вотъ это бы хорошо сдѣлать для цивилизаціи нашего отечества, въ другомъ — вы отвергаете эту пользу, въ третьемъ — говорите чортъ знаетъ о чемъ... Вы думаете, я ничего не понимаю? Эхъ вы, цивилизація парикмахерская!.. Ну, чего вамъ нужно? Кому вы называете свои нелѣпыя мыслишки, пропитанныя гнилью... Вы для денегъ завели газету, славу себѣ хотите стяжать... Чѣмъ? А что говоритъ народъ про вашу газету, — даже мы, простые, бѣдные люди, о которыхъ вы пишете въ газетѣ, какъ о мошенникахъ, и которыхъ вы стремитесь искоренить, сами не зная гдѣ зло, откуда оно заводится?

„Мнѣ стыдно, что я писалъ у васъ. И я даю себѣ честное слово, что нигдѣ больше не буду писать. Радуйтесь: я дарю вамъ свои деньги; расплатитесь на нихъ съ бѣдными рабочими вашей типографіи“.

Проболтался я до февраля мѣсяца. Кашель душилъ; я похудѣлъ, здоровье плохое. Кромя Гаврилы Матвѣича и его благотворной, всѣ захворали...

Затѣмъ въ рукописи Кузьмина записанъ расходъ нѣсколькихъ копѣекъ; что-то написанное выдрвано, а потомъ идетъ дневникъ:

3-е февраля. Я на другой квартирѣ, въ подвалѣ у кузнеца... Не могу ходить...

23 февраля. Вчера выпустили изъ Обуховской больницы. Съ какою радостію я вышелъ въ городъ на свѣжій, но удушливый воздухъ. Опять я живу съ Гаврилой Матвѣичемъ и продаю его вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего?... Дуракъ. Маланья Павловна тоже лежала въ больницѣ да умерла; Степанъ Ивановичъ хвораетъ и тоже вѣрно помереть, бѣдный. Дѣтей Гаврилы Матвѣичъ разговалъ. Живетъ съ нимъ теперь маларъ да еще какой-то портной. Всѣ книги и тетрадки съ чемоданомъ пропали, потому что Андрей Петровичъ уже не живетъ тамъ, и я его не могъ розыскать. Ну да... Жаль только писаній.

Странно, что я нинѣ съ двухъ стакановъ хмѣлю. Ахъ, если бы на родину уѣхать!.. А кашель душитъ...

(Послѣ этого что-то написано, но разобрать невозможно; видно, что Петръ Ивановичъ писалъ пьяный. На другой страницѣ написано карандашемъ):

...Апрѣль. Опять въ Обуховской больницѣ, въ этомъ кладбищѣ живыхъ людей, вокзалѣ, изъ котораго прямая дорога къ могилѣ. Славное мѣсто!.. Лежу я уже въ другой палатѣ; при мнѣ уже четверо умерли безъ

стоновъ, безъ мученій: помучились вы, бѣдные, въ жизни, нечего вамъ смерти страшиться. Такъ и я встрѣчу смерть, можетъ быть сію минуту. Какая она? По медицинѣ я вычиталъ, что страшилищъ нѣтъ... Умирай, Кузьминъ, умирай, тварь земная, ничтожное твореніе природы, и теперь передъ смертію сознайся, что ты только лягушка, хотящая быть волкомъ. Ну, къ чему ты стремился? чего ты желалъ? чего ты достигъ? Ничего, кромѣ того, что ты скорѣе умрешь. Кому ты принесъ пользу?...

...Впрочемъ, къ чему глупыя эпитафіи. Прощайте, люди: всѣ тамъ будемъ!..

---

Этимъ заканчивается тетрадка. Ею я заканчиваю и записки канцеляриста, съ тѣмъ добавленіемъ, что изданіе газеты „Настѣкомой“, по неизвѣстнымъ для публики причинамъ, прекратилось въ томъ же году, вскорѣ послѣ смерти Кузьмина.

---

# ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ.

## I.

### НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ.

... Прежде всего я долженъ сказать вамъ, господа, что Никола Знаменскій, мой уважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо дѣйствительное. Я знаю, что всякій изъ васъ скажетъ, что этотъ рассказъ небывальщина, и въ настоящее время пошлая вещь; но я васъ предупреждаю: многие изъ васъ такихъ людей можетъ быть не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человѣкѣ. Мнѣ, изъздившему и прожившему въ разныхъ захолустяхъ разныхъ сѣверныхъ губерній, приводилось видѣть и послѣ смерти моего отца людей покрасивѣе его. А надо вамъ замѣтить, мой отецъ умеръ, кажется... кажется, назадъ тому лѣтъ тридцать. Знаю я также, что многие изъ васъ вовсе не бывали въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ и не имѣютъ никакого понятія о тамошнемъ климатѣ и жителяхъ. Когда я, по окончаніи курса въ семинаріи, поступилъ въ академію, то надъ моею походкой и произношеніемъ долго смѣялись товарищи, удивляясь въ то же время моему тѣлосложенію и силѣ. Да! та ли еще была бы у меня сила, еслибы я былъ Никола Знаменскій... И самому мнѣ, когда я вспомню прошлое, особливо сельскую жизнь, какъ будто не вѣрится, а между тѣмъ такіе люди были, и люди эти честные, добрые, но устроившіеся подъ влияніемъ забитой среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминалъ отца, мнѣ смѣшно казалось. Даже разъ за обѣдомъ вдругъ захохоталъ, что удивило инспектора и за что я получилъ хорошую кашу изъ березы. Но теперь я думаю такъ, что отецъ нисколько не былъ виноватъ въ томъ, что на нашъ взглядъ былъ смѣшонъ; я былъ бы въ тысячу разъ виноватѣе его, еслибы последовалъ его примѣру. Впрочемъ обо мнѣ начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагамъ благочиннаго, назывался „іерей Николай Сидоровъ Поповъ“, а въ деревняхъ, въ Знаменскомъ селѣ, Березовскаго уѣзда, Холмоной губерніи, назывался Никола Знаменскій, такъ же, какъ идѣтъ мой, вѣроятно потому, что въ селѣ нашемъ была знаменская церковь. Отъ этого, при поступленіи моемъ и брата моего Ивана въ семинарію,

вышло недоразумѣніе, потому что отецъ мой никакъ не хотѣлъ согласиться, что онъ Поповъ. Когда ему говорили: „да вѣдь ты Поповъ?“ — онъ говорилъ: „Знаю попъ, а парнишки што за попы? Экъ како слово сказано...“ Такъ меня называли Поповымъ, а брата Ивана — Знаменскимъ. Онъ и на бумагахъ подписывался просто: *попъ Никола Знаменскій*, на что впрочемъ благочиннымъ мало обращалось вниманія.

Лицомъ, походкой, одеждой и словами мой родитель нисколько не отличался отъ крестьянъ Березовскаго уѣзда. Лицо у него было желтое, глаза большіе, съ большими рыжими бровями, которыя росли въ разные стороны и потому придавали лицу угрожающій видъ; носъ широкій, а когда онъ хохоталъ, то ноздри дѣлались очень широки, оттопыриваясь вверхъ; борода и волосы на головѣ были пепельнаго цвѣта, большіе, какъ у крестьянъ, и никогда не чесались. Отецъ мой не любилъ большихъ волосъ и всегда смѣялся надъ тѣми, которые носили косички: „чортъ — не чортъ, чучело не чучело...“, говорилъ онъ и плевалъ въ сторону. Роста онъ былъ средняго, но мужчина здоровенный; говорилъ басомъ, и его пьянаго далеко было слышно. У него была только одна ряса изъ зеленого сукна, доставшаяся ему отъ тестя. Эту рясу онъ надевалъ только въ Пасху, въ Троицу, въ Николинъ день, въ Рождество, да когда ѣздилъ въ городъ къ благочинному, а въ остальное время она висѣла въ чуланчикѣ, гдѣ крысы порядочно ее портили каждый годъ, и моей матери, забывавшей о ней въ обыкновенное время, было не мало хлопотъ закоплатить ее, что она исправляла посредствомъ холста или просто тряпокъ. Носилъ онъ лапти собственного издѣлія и крестьянскую шапку, сшитую изъ бараньей шкуры съ шерстью, и эта шапка, ношенная имъ не одинъ десятокъ лѣтъ, была очень тяжела отъ починиванія и была ему очень дорога. Другого одѣянія на ноги и на голову отецъ не имѣлъ. Зимой и лѣтомъ онъ носилъ длинный полушубокъ, состоящій изъ телячьей, овечьей и козливой шкуръ съ шерстью, съ тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а лѣтомъ снаружи. Этотъ полушубокъ былъ ужасно тяжелъ для насъ, восьмилѣтнихъ мальчугановъ, и мы удивлялись, какъ это отецъ можетъ носить такую тяжесть. Былъ у него



и коричневый армякъ, но онъ былъ отцу дороже рясы и надѣвался очень рѣдко.

По этимъ описаніямъ вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отецъ никогда не снималъ съ себя портретовъ, никогда не рисовался, а постоянно хлопоталъ. Представляйте себѣ его сидящимъ въ кабацкѣ въ полушубкѣ, опоясаннымъ веревкой съ лыка, съ рукавицами или безъ рукавицъ, въ лаптяхъ, съ перевязанными до колѣнъ штанинами лычной бичевочкой, и разсуждающимъ съ мужиками о разныхъ разностяхъ, а преимущественно о ловлѣ звѣрей и птицъ; или представляйте его отпавляющимся съ дьячкомъ Сергунькой въ лѣсъ въ такой же одеждѣ, только у отца на спинѣ болтается мѣшокъ съ хлѣбомъ, солью и ножикомъ, въ правой рукѣ чугунный ломъ, которымъ онъ подпирался, какъ палкой, а за веревку, опоясывавшую полушубокъ, вдѣтъ топоръ съ топорщикомъ—это онъ идетъ бить медвѣдей; или идетъ отецъ съ Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечахъ, и на этой палкѣ виситъ убитый медвѣдь, ломъ затянутъ за веревку, топоръ заткнутъ за опояску дьячка Сергуньки; представляйте его пожалуй ругающимся съ мужиками или звонящимъ въ колокола на соборной колокольнѣ въ губернскомъ городѣ Холодѣ, вмѣстѣ съ дьячкомъ Сергунькой... Но все-таки имѣйте въ виду то, что онъ умеръ назавтра тому тридцать лѣтъ...

Уѣздъ, въ которомъ жилъ мой отецъ, одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ въ Холодной губерніи, какихъ уѣздовъ еще очень много въ другихъ губерніяхъ, а народъ и теперь еще тамъ дикій. Хлѣбъ отъ холода не растетъ. Поэтому крестьяне занимаются звѣриннымъ промысломъ и звѣрей продаютъ въ ближайшемъ городѣ Березовѣ купцамъ, которые такъ ловко надуютъ простаковъ, что они всю жизнь не могутъ выйти изъ кабалы и долговъ купцамъ. Напримѣръ крестьянинъ привозитъ къ купцу лося, купецъ даетъ за лося четвертакъ или пудъ ржаного хлѣба и проситъ крестьянина привезти ему двухъ оленей. За это онъ даетъ крестьянину впередъ еще пудъ муки. Крестьянинъ три мѣсяца гоняется за оленями и, привезши оленей или ихъ шкуры, получаетъ отъ купца выговоръ, что не исполнилъ порученія въ срокъ; а такъ какъ крестьянину нуженъ хлѣбъ, то онъ исполняетъ на купца за пудъ муки какую-нибудь работу, напримѣръ работаетъ въ кожевенномъ заводѣ. Или, изъ-за хлѣба, крестьяне нанимаются рубить лѣсъ для березовскаго купца и этотъ лѣсъ весной сплавить по рѣкѣ Вурой къ такому-то мѣсту. Купецъ подражаетъ знаменскаго старосту или состоятельнаго крестьянина такъ: за пятачекъ дровъ даетъ ему рубль, за десять бревенъ полтинникъ, а этотъ крестьянинъ подражаетъ крестьянъ уже на свой счетъ и даетъ половину. За сплавъ лѣтомъ купецъ давалъ одному человѣку восемь или пять рублей, если больше пятачокъ верстъ, а подрачникъ половину. Но часто бывали несчастія такого рода, что отъ прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты въ бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрачника на всю жизнь, такъ же, какъ и подрачникъ купцу. Другіе жители пробиваются

тѣмъ, что продаютъ въ Березовѣ кадки, масло, яйца, телятъ и т. п. съ большими убытками, потому что въ городъ наѣзжаетъ всегда въ базарные дни много бѣдныхъ крестьянъ, у которыхъ горожане всегда покупаютъ съ безстыднымъ выторговываніемъ.

Въ нашемъ Знаменскомъ селѣ въ то время, когда мнѣ былъ восьмой годъ отъ роду, было двадцать домовъ, въ которыхъ жило двадцать пять мужчинъ, пятьдесятъ девять женщинъ и пятьдесятъ одинъ человѣкъ молодого поколѣнія. Мужчинъ сравнительно съ женщинами было мало потому, что они жили въ разныхъ мѣстахъ на заработкахъ. Это населеніе вполнѣ постоянно убывало, и теперь, когда я былъ тамъ въ прошломъ году, тамъ состоитъ на лицо только восемь домовъ съ тридцатью человѣками всякихъ возрастовъ. Причина этому та, что люди въ голодные годы мѣшали въ муку кору или ѣли одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы въ другія мѣста. Жители при мнѣ были крещенные и некрещенные: къ первымъ принадлежали православные государственные крестьяне, которыхъ было только шесть семействъ; а ко вторымъ—тептери и черемисы; изъ нихъ было впрочемъ нѣсколько и крещенныхъ, но они все-таки по своему молились своимъ богамъ; у нихъ были свои обряды, свои понятія.

Само собою разумѣется, отца нельзя назвать развитымъ человѣкомъ, потому что всѣ его способности тратились на то, какъ бы ему угодить благочинному, убить медвѣдя, настрѣлать глухарей, какъ бы достать больше хлѣба, и какъ бы лучше обругать дьячка Сергуньку, или сдѣлать такъ, чтобы Сергунька и всѣ люди, повыше его, не ругали его. Разъ онъ хмѣльной пьяному Сергунькѣ обрѣзалъ косу за то, что тотъ упрекнулъ его тѣмъ, что онъ въ лѣсу съ дороги сбился.

Отецъ мой, какъ я вамъ уже говорилъ раньше, былъ здоровенный мужчина. И было отъ чего! Возня съ медвѣдями, которыхъ онъ любилъ больше всего на свѣтѣ, подвижная жизнь—придавали ему бодрости и силы: онъ никогда не хварывалъ, не жаловался на слабость зрѣнія, пилъ пиво и брагу цѣлыми жбанками, ѣлъ за троихъ, спалъ подолгу и такъ крѣпко, что его трудно было разбудить. Одинъ разъ онъ, хмѣльной, за что-то избилъ восемь черемисовъ, и всѣ черемисы нашего прихода боялись „знаменскаго Микулы“.

Отецъ его былъ дьячкомъ въ томъ же селѣ, обучавшійся чтенію и писму дома и неизвѣстно какими образомъ сдѣлавшійся дьячкомъ и какъ справлявшій службу. У этого дьячка, моего дѣда, котораго однако мнѣ не привелось видѣть, было два сына: Николай, мой отецъ, и Семенъ, да еще дочь Матрена. Они кое-какъ выучились писать и читать по церковному у священника, и на этомъ закончилось ихъ образованіе. Когда умеръ мой дѣдъ, отца сдѣлали на его мѣсто дьячкомъ.

Вотъ что говорилъ объ этомъ назначеніи Николай Знаменскій своимъ пріятелямъ:

— Сенькѣ, въ та поры, кажись, было двадцать-первой, али двадцать-два года, а мнѣ пошелъ десятинадцатый (то-есть 20-й), не помню... Сорви-голова былъ этотъ парнишко! Ну вотъ, теперича, какъ есть помню... Сидимъ мы за столомъ на поминкахъ; попъ

Олексѣй и баеть: а кто, баеть, изъ васъ, теперича, робята, дьячкомъ хочетъ сдѣлаться?.. Ну, а намъ, мнѣ да брату, обонимъ хотѣлось дьячками быть, потому, самъ знашь, подати съ дьячковъ не просить, жизнь легкая, а што насчетъ оранья — наше дѣло: заоремъ такъ-толи што... Попъ Олексѣй и баеть: двоимъ негоже, одному нужно... Ну и велѣлъ ѣхать мнѣ да брату въ городъ, къ самому благочинному, и грамотку обѣщалъ дать — это къ благочинному, знаешь... Ну, поѣхали. Я да братъ по лукошку яицъ взяли, ругаться стали дорогой. Сенька баеть: ты, баеть, чупарый, тебя не сдѣлають, а меня, баеть, сдѣлають, потому, у меня, баеть, въ лукошкѣ два ста де-сятинадцать-два яйца, а у тебя только два ста... Ну, пришли къ благочинному, рыжій такой, просто раз-одѣтъ такъ, што и не бай! „Што?“ спрашиваетъ это насъ... Такъ и такъ баю; а я, нужды нѣтъ, што Сенька былъ сорви-голова, а все-таки былъ не въ примѣръ бойчае его. „Вотъ тѣ, баю, грамотки отъ нашего попа Олексѣя, дьячкомъ велѣлъ тебѣ меня сдѣлать. За это я тебѣ, батюшко благочинный, лу-кошко яицъ привезъ.“ Сѣбно ему што-то стало. А Сенька какъ взглянетъ на меня по коровьи и скажетъ благочинному; „Вретъ Миколка. Я два ста де-сяти-два яйца привезъ, а онъ только два ста...“ „Ладно,“ — баеть благочинный. Ну, и заставилъ онъ насъ читать — прочитали гоже; пѣтъ заставилъ, а я по церковно-тѣ не много смыслилъ... Благочинный и баеть: ты, ба тѣ, пѣтъ неумѣешь, а тоже въ дьяч-ки суешься. Ну да, баеть, ладно: будь дьячкомъ въ селѣ, а ты, баеть брату, останься въ городѣ, а тебя въ соборъ поставлю. Я, баеть, отпишу къ архирею и скажу, колды тебѣ прѣзжать постригаться... Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дамъ. На што изъ-за этого съ попомъ Олексѣемъ дома подрался маленько... Пошли мы съ Сенькой въ кабакъ. Сенька дразнится: што, баеть, я въ городъ, а ты въ село... Ладно, баю, въ городѣ медвѣдь нѣтъ, а ты меня хотъ зарѣжь, не пойду въ городъ. Потому онъ сталъ калякать: я, баеть, теперъ старше тебя, начальство... За это слово я ево больно хотѣлъ побить, да на радостяхъ прощенье сотворилъ.

Городъ отъ нашего села былъ въ пятидесяти вер-стахъ, и туда отецъ ѣздилъ часто съ звѣрами, пти-цами и рыбой, которая онъ продавалъ одному купцу или, проще, получалъ отъ купца муку, крупу, соль и порохъ съ дробью. Дядя Семенъ, проживши въ го-родѣ годъ, значительно пообтерся: носилъ суконный подрясникъ, сапоги, помахивалъ своей головой и ко-сичками, за что отецъ сталъ называть его пучегла-зымъ чортомъ. На другой годъ дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился въ домѣ тестя, который кромѣ жены имѣлъ еще трехъ дочерей, ужасно глупыхъ женщинъ, которыхъ мой отецъ не могъ терпѣть и называлъ кикиморами. Особенно онъ ненавидѣлъ ихъ за то, что онѣ назы-вали его неучемъ, сельскимъ дьячкомъ; а со стороны онъ слышалъ, что онѣ называютъ его колдуномъ, потому что онъ, будто бы, посадилъ имъ по килѣ: у нихъ было по грыжѣ подъ подбородкомъ — мѣсная

болѣзнь, происходящая тамъ и теперь отъ нечисто-ты и влїянїя климата.

Церковь въ Знаменскомъ селѣ была открыта при моемъ дѣдушкѣ съ цѣлю обращенїя язычниковъ въ христіанство. Первый священникъ былъ молодой, ученый на столько, на сколько въ то давнишнее время можно было ожидать отъ человѣка; но народъ не понималъ его словъ и въ церковь не ходилъ, и онъ, промаявшись въ селѣ кое-какъ годъ, уѣхалъ въ другое мѣсто. Послѣ него священникомъ былъ отъ Алексѣя, при которомъ мой отецъ сдѣлался дьячкомъ; онъ былъ старикъ и скоро умеръ, а на мѣ-сто его прѣхалъ отъ Василия Здвиженскій изъ Ря-занской губерніи, гдѣ онъ былъ дьякономъ на при-четническомъ окладѣ. Онъ думалъ, что въ нашемъ краю жить хорошо, но ошибся.

Вотъ что рассказывалъ про него мой отецъ.

— Первымъ дѣломъ попъ Василій остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и сталъ думать, какъ бы ему домъ выстроить, да большой, въ пять горницъ... Ну, потомъ и баеть мнѣ: поди-ко завтра — кличъ крестьянъ въ церковь. — Зачѣмъ? — баю. А по-то, баеть, нужно... А самъ баеть непо наше-му, а инако, сѣбно, подковыривать какъ-то... Ну, утромъ я и скликалъ всѣхъ. Пришли... Ладно. А попъ обѣдню служить. Тожно вышелъ на амвонъ и баеть что-то по бумажкѣ. Поглядѣли на него мужи-ки да бабы, и драло. Попъ догадался. Въ другоредъ велѣлъ мнѣ двери запереть, да народу-то пришло поменѣе, куды какъ мало, больше ребятенки... Вы-шелъ опять попъ и сталъ по бумажкѣ сказывать, изгиляется, и голосъ другой... Ужъ какъ это онъ изгилялся! и рукавъ, и ногамъ, и головой... Ребя-тенки хохочутъ, а я имъ грожу; не способился; не одного за волосы отвозилъ. А кои постарше были, тѣ пошли къ дверямъ, а я не пуцаю и баю: попъ не велитъ пуцать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Такъ попъ ничего и не сдѣлалъ. А съ этихъ поръ ни одинъ мужикъ и ни одна баба не стали хо-дить въ церковь. Только ребятенки и бѣгали по ма-лости. Ну, попъ то былъ придурай тожно: пошто, баеть, риза холщевая, надо серебряную — сталъ сборъ съ мужиковъ дѣлать, а у тѣхъ и самихъ-то шишъ. Надо, баеть, старосту церковнаго — выбрали перваго што есть во всемъ мѣрѣ плута.. Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали отъ него. Ну, да онъ и не больно-то ласковъ былъ: брезговалъ мною. Ну, сталъ попъ жаловаться благочинному, да ничего не-взялъ: потому, благочиннаго нужно поблагода-рить, а у попа шишъ; попу мужики ничего не да-ють... Вотъ мой попъ и разсердился на благочиннаго и поѣзжалъ въ губернію къ архирею, а тотъ на него осердился: стричь, баеть, больно буду... Съ тѣхъ поръ попъ славный сталъ и мужикамъ полюбился, сталъ со мной въ лѣсъ ходить на промыслы, и по-пивали мы съ нимъ пиво и водку, какъ ни одинъ мужикъ не пивалъ... А то, когда найдетъ на моего попа *благой стихъ*, позоветъ меня да старосту, и пойдѣмъ служить обѣдню: я часы кое-какъ прочитаю, онъ актенію скажетъ черезъ *два въ третій*, евангеліе

прочитаетъ, „иже херувимы“ пропоемъ... Онъ приду-рай, што-ли, былъ—не знаю: какъ я запою: *отложимъ попечение*... онъ и плачетъ, плачетъ—што есть жалко его... Я и баю: чево ты юни-то распустил. Вылѣзай, баю... Ладно што людевь-то не было, окромѣ старосты, да и тотъ едва мизюкаетъ (дремлетъ)... А попъ черезъ три года какъ въ село прѣхалъ, половину-то обѣдни позабылъ, а книжки одново раза подлецы черемисы со всѣми иконами, ризой, поповской рясой, коя въ алтарѣ висѣла, и сосудами растащили и виноватыхъ не нашли...

Захотѣлось отцу жениться на поповской дочери. Въ это время попъ жилъ уже въ своемъ домѣ.

„Красивая была эта Настька въ та поры,—разсказывалъ отецъ.—Ну, да это што... А то мнѣ любо, што не скалила такъ зубы, какъ городскія дѣвки; дѣвка одно слово работаящая. Ну, вотъ я и присталъ къ попу Василью: отдай, баю, Настьку за меня! Попъ и баетъ: „ты и пальчика, што есть, ея не стоишь“. Врешь,—баю. Безъ меня, баю, ты бы кору глodalъ да пальчики облизывалъ. А я тебя стрѣлять научилъ. Отдай Настьку, не то плохо будетъ. „Я, баетъ, за попу отдамъ“. Ну, а я въ та поры баской былъ и Настька со мной ласкова была“...

Жена священника скоро замѣтила, что ласки ея дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее въ отчаяніе, а священника въ ярость. Священникъ какъ-то былъ хвѣленъ, обрѣзалъ дочери волосы, прибилъ и выгналъ ее; дочь убѣжала къ отцу, а у того въ это время былъ уже свой домъ, заключавшій въ себѣ одну избу.

„Пошелъ я къ попу, — говорилъ отецъ,—топоръ для страха взялъ. Прихожу къ нему, онъ жену за косы теревить. Вотъ я какъ крикну: видишь это! и показалъ ему топоръ; у попа руки опустились и языкъ высунулся. А жена его выбѣжала на улку и кричитъ: „ой, попа рѣжутъ! ой, попа рѣжутъ“. А я тѣмъ временемъ схватилъ попу и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю... Попъ испугался и кричитъ: „отдашь! отдашь!“ Врешь?—баю. „Вотъ тѣ Христось!“, баетъ. Ну, и начали же мы плясать съ нимъ! Народъ было-собрался въ избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, какъ слѣдуетъ по божьему закону, я къ отцу привелъ, и наказалъ до свадьбы не обижать ее, а то, Ей-Богу, молъ, косу обрублю и попу, и попадѣть“.

Мой отецъ долго вспоминалъ про свою свадьбу.

„Ужъ такъ-то мы всѣмъ селомъ тѣшились—и не говори! Въ первый день восемь корчагъ пива, да шесть корчагъ браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А ужъ што это сажай лицо ему мазали, и не говори!... Пляски были—страсть. Ужъ нигдѣ не было и не бывать такой свадьбы, какая была у Миколки Знаменскаго“.

Тетка Матрена вскорѣ послѣ этой свадьбы вышла замужъ за городского дьякона, а такъ какъ отецъ любилъ компанію, то онъ, сломавъ свою избу, пристроился къ дому попа, такъ что изъ двухъ домовъ образовался по внутреннему устройству одинъ домъ, потому что изъ кухни попа были двери въ избу отца.

Прошло три года послѣ этого. У отца было уже два сына, Иванъ и я, Николай. Послѣ насъ еще рождались дѣти, да умирали.

Отецъ очень ввалился крестинами:

„Ужъ я никогда такъ не равкалъ, какъ на ванькиныхъ крестинахъ! Ужъ я эту „вѣрую“ лучше всѣхъ откаталъ, а пѣлъ такъ баско, што опосля того и придумать не могъ: на какой это я манеръ пѣлъ толды? На што жена нездорова была, и та хихикала отъ радости и баяла: экой ты у меня пѣтушокъ... А какъ у меня другой сынъ родился, попъ и я хвѣльные больно были. Попъ и даетъ ему свое имя... Нѣтъ, баю, попъ, давай мое!—Нѣтъ, баетъ, не хочу.—А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этова парнишка я самъ назову... Такъ попъ ничего и не сдѣлалъ со мной. Сперва было учнудъ сказывать: крещается рабъ божій Василій, да я крикнулъ: не Васька, а Колька! Колька въ отца пойдетъ. Ну, значитъ, Колька у меня и сдѣлался. Послѣ было хотѣлъ я это имя дать Ванькѣ, а ванькино Колькѣ, да попъ метрики услалъ въ благочинному“.

Вскорѣ послѣ моихъ крестинъ умеръ и знаменскій священникъ: онъ обѣлся грибовъ. Отецъ сильно запечалился, какъ онъ говорилъ. Онъ жилъ дружно съ священникомъ, и священникъ въ ссорахъ всегда уступалъ отцу. Привезъ отецъ изъ города благочиннаго, который въ наше село никогда дотолѣ не заглядывалъ. Подивился благочинный тому, что въ селѣ церковь деревянная, похожая на часовню, нѣтъ колокола, образовъ всего только восемь, риза одна холщевая. Сталъ благочинный служить обѣдню съ соборнымъ городскимъ дьякономъ; на клиросѣ пѣли мой отецъ и дядя, только дядя службу зналъ хорошо и больше заставлялъ отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народа, сошедшагося больше изъ любопытства. Послѣ похоронъ, за обѣдомъ, отецъ сталъ просить благочиннаго сдѣлать его попомъ.

— Да ты что есть и часы читать не умѣешь,—сказалъ благочинный.

— Умѣю... А ужъ я тебѣ какъ много буду благодаренъ,—и поклонился отецъ въ ноги благочинному; а это нравилось благочинному.

— Ну, прѣзжай въ городъ; братъ поучить тебя.

— Братъ! Да я ему всѣ волосы выдергаю... Штобъ ему меня учить!—горячился отецъ. Дядя сталъ подсмѣиваться надъ отцомъ, а когда теща отца дала благочинному тридцать рублей на ассигнаціи, и благочинный сказалъ отцу: „ты будь въ надеждѣ—все сдѣлаю“, то дядя сказалъ благочинному:

— Вы неправильно это, не по закону...

— Што?!—спросилъ сердито благочинный.

— Это мѣсто по закону мнѣ слѣдуетъ.

— Ишь какой забіяка! Такъ вотъ тѣ приказъ: быть у брата въ дьячкахъ.

— Упаси меня мать Пресвата Богородица, штобы я съ такимъ лѣшакомъ да въ одномъ селѣ сталъ жить!—закричалъ отецъ.

Когда благочинный легъ спать, то дядя подошелъ къ отцу и, сказавъ ему: „подлецъ!“, вдругъ ударилъ его по лицу. Это отца привело въ ярость, но онъ сдер-

жался и вытолкнул дядю на улицу, сказавъ: „хоть хуже тебя буду, а знаться съ тобой не хочу послѣ этой оказіи“.

Съ этой поры отецъ не могъ безъ злобы говорить о братѣ, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отецъ въ городѣ попадался на встрѣчу брату, тотъ плевалъ чуть не въ лицо отцу и обходилъ его стороной, а отецъ пугалъ его кулаками. Семейства отца и дяди не владѣлись другъ другу и всегда со злобой разсуждали другъ про друга. Тетку Матрену тоже довели до того, что она перестала ходить къ дядѣ, а соборный дьяконъ, мужъ тетки, такъ давилъ его, что онъ принужденъ былъ переѣхать въ горный заводъ, гдѣ онъ женился и умеръ на сорокъ пятомъ году дьякономъ.

Мѣсяца черезъ два послѣ смерти знаменскаго священника, потребовали отца въ городъ Подгорскъ, отстоящій отъ Березова въ ста верстахъ. Благочинный сказалъ отцу, что его требуетъ архіерей на посвященіе его въ священники. Отецъ очень обрадовался этому, поклонился въ ноги благочинному и два дня бралъ уроки у мужа тетки, но запомнилъ очень немного. Онъ никогда не видалъ архіерея и его ужасно пугало то, какъ онъ предстанетъ передъ такимъ лицомъ. Съѣздили онъ въ село за рясой, забралъ всѣ деньги, какія у него были, взялъ съ собой лукошко яицъ, кадушку съ топленнымъ масломъ и поѣхалъ въ Подгорскъ, о которомъ онъ зналъ по слухамъ.

Воротился онъ домой черезъ мѣсяцъ, и вотъ что разсказывалъ намъ и чѣмъ хвастался всю жизнь.

„Изъ Березова въ Подгорскъ поѣхали со мной одинъ кутейникъ, востроглазый такой парень, да еще какой-то попъ. Сѣдуютъ они надо мной, зачѣмъ на мнѣ армякъ надѣтъ, шапка мужицкая и лапти... Ну, да я ихъ пугнулъ. Всю дорогу они пугали меня архіереемъ, а у меня у самого все нутро всю дорогу ворочало такъ больно, такъ больно... Потомъ, какъ пріѣхали въ этотъ Подгорскъ, я диву дался: городъ больше Березова, а церковей сколько!... А я допрежъ думалъ, — только на свѣтѣ и есть одинъ городъ Березовъ... Кутейникъ позвалъ меня къ себѣ, ну я и поѣхалъ, а у него въ горницѣ пятеро кутейниковъ было, да одинъ дьяконъ какой-то. Тутъ я съ ними баско назвался, потому они мнѣ поправились и вино у нихъ лучше березовскаго. А утромъ меня растолкали: архіерей пріѣхалъ. Иди, покажись ему... Баяли, какъ онъ пріѣхалъ ночью, во всѣ колокола звонили. Ну, просто, душа въ пятки ушла! Сталъ запрагать лошадь, такъ не велятъ. Взялъ кадушку масла да лукошко яицъ, забрали: онъ тѣ баятъ, дасть за это... Однако я таки повесть, а онъ жилъ у тамошняго благочиннаго. Ну, просто душа въ пятки ушла! Погѣзавъ въ избу. „А гдѣ, бая, владыко?“ ... А меня ужъ научили, какъ архіерея называть, только я первое-то слово не могъ выговорить. Ну, тамъ спросы пошли, хохотали сколь надо мной. Поди, баяютъ, къ наибольшему дьякону, и дорогу показывали. Я пошелъ... Сердитый такой, хайло у него побольше моего... — Што, баетъ, тебѣ? — Я, бая, Никола

Знаменскій. — Кто? — спрашиваетъ. Кое-какъ растолковались... — Отчево, баетъ, ты безъ рясъ? — Я бая, а пошто рясъ?... Онъ какъ закричитъ; я ему хотѣлъ было дать масла — такъ не беретъ: „Мы, баетъ, эту дрянъ не беремъ, намъ баетъ, дѣвать ее некуда. Давай деньги“. Ну далъ я ему десять рублей — и спасибо не сказалъ. — Ну, баетъ, я и иду къ самому владыкѣ, айда со мной... Мурашки забѣгали, просто бѣда! и я кое-какъ опаматовался, какъ очутился въ хорошей горницѣ. Вотъ горница! и нигдѣ такой я отроду не видывалъ, а этихъ дьячковъ да поповъ — и! бѣда!! А большой дьяконъ даже и не поклонился мнѣ, такъ и ушелъ въ другую горницу. Вотъ забѣлся я въ уголокъ, боязнъ маленько прошла... Дьячки и поны шепчутся, крикаютъ, бумажки читаютъ, деньги считаютъ, а какіе-то баскіе парнишки, то и дѣло, бѣгаютъ по горницѣ: какіе-то кутейники высокіе и невысокіе, руки въ боки, глаза въ потолоки, ходятъ и покеркиваютъ... Ничего я такого отроду не видывалъ. Ужъ дивился я, дивился, обѣ архіереѣ позабылъ — больно ужъ баско стоять-то было. Только вдругъ выходитъ изъ дверей наибольшій дьяконъ и какъ гаркнетъ — куды тѣ медвѣди какой: „Николай Поповъ!“... Я задрогнулъ. Поглядѣлъ изъ него; а онъ опять: иди сюда... Ну, я просто убѣжать хотѣлъ. Ужъ не помню, какъ я очутился въ пребасской комнатѣ: полъ это, знаешь, свѣтлый, какъ ледъ, а стѣны — и сказать не умѣю... Только вдругъ выходитъ откуда-то монахъ съ большимъ дьякономъ и спрашиваетъ: который? — Этотъ, — указываетъ на меня большой дьяконъ и машетъ мнѣ рукой, а я тряусь, тронуться съ мѣста не смѣю, а онъ машетъ... А владыко идетъ ко мнѣ, я и бухъ въ ноги ему... — Встань, говоритъ мнѣ владыко, а я стукаюсь лбомъ обѣ полъ, а онъ баетъ: встань... Нечего дѣлать, боязно, австалъ, онъ меня перекрестилъ... „Умѣешь служить?“ — спросилъ онъ меня... Все, бая, умѣю, — а самъ промежъ себя думаю: не спрашивай ты меня ради Христа. Господи Іисусе, спаси-помилуй; большому дьякону всѣ деньги отдалъ... А онъ глядитъ на меня, большой дьяконъ мнѣ глазами мигаетъ, а я ни живъ, ни мертвъ. Ужъ я кажись сколько медвѣдей видѣлъ, а никогда такъ не было боязно, какъ тутъ. — Сколько у васъ въ селѣ прихожанъ? — спрашиваетъ владыко; я плохо понялъ и сбаялъ: чевое? Владыко разсѣлся, а мнѣ легче стало, я ужъ бойчае сталъ. — Кто у васъ прихожане? — У насъ-то? — Да. — А всяки.. кто ихъ знаетъ... Потомъ онъ и говоритъ большому дьякону: знаетъ ли онъ службу? — Знаетъ, — сказалъ тотъ и назвалъ его первенствомъ. — Приготовь его... А ты завтра будешь посвященъ въ дьяконы... Я и баяю: а што жъ благочинный баялъ: въ попы? А большой дьяконъ и глазами, и ртомъ, и всяко изгиляется, такъ што мнѣ смѣшно стало. Владыко и баетъ: — што съ тобой? — Да вонъ, батюшко-владыко, большой дьяконъ ужъ больно смѣшно глазами да ртомъ изгиляется. Поглядѣлъ на большого дьякона владыко сердито и сказалъ: „завтра ты будешь дьяконъ, а послѣ-завтра попъ“... Я ему опять въ ноги... А какъ вышелъ оттолъ, совсѣмъ ровно другой сталъ: весело не весело, а такъ ужъ што-то особенно, што и сказать не умѣю. А эти дьячки и поны.

какъ вороны, стали лѣзти ко мнѣ: „што, бають, ничего?... што сказали?“ А кои напросились вина выпить.

„Ужъ больно я былъ веселъ, такъ што и объ ма-слѣ да янцахъ позабылъ. Только у квартиры и вспо-минилъ объ нихъ: видно, большой дьяконъ взялъ.“

„А въ этотъ день меня славно напоили. Утромъ опять кинками разбудили. Пошелъ въ церковь, на-роду тѣмъ-тѣмъ. У дверей стоятъ архаровцы \*) съ большущими ножами \*\*) и то и дѣло толкаютъ народъ да бьютъ ихъ кулаками. Меня тоже одинъ ударилъ, да я его такъ треснулъ, што онъ будетъ помнить Никола Знаменскаго. Спасибо, попы засту-пились и втащили меня въ церковь. Попы, знаешь ты, бѣгаютъ, дьячки и дьякона тоже, а на нихъ кри-читъ большой дьяконъ. На клиросахъ—это молодые парни—эконьки и экіе стоятъ, эконьки мальчуга-ны въ ризахъ. Диво! Ну, надѣли на меня ризку (стихаръ) и поставили въ уголь... Просто страсть... Вдругъ попы и дьякона похватили, кто чево могъ, и побѣжали вонъ изъ алтаря, и я за ними, только ни-чего въ руки не взялъ... Меня было одинъ дьяконъ чуть не ударилъ за то, што я его больно толкнулъ, а другой велѣлъ мнѣ смирно стоять въ алтарѣ... Да я думалъ: это онъ брезгуетъ мной... Не успѣлъ я опом-ниться, какъ вдругъ заѣбли... Ахъ, какъ баско! Я и ротъ разинулъ, только гляжу, это на клиросѣ ме-ня и тянетъ за рукавъ дьячокъ, а владыко ужъ по-среди церкви стоитъ, одѣваютъ его... И ризъ-то этихъ сколь... А я сталъ въ алтарѣ въ уголь къ две-рямъ и гляжу это въ щелку, какъ одѣваютъ, а боль-шой дьяконъ съ другимъ дьякономъ кадятъ. И диво же мнѣ все, и понять немогу, што пѣвчіе поютъ, а пѣли такъ баско, такъ баско... (я отецъ при этомъ кричалъ). И никакъ я не могъ понять вотъ какого пѣнья пошто тамо пѣли: *съ полатей на полати* и много разъ, да такъ баско, особенно какъ эти ре-бятки въ ризахъ... (я отецъ опять кричалъ, какъ бы желая дать понятіе о пѣніи исполтчиковъ).

„Вотъ молодые дьякона, што архирея одѣвали, повели меня, грѣшнаго человека, на середину цер-кви, да сперва одинъ, потомъ другой, и давай тол-кать меня въ шею. Я смотрю на нихъ и дивлюсь, а они зовутъ меня въ алтарь. Ну, какъ я пойду, когда въ большія двери попы ходятъ? а большой дьяконъ стоитъ въ большихъ дверяхъ и машетъ меня. Ну, пе-рекрестился и пошелъ... Не оглядѣлся я, какъ боль-шой дьяконъ подвелъ меня къ архирею, а онъ си-дять... Ничего потомъ не помню окромя того: какъ вдругъ большой дьяконъ равняетъ: „ахъ-ти вошъ!“ Ну я, братъ, больно испугался... А штучки-то эти ме-ня-таки водились. Помню еще, што волоса мнѣ стри-гли; ну да это куда ни шло.“

„Послѣ обѣдни владыко бранилъ, бранилъ меня и все-таки общалъ завтра попомъ сдѣлать, а отъ боль-шого дьякона просто покою не было... На другой день меня съ дьяконами поставили, ектеію заставляли сказывать... Спасибо, дьяконъ, што рядомъ со мной стоялъ,—сказалъ, да и пѣвчіе скоро пѣли... Не легко,

братецъ ты мой, попомъ сдѣлался... Владыко опять бранилъ меня и большого дьякона, зачѣмъ онъ не выучилъ меня, а пѣвчіе толковали, што-де потому ме-ня большой дьяконъ не выучилъ, што я мало далъ ему денегъ... Мало? десять-то рублей, да кадушку масла, да лукошко яицъ?... Пѣвчіе да дьякона эти разные все просили у меня денегъ—да гдѣ я ихъ возьму.“

„Послѣ этого меня двѣ недѣли учили, да плохо я понималъ. Маялись-маялись и послали домой.“

Настъ, ребятъ, не выдавшихъ никогда архирея, очень занималъ и удивлялъ этотъ рассказъ.

Изъ Подгорска отецъ привезъ въ Знаменское село дьячка Сергуньку, который служилъ тоже въ какомъ-то селѣ этого уѣзда и который архирея тоже видѣлъ въ первый разъ. Ему давали стихаръ, и такъ какъ отецъ жилъ съ нимъ на одной квартирѣ, то они со-шлись, а такъ какъ Сергунька былъ холостой чело-вѣкъ, то отецъ сманилъ его къ себѣ: „мы вмѣстѣ въ лѣсъ будемъ ходить“,—говорилъ отецъ Сергунькѣ, любившему стрѣлять птицъ.

Свою обязанность отецъ зналъ плохо, а по книж-кѣ читалъ еще того хуже; дьячокъ хотя и зналъ свое дѣло, но лѣнился и если когда служилъ съ отцомъ, то кричалъ: „не такъ!“, но отецъ его не слушалъ.

Съ самаго начала отецъ объявилъ крестьянамъ, что онъ попъ, и просилъ ихъ идти въ церковь. Кре-стьянамъ хотѣлось посмотрѣть, что будетъ дѣлать въ церкви Никола Знаменскій, котораго они любили, и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто мо-рошки, кто соленыхъ груздей, кто яицъ и т. д. Каж-дый, принесшій что-нибудь отцу, спрашивалъ:

— Такъ идти?

— Какъ хощь. А я итѣ стану. Баско спою, какъ у наибольшаго попа поютъ,—и онъ рассказывалъ ар-хирейскую службу, на сколько понималъ.

Церковь была полна, отецъ читалъ громко, пропу-ская то, чего не могъ разобрать. Когда онъ кланял-ся народу или кадилъ, то кто-нибудь кричалъ:

— А мнѣ што не кланяешься?

— Погоди и тебѣ будетъ. Не всяко лыко въ стро-ку,—отвѣчалъ отецъ.

На другое воскресенье въ церковь пришло чело-вѣкъ пять; и третье, и четвертое воскресенье отецъ пробылъ въ лѣсу.

Къ нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отецъ, ни дьячокъ не получали никакого жа-лованья; поэтому приходилось жить приношеніями; но приношенія дѣлались только въ такомъ случаѣ, если отецъ гналъ народъ въ церковь или пріѣзжалъ къ крестьянамъ съ крестомъ и святой водой, да при-дирался къ тому, зачѣмъ язычники обряды по свое-му справляютъ. Впрочемъ отецъ служилъ только въ большіе праздники, которые чтилъ самъ.

Онъ ужасно не любилъ черемисовъ за то, что они воруютъ, и потому сильно налегалъ на нихъ, тре-буя, чтобы они молились и справляли обряды по хри-стіански, и дѣлалъ съ ними шутики такого рода.

Приходить онъ одинъ разъ къ черемису и спра-шиваетъ:

\*) Казаки.

\*\*) Сабаями.

— Гдѣ образъ?  
— А тебѣ што?  
— А ты крещенный?  
— Крещенный.

— Ахъ ты, ватарашка! Куда ты образъ дѣлѣ? Сейчасъ позову старосту... Въ острогъ онъ тебя све-зетъ.

А отецъ и самъ не зналъ, что такое острогъ. Онъ только слыхалъ, что острогъ—нехорошая штука.

Черемисъ видитъ, что одному ему съ отцомъ не справиться, достаетъ изъ-подъ лавки образъ и не-хотѣя вѣситъ его въ уголъ.

— Ну, молись!

Черемисъ не молится.

— Вотъ такъ молись,—перекрестился отецъ и поклонился.

Черемисъ улыбается.

— А! ты такъ? пойдешь къ старостѣ!.. Тебѣ свя-той ликъ калечить? За что ты глаза-то ему скулу-палъ? Айда!—и отецъ тащитъ черемиса.

Черемисъ боится старосты, который одуеетъ его и заставить работать на себя. Общался онъ отцу молиться и поросенка даялъ.

На другой день отецъ условился съ дьячкомъ, что-бы тотъ сталъ у угла дома на улицѣ и отвѣчалъ на его слова. Барыши они условились дѣлить поровну и пошли вечеромъ.

Сталъ дьячокъ неприятно у угла избы, а отецъ входитъ въ избу и видитъ, черемисъ вѣситъ образъ въ уголъ.

— А! обманывать?! ты думаешь, я не знаю, што ты снимаешь образъ?—кричитъ отецъ.

— Упалъ.

— Врешь, собака! А вотъ я спрошу образъ...

Черемисъ улыбается.

— Што, смѣшно? Ты не вѣришь, што онъ баеетъ?

Черемисъ хохочетъ.

— Такъ вотъ же тѣ сказъ: коли образъ баять будетъ, я всѣхъ твоихъ чучелъ спалю, а ты должонъ всю жизнь молиться ему.

Черемисъ хохочетъ.

Отецъ ударилъ черемиса по лицу и сказалъ:

— Такъ ты, образина ты эдакая, надъ святымъ ликомъ хохотать?.. Никола дождика даетъ, Никола здоровье даетъ, Никола хлѣбъ даетъ, Никола тебя сейчасъ громомъ убьетъ...

— Не убьетъ.

А дьячокъ между тѣмъ провертѣлъ въ углу въ пазахъ дыру, какъ разъ около иконы, и кричитъ: „убью!!“.

Черемисъ испугался.

— Што?—сказалъ сердито отецъ и кричитъ: ска-жи батшко, Никола-угодникъ, пошто онъ тебя снялъ?

— Своимъ богамъ молится, нашу вѣру не любитъ. Скажи ему, што я ему большую болѣзъ пошлю, коли онъ своихъ боговъ не сожжетъ сейчасъ.

— Слышишь?

Черемисъ въ землю сталъ молиться и шепчетъ: „не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога“...

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись...—кричитъ дьячокъ.

— Ай-ай!—закричалъ черемисъ и побѣжалъ за чу-челами. Когда онъ приносилъ чучелъ, то отецъ топ-талъ ихъ ногами, такъ какъ онѣ были глиняныя. Потомъ черемисъ далъ моему отцу двухъ свиней.

Послѣ этого чуда бѣдный черемисъ долго глядѣлъ на икону, осматрѣлъ ее со всѣхъ сторонъ, лепеталъ что-то по своему и повѣсилъ опять на стѣнку потому онъ сталъ молиться и спрашивать икону и кричалъ, да икона не давала отвѣта. Пошелъ черемисъ съ жа-лобой къ отцу, что образъ говорить не хочетъ; отецъ взялъ съ собой дьячка, и образъ опять заговорилъ. Послѣ этого черемисъ не снималъ образа и даже сталъ ходить въ церковь, думая, что попъ Никола съ обра-зами разговариваетъ; его примѣру послѣдовало нѣ-сколько черемисовъ.

Въ Пасху, въ Рождество, въ Троицу и въ свои именины отецъ ѣздилъ въ деревни славить; за это ему давали, кто птицъ, кто ягодъ, кто просто помѣлъ пивомъ и брагой. За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть въ городѣ.

Съ крестьянами мой отецъ жилъ дружно: барства въ немъ никакого не было, за простоту всѣ любили его да и понятія его нисколько не разнились отъ крестьянскихъ понатій. Онъ такъ же, какъ и крестьяне, гово-рилъ, что на другомъ концѣ живутъ люди съ ро-гами, что въ лунѣ сидятъ Канинъ и Авель, и онъ ни за что бы не повѣрилъ, а обругалъ бы того, кто сталъ бы доказывать ему, что земля шаръ и т. п. Больше всего крестьяне любили отца за то, что онъ выручалъ ихъ тогда, когда съ нихъ требовали подати.

— Батшко Микула... Подать надо—говоритъ кре-стьянинъ, чуть не плача.

— Поди, продай коровеньку,—совѣтуетъ отецъ.

— Кому продать-то?—городъ-то далеко, а старо-ста больше рубля не дастъ.

— Ладно, ужю.

Пойдетъ отецъ къ сельскому старостѣ, занимавше-муся бойней животныхъ, выдѣлываніемъ кожи и имѣв-шему большую лавку въ городѣ. Онъ ему всегда про-давалъ крестьянскихъ животныхъ выгодно для кре-стьянъ: если бы староста бралъ корову отъ крестья-нина то далъ бы рубль, а отцу давалъ пять и шесть рублей и эти деньги отецъ вносилъ самъ за крестьянъ за подати и другія повинности, избавляя ихъ отъ хлопотъ и отъ излишнихъ тратъ: отецъ писарю ни копѣйки не давалъ, а помѣлъ пивомъ или водкой до безчувствія.

Или бывало такъ: придетъ къ отцу крестьянинъ или черемисъ.

— Што, братанъ?—спроситъ отецъ.

— Бада бульша: хозейко подохъ, Лапша подохъ; ись... кору глодалъ, брѣха бульна...

Дастъ ему отецъ муки съ полпуда и схоронитъ по-койниковъ даромъ.

Отецъ часто путался насчетъ постовъ и праздни-ковъ, о чемъ онъ постоянно справлялся въ городѣ у тетки Матрены, которую очень любилъ.

— А што, сестра, тожню што: постъ али *молость*?

Та смѣется и спрашиваетъ: „мясопустъ или мясо-  
астіе тебѣ?“.

— Все одно: постъ али молодость?

— Теперь молодостные дни-то.

— Экой я дуракъ!—Я вѣдь, сестра, капусту ѣмъ  
да рѣдку хлебаю.

— Черезъ три недѣли маслянка будетъ. Приѣзжай  
ужо.

Или спрашиваетъ: „а Петро-Павла скоро?“.

— Еще недѣля.

— А теперь што?

— Постъ.

— А я ужъ отгулялъ Петро-Павла.

— Ахъ ты грѣховодникъ!.. Поди къ благочинно-  
му, покайся. Пойдетъ отецъ къ благочинному и дастъ  
ему лукошко яицъ.

Онъ зналъ, что бываетъ именинникъ весной, но  
котораго числа—не помнилъ. Дьячокъ, находясь съ  
нимъ по мѣсяцу на охотѣ, тоже путался въ дняхъ,  
староста грамотѣ не зналъ и съ Рождества до Ильи-  
на дня жилъ въ другихъ мѣстахъ, писарю отецъ не  
довѣрялъ. У отца выходило такъ: стоялъ снѣгъ,  
появилась трава—это значить Вознесенье, а тутъ  
скоро и Никола, а за Николой и Троица. Спрашивать  
онъ не любилъ, а его спрашивали крестьяне.

— А што, Никола скоро? — спрашиваютъ кре-  
стьяне.

— Какъ снѣгъ стаетъ, да первый дождь будетъ,  
тутъ значить и Никола.

— А скоро?

— Да вишь ты все снѣгъ. Съ горъ-то снѣгъ  
стаетъ, а у насъ нѣтъ.

А если на другой день пойдетъ утромъ дождь, онъ,  
не справившись въ городѣ, служить обѣдню.

Впрочемъ если бывалъ въ селѣ староста, онъ у  
старосты справлялся, но староста былъ раскольникъ  
и ему отецъ мало довѣрялъ.

Метрики велъ волостной писарь, такъ какъ онѣ  
отсылались благочинному два раза въ годъ. Полу-  
чивши отъ благочиннаго новыя книги, отецъ несъ  
ихъ писарю.

— Гляди! баско какъ.

— Што, опять?—говорилъ писарь.

— Опять. Ты возьми и пиши тутъ.

— Да я почему знаю!

Такъ какъ писарь въ книги ничего не вносилъ  
безъ указаній отца, то за мѣсяцъ передъ тѣмъ, какъ  
ѣхать къ благочинному, онъ бралъ съ собой дьячка  
и писаря съ книгами и вписывалъ въ нихъ, что  
нужно было, въ домахъ обывателей, при чемъ ко-  
нечно обыватели даромъ не отдѣлывались и бары-  
ши дѣлились на писаря, отца и дьячка, который  
впрочемъ все отдавалъ отцу. Благочинный очень  
много бралъ за метрики, такъ что отецъ ворочался  
иногда изъ города безъ копѣйки и безъ хлѣба.

Дьячокъ Сергунька жилъ въ нашемъ домѣ, въ  
той избѣ, въ которой жилъ отецъ до посвященія въ  
священники. Онъ былъ пьяница, буянъ, драчунъ и  
при всемъ этомъ трусъ, глухъ и безслепъ, но чело-  
вѣкъ за то честный. За это и за то, что онъ помо-

галъ отцу, отецъ любилъ его; безъ него не ѣлъ и не  
пилъ водки, пива или браги тогда, когда Сергунька  
былъ на лицѣ. Сергунька даже и въ городѣ постоян-  
но ѣздилъ съ отцемъ. Если у обоихъ были деньги  
или много пива или браги, то они сзывали обывате-  
лей къ себѣ въ домъ и поили ихъ на славу; съ своей  
стороны и обыватели по мѣрѣ средствъ своихъ уго-  
щали ихъ.

Отецъ даже общался Сергуньку сдѣлать попомъ  
вмѣсто себя, и просилъ объ этомъ благочиннаго, но  
тотъ говорилъ: „Посмотришь. Да и къ тому же, ты  
еще не умеръ... А впрочемъ, прибавлялъ онъ, нын-  
че едва ли твоего дьячка посвящать въ священники,  
потому что нынѣ на эти мѣста опредѣляютъ ученыхъ“.

Мать у меня была смиренная, забитая, простая жен-  
щина. Съ крестьянами она траву косила, ходила къ  
нимъ, и тѣ ходили къ ней вечеровать. Соберется,  
этакъ, женщинъ шесть, сидятъ около зажженной лу-  
чины, прядутъ кудель, что-нибудь говорятъ или пѣ-  
ни поютъ. Мать въ дѣтствѣ хорошо читала; вычита-  
ла она много о житіи святыхъ, и эти житія расказа-  
ывала женщинамъ. Теперь же она ничего не чита-  
ла, потому что нечего было читать.

Случится у кого-нибудь бѣда, идетъ къ ней жен-  
щина и воетъ:

— Васильевна!.. самъ помирать... охъ!.. охъ!..

Погорюетъ съ ней мать и запечалится.

— Эко дѣло, Сидорыча-то нѣтъ... А ты ужо возь-  
ми ключъ-то отъ церкви да свези его туда.

— Возьзно тожно будетъ.

— Безъ этого нельзя. Начальство узнаетъ—двѣ  
бѣды: вамъ будетъ и Сидорычу бѣда будетъ.

— Нѣтъ, ужъ мы какъ-нибудь.

— А не то, свезите на кладбище, пошъ послѣ от-  
поетъ.

— Матушка ты моя! — скажетъ женщина и по-  
клонится матери въ ноги.

Она давала крестьянамъ муки, хлѣба, сѣмянъ  
для огородныхъ овощей, а главное—лечила ихъ тра-  
вами и деревяннымъ масломъ. Иногда больные вы-  
здоровливали.

Отецъ часто колачивалъ мать ни за что, ни про  
что. Бывало, дерутся отецъ и дьячокъ. Такъ и ка-  
жется, что который-нибудь изъ нихъ зашибетъ дру-  
гого. Подойдетъ мать и слезно упрашиваетъ ихъ пе-  
рестать—поколотить и ее.

Такъ, когда отецъ былъ дома, она постоянно хо-  
дила въ синякахъ. Плакала моя бѣдная мать мно-  
го, и только крестьянкамъ высказывала свое горе, но  
и у нихъ не легко было на душѣ...

Трезвый отецъ ее не билъ, а при гостяхъ или въ  
гостяхъ, наливая ей рюмку водки, говорилъ весело:

— Ну-ко, Настька, цыпъ-цыпъ!

— Убирайся ты, пьяница!—говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то ногъ порогъ брошу.

— Убирайся ты, олень большорогой!

— Ой ты курочка-нохноножка!

Мать выпиваетъ рюмку, кашляетъ, отецъ подхо-  
дитъ къ ней и любезно колотитъ ее въ спину, при-  
говаривая:

— Подавилась попадья, подавилась, а мы укла-  
дываемъ.







удивлялись: благочинный был молодой человек. здоровый, краснолицый и, какъ видно, очень важный господинъ: мать говорила, что онъ важнѣе ставного пристава, дьячокъ—важнѣе стараго благочиннаго... Прїѣздъ его привлекъ на улицу много обывателей разныхъ возрастовъ, которые стояли противъ повозки у домовъ, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные!—сказалъ онъ вдругъ обывателямъ.

Половина изъ нихъ вошли во дворъ, бабы глядѣли другъ на дружку, дѣти глядѣли на него съ разнудыми ртами и держались за бабъ.

Отецъ, помолившись Богу, пошелъ на улицу съ прїѣзжимъ дьячкомъ. Сергунька, мать и я съ братомъ глядѣли изъ окна.

Отецъ подошелъ къ благочинному, низко поклонился ему и подошелъ подъ благословеніе. Благочинный важно запахнулся и сказалъ:

— Ты, што-ли, священникъ Николай Поповъ?

— Тошно такъ, батшко: я Никола Знаменскій.

— Што?

Отецъ стоялъ смиренно.

— Я слышалъ, што ты сегодня обѣдню не служишь.

— Я-то?.. А пошто ее служить-то? Развѣ праздникъ какой?

— А ты развѣ не знаешь этого?

— А почемъ мнѣ знать-то... Вонъ я вчера изъ лѣсу пришелъ съ Сергунькой. Медвѣдевъ-то нонѣ маловато, а rybковъ да глухарей—это благодать.

— Ты стрѣляешь? Развѣ дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказалъ! Да я всегда этимъ занимаюсь, потому кору бы глодалъ. Зачѣмъ! А ты, батшко благочинный, залѣзай въ избу-то, я те пивкомъ попоштую да глухарей дамъ.

— Предоставляю это вонъ ему, а мы отправимся въ церковь,—сказалъ гордо благочинный, указывая на прїѣхавшаго съ нимъ дьячка.

— Пошто?

Дьячекъ Сергунька, услыхавъ это, схватилъ ключъ, лежавшій на божницѣ передъ иконами, и не говоря ни слова, выбѣжалъ изъ избы на улицу и, не поклонившись благочинному, побѣжалъ къ церкви.

— Куда ты, шароглазый?—крикнулъ ему отецъ.

— Обѣдню служить,—прокричалъ дьячокъ, не останавливаясь.

— Сергунька?! да развѣ топеръ служатъ обѣдню, свинья ты этакая!—кричалъ отецъ горячась и сказалъ благочинному:

— А ты, батшко, не спѣсився: вотъ тѣ Христось, пиво у меня всѣмъ пивамъ пиво. Пей не хочу, да и съ дорожки-то ушки бы похлебать. Сергунька славныхъ карасей наловилъ.

— Кто этоть Сергунька?

— А дьячокъ. Бестія такая, што бѣда, а ни на кого не промѣняю; нужды нѣтъ, што онъ поперекъ въ горлѣ сидитъ. Подемъ... А?

Благочинный, какъ я замѣтилъ, хотѣлъ ѣсть, но ему не хотѣлось согласиться на приглашеніе отца. Дьячокъ, прїѣхавшій съ нимъ и безъ стѣсненія хо-

дившій около него, ругавшій лошадей непримчивыми словами, укладывавшій вещи въ повозку, насвистывая, съ достоинствомъ глядя на народъ, собравшійся изъ всѣхъ домовъ, и желавшій посмѣяться надъ отцомъ вслухъ и тѣмъ показать намъ, что онъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ благочиннымъ, залхватски спросилъ благочиннаго:

— Ваше высокоблагословеніе, прикажете лошадей распречь?

— Не твое дѣло! Я скажу,—сказалъ благочинный, сердито взглянувъ на дьячка, желая этииъ доказать дьячку, какъ онъ ничтоженъ. Дьячокъ присмирѣлъ.

— Пожалуй,—сказалъ благочинный и, къ великой радости отца и ужасу матери и насъ, вошелъ въ избу. Мать подвела насъ подъ его благословеніе. Отецъ ввелъ благочиннаго въ горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи,—сказалъ благочинный и потомъ, затыкая носъ прибавилъ:—какъ здѣсь душно, грязно...

— А што, батшко!.. Прежнѣе благочинные никогда не ѣздили сюда, а ты и грамотки што есть не посылалъ. Ужъ я бы припасъ про те много. А то што: уха!

Отецъ и мать суетились до того, что позабывали, чтѣ имъ нужно. Отецъ былъ въ восторгѣ, что онъ угощаетъ самого благочиннаго, а мать сердилась на отца, упрекая его тѣмъ, что онъ не позаботился раньше объ угощеніи и вылакалъ съ дьячкомъ все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; онъ разспрашивалъ о прихожанахъ, зѣвалъ. Повидимому, онъ былъ голоденъ, дожидаясь хорошихъ кушаній, но отецъ угощалъ его пивомъ, которое мать достала отъ старосты. Вольного труда стоило отцу заставить благочиннаго пить пиво, которое онъ пилъ какъ будто съ отвращеніемъ, но все-таки захмѣлѣлъ.

— А ты бы, батшко, тово... поспалъ бы маленько. Поди-ко расстроило,—говорилъ отецъ.

— Пожалуй не мѣшаетъ. Позови дьячка.

Дьячокъ толковалъ о чемъ-то съ мужиками, энергически растолковывая имъ что-то; тѣ хохотали.

Лошадей и повозку втащили во дворъ. Дьячокъ втащилъ въ горницу всѣ вещи изъ повозки и положилъ на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный легъ спать, приказалъ, чтобы его не тревожили, а отецъ, накормивши и напоивши дьячка, пошелъ съ нимъ въ церковь. Тамъ Сергунька, читая какую-то молитву, чистилъ полой армяка оклады на иконахъ.

— Ужъ я читалъ-читалъ часы, а васъ нѣтъ!...—говорилъ недовольнымъ голосомъ Сергунька.

Отецъ захохоталъ. Скоро они вышли изъ церкви, взяли у сосѣдей пива и долго протолковали въ избѣ Сергуньки. Прїѣзжій дьячокъ увѣрялъ, что благочинный, ужасно строгій человекъ и по-маленьку не беретъ.

На другой день утромъ, когда проснулся благочинный, то потребовалъ умываться. Отецъ подавалъ ему воды, за что получалъ благодарность. Умывшись

— Подейте, ребята. Бѣда! Экой вѣдь онъ, право... Ну, нѣтъ, што бы меня попросить...

На другой день потребовали отца въ консисторію и тамъ объявили, что ему запрещено исполнять всякія службы, что онъ теперь даже не дьячокъ, а разстрига, и отданъ подъ судъ. Сколько отецъ ни валился въ ноги — ничего не помогло. Къ владыкѣ его не допускали.

Послѣ этого онъ прожилъ въ городѣ еще двѣ недѣли: въ это время онъ хлопоталъ за насъ, звонилъ на колокольнѣ съ Сергунькой, и когда насъ приняли, онъ поѣхалъ домой съ Сергунькой, котораго тоже разстригли и отдали подъ судъ, какъ и отца, за метрики.

Послѣ этого мнѣ и брату Ивану не приводилось видѣть отца и Сергуньку, потому что мы не имѣли возможности ѣздить въ Знаменское село. Отецъ жилъ только годъ. Вотъ что рассказывала мнѣ тетка Матрена:

„Николаха сказывалъ, што ужъ онъ теперь не попъ, а хуже дьячка. Ну, говорилъ, ничего... Ужъ онъ вѣрно много объ этомъ передумалъ. Когда онъ пріѣхалъ въ село, крестьяне говорили, что они стосковались о немъ— „не попъ ужъ я теперь — говорилъ онъ имъ— и не Никола Знаменскій, а крестьянинъ“... Но какъ ни увѣрялъ онъ обывателей, тѣ не хотѣли вѣрить... Покойниковъ и родившихся пришло много, и такъ какъ отецъ не хотѣлъ справлять требъ и прочія службы, то крестьяне не отходили отъ его дома. Ужъ неизвестно, какъ онъ отдѣлывался отъ крестьянъ. Церковь была заперта мѣсяца четыре, и когда пріѣхалъ новый священникъ съ дьячкомъ, крестьяне объявили имъ, что у нихъ есть попъ Никола и дьячокъ Сергунька. Какъ ни бился священникъ, только ни одинъ человѣкъ не шелъ къ нему ни зачѣмъ. Священникъ сталъ жаловаться начальству, начальство посадило отца въ острогъ, потому-де, что онъ бунтовщикъ. Въ острогѣ отецъ и умеръ, а Сергунька черезъ годъ послѣ того утонулъ въ рѣкѣ. Мать умерла у тетки Матрены.

И теперь наши знаменскіе крестьяне помнятъ отца: „не бывать ужъ такому доброму попу, какой былъ Никола Знаменскій“.

А такъ-какъ крестьяне ничего не давали священникамъ, священники часто мѣнялись, а начальство ничего не могло сдѣлать съ крестьянами, то приходъ переводилъ въ другое село; церковь не долго стояла: она сгорѣла отъ молніи...

## II.

### М А К С Я.

Корчажинскій дьячокъ Иванъ Павлычъ Максимовъ зналъ, что жена его скоро родить, но онъ не зналъ, кто родится, мальчикъ или дѣвочка. Ему не хотѣлось мальчика, и онъ съ четвертаго мѣсяца, какъ забеременѣла жена, крѣпко сталъ приставать къ ней по этому дѣлу.

— Слышь, жена: если ты родишь парня — бѣда тебѣ! — кричалъ онъ на свою жену.

— Отъ чего бы такъ?

— А отъ того, что я не хочу парня.

— Ишь какой приткій!.. Выше Бога захотѣлъ быть.

— Поговори еще. Сказано — не рожай парня, и только!

— Кого тебѣ родить-то: кобылу что ли?

— Дѣвку рожай.

— Убирался бы, пьяная рожа, въ кабакъ, да тамъ и толковалъ бы съ мужичьемъ.

И дьячокъ Иванъ Павлычъ шелъ въ кабакъ или въ гости къ какому-нибудь зажиточному крестьянину, своему пріятелю, и тамъ наливалъ свое горе. А парня ему весьма не хотѣлось, и были у него на это свои резоны такого рода: старшій его сынъ Александръ, учившійся въ философін, назадъ тому двѣ недѣли нанялся въ солдаты; а младшій Терентій, назадъ тому мѣсяцъ, утонулъ въ рѣкѣ. Свое желаніе вотъ какъ разъяснялъ онъ и пьяный, и трезвый:

„Тратилъ, тратилъ я на нихъ деньги и все ни къ чему не привело. Родись парень, опять тратиться на него; а дѣвкѣ немного надо, да она и не доживетъ до десяти лѣтъ, потому что всѣ дѣвки умирали“...

„Экой я злосчастной! У людей дѣти поильницъ-кормилцы, а у меня нѣтъ... Всему, вѣрно, жена виновата“, разсуждалъ онъ про себя, и пьяный высказывалъ это своей женѣ.

Какъ дьячокъ ни думалъ, а жена родила-таки парня.

Дьячокъ напился пьянъ, и пьянствовалъ до самыхъ крестинъ ребенка, которому дали имя Максимъ потому, что отцу показалось—Максимъ Максимовъ будетъ счастливымъ.

Началъ расти Максимъ и много онъ претерпѣлъ побоевъ отъ матери и отъ пьянаго отца. До десяти лѣтъ Максима не учили грамотѣ, а онъ только выучился играть въ разныя игры съ ребятами и надувать кого угодно. Умеръ дьячокъ. Вдовѣ трудно было воспитывать забитаго Максю, и она, по совѣту мѣстнаго священника, привезла его въ губернскій городъ къ самому владыкѣ. Максю приняли въ бурсу, а такъ какъ у его матери не было родни и имѣнія, кромѣ дома, то она, продавши домъ, ушла на покой въ женскій монастырь.

Побой родительскіе пріѣлисъ Максъ и онъ терпѣливо сносилъ ихъ. Какъ ни грубъ былъ отецъ, все же онъ и ласкалъ иногда Максю. Однажды, передъ смертью, бывши больнымъ, онъ говорилъ сыну:

— Макся! жалко мнѣ тебя... жалко.

Макся плакалъ.

— Не хнычь, Макся! самъ пробивай себѣ дорогу... Вѣдь тебѣ много придется терпѣть... Охо-хо, какъ много!..

Макся ничего не понималъ.

— Ты не вини меня, что я твой отецъ... Не я виноватъ, никто не виноватъ... Родись ты отъ благочиннаго, ты бы не такой былъ... Одно тебѣ совѣтую:—живи честно, потому что много ты плутовъ увидишь. Учись, главное, а коли не выучишься, не ходи пожалуйста въ солдаты, и въ монахи не ходи... Развѣ ужъ когда все испробуешь...

Эти слова Макся всю жизнь помнилъ.

Трудная жизнь досталась Максѣ безъ отца, безъ матери и безъ родныхъ!

Безграмотный Максѣ, сонный и плакса, много принималъ горя и тяжкихъ для его лѣтъ тиранствъ; ничего не понимая, онъ много выстрадалъ въ теченіи шестилѣтняго пребыванія въ бурсѣ и все терпѣлъ безсознательно, безъ всякой пользы для себя и для другихъ. Шестъ лѣтъ онъ ѣлъ казенную пищу, шесть лѣтъ носилъ казенную одежду, а выучился только писать и читать, да кое-какъ пѣть. Онъ въ эти годы сдѣлался еще тупѣе, соннѣе, плаксивѣе и ничего не могъ осмыслить правильно. На розги и побои онъ смотрѣлъ, какъ на обыкновенное дѣло, и вполне отдавалъ себя на произволъ своихъ благодѣтелей. О Максѣ некому было заботиться. Каждый бурсакъ издѣвался надъ нимъ и дѣлалъ, что хотѣлъ. Максѣ никому не перечилъ и все сносилъ терпѣливо днемъ; за то ночью отъ боли и отъ представленія себѣ своего положенія онъ долго, долго плакалъ вслухъ, на диво товарищамъ. Онъ не зналъ, какъ поправиться, какъ сдѣлаться лучше, такимъ, чтобы его уважали, и хотѣлъ онъ сдѣлаться такимъ, да не выходило.

Были у Макси два товарища, такіе же горемыки, какъ и онъ. Съ ними онъ дѣлилъ свое горе, но и тутъ было мало утѣшенія. Одно только и было утѣшеніе—это водка, которою подчивали его и его друзей звонари и пріѣзжіе дьячки. И въ это время Максѣ больше плакалъ, чѣмъ утѣшался. Придетъ въ заведеніе пьяный и ляжетъ спать. Товарищи тащатъ, колотятъ и всячески стараются разозлить его. Но Максю трудно разозлить. За то ужъ если Максю разсердятъ, трудно справиться съ нимъ. Всѣ дивились тогда богатырской силѣ Макси.

— Хорошій будетъ разбойникъ.

— Не попадайся на большой дорогѣ—убьютъ,—говорили товарищи.

Много у Макси было мыслей: то ему хотѣлось лучше жить, то свободы хотѣлось, то ѣхать куда-нибудь, то хотъ причетникомъ сдѣлаться; но какъ все это сдѣлать? Сидеть онъ на берегу рѣки и много думать... Не понимаетъ Макси, отчего ему такъ хорошо у рѣки сидѣть? И сталъ онъ лѣтомъ каждый вечеръ бѣгать на рѣку. Хотѣлъ утонуть разъ, да плавать умѣлъ и страшно ему показалось сдѣлаться утопленникомъ.

Не любилъ Максѣ, когда издѣвались надъ нимъ товарищи. Помня отцовскія слова, онъ думалъ, что будетъ же конецъ его ученію, и что онъ будетъ когда-нибудь лучше, чѣмъ теперь. Примѣромъ онъ ставилъ себѣ кончающихъ курсъ семинаріи.

Во время тихаго спокойствія друзья Макси говорили ему:

— Максѣ, а Максѣ! ты вѣдь дрянной человекъ.

— Такъ что, что дрянной? не все такъ будетъ.

— Не хвались.

— Ужъ никому не поддамся.

— На широкую дорогу пойдешь?

— Будь я проклятъ, чтобы я пошелъ.

— Ну-ка скажи: кто ты будешь?

Максѣ улыбался и молчалъ. Онъ ничѣмъ не могъ похвастаться.

Товарищи прозвали его Гришкой Отрепьевымъ, и какъ же злился Максѣ за это!

Начальство замѣтило, что Максѣ сильно пьянствуетъ и, рѣшивъ, что изъ него не выйдетъ никакого толку, изъ сожалѣнія опредѣлило его въ соборные звонари.

Ужъ какъ не нравилось Максѣ быть звонаремъ! Зналъ онъ двухъ звонарей, Пашку Крюкова и Васку Косого, да и не онъ одинъ зналъ ихъ, вся семинарія. Такихъ отчаянныхъ и плутовъ еще не бывало въ семинаріи съ тѣхъ поръ какъ ихъ вытолкали оттуда. Чего-то они не дѣлали тамъ! и не перескажешь, да и не повѣрятъ, если рассказать, что они дѣлали. Видно начальству хотѣлось усмирить ихъ посредствомъ упражненія на колоколахъ во всякую пору года, видно оно хотѣло сдѣлать ихъ благонравными и дало имъ искуствъ легкій, по его понятіямъ. Хорошо и весело звонить въ охотку и въ хорошую погоду, и дѣйствительно въ Пасху звонари послѣ обѣда спятъ, потому что городскіе мѣщане и даже женщины забавляются колоколами, за то каково звонить весь годъ въ извѣстные часы, будь тутъ и морозъ, и громъ. Нужно привычку къ этому, большое терпѣніе. Поневолѣ Крюковъ и Косой были отчаянными въ обществѣ людей и знатоки своего дѣла. Максѣ они еще потому не нравились, что ругались очень крупно, дрались и постоянно пьянствовали. Однако Максѣ думалъ, что быть звонаремъ въ соборѣ—значитъ имѣть должность такую, которая и не трудна, и денегъ много даетъ, и отвѣтственности нѣтъ никакой. Случилось Максѣ бывать у звонарей на колокольнѣ, когда онъ *бывалъ* изъ заведенія, и тогда онъ понималъ, что такое звонарь. Служба ему казалась легкою, но не любилъ онъ Косого, который былъ отчаянный на всѣ штуки и самый видъ котораго очень не нравился Максѣ: хуже Косого Максѣ не видѣлъ людей. Крюкова Максѣ не любилъ за то, что про него шла дурная слава: на руку онъ былъ нечистъ и часто пьяный валялся въ оврагахъ. Пожились звонари въ подвалѣ подъ соборомъ, гдѣ топилась соборная печь. Въ этой съ однимъ окномъ комнатѣ, называемой пѣвчими *звонарской курьей*, былъ одинъ общій столъ и нары для сидѣнія и сна обитателей и прихожанъ. Въ ней постоянно былъ дымъ или отъ табаку, или отъ печки. Полъ мелся кое-когда метлой, а о безобразіи и говорить нечего: всякій жилъ, какъ хотѣлъ, и дѣлалъ, что ему вздумается.

На эту должность Максю назначили зимой. Шубы у него не было. Онъ былъ одѣтъ въ единственную холщевую рубаху, не мытую мѣсяца три, худые брюки и сюртукъ, подаренные ему однимъ богословомъ, которому онъ прислуживалъ очень часто, и худые сапоги. Шапка была еще все та же, что дали ему съ начала поступленія его въ бурсу и теперь была такъ мала, что не смотря на передѣлыванье ее самими Максѣй, она плохо держалась на длинныхъ, густыхъ волосахъ Макси.

Максѣ пришелъ въ звонарскую курью послѣ обѣда тотчасъ, когда ему объявили рѣшеніе начальства.

Васяка Косой глодалъ ржаной кусокъ хлѣба, сидя у стола, и запивалъ его водой изъ разбитаго чайника. У печки на нарахъ спалъ Крюковъ. Въ курьѣ холодно и сыро. Васяка Косой знакомъ съ Максеѣмъ плохо и даже не знаетъ, какъ его зовутъ.

Максѣ, какъ вошелъ, снялъ шапку.

— Здравствуйте, — сказалъ онъ.

— Чего тебѣ?

— Да меня въ звонари сюда назначили.

Косой посмотрѣлъ на Максѣ злобно и разинулъ ротъ.

— Тебѣ въ звонари? — спросилъ онъ.

— Меня.

Косой что-то проворчалъ.

— Кто ты такой? — спросилъ онъ немного погодя Максѣ.

— Я изъ уѣзднаго...

— А это чѣмъ пахнетъ? — Косой показавъ ему кулакъ. Максѣ ничего не понявъ и молчалъ. Немного погодя Косой спросилъ:

— Есть деньги?

— Нѣту. — Максѣ ѣсть хотѣлось и онъ смотрѣлъ на корку, которую глодалъ Косой. Косой кончилъ ѣсть, закурилъ папиросу, свернутую въ видѣ воронки, съ корешками.

— Что стоишь! — сказалъ онъ Максѣ.

— Да меня послали.

— Кто?

— Смотритель...

Косой всталъ, подошелъ къ Максѣ, схватилъ его за шею и вытолкнулъ изъ курьѣ, сказавъ: „я тебѣ дамъ смотритель! Ишь, смотрителя нашелъ“!.. Максѣ мерзъ на дворѣ, и заплакалъ.

По двору шелъ монахъ и, увидѣвъ плачущаго Максѣ, сжалился надъ нимъ. Узнавши въ чемъ дѣло, онъ отворилъ дверь въ курью и сказалъ Косому: „что ты, бестія, гонишь парня“!

Косой проворчалъ что-то. Монахъ ушелъ, а Максѣ остался въ курьѣ.

Косой завадилъ на лавку и смотрѣлъ на Максѣ, который стоялъ у дверей. Сѣсть Максѣ боялся. Однако сѣлъ къ столу. „Куда!“, вскричалъ Косой. Максѣ всталъ. Такъ онъ простоялъ съ четверть часа.

— Принеси воды, — сказалъ Косой Максѣ. Максѣ сходилъ за водой.

— Водку пьешь?

— Пью.

— Пью! а нѣтъ, чтобы принести полштофика!

— Денегъ нѣту, Василій Петровичъ.

— Я тебѣ дамъ, денегъ нѣту!..

Косой пошелъ будить Крюкова, но тотъ не вставалъ, а только мычалъ.

— Ну и дрыхни, чортъ съ тобой! — сказалъ Косой и легъ на свое мѣсто, укутавшись въ свой подрясникъ, простеганный ватой.

— А ты смотри, разбуди меня въ звонокъ, — сказалъ онъ Максѣ.

— Ладно.

— Умѣешь звонить?

— Нѣтъ.

— Ну, братъ, это шути! — и Косой повернулся на другой бокъ, зѣвнувъ на всю курью.

— Трудно развѣ?

— Натко!

— Я скоро пойму.

— Ну! — проговорилъ Косой съ достоинствомъ. Максѣ подумалъ, что онъ находитъ труднѣе: собака, денегъ ему надо, — рѣшилъ Максѣ и сталъ думать объ Косомъ. Онъ не залюбилъ Косого, ему странно показалось быть въ обществѣ звонарей. Думать отъ нихъ не будетъ, убѣгу, — думалъ онъ и даже захотѣлось наняться въ солдаты... И какъ-то горько Максѣ въ это время!

Косой захрапѣлъ. Максѣ прилегъ на полъ: туки, положивъ подъ голову чурбанъ, замѣкнувъ бою стулъ. Ему захотѣлось спать, и онъ, потягивавъ въ первый разъ послѣ бурсы свободу, затѣ и заснулъ такъ, какъ никогда не спалъ. Его разбудилъ Крюковъ, спавшій на нарахъ у печки.

— Эй! жеребецъ! — толкалъ Максѣ Крюковъ. Максѣ раскрылъ глаза.

— Ты зачѣмъ здѣсь, кутейная балабайка!

Максѣ рассказалъ. Крюковъ обругавъ Максѣ, сталъ просить съ него водки, въ видѣ поздравки. Гда Максѣ сказалъ, что нѣтъ денегъ, Крюковъ съгнать его изъ курьѣ, но не выгналъ. Совсѣмъ ему, что Максѣ плакалъ и дрожалъ.

— Зубрилъ бы ты тамъ азы-то, или бы мѣдаль нанялся. Я тѣ утру носъ-то!...

Крюковъ сталъ ворчать, что ему курить вѣтъ. — Всякую чучу шлютъ къ намъ... голъ замѣская! Пошелъ! тебѣ говорить...

Максѣ плачетъ.

— Пойди ты у меня! — Крюковъ сталъ насмѣивать что-то. Подали повѣстку къ вечерни.

— Ступай, — сказалъ онъ Максѣ.

— Не умѣю.

— Ступай, тебѣ говорить!

— Ей-Богу не умѣю.

Крюковъ, надѣвши шапку, пошелъ въ худенькую тулупникъ на дворъ, вытолкнувъ Максѣ изъ кнѣты и заперъ двери на замокъ. Максѣ хотѣлъ идти колокольню, но Крюковъ не пустилъ его. Имъ мерзъ, стоявши на холодѣ, и заплакалъ. Пошелъ онъ къ пѣвчимъ, но тѣ прогнали его. Онъ правился въ соборъ и по окончаніи вечерни сходилъ къ дьякону, что его не пускаютъ къ себѣ звонари. Дьяконъ привелъ его къ звонарямъ, сдѣлавъ нѣмнѣ. По этому нагоняю звонари повѣрили, что Максѣ назначенъ имъ въ помощники.

Вечеръ звонари провели скучно; все болѣе говорили о своемъ ученіи, учителяхъ и кто-то такіе.

Косому 28-й годъ, а Крюкову 19-й годъ. Былъ дьякономъ въ какомъ-то городѣ и за бѣгство въ кнѣство былъ представленъ на расправу въ гродскій городъ, и здѣсь его назначили въ звонари. Крюковъ пошелъ въ звонари изъ философіи. Тамъ были снисходительнѣе къ Максѣ, но когда онъ рассказалъ про свою жизнь, они сказали: „дуракъ съ тобой“... Потому они стали давать ему разныя советы, какъ жить.

— Послушай, Максимовъ: если ты будешь съ нами заодно, мы научимъ тебя всему, — говорилъ Крюковъ.

— Куда ему!

— Я буду слушаться.

— Ну, то-то! Если будешь якшаться съ дяконами, а тебѣ шею будемъ мылить.

— Узнаешь тогда насъ! А что получишь отъ конибуль, пополамъ дѣли.

— Ладно.

Пріятели отправились къ пѣвчимъ, оставивъ Макса домашничать. Макс легъ на мѣсто Крюкова и галъ обдумывать свое положеніе. Здѣсь хотя и кверно, но все же свободнѣе, чѣмъ въ бурсѣ. „Они, ажется, ничего; сначала только, а теперь лучше“..., умалъ онъ про своихъ товарищей. Косой и Крюковъ ришли пьяные и привели съ собой какого-то пьянаго дьячка.

— Эй, Макс! къ чорту!—кричалъ Крюковъ на Макса и стащилъ его съ наръ.

— Ишь, какой баринъ! Твое мѣсто вонъ гдѣ!—казалъ онъ Максѣ, указывая къ дверямъ.

— Какъ же я тамъ буду спать?

— Спи на лавкѣ, чортъ-те съѣсть, а на чужое мѣсто не смѣй лазить.

— Холодно...

Максю обругали, какъ только могли. Потомъ Косой досталъ съ полки гармонику и сталъ наигрывать, а прочіе принялись пѣть и плясать. Макс страшно боялся безобразія его товарищей; что-де самъ сюда заглянетъ,—бѣда; или кто изъ начальствующихъ завернетъ, и ему достанется.

— Господа, а если ключаръ придетъ...—сказалъ онъ товарищамъ. Тѣ обругали его, обругали и ключаря. Пріѣзжіи дьячокъ свалился на полъ. Крюковъ столкнулъ его къ печкѣ. Потомъ товарищи легли на нары къ печкѣ.

— Эй ты, чортова кукла! что сидишь?—сказалъ Косой Максѣ.

— Да мнѣ холодно.

Максю обругали и велѣли ему спать у дверей и утромъ разбудить ихъ къ заутрени. Погасили починикъ. Стало тихо; Макс улегся, но ему было больно холодно. Макс лежалъ полчаса, проклиная свою должность и завидуя звонарямъ. Вдругъ онъ услышалъ разговоръ товарищей.

— А много денегъ-то?—говорилъ Крюковъ.

— Рублей десять,—отвѣчалъ Косой.

— Вотъ такъ праздничекъ.

— Онъ спитъ?

— Слышь, хранишь.

Потомъ Макс услышалъ, что кто-то всталъ. Достали огонь. Косой съ ночникомъ подошелъ къ спящему дьячку, Крюковъ подошелъ къ Максѣ. Макс зажмурилъ глаза и захрапѣлъ.

— Этуль спитъ!—сказалъ Крюковъ.

— Ври больше. Знаемъ мы, какъ спать-то!.. Плянь ему въ рожу—сейчасъ соскочить.

Крюковъ ткнулъ Максю въ бокъ ногой, Макс открылъ глаза.

— Слышь ты, чортъ: коли будешь жаловаться—берегись!..

— Я не буду,—сказалъ Макс.

— То-то. Видишь это!—Крюковъ показалъ Максѣ кулакъ.

Между тѣмъ Косой вытащилъ изъ кармана подрысника дьячка сопьявый платокъ. Косой и Крюковъ сѣли къ столу. Въ платкѣ завернуть было кошелекъ: въ кошелекъ было копѣекъ сорокъ мѣдными деньгами, да съ полтора рубля серебромъ; потомъ они развернули бумажку, тамъ еще бумажка и въ ней было три пакета съ надписями „секретарю, столоначальнику, на канцелярію“.—Въ пакетѣ секретарю было вложено 5 р., столоначальнику 3, а на канцелярію 2 р. Больше денегъ не оказалось.

— Ты погляди, еще нѣтъ ли?—сказалъ Крюковъ Косому.

— Поди-ко ты.

— Эй, Макс, ступай пошарь у него; что найдешь, все твое,—сказалъ Максъ Косой.

— Эка! за какое рыло?

— Не хошь ли ты...

— А что развѣ тебѣ одному пользоваться? Подай деньги сюда!—кричать Крюковъ.

— Не хошь ли ты знаешь чего?

— Что?

— А то, что тебѣ не за что.

Крюковъ вѣдпился въ Косого. Крюковъ осилилъ Косого.

— Ужъ отпѣтой, такъ отпѣтой и есть,—сказалъ Косой.

— Подай деньги!

— На, будь ты проклятъ! — И Косой бросилъ одинъ пакетъ.

— Давай всѣ.

Началась опять драка. Макс вступился.

— Братцы, я пожалуюсь.—Максю избили за это.

Однако миръ скоро водворился въ курьѣ. Крюковъ и Косой дали Максѣ рублевую бумажку, кошелекъ съ мѣдными деньгами и съ двумя семигривенниками положили съ платкомъ обратно въ карманъ дьячкова подрысника, а остальные деньги раздѣлили между собой поровну. Максѣ заказали молчать. Макс долго не спалъ, не спалъ и Крюковъ. Макс видѣлъ, какъ онъ вытащилъ изъ кармана подрысника Косого мѣдные деньги и бумажку.

Утромъ Максю разбудили, какъ только подали звонокъ. Косой повелъ его на колокольню и заставилъ его звонить. Съ трепетомъ принялся Макс за свое дѣло. Косой ругается, что онъ не такъ стоитъ и не такъ за языкъ берется. Дуль вѣтеръ; Максъ страшно озябъ; его трясетъ.

— Ой, не могу!—говоритъ Макс; на глазахъ у него слезы.

— Что, братъ!—хохочетъ Косой. Что *дрмана-то сказывашъ?*

— Бѣда!

— Ну, звони во вся, скажи, согрѣешься.

Макс не умѣлъ взяться за веревки, протянутыя къ колоколамъ, да у него и пальцы рукъ начали бѣлѣть. Косой показалъ Максѣ, за какія веревки нужно браться въ будни и въ праздникъ и лихо отзвонилъ три раза во вся, прискакивая и что-то напѣвая.

— Мнѣ, братъ, не холодно!—хвалился онъ и принимался насканивать.

Около ранней обѣдни Косой отправился съ руганью къ ключарю, а Крюковъ къ эконому и оба показали Максѣ, какъ ему нужно отзвонить обѣдню. Максѣ съ трудомъ справилъ свою службу.

Первый и второй день прошли скучно для Максѣ. Товарищи его по прежнему приходили домой пьяные, хвастаясь тѣмъ, что они *сбарабами*—такі сегодня по двадцати, по тридцати коп. сереб. Приходили къ нимъ и дьячки прѣзжіе покурить. А приходили они для того, чтобы погрѣться, такъ какъ имъ долго приходилось мерзнуть около консисторской прихожей. Тутъ разсказывались разные дѣла, закулисныя тайны и всякія шлетни, и все то, что дѣлается во всей губерніи. Звонари не переставали вытаскивать изъ чужихъ кармановъ деньги, обворовывали другъ друга и дрались не на милость божью.

Какъ бы то ни было, а Максѣ нужно было привыкать къ звонарничанью. Онъ привыкъ къ своимъ товарищамъ, учился дѣлать съ ними то же, что и они, пьянствовалъ, пѣлъ и научился обворовывать проходящихъ къ нимъ для куренья. Теперь ужъ Максѣ не плакать.

Черезъ двѣ недѣли Косой попалъ за что-то въ полицію, Крюковъ сталъ справлять его должность у ключаря, а Максѣю приставили къ эконому. Дѣла у эконома ему было немного. Такъ какъ этотъ экономъ не держалъ калейника, то Максѣ былъ у него въ родѣ слуги: мѣлъ полъ, чистилъ сапоги, ходилъ на рынокъ или съ бумагами и все-таки исполнялъ свою должность на колокольнѣ, чередуясь понедѣльно съ Крюковымъ, съ которымъ они звонили оба въ большіе праздники и съ которымъ онъ подружился.

Крюковъ ругалъ всѣхъ, кто былъ старше его, за то, что они обидѣли еще его отца и его считаютъ за собаку; его притѣру последовалъ и Максѣ. Жалованья имъ полагалось по три рубля, а на эти деньги жить трудно человѣку, привыкшему пьянствовать; воровать деньги у эконома, ключаря и другихъ нельзя было, у пѣвчихъ денегъ нѣтъ,—они приглашали къ себѣ прѣзжіхъ подрасниковъ, иногда и дьяконовъ, разсказывали имъ кое-что, что знали, а тѣ покупали имъ водки, булокъ и табаку и сами разсказывали, что знали. Дьячку не жалко было заплатить соборному звонарю рубль за то, что звонарь, хвастаясь своимъ знакомствомъ чуть ли не со всѣми духовными губерніи, говорилъ имъ, гдѣ и какія есть мѣста. Пьяныхъ обиралъ только Крюковъ, да и то рѣдко, потому что пьяные рѣдко спали у звонарей. Если же случался неурожай на деньги и не на что было выпить, звонари шли на поздравку къ семинаристамъ, дьячкамъ и дьяконамъ. Они до того сдѣлались нахальны, что приходили туда, куда ихъ вовсе не звали. Ходили они на поздравку почти каждый день.

— Максѣ!—кричитъ утромъ Крюковъ Максѣ.

— Ну?

— Сегодня, кажется, поздравка у Матѣева?

— Нѣтъ, не сегодня. Онъ еще не посвятился.

— А Топорковъ получилъ мѣсто?

— Какой Топорковъ?

— Ну, прѣзжіи дьяконъ.

— Не знаю.

— Узнай сегодня у *обидни*.

Узнавши во время обѣдни, нѣтъ ли у кого сегодня поздравки, пріятели приходили безъ церемоніи на поздравку. Хозяева не обижались этимъ. Они знали, что звонари люди *отиттые*, бѣдные, да и многіе подрасниковые почему-то боялись ихъ.

— Ты не шути съ нимъ. Нужды нѣтъ, что онъ звонарь, оборванецъ и пьяга: онъ, братъ, при *самомъ* ключарѣ служить.

— А тотъ каждый день съ благочиннымъ ѣздитъ.

— То-то и есть! *Набухвостятъ* \*) такъ, что бѣда.

Звонарей знали почти всѣ подрасниковые и дьяконы на губерніи, только звонари мало ихъ знали. Бывало и такъ, что они не знали, у кого они вчера обѣдали.

— Крюковъ, этотъ Елисеѣвъ куда назначенъ?

— А чортъ его знаетъ. Поди-ко намъ есть дѣло до всякой шушеры!

Такія даровыя попойки и угощенія нравились Максѣ; скверно только, что звонить—то холодно. Ужъ какъ онъ ни старался накопить денегъ, денегъ все нѣтъ, какъ нѣтъ. Скопится рубль три, Максѣ водки купить, дернетъ передъ каждымъ звономъ и пойдетъ звонить. Пьяному какъ-то лучше звонить. Максѣ сталъ по многу пить и часто просыпалъ на улицѣ и въ домахъ свою службу, за что ему вѣрно доставалось отъ ключаря и приводилось не разъ сиживать въ полицію.

Максѣ скоро научился звонарному искусству: много разныхъ пѣсень звонарческихъ заучилъ и разные свѣтскіи пѣсни пѣвалъ, когда звонилъ во вся. Крюковъ много зналъ напѣвовъ, и Максѣ многіе перенялъ отъ него. Онъ съ большимъ удовольствіемъ напѣсывалъ на колокольнѣ, больше для того, чтобы согрѣться. Особенно онъ любилъ звонить во вся лѣтомъ, въ хорошую погоду и то въ вечерню. Ужъ какъ тутъ ни напѣсывалъ Максѣ, какъ онъ ни наигрывалъ! Такъ ему хорошо казалось наигрывать на колоколахъ; такъ и хотѣлось ему сыграть лучше!.. И день ото дня онъ ухитрялся и дѣлалъ какія-нибудь штуки. Недаромъ въ городѣ говорили, нѣтъ во всемъ мірѣ такого звонаря, какъ соборный Максѣ!..

Съ архіерейской дворней онъ познакомился въ теченіе одного года, и вся дворня знала его и любила. Онъ ко всѣмъ умѣлъ поддѣлаться и угодить всѣмъ. Больше всѣхъ его любили пѣвчіе, которымъ онъ бѣгалъ по водку и табакъ, чистилъ сапоги и помогалъ въ чемъ-нибудь такомъ, чего они не могли сдѣлать и что имъ дѣлать запрещено. Больно былъ хитеръ Максѣ!.. Максѣ хорошо зажилъ... За то онъ сжигалъ Крюкова, котораго сослали куда-то въ монастырь, и взялъ къ себѣ въ помощники смирнаго парня, который почти каждыя будни одинъ звонилъ на колокольнѣ. За то ужъ Максѣ и изважничался: пускалъ въ свою курью того, кто ему нравился, и гонялъ изъ нея бѣглыхъ уѣздишниковъ, находившихъ пріютъ у него только на колокольнѣ, и часто замѣнялся имъ.

Но у него была какая-то тоска. И ему хотѣлось жить лучше, чѣмъ теперь. Онъ зналъ, что хотя и ладно быть звонаремъ, и то ему; но все-таки звонарь.

Любилъ онъ лѣтомъ жить на колокольнѣ, въ я-

\*) Т. е. наговарять, насмѣливаются.

ленькомъ чуланчикѣ, сдѣланномъ вѣроятно для жилья звонарей, съ круглыми окнами, въ которыхъ не было ни одного стекла. Заберется онъ туда съ вечеру, сядетъ у окна и смотреть въ даль... Кругомъ тихо; только на колокольнѣ голуби воркують. Задумается Макся и вздохнетъ: вотъ голубамъ что! А я-то что? Пью водку, а пользы нѣтъ... Потомъ ему сдѣлается грустно, такъ вотъ и щемить сердце... Заплачетъ Макся.

„Какой я есть человекъ! Звонарь... сволочь! Хотъ бы пѣвчимъ сдѣлаться, такъ голосу нѣтъ“...

Опять сидитъ Макся и представляется ему что-то хорошее. И кажется ему, что только онъ хуже всѣхъ, и отчего онъ такой, никакъ не можетъ понять, а только на мѣръ Божій сердится...

„А, черти васъ задержали!“, скажетъ онъ со злобою, плюнетъ съ колокольни въ городъ и пойдетъ къ колоколамъ. Встанетъ къ большому колоколу, барабанивъ по нему пальцами и возьметъ обѣими руками языкъ.

„Тресну же я тебя, чучу, тресну! Языкъ не скоро раскачается одинъ, и онъ не доходитъ до края колокола... А что, не тресну? Да ну тебя“... И пойдетъ къ периламъ, начнетъ смотреть на городъ. Долго смотреть Макся и все ворчитъ.

Прошло два года. Подъ конецъ этого времени Максъ опротивѣло быть звонаремъ и онъ сдѣлался грубъ и золъ. Меньше угождалъ пѣвчимъ и начальству и больше жилъ лѣтомъ на колокольнѣ. „Знать я васъ не хочу!“, думалъ онъ и спалъ тамъ. Въ дворнѣ удивлялись, что Макся живетъ на колокольнѣ, и рѣшили, что онъ сумасшедшій. Прележавши два мѣсяца въ больницѣ, онъ пересталъ пить водку, хотя и ходилъ изредка на поздравки. Теперь онъ ходилъ, какъ помѣшанный, и его называли полоумнымъ.

Одинъ разъ онъ былъ у ключаря. Тотъ и говоритъ ему:

— Что ты, Максимовъ, какой нынѣ?

— Ничего.

— Какъ ничего? Ты, говорятъ, много безобразничаешь. Ну отчего ты такой?

— Надоѣло, отецъ Алексѣй, звонаремъ быть.

— Проси владыку, чтобы мѣсто далъ.

— Боюсь.

— Чего бояться! сходи.

Макся сходилъ, но владыко обѣщался дать мѣсто не иначе, какъ спросивъ эконома. Макся сходилъ къ эконому. Тотъ зналъ Максю и сказалъ:

— Тебѣ нельзя идти въ свѣтскіе. Иди въ монастырь.

— Не могу, отецъ игуменъ.

— Почему?

— Не способенъ.

— Ну, какъ знаешь. Только я тебя знаю и совѣтую идти въ монастырь, а теперь скажу, что я владыкѣ не могу похвалить тебя.

Владыко призвалъ Максю и сказалъ ему:

— Я тебя назначаю послушникомъ въ третьеклассный монастырь.

Макся согласился, зная, что быть послушникомъ весьма хорошо; онъ зналъ это, какъ очевидецъ.

Годъ прожилъ Макся въ монастырѣ, большею частію исправляя лакейскія должности наравнѣ съ прочими и даже больше. Онъ былъ смиренный парень и ему доставалось много побоевъ отъ своихъ сотоварищей и прочей братіи.

На этой должности Макся ничего не приобрѣлъ себѣ; но ему нравилась эта жизнь.

Когда Максю спрашиваютъ объ этомъ періодѣ жизни, онъ только рукой машетъ и совѣтуетъ лучше самимъ познакомиться съ такимъ бытомъ.

Разъ его нашли пьянаго въ канавѣ черезъ три дня послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ своей квартиры. За это его переслали въ губернский городъ, а тамъ его исключили изъ духовнаго званія и препроводили при бумагахъ въ губернское правленіе.

Попелъ нашъ Макся, какъ говорится, еланъ шатать, сталъ дороги утаптывать. Цѣлый мѣсяцъ прожилъ въ городѣ безъ всякой работы и пилъ ежедневно водку. Прокутивши со старыми знакомыми всѣ деньги и снутивши съ себя все лишнее имущество, онъ пошелъ искать себѣ службы. Послужилъ онъ въ губернскомъ правленіи два мѣсяца по волѣ, ему дали жалованья три рубля. Макся разсердился и пропилъ три рубля. Былъ у него въ почтѣ одинъ знакомый почталіонъ, исключенный философъ, къ нему онъ пошелъ посоветоваться.

— Оно, братъ, ничего; служба наша легкая, знай развѣзжай; а писаніе у насъ такое, что всякій лавочникъ съумѣетъ вписать, что куда слѣдуетъ. Только, братъ, у насъ начальства пропасть,—говорилъ ему почталіонъ Лукинъ.

— Такъ что, что пропасть?

— Служба наша чисто солдатская: ни днемъ, ни ночью нѣтъ покою.

— Такъ что, что трудная? лишь бы попасть...

— Видишь ты, другъ любезный, какія дѣла-то; ты будешь на линіи солдата.

— Врешь!

— Ей Богу. Ну, да это ничего. Не я и не ты одинъ въ почталіоны поступаемъ: у насъ полгуберніи изъ духовныхъ напринимаю, и почтмейстеръ - то изъ дьячковъ.

— Вотъ и дѣло: значитъ нашъ.

— Ниче эта почта, скажу я тебѣ, притонъ нашему брату; всякій сюда идетъ. Даже одинъ протопопскій сынокъ почталіономъ служитъ. Только за опредѣленіе деньги берутъ.

Лукинъ посоветовалъ Максъ попросить старшаго надъ почталіонами, т. е. унтеръ-офицера, который, командуетъ не только надъ всѣми почталіонами, но и надъ станціонными смотрителями, а въ нѣкоторомъ родѣ и надъ сортировщиками.

— А что за это звѣрь такой—старшой?

— Такой, что вся сила въ немъ. Какъ командиръ надъ рядовыми солдатами, онъ дѣлаетъ съ нами что хочетъ: захочетъ послать меня съ почтой, пошлетъ, не захочетъ, не поѣду. Далъ ему взятку, смотрителемъ попросить сдѣлать; не понравился, пожалуется почт-

мейстеру и тебя переведутъ въ самую бѣдную контору. Однимъ словомъ—сила. Его и ямщики, и смотрители боятся, потому что почтмейстеръ его любитъ; онъ всегда при почтмейстерѣ: ходитъ къ нему съ рапортомъ каждое утро и ѣдитъ съ нимъ по знаркѣ (по губерніи, то-есть).

— Ну, и доходно?

— Квартира готовая, жалованья намъ идетъ по 4 руб. сер. въ мѣсяцъ, да отъ очередей, т. е. отъ носки писемъ получаемъ рублей по 8 въ мѣсяцъ. Въ новый годъ и въ Пасху ѣдимъ славить по городу и потомъ дѣлимъ руб. по пятнадцати и больше на брата. Когда съ почтой ѣдимъ, насъ поятъ водкой, угощаютъ. Особенно мы отдыхаемъ и гуляемъ въ уѣздныхъ конторахъ.

— Дѣло. Ну, а эти старшіе-то?

— Почтмейстеръ нашъ получаетъ 32 р. въ мѣсяцъ и вѣроятно по зависти, что онъ статскій совѣтникъ и ровень разнымъ предсѣдателямъ, которые получаютъ жалованья по двѣсти руб. въ мѣсяцъ, онъ приучилъ народъ, т. е. корреспондентовъ такъ, что они шлютъ ему къ Рождеству или Новому году и къ Пасхѣ чай, сахаръ, а то и муку. Это въ обычаѣ у богатыхъ кушцовъ. И эта манера привилась къ его помощнику, двумъ сортировщикамъ у простой и у денежной корреспонденціи и къ старшему, которые получаютъ вмѣстѣ съ писмоводителемъ и контролеромъ жалованье отъ вольной почты.

— Жить можно!

— Еще бы!.. Говорятъ, что намъ обѣщаютъ прибавки жалованья да молчатъ все.

— Такъ надо поступать скорѣе.

Лукинъ далъ Максѣ десять рублей денегъ и послалъ его къ старшему.

Черезъ недѣлю Максѣ приняли въ почталіоны, съ обязательствомъ прослужить въ почтѣ пятнадцать лѣтъ.

Исключеннымъ семинаристамъ, людямъ бѣднымъ, очень трудно поступить на коронную службу. Хорошо, если у нихъ есть знакомые или товарищи, занимающіе должности столоначальниковъ, но и тогда примутъ на службу только въ такомъ случаѣ, если есть вакансія. Самые бѣдные изъ нихъ искали мѣста въ почтовой конторѣ, но и тамъ даже вакансій почталіоновъ не бывало въ теченіи двухъ мѣсяцевъ. Кажется, должность почталіонская незавидная, но и за нее брали деньги, или нужна была рекомендація вліятельнаго человѣка. Прежде почталіонъ считался наравнѣ съ рядовымъ и обязывался служить почтѣ двадцать или пятнадцать лѣтъ. Непринадлежавшіе почтовому вѣдомству могли выходить оттуда, но съ правомъ записаться въ податное состояніе, а принадлежавшіе имѣли право выходить не иначе, какъ получивши чинъ оберъ-офицера. Почталіонъ не получалъ чина вовсе и могъ, прослуживши сто лѣтъ почталіономъ, умереть, не имѣвши званія унтеръ-офицера. Это зависѣло или отъ самого почталіона, или отъ почтмейстера. За деньги или по взгляду почтмейстера почталіонъ могъ быть сортировщикомъ или станціоннымъ смотрителемъ и получалъ чинъ по званію канцелярскаго служителя по

установленному закономъ порядку. Съ человѣкомъ, принадлежавшимъ почтовому вѣдомству, дѣлали что хотѣли: его наказывали розгами, сѣщали въ сторожа и отдавали въ солдаты.

Максѣ одѣлся въ форму и помѣстился жить въ дворнѣ губернской почтовой конторы въ числѣ четырнадцати почталіоновъ.

Губернская контора помѣщается въ угловомъ каменномъ домѣ и въ этомъ же домѣ живетъ почтмейстеръ; рядомъ съ этимъ домомъ построены флигель, гдѣ живутъ писмоводитель, контролеръ и помощникъ губернскаго почтмейстера. Противъ нихъ дворъ, потомъ амбары съ погребамъ и сараи. Черезъ дворъ помѣщаются въ другомъ дворѣ два деревянныхъ флигеля, одинъ для сортировщиковъ, другой для почталіоновъ. Почталіонный флигель устроенъ на скорую руку и очень неудобенъ для обитателей, составляющихъ все почтовое населеніе. Въ немъ два корридора. Въ одномъ двѣ двери и эти двери идутъ одинъ въ квартиру старшаго, занимающаго комнату и кухню, а другія въ квартиру двухъ семейныхъ почталіоновъ, изъ которыхъ одинъ занимаетъ комнату, а другой кухню. Въ другомъ четыре двери, и здѣсь почталіоны живутъ такимъ же порядкомъ, какъ почталіоны въ первомъ корридорѣ, съ тою только разницею, что здѣсь больше крика, ругани и драки отъ стряпни, пьянства и проч., чѣмъ въ томъ корридорѣ, гдѣ семейство старшаго постоянно на виду. Холостые почталіоны живутъ отдѣльно въ комнатахъ и кухняхъ, а ѣдятъ у семейныхъ почталіоновъ. Въ этой холостой поселился и Максѣ и сталъ на хлѣбъ къ семейному почталіону по 20 копѣекъ въ сутки.

Съ перваго же дня Максѣ удивила обстановка почтовой жизни. Онъ увидѣлъ такой беспорядокъ въ почталіонскихъ семействахъ, какого онъ не замѣчалъ у хозяекъ-мѣщанокъ; пьянство женщинъ, ругань ихъ, драки между собой и свободное обращеніе интересныхъ особъ съ мужчинами вскружили его голову.

— А, новичокъ, здравствуй!—сказала ему одна молодая дѣвица, когда онъ вошелъ къ одному почталіону, у котораго было въ сборѣ три семьи, составляющія шесть женщинъ и двоихъ мужчинъ.

— Какъ зовутъ?—спросила другая.

— Нашего поля ягода, — сказалъ одинъ почталіонъ.

— Кутейникъ! — прибавила третья женщина, хлопнувъ его рукой по плечу.

— Ну, обстригемъ.

— А когда стриски будутъ? Позовешь? — приставала вторая женщина и закурила папирску съ корешками русскаго табаку.

— Позову.

— То-то... Мы тебѣ пѣсенку споемъ, такую захватскую!

— Куди тебѣ! Ты ее, Максимъ Ивановичъ, не слушай, она всѣхъ молодыхъ скружила да надула.

— Слушай ты ее, дуру набитую.

— Ты хороша, модница... Ужъ бы не хвасталась... Зачѣмъ съ Петрушевымъ таскаешься?

— Молчи, харя!—и женщина плюнула въ лицо обиженной ее.

— Ну-ну! смирно, вшивая команда!—закричалъ



ниъ одинъ почтальонъ и прибавилъ Максѣ: — ты не больно слушаи ихъ, нужды нѣтъ, что онѣ пасти-то разинули. Ишь, какъ ревутъ во все горло!

— У насъ здѣсь очень просто; всѣ друзья, и другъ друга не выдаешь. Смотри и ты никого не выдавай, — сказалъ ему Лукунъ.

Максѣ узналъ также, что всѣ почтальонши и дѣвѣцы любятъ, чтобы мужчины называли ихъ барынями и барышнями и обижаются, если ихъ не называютъ такъ.

Въ первый же день его вступленія въ почтовый домъ ему ночью привелось видѣть нѣсколько сценъ. Пришла почта. Въ это время онъ дежурилъ въ конторѣ. Почтальонъ прѣхалъ пьяный, и его распекъ старшій за то, что онъ прѣхалъ безъ пистолета и сабли, и предварительно сдачи почты сводилъ въ баню, гдѣ отрезвилъ его двадцатью горячими ударами розогъ, и замѣтилъ Максѣ, что и съ нимъ то же будетъ. При этомъ Максѣ исполнялъ съ чувствомъ и достоинствомъ должность палача.

Его удивило то, что почтмейстеръ пришелъ раздѣлывать почту въ халатѣ и раскричался на одного почтальона.

— Ты пьянъ, мошенникъ!

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше в-іе.

— Старшой, онъ пьянъ?

— Точно такъ-съ.

— Дать ему завтра двѣсти горячихъ.

Почтальонъ былъ дѣйствительно трезвый и повалился въ ноги почтмейстеру, но почтмейстеръ прогналъ его.

Старшой со злобостью сказалъ почтальону въ разборной.

— Ужъ я же тебѣ задамъ! Взлуплю же я тебя!...

— Никита Ивановичъ, простите!...

— Я покажу тебѣ, какъ обзывать меня ворожъ! — И больно золъ былъ старшой, до того, что Максѣ проинимало при одномъ его появленіи, и Максѣ всячески старался выслужиться передъ старшимъ.

Максѣ пришлось постѣ этой почты дежурить въ конторѣ и онъ долго дивился всему.

— Что же это такое? — спрашивалъ онъ одного прѣзжаго почтальона.

— Это все отъ того, что старшой съ почтальономъ можетъ сдѣлать все, что хочетъ. А что бабы здѣшнія такъ живутъ, такъ это не рѣдкость. Съ измалѣтства ужъ онѣ такія, мужчины ихъ избаловали.

— Оказія!... А дѣвки?

— И дѣвѣцы тоже...

И такъ сталъ Максѣ служить почтальономъ. Въ конторѣ работы было мало. Все его занятіе состояло въ томъ, что онъ записывалъ письма и пакеты въ реестры, закупоривалъ постѣ-пакеты, записывалъ получаемую корреспонденцію въ книгу. Къ этимъ занятіямъ онъ пріучился въ одну недѣлю. И онѣ были для него очень легки. Скверно было то, что ему приводилось вставать на-равнѣ съ почтовыми каждую ночь, какъ приходила почта. Къ почтовымъ онъ тоже привыкъ и уже приглядѣлся къ ихъ жизни и не удивлялся всему, что видѣлъ. Свободное время

онъ проводилъ или въ семействѣ почтоваго, или игралъ въ карты и бабки, или рассказывалъ объ своей старой жизни, но въ любовныя дѣла не входилъ, боясь, что ему набьютъ бока, до тѣхъ поръ, пока одна барышня не подала ему сама поводу къ этому.

Игралъ онъ во дворѣ въ бабки съ тремя почтальонами. Дворникъ отворилъ дровяной дворъ, изъ которыхъ назначались дрова исключительно для почтальонковъ и сортировщицъ. Почтальонки, сортировщицы и дѣвѣцы въ числѣ десяти особъ прошли мимо играющихъ.

— По дрова, бабоньки? — сказалъ одинъ почтальонъ одной дамѣ, и скосилъ глаза.

— Конечно.

— Э, дѣвоньки! задержи хвосты-те! — сказалъ другой почтальонъ и ушпиуль одну молодую барыню.

— Уйди, чортъ! Вымой напередъ лапы-те.

— Экая ты красавица писаная!.. Барыня, помоми мазанная.

— Будь ты проклятой, рыжій песъ! — барыня плюнула.

Почтальоны подошли къ воротамъ и стали ожидать барынь. Женщины и дѣвѣцы стали ругать дворника за дрова и перебранивались между собой изъ-за дровъ.

— Ты зачѣмъ лишнее полѣно взяла?

— Тебѣ какое дѣло? — ругаются барыни.

— Ну-ко, Курносиха, цапни его по мордасамъ! — сказалъ одинъ почтальонъ.

— Молчи ты, немытая харя, туда же суется!..

Прошла одна почтальонка съ дровами. Почтальоны ей загородили дорогу: она плюнула одному въ лицо и ушла.

— Храбра! — захохотали почтальоны и просыпали дрова у другой почтальонки.

Максѣ стоялъ у дверей и смотрѣлъ на одну дѣвицу, дожидавшуюся, когда дворникъ набросаетъ ей дровъ. Она часто взглядывала на него и раньше этого, а теперь не спускала съ него глазъ.

— Эй ты, ротозѣй! Поди, тебя Марья Ильинишна дожидается, — сказала одна почтальонка Максѣ, замѣтя, что онъ смотритъ на Машу. Максѣ покраснѣлъ; почтальоны осмѣяли его и толкнули во дворъ. Максѣ неловко подошелъ къ дѣвицѣ.

— Чего тебѣ? — спросила она Максю.

— Я унесу дрова-то...

— Куда те, вахлаку! Унесу, говорить!

— Ей-Богу унесу.

— По моему, чѣмъ говорить, взялъ бы да и несъ!

Максѣ взялъ шесть полѣньевъ изъ чужой кучки, за что его обругалъ дворникъ.

— Куда, куда понесъ? Не тебѣ назначено.

— Поди-ко не все равно...

— Я тебѣ дамъ не все равно. Сказано погоди!

Максѣ понесъ дрова.

— Тебѣ говорятъ, брось!

— Молчи, мужикъ.

Дворникъ подошелъ къ Максѣ и такъ ударилъ его по шеѣ, что у него выпали дрова. Максѣ схватилъ дворника за бороду и Богъ знаетъ, что бы Мак-

ся сдѣлать съ дворникомъ, если бы не вступились почталіоны.

— Дуракъ ты эдакой! Вѣдь онъ любимецъ почтмейстерской. Онъ съ тобой можетъ сдѣлать все, что захочетъ, — говорили ему почталіоны.

Утромъ на другой день почтмейстеръ долго кричалъ на Макса и велѣлъ арестовать его въ конторѣ на цѣлую недѣлю. Храбрости Максиной всѣ дивились, а Марья Ильинишна по два вечера носила ему въ контору разныхъ кушаньевъ, секретно отъ своей семьи, хотя она была уже сосватана за какого-то сортировщика: да и послѣ свадьбы всегда кланялась на его поклонъ и спрашивала: „здоровы-ли съ?“. А это считалось признательностью, расположеніемъ дамы къ мужчине, который свободно могъ ей свосить глаза, а въ темнотѣ и обнять.

Макс прослужилъ въ почтѣ уже два мѣсяца и изучилъ вполнѣ все почтовое общество. Это общество, населяющее дворню въ числѣ восьмидесяти человекъ, онъ и его товарищи раздѣляли на три части: аристократію, мелкую шушеру и чернь. Аристократію составляли почтмейстеръ съ помощникомъ, писмоводитель и контролеръ; мелкую шушеру составляли сортировщики и почталіоны, а чернь — сторожа съ кучерами и кухарками. Съ виду казалось, что все общество не гнушалось другъ другомъ, но на дѣлѣ выходило такое же различіе чиновъ и должностей, какъ и вездѣ. Почтмейстеръ гостилъ у чиновныхъ и чиновныхъ же приглашалъ къ себѣ и никогда не заглядывалъ въ обиталище сортировщиковъ и почталіоновъ, и если случалось ему бывать у старшаго или у сортировщика денежной корреспонденціи, то это считалось предметомъ особенной милости съ его стороны и давало поводъ къ толкамъ, пересудамъ и зависти всей дворни: человекъ возвышался въ инѣніи всей дворни и ему завидовали. Послѣ одного посѣщенія почтмейстера къ такому человеку, съ нимъ уже зналась остальная аристократія, и онъ самъ причислялъ себя къ аристократіи, отдаваясь больше и больше отъ меньшей братіи. Остальная аристократія рѣдко заглядывала къ сортировщикамъ, и то развѣ въ родѣ милости, какъ-то: на именины, крестины и похороны. Смотри на аристократію, переменялись и сортировщики съ почталіонами, но уже не такъ. Они происходили большею частію изъ почталіоновъ, и какъ они ни старались передѣлать себя по чиновнически, все выходило какъ-то смѣшно; и послѣ того, какъ надъ ними стали издѣваться почталіоны, они переставали важничать, но хотя дома и играли съ ними въ бабки, въ карты и ходили въ гости къ нимъ, все-таки, на службѣ, вели себя съ достоинствомъ, желая показать, что они выше почталіоновъ. Почталіоны такіе люди, которымъ трудно выползти изъ своего званія, ненавидѣли дворню выше ихъ, и хотя оказывали имъ почтеніе на службѣ, но подъ пьяную руку ругали ихъ, и предметомъ ихъ разговоровъ было то, что случилось сегодня въ дворнѣ у лицъ старше ихъ. Каждая неловкость, каждая ошибка и каждая глупость, сдѣланная тѣми, имъ осмѣивалась громко и ставилась имъ въ вину.

— Все это дрянь, — говорилъ Лукинъ Максъ. — Ты не смотри, что они голову задираютъ къверху, да руки засовываютъ въ карманы, — дурачье набитое. Заставь ты ихъ сочинить бумагу — никакъ не сдюжатъ. Возьми нашего старшаго, онъ едва-едва по графикамъ пишетъ.

— Зачѣмъ же насъ-то такъ мучать?

— Оттого, что почталіонъ здѣсь рабочій, на немъ выѣзжаютъ.

— Зачѣмъ же ему почту довѣряютъ?

— Надо же соблюсти какую-нибудь форму. Видишь, интересъ и вещи по казѣ идутъ — и назначили почталіона для того, чтобы онъ доставлялъ всю почту къ мѣсту. Знаютъ, что почталіонъ все равно, что солдатъ, а солдата развѣ жалѣютъ? То же и у насъ. У насъ бы, кажется, дружище должно быть, потому что намъ вѣрять болѣе интересовъ, но на насъ и свои-то даже смотреть хуже, чѣмъ на солдатъ. Поживи, узнаешь.

Смотря по мужчинамъ, такъ же отличаются и почтовые барыни: но здѣсь важничанье развито въ высшей степени. Жена контролера терпѣть не можетъ язву старшаго, говоря: „мой мужъ чиновникъ, а это что! Сегодня служить, а завтра въ солдаты уйдетъ“; сортировщица говоритъ, что она не пара какой-нибудь почталіонкѣ. А такъ какъ въ дворнѣ трудно обойтись безъ ссоръ, то каждая сортировщица всячески старается обругать почталіонку солдаткой и имѣть на это такое право, что почталіонскую жалобу никому разбирать. Даже и между собой сортировщицы живутъ не очень ладно, постоянно ссорятся у печекъ, у дровъ и воды, которую возить на дворню ямщикъ, и подчасъ дерутся, но за то по вечерамъ сходятся всѣ и толкуютъ о томъ, что имъ взбрѣдетъ въ голову. Почталіонки и дочери ихъ также терпѣть не могутъ сортировщицъ и аристократокъ, и каждая изъ нихъ старается какъ-нибудь сдѣлать ей пакость. — „Давно ли въ люди-то попали! еще и важничаютъ. Будько у моего мужа или брата деньги, и я бы не хуже ихъ важила“. — Сортировщицы часто понукаются почталіонками, и такъ какъ почталіонки живутъ зажиточнѣе и проще сортировщицъ, во-первыхъ потому, что почталіонъ пріобрѣтаетъ въ мѣсяцъ до пятнадцати рублей, а сортировщикъ только семь, а во-вторыхъ, они живутъ по почталіонски, — то сортировщицы почти постоянно просятъ у нихъ въ долгъ то муки, то чего-нибудь. Почталіонки ни за что не пойдутъ кланяться сортировщицамъ: „голь поганая!“, говорятъ онѣ; и если ихъ разсердить хоть одна сортировщица, то ей не будетъ покою цѣлый годъ; почталіонка обругаетъ ее на всю дворню, какъ только можетъ, наскажетъ всѣмъ, какъ она живетъ, выставитъ всѣ ея закулисные тайны и чѣмъ-нибудь да будетъ досаждать ей: то крикну молока прольетъ на погребъ, то говядину, лежащую на погребѣ, стравитъ кошкамъ, или чужую вещь положить на мѣсто вещи сортировщицы, которая, не догадываясь, кто всему виной, попадется опять въ другую неприємность.

Макс узналъ также, что всѣ женщины помнить долгъ и всякую благодарность, никогда ни у кого не украдутъ; съ мужьями и мужчинами обращаются за просто и пьяныхъ бьютъ безъ церемоніи и даже имѣ-

ють больше правъ въ семействѣ. Онѣ даже развиты гораздо лучше, чѣмъ мѣщанки. Но ему не нравилась ни одна почтовая женщина: „больно ужъ онѣ развратны“...

Въ четыре мѣсяца Макся понималъ всю почтовую премудрость, испробовавши всѣ занятія: ему приходилось заниматься у сортировщиковъ и простой, и денежной корреспонденціи, въ разборной, у контролера и у писмоводителя, и во всѣхъ занятіяхъ онѣ ничего не находилъ труднаго, кромѣ препровожденія времени чѣмъ-нибудь. Даже и въ писмоводительской онѣ не затруднялся переписывать бумаги и много понималъ по управленію почты. Понятливостъ онѣ приобрѣлъ еще въ то время, когда служилъ у эконома и бывши у настоятеля послушникомъ, у которыхъ онѣ часто переписывалъ бумаги, а канцелярскую премудростъ онѣ приобрѣлъ въ губернской правленіи. Конечно, въ писмоводительской конторѣ онѣ не все понималъ: здѣсь были дѣла по управленію почты, соображаемыя съ существующими законами и разными циркулярами, что ему плохо было извѣстно, тѣмъ болѣе, что писмоводитель скрывалъ свое искусство даже отъ почтмейстера. Макся узналъ и то, что почтмейстеръ умѣетъ только читать и подписывать бумаги, а какъ сдѣлать что-нибудь, спрашивалъ писмоводителя, который спорилъ съ нимъ и переспаривалъ его, дѣлая что ему хочется. Макся узналъ, что писмоводитель ворочаетъ всей губерніей и такая сила, что безъ него ничего не сдѣлаешь. Досадно только было Максѣ, что ему ничего не попадало отъ писмоводителя и виноватыхъ, а онѣ зналъ, что его начальникъ много получаетъ денегъ такимъ обра-омъ. Получается въ конторѣ жалоба, почтмейстеръ призываетъ писмоводителя.

— Это что?—спрашиваетъ онѣ его.

— Это жалоба на смотрителя.

— Выгнать его вонъ изъ службы.

— Надо вызвать его для объясненій: можетъ быть, онѣ и не виноватъ.

— Ну, выводи.

Призываетъ смотритель и идетъ кланяться къ писмоводителю.

— Дѣло плохо: тебя выгнать хотятъ.

— Помилосердуйте!—И смотритель кланяется въ ноги писмоводителю.

— Нельзя.

Смотритель даетъ ему денегъ, и писмоводитель говоритъ:

— Ладно, я попрошу. Ты поди, поклонись ему въ ноги, скажи: не виноватъ, молъ.

Сходить смотритель къ почтмейстеру, почтмейстеръ прогонитъ его, а когда придетъ въ контору, призываетъ писмоводителя и спрашиваетъ его:

— Шельма Корчагинъ пріѣхалъ?

— Точно такъ-съ.

— Ну, что?

— Да извѣстно, в. в-іе, всякій проѣзжающій дуракъ; дѣла не смыслить, а зазнается.

— Ишь шельма!.. Отписать ему, бестія, что онѣ самъ плутъ.

— Отписать нельзя.

— Почему?

— Жалобу въ почтамтъ напишеть... Что пріѣдете дѣлать съ Корчагинимъ?

— Прогнать его вонъ изъ конторы; да скажи, чтобы онѣ впредъ этого не дѣлалъ; скажи, молъ, я ему всю шкуру спущу.

Такъ же дѣлалъ писмоводитель и съ почтмейстерами; но тѣ аккуратнѣе смотрителей — сами слали денегъ ему, и потому держались долго на должностяхъ. Уѣздные почтмейстеры, получающіе жалованье отъ 11 до 18 рублей, приобретали доходы такъ же, какъ и губернской почтмейстеръ, который на доходы вообще смотрѣлъ какъ на необходимость.

Максѣ стыдно было ходить съ письмами по городу, но однако его заставили ходить. Подобрали ему письма по домамъ, подписали на нихъ, гдѣ кто живетъ, и пошелъ Макся по городу. Цѣлый день онѣ ходилъ по городу и за каждое письмо просилъ по шести копѣекъ, но ему давали по три, по десяти, а гдѣ и ничего не давали. Послѣ семи путешествій по городу Макся узналъ почти всѣхъ жителей, кто гдѣ живетъ, и ему очень понравилось носить письма, и Максю многіе знали въ городѣ.

Теперь Макся рѣдко пилъ. Выпивалъ онѣ передъ обѣдомъ и ужиномъ, но до пьяна не напивался; пьянъ онѣ напивался только, когда въ почтѣ бывали праздники, въ которые напивались всѣ почтальоны и сортировщики, и даже женщины. Вообще, Макся былъ на счету у начальства, и даже самъ почтмейстеръ ласково смотрѣлъ на него. Разъ онѣ даже удостоилъ его своимъ вниманіемъ. По случаю болѣзни старшаго, Макся, бывши дежурнымъ, пошелъ извѣщать почтмейстера, что прішла почта.

— Кто ты такой?—спросилъ его почтмейстеръ.

— Почтальонъ, в. в-іе.

— Знаю, что не чортъ! Кто ты такой, тебя спрашиваютъ?

— Максимовъ.

— Пьешь водку?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Врешь, шельма! Узнаю — вся шкуру спущу...

Кто у тебя отецъ?

— Дьячекъ былъ, теперь умеръ.

— Ишь шельма!... Зачѣмъ онѣ тебя въ почтальоны стурить?

— Онѣ давно умеръ...

— Подай мнѣ умыться.

Макся подалъ, и почтмейстеръ обругалъ его за то, что онѣ лилъ воду неловко. Послѣ умыванья онѣ нарядилъ на почтмейстера сапоги, сюртукъ, и прислуживалъ такъ рабски и смотрѣлъ такимъ невиннымъ, что почтмейстеръ похвалилъ его.

— Ну, смотри, паренъ, служи хорошо, а тебя въ смотрители произведу. Даромъ сдѣлаю.

Макся не утерпѣлъ, и рассказалъ объ этомъ почтовымъ: тѣ много дивились. Но Максю за что-то не любилъ старшій и искалъ случая повредить ему. Разъ была почта ночью. Макся задремывалъ чемоданъ. Набывши свинчатку, онѣ сказалъ почтмейстеру:

— Печати хороши, в. в-іе.

— А, это ты?—спросилъ почтмейстеръ Максю.

— Точно такъ-съ, в. в-іе.

— Старшій, есть вакансіи смотрителей?

- Есть.
- Назначить его на хорошую станцію.
- Да онъ не стоитъ этого.
- Что ты врешь, мошенникъ?
- Онъ и теперь пьянъ.

— Пьянъ! Ахъ ты, рожа ты эдакая!.. Ишь, у тебя и рожа-то какая красная!—сказалъ почтмейстеръ Максѣ и подозвалъ его къ себѣ.

— Дохни!—закричалъ онъ на Максю.

Макся былъ дѣйствительно выпивши и дохнулъ на лицо почтмейстера: тотъ чихнулъ и разсвирѣпѣлъ до нелзя.

— Въ отставку его, каналью!.. Въ солдаты!

Немного погодя помощникъ почтмейстера вступилъ за Максю: почтмейстеръ смягчился.

— Отодрать его! Дать ему двѣсти!—сказалъ онъ старшему, но помощникъ сказалъ, что Максю драть нельзя, а лучше для исправленія назначить на мѣсяцъ въ развѣздъ съ почтами.

И Максю назначили ѣздить съ почтами полгода.

Максѣ давно хотѣлось ѣхать съ почтой, но его не пускали сначала потому, что онъ служилъ недавно, а потомъ занимался постоянно въ конторѣ и носилъ по городу письма. Почталіоны говорили Максѣ, что съ почтой ѣздить хорошо разъ пять, десять и то въ хорошее время; но проѣздивши разъ двадцать, не радъ будешь. Макся, какъ не ѣздившій никогда съ почтами, а ѣздившій нѣсколько сотъ верстъ въ каретѣ съ настоятелемъ, не вѣрилъ, что почталіоны говорятъ дѣло.

— Вотъ ужъ мнѣ такъ не надоѣстъ ѣздить съ почтами,—гворилъ онъ.

— Не хвались, прежде Богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.

— Попробуй разъ десять съѣздить—не то скажешь.

— Ладно.

Макся очень обрадовался, когда ему объявили, что онъ ѣдетъ съ перво-отходящей тяжелой почтой.

До прихода почты Максѣ дали овчинный тулупъ, шинель, саблю, сумку съ 12 патронами, съ пороховъ, съ пулями и пистолетъ. Время было зимнее.

Пришла почта; Максю стали снаряжать. Поѣвши очень плотно и выпивши на дорогу рюмки двѣ водки, Макся надѣлъ на грудь, поверхъ сюртука, сумку, прицепилъ къ ней заряженный на всякій случай пистолетъ, взялъ съ собою табакъ и спичъ, и сталъ дожидаться приѣма почты.

Теперь Максѣ занятно сдѣлалось наблюдать за задымляваніемъ почты. Вся корреспонденція, исключая посылокъ, закуривалась въ бумагу, которая обвертывалась веревкой, къ концамъ которой прикладывали печать, а на одномъ боку подписывали такъ: п. п. изъ (имя города) и въ какой городъ. Потомъ эти постъ-пакеты, вмѣстѣ съ посылками, клались въ чеподанъ или баулъ, или сумку, и тамъ утискивались ногами для простора. Потомъ эти чеподаны или сумы задымлялись петлями и къ нимъ прикладывали двѣ печати: одну на сюртучъ, другую на свинчаткѣ. Послѣ этого чеподаны, сумы и тюки онъ записалъ

на лоскуткѣ бумаги, который положилъ въ сумку, Макся стоялъ въ присутствіи, гдѣ дозвѣливали посылочную корреспонденцію.

— Сколько принялъ?—спросилъ его почтмейстеръ.

— Двѣнадцать чеподановъ, семь сумъ и три тюка.

— Ступай.

— Счастлива оставаться, в. в-іе!

Макся вышелъ въ приемную. Сортировщикъ у простой корреспонденціи подалъ ему подорожную, въ началѣ которой было написано правило, что онъ долженъ ѣхать безостановочно, нигуда не заходить и беречь какъ можно почту. Тутъ былъ прописанъ онъ. Потомъ слѣдовали названія почты и вѣсь ея, потомъ станціи. Макся повѣрилъ свою записку съ подорожной; оказалось вѣрно. Росписавшись въ книгѣ въ принятіи почты, Макся вышелъ надѣвать на себя шубу и взялъ саблю. Старшій вынесъ ему кучу писемъ.

— Вотъ тебѣ письма, смотри не потеряй. Когда раздашь, деньги получишь на водку.

— Покорно благодарю.

Почтовые простились съ Максеемъ, пославъ съ нихъ поклоны и письма на станціи и города своимъ знакомымъ.

Почта наложена была на четырехъ саняхъ и поверхъ на грудахъ чеподановъ и тюковъ сидѣли ящики, а въ пятихъ заднихъ, на двухъ чеподанахъ и одной сумѣ, пришлось сидѣть Максѣ. Макся сѣлъ, устроился кое-какъ, поклонился почтовымъ.

— Э-эхъ! вы, вы!!

— Фить ты!.. Ну, ну!..

Закричали ящики, лошади рванулись; зазвенѣли колокольчики и почта пошла. Любо сдѣлалось Максѣ. Почта катитъ скоро мимо городскихъ домовъ; ящики то и дѣло кричатъ и гикаютъ; народъ, идущій по дорогѣ, сторонится, а Максѣ любо и онъ, какъ дитя, улыбается и въ головѣ его вертятся: „что, развѣ я не человѣкъ? Наткось! глядите, какъ покатываемся, да еще куда!..“ Макся вытащилъ подорожную, посмотрѣлъ на цифры верстъ... „Вѣдь триста семьдесятъ! Ай да хорошо!“ Миновали городъ. Макся все смотритъ по сторонамъ, да любитъ деревьями, сѣгомъ, полями, дорогой, гиканьемъ ящиковъ, звяканьемъ колокольчиковъ и ящиками, какъ они ухитрились сѣсть на чеподаны и тюки. Любо ему, что ничего не слышно, кромѣ звяканья колокольчиковъ и крика ящиковъ. Однако Максѣ холодно. Онъ захотѣлъ удобнѣе прилечь, но ему некуда было вытянуть ноги, потому что два чеподана заняли внутренность саней, сума, положенная на нихъ къ задку саней и служившая подушкой Максѣ, занимала цѣлую четверть саней, а другую четверть занималъ ящикъ. Какъ Макся ни пристроится къ сумѣ, голова и спина сваливаются. Сѣлъ Макся, неловко ногамъ и спинѣ; а вѣтеръ то и дѣло сквозить; прилежъ на бокъ, голову встряхиваетъ очень больно отъ ухабовъ... Захотѣлось Максѣ устроить лучше мѣсто для себя.

— Ящики!—вскричалъ онъ ящику; тотъ обернулся.

— Чаво?

— Останови лошадей.

— Пошто?  
 — Поправить тутъ надо.  
 — Гдѣ-ка?  
 — Да неловко сидѣть.  
 — Какъ тѣ иппо! Больше некуда сдвинуть, все мѣсто занято.  
 — Какъ-нибудь.

Ямщикъ остановилъ лошадей и сталъ укладывать суму...

— Ты ее положи лучше.  
 — Куды-ка?  
 — Да чтобы я сѣлъ не нее.  
 — Не ловко будетъ, баринъ. Ужъ мы эти дѣла знаемъ; не ты первой ѣздишь. По трою ѣздить — вотъ дакъ мука тогда.

— Такъ нельзя?  
 — Нельзя... Экіе псы, и соломки-то мало дали... Ужо я положу тебѣ на станціи соломки, помягче тож-но будетъ.

Поѣхали. Макся показалось, что теперь ему еще хуже сидѣть.

Почта поѣхала въ разсыпную, такъ что первыхъ саней не видать было, а остальные шли на большое разстояніе. Макся струсилъ.

— Слышь! ровно четверы сани-то были, а теперь только трои.

— Дакъ что!  
 — А гдѣ же тѣ-то?  
 — А впереди.  
 — Онъ поди уѣдетъ?...  
 — Не уѣдетъ.

Ямщикъ почти не гналъ лошадей. Дорога шла изгибами. Впереди видны были только одни сани съ ямщикомъ и лошадьми.

— Ты бы догонялъ ихъ.  
 — Успѣмъ.  
 — Право, они уѣдутъ.  
 — Э! А ты, баринъ, изъ новыхъ, штоля?  
 — Да.  
 — А прежъ гдѣ-ка служилъ?  
 — Я при настоятелѣ служилъ; послушникомъ былъ.

— А!... Догонимъ... Э-эхъ! вы! милинкія! Пошли, пошли!... — закричалъ онъ на лошадей. Догнавши сани, онъ закричалъ на того ямщика.

— Шевелись, што губы-то отквасилъ!  
 — Ну-ну!  
 — Пошелъ, пошелъ!...

Тотъ ямщикъ догналъ третьи сани, и такимъ порядкомъ были догнаны всѣ сани, и почта пошла по обозному, съ тою только разницею, что она шла скорѣе обозныхъ, но не такъ скоро, какъ думалъ Макся и какъ гнали ямщики по городу изъ конторы.

Ямщики нѣсколько разъ останавливались или поправлять упряжь лошадей, или закуривать трубки, или для какой-нибудь надобности. При остановкахъ, въ ухахъ Макси долго еще звенѣли колокольчичи и ему казалось, что его какъ будто пошатываетъ взадъ и впередъ. Проѣхали часа два, и Максъ казалось это время очень долго, да онъ и озябъ; у него ноги очень зябли. Все-таки онъ часто смотрѣлъ на пистолетъ и саблю.

— Много ли еще верстъ?  
 — Верстъ-то? Да верстъ восемь будетъ.  
 — Поѣзжай скорѣе.  
 — Ужъ знаемъ, какъ ѣхать. Доѣдемъ.  
 — А если не будемъ въ часы?  
 — Будемъ въ часы... Не твоя бѣда.  
 — Отчего же вы здѣсь тихонько пускаете лошадей?

— Эво! Лошади-то поди-ко свои... Тамъ-то городъ губернской, начальство; нельзя значить тихо ѣхать, а здѣсь лошади-то и отдохнуть... А вотъ къ станціи и припустимъ. За три версты до станціи ямщики опять закрывали и загикали, и почта скоро пришла на первую станцію. Макся сидѣлъ на чемоданахъ и не зналъ: идти ему или нѣтъ.

— Бачка, слѣзай.  
 — А чемоданы?  
 — Перекладывать станемъ.

Макся слѣзъ. Его встрѣтилъ станціонный смотритель.

— Вы изъ новичковъ?  
 — Да.

— Очень пріятно познакомиться. Да вѣдь васъ почтмейстеръ общался смотрителемъ сдѣлать, мнѣ Калашниковъ сказывалъ.

Макся рассказалъ все, что съ нимъ было. Во время перекладыванья почты смотритель разспрашивалъ его объ губернскихъ почтовыхъ, хотя зналъ все, но для того, чтобы провести весело время.

— Какова дорожка? — спрашивалъ смотритель.  
 — Ничего.  
 — Ну-съ какъ тамъ?  
 — Ничего.  
 — Всѣ благоденствуютъ?  
 — Живы.  
 — А почтмейстеръ ничего?  
 — Ничего.

И это смотритель повторяетъ каждый день при каждой почтѣ.

Макся опять поѣхалъ и ѣхалъ такъ же, какъ и первую станцію. Настала темная ночь, безъ луны и звѣздъ, закрытыхъ облаками. Макся трусилъ. Опять звенять колокольчики и ямщики изрѣдка покрикиваютъ. Максъ холодно; Максю встращиваетъ; Макся ругаться началъ: „ну и дорожка“... На козлахъ сидѣлъ парень лѣтъ четырнадцати.

— Эй ты, мужланъ! — крикнулъ Макся парню.

Парень спитъ, хотя и держитъ въ правой рукѣ кнутъ, хлыстъ котораго заткнутъ за его поясъ.

— Ямщикъ! — крикнулъ Макся и ткнулъ его въ спину ногой.

— Чаво? — сказалъ парень и погналъ лошадей.  
 — Я тѣ покажу чаво! Спишь только, анаеема!  
 — Знаю какъ.  
 — То-то знамъ! А гдѣ тѣ-то?  
 — Знаю гдѣ.  
 — Смотри, заблуднись, вздую.  
 — Самъ не заблудись...

Другой ямщикъ попался ему старикъ.

— Старина, здѣсь не боязно?  
 — А что бояться-то, съ нами крестная сила!  
 — То-то... Воровъ здѣсь нѣту?

— Какъ нѣту. Здѣсь обозы подрѣзываютъ... Оноединъ два мѣста чаю утащили. Говорятъ, воровъ много; мѣсто такое.

— А почты боятся?

— Ничто... Да ты бы, баринъ, соснулъ бы таперъ.

— Ишь ты?

— У насъ всѣ почтальоны спятъ. Какъ лягутъ и спятъ; на станціи почтай на рукахъ выносятся.

— Ну, ужъ я не стану спать.

— Полно, баринъ... Умычешься... Спи знай, ишшо много ѣхать-то.

Максѣ хотѣлось спать, но онъ боялся заснуть, думая, что почту подрѣжутъ, да если онъ и думалъ, что ѣздили же до сихъ поръ почтальоны, почту не подрѣзывали, и теперь, можетъ, ничего не будетъ, но онъ не могъ заснуть сидя, съ непривычки. Въ двухъ мѣстахъ онъ вываливался въ ухабахъ такъ, что его придавливало саями. Это больно не понравилось Максѣ.

Всѣ смотрителя, а гдѣ ихъ не было—писаря, были любезны съ Максѣй и почти на каждой станціи подавали ему по рюмкѣ водки, а тамъ, гдѣ его кормили по установленнымъ правиламъ, ему подавали по три рюмки. Послѣ этого Максѣ ѣхало бодро и только дремалъ. Въ почтовыхъ конторахъ его тоже разспрашивали о дорогѣ и губернскихъ болѣе, чѣмъ смотрителя, и онъ говорилъ, что зналъ. Почтмейстеры, знавшіе о немъ отъ почтальоновъ, жалѣли его.

Наконецъ онъ пріѣхалъ въ тотъ городъ, гдѣ ему нужно было сдать почту. Сдавши ее благополучно, онъ было пошелъ спать, но его пригласилъ одинъ семейный почтальонъ напиться чаю и покушать. Съ Максѣй, какъ съ губернскимъ почтальономъ и пріѣхавшимъ сюда въ первый разъ, всѣ обращались вѣжливо. Максѣ здѣсь напился пьянъ.

Въ этомъ городѣ Максѣ прожилъ двоя сутки и въ это время ничего не дѣлалъ въ конторѣ, зная, что губернскимъ почтальонамъ не подобаетъ заниматься въ уѣздной, а уѣздные должны въ губернской и дежурить, и работать. Здѣсь онъ велъ себя гостемъ и надо всѣмъ наблюдалъ. Ему не понравился городъ, который онъ прозвалъ виѣстѣ съ людьми *вишюю амунщию*, не понравился почтмейстеръ, котораго онъ прозвалъ *чучей*, а самую контору называлъ *лошадинамъ стойломъ*. Однимъ словомъ ему ничто не понравилось въ этомъ городѣ.

— Какъ это люди живутъ въ такомъ городѣ! Толи дѣло губернской городъ,—говорилъ онъ почтальонъ этого города.

— За то у насъ все дешевле и доходнѣе.

— Ну ужъ, все же губернскимъ быть лучше, потому что отсюда можно скорѣе получить мѣсто смотрителя,—говорилъ Максѣ уѣздный почтальонъ. Максѣ опять поѣхалъ въ губернской городъ.

— Ну что, нравится?—спрашивали его почтальоны по пріѣздѣ его въ губернской городъ.

— Ничего, только холодно, да сидѣть неловко.

— Погоди, не то еще будетъ.

И стали Максѣ гонять, и сталъ Максѣ ѣздить съ почтами.

Проездивъ Максѣ съ почтами два мѣсяца къ ряду; случилось ему ѣздить даже безъ отдыха: пріѣдетъ онъ въ губернской, его опять посылаютъ за немѣнемъ разѣзжихъ почтальоновъ; пріѣдетъ въ уѣздный и, если тамъ некому, его опять посылаютъ назадъ. Такъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ онъ съѣздивъ съ легкими и тяжелыми почтами пятнадцать разъ.

Бѣда ему опротивѣла съ седьмого раза: опротивѣли ему ухабы, чемоданы, морозы, вѣтры, ящики и многое, многое опротивѣло Максѣ до того, что онъ сталъ прокидывать и дороги, и почты. Чѣмъ больше онъ ѣздивъ, тѣмъ больше ему стала надоедать почта.

„Ну ужъ, и служба! Правду говорили почтальоны, что ѣздить съ почтой не то, что ѣздить въ каретѣ. Я бы теперь лучше согласился звонаремъ быть,“ ворчалъ онъ дорогой, когда что-нибудь злило его. Больше всего злили его ящики, т. е. злило ихъ равнодушіе: проѣдутъ городъ и цѣлыя пятнадцать верстъ пустятъ лошадей шажкомъ, хотъ ты кричи на нихъ, хотъ уговаривай,—скорѣе не поѣдутъ, а только говорятъ: „въ часы будемъ!“—и дѣйствительно пріѣзжали въ часы... Теперь и природа не радовала Максѣй. Ёдетъ онъ въ саняхъ или высунетъ голову изъ-подъ накладки, посмотреть кругомъ: все мѣста знакомыя. „Все дрянъ! И отчего же это хорошихъ-то мѣстовъ нѣтъ? Кто-же тутъ виновать-то?“ И станеть Максѣ перебирать мѣстную администрацію, да такъ и заснетъ и не разбудить его скоро на станціи. Максѣ самъ не могъ понять, отчего ему снится дорога? Лишь только завалится онъ на чемоданы, проѣдетъ верстъ пять—и спитъ. И славно ему снится: снятся ему только конторы, да служащіе почты, да гиканье ящиковъ и что онъ далеко куда то ѣдетъ... И бурлитъ Максѣ со сна, ворчитъ что-то несвязно, только голову встряхиваетъ на-право и на-лѣво, то объ наладку ударится, то она съ сумы скатится на суму, которая на груди у Максѣ. Максѣ не чувствуетъ боли, только слюны текутъ по губамъ... А ящикамъ завидно:

— Благая же эта жизнь почтальонамъ: только ткнется въ сани или телѣгу, и дрыхнетъ всю дорогу.

Хорошо казалось Максѣ спать съ почтой и ругаться же онъ, когда его будили на станціяхъ. Но и на станціяхъ онъ спалъ. Сдастъ дорожную писарю или ящику и завалится за лавку и спитъ. Перекладутъ почту; начнутъ будить его:

— Максимъ Ивановичъ, вставай! Готово.

— Гм!—ворчитъ онъ.

— Почта готова!

— Ну, ну.... сейчасъ, и Максѣ перевернется на другой бокъ.

Кое-какъ разбудятъ его ночью. Проснется онъ; встанетъ, возьметъ дорожную, положитъ ее безоснательно въ сумку и пойдетъ къ своему мѣсту.

— Все тутъ?—спроситъ онъ ящиковъ.

— Нешто оставимъ?

— Ловко улажено? Положите еще соломы.

— Да будетъ, Максимъ Ивановичъ.

Сядетъ Максимъ Ивановичъ и какъ только забрякаютъ колокольчиками, онъ ужъ опять спитъ...

— Максимъ Ивановичъ!—спроситъ бывало его ящикъ, да посмотреть, что онъ спитъ, и самъ задремлетъ.

млетъ. Лишь только остановятся лошади, Макся пробудится.

— Приѣхали? спроситъ онъ.

— Нѣтъ еще.

Укутается Макся и опять спитъ. Посмотритъ на него ямщикъ, и завидно станетъ ему: „экое людямъ счастье. Все спитъ!“.

Максю любили всѣ ямщики за то, что онъ не билъ ихъ и говорилъ съ ними ласково. Заведетъ Макся разговоръ съ ямщикомъ объ урожаѣ: ямщикъ всю дорогу до станціи будетъ говорить объ этомъ предметѣ, пока не замѣтитъ, что Макся спитъ. Но объ урожаѣ мало было разговоровъ, потому что большая часть ямщиковъ хлѣбопашествомъ не занималась, а толковали больше о почтовыхъ станціяхъ, почтосодержателяхъ, лицахъ, составляющихъ собою управленіе почты. Больно ямщикамъ солона кажется ихняя жизньъ.

— И что это за жизнь наша! Вотъ теперича хлѣбъ промышлять несподручно, потому, значить, пошѣнники землю намъ дали такую, что ужасъ! Вотъ оно какое дѣло-то!... Ну, дома-те не жалко, можно новые построить; все-жѣ обижать... Ну, теперича куда подеешь робить? Прѣжъ хоша извозомъ промышляли, а теперь какъ начали эти парокходы, и мало работы... А по почтовой-то части намъ сподручно: съ низала ходимъ. Такъ и тутъ времена, слышь, настали такія, что нашему брату больно плохо. За тройку-то отъ содержателя по шести копѣекъ получаемъ, а онъ беретъ по девяти, ну, да ему больше надо... Это што; а вотъ овесъ да сѣно у него беретъ, потому, значить, у своей-братии продажнаго-то нѣту, а въ городъ ѣхать не рука... Ну онъ, кое стѣитъ семь гривенъ, за то проситъ рубль двадцать, а самому гуртомъ-то пяти стѣитъ. Такъ-то оно вотъ и выходитъ, што живемъ не сытъ, не голоденъ... А вотъ лѣтось кульбѣрь ѣхалъ; двѣ лошади пали; ничего не дали, кульбѣрь прибылъ, а мнѣ-ка и денегъ не разсчитали...

Макся сочувствовалъ ямщику, но помочь ему не могъ.

— Ты бы жаловался.

— Жаловался! Ишь ты: жаловался!... Знаешь, што съ нами дѣлають за эти жалобы?

Жалко стало Максѣ ямщиковъ, и онъ любилъ ихъ до того, что угощалъ ихъ водкой, и тѣ угощали его. Сталъ Макся крѣпко попивать водку. Онъ уже зналъ всѣ села, деревни по той дорогѣ, по которой ѣздили на разстояніи шести сотъ верстъ, и всѣ кабаки. Прѣдетъ онъ отъ губернскаго пять или десять верстъ и встанетъ у деревни.

— Петруха, сходи-жо въ кабакъ.

— Ладно.

Сходятъ ямщикъ въ кабакъ, принесетъ ему кошку. Половину онъ выпьетъ, половину ямщикъ, а послѣ этого спитъ. Довѣдутъ до другой деревни, другой ямщикъ остановитъ лошадей и кричитъ ямщику Петрухѣ:

— Вуди Максю-то.

— Ну?

— Вишь кабакъ.

— Ишь дьяволъ! Захотѣлъ?—И опять будятъ Максю. Такъ Макся и сбился съ толку до того, что

пятый мѣсяцъ постоянно приѣзжалъ съ почтой пьяный даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потерялъ дорогой. Такъ и сталъ ѣздить безъ сабли.

Почтмейстеръ узналъ, что Макся пьянствуетъ, и рѣшилъ гонять Максю постоянно съ почтой. Макся сдѣлался отчаяннымъ пьяницей, никуда негоднымъ почталіономъ...

Лѣтомъ ему еще хуже показалось ѣздить съ почтами: тряска непошѣрная, дожди и прочія неудобства, какія только могутъ испытать почталіоны, день ото дня мучили его, и онъ почти что не любовался ни весной, ни лѣтомъ, ни хорошими видами, которыхъ на пути очень много было.

Да едва ли какой-нибудь почталіонъ, проѣхавшій по одной дорогѣ разъ сорокъ, будетъ соннымъ любоваться природой, которая ему не приноситъ рѣшительно никакой пользы и любоваться-то которою онъ не находитъ удовольствія. То ли дѣло водка! Что дѣлать почталіону въ теченіи двухъ сутокъ при слѣдованіи съ почтой, на протяженіи 360 верстъ, въ дрянную погоду, по дрянной дорогѣ, подъ дождемъ и въ морозъ, и при такомъ сидѣніи?..

Случалось Максѣ и не одному ѣздить съ почтами. Ѣздили онъ и со смотрителями и почтмейстерами; и тогда спалъ. Пассажиры сидѣли надъ нимъ.

— Ой Макся, проснишь почту!

— Ну ее къ шу!!

— Смотри, въ Сибирь уйдешь.

— Такъ что! Гдѣ-нибудь да надо умирать.

А Максѣ больно не нравилось, какъ съ нимъ кто-нибудь ѣхалъ: смотрителя и почтмейстера хотѣть сѣсть удобнѣе и ему достанется такое мѣсто, что ни присѣсть, ни прилечь нельзя. Однако Макся и тогда спалъ.

Почтовые знали, что Макся спитъ съ почтами, но спать съ почтой дѣло такое обыкновенное, что на это не обращалось вниманія; да и теперь не обращается вниманія. Не даромъ есть у почтовыхъ поговорка: „Вотъ хранитъ до поры, до случая“. Почтовые знали также, что Макся возитъ съ почтой постороннихъ лицъ, но не выдавали его, потому что бѣдному человѣку надо же какъ-нибудь нажить деньгу, да и Макся возилъ такихъ постороннихъ, которые рады были гдѣ-нибудь прицѣпиться, только бы доѣхать, и у нихъ не было никакого умысла, чтобы ограбить почту. Возилъ ихъ Макся такимъ образомъ. Посторонній условится съ нимъ раньше, даетъ рубликъ за двѣсти верстъ и выйдетъ за заставу дожидать почту съ Максей; Макся останавливаетъ ямщика у извѣстнаго мѣста. Ямщикъ знаетъ, въ чемъ дѣло.

— Я не повезу,—говоритъ ямщикъ.

— Ну полно; только до первой станціи.

— Все равно.

— Я дамъ на водку,—говоритъ посторонній. Ямщикъ получаетъ двадцать коп. и сажаетъ посторонняго, уважая Максю и исполнѣ надѣясь на него. На станціи Макся или вводилъ посторонняго въ смотрительскую канцелярію и уговаривалъ смотрителя, или если смотритель былъ формалистъ, онъ сажалъ сво-

его пассажира за станціей, и такимъ порядкомъ довозилъ до мѣста.

Всѣ деньги, какія водились у Макся, онъ пропиывалъ. Вся его одежда, заведенная по началу его служенія въ почтѣ, оборвалась, а новую шить было не на что. Почтовые жалѣли Максю, совѣтовали ему не пить и старались какъ-нибудь поддержать его. Но онъ такъ впился, что ему трудно было не пить. Случалось, онъ и не пилъ, но только до обѣда, когда занимался въ конторѣ, за то все, что онъ ни дѣлалъ, выходило у него клиномъ. Старшій заставлялъ его дежурить, но вечеромъ Макся убѣгалъ изъ конторы, и когда выговаривалъ ему старшій и грозилъ, что онъ будетъ жаловаться почтмейстеру, Макся только ругался, и старшій, жалѣя его, спускалъ ему; отступились отъ него и почтовые, кромѣ женщинъ, которыя очень соболѣзновали объ немъ. Сидитъ Макся утромъ у кого-нибудь, пригорюнявшись; его обступятъ женщины три, четыре и говорятъ:

— Максимъ Ивановичъ! Плохой ты человѣкъ сдѣлался, а сначала какой былъ...

— Плохой,—говоритъ онъ и морщится.

— То-то вотъ и есть. Ты самъ знаешь, что водку тебѣ скверно пить...

— Человѣкъ—то ты смиренный, не буянъ... Брось ты эту поганую водку! Посмотри, сколько нынче горитъ съ этой проклятой водки.

— Не могу, бабы!—И Макся начинаетъ насвистывать съ горя...

— Экой ты какой... Ровно ты маленькой, слава тѣ Господи...

— Не могу.

— Да отчего же не можешь? Дай зарокъ не пить, и не пей. Или поручи кому-нибудь деньги на сохраненіе.

— Ну ужъ, это трудно... Ужъ я никогда не буду трезвымъ.

— Жалко. Человѣкъ ты молодой, а погибашь, какъ червякъ.

Всѣ эти совѣты и тому подобныя слова изъ Максю не дѣйствовали. Находили, правда, и на него минуты, когда онъ думалъ: отчего я пью? принимался плакать, думать: дай, не буду пить, и пилъ, какъ только случались деньги или гдѣ былъ случай къ попойкѣ. Женщины даже заговоръ устроили противъ пьянства Макся. Онъ задумалъ женить его: „женится, перемѣнится, не станетъ пить водки“, говорили онѣ, и подговорили одну дѣвицу Наталью любезничать съ нимъ, а потомъ выйти за него замужъ. Наталья долго упиралась, не желая быть замужемъ за пьяницей, но ради своихъ похругъ рѣшилась подѣйствовать на Максю лаской. Ей было двадцать четыре года, и она была *карявая форма*, какъ ее называли почталіоны. Начала дѣло она такъ.

Рано утромъ Макся сидѣлъ одинъ въ холостой и починалъ брюки. Наталья вошла въ холостую.

— Здравствуйте, Максимъ Ивановичъ! какъ поживаете?

— Помаленьку. Садись.

— Постою... Что подѣлываешь?

— Видишь, штаны починаваю.

— Вотъ оно что: нѣтъ жены, самъ и пьешь.

— На кой мнѣ ее чортъ, жену-то?

— Какъ на кой чортъ?

— Чѣмъ я ее стану кормить-то, что я за богатъ такой?

— Меньше пей... не все же богачи женятся.

— Меньше пей! Всѣ вы одно говорите: меньше пей! на свое пью, не на ваше.

— Все же неловко...

— Чего неловко?

— Безъ жены-то.

— Ну ужъ, про это я знаю. Знаю я, какъ здѣшня-то бабы живутъ... Сволочь все!—Макся плюнулъ.

— Полно-ко, Максимъ Ивановичъ.

— Не правда что ли?

— И вы-то мужчины хороши: не клади пальца въ ротъ.

— Ну ужъ, не женюсь... — сказалъ Макся и захохоталъ, а потомъ выругался.

— А что бы, если это я навернулась... — сказала немного погодя Наталья.

— Ты-то? жидка больно...

Наталья ушла со стыдомъ и со злостію на Максю. Почталіонкамъ она рассказала, что Макся ее всячески обозвалъ; но Макся о разговорѣ съ Натальей никому не сказывалъ. Такъ дѣло о женитьбѣ Макся и кончилось ничѣмъ. Пробовала было старшихъ совѣтовать Максъ жениться и предлагала ему невесту, — дочь сторожа; но и этотъ совѣтъ тоже ни къ чему не повелъ.

А Макся между тѣмъ уже любилъ. Нужды нѣтъ, что онъ былъ пьяница, и у него была любовь, только не въ губернскомъ, а въ уѣздномъ городѣ.

Въ томъ городѣ, куда Макся ѣздилъ постоянно съ почтами, онъ жилъ большею частію въ конторѣ. Сначала его приглашали почталіоны къ чаю, обѣдамъ и ужинамъ, но когда увидѣли, что Макся денегъ не платитъ и выгоды отъ него никакой нѣтъ, его не стали приглашать. Не приглашали его еще и потому, что онъ былъ постоянно или съ похмѣльемъ, или пьянъ. Если онъ придетъ съ похмѣльемъ, — проситъ денегъ на водку и, стало быть, смущаетъ мужей на попойку. Жены боялись пьяныхъ мужей, которые трезвые рады были выпить, и какъ попала имъ одна рюмка, они и пошли катать цѣлый день, да еще и другой день будутъ пить до тѣхъ поръ, пока не высосутъ всѣ женнины деньги; пьяный Макся никому не давалъ покою своею руганью и своими гиканьемъ. Макся очень любилъ гикать. Сидитъ ли онъ насушившись, отдуваясь и пошатываясь, или лежитъ на полу, то и дѣлогикаетъ, что есть мочи: „и-ихъ! вы!!“ и еще того пуще прибавитъ „и-ихъ! вы-ы!..“, и эти звуки усиливаетъ все больше и больше, мотая головой съ закрытыми глазами. И не любить Макся, если его лишаютъ этого удовольствія: обручаетъ онъ, какъ только можетъ. Но тѣмъ онъ хорошъ, что никогда не дѣзетъ драться. Уѣздный почтмейстеръ снисходилъ къ Максиной слабости вѣроятно потому, что Макся былъ честенъ и трезвый охотно помогалъ почталіонамъ. Надъ трезвымъ Максей даже шутилъ почтмейстеръ; однако



путки его Максъ не нравились, и онъ только ядовито улыбался, но эта улыбка никѣмъ не понималась.

Нѣсколько разъ приводилось Максъ бывать съ губернскимъ почталіономъ Ермолаемъ Борисычемъ Романовымъ у его подруги Анисьи Федоровны, вдовы почталіона Тарасова. Анисья Федорова была женщина 28 лѣтъ, некрасивая, но добрая и много сочувствующая Максу. По началу Максъ ходилъ къ ней пьяный съ Романовымъ, за что Романову доставалось крѣпко отъ его подруги. Максъ ничего не понималъ пьяный и всѣ ругательства Тарасовой были ему передаваемы на другой день Романовымъ. Максъ извинялся, какъ умѣлъ.

— Отчего не ходить, я гостямъ рада, только дебоширить не надо... Вѣдь ты не въ кабакъ пришелъ, — говорила трезвону Максъ Тарасова.

— Не могу, характеръ такой, — оправдывался Максъ.

— Воздержись.

И Максъ почему-то старался воздержаться, т. е. не сталъ приходить пьянымъ къ Анисьѣ Федоровнѣ. Онъ приходилъ къ тому убѣжденію, что Тарасова женщина ласковая, что если она не любитъ пьяницъ, стало быть это нехорошо. Но какъ ни крѣпился Максъ, а все-таки находилъ возможность быть пьянымъ.

Однажды онъ сидѣлъ пьяный у Тарасовой. Романова не было. Ужинали. Тарасова смотрѣла на Макса съ сожалѣніемъ, хотя и сама была крѣпко выпивши. Максъ былъ положительно пьянъ и насупившись смотрѣлъ въ чашку. Глаза жмурились, жирное его лицо отсвѣчивалось, на усахъ болтались крошки ржаного хлѣба. Въ комнатѣ ихъ было двое.

— Максимъ Ивановичъ...

— А! — безсознательно сказалъ Максъ, потнувъ головой, и раскрылъ глаза.

— Жалко мнѣ тебя. Много ты водки пьешь.

— И-ихъ! вы!! — гикнулъ Максъ и ударилъ по столу лѣвымъ кулакомъ.

— Максъ! голубчикъ! — и Анисья Федоровна взяла лѣвую руку Макса.

Максъ въ первый разъ слышалъ такія слова, онъ широко раскрылъ глаза и дико смотрѣлъ на Анисью Федоровну.

— Посмотри ты на себя, Максъ, пожалѣй ты себя ради Господа Бога!..

— Эхъ!.. Плевать я на васъ хочу! — И Максъ рванулся такъ, что полетѣлъ со стула на полъ. Большихъ усилій стоило Анисьѣ Федоровнѣ стащить Макса къ постели. Она втащила его на свою постель, а сама улеглась на полъ. Утромъ Анисья Федоровна обругала Макса.

— Пьяница ты горькая! Креста-то на тебѣ нѣтъ... Сейчасъ вонъ изъ моего дома, чтобы и ноги твоей не бывало здѣсь у меня... Что ты мнѣ вчера наговорилъ, безстыдникъ эдакой? — Максъ ничего не понималъ. Онъ крѣпко запечалился: «одна была у меня добрая женщина, одна она только не обижала меня, и тагонить»... Двѣ недѣли Максъ не ходилъ къ Анисьѣ Федоровнѣ и въ это время Богъ знаетъ до чего онъ мучился. Онъ сталъ пить меньше водку и думалъ много о своемъ положеніи. Вѣдетъ наприцѣръ онъ съ почтой, смотритъ въ даль безсознательно, чув-

сочиненіи е. РАШЕТИНОВА, т. II-й.

ствуется тоска какая-то... Разсѣрдится Максъ, плюнетъ, завернется въ шинель, не спится... „Эхъ бы, Анисья Федоровна пожалѣла меня! Такъ нѣтъ, и та считаетъ меня хуже послѣдней собаки“... И ему становится хуже, хуже отъ того, что онъ дрянной человѣкъ и дряннымъ такимъ съ дѣтства сдѣлался... „Морда ты эдакая, гадъ!..“, ворчитъ Максъ, и самъ не знаетъ, кого онъ ругаетъ. И долго думалъ Максъ; и слезы его пролились, и ничего не придумаетъ хорошаго, кромѣ того: „эхъ, Анисья бы Федоровна не сердилась, ужъ я бы“... Что бы онъ сдѣлалъ, онъ не можетъ придумать: отстать отъ водки не можетъ, угодить чѣмъ ей — не знаетъ, подарить ее — обидится.

Шелъ онъ на рынокъ трезвый и думалъ о томъ, что ему не на что выпить. Попалась на встрѣчу Анисья Федоровна.

— Здравствуй, Максъ! — сказала она.

— Здравствуйте, Анисья Федоровна.

— Что же ко мнѣ не зайдешь?

— Боюсь.

— Приходи сегодня.

Максъ пришелъ трезвый и засталъ у нея какого-то приказнаго. Когда приказный ушелъ, Анисья Федоровна выставила на столъ полштофъ водки. Послѣ двухъ рюмокъ она завела съ Максомъ такой разговоръ:

— Отчего ты, Максъ, не женишься?

— На дѣшемъ что ли?

— Зачѣмъ на дѣшемъ.

— Не хочу, Анисья Федоровна.

— Вотъ видишь, Максъ, пьянство до добра не доводитъ. Будь ты трезвый, тебя бы полюбила дѣвушка, и ты бы хорошій былъ человѣкъ.

— Наплевалъ бы я на...

— Не плюй въ колодезь, пригодится...

— Не хочу!.. не тронь меня...

— Неужели у тебя желанья такого нѣтъ?

— Желанья нѣтъ? Естъ!.. Да что толку-то?... Пу, кто захочетъ со мной жить?

— Правда твоя... Только бы ты попробовалъ.

Максъ крѣпко задумался.

— Анисья Федоровна! — сказалъ онъ вдругъ.

— Что.

— Э, да нѣтъ ужъ!.. Не стоитъ. — И Максъ выпилъ сразу двѣ рюмки водки.

— Ну, что же?

— Да нѣтъ ужъ... Гдѣ мнѣ!..

Больше отъ Макса Анисья Федоровна ничего не добила, а Максъ опять мучился недѣлю и проклиналъ себя, что онъ не сказалъ ей, что она для него одна въ мірѣ добрая душа, и для нея бы онъ на все былъ готовъ. Про Макса говорили въ это время въ обиходныхъ конторахъ такъ: знаетъ Максъ, гдѣ раки зимуютъ, не даромъ Максъ ходитъ къ Анисьѣ Федоровнѣ, и Максъ странно ругался за это. Ему совѣтовали жениться на Анисьѣ Федоровнѣ, и онъ крѣпко сталъ подумывать объ этомъ предіетѣ.

Анисья Федоровна была замужемъ за почталіономъ, который умеръ отъ пьянства. Она была выдана замужъ силой и по временамъ водилась съ пріѣзжими почталіонами, за что ей жутко приходилось отъ мужа. Когда умеръ мужъ, она водилась уже открыто съ

почтало́нами, извлекая из этого себѣ насущный хлѣбъ, и почталіоны не ревновали другъ къ другу. Хотя Макся и слышалъ объ этомъ, но плохо вѣрилъ.

Когда онъ высказалъ ей свое намѣреніе жениться на ней, она посмѣялась и сказала:

— Я не хочу идти замужъ за пьяницу; да и за трезваго не пойду.

— Я не буду пить.

— Ходи такъ.

И сталъ Макся ходить къ Анисѣ Ѳедоровнѣ и такъ привязался къ ней, что не напивался пьянымъ, отдавалъ ей свои деньги, помогалъ ей въ томъ, что было не подъ силу Анисѣ Ѳедоровнѣ, угождалъ ей во всемъ и дѣлалъ все, что она ни велитъ. Макся блаженствовалъ три мѣсяца. За то пьянаго Анисѣ Ѳедоровна била Максю чѣмъ попало, гнала изъ дома, а онъ хвалился "Анисей Ѳедоровной".

Надѣ Максей смѣялись, что онъ зажилъ своимъ домкомъ и отдаетъ всѣ свои деньги такой женщинѣ, какъ Анисѣ Ѳедоровна, про которую идетъ худая слава въ почтовыхъ дворняхъ. Макся защищалъ свою Анисью Ѳедоровну и мало-по-малу воздерживался отъ пьянства.

Но и это продолжалось не долго. Сталъ Макся замѣчать, что Анисѣ Ѳедоровна предпочитаетъ другого почтало́на, гонять его отъ себя, когда сидитъ у нея почтало́нъ, а трезваго постоянно упрекаетъ, что онъ мало поситъ денегъ. Макся терпѣлъ мѣсяцъ, терпѣлъ два, отсталъ отъ нея на мѣсяцъ, потомъ опять пришелъ, но Анисѣ Ѳедоровна, свѣда знакомство еще съ другимъ почтало́номъ, срамила Максю. Макся стерпѣлъ, но когда въ другой разъ она упрекнула его, что онъ пропилъ ея серебряныя сережки, хотя она и говорила это пьяная, Макся озлился, прибилъ ее, прибилъ почтало́на, изломалъ много вещей и поналъ въ полицію.

За это буйство Максю перевели въ третеклассную контору.

Въ третеклассную контору Макся пріѣхалъ до того пьяный, что его едва-едва вытащили изъ тележки. Контора помѣщалась во второмъ этажѣ, а Макся не могъ идти по лѣстницѣ и упалъ у крыльца. Его стащили въ полицію, а на другой день почтмейстеръ отправилъ его обратно въ губернскую контору при такомъ донесеніи:

"Имѣю честь почтительноѣше донести опой губернской почтовой конторѣ, что присланный оною конторою почтало́нъ Максимовъ пріѣхалъ пьяный, какъ стелька, и не могъ сдать почты, а его вытащили изъ тележки, и онъ упавъ у крыльца, былъ мною послѣ повѣрки при немъ почты отправленъ въ полицію. Почему и покорнѣйше прошу съ препровожденіемъ сего почтало́на Максимова убрать его изъ моей конторы, какъ опаснаго и малоспособнаго и впередъ такихъ не присылать..."

Максю уволили въ отставку.

Долго шатался Макся въ губернскомъ городѣ безъ всякаго дѣла, пробиваясь болѣе у почтовыхъ, и былъ день сытъ, два голоденъ, день пьянъ, два дня съ похмѣлья. Максю нигуда не принимали на службу. Соштовали ему наняться въ солдаты, но онъ не пошелъ.

И Богъ знаетъ, что бы сдѣлалось съ бѣднымъ Максей, если бы надъ нимъ не сжался одинъ станціонный смотритель. Этотъ смотритель былъ его другъ Лукинъ, уже женатый человѣкъ. Онъ пригласилъ его въ пиваря.

Макся живетъ, нельзя сказать чтобы хорошо, но и не худо. Хозяинъ его кормитъ, даетъ ему денегъ на водку, а объ остальномъ Макся не заботится. Главное нравится Максѣ то, что онъ постоянно дома. Максю любятъ и проѣзжающіе, и ямщики; онъ со всѣми ладитъ и уговетъ всякаго удовлетворить. И славный человѣкъ Макся трезвый; рѣдко найдешь такого простаго и добраго человѣка, но за то жалко становится, когда запьетъ. А какъ запьетъ Макся, такъ и пьетъ цѣлый мѣсяцъ до того, что все съ себя спуститъ и никакими резонами не заманишь его на станцію. Ругается тогда Макся, хоть святыхъ вонъ неси, и гикаетъ на все село, и смѣшитъ же онъ тогда поселянъ!.. Лукинъ всячески старается поддержать Максю, но не можетъ. Онъ говоритъ, что Макся и трезвый заговаривается, т. е. съ ума сходитъ, нужно слѣдить за нимъ, потому что онъ начинаетъ отпѣвать въ тетрадкахъ ямщиковъ вмѣсто одиннадцати часовъ "три съ полтиной" и т. п.; а ночью ворчитъ съ просонокъ. "Но если, рассказываетъ Лукинъ, я начну его спрашивать, что мучитъ тебя, онъ говоритъ: — не твое дѣло; не я первый и не я послѣдній такой".

Что будетъ потомъ съ Максей — не знаю, и разрѣшать этотъ вопросъ предоставляю другимъ.

### III.

#### ШИЛОХВОСТОВЪ.

Подъ горой, близъ рѣки Дуги, протекающей мимо города П., назадъ тому нѣсколько лѣтъ стояли избушки и дома, построенные кажется при основаніи города. Эти дома и избушки были до того стары, что многіе изъ нихъ подпирались бревнами. Домохозяевами этихъ домовъ были рыбаки и харчевницы, а жили у нихъ круглый годъ бѣдные писцы, мѣщане, и лѣтомъ временно бурлаки и судоробочіе. Всѣхъ домовъ подъ горой было не болѣе тридцати, и они лѣпились другъ къ другу очень близко, потому что въ ширину по горѣ строить было нельзя, даже градъ было мало отъ того, что земля отъ дождей размывалась и отъ нея часто отваливались порядочные камни; въ длину строить тоже было некуда. Кромя этого весною на низкихъ мѣстахъ вода заливала дома по окна. Какъ бы то ни было, не смотря на разныя неудобства, напримѣръ на вѣтры и свѣгъ зимою, разливъ рѣки веснами, уносящій дрова и непривязанныя вещи, подмывъ домовъ отъ ручьевъ, льющихся съ горы отъ дождей, — обитатели слободы не думали переселяться въ другія мѣста. Здѣсь имъ былъ просторъ; здѣсь съ нихъ не спрашивали никакихъ городскихъ повинностей; они могли дѣлать все и если падало какое-нибудь подозрѣніе на слободу, то виноватыхъ не оказывалось, такъ какъ всѣ слободчане, какъ бы они ни были злы на кого-нибудь изъ своихъ товарищей, другъ друга не выдавали. На это они

имѣли свои причины, заключавшіяся главнымъ образомъ въ томъ, какъ говорится, „что отъ искры порохоъ загорается“. Рыболовствомъ занимались мужчины; женщины стряпали пельмени, пирожки, продавали пиво и водку. И такъ какъ у каждаго коренного обитателя слободки были, такъ сказать, свои занятія, свои трудовыя деньги, то иногда въ ссорахъ они энергично доказывали другъ другу свои права, которыя состояли въ томъ, *что ты мнѣ не указчикъ*. На основаніи вотъ этихъ-то правъ у слободчанъ и сложилась жизнь, непохожая на городскую. А именно: женщины занимались преимущественно торговлею не только внизу, въ своей слободѣ, но и вверху, на городскомъ рынкѣ, ссорились съ верхними торговками, надували покупателей; умѣли съ однимъ весломъ переплыть рѣку, ловили дрова, когда шелъ ледъ и т. п. Мужчины не считали за грѣхъ украсть лодку, канатъ и все, что плохо лежитъ за чертою слободки, и главное—свободно торговали въ городѣ рыбой.

Деньги не умолкали голоса женщинъ, а по вечерамъ говорили оба пола: жена доказывала мужу, что онъ подлець и она подлячка, поэтому они оба правы и другъ другу не должны мѣшать. Дѣло заключалось въ томъ, что въ слободкѣ во-первыхъ большинство домохозяевъ были раскольники, только на бумагахъ считавшіеся единоувѣрцами, а во-вторыхъ жизнь ихъ была такая, что они постоянно находились въ кругу народа, и напр. веснами предавались разгулу, а проникнуть въ ихъ внутреннюю жизнь постороннему человѣку было трудно, потому что въ мало-мальскомъ куражѣ посторонній человѣкъ, горожанинъ, которыхъ они ненавидѣли, улетѣлъ бы съ крыльца въ воду, а полиция знала только харчевни, да и то часто спорила съ служителями водяной коммунаціи, которая нѣрѣдко простирала свои права на слободку, какъ на прибрежныхъ жителей.

Нечего и говорить о томъ, что слободчане были народъ крѣпкій, сильный, сметливый. Отъ этого происходило то, что горожане иногда побаивались рыбачить на рѣкѣ противъ слободки, а слободскіе ребята всегда хорошо поколачивали городскихъ даже на бульварѣ, и безъ крику выносили наказаніе розгамъ.

Обрисовавъ въ нѣсколькихъ словахъ характеръ слободки, авторъ приступаетъ къ разсказу.

Почти въ самой серединѣ слободки стоялъ ветхій домъ въ три окна и съ дверью, на половинкахъ которой ничего не было написано и нарисовано. Казалось, что этому дому житья только до первой грозы, но онъ такъ засѣлъ въ землю своими срубами, что выдержалъ не только грозы, но и наводненія. Впрочемъ хозяинъ дома, Василій Терентьичъ Шилохвостовъ, обвязалъ его толстой веревкой и эту веревку привязывалъ за сосновыя деревья, находившіяся на горѣ,—какъ это дѣлали и другіе домохозяева.

Шилохвостовъ былъ рыбакъ; въ то время, какъ у него родился сынъ отъ Маланьи Карповны, на которой онъ еще не былъ женатъ, ему шелъ двадцать четвертый годъ. Рыбакъ онъ былъ сметливый; зналъ чуть-ли не всѣ мѣста рѣки на разстояніи тридцати

верстѣ, драчунъ былъ отчаянный, такъ что всѣ его называли „сорви-голова“, въ спорахъ только его и послушать, но водки не пилъ.

Маланья Карповна была существо Богомъ данное, такъ какъ объ ея отцѣ и матери въ слободкѣ никто не зналъ, а попала она въ домъ Шилохвостовыхъ очень случайно. Отецъ Василія Шилохвостова, возвращаясь домой съ дровами, увидалъ плывущую безъ человѣка лодку. А такъ какъ ему не хотѣлось упустить лодку, то онъ и привязалъ ее къ корнѣ своей на буксиръ. Когда же онъ сталъ ее втаскивать на берегъ, то увидалъ въ ней ребенка, уже полуживого. Тутъ къ нему подошла его мать и дѣло приняло такой оборотъ, что ребенокъ сталъ воспитываться матерью Шилохвостова.

Такъ и росла Маланька, какъ прозвали дѣвочку слободчане. Съ пяти лѣтъ начали замѣчать въ ней не то дикость, не то пугливость. Извѣстно, что торговки-рыбаки не могутъ выражаться негромко и вѣжливо, а почти каждое слово произносятъ гдѣ крикомъ, гдѣ руганьемъ. Слободскіе ребята въ этому привыкли; но Маланька отъ каждаго почти крику вздрагивала. Если что-нибудь заставляли ее дѣлать, то она смотрѣла дико, бѣжала, и бѣжала не туда, куда ее посылали. Съ годами это не только не уменьшилось, но увеличилось больше, и съ пятнадцатилѣтняго возраста она слыла во всей слободѣ за полоумную, такъ что всѣ отъ мала до велика старались обозвать ее какъ-нибудь, осмѣять ее. Но на всѣ эти насмѣшки она только хохотала и бѣжала прочь съ визгомъ,—что еще болѣе смѣшило молодежь и придавало имъ болѣе смѣлости безнаказанно потѣшаться надъ беззащитною дѣвчушкой. А что она была вполнѣ предоставлена самой себѣ, то это видно изъ того, что дома ее всѣ считали безсловесною скотиною, били и почти каждый день хотѣли прогнать изъ дому, но не прогоняли потому, что черезъ нее получали болѣе дохода, чѣмъ отъ собственной работы.

Развитіе ея остановилось на томъ, что она умѣла вязать чулки, варежки, стряпать пирожки, пельмени и черный хлѣбъ. Печь бѣлый хлѣбъ она никакъ не могла выучиться. Мало того, она не сѣумѣла научиться даже куклы шить: иглу совала не такъ, какъ бы слѣдовало.

Въ характерѣ ея на семнадцатилѣтнемъ возрастѣ замѣчали всѣ прилежаніе къ работѣ; и она — стряпала ли, вязала ли чулки — пѣла пѣсни большею частію любовнаго содержания; но привязанности ни къ кому не выказывала, что еще больше подстрекало мужчинъ къ насмѣшкамъ. Напримѣръ подскокитъ къ ней парень и начнетъ ее щипать, она хохочетъ и визжитъ, а не ругается и не дерется, какъ это дѣлается другими дѣвками рабочаго люда. Но горе тому, кто сильно надобѣсть ей и, такъ сказать, измучить ее: такъ укуситъ глубоко, что тотъ съ полгода прохвораетъ. Только на рынкѣ крѣпко доставалось ей отъ шаловливыхъ ребятъ. Подходить напр. кучка изъ пяти человѣкъ и одинъ отниметъ у нея скалку и побѣжитъ, она за нимъ, а товарищи его возьмутъ и опрокинутъ въ грязь корыто съ рубленою говядиной. За этимъ разумеется хохотъ слѣдуетъ по всей харчевнѣ: ругаютъ Маланьку мужчины,

ругают Малашку и женщины, которыми она очень не нравилась за то, что она не ругалась, не пила съ пирожницами водку, не нюхала табак, какъ это дѣлаютъ пьящія пирожницы и значить не сыпала табаку въ мясо, не допускала, чтобы въ ея мясо плывали сосѣдки, не зазывала крикомъ посятителей; да у нея и хватило смекалки огородить своими досками себя со всѣхъ сторонъ на два квадратныхъ аршина. Бѣдки пальмелей любили поѣсть именно ея пальмелей, потому что они оказывались хорошаго качества, хотя десятокъ ихъ стоилъ три коп. Одно только замѣчали торговки, что послѣ того какъ побалуешь съ ней парни или озорники-мужчины, она сядетъ въ уголь и давай *тотить*. Бабы сперва захохочутъ, а потомъ которая нибудь изъ нихъ примется уговаривать ее: что — „здрѣсь-де не лазаретъ, чтобы плакать. Плаканство въ своиѣ ты, проклятая, только деньги отъ насъ отбиваешь“... Но нигдѣ не плакала такъ Маланья, какъ дома, и то по ночамъ, и плакала она горько, такъ что разбуждала спящихъ. О чемъ она плакала? О томъ ли, что она неизвѣстнаго происхожденія, о томъ ли, что ее ругаютъ и смѣются надъ нею всѣ, о томъ ли, что ей Господь Богъ разуму не далъ? — она никому не говорила. Да если бы она и объяснила это кому-нибудь, такъ ея всакиѣ осмѣялъ бы.

Такъ ее всѣ и называли дурочкой. Такъ она и осталась дурочкой, когда родила.

Надо еще объяснить то, что семнадцати лѣтъ она не была красивой, а дѣвужкой съ смуглымъ лицомъ, не очень длинными волосами пепельнаго цвѣта, глаза у нея были каріе, не выражавшіе ничего особеннаго; росту она была средняго. Къ этому году, послѣ смерти стариковъ, она осталась хозяйкой въ домѣ и уже на рынкѣ не торговала. Василий Терентьичъ, единственный наслѣдникъ въ домѣ, не выгонялъ ее, но напротивъ, обращался съ ней, какъ съ сестрой, да и она такъ привыкла и привязалась къ нему, что когда его долго нѣтъ, то стоитъ — стоитъ на крылечкѣ, смотреть на одно мѣсто рѣки и вдругъ заплачетъ... Говорилъ ли Василий Терентьичъ что-нибудь Маланьѣ о любви своей, — неизвѣстно; одно только извѣстно, что Малашка родила сына, котораго Василий Терентьичъ взялъ на руки, поцѣловалъ и ухмылялся произнесъ:

— Али я подлець?... Человѣкъ, какъ есть: парня сотворилъ!

Когда пришли въ харчевню гости, онъ, показывая нѣтъ младенца, спросилъ:

— Въ кого?

— Въ тебя... глаза только чужіе.

— Што глазъ?! Вотъ вамъ слово: коли обликъ мой, — нитю окромѣ меня на Малашкѣ не женится. Голову тому отверну, кто только прикоснется къ ней — кричалъ отецъ, а на глазахъ его появились слезы.

Черезъ два мѣсяца онъ женился на Маланьѣ и усыновилъ Степана.

Маланья не изъясляла ни радости, ни удовольствія: ей какъ будто было все равно.

Нужно же было случиться такъ, что Василія Терентьича за воровство сослали въ Сибирь на третью году жизни Степана, а воровство было не пустое: утащилъ съ пристани три куска мѣди, каждый весомъ въ луда полтора и зашибъ до смерти караульщика. Перегнны въ характерѣ Маланьи Карповны не было никакой, только она теперь не плакала; надъ ней, какъ надъ женой и хозяйкой, не смѣялись, но она похудѣла, глаза впали и сдѣлались еще бессмысленнѣе. Къ мужу она ходила въ острогъ, просиживала по часу, но какъ вообще бываетъ въ простомъ народѣ, сидѣла молча, да и мужъ ея молчалъ или заговаривалъ съ посторонними о рыбной ловлѣ, о кражѣ вещей. Мужъ зналъ, какое ему будетъ наказаніе, но говорилъ, что онъ человѣкъ молодой и ему будетъ стыдно, если онъ не убѣжитъ. Живу онъ за собой не взялъ, да и она не напрашивалась. Маленькій Степанъ уродился въ отца: онъ скоро понималъ вещи, ругался, какъ и большіе, и когда возвращался изъ острога домой съ матерью, то храбро говорилъ кому ни попаало: „Татья убѣжитъ. Меня соплють — и я убѣгу рыбачить!“.

Когда Маланья провожала мужа — она не плакала, за то всю ночь не могла спать, а утромъ, часа въ два (дѣло было весной, во время разлива рѣки), четверо сосѣдей видѣли ее съ Стенкой съшедшими въ лодку. Когда одинъ мужчина спросилъ ее: „куда, Маланья Карповна?“ — она отвѣчала: „по рыбу“, и отплыла. Сосѣди удивились, пересказали своимъ семейнымъ, тѣ по-своему растолковали: „къ Царю!“, и въпрямую вслѣдствіе этого простого заключенія, сперва одна дѣвица, потомъ дѣловальничиха, за ней калашница и наконецъ пирожница приходили къ крыльцу дома Шиловостовыхъ и увидѣвъ, что дверь не заперта, вошли поочередно сперва въ избу (харчевню), потомъ въ комнату, поглядѣли на стѣны, изукрашенныя стараніемъ Василія Терентьича разными лубочными картинками, на кровать, занавѣшенную ситцевымъ пологомъ, на крашенные заводскія работы сундуки, поглядѣлись въ зеркало и ушли. Потомъ вся слобода занялась своими дѣлами, обѣ Шиловостовой вспомнили только утромъ на другой день, но поговорили не много.

Такъ прошла недѣля, въ концѣ которой обѣ ней уже успѣли всѣ позабыть.

Ровно на восьмой день Маланья Шиловостова, во второмъ часу утра, причалила къ берегу. Лодка ея была нагружена березками; сама она, кое-какъ вздернувши лодку на берегъ, ушла домой.

Рыболовы, увидѣвъ въ лодкѣ Шиловостова березки, расхохотались и пошли въ его домъ.

Маланья спала на кровати, но при шорохѣ скоро проснулась.

— Извини, Маланьюшка! Мы думали, какой грѣхъ случился, — сказалъ одинъ рыбакъ, старикъ.

— А какой грѣхъ-то! — отвѣчала скороговоркой, по пирожнически, Маланья.

— Березки тѣ зачѣмъ у те?

— А Троица...

— Троица когда была?.. А Степанъ-то гдѣ?

— Степанко?.. А почему я знаю... Степанко березки рубилъ...

— Грѣхъ!!

— Да ты гдѣ была-то?

— Гдѣ? Исака въ жертву приносила... — и Маланья захохотала.

Рыбаки вышли, потолковали и отрядили двухъ рыбаковъ плыть внизъ по рѣкѣ: одну по сю, другую по ту сторону.

Черезъ два дня рыбаки Мокрушкинъ привезъ въ слободу Степана, и вотъ что онъ рассказывалъ слободчанамъ.

„Остановился я у елки и гляжу: кабы это Степка сидитъ у огня. Ладно! Вздернулъ лодку, руку эдакъ — потому солнце въ глазъ (дѣлаетъ лѣвой рукой къ глазамъ) — онъ!.. Степка? — кричу... А онъ, шельмецъ, только языкъ показавъ... Ты што? — говорю. Онъ глаза цилить, ажно ошалѣлъ... — Рыбаки-то дома? — спрашиваю... Онъ што-то маячить — хая!.. вотъ провалиться... Вотъ я его накормилъ лукомъ да простоквашей и взялъ его съ собой, а самъ снасти поглядѣлъ: рыбы — дрянъ!.. Все налимъ поганой, а стерлядь одна... шука сперва большая егосила, да жалость — сорвалась, штобы ей триста разъ зубы выпали... Ну, побѣхалъ я, а самъ доглядываю, кабы Степка — паренекъ не юркнулъ. Хочешь — говорю — нсъ? — Нн... — А самъ глаза жмурить. А я сидѣлъ въ грѣбахъ, правило у меня што у васъ однако... Ложишь, говорю, спи... Ну, и заснулъ... Приплылъ къ балагану, гдѣ Еллинскій Куракинъ, да еще нѣмецъ *Покумаръ* пристаеъ ради шутовства... Тотъ мережи вѣситъ... Ну, онъ и толкуеъ вотъ што: „Бѣду де я съ мережъ и гляжу — на берегу лодка знакомая, на берегу огонь. Приплылъ; трубку наколотилъ — смотрю: мальченокъ къ дереву привязанъ и какъ заревеетъ!.. Я скорѣ, шаркъ ножомъ — чиррр!.. Мальченокъ бѣжать... Вдругъ — Маланья... — „Это што же“, спрашиваю Маланью. „Исака въ жертву.“ — Какъ я ее хлещь да еще... взялъ мальчонка и къ себѣ... Вотъ тѣ и все“...

Послѣ этого разсказа слободчане рѣшили выгнать изъ слободы Маланью, сломать домъ, а Степана Шилохвостова взять на поруки кому-нибудь.

Степана взяли на поруки цѣловальникъ Петровъ.

Маланью выгнали въ зашеи, но черезъ мѣсяцъ узнали, что она живетъ въ городѣ съ извозчикомъ Ходулинымъ.

И это опять исторія темная, но объясняется просто.

Ходулинъ былъ не городской извозчикъ, а обоимъ и притомъ ѣздилъ на чужихъ лошадяхъ; въ городѣ онъ бывалъ рѣдко и обѣдалъ въ харчевняхъ. Онъ еще до замужества Маланьи постоянно закусывалъ у нея и спалъ въ домѣ Шилохвостова. Конечно Маланья нелзя было, при всей ея глуповатости, не обратить вниманія на Ходулина, но она на всѣ его шутки и щипки постоянно отвѣчала хохотомъ, что вѣроятно еще болѣе подзадоривало подвижную натуру извозчика. Когда онъ узналъ, что Маланья вышла замужъ, ему стало даже завидно, что не онъ женится на ней.

Максимъ Ходулинъ на полторы четверти выше Маланьи. Человѣкъ онъ тѣлосложенія здороваго. Лицо обваренное, корявое, носъ отъ ушиба приплюснутъ. Ему въ годъ ссылики Шилохвостова было 27 лѣтъ. Глаза его выражаютъ что-то отчаянное, горделивое и вмѣстѣ

съ тѣмъ плутовское. Но нужно сойтись съ нимъ гдѣ-нибудь: болтовня необыкновенная, увлекательная, сарказмъ, до слезъ доводящій даже человѣка образованнаго.

И вотъ эта увлекательность, сарказмы прельщали не одну дѣвушку и женщину; но для Маланьи они были такъ себѣ, какъ и рѣчи Василія Терентьича.

Но вотъ когда прогнали ее изъ слободы и когда она, сидя въ харчевнѣ съ пятнадцатью рублями и семьюдесятью семью копѣйками въ карманѣ, да съ принадлежностями для пирожницы (по крайней мѣрѣ на 3 р.), угощала того и другого уже подгулявшихъ и опохмѣляющихся, вдругъ приходитъ Ходулинъ, важно спрашиваетъ на 30 к. пельменей, садится ближе всѣхъ къ ней, и вдругъ, на пятьдесятъ первомъ пельменѣ говорить ей смиренно:

— Лошадь у меня теперь своя, свой домишко въ городѣ завелъ; хозяйство свое заведу... Пельмени некому стряпать.

Маланья смотритъ на него дико, потому что хохочетъ.

— Чему же ты дура, смѣешься?... Хошь быть моею хозяйкой?

Маланья еще лучше засмѣялась, а Ходулинъ ей доказываетъ, что они славно заживутъ; онъ — извозчикъ, она — пирожница, мальчонка къ себѣ возьмутъ; товарищи его тоже совѣтуютъ Маланьѣ пріютиться у Ходулина на томъ основаніи, что мужъ ея каторжный.

Такъ и пріютилась Маланья у Ходулина, но цѣловальникъ Петровъ не отдавалъ маленькаго Степана, увѣряя всѣхъ, что онъ съ Васильемъ Терентьичемъ заключилъ на словахъ условіе такого рода, чтобы ему Петрову, до возвращенія Василія Терентьича, пріучать Степана къ дѣлу, воспитывать на свой счетъ. Да и Степанъ не шелъ къ матери.

Прошелъ годъ, прошло два, три и пять лѣтъ. Никакой перемены ни въ образѣ жизни слободчанъ, ни въ характерѣ Маланьи не случилось. Попрежнему торговали женщины въ слободѣ, по прежнему рыбачили и воровали слободскіе мужчины. Маланья жила съ Ходулинымъ согласно и хотя онъ, возвращаясь домой пьяный, и билъ Маланью, но она была терпѣлива по прежнему, торговала въ харчевнѣ и хотя не пила водки какъ прочіе, но уже умѣла ругаться. На ея поступокъ подруги не обращали вниманія, потому что онѣ сами были такія. Наконецъ на десятомъ году жизни Степана Ходулинъ прогналъ отъ себя Маланью и такъ какъ о мужѣ ея не было слуховъ ни въ острогѣ, куда она часто ходила, ни на пристани, гдѣ работали арестанты, то она поселилась у одного отставного рядового, сапожника Никитина, который сталъ требовать къ себѣ Степана.

Степанъ весь, какъ говорится, вылился въ отца, т. е. былъ силенъ, сметливъ и терпѣливъ. Онъ зналъ, что мать его ведетъ себя не хорошо и поэтому у него явилось отвращеніе къ матери. Къ кабацкой жизни онъ привыкъ, но не любилъ рыбачить. Мало того, что онъ сидѣлъ въ кабакѣ, онъ успѣвалъ обгѣгать на бойню, находившуюся вблизи кабака, и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на рѣзню быковъ и свиней, за что часто получалъ подзатыльники. Въ это время, десяти-

ти дѣтъ, онъ уже умѣлъ кого угодно обсчитать и разъ даже надуть самого повѣреннаго.

Никитинъ крѣпко взялся за свое дѣло. А Степанъ былъ ему нуженъ для того, чтобы имѣть помощника. Начальство не вняло воплямъ Петрова и присудило Степану жить съ матерью, но Степанъ сталъ бѣгать отъ нея къ Петрову и какъ мать ни драла его въ полицію, а онъ не унимался и наконецъ поступилъ на бойню.

Здѣсь не мѣшаетъ объяснить отличительную отъ прочихъ слободскихъ парней черту характера Степана. Бывало сидитъ-сидитъ въ углу лавочки, глаза у него сдѣлаются дикими, вдругъ вскочитъ и возьметъ плетку, висѣвшую около печки и употребившуюся Петровымъ въ видѣ науки на спинѣ Степана, и начнетъ этой плеткой стегать полуштофъ. Если ему попадется въ это время кошка, то онъ непременно отдуетъ ее. И зналъ онъ, что за это ему плохо будетъ, но ужъ какъ-то случилось такъ, что онъ выходилъ изъ себя. Если бывали гости въ кабаки, то онъ каждому отвѣчалъ на вопросы, возраженія, остроты; и если ему надѣдали, онъ вдругъ ни съ того, ни съ сего, начнетъ ругаться, и ругается такъ зло, что гости глаза на него выпучатъ. Однако съ ребятами онъ игралъ безъ скандаловъ, и если его обсчитывали на бабкахъ, онъ молчалъ и не дрался, какъ это бываетъ у ребятъ. Но случалось иногда, что если во время игры мимо него проходила какая-нибудь дѣвица, онъ кидалъ въ нее налиткой (бабка налитая оловомъ), глаза сверкали и ужъ его трудно было уговорить продолжать игру. За это онъ получилъ названіе отъ ребятъ—чудило, отъ дѣвицъ—злой.

Также онъ любилъ смотрѣть какъ наказываютъ преступниковъ. Но послѣ каждый смотринъ, онъ дѣлался печаленъ и шелъ прямо въ бойню.

Сперва, какъ водится, ему неловко было взяться за ножъ и очищать что-нибудь, но потомъ онъ такъ усовершенствовался и пристрастился къ своему занятію, что не зналъ, какъ ему провести свободное время.

Девятнадцать лѣтъ онъ уже кололъ быковъ. И нужно было удивляться, съ какою ловкостью онъ подплеталъ палкой ноги быка, скручивалъ веревкой голову и потомъ всовывалъ въ шею быка огромный ножъ, поворачивалъ этимъ ножомъ, потомъ всовывалъ ножъ въ горло и опять поворачивалъ. Въ это время на лицѣ его замѣчалось удовольствіе. Но надо замѣтить, онъ не могъ ѣсть мяса своего колотья, а для него покупали изъ рынка; по крайней мѣрѣ говорили такъ.

Двадцати двухъ лѣтъ онъ сдѣлался рослымъ, крѣпкимъ и красивымъ мужчиной, такъ что, когда онъ одѣвался въ черный кафтанъ, то слободскія дѣвицы заглядывались на него; но имъ казалась страшна его фигура, отъ которой ихъ пробирала дрожь.

— Быковъ колеть,—говорили онъ.

И если онъ приближался къ нимъ, онѣ бѣжали прочь съ крикомъ:

— Убейте! Глядите—съ ножомъ...

Особеннаго расположенія къ женскому полу онъ не выказывалъ, но у него была все-таки на примѣтъ одна дѣвица Хорькова, дочь городского булочника; только она на него не обращала вниманія и даже не знала, кто онъ. А онъ увидалъ ее разъ на рынкѣ, куда она приходила съ отцомъ за мясомъ, потомъ

случайно въ булочной. Сталъ онъ ходить въ булочную часто, заговаривалъ съ ней, но разъ отецъ подслушалъ его нанизывая слова и отправилъ въ полицію. Съ тѣхъ поръ онъ боялся ходить въ булочную, а бродилъ мимо оконъ. Какъ только кончитъ онъ свое дѣло, выкоется и пойдетъ въ городъ къ дому Хорьковыхъ; разъ пройдетъ мимо, два—нѣтъ дѣвки; зло беретъ.

— Возьму же я ее!—думаетъ онъ и сжимаетъ кулаки.

Въ одно изъ такихъ гуляній онъ увидалъ свою мать: идетъ она полупыльная, въ худенькомъ зипуншкѣ съ кошелемъ. Остановилась она передъ однимъ домомъ, поклонилась и проговорила:

— Подайте убогой, немущей, православные...

Ей подали старушка изъ окна ломтикъ ржаного хлѣба.

Степанъ подошелъ къ матери, рванулъ за рукавъ и сказалъ ей: пойдешь.

Съ этихъ поръ мать поселилась въ его комнаткѣ. Онъ жилъ на квартирѣ, потому что отцовскій домъ давно былъ кѣмъ-то срубленъ и истребленъ въ пачахъ.

Попытки завладѣть Хорьковой не удалось Степану, вотъ онъ и послалъ мать въ видѣ нищенки развѣдать: не собирается ли она замужъ. Мать сходила, но ничего не добила: ее даже прогнали изъ избы.

На другой день хватились Степана, а его нѣтъ, а черезъ день слобода была удивлена тѣмъ, что Степана Шилохвостова поймали въ спальнѣ дочери Хорькова съ ножомъ и онъ уже чуть-чуть не нанесъ удара ей, какъ два работника, слѣдившіе за нимъ со времени его перелѣзанія черезъ заплотъ, схватили его за руки. На вопросъ хозяина: „Что ты хотѣлъ сдѣлать, мошенникъ?“, онъ отвѣчалъ: „Хотѣлъ заколоть твою дочь, потому она мнѣ покоя не даетъ“.

Степана Шилохвостова посадили въ острогъ.

На другой день съ Шилохвостовымъ сдѣлалась горячка: онъ бредилъ, молотъ вздоръ. Однако ему не повѣрили, а стали снимать допросы. А такъ какъ онъ молотъ вздоръ, то позвали лекаря. Лекарь призвалъ его сумасшедшимъ, и только на другой день въ губернскомъ правленіи врачи нашла, что онъ нездоровъ.

По выздоровленіи стали его спрашивать:

— Зачѣмъ ты хотѣлъ убить дѣвицу Хорькову?

Шилохвостовъ молчитъ.

— Слышишь?

— Развѣ я хотѣлъ?

— Ахъ ты, мерзавецъ! Еще отпираться! Вѣдь ты самъ сознался до лазарета.

— Быковъ я точно билъ, а людей нѣтъ, вотъ провалиться на семъ мѣстѣ.

Бились съ Шилохвостовымъ два дня. На третій—онъ спросилъ.

— Такъ я точно не убилъ?

— Сознаешься—хотѣлъ?

— Какъ не хотѣть, коли я убилъ, потому я ее, ухъ! какъ любилъ.

Стали судить Шилохвостова и этот судъ продолжался полгода. Въ это время Шилохвостовъ велъ себя смиренно, изрѣдка игралъ въ карты, ни съ кѣмъ не ссорился, и если товарищи говорили ему: „Эхъ, голова, еще быковъ колоть, а дѣвку не могъ убить“, онъ вскакивалъ, вытягивался весь и ревелъ: „али не убилъ?“, такъ что всѣ оставались съ разинутыми ртами.

— Вотъ то-то, што не убилъ...

Шилохвостовъ начиналъ искать свой ножъ и метался по камерѣ, кидаясь то на того, то на другого. Удары его были такъ тяжелы, что арестанты перестали дразнить его, а только глѣздили, говоря:

— Эхъ ты, сердечный человекъ! Было бы за что въ каторгу идти... Эхъ!

Уголовная палата усомнилась въ здоровьѣ разсудкѣ Шилохвостова. Потребовали его на освидѣтельствованіе.

Лицо его похудѣло, глаза сдѣлались дикими.

— Такого-то числа ты былъ въ домѣ Хорькова?

— Точно такъ.

— Зачѣмъ?

— Хотѣлъ убить дѣвку—и убилъ, потому я ее любилъ очень, а она, стерва, нѣтъ...

— Съ какиѣмъ намѣреніемъ?

— Поправилась, потому чувствіе нѣтъ, потому кто Богу не грѣшенъ...

Члены захохотали.

— Для того только, что поправилась?

— Убилъ именно изъ-за того... потому единственно, зачѣмъ она презирала меня...

Опять хохотъ.

— Господа, онъ не въ здоровьѣ разсудкѣ,—замѣтить докторъ.

— Эдакая-то дубина? Что вы, г. докторъ! всѣ эти мерзавцы довольно хладнокровны.

— Однако позвольте мнѣ, какъ врачу, спросить его... Ты чѣмъ занимался?

— Коровъ-то билъ—быковъ колоть.

— Не надоѣло?

— Хоть сейчасъ, такъ вотъ какъ шарахну! (и Шилохвостовъ сдѣлалъ поворотъ такъ, что солдаты, до сихъ поръ улыбавшіеся, теперь приняли угрожающую позицію, а одинъ изъ членовъ вздрогнулъ).

— Ну, развѣ онъ не въ здоровьѣ умѣ?—замѣтилъ членъ.

— Ты говоришь: убилъ, а тебя схватили.

— Это точно схватили... Вотъ что обидно!

— Что?

— Зачѣмъ схватили, когда я съ быками управлялся? Небось, самъ бы пришелъ, сознался.

— Надо позвать дѣвцу Хорькову, потому что преступникъ увѣряетъ, что онъ ее убилъ,—предложилъ докторъ.

Но на это не согласился другой докторъ.

Присутствіе нашло Шилохвостова въ здоровьѣ умѣ. Палата рѣшила наказать плетями и сослать въ Сибирь.

Вдругъ умеръ палачъ и это сильно обезпокоило начальство.

Извѣстно, что палачъ играетъ въ глазахъ обвиненныхъ важную роль. Теперь только о томъ и было

рѣчи: кто будетъ палачъ? Было даже нѣсколько человекъ, которые хвастались тѣмъ, что они выпросятся въ палачи. Но вдругъ Шилохвостовъ и говорить арестантамъ.

— А что, ребята, меня приговорили къ плетямъ и говорить, что я дѣвку не убилъ, такъ я же говорю: буду я палачъ единственно для того, что дѣвку хочется застегать.

— А ежели придется мать свою наказывать?

— Не придется: она сумасшедшая, а сумасшедшихъ не дерутъ.

Послѣ этого разговора скоро Шилохвостова сдѣлали палачемъ, а двое арестантовъ сошли съ ума и попали въ домъ умалишенныхъ.

Въ первое время Шилохвостову неловко было въ родномъ городѣ исполнять должность палача и онъ частенько получалъ наказанія за неправильное выполнение своей обязанности, но потомъ такъ привыкъ, что даже гордился. Жилъ онъ въ острогѣ, въ особенной комнатѣ. Днемъ ему была дана полная свобода гулять по острогу, въ городъ онъ выходилъ съ полицейскимъ солдатомъ, а на ночь его запирали. Съ первой поры арестанты боялись его, но такъ какъ онъ былъ со всѣми вѣжливъ, то всѣ скоро привыкли къ нему: онъ любезно разговаривалъ съ ними, рѣшалъ ихъ споры, унималъ ссоры, и всѣ любили его. Случалось, если смотритель не могъ справиться съ арестантами, то приглашалъ Шилохвостова, и тотъ унималъ арестантовъ двумя-тремя словами, а потомъ смотритель говорилъ нотацію, какъ нужно обращаться съ арестантами. Но смотрители, вслѣдствіе ли нетрезвой ихъ жизни, или вслѣдствіе мотовства казеннаго имуществъ, мѣнялись часто, и такъ какъ они были вообще люди грубые, считали арестантовъ за такихъ людей, съ которыми и говорить не слѣдуетъ, не только что уважить какую-нибудь ихъ просьбу, то арестанты преимущественно стали относиться съ просьбами къ Шилохвостову: въ лазаретъ ли кому хочется, водки ли кому нужно, или на рынокъ сходить—Шилохвостовъ всѣ эти дѣла хорошо обдѣлывалъ и даже частенько давалъ денегъ арестантамъ. Дошло наконецъ до того, что ему нельзя было показаться во дворѣ во время прогулокъ арестантовъ: покажется,—всѣ обступятъ его, засыплютъ просьбами. Часто онъ жаловался стряпчимъ на дурную пищу и это очень не нравилось смотрителямъ, которые почти постоянно жаловались на него городничему, но жалобы ихъ почти никогда не уважались, потому что во время бытности Шилохвостова въ острогѣ не было ни одного бунта.

Однако, какъ арестанты ни работниствовали передъ Шилохвостовымъ, считая его царькомъ острога, все-же они и побаивались его, потому что, какъ ни была мала вина каждаго, каждый боялся того, что онъ будетъ наказанъ, да еще публично палачемъ. Вотъ поэтому-то всѣ и льнули къ нему и изрѣдка просили „не стегать шибко“. Шилохвостовъ только посмѣивался. Но нужно было видѣть арестантовъ наканунѣ наказанія; они со слезами вымаливали у Шилохвостова пощады, а онъ сперва тру-



нилъ, потомъ говорилъ: „помажу... Дуракъ, братъ, ты: алп я не человекъ! Вѣдь такъ-то еще, чать, много придется терпѣть“. Такъ онъ говорилъ бѣдникамъ и слово свое исполнялъ, дѣлая видъ, что наказываетъ изъ всей силы и даже при крикахъ городничаго: „шибче! самого задержу!“, привскакивалъ, но плеть ложилась легко, а не ударяла. Подобныя испытанія онъ часто даже дѣлалъ надъ арестантами въ своей комнатѣ. Были въ острогѣ и богатые арестанты и отъ нихъ онъ наживался много, такъ что отъ этихъ доходовъ имѣлъ въ городѣ свой домъ, въ которомъ жила его мать уже сумасшедшая. Онъ былъ до того честный человекъ, что всѣ деньги, бросаемыя на эшафотъ зрителями, собиралъ въ шапку несчастнаго и отдавалъ ему.

Прослужилъ онъ палачемъ десять лѣтъ и совсѣмъ измѣнился противъ прежняго: лицо стало блѣдное, не смотря на то, что онъ пьянствовалъ съ солдатами и арестантами постоянно; самъ онъ потолстѣлъ, волосы на головѣ вылѣзли, только борода придавала его лицу видъ степенный, въ выраженіи глазъ было что-то задумчивое и хотя онъ былъ человекъ веселый, но его красная рубаша и плисовые шаровары пугали всѣхъ. Онъ, т. е. палачъ, былъ угроза для всѣхъ нечиновныхъ людей половины губерніи. Въ самомъ городѣ Плошкѣ еще его не такъ боялись, потому что онъ часто рыбачилъ неводомъ (эта свобода ему была дана начальствомъ во вниманіе пригнѣрнаго поведенія и исправной службы), но за то въ уѣздахъ, куда его посылали для практики, онъ наводилъ ужасъ на крестьянъ и мѣщанъ. О женщинахъ и говорить нечего: тѣ его считали богоотступникомъ. Отъ этого съ нимъ бывали случаи такого рода.

Разъ онъ пріѣхалъ ночью въ одно село. Ъхалъ онъ на земскихъ въ сопровожденіи казака. Земскихъ не оказалось, да и Шилохвостову захотѣлось отдохнуть.

— Уложи-ка ты, братъ, меня спать, — говоритъ Шилохвостовъ старостѣ.

Староста молчитъ.

— Аль боишься?

— Погоди, я бабу спрошу.

— Дуракъ, коли бабьего совѣту спрашиваешь. Припомню я тебѣ это.

Староста затрясся и все-таки пошелъ къ женѣ.

— Офимья... палачъ...

— Што ты! Неужели у насъ? — всплеснула руками жена и вскрикнула.

— Я, багъ, стегать тебя...

— Господи!

— Да дай слово сказать: спать просится.

Долго вопила жена старосты, ревѣли дѣти; наконецъ староста пошелъ въ село искать для палача квартиры, но въ селѣ никто не хотѣлъ принять богоотступника.

— Лучше подъ плеть лечь, чѣмъ яво въ домъ пущать.

Когда староста воротился домой, Шилохвостовъ уже спалъ на лавкѣ у стола, на которомъ стоялъ пустой полуштофъ и лежала недоѣденная краюха хлѣба.

По отъѣздѣ Шилохвостова староста поднялъ об-

раза, т. е. освятилъ свой домъ посредствомъ священника.

Въ другомъ мѣстѣ, въ какой-то деревнѣ, Шилохвостову захотѣлось пообѣдать. Остановился онъ передъ однимъ домомъ и строго наказалъ ямщику не говорить никому, кто онъ. Въ домѣ были только старуха-бабка, женщина-мать, дочь-невѣста и еще трое ребятъ. Всѣ они съ удивленіемъ поглядывали на вошедшаго Шилохвостова, одѣтаго въ черный кафтанъ, красную рубашу и плисовые шаровары.

— Здорово, тетка! нѣтъ-ли чего пообѣдать?

— Нѣту родимый... мѣста-то здѣсь, самъ знаешь, какія...

— Да ты не разговаривай: у те што, хлѣбъ есть?

— Какъ не быть.

— Ну, вотъ и ладно. А говядину ты ѣшь?

— Каку говядину! Разъ въ свѣтловѣ Христовъ праздникъ... Горошница есть.

— Ну, вотъ и ладно. Давай — заплачу.

Усѣлся онъ за столъ, хозяйка-мать прислуживала, дочь-невѣста прядла куделю и взглядывала изъ рѣдка на него и краснѣла; ребята теребили его за кафтанъ.

— А ты, поштенный, изъ какихъ?

— Торговый человекъ, тетка: на площади знатно торгую краснымъ товаромъ и мужскимъ, и женскимъ.

— Это хорошо.

— А вотъ невѣста-то, поди, замужъ скоро выдетъ?

— Какъ не то: не все же въ дѣвкахъ сидѣть.

Между разговорами Шилохвостовъ выпивалъ водку и по мѣрѣ выпивки становился болѣе и болѣе разговорчивъ, шутилъ, острилъ, такъ что всѣ бывшіе въ избѣ до слезъ хохотали.

Пообѣдавши онъ поцѣловалъ всѣхъ, поцѣловалъ даже пришедшаго на ту пору жениха хозяйской дочери, далъ имъ рублевую бумажку; хозяйка-было не брала, но принуждена была взять. Шилохвостова вышли всѣ провожать, а около дома, удостоившагося принять купца, столпились народъ.

— Прощайте, православные. Теперь догадались ли, кто я? — спросилъ вдругъ Шилохвостовъ.

Жители деревни рты разинули.

— Видѣли: я крещеной?

— Крещеной.

— Такъ спасибо за угощеніе. самого палача Шилохвостова угостили.

Жители ахнули, а Шилохвостовъ уѣхалъ, и долго хохоталъ надъ своей шуткой.

Но эта шутка надѣлала большой переполохъ въ деревнѣ. Суевѣрные крестьяне, имѣющие много предразсудковъ, считающие палача бичомъ Божьимъ, напали на принявшихъ его къ себѣ. Тѣ божились, что они не виноваты, что вѣрно ужъ такъ Господь Богъ пристроилъ, послалъ имъ такое наказаніе. Но, не смотря ни на какія увѣренія, крестьяне положительно рассорились съ добрыми людьми и побожились не имѣть съ ними никакихъ дѣлъ. Мало этого, рассказали объ этомъ случаѣ въ сосѣднихъ деревняхъ, объявили въ селѣ начальству, что они Никиту Петрована не хотятъ имѣть въ своей деревнѣ; но начальство не вняло этой просьбѣ. Женихъ отказался отъ



невѣсты на томъ основаніи, что она изъ поганяго дома, а отъ парня, цѣловавшагося съ палачемъ, бѣжала каждая дѣвка, а общество нанерло-таки—сдѣло его въ солдаты... А семейство Петрована въ концѣ разорилось.

Въ характерѣ Шилохвостова долго ничего не замѣчалось выдающагося. Каждый день то онъ разговаривалъ съ арестантами, то ходилъ по городу, навѣщалъ мать, разѣзжалъ по другимъ городамъ, пилъ много водки, много спалъ,—однимъ словомъ жизнь была хорошая; но вдругъ въ немъ начала проявляться меланхолія: сталъ онъ показываться на арестантскій дворъ рѣже и рѣже, а если и выйдетъ, то сядетъ на землю въ уголокъ и молчитъ; всѣ деньги, полученные имъ отъ состоятельныхъ родственниковъ арестантовъ, онъ раздавалъ зря арестантамъ. Станутъ докучать ему разспросами и разговорами арестанты, онъ уйдетъ въ свою комнату, ляжетъ и смотритъ на одно мѣсто или строитъ изъ картъ домики. Даже водку сталъ пить рѣже. При исполненіи своей обязанности онъ сдѣлался нерѣшительнѣе и почти послѣ каждаго исполненія получалъ наказанія.

— Жениться надо тебѣ! — говорилъ ему другъ-пріятель, казакъ.

— Кто за меня пойдетъ, другъ любезный? А ты самъ знаешь, гульную дѣвку мнѣ не надо,—такихъ у меня и въ острогѣ много. А скучно мнѣ такъ, што и кажись бы готовъ въ воду.

— Полно: ты вѣдь не мало доходовъ-то получаешь.

— Плевать мнѣ на нихъ! Я бы дорого далъ тому, кто замѣнилъ бы меня. На волѣ я давно не жилъ... Э! пропадай моя голова,—заканчивалъ Шилохвостовъ и послѣ каждаго заключенія отъ него уже трудно было добиться слова.

Мать его умерла и послѣ ея смерти онъ еще сдѣлался задумчивѣе и его пріятнѣйшею прогулкой было кладбище.

Живя съ арестантами, нигдѣ разсужденія со всякими изъ нихъ, онъ зналъ характеръ почти каждаго; такъ же онъ зналъ и женскіе характеры. Конечно къ женщинамъ ему доступъ былъ трудный, но онъ все-таки могъ разговаривать съ ними и даже имѣлъ интимныя отношенія съ одной дѣвицей, Машей, 18 лѣтъ, посаженной за кражу серебряныхъ ложекъ на сумму свыше 40 рублей. Эта дѣвица впрочемъ не сознавалась. Зналъ ли про его связь смотритель и замѣнявшій эту должность квартальный надзиратель, только разъ полицеймейстеръ и говоритъ ему:

— А что, Шилохвостовъ, не думаешь ли ты жениться? У меня для тебя благородная есть.

— Покорно благодарю.

— То-то. Ты нынче что-то устарѣлъ въ своемъ ремеслѣ. Смотри, отставниъ.

— А што, в. в-дѣе, ежели бы я точно задумалъ жениться,—можно?

— Попробуйся.

— Да у меня въ острогѣ есть такая, Марья Огорошина.

— А, это што у купца деньги да серебро украла? Знаю, знаю.

— Точно такъ. Вотъ я и хочу уплатить деньги купцу и жениться на ней. А тамъ дѣло пусть по-своему.

— Ну ладно, послѣ поговоримъ.

Черезъ мѣсяцъ полицеймейстеръ объявлялъ Шилохвостову, что Марью Огорошину скоро выпустятъ, потому что „купецъ, по случаю своихъ имений и твоего согласія жениться на ней, прощаетъ ее. Жди разрѣшенія“.

Шилохвостовъ загулялъ, загулялъ и весь острогъ. Скоро Шилохвостовъ женился на Марѣ и жилъ съ нею дружно два года въ острогѣ и прижилъ даже съ нею сына.

Въ первый годъ женитьбы онъ былъ очень веселъ и начальство не могло даже нахвалиться на него, но на другой годъ къ нему опять вернулась меланхолія, а жена его вѣсто того, чтобы разсѣивать его думы, то и дѣло кормила его чѣмъ-нибудь въ родѣ того, что онъ сидитъ сложа руки, пьетъ много водки, не качаетъ ребенка. На третій годъ въ немъ начала появляться мономанія: пробудится онъ ночью и ворчить:

— Зовутъ!

— Куда?—спрашиваетъ съ испугомъ жена.

— Зовутъ. Надо идти... Ахъ, работы-то ужасъ!.. Поскорѣ надо.—И онъ начинаетъ одѣваться.

— Да куда ты? Вѣдь сегодня некого наказывать.

— Въ слободѣ теперь пятнадцать быковъ—изволь ихъ всѣхъ заколоть...

И онъ шелъ къ дверямъ. Двери были отперты во вниманіе его долготѣйшей службы.

— Куда, Шилохвостовъ?—спрашиваетъ его часовой.

— Постой! А гдѣ же у меня фартукъ?... Дуракъ! И ножа не взялъ...

Наконецъ онъ сталъ надѣвать часовыи, женѣ, смотрителю. Одинъ разъ солдатъ избилъ за то, что тотъ не пустилъ его на бойню.

Эта исторія больше продолжалась по ночамъ и по утрамъ мѣсяца три, днями онъ былъ въ здравомъ разсудкѣ, только изрѣдка задумывался.

Разъ ночью онъ выскочилъ изъ своей комнаты съ ножомъ и въ фартукѣ, токъ въ токъ какъ работникъ на бойнѣ и кричить:

— Гришка, что жъ ты? Не справишься одному!—И потомъ убѣжалъ въ комнату.

Немного погодя, въ комнату вошелъ смотритель съ солдатами. Въ комнаткѣ, теплилась лампадка Шилохвостовъ крошитъ ножомъ кровать. Жены его и сына въ это время не было въ острогѣ. Увидѣвъ вошедшихъ, онъ бросилъ ножъ и, схвативъ налку, ударилъ по плечу одного солдата и сказалъ:

— Ну-ну, христовая! ну-у!!

— Шилохвостовъ!—крикнулъ смотритель.

Глаза Шилохвостова горѣли, грудь поднималась широко; онъ широко размахивалъ налку; наконецъ смотритель приказалъ связать его и заперъ въ секретную.

Черезъ день привели Шилохвостова на освидѣтельствованіе.

Глаза его впали, щеки тоже, но были блѣднѣе прежняго.

— Освободите меня,—не могу,—сказала Шилохвостовъ.

— Чего же тебѣ нужно?

— Не могу безъ быковъ жить: страсть моя. Коли бабы не могъ застегать,—быковъ буду бить.

— А знаешь ли ты то, что ты третьяго дня совершилъ преступленіе?

— Ничего не знаю.

— Солдата прибилъ въ присутствіи смотрителя.

— Виновать, только это быкъ былъ, в—скородіе.

Доктора рѣшили, что Шилохвостовъ сумасшедшій, но губернское правленіе долго не хотѣло признать его такимъ и только во вниманіе его усердной службы и прищѣрнаго поведенія рѣшило несылать въ Сибирь, а водворить въ сумасшедшій домъ.

Черезъ недѣлю Шилохвостовъ перерѣзалъ себѣ горло и былъ похороненъ, какъ собака. Провожала его только жена, которая въ настоящее время торгуетъ водкой.

#### IV.

#### ТЕТУШКА ОПАРИХА.

Бывши въ дорогѣ прошлыми лѣтомъ между Е. и Т., я захворалъ. Ъхалъ я на морозникъ: обозный ямщикъ ѣхалъ въ Т. за кладью. И не смотря на то, что мы ѣхали съ пустыми телѣгами, лошади шли шагомъ и ямщикъ непонуждалъ ихъ, говоря, что надо же и нѣтъ, т. е. лошадямъ, вольготность дать. А такъ какъ лошади шли тихо, то телѣгу сильно трясло, такъ что, проѣхавъ такимъ манеромъ дѣвяти пятидесяти верстъ, я подумалъ отдохнуть гдѣ-нибудь.

Объявилъ я о своей болѣзни ямщику, тотъ ничего не сказалъ. Объявилъ въ другой разъ—онъ улыбнулся и какъ-то недовѣрчиво посмотрѣлъ мнѣ въ лицо. Однако я потомъ уже надобѣлъ ему.

— И!.. Што жъ такое — болѣзь!.. И отчего у те болѣзь?..

Я сталъ его увѣрять, что болѣзь и съ нимъ можетъ случиться; онъ съ этимъ согласился и рассказалъ, какъ въ которомъ-то году онъ такъ захворалъ въ дорогѣ, что его чуть не мертвого привезли въ село и какъ его вылечила тетушка Опариха; потомъ онъ вдругъ спросилъ меня:

— Больно болить-то?

— Больно, хотъ помирять, такъ въ ту же пору.

— Эко дѣло!.. Гм... На постоянный не пустять, потому — поилудуй Богъ... возня!.. А нхнее дѣло тоже... гдѣ возжаться!.. Одново разу эдакъ семинаристъ на постояломъ захворае... Такъ што жъ бы ты думалъ?.. Всѣ отъ него захворали... Ыйда!.. Увели къ одному мужику—и тамъ всѣ захворали... Оказія!..

— Ну, моя болѣзь не такая.

— Кто тебя знаетъ... А ты ужю потерли денекъ-то... право! можетъ вѣтеръ-то и разнесетъ... Можетъ и придетъ... А тутъ къ Опарихѣ.

— Что же это за женщина?

— Женщина?—ямщикъ замолчалъ и немного погодя началъ:—женщина, скажу я тебѣ, вотъ какая:

супротивъ ее никто!.. Право. Мекаю я: ума у ней напрантано вездѣ много... баба, скажу я тебѣ, особая!

— Какъ такъ?

— Да такъ: на все мастерица. Нашииъ бабамъ—и!!.. Въ науку бы ихъ всѣхъ къ ней... Ну, и опять тоже баба ходокъ... Такой ходокъ, што я и не слыхвалъ окроя ее. Вотъ тѣ Христосъ.

— Чѣмъ же она занимается?

— Всѣмъ. Чѣмъ ни захошь—всѣмъ!.. Што ни вздумай—это она... Вотъ она кака!

Ямщикъ замолчалъ и какъ я ни просилъ его опредѣлить мнѣ занятія Опарихи, онъ сперва только хвалилъ ее, а потомъ сказалъ:

— Увидишь. На што вотъ это: ежели бы ты, поилудуй Богъ, слышать пересталъ,—вылечить!.. Ей-ей, вылечить, да такъ, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра!!.

Я такъ и заключилъ, что тетушка Опариха нѣстная лекарка. Подобныхъ лекарокъ я знаю много и поэтому меня нисколько не удивила восторженность ямщика. Однако я спросилъ его:

— А что, если я не въ состояніи буду ѣхать дальше, можно остановиться у Опарихи?

— Безъ сумѣнія. На меня положишь,—все сдѣлаю, только ежели застанешь ее.

— А она развѣ не всегда дома бываетъ?

— Не всегда. Можетъ въ городъ уѣхала.

— Что жъ она тамъ дѣлаетъ?

— Што? Мало-ли у ней хлопотъ-то?.. Можетъ и продавать што уѣхала, а можетъ што и выглядѣть.

И такъ, Опариха еще торговка, а можетъ быть у нея есть еще какія-нибудь занятія. Тетушка Опариха стала интересоваться мною. Перебирая въ памяти различныхъ женщинъ, занимающихся какинъ-нибудь ремесломъ безъ мужской помощи, и приобретающихъ себѣ пропитанія на столько, на сколько нужно для существованія простой сельской женщины, я пришелъ къ тому заключенію, что Опарихѣ трудно одной нѣтъ нѣсколько дѣлъ и въ селѣ, и въ городѣ. Вѣроятно у нея есть какой-нибудь помощникъ, думалось мнѣ.

— Опариха замужемъ?—спросилъ я ямщика.

— Овдовѣла годовъ чуть ли не пятнадцать. А што?

— Значитъ она старуха?

— Старуха!—ямщикъ захохоталъ и прибавилъ:—за поясъ заткнеть десятерыхъ молодыхъ, вотъ што..

— Семейство у нея есть?

— Нѣту—одна.

На этомъ мы и покончили разговоры объ Опарихѣ. Мнѣ захотѣлось познакомиться съ нею; ямщикъ сказалъ, что коли я дамъ на полштофъ, онъ все дѣло справитъ какъ нельзя лучше.

Черезъ день мы пріѣхали въ село. Село это стоитъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ большой дороги; и ѣхали мы черезъ него для сокращенія пути. Какъ и вездѣ, село не отличается изяществомъ построекъ и окружающая его мѣстность не очень привлекательна. Расположено оно на ровномъ мѣстѣ, пересѣкаемомъ двумя маленькими рѣчками, черезъ которыя сдѣланы мосты въ томъ мѣстѣ, гдѣ идетъ дорога. Дома большею частью двухъ и трехъ-оконные, съ высокими

крышами, съ покрытыми соломою сараями. Всѣ они выходить кривою линіею на широкую дорогу—единственную въ селѣ улицу. Передъ нѣсколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или еще довольно молоды, или уже засохли, и посажены они, какъ объяснилъ ящичекъ, не изъ желанія нѣтъ передъ глазами дерево или ради украшения, а по приказу становаго пристава; „суть“ приказа становой не объяснилъ крестьянамъ, но крестьяне думаютъ, что они растутъ для того, чтобы въ случаѣ расправы не ходить далеко въ лѣсъ за вицами. Въ селѣ есть деревянная, невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами и вокругъ ея недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяютъ костюмами: мужики ходятъ въ синихъ изгребныхъ рубашкахъ и штанахъ, босые; женщины въ синихъ изгребныхъ сарафанахъ, съ платками и безъ платковъ на головѣ также босыя; дѣвушки въ такихъ же сарафанахъ и, въ отличіе отъ женщинъ, съ открытыми головами и болтающимися сзади косами, безъ лентъ, завязанными ветхими и замасленными до чрезвычайности шнуркомъ. Нельзя также сказать и того, чтобы какъ дѣвушки, такъ и мужчины были красивы, но здоровьемъ и дородствомъ обладаетъ по преимуществу женскій полъ. Около дворовъ, позади построекъ, огородовъ нѣтъ, а огородные овощи растутъ на полѣ, въ перемежку со льномъ. Направо, смотря съ дороги, за селомъ, по холмистой мѣстности, разстилаются пашни съ желтѣющимъ рожью или съ сѣрою кочковатою землею; нѣтъ растетъ мелкій кустарникъ.

Когда мы пріѣхали въ село, былъ полдень; погода стояла пасмурная. Я чувствовалъ себя лучше, но мнѣ хотѣлось пожить здѣсь съ недѣлю, и мой ящичекъ остановилъ лошадей у одного трехкооннаго дома, стоящаго наискосокъ отъ церкви. Домъ этотъ своею плаксивою наружностью ничѣмъ не разнился отъ другихъ построекъ. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердакѣ, безъ рамы и стеклы, такія же черныя съ вырѣзками ворота, такая же соломенная крыша на сараѣ, такія же въ оконныхъ рамахъ разбитыя стекла, заклеенныя бумагой, или заткнутыя тряпками, такой же на трубѣ горшокъ, положенный въ опрокинутомъ положеніи для того, чтобы вѣтеръ не гналъ дыма обратно въ избу.

Ящичекъ постучалъ въ одно окно. Въ домѣ какъ будто никого не было. Поэтому онъ пошелъ во дворъ, и немного погодя, вышелъ оттуда съ дѣвушкой лѣтъ десяти или двѣнадцати.

— Нѣту, ушла...—сказалъ ящичекъ.

— Такъ какъ же?

— Да надо подождать... Ты посиди, а я схожу...—Ящичекъ пошелъ и скрылся за церковью.

Четверо ребятъ подошли къ телѣгѣ и съ боязливыми любопытствомъ смотрѣли на меня. У меня была въ узлѣ городская булка и я, желая расположить къ себѣ ребятъ, показалъ имъ булку, но они долго боялись подойти ко мнѣ. И когда одинъ изъ нихъ, мальчикъ побойчѣ другихъ, взялъ хлѣбъ, то другіе окружили его, нѣсколько минутъ ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ѣли.

— Что жъ вы не ѣдите?—спросилъ я.

Они улыбнулись, хотѣли что-то сказать, но замаялись и попытались назадъ.

Пока я думалъ, чѣмъ бы мнѣ приласкать ихъ, казался мой ящичекъ, наущій позади какой-то высокой, худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался какъ можно лучше рассмотреть ее.

Шла она, глядя въ землю, какъ будто что-то соображая. На ней былъ синій изгребной сарафанъ, на головѣ ситцевый голубой платокъ, ноги босыя. На видъ ей казалось годовъ сорокъ, но на продолговатомъ блѣдномъ лицѣ не было ни одной морщинки. Нельзя сказать, чтобы лицо ея было красиво; не замѣчалось на немъ и той блѣдности, какая бываетъ у отпѣвшихъ красавицъ; губы плотно сжаты, такъ что подбородокъ поднималъ выше обыкновеннаго; носъ широкій, толстый, глаза сѣрые, лобъ низкій. Но это было одно изъ тѣхъ лицъ, которыми, неизвестно почему, нравятся все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ вы вглядываетесь въ нихъ. Не смотря на строгій взглядъ сѣрыхъ глазъ, въ выраженіи лица было что-то такое, что сразу привлекаетъ и долго остается въ памяти. Я снялъ фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула дѣвочкѣ:

— Ты что тутъ, образина!.. Такъ развѣ вяжутъ?

Голосъ былъ здоровый, даже очень крикливый. Дѣвочка юркнула во дворъ. За ней вошла и женщина.

Ящичекъ сказалъ, что эта женщина—тетушка Опариха, отворилъ ворота и ввелъ лошадей во дворъ, не очень длинный, но крытый, какъ на постоялыхъ дворахъ, и могущій вмѣстить въ себѣ до десяти возовъ.

Вошли мы по лѣстницѣ сперва на крыльцо, потомъ въ просторныя сѣны, гдѣ было душно и куда свѣтъ проходилъ только изъ дверей. Налѣво вели двери въ просторную избу съ двумя окнами, выходящими на дорогу, и однимъ—во дворъ; направо была небольшая горенка съ однимъ окномъ.

Не смотря на то, что съ виду домъ казался старымъ, внутри этого не было замѣтно: стѣны не покосились, половицы не скрипѣли, полати на видъ крѣпки, на печкѣ незамѣтно ни одной щели. Стѣны какъ избы, такъ и горенки бревенчатыя; въ избѣ очень весело, чисто, пахнетъ вареной кашею и только-что выпнутымъ изъ печки ржанымъ хлѣбомъ. Одно только неудобство въ этой избѣ,—много мухъ, но на нихъ хозяйка не обращала никакого вниманія.

Я сѣлъ къ окну, и вдругъ у меня появилось желаніе пожить нѣсколько дней въ этомъ домѣ. Мнѣ все показалось въ немъ мило, даже самое село сдѣлалось мнѣ милѣе всякихъ городовъ. Хозяйка накрыла столъ изгребной синей скатертью, принесла хлѣба, ложекъ. По счету ложекъ я замѣтилъ, что она нагнѣрена была и меня угостить.

Ящичекъ усѣлся за столъ. Хозяйка стала угощать его пивомъ и сѣтовала на нынѣшнее дождливое время.

— Ну, какъ у те урожай-то?—спросилъ ящичекъ.

— Слава Богу, ничего... А ты-то штосмотришь? Садись!—сказала она мнѣ.

— Не могу, нездоровъ.

— Поѣшь, лучше будетъ.

И съел и показывалъ видъ, что ѣмъ черезъ силу, но между тѣмъ улетаешь съ аппетитомъ, ибо былъ голоденъ. Насъ сидѣло за столомъ только трое; дѣвушка въ горенкѣ прjala кудель. Ямщикъ, какъ видно, былъ коротко знакомъ съ Опарихой, но относился къ ней какъ къ женщинѣ практичной и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ совѣтовался съ ней; она давала совѣты толковые и подходящіе къ крестьянскому быту. Ямщикъ говорилъ о своей женѣ.

— Не могу я, тетушка, справиться съ ней. Такая безшабашная,—страсть... Теперича я приѣзжаю домой. Ну, сама знаешь, съ дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить... Тоже, поди-во, хозяйство, ребятишки... А она, штобы ея... говорить: въ городъ ушла, какъ я о прошлую пору... Ну, не обиди ли?

— Не надо бы жениться на ней.

— Да чортъ въ ея душу-то поганую влѣзетъ, прости меня, Господи... Право, кусокъ нейдетъ въ горло... Такъ мнѣ все опротивѣло дома; такъ бы и не глядѣлъ ни на што. Только ребятъ-то и жалко, а то бы плевать...

— Ну, и что жъ, ты видѣлъ жену-то?

— Прожилъ я четверы сутки—авилась. Я ничего, молчу,—потому что жъ ее беспокоить, да и бить—руки не стоятъ марать. А она, тетушка, какъ есть, не поздоровалась со мной: сѣменить по домашности: только теща ворчитъ: „у, ты, говоритъ, такая, саякая!“—А мнѣ: „что жъ ты, рази чужой? Полѣномъ, говоритъ, ея“... А мнѣ сердце какъ будто ножомъ рѣжетъ... Вышелъ я изъ избы да къ куму, тотъ употчивалъ лепо... Такъ на пятны сутки и уѣхалъ. И ума не приложу: што это съ ней? Вѣдь и учивалъ я ее, да только толку-то нѣтъ.

Тетушка вздохнула и сказала:

— Ты бы ей хорошенько растолковалъ: молъ, хотъ бы для ребятъ-то старалась. Ну, сама посуди, какъ вы дѣти-то будутъ, коли мать такая: рази они не понимаютъ?

— То-то!

— То-то, мужичин вы, а смекалки у васъ нѣтъ. Я тѣ што говорила раньше — забылъ? Теща-то у васъ какова? не отъ нея ли всѣ эти штуки?

Ямщикъ почесалъ голову, причесть кожа на лбу поднялась выше обыкновеннаго и образовала нѣсколько морщинъ; глаза приняли соображающее выраженіе; онъ какъ будто говорилъ: „и этого, молъ, я не обдумалъ раньше“.

Разговоръ объ этомъ предметѣ скоро замѣнился примѣрами тетунки Опарихи, которая защищала только однихъ женщинъ и доказывала, что въ подобныхъ случаяхъ виноваты сами мужичины. Однако ямщикъ не вполне соглашался съ ней.

Отобѣдали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщикъ пошелъ во дворъ къ своимъ лошадамъ; я за нимъ.

— Ну, что: видно ѣхать надо? — спросилъ я ямщика.

— Тебѣ што ли? И не возьму... хотъ ты кому кошъ жался — не возьму.

— Но гдѣ же я буду жить? Вѣдь ты ей не говорилъ ничего?

— Не съ бухимъ-баракты...

Я пошелъ къ крыльцу.

— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крыльцѣ-то.

Просидѣлъ я съ часъ. Ямщикъ между тѣмъ уладился съ лошадьми и справилъ все, что слѣдуетъ для дороги, даже овса и сѣна взялъ у Опарихи въ долгъ. У амбарной двери ямщикъ разговаривалъ съ Опарихой, дѣлая различные жесты руками, снимая шапку и утирая лицо грязнымъ платкомъ, лежавшимъ постоянно въ шапкѣ. Хозяйка не дѣлала никакихъ жестовъ, но замѣтно было, что сообщаемое ямщикомъ было ей не по сердцу, такъ какъ она нѣсколько разъ порывалась тронуться съ мѣста и уйти. Что они говорили между собою, я не слышалъ. Только смотрю, ямщикъ отпираетъ ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.

— А ты што? — спрашиваетъ она меня. Я понималъ, что вопросъ означаетъ: зачѣмъ я сижу.

— Неадоровъ я, тетушка.

— То-то неадоровъ? а ѣлъ зачѣмъ не въ мѣру?

— Обидѣть не захотѣлъ.

— Кака болѣзнь-то? Лиха немочь, што-ли?

Я молчалъ.

— Приказей?

— Да, — сказалъ я тономъ больного.

— Пачпортъ-то у те наперво надо оглядѣть... Ну-ко?

Ямщикъ стоялъ у крыльца и что-то часто чесалъ голову. Онъ боялся ударить лицомъ въ грязь, не зная что я за человекъ. Отъ моего паспорта зависѣло расположение къ нему Опарихи.

Мы вошли въ избу.

Отдалъ я мой паспортъ Опарихѣ. Она поглядѣла на писаніе, на печать; подозвала ямщика, потомъ сказала: отойди! и крикнула:

— Окулька!

Явилась дѣвочка.

— Неси свѣчку.

Дѣвочка не торопясь ушла и черезъ нѣсколько минутъ пришла съ зажженной сальной свѣчей.

Опариха взяла мой паспортъ въ обѣ руки и, держа его между собою и свѣчкой, стала глядѣть на него. Вѣроятно она хотѣла удостовѣриться дѣйствительно ли бумага гербовая.

— Фальша! — сказала она; но въ ту же минуту взяла свѣчку и ушла въ сѣнцы; за нею вышли ямщикъ, дѣвочка и я.

— Ербова?.. гляди! — сказала она ямщику.

— Ербова! цѣна рупь... цифру вишь?

— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые... Окулька, гляди!

Дѣвочка тоже стала глядѣть и сказала: птица!

Затѣмъ хозяйка, спрятавъ мой документъ въ карманъ сарафана, ушла въ избу, изъ избы въ горницу; дѣвочка спустилась во дворъ и стала загонять къ одному углу курлицъ, а ямщикъ тронулся.

— Счастливо оставаться, — сказалъ онъ мнѣ.

Такъ какъ безъ паспорта я не могъ ѣхать, то и не сталъ задерживать ямщика. Онъ даже не спросилъ съ меня на поштофъ вѣроятно потому, что по раз-

счету онъ долженъ бы былъ возвратитъ мнѣ около двухъ рублей денегъ.

По отъѣздѣ ямщика я сѣлъ на крыльцѣ.

Было очень скучно, въ особенности съ дороги, когда хочется спать. Въ другое время и при другомъ положеніи я уснулъ бы сидя, гдѣ попало; но теперь въ незнакомомъ мѣстѣ могъ ли я спать, думая: а вотъ-вотъ выйдетъ хозяйка, что-то она скажетъ?

— Ты што-жь тутъ торчишь? — услышалъ я вдругъ сердитый голосъ.

— Извини, тетушка... ямщикъ не взялъ: я, говорить, боюсь, какъ бы мнѣ плохо не было дорогой.

— То-то не взялъ! Чай у те я пачпортъ-то не настоящій... Ну, чего сидишь тутъ?

Я не зналъ, что мнѣ дѣлать: отправиться ли въ избу, или идти куда-нибудь.

— Окулька, постели кошку-то въ сѣняхъ! — крикнула хозяйка дѣвочкѣ и потомъ сказала мнѣ: ты лягъ тамъ въ сѣняхъ, тулуномъ одѣнься, взойрѣй... Ужо малыны дамъ испить. — Она ушла въ избу.

Немного погодя, я уже лежалъ въ сѣняхъ на широкой скамьѣ, куда принесли войлокъ, подушку и овчинный тулупъ. Лежалъ я раздѣвшись, накрывшись пальто, а не тулуномъ, потому что въ сѣняхъ было и безъ тулупа жарко. Хозяйка принесла мнѣ чайникъ и чашку. Чайникъ былъ горячій.

— Вотъ пей, — сказала она и поставила чайникъ и чашку на полъ.

— Покорно благодарю, тетушка... Какъ бы не ты, не знаю, што бы...

— Ну... завтра баню испляю... Теперь только согрѣйся.

Хозяйка ушла въ избу и минуты черезъ три изъ избы послышался крикъ хозяйки и плачь дѣвочки.

— Это што? Я тебя што заставляла дѣлать?.. лодырничать?! Вотъ! вотъ!

Хозяйка была дѣвочку.

— Въ уголъ, на колѣни! — кричала хозяйка.

Скоро я заснулъ.

Рано утромъ встала хозяйка, растолкала пинками дѣвочку и заставила топить баню. Такъ какъ я лежалъ въ сѣняхъ не противъ двери въ избу, то и не видалъ, что дѣлала хозяйка, только слышалъ, что она щепала лучину, шлепала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ногъ, ругала кого-то чортомъ, что-то шептала, и когда воротилась дѣвочка, она ее два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлѣбную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла какъ слѣдуетъ деревянную чашку и т. п. Хозяйка страпала, а дѣвочка бѣгала взадъ и впередъ то по избѣ, то по сѣнямъ, ругая шопотомъ хозяйку.

Не знаю, сколько времени я пролежалъ, переворачиваясь съ боку на бокъ. Вдругъ въ сѣни входитъ крадучись невысокаго роста мужикъ въ зипунѣ.

— Здорово живете! — сказалъ онъ и снялъ шляпу, обращаясь къ моему ложу. Вѣроятно онъ принялъ меня за члена семьи.

Я промолчалъ.

— Дома тетушка-то Степанида Онисимовна?

— Дома.

Крестьянинъ вошелъ въ избу и не заперъ за со-

бою дверь. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и разспросовъ съ обѣихъ сторонъ о здоровьи, настало молчаніе.

— А я къ тебѣ, тетушка Онисимовна, со своимъ съ горемъ... Охъ!

— Какое у тебя опять горе? Въ кабакъ что заложилъ опять?

— Охъ, не то, тетушка... Кабакъ што!.. А вотъ оно, горе-то, и не думалъ совсѣмъ... Кабы зналъ... Вѣдь лошадь-то пала.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Истиннымъ Богомъ говорю.

Настало опять молчаніе; только слышно было, какъ крестьянинъ всхлипывалъ.

— И думалъ ли я?.. И что это за годъ нонѣ: первую лошадь украли, а эта пала... А лошадь-то какая лядущая была... Ну, что я теперь за крестьянинъ?

— Ужъ истинно годъ нонѣ такой. Сколько лошадей-то пало!

— И не говори... Всѣ тоже говорятъ: моръ такой, што и не бывало такого... Такъ, какъ ты думаешь насчетъ этого?

— Повремени маленько. Каниталь-то есть ли?

— Ни... Вотъ одна надежда была: рѣны, моль, продамъ...

— Ну, на рѣну-то много не полагайся... подожди овса... это лучше.

— Да што овесъ...

— Какъ што? А ты продай мнѣ ово! сколько возьмешь?

— Не хотѣлось бы продавать-то...

— Да и не все.

— Надо хозяйку спросить.

Тетушка и гость снова замолчали. Первый прервалъ молчаніе крестьянинъ.

— Ну, а ты сколько назначишь на счетъ овса-то?

— Почемъ я знаю, сколько выдетъ? Надо на дѣлѣ увидать, да потомъ и дать пѣну.

— Это ты справедливо... А вотъ я спекаю: Илья Ковловъ ужъ давно хочетъ пропить свою лошадь.

— Вотъ и покупай.

— То-то што денегъ нѣту.

— Достанешь. Только ты на счетъ овса рѣшай дѣльнѣе да толкомъ, чтобы онося ни тебѣ, ни мнѣ не было въ обиду.

— Всево-то жалко, потому прикупать не хотѣлось бы.

— Ну, тамъ увидимъ.

Немного погодя, крестьянинъ, поблагодаривъ хозяйку за совѣтъ, ушелъ, разговаривая самъ съ собою вполголоса.

Черезъ полчаса послѣ ухода крестьянина, къ моему ложу подошла дѣвочка и робко сказала мнѣ:

— Тетенька велитъ идти — баня поспѣла.

— Скажи, что я не могу такъ идти, — отвѣтилъ я, указавъ на себя. — Она всю одежду обобрала.

Дѣвочка ушла, но скоро воротилась.

— Тетенька такъ велитъ, — сказала она и ушла. Я лежалъ.

— Ты што-жь? — Двадцать разъ што ли тебя посылать-то?

— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.

— Да вѣдь я говорила дѣвчонкѣ, чтобъ ты шугайчикъ надѣлъ... Ахъ, чтобъ ее!.. нисколько у ней нѣтъ разсудку; — и хозяйка дала свой шугайчикъ, который мнѣ былъ до колѣнъ. Въ этомъ одѣяніи и босый я пошелъ въ баню. Хозяйка однако воротила меня отъ двери въ огородъ.

— Возьми да натришь камфарой хорошенько, по-прѣй... Слышишь, што я говорю? — кричала она мнѣ, держа въ рукахъ пузырьрекъ.

Я воротился, взялъ пузырьрекъ съ камфарой.

Хотя вообще въ этомъ селѣ огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки, по выходѣ изъ двора за погребамъ, было устроено нѣсколько парниковъ, ничѣмъ не покрытыхъ; большею частью въ этихъ парникахъ росли огурцы и тыквы, стебли которыхъ тянулись кверху по жердочкамъ. Невысокая съ небольшимъ отверстиемъ въ стѣнѣ черная баня, безъ крыши и предбанника, стояла около рѣчки. Въ банѣ было и темно, и жарко, пахло уксусомъ вѣроятно потому, что его лили на каменку для того, чтобы не было угару.

Находившуюся въ пузырькѣ камфару я до половины разлилъ на полу бани для вида и, само собой разумѣется, не терся ею.

— Ну, што? — спросила меня хозяйка, когда я пришелъ изъ бани.

— Покорно благодарю. Ну, ужъ и жарко же.

— На то и баня... легче ли?

— Немного легче.

— А што же это отъ тебя камфарой не пахнетъ? Терся ли ты! — вдругъ спросила она меня.

— Теръ много.

— А отчего же не пахнетъ?

— Можетъ быть у тебя носъ заложило.

— Поговори еще... Поди, лягъ на свое мѣсто, а тамъ увидимъ. Можетъ завтра и въ путь можешь обратиться.

Это рѣшеніе хозяйки мнѣ очень не понравилось, но я думалъ, что упрошу ее позволить мнѣ пожить у ней сутки двои, трои. Дѣлать нечего, опять легъ. Вдругъ хозяйка кричитъ въ избу:

— Это што за мода еще! Какое это такое дозволеніе ты получила въ овечку мою палкой швырять?

На улицѣ голосила женщина, но я не могъ разслышать ея словъ; хозяйка все болѣе и болѣе кричала, начала ругать женщину и съ бранью выбѣжала на дворъ, на улицу. Сначала женщины кричали на улицѣ, потомъ уже у крыльца.

— Ты ужъ шесть разъ соборовалась, въ седьмой околѣнешь! — кричала посторонняя женщина.

— Нечего меня болѣзнь упрекать — всѣ подъ Богомъ ходимъ. А вотъ ты сама-то какой поведенціи!..

— Ты только съ бѣглыми знаешься. Не знаютъ, што ли, што у те и теперь бѣглый скрытъ!

Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, такъ и думалось, что онѣ виѣются другъ въ дружку, кончилось тѣмъ, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потомъ долго ворчала въ избу.

— Изъ-за чего это у васъ вышло? — спросилъ я хозяйку, когда она стала что-то искать въ сѣняхъ.

— Ну, вотъ самъ посуди, гоже ли это дѣло; разъ — кричать на улицѣ, другой — обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, къ примѣру, поведенціи? спроси хоть кого, всѣ скажутъ обо мнѣ, что я можетъ быть въ тыщу разъ честнѣе ея. Теперь, кто ко мнѣ за совѣтомъ ходитъ? Слыхалъ, поди, давѣ разговоръ-то?... Всѣмъ надо угодить да помочь чѣмъ-нибудь, а вѣдь я тоже не богачка какая, золота ни одного разу не выдвала... Да мало ли што?.. Меня и въ городѣ всѣ знаютъ, потому у меня тамъ торговля есть, хоть и не корыстная, а все жъ не воровски торгую, слава тѣ Господи... А она обзывать? Да я ее послѣ этого во всемъ селѣ обезславить могу, да и тутъ жалѣю, потому мужъ-то ее и такъ бьетъ.

Она подошла ко мнѣ ближе, утерла правой рукою ротъ и, понизивъ тонъ, продолжала:

— И какъ бьетъ онъ ее, судырѣ ты мой, какъ бьетъ, просто не приведи Царица небесная!.. Мой мужъ драчунъ былъ, да я справлялась съ нимъ, да и то, когда это во хлѣбъ, ну, а во хлѣбъ всякъ справится, ухъй заговорить, или поблажку ему сдѣлай, потому пьянъ и безчувственъ, — вино ходитъ... Да и опять мой мужъ, какъ проспится бывало, прощенія просить: прости, говорить, Онисимовна; ты, говорить, баба золотая, за тобой никакихъ принѣтъ худыхъ нѣтъ. А ужъ коли мужъ говорить, могу ли я не гордиться! А это што? И рожа-то у ней блѣдная... провалиться! и сама сичка сичкой... И въ дѣвчонкахъ была со всѣми въ ссорѣ, ни съ кѣмъ не ладила; воровка была сосѣдняя... Сколько разъ стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха наши... Такъ нѣтъ. Иная бы все къ дому, о хозяйствѣ бы попеченіе имѣла, а эта все изъ дому, да съ солдатами и связалась.

— Отчего же у васъ ссора-то вышла сегодня.

— Да это еще што — цѣвѣточки... Ссора ли это?... Кабы я старосту позвала — ссора значить, а развѣ она стѣдитъ того, чтобы бросить для нея свое дѣло и бѣжать въ старость... Да я на нее и винианья што есть не обращаю... Вотъ што!

— Она кажется твою овечку била?

— Ну, развѣ она не мерзавка послѣ этого? Развѣ это хорошо — при людяхъ пакости дѣлать своему человѣку? Да я если-бы племянницу свою застала за такимъ дѣломъ, будь тутъ скотина самого злоущаго моего врага, я бы и не знала, что бы съ дѣвчонкой сдѣлала... Потому коли это не пакость? Ты какъ хочешь ругайся — языкъ-то не на привязи, глотку-то не заткнешь, а скотина Христовая чѣмъ виновата?.. Да што и калякать объ этомъ! А ты вотъ что прими въ разсудокъ, потому ты приказей и эти дѣла не хуже моего долженъ знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня никто этихъ дѣломъ не занимается. Ну, вотъ она и полѣзъ въ повитухи. Знаешь, пришло время ей сестрѣ рожать, вотъ она и своей сестру: не надо, говорить, Опарику, я сама ухѣю, видала... А надо спросить ее: гдѣ она видала-то? Развѣ я показываю кому? Развѣ я могу секретъ разсказать? Не могу, потому грѣхъ.

— Почему же грѣхъ?

— Почему? А вотъ почему я тѣ скажу. Теперь я

повитуха и знаю, какъ и што, и съ кѣмъ дѣло дѣлать; опять кто какой комплектъ нѣтъ — это первое. А скажи я бабѣ: баба — дура и возьметъ себѣ, што и она тоже смыслить. Ну, и начветъ, и повредитъ, што ни на есть... Кто въ отвѣтъ, какъ не я, потому я допустила своей простотой до грѣха челоуѣка, потому можетъ али ребенокъ, али мать помереть. Не такъ ли? Ну, вотъ она и уважила сестрицъ: ребенка уморила, да и мать-то скорехонько умерла... Вотъ она что надѣлала.

— А доктора у васъ нѣтъ развѣ?

— Хватился! За дохтуромъ-то надо въ городъ ѣхать, да онъ еще и не поѣдетъ... Мужъ-то покойной и то ужъ жаловался становому, да тотъ его же обругалъ: зачѣмъ, говорите, казенную бабку не взяли? Я, говорить становой, тебя же за это къ суду потяну... Такъ и не взялся за бабу. А это все отъ того произошло: становой-то па меня зубы точилъ отъ зависти. Приказывалъ сколько разъ не лечить никого. Изъ молодыхъ ншъ ты, холостой; кабы свою жену имѣлъ, не то бы заговорилъ; кутило — страсть! А все же сила не въ немъ, а въ мужикахъ, потому, коли баба родить хочетъ, становова ли это дѣло?

— А казенной бабки развѣ у васъ нѣтъ? — Опариха засмѣялась и надменно проговорила:

— И къ чему эти модницы?.. Не понимаю. Вотъ ужъ именно, што казна сорить по-пустому деньги; много у нея денегъ-то!

— Да вѣдь онѣ учатся; имъ эти мѣста дорого стоятъ. Вѣдь онѣ, тетушка, изъ бѣдныхъ и имъ не легко было прожить то время, въ которое онѣ учились, да и мѣсто не скоро получишь.

— А ты на дѣлѣ узнай, да и толкуй. Я ужъ двадцатый годъ въ городъ-то ѣзжу и получше твоего знаю, — проговорила сердито Опариха и ушла въ избу.

Обѣдать Опариха меня не пригласила, вѣроятно па томъ основаніи, что больному челоуѣку ѣсть вредно; я не напрашивался. Послѣ обѣда Опариха легла со-снуть, проспала не болѣе получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была въ хорошемъ настроеніи, и даже хохотала, разговаривая съ своей племянницей.

— Поди-ко, запряги бурка-то! — сказала Опариха дѣвчкѣ.

— Да я опять неладно...

— Ну-ну!.. надо же ко всему приучаться. Слава Богу, съ невѣсту ростомъ... Пошла!

Дѣвочка пошла во дворъ и встрѣтила тамъ мальчика.

— Ты што тутъ ковыряешь стѣну-то, дуракъ?

— Сама дуя!

— Пошелъ, пошелъ!!

— Да ты не деишь. Сказу мамкѣ-то... я... — мальчикъ заплакалъ.

Вышла Опариха на крыльцо, закричала на дѣтей.

— Я, тетушка... мамка послая... А она делется... я развѣ...

— Ну?

— Мамка лодить... послая.

— Родить, говоришь?

— Къ тебѣ послая... Посколяе, баеть, помять тожно.

— А, штобъ васъ!.. Только баловать... Понелъ проворный: приду!.. Черти! — И Опариха ушла со двора, дѣвочки тоже долго не было.

Опять скучно, какъ и вчера; дѣлать нечего. Изба и приютъ Опарихи казались мнѣ противными, такъ и хотѣлось скорѣе ударъ отсюда; но что-то удерживало.

Опариха воротилась часа черезъ три, запрягла лошадей въ долгушку, положила въ долгушку два лукошка съ чѣмъ-то, одинъ небольшой боченокъ и небольшую кадлушку.

— Ну, оставайтесь, благословясь. Въ городъ поѣду, — сказала Опариха, совсѣмъ готовая къ отъѣзду.

— Возьми меня, я совсѣмъ здоровъ.

— Да тебѣ тамъ что за надобность приспѣла?

— Вѣдь ты не надолго, а я бы поглядѣлъ на городъ.

— Мѣста нѣту: самой кое-какъ и то присѣсть. Завтра или послѣ завтра безпрѣйнно буду... А ты смотри, штобы все было въ порядкѣ, слышишь? За-деру, коли што... — говорила она племянницѣ.

— Сколько же тебѣ за житье-то, тетушка, — спросилъ я.

— А ты развѣ ѣхать хощь?

— Хочу.

— Такъ вотъ и пустили! — Она ушла во дворъ, а минутъ черезъ десять поѣхала, говоря племянницѣ наставленія.

Черезъ полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью и какъ пришла, такъ и легла не раздѣваясь на скамью. Во все это время я былъ хозяиномъ въ домѣ: щеголялъ въ своей костюмѣ, сидѣлъ у раскрытаго окна съ трубкой, хлебалъ щи, которыя находились въ печкѣ, и даже читалъ Библию, которая лежала въ горенкѣ на небольшомъ столикѣ подъ иконами. Но особенно меня занимали небольшія тетрадки, найденныя мною въ томъ же угольномъ столикѣ комнаты. Первые и послѣдніе листы были оторваны, прочіе листы исписаны разными почерками, крупно, мелко, по печатному, косо и прямо. Тутъ означались имена и фамиліи, вещь и цѣна, напримѣръ: „Никифору Яковичу сына 1 р. 15 коп.“ — и все въ родѣ этого. Немного страницъ было пустыхъ. Уплатены ли деньги — ничего этого не показано и не зачеркнуто. Въ иныхъ мѣстахъ было написано чернилами, двѣ, три страницы залиты чернилами, нѣсколько полулистовъ слиплись и пропитались саломъ, во многихъ мѣстахъ ничего нельзя было разобрать, потому что или карандашъ стерся, или писано сѣрыми чернилами и хотя крупно, но неразборчиво, въ родѣ такихъ словъ; „ааааа казу бракуй“ и т. п. Ни чeselъ, ни мѣсяцевъ, ни даже праздниковъ нигдѣ не обозначено. Кромѣ этого я обратилъ еще вниманіе на стѣну противъ окна, у которой стояла кровать съ периной, вѣроятно принадлежащая Опарихѣ. На этой стѣнѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ начерканы углемъ палочки, косыя и кривыя, и крестики. Нѣсколько палочекъ и крестиковъ были уже зачеркнуты. Я вывелъ то заключеніе, что Опариха грамотѣ не умѣетъ и здѣсь вѣроятно что-нибудь на память записываетъ.

Вечеромъ погода стояла хорошая и я сидѣлъ боль-

шею частію у открытаго окна, такъ какъ солнце свѣтило на противоположные дома. Село было оживлено болѣе обыкновеннаго, такъ что на улицѣ играли ребята и сидѣло нѣсколько мужиковъ кучками въ разныхъ мѣстахъ; у своихъ или сосѣдскихъ домовъ сидѣли женщины съ рукодѣльемъ или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между собою о чемъ-то не очень весело. О чемъ они говорили—я этого не слышалъ. Но вотъ изъ калитки противоположнаго дома вышелъ старичекъ въ синей рубашѣ, опоясанный плетенымъ изъ красной шерсти поясомъ, въ такихъ же синихъ съ заплатами штанахъ и въ лаптяхъ на ногахъ. Лицо его было очень блѣдно, волоса и борода сѣдые; самъ онъ былъ сгорбленъ и его немножко трясло. Отойдя немного отъ калитки, онъ сѣлъ на скамеечку, перекрестился и подперъ голову руками.

— Дѣдушка Иванъ, подь въ компанство! Чего сидишь одинъ-то?—кричала какая-то женщина старику. Дѣдушка Иванъ посмотрѣлъ на кружокъ, заключавшій въ себѣ двухъ женщинъ и трехъ мужиковъ, но ничего не сказалъ.

Къ старику подошла молодая женщина, держа въ лѣвой рукѣ пряжу и, поглядѣвъ кругомъ, что-то шопотомъ спросила старика; тотъ только рукой махнулъ. Женщина подошла къ нему, и между старикомъ и женщиной начался разговоръ шопотомъ. Я нѣсколько разъ замѣчалъ, какъ женщина указывала рукой на домъ Опарики, какъ разъ на то окно, у котораго сидѣлъ я, и старикъ только взглядывалъ по направлению руки, сжималъ ротъ и никакихъ при этомъ особенныхъ движеній не дѣлалъ.

— А ты слышалъ: прибилъ Богъ послалъ Аннѣ-то Оедосѣевой,—проговорила вдругъ женщина громко.

— Ужли родила? Когда?—спросилъ старикъ, широко взглянувъ на женщину.

— Никакъ въ обѣдъ Богъ далъ—сыночекъ... Опарики была.

— Да вѣдъ уѣхала Опарики?

— Ужъ она свое дѣло справила. Была я сегодня у нея, у Оедосѣевой-то: хомикъ—малычонко-то!

— Ну, дай Богъ.

— Ты бы зашелъ бражки выпить! А? Заходи?

— Покорно спасибо.

Женщина отошла прочь, и что-то часто глядѣла на мою особу.

Хотѣлось мнѣ очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти—значило нарушить бесѣды крестьянъ: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для нихъ человѣкъ совсѣмъ посторонній. Кромѣ того я еще не зналъ отношеній крестьянъ къ моему хозяйкѣ Опарику. Такъ я и просидѣлъ до заката солнца, когда на улицѣ уже не было ни души.

Я уже хотѣлъ затворить окно, какъ услышалъ мужскую брань и визгъ женщины. Разобрать сначала не было возможности, потомъ я изъ криковъ понялъ въ чемъ было дѣло. Крестьянинъ, жардно выпившій, тащилъ въ волость свою пьяную жену, которая украла у него послѣдніе два рубля, и онъ напелъ ее въ кабаки. Что тамъ она дѣлала—я не понималъ, но надо полагать, что-то нехорошее. Мужъ ту-

зилъ жену, жена ругалась и кричала: „зарѣжу! варнакъ, зарѣжу! ты меня въ гробъ вколотилъ, зарѣжу!“ А такъ какъ въ окнахъ показывались мужскія и женскія головы и оттуда слышались одобренія, относящіяся къ обиженному мужу, то обиженный мужъ оставался и кричалъ:

— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики... Осподи!

— Хорошенько ее... Она сегодня какъ Опарику при всемъ мірѣ чествовала... Хорошенько!..

— Зарѣжу!! спалю село... — визжала отчаянно женщина.

— Веди ее... ничего!..

— Прислушайте ея рѣчи... Будьте свидѣтелями... благодѣтели!..

Противъ церкви несчастную женщину уже тащило двое мужиковъ; она рвалась, билась, голосила; мужъ билъ ее веревкой.

— Вотъ наказанье-то... Осподи!—говорили, качая головами, зрители и заирали окна...

Въ одномъ окнѣ, недалеко отъ церкви, показалась голова мужчины, съ волосами, заплетенными въ косу.

— Што-жъ ты ее бьешь, мошеникъ,—крикнуло лицо.

— Отецъ Василь... право...

— Пошелъ спать, свинья... а не то самого въ волость запереть велю!

— Онъ меня погубилъ... истребилъ совсѣмъ... кровь!..—выла женщина.

Я закрылъ окно и хотѣлъ идти на улицу, чтобы защитить женщину, но мнѣ пришла въ голову мысль: могу ли я тутъ помочь ей чѣмъ-нибудь, когда и она пьяна, и мужъ ея пьянъ, и всѣ сосѣди вооружены противъ нея?... Такъ я и оставилъ свое намѣреніе. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хозяйка рассказала мнѣ, что эта женщина испорченная, теперь я увидалъ, что въ селѣ всѣ противъ нея, мужъ ведетъ ее въ волостное правленіе за кражу у него грудныхъ денегъ, которые можетъ быть составляли весь его капиталъ и за какое-то другое прегрѣшеніе... Вѣроятно не она сама дошла до такого положенія, что всѣ противъ нея, и что заставлятъ ее быть такою, а довело же ее до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будетъ дальше съ этой женщиной? Во снѣ мнѣ мерещилась эта сцена и казалось мнѣ, что эта женщина горько рассказываетъ передъ начальствомъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ, проситъ прощенія и еще чего-то хотѣла бы она попросить, да не знаетъ, чего бы такого...

Всталъ я при восходѣ солнца, разбудилъ дѣвочку, взялъ по ея указанію набируху и пошелъ за грибами. Но когда я вышелъ за ворота, то рѣшительно не зналъ, въ какую сторону идти. По счастью, изъ однихъ воротъ выѣхалъ въ телѣгѣ крестьянинъ. Я спросилъ его.

— По грибы-то, поштенный, не близко: верстъ пять будетъ, да и тутъ ходьба-то черезъ рѣчку Машиновку.

— Не пойдетъ ли кто изъ вашихъ?

— Изъ моихъ-то двое ушли. А вонъ къ Половинкиновскому дому постучись, можетъ старуха Марьяна поедетъ. Она поздно уходитъ.



Я поблагодарилъ крестьянина и подошелъ къ указанному дому.

Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибовсканія, сегодня идти не можетъ, къ великому ея сожалѣнію, такъ какъ у нея что-то очень неловко подъ сердцемъ и она было посылала за попомъ, да попъ уѣхалъ ночью въ деревню Загубалуху. Молодуха сказала мнѣ, чтобы я попросилъ Степаниду Игнатьевну, что живетъ напротивъ, чтобы она отпустила со мною своихъ парней. Я такъ и сдѣлалъ. Оказалось, что парни сегодня пойдутъ на покосъ и что если мнѣ такъ желательно идти въ лѣсъ, то я одинъ могу идти, такъ какъ я не маленкій, или бы могъ взять съ собою племянницу Опарихи, у которой я живу. Все это говорилось коротко и какъ-то неохотно.

Дѣлать нечего, пошелъ на-удалую. При выходѣ изъ села, я увидѣлъ впереди женщину съ лукошкомъ на спинѣ. Я ей крикнулъ разъ, крикнулъ два, пустился въ бѣгъ—кое-какъ женщина остановилась. Она была не молодая; лицо ея было изурено, глаза заплаканы. Я не сталъ тревожить ее и, при входѣ въ лѣсъ, повернулъ отъ нея на-право и ходилъ все больше по краю и рѣдко-рѣдко заходилъ вдаль, опасаясь потерять изъ виду пашни.

О своемъ походе на грибы, о томъ, какъ приятно быть въ лѣсу одному, говорить не стану: это предметъ извѣстный. Но вотъ я вышелъ изъ лѣсу и увидѣлъ, что у ржи сидѣла та же самая женщина. Ея плетевое лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, изъ которыхъ верхній былъ гораздо шире нижняго, потому что въ лукошко были воткнуты свѣжіе прутья рябины, а межъ нихъ переплетались такіе же прутья и служили продолженіемъ лукошка, такъ что будь у этой женщины желаніе собирать грибы цѣлый день, то она вѣроятно увеличила бы лукошко аршина на два. Около нея, на травѣ, лежало десятка три красивыхъ грибовъ, которые, по всей вѣроятности, не входили въ верхній этажъ лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ногъ была изранена во многихъ мѣстахъ, и она теперь вытаскивала изъ лѣвой ноги занозу... Я присѣлъ недалеко отъ нея и закурилъ трубку. На спросъ мой, какъ она можетъ ходить босикомъ въ лѣсу, гдѣ почти на каждомъ мѣстѣ лежатъ сухіе прутья, сосновые иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не отвѣтила и на замѣчаніе, что сегодня день жаркій. Поэтому продолжать какіе-бы то ни было вопросы мнѣ было неловко и я считалъ за лучшее идти домой.

День былъ дѣйствительно жаркій, тѣмъ болѣе было жарко мнѣ въ моемъ длинномъ пальто, похожемъ на халатъ; мнѣ хотѣлось пить, а воды не было. Но все-таки здѣсь дышалось лучше, чѣмъ въ душномъ городѣ. Идя между пашнями, я вдругъ потерялъ изъ виду село. Оказалось, что мѣстность, по которой я шелъ, была низкая. Наконецъ выбрался я на ровное мѣсто. Церковь наискосъ, лѣвѣе. Налѣво, почти въ ногу со мною, шла неразговорчивая баба; я видѣлъ только ея голову, повязанную платкомъ, и верхъ лукошка съ плотно уложенными въ немъ грибами. Вскорѣ я потерялъ ее изъ виду, но когда вышелъ на

только-что унавоженную землю, увидѣлъ опять ту же женщину, сидящую у обожженного пня. Она упирала голову обѣими ладонями и горько плакала.

— Тетушка! о чемъ ты плачешь? Аль болитъ что?—спросилъ я, подходя къ ней.

— Охъ!—простонала она и пуще прежняго заплакала.

Мнѣ хотѣлось узнать причину ея горя, но я не зналъ, что сказать ей. Вдругъ она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернувшись, минутъ съ десять проглядѣла на одно мѣсто и вдругъ кинулась мнѣ въ ноги и проговорила:

— Не освободишь-ли ты, кормилецъ, сестру-то мою, Дарью Егорову? Спаси, кормилецъ!.. по гробъ буду за тебя Царицѣ небесной молиться, матушкѣ-то нашей!

Большого усилія мнѣ стоило уговорить женщину съѣсть; я злился на то, что остался у Опарихи, пошелъ по грибы и теперь долженъ разыгрывать роль чиновника.

— Што, развѣ твоя сестра худое что сдѣлала?—спросилъ я ее.

— Ой, ни въ чемъ неповинна, какъ передъ Богомъ истиннымъ... Передъ небомъ, што передъ престоломъ, говорю... Все это отъ него, отъ мужа, варвара, да отъ злодѣйки Опарихи жизнь такая... Все онъ... Освободи ты ее... Стегать ее хотять.

— Если что могу—сдѣлаю, только на меня ты не полагайся: потому я человѣкъ не служащій, я живу здѣсь потому, что захворалъ дорогой, а раньше этого и вовсе не имѣлъ никакого намѣренія даже и мимо вашего села проѣзжать.

Женщина смотрѣла на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла изъ моихъ словъ.

— Онъ, мужъ-то ея, да злодѣйка Опариха всѣ жилы, проклятые, вытянули изъ насъ.

Мы нѣсколько минутъ молчали. Я не зналъ, что говорить, о чемъ спросить ее, и вдругъ сказалъ:

— Чѣмъ же онъ и Опариха обидѣли васъ?

Женщина только охала. Съ большими усиліями рассказавъ она мнѣ цѣлую исторію, которая, какъ я понималъ, была такова:

Отецъ ихъ былъ волостнымъ старшиною въ то время, когда онъ, сестры, были молоды. Братьевъ у трехъ сестеръ, жившихъ душа въ душу, не было, а мать въ то время, когда ихъ уже прочили въ невѣсты, т. е. на пятнадцатомъ году, была не родная, но мачиха, и, само собой разумѣется, не имѣла объ нихъ такого попеченія, не любила ихъ и не заботилась объ ихъ нравственности, какъ родная мать. Поэтому въ домѣ часто случались драмы такого рода: мачиха заставляла чадерницъ что-нибудь дѣлать—онѣ вонъ изъ избы къ подружкамъ, откуда мачиха нерѣдко прогоняла ихъ съ крикомъ, бранью и побоями, чѣмъ попадало,—что разумѣется не мало бѣсило дѣвушекъ, у которыхъ будто-бы не было ни стыда, ни совѣсти. Но все это была чистѣйшая ложь, потому что дѣвушкамъ только и было радостей, что у подругъ, гдѣ онѣ, и то только на вечеркахъ, играли въ разныя игры съ парнями. Отецъ былъ пьяница; онъ вполнѣ вѣрилъ женѣ и даже боялся ее по одному обстоятельству, которое рассказчица не хотѣла выдать на свѣжую воду. Де

надпятилѣтнаго возраста житье сестрамъ было каторжное. Не удалось имъ выйти замужъ по своему желанію. Мачиха сказала своему мужу, что надо напередъ столкнуть замужъ старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за ея хорошаго знакомаго десятскаго, у котораго въ селѣ въ то время былъ постоянный домъ и который, независимо отъ своихъ служебныхъ обязанностей, исполнялъ тогда даже почтовую гоньбу. Возраженія и слезы Дарьи противъ этого не были приняты во вниманіе, и Дарью обвѣнчали насильно, но въ первую же ночь молодой улизнулъ отъ жены, что весьма удивило поселянъ и разозлило старшину. Но каково было посрамленіе молодой! Надъ нею смѣялись всѣ дѣвушки, всѣ парни и въ особенности тотъ, кого она больше всѣхъ любила. Дарья впрочемъ долго не думала и сама стала пропадать изъ дому. Начались безобразныя ссоры, брань, побои. Между тѣмъ все произошло вотъ отчего: десятскій просилъ отъ старшины приданаго тысячу рублей, на которые хотѣлъ расширить отправленіе почтовой гоньбы и прикупить нѣсколько десятковъ десятинъ хорошей земли въ такомъ-то мѣстѣ. Старшина обѣщалъ выдать ему эту сумму тотчасъ послѣ вѣнчанья и такъ какъ между ними не было заключено никакихъ письменныхъ обязательствъ, то старшина, по благословенію молодыхъ иконами, наотрѣзъ отказался отъ слова, отчего за ужиномъ между тестемъ и зятемъ произошла драка, послѣ которой десятскій и удралъ изъ села въ городъ со вдовой Опарихой. а черезъ недѣлю прогналъ отъ себя жену и сталъ жить открыто съ Опарихой. Потомъ онъ поссорился съ Опарихой и взялъ къ себѣ Дарью, и когда его сдѣлали старшиной, онъ сталъ обращаться съ ней ласково, говоря ей, что онъ доконалъ-таки ея родню тѣмъ, что отца за разные подлоги сослалъ въ Сибирь, а мачиху онъ прогналъ изъ дому и она неизвестно куда потомъ скрылась. Все-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама рассказчица замужъ не вышла, потому что ея жениха сдали въ солдаты и онъ неизвестно гдѣ пропадалъ нѣсколько лѣтъ, и хотя потомъ и воротился на родину, но прежнія привязанности и отношенія называлъ глупостью и теперь на нее мало обращаетъ вниманія. Третья сестра тоже вышла замужъ и жила довольно сносно, но назадь тому три года умерла отъ родовъ. Такъ и билась Дарья нѣсколько лѣтъ, дѣла мужа ея пошли все хуже и хуже; продалъ онъ всѣхъ лошадей, сталъ пьянствовать, бить жену, наконецъ его смѣнили съ должности, описали за казенныя деньги все его имущество и посадили въ острогъ. Въ это время Дарья и рассказчица жили гдѣ Господь Богъ приведетъ и гдѣ добрые люди позволяютъ. Изъ острога мужъ Дарьи выпущенъ недавно, нѣсколько мѣсяцевъ занимался конокрадствомъ и теперь кое-какъ занимается извозомъ. Въ селѣ у него нѣтъ ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живетъ онъ у своего дяди, женѣ ничего не даетъ и потому она бѣдствуетъ ужасно и кусокъ хлѣба достается ей горькими слезами.

— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля?—спросилъ я рассказчицу.

— Вреть! вреть онъ асидѣ, какія у него деньги?

— Да вѣдь ты говоришь, онъ извозомъ занимается, стало быть у него деньги могутъ быть.

— Какія деньги, коли онъ пріѣзжаетъ пьянъ и побирается у дяди. А вчера пріѣхалъ тоже пьянъ, ну и пошли они съ дядей въ кабакъ... тотъ тоже не пролей капельку. Ну, оттуда приходятъ пьянѣе вина и давай исрать Дарью, а Дарья только што въ кабакъ нанялась за два палковыхъ, на своихъ харчахъ. Онъ ее и давай бить и потащилъ въ волость.—Заступись ты, родной!—прибавила въ заключеніе рассказчица.

Я не сталъ больше спрашивать эту женщину и не звалъ, кому больше вѣрить: ей ли, или тетущкѣ Опарихѣ. Мнѣ все-таки казался этотъ послѣдній рассказъ болѣе правдивымъ, и я рѣшилъ хлопотать за Дарью у Опарихи. Мы пошли молча домой.

Опариха была уже дома въ горенкѣ и перебирала вещи въ сундукѣ. Увидѣвъ меня и оставивъ незапертымъ сундукъ, она подошла ко мнѣ съ тетрадкой и, не обративъ никакого вниманія на грибы, сказала: — Ну-ко, погляди, что тутъ наворакошено \*)?

Я взялъ тетрадку; тетрадка немного засаленная; въ ней написано то же, что и въ тѣхъ тетрадкахъ, которыя я видѣлъ вчера.

— Огурцовъ кадка 57 коп.,—читалъ я.

— Ну, а сметаны?

Нашелъ сметану,—2 рубля.

— Какъ такъ?

— Такъ.

— Да вѣдь онъ писалъ: два двѣнадцать.

— Тутъ только два.

— Не врешь?

Я подтвердилъ. Она стала бранить того, кто записывалъ, выхватила книжку и ушла въ комнату. Немного погодя, мы опять стали свѣрять счета,—оказалось вѣрно.

— Одинъ разъ отрѣжь, десять—примѣрай. Нелзя!—сказала хозяйка довольнымъ голосомъ и завернула тетрадку въ тряпку, которую завязала въ старенькій платокъ, какъ будто тутъ хранились деньги.

— Ты, тетущка, и торговлей занимаешься?

— По маленьку... Богъ милуетъ.

— Я думаю, трудно одной-то за всѣмъ?

— Што дѣлать-то. Вотъ-и здѣшнимъ-то нужно угождать, и въ городѣ присмотрѣть. Въ городѣ-то у меня сестра торгуетъ по малости, ну, а въ ярмонки и я на базарѣ торгую, чѣмъ случится.

— Выгодно?

— Мало... Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить значить. Одново разу съ меня много затребовали,—ничего не дала—прогнали... Я къ начальству: какое, говорю, право наши твои подначальныя деревенскихъ бабъ обижать? Я здѣсь не первый годъ, говорю, торговлей занимаюсь, всѣ мной были довольны. Я, говорю, молъ и до Царя дойду. Ладно, говоритъ начальникъ, подожди.—Проходитъ день, проходитъ два, начальство ни шьетъ, ни поретъ. Пошла опять; я, говорю, собираю, не знаю чего...

— Справки, вѣроятно.

\*) Написано.

— Ну, ну! Я, говорить, постараюсь... А ярмонка-то через двое суток кончается. На другой день я опять пошла к нему, — дома, говорят, нѣтъ, уѣхал... Я черезъ день к нему... — Што, говорю, ваше благородіе, правда-то гдѣ у те!.. — Я, говорить, все сдѣлалъ, што-жъ ты, говорить, поздно пришла? — Ну, значить, надо всегда давать.

Хозяйка стала хлопотать обѣ обѣдѣ, который состоялъ изъ грибочки и жарехи изъ грибовъ же, а я пошелъ въ тотъ кабакъ, гдѣ, по разсказу женщины, сидѣла въ послѣднее время Дарья.

Это была маленькая комнатка съ перегородкой и стойкой, нѣбольшая видѣ лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стѣной въ углу стояла полу-бочка, съ воронкой во втулкѣ и съ мѣднѣнымъ крапомъ внизу бока. На полу стояло нѣсколько бутылей, два-три полуштофа и нѣсколько пустыхъ косушекъ. Больше ничего не было. При моемъ входѣ въ лавочкѣ не было никого, и я, простоявъ минуты двѣ, удивился простотѣ сельскихъ жителей. Сталъ я кашлять — никто нейдетъ; отворилъ два раза дверь и хлопнулъ ею — то же. Наконецъ я крикнулъ довольно громко: хозяйнѣ!

Изъ-за перегородки показалась худощавая молодая женщина и позвывая спросила: што тебѣ?

— Однако, какіе вы безбоязливые... Не боятесь, что у васъ всю водку утащатъ.

— Не утащатъ!

Я попросилъ стаканъ водки и заговорилъ насчетъ городской торговли виномъ. Женщина увѣряла, что у нихъ Богъ милуетъ; воровъ еще не бывало, а такъ какъ въ это время почти никто въ будни не приходитъ въ кабакъ, то она и дозволила себѣ немножко прикурнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придетъ въ кабакъ въ это время, то не беспокоить ее, а дожидается, и самъ пить не смѣетъ, потому что шила въ мѣшкѣ не утаишь. Только одинъ кутъ ея пользуется тѣмъ правомъ, что онъ, приходя въ кабакъ, начинаетъ бражничать; но онъ бражничаетъ по долгу и не одинъ.

— Это за что же, тетушка, вчера бабу въ волюсть увели?

— А Богъ ихъ знаетъ. Напастъ одна. Мужъ пьяница, драчунъ... ну и опять, ему больше вѣры...

— Она у васъ жила?

— Да гдѣ жъ ей и жить-то больше, какъ не у насъ, потому ужъ вся избитая... Все Опариха.

— Опариха, говорить?

— Ты хоть и у нея живешь, а я все-таки ея не боюсь потому, какъ теперь я торгую водкой, такъ и она тоже торговка, и говорить я все могу. Што она прятка, это за ней пусть и будетъ, а што на счетъ ея ляходѣйства — шила въ мѣшкѣ не утаишь. Вотъ што.... Всѣ знаютъ, што какъ муженекъ-то ея померъ, она и давай примазываться за мужемъ Дарьинто, въ та поры, когда онъ еще холостой былъ... Какъ вѣдь не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домогъ и владѣла... Ну, да тотъ на деньги поварился, женился на Дарьѣ, да Опариха оплела его; такъ-таки и оплела. Чѣмъ теперь у нея покосы-то да пашни? — Олексѣя. Чья лошадь у нея? — ево же. Вотъ она какая! Ну, разѣ женѣ это не обидно? Да

она, я тебѣ скажу — хоть ты передай, хоть нѣтъ — черезъ него и въ люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а какъ разорила, и знаться съ нимъ перестала.

— Какъ же это она сдѣлала?

— Какъ? Да такъ: какъ завидѣла она, что онъ на ней не женится, а на попятный дворъ отъ нея, она помалчиваетъ, а потомъ и говоритъ: што же, говорить, Олексѣй Митричъ, ты не зайдешь пивка попробовать? Тотъ зашелъ, сталъ плакаться на свое житье. Она его ласкаетъ... Ну, и пошло дѣло. — Денегъ ли надо, она дастъ, да не зря, а записку возьметъ и срокъ въ запискѣ покажетъ. Вотъ она какъ-то!.. Тотъ все бралъ, бралъ, да какъ попалъ въ бѣду, то она ему и дай еще денегъ подѣ лошадь да подѣ корову, а потомъ и предъяви записки куды слѣдуетъ. Ну, знамо, безъ денегъ не обошлось.

— Она значить капиталъ имѣла?

— Знамо, воровски жила... У насъ-то украсть нечего, такъ въ городѣ воровала, а въ городѣ-то у нея сестра родная за солдатомъ замужемъ; ну, и хоронили концы, тѣмъ и торговлю завели. Вотъ такинъ-то наперомъ она и завладѣла покосами да пашнями. А ужъ на счетъ это... куды какъ рѣчиста, заговорить. Вотъ Олексѣй-то Митревъ и пришелъ къ ней послѣ острогу и давай корить ее; а она на одну рѣчь ему сто рѣчей, ну, тотъ и примирѣлъ; у нея же и занялъ опять подѣ росписку... Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту онъ сбывъ, другую завелъ, значить потерялъ — ищи! Знать не знаю, говорить: у меня такая лошадь, а въ твоей запискѣ другая... Ну, значить, маху дала. Такъ она, значить, и разорила ево. А ужъ про Дарью и говорить нечего: такъ-то-ли она на нее зловредна — бѣда!

— А давно лошадь-то потерялась? — Женщина посмотрѣла на меня подозрительно и спросила:

— А тебѣ на што?

— Нѣтъ, я такъ. Вѣдь мое дѣло стороннее.

— Да съ мѣсяцъ будетъ... Ты видѣлъ у нея лошадь-ту?

— Плохо.

— А лошадь отличная: рублей пятьдесятъ, надо быть, стоитъ; а она на ярманкѣ купила, говорятъ, за пятнадцать.

— Ямщики говорятъ, Опариха здѣсь въ почетѣ.

— Да мало ли дурь-то да простофиль... Оно конечно, свое добро даромъ отдавать не приходится, только ужъ она плутовата больно. Вотъ хоша бы къ примѣру: Кузьма Залыжныхъ взялъ у нея пять мѣръ овса...

— Своего-то не было?

— То-то, што сбился деньгами и закабалить овесъ-то ей же прямо съ пашни. Ну, она записку съ нево: заплатитъ молъ къ Паскѣ. Паска пришла, а у того денегъ нѣтъ... Пиши, говорить, новую... Тотъ съ дуру-то и напиши... Ну, значить, и вышло двѣ записки... Вотъ какова Опариха-то!.. И ей все сходитъ, чтобъ ее извѣло!..

На этомъ мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мнѣ хотѣлось разспросить ее о ея жизни и я сталъ выжидать удобнаго къ этому случая:

только случая этого не представлялось, а разспрашивать ее прямо ни съ съ того, ни съ сего — неловко.

По окончаніи обѣда, когда Опариха наказывала племянницѣ, какъ какому-то крестьянину отиѣрать овса, такъ чтобы ей было не въ убытокъ или, проще сказать, — отиѣрать, я вдругъ спросилъ ее:

— У васъ, тетушка, на какомъ основаніи наказываютъ розгами женщинъ?

— На томъ, што обучать уму-разуму слѣдуетъ всякаго!

— Ну, а если бы къ примѣру тетушку Опариху!

— Этова не будетъ: я законы знаю. Знаю, што новѣ это отиѣнено.

— Значить, коли отиѣнено, наказывать противозаконно, а кто не исполняетъ законъ, тотъ не долженъ ли отвѣчать?

— Да ты къ чему эту исторію подвелъ?

— Слыхала ты: хочутъ стягать Дарью Яковлеву?

Лицо Опарихи немного передернулось, глаза сверкнули.

— Откуда это ты слышалъ?

— Всѣ говорятъ, — сказала племянница, переминая чашки и ложки.

— Не тебя спрашиваютъ! — крикнула хозяйка.

Я рассказалъ вчерашнюю сцену.

— Ну, этому не бывать!.. Вотъ еще новости!! Како они такое право взяли бабъ стягать?

— Да тебѣ-то тутъ што?

— Разѣ мнѣ не обидя? Разѣ это не обидя всѣмъ бабамъ, коли надъ ними мужики будутъ командовать такъ и надѣваться?

— Да вѣдь ты на нее сердита?

— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я безъ чувствія?

Хозяйка торопливо одѣлась и скоро вышла; она скрылась за церковью.

Вечеромъ на полянѣ, передъ домою Опарихи сидѣло нѣсколько женщинъ; сидѣли онѣ въ различныхъ позахъ полукругомъ съ работами, а у завалинки дома Опарихи сидѣли дѣвочки съ грудными ребятами, заминая своими особами нанекъ, около нихъ же терлось штукъ шесть дѣтей-малолѣтокъ. Молодое поколѣніе говорило не громко, потому что занято было играми въ кѣтки, подбиваніемъ другъ друга глиняными лепешками и т. п. Налѣво отъ молодого поколѣнія лежали на полянѣ холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумѣли по обыкновенію, а вели себя чинно вѣроятно потому, что тутъ ораторствовала Опариха. Она увѣряла, что гораздо лучше утыкать домъ куделей, чѣмъ покомѣть, потому что отъ этого въ избахъ теплѣе дѣлается; смѣялась надъ одной сосѣдкой, что она, не имѣя хорошаго разсудка, вадумала положить паклю на каменку. Все это она разъясняла въ теченіе получаса, останавливаясь только тогда, когда ее перебивали, и хотя въ ея словахъ ничего не было новаго и интереснаго, но женщины слушали ее, какъ я замѣтилъ, съ удовольствіемъ, часто отрывая глаза отъ работы; и когда она кончила, онѣ не нашлись сдѣлать какое-нибудь возраженіе Опарихой.

— Бабъ, не найдется ли у васъ излишку пакли? — спросила вдругъ Опариха.

— Тебѣ на што?

— Надо. Въ городъ; одинъ купецъ просилъ пуда съ два. Такъ... на пробу.

Разговоръ перешелъ къ паклѣ. Оказалось, что теперь пакли едва ли у кого можно найти. Одна женщина сказала, что у нея хотя и есть немного этого товара, но она дешево не отдастъ, тѣмъ болѣе потому, что у нея нѣтъ льну, а ленъ сѣять они будутъ года черезъ два, когда справятся. Отъ пакли перешли къ тому, что нынче торговля чѣмъ бы то ни было стала не въ примѣръ хуже прошлыхъ годовъ, народъ сталъ собака, полиція придирчивѣе, такъ что хоть и не ѣзди въ городъ. Только вотъ еще ярмонкой и можно кое-какъ биться, да и тутъ поганые татаринши стараются завладѣть первыми мѣстами, отбить ихъ, бѣдныхъ женщинъ, на задній планъ, и продаютъ гнилой товаръ, перекупаютъ лучшее, и ихъ же, опытныхъ торговцевъ, ловко нагрѣваютъ. Противъ этого Опариха смѣло возражала, что если кто не умѣетъ взяться за какое-нибудь дѣло, тотъ не долженъ и браться за него, потому что онъ смѣшитъ народъ и дѣлаетъ убытокъ своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примѣрами, но примѣры разбивались Опарихой различными доказательствами изъ своей практики; тогда женщины стали корить ее разными плутнями и дѣло чуть не кончилось небольшою ссорой, но Опариха незамѣтно перешла къ Дарьѣ Яковлевой, показывая на нее, какъ на женщину, не умѣющую ни за что взяться, отчего изъ нея впоследствии нельзя ожидать ничего хорошаго.

— Да виновата ли она-то? — возразила вдругъ одна женщина.

— Самъ плохъ, такъ не подастъ Богъ. Разѣ я не такъ-же бѣдна была въ молодцахъ-то? Разѣ вы тоже изъ богатыхъ семей-то? Вспомните-ка прошлое время!

Нѣсколько женщинъ вздохнули и вполне согласились съ Опарихой въ томъ, что дѣйствительно Яковлева отчасти сама виновата; что она еще въ дѣвчонкахъ избаловалась. Женщины три, неизвестно почему, стали гнать по домамъ своихъ дѣтей. Затѣмъ Опариха что-то шопотомъ сообщила своимъ подругамъ, отчего однѣ изъ нихъ вытянули лица и показали головами, другія ударили по колѣнямъ. Замѣтно было, что сообщенное Опарихой извѣстіе женщинамъ пришлось не по-сердцу. Вдругъ онѣ заголосили всѣ, но я не могъ понять смысла этого митинга, только слышалъ: „врутъ они все! этому не должно и быть! на то разѣ мы дались имъ?“.

По всей вѣроятности сужденіе происходило изъ счетъ Дарьи Яковлевой.

За ужинкомъ, состоявшимся, какъ и обѣдъ, изъ грибочки и жарехи, я разспрашивалъ хозяйку о жизни крестьянъ и о томъ, какую выгоду приносятъ имъ земля. По ея взгляду жить въ селѣ очень можно: земля хорошая, а главное нужно не лѣниться. Положимъ, оброки и разныя повинности нынѣ большіе, но она о нынѣшнемъ времени умолчала, а говорила, что при прежнихъ порядкахъ нѣкоторые крестьяне сколачи-

валя-таки капиталец и даже уходил в города, и как на факт указывала на одного купца, ушедшего из села в лаптях и теперь ворочающего большими капиталами. „На все это, говорила она, нужны сметливость, терпение и ловкость, нужно испытать всякия лишения и неприятности и, когда дела будут идти в гору, не нужно зазнаваться или выходить из себя“. Но при этом о самой себя она ничего не сказала, даже не указала на себя примѣромъ. Потому она круто повернула къ тому, что ихъ село, находящееся отъ города К. въ двадцати верстахъ, может имѣть выгодную торговлю съ городомъ, еслибы за торговлю принялись женщины. По ея понятію, мужчины должны работать въ селѣ, напр. ухаживать за пашнями, прихватывать работниковъ изъ разныхъ празднующихся людей, которые цѣлыми десятками шаяются по міру, могутъ приучать дѣтей къ работѣ, а женщины должны торговать въ городѣ, тѣмъ болѣе потому, что земля даетъ съ избыткомъ то, что посѣешь, только пользоваться этимъ, по мнѣнію Опарихи, мужчины не умѣютъ, потому что многіе изъ нихъ или находятся въ кабалѣ у кулаковъ, или лѣнятся и пропиваютъ излишнія деньги въ кабакахъ.

— Вотъ напримѣръ я, про меня всѣ чешутъ языки и всѣ меня не любятъ отъ зависти. Особливо ни одна баба не скажетъ про меня постороннему человеку хорошаго и прилететь непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вонъ и такія, которыя даже Яковлевской Дашкой попрекають, будто она черезъ меня такая сдѣлалась... Иной разъ, такъ до того разозлѣть въ глаза, што даже заплачешь отъ такой напасти... Ну, значить, крѣплюсь. А не крѣплюсь я, да думай, что онѣ меня спалить или что худое надъ моимъ хозяйствомъ сдѣлають, — все вверхъ дномъ пойдетъ. Ей Богу! А я на все плюю и ни въ чемъ добро сдѣлаю, потому какъ бы худъ ни былъ человекъ, а все-же послѣ пригодится и благодарность къ тебѣ будетъ имѣть. Ничего нѣтъ хуже въ жизни, сударь ты мой, какъ эта болѣзнь. Шесть разъ я послѣ мужа въ лихманѣ была, шесть разъ соборовалась, а не померла... Видно, Господь Богъ терпитъ мои грѣхамъ и для какой-нибудь пользы длить мою грѣшную жизнь. А онѣ што?.. хоть бы одна пришла провѣдать... Вотъ только племянница и служитъ мнѣ, да и ту сбиваютъ: идя, говорить, къ матери; Опариха тебя изурочить... А разѣ я ей добра не желаю? Што она въ городѣ-то выживетъ? чему научится? Еще пожалуй пельменницей, али калашницей сдѣлается... Да и какіе нонѣ нравы въ городѣ! (Опариха перекрестилась, потомъ обратилась къ дѣвочкѣ, которая вазала варезку).

— Поѣдешь въ городъ-то, какъ бабы говорятъ?

Щеки дѣвушки покрылись румянцемъ, она робко сказала — нѣтъ..

— Да ты у меня не смотри такъ-ту! Знаю я по себѣ: безъ меня на головѣ ходишь, а при мнѣ въ уголѣ. Поди-ко, принеси пивка, да не копайся въ погребѣ-то. Слава Богу, наѣлась поди.

Дѣвушка вышла.

— А хитрая дѣвочка, нужды нѣтъ, што мала! Нужды нѣтъ, што я ее взяла полтора года — всѣ по-

рядки переняла, все по моему дѣлается. Не безпокойся, лишняго не передастъ!.. Ну, въ городъ-то я ее не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной разъ мужики забываютъ за овсомъ. Ну и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей — спрячетъ, такъ что я ужъ ей сундучекъ купила... А тоже вѣдь и любить меня она, нужды нѣтъ, что иной разъ губы надуетъ.

— Вы, тетушка, иногда ужъ очень сердиты бываете, — замѣтилъ я.

— А ты думаешь, такъ ни въ чемъ дай волю! ты говоришь: принеси чашку, а она сидитъ. Ну, разѣ такъ науку нужно производить? Какая она послѣ этого мать будетъ?

— Лаской надо.

Опарина захохотала и сказала: — откуда ты это ласки-то найдешь? Разѣ меня лаской вспоили, вскормили? разѣ меня топеръ ласкають, коль не огорчаютъ тебя на каждомъ шагѣ? Ласка што значить? — поблажка... А какъ сдѣлалъ поблажку разъ, другой, да какъ будетъ дитятко чужихъ совѣтовъ слушаться, тогда придется самой все дѣлать. А я не такъ богата, штобы дармоводовъ держать; это можетъ у богатыхъ господъ такъ принято... но какъ разсерчаешь, тожно и не удержишься — и поколотишь, а потомъ и приласкаешь. Вотъ они и боятся и слушаются. Къ примѣру, меня-то какъ приучили. Не забыть мнѣ...

Въ это время дѣвочка принесла жбанъ пива. Хозяйка налила мнѣ полную глиняную кружку, выпила и сама залпомъ кружку пива. Дѣвочка сѣла недалеко отъ тетки. Ей тоже, какъ видно, хотѣлось или пива выпить, или послушать, что будетъ рассказывать тетка. Становилось уже темно. На улицѣ никого не было видно; въ домахъ огней тоже не видать.

— Ты што же сидишь, полуощипца! Когда такъ и за дѣломъ спишь, — проговорила обыкновеннымъ голосомъ хозяйка дѣвочкѣ.

— Я... такъ... не хотца спать-ту, — проговорила дѣвочка, закрывая рукою ротъ, который при послѣднемъ словѣ широко раскрылся.

— Пошелъ, дрыхни! — сказала строго хозяйка.

Пока дѣвочка стлала себѣ постель въ горенкѣ, хозяйка и я молчали.

Хозяйка еще выпила пива и мнѣ налила кружку.

— Что то мнѣ спать неохота! Оказія!

— Ты давѣ начала было о своемъ житѣ говорить, — сказалъ я съ сочувствіемъ.

— Это на счетъ воспитанія? Истинно воспитывать нельзя, какъ строгостью: за всѣмъ надо самой присмотрѣть, потому кто припасаетъ-то? Я припасай, а другой мытарь? — дудки! Вотъ къ примѣру мое дѣло. У родителей-то у моихъ семья была большая, а какіеся окромя меня никому не было столько чужало. Вотъ передъ истиннымъ Богомъ! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голосъ ея дрожалъ, какъ будто ей было обидно). День и ночь... куды!! Никогда не знала покою съ малолѣтства. Перво на перво ребята. Кого качай, съ тѣмъ водись; то прибери, другое; то сдѣлай, пятодесято. А жили некорыстно, дай имъ Богъ царство небесное, хоша и считались за зажиточныхъ, потому отецъ-то, не тѣмъ будь помянуть, хотъ и испивалъ

малу-толику, но все-жъ гоношилъ \*) по хозяйству. Свои пашни нѣли и ладненько продавали въ городѣ: бывало въ зиму-то мѣшковъ десятокъ продать и зашибеть рублей тридцать, потому пшеничная-то мука въ та поры была три съ половиной али четыре за мѣшокъ въ пять пудовъ, а теперь вонъ она по пяти и по шести скачетъ. А мать-то моя продавала тоже въ городѣ яйца, масло и капусту, только не умѣла беречь деньги: какъ выручитъ рубля три, четыре и давая покупать ситцу али праниковъ... И колачивалъ же ее за это отецъ, крѣпко колачивалъ, хотъ бы и не слѣдовало, потому огородъ или скотинка и птица завсегда должны принадлежать хозяйкѣ; опять надо и то въ расчетъ взять; самъ-то онъ испивалъ же отъ своихъ трудовъ праведныхъ! Ну, а все же она тратилась не въ мѣру и мы, по милости ея, никогда, что есть, яицъ не ѣли. Впрочемъ, что объ этомъ и говорить? Бывало поѣмъ чего Богъ дастъ, а я такъ до семнадцати лѣтъ и терпѣть, что есть, не могла яицъ. Нутро не принимало. Сперва я все съ ребятишками нянчилась да дома управлялась, потому, когда мать въ городъ уѣдетъ, все хозяйство на мнѣ лежало. Мать говорила, что я къ хозяйству больше таровата, а вотъ сестра Катерина-то къ торговлѣ. Только я замѣчала, што сестра Катерина ни къ торговлѣ, ни къ хозяйству не смыслена; а мнѣ больно хотѣлось торговать, только мать не хотѣла. Ну, я и начала проиводить торговлю въ селѣ. Ужъ больно мнѣ смѣшно, какъ вспомню, какъ я глупа была въ та поры. Мать уѣдетъ, я отдѣлаюсь дома и бѣгу къ подругѣ или подруга ко мнѣ прибѣжить, и говорю: давай мѣняться! Та тоже: ну, давай. А мѣнять-то было што? бусы, суперникъ \*\*), платокъ... да мало ли што?.. Ну, потомъ и говорю: сколь придачи? Такъ и мѣнялись!.. А все эти придачи и другія слова я отъ матери переняла. Али пойдемъ въ городъ, давай рвать морковь и давай мѣняться. Видишь ли, я ужъ очень рѣпу любила, а подруга морковь... Потомъ мать начала меня брать въ городъ, ну, тамъ я и узнала, въ чѣмъ суть. И толковать объ этомъ нечево. А тутъ вышла я замужъ, сударь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу порядки тамъ не тѣ. Родня большая, каждый въ свою сторону да въ свой карманъ тянетъ, а толку мало, бѣдность обуяла всѣхъ... Ну, дѣло молодое, хочется повеселиться, анъ нѣтъ, — дѣлай. Хочется самой быть полной хозяйкисъ, — нѣтъ, тутъ всѣ хозяйки. Обида просто беретъ, а мужъ смиренный, олухъ; только когда пьянъ, тогда и боекъ, тогда и драться лѣзетъ... Такъ я и промаялась восемь годонковъ и эти года я была совсѣмъ пустынный человѣкъ, потому ровню ничего для себя не сдѣлала; даже торговлей заняться не могла — нечѣмъ было торговать-то. А сестра въ то время вышла замужъ за вахтера. Ну, а какъ поперъ мужъ-то, я словно воскресла. Перво на перво же — своей коровенки нѣтъ. А отъ мужа мнѣ досталось десять рублей: въ шапкѣ нашла, — зашиты были; ну, я и не знаю, куды мнѣ дѣть деньги, што съ ними дѣлать. На ту пору я подвернись Олексѣй Яковлевъ. Онъ раньше на мнѣ жениться собирался,

да потомъ надуть. Пришелъ онъ ко мнѣ, братецъ ты мой, въ домъ. А я жила тогда въ своемъ домѣ, самъ мужъ строилъ, только тогда одна изба была, а ужъ это я все послѣ состроила сама. Ну, я его нивкомъ, онъ такъ и такъ, говорить, лебезить... Ну, дѣло молодое... Прошло... На духу все прощено... Вотъ я ему и дай подъ росписку денегъ, никакъ шесть рублей. А тутъ дѣло подошло къ лѣту, поспѣли огурцы, я въ Т. да одна на яковлевской лошади... Ужъ и наминалась же страстей!.. Воры напали, да вьдять огурцы, хотѣли лошадей взять, да ужъ только Никола саяти-тель спасъ... Двон сутки прожила въ Т., кое-какъ продала; только три палковыхъ и выручила. Ну, все-жъ хотъ и немного, а я была больно рада и стала потомъ ѣздить въ городъ: почти все, что было въ огородѣ, перевезла въ городъ и деньги копил; только вотъ Яковлевъ и высасывалъ ихъ. Такъ я и сдѣлалась торговкой и это нашинъ-то не больно сперва нравилось, а потомъ и бабы стали поручать мнѣ продавать яйца, масло, капусту. Такъ што мной разъ я съ тремя возами катила въ городъ съ одними мальчишками. Купила я корову, овечекъ, курицъ, свиней; ну, тогда дѣло пошло еще лучше, только случалось воровали скотину. И все же, гляжу, возни много, одной такъ трудно, што не приведи Богъ, а прибыли мало, потому не я одна торгую, да и крупнаго товару у меня нѣтъ. Стала я подумывать, какъ бы мнѣ постоянно торговать въ городѣ. Ну, и нелзя: въ селѣ у меня все хозяйство, а въ городѣ надо начинать съизнова. Такъ ничего и не выдумала и маялась много лѣтъ. Наши-то бабы много мнѣ довѣрали и я безъ обмана исполняла порученья. А это много значитъ и онъ еще больше стали располагать мной, да на меня надѣяться: нѣтъ у кого муки, ко мнѣ бѣгутъ, потому отчего не дать своему человѣку — не обманеть, отдастъ; а если и муку не возвратитъ, а съномъ возьму, али овсомъ, али чѣмъ инымъ. Тоже напри-мѣръ мужику нуженъ хомутъ, а денегъ нѣтъ. Ну, и плачется. Я говорю: ничего, подожди, на ярмонкѣ дешевле купишь, а ты мнѣ только росписку ниши, послѣ сквитаемся. Ну, а какъ не заплатить, и другимъ возьмешь. Да, сударь ты мой, много возни нужно съ нашими мужиками. Когда нужда, онъ и божится и плачетъ, што вотъ, какъ только поправится, со сторницею возвратитъ. А когда станешь просить свое, онъ же и обижается. Ну, подумала, подумала я: што, если я все такимъ манеромъ буду упускать свои выгоды, не получать долговъ, эдакъ сама обѣдню. Положить, пужающемуся дать нужно, только онъ-то зачѣмъ обманываешь да кривить душой? Ну, думаю, не буду я вамъ больше въ зубы смотрѣть. Нашла я черезъ сестру въ городѣ человѣка: судейскій столоначальникъ. Вотъ коли кто мнѣ не платитъ денегъ, я росписку столоначальнику, мужика и потанутъ. — Ну, тотъ и пишетъ условіе: поквитаться на овсѣ или ржи. Оно хотъ и убыточно это для меня, потому я не могу опредѣлять: сколько измелется ржи, все-жъ-таки что-нибудь да стоить, и мужикъ ужъ зимой меня не проведетъ: покою не дамъ, какъ начнутъ молотъ. А тутъ я и пашни, и покосы приобрѣла себѣ, и слава тѣ Господи прибыль есть.

\*) Стараясь.

\*\*) Перестень.

— Какъ же ты одна-то управляешься? — спросилъ я.

— Какъ? Вѣдь развѣ ты не знаешь, — мы наши работы справляютъ помочами; ну, а мнѣ многіе должны, многіе и не откажутся, потому грѣхъ, вотъ я и приглашаю: кои должны, долги зачитаютъ работой, а кои не должны, тѣхъ удовлетворяю деньгами, поденно. Да деньги што! Помочи нужно только справить хорошенько: угощеніе надо сдѣлать. Ради одного угощенія пойдутъ. У меня, что есть, и сѣютъ, и пашутъ даромъ. Вотъ што! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лекарскимъ искусствомъ занималась; а мнѣ этого искусства не передавала, а я все-таки знала названье травъ и знала, какую она траву откуда брать. Знала, што лечить не трудно, а тоже за леченье ей платять. Ну, какъ померла она, я и принялась за леченье скоро. Захворала баба, по всему селу стало извѣстно, а мнѣ особливо; свекровь ея приходила и спрашиваетъ: нѣтъ ли, говоритъ, у тебя, Опариха, травки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слыхала изъ разговоровъ отъ матери, какая трава отъ какой болѣсти пользительна. Выздоровѣла баба. Ну, съ тѣхъ поръ и стали меня звать во всѣ дома и стала я для всѣхъ нужна. А тутъ вскорѣ и повитухой я сдѣлалась. Также трудности нѣтъ большой; ничего худого не случалось, миловалъ Богъ. Вотъ онѣ всѣ и знаютъ чувствіе, выдать, что у меня мужа-то нѣтъ, и пристають къ мужьямъ: надо, говорятъ, помочь Опарихѣ-то. Да и мужья знаютъ это, потому всѣ мною отъ лихихъ болѣстей облегченіе имѣютъ. Ну, и вспашутъ, и посѣютъ.

— Своими посѣютъ?

— Дождидай! Нѣтъ, мужикъ тоже плутъ: мы, говорятъ, вспахать — вспашемъ, не большой расчетъ, а засѣять не можно, свое сѣмя подай. Ну, да это такъ и слѣдуетъ.

— Ну, а какъ же ты кровь-то пускаешь? Вѣдь это вредно.

— И!.. кровь съ жиру, али съ застою. Отъ чего болѣсть? — Съ крови. — Выцѣдилъ ее, и легче. Да мнѣ, судимъ ты мой, сто разъ выпускали кровь-ту!

— То-то ты и худая.

— А развѣ... А тучный человѣкъ какъ помираетъ?.. Нѣтъ, самое главное — это кровь... Опять же, у мужа Катерины фельшаръ есть — другъ-пріятель — такъ онъ мнѣ лекарства даетъ. У меня, кажись, пузырьковъ тридцать есть... Я вѣдь тоже и лошадей пользую.

— Много же у тебя дѣла-то, — сказалъ я послѣ минутнаго молчанія.

— Вѣда! И не повѣришь, за всѣ мои хлопоты и старанія они мнѣ всѣ зломъ платять. Иной разъ пьяный мужикъ такъ и грохочетъ на все село: пивка Опариха... А бабы всѣ только до случая, чего-чего не говорятъ!.. А какъ кто захвораетъ, или горе какое, идутъ, просятъ пивку-Опариху. Вотъ какой крестьянскій-то народъ! — заключила Опариха и громко вѣвнула.

— Эхъ я, какъ разсидѣлась-то! Темень-то! — сказала она и встала.

Было дѣйствительно темно.

Опарина зажгла сальную свѣчку и стала дѣлать себѣ постель на полу избы.

— Ну, лѣтомъ ты торгуешь овощами, а зимой чѣмъ? — спросилъ я Опарину.

— Зимой-то? А зимой я продаю муку, ленъ, масло, яйцы, — да мало ли што?.. Продаю и сита. Только этимъ больше занимается сестра. У нея въ лавкѣ все есть — только одной живой воды нѣтъ.

— И сѣно есть?

— Пошто сѣно? Сѣно ближніе крестьяне продаютъ; и я сѣномъ не занимаюсь.

— Ну, а на ярмаркѣ что продаешь?

— На ярмонкѣ? Продаю орѣхи и пряники: потому деревенскіе гораздо падки до этого товара. Да и ярмонка-то што? Только быками да лошадьми торгуютъ, да вотъ развѣ еще поганые татаринки старыя да гнилой ситецъ продаютъ... — А ты иди — спи! Не цѣльную ночь сидѣть для тебя, — прибавила она сердито.

На другой день утромъ мы пили чай, я за столомъ противъ хозяйки, племянница ея — поодаль на лавкѣ. На замѣчаніе мое: зачѣмъ ея племянница не сидитъ за столомъ, она сказала, что дѣвчонка еще мала и должна сидѣть только тогда, когда будетъ совершенно невѣстой.

— Но вѣдь ты говоришь: безъ мужа жить лучше.

— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому, самъ ты разсуди, какое житье дѣвкѣ? Хотя гдѣ ни живи дѣвка, а вѣры ей той нѣтъ, какъ бабѣ. И хорошаго будь поведенія, и тутъ на счетъ поведенія сумлѣваться будутъ и надзору за ней больше. Да и какое житье дѣвкѣ одной? Съ кѣмъ она посовѣтуется? И опять: развѣ возможно устоять дѣвкѣ отъ соблазновъ? А баба не то: куды ни приди, вездѣ всѣмъ равна; никто тебя пальцемъ не ткнетъ и вѣры тебѣ больше. Также и вдова... и вдова тоже баба, потому замужемъ была...

Опарина силилась объяснить положеніе вдовы, но у нея ничего не выходило кромѣ того, что вдова была замужемъ и потому ей болѣе должно быть довѣрія.

Шелъ дождь. По улицѣ шелъ полулытый десяти-скій и, остановившись передъ домою Опариной, сказалъ что-то не громко. Опарина отперла окно и крикнула:

— Куда ты?

— Скликать! Дашку стягать хочутъ.

Опарина съ негодованіемъ хлопнула окномъ и стала скоро убирать со стола чашки.

Я спросилъ у нея гдѣ волость, и пошелъ туда.

За церковью стояло еще нѣсколько домовъ, и изъ нихъ особенно выдавались два дома: одинъ, пяти-оконный, стоялъ на площадкѣ противъ церкви. Домъ былъ построенъ недавно и по новому фасону. У оконъ были росписныя ставни, двѣ трубы обѣлены. Нанскосъ этого дома, черезъ дорогу или улицу, былъ домъ стариннаго фасона, старый, черный, съ провалившейся до половинны крышей. Надъ окнами, съ разбитыми стеклами, болталась обѣленная доска, держащаяся на одномъ гвоздѣ, съ надписью — *волосное праселе*. Въ домѣ былъ гамъ и крикъ. Ворота были растворены, да онѣ, какъ надо полагать, съ давняго времени и не запираются, потому что половинки ихъ



жато только на верхнихъ болтахъ и подперты. Во дворѣ амбаръ съ двумя дверями. Въ этомъ амбарѣ, какъ я узналъ послѣ, содержатся виноватые—въ одной половинѣ мужчины, въ другой—женщины. Окно въ томъ, ни въ другомъ отдѣленіи нѣтъ. Во дворѣ грязно, воздухъ тяжелый, гнилой... Вошелъ я по небольшой лѣсенкѣ на крыльцо, потомъ вошелъ въ темныя сѣни, изъ которыхъ ведутъ двери во внутрь справа и слѣва. Направо двери отворены. Тамъ, въ небольшой комнатѣ, съ однимъ окномъ и съ облупившемся западнѣе вѣвшемъ во многихъ мѣстахъ штукатуренною стѣною, стоялъ небольшой столъ простой работы; на столѣ и на окнѣ сидѣли въ рубахахъ крестьяне, двое изъ нихъ курили махорку. Я поклонился имъ, спросилъ—здѣсь волостное правленіе? и получилъ утвердительный отвѣтъ. Никакихъ украшеній въ этой комнатѣ не было, кромѣ одной рамки между печью и дверью, которою я вошелъ въ комнату, рамки съ разбитымъ стекломъ. Въ рамкѣ ничего не было и я не могъ понять, для какой именно цѣли повѣшена она; да надо подгадать, и крестьяне объ этомъ не знали.

Другая комната, въ три окна, довольно просторная, но узкая, съ такими же оштукатуренными и заплѣсневѣвшими стѣнами и потолкомъ, съ чернымъ отъ грязи поломъ, только и отличалась отъ первой что просторомъ да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столовъ. За однимъ столомъ сидѣло два человѣка въ сюртукахъ съ длинными волосами и съ паутковскими физиономіями, за другимъ—сидѣлъ солдатъ и писалъ грамотку двумъ крестьянамъ. Этотъ солдатъ, какъ я узналъ тутъ же, принадлежалъ къ составу канцеляріи волостного правленія. А узналъ я это изъ того, что выпедившій изъ угловой комнаты писарь, молодой, бойкій господинъ, въ легкомъ лѣтнемъ пальто и скрипящихъ сапогахъ, приказалъ ему переписать какую-то бумагу. Въ этой комнатѣ было человѣкъ до тридцати крестьянъ, большею частію въ рубахахъ и шалкахъ. Половина изъ нихъ сидѣла на полу у стѣны, половина, собравшись въ небольшія кучки, о чемъ-то горячо разговаривала. Нѣкоторые курили табакъ. Здѣсь происходилъ такой говоръ, что разобрать рѣшительно ничего невозможно; никто не стѣснялся ни крупными выраженіями, ни языкомъ, ни руками, все равно какъ на улицѣ; всякъ какъ будто бы чувствовалъ себя въ своемъ домѣ; только изъ того, что при появленіи волостного писаря изъ этой комнаты или при проходѣ его въ первую комнату народъ немножко утихалъ, а нѣкоторые даже вставали съ полу, можно было заключить, что они у начальства.

Третья комната отличалась отъ первыхъ двухъ тѣмъ, что кромѣ табачнаго дыму въ ней пахло еще и водкой. Дѣйствительно я увидѣлъ на окнѣ полуштофъ съ жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и рѣдьку. Въ этой комнатѣ стояло два шкафа, окрашенные на скорую руку красною краскою, и по срединѣ—большой столъ. За столомъ у стѣны стояло три стула, изъ коихъ одинъ, крайній къ окну, имѣлъ подушку, обшитую кожей. На столѣ были разбросаны бумаги, паспорты, двѣ какія-то книги; писарь сидѣлъ на краю противоположномъ той стѣнѣ, у которой

стояли шкафы, и что-то писалъ; передъ нимъ стояли трое крестьянъ.

Простоялъ я съ четверть часа, а начальство не являлось. У меня отъ дыму начала болѣть голова. Крестьяне на меня не обращали вниманія, только писарь, проходившій мимо меня, косился.

Наконецъ явился старшина: низенькій человѣкъ, лѣтъ сорока, съ лысой головой и большой черной бородой. Онъ былъ не толстъ и не тонокъ, и не щеголялъ костюмомъ: на немъ былъ надѣтъ черныя зипунъ, опоясанный краснымъ кушакомъ. Физиономія его выражала тупость и дикость. При входѣ онъ крикнулъ, вытащилъ изъ-за пазухи ситцевый грязный платокъ, стеръ имъ лицо и, протолкавшись въ толпу, пробрался въ:

— Васька падле-еца!—Затѣмъ онъ началъ тужить одного крестьянина, стоящаго ближе всѣхъ къ выходу.

Народъ захохоталъ.

— Илья Петровичъ!..—прозвнесъ получившій ударъ.

— Зашибу! Зашибу!!

— Гляди, Кузьму за Ваську принялъ!—сказалъ смѣясь молодой крестьянинъ.

Народъ опять вразъ захохоталъ.

— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ахъ ты, ѣшь те лѣшій... Кузьма?.. Ну, просишь прощенія,—говорилъ старшина и при последнемъ словѣ низко поклонился Кузьмѣ.

— Ничего; зачѣмъ за недомку.

— Цѣлуй! Другъ!—говорилъ старшина и сталъ цѣловать Кузьму.

— Съ похмѣлья, аль пьянъ?—спросилъ старшину народъ.

— Видно грѣхъ попуталъ—пьянъ никакъ... Смотри, не грохнись,—острилъ молодой крестьянинъ.

Народъ захохоталъ.

Старшина мотнулъ головой и пошелъ въ третью комнату.

— А, Василь Васильчъ!.. Сто лѣтъ здравствовать, три пьянствовать... Водка-то есть ли?—и старшина ткнулся животомъ въ столъ, причѣмъ произнесъ:—Василь?... Какъ бы тако сего?

— Есть нѣтъ когда съ тобой раздобавривать! Садись на свое мѣсто да пей водку, вонъ!—проговорилъ писарь, указывая рукой на окно.

— О-о! Ахъ ты, сорока бѣлобока... Та-та-та! та-а-та!—Старшина, схвативъ полуштофъ, сѣлъ на стулъ съ кожаной подушкой.

— Якимъ! подай-кося лаханъ-ту?—сказалъ старшина мужику, стоявшему у двери.

— Раненько-бы... тово...—началъ было Якимъ и почесалъ себѣ затылокъ.

— Ну, не тебя—себя угощаю.

Мужичокъ подаль старшинѣ чайную чашку, рѣдьку и солонку.

— Вотъ!.. и потолкуемъ тожно... Важно!—произнесъ старшина, выпивъ чашку водки.

Старшина сталъ закусывать рѣдькой и началъ разговоръ съ мужичкомъ на счетъ лѣсу.

— А што-жь, старшина, Яковлеву-то?—спросилъ писарь.



— Веди!... Эй, Гаврило! води Яковлеву! живо води, чортъ те дер! — кричалъ старшина.

Немного погодя, въ большую комнату была введена женщина лѣтъ 35. Это была измученная женщина съ помятымъ лицомъ, подбитыми бровями, въ изорванномъ сарафанинкѣ. Всякій поглядѣлъ на нее и съ состраданіемъ, и съ отвращеніемъ.

— Што?! опять ты меня въ правленіе! — кричалъ ей мужъ, подошедшій къ ней съ кулаками.

— Не трожь!.. Разберемъ коли, тогда и бей, — унимали мужа крестьяне.

Тотъ отошелъ и началъ ругать свою жену. Ею кое-какъ уняли.

Вышедши изъ присутствія, т. е. третьей, уголовной комнаты, старшина сѣлъ на стулъ у одного стола, крестьяне стали во всю длину стѣны, женщина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоялъ за крестьянами.

Старшина всталъ со стула, подошелъ къ крестьянамъ и сталъ осматривать ихъ: онъ то поднимался на цыпочки, то заглядывалъ съ боку; причеъ голова его съ половиною туловища описывала полукругъ, что смѣшило крестьянъ, которые хихикали.

— Ахъ Прокопья нѣтъ? Какъ же это, робята? — проговорилъ вдругъ старшина.

— Хотѣлъ быть, да видно ногу сломалъ.

— Ишь ты... А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Эй, ей... въ некруты сдамъ, — проговорилъ старшина, обращаясь къ молодому крестьянину.

— А ты, Илья Петровичъ, не раздобаривай, пуцай коли домой, — произнесъ кто-то недовольно.

— Пушу, пушу!.. А вѣдь надо бы тово, четвертуху?.. А?.. робя!..

— Съ Яковлева бери.

— Васюха?! Васька? Ва-сю-ха!! — прокричалъ старшина, обратясь къ третьей комнатѣ; послѣднее слово онъ произнесъ по-кошачьи. Народъ заговорилъ. Всѣ роптали на старшину.

— Частливо оставаться! — сказалъ вдругъ одинъ крестьянинъ и сталъ надѣвать шапку.

— Стой?! Кто выдетъ — гривна серебра штрафу... — сказалъ строго старшина.

— Это-то небось помнитъ, на это трезвъ... — роптали крестьяне.

— Сичасъ, робята... Никифоръ, тащи-ка писаря-то за волосы! — сказалъ старшина и мигнулъ одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился самъ съ перомъ въ роту и какой-то бумагой въ рукахъ.

— Подписывай!

— Поди ты отъ меня! Плевать?!

— Такъ я печать твою приложу.

— А вотъ! — и старшина показалъ писарю здоровый кулакъ.

Писарь было пошелъ, но старшина крѣпко ухватилъ его за фалду сюртука.

— Постой-кась... Не уй-де-ешь!! Я... а тебя не пу-шу-у!! Олексѣйко, говори!

Изъ толпы выдвинулся мужъ Дарья и почесываясь началъ рассказывать о поведеніи своей жены.

— Врешь! врешь! — озабоченно говорила Дарья.

— А ты говори дѣло. Воровала она у тебя? — спросилъ писарь.

— Передъ истиннымъ Богомъ говорю, — воровала: около трехъ палковыхъ унесла... Заставь Богу молить...

Женщина поклонилась въ ноги старшинѣ и стала выть.

— Ну!.. што кричишь-то!.. А ты, парень, нонѣ разбогатѣлъ тожно. А што-жъ податъ-ту! — спросилъ старшина Алексѣя Яковлева.

— Батюшка, Илья Петровичъ... сколатырѣлъ было три палковыхъ. Ну, думаю, слава Богу, завтра представлю въ волостное правленіе... Хватъ, она и вытащила... И хоть бы грошъ!

— Што-о-ты? — сказалъ старшина растагивая.

— Провалиться, не вру!

— Вася? вреть Олексѣйко, али нѣтъ? по твоему какъ?

— Конечно украла.

— А вы, робята? — обратился старшина къ народу.

— Известно... намъ што...

— Ну, значитъ, крада, — и конецъ дѣлу...

— Ну-ко, Дарюха? што ты скажешь, матка-свѣтъ? — обратился къ обвиняемой старшина.

Обвиненная вдругъ начала браниться и невѣстно почему назвала и старшину подлецомъ.

— Постой, постой, сорока! ты скажи, зачѣмъ деньги украла?.. А за руганъ я еще вышущу... говори! — крикнулъ вдругъ старшина такъ громко, что многіе вадрогнули.

Дарья ничего не отвѣчала.

— Писарь! — старшина держалъ все-еще писаря за одну только фалду сюртука; — какъ твои законы?

— Стегать! — одно.

— Робята, какъ? — спросилъ старшина крестьянъ.

— Мы ништо... Намъ што, — проговорили тупо крестьяне.

— Степанко! а Степанко!

Изъ первой комнаты вошелъ тотъ солдатъ, который раньше здѣсь занимался.

— Кашка-то у те есть ли? — спросилъ его старшина ухмыляясь.

Оказалось, что всю кашку увезъ съ собой становой на слѣдствіе по какому-то дѣлу, а што вѣники есть.

— А впрочемъ — добавилъ усердный солдатъ, — можно вицъ нарѣзать и у Хитильниковскаго дома.

Старшина согласился и послалъ Степанка за вицками. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будетъ наказаніе бабѣ — тяжкое или легкое. Старшина потребовалъ водки, принесли четверть; нѣсколько крестьянъ выпили по чайной чашкѣ, только закусить было нечѣмъ. Говоръ усилился. Кажется всѣ позабыли о происходившей недавно сценѣ, да и о предстоящей никто не говорилъ ни слова, только хвалили старшину, вѣроятно вслѣдствіе угощенія, что хотя онъ и пьянъ, да два угодыя въ немъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Опариха.

Всѣ крестьяне разомъ смолкли и удивленно смотрѣли на нее.

— Гдѣ старшина?

Внезапно ли наставшая тишина, или громкій го-

лось Опариха заставили старшину выйти въ эту комнату.

— Вонъ! глядите! Опариха!!—кричалъ старшина, кусая рѣдъку.

— Я давно Опариха... Охъ ты, пьяница ты горькая! и какой дуракъ тебя старшиной-ту дѣлалъ? — кричала Опариха и при послѣднемъ словѣ чувствительно дернула старшину за бороду.

— Нѣтъ... ты... па-стой, — размахивая рукой, говорилъ пьяный старшина.

— Моли Бога, што ты пьянъ, а то я бы тебѣ глаза выковыряла.

— Ой ли? выковыряла бы?

— Ну-ко скажи, какой твой судъ на счетъ Дарьи?

— Стегать...

— Вотъ тебя бы постегать-то!

Народъ захохоталъ.

— А вы-то што, олухи царя небеснаго!.. Вы-то што стоите, точно подохлые?.. Для того что ли васъ позвали сюда, чтобы табачище проклятый курить да хохотать!.. Ахъ! глядите, они водку лопаютъ! Ну, и судъ!..

— Да мы ништо... Наше дѣло што? коли бы... — загорлачили крестьяне.

— Вы-то што! Вы и слова сказать хорошенько не умѣте! — Потому, обратясь къ ошеломленному старшину, который тупо глядѣлъ то на народъ, то на нее и почесывалъ спину, Опариха крикнула:

— Подавай писаря!

Писарь вышелъ самъ.

— Ты што кричишь-то, калашница? Не твое дѣло — пошла вонъ!

— Какъ? меня вонъ? Да я у самого губернатора была, лично съ нимъ разговаривала, да онъ и тутъ не гналъ меня. А ты што за фря такая?

— Говорю тебѣ, пошла вонъ! — закричалъ писарь.

— Ахъ впрямь здѣсь кабакъ, только одного и не достаеъ — бочки нѣтъ. Поглядите-ка, православные, старшина съ писаремъ лыка не вяжутъ.

— Ребята, гоните ее! — крикнулъ разозлившійся писарь дикимъ голосомъ. Но никто не трогался съ мѣста, всѣ переглядывались другъ съ другомъ, улыбались и шептали: „накосъ! эво какъ!“. Человека три впрочеъ дѣлали эти восклицанія вслухъ.

— А на столъ-то не кабакъ! Ну-ко, старшина, скажи нѣтъ, каковъ твой судъ?

Старшина и писарь не хотѣли отвѣчать.

— А вотъ подожди, увидишь.

— За вицами Степанко ушелъ, — проговорили негромко въ толпѣ.

— И впрямь стегать?

— И тебя выстегаю! — сказалъ важно старшина.

— Руки коротки! Дуракъ ты, дуракъ! Вотъ и видно, што своего ума-разума нѣту... Ты спросилъ ли муженька-то ея, за что онъ ее искалѣчилъ? Глядѣлъ ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у нея все искалѣчено?

При послѣднихъ словахъ Опариха подвела къ старшину обвиненную и сказала:

— Видишь!

— Такъ и надо! — проговорилъ старшина.

— Не твое дѣло! — сказалъ писарь.

— Ахъ ты, чуча ты эдакая! не по моей ли милости женушка-то твоя вылечилась? — сказала писарю Опариха.

— Ну, такъ што?

— Дуракъ, сидѣлъ бы ужъ, лопалъ водку-то! А вотъ, поди-ко, пиши паспортъ Дарюхѣ.

— Э-э! сорока-то што! А?.. вицъ несите-во, робята! — крикнулъ старшина.

— Это не меня ли ужъ, ваша милость? — передразнила старшину Опариха.

— Известно.

— Покорно бла-го-дарю! — Опариха низко поклонилась старшину, потомъ обратилась къ писарю:

— Ну-ко, скажи, умища: приказано бабъ стегать?

— Приказано.

— Кажи законъ?

— Съ душой и говорить нечего.

— А вотъ я хоть и дура, а доподлинно знаю, што бабы получили отъ самого Царя избавленье отъ вицъ и ты это долженъ знать!..

Народъ громко захохоталъ разомъ.

— А вотъ попробуемъ, какъ не велѣно, — сказалъ смѣясь писарь.

— Нака-съ читай, да вслухъ! — крикнула Опариха писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь началъ было прятать записку въ карманъ пальто, но народъ загалдѣлъ:

— Читай, читай! Нече прятать-то... Воръ!

— Отъ отца Василия записка-то, — сказала Опариха.

— Читай!! — заревѣлъ народъ и окружилъ писаря, старшину, обвиненную и Опариху.

„Илья Петровичъ! — началъ писарь чтеніе и, пробѣжавъ письмо про себя, остановился.

— Читай!!

— Да ничего нѣтъ: отецъ Василій проситъ выпустить Яковлеву.

— Читай!!! — заревѣлъ народъ нуще прежняго.

Писарь, видя, что ему отвергнуться отъ чтенія нѣтъ возможности, и, не находя словъ сочинить что-нибудь сію минуту, началъ продолжать письмо:

„Всѣмъ уже давно опубликованъ Царскій указъ объ избавленіи женщинъ отъ тѣлеснаго наказанія и потому, сожалѣя о тебѣ, прошу помнить это на всякомъ мѣстѣ, потому что за нарушение этого закона, который долженъ быть извѣстенъ писарю...“.

— Забылъ... кажется нѣтъ... — совралъ писарь.

— Читай! читай! нечево...

— „...ты будешь тяжело наказанъ. Священникъ Василій Феофиластовъ“.

— Эвона штука-то! Бабъ не велѣно стегать! А мы-то што?... Чудно! — галдѣли крестьяне, расходясь по комнатамъ. Всѣ заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не могъ понять. Писарь толкнулъ его въ бокъ.

— Спишь ты!

— Какъ же... А?.. Указъ! А мы тово!..

Писарь увелъ старшину въ третью комнату и сталъ что-то шептать ему, но старшина вдругъ разразился ругательствами на писаря. Опариха, разговаривавшая съ Яковлевыми и ругавшая его на чемъ свѣтъ

стоять за кражу лошади, вдруг вошла въ присутствіе, т. е. въ третью комнату.

— Ну, што-жъ вы народъ-то манте? Отпускайте бабу-то.

— Да мы уже... Гдѣ же этотъ законъ-оть?—ворчалъ старшина.

— Да што съ вами толковать! На вотъ трехрублевую, пиши пачпортъ: Яковлеву на годъ во всѣ города,—проговорила Опариха писарю.

Писарь призадумался.

— Три мало, пятитку—и пиши Василь,—проговорилъ старшина.

— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевой-ту деньги взялись? Будетъ съ васъ и этихъ—пропъете,—сказала Опариха.

Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писаремъ и удивленные извѣстіемъ объ отменѣ тѣлеснаго наказанія женщинамъ. Скоро комнаты опустѣли, только писарь писалъ паспортъ крестьянской женѣ Яковлевой, а старшина, сидя рядомъ съ Опарихой, разговаривалъ съ ней о поповскомъ жеребцѣ, подаренномъ недавно старостой священнику. Теперь между старшиной и Опарихой не было несогласія. Я стоялъ около Опарихи, потому что она рекомендовала меня старшинѣ и писарю за своего хорошаго знакомаго, прѣхавшаго къ ней изъ города лечиться. Старшина сдѣлался такъ любезенъ, что неотступно просилъ меня выпить водки и прійти къ нему задросто откушать, чего Богъ послалъ. Писарь подалъ старшинѣ паспортъ для подписанія; старшина кое-какъ подписалъ.

— И изъ-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопчешь-то? Вѣдь она не исправится,—сказалъ писарь.

— А постегать надо бы! жалость!..—проговорилъ со вздохомъ старшина.

— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мнѣ отъ нея житья нѣтъ, то и дѣло ругается да бабъ нашихъ мутитъ. По ея милости мало ли што говорятъ про меня?.. Ну, а какъ въ городъ-то свезу и лучше.

— Это истинно!—заклучили старшина и писарь.

Опариха и я распрошались съ начальствомъ и вышли. Яковлева сидѣла на крылечкѣ и, какъ только увидала Опариху, бросилась ей въ ноги.

— Прости ты меня, тетушка Онисимовна... прости-и!—причитала Яковлева.

— Ну, полно, дура. Говорила я тебѣ: не плыи въ колодець, пригодится... Ставай, пойдемъ ко мнѣ.

Яковлева не знала что сказать, однако пошла за Опарихой.

Дорогой я спросилъ Опариху: неужели у нихъ всегда такой судъ? Она сказала, что въ волостномъ правленіи еще и не то дѣлается: старшина и писарь что захотятъ, то и дѣлаютъ.

— Ну да,—прибавила она,—и старшинѣ достается. Это въ волости-то ничего, терпѣть, а попадется пьяный на улицѣ старшина али писарь, такъ отдубасятъ!.. Поубавятъ-таки вѣку—и по дѣломъ! Одново раза даже писаря выстегали и жаловаться не посмѣлъ.

Назначила Опариха отправиться въ Т. въ субботу утромъ. Я тоже налаживался съ ней, а Яковлеву

Опариха отпустила къ сестрѣ до субботы. Послѣ обѣда въ Опарихѣ приходила женщина съ просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что послѣ завтра отецъ младенца, кумъ и кума уѣдутъ на покосъ.

— Я,—говорила женщина,—ходила къ нему, да онъ обѣщался въ воскресенье; да и намъ безъ тебя, тетушка Опариха, нельзя крестить, потому ты принимала.

Вечеромъ Опариха сходила къ священнику и получила отъ него разрѣшеніе принести младенца завтра утромъ въ церковь.

Я удивился тому, какъ Опариха вездѣ успѣваетъ и всѣ ея просьбы исполняются.

— Нечего и удивляться тутъ. Всякій можетъ успѣть, коли дѣло правое и разсудокъ имѣть,—отвѣчала она мнѣ и рассказала, какъ она разъ одного крестьянина отъ рекрутчины избавила. Дѣло состояло въ томъ, что у одного старика былъ сынъ двадцати двухъ лѣтъ. Были дѣти у старика и кромѣ этого сына, но всѣ померли. Сына поставили въ очередь, о чемъ онъ даже и не зналъ. Объявили наборъ и потребовали сына въ рекруты. Надо замѣтить, что старикъ былъ слѣпой, а жена его постоянно хворала, такъ что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вотъ Опариха и подала просьбу губернатору, началось дѣло, освидѣтельствовали отца и освободили сына отъ рекрутства, а писаря и старшину предали суду.

Въ субботу мы, т. е. тетушка Опариха, Яковлева и я, тронулись въ путь, но намъ пришлось идти, а не ѣхать, потому что Опариха нагурила телѣгу капустой. Но идти все-таки было весело, потому что Опариха занимала насъ смѣшными анекдотами изъ деревенской жизни, въ родѣ того, какъ она вылечила одну бабу отъ глухоты тѣмъ, что поставила бабу подъ колоколъ и что при этомъ у церкви стояли почти всѣ жители села и т. п. Вечеромъ мы пришли въ Т. и остановились у ея сестры Катерины.

Эта женщина была вполнѣ торговка; всѣ ея манеры и слова изобличали въ ней женщину, толкующую постоянно въ публикѣ и старающуюся различными способами приобрести себѣ хоть копѣйку барыша. У нея была лавочка на рынкѣ и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дегтемъ, орѣхами, ягодами, пряниками, табакомъ и т. п. вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имѣла видъ городской, сама она и мужъ ея, открывшій недавно заведеніе „распивочно и на выносъ“, приняли насъ любезно. Яковлеву мужъ Катерины обѣщалъ посадить въ питьное заведеніе.

Въ воскресенье Опариха стояла со своимъ возомъ на рынкѣ. Нельзя сказать, чтобы капуста ея была самая лучшая, но покупатели были, и она не замыкала ихъ къ себѣ крикомъ, не говорила, что ея капуста лучшаго сорта, а только заламывала большую цѣну: за сотню вилокъ полтора дѣловыхъ; ей давали восемь гривенъ и она потомъ отдавала за рубль.

Въ полдень я навѣстилъ ее на рынкѣ и отдалъ ей три рубля денегъ.

— И што ты, сударь ты мой! За што это? Будетъ и рубль.

Я настаивалъ, чтобы она взяла всѣ деньги, но она дала мнѣ сдачи два рубля и сказала:

— Если считать по-Божески, такъ дешевле рубля выйдеть. Потому двое сутокъ нужно вычестъ: разъ ты хворалъ и не ѣлъ; другой,—мы твои грѣбы ѣли. А што до другога, такъ я тебѣ скажу: моя сестра нахлебника держитъ за пять рублей въ мѣсяцъ.

Я не сталъ возражать и простился съ ней...

#### У.

### КУМУШКА МИРОНИХА.

Май мѣсяцъ въ исходѣ. Пять часовъ утра. У фабрикъ Веретинскаго казеннаго горнаго завода, отстоящаго отъ губернскаго города Прирѣчинска въ трехъ верстахъ, зазвонили въ колоколъ, которымъ давали знать, что пора рабочимъ идти на работу и пора работавшимъ ночью отправляться по домамъ.

Въ заводѣ въ это время было уже большое движеніе: выползали изъ воротъ зѣвѣющіе рабочіе—мужчины отъ 20 до 45 лѣтъ и ребята отъ 12 до 19 лѣтъ, съ мѣшками на плечахъ, лопатами, тесками въ рукахъ. Выползая изъ воротъ, они поворачивались то направо, то направо, смотря по тому, какъ расположены дома по улицѣ и широко крестились, смотря вверху въ одну сторону: этимъ они выражали то, что они молятся на церковь, стоящую въ логу, откуда ее изъза домовъ не видать. Всѣ они шли по одному направлению къ фабрикамъ; на встрѣчу имъ попадались рабочіе, возвращавшіеся домой. По одному шли немногіе, а шли больше человѣкъ по пяти, по семи, то молча, то перекидываясь словами. Встрѣчные не скидывали имъ фуражки, а просто перекидывались словами и шли своей дорогой.

— Здорово, Парамоничъ!

— Съ добрымъ утрищенькомъ!

— Кланяйся нашимъ.

— Э-э!

— А Мирониху не видалъ кто?

— Куму-то?

— Ну!

— Помирать!...

— А штобъ ее... Въ девятый разъ помирать, чертовка!

Женскій полъ тоже всталъ: одиѣ доятъ коровъ, другія топятъ печи, третьи въ огородахъ растенія поливають, свѣжій зеленый лукъ щиплютъ, четвертыя крынки, тески, чашки и ложки моютъ... Рано встали люди и рано принялись за работу, какъ будто каждый спѣшитъ куда-то... даже вонъ и гульняы коровы возвращаются съ поля и, останавливаясь у воротъ, чешутъ свои морды о перекладники, упираются рогами въ ворота, какъ будто желая пробить себѣ дорогу во дворъ и мычать.

— Тирука! тирука! тируконька!—слышится изъ дворовъ восклицанія женщинъ и затѣвъ ворота отпираются, появляются женщины разныхъ лѣтъ, держа въ рукахъ то лучину, то палку, то вѣнчикъ и, лю-

безно ударяя по коровамъ этими оружіями, приговариваютъ:

— У, ты! междудворная!..

На что коровы, взмахнувъ хвостами, бѣгутъ во внутрь двора и останавливаются передъ опрокинутымъ желѣзнымъ или деревяннымъ ведромъ и стараются своими мордами какъ будто поставить его на мѣсто.

Встаютъ спавшія у заплотовъ и среди дороги овечки, уныло взглядываютъ на вышедшее изъ-за горы утреннее солнце и подходят тоже къ воротамъ, стараясь перегнать другъ дружку; только одні свиньи тамъ и сямъ роются около заплотовъ и около помоевъ въ лужахъ.

У одного четырехкооннаго дома, съ разрисованными ставнями, стоитъ красная съ бѣлыми пятнами корова и, бодаясь въ ворота, мычить. Эта корова съ перваго раза производитъ на человѣка такое впечатлѣніе, что онъ не можетъ скоро оторваться отъ нея: высокая, здоровая, съ большой головой и рогами, торчащими прямо, съ большимъ выменемъ, она при всемъ своемъ страшномъ видѣ кажется красивой и одной изъ лучшихъ во всемъ заводѣ.

Изъ сосѣдняго дома вышелъ мальчикъ лѣтъ восьми, въ одной рубашенкѣ, босой, съ бѣлыми волосами. Онъ пошелъ направо, но оглянулся и побѣжалъ направо. Остановился онъ передъ коровой; та поглядѣла на него. Мальчику повидному хотѣлось что-то сдѣлать съ коровой. Вдругъ онъ схватилъ щепку, подошелъ близко къ коровѣ и какъ стрѣлецъ, отставя ноги на случай обороны, щепкой ткнулъ коровѣ въ морду. Та двинулась; мальчикъ хотѣлъ бѣжать, но залпнулся, упалъ и вмигъ висѣлъ уже на рогахъ коровы, т. е. корова зацѣпила рогами рубашенку мальчика. Корова поворачивала головой; а мальчикъ ревелъ.

Выбѣжала изъ калитки сосѣдняго дома женщина лѣтъ двадцати восьми и ахнувъ подбѣжала къ коровѣ.

— Ахъ, ты проклята!.. Ахъ!—и она начала хлестать корову толстой палкой. Корова ляглась и побѣжала прочь отъ дому. Мальчикъ висѣлъ и ревелъ.

— Марья!—послышалось изъ окна четырехкооннаго дома. Окно открылось и въ немъ показалась женщина лѣтъ подлѣ сорокъ.

— Да чтой-то кума, у те корова за разбойникъ! Просто проходу ребятамъ нѣту.

— Ой ты, дѣвка!.. Тирука, тируконька!—закричала кума изъ окна охриплымъ голосомъ. Корова подошла къ воротамъ, наклонила голову и мальчикъ свалился кубаремъ на землю, нагой: рубашенка висѣла на рогахъ. Мать мальчика нарвала крапивы и стала наказывать, приговаривая:

— Будешь ты баловать, чертенокъ! Я тебя куда послала?

— Врось ты парня-то, дура!—крикнула вышедшая изъ калитки кума.

— Да какъ же, кума; баловникъ какой!—сказала молодая женщина, бросивъ крапиву, и снявъ рубашенку съ роговъ коровы. Кума загнала корову на дворъ и вышла на улицу.

— А ты, Марфа, не видала ли овечекъ-то?  
 — Кто ихъ знаетъ...  
 — Ты ужъ такая. Знашь, я нездорова...  
 — Опять! выздоровѣла...  
 — Молчи!  
 — Эй, Мирониха? здорово! — сказалъ сидящій у окна противоположнаго дома мужчина лѣтъ тридцати, кумъ Марфы.  
 — Дома молодуха-то? — спросила въ свою очередь Мирониха.  
 — Дома. Здорова ли? — спросила показавшаяся въ томъ же окнѣ женщина лѣтъ двадцати, съ хлѣбной чашкой въ рукахъ.  
 — Слава Богу, молодуха.  
 — А мы думали, што ужъ и конецъ... А въ какой разъ-то?  
 — Што ты, дѣвонька: въ девятый вчера... — и Мирониха ушла во дворъ.

Управившись съ коровой, т. е. давши ей корму, сдѣлавши ей поило въ ведрѣ, Мирониха сбѣгала въ огородъ, который тянулся по горѣ семисаженными грядами, съ четырьмя парниками. На грядахъ росли преимущественно: лукъ, картофель, капуста, морковь и рѣдка. Все это кромѣ лука плохо еще поднималось. Въ парникахъ росли огурцы; они уже цвѣли. Походивши около грядъ, посмотрѣвши и удостовѣрившись, что все обстоитъ благополучно, она взглянула въ сосѣдніе огороды.

— Ишь, плехи! и тутъ, что есть смекальства нѣтъ, лежебоки! — сказала она громко и пошла въ баню. Выдвинула она одну половицу, спустилась въ сырое мѣсто, пощупала что-то тамъ, вышла оттуда, задвинула доску и пошла во дворъ. Во дворѣ она подошла корову и выгнала ее на улицу, перекрестивъ ее предварительно и сказавъ: „ступай съ Богомъ“.

Въ это время вышелъ на крыльцо, находящееся во дворѣ и выходящее изъ сѣней ея дома, человѣкъ лѣтъ сорока восьми, очень невзрачной наружности. Онъ былъ въ халатѣ и босикомъ. Въ зубахъ онъ держалъ трубку.

— Экъ те подняло ни свѣтъ, ни зоря! — сказала ему Мирониха, входя на крыльцо.

— Голова болитъ, Матрена Власовна.

— Голова болитъ! Кто велитъ пьянствовать-то?

Мужчина сталъ умываться изъ висящаго на веревочкѣ желѣзнаго рукомойника, похожаго на кружку съ носомъ-рожкомъ.

Вошла Мирониха въ кухню, какой позавидуютъ, да и завидовали прирѣченскія чиновницы, навѣщавшія Мирониху. Направо большая печь, обѣленная, съ приступками, противъ печи широкая полата, у двухъ стѣнъ лавки; въ переднемъ углу столъ. Стѣны хотя и не обѣлены и не оклеены бумагой, но, не смотря на то, что домъ сдѣланъ изъ бревенъ, обтесанныхъ по эту сторону, онъ такъ гладки и желты, какъ будто моются каждую недѣлю. Стѣна противъ печи подъ полатами чуть не вся исписана мѣломъ какой-то грамотой: идутъ цѣлые ряды ониковъ, крестиковъ, палочекъ и какихъ-то кривыхъ линій. Полъ, лавки,

столъ и приступки у печи очень чисты и желтоваты; что доказываетъ то, что они часто моются. Она вошла въ комнатку съ двумя окнами, тоже чистую, вселенскую. На окнахъ стояли цѣнты: бальзаминъ, алоэ, розагъ. На одной стѣнѣ висятъ въ рамкахъ пять картинъ литографированныхъ разнаго содержанія. Противъ оконъ у стѣны стоитъ кровать съ периной и подушками, подъ кроватью валяются сапоги и все это задерживается ситцевой занавѣскою или, по-западски, *юлюмомъ*, а въ углу, между кроватью и кухонною печью, выдающаюся сюда однимъ бокомъ, стоятъ два большихъ сундука. Комната даже нисколько не отличается отъ городской: въ ней есть большое, но простенькое зеркало, восемь стульевъ, два крашеныхъ стола и половики на полу.

Мирониха сняла половики и вытащила ихъ на крыльцо. Мужчина уже утиралъ лицо какой-то большою чистой тряпкой.

— Ефимъ! тряси-ко половики-то.

— Дай утереться.

— Туды же еще и умываться вздумалъ! — И она ушла въ кухню. Тамъ подъ лавкой лежалъ ефимъ въ ведрѣ. Она спрыснула изъ рта полъ въ комнатѣ и стала мести его. Немного погодя, Ефимъ принесъ половики въ кухню и держалъ ихъ передъ дверью въ комнату, смотря какъ Мирониха, нагнувшись въ три погибели, мететъ полъ, то справа налево, то слева направо.

— Чего ты стоишь-то? — крикнула она на Ефима. Ефимъ вздрогнулъ.

— Чего тамъ! — произнесъ онъ.

— Запылю половики-то! Положи на лавку, обра- зина!

— Самоваро-тъ ставить?

— Ишь! А ты далъ мнѣ денегъ-то на чай?

— Ну... опять, — сказалъ смиренно Ефимъ.

— Чего? на шкаликъ, небось, надо?

— Хм! — улыбнулся широко Ефимъ.

Смѣшонъ казался въ это время Ефимъ. Пожатіе-люе, небритое его лицо принимало различное выра- жене; глаза то смѣнили направо и налево, то смотрѣ- ли на Мирониху. Онъ походилъ теперь на собаку, го- товую по первой кличкѣ броситься къ хозяину. Его кожа на лбу то сморщивалась, то лоснилась, отчего стриженные гладко волосы то поднимались, то сад- лись на свое мѣсто, уши растопыривались. Въ немъ проявлялась то боязнь, то покорность, выражаемая тѣмъ, что онъ, высовывая изъ-за пѣчки голову, дер- жалъ руки назадъ, щипля пальцами свой халатъ. Въ это время можно было навѣрное сказать, что онъ ду- маеть: „а надую же я тебя, чертова кукла“...

— Ну, што ты стоишь, какъ корова.

Ефимъ съежился, потомъ выпрямился.

— Пошелъ, носи дрова-то, да руби говядину.

Ефимъ безпрекословно повиновался приказаніямъ Миронихи. Загорѣли дрова, Ефимъ рубилъ въ малень- комъ корытѣ говядину, самоваръ уже шумѣлъ, а Ми- рониха между тѣмъ справляла свою работу: поста- вила въ печь горшокъ съ водою и мясомъ, завела тѣ- сто и куда-то сбѣгала, что-то принесла подъ полъ.

— Игнатьичъ! — крикнула вдругъ изъ комнаты Мирониха, стуча чашками.

Ефимъ Игнатьичъ стрѣлой бросился въ комнату, такъ что халатъ разорвалъ о плитку, выскунувшюся наружу.

— Поди-ко, сбѣгай къ брату; спроси, не пойдетъ ли онъ въ городъ. Пойдетъ, такъ пусть зайдетъ ко мнѣ.

Ефимъ Игнатьичъ стоитъ, ежится, какъ приказный, и что-то хочетъ сказать.

— Кому я сказала?

— Я думалъ...

— Пошелъ! — передъ порогами получишь...

— Голова болитъ...

— Будь ты проклятъ, дуракъ. Вотъ пустая-то башка!..

Ефимъ Игнатьичъ ушелъ и скоро воротился съ извѣстiемъ, что братъ Мирониха въ городъ не пойдетъ сегодня, потому что нездоровъ.

— Ну, садись, не то — трескай, — сказала Мирониха Ефиму Игнатьевичу. Самоваръ стоялъ въ кухнѣ на столѣ, на самоварѣ стоялъ чайникъ съ изломаннымъ рожкомъ и двѣ чашки съ надписью: въ день ангела. Чашки были налиты, но чай не пили ни Мирониха, ни Ефимъ Игнатьичъ, потому что первая жарила на сковородѣ пять пирожковъ съ говяжьей, а послѣднiй только сиюны глоталъ, глядя на плитку, нюхая запахъ отъ пирожковъ и вслушиваясь въ верещанье масла, подложеннаго подъ пирожки. Пирожки поспѣли и Мирониха, выложивъ ихъ на тарелку, поставила тарелку на столъ передъ чашкой Ефима Игнатьича. Ефимъ Игнатьичъ только мигаетъ, а до горячихъ пирожковъ не дотрагивается.

— Ты што модничаешь-то? — крикнула на него хозяйка.

— Горячи...

— А водку пить не горячо?

Поспѣли еще двѣ сковородки и Мирониха сѣла къ столу; но предварительно она принесла изъ комнаты косушку водки и рюмку.

— Пей! — сказала она Ефиму Игнатьичу, подавая налитую водку. Тотъ выпилъ, крикнулъ, взялъ пирожокъ и въ два приѣма сѣлъ его. Выпила рюмку водки и Мирониха.

— Хопъ еще?

— Давай.

Съ четверть часа они сидѣли за столомъ. Ефимъ Игнатьичъ, послѣ двухъ рюмокъ водки, выпилъ пять чашекъ чая со свѣжими сливками и сѣлъ восемь штукъ пироговъ, а Мирониха то пила чай, то бѣгала къ печи вытаскивать шипящую сковородку, ругая пирожки анасемами. Вдругъ Ефимъ Игнатьичъ сказалъ со вздохомъ:

— Дѣла, какъ сажа бѣла! Хотѣ бы здѣсь на заводѣ должность получить?

— Вотъ ужъ экому пьюгѣ, прости Господи!

— Пьюгѣ!.. Я дѣло свое дѣлаю...

— Дѣлаешь ты. Чуть не тридцатъ лѣтъ прослужилъ, а чтѣ выслужилъ.

— Все, ишь ты, молодыхъ опредѣляютъ.

— Ой ты, чучело! Только бы тебя и слѣдовало въ огородъ поставить воронъ гонять.

— Хотѣ бы ты-то молчала, Матрена Власовна.

— Чего молчать-то: съ дуракомъ и Богъ не воленъ.

— Тебѣ говорятъ, што я тутъ, какъ... (онъ плюнулъ). Я писецъ и больше ничего по ихному, а кѣмъ столъ держится! Ну, отчего мнѣ не дадутъ помощника? — Онъ прослезился.

— Все у васъ рыжiй совѣтникъ-то?

— Все.

— Ты молчи, а я ужѣ схожу сегодня. Я этой совѣтницѣ ономедни брюхо правила, чаемъ наполнила, да что мнѣ ея-то чай? Разъ у меня своего нѣтъ?.. Ужъ я молчала, а она говорила...

— Што?

— А ужъ я сама про то знаю... Ну, што же ты не собираешься?..

Нехотя Ефимъ Игнатьичъ одѣлся: надѣлъ брюки, манишку, жилетъ, повязался галстукомъ, натянулъ и куртку. Одѣлась и Мирониха: надѣла ситцевое розовое платье и повязала голову платкомъ. Когда Ефимъ Игнатьичъ собрался совѣтъ, онъ перекрестился и сказалъ Миронихѣ: „благословляя“...

— Ступай съ Богомъ!

— Такъ попросишь?...

— Ну, что ты пристаешь? Ступай, знай.

Ефимъ Игнатьичъ ушелъ, а минутъ черезъ десять вышла изъ калитки на улицу и Мирониха. На плечахъ у нея висѣло коромысло, которое она обхватывала обѣими руками. На коромыслѣ висѣли — на одномъ крючкѣ узелъ съ свѣжими зелеными лукомъ, двѣ бутылки сливокъ, на другомъ крючкѣ — пять берестяныхъ небольшихъ туесковъ (по-заводски — бураковъ) съ молокомъ. Какъ только она вышла на улицу, ей попались на встрѣчу двѣ женщины, тоже съ коромыслами, на которыхъ болтались узелки съ лукомъ и туесками.

— Гляди, Офимья, кума-то!

— Здорово, кумушка! — проголосили женщины и остановились.

— Ну, чего стали?

— Да какъ это ты, кума, вчера соборовалась, а сегодня... ишь ты...

Спустились съ горы, пошли по большой дорогѣ, идущей въ городъ. Погода была отличная, тихая, солнечная. По дорогѣ шло много женщинъ, кучками и по одиночкѣ съ коромыслами, на которыхъ что-нибудь да болталось. Онѣ шли скоро, голосили между собой громко. Здѣсь слышались бабьи сплетни, сѣтованiя на мужей, сужденiя объ огородахъ и о томъ, какъ бы лучше сдѣлать такъ, чтобы капуста выросла хорошая. Говорили и о нарядахъ.

— Я, дѣвонька, какъ скоплю три съ полтинкой, безпремѣнно куплю кринолинку.

— Што ты?

— Вотъ тѣ Христосъ! Штой-то въ самомъ дѣлѣ всѣ нонѣ кринолинки носить.

— Да мы, почесъ, и говорить-то не утѣмъ: карналинъ зовется...

— Это, бабы, не пристало заводчанкамъ карнолинъ заводить. Потому наши мужички рабочiй народъ. Да и штой-то за страмъ, — голосила сѣсѣдка Миронихи, шедшая съ ней рядомъ.

— А сама, помнишь, въ Николу какой напаялила! экое колесо!—замѣтила Мирониха. Бабы захохотали.

— Чтой-то, кума, у тѣ Работкинѣ-то все пьеть? ты бы его приучила къ рукамъ-то.

— Гляди сбѣжить. Все обереть.

— Ахъ вы, подлыя! Да съ чѣво ево мнѣ унимать-то, развѣ я ему родня какая далася!

— Мотри! Не знамъ, што ли?

— Отсюда видно!

— Што, небось, губа-то не дура.

— Отсохни мой языкъ, штобы я соврала!

— Ну, ну! Не въ первой божиться-то, кумушка. Вотъ што!

Такъ дошли до города и потомъ всѣ разошлись по разнымъ улицамъ и скоро слышались пискливые голоса веретинниковъ: „луку, луку купите!! молока-то, молока не надо-ль!“...

Матрена Власовна Мирониха—типъ горнозаводскихъ женщинъ, которыя не только не уступаютъ мужчинамъ, но даже превосходятъ ихъ. Онѣ не боятся мороза, сильныхъ вѣтровъ, дождей, грозы, а ихъ только безпокоитъ пьянство, лѣнь мужей, безденежье, которое часто происходитъ не отъ нихъ, а отъ божескаго послабленія, какъ онѣ сами выражаются. Поглядите вы изъ окна или просто пройдитесь въ хорошую погоду по заводскимъ улицамъ: вы увидите играющихъ ребятъ обонхъ половъ въ однихъ рубашенкахъ, частію не отъ недостатковъ родителей, какъ мы это увидимъ послѣ, а по вкоренившемуся убѣжденію родителей, что дѣтей не стоитъ наряжать въ экие годки: они веселы, бойки, умѣютъ осмѣять кого угодно и далеко превосходятъ своею развязностью и находчивостью крестьянскихъ мальчишковъ. Поглядите вы въ ненастную погоду изъ окна, выходящаго на большую заводскую улицу, и вы увидите тѣхъ же ребятшекъ, не играющихъ, а бѣгущихъ куда-то въ одной рубашкѣ, босыми, съ непокрытыми головами. Ихъ и грошъ не задерживаетъ, и зимой босикомъ бѣгаютъ по снѣгу, конечно не играютъ, а перебѣгаютъ отъ сосѣда къ сосѣду. Чѣмъ старше ребята, тѣмъ больше вы замѣчаете за ними ловкости, смысленности и видите въ нихъ уже работниковъ. Вотъ даже теперь за Миронихой идутъ двѣ дѣвочки: одной двѣнадцатый годъ, а другой четырнадцатый. Та, которая поменьше, тащитъ въ обѣихъ рукахъ по туеску, другая тащитъ коромысло съ туесками. Отчего это такъ, а не иначе, мнѣ слѣдовало бы объяснить здѣсь, но я для краткости разсказа долженъ только сказать, что въ Веретинскомъ заводѣ, имѣющемъ постоянное сообщеніе съ городомъ, люди не живутъ замкнуто, выражаются безъ стѣсненій и жизнь ихняя сложилась какъ-то полугородски, но за то сверстницы въ десять разъ практичнѣе прирѣченцовъ.

Все это я говорю къ тому, чтобы не писать много о Миронихѣ. Она была дочь мастера. Съ двѣнадцати лѣтъ она стала ходить въ городъ продавать молоко и скоро научилась добывать деньги, такъ что отъ продажи молока, огородныхъ овощей, ягодъ и грибовъ, она къ свадьбѣ своей, бывшей на 18 году, помимо приданнаго, накопила пятьдесятъ рублей сер-

Тогда она была красивая дѣвка, какъ ее называли на заводѣ, толстая, высокая, краснолицая. Да и теперь, когда ей скоро стукнетъ сорокъ лѣтъ, она не только не уступитъ иной купчихѣ ни ростомъ, ни толщиной, ни лицомъ, но даже заткнетъ за поясъ любого купца. Она часто надувала первостатейныхъ плутовъ на молоко, на ягоды, и эти первостатейные плуты никакъ не догадывались: „отчего это Мирониха, когда ей на отдахъ тотчасъ деньги, черезъ мѣсяцъ кажется насчитывается лишнее, и какіе тутъ ни подводни счеты, никакъ бабу съ толку не собьешь; закричитъ, перекричитъ—словомъ, горломъ беретъ, подлая...“. Да прирѣтровъ много, гдѣ ихъ пересчитаешь!.. Замужъ она вышла конечно не по своему желанію, но съ мужемъ свилась въ первый годъ. Мужъ былъ молодецъ, красивый, столяръ, почему онъ много добывалъ денегъ, работая на городскихъ господъ, которыхъ онъ съ Миронихой называлъ *вареными раками*. Мужъ конечно пошивалъ по праздникамъ, но жена такъ ухитрялась съ нимъ, какъ нарядчикъ командуетъ надъ рабочими: пропьетъ онъ рубль, она лишитъ его чаю и заставитъ проработать усерднѣе, чтобы онъ заработалъ этотъ рубль; нагрубитъ онъ пьяный, она попьетъ его, свяжетъ и уложитъ на постель, куда и сама ляжетъ. Если мужъ кусаться станетъ, она его тербитъ за волосы, зажиметъ ротъ и доведетъ до того, что онъ утомонится, и потомъ пьянаго развяжетъ. Сдѣлавшись хозяйкой въ своемъ домѣ (домъ у ея мужа былъ свой), она всячески старалась нажить копѣйку. А нажить деньги было очень легко. Со времени основанія Прирѣченска веретинники стали извлекать отсюда выгоду и довели дѣло свое до того, что почти всѣ горожане постоянно покунаютъ у нихъ молоко, огородные овощи, ягоды и проч. Поэтому Мирониха была постоянно, съ утра до вечера, на ногахъ. Лѣтомъ—утромъ сбѣгаетъ въ городъ, продать все, что принесетъ туда, потомъ отправится по ягодамъ и опять летитъ въ городъ; только зимой ей было скучновато: тогда она только развѣ въ день ходила въ городъ, но за то находила иногда работу тамъ: мыла полы, стирала бѣлье.

Съ мужемъ жила она недолго, черезъ семь лѣтъ онъ умеръ и она осталась съ двумя дочерьми, которыя помогали ей въ хозяйствѣ, и съ помощью ихъ она привела огородъ въ отличное состояніе, такъ что у ней скорѣе всѣхъ поспѣвали хорошіе огурцы и рождалось всегда больше другихъ картофелю и капусту, до которыхъ прирѣченцы страшные охотники. Жить ей было можно, но она увеличила свой доходъ такимъ образомъ: въ городѣ у нея было много знакомыхъ, которые за молоко или за какіе-нибудь овощи платили ей не тотчасъ, а черезъ мѣсяцъ или черезъ три мѣсяца. Она и писала счетъ на стѣнѣ въ своей кухнѣ противъ печки: одна палочка обозначала долгъ за одинъ буракъ, который стоилъ пять или три коп. Она никогда не смѣшивала вѣстѣ разныхъ долговъ. Такъ, у нея въ одномъ мѣстѣ значился долгъ чиновницы Перекувыркиной, въ другомъ — купчихи Алапихи, въ третьемъ — семинаристовъ изъ такого-то дома. За то она къ каждому пяти палочкамъ приписывала себѣ за труды шестую палочку, думая: „небось, вы за ходьбу-то не прибавляете. А што мнѣ“

нужды, што вы меня чаемъ-то поите?». А такъ какъ она денегъ не тратила по пустякамъ, то у нея часто просили въ долгъ сосѣди или городскіе знакомые. И эти долги она пишетъ на стѣнку, только рубли обозначаетъ ониками, а гривны — крестиками. Если же кто не отдастъ ей долговъ, она ходитъ жаловаться къ начальникамъ, и если уже дѣло идетъ на ссору, приписываетъ къ тремъ оникамъ еще оникъ, а девять крестиковъ зачеркиваетъ, загоразиваетъ клѣточкой и сверху пишетъ оникъ.

Въ заводѣ она всѣмъ извѣстна за продувную бабу и всѣ ее зовутъ не иначе, какъ кумушкой, не потому, чтобы она ребятъ принимала, а потому, что она всѣмъ готова услужить и угодить. Еще до замужества она была, что называется, вострая дѣвка, не спускала ни одному мужикѣ и ни одной женщинѣ кривомъ и руганью. Въ замужествѣ и во вдовахъ она рѣшительно никого не боялась на томъ основаніи, какъ она выражалась: „съ насъ взятки гладки. Закона такого нѣту, чтобы командовать надъ нами“. А это происходило отъ того, что на заводѣ всѣ женщины добывали деньги, помимо мужей, которые, сами получая за работу немного, брали у женъ деньги въ долгъ, только безъ отдачи, и если куражились надъ женами, то сидѣли голодомъ. Одинъ годъ она носила молоко двумъ холостымъ молодымъ чиновникамъ: тѣ сперва платили, потомъ стали оттягивать. Полгода она носила имъ молоко, денегъ не дають. Перестала она носить и ввела съ одного росписку, и съ этой роспиской пошла въ то присутственное мѣсто, гдѣ служилъ чиновникъ. Оказалось, что чиновникъ вышелъ въ отставку, она къ начальнику Пузатову.

— Что тебѣ, баба? — спросилъ онъ ее.

— Да вотъ, ваше б—іе, взятки съ чиновниковъ долги. Тутъ-ка одинъ подписался, съ него и взятки. Я уже тебѣ наликки принесу.

Взглявъ Пузатовъ подать ей прошеніе; она подала. Черезъ полгода узнала, что дѣло ея сдано въ архивъ, потому что чиновникъ оказался несовершеннолѣтній, т. е. ему былъ только 20-й годъ и поэтому-де чиновникъ не имѣлъ права давать росписку и закона такого нѣтъ, чтобы съ несовершеннолѣтняго взыскивать долги чрезъ полицію. Обругала Мирониха Пузатова вахлакомъ и пошла къ начальнику постарше.

— Ваше благородіе! гдѣ такіе порядки написаны, чтобы долги не получать? — заголосила она, увидѣвъ начальника въ приемной. Она всѣхъ чиновныхъ людей называла *благородьями*. Начальникъ даже струсилъ бабы.

— Въ чемъ дѣло?

— Да вотъ твой-то, Пузатой, смотри што надѣлаешь... Ты думаешь, имѣ не дороги деньги-то? Поди-кось, а бы и съ тебя не стала взыскивать?.. Ты тамъ съ другихъ бери што хошь, а насъ не обижай; мы васъ кормимъ, потому безъ веретинниковъ вамъ бы трескаться нечего было...

Начальникъ улыбнулся; улыбнулись втихомолку чиновники, стоявшіе въ приемной.

— Ты, баба, очень дерзка, — сказалъ ей начальникъ.

— Не едакихъ видала! Я самого главнаго начальника видала. Вотъ што! У насъ свой начальникъ...

Найдемъ и повыше тебя! — закричала Мирониха разсердившись.

Думалъ, думалъ начальникъ и повернулъ направо кругомъ, а Мирониха хотѣла было принести жалобу лично главному начальнику горныхъ заводовъ, да ее отговорили заводскія бабы.

Часто она хлопотала у совѣтниковъ за своихъ заводчанъ, которые служили въ городскихъ присутственных мѣстахъ, и такъ какъ она носила молоко къ нимъ, то часто выигрывала дѣло въ такомъ родѣ: если человекъ гнали изъ присутственнаго мѣста, то онъ опять оставался тамъ, или переходилъ въ другое мѣсто. Часто она улаживала браки по любви и получала за это небольшие подарки.

Ефимъ Игнатьичъ Работкинъ былъ для нея совсѣмъ чужой человекъ. Онъ сначала служилъ въ какомъ-то казенномъ заводѣ писцомъ и тамъ рѣшительно ничего не приобрѣлъ кромѣ того, что сдѣлался пьяницей и запуганнымъ человекомъ. Передъ волей его произвели въ урядники, а въ волю уволили изъ горнаго вѣдомства съ предоставленіемъ ему права продолжать службу по гражданскому вѣдомству съ званіемъ канцелярскаго служителя. Вотъ онъ и покатилъ въ Веретинскій заводъ къ сестрѣ его жены (жена у него давно умерла). Но сестра тоже умерла, а о смерти ея онъ узналъ отъ Миронихи, розыскивая въ улицѣ домъ сестры. Оказалось, что и мужъ сестры его жены не живетъ здѣсь, а живетъ въ другомъ заводѣ съ новой женой. Въ городѣ у Работкина знакомыхъ не было, Мирониха и пустила его въ свою комнату. Пробытался Работкинъ мѣсяцъ безъ мѣста, прожилъ даромъ на счетъ доброй хозяйки, надоѣло такъ жить и сталъ надѣлать своимъ жалобами хозяйкѣ. Мирониха съ первой же недѣли замѣтила, что ея жилецъ человекъ спирный, услужливый: дровъ принесетъ, въ печку ихъ сложитъ и даже полъ вымететъ, только табакъ курить, ну, да кто нынѣ не курить. Вотъ она одинъ разъ приходитъ домой изъ города и говоритъ ему:

— Ну, Ефимъ Игнатьичъ, говори: слава Богу!

— А што?

— Говори!

— Ну, слава Богу.

— Мѣсто тебѣ нашла, въ коронную принимаютъ, даромъ, потешь.

И сталъ ходить Работкинъ на службу въ городъ. Уходилъ онъ ровно въ семь часовъ утра, а приходилъ домой въ двѣнадцатомъ часу ночи, потому что онъ занимался и по вечерамъ въ присутственномъ мѣстѣ и за это ему платили восемь рублей въ мѣсяцъ. Спросилъ онъ Мирониху, сколько она возьметъ съ него за квартиру со столомъ; она сказала: „а ничего! ты не Богъ знаетъ сколько съѣшь, все равно бросить придется“. И сталъ жить Работкинъ у Миронихи, превознося ее, и самъ не замѣчалъ, какъ мало-по-малу подчинялся ея командѣ. Она стала больше и больше заставлять его помогать ей въ хозяйствѣ, вскрикивала на него, когда онъ дѣлалъ не такъ, бранила его, что онъ пропиваетъ деньги и наконецъ забрала его совсѣмъ въ руки. Работкинъ этимъ не обижался,



а даже, какъ говорится, таять передъ Миронихой, которая могла заставить его обжечь весь заводъ нѣтъ-за косушки водки; но подѣ часть Работкину ставилось невыносимо скучно безъ Мироники. Онъ такъ привыкъ къ ней, что ни за что, кажется, не разстался-бы съ ней и поэтому въ головѣ его бродили разныя мысли съ разными желаньями. На службѣ товарищи часто корили его тѣмъ, что онъ снюхался съ Миронихой, живетъ съ нею гражданскимъ бракомъ; это его бѣсило и онъ задумывался все больше и больше и приходилъ къ тому заключенію, что ему не худо бы жениться на Миронихѣ, потому что она женщина работящая, да и съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ; но заговорить объ этомъ съ Миронихой не рѣшался. Съ своей стороны у Мироники и помысленія не было выйти замужъ за кого бы то ни было, потому что она сама добывала себѣ пропитаніе даже съ излишкомъ, постоянно была въ ходу, и, умаявшись днемъ, скоро засыпала ночью, не думая ни о чемъ другомъ кромѣ того, чтобы у ней были здоровы и цѣлы курцы, мороза, овечки и т. п. Поэтому, значить, заводскія женщины и мужчины говорили на нее напраслину, что она находится въ близкихъ отношеніяхъ съ Работкинымъ. Работкинъ былъ ей и нуженъ, и лишній человѣкъ, смотря по времени; нуженъ потому, что онъ закрывалъ ее дома своей особой; лишній потому, что болтался около нея въ такое время, когда ей хочется скорѣе сдѣлать что-нибудь. Она съ своей стороны тоже привыкла къ нему, какъ къ человѣку, прожившему съ ней десять лѣтъ. Поэтому она, видя его робость и послушаніе, такъ и командовала надъ нимъ. Но порой на нее находилъ какой-то страхъ и она боялась, чтобы Работкинъ не укралъ у нея деньги, которые хранились въ банѣ подъ поломъ, и она притворялась больною и выздоравливала на другой день послѣ соборованія. Во время болѣзни ея Работкинъ на квартирѣ жилъ рѣдко, а приходилъ домой только спать, а это не нравилось Миронихѣ; но Работкинъ даже и не догадывался, что у Мироники есть большія деньги, потому что сосѣдки, во время ея болѣзни, ухаживали за ней и на свой счетъ приглашали къ ней священника.

Пришла Мирониха въ кухню, принадлежащую къ квартирѣ совѣтника Толстобрюхова. Въ кухнѣ увидѣла ее жена совѣтника, Марья Алексѣевна.

— Здравствуй, Матрена.

— Здорова ли, матушка, Марья Алексѣевна?

— Слава Богу, послѣ твоихъ рукъ поправилась... Радуюсь, что ты выздоровѣла, а то безъ тебя молоко и сливки дрянныя продавали.

— А дома у тѣ самъ-то, Савелій-то Павлычъ?

— Дома. Одѣвается!

— Какъ бы мнѣ съ нимъ покаянать?

— Опять просить за кого-нибудь?.. Ниче у насъ такой въ присутствіи начальниѣ, что бѣда. Все самъ...

— Ну, ужъ супротивъ Савелья Павлыча гдѣ ему! Вошла Мирониха въ кабинетъ, гдѣ Толстобрюховъ напивалъ на себя вицъ-мундиръ.

— Здорово, батюшко. Не досужно, поди-ка?

— Здравствуй, Матрена... Ну, что?

— Да опять къ тебѣ. Нѣтъ ли мѣстовъ-то у те?

сочиненія о. гавриилкова, т. II-й.

— Какъ нѣту; два даже.

— Такъ нельзя ли мово-то квартиранта Работкина назначить.

— То-то што нельзя. Пятьдесятъ рублей дають, да мало...

— Ишь ты... Я ужъ тебѣ припасла пять фунтиковъ чухонскаго масла. Славное, сливочное...

— Экъ она! Масло само собой, а деньги само собой.

— Полна-ка, сударикъ!..

— Нельзя.

— А ты сколько бы взялъ съ меня?

— Да сотню надо бы.

— Ишь ты, гостинодворецъ... Такъ не то какъ?

— Да для тебя ужъ такъ и быть—шестьдесятъ.

— А я думала бы пятачку.

— Што ты, што ты!

— Экой ты, какой неговорчивой. Ты думаешь, што твое мѣсто клиномъ соплось? Да я другова совѣтника попрошу. Я и къ самому вашему старшему пойду; скажу: вотъ, молъ, тебѣ двадцать пять, хошь бери, не хошь, наплевать.

— Да ты чего за чужихъ-то хлопчешь. Хошь я тебѣ жениха найду?

— Мнѣ?

— Ну, и должность ему даѣть. Чиновникъ молодой.

— Наплевала бы я на твоихъ-то чиновниковъ. Я ужъ замужъ не пойду, а твоему чиновнику, если хошь, найду неvěсту съ домоу, только Работкину даѣть мѣсто.

— Ну, ужъ давай не то двадцать пять.

— А ты опредѣли, да потомъ и проси.

Черезъ недѣлю Работкинъ получилъ должность попомника. И какъ же онъ радовался этому! Въ ногахъ вывалился у Мироники, которая теперь, еще пуще прежняго, стала командовать надъ нимъ.

Стали показывать къ Работкину гости изъ города, сталъ онъ угощать ихъ; денегъ у него хватало; а Мирониха не сердилась на это, потому что она говорила: должностному человѣку нельзя не имѣть компаніи съ должностными людьми. Работкинъ сталъ больше и больше жалеть передъ Миронихой и разъ, сидя за чаемъ, сказалъ ей:

— Матрена Власовна, выходи за меня замужъ.

— За тебя-то? Съ какой стати я пойду замужъ за дурака?

— Я должность имѣю.

— А кто тебѣ должность-то досталъ? Въ состояніи ли ты самъ что-нибудь сдѣлать?

Такъ Работкинъ и пересталъ говорить ей о женитьбѣ, только замѣчалъ, что Мирониха что-то рѣже ходитъ въ городъ, мало разговариваетъ съ нимъ, какъ будто дуется на него, больше задумывается.

Сидѣли они какъ-то вечеромъ за ужиномъ, Мирониха и говоритъ Работкину:

— Вотъ што, Ефимъ. Я тебѣ нашла должность; теперь ты имѣешь кусокъ хлѣба свой и мнѣ ужъ тебя кормить не приходится, потому на меня сплетничаютъ. Иди на другую квартиру.

— Да я къ тебѣ привыкъ, Матрена Власовна.

— Мало ли што. Женись.

— Не хочу.

— А зачѣмъ за Марьей Степановной подглядываешь?

внешь? Я будто не знаю. Вот и женись. Домъ тебѣ въ городѣ выстроить, денегъ дадутъ.

Согласился Работкинъ жениться на Марьѣ Степановой и черезъ два дня переѣхалъ на квартиру въ городъ, а въ этотъ день вечеромъ у нея сидѣлъ гость, одинъ молодой чиновникъ, Семенъ Семенычъ Кольчиковъ, который часто приходилъ въ гости къ Работкину.

— Отчего ты не женишься?—спросила его Мирониха.

— Да денегъ все нѣтъ. Вотъ бы должность надо получить, да все наслѣдства дожидаясь.

— Хоть, я попрошу.

— Сдѣлай одолженіе. А я, Матрена Власовна, влюбленъ.

— Въ кого?

— Въ тебя.

— Поди ты!

На другой день Мирониха уже лѣтѣла въ городъ и черезъ полчаса стояла въ прихожей новаго совѣтника, назначеннаго вѣсто Толстоброхова; но этого совѣтника она видѣла всего раза два въ кухнѣ.

Лакей спросилъ ее: кого нужно?

— Не тебя конечно, самото...

— Кого самото?..

— Совѣтника Любкина.

— Дома нѣтъ его.

— Я тѣ покажу, нѣтъ дома, рыжій чортъ! Скажи, веретинника пришла, и все тутъ.

Вышелъ совѣтникъ, молодой человекъ.

— Ваше благородіе, што возьмешь за мѣсто?..

— Что такое?

— Вотъ теперь у тебя въ отдѣленіи вакансія есть, а у меня хорошій человекъ есть...

— Ты куда пришла?—крикнулъ совѣтникъ на Мирониху.

— Ты не кричи, не такихъ видали!

— Иванъ, выгони ее.

— Ну-ко, сѣй! У меня еще не отсохли руки-то. А ты скажи: дорого ли ты берешь? Вонъ Толстоброховъ, такъ тотъ и масломъ забиралъ.

Лакей вытолкалъ Мирониху. Обидно ей сдѣлалось.

— Подлый народъ эти, ваши-то!—сказала она Кольчикову, вызвавъ его на крыльцо.

— Надо подарить. Ишь, выгнѣ новинькіе-то начальники только треску задаютъ, а берутъ по много.

— Я бы дала сотню, да ты-то какъ заплачинишь?

— Я тебѣ десять коп. на рубль буду платить, только подмажь колеса-то.

Согласилась Мирониха дать ему подъ росписку сто рублей и пошла прямо въ свою баню. Открыла осторожно половицу, спустилась туда и ахнула. Корчаги съ накопленнымъ ею въ тридцать лѣтъ капиталомъ не оказалось. Порыла она вездѣ подъ половицъ—нѣтъ. Какъ ошатавшая, она вышла изъ бани, прибѣжала въ комнатку и сѣла на стулъ. Такъ она просидѣла съ полчаса. „Кто укралъ?“, думала она. „Работкинъ! Ахъ, злодѣй, больше некому!“—додумалась Мирониха.

Вечеромъ зашелъ къ ней Кольчиковъ и удивился, что она все молчитъ, такая блѣдная, и не слышитъ, что онъ говоритъ ей.

— А ты не слыхала, что Работкинъ-то творить въ городѣ?

— Чего?

— Домъ купилъ.

— Врешь!!

— Бѣ Богу. Говорить, кто-то подарилъ ему изъ родныхъ четыреста рублей. Я просилъ у него, да не даетъ. Триста рублей далъ за домъ.

Цѣлую ночь Мирониха не спала. Начнетъ она дремать, ей кажется, что кто-то душитъ ее собирается... Въ семь часовъ она уже лѣтѣла въ городъ, но безъ молока, а только съ лукомъ. Поразспросила она тамъ, правда ли, что Работкинъ покупаетъ домъ и удостоившись, что правда, она кинулась прямо въ то присутственное мѣсто, гдѣ служилъ Работкинъ. Она пошла прямо въ ту комнату, въ которой занимался Работкинъ. Оглядѣвшись и увидѣвъ Работкина, она подошла къ нему. На нее смотрѣли всѣ служащіе.

— Здравствуй,—сказала она.

— Здравствуй,—сказалъ онъ. Чиновники захохотали.

— Чему вы, псы, смѣетесь? Вы поглядите на этого варнака... Куда ты деньги дѣваешь, подлая ты рожа?—заголосила Мирониха на все отдѣленіе.

Работкинъ поблѣднѣлъ, затрясся.

— Какія деньги?—спросилъ онъ. Столъ окружили всѣ чиновники этого отдѣленія.

— Ахъ ты, песь ѣдакой!.. На какія ты деньги домъ-то покупаешь? А!—ну говори: куда ты корчагу-то дѣваешь? Вѣдь я тридцать лѣтъ копилъ...

Работкинъ всталъ и пошелъ.

— Куда ты пошелъ?! Держите вы его, подлеца!.. уйдеть! уйдеть!—закричала Мирониха, вѣвшилась въ Работкина и давая трести его, приговаривая:—я тебя даромъ кормила! мѣсто... тебѣ выхлопотала, твоимъ Толстоброховымъ услуживала... Отдай, штобъ тѣ околѣть, корчагу!..

— Господа, она сумасшедшая!—крикнулъ Работкинъ. Пришли сторожа и вытолкали Мирониху изъ отдѣленія, а Работкина стали стыдить товарищи; но онъ говорилъ, что она давно уже съ ума сошла. За Мирониху заступились веретинники, служащіе въ этомъ отдѣленіи, но большинство стояло за Работкина. Между тѣмъ Мирониха не утерпѣла: она ворвалась въ кабинетъ начальника Чучелы и запричитала:

— Охъ, ограбили! охъ, мои матушки!..

Чучело пришелъ въ ярость, потому что баба прервала его дѣльные мысли. Онъ завопилъ въ колокольчикъ. Пришелъ вахмистръ.

— Позови сторожей, да вытолкай ее.

— Меня? веретиннику?! Врешь!—Я къ самому главному пойду; тебѣ улеку въ острогъ!..

Однако Мирониху вытолкали усердные сторожа на улицу и пошла она въ заводъ, причитая: „батюшки! голубчики! Тридцать лѣтъ копилъ деньги, за всѣхъ хлопотала... А тутъ?.. Пятьсотъ рублей вѣдь укралъ Работкинъ-то совсѣмъ и съ корчагой!... Попадавшия ей на встрѣчу веретинники недѣлались надъ ней:

— Какъ же это такъ?

— Охъ, въ банѣ были!..  
 — Ну, вотъ, такъ и есть! Говорили мы тебѣ: огрѣ-  
 ешь онъ тебя.  
 — Въ тикомъ-то смутѣ и водятся черти.  
 — Ну, не будемъ теперь лишніе онки да палочки  
 приписывать!  
 — Што-жъ ты теперь, кумушка?..  
 — Ой, бабы, животъ болитъ!.. Ой! и сама не знаю,  
 што я буду дѣлать!

Прошло съ полгода съ этихъ поръ. Мирониха много  
 измѣнилась: похудѣла, пожелтѣло лицо, сдѣлалась  
 раздражительною. Она по прежнему работаетъ; по  
 прежнему копить деньги, кладя ихъ въ чулокъ, а по-  
 томъ засовывая подъ нары въ голбцѣ, но какъ толь-  
 ко сдѣлается ей скучно, задумается она объ укра-  
 денныхъ у ней деньгахъ, купить косушку, вышить,  
 угостить мужичи и подъ пьяную руку радасть всѣ  
 деньги въ долгъ, а пробудившись утромъ опомнится,  
 станетъ припоминать кому она давала деньги, подой-  
 деть къ стѣнѣ: все стерло. Пойдетъ она къ сосѣд-  
 камъ:

— Бабы, кто у меня вчера былъ изъ мужиковъ?  
 — А кто те знать, съ кѣмъ ты амуришься.  
 — О, подаян! Вѣдь цѣлый рубль растащили?..  
 — Да куда тебѣ и беречь-то? Вѣдь у тебя дѣтей  
 махонькихъ нѣтъ.

— Дайте, бабоньки, опохмѣлиться.

Тѣ дадутъ пятакъ; она пойдетъ въ кабакъ, вы-  
 пьетъ и говоритъ: „вотъ вчера украли у меня, а сегодня  
 заняла свои же деньги...“. За Мирониху ухаживаютъ  
 рабочіе, поятъ ее, цѣлуютъ, дразнятъ ее корчагой;  
 она злится, отвертывается отъ нихъ, и уходитъ изъ  
 кабака пьяная и пошатываясь поетъ пѣсню:

По горенкѣ хожу,  
 Въ овошечко поглажу,  
 Съ помиленькимъ потужу!  
 Тужить, плачетъ дѣвица,  
 Уливается слезами и т. д.

Веретинницы и веретинники останавливаются, даютъ  
 ей проходъ и спотрять на нее.

— Што шары-те уставили? — крикнетъ она на  
 нихъ.

— Што это досдѣлось (сдѣлалось) съ кумой-то? —  
 спрашиваютъ мужичины.

— Ишь, Работкинъ-то, ея любовникъ, корчагу съ  
 деньгами уволокъ!

— И какъ это она наскочила? Ахъ кумушка, ку-  
 мушка!..

— А онъ все служитъ?

— Все. Въ свой домъ переѣхалъ. Сказываютъ на  
 городской хочетъ жениться.

На другой день Мирониха уже не пируетъ, а идетъ  
 въ городъ съ молокомъ или огородными овощами и  
 опять копить деньги до новой выливки. И славная  
 она въ это время; за то ужъ не ходитъ хлопотать ни  
 за кого, только развѣ сосватаетъ кому-нибудь дѣ-  
 вичу. Но хозяйство ея начинается подламливаться: въ  
 огородѣ плохо растутъ овощи, на покосѣ сѣно во-  
 орують, корова худѣетъ, четыре курицы околѣли, двѣ  
 самыя лучшія овечки неизвестно куда дѣлись. Какъ

посмотреть она на свое ховяйство, сердце зашпишетъ  
 у нея и заплачетъ она.

— Все подлець Работкинъ, да простота моя... Ужъ  
 я ли не молодецъ была, а доканали-таки... И зачѣмъ  
 это я совалась вездѣ, скотинская скотина!..

И хватить Мирониха водки въ кабакъ, да и заку-  
 тить такъ, что заснетъ тамъ, проспится до другого  
 дня и встанетъ съ синяками на лицѣ.

А Работкинъ все служитъ. Онъ получилъ чинъ и  
 женился на дочери какого-то отставного чиновника,  
 который хотя за дочерью не далъ денегъ, но можетъ  
 выхлопотать Работкину хорошую должность.

## VI.

### Я Ш К А.

Осень стоитъ грязная. Назадъ тому недѣля какъ  
 выпалъ снѣгъ, покрылъ всю Петербургскую сторону,  
 гдѣ уже ѣздить на санкахъ, тогда какъ въ самомъ  
 Петербургѣ ѣздить на колесахъ; мостовыя, особенно  
 набережная Петербургской стороны, заледенѣли, от-  
 чего не одна женщина имѣла несчастье шлепаться  
 всѣмъ корпусомъ на ледъ и поэтому проклинать свою  
 жизнь и проклятую осень; но сдѣлалась оттепель, ка-  
 кія въ невиской столицѣ не рѣдкость и зимою, пошелъ  
 дождь; снѣгъ размочило и онъ уплылъ къ набереж-  
 ной Невы. Хороша бываетъ грязная осень и въ са-  
 момъ Петербургѣ; осень же въ патриархальной Пе-  
 тербургской сторонѣ еще лучше. Объ этомъ нечего го-  
 ворить. Кто имѣлъ удовольствіе прожить хотя годъ  
 въ этой сторонѣ, тотъ очень хорошо знаетъ, что ни-  
 гдѣ такъ не замѣтны во всемъ Петербургѣ четыре вре-  
 мени года, какъ въ этомъ петербургскомъ предмѣстѣи,  
 обиталищѣ чиновниковъ, салонницъ, людей, любя-  
 щихъ тишину и покой, любящихъ вспоминать о про-  
 винціи и жить по провинціальному, и небольшого ко-  
 личество бѣдняковъ, студентовъ университета и ме-  
 дицинской академіи.

Вечеръ. Тихо на Петербургской сторонѣ. Кое-гдѣ,  
 и то по большимъ улицамъ, проѣдетъ извозчикъ съ  
 сѣдокомъ, да кое-гдѣ черезъ дорогу пробѣжитъ кто-  
 нибудь или пролаютъ въ разныхъ мѣстахъ нѣсколь-  
 ко собакъ. Темно, — такъ темно, что въ узкихъ ули-  
 цахъ и переулкахъ около мытинскаго перевоза не-  
 рѣдкость провалиться въ спускъ къ какой-нибудь  
 лавкѣ въ подвалъ, ступнуться лбомъ объ уголъ ка-  
 кого-нибудь дома или шлепнуться въ грязь, оступив-  
 шись гдѣ-нибудь въ ямѣ. Ни одного фонарика тутъ  
 нѣтъ. Такъ было назадь тому шестнадцать лѣтъ;  
 такъ почти и теперь есть, точно прогрессъ сюда не  
 хочетъ переправляться черезъ Неву; впрочемъ онъ  
 уже полугоночку переправляется: фонари теперь есть,  
 только въ маломъ количествѣ, горятъ часто не всѣ и  
 тускло, потому что газъ сюда еще не перебрался че-  
 резъ Неву. Восемь часовъ вечера обитатели Вѣло-  
 стокскаго переулка еще не спятъ: тамъ и самъ, по  
 обвинъ сторонамъ въ окнахъ, видѣнъ свѣтъ, кое-гдѣ  
 мелькаютъ по стѣнамъ тѣни. Тихо въ Вѣлостокскомъ  
 переулкѣ, — такъ тихо, что такъ и кажется, что всѣ  
 люди здѣсь уже собираются спать или, сидя на

стульяхъ, вѣшаютъ, — къ чему наводить громкіе вѣлки лавочниковъ въ подвалахъ, крестящихъ рты и приговаривающихъ: „о-о-хо-хо-о!.. А!! а!! согрѣшили попы за наши грѣхи“... Но чу! послышался откуда-то пискъ ребенка; кричитъ гдѣ-то какая то женщина; изъ одного мезонина вдругъ послышался густой басъ: „отверзу уста моя и наполнятся духа и слово „отрыгну“... и замерло все.

Но вотъ кто-то шлепаешь по грязи и натывается то на заплоты, то на стѣны домовъ.

— А штобъ тебѣ провалиться совсѣмъ... Ну, вотъ!! — говорилъ мужской охрипый голосъ. При всклипаніи мужчины, какъ видно, провалился въ лавкѣ по подвалу.

Изъ лавки вышелъ высокій, блѣдный мужчина въ полушубкѣ и грязноватъ фартукѣ. Онъ несъ свѣчку.

— Эко тебя любезный сатануло!.. Ставай, ставай! О!! — и лавочникъ сталъ пихать мужчину ногой.

Мужчина приподнялся.

— Послушай... Ну, и темъ, — проговорилъ онъ.

— А, Якову Савичу... Да; и темъ-же!

— Вотъ все хочу фонарь промыслить... У купца Егорова славный видѣлъ въ кладовой. Только знаешь ты, другъ, двухъ боковъ нѣту.

— Какой же это фонарь?

— Все же лучше бутылки!

— Ха, ха! Твоя-то Матрена поди не забыла бутылки, какъ ты ее... ха-ха... О, Господи! ха-ха!

— То-то и есть: пошелъ со свѣчкой, и пришелъ съ подбитыми глазами... А вѣдь въ фонарь водки не нальешь, особливо ежели боковъ нѣту. Прощай, Василь Николаичъ. Ходилъ къ бабкѣ — ушедши. Чать родила?..

— Счастливо... А ты ежели што — мою старуху — бабушку.

— О! А я ходилъ?..

Мужчина подошелъ къ калиткѣ и сталъ стучаться, а лавочникъ ушелъ въ лавку, вѣвая и приговаривая:

— О-охъ грѣхи, грѣхи... Тоже бабу!.. Столиця, столиця — штобъ-те... — и онъ такъ стукнулъ половинкой двери, что чуть стекла не разбилось въ ней.

Долго стучался мужчина у калитки; не смотря на то, что даже самыя ворота съ заплотомъ шатались, обитателямъ не хотѣлось какъ будто выйти на дворъ. Наконецъ къ калиткѣ подошелъ дворникъ и окликнулъ мужчину: — кто?

— Чортъ! — сказалъ мужчина.

— Чортъ же и есть... Для васъ, чертей, только и живемъ... Пьяницы! — и дворникъ отворилъ калитку.

— Ты не ругайся, дядя Петро: слышь за бабкой ходилъ; жена родить.

— А, штобъ васъ!... Я вотъ возьму и запру. Отворяй самъ.

— Экъ, братъ ты разгѣнился. Говорятъ, дома нѣту бабкы-то. Вотъ што. А вотъ ты бы посвѣтилъ маленько, лучше бы было.

— О! ха-ха!! проваливай, братъ: у тебя и такъ въ глазахъ-то поди свѣтло. — И дворникъ заперъ калитку, а потомъ исчезъ въ темнотѣ.

Дворъ маленький, покрытый лужами, точно наводненіемъ какимъ. Пахнетъ чѣмъ-то гнилымъ, про-

кислымъ, воняетъ кожей, саломъ. Мужчина то и дѣло натикался на стѣны и углы дома, то шлепалъ въ небольшие ямы, въ которыхъ грязь и воды было ему на вершокъ выше колѣна. Откуда-то ревели привязанные на толстыя бичевки собаки и съ остервененіемъ лаяли. Наконецъ мужчина ушупалъ одно крыльцо и почти ползкомъ вошелъ на него по шаткинь, слезкинь ступенькамъ, на которыя ежеминутно скатывалась съ крышъ дождевая вода крупными каплями и барабанила до-нельзя по промоченной синіе мужнины. Однако путешествіе этимъ не кончилось. Находясь въ совершенной темнотѣ и духотѣ, мужчина долженъ былъ подняться по лѣстницѣ съ пятнадцатью шаткинь ступенекъ на узенькій корридорчикъ, пройти его, подняться еще по лѣстницѣ съ двѣнадцатью ступеньками, завернуть влѣво и еще подняться. Вотъ дверь направо; онъ повернулъ налѣво, растопыривъ обѣ руки, ушупалъ дверь, наставилъ ухо къ двери и остановился.

Тихо. Кто-то чихнулъ. Занялся ребенокъ.

— Конечъ! — и мужчина перекрестился, но все еще держалъ ухо у двери.

Онъ услышалъ женскій голосъ.

— Жива!! — онъ опять перекрестился и отперъ дверь.

Было темно; его сразу обдало воздухомъ, пахнувшимъ мыломъ, точно тутъ гдѣ-то стоитъ корыто съ намоченнымъ въ немъ мыльною водою бѣльемъ.

— Кто тутъ? — окликнулъ его женскій старушничій голосъ.

— Яковъ.

— Опоздалъ. Съ новорожденнымъ!

— А! Парнишко?

— Толстякъ какой — весь въ тебя.

— Славно!

И мужчина завернулъ направо.

Узенькій корридоръ былъ еще уже отъ кадокъ, сундучковъ и развѣшанныхъ по стѣнамъ юбокъ и разнаго ветхаго бѣлья. Было вездѣ темно, и мужчина ощупью дошелъ до двери, которая была не заперта.

— Вотъ кого наде за смертью посылать... — проговорила женщина въ темнотѣ.

— Дома нѣту акушерки-то.

— И не нужно. Опять напился.

— Ва-Богу...

— Полно, и такъ разить.

— Ну вотъ, провалиться!

Мужчина зажгъ салыный огарокъ, который былъ воткнутъ въ бутылку, и слабый свѣтъ отъ очень нагорѣвшей свѣтильни освѣтилъ комнату. Направо, у стѣны на кровати, лежала женщина лѣтъ ногъ-тридцать. Лицо ея было блѣдно, худо, точно она рожала каждый годъ и всѣ ея дѣти были живы. Она была не очень красива, хотя у нея и было чистое лицо, у стѣны лежалъ ребенокъ и дышалъ тяжело. Вокругъ кровати лежала какая-то старушка, скорчивъ ноги такъ, что ей было длинны не больше аршина съ четвертью и ее легко было бы взять въ охапку и нести куда угодно. Комната маленькая — похожая на чердакъ, потому что та сторона стѣны, къ которой были обращены ноги женщины и старушки, оставляла крышу и шла наклонно отъ стѣны двери къ ногамъ

ложакших. Окна въ ней не было. Вся мебель въ ней состояла изъ кровати, небольшого столика, табуретки и двуногого стула. На стѣнѣ висѣли: сарафанъ, полушубокъ, черный мужской кафтанъ и мужской грязный передникъ. Около стѣны, противоположной кровати, съ крышки сочилась вода и падала на полъ, на которомъ была уже порядочная лужа.

Мужчина снялъ свой халатъ и сталъ выжимать изъ него воду въ лужу.

— Ты бѣ въ корридоръ вышешь—и такъ, говорить, мы почмимъ,—сказала женщина.

— А насъ не почитать? Нѣтъ, шалишь!

Немного погодя онъ подошелъ къ женѣ.

— Ну, слава Богу,—сказалъ онъ, глядя то на жену, то на ребенка.

— Чего?

— Што родила; живой вѣдь.

— Лучше бы мертвый... Умереть, я думаю.

— Нѣтъ, пусть живетъ.

— А кормить—то кто будетъ: ты што-ли?

— А ты то на што?

— Я-то... Охъ! ты много-ли заработишь себѣ на хлѣбъ. Поди-ко, и мнѣ надо жрать, а онъ какъ? Дастъ, поди-ко, онъ мнѣ робить.

Мужчина замолчалъ. Запищалъ ребенокъ.

— Вотъ и молока нѣту! Согрѣй хоть Христа ради воды.

— А гдѣ бы я ее взять?

Теплой воды во всей квартирѣ не было. Запастись ею раньше никто не догадался.

Встала старушка, нагнула на себя салопчикъ и побѣжала въ лавочку. Немного погодя она принесла молока, разведеннаго въ теплой водѣ и сахаръ.

Мужчина долго не могъ заснуть; не спала и жена его; ребенокъ плащалъ.

— Хорошо бы, какъ бы онъ жилъ, только какъ устроить, Матрена?.. Вотъ и здѣсь течетъ.

— Помретъ.

— Што нользы—хороши, те, другое; а капиталы гдѣ?

— Ну, чухнакъ отдадимъ.

— Не надо. Лучше въ воспитательной.

— Я то же думала. А звать какъ?

— Пусть Яшкой зовется.

Суируги замолчали.

Итакъ родился человекъ, названный Яшкой, съ которыми родители не знали, что дѣлать съ перваго дня его рожденія.

Яковъ Савичъ Савельевъ и жена его, Матрена Ивановна—уроженцы деревенскіе, но жизнь обоихъ сложилась такъ, что первый еще мальчикомъ былъ взятъ въ городъ въ обученіе малярному ремеслу; какъ подростъ, вѣстѣ съ артелью, въ которой онъ обучался работать, переехалъ въ Петербургъ; Матрена же Ивановна, тоже дѣвочкой, была отдана въ работы на кирпичномъ заводѣ, куда она ходила со своими подружками за пять верстъ отъ деревни и отсюда получала денегъ по пяти копѣекъ въ сутки. Конечно по мѣрѣ того, какъ она подрастала, плата ей увеличивалась, но дошла только до двадцати копѣекъ

въ то время, какъ ей минулъ девятнадцатый годъ; больше же двадцати копѣекъ платы женщинамъ на кирпичномъ заводѣ не полагалось. Хотя у родителей того и другой въ деревнѣ были свои дома, они жили землю, за которую платили большой оброкъ, но земля эта не приносила имъ никакой пользы, потому что имъ приходилось больше тратить время на помѣщика, и поэтому почти все мужское населеніе деревни съиздавна ходило на заработки или въ города, или въ столицы: дома оставались жены, которыя управлялись съ хозяйствомъ, заимая собою помѣщику рабочія силы, а если у нихъ не хватало средствъ кормиться отъ остатковъ, которые были припасены раньше, то и онѣ шли тоже на работы въ ближайшіе фабрики и заводы. Поэтому и неудивительно, что и Яковъ Савичъ, и Матрена Ивановна съ дѣтства работали въ разныхъ мѣстахъ. Однако случилось такъ, что Яковъ Савичъ женился на Матренѣ Ивановнѣ. Какимъ образомъ случилось это—здѣсь распространяться я считаю лишнимъ. Женявшись на Матренѣ Ивановнѣ, Яковъ Савичъ прожилъ въ деревнѣ только два мѣсяца и укатилъ въ Петербургъ. Проживши дѣтство въ городѣ, въ артели, онъ еще тогда отыскъ отъ деревни, ему еще тогда было скучно въ деревнѣ безъ дѣла, а деревенская работа не нравилась; проживши пять лѣтъ въ Петербургѣ, онъ уже и на города сталъ смотреть, какъ на деревни, а объ деревнѣ и говорить нечего. Въ столицѣ онъ работалъ въ большихъ каменныхъ домахъ артелью, жилъ въ артели, много видѣлъ; ему нравилась столица, какъ молодому человеку, хотя его и кормили скверно, и платили сравнительно съ другими мало, и недоплачивали. Матренѣ Ивановнѣ скучно было безъ мужа; къ тому же она жила въ домѣ, принадлежавшемъ роднымъ ея мужа, и поэтому, какъ самая младшая въ семьѣ и взятая изъ бѣднаго семейства, она должна была заправлять всѣмъ хозяйствомъ, или быть съ четырехъ часовъ утра до девяти вечера на ногахъ; но когда мужъ предлагалъ ей передъ отъѣздомъ идти въ Петербургъ, она отказывалась руками и говорила, что боится туда идти, да и приѣздовъ не было, чтобы какая-нибудь женщина ихней деревни или сосѣднихъ уходила туда; кромѣ этого всѣ однодеревенцы рассуждали такъ: что мужъ долженъ ходить на заработки, а жена—жить дома. Впрочемъ тутъ было еще большее препятствіе: нужно просить помѣщика; хорошо еще отпустить онъ. А если отпустить, то увеличить оброкъ и на жену. Такъ она и осталась въ деревнѣ, гдѣ и жила шесть лѣтъ. Мужъ ея приѣзжалъ въ это время только два раза: одинъ разъ зимой, другой—лѣтомъ, и она отъ него имѣла уже двоихъ дѣтей—мальчика и дѣвочку.

Яковъ Савичъ не хвалился своимъ житьемъ въ Петербургѣ. Онъ работалъ по прежнему въ артели, потому что не умѣлъ жить одинъ и не могъ сыскать для одного себя работы. Что дѣлала артель, то дѣлалъ и онъ; не было у артели работы, сидѣлъ и онъ безъ работы и продавалъ деньги, до-этого заработанные. Хотя у него на пищу и на квартиру выходило немного денегъ, но однако, не смотря на то, что иногда ему приходилось получать въ мѣсяцъ рублей двадцать,—рѣдкій мѣсяцъ онъ могъ откладывать изъ этихъ денегъ пять руб. на оброкъ, потому что,

живя въ артели, ему трудно и неловко было отстать от товарищей: если артель дѣлала складчину или дозволяла себѣ какое-нибудь удовольствіе, и Яковъ Савичъ давалъ въ нее деньги; а такъ какъ артель состояла изъ двадцати четырехъ человѣкъ, изъ которыхъ многіе были хорошіе питухи, ѣли много, — къ тому же съ голодной пищи пилося и ѣлось много, то приходилось раскошелиться снова, и это раскошелыванье доходило до того, что къ утру у Якова Савича и его товарищей оказывалось въ карманѣ не болѣе пяти коп. мѣды. При такомъ положеніи Якову Савичу нечего было и думать о томъ, чтобы его жена жила вмѣстѣ съ нимъ въ Питерѣ. Впрочемъ онъ, занятый съ утра до вечера работою, думалъ объ этомъ можетъ быть только тогда, когда находился въ хорошемъ настроеніи, — что бывало очень рѣдко, — и гналъ мысль о совѣстномъ сожителствѣ въ столицѣ съ женою тѣмъ: „а вотъ съѣзжу домой, побалуясь и все тутъ“.

Однако судьба устроила такъ, что и его жена попала въ Петербургъ — и это устроилось очень просто. Родная сестра Матрены Ивановны, Акулина, весной ушла съ мужемъ въ Петербургъ, бросивъ своимъ роднымъ ребенка. Это не только удивило, но даже разозлило всю родню, и всѣ приписали это обстоятельство не тому, что Акулина червочуръ любила своего мужа, но говорили, что Акулина „паскуда“. Но черезъ три мѣсяца Акулина шлетъ оброкъ отъ себя, и всѣ узнали, что Акулина живетъ гдѣ-то у господъ въ манкахъ, получаетъ много и денегъ, и подарковъ. Это многихъ въ деревнѣ сбilo съ толку; Матрена же Ивановна только и думала о томъ, какъ бы ей уѣхать въ Питеръ, тѣмъ болѣе, что жизнь ея въ мужниной семьѣ становилась все невыносимѣе и тяжелѣе, такъ что дошло до того, что ее стали попрекать уже Акулиной: „Вотъ Акулина, смотри, сама за себя и даже за мужа платитъ оброкъ, а ты што? только чужой хлѣбъ ѣшь“. Лѣтомъ пришелъ къ Матренѣ Ивановнѣ мужъ: она стала ему говорить о томъ, какъ ей тяжело въ деревнѣ, какъ ей хочется въ Питеръ и что она можетъ сама быть кормилицей, когда родить. Мужъ долго не соглашался съ женою, ругалъ ее, но замѣтивъ, что дѣйствительно женѣ скверно, рѣшилъ взять ее съ собой. Родился у Матрены ребенокъ, покормила она его съ мѣсяцъ, а потомъ отдала семьѣ Акулиной, которая была добрѣе семьи ея мужа и къ настрѣнію Матрены относилась доброжелательно.

Въ Петербургѣ Матрена Ивановна пробѣлалась съ полмѣсяца. Въ это время она не могла даже поступить въ кухарки. Насилу-насилу съ помощью подарковъ вахтерамъ и старухамъ она попала въ воспитательный домъ и пробыла тамъ на законной половинѣ три мѣсяца. Тамъ она была, что называется, казеннымъ человѣкомъ: одѣвалась какъ и другія мамки, приучилась пить кофей, ѣсть въ положенные часы то, что прочія ѣли, кормила въ сутки до десяти ребятъ, а съ порученными ей дѣтей обращалась именно такъ, какъ обращается торгашъ съ вещью; впрочемъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ у нея было на рукахъ пять ребятъ, которые скоро, по бѣдности родителей, были отвозимы въ деревню. Въ воспита-

тельномъ она получала порядочное жалованье, которое выпрашивала у нея мужъ для того, чтобы отослать въ деревню, но больше для своихъ расходовъ. По выходѣ изъ воспитательнаго съ десятью рублями, Матрена скоро поступила въ кухарки и жила на разныхъ мѣстахъ годъ, но потомъ захворала, пролежала въ больницѣ четыре мѣсяца, а по выходѣ поселилась съ мужемъ на квартирѣ и занялась прачешнымъ ремесломъ по найму у одной прачки, жившей въ томъ же домѣ. Такъ она прожила два года. Въ это время у нея родился ребенокъ и умеръ. Черезъ полгода послѣ его смерти мужъ ея перешелъ къ одному подрядчику на Петербургскую сторону и поселился въ опisanной выше квартирѣ за рубль сер. въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы ему носить хозяйкѣ, вдовѣ чиновницѣ, дрова и воду.

Прачешное ремесло у мытнинскаго перевоза было плохое дѣло для Матрены, и она нанялась въ кухарки, но какъ только барыня замѣтила, что ея кухарка брюхата и ходить тихо — пыхтитъ, — то и отказала ей. Поэтому до родовъ Матрена жила въ квартирѣ безъ дѣла двѣ недѣли, въ которыя была рѣдко сыта, часто бита мужемъ за то, что у него теперь расходовъ больше на ея кофей, булки и вообще на ея утробу. Жена же утѣшала мужа тѣмъ, что она недолго будетъ жить на его шеѣ, и ребенокъ вѣроятно умретъ, тогда она опять найдется куда-нибудь въ прачки.

Ребенокъ не умиралъ. Его окрестилъ. Послѣ крестинъ прошла недѣля, а Яшка живетъ и какъ на зло не даетъ матери покоя. Пойдетъ ли куда мать, ребенокъ плачетъ, хозяйка и жильцы сердятся, говорятъ, что Яшка и нигъ ничего не дастъ дѣлать. Стали Якову Савичу и его женѣ совѣтовать отдать ребенка куда-нибудь. Яковъ Савичъ злился.

— Я вотъ возьму да и уйду въ артель, а ты какъ хочешь съ нимъ, — говоритъ онъ женѣ.

— А чей ребенокъ-то?

— Зачѣмъ шла сюда? Ты думала вѣкъ въ манкахъ-то будешь? Пошла съ нимъ, съ дьяволомъ, въ деревню!

Но Матренѣ Ивановнѣ не хотѣлось идти въ деревню. И на это она имѣла много основаній. Однако какъ быть? Мужъ ежедневно попрекаетъ ее; поступить на мѣсто — ребенокъ мѣшаетъ. Отдать его въ деревню на вскормленіе — платить надо; отдать въ воспитательный не хочется, потому что она знаетъ, каковы тамъ обиходъ и каковы послѣдствія. Наконецъ мужъ сталъ постоянно приходить пьяный; узнала Матрена, что онъ безъ мѣста, и товарищи его удивляются тому, что онъ пьянствуетъ и никому не платитъ долговъ. Говорили человѣка два, что его надулъ подрядчикъ на десять рублей вскорѣ послѣ рожденія Яшки, еще до крестинъ, — и вотъ онъ сталъ пьянствовать и буйнать. Чѣмъ бы окончилось дѣло — неизвестно, но скоро Матрена Ивановна нашла на Офицерской улицѣ мѣсто кухарки за три рубля, и въ тотъ же день отдала ребенка чужонкѣ на воспитаніе за три рубля въ мѣсяцъ. Отъ мужа она ушла тайкомъ, когда онъ былъ въ кабацѣ, и съ этихъ поръ уже видѣла его только два раза: разъ черезъ три недѣли послѣ поступления на мѣсто — въ больницѣ, гдѣ онъ лежалъ въ бѣлой

горячкѣ, а во второй — мертвого черезъ недѣлю послѣ этого.

Деревня Тудари, въ которой жила чухонка Катерина, взявшая на воспитаніе Матренина сына, находится въ петергофскомъ уѣздѣ, расположена на небольшомъ пригоркѣ и окружена съ трехъ сторонъ болотомъ, а съ четвертой — небольшими пашнями, съ которыхъ хозяева ихъ получаютъ очень немного. У этихъ чухонъ нѣтъ ни яблокъ, ни малины и другихъ ягодъ — и все ихъ богатство въ отношеніи растительнаго царства, за исключеніемъ ржи, составляетъ картофель, который урождается не всегда хорошо, и сѣно, котораго, при небольшомъ количествѣ коровъ, хватаетъ на зиму едва-едва. Поэтому нужное населеніе деревни большею частію работаетъ или около Царскаго Села на подрядчиковъ, или занимается извозомъ, тоже по подрядамъ, въ петергофскомъ уѣздѣ и въ самомъ Петербургѣ; женщины же носятъ въ Петергофъ молоко, сливки, масло и яйца. Но главный предметъ ихъ промышленности состоитъ въ томъ, что онѣ воспитываютъ дѣтей. Почти каждая хозяйка дома знакома очень хорошо съ воспитательнымъ домомъ, и поэтому ей небольшого стоитъ труда получить оттуда дѣтей, нѣтъ дѣло конечно съ конторой, въ которой (не знаю какъ теперь) прежде приходилось ей оставить половину платы за каждое дитя. Случалось такъ, что уже старая женщина получала ребенка, обязываясь кормить его грудью. Женщинъ нужно было только взять на свое имя дитя, а потомъ она могла его перепродать другой чухонкѣ за молоко или за что-нибудь, уступить для того, чтобы самой получать плату и не возиться съ нимъ. А такъ какъ въ каждомъ домѣ была не одна женщина, то всѣ эти женщины тоже получали съ законной половиной, потому съ законной, что деревня Тудари находилась недалеко отъ воспитательнаго дома. Поэтому въ деревнѣ Тудари дѣтей разныхъ возрастовъ было больше взрослыхъ, но изъ нихъ родные дѣти кохились, какъ слѣдуетъ, были сыты и здоровы и съ ними обращались, какъ съ родными конечно насчетъ постороннихъ. И только какая-нибудь болѣзнь, въ родѣ коклюша, при тамошнемъ сыромъ климатѣ, грязной обстановкѣ въ избахъ, иногда неблагоприятно дѣйствовала и на родныхъ дѣтей, которые умирали такъ же легко, какъ и постороннія.

Домъ Катерины ничѣмъ не отличался отъ другихъ домовъ. Такая же большая, грязная изба, холодная зимняя и сырая, душная лѣтомъ, и такая же маленькая конната — жильё самихъ хозяевъ. У Катерины было двое дѣтей, взятыхъ изъ воспитательнаго дома — мальчикъ и дѣвочка; своихъ дѣтей у нея было трое — два мальчика — одному четыре года, другому шесть лѣтъ — и дѣвочка двухъ лѣтъ. Но Катерина была женщина добрая: какъ тѣхъ, такъ и другихъ дѣтей кормила ладно, потому что у нея было двѣ коровы и десять козъ; молока она не жалѣла для дѣтей и дѣти были здоровы, — что давало ей поводъ упрекать другихъ женщинъ въ даровомъ полученіи денегъ отъ казны и ссылаться на священное писаніе, которое она любила читать въ первый годъ замужества,

и какъ женщина набожная и теперь безъ книжки никогда не молилась Богу. Однако она слово „воспитаніе“ понимала буквально; она только думала, что ребятамъ надо кормить, и она кормила чужихъ — молокомъ и хлѣбомъ; своихъ — молокомъ, булкой съ масломъ, картофелемъ; все, что ѣли сами родители, ѣли и ихъ дѣти; если же дѣти Катерины были сыты до отвала, то остатки давались чужимъ; что же касается до ухода за чужими дѣтьми, то это не входило въ программу воспитанія: чужія дѣти были едва прикрыты, ихнія одежки изнашивались родными дѣтьми; они валялись по полу, какъ попало, кашляли, хворали, спали въ корытахъ почти у самихъ дверей избы, не смотря на то, что зимой холодъ первыхъ ихъ охватывалъ и только тогда совѣтовались съ докторомъ, когда дѣло было уже плохо. А совѣтовалась Катерина съ докторомъ потому что, если умереть ребенокъ, она лишится платы и ей уже не такъ легко потомъ достать ребенка.

Дѣти Катерины хотя и были малы, но понимали изъ обращенія родителей, что половина изъ нихъ чужая, и старались съ своей стороны какъ-нибудь обидѣть ихъ, отнимая отъ нихъ то, что занимаетъ ихъ, колотя, и т. п., на что родителями не обращалось большого вниманія.

Яшка или по-чухонски Яска, былъ больной мальчикъ. Поэтому Катерина, получавшая отъ его матери больше, чѣмъ она получала изъ воспитательнаго дома, ухаживала за нимъ больше, чѣмъ за другими чужими дѣтьми потому вѣроятно, что за этого ребенка нужно платить доктору, а за казенныхъ нѣтъ. Но Яшка не поправлялся — и однажды заболѣлъ серьезно. Катерина повезла его въ воспитательный, подъ видомъ Васьки, мальчика, находящагося у нея изъ воспитательнаго дома.

И Яско — Васька, пролежавъ въ воспитательномъ мѣсяцъ, сталъ выздоравливать.

Поѣхалъ въ Тудари докторъ воспитательнаго дома. Пришелъ къ Катеринѣ; ей не было дома; дома была только старуха, и то больная. Докторъ былъ молодой.

— У, старая, сколько у тебя ребятъ-то, какъ свиней! — проговорилъ докторъ старухѣ, входя въ избу.

— Слава Богу.

— Ну, которая у тебя дѣвочка изъ воспитательнаго?

— А вотъ, што ползетъ.

— И этотъ тоже спитальной, — сказалъ мальчикъ Петръ, указывая на мальчика изъ воспитательнаго дома.

— И этотъ? — Докторъ сталъ смотрѣть таблицу. — Какъ же у васъ одна дѣвочка значится?

— Нѣтъ, у насъ мальчикъ и дѣвочка, — сказала старуха.

Васька сказалъ, что онъ и Машка воспитательные.

Докторъ записалъ мальчика и уѣхалъ.

Въ воспитательномъ справились: отъ Катерины взяли мальчика Василія въ больницу. Рѣшили, что или докторъ ошибся, или Катерина смошенничала.

Катерина струсила. Явилась въ контору. На нее начали сыпаться угрозы.

— Моя старуха больная; она плохо видитъ и плохо



слышать, — говорила Катерина, и стала просить ребенка домой.

Ей было совѣтъ хотѣли отдать ребенка, да ординаторъ повѣрилъ ей билетъ съ документами: госпитальный ребенокъ Василій значился трехъ съ половиною лѣтъ, а находящемуся въ больничной палатѣ было два года.

Нарядили слѣдствіе и разузнали, что Катерина проѣхалась на счетъ казны. Яшку отдали ей, а казенныхъ дѣтей отъ нея отобрали.

Теперь у Катерины стало меньше дѣтей, и стало меньше доходу, но она была рада, что отдѣлалась такъ легко, хотя съ этихъ Яшкой она израсходовала цѣлыхъ пятнадцать рублей. Вотъ она эти деньги и хотѣла наверстать какими-нибудь образомъ. Не смотря на ея набожность, она подумывала, что если-бы Яшка былъ дѣвочка, то ей и думать бы нечего: она бы стала дѣвочку легчать, а потомъ продала бы ее въ Питеръ, а мальчика кто у нея купитъ, да и за мальчика мать скорѣе ухватится. Мысль эта впрочемъ пришла ей въ голову еще и вслѣдствіе того, что Матрена еще передъ болѣзнью была у нея, а съ тѣхъ поръ она даже въ воспитательномъ домѣ не навѣщала своего сына, хотя Катерина ее и предупреждала объ этомъ. Стала Катерина розыскивать Матрену — не нашла. Въ адресномъ столѣ она не могла тоже ничего узнать.

Стала Катерина совѣтоваться съ мужемъ.

— Не купить ли его какой подрядчикъ? Рублей десять дасть бы, — говорила она.

— Подожди можетъ быть еще мать его явится.

Подождали недѣлю. Умеръ у Катерины старшій сынъ.

— Это отъ Яшки. Надо продать Яшку, — наставляла Катерина.

— Теперь онъ пусть будетъ работникомъ нашимъ, — рѣшилъ мужъ Катерины.

Такъ Яковъ и остался у Катерины.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого мужъ, пріѣхавши изъ Краснаго Села, говоритъ Катеринѣ:

— Надо Яску хорошенько растить, потому мнѣ подрядчикъ говорилъ, что онъ его возьметъ, какъ ему будетъ шесть лѣтъ. Я ему было говорилъ, что тогда мнѣ Яковъ будетъ нуженъ самому, только онъ мнѣ обѣщаетъ дать двадцать рублей. Какъ по твоему?

— Это хорошо. Лишь бы теперь жить, а послѣ какъ деньги получишь, — пусть околѣваетъ.

— А теперь вотъ онъ дасть задатку два рубля.

— И мужъ отдалъ женѣ деньги.

Вслѣдствіе этого Яшкѣ сшили ситцевую рубашку, въ которой онъ и ползалъ весело по полу, вызывая со стороны родныхъ дѣтей Катерины зависть, и лепеча по чухонски: кулла! майтъ!

Послѣ смерти мужа Матрена Ивановна усердно работала. Она была сперва кухаркой; но такъ какъ ей, при ея строптивомъ характерѣ, при ея неуслуживости и неумѣіи кланяться, унижаться и выжидать, трудно было гдѣ-нибудь ужиться на одномъ мѣстѣ болѣе мѣсяца, она поступала преимущественно или къ бѣднымъ людямъ, чиновникамъ, едва сводящимъ приходъ съ расходомъ и даже запутавшимся

до того, что ихъ постоянно осаждали кредиторы и наконецъ выгоняли вонъ съ квартиръ, или къ аферистамъ, рассчитывающимъ платить за квартиру пятнадцать рублей, а съ квартирантовъ получать сорокъ пять рублей, и живущихъ скупю; ее постоянно передъ выходомъ отъ какой-нибудь квартирной хозяйки обвиняли въ кражѣ бѣлья, или ложки, или какой-нибудь вещи, такъ что въ послѣдній разъ ей пришлось просидѣть понапрасну въ полициѣ недѣлю, и за это ей ничего не заплатили, потому что настоящий воръ нашелся, — то Матрена Ивановна опять поступила въ услуженіе къ прачкѣ, въ Фонарный переулокъ, за пять рублей. Работа была каторжная, хозяйка развратная, неумѣющая приберечь деньги. Матрена Ивановна постоянно слушала брань; хозяйка недосчитывалась изъ ея стирки какой-нибудь вещи и вычитала деньги, такъ что къ концу мѣсяца ей пришлось получить всего только два рубля. Матрена Ивановна перешла къ другой прачкѣ, но у той дѣла было много и къ ней постоянно ходили какіе-то евреи за долгами. Тутъ Матрена Ивановна прожила всего только недѣлю, и потомъ поступила на бумажную фабрику.

Я не буду описывать того, какъ работала Матрена Ивановна. Но не мѣшаетъ сказать, что жизнь на мануфактурѣ сперва ей нравилась: ей казалось хорошо работать съ женщинами, преимущественно молодыми; тамъ было весело; можно было острить не только другъ надъ дружкой, но и надъ мужчинами, можно было и покуражиться, такъ какъ мужчины оказывали особенное предпочтеніе молодымъ женщинамъ. Хотя Матрена Ивановна и была не молода, но лицо ее еще многихъ мануфактурныхъ франтовъ привлекало, и она по истеченіи мѣсяца уже имѣла кавалера, который и сталъ жить съ ней въ отдѣльной квартирѣ, за которую оба они платили рубль серебромъ, получая — онъ 50 к., а она 30 к. подомщицы. Въ это хорошее для нея время она часто ѣздила въ деревню Тудари, возила подарки Катеринѣ, которая отдавала ихъ своимъ дѣтямъ. Хотя ей и хотѣлось взять ребенка къ себѣ, но Иванъ Прохоричъ и думать ей объ этомъ не велѣлъ и даже высказалъ свое сомнѣніе насчетъ ея нравственности. Маленькій Яковъ ничего ей не могъ сказать о своихъ воспитателяхъ, тѣмъ болѣе, что онъ по-русски не умѣлъ сказать ни слова и даже какъ будто боялся своей родной матери; воспитатели же при посѣщеніи Матрены Ивановны дѣлали видъ, что они очень любятъ Яшу и ухаживаютъ за нимъ даже лучше, чѣмъ за своими дѣтьми, такъ что Матрена Ивановна, не подозревая ничего, была ими вполне довольна. Но любовь Ивана Прохорыча продолжалась недолго; онъ скорѣе сталъ ухаживать за другою женщиною, даже при Матренѣ Ивановнѣ; дома говорилъ Матренѣ Ивановнѣ дерзости и разъ, когда Матрена стала упрекать его Пашкой, онъ побилъ ее такъ, что она пролежала два дня. И хотя потомъ Иванъ Прохоричъ старался быть съ нею ласковымъ, но она уже не любила его такъ, какъ прежде. Мануфактура ей опротивѣла, потому что надъ нею стали смѣяться, стали давать ей работу не по силамъ. Не вынесла Матрена Ивановна всѣхъ неприятностей — и опять занялась въ прачки, и на этомъ мѣстѣ съ нею случилась бѣда. Разъ она утѣжила



бѣлье съ хозяйкой. На доскѣ была разложена юбка. Хозяйка только что поставила на плитку, находящуюся на концѣ доски, большой утюгъ, а Матрена Ивановна стала подбирать съ полу края юбки. Вдругъ хозяйка какъ-то задѣла за стулъ: доска свалилась, свалился и утюгъ и попалъ прямо на обѣ руки Матрены Ивановны. А утюгъ былъ почти каленый, такъ что въ моментъ паденія онъ не годился для глаженія, потому что прожигалъ. Матрена Ивановна стала лечиться домашними средствами, какъ-то: намазывая руки медомъ, мочила въ чернилахъ и т. п., и все-таки должна была поступить въ больницу. Отъ того ли, что она поступила въ больницу поздно съ больными руками, или ужъ леченіе было такое, только ей отрывали нить правой руки, а на лѣвой два пальца.

Такъ она и вышла изъ больницы калѣкой.

Еще въ больницу одинъ докторъ въ шутку называлъ Матрену Ивановну трехпалой, и Матрену Ивановну до самаго ея выхода изъ больницы всѣ называли не иначе, какъ трехпалую. Хотя въ той палатѣ, въ которой она находилась, было много женщинъ, испытанныхъ ампутацію и подвергавшихся различнымъ операціямъ, только почему-то многіе изъ нихъ казались смѣшнымъ безобразіемъ Матрены Ивановны. Добро бы глаза, нога или что другое, а то на вотъ-тѣ правая рука безъ кисти, а на лѣвой только три пальца!.. И выдуряютъ же вѣдь лѣкаря такую шутку! — и потомъ обращались къ Матренѣ Ивановнѣ:

— А што, трехпалая, какъ ты теперь будешь бѣлье стирать?

— И откуда, и за что Богъ такое наказаніе мнѣ послалъ? Кажись, отъ роду чужого ничего не крада. Вотъ только дѣвчонкой когда была, правда, морковъ тоже воровала. Ну, и за то, ахти, какъ драли!

— Ну, значитъ, кладено за грѣхи родителейъ. А все-таки ежели бы ты не крестьянскаго роду была, пальцы бы пожалуй цѣлы были.

На эти утѣшенія Матрена Ивановна ничего кромѣ слезъ не могла отвѣчать.

Въ самомъ дѣлѣ, что она будетъ дѣлать съ единственными тремя пальцами?

И проклинала же Матрена Ивановна свою жизнь. Много она въ ней видѣла причинъ, которые довели ее до этого несчастія; но больше она проклинала себя за то, что, оставивъ въ деревнѣ ребенка и позарившись на большіе деньги, пошла въ Петербургъ. Теперь всѣ ея дѣти въ деревнѣ померли, домъ перешелъ къ мужниной роднѣ и ее пожалуй теперь не пустятъ въ домъ, а если и пустятъ съ Яшкой, то будутъ пренять, и какова тамъ будетъ жизнь Якову?

„Нѣтъ, Богъ съ ней, съ деревней, промажу какънибудь въ Питерѣ; Яшку какъ-нибудь на ноги поставлю; хоть онъ будетъ коникъ борильцемъ“, думала она, но до самаго выхода не придумала рода занятія.

— Ты въ богадѣльню иди, — совѣтовали ей болельщицы женщины.

— Окажѣю — не пойду. Не хочу, шобы мой сынъ со мной дарма жилъ.

— Ну, сына-то и въ военную возмуть.

— Не сибѣютъ.

По выходѣ изъ больницы Питеръ показался ей

совсѣмъ другимъ городомъ. Строенія, каналы и воздухъ были прежніе, только ей казалось страннымъ то, что теперь всѣ люди глядятъ на ея руки, всѣ какъ будто удивляются и смѣются надъ ней, даже извозчики надѣваются, говоря: „ой тетка, отморожила руки-те пьяная!“. Нигдѣ она не можетъ найти себѣ работы со своими тремя пальцами, нѣтъ у нея денегъ для того, чтобы нанять утолъ. Хочется ѣсть, пить... Дѣлать нечего, хоть и не старая она женщина, а пришлось просить Христа ради.

И стала она просить милостыню въ церквахъ; стала петербургскою нищею.

Но и это ремесло шло не совсѣмъ выгодно. Она была трезвая, не являлась съ прочею нищею братією. И ее не любили нигдѣ. Поэтому она рѣшилась выбрать себѣ одинъ приходъ и постоянно ходить туда, и для этого поселилась на Петербургской сторонѣ, въ самомъ глухомъ переулкѣ, обитатели котораго состояли изъ самыхъ бѣдныхъ людей, ненуждающихся ни въ фонаряхъ, ни въ тротуарахъ, боившихся петербургскаго треску и движенія, разъ въ годъ бывающихъ въ Петербургѣ и живущихъ со своими сосѣдями, какъ близкіе родные или какъ самые хорошіе знакомые.

Хозяйка этого дома вдова, нѣмка, Каролина Павловна, бывшая замужемъ за чиновникомъ, который и построилъ этотъ домъ, была сѣдовласая и хроная старуха. Она жила съ дочерью маленькимъ пенсіонеромъ. Дочь ея, тоже вдова, съ тремя маленькими дѣтьми, изъ коихъ самой старшей дѣвочки было пять лѣтъ, только и утѣла дѣлать что узоры, которые она поставляла нѣмцу магазинщику на Васильевскомъ островѣ. Кухарки у нихъ не было, и такъ какъ обѣ онѣ, мать и дочь, были нѣмки набожныя, то и взяли къ себѣ трехпалую Матрену даромъ жить въ кухнѣ и служить за это Терезѣ вродѣ выючнаго животнаго, т. е. таскать съ рынка провизію, такъ какъ руки у Матрены могли же что-нибудь поддѣлать и нести. Кромѣ хозяйки и дочери въ домѣ жилъ хроной сапожникъ, поставившій сапоги на двѣ-три улицы и слышій подъ именемъ Рѣдыки вѣроятно потому, что его лицо, вслѣдствіе безжалостной осыпъ, было похоже на губку. Рѣдыка или Осипъ Харитонычъ, работалъ самъ, единственной своей персоной, самъ готовилъ себѣ кушанья, самъ за всѣмъ ходилъ и жилъ, говорятъ, очень скупо въ будни, и мертвецки напивался по воскресеньямъ.

Кромѣ воскресеній онъ зналъ только большіе, главные церковные праздники. Этотъ сапожникъ велъ ежедневно войну съ мѣщаниномъ Романомъ Саватѣевымъ и его любовницей Татьяной Павловной изъ-за того, что они все затеняли ему дневной свѣтъ, проходившій со двора въ единственное его окно тѣмъ, что или вѣшали бѣлье и ставили станокъ для тканья нитокъ въ бичевки какъ разъ противъ его окна, а дѣти ихъ приводили со стороны другихъ дѣтей, и если не было развѣшено бѣлье или не было станка, ставили тоже противъ его окна коны бабокъ, попадали въ стекла, около его отѣмъ начинали играть въ мячикъ и на его ругань огрызались, какъ маленькія собаченки.

Всѣ эти люди поправились Матренѣ Ивановѣ. Всѣ они жалѣли ее и ничего не видѣли худого въ томъ, что она ходитъ собирать въ церковь гроши. Особенно ей полюбился сапожникъ, который часто спрашивалъ у нея:

— А што, Матрена, нѣтъ ли у те хлѣба?

— Нѣту, Осипъ Харитонычъ; не подаютъ.

— Плохо. А я бы взялъ. Мнѣ бы на сухари. Я сухари очень люблю, особливо во щахъ, да и зубовъ коренныхъ у меня нѣтъ. А што грошей много? Я-бы у те развѣнялъ гривну. Они, лавочники проклятые, не всегда отдаютъ гроши. Имъ-то каждая денежка барышъ, а намъ бѣднѣй, калѣбамъ, прости Господи, убытокъ.

И если у Матрены бывали гроши лишніе, она мѣняла. Скоро они такъ подружились, что Матрена грошъ или два и въ долгъ давала Осипу Харитонычу.

Нѣмка и ея дочь Матренѣ скоро опротивѣли; говорить по-нѣмски, ее не понять, не кормить и заставляють работать.

— Матрена, держи корзину!—говорить Тереза, позабывши, что у Матрены только три пальца.

— Какъ же я, барыня, буду держать тремя пальцами?—скажетъ Матрена обидчиво.

— А я и позабыла... Ну, можетъ помои выльешь?

Попробуетъ Матрена ведро—три пальца не могутъ долго сдержатъ.

Да и самой ей скучно было безъ дѣла, а дѣлать она не умѣла тремя пальцами. Стала было учиться чулокъ вязать, терпѣнья не хватило. Начала она дѣтямъ сказки рассказывать, а тѣ вида, что она нищая и ничего дѣлать не можетъ, стали издѣваться надъ ней, лаять на нее и наконецъ дошли до того, что обращались съ нею, какъ съ куклой, а матери потакали имъ.

И хорошо ей было только у Осипа Харитоныча. Хоть два часа сиди у него и смотри на него, онъ, углубившись въ свои думы, упорно молчитъ, передергивая драву въ калошахъ, сапогахъ и т. п. Случалось и засыпала у него Матрена; а у нѣмки нужно было все ходить да ходить.

Вотъ и задумала Матрена Ивановна обучить своего Яшку сапожному ремеслу. Выказала она свое намѣреніе Осипу Харитонычу. Онъ одобрилъ.

— Только онъ еще малъ. Пусть тамъ растетъ у чухонъ. Они терпѣнью его обучатъ; ну, и опять, на двухъ языкахъ будетъ говорить,—говорилъ сапожникъ.

— Нѣтъ, ужъ я лучше при себѣ.

Попросила она барыню-нѣмку дозволить жить ей Якову съ нею въ кухнѣ; нѣмка обидѣлась.

— Наши дѣти неровня твоему. Ишь, что выдумала. Я такъ павала, что ты своего ребенка намѣрена взять. Иди къ своему Рѣдкѣ.

— Богъ съ вами, барыня.

— Я очень хорошо понимаю, зачѣмъ ты ходишь къ сапожнику. Хороши оба: онъ — какъ терка, ты — съ тремя пальцами.

Горько сдѣлалось Матренѣ; сказала она объ этомъ Осипу Харитонычу, тотъ пошелъ къ нѣмкѣ съ протестомъ. Нѣмка косилась или просто сдѣлала видъ, что ей до калѣкъ нѣтъ дѣла; пусть они дѣлають, что

хотять. Слѣдствіемъ этого посвѣщенія было то, что Осипъ Харитонычъ пустилъ къ себѣ Матрену на квартиру, и развѣшилъ ей привести ея сына.

Яшка былъ боленъ, когда къ Катеринѣ пріѣхала Матрена Ивановна. Но ей его не отдали.

— Мы его уже законтрактовали, и поэтому тебѣ не отдадимъ,—говорилъ мужъ Катерины.

— Да я бы вамъ заплатила—денегъ нѣтъ. Ну, посмотрите на мои руки.

— Раньше бы взяла—такъ. Вотъ черезъ два года мы его подрядчику отдадимъ.

Такъ ни съ чѣмъ и воротилась домой Матрена.

За нее взялся хлопотать Осипъ Харитонычъ. Онъ былъ отставной солдатъ и поэтому поступилъ по-солдатски.

— Какое нѣдете вы право держать чужое дитя? Гдѣ вы такой законъ нашли? Вы его продать хотите? Развѣ онъ котенокъ или собака? да и тутъ настоящій хозяинъ не позволитъ? Да я васъ?! Я васъ упеку?! Я самъ царю служилъ; Георгія нѣтъ; а самъ къ царю пойду!! да знаете ли вы, чухны поганые, что я разъ въ годъ у самого царя обѣдаю?

Чухны струсили, но стали просить денегъ за цѣлый годъ.

— Сколько?—спросилъ Осипъ Харитонычъ.

— Тридцать шесть рублей.

— Тридцать шесть палокъ вамъ всѣмъ надо, а не рублей.

Однако онъ отдалъ Катеринѣ тридцать шесть копѣекъ.

Катерина и ея мужъ обѣщались жаловаться, но Яшку отдали.

Яшкѣ было уже четыре съ половиною года, когда Матрена взяла его къ себѣ; онъ бѣгалъ, но по-русски не зналъ ни слова, а лаялъ по-чухонски. Поэтому Яшку никто не понималъ; Яшка кричалъ, плакалъ, бралъ что-нибудь самовольно, билъ послѣднюю посуду Осипа Харитоныча и былъ мученіемъ для него, любящаго спокойную жизнь. Ни Яшка, ни Осипъ Харитонычъ другъ друга не понимали, и поэтому почтенный сапожникъ сталъ учить ребенка по-русски колотушками; а такъ какъ эти колотушки тѣмъ понало Яшкѣ приводилось получать часто, то Яшка становился все хуже и хуже: сталъ забрасывать шило, таскалъ сапоги, назалъ сальною сѣичкой стѣны, что сапожника приводило въ ярость, и онъ сперва было привязывалъ мальчишку къ стѣнѣ, какъ это дѣлають съ собаками, а потомъ, когда ему надоевъ крикъ мальчишки, сталъ выгонять его во дворъ. Но и тамъ плохо было Яшкѣ. Мальчишка видѣли въ немъ какого-то уroda и называли его нѣмымъ, и если Яшка, не понимая никакого разговора и насмѣшекъ, вламывался въ ихнюю компанію и тащилъ что-нибудь, его били; хотя и онъ барахтался, только это барахтанье ему приносило одни сиваки и парашины. Осипъ Харитонычъ казался, что взялъ къ себѣ такого чертанка, которому никакъ въ голову не вколотить того, чтобы онъ слушался хозяина, не лепеталъ по-чухонски, сидѣлъ смирно и т. п. Осипа Харитоныча злило то, что если Яшка доберется до хлѣба, то жретъ какъ собака, и

какъ только сожреть, опять плачетъ и мяучитъ что-то по-кошачьи, такъ что его приходится укрывать плеткой. Осипъ Харитонычъ, правда, любилъ только самъ хорошо поѣсть; онъ и Матренѣ Ивановнѣ рѣдко давалъ похлебать щей изъ своего горшка, а Яшкѣ удѣлялъ ужъ такъ, ради Христа, малую толику. Сама же Матрена Ивановна рѣдко что-нибудь варила у себя, потому что ее кое-гдѣ кормили за ея услуги. У ней на\*\*\*-й улицѣ было уже нѣсколько благодѣтелей, которыми она носила съ рынка провизію и сообщала какія-нибудь новости, выслушанныя ею или на панерти отъ нищихъ, или на рынкѣ.

Яшка чудался какъ матери, такъ и сапожника. Когда его стануť ласкать, онъ плачетъ; хотѣтъ взять его на руки—тоже плачетъ, и это бѣсило сапожника, а сама мать сознавала, что у нея какъ-то сердце не лежитъ къ ребенку, онъ какъ будто чужой ей. Если удастся ей приласкать его и посадить на колѣни да онъ перестанетъ плакать, она и говоритъ ему:

— Горемычные мы съ тобой, Яшенька; нѣту у насъ кормильца.

Яковъ только и лепечетъ: лейбъ! майтъ!.. \*)

И чѣмъ больше мать станетъ ласкать его, онъ тѣмъ сильнѣе разревется и растягиваетъ до изнеможенія: на-айтъ! на-айтъ!!

— А, чтобъ тѣ пострѣленку... Какая туť мать? — и начинаетъ шлепать ребенка трехпалой рукой.

И самой ей жалко ребенка, да сдѣлать она ничего не можетъ, а сапожникъ сердится.

— Вотъ выгону я васъ, будете шататься.

Ставъ Матрена брать Яшку съ собой въ церковь, что ей съ тремя пальцами стоило большого труда, но Яшка былъ маленькій, ничего не понималъ, бѣгалъ куда не слѣдуетъ, плакалъ, кричалъ; Матренѣ выговаривали, гнали прочь...

— Господи! что я стану дѣлать съ нимъ? Хотѣ поколѣлъ бы,—говорила она съ отчаяніемъ, когда ей было не въ терпѣнь.

— Иди съ нимъ въ богадѣльню,—совѣтовали ей.

— Нѣтъ, въ богадѣльню я не пойду: тамъ я въ четырехъ стѣнахъ должна жить, пить, ѣсть казенное, по ибродчѣ, казенную одежду носить. А теперь я все же вольная пташка.

— Ну, отдай куда-нибудь мальчишку.

Но куда его отдать? Кто его возьметъ, такого маленькаго? Матрена хорошо понимала, что когда въ церкви Яшка былъ при ней, она больше получала денегъ.

Такъ и билась Матрена съ сыномъ два года, въ теченіи которыхъ Яковъ уже научился говорить по-русски. Но такія-жъ, какія хотѣлъ его видѣть сапожникъ, онъ не сдѣлался. Хотѣлъ Осипъ Харитонычъ сдѣлать его ручнымъ и для этого употреблялъ всякія средства—ничего не помогло; вышло только то, что Яшка очень боялся Осипа Харитоныча, когда тотъ былъ на лицѣ, а какъ не было сапожника, Яковъ дѣлалъ, что хотѣлъ, и даже надъ своею матерью выдѣлывалъ разные штуки.

Осипъ Харитонычъ сперва началъ заставлять

Яшку что-нибудь подавать ему. Сидѣть Яшка въ углу и скоблѣть щепкой полъ.

— Яшка!—крикнетъ онъ.

Яшка вздрогнетъ и понатится еще назадъ, хотя уже и пѣтится-то некуда.

— Тебѣ говорить?!—крикнетъ сапожникъ.

Яшка вытаращитъ глаза и трясется.

Вскочитъ сапожникъ, схватитъ плетку, Яшка закричитъ. Начнетъ сапожникъ хлестать Яшку, Яшка кусаетъ. Сапожникъ въ ярости вытолкаетъ Яшку на дворъ. Бился, бился съ нимъ сапожникъ — бросилъ учить; трезвый сталъ выгонять его изъ комнаты, и только пьяный потѣшался надъ нимъ, какъ только могъ. И если онъ билъ крѣпко Яшку, тотъ убѣгалъ подъ лѣстницу и заливался слезами и сидѣлъ до тѣхъ поръ, пока не придетъ мать и не вытащитъ его оттуда, или не приласкаетъ Татьяна Павловна, которая не любила сапожника. Вотъ эта-та женщина и стала говорить Яшкѣ, чтобъ онъ шелъ жить къ нимъ, и онъ терся больше у нея. Но вдругъ ребята стали учить его, чтобъ онъ насыпалъ сапожнику въ глаза табакъ. Яшкѣ это понравилось и наконецъ, когда ему стало уже не въ терпѣнь, онъ укралъ у матери гривну и купилъ нюхательнаго табаку.

Яшка видѣлъ, что его врагъ послѣ обѣда иногда спитъ съ полускрытыми глазами. Но какъ на зло послѣ этой покупки сапожникъ сталъ рѣдко ложиться спать послѣ обѣда, а если и спалъ, то больше лицомъ къ стѣнѣ, и ему было неловко насыпать ему табаку, потому что нужно было вѣлѣзать на кровать, карабкаться по сапожниковой спинѣ... Недостало у Яшки терпѣнія; боялся онъ, чтобъ табакъ не открыли у него, тѣмъ болѣе что его мать и сапожникъ его не любили, а сапожникъ только курилъ махорку. Вотъ, разъ вечеромъ, когда сапожникъ велѣлъ Якову сбѣгать въ лавочку за кислой капустой и сталъ отдавать ему копѣйку денегъ, Яковъ размахнулся и бросилъ въ лицо сапожника пригоршню табаку.

Совершивъ такой подвигъ почти въ одинъ моментъ, Яшка выбѣжалъ на дворъ, ничего не понимая, какъ опалѣлый, и чуть не спихнулъ съ ногъ мѣщанина, ткущаго нитки.

— Ахъ, чтобъ те, чертенокъ! обслудилъ, чай, опять что-нибудь?

Но Яшка ничего не слушалъ; онъ далеко уже бѣжалъ по улицѣ, что удивило лавочника Петра Павлыча.

— Куда ты, дурачекъ, бѣжишь! Аль што укралъ? постой-ко?!

Яшка пузе прежняго пустился бѣжать! Ему было страшно; въ глазахъ у него рябило. Онъ пробѣжалъ улицу, переулокъ, наконецъ усталъ, оглянулся—никого нѣтъ. Тутъ въ его головѣ мелькнуло: куда? Онъ постоялъ и заплакалъ.

— О чемъ, мальчишко, плачешь?—спросилъ его какой-то чиновникъ

Яшка заплакалъ пузе прежняго.

— На!!—и чиновникъ протянулъ Яшкѣ руку, на ладони которой было обкусанное яблоко.

Яшка робко взялъ яблоко и сталъ смотрѣть на него.

\*) Хлѣба, молока.

— Ну, что же ты? Ёшь.

Яшка швырнул яблоко и пустился бѣжать, но скоро попалъ въ канаву, въ которой было съ четверть грязи. Кое-какъ онъ выползъ изъ грязи, но идти дальше не могъ.

Ему хотѣлось ѣсть; ноги болѣли. Но ему дышалось легче, чѣмъ у сапожника. Уже вечерѣло. Солнце садилось. Канавка находилась около парка; напротивъ того мѣста, гдѣ сидѣлъ Яшка, былъ заплотъ. Было тепло. Сидѣлъ, сидѣлъ Яшка, боясь подняться потому, чтобы его не словили сапожникъ или кто-нибудь, сонъ одолевъ его и онъ заснулъ.

Утромъ его растолкали двое городскихъ.

— Тащи его, поди, околѣть, — говорилъ одинъ городской другому.

— Видишь дышать. А чортъ съ нимъ — бросимъ! — говорилъ другой.

— Можеть пригодится.

— Однако ты ни одного еще не взялъ къ себѣ?

Яшка сѣлъ и дико смотрѣлъ на усатыхъ господъ въ солдатской одеждѣ.

— Чей ты? — спросилъ Яшку одинъ городской.

Яшка глаза на него вытаращилъ.

— А вотъ мы посмотримъ!

На Яшкѣ была надѣта рубашка и поверхъ рубашки рваная, Осипа Харитоновича, жилетка, подъ которую попѣстилась бы свободно еще пара такихъ же Яшекъ.

— А жилетка-то ничего... Чать полтинникъ стоить: изъ плюсу дѣлана, — любясь жилеткой, говорилъ производившій у Яшки обыскъ городской.

— Непремѣнно онъ у какого-нибудь вахтера убралъ ее... Што жъ съ нимъ? — оставимъ?

— Гдѣ ты живешь?

Яшка опять вытаращилъ на городскихъ глаза.

— Ёсть у тебя родители?

Яшка пустился бѣжать.

Но городовые его поймали и потащили въ будку, въ печи которой стояла чугунка съ картофелемъ.

— Дай! дай! Ах-лейбъ, — пропичалъ Яшка почухонски и подбѣжалъ къ печкѣ.

— Молчи, ждемонъ.

Городовой не надолго вышелъ на улицу, а Яшка схватилъ палку и хотѣлъ ею достать чугунку, но та только опрокинулась.

— Ахъ ты, воръ!!

И вошедшій городской выхватилъ изъ рукъ Яшки палку, два раза огрѣвъ ею его, а потомъ связалъ и связаннаго представилъ въ полицію.

Стали тамъ спрашивать Яшку: кто онъ, кто его родители, гдѣ онъ живетъ, — Яшка смотрѣлъ дико.

Вскорѣ въ газетахъ было напечатано такое объявленіе:

«Такого-то числа, въ такомъ-то кварталѣ \*\*\*-й части, взятъ заблудившійся мальчикъ, называющій себя Яшкою, повидимому 6 лѣтъ отъ роду, лицу его былъ е, волосы свѣтлорусые, одѣтъ въ синюю изъ пестоядй рубашку и большую мужскую жилетку, о чемъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе съ тѣмъ, чтобы родители, родственники, либо знакомые сего

мальчика явились лично для принятія его въ составу исполнительныхъ дѣлъ \*\*\*-й части, въ которой названный Яшка въ настоящее время находится и ничего о себѣ объяснить не можетъ».

Можно себѣ вообразить, какую ярость произвелъ такой неожиданный поступокъ въ Осипѣ Харитонычѣ. Хотя большая часть табаку попала въ его открытый большой ротъ, но такъ какъ табакъ попалъ и въ оба глаза, то ошущая боль въ нихъ, Осипъ Харитонычъ нѣсколько минутъ не могъ прійти въ себя и, протирая глаза своими кулаками и вынимая табакъ, онъ сперва думалъ, что и глаза у него вывернутся изъ своихъ мѣстъ, и языкъ вытанется изъ глотки. О, онъ тогда въ клочья бы изорвалъ этого негодяя! Онъ метался, какъ звѣрь, по комнатѣ, не видя свѣту, ругался, кричалъ, уронилъ свое сидѣніе, натолкнулся на окно, разшибъ стекло, что возбудило смѣхъ и удивленіе мѣщанина Романа Саватѣева. На его хохотъ прибѣжала его любовница, ребятишки, а хозяйка съ дочерью выглядывали во дворъ изъ своихъ оконъ.

— Черти! дьяволы!.. Вѣдь ослѣпили, — кричалъ Осипъ Харитонычъ.

— Такъ и надо. Ты выше другихъ хочешь быть, — вотъ Богъ и наказалъ тебя, — говорила со смѣхомъ любовница мѣщанина.

— Проклятые!! Воды хоть дайте.

— Дайте ему воды, — сказала хозяйка.

— Гдѣ бы мы ее взяли: мы воду-то съ Невы беремъ; теперь она у насъ вся вышла. Вотъ мы завасилимъ: вы пьете кофей, вы и дайте, — сказалъ мѣщанинъ хозяйкѣ.

Хозяйка позвала одного изъ ребятъ и послала его къ Осипу Харитонычу съ чайною чашкою.

Промывши глаза, Осипъ Харитонычъ первымъ деломъ сталъ искать Яшку.

— Онъ убѣгъ, — говорили ему.

— Некуда ему убѣжать. Я знаю, что его спрятали. Ну, такъ ладно же! Завтра же иду въ полицію и буду жаловаться на всѣхъ васъ. Я вамъ покажу!! Я кавалеръ; Георгія имѣю.

И Осипъ Харитонычъ заперся въ своей комнатѣ, сталъ дожидаться Матрены, выдумывая, что бы ему такое сдѣлать съ ней, то есть чѣмъ бы ее хорошенько побить. Но Матрена неидетъ. Уже вечеръ наступилъ, она неидетъ и вѣроятно не будетъ, какъ это и раньше бывало. Пошелъ онъ въ кабакъ и тамъ напился до того, что едва вышелъ оттуда, какъ свалился, такъ и заснулъ, такъ что утромъ кабатчикъ долженъ былъ растолкать его.

— Братъ, Осипъ! Встань. Неравно раздавать.

Но Осипъ Харитонычъ спалъ. Пришлось кабатнику окатить его холодной водой и потомъ ошмѣлять.

Осипъ Харитонычъ пришелъ домой пьяный; но тамъ еще во дворѣ сказали ему, что Матрена еще утромъ была и потомъ узнавши, что Яшка убѣжалъ, пошла розыскивать его.

Зло брало Осипа Харитоныча и онъ, одѣвшись и

выпивши еще для храбрости осьмунку, пошелъ въ полицію.

Тамъ ему сказали, что Матрена уже получила своего мальчишку.

— Я прошу ее посадить, а мальчишку выдрать, потому онъ меня чуть-чуть слѣпцомъ на всю жизнь не слѣлалъ. Я кавалеръ, имѣю Георгія, и вдругъ нищенскій парнишко меня уморить осмѣлился.

— Поди, поищи ее. Если она точно нищая, мы ее прогонимъ мѣсяць-другой.

Осипъ Харитонычъ пошелъ на другой день въ ту церковь, гдѣ обыкновенно стояла Матрена; Матрена не бывала. Нищѣ сказали ему, что она ушла съ Яшкой въ Питеръ.

Въ Питеръ сапожникъ не пошелъ.

Незадолго передъ вышеописаннымъ происшествіемъ, Матрена Ивановна стала поливать водку. Сперва ее подчивалъ Осипъ Харитонычъ по воскресеньямъ, потомъ ее стали завлекать къ этому веселящему и успокоивающему напитку нищѣ. Сперва поли ее, потомъ стали требовать, чтобы и она угощала ихъ. Сперва она пила съ отвращеніемъ, потомъ мало-по-малу дошла до того, что, идя домой, непременно заходила въ кабакъ и выпивала если не стаканъ, то рюмку, а если у нея было денегъ больше обыкновеннаго, она брала посудину съ водкой съ собою для того, чтобы угостить своего пріятеля, который непрочъ былъ на ночь выпить дарового. Матвѣнъ Ивановичъ было скучно безъ дѣла, а выпивши родки, она спала и спала долго; но до безчувствія она еще ни разу не напивалась, а если, бывши въ гостяхъ у какой-нибудь своей такой же горемычной, какъ и она, пріятельницы, чувствовала, что ноги подкашиваются, то спала тамъ же. Но часто случалось, что деньги у нея выходили всѣ на водку, такъ что утромъ ей не на что было купить хлѣба, и она это несчастье относилъ въ тѣмъ, которые любятъ прохаживаться на чужой счетъ. Ей не понравились нищенки, стало скучно на Петербургской, надоѣло давать взятки городовымъ за право ходить по улицамъ съ кошелечемъ. Опротивѣлъ Осипъ Харитонычъ, съ каждымъ днемъ становившійся придирчивѣе къ ней; ей было жалко Яшку, котораго вѣсто того, чтобы учить ремеслу какъ слѣдуетъ, Осипъ Харитонычъ только тиранить. Она не разъ заступалась за него, говоря сапожнику, что Яшка малъ, глупъ, потому что воспитывался у чухонъ, а Богъ дастъ подростетъ, будетъ понимать; ей было досадно и она высказывала, что чужого дѣтя никому не жалко и его бьютъ какъ собаку, но сапожникъ и слушать не хотѣлъ ее и съ нею обращался какъ съ подчиненнымъ ему человѣкомъ. Все это приводило Матрену Ивановну къ тому заключенію, что ей надо отсюда уйти. „Что я, въ самомъ дѣлѣ, пришла что-ли сюда. Питеръ—то слава-тѣ Господи“,—и ей припомнилась прошлая жизнь, когда она часто мѣняла мѣста: то жила на Пескахъ, то вдругъ попадала въ Коломну, то за Московскую Заставу. Но тогда она была одна, теперь что ей дѣлать съ сыномъ? Надо его отдать кому-нибудь въ мастерство, но кому, если у нея нѣтъ знакомыхъ?

Изъ ремесленного класса были у нея, правда, знакомы жены мастеровъ,—но мужья ихніе говорили, что Яшка малъ, и всего лучше ей отдать его въ обученіе какому-нибудь мастеру, имѣющему свою мастерскую. Но у такихъ мастеровъ она потерпѣла неудачу. Въ однихъ мѣстахъ говорятъ: у насъ и такъ много, и этимъ не рады, въ другихъ—и самому хозяину съ семействомъ ѣсть нечего, въ третьихъ—хозяева пьяницы и никто ихъ не хвалитъ. Поэтому желаніе переселиться въ Петербургъ съ каждымъ днемъ у нея становилось сильнѣе, только ее что-то удерживало на Петербургской: ей не хотѣлось совсѣмъ разссориться съ Осипомъ Харитоновичемъ, который хотя и былъ скупъ и сварливый человѣкъ, но за то у него ей было тепло и кромѣ него ея никто не беспокоилъ.

Послѣ поступка Яшки ей казалось уже несовсѣмъ удобно жить у Осипа Харитоновича, и поэтому, предъявивъ въ полицію всѣ права на Яшку, она пошла съ нимъ на Никольскій рынокъ, гдѣ надѣялась скорѣе продать его.

Больше недѣли Матрена Ивановна ходила на Никольскій рынокъ, терлась тамъ съ разными женщинами, нанимающимися въ услуженіе, много наслушалась тамъ всякой-всячины, перенесла разные непріятности, а не нашлось въ нанимателяхъ такого человѣка, который бы взылъ къ себѣ Яшку. Если и были желающіе, то одни говорили, что мальчишка малъ, на немъ нѣтъ ни сапоговъ, ни фуражки, или,—что онъ смотритъ такимъ звѣренкомъ, что изъ него никакого проку не выйдетъ и при этомъ каждый, осматривая его, какъ гуся или поросенка, дѣлалъ о немъ недетныя для его матерн заключенія. Все это Матрену Ивановну злило и выводило изъ терпѣнія, къ тому же голодный и перенушій Яшка бѣжалъ отъ нея туда, гдѣ тѣсно, или забивался подъ столъ, ожидая, чтобы ему было удобнѣе спалать ломоть булки или чернаго хлѣба. На рынкѣ были тоже мальчишки его лѣтъ, но тѣ не продавались, нѣмѣли на ногахъ сапоги и головы у нихъ были покрыты хоть платкомъ, и поэтому они, чувствуя свое превосходство надъ такимъ голышомъ, выказывали ему свое презрѣніе колотушками, щипками и плевками, что они очень скоро перенимали отъ своихъ матерей, тетокъ и сестеръ, гнавшихъ отъ себя прочь Яшку потому, что того часто торгаша ловили съ краденою булкою или хлѣбомъ, и поэтому очень недолюбливали всѣхъ бабъ, ихъ ребятишекъ, могущихъ пожалуй разворовать половину непроданнаго хлѣба, опрокинуть столы или надѣлать еще что-нибудь хуже, тогда какъ съ ребятишекъ взятки—гладки, а съ ихнихъ матерей—что возьмешь, когда онѣ сами часто приходятъ сюда съ церковной паперти.

Нельзя сказать, чтобы такая жизнь, весь день подъ открытымъ небомъ, нравилась Яшкѣ, и для него было большою радостью то, когда мать поворачивала отъ рынка въ которую-нибудь сторону. Это значило, что мать идетъ куда-нибудь, гдѣ и ему будетъ можно посидѣть и соснуть. Однако мать рѣдко тотчасъ съ рынка шла на ночлегъ. Она обыкновенно шла въ многолюдный кабакъ, гдѣ думала скорѣе сбыть съ рукъ Яшку. Они приходили въ заведеніе

уже тогда, когда въ немъ было порядочное количество людей, еще только что начинающихъ раскучиваться, и постоянно получали приглашеніе побесѣдовать въ ихней компаніи съ тѣмъ, что сама Матрена должна была показывать свои руки и рассказывать исторію о томъ, какъ ей обрѣзывали пальцы и отпиливали кость, хотя она ни того, ни другого не видѣла, а Яшка служилъ часто посмѣшищемъ для пьяной компаніи, которая его вертѣла во всѣ стороны, какъ котенка, заставляла бѣгать, плясать и пѣть, дразнила и т. п., за что сама Матрена была угощаема водкой, которою подчивали и Яшку. Матрена конечно была рада угощенію; пьяная она не заботилась о тепломъ углѣ, а о мягкой постели она уже давно не думала; до того же, что пьяная компанія издѣвается надъ ея сыномъ и учить его нехорошему, — ей не было дѣла: Яшка ей не жѣлалъ, не просилъ вѣтъ, своею особою доставлялъ удовольствіе людямъ. Такое фиглярство Яшкѣ сперва не нравилось, и онъ радъ не радъ былъ, когда компанія позабывала о немъ; тогда онъ забивался подъ столъ и сидѣлъ снова до тѣхъ поръ, пока его оттуда не выталкивали; потомъ онъ мало-по-малу втянулся въ это фиглярство и уже сталъ надѣбать своими усердіемъ компаніи, которая не любила навязчивости. Было ли какое сожалѣніе въ пьяной компаніи къ Якову, — сказать трудно, если принять во вниманіе то, что почти каждый посѣтитель заведенія проводилъ свое дѣтство не лучше Яшки: были люди въ этой компаніи, которые даже завидовали Яшкѣ.

— Пусти его, еще носъ раскромить, — уговаривалъ товарищъ товарища, тормошившаго ребенка.

— Не хрустальный, — не разобьется. Мы въ его дѣта въ мастерской сажу глотали да пинки получали, а онъ благоденствуетъ, — отвѣчалъ другой товарищъ товарищу.

Изъ числа посѣтителей трехъ заведеній, куда въ теченіи дня заходила съ сыномъ Матрена Ивановна, было нѣсколько такихъ, которые были сами хозяева, а четверо — даже имѣли мальчиковъ. Къ нимъ Матрена Ивановна часто подѣбывала съ просьбой о мальчишкѣ, но тѣ или заговаривали о другомъ, или отвѣчали такъ, что мать и надѣялась на нихъ только до другого дня.

— Што-жъ мальченку-то моего берешь? — спрашивала Матрена Ивановна на другой день портного.

— А я развѣ обѣщалъ?

— Какъ же.

— Ну, такъ ты дура и больше ничего; мало што я съ пьяна-то скажу...

— Ты посовѣтуй!...

— Што я тебѣ могу посовѣтовать?...

— Да долго ждать-то.

— Какая ты важная особа! Право. Мы вотъ по недѣлѣ работы ждемъ, да по три мѣсяца за деньгами ходимъ. И ничего ты противъ этого не подѣлаешь, мать моя.

И мать была сына отъ злости, — сынъ жѣлалъ ей, за него она должна была платить за ночлегъ лишнія двѣ копейки, хотя тамъ, гдѣ она ночевала, помѣщеніе было очень маленькое, биткомъ набитое ночлежниками.

Ночлежники эти были все люди бѣдные, жалующіеся на свою судьбу и проклинающие Божій міръ, въ которомъ они неизвѣстно для какой цѣли живутъ. Всѣ они думали, что выпросить милостыню или что-нибудь украсть, имѣя здоровыя руки, не составляетъ грѣха. Большинство держалось этого мнѣнія потому, что оно во-первыхъ или съ дѣтства влечило такую жизнь, не видя нигдѣ ни радостей, ни ласки, и общество смотрѣло на него какъ на негодныхъ людей, а помощи не подавало, а во-вторыхъ, если оно и принималось за какое-нибудь дѣло, то тѣ, которымъ оно служило, старались, такъ сказать, выжать изъ него силы для того, чтобы жить лучше на ихъ счетъ. Всѣ эти люди злились на людей, непохожихъ на нихъ, были оборваны, никогда не наѣдались, употребляя деньги преимущественно на водку, жили общественно съ людьми ихняго сорта, имѣли друзей одинаковыхъ съ ними мнѣній, никогда не жаловались на маленькое нездоровье и часто умирали, выходя изъ питейнаго заведенія, въ ночлежнѣхъ помѣщеніяхъ, или кидались въ Неву или въ каналы.

Матрена Ивановна хотя и считала себя честною, ничѣмъ не запятанною женщиною, потому что весь ея промыселъ состоялъ въ томъ, что она протягивала руку съ тремя пальцами на церковныхъ канертахъ и жила на собранныя такимъ образомъ деньги, но жизнь ея мало чѣмъ разнилась отъ жизни этихъ людей и выходу изъ нея она не видѣла. Но если бы она была одна, тогда ей было бы легче; но у нея былъ сынъ, котораго ей никакъ не хотѣлось пустить по той дорогѣ, по которой идуть, очертя голову, эти ночлежники. Къ тому же она была женщина смирная, въ ночлежномъ помѣщеніи къ компаніи не присоединялась, а ложилась спать и гнала отъ нихъ прочь Яшку, котораго компанія учила разнымъ штукамъ не изъ желанія сдѣлать изъ него вора, но ради развлеченія. Поэтому такое обращеніе ея ночлежникамъ не нравилось, потому что они боялись, чтобъ трехпалая нищая не выдала ихъ полиціи, и ей приходилось часто перемѣнять мѣста ночлеговъ.

Такъ прошло по крайней мѣрѣ полгода. У Яшки была рваная фуражка, рваныя ботинки, которые Матренѣ пришлось стачить на толкучкѣ, а для того, чтобы Яшка не мерзъ, она накидывала на его плечи платокъ, который немного согрѣвалъ грудь. Матрена стала больше сидѣть у церкви: у нея явилось отвращеніе отъ рынка, отъ ночлежниковъ, отъ кабаковъ; она говорила несвязно, такъ что многіе называли ее помѣшанной.

Въ одну холодную зимнюю ночь компанія ночлежниковъ долго бушевала въ своей каморкѣ, но Матрена съ сыномъ спала. Вдругъ въ эту каморку, потѣщающуюся въ третьемъ этажѣ, имѣющую одно окно съ разбитыми стеклами и почему-то заколоченное досками изнутри, вошла полиція и приказала всѣмъ идти за собой. Стали толкать Матрену.

Матрена идти не хотѣла, показывая на свои пальцы; однако повели и ее.

— И мальчика берите, — крикнула Матрена со злости.

— Мальченка намъ не надо. Ему поди всего-то пятый годъ—сказали полицейскіе.

— А кто-жъ его беречь-то будетъ? Нѣшто я могу его оставить въ квартирѣ; да онъ все разворуетъ,—проговорила хозяйка этой каморки, которой тоже скрутили руки.

Полицейскіе посоветовались другъ съ другомъ и нашедши, что мальчика оставить въ пустой квартирѣ неловко, взяли съ собой и Яшку, хотя ночлежники—шесть мужчинъ и двѣ женщины—протестовали противъ этого, опасаясь того, чтобы мальчишка не показывалъ на нихъ чего-нибудь, такъ какъ онъ имѣлъ уши, глаза и языкъ. Они даже просили полицейскихъ не брать Матрену, но мнѣнія ихнія на счетъ ея были различны: знакомые съ полиціей и судомъ люди прямо указывали на Матрену говоря: „напрасно всю нашу компанію берете, во всемъ виновата, вона, эта трехпалая. У ней и три пальца на двухъ рукахъ, а она за то имѣетъ воркіе глаза и въ головѣ у ней хитрости всякія познать можетъ...“.

Камера въ полиціи была, что называется, биткомъ набита всякими людьми, но Матрена съ сыномъ попала въ женскую.

Черезъ недѣлю Яшку выпустили изъ полиціи, а мать отвели въ тюрьму, хотя она и ни въ чемъ не была виновата.

Яшка вышелъ изъ полиціи, напутствуемый арестантами такими словами: „теперь у тебя ничего и ничего нѣтъ. Иди въ первую лавку, украдь что-нибудь и тебя опять возьмутъ сюда. А здѣсь весело: поютъ пѣсни, играютъ въ карты, разговариваютъ, поятъ, кормятъ“.

Яшкѣ было холодно на улицѣ; онъ не зналъ куда ему идти, а идти въ лавку, какъ его учили, онъ боялся.

Яшка мерзъ и плакалъ.

— О чемъ, мальчикъ, плачешь?—спрашивали его прохожіе.

Яшка ничего не могъ отвѣчать.

— Заблудился должно быть бѣдный мальчишка. Чей ты?

Яшка дико смотрѣлъ на всѣхъ.

— Страшно, что онъ стоитъ у полиціи и полиція не возьметъ его?—говорили въ толпѣ, глазѣвшей на Яшку.

Яшкѣ дали денегъ, но Яшка не зналъ, что ему дѣлать съ деньгами; толпа все росла.

— Идите прочь! Его только что изъ полиціи вытолкали, потому мать у него нищая и въ кражѣ замѣшана; поэтому ее въ тюрьму взяли.

— Но какъ же ребенокъ?

— Пусть идетъ, куда хочетъ.

— А если у него нѣтъ квартиры или хозяина?

— Дѣло не наше. Пусть дѣлаетъ, что знаетъ,—спокойно отвѣчалъ городской.

— Жалко мальчишки. Взять развѣ мнѣ его себѣ,—сказалъ одинъ рябой мужчина въ полушубкѣ и въ мерлушчатой шапкѣ, и потомъ обратился къ Яшкѣ, сказавъ

— Мальченко, иди ко мнѣ.

Яшка глядѣлъ на него лукаво.

— Што глядишь-то какъ быкъ?—Не обижу. У

меня своя лавка; къ торговлѣ обучу. Ну, што-жъ ты? Яшка по-прежнему озирался на народъ.

— Пошли, што стоите! Экая невидаль,—говорилъ городской и гналъ толпу отъ полиціи.

Мужчина взялъ Яшку за руку, онъ заревѣлъ; мужчина хотѣлъ посадить его на руки, Яшка кусается.

— Точно собака съ цѣпи! А вотъ мы разузнаемъ суть,—проговорилъ мужчина въ мерлушчатой шапкѣ и повелъ Яшку въ полицію.

Съ полиціей мужчина былъ знакомъ и ему скоро разрѣшили взять Яшку къ себѣ.

Взявшій къ себѣ Яшку мужчина былъ крестьянинъ Филиппъ Егорычъ Масловъ. Онъ торговалъ на толкучкѣ разными тряпьемъ, а жена его, Авдотья Исаевна, торговала тоже на толкучкѣ мелочью—чулками, штанами, платками и т. п. Маслову хотѣлось давно прослѣдить между торговцами состоятельнымъ торговцемъ человекомъ и имѣть мальчишка, котораго онъ никакъ не могъ приобрести даромъ. Хотя Масловъ торговалъ въ одной маленькой лавченкѣ или шалаши и все могъ въ ней дѣлать самъ, но, имѣя еще мальчишка, онъ думалъ, что покупатели на него будутъ больше обращать вниманія, чѣмъ на другихъ товарищей, не имѣющихъ мальчиковъ, потому-де, что у Маслова много товару и много покупателей. Масловъ одѣлъ Яшку такъ, что Яшка походилъ теперь въ пальтишкѣ на другого человека. Но Масловъ только этимъ и ограничился. Правда, Яшка спалъ въ квартирѣ Маслова въ углу въ прихожей, Яшкѣ давали хлѣба, огурца, а иногда и вареную печенку (съ собой добрые супруги Яшку никогда не кормили и то, что сами ѣли, ему не давали), за то Яшка долженъ былъ дѣлать все, что прикажетъ самъ Масловъ или его жена. Яшка долженъ былъ воду ядрова таскать, полы мести и затирать, угождать прихотямъ хозяйна и хозяйки, таскать тяжести, въ родѣ того, что онъ долженъ тащить за собой санки съ товаромъ хозяевъ до толкучки, бѣгать для нихъ тамъ за кипяткомъ, бѣгать съ разными порученіями и за каждую оплошность получать шлепки. Такое движеніе, кромѣ исполненія такихъ порученій, которыя были не по силамъ, Яшкѣ нравилось; но онъ былъ голоденъ, надъ нимъ всѣ свѣялись, всѣ его били и, главное,—ему было скучно торчать въ лавкѣ безъ дѣла и получать подзатыльники отъ хозяйна, если у того долго не было покупателей и хозяину было скучно.

— Что-жъ ты, чертенокъ, стоишь тутъ безъ дѣла?—спросилъ вдругъ хозяйнѣ Яшку, стоящаго въ дверяхъ и ковыряющаго отъ скуки носъ.

Яшка попытался назадъ.

— Ты, шельма эдакая, долженъ кричать прохожимъ: чего изволите? пальты! брѣкы! жилеты-съ!—говорилъ Масловъ, теребя Яшку за уши.

Сосѣди хохотали. Но такая наука не нравилась Яшкѣ, и онъ больше и больше былъ молчаливъ.

Напримѣръ стоитъ онъ у сундука и чертитъ что-то пальцемъ по куржаку.

— Ты што стоишь? Нѣтъ, штобы куржакъ полой стеръ.

Яшка при первомъ словѣ вздрогнетъ и стоитъ на одномъ мѣстѣ.

Хозяин схватит аршинъ, Яшка кинется вонъ изъ лавки. Хозяинъ догоняетъ и начинаетъ бить мальчишку на потѣху другихъ торгашей.

Ничего не помогаетъ. Яшка не слушается. Пересталъ хозяинъ кормить мальчика, — мальчишка сталъ крестъ.

— Боже ты мой милосердый, што стану я съ негодемъ дѣлать? — думаетъ и говоритъ Масловъ.

— Прогони и все тутъ; еще пожаръ сдѣлаетъ. Недаромъ мать у него воровка, — говорила Маслову жена.

Масловъ сталъ принимать крутыя мѣры; дома онъ просто тиранилъ мальчишку такъ, что тотъ сталъ убѣгать къ сосѣдямъ, которые иногда ласкали его.

— Терпи-голубчикъ, ты еще маленький, — говорила ему какая-нибудь старушка.

— Бьютъ они... Больно бьютъ. Ъсть не даютъ, — говорилъ Яшка.

— А ты угождай.

Хотѣлось Яшкѣ угодить хозяину, но не было къ тому случая. Еще лежа на полу, Яшка думаетъ угодить ему или жеить его, и какъ онъ встанетъ да начнетъ что-нибудь дѣлать, хозяева бранятъ его, что онъ дѣлаетъ все напоязъ; заплачетъ Яшка — бьютъ; пошлютъ Яшку куда-нибудь, — хочется Яшкѣ скорѣе сбѣгать, — придетъ назадъ, — говорятъ, зачѣмъ ходилъ долго, начнутъ допытываться, гдѣ былъ такъ долго. Яшка злится и у него является мысль сдѣлать съ хозяиномъ какую-нибудь штуку.

Иногда хозяинъ и потѣшался надъ Яшкой: острилъ, щипалъ его. Это онъ дѣлалъ, находясь по полученію изряднаго барыша въ хорошемъ расположеніи духа; приласкать или похвалить Яшку было не въ характерѣ хозяина, который самъ изъ мальчишекъ попалъ въ торгаша и у него своихъ дѣтей не было. Подобно Маслову и торгаша — сосѣди его — позволяли себѣ развлекаться Яшкой, а другіе мальчишки по вечерамъ позволяли себѣ оскорблять Яшку по-своему. Яшка злился на всѣхъ: ему хотѣлось вырваться отъ Маслова, но уйти было нельзя, потому что онъ былъ постоянно на глазахъ то у самого Маслова, то у его жены.

Впрочемъ былъ у Яшки пріятель, тринадцатилѣтній мальчикъ Петька изъ сосѣдней лавочки, и вотъ почему Яшка любилъ больше стоять у двери.

Выйдетъ Яшка къ двери, посмотритъ направо — Петька стоитъ у двери. А Петька былъ шустрый, рябой мальчишка. Онъ постоянно огрызался съ своимъ хозяиномъ и раньше этого перебивалъ уже у нѣсколькихъ хозяевъ.

— Яшка, гляди ястребъ! — скажетъ Петька.

Яшка глядитъ къверху и по сторонамъ, Петька броситъ въ Яшку камешекъ или комокъ сѣту.

— Яшка, иди сюда!

— Нельзя.

— А ты возьми да и иди. Ты уйди отъ него, убѣги.

— Врешь?

— Эй-Богу! Убѣжишь — другого возьмешь. Украдъ.

— Воясь.

Хозяева позовутъ мальчишекъ, а у Яшки голова точно не на своемъ мѣстѣ. Онъ думаетъ: „погоди-жь ты, украду и убѣгу“.

И Яшка хотѣлъ убѣжать, хотѣлъ украсть что-ни-

будь, но не зналъ, что бы ему такое украсть. Ему хотѣлось украсть полушубокъ у хозяина, только тотъ былъ очень тяжелъ.

Всѣ приготовлялись къ Пасхѣ. Торгаша были злѣе обыкновеннаго. Въ субботу у Маслова шла стражня, пахло хорошо, какъ никогда до того Яшка не слышалъ. Всѣ пошли къ заутрени, а Яшку оставили дома; немного погодя пришелъ Петька, разломалъ замокъ, и вотъ съ нимъ-то Яшка забралъ кое-какія печенія со стола, завернулъ ихъ въ салфетку, разлилъ на полу водку, одѣлся и ушелъ изъ дому.

Возпрепятственно они вѣдали въ дровяной дворъ подъ ворота и забились между двухъ полѣвничь. Тамъ онъ покушалъ и заснулъ. Передъ разсвѣтомъ Петька убѣжалъ съ вещами и потомъ не явился цѣлый день.

Между тѣмъ въ квартиру Маслова забрались воры и утащили не мало добра.

Начали розыскивать Яшку, — Яшки нѣтъ нигдѣ; Петька струсливъ и пошелъ въ дровяной дворъ, но его, когда онъ пошелъ назадъ, увидалъ сторожъ двора и сталъ ругать, зачѣмъ онъ шляется; однако Петька убѣжалъ, а у сторожа закралось подозрѣніе, не спряталъ ли чего этотъ мальчишка, и явилась мысль: „если онъ что спряталъ, то я немножко разживусь“.

Сторожъ отыскалъ только Яшку. Онъ зналъ Яшку, потому что тотъ мимо дровяного двора ходилъ съ Масловымъ на толкучку.

— А, соколики! тебя давно ужъ ищутъ. Говори, гдѣ краденое? — напалъ на Яшку сторожъ.

— Петька съѣлъ.

— Нѣтъ не съѣлъ, а ты говори, гдѣ спряталъ.

— Я не воровалъ.

— Ну, хорошо. Такъ иди же къ Маслову.

— Пусти, ради Христа.

— А-а? боишься. Послушай, мальчишка, а тебя пушу, только ты скажи: гдѣ ты со своимъ пріятелемъ вещи спряталъ?

— Эй Богу же я не воровалъ.

И сторожъ свелъ Яшку къ Маслову, а Масловъ въ полицію.

Но въ полиціи только наказали Яшку и Петьку розгами, а потомъ выпустили; хозяева обонхъ пріятелей прогнали отъ себя.

— Не тужи Яшка, мы найдемъ себѣ новыхъ хозяевъ, — утѣшалъ Яшку Петька.

Петька повелъ Яшку на толкучку, но тамъ, какъ только увидали воровъ, всѣ торгаша, какъ стала собака, накинулись на нихъ, и много они получили себѣ въ спины калачей.

— Это все ты! — говорилъ Яшкѣ Петька.

— Нѣтъ ты! Ты меня учишь, — говорилъ Яшка.

— Поидежъ воровать.

И пріятели цѣлый день ходили по городу, а къ вечеру Петька убѣжалъ отъ Яшки.

Яшка еще побродилъ по улицамъ, зашелъ въ одну лавочку, попросилъ Христа ради.

— Нѣтъ што-ли родителейъ-то? — спросилъ лавочникъ Яшку, когда тотъ послѣ отказа лавочника сталъ хныкать.

— Нѣтъ.



— Гдѣ же ты живѣ?

— У Маслова... на толкучкѣ торгуешь... убѣжалъ.

— Ну, малецъ, уходи... ты должно воръ.

— Дяденька... хотѣ въ полицію отправахъ.

— Иди, иди.... Ужъ не стащилъ ли чего?

Лавочникъ осмотрѣлъ Яшку, далъ ему лоптикъ хлѣба и выпроводилъ вонъ изъ лавки, чувствительно толкнувъ его въ шею.

Когда лавочникъ выталкивалъ изъ лавки Яшку, по панели шла пожилая женщина съ корзиною на головѣ.

— Што, Данило Ульянычъ, вора поймалъ?—спросила она лавочника остановясь.

— Да много ихъ тутъ шатается. Кто его знаетъ: просить милостыню, а можетъ и воръ.

— Такъ. Экой нахонькой!...—проговорила женщина и сняла съ головы корзину. Въ корзинкѣ оказались яблоки и лимоны.

— Тетушка, пусти меня...

— Ишь ты!.. Ну, братъ, и выдумалъ же ты. Иди туда, откуда пришелъ...

— Матери у меня нѣту, въ тюрьму взяли.

Это заставило остановиться и лавочника, и женщину.

— Ишь ты! Значить извѣстнаго поля ягода,—сказалъ лавочникъ улыбаясь.

— А кто твоя мать была?—спросила женщина.

— Ницая.

— Ахъ она... И украла?.. Вотъ и подавай послѣ этого...—сказалъ лавочникъ; а потомъ прибавилъ:—да и тебя, братъ, видно тоже надо туда спроводить; не даромъ ты давеча въ полицію просился.

— Виновать я што-ли,—огрызнулся Яшка:—когда у матери всего было три пальца.

Лавочникъ захохоталъ, а женщина спросила:

— Три, говоришь?

— Три. На этой!...—И Яшка показалъ на лѣвую руку.

— А какъ твою мать звали?

— Матрена.

— Матрена? Какъ не знать Матрены: я ей часто подавала. Только я тебя что-то не видала у нея.

— Тетушка, возьми меня,—заплакалъ Яшка.

— Возьми, коли знаешь его мать,—сказалъ лавочникъ.

— Кто его знаетъ. Я у нея не видала мальчишки. Впрочемъ завтра я справлюсь. Ну, мальчишка, иди.

Хозяйка, у которой жила на квартирѣ эта торговка, стала гнать ее и мальчишку, но та показала на Яшку, который трясся отъ голода. Хозяйка согласилась оставить мальчишку только до утра.

Утромъ эта женщина справилась на паперти одной церкви и узнала, что дѣйствительно у трехпалой Матрены былъ этотъ мальчишка, что онъ рѣдко стоялъ съ нею рядомъ, а больше гдѣ-нибудь бѣгалъ, и что Матрена теперь сидитъ въ тюрьмѣ по обвиненію въ кражѣ, что, говорятъ, на нее свалили ночлежники, которыхъ будто бы уже выпустили.

— Ты что-ли себѣ на воспитаніе его берешь?—спросили нищія торговку.

Оочинения е. рышетинова, т. п-й.

— Куда нитъ его. Я сама-то живу въ углѣ.

— Надо его пристроить куда-нибудь, а то избалуется. Пропавшій человекъ будетъ.

— Ужъ я пристрою.

Эта торговка нѣла нѣсколько постоянныхъ покупателей. Вотъ къ одному изъ нихъ, нѣмцу, она и пошла съ Яшкой. Дорогой она учила Яшку такъ:

— Ты, смотри, помни, што зовутъ меня Настасьей, тетушкой Настасьей Ивановной. Если будутъ тебя спрашивать: гдѣ мать? ты говори въ больницѣ. Ты говори: вотъ меня тетушкѣ Настасьѣ Ивановнѣ мамонька порекомендовала. Дѣлай, говорила, съ нимъ, что хочешь, а главное—хорошимъ людямъ отдай.

Яшка молчалъ. Ему все равно было, куда бы ни попать, лишь бы не идти въ морозъ.

Подшли къ большому четырехъ-этажному съ подвалами дому, на которомъ было много выѣсковъ.

— А какъ меня зовутъ?—спросила вдругъ женщина Яшку.

— Не знаю.

— Какой ты глупый. Тетушка, молъ, Настасья Ивановна. А тебя какъ?—Ехникъ!

— Яшка!

— Ну, Яшка Петровъ,—и все тутъ.

И они вошли въ квартиру нѣмца, помѣщавшуюся въ подвалѣ со сводами.

Въ большой комнатѣ на скамейкахъ, около двухъ стѣнъ и двухъ оконъ, сидѣло въ разныхъ позахъ мальчишковъ восемь, и нагнувшись что-то шили, заштопывая иглами сукно или колени коръ въ тиковыя штаны, надѣтыя на нихъ; кромѣ штановъ на нихъ были синія пестрядныя рубашки, спитыя на нѣмецкій манеръ. На небольшомъ полукругломъ столѣ, покрытомъ чернымъ сукномъ, стояла жестяная кружка съ водой, ножницы и кусокъ шѣлу.

Мальчики всѣ были съ длинными волосами, съ блѣдными, худыми щеками; нѣкоторые изъ нихъ кашляли. При входѣ торговки съ Яшкой они разговаривали вполголоса и съ удивленіемъ поглядѣли на Яшку.

— Дома, ребятки, самъ-то?—спросила торговка мальчишковъ.

— Нѣту; ушелъ къ давальцу, тутъ недалеко.

Торговка ушла. Черезъ часъ она вернулась съ Яшкой опять въ эту квартиру. Нѣмецъ былъ дома.

Это былъ толстенькій, лысый господинъ съ высокимъ лбомъ, съ рыжими волосами и одѣтый въ сѣрый пиджакъ. Когда торговка вошла въ шпальню, онъ хлесталъ линейкой одного мальчишка.

— Не время... другой разъ приходи,—проговорилъ нѣмецъ сердито, увидя торговку.

— Я, Иванъ Ивановичъ, не за деньгами; я къ вамъ мальчишка привела.

— Не надо!

— Онъ изъ-за хлѣба... Мнѣ за него ничего не надо.

— Не надо. Пошла вонъ!

Торговка пошла къ самой хозяйкѣ, т. е. женѣ нѣмца. Самъ нѣмецъ помѣщался во второмъ этажѣ. Черезъ посредство жены нѣмецъ согласился взять къ себѣ Яшку, который и былъ отведенъ въ тотъ же день въ шпальню.

Жизнь въ швальнѣ Яшкѣ съ самаго начала казалась противною. Мальчики смѣялись надъ нимъ, дѣлали на его счетъ неслестныя замѣчанія, называя его моченой грушей, хотя онъ не былъ корявымъ; остряли надъ его манерами и надъ каждымъ его движеніемъ, какъ будто этимъ вызывая съ его стороны какое-нибудь возраженіе; подмастерья гнали его прочь и дѣлали видъ, что они его хотятъ ударить или сморкнуть въ его сторону. Пришелъ самъ Иванъ Ивановичъ, кое у кого посматрѣлъ работу, закричалъ на одного пятнадцатилѣтняго мальчика, схватилъ его за длинные волосы и началъ возить по швальнѣ. Остальные мальчики хладнокровно смотрѣли на эту сцену, двое подсмѣивались, одинъ вздрагивалъ. Яшкѣ было страшно до того, что онъ готовъ былъ убѣжать. Оттеревивши одного за волосы, нѣмецъ принялся тузить другого, а третьяго завтра же приказалъ отвести въ полицію и попросить отодрать розгами. Но къ Яшкѣ онъ обратился ласково.

— Ты, любезный, будешь учиться по линейкѣ шить, а потомъ посмотримъ. — Иванъ, очисти для него мѣсто, — обратился онъ къ пожилому, худощавому челоѣку въ пальто, только что пришедшему съ улицы, и затѣмъ нѣмецъ ушелъ.

По уходѣ нѣмца всѣ мальчики въ швальнѣ заговорили; началась ругань. На Яшку никто не обращалъ вниманія. Немного погодя стали ужинать, т. е. хлебали какую-то бурду, но Яшку не пригласили; такъ онъ и просидѣлъ на одномъ мѣстѣ. Послѣ ужина нѣсколько мальчиковъ стали осматривать Яшку, разспрашивать его, а нѣкоторые стали даже вызывать его на драку. Два восемнадцатилѣтнихъ мальчика шли, потому что имъ дано было сшить на урокъ.

Спальня мальчиковъ нѣмца помѣщалась рядомъ со швальней за перегородкой, въ которую свѣтъ проходилъ сверху, такъ какъ она не доходила до потолка. За этой перегородкой около стѣны были сдѣланы широкія нары изъ досокъ, а на нихъ лежали, на подобіе подушекъ, мѣшки, набитые соломой; на двухъ нарахъ было два тюфяка, но тѣ принадлежали большимъ мальчикамъ, тѣмъ, которые теперь шли. Здѣсь было душно, сыро. Мальчики улеглись спокойно, но Яшкѣ мѣста не оказывалось на нарахъ и ему пришлось лечь на полу, который былъ очень грязенъ, потому что мылся раза три въ годъ, и то на деньги всѣхъ мальчиковъ; подостлать Яшкѣ что-нибудь никто не далъ, потому что сами они подъ себя стлали свои халатники.

На другой день всѣ мальчики были разбужены въ пять часовъ и занялись шитьемъ. Главный подмастерье и закройщикъ Никитинъ, Матвей Алексѣичъ, усадилъ Яшку чуть не къ самой двери и заставилъ шить на холстѣ. Большого труда стоило Яшкѣ владѣть иглой: онъ хотѣлъ убѣжать, потому что сидѣвшій съ нимъ рядомъ мальчикъ до слезъ донималъ его своими остротами, тычками и ученьемъ, за которое онъ отъ Никитина получалъ выговоры. Однако день прошелъ благополучно: онъ завтракалъ, обѣдалъ, ужиналъ; хозяинъ его похвалялъ; онъ познакомился съ тремя мальчиками и ему дали мѣсто на однѣхъ

нѣхъ паръ, такъ какъ хозяинъ нѣмецъ одного мальчика прогналъ.

Всѣ мальчики, работавшіе у нѣмца, были дѣти бѣдныхъ родителей, которые отдали ихъ нѣмцу или получивши отъ него малую толику денегъ, или даромъ, единственно для того, чтобы они вышли отъ него портными; но надо сказать правду, что всѣ отдавали мальчиковъ потому, чтобы избавиться отъ нихъ. Всѣ мальчики жили даромъ до известнаго срока, до 15- и 17-лѣтняго возраста, а потомъ хозяинъ долженъ былъ имъ платить жалованье. Теперь же за работу нѣмцу они получали отъ него нары, пищу и одежду, состоявшую изъ халатовъ и рубашекъ съ штанами, сапогъ и фуражки; а которые постарше были, тѣ могли въ праздничные дни что-нибудь починавать на волю, и такимъ образомъ зарабатывать деньги себѣ. Весь день мальчики были заняты шитьемъ; если у кого не было работы, такъ разговаривалъ, острялъ, и если онъ былъ моложе другихъ, старшіе давали ему свою работу, обѣщая въ праздникъ угостить водкой и закуской. Все развлеченіе мальчиковъ состояло въ пѣсняхъ и въ томъ, что они остряли другъ надъ другомъ; а въ праздникъ, если не было работы, шли развлекаться за ворота куда-нибудь подальше отъ дома или въ кабакъ, гдѣ и прокучивали всѣ деньги.

Подъ влияніемъ такихъ товарищей росъ Яшка и мало-по-малу всосался въ эту жизнь. Какъ ни тяжело ему было, какъ ни трудно привыкать къ житію и сидѣнью, не разгибая спины по цѣлымъ днямъ, а онъ привыкъ, дожидаясь до завтрака, то обѣда, то ужина и наръ, а затѣмъ субботы и воскресенья, въ которое онъ могъ выйти на свѣжій воздухъ или его кто-нибудь приглашалъ въ кабакъ, потому что ему больше другихъ приводилось получать отъ нѣмца побой за то, что онъ скверно шилъ. Онъ умѣлъ острить какъ угодно, пѣть пѣсни, но къ этому его нужно было вызвать чѣмъ-нибудь особеннымъ. Онъ больше молчалъ; на него какъ будто никакая острота и насмѣшка не дѣйствовали; за то ужъ если на него нападетъ стихъ острить или пѣть, то онъ всѣхъ заткнетъ за поясъ.

Такъ онъ прожилъ у нѣмца три года. Въ это время нѣсколько челоѣкъ умерло изъ артели, нѣкоторые отошли отъ нѣмца, а Яшка остался по прежнему простымъ мальчишкой съ тѣмъ, что хозяинъ на него налегалъ часто, заставляя напирѣмъ сшить сюртукъ въ одинъ сутки. Въ это время Яшка уже хорошо шилъ и могъ въ праздникъ заработать на себя копѣекъ пятьдесятъ, но эти деньги уходили всѣ на угощенія въ трактиръ или кабакъ, на что его постоянно вызывали товарищи, которые все свободное время хотѣли провести на отличку, чтобы было о чемъ поговорить въ рабочее время.

На четвертый годъ жизни у нѣмца, въ швальню пришла его мать. Она была уже старуха. Яшка обрадовался ей, хотѣлъ жить вмѣстѣ съ нею, но она сказала, что хочетъ идти въ богадѣльню, и пошла просить нѣмца, чтобы тотъ не обижалъ Яшку. Нѣмецъ далъ старухѣ денегъ, разспросилъ ее: откуда она родомъ, гдѣ родилась Яшка и, обѣщавъ изъ Яшки сдѣлать хорошаго челоѣка, велѣлъ ей подписать какую-то бумагу. Иванъ Ивановичъ позвалъ Яшку. Яшка,

живя у кѣнца, уже успѣлъ выучиться настолько грамотѣ, что разбиралъ печатное и умѣлъ подписывать свою фамилію.

— Подписывай, — сказали нѣмецъ.

Не подозрѣвая ничего, Яшка росписался за мать и получилъ отъ хозяина полтинникъ денегъ на водку.

Съ этихъ поръ нѣмецъ сталъ ласковѣе съ Яшкой. Яшка теперь меньше шилъ, а больше былъ разсмыслившимъ хозяина, что не нравилось товарищамъ, но онъ все-таки въ товарищескомъ кругу былъ по прежнему щедрѣе, и что дѣлалось въ швальнѣ, до хозяина не доходило, а дѣлалось тамъ иногда многое не во вкусъ хозяина. За то Яшка рѣдко получалъ какую-нибудь работу со стороны, и если получалъ доходы, то отъ давальцевъ, которыми приносилъ вещи, и отъ этого у него развивалось попрошайничанье и лгание. Хозяинъ же платя ему не давалъ.

Прошло еще три года. Яшка сталъ понимать, что ему даромъ работать и служить хозяину не приходится и Яшка, какъ его называли обыкновенно всѣи какъ называлъ онъ себя самъ, хотя отъ матери онъ и слышалъ, какъ звали его отца, сталъ поговаривать нѣмцу и о платѣ. Нѣмецъ или ничего на это не отвѣчалъ, или грозился отпрапанть его въ полицію. Товарищи стали подстрекать Яшку приступить къ хозяину, и если онъ не будетъ давать денегъ, уйти отъ него. Яшка такъ и сдѣлалъ. Послѣ сцены съ нѣмцемъ онъ утащилъ изъ швальни сукно, заложилъ его и началъ пьянствовать, надѣясь скоро найти другое мѣсто. Но его пьянаго же привели въ полицію и отдали подъ судъ.

Яшка не сознался, что онъ укралъ сукно. Онъ говорилъ, что онъ отъ нѣнца никогда за работу не получалъ ни копѣйки денегъ.

— Ты не долженъ былъ получать до семнадцати-лѣтняго возраста. Тебя мать отдала Ивану Ивановичу на срокъ, — отвѣчали ему и показывали засаленную бумагу.

— Меня не мать отдала нѣмцу, а какая-то торговка, — отвѣчалъ Яшка.

— Ахъ ты, свинья. Тебя такъ учили въ полиціи показывать. Это не ты подписывалъ? — И ему показывали на подпись. Тутъ Яшка понялъ, что нѣмецъ сдѣлалъ съ его матерью штуку. Но спросить теперь мать объ этомъ было трудно, потому что она назадъ тому три года убѣжала изъ богадѣльни и трупъ ея нашли на взморьѣ, только не могли опредѣлить — чей онъ, потому что онъ уже сильно разложился.

Судебная палата черезъ полтора года по арестѣ Яшки приговорила его за воровство къ тюремному заключенію на два мѣсяца.

По выходѣ изъ тюрьмы съ званіемъ Якова Савельева, Яшка долго ходилъ къ разнымъ хозяевамъ портнымъ, но его никто не принималъ на томъ основаніи, что его паспортъ былъ замазанъ и онъ за воровство сидѣлъ въ тюрьмѣ. Что было дѣлать ему? Денегъ нѣтъ, за квартиру просить денегъ, хочется ѣсть, никуда на работы не принимаютъ, а воровать онъ не умѣетъ, сойтись съ ворами боятся. Къ счастью натолкнулся онъ на биржу и тамъ проработалъ мѣсяца два, но за то всѣ деньги уходили на ѣду и водку, отъ которой онъ уже не могъ отмыкнуть, да и тяжелая

работа на биржѣ какъ то невольно тянула его по праздникамъ развлечься въ кабаки. Наконецъ онъ захворалъ; но скоро поправился. Доктора нашли, что онъ хотя и слабъ немножко, но можетъ жить въ больницѣ. Яшка просилъ, чтобы его еще подержали въ больницѣ, но его выписали. Вышедши изъ больницы, Яшка чувствовалъ, что онъ не въ силахъ работать на биржѣ... Еще не рѣшивши, что ему предпринять, онъ пошелъ зря, куда глаза глядятъ. Онъ шелъ долго и наконецъ зашелъ въ такую улицу, гдѣ и дома поплотнее, и мостовыя нѣсколько лѣтъ не починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги устали, на квартиру идти некуда, и онъ, задумавъ завтра идти на какую-нибудь фабрику, рѣшился поспросить дворниковъ, нѣтъ ли тутъ квартиры, гдѣ бы ему можно было переночевать. Прислѣлъ Яшка къ одному каменному дому и отъ нечего дѣлать сталъ сморгать въ подвальное окно. И видитъ онъ, что тамъ нѣтъ никого: на столѣ лежатъ коврига хлѣба, какой-то горшокъ съ ложкой... Онъ всталъ безсознательно, вошелъ во дворъ и подошелъ къ двери, гдѣ, по его мнѣнію, находилась комната съ ковригой хлѣба. „Мнѣ бы только хлѣба“, думалъ онъ. Но дверь заперли на замокъ... Яшку пробиралъ дрожь; ему хочется сорвать замокъ: онъ пробуетъ, но силъ нѣтъ... Замокъ худой, накладка уже надломлена, а силъ нѣтъ... Вдругъ онъ увидѣлъ около стѣны лопатъ, похожихъ на тупое долото, чѣмъ отбиваютъ намеранувшіи силъ съ павели, и ни о чемъ не думая, засунулъ его за накладку и сталъ пробовать. Скоро накладка сломалась, и замокъ съ нею свалился, и онъ положилъ его въ карманъ, а потомъ вошелъ въ дворничью (то была дворничья) и, бросивъ лопатъ подъ печку, подошелъ къ столу.

Лишь только онъ схватилъ хлѣбъ, какъ въ дворничью вошелъ дворникъ, городской и двое мужичковъ. Яшку связали и отравили въ кварталъ.

Черезъ годъ въ окружномъ судѣ назначенъ былъ судъ надъ Яшкой, съ участіемъ присяжныхъ заседателей, а черезъ нѣсколько времени въ одной петербургской газетѣ была напечатана судебная резолюція, состоявшаяся такого-то числа и мѣсяца въ уголовномъ отдѣленіи окружного суда. Окружной судъ постановилъ: „выслушавъ дѣло о крестьянинѣ Яковѣ Савельевѣ, признанномъ виновнымъ въ покушеніи на кражу со взломомъ во второй разъ, на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей уголов. суд., лишивъ всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, заключить въ рабочій домъ на одинъ годъ и четыре мѣсяца, по освобожденіи же изъ рабочаго дома, согласно такой-то ст. улож. о наказ., отдать подъ особый надзоръ мѣстной полиціи на два года“.

Что будетъ съ Яшкой послѣ этого наказанія и куда онъ потомъ попадетъ, — рѣшать считаю излишнимъ.

## VII.

### ОЧЕРКИ ОБОЗНОЙ ЖИЗНИ.

Нужно было ѣхать изъ Екатеринбурга въ Пермь, а денегъ у меня было только восемь рублей. Въ Ека-

теринбургъ я ѣхалъ съ чиновникомъ на земскихъ и обывательскихъ и заплатилъ ему только четыре рубля, такъ какъ онъ платилъ прогоны только тамъ, гдѣ нѣтъ ни земскихъ, ни обывательскихъ лошадей. Теперь мнѣ такого случая не представлялось, потому что въ городѣ или въ земскомъ судѣ у меня знакомыхъ не было. Въ это время сибирское купечество, такъ сказать, валомъ-валило въ Нижній на ярмарку и мнѣ посоветовали съходить въ контору вольныхъ почтъ для того, чтобы найти попутчиковъ или не согласится ли кто взять меня ради компаніи пополамъ, или какъ тамъ придется. Прихожу въ контору вечеромъ; никого нѣтъ. Немного погодя вышелъ пи-сарь.

— Позвольте васъ спросить: нѣтъ ли у васъ попутчиковъ?—спросилъ я.

— А вы кто такіе?

Я назвался губернскимъ чиновникомъ; онъ посмотрѣлъ въ книгу и сказалъ, что никого нѣтъ, а если мнѣ будетъ угодно, то онъ меня запишетъ. Я согласился.

— А сколько стоитъ до Перми на парѣ? — спросилъ я изъ любопытства.

— Въ нашеѣ экипажѣ двадцать четыре рубля, а если у васъ свой есть, то и дешевле.

Я вышелъ и думалъ: вотъ если бы желѣзную дорогу построили, такъ сбавили бы мнѣ спѣси; отъ Петербурга до Перми болѣе двухъ тысячъ верстъ и я издержалъ съ пищей, водкой и извозчиками всего двадцать три рубля, а здѣсь, за триста шестьдесятъ верстъ, просятъ только за провозъ 24 р., да еще ямщикамъ нужно давать. На улицѣ жарко, душно. Горожане ждуть грозы и граду. Передъ конторой вольныхъ почтъ, на улицѣ, стоятъ двѣ повозки. Повозки эти старинныя, сибирскія, пространныя. Въ одной, покрытой кожаными фартукомъ, почиваютъ на подушечкѣ два купца, съ красными, точно разбухшими отъ жара, лицами. Въ другой повозкѣ, съ откинутой накладкой, лежитъ куча подушекъ и разныхъ величинъ ушлы. Къ обѣимъ повозкамъ ямщики запрятали лошадей, ругая ихъ какъ только можно.

— Просто каторга это время! ни часу нѣтъ раздыху... Жара...

— И на водку, что есть, мало даютъ, чтобъ имъ провалиться...

Я подошелъ къ ямщикамъ и спросилъ — нѣтъ ли такихъ ямщиковъ, которые бы увезли меня на обратныхъ? Я думалъ, что ямщикъ, возвращаясь домой съ лошадьми, возьметъ съ меня копѣекъ двадцать.

— А ты изъ кутейниковъ, што-ли?

— Нѣтъ.

— Рассказывай: по облику видно... Вонъ тамъ во дворѣ спроси.

Во дворѣ суетня. Ямщики переобѣгаютъ отъ лошадей къ телѣгамъ и повозкамъ; въ двѣ повозки два человека, одѣтые въ сюртуки, укладываютъ подушки, чемоданчики, сакъ-воажи. Нашелъ ямщика, онъ запросилъ три рубля. Я сказалъ, что дорого, ямщикъ сталъ издѣваться надо мной.

— Ты бы попутчиковъ искалъ, — сказалъ мнѣ другой ямщикъ, сидѣвшій на крылечкѣ.

— То-то што нѣтъ.

— Нынѣ купцы—одно слово, што жиды: почитай со своей братьей ѣздить, а со стороны не берутъ, потому боятся—денегъ у нихъ пропасть! Да имъ не жалко денегъ,—объяснялъ мнѣ ямщикъ. А потомъ пополамъ, опять началъ:—одного разу при мнѣ ка-медь была. Ёхалъ, знаешь ты, купецъ, богачъ, одно слово. Вотъ и подвернись какой-то кутейникъ, и пошелъ этотъ кутейникъ къ купцу проситься съобща ѣхать, а купецъ ѣхалъ одинъ съ приказчикомъ. Ладно. Приходитъ этотъ кутейникъ въ горницу, купецъ лежитъ на диванѣ въ рубашѣ—отъ жары просто не въ могу ему было... Ну, тотъ и говоритъ, такъ и такъ... Кто ты, говоритъ, такой?—Тотъ сказалъ.—А я, говоритъ купецъ, не люблю товарищей, а тебя, говоритъ, возьму, коли, говоритъ, ты сейчасъ десять разъ перекувырнешься, позабавишь мою милость, а коли неперекуюврнешься—въ полицію представлю и владыкѣ твоему лично донесу, што ты меня на большой дорогѣ безпокоишь изволишь... Ну, што-жъ бы ты думалъ?—парень и давай перекувыр-киваться — смѣхъ! да только не въ могу должно быть... на пятомъ разѣ остановился:—не могу, говорить, сердешный. А потъ такъ и лезть, такъ и лезть... Купецъ хохочетъ... Што-жъ ты, говоритъ, на самомъ забавномъ мѣстѣ остановился? Валяй.—Не могу!!—вопить кутейникъ...—И я, говоритъ купецъ, не могу вести. Ну, и прогналъ... А тотъ такъ-таки съ обзономъ и уѣхалъ.

Послѣ такого разговора я рѣшилъ ѣхать съ обзо-номъ; что нужды, думалъ я, что пробѣду недѣлю, за то сколько удовольствія будетъ для меня въ этомъ тихомъ путешествіи, а какъ заставить кувыркаться—обидно... Цѣлые два дня проходилъ я безъ толку, потому что, не зная гдѣ останавливаются тѣ ям-щики, которые ѣдутъ въ Пермь, я все патыкался на такихъ, которые ѣхали въ Тюмень. Наконецъ мнѣ сказали куда идти. Напротивъ полукаменнаго дома стояло до десятка пустыхъ телѣгъ на улицѣ; на зем-лѣ подъ телѣгами и немного подальше колесъ бѣгали курицы и клевали въ трухѣ овесъ, который вѣроятно сыпался изъ кошелей, когда ихъ убирали изъ телѣгъ; тутъ же тощая коровенка, махая отъ жару хвостомъ, что есть мочи засовывала подъ одну телѣгу свою голову, стараясь достать клочекъ сѣна. Ворота заперты. Я вошелъ во дворъ. Слева—новый полукаменный домъ, а справа—одноэтажный деревян-ный, уже старый; потомъ тянется длинный дворъ, по обѣимъ сторонамъ котораго навѣсы, а подъ навѣса-ми стоятъ телѣги и лошади, достающія изъ кошелей сѣно; четыре лошади лежатъ. Недалеко отъ крылеч-ка дома, по правую руку, пятилѣтній мальчуганъ, въ ситцевой розовой рубашѣ и съ бѣлыми волосами, старается сѣсть верхомъ на большую черную собаку, только та не дается и, когда мальчуганъ потащитъ ее за хвостъ, она визжитъ.

— Мальчикъ!—окликнулъ я мальчугана, но онъ, поглядѣвъ на меня, еще пуще сталъ тормозить со-баку; та наконецъ укусила ему руку, убижала, а мальчикъ заплакалъ и пошелъ на крыльцо.

Я подошелъ къ одной телѣгѣ: въ ней лежитъ же-лѣзное ведро, веревка, запунъ. Въ другой телѣгѣ

спитъ на животѣ мужчина, въ синей изгребной рубахѣ, въ плисовых пароварахъ, босикомъ.

— Чего тебѣ?—вдругъ услышалъ я женскій голосъ.

Я обернулся. Изъ окна дома, направо отъ воротъ, глядѣла на меня старушка. Я подошелъ къ окну. Она хотя и выглядывала старушкой, но казалась бодрой и въ голосѣ ея не слышалось ничего болѣзненнаго.

— Кого тебѣ?—спросила она меня снова.

— Тетушка, здѣсь какіе ящички?

— На што тебѣ?

— Мнѣ въ Пермь хотѣлось бы нанять.

— Здѣсь такихъ нѣтъ: здѣсь съ кладью поѣдутъ въ Пермь.

— А скоро?

— Завтра, надо быть.

— А берутъ они ѣздоковъ?

— Заходи ужь. Теперь спать.—И она заперла окно.

Вечеромъ, часовъ въ семь, я пришелъ опять на этотъ постоянный дворъ. Шесть ящичковъ, въ синихъ изгребныхъ и голубыхъ ситцевыхъ рубахахъ, въ шляпахъ, на подобіе горшковъ, и въ фуражкахъ, мужчины здоровые, краснощекіе, собравшись въ кучу, о чемъ-то толковали. При моемъ входѣ они, продолжая разговаривать, стали смотрѣть на меня. Я подошелъ къ нимъ, снялъ фуражку, двое тоже сняли; говорить перестали.

— Вы не въ Пермь-ли?

— Въ Пермь, а што?

— Да мнѣ тоже бы туда надо.

— Мы ни примамъ нони, потому съ кладью.

— Да а ничего...

— А ты видно изъ духовныхъ?.. Ишь нони стекла проявили на носу носить. Это отъ моды, што-ли? — спрашивалъ одинъ.

— Такъ ты говоришь — въ Пермь?.. А што у те много глады?—спросилъ другой ящичекъ, съ плутуватыми глазами, привлекательный лицомъ, съ курчавыми волосами, небольшой черной бородой, чело-вѣкъ лѣтъ подъ сорокъ.

— У меня только узелокъ.

Ящичекъ оглядѣлъ меня съ ногъ до головы и вступилъ въ разговоръ съ товарищами.

— Нѣтъ, пятнадцать, ребята, дороженько... Кабы десять.

— То-то. Ужъ радился, радился...

— Разѣ мнѣ скодить, а?

— Какъ хощь. Ну, а ты, Верещагинъ, што? ради.

— Не знаю...—сказалъ тотъ ящичекъ, который спрашивалъ меня о вещахъ, и почесалъ голову обѣими руками, положивъ шляпу въ тѣлѣгу.

— Ну, а ты сколько бы далъ? — спросилъ меня другой ящичекъ.

— Какъ вы? Я думаю, придется пѣшкомъ идти болыше.

— Это обнаковенно: устанешь—присядешь; ну, и заснуть можно.

— Такъ сколько бы вы взяли?

— Да мы што! вонъ ево проси... Верещагинъ! ради...

Верещагинъ отошелъ отъ ящичковъ, поцѣлъ ме-

ленно къ воротамъ, почесывая голову и спину, что-то шепталъ, смотря въ полъ. Я шолъ за нимъ.

— Такъ какъ, дядя?

— Да пять рублей-бы?—спросилъ онъ меня негромко и хитро посмотрѣлъ на меня.

— Много. Я бы три далъ. Самъ подумай: а вѣшу немного, да и не всегда буду сидѣть. Опять тоже дождь...

— На счетъ дождя не сумѣвайся: рогозкой прикрою.

— Верещагинъ! иди въ баню, — кликнули ящички.

Верещагинъ не говорилъ ни да, ни нѣтъ; я молчалъ, онъ тоже молчалъ и повидимому тяготился мной, но отойти отъ меня ему тоже должно было не хотѣлось.

Наконецъ мы разошлись. На другой день таже исторія; только вечеромъ онъ согласился, по совѣту другихъ ящичковъ, взять меня за три рубля. Онъ мнѣ далъ денегъ полтину.

— Это на что?—спросилъ я.

— Ужъ заведеніе такое, потому это задатокъ, што а тебя не обману.

Однако денегъ я не взялъ; онъ ради знакомства позвалъ меня въ питейную лавочку и угостилъ на свой счетъ осмишкой водки, сказалъ, что его зовутъ Семеновъ Васильичемъ, спросилъ мое имя, велѣлъ приходить завтра въ десять часовъ и мы разошлись, пожавъ другъ другу руки, — первый протянулъ онъ.

Идя домой, я раздумался о здѣшней простотѣ крестьянъ и удивлялся: неужели ихъ не учили такіе господа, какъ мазурики? Вѣдь въ подобномъ случаѣ мазурику очень легко выманить у ящичка полтинникъ. Однако здѣсь уже такъ заведено, что вѣсто жестянокъ ящички даютъ деньги.

Въ десять часовъ я уже былъ на постояломъ дворѣ, но тамъ не было ни ящичковъ, ни тѣлѣгъ. Я испугался. Пошелъ въ полукаменный домъ. Кухня большая съ большимъ столомъ въ переднемъ углу. Въ ней душно, жарко, два окна почти что залѣплены мухами, по столу и лавкѣ бродятъ табуны мухъ. Но хотя я сперва и называлъ это помѣщеніе кухней, однако это вовсе не кухня, а комната, потому что направо двери въ кухню съ печью, а изъ кухни—въ ховайскія комнаты. Въ кухнѣ около печи суетилась высокая, толстая, годовъ сорока пяти женщина; въ комнатѣ пили чай молодая женщина недурной наружности и двое дѣтей: мальчикъ, котораго а видѣлъ вчера во дворѣ, и дѣвочка лѣтъ восьми.

Не глядя на меня, хозяйка сказала, что ящички поѣхали за кладью и къ обѣду вѣроятно пріѣдутъ. Хотѣлъ я спросить ее—могу-ли а посидѣть въ комнатѣ, но она была слишкомъ занята своимъ дѣломъ и меня никогда отъ роду не видала. Однако а присѣлъ на лавку у окна. Скучно. Не знаю сколько а просидѣлъ, только хозяйка, спасибо ей, крикнула:

— Чего ты разсѣлся, разстрига? Што у насъ развѣ для всякаго проходящаго постоялый-то устроень? Я растерялся и не зналъ, что сказать ей въ свое оправданье.

— Пошелъ, пока бока не наломали!

Я посмотрѣлъ на нее, вижу, женщина пожалуй втрое яснотѣе и сильнѣе меня, отвезитъ кулаками такъ, что въ другой разъ совѣстно будетъ и показаться сюда.

Помежь бродить по рынку, зашелъ въ трактиръ, но дѣлать въ немъ мнѣ было нечего: колн пришелъ, то стало быть нужно водку пить, кушанье брать, а я ни того, ни другого не хотѣлъ, да и на дворѣ такъ жарко, что готовъ-бы, кажется, весь день въ водѣ пробыть. Но ужъ если я зашелъ въ трактиръ, то долженъ непремѣнно хотъ рюмку водки выпить, а то сочтутъ меня Богъ знаетъ за какого человѣка. Дѣлать нечего, выпилъ рюмку; водка оказалась мерзѣйшая и стоитъ пятакъ. Спросилъ газету, — нѣтъ. Служители глядятъ на меня подозрительно; прошла какая-то женщина сомнительнаго поведенія. А народу въ трактирѣ нѣтъ, должно быть рано, да и Ильинъ день.

Постоялый дворъ былъ уже запряженъ возами и пустыми телегами; лошади распряжены и ѣли корѣ. Въ полукамешномъ домѣ говорю. Вышелъ изъ него одинъ ямщикъ и отъ него я узналъ, что Верещагинъ и его товарищи пьютъ чай, и что они послѣ обѣда поѣдутъ. Я присѣлъ на крылечко и отъ нечего дѣлать сталъ наблюдать за лошадьми, — этими работниками на большомъ сибирскомъ трактѣ. Недалеко отъ меня стояли между двухъ телегъ двѣ лошади бурой шерсти, лошади здоровыя и крѣпкія. Одна изъ нихъ, съ сивою гривой, повидимому уже наѣлась, но все-таки ѣла, только ужъ такъ лѣниво, что ее можно было сравнить съ екатеринбургской мѣщаночкой, сидящей вечеркомъ за воротами и балующей себя ведровыми орѣхами; другая лошадь, съ чернымъ хвостомъ, лизала гриву этой лошади, причежь сивогривая лошадь очень благосклонно взглядывала на чернохвостую. Кончила ѣсть сивогривая, уперла морду внизъ, чернохвостая еще усерднѣе стала лизать ей лобъ и спину, потомъ вдругъ подошла къ кошелоу и стала доставать изъ него сѣно, но сѣна тамъ не было. Все-таки она продолжала жевать, изрѣдка вытаскивая изъ кошела морду, а сивогривая лошадь стала лизать гриву этой чернохвостой подруги. Та хотѣла лечь, но лечь некуда. Я думалъ, что эти любезности исключеніе, го замѣтилъ въ другомъ мѣстѣ то же, только тамъ двѣ лошади лизали одну. При этомъ мнѣ представилось то, какъ за барскими лошадьми ухаживаютъ кучера, нѣа и чистя ихъ, а такъ какъ крестьянскихъ лошадей хозяева не чистятъ щетками, то онѣ сами заботятся о себѣ. Подъ телегами и между ногъ лошадей сновали въ разныхъ мѣстахъ курицы и пѣтухи, нисколько не думая о томъ, что ихъ могутъ раздавить; изъ нихъ были даже такіе, которые залетали въ телегу и храбро клевали овесъ.

— А, будь ты за-болотцомъ! здорово Петръ Митричъ! — проговорилъ знакомый голосъ.

Я обернулся. Верещагинъ въ чистой, вчера надѣтой, рубахѣ, безъ шапки стоялъ недалеко отъ меня и утиралъ раскраснѣвшееся отъ горячей воды лицо рукавомъ. Я подошелъ къ нему, мы поздоровались: онъ крѣпко стиснулъ мою ладонь.

— Почему клать-то взялъ?

— Да дешево, ну, да!.. шестьдесятъ двѣ копейки съ нуды... А корма-то новѣе не приведи Богъ какъ

дороги... — И онъ пошелъ къ своимъ лошадямъ, которые у него стояли почти назади двора.

Стали выплывать изъ дому и другіе ямщики. Всѣ они были въ поту, такъ что плечи рубахъ были мокрыя; говорили всѣ весело, бойко; два молодыхъ извозчика, — по мѣстному парни, — годовъ восемнадцати, острили надъ пожилыми извозчиками, которые на ихъ остроу сами отвѣчали или желаніемъ отколотить парней, или обругивали. Всѣ ямщики разсыпались по всему двору. Немного погодя пять извозниковъ присѣли на крылечко и, не обращая на меня вниманія, о чемъ-то весело стали продолжать прежде начатый разговоръ и хохотали.

— Это што?.. А вотъ Яшка-то Крюковъ!? Ахъ, будь онъ проклятъ, штобъ ему ни дна, ни покрывки.

— Да, да... Вѣдь цѣлую бочку выудить, штобъ ему лопнуть!

— Какъ такъ?

— Да ты не слыхалъ што-ли? Камедь какая, братецъ ты мой!.. первый сортъ. Это повезли они съ Ивановъ Кырьяновымъ вино. Ну, ладно. А Крюковъ и давай лаять...

— Вино-то?

— Ну. Да какъ: нужно трогаться, а онъ ситъ тамъ у телеги и плевать на все, говоритъ: хотъ убейте его, такъ въ ту же пору. Ну, знамо дѣло, не бросать же его: у него тоже двѣ лошади; свалили... Только голова болтается, какъ похали... А какъ прорусился — стали его ѣсть, а онъ, гляди, опять пьянъ... На другой день опять... Просто сидовались всѣ! Ну, и стали прииѣчать: потому въ кабацъ не ходить ровно, а только что-то ужъ часто ведро полощеть въ рѣченкахъ, да воду пить и съ воды пьянъ дѣлается. Только стечанъ Макушень и прииѣтилъ, што-де Яшка около своей бочки подпрыгиваетъ, да ведро подсовывать на ходу, ну и словилъ. Это онъ, знаешь, дыру просверлилъ въ бочкѣ, да и залипалъ тѣстомъ. Ну, Степанъ-то промолчалъ сперва, а какъ къ рѣкѣ подѣхали, да пошли за водой, и Яшка съ ведромъ, пошатывая его, таку-бѣду!.. Только Степанъ и говоритъ ребятамъ: а што-то Яшка-то у насъ нони ужъ черезъ-чуръ лошадей-то поитъ, у него пошто-то и телега-то вино пьетъ?.. Кабы намъ, братцы, въ убытокъ не быть?... Ну, значитъ, острашилъ, что называется, на всѣхъ, а Яшка и говоритъ: бочку доливаю, потому — текеть очинно. Иванъ Кырьяновъ очинно осерчалъ, да имъ общимъ договоромъ рѣшили не показывать эту бочку, а сказать што она разбилась; ужъ лучше всѣмъ испробовать заморскаго вина — какъ оно есть... Ну, а Яшку въ лѣсу знатно выстегали... И не поморщился, будь онъ проклятъ...

Въ продолженіи этого разсказа слушатели и разсказчикъ хохотали.

— Што-жъ, убытку-то много?

— Сѣло такъ: рубля два только и пришлось получить при расчѣтѣ. А Яшку отъ себя прогнали. Въ Тюмень, сказываютъ, съ Безобразовымъ кожи повезъ.

— А со Стенкой Мокроноснымъ-то какая окаянщина была, слышалъ?

— Бочка съ Суксуна улетѣла.

— Да... И чортъ ее угораздилъ слетѣть. Гора-то, е! страсть какъ крута... Бочка только подпрыгивать... Щека-щечкой... Страсти...

— Не приведи Богъ... Ужъ эта гора сидитъ намъ, Христось съ ней.

Пришелъ Верещагинъ и спросилъ меня обѣдалъ ли я. Мнѣ очень хотѣлось ѣсть, но я не зналъ куда идти, да и боялся, что ямщики меня не станутъ дожидаться.

— Подемъ въ избу.

— Неловко какъ-то, народу много. Еще помѣшамъ; да и хозяйкѣ я не понравился.

— А, будь ты за-болотцомъ! Подемъ.

Во дворѣ, кромѣ Верещагина, ямщиковъ не было. Я пошелъ.

Въ комнатѣ за большимъ столомъ сидѣло человѣкъ пятнадцать ямщиковъ. Они хлебали щи, запивая водкой. Всѣ или говорили, или хохотали, или ругались.

— Хозяйшка, можно мнѣ пообѣдать? Я заплачу, — спросилъ я хозяйку.

— Вотъ выдумалъ! У меня нѣтъ для тебя ничего.

— Да мнѣ-бы щей.

Хозяйка промолчала. Я сѣлъ на лавку. Корованъ хлѣба скоро исчезали одинъ за другимъ; хозяйка то и дѣло наливала въ деревянные чашки щи; ямщики то и дѣло просили хозяйку прибавить щецъ и говядинки. Я закурилъ папироску. Надъ Верещагинымъ острили, онъ хихикалъ въ руку и говорилъ только: „а будь ты за-болотцомъ“, но потомъ его чѣмъ-то попрекнули, заговорили всѣ противъ него, онъ только говорилъ обиженнымъ голосомъ: „развѣ я виноватъ! Бога бы вы боялись обижать бѣднаго человѣка“.

— Вотъ ужъ! ты всегда больше другихъ кледи накладывашь.

— За то у меня лошади не вамъ чета.

— А вотъ мы попробуемъ въ переднія пустить.

— Эй ты, долговаяя бестія! Пошелъ отселева, — крикнулъ на меня одинъ здоровый ямщикъ, съ черными волосами.

Я не трогался, потому что не зналъ, за что я не понравился ямщику.

— Тебѣ говорятъ, стеклянные шары. Ты слѣпъ што ли, што мы ѣдимъ, а ты тутъ съ твоимъ проклятымъ табачищемъ...

— Да ты поди, коли тебѣ говорятъ, до грѣха... будь ты за-болотцомъ — обратился ко мнѣ сочувственно Верещагинъ: — не равенъ часъ — ребята изобьютъ.

Опять я сѣлъ на крылечко и думалъ о томъ, что я глупо сдѣлалъ, что сталъ курить табакъ тогда, когда ямщики обѣдаютъ. Я еще не зналъ овозной жизни, и мнѣ сдѣлалось совѣстно. Возражать тутъ нельзя: изобьютъ такъ, что и никогда не выѣдешь изъ Екатеринбурга.

Изъ избы вышелъ высокій пьяный ямщикъ, онъ то и дѣло наткался на что-нибудь и, доползши до меня, грохнулся ко мнѣ и взялъ правой рукой за мои волосы.

— Ты меня знаешь! Я Иванъ Пантелеевъ. Да! я въ какъ орудую! — И онъ потянулъ руку съ моими волосами такъ, что я чуть не вскрикнулъ. Вдругъ онъ обидѣлъ меня и давай цѣловать.

— Ты мнѣ понравился... Ты!! А ты скажи, подлецъ я, али нѣтъ?... У меня деньги отняли, спрятали... А я гуляю... во!! Я исправень. Исправень я, али нѣтъ?

— Исправень.

— Исправень!.. А они деньги зачѣмъ взяли, подлецы? Ты это скажи... Ты грамотной?

— Грамотной.

— Ну! — и онъ плюнулъ такъ, что свалился на землю.

Въ это время стали выходить изъ комнаты ямщики, тяжело отпыхивая и завязывая пониже животы пояски. Стали они сѣяться надъ пьянымъ ямщикомъ, тащили его спать, но онъ барахтался такъ, что съ нимъ ничего не могли сдѣлать.

Я пошелъ опять въ комнату для того, чтобы попросить ѣсть. Тамъ, сидя въ переднемъ углу, толстый, лысый ямщикъ, въ ситцевой розовой рубашкѣ отсчитывалъ бумажки и отдавалъ ихъ ямщикамъ. Это значило, что ямщики получали деньги, но за то ли, что они подрались вести кладъ, или за то, что привезли и сдали кладъ, — я не зналъ. Хозяйка сказала, что для меня не приготовлено кушанья и вдругъ, когда я пошелъ изъ комнаты, она сказала:

— Эй ты, долговолосый кутехлебъ! Щи остались: коли хощь, за полтинникъ накормлю.

— Нѣтъ, этакъ дороговонко.

— Видно, што христарядникъ! О-охъ, штобъ васъ...

Ямщики пошли изъ ведеръ лошадей, потомъ одни изъ нихъ запрагли лошадей, а другіе отчасти легли спать въ пустыя телѣги, отчасти разбрелись.

Скучно было ужасно. Ямщики то переминаясь разговаривали другъ съ другомъ, то выходили зачѣмъ-то за ворота и, постоявъ тамъ, возвращались обратно во дворъ, то куда-то уходили и долго не возвращались. Я чуть было не потерялъ терпѣнія и хотѣлъ совсѣмъ идти на квартиру, но Верещагинъ подошелъ ко мнѣ и, какъ видно, что-то хотѣлъ сказать, но молчалъ.

— Скоро-ли тронемся-то?

— Совсѣмъ готово... А жара-то какая, Пресвятая Богородица!

— Непріятна она, я думаю, вамъ?

— Зима лучше, только тогда лапоть носится, а теперь ходи хоть нагишомъ. Жарко! — И онъ заговорилъ съ подошедшимъ ямщикомъ о какихъ-то бичевкахъ.

— Я было хотѣлъ попросить тебя... Одолжи рубль, — проговорилъ онъ мнѣ нерѣшительно.

Я далъ, и попросилъ его выпить водочки.

— Покорно благодарны, Петръ Митричъ.

— А што?

— Да вишь! и такъ сопрѣлъ... Ужо на ночь... Ночевать-то мы нони не будемъ.

Наконецъ часу въ седьмомъ ямщики засуетились. Кто почему нибудь не успѣлъ смазать колеса, теперь смазывалъ на скорую руку. Вывели одну лошадь съ возомъ, за ней другую, третью — это выведение продолжалось четверть часа, потому что ямщики мѣшкали, а по дорогѣ шелъ къ другому постоялому двору длинный обозъ, возовъ въ тридцать. Вторая лошадь была привязана за задокъ первой телѣги, третья за задокъ второй, четвертая за задокъ третьей телѣги, пятая лошадь не была привязана, за то послѣ нея двѣ лошади были привязаны. Выползъ нашъ обозъ, но не



весь — только двѣнадцать возовъ, а во дворѣ ихъ было еще много. Хозяева переднихъ лошадей, выведенныхъ на улицу, стояли, впереди обоза и поучали остальныхъ ямщиковъ. Наконецъ выдѣлзъ и Верещагинъ на улицу, держа за поводья лошади; къ задку телѣги привязана лошадь, а за другую телѣгу тоже привязана лошадь. Верещагинъ крестидся и говоритъ: „Господи благослови!“.

— Петръ Митричъ, садись благословясь.

— Куда? — спросилъ я.

— А вотъ, — и онъ указалъ мнѣ на передокъ второй телѣги. Мѣста передъ возомъ, т. е. кладью, покрытою крѣпко-на-крѣпко цыновками, было столько, что сидѣть можно свѣсивши ноги, а спать можно было, скорчившись поперекъ дороги и телѣги. Я не сѣлъ и отговорился тѣмъ, что еще успѣю устать.

Нашъ обозъ, состоявшій изъ тридцати двухъ лошадей, тащившихъ тридцать два воза съ саломъ, свѣчами и стекломъ, шагомъ подвигался впередъ по улицѣ и занималъ пространство на протяженіи по крайней мѣрѣ сажень полутораста. Вотъ первая лошадь повернула и мало-по-малу мы были уже на тракту. Ямщики идутъ въ разсыпную по дорогѣ, лошади идутъ ровно тихимъ человѣчьимъ шагомъ и не останавливаются, вѣтерокъ поднимаетъ впереди пылъ, по дорогѣ то и дѣло впередъ и обратно ѣдутъ проѣзжающіе на тройкахъ, на двухъ лошадяхъ, ѣдутъ городскіе жители въ телѣгахъ и пролеткахъ, мастеровые верхомъ. Воздухъ сперся отъ жару и пыли, а наши лошади еще болѣе поднимаютъ ее съ дороги, и эта пыль въ четверть часа успѣла покрыть уже наши сапоги, фуражки и шляпы.

Я торжественно: во-первыхъ радовался, что наконецъ-то тронулся въ путь и черезъ шесть дней непремѣнно буду въ Перми, во вторыхъ я, не ходившій никогда по сотнямъ верстъ, могъ теперь испробовать себя. Городскіе жители, ѣдущіе и глядящіе изъ оконъ на обозъ не изъ любопытства, а ради развлечения, удивленно смотрятъ на меня и вѣроятно думаютъ: „бѣдный семинаристъ поѣхалъ объ мѣстѣ хлопотать“. Я оборачиваюсь нѣсколько разъ, съ радостью гляжу на большой встрѣбанный городъ и мнѣ то улыбнуться хочется, то вдругъ дѣлается скучно, и Богъ знаетъ о чемъ и о комъ...

— Петръ Митричъ, ты ѣлъ-ли?

— Ылъ, — солгалъ я. А во рту у меня сохло отъ трубки. Хотѣлось больше всего пить.

— Не выпить-ли на дорожку-то? — спросилъ меня Верещагинъ.

— Пожалуй.

Зашли — выпили по стаканчику; водка известкой отсызаетъ; купилъ на двадцать коп. десять сухихъ крендельковъ, попотчивалъ Верещагина, самъ сталъ ѣсть — горло сохнетъ, въ горло пылъ лѣзетъ. Прошло полчаса, вдругъ я взглянулъ впередъ — ямщиковъ нѣтъ, назадъ — тоже. Неужели, подумалъ я, у ямщиковъ такое заведеніе, что они заходятъ по выѣздѣ изъ города выпить на дорожку? Но выпивающимъ — то оказался только я, какъ я узналъ послѣ, потому что всѣ

ямщики, въ томъ числѣ и Верещагинъ, ужь крѣпко спали, кто на возахъ, кто на телѣгахъ. Для образчика я приведу двѣ картины. Идетъ обозъ на протяженіи полутораста сажень; лошади большею частью привязаны къ телѣгамъ; тѣ, которыя не привязаны, идутъ на шагъ отставши, но не сворачиваютъ съ линіи направо или налево, — однимъ словомъ имѣютъ видъ цѣпи, такъ что если бы случилось сдвинуть съ дороги средней возъ въ сторону, то нужно начать движеніе съ передняго воза. Лошадямъ жарко; онѣ или взмахиваютъ хвостами, головами, или стараются, во что бы то ни стало, достать изъ телѣги сѣно или желѣзное ведро, чтобы облизать его. Передней лошади предоставлено право глядѣть во всѣ стороны, остальнымъ же только — въ желѣзные ведра и мѣшки съ сѣномъ, изъ которыхъ впрочемъ весьма трудно достать хоть клочекъ сѣна, а по сторонамъ лошадей ничего не видно. Если же передняя лошадь остановится, тогда остальныя лошади, ступнувшыя лбами объ возъ, останавливаются и начинаютъ неистово тормозить мѣшокъ съ сѣномъ. Поверхъ второго воза, на животѣ лежитъ ямщикъ, такъ что ноги болтаются, а голова лежитъ въ шляпѣ, руки засунуты подъ цыновку, объ ладони, сходясь съ двухъ сторонъ, на подобіе обхвата, находятся какъ разъ подъ горломъ, цыновка же, крѣпко привязанная толстой веревкой, ни по какому случаю не сорвется. Такимъ же точно образомъ лежалъ другой ямщикъ въ телѣгѣ на передкѣ, и такъ какъ доски на передкѣ не было, то голова и туловище его лежали въ телѣгѣ, а ноги болтались на ея краѣ. Верещагинъ лежалъ тоже на своемъ первомъ возу, но я еще и садиться не пробовалъ на его вторую телѣгу.

Проѣхали острогъ, началось кладбище; на кладбищѣ гулянье. Мужчины и женщины ходятъ или парно, или по нѣсколькимъ человѣкамъ; группы въ разнообразныхъ костюмахъ сидятъ въ разныхъ мѣстахъ на могилкахъ, курятъ папиросы, сигары, разговариваютъ, хохочутъ, напѣваютъ веселыя пѣсни. Я подошелъ ближе къ рѣшеткѣ кладбища и по мѣрѣ того, какъ я шелъ, я замѣчалъ разныя картины: въ одномъ мѣстѣ играли въ карты, въ другомъ — двое мужчинъ подчивали молодую женщину водкой, въ третьемъ цѣловались, вѣроятно клялись у могилъ въ вѣчной любви... Я слышалъ отъ горожанъ, что это кладбище теперь превратилось въ гулянье съ особенною цѣлью, только на немъ еще пока не танцуютъ.

Вотъ уже и лѣсъ по обѣимъ сторонамъ трактовой дороги, но этотъ лѣсъ стоитъ точно на-показъ начальству, потому что сквозь него просвѣчиваютъ огромныя пространства пустыхъ мѣстъ. Ноги устали, петербургскіе сапоги съ каблуками кажется начинаютъ стаптываться; я сѣлъ въ назначенную мнѣ телѣгу — неудобно; сѣлъ я точно въ яму, но ногамъ въ этой ямѣ нѣтъ мѣста, нужно ихъ свѣсить къ лошади; я свѣсилъ — колѣни выше головы, трясетъ ужасно, спину отбиваютъ ящики, ноги отбиваетъ передокъ телѣги, хвостъ лошади задѣваетъ за сапоги съ каблуками. Кое-какъ я высвободился изъ ямы и сѣлъ поперекъ телѣги — удобно: ноги упираются въ телѣгу, подъ спиной узелокъ, только на боку лечь невозможно; спать хочется, да и лечь на



животъ боюсь. Такъ я просидѣлъ немало; бока болятъ, ноги ноютъ, глядѣть рѣшительно не стоитъ — то тощее поле, то лѣсъ, да и глядишь въ одну сторону. Закурилъ трубку. Вдругъ подходитъ сзади Верещагинъ. Лицо у него въ пыли, грязное, ладони черныя.

— Ладно ли сидѣть-то? — спросилъ онъ меня.

— Не совсѣмъ.

Онъ взялъ мѣшочекъ, но безъ мѣшочка сдѣлалось еще хуже.

— Ты бы далъ мнѣ мѣшочекъ-то.

— О, будь ты за-болотцомъ! — и онъ кинулъ мѣшочекъ на передній возъ.

— А тебѣ ловко-ли самому-то на возу?

— Ничего. Съ семнадцати лѣтъ въ обозахъ хожу, а теперь никакъ съ новаго года сорокъ первый пошелъ... Брюхо только што-то, Господь со мной, покатывать.

— Это отъ того, что ты найлся-то ловко, да потомъ и легъ животомъ на возъ, а трясеть-то знатно, — объяснилъ я.

— Не знаю... Не отъ того это: прежь не баливало же.

— А я вотъ што хочу тебя спросить, Семенъ Васильичъ: пошто это у васъ одиѣ лошади привязаны къ телѣгамъ, а другія нѣтъ?

— О, будь ты за-болотцомъ! и этого-то не знаешь: ужъ заведенные такое.

Въ это время у одной его лошади дуга развязалась и онъ остановилъ свою переднюю лошадь; половина обоза пошла, оставивъ за собой другую половину, которая стояла. Я слѣзъ съ телѣги.

— Скорѣ копайся, вахлакъ! — кричалъ на Верещагина лежащій на возу ямщикъ.

— Ну-ну!... о, будь ты за-болотцомъ, козленокъ! Ишь вѣдь, все непорядки у тебя, соколижъ, — наговаривалъ лошади Верещагинъ; но лошадь только тяжело вздыхала, изрѣдка переминаясь съ ноги на ногу.

— Скоро-ли?.. аль почевать намъ здѣсь? — кричалъ ямщикъ сзади. Голосъ его далеко раздавался въ лѣсахъ.

Верещагинъ слегка свистнулъ передней лошади и она пошла. Онъ сѣлъ на козлы и сталъ погонять ее вятнемъ. Лошади пошли нѣсколько скорѣ прежняго и черезъ четверть часа мы нагнали другую половину нашего обоза, которая поджидала насъ.

Стало темнѣть; свѣжо такъ, что меня въ легкомъ пальтишкѣ безъ подкладки стало пробирать, но за то теперь было не въ примѣръ лучше того времени, въ которое мы выѣхали изъ города: главное, — мнѣ казалось, что пыль не попадала въ ротъ, а садилась скоро опять на землю; дышалось свободнѣе. Я шелъ по мягкой травѣ, растущей около телеграфныхъ столбовъ и пѣлъ отъ избытка чувствъ во все горло, не обращая вниманія на часто проѣзжавшія тройки, съ закрытыми фартуками повозками.

Должно бытъ было часовъ десять, а темно. Привлекательнаго ничего нѣтъ вѣроятно потому, что я мимо этихъ мѣстъ проѣзжалъ не одинъ разъ, да и что привлекательнаго въ небольшихъ холмахъ, кустарникахъ березы, тощихъ поляхъ, покосахъ, на которыхъ разложены огоньки... Вотъ наконецъ

попалось какое-то село. Проѣхали нѣсколько домовъ, въ окнахъ огня не видно, на трактовой улицѣ пусто, на одной телеграфной проволоцѣ бичевочка болтается. Не спитъ только одинъ кабакъ; я пошелъ въ него и позвалъ Верещагина, онъ пошелъ съ удовольствіемъ, сказавъ: „теперь къ ночи — холодно будетъ еще не такъ, особливо на этихъ горахъ“.

— А ты будешь спать? — спросилъ я Верещагина.

— Нѣтъ. Ночью боязно. Хотя мѣсто и неопасное, да все же. И пора-то хорошая: днемъ жара... Дождичка бы.

Въ кабацкѣ сидѣла женщина. Выпили.

— А есть у те, тетушка, огурчики? — спросилъ я ее.

— Гдѣ бы я взяла?

— Не садите?

— Не родятся.

У нея я купилъ два яйца.

Опять пошли. Верещагинъ, похлопывая по травѣ вятнемъ, напѣвалъ то же, вѣрно, отъ избытка чувствъ: „милосердіе двери разверзи, благословенная богородица дѣва“. Однако скоро замолчалъ.

Съ часъ я шелъ съ Верещагинымъ. Это былъ человѣкъ неговорливый: онъ или насмѣхивалъсь сквозь зубы, или что-то мурлыкалъ и на рѣдкіе мои вопросы отвѣчалъ. Отъ него я только и узналъ, что онъ ямщикитъ двадцать лѣтъ; имѣть три лошади, остальные лошади принадлежать другимъ ямщикамъ; что въ ихнемъ обозѣ теперь идетъ девять ямщиковъ; тѣ лошади, что плдутъ на привязи, принадлежать разнымъ ямщикамъ, и въ обозѣ есть начальникъ, Андрей Степанычъ Крюковъ, который ведетъ четыре лошади, но въ чемъ заключается его начальство, — онъ не объяснилъ. Девять ямщиковъ, одѣвши въ свои вилуны, шли около телѣгъ молча. Переговаривались они неохотно и очень рѣдко.

Залѣзъ я въ телѣгу, прикрмылся какъ можно плотнѣе пальтишкомъ, но отъ холода не могъ заснуть. Бока болѣли, ноги ныли, верхняя часть лба такъ чесалась, что не радъ былъ и житью. Припомнилось мнѣ о томъ, какъ я прежде въ дѣтствѣ бѣдѣлъ съ почтами, сидя на чемаданахъ. Я тогда то же испытывалъ, что и теперь, сидя въ телѣгѣ, но за то не ходилъ и ѣхалъ очень скоро.

И все-таки я заснулъ. Проснулся. Холодно. Пальто открывать не хочется, но мнѣ кажется, что телѣга стоитъ. Да. Ее не взбалтываетъ на разные манеры, лошади стучатъ копытами, хрумятятся... Я открылъ пальто и взглянулъ: темно. Кое-какъ я увидалъ въ темнотѣ бревенчатую стѣну. Я всталъ, поглядѣлъ въ другую сторону и узналъ, что я на постояломъ дворѣ подъ навѣсомъ. Направо — высокое крыльцо, окно видно въ домъ; солнце уже начинаетъ пробиваться въ верхній уголъ стекла. Ямщиковъ нѣтъ. Я пошелъ къ крыльцу, поднялся: большія стѣны, вродѣ темной комнаты; налѣво, въ углу, большая кровать, на ней спитъ кажется женщина, около нея молодая, высокая, толстая женщина раздѣвается. Но она меня не замѣтила и я вошелъ въ избу направо. Тамъ на скамьяхъ и на полатахъ спали наши ямщики; старая, но высокая, толстая женщина, въ ситцевомъ сарафанѣ, босикомъ, щепала лучину.

— Богъ на помочь!—сказалъ я этой женщинѣ.

Она съ трудомъ выпрямилась, кашлянула и со всѣмъ охриплымъ голосомъ спросила:

— Ты съ ящичками?

— Съ ящичками. Можно лечь?

— Ложись.

Мнѣ хотѣлось спать и я, не разбирая мѣста, свернулся на полу между лавкой и дверьми и тотчасъ заснулъ; но спать немного.

— Ишь стерва, будь ты проклята! до коньхъ поръ шаталась... Вставай!—говорила то настоящая, то охриплымъ голосомъ старая, толстая женщина.

На это ей никто не отвѣчалъ.

— Ахъ, какъ учну я те щипать, прокляеную!

— Мамонька... Я сейчасъ.

Въ избу ввалилась старая, толстая женщина, тяжело ступая босыми ногами; она двигалась медленно и если ей нужно было повернуть въ которую-нибудь сторону голову, она поворачивалась всѣмъ туловищемъ; если ей нужно было наклониться, то она кряхтѣла, лицо становилось краснымъ. Печка уже истопилась и хозяйка садилась въ нее хлѣбы. Вошла не торопясь ея дочь, та самая, которая недавно раздѣвалась; она укусила глаза и ежешинутно звѣвала, какъ бы стараясь убѣдить свою мать, что она не выспалась. Но матери было некогда: она торопилась, а въ это хлопотливое время она вѣроятно была очень раздражительна и забывала всѣ услуги своей дочери, такъ что се и спрашивать нужно осторожно.

— Ишь, гостышка, выплыла... До коей поры пролюбезничала?

— Да я... Ишь какая!—проговорила дочь обидчивымъ голосомъ.

— Што, по твоей милости голодать коровамъ-то, да курицамъ.

— Да я сейчасъ!—крикнула дочь и пошла къ двери.

— Ахъ ты проклятая!... Куда ты пошла? Умойся сперва, стерва.

Во все это время мать мыла чашки и ложки. Дочь стала умываться.

Мать и дочь молчали. Потомъ дочь сходила въ комнату и босикомъ ушла во дворъ. Я всталъ, подошелъ къ окну; набилъ трубку нѣжинскими корешками и не зная, что дѣлать съ трубкой, гдѣ курить? Однако отворилъ окно, закурилъ и старался пускать дымъ на улицу.

Домъ этотъ на тракту, на лѣво трактъ или улица заворачиваетъ; дома старенькіе, построены другъ къ другу тѣсно, и хотя я нѣсколько разъ проѣзжалъ мимо этихъ домовъ, но теперь не могъ понять по нимъ, что это такое: станція или село, или заводъ? Однако по одному дому и по нѣкоторымъ словамъ хозяйки я узналъ, что это заводъ, но какой?

— Ты, почтенный, не кури здѣсь: я не люблю. Поди, выдь на улицу.

Я ушелъ.

Солнышко уже поднялось, примѣрно на вершокъ выше крыши дома на лѣво. Вѣтра нѣтъ и не жарко. Въ нижнемъ этажѣ сосѣдняго углового полукаменнаго дома говоръ: тамъ мужчины и женщины пьютъ чай и ѣдятъ пироги. Изъ воротъ противоположнаго дома, тоже полукаменнаго, выѣхали въ телѣги четы-

ре женщины и одинъ мужчина; изъ телѣги выходятъ наружу литовки и грабли. Къ этимъ домамъ, и преимущественно къ постоялому, то и дѣло подбѣгаютъ десятками, пятками, тройками мальчики и дѣвочки, очень бѣдно одѣтые, босые, съ набирухами и безъ набирухъ и неистово вопіютъ: „милостынку, ради Христа!“ Игъ выдаютъ изъ оконъ лопти ржаного хлѣба. Подошли и ко мнѣ штукъ десять ребятъ, отъ пяти до семнадцати лѣтъ (одной дѣвочки было около семнадцати лѣтъ), и завопили. Я поглядѣлъ на нихъ: тѣло немытое, рубашонки грязныя, по нимъ бѣгаютъ огромныя вши, ноги по колѣна въ грязи и ищутъ видъ чугуна, волосы на головахъ всклокоченные.

— Богъ подастъ,—сказалъ я. Они встали поодаль и начали ругать меня. Подошелъ ко мнѣ мальчикъ лѣтъ восьми, съ бѣлыми волосами, за нимъ другой поменьше, и оба, протягивая руки, робко простились: „милостынку, баринъ“...

— У те есть отецъ-то?—спросилъ я мальчика.

Онъ дико смотрѣлъ на меня; мальчикъ поменьше отошелъ прочь и издали смотрѣлъ на насъ.

— Татъка-то живъ?

— Не!..

— А мамка?

— Не...

Я ему далъ пятакъ и спросилъ, куда онъ дѣваетъ деньги, но онъ убѣжалъ.

Нищихъ ребятъ было такъ много, что они осаждали почти на каждомъ шагу; я промелся нѣсколько по улицѣ, увидалъ церковь и потомъ круглую, красную крышу вдалекѣ, и узналъ по нимъ Шайтанскій заводъ.

Ящички между тѣмъ встали, сходили къ лошадамъ и начали умываться, умылся и я, вытеръ лицо бѣлымъ платкомъ—зачернилъ платокъ. Въ волосахъ было такъ много песку, что гребенка не лѣзла, пришлось отложить попечение о волосахъ. Ящички свои волосы не расчесывали. Хозяйка поставила на столъ полутораведерный самоваръ, чайную посуду, принесла двѣ большія булки. Ящички перекрестились и сѣли за столъ. Въ переднемъ углу сидѣлъ тощій, угреватый ящичекъ. Хозяйка подсѣла къ нимъ на табуреткѣ.

— Совсѣмъ, ребята, охрипла: квасу холоднаго напилась!—говорила хозяйка, поминутно кашляя.

Ящички на это говорили, что нужно пить наливку или траву такую-то. Всѣ говорили, но первую чашку еще никто не выпилъ.

— А ты, дворничиха, много-то не растобарывай! забыла?—сказалъ ей сидѣвшій въ переднемъ углу ящичекъ.

— Ахъ, Господи! изъ ума вонъ! прости, ради Христа... Марья! а Марья?—крикнула она.

— Ну-у!

— Принеси бутылъ да стаканъ.

— Это дѣло. А то горло засохло.

Начали говорить о погодѣ; всѣ желали небольшого дождичка. Рѣчь зашла объ овсѣ и стѣнѣ.

Дочь дворничихи принесла бутылъ и стаканъ. Дворничиха налила въ стаканъ водки, поднесла его сидѣвшему въ переднемъ углу, тотъ перекрестился, пожелалъ хозяйкѣ добраго здоровья выпить и сказалъ: „Важно! вотъ это дѣло! а ну-ка, повторнуръ!“

Всѣ ящички, за исключеніемъ парней, выпили по два стакана, парни выпили только по одному. Началось чаепитіе, и въ десять минутъ, за первой-же чашкой, двухъ большихъ булокъ не стало; дворничиха принесла еще три. Мнѣ хотѣлось тоже попить чайку, у меня и чай, и сахаръ былъ, но просить посуды было неловко при ящичкахъ: они на меня подозрительно смотрѣли, и каждый какъ будто порывался сказать мнѣ, чтобы я убрался изъ избы.

— Хоть чаю?—спросила меня дворничиха.

— Покорно благодарю. Если позволишь, я своего всыплю.

— Ну! у меня чаекъ прямо съ Китаю. Пей, да бери сливокъ и булки.

Дѣлать нечего, я взялъ чашку, налилъ сливокъ и взялъ ломоть булки. Булка сырая, кислая, но за неимѣніемъ лучшей, на голодный желудокъ и за это слава Богу.

— Ты, кутейна балабайка, отколь?—спросилъ меня одинъ ящичекъ.

— Родомъ што-ли?

— Ну?

— Чердынского уѣзда.

— А зачѣмъ ѣдиль?

— Жениться.

— Што-жъ много взялъ приданова?

— Домъ въ селѣ, да дьяковское мѣсто. Лошадь есть... Только невеста вдвое старше меня.

— По приказу значить?

— Да.

— То-то! Одново разу также ѣхалъ семинаричекъ по невесту; а назадъ какъ прѣзжаешь съ обовомъ-же, а я и спрашиваю; а онъ говоритъ: „впутали, Анна Герасимовна,—на другую недѣлю послѣ свадьбы дочь родила“.

Всѣ бывшіе въ кухнѣ захохотали и хохотали минутъ пять.

Отъ этого перешли къ семейной жизни. Одинъ ящичекъ очень плакался на то, что у него умеръ маленькій паренекъ, которому послѣ Николаина дня пошелъ десятый годъ и котораго онъ намѣревался взять на слѣдующій годъ съ собой. Другой ящичекъ говорилъ: „да у тебя еще, никакъ, трое парней?“.

— Все же жалко. Хоть этотъ, этотъ и этотъ палецъ откуси, все больно! — доказывала дворничиха, показывая, какъ примѣръ, свои пальцы.

Съ этимъ всѣ согласились. Хозяйка, какъ я замѣтила, была женщина практическая и до тонкости понимала свое дѣло. Съ ней, какъ видно, даже совѣтуются ящички. Верещагинъ, рѣдко принимавшій участіе въ разговорахъ, вдругъ сказалъ:

— Ты не слыхала, Анна Герасимовна, Илья Дуранинъ продаетъ телѣгу?

— Продаетъ, сказываютъ; да сказываютъ, не стоитъ того, што онъ просить. А ты што, покупать што-ли хощь?

— Надо бы. Задняя-то у меня што-то больно разваливается.

— А вотъ Осипъ Покидкинъ, знаешь, что съ Ключаревымъ Стенкой ходитъ, продаетъ новую. Эту бы я посовѣтовала тебѣ взять.

— И то! Покидкинъ ни какой-нибудь прощальга.

Кому вѣрить можно завсегды!—сказалъ сидѣвшій въ переднемъ углу ящичекъ.

Начали говорить о плутняхъ разныхъ ящичковъ и подрядчиковъ. Языки ящичковъ, послѣ выпивки водки, точно развязались: каждый старался что-нибудь сказать отъ себя такое, чтобы это удивило всѣхъ, и онъ бы одинъ рассказывалъ, во верхъ брала все-таки дворничиха. Рассказывали про какого-то подрядчика. Всѣ о немъ кое-что знали, но самой сути не знали: вѣроятно они слышали объ этомъ подрядчикѣ отъ хозяевъ и хозяекъ другихъ постоялыхъ домовъ, которые въ свою очередь получаютъ свѣдѣнія тоже отъ ящичковъ.

— Нѣтъ, вы все не такъ судите; я достовѣрно знаю, откуда онъ приобрѣлъ капиталы. Онъ мнѣ на свать, ни брать, ни большая родня... Онъ одново разу купца везъ съ любовницей, купецъ-то умеръ въ дорогѣ, а его любовница денежки подобрала, только онъ эти деньги-то укралъ у нея и спряталъ потомъ въ косякъ. Любовница-то не посмѣла назваться, а онъ все помалчивалъ.

— Экое, подумашь, счастье человѣку!

Каждый ящичекъ выпилъ по десяти чашекъ чаю. Выпили два самовара, поблагодарили хозяйку за чаекъ и вошли во дворъ попомнить коней. Сидѣвшій въ переднемъ углу ящичекъ сталъ шептаться съ дворничихой и отдалъ ей красненькую бумажку, потомъ и самъ вышелъ на дворъ.

— Трудновато, поди, вамъ одной-то?—спросилъ я дворничиху.

— Што сдѣлашь... одна. При покойникѣ нужѣ легче было.

— А вы заводскіе?

— Онъ-то приказчикомъ былъ по каравану, да простудился. Поправиться-то поправился, да доктורה не послушался: сталъ табакъ проклятый курить и вино пить... А вотъ ты хоть ученый, а табакъ курить, а того и не знаешь, поди, што грѣхъ.

— Это, тетушка, ничего: что въ уста идетъ ни чего, а изъ устъ...

— Справедливы твои рѣчи, только табакъ я тебѣ не совѣтую курить, потому человекъ аки былинка сохнетъ.

— Это точно: на легкія садится.

Запищали подъ окнами нищѣ.

— Ахъ, штобъ имъ околѣть проклятымъ... Съ Богомъ!—крикнула дворничиха.

Немного погода опять пискъ.

— Вотъ ужъ сегодня третью ковригу подаю,—сказала она, отрѣзывая три маленькіе ломтика.

— Господь сторицею вознаградитъ за ваше благодѣаніе къ немущимъ,—сказалъ я.

— Охъ!.. И што это за напасть такая! и откуда взялись эти нищѣ? Прежде и отродясь этого не бывало... Вишь ли, до воли-то никто не смѣлъ изъ завода отлучаться, держали такъ крѣпко всѣхъ, што всѣ въ повиновеніи были, тише воды, ниже травы жили, а какъ уволили, и пошли они въ другія мѣста.

— Однако я замѣчалъ мужчинъ.

— Ну, вѣдь не всѣмъ же мужчинамъ уходить—Ушли пьяницы, да кон не хочутъ за покосы платить... Ну, и дѣтей побросали... Бабы тоже, кон ни-

щенками живутъ въ городахъ, а кои здѣсь работами занимаются.

— Какими?

— Да вотъ хоть бы я на покось созвала. Ну, на кормлю, спасибо скажутъ.

Черезъ полчаса дворничиха накрыла скатертью столъ. Ямщики, умывъ черныя ладони, перекрестились и сѣли за столъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и чавкали.

— А ты што, поповичъ, не сядишься?—спросилъ меня сидѣвшій въ переднемъ углу ямщикъ.

— Боюсь какъ бы не помѣшать вамъ.

— Не помѣшаешь, коли самъ не брезгливъ. Чать, со вчерашняго-то утра, окромя чая, ничѣмъ не пилася.

Я сѣлъ. На столѣ стояли три большія деревянные чашки, деревянная солонка съ солью, коврига хлѣба и нѣсколько деревянныхъ ложекъ, смѣшанныхъ съ двумя ножами и двумя вилами.

Дворничиха налила изъ чугуна щей въ чашки. Щи были очень вкусныя, со свѣжей капустою, картофелью и морковью, бульонъ жирный. Ложки тоже аппетитныя, такія, что не влѣзали въ мой ротъ. Всѣ говорили, только я молчалъ сперва, но потомъ ко мнѣ привязался парень-ямщикъ и сталъ спрашивать: пошто я стеклышки ношу? Отъ очковъ разговоръ перешелъ въ татарамъ, которые не любятъ семинаристовъ. Одинъ ямщикъ рассказывалъ мнѣ, какъ одинъ семинаристъ стащилъ въ татарскую мечеть свинью, но это была уже старая исторія. Дворничиха нѣсколько разъ поддвигала щей въ чашки и приносила какжется до трехъ караваевъ хлѣба. Изъ той чашки, изъ которой я бралъ щи, хлебали еще трое, но я уже былъ сытъ на второй чашкѣ и четверть часа сидѣлъ, поглядывая на ямщиковъ. Сидящій въ переднемъ углу ѣлъ не торопясь и преспокойно разговаривалъ о какомъ-то плотникѣ; сосѣдъ его по правую руку хлебалъ больше всѣхъ, и первый требовалъ прибавки щей; двое безбородыхъ ямщиковъ вторую чашку проглатывали, потому что занимались крошеніемъ хлѣба, тогда какъ товарищи уписывали. Верещагинъ горячился, двое подзадоривали его, а третій трепалъ его по волосамъ. Послѣ щей дворничиха наложилъ говядины. Надо замѣтить, что крестьяне и вообще ямщики не хлебаютъ съ говядиной, а говядина у нихъ второе блюдо. Съѣли шесть тарелокъ. Я былъ сытъ до-нельзя, но меня заставили.

— Ты, поповское отродье, что модничаешь?—спросилъ меня одинъ ямщикъ.

— Сытъ.

— Врешь. Ышь! по-нашему ѣшь.

— Да не могу.

— Ребята, давайте ему въ ротъ накладывать?—сказалъ сосѣдній со мной ямщикъ. Но къ моей радости этого впрочемъ не исполнилъ никто. Выйти изъ-за стола было неловко: а бы не пошелъ столъ.

Подали большой горшокъ просовой каши и бѣлаго хлѣба. Кашу выхлебали, но до бѣлаго хлѣба никто не дотронулся: значить всѣ были сыты.

Поблагодарили хозяйку. Я спросилъ ее, сколько ей нужно за чай и обѣдъ, она спросила двадцать

пять копѣекъ. Ямщики стали пить, потомъ запрагать лошадей.

— Выгодно ли вамъ, хозяйюшка, содержать постоянный домъ?—спросилъ я дворничиху.

— Богъ милостивъ: кое-какъ на харчи сходится. Все одна—это безпокойтъ.

— Ну, вотъ дочь выдашь замужъ.

— Ну, ужъ и зятя-то всякіе есть. Есть у меня знакомая въ Билимбаихъ, ну да она, правда, строга очень, выдала дочку, а зятекъ и плевать хотеть, и жену отъ дѣла отводитъ; такъ она и нается одна. Вѣдь шутка: ни днемъ, ни ночью отдыху нѣтъ... За мою-то дочь двое сватаются, да я еще и не отдамъ, потому мнѣ нужно помощника: вѣдь у меня четыре коровы, курицъ одѣхъ сорокъ пять... Жениховъ-то нони хорошихъ нѣтъ: пьяницы да лѣнчивцы, прости Господи.

— А другіе у васъ останавливаются, кои не съ обозомъ ѣдутъ, а обратно?

— Такихъ я не принимаю; разѣ ужъ хорошаго знакомаго. Разсчету нѣтъ, потому разѣ: такому много ли надо овса на одну лошадь; а другой насорить, да съѣсть на сколько... Нѣтъ, невыгодно.

— Должно быть вы не мало за это платите казнѣ?

— Што?

— Да вѣдь постоянные дома берутъ кажется свѣдѣтельства.

— Я не плачу, потому у меня только ямщики останавливаются.

— Здѣсь должно быть много постоянныхъ домовъ?

— До десятка наберется, — обозовъ-то много ходитъ.

Поѣхали. Я сидѣлъ въ своемъ гайдакѣ; ямщики шли въ расыпную; въ заводѣ мало движенія, тихо, только изъ Перми проѣхало девять троекъ; въ телѣгахъ сидѣло по четыре, по пяти человѣкъ смышленыхъ. Поднялись на гору, опять спустились. Животъ колетъ, сидѣть невозможно, я сѣлъ. Верещагинъ тоже шелъ.

— Животъ болитъ, Семенъ Васильичъ!

— О, будь ты за-болотцомъ!

— Сперло. Много наѣлся; истрасло...

Верещагинъ захохоталъ.

— А баба славная. Мы у нея всегда останавливаемся, ни въ чемъ не отказываешь.

— Много ли она съ васъ беретъ?

— Да чего ей брать-то съ насъ? Вѣдь она за маленку-то овса беретъ съ каждаго по восьми гривенъ, а въ маленкѣ полпуда, а пудъ овса ей обходится по восьми гривенъ.

— Ну, вы бы у другихъ брали.

— Охъ ты, у другихъ брали? Тогда, значить, намъ какъ быть,—голодомъ? А вотъ мы за то и уважаемъ ее, што она насъ кормитъ хорошо. Такого обѣда нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не найдешь, окромя дворниковъ.

— Значить дворники вами кормятся и наживаются... Я думаю и тебѣ хочется быть дворникомъ.

— Куда!

Вѣхали вонъ на гору. Съ горы видъ великолѣпный: видѣнъ Шайтанскій заводъ, который сидитъ точно въ ямѣ; надъ нимъ со всѣхъ сторонъ возвышаются разныхъ величинъ горы; лѣсъ чѣмъ дальше

тѣмъ больше кажется чернымъ; кое-гдѣ въ этихъ черно-зеленыхъ, черно-синихъ группахъ, слояхъ попадаются сѣрые и красные четырехъ-пяти и многоугольники, которые отсюда кажутся очень маленькими, какъ и все, что находится впереди, но они, эти угольники, закладываютъ въ себя, по словамъ Семена Васильича, цѣлые десятки верстъ.

Проѣхали Билимбаевскую контору вольной почты, биткомъ набитую проѣзжающими, проѣхали настоялые дворы, биткомъ набитые телѣгами и ящиками. Жизнь кипитъ въ заводѣ; по случаю праздника Ильина дня, народъ идетъ въ церковь, много ѣдетъ во дворы домовъ телѣгъ съ мужчинами и женщинами, съ литовками, граблями и травой. Заводъ по тракту очень чистенькій, но чѣмъ дальше во внутрь, тѣмъ онъ больше походить на большое село. И здѣсь, по тракту, въ двухъ мѣстахъ ребята стараются закинуть на телеграфныя проволоки клочекъ рогожки съ камешкомъ, бичевочку.

Опять лѣсъ, но лѣсъ рѣдкій. Мы ѣхали не по тракту.

— Отчего мы не по тракту ѣдемъ? — спросилъ я Верещагина.

— Черезъ Чусовуюбродомъ поѣдемъ. Крюкъ большой, да што дѣлать! Тамъ на паромѣ-то деньги берутъ, да и до вечера прождешь, потому господъ больше нашева уважаютъ, хочъ и даромъ перевозятъ.

— А перевозчикамъ, поди, убытокъ?

— Дуракъ развѣ какой на паромѣ поѣдетъ теперь...

— Ну, а несчастныхъ случаевъ не было?

— Былъ развѣ: съ чаемъ возъ утонулъ, такъ давно, не туда поѣхалъ, ночью.

Около деревни Коноваловой мы перешли черезъ Чусовую — грозу въ весеннее время для дорогъ. Здѣсь она имѣетъ ширины сажень тридцать, а, судя по песчанымъ берегамъ, весной она имѣетъ глубины сажени на полторы, теперь же она хотя и разливадается по всему дну рѣки, но имѣетъ глубины въ этомъ мѣстѣ полторы четверти. За деревней я увидѣлъ вдругъ около нашего обоза двухъ женщинъ и одного мужчину. Женщины были одѣты въ пальто; на головахъ у нихъ платки, въ рукахъ палки; мужчина шелъ въ халатѣ, въ фуражкѣ, за плечами у него болтаются нѣшечекъ, въ рукахъ палка, а лицо его набито.

— Это что за люди? — спросилъ я Верещагина.

— А тоже, какъ ты, ѣдутъ: двѣ-то богомолки, а тотъ-то не знаю кто. Все-жъ перепадетъ имъ.

Четыре ящика спали на возахъ, двое шли, остальные сидѣли на передкахъ телѣгъ. Я пошелъ около женщинъ; ихъ узлы лежали въ телѣгахъ.

— И што я тебѣ скажу, Офросинья Ивановна, — такъ-таки и зарѣзала. А какъ зарѣзала, цѣлая исторія, я тѣ скажу. Выпш, отецъ-то приказчикъ, ну, знамо первый богатѣй. А она и влюбилъ, и въ кого?

— Мать Пресвятая Богородица!

— Въ кого бы ты думала?.. Это матушка загадка...

— Въ управляющаго?

— И! куда хватила... — Потомъ она увидѣла меня и спросила:

— Вы, господишъ, изъ духовенства?

— Да.

— Изъ какихъ мѣстовъ уроженецъ?

— Екатеринбургскаго уѣзда.

— Фамилія?

— Федоровъ, Петръ Митріевъ.

— Знаю, знаю. Вашъ батюшко не служилъ ли въ Сысертскомъ заводѣ?

— Служилъ.

— Ну, а вы меня не узнали?

— Нѣтъ.

— Вѣдь я крестная мать ваша.

— Что вы? какъ это?

— Да, я жена... — и она назвала мастера, фамилію котораго я позабылъ. — Я васъ воспринимала, когда гостила у вашего батюшки...

— Ваша фамилія?

— Подосенова, Агнія Потаповна.

— Такъ вы вѣрно ошибились; у меня другая была крестная.

— Неужели?... А я вѣдь васъ такъ и приняла... Извините, Христа ради... Што же вы женитесь ѣздили? — спросила она меня, смотря на кольцо на рукѣ.

— Да, женился.

— Гдѣ взяли?

— А въ Крестовоздвиженскомъ селѣ дьяконскую дочь.

— А какъ ее по фамиліи? — спросила другая.

— Пантелѣева.

— Эдакое вамъ счастье: вѣдь я отъ купели принимала Анну-то Павловну? Я дѣвчиха была, да потомъ мужъ-то мой въ солдаты попался. Я въ селѣ-то восемь лѣтъ не бывала... Хорошую вы жену выбрали?

Я былъ въ западнѣ и не зналъ вѣрить или нѣтъ этой женщинѣ, которую я ни за что, ни про что долженъ былъ называть крестной матерью и оказывать ей почтеніе. Я-то вралъ по необходимости, только на меня навернулись бабы ловкія, какъ видно, а можетъ быть онѣ и правду говорятъ.

— Куда вы идете? — спросилъ я крестную мать.

— Да иду ко святымъ мощамъ до Кіева... Ахъ, ты мой батюшко, сподобилъ таки Господь увидать мнѣ вѣтка. Ну, а матушка-то ея, какъ ее...

— Анна Ивановна, — вралъ я.

— Да, да... жива ли?

— Умерла. Поэтому-то мнѣ и предложили въ консисторіи эту дѣвцу и мѣсто, а она оказалась старуха, и а этимъ очень недоволенъ.

— Што ты, Христось съ тобой! духовный чело-вѣкъ и говоришь такія рѣчи. Анна-то Павловна дѣвуха-то была все равно, что лебедь.

Разговоръ о минныхъ моихъ родныхъ продолжался долго. Женщина считала меня дѣйствительно зятемъ, потому что она въ самомъ дѣлѣ была воспримницей какой-то Анны Пантелѣевой.

Товарка ея встрѣтилась съ ней въ Рѣшотахъ и онѣ скоро подружились. Крестная мать своей попутчицѣ что-то мало довѣряла: „такая подмазуна, что и не говори!.. А баба воръ. Спасибо, што родственнаго чело-вѣка встрѣтила, — все-таки веселѣе и опаски меньше будетъ до Перми“.

— Въ Пермь-то я въ семинаріи живу, потому намъ не придется вѣстѣ жить.

Женщина обидѣлась. Она рассказывала, что мужъ ея былъ горькій пьяница и таскался съ крестьянской дѣвкой и наконецъ за буйство былъ отставленъ отъ службы, а потомъ нанялся въ солдаты за сына кабатчика, который почти-что самъ его стурялъ.

— Видишь ли, дѣло-то какое,—говорила она,—мужъ-отъ мой все пьянствовалъ да водилъ компанью съ писаремъ, и писаря отдалъ подъ судъ: поссорился съ нимъ, да жеребьевый списокъ и укралъ, да и бросилъ въ огонь, а тотъ не узналъ, кто эту штуку сдѣлалъ, такъ его и отдали подъ судъ, вмѣстѣ съ старшинами; мужъ еще прошеніе отъ одного мужика написалъ, што неправильно сдали его единственного сына, а самъ онъ слѣпой... Ну, такъ и бился, а потомъ и совсѣмъ спился и жилъ въ кабацѣ. На ту пору наборъ слышали. Вотъ кабатчикъ-то и не выпускаетъ его изъ кабака: пей, говоритъ, ты мнѣ нуженъ, одну бумагу нужно заключить... Ну, а потомъ и подсунулъ ему условіе подписать!.. согласенъ-де въ рекруты за его сына идти, и взялъ впередъ денегъ въ разное время полтораста рублей... Шутка сказать!.. Ну и понтъ, и понтъ, а потомъ и увезъ въ городъ, а потомъ и въ рекрутское... Я это узнала, пошла въ городъ къ губернатору, тотъ велѣлъ просьбу подать... Ну, стали спрашивать моего мужа: по согласью ты идешь? а онъ пьянъ, бурлитъ только... Приняли... Уже этотъ кабатчикъ замаслилъ тамъ всѣхъ... Только мой несчастный голубчикъ не дождался и ученья, сгорѣлъ.

— Жалко! Что же у васъ дѣтки есть?

— Дѣвочка въ городѣ въ кухаркахъ живетъ, а я въ своемъ-то селѣ калачами торговала, да што-то ужъ больно лѣвая рука разболѣлась, такъ я пошла къ Симіону Верхотурскому; не помогло, теперь иду къ Кіевскому, они можетъ сильнѣе.

— Вѣру нужно имѣть: побольше надѣяться на милосердіе Господне, молиться,—говорилъ я.

— Охъ!

— Ты што,—заговорила другая тетушка,—а вотъ я-то, какъ мыкаюсь... Охъ-хо-хо! мужа-то моего ни за что, ни про что въ Сибирь, да еще въ каторгу сослали... А у меня четверо дѣтей... За покось вонъ деньги просать, а какой покось-то? Гора, а на ней и трава, что есть, на столько не поднимается (и она показала, четверть пальца)... Просила, просила, ходила... сколько слезъ-то было, говорятъ, не стоишь лучше этого; не ты одна; есть-де и почище тебя.

— Вы бы лучше въ городъ пошли.

— Охъ, голубчикъ! молодъ ты еще, неопытенъ. Ну, што я буду въ городѣ-то дѣлать, къ чему я обучена? Стара ужъ я стала.

— Ну, а до Кіева какъ вы доѣдете?

— Какъ-нибудь подавьями... А сходить надо—по обѣту... Кабы мужъ-то былъ дома, такъ не то бы было.

Я отсталъ отъ нихъ и познакомился съ женщиной. Это былъ заводскій человекъ и посоветовалъ мнѣ быть осторожнѣе съ бабами.

— Почему?—спросилъ я.

— Я слышалъ такіе разговоры, што онѣ непременно воровствомъ промышляютъ.

— Вотъ у насъ такъ нечего украсть,—сказалъ я весело. Съ этимъ онъ согласился и сказалъ, что его въ Шайтанскомъ заводѣ ночью избили и обокрали какіе-то неизвѣстные люди.

Однако и я ему не доверялъ, потому что личность его казалась довольно подозрительною.

Жарко и душно было по-вчерашнему; пыль почти съ каждымъ дыханіемъ садилась въ горло; вся одежда пожелтѣла отъ пыли. Обозъ шелъ не по самому тракту, а по бокамъ его, на правой или на лѣвой сторонѣ, гдѣ проложено обозами даже по двѣ дороги, потому что по тракту невозможно ѣхать даже на почтовыхъ, такъ какъ щепень не мелко избить, а песокъ пока ссыпанъ въ кучи и находится тутъ для прикрасы тракта. Въ лошадахъ я еще замѣтилъ новую для меня черту: хозяинъ передней лошади, онъ же и подрядчикъ, часа два спалъ на возу. Въ это время передняя лошадь часто останавливалась, за ней останавливались и прочія лошади, не забывая впередъ, не сворачивая въ стороны. Проснувшись, хозяинъ свистѣлъ, и лошадь шла и съ линіи не сворачивала. Ей не правилось идти по тракту, или она видѣла, что отъ тракта идетъ дорога налѣво и шла по этой дорогѣ до тѣхъ морь, пока эта дорога не вела снова на трактъ. Встрѣчные обозы, гдѣ тоже спалъ передній ямщикъ, не сталкивались съ нашею переднею лошадью: онѣ или шли по двумъ разнымъ дорогамъ, или, если гдѣ была одна дорога, расходились на такое разстояніе, что колеса не задѣвали другъ друга. Также точно переднія лошади сторонились и отъ почтовыхъ лошадей, а за ними сторонились и прочія лошади.

Вережанинъ объяснилъ мнѣ, что тѣ лошади, которыя ходятъ въ обозѣ нѣсколько лѣтъ по привычкѣ идутъ и знаютъ трактъ, какъ люди, онѣ даже знаютъ—у какихъ воротъ остановиться нужно въ селѣ.

— А что же этотъ подрядчикъ—капиталъ имѣетъ?

— Нѣтъ. Вся сила въ лошадахъ и въ томъ, што онъ человекъ извѣстный. Видишь ли; есть у тебя лошади, хочется кладъ везти, а кто тебѣ доверитъ кладъ, когда тебя никто не знаетъ и у тебя только три лошади. А извѣстенъ ты можешь тѣмъ быть, што много лѣтъ съ обозами ходилъ, всѣ эти обозныя дѣла маркуешь и ямщики тебѣ доверяютъ. Ну, вотъ ты и говоришь приказчику: у меня есть, къ пригѣру, тридцать лошадей и я на пристани извѣстенъ, ну, и отберутъ отъ тебя такую бумагу, свидѣтельство што ли, и условія тутъ разныя включать, а ты потомъ и говоришь своимъ знакомымъ: кто ко мнѣ? А то больше бываетъ такъ: соберутся ямщики и давай радить: какой нони товаръ везти, и почемъ, и какъ? Кого надо въ подрядчики выбирать! А выбирать надо тоже не пьяницу, такого, штобы человекъ былъ добрый, не обчитывалъ и штобы на постоянныхъ ямщикамъ уваженіе было, и деньги штобы наши онъ у себя держалъ и въ цѣлости потомъ намъ представить.

— А если онъ обманетъ?

— Ну, этого не бываетъ, потому мы выбираемъ человека надежнаго и онъ отъ насъ не убѣжить, постоянно при насъ находится. И опять онъ тоже на

свой страх товаръ принимать, а это важно: не всякъ на это рѣшится, потому съ нашимъ братомъ тоже и несчастья бывають. Ну, мы и не отстаемъ отъ него, коли онъ не обидитъ, а обидитъ — другога найдемъ: есть ихъ.

— Что же вы ему за это платите?

— По полторы, а если кладъ хорошая и по двѣ копейки съ пуда платимъ. Потому нельзя.

— Ну, а бываетъ, подрѣзываютъ товары, напримеръ чай?

— Бываетъ, только теперь рѣдко, потому мы по ночамъ-то по такимъ мѣстамъ, гдѣ воровъ много, не ѣздимъ; ежели товаръ неважный, такъ ничего, не боязно...

— Мнѣ въ Билимбаихъ хозяйка постоялаго двора предлагала купить чаю и дешево. Я у нея видѣлъ два пѣвика. Откуда же она ихъ покупаетъ?

— О, будь ты за-болотцомъ! У кого ей лучше купить, какъ не у насъ. У насъ тоже бываетъ такъ, што мы всей артелью бываемъ должны, хоть той же Аннѣ Герасимовнѣ рублей по десяти, ну, вотъ и отдаемъ ей сообща мѣсто чаю, и квитъ, а потомъ и объявимъ, што срѣзали, а если будутъ взыскивать, такъ опять-таки сообща заплатимъ и меньше. Одново разу такъ мы четыре мѣста ухнули. Одново разу у ящика лошадь пала почти на самомъ большемъ переходѣ. Ну, а самъ знашь, ему горько, да и намъ-то непріятно, потому — хлопотъ сколько, нужно на себя принять съ пустой телѣги кладъ, а мы накладываемъ на телѣги лѣтомъ 18 и 20 пудовъ, а зимой и 22 пуда, въ окурать постоянно... Ну, подрядчикъ и говоритъ: такъ нельзя, надо какъ-нибудь довести возъ до постоялаго, да ему купить лошадей. А хорошая лошадь, для обоза годная, стоить восемьдесятъ и сто рублей. Такъ, говоритъ подрядчикъ, надо чаю задѣть. Ну, конечно всѣ съ этимъ согласны, потому свой человекъ, съ маленькихъ лѣтъ съ нимъ ходишь, — жалко. Приѣхали къ дворнику, такъ и такъ говоримъ: подрѣзали, одно мѣсто взяли и ящиковъ избили. А дворникъ смѣется: рассказываетъ, говоритъ, сказки, здѣшнее мѣсто еще Богъ милывалъ; это, говоритъ, не подѣ Ключами или Тамиска-ми. Ну, мы и говоримъ какое дѣло. Ладно, говоритъ, за мѣсто чаю, я свою лошадь отдамъ, а штобы вамъ опаски не было, давайте еще два мѣста: одно мнѣ за то, што я старшина въ волости, а другое становому — онъ вамъ бумагу дастъ и будетъ слѣдствие производить. Тутъ нашъ подрядчикъ и говоритъ: ты, дворникъ и старшина, скажи становому-то, што, молъ, у насъ четыре мѣста срѣзали: одно мѣсто мы еще себѣ возьмемъ, съ дворникомъ въ городъ нужно расчитаться... Ну, и получили бумагу отъ станового, што у насъ четыре мѣста подрѣзали и насъ избили ловко.

Съ послѣднимъ словомъ Верещагинъ сталъ влѣзть на возъ.

Я начиналъ проклинать дорогу; такъ она была невыносима, что готовъ былъ послѣднія деньги отдать, только бы сѣсть въ повозку и учаться скорѣе отъ обозныхъ. Хочется курить, а покурить — пить хочется, возьмешь въ ротъ свинчатку — не дѣйствуетъ, и радъ не радъ, что увидишь ручеекъ. Са-

поги начинаютъ отказываться — каблучки стоптались, сидѣть невозможно — трясетъ; солнышко палитъ и радъ не радъ, когда оно на минутку скроется за бѣлую точку, медленно подвигающуюся куда-то; а куда — этого ни я, ни всѣ ящики не могли сказать, только по солнцу, высоко стоящему впереди насъ, можно было заключать, гдѣ какая часть свѣта, но и эти предположенія разсѣвались тѣмъ, что какъ ни изгибалась дорога, солнце стояло все впереди насъ...

Пошелъ я спать съ женщинами, которыя кажутся уже привыкли къ путешествію, потому что шли скоро, подпираясь палочками, и только сѣтовали, что солнце жжетъ и надо бы дожда. Мнѣ хотѣлось вникнуть въ этихъ женщинъ, но онѣ были очень хитры и каждый мой щекотливый вопросъ искусно заговаривали постороннимъ, ненужнымъ для меня предметомъ. Мы всѣ не довѣряли другъ другу.

— Вы, давеча, тетюшка, какой-то интересный разговоръ начали объ убійствѣ, да я пошмалъ вамъ. Я тоже не прочь бы послушать, — спросилъ я жену мастера.

— Да! Вотъ я тебя, Офросинья Ивановна, спрашивала... да бишь, загадку загадала, въ кого дѣвка влюбилась?

— Не знаю.

— Въ кучера.

— Мать Пресвята Богородица! Неужели? — говорила крестясь крестная мать.

— Да, ей-Богу! А кучеръ-то красивой... Ну, она и влюбилась, и никто въѣдъ не зналъ, окромя ея сестры, коей было годовъ двѣнадцать всего-то.

— Господи!

— Ну... Вотъ маленькая сестра и говоритъ ей: мамонькѣ скажу, и примѣчать стала за ней, а та сердится, — сестра покою ей не даетъ. Ну, и приди же ей въ голову мысль зарѣзать сестру. Одново разу онѣ въ банѣ парились, а старшая-то сестра и спрячь бритву въ башмакъ, пошла за бритвою, не могла найти; страшно ей таково сдѣлалось. Ну, значитъ и задумала зарѣзать меньшую сестру... Не залюбила она ее больно; родители-то, видишь, больше къ меньшей дочери ласкались, а большая все около дому была. Ну, не можетъ терпѣть меньшей сестры, — и баста!.. И Богу-то молится, штобы онъ помогъ ей зарѣзать сестру и все-таки невидимая сила не допускаетъ ее до этого. Только тотъ вечеръ, какъ зарѣзать сестру, она ужинала съ отцомъ, матерью и съ меньшей сестрой. Ну, ѣда нейдетъ на умъ, а отецъ жалуется, што ему што-то скушно. А у него съ дѣтymi все несчастья бывали: помирали нехорошей смертью. Ну, онъ и говоритъ: не долго, говоритъ, ужъ и тебѣ, Аннушка, въ дѣвкахъ сидѣть, скоро выдамъ, останется одна Маша, да и ту придется тоже, Богъ дастъ, выдавать. Одинъ я останусь... А Маша и глядитъ на Анну такъ сердито и та на нее глядѣть не можетъ. Только мать и говоритъ мужу своему: а ты не примѣчалъ, Иванъ Петровичъ, што между нашими дочками што-то нехоршее доспѣлось?.. Отецъ это поблѣднѣлъ, только ничего не сказалъ. Ну, пошли спать. Дочери спали съ бабушкой, только бабушка въ этотъ день въ гостяхъ была. Ну, легли обѣ спать. Маша заснула ско-



ро, только Анна не спитъ. Ну, и встала, стала молиться, плачетъ и бритву держать въ рукѣ. Подползла это къ меньшей сестрѣ и чиркѣ ее по горлу два раза, а потомъ и выскочила въ окно, да къ дядѣ. Тѣ перепугались: на дѣвѣ лица не знаютъ, платье въ крови... Што, спрашиваютъ, съ тобой достѣлось? Она дрожитъ и слова сказать не можетъ, а потомъ и сказала: сестру зарѣзала, потому она ревновать стала.

— Господи! Што-жъ, ее плетями драли?

— Нѣтъ. Сказываютъ, она теперь съума сошла, простилась. Отецъ-то много потратилъ денегъ. Одному судья, сказываютъ, ввалилъ пять тысячъ.

Часовъ въ семь вечера нашъ обозъ подкатилъ къ Гробовскому селу. Значить мы въ сутки проѣхали семьдесятъ шесть верстъ. Верещагинъ благодарилъ Бога за то, что онъ помогъ имъ проѣхать какъ разъ столько верстъ. А надо замѣтить, что у обозныхъ ямщиковъ время рассчитано: когда отправляться, гдѣ сколько пробыть и въ какое время приѣхать. Каждый ямщикъ хорошо знаетъ, что его лошадь только тогда идетъ скорѣе, когда она простояла, отдохнетъ, хорошо цѣбѣтъ, а потомъ шагу не прибавитъ и пройдетъ въ часъ ровно четыре версты. Обозныхъ лошадей стегаютъ пѣжно и никогда не дерутъ пещадно, палки здѣсь не существуютъ; „за то, говорилъ мнѣ Верещагинъ, наши лошади не годятся для другой ѣзды. Случается, што я возвращаюсь домой пустой и тогда лошади не прибавятъ шагу, и я постороннему человѣку ни за что не дозволю ударить мою лошадь жупомъ“. Село расположено по косогору и перерѣзывается рѣчкой, черезъ которую перекинутъ деревянный мостъ. Сперва мы поднялись, потомъ спустились, трактъ повернулъ налѣво, опять поднялись. Дома стоятъ тѣсно другъ къ другу: на улицу выходитъ много сараевъ съ крытыми соломою крышами. Изъ многихъ домовъ слышатся пѣсни, пляски, наигрышья на гармоніяхъ; на самомъ тракту, передъ окнами, дѣвки кружатся и поютъ пѣсни. Въѣхали мы во дворъ. Направо въ домъ пѣсни, пляска; кодь навѣсомъ направо бродятъ двѣ лошади благороднаго вида, запряженные въ линейки и съ ними никакъ не можетъ справиться семилѣтній мальчикъ въ ситцевой розовой рубашкѣ и плисовыхъ шароварахъ. Изъ оконъ глядѣли на насъ красныя лица, съ посоловѣвшими глазами, въ которыхъ все-таки замѣчалась усталость, какъ будто доказывающая, что „мнѣ теперь ничто ни почемъ“. Вышла пожилая женщина въ новомъ ситцевомъ платьѣ и съ косынкой на головѣ. Она поклонилась ямщикамъ, ямщики поздравили ее съ праздникомъ и попросили овсеца.

— Сичасъ, сичасъ, дорогіе гости, — и она убѣжала въ домъ, изъ котораго, немного погодя, вышла молодая женщина. Ее тоже поздравили съ праздникомъ, а одинъ молодой ямщикъ ущипнулъ ее за руку, на что она сама отѣтилась ему кулакомъ.

Всѣ ямщики пошли сперва съ мѣшками за овсомъ, потомъ съ кошелями за сѣномъ и, возвращаясь отъ амбара, вздыхая говорили:

— Охъ, времена!.. Какъ нонѣ овесъ-то прыгаетъ.

Между тѣмъ въ домѣ неуспокоили пѣсни. Мало-помалу стали слышаться изъ дома раздражающіе крики на разные тоны, голосили женщины. Изъ дома провели въ сарай какого-то толстаго, низенькаго человѣка, который и на ногахъ не могъ держаться. Это, какъ я узналъ вскорѣ, былъ самъ хозяинъ постоялаго двора. Ямщиковъ то и дѣло звали въ домъ, но они капризничали, говоря, что имъ еще недосужно, что они заняты своими лошадыми. Наконецъ стали уминать руки, лица и повалили въ избу налѣво. Направо помещеніе хозяина и тамъ веселились гости.

— Што же, Семенъ Васильчъ, здѣсь праздникъ, што-ли? — спросилъ я Верещагина, оставшійся съ нимъ наединѣ.

— О, будь ты за-болотцомъ! Вѣдь вчера Ильинъ день былъ, ну дакъ вѣдь хорошій праздникъ бываесть три дни.

— Понимаю. Значить со страдой покончили?

— Вѣрно.

— А тѣмъ же они промышляютъ?

— Чѣмъ? — овсомъ да рѣпой торгуютъ; капусту еще сдаютъ. А больше извозомъ занимаются. Вонъ Иванъ Панкратьевъ, што утирается, Гробовской, а прочіе на земскихъ и обывательскихъ ѣздятъ.

— А што же хлѣбъ-то, не растетъ што-ли?

— Немногіе занимаются: мѣста неподходящія, не прокормишься.

Въ комнатахъ дрались; потомъ человѣкъ пять сѣлъ на линейку и съ пѣснями уѣхали, но въ комнатахъ продолжались по прежнему пѣсни и пляска.

Подали самоваръ, бѣлаго хлѣба; ямщики пошли въ комнату поздравлять или выпить. Немного погодя въ избу вошелъ высокій, здоровый мужчина, въ черномъ кафтанѣ на распаху, и пошатываясь подошелъ ко мнѣ.

— Кутейникъ! — крикнулъ онъ.

Я промолчалъ.

— Тебя спрашиваютъ?

— Кутейникъ.

— А што-жъ ты не поздравляешь меня съ праздникомъ? Я хозяинъ, а ты гость.

Дѣлать нечего: я всталъ, подошелъ къ нему и, протянувъ руку, извинился въ своей неѣжливости.

— То-то! Меня и нашъ домъ вся губерня знаетъ!.. Я люблю вашого брата. Цѣлуйся.

Мы поцѣловались. Онъ нѣсколько разъ цѣловалъ меня и заслонилъ все мое лицо.

— Иди-же къ гостямъ, а тѣ честь воздамъ... — и онъ крѣпко сжалъ мою руку и потащилъ меня въ комнаты.

— Ей вы, дуры!.. Смирно! Не плясать!.. Перискаго на тракту словилъ кутейника... Ей, Марья?.. водки, живо... Пирогъ скуды? Я васъ! — кричалъ хозяинъ, не выпуская мою руку.

Въ комнатахъ въ два окна, между которыми приколочено было простенькое зеркало съ конфетными картинками на рамкахъ, съ лавками, крашенымъ столомъ въ переднемъ углу, съ двумя дверьми направо и налѣво, топталось и сидѣло штукъ восемь мужчинъ и женщинъ; женщины одѣты нарядно въ ситцевые сарафаны и платья, съ простенькими шальями на плечахъ, съ платками и косынками на головахъ муж-



чины—двое въ розовыхъ ситцевыхъ рубашкахъ и пливсовыхъ шароварахъ, одинъ въ черномъ кафтанѣ. Когда я пришелъ въ комнату, двѣ женщины пѣли и топтались, одинъ мужчина игралъ на гармоникѣ, другой отдергивалъ трепака; прочіе—мужчина спорилъ съ хозяйкой, а гости щелкали орѣхи. На столѣ стоялъ крашеный жбанъ съ пивомъ, пирогъ съ рыбой, пирогъ съ малиной и еще что-то лежало, что—я не могъ различить издали. Женщины посмотрѣли на меня, присмирѣли; мужчины хохотали.

— Ты ужъ вѣчно што-нибудь состроишь...—сказала недовольно одна женщина, обращаясь къ державшему меня человеку.

— Ужъ я сказалъ, што позабавлю и исполню... Слышь, што я те прощу... Ну, што теперь у меня въ головѣ сидитъ?—спросилъ онъ меня. Гости присмирѣли, но готовы были разразиться смѣхомъ.

— Хмѣль,—сказалъ я.

Всѣ захохотали.

— Такъ ты думаешь, што моя голова хмѣль?.. Я, значитъ хмѣль? Слышите, што онъ сказалъ?...

— Это вѣрно, што хмѣль,—подтвердилъ другой мужчина. Женщины голосили, называя меня проворливымъ.

— Ну, а вотъ въ ея головѣ што сидитъ?—спросилъ онъ меня, показывая на одну толстую женщину. Я подумалъ и сказалъ: „Пѣсни, потому что она во все горло поетъ“.

Опять всѣ захохотали, но баба обидѣлась. Мужчины прозвали эту бабу *тсней*.

— А въ твоей што сидитъ?

— Пирогъ съ малиной...

Всѣ захохотали.

— Молодецъ, братъ, ты! недаромъ вашего брата на наши капиталы обучаютъ... Дѣло! Ну-во, братецъ, дергани съ дорожки-то, — сказалъ онъ, трепля меня по затылку и подвелъ къ столу. Гости голосили громко, неприятно для городского уха.

— Очень жарко, пыльно, хозяйинъ, — сказалъ я, желая навести его на разговоръ.

— Вотъ я те попочтую...—Онъ налилъ мнѣ стаканъ водки, я выпилъ, онъ еще налилъ, я сталъ отказываться, но онъ погрозилъ за воротъ вылить. Я закурилъ пирогомъ съ рыбой.

— Степка! играй!—крикнулъ хозяйинъ.

Зантрапа гармоника; бабы, подобравъ подошмы, принялись плясать такъ, что половицы трещали, платки спадали съ головы, а одна такъ даже вскрикивала отъ удовольствія: „и-ихъ ты!“ Хозяинъ обхватилъ меня и сталъ плясать. Меня стала отнимать молодая женщина. Началась свалка, однако хозяйинъ меня отпустилъ. Женщины, окруживъ меня, сбѣжились руками, топтались, кружились и напѣвали, дѣлая мнѣ глазки и толкая другъ друга: „ужъ я золото хороно, хороно“. Ямщики, стоя у дверей, глядѣли на эту сцену и хохотали.

— Поповичъ-то! камедь!...

— Цѣлуйте ево, бабы!...

Начали меня кѣловать; отъ одной пахло чеснокомъ, другая отрыгивала чѣмъ-то кислымъ. Ямщики хохотали. Бабы пустились въ плясъ, припѣвая громко:

Попьемъ-жо мы!  
Посидимъ-жо мы!  
Право есть у кого!  
Право есть у него!

Вдругъ одна женщина задаетъ мнѣ загадку:

— Отгадай, расцѣлю: лѣтомъ въ шубѣ, зимой въ шабурѣ?—и она подмигнула.

— Будто не знаю?—сказалъ я.

— Нѣтъ, не знаешь.

— Лѣсъ,—сказалъ я.

— А въ лѣсу што дѣлають?

— Грибы собирають, малину.

Лицо женщины покраснѣло, она захохотала; ее стали уличать въ чѣмъ-то нехорошемъ.

— Петръ Митричъ, иди чай пить?—сказалъ мнѣ Верещагинъ.

— Не хочу,—сказалъ я и не пошелъ.

Гости хохотали, разговаривали, прощались. Я вышелъ на крылечко и закурилъ трубку.

Скоро гости прошли мимо меня и весело распростелись со мной, а женщина, загадавшая мнѣ загадку, въ шутку поцѣловала меня и убѣжала.

Богомолки сидѣли за воротами, потому что ямщики не пустили ихъ въ избу. Послѣ обѣда, который прошелъ довольно весело, я вышелъ за ворота съ трубкой. Тамъ, противъ нашего постоялаго дома, шесть дѣвицъ играли въ мячикъ съ четырьмя парнями. Это были дочери и сыновья содержателей постоялыхъ дворовъ и отличались отъ прочихъ крестьянскихъ дѣтей породствомъ, красотой и костюмомъ. Такъ, дѣвицы были всѣ въ ситцевыхъ платьяхъ, а на одной высокой, семнадцатилѣтней, черноволосой было даже шерстяное платье. Дѣвицы играли утюжи въ мячикъ, ловко отворачивались отъ ударовъ мячикомъ, скоро бѣгали и ихъ очень забавляло то, какъ-бы мнѣ попасть въ парня. При моемъ появленіи на улицѣ, онѣ сперва смѣшались, но потомъ стали еще усерднѣе играть, какъ-бы стараясь доказать, что онѣ не ударятъ лицомъ въ грязь. Играя онѣ часто посматривали на меня, потомъ вдругъ собрались въ кучку, парни отошли прочь, а дѣвицы стали шептаться, потомъ захохотали и начали играть безъ парней. Вдругъ мячикъ упалъ къ моимъ ногамъ. Я не трогался. Дѣвицы разсыпались, но подойти ко мнѣ не рѣшались. Стали толкать другъ друга.

— Не съѣмъ. Подходите хоть всѣ,—крикнулъ я.

— Слышь, стеклянны шары всѣхъ зоветь... Дунька, иди, ты бойчѣе...

— Не схожу што-ли?

Одна дѣвица въ голубомъ платьѣ бойко подошла къ мячику и вдругъ бросила его въ меня; а сама кинулась бѣжать, но я успѣлъ попасть мячикомъ ей въ спину.

— Свиныя!—сказала дѣвица. Прочія хохотали и кричали мнѣ:

— Очкастый! очкастый! стеклянны шары!

— Принимайте што-ли играть-то?—крикнулъ я.

Дѣвицы захохотали и закрыли лица ладонями. Потомъ сѣли всѣ на завалину и запѣли, но пѣли на одинъ голосъ, стараясь перекрычать другъ друга. У воротъ въ это время сидѣли старики и бабы съ грудными ребятами и безъ ребятъ и надзирали за дѣть-

ми. Впрочемъ по случаю праздника имъ предоставлена была полная свобода. Парней на улицѣ не было; поэтому дѣвцы и пѣли, но одна дѣвица крикнула: „Степа-ань!“ За это подруги ударили ее по плечу, но дѣвица не покраснѣла. Явился парень лѣтъ восемнадцати, одѣтый франтовски, игра началась и ужъ устраивалось такъ, что бросать мячъ приходилось только Степану или только высокой дѣвцѣ въ шерстяномъ платьѣ и играли только они двое, что не правилось остальнымъ, но никто имъ не мѣшалъ. Если Степанъ попадалъ въ спину дѣвцы, что ей впрочемъ нравилось, то она вскрикивала: „ахъ ты подлецъ!“; если дѣвица попадала въ Степана, то онъ грозился: „ужъ я же те, толстопояту!“...

Солнышко сѣло; стало прохладно. Нашъ обозъ тронулся.

— Поповичъ! гдѣ стеклянны шары?—кричали дѣвцы. Я былъ во дворѣ и вышелъ. Въ меня попали мячикомъ, я забросилъ мячикъ въ чей-то дворъ, мнѣ пожелали „околѣть“; я сѣлъ въ свое гнѣздо. И по мѣрѣ того, какъ мы проѣзжали домъ за домомъ, кучка за кучкой сидѣвшихъ людей около своихъ домовъ исчезала изъ глазъ, мнѣ дѣлалось невыносимо скучно. Мнѣ хотѣлось пожить здѣсь, приглядѣться къ дѣйшей жизни.

— Богатый здѣсь народъ?—спросилъ я Верещагина.

— Откуда ему богатыхъ-то быть? Такъ живутъ, какъ и всякіе, особливо нынѣ не наживешь много-то денегъ. Не стара пора.

— А прежде чѣмъ же лучше было?

— Хлѣбъ былъ дешевле... А теперь вонъ съ меня сходить оброку да другихъ повинностей чуть не семьдесятъ рублей. А прежде и тридцати не выходило.

— Ты, должно быть, всю мѣстность на протяженіи тракта знаешь?

— О, будь ты за-болотцомъ! Какъ не знать-то, коли съ дѣтства хожу? Эти деревни всѣ наперечетъ знаю, а постоянные дворы чуть ли не всѣ испробовалъ—все одно, што одинъ.

— А што, если желѣзную дорогу построятъ?

— Не построятъ; это только пугаютъ.

— Ну, а если предположить, што построятъ.

— Ну, тогда мы въ концѣ разоримся. Мы только тѣмъ и кормимся, што съ обозами ходимъ. Къ другимъ ремесламъ мы неспособны, што есть и съ пашнями у насъ жены да работники управляются. А будь это дѣло—ну, и поидемъ по міру.

— Есть ли хоть польза-то теперь?

— Какая польза! кое-какъ на харчи сходитъ, — самъ подумай: у нея жева, дѣти, ну, и содержаніе лошадей што сбѣтъ.

Я начиналъ привыкать къ обозной жизни и вполнѣ понималъ ямщиковъ. Они, съ дѣтства приученные къ обозной жизни, такъ сказать, закаляли себя къ этому занятію: имъ не страшны были зной, морозъ, не злилъ дождь, они привыкли къ нимъ и только говорили, что лѣтомъ ѣздить лучше, потому что можно идти безъ зипуна и безъ шапки, днемъ можно спать и безъ сапогъ, а зимой нужно кутаться въ полушубокъ,

да еще сверхъ полушубка надо одѣвать азягъ (родъ зипуна), нужно часто грѣться, т. е. выпивать на свой счетъ водки. Видны съ горъ ихъ теперь уже нисколько не интересуютъ, потому что они уже привыкли, и въ нихъ они не видятъ для себя никакой пользы. У нихъ даже сложилась совсѣмъ иная жизнь,— жизнь обозная: въ своихъ деревняхъ, селахъ они были только гостями и гостили много-много разъ по четыре въ году, да и тутъ имъ скучно было, тѣнуло на большую дорогу, гдѣ раздолье, хорошо поить, кормить, много пріятелей, гдѣ только одна забота: благополучно доставить кладъ и получить рублей пятнадцать денегъ. Они не интересовались ни политикой, не тревожили себя пустыми вопросами; вся ихъ мозговая дѣятельность сосредоточивалась только на обозной жизни, а разговоры объ урожаяхъ и другихъ насущныхъ предметахъ были для нихъ только препровожденіемъ времени. Дорогой, когда они шли, они больше молчали, но, что они думали, того никто не знаетъ, а вѣроятно ихъ мысли были одинаковы у всѣхъ. Были ли они поэтами въ душѣ,—я сказать не могу, только можно сказать, что они болѣе сообразительны и толковы, чѣмъ другіе ямщики; у нихъ еще много поговорокъ подъ рифму, и эти поговорки въ видѣ остротъ высказываются только на-веселѣ.

О дальнѣйшемъ путешествіи писать не буду, потому что оно однообразно, только развѣ упомянуть о томъ, что мои петербургскіе сапоги послѣ двухъ-сутчнаго странствованія пришли въ такое состояніе. что я въ нихъ не могъ ступить и шагу — стоптались очень и продрались въ двухъ мѣстахъ на каждомъ сапогѣ, и я купилъ въ Кунгурѣ мужицкіе, которые тоже привелось чинить въ кузницѣ, потому что гвозди проходили насквозь и ихъ присутствіе послѣ десятиверстнаго странствованія стало весьма неприятно, а я положительно хромалъ на обѣ ноги. Кормили меня хорошо и я, сознаюсь, наѣдался до того, что едва могъ передвигать ноги. И все это удовольствіе мнѣ стоило 20—15 к., тогда какъ въ передній путь златоустовскій смотритель почтовой станціи, знакомый мнѣ человѣкъ, за два дрянныхъ блюда взялъ съ меня сорокъ копѣекъ. Къ обозной жизни я привыкъ совсѣмъ на пяты сучки вѣроятно потому, что до Перми оставалось немного; да и самъ Верещагинъ болѣе и болѣе становился веселѣе, попѣвалъ веселыми пѣснями.

— Слава Богу, скоро доѣдемъ,—говорилъ онъ.

— Домой, поди, съѣздишь?

— Надо... Ужъ я ей, будь она за-болотцомъ! — говорилъ онъ и дѣлалъ руками штуки и лицомъ гримасы.

— Совѣтно ты живешь съ хозяйкой?

— И!.. Она у меня баба золотая. Вотъ баба? и нужды нѣтъ, што третья. Молодая и славная.

— Поди-ко, вѣдь ей скучно?

— Чего ей скучать-то: знаетъ, што я съ обозами хожу и домой пріѣзжаю не съ пустыни руками. Работа тамъ есть у нея, чего еще ей надо?

Виды тоже описывать не стану, потому что они до того разнообразны и неудовимы на мѣстахъ, что ихъ едва ли кто сумѣетъ вѣрно срисовать; да и мнѣ

на мѣстахъ или на интересныхъ пунктахъ и въ голову не приходило набрасывать карандашемъ хотя одинъ ключокъ интересной для перваго впечатлѣнія мѣстности, а въ памяти у меня такъ разстѣваны эти впечатлѣнія, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать или не искажать природу. Не мѣшаешь упомянуть о Суксунской горѣ, которую ямщики недолюбливаютъ за то, что она очень крута. Видны съ нея очень хороши, и ее видно за нѣсколько десятковъ верстъ, но объ ней уже упоминалъ Максимовъ въ книгѣ: „Поездка на Востокъ“. Только, описывая ее, онъ упустилъ изъ виду то, что не весь Уралъ таковъ. Кроме Суксуна, близъ Кунгура есть еще двѣ горы, стоящія на тракту другъ противъ друга, — Ирнская и Вакинская, такъ что съ одной спускаются — на другую поднимаются, и между ними село, а около одной — рѣчка съ очень холодною водою. Черезъ эту рѣчку перекинутъ мостъ, но этотъ мостъ почему-то ежегодно починается и обозы переходятъ рѣчку бродомъ. На горахъ большія пространства степей и подъ Кунгуромъ насъ припугнула гроза, о которой говорить тоже не стану: нужно быть на горѣ, чтобы имѣть понятіе о грозѣ.

На пятны сутки мы ночевали на большой дорогѣ. Мы ночевали такимъ манеромъ уже два раза и на это у ямщиковъ были свои уважительныя причины. Лошади конечно были отпращены; къ ихъ горламъ были привѣшаны колокольцы, и онѣ ходили у изгороди, доставая высокую еще нескошенную траву, но впрочемъ недалеко отъ своихъ вожовъ. Одинъ ямщикъ не спалъ; прочіе хотя и спали на травѣ около своихъ вожовъ, но, какъ обыкновенно у нихъ водится, при каждомъ сильномъ стукѣ, при сильномъ звяканьи колокольцевъ, они поднимали головы. А раньше я забылъ сказать впрочемъ мнѣ тогда еще не приводилось замѣчать, что ямщики, лежа на возахъ и въ телегахъ, при каждой остановкѣ лошадей просыпались и поднимали голову. Уже такая привычка. Двѣ богомолки ѣхали тоже съ нами до Кунгура, но я къ нимъ не питалъ особеннаго уваженія и особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ Златоустѣ онѣ развѣсили сушитъ свое бѣлье, и я убѣдился, что онѣ не такъ бѣдны, какъ себя выказывали: у нихъ были даже шелковыя платья и мелькомъ я видѣлъ у нихъ золотыя серьги и кольца. Между собой онѣ были дружны, но въ Кунгурѣ поссорились, и жена мастера скрылась, не доплативъ ямщику денегъ; осталась только одна крестная мать моей мнимой жены.

Я спалъ крѣпко, не смотря на холодъ. Вдругъ слышу — ямщики кричатъ. Я открылъ пальто.

— А, ты грабятъ!

— Вей ее, проклятую.

— Нѣтъ, постой. Бить не надо; надо дѣло распознать, — кричали ямщики. Я подошелъ къ нимъ. Моя крестная мать лежала на травѣ съ связанными руками и ногами крѣпко-накрѣпко.

— Что такое случилось? — спросилъ я ямщиковъ, собравшихся въ кучу и разбирающихъ узлы женщины.

— Дажито, воровка! По запазухамъ чужимъ ла-

зять, проклятая, чтобъ ей семь чертей!.. Вонъ Петро углядѣлъ. Подошла она къ Фадѣю Степану и за-сунула руку въ сапогъ. Вотъ оно што!

— Что-жъ вы теперь думаете дѣлать?

— А общемъ. Вонъ Пермяковъ все жаловался: два, говоритъ, пальковыхъ потерялъ.

— Вотъ лопни мои глаза, чтобы я совралъ... Ничего не покупалъ, никому не давалъ, а денегъ не стало, — жаловался рыжебородый ямщикъ.

— Нашелъ! Яковъ?! Это не твой ли платъ-то?

— Мой, мой! ищи, нѣтъ ли Пермякова-то?

— Это не твой ли Петръ Митричъ?

— Я подошелъ; дѣйствительно, бѣленькій — платокъ мой, но я сказалъ, что я ей подарилъ.

— Зачѣмъ дарить? Мы не хотимъ! Возьми!.. — галдѣли ямщики.

Я взялъ.

Нашли и Пермяковскій платокъ. Стали допрашивать женщину.

— Ну, сознавайся. Зачѣмъ ты воровала?

— Простите, ребяташки! Богъ попуталъ... впередъ не буду.

— А билетъ есть?

— Въ тряпкахъ...

— Гдѣ? Ну-ко?

— Тамъ.

— Да ты насъ не тяни, намъ ѣхать нужно.

— Потеряла ребяташки... Пустите... я уйду отъ васъ.

— Ну, ладно. Ребята, связывайте узелъ. Гляди, стерва, не будь на насъ въ претензіи, што мы тебя ограбили, — проговорилъ спокойно подрядчикъ.

Женщину подняли; она плакала. Одинъ ямщикъ складывалъ и увязывалъ ее вещи.

— Ведите ее, голубушку, въ лѣсъ, — говорилъ опять спокойно подрядчикъ.

Четыре ямщика повели женщину въ лѣсъ.

— Это зачѣмъ вы ее въ лѣсъ-то уведете? — спросилъ я ямщиковъ.

— Поучить маленько, постегать, штобъ не баловалась, — объяснили они мнѣ. Черезъ нѣсколько времени откуда-то слышались стоны, но по дорогѣ никто не ѣхалъ, а черезъ четверть часа вышли изъ лѣсу мужики и женщина.

— Ну, теперь будешь воровать? — спросилъ ее подрядчикъ.

Женщина поклонилась въ ноги и сказала:

— Дозволь, батюшко, мнѣ доѣхать.

— Нѣтъ, ужъ кончено: сиди здѣсь, коли не уймешь ладохъ ѣхать. Такъ мы и покинули женщину на тракту. Ямщики говорили, что выстегать вора самое благое дѣло, потому что они люди дорожные, представлять вора у нихъ времени нѣтъ, да и онъ еще ускользнетъ, а какъ дашь острастку, такъ впередъ не посмѣетъ по чужимъ сапогамъ да по запазухамъ лаять.

На седьмыя сутки мы пріѣхали въ Пермь. Голова и бока у меня болѣли; лицо было точно въ пепелъ, а въ волоса даже частый гребень не лѣзъ, и я кое-какъ отмылъ въ банѣ песокъ изъ головы. За

то мнѣ поѣздка изъ Екатеринбурга стоила только шесть рублей.

Черезъ недѣлю я шелъ на пароходъ. На одной улицѣ меня окликнулъ Верещагинъ.

— Петръ Митричъ!

— А, здравствуй, Семенъ Васильичъ. Куда?

— За кладью; въ Тюмень завтра ѣду.

— Што мало погостилъ дома-то?

— Будеть... всѣ здоровы, ну и слава Богу. Счастливо оставаться.

— Прощай.

Мы простились за руки. Онъ спросилъ меня, когда я поѣду въ *Екранбургъ*, я сказалъ, что не знаю.

— Хорошо, кабы ты опять со мной ѣхалъ. Ну, прощай.

Мы разстались; онъ часто оборачивался и мнѣ отъ чего-то скучно сдѣлалось; такъ и хотѣлось опять съ нимъ же ѣхать по Уралу, только пора было и въ Питеръ отправляться.



# ГОРНОРАБОЧИЕ.

(НАЧАЛО НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА).

## ГЛАВА I.

### Невеселая встреча.

Мы — на одной из вѣтвей уральскихъ горъ, въ тридцати верстахъ отъ Осиновскаго желѣзо-дѣлательнаго, чугуно-плавильнаго и мѣди-плавильнаго завода, далеко въ сторонѣ отъ большого сибирскаго тракта.

Осень еще не начиналась, потому что стоитъ июль мѣсяцъ, но, несмотря на то, здѣсь стоитъ ужасная погода. Въ этомъ мѣстѣ и въ прошломъ году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до Ильина дня стоитъ жара, въ Ильинъ день пройдетъ надъ горой сердитая гроза и потомъ дождикъ, который такъ и идетъ цѣлыя двѣ недѣли; а нынѣ грозы не было, за то дождь начался съ половины июля, и хотя онъ идетъ непостоянно, но все-таки идетъ то черезъ часъ, то черезъ полчаса. Ничего бы и слыхать, такъ опять вѣтры дуютъ холодные, солнышко не показывается. Холодъ, вѣтеръ и дождь не только злятъ людей, но и тяжело дѣйствуютъ на растительность: отъ холода желтѣютъ листья березы, желтѣетъ трава, отъ вѣтра оголиваются деревья. Даже животныя, щиплющія здѣсь траву, дрожать... И говорить люди, что погода въ это время годъ отъ году становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часовъ вечера. Въ иную пору, въ это время такъ здѣсь весело: можно и по грибы сходить въ лѣсъ, и рабочихъ можно увидеть: идутъ или ѣдутъ они съ рудника и поютъ пѣсни и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птицъ не слышно; развѣ сорока пролетитъ молча, да и та забьется въ лѣсъ, скроется въ вѣтвѣ, страхивая съ себя дождь, чистя свой носъ объ вѣтку и злобно смотря по сторонамъ; спать бѣлки, обитатели здѣшнихъ лѣсовъ, или въ безпокойствѣ пересказываютъ съ сосны на осину, такъ что сухія вѣтви трещать; а воробышекъ, замѣняющій здѣсь соловья своими пѣснями, тотъ давнымъ давно спитъ на вѣтвѣ, спрятавши подъ крылышко свою красивую головку и

только по временамъ вздрагиваетъ отъ вѣтра, холода и дождевыхъ капель. Одни только большіе красные черви, выползая изъ земли, нѣжатся на мокрой травѣ; но стоитъ только дотронуться до травы, какъ червякъ вмигъ улизнетъ въ ту дыру, изъ которой онъ выползъ...

Вотъ слышались откуда-то колокольцы. Бряканье ихъ слышалось все ближе и ближе; и вотъ съ южной стороны, откуда идетъ дорога въ заводъ, показалась тройка лошадей, запряженныхъ въ повозку, которыхъ погонялъ взмахомъ руки ящикъ, сидящій на передкѣ. Бѣдные кони кажется измучились; ноги ихъ скользнули по глинистой почвѣ. Дорога хотя и усыпана шлакомъ (нагаръ отъ мѣдной и желѣзной руды), но ящикъ ѣхалъ стороною вѣроятно потому, что неудобно ѣхать по шлаку. Въ повозкѣ сидитъ какой-то баринъ въ горнозаводской шинели, въ фуражкѣ, тоже горной формы. Они проѣхали, и опять скоро тихо стало.

Съ лѣвой стороны (стоя лицомъ къ заводу) выѣхалъ изъ лѣсу по узенькой дорожкѣ, противъ которой около большой дороги стоитъ столбикъ съ дощечкой съ надписью: „Ильинскій рудникъ“, на одной лошади, запряженной въ худую телѣгу домашнего издѣлья, человекъ лѣтъ подлѣ сорока. Одѣтъ онъ немного лучше крестьянина: на головѣ фуражка, започиненная двумя заплатами изъ сѣраго и зеленого стараго сукна, съ изодраннымъ козырькомъ, въ зеленомъ тиковомъ халатѣ, который отъ дождя походилъ на черную клеенку, продранномъ въ разныхъ мѣстахъ и опоясанномъ кушакомъ домашнего издѣлья, въ худыхъ большихъ сапогахъ. По русымъ волосамъ течетъ дождевая вода съ фуражки и падаетъ на каравое, блѣдное лицо и, нѣмаясь съ новыми дождевыми каплями, течетъ по бородѣ, тоже русой, и потомъ падаетъ ему на колѣни. Онъ то и дѣло утираетъ лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лицѣ его, довольно правильномъ, выражалась и досада, и проклятія. Онъ то зѣвалъ, то смотрѣлъ въ лѣсъ, то кричалъ на лошадей:

„Ну-ну, дурак!“...

Отбѣхавъ немного отъ столба, онъ слѣзъ съ тѣлги, стегнулъ лошадь и пошелъ шагомъ. Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги вѣроятно потому, что она съ измалѣтства приучена ходить такъ, а теперь, поработавши съ хозяиномъ вдоволь, она, зная хорошо эту дорогу, чувала, что и ей скоро будетъ отдыхъ: она то взмахивала хвостомъ, то вздыхала, то широко глядѣла впередъ, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяинъ лошади то перестигалъ ее, то отставалъ отъ нея и тупо глядѣлъ на ея копыта: на двухъ ногахъ подковы нѣтъ, на третьей—подкова болтается.

„Э-эхъ ты, соколъ ясный, другъ прекрасный!“ прокричалъ онъ остановившейся вдругъ лошади и замахнулся на нее. Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по прежнему.

„Экая погода-то, Господи!.. Въ тѣ поры...“, шепталъ хозяинъ лошади и вдругъ углублялся въ свои мысли, причѣмъ лицо его принимало различное выраженіе.

„Ты, говоритъ, Токменцовъ,—подлецъ, лѣнivecъ, плутъ... Натъ-косъ! А зачѣмъ ты меня, ваше благородье, аспидъ проклятой, отодралъ передъ тѣмъ, какъ мнѣ въ крѣпильщикахъ назначеніе вышло состоятъ?.. А зачѣмъ ты, стерво варнацкое, урокъ поставилъ: развѣ я воленъ, што не могъ представить восьми коробовъ въ день... Твоя лошадь-то? Развѣ лошади такое назначеніе выходить... Ишь, три рубля слѣдуетъ, а на, говоритъ, Токменцовъ, дуракъ ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой, золотой, серебряной, штобъ тѣ калачиковъ двадцать“...

Такъ Токменцовъ разсуждалъ про себя и разговаривалъ съ лошадью.

Тѣлѣга Токменцова была не пустая. Въ ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Подъ рогожей что-то шевелилось.

— Ганька!—вскрикнулъ вдругъ Токменцовъ.

— Ы!—послышалось изъ-подъ рогожи болѣзненно.

— Будь ты проклятъ, стерво!—сказалъ скороговоркой съ сердцемъ Токменцовъ и плюнулъ. — На, штобъ те язвилъ, анаемскаго парня!.. Говорилъ я тебѣ, не связывайся съ Пашкой Крюковымъ, будешь стеганъ — нѣтъ!.. Вставай, будь ты проклятъ!!—крикнулъ Токменцовъ и ткнулъ витнемъ въ рогожу.

— Ой-е!—простоналъ Ганька и открылъ рогожу.

Дождь шелъ мелкій, какъ мука изъ сита.

— Шго! мало те полосали, мало? — дразнилъ Токменцовъ Ганьку.

Токменцовъ пошелъ въ лѣсъ, досталъ изъ пазухи кнесь съ махоркой и трубкой и закурилъ. Лошадь остановилась. Ганька, парень лѣтъ тринадцати, съ блѣднымъ, худымъ и такимъ грязнымъ лицомъ, какъ будто онъ, не умывавшись съ нѣсяцъ, рылся въ землѣ, лежалъ въ тѣлѣгѣ на животѣ. Лицо его выражало и злость, и плутоватость, и страданіе, которое выражалось часто то охами при движеніи, то какими-то шопотомъ, то тѣмъ, что онъ грызъ зубами рукавъ своей изгребной, толстой, синей рубахи, започиненной на спинѣ красной вышивкой,

то болталъ ногами, на которыхъ были надѣты худые башмаки. При этомъ онъ больше глядѣлъ тупо на одинъ предметъ и зрачки его глазъ дѣлались большими.

Отецъ опять шелъ около тѣлги.

— Тятка, дай сосну!

— Я тѣ дамъ сосну—сосунъ экой!

— Дай... — произнесъ протяжно Ганька, какъ дитя, просящее ѣсть.

Отецъ молча далъ сыну чубукъ съ трубкой; сынъ затаился разъ и закашлялся.

— Туды же!..—проговорилъ отецъ и вырвалъ у сына трубку. Немного погодя онъ спросилъ:

— Тебя што спрашиваютъ: поди-ко не больно, коли такъ-то стягивать?

— Я, знашь, што сдѣлаю. Подосену рыло сверну.

— Хо-хо! Тогда такъ те отшлифуютъ, што...

— Не ври!

— Дуракъ ты! и отецъ слѣзъ на козла. — Это, парень, все вѣники, а тамъ береза будетъ. Учись при-выкать—ковывать (терпѣть): не ты первый, не ты послѣдній.

— Сказано: Подосену голову сорву,—крикнулъ зло Ганька.

— Хо-хо!.. Руки коротки.

— Тятка! — закричалъ Ганька и поднялся.

Отецъ посмотрѣлъ на него весело: Ганька глядитъ чистымъ дикаремъ, но щекамъ ползутъ слезы... Отецъ сжалъ кулаки, крикнулъ и, ничего не сказавъ, обернулся къ лошади. Такъ они ѣхали молча около часа. Потомъ Токменцовъ заглѣлъ грустную пѣсню, сначала не громко, а потомъ во все горло:

„Ужъ ты гулинька, да ты мой гуленсочникъ! о-охъ што же ты, гулинька, ко мнѣ во гости не лѣтаешь? Развѣ доничку моего да не знаешь! Развѣ голову моего не слышишь? Развѣ мой голосъ встрѣчкомъ относитъ? Али сны крылушки частымъ дождемъ мочить, разосенненькимъ частымъ сполнаваетъ“...

— Тятка?

— „Частымъ да сполнаваетъ...“.

— А тятка!

— Чево тебѣ?

— Дай водички.

— Гдѣ бы я про те принасъ? „Што да не ласточка по полю летаетъ...“.

— Тятка!

Отецъ пересталъ пѣть, а только насвистывалъ. Потомъ онъ задумался объ томъ, что сына его Ганьку безвинно наказали на рудникѣ розгами. Вдругъ остановилъ лошадь, взялъ изъ тѣлги топоръ, подошелъ къ лѣсу, около котораго лежало недавно срубленное дерево.

— Экое дерево-то гожее!—и онъ, перерубивъ его на трое, положилъ въ тѣлѣгу рядомъ съ сыномъ. Въ это время изъ завода подходила на встрѣчу женщина лѣтъ сорока пяти, блѣдная, худая, высокая съ костлявыми руками. На головѣ ея надѣтъ былъ красный платокъ, на синюю рубаху—изорванный сарафанъ, на ногахъ—худенькіе башмаки съ худыми чулками изъ шерсти, да на плечахъ болтался пѣшокъ съ чѣмъ-то. Это былъ весь ея костюмъ, и все это давно уже смокло до того кажется, что не было и на тѣлѣ ея

ни одного сухого мѣста; руки и лицо ея мокрыя, но колѣнямъ текутъ черныя полосы грязи.

Женщина поровнялась съ Токменцовымъ и спросила:

— Ганька-то гдѣ-ка?

— Здѣсь, мамка!—сказалъ весело Ганька и приподнялся.

— Што ты, парня-то не слать?

— Не слать!.. Въ первой што ли!.. Не слать?! Прятка больно: всего вонъ изстygали... Да ты-то куда?

— Знаю куда! одна дорога: къ главному, къ самому главному.

— Будь ты проклятая!..—и Токменцовъ плюнулъ.

— Чего ты ругаешься! Поди, продавалъ гдѣ-нибудь шары-те. Двѣ недѣли гдѣ-то шатался, шатало, а безъ тебя чудеса дѣлаются.

— Каки чудеса?

— А таки чудеса, што Пашку задрали.

— Ну?!

— А такъ: ты уѣхалъ на рудникъ-то, а Пашку на петровской рудникъ угнали.

— Да вѣдь онъ въ лихоманкѣ былъ?

— Чего я дѣлать-то стану, поди-кось, слушаютъ нашего брата...

Токменцовъ поѣхалъ, но, отѣхавъ немого, онъ остановилъ лошадь.

— Онисья! — крикнулъ онъ.

Жена его остановилась.

— Чего?

И слѣзши съ телеги, Токменцовъ пошелъ къ ней.

— Такъ ты чево ино: куда теперь?

— Толкомъ говорила, што къ самому главному начальнику.

— Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?

— Небось, получше твоего. Ты бы поглядѣлъ, что это было! — сказала она, злобно рванувъ рубаху, и вдругъ заплакала.

— Ну, дура, заживетъ.

Онисья долго ругалась, а Токменцовъ стоялъ молча.

— Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разуку нѣту-тка! Ну, чего ты шары-то выпучилъ, стоимъ?

— Молчй, гадина! Сама виновата: обращенія такого не имѣешь, чтобъ безъ бѣды не прожить. Нѣтъ, небось, сама суешься, суета проклятая!

— Поди-кось, какія уиныя рѣчи толкуешь! А по твоему это дѣло—парня взять больнова да и стегать—што ему робить не въ силу? Ну, какъ я узнала, что его задрали, такъ я и пошла къ управляющему, вломила: съ какова, говорю, права можете нашихъ робятъ задирать? Подай, говорю, варваръ ты эдакой, мово сына, живого подай!.. Возьми, говорить, хорони его. Ахъ ты, говорю я ему, разбойникъ ты эдакой, покараетъ же тебя Царяца небесная. А онъ и отправилъ меня въ полицію... Ну, гдѣ правда?

— Знашь, я бы не совѣтовалъ тебѣ идти-то.

— Отчего это такъ?

— Оттого, што и тамъ толку-то нѣтъ, все равно што здѣсь. Скажутъ: стойтъ бабы слушать.

— А по твоему, мнѣ такъ и ходить стеганой?.. Шалишь!

— А есть ли у те пропиталь-то? Это ты сообразила ли?

— Кто его пропиталь-то припасъ? Христомъ-Богомъ дойду, добрые люди накормятъ.

— Мамка, и я съ тобой.

— Я тѣ дамъ! Мало еще тебя стегали?

Дѣло въ томъ состояло, что въ отсутствіи Токменцова, сына его Павла, шестнадцати лѣтъ, называвшася по-заводски подросткомъ, взяли хвораго на рудникъ и тамъ за какую-то вину наказали розгами такъ, что онъ на четвертый день умеръ. Узнавши объ этомъ, мать и пошла къ управляющему, но и ее за грубыя выраженія наказали розгами. Теперь она отправилась съ жалобой къ главному начальнику горныхъ заводовъ. Токменцовъ положительно сталъ втуникъ отъ наѣренія жены. Оба они люди бѣдные, пропитаніе они достаютъ съ помощью лошади и дѣтей, которые получаютъ провіантъ: стало быть у нихъ одного работника не стало. Развѣ ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже можетъ быть не избѣгнуть этой же участи? Но онъ боролся съ тѣмъ, что будетъ ли толкъ какой отъ жалобы жены и не будетъ ли ему отъ этого хуже; а на это онъ имѣлъ десятки фактовъ.

— Ты бы, Онисья, подумала, что сдѣлали съ Оитулихой?

— Самъ плохъ, такъ не подастъ и Богъ. Извѣстно розниа.

— Ой, Онисья, плохо будетъ: наживешь ты со своей жалобой бѣды.

Онисья представила себѣ положеніе вдовы Оитулиной, которая своей жалобой не только не помогла дѣлу, а все испортила, но за то у нея не задрали сына, ее не стегали.

— Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла думая: идти ли ей въ самонъ дѣлѣ? Кто его знаетъ: Иванычъ ровно правду говорить, да какъ же они смѣютъ.—Пойду!—сказала она громко и сердито, и пошла наша Онисья, а мужъ ея задумавшись ѣхалъ на заводъ. Онъ такъ былъ золъ въ это время, что попалъ ему на встрѣчу какой-нибудь надзиратель, онъ избилъ бы его такъ, что тотъ на всю жизнь бы калѣкой сдѣлался. Ганька нѣсколько разъ что-то спрашивалъ у него, но не добился отвѣта.

До завода верстъ десять осталось. Лѣсъ начинается рѣдѣть; около лѣсу по обѣимъ сторонамъ дороги во многихъ мѣстахъ навалены дрова-долготы, въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны черныя большіе круги на землѣ; въ двухъ мѣстахъ жгутъ кученки: кучи въ два аршина вышины и въ полтора ширины, обваленныя свѣжей землей, и изъ этихъ кучъ въ боковыя отверстія идетъ дымъ. На одной кучѣ стоятъ двое рабочихъ въ рубахахъ и скачутъ—это они убиваютъ горящія подъ землею дрова, а третій—большой ступой бьетъ съ одного боку кучу,—это онъ садитъ на товаръ дрова. Въ другой кучѣ въ серединѣ сдѣлался провалъ, отъ чего пламя высоко поднималось. Двое рабочихъ бросаютъ въ средину дрова, а третій кидаетъ туда земли или зерннцы.

Между этими кучами стоит балаганъ—родъ пирамидальнаго трехъ-стѣннаго шалаша, въ серединѣ котораго разложено огонь. Изъ третьей кучи выбрасываютъ воду, землю, и ломаютъ длинные толстые угли: одинъ рабочій бьетъ лопатой, другой граблями отдергиваетъ мелкіе угли, третій и четвертый накладываютъ угли въ телегу, пятый уже далеко ѣдетъ въ заводъ. Это рабочіе справляютъ куренныя работы. За семь верстъ отъ завода, котораго еще не видать, потому что мѣстность идетъ ровная, а дорога повертывается на лѣво и идетъ между мелкими, рѣдкими лѣсомъ,—въ этомъ мѣстѣ попадаются зановдальныя коровы, щиплющія траву, попадаются овечки, облизывающія другъ друга и какъ-то болѣзненно смотрящія по сторонамъ. Дождь то переставалъ, то шелъ снова... Вотъ откуда-то послышалась заунывная, протяжная пѣсня и смолкла опять, а Токменцовъ сидитъ все злой и тѣмъ ближе подѣзжаетъ онъ къ заводу, тѣмъ становится злѣе.

Гаврила Ивановичъ Токменцовъ, какъ и другіе его товарищи, принадлежалъ наслѣдникамъ Граблева и назывался непрѣннымъ работникомъ, какъ назывался и покойный отецъ его и какъ будутъ называться и дѣти его. Родъ онъ какъ и прочіе росъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ могъ ходить на своихъ ногахъ, онъ лѣтомъ постоянно былъ на улицѣ и вполнѣ пріучился къ заводской жизни: сначала валялся въ песку и грязи, потомъ сталъ бѣгать по этой грязи и песку въ рубашкѣ безъ штановъ и обуви, потомъ сталъ играть, былъ битъ отъ старыхъ и малыхъ и самъ пріучался драться, и между тѣмъ онъ уже восьми лѣтъ владелъ топоромъ, учился косить траву, умѣлъ высверливать на шарикахъ дырки, запрягалъ и распрягалъ лошадей, такъ что физическія его силы быстро возрастали и врѣпли. Вывши мальчуганомъ онъ слылъ за отличнаго бойца и ловкаго плута, умѣлъ обругать кого угодно такъ же, какъ ругается и его отецъ, усвоившій руганъ тоже съ дѣтства, и съ терпѣніемъ переносилъ розги, которыхъ пришлось ему принимать еще очень много. Отецъ его былъ крѣпкій раскольникъ безпоповщинской секты, но Гаврило Ивановичъ считается православнымъ; впрочемъ въ церкви онъ ходилъ только въ самые большіе праздники. Въ кругу товарищей онъ уже давно пріучился курить табакъ и потягивать водку. Попадши съ 12 лѣтъ на рудники подъ именемъ *маломѣтка*, онъ уже походилъ на рабочаго: напр. онъ работалъ на конной машинѣ, погоняя лошадей, таскалъ въ тачкахъ песокъ, угли и т. п. вещи. Такимъ образомъ, находясь постоянно на работѣ и сталкиваясь съ людьми, онъ уже въ это время не уступалъ ни рѣчамъ, ни макерами взрослому рабочему, и не былъ такой сонливый, какими кажутся наши крестьянскіе парни. Въ обществѣ товарищей онъ изощрялся и самъ своимъ умомъ на остроты, насмѣшки; услыхавъ отъ механика-иностранца какое непонятное слово, онъ вмѣстѣ съ товарищами прозываетъ этого механика мудренымъ словомъ или складывалъ пѣсни, пародію на управляющаго, приказчика или исправника. Понятія его были такъ же ограничены, какъ у всѣхъ, и хотя онъ родился въ раскольнической семьѣ и умѣлъ читать и писать, но зналъ столько же, сколько и другіе знали, потому что ему не откуда было пріобрѣсти больше зна-

ній, да онъ правда и самъ не нуждался въ этомъ. Попадши въ рабочіе и проработавши съ годъ, онъ узналъ, что значить быть горнорабочимъ: прежде хотя и трудно было, хотѣлось играть и дѣрлани на славу за лѣнь, и въ шахтѣ приходилось ползать съ тачкой на колѣняхъ, но все же было какъ-то легче; теперь онъ настоящій рабочій: его посылали на работы вмѣстѣ съ прочими, и если урокъ не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провіантомъ, деньгами. Нисколько не отличаясь отъ обыкновенныхъ рабочихъ, онъ былъ, надо сказать, человекъ честный, практический и по заводу не глухой. Одно только водилось за нимъ: онъ, какъ и другіе, потаскивалъ полосы желѣза, которыя потомъ продавалъ, таскалъ свѣчи салныя изъ рудниковъ; но, какъ имъ увидѣть дальшее, этого ему и нельзя было ставить въ особую вину.

На Онисѣ Кирилловѣ онъ женился на двадцатомъ году. Женился конечно по любви: онъ былъ уже взрослый парень, съ Онисѣй онъ росъ вмѣстѣ, вмѣстѣ игралъ до пятнадцатилѣтняго возраста, а потомъ обращался съ ней по-своему: то щиплетъ, то воду прольетъ; та отдѣлывалась отъ него бранью и колотушками. Кромѣ этого его побуждало жениться еще то: онъ будетъ самъ хозяиномъ, будетъ получать 4 пуда провіанта и на дѣтей пойдетъ тоже провіантъ. Онисья росла въ бѣдной семьѣ, и выросла, какъ и прочія заводскія дѣвушки: научилась домашнему хозяйству, умѣла косить, лошадь запрячь и ѣздить верхомъ на лошади, умѣла шить и вязать чулки. По умственному развитію она была все-таки ниже мужа: въ дѣвушкахъ ей не приходилось слышать отъ старшихъ много хорошаго, вышедши замужъ, она сначала работала вмѣстѣ съ мужемъ около рудниковъ, а потомъ она стала водиться съ дѣтьми; а извѣстно, что рабочему человеку, занятому домашнимъ хозяйствомъ и дѣтьми, заботы много, и думать о чемъ-нибудь приходится развѣ за чулкомъ, да и тутъ отъ ребяческаго крика не много надумаешь.

Онисья Кирилловна была хозяйка хорошая и, если бы нерожала дѣтей, она бы непрѣнно стала работать съ мужемъ, какъ это часто дѣлаютъ многія женщины на заводахъ и промыслахъ. Но теперь у нея есть дочь восемнадцати лѣтъ, Елена, которая помогаетъ ей въ хозяйствѣ, было трое сыновей: Павелъ шестнадцати, Гаврило тринадцати и Николай пяти лѣтъ, изъ которыхъ Павла задрали на рудникѣ. Павла она любила больше другихъ дѣтей и потому ей очень тяжело было, когда его несправедливо взяли больного на рудникъ и тамъ задрали; тѣмъ болѣе тяжело, когда за правду ее же наказали.

Но будетъ ли какой прокъ изъ ея жалобы? Мысль объ этомъ мучила Гаврила Ивановича, который хотя и имѣлъ со всѣми рабочими большую антипатію къ начальству, но трусилъ, какъ и всѣ трусятъ, что главный начальникъ не выслушаетъ жалобу отъ бабы, а управляющій или приказчикъ сдѣлаетъ не только бабѣ пакость, но достанется и мужу. „Ну, будетъ, что будетъ! Богъ не безъ милости!“, подумалъ Токменцовъ и вздохнулъ; на душѣ сдѣлалось немного легче.



## ГЛАВА II.

## Осиновский заводъ.

Читатель вѣроятно замѣтилъ, что нашъ рассказъ начинается еще до воли. Предупреждаемъ его также, что Осиновскій заводъ не можетъ быть отысканъ на картѣ, а нѣя владѣльца не найдется между нынѣшними владѣльцами.

Еще не доѣзжая до завода большой дорогой верстѣ пять, глазамъ новичка въ этомъ мѣстѣ представляется красивая картина. Вы спускаетесь внизъ, съ пологой возвышенности; направо сперва покосы, ничѣмъ не огороженные, потомъ кустарники, обгорѣлый рѣдкій лѣсъ, а за ними поднимаются горы и пригорки, налѣво—лѣсъ сосновый и березовый, скрывающій виды, а впереди сначала показываются мелкіе кустарники на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ, лѣса разныхъ породъ, преимущественно березовые и осиновые. Дорога сначала идетъ прямо, потомъ скрывается въ лѣсу, а далѣе, смотря все впередъ, на огромномъ пространствѣ лѣсъ, то опускаясь, то поднимаясь, то зеленый, то черный, то въ мѣстахъ красный отъ пожара, съ дымомъ, стелющимся по большому пространству—даетъ чудную картину. За пять верстъ отсюда черезъ кустарники и лѣсъ видятся три каменныхъ церкви съ тусклыми куполами, сѣрыми стѣнами, и вокругъ нихъ дома, каменные, красные, сѣрые и черные, въ серединѣ этой массы сѣрая полоса—прудъ, скрывающійся налѣво за лѣсомъ. Высокая, голая гора Лапа, возвышающаяся за домами, идетъ какъ-будто полукругомъ; вдалекѣ—верстѣ за пятнадцать отъ завода—около горы тянется извилинами рѣчка, какъ будто исчезающая далеко въ горы, и сѣрый густой дымъ, возвышающійся изъ одного большого зданія съ красной круглой крышей, стелется надъ строениями, тѣсно сгущенными на пространствѣ верстѣ пяти по глазомеру. Это—Осиновскій заводъ. Заводъ съ этого мѣста имѣетъ видъ неправильнаго пятиугольника и дома то поднимаются къ верху, то спускаются внизъ—по неровности мѣста. Дорога идетъ по косогору, лѣсъ становится рѣже, на спускѣ невысокій кустарникъ, потомъ начинаются огороды, недостроенные дома, ничѣмъ не огороженные, дальше дома стоятъ тѣснѣе и тѣснѣе другъ къ другу съ небольшими заплатами. Дорога идетъ налѣво. Дома глѣбятся по косогору и принимаютъ горнозаводскій видъ—съ дощечками надъ воротами, означающими фамилію хозяина дома, и дощечками надъ окнами съ годомъ, означающимъ время постройки дома. Дома одноэтажные, съ двумя, тремя, пятью окнами, высоко сдѣланными отъ земли, съ выбѣленными и раскрашенными разными кружками, крестиками ставнями, съ пожелтѣвшими и черными воротами и заплатами. Это—*новая сторона*. Черезъ логъ и небольшую рѣчку улица идетъ по глинистой почвѣ, которая послѣ дождя засыхаетъ только въ сильныя жары. Опять улица немного поднимается; здѣсь мѣсто идетъ ровное.

На этой улицѣ, называемой Большой заводской, налѣво стоитъ питейный домъ. Около него толкуются человѣкъ шесть рабочихъ въ зеленыхъ и сѣрыхъ зипунахъ. Они о чемъ-то спорятъ.

— Здорово, братцы!—сказалъ Токменцовъ, подѣлавъ къ нимъ. Онъ слѣзъ съ телеги и, подошедши къ нимъ, снялъ фуражку.

— Э!—откликнулся одинъ рабочий.

— Не слыхалъ, што Подхалюзинъ сотворилъ?—спросилъ Токменцова другой рабочий.

— Што?

— Наташку Никулиху въ острогъ представилъ.

— За што?

— Фальшивую бумажку напаш.

— А мы хотимъ показать, што эти бумажки самъ Подхалюзинъ робить.

— Гоже. А нѣтъ ли, братъ, пятачка?

— То-то, што—въ монетномъ куштѣ, да намъ не даютъ,—стырилъ молодой рабочий. И они вошли въ кабакъ. Оказалось, что четверо изъ нихъ были куренные рабочіе, а два—мастеровые, занимающіеся въ самомъ заводѣ столярнымъ ремесломъ. Одинъ столяръ заложилъ зипунъ, взялъ полуштофъ; за водкой стали разговаривать крупно о разныхъ дѣлахъ, подправляя разговоръ остротами, закричали и, взявши въ долгъ еще полуштофъ, заплѣли и заплясали. Пѣли они вотъ какую пѣсню:

Штанники суконны,  
Панталоны волоконны!  
Ахъ, казаки—десятники,  
Варнаки—шкурятники!  
Положили—выдрали и т. д.

Плясали свой самодѣльный заводскій танецъ. Казалось, они были веселы, но на душѣ у Токменцова невесело было: отъ водки онъ сдѣлался еще алѣе, веселье товарищей его бѣсило, сердце какъ будто что-то щипало.

— Савелій Игнатьичъ! повѣрь въ долгъ,—говорилъ онъ сидѣльцу.

— Не могу.

— А, дуй-те горой! Вѣдь у меня сына задрали.

— Ей-Богу, не могу.

Такъ-таки Токменцову и не пришлось выпить. Онъ обругалъ сидѣльца, товарищей и вышелъ злой изъ кабака, неизвестно почему ударилъ сына по головѣ, стегнулъ крѣпко лошадь и тронулся, а рабочіе, обнявшись и шатаясь, шли за нимъ, напѣвая: „мости, миленькой да дружочникъ“.

Онъ уѣхалъ... Стали попадаться переулки, улицы, кривые и грязные; дорога усыпана шлакомъ; дома красивѣе; Токменцовъ пробѣжалъ уже четыре каменныхъ одноэтажныхъ дома, десять полукрашенныхъ, нѣсколько обитыхъ досками и выкрашенныхъ желтою краскою, съ садиками передъ окнами, съ красными и голубыми крышами, одну церковь. Вотъ уѣхалъ онъ въ самую лучшую часть города: впереди направо заводскій соборъ, за нимъ видѣются сѣрыя фабрики, а дальше гора Лапа. Здѣсь улица шире, черная дорога убита хорошо, есть деревянные и каменные тротуары. Налѣво—большой двухъ-этажный господскій каменный домъ съ каменными флигелями, съ чугунными рѣшетками, садомъ выходящимъ на озеро, на которомъ сдѣлана купальня,—и все это занимаетъ большое пространство; направо—большой соборъ, довольно красивый, съ садомъ вокругъ и чугунною рѣшеткой; противъ собора заводская полиція и главная контора, между ними площадь съ гости-

ный дворомъ, противъ котораго въ пяти-оконой деревянной домъ помѣщается Осиновская почтовая контора. Здѣсь есть и фонари, зажигаемые впрочемъ во время пребыванія здѣсь начальствующихъ лицъ горнаго вѣдомства.

Это называется *запрудская сторона*. Въ ней живетъ все высшее управленіе Осиновскаго завода съ его округомъ, семь тысячъ людей обоюго пола, изъ которыхъ до двухъ тысячъ мужчинъ, подростковъ и малолѣтковыхъ составляютъ чисто горнорабочій классъ. Двѣ трети жителей этой стороны принадлежали казны, остальные—владѣльцу завода.

У воротъ господскаго дома, въ которомъ живетъ управляющій Граблевскими заводами, стоитъ будка. Въ будкѣ сидитъ караульный осиновецъ и починиваетъ сапогъ; изъ улицы выѣхали рабочіе съ углемъ. Шедшіе рабочіе, поровнявшись съ господскимъ домомъ, снимали фуражки и шапки.

За господскимъ домомъ начинается плотина, идущая на полверсты, запруживая озеро, имѣющее длины шесть верстъ и ширины отъ одной версты до трехъ верстъ. Это озеро называется по-заводски прудомъ. Налѣво впереди озеро, скрывающееся правѣ въ углу за лѣсомъ, направо заводскія заданія — большіе сѣрые и почернѣлые отъ дыму и углей каменные флигеля съ круглыми и обыкновенными крышами. Это фабрики: кричная, раскатная, доменная, кузнечная, съ высокими трубами, изъ которыхъ постоянно выходитъ дымъ густыми черными и сѣрыми клубами. Дорога здѣсь черная отъ сыплющихся во время вѣтра углей изъ фабричныхъ трубъ, и углей, падающихъ съ телегъ, въ которыхъ ихъ возятъ на угольный дворъ, находящійся позади фабрикъ. Около кузнечной фабрики сдѣланы большіе вѣсы, а надъ ними въ башенкѣ виситъ полупудовый колоколъ, которымъ скликаютъ народъ на работу и по которому прекращаются работы. Съвозъ фабрики черезъ плотину проходитъ небольшая рѣчка. Весной, во время спуска воды изъ пруда, она становится удобной для сплава каравана съ металлами.

За плотиной опять продолжаютъ заводскія строенія лѣвѣ отъ горы Лапы—то *старозаводская слобода*. Если стать по срединѣ плотныи лицомъ къ озеру и посмотреть направо и налѣво, то съ перваго же раза бросается въ глаза различіе двухъ противоположныхъ сторонъ. На лѣвой сторонѣ у берега—сады и надъ ними высятся то каменные, то полукаменные дома, то крашенныя крыши, видны бесѣдки въ огородахъ, движеніе по водѣ около берегу; на правой же сторонѣ бросается въ глаза черная масса кое-какъ наставленныхъ угрюмыхъ домовъ—маленькихъ, ветхихъ, огорода ничѣмъ неогороженные, съ банями безъ крышъ. Заднія постройки, выѣзжающія въ себѣ амбары, погребъ, сарай и т. п., такъ крѣпко пристроены другъ къ другу, что съ одного конца до другаго можно свободно пройти по крышамъ. Токменцовъ въѣхалъ въ узкую, грязную улицу. Онъ проѣхалъ много домовъ, а переулковъ нѣтъ. Въ этой слободѣ только одна улица, которая тянется вдоль по озеру и идетъ не прямо, а разными извилинами. Здѣсь дома ветхіе, покочувшіеся направо и налѣво, подпертые, съ двумя и тремя окнами и со ставнями, ничѣмъ неокрашенными.

Въ этой-то слободѣ и живетъ Гаврила Ивановичъ Токменцовъ въ числѣ человекъ тысячи населенія, которое, называясь непремѣнными работниками, принадлежало наслѣдникамъ Граблева.

Вотъ и Токменцова домъ на лѣвой сторонѣ съ двумя окнами на улицу, съ высокой крышей, покочувшейся на правый бокъ, съ воротами; на дворѣ около заднихъ построекъ стоитъ высокій шестъ съ будочкой, или просто скворешникъ.

### ГЛАВА III.

#### Отецъ и дочь.

Елена Гавриловна, по-заводски Оленка, была ростомъ не велика. Говорили сосѣди, что она по глазамъ походила на отца, ростомъ и носомъ на мать, но ея бабушка говорила всѣмъ, что она ни на отца и ни на мать не походила, а вся вылитая какъ есть въ нее, бабушку. Она и дѣйствительно не походила на родителей, а Онисья Кирилловна доказывала по своему, что она только махонькая походила на нее, а какъ сдѣлалась эдакой *дымдой*, то стала походить чортъ знаетъ на что, и сѣтовала, что дочка сдѣлалась какою-то подхалюзой и бѣлоручкой.

Олена сидитъ у окна и вяжетъ чулокъ, сидитъ она босикомъ, сложивши лѣвую ногу на правую. На ней надѣтъ сарафанъ изъ синей изгребины, и хотя этотъ костюмъ, пропитый по бокамъ красной тесьмой съ узорами на груди, довольно бѣденъ на видъ, но онъ простъ и опрятенъ. Елена Гавриловна дѣвушка вполне здоровая, но на лицѣ у нея нѣтъ румянца, который бываетъ у женщинъ, много работающихъ на воздухѣ, на стужѣ и на жару, около печи, много сидящихъ и много кушающихъ. Положивъ, и Елена Гавриловна работала на покосахъ, но немного; а лишь только она могла ходить, то росла такъ же, какъ и ея уважаемый родитель Гаврила Ивановичъ: подобно ему, она такъ же бѣгала по улицѣ съ ребятами обоихъ половъ и разныхъ возрастовъ, такъ же она играла съ ребятами въ разныя игры, даже въ бабки, въ городки и даже въ згѣйки, такъ же она прежде бѣгала въ одной рубашонкѣ постоянно грязной, которую она частенько задирала на голову; такая же она была замарашка, съ бѣлыми распущенными волосами, некрасивая, но теперь старики, глядя на нее, говорятъ: „какая ты, Олена, красивая да опрятная стала! сейчасъ хоть подъ вѣнецъ“... Но собственно говоря, въ красоты въ ней большой не замѣтите: лицо съ веснушками, блѣдное, но довольно правильное, чисто-русское, а не какое-нибудь съ татарскими или зырянскими пятнами или уклоненіями, потому что ихъ дѣды были русскаго происхожденія или, если шли отъ какихъ-нибудь инородцевъ, то современеишъ ихъ формы лицъ сложились въ обычный типъ горнорабочаго человека, —высокій, крѣпкій и сильный въ первое время молодости. Волосы у нея пепельнаго цвѣта, длинныя, ихъ она заплетаетъ въ косички, а потомъ вокругъ головы и закрываетъ платкомъ, когда ходитъ по улицамъ, а дома ихъ она никогда не закрываетъ. Она находитъ, что платокъ къ ней больше идетъ, чѣмъ какая-нибудь сѣтка, которую она надѣваетъ въ самыя большіе

шие праздники. Въ дополнение къ ея костюму надо еще прибавить, что въ ушахъ у ней вдернуто по сережкѣ, которыя состоятъ изъ янтаря въ мѣдной оправѣ на подобіе колокольнаго языка, а на правой рукѣ на среднѣй пальцѣ надѣто оловянное кольцо, принадлежащее ея матери. Вязанье тихо что-то клентся. Она то вздохнетъ, то задумается, сидитъ минутъ пять и смотритъ въ уголъ, то опять вздохнетъ и погладитъ большого бураго кота, наслаждающагося созерцаніемъ, какъ на улицѣ по грязи бродятъ овечки, то запоетъ протяжно заунывную пѣсню: „Всѣ-то ноченьки млада просидѣла. Ахъ одна-то думушка съума нейдетъ, не съ ума нейдетъ несъ разума; прогнѣвила дружка милова: назвала его горькой пьяницей, да несчастною... Мое-тъ миленькій да-о-ей о-осердился. Онъ ужъ больше ходитъ-то да не станетъ. Дороги-те подарки онъ носить мнѣ не станетъ...“.

Какъ видно, эту пѣсню она очень любила, потому что, кончивъ ее, она опять пѣла ее же и пѣла съ какими-то чувствами!...

Дѣтство ея прошло не очень-то весело. Его можно раздѣлить на двѣ различныя половины по развитію; первая заключалась въ томъ, что она была предоставлена на произволъ окружающихъ ее личностей, во второй—она принуждена была подчиниться вліянію матери и своей семьи. Съ самаго ранняго возраста, т. е. съ тѣхъ поръ, какъ только она перестала сосать материнскую грудь, она была оставлена на произволъ судьбы. Она была первое дитя и одинъ ребенокъ въ дому. Кормивши ее грудью одинъ годъ и чувствуя скорое рожденіе новаго ребенка, мать бросила ее, предоставивъ бабушкѣ, которая при всей своей нѣжности къ ребенку не могла, по грубой своей натурѣ, удовлетворять капризамъ ребенка, ласкать его не умѣла и часто подбивала шлепками по чѣмъ попало; часто случалось, что ребенокъ надѣждалъ старухѣ, занятой постоянными леченьями и въ особенности повивальными упражненіемъ въ старой слободѣ, а мать была занята или хозяйствомъ, или носила мужу на рудникъ пищу, такъ что ребенокъ оставался взаперти въ выбѣ и ревелъ цѣлый день, а иногда и цѣлую ночь. Случалось ей и оставаться на полу или на лавкѣ и въ этомъ случаѣ или падать съ лавки, или стучаться головой о ножки стола, о печки и т. п. вещи. Родился другой ребенокъ, за дѣвочкой уже не стали такъ хлопотать, какъ прежде, и ее часто оставляли голодать и колотили старшіе въ сердцахъ и отецъ подъ хмѣльную руку. На четвертомъ году дѣвочка уже бѣгала по улицѣ. До девятаго года, предоставленная себѣ, она находилась рѣшительно подъ вліяніемъ товарищей, и какъ мальчики, такъ и она, усвоила себѣ ихъ манеры и понятія вѣстѣ съ играми, но въ это время она уже справляла въ своемъ семействѣ кое-что: качала выбку, таскала братьевъ, играла съ ними, выносила помоя, мела и мыла полъ въ избѣ, давала коровѣ сѣна, загоняла во дворъ овецъ, ходила въ лѣсъ по ягодамъ и по грибамъ съ ребятами: потому ее стали пріучать вязать, стряпать, шить, заставляли пѣть при гостяхъ пѣсни. Наконецъ она и совсѣмъ выросла; на нее смотрѣли какъ на дѣвушку-невѣсту и требовали точнаго исполненія всѣхъ ея обязанностей. Теперь она

умѣла все дѣлать, чему ее учили, и она очень хорошо знала, что въ послѣдствіи выйдетъ замужъ и будетъ сама рожать дѣтей,—это вездѣ въ простомъ быту, гдѣ не стѣсняются никакими выраженіями друзья-пріятель и хорошіе знакомые, дѣти знаютъ очень рано. Бабушка ея была раскольникъ. Поэтому она требовала отъ зятя, чтобы онъ ее выучилъ читать и писать. Отцу было не время, мать грамоту знала плохо, а бабушка говорила, что ее хотя и началъ учить мужъ уже замужемъ, но она кромѣ азбукъ ничего не поняла. Поэтому дѣвочка выучила дома только со словъ азбуку а, играя съ ребятами, она кое-какъ выучила склады и то по церковной печати. Такъ она знала читать до двѣнадцати-пятнадцатилѣтняго возраста, а съ этого времени, занимаясь постоянно чѣмъ-нибудь, она позабыла грамоту кромѣ азъ, буки да вѣди. Хорошо еще, что у нея есть подруга на заприудской сторонѣ, умѣющая читать и писать, но она дочь штейгера, къ ней Еленѣ приходилось ходить чуть-ли не разъ въ годъ, и тогда о грамотѣ не было помину, да и Еленѣ, вырвавшись изъ дому, хотѣлось только пѣть и плясать. Только въ этомъ году, когда умерла жена штейгера и подруга Елены просватана, Елена ходитъ туда чаще, просиживаетъ по суткамъ и между дѣломъ учитъ грамоту снова. Теперь она умѣетъ читать по складамъ и писать печатно большія каракули.

Отецъ о нравственности своей дочери не заботился, да и ему въ голову никогда не приходило, чтобы дочь могла избаловаться, потому во-первыхъ, что дома онъ жилъ рѣдко, а во-вторыхъ она была смирная и при немъ всегда была дома. Правда, онъ подумывалъ выдать ее замужъ; но за своего брата рабочаго ему было жалко выдать; потому что онъ зналъ, что жизнь рабочаго—жизнь очень тяжелая; писарей заводскихъ онъ терѣть не могъ; за хорошаго человѣка онъ ее выдать не могъ, потому что былъ бѣденъ да притомъ непрѣланный работникъ. Такъ этотъ вопросъ и былъ имъ поконченъ до поры до времени. Мать же строго слѣдила за дочерью: если куда-нибудь дочь уходила, она бранила ее и попрекала чѣмъ-нибудь, если она разговаривала съ молодымъ мужчиной, мать опять корила ее цѣлыя сутки, а объ гуляньяхъ и помину не было. Работать ей самой на себя было дѣло невозможное, потому что она заправляла въ домѣ почти всѣмъ хозяйствомъ, на рудникъ пустить ее боялись на томъ основаніи, что дѣвушка съ рабочими работать неудобно, работать дома на продажу было нечего, потому что въ каждомъ домѣ женщины пьютъ одежду на себя и на семейства сами, а на рынокъ издѣлій и безъ осиновскихъ произведеній много.

Елена часто думала о своемъ положеніи: что изъ нея выйдетъ? Часто вспоминая дѣвическія игры и куклы и припоминая разговоры отца, матери и разныхъ родныхъ и знакомыхъ, она давно понимала, что ея назначеніе—быть женой, а разговаривая съ подругами, она поняла, что такое мужъ и жена, но только все еще не понимала, что такое любовь и какъ можно сойтись такъ, чтобы выйти замужъ. Но мысль объ этомъ не давала ей покоя, когда она оставалась

## ГЛАВА IV. Судъ отца.

„Часъ отъ часу не легче!“, проговорилъ онъ про себя и сталъ отпирать ворота. Скрипъ отъ воротъ влюбленные услышали, но Плотниковъ однако нашелся скоро: огонь потушили, а онъ, выскочивъ въ окно, побѣжалъ по улицѣ. Токменцовъ стоялъ въ воротахъ съ полѣномъ. Какъ только пробѣжалъ мимо Плотниковъ, онъ бросилъ за нимъ полѣно, но полѣно не пошло.

— Я тебѣ, подлому человѣку! Попадешься въ другой разъ!... Собаки, усь! усь!—и внигъ залаяли двѣ собаки, за ними шесть, и залаяли всѣ двѣсти старо-слободскихъ собакъ, а десять пустились въ догонку за Плотниковымъ.

Ганька ничего не понималъ и кое-какъ всползъ въ избу. Вошелъ въ избу и отецъ.

— Олѣнка!—сказалъ онъ.—Вадуй огонь!

Вадуга Елена огонь на лучину; оставшуюся свѣчку отъ Плотникова она успѣла спрятать, а отецъ объ ней позабылъ.

— У, подлая!—подошелъ къ ней отецъ и ударилъ ее крѣпко по спинѣ, такъ что она чуть не упала на полъ. Она заплакала.

— Порени! У! будь ты проклятая!.. Дѣлай завариху, гадина. Есть щи-те?

— Не варили...

— А! все съ любовникомъ—то со своимъ стрескала?

— Тятенька...

— Поговори еще! Осподи, что за напасти! Экой я грѣшникъ такой!.. Да будьте вы всѣ!—и онъ плюнувъ вышелъ на дворъ распрягать лошадь.

Поспѣла завариха, состоящая изъ ржаной муки, разведенной въ горячей водѣ въ чугунокъ, и сгустившаяся въ глиняной латкѣ надъ огнемъ, разложеннымъ на шестѣ. Елена постлала на столъ изгребную скатерть, принесла кринку молока, ковригу ржаного хлѣба и потомъ латку съ кашей-заварихой. Снявъ халатъ, сапоги, оставшись въ рубашѣ и штанахъ и перекрестившись отецъ сѣлъ молча съ Ганькой за столъ.

— А ты?

Сѣла и Елена. Отецъ привезъ съ собой полусальную свѣчку, доставшуюся ему изъ рудника, и воткнувъ ее въ середину заварихи, сталъ наблюдать, какъ растапливается сало, потомъ семейство стало кушать, запивая молокомъ. Отецъ съ сыномъ ѣли съ аппетитомъ, но Елена не могла ѣсть: ее душили слезы, слезы не наружныя, а внутреннія. Кто когда-нибудь бывалъ въ страшномъ горѣ и не имѣлъ возможности плакать при людяхъ, тотъ знаетъ эти слезы; человѣкъ сидитъ самъ не свой, не чувствуя, что кругомъ дѣлается, въ головѣ словно туманъ, только и вертятся какія-нибудь два слова; предметы, на которые онъ смотритъ, кажутся теперь или увеличенными, или уменьшенными, и глотаетъ человѣкъ что-то горько-соланое, а грудь ему давить, сердце бьется сильнѣе... И сколько страданій выражается на лицѣ и въ глазахъ Елены! То ей кажется, что отецъ вмѣсто того, чтобы почерпнуть деревянной ложкой кашу, хочетъ ее ударить, и она вдрагиваетъ, то ей

убѣжать хочется изъ дому куда-нибудь далеко-далеко, или уйти въ сарай и тамъ выплакать свое горе.

Сидѣли всѣ молча. Ганька ѣлъ много, какъ голодная собака, и бессмысленно глядѣлъ, то на сестру, то на отца. Онъ не понималъ: зачѣмъ отецъ обзываетъ Олѣнку нехорошими словами и ни съ того, ни съ сего ударилъ ее.

— Олѣнка! ты чего не жрешь?—спросилъ онъ сестру съ участіемъ.

Отецъ промолчалъ, Елена хлебнула ложку и опять перестала ѣсть.

— Пошла прочь!—заревѣлъ отецъ.

Елена встала боязливо и потихоньку, бокомъ пошла къ печкѣ и стала, какъ статуя. Наружныя слезы не шли у ней по лицу.

А Токменцовъ ѣстъ за двоихъ; вотъ уже одна ложка осталась заварихи, наконецъ и та съѣдена. Задумался отецъ, подперевъ подбородокъ, и молиться не сталъ. О чемъ онъ думалъ? Мысль его не останавливалась долго ни на чемъ. Ему припоминался только рядъ несчастій: дранье, смерть сына, положеніе его жены, при воспоминаніи о которой какъ-будто что-то кололо его сердце, и самое главное и свѣжее—развратъ дочери. Ему хотѣлось избить дочь до смерти, но ему не хотѣлось встать, руки не поднимались, а ругаться онъ находилъ бесполезнымъ, да и не находилъ словъ, какъ бы выругать дочь. Такъ просидѣлъ онъ съ полчаса и такъ простояла Елена, едва переводя духъ, чтобы не услышалъ ее отецъ. Услышъ отецъ, что она плачетъ, бытъ бы ей битой, а пожалуй и калѣкой на всю жизнь. Между тѣмъ Ганька уже спалъ на печкѣ. Но вотъ отецъ всталъ, пошатнулся, глаза у него дикіе, онъ зло посмотрѣлъ на дочь, сжалъ кулаки и остановился; дочь выдержала этотъ взглядъ стойко; лицо у нея было бѣлье прежняго, она какъ будто готова была на все: „бей, тятенька: все равно, а однимъ покойникомъ больше будетъ“... Отецъ прошелъ къ кровати и легъ спать, не молясь Богу. Это было съ нимъ въ первый разъ въ жизни. Только одинъ тяжелый вздохъ послышался, какъ онъ легъ, и скрежетъ здоровыхъ зубовъ, и громко скрипнула кровать отъ его потяготы. Елена же между тѣмъ убрала со стола, погасила лучину и легла на лавку, положивъ подъ голову халатъ отца; сарафанъ она сняла. Тихо въ избѣ, только Ганька по временамъ турситъ громко и хохочетъ, да тараханы черныя, большіе и красные то шумятъ, то шлепаются съ потолка на полъ: не спитъ отецъ съ дочерью.

„Осподи Иусе! да пошто же ты экую напасть намъ грѣшнымъ приставилъ! Чѣмъ я-то хуже другихъ, чѣмъ я не человѣкъ. Вонъ Ганька шельмецъ говорить, што люди по нынѣшнему выходятъ все едино, што собаки. Онъ это по малолѣтству судить, оно вѣдь и правда“... И онъ сталъ думать: почему человѣкъ скотъ или собака, но хорошаго ничего не выдумалъ; надоѣло ему эти пустяки разбирать. Чѣмъ больше онъ думалъ, тѣмъ ему гаже казалась жизнь; какой бы предметъ ему ни пришелъ въ голову, этотъ предметъ злить его и онъ поворачивается зло со спины на бокъ, съ боку на спину... Теперь его сильно беспокоило поведеніе дочери, но, разбирая свою прошлую жизнь и сравнивая ее съ нынѣшнею молодежью

онъ приходилъ къ тому заключенію, что дѣвка съ жиру обѣится: ей пора замужъ. Въ это время онъ услыхалъ всхлипыванья дочери. Нѣсколько времени онъ слушалъ это всхлипыванье; надоѣло оно ему, но языкъ не ворочался крикнуть.

„Экое дѣло случилось съ дѣвкой! и что это мать-то глазѣла, поганая. Ужо приди-ка, окаянная, што я съ тобой сдѣлаю“...

— Слышь ты, Олѣнка, не наводи меня на грѣхъ!

Елена пуще всхлипывала.

— Тебѣ говорятъ! — крикнулъ отецъ. Настала тишина, только Елена сморкалась часто.

„Неужели же она тово?.. Спрошу ее я завтра, въ баню схожу, мыть себя заставлю. А за этого Плотникова ни за что не выдамъ. Лучше за Сеньку Турпыцна выдамъ, онъ что-то подмазывался ко мнѣ ономедни, а этому Плотникову я шею намылю, такъ ему я скажу завтра“...

Скоро Токменцовъ заснулъ; черезъ часъ послѣ этого, наплакавшись вдоволь, уснула и Елена Гавриловна.

## ГЛАВА V.

### Илья Назарычъ Плотниковъ.

Назаръ Ивановичъ Плотниковъ, отецъ Илья Назарыча, плавильный мастеръ, человѣкъ очень солидной наружности и не послѣдняя спица въ заводской колесницѣ. Теперь ему уже сорокъ восемь лѣтъ, но онъ толстъ, какъ быкъ, здоровъ, какъ чортъ. Посмотрите вы на этого человѣка въ заводскомъ соборѣ: онъ, разодѣтый въ длинный сюртукъ, съ шелковымъ платкомъ на шеѣ, въ красной ситцевой рубашкѣ, въ черныхъ плисовыхъ брюкахъ, засунутыхъ въ большіе свѣтлые сапоги, стоитъ впереди рабочихъ, немного позади заводскихъ властей: управляющаго, исправника, приказчика, горнаго смотрителя; поглаживаетъ гладко причесанные и напомаженные рыжіе волосы, окладистую рыжую бороду, брюшко, самодовольно покашливаетъ и важно искоса поглядываетъ на черныи народъ, изъ котораго вышелъ его отецъ, бывшій заводскій управляющій. Но стоить только приказчику или управляющему обернуться и посмотреть на его особу, онъ тотчасъ приметъ самый смиренный видъ, а по первому ихъ зову онъ вмигъ подскочитъ къ нимъ, заложитъ руки назадъ, станетъ смотрѣть въ землю и ждать приказаній. Такъ, однажды онъ усердно молился на колѣняхъ; вдругъ управляющій обернулся къ нему и кивнулъ ему головой, — онъ вмигъ вскочилъ, подскочилъ къ управляющему и всталъ, какъ вкопанный. „Вотъ что, Плотниковъ: выплавляй къ завтрашнему утру сто пудовъ мѣди“. „Исполню-съ“, отвѣчалъ Плотниковъ, тотчасъ же вышелъ изъ церкви, вызвавъ предварительно изъ нея двадцать пять человѣкъ рабочихъ, не смотря на то, что они пришли съ работы вчера вечеромъ и не хотѣли идти на работу въ праздникъ. Набравъ еще рабочихъ, заручившись словеснымъ приказаніемъ управляющаго, онъ къ другому дню выплавилъ сто пудовъ мѣди, да еще себѣ ханнулъ малую толику — пудовъ пять. Рабочій народъ называетъ его не иначе, какъ варваромъ и отчаяннымъ воровъ на томъ основаніи, что онъ назначаетъ рабочихъ къ плавильнымъ печамъ столько,

сколько хочеть, и если урокъ не выполнится, какъ слѣдуетъ, онъ или пишетъ записку нарядчику, и тотъ расправляется съ лѣнливыми посредствомъ розогъ, или заставляетъ человѣка работать вѣсто одного дня двой сутки. Имя ключи отъ магазина, гдѣ хранится выплавленная мѣдь до склада, распоряжаясь работами на фабрикѣ по своей части, онъ очень хорошо знаетъ: сколько онъ выплавитъ мѣди изъ ста пудовъ руды, и въ этомъ случаѣ можетъ сколько угодно показывать браковки, потому что управляющій требуетъ только металла, а заводскій приказчикъ съ нимъ за-одно.

Такимъ образомъ Плотникову хорошо живется: онъ имѣетъ въ заводѣ полукаменный домъ, оштукатуренный, хорошо меблированный; имѣетъ тысячу пятнадцать наличнаго капитала, да еще надѣется приобрести столько же тѣмъ болѣе, что онъ знаетъ, что дѣла заводскаго управленія идутъ плохо. На фабрикѣ онъ хотя и бываетъ каждый день, но не на долго, потому что тамъ есть еще мастеръ и подмастеръ, которые тоже изъ-подъ его лапъ сыты живутъ и понастроили себѣ хаты не много похуже его; ѣсть онъ хорошо, спитъ много, начальство его любитъ. Все хорошо, только ему все еще кажется, что у него денегъ мало, и хочется получить вѣсто заводскаго приказчика, а такъ какъ это вѣсто онъ можетъ получить не иначе, какъ если приказчику дадутъ другую должность, то онъ и заскиваетъ всически у управляющаго.

Ему наконецъ жениться вздумалось. Была у него жена да умерла назадъ третій годъ. Родниться съ приказчикомъ ему не хочется, т. е. ему хочется сперва женить своего сына на дочери приказчика Елизарова, Марьи Петровнѣ; члены заводской конторы ему своихъ дочерей не отдадутъ, жениться на бѣдной нѣтъ расчета. А у управляющаго, женатаго человѣка, есть гувернантка, которая, какъ ходятъ слухи, по настоянію жены управляющаго, скоро будетъ удалена изъ дому и замѣнится новой. Вотъ онъ и задумалъ жениться на ней, не смотря и на то, что она, говорятъ, вдвоемъ...

У Плотникова была дочь Раиса; та прошлымъ осенью выдана замужъ за исправническаго письмоводителя Алексѣя Александровича Серебрякова, живущаго и теперь въ Основскомъ заводѣ. Какъ она, такъ и Илья Назарычъ воспитывались наѣпо. Положить, что няньки у нихъ не было, какъ это водится у людей состоятельныхъ, но Раиса и маленькая была дѣвочка капризная, упрямая, алая. Находясь подъ вліяніемъ глупой матери, считавшей себя важною особой, и жестокаго отца, который часто колотилъ дѣтей за шалость, за провинки, она сдѣлалась надутю, неговорявкою и считала себя тоже чѣмъ-то въ родѣ барышни. Правда, она умѣла хозяйничать, шить, но была крайне лѣнива. Она очень любила покушать сладкое, поспать послѣ обѣда, поспѣть вечеромъ на улицѣ, любила вечерки, но и тамъ надменничала передъ своими подружками. При всемъ этомъ надо замѣтить еще, что она не умѣла читать и писать, не смотря даже на то, что отецъ эту науку старался вбить ей въ голову и плечками, и драньемъ. Совсѣмъ другое Илья Назарычъ. Раиса еще и

для красивые дни, а для него, бедного, эти дни достаются только тогда, когда он сидит у Серебрякова. Про детство его говорить много нечего: оно было хуже детства рабочих на том основании, что его на улицу не выпускали, так как он приходился тогдашнему управляющему внуком; а Ракса, бывшая старше его двумя годами, играть с ним не любила и часто жаловалась и слетничала на него, то отцу, то матери. Эта вражда между братом и сестрой шла с детства и особенно укрѣпилась с тѣх пор, какъ послѣ одной клеветной жалобы, братъ вымазалъ сестрѣ смолой щеки. Это было на двѣнадцатомъ году его жизни и этотъ несчастный годъ, когда отецъ его былъ въ работѣ на рудникахъ, онъ провелъ на работѣ около рудниковъ и тамъ чуть-чуть не былъ задавленъ обваломъ горы, отъ которой онъ таскалъ глину и песокъ. На рудникѣ ему много пришлось увидеть и хорошаго, и худого, и онъ, привыкнувъ къ рабочей жизни, до того свыкся съ ней, что черезъ годъ, когда отецъ, получивши должность мастера, взялъ его къ себѣ и отдалъ въ училище, онъ часто бѣгалъ изъ училища на рудникъ. Говорить подробно объ его детствѣ нечего и потому еще, что читателямъ не нравятся невеселыя картины, а веселыхъ я пока не пишу, потому что я пишу не идеалы земного счастья. Но какова бы ни была жизнь, у заводскаго человѣка тоже могутъ появляться въ головѣ разныя идеи. Вы можете быть помните, что въ заводѣ есть озеро, называемое по-заводски прудомъ. На этомъ пруду заводскіе ребята и молодые парни съ самаго основанія завода упражняются въ рыболовствѣ и въ игрѣ. Рыболовствомъ они занимаются лѣтомъ и весной, а зимой катаются по льду на конькахъ и дерутся партиями—старозаводчане съ запрудчанами. Драться Ильѣ Назарычу приходилось рѣдко, да и его всегда побивали, за то ему позволяли рыбачить. Сначала онъ рыболовничалъ, но когда тѣ стали отнимать у него рыбу, онъ уходилъ въ уединенныя мѣста, а если тутъ рыба не клевала, онъ все-таки сидѣлъ тутъ долго, положивъ удильшко на берегъ и скрестивши руки на груди, онъ смотрѣлъ все на одно мѣсто и думалъ: какъ бы ему хорошо быть богатымъ, такимъ же довольнымъ, какъ и его отецъ, но жить бы честно, не воровать, не стѣснять рабочихъ, а главное, быть не бѣтнымъ и свободнымъ: куда пошелъ, туда и ладно, что хочешь дѣлать, такъ и дѣлай. Его постоянно мучила мысль: зачѣмъ это всѣ обитатели завода находятся въ какомъ-то работѣ. Спросилъ онъ стариковъ рабочихъ объ этомъ предметѣ, и тѣ открыли ему глаза. Зло взяло Илью Назарыча, да ничего не подѣлаешь.

Поступилъ на службу на заводскую контору и ему опротивѣли плоскости товарищей. Послали его въ городъ къ повѣренному; тамъ онъ посмотрѣлся еще больше плутней. Здѣсь столкнулся съ порядочными людьми. Онъ принялся читать книги, но серьезнаго онъ не могъ понять, знакомые его не могли ему объяснить и самъ онъ мыслить былъ не въ состояніи. Такъ онъ и бросалъ читать серьезное. Въ головѣ забродили какія-то хорошія мысли и онъ сталъ сочинять стихи, но выходило худо. И эти занятія онъ бросилъ. Молодая его натура чего-то требовала, хотѣлось ей

жить настоящему жизни, а кругомъ онъ видѣлъ только гадость и нервозъ. Съ отвращеніемъ ко всему, онъ пріѣхалъ въ заводъ, гдѣ его, прослужившаго хорошо въ увѣдномъ судѣ и у повѣреннаго, сдѣлали столоначальникомъ; но онъ не могъ ужиться съ заводскими порядками; его отправляли въ полицію подъ арестъ и даже разъ выстегали за то, что онъ сказалъ грубость одному изъ членовъ главной конторы, а не стѣсняли его съ должности только потому, что онъ переписывалъ записки управляющаго, часто прислуживалъ у него въ родѣ лакея и разъ даже удостоился похристосоваться съ нимъ въ пасху,—большая честь въ заводѣ.

Можно сдѣлать заключеніе, что для молодого человѣка жизнь была очень скверная.

Елену Гавриловну онъ зналъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ танцевалъ съ ней на вечеркѣ. Онъ еще прежде встрѣчалъ ея два раза на старозаводской слободѣ, когда ходилъ къ теткѣ Коропоткиной, и тогда она произвела на него пріятное впечатлѣніе; потомъ онъ видѣлъ ее на рынкѣ въ базарный день. Онъ торговалъ мясомъ такъ себѣ только для того, чтобы ближе взглянуть на нее. Послѣ этого онъ думалъ объ ней долго, но потомъ такъ позабылъ со временемъ до вечерки, а съ этихъ поръ мысль жениться не покидала его. Но какъ жениться? Что скажетъ еще отецъ? И все-таки, несмотря на эти тяжелыя сомнѣнія, онъ, какъ мы знаемъ, путешествовалъ на старозаводскую слободу и узналъ-таки, что и она его любитъ.

Взбѣжать Ильѣ Назарычу по старозаводской улицѣ и ногъ подъ собой не слышитъ; слышать онъ, какъ будто что-то пролетѣло мимо него, и пустился бѣжать. Вотъ залаяло собачье войско, двѣ собаки спалили его за фалды сюртука, третья укусила ему лажку. Отъ боли онъ не вскрикнуть, а принялся бросать въ собакъ камень, но попадалъ плохо, да и что онъ могъ сдѣлать съ двадцатью собаками, съ ожесточеніемъ нападавшими на него?

— Проклятая слобода!—шепчетъ онъ.

— Эй ты, бабда! стой!—прокричалъ мужской голосъ въ темнотѣ.

— Послушай, другъ любезный, прогони пожалуй-ста собакъ—искусали.

— Цыцъ вы, шельмены! Цыцъ!..—Собаки долго еще лаiali, потомъ мало-по-малу стали отступать отъ Ильѣ Назарыча.

— Што ты тутъ шляешься?

— Я... ничего... я у тетки былъ.

— Я вотъ тѣ покажу тетку. Скидавай сюртученко-то.

— Послушай, пріятель, я человѣкъ бѣдный.

— Эй, Онисимъ, подь сюла!—и говорившій схватилъ Илью Назарыча за горло. Явился другой человѣкъ.

— Въ воду его. Да это никакъ сынокъ Назарка Плотникова.

— Онъ.

— Вратцы! вы знаете вѣдь моего отца. Зачѣмъ вы меня-то обижаете?

— За то, что онъ подлецъ. Такъ ты ему и скажи, да и зятю твоему тоже скажи, а коли не скажешь,

въ другой разъ мы тебя стеганнаго представимъ ему. Скидавай, тебѣ говорятъ, сюртукъ-то.

— Да вѣдь онъ на мои деньги шить, братцы!...

— Не ходи въ нашу свободу! Зачѣмъ ты насъ безпокоишь, коли знаешь, што намъ завтра чѣмъ свѣтъ надо на рудникъ идти?—И съ него сняли сюртукъ со всеми принадлежностями.

— Братцы, какъ я домой приду... Вѣдь я за дѣломъ ходилъ.

— Ходи днемъ. Ишь нашелъ удовольствіе въ нашихъ дѣвкахъ... Знаешь, какъ ты у Токменцова нарену копалъ. А ты еще его не знаешь, а мы за него всегда стоимъ: дѣвка тебѣ не пара.—И съ бѣднаго Ильи Назарыча сняли фуражку, жилетъ и, вышедши на мостъ, толкнули въ шею:

— Вотъ тебѣ наука! Вдругорѣть придешь, ей-Богу выстегаетъ. Наши для своихъ нареней годятся —И мужики ушли, хохоча во все горло. Немного погодя одинъ ихъ закричалъ:

— Эй, парнига, подь-ко сюда, чего стоишь, хнычешь у периль-то!

Илья Назарычъ дѣйствительно стоялъ у периль; онъ не зналъ, какъ ему явиться передъ отцовскія очи и куда идти. Онъ подошелъ къ говорившему.

— Ты, послушай, можешь считать насъ за разбойниковъ. Ты дуракъ послѣ этого: мы тебѣ острастку дали и обижать тебя не стѣбитъ, ты парень хороший, въ золотыя-бы руки тебя надо отдать шлифовать. Одежду твою намъ не надо; на кой ее бѣсъ; въ озеро разб? Возьми, дуй те горой, только смотри, парень, сложи своему Назарку, чтобъ онъ много-то не разбойничалъ: мы вѣдь и того... Знаешь! А въ другой разъ придешь въ чужой огородъ, ей-Богу выстегаетъ. Пьешь водку?

— Немного.

— Есть деньги?

Двое рабочихъ отдали Ильѣ Назарычу его одежду и потомъ пошли съ нимъ въ кабакъ. Дорогой они сказали ему:—смотри, Илюха, не ошибись въ расчетъ: едва онъ, Токменцовъ-то, выдастъ за тебя Олену, потому самому, што онъ не захочетъ родниться съ твоимъ отцомъ.

— Да я-то какъ-же?..

— Э! мало што-ль дѣвокъ-то.

Когда онъ пришелъ домой, отецъ уже спалъ крѣпко. Кухарка спросила его хочетъ ли онъ ужинать,—Илья Назарычъ отказался. Измученный дневными похождениями, онъ скоро заснулъ.

## ГЛАВА VI.

### Исторія Осиновнаго завода.

Здѣсь мы дѣлаемъ небольшое отступленіе и посмотримъ, какъ устроился Осиневскій заводъ. Благо наши герои спятъ.

Сомнительно, чтобы сѣверо-востокъ нашего отечества съ давняго времени былъ обитаемъ русскими людьми, потому что въ то отдаленное время на Руси людей было еще немного и они не забирались въ эти края. Уже послѣ, когда показалось людямъ жить дома тѣсно и случались такіа обстоятельства, что имъ

хотѣлось жить самостоятельно, свободно,—то люди начали селиться дальше отъ старыхъ земель и городовъ, по здѣшнимъ лѣсамъ.

Люди эти промышляли звѣриннымъ и рыбнымъ промысломъ и дѣлали то, чему научились отъ отцовъ, или сами доходили до какого-нибудь новаго промысла. Такіе люди или вели жизнь бродячую, путешествуя по горамъ, лѣсамъ, плавая по большимъ рѣкамъ, какъ и теперь есть много подобныхъ людей въ Архангельской губерніи, или селились при какой-нибудь рѣкѣ. Такіихъ людей, какъ мы знаемъ, въ XV столѣтіи было не мало, и многіе изъ этихъ „гулящихъ“ людей, не довольствуясь звѣриннымъ промысломъ, обогащались посредствомъ набѣговъ на осѣдлыхъ жителей и крѣпко пошаливали, чему способствовали глухіе лѣса и большія рѣки.

Эти бродячіе рабочіе люди открыли случайно соляные промыслы, желѣзную и мѣдную руду. Сначала они вырабатывали руду сами, а потомъ узнали объ ней сильные и богатые люди, которые и забрали себѣ большія пространства земли. Но простые рабочіе не въ состояніи были жить новыми промыслами; издѣлія ихъ были слишкомъ грубы и непрібыльны, и наконецъ они совершенно подпали влиянію богатыхъ людей, которымъ дарилась здѣсь земля въ полную собственность. Крестьянамъ не давалось права самимъ на себя разрабатывать руду и торговать ею, такъ же, какъ и теперь крестьянинъ можетъ только за известную плату искать, добывать руду или золото, а торговать этими вещами не имѣетъ права. Люди, жившіе прежде на этихъ земляхъ свободно или только вступившіе на эту почву, захватывались и причислялись къ владѣльческимъ землямъ, выгонялись на работы и постепенно становились рабами разныхъ богатыхъ людей. Такое положеніе дѣла было въ концѣ XVII и развивалось постепенно въ теченіе всего XVIII столѣтія.

Но рабочихъ людей все-таки было немного на промыслахъ и рудникахъ: туда шли только самые бѣдные, бѣглецы или ловившіе разные бродячіе люди, а многіе, не могли вынести тяжелой работы, шли прочь въ другія мѣста. Увеличенію числа рабочихъ способствовали много разные несчастія, постигавшія бѣдныхъ людей и загонявшія ихъ сюда: голодъ, обиды и т. п. и особенно—расколъ въ русской церкви.

Въ старослободской сторонѣ назадъ тому лѣтъ двѣнадцать жило семейство Моховыхъ. Это семейство, теперь выселенное въ Сибирь за расколъ, было потомствомъ Мохова, перваго обитателя и основателя нынѣшняго завода. Отъ Мохова Осиневскій заводъ и ведетъ свою исторію.

Дѣло было такъ. Въ концѣ XVII столѣтія сюда забрался одинъ состоятельный человекъ безпоповщинской секты, Кирилла Моховъ, служившій у какого-то воеводы. Когда его стали принуждать слѣдовать новому ученію, онъ, человекъ неглупый, но твердо увѣренный въ своей безошибочности и ненавидѣвшій своего господина, рѣшился не уступать. Его посадили въ подвалъ, пытали тамъ, но потомъ благодѣтельнымъ людямъ выпустили его и долго скрыва-



ли въ городѣ. Когда ему нельзя было скрываться долго въ городѣ, онъ подговорилъ нѣсколько человѣкъ уйти изъ города попытать счастья въ другихъ мѣстахъ. Годовъ шесть онъ былъ атаманою разбойнической шайки, четыре раза его ловили, но онъ опять бѣгалъ. Года три онъ грабилъ строгоновскихъ людей и, награбивши много разныхъ вещей, захотѣлъ закончить жизнь свою мирно, т. е. почить отъ своихъ трудовъ. Жить въ строгоновскихъ городахъ ему не хотѣлось, потому что онъ отвыкъ давно отъ всякаго подначала, и послѣ долгихъ поисковъ выбралъ себѣ хорошее мѣсто у одного озера. Озеро это имѣло верстъ двадцать длины и отъ полутора версты до пяти верстъ ширины. Онъ выбралъ себѣ у озера почти недоступное для другихъ людей мѣсто: съ одной стороны было озеро, съ другой—крутая гора, а съ остальныхъ—болото. Построивши двѣ землянки, онъ съ своимъ семействомъ, которое состояло изъ жены, двухъ сыновей—одного женатаго, съ своими дѣтьми, одного холостого и одной дочери,—прожилъ хорошо на новомъ мѣстѣ годовъ шесть. Въ это время онъ съ семействомъ ловилъ рыбу изъ озера, расчищалъ лѣсъ, сталъ обрабатывать землю, но земля въ первое время давала только кормъ для скота, который былъ добытъ отъ крестьянъ строгоновскихъ селеній. Питаться одной рыбой эти обитатели не могли, а потому сыновья Мохова часто ѣздили въ города, предварительно грабили по дорогамъ православный людъ и такимъ образомъ запасались въ городахъ нужными припасами, обмѣнивая краденныя вещи то въ городахъ, то въ селеніяхъ. Сыновья Мохова завели знакомство съ поселянами, и многие изъ поселянъ, жившіе подъ началомъ и перебивавшіеся кое-какъ, захотѣли поселиться съ ихъ отцомъ. Это были старовѣры, переселившіеся сюда почти въ то же время, когда и Моховъ поселился у озера. Съ сыновьями Мохова жители одного селенія послали къ Мохову одного довѣреннаго человѣка съ грамотой—принять ихъ къ себѣ и такимъ образомъ устроить независимое селеніе. Старикъ Моховъ самъ поѣхалъ въ селеніе, вывѣдалъ отъ просившихся, чтѣ это за люди, и изъявилъ согласіе на ихъ принятіе. Переселеніе продолжалось два года, и затѣмъ вскорѣ переселенцы понастроили десятка два домовъ вдоль по озеру.

Всей этой толпой управлялъ сначала старикъ Моховъ, который считался главой, какъ по старости лѣтъ, такъ и потому, что онъ умѣлъ рѣшать всякіе споры и неудовольствія въ селеніи. Кромя этого онъ считался за атамана, потому что, если кто-нибудь жаловался на свою бѣдность и недостатки, онъ, желая помочь ему, отражалъ нѣсколько человѣкъ для грабежа, который, всегда дѣлаясь умѣючи и ловко, оканчивался благополучно, и половина добытаго имущества поступала во владѣніе бѣднаго человѣка, а другая половина дѣлилась на участниковъ въ грабежѣ. Моховымъ установлены были такія правила: каждому новоприбывшему члену ихъ секты помогать съ общаго сѣкта — поселянамъ напимѣръ строить домъ; неженатому дать жену; больному помогать общимъ совѣтомъ и всачески заботиться объ его обрѣтѣніи; если человѣкъ мужского пола увѣчился, то помогать общими силами. Моховъ былъ вообще

старшиною надъ всѣми; онъ также справлялъ и всѣ религиозныя обряды или въ особо устроенномъ для этого скитѣ, или въ домахъ. Онъ же и далъ названіе селенію Осиново потому вѣроятно, что лѣсъ состоялъ болѣею частію изъ осиновыхъ деревьевъ. По селенію также называлось и озеро.

Осиновскіе жители крѣпко принялись за расчистку лѣсовъ и за обработку земли, но земля давала мало. Попробовали ловить рыбу, но въ селахъ и въ городахъ покупателей было такъ мало, что рыбу приходилось возить назадъ. Выдумывали они и дѣлали разныя вещи, но эти вещи купить было некому... Оставалось только промысливать звѣрями и воровствомъ; но звѣри людей не обезпечивали, потому что въ селахъ и городахъ были свои продавцы этихъ шкуръ, а промысливать разбоемъ опасно. Положеніе осиновцевъ становилось незавидное, а уйти въ другое мѣсто не хотѣлось. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ.

Осиновцы, потерявшіе надежду на хорошую производительность земли, стали рыться въ разныхъ мѣстахъ: одни отыскивали разные клады, думая найти богатства, спрятанныя можетъ быть татарами, набѣгавшими на наше отечество, другіе отыскивали соляные ключи, третьи, болѣе сообразительные, желали открыть въ землѣ что-нибудь болѣе выгодное. Первые ничего не находили, но послѣдніе открыли въ горѣ мѣдную руду и всѣ осиновцы принялись рыть гору. Одни изъ нихъ отрывали мѣдную руду, другіе находили желѣзную. Дошедши до того, что руду можно сплавлять, они стали ее сплавлять и сплавленные металлы возили въ города, гдѣ продавали ихъ за хорошія деньги или вымѣнивали на припасы. Потомъ осиновцы дошли до того, что стали изъ руды выдѣлывать вещи, необходимыя для хозяйства, и излишекъ опять промѣнивали въ городѣ. Такимъ образомъ осиновцы обратились въ горныхъ рабочихъ людей и получали отъ своей работы хорошее обезпеченіе.

По смерти Мохова, съ общаго согласія, осиновцами сталъ управлять старикъ Илья Крюковъ. При немъ они завели свой судъ и расправу такого рода: воръ долженъ былъ возратить все имущество хозяину; если онъ не могъ отдать украденаго, то становился работникомъ хозяина на годъ или болѣе; убійца спускался съ камнемъ въ озеро. Свадьбы можно было вѣнчать родителей у себя дома; сводный бракъ не считался грѣхомъ; крещеніе дозволялось только при смерти и человѣкъ женатый не могъ креститься. Самоубійство не считалось грѣхомъ и проч. При этомъ не считался грѣхомъ бракъ съ сестрой и не считалось грѣхомъ то, чтѣ мы называемъ развратомъ... Всѣ они жили дружно. Къ себѣ они принимали только людей ихъ секты.

Такъ существовали осиновцы лѣтъ тридцать и въ селеніи было уже около семидесяти деревянныхъ домиковъ, въ которыхъ обитало около трехъ сотъ человѣкъ жителей обоого пола. Вдругъ съ ними случилось несчастье. Ыздили въ городъ шесть человѣкъ осиновцевъ продавать какія-то мѣдныя вещи. На рынкѣ ихъ схватили и представили къ воеводѣ. Воевода долго выпрашивалъ, откуда они приобрѣтаютъ



вещи, потому что въ городѣ давно замѣчали за ними. Осиновцы молчали. Это молчаніе воевода счелъ за упорство, сталъ ихъ пытать. Пять человѣкъ умерло, шестой рѣшился показать гору. Нарядили военныхъ людей и, заковавши въ колодки, несчастнаго привели въ селеніе. Тамъ осиновцы выручили его, побили много военныхъ людей, а уцѣлѣвшіе донесли воеводѣ о томъ, что они видѣли большое село, что тамъ люди умѣютъ драться и ими управляетъ какой-то человѣкъ. Воевода еще не совсѣмъ зналъ мѣстность; его разобидѣло то, что его солдаты побили крестьяне, пошелъ самъ на нихъ войной, спалилъ слободу, убилъ нѣсколько человѣкъ, остальныхъ взялъ въ плѣнъ. Но человѣкъ пятьдесятъ, въ томъ числѣ и внука перваго Мохова, убѣжали въ лѣса.

Когда воевода пріѣхалъ въ городъ съ плѣнными, тогда явился къ нему бояринъ Граблевъ съ грамотой отъ царя, что ему жалуются такой-то округъ для разработки руды, и сталъ требовать народу. Воевода отдалъ ему, въ числѣ прочихъ, и плѣнныхъ осиновцевъ. Граблевъ обласкалъ осиновцевъ и сталъ просить ихъ указать имъ мѣсто нахождения руды. Осиновцы проклинали всѣхъ людей, говоря, что пришелъ антихристъ, но голодъ и бѣдствія склонили нѣкоторыхъ на то, что они рассказали Граблеву, гдѣ находятся разныя руды, но и просили нѣкоторыхъ преимуществъ, какъ-то: давать имъ половину руды, денегъ, построить избышки и не селить людей другихъ сектъ. Граблевъ сказалъ, что онъ этого сдѣлать не можетъ, потому что воля царская такая: добывать руду на царя посредствомъ всякаго народа, и только соглашались построить имъ избышки.

Стали они строить избышки, а работали плохо. Въ годъ избышки были готовы, а добыча руды шла туго, такъ что Граблевъ рѣшился принять противъ осиновцевъ крутыя мѣры; въ селеніи водворился раздоръ, нѣсколько семей убѣжало въ Сибирь, но остальные осиновцы на дорогѣ ихъ ограбили, большая половина остальныхъ ушла спасаться въ лѣса, а немногіе, особенно молодежь, остались въ селеніи и работали на Граблева. Между тѣмъ у Граблева много было набрано народа изъ разныхъ селеній, только селиться этимъ людямъ въ селеніи Осиновомъ было негдѣ, потому что съ одной стороны была гора Лапа, съ другой—озеро, а съ третьей—лѣсъ и болото. Новые люди нашли удобнымъ селиться по ту сторону озера, да и по мѣсту рудника имъ было выгоднѣе строиться отдѣльно отъ старыхъ осиновцевъ: Граблевъ далъ этому мѣсту названіе *Слобода Осиновская*, а осиновское селеніе называлъ *Осиновскій заводъ*. Итакъ работы становились обширнѣе; но мастеровъ хорошихъ было немного, жѣдная и желѣзная руда разрабатывалась плохо, неумѣло и лѣнливо. Народу прибывало все больше и больше, въ слободѣ было уже до сорока домовъ, но народъ сначала получалъ отъ Граблева очень мало, отчего въ обѣихъ сторонахъ начались грабежи и убійства; по озеру опасно было плавать даже днемъ.

Въ это время осиновцы, жившіе въ лѣсу и промышлявшіе разбоемъ, соскучились объ родномъ гнѣздѣ, имъ надобно шататься по лѣсамъ, да и грабить много не приходилось; тогда они стали высматривать да

выспрашивать, что дѣлается въ селеніи, какіе тамъ порядки заведены? Узнали, что жить можно. Граблевъ обѣщаетъ платить деньги за работу, послали своихъ стариковъ къ нему просить принять ихъ въ мастера, такъ какъ эти старики хорошо знаютъ свое дѣло. Граблевъ принялъ ихъ радушно и положилъ платить мастерамъ по рублю за сто пудовъ чистаго металла; а рабочимъ въ недѣлю по гривнѣ. Но это была приманка. Граблевъ зналъ, что осиновцы свое дѣло знаютъ, силой ихъ заставить невозможно, поэтому онъ и далъ имъ такую плату до поры до времени. Собрались всѣ бѣглецы въ Осиновскій заводъ, обстроились, какъ слѣдуетъ, приняли начальство надъ остальными и принялись за работу, но все-таки работа шла туго. Пріѣхали къ Граблеву иностранные мастера, покачали головой и посоветовали ему строить фабрику на озерѣ. Долго дивились осиновцы надъ такой выдумкой, а Граблевъ, оставивъ осиновцевъ отъ управленія надъ рабочими и разныхъ мастерскихъ занятій, велѣлъ выпустить озеро посредствомъ канала въ пробѣгавшую въ верстѣ отъ озера нѣлѣво противъ горы рѣчку, и строить плотину между Осиновскимъ заводомъ и Осиновской слободой. Народу потребовалось много; плату Граблевъ обѣщалъ рабочимъ хорошую. Рабочихъ людей дѣйствительно явилось много. Работа закипѣла. Послѣла наконецъ и фабрика; Граблевъ объявилъ народу, что обѣ стороны называлъ онъ *Осиновскимъ заводомъ*, что по указу государеву жители осиновскаго селенія подарены ему навсегда, а—осиновскія слободы причислены къ нему для работъ, всѣ состоятъ подъ его вѣдѣніемъ и онъ будетъ нести за нихъ всякія повинности. Осиновцы ахнули, да поздно... Попробовали нѣкоторые бѣгать, ихъ ловили...

Кромѣ Осиновскаго завода у Граблева были другіе рудники верстахъ въ пятидесяти, ближе и дальше отъ завода, а такъ какъ мѣстность Осиновскаго завода ему нравилась и народу было уже около тысячи человѣкъ, то онъ избралъ его резиденціей своихъ владѣній и велѣлъ строить себѣ большой каменный домъ. Оставалось только завести администрацію, потому что ему за всѣмъ слѣдить было некогда, нужно было часто ѣздить по дѣламъ въ города. Вызвать изъ большихъ городовъ приказныхъ людей тоже дѣло неподходящее, потому что приказный людъ въ то время отличался чрезвычайною грубостью, составляя что-то среднее между дворянами и вооруженной силой, и народъ ихъ не любилъ. Положиться на мастеровъ-инострanceвъ тоже не ловко, потому что они русскаго языка не знаютъ. Долго думалъ Граблевъ и рѣшился опредѣлить стариковъ старослободчанъ въ разныя должности, какія теперь называются: надзиратели, штейгера (штейгера впрочемъ были иностранные), нарядчики и другіе. А старослободчанъ Граблевъ назначилъ потому, что они говорили толково и прямо, не пьянствовали и работы исполняли хорошо. Въ годъ онъ убѣдился, что работы дѣйствительно идутъ хорошо, и во всемъ довѣрился имъ. По мѣрѣ того, какъ у него увеличивалось производство, онъ строилъ другіе заводы, посылая туда старослободчанъ и выписывая изъ-за границы мастеровъ и механиковъ для улучшенія горнаго производства.

Металловъ у Граблева было много и онъ каждое лѣто отправлялъ ихъ караванами по рѣкамъ въ разные города, потомъ въ Петербургъ, откуда нѣкоторые шли и за границу. Отъ правительства онъ получалъ большія награды, отъ продажи—большія деньги и въ десять лѣтъ его житья въ заводѣ послѣдній походилъ на городъ: въ немъ была православная церковь, двѣ молельни у раскольниковъ, большой господскій домъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ большой господскій же домъ, три фабрики: кричная, доменная и кузнечная. Жители обѣихъ половинъ завода года три жили между собой мирно, выговоривъ себѣ право: старослободчанамъ селиться въ своей слободѣ и не селиться тутъ запрудскимъ, а старослободчане по старшинству могутъ строить дома и въ запрудской сторонѣ; за работы они получали муку и небольшую плату. Но потомъ стали появляться случаи такого рода, что запрудскіе попадались въ воровствѣ желѣза; запрудскіе говорили, что воруютъ и старослободчане, но старослободчанъ не могли поймать съ желѣзомъ, хотя они цѣлую лишнюю барку отправляли при караванѣ съ своими желѣзомъ (приказчиками на караванахъ были старослободчане). Отъ этого обѣ стороны возненавидѣли другъ друга до того, что въ старой слободѣ даже днемъ нельзя было пройти запрудскимъ.

Кромѣ праздниковъ и одного лѣтняго мѣсяца рабочіе должны были работать постоянно то на рудникахъ, то на фабрикахъ, то въ лѣсу. Работы были назначены и днемъ, и ночью. Каждый мужчина долженъ былъ работать съ 5 часовъ утра до 11 часовъ пополудни (дня), остальное время былъ свободенъ до 5 часовъ утра, и съ 12 часовъ до 5 часовъ утра. За ночныя работы прибавлялось больше жалованья и хлѣба. Рабочій, прогулявшій рабочий день, долженъ былъ наверстать суточной работой или поставить вмѣсто себя рабочаго. Ни одинъ осиновецъ безъ спросу начальства не могъ отлучаться изъ завода въ городъ или куда-нибудь. Такія мѣры людямъ казались строгими, но они ничего не могли сдѣлать, потому что ослушниковъ послѣ нѣсколькихъ наказаній сажали въ городской острогъ, а потомъ работа обратилась въ привычку. Ребятъ не заставляли работать до семнадцати лѣтъ; затѣмъ ихъ начинали давать работу. Только однихъ женщинъ не трогали; онѣ справляли свои дѣла дома: рожали исправно дѣтей, водились съ ними и занимались хозяйствомъ. Были правда и тогда такіе люди, которые работами не занимались. Это были люди, которые пользовались особенною милостію нарядчиковъ или ставили вмѣсто себя рабочихъ, а сами добывали себѣ пропитаніе работами на жителей и торговлей въ заводѣ.

Въ заводѣ Граблевъ завелъ школу и заводскую контору, которая управляла другими заводами. Въ школѣ учились только дѣти запрудскихъ жителей, но въ контору больше поступали дѣти старослободчанъ, которые дѣтей своихъ учили сами.

Отправлявшіеся съ караванами старослободчане сильно богатѣли, потому что барки нерѣдко разбивало, желѣзо тонуло, а послѣ въ мелкую воду вытаскивалось и поступало въ ихъ пользу: напишутъ отчетъ, что утонуло да и все тутъ. Они, поймавши въ раз-

ныхъ мѣстахъ, видя много людей, возвращаясь домой, выглядывали уже не прежними святошами: начинали отставать отъ прежнихъ обычаевъ и исправляли свои обряды только для порядка. Они уже не хотѣли жить въ слободѣ, начинали важничать, строили каменные дома въ запрудской сторонѣ и на своихъ смотрѣли свысока; владѣлецъ дорожилъ ими, считая ихъ за честныхъ людей. По своему наряду они уже нисколько не походили на раскольниковъ, хотя и говорили старослободчанамъ, что они держатся ихъ сектъ. Старослободчанамъ казалось это соблазномъ, они упрекали про себя своихъ начальниковъ, но вслухъ ничего не могли сказать и думали: какъ бы имъ самимъ сдѣлаться такими же. Запрудскихъ это влило. Были конечно и такіе честные, трудолюбивые люди, но Граблевъ не видѣлъ ихъ.

Но вотъ Граблеву душно сдѣлалось жить въ заводѣ, непріятно показалось такому богачу водить дружбу съ мѣстными начальниками, которыхъ онъ могъ бы трусить, но которые его боялись, и поѣхалъ онъ въ Петербургъ, а оттуда за границу, на мѣсто же себя назначилъ управляющаго изъ старослободчанъ.

Старослободчане стали гнѣвиться, имъ подражали запрудскіе, начались грабежи, разбои на озерѣ. Управляющій рѣшился наконецъ употреблять строгія мѣры: онъ сталъ сажать людей въ острогъ, приказывалъ наказывать розгами,—рабочіе унялись, но работы шли плохо, съ караванами годъ отъ году больше и больше стало случаться несчастій; стали воровать изъ фабрикъ металлы; провіанту не доставало, денегъ не выдавали.

Стали рабочіе жаловаться по начальству—имъ же было хуже, потому что имъ не довѣряли...

И при другомъ управляющемъ положеніе рабочихъ не улучшилось. Заводъ правда по наружности казался красивымъ, появилось больше домовъ каменныхъ, стали строить единовѣрческую церковь; сдѣлали новую плотину, перестроили господскій домъ, фабрики, но въ деревянныхъ двухъ-оконныхъ домахъ обитала страшная бѣдность. Управляющій изъ новослободчанъ всячески старался, чтобы руды добывалось больше. Рабочихъ посылали на работы палками, за работами били; увеличилась кража металловъ, воровство и беспорядки.

Умеръ Граблевъ, объявили въ заводѣ, что владѣлецъ теперь сынъ его Григорій Ивановичъ; сослужили въ церквахъ молебны за его здравіе, выставили рабочихъ три бочки водки; закутили рабочіе обѣихъ сторонъ, передрались обѣ стороны и работы прекратились на трое сутокъ. Теперь порядки сильно измѣнились: Граблевы — ихъ съ теченіемъ времени сѣялось нѣсколько поколѣній — не жили больше на заводѣ, который такимъ образомъ вполне оставался въ распоряженіи управляющихъ. Дѣла завода постепенно расширялись: число рабочихъ увеличивалось, отыскивались новыя мѣста разработки. Теперь и чиновничье много измѣнилось: управляющій былъ для рабочихъ такое лицо, котораго они могли видѣть только въ церкви, на-домъ къ нему рабочихъ не допускали, а за всѣми нуждами рабочіе допускались сперва къ нарядчикамъ, нарядчики къ приказчи-

камъ, которые, отсчитываясь управляющему, дѣлали что хотѣли, и въ годъ наживали тысячу по пяти денегъ, если не больше. Но, не смотря на бѣдственное положеніе народа, Осиновскій заводъ считался однимъ изъ самыхъ богатыхъ.

Со времени перваго Граблева, въ Осиновскомъ заводѣ былъ только одинъ Граблевъ, Корниль Петровичъ \*). Онъ, выросши за границей и проживши тамъ много лѣтъ и много денегъ, вздумалъ посмотреть, что такое за Осиновскій заводъ? Откуда это ему шлютъ деньги сотнями тысячъ каждый годъ? И вотъ онъ поѣхалъ, взявъ съ собой иностранца, котораго онъ уполномочилъ быть управляющимъ. Приѣхалъ онъ въ заводъ, встрѣтили его съ хлѣбомъ и солью, зазвонили въ колокола на церквахъ, собрался народъ на площади, прокричалъ ему привѣтствіе. Онъ отправился въ соборъ, гдѣ отслужилъ за его здравіе молебствіе. Выспавшись онъ на другой день изволилъ принимать: заводскаго исправника, который назначенъ былъ горнымъ вѣдомствомъ для производства слѣдствій по осиновскому округу, членовъ главной конторы, главного повѣреннаго-ходатая по заводскимъ дѣламъ въ городахъ, приказчика, протоіерея соборнаго и горныхъ инженеровъ, служащихъ въ его округѣ отъ казны. У его дома между тѣмъ толпился народъ съ жалобами, но онъ не удостоилъ выйти къ нимъ. Только одна женщина какъ-то ворвалась къ нему съ жалобой. Онъ, удостоивъ ее разспросить въ чемъ дѣло, велѣлъ ей выдать десять рублей и приказалъ никому къ нему не допускать изъ чужаковъ. Въ пять часовъ у него былъ обѣдъ, на который между прочимъ пріѣхали изъ горнаго города главные лица, за обѣдомъ игралъ оркестръ изъ осиновскихъ музыкантовъ. На другой день онъ тоже давалъ балъ, на который съ улицы смотрѣла любопытная толпа, въ первый разъ увидѣвшая иллюминацію и фейерверкъ. На третій день онъ удостоилъ посѣтить фабрики, мелькомъ оглядѣлъ стѣны, машины и рабочій народъ, которымъ онъ велѣлъ выдать по рублю денегъ. Черезъ день онъ уѣхалъ.

Послѣ этого въ Осиновскомъ заводѣ не было ни одного владѣльца и только очень немногіе знаютъ даже въ настоящее время имя владѣльца, да что есть владѣлецъ, потому что въ день его именины работы останавливаютъ. Поэтому управляющіе и дѣлали, что хотѣли въ заводѣ, доверяя съ своей стороны приказчикамъ, которые дѣлали съ рабочими все, что хотѣли, свѣжая при этомъ съ должностей и назначая на должности по своему усмотрѣнію.

Очень не мудро, что Олесья Гавриловна за свою дерзость — безпокойство управляющаго, получила наказаніе. Она должна сперва сходить къ нарядчику; если онъ ничего не въ состояніи сдѣлать, подать жалобу заводскому исправнику. Но заводскій исправникъ конечно всего скорѣе долженъ былъ держать сторону управляющаго и приказчика, которые при всякомъ случаѣ могли ему замазать ротъ деньгами и черезъ которыхъ онъ могъ потерять мѣсто. Идти къ нарядчику не стоить, потому что приказчикъ смот-

реть на рабочаго, какъ на своего кучера, или еще хуже.

Отъ такихъ-то управленій рабочимъ приходилось переносить изъ года въ годъ много бѣдствій, на которыя не обращалось никѣмъ вниманія, ни даже заводскими исправниками, обязанными защищать рабочихъ, и рабочіе такъ свыклись съ своею долею, что ничего не ожидали лучшаго впереди. А если нельзя ожидать лучшаго впереди, развѣ можно желать еще худшаго?.. Бывали впрочемъ въ разное время и такіе случаи, что осиновцы во время голода хотѣли разворочать господскій домъ, но они не дѣлали этого потому, что пользы отъ этого мало; но за то всѣ они, не смотря на долголѣтнюю вражду старослободчанъ противъ запрудчанъ, постепенно утихавшую отъ сближеній, всѣ они, отъ пятилѣтняго ребенка до послѣдней минуты жизни ненавидѣли всякаго начальника и ни о комъ не отзывались, какъ о хорошемъ, добромъ человѣкѣ; у нихъ сложились свои печальныя пѣсни.

Въ настоящее время кажется подобнаго ничего нѣтъ.

## ГЛАВА VII.

Токменцовъ дѣйствуетъ на другой день иначе.

Гаврила Ивановичъ пробудился рано утромъ, а именно въ четыре часа. Было еще не совсѣмъ свѣтло, поэтому онъ лежалъ еще съ полчаса. Въ головѣ его бродили разныя мысли, которыя онъ не могъ привести въ порядокъ. Первое, что попало ему въ голову, это было: „какая эта дѣвка-то озорная, Осподь съ ней! А какъ, подумаешь, Гаврила сынъ Ивановъ, ты-то самъ какъ женился!.. А вѣдь лихо я женился. Мать моя Матрена была злющая-презлющая баба, не тѣмъ будь помянута... Ну, да про это и толковать не стоить, потому онъ дуры, да и наша братія, тоже мое почтеніе, посвящаемъ имъ по рылу, потому онъ не въ свое дѣло суются, ворчатъ, пьянъ напьешься въ компаніи, али съ горя, такъ вѣсто того, чтобы приласкать, гвалтъ поднимуть... Ну, опять тоже иная баба за поясъ заткнетъ нашего брата. Вотъ хоть бы моя жена...“.

На этомъ онъ остановился: ему представилось, что его жену дерутъ теперь, и обидно ему сдѣлалось за жену; мысли приняли другое направленіе: „вотъ теперь сына застегали... А какой онъ былъ послушанный, толковый... Поколачивалъ я его! Жалко. Эко, Осподи, житье!.. Тоже вотъ теперь житье штейгеру, такъ вотъ житье! Ыздитъ себѣ два раза въ сутки на работы, за нарядчикомъ смотреть, да какъ мы робимъ, гдѣ што ловчѣе сдѣлать. А вѣдь небось и я бы сдѣлался штейгеромъ, такъ куда бы ему, за поясъ быткнулъ... Вѣдь не сдѣлають... А славно бы было! И Олену бы я выдалъ не за чучу какую-нибудь, а теперь... поди ты. Э-эхъ-ма! Осподи, Осподи! коли бы деньги были, поставилъ бы я тебѣ рублеву ю свѣчу. Ужъ замолилъ бы я тебя!.. А то што, чѣмъ я пригодеу, коли всего-то въ мѣсяцъ получаю рубль на ассигнаціи. Вотъ Назару Плотникову ловко: отецъ былъ управляющимъ, поди десяти-рублевая свѣчи ставилъ, сынъ

\*) Вымышлено.

тоже и дуракъ дуракомъ, а, смотри, нахапалъ денегъ, въ рудникахъ былъ на работѣ со мной, да попалъ въ мастера. Гляди, што онъ творить. Али Осподъ ничего не видитъ, што творять приказчикъ, нарядчикъ, да этотъ Назарко. А поди-ко ты, Гаврила Токменцовъ, къ этому самому Назарку, да обскажи ему объ его Илишкѣ, такъ што будетъ? туда тебя угонять, что ужъ не знаю...". И Гаврила Иванычъ утеръ своею широкою ладонью глаза.

„А Олѣнка жалко, право жалко: одна она у меня дѣвка, а жены нѣту-ка дома, не съ кѣмъ ладненько посоветоваться. Ну, што я, мужикъ, сдѣлаю тутъ? Ну, я ее побью, изругаю, што будетъ? Ну-ко, Гавря, скажи?... А то и будетъ; я со двора, она со двора, а тамъ и пойдетъ писать, какъ Аниська Бабиha“, и мысли Гаврила Иваныча были скверныя, все одна другой хуже: наконецъ онъ пришелъ къ тому выводу, что дочь нищенствуетъ, хвораетъ и въ этомъ виновать одинъ онъ, потому что онъ бѣденъ, и виновать кто-то другой на томъ основаніи, что онъ изъ этой бѣдности выплутиться не можетъ никакимъ манеромъ.

Въ такомъ настроеніи Гаврила Иванычъ сѣлъ на кровать и сталъ смотрѣть на дочь: лежитъ Елена на боку, подложивъ подъ щеку лѣвую руку, а правой обнявъ свою грудь, по лицу ползаютъ мухи и, испуганныя ея тяжелымъ дыханіемъ, изрѣдка взлетаютъ къ верху съ жужжаніемъ. Жалко стало отцу дочери, вздохнулъ онъ, всталъ и вышелъ на дворъ. Погода стояла все сырая и мокрая; дождя впрочемъ не шло, но Токменцовъ думалъ, что дождь еще не однѣ сутки будетъ идти. Лошадь, находившаяся въ стойлѣ еще лежала, онъ не сталъ тревожить ее, а только положилъ въ корыто сѣна, сходилъ на озеро за водой, вылилъ четверть ведра въ корыто и смѣшалъ ее съ сѣномъ, положивъ въ мѣшечекъ овса. Потомъ онъ поскребъ немного въ стайкѣ, и наземъ склалъ въ кучу, находящуюся въ его огородѣ, гдѣ росли: капуста, картофель, рѣпа, морковь и рѣдька, любимыя и необходимыя кушанья рабочаго человѣка: „ишь вѣдь какой нонѣ урожай на это. А все Олѣнка хлопотала... Ай да Олѣнка, молодецъ“!.. И опять въ головѣ его появились нерадостныя мысли, такъ что онъ плюнулъ и ушелъ изъ огорода, черезъ дворъ, на улицу, неизвѣстно зачѣмъ. Изъ двухъ сосѣднихъ домовъ вышло четверо рабочихъ въ такихъ же нарядахъ, какъ и онъ ѣхалъ вчера, только у тѣхъ за кушаками на спинѣ были засунуты топоры съ топорниками кверху остриями, на плечахъ у двоихъ по лопатѣ желѣзной съ черенками, а у всѣхъ на спинахъ болтались мѣшочки съ хлѣбомъ и онучами.

— Здорово, дядя Гаврило.

— Здорово, братцы. На кученки!

— А ты чего?

— Ничего. Вчера прѣхалъ.

— Куда у ты Онисья-то устерелѣшила (убѣжала)?

— Да Богъ знаетъ.

— Э, братъ, молчи! Знаютъ все: ты свисни, а мы смыслимъ.

— Молчите, братцы.

— Ну... Прощай, дядя Гаврило: въ другое время покалякаемъ.—Рабочіе ушли. Гаврила Иванычъ немного утѣшился. Его утѣшило то, что Онисья успѣла

предупредить своихъ подругъ, которымъ намѣнъ не разболтаются, а мужики, будь они и новозаводчане, своего брата не выдадутъ, тѣмъ же, что подобныя вещи говорятся немыслимо ребятамъ—малолѣткамъ и подросткамъ. Подумавъ погребу, Гаврила Иванычъ увидѣлъ, что онъ уже пошелъ въ кѣтъ, корова спитъ, овцы на пѣхъ и при появленіи его встали, только съмахнувши хвостомъ и лизнувши языкомъ глину въ своей утробѣ, стала глядѣть на него туна.

„Ну, спите, христовые!“, — и онъ, выйдя изъ стайки, вошелъ въ какой-то чуланчикъ, тамъ устроенный. Тамъ были куры. Сначала замесилъ пѣтухъ, потомъ загготали курицы. Вышелъ онъ оттуда, и скучно ему сдѣлалось, такъ скучно, словно у него не стало хозяйки. И сознавалъ онъ, что онъ рѣдко-рѣдко заглядывалъ въ кѣтъ стайки и огородъ, а заходилъ теперь Богъ къ нему.

„Эхъ, хозяйка, дай бы Богъ, штобы ты пришла. Вѣдь это все твое—только вѣдь у тебя и а Ганька... задержутъ и ево...“.

Чтобы развлечься, онъ принялся обдѣлывать баню; опять полѣзли мысли нехорошія, и онъ рѣшилъ истопить баню. „Выпарюсь да вымывусь, итудеть, а тамъ что Осподъ Богъ дастъ“... думалъ. Затопилъ онъ печку въ банѣ и сѣлъ у ней. Изгорять сырыя дрова, кое-какъ онъ разжегъ: погорѣли славно. Страшно ему чего-то сдѣлалось, и рилъ онъ трубку и не сводилъ глазъ съ горящихъ дровъ. Представлялась его воображенію его любовь: „вотъ иду я по улицѣ, попалась на кѣтъ Онисья, красивая, толстая. Вѣстѣ я съ ней побатахъ игрывалъ. Цапнулъ я ее; выскочила дѣвка и убѣжала. Постой, думаю, задамъ ей острастку и ласку. Какъ-то иду съ работы, и идетъ съ колотами на встрѣчу: здравствуй, дядя, Онисьюшка?... Она дуракомъ меня обманывала. Такъ и стали мы съ ней встрѣчаться: баловать. Моя Онисья, вижу, поддается: иду на улицу въ праздникъ и она тутъ, въ хороводъ и жной играетъ и варнакомъ обманываетъ. Ну, итудеть отцу: жениться хочу на Онисѣ Харышовой. захотѣлъ я крѣпко жениться, да и что въ сдѣлѣ: хочу самъ хозяиномъ быть, дѣти будутъ, и вѣнать пойдетъ. А отецъ артачится: рано, говоришь тебѣ, шельмецъ, женишься, побогаче сынишь, итупишь въ карманѣ, да грошь на арканѣ. Ну, итудеть, спасибо, посоветовали ему. И женился Гаврило, и изъ Гаврилки сдѣлался Гавриломъ Иличемъ и прожилъ съ ней ужъ вонъ сколько, да итудеть же. А тоже говорили про нее то и другое, итудеть и десято...“.

— Татенька! — сказала робко Елена, войдя въ дверяхъ у бани. А надо замѣтить, у бани бани передбанника и крыши нѣтъ; въ нее можно прямо изъ огорода и въ ней раздѣваются.

— Будь ты проклятая! Эхъ ее, испугала меня Оленка была босикомъ, въ сарафанѣ, безъ шапки на головѣ.

— Чего тебѣ?

— Печку-то топить, али нѣтъ?

— Неужли такъ: поди-ко-сь, жрать захочешь. Бѣ-отъ есть?

— Двѣ ковриги...

— Ну, завтра испеки. На рудникъ надо...

Елена не шла. Она что-то хотѣла спросить у отца.

— Ну, чего еще стоишь?

— А мать-то гдѣ-ка?

— Не твое дѣло; пошла! Спроси у своего-то поляника.

Елена ушла. Токменцовъ немного погода тоже выгнать изъ бани, которая уже истопилась и трубу которой онъ закрылъ. Ему сильно хотѣлось поговорить съ дочерью насчетъ ея любовника, но онъ зналъ, какъ бы лучше выпытать отъ нея правду. Коровы были подоены и выпущены на улицу, овцы тоже выпущены, курамъ заданъ свѣжій кормъ. Избѣ печка затоплена, въ печкѣ стоятъ чугунокъ, которой варится картофель; въ другой чугунокъ рится свекла. На лавкѣ лежатъ опрокинутыми льско что вымыты чашки, ложки, кринки; Елена етъ столъ съ дресвой.

— Есь рубаха-то мнѣ-ка? — спросилъ Токменцовъ, войдя въ избу.

— Есь. Вчера выкатала.

— Ну, такъ добудь, и штаны добудь.

Елена ползла въ сундучекъ и вытащила оттуда рубаху и штаны. У Токменцова было только по парѣ рубахъ и штановъ.

— Ишь, выкорнигъ, выполнѣ... и любовника напла. Какъ нѣтъ дома отца и матери, и давай приглапать къ себѣ! Ну, скажи, гожее ли это дѣло, брава ты эдакая?

Елена принялась плакать.

— Што, небось неправду я говорю! Тебѣ все ничего, а мнѣ-то каково! Кто про васъ пропиталъ достаетъ? Кто вспоилъ, вскормилъ тебя? А? Развѣ мнѣ не больно?.. Ну, для кого я истязаюсь, какъ собака. Ты это подумала! Ну, какими теперича я глазами на людей-то буду смотрѣть? Ты-то, ты-то какъ въ люди покажешься. У! — и онъ выругался и плюнулъ.

— Ну, што ты реवेशь-то, а? Олѣнка!

— Тятенька...

— Говори всю правду!

Елена стала на колѣни передъ отцомъ: тятенька, голубчикъ... сдѣлай, што хошь со мной, сизой ты мой, хоть убей ты меня...

— Да ты что турусы-то на колесахъ разводишь! Правду говори!

— Ъй Богу я не виновата. Вотъ тѣ отсохни правая нога.

— Зачѣмъ ты цаловалась съ нимъ?

— Онъ самъ цаловалъ.

Отецъ ударилъ ее по щекѣ, щека покраснѣла.

— Тятенька, голубчикъ... — и она поклонилась ему въ ноги.

— Говори: зачѣмъ ты его пустила?

— Самъ... онъ самъ...

Отецъ толкнулъ ее ногой.

— Пошла, штобы духу твоего не было.

Елена заревѣла, а Токменцовъ ушелъ злой во дворъ. Долго онъ ходилъ около лошади и долго его мучило поведеніе дочери. Но чѣмъ больше онъ ду-

малъ, тѣмъ ему становилось какъ-будто легче. „Нѣтъ, она этого не сдѣлаетъ“, думалъ онъ и ему совѣстно становилось, что онъ побилъ ее. Ганьку кое-какъ разбудили идти въ баню. Тамъ отецъ вымылъ Ганькины штаны и рубаху, а потомъ повѣсилъ ихъ сушить на шесть, вѣѣланный въ банѣ. Выпарившись, Гаврила Ивановичъ пошелъ черезъ огородъ купаться въ озеро. Пока онъ шелъ, изъ другого огорода крикнула ему старушка:

— Баньку истопилъ!

— О-о!

— Пусти, какъ вымоешься.

— Съ Олѣнкой сходи.

Выкупавшись, онъ тѣмъ же путемъ пришелъ въ баню и тамъ одѣлся. Такимъ же образомъ выкупался и Ганька.

— Олѣна, поди-ко скажи Терентьевнѣ, што мошь готова баня-то.

— Я, тятенька, пойду же съ ней-то?

— Поди.

Гаврила Ивановичъ очень былъ доволенъ баней: онъ легъ, потягивался, дремалъ и кажется ни о чемъ не думалъ. Ганька тоже былъ веселъ.

— Ись бы, тятенька.

— А вотъ Олѣнка будетъ.

— А ты ее, тятенька больно треснулъ. За што ты ее такъ-то?

— Не твое дѣло!

Сынъ замолчалъ.

Токменцову теперь не приходили невеселыя мысли. Онъ думалъ теперь о томъ, что ему нужно починить къ завтраму сапоги и лопоть (халатъ), да пожалуй взять стѣрый зипунъ на случай. Пришла Елена. Лицо у нея красное, волосы нечесанные. Сталъ обѣдать: сначала тертую рѣдку съ картофелью разваренною и квасомъ; потомъ похлебали свеклу тоже съ квасомъ и картофелью. Токменцовъ съѣлъ три ломтя хлѣба, Елена и Ганька по два.

## ГЛАВА VIII.

Какъ Токменцовы проводятъ остальное время дня.

Послѣ обѣда Токменцовы не легли спать. Гаврила Ивановичъ сползалъ на полати, досталъ онъ оттуда лапоть, въ которомъ хранились шила, ножикъ, дратва, щетина, нитки и прочія принадлежности, необходимыя для сапожнаго и башмачнаго ремесла.

— Олѣна, принеси-ка корыто съ водой.

Елена ушла и скоро воротилась съ маленькимъ корытомъ, — въ немъ была вода.

— Да ты бы теплой налила. Въ первой што ли? — взялся отецъ, сѣда передъ лавкой на обрубокъ дерева, разложивъ по лавкѣ инструменты и принимаясь чесать нитки для дратвы. Когда теплая вода, находившаяся въ печи въ чугунокѣ, была налита, Гаврила Ивановичъ положилъ туда кусокъ черствой, старой кожи, которая валялась у него съ тѣхъ поръ, какъ онъ нашелъ ее на дорогѣ. А Токменцовъ любилъ все подбирать: и подковы, и гвоздики, и желѣзки разныя, и худые башмаки, даже лапти, ко-

носить очень немногіе рабочіе осиновскаго завода, и даже никому не нужныя тряпки; онъ всему найдетъ мѣсто, потому что покупать новое ему не на что. Сапоги онъ шилъ самъ, башмаки женѣ тоже шилъ самъ изъ разныхъ голенищъ, которыя онъ или находилъ, или выпрашивалъ у зажиточныхъ сосѣдокъ. Холстъ у нихъ былъ свой и теперь вонъ Елена вытащила изъ чулана корчагу, вымыла ее, налила въ нее воды, положила туда десятка два аршинъ изгребнаго самодѣльнаго холста, а потомъ еще налила горячей воды на холстъ и, засыпавши его золой вровень съ краями корчаги, вдвинула корчагу въ печь. Сермягу Токменцовъ покупаетъ у заводскихъ же жителей, а именно у Степана Мокрушева, который хорошо ее выдѣлываетъ, только не можетъ еще дойти до того, чтобы приготовить тикъ на лѣтніе халаты мастеровымъ, какъ называютъ себя всѣ горнорабочіе и въ томъ числѣ Гаврила Ивановичъ. Халаты Гаврила Ивановичъ надѣваетъ когда холодно, и онъ, какъ и сермяга, большею частію на работѣ лежатъ безъ употребленія, потому что въ нихъ работать неудобно, да и зимой при работѣ ему въ рубахѣ тепло. Сталъ Гаврила Ивановичъ починивать сапогъ, а Ганька залѣзъ на печку, но отецъ не далъ ему спать.

— Ганька! иди-ко поддержи.

Ганька молчитъ.

— Тебѣ говорить?...

Ганька слѣзъ не торопясь и почесываясь подошелъ къ отцу, тотъ захватилъ его за руку и не ударилъ.

— Держи! Ишо въ банѣ былъ, а смотри, какъ рубаху отхлестилъ (отдѣлалъ).

— Миѣ-ка спать охота! — произнесъ Ганька протяжно и зѣвнулъ громко во всю избу. Отецъ промолчалъ. И когда Ганька держалъ неправильно или лѣниво дратву или кожу, отецъ ругалъ его или замахивался на него рукой. Когда держать было нечего, Ганька пошелъ было на печь, но отецъ опять заставлялъ его что-нибудь дѣлать.

Пришелъ Колька, шустрый мальчишъ съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами, въ загрязненной рубахѣ и босой. На ногахъ много было грязи.

— Ахъ ты, гадъ ты поганый! Гдѣ ты это былъ?.. — закричалъ на него отецъ.

— А у тетки былъ! Гли! — И Колька показалъ ему пистулку — сдѣланную изъ дерева пѣтушка.

— Гли, тятка, какъ свистить! — и онъ началъ насвистывать въ пистулку, поскакивая и подергивая рубашонку.

— У, балбесъ. Поди, вымой парня-то въ банѣ, — сказалъ онъ Еленѣ, которая въ это время ставила на печку кашню (т. е. тѣсто ржаное въ деревянной шайкѣ, похожей на вадушку, вмѣщающую въ себя восемь и девять ковригъ печенаго хлѣба).

— Я не пойду, тятка, не пойду. Олѣнка бука!

— Ганька, дай-ка плетку!

Колька остался этимъ недоволенъ, закуксился и, испугавшись угрозы отца, полѣзъ къ Еленѣ и попрылся ей фартукомъ.

— Олѣнка! гли, какъ игрушка-то, — и онъ не давалъ ей покою съ своей пистулкой: поидетъ она, онъ за ней и теребитъ ее за сарафанъ или передъ ней ста-

нетъ и давай пикать. Это пиканье вывело отца терпѣнія.

— Ахъ ты, проклятой паренѣ! — и онъ всталъ. Какъ вмигъ спрятался подъ кровать, но отецъ схватилъ его ногой, отъ чего Колька заревѣлъ и избу и тогда только замолчалъ, когда отецъ плетилъ ему плеткой. Опять Гаврила Ивановичъ сѣлъ за работу, а Елена сѣла около него стала починивать цовскую сермягу съ кожанымъ воротничкомъ и обшлагами у рукавовъ. Ганька тоже заштопывалъ изорванные башмаки.

Несмотря на то, что кожа не держала нитокъ, и дѣлалась, Ганька ковырялъ башмаки. Отецъ тоже ругался, что кожа на сапогѣ изнасилась. Онъ теперь жетелся только о томъ и думалъ, какъ бы ему похитить започинить; его бѣсило то, что дратва рвалась, кожа лопалась хуже, онъ плевалъ съ досады то на сапогъ, который починивалъ, то на полъ, то приговаривалъ разными любимыми словца. Ганька вторилъ отцу, которому почему-то вдругъ не понравилось, что сынъ бѣздѣлничаетъ.

— Чево ты дратву-то рвешь попусту, шельма ты экой!

— Я тятка, чиню.

— Такъ чинять? Брось!

Ганька забился на полати и тамъ продолжалъ свою работу.

Только одна Елена сидѣла смирно. Она сидѣла на лавкѣ спиной къ отцу, около окна, и молча заштопывала прорѣхи и дыры сермяги. Ни одного звука она не произнесла, ни одной морщинки не было на ея лицѣ, только ей надоѣдали мухи, и тутъ она молча отмахивалась отъ нихъ. Колька ее не беспокоилъ: онъ нашелъ себѣ товарища въ котѣ, котораго онъ безцеремонно таскалъ по полу за хвостъ, любуясь своимъ искусствомъ и ловкостью отвертываться отъ лапъ кота, который пицалъ. Наконецъ котъ вырвался, вскочилъ на печку и сталъ облизываться, злобно глядя на Кольку, какъ будто думая: ужъ не буду же я, коли такъ, спать съ тобой. Онъ пошелъ по нерекладникѣ, сдѣланной отъ печки къ стѣнѣ для сушенія тряпокъ и бѣлья. Шелъ онъ, какъ видно, къ Еленѣ. Между тѣмъ Колька дѣлалъ свое дѣло: онъ всварбался на печь, нашелъ лучину, бросилъ ее съ хохотомъ въ котъ, котъ соскочилъ на лавку, а Колька свернулся на полъ и заревѣлъ... Всѣ неторопясь встали и подошли къ Колькѣ, который расшибъ себѣ лѣвое колено до крови и лобъ, но неопасно. Отецъ заругался, сталъ искать плетку, но не нашелъ ея. Долго ревѣлъ Колька; ногу Елена обернула тряпкой, на лбу осталась большой синякъ и черезъ часъ Колька утомился и по прежнему сталъ баловать, только прихрамывалъ на лѣвую ногу. Ему уже не въ первый разъ приходится падать съ печки.

Елена все работала, а въ головѣ ея шла своя работа. „Што-то Илья дѣлаетъ“, думала она, и долго думала она на эту тему. Заслышавъ она брань отца на дратву или на мухъ и думаетъ ей: „отчего это онъ такой злой! Хотѣ бы умиль починивать-то! А тоже хвастается, што занюга да башмаки умиль мастожить“. Она старалась отыскать причины: почему

— у нея такой злой? зачѣмъ онъ драчунъ та? Придетъ съ работы, мать ругаетъ, весь день на ять кричитъ, а ладошъ не скажетъ, на работу деть, тоже ругается... Нѣтъ, онъ добрый. Иной выгналъ меня изъ дому, избилъ бы", и она таже-вздохнула; въ это время она такъ любила отца, скажи онъ ей: Елена, поди-ко сходи въ рудникъ топоромъ—пошла бы. Она не думала теперь объ гери, какъ будто бы и не бывало ей.

— Ганька!—поди-ко къ Федосѣеву; попроси та-ку.

Ганька пошелъ, за нимъ поскакалъ и Колька прыгивая.

— Скоро свадьба-то, мила дочь?—спросилъ отецъ овито, когда мальчуганъ ушли; голосъ его дро-лѣ.

— Чья, татенька?

— Чья? Твоя.

Елена промолчала.

— Что жъ, ну и ступай и не ходи сюда, чтобы и наху твоего здѣсь не было. Что жъ ты бурялы-то окошко уставила? Али Илька идетъ?

Елена молчитъ: въ глазахъ двонется, въ головѣ аръ. „Умереть бы ужъ!“, думалось ей неволью.

— Съ Богомъ, мила дочь, съ Богомъ, Олѣнка.

„Буду же я молчать!“, думаетъ Елена и въ пер-ый разъ въ жизни она осердилась на отца. Хотѣ-ось ей плакать, да слезы не шли.

— Что жъ ты спасибо-то не сказываешь, дура. Ты въ ноги должна мнѣ поклониться. — Отецъ, гово-я это, улыбался, но какъ улыбался? Его душило оре и онъ не умѣлъ выразиться какъ-нибудь такъ, чтобы дочь почувствовала всю гадость своего по-ступка. Жена его поступила бы иначе: она бы цѣ-ный день проворчала, прибила бы дочь, какъ умѣ-ла, на другой день она бы не стала ругаться, а у Гаврила Ивановича не было такой храбрости, да и охоты не было. „Бить такъ было бы что бить, а то не стѣдить, еще грѣха наживешь“.

— Олѣнка! — вдругъ крикнулъ отецъ и сталъ глядѣть на спину дочери; въ лѣвой рукѣ былъ са-погъ съ шиломъ; а въ правой дратва съ щетиной. Елена молчитъ.

— Кому я говорю—стѣнѣ, што ли? А?

Елена молча повернулась къ нему лицомъ. Она плакала.

— Послушай ты, дура набитая, дурака отца: што тебѣ за дуръ пришла въ голову?... а?

Елена молчитъ, плачетъ.

— Тебѣ говорятъ! Я вышибу изъ тебя эти ню-ни-то. У-у!!—и онъ заскрежеталъ зубами.

— А вотъ тѣ сказъ! Плотникову я всѣ ноги обло-маю, коли онъ еще сюда придетъ. Всѣмъ закажу то же сдѣлать. Слышишь!.. Не выдамъ я тебя за него замужъ... Тебѣ говорятъ!

— Татенька! я ни за кого не пойду больше.

— Ладно. Слушай, мила дочка. Ты думаешь, я не знаю, што тебѣ хочется замужъ,—знаю. А Плот-никовъ тебѣ не пара, потому приказей, а ты мастер-ская дочь. Да и Илькѣ отецъ не дозволитъ женить-ся на тебѣ, потому онъ мастеръ.

— Я ни за кого не пойду...

— Я тѣ говорю по отцовски, потому эти дѣла знаю. Илька дуритъ, это я и ему скажу и всѣмъ ска-жу. Найдемъ жениха по своей братѣ.

— Татенька!

— Дура ты дѣвка. Мнѣ што ли не обидно это, да дѣло-то такое... такое, што Илька на тебѣ не же-нится. Вотъ што обидно-то; и я этого не желаю, по-тому не хочу родниться съ подлыми людьми. И вы-броси ты эту дуръ изъ головы. Да развѣ мало напе-ва-то брата. Э!..

Онъ принялся за работу, дочь повернулась къ не-му спиной и тоже задумалась. Долго она думала; передумывала отцовскія слова и казалось ей, что отецъ говоритъ правду; а если онъ ей зла желаетъ... Нѣтъ, Илька не такой: онъ не пришелъ бы къ ней въ избѣ, не цѣловалъ бы.

— Слышь, подхалюза, поди-ко съ запряги лошадь, —сказалъ отецъ дочери. Она ушла во дворъ.

„Съ дѣвками нѣтъ дѣло—просто бѣда, особенно съ дочерью. Дѣвка што—извѣстное дѣло, мужика ей надо, съ жиру бѣсится, и мужику дѣвку надо, а дочь жалко. Ну, роди она, што съ ней будетъ? эти же скоты проходу ей не дадутъ, а я-то тутъ чѣмъ виновать? Добро бы провянтъ на ребенка давали, —нѣтъ. Вонъ ей минулъ восемнадцатый годъ и провянтъпрекратили—выдавай,значить,замужъ... А ужъ за Плотникова не выдамъ. Сказано: не хочу родней нѣтъ мастера-подлеца, и копецъ; сроднись съ подлецами да мошенниками, самъ будешь под-лецъ и мошенникъ. Вотъ что! А дѣвка што—дура. Ей понравился приказный, мастерской сынкоу и взбѣленилась. Экое диво страслось: какъ не идти замужъ. А потомъ што будетъ: мужъ попрекать мной станеть, на норогъ меня не будетъ пушать, да и ка-кое будетъ ей житье, коли свекоръ будетъ застав-лять сапоги ему надѣвать... А то бы мнѣ што: вѣ-сится онъ тѣ на шею, дуракъ эдакой, да ты знашь, што онъ разумной человѣкъ, ну и съ Богомъ, коли по любви, по совѣту, да нами не брезгуешь... Это такъ“.

Пришли Ганька и Колька. Отецъ распекалъ ихъ за то, что они бѣгали долго. Пришла Елена и объяви-ла, что лошадь запряжена. Гаврила Ивановичъ одѣ-лся: надѣлъ сперва сапоги, обернувъ предварительно ноги онучами, потомъ сермагу, опоясался кушакомъ, за пазуху положилъ кисетъ съ махоркой, кременемъ, плашкой и трутомъ и взялъ шапку.

— Ты скоро?—спросила его Елена.

— Скоро. Кто будетъ, скажи—скоро. —Онъ ушелъ. Немного погода заскрипѣли ворота и отецъ уѣхалъ. Домашніе не знали, куда онъ уѣхалъ, да онъ и не любилъ даже женѣ сказывать объ этомъ.

Дома начался беспорядокъ. Колька лѣзъ то къ Еленѣ, то къ брату съ пистулькой, и такъ себѣ, же-лая побаловать; никакіе уговоры на него не дѣй-ствовали, отъ колотушекъ, получаемыхъ имъ отъ брата, онъ хотя и плакалъ, но самъ потомъ начи-налъ ругаться и колотить рученками, что въ немъ изболѣчало будущаго рабочаго человѣка со всѣ



наклонностями, врожденными и уже усвоенными от других ребят. Да и что ему, мальчугану, было дѣлать: ему хотѣлось играть, а ребятъ однихъ съ нимъ лѣтъ въ избѣ не было, Ганька уже отвыкъ отъ такихъ игръ: ему хочется бороться, играть въ бабки, ходить на головѣ, какъ ходятъ фокусники, которые нынѣшняго лѣта казали свою премудрость въ заводскомъ саду. Ему было скучно, но идти ему не хотѣлось, потому что онъ еще не былъ здоровъ; разговаривать съ сестрой... но что онъ будетъ ей рассказывать и о чемъ ему говорить съ ней; да онъ не то, что не любилъ сестру, но относился къ ней, какъ къ постороннему человѣку, только живущему вѣстѣ съ нимъ въ одномъ домѣ. Онъ такъ еще былъ мало развитъ, что плохо понималъ родственную связь. Онъ только зналъ отца, мать и тетку; нервныхъ онъ боялся, потому что они его и били, и корнили, вторая его ласкала и давала гостинцевъ къ праздникамъ, сестру же колотили такъ же, какъ и его, а мать даже обращалась съ ней строже, чѣмъ съ сыновьями. Поэтому онъ обращался съ ней безцеремонно, какъ будто считая ее ниже себя.

— Олѣнка! дай нѣ.

— Подожди, отецъ будетъ.

— Што мнѣ отецъ, я самъ молодецъ. Дай.

— Тебѣ говорятъ, подожди: хлѣба-то и такъ мало.

— Молока дай.

Не дождавшись отвѣта, Ганька сходитъ въ чуланъ и принесть оттуда ковригу хлѣба. Сестра только поглядѣла и ничего не сказала. Сталъ приставать къ ней Ганька, чтобы она принесла молока, но она долго не несла, а потомъ, сжалившись, принесла кринку съ молокомъ. Два брата живо опростали кринку. Елена знала, что на просторѣ они смѣйе найдутся, и тоже сама выпила молока.

— Олѣна, давай въ карты!—сказалъ Ганька.

— Въ карты, Олѣнка!

— Отстаньте, мнѣ отцу халатъ чиню.

— После починишь. Ишь какая... Давай,—приставалъ Ганька.

И ребята, не дождавшись картъ, ушли изъ избы.

Елена осталась одна и стала думать на просторѣ о всемъ, что съ ней происходило за эти сутки. Совѣтъ отца приводилъ ее къ тому заключенію, что Илья Назарычъ дѣйствительно можетъ бросить ее на томъ основаніи, что онъ еще недавно съ ней познакомился, да и между ними ничего не было особеннаго. Что тутъ особеннаго, что онъ приходилъ къ ней безъ отца? Вѣдь къ ей подругѣ ходятъ же молодые парни; вѣдь и къ матери ей и къ ней, когда кромѣ нея никого нѣтъ дома, тоже приходятъ мужчины за чѣмъ-нибудь. Ну, и Илья Назарычъ приходилъ за дѣломъ... Но она не могла покривить совѣстью передъ отцомъ, а высказала ему, какъ утѣла, все, что она чувствовала. Зачѣмъ же это онъ сердится и что онъ тутъ находитъ дурного? Онъ говоритъ, что его отецъ мошенникъ. Ну, а ей-то какое до этого дѣло, вѣдь ей нравится не отецъ, а сынъ. Плохо она поняла смыслъ словъ отца, они ей казались какими-то обидчивыми, зложелательными. Но вдругъ ей пришло въ голову: „а вѣдь я его мало знаю.

Онъ, говоритъ, видѣлъ меня два раза до вечерки, а я не видала. Я на вечеркѣ познакомилась съ нимъ... Да мало ли я тамъ видѣла парней и въ сертукахъ, и въ халатахъ, и въ рубахахъ; потомъ онъ въ саду далъ мнѣ орѣшковъ...“ и ей стыдно сдѣлалось: ей даже котъ сѣрко показался какимъ-то сердитымъ, хотя онъ и глядѣлъ умильно на ползущаго по косяку таракана, котораго ему было лѣнь поймать.. Еще стыднѣе и совѣстнѣе ей сдѣлалось, когда ей показалось, что ей не нужно бы было сидѣть у окна и вчера приглашать его къ себѣ. „Экая я дура въ самомъ-то дѣлѣ!, думала она. Вѣдь онъ мнѣ совсѣмъ чужой, да онъ и не нашъ“. Елена Гавриловна не очень любила запрудскихъ жителей на томъ основаніи, что она привыкла къ простотѣ, а тамъ у разныхъ должностныхъ людей она видѣла все новые порядки, которые и осмѣивала вѣстѣ со старослободскими дѣвками. „Ну, какъ же это я не сообразила, што онъ чужой, да и не нашъ, и какъ это онъ смѣлъ сюда зайти“.

Но чѣмъ дольше она думала, тѣмъ становилось ей грустнѣе, мысли стали склоняться въ пользу Ильи Назарыча, ей стало жалко, что онъ не знаетъ теперь, что съ ней дѣлается, хотѣлось увидать его, разспросить, хорошій ли онъ человѣкъ. „Какъ увижу его, непременно спрошу: пьете вы водку? Коли не пьете, пойду за него замужъ, не буянить—пойду; будетъ все такой ласковый—пойду. Нѣтъ, я у людей про него разспрошу: можетъ онъ это и вправду вретъ“. И она рѣшилась какъ-нибудь исполнить свое намѣреніе. А жить въ родительскомъ дому ей ужасно опротивѣло: одной скучно; хотя за работой она и поетъ пѣсни для того, чтобы ей не думалось, и тутъ все-таки лѣзутъ мысли и не весело; придетъ мать: это не ладно, то не такъ, и пошла ворчать, при отцѣ немного получше, но за то тошно смотрѣть и слушать, какъ родители грызутся между собой и ровно не ссорятся они, да все у нихъ брань. Придутъ ребята, крикъ, а отъ этого Коляки и покою нѣтъ и ничѣмъ его не уговоришь... „И вездѣ-то Господи такая идетъ живнь. Развѣ вотъ съ Илиньюкой будетъ покой. Говорятъ же дѣвушки, что только и радостей у насъ, что замужъ выходить“.

Часу въ шестомъ Елена уже совсѣмъ управилась: она подохла корову, загнала ее и овецъ, куда слѣдуетъ, управилась съ курицами, спустила изъ сарая сѣна, задала корму животнымъ, приладилла, что нужно, въ погребѣ, хотѣла было сходить въ баню за коноплеткой, но побоялась, посмотрѣла квашню, вымыла, что нужно, поставила въ печь свеклу и принесла ужинъ для семьи: положила на столъ завернутую въ изгребную скатерть ржаную козь-ковригу, ножикъ, вилки (вилки Гаврила Иванычъ получилъ за желѣзо изъ кузницы, ихъ у него было всего только двѣ), деревянныя ложки. Въ сѣняхъ стояла кринка утренняго молока. Набѣгавшись до усталости, хлопотавшись вдоволь, Елена Гавриловна не жаловалась однако, что она устала и измучилась. Она только, сѣвши за починку отцовскаго халата, снова сказала: „охъ, завтра рано вставать-то надо. Какъ бы отецъ-то да пришелъ скоренько. Чего онъ тамъ...“.



## ГЛАВА IX.

## Артамоновъ.

Въ нѣбу вошелъ полицейскій служитель Артамоновъ. Этотъ человекъ считался за мастерового, но служилъ при полиціи и замѣнялъ въ заводѣ своею особою и казака, и квартальнаго надзирателя, потому что надзирателей не было въ полиціи собственно для завода, а онъ былъ что-то въ родѣ полицеймейстера. Артамонова всѣ называли полицейскимъ и боялись его, какъ язвы, потому что онъ изъ своихъ интересовъ обиралъ рабочихъ, былъ хорошей мошенникъ и смѣшникъ, надувалъ начальство и въ тоже время угождалъ ему. Такъ какъ онъ наживалъ въ сутки рубля по три, то и жилъ довольно хорошо, имѣя полукаменный домъ, пару лошадей и три туго набитые сундука съ разными вещами, принадлежащими его семейству.

Онъ еще вчера приходилъ къ Еленѣ, спрашивалъ, дома ли ея отецъ, и потрепалъ ее по щекамъ, но она обозвала его варнакомъ.

— Здорово, Елена Гавриловна! — сказалъ онъ, войдя въ нѣбу.

— Здравствуй.

Елена его ненавидѣла во-первыхъ, потому, что онъ былъ скверный человекъ, во-вторыхъ его фizioномія была отталкивающая. Хорошо она помнила, какъ въ прошломъ году отецъ по его милости просидѣлъ въ полиціи за то, что не далъ ему рубля денегъ. А случилось это очень просто: отецъ везъ домой пару бревенъ, да попался навстрѣчу Артамонову, тотъ и приказалъ ему ѣхать въ полицію, потому-де что Токменцовъ безъ дозволенія дѣсь рубить.

— Гдѣ Токменцовъ? — спросилъ онъ грубо.

— Нѣту-ка.

— Тебя толкомъ спрашиваютъ: пріѣхалъ онъ или нѣтъ?

— Ты не кричи, я вѣдь не отецъ — не боюсь тебя.

— Што ты!

Елена промолчала.

— Да знаешь ли, што я могу съ тобой сдѣлать?

Елена подумала: „связись съ дуракомъ, и сама не рада будешь“. Артамоновъ подскѣлъ къ ней.

— Елена Гавриловна, ты чего на меня-то сердилась, дура ты эдакая? — и онъ ущипнулъ ее за ухо.

— Отвяжись, подлецъ! — и она перешла на другое мѣсто.

— Такъ я подлецъ?

— Подлецъ какъ есть! только подойди — тресну полѣномъ.

— Экая храбрая ты сдѣлалась! Давно ли такая податливая была!

— Ты, коли за дѣломъ пришелъ, говори дѣло, а не приманивай (т. е. не говори вздоръ).

— Я къ тебѣ по дѣлу пришелъ; хошь, отецъ твой будетъ казакомъ?

— Вотъ ужъ!

— Право: Емельяновъ захворалъ, вотъ и мѣсто, стоятъ только колеса подмазать.

— Спроси его, чего ко мнѣ-то суеться съ поганымъ рыломъ?

— Ты слушай: это все отъ тебя зависитъ.

— Ой-оченьки, какое слово сказалъ! какъ это такъ?

— А такъ.

И онъ подошелъ къ ней и вмигъ обнялъ ее, Елена хотѣла оттолкнуть его, но не могла совладать съ дюжиннымъ мужчиной. Артамоновъ ее цѣловалъ. Елена кое-какъ вырвалась, но онъ опять схватилъ ее...

Когда она пришла въ чувство, то Артамонова въ избѣ уже не было. Она ничего не понимала, что съ ней дѣлалось...

— Варнакъ! подлецъ! душегубъ! — кричала она. Обѣла она на лавку и давай плакать. Но слезами горю не поможешь.

— Господи! — вскрикнула она и стала на колѣни, сильно рыдая. — Господи! — и сколько горя случилось въ ея словахъ. — Зачѣмъ ты попускаешь такія напасти? Пропавшая я теперь. Порази ты его, Царица небесная! Порази ты его, Илья пророкъ, громомъ и молніею... — Больше она ничего не могла придумать. Въ такомъ положеніи ее застала сосѣдка Федосья Андреевна, пожилая женщина.

— Чтой-то съ тобой, дѣвонька?

## ГЛАВА X.

## Положеніе Елены.

... Въ старой слободѣ заговорили.

И заговорили объ этомъ предметѣ различно, какъ кто смыслилъ.

Первой вѣстовницей была Федосья Андреевна Печенкина, сосѣдка Токменцовыхъ, жодруга Онисѣя Кирилловича, по заводски *нимая бочка*, потому что она варила и продавала старозаводчанамъ пиво и слыла за бойкую и умную бабу, выручавшую одного человека изъ бѣды, такъ какъ она была подруга писмоводительской кухаркѣ.

Отъ нея пошли суды и пересуды въ каждомъ домѣ старой слободы. Женщины говорили: „экое наказание! Экая Олѣшка несчастная“, и въ то же время прибавляли: „самъ плохъ, такъ не подаетъ Богъ“. Дѣвцы охали и боялись пройти мимо Токменцова дома, точно въ немъ черти сидятъ. Одни изъ словъ женскій полъ былъ противъ Елены: Елену стали перебирать и нашли въ ней много худого, не смотря на то, что до сихъ поръ Елену любили всѣ, какъ хорошую знакомую. Однѣ говорили, что Елена „гульная дѣвка: Елена и раньше, въ отсутствіе матери и отца, приглашала мужчинъ съ запрудской стороны, чему ее научила Печенкина, жившая съ однимъ рабочимъ-старослободчаниномъ, и въ настоящемъ случаѣ прикинувшаяся святошей... Другія говорили, что Елена давно познакомилась съ Плотниковымъ и Артамоновымъ. Словомъ Елену считали за самую скверную дѣвку и въ самомъ домѣ Токменцова видѣли какую-то язву. Мужчины, слушая бабъ, разсуждали иначе, потому что подобныя дѣла имъ были не въ диковину... Мужчины, какъ мужчины, относились къ этому такъ себѣ, и на разсужденіе бабъ говорили: „стоятъ объ чемъ толковать!..“

— Да вѣдь послѣ этого ни одинъ парень не возьметъ ее замужъ!—возражали мужьямъ жены.

— Все-таки не стоить говорить.

Мужчины объ этомъ происшествіи не любили разговаривать еще потому, что они и сами не были цѣломудренны, когда работали въ лѣсахъ и въ рудникахъ подолгу, но, надо отдать имъ честь, они говорили:

— Этому Артамонову нужно хорошую баню задать, потому зачѣмъ онъ такое дѣло сдѣлалъ, зачѣмъ Токменцова обидѣлъ. Разѣ можно съ нами обращаться, какъ съ собаками?

Такъ прошелъ вечеръ, и молва объ Еленѣ начала проходить утромъ въ запрудскую сторону, но до Ильи Назарыча не дошла, потому что у него на старой слободѣ жила глухая тетка Коронаткина, а писцы главной конторы объ этомъ происшествіи еще не знали.

Гаврила Ивановичъ, возвращаясь домой, услышалъ эту новость отъ одной женщины—и ему этого было достаточно, чтобы придратися къ дочери. Но такое дѣло было сверхъ его предположеній, потому что онъ свято уважалъ законный бракъ, и какъ бы онъ ни былъ золъ на жену, онъ никогда бы не рѣшился завести шашни. Женщина ему сказала: „какое съ твоей—то Олѣнкой несчастье стряслось...“. А Гаврила Ивановичъ думалъ: „коли Плотниковъ ее цаловалъ, такъ ужъ што...“. И на другой день онъ выстегалъ Елену въ банѣ, не смотря ни на какіе резоны дочери и просьбы Ѳедосьи Андреевны Печенкиной.

Ѳедосья Андреевна была добрая женщина. Она стала спрашивать женщину, что дѣлать Еленѣ въ подобномъ случаѣ. Тѣ ничего не посоветовали ей хорошаго; мужчины говорили: „надо подать прошеніе исправнику, только вотъ Елену съ Плотниковымъ выдали. А можетъ быть Плотниковъ и выхлопочетъ то, что Артамонова въ острогъ посадятъ, потому что его сестра замужемъ за исправническимъ писмоводителемъ“.

Первымъ долгомъ Печенкина отправилась къ кухаркѣ писмоводителя, которой она принесла буракъ пива, но писмоводителя дома не было: онъ виѣхъ съ исправникомъ уѣхалъ въ слѣдствіе. Кухаркѣ Печенкина не сказала, зачѣмъ ей нужно писмоводителя. На другой день послѣ этого она рѣшилась идти съ Еленой къ управляющему—искать защиты, но удачи и тутъ не было.

Защиты искать было не отъ кого Еленѣ. Положеніе ея было очень скверное: въ старой слободѣ всѣ про нее говорили. Выйдетъ она изъ дома—и стыдно ей на дома глядѣть, а если она взглянетъ, то въ окна увидитъ непремѣнно кого-нибудь: мальчишкѣ или дѣвушка ползаетъ на окна—ей кажется, что это большой, глядитъ-ли въ окно дѣвушка—ей кажется, что она глядитъ для того, чтобы поглядѣть на нее, на Елену...

Прошелъ день послѣ отъѣзда отца. Дома страшно. И думаетъ Елена Гавриловна отчего ей страшно. „Вѣдь вотъ я не придетъ Илья. Я бы посоветовалась съ нимъ. Я бы ему много сказала...“. А что бы она сказала, она и въ толкъ не возьметъ. И хочется

ей, чтобы пришелъ Илья Назарычъ, и опять думаетъ ея: „грѣшно“.

„Подлый этотъ народъ запрудскіе!“, думаетъ Елена, но Илья Назарычъ ей милѣ всѣхъ.

„Убѣгу я отсюда... Здѣсь нельзя мнѣ жить; всѣ меня ѣдятъ“. Но опять ей думается: „нѣтъ ужъ! Такіе случаи не бывали въ заводѣ“, и она называла себя душой за то, что ей пришла въ голову такая мысль. Но эта мысль съ каждымъ часомъ мучила ее.

Днемъ еще не такъ она мучилась: она работала; вечеромъ она была свободна, а въ это время сосѣди сидѣли на улицѣ и, наслаждаясь чистымъ воздухомъ, толковали о разныхъ разностяхъ. Еленѣ хочется выйти на улицу; Елену зовутъ на улицу дѣвушки, а какъ она выйдетъ, когда про нее говорятъ всякую всячину?

Слушаетъ, слушаетъ ихъ Елена, да услышнить свое имя и скажетъ: „а виновата ли я-то?.. Самы вы какъ живете?..“.

## ГЛАВА XI.

Елена ходитъ по грибы и по малину.

На четвертый день послѣ отъѣзда Гаврилы Ивановича на рудникъ пришла къ Еленѣ тетка ея Степанида Ивановна Шарабошина.

— Ну что, Елена, говорила тебѣ Матрена Егоровна о чѣмъ-нибудь?

— Она, тетушка, говорила, не поѣдешь ли ты на покосъ?

— Какъ не ѣхать, завтра чѣмъ свѣтъ ѣхать надо. Ну, а еще-то ничего не говорила?

— Нѣтъ, ничего.

— Ой, врешь?

— Ей-Богу, тетушка, ничего.

— А я тебѣ скажу, што она хочетъ Макара женить.

— Такъ мнѣ-то што?

— А она больно на тебя зарится, да и Макаръ-то тоже.

— Вотъ ужъ пьяница!

— Кто нынче не пьетъ, Елена! На што мы, бабы, и то пьемъ. А Макаръ—парень работающій. Смотри, онъ всю семью кормитъ.

— Такъ ты не сосватала ли меня?

— А хоть бы и такъ. Ужъ я и брату говорила,—согласье далъ.

— Ой, тетушка! я ни за што не пойду за Макара замужъ.

— Это отчего такъ? Али ты захотѣла потаскушей сдѣлаться,—а?

Елена заплакала.

— Смотри, дѣвка, не серди меня! Ты знай, что кромѣ меня никто тебѣ добра не пожелаетъ.

— Вотъ ужъ пожелала: за экова пьяницу сватаетъ.

— Давно ли ты такая разборчивая сдѣлалась? Да ты то разсуди, безрогая ты скотина, што за тебя послѣ экова грѣха никто не станетъ свататься. Право слово... Ну, кто тебя возьметъ?

— И не надо.

— Мало тебя отецъ-то полмысалъ.

— И ты на меня! Хоть бы ты-то меня не грызла... Поди-ко легко мнѣ, экое счастье!

Степанида Ивановна поворачала немного и послала Елену на рынокъ за солодомъ.

Идти на рынокъ приходилось мимо главной конторы. Только что она поравнялась съ конторой, какъ изъ нея и выходитъ Илья Назарычъ. Сердце дрогнуло у Елены. Она пошла скорѣе, смотря въ другую сторону.

— Елена Гавриловна! — окликнулъ ее Илья Назарычъ.

Елена идетъ своимъ чередомъ не оглядываясь.

— Елена Гавриловна!

— Чего вамъ? — оглянувшись сказала Елена и стала.

Плотниковъ подошелъ къ ней, поклонился и подалъ ей руку. Она молча спрятала свою руку.

— Что съ вами сдѣлалось? — И онъ взялъ ее правую руку, сжалъ крѣпко.

— Ничего... Пустите!

— Позвольте, я васъ провожу!

— Ой! што вы!

— А батька дома?

— Уѣхалъ на рудникъ и она вздохнувши, задумалась.

— Вотъ што: пойдемте завтра по грибы.

— Съ вами-то? — Она пошла, рядомъ съ ней шелъ и Плотниковъ.

— Что же такое? Я не съѣмъ: вамъ веселѣе будетъ; поговоримъ...

— Ой, какъ можно!

— Да вѣдь ходятъ же по грибы съ чужими людьми. Мы не заблудимся; я всѣ мѣста знаю.

— Нельзя, Илья Назарычъ: тетка на покосъ зоветъ.

— На покосъ успѣете: завтра суббота, завтра сходимъ, потомъ въ воскресенье сходимъ.

— Не знаю.

Елена задумалась. Ей хотѣлось сказать Ильѣ Назарычу, что ее хотятъ выдать замужъ за Чуркина, да она побоялась сказать.

— Такъ придете?

— Ой, не говорите!

Шли молча до рынка. Тамъ Елена купила солоду, а Плотниковъ поджидалъ ее у рыночныхъ вѣсовъ.

— До свиданья, Елена Гавриловна! — сказалъ Плотниковъ, когда Елена пошла домой.

— Прощайте!

— Такъ придете завтра?

— Куда опять?

— Да къ мостику.

— Да какъ я приду-то? тетка прогонитъ на покосъ.

— Ну, а-таки буду дожидаться до девяти часовъ.

— А почему я эти часы-то знаю!

Елена Гавриловна шла уже по плотинѣ. И обидно ей сдѣлалось, что она ничего хорошаго не поговорила съ Ильѣй Назарычемъ, не посоветовалась съ нимъ. Что и говорить она не умѣетъ, а онъ вишь ты, какъ говорить, какъ по писанному. Она по грибы очень любила ходить, только въ нынѣш-

нее лѣто очень немногіе ходили по грибы, потому во-первыхъ, что грибовъ еще мало, а во-вторыхъ, погода стояла ненастная. Теперь погода стояла хорошая, такъ опять чортъ сунулъ тетку на покосъ ѣхать! Все-таки любовь брала свое: ей сильно хотѣлось идти по грибы съ нимъ, а не съ кѣмъ-нибудь другимъ, и ему высказать все, что съ ней сдѣлалось, спросить у него совѣта... „Господи, помоги ты мнѣ!.. Матушка, тетушка, отпусти ты меня по грибы завтра, а на покосъ я въ воскресенье поѣду съ тобой... Матушка, тетушка, какъ я изъ дома уйду? пусть Ганька ужъ ѣдетъ, а то отецъ пришлетъ за хлѣбомъ, а насъ и нѣту-ка дома-то“. Такъ думая, она пришла домой, а оттуда пошла къ Степанидѣ Ивановнѣ.

— Смотри, Елена, завтра раньше вставай. Къ обѣду надо на покосъ быть.

— Тетушка!

— Чего еще?

Елена замялась.

— Возьми ты Ганьку, а то неравно отецъ съ рудника за хлѣбомъ пошлетъ.

— Не дури. Поди, спи.

Елена ушла и думала: какую бы ей такую штуку сдѣлать, чтобы завтра не ѣхать на покосъ. Но ничего не выдумала и засыпая она думала: „вотъ какая я влосчастливая! Ни въ чемъ-то мнѣ нѣтъ счастья... Охъ, ужъ эти родные!..“. Однако утромъ она стала выдумывать. „Вотъ я возьму корову запру въ огорождъ, да и скажу — потерялась корова. Но вѣдь корова пожалуй всю капусту съѣстъ; выгнать ее въ поле — придется гнать мимо теткинаго дому“. Вдругъ ей пришла мысль загнать ее въ погребъ. „А если тетка вздумаетъ зачѣмъ-нибудь идти въ погребъ? Скажу — ключъ потеряла“. И такъ, подожавши корову и взявши оттуда литовку, двѣ кринки молока, двѣ коврижки хлѣба, закрывши яму крышкой, убравши хрупкія вещи, она загнала туда корову и заперла погребъ. Только что она успѣла это сдѣлать, какъ къ воротамъ подѣхала телѣга, запряженная въ сѣрую лошадь. Въ телѣгѣ сидѣла Степанида Ивановна съ сыномъ Андреемъ. Въ это время корова замычала въ погребъ.

„Ахъ ты, проклятушная!“, подумала Елена и выбѣжала на улицу. Въ телѣгѣ лежали двѣ литовки, въ которыя были вдернуты по двухаршинному черенку (палка).

— Тетушка, корова потерялась.

— Што ты врешь?

— Ея-Богу. Искать побѣжала. Вчера, какъ отъ тебя пришла, подошла, заперла въ стайкѣ, а сегодня нѣту-ка, и ворота что есть растворены.

— Оказія! Да ты искала-ли?

— Вездѣ высмотрѣла: и въ огорождъ, и у сосѣдей. На поле хочу сбѣгать.

— Ну, чего ино ждать-то! — крикнулъ Андрей матери.

— Молчи! Подожди ино, я парней разбужу.

И Степанида Ивановна слѣзла съ телѣги, пошла во дворъ, поглядѣла кругомъ, заглянула въ огорождъ — коровы нѣтъ, и пошла въ избу будить ребятъ.

— Я, тетушка, совсѣмъ собралась, и литовку съ

вечера приготовила. Думаю, стряпать нечего, подою корову, соберусь и готова. Эдакая напасть! Надо бы скорѣе искать корову-то.

Николай и Гаврило кое-какъ расклепались, несмотря одѣлись кое-какъ и почти полуночные бѣли въ тѣлѣгу. Когда Елена провожала тетку, корова опять замычала.

— Штой-то ровноваша коровенка то?—замѣтила Степанида Ивановна и стала вслушиваться, но корова перестала мычать и скоро Степанида Ивановна сѣла въ тѣлѣгу. Тронулись.

— Такъ ты смотри, Елена, завтра приходи непременно.

— Ладно, тетушка.

„Слава тѣ, Господи! Экая я счастливая“, думала Елена, какъ только поѣхала Степанида Ивановна съ Андреемъ, Гавриломъ и Николаемъ. Былъ еще шестой часъ утра.

Елена очень трусила того, чтобы тетка ее по какому-нибудь случаю не воротилась назадъ, и поэтому медлила выпускать корову изъ засады. Ей не было дѣла до того, что коровѣ холодно въ погребѣ, она только объ томъ думала, какъ-бы ей скорѣй уйти къ мостику, а какъ только она уйдетъ туда, такъ тогда ее хоть цѣлый день ищи, если только не догадаются, куда она ушла. О томъ, что тетка можетъ раздумать ѣхать на повось и отъ Чуркиной воротится назадъ, она теперь не думала. Разъ четыре она выходила за ворота и смотрѣла, не ѣдетъ ли тетка домой, въ пятый разъ сходила въ переулочъ, посмотрѣла на плотину и удостовѣрившись, что тетка уѣхала, она выпустила мычащую корову изъ погреба, загнала ее въ стойку и дала ей двѣ порціи корму. Потомъ, мучимая страхомъ, что тетка воротится, она наѣла на босые ноги ботинки, на голову платокъ и выскочила на улицу. Но она забыла набируху и воротилась назадъ. Положила она въ набируху ножикъ, два ломтя ржаного хлѣба, на которые посыпала она соли; заперла сѣни на замокъ и пошла крадучись, боясь, чтобы ее не встрѣтили сосѣдки. Но избѣжать встрѣчи было трудно: ей попадались мужчины, шедшіе домой изъ фабрикъ; они ничего не говорили съ ней. Попалась ей старуха, погоняющая свою корову, и спросила ее:

— Куда, дѣвоха, покатила?

— Корову пошла искать.

— А набируха-то пошто у те?

— А можетъ грибъ найду.

Вотъ прошла она плотину, завернула къ фабрикамъ. Шла она бойко, сначала все оглядывалась, потомъ выдохнула свободѣе и пошла тише, зная, что до мостика всего полверсты осталось. Понадались ей рабочіе, конные и пѣшие, возвращавшіеся домой изъ Петровскаго рудника. Одинъ изъ нихъ былъ знакомый Еленѣ.

— Куда ты?

— Но грузди.

— Гожѣ.

— Отца видѣлъ?

— Нѣтъ не видалъ. Елена трусила, но все-таки шла краемъ лѣса.

Вотъ она и у мостика, перекинутого черезъ логъ, гдѣ течетъ изъ лѣсу ручеекъ. Тутъ она сѣла. Сердце билось какъ-то пріятно: вотъ онъ придетъ... Ахъ какъ долго? Не ушелъ ли онъ?.. Долго еще просидѣла Елена, скучно и страшно ей сдѣлалось. „И зачѣмъ это я, дура набитая, пошла?.. Если тетка воротится, да корову увидитъ, да меня не застанетъ?..“. Но она не шла назадъ, а ждала Плотникова. Вотъ и онъ идетъ въ коричневомъ халатѣ, полы котораго заткнуты за ремень, которымъ онъ опоясался, въ холщевыхъ штанахъ, желтой ситцевой рубашкѣ, въ сапогахъ, съ папирской во рту. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ набируху.

„Спрячусь я!“, вздумала вдругъ Елена и спряталась въ кусты; слышно ей сдѣлалось.

Плотниковъ сѣлъ на мостикъ.

— А-у!—услышалъ Плотниковъ тоненькій голосокъ, похожій на кошачій визгъ. Онъ вздрогнулъ, поглядѣлъ кругомъ и сталъ смотрѣть на дорогу по направленію къ заводу. Еленѣ обидно даже стало, что Плотниковъ не ищетъ ее.

— Илья Назарычъ!—вскричала она своимъ голосомъ. Сердце забилось сильнѣе, она улыбалась.

Плотниковъ всталъ, посмотрѣлъ въ ту сторону, откуда послышалось восклицаніе и увидалъ сарафанъ.

— Елена! это ты?

Елена вышла и захохотала.

— Обманула, обманула! Ловите!!—и она убѣжала въ лѣсъ.

Плотниковъ тоже пошелъ въ лѣсъ. Слышно было, какъ хрустѣли сухія вѣтки, валежники. Плотниковъ крикнулъ:

— Елена-уу!

— А-уу!!

— Иди сюда-у!

— А-уу!!—Эти восклицанія далекораскатывались по лѣсу и гудѣли гдѣ-то далеко.

Плотниковъ шелъ на откликъ Елены, которая была уже далеко черезъ логъ.

„Что за глупая дѣвчонка!“, думалъ онъ. Ну, зачѣмъ она прячется?—и старался догнать ее.

Илья Назарычъ за это время много передумалъ о своей любви и о своемъ желаніи жениться на Еленѣ; онъ хорошо понималъ, что Елена его любитъ, а это онъ заключалъ изъ обращенія ее съ нимъ въ ея избѣ. Когда онъ проснулся на другой день послѣ сцены въ слободѣ и на плотинѣ, ему вдругъ пришла въ голову мысль, что онъ уже слишкомъ далеко зашелъ съ своими похождениями. Онъ очень много видалъ женщинъ и дѣвицъ въ заводѣ и въ городѣ, сравнивалъ тѣхъ и другихъ и невольно задавалъ себѣ вопросы: отчего красивыя запрудскія дѣвицы не нравятся ему? Вѣдь есть и красивѣе Елены; но его отъ нихъ какъ будто тошнило. Вѣдь есть и красивыя и притомъ отцы ихъ богатые, стоятъ только разъ завлечь ихъ—женить, но ему не нравилось, что въ нихъ такой простоты не было, какъ у Елены. Перебралъ онъ всѣ свои мысли, всѣ воспоминанія, всѣ слова, говоренныя съ нею, и приметъ

къ тону заключенію, что Елена ему лучше нравится, чѣмъ другія дѣвцы, но онъ что-то находилъ отталкивающее въ ея натурѣ, какой-то тяжелый туманъ ложился въ это время на его мысли; онъ старался гнать прочь этотъ туманъ, и только думалъ: „она дѣвушка славная, я одну ее люблю“, и при этомъ онъ потягивался, кровь билась сильнѣе, въ головѣ чувствовался жаръ...

Когда онъ увидалъ въ лѣсу Елену, на него напала робость. Онъ бѣжалъ за ней, ему хотѣлось обнять и поцеловать ее цѣлый часъ, цѣлый день; утромъ онъ думалъ, что ему легче достанется Елена, онъ смѣлѣе приступилъ къ ней, а теперь его пробирала дрожь, онъ сдѣлался не то скучный, не то злой.

Что чувствовала Елена? Она обрадовалась, что Илья Назарычъ пришелъ, но ей вдругъ стыдно сдѣлалось, что она одна въ лѣсу съ мужичкой, и она убѣжала въ лѣсъ, а поди, ищи ее въ лѣсу, гдѣ ей чуть-ли не каждый день знакомъ. Сперва она чувствовала, что она Богъ знаетъ въ какомъ благодатномъ мѣстѣ находится, дышалось свободнѣе, вѣтъ хотѣлось, плясать хотѣлось, каждое дерево шло стило своими мохнатыми вѣтвями какъ-то любезно, пахло хорошо, муравьи ее забавляли; но потомъ ей вдругъ сдѣлалось грустно. „Зачѣмъ я убѣжала отъ него?... Вѣтъ, вѣтъ... Пусть побѣгаетъ, порыщетъ... Онъ въ халатъ, пусть издеретъ его... Вотъ, смѣкота-то будетъ“... Потомъ ей хотѣлось высказаться ему, но что она ему скажетъ?

Съ часа уже прошло такъ. Они все удалялись дальше въ лѣсъ, Илья Назарычъ все былъ позади. Наконецъ она вышла на полянку, вокругъ которой росъ высокій сосновый и осиновый лѣсъ, солнце привѣтливо смотрѣло въ это благодатное мѣсто, грѣло. Сѣла Елена около лѣсу, спинкой къ солнцу, положила на землю около себя набируху, въ которой было уже много грибовъ. Вздохнула она тяжело, задумалась, глядя въ уголъ—въ лѣсъ, стала считать деревья, задумавъ что-то въ груди и вдругъ покатились изъ глазъ слезы; пошла и мошля... хочетъ Елена унять слезы, а онѣ пуще и пуще идутъ. „Господи!, шепчетъ она и смотреть на небо. „Го-о-споди!... Какая я несчастная. Пожалѣй ты меня, пожалѣй тятеньку и маменьку“... Наконецъ она вздрогнула, утерла ладонью мокрое лицо, стало легче... Вдругъ она обернулась назадъ—стоитъ Плотниковъ и смотритъ на нее. Вскрикнула Елена отъ испуга, вскочила, схватила набируху и убѣжала въ лѣсъ.

— Елена!

Елена молчитъ.

— Елена-у!

— Ну-у! „Господи, какая я дура... При немъ-то разнюнилась!... Чтой-то это со мной?... Дуракъ! Подмѣчать, ишь ты.“...

Она ушла очень далеко отъ Плотникова, стало ей весело и она зашла сначала едва слышно, потомъ громче и громче заводскую пѣсню:

Калинушка да съ мали-	Споила, вскормила,
нушкой	Замужъ отдала.
Раннимъ рано развѣла.	Я на свою маменьку
На ту пору времечко	Ой да осердилася;
Мать дочь родила (два	Я ко своей маменькѣ
раза);	Три года не приду;

На четвертый годочикъ  
пташечкой прилечу  
(два раза).

Саду во зеленъ садъ,  
Тоскою вручною  
Весь садъ осушу,  
Слезамъ горючими  
Рѣчку пропущу.

Матушка по сѣнчкамъ  
похаживаетъ,  
Невѣстухенъ лапушекъ  
побуживаетъ:  
Станьте вы, невѣстухи,  
Лапушки мои!

Што у насъ за пташечка.

Эту пѣсню она пѣла съ такимъ чувствомъ, что ничего не замѣчала кругомъ, а шла тихо, безсознательно, куда глаза глядятъ, кружась въ лѣсу.

Илья Назарычъ бѣсился. Онъ не дожидаясь, отчего Елена плачетъ и, какъ онъ укачалъ ее, она убѣжала въ лѣсъ, а теперь поетъ. „Ужъ догоню же я ее“.

— Елена—у!—крикнулъ онъ громко.

— Илька—у!.. ау-у!—откликнулась Елена.

Илья Назарычъ нагналъ Елену. Она сидѣла около тропинки и ѣла хлѣбъ. Набируха ея была полна съ верхомъ, а у Ильи Назарыча и половины не было грибовъ.

— Ой-ой! какъ выхалать-то отполисали!—и Елена захохотала. Халатъ Ильи Назарыча дѣйствительно былъ продранъ во многихъ мѣстахъ. Илья Назарычъ поставилъ набируху на землю, рядомъ съ набирухой Елены.

— О-о! сколько грибовъ-то! Какой вы ротозѣй. По веробьямъ у васъ глаза-то смотрѣли ители?

— Такъ что-то. Счастья нѣтъ...—и онъ сѣлъ рядомъ съ ней.

— Хлѣба хотите?

— У меня свой.—И Илья Назарычъ сталъ ѣсть свой кусокъ ржаного хлѣба. Сидѣли молча минуты двѣ.

— А я какую славную кучу нашла груздей... Вотъ этихъ самихъ. Восемь никакъ срѣзала.

— Я рыжиновъ много нашла.

— Ну, ужъ!.. А у меня какіе славные рыжики. Глядите,—и она сняла четыре большихъ бѣлыхъ гриба, въ набирухѣ лежалъ пластъ очень мелкихъ рыжиновъ.

— Ты зачѣмъ давече плакала?—спросилъ Елену, немного погодя, Плотниковъ.

— Когда?

— На полянкѣ.

— Уйди! Когда я плакала! я такъ. Много будешь знать, скоро состаришься...

Вдругъ Илья Назарычъ обнялъ Елену и поцѣловалъ. Елена вырвалась, вскочила и закричала:

— Ну, чтой-то въ самомъ дѣлѣ за страня!—и она, схвативъ палку, прибавила чуть не плача:

— Подойди только, лѣшаекъ экой, какъ я те учну хлестать! Развѣ можно такъ-ту?

— Ты любишь меня?

— Вотъ ужъ! стоить эвона фаризона любить,—и она улыбнулась.

Елена встала, взяла набируху и пошла.

— Посидишь.

— Домой надо.

— Да ведь дома никого нѣтъ.

— Чего я шары-то стану продавать, — и она пошла весело и запѣла: „всѣ-то ноченьки“.

— Елена! Я тѣ подарокъ принесъ.

Елена остановилась, улыбнулась и сказала:

— Врешь! Ну, давай.

— А поцѣлуешь?

— Ой, нѣтъ. — И она отвернула лицо.

— Возьми.

Елена подошла къ Ильѣ Назарычу, онъ далъ ей горсть красивыхъ пряниковъ и четыре конфетки.

— Покорно благодарю, — сказала стыдливо Елена.

Пошли. Елена шла впереди, а Плотниковъ позади ея.

Илья Назарычъ шелъ злой. Ему вдругъ досадно сдѣлалось, что Елена не поцѣловала его за подарокъ, какъ будто играетъ нѣтъ. Но ему все еще хотѣлось достичь своей цѣли, иначе что же ему за польза была идти по грибы сегодня, тогда какъ сегодня у него была работа въ конторѣ.

— Што же вы назади-то идете, какъ ницѣй? — сказала вдругъ Елена, обернувшись къ Ильѣ Назарычу.

— И здѣсь ладно.

— Ладно!.. Я не люблю, если кто за мной притѣяетъ.

— Я тоже не люблю, — сказалъ ядовито Илья Назарычъ. Елена остановилась. Илья Назарычъ пошелъ и не глядѣлъ на нее. Когда онъ поровнялся съ ней, она ударила его по плечу рукой и съ хохотомъ убѣжала въ лѣсъ. Илья Назарычъ немного повеселѣлъ и пошелъ было за ней въ лѣсъ.

— Догони! Ну-ко? Кто скорѣе бѣгаетъ? — кричала Елена, заливаясь хохотомъ въ лѣсу.

Илья Назарычъ побѣждалъ за ней, долго онъ бѣжалъ и, наконецъ нагнавши, схватилъ ее за платье.

— Вотъ ужъ теперь не отпущу.

— Отстань!.. Илья!.. — кричала Елена, но не такъ громко. Лицо ея сильно покраснѣло, она тяжело вздыхала. Илья Назарычъ обнималъ Елену, она отбивалась и вырывалась. Половина грибовъ у нея изъ набирухи высыпались.

— Разъ такъ играютъ! — сказала чуть не въ слезы Елена, обидѣвшись бальствомъ Плотникова.

— Елена! если ты любишь меня, подойди, поцѣлуй.

— Какъ же! — и Елена пошла.

Разъ четыре Елена заставляла Плотникова идти впередъ, бѣгала отъ него, разъ четыре онъ нагонялъ ее и обнималъ, но Елена только разъ дозволила ему поцѣловать себя, и то тогда, когда не могла справиться съ нимъ. Такъ они дошли до мостика.

— Пойдемъ завтра за малиной? — сказала вдругъ у мостика Елена Плотникову.

— Приду, приду.

Илья Назарычъ пошелъ впередъ, а Елена далеко отстала отъ него. Въ свободѣ ее четыре женщины спрашивали: — а што ты, Елена на покосъ не пошла? По грибы такъ пошла...

Разъ Елена легла спать, долго она думала о нынѣшнемъ днѣ, сердце билось радостно, лицо горѣло. „Все я буду съ нимъ ходить... Ишь цаловаться просить! какъ же: на вечеркѣ бы, — а то... А поцѣлуй же я его!..“. И она крѣпко обняла подушку... Такъ и заснула.

На другой день Елена уже меньше дичилась Ильѣ Назарычу. Когда оба они набрали много малины, находились вдоволь, напѣлись и надумались вволю, то, сойдясь вѣсть, сѣли рядомъ и стали закусывать.

— Чтой-то ты прежде такой ласковой, да шутъ былъ, а теперь все молчишь?

— Невесело, Елена Гавриловна.

— Будь ты проклятая хвастушка! Кто те по за-тылку-то колотить штоли?

— Елена! — и онъ обнялъ Елену.

— Слышь, Илья! въ послѣдній разъ говорю: ей Богу никогда не буду съ тобой ходить.

— И не ходи, чортъ съ тобой! — Илья Назарычъ закурилъ папироску.

Оба молчали.

— Какъ бы намъ, Елена, видѣться съ тобой чаще, — спросилъ вдругъ Илья Назарычъ.

— А по малину будемъ ходить.

— А зимой?

— Вечерки будутъ.

— А если тебя замужъ выдадутъ.

Елена задумалась.

— Ну, ужъ не выдадутъ. Ни за кого не пойду.

— А за меня пойдемъ?

— Што дашь?

Елена встала, пошла въ малинникъ, за ней шелъ и Плотниковъ. „Экая я дура, думала она. Зачѣмъ это я столько наболтала?“. Малины было очень много; она, стоя на колѣняхъ, теребила ее съ вѣтокъ и бросала горстями въ набируху. Лицо ея словно жгло что-то, голова какъ будто горѣла...

— Иля-у! — крикнула она во все горло, потому что Плотниковъ давно не кликалъ ее.

— Здѣсь, — сказалъ негромко Плотниковъ. Онъ былъ позади ея, въ двухъ шагахъ. Она вздрогнула, оглянулась, онъ тоже оглянулся. Онъ и она улыбались, но видно было, что и Плотниковъ былъ, какъ говорится, не въ своей тарелкѣ, т.е. машинально рвалъ малину. Вдругъ Елена подвинулась къ нему на колѣняхъ и, подавая крупную бѣлую ягоду, сказала.

— Надо?

— Давай.

— Нѣтъ, не хопы!

Плотниковъ хотѣлъ схватить ее за руку, но она не давала ее. Наконецъ онъ схватилъ ее руку, сжалъ крѣпко; Елена взвизгнула, наклонилась къ нему, онъ ее обнялъ... Тутъ она вдругъ подняла лицо, Илья Назарычъ крѣпко началъ цѣловать ее, и Елена, обвивъ его шею лѣвою рукой, поцѣловала его и отскочила.

— Молчи! Иля!.. никому не говори, — и она опять стала собирать малину. Стыдно ей стало, но и весело какъ-то, такъ весело, какъ никогда. Теперь она не чувствовала никакого гора. Опять сѣли; стали цѣловаться безъ принужденій. И долго они

цѣловались; Елена чувствовала себя самою счастливою женщиной; теперь только она поняла, что эти поцѣлуи далеко лучше, чѣмъ на вечеркахъ.

— Ты, Илья, женишься на мнѣ? — спросила она вдругъ Илью Назарыча, обнимая его, смотря ему въ глаза.

— Женюсь, Леночка.

— А бить не будешь?

— Нѣтъ.

И опять они цѣловались долго-долго. Домой Елена Гавриловна пришла веселая и долго распѣвала одну пѣсню: „Што поѣду ли я, молодецъ, въ Китай городъ“. Но невесело было Ильѣ Назарычу, когда онъ пришелъ домой: отецъ пьяный билъ своего товарища, мастера Китаева. Сталъ Илья Назарычъ унимать его, онъ кинулся на него, и такъ побилъ, что Илья Назарычъ всталъ съ полу съ окровавленнымъ носомъ и большими синяками на лицѣ и на лбу.

## ГЛАВА XII.

### Петровскій рудникъ.

Въ это время уже половина осиновецевъ обѣихъ половинъ кончали страду. Надо замѣтить, что осиновцы, хотя и назывались разными названіями по работамъ, но всѣ они называли себя мастеровыми. Большая же часть ихъ назывались *непремѣнными работниками*. Эти непремѣнные работники дѣлились на два разряда: конныхъ и пѣшихъ; конные возили дрова, уголь, руду къ фабрикамъ и справляли другія работы; пѣшіе работали на фабрикѣ, въ рудникахъ и у рудниковъ. Коннымъ назначалось работать 200 дней въ году, пѣшимъ 125, съ перваго мая по первое ноября имъ полагалось работать половину мѣсяца на заводѣ, половину на себя. Но это были только правила, на дѣлѣ выходило напротивъ въ осиновскомъ заводѣ: все зависѣло отъ управляющаго, приказчиковъ и надзирателей. Такъ что Токменцовъ и сотни его товарищей пользовались свободой много-много мѣсяцъ въ году и противъ этого они ничего не могли сдѣлать, потому что прогульный день имъ ставился въ вину, за которую ихъ наказывали. Кромѣ этого ихъ еще стѣсняли и на провіантъ: на примѣръ Токменцову полагалось провіанта четыре пуда въ мѣсяцъ, а давали три и два пуда, на Гаврилу до 15-ти-лѣтняго возраста полтора пуда, а давали пудъ или тридцать фунтовъ. И противъ этого осиновцы не могли ничего говорить, потому что жаловаться некому, да и за жалобу, если бы она была сдѣлана, имъ пришлось бы поплатиться своей шкурой, и они все-таки не получили бы того, что бы имъ слѣдовало. Поэтому положеніе рабочаго народа было не легкое. Не всѣ конечно были въ такомъ положеніи. Писаря, называвшіеся тоже непремѣнными работниками, служившіе въ конторѣ и заправлявшіе дѣлами, кромѣ членовъ конторы (которые служили по найму за хорошую плату и были больше отставные чиновники), тѣ, называясь *мастеровыми*, получали наравнѣ съ рабочими провіантъ. И

сочинилъ Ѳ. РАШЕТИНЪ, т. II-й.

такъ, въ осиновскомъ заводѣ по настоящему было два класса людей: непремѣнные работники и мастера, и оба назывались нижними горными чинами. Мастеровые, собственно говоря, означали мастера, т. е. не такъ, какъ понимали рабочіе, что мастеровой значить работникъ. Мастеровые были нарядчики, приказчики и другія должностныя лица на рудникахъ и въ фабрикахъ, — люди, съ дѣтства знавшіе тяжелой работы. Эти люди занимались торговлей въ заводѣ; изъ нихъ были плотники, столяры, портные (впрочемъ портнымъ и сапожникомъ ремесломъ въ заводѣ больше занимались отставные солдаты и прѣзжіе мѣщане, также какъ и въ гостиномъ было два купца не изъ осиновцевъ), были кузнецы, мѣдники и т. п. люди, и они или поставляли вмѣсто себя рабочихъ, или платили за это деньги, а иные съ дѣтства пользовались особенною милостію. Мастеровые жили конечно гораздо лучше непремѣнныхъ работниковъ, имѣли лучшіе дома, кой-какія деньги и даже важничали передъ рабочими, считая себя выше ихъ. Поэтому мастеровые и составляли въ заводѣ свой отдѣльный кружокъ, въ который трудно было попасть рабочему. Впрочемъ мастеровые не изъ начальниковъ, люди, кое-какъ перебивающіеся своимъ трудомъ, съ рабочими жили дружно, роднились, но все-таки въ обращеніи ихъ была какая-то натянутость. Такъ какъ мастеровые жили дома, то рабочіе часто просили ихъ о чемъ-нибудь, на примѣръ поработать въ фабрикѣ или у рудниковъ за деньги, привезти дровъ, сѣна съ покосу, и преимущественно помочь косить траву. Рабочіе же съ своей стороны сами услуживали мастеровымъ вдвойнѣ.

У каждаго семейнаго осиновца, принадлежавшаго Граблеву или приписаннаго къ нему, былъ покосъ, переходившій изъ рода въ рода. Вновь новому поколѣнію рѣдко давали покосъ; поэтому покосы обыкновенно дѣлились между дѣтьми, но трава косилась сообща и воровства почти не было, потому что за воровство товарищи расправлялись своимъ судомъ и били ужасно. Покосы большею частью находились въ нерасчищенномъ лѣсу. Дрова тоже отпускались по билетамъ изъ особыхъ дѣлянокъ и ни одинъ рабочій не рубилъ лѣса съ *своей* земли, а старался срубить бревнышко или нарубить дровъ въ господской дачѣ, задабривая при этомъ лѣсныхъ сторожей.

Прошло уже Преображеніе; половина травы на покосахъ скошена и сложена въ зароды, половина еще не скошена; одна часть осиновцевъ убрались на покосы, другая работаетъ на заводѣ, дома остались только старухи, старики да маленькія дѣти.

Петровскій рудникъ находится въ 20 верстахъ отъ осиновскаго завода, въ пятнадцати верстахъ отъ того мостика, гдѣ встрѣчались Елена съ Плотниковымъ; покосъ же Токменцова находился въ двѣнадцати верстахъ отъ завода, дорога къ нему идетъ сначала небольшой просѣлкой, а потомъ узенькой дорожкой лѣсомъ мимо стараго закрытаго рудника Михайловскаго. Когда Токменцовъ выѣхалъ за заводъ, онъ опомнился.

„Совсѣмъ они меня сбили съ толку. А не поѣду же я на рудникъ!“, и онъ заворотилъ на покосъ, хо-

та у него и не было литовки съ собой. На встрѣчу ему попадались нѣшіе запрудчане съ литовками и безъ литовокъ.

— На покосъ? — спрашивали его первые попавшіеся.

— На покосъ. Одолжи, Савелій Игнатьичъ, литовки.

— Да мнѣ завтра самому надо косить.

— Завтра отдамъ. А не выдали-ли Петрушку Фомина?

— Онъ тамъ на покосъ.

Получивши литовку, Гаврила Иванычъ поѣхалъ на покосъ. Покосъ его находился въ лѣсу на болотистомъ мѣстѣ, трава была большая. Въ такихъ же лѣсахъ съ небольшими полянками были покосы и другихъ рабочихъ, которые уже клали въ конны, а потомъ таскали граблями въ зароды. Народу кругомъ было человекъ до тридцати мужчинъ, женщинъ и ребятъ, всѣ они работали тутъ уже двое сутокъ съ раннего утра до позднего вечера. Работа кипѣла. Увидалъ Гаврила Иванычъ Петра Павлыча Фомина, мастерового съ запрудской стороны, занимающагося кузнечнымъ ремесломъ, давнишняго своего пріятеля, съ которымъ онъ каждый годъ косилъ траву. Онъ работалъ съ молодой женой вдвоемъ.

— Давно не видать гдѣ-то! — сказалъ Фоминъ, увидавъ Гаврилу Иваныча, вѣхавшаго на чужую полянку.

— Да вотъ надо бы косить, да не знаю. . Не можешь ли, Петръ Павлычъ?

— Не знаю... Домой надо: двое сутокъ валамся.

— А гдѣ у те Анисья-то? — спросила жена Фомина.

— Въ городъ уѣхала штаны продавать.

Фомины захохотали.

— Помоги, Петръ Павлычъ!

— Ну, не то ладно. Давай-ка догребай съ того конца.

Снявъ Гаврила Иванычъ зипунъ, закурилъ трубку и принялся за работу. Дѣло было привычное, грабли изъ рукъ не валялись и онъ живо гребъ сѣно, составляя изъ него кучу, стараясь скорѣе помочь товарищу, чтобы тотъ помогъ ему, а то если пойдетъ дождь, завтра Фоминъ уѣдетъ домой.

Стало темно. Половина рабочихъ съ покосу ушли домой, а половина рабочихъ собрались въ кучку, разложили огонь на полянкѣ, уѣлись вокругъ огня и стали закусывать: у нѣкихъ было въ берестяныхъ буракахъ сусло, у одной женщины былъ пирогъ съ морковью, у другой пирогъ съ свѣжими грибами, а Фомина дала мужу и Гаврилѣ по куску пирога съ свѣжимъ зеленымъ лукомъ; потомъ ѣли малину. Высоко поднимавшееся пламя съ сѣрымъ густымъ дымомъ хорошо освѣщало смуглыя лица сидящихъ въ различныхъ позахъ людей въ разноцвѣтныхъ одеждахъ, звѣвающихъ, ѣдящихъ и разговаривающихъ. разговоры шли дружные, брани не было, но говорили не долго, скоро улеглись, кто у огня, кто въ тѣнѣ, и скоро заснули крѣпкимъ сномъ; только одиѣ лошади, привязанныя на длинныя веревки къ деревьямъ или распушенныя безъ привязи, съ боталомъ на шеѣ и съ мутами на ногахъ, тихо бродили по

скошенной травѣ и щипали ее. Утромъ часа въ четыре встали всѣ одинъ за другимъ и принялись снова за работу.

Около вечера пріѣхала и Степанида Ивановна съ Чуркиной и ребятами. Она удивилась, что застала брата на покосъ, а тотъ удивился, что нѣтъ Клены. Но скоро успокоился. Началась опять работа и продолжалась трое сутокъ. Гаврила Иванычъ и Ганька съ Шарабошинами и Чуркиными, скосивъ траву на своемъ покосѣ въ сутки, разметали ее на ближайшей лужайкѣ, другія и третья сутки помогали Шарабошиной и Чуркиной, а въ четвертая сложили свое просохшее сѣно въ зародъ, заключавшій въ себѣ воровъ восемь сѣна. Угощенія по окончаніи страды никакого не было, а каждый говорилъ: „приходи же въ Успенье-то“.

Поѣхалъ Гаврила Иванычъ домой веселый; поѣхали веселые Чуркины, Фомины и Шарабошины. Но о женитбѣ сына Чуркиной какъ во время страды, такъ и теперь не было и слова. Не добъзая до мостика верстъ пять, изъ перекрестной узенькой дороги выѣхалъ верхомъ на лошади десятникъ Оплатовъ.

— Токменцовъ, на работу въ рудникъ!

— Ты вишь, я съ покосу ѣду.

— Мое это дѣло-то шло ли. Ишь назначеніе вышло сто сорокъ восемь человекъ сегодня нагнать на рудникъ.

— Што такъ: вѣдь семьдесятъ восемь было?

— Приказъ такой, сказано! Малолѣтковъ вѣдно двѣнадцать, да подростковъ тридцать.

— Оказія!

— Ишь отъ управляющаго, болтаютъ, указъ такой въ контору вышлеть, чтобы къ Успенью дню было непременно добыто изъ нашева рудника двѣ тысячи пудовъ руды, а время-то сколько?— всего четыре дни, а самъ знаешь, сколько шахтовъ-то: всего четыре. Ну, разумѣется контора съ приказчикомъ и давай умомъ мутить.

Токменцовъ сталъ было просить десятника освободить его отъ работы, просили и всѣ его товарищи, но десятникъ только говорилъ: „мнѣ ужъ за Ёгора Шилохвостова была баня, другую штоли?—не тебѣ чета, старъ ужъ сталъ“.

Дѣлать нечего, надо было идти на рудникъ съ Ганькой, который назывался еще малолѣткомъ.

— Ты, Степанида, лошадь-то уведи домой, да скажи Оленѣ, чтобы она послѣ завтра принесла мнѣ хлѣба, а то до Успенья вѣдь не буду домой. Да смотри, чтобы она тово...

И Гаврила Иванычъ пошелъ съ Гавридой на рудникъ по тропинкѣ, по обѣимъ сторонамъ которой росъ березникъ; десятникъ поѣхалъ на покосы собирать народъ.

Сильно не хотѣлось Гаврилѣ Иванычу идти на петровский рудникъ, такъ не хотѣлось, что онъ готовъ былъ Богъ знаетъ какія наказанія принять, только бы не идти, готовъ былъ убѣжать. Онъ прежде не чувствовалъ такой особенной боязни, когда ходилъ на этотъ рудникъ, онъ даже согласился бы идти на Ильинскій рудникъ, только бы не сюда. Этотъ рудникъ былъ самый тяжелый для рабочихъ,



впрочемъ гдѣ придется работать, въ горѣ, или на ровномъ мѣстѣ; здѣсь часто убиваются рабочіе; отсюда они весной уплываютъ на баржахъ внизъ и бѣгаютъ. Но Гаврила Иванычъ шелъ, шелъ за нимъ и маленький Гаврила, плача и ругаясь.

Лѣсъ сталъ рѣже и рѣже и вдругъ его какъ будто отрѣзали, какъ ковригу хлѣба: налѣво въ пространствѣ на двѣ версты глазамъ представляются небольшія насыпи, имѣющія видъ невысокихъ холмовъ съ каменисто-сырою почвою, обвалы, ямы безъ воды и полныя воды, какіе-то не то колодцы, не то провалы съ прогнившими срубамъ, досками, и все это такъ перемѣшано, какъ будто здѣсь было или землетрясеніе, или для чего-то неизвестно здѣсь рыли и копали землю. Вонъ недалеко семь человѣкъ рабочихъ выползли изъ-за оврага съ топорами, спустились къ колодцу и давай добывать лежащее около него толстое бревно. Это прежній рудникъ. Около дороги, по которой шелъ Гаврила Иванычъ, вся земля изрыта и земля не обваливается пока вѣроятно потому, что ее тамъ держитъ что-нибудь, но за то посмотрите направо: тамъ на цѣлую версту въ окружности земля какъ будто рухнула, мѣстность приняла видъ лодки, въ серединѣ которой стоитъ не колыхнется заплѣсневѣлая вода, и берега которой расщелились во многихъ мѣстахъ, и въ этихъ щеляхъ торчатъ то доски, то обрубки деревьевъ. Вокругъ этого лога растутъ кустарники ихты. Земля здѣсь рухнула и засыпала шурфъ и шахты, такъ что ихъ теперь и слѣдовъ нѣтъ.

За этимъ мѣстомъ опять идетъ небольшой, рѣдкій лѣсъ, около дороги и въ лѣсу лежатъ бревна, горбины, въ лѣсу въ разныхъ мѣстахъ пилятъ бревна. Наконецъ и Петровский рудникъ. На окружности десяти верстъ земля то изрыта, то представляетъ собою гряды съ землею, наваленною въ большія кучи, — насыпи съ глинистою и песчанистою землей. Между этими насыпями въ нѣкоторыхъ мѣстахъ положены доски, по которымъ ползаютъ мальчики и мужчины съ тачками, наполненными землей, смѣшанной съ рудой. Идутъ они и заворачиваютъ въ разные стороны и вываливаютъ эту руду къ большой, высокой квадратной насыпи, имѣющей видъ горы, огороженной слегка заплотомъ изъ досокъ. Это рудный дворъ. Около этой горы стоятъ вѣсы и восемь телѣгъ, запряженныхъ лошадьми. Рабочіе накладываютъ руду на вѣсы, потомъ кладутъ руду въ телѣги. Токменцовъ выкурилъ около нихъ трубку, потолковалъ и пошелъ. Дальше опять мальчики скажутъ куда-то землю направо и скрываются за насыпями. Но не все это пространство безъ лѣса было завалено землей и изрыто. Было много ровныхъ мѣстъ, гладкихъ, на которыхъ росла трава и щипали траву лошади, но за то на этихъ мѣстахъ кое-гдѣ были вбиты столбы съ зарубинами и крестиками, означающими, что здѣсь подъ землей находится шурфъ или предполагается быть прорытой шахта. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рабочіе работали: что-то рубили, тесали и везли на лошадяхъ бревна изъ лѣсу. Въ одномъ мѣстѣ стоитъ большое деревянное строеніе — это изба для рабочихъ. Рабочихъ было здѣсь много, всѣ они что-нибудь да дѣлали:

то таскали горбины, то везли бревна къ пилицамъ, которые пилили бревна у дороги, то везли землю и руду. И всѣ они были въ поту, черные какъ трубочисты, заваленные въ грязи. Впереди большая гора, обросшая лѣсомъ. Около этой горы тоже навалены большія кучи, видятся какіе-то шесты, дымы. Еще далѣе, ближе къ горѣ, версты на двѣ отъ нея направо, недалеко отъ дороги, между двумя насыпями вбиты въ землю четыре сваи съ крышей. Около нихъ суетится десять человѣкъ рабочихъ. Половина изъ нихъ вертятъ ручьи отъ двухъ валковъ, вдѣланныхъ поперегъ свай, на одинъ валокъ наворачивается веревка, съ другого балвана веревка спускается въ яму, похожую на колодезь, съ срубамъ и имѣющую пространства два квадратныхъ аршина — это шахта, а сваю съ болваномъ называютъ воротомъ, рабочихъ воротовыми. Между валками отъ перекладки на потолкахъ идетъ въ шахту веревка, по этой веревкѣ спустились внизъ двое. Подняли изъ шахты бадью съ землей, высыпали ее на поверхность земли. Двое рабочихъ дѣлили эту землю лопатами на двое и накладывали ребятамъ въ тачки. Изъ ребячьихъ одни сваливали въ сторонѣ землю, а другіе везли къ рудничному двору руду.

Рабочіе подняли одну бадью, въ ней стоялъ мальчикъ, лѣтъ 16, блѣдный, въ грязной рубашкѣ.

— Крѣпи подайте! — проговорилъ онъ, и его опустили въ шахту. Потомъ, поднявши обѣ бадьи, поставили ихъ около ворота.

Подъ горкой налѣво лежали горбины. Четыре человѣка бросились къ нимъ, и по веревкѣ стали легонько спускать ихъ въ шахту. Спустили штукъ восемь.

Подозелъ къ шахтѣ штейгеръ.

— Стой, стой! будетъ... — крикнулъ онъ, и затрѣсъ веревку, свиснувъ въ шахту. Въ бадѣ подняли одного рабочаго. — Ломайте веротъ. Выходите изъ шахты!.. Спусти эту бадью, чортъ! — крикнулъ онъ на одного рабочаго, и ударилъ его по плечу. Пришелъ Парамоновъ нарядчикъ. Бадью съ рабочимъ опустили назадъ.

— Ты што же это смотришь? Вѣдь это безъ руды — глина!

— Я нарочно велѣлъ...

— Велѣлъ. Чортъ! Шевелись: вели Егорьевскую шахту разрывать. Живо. Эй! — кричалъ онъ рабочимъ, стоящимъ у ворота. Десять человѣкъ въ шахту; десять къ вороту! Шевелись! Гдѣ руда?

— Вотъ. — И Парамоновъ указалъ на кучу налѣво съ желѣзной рудой.

— Да вѣдь мѣдную руду-то приказано! Ну! что ты смотришь, хара? Ея-Вогу, я на тебя пожалуюсь.

— Что же я-то сдѣлаю? Больно прытокъ.

— Ты долженъ въ другое мѣсто копать!

— Не сердись, егоза. Поди-ко, покопай ее!

— Молчать...

— Эй вы, черти! Убейте!! — крикнулъ одинъ рабочій, бѣжавшій отъ горы, и скрылся за ближнею насыпью.

Внигъ всѣ прилегли на землю, все стихло вокругъ; пилицы тоже соскочили съ козелъ и прилегли на землю. Черезъ двѣ минуты раздался

ный трескъ и гулъ, какого же бывает даже от грома, точно изъ ста пушекъ въ разъ выстрѣлило подь самымъ ухомъ; еще раздался трескъ, но потише. Въ человѣкѣ, не выдавшемъ подобныхъ вещей, это произвело бы величайшій ужасъ. Люди встали блѣдные, горы не видно—все застлало дымомъ. Немного погодя стало яснѣе видно предметы, направо отъ горы отломилась огромная глыба.

— Ладно, какъ ее хватило!

— Небось пороку-то дивно сожрала.

— Вотъ благодать-то опять руды. Гли, какая та часть-то!—говорили рабочіе.

— Эй! всѣ ли цѣлы?—крикнулъ штейгеръ, ставши на одну высокую кучу земли.

— Никитину, гли, руку оторвало,—сказалъ одинъ рабочій, стоявшій въ числѣ прочихъ на другой насыпи.

— Чортъ!!—и штейгеръ плюнулъ.—Эй, Парамоновъ, пошли къ горѣ тридцать человѣкъ новыхъ. Везите туда лѣсъ! ребята, съ тачками туда!.. Копайте штольни!..—и штейгеръ пошелъ распорядиться, а Парамоновъ исполнялъ приказаніе. Рабочіе не знали, за что взятыся.

Вдругъ раздался звонокъ въ колоколъ, находящійся на рудничномъ дворѣ. Это означало время ужина и ночную сѣмну. Одинъ рабочій крикнулъ, что есть силы, нагибаясь до половины въ шахту: „ша-башъ!“.

Повыползли изъ земли рабочіе въ рубахахъ и штанахъ, загрязненныхъ до нельзя, услышавъ они около тѣхъ мѣстъ, гдѣ работали, достали изъ-подъ досокъ свои узелки и стали жевать ржаной хлѣбъ, припивая водой изъ бадѣй, въ которыя вливали воду изъ насосовъ. Поѣли; кое-кто покурить трубки и сѣвнившіеся стали опять работать: тѣ, которые работали въ шахтѣ, стали работать на поверхности, а нѣкоторые за провинку пошли работать въ шахту. Во время ужина производилась расправа: по приказанію штейгера наказали двухъ рабочихъ и четырехъ подростковъ за то, что штейгеръ засталъ ихъ до ужина неработающими, а спящими у старыхъ закрытыхъ шахтъ.

Опять началась работа. Гаврила Иванычъ пошелъ къ Егорьевской шахтѣ съ двадцатью рабочими. Всѣмъ имъ выдали инструменты: кайлы, лопаты, топоры, три фонаря съ сальными свѣчами.

— Спускайся, Гаврила,—говорилъ одинъ рабочій Гаврилъ Иванычу.

— Самъ спускайся: она вѣдь одиннадцать сажень, а смотри, срубы-то какіе?

— Ну-ка, стройте бадью, я тожню слѣзу,—сказалъ другой рабочій, снявши zipунъ и бросивши его около шахты.

Наладили бадью: рабочій залѣзъ въ бадью, одной рукой держась за веревку, другою держалъ шесть. Вѣрота здѣсь не было.

— Ну-ну, слушай. Вали!—кричалъ рабочій; его спускали полегоньку.

— Тяни!—услыхалъ изъ шахты одинъ рабочій, нагнувшійся до половины въ шахту.

Когда бадью съ рабочимъ притянули кверху, онъ—сказалъ:—воды много.

Пришелъ Парамоновъ, который былъ нарядчикъ на этомъ рудникѣ.

— Сажень воды-то,—сказали ему рабочіе.

— Ахъ, будь онъ проклятъ, этотъ Подосенъ. Ну, што я стану дѣлать? Выручайте братья.

— Качать надо, да толку-то что?—сказалъ Парамоновъ.

— Да этта и руды-то нѣту-ка, потому амъ: Пасхи покинули шахту-то,—сказалъ другой рабочій.

— Будьте вы прокляты! сказано, тутъ вѣкъ руды.

— Поди-ка, влѣзай, чортъ ты послѣ этта! (с жень глубины вода-то.

— Поди-ка, ловко ночью-то. А што твои фонари? Сичасъ погаснетъ, потому сыро и выхлѣбъ оный а шурфы старые залило,—сказалъ Текменевъ.

Думалъ, думалъ Парамоновъ, видя, что рабочіе правы, работать въ шахтѣ нельзя, нору тамъ!—сказалъ рабочимъ:

— Ну, ино погодите. Да не спать! задеру.

— Ну!

Парамоновъ ушелъ, а рабочіе, немного выйдя легли на землю и скоро заснули. Парамоновъ раскапалъ около горы въ балаганѣ Подосенова, но не спалъ.

— Не безпокой ево, спать, пьянъ тожню,—сказалъ караульный.

За рудничными работами смотрѣлъ на Петровскомъ рудникѣ штейгеръ Подосеновъ, который дослуживъ до этой должности изъ насыпщика (фабричнаго рабочаго). Сперва онъ какъ-то угодили приказчику, потомъ женился на дочери устаника и вскорѣ самъ самъ нарядчикомъ, т. е. обязанъ былъ наблюдать постоянно на работахъ при рудникѣ, назначать рабочихъ по приказаніямъ главной конторы рудничныя работы: столько-то человѣкъ въ шахту и малкія работы, и наблюдать, чтобы рабочіе были на своихъ мѣстахъ. Потомъ его сдѣлали надзирателемъ: онъ былъ теперь второе лицо послѣ приказчика, и эта должность ему не понравилась и онъ вынесъ себѣ должность штейгера. Въ этой должности онъ былъ уже начальникомъ надъ рабочими въ рудникѣ, все равно, что горный смотритель—нынѣшніе указывалъ рабочимъ, гдѣ быть шурфъ, гдѣ выкопать шахту, и не смотря на то, что онъ не изучалъ геогіи и минералогіи, онъ не практиковалъ нигдѣ никакихъ свѣдѣній въ горномъ дѣлѣ. Сегодня его ужасно мѣшала гора. Уже двѣ съ половиною недѣли работалъ въ ней и все попадалось только немного жалкой руды. Въ случаѣ надобности онъ имѣлъ право ломать руду посредствомъ пороха, т. е. ломать гору, а порохъ онъ берегъ, наживая отъ него деньги. Тамъ онъ рѣшился зарядить одинъ уголь въ шурфѣ (шурдоръ въ горѣ, идущій отъ шахты по разнымъ направленіямъ до другихъ шахтъ). Бокъ горы развалился и тутъ-то въ одномъ мѣстѣ онъ увидалъ темный пластъ мѣдной руды, но и тутъ не могъ достигнуть, далеко ли внутрь пройдетъ этотъ пластъ: и придется ли начать шахту съ поверхности горы. Въ это впрочемъ онъ долженъ былъ просить разрѣшенія управляющаго, который хотя и былъ горный инженеръ, но на рудники ѣздилъ рѣдко и драгъ Парамоновъ.

нова и Подосенова за неисправное исполненіе возложенных на нихъ обязанностей. Токменцовъ и его товарищей Парамоновъ скоро растолкалъ и послалъ на прежнюю шахту, откуда ихъ прогонялъ Подосеновъ. Спустился туда Токменцовъ съ четырьмя рабочими и четырьмя подростками, которые захватили съ собой по тачкѣ, а инструменты для рабочихъ были уже въ шахтѣ. Спустились они внизъ на разстояніи пятнадцати сажень. Темно, душно, сыро, дышется тяжело. Ноги ступаютъ и скользятъ по доскамъ, которые укрѣплены на сваяхъ, вбитыхъ въ землю, а подъ ними вода, валяги кое-какъ фонарь. Этотъ фонарь повѣсили на веревочкѣ за перекладинку или крѣпь — горбину, подпиравшую срубы одной стѣны. Вся шахта отъ верху до низу, до головъ человѣческихъ была закрѣплена срубамъ и всѣ четыре ея стороны или четыре стѣны состояли изъ срубовъ, подпирались сваями, между которыми были пробиты и шурфы — узкими корридорчиками, узкими такъ, что можно въ нихъ пройти только одному человѣку; они тоже укрѣплены крѣпями, чтобы не обваливалась земля.

Зажгли еще два фонаря, но все-таки фонари тускло освѣщала шахту.

— Такъ какъ, братцы, начинать? — говорилъ одинъ рабочій.

— Землю-то надо отсюда долой. — Одинъ рабочій дернулъ веревку, на концѣ которой болтался колокольчикъ. Спустилась въ шахту бадья, наклали въ нее земли; опять дернули веревку; бадья стала подниматься, спустилась другая. Вверху фонарь казался звѣздочкой.

— Ломай тамъ! — крикнулъ одинъ рабочій Токменцову, указывая направо, въ узкій, низкій корридорчикъ.

— Чево!

— Во!

— Гляди, низко!

— Ну, конай съ верху! — Рабочіе кричали во все горло, но голоса ихъ какъ-будто разбивались о стѣны и звучали глухо, едва слышно. Токменцовъ ударилъ пять разъ кайломъ повыше отверстія, двое вытащили горбину, земля обвалилась, эту землю подняли къ верху; отверстіе сдѣлалось попросторнѣе.

— Ну-ко! фонарь-то!

Посмотрѣли: жила мѣдной руды. Съ часъ билъ кайломъ Токменцовъ, но выбилъ только на одну подпорку. Онъ вышелъ къ шахтѣ и закурилъ трубку, захотѣлось пить. Ему было жарко въ рубахѣ, которая вся покрылась землей; ноги промокли, ихъ кололо, голова болѣла, онъ то зябъ, то ему было жарко. Воротыные вверху то и дѣло вытаскивали землю и спускали внизъ бадьи, въ которыя ребята въ шахтѣ клали лопатами землю; двое рабочихъ пробивали стѣну въ другомъ мѣстѣ, третій крѣпилъ стѣну.

— Братцы! жили не видать. Ахъ, песъ ее задерж! — сказалъ Токменцовъ товарищамъ, посмотрѣвъ на то мѣсто, въ которое онъ билъ.

— А гляди, куда пошла — налѣво, — сказалъ одинъ рабочій, бившій другую стѣну, показывая рукой.

— Тутъ бить опасно — какъ разъ обвалится,

смотри, земля-то подъ ногами такая, и въ штольню вонъ текетъ; да все ее много, — говорилъ другой рабочій, держа фонарь.

Рабочіе съѣли на горбины, лежавшія на полу, и задремали. Вода въ шахтѣ все больше и больше прибывала. Они скоро заснули сидя. Вдругъ спустился къ нимъ Подосеновъ и растолкалъ ихъ.

— Вамъ спать! Молчите ужю!

— Да тутъ робить-то нечего, — сказалъ Токменцовъ. Подосеновъ обошелъ всѣ корридоры, изъ которыхъ одинъ проходилъ на тридцать сажень, и велѣлъ въ этомъ корридорѣ бить стѣну налѣво въ пятнадцать сажень отъ шахты.

Заползъ туда Токменцовъ и сталъ бить стѣну кайломъ. Двое разворачивали свая, одинъ парень подходилъ къ нему съ тачкой и утаскивалъ къ шахтѣ землю. Никто изъ рабочихъ не зналъ, день ли теперь или ночь, не говоря уже о часахъ. Наконецъ затряслась веревка, зазвякала чуть-чуть слышно колокольчикъ и стоявшіе въ шахтѣ для пріема бадьи услышали: шабашъ! но это восклицаніе какъ-будто долетѣло изъ-за пяти верстъ и слышалось какъ шопотъ.

— Шабашъ! — крикнулъ одинъ изъ нихъ въ шахтѣ, но его голосъ, звучный на верху земли, здѣсь провучалъ глухо. Ребята, еле передвигая ноги, подходили къ шурфамъ и кричали тоже изъ-всей силы отъ радости скорѣе выползти на свѣтъ Божій: „шабашъ!“.

Одинъ по одному рабочіе выползли въ бадьяхъ на поверхность земли, а два парня по угламъ сруба поднялись къ верху. Вы бы не узнали этихъ рабочихъ теперь: всѣ рубахи въ землѣ, мокрая; штаны тоже мокрые, въ грязи; сапоги приняли видъ какихъ-то чурбановъ. Лица и особенно руки тоже черныя, въ землѣ. Тяжело они вздохнули, выйдя на свѣтъ Божій. Стали ѣсть хлѣбъ, потомъ ушли въ избу и легли спать, кто на нары, кто на широкія для десяти человѣкъ полаты. Здѣсь теперь спало до тридцати рабочихъ и сорока подростковъ. Часу въ первомъ рабочихъ разбудили и распредѣлили на работы на верху земли: сортировать руду, откачивать воду, спускать горбины въ шахту, поднимать бадьи и т. п. На третью сутки Токменцовъ былъ назначенъ на работу въ гору. Тамъ, въ шахтѣ, идущей прямо корридоромъ, а не въ землю въ видѣ колодца, онъ цѣлые шесть часовъ билъ стѣну, но стѣна была такая крѣпкая, что ее очень трудно было пробить, такъ что онъ изломалъ два казенные кайла и эту ломъ положилъ около своего зипуна для того, чтобы унести домой. Рабочіе отсюда могли свободно унести домой ломъ, потому что за этимъ никто не смотрѣлъ. Здѣсь работать Токменцову было лучше, потому что онъ могъ чаще выходить на свѣжій воздухъ. Но рабочіе замѣчали, что онъ хвораетъ.

Въ этотъ день около обѣда пріѣхала къ руднику верховъ на лошади Елена. Привязавши лошадь у избы, она подошла къ руднику, гдѣ въ горѣ работалъ ее отецъ. Увидѣвъ Елену, рабочіе не давали ей проходу: они то щипали ее, то трепали по плечу и высказывали ей разныя остроты насчетъ ее лица.

поля, и разные плоскости. Елена дѣйствовала руками и плевами.

— Нѣту здѣсь Токменцова!

— Врешь, варнакъ! здѣсь онъ.

— Ребя, тащи ее въ шахту!

Елену потащили въ шахту, но скоро вышелъ отецъ. Онъ ни слова не сказалъ рабочимъ и какъ будто не обратилъ вниманія на баловство своихъ товарищей, которые всѣ были люди женатые и имѣли дѣтей. По-видимому они шутили съ Еленой.

Токменцовъ былъ блѣднѣе прежняго, лицо поху-дѣло. Онъ походилъ на мертвеца. Кое-какъ передвига-вая ноги, опустивъ руки, онъ подошелъ къ дочери.

— Што... хлѣба принесла, — проговорилъ онъ едва слышно, охриплымъ голосомъ, и сѣлъ на одну тачку, лежавшую безъ употребленія. Сердце замирало у Елены, ноги подкашивались, морозъ прошелъ по ея тѣлу. Отецъ сидѣлъ, свѣсивъ голову и положивъ на колѣни руку на руку.

— Тятенька, голубчикъ! — сказала Елена.

— Ступай, мила дочка. Ступай.

Елена заплакала.

— Я, тятенька, малинки тебѣ принесла, — проговорила она.

— Не могу, мила дочка!.. Тошнить.

— Тятенька!

— Баню бы надо...

Токменцова окружили человѣкъ шесть рабочихъ.

— Токменцовъ! — сказалъ одинъ.

— Иди, пора! нечего лытать-то, — сказалъ другой.

— Не могу, братцы... Подняться не могу...

Пришелъ Подосеновъ.

— Ты зачѣмъ? Пошла прочь! — крикнулъ онъ Еленѣ и ударилъ ее по шеѣ.

— Ты не дерись, свинья! Я не къ тебѣ пришла.

— А ты што не робишь? лытать што ли захотѣлъ? — крикнулъ Подосеновъ на Токменцова.

— Лихоманка съ нимъ! Смотри, трясеть! — сказали двое рабочихъ.

— Я ему дамъ лихоманку. Пошелъ! Вотъ въ очередь сѣбѣю, дрыхни.

Токменцовъ кое-какъ всталъ, его пошатнуло и, кое-какъ передвигая ноги, шелъ къ шахтѣ. Елена постояла немного и пошла къ лошади. Когда она садилась на лошадь, то вдругъ услышала крикъ съ горы.

— Дѣвка, а дѣвка!

— У! — откликнулась Елена.

— Вѣги сюда!

Соскочивъ съ лошади, Елена побѣжала къ шахтѣ. Отецъ лежалъ навзничъ, изъ носу и рта шла кровь. Елена стала, какъ статуя. Въ глазахъ помутилось, она ничего не видѣла, ничего не понимала.

— Ну, чево стоишь, дура! Ребята, тащите его прочь! — крикнулъ Подосеновъ. Двое рабочихъ подняли Токменцова, дотащили до руднаго двора и тамъ положили его въ тѣлѣгу.

— Умеръ? — спрашивали рабочіе, окружившіе тѣлѣгу.

— Шевелится...

— Осподи! Экое наказанье эта жизнь!.. — говорили крестьянскіе рабочіе.

Елена плакала.

— Ну, дѣвка, не воротись. Вези его въ онпитель... Вотъ жизнь-то!

— Подожди, штейгеръ бумагу дастъ.

Немного погодя подошелъ къ толпѣ штейгеръ съ запиской и, давъ ее одному рабочему, велѣлъ везти Токменцова въ госпиталь. Тронулись. Елена сидѣла около отца, который лежалъ на спинѣ съ открытыми глазами и съ сложенными на груди руками. Онъ тяжело вздыхалъ, кашлялъ и, какъ только онъ кашля-нетъ, начинается считать изъ открытаго рта кровь.

— Тятенька! — говорила Елена. Отецъ молчалъ и даже не шевелилъ глазами.

— Господи! дай ты ему здоровья! — молилась Елена, смотря на лицо отца, и плакала. Провожатый мало заговаривалъ съ Еленой, она говорила, сама не зная что.

Сдѣлавъ рабочій Токменцова въ госпиталь, стащили его въ какую-то не то избу, не то сѣвную съ грязнымъ поломъ, пропитанную кислотами воздуха, положили его на кровать и покрыли рогожей. Кругомъ кровати Токменцова было нѣсколько другихъ, на которыхъ лежали тоже рабочіе, двѣ женщины и пять подростковъ; они стонали и охали. Это была единственная палата для больныхъ рабочихъ на двадцать восемь кроватей, на которыхъ лежали одержимые разными тяжелыми болѣзнями и почти никогда не выздоравливали. Были еще двѣ палаты, но тамъ лежали въ одной мужчины, въ другой женщины изъ приказныхъ и должностныхъ людей. Это называлось чистою половиной.

Елена хуже этого мѣста нигдѣ не находила. Ей не хотѣлось уходить отъ отца, но ей велѣли идти. Какъ полоумная пришла она къ Степанидѣ Ивановнѣ, разразилась ревомъ и долго не могла Степанида Ивановна добиться отъ нея толку.

— Да чтой-то съ тобой?

— Ой, матушка, голубушка...

— Да говори!

— Отецъ... въ онпитель свезли.

Не говоря ни слова, Степанида Ивановна побѣжала въ госпиталь, но Гаврила Ивановичъ лежалъ на кровати уже мертвымъ...

А между тѣмъ въ заводѣ идетъ суета. Сегодня канунъ Успенья. Женщины моютъ полы, чашки, спорятъ о томъ, что лучше завтра сострапать, тащить изъ погребовъ корчаги съ нивомъ, вынимаютъ изъ сундуковъ заветныя платья, считаютъ накопленные въ годъ копѣйки, бѣгутъ изъ дома въ дождь, ворчатъ, топятъ бани. Вотъ и мужчины стали собираться въ заводъ и парятся въ баняхъ. Работы прекратились. Завтра розговѣнье и въ Осинскомъ заводѣ большой праздникъ.

Поступило въ продажу НОВОЕ ИЗДАНИЕ Ф. Павленкова:

# ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЕЙ

Профессора Г. ЖОЛИ.

(С.-Петербургъ, 1890 года. 350 стр. 2-е изданіе. Цѣна 1 руб.).

## СОДЕРЖАНІЕ.

I. Подготовка генія культурнымъ ростомъ народа. Явленія геніальности труднѣе поддается изученію, чѣмъ помѣшательство. Три главные отдѣла нашего предмета: великій человѣкъ, геній, вдохновеніе. Мысли Гете о послѣдствіяхъ долговѣчности отдѣльныхъ семей и цѣлыхъ народовъ. Всякій ли народъ способенъ народить великаго человѣка? Наиболѣе благопріятныя времена для появленія великихъ людей.

II. Вліяніе семейной наслѣдственности. Существуетъ ли наслѣдственная подготовка, ускоряющая появленіе генія? Братья, сестры и матери великихъ людей. Наслѣдственность вкусовъ, причудъ и выдающихся способностей. Геній и успѣхъ. Различія между естественной и юридической семьей, между кровью и именемъ, между святымъ и великимъ человѣкомъ. Законныя обобщенія. Теорія чередованія. Если геній не есть неврозъ, то не чередуется ли онъ съ неврозомъ? Страсти и великіе замыслы.

III. Великій человѣкъ и современная ему среда. Великій человѣкъ не разрушаетъ ничего кромѣ того, что является помѣхою жизни: онъ не вноситъ въ человѣчество усилій, клонящихся къ раздѣлію людей, но только усилія, направленные къ временному соглашенію, къ союзу и единству. Какимъ образомъ среда требуетъ своего великаго человѣка. Какъ относится великій человѣкъ къ своимъ предшественникамъ, къ своимъ современникамъ, къ своимъ учителямъ и къ своимъ предтечамъ. Примѣры. Въ чемъ состоитъ оригинальность великаго человѣка. Его вліяніе на людей, которыми онъ пользуется для своихъ цѣлей, и на идеи, которыми онъ овладѣваетъ. Не геній получаетъ жизнь отъ тѣхъ элементовъ, которые онъ организуетъ, а наоборотъ—онъ самъ даетъ имъ новую жизнь.

IV. Геній и вдохновеніе. Уничтожаетъ ли геній роль случая? Приостанавливаетъ ли онъ законы необходимости? Случай не дѣлаетъ даже открытій.—Примѣры. Колумбъ и открытіе Америки. Ньютонъ и открытіе міроваго тяготѣнія. Лейбницъ и его ученіе объ активной субстанции. Леонардъ де Винчи и Тайная Вечеря. Бетховенъ и нѣкоторые изъ его симфоній. Является ли великое дѣло при своемъ возникновеніи въ формѣ цѣльнаго замысла. Фенелонъ и Ж. Ж. Руссо. Моцартъ и Бетховенъ. Лихорадочное возбужденіе ума. Истинныя условія вдохновенія. Анализъ элементовъ генія. Проверка этого анализа. Личности, которыми не доставало то одного, то другаго изъ условій геніальности и величія. Заключительные выводы.

## СОЧИНЕНІЯ А. М. СКАВИЧЕВСКАГО.

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики.

1868—1887.

Содержаніе. Новое время и старые боги.—Русское недомысліе.—Прудонъ объ искусствѣ и сатурналии нашихъ эстетиковъ.—Герои голубиного полета.—Теорія Лассаля.—Живая струя.—Дм. Ив. Писаревъ.—Старая правда.—Чего нужно добиваться реальному поэту.—Сорокъ лѣтъ русской критики.—Герои вѣчныхъ ожиданій.—Волны русскаго прогресса.—Графъ Левъ Толстой.—Старый идеализмъ въ современной оболочкѣ. Сентиментальное прекрасное.—Наши грядущіе Бисмарки.—Литературныя противорѣчія.—Винегреты современной мо-

дали.—Наша современная беззавѣтность.—Бесѣды о русской словесности (три письма).—А. И. Левитовъ.—Н. А. Некрасовъ.—Разладъ художника и мыслителя.—Наше современное легкомысліе.—Гл. Успенскій, какъ разрушитель иллюзій.—Новодворскій (Осиповичъ).—В. М. Гаршинъ.—Новый человѣкъ деревни.—Бесѣды о графѣ Л. Толстомъ.—Власть тьмы.—Мысли о женской неволѣ.—Русскій историческій романъ.—Женщины Островскаго.—А. С. Пушкинъ.

Цѣна за все собраніе въ двухъ большихъ томахъ (около 1700 страницъ)—3 руб.

# „РУЧНОЙ ТРУДЪ“

Руководство для домашнихъ занятій ремеслами. Составилъ *А. Графити*. Переводъ съ франц. Около 400 рис. въ текстѣ. Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

**СОДЕРЖАНИЕ:** I. Бумага и полотно: Пропускная бумага, прозрачная бумага для срисовыванія. Непроницаемая и свѣтящаяся бумага. Работы изъ картона. Коробки, абажуры, маски. Формовка изъ бумаги и тиснение фигуръ. Китайскія тѣни. Бронировка и переплетъ. Изготовленіе рамокъ. Стѣнные обои и отдѣлка комнатъ. Разрисовки занавѣсокъ. Искусственные цвѣты. Зѣбки и летающія птицы. Аэростаты. Фейерверки.—II. Глина, воскъ, стекло, фарфоръ: Тѣпныя работы изъ глины и воска. Формовка. Чистка, раскрашиваніе и покрываніе гипса металломъ. Живопись по фарфору, фаянсу и стеклу. Волшебный

фонарь. Фантазмагорія. Граненіе хрусталя. Гравировка на стеклѣ и хрусталѣ. Мозаика. Гравированіе на дорогихъ камняхъ.—III. Дерево: Столярныя работы. Окраска и украшеніе столярныхъ издѣлій. Работы на токарномъ станкѣ. Художественное вытѣзваніе изъ дерева. Деревянная мозаика.—IV. Металлы: Слесарныя работы. Гравировка. Любительская механика. Любительская электро-техника. Гальванопластика. Никкелированіе. Покрываніе металлами издѣлій изъ глины. Металлизация тканей. Любительское часовое мастерство.

## „НАУЧНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ“

Знакомство съ явлениями природы путемъ игръ и опытовъ, не требующихъ специальныхъ приборовъ. Составилъ *Г. Тисанде*. Переводъ съ французскаго подъ редакціей *Ф. Павленкова*. 2-е, значительно дополненное изданіе. Съ 852 рисунками. Цѣна 2 руб., въ переплетѣ 2 руб. 75 коп.

**СОДЕРЖАНИЕ:** I. Научныя занятія на открытомъ воздухѣ.—II. Физическіе опыты безъ приборовъ. Давленіе воздуха. Паденіе тѣлъ. Различныя силы. Инерція. Гидростатика. Сифоны. Волосность. Равновѣсіе тѣлъ. Центръ тяжести. Теплота. Акустика и звуки. Свѣтъ и оптика. Электричество.—III. Зрѣніе и оптическія иллюзіи.—IV. Анализъ случайностей и математическія игры.—V. Химія безъ лабораторіи. Металлы простые и драгоцѣнные. Искусственное окрашиваніе цвѣтовъ. Фосфоричность. Примѣненіе химіи къ фокусамъ. Спирально разбѣзанная бутылка.—VI. Спиритизмъ.—VII. Научныя игрушки. Магическій волчокъ и жирסקопъ. Приборы для механическаго полета. Электрофоръ Пейффера. Маленькій воздушный пароходъ. Циркулирующій фонтанъ. Магическія рыбы. Американская копилка. Оживающія электрическія украшенія и различныя игрушки.—VIII. Домъ любителя науки. Пишущая машина. Электрическое пе-

ро. Пневматическій карандашъ. Хромографъ. Электрическій птемпель. Кампиметръ. Небесный индикаторъ. Астрономическіе часы. Глобусъ-теллуридъ. Солнечный хронометръ. Загадочные часы. Новые круглыя счеты. Шагомеръ. Водяной барометръ. Телефонъ, микрофонъ и фонографъ.—IX. Наука и домашняя жизнь. Швейная машина, приводимая въ движеніе собакою. Способъ быстро рыть колодцы. Приборъ Карре для искусственнаго приготовленія льда. Ночникъ, показывающій время. Лампа будильникъ. Газолиновая лампа. Экономическая мышеловка. Хорошее устройство крана.—X. Средства для перевозки. Безконечныя рельсы. Парусные вагоны. Новый снарядъ для плаванія. Водяной велосипедъ. Тюлень-бурлакъ. Двойная лодка. Наименьшій пароходъ въ свѣтѣ. Лодки на льду. Кареты, запряженныя блохами.—XI. Валацци. Приложение: Газовая свѣча Пушкарева (ночникъ, свѣча, лампа и кухня).

## НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНІЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГІИ

Составилъ *В. Селесневъ*, бывшій преподаватель химической технологіи въ Петербургскомъ 2-мъ реальномъ училищѣ. Съ 70 рис. въ текстѣ. Цѣна 1 руб. 50 коп.

**СОДЕРЖАНИЕ: ОБЩІЙ ОТДѢЛЪ.** I. Общие приемы и аппараты. Измельченіе твердыхъ тѣлъ. Смѣшиваніе. Раздѣленіе неоднороднаго размола или природнаго зернистаго матеріала на продукты болѣе однородныя по размѣру и плотности зеренъ. Раздѣленіе жидкостей. Отдѣленіе жидкихъ тѣлъ отъ твердыхъ. Отдѣленіе растворимыхъ частей отъ нерастворимыхъ. Поглощеніе газовъ твердыми тѣлами и отдѣленіе поглощаемыхъ газовъ отъ непоглощаемыхъ. Поглощеніе газовъ жидкостями и отдѣленіе растворимыхъ газовъ отъ нерастворимыхъ. Механическіе приемы передачи матеріаловъ.—II. Топливо и развитіе теплоты въ печахъ. Топливо. О горѣніи. Объ устройствѣ печей. Утилизациа излишней теплоты продуктовъ горѣнія. Нагрѣваніе жидкостей. Высушиваніе.

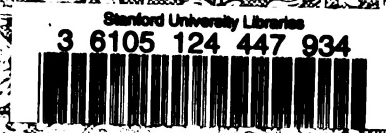
**СПЕЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.** I. Углеводы. Общая замѣчанія. Броженіе. Хлѣбное зерно, мука и хлѣбъ. Добываніе крахмала. Пивовареніе. Винокуреніе. Свекло-

сахарное производство.—II. Жиры. Составъ и свойства жировъ. Выгонка сала. Добываніе растительныхъ маселъ. Мыловареніе. Производство стearина.—III. Волокнистые матеріалы. Растительныя волокна. Волокна животнаго происхожденія. Окраска тканей и пряжи. Обзоръ важѣйшихъ красокъ. Бѣленіе пряжи и тканей. Окраска тканей. Выдѣлка бумаги. Выдѣлка кож.—IV. Сухая перегонка. Общая замѣчанія о сухой перегонкѣ. Добываніе древеснаго угля. Смолокурѣніе. Добываніе древесной воды и главныхъ продуктовъ ея перегонки: уксусной кислоты и метиловаго спирта. Добываніе свѣтлignaго газа.—V. Нефть и ея обработка. Свойства нефти. Перегонка нефти и продукты ея. Киръ, озокеритъ, нафтагиль, асфальтъ.—VI. Сѣрная кислота и сода. Производство сѣрной кислоты. Производство соды.—VII. Силикаты. Общая замѣчанія. Глина. Стекло. Гидравлическій цементъ. Стеклодѣліе. Выдѣлка глиняныхъ издѣлій.









AG  
3360  
R4  
1890



**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

OCT 11 1991



